This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

+ *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.

+ *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.

+ *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.

+ *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at `http://books.google.com/`

Acquired through the
HOOVER INSTITUTION

STANFORD UNIVERSITY LIBRARIES

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

БИБЛІОТЕКА ОФИЦЕРСКАГО СОБРАНІЯ
5го
ФИНЛЯНДСКАГО
СТРѢЛКОВАГО ПОЛКА.

Позв. цензор. СПБ., 7 Октября 1898 г.

Тип. Тов. „Общест. Польза". В. Подъ

Digitized by Google

Всеволодъ Владиміровичъ

КРЕСТОВСКІЙ.

Въ 1880 году.

Digitized by Google

СОБРАНІЕ СОЧИНЕНІЙ

ВСЕВОЛОДА ВЛАДИМІРОВИЧА

КРЕСТОВСКАГО

БИБЛІОТЕКА ОФИЦЕРСКАГО СОБРАНІЯ

ТОМЪ III

КРОВАВЫЙ ПУФЪ.

РОМАНЫ:

1) ПАНУРГОВО СТАДО и 2) ДВѢ СИЛЫ.

ОЧЕРКИ:

1) Панъ Пшепендовскій и 2) Подъ каштанами Саксонскаго сада.

ПОДЪ РЕДАКЦІЕЙ **Ю. Д. ЕЛЬЦА.**

САНКТПЕТЕРБУРГЪ
ИЗДАНІЕ ТОВАРИЩЕСТВА „ОБЩЕСТВЕННАЯ ПОЛЬЗА".
1904.

HOOVER LIBRARY

Digitized by Google

PG 3167
K74
1910
v.3

Типографія Товарищества «Общественная Польза», Большая Подъяческая, 39.

Digitized by Google

Оглавленіе третьяго тома.

КРОВАВЫЙ ПУФЪ.

РОМАНЫ:

1) ПАНУРГОВО СТАДО. 2) ДВѢ СИЛЫ.

1) ПАНУРГОВО СТАДО.

Часть I.

		стр.
1.	Воля	1
2.	Великое и общее недоразумѣніе	7
3.	Расправа	13
4	„Пошла писать губерніа!“	17
5.	En petit comité	18
6	Наканунѣ тризны	21
7	Паннихида	22
8	Генеральное кормленіе съ музыкой и проч.	28
9	Cegla wielkiego budowania	32
10	Сходка	36
11.	Кто предполагаетъ и кто располагаетъ	43
12.	Иллюзіи и разочарованія стараго майора	45
13.	Въ пользу славнобубенской воскресной школы литературно-музыкальный вечеръ, съ участіемъ гг. такихъ-то и такихъ-то	47
14.	Кому досталось расхлебывать кашу	50
15.	Конференція совѣта гимназіи	51
16.	Вызовъ	55
17.	Въ ожиданіи роковой минуты	56
18.	Au profit de nos pauvres, спектакль благородныхъ любителей съ живыми картинами	58
19.	De funduszu zelaznego	66
20.	Изъ-за „шпіона“	69
21.	Безъ дочери	72
22.	Великодушный Ардальонъ	75
23.	Нежданный ходатай	78
24.	Съ неба свалилось	82
25.	Крестъ начерченъ	85
26.	Изъ тѣхъ или нѣтъ?	85
27.	Въ западнѣ	89
28.	Женихъ	90
29.	„Эврика“ по гречески значитъ: нашелъ	92
30.	Игра въ половники	94
31.	Прощаюсь, ангелъ мой, съ тобою	99
32.	Въ Жегуляхъ	100
33.	Золотая грамота	105
34.	Послѣдняя литургія	110
35.	Балъ у ея превосходительства	111
36.	Въ саду	116

Часть II.

1.	Въ коптилкѣ	119
2.	Славнобубенскія вѣсти	124
3.	Прокламація и сходка 23-го сентября	125
4.	Шествіе въ Колокольную улицу	128
5.	Докладчикъ „Центра“	134
6.	Сходка 27-го сентября	135
7.	„Синій день“ на Невскомъ	137
8.	Герой въ пыхъ витаетъ сферахъ	141
9.	„Студентскій день“	143
10.	Бесѣда съ мудрымъ Никодимомъ	147
11.	Надежное мѣсто	151
12.	Дрессировка начинается	153
13.	Еще болѣе надежное мѣсто	155
14.	Метаморфоза	158
15.	Кружокъ	161
16.	Роковые вопросы	165
17.	Aut Caesar, aut nihil!	167
18.	Caesar	168
19.	Нежданный гость на новую дорогу	170
20.	Поручитель	173
21.	Что немножко безпокоило Хвалынцева	175
22.	Послѣднія инструкціи	177
23.	„Довольно!“	178

Часть III.

1.	Наединѣ со своей душой	182
2.	Книжная торговля и кабинетъ для чтенія Луки Благопріобрѣтова и К°	185
3.	Призракъ дѣда	187
4.	Вдовушка Сусанна	189
5.	Великіе проекты продолжаютъ осуществляться	192
6.	Вечеръ въ коммунѣ	194
7.	Поздній звонокъ	198
8.	Какими судьбами появилась Лубянская	201
9.	Святые принципы Полоярова	202
10	Какимъ образомъ члены коммуны тяготы другъ друга носили	204
11.	Теорія и жизнь	210
12.	Жизнь пересилила	212
13.	Новые гости пріѣхали	212
14.	Предъ постелью больной	214
15.	При послѣднихъ минутахъ	216
16.	Послѣ похоронъ	217

Часть IV.

1.	Сумбуръ	219
2.	Что значитъ смѣть свое сужденіе имѣть	227
3.	Меркурій	231
4.	Панъ грабя Тадеушъ и просто панъ Анзельмъ	234
5.	И хочется, и колется	236

Digitized by Google

стр.

6. Сюрпризъ отъ вдовушки Сусанны..... 238
7. Мины и подкопы..... 240
8. „Съ того берега“ 241
9. Изъ угла въ уголъ по комнатѣ..... 244
10. Дождались..... 247
11. Есть многое въ природѣ, другъ Горацio, что и не снилось порядочнымъ людямъ.. 249
12. Добрая овца нашла своего добраго пастыря 255
13. Благородное слово на благородное дѣло.. 266
14. Любишь—не любишь..... 258
15. На что оказалась способною Сусанна. .. 260
16. Чего никакъ не могъ предвидѣть панъ грабя..... 262

стр.

17. Ардальонъ съ ореоломъ мученика..... 264
18. „Молодая Россія“ 267
19. Quae medicamenta non sanant—ferrum sanat, quae ferrum non sanat - ignis sanat... 268
20. Пожаръ 28-го мая 1862 года..... 270
21. Наши знакомцы на пожарѣ..... 276
22. Ignis non sanat..... 279
23. Кому и какія услуги оказаны пожарными. 280
24. Наканунѣ чего-то новаго..... 283
25. Въ виду возможности безпечальнаго будущаго 286
26. Выборы въ «военномъ кружкѣ»..... 287
27. Fatum 290
28. Alea jacta est..... 292

2) ДВѢ СИЛЫ.

Часть I.

стр.

1. Сюрпризъ на пути въ Варшаву..... 295
2. Впечатлѣнія по дорогѣ Литвою..... 297
3. Въ корчмѣ 298
4. „Палацъ сломяны“..... 301
5. Szkolka dla dzieci viejskich..... 307
6. Маленькій опытъ слiянія съ народомъ... 310
7. За стѣною..... 313
8. Два храма..... 316
9. Кіермашъ 320
10. Панское полеванье..... 323
11. „Kochajmy sie!“..... 329
12. Фацеція панъська..... 331
13. Во время безсонной ночи..... 336
14. Сеймикъ панскій 338
15. У отца Сильвестра..... 347
16. Одинъ изъ тысячи хлопскихъ бунтовъ того времени..... 355

Часть II.

1. Гродно и ея первые сюрпризы..... 361
2. Похороны нѣкоего „почтиваго чловѣка“.. 365
3. Чего иногда могла стоить и чѣмъ могла угрожать чашка кофе..... 373
4. На Коложѣ..... 376
5 Добрая встрѣча..... 381
6. Дома у Холодца..... 388
7. На Телятникѣ..... 395
8. Панна Ванда..... 401
9. Ржондъ противъ ржонда, справа противъ справы..... 407
10. „Опять сомнѣнія и муки“..... 411
11. Опять непріязненности..... 413
12. Послѣ бури..... 416
13. Свитка слегка показываетъ свою настоящую шкуру и когти 418
14. Послѣднее пожеланіе..... 423

Часть III.

1. Въ Варшавѣ 425
2. Въ первыя минуты по пріѣздѣ..... 429
3. За ужиномъ въ Помпейскомъ залѣ..... 430
4. Нечаянные гости. 433
5. Впечатлѣніе Варшавы..... 434
6. Уже на службѣ..... 436
7. Терроръ и паника, и еще нѣчто..... 438
8. Hymn narodowy..... 439

стр.

9. Слабая струна..... 443
10. Свитка предлагаетъ сыграть въ кошку и мышку 444
11. На волоскѣ..... 447
12. Въ театрѣ..... 451
13. „Capre diem!“..... 454
14. Поручикъ Паляница 457
15. Варшавскій отдѣлъ „Земли и Воли“..... 462
16. Политика и жизнь наканунѣ взрыва.... 466
17. Жертва всесожженія..... 470
18. Адресъ и разрывъ..... 472
19. Трибуналъ народовый..... 475
20. Варшавскія трущобы..... 480
21. Операторъ..... 485
22. Въ катакомбахъ..... 488
23. Узелокъ..... 492
24. Послѣ болѣзни..... 494
25. „По декрету трибунала“..... 496

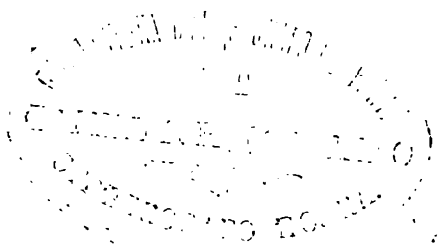
Часть IV.

1. „Do broni!“..... 499
2. Генералъ-довудца и его штабъ въ прадѣдовскомъ замкѣ 502
3. На сборномъ пунктѣ..... 508
4. Лѣсная маювка..... 511
5. Въ лѣсномъ „обозѣ“..... 516
6. Гроза идетъ..... 518
7. Побѣда въ Червленахъ..... 519
8. Тревога..... 525
9. Мы и они..... 528
10. Вновь испеченный..... 536
11. Рѳбакъ—ксендзъ-партиванъ и вѣшатель.. 537
12. Старый знакомый нежданнымъ гостемъ.. 538
13. Мученики, не внесенные въ мартирологи „Колокола“..... 539
14. Погоня..... 544
15. Бой..... 547
16. Сестра..... 553
17. Честный магъ..... 555
18. Русская сила..... 558
19. Желѣзный человѣкъ..... 562
20. „Патріоты“..... 565
21. Онъ самъ хотѣлъ того..... 569
22. Нѣчто о борьбѣ за существованіе..... 570
23. Послѣдній изъ могиканъ..... 572
24. Хлопское „дзякуймо!“..... 574
25. Роковая дилемма..... 575

ОЧЕРКИ:

1) ПАНЪ ПШЕПЕНДОВСКІЙ 578
2) ПОДЪ КАШТАНАМИ САКСОНСКАГО САДА 598

Digitized by Google



ПАНУРГОВО СТАДО.

РОМАНЪ.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ.

I.

Воля.

Наступилъ день 19-го февраля 1861 г.

Милліоны труждающихся и обремененныхъ осѣнили крестомъ свои широкія груди; милліоны удрученныхъ головъ, съ земными поклонами, склонились до сырой земли русской. Съ церковныхъ папертей и амвоновъ во всеуслышаніе раздалось вѣщее слово. По всѣмъ градамъ и весямъ, по всѣмъ пригородамъ и слободамъ, по деревнямъ, посадамъ и селамъ церковные колокола прогудѣли, по лицу всея земли Русской, благовѣстъ воли.

Русская земля отпраздновала первый день своей всенародной свободы.

А между тѣмъ...

Въ воздухѣ было что-то давящее, плавало что-то смутное, сѣрое, неопредѣленное. На горизонтѣ собирались какія-то зловѣщія, свинцовыя тучи.

* * *

— А что, Волгой не возятъ?

— Покинули... денъ съ двѣнадцать, какъ покинули... Береговымъ трактомъ валятъ.

— Да вѣдь еще не ломало ее?

— Не ломало, а только вздулась, почернѣла вся... Подъ Василемъ-Сурскимъ, слышно, стонъ уже дала: надо-быть, скоро тронется.

Этими словами молодой человѣкъ, выглядывавшій изъ приподнятаго воротника бараньей шубы, перекинулся съ мужиченкой коряваго вида, который сидѣлъ за кучера на передкѣ дорожнаго возка. Возокъ, по всѣмъ примѣтамъ, былъ помѣщичій, не изъ богатыхъ, а такъ-себѣ, средней руки. Его тащила по расхлябанной, размытой и разъѣзженной дорогѣ понуряя обывательская тройка разношерстныхъ клячъ. Былъ апрѣль мѣсяцъ—урочное время, когда по нашимъ первобытнымъ дорогамъ нѣтъ пути ни на колесахъ, ни на полозьяхъ. Молодой человѣкъ ѣхалъ на обывательскихъ, по вольному найму.

Дорога близилась къ Волгѣ.

Моросило сверху, слякотило снизу. Время стояло непогожее, а между тѣмъ, на дорогѣ было замѣтно какое-то необычное оживленіе... То и дѣло плелись мужики—кто въ-одиночку, кто по два, по три, а то и цѣлыми гурьбами, душъ въ десять и болѣе; иные тащились на розвальняхъ, иные верхомъ на поджарыхъ, мохнатыхъ кляченкахъ, то и дѣло понукая ихъ болтающимися ногами, когда тѣ вязли въ безконечной, невылазной грязи. И все это какъ-то оживленно, озабоченно толковало промежъ себя, все это какъ-будто торопилось куда-то и плелось по одному и тому же направленію, въ ту самую сторону, куда тащился и помѣщичій дорожный возокъ.

Корявый мужиченко, ровняясь время отъ времени съ пѣшеходами, иногда приподнималъ свой несуразый малахай и кивалъ головою. Иные изъ пѣшеходовъ, въ свою очередь, отвѣчали ему поклонами. Видно было, что всѣ эти люди болѣе или менѣе знакомые, изъ ближней окрестности.

— Стигней! а Стигней! Куда те претъ? окрикнулъ корявый мужиченко одного изъ поровнявшихся съ нимъ мужиковъ.

— Въ Снѣжки! махнулъ онъ рукою вдоль по направленію своей дороги:—всѣ въ Снѣжки махаемъ.

— За коимъ лѣшимъ въ Снѣжки?

— Да ты отколева? Нешто не слышалъ?

— Какъ не слыхать!.. Да рази не покончили?

— Зачѣмъ кончать... Тамъ, слышно, тепе-

Digitized by Google

рича воля заправская. Сказывали, будто съ Питера енералъ наѣхалъ въ Снѣжки—будетъ мужикамъ снѣжковскимъ волю вычитывать... И мы, значитъ, слухать идемъ.

— Да вѣдь батька въ церкви челъ уже?

— Мало чего нѣтъ!.. Теперича, баяли, самую заправскую и выложатъ. А то, слышь ты, снѣжовскій нѣмецъ-то хрестьянъ снова на барщину погналъ—какая жь эта воля?

Корявый мужиченко зацмокалъ, занукалъ, замахалъ въ воздухѣ кнутикомъ—животы приѣнатужились, рванулись понуро впередъ—и возокъ опередилъ попутнаго Евстигнея.

До села Высокіе Снѣжки оставалось верстъ пятокъ, не болѣе. Молодой человѣкъ закутался покрѣпче въ свою баранью шубу и уютно откинулся въ глубь возка, на мягкія деревенскія подушки. Въ Снѣжкахъ ему предстояло перемѣнить лошадей, чтобы плестись съ грѣхомъ пополамъ далѣе, въ губернскій городъ, который на фантастической картѣ Россійской имперіи, существующей въ воображеніи читателя, отмѣчается довольно крупнымъ кружкомъ съ подписью при ономъ: Славнобубенскъ,—стало быть, и губернію, существующую въ нашей фантазіи, мы назовемъ Славнобубенскою.

Молодой человѣкъ, съ которымъ мы повстрѣчались на дорогѣ, принадлежалъ къ числу средней руки дворянъ Славнобубенской губерніи. Читателю необходимо знать, кто онъ; поэтому авторъ долженъ рекомендовать его. Это обыкновенно неизбѣжное мѣсто всевозможныхъ повѣстей и романовъ. Сознавая это, авторъ постарается быть по возможности краткимъ. Зовутъ его—по фамиліи Хвалынцевъ, по имени Константинъ, по отцу—Семеновъ. Ни въ имени, ни въ фамиліи, какъ видитъ читатель, ничего особенно примѣчательнаго не оказывается. Хвалынцевъ съ полнымъ правомъ можетъ называться молодымъ человѣкомъ, потому что ему только-что минуло двадцать-два года. Онъ высокъ и мускулистъ, сложенъ крѣпко и красиво. Если бы спросили о его лицѣ, я бы сказалъ, что это лицо русское, совсѣмъ русское, отмѣченное своеобразною красотою. Отъ его открытой улыбки, отъ его свѣтлосѣрыхъ большихъ глазъ вѣяло чѣмъ-то симпатичнымъ. Теперь два слова о его общественномъ положеніи и о томъ, зачѣмъ онъ ѣдетъ по дорогѣ. Кромѣ того, что уже извѣстно читателю, а именно, что Хвалынцевъ принадлежитъ къ числу дворянъ и средней руки землевладѣльцевъ Славнобубенской губерніи, надобно знать еще, что онъ четвертаго курса университетскій студентъ и ѣздилъ недавно на родину хоронить одинокаго дядю да раздѣлиться съ сестрой своей оставшимся послѣ покойника наслѣдствомъ. Теперь онъ возвращается въ Петербургъ, но предполагаетъ по дѣламъ остаться нѣкоторое время въ Славнобубенскѣ. Вотъ и все «скучное», что́ пока необходимо было знать читателю о молодомъ человѣкѣ.

Возокъ поднялся на пригорокъ—и передъ Хвалынцевымъ въ верстѣ разстоянія развернулись то скученныя, то широко разброшенныя группы сѣрыхъ избъ, сараи, амбары, овины и бани. Тамъ и сямъ, надъ этими группами, поднимались силуэты обнаженныхъ деревьевъ и бѣлѣлась каменная церковь съ высокой пирамидальной колокольней. Это было село Высокіе Снѣжки.

Широкая площадь между церковью и старымъ господскимъ домомъ сплошь была покрыта густыми толпами народа. Во всей этой массѣ виднѣлись только однѣ мужскія головы. Бабье и ребятенки жались больше по окраинамъ площади, поближе къ избамъ и, промежъ своихъ собственныхъ разговоровъ, пассивно глазѣли на волнующуюся массу крестьянскаго люда, надъ которой гудѣлъ, какъ шмелиный рой, какой-то смѣшанный, тысячеголосный говоръ.

Едва Хвалынцевъ въѣхалъ на эту площадь, какъ возокъ его вмигъ окруженъ былъ толпою, и кони стали, за невозможностью двинуться далѣе.

— Енаралъ!... енаралъ, пріѣхалъ! пробѣжало изъ устъ въ уста по кучкамъ толпы — и головы ближайшихъ къ возку мужиковъ почтительно обнажились. Но это длилось не болѣе полуминуты... разглядѣли слишкомъ молодое лицо пріѣзжаго, его баранью шубу и рѣшили, что генералу таковымъ быть не подобаетъ. Обнаженныя головы снова накрылись, хотя возокъ и продолжалъ еще возбуждать любопытство толпы.

— Братцы! дайте проѣхать! высунулся Хвалынцевъ впередъ изъ-подъ кузова.

— Да тебѣ куда, милый человѣкъ! отозвался чей-то голосъ.

— На стоялый дворъ... а потомъ мимо.

— Мимо... стал-быть не къ намъ... А наштo тебѣ на стоялый?

— Лошадей порядить.

— Стало, на вольныхъ ѣдешь?

— На вольныхъ.

— Ну, значитъ, зашабашить надо! Теперь не порядишь: не повезутъ.

— А что такъ?

— Да гдѣ ужь везти! Не такое время... Каждый мужикъ на міру нуженъ: енарала съ Питеру ждемъ.

Между тѣмъ, корявый мужиченко кое-какъ попытался прокладывать себѣ дорогу; удавалось это ему съ величайшими затрудненіями—толпа разступалась туго, тысячи любопытныхъ глазъ пытливо засматривали подъ кузовъ! наконецъ, добрался-таки да стоялаго двора; который тутъ же, на краю площади, красовался росписными ставеньками.

Не успѣлъ Хвалынцевъ оглядѣться, распу-

Digitized by Google

стить дорожный ременный поясъ да заказать самоваръ, какъ къ нему вошли нѣсколько мужиковъ и съ поклонами остановились вдоль стѣны у дверей. Бороды по большей части были сивыя, почтенныя.

— Что вамъ, братцы? Чего вы?

— Къ твоей милости, батюшко! Заступись! Обижаютъ...

— Да я-то что же?.. Я, братцы, проѣзжій.

— Ты, батюшко, сказывали, питерскаго енарала передовой... Разсуди, кормилецъ! Волю скрасть хотятъ у насъ! То было волю объявили, а нынѣ Карла Карлычъ, нѣмецъ-то нашъ, правляющій, на барщину снова гонитъ, а мы барщины не желаемъ, потому не законъ... Мы къ тебѣ отъ міра; и какъ ежели что складчину какую, такъ ты не сумлевайся: удоблетворимъ твоей милости,—только обстой ты насъ... Они всѣ супротивъ насъ идутъ...

— Кто всѣ? полюбопытствовалъ Хвалынцевъ.

— Да всѣ, какъ есть: и становой, и исправникъ; Корвинской баринъ—предводитель—тоже за нѣмца; опять-же офицеръ какой-то съ города наѣхалъ—и тотъ за нѣмца... Одна надежа на енарала на питерскаго... Пошто же мужиковъ обижать занапрасно!

Только-что сталъ было Хвалынцевъ убѣждать ихъ, что онъ къ питерскому генералу никакого касательства не имѣетъ, что онъ просто самъ по себѣ и ѣдетъ по своей собственной надобности, какъ вошелъ новый посѣтитель—жандармъ, во всей своей амуниціи.

— Который здѣсь проѣзжій?

— Я проѣзжій. А что?

— Пожалуйте... полковникъ требуютъ.

— Какой полковникъ? зачѣмъ?.. что ему?

— Не могу знать,—приказано... Пашпортъ свой прихватите.

Хвалынцевъ недоумѣвая пошелъ вслѣдъ за жандармомъ.

Пришли въ прихожую стараго и давно уже нежилого господскаго дома. Тамъ помѣщался другой жандармъ, и тоже во всей своей амуниціи. Хвалынцева пропустили въ залу, а солдатъ почтительно-осторожной но неуклюжекосолапой походкой на цыпочкахъ пошелъ докладывать во внутренніе покои.

Хвалынцевъ машинально сталъ оглядывать залу: узкія потускнѣлыя зеркала съ бронзовой инкрустаціей; хрустальная люстра подъ росписнымъ потолкомъ; у мебели тонкія точеныя ножки и ручки, въ видѣ египетскихъ грифовъ и мумій; давнымъ-давно слинялый и выцвѣвшій штофъ на спинкахъ и сидѣньяхъ; темные портреты, а на портретахъ все Екатерининская пудра да высочайшіе Александровскіе воротники, жабо да хохлы, скученные на лобъ. Надъ диваномъ потрескавшаяся большая картина съ какимъ-то миѳологическимъ сюжетомъ и обнаженными полногрудыми женами. Все это какъ-то таинственно переносило въ другой міръ—отжившій, нѣкогда блестящій, все это вѣяло какимъ-то домашнимъ преданіемъ, семейной хроникой, и свѣтлыми, и темными, но нынѣ уже потускнѣвшими красками.

Въ одной изъ смежныхъ комнатъ, куда удалился жандармъ, раздавались людскіе голоса. Черезъ полминуты онъ вышелъ и, сказавъ мимоходомъ Хвалынцеву, чтобы обождалъ, удалился въ прихожую.

— Уголъ отъ пяти... полтина очко... пять рублей мазу! послышалось изъ внутренняго покоя, сквозь неплотно припертую дверь, когда скрипъ солдатскихъ шаговъ затихъ въ передней и воцарилась прежняя тишина.

«Что-жь это такое?» не безъ удивленія подумалъ себѣ Хвалынцевъ.

— Болеславъ Казимірычъ, да вы хоть талію-то кончите... Успѣете еще!..

Студентъ отвернулся къ окну и сквозь двойныя стекла, отъ нечего дѣлать, сталъ глядѣть на дворъ, гдѣ отдыхалъ помѣщичій дормезъ, рядомъ съ перекладной телѣгой, и тутъ же стояли широкія крытыя сани да легкая бричка—вѣроятнѣе всего исправничья. А тамъ, дальше — на площади колыхались и гудѣли толпы народа.

Въ залѣ послышались шаги.

Хвалынцевъ обернулся и увидѣлъ синій разстегнутый сюртукъ и, съ широкими подъусниками, характерные усы высокаго штабъ-офицера, который шелъ прямо на него.

— Кто вы такой? освѣдомился офицеръ съ официально-начальственно-вѣжливой сухостью, остановившись отъ него въ двухъ шагахъ разстоянія.

Хвалынцевъ назвалъ себя.

— Вашъ видъ?

Тотъ досталъ изъ дорожной сумки, висѣвшей у него черезъ плечо, свое университетское свидѣтельство.

— Зачѣмъ вы пріѣхали въ Высокіе Снѣжки? продолжалъ офицеръ, наскоро пробѣжавъ глазами поданную ему бумагу.

— Проѣздомъ въ Славнобубенскъ.

— Гм... проѣздомъ... такъ-съ... А зачѣмъ же непремѣнно въ Снѣжки?

— Затѣмъ, что дорога на Снѣжки лежитъ.

— Гм... дорога... А развѣ нельзя было мимо объѣхать?

— Ну, объ этомъ надо спросить, полковникъ, моего извозчика: онъ это, конечно, лучше меня знаетъ, а мнѣ здѣшніе пути не знакомы.

— Вы развѣ не знаете, что въ Снѣжкахъ возстаніе, бунтъ крестьянскій, и ѣдете прямо въ Снѣжки!

— Откуда же знать мнѣ? Я—человѣкъ проѣзжій.

— То-то я и вижу, что проѣзжій... А за-

Digitized by Google

чѣмъ вы сейчасъ мужиковъ къ себѣ собирали?

Хвалынцевъ объяснилъ ему, какъ было дѣло.

— Ваша подорожная?

— Я ѣду по вольному найму на обывательскихъ.

— Гм... на обывательскихъ... безъ подорожной... Такъ-съ.

Офицеръ смотрѣлъ на Хвалынцева пристальнымъ, испытующимъ взглядомъ: онъ, очевидно, не довѣрялъ его словамъ.

— Вы... извините, началъ онъ со вздохомъ, спустя нѣкоторое время: — я долженъ задержать васъ... тѣмъ болѣе, что и такъ вы все равно не достали бы себѣ лошадей... не повезутъ, потому—бунтъ.

Въ это время въ залу вошли изъ того же внутренняго покоя еще четыре новыя личности. Двое изъ вошедшихъ были въ сюртукахъ земской полиціи, а одинъ въ щегольскомъ пиджакѣ Шармеровскаго покроя. Что касается до четвертой личности, то достаточно было взглянуть на ея рыженькую, толстенькую фигурку, чтобы безошибочно узнать въ ней нѣмца-управляющаго.

Пиджакъ переглянулся съ Хвалынцевымъ, и оба какъ будто узнали другъ друга.

— Господинъ Хвалынцевъ, если не ошибаюсь? съ изящной вѣжливостью прищурился немножко господинъ въ пиджакѣ.

— Не ошибаетесь, столь же вѣжливо поклонился студентъ.

— Имѣлъ удовольствіе видѣть васъ на похоронахъ вашего дядюшки... мы хоть и разныхъ уѣздовъ, но почти сосѣди и съ дядюшкой вашимъ были старые знакомые... Очень пріятно встрѣтиться... здѣшній предводитель дворянства Корытниковъ, отрекомендовался онъ въ заключеніе и любезно протянулъ руку, которая была принята студентомъ.

Штабъ-офицеръ передернулъ характерными русыми усами и недоумѣло поглядѣлъ на того и другого.

— Послушайте, таинственно взявъ подъ руку, отвелъ онъ предводителя въ сторону, на другой конецъ залы:—студіозуса-то, я полагаю, все-таки лучше будетъ позадержать немного... Онъ хоть и знакомый вашъ, да вѣдь вы за него ручаться не можете... А я ужь знаю вообще, каковъ этотъ народецъ... Мы его эдакъ, подъ благовиднымъ предлогомъ... Оно какъ-то спокойнѣе.

— Какъ знаете, пожалъ плечами предводитель:—это ужь ваше дѣло, полковникъ.

— То-то; я думаю, что лучше позадержать... Вотъ онъ—едва пріѣхалъ, а къ нему ужь мужичье нагрянуло совѣтовъ просить. Ну, а я ужь знаю вообще эти студентскіе совѣты!..

— Господинъ Хвалынцевъ... извините... это — маленькое недоразумѣніе! съ любезной улыбкой началъ офицеръ, направляясь къ студенту и подшаркивая на ходу: — вотъ вашъ видъ; но все-таки, я полагаю, вамъ лучше бы переждать немного... Во-первыхъ—сами изволите видѣть—время тревожное, ѣхать не безопасно... Мало-ли что можетъ случиться... Это, во всякомъ случаѣ, рискъ; а во-вторыхъ—смѣю васъ увѣрить—вы здѣсь никакъ теперь лошадей не достанете, не повезутъ... До того-ль имъ теперь!.. Мы и сами вотъ какъ бы въ блокадѣ содержимся, пока до прибытія войска.

Хвалынцевъ поблагодарилъ предупредительнаго полковника, но при этомъ все-таки выразилъ желаніе попытаться—авось либо и удастся порядить лошадей.

— Мм... сомнѣваюсь, покачалъ головой полковникъ:—да если бы и удалось, я все-таки не рискнулъ бы отпустить васъ. Помилуйте, на насъ лежитъ, такъ сказать, священная обязанность охранять спокойствіе и безопасность гражданъ, и какъ же-жь вдругъ отпущу я васъ, когда вся мѣстность, такъ сказать, въ пожарѣ бунта? Это невозможно. Согласитесь сами,—моя отвѣтственность... вы, надѣюсь, сами вполнѣ понимаете...

Хвалынцевъ ничего не понялъ, но тѣмъ не менѣе поклонился.

— Ну, нечего дѣлать—пожалъ онъ плечами:—пойду на стоялый.

— Нѣтъ, ужь на стоялый не ходите, торопливо предупредилъ офицеръ: — это точно также не безопасно... Вѣдь ужь къ вамъ и то забрались мужики-то наши...

— Да что жь имъ во мнѣ? Вѣдь не противъ меня бунтуютъ.

— Вы полагаете? многозначительно, глубокомысленно и политично сдвинулъ полковникъ брови и съ неудовольствіемъ шевельнулъ усами:—это бунтъ, такъ сказать, противусословный, и я, по долгу службы моей, не отпущу васъ туда.

— Но какъ же мнѣ быть, господинъ полковникъ?

— Остаться здѣсь до времени.

— Но мои вещи.

— Жандармы перенесутъ ваши вещи.

— Но, наконецъ, я ѣсть хочу, отдохнуть хочу...

— Все это къ вашимъ услугамъ. Вотъ— Карлъ Карлычъ — рекомендательно указалъ онъ рукою на рыженькаго нѣмца: — почтенный человѣкъ, который озаботится... Вотъ вамъ комната — можете расположиться, а самоваръ и прочее у насъ и безъ того уже готово.

Хвалынцева внутренно что-то передернуло: онъ понялъ, что такъ или иначе, а все-таки арестованъ жандармскимъ штабъ-офицеромъ и что всякое дальнѣйшее препирательство или сопротивленіе было бы вполнѣ безполезно. Хочешь—не хочешь, оставалось покориться прихоти или инымъ глубокомысленнымъ сообра-

Digitized by Google

женіямъ этого политика, и потому, слегка поклонившись, онъ только и могъ пробормотать сквозь зубы:

— Я въ вашей власти.

— Очень пріятно! Очень пріятно-съ! — отвѣтилъ полковникъ съ поклономъ, отличавшимся той невыразимо любезной, гоноровой «гжечностью», которая составляетъ неотъемлемую принадлежность родовитыхъ поляковъ: — я очень радъ, что вы приняли это благоразумное рѣшеніе... Позвольте и мнѣ отрекомендоваться: полковникъ Пшецыньскій, Болеславъ Казиміровичъ; а это — указалъ онъ рукой на двухъ господъ въ земско-полицейской формѣ: — господинъ исправникъ и господинъ становой... Не прикажете-ли чаю?

— Да, я прозябъ и хотѣлъ-бы согрѣться.

— Въ такомъ случаѣ, пойдемте съ нами,— предложилъ ему предводитель, указавъ на дверь во внутренній покой,—и всѣ отправились по указанному направленію.

Здѣсь предстало Хвалынцеву новое зрѣлище. То былъ старинный барскій кабинетъ, съ глубокими вольтеровскими креслами, съ пузатымъ бюро, съ широкой оттоманкой отъ угла въ двѣ стѣны. Хроматическія гравюры, висѣвшія тутъ, изображали охотничьи сцены изъ англійской жизни да сантиментальныя похожденія Поля и Виргиніи. По серединѣ комнаты стоялъ ломберный столъ, на которомъ валялись мѣлки и карты — аттрибуты неоконченнаго штосса. Въ углу, на другомъ столѣ, помѣщался вмѣстительный самоваръ съ чайною принадлежностью, лимоны, бутылка коньяку, графинъ съ водкой, селедка и сыръ. Всѣ эти снѣди и питія малымъ остаткомъ краснорѣчиво доказывали, что присутствующіе успѣли уже неоднократно оказать имъ достодолжную честь.

Едва вошелъ Хвалынцевъ въ эту комнату, какъ на него злобно зарычали два мордастые бульдога, которые были привязаны сворой къ ножкѣ пузатаго бюро. Но нѣмецъ-управляющій внушительно цыкнулъ на нихъ, и они замолчали. Кромѣ яствій и картъ, Хвалынцева не мало удивило еще присутствіе въ этой комнатѣ такихъ воинственныхъ предметовъ, какъ, напримѣръ, заряженный револьверъ, лежавшій на ломберномъ столѣ, у того мѣста, на которое сѣлъ теперь полковникъ Пшецыньскій; черкесскій кинжалъ на окошкѣ; въ углу двѣ охотничьи двухстволки, рядомъ съ двумя саблями, изъ коихъ одна, очевидно, принадлежала полковнику, а другая—стародавняя, заржавленная—составляла древнюю принадлежность помѣщичьяго дома. Вообще, эти «злющіе» бульдоги на сворѣ, этотъ заряженный револьверъ, и ружья, и кинжалъ, и сабли ясно доказывали, что всѣ эти господа дѣйствительно почитали себя въ самой серьезнѣйшей блокадѣ, и намѣревались недешево продать русскимъ мужикамъ свое драгоцѣнное существованіе, если-бы тѣ задумали брать приступомъ господскую твердыню.

— Когда-же вы меня отпустите отсюда, полковникъ? когда я буду свободенъ? — спросилъ Хвалынцевъ, volens-nolens располагаясь на старой оттоманкѣ.

— О, помилуйте, вы и теперь свободны, но... только я не могу отпустить васъ раньше окончательнаго укрощенія; когда волненіе будетъ подавлено, вы можете ѣхать куда угодно.

— А когда оно будетъ подавлено?

— Это зависитъ отъ прибытія войскъ. Вчера мы послали эстафету, сегодня—надо ожидать—прибудутъ.

— Да что это у васъ за возстаніе такое? какъ? почему? зачѣмъ? Объясните, пожалуйста,—обратился Хвалынцевъ къ предводителю.

— О, это презапутанная и вмѣстѣ пренелѣпая исторія, съ изящнымъ пренебреженіемъ выдвинулъ предводитель свою нижнюю губу:— никакихъ властей не признаютъ, Карла Карлыча не слушаютъ... Какой-то вредный коммунизмъ проявился... Imaginez vous, не хотятъ понять, что они должны либо снести тѣ усадьбы, которыя стоятъ ближе пятидесяти саженей къ усадьбѣ помѣщика, либо, по соглашенію съ помѣщикомъ, платить за нихъ выкупъ. Не хотятъ ни того, ни другого. «Усадьба, говоритъ, и безъ того моя была!» (Предводитель, ради пущей изобразительности и остроумія, крестьянскія реплики въ своемъ разсказѣ передразнивалъ на мужицкій ладъ). Вотъ и толкуйте съ ними! И теперь, à la fin des fins, вышли на площадь, толкуютъ Dieu sait quoi о томъ, что волю у нихъ украли помѣщики, и какъ вы думаете, изъ-за чего?—Для ихъ же собственной пользы и выгоды денежный выкупъ за душевой надѣлъ замѣнили имъ личной работой,—не желаютъ: «мы-де нонѣ вольные и баршшыны не хотимъ!» Мы всѣ объясняемъ имъ, что тутъ никакой барщины нѣтъ, что это не барщина, а замѣна выкупа личнымъ трудомъ въ пользу помѣщика, которому нужно же выкупъ вносить, что это только такъ, пока — временная мѣра, для ихъ же выгоды, — а они свое несутъ: «Баршшына да баршшына!» И вотъ, какъ говорится, inde iгae, отсюда и вся исторія... «Положенія» не понимаютъ, толкуютъ его по своему, самопроизвольно; ни мнѣ, ни полковнику, ни г-ну исправнику не вѣрятъ, даже попу не вѣрятъ; говорятъ: помѣщики и начальство настоящую волю спрятали, а прочитали имъ подложную волю, безъ какой-то золотой строчки, что настоящая воля должна быть за золотой строчкой... И вотъ все подобныя глупости!

— Но для чего же они на площадь повыходили?—спросилъ Хвалынцевъ.

— Вотъ, слухи между ними пошли, что «на-

Digitized by Google

ралъ съ Питеру» пріѣдетъ имъ «волю заправскую читать»... Полковникъ вынужденъ вчера эстафетой потребовать войско, а они, ужь Богъ знаетъ, какъ и откуда, прослышали о войскѣ и думаютъ, что это войско и придетъ къ нимъ съ настоящею волею,—ну, и ждутъ вотъ, да еще и сосѣднихъ мутятъ, и сосѣди тоже поприходили.

— М-да... «енаралъ»... Пропишетъ онъ имъ волю!—съ многозначительной ироніей пополоскалъ губами и щеками полковникъ, отхлебнувъ изъ стакана глотокъ пуншу, и повернулся къ Хвалынцеву:—Я истощилъ всѣ мѣры кротости, старался вселить благоразуміе, пояснилъ онъ докторально-авторитетнымъ тономъ:—даже пастырское назиданіе было имъ сдѣлано,—ничто не беретъ! Ни голосъ совѣсти, ни внушеніе власти, ни слово религіи!.. Съ прискорбіемъ долженъ былъ послать за военною силой... Жаль, очень жаль будетъ, если разразится катастрофа.

Но... опытный наблюдатель могъ-бы замѣтить, что полковникъ Болеславъ Казиміровичъ Пшецыньскій сказалъ это «жаль» такъ, что въ сущности ему нисколько не «жаль», а сказано оно лишь для красоты слога. Многія губернскія дамы даже до пугливаго трепету восхищались административно - воинственнымъ краснорѣчіемъ полковника, который пользовался репутаціей хорошаго спикера и мазуриста.

— Необразованность!.. промолвилъ господинъ становой семинарски-малороссійскимъ акцентомъ;—это все отъ необразованія!

— Русски мужикъ свинъ! ни къ селу, ни къ городу ввернулъ и свое слово рыженькій нѣмецъ, къ которому никто не обращался и который все время возился то около своихъ бульдоговъ, то около самовара, то начиналъ вдругъ озабоченно осматривать ружья.

— Н-да, это грустный фактъ! изящно вздохнулъ предводитель:—я никакъ не противъ свободы; напротивъ, я англичанинъ въ душѣ и стою за конституціонныя формы, mais... savez vous, mon cher (это «mon cher» было сказано отчасти въ фамильярномъ, а отчасти какъ-будто и въ покровительственномъ тонѣ, что не совсѣмъ-то понравилось Хвалынцеву), savez vous la liberté et tous ces reformes для нашего русскаго мужика—c'est trop tôt encore! Я очень люблю нашего мужичка, но... свобода необходимо требуетъ развитія, образованія... Надо-бы сперва было позаботиться объ образованіи, а то вотъ и выходятъ подобныя сцены.

Хвалынцеву стало какъ-то скверно на душѣ отъ всѣхъ этихъ разговоровъ, такъ что захотѣлось просто плюнуть и уйти, но онъ понималъ въ то же время свое двусмысленное и зависимое положеніе въ обществѣ деликатно арестовавшаго его полковника и потому благоразумно воздержался отъ сильныхъ проявленій своего чувства.

— Да, замѣтилъ онъ съ легкой улыбкой—но дышать-то вѣдь хочется одинаково какъ образованному, такъ и необразованному...

Предводитель тоже своеобразно улыбнулся и, не возразивъ ни слова, сосредоточенно сталъ крутить папиросу. Зато Болеславъ Казиміровичъ очень нехорошо передернулъ усами и, пытливо взглянувъ искоса на студента, вышелъ изъ комнаты.

— Левъ Александровичъ! многозначительно кивнулъ онъ предводителю изъ-за двери,—и тотъ сейчасъ же удалился.

— А что, не отлично я развѣ распорядился съ арестаціей этого студіозуса? вполголоса похвалился полковникъ: — помилуйте, вѣдь это красный, совсѣмъ красный, каналья!.. Ужь я, батенька, только взгляну—сейчасъ по рожѣ вижу, насквозь вижу всего!..

— Н-да, но что толку арестовать-то его?.. Только насъ стѣсняетъ... Ну, его! пускай себѣ ѣдетъ!

Пшецыньскій удивленно вытаращилъ глаза и покачалъ головою.

— Ай-ай-ай, Левъ Александровичъ! Какъ-же-жь это вы такъ легкомысленно относитесь къ этому! «Пускай ѣдетъ!»—А какъ не уѣдетъ? А какъ пойдетъ въ толпу да станетъ бунтовать, да какъ если—борони Боже—на домъ нахлынутъ? Отъ подобныхъ господчиковъ я всего ожидаю!.. Нѣтъ-съ, пока не пришло войско, мы въ блокадѣ, доложу я вамъ, и я не дамъ лишняго шанса непріятелю!.. Выпустить его невозможно.

Полковникъ, очевидно, очень трусилъ непріятеля. Будучи храбрымъ и даже отважнымъ въ своей канцеляріи, равно какъ и въ любой губернской гостиной, и на любомъ зеленомъ полѣ,—онъ пасовалъ передъ невѣдомымъ ему непріятелемъ—русскимъ народомъ. Но боязни своей показать не желалъ (она сама собой иногда прорывалась наружу) и потому поторопился дать иное, но тоже не совсѣмъ для себя безполезное, значеніе вызову предводителя на секретное слово.

— А что я васъ хотѣлъ просить, почтеннѣйшій Левъ Александровичъ, вкрадчиво началъ онъ, улыбаясь пріятельски-сладкой улыбкой и взявъ за пуговицу своего собесѣдника:—малый кажется мнѣ очень, очень подозрительный... Мы себѣ засядемъ будто въ картишки, а вы поговорите съ нимъ—хоть тамъ, хоть въ этой комнатѣ; вызовите его на разговорецъ на эдакій... пускай-ко выскажется немножко... Это для насъ право-же не безполезно будетъ...

Предводитель помялся, поморщился, но не сдѣлалъ ни малѣйшаго возраженія полковнику.

— Ваше высоко-бородіе! Генералъ требуютъ! громогласно доложилъ жандармъ, въ эту самую минуту показавшись въ передней.

— Какъ генералъ?!... развѣ ужь пріѣхалъ? оторопѣло спохватился Пшецыньскій.

Digitized by Google

— Сычасъ зволыли прибыть.

— Ай-ай, батюшки мои!... Живѣй мундиръ!... Поворачивайся, каналья!... Скорѣе!...

Полковникъ со всѣхъ ногъ бросился облекать себя въ полную парадную форму.

II.

Великое и общее недоразумѣніе.

Какъ только въ городѣ Славнобубенскѣ была получена эстафета полковника Пшецыньскаго, такъ тотчасъ казачьей сотнѣ приказано было поспѣшно выступить въ село Высокіе Снѣжки и послано эстафетное предписаніе нѣсколькимъ пѣхотнымъ ротамъ, расположеннымъ въ уѣздѣ на ближайшихъ пунктахъ около Снѣжковъ, немедленно направиться туда же.

Не доходя верстъ пяти до Высокихъ Снѣжковъ, военный отрядъ былъ опереженъ шестеркою курьерскихъ лошадей, которыя мчали дорожный дормезъ. Изъ окошка выглянула озабоченная физіономія генерала, мимолетомъ крикнувшаго командиру отряда, чтобы тотъ поспѣшилъ какъ можно скорѣе. Рядомъ съ генераломъ сидѣлъ адъютантъ, а на козлахъ и на имперьялѣ—два ординарца изъ жандармовъ. Черезъ нѣсколько минутъ взмыленная шестерка вомчалась въ село и остановилась на стояломъ дворѣ, въ виду волнующейся площади.

Тысячегрудое и долгое «ура!» загремѣло надъ толпой народа, но вновь прибывшимъ лицамъ трудно было вполнѣ разобрать настоящій смыслъ и значеніе этого могучаго привѣтствія. Въ эту минуту, подъ впечатлѣніемъ обстоятельствъ нынѣшняго и прошлыхъ дней, имъ понятнѣе была одна только оглушительная, грозная сторона крика, та сторона, которая заставляетъ скорѣе мелькать въ воображеніи представленія о бунтовщикахъ, кольяхъ, топорахъ, дубинахъ... Новоприбывшіе скрылись за дверью въ горницу. Ординарцы, вслѣдъ за ними внесли тута же чемоданы и прочую дорожную принадлежность. Генералъ тотчасъ же послалъ за Пшецыньскимъ.

А между тѣмъ къ нему, точно такъ-же, какъ и къ Хвалынцеву, вздумали было нахлынуть сивобородые ходаки за міръ, но генеральскій адъютантъ увидѣлъ ихъ въ окно въ то еще время, какъ они только на крыльцо взбирались, и не успѣвъ еще совершенно оправиться отъ невольнаго впечатлѣнія, какое произвелъ на него тысячеголосый крикъ толпы, приказалъ ординарцамъ гнать ходаковъ съ крыльца, ни за что не допуская ихъ до особы генерала.

Но пока онъ самъ одѣвался и обчищался, да пока одѣвался и шелъ къ генералу, въ сопровожденіи жандарма, полковникъ Пшецыньскій, съ неизмѣннымъ револьверомъ въ карманѣ,—впечатлѣніе внезапнаго испуга успѣло уже пройти, и адъютантъ встрѣтилъ въ сѣняхъ Пшецыньскаго, какъ подобаетъ независимому адъютанту, сознающему важность и и власть своего генерала.

— Вы, полковникъ, надѣлали Богъ знаетъ что! внушительно и даже отчасти строго началъ онъ, когда Пшецыньскій не безъ нѣкоторой заискивающей почтительности поклонился ему:—зачѣмъ вы изволили потребовать войско?... Развѣ вы не могли обойтись и безъ этой крайней мѣры?... Зачѣмъ вамъ военная сила, когда вы должны были укрощать силой вашего личнаго авторитета... Его превосходительство недоволенъ вами... Все, что говорю я,— я передаю вамъ отъ лица его превосходительства... Что это здѣсь за исправники! Что это за земская полиція, которая допускаетъ подобные безпорядки!...

Это ни на что не похоже-съ!... Такъ, ей-Богу, служить нельзя!

— Помилуйте, истощены всѣ мѣры кротости... ни голосъ религіи, ни сила власти, ничто... зарапортовалъ было Пшецыньскій, отчасти смутившійся столь начальственнымъ и безцеремоннымъ тономъ адъютанта, на оберъ-офицерскихъ погонахъ котораго сидѣло всего только три звѣздочки. Но адъютантъ, почти не слушая Болеслава Казиміровича, отворилъ дверь и жестомъ пригласилъ его войти, для личныхъ объясненій, къ его превосходительству, а самъ, даже съ нѣкоторымъ похвальнымъ безстрашіемъ, вышелъ на крыльцо—сдѣлать рекогносцировку относительно настроенія и положенія въ данный моментъ бунтующей толпы. Онъ самъ въ душѣ даже пріятно пощекоталъ себя похвалою за это безстрашіе, по поводу котораго вдругъ почувствовалъ себя, въ нѣкоторомъ родѣ, героемъ.

Почти передъ самымъ крыльцомъ былъ теперь поставленъ столикъ, котораго прежде адъютантъ не замѣтилъ. Онъ былъ покрытъ чистой, бѣлой салфеткой съ узорчато-расшитыми каймами, и на немъ возвышался, на блюдѣ, каравай пшеничнаго хлѣба да солонка, а по бокамъ, обнажа свои головы, стояли двое почтенныхъ, благообразныхъ стариковъ, съ длинными, сѣдыми бородами, въ праздничныхъ синихъ кафтанахъ.

Едва ступилъ адъютантъ на крыльцо, какъ многія головы въ крестьянской толпѣ мгновенно обнажились, а старики, стоявшіе у хлѣба, почтительно отвѣсили ему по глубокому поясному поклону.

Поручикъ, юный годами и опытностью, хотя и зналъ, что у русскихъ мужиковъ есть обычай встрѣчать съ хлѣбомъ и солью, однако полагалъ, что это дѣлается не болѣе, какъ для проформы, въ родѣ того, какъ подчиненные являются иногда къ начальству съ ничего незначущими и ничего не выражающими рапортами; а теперь, въ

Digitized by Google

настоящихъ обстоятельствахъ, присутствіе этого стола съ этими старцами показалось ему даже, въ нѣкоторомъ смыслѣ, дерзостью: помилуйте, тутъ люди намѣреваются одной собственной особой, однимъ своимъ появленіемъ задать этому мужичью добраго трепету, а тутъ вдругъ, вовсе ужь и безъ малѣйшихъ признаковъ какого-бы то ни было страха, выходятъ прямо передъ него, лицомъ къ лицу, два какіе-то человѣка, да еще со своими поднесеніями!—Поручикъ возжелалъ съ первой-же минуты показать свою твердость и силу, коими самъ въ душѣ намѣревался не мало полюбоваться, возжелалъ, что называется, сдѣлать впечатлѣніе, или «faire une juste impression», какъ подумалъ онъ въ буквальной точности.

— Эт-та что такое?! Что это значитъ?!—рѣзко и строго возвысилъ онъ голосъ, указывая то на каравай, то на бороды выборныхъ.

— Отъ міра! Хлѣбъ да соль вашимъ милостямъ! — проговорили старики, сопровождая слова свои вторичнымъ поклономъ.

— Вы кто такіе?.. Откуда? Какіе люди? Какъ смѣли вы!

— Мы выборные, батюшко, отъ міра...

— Какой я вамъ «батюшка»! Не видите развѣ кто я? вспылилъ адъютантъ, принявшій за дерзость даже и «батюшку», послѣ привычнаго для его дисциплинированнаго уха «вашего благородія». При томъ же и самое слово «выборные» показалось ему зловѣще многозначительнымъ: «выборные... власти долой, значитъ... конвентъ... конституціонныя формы... самоуправленіе... революція... Пугачевъ» — вотъ обрывки тѣхъ смѣшанно-неясныхъ мыслей и представленій, которыя вдругъ закопошились и запутались въ головѣ поручика, при словѣ «выборные».

— Бунтовщики!.. Обмануть надѣетесь!.. Задобрить хотите! закричалъ и затопалъ онъ на стариковъ! — тутъ съ бунтовщиками угощаться не станутъ! Къ вамъ пріѣхали не [illegible] вздорить, а не [illegible]ѣсть тутъ съ вами!.. [illegible]!.. Убрать все это сейчасъ-же!.. Вотъ я васъ!

Старики [illegible] и въ величайшемъ недоумѣніи [illegible] другъ съ другомъ.

— Ну! что-же вы [illegible]... Н[illegible]!.. Эй, [illegible] вонъ ихъ!

И [illegible] адъютанта, два [illegible] [illegible] съ выборными. [illegible]

[illegible]

меланхолически выступалъ за нимъ слѣдомъ, держа въ рукахъ «Положеніе». На крыльцѣ генерала встрѣтили только что подошедшіе въ это время становой съ исправникомъ и предводитель Корытниковъ, на которомъ теперь вмѣсто Шармеровскаго пиджака, красовался дворянскій мундиръ съ шитымъ воротникомъ и дворянская фуражка съ краснымъ околышемъ.

Предводителя генералъ удостоилъ поклона и даже рукопотрясенія, а становому съ исправникомъ буркнулъ сквозь зубы одно только: «стыдно, господа, стыдно!»

Но тѣ рѣшительно не поняли, почему это имъ должно быть стыдно.

— Ну, не шумѣть, ребята!—громко закричалъ генералъ толпѣ:—я съ вами говорить желаю... Смирно!

Толпа стояла тихо: въ ней улегались волны и гулъ послѣднихъ движеній; она, казалось, напряженно ждала чего-то. Шапки все болѣе и болѣе слетали съ головъ.

— Тихо!.. тихо, ребята!.. Слухай!.. Сейчасъ вѣрно заправскую читать будетъ!—пробѣгалъ по толпѣ сдержанный говоръ.

— Смирно! — еще громче повторилъ генералъ:—пускай ко мнѣ выйдутъ нѣсколько человѣкъ. Я съ ними буду говорить, а они потомъ пусть всѣмъ остальнымъ сообщатъ мои слова.

Въ толпѣ опять заколыхались и минутъ черезъ пять болѣе десятка толковыхъ мужиковъ вышли изъ массы и, безъ шапокъ, съ видомъ явнаго уваженія, подошли къ генералу.

— Вы видите, кто я?—началъ онъ, указывая на свою грудь и плечи.

— Видимъ, батюшко, енаралъ! Видимъ! поклонились тѣ.

— И понимаете, кто я?

— Какъ-ста не понять!.. Понимаемъ... все понимаемъ.

— Ну, то-то же!.. Теперь скажите мнѣ, зачѣмъ вы бунтуете, властямъ не покоряетесь?

— Гдѣ же мы бунтуемъ, батюшко, ваше благородіе!—[illegible] мужики—[illegible] бунтувать!.. Мы [illegible] а бунтовать не желаемъ... Зачѣмъ бунтовать?.. Мы бунтовать не согласны! [illegible] ты [illegible], батюшка! будь милостивецъ!

— А зачѣмъ вы [illegible] на [illegible] собрались? [illegible] развѣ не [illegible]?—[illegible] генералъ.

— [illegible]

[illegible]

Digitized by Google

взять хоть усадьбы... Экъ ихъ сколько дворовъ либо прочь сноси, либо выкупъ плати! это за што-же выкупъ?.. Прежде испоконъ вѣку и отцы, и дѣды все жили да жили, а намъ на-ко-ся вдругъ—нельзя!

— Дураки! для вашей-же пользы!—пояснилъ генералъ:—вѣдь вы неравно помѣщику домъ сожжете, потомъ черезполосица выходитъ, а вамъ не все-ль равно? Тутъ одинъ помѣщикъ только въ убыткѣ!

— Да какъ-же мужику безъ усадьбы—самъ посуди ты, ваше благородіе!—загалдѣли переговорщики: — мужику безъ усадьбы да безъ земли никакъ невозможно! А иной изъ нашего брата и самъ себѣ усадьбу-то ставилъ за свой коштъ, а теперича за нее плати... Этого мы несогласны!

— Да вѣдь земля господская! — снова пояснилъ генералъ.

— Нѣтъ, батюшко, мы—господскіе, точно-что господскіе,—а земля наша! Искони нашей была! потому, безъ земли ужь какой-же это мужикъ? Самое послѣднее дѣло!

— Земля по закону—господская, и вы если не хотите сносить съ нея усадьбъ, должны выкупъ платить по соглашенію. Затѣмъ, перехожу я къ душевому надѣлу: для васъ-же, дураковъ, для вашей-же собственной пользы и выгоды, чтобы вамъ же облегченіе сдѣлать, вмѣсто платежа за землю по душевому надѣлу, вамъ пока предлагаютъ работу, то-есть замѣну денегъ личнымъ трудомъ, а не барщину, и вѣдь это только пока.

— Поймите вы различіе между личнымъ трудомъ и барщиной! — поучающимъ тономъ вмѣшался адъютантъ, обратясь особо къ нѣсколькимъ личностямъ изъ той-же кучки переговорщиковъ:—личный трудъ никакъ не барщина;—личный трудъ это — личный трудъ... Всѣ мы несемъ личный трудъ — и я, и вы, и... и всѣ—а барщина совсѣмъ другое; она только при крѣпостномъ правѣ была, — понимаете?

— Да вѣдь это по нашему, по мужицкому разуму—все одно выходитъ, возражали мужики съ плутоватыми ухмылками:—опять-же видимое дѣло—не взыщите, ваше благородіе, на словѣ—а только какъ есть вы баре, такъ барскую руку и тянете, коли говорите, что земля по закону господская. Этому никакъ нельзя быть и никакъ мы тому вѣрить не можемъ, потому—земля завсягды земская была, значитъ, она мірская, а вы шутите: господская! Стало быть, можемъ-ли мы вѣрить?

— Ваше превосходительство! явное недовѣріе!.. даже къ словамъ вашего превосходительства! подшепнулъ Пшецыньскій:—и это-ли еще не бунтъ!?.. Это-ли не возстаніе!?

— Значитъ, вы мнѣ не вѣрите? спокойно спросилъ генералъ.

— Да что-жь, коли ты, батюшко, по нашему выходитъ, совсѣмъ не дѣло говоришь-то!

— Да вѣдь законъ... вмѣшался было Пшецыньскій.

— Да что законъ! перебили его въ кучкѣ переговорщиковъ:—ты, ваше благородіе, только все говоришь про законъ; это одинъ разговоръ, значитъ! А ты покажи намъ законъ настоящій, который, значитъ, за золотою строчкою писанъ, тогда и вѣру вамъ дадимъ, и всему дѣлу шабашъ!

— Любезные мои, такого закона, про какой вы говорите, нѣтъ, и никогда не бывало, да и быть не можетъ, и тотъ, кто сказалъ вамъ про него—тотъ, значитъ, обманщикъ и смутитель! Вы этому не вѣрьте! Я вамъ говорю, что такого закона нѣтъ! убѣждалъ генералъ переговорщиковъ.

— Эва-ся нѣтъ!.. Какъ нѣтъ!.. Мы доподлинно знаемъ, что есть! возражали ему съ явными улыбками недовѣрія: — это господа, значитъ, только намъ-то казать не хотятъ, а что есть, такъ это точно что есть! Мы ужь извѣстны въ томъ!

Нѣсколько времени длились еще подобные споры. Одна сторона тщетно старалась убѣдить въ несуществованіи закона за золотою строчкою; другая же крѣпко стояла на своемъ, выражая явное недовѣріе къ словамъ своихъ убѣдителей. И дѣло, и взаимныя отношенія обѣихъ сторонъ, съ каждой минутой, запутывались все болѣе, такъ что въ результатѣ оставалось одно только возрастающее недоразумѣніе. Утомленный продолжительностью и полнѣйшею безплодностью всѣхъ этихъ переговоровъ, генералъ почти безнадежно махнулъ рукой и ушелъ на нѣкоторое время въ горницу освѣжиться отъ только-что вынесенныхъ впечатлѣній и сообразить возможность и характеръ дальнѣйшихъ своихъ дѣйствій. Дѣло, на его взглядъ, все болѣе и болѣе начинало принимать оборотъ весьма серьезный, съ исходомъ крайне сомнительнаго свойства.

На крыльцѣ остались адъютантъ съ Пшецыньскимъ, да почти совсѣмъ пассивная и безмолвная группа, составленная изъ предводителя и станового съ исправникомъ.

Пшецыньскій, съ особо-энергическимъ краснорѣчіемъ, укорялъ мужиковъ-переговорщиковъ за то, что тѣ выказали такое недовѣріе къ словамъ генерала, а адъютантъ продолжалъ доказывать, что личный трудъ — отнюдь не барщина. Мужики же въ отвѣтъ имъ говорили, что пущай генералъ покажетъ имъ свою особую грамоту за царевой печатью, тогда ему повѣрятъ, что онъ точно посланъ отъ начальства, а не отъ арбъ, а адъютанту на всѣ его доводы возражали, что по ихъ мужицкому разуму прежняя барщина и личный трудъ, къ какому ихъ теперь обязываютъ, выходитъ все одно и то-же. Недоразумѣніе возрастало. Юный поручикъ все болѣе и болѣе терялъ не-

Digitized by Google

обходимое хладнокровіе и начиналъ не въ мѣру горячиться.

— Да ужь что толковать! порѣшили, наконецъ, переговорщики, почесавъ затылки: — деньги мы, такъ и быть, платить, пожалуй, горазды, а на барщину не согласны.

— Кто не согласенъ? перебилъ адъютантъ, и обратился къ одному изъ кучки:—ты не согласенъ?

— Я-то ничего, да міръ не согласенъ; значитъ, всѣ, батюшко, высокое твое превосходительство, всѣ, какъ есть всѣ не согласны— весь міръ, значитъ! отвѣтствовалъ тотъ.

— Я не про всѣхъ спрашиваю! Я спрашиваю тебя: ты не согласенъ?

— Да я что-жь, батюшко,—я человѣкъ мірской—куды міръ, туды, знамо дѣло, и я.

— Отвѣчай мнѣ, каналья! грозно затопалъ поручикъ:—ты не согласенъ?

— Виновати, батюшко! поклонился оторопѣвшій, но все-таки уклончивый мужикъ.

— Что такое «виновати»! Что это значитъ «виновати»!? Я тебя въ послѣдній разъ спрашиваю: ты не согласенъ?

— Несогласенъ... тихо и путаясь, отвѣтилъ допрашиваемый.

— Взять его! мигнулъ поручикъ жандармамъ, — и мужика вытащили изъ кучки и увели въ калитку стоялаго двора.

— Ты не согласенъ? обратился адъютантъ къ слѣдующему.

— Не согласенъ, ваше благородіе.

— Взять и этого!

— Ты?

— Не согласенъ.

— Туда же!

— Да всѣ не согласны! весь міръ не согласенъ! закричали изъ толпы тѣ передніе ряды, которымъ была видна и слышна расправа адъютанта.

— Братцы! да что-жь это онъ мужиковъ-то хватаетъ? недоумѣло стали поговаривать тамъ: за что же это?.. А волю-то не читаетъ!..

— Ваше благородіе! громко выкрикнулъ чей-то голосъ оттуда:—не томи ты насъ! будь милостивцемъ! вычитай ты намъ волю-то скорѣе!..

— Волю! Волю! подхватили изъ той же толпы нѣсколько сотенъ.

— Кто смѣлъ закричать «волю»? поднялъ адъютантъ къ толпѣ свою голову, — кто зачинщики?—выходи сюда!

Въ толпѣ никто не шелохнулся.

— Господинъ становой приставъ! отыщите и возьмите зачинщиковъ!

— Помылуйтэ, ни якъ нэ можно! разставя ладони и пожимая плечами, флегматически залепеталъ было становой.

— Въ противномъ случаѣ, вы будете строго отвѣчать передъ закономъ! начальнически-отчетливымъ тономъ пояснилъ адъютантъ, выразительно сверкнувъ на него глазами и безъапелляціонно приглашающимъ жестомъ указалъ ему на толпу.

Физіогномію господина станового передернуло очень кислой гримасой, однако, нечего дѣлать, онъ махнулъ рукою подъ козырекъ и потрусилъ къ толпѣ. Тамъ поднялось нѣкоторое движеніе и гулъ. Становой ухватилъ за шиворотъ перваго попавшагося парня и потащилъ его къ крыльцу. Парень было уперся сначала, но позади его нѣсколько голосовъ ободрительно крикнули ему: «не робѣй, паря! не трусь! пущай ихъ!»—и онъ покорно пошелъ за становымъ, который такъ и притащилъ его за шиворотъ къ адъютанту.

Парень стоялъ безъ шапки, смирно и почтительно

— Ты зачинщикъ?.. ты крикнулъ «волю»? напустился на него рьяный поручикъ.

— Нѣтъ, не я... я не кричалъ, отвѣтилъ тотъ, почти безъ всякаго смущенія.

— А! запираться!.. Я тебя заставлю отвѣтить!

— Что-жь, ваше благородіе,—твоя воля! подернулъ тотъ плечами:—мы люди темные, ничего не понимаемъ,—научи ты насъ, Христа-ради! Мы тѣ во какое спасибо скажемъ!

— Отвѣчай, кто зачинщики! настаивалъ между тѣмъ поручикъ.

Тотъ молчалъ, понуро потупясь.

— Взять его! скомандовалъ онъ жандармамъ—и парня утащили въ калитку.

Увы!.. этотъ блестящій и, въ своемъ родѣ— какъ и большая часть молодыхъ служащихъ людей того времени—даже модно-современный адъютантъ, даже фразисто-либеральный въ мірѣ свѣтскихъ гостиныхъ и кабинетовъ, который тамъ такъ легко, такъ хладнокровно и такъ административно-либерально рѣшалъ иногда, при случаѣ, всѣ вопросы и затрудненія по крестьянскимъ дѣламъ—здѣсь, передъ этою толпою рѣшительно не зналъ, что ему дѣлать! Онъ чувствовалъ, такъ сказать, полнѣйшее отсутствіе почвы подъ ногами, чувствовалъ какую-то неестественность, неловкость въ своемъ положеніи, смутно сознавалъ, что слишкомъ увлекся и черезчуръ зарвался, такъ что походилъ скорѣе на Держиморду, чѣмъ на блестящаго, современнаго адъютанта. Куда дѣвался весь либерализмъ, всѣ эти хорошія слова и красивыя фразы! И что досаднѣе всего,—это держимордничество проявилось какъ-то такъ внезапно, почти само собою, даже какъ будто независимо отъ его воли, и теперь, словно сорвавшійся съ корды дикій конь, пошло катать и скакать черезъ пень въ колоду, направо и налѣво, такъ что юный поручикъ, даже и чувствуя немножко въ себѣ Держиморду, былъ уже не въ силахъ сдержать себя и снова превратиться въ блестящаго, разсудительнаго адъютанта. Держимордничество — какъ часто случается въ иныхъ люд-

Digitized by Google

скихъ, а особенно въ кадетскихъ натурахъ— словно порывистый вихрь, подхватило его, какъ оторванную отъ корня вѣтвь, и закружило и понесло по своему произволу... Онъ не зналъ что́ говорить, что́ предпринять, на что рѣшиться, чувствовалъ, что ему лучше всего было бы съ самаго начала ничего не говорить и ни на что не рѣшаться, но... теперь уже поздно, теперь уже сварился—и потому, начиная терять послѣднее терпѣніе, адъютантъ все болѣе и болѣе горячился и выходилъ изъ себя. Мужики не понимали его, онъ—мужиковъ. Точно также не понимали они и генерала; генералъ же, въ свою очередь, не могъ уразумѣть ихъ въ томъ пунктѣ, что земля, признаваемая закономъ собственностью помѣщика, со стороны крестьянъ вовсе таковою не признается, а почитается какою-то искони вѣковъ ихнею земской, мірскою собственностью: «мы-де помѣщичьи, господскіе, а земля наша, а не барская».

Это было одно всесовершенное, общее, великое недоразумѣніе.

До этой минуты либеральному поручику приходилось толковать о русскомъ народѣ только въ пріятныхъ гостиныхъ, да и толковать-то не иначе, какъ съ чужихъ словъ, съ чужихъ мыслей. Теперь же, когда обстоятельства поставили его лицомъ къ лицу съ этою толпою,— русскій мужикъ показался ему бунтовщикомъ, мятежникомъ, революціонеромъ... Онъ вспомнилъ, что въ русской исторіи былъ Стенька Разинъ и Емельянъ Пугачевъ. Да и не одинъ онъ, а и всѣ эти представители власти чувствовали себя какъ-то не совсѣмъ ловко, и всѣмъ имъ хотѣлось какъ нибудь наполнить время до рѣшительной минуты, когда войско ужь будетъ на мѣстѣ. Многіе изъ нихъ ждали, что одинъ грозный видъ военной силы сразу утишитъ возстаніе и заставитъ толпу покориться и выдать зачинщиковъ.

— Читайте имъ «Положеніе»! Объ ихъ обязанностяхъ читайте! обратился полковникъ Пшецыньскій къ становому, испытывая точно такую же неловкость и не зная самъ, для чего и зачѣмъ тотъ будетъ читать.

Становой глянулъ на него недоумѣлыми глазами—дескать: вѣдь ужь сколько же разъ было имъ читано!—однако выступилъ впередъ и раскрылъ книгу.

По толпѣ опять пробѣжалъ смутный гулъ— и она замолкла чутко, напряженно...

Толпа жадно слушала, хватая на лету изъ пятаго въ десятое слово, и ничего не понимала. Въ ней, какъ въ одномъ человѣкѣ, жило одно только сознаніе, что это читаютъ «заправскую волю».

* * *

Ковыляя по грязямъ и топямъ большой дороги, форсированнымъ маршемъ приближалась къ Высокимъ Снѣжкамъ военная сила! Въ головѣ сѣрѣвшей колонны колыхался частоколъ казацкихъ пикъ, а глубоко растянувшійся хвостъ ея терялся за горою. Вотъ, осторожно ступая по склизкому скату, кони спустились на плотину у мукомольной мельницы, прислонившейся внизу, у ручьистаго оврага, перебрались на противоположную сторону,—и казачій отрядъ, раздѣлясь на двѣ группы, тотчасъ же на рысяхъ разъѣхался вправо и влѣво, и тамъ, и здѣсь растянулся широкою цѣпью, отдѣляя отъ себя гдѣ одного, гдѣ пару казаковъ, окружилъ село и занялъ всѣ выходы. Вотъ близъ того же оврага остановилась пѣхота. Люди стянулись, сомкнули стройные ряды и оправились. Черезъ нѣсколько минутъ маршъ колонны направлялся уже по широкой, опустѣлой улицѣ села. Однѣ только собаки тявкали изъ подворотень на незнакомый имъ людъ, да иногда пѣтухи, своротивъ на сторону красные гребни, какъ-то удивленно оглядывали съ высоты крестьянскихъ плетней это воинственное шествіе. Здѣсь какъ будто вымерла вся людская жизнь, и только на задахъ кое-гдѣ, да на выходахъ, между соломенными кровлями и древесными прутьями, торчало тамъ и сямъ стальное остріе казацкой пики... Весь народъ— старъ и младъ—гудѣлъ вдали на широкой площади.

Раздался барабанный бой. Отрядъ входилъ уже на площадь и строился развернутымъ фронтомъ противъ крестьянской толпы, лицомъ къ лицу. Толпа въ первую минуту, ошеломленная рокотомъ барабановъ и видомъ войска, стояла тихо, недоумѣло...

Рыженькій нѣмецъ-управляющій, съ рижской сигаркой въ зубахъ, флегматически заложивъ за спину короткія руки, вытащилъ на сворѣ пару своихъ бульдоговъ и вмѣстѣ съ ними вышелъ на крыльцо господскаго дома—полюбоваться предстоящимъ зрѣлищемъ. Вслѣдъ за нимъ вышелъ туда же и Хвалынцевъ. Сердце его стучало смутной тоской какого-то тревожнаго ожиданія.

— Что же, вы поняли, что читали вамъ? обратился къ толпѣ Пшецыньскій.

Толпа молчала.

Тотъ повторилъ вопросъ, на который отвѣтомъ послѣдовало, опять-таки, то же самое недоумѣлое молчаніе. Адъютантъ окончательно вышелъ изъ себя. Онъ отказывался вѣрить, чтобъ смыслъ читаемаго, столь ясный для него, былъ непонятенъ крестьянамъ.

— Бунтовщики! Вы отвѣчать не хотите! закричалъ онъ: — хорошо же! съ вами найдутъ расправу!

Генералъ снова появился передъ народомъ.

— Батюшко! не серчай! завопили къ нему голоса изъ толпы:—а дай ты намъ волю настоящую, которая за золотою строчкою писана! А то, что́ читано, мы не разумѣемъ... Опять же отъ барщины ослобони насъ!

— Ваше превосходительство! въ почтитель-

Digitized by Google

но-совѣщательномъ тонѣ обратился адъютантъ къ своему принципалу:—мнѣ казалось бы, что не мѣшало бы распорядиться послать за попомъ—пусть увѣщеваетъ... Надо первоначально испытать всѣ средства.

Черезъ нѣсколько минутъ привели священника, съ крестомъ въ рукахъ, и послали увѣщевать толпу. И говорилъ онъ толпѣ на заданную тему, о томъ, что бунтовать великій грѣхъ и что надо выдать зачинщиковъ.

— Да какіе же мы бунтовщики! послышался въ толпѣ протестующій говоръ:—и чего они и въ сам-дѣлѣ, все «бунтовщики!» да «бунтовщики!» Кабы мы были бунтовщики, нешто мы стояли бы такъ?.. Мы больше ничего, что хотимъ быть оправлены, чтобы супротивъ закону не обижали бы насъ... А зачинщиковъ... Какіе же промежъ насъ зачинщики?.. Зачинщиковъ нѣтъ!

— Какъ нѣтъ?.. Что они тамъ толкуютъ? почтительно косясь и оглядываясь на генерала, и видимо желая изобразить передъ нимъ свою энергическую дѣятельность, возвысилъ голосъ Пшецыньскій, который сбѣжалъ съ крыльца, однако же не приближался къ толпѣ далѣе, чѣмъ на тридцать шаговъ:—должны быть зачинщики! Выдавай ихъ сюда! Пусть всѣ безпрекословно выходятъ къ его превосходительству!.. Вы должны довѣриться вашему начальству! Выдавай зачинщиковъ, говорю я!

— Да всѣ мы зачинщики!.. Всѣ, какъ есть! дружно грянуло надъ толпою: — всѣ здѣсь! всѣхъ бери!

Пшецыньскій торопливо попятился и неловко споткнулся о камень. Въ толпѣ раздался хохотъ.

— Я шутить не стану! строго замѣтилъ генералъ: — господинъ исправникъ! господинъ предводитель! прошу отправиться къ нимъ и повторить мои слова, что никакой другой воли нѣтъ и не будетъ, что они должны безпрекословно отправлять повинности и повиноваться управляющему, во всѣхъ его законныхъ требованіяхъ, и что, наконецъ, если черезъ десять минутъ (генералъ посмотрѣлъ свои часы) толпа не разойдется и зачинщики не будутъ выданы, я буду стрѣлять.

— Надо будетъ стрѣлять, ваше превосходительство! почтительнѣйше подшепнулъ Пшецыньскій, успѣвшій уже вернуться на крыльцо:—къ сожалѣнію, надо будетъ стрѣлять!.. Иначе ничего не сдѣлаемъ... Необходимъ разительный примѣръ.

Генералъ ничего не отвѣтилъ, но въ душѣ былъ согласенъ съ опытнымъ полковникомъ: все это по внѣшности, дѣйствительно, казалось бунтомъ весьма значительныхъ размѣровъ, тогда какъ на самомъ дѣлѣ оставалось все-таки одно лишь великое обоюдное недоразумѣніе. По соображеніямъ власти, медлительность и нерѣшительность ея, въ виду того тревожнаго, исполненнаго глухимъ броженіемъ въ народѣ, времени, которое тогда переживалось, могла отозваться цѣлымъ рядомъ безпорядковъ по обширному краю, если оказать маломальское потворство на первыхъ порахъ, при первомъ представившемся случаѣ. Таковы были соображенія власти.

Между тѣмъ, исправникъ и monsieur Корытниковъ отправились въ толпу передавать слова генерала, а самъ генералъ поспѣшилъ къ неподвижно стоявшему войску.

— Ребята! обратился онъ къ солдатамъ:—помните, что ружье дано солдату затѣмъ, чтобы стрѣлять!.. Передъ вами бунтовщики, поэтому будьте молодцами.

— Рады стараться, ваше—ство-о! откликнулся фронтъ.

А въ толпѣ все росъ и крѣпчалъ гулъ да говоръ... волненіе снова начиналось, и все больше, все сильнѣе. Увѣщанія священника, исправника и предводителя не увѣнчались ни малѣйшимъ успѣхомъ, и они возвратились съ донесеніемъ, что мужики за бунтовщиковъ себя не признаютъ, зачинщиковъ между собою не находятъ и упорно стоятъ на своемъ, чтобы сняли съ нихъ барщину и прочли настоящую волю, и что до тѣхъ поръ они не повѣрятъ въ миссію генерала, пока тотъ не объявитъ имъ самолично эту «заправскую волю за золотою строчкою».

— Стрѣлять... стрѣлять необходимо, ваше превосходительство! снова подшепнулъ со вздохомъ, подвернувшійся подъ руку, Пшецыньскій, и вздохъ его явно стремился выразить послѣднюю, грустно безвыходную рѣшимость крайняго отчаянія.

Либерально-почтительный адъютантъ былъ того же мнѣнія, и въ душѣ даже какъ будто подбодрился тѣмъ, что въ такую минуту близъ него есть люди, раздѣляющіе его собственное убѣжденіе.—Imaginez vous, могъ бы потомъ онъ разсказывать въ петербургскихъ гостиныхъ:—огромная толпа... съ другой стороны войско... и вдругъ залпъ!.. О, это была ужасная, поразительная картина!.. Это былъ своего рода эффектъ, котораго я никогда не забуду!»— По странному сочетанію мыслей, въ головѣ поручика въ эти минуты главнѣйшимъ образомъ рисовалось то, какъ онъ будетъ разсказывать въ Петербургѣ о томъ, чему предстояло совершиться черезъ нѣсколько мгновеній. Онъ не думалъ, какъ именно все это совершится, но зналъ, что онъ будетъ потомъ разсказывать объ этомъ очень красивыми, изобразительными фразами.

— Господинъ майоръ! закричалъ межъ тѣмъ генералъ баталіонному командиру:—изготовьтесь къ пальбѣ!

— Батальонъ,—жай!—раздалась съ лошади зычная команда командира,—и мгновенно блеснувъ щетиной штыковъ, ружья шарахнулись

Digitized by Google

къ ногѣ. Шомпола засвистали и залязгали своимъ желѣзнымъ звукомъ въ ружейныхъ дулахъ. Крестьянская толпа въ ту-жь минуту смолкла до той тишины, что ясно можно было разслышать сухое щелканье взводимыхъ курковъ.

Этою-то минутою думалъ было не безъ эффекта воспользоваться ретивый поручикъ.

— Ваше превосходительство! позвольте испытать... въ послѣдній разъ... послѣднее средство! быстро забормоталъ онъ, обратясь къ генералу, и затѣмъ, почти не дожидаясь отвѣта, повернулся къ толпѣ.

— На колѣни! повелительно закричалъ онъ:—на колѣни!.. Покоряйтесь, или сейчасъ стрѣляютъ!

— Что-жь, стрѣляй, коли тѣ озорничать хочется! отвѣтили ему изъ толпы:—не въ насъ стрѣлишь—въ царя стрѣлять будешь... Мы—царскіе, стало и кровь наша царская!..

Съ крыльца махнули въ воздухѣ бѣлымъ платкомъ.—Вслѣдъ за этимъ знакомъ отчетливо пронеслась команда: «батальонъ—пли!»—и залпъ холостымъ зарядомъ грянулъ.

Толпа вздрогнула, но молчала. Передніе, совершенно молча, внимательно оглядѣлись вокругъ себя: никто не палъ, никто не стонетъ—всѣ живы, цѣлы, стоятъ, какъ стояли. Первая минута смущеннаго смятенія минула. Мужики оправились.

— Эге, робя! никакъ шутки шутятъ! громко замѣтилъ одинъ молодой парень:—небось, въ царскихъ хрестьянъ стрѣлять не посмѣютъ!

— Это они только такъ, гороху наперлись! отвѣтилъ какой-то шутникъ.

Въ толпѣ захохотали.

Снова мелькнулъ въ воздухѣ бѣлый платокъ.

Рой пуль просвисталъ надъ головами.

Толпа инстинктивно пригнулась... Опять осматриваются—опять ни единый человѣкъ не повалился.

Это уже породило недоумѣніе: свистъ нѣсколькихъ сотенъ пуль былъ явственно слышенъ,—отчего-жь никого не убило?

— Братцы! мужички почтенные! раздался чей-то голосъ:—самъ Богъ за наше сиротское дѣло: пули отъ насъ отгоняетъ!.. не берутъ! Стой, братцы, на своемъ твердо!

— Стоимъ!.. стоимъ! Постоимъ за міръ!.. Господи благослови! пронеслись по толпѣ отвѣтные крики.

Раздался первый роковой залпъ, пущенный уже не надъ головами. И когда разсѣялось облако порохового дыма, впереди толпы оказалось нѣсколько лежачихъ. Бабы, увидя это съ окраинъ площади, съ визгомъ бросились къ мужьямъ, сынамъ и братьямъ; но мужики стояли тихо.

— Ну, пошто вы, ваши благородія, озорничаете!.. Эка сколько мужиковъ-то задаромъ пристрѣлили! съ спокойной укоризной обратился къ крыльцу изъ толпы одинъ высокій, ражій но значительно сѣдоватый мужикъ:—ребята! подберя нашихъ-то! — свои вѣдь! указалъ онъ окружающимъ на убитыхъ: да бабы-то пущай бы прочь, а то зашибуть неравно... Пошли-те вы!..

И затѣмъ, выступивъ на нѣсколько шаговъ впередъ, снова обратился къ группѣ, помѣщавшейся на крылечкѣ:

— Ну, а ты, ваше благородіе, теперича стрѣляй!

Раздался второй боевой залпъ—и нѣсколько мужиковъ опять повалились... А когда все смолкло, и дымъ разсѣялся,—то вся тысячеглавая толпа, какъ одинъ человѣкъ, крестилась... Надъ нею носились тихіе тяжкіе стоны и чей-то твердый, спокойный голосъ молился громко и явственно:

«Да воскреснетъ Богъ и расточатся врази Его, и да бѣжатъ отъ лица Его ненавидящіе Его»...

Заклокотала короткая дробь третьяго залпа.

Крестьяне не выдержали: шарахнулись, смѣшались и бросились куда кому попало.

Въ гулѣ и стонѣ можно было разслышать иногда крики: «воля!.. воля!» съ которыми все это бѣжало вонъ изъ села.

Но тамъ ожидали казаки.

III.

Расправа.

Возстаніе было укрощено.

Мужики, не пущенные на выходахъ казаками, разбѣжались кое-какъ по избамъ, а крестьяне сосѣднихъ деревень, окруженные конвоемъ, были согнаны на господскій дворъ, и тамъ—кто лежа, кто сидя на землѣ—ожидали рѣшенія своей участи. Казачьи патрули разъѣзжали вокругъ села, за околицами, и не выпускали изъ Снѣжковъ ни единой души.

Завечерѣло и съ сумерками стало подмораживать къ ночи. На площади зажглись яркіе костры: батальонъ расположился тамъ бивуакомъ. Людей постереглись до времени ставить постоемъ къ бунтовщикамъ, пока не была еще произведена окончательная расправа. Окна помѣщичьяго дома—нѣмыя и темныя Богъ-вѣсть съ коихъ поръ—тоже освѣтились, точно какъ въ тѣ умершіе старые годы, когда тамъ ликовала широкая барская жизнь. И нынѣ, какъ въ оны дни, на дворѣ стояли разнокалиберные экипажи и бѣгала дворовая прислуга, военные денщики, вѣстовые, ординарцы, и стучали ножи на кухнѣ. Въ этомъ опустѣломъ домѣ нашли себѣ временный пріютъ офицеры батальона и всѣ нахлынувшія сюда власти, господствія и силы. Въ одномъ изъ особыхъ флигелей помѣстился полковникъ Пшецынь-

Digitized by Google

скій и, вмѣстѣ съ генеральскимъ адъютантомъ, запершись во временномъ своемъ кабинетѣ, озабоченно строчилъ офиціальное донесеніе. Это донесеніе должно было завтра же летѣть въ Петербургъ.

Поручикъ чувствовалъ себя не совсѣмъ-то въ духѣ. Теперь, когда прошло уже нѣсколько часовъ съ той минуты, какъ на площади раздавались залпы, — мужицкая кровь наводила на него нѣкоторое уныніе и тревожную озабоченность о томъ, какъ взглянутъ на все это тамъ, въ Петербургѣ. Пока еще не раздались эти выстрѣлы, адъютантъ почему-то воображалъ себѣ, что все это будетъ какъ-то не такъ, а иначе, и какъ будто легче, какъ будто красивѣе, а на дѣлѣ оно вдругъ оказалось совсѣмъ по другому—именно такъ, какъ онъ менѣе всего могъ думать и воображать. Дѣло было слишкомъ свѣжо для того, чтобы въ памяти поручика стерлись нѣкоторые эпизоды и сцены мужицкаго бунта. Особенно какъ-то странно и вмѣстѣ съ тѣмъ смутно-зловѣще для него самого звучали ему недавнія слова: «не въ насъ стрѣлишь—въ царя стрѣлять будешь; мы—царскіе, стало и кровь наша царская». Какое странное слово въ устахъ бунтовщика! Какая странная мысль въ головѣ революціонера!.. Чѣмъ больше думалъ поручикъ, тѣмъ больше становилось ему все какъ-то не по себѣ, было какъ-то неловко... быть можетъ, отчасти передъ собственной совѣстью.

Зато Болеславъ Казиміровичъ Пшецыньскій не безпокоился ни мало. Онъ бойко и живо строчилъ рапортъ къ своему начальству, и энергическое краснорѣчіе его лилось каскадомъ. Онъ особенно поставлялъ на видъ, какъ были истощены всѣ возможныя мѣры кротости, какъ надлежащія власти христіанскимъ словомъ и вразумленіемъ стремились вселить благоразуміе въ непокорныхъ,—но ни голосъ совѣсти, ни авторитетъ власти, ни кроткое слово св. религіи не возымѣли силы надъ зачерствѣлыми сердцами анархистовъ-мятежниковъ, изъ коихъ весьма многіе были вооружены въ толпѣ топорами, кольями и вилами.

Когда, прочитывая свой рапортъ адъютанту, онъ дошелъ до этого послѣдняго мѣста, поручикъ остановилъ его легонькимъ возраженьицемъ, что кольевъ онъ, сколько ему помнится, не замѣтилъ.

— Нѣтъ-съ, были! были! навѣрное были! съ живостью поспѣшилъ завѣрить Пшецыньскій:—но... видите-ли, очень легко могло случиться, что вы съ его превосходительствомъ и не обратили на это вниманія, собственно по недостатку времени, пояснилъ онъ съ іезуитски-кроткою, простодушною улыбочкою: — а я сидѣлъ здѣсь до вашего прибытія двое сутокъ и, повѣрьте мнѣ,—видѣлъ, своими собственными глазами видѣлъ. Иначе, зачѣмъ же мнѣ было ходить съ заряженнымъ револьверомъ? Наша жизнь подвергалась большой опасности, и этимъ-то... Пшецыньскій пріостановился и, не спуская пристальныхъ глазъ съ поручика, постарался особенно подчеркнуть смыслъ своихъ послѣдующихъ словъ:—этимъ-то я и объясняю наши крайнія мѣры.

Поручикъ понялъ Пшецыньскаго и одобрительно кивнулъ ему головой. Пшецынскій, съ своей стороны, тоже понялъ поручика.

— Конечно, мы имѣли и причины такъ дѣйствовать и... тово... полномочія, началъ послѣдній, какъ-то заминаясь и пережевывая слово за словомъ: очевидно, онъ затруднялся высказать прямо начисто его тайную, тревожную мысль о своемъ опасеніи: — но... знаете... такое время... эти разные толки... этотъ «Колоколъ» наконецъ... понимаете-ли, какъ взглянуть на это?

— О, что касается до этого, съ оживленіемъ предупредилъ Пшецыньскій: — мы можемъ быть спокойны... Есть печальныя и опасныя событія, когда крайнія мѣры являются истиннымъ благодѣяніемъ. Вѣдь — не забудьте-съ! Волга — пояснилъ онъ съ весьма многозначительнымъ видомъ: — это есть, такъ сказать, самое гнѣздо... историческое-съ гнѣздо мятежей и бунтовъ... Здѣсь вѣдь раскольники... здѣсь вольница была, Пугачевщина была... Мы предъ Богомъ и совѣстью обязаны были предупредить, подавить... Въ такомъ смыслѣ я и рапортъ мой составлю.

Послѣднія слова были тоже особенно подчеркнуты, по примѣру прежнихъ.

Адъютантъ еще разъ одобрительно кивнулъ ему головой. Опасенія его за Петербургъ — городъ слишкомъ далекій отъ Волги вообще и отъ Славнобубенска въ особенности — стали проясняться. Болеславъ Пшецыньскій успѣлъ очень ловко внушить ему свою программу и дать направленіе къ объясненію сегодняшнихъ дѣйствій.

* * *

А между тѣмъ въ вечернемъ сумракѣ, при заревѣ солдатскихъ костровъ да при тускломъ свѣтѣ фонарей, на площади происходила другая сцена. Тамъ распоряжалась земская полиція.

Раненые были давно уже прибраны; насчетъ же убитыхъ только что «приняли мѣры». Они всѣ были сложены рядкомъ, а политая кровью земля, на тѣхъ мѣстахъ, гдѣ повалились эти трупы, тщательно вскапывалась теперь солдатскими лопатами, чтобъ поскорѣй уничтожить эти черныя кровавыя пятна.

Въ темнотѣ, вслѣдъ за тускло-мигавшими огоньками фонарей, длиннымъ рядомъ двигались человѣческія фигуры. На рогожкахъ да на носилкахъ солдаты выносили покойниковъ изъ села на отдаленный пустырь, гдѣ только что рыть кончили глубокую общую могилу,

Digitized by Google

Ни плачу, ни причитаній не было слышно; ни знакомыхъ, ни сродниковъ не было видно— одинъ только вооруженный конвой сопровождалъ этотъ погребальный выносъ, и во мглистой тишинѣ одни только солдатскіе шаги шлепали по лужамъ деревенской улицы, едва затянувшимся въ ночи тонкой ледяной корой.

У могилы ожидалъ уже церковный причтъ и священникъ въ старенькой черной ризѣ. Убитыхъ свалили въ яму и начали пѣть панихиду. Восковыя свѣчи то и дѣло задувало вѣтромъ: зато три-четыре фонаря освѣщали своимъ тусклымъ колеблющимся свѣтомъ темные облики людей, окружавшихъ могилу и тамъ, внутри ея, кучу чего-то безобразнаго, сѣраго, кроваваго.

Скоро была съѣдена солдатская крупа, и костры стали гаснуть, оставляя послѣ себя широкія пепелища съ красными тлѣющими угольями. Батальонъ гомонился и засыпалъ на своемъ холодномъ бивуакѣ. Все село казалось въ темнотѣ какимъ то мертвымъ: нигдѣ ни голоса людскаго, ни огонька въ оконцѣ. Вдалекѣ только слышался топотъ казачьихъ патрулей, да собаки заливались порою.

Въ господскомъ домѣ тоже мало-по-малу потухли огни.

Рыженькій нѣмецъ спокойно удалился въ свой флигелекъ, пропустилъ на сонъ грядущій рюмочку шнапсу, закусилъ его домодѣльною ветчиною, которую запилъ куфелемъ домашняго пива и, закуривъ рижскую сигарку, сталъ размышлять... вѣроятнѣе всего, о дикости русскаго народа.

Въ одномъ только покоѣ адъютанта долго еще свѣтился огонь, потому что долго ходилъ адъютантъ по комнатѣ и ломалъ голову надъ композиціей своего донесенія. Впрочемъ, на случай какого-либо чрезвычайнаго затрудненія, обязательный Пшецыньскій былъ подъ рукою.

Не спалъ еще и Хвалынцевъ. Всѣ ощущенія и впечатлѣнія дня навели на него какую-то темную тоску и лихорадочную нервность. Онъ не зналъ, зачѣмъ его арестовали и потомъ словно-бы оставили и позабыли про него, не зналъ что дѣлать завтра, или лучше сказать, что съ нимъ намѣрены дѣлать, а между тѣмъ, дѣла требовали его въ Славнобубенскъ. Это глупое, фальшивое положеніе и эта неизвѣстность нагоняли на него досаду и хандру. Онъ, лежа на оттоманкѣ, по другую сторону которой безмятежно храпѣлъ monsieur Корытниковъ, жегъ въ темнотѣ папиросу за папиросой. Тоскливая досада и неулегшіяся впечатлѣнія давешнихъ сценъ далеко отгоняли сонъ его.

* * *

А между тѣмъ, въ глубокой темнотѣ, около солдатскаго бивуака, потайно, незамѣтно и въ высшей степени осторожно шныряла какая-то невѣдомая личность, которую трудно было разглядѣть въ густомъ и мглистомъ мракѣ; но зато часовые и дежурные легко могли принять ее за какого-нибудь своего же проснувшагося солдатика, тѣмъ болѣе, что невѣдомая личность эта была одѣта во что-то не то въ родѣ крестьянской, не то въ родѣ солдатской сермяги. Въ теченіе получаса этотъ шныряющій человѣкъ, то тамъ, то здѣсь, въ разныхъ концахъ бивуака, осторожно подбрасывалъ какія-то свернутыя бумаги, изъ которыхъ иныя были даже запечатаны въ особые пакеты.

* * *

На утро началась расправа съ мятежниками. Судили ихъ на мѣстѣ, въ порядкѣ быстромъ, то-есть безусловно административномъ и притомъ—военномъ. Солдатъ, въ награду за неудобно проведенную ночь, приказано было, по совѣту Пшецыньскаго, разставить по крестьянскимъ избамъ, въ видѣ экзекуціи, съ полнымъ правомъ для каждаго воина требовать отъ своихъ хозяевъ всего, чего захочетъ, относительно пищи и прочихъ удобствъ житейскихъ. Предварительно впрочемъ, по совѣту все того же Пшецыньскаго, не забыли поблагодарить батальонъ за его молодецкое поведеніе, но при этомъ начальство осталось нѣсколько недовольно тѣмъ обстоятельствомъ, что отвѣтное «рады стараться» пробѣжало по фронту какъ-то вяло, раздумчиво и словно бы не охотно. Неудовольство начальства еще болѣе усилилось, когда было доложено ему о приключеніяхъ, случившихся въ батальонѣ въ теченіе этой ночи: одинъ солдатикъ найденъ въ овинѣ повѣсившимся на своихъ собственныхъ подтяжкахъ, а двое дезертировали неизвѣстно куда, несмотря на бдительность казачьихъ патрулей.

Однако время не терпѣло проволочекъ; надо было позаботиться объ окончательномъ укрощеніи и умиротвореніи взволнованной мѣстности, а потому надлежало произвести немедленный судъ и при этомъ явить примѣры внушительной строгости.

Крестьяне опять были собраны на площади, но на этотъ разъ не добровольно. Тутъ же стояло около тридцати обывательскихъ подводъ и нѣсколько возовъ розогъ: часть батальона еще раннимъ утромъ отряжена была въ лѣсъ нарѣзать приличное количество прутьевъ. Сѣкъ батальонный командиръ подъ руководствомъ исправника и станового. Приговорены были къ наказанію и къ ссылкѣ въ Сибирь нѣсколько десятковъ народу, вмѣстѣ съ зачинщиками, въ числѣ которыхъ были два старика, подносившіе хлѣбъ-соль, молодой парень, вытащенный вчера становымъ въ качествѣ зачинщика, и тотъ десятокъ мужиковъ, которые добровольно вышли впередъ переговорщиками отъ міра.

Между тѣмъ, раненымъ надо было подать хоть какую нибудь первую помощь. Начальство, отправляясь сюда, не предполагало, что при-

Digitized by Google

дется стрѣлять, и потому не позаботилось о докторѣ, за которымъ Пшецыньскій догадался послать только раннимъ утромъ, когда трое изъ раненыхъ уже отдали Богу душу. Разговоръ объ этомъ происходилъ въ присутствіи Хвалынцева. Занимаясь естественными науками, онъ неоднократно con amore посѣщалъ клинику, видѣлъ многія перевязки и вообще имѣлъ объ этомъ дѣлѣ нѣкоторое маленькое понятіе. Поэтому, на время до прибытія медика, онъ предложилъ исправнику свои посильныя услуги. Этотъ послѣдній, имѣя въ виду трехъ уже умершихъ и нѣсколькихъ человѣкъ умирающихъ, посовѣтовался съ полковникомъ, а тотъ доложилъ выше—и предложеніе Хвалынцева великодушно было принято, только съ условіемъ, чтобы все это осталось подъ секретомъ. Вмѣстѣ съ деревенскимъ священникомъ принялся онъ кое-какъ ухаживать за ранеными.

А на утро наѣхало въ Снѣжки нѣсколько окружныхъ помѣщиковъ, бурмистровъ, управляющихъ—все за тѣмъ, чтобы поразвѣдать о вчерашнихъ происшествіяхъ.—Пріѣхала, между прочимъ, и пожилая вдова помѣщица, которая во всемъ околодкѣ извѣстна была подъ именемъ Перепетуи Максимовны. Фамиліи ей какъ то не полагалось, а мужики, сами по себѣ, издавна уже окрестили ее «Драчихой», по причинѣ сорокалѣтней слабости ея къ ручной расправѣ. Становой сообщилъ ей, что въ числѣ раненыхъ есть одинъ изъ ея Драчихиной деревни, Драчиха непремѣнно пожелала видѣть «мятежника».

— А, хамова душа твоя! съ какимъ-то самодовольно торжествующимъ видомъ обратилась она къ больному:—такъ и ты тоже бунтовать! Я тебѣ лѣсу на избу дала, а ты бунтовать, безчувственное, неблагодарное ты дерево эдакое! Ну, да ладно! Вотъ погоди, погоди! выздоравливай-ка, выздоравливай-ка! Вы, батюшка, докторъ, что-ли? обратилась она вдругъ къ Хвалынцеву.

— Нѣтъ, сударыня, не докторъ.

— Ну, такъ вѣрно фершалъ?

— Положимъ, хоть и такъ. А что?

— А то, что, пожалуйста, лечи ты мнѣ эту каналью поисправнѣе. Ужь я сама поблагодарю тебя прилично, только вылечи ты мнѣ его безпремѣнно.

— А зачѣмъ вамъ, сударыня, это такъ нужно?

— А у меня, мой батюшка, въ томъ свой интересъ есть; для того что, какъ онъ выздоровѣетъ, такъ чтобы наказать его примѣрно.

— Ну, теперь-то наказывать вамъ самимъ, пожалуй, что и не придется: онъ ужь и такъ наказанъ, замѣтилъ съ подобающею скромностью священникъ.

— Какъ, батюшка, не придется! всполошилась Драчиха:—да что-жь я, по твоему, не власть придержащая, что-ли? Самъ попъ, значитъ долженъ знать, что въ писаніи показано: «властямъ придержащимъ да покоряются»;— а я, мой отецъ, завсегда власть была, есть и буду, и ты мнѣ мужиковъ такими словесами не порти, а то я на тебя благочинному доведу!

Священникъ, при имени благочиннаго, извиняющимся образомъ развелъ руками и замолкнулъ.

— А какъ теперь, батюшка, душевой-то надѣлъ тѣхъ, что убиты, въ чью пользу пойдетъ? тутъ же обратилась Драчиха къ становому.

— Въ точности неизвѣстенъ, а надо такъ думать, что въ пользу помѣщика, ежели полнаго тягла не окажется, пояснилъ становой.

— А моихъ мужичковъ-то много ли убито? съ живостью поинтересовалась Драчиха.

Но не всѣ помѣщики оказались одного толка съ Драчихой. Многіе изъ пріѣхавшихъ ради любопытства приняли раненыхъ изъ своихъ деревень на свое собственное попеченіе и доставили имъ всевозможныя удобства.

А на площади, между тѣмъ, раздавались крики, стоны и бабій плачъ съ причитаньями. Однихъ наказывали и отпускали домой, другихъ сажали на подводы и объявляли сибирскую ссылку. Тутъ было широкое мѣсто для раздирающихъ душу сценъ разставанья съ отцами, съ братьями, съ сыновьями... Многіе жены, съ грудными ребятами, добровольно шли въ ссылку за своими мужиками. Почти каждый изъ ссыльныхъ, прихватя въ заплечный мѣшокъ кое-что изъ одежины да изъ домашней рухляди, завертывалъ въ особую тряпицу горсть своей исконной, родной земли, съ которою отнынѣ разставался на вѣки, и благоговѣйно уносилъ съ собою эту горсть въ невѣдомую, далекую сторону.

Быстро сотворя судъ надъ зачинщиками, начальство уѣхало обратно въ Славнобубенскъ, распорядясь оставить въ Снѣжкахъ цѣлый батальонъ, на неопредѣленное время, въ видѣ экзекуціи, и предоставя окончательное умиротвореніе исправнику да становому.

Пшецыньскій вмѣстѣ съ Корытниковымъ вскорѣ тоже отправились. Впрочемъ, передъ отъѣздомъ штабъ-офицеръ благосклонно разрѣшилъ Хвалынцеву ѣхать куда ему угодно, и даже съ видомъ скорбяще-благодарной гуманности, разсыпался передъ своимъ вчерашнимъ плѣнникомъ въ извиненіяхъ по части ареста и въ благодарностяхъ по части ухаживанья за ранеными.

— Такое печальное событіе... такъ мнѣ это больно! наединѣ и притомъ оглядываясь, говорилъ онъ, съ грустными ужимками и даже вздохами: — я никакъ не могъ предполагать, что дѣло дойдетъ до этого... но... но... мы люди подчиненные! (Глубокій вздохъ). Во всякомъ случаѣ, за человѣчество благодарю васъ отъ лица человѣколюбія... Только, пожалуйста, не разглашайте этого никому, а то могутъ быть

Digitized by Google

къ намъ придирки, зачѣмъ допустили къ дѣлу постороннаго человѣка... Вѣдь вы знаете какіе у насъ на матушкѣ-Руси порядки!.. Формалистика, батюшка! Что дѣлать!..

И говоря это, Болеславъ Казиміровичъ обѣими руками, крѣпко, долго и горячо потрясалъ руку Хвалынцева, который съ своей стороны былъ весьма доволенъ своимъ отпускомъ изъ плѣна и, въ виду всего совершившагося, не почелъ особенно удобнымъ добиваться у полковника объясненія причинъ своего непонятнаго ареста.

Съ величайшимъ трудомъ, при помощи священника, наконецъ-то удалось ему за учетверенную плату порядить себѣ лошадей и отправиться вслѣдъ за отбывшими властями.

IV.

„Пошла писать губернія!“

По всему граду Славнобубенску ходили темныя и дикія вѣсти о снѣжковскихъ происшествіяхъ, и, можно сказать, съ каждой минутой слухи и вѣсти эти росли, ширились и становились все темнѣе, все дичѣе и нелѣпѣе. Одни слухи повѣствовали, будто власти сожгли деревню до тла, и мужиковъ, которыхъ не успѣли пристрѣлить, живьемъ позакапывали въ землю. Другіе пояснили, что между адъютантомъ и Пшецыньскимъ какая-то японская дуэль происходила, и что Болеславъ Храбрый исчезъ, бѣжалъ куда-то; что предводителя Корытникова крестьяне розгами высѣкли; что помѣщица Драчиха, вмѣстѣ съ дворовымъ человѣкомъ Кирюшкой, который при ней состоитъ въ Пугачевыхъ, объявила себя прямой наслѣдницей какихъ-то французскихъ эмиссаровъ, и вмѣстѣ со снѣжковскими мужиками идетъ теперь на городъ Славнобубенскъ отыскивать свои права, и все на пути живущее сдается и покоряется храброй Драчихѣ, а духовенство встрѣчаетъ ее со крестомъ и святою водою.

Такихъ-то необычайныхъ и фантастическихъ вѣстей и слуховъ былъ полонъ Славнобубенскъ, когда прикатили въ него герои снѣжковскаго укрощенія.

Губернаторъ тотчасъ же полетѣлъ къ генералу, вице-губернаторъ туда же; первые вѣстовщики порядочнаго общества — прокуроръ де-Воляй и губернаторскій чиновникъ Шписсъ, бросились къ губернатору и, не заставъ его дома, махнули къ Пшецыньскому; Корытниковъ проскакалъ къ губернскому предводителю князю Кейкулатову, князь Кейкулатовъ опять же такъ къ генералу; полиціймейстеръ и предсѣдатель казенной палаты къ Корытникову, градской голова къ полиціймейстеру; графиня де-Монтеспанъ къ губернаторшѣ, madame Чапыжниковъ, madame Ярыжниковъ и madame Пруцко къ графинѣ де-Монтеспанъ; Фелисата Егоровна и Нина Францовна къ madame Ярыжниковъ и къ madame Чапыжниковъ; г-жи Иванова, Петрова, Сидорова къ Фелисатѣ Егоровнѣ и къ Минѣ Францовнѣ; разные товарищи предсѣдателей, члены палатъ секретари и прочіе бросились кто куда, но болѣе къ Шписсу и де-Воляю, а де-Воляй со Шписсомъ ко всѣмъ вообще и въ клубъ въ особенности.

Лихой полиціймейстеръ Гнутъ (изъ отчаянныхъ гусаровъ) на обычной парѣ въ пристяжку (извѣстно, что порядочные полиціймейстеры иначе никогда не ѣздятъ какъ только на парѣ въ пристяжку), словно угорѣлый, скакалъ сломя голову съ Большой улицы на Московскую, съ Московской на Дворянскую, съ Дворянской на Покровскую, на Пречистенскую, на Воздвиженскую, такъ-что на сей день не успѣлъ даже завернуть и въ Кривой переулокъ, гдѣ обитала его Дульцинея.

Словомъ сказать—«пошла писать губернія!» Трескъ и грохотъ, ѣзда и движеніе поднялись по городу такіе, что могло бы показаться, будто всѣ эти господа новый годъ справляютъ вмѣсто января да въ апрѣлѣ.

Какое широкое, блестящее поле открылось monsieur Корытникову и Болеславу Храброму для самыхъ героическихъ разсказовъ! Каждый изъ нихъ, наперерывъ другъ передъ другомъ, старался вездѣ и повсюду втиснуть прежде всего свое собственное я, я и я. Зудъ любопытства, съ какимъ ихъ слушали, доходилъ до своего рода чесотки. Болеславъ Храбрый, впрочемъ, прохаживался болѣе все насчетъ истощенія всѣхъ мѣръ кротости и вселенія благоразумія, при чемъ ни голосъ совѣсти, ни слово религіи, и прочее, и прочее, что уже давно извѣстно читателю. Зато monsieur Корытниковъ, въ своемъ пестромъ галстухѣ и щегольскомъ Шармеровскомъ пиджакѣ, являлъ изъ себя истиннаго героя. Онъ повѣствовалъ (преимущественно нѣжному полу) о томъ, какъ одинъ и ничѣмъ не вооруженный смѣло входилъ въ разъяренную и жаждущую огня и крови толпу мятежниковъ, какъ одинъ своей безстрашною грудью боролся противу нѣсколькихъ тысячъ звѣрей, которые не испугались даже и другихъ боевыхъ залповъ батальона, а онъ — однимъ своимъ взглядомъ и словомъ, однимъ присутствіемъ духа сдѣлалъ то, что толпа не осмѣлилась его и пальцемъ тронуть.

— Конечно, прибавлялъ Корытниковъ: — я зналъ, что иду почти на вѣрную смерть, я понималъ всю страшную опасность своего положенія; но я шелъ... я шелъ... puisque la noblesse oblige... Это былъ мой долгъ.

— Ну, и что-жь? чуть не задыхаясь, вопрошали его.

— Ну, и ничего, comme vous voyez! Но, знаете ли, какъ бы ни была раздражена толпа, на нее всегда дѣйствуетъ, и эдакъ магически

Digitized by Google

дѣйствуетъ, если противъ нея и даже, такъ сказать, въ сердцѣ ея появляется человѣкъ съ неустрашимымъ присутствіемъ духа... Это покоряетъ.

Короче сказать, выходило что monsieur Корытниковъ чуть-ли не одинъ, своей собственной персоной, усмирилъ все возстаніе. Нѣжный полъ и безъ того питалъ элегантную слабость къ его Шармеровскимъ пиджакамъ, а теперь сталъ питать ее еще болѣе, по поводу неустрашимости. Monsieur Корытниковъ въ глазахъ нѣжнаго пола сдѣлался героемъ. Нельзя сказать однако, чтобъ и въ своихъ собственныхъ глазахъ онъ не былъ бы тѣмъ же. И только одинъ разъ смѣшался и сконфузился онъ, когда кто-то сообщилъ ему, что въ его отсутствіе по Славнобубенску пошли было слухи, будто крестьяне снѣжковскіе его немножко тово... розгами посѣкли. Но покраснѣвъ онъ съ негодованіемъ отвергнулъ такое невѣроятное предположеніе, и даже самъ потомъ, при встрѣчахъ и разговорахъ, всѣмъ и каждому, въ видѣ предупрежденія, торопился высказать:

— Представьте себѣ! On parle qu'on m'a rossé!.. Qu'on m'a rossé!. Слыхали ли вы объ этомъ?

Къ вечеру весь городъ уже зналъ, приблизительно въ чертахъ, болѣе или менѣе вѣрныхъ, всю исторію печальныхъ снѣжковскихъ событій, которыхъ безотносительно правдивый смыслъ затемняли лишь нѣсколько разсказы Пшецыньскаго да Корытникова, гдѣ одинъ все продолжалъ истощать мѣры кротости, а другой плѣнялъ сердца героизмомъ собственной неустрашимости.

Общество Славнобубенска раздѣлилось на двѣ партіи. Одна, къ которой принадлежали весь высшій административный міръ и нѣсколько крупныхъ дворянъ, поздравляла водворителей порядка и готовила нѣсколько овацій. Другую партію составляли, въ нѣкоторомъ родѣ, плебеи: два-три молодые, средней руки, помѣщика, кое-кто изъ учителей гимназіи, кое-кто изъ офицеровъ да чиновниковъ, и эта партія овацій не готовила, но чутко выжидала, когда первая партія начнетъ ихъ, чтобы заявить свой противовѣсъ, какъ вдругъ генералъ съ его адъютантомъ неожиданно былъ вызванъ телеграммой въ Петербургъ, и по Славнобубенску пошли слухи, что на мѣсто его ѣдетъ кто-то новый, дабы всетщательнѣйше разслѣдовать дѣло крестьянскихъ волненій и вообще общественнаго настроенія цѣлаго края. Обѣ партіи остановились въ нерѣшительности ожиданія.

V.

En petit comité.

И вотъ, въ одинъ прекрасный день, славнобубенскій губернаторъ, дѣйствительный статскій совѣтникъ и кавалеръ Непомукъ Анастасьевичъ Гржибъ-Загржимбайло, что̀ называется, en petit comité, кормилъ обѣдомъ новоприбывшаго весьма важнаго гостя. Этимъ гостемъ была именно та самая особа, которая, по заранѣе еще ходившимъ славнобубенскимъ слухамъ, весьма спѣшно прибыла въ городъ для разслѣдованія снѣжковскаго дѣла и для наблюденія за общественнымъ настроеніемъ умовъ.

Баронъ Иксъ-фонъ-Саксенъ казался особой вполнѣ блистательной и являлъ изъ себя перетянутую въ рюмочку смѣсь петербургскаго haute volée дендизма и государственной мудрости. Онъ старался казаться человѣкомъ, которому наближайшимъ и самымъ довѣреннымъ образомъ извѣстны всѣ высшіе планы, предначертанія, намѣренія и рѣшенія, который «все знаетъ», потому что посвященъ во всѣ государственныя и политическія тайны первѣйшей важности, но знаетъ ихъ про себя, и только порою, какъ бы вскользь и ненарокомъ даетъ чувствовать, что ему извѣстно и что онъ можетъ... И вмѣстѣ съ тѣмъ, баронъ такъ милъ, такъ любезенъ, такъ галантенъ, такъ изященъ, баронъ въ дамскомъ обществѣ осторожно и съ такимъ тактомъ даетъ чувствовать, что онъ тоже большой руки folichon, предъ которымъ таютъ и покоряются сердца женскія...

Очаровательная и обольстительная madame Гржибъ (она по всей губерніи такъ ужь извѣстна была за очаровательную и обольстительную) казалась въ этотъ день, передъ петербургскимъ свѣтиломъ, еще очаровательнѣй и еще обольстительнѣй—если только это было возможно. Madame la generale все скучала по Петербургу; провинціальная жизнь и губернская скука разстраивали ей нервы и причиняли страданіе, которое она называла «тикомъ». Ей только и оставалось одно развлеченіе это—музыка и «ея бѣдные»: и бѣдныхъ, и музыку она очень любила; но теперь madame Гржибъ такъ рада, въ такомъ восторгѣ, въ такомъ восхищеніи, что пріѣхалъ изъ Петербурга блистательный баронъ Иксъ-фонъ-Саксенъ, съ которымъ можно сказать «человѣческое слово».

Самъ monsieur Гржибъ всетщательнѣйше старался показаться наилюбезнѣйшимъ хозяиномъ, опытнѣйшимъ и твердымъ администраторомъ и наидобрѣйшимъ человѣкомъ, у котораго душа и сердце все превозмогаютъ, кромѣ служебнаго долга. Притомъ-же поваръ у него былъ отличный, выписанный изъ московскаго англійскаго клуба, а купецъ Саннинъ поставлялъ ему самыя тонкія вина и превосходные сыры и сигары.

Остальными членами этого petit comité были: губернаторскій чиновникъ по особымъ порученіямъ, маленькій черненькій Шписсъ (вѣроятнѣе всего изъ могилевскихъ жидковъ) и гу-

Digitized by Google

бернскій прокуроръ Анатоль де-Воляй — прелестный молодой правовѣдъ, славнобубенскій левъ и денди, который плѣнялъ сердца своимъ высокимъ теноромъ и ежедневно свѣжими перчатками. Всегда усердно преданный Шписсъ и плѣнительный Анатоль составляли высшій цвѣтъ славнобубенской молодежи административно-аристократическаго міра и состояли неизмѣнными членами и адъютантами гостиной madame Гржибъ-Загржимбайло.

Итакъ, если взвѣсить всѣ эти ингредіенты, въ видѣ Шписса, Анатоля, сыровъ и сигаръ, винъ, повара, любезности хозяина и очаровательности самой хозяйки, входившіе въ составъ совокупнаго угощенія, то нѣтъ ничего мудренаго, что блистательный гость, баронъ Иксъфонъ-Саксенъ чувствовалъ себя въ самомъ благодушнѣйшемъ настроеніи и расположенъ былъ питать и къ Шписсу съ Анатолемъ, и къ Непомуку Анастасьевичу, и тѣмъ паче къ самой прелестнѣйшей Констанціи Александровнѣ самыя нѣжныя, благоуханныя чувствованія.

Обѣдъ былъ конченъ, и общество перешло въ гостиную, меблированную, какъ и всѣ губернаторскія гостиныя, или что одно и тоже— какъ и всѣ губернаторскіе дома, гдѣ мебель и вся принадлежность, заведенныя на казенный счетъ, лѣтъ сорокъ тому назадъ, всецѣло переходятъ по наслѣдству отъ одного губернатора къ другому. Но въ этой меблировкѣ, само собою разумѣется, все явно било на извѣстнаго рода представительность. Гостиная даже была не безъ комфорта. Все общество усѣлось вокругъ камина, куда были принесены и поставлены на маленькихъ столикахъ кофе и различные ликеры.

Madame Гржибъ, полнокровно-огненная и роскошная брюнетка, постоянно желала изображать изъ себя созданіе въ высшей степени нервное, идеально-тонкое, эфирное, и потому за столомъ кушала очень мало. Это, между прочимъ, она дѣлала для того, чтобы не портить своего голоса, который и Анатоль со Шписсомъ, и весь элегантный міръ Славнобубенска находили безусловно прекраснымъ, а въ данную минуту Констанція Александровна намѣревалась еще произвести своимъ пѣніемъ рѣшительный эффектъ передъ блистательнымъ гостемъ.

Между Шписсомъ, Анатолемъ и самою генеральшей уже успѣло образоваться нѣчто въ родѣ маленькаго заговора. Ея превосходительство желала, чтобы дорогой и блистательный гость унесъ съ собою самое пріятное воспоминаніе о своемъ пребываніи въ Славнобубенскѣ, и потому они сразу проектировали въ будущемъ — загородный пикникъ на картинномъ берегу Волги, два вечера, одинъ балъ и «благотворительный» спектакль съ живыми картинами въ пользу «нашихъ бѣдныхъ», въ которомъ должны были принять участіе исключительно только благородные любители. Сама Констанція Александровна предназначала для себя главныя двѣ роли: одну въ Тургеневской «*Провинціалкѣ*», гдѣ прелестный Анатоль долженъ былъ изображать графа; другую — роль Татьяны въ опереткѣ «*Москаль Чарывникъ*», ибо тутъ madame Гржибъ могла показать всю силу и гибкость своего очаровательнаго голоса. Черненькій Шписсъ поспѣшно вызвался при этомъ сыграть подъячаго Финтика. Что касается до живыхъ картинъ, то тутъ madame Гржибъ должна была появиться, во-первыхъ, въ видѣ «молодого грека съ ружьемъ», потомъ «царицей ночи» и наконецъ полупрозрачною «Вакханкой у ручья». Словомъ сказать, блистательный баронъ долженъ бы былъ уѣхать изъ Славнобубенска не иначе, какъ вконецъ очарованнымъ.

Послѣобѣденнымъ разговоромъ почти безраздѣльно владѣлъ дорогой гость. Губернаторша только задавала вопросы, прилично ахала, вставляла сожалѣнія о своей собственной славнобубенской жизни и оживленно восхищалась разсказами барона, когда тотъ, въ нѣсколько небрежномъ тонѣ, повѣствовалъ о послѣдней великосвѣтской сплетнѣ, о придворныхъ новостяхъ, о Кальцоляри и Деверіа, да о послѣднемъ фарсѣ на Михайловской сценѣ.

Вдругъ вошелъ дежурный жандармъ, неизмѣнно пребывающій въ губернаторской прихожей, и подалъ губернатору пакетъ: «стахета вашему превосходительству».

Непомукъ, для показанія возможной быстроты въ дѣлахъ службы, нетерпящихъ вообще ни малѣйшаго отлагательства, очень спѣшно сорвалъ печать и, многозначительно нахмуривъ брови, принялся за чтеніе. Едва добѣжавъ глазами до половины бумаги, онъ засопѣлъ и всполошился.

— Боже мой! Опять!.. Опять бунтъ!.. Мятежъ... возстаніе!... И это у меня!.. У меня! въ моей губерніи!.. Второй бунтъ!.. Вотъ до чего уже дошло!.. Вотъ они плоды... говорилъ онъ съ видомъ встревоженнаго Зевеса, но дошелъ до «плодовъ» и запнулся, ибо спохватился, что новоприбывшій гость взпраетъ на эти «плоды» со стороны самой либеральной.

Между тѣмъ баронъ, не подымаясь даже съ кресель, лѣниво протянулъ къ нему руку за бумагой и, не выпуская изъ зубовъ сигары, сталъ читать самымъ спокойнымъ образомъ.

Это была эстафета отъ полковника Пшецыньскаго, который объяснялъ, что, вслѣдствіе возникшихъ недоразумѣній и волненій между крестьянами деревни Пчелихи и села Коршаны, не взирая на недавній примѣръ энергическаго укрощенія въ селѣ Высокіе Снѣжки, онъ, Пшецыньскій, немедленно, по полученіи совмѣстнаго съ губернаторомъ донесенія мѣстной власти о семъ происшествіи, самолично отправился на мѣсто и убѣдился въ довольно широкихъ размѣрахъ новыхъ безпорядковъ.

Digitized by Google

причемъ съ его стороны истощены уже всѣ мѣры кротости, приложены всѣ старанія вселить благоразуміе, но ни голосъ совѣсти, ни внушенія власти, ни слова святой религіи на мятежныхъ Пчелихинскихъ и Коршанскихъ крестьянъ не оказываютъ достодолжнаго воздѣйствія, — «а посему — писалъ онъ — ощущается необходимая и настоятельнѣйшая надобность въ немедленной присылкѣ военной силы; иначе невозможно будетъ черезъ день уже поручиться за спокойствіе и безопасность цѣлаго края.

Окончивъ чтеніе, баронъ умѣренно разсмѣялся въ томъ родѣ, какъ смѣются взрослые надъ дѣтскими страхами.

— Ха, ха, ха! изящно смѣялся онъ, немножко въ носъ и немножко сквозь зубы, какъ только и умѣютъ смѣяться послѣ обѣда одни высокоблаговоспитанные люди! — бунтъ, возстаніе!.. ха, ха, ха!.. Этотъ полковникъ должно быть большой руки трусъ... Зачѣмъ онъ тамъ?.. Да и вообще, скажите мнѣ, что это?— я давеча не успѣлъ хорошенько разспросить у васъ.

— Да помилуйте, баронъ, горячо началъ Непомукъ, какъ бы слегка оправдываясь въ чемъ-то: — третьяго дня мы получили отъ тамошняго исправника донесеніе, что по дошедшимъ до него слухамъ, крестьяне этихъ деревень толкуютъ между собой и о подложной волѣ,—ну, полковникъ тотчасъ же и поѣхалъ туда... дали знать предводителю... исправникъ тоже отправился на мѣсто... а теперь вдругъ — опять бунтъ, опять возстаніе!..

— Ха, ха, ха! въ томъ же тонѣ продолжалъ гость: — и сейчасъ уже войско!.. И къ чему тутъ войско?.. будто нельзя и безъ войска дѣлать эти вещи!.. Тутъ главное — нравственное вліяніе своей собственной личности, а не войско. Я увѣренъ, что все это пустяки: просто-напросто мужички не поняли дѣла; ну, пошумѣли, покричали — ихъ за это наказать, конечно, слѣдуетъ... внушить на будущее время, но зачѣмъ же войско!

— Ахъ, баронъ! но вѣдь вы не знаете! съ фешіонебельнымъ прискорбіемъ вмѣшалась генеральша:—вы не знаете, что это за народъ! эта прислуга, напримѣръ! Ну, на что уже я— губернаторша — и я даже нѣсколько терплю отъ моей прислуги, и я не могу узнать ее за послѣдніе годы... Конечно, со мной они еще не очень ужь забываются, но... вообще эта эмансипація ихъ совсѣмъ разбаловала... Нѣтъ, на первыхъ же порахъ надо, непремѣнно надо показать имъ мѣры строгости,—иначе мы всѣ небезопасны!

Баронъ только улыбнулся и рыцарски поклонился ей въ отвѣтъ на эту тираду—дескать, сударыня, пока я здѣсь—можете почивать покойно.

Губернаторша поняла смыслъ этого поклона,—и гость былъ награжденъ за него улыбкой самаго обворожительнаго свойства.

— Вообще, я увѣренъ, что все это пустяки, авторитетно продолжалъ баронъ:—эти господа не умѣютъ говорить съ народомъ; я поѣду туда... я покажу имъ... Помилуйте, какъ съ какими нибудь мужиками не управиться!.. ха, ха, ха!..

— Comment!.. et vous aussi!.. Вы тоже хотите ѣхать туда? не безъ страшливаго участія расширила на него глаза генеральша.

— Непремѣнно... и даже сегодня... Мой долгъ—быть тамъ! немножко рисуясь, отвѣтилъ баронъ, внутренно весьма довольный собою по двумъ причинамъ: — во-первыхъ, что успѣлъ отчасти заявить свою будущую неустрашимость, а во-вторыхъ, тѣмъ, что возбудилъ участіе и даже опасеніе за свою личность такой прелестной особы. Въ эту минуту онъ почувствовалъ себя, въ нѣкоторомъ родѣ, героемъ.

— Такъ стало быть, вы, баронъ, полагаете, что войска посылать не слѣдуетъ? совѣщательно обратился къ нему Непомукъ, заранѣе изображая выраженіемъ своего лица полнѣйшее и безпрекословное согласіе съ мнѣніемъ блистательнаго гостя.

Блистательный гость немножко призадумался.

«А ну, какъ тамъ и въ самомъ дѣлѣ чортъ знаетъ какая кутерьма?» мелькнуло у него въ умѣ въ это мгновеніе.

— Мм... нѣтъ, ужь надобно послать, отвѣтилъ онъ совершенно равнодушнымъ тономъ:— потому—видите ли—этотъ полковникъ, вѣроятно, успѣлъ уже тамъ и мужикамъ погрозиться войскомъ... такъ собственно, я полагаю, на всякій случай надо послать... для того единственно, чтобы въ ихъ глазахъ авторитетъ власти не падалъ.

Непомукъ вполнѣ согласился съ этимъ мнѣніемъ.

«А такъ-то оно все какъ будто понадежнѣе», подумалъ про себя баронъ фонъ-Саксенъ, и черезъ нѣсколько времени откланялся губернаторшѣ, пожелавшей ему всякихъ успѣховъ, и удалился сдѣлать нѣкоторыя распоряженія къ предстоящему отъѣзду, какъ нельзя болѣе довольный собою и даже полный мечтами о предстоящихъ гражданскихъ подвигахъ.

Въ этотъ вечеръ онъ рѣшительно казался самому себѣ героемъ.

Губернаторша въ тайнѣ была о немъ того же мнѣнія.

Самъ Непомукъ никакого мнѣнія не выразилъ, но Шписсъ вмѣстѣ съ прелестнымъ Анатолемъ помчались по всему городу и потомъ въ клубъ разсказывать интересныя новости о томъ, какъ они обѣдали нынче у губернатора вмѣстѣ съ барономъ Иксъ-фонъ-

Digitized by Google

Саксенъ, и что при этомъ говорилъ баронъ, и что они ему говорили, и какъ онъ отправился въ Пчелиху самолично укрощать крестьянское возстаніе, и что вообще баронъ, это—un charmant homme, и что они отъ него въ восторгѣ.

Весь городъ Славнобубенскъ необыкновенно интересовался новопріѣзжимъ блистательнымъ гостемъ. Про него уже кое-гдѣ начинали даже ходить своеобразно-фантастическія легенды. Однако-же, увы! барону не удалось ни въ Пчелихѣ, ни въ сосѣднихъ съ нею Коршанахъ проявить свое гражданское мужество. Прискакавъ на мѣсто, онъ, вопреки своимъ ожиданіямъ, не нашелъ ни площади, залитой массами народа, ни яростныхъ воплей мятежа, ни кольевъ, ни дубинъ съ топорами: мужики самымъ обыденнымъ порядкомъ справлялись у себя, по своимъ дворамъ, около домашняго обихода и ничто ни малѣйшимъ образомъ не подавало намека на то, о чемъ столь краснорѣчиво извѣщало донесеніе. Барона это озадачило. Онъ засталъ еще на мѣстѣ исправника и полковника Пшецыньскаго, который съ кисловатой физіономіей собирался, по-добру, по-здорову, уѣзжать во-свояси.

Дѣло было такимъ образомъ: между крестьянами Пчелихи и Коршанъ, дѣйствительно, ходили темные слухи о подложной волѣ, о грамотѣ «за золотою строчкою». Бдительное начальство тотчасъ же не упустило, конечно, заявить объ этомъ. Пріѣхалъ Пшецыньскій, велѣлъ собрать на площадь всю деревню. Когда деревня была собрана, онъ энергически сталъ укрощать бунтовщиковъ, но бунтовщики, по обыкновенію, за бунтовщиковъ себя не признали, и потому полковникъ прибѣгнулъ къ укрощенію еще болѣе энергическому съ помощью десятка казаковъ, которые, какъ извѣстно, имѣютъ обыкновеніе носить при себѣ нагайки. Мужики при этомъ самовольно разбѣжались по избамъ, вслѣдствіе чего полковникъ и послалъ эстафету съ требованіемъ военной силы. Мужики, провѣдавши объ этомъ и вспомня кстати Высокіе Снѣжки, что называется, воемъ взвыли и послали къ полковнику выборныхъ со слезнымъ прошеніемъ не губить ихъ животишекъ. Полковникъ потребовалъ выдачи «зачинщиковъ». Мужики опять взвыли, потому что зачинщиковъ указать не могли по той довольно простой причинѣ, что таковыхъ и не было между ними. Кто же пустилъ слухи о золотой строчкѣ?— А Христосъ его вѣдаетъ кто! Сказывали, будто въ кабакѣ какой-то прохожій не то парень, не то дворовый человѣкъ по виду. А кто сказывалъ?—Сказывалъ Гаврилка Косой да Степанъ Бурлаковъ.—Подать сюда Косого и Степана Бурлакова! Они-то, значитъ, и есть первые распространители смутительныхъ слуховъ!—Подали Гаврилку со Степаномъ.—Вы распространяли? — Виновати, батюшка! — Въ колодки ихъ да въ острогъ на слѣдствіе! Забили въ колодки и отправили подъ конвоемъ, а въ деревнѣ все тихо и спокойно. Полковникъ не довѣряетъ и ждетъ волненія, но о таковомъ и въ поминѣ нѣтъ. Полковникъ все-таки ждетъ,—волненіе не приходитъ. Онъ начинаетъ сердиться, потомъ приходитъ въ нѣкоторое уныніе, физіономія его окисляется недовольствомъ—и Болеславъ Казиміровичъ приказываетъ закладывать себѣ лошадей, какъ вдругъ въ эту минуту, нежданно-негадано, пріѣзжаетъ блистательный баронъ Иксъ-фонъ-Саксенъ, въ своемъ выразительномъ военномъ мундирѣ. Полковникъ пораженъ, полковникъ озадаченъ, но все это длится не болѣе минуты: вдохновеніе свыше осѣнило его голову— и съ сіяющимъ лицомъ онъ почтительнѣйше докладываетъ его превосходительству, что сколь ни трудно было ему, Пшецыньскому, при усердномъ содѣйствіи мѣстной власти, водворить порядокъ, тишину и спокойствіе, но, наконецъ, мѣры кротости, совокупно съ увѣщаніемъ св. религіи воздѣйствовали—и авторитетъ власти, стараніями ихъ, возстановленъ вполнѣ. Баронъ остается очень доволенъ усердіемъ и дѣйствіями мѣстныхъ властей и въ особенности столь почтительнаго къ его особѣ полковника, и уѣзжаетъ съ твердымъ намѣреніемъ исходатайствовать этому усердію достодолжную награду, въ сладостной надеждѣ на которую уѣзжаетъ вслѣдъ за нимъ и Пшецыньскій.

VI.

Наканунѣ тризны.

Monsieur Хвалынцевъ! Monsieur Хвалынцевъ! —закричалъ и замахалъ съ дрожекъ monsieur Корытниковъ, встрѣтясь съ студентомъ подъ вечеръ, на Дворянской улицѣ.

Тотъ остановился.

Корытниковъ спрыгнулъ къ нему на тротуаръ.

— Не хотите-ли участвовать? Подпишитесь-ка!

— Въ чемъ участвовать? На что подписаться прикажете?

— На обѣдъ. Мы, отъ всего нашего общества—ну, и администрація тоже—устраиваемъ обѣдъ въ клубѣ, по подпискѣ— пятнадцать рублей съ персоны.

— Да ради чего-же это?

— Mais comment «ради чего»! Обѣдъ въ честь барона фонъ-Саксена—понятное дѣло!

— Извините, monsieur Корытниковъ, немножко не понимаю, — недоумѣвая, возразилъ

Digitized by Google

Хвалынцевъ:—зачѣмъ-же это въ честь барона?

— Ну-у! Voilà la question!.. Надо-же выразить ему наше... Э-е... наше сочувствіе... нашу признательность.—Вѣдь цѣлый край въ опасности... Ваши собственные интересы: да и вы сами наконецъ, comme un membre de la noblesse, можете пострадать, если бы не Саксенъ,—вѣдь почемъ знать,—все еще можетъ случиться!..

— Да; но покамѣстъ-то онъ еще ровно ничего не сдѣлалъ такого, за что мы могли-бы заявлять нашу признательность: человѣкъ только что едва пріѣхать успѣлъ.

— Ну, вотъ, какъ вы все понимаете!—чуть-чуть подфыркнулъ предводитель: — «не сдѣлалъ!» ну, все равно, сдѣлаетъ! Это все равно. Такъ какъ-же? Подпишитесь?

— Нѣтъ, ужь увольте! — суховато поклонился Хвалынцевъ.

— Mais pourquoi pas?—удивился Корытниковъ.

— Да такъ. Я вѣдь не изъ крупныхъ собственниковъ и, коли вы ужь такъ хотите знать причину, для меня и пятнадцать рублей—деньги.

Предводитель не могъ скрыть легкой, пренебрежительной и какъ-бы сожалѣющей усмѣшки.

— А жаль!—процѣдилъ онъ сквозь зубы:—обѣдъ проектированъ прекрасный, чтобъ ужь лицомъ въ грязь не ударить: и музыка, и спичи будутъ, и все такое...

— Ну, желаю вамъ пріятнаго аппетита,—поклонился Хвалынцевъ и повернувшись пошелъ себѣ далѣе.

«Эге! такъ вотъ ты изъ какихъ гусей!»—съ нѣкоторой злобой оскорбленія подумалъ ему вслѣдъ Корытниковъ, въ маленькомъ замѣшательствѣ прыгая на свою щегольскую эгоистку.

«И это предводитель!.. Этотъ пробковый манекенъ для Шармеровскихъ костюмовъ!»—не безъ горечи подумалъ, въ свою очередь, Хвалынцевъ.

— Ба!.. Пріятель!.. Дружище!.. Какими судьбами?—растопыривъ объятія, загородилъ ему вдругъ дорогу маленькій плотный человѣкъ, плотно выстриженный подъ гребенку.

— Господи помилуй!.. Устиновъ!.. Да ты-ли это?—радостно изумился Хвалынцевъ.

— Какъ видишь! Самолично, своей собственной персоной!. Вотъ встрѣча-то!.. Ну, облобызаемся!

И пріятели обнялись, и мягкія, немного влажныя губы Устинова влѣпили три звонкихъ поцѣлуища въ розовыя щеки Хвалынцева.

— Ты никуда теперь особенно не торопишься?— спросилъ Устиновъ.

— Ровнехонько никуда. Просто, вышелъ себѣ пошататься.

— Ну, такъ — правое плечо впередъ и—маршъ ко мнѣ въ мое логово! Испѣмъ сначала пива, по-старому, а потомъ потолкуемъ. Повѣствуй мнѣ, какъ, что, почему и зачѣмъ, и давно-ли ты здѣсь?

— Можно!—согласился Хвалынцевъ: — да скажи пожалуйста, какими ты-то судьбами?

— Э! ангелъ мой! Я уже тутъ около года—прямо съ университетской скамейки. Учительствую, славнобубенское юношество математикой просвѣщаю. Славные, чортъ возьми, ребята! Да, кстати! ударилъ онъ себя по лбу:—ты вѣдь, конечно, съ нами завтра?

— То-есть гдѣ это съ вами? Когда?

— Да развѣ не слышалъ? Завтра, въ четыре часа, послѣ вечерни, у Покрова панихида служится по убитымъ въ Снѣжкахъ.

— А! да?.. Но что-жь это только теперь хватились?

— Не знаю доподлинно,—такъ ужь вышло. Будутъ гимназія, семинарія, изъ офицерства кое-кто и еще кое-кто изъ порядочныхъ людей... Тамъ будешь?

— Конечно, да! съ охотой подтвердилъ Хвалынцевъ:—а ты слышалъ? завтра обѣдъ въ клубѣ.

Устиновъ кивнулъ головой.

— А вѣдь въ Питерѣ, пожалуй, и въ самомъ дѣлѣ, подумаютъ, что здѣсь и ни вѣсть какія красныя страсти были, особенно какъ распишутъ-то! черезъ минуту примолвилъ онъ въ грустномъ раздумьи:—вѣдь этого мужика нашего тамъ-то теперь, гляди, хуже чѣмъ поляка въ стары годы почитать станутъ!

VII.

Панихида.

На другой день, въ четвертомъ часу пополудни, въ городѣ было значительное движеніе, особенно по Большой и Покровской улицамъ. И тамъ, и здѣсь катились экипажи, сновали извозчичьи пролетки и безобразныя дроги, на которыхъ вмѣщалось по три и по четыре человѣка сѣдоковъ. Дамы, не имѣющія счастья принадлежать къ сливкамъ славнобубенскаго общества, но тѣмъ не менѣе сгорающія желаніемъ узрѣть интереснаго барона Иксъ-фонъ-Саксена, несмотря на весеннюю слякоть, прогуливались по Большой улицѣ, вмѣстѣ со своими кавалерами, роль которыхъ исполняли по преимуществу господа офицеры Инфляндманландскаго пѣхотнаго полка, вконецъ затершіе господъ офицеровъ батальона внутренней стражи.

День былъ солнечный, весенне-яркій. Воробьи на голыхъ прутьяхъ да по заборамъ вертѣлись и трещали самымъ задорнымъ образомъ. Мутные ручьи бѣжали по улицамъ. Капель звонко падала съ крышъ на шапки да на носы прохожему люду. Извозчичьи пролетки и «собствен-

Digitized by Google

ные» экипажи, представительно гремя по камнямъ мостовой, обнажающимся изъ-подъ ледяной коры, останавливались передъ дверьми разныхъ магазиновъ, по преимуществу у перваго въ городѣ парикмахера-француза, да у единственнаго перчаточника, и потомъ, иногда, на минутку, подкатывали къ клубному подъѣзду. Простые же, несуразные дроги направлялись болѣе все на Покровскую улицу. Туда же торопились и пѣшеходы, между которыми мелькали красные околыши гимназическихъ фуражекъ и шинели семинаристовъ.

— Двери Покровской церкви были открыты. Кучка народу, изъ разряда «публики» стояла на паперти. Частный приставъ уже раза четыре успѣлъ какъ-то озабоченно прокатиться мимо церкви на своихъ кругленькихъ, сытыхъ вяточкахъ. Вотъ взошли на паперть и затерялись въ «публикѣ» три-четыре личности, какъ будто переодѣтыя не въ свои костюмы. Вотъ, на щегольской пролеткѣ подкатилъ маленькій черненькій Шписсъ, а черезъ нѣсколько времени показался въ церкви и прелестный Анатоль де-Воляй.

Кучка «публики», ожидавшая на паперти, понемногу прибавлялась. Въ серединѣ стоялъ высокаго роста господинъ, въ синихъ очкахъ и войлочной, нарочно смятой шляпѣ, изъ-подъ которой въ безпорядкѣ падали ему на плечи длинные, густые, курчавые и вдобавокъ нечесанные волосы. Клинообразная, темнорусая борода какъ нельзя болѣе гармонировала съ прической, и весь костюмъ его являлъ собою нѣсколько странное смѣшеніе: поверхъ красной кумачевой рубахи-косоворотки на немъ было надѣто драповое пальто, сшитое нѣкогда съ очевидной претензіей на моду; широкія триковыя панталоны, покроемъ à la zouave небрежно засунуты въ голенища смазныхъ сапогъ; въ рукѣ его красовалась толстая суковатая дубинка, изъ породы тѣхъ, которыя выдѣлываются въ городѣ Козьмо-Демьянскѣ.

Подлѣ него, какъ моська передъ слономъ, вертѣлся, юлилъ, хлопоталъ и суетился крошечный, подслѣповатый блондинчикъ, съ жидкими, слабыми волосенками и мизерною щепотью какой-то скудной растительности на подбородкѣ. Это маленькая тщедушная юла была то, что называется, золотушный пискунокъ и принадлежала къ породѣ дохленькихъ. Пискунокъ состоялъ чѣмъ-то въ родѣ добровольнаго адъютанта или ординарца при особѣ своего плечистаго сосѣда въ кумачевой рубахѣ и въ разговорахъ относился къ нему съ пріятельскимъ почтеніемъ. Остальные члены этой кучки составляли народъ, болѣе или менѣе знакомый и между собою, и съ двумя изображенными господами.

— Что-жь это плохо собираются! — суетливо пищалъ дохленькій блондинчикъ,—то обращаясь къ окружающимъ, то на цыпочкахъ устремляя взглядъ вдаль по улицѣ:—ай-ай, господа, какъ же это такъ!.. *Наши* еще не всѣ на лицо... Пожалуйста же, господа, смотрите, чтобы все такъ, какъ условлено!.. Господа!.. господа! послѣ панихиды—чуръ! не расходиться!.. Пожалуйста, каждый изъ васъ пустите въ публикѣ слухъ, чтобы по окончаніи всѣ сюда, на паперть: Ардальонъ Михайловичъ слово будетъ говорить.

При этомъ блондинчикъ самодовольно, однако не безъ почтительности, искоса бросилъ взглядъ на кумачовую рубашку.

— А какое слово-то! на ухо обратился онъ къ одному изъ кучки:—то есть, я тебѣ скажу—огонь!.. огонь!.. Экая голова-то!..

— Анцыфровъ!—окликнулъ Ардальонъ Михайловичъ своего адъютантика, который тотчасъ же подбѣжалъ къ нему съ такимъ видомъ, что необыкновенно живо напомнилъ собою кобелька, виляющаго закорюченнымъ хвостикомъ:—ты что это, болванъ, болтаешь-то тамъ!.. Не можешь на полчаса подержать за зубами!..

— А... я, Ардальонъ Михайловичъ... вѣдь свои же—надобно, чтобы знали... да я, впрочемъ, что же... я, въ сущности, ничего,— оправдывался дохленькій.

— Ну, то-то!.. Ты гляди у меня!.. А вотъ что скверно, — значительно понизилъ онъ тонъ:—сѣраго-то народу почти совсѣмъ нѣтъ, чуекъ-то этихъ мало.

— Мало, Ардальоша, мало! пожавъ плечами, вздохнулъ Анцыфровъ:—а для виду-то, для представительности не мѣшало бы...

— Такъ ты чего же спалъ-то! Вѣдь говорилъ вчера, чтобы по кабакамъ, да по харчевнямъ...

—Да я, Ардальоша... упрекнуть ты меня, кажись, не можешь! Я не то что по харчевнямъ, я и по базару пошатался.

— Пошатался! передразнилъ его собесѣдникъ.—Слизнякъ ты, братецъ, вотъ что! добавилъ онъ ему съ весьма откровеннымъ и презрительнымъ пренебреженіемъ.

Анцыфровъ какъ-то неловко помялся да искательно ухмыльнулся въ отвѣтъ на эту выходку, но не возразилъ ни слова.

Въ эту минуту мимо церкви проходили два какіе-то зипуна.

Ординарчикъ, словно пущенный волчекъ, мигомъ сбѣжалъ къ нимъ со ступеней и остановилъ обоихъ.

— Братцы! обратился онъ къ нимъ:—зайдите въ церковь!.. Помолимтесь вмѣстѣ!

Тѣ удивленно оглядѣли его съ головы до ногъ.

— Помолимтесь!.. за своихъ... за нашихъ, за родныхъ братьевъ! продолжалъ межъ тѣмъ дохленькій.

— За какихъ-те братьевъ? спросилъ его зипунъ.

— Слыхали про Высокіе Снѣжки? какъ въ Снѣжкахъ генералы въ мужиковъ стрѣляли?— Такъ вотъ, по убитымъ теперь панихиду правимъ... Зайдите, братцы!

Digitized by Google

— Панафиду?.. Нашто же это панафиду?

— Какъ на что!—Вѣдь Христовы мученики, братцы! Помолимтесь за упокой... Вѣдь это братья ваши!

— Да мы не снѣжковскіе—мы съ Чурилова погоста, возразилъ другой зипунъ:—намъ-то что!

— Все равно, братцы!.. Всѣ мы—христіане, всѣ въ Бога вѣруемъ... всѣ по Христу-то вѣдь братья! приставалъ межъ тѣмъ блондинчикъ:—сегодня генералы въ снѣжковскихъ стрѣляли,—завтра въ васъ стрѣлять будутъ;—это все равно!

— Въ на-асъ? недоумѣло ухмыльнулся мужикъ и снова оглядѣлъ съ головы до ногъ Анцыфрова:—что ты, шалый, что-ли!.. Пойдемъ, Митряй; что толковать-то! кивнулъ онъ своему спутнику. — Пусти, баринъ! недосугъ намъ.

И мужики прошли мимо Ардальоновскаго ординарчика, который стоялъ словно не солоно похлебавши и наконецъ медленно сталъ подыматься на паперть.

— Вотъ—самъ видишь! какъ бы оправдываясь, тихо обратился онъ къ Ардальону:—нейдутъ, а отчего—чортъ ихъ знаетъ!

— Оттого, что ты дуракъ! съ неудовольствіемъ перекосивъ брови, буркнулъ тотъ ему подъ-носъ.

— Ну вотъ, и всегда такъ... обиженно пробормоталъ въ сторону ординарчикъ, разведя руками.

Подошло еще нѣсколько публики и между прочимъ двѣ-три молодыя дамы, да три-четыре дѣвицы, изъ которыхъ половина была съ остриженными волосами—прическа, начинавшая въ то время сильно входить въ употребленіе въ кружкахъ извѣстнаго рода.

— Здравствуйте, Анцыфровъ!.. Полояровъ, здравствуйте! обратилась одна изъ нихъ къ ординарцу и его патрону, протягивая обоимъ руку.

Полояровъ оглядѣлъ ее, но не поклонился и руки не подалъ.

— Полояровъ! я вамъ кланяюсь, я вамъ руку протягиваю,—не видите, что-ли? Или не узнали? широко улыбаясь, замѣтила ему дѣвица.

— Нѣтъ, вижу-съ и узналъ-съ, возразилъ Ардальонъ:—а руки не подаю — потому терпѣть не могу этихъ барскихъ замашекъ! На кой вы чортъ перчатки-то напялили? аристократизмомъ что-ли поразить насъ вздумали? ась?

Дѣвушка немножко сконфузилась и торопливо сдернула свои свѣженькія перчатки.

— Ну, вотъ теперь статья иная! Давайте сюда вашу лапу! менторски-одобрительнымъ тономъ похвалилъ Ардальонъ и крѣпко потрясъ руку дѣвушки.

— Да что-жь это богомокрицы эти нейдутъ панихиду козлогласовать-то намъ! обратился онъ къ окружающимъ, видимо желая порисоваться и щегольнуть пикантностью своей послѣдней фразы, впрочемъ цѣликомъ почерпнутой изъ «Колокола». Анцыфровъ! слетай за ними, пригласи, что пора, молъ!—публика собралась и и ждетъ спектакля.

Анцыфровъ полетѣлъ за священниками.

— Послушайте, Полояровъ, я сейчасъ заглянула въ церковь,—обратилась къ Ардальону та самая дѣвица, которой онъ сдѣлалъ выговоръ по поводу перчатокъ:—вы говорили вчера, что въ этомъ приметъ участіе народъ — тамъ почти никого нѣтъ изъ мужиковъ?

— Ну, такъ что-же-съ? хмуро повелъ бровями Полояровъ.

— Да вѣдь это... какъ хотите—совсѣмъ не то выходитъ.

— А по вашему, что-же?.. Вы-то собственно чего-же хотѣли-бы?

— Да я... я было думала... я увѣрена была, что все это дѣло народное.

— Вы, Лубянская, все глупости думаете!.. Когда я васъ отучу отъ этого?.. Народъ! Да развѣ мы съ вами не народъ?

— Но я думала, что мужики...

— «Мужики! Мужики!»—что такое «мужики»?.. Мужики—это вздоръ! Никакихъ тутъ мужиковъ намъ и не надобно. Главная штука въ томъ, — значительно понизилъ онъ голосъ, наклоняясь къ лицу молодой дѣвушки:—чтобы демонстрацію сдѣлать... демонстрацію правительству — поймите вы это, сахарная голова!

— Но если-бы съ нами и мужики...

— Если-бы да ежели-бы, такъ и люди-то не жили-бы! перебилъ ее Полояровъ:—слыхали вы про это, аль нѣтъ? Однако, пойдемте въ церковь—вонъ ужь и козлы спѣшатъ, рубли себѣ чуютъ,—прибавилъ онъ, кивнувъ на приближавшагося священника съ дьякономъ, вслѣдъ за которыми, перепрыгивая по грязи съ камушка на камушекъ, поспѣшала и маленькая фигурка Анцыфрова.

И вотъ, минутъ черезъ пять послѣ этого, священникъ съ дьякономъ вышли изъ алтаря, въ черныхъ ризахъ, и начали панихиду. На двухъ клиросахъ помѣщались хоры, составившіеся тутъ-же изъ публики. На правомъ пѣли преимущественно взрослые воспитанники семинаріи; на лѣвомъ — кое-кто изъ учителей, офицеровъ, гимназистовъ, чиновниковъ. Между присутствующими виднѣлось нѣсколько чуекъ, сермягъ и полушубковъ, но очень и очень немного, да и то въ число ихъ-же приходилось включить и тѣхъ трехъ-четырехъ господъ, которые явились сюда переодѣтыми въ чужіе костюмы.

— Эхъ, чортъ возьми! досадно! бурчалъ себѣ сквозь зубы Ардальонъ, поглядывая на это скудное количество субъектовъ, долженствовавшихъ изображать собою простой «народъ»—ослы! илоты!.. Ничѣмъ не прошибешь ихъ!.. *Рассея*-матушка!

«Но... ничего: благо, и эти-то есть!—успо-

Digitized by Google

кончательно подумалъ онъ:—все-таки отпишемъ, что церковь-де была полна народомъ, — а тамъ поди, повѣряй насъ!.. Штука-то все-таки сдѣлана, и штука хорошая!»

Мерцаніе восковыхъ свѣчекъ въ рукахъ присутствующихъ какъ-то странно мѣшалось съ яркими лучами солнца, которые врывались за рѣшотку церковныхъ оконъ и радужно позлащали ароматныя струи ладона.

Хвалынцевъ съ Устиновымъ стояли, прислонясь къ стѣнѣ, а рядомъ съ ними стала старушка и молоденькая дѣвушка, при появленіи которыхъ учитель молча отвѣсилъ почтительный поклонъ. Обѣ были одѣты въ черное. Лицо этой дѣвушки невольно остановило на себѣ вниманіе Хвалынцева. Нельзя сказать, чтобы оно кидалось въ глаза своей красотой:— далеко нѣтъ; но въ немъ было нѣчто такое, что всегда заставило бы человѣка мыслящаго, психолога, поэта, художника изъ тысячи женскихъ лицъ остановить вниманіе именно на этомъ. Живая душа въ немъ сказывалась, честная мысль сквозилась, хорошій человѣкъ чувствовался—человѣкъ, который не продастъ, не выдастъ, который если полюбитъ, такъ ужь хорошо полюбитъ—всею волею, всею мыслью, всѣмъ желаніемъ своимъ; человѣкъ, который смотритъ прямо въ глаза людямъ, не задумывается отрѣзать имъ напрямикъ горькую правду, и самъ способенъ столь-же твердо выслушать отъ людей истину еще горчайшую. Знакомы-ли вамъ тонкія, нѣжныя черты бѣлокурыхъ женскихъ лицъ, въ которыхъ, несмотря на эту тонкость и въ высшей степени женственную нѣжность, чуется здоровая мысль, характеръ твердый, настойчивый и сила воли энергическая?—Таково именно было лицо этой молодой дѣвушки. На видъ ей казалось лѣтъ семнадцать, но она была старше: ей пошелъ уже двадцатый годъ. При небольшомъ ростѣ, маленькая изящная фигурка ея отличалась гибкою стройностью. Лицо было блѣдно, съ легкимъ, чуть-чуть сквозящимся румянцемъ; на вискахъ тонкія жилки голубѣли; но что придавало этому лицу особенную прелесть—это бархатно-густыя, темныя, длинныя рѣсницы надъ выразительно-большими глазами. Когда она задумчиво опускала вѣки, рѣсницы ея кидали тѣнь, придавая какую-то таинственную глубину взору.

Стояла эта дѣвушка, облитая веселымъ солнцемъ, которое удивительно золотило ея свѣтло-русые волосы, — стояла тихо, благоговѣйно, и на лицѣ у нея чуть замѣтно мелькалъ оттѣнокъ мысли и чувства горькаго, грустнаго: она хорошо знала, по комъ правится эта панихида... Лицо ея спутницы-старушки тоже было честное и доброе.

Хвалынцевъ во время службы нѣсколько разъ останавливалъ глаза на обѣихъ; но лицо дѣвушки тянуло къ себѣ его взоры болѣе и чаще. Раза два ихъ взоры скрестились и встрѣтились—и чувствовалъ онъ, что выходитъ это невольно, какъ-то само собою.

Дѣвица Лубянская и съ нею двѣ ея стриженыя подруги стояли рядомъ съ Полояровымъ и о чемъ-то все хихикали да перешептывались между собою. Не мало утѣшалъ ихъ дохленькій Анцыфровъ, который все время старался корчить умильныя гримасы, такъ, чтобы это выходило посмѣшнѣе, и представлялся усердно молящимся человѣкомъ: онъ то охалъ и вздыхалъ, то потрясалъ головою, то билъ себя кулаками въ грудь, то простирался ницъ и вообще желалъ щегольнуть передъ сосѣдними гимназистами и барышнями своимъ независимымъ отношеніемъ къ дѣлу религіи и церковной службы. Поэтому, продѣлывая всѣ свои штуки, онъ послѣ каждаго пассажика искалъ себѣ глазами по сторонамъ одобрительныхъ, поощряющихъ взглядовъ, и въ таковыхъ недостатка не было.

Полояровъ тоже ощутилъ въ себѣ нѣкоторое присутствіе веселаго настроенія и все задувалъ свѣчку сосѣдки своей Лубянской, а та поминутно ее зажигала и наконецъ, въ отместку стала задувать и его свѣчку. Вообще, въ этой группѣ то и дѣло раздавалось смѣшливое фырканье и довольно громкіе, безцеремонные разговоры. Нѣсколько впереди ихъ стоялъ частный приставъ, катавшійся все время мимо церкви на своихъ вяточкахъ, и теперь нашедшій нужнымъ появиться въ храмѣ—«на случай могущихъ произойти безпорядковъ». У дверей торчали три-четыре полицейскіе солдата и помощникъ пристава, которые вошли сюда вмѣстѣ со своимъ принципаломъ.

Частный уже неоднократно оборачивалъ взоры на хихикавшую группу, съ выраженіемъ внушительной строгости, но его Юпитеровскіе взгляды возбуждали еще болѣе веселость компаніи. А эта веселость поддерживалась не мало также и тѣмъ обстоятельствомъ, что нѣсколько школьниковъ сбрызгивали капли талаго воска на спину недогадывающагося объ этомъ блюстителя порядка.

— Эхъ, господа гимназисты стоятъ-то позади его,—сказалъ Полояровъ тихо, но такъ, что близъ стоявшіе мальчики очень хорошо могли его слышать: — что бы догадаться кому— стать-бы эдакъ на колѣники да словно-бы невзначай и поджечь пальтишко,—вотъ-бы комедія вышла!

Такая мысль не могла не придтись по вкусу гимназистамъ, и потому исполненіе ея ни мало не замедлилось. Одинъ шустрый мальчуганъ пробрался какъ разъ къ частному, сталъ совсѣмъ близко его и — точь-въ-точь по рецепту Полоярова — опустясь съ земнымъ поклономъ на колѣни, приблизилъ свѣчу свою къ краю форменнаго пальто пристава. Толстый драпъ

Digitized by Google

тотчасъ-же задымился и распространилъ вокругъ себя запахъ смрадной гари.

Частный озабоченно и недоумѣло поднялъ голову и, внюхиваясь, поводилъ впереди себя носомъ. Гимназисты фыркали въ кулакъ, а компанія Полоярова корчила серьезныя мины и кусала губы, чтобы вконецъ не расхохотаться.

Вдругъ, подожженный частный обернулся и поймалъ школьника на мѣстѣ: тотчасъ-же онъ его цапъ за руку и кивнулъ своему помощнику. Но такъ какъ помощникъ не замѣчалъ начальничьяго кивка, то частный самолично повелъ мальчугана изъ церкви.

Перетрусившій гимназистъ поблѣднѣлъ и ушираючись забормоталъ какія-то извиненія.

Двое изъ учителей, вмѣстѣ съ товарищами мальчугана, да кое съ кѣмъ изъ публики засуетились.

— Господа!.. господа!—захлопоталъ и забѣгалъ маленькій Анцыфровъ:—полиція... полиція дѣлаетъ безпорядки... полиція первая, которая нарушаетъ!.. Это наконецъ чортъ знаетъ что!.. Этого нельзя позволить... Это самоуправство... Это возмутительно!..

Въ церкви поднялось замѣтное движеніе. Священникъ нѣсколько разъ оборачивался на публику, но тѣмъ не менѣе продолжалъ службу. Начинался уже нѣкоторый скандалъ. Полояровъ стоялъ въ сторонѣ и съ миной, которая краснорѣчиво выражала все его великое, душевное негодованіе на полицейское самоуправство, молча и не двигаясь съ мѣста, наблюдалъ всю эту сцену — только рука его энергичнѣе сжимала суковатую палицу.

— Полояровъ!.. Полояровъ!—шептала Лубянская, дергая за рукавъ своего сосѣда:—послушайте, вѣдь ему, пожалуй, плохо будетъ;— надо заступиться.

— Заступятся! - равнодушно но съ увѣренностью отвѣтилъ Ардальонъ Михайловичъ.

— Пойдемте вмѣстѣ... всѣ пойдемте... отнимемте его!

— Отнимутъ и безъ насъ.

— Но глядите: его уже взяли полицейскіе... его уводятъ!

Дѣйствительно, двое городовыхъ, поспѣшившіе наконецъ на призывъ частнаго, подхватили мальчугана за руки и всѣмъ своимъ наличнымъ полицейскимъ составомъ повели его вонъ изъ церкви, несмотря на осаждавшую ихъ публику. Значительная кучка этой публики пошла вмѣстѣ съ ними считаться на воздухѣ съ частнымъ приставомъ и выручать пойманнаго школьника.

— Полояровъ, подите и вы! Надо, чтобы вы заступились, приставала межъ тѣмъ Лубянская.

— Я-то? — отозвался Ардальонъ съ тою снисходительною усмѣшкою, какою взрослые улыбаются маленькимъ дѣтямъ: — вы, Лубянская, говорю я вамъ, вѣчно однѣ только глупости болтаете! Ну чорта ли я заступлюсь за него, коли тамъ и безъ меня довольно! Мой голосъ пригодится еще сегодня же для болѣе серьезнаго и полезнаго дѣла — сами знаете; такъ чорта ли мнѣ въ пустяки путаться!

— Но что-же теперь будетъ съ нимъ, съ бѣдненькимъ?

— Что?.. А ничего больше, что выпорятъ маленько, да и вся недолга!

— Но вѣдь это ужасно!

— Чего-съ ужасно? Порка-то?—Ничего! Это ихнему брату даже полезно иногда бываетъ. Насъ вѣдь тоже посѣкали, бывало; — это ничего!.. Оно, знаете ли, эдакое спартанское воспитаніе, пожалуй, и не вредитъ: для будущаго годится, потому—мальчишка послѣ этого, глядя, озлобится больше, а это хорошо—злоба-то!

— Но вѣдь можетъ быть и хуже: его могутъ исключить изъ гимназіи.

— Ну и исключатъ—такъ что же? Эко горе!.. Коли есть башка на плечахъ, то и безъ гимназіи пробьетъ себѣ путь, а нѣтъ башки—туда и дорога!

Между тѣмъ двое учителей да кое-кто изъ публики частію угрозами, частію просьбами и убѣжденіями, успѣли-таки отратовать мальчугана у полиціи и съ торжествомъ привели его обратно въ церковь.

Движеніе, возбужденное всѣмъ этимъ происшествіемъ, затихло, угомонилось, и присутствующіе довольно благообразно достояли до конца панихиды. Многіе явились въ эту церковь съ чистымъ, сердечнымъ желаніемъ помянуть убіенныхъ, и между ними были Устиновъ съ Хвалынцевымъ, да та молодая дѣвушка со старушкой, которыя стояли рядомъ съ ними. Многіе пришли такъ-себѣ, ни для чего, лишь бы поболтаться гдѣ нибудь отъ бездѣлья, подобно тому, какъ они идутъ въ маскарадъ, или останавливаются поглазѣть передъ любой уличной сценой; многіе прискакали для заявленія моднаго либерализма; но чуть ли не большая часть пожаловала сюда съ цѣлями совсѣмъ посторонними, ради одной демонстраціи, которую Полояровъ съ Анцыфровымъ почитали въ настоящихъ обстоятельствахъ дѣломъ самой первой необходимости.

Вниманіе молодой сосѣдки Хвалынцева было слишкомъ исключительно и серьезно приковано къ церковной службѣ, такъ что она мало обратила его на скандальчикъ, происшедшій по поводу подожженнаго пальто частнаго пристава.

Между тѣмъ пропѣли вѣчную память. Священникъ удалился въ алтарь разоблачаться, а къ сосѣдкѣ Хвалынцева, самымъ галантнымъ образомъ, вдругъ подлетѣлъ прелестный Анатоль де-Воляй и развязно раскланялся.

— Какъ и вы тоже здѣсь?—подняла на него дѣвушка свои непритворно изумленные взоры.

— А почему же бы нѣтъ?—отчасти самодовольно порисовался Анатоль.

Digitized by Google

— Да что вамъ здѣсь дѣлать, monsieur де-Воляй.

— Mais, mademoiselle... mes simpatiès... mes convictions, замялся чуточку правовѣдъ.

— Et monsieur a aussi des convictions?— слегка улыбнулась дѣвушка.

— Я человѣкъ своего поколѣнія,—пожалъ плечами Анатоль, нѣсколько сконфузясь отъ столь откровеннаго вопроса.

— A monsieur Шписсъ!.. вѣдь вы съ нимъ, что называется, les inséparables... Его тоже привлекли сюда симпатіи и убѣжденія?—продолжала она все съ той же легкой улыбкой, замѣчая, что ея вопросы начинаютъ коробить прелестнаго правовѣда.

— Шписсъ — самъ по себѣ! — процѣдилъ тотъ сквозь зубы.

— По своей особой части, значитъ.

— То-есть, какъ это по особой?.. Я знаю Шписса за порядочнаго человѣка,—вступился де-Воляй за своего пріятеля

— Oh, oui! un homme parfaitement comme il faut! Я въ этомъ никогда не сомнѣвалась, — подтвердила дѣвушка. — Ну, а на обѣдѣ вы будете сегодня?

— Человѣку сродно питать себя—заботиться о стомахѣ, такъ сказать,—попытался Анатоль вильнуть въ сторону.

— Нѣтъ, я спрашиваю про клубъ—на обѣдѣ въ клубѣ?

— Буду,—нехотя отвѣчалъ онъ, свернувъ глаза куда-то въ пространство.

— И тоже par la conviction? — прищурясь, улыбнулась дѣвушка.

— Н-нѣтъ, далеко не такъ... по... по... обязанности... ma position... это, какъ хотите, обязываетъ.. Не могу же я! не ловко — оправдывался вконецъ сконфуженный Анатоль, явно ища случая, какъ бы поскорѣе удрать отсюда и проклиная себя внутренно за то, что дернула же его нелегкая подойти «къ этой пьявкѣ».—Mais... cependant il est temps de partir.. Bonjour, mademoiselle! Je vous salue, madame!—торопливо откланялся онъ дѣвушкѣ и старушкѣ и, спѣшными шажками, поскорѣй удралъ вонъ изъ церкви, кивнувъ за собою по пути и черненькому Шписсу.

— Однако, высѣкли же вы его!—обратился къ дѣвушкѣ Устиновъ.

— Ничего, тѣмъ вкуснѣе пообѣдаетъ,—отвѣчала она и, протянувъ учителю свою маленькую изящную ручку, направилась къ выходу.

— Кто это?—почтительнымъ полушопотомъ спросилъ вслѣдъ ей Хвалынцевъ.

— Татьяна Николаевна Стрѣшнева, а старушка—тетка ея,—пояснилъ Устиновъ.

— Какое у нея славное лицо!—какъ бы про себя замѣтилъ студентъ, не отрывая глазъ отъ стройной фигурки удалявшейся дѣвушки.

— Одно слово: хорошій человѣкъ она—вотъ что я скажу тебѣ, мой ангелъ! — заключилъ Устиновъ, и пріятели тоже удалились.

* * *

На паперти, волнуясь до извѣстной степени, стояла довольно значительная кучка публики, посреди которой, опершись на суковатую палицу, возвышалась фигура Полоярова. Пальто его было распахнуто и широко раскрывало на груди красную рубашку, шляпа надвинута на глаза, и вся физіономія, вся поза Ардальона выражала грозную рѣшимость гражданскаго мужества.

Плюгавенькій Анцыфровъ шнырялъ туда и сюда, протискиваясь между локтями и боками собравшейся публики и все убѣждалъ не расходиться.

Частнаго пристава уже не было. Онъ еще раньше поскакалъ къ полиціймейстеру.

Полояровъ выжидалъ минуту, когда и помощникъ отвернулся куда-то въ сторону, оставя паперть въ вѣдѣніи только трехъ городовыхъ.

— Зачѣмъ здѣсь полиція?! Долой полицію!— возвысилъ голосъ Ардальонъ, грозно стукнувъ палицей о каменный помостъ паперти:—долой сбировъ! къ чорту алгвазиловъ!

— Долой!.. долой полицію! къ чорту! Вонъ!— довольно дружно подхватили въ кучкѣ, но городовые продолжали-себѣ стоять, какъ ни въ чемъ не бывало, словно бы и не понимая, что эти возгласы, въ нѣкоторомъ родѣ, до нихъ касаются, и только время отъ времени флегматично замѣчали близъ-стоявшимъ, чтобы тѣ расходились — «потому — нэможно! начальство нэ велыть!»

— Господа! — снова возвысилъ голосъ Полояровъ: — господа! Я обращаюсь ко всѣмъ вамъ, ко всѣмъ честнымъ людямъ, у которыхъ наше рабство не вышибло еще совѣсти! Выслушайте меня, господа!.. Нѣмецко-татарскій деспотизмъ петербургскаго царизма дошелъ до maximum своего давленія. Дальше уже терпѣть нельзя... невозможно — или надо задохнуться!

— Молодецъ! Не труситъ!.. Вотъ это такъ! По нашему! Открыто, гласно! — одобрительно отозвались ему въ толпѣ слушателей.

Полояровъ съ самодовольною гордостью обвелъ всѣхъ глазами и подбодрился еще болѣе.

— Я говорю, господа, о фактѣ... о тысячѣ вопіющихъ фактовъ,—началъ было онъ снова, какъ вдругъ, въ эту самую минуту, лихо подкатила къ паперти полиціймейстерская пара въ пристяжку—и съ пролетки спрыгнулъ экс-гусаръ Гнутъ вмѣстѣ съ жандармскимъ адъютантомъ. Гремя по ступенькамъ своими саблями, спѣшно взбѣжали они на паперть и... краснорѣчіе Полоярова вдругъ куда-то испарилось. Самъ Полояровъ даже какъ будто сталъ немножко поменѣе ростомъ, и пальто его тоже

Digitized by Google

какъ-то вдругъ само собою застегнулось, сокрывъ подъ собою красный кумачъ рубашки.

— Господа! покорнѣйше прошу расходиться! Этого нельзя-съ! Это безпорядокъ! рѣзкоавторитетнымъ тономъ закричалъ полиціймейстеръ, направляясь прямо въ толпу.

Въ кучкѣ загалдѣли, задвигались, загомонились... Кто-то закричалъ по-пѣтушиному, нѣсколько человѣкъ свистнули и зашикали, многіе разсмѣялись, но въ этомъ хохотѣ слышна была выдѣланная натяжка, нѣчто неискреннее и весьма принужденное.

Полиціймейстеръ еще рѣзче и строже повторилъ свой внушительный возгласъ. Значительная часть публики нерѣшительно и медленно стала расходиться.

— Господа!.. Не поддавайтесь!.. Не поддавайтесь!.. то тамъ, то здѣсь, позади другихъ, подуськивалъ да подшептывалъ Анцыфровъ, стараясь однако же не быть замѣченнымъ.

Въ это время совершенно случайно проходилъ по улицѣ взводъ Инфляндманландскаго пѣхотнаго полка. Но стоявшей кучкѣ не была извѣстна эта случайность. Кто-то крикнулъ «войско идетъ!»—и это слово какъ-то жутко подѣйствовало на многихъ: вскинули глаза вдоль улицы и, дѣйствительно, увидѣли нѣсколько штыковъ. Анцыфровъ внимательно сталъ отыскивать глазами своего патрона и друга, но другъ его, Полояровъ, неизвѣстно куда успѣлъ уже исчезнуть.

Черезъ нѣсколько минутъ церковная паперть, безъ всякихъ особыхъ понужденій, уже очистилась, и полиціймейстеръ съ адъютантами укатили.

VIII.

Генеральное кормленіе съ музыкой и проч.

Когда публика шла изъ церкви, къ подъѣзду клуба подкатывали первые экипажи. Съѣздъ только-что начинался. Костюмированный швейцаръ, въ чулкахъ и треуголкѣ, надѣтой по-генеральски, отдавалъ входящимъ честь своей булавою. Лѣстница была покрыта парраднымъ краснымъ сукномъ и уставлена цвѣтами. Прислуга оканчивала послѣднія приготовленія.—Метръ-д'отель Кирилла, гладко выбритый и пузатый, сіялъ самодовольной гордостью и чувствомъ сознанія собственной важности и достоинства. Онъ индѣйскимъ пѣтухомъ прохаживался по всѣмъ комнатамъ въ своемъ бѣломъ жилетѣ «при цѣпочкѣ», въ бѣломъ галстукѣ и въ бѣлыхъ нитяныхъ перчаткахъ, а два лакея слѣдовали за нимъ сзади и на раскаленную плитку поливали амбре, дабы распространить повсюду подобающее благоуханіе. Дежурный старшина и распорядители обѣда были всѣ на лицо и важно совѣщались около стола съ hors-d' oeuvres. Музыканты на одной сторонѣ хоръ настраивали свои инструменты, а въ газетной—совѣтникъ губернскаго правленія г. Богоявленскій громко читалъ по бумажкѣ свой будущій спичъ, который черезъ часъ онъ долженъ будетъ произнести наизусть, по внезапному, такъ сказать, вдохновенію и отъ полноты сердца. Теперь же наединѣ, совѣтникъ дѣлалъ «послѣднюю репетичку». Хоры, противуположные той сторонѣ, гдѣ помѣстились музыканты, начали понемногу наполняться дамами, между которыми были исключительно сливки да сметана славнобубенскаго monde. Всѣ взоры, надежды и ожиданія славнобубенскихъ матронъ, сильфидъ и фей, и Діанъ, и весталокъ стремились къ нему, къ ожидаемому гостю, къ интересному и блистательному герою этого празднества. Но пока — матроны и весталки созерцали только большіе столы, составленные покоемъ (П), на которыхъ сверкалъ граненый хрусталь, зеленѣли вѣтки цвѣтущихъ камелій и возвышались серебряныя вазы, пирамидки да корзинки съ конфектами и фруктами, въ ожиданіи коихъ нѣкоторыя лакомыя матроны нарочно понадѣвали платья съ карманами болѣе глубокими.

Но вотъ, зала все болѣе и болѣе наполняется гостями. Съ вышины хоръ движущіеся фраки кажутся чѣмъ-то въ родѣ ползающихъ мухъ. Тамъ и сямъ сверкаетъ золото или серебро на густыхъ и не густыхъ эполетахъ, эффектно мелькаютъ регаліи — отъ смѣющагося Станиславчика въ петличкѣ или медальки, до какой нибудь красавицы-звѣзды, цѣломудренно прячущейся за бортъ чернаго фрака. То и дѣло идутъ поклоны, рукожатія, причемъ дамы на хорахъ очень удобно могутъ наблюдать, сквозь свои лорнеты, прически и спины мужей и знакомыхъ. Вотъ прическа съ украшеніями, вотъ гладкая, безъ украшеній, вотъ благонамѣренная, а тамъ либерально взъерошенная; вотъ показалась и элегантно-парикмахерская куафюра прелестнаго Анатоля; и курчавенькій Шписсъ мотаетъ головкой; а вотъ блестятъ и лоснятся гладко-вымытыя лысины и плѣшины: одна сверкаетъ, какъ бильярдный шаръ, другая молодой рѣпѣ, а третья ноздреватому гречишному блину уподобляются. По залѣ идетъ какое-то сдержанное жужжанье разговоровъ, и по этому жужжанью видно, что всѣ чего-то ожидаютъ и всѣ очень голодны.

Вотъ по гостямъ пробѣжали нѣкій гулъ и движеніе: его превосходительство Непомукъ Анастасьевичъ прибыть изволилъ.—Всѣ бросаются къ его превосходительству. Спины сгибаются, прически и лысины преклоняются, улыбки украшаютъ уста, и нѣкая свѣтящаяся влага теплится во взорахъ. Его превосходительство любезно протягиваетъ руку толстому откупщику, препрославленному по всей губерніи своимъ либерализмомъ и патріотизмомъ, затѣмъ тучному градскому главѣ и вице-губернатору,

Digitized by Google

затѣмъ совѣтникамъ, предсѣдателямъ, разнымъ товарищамъ и господамъ дворянамъ, однако-же не всѣмъ безъ исключенія. Остальной міръ онъ обводитъ глазами и кланяется общимъ поклономъ.

Новое движеніе между присутствующими; губернскій предводитель князь Кейкулатовъ появился въ залѣ. Непомукъ «наилюбезнѣйше и наипочтительнѣйше», привѣтствуетъ князя; въ свою очередь князь точно тѣмъ же платитъ Непомуку,—и оба довольны другъ другомъ, и оба въ душѣ нѣсколько поругиваютъ другъ друга; тѣмъ не менѣе взаимное удовольствіе написано на ихъ лицахъ.

Утробы все болѣе и болѣе ощущаютъ своего рода желудочную Sehnsucht по вкуснымъ яствіямъ и питіямъ, которыя предлежатъ имъ вскорѣ. Непомукъ взглядываетъ на часы. Кажись, всѣ уже въ сборѣ? Дѣло стало за однимъ только дорогимъ гостемъ.—«Скоро-ли же пріѣдетъ! Хоть червячка заморить бы пока!» начинаютъ уже роптать почтенные гости,— но... неловко, неприлично и даже непочтительно морить червяка до появленія свѣтила. Однако, нѣкоторые не выдержали и сбѣгали въ буфетъ, гдѣ по секрету добыли таки себѣ «по рюмчонкѣ».

Но вотъ сугубо зашевелились и пріободрились гости, иные крякнули въ руку, иные бакенбарды пригладили, иные жилетку подергали къ низу. Желанная минута наступила. Свѣтило еще только подкатывало къ клубу, какъ особый вѣстовой, роль котораго, ради пущаго параду, возложена была на квартальнаго надзирателя, оповѣстилъ объ этомъ событіи. Дежурный старшина махнулъ на хоры бѣлымъ платкомъ, отъ котораго распространился крѣпкій запахъ пачули,— и оркестръ торжественно грянулъ величественный полонезъ.

Блистательный баронъ Иксъ-фонъ-Саксенъ вошелъ въ залу подъ аккомпанементъ этой музыки. Онъ опоздалъ ровно на столько, на сколько требовали того приличіе и, вмѣстѣ съ тѣмъ, выдержка собственнаго достоинства. Толпа гостей, съ Непомукомъ и Кейкулатовымъ во главѣ, встрѣтила его почти у самыхъ дверей. Спины, лысины и прически тотчасъ же изобразили самое почтительное согбеніе, лики освѣтились сугубо-радостными улыбками. Шписсъ и де-Воляй протискались впередъ и держались поближе къ кучкѣ самыхъ крупныхъ губернскихъ тузовъ, которымъ баронъ протягивалъ полную руку, и старались все время держаться на виду. Но... увы! баронъ—все какъ-то не замѣчалъ ихъ. Физіономіи двухъ достойныхъ друзей начало уже кисло коробить и передергивать отъ опасенія: а ну, какъ онъ вдругъ, при всѣхъ-то, намъ и не подастъ руки? Самая сладостная улыбка неоднократно уже появлялась на ихъ лицахъ, спины и головы неоднократно уже пытались сотворить почтительное согбеніе, и сами обладатели этихъ головъ изъ силъ выбивались улучить подходящую минутку, чтобы подвернуться подъ баронскіе взоры. Но взглядъ барона совершенно равнодушно и мимолетно скользилъ по ихъ физіономіямъ, словно бы по незнакомымъ, — и физіономіи пріятелей снова начинало передергивать: самолюбіе ихъ уязвлялось,— они вѣдь всему городу успѣли протрубить уши, что баронъ съ ними знакомъ чуть не пріятельски. Но, наконецъ, подвернулись таки подъ глаза: фонъ-Саксенъ замѣтилъ ихъ четвертый поклонъ и удостоилъ обоихъ легкаго полупожатія. Лики инсепараблей просіяли, самолюбіе было спасено.

Не станемъ изображать читателю, какъ гости истребляли закуски, какъ приналегли они на желудочныя, тминныя, листовки и померанцовки, какъ задвигались и загремѣли стулья, съ какими плотоядными улыбками разсѣлись всѣ на подобающее каждому мѣсто, какъ величественно священнодѣйствовалъ у особаго стола клубный метръ-д'отель Кирилла, направляя во всѣ концы столовъ ряды лакеевъ съ многоразличными яствами, за коими въ порядкѣ слѣдовали многоразличныя питія; — скажемъ только одно, что баронъ сидѣлъ на самомъ почетномъ мѣстѣ, между Непомукомъ и княземъ Кейкулатовымъ, и что самъ Кирилла никому не пожелалъ уступить честь прислуживать этимъ тремъ лицамъ: рѣдкій и высшій знакъ почтенія со стороны амбиціознаго Кириллы. Гости кушали и пили, пили и кушали, и снова кушали, и снова пили; все сіе свершалось въ достодолжномъ порядкѣ, благочинно и вполнѣ добросовѣстно, какъ и подобаетъ благонамѣреннымъ гражданамъ, которые еще съ утра спеціально воспитывали желудки къ воспріятію подобнаго обѣда.

Былъ уже пиръ въ полупирѣ и хмѣль въ полухмѣлѣ, какъ говорится въ старыхъ сказкахъ. Губернаторъ и предводитель успѣли уже провозгласить всѣ офиціальные тосты, на которые вся зала отвѣтствовала «ура», а музыка громогласными тушами. Но вотъ поднялся съ мѣста совѣтникъ губернскаго правленія, г. Богоявисенскій, обвелъ все общество масляно-заискивающими взорами, какъ бы прося себѣ снисходительнаго вниманія, и наконецъ остановилъ эти взоры на блистательномъ гостѣ, съ какою-то сладостно-восторженною почтительностью. Онъ помѣщался какъ разъ насупротивъ барона. Все общество встало, замолкло и навострило уши.

— Милостивые государи! — началъ совѣтникъ слегка дрогнувшимъ голосомъ:—въ настоящее время, когда...

— И такъ далѣе! подшепнулъ, на дальнемъ концѣ стола, одному изъ своихъ сосѣдей, привилегированный губернскій острякъ и философъ тучно упитанный и праздно проживающій. Под-

Digitized by Google

халютинъ. Извѣстно вѣдь, еще по традиціямъ былого времени, что каждый губернскій городъ необходимо долженъ имѣть своего собственнаго, мѣстнаго остряка и философа, который ужь такъ полагается тутъ словно бы по штату.

— Въ настоящее время,—продолжалъ межъ тѣмъ ораторъ-совѣтникъ,—когда Россія, въ виду изумленной Европы, столь быстро стремится по пути прогресса, общественнаго развитія и всесторонняго гражданскаго преуспѣянія, по пути равенства личныхъ правъ и какъ индивидуальной, такъ и соціальной свободы; когда каждый изъ насъ, милостивые государи, чувствуетъ себя живымъ атомомъ этого громаднаго тѣла, этой великой машины прогресса и цивилизаціи,— что необходимо... я хочу сказать — неизбѣжно должно соединять насъ здѣсь, за этой дружественной трапезой, въ одну братскую, любящуюся семью,—какое чувство, какая мысль должны руководить нами?

— Бр-р-р-рава! вдругъ одиноко рявкнулъ откуда-то подгулявшій недоросль изъ богатыхъ дворянъ.

Полиціймейстеръ Гнутъ, изобразивъ на лицѣ своемъ суровую строгость, смѣшанную съ ужасомъ, и тихонько отставивъ стулъ, на осторожныхъ цыпочкахъ предупредительно направился въ ту сторону, откуда раздалась эта неумѣстная «брава».

— Одно чувство, одна мысль, милостивые государи! — витійствовалъ межъ тѣмъ ораторъ:—любовь и польза, польза и трудъ и надежда на радостное созерцаніе будущихъ плодовъ его. Любовь къ ближнимъ и къ общественному благу, трудъ на пользу общую—это-то и есть совокупляющее насъ чувство и единящая насъ мысль.

— Такъ! такъ!.. Браво!.. Превосходно!.. Слушайте, слушайте! — одобрительно пробѣжало изъ устъ въ уста по толпѣ состольниковъ — и нѣсколько смущенная доселѣ физіономія оратора облегчительно прояснилась.

— Мы знаемъ другъ друга, милостивые государи!—снова полился потокъ обѣденнаго спича;—да! мы знаемъ себя; мы всѣ воодушевлены лучшими стремленіями нашего прогрессивнаго времени. Мы пробудились отъ сна и бодро шествуемъ нынѣ впередъ и впередъ!

— Браво!.. Бр-р-р-рава!.. Тсс!.. слушайте, слушайте!

— Будемъ же стремиться къ тому, чтобы поддерживать другъ друга, каждый индивидуально и всѣ вообще, на пути служенія нашего пользѣ общественной и интересамъ гражданственнымъ! Будемъ стремиться ко всестороннему развитію, будемъ цѣнить и по достоинству награждать труды и усердіе каждаго, и да присоединятся къ ликованію нашему наши меньшіе братія, нашъ добрый, русскій, православный мужичекъ!

Глаза оратора, при сихъ послѣднихъ словахъ, умаслились нѣкоею сантиментальною, сахаристою влагою, а въ томъ концѣ стола, гдѣ присутствовалъ острякъ Подхалютинъ, какъ будто послышалось одно многозначительное, крякающее: «гм!»

— Но, милостивые государи! выпрямился и отъ преизбытка чувства глубоко вздохнулъ ораторъ,—для того, чтобы мы могли бодро и стройно, подобно музыкальному чуду нашего вѣка, называемому «органомъ», шествовать по пути развитія, цивилизаціи и прогресса, что прежде всего необходимо намъ, воспрошу я васъ?—Необходимъ намъ неуклонный и бдительный надзоръ просвѣщеннаго начальства, необходимъ намъ строгій и твердый порядокъ, дабы каждый изъ насъ могъ, такъ сказать, мирно сидѣть подъ своею смоковницей, въ вертоградѣ той дѣятельности, къ коей призванъ, и въ лонѣ семейства своего вкушать скромные, но сладкіе плоды своей гражданской дѣятельности. Безъ порядка органъ лишится своей стройности. Нарушители мирнаго теченія рѣки прогресса могутъ вредоносно воздѣйствовать на всѣ наши жизненныя отправленія, лишить насъ дружества и братства, ввергнуть насъ во всѣ ужасы Франціи конца XVIII столѣтія, подвергнуть опасности не только лоно семействъ и домашнихъ очаговъ нашихъ, но и всю машину общественнаго строя, но и самую жизнь нашу, столь необходимую нынѣ для пользы всеобщаго преуспѣянія, и чрезъ то—страшно вымолвить!—рушить внезапно величественное зданіе цивилизаціи!.. И такъ, милостивые государи!—торжественно поднявъ бокалъ и обтеревъ на лбу обильный и крупный потъ, заключилъ ораторъ:—скажемъ наше доброе русское спасибо тому доблестному мужу, который мощною рукою сумѣетъ водворить порядокъ, тишину и спокойствіе въ нашей взволнованной мѣстности, коей почти еще только вчера угрожала столь страшная опасность! Я торжественно подымаю мой признательный бокалъ и провозгла шаюза душевный тостъ во здравіе его превосходительства барона Адольфа Христіановича!

— Бр-р-раво-о!.. Ур-ра-а!.. Ура-а! Тушъ! тушъ!—загремѣло по залѣ. Двиганье стульевъ, крики, учащенное звяканье ножей и вилокъ о края тарелокъ и чоканіе бокаловъ смѣшались съ громогласнымъ трескомъ трубъ и литавръ. Нѣкоторые чувствительные гости источали слезы умиленія отъ усерднаго чоканья, шампанское выплескивалось за края бокаловъ, и многіе фраки и жилеты были уже обильно облиты нектаромъ вдовы Клико. Упорный недоросль, не внимая увѣщаніямъ лихого Гнута, билъ кулакомъ по столу и бѣлугой ревѣлъ свое энергическое «бр-р-рава! Удружилъ!» и къ этимъ двумъ восклицаніямъ пьяненько прибавлялъ еще: «балдар-рю! балдарю, совѣтникъ!.. балдарю!..» Толпа состольниковъ наперерывъ стремилась удостоиться чести и удовольствія чокнуться съ бли-

Digitized by Google

стательнымъ барономъ, который горячо потрясалъ чрезъ столъ руку краснорѣчиваго спикера, не упустившаго, при видѣ протянутой къ нему баронской длани, предварительно обтереть салфеткой свою собственную, черезчуръ уже запотѣлую (отъ усердія) руку. Непомукъ отъ полноты душевныхъ чувствъ ничего не вымолвилъ, но чокнувшись и тоже пожавъ руку Саксена, только просопѣлъ очень выразительно. Князь Кейкулатовъ началъ было въ эдакомъ родѣ: «позвольте, молъ, баронъ и мнѣ, какъ представителю, отъ лица благороднаго дворянства», но запнулся, смѣшался, улыбнулся и завершилъ неожиданнымъ словомъ: «чокнемтесь!» Откупщикъ и патріотъ Верхохлебовъ неистово «біялъ» себя въ грудь и восклицалъ: «Отчизна!.. Сыны! братцы! благодѣтели!... Я вашъ и вы мои!.. П-цалуемся!» Градской глава начиналъ уже придумывать, какое съ него теперь «пожертвованіе» взлупятъ и какую медаль за это пожалуютъ,—«а что взлупятъ, такъ ужь это безотмѣнно». Много благодарностей, рукопожатій, чоканья и лобызаній досталось и на долю оратора. Одинъ изъ первыхъ подлетѣлъ къ нему умиленный Болеславъ Казиміровичъ Пшецыньскій.

— Благодару!.. благодару! — напиралъ онъ на совѣтника, съ своимъ польскимъ акцентомъ!—особливо за то, что не забыли замолвить словечко о награжденіи за труды службы и усердіе. Это, знаете, и генералу должно понравиться. Прекрасная рѣчь! высокая рѣчь!.. И чувство, и стиль, и мысль, и все эдакое!.. Вы пожалуйста, дайте мнѣ ее списать для себя: въ назиданіе будущимъ дѣтямъ, потомкамъ моимъ оставлю!.. Благодару! благодару вамъ!

И полковникъ съ чувствомъ обнялъ спикера и облобызалъ его дважды, причемъ мокрые отъ вина полковничьи усы оставили свой влажный слѣдъ на гладко выбритыхъ, лоснящихся щекахъ совѣтника.

Засимъ поднялся нѣкоторый, впрочемъ еще довольно скромный и приличный, кавардакъ. Бокалы то и дѣло наливались и дополнялись. Губернаторъ снова предложилъ тостъ за дорогого гостя, а дорогой гость отвѣтилъ тостомъ за здоровье почтеннаго, многоуважаемаго, достойнаго и всѣми любимаго начальника губерніи; начальникъ губерніи—за здоровье князя Кейкулатова, князь Кейкулатовъ — за здоровье начальника губерніи и опять-таки дорогого гостя; дорогой гость за князя Кейкулатова; Пшецыньскій за Корытникова, Корытниковъ за Пшецыньскаго; откупщикъ за голову, голова за откупщика; вице-губернаторъ за совѣтниковъ, совѣтники за вице-губернатора; Шписсъ выпилъ за Анатоля, Анатоль за Шписса и потомъ каждый самъ за себя. На концѣ стола какая-то кучка пріятелей испивала за здоровье недоросля. Пили и многія другія здоровья: и за присутствующихъ и за отсутствующихъ, и за прекрасный полъ славнобубенскій, и за того, кто любитъ кого, и за гражданственное преуспѣяніе, и за развитіе кого-то и чего-то, и за прогрессъ нашего времени, и за цивилизацію, и наконецъ даже за здоровье клубнаго метръ-д'отеля Кириллы. Словомъ, тутъ было широкое и раздольное поле для всяческихъ изліяній и прочаго благодушества, — душа выходила нараспашку. Въ одномъ концѣ стола кто-то предложилъ ужь было составить и послать телеграмму. Мысль одобрена, но въ исполненіи своемъ остановилась за тѣмъ лишь, что рѣшительно никто не могъ придумать, кому бы, въ самомъ дѣлѣ, и зачѣмъ, и о чемъ именно послать телеграмму? Другіе предлагали изобразить все это торжество достойнымъ образомъ во всѣхъ столичныхъ газетахъ, а начать съ губернскихъ вѣдомостей, — и эта мысль тоже понравилась. Взоры многихъ уже начали съ заимствующей надеждой ласково обращаться на краснорѣчиваго оратора. – Третьи заявляли, что хорошо бы было адресъ благодарственный, или хоть признательный представить барону и основать въ честь его какую-нибудь стипендію. Насчетъ стипендіи дѣло пошло зажимисто и разыгралось болѣе какъ-то въ молчанку, потому что идетъ оно скорѣе по части именитаго купечества да на счетъ откупщика и головы градскаго; а вотъ мысль объ адресѣ признана весьма не дурною, и тѣмъ паче, что адресъ—дѣло вполнѣ современное и для кармана не убыточное. Анатоль де-Воляй соблазнительно подбивалъ уже добрую компанію отправиться съ нимъ къ какой-то Альбертинкѣ, которая по его увѣреніямъ, была просто «смакъ-женщина».

Наконецъ всѣ власти, важности и почтенности встали изъ-за стола, и дѣло перешло въ гостиныя, по части кофе, чаю, сигаръ и ликеровъ. Но многіе изъ публики остались еще за столомъ допивать шампанское, причемъ кучка около недоросля все увеличивалась. На хоры понесли корзинки и горки фруктовъ съ конфектами да мороженое угощать матронъ и весталокъ славнобубенскихъ. Туда же направился своею лѣнивою, перевалистою походкою и губернскій острословъ Подхалютинъ. Онъ любилъ «поврать съ бабами», и это было цѣлью его экспедиціи на хоры.

— Пелагея Ивановна — обратился онъ съ сюнику къ одной отмѣнно скупой, преклонныхъ лѣтъ матронѣ, которая торопливо, но усердно старалась нахватать себѣ возможно болѣе дарового угощенія,—а, Пелагея Ивановна! Если у васъ—сохрани Господи—карманы малы окажутся, такъ вы сдѣлайте одолженіе, безъ церемоніи, все, что не влѣзетъ, мнѣ препоручите: у меня просторно; а я доставлю вамъ всецѣло.

Матрона побагровѣла отъ злости и прошипѣла что-то невнятное, а острословъ и философъ остался весьма доволенъ тѣмъ, что успѣлъ взбѣсить матрону.

Digitized by Google

— Скажите, пожалуйста—обратилась однако къ нему матрона, успѣвшая уже черезъ минуту оправиться и одуматься, — какими это судьбами вы-то—вѣдь вы у насъ такой либералъ, демократъ, прогрессистъ — и вдругъ на этомъ обѣдѣ!.. Вѣдь вы за мужиковъ всегда, на словахъ-то.

— А что-жь? Я, сударыня, тризну, сирѣчь поминки справляю, поклонился Подхалютинъ,— Вѣдь я—сами изволите знать—по философской части отчисленъ,—а это у насъ все равно, что по запаснымъ войскамъ,—ну такъ значитъ, и взираю на это дѣло съ моей философской точки зрѣнія.

— Какая жь это точка? захихикали нѣкоторыя дамы, ожидая, что острословъ, вѣроятно, отрѣжетъ имъ что-нибудь скабрезно-пикантное, — а славнобубенскія дамы, надо замѣтить, вообще питаютъ нѣкоторую слабость къ скабрезно-пикантному.

— Философская точка, милостивыя государыни, началъ пояснять присяжный острякъ,— это самая простая и естественная, а потому самая вѣрная, настоящая точка. Вы думаете, что мы и взаправду чествуемъ этого благороднаго барона изъ остзейской стороны? Вы полагаете, что всѣ эти спичи и прочее суть заявленія нашей симпатіи и признательности? Если вы мыслите такъ, то плохо же вы, сударыни, знаете вашихъ мужей и братьевъ, скажу я вамъ! Всѣ эти спичи и симпатіи— дѣло совсѣмъ постороннее: такъ-себѣ съ боку припека. Ничего этого у насъ, въ сущности, нѣтъ и не было, а вся штука въ томъ, что мы всѣ, во-первыхъ, добрые, очень добрые, и сердце у насъ какое-то мягкое, слюноточивое; а второе дѣло, что всѣ мы больно ужь на брюхо горазды.

— Фи! какія мерзости!.. Quelles phrases lâches, que vous nous exprimez! съ притворнымъ жеманствомъ запищали нѣкоторыя матроны и сильфиды; но острословъ, ни мало не смутясь, продолжалъ въ томъ же родѣ. Онъ хорошо зналъ свою аудиторію.

— Да! именно на брюхо больно горазды. Всѣ эти спичи по части прогресса, развитія тамъ симпатій, заявленій и прочаго — все это то-же самое, что бешемель при телятинѣ, то-есть нѣчто, къ самой сути дѣла, пожалуй, вовсе и не идущее. Это мы только, что называется, чорту кочергу ставимъ, мимоходомъ отдаемъ дань Ваалу нашего времени, а главная-то суть у насъ всегда была, и есть, и будетъ неизмѣнно все одна и та же: это — жратва! да, жратва, милостивыя государыни! Мы, благочестивые россіяне, при всякомъ удобномъ случаѣ жремъ: на родинахъ—жремъ, на поминкахъ—жремъ, на крестинахъ чавкаемъ, на именинахъ лопаемъ, на свадьбахъ трескаемъ, и рады-радехоньки каждому случаю, коли онъ подаетъ намъ самый маленькій поводъ собраться вкупѣ и пожрать. Такъ точно и нынче: остзейскій баронъ и чувства признательности за будущіе его подвиги — это только случайный предлогъ къ жратвѣ, то-есть та же бешемель. Мы и чувства наши, и самого-то барона, пожалуй, завтра же забудемъ, а вотъ стерлядей аршинныхъ, да олонецкихъ рябчиковъ долго вспоминать станемъ, до первой новой... ну, хоть экзекуціи или еще какой-нибудь тамъ эмансипаціи, которыя обѣ безразлично тоже будутъ удобнымъ предлогомъ. Потому-то вотъ я и присутствую на этомъ обѣдѣ, коли вы знать хотите, да и всѣ-то мы здѣсь только поэтому— ей-Богу!

Изложивъ такимъ образомъ свое объясненіе, острословъ тѣмъ болѣе охотно перешелъ въ область скабрезно-пикантнаго, что дамы начали ужь находить его черезчуръ скучнымъ, — и черезъ минуту на хорахъ раздавалось уже веселое хихиканье.

IX.

Cegła wielkiego budowania.

Къ девяти часамъ вечера большинство почтеннѣйшей публики уже разъѣхалось изъ клуба—кто въ театръ, кто на боковую, кто къ разнымъ своимъ подругамъ съ лѣвой стороны. Остались только тѣ, которые давно уже выступили бойцами на зеленомъ полѣ.

Болеславъ Казиміровичъ Пшецыньскій вышелъ вмѣстѣ съ лихимъ полиціймейстеромъ Гнутомъ.

— Махнемъ-ка, полковникъ, въ театръ!— предложилъ отчаянный экс-гусаръ: — нынче Шмитговъ въ водевильчикѣ, то-есть—я вамъ скажу—прелесть, что такое!.. Ножки, ножки эти—канальство!

— Н-нѣтъ, знаете... голова что-то болитъ,— поморщась, солиднымъ тономъ отклонился полковникъ: — я лучше прокатиться немножко поѣду.

И они разстались.

Полковникъ вскочилъ въ свои крытыя дрожки и приказалъ кучеру ѣхать совсѣмъ не въ ту сторону, куда въ сущности самъ намѣревался отправиться. Околесивъ двѣ-три улицы, онъ указалъ наконецъ возницѣ своему настоящій путь и вскорѣ подъѣхалъ къ высокому забору, за которымъ въ глубинѣ двора ютился въ палисадникѣ каменный одноэтажный домикъ, рядомъ съ небольшимъ католическимъ костеломъ, построеннымъ во вкусѣ тѣхъ quasi-греческихъ зданій, которыми было столь богато начало нашего столѣтія. Дворникъ растворилъ ворота, и полковничьи дрожки подкатили къ крылечку небольшого домика. Ставни были плотно закрыты, но Болеславъ Казиміровичъ смѣло, привычною рукою, дернулъ за ручку звонка. Отворить ему дверь вышла со свѣчей

Digitized by Google

въ рукѣ молодая, смазливая женщина, изъ породы тѣхъ, которыхъ очень характерно называютъ «вкусными» и «сдобными».

— Панъ ксендзъ дома?—спросилъ Пшецыньскій, игриво и ласково кивнувъ ей головою.

— Дома, дома! ужь давно ждетъ пана полковника,—радушно отвѣтила сдобная женщина, съ удовольствіемъ встрѣтивъ гостя привѣтливой улыбкой.

Полковникъ сбросилъ шинель и вступилъ въ покои священника.

Пріемная комната ксендза-пробоща болѣе чѣмъ скромно была меблирована простою дубовою мебелью, безъ мягкихъ сидѣній, безъ малѣйшаго намека на какой-бы то ни было комфортъ. Единственнымъ украшеніемъ ея было простое, даже бѣдное Распятіе надъ окошкомъ.

На встрѣчу Пшецыньскому вышелъ неслышною, дробною походочкою, потупивъ въ землю глаза, плотно-кругленькій мужчина лѣтъ сорока, въ длинной черной сутанѣ. Широкое лицо его свѣтилось безмятежно довольной улыбкой. Видно было, что человѣкъ этотъ живетъ покойно, ѣстъ вкусно, пьетъ умѣренно, но хорошо, спитъ сладко и всѣ житейскія отправленія свои совершаетъ въ надлежащемъ порядкѣ. «Всегда доволенъ самъ собой, своимъ обѣдомъ и... женой», сказали бы мы, еслибъ католическіе ксендзы не были обречены на безбрачіе.

— Пану Болеславу!—поклонился онъ кротко, но вполнѣ пріятельски, — и гость вмѣстѣ съ хозяиномъ, взявъ другъ друга обѣими руками подъ локти, облобызались дважды.

— Ну, пойдемъ до кабинета: тамъ теплѣе и покойнѣе... потолкуемъ... Я давно ужь съ нетерпѣніемъ ждалъ пана, — радушно говорилъ ксендзъ, предупредительно пропуская Пшецыньскаго въ смежную комнату.—Сядай, муй коханы, сядай на ту фотелю... ближе къ камину!.. Ну, то такъ ладне!.. Чѣмъ же мнѣ подчивать пана?

— Ну, ужь ничего не могу! — прямо съ обѣда!—отказался Пшецыньскій.

— Э, нѣтъ у насъ такъ не водится!—разставилъ ксендзъ свои руки:—не пій зъ блазнемъ, не пій зъ французомъ, не пій зъ родзонымъ ойцемъ, зъ коханкой не пій, а зъ ксендземъ выпій—таковъ мой законъ! Я дамъ пану добрую цыгару, а Зося подастъ намъ клубничнаго варенья и бутылочку венгржины, у меня вѣдь—самъ знаешь, коханку,—завѣтныя! Отъ Фукера изъ Варшавы выписываю,—отказаться не можно!

Взглядъ у пана ксендза былъ мягонькій, тихенькій, но немного какъ будто кошачій и въ душу заползающій, и голосъ тоже былъ тихій, мягкій, немножко тягучій и отчасти сладкій. Говорилъ онъ словно бы гладилъ васъ по шерсткѣ бархатною кошачьею лапкою, такъ что пріятное щекотанье на душѣ отъ его словъ ощущалось. И вотъ, пошелъ онъ распорядиться насчетъ дружескаго угощенья, а полковникъ снялъ и поставилъ въ уголъ свою саблю, съ подергиваньемъ поправился насчетъ шароваръ, въ силу старой кавалерійской привычки, разстегнулъ сюртукъ и въ самой покойной позѣ погрузился въ глубокое, мягкое кресло, передъ пылающимъ каминомъ.

Этотъ уютный кабинетъ, или такъ называемый, у ксендзовъ «лабораторіумъ», былъ любимою комнатою ксендза-пробоща Ладыслава Кунцевича. Мягкій коверъ застилалъ крашеный полъ, а зеленыя рисованныя гардины, кидая на все колоритъ мягкаго полусвѣта, прикрывали большія окна, на которыхъ помѣщались розы, олеандры, левкои и магноліи. Широкій письменный столъ, освѣщаемый висячею лампою подъ молочнымъ колпакомъ, былъ покрытъ бумагами, книгами и множествомъ такихъ бездѣлушекъ, которыя можно встрѣтить развѣ на столѣ очень красивой женщины или записного великосвѣтскаго денди; но въ этихъ бездѣлушкахъ ничто не оскорбляло вкуса и благопристойности, ничто не нарушало строгаго порядка и своеобразной симметріи. Передъ широкой оттоманкой разстилалась на полу роскошно выдѣланная медвѣжья шкура. По одной стѣнѣ были протянуты полки съ рядами книгъ, между которыми виднѣлись сочиненія Севуа, извѣстныя высшею строгостію религіозныхъ требованій, нѣсколько почтенныхъ фоліантовъ и толстыхъ томиковъ, переплетенныхъ въ желтовато-бѣлую телячью шкуру, отъ которыхъ вѣяло почтенной древностью. По другой стѣнѣ висѣло большое Распятіе изъ чернаго дерева, съ фигурою Христа, очень изящно выточенною изъ слоновой кости, и нѣсколько гравюръ: тамъ были портреты св. Казиміра, покровителя Литвы, знаменитой довудцы графини Эмиліи Плятеръ, графа Понятовскаго, въ уланской шапкѣ, геройски тонущаго въ Эльстерѣ, Яна Собѣскаго, освободителя Вѣны, молодцовато опершагося на свою «карабелю», св. іезуита Іосафата Кунцевича, софамильника пана Ладыслава, который почиталъ себя даже происходящимъ изъ одного съ нимъ рода, и наконецъ прекрасный портретъ Адама Мицкевича. На каминѣ между фарфоровыми вазочками, стояли двѣ гипсовыя фигурки, изъ которыхъ одна изображала Джузеппе Гарибальди, а другая—Тадеуша Костюшку въ чамаркѣ и конфедераткѣ. Въ глубинѣ комнаты возвышался молитвенный аналой съ высокимъ подколѣнникомъ, для того, чтобы необременительно было стоять на колѣняхъ во время молитвы. На аналоѣ помѣщались: бревіарій, два вазончика съ букетами искусственныхъ цвѣтовъ, изящное мраморное изображеніе Мадонны и надъ нею металлическое маленькое Распятіе. Нѣсколько другихъ картинокъ изображали все аллегорическія да историческія

Digitized by Google

сценки изъ исторіи Литвы и Польши, въ родѣ любовныхъ объятій Нѣмана съ Вилеей, страданія какихъ-то католическихъ святыхъ и двѣ богородицы: Остробрамскую и Ченстоховскую. Но замѣчательнѣе всего по художественной части въ этой комнатѣ являлись два портрета, вдѣланные, подъ стекломъ, въ золоченыя рамки и висѣвшіе прямо передъ рабочимъ столомъ хозяина. На одномъ портретѣ очень рельефно вырисовывались энергическія черты покойнаго императора Николая; другой изображалъ государя императора Александра II.

Вкусная Зося, все съ той-же игриво-привѣтливой улыбкой, принесла на подносѣ хрустальную вазочку съ вареньемъ и темную бутылку, на поверхности которой являлись почтенные слѣды стародавняго пребыванія въ Фукеровскихъ подвалахъ.

— Добрымъ людямъ, добрую венгржину не подобаетъ пить изъ простыхъ стакановъ, докторально замѣтилъ панъ ксендзъ: — а потому мы достанемъ двѣ фамильныя дѣдувки: еще Ржечь Посполиту помнятъ!

И онъ не безъ самодовольной гордости добылъ изъ маленькаго шкафчика двѣ серебряныя стопки изящной старо-польской работы.

— То еще моему дѣду, пану Богушу Кунцевичу, самъ ясneосвѣцоны панъ ксіонже Адамъ-Казимержъ Чарторыйскій на охотѣ въ Пулавахъ презентовалъ на памѣнтекъ, бо панъ дѣдъ Богушъ (тенчасъ еще млоды чловѣкъ) добрже забилъ недзьвѣдзя съ едней карабелей!—съ особеннымъ уваженіемъ пояснилъ панъ ксендзъ, поднося къ пану Болеславу свои стопки, чтобы тотъ полюбовался на ихъ отмѣнную чеканку.

Панъ ксендзъ, съ пріемами истаго знатока и любителя, серьезно освидѣтельствовалъ поданную бутылку; неторопливо и аккуратно откупорилъ ее, обтеръ и обчистилъ салфеткой горлышко, съ улыбкой истиннаго наслажденія, тихо прижмуривъ глаза, глубоко потянулъ въ себя носомъ ея ароматный букетъ, затѣмъ сталъ тихо лить вино, любуясь на его чистую, золотистую струю и, словно-бы прислушиваясь къ музыкальному шелесту и бульканью льющейся влаги, отхлебнулъ отъ края и подалъ стопку своему гостю. Потомъ съ точно такимъ-же наслажденіемъ онъ наполнилъ другую для самого себя и, придвинувъ возможно ближе свое кресло, усѣлся какъ-разъ противъ Пшецыньскаго, затѣмъ тихо дотронувшись обѣими ладонями до его колѣней и пытливо засматривая въ его глаза, спросилъ какимъ-то нѣжно-ласковымъ, какъ-бы разслабленнымъ и въ то-же время таинственно-серьезнымъ тономъ:

— Ну, и цо-жь, мой коханы?

— Ну, и ницъ! — пожалъ плечами полковникъ.

— Якъ-то ницъ?!.. Вѣдь стрѣляли?

— Въ Снѣжкахъ стрѣляли, а въ Пчелихѣ нѣтъ, и въ Коршанахъ нѣтъ... Да это что! Этихъ глупыхъ барановъ даже и пулей не озлобишь! Крѣпки они очень, мой ксенже канонику!..

И Пшецыньскій подробно и обстоятельно, часъ за часомъ, шагъ за шагомъ, передалъ своему собесѣднику всю исторію пчелихинскихъ и снѣжковскихъ возстаній и укрощеній. Ксендзъ слушалъ серьезно и внимательно, время отъ времени отхлебывая маленькими глотками изъ своей стопки. По временамъ выраженіе лица его принимало многозначительно-довольный видъ, и онъ одобрительно поддакивалъ Пшецыньскому кивками. Когда-же полковникъ окончилъ свой отчетъ, ксендзъ-пробощъ Кунцевичъ вздохнулъ какъ-то особенно легко, выразительно-крѣпко пожалъ руку гостю и съ многодовольной улыбкой сказалъ ему:

— Терпѣніе, терпѣніе, муй коханы брацишку!.. Я доволенъ паномъ: панъ дѣйствовалъ хорошо! Ойчизна неподлеглая, вольная, не забудетъ послуги паньскей!.. Каждое такое дѣйствіе, какъ было въ Снѣжкахъ, это новый кирпичъ въ фундаментѣ велькего будованя!

И ксендзъ, воодушевленный завѣтною мыслью, всталъ съ мѣста и зашагалъ по комнатѣ, отчасти взволнованною, но вѣчно неслышимою, беззвучною походкою.

— Терпѣніе, говорю я!—продолжалъ онъ, потирая руки:—терпѣніе, терпѣніе!.. Это ничего, что это быдло кричало: «мы царскіе и что кровь наша царская!»—важно то, что въ нихъ стрѣляли, что они видѣли убитыхъ братьевъ, что они крови понюхали, — вотъ что важно! Такіе моменты не должны проходить даромъ,— человѣческая память не должна ихъ забывать! И ты, муй коханы панку, придержался тутъ доброй политики: дѣло сдѣлалъ, совѣтъ подалъ, а самъ въ сторонѣ. Этихъ псовъ вѣдь только науськать надо, а ужь грызть они пойдутъ сами! Кто таковъ въ ихъ глазахъ посланецъ? Правительство! Сегодня они кричатъ: «мы царскіе!»— завтра перестанутъ, лишь-бы на нашу бѣдную долю достовалось побольше такихъ добрыхъ посланцевъ! Нужды нѣтъ, что это быдло не будетъ съ нами: намъ его и не нужно; оно будетъ само по себѣ и само за себя; лишь бы поднялось одновременно съ нами—и тогда дѣло наше выиграно! Мы разомъ дадимъ шахъ и матъ! Они для насъ дрова, которые мы сжигаемъ. Но... будемъ казаться пока братьями... Это нужно! Вотъ я покажу пану одну штуку!—продолжалъ ксендзъ, отперевъ свое бюро, въ которомъ подавилъ незамѣтную пружину, раскрывшую потайной ящичекъ: — вотъ, я не далѣе какъ на дняхъ еще, въ полнѣйшее подтвержденіе нашихъ собственныхъ мыслей и плановъ, получилъ отъ бискупа съ забранего края маленькую цидулу... я вѣдь писалъ туда. Тутъ и маппа [1]) прило-

[1]) Планъ, ландкарта.

Digitized by Google

жена. Эту мапну составилъ одинъ изъ наивысшихъ филяровъ велького будованя, панъ грабя Скаржиньскій. Панъ, конечне, слыхалъ про пана грабего и знаетъ, цо то есть за дроги человѣкъ!.. Вотъ что пишетъ бискупъ:

«Недоразумѣніе между хлопами и панами, вслѣдствіе царства тьмы и дьявола, должны усложняться, и уже сильно усложнились по всему забранему краю. Паны, какъ добрые обыватели, остаются въ сторонѣ, а дѣло идетъ черезъ посессоровъ, экономовъ, арендаторовъ и въ особенности черезъ пакцяжей [1]). При первыхъ недоразумѣніяхъ, и намъ и имъ (разумѣю добрыхъ пановъ), подобно Понтію Пилату, надлежитъ умывать руки и (политично для холопскихъ глазъ) стараться ввести въ дѣло войско и власть наѣзда. Эмиссары дѣлаютъ свое дѣло и по корчмамъ пускаютъ слухи, что московскій царь, чрезъ своихъ катовъ и гицелей-желнержей, душитъ и пановъ, и хлоповъ вмѣстѣ; что паны рады бы дать хлопамъ и волю, и землю, да Москва мѣшаетъ: москали не хотятъ воли. Озлобленіе на ржондъ московскій, по свѣдѣніямъ нашимъ, сильно растетъ между хлопами,—Богъ и свентый Казимержъ помогаютъ свентей справѣ. Панъ грабя систематично намѣтилъ на мапнѣ, отъ пункта до пункта, гдѣ, какъ и когда должны происходить воинскія экскурціи. Онъ строго и обдуманно расчелъ, что если въ пунктѣ А произошло столкновеніе между хлопами и быдломъ наяздовымъ, то до какихъ географическихъ предѣловъ можетъ и и долженъ распространиться въ народѣ слухъ и молва объ этомъ столкновеніи. Тогда послѣдовательно избирается новый пунктъ В, и такъ далѣе. Такіе округи помѣчены на мапнѣ особыми кружками, а направленіе молвы и слуховъ приблизительно опредѣлено въ видѣ радіусовъ, расходящихся отъ извѣстнаго центра особыми красными лучами и линіями. Эту мапну я рекомендую преимущественно пану, для зависящихъ соображеній, а если можно, то и для распоряженій. Для успѣха нашего дѣла было бы весьма желательно, чтобы подобныя явленія повторялись чаще и систематичнѣе во всей коренной Россіи, а особенно на Волгѣ, гдѣ край, по нашимъ свѣдѣніямъ, преимущественно склоненъ къ волненіямъ. Первой задачей, при совершившемся разрѣшеніи крестьянскаго чили хлопскаго вопроса, которое разрѣшеніе, въ принципѣ, является для насъ, какъ для людей шляхетныхъ, все-таки фактомъ весьма печальнымъ,—должно быть съ нашей стороны стараніе поселить въ народѣ недовѣріе къ правительству и затѣмъ возбудить ненависть и вражду къ нему. Остальное сдѣлаютъ Богъ, время и неусыпные труды добрыхъ патріотовъ нашихъ, по преимуществу же труды и усилія свентего костела и нашей свентей вяры. Надобно изъ самаго зла извлекать для себя возможную пользу: потщимся и силу дьявольскую эксплуатировать въ пользу костела! Минута благопріятствуетъ, и посему не теряйте времени, да не застанетъ васъ всѣхъ во тьмѣ слѣпыми и спящими великій Судія и Рѣшитель судебъ, какъ тать въ ночи приходящій, но да предстанете предъ Него бодрствующими, съ горящими свѣтильниками вѣры въ рукахъ и опоясанныя поясомъ любви къ ойчизнѣ. Борьба наша есть борьба царствія свѣта съ царствомъ тьмы дьявола; а Христосъ сказалъ: «созижду церковь Мою на камнѣ крѣпкомъ, и врата адовы не одолѣютъ ее». Ergo: побѣда за нами! Шлю вамъ мое пастырское благословеніе и, любя васъ во Христѣ, пребываю — смиреннѣйшій рабъ рабовъ — къ вамъ всегда благосклоннымъ. «Benedicat vos Pater, Filius et Spiritus Sanctus. Amen».

Подписи не было.

По прочтеніи письма, и гость и хозяинъ сосредоточенно погрузились въ нѣкоторую задумчивость.

Вдругъ за печкой сверчокъ цвирикнулъ.

Пшецыньскій въ тотъ же мигъ насторожилъ уши и, сдѣлавъ ксендзу рукою жестъ, который въ точности выражалъ предупредительное междометіе «тсс!» — прислушиваясь осторожно и чутко, закусилъ себѣ нижнюю губу, внимательно осмотрѣлся вокругъ и особенно покосился на окна и двери. Но сверчокъ цвирикнулъ вторично—и полковникъ успокоился.

— Черезъ кого получено?—поднялъ наконецъ онъ голову, съ облегчительнымъ вздохомъ, когда Кунцевичъ подлилъ изъ бутылки въ обѣ стопы.

— Конечно, частнымъ путемъ. Новый эмиссаръ пріѣхалъ передъ вашимъ отъѣздомъ въ Снѣжки, — таинственно сообщилъ хозяинъ: — онъ и привезъ мнѣ это.

— Кто такой?—столь-же таинственно полюбопытствовалъ Пшецыньскій.

— Нѣкто Францишекъ Пожондовскій, молодой, но надежный человѣкъ; изъ казанскаго университета... былъ на Литвѣ, оттуда прямо и пріѣхалъ... посланъ къ намъ, въ нашу сторону.

— По-русски хорошо говоритъ?

— Якъ самъ москаль! Человѣкъ годящійся.

— Ну, то добрже!.. А еще не началъ?

— Южъ!—махнувъ рукою, тихо засмѣялся ксендзъ-пробощъ;—и теперь вотъ, я думаю, гдѣ нибудь по кабакамъ шатается! На другой-же день, какъ пріѣхалъ, такъ и отправился въ вси. Лондонскихъ прокламацій понавезъ съ собою—ловкій человѣкъ, ловкій!

— А вѣдь я къ пану за совѣтомъ!—послѣ небольшого молчанія, началъ Пшецыньскій, закуривъ новую сигару:—ксендзъ каноникъ знаетъ, что сегодня у Покрова служилась панихида по убитымъ въ Снѣжкахъ?

[1]) Pakciarz — еврей, арендующій панскихъ коровъ.

Digitized by Google

Кунцевичъ въ отвѣтъ кивнулъ головою, какъ о дѣлѣ досконально ему извѣстномъ.

— Я посылалъ туда адъютанта, да и кромѣ того мнѣ донесли о всѣхъ почти, кто тамъ находился,—продолжалъ Пшецыньскій:—только не знаю, какъ лучше сдѣлать теперь: донести-ли сейчасъ, или какъ нибудь помягче ступевать это происшествіе?

Ксендзъ отхлебнулъ изъ стопки и, многозначительно уставивъ глаза въ землю, съ раздумчивымъ видомъ пошевелилъ и поцмокалъ губами.

— Мм... Донести! Я такъ полагаю, что непремѣнно надо донесть, и чѣмъ скорѣе, тѣмъ лучше, порѣшилъ онъ.—Не забывай, коханы пршіяцелю, назидательно промолвилъ онъ:—что мы люди подлегальные, а потому намъ всегда слѣдуетъ прятаться подъ легальность.

— Но вѣдь потомъ, вѣроятно, арестовать придется?—возразилъ Болеславъ Казиміровичъ.

— Ну, и цо-жь! Ну, и арестовать!.. Надо только донести съ разборомъ и арестовать съ разборомъ. Людей одинокихъ, безродныхъ, изъ тѣхъ, которые покраснѣй да позадорливѣй, мы не тронемъ, развивалъ ксендзъ свою теорію—тѣ намъ и самимъ еще впредь пригодятся. А тѣхъ, у которыхъ есть родня, знакомства, семейства и, главное, которые менѣе энергичны въ дѣлѣ,—тѣхъ позабираемъ и отправимъ до казематовъ. Такимъ способомъ мы двухъ зайцевъ убьемъ! Хе, хе, хе! — тихо посмѣивался изобличившійся ксендзъ-пробощъ, ласково хлопнувъ полковника по колѣну и плутовато подмигивая ему глазомъ: — все-таки двухъ зайцевъ разомъ!—продолжалъ онъ;—все, что пригодно, то останется, а о тѣхъ, которые будутъ забраны, и въ семьяхъ, и въ обществѣ, пойдутъ толки, сожалѣнія, сѣтованія да ропотъ... Недовольство станетъ возростаться, все-таки лишняя капля горечи въ чашу, а Панургово стадо не ослабѣетъ, если нѣсколько барановъ будутъ зарѣзаны!.. Надо только, чтобы бараны были такъ-себѣ, не важные, изъ неособенно тонкорунныхъ. Это намъ, душечко, все на добро да на пользу! Не надо нигдѣ упускать своихъ нитей!

Полковникъ благодарно обнялъ и звучнымъ поцѣлуемъ отъ души облобызалъ своего глубокотонкаго и политично-умнаго совѣтника. Не даромъ оба они называли себя цеглой велькего будованя [1]).

Пріятели роспили завѣтную бутылку; ксендзъ вдосталь полакомился варенъемъ, и Пшецыньскій сталъ прощаться. Опять они взялись подъ локти и взаимно облобызались дважды.

— Ахъ, да!.. Чуть было не забылъ!—остановилъ Кунцевичъ своего гостя, провожая его въ прихожую: — если панъ увидитъ завтра утромъ пани Констанцію, то пусть скажетъ, что я заѣду къ нимъ часовъ около трехъ; надо внушить, ей пускай-ко постарается хоть слегка завербовать въ стадо этого фонъ-Саксена... Онъ, слышно, податливъ на женскія рѣчи... Можетъ, дастъ Богъ, и изъ этого барона выйдетъ славный баранъ! — съ обычнымъ своимъ тихимъ и мягкимъ смѣхомъ завершилъ Кунцевичъ, въ послѣдній разъ откланиваясь Пшецыньскому.

Они разстались, но оба въ тотъ вечеръ не закончили еще свою дѣятельность на пріятельскомъ разговорѣ. И тотъ и другой долго еще сидѣли за рабочими столами въ своихъ кабинетахъ. Одинъ писалъ донесеніе по своему особому начальству, другой—къ превелебному пану бискупу съ забранего края.

Сходка.

Дня два спустя послѣ панихиды въ нумеръ къ Хвалынцеву заглянулъ Устиновъ.

— А я къ тебѣ на минутку,—началъ онъ, снимая калоши и разматывая гарусный шарфъ.—Съ тобой желаетъ познакомиться одна милая дѣвица... Лубянская. Можетъ ты замѣтилъ? стриженая; стояла около этого Полоярова, что въ кумачѣ-то ходитъ.

— Что же этой милой дѣвицѣ нужно отъ меня? лѣниво проговорилъ Хвалынцевъ, лѣниво подымаясь съ дивана.

— Ну, какъ «что!» Ты вѣдь, въ нѣкоторомъ родѣ, интересная личность, новый человѣкъ здѣсь, да еще и въ Снѣжкахъ былъ... Нѣтъ, она въ самомъ дѣлѣ добрая! Если хочешь, отправимся нынче вечеромъ,—я забѣгу за тобою.

— Да вѣдь скука, поди-ко? поморщился было Хвалынцевъ.

— Нѣтъ, ничего! Увидишь разныхъ народовъ... Между прочимъ, Татьяна Николаевна Стрѣшнева будетъ,—какъ бы въ скобкахъ замѣтилъ учитель.

— Ахъ, это—та! воскликнулъ студентъ, не сумѣвъ воздержаться отъ хорошей, открытой улыбки.

— Она самая.

— Ну, пожалуй, поѣдемъ!.. Я не прочь.

— А кстати, слышалъ ты самую новую новость? серьезно спросилъ Устиновъ, собравшись уже уходить отъ пріятеля.—Говорятъ, что нынче ночью арестовали нѣсколькихъ человѣкъ изъ бывшихъ на панихидѣ.

Хвалынцева слегка покоробило, словно бы и за самимъ собою почувствовалъ онъ возможность быть арестованнымъ.

— Что-жь, мудренаго ничего нѣтъ,—пожалъ онъ плечами.

— Штука скверная... и довольно грустная. Вечеромъ, вѣроятно, услышимъ кой-какія по-

---

[1]) Cegla—кирпичъ. Wielkie budovanie—великое строеніе,—стародавній, спеціальный терминъ, для обозначенія конспиратной дѣятельности польской справы. Возникъ онъ первоначально отъ „бѣлыхъ“.

Digitized by Google

дробности,—заключилъ Устиновъ, подавая руку на прощанье.

***

На весьма скромной и порядкомъ-таки пустынной улицѣ, называемой Перекопкой, стоялъ довольно ветхій деревянный домикъ о пяти окнахъ. Наворотная жестянка гласила, что домъ сей принадлежитъ отставному майору Петру Петровичу Лубянскому. Въ калитку этого самаго дома, часовъ около восьми вечера, прошли двое нашихъ пріятелей.

Почти въ самыхъ дверяхъ изъ прихожей въ небольшое зальце Хвалынцева встрѣтила миловидная брюнеточка, въ простомъ люстриновомъ платьѣ темнаго цвѣта, съ пухленькимъ личикомъ въ томъ характерѣ, который наболѣе присущъ брюнеткамъ чисто русской породы.

— Хвалынцевъ? вскинула она на него улыбающіеся глазки, не прибавя къ его имени обычнаго прилагательнаго «господинъ».

— Хвалынцевъ,—подтвердилъ ей студентъ съ поклономъ.

— Ну, здравствуйте! Я хотѣла познакомиться съ вами. Пожалуйста безъ церемоній,—можете дѣлать что захочется: хотите—садитесь, хотите—курите, молчите; или разговаривайте—какъ найдете для себя удобнѣе, хотя мнѣ собственно хотѣлось бы болѣе, чтобы вы разговаривали; но... это, впрочемъ, для васъ нисколько не обязательно.

Прощебетавъ все это довольно быстро, дѣвушка отошла къ большому креслу предъ рабочимъ столикомъ и усѣлась за какое-то шитье.

— Папахенъ, — закричала она въ другую комнату:—ступай сюда, познакомься! Къ намъ новый гость пришелъ!

Изъ смежной комнаты послышалось шлепанье туфлей—и въ дверяхъ показался, въ чистомъ стеганомъ халатикѣ, сивенькій старичокъ съ очень добродушнымъ лицомъ, которое носило на себѣ почтенную печать многихъ походовъ и долгой боевой жизни.

— Очень пріятно!.. очень пріятно!—привѣтливо заговорилъ онъ, съ видимымъ радушіемъ сжимая и тряся обѣими руками руку Хвалынцева: — извините старика... что я къ вамъ эдакъ... по домашнему.

— Ну, папахенъ! ты это оставь! Хвалынцевъ, конечно, знаетъ пословицу, что въ чужой монастырь съ своимъ уставомъ не ходятъ.

Студентъ немножко сконфузился, почувствовавъ при этихъ словахъ маленькую неловкость: показалось оно ему больно ужь оригинальнымъ; но онъ тотчасъ же и притомъ очень поспѣшно постарался самъ себя успокоить тѣмъ, что это, молъ, и лучше,—по крайней мѣрѣ безъ всякихъ церемоній, и что оно по настоящему такъ и слѣдуетъ.

— Я гостей своихъ не рекомендую другъ другу,—обратилась Лубянская къ Хвалынцеву изъ-за своей работы:—это однѣ только скучныя офиціальности, а коли угодно, каждый можетъ самъ знакомиться.

Студентъ молча поклонился и, снова ощутивъ нѣкоторую неловкость, разсѣянно перевелъ глаза на обстановку комнаты.

Небольшое зальце было убрано весьма просто, кое-какая сборная мебель, кисейныя занавѣски, старыя клавикорды, а по стѣнамъ портреты Ермолова, Паскевича, Воронцова и двѣ литографіи, изображающія подвиги простыхъ русскихъ солдатиковъ: умирающаго рядового, который передаетъ товарищу спасенное имъ полковое знамя, да другого, такого же точно солдата, съ дымящимся фитилемъ предъ пороховымъ погребомъ, въ то время, когда малочисленные защитники укрѣпленія почти всѣ уже перебиты да перерѣзаны огромными полчищами горцевъ. Въ этихъ портретахъ, да въ этихъ литографіяхъ, быть можетъ, заключались лучшія, самыя завѣтныя и самыя теплыя воспоминанія стараго майора.

Пріятели наши застали уже здѣсь кое-кого изъ гостей. Въ углу дивана помѣщался въ развалисто-небрежной позѣ и въ неизмѣнной красной рубахѣ—Ардаліонъ Полояровъ, а рядомъ съ нимъ сидѣла дама лѣтъ двадцати семи, весьма худощавая, однако не безъ остатковъ прежней миловидности. Волоса ея точно также были острижены; но то, что довольно еще шло къ молодому личику хозяйки, вовсе ужь было не къ лицу ея двадцати-семи-лѣтней гостьѣ, придавая всей физіономіи ея не то какой-то птичій, не то—деревянно-кукольный и даже непріятный характеръ. Дама эта—по имени Лидинька Затцъ—вмѣстѣ съ Полояровымъ жгла папиросу за папиросой и, время отъ времени, кидала на него, исподтишка, довольно нѣжные взоры.

Маленькій Анцыфровъ, заложа въ карманы руки и на ходу постукивая каблукомъ о каблукъ, безъ всякой видимой надобности, скучно слонялся изъ угла въ уголъ по комнатѣ.

Майоръ, усадивъ Хвалынцева, какъ-то застѣнчиво удалился въ свою комнату, запахивая халатикъ, а Полояровъ при этомъ довольно безцеремонно оглядѣлъ усѣвшагося студента пристальнымъ взглядомъ; но изъ-подъ синихъ очковъ характеръ этого взгляда не могъ быть хорошо замѣченъ, такъ что Хвалынцевъ скорѣе почувствовалъ его на себѣ, нежели увидѣлъ.

— Вы студентъ?—началъ наконецъ Ардальонъ, повернувъ къ нему голову и продолжая свое разсматриваніе.

— Это видно по моему синему воротнику—слегка улыбнулся Хвалынцевъ.

— Синій воротникъ, батюшка, ничего не доказываетъ. Вонъ и у жандармовъ тоже синій воротникъ. Синій воротникъ—это одна

Digitized by Google

только форма, а я спрашиваю: по духу студентъ-ли вы?

Хвалынцеву показалось это достаточно наглымъ.

— А что васъ такъ интересуетъ?—впадая въ тонъ Ардальона, въ упоръ спросилъ онъ его.

— То-есть меня-то, собственно, оно нисколько не интересуетъ, — уставя глаза въ землю и туго, медленно потирая между колѣнъ свои руки, сталъ какъ-то выжимать изъ себя слова Полояровъ, — а я собственно потому только спрашиваю, что люблю все на чистоту: всегда, знаете, какъ-то пріятнѣй сразу знать съ кѣмъ имѣешь дѣло.

— Но вѣдь пріятель мой доселѣ, кажется, не имѣетъ съ вами никакого дѣла?—довольно мягко вступился Устиновъ.

Этотъ нежданный отпоръ слегка озадачилъ Полоярова.

— Все равно!—поправился онъ въ ту же минуту;—мы вотъ вмѣстѣ въ гостяхъ теперь у Лубянской, стало-быть, вотъ ужь вамъ и есть, въ данный моментъ, общее дѣло.

— Ну, коли это такъ интересно знать, я пожалуй успокою васъ,—помирилъ учитель все съ тою же деликатно-снисходительною улыбкою:—я вполнѣ уважаю моего пріятеля. Довольно съ васъ этого?

Полояровъ исподлобья бросилъ косой взглядъ на Хвалынцева и, въ знакъ удовлетворенія, съ какою-то медвѣжьею угрюмостью слегка кивнулъ головою.

— Стало-быть, вы нашъ. Это хорошо!—пробурчалъ онъ послѣ нѣкотораго молчанія.

— Вы вѣдь, кажется, помѣщикъ здѣшній?—Я такъ слышала что-то... прищурясь на Хвалынцева, спросила Лидинька Затцъ, все время не перестававшая уничтожать папироски.

— Помѣщикъ, сударыня.

— Гм... Стало-быть собственникъ. Это не хорошо!—ввернулъ свое слово Полояровъ.

Студента начинало покоробливать отъ всѣхъ этихъ разспросовъ и замѣчаній, такъ что онъ уже сталъ недоумѣло и вопросительно поглядывать на Устинова: что, молъ, все это значитъ? куда и къ кому, молъ, завелъ ты меня?

— Анна Петровна!—обратился учитель къ хозяйкѣ, намѣреваясь сразу повернуть разговоръ въ другую сторону,—слыхали вы, нынче ночью аресты сдѣланы?

— Да, да! Представьте, какая подлость!—вдругъ разгорячась и круто повернувшись на каблукахъ, запищалъ и замахалъ руками плюгавенькій Анцыфровъ,—это... это чортъ знаетъ что! — Дѣйствительно, арестовано множество, и я не понимаю, какими это судьбами уцѣлѣли мы съ Ардальономъ Михайловичемъ... Впрочемъ, пожалуй, гляди, не сегодня-завтра и насъ арестуютъ.

Анцыфровъ, видимо, желалъ порисоваться,—показать, что и онъ тоже такого рода важная птица, которую есть за что арестовать. Полояровъ, напротивъ, какъ-то злобно отмалчивался. По свѣдѣніямъ хозяйки оказалось, однако, что забрано въ ночь вовсе не множество, на чемъ такъ упорно продолжалъ настаивать Анцыфровъ, а всего только четыре человѣка: одинъ молодой, но семейный чиновникъ, одинъ офицеръ Инфляндманландскаго полка, племянникъ соборнаго протопопа, да гимназистъ седьмого класса — сынъ инспектора врачебной управы.

Устиновъ и стриженая дама весьма удивились: всѣ четверо хотя и присутствовали на панихидѣ, но были люди далеко не бойкіе и едва ли въ чемъ особенно замѣшанные.

— Это все Пшецыньскій! все онъ!.. Но я вамъ, напротивъ, говорю, что взято множество! вы еще не знаете! — продолжалъ между тѣмъ Анцыфровъ.—Этотъ Пшецыньскій—это такая продувная бестія...

— А еще полякъ!—съ горькимъ упрекомъ замѣтила г-жа Затцъ. — Безчеститъ польское имя!

— Ну, ужь я вамъ доложу-съ — по моему крайнему убѣжденію вотъ какъ выходитъ,—заговорилъ Полояровъ:—я поляковъ люблю и уважаю; но коли полякъ разъ вошелъ на эдакую службу, такъ ужь это такой подлый кремень, который не то что насъ съ вами, а отца родного не пощадитъ! Это ужь проданный и отпѣтый человѣкъ! въ немъ поляка ни на эстолько не осталось!—заключилъ Ардальонъ, указывая на кончикъ своего мизинца—и всѣ безусловно согласились съ его компетентнымъ мнѣніемъ.

Къ воротамъ подкатила крытая колясочка въ одну лошадь и черезъ минуту въ комнату вошла Татьяна Николаевна Стрѣшнева.

Лицо Хвалынцева замѣтно прояснилось и даже заиграло яркимъ румянцемъ. Онъ вообще очень плохо умѣлъ скрывать свои ощущенія. И самъ не вѣдая какъ и почему, онъ неоднократно, въ теченіе этихъ двухъ сутокъ, вспоминалъ ея разговоръ въ церкви съ Анатолемъ и всю ея изящную, стройную фигурку, и эти воспоминанія безотчетно были ему пріятны.

Вотъ и теперь вошла она такъ просто, такъ хорошо и спокойно, въ простомъ, но очень изящномъ нарядѣ, съ своими честными, умными глазами, съ своею безмятежною улыбкою, и Хвалынцеву стало хорошо и весело при ея появленіи.

Весело, но немножко принуждено встрѣтила ее Лубянская. Старый майоръ нарочно вышелъ къ ней въ залу и здороваясь душевно поцѣловалъ ея русую головку, причемъ Полояровъ никакъ не удержался, чтобы не буркнуть про себя: «скажите, пожалуйста, какія нѣжности!» Устиновъ, который, повидимому, былъ съ нею въ очень хорошихъ отношеніяхъ, представилъ

Digitized by Google

ей Хвалынцева, и Хвалынцевъ при этомъ покраснѣлъ еще болѣе, за что, конечно, остался на себя въ нѣкоторой досадѣ.

— А вы никакъ въ своемъ экипажѣ пріѣхали? — адресовался къ ней Ардальонъ, подойдя къ окну и заложивъ большіе пальцы рукъ за поясъ.

— Въ тетушкиномъ, — удовлетворила его любопытству Татьяна Николаевна.

— Такъ-съ!.. Аристократничаете, значитъ. Стрѣшнева оглядѣла его спокойно, но холодно.

— Желаете папироску? — продолжалъ Ардальонъ, подавая ей вынутую пачку.

— Вы, кажется, знаете, что я не курю.

— Я, кажется, знаю это, подвердилъ онъ — но терпѣть не могу, когда люди вообще сидятъ, ничего не дѣлая! Папироску сосать—все-таки какое-нибудь занятіе. Вотъ и Лубянскую пріучаю, да плохо что-то. Все это, доложу я вамъ, жантильничанье!.. Женственность, изволите видѣть, страдаетъ; а по нашему, первымъ дѣломъ каждая порядочная женщина, то-есть *женщина дѣла*, должна прежде всего всякую эту женственность къ чорту!

Ардальонъ попалъ на одну изъ любимѣйшихъ своихъ темъ и потому пошелъ расписывать. Анцыфровъ то и дѣло поддакивалъ, мотая бѣлобрысенькой головенкой.

— Намъ нужна женщина-работникъ, женщина-товарищъ, женщина-человѣкъ, а вѣрнѣе сказать — женщина-самка, — продолжалъ Полояровъ,—а эта гнилая женственность, это одинъ только изящный развратъ, который изъ вашего брата дѣлаетъ куколъ. Это все эстетика! (послѣднее слово было произнесено съ особеннымъ презрѣніемъ).—Лубянская, хотите, что ли, папироску? Бавфра, что называется, Самсонъ крѣпкій.

Лубянская не посмѣла отказаться отъ предложеннаго курева и морщась стала втягивать въ себя струю крѣпкаго дыма. Полояровъ глядѣлъ на нее забавляючись и самодовольно улыбался.

Вскорѣ пришли еще двое новыхъ гостей: докторъ Адамъ Яроць и учитель латинскаго языка Подвиляньскій. Подали чай. Подвиляньскій отозвалъ въ сторону Полоярова и таинственно показалъ ему изъ боковаго кармана сложенный печатный листъ.

— Новый нумеръ, вчера только-что полученъ; преинтересная статья есть, — сообщилъ онъ тихо.

Ардальонъ кивнулъ доктору.

— Послушайте, Яроць, — началъ онъ тише чѣмъ вполголоса,—уведите-ка глупаго старца, да засядьте съ нимъ въ шашки, чтобы не мѣшалъ, а мы тутъ почитаемъ пока.

Яроць отвѣтно мигнулъ на это: дескать, смекаемъ, пріятель, и политично отправился къ майору.

Но оказалось, что майора теперь, пожалуй, не скоро сдвинешь съ точки его разговора. Петръ Петровичъ тоже попалъ на любимую свою тему и завербовалъ въ разговоръ Татьяну Николаевну да Устинова съ Хвалынцевымъ. Онъ толковалъ своему новому знакомому о воскресной школѣ, которую, наконецъ-то, удалось ему, послѣ многихъ хлопотъ и усилій, завести въ городѣ Славнобубенскѣ. Эта школа была его созданіе и составляла одну изъ первыхъ сердечныхъ его слабостей.

— Вотъ, спасибо Татьянѣ Николаевнѣ да Андрею Павлычу (старикъ указалъ на Устинова), помогаютъ доброму дѣлу! Самъ я кое-какъ грамотѣ обучаю; законъ Божій—пречистенскій дьяконъ, отецъ Сидоръ, ходитъ преподавать; Андрей Павлычъ по ариѳметикѣ, а Татьяна Николаевна съ Анютой мнѣ, старику, насчетъ грамоты помогаютъ, да вотъ тоже которыя дѣвочки есть у насъ, такъ тѣхъ рукодѣлію разному обучаютъ. И пока, надо благодарить Бога, отлично шло дѣло: восемнадцать мальчиковъ да одиннадцать дѣвочекъ обучаются—итого двадцать-девять человѣкъ-съ! Ужь сколько благодарностей отъ родителей получали. Бѣдные люди-съ, за ученье платить не изъ чего, ну, и благодарятъ... И теперь вотъ много желающихъ есть, да помѣститься-то негдѣ: помѣщеніе у насъ тѣсновато, вотъ и все тутъ, какъ видите! (Старикъ указалъ на комнату и обвелъ ее по стѣнамъ глазами). Ужь мы тутъ что себѣ надумали: хорошо бы эдакъ концертикъ какой съ литературнымъ чтеніемъ въ пользу школы устроить! Если бы только рублишекъ полтораста собрать, такъ можно бы и пособій кое-какихъ купить: грифельныхъ досокъ, букварей, катихизисовъ, да вотъ по сосѣдству тутъ за сто рублей въ годъ просторную квартиру уступаютъ, вотъ бы и нанять ее подъ школу-то: человѣкъ до ста могло бы обучаться! Ужь я рѣшилъ отправиться къ губернаторшѣ; она, говорятъ, добрая; буду просить ея покровительства да содѣйствія насчетъ концертика-то. Какъ вы полагаете? Авось, Богъ поможетъ! а?

— А я вамъ доложу-съ, что вы это насчетъ школы не тово,—вмѣшался въ разговоръ подошедшій въ это время Полояровъ; — у васъ совсѣмъ не раціонально-съ ведется дѣло.

— Какъ это, то-есть, не раціонально? уставился на него недоумѣлыми глазами Петръ Петровичъ.

— А такъ-съ! Нѣтъ настоящаго прынцыпа, здороваго направленія нѣтъ въ преподаваніи. Кабы я повелъ это дѣло, я бы сейчасъ съ самаго же начала по-боку этого вашего отца Сидора.

— Это почему?! изумились разомъ и старикъ, и Устиновъ со Стрѣшневой.

— А потому, что глупый человѣкъ. Что онъ ихъ эти молитвы вдолбяжку заставляетъ учить да побасенки разсказываетъ! Тутъ нужно не

Digitized by Google

того: нужно имъ разъяснять это дѣло въ настоящую! въ корень! Нужно здоровую почву подготовить, закваску хорошую дать.

— Конечно, по Штраусу и по Ренану? съ легкою ироніей замѣтила Стрѣшнева.

— Пожалуй, даже менѣе по Ренану, а вотъ по Штраусу-то не мѣшало бы, — подтвердилъ Полояровъ.—Потомъ въ этомъ же направленіи можно бы, пожалуй, отчасти допустить и естественныя науки, въ самомъ популярномъ изложеніи, а главное насчетъ развитія: нужно бы чтеніе здоровое дать.

— А что это вы понимаете подъ здоровымъ?— слегка нахмурясь спросилъ старикъ.

— Ну, ужь это мы про себя разумѣемъ, отклонился Полояровъ:—разное есть.

— Нѣтъ, батюшка, извините меня, старика, а скажу я вамъ по-солдатски! рѣшительнымъ тономъ завершилъ Петръ Петровичъ.— Дѣло это я почитаю, ровно царскую службу мою, святымъ дѣломъ, и взялся я за него, на старости лѣтъ, съ молитвой да съ Божьимъ благословеніемъ, такъ ужь дьявола-то тѣшить этимъ дѣломъ мнѣ не приходится. Я, сударь мой, хочу обучать ребятъ, чтобъ они были добрыми христіанами да честными русскими людьми. Мнѣ за нихъ отчетъ Богу давать придется; такъ ужь не смущайте вы нашего дѣла!

— Да нѣтъ, это такъ невозможно оставить! въ вашу школу необходимо ввести освѣжающій элементъ, а безъ того все это ни къ чорту! Эдакъ-то вы намъ только ребятъ перепортите!

Петръ Петровичъ рукой лишь махнулъ съ затаенной досадой и ушелъ въ свою комнату.

Докторъ Яроць улучилъ подходящую минуту и предложилъ ему партію въ шашки. Старикъ не отказался.

А тѣмъ часомъ, осторожно притворивъ дверь его комнаты, Подвиляньскій съ таинственно-многозначительнымъ видомъ вынулъ изъ кармана свернутый печатный листъ и, торжественно держа его надъ головою, показалъ всему обществу.

— *Колоколъ!* — проговорилъ онъ нѣжно-почтительнымъ и даже священно-благоговѣйнымъ шопотомъ.

Все общество необыкновенно живо подвинулось къ столу, за которымъ усѣлся Подвиляньскій, и жадно, нетерпѣливо приготовилось слушать съ тѣмъ чувствомъ живѣйшаго интереса, который уже переходилъ въ лихорадочный зудъ любопытства.

Подвиляньскій началъ чтеніе своимъ нѣжно-мягонькимъ, тихимъ голосомъ. Полояровъ въ иныхъ мѣстахъ выражалъ одобреніе довольно сдержаннымъ мычаньемъ, а неодобреніе поцмокиваньемъ да хмурыми гримасами; зато Анцыфровъ каждый разъ просто взвизгивалъ и подпрыгивалъ отъ презбытка наслажденія.

— Нѣтъ, чортъ возьми, это все не то! не выдержалъ, наконецъ, Ардальонъ Полояровъ; — этого Александра Иваныча пора ужь и въ архивъ бы сдать: выдыхаться начинаетъ, сердечный! Да и глупъ сталъ! Ну, что онъ тутъ дуракомъ-то эдакимъ привѣтствуетъ всѣ эти реформы!.. Какія тутъ, у чорта, реформы!... Тутъ реформа одна только — во! (и онъ выразительно выдвинулъ при этомъ на показъ свой кулакъ). Тутъ реформа — топоръ!... Кровопусканьице маленькое учинить нужно господамъ дворянамъ да собственникамъ, тогда и реформы сами собою явятся, а безъ того — все комедь да сапоги въ смятку!..

Хвалынцевъ наблюдалъ, какое впечатлѣніе производятъ на присутствующихъ вѣщанія Ардальона. Все общество, за исключеніемъ Стрѣшневой да Устинова, слушало его съ весьма страшной вѣрой, и работѣшнымъ благоговѣніемъ. Самоувѣренность, съ какою обыкновенно изрекалъ свои приговоры Ардаліонъ Полояровъ, показывала, что онъ давно уже привыкъ почитать себя какимъ-то избранникомъ, геніемъ, оракуломъ, пророкомъ, вѣщанія котораго рѣшительны и непогрѣшимы; онъ до такой степени былъ уже избалованъ безусловнымъ вниманіемъ, уваженіемъ и вѣрою въ его слова, что требовалъ отъ всѣхъ и каждаго почтительнаго благоговѣнія къ своей особѣ, принимая его въ смыслѣ необходимо-достодолжной дани.

Стрѣшнева слушала, слушала и наконецъ не выдержала. Довольно явная ироническая усмѣшка заиграла на ея хорошенькихъ губкахъ, а глаза глядѣли на вѣщателя съ безпощаднымъ пониманіемъ всей его внутренней сути.

Тотъ это замѣтилъ. Его покоробило и передернуло подъ ея спокойнымъ взглядомъ; брови насупились и на лицо выступила багровая краска.

— Вы!.. Стрѣшнева! послушайте!—началъ онъ тѣмъ нахальнымъ тономъ, который уже прямо сбивался на явную и предумышленную дерзость.

— Во-первыхъ, господинъ Полояровъ, прежде чѣмъ я васъ послушаю—перебила она его совершенно спокойно и не измѣняя характера своей прежней улыбки,—я охотно желала бы напомнить вамъ, что у меня есть имя. Зовутъ меня Татьяной Николаевной.

— Да кто тамъ будетъ еще помнить всѣ ваши имена!.. Моей головѣ нѣтъ лишняго времени заниматься такими пустяками!

Полояровъ все болѣе и болѣе терялъ необходимое хладнокровіе.

— Въ такомъ случаѣ, чтобы не утруждать себя, продолжала дѣвушка, — вы бы могли очень просто прибавить къ моей фамиліи маленькое слово «госпожа». Это вѣдь не трудно, и вѣжливо.

— Ну, я насчетъ галантерейностей не мастеръ! Это все рутина-съ!.. Я, извините, за-

Digitized by Google

бываю все, что въ васъ эта барская закваска сидитъ. Я хотѣлъ только спросить, чего это вы такъ ухмыляетесь, на меня глядючи? Изволили вы найти въ моихъ словахъ что-нибудь смѣшное и несообразное? Любопытно было бы знать, что именно?

— О, если это вамъ такъ любопытно, такъ извольте!

— Потрудитесь объясниться.

Полояровъ избоченился и приготовился слушать съ тѣмъ высокомѣрнымъ, Зевесовскимъ достоинствомъ, которое почиталъ убійственнымъ, уничтожающимъ для каждаго дерзновеннаго, осмѣлившагося такимъ образомъ подойти къ его особѣ. А между тѣмъ въ немъ кипѣла и багровыми пятнами выступала на лицо вся его злоба, вся боль уязвленнаго самолюбія. Въ ту минуту у него руки чесались, просто, взять да прибить эту Стрѣшневу.

Татьяна Николаевна очень хорошо видѣла и понимала его внутреннее состояніе: онъ не прощалъ ей этого упорнаго отсутствія всякаго поклоненія его особѣ, и въ тотъ моментъ ей сильно захотѣлось, что называется, порядкомъ проучить Ардаліона Полоярова.

— «Ухмыляюсь» я, какъ вы выразились, тому,—начала она еще съ бо́льшимъ спокойствіемъ,—что мнѣ жалко васъ стало. Ну, что вы насъ, дѣвчонокъ, удивляете вашимъ радикализмомъ!.. это не трудно. А жалко мнѣ васъ потому, что вы сами вѣдь ни на горчичное зерно не вѣруете въ то, что́ проповѣдуете.

— Мое дѣло не расходится съ моимъ словомъ! съ гордымъ презрѣніемъ и будто неуязвимымъ достоинствомъ перебилъ Полояровъ;— за меня факты-съ!.. Я, милостивая государыня, не далѣе какъ два дня назадъ съ паперти говорилъ народу!

Анцыфровъ, который было смирненько съежился при словахъ Стрѣшневой, теперь вдругъ просіялъ и, потирая руки, даже слегка подпрыгнулъ на своемъ стулѣ.—«Что, молъ, взяла!»—Онъ торжествовалъ побѣду своего друга.

— Эхъ, Ардальонъ Михайловичъ, полноте! съ горькимъ сожалѣніемъ покачала головой дѣвушка.—Слышала я и видѣла, что́ вы говорили, и что́ дѣлали! Улучили минутку, когда квартальный куда-то отвернулся, а подъѣхала полиціймейстерская пара въ-пристяжку... Извините, но я бы очень хотѣла знать, что́ случилось съ вами и съ вашимъ краснорѣчіемъ въ ту самую минуту?

Устиновъ не выдержалъ и разсмѣялся. Легкая улыбка покосила и губы Хвалынцева; Анцыфровъ же снова примолкъ и съёжился. Остальные сидѣли молча, пригнетенные, словно бы ожидая, что вотъ-вотъ сейчасъ разразится гроза и буря. Одна только Стрѣшнева была совершенно спокойна и улыбалась своей ясной, безмятежной улыбкой.

Пунцовый Ардальонъ вдругъ поблѣднѣлъ и поднялся мѣста. Это уже было слишкомъ. Этого онъ даже и отъ Стрѣшневой не ожидалъ. Кулаки его судорожно были сжаты! губы нервически подергивало злобственною усмѣшкою. Онъ видимо боролся съ собою, стараясь сдержать и подавить въ себѣ какое-то нехорошее чувство, и потому угрюмо зашагалъ по комнатѣ.

Всѣ молчали, и всѣмъ это молчаніе было особенно тягостно; но никто не чувствовалъ ни возможности, ни желанія заговорить о чемъ бы то ни было—первымъ.

— Такъ по вашему убѣжденію я струсилъ?—съ ироническою гримасой, но уже гораздо мягче и на нѣсколько тоновъ ниже заговорилъ наконецъ Полояровъ, остановясь предъ Стрѣшневою. — Нѣтъ-съ, Татьяна Николаевна, ошибаться изволите!.. Не трусость, а благоразуміе во мнѣ говорило! Эта самая голова-съ (и онъ не безъ поползновенія на эффектъ указалъ на свою кудластую шевелюру), да! эта вотъ самая-съ башка пригодится еще и впредь на что-нибудь болѣе серьезное... Въ наше время каждый честный дѣятель обязанъ поберечь себя до рѣшительной минуты. Поживете, такъ увидите; а не увидите, такъ услышите! вѣско и многозначительно закончилъ онъ съ легкимъ полупоклономъ,—и фигурка Анцыфрова снова просіяла, да и всѣ присутствовавшіе почувствовали словно камень какой съ плечъ у нихъ скатился.

Ардальонъ съ удовольствіемъ замѣтилъ, что авторитетъ его снова возстановленъ, и ему теперь захотѣлось хоть чѣмъ-нибудь поскорѣе сгладить послѣдніе слѣды недавняго настроенія своихъ поклонниковъ, чтобы окончательно закрѣпить въ ихъ глазахъ полную незыблемость своего авторитета. Поэтому онъ подошелъ къ Подвиляньскому и, хлопнувъ его слегка по плечу, сказалъ съ улыбкой:

— Ну, пане-брате, воспронзведи-ко что-нибидь на фортоплясѣ!

Подвиляньскій не заставилъ долго просить себя и на разбитомъ фортепіано сталъ брать какіе-то аккорды.

— Что это такое вы играете? — спросилъ его кто-то.

— Польское, — отвѣчалъ онъ тихо, но гордо.—Это нашъ гимнъ: «ze dymen pozarów».

Всѣ удвоили вниманіе и прослушали гимнъ съ видимымъ удовольствіемъ и большой симпатіей. Анцыфровъ захлопалъ въ ладоши и сталъ повторить.

— Нѣтъ, постойте!—перебилъ Полояровъ,— я вамъ спою штуку! Играй-ко, пане-брате, помнишь, я училъ тебя онамедни, на голосъ: «Я посѣю-ль, молода-младенька». Слыхали вы, господа, русскую марсельезу?

— Браво! браво!—завизжалъ Анцыфровъ.

Подвиляньскій взялъ нѣсколько новыхъ аккордовъ, а Полояровъ, видимо рисуясь, сталъ въ размашисто-ухарскую позу, откинулъ на-

Digitized by Google

задъ свои волосы, обдергалъ книзу кумачевую рубаху и запѣлъ звучнымъ басомъ:

„Долго васъ помѣщики душили,
Становые били,
И привыкли всякому злодѣю
Подставлять мы шею.
Въ страхѣ насъ квартальные держали,
Нѣмцы муштровали,
Про царей попы твердили міру..."

Но въ эту самую минуту изъ кабинета показался майоръ въ своемъ халатикѣ.

— Ну, нѣтъ, батюшка, у меня въ домѣ такихъ пѣсенъ не пойте!—остановилъ онъ Ардальона прямо и рѣшительно.—И какъ это вамъ не стыдно: взяли хорошую солдатскую пѣсню да на-ко тебѣ, какую мерзость на нее сочинили! Перестаньте, пожалуйста!

— Ха-ха-ха! — расхохотался Полояровъ.— Что это вы, батенька, никакъ Пшецыньскаго испужались?

— Что-съ? Пшецыньскаго?—слегка прищурился на него старикъ;—я, сударь мой, турка не пугался, черкеса не пугался, да англичанина съ французомъ не испугался, такъ ужь вашего-то Пшецыньскаго мнѣ и Богъ да и совѣсть бояться не велѣли! А пѣсню-то вы все-таки не пойте!

— Стало-быть прынцыпы, убѣжденія не позволяютъ? ась? аляповато подтрунилъ Полояровъ.

— Да ужь тамъ какія ни есть убѣжденія, а свои, не купленыя! — отрѣзалъ ему Петръ Петровичъ.—Я, сударь мой, старый солдатъ!.. Я, сударь мой, на своемъ вѣку одиннадцать ранъ за эти свои убѣжденія принялъ, такъ ужь на старости-то лѣтъ не стать мнѣ мѣняться.

— Ну, папахенъ! что это такое!—съ неудовольствіемъ фыркнула Лубянская.

— Что, моя милушка? Что, голубчикъ?

— Ужь и пѣсню наконецъ нельзя пѣть!.. Это чистыя глупости! Это деспотизмъ!

— Пѣсню, дружокъ, пой сколько хочешь, а мерзостей пѣть да слушать не слѣдуетъ.

— Ну, хорошо, хорошо!.. съ многозначительною сухостью подхватила дѣвушка,—я съ тобой *потомъ* поговорю! Теперь не время.

Это походило на какую-то угрозу. Взволнованный старикъ въ замѣшательствѣ, съ невыразимою тоскою бросилъ тихій взглядъ на свое дѣтище. По всему было видно, что онъ любитъ свою дочку безпредѣльно, до безумія, до всякой слабости.

— Ну, ну, полно,—забормоталъ онъ, словно бы извиняясь. — Ну, Господь съ тобой, Нюточка!.. Развѣ я тебя стѣсняю въ чемъ!.. Пой себѣ, коли охота такая, только дай мнѣ уйти прежде, я ужь этихъ пѣсенъ слушать не стану.

И съ тихимъ, подавленнымъ вздохомъ онъ ушелъ изъ комнаты.

Полояровъ снова-было запѣлъ какъ ни въ чемъ не бывало, но Татьяна Николаевна тотчасъ же поднялась съ мѣста, мигнула Устинову и громко стала прощаться со своей подругой. Вслѣдъ за ней поднялись и Устиновъ съ Хвалынцевымъ. Подвиляньскій, обладавшій бо́льшимъ тактомъ, чѣмъ его пріятель Полояровъ, перестать аккомпанировать и тоже взялся за шляпу.

Лидинька Затцъ подошла къ Ардаліону и попросила проводить себя.

— Ну, нѣтъ! ужь увольте!—отклонился онъ, значительно поморщась, и вслѣдъ затѣмъ прибавилъ тише чѣмъ въ полголоса: — я хотѣлъ бы лучше ужь здѣсь какъ-нибудь остаться на ночь.

Лидинька бросила на него взглядъ вопросительнаго и нѣсколько ревниваго свойства.

— Это для чего-съ? Скажите пожалуйста!?— тихо прошипѣла она очень нервичнымъ голосомъ.

— Да такъ... не хотѣлось бы дома, — замялся Ардальонъ,—неровно и въ самомъ дѣлѣ полиція... жандармы... Ужь лучше эти дни кое-гдѣ по чужимъ мѣстамъ переждать бы... Спокойнѣе!

— Ступайте къ намъ ночевать!—охотно и поспѣшно предложила Затцъ.

— Да вѣдь вашъ благовѣрный...

— Это ровно ничего не значитъ... Онъ теперь въ клубѣ... Мы, кажется, всегда вамъ рады.

— Ну, инъ быть по вашему! Куда ни шло!— махнулъ наконецъ рукой Ардаліонъ, послѣ нѣкотораго колебанія, и сталъ прощаться.

Лубянская крѣпко сжала его руку, и Устиновъ замѣтилъ, что она съ какимъ-то опасеніемъ, полустрахомъ и полунадеждой проводила его за порогъ тревожными и влюбленными глазами.

На душѣ Хвалынцева, особенно послѣ маленькой исторіи съ пѣсней, было какъ-то смутно и неловко, словно-бы онъ попалъ въ какое мѣсто не во-время и совсѣмъ некстати, такъ что, только очутившись на свѣжемъ воздухѣ, грудь его вздохнула легко, широко и спокойно.

Вышли на улицу почти всѣ разомъ. Подвиляньскій съ докторомъ кликнули извозчика и укатили. Полояровъ закутался, поднялъ воротникъ пальто, упряталъ въ него носъ и бороду и низко надвинулъ на глаза свою шляпу. Очевидно, послѣ сегодняшнихъ арестовъ, онъ даже и ночью боялся быть узнаннымъ. Стриженая дама повисла на его рукѣ.

— Анцыфровъ! — обернулся онъ на своего адъютанта,—я нынче не ночую дома—можешь располагаться свободно.

— Какъ же такъ?.. Вѣдь хотѣли же вмѣстѣ?.. Это собственно какъ же? заегозилъ оторопѣвшій пискунокъ, который совсѣмъ не ожидалъ такого пассажа.

— Какъ знаешь... Мнѣ-то что!

Digitized by Google

— Но... какъ же это такъ, ей-Богу!.. одному-то?.. Ужь лучше бы какъ-нибудь вмѣстѣ... Я тоже не хочу домой къ себѣ... У меня тоже вѣдь не безопасно... Ужь право лучше бы вмѣстѣ...

— Ну, ладно! Проваливай къ чорту!—порѣшилъ Полояровъ и, безъ дальнѣйшихъ церемоній, пошелъ себѣ со своей дамой, не обращая на злосчастнаго пискунка ни малѣйшаго вниманія.

Тотъ постоялъ съ минуту въ самой затруднительной нерѣшительности и, нечего дѣлать, скрѣпя сердце, потрусилъ кое-какъ восвояси.

Ночь стояла ясная, тихая и сухая, съ легкимъ морозцемъ.

— А хорошо-бы пройтись!.. у меня, ей-Богу, даже голова заболѣла,—сказала Стрѣшнева,—и Хвалынцевъ предложилъ ей руку, а Устиновъ пошелъ рядомъ съ ней сбоку. Крытыя дрожки шагомъ ѣхали сзади.

— А, кажется, не долюбливаетъ васъ этотъ Полояровъ,—началъ Хвалынцевъ.

— Обоихъ не долюбливаетъ,— улыбнулась дѣвушка,—и меня, и Андрея Павлыча; но меня болѣе.

— За что же такая немилость.

— А такъ. Мнѣ, видите-ли, немножко извѣстно его прошлое.

— Но развѣ это прошлое такого свойства, что за него можно не любить тѣхъ, кто знаетъ его?

— Отчасти, да. Мнѣ, конечно, Богъ съ нимъ, какое мнѣ до него дѣло! Но Анюту жаль. Она добрая и хорошая дѣвушка, а этотъ баринъ ее съ толку сбиваетъ. Вѣдь онъ у всѣхъ у нихъ въ рангѣ какого-то идола, полубога. Вѣдь ему здѣсь поклоняются.

— Но... странное дѣло! — замѣтилъ студентъ;—сколько могу судить, онъ, кажется, и не особенно уменъ.

— Э, помилуйте! А наглость-то на что? Вѣдь у него что̀ не имя, то дуракъ, что̀ ни дѣятель не его покроя, то подлецъ, продажный человѣкъ. Голосъ къ тому же у него очень громкій, вотъ и кричитъ; а съ этимъ куда какъ легко сдѣлать себя умникомъ!—Вся хитрость въ томъ, чтобы другихъ всѣхъ ругать дураками. Вѣдь тутъ кто раньше всталъ да палку взялъ—тотъ и капралъ.

— Ну, а прошлое-то его какое?—полюбопытствовалъ Хвалынцевъ.

— По питейной части служилъ, когда Верхохлебовъ въ Сольгородской губерніи откупъ держалъ, а потомъ очень недолгое время становымъ былъ, но... что называется съ «начальствомъ не поладилъ». Впрочемъ, Ардаліонъ Михайловичъ о своемъ прошломъ не любитъ распространяться.

— А теперь-то онъ что же? — продолжалъ Хвалынцевъ, котораго послѣ всего этого заинтересовала нѣсколько личность Полоярова.

— Теперь?.. А вотъ, великимъ дѣятелемъ сталъ, статьи разныя пишетъ, въ журналы посылаетъ.

— Ну, и печатаютъ?

— Отчего-жь не печатать! Поди-ко, сперва раскуси человѣка! Вѣдь тамъ не знаютъ его. Но это бы все Богъ съ нимъ! А мнѣ Анюту жаль и старика-то жаль. — Хорошій старикъ.

— Да неужели-же она не видитъ и не знаетъ?

— Какое! и слушать ничего не хочетъ, и не вѣритъ. Вѣдь онъ, — говорю вамъ, богъ для нихъ. Совсѣмъ забралъ въ руки дѣвочку, такъ что въ послѣднее время со мною даже гораздо холоднѣе стала, а ужь на что были друзьями.

Вскорѣ наши путники дошли до дому, гдѣ жила Стрѣшнева со своей теткой. На прощанье, она совсѣмъ просто пригласила Хвалынцева зайти какъ-нибудь къ нимъ, буде есть охота. Тотъ былъ радъ и съ живѣйшею благодарностію принялъ ея приглашеніе. Послѣ этого онъ вернулся домой, въ свою гостиницу, чувствуя себя такъ легко и свѣтло на душѣ и такъ много довольный даже и нынѣшнимъ вечеромъ, и собою, и своимъ пріятелемъ, и ею—этою хорошей Татьяной Николаевной.

XI.

Кто предполагаетъ и кто располагаетъ.

На другое утро Петръ Петровичъ составилъ и чистенько переписалъ коротенькую докладную записку о разрѣшеніи литературно-музыкальнаго вечера въ пользу его школы; затѣмъ напялилъ свой отставной мундиръ, со всѣми регаліями, и отправился помолясь къ губернаторшѣ.

Констанція Александровна дѣловые пріемы свои назначала обыкновенно во второмъ часу. Гораздо ранѣе этого времени Петръ Петровичъ сидѣлъ уже на стулѣ въ ея пріемной. Онъ попросилъ доложить о себѣ. Лакей угрюмо покосился на него и хотѣлъ было пройти мимо; но майоръ тоже зналъ достодолжную въ этихъ случаяхъ снаровку и потому, подмигнувъ лакею, сунулъ ему въ руку двугривенничекъ. Ея превосходительство выслала сказать майору, чтобъ онъ обождалъ—и Петръ Петровичъ ждалъ, испытывая томительное состояніе просительской скуки.

Нѣсколько разъ мимо его промелькнула горничная; дежурный чиновникъ промчался куда-то; гувернантка повела на прогулку пару дѣтей madame Гржибъ, а майоръ все ждетъ себѣ, оправляясь да покрякивая при проходѣ каждаго лица, и все съ надеждой устре-

Digitized by Google

мляетъ взоры на дверь, ведущую въ покой губернаторши.

Вотъ смиренно-мягкою, неслышною походочкою прошелъ за эту завѣтную дверь славнобубенскій ксендзъ-пробощъ Кунцевичъ, и о его приходѣ, повидимому, никто не докладывалъ. Послѣ него майору пришлось еще сидѣть, по крайней мѣрѣ, около часу. Просительская скука начинала въ немъ уже переходить въ просительскую тоску, какъ вдругъ лакей съ какою-то особенною официальностью распахнулъ двери—и изъ смежной комнаты послышался шорохъ тяжелаго шелковаго платья.

Майоръ молитвенно вздохнулъ, перекрестился мелкимъ крестикомъ, поклевавъ сложенными пальцами между третьей и четвертою пуговицами своего мундира и, въ нѣкоторомъ волненіи, поднялся съ мѣста.

Губернаторша вошла довольно величественно, распространивъ вокругъ себя легкій запахъ лондонскихъ духовъ, и съ официально-благосклонною снисходительностью остановилась передъ майоромъ. Отъ всей позы, отъ всей фигуры ея такъ и вѣяло губернаторшей, то-есть въ нѣкоторомъ родѣ правительницей, властью предержащею.

— Отставной майоръ Лубянскій,—отрекомендовался Петръ Петровичъ и протянулъ впередъ руку съ докладной запиской.

Констанція Александровна отвѣтила величественнымъ кивкомъ и устроила на лицѣ такую мину, которая ясно говорила, что она готова благосклонно выслушать.

— Къ вашему превосходительству... зная ваше доброе сердце... во имя просвѣщенія и человѣколюбія...— неловко заговорилъ Петръ Петровичъ, сбиваясь на фразахъ заранѣе обдуманной рѣчи.

Старикъ умѣлъ служить и точно исполнять приказанія, умѣлъ когда-то стойко драться съ непріятелемъ и стоять подъ огнемъ, но никогда, во всю свою жизнь, и ни о чемъ не умѣлъ просить какое бы то ни было «начальство» или какую бы то ни было «знатность». Поэтому и въ данную минуту онъ почти совсѣмъ переконфузился, особенно встрѣчая на себѣ этотъ неотводный, вопросительный взглядъ губернаторши.

— Мы учредили воскресную школу,—продолжалъ онъ кое-какъ свои объясненія,—бѣдныя дѣти... кое-какъ обучаются, но скудость средствъ, помѣщенія... Тутъ, впрочемъ, все это обстоятельно изложено,—добавилъ онъ, указывая на докладную записку.

Губернаторша опять кивнула головой и продолжала вопросительно глядѣть на него.

— Для поддержки дѣла осмѣливаюсь просить ваше превосходительство принять его, въ нѣкоторомъ родѣ, подъ свое покровительство... Мы предположили литературно-музыкальный вечеръ... надобно разрѣшеніе... и потомъ если бы ваше превосходительство пожелали помочь намъ своимъ сочувствіемъ и участіемъ... и вотъ тоже по части раздачи или рекомендаціи билетовъ, то наша школа процвѣла бы, благодаря вашему превосходительству.

Склевъ кое-какъ эти фразы и развернувъ ихъ наконецъ предъ губернаторшей, майоръ вздохнулъ свободно, словно бы грузъ какой сбросилъ съ своей шеи.

— Вы хотите, чтобъ я приняла что-нибудь въ концертѣ?—спросила г-жа Гржибъ, которая, будучи очарована собственнымъ голосомъ, никогда и нигдѣ почти не упускала приличнаго случая похвастаться имъ передъ публикой.

— О, ваше превосходительство!.. я даже и не смѣлъ-бы подумать... но если вы столь добры и великодушны, то это *все*, чего мы только могли бы желать!.. Вѣдь бѣдныя дѣти, ваше превосходительство... вѣдь это для нихъ тотъ же хлѣбъ насущный!..

— Хорошо. Я подумаю... Все, что могу, сдѣлаю для васъ непремѣнно... Я постараюсь; будьте увѣрены!—проговорила губернаторша самымъ благосклоннымъ тономъ и отпустила майора, наградивъ его новымъ кивкомъ величественнаго свойства.

Майоръ ушелъ необыкновенно довольный собою и вполнѣ счастливый такимъ результатомъ своей просьбы, послѣ котораго онъ, въ простотѣ душевной, считалъ существованіе школы вконецъ обезпеченнымъ.

* * *

Возвратившись отъ духовной своей дщери, имѣвшей обыкновеніе, во всѣхъ почти дѣлахъ своихъ, прибѣгать къ пастырскому совѣту, ксендзъ Ладыславъ тотчасъ же написалъ маленькую записочку къ учителю Подвиляньскому, въ которой убѣдительнѣйше просилъ его пожаловать къ себѣ въ возможно скорѣйшемъ времени. Записка эта была отправлена съ однимъ изъ костельныхъ прислужниковъ.

Подвиляньскій не замедлилъ явиться и былъ принятъ въ скромной пріемной комнатѣ, потому что комфортабельный «лабораторіумъ» предназначался у ксендза-пробощa только для самыхъ короткихъ пріятелей. Впрочемъ, и на этотъ разъ дверь въ прихожую была тщательно приперта самимъ хозяиномъ.

— Припомнилъ я, — началъ Кунцевичъ, усѣвшись поближе къ своему духовному сыну, — панъ повѣдалъ мнѣ разъ, что имѣетъ знакомство съ майоромъ Лубяньскимъ. Цо то есть за чловѣкъ тэнъ панъ майоръ Лубяньскій?

— Москаль... и самый заядлый москаль,— отрекомендовалъ учитель своего знакомца.

Кунцевичъ, въ какомъ-то соображающемъ размышленіи, многозначительно поднялъ брови надъ опущенными въ землю глазами.

Digitized by Google

— Гм... такъ и думалъ!.. Такъ и думалъ!..— раздумчиво прошепталъ онъ, какъ бы самъ съ собою.—Гм... А какъ онъ вообще до дѣла... безвредный?

— Н... не думаю, усомнился Подвиляньскій.—Дочка его—та годится, а самъ—не думаю.

— Что же онъ?

— Старый солдатъ... заядлый схизматикъ... на царя своего Богу молится... Нѣтъ, человѣкъ не годящійся!

— А на школу имѣетъ вліяніе?

— О! и пребольшое!—самъ учитъ, самъ надъ всѣмъ надзираетъ... Учитъ, конечно, въ своемъ, въ московскомъ духѣ.

— Гм... вотъ какъ!.. Это неудобно... неудобно! Ну, а если-бъ отъ него перенять какъ-нибудь школу въ другія руки, понадежнѣе?

— Для дѣла вообще это было бы хорошо. И люди нашлись бы. Я такъ думаю.

Ксендзъ внимательно поднялъ глаза на своего собесѣдника.

— А есть на примѣтѣ?—спросилъ онъ.

Учитель въ знакъ утвержденія склонилъ голову.

— Изъ нашихъ?—продолжалъ Кунцевичъ съ легкой улыбкой.

— То есть нѣтъ, изъ стада—пояснилъ Подвиляньскій; — люди завязтые; повели бы дѣло бойко.

Ксендзъ опять опустилъ глаза въ землю и на нѣсколько времени задумался.

— А что, не отказался бы панъ—пытливо началъ онъ,—кабы начальство вмѣшалось въ дѣло и передало бы пану администрацію этой школы?

Подвиляньскій немножко изумился и, въ свою очередь, задумчиво сталъ глядѣть на полъ.

— Хоть бы на первое время, продолжалъ каноникъ,—лишь бы только дѣло поставить какъ слѣдуетъ, а тамъ можно будетъ передать съ рукъ на руки другому надежному лицу изъ нашихъ; самъ въ сторонѣ останешься, и опасаться, значитъ, нечего!

Учитель, въ нерѣшительности, задумчиво пожалъ плечами.

— Это—дѣло совѣсти,—спокойнымъ и строгимъ голосомъ проговорилъ каноникъ, не сводя пристальныхъ глазъ со своего духовнаго сына. — Это — дѣло Бога и... ойчизны, прибавилъ онъ тихо, но выразительно: ни единымъ хлѣбомъ живъ будетъ человѣкъ! надо глядѣть въ будущее...

Подвиляньскій подумалъ и согласился.

— Только какъ же мы устроимъ это?—спросилъ онъ.

Ксендзъ загадочно улыбнулся и слегка развелъ руками.

— Подумаемъ и придумаемъ, съ Божьею помощью!—сказалъ онъ, покорно склоняя голову, какъ предъ высшей волей Провидѣнія.—Сказано: толцыте и отверзится, ищите и обрящете—ну, стало быть, и поищемъ! А если что нужно будетъ, я опять увѣдомлю пана.

Подвилянскій смиренно подошелъ къ нему подъ благословеніе и они разстались.

XII.

Иллюзіи и разочарованія стараго майора.

Въ самомъ счастливомъ настроеніи духа, ретиво принялся майоръ за свои хлопоты. Съѣздилъ къ старшинамъ клуба и выпросилъ залу, околесилъ пол-города, приглашая участвовать разныхъ любителей по части музыки и чтенія, заказалъ билеты, справился, что будутъ стоить афишки, съ бумагой, печатаніемъ и разноской по городу, и, наконецъ общими усиліями съ Устиновымъ и Стрѣшневой, составилъ программу литературно-музыкальнаго вечера. Оставалось только губернатору разрѣшить, цензору пропустить, полиціймейстеру подписать и затѣмъ—печатать и выпускать афишу.

— Но судьба готовила майору нѣсколько разочарованій, и первое изъ нихъ наступило для него въ ту минуту, когда онъ пріѣхалъ къ полиціймейстеру получить отъ него разрѣшенную и подписанную программу.

— Ея превосходительство поручила мнѣ передать вамъ, сообщилъ ему полковникъ Гнутъ—что она по особымъ и непредвидѣннымъ обстоятельствамъ не можетъ участвовать у васъ въ концертѣ; поэтому я уже самолично распорядился вычеркнуть ея имя.

— Эхъ!.. Какъ же это такъ!—съ раздумчивымъ сожалѣніемъ прицмокнулъ да покачалъ головою опѣшенный Петръ Петровичъ. — Ну, жаль, очень жаль!.. Ея превосходительство была такъ милостива, сама даже предложила... Мы такъ надѣялись... Очень, очень жаль... А участіе ея много помогло бы доброму дѣлу... Много помогло бы!

— Онъ говорилъ это какъ-то разсѣянно и равнодушно, глядя въ переносицу Гнуту, но словно бы и не видя его.

— Н-да! Но... что же дѣлать!—пожалъ тотъ плечами. — Ея превосходительство весьма сожалѣетъ и... даже извиняется; но... она тѣмъ не менѣе готова всячески помочь вамъ, и потому поручила мнѣ взять отъ васъ нѣсколько билетовъ для раздачи.

— Ея превосходительство сама раздать желаетъ?—освѣдомился старикъ.

— Н-да... то-есть нѣтъ! Она поручила *мнѣ* распорядиться этимъ дѣломъ... Да вы не безпокойтесь—ужь я какъ нибудь постараюсь.

Съ скрипучимъ чувствомъ на душѣ вышелъ майоръ отъ полиціймейстера.

«Вотъ-те, бабушка, и Юрьевъ день!.. вотъ-те и сочувствіе!» съ горечью помыслилъ

Digitized by Google

онъ;—эдакъ-то и безъ вашего превосходительства обошлись-бы... Выходитъ, что просить не стоило!»

Майоръ однако не унывалъ. Тридцать билетовъ онъ отправилъ къ полиціймейстеру да нѣсколько штукъ вручилъ для раздачи Устинову съ Татьяной Николаевной, да самолично позавозилъ еще кое къ кому и весьма многимъ разослалъ въ конвертахъ вмѣстѣ съ афишами. И тутъ-то вотъ для него начались новыя разочарованія. Иные отказывались отъ билетовъ, говоря что возьмутъ потомъ, или что уже взяли, другіе поприсылали ихъ обратно—кто при вѣжливо извинительныхъ запискахъ, выставляя какое-нибудь благовидное препятствіе къ посѣщенію вечера, а кто, то-есть большая часть, безъ всякихъ записокъ и поясненій, просто возвращали въ тѣхъ же самыхъ, только уже распечатанныхъ конвертахъ, чрезъ своего кучера или съ горничною, приказавъ сказать майору, «что для нашихъ, молъ, господъ не надо, потому—не требуется». И майоръ очень сердился на то, что почти всѣ кучера, возвращавшіе билеты, переминаясь просили у него же «на чаекъ-съ».

— Ну, ужь это и въ самомъ-дѣлѣ, чортъ знаетъ что! разводилъ онъ руками;—словно бы ты у нихъ для самого себя на бѣдность выпрашиваешь! Эдакое англійское равнодушіе! (майоръ полагалъ, что вообще англичане всѣ очень равнодушны). Вѣдь общественный же интересъ! Вѣдь свое же родное, русское дѣло!.. Тьфу, ты, что за народъ нынче пошелъ!

— Да-съ, вотъ то-то оно и есть! — въ отвѣтъ на это поддразнивалъ его Полояровъ, который почти дня не пропускалъ безъ того чтобы не побывать у Анны Петровны и, за-одно ужь, позавтракать тамъ, либо пообѣдать, либо чаю напиться.—А кабы *мы*-то дѣлали, такъ у насъ не то бы было.

— Вы!.. Да что такое вы? досадливо горячился Лубянскій.

— Мы-то?.. А мы сила живая—вотъ мы что. А вы—сила мертвая, ваша пѣсенка спѣта, оттого и общественнаго сочувствія вамъ нѣтъ.

— Ну, батенька, пошли! поѣхали!

Петръ Петровичъ только рукой махалъ на это.

Сутокъ за двое до назначеннаго дня вдругъ стало извѣстно по городу, что графиня де-Монтеспанъ большой «раутъ» у себя дѣлаетъ, на которомъ будетъ весь элегантный Славнобубенскъ и, какъ нарочно, дернула же ее нелегкая назначить это «раутъ» на то самое число, на которое и майоръ назначилъ свой вечеръ. Вольной или невольной причиной этому явилась все та же очаровательная Констанція Александровна, которая давно уже собиралась къ графинѣ, а теперь совсѣмъ и изъ ума ей вонъ про майорскій концертъ! — По забывчивости же сама же назначила ей день этого «раута».

Майоръ просто въ отчаяніе пришелъ. Что тутъ дѣлать! Отложить вечеръ! — Но афиши уже напечатаны да и клубъ уступилъ ему залу только на это именно число. Хоть совсѣмъ отказывайся отъ завѣтной идеи! Но... и отказываться было уже поздно: всѣ необходимые предварительные расходы уже сдѣланы, деньги затрачены, а Лубянскій вообще былъ далеко не изъ числа обладателей излишнихъ капиталовъ. Оставалось положиться на авось да на волю Божію. Такъ онъ и сдѣлалъ. А тутъ еще—новый сюрпризъ: въ самый день концерта, часа за два до начала, полиціймейстеръ возвратилъ ему, изъ числа тридцати, девятнадцать билетовъ не распроданными, извиняясь при этомъ, что, несмотря на всѣ свои старанія, никакъ не успѣлъ разсовать почтеннѣйшей публикѣ болѣе одиннадцати билетовъ. Зато въ это время, среди всяческихъ горечей, довелось майору познать и сладость маленькаго утѣшенія: Болеславъ Казиміровичъ Пшецыньскій не только не отказался отъ посланнаго ему билета, но еще прислалъ за него, сверхъ платы, три рубля преміи, при очень милой запискѣ, въ которой благодарилъ Петра Петровича за оказанное ему вниманіе и присовокупилъ, будто почитаетъ себя весьма счастливымъ, что имѣетъ столь прекрасный случай оказать свое сочувствіе такому истинно благому и благородному дѣлу, какъ просвѣщеніе русскаго народа.

— Вотъ, и судите тутъ послѣ этого! Ругаютъ человѣка за то только, что жандармскій мундиръ носитъ! горячо увлекался Петръ Петровичъ, показывая всѣмъ и каждому изъ своихъ друзей письмо полковника, — а онъ, хоть и полякъ, а посмотрите-ка, получше многихъ русскихъ оказывается!.. А вы ругаете!

И дѣйствительно, друзья Петра Петровича находили поступокъ жандарма прекраснымъ и вполнѣ достойнымъ каждаго порядочнаго человѣка. Особенно цѣнили въ немъ, въ жандармѣ, это никѣмъ не жданное сочувствіе «тому принципу». Одинъ только все отрицающій Полояровъ умалялъ значеніе штабъ-офицерскаго великодушія.

— Эка штука три рубля! — говорилъ онъ фыркая и задирая голову.—Оттого и сочувствуетъ, что у Петра Петровича и у самого-то преподаваніе-то идетъ почитай-что на тѣхъ же самыхъ жандармственныхъ принципахъ; а небойсь, кабы мы вели эту школу, такъ намъ бы кукишъ съ масломъ прислалъ! Эта присылка только еще больше все дѣло компрометируетъ.

— Ну, батенька! Опять пошли-поѣхали! На васъ не угодишь! отмахивался Петръ Петровичъ.

Digitized by Google

XIII.

Въ пользу славнобубенской воскресной школы литературно-музыкальный вечеръ, съ участіемъ гг. такихъ-то и такихъ-то.

Въ ярко-освѣщенной залѣ довольно много пустыхъ мѣстъ, особенно въ первыхъ рядахъ, но все-таки нельзя сказать, чтобы было уже пусто. Публика мало-по-малу набиралась. Пріѣхали даже на короткое время многіе изъ приглашенныхъ на «раутъ» графини де-Монтеспанъ, куда явиться было слишкомъ еще рано. Поэтому нѣсколько дамъ блистали своими черезчуръ открытыми плечами (славнобубенскія жены и дщери вообще очень любятъ декольтироваться), а мужчины черными фраками и бѣлыми галстуками,—обстоятельство, придававшее майорскому вечеру нѣсколько официально-парадный характеръ. Задніе ряды въ залѣ были даже полны: поддержали господа офицеры Инфляндманландскаго полка да чиновничество второй и третьей руки, которые преимущественно разбирали билеты при входѣ, а ужь о хорахъ нечего и говорить: тамъ было биткомъ набито, и душно, и говорно, словно въ пчелиномъ ульѣ, ибо верхами почти безраздѣльно владѣли гимназисты съ семинаристами. Цѣны, кромѣ первыхъ рядовъ, майоръ поназначалъ весьма дешевыя и потому теперь съ живѣйшимъ удовольствіемъ сталъ замѣчать, что въ убыткѣ никакъ не останется, а кажись еще и желаемую сумму соберетъ. То были блаженныя времена, когда всякіе литературные вечера не успѣли еще утратить своей свѣжести, своей отчасти «прогрессивно-либеральной» моды.

Вышелъ Устиновъ и прочелъ что-то изъ Гоголя. Ему умѣренно похлопали.

Вышла какая-то дебелая барышня и громко отбарабанила нѣчто изъ Мендельсона-Бартольди. И ей тоже похлопали.

Хвалынцевъ прочиталъ «*Развеселое житье*» изъ Щедринскихъ разсказовъ, а за нимъ появилась другая барышня и, подъ аккомпанементъ Лидиньки Затцъ, пропѣла довольно сносно арію изъ «*Карла Смѣлаго*» и романсъ «*Я очи, знала, о, эти очи*», составлявшій тогда модную слабость града Славнобубенска. И барышнѣ, и Хвалынцеву похлопали дружнѣе, чѣмъ прочимъ.

Затѣмъ на эстрадѣ появился высокій гимназистъ седьмого класса, Иванъ Шишкинъ, который очень хорошо читалъ стихи. Гимназистъ былъ встрѣченъ громомъ рукоплесканій на хорахъ, и бойко наизусть продекламировалъ Некрасовскаго «Филантропа», по окончаніи котораго, чтеца вызывали раза три или четыре, причемъ онъ форсисто, но неловко раскланивался.

Затѣмъ играли, читали и пѣли разные любители, и публика всѣхъ ихъ награждала благодушнымъ хлопаньемъ. Майоръ хлопалъ благодушнѣе всѣхъ остальныхъ и, сидя въ уголкѣ, на особомъ стулѣ, просто сіялъ отъ восторга: тутъ воочію сбывалась завѣтная мечта о расширеніи и преуспѣяніи его родного дѣтища, его воскресной школы. Онъ все время находился въ какой-то ажитаціи: то порывисто срывался съ мѣста и убѣгалъ въ смежную «артистическую» комнату, предназначенную для участвующихъ, то озабоченно приказывалъ человѣку поправить какую-нибудь свѣчу или лампу, то снова торопился сѣсть на свое мѣсто, чтобы не пропустить начала какого-нибудь нумера и успѣть похлопать при встрѣчѣ исполнителю! А въ «артистической комнатѣ», смежной съ клубнымъ буфетомъ, кипѣлъ самоваръ и стоялъ лимонадъ съ оршадомъ. Сюда спеціально прикомандировались Полояровъ съ Анцыфровымъ и Подвиляньскій, которые совсѣмъ почти не показывались въ залѣ. Полоярова всѣ эти дни куда какъ сильно подмывало съ эффектомъ показать свою особу на публичной эстрадѣ; но... хотя боязнь ареста и поуспокоилась въ немъ, однако же не на столько еще, чтобы рискнуть появленіемъ предъ публикой, и Полояровъ къ тому же полагалъ, что ужь если *онъ* заявитъ себя, то долженъ заявить не иначе какъ только чѣмъ-нибудь сильно «въ носъ шибательнымъ». А это находилъ онъ не совсѣмъ-то удобнымъ въ разсужденіи полковника Пшецыньскаго.

Подвиляньскій потребовалъ изъ буфета бутылку шампанскаго и предложилъ Полоярову съ Анцыфровымъ роспить ее по-пріятельски. Въ это время подвернулся на глаза ему гимназистъ Шишкинъ.

— Господинъ Шишкинъ, пожалуйте-ка сюда—кликнулъ его учитель.—Вы что еще будете читать?

— «*Клермонскій соборъ*», Майкова,—словно на экзаменѣ, отчетисто отчеканилъ юноша, въ силу давно ужь усвоенной ученической привычки.

— И тоже наизусть будете?

— Наизусть... Я всегда наизусть.

— А не хотите-ли для храбрости?

— Чего это-съ?

— А вотъ, стаканчикъ сладенькаго?

— Нѣтъ-съ, покорно благодарю, — смутился юноша.

— Э, полноте! Вѣдь мы не въ классѣ! Не бойтесь, я не скажу инспектору! — пріятельски улыбнулся Подвиляньскій, подавая ему полный и довольно уемистый стаканъ.—Пейте-ка, пейте! Это вѣдь легонькое винцо, слабое, совсѣмъ дамское... Ну, хватите-ка!

— Да я... извините... признаться сказать... принимая стаканъ, замялся немножко гимназистъ, ободренный внутренно такою пріятельскою фамильярностью своего учителя, — признаться сказать, я ужь тутъ... по секрету... два стакана пуншику хватилъ... Не много-ли-съ будетъ ужь?

— Но, что за вздоръ!.. Не маленькій вѣдь,

Digitized by Google

не свалитесь!.. Сами, батюшка, бывали когда-то въ вашей шкурѣ; знаемъ, какъ пьютъ гимназисты! Ну-ну! для храбрости! безъ разговоровъ!

Вконецъ уже ободренный и подзадоренный юноша, которому сказали столь лестную, хотя и косвенную похвалу, насчетъ того, какъ умѣютъ пить гимназисты, слегка поклонился и залпомъ вылилъ въ себя стаканъ шампанскаго. Ему хотѣлось показать предъ учителемъ и предъ этими двумя господами, что онъ совсѣмъ молодецъ.

— Вотъ такъ! по нашему! по ученому!—похвалилъ Подвиляньскій.—Берите-ка стулъ да присядьте.

Гимназистъ развязно двинулъ стулъ и опустился на него совсѣмъ уже бойко, что называется, по-гимназически, «съ форсомъ».

— Славно читаетъ стихи,—кивнулъ на него Подвиляньскій, обращаясь къ Анцыфрову и Полоярову.—Вы знакомы, господа?

— Еще бы! Ивана Шишкина да не знать!—подхватилъ пискунокъ,—вѣдь на серебряную медаль кончаетъ!.. А?.. Каковъ?

— Можетъ, и на золотую дернемъ! не безъ самодовольно-гордой заносчивости похвалился юноша, покосясь на барышень. Онъ уже начиналъ понемногу хмѣлѣть и все болѣе чувствовать себя молодцомъ.

— А славно, ей-же-Богу, славно декламируетъ! — воскликнулъ Подвиляньскій и даже прижмурилъ глазки, будто при воспоминаніи о томъ наслажденіи, какое доставляетъ ему декламація Шишкина.—Онъ... вѣдь вы съ нимъ не шутите. Онъ помнитъ чортъ знаетъ сколько запрещенныхъ стиховъ. Кажется, всю *«Полярную звѣзду»* наизусть выучилъ. Память-то богатая какая!.. А?.. Каковъ?!.. Изъ *«Полярной»*-то!» изъ *«Полярной»*!.. Послушайте, душечка Шишкинъ, — искренно и ласково примолвилъ онъ, хлопнувъ гимназиста по колѣну, — скажите-ка намъ *«Орла»*! А? Не бойтесь! Ничего! Вѣдь между своими... никто не услышитъ... шпіоновъ нѣтъ, кажись. Прелесть, господа, что за стихи, послушайте!.. Ну, Шишкинъ, валяйте!

— Да я... не помню... слегка озираясь, отклонился юноша.

— Ну, вотъ вздоръ какой, «не помню»!.. На прошлой недѣлѣ читалъ же у меня въ классѣ, а тутъ вдругъ «не помню»!.. Э, батюшка, я не зналъ, что вы такой трусъ!

Послѣднее слово окончательно уже подожгло гимназиста. Онъ предварительно крякнулъ и прочелъ *«Орла»*.

— Браво! Браво!.. молодецъ—пискнулъ было Анцыфровъ и тихонько захлопалъ въ ладоши.

Полояровъ въ сосредоточенномъ молчаніи взялъ руку гимназиста и выразительно потрясъ ее.

Подвиляньскій, успѣвшій уже мигнуть, чтобы подали вторую бутылку, налилъ еще стаканъ юному декламатору, который и не замедлилъ порядочно изъ него отвѣдать.

— А вотъ бы штука-то была, — съ оживленіемъ началъ учитель, словно подъ наитіемъ внезапно блеснувшей мысли, — если бы этого самаго *«Орла»* да дернуть сегодня на публичномъ чтеніи?

— Браво! браво!.. Отлично! великолѣпно! — запищалъ и заерзалъ на стулѣ Анцыфровъ, подслѣповато отыскивая свой налитый стаканъ.

— А что-жь? Я бы прочелъ, да... выдерутъ, пожалуй?—сомнѣвающимся тономъ тихо спросилъ гимназистъ, уже полурѣшившись на эту выходку.

— Выдерутъ?—угрозливо насупился Полояровъ,—а во? этого не хотятъ ли? Пущай попробуютъ—вкусно ли пахнетъ!

— Ну-у, гдѣ выдрать! — солидно возразилъ учитель,—теперь и вообще-то не дерутъ, а тутъ еще ученикъ на выпускѣ. Развѣ такъ что-нибудь... въ карцеръ посадятъ на недѣльку, и только.

— Такъ я хвачу!.. Ей Богу хвачу!—съ живостью подхватилъ Шишкинъ, срываясь съ мѣста.

— Ну, вотъ вздоръ какой! Я вѣдь только такъ...—пошутилъ, отклонился учитель, все въ томъ же солидномъ тонѣ.

— Отлично бы хватить, да не хватите! — вздохнулъ Анцыфровъ.

— Не хвачу? А почему... позвольте узнать... почему вы думаете, что не хвачу.

— Да такъ, смѣлости не хватитъ.

— Смѣлости?.. У меня-то? У Ивана-то Шишкина смѣлости не хватитъ? Ха-ха!? Мы въ прошломъ году, батюшка, французу бенефисъ цѣлымъ классомъ задавали, такъ я въ него вопервыхъ жвачкой пустилъ прямо въ рожу, а потомъ парикъ сдернулъ... Цѣлыхъ полторы недѣли въ карцерѣ сидѣлъ, на хлѣбѣ и на водѣ-съ, а никого изъ товарищей не выдалъ. Вотъ Феликсъ Мартыновичъ знаетъ!—сослался онъ на Подвиляньскаго,—а вы говорите смѣлости не хватитъ!.. А вотъ хотите докажу, что хватитъ? Мнѣ что? Мнѣ все равно!

— Нѣтъ-съ, тутъ, батюшка, не парикъ и не жвачка,—оппонировалъ пискунъ,—тутъ нѣчто побольше да посерьезнѣе, да и подоблестнѣе-съ!.. Тутъ гражданское мужество нужно-съ!

— А вотъ увидимъ, коли такъ! Увидимъ! — хорохорился гимназистъ, у котораго голова ходенемъ пошла съ двухъ стакановъ шампанскаго.

— Ну, нѣтъ, не дѣлайте глупостей!—сталъ было солидно урезонивать Подвиляньскій, и эта солидность оказалась у него очень искусно сдѣланною, такъ что даже на посторонніе глаза ее смѣло можно бы было принять за солидность настоящую и вполнѣ искреннюю.

— Чего тамъ не дѣлайте!—обернулся на него Шишкинъ,—они меня за труса считаютъ, такъ нѣтъ же, чортъ возьми! Я имъ докажу!

— Господинъ Шишкинъ! Господинъ Шишкинъ!—хлопотливо вбѣжалъ въ комнату Петръ

Digitized by Google

Петровичъ. — Пожалуйте поскорѣе, вашъ чередъ!

Шишкинъ бойко и самоувѣренно взошелъ на эстраду. Полояровъ, Анцыфровъ и Подвиляньскій съ любопытствомъ ожиданія подошли къ дверямъ и приготовились слушать.

— «*Орелъ*!» — раздался звучный голосъ декламатора.

Анцыфровъ пискнулъ, хихикнулъ и даже присѣлъ отъ удовольствія.

— Молодецъ!.. Ей-Богу, молодецъ!.. Я никакъ не думалъ,—прошепталъ онъ.

По залѣ понеслись звучныя строфы:

„Я нашелъ, друзья, нашелъ,
Кто виновникъ безтолковый
Нашихъ бѣдъ и нашихъ золъ!
Виноватъ во всемъ гербовый,
Двуязычный, двухголовый
Всероссійскій нашъ орелъ!"

И пошелъ, и пошелъ все дальше да дальше...

По залѣ понеслось волненіе, шопотъ, недоумѣніе; удивленіе, слушатели оглядывались другъ на друга и вокругъ себя, иные опасались за смѣлаго чтеца, иные искали глазами, не слушаетъ ли гдѣ-нибудь полиція...

Эффектъ вышелъ полный и неожиданный.

Лубянскій поблѣднѣлъ и стоялъ, словно бы на него столбнякъ нашелъ. Взволнованный и перетревоженный, въ страхѣ за чтеца, онъ искалъ глазами Пшецыньскаго, но того не было въ залѣ. Полковникъ ограничился только присылкою преміи, а самъ не почтилъ вечера своимъ присутствіемъ.

Но въ сущности легче ли было отъ этого? Измѣнило ли его отсутствіе хоть сколько-нибудь участь пьянаго Шишкина? И едва кончилъ онъ, какъ раздался взрывъ неистовыхъ криковъ и топанья. Особенно отличались хоры, шумѣвшіе по двумъ причинамъ: первая та, что читалъ свой братъ гимназистъ, котораго поэтому «нужно поддержать»; а вторая, читалось запрещенное—слово, вѣчно заключающее въ себѣ что-то влекущее, обаятельное.

Большинство вопило «браво!» и требовало «bis!» Только немногіе сохраняли необходимую сдержанность и приличіе, и въ числѣ этихъ немногихъ между прочимъ были докторъ Адамъ Ярощь и самъ Подвиляньскій, незамѣтно проскользнувшій въ залу. Теперь онъ старался держаться на глазахъ у всѣхъ и съ видомъ серіознаго равнодушія оглядывалъ неистовавшую часть публики.

Одурманенный виномъ и успѣхомъ, Шишкинъ шелъ уже на эстраду съ тѣмъ, чтобы повторить «*Орла*», какъ вдругъ изъ одного конца залы смѣло раздалось рѣзкое шиканье.

Всѣ обернулись въ ту сторону. Тамъ, приложивъ щиткомъ руки къ губамъ, что есть мочи шикалъ одинъ только человѣкъ. И этотъ одинъ, къ удивленію многихъ, былъ Устиновъ.

— Молчать!.. Не шикать!.. Кому не нравится, такъ вонъ!.. Не мѣшайте слушать!.. Долой шикальщика!.. A bas le sifflеur! съ разныхъ концовъ залы раздалось нѣсколько ретивыхъ, задорныхъ голосовъ.

Устиновъ, не обращая вниманія, продолжалъ свое дѣло.

Къ счастію, Шишкинъ не былъ допущенъ на эстраду. Майоръ удержалъ его за руку и почти насильно увелъ въ «артистическую комнату».

— Что вы надѣлали!.. Господи! Что вы надѣлали!— въ ужасѣ качалъ онъ головою, заслоняя собою гимназисту проходъ въ шумѣвшую залу.

— Вы думаете выдерутъ? Не бойсь, не посмѣютъ!.. Въ карцеръ развѣ, а это—нѣтъ! Пустите меня, публика требуетъ!— порывался тотъ, стараясь выскользнуть изъ рукъ Лубянскаго.

А публика все еще шумѣла, стучала, хлопала... Скандалъ былъ полный и всесовершенный.

Частный приставъ возвысилъ было голосъ,— нѣсколько человѣкъ вытолкали его вонъ изъ залы и наглухо захлопнули входную дверь.

Майоръ былъ въ отчаяніи и поспѣшилъ выслать на эстраду двухъ барышень: поющую, и вопіющую, которыя громогласнымъ дуэтомъ хотѣли заглушить стукъ и крики. Нѣкоторое время длилась борьба между пѣніемъ и шумомъ, но храбрыя и стойкія барышни преодолѣли публику—и она наконецъ снисходительно замолкла.

Вечеръ кончился какъ-то странно. Одни выходили изъ залы въ недоумѣніи, другіе, то-есть большинство, весьма шумно. Тамъ и сямъ, какъ послѣдніе выстрѣлы отступающихъ солдатъ, раздавались еще выкрики: «Шишкина!.. Орла! Bis!.. Браво!.. Шишкина!»

— Это съ какой стати вы шикать изволили?—дерзко вызывающимъ тономъ обратился къ Устинову Полояровъ.

— Съ такой, что если разъ уже сдѣлана глупость, то не слѣдуетъ повторять ее!—рѣшительно отчеканилъ Устиновъ, не смутясь отъ Полояровскаго взгляда.

— А въ чемъ эта глупость, по вашему, и почему это не повторять ее, позвольте полюбопытствовать?

— Глупость въ томъ, что она вредитъ хорошему почтенному дѣлу, а повтореніе ея могло бы отозваться еще болѣе горькими послѣдствіями для Шишкина.

— Все это вздоръ! Никакихъ послѣдствій не будетъ и быть не можетъ! Тутъ голосъ общественнаго мнѣнія-съ!

— Въ такомъ разѣ напрасно сами вы не вышли вмѣсто гимназиста и не прочли «*Орла*». Скажите, пожалуйста, отчего это вы пропустили такой прекрасный случай?

Послѣдній вопросъ былъ предложенъ съ весьма чувствительною ѣдкостью и попалъ прямо по назначенію. Полоярову нечего было отвѣтить и потому, промычавъ ироническое «гм!», онъ отвернулся отъ Устинова.

Digitized by Google

XIV.

Кому досталось расхлебывать кашу.

На другое утро къ воротамъ майорскаго домика прискакалъ казакъ и привезъ Петру Петровичу повѣстку изъ губернаторской канцеляріи.

Эта повѣстка вызывала его прибыть къ его превосходительству въ одиннадцать часовъ утра. Лаконизмъ извѣщенія показался майору довольно зловѣщимъ. Онъ зналъ, онъ предчувствовалъ, по поводу чего будутъ съ нимъ объясненія. И хуже всего для старика было то, что не видѣлъ онъ ни малѣйшихъ резоновъ и оправданій всему этому дѣлу.

Когда майоръ вступилъ въ губернаторскую залу, тамъ уже толкались кое-какія силы офиціальнаго міра. Правитель канцеляріи и нѣсколько чиновниковъ ожидали со своими докладами; лихой полиціймейстеръ Гнутъ расхаживалъ съ рапортомъ; дежурные—канцелярістъ и квартальный суетились около какихъ-то шнуровыхъ разграфленыхъ книгъ и сортировали только-что полученные пакеты. Лихой Гнутъ попытался было мимоходомъ окинуть майора внушительно-строгимъ, соколинымъ взглядомъ; но того этотъ взглядъ не смутилъ ни мало. Въ своемъ мундирѣ, тщательно вычищенномъ и щеткой, и метелкой, при всѣхъ регаліяхъ, стоялъ майоръ у окна и съ тайной смутой на сердцѣ ожидалъ что-то будетъ.

Пробило одиннадцать,—губернаторъ не показывается.

Пришелъ черненькій Шписсъ, небрежно мотнувъ головой на поклоны нѣкоторыхъ чиновниковъ, фамильярно подалъ руку правителю канцеляріи и пріятельски заболталъ съ подполковникомъ Гнутомъ о вчерашнемъ «раутѣ» графини. Пришли и еще двое чиновниковъ по особымъ порученіямъ, изъ которыхъ одинъ обладалъ весьма либеральной бородой, либеральными усами, либеральной прической и либеральными панталонами. Онъ небрежно поигрывалъ стальною цѣпочкою отъ часовъ, которая изображала собою въ нѣкоторомъ родѣ кандалы, съ ядромъ и «мертвою головою». Либеральный чиновникъ желалъ обратить вниманіе присутствовавшихъ на свою цѣпочку и, дѣйствительно, лихой Гнутъ вскорѣ замѣтилъ ее:

— Посмотрите, господа, какая оригинальная цѣпочка!

И всѣ кинулись разсматривать цѣпочку либеральнаго чиновника. Одинъ только ничему непричастный майоръ попрежнему оставался у окна.

— Это—Жанъ-Вальжанъ, цѣпь каторжныхъ галерниковъ, — самодовольно пояснилъ чиновникъ, — совсѣмъ новая новинка! Только что получены.

— Гдѣ? гдѣ? скажите пожалуйста! У кого это? — хоромъ насѣли на него заинтересованные чиновники.

— Въ Сарептскомъ магазинѣ... Цѣлая партія прислана.

— А! надо купить!.. непремѣнно надо! Отличная штука!

И чиновники долго еще любовались Жанъ-Вальжаномъ своего либеральнаго собрата.

Пробило половину двѣнадцатаго—нейдетъ губернаторъ.

Чиновники по особымъ порученіямъ либерально расхаживаютъ по залѣ вмѣстѣ съ «правителемъ» и Гнутомъ, тогда какъ всѣ почтительно дожидаются, не двигаясь съ мѣста.

Вотъ на минуту растворилась дверь, и вышелъ изъ нея, вполнѣ серьезный, полковникъ Пшецыньскій, представительно бряцая шпорами и поддѣтою на крючекъ саблей, при чемъ кисточки его серебряныхъ эполетъ болтались весьма эффектно. Онъ на ходу отвѣтилъ любезнымъ склоненіемъ головы на общій поклонъ чиновниковъ и, съ озабоченнымъ видомъ, прошелъ въ прихожую, мимо майора, котораго хотя и видѣлъ, но будто не замѣтилъ.

Пробило двѣнадцать. Опять на минуту растворилась дверь, и губернаторскій лакей пронесъ на подносѣ корзинку съ хлѣбомъ, да два пустые стакана послѣ кофе.

Либеральные чиновники продолжаютъ расхаживать, болтая о «раутѣ», о madame Пруцко, о Людовикѣ Наполеонѣ, объ Шмитгофъ, о какой-то статьѣ въ «*Современникѣ*», о внезапномъ повышеніи по службѣ какого-то Кузьмы Демьяновича, о новомъ рысакѣ Верхохлебова... и о многихъ иныхъ, подобныхъ предметахъ, о которыхъ вообще и всегда, отъ нечего дѣлать, болтаютъ губернаторскіе чиновники въ ожиданіи своего патрона.

Но вотъ раздался кабинетный звонокъ, и дежурный канцелярістъ, застегивая послѣднюю пуговицу вицъ-мундира, со всѣхъ ногъ бросился на призывъ его превосходительства. По прошествіи нѣкотораго времени онъ опять показался въ залѣ и собственноручно открылъ самымъ торжественнымъ образомъ половину двери. Послышались вѣскіе шаги, съ легкимъ скрипомъ—и въ дверяхъ появился Непомукъ Анастасьевичъ Гржибъ-Загржимбайло.

— Гдѣ? — лаконично произнесъ онъ, обративъ вопросительный взглядъ на дежурнаго.

Тотъ указалъ рукой на майора.

Губернаторъ, отдавъ всѣмъ общій поклонъ, вышелъ на середину залы и остановился. Онъ не позвалъ майора въ кабинетъ, но нарочно хотѣлъ «распушить» его въ залѣ при всѣхъ, дабы всѣ видѣли Непомуковскую строгость и высшую благонамѣренность.

— Пожалуйте-ка сюда, господинъ Лубянскій! издали обратился онъ къ Петру Петровичу тѣмъ офиціально-деревяннымъ тономъ, который не предвѣщалъ ничего добраго. Ста-

Digitized by Google

рикъ и чувствовалъ, и понималъ, что во всякомъ случаѣ ему рѣшительно нечего говорить, нечего привести въ свою защиту и оправданіе, и потому онъ только произнесъ себѣ мысленно: «помяни, Господи, царя Давида и всю кротость его!» и, по возможности, твердо и спокойно подошелъ къ губернатору.

— Что это у васъ такое произошло! грозно загнусилъ и засопѣлъ его превосходительство.— Воззваніе къ бунту!.. Демонстраціи!.. Порицаніе правительственнаго принципа!.. И вы думаете, что я это потерплю? Вы думаете, что со мною можно безнаказанно такія шутки шутить?.. Да знаете-ли, милостивый государь, что я васъ административнымъ порядкомъ въ двадцать-четыре часа изъ города вонъ въ Тобольскую упрячу!.. Вы у меня народъ агитировать, молодежь развращать!.. Я вырву съ корнемъ это гнусное сѣмя!.. Стыдитесь! вы—старикъ, штабъ-офицеръ; на васъ эти кресты, эти медали—и вы... вы...

Послѣдній незаслуженный упрекъ былъ слишкомъ горекъ и обиденъ старому солдату. Онъ поблѣднѣлъ и задрожалъ отъ волненія.

— Ваше превосходительство.... ваше превосходительство! возвысилъ онъ голосъ, — въ вашемъ положеніи оскорбить человѣка легко-съ. Но... я за двухъ моихъ государей двадцать-пять лѣтъ мой лобъ и мою грудь подставлялъ... я одиннадцать ранъ имѣю-съ, такъ не мнѣ, на старости лѣтъ, подуськивать на бунты!

И повернувшись, онъ твердыми шагами пошелъ изъ комнаты.

— Стойте!—закричалъ ему вслѣдъ губернаторъ.

Майоръ словно бы и не слышалъ.

— Стойте же, говорю я вамъ!.. Я еще не кончилъ... Остановите его.

Дежурный квартальный преградилъ ему выходъ.

Потухшіе глаза майора вдругъ сверкнули нестарческимъ огнемъ. Если бы полицейскій офицеръ только дотронулся до него... было бы не хорошо. Петръ Петровичъ на мгновеніе замедлился передъ нимъ, словно бы соображая, на что ему рѣшиться. Улыбающееся личико дочери вдругъ мелькнуло въ его воображеніи— и этотъ спасительный образъ, къ счастію, удержалъ его отъ многаго...

— Потрудитесь вернуться... и выслушать!— кричалъ между тѣмъ Гржибъ-Загржимбайло.

Лубянскій подошелъ къ нему твердымъ шагомъ.

— Изъ уваженія къ вашимъ сѣдинамъ, я не хочу лишить васъ покоя и потому оставляю въ городѣ,—продолжалъ Непомукъ уже гораздо сдержаннѣе.—Но за подобныя вещи отдаютъ, по крайней мѣрѣ, подъ строгій надзоръ полиціи... Послѣ этого я не имѣю права дозволить вамъ учить дѣтей и не могу оставить школу въ вашихъ рукахъ. Но я не хочу также, чтобы бѣдныя дѣти, которыя ни въ чемъ невиноваты, благодаря вамъ, лишились того образованія, которое уже они получали; поэтому я учреждаю надъ школой административный надзоръ, и вы потрудитесь передать завѣдываніе ею тому благонадежному лицу, которое будетъ мною назначено!.. Ему же передадите вы отчетъ и сумму отъ вчерашняго вечера. Теперь можете идти!

И онъ вѣжливымъ, но очень выразительнымъ жестомъ указалъ на дверь майору.

Старикъ, почти не помня себя, вышелъ на улицу убитый, оскорбленный, уничтоженный и разомъ лишенный лучшаго и завѣтнѣйшаго дѣла своей тихой и честной старости.

XV.

Конференція совѣта гимназіи.

Объявленіе, положенное на столѣ сборной учительской комнаты, извѣщало господъ учителей объ экстренномъ засѣданіи совѣта гимназіи, которое имѣетъ быть сегодня, въ два съ половиною часа пополудни. Учителя болѣе или менѣе знали уже о чемъ пойдетъ рѣчь на этомъ засѣданіи.

Въ половинѣ третьяго, по окончаніи классовъ, когда гурьба гимназистовъ съ гамомъ и шумомъ высыпала на улицу, учителя собрались въ конференцъ-залу, по стѣнамъ которой стояли высокіе шкафы съ чучелами птицъ и моделями звѣрей; на шкафахъ — глобусы и семь мудрецовъ греческихъ; на столахъ и въ витринахъ около оконъ—электрическія и пневматическія машины, вольтовъ столбъ, архимедовъ винтъ, лейденскія банки, минералогическія и археологическія коллекціи. По срединѣ залы стоялъ длинный столъ, покрытый краснымъ сукномъ, и вокругъ него рядъ креселъ. На площадкѣ, передъ этой комнатой дожидалась чего-то бѣдно одѣтая старушка и молча, но съ невыразимо-тоскливой мольбой во взорѣ провожала каждаго входившаго въ дверь конференцъ-залы. Пока еще директоръ не занялъ предсѣдательскаго мѣста, члены совѣта въ группахъ разговаривали между собою. Устиновъ отозвалъ Подвиляньскаго въ сторону и сказалъ ему тихо:

— Я надѣюсь, Феликсъ Мартыновичъ, вы употребите всѣ усилія, всѣ старанія, чтобы облегчить участь Шишкина... Это—долгъ вашей совѣсти, Феликсъ Мартыновичъ!—прибавилъ онъ съ удобопонятною для Подвиляньскаго выразительностью.

— Конечно... все, что могу... — процѣдилъ тотъ сквозь зубы.

Раздался призывный колокольчикъ—и учителя заняли свои мѣста.

— Предварительно обсужденія главнаго вопроса нынѣшней конференціи, началъ ди-

Digitized by Google

ректоръ, видимо стремившійся усвоить себѣ парламентскія формы, — я долженъ сообщить вамъ, милостивые государи, вотъ что: сегодня приглашалъ меня къ себѣ его превосходительство Непомукъ Анастасьевичъ для совмѣстнаго обсужденія весьма важнаго вопроса о воскресной школѣ. Послѣ всего происшедшаго во вчерашній вечеръ, его превосходительство полагаетъ совершенно невозможнымъ оставить завѣдываніе школой въ рукахъ майора Лубянскаго, ни дозволить ему дальнѣйшее преподаваніе. Это крайнее и послѣднее рѣшеніе. Его превосходительство намѣренъ предложить администрацію и наблюденіе за ходомъ преподаванія въ школѣ господину Подвиляньскому и спрашивалъ меня о благонадежности Феликса Мартыныча въ политическомъ и нравственномъ отношеніи. Я, съ своей стороны, конечно, могъ дать только самый лестный отзывъ.

Подвиляньскій при этомъ слегка поклонился съ скромной улыбкой благодарности.

— Что касается меня,—продолжалъ директоръ, — я не нашелъ ничего противъ предложенія его превосходительства и въ принципѣ совершенно соглашаюсь съ нимъ. Остается только узнать на этотъ счетъ рѣшеніе самого Феликса Мартыныча, и если Феликсъ Мартынычъ согласенъ, то...

— Я соглашаюсь,—подхватилъ Подвиляньскій. — Конечно... у меня есть много занятій, но... для пользы такого дѣла... просвѣщеніе народа—вы сами, конечно, понимаете... я не считаю себя въ правѣ отказаться.

— Въ такомъ случаѣ я извѣщу объ этомъ Непомука Анастасьича, а вы потрудитесь завтра утромъ отправиться къ его превосходительству, и онъ сообщитъ вамъ нѣкоторыя инструкціи.

Феликсъ Мартыновичъ поклонился вторично въ знакъ полнаго и покорнаго своего согласія.

— Какъ!.. Позвольте-съ?—поднялся съ мѣста озадаченный и даже ошеломленный Устиновъ;—но вѣдь эта школа—дѣло совершенно частное; какое же тутъ вмѣшательство...

— Разрѣшеніе на школу дано все-таки администраціей,—рѣшительно перебилъ директоръ,— и если направленіе преподаванія или духъ школы идетъ въ разрѣзъ съ правительственными видами, администрація всегда имѣетъ полное право...

— Но вѣдь надо же сперва узнать, надо изслѣдовать, по крайней мѣрѣ, все дѣло! Вѣдь такъ нельзя же! Вѣдь это что-жь такое, наконецъ!!... Вредный духъ школы—да Господи Боже мой! взгляните прежде...

— Я ничего не знаю; это касается администраціи; можете къ ней адресоваться,—настойчиво прервалъ директоръ Устинова. — Администрація во вчерашнемъ происшествіи имѣетъ на лицо достаточно краснорѣчивый фактъ, противъ котораго я не нахожу возможности спорить, и если заговорилъ объ этомъ, то для того только, чтобы передать Феликсу Мартынычу рѣшеніе, до него лично касающееся. Засимъ дебаты объ этомъ предметѣ я считаю оконченными и предлагаю перейти къ главному нашему вопросу.

Будто почувствовавъ важность этой минуты, всѣ какъ-то подбодрились, оправились, подвинули ближе къ столу свои кресла и приготовились слушать.

— Вамъ, милостивые государи,—началъ директоръ, вздохнувъ съ печально важнымъ видомъ,—извѣстно уже вчерашнее грустное происшествіе; поэтому я избавлю себя отъ прискорбнаго труда повторять вамъ сущность его. Всѣ вы и безъ того хорошо знаете дѣло. — Антонъ Антонычъ, — обратился онъ къ инспектору,—какъ распорядились вы съ Шишкинымъ?

— Съ утра еще посаженъ въ карцеръ, на хлѣбъ и на воду.

— Это хорошо-съ. Теперь, господа, вашему обсужденію предлежитъ вопросъ: что сдѣлать съ нимъ? Господинъ Шепфенгаузенъ, вы, какъ младшій, потрудитесь изложить намъ ваше мнѣніе,—отнесся предсѣдатель къ учителю чистописанія, черченія и рисованія.

— Зъ бальшинства загля-асенъ,—сгибая колѣнки и оскаля глупой улыбкой свою лошадиную челюсть, приподнялся скромный и немногоглаголивый господинъ Шепфенгаузенъ.

— Очень хорошо-съ. Господинъ Краузе?

— Висѣкать и вигонать,—рѣшилъ учитель нѣмецкаго языка.

— Очень хорошо-съ. Monsieur Фуше! Votre opinion.

— Oh, oui! розгъ, et cachôt, et вигани-п... et tout! ce que vous voulez! О, c'est un grand gaillard ce Chichkin là!.. Эти сквэрнъ мальшишкъ! Tout, ce que vous voulez, monsieur le directeur! et вигани, et cactôt, et розгъ—voilà mon opinion! жестикулировалъ учитель французскаго языка, который точилъ противъ Шишкина старый зубъ еще за прошлогодній бенефисъ съ жвачкой и сдернутымъ парикомъ.

— Очень хорошо-съ. Не угодно ли вамъ, господинъ Подвиляньскій?

— Съ большинствомъ согласенъ, уклончиво отвѣтилъ учитель латинскаго языка.

— То-есть, позвольте-съ! какъ же это съ большинствомъ?—сказалъ Устиновъ, въ упоръ и строго глядя въ глаза ему;—до сихъ поръ большинство за розги и исключеніе? И вы тоже на сторонѣ большинства?

— Господинъ Фуше имѣетъ свои основанія подать мнѣніе этого рода, — опять-таки уклонился Подвиляньскій, обращаясь не къ Устинову, но ко всѣмъ вообще.—Я прошу позволенія напомнить совѣту, что прошлаго года этотъ самый Шишкинъ высидѣлъ полторы не-

Digitized by Google

дѣли въ карцерѣ за грубыя дерзости, которыя онъ позволилъ себѣ относительно господина Фуше.

— Я нахожу, что напоминаніе ваше едва ли умѣстно, — покраснѣвъ отъ негодованія, сдержанно проговорилъ Устиновъ.—Были другіе, которые были виноваты гораздо болѣе Шишкина, но Шишкинъ не захотѣлъ выдать товарищей и на самомъ себѣ понесъ все наказаніе. Я нахожу, что это черта весьма благородная.

— И такъ, Феликсъ Мартыновичъ, ваше мнѣніе? — обратился предсѣдатель къ Подвиляньскому.

— Остаюсь при прежнемъ,—коротко поклонился тотъ.

Устиновъ поглядѣлъ на него честными, изумленными глазами.

— Вы что скажете, Андрей Павловичъ?— повернулся директоръ къ Устинову.

— Я скажу одно,—поднялся меленькій математикъ;—пощадите, господа, молодого человѣка!.. Если у васъ есть въ сердцѣ хоть капелька человѣческой крови—пощадите его! Онъ виноватъ — не спорю. Ну, выдержите его въ карцерѣ, сколько вамъ будетъ угодно; ну, лишите его домашныхъ отпусковъ до конца курса; ну, постарайтесь представить предъ собраніемъ товарищей весь позоръ, всю глупость его проступка; но, только Бога ради, не выгоняйте его!

— Это будетъ весьма недостаточное наказаніе: поступокъ его заражаетъ большинство весьма дурнымъ примѣромъ, — замѣтилъ инспекторъ.

— Эхъ, Антонъ Антоновичъ! — возразилъ Устиновъ.— Видно, что своихъ дѣтей у васъ нѣтъ и никогда не было!.. Какъ это все легко говорится!.. Вѣдь Шишкинъ способнѣйшая, даровитая голова! Вѣдь онъ у насъ который годъ первымъ ученикомъ идетъ! Ну, натура у него немножко широкая, русская, увлекающаяся натура, но вѣдь онъ честный юноша! Вѣдь ему черезъ два мѣсяца курсъ кончать, изъ гимназіи выходить, а вы вдругъ хотите лишить его всего,—всего, за одну глупость, которую вдобавокъ и сдѣлалъ-то онъ, какъ я не безъ основанія подозрѣваю, по чужому внушенію.

Подвиляньскій, при этихъ словахъ, отчасти измѣнился въ лицѣ и сталъ сосредоточенно обмахивать обшлагъ своего вицъ-мундира, словно бы въ немъ засѣла какая-то упрямая пылинка.

— Господа! продолжалъ Устиновъ,—здѣсь, за дверью, какъ жизни или смерти ожидаетъ вашего рѣшенія несчастная старуха-мать этого Шишкина. Вѣдь вся ея радость, единственная надежда, единственный кусокъ хлѣба на старости лѣтъ... Пощадите же Христа ради!

— Для чего же вы сами шикали вчера! ехидственно спросилъ Подвиляньскій.

Устиновъ, прежде чѣмъ отвѣтить, посмотрѣлъ на него холодно-презрительными и строгими глазами.

— А я васъ спрошу, началъ онъ вѣско и размѣренно:—для чего *вы* подуськивали его?

— Какъ!.. Позвольте, милостивый государь! Гдѣ? Когда я подуськивалъ его! горячо сорвался съ мѣста Феликсъ Мартыновичъ.— Я?.. Я, напротивъ, удерживалъ, отговаривалъ его, у меня есть свидѣтели, очевидцы... Я представлю доказательства!.. Я не позволю никому оскорблять меня такимъ образомъ! Я не могу допустить, чтобы такъ нагло клеветали на мою благонамѣренность!.. Это уже называется подкопами...

— Обвиненіе столь важно, перебилъ предсѣдатель, — что я полагаю лучше допросить объ этомъ первоначально самого Шишкина... Пусть онъ намъ скажетъ внушалъ ли ему кто или нѣтъ. Антонъ Антоновичъ, распорядитесь, пожалуйста, чтобы привели его сюда изъ карцера.

Чрезъ нѣсколько минутъ подсудимый стоялъ предъ ареопагомъ своихъ наставниковъ и воспитателей. Едва успѣлъ онъ войти, какъ Подвиляньскій, упреждая возможность перваго вопроса со стороны директора, къ которому арестантъ, естественно, не могъ быть подготовленъ, стремительно поднялся вдругъ съ кресла и съ особенною торопливостью обратился къ гимназисту;

— Господинъ Шишкинъ! Какъ *честный человѣкъ*, скажите откровенно, останавливалъ ли я васъ, чтобы вы не дѣлали этой глупости? Скажите по совѣсти!

Шишкинъ поглядѣлъ на него пристально и твердо отвѣтилъ:

— Да; говорили... Останавливали.

Подвиляньскій съ гордымъ презрѣніемъ вымѣрялъ торжествующимъ взглядомъ Устинова.

— Повремените немного! сказалъ ему послѣдній, очень хорошо понявъ значеніе этого безмолвнаго торжества.—Господинъ Шишкинъ! Я не хочу допустить мысли, чтобы вы сдѣлали вашъ проступокъ безъ чьего-нибудь посторонняго побужденія. Скажите откровенно, кто подуськалъ васъ на это? Или какъ, по крайней мѣрѣ, вслѣдствіе чего пришла вамъ эта несчастная мысль прочесть «*Орла*»?

Подвиляньскій опять почувствовалъ маленькую неловкость и опять было прибѣгнулъ къ старательному обтиранію обшлага; но изъ этого безпокойнаго положенія, къ счастію, вывелъ его преподаватель географіи Бенедиктъ Кулькевичъ.

Шишкинъ еще не собрался отвѣтить, какъ уже раздался голосъ этого Бенедикта.

—Я полагаю,—началъ онъ,—вопросъ господина Устинова не совсѣмъ умѣстенъ; мы здѣсь, во-первыхъ, не слѣдственная по политическимъ дѣламъ коммисія...

Digitized by Google

Послѣдняя фраза была сказана съ такою ѣдкою ироніей, которая прямо била на то, чтобы подѣйствовать на щекотливую струнку самолюбія членовъ.

— Да, но мы здѣсь тѣмъ не менѣе рѣшаемъ судьбу молодого человѣка! горячо перебилъ его Устиновъ.

— Во-вторыхъ—продолжалъ Кулькевичъ, не обративъ вниманія на это возраженіе,—мнѣ кажется, что такой вопросъ даже оскорбителенъ для самого господина Шишкина. — По крайней мѣрѣ, если-бъ я былъ на его мѣстѣ, я бы оскорбился за мое самолюбіе: господинъ Устиновъ какъ будто предполагаетъ въ господинѣ Шишкинѣ совсѣмъ глупенькаго, неразумнаго ребенка, мальчишку, дурачка, котораго такъ вотъ вдругъ можно взять да и подуськать на что либо; какъ будто господинъ Шишкинъ недостаточно взрослый и самостоятельный юноша, чтобы дѣйствовать по собственной иниціативѣ? Впрочемъ, это только мое личное мнѣніе; можетъ, кто и «подуськивалъ» его, я не знаю. Объ этомъ онъ самъ, конечно, лучше знаетъ.

Сказано все это было какъ нельзя болѣе кстати, и расчетъ оказался вѣренъ. Шишкинъ, какъ одинъ изъ лучшихъ и при томъ бойкихъ учениковъ, естественно, былъ самолюбивъ. Кулькевичъ зналъ за нимъ это качество и его-то именно рѣшился задѣть въ нужную минуту. Восемнадцатилѣтній юноша переживалъ то время, когда школьническій гимназическій мундиръ становится уже тѣсенъ, малъ и узокъ на человѣкѣ, когда самолюбіе тянетъ человѣка на каждомъ шагу заявить себя взрослымъ, когда онъ, такъ сказать, борьбою добываетъ себѣ эту привилегію на взрослость въ глазахъ тѣхъ, которые продолжаютъ еще считать его мальчишкой и школьникомъ.

— Меня никто не ускалъ... Я самъ читалъ, по своему побужденію,—съ достоинствомъ проговорилъ юноша. Честный малый—онъ даже былъ убѣжденъ въ эту минуту, что свершаетъ нѣкій подвигъ гражданскаго мужества.

— Хорошо-съ, можете отправляться обратно въ карцеръ! — сухо отвѣтилъ ему на это директоръ.

Когда арестантъ удалился, Подвиляньскій, весь пылая чувствомъ гордаго и удовлетвореннаго достоинства, смѣло и твердо поднялся съ мѣста.

— Господа!—возвысилъ онъ голосъ,—послѣ того, что сказано здѣсь самимъ Шишкинымъ, я не считаю нужнымъ отвѣчать на обвиненіе господина Устинова: пускай онъ самъ назоветъ его достойнымъ именемъ.

— Я остаюсь при прежнемъ своемъ мнѣніи—стойко и не смутясь отвѣтилъ Устиновъ,— и только прибавлю къ нему одно, что *легально* вы остались совершенно правы, съ чѣмъ васъ и поздравляю.

— Такъ послѣ же этого!!.. запальчиво вскочилъ было Феликсъ Мартыновичъ, но предсѣдатель прекратилъ ихъ преніе настойчивымъ призывомъ къ порядку и продолжалъ отбирать мнѣнія членовъ совѣта.

Большинство трехъ голосовъ оказалось на сторонѣ исключенія. Два изъ нихъ принадлежали самому предсѣдателю, который нѣкоторое время колебался было, отдать ли эти два голоса въ пользу Устиновскаго предложенія, или въ пользу его противниковъ, но изъ столь затруднительнаго колебанія вывелъ его опять-таки все тотъ же находчивый и предусмотрительный Феликсъ Мартыновичъ Подвиляньскій.

— Господа, сказалъ онъ съ видомъ величайшей искренности, положивъ руку на сердце.—Вѣрьте моей совѣсти, я отъ души радъ бы былъ сдѣлать все возможное, лишь бы только облегчить участь молодого человѣка, я вполнѣ сочувствую господину Устинову и прочимъ, которые подали голоса противъ исключенія, но, господа!.. все это вполнѣ безполезно! Проступокъ Шишкина не такого рода, чтобы администрація оставила его безъ вниманія: доказательство — сегодняшнее рѣшеніе господина губернатора. Они уже знаютъ объ этомъ! Если мы не исключимъ Шишкина, его все-таки заберетъ въ свои лапы жандармерія и, стало-быть, все-таки, volens-nolens, онъ будетъ исключенъ, а мы, между тѣмъ, можемъ подвергнуться со стороны министерства серьезному замѣчанію въ потворствѣ... заподозрятъ благонамѣренность нашего направленія — и что-жь изъ того выйдетъ? Какая польза, я васъ спрашиваю? Ни себѣ, ни ему! Лучше же умыть руки, сдѣлать достодолжное и — дальнѣйшее предоставить администраціи: какъ тамъ себѣ хотятъ, такъ пусть и дѣлаютъ, абы мы въ сторонѣ были!

Этотъ взглядъ, безспорно, имѣлъ на своей сторонѣ много эгоистически-успокоительнаго и, стало быть, весьма подкупающаго, а потому предсѣдатель и отдалъ свои голоса въ пользу исключенія.

Конференція окончилась. Члены совѣта оставляли залу и выходили на ту площадку, гдѣ ожидала скромно одѣтая старушка.

Едва показался инспекторъ, какъ она, въ величайшемъ напряженіи ожиданія, въ борьбѣ между страхомъ и надеждой, молча, но съ выразительнымъ вопросомъ въ глазахъ и во всемъ лицѣ своемъ подступила къ Антону Антоновичу.

— Къ сожалѣнію, ничѣмъ не могу утѣшить васъ, сударыня! грустно пожалъ онъ плечами:—большинствомъ голосовъ вашъ сынъ присужденъ къ исключенію изъ гимназіи. Завтра утромъ можете явиться за его бумагами.

Старуха страшно поблѣднѣла, нижняя челюсть ея вдругъ какъ-то безсильно отвалилась

Digitized by Google

отъ верхней, подбородокъ замѣтно запрыгалъ, задрожалъ и сама она вся затряслась, да какъ стояла, такъ и хлопнулась на мѣстѣ о каменныя плиты помоста.

— Господинъ Подвиляньскій! — съ силой схватилъ вдругъ Феликса за руку взволнованный Устиновъ.

Онъ говорилъ съ трудомъ, почти задыхаясь. Въ его зрачкахъ сверкало вдохновеніе бѣшенства.

Феликсъ оробѣлъ и попятился.

— Господинъ Подвиляньскій, — повторилъ онъ, все крѣпче сжимая его руку между локтемъ и кистью,—вы... вы подлецъ!

Это страшное слово было громко и смѣло брошено ему въ лицо въ присутствіи всѣхъ сотоварищей по службѣ, и послѣ этого слова Устиновъ съ презрѣніемъ, даже болѣе, съ омерзѣніемъ, словно отъ какой-нибудь холодной и склизкой гадины, отдернулъ отъ него свою руку.

— Господа!.. господа!.. вы слышали?—взволнованно забормоталъ потерявшійся учитель.— Я этого не могу такъ оставить... Мое имя... моя честь... Я требую сатисфакціи!.. Сатисфакціи!

— Къ вашимъ услугамъ! сходя со ступенекъ и, повидимому, уже спокойно, съ полнымъ самообладаніемъ, обернувшись къ Феликсу, поклонился Устиновъ.

XVI.

Вызовъ.

Скромно пообѣдавъ обычнымъ образомъ за четвертакъ въ кухмистерской на Московской улицѣ, но невольно найдя всѣ три блюда какими-то прѣсными, безвкусными, Андрей Павловичъ Устиновъ отправился во-свояси напиться чаю да отдохнуть часокъ-другой пока до вечера. Послѣ давешней крутой сцены онъ чувствовалъ какую-то усталость, какой-то упадокъ въ груди; весь онъ какъ-то былъ утомленъ, разбитъ, словно-бы послѣ длиннаго перехода или послѣ непомѣрно-долгой верховой ѣзды, но только это была усталость и разбитость не совсѣмъ физическая, а болѣе моральная, душевная, — ощущенія, которыя, впрочемъ, почти всегда сопровождаютъ и сильную усталость физическую. Организмъ просилъ сна, покоя, отдохновенія, потому что экстазъ бѣшенства непремѣнно обезсиливаетъ человѣка.

Послѣобѣденное время было обыкновенною порою, когда Хвалынцевъ заходилъ поболтать къ Устинову. Такъ ужь дѣлалъ онъ раза три или четыре. Подходя къ дому, учитель и сегодня почти у самыхъ воротъ столкнулся со старымъ своимъ пріятелемъ. Нынче онъ обрадовался ему болѣе, чѣмъ когда-либо: для человѣка очень часто есть томительная потребность подѣлиться съ другою сочувствующею душою своими черезчуръ ужь сильными ощущеніями и мыслями, которыя переполняютъ вмѣстилище его внутренняго міра. Тѣмъ отраднѣе потомъ, послѣ этого вліянія, будетъ отдохновеніе, несущее съ собою миръ и покой душевный.

Но не успѣли пріятели распить по стакану чая и не успѣлъ еще Устиновъ окончить свой разсказъ, какъ въ дверь его постучались.

— Войдите,—пригласилъ учитель съ недовольной миной.

Вошелъ Полояровъ вмѣстѣ съ Анцыфровымъ, и оба, не снимая ни пальто, ни галошъ, подошли къ Андрею Павловичу.

— Мы къ вамъ отъ Подвиляньскаго,—тотчасъ же началъ Ардаліонъ, не садясь по приглашенію, но опираясь на свою дубину,—и предваряю, по весьма нелѣпому порученію, которому я, по моимъ принципамъ, нисколько не сочувствую, но не отказался единственно изъ дружбы. Онъ васъ вызываетъ на дуэль, а мы вотъ секунданты его.

И проговоривъ это, Полояровъ засмѣялся, словно бы сказалъ или услышалъ самую наивную глупость.

Устиновъ тоже слегка улыбнулся и, въ ожиданіи, что̀ изъ этого воспослѣдуетъ далѣе, слегка поклонился.

— Ну-съ?—проговорилъ онъ, видя что Полояровъ какъ-то переминаясь комкаетъ свою сѣрую шляпу.

— Да что «ну-съ»... «Ну-съ» по-нѣмецки значитъ орѣхъ! А я нахожу, что все это глупость! Какая тутъ дуэль? По моему просто: коли повздорили другъ съ другомъ, ну возьми, другъ друга да и потузи сколько душѣ твоей угодно!.. Кто поколотилъ, тотъ, значитъ, и правъ!.. А то что такое дуэль, я васъ спрашиваю? Средневѣковой, феодально-аристократическій обычай! Ну, и къ чорту бы его!.. Но въ этомъ въ Подвиляньскомъ все-таки этотъ гоноръ еще шляхетскій сидитъ, традиціи, знаете, и прочее... Такъ вотъ, угодно что-ли вамъ драться?

Устиновъ пожалъ плечами.

— Можетъ-быть, оно и очень глупо, отвѣчалъ онъ съ усмѣшкой,—и спорить объ этомъ мы съ вами, конечно, не станемъ, но... если меня вызываютъ, я не считаю себя въ правѣ отказаться, чтобы не подать поводъ, хотя бы даже и господину Подвиляньскому, обозвать меня малодушнымъ трусомъ. Передайте ему, господа, что я согласенъ.

Это неожиданное согласіе видимо озадачило обоихъ секундантовъ: они словно бы и не ожидали получить его.

Подвиляньскій, впрочемъ, требуетъ,—торопливо вмѣшался пискунокъ Анцыфровъ,—чтобы вы при всѣхъ учителяхъ извинились передъ нимъ и взяли назадъ свои слова. Онъ только въ крайности, ежели бы вы не согласились на это, предлагаетъ вамъ дуэль... Въ противномъ слу-

Digitized by Google

чаѣ, онъ поручилъ передать вамъ, что онъ найдетъ свою собственную расправу.

Учитель вспыхнулъ отъ негодованія.

— Ну, я хоть и малъ да крѣпокъ, возразилъ онъ весьма внушительнымъ тономъ, — и меня застращивать да запугивать нечего! Расправа, о которой вы говорите, будетъ для господина Подвиляньскаго пожалуй-что поубыточнѣе чѣмъ для меня! Но... я, во всякомъ случаѣ, извиняться не стану, и сколь ни находитъ это глупымъ господинъ Полояровъ, предпочитаю дуэль, и принимаю вашъ вызовъ.

Оба пріятеля опять на нѣкоторое время остались вполнѣ озадачены такимъ рѣшительнымъ поворотомъ дѣла, и не то недоумѣло, не то совѣщательно переглянулись между собою.

— Когда же вы намѣрены драться? спросилъ Ардальонъ послѣ минутнаго раздумья.

— Это совершенно все равно. Когда ему будетъ угодно.

— Онъ хотѣлъ бы завтра утромъ, такъ, часовъ въ восемь.

— Ну, въ восемь такъ въ восемь, я ничего не имѣю противъ.

— А на чемъ вы воевать желаете?

— И это точно также совершенно все равно для меня: я ни на чемъ не умѣю.

— Ха-ха-ха! Ха-ха-ха-ха-а! Эхъ, вы воители!.. Какъ же это такъ-то?.. Ну, не лучше-ли же по-моему на кулачьяхъ?.. Ха-ха-ха!..

— Впрочемъ, Подвиляньскій желалъ бы лучше на пистолетахъ, опять вмѣшался пискунокъ не безъ нѣкоторой многозначительности въ тонѣ.—Вы какъ на этотъ счетъ думаете, господинъ Устиновъ?

— Ну, на пистолетахъ, такъ на пистолетахъ.

— И будете стрѣлять? недовѣрчиво, но шутливо спросилъ Полояровъ.

— Васъ, конечно, не попрошу за себя.

— Ха-ха-ха!.. Да я и не пошелъ бы. Нашли дурака!.. И то ужь и въ секунданты-то, такъ только, по дружбѣ. Ну, а кто же у васъ секундантомъ-то будетъ?

— Я буду,—отозвался Хвалынцевъ.

— Вы?.. Ну, очень пріятно!.. Значитъ, по крайности, выпивку послѣ того хорошую устроимъ, ась?

— Нѣтъ, ужь пить вмѣстѣ съ господиномъ Подвиляньскимъ мы не станемъ, сухо и рѣзко возразилъ Устиновъ.—Довольно съ него и этой чести, что я не отказываюсь отъ его вызова.

— Ну, ладно! была бы честь предложена, а отъ убытка Богъ избавилъ! Такъ такъ-то-съ? Значитъ, воюемъ? Ну-съ, а вы, господинъ секундантъ, заѣзжайте ко мнѣ, либо я къ вамъ зайду; прощаясь обратился Полояровъ къ Хвалынцеву; — надо вѣдь еще насчетъ мѣста условиться.

Студентъ обѣщалъ заѣхать въ девять часовъ вечера, и секунданты Феликса Мартыновича удалились.

— Какъ тебѣ нравится еще эта милая выходка? обратился, по уходѣ ихъ, учитель къ своему пріятелю.

— Ничего изъ этого не выйдетъ! съ полною увѣренностью отвѣчалъ тотъ;—просто-на-просто запугать хотѣлъ.

— Ну, не на таковскаго напалъ, дружочекъ!.. Я, признаться, съ перваго же слова, почувствовалъ это. Однако, что-жь теперь дѣлать? въ недоумѣніи пожалъ плечами учитель,—вѣдь вся эта штука очень сильно глупостью попахиваетъ.

— Такъ-то оно такъ, согласился Хвалынцевъ,—и потому-то вотъ до времени ровно ничего не слѣдуетъ дѣлать. Погоди, вотъ въ девять часовъ я поѣду къ нему, тогда поглядимъ, а теперь ложись-ка спать; тебѣ успокоиться надо.

Устиновъ охотно послѣдовалъ совѣту стараго товарища и, проводивъ его отъ себя, завалился на свою кушетку. Не прошло еще и пяти минутъ, какъ онъ уже храпѣлъ глубокимъ и темнымъ сномъ сильно усталаго человѣка.

XVII.

Въ ожиданіи роковой минуты.

Ну, братъ Андрюша, вставай! просыпайся! разбудилъ учителя Хвалынцевъ, вернувшись къ нему въ половинѣ десятаго: — дѣло въ-серьезъ пошло!.. Какъ ни глупо, а драться, кажись, и взаправду придется.

— Былъ у Полоярова?—протирая глаза, потянулся и зѣвнулъ Устиновъ.

— Сейчасъ только оттуда. Деретесь завтра, какъ назначено, въ восемь часовъ, въ оврагѣ... знаешь, тамъ, въ этой рощѣ за Духовымъ монастыремъ.

— Ну что-жь, въ оврагѣ такъ въ оврагѣ! И прекрасное дѣло! съ напускнымъ равнодушіемъ сказалъ учитель, подымаясь съ постели. Въ сущности же въ эту минуту нѣчто жуткое слегка стало похватывать его за душу.

— Стало-быть, не отказывается? вопросительно остановился онъ предъ Хвалынцевымъ.

— Куда тебѣ!.. махнулъ тотъ рукою,—говорятъ, теперь и слышать не хочетъ! У нихъ уже тамъ и пистолеты приготовлены: достали откуда-то. Анцыфровъ такъ и старается около нихъ!

Легкая усмѣшка, выражавшая не то полупрезрѣніе, не то полуравнодушіе, покривила чуть-чуть губы учителя.

— Ну, и пускай!.. Ну, и чортъ съ ними!— пробурчалъ онъ, принимаясь шагать по комнатѣ.

Около четверти часа прошло въ совершенномъ молчаніи, Хвалынцевъ сидѣлъ и барабанилъ ногтями по столу, а Устиновъ все еще продолжалъ расхаживать, и только время отъ

Digitized by Google

времени та же самая полупрезрительная, полуравнодушная усмѣшка появлялась на его губахъ. Порою самому ему казалось, будто онъ совершенно равнодушенъ ко всему, что бы ни случилось, и, дѣйствительно, въ эти мгновенія на него вдругъ наплывало какое-то полнѣйшее, абсолютное равнодушіе; а порою это жуткое нѣчто, этотъ невольный инстинктъ молодости, жизни, самохраненія опять-таки нойно хваталъ и щемилъ его сердце. Въ эти-то послѣднія минуты на губахъ его и появлялась та принужденная усмѣшка, посредствомъ которой силился онъ если не прогнать и разсѣять, то хоть не выдать свои ощущенія.

— Послушай,—прервалъ наконецъ Хвалынцевъ это молчаніе, и отъ внезапнаго звука его голоса Устиновъ какъ-то чутко вздрогнулъ,— ты совсѣмъ-таки не умѣешь стрѣлять?

— Всесовершеннѣйше не умѣю.

— Гм!.. Это не удобно!.. Но зачѣмъ же, въ такомъ случаѣ, ты не отказался? Вѣдь выборъ оружія на твоей сторонѣ.

— Э, Боже мой! Да не все ли равно? Вѣдь я жь говорю тебѣ, что ни на чемъ не умѣю... Развѣ только «на кулачьяхъ», какъ говорилъ Полояровъ, да и на тѣхъ не пробовалъ.

Опять на нѣкоторое время сосредоточенное молчаніе смѣнило кратковременный разговоръ ихъ.

— А вотъ что было бы не дурно! придумалъ студентъ по прошествіи нѣкотораго времени.—У меня тамъ, въ нумерѣ, есть съ собою револьверъ, такъ мы вотъ что: завтра утромъ встанемъ-ка пораньше да отправимся хоть въ ту же рощу... Я тебѣ покажу какъ стрѣлять, какъ цѣлить... все-же-таки лучше; хоть нѣсколько выстрѣловъ предварительно сдѣлаешь, все же наука!

Устиновъ махнулъ рукой.

— Чего ты махаешь?

— Не стоитъ, мой ангелъ, ей-Богу не стоитъ!—промолвилъ онъ съ равнодушной гримасой;—вѣдь ужь коли всю жизнь не бралъ пистолета въ руки, такъ съ одного урока все равно не научишься. Да и притомъ же... мнѣ такъ сдается... что въ человѣка цѣлить совсѣмъ не то, что въ мишень, хоть бы этотъ человѣкъ былъ даже и Феликсъ Подвиляньскій, а все-таки...

Хвалынцевъ молча согласился съ этимъ мнѣніемъ.

— А ты вотъ что,—предложилъ ему учитель,—коли хочешь, такъ оставайся ночевать у меня, я тебѣ въ той комнатѣ свою постель уступлю, а самъ на кушеткѣ... А завтра встанемъ пораньше и отправимся. Идетъ, что-ли?

Студентъ согласился, и кое-какъ скоротали они остатокъ вечера. Устиновъ взялся за книгу. Хвалынцеву тоже попался какой-то истрепанный нумеръ «*Современника*», и они принялись за чтеніе, изрѣдка перекидываясь между собою кой-какими незначущими фразами и замѣчаніями. Разговоръ въ этотъ вечеръ, вообще, какъ-то не клеился между ними. Наконецъ, студентъ пожелалъ учителю спокойной ночи и удалился въ его спальню, а тотъ межъ тѣмъ долго и долго еще сидѣлъ надъ своей книгой; только читалось ему нынче что-то плохо и больно ужь разсѣянно, хотя онъ всѣми силами напрягалъ себя, чтобы посторонней книгой отвлечь отъ завтрашняго дня свои не совсѣмъ-то веселыя мысли.

Поутру онъ проснулся первымъ, умылся, одѣлся и совсѣмъ бодро и даже довольно весело пошелъ будить Хвалынцева, объявляя ему, что ужь половина седьмого и самоваръ уже поданъ.

Хвалынцевъ быстро, на босую ногу, вскочилъ съ постели, взялъ за плечи учителя и, повернувъ его къ свѣту, сталъ вглядываться въ лицо ему.

— Чего ты смотришь?—удивился тотъ.

— Ничего... Молодецъ! Какъ и быть надлежитъ! Однимъ словомъ, свѣжъ и душистъ! и духъ бодръ, и плоть не немощна, такъ и слѣдуетъ! Ça iга! ça iга!—весело подпѣлъ онъ въ заключеніе, предполагая, что его веселость поддержитъ въ товарищѣ достодолжную твердость и необходимое спокойствіе духа. Въ нѣсколько минутъ онъ былъ уже одѣтъ, и пріятели усѣлись за чай.

— Однако, распорядился ли ты?—озабоченно спросилъ студентъ.

— То-есть, что это? Насчетъ извозчика? Найдемъ!

— Какой тамъ «извозчикъ»!.. Я спрашиваю... вѣдь всяко можетъ случиться... почемъ знать!..

— То-есть, коли подстрѣлятъ?

— Ну, хоть и такъ!

— Такъ что-жь такое?

— Ну, все-жь таки... письмо къ кому какое... завѣщаніе тамъ, что-ли... родные, можетъ...

Устиновъ искренно разсмѣялся.

— Эка, о чемъ заботится... А мнѣ и не въ домекъ! Нѣтъ, ангелъ мой, вздохнулъ онъ,— писать мнѣ не къ кому, завѣщать нечего... вѣдь я, что называется, «бѣдна, красна сирота, веселаго живота»; плакать стало-быть, некому будетъ... А есть кое-какіе должишки пустячные, рублей на сорокъ; тамъ въ бумажникѣ записано... счетъ есть. Ну, такъ ежели что, продай вотъ вещи да книги, да жалованья тамъ есть еще за полцѣсяца, и буду я, значитъ, квитъ!

— А больше ничего?—пытливо взглянулъ на него Хвалынцевъ.

— Больше?.. Да что больше-то? Больше ничего. Кланяйся хорошимъ людямъ... Татьянѣ Николаевнѣ кланяйся, — прибавилъ учитель какъ-то застѣнчиво и словно бы нехотя.

Digitized by Google

Хвалынцевъ бросилъ на него быстрый и скользящій взглядъ еще пытливѣе прежняго; ему почуялось, что въ голосѣ пріятеля дрогнула, при этихъ послѣднихъ словахъ, какая-то нотка, болѣе нервная и теплая, чѣмъ та, которую могло бы вызвать чувство одной только простой дружбы.

— Да впрочемъ, признаться сказать,—промолвилъ Устиновъ,—я и самъ не знаю почему, только совсѣмъ не разсчитываю нынче быть убитымъ. Вчера казалось, будто и *да*, а выспался—какъ рукой сняло!

— А что, и въ самомъ дѣлѣ, — схватился съ мѣста студентъ,—какъ вдругъ этотъ Подвиляньскій возьметъ да и не придетъ на дуэльто?—Вотъ будетъ штука-то!

— Ну, ужь это было бы глупѣе всего. Мы-то тогда ужь совсѣмъ дураковъ изъ себя разъиграемъ, добрымъ людямъ на потѣху. Впрочемъ, нѣтъ, увѣренно прибавилъ Устиновъ,—не думаю, онъ хоть и мерзавецъ, а этого не сдѣлаетъ.

Въ это время кто-то постучался въ двери. Пріятели изумленно переглянулись: «кто-бы могъ быть въ такую пору столь раннимъ посѣтителемъ?»

Вдругъ, къ удивленію ихъ, вошли вчерашніе секунданты.

— Что же, господа, вы за нами что-ли,— пошелъ къ нимъ на встрѣчу Хвалынцевъ.— А мы думали встрѣтиться съ вами тамъ?

— Нѣтъ-съ, мы тамъ не встрѣтимся,—сухо и вскользь поклонился Полояровъ, не подавая руки.

— Господинъ Устиновъ!—самымъ официальнымъ образомъ обратился онъ къ Андрею Павловичу.—Нашъ другъ, Подвиляньскій, поручилъ передать вамъ, что послѣ всего того, что мы узнали объ васъ вчера самымъ положительнѣйшимъ образомъ, онъ съ вами не дерется: порядочный и честный человѣкъ не можетъ драться со шпіономъ Третьяго отдѣленія. И оскорбленіе ваше, значитъ, само себя хѣритъ!

Ошеломленный Устиновъ не успѣлъ еще опомниться и придти въ себя, какъ Полояровъ со своимъ спутникомъ уже удалились самымъ поспѣшнымъ образомъ. Въ этой поспѣшности, конечно, не малую роль играло серьезное опасеніе за несокрушимость своихъ шей, боковъ и физіономій.

Хвалынцевъ раньше его собрался съ мыслями послѣ столь неожиданнаго пораженія и, какъ сидѣлъ на кушеткѣ, такъ и покатился со смѣху.

— Чему ты заливаешься?

— Ха, ха, ха, ха, ха!.. Вотъ тебѣ и шляхетскій гоноръ!.. Вотъ тебѣ и брстеръ!.. Ха, ха, ха!.. Однако, выкинулъ же, бестія, штуку!.. Увернулся!.. Находчиво, нечего сказать, весьма находчиво!.. Ахъ, какой же это мерзавецъ однако!..

— Н-да!—съ раздумчивой усмѣшкой проговорилъ Устиновъ.—Вотъ тутъ и вспомнишь невольно Александра Сергѣевича Пушкина: «Вы храбры на словахъ, попробуйте-жь на дѣлѣ»... Однако... что-жь это, въ самомъ дѣлѣ!.. Ужь и шпіономъ... Тьфу ты! Какая гнусная мерзость!—съ презрительнымъ отвращеніемъ сплюнулъ онъ въ сторону.

XVIII.

An profit de nos pauvres,

СПЕКТАКЛЬ БЛАГОРОДНЫХЪ ЛЮБИТЕЛЕЙ

СЪ ЖИВЫМИ КАРТИНАМИ.

Ея превосходительство madame Гржибъ-Загржимбайло, все время, пока длились разсказанныя нами происшествія, была въ большихъ хлопотахъ и заботахъ. Пикникъ на картинномъ берегу Волги, балъ и спектакль благородныхъ любителей—вотъ сколько важныхъ и многообразныхъ вещей надлежало устроить ея превосходительству, создать ихъ силою своего ума, вдохновить своей фантазіей, освѣтить своимъ участіемъ и сочувствіемъ, провести въ общество и ходко двинуть все дѣло своимъ желаніемъ, своимъ «я такъ хочу». Madame Гржибъ разочла, что лучше всего начать благороднымъ спектаклемъ, продолжить пикникомъ и завершить баломъ, и таковой планъ явился у нея плодомъ извѣстнаго рода стратегическихъ соображеній. Въ спектаклѣ она успѣетъ поразить дорогого гостя разнообразіемъ своихъ блестящихъ талантовъ и прелестями своей наружности, которыя предстанутъ предъ нимъ въ эффектѣ нѣсколькихъ положеній и костюмовъ. Ко времени пикника, сердце барона, пораженное эффектомъ прелестей и талантовъ огненной генеральши, будетъ уже достаточно тронуто, для того чтобъ искать романа; стало-быть, свобода пикника, прелестный вечеръ (а вечеръ непремѣнно долженъ быть прелестнымъ), дивная природа и всѣ прочіе аксессуары непремѣнно должны будутъ и барона и генеральшу привести въ особенное расположеніе духа, настроить на ладъ сантиментальной поэзіи, и они въ многозначительномъ разговорѣ (а разговоръ тоже непремѣнно долженъ быть многозначительнымъ), который будетъ состоять большею частію изъ намековъ, взглядовъ, интересныхъ недомолвокъ etc., доставятъ себѣ нѣсколько счастливыхъ, романическихъ минутъ, о которыхъ оба потомъ будутъ вспоминать съ удовольствіемъ, прибавляя при этомъ со вздохомъ:

„А счастье было такъ возможно,
Такъ близко"...

Digitized by Google

Отношенія ихъ, безъ всякаго сомнѣнія, останутся въ области чистаго платонизма—такъ, по крайней мѣрѣ, предполагала сама Константція Александровна. Наконецъ, всѣ эти удовольствія достойно увѣнчаются баломъ, который, такъ сказать, добьетъ милаго непріятеля, ибо на балѣ madame Гржибъ явится въ блестящемъ ореолѣ своей красоты, прелестей, граціи, своихъ брюсселей и своихъ брильянтовъ— и блистательный гость разстанется съ городомъ Славнобубенскомъ, а главное съ нею, съ самой представительницей этого города, вконецъ очарованнымъ, восхищеннымъ и... какъ онъ станетъ потомъ тамъ, въ высокихъ сферахъ Петербурга, восторженно разсказывать о томъ, какой мудрый администраторъ Непомукъ Гржибъ и что за дивная женщина сама madame Гржибъ, и какъ она оживляетъ и освѣщаетъ собою темныя трущобы славнобубенскаго общества, какъ умѣетъ благотворить, заботиться о «своихъ бѣдныхъ» и пр. и пр.

Весь Славнобубенскъ встрепенулся и оживился при вѣсти о благородномъ спектаклѣ, а въ Славнобубенскѣ вѣсти разлетаются съ неимовѣрною быстротою. Всѣ эти mesdames Чапыжниковъ, Ярыжниковъ, Пруцко и Фелисата Егоровна, Нина Францевна и Петровы, и Ершовы, и Сидоровы переполошились и засуетились, и забѣгали другъ къ дружкѣ, къ каждой порознь и ко всѣмъ вообще, словно посыпанные бурой тараканы. Но болѣе всѣхъ растревожился шестерикъ княженъ Почечуй-Чухломинскихъ, которыхъ острословъ и философъ Подхалютинъ довольно мѣтко прозвалъ княжнами Тугоуховскими. Извѣстно, что ни одинъ губернскій городъ, не обходящійся безъ своего мѣстнаго острослова, не можетъ обойтись и безъ своихъ собственныхъ княженъ Тугоуховскихъ. Княжны Тугоуховскія необходимо должны быть въ каждомъ добропорядочномъ губернскомъ городѣ Россійской имперіи, и притомъ въ количествѣ не менѣе шести. У княженъ необходимо есть князь-рара и княгиня-maman; былъ у нихъ и князь-дѣдушка, котораго они знаютъ только по закоптѣлому фамильному портрету и который былъ очень богатъ и очень знатенъ, но жизнь велъ черезчуръ уже на широкую ногу и потому оставилъ князю-рара́ очень маленькое наслѣдство, а князь-рара́, служившій нѣкогда въ гусарахъ, постарался наслѣдство это сдѣлать еще менѣе, такъ что шестерикъ княженъ, въ сущности, причитается къ лику бѣдныхъ невѣстъ, и двѣ старшія княжны навѣрное уже на всю свою жизнь останутся невѣстами неневѣстными. Но, въ силу своего княжескаго титула, онѣ всегда стараются держаться около высшихъ властей губернскихъ и составляютъ «высшее общество»; и каждый губернаторъ, каждый предводитель считаетъ какъ-бы своею священною обязанностью доставлять княжнамъ скромныя развлеченія, приглашать ихъ въ свою ложу и на свои вечера, причемъ княженъ привозятъ и отвозятъ въ каретѣ того, кто пригласилъ ихъ, потому что у князя-рара́ нѣтъ своей кареты. По скромности состоянія княжны Тугоуховскія не могутъ жить въ Москвѣ (о Петербургѣ нечего ужь и говорить) и принуждены прозябать и увядать въ противномъ Славнобубенскѣ, гдѣ у нихъ находится еще покуда, какъ остатокъ прежняго величія, старый деревянный домъ, во вкусѣ старинныхъ барскихъ затѣй, съ большимъ запущеннымъ садомъ.

Итакъ, шестерикъ княженъ Почечуй-Чухломинскихъ переполошился чуть-ли не болѣе всѣхъ остальныхъ дамъ и дѣвицъ славнобубенскихъ. Большая часть матронъ, діанъ и весталокъ втайнѣ тревожились неизвѣстностью, получатъ ли онѣ *отъ самой* madame Гржибъ приглашеніе на любительскій спектакль или не получатъ, что́ конечно будетъ для нихъ величайшимъ афронтомъ. Инымъ хотѣлось самолично участвовать въ спектаклѣ, въ числѣ дѣйствующихъ лицъ, дабы публично обнаружить свои таланты и прелести, причемъ особенно имѣлся въ виду блистательный и дорогой гость: каждая мечтала такъ или иначе затронуть его баронское сердце, и поэтому каждая наперерывъ другъ передъ дружкой изощряла всѣ силы остроумія и фантазіи насчетъ туалета: madame Чапыжниковой хотѣлось во что бы то ни стало перещеголять madame Ярыжникову, а madame Пруцко сгорала желаніемъ затмить ихъ обѣихъ, поэтому madame Чапыжникова тайкомъ посылала свою горничную поразвѣдать у прислуги madame Ярыжниковой, въ чемъ думаетъ быть одѣта ихъ барыня, а madame Пруцко нарочно подкупила горничныхъ той и другой, чтобъ онѣ сообщали ей заранѣе всѣ таинства туалета двухъ ея пріятельницъ. Положеніе княженъ Тугоуховскихъ было печальнѣе, чѣмъ можно себѣ вообразить. Всѣмъ шестерымъ непремѣнно хотѣлось участвовать и въ спектаклѣ, и въ живыхъ картинахъ, и онѣ знали, что неизбѣжно будутъ участвовать и въ томъ и въ другомъ, а особенно въ живыхъ картинахъ, потому что madame Гржибъ, и графиня де-Монтеспанъ всегда къ нимъ очень благосклонны, княжны такъ наивно и такъ котячьи-нѣжно умѣютъ къ нимъ ласкаться и лизаться, и чмокаться. Дѣло, конечно, не обойдется безъ участія княженъ Почечуй-Чухломинскихъ, хотя бы ради одной представительности, заключающейся въ ихъ княжескомъ имени, — ну, да и madame Гржибъ, съ высоты своего губернаторскаго величія, никогда не забывала протежировать бѣднымъ, но титулованнымъ невѣстамъ и потому при всякомъ подходящемъ случаѣ выдвигала ихъ на выставку. Но вотъ въ чемъ главная бѣда и величайшее горе: къ спектаклю и особенно къ живымъ картинамъ неизбѣжно придется дѣлать

Digitized by Google

новые костюмы, свѣжіе туалеты, а тамъ еще,— чортъ его возьми, балъ въ виду имѣется, значитъ, опять-таки шей свѣжія платья, а тутъ на прошлой недѣлѣ князь-рара изволилъ въ клубѣ проиграться, и денегъ въ виду никакихъ и ни откуда! Ни модистка Уазо, ни портниха Боришина, ни купецъ Ласточкинъ, того и гляди, не отпустятъ въ кредитъ матеріала; придется просить, выпрашивать, увѣрять, кланяться и, можетъ быть, все это понапрасну. Поэтому весь княжескій домъ былъ преисполненъ вздоховъ, оховъ, истерическихъ всхлипываній и бранчивыхъ возгласовъ. Княгиня-maman нервно корила князя-рара въ томъ, что онъ не отецъ своимъ дѣтямъ, а прямой расточитель, что онъ не хочетъ счастья своихъ дочерей, губитъ ихъ молодость, ихъ судьбу, ихъ карьеру. Князь-рара пыхтѣлъ изъ своего длиннаго черешневаго чубука и громко желалъ себѣ провалиться въ преисподнюю изъ этого каторжнаго дома. Двѣ старшія невѣсты неневѣстныя поругались съ maman, поругались съ рара, поругались съ сестрицами, со своею злосчастною горничною, которая наконецъ просто очумѣла, оглупѣла и сбилась съ толку отъ бѣготни, хлопотъ, подшиванья, глаженья, брани и крика. Въ заключеніе невѣсты неневѣстныя переругались между собой и теперь обѣ лежали въ истерикахъ, а младшія княжны продолжали свое: кто вертѣлся передъ зеркаломъ въ залѣ и «тра-ла-лакая» повторялъ *па* вальса, кто продолжалъ еще доканчивать прежнюю брань и крики и слезы. Словомъ сказать, князь-рара былъ совершенно правъ, когда назвалъ домъ свой каторжнымъ, а всю эту чепуху и сумятицу сущимъ Содомомъ.

Анатоль со Шписсомъ изрыскали весь городъ, объявляя повсюду, что одинъ играетъ въ Тургеневской «*Провинціалкѣ*» графа, а другой будетъ Финтикомъ въ «*Москалѣ Чаривникѣ*». Анатоль цѣлыя утра проводилъ передъ зеркаломъ, громко разучивая свою роль по тетрадкѣ, превосходно переписанной писцомъ губернаторской канцеляріи, и даже совершенно позабылъ про свои прокурорскія дѣла и обязанности, а у злосчастнаго Шписса, кромѣ роли, оказались теперь еще сугубо-особыя порученія, которыя ежечасно давали ему то monsieur Гржибъ, то madame Гржибъ, и черненькій Шписсъ, сломя голову, леталъ по городу, заказывая для генеральши различныя принадлежности къ спектаклю, то устраивалъ оркестръ и руководилъ капельмейстера, то толковалъ съ подрядчикомъ и плотниками, ставившими въ залѣ дворянскаго собранія временную сцену (играть на подмосткахъ городского театра madame Гржибъ нашла въ высшей степени неприличнымъ), то объяснялъ что-то декоратору, приказывалъ о чемъ-то костюмеру, глядѣлъ парики у парикмахера, порхалъ отъ одного участвующаго къ другому, отъ одной «благородной любительницы» къ другой, и всѣмъ и каждому старался угодить, сдѣлать что-нибудь пріятное, сказать что-нибудь любезное, дабы всѣ потомъ говорили: «ахъ, какой милый этотъ Шписсъ! какой онъ прелестный!» Что касается, впрочемъ, до «мелкоты» въ родѣ подрядчика, декоратора, парикмахера и тому подобной «дряни», то съ ними Шписсъ не церемонился и «приказывалъ» самымъ начальственнымъ тономъ: онъ вѣдь зналъ себѣ цѣну.

Наконецъ, роли кое-какъ были розданы, причемъ не обошлось безъ огромнѣйшихъ затрудненій. Что касается до «*Провинціалки*» и «*Москаля*», то насчетъ этихъ пѣсъ не могло уже быть ни малѣйшихъ возраженій и разговоровъ, ибо сама прелестнѣйшая madame Гржибъ взяла на себя главную роль какъ въ той, такъ и въ другой, и закрѣпила постановку ихъ своимъ безпрекословнымъ «я такъ хочу». Но бѣда произошла съ водевилемъ: всѣ дамы непремѣнно хотѣли играть первую роль, и не иначе какъ первую, но никто не желалъ играть старуху; еще менѣе того нашлось желающихъ взять на себя роль горничной, которая была единогласно сочтена за роль предосудительную и унизительную. Супруга одного уѣзднаго предводителя не на шутку обидѣлась, когда Шписсъ предложилъ ея дочери взять на себя «эту рольку». Молоденькой барышнѣ сильно хотѣлось заявить свой талантъ, хотя бы даже и въ роли горничной, но маменька на-отрѣзъ запретила ей даже и думать о спектаклѣ, сочтя все это дѣло за желаніе со стороны губернаторши пустить ей шпильку, и усмотрѣла въ немъ даже оскорбленіе всему дворянскому сословію, почему и поспѣшила заявить Шписсу, что отнынѣ нога ея не будетъ не только-что въ спектаклѣ, но и въ домѣ самой губернаторши. Напрасно клялся, увѣрялъ и расшинался злосчастный Шписсъ, напрасно хныкала барышня, — гордая уѣздная предводительша осталась непреклонною и очень сухо откланялась черненькому Шписсу. Шписсъ уѣхалъ въ отчаяніи: приходилось просто хоть самому играть и старуху, и горничную. Наконецъ-то подыскали для горничной какую-то бѣдную сироту, изъ чьихъ-то безгласныхъ племянницъ или воспитанницъ, а старуху почти что приказали сыграть супругѣ какого-то частнаго пристава—и любительскій спектакль, слава Богу, былъ окончательно. обставленъ. Маленькій Шписсъ впервые вздохнулъ свободно.

Начались репетиціи, которыя такъ любятъ артисты-«любители» въ родѣ прелестнаго Анатоля, и такъ не жалуютъ ревнивые супруги иныхъ «любительницъ». Во всѣ дни, пока продолжаются любительскія репетиціи,—блаженное время для влюбленныхъ, заинтересованныхъ и ухаживающихъ, — городскія сплетни начинаютъ разростаться и идутъ все crescendo и crescendo, завершаясь въ концѣ концовъ обыкновенно нѣ сколькими ссорами и даже скандалами. Madame Чапыжниковъ начинаетъ зорко наблюдать за madame Ярыжниковъ и за ея «халахономъ»,

Digitized by Google

madame Ярыжниковъ слѣдитъ за «предметомъ» madame Чапыжниковъ, и глядь, на другой день, madame Пруцко, которая тоже подъ сурдинку придерживается той пословицы, что «грѣхъ сладокъ, а человѣкъ падокъ», начинаетъ повѣствовать по секрету Фелисатѣ Егоровнѣ: «Душечка моя? слышали вы, срамъ какой! Эта противная Ярыжникова, представьте! вчера-то на репетиціи въ темной кулисѣ цѣловаться изволила съ своимъ aman'омъ, а потомъ безъ стыда безъ совѣсти уѣхали вдвоемъ кататься куда-то за городъ... Это ночью-то, ночью! И при всѣхъ! Думаютъ, что всѣ такъ глупы и слѣпы, что никто ничего не замѣчаетъ!» Фелисата Егоровна въ ужасѣ качаетъ головой, и идетъ разсказывать—какъ противная Ярыжникова, въ неприличной позѣ, за кулисами шепталась и цѣловалась, и обнималась со своимъ аманомъ, а на слѣдующій день весь городъ уже увѣрялъ, что madame Ярыжникова дѣлала въ кулисахъ такое, про что и сказать невозможно.

Сама губернаторша имѣла обыкновеніе часомъ и даже двумя опаздывать на репетицію, причемъ всѣ остальные должны были кротко и терпѣливо дожидаться прибытія ея превосходительства. Являлась она не иначе какъ въ черномъ платьѣ, въ черныхъ гипюрахъ, въ черныхъ перчаткахъ, съ черными четками на шеѣ, съ которыхъ спускался на грудь черный крестъ, сдѣланный такъ, что имѣлъ видъ креста, сломаннаго. Ни единой цвѣтной ленточки не было замѣтно въ строго-траурномъ нарядѣ генеральши, только изъ-подъ четокъ сквозило серебро небольшой брошки, которая изображала одноглаваго орла съ поднятыми крыльями. Тридцати-двухлѣтняя madame Гржибъ, надо отдать ей полную справедливость, въ своемъ одноцвѣтномъ и строго-обдуманномъ нарядѣ казалась очень эффектной женщиной и была даже хороша. Славнобубенцы замѣтили, что съ нѣкотораго времени это черное платье и эти украшенія сдѣлались неизмѣннымъ обыденнымъ костюмомъ губернаторши. Графиня де-Монтеспанъ,—единственная женщина, которая дерзала еще ставить себя почти на одну доску съ нею,—изъ подражанія ей, тоже облекала себя въ черное, сообщая въ началѣ, до разъясненія дѣла, что это «англоманія». И шестерикъ княженъ Почечуй-Чухломинскихъ, само собою, не отставалъ отъ своихъ протектрисъ, благо черныя платья, сшитыя еще два года назадъ, когда померла ихъ тетка, нашлись подъ рукою. Теперь они были только почищены да передѣланы на болѣе модный, современный фасонъ. И глядь, чрезъ нѣкоторое время, почти все, что только имѣло претензію причислять себя къ славнобубенскому «порядочному обществу», необыкновенно возлюбило черныя платья, найдя этотъ цвѣтъ чрезвычайно изящнымъ выраженіемъ высшаго comme il faut. Особенно жены чиновниковъ стремились подражать губернаторшѣ. Мода вообще заразительна, а мода, инициатива которой исходитъ отъ власти, становится почти обязательною для каждой благонамѣренной чиновницы. Въ Славнобубенскѣ же мода эта особенно пошла въ ходъ послѣ одного маленькаго случая. Madame Пруцко явилась на одну изъ репетицій въ яркомъ цвѣтномъ платьѣ, въ яркой сѣткѣ и въ яркихъ перчаткахъ. Губернаторша только молча покосилась на эту праздничную яркость и перекинулась взглядомъ съ графиней де-Монтеспанъ, которая изобразила на губахъ пренебрежительную усмѣшку. Когда madame Пруцко подлетѣла къ нимъ съ поклономъ, графиня, суховато протянувъ руку, спросила ее какъ-то сквозь зубы:

— Что это вы, ma chère, именины сегодня празднуете?

Madame Пруцко нашла себя очень «афрапированною» такимъ страннымъ вопросомъ и, весьма удивленная, съ живостью отвѣтствовала:

— Именины?!.. Нѣтъ. А что?

Графиня не договорила и только плечами пожала въ заключеніе.

— А что же? Это платье Уазо мнѣ шила по зимней картинкѣ,—возразила Пруцко.

— О, я въ этомъ увѣрена!—подхватила Монтеспанъ,—но... но эта яркость... знаете ли, ma chère, такое ли теперь время, чтобы радоваться, носить цвѣтное!.. Помилуйте!—вспомните, что на бѣломъ свѣтѣ творится!.. Люди страдаютъ, мученики гибнутъ, вездѣ слезы, скорбь... Знаете ли, ma chère, скажу я вамъ по секрету между нами, въ такихъ обстоятельствахъ, нечему намъ особенно радоваться... Черный цвѣтъ приличнѣе... и тѣмъ болѣе, что это мода... Взгляните напримѣръ, на Констанцію Александровну: не выходитъ изъ чернаго цвѣта.

Madame Пруцко хотя и не совсѣмъ-то ясно уразумѣвала, гдѣ эти слезы и скорбь, и какіе именно мученики гибнутъ, однако, убѣжденная послѣднимъ аргументомъ касательно губернаторши, на другой же день облеклась въ черное и, по секрету, разблаговѣстила всѣмъ пріятельницамъ о своемъ разговорѣ съ графиней.

И вскорѣ послѣ этого, элегантный Славнобубенскъ щеголялъ уже въ траурѣ, отыскивая по всѣмъ галантерейнымъ лавкамъ черныхъ крестовъ и четокъ, а Славнобубенскъ не элегантный покамѣстъ все еще продолжалъ коснѣть въ своемъ невѣжествѣ.

За недѣлю до спектакля билеты почти уже всѣ были разобраны. Это показываетъ, во-первыхъ, на сколько Славнобубенскъ интересовался игрою «благородныхъ любителей», а во-вторыхъ, объясняется тѣмъ, что предварительную продажу билетовъ взяла на себя сама Констанція Александровна, задніе же ряды

Digitized by Google

были поручены полиціймейстеру, а тотъ уже «принялъ свои мѣры», чтобы всѣ билеты были пораспиханы, и въ этомъ случаѣ,—хочешь не хочешь, — отдувалось своими карманами преимущественно именитое купечество. Всякій благонамѣренный гражданинъ, желая заявить свое усердіе, спѣшилъ воспользоваться случаемъ, чтобы лично, изъ ручекъ ея превосходительства, заполучить билетецъ. Ея превосходительство распорядилась назначить цѣну мѣстамъ вообще довольно высокую и при этомъ печатно заявила, что всякое пожертвованіе будетъ принято ею съ благодарностью. Послѣ этого, понятное дѣло, ей только и оставалось изъявлять благодарности.

Пріѣзжаетъ къ ней, напримѣръ, какой-нибудь господинъ съ визитомъ. Первымъ дѣломъ, послѣ нѣсколькихъ словъ незначущаго разговора, она приступала къ гостю:

— Ахъ, да! monsieur такой-то, вы, конечно, будете въ нашемъ спектаклѣ?

Monsieur такой-то спѣшитъ любезнымъ склоненіемъ головы подтвердить ей полное и всенепремѣнное свое намѣреніе присутствовать на любительскомъ представленіи.

— Въ такомъ случаѣ позвольте предложить вамъ билетъ, вѣдь вы не запаслись еще?

И генеральша,—тутъ какъ тутъ, — вытащила уже карточку, изящно отпечатанную на глазированномъ пергаментѣ. Monsieur такой-то съ любезною застѣнчивостью освѣдомляется что это стоитъ?

— О, это вполнѣ зависитъ отъ вашего добраго желанія—предупреждаетъ губернаторша;— чѣмъ больше, тѣмъ лучше! Вѣдь это въ пользу моихъ милыхъ бѣдныхъ. Вы доброе дѣло сдѣлаете!

Прелестная женщина произноситъ эти слова съ такимъ граціозно-прелестнымъ выраженіемъ просьбы, доброты и человѣколюбія, что monsieur такой-то тотчасъ-же изображаетъ улыбкою своею полнѣйшую и вселюбезнѣйшую готовность заклать самого себя въ пользу милыхъ бѣдныхъ губернаторши. И вотъ, въ штатулку ея превосходительства прячется синяя или красная депозитка, за мѣсто, стоющее два или три рубля. Ея превосходительство благодаритъ такъ мило и, граціозно протягивая для пожатія свою благоухающую руку, прибавляетъ съ такою очаровательною кокетливостью:

— Смотрите же, хлопайте мнѣ, вѣдь я сама играю!

И господинъ уѣзжаетъ, обѣщая не жалѣть для нея ни перчатокъ, ни ладоней.

Съ другими же господами, которые, что́ называется, на карманъ туговаты, Констанція Александровна принимала тактику иного рода, и эту тактику мы могли бы назвать милымъ нахальствомъ. Получивъ билетъ, освѣдомляется, напримѣръ, господинъ о выставленной цѣнѣ своему мѣсту и вытаскиваетъ изъ кармана какія-нибудь двѣ желтенькія бумажки. Генеральша тотчасъ же встрѣчаетъ ихъ своимъ кокетливымъ удивленіемъ.

— Что это! Только-то! Это въ пользу монхъ-то бѣдныхъ?—произноситъ она съ милою, недовольною гримаскою; — фи, какой вы не добрый! Какой вы скупой! Извольте жертвовать больше, чтобъ я могла поблагодарить васъ, а то когда бы знала я это, такъ и билета не дала бы вамъ.

Господинъ конфузится, неловко улыбается и, нечего дѣлать, вытаскиваетъ добавочныя деньги.

А съ иными, которые желали жертвовать рубля два или три сверхъ номинальной цѣны, но, не имѣя при себѣ мелкихъ бумажекъ, подавали губернаторшѣ для сдачи какую-нибудь красную, а не то и лиловую депозитку, она обращалась еще съ большею безцеремонностью:

— Что это, сдачу хотите? (при этомъ слѣдовалъ все тотъ-же мило и граціозно-удивленный взглядъ). Но у меня нѣтъ мелкихъ; я не имѣю сдачи, значитъ ужь надобно жертвовать все... Я васъ буду очень, очень благодарить за это, отъ лица моихъ милыхъ бѣдныхъ!

И генеральша съ невыразимою любезностью, съ невыразимо-пріятнымъ взоромъ и улыбкой потрясаетъ руку невольно-щедрому жертвователю.

И такимъ образомъ, еще задолго до спектакля въ ея роскошной шкатулкѣ накопилась уже весьма и весьма порядочная сумма.

Наконецъ наступилъ и парадный часъ «благороднаго спектакля». Нечего разсказывать о томъ, что зала была биткомъ набита публикой, среди которой собрался цвѣтъ славнобубенскаго общества, что madame Гржибъ въ роли madame Ступендьевой была встрѣчена громомъ рукоплесканій, при чемъ ей былъ поданъ изъ оркестра прелестный букетъ—плодъ особенныхъ стараній находчиваго Шписса. Скажемъ только, что Ступендьева блистала изяществомъ своихъ манеръ, прелестный Анатоль явился прелестнѣйшимъ графомъ, и всѣ прочіе артисты хотя далеко уступали въ изяществѣ, зато роли свои выдолбили превосходно: нельзя же иначе — потому играютъ съ губернаторшей, и само высшее начальство на ихъ игру взирать изволитъ. «Москаль Чарівникъ» прошелъ столь же блистательно. Майоръ Перевохинъ, командиръ баталіона внутренней стражи, изображалъ солдата и явился предъ публикой истиннымъ бурбономъ, что было весьма характерно и все время сопровождалось аплодисментами. Madame Гржибъ, въ роли казачки Татьяны, плѣнила всѣхъ своимъ костюмомъ и своимъ пѣніемъ. Цѣль ея была достигнута: баронъ Иксъ-фонъ-Саксенъ плавалъ въ маслѣ восторга и все время щурился на нее сладостными взорами. Но когда усердно-преданный Шписсъ, въ видѣ приказнаго Фунтика,

Digitized by Google

выползъ изъ-подъ печи, весь перепачканный сажей, и смиренно поползъ на колѣнкахъ, восторгамъ и хохоту не было конца. Предводитель князь Кейкулатовъ даже расчихался отъ смѣху, а Непомукъ хохоталъ всей утробой и всѣмъ сопѣньемъ своимъ, такъ что трудно было рѣшить чего издаетъ онъ болѣе: хохоту или сопѣнья? Непомукъ въ тотъ же счастливый мигъ рѣшилъ, что Шписса необходимо нужно представить къ слѣдующей наградѣ. Водевилю апплодировали менѣе, потому что губернаторша въ немъ не участвовала, а игру частной приставши даже многіе весьма раскритиковали, хотя приставша отличалась ничуть не хуже прочихъ.

Наконецъ, пошли живыя картины—главное поприще шестерика княженъ Почечуй-Чухломинскихъ, madame Пруцко и mesdames Чапыжниковъ съ Ярыжниковой. Три старшія княжны изображали собою трехъ грацій, при чемъ двѣ невѣсты неневѣстныя стояли боковыми граціями. Весь шестерикъ кое-какъ уладилъ свои затрудненія относительно костюмовъ. Купецъ Ласточкинъ, дѣйствительно, не возжелалъ отпустить имъ матерій, а madame Oiseau не бралась шить и ставить прикладъ, но княжны заявили о своемъ слезномъ горѣ Константіи Александровнѣ,—и ея превосходительство въ ту-жь минуту откомандировала Шписса къ непокорному невѣжѣ Ласточкину, съ приказаніемъ немедленно отпустить подобающее количество разныхъ матерій, по приложенному реестру княженъ, а модистку Oiseau велѣла позвать къ себѣ, переговорила съ нею о чемъ-то наединѣ—и madame Oiseau въ три дня пошила костюмы на весь шестерикъ. Такимъ образомъ княжны были и обуты, и одѣты, и на показъ публикѣ поставлены. «Трехъ грацій» княжны изображали хотя и не совсѣмъ вѣрно съ оригиналомъ, тѣмъ не менѣе весьма многіе любители нашли ихъ удовлетворительными: онѣ выставили себя передъ публикой въ кисейныхъ туникахъ, чего собственно для грацій не полагается. Отъ этого, конечно, пострадала миѳологическая истина, зато выиграла дѣвическая скромность. Это были граціи вполнѣ цѣломудренныя. Засимъ mesdames Ярыжниковъ, Чапыжниковъ и Пруцко аллегорически изобразили изъ себя три рѣки: «Вислу, Оку и Волгу». «Висла» печально, но гордо стояла поодаль, а «Волга» принимала «Оку» въ свои объятія. Одна изъ среднихъ княженъ Почечуй-Чухломинскихъ предстала въ видѣ «Свободы», одѣтой въ красную фригійскую шапку, и острословъ Подхалютинъ довольно громко замѣтилъ при этомъ, что «Свобода» ничего бы себѣ, да жаль, что больно тощая. —Замѣчаніе это найдено иными неприличнымъ, а иными иносказательнымъ. Вслѣдъ за этимъ madame Гржибъ показала себя въ нѣгѣ, полупрозрачной «Вакханкой у ручья», и никакъ не воздержалась, чтобы не метнуть при этомъ на Саксена взоръ весьма выразительнаго свойства. Непомукъ, увидя супругу свою въ такомъ соблазнительномъ видѣ, опустилъ глаза долу и поскорѣе полѣзъ въ задній карманъ за золотой табакеркой, чтобы въ медленной понюшкѣ табаку найти себѣ приличное занятіе, пока длится эта краснорѣчивая картина. Добавить-ли, что появленіе супруги въ такомъ видѣ сказалось ему втайнѣ не совсѣмъ-то удобнымъ ощущеніемъ? Зато Саксенъ чуть не подпрыгнулъ въ креслѣ отъ преизбытка сладострастнаго восторга; зато публика встрѣтила полупрозрачное позорище своей начальницы восторженными рукоплесканіями; зато усердно-преданный Шписсъ замиралъ отъ почтительнаго и въ то же время дерзостнаго (до извѣстной степени) наслажденія. Послѣ «Вакханки у ручья» слѣдовала картина подъ названіемъ «*Ф. нтанъ невинности*». На картинѣ стоялъ картонный барашекъ, а подлѣ барашка вторая средняя княжна Почечуй-Чухломинская съ опрокинутой урной въ рукахъ, изъ которой примѣрно истекала фольговая вода. Подхалютинъ пришелъ въ нѣкоторое недоумѣніе и спросилъ, гдѣ же тутъ собственно невинность: въ княжнѣ или въ кувшинѣ, и если въ кувшинѣ, то напрасно княжна Тугоуховская столь безразсчетно тратитъ ее, и что напрасно не участвуетъ въ этой прекрасной картинѣ mademoiselle Сидорова. Сидѣвшая рядомъ съ нимъ подруга Сидоровой, ради которой собственно и была пущена острословомъ эта неприличная выходка, ничего ему не возразила, но зато весьма коварно и не безъ удовольствія улыбнулась. Были и еще двѣ или три картины, въ родѣ «Пляски съ тамбурпномъ», «Ангела ночи», «Амура и Психеи», которыя всѣ до единой приняты публикой съ полнымъ одобреніемъ. Одинъ только Подхалютинъ оставался не совсѣмъ доволенъ, но и то потому, что на предварительномъ совѣщаніи относительно картинъ не было принято его предложеніе.

— Помилуйте,—говорилъ онъ,—я предлагалъ имъ поставить двѣ русскія и очень поучительныя картины. Обѣ изъ басенъ Крылова. Одну—«*Лягушки просящія царя*», а другую — «*Квартетъ*». — «Помилуйте,—говорятъ мнѣ: какъ же это лягушекъ вдругъ изображать? кто же станетъ лягушками?» — Какъ, Боже мой, кто! А madame Пруцко? а Чапыжникова съ Ярыжниковой? а Фелисата? да и мало-ли ихъ тутъ? И чѣмъ же не годятся? а что касается до «*Квартета*», то тутъ даже и костюмовъ не надо: возьмите просто членовъ губернскаго правленія и поставьте—цѣликомъ, какъ есть, будетъ картина въ лицахъ! И при томъ очень поучительно!

Но блистательнѣе всего было заключеніе этого спектакля. Madame Гржибъ заранѣе еще задумала поразить почтеннѣйшую публику неожиданнымъ сюрпризомъ. Никто не ожидалъ ея появленія, какъ вдругъ, при громѣ удалой

Digitized by Google

мазурки поднялась завѣса — и изумленнымъ очамъ зрителей предстала ея превосходительство въ польскомъ національномъ костюмѣ... Малиновая конфедератка съ бѣлымъ султаномъ лихо была взброшена на бекрень, рукава бѣлаго кунтуша еще лише откинуты назадъ, красные сапожки со шпорами изящно облекали икры вкусныхъ ножекъ генеральши, въ рукахъ бельгійскій штуцеръ, сбоку блистающая сабля. Констанція Александровна произвела рѣшительный фуроръ. Даже самъ Непомукъ, несмотря на всю свою солидную осторожность, не выдержалъ и усиленно захлопалъ въ ладоши, а Саксенъ просто ослабѣлъ отъ избытка наслажденія и упоенно втягивая въ себя воздухъ, какъ-то шипяще вздыхалъ «charmant!.. charmant»!.. Пшецыньскій не хлопалъ, но сладко улыбался и залихватски покручивалъ да пощипывалъ русый усъ: онъ былъ очень доволенъ неожиданнымъ сюрпризомъ. Зато лихой полиціймейстеръ Гнутъ, вообще цѣнитель женской красоты—упоенный жгучими прелестями ея превосходительства, надсѣдался всею грудью, стучалъ каблуками, и саблею,— и проводилъ все это безъ малѣйшей задней мысли, но вполнѣ безкорыстно, восхищенный, такъ сказать, одной эстетической стороной дѣла. Эта неожиданная картина пошла у генеральши взамѣнъ «Молодого Грека съ ружьемъ».

Въ спектаклѣ благородныхъ любителей проявилась весьма замѣтная, но едва ли случайная особенность: очень много дамъ, которыя составляли чуть ли не большинство славнобубенскаго общества, явились на этотъ спектакль въ строго черныхъ нарядахъ. Между ними были даже и такія, которыхъ никто никогда и не запомнилъ, чтобы онѣ носили черное, а теперь и эти вдругъ блистаютъ мрачнымъ цвѣтомъ своего костюма.

— Астафій Егорычъ, обратился въ антрактѣ къ Подхалютину одинъ изъ его знакомыхъ.— Что это, батенька? замѣчаете вы, почти всѣ въ черномъ? Словно бы трауръ у нихъ!

— Да трауръ и есть, подтвердилъ славнобубенскій философъ.

— Господи помилуй! Но по комъ же, однако?

— А здравый смыслъ погребаютъ. Это одно; а второе—крѣпостное право только-что схоронили: какъ же тутъ не плакать?

— Э, да вы все *свое* городите! Нѣтъ, я васъ спрашиваю въ-серьезную, вѣдь это, взгляните сами, просто въ глаза бросается!

— А и въ самомъ дѣлѣ любопытная штука!— пробурчалъ себѣ подъ носъ философъ, окинувъ внимательнымъ взглядомъ всю залу,— мода это что-ли завелась у нихъ такая? Пойду спрошу у Марьи Ивановны, благо и сама тоже въ черномъ: она вѣдь человѣкъ компетентный.

И острословъ направился своею лѣниво-перевалистою походкою къ одной полной, пожилой дамѣ, которая, не взирая на двухъ взрослыхъ и рядомъ съ нею сидящихъ дочерей, все еще стремилась молодиться и нравиться, и разговаривая съ людьми, глядѣла на нихъ не иначе какъ сквозь лорнетъ.

— Здравствуйте, маменька! подсѣлъ къ ней Подхалютинъ.—Скажите мнѣ на милость, зачѣмъ это вы на такое блистательное позорище явились вдругъ чуть не въ траурѣ? И барышни тоже вотъ въ черномъ,—промолвилъ онъ, кивнувъ на двухъ ея дочекъ.

— А вы инспектируете наряды?.. Это скорѣе бы дѣло полиціи! слегка колко, но очень мило отвѣтствовала маменька.

— Нѣтъ, я только любопытствую,—оправдывался философъ,—и прошу просвѣтить меня, въ темнотѣ ходящаго. Что это, мода у васъ нынче такая, или что?

— Не мода, а обязанность, долгъ нашъ! довольно гордо и не безъ самодовольной рисовки отвѣтила одна изъ барышень.

Немало изумленный Подхалютинъ выпучилъ глаза.

— До-олгъ?.. Обязанность?—недоумѣло протянулъ онъ;—то-есть какъ же это?

— А вы хотите, чтобы мы радовались, когда родина наша страдаетъ?—съ задорливой искоркой застрекотала другая дочка.

— Э, барышня, что это вы такое говорите! снисходительно усмѣхнулся Подхалютинъ, — ну, гдѣ тамъ страдаетъ! Наша родина вообще страдаетъ только тремя недугами: желудкомъ послѣ масляницы, тифомъ на Святой, по веснѣ, да финансовымъ разстройствомъ, en général, которое, кажется, нынче перейдетъ въ хроническое. Вотъ и всѣ наши страданія.

— Да; это *ваша* родина, можетъ быть; но ваша не *наша*,—продолжала та же барышня.

— Такъ по вашему Польша не страдаетъ? — подхватила другая сестрица.

— Польша?.. Да какое намъ съ вами дѣло до Польши?—удивленно пожалъ плечами Подхалютинъ.—Вы развѣ полки?

— Полки!—гордо отвѣти ли, каждая за себя, обѣ барышни.

— Вотъ сюрпризъ-то!—Подхалютинъ даже съ мѣста вскочилъ при этомъ. — Марья Ивановна! Маменька!—обратился онъ къ полной дамѣ,—да что это онѣ у васъ за вздоръ говорятъ?

— Ни чуть не вздоръ—возразила та,—мы, дѣйствительно поляки.

— Давно ли это? — продолжалъ все болѣе изумляться Подхалютинъ.

— Вотъ вопросъ! всегда поляками были!

— Ну, полноте, маменька!.. Ужь вы не шутите ли надо мною?

— Съ какой же стати! Да и что же за шутки? Развѣ такими вещами можно шутить?

— Господи помилуй! — пожималъ плечами

Digitized by Google

философъ.—Поляки... Въ первый разъ слышу!.. Такъ и папенька вашъ, Матвѣй Осипычъ Яснопольскій, тоже полякъ?

— Разумѣется! — амбиціозно подфыркнули барышни.

Подхалютинъ перекрестился обѣими руками.

— Господи Боже мой!—продолжалъ онъ,— двадцать лѣтъ знаю человѣка, встрѣчаюсь каждый день, и все считалъ его русскимъ, а онъ вдругъ, на тебѣ, полякъ оказывается! Вотъ ужь не ожидалъ-то! Ха-ха-ха! Ну, сюрпризъ! Точно что сюрпризъ вы мнѣ сдѣлали! А вѣдь я какое угодно пари сталъ бы держать, что славнобубенскій стряпчій нашъ Матвѣй Осипычъ — русакъ чистокровный!.. Вѣдь я даже думалъ, что онъ изъ поповичей!

— Это намъ очень грустно, если вы насъ за русскихъ считаете—сухо отвѣтствовали ему барышни.

Подхалютинъ внимательно посмотрѣлъ на нихъ полуиспытующимъ, полусоображающимъ взглядомъ, молча отвѣсилъ почтительный поклонъ и отретировался.

— Ольга Назаровна!—подошелъ онъ вслѣдъ за тѣмъ къ одной старушкѣ, сидѣвшей на противоположномъ концѣ того же ряда,—ужь и вы, матушка, тоже не полька ли?

— Что такое?—не разслышавъ или не понявъ, прищурилась на него старушка.

— Я спрашиваю, не полька ли вы?

— Полька??. Да что ты, мой батюшка, очумѣлъ что-ли? Какая я тебѣ полька!

— А зачѣмъ же вы тоже въ черномъ, вы, которая такъ любите и розы, и алыя ленты, и цвѣтныя матеріи? а?

— Въ черномъ? — Старушка оглядѣла самое себя и обдернула свое шелковое платье.— Да какъ тебѣ сказать это, мой батюшка!.. Всѣ вишь, нынче носятъ черное, ну такъ и я заодно ужь надѣла.

— По пословицѣ, значитъ: куда люди, туда и мы?

— По пословицѣ, родной, по пословицѣ. А ты, мой батюшка, все шалберничаешь,—погрозила она ему пальцемъ; — а нѣтъ того, чтобы зайти къ старухѣ посидѣть!.. Приходи что-ли; въ бостонъ, по старой памяти, поиграемъ. А мнѣ кстати изъ деревни медвѣжьи окорока прислали, ты вѣдь любишь пожрать-то!

— Это мы можемъ, потому на томъ живемъ!—согласился Подхалютинъ, и въ знакъ благодарности поцѣловалъ ея ручку.

Черезъ день послѣ спектакля, въ неофиціальномъ отдѣлѣ славнобубенскихъ губернскихъ вѣдомостей на первомъ мѣстѣ красовалась статейка подъ названіемъ: «Благотворительный спектакль благородныхъ любителей съ живыми картинами». Статейка эта умиленно отдавала дань признательности и восхищенія всѣмъ участвовавшимъ; но на первомъ планѣ, конечно, стояла ея превосходительство, супруга достойнаго начальника губерніи, Констанція Александровна Гржибъ-Загржимбайло.

«Въ настоящее время, когда вся Россія спѣшитъ обновиться и обогатиться плодами прогресса и европейской цивилизаціи,—вѣщала эта статейка,—и нашъ далекій городъ Славнобубенскъ тоже не отстаетъ отъ другихъ своихъ собратовъ, раскинутыхъ на всемъ могученеобъятномъ пространствѣ нашей родной, широрой матушки-Руси. И мы, славнобубенцы, въ нашемъ мирномъ далекомъ уголкѣ, тоже стремимся положить свою лепту въ общую сокровищницу, и мы тоже порой умѣемъ веселиться и поднимать свой нравственный и интеллектуальный уровень истинно-эстетическими удовольствіями». Засимъ слѣдовало цвѣтистое описаніе самаго спектакля, «который почтило своимъ присутствіемъ наше славнобубенское общество въ лицѣ всѣхъ лучшихъ его представителей». Тутъ отдавалась вполнѣ справедливая дань талантамъ Анатоля, Шписса и гарнизоннаго майора Перевохина. «Наши милыя и достойно уважаемыя дамы,—говорила далѣе статейка,—неожиданно и очень пріятно поразили насъ своимъ искусствомъ и дарованіями, коимъ могла бы истинно позавидовать не одна столичная артистка. Нельзя не поблагодарить также молодыхъ княженъ Почечуй-Чухломинскихъ, которыя украсили собою превосходно поставленныя живыя картины. Присутствовавшая избранная публика вполнѣ оцѣнила и отдала имъ должную дань справедливости, похвалъ и одобренія. Г-жи Ярыжникова, Чапыжникова и Пруцко съ граціей, достойной ихъ наружности, плѣнили зрителей картиннымъ сочетаніемъ и эффектно поставленной аллегоріи трехъ рѣкъ славянскихъ. (Въ этомъ мѣстѣ по опискѣ или по невѣжеству усердствовавшаго автора было поставлено прежде «русскихъ», но Непомукъ, къ которому для просмотра и одобренія была предварительно доставлена корректура, зачеркнулъ слово «русскихъ» и собственноручно вмѣсто его изволилъ написать «славянскихъ»). Но болѣе всѣхъ оживила нашъ скромный спектакль,— продолжалъ авторъ статейки,—это, безъ сомнѣнія, ея превосходительство, достойная супруга г-на начальника губерніи, Констанція Александровна Гржибъ-Загржимбайло. Исполненная ею роль Ступендьиной въ Тургеневской «*Провинціалкѣ*» не оставляетъ желать ничего лучшаго. Звучный тембръ ея сильнаго гибко-страстнаго, выразительнаго и отлично обработаннаго органа, въ роли Татьяны изъ «*Москаля Чаривника*», приводилъ всѣхъ въ истинный и неподдѣльный восторгъ и, казалось, переносилъ мечтающую и упоенную душу зрителя въ какой-то иной, невѣдомый, дивно-фантастическій и волшебно-сказочный міръ... Казалось, какъ будто въ самомъ воздухѣ вѣяло роскошными, ароматными степями блаженной Украйны, столь божественно

Digitized by Google

воспѣтой Гоголемъ». Воздавъ достодолжную дань поклоненія артистамъ-любителямъ, авторъ въ заключеніе перешелъ къ благотворительной цѣли спектакля: «Теперь,—восклицалъ онъ,—благодаря прекрасному сердцу истинно-добродѣтельной женщины, благодаря самоотверженно-неусыпнымъ трудамъ и заботамъ ея превосходительства, этой истинной матери и попечительницы нашихъ бѣдныхъ, не одну хижину бѣдняка посѣтитъ и озаритъ внезапная радость, не одна слеза неутѣшной вдовицы будетъ отерта; не одинъ убогій, дряхлый старецъ съ сердечною благодарностью помянетъ достойное имя своей благотворительницы, не одинъ отрокъ, призрѣваемый въ пріютѣ, состоящемъ подъ покровительствомъ ея превосходительства, супруги г-на начальника губерніи, вздохнетъ изъ глубины своей невинной души и вознесетъ къ небу кроткій взоръ съ молитвенно-благодарственнымъ гимномъ къ Творцу міровъ за ту, которая замѣнила ему, этому сирому отроку, нѣжное лоно родной матери. И всѣ они: эта убогая вдовица, этотъ согбенный и сирый старецъ, этотъ отрокъ невинный благословятъ отъ чистаго сердца своего ангела-утѣшителя».

Словомъ сказать, статейка вышла очень трогательная.

Неусыпно-дѣятельный и трудолюбивый Шписсъ составилъ отчетъ о спектаклѣ. Въ отчетѣ въ этомъ сборъ былъ показанъ по номинальнымъ цѣнамъ, и изъ этого сбора, за покрытіемъ всѣхъ издержекъ, въ число коихъ входили неоднократные чаи, закуски, конфекты и лимонады съ оршадами для любителей, во время репетицій, осталось чистой выручки 127 р. 32$^{3}/_{4}$ коп. сер. Эти деньги, при форменномъ отношеніи, и были препровождены въ приказъ общественнаго призрѣнія.

XIX.

De funduszu zelaznego.

А между тѣмъ, въ шкатулкѣ ея превосходительства хранилось около тысячи рублей, собранныхъ ею изъ вольныхъ пожертвованій сверхъ номинальной цѣны.

Въ кабинетѣ Констанціи Александровны дверь была весьма предусмотрительно заперта на задвижку. Тяжелая портьера вплотную закрывала ее собою. Шторы на окнахъ тоже были опущены, такъ что ничей нескромный глазъ не могъ бы подглядѣть и ничье постороннее ухо не могло бы подслушать того, что́ дѣлалось въ данную минуту въ комфортабельномъ кабинетѣ славнобубенской губернаторши.

Прелестная женщина сидѣла на бархатномъ пате, передъ раздвижнымъ столикомъ, а противъ нея, за тѣмъ же столикомъ, помѣщался на мягкомъ табуретѣ ксендзъ Кунцевичъ. Предъ обоими стояло по чашкѣ кофе, а между чашками—изящная шкатулка губернаторши, очень хорошо знакомая всѣмъ ея вольнымъ и невольнымъ жертвователямъ «въ пользу милыхъ бѣдныхъ». Ксендзъ, изрѣдка прихлебывая кофе, очень внимательно выводилъ на бумагѣ какіе-то счеты. Констанція Александровна съ неменьшимъ вниманіемъ слѣдила за его работой.

— Такъ. Теперь вѣрно,—тихо сказалъ наконецъ каноникъ, кладя карандашъ.—Негласной офяры переправлено мною 110 рублей; отъ лотереи въ пользу пріюта удѣлено 230; отъ публичныхъ лекцій Кулькевича и Подвиляньскаго 50 рублей; костельнаго кружечнаго сбора 31 рубль 50 копѣекъ; старогорскій исправникъ Шипчиньскій съ пяти волостей, изъ сбора на погорѣльхъ, удѣлилъ тогда 20 рублей; отъ пана Болеслава получено мною 15, да нынѣ 941 рубль: итого выходитъ 1,397 рублей 50 копѣекъ. Въ пять мѣсяцевъ съ одного только Славнобубенска—дали-Богъ, не дурно!

И ксендзъ съ удовольствіемъ потеръ свои мягкія, бѣлыя ручки.

— Я хочу,— поднялась съ мѣста губернаторша,—я хочу, чтобы на нынѣшній разъ мы отправили ужь такъ-таки полную тысячу. Пусть тамъ получатъ они круглую сумму! Поэтому я офяpую изъ своихъ собственныхъ пятьдесятъ-девять рублей, да страховыхъ съ вѣсовыми двѣнадцать.

И она достала изъ своего бюро и подала ксендзу счетомъ семьдесятъ одинъ рубль.

Кунцевичъ благоговѣйно благословилъ ея подающую руку и съ видомъ теплой благодарности присоединилъ эти деньги къ полновѣсной пачкѣ, перевязанной тесемкою.

— Какъ же переправить ихъ? озабоченно спросила пани Констанція.

Ксендзъ поклонился на это такъ, что поклонъ его явно выражалъ:

«Ужь мы-де знаемъ! Вполнѣ на насъ положитесь!»

— Прямо до бискупа?—продолжала она.

— Ой, нѣтъ! Какъ же-жь таки-такъ до бискупа? До бискупа дойдутъ своимъ чередомъ. Тамъ ужь у насъ есть надежные люди — на нихъ и отправимъ. А тамъ ужь передадутъ... Я думаю такъ, что рублей четыреста самъ я пошлю, а объ остальныхъ попрошу пана Болеслава, либо Подвиляньскій пусть поручитъ пану Яроцю, а то неловко одному переправлять такую большую сумму.

— Надо поскорѣе-бы...

— Поскорѣй не можно... поскорѣй опять неловко будетъ: какъ же-жь такъ-таки сразу послѣ спектакля?.. Мало-ль что можетъ потомъ обернуться! А мы такъ, черезъ мѣсяцъ, сперва Яроць, а потомъ я. Надо напередъ отправить наши росписки, то-есть будто мы должны тамъ, а деньги прямо на имя полиціи; полиція вытребуетъ кредиторовъ и уплатитъ сполна, а намъ росписки перешлетъ обратно. Вотъ это

Digitized by Google

такъ. Это дѣло будетъ, а то такъ, по-татарськy— ни съ бухты, ни барахты! — «Завше розумне и легальне и вшистко розумне и легальне!»

Ксендзъ допилъ кофе, бережно положилъ въ боковой карманъ пачку денегъ и, благословивъ свою духовную дщерь, удалился, имѣя въ нынѣшній день еще много работы. Онъ опустилъ шторы въ своемъ «лабораторіумѣ», приказалъ Зосѣ сказывать всѣмъ, за исключеніемъ развѣ Пшецыньскаго или Подвиляньскаго, что его нѣтъ дома, и усѣлся за письменный столъ. Писалъ онъ долго, съ видимымъ удовольствіемъ:

«Превелебный пане!

«In nomine Dei et Filii et Spiriti Sancti начинаю мое всенижайшее донесеніе. Не имѣю пока достаточныхъ свѣдѣній, такъ ли идетъ въ другихъ городахъ и провинціяхъ Московіи, но у насъ — успѣхъ за успѣхомъ, и каждый успѣхъ малый успѣхомъ большимъ. Вамъ уже извѣстно происшествіе въ Высокихъ Снѣжкахъ, пока еще не оправдавшее надеждъ насчетъ здѣшняго варварски-тупого народа, въ сравненіи съ которымъ волкъ, огрызающійся на разящую его руку, является существомъ болѣе свободолюбивымъ и болѣе разумнымъ. Впрочемъ, никакъ не слѣдуетъ отчаяваться. Здѣсь не теряютъ надежды: агитація по селамъ непремѣнно должна сдѣлать свое дѣло. Здѣшній центръ, какъ уже было доносимо, организовался давно и необыкновенно счастливо: имѣя по правую руку высокопоставленную вліятельную женщину, а по лѣвую добраго сына отчизны, можно дѣйствовать, соображать, наставлять и направлять по тройственному усмотрѣнію. *Центръ* хорошо спрятанъ, отлично смаскированъ: его никто не знаетъ, никто не подозрѣваетъ. Въ недавнее время начинаетъ и здѣсь идти въ ходъ система *троекъ* [1]). Ни съ правою, ни съ лѣвою рукою никто кромѣ главы, съ благословенія превелебной мосци поставленной, никакихъ сношеній не имѣетъ и о причастности ихъ къ центру не знаетъ. Въ послѣдніе дни, послѣ неспѣшной, но удачной подготовки, образовался центръ подцентральный, который репрезентуетъ себя въ одной только особѣ нѣкоего учителя, имѣющаго непосредственныя и исключительныя сношенія съ главою, но не знающаго о содѣйствіи рукъ. Этотъ-то подцентральный центръ служитъ для двухъ посвященныхъ низшей степени осязаемымъ центромъ, и эти двое (докторъ и другой учитель) почитаютъ его въ убѣжденіи своемъ, какъ мѣстный и притомъ единственный центръ, облеченный самостоятельностью и независимостью. Эти послѣдніе *двое* успѣшно завербовали себѣ тройки, знающія, что мѣстный центръ, въ *чьемъ-то* лицѣ существуетъ, но въ чьемъ?—то пока остается для нихъ непроницаемой тайной, да надѣемся, таковою и навсегда останется. По свѣдѣніямъ, лица, составляющія эти тройки, каждое въ отдѣльности, съ успѣхомъ уже занялись вербованіемъ слѣдующихъ своихъ собственныхъ троекъ. Рѣшено было нарочито принять систему *троекъ*, а не *десятковъ*, въ томъ предпочтеніи, что тройка, являющая собою единицу меньшую количествомъ чѣмъ десятокъ, наименѣе опасна для цѣлости и стройности остальной организаціи, ежели бы кто по малодушію не удержалъ языкъ свой предъ врагами.

«Слово святаго костела и тайна конфессіонала сдѣлали, съ помощію Бога, то, что тѣ лица и даже цѣлыя семейства, которыя, живя долгіе годы въ чуждой средѣ, оставили въ небреженіи свой языкъ и даже національность, нынѣ вновь къ нимъ вернулись съ раскаяніемъ въ своемъ печальномъ заблужденіи и тѣмъ болѣе съ сильнымъ рвеніемъ на пользу святой вѣры и отчизны.

«Общество враговъ растлѣнно и легкомысленно, и та часть онаго, которая наиболѣе оказываетъ сочувствіе дѣлу для нея чуждому, по истинѣ, наиболѣе достойна величайшаго презрѣнія. Польская земля, гордая любовію и вѣрою сыновъ своихъ, покраснѣла бы отъ сраму и заплакала бы кровавыми слезами въ тотъ день, когда изъ нѣдръ ея могло бы народиться столько отщепенцевъ, столько Искаріотовъ! Но къ счастью, Польша не Татарія. Это отребье земли своей, эти псы богохульные, глумясь въ гордынѣ безвѣрія своего надъ Богомъ и надъ своею (хотя бы то и схизматическою) вѣрою, затѣяли отслужить панихиду по убитымъ въ Снѣжкахъ. Сколько гнуснаго глумленія, сколько франтовства своимъ невѣріемъ, достойныхъ омерзительнаго презрѣнія! Тѣмъ не менѣе, они сдѣлали изъ своей панихиды добрую демонстрацію, и весьма значительная часть здѣшняго общества этой демонстраціи сочувствуетъ. Въ этомъ, конечно, для насъ есть весьма много полезнаго. Ихъ можно презирать, но ими необходимо пользоваться, ибо нынѣ они—сила.

«Симпатіи къ *угнетаемой* все болѣе и болѣе высказываются въ здѣшнемъ обществѣ: работа нашихъ не пропадаетъ даромъ. Все высшее общество (правда, хотя и изъ глупаго подражанія) облеклось въ *жалобу*: черный цвѣтъ является преобладающимъ въ женскихъ нарядахъ; на языкѣ у многихъ слова сожалѣнія, сочувствія къ намъ и слова порицанія своего

[1]) Въ послѣднемъ польскомъ заговорѣ были приняты системы *троекъ* и *десятковъ*. Каждый членъ заговора избиралъ себѣ двухъ товарищей и составлялъ съ ними тройку. Избиравшій составлялъ звено съ тѣмъ лицомъ, которое самого его выбрало и т. д. Такимъ образомъ тройка (въ Россіи) и десятокъ (въ Польшѣ и Западномъ краѣ) являлись вполнѣ самостоятельными, изолированными и въ то же время непрерывно связанными звеньями заговорной цѣпи. Членъ, принадлежащій къ тройкѣ, зналъ только лицъ входящихъ въ ея составъ; лица же другихъ троекъ извѣстны ему не были. Показанія и сообщенія передавались послѣдовательно отъ избравшихъ къ избраннымъ и т. д.

Digitized by Google

россійскаго правительства. Либераловъ и красныхъ распложается все болѣе. Вредные до извѣстной степени въ родной средѣ поляковъ, красные въ Россіи являются намъ полезнымъ подспорьемъ.

«Къ числу положительныхъ пріобрѣтеній надо отнести также и воскресную школу, находившуюся доселѣ въ рукахъ человѣка почтеннаго и честнаго, но, къ сожалѣнію, вреднаго своимъ противнымъ и фанатическимъ направленіемъ. Нынѣ, чрезъ вмѣшательство администраціи, школа эта ввѣрена благонадежному лицу изъ нашихъ, которое само уже почти отстранилось отъ нея, а передало все дѣло въ руки Москалей изъ самыхъ заклятыхъ либераловъ. Работа съ этимъ переходомъ пошла весьма успѣшно. Прежній же руководитель школы находится подъ надзоромъ полиціи. Одинъ изъ преподавателей гимназіи, а равно и воскресной школы, оказался человѣкомъ направленія вреднаго; въ то же время вліяніе его на учениковъ было достаточно сильно. Для пресѣченія вреда, могущаго постоянно происходить отъ этого человѣка, авторитетъ его и, къ сожалѣнію, даже самое доброе имя необходимо долженствовали быть подорваны. Мѣра крайняя, но вполнѣ необходимая, въ виду зла, имѣвшаго парализовать многія добрыя начинанія.

«Немалую силу (безъ сомнѣнія, подлежащую борьбѣ) являетъ въ лицѣ своемъ здѣшній епархіальный архіерей Іосафъ—оплотъ восточной схизмы, человѣкъ пользующійся большимъ вліяніемъ на паству. Есть нѣкоторые признаки, по которымъ заключаю, что онъ можетъ быть вреденъ. Впрочемъ, это покажетъ будущее.

«Былъ спектакль любителей, на которомъ особенно ярко проявились симпатіи къ распятой на крестѣ отчизнѣ нашей. Вскорѣ на имя извѣстныхъ вамъ особъ будетъ прислана do funduszu zelaznego тысяча рублей. Напередъ вышлемъ на себя росписки. О дальнѣйшемъ донесу своевременно, а пока смиренно прошу благословенія на дѣло неустаннаго служенія своего».

Подписи не было, но вмѣсто нея выставленъ шифрованный знакъ «12—11», что въ сущности означало «L—K», начальныя буквы имени и фамиліи ксендза-пробоща.

Не успѣлъ еще онъ, по окончаніи письма, выпить предобѣденную рюмку настойки да закусить свѣжею молодою рединскою со сливочнымъ масломъ, какъ въ смежной комнатѣ раздалось знакомое бряцаніе сабли полковника Пшецыньскаго, для котораго ксендзъ-пробощъ «всегда былъ дома».

— Вѣкъ нашъ крутки—выпіемы вудки... А ну-бо! По килишку!—весело подмигнулъ хозяинъ только-что вошедшему гостю.

Гость не отказался, и не выпилъ, но что называется «вонзилъ» въ себя полную рюмку, послѣ чего вкусно поморщился, какъ обыкновенно морщится отъ добраго глотка хорошій гость, желая сдѣлать этимъ комплиментъ хозяйской водкѣ, и въ заключеніе очень выразительно крякнулъ.

Ксендзъ ухмыльнулся и подмигнулъ вторично.

— Вѣкъ нашъ не длуги, выпіемы по другей!—пустилъ онъ свою обычную прибауточку,—а потомъ возляжемъ за скромную монашескую трапезу!

Отъ трапезы полковникъ отказался, но насчетъ недолгаго вѣка, по поводу котораго надлежало выпить по другой, сказалъ по-русски, что умныя рѣчи пріятно и слышать. И пріятели хватили еще по килишку.

— Панъ заѣхалъ кстати,—пожалъ Кунцевичъ руку Пшецыньскому:—у меня тутъ только-что цыдула окончена. Если хочешь прочесть—вотъ она.

Полковникъ взялъ еще не сложенное письмо.

— Что-жь, надо отправить?—спросилъ онъ, какъ о дѣлѣ давно привычномъ и самомъ обыкновенномъ.

— Съ надписомъ: «конфиденціально», — пояснилъ панъ Ладиславъ, изображая сложенными пальцами одной руки на раскрытой ладони другой какъ бы предполагаемую надпись.—Только будь такъ ласковъ, брацишку, отправь поскорѣе... въ казенномъ пакетѣ, за печатью... жебы вшистко было якъ сенподоба.

— На бискупа, или на полиціймейстера?—освѣдомился полковникъ.

— Какъ самъ знаешь, — пожалъ плечами ксендзъ.—Только думаю, что на полиціймейстера натуральнѣе; а то что за корреспонденція у жандармовъ съ бискупами! На полиціймейстера спокойнѣе будетъ: его превелебна мосць писалъ уже, чтобы такъ поступать намъ, ужь они тамъ знаютъ!.. Имъ это лучше извѣстно!

Полковникъ пріятельскимъ кивкомъ вполнѣ одобрилъ соображенія своего предусмотрительнаго друга.

— А, кстати! — вспомнилъ Кунцевичъ. — Панъ еще ничего не сдѣлалъ съ тѣмъ... съ гимназистомъ?

— Да вѣдь панъ каноникъ самъ же просилъ оставить пока, я и не трогалъ его.

— Ну, и лучше!.. Онъ, сдается мнѣ, пригодится еще къ дѣлу.

— Мм... молодъ!—съ кислой гримасой замѣтилъ Пшецыньскій.

— Э, ничего, что молодъ! Подвиляньскій аттестовалъ его подходящимъ. Къ чему терять лишнія чужія руки? Пусть это будетъ на добро да на пользу.

Полковникъ взглянулъ къ себѣ на часы и сталъ прощаться.

— Э, нѣ, нѣ! Почекай трошечку!—остановилъ его ксендзъ, наливая рюмки,—такъ не водится! Слухай коханы: «Жебы быць намъ спулне на тымъ свѣцѣ, выпіемы, брацишку, по трпецей!»

Digitized by Google

И чокнувшись они опрокинули и закусили по третьей—на прощанье.

XX.

Изъ-за „шпіона".

Андрей Павловичъ Устиновъ никакъ не ожидалъ тѣхъ послѣдствій, которыя произошли изъ его шпіонства, импровизированнаго Подвиляньскимъ. Молва о тайной миссіи учителя математики очень быстро разнеслась по всему Славнобубенску, что́, впрочемъ, и немудрено, такъ какъ она весьма ловко была пущена въ среду гимназистовъ, которымъ пояснено, будто Устиновъ потому-то и шикнулъ Шишкину, что самъ онъ шпіонъ и что онъ-то собственно и погубилъ Шишкина своимъ шиканьемъ. Гимназисты разнесли молву по своимъ семействамъ, а тѣ по своимъ знакомымъ, и, глядь, сутокъ черезъ двое весь Славнобубенскъ былъ уже убѣжденъ, что въ средѣ его ходитъ, подглядываетъ и подслушиваетъ весьма опасный агентъ тайной полиціи — учитель Устиновъ. Очень многіе стали чуждаться Андрея Павловича. Входитъ онъ, напримѣръ, въ сборную учительскую комнату, нѣкоторые изъ сослуживцевъ многозначительно переглядываются между собою и прекращаютъ разговоры. Поклоны ихъ стали гораздо суше; иные избѣгали протягивать ему руку. Проходя изъ класса по гимназическому корридору, онъ встрѣтилъ гурьбу учениковъ, которая, пропустивъ его мимо себя, вдругъ единодушно зашишикала, и среди этого шума раздалось нѣсколько голосовъ: «шпіонъ! шпіонъ! Устиновъ шпіонъ!» Тотъ обернулся, обвелъ гурьбу изумленнымъ взглядомъ и улыбнувшись прошелъ мимо.

Въ кухмистерской, на Московской улицѣ, точно также при входѣ его весьма многіе изъ присутствующихъ, знавшихъ его въ лицо, прерывали нѣкоторые изъ своихъ разговоровъ, переглядывались и перешептывались между собою и окидывали его иногда какимъ-то осторожнымъ, непріязненнымъ взоромъ. При встрѣчахъ на улицѣ, очень многіе изъ знакомыхъ дѣлали видъ, будто не замѣчаютъ его, и на поклонъ отвѣчали словно бы нехотя, вскользь, торопливо и съ видимымъ смущеніемъ.

Вскорѣ и самъ онъ замѣтилъ, что положеніе его становится какимъ-то глупымъ, неловкимъ, неестественно-натянутымъ, и это стало то бѣсить, то сильно огорчать его. Но болѣе всего горькою и обидною была потеря довѣрія и привязанности учениковъ. Взаимныя отношенія ихъ, помимо его воли, какъ-то сами собою перемѣнились; въ нихъ явилась холодность, непріязнь и даже школьнически-своеобразное презрѣніе къ нему, выражавшееся какимъ-нибудь безмолвнымъ взглядомъ, свистомъ или возгласомъ «шпіонъ», брошеннымъ ему за спиною, и положительнымъ отсутствіемъ весело-довѣрчивыхъ разговоровъ и разспросовъ, какъ бывало прежде.

Устиновъ сознавалъ, что все это было слишкомъ мелко и черезчуръ уже глупо для того, чтобъ обратить на подобныя проявленія серьезное вниманіе, а между тѣмъ новое положеніе втайнѣ начинало уже очень больно и горько хватать и грызть его за сердце.

Кажется, во всемъ городѣ Славнобубенскѣ только и осталось три-четыре человѣка, отношенія которыхъ ни на іоту не измѣнились къ Андрею Павловичу, и это были: Хвалынцевъ, майоръ Лубянскій да Татьяна Николаевна со своею старою теткою. Все остальное разомъ отшатнулось отъ учителя.

Разъ какъ-то зашелъ онъ къ майору. Анна Петровна, встрѣтивъ его весьма сухимъ поклономъ, тотчасъ же удалилась изъ комнаты. Зато майоръ обрадовался отъ чистаго сердца.

— Ну, голубчикъ мой! Наконецъ-то!—протянулъ онъ ему обѣ руки.— Пойдемъ въ мою келью, потолкуемъ-ка!.. Хоть душу отведешь съ человѣкомъ!

Устиновъ глянулъ на старика и замѣтилъ, что онъ видимо измѣнился за послѣднее время: сивая щетинка на бородѣ уже нѣсколько дней не брита, чего прежде никогда не случалось, лицо слегка осунулось и похирѣло, въ глазахъ порою на мгновеніе мелькало легкою тѣнью нѣчто похожее на глухую затаенную кручину. При взглядѣ на Петра Петровича, Устинову стало еще грустнѣе.

— Ну, что, какъ живете-можете?—началъ онъ, лишь бы отогнать немного свое тягостное чувство.

— Да что, голубчикъ, скверно старикамъ стало жить на свѣтѣ, скверно!—съ глубокимъ, сокрушеннымъ вздохомъ покачалъ головой Лубянскій.—Прежде людьми пренебрегали за какое качество дурное, за порокъ какой тамъ что-ли, а нынѣ за одну только старость пренебрегать начали. Иль я ужь и въ самомъ дѣлѣ изъ ума выжилъ, или что́, и самъ не понимаю; а только вдругъ, на шестомъ десяткѣ, подъ сюркупъ полицейскій попалъ! Чуть-что не каждый день вдругъ квартальный сталъ шататься да житье-бытье мое повѣрять! «Вы, говоритъ за неблагонамѣренность подъ призоръ отданы, и я долженъ за поведеніемъ вашимъ наблюдать!» Легко-ли это, я васъ спрашиваю!.. Издѣваются они надо мной, что-ли? Да кто же далъ имъ нынѣ это право такое надъ честнымъ солдатомъ издѣваться?.. До чего дожили, прости, Господи! Ужь я этому квартальному, чтобы не часто шатался, грѣшный человѣкъ, далъ по секрету трешницу. Школу отняли, самого оплевали... А слыхали вы, батенька, что со школой-то сталося? Слыхали? Вы не бываете тамъ больше?

Digitized by Google

— Мнѣ Подвиляньскій прислалъ письмо, съ извѣщеніемъ, что я могу прекратить мои дальнѣйшія занятія тамъ,—сказалъ Устиновъ.

— Я такъ и зналъ! Такъ и зналъ я это!— махнулъ старикъ.—А съ отцомъ-то Сидоромъ что сдѣлали? Не слыхали-съ?

— Признаюсь, не слыхалъ еще.

— Ну, ужь это чистое невѣжество! — развелъ майоръ руками.—Приходитъ онъ это въ школу, а на встрѣчу ему господинъ Полояровъ: «вы, говоритъ, зачѣмъ сюда?»—«Какъ зачѣмъ! Я законъ Божій читаю».—«Теперь, говоритъ, я вмѣсто васъ законъ Божій читаю, а вы, говоритъ, ступайте прихожанъ своихъ эксплуатируйте (такъ и сказалъ! Это самое слово!). Всѣ вы, говоритъ, за зловредность направленія отсюда уволены!» Это что-жь такая за наглость-то наконецъ, я васъ спрашиваю! До чего-же это дойдетъ у нихъ?!.. Отецъ Сидоръ хочетъ владыкѣ жаловаться,—да и въ самомъ-дѣлѣ, вѣдь ужь тутъ просто житья нѣтъ никакого! Нагналъ это туда новый-то распорядитель учителей хорошихъ: всѣ эти Полояровы да Анцыфровы, да Лидиньки разныя... подика, чай, хорошему научатъ!.. Ужь они мнѣ, батюшка,—вотъ они всѣ гдѣ сидятъ-то мнѣ! указалъ старикъ на свое горло.—Вѣдь ужь я терпѣливъ, ну да и мое терпѣніе лопнетъ скоро!

— Полояровъ-то бываетъ у васъ? — спросилъ Устиновъ.

— Ужь не говорите лучше!—съ негодованіемъ отплюнулся Петръ Петровичъ,—не знаю какъ избавиться! И что это такое съ Нюточкой сдѣлалось, просто не понимаю! Не далѣе какъ годъ назадъ вѣдь это прелесть что за дѣвочка была—сами, чай, помните!—а нынѣ (старикъ съ боязливою осторожностью покосился на дверь и значительно понизилъ голосъ), нынѣ—Богъ ее знаетъ! какая-то нервная, раздражительная стала. Строптивость у нея какая-то вдругъ... Что ни скажешь, ни сдѣлаешь — все это не такъ, все это не по ней... одного только *этого... его-то* — только его и слушаетъ. Начнешь говорить ей,—сейчасъ въ раздраженіе: «вы говоритъ, меня стѣсняете, лишаете меня свободы!» Ты ей резоны представляешь, а она сейчасъ: — «произволъ! насиліе!.. Это, говоритъ деспотизмъ родительской власти»... Господи Боже мой! Андрей Павлычъ! (голосъ старика дрогнулъ отъ волненія) сами вы знаете—ну, стѣсняю-ли я чѣмъ ее? Ну, могу-ли я стѣснять? Я... я души въ ней не чаю, а она... деспотъ... деспотизмъ. Да что-жь это такое, ей-Богу!..

Старикъ примолкъ и огорченно поникъ головою.

— Теперь хоть это: хорошо-ли это съ ея стороны?—продолжалъ онъ черезъ минуту. — Отца осрамили, отцу учить запретили, подъ надзоръ полиціи отдали, школу отняли, а она въ этой школѣ продолжаетъ учить, какъ ни въ чемъ не бывало. Съ *этими-то*... съ *этими-то* вмѣстѣ учитъ, въ одной компаніи... съ врагами!.. Вѣдь они враги-съ дѣлу-то! Ну, прилично-ли это? Отчего же Татьяна Николаевна сразу перестала, сама перестала, чуть только провѣдала про всю эту компанію?.. И я же еще стѣсняю ее! Я деспотствую!.. Эхъ, голубчикъ мой, горько мнѣ все это! горько!.. И откуда на насъ вся эта напасть?—продолжалъ старикъ, ходючи по комнатѣ и закуривъ свою коротенькую трубочку. — Отчего же прежде у насъ на Руси ничего такого не было? Иль ужь и въ самомъ дѣлѣ всѣ мы прежде до такой степени были глупы и слѣпы, и подлы, что на насъ теперь и плюнуть не стоитъ порядочному человѣку, или что—я уже и не понимаю. Думаешь-думаешь такъ-то вотъ себѣ ночью (нынче ночами-то что-то плохо спится мнѣ). Только нѣтъ, думаешь себѣ, отчего же подлы? Отчего же глупы да пошлы? вѣдь и между нами были же и умные, и честные, и образованные люди—да вотъ, хоть взять теперь намъ старика Алексѣя Петровича Ермолова, или напримѣръ покойникъ Воронцовъ Михайло Семеновичъ,—вѣдь это все какіе люди-то! справедливые, твердые, самостоятельность-то какая! Ну, значитъ, были же и между нами доблестные граждане; умѣли же и мы любить свое отечество, и жили честно—не все же глупцы, да воры, да взяточники! За что же теперь-то всѣ мы огуломъ охаяны да оплеваны? Вѣдь это обидно! Вѣдь и сами же *они* будутъ стариками—значитъ, и ихъ заплюютъ? Да отчего же мы-то на своихъ отцовъ не плевали, отчего-же мы любили и чтили заслуги ихъ?.. Отчего-жь это такъ вдругъ все перевернулось у насъ? Откуда это, я васъ спрашиваю? И вотъ все это, голубчикъ мой, мучаютъ меня всѣ эти неотвязныя мысли проклятыя, и никакого я себѣ отвѣта найти не могу!.. Эхе-хе! тяжело стало старикамъ на свѣтѣ!—грустно заключилъ онъ, выколачивая въ черепокъ золу изъ своей носогрѣйки.

Потолковалъ онъ и еще кое-что на ту же самую тему, а потомъ, чтобы разбить нѣсколько свои невеселыя мысли, предложилъ учителю партійку въ шашки. Сыграли они одну и другую, и третью, а тамъ старая кухарка Максимовна принесла имъ на подносѣ два стакана чаю, да сливокъ молочникъ, да лотокъ съ ломтями бѣлаго хлѣба. Былъ седьмой часъ въ началѣ.

— А гдѣ же барышня-то? Что ее не видать? спросилъ старикъ у кухарки.

— Барышни нѣту-ти. Аны еще давеча, какъ Андрей Павлычъ пришли то:ьки, такъ ушли изъ дому.

— Куда же это? Не сказала?

— Ничего не сказывали; а только вышли одѣмшись и пошли.

— Ну, хорошо... Ладно; ступай-себѣ!

— Вотъ, батюшка мой,—обратился майоръ

Digitized by Google

къ Устинову, когда кухарка вышла за дверь,—это вотъ тоже новости послѣдняго времени. Прежде, бывало, идетъ куда, такъ непремѣнно хоть скажется, а нынче—вздумала-себѣ—хвать! одѣлась и шмыгъ за ворота! Случись что въ домѣ, храни Богъ, такъ куда и послать-то за ней, не знаешь. И я же вотъ еще свободы ее при этомъ лишаю!

Устиновъ посидѣлъ еще съ полчаса и простился.

Вскорѣ послѣ него вернулась домой Анна Петровна. На хмуромъ личикѣ ея написано было молодое нетерпѣніе поспѣшной рѣшимости. Снимая передъ зеркаломъ свою гарибальдійку и приглаживая короткіе волосы, она даже ножкой досадливо топала. Видно было, что ей поскорѣе хочется рѣшить что-то на *да*, или *нѣтъ*, и что на этотъ послѣдній ладъ она кѣмъ-то настроена.

— Гдѣ была, Нюточка? ласково и тихо обратился къ ней Лубянскій.

— Гдѣ была, тамъ ужь нѣту! отвѣчала она съ усмѣшкой. А ты вотъ что, папахенъ... Мнѣ съ тобой надо поговорить серьезно и... рѣшительно. Угодно тебѣ меня выслушать?

— Говори, дружочекъ...—еще тише промолвилъ старикъ, у котораго вдругъ упало сердце отъ этого тона рѣчи. Онъ смутно предчувствовалъ что-то недоброе.

— Извольте-съ. Я буду говорить,—начала она, съ какой-то особенною рѣшимостью ставши предъ отцомъ и скрестивъ на груди руки.—Скажи мнѣ, пожалуйста, папахенъ, для чего ты принимаешь къ себѣ въ домъ шпіоновъ?

— Шпіоновъ?.. Какихъ это шпіоновъ?—поднялъ на нее глаза Лубянскій.

Изъ этого вопроса онъ уже понялъ о чемъ пойдетъ дѣло.

— Какъ какихъ? Какъ будто Полояровъ не при тебѣ говорилъ?

— Э, дѣвочка! Мало ли что говоритъ Полояровъ...

— Но это всѣ говорятъ!.. Весь городъ знаетъ.

— Ну, мало ли что!.. Собака лаетъ, вѣтеръ носитъ—слышала, чай, пословицу? У насъ вѣдь чего не болтаютъ?

— Но это не болтовня, это правда! Намедни у самого Шпецыньскаго спрашивали, такъ онъ только какъ-то странно улыбнулся на это и сталъ увѣрять, что вздоръ и выдумки. Одно ужь это увѣреніе достаточно подтверждаетъ фактъ.

— Ну, Нюта, полно пустяки болтать!.. Ни въ жизнь я такимъ вздорамъ не повѣрю и даже слушать-то про нихъ не хочу.

— Ха, ха, ха!.. Это мило! Это мнѣ нравится!—нервно потирая руки, зашагала она по комнатѣ.—Ну, такъ я же тебѣ говорю, что я не желаю, не хочу—слышишь ли, папахенъ?—не-хо-чу, чтобъ у насъ въ домѣ бывалъ этотъ шпіонишка! Послѣ этого къ намъ ни одинъ порядочный человѣкъ и носу не покажетъ. Мнѣ ужь и то говорятъ всѣ!..

— Кто говоритъ-то? какой-нибудь Полояровъ...

— Во-первыхъ,—перебила дѣвушка съ ярко проступившею на щекахъ краской досады,—во-первыхъ, Полояровъ вовсе не «какой-нибудь», а порядочный человѣкъ, котораго я уважаю, и потому покорнѣйше прошу о немъ такъ не говорить!

— Да ты сама-то, Нюта, какъ говоришь со мной, съ отцомъ-то своимъ? Что-жь, тебѣ Полояровъ ближе отца сталъ, что ли?

— Это вопросъ совсѣмъ посторонній; и замѣчаній мнѣ тоже не надо, а я тебя спрашиваю въ послѣдній разъ: угодно тебѣ быть знакомымъ со шпіонами?

— Я Андрея Павлыча за шпіона не почитаю и почитать не буду,—рѣшительно и твердо отвѣтилъ онъ на это,—и знакомства съ нимъ отъ какихъ нибудь нелѣпыхъ сплетень не прерву. Вотъ тебѣ, Нюта, мое слово!

— Покорнѣйше благодарю!—иронически поклонилась она.—Я и не знала, что тебѣ этотъ баринъ дороже дочери и собственнаго добраго имени.

— Матушка!—покачалъ головой майоръ,—не Анцыфровымъ какимъ-нибудь дарить меня добрымъ именемъ, я его самъ себѣ добылъ; и не имъ его вырывать отъ меня! А о себѣ ты и не говори... Нюта, Нюточка! да неужьто же ты не видишь, голубка моя, какъ люблю я тебя!—съ глубокою нѣжностью протянулъ онъ къ ней руки.

— Скажите, пожалуйста! Да въ чемъ это любовь-то ваша?—съ пренебреженіемъ выдвинула она свои губки.—Велика заслуга—любовь! Каждое животное, собака—и та любитъ щенятъ своихъ: просто, животно-эгоистическое чувство и больше ничего! Это очень естественно!

Старикъ въ какомъ-то ужасѣ поднялся съ мѣста.

— Нюта, Нюта!—горько покачалъ онъ головою.—И это ты!.. это ты говоришь такія вещи!.. Да кто это вселилъ въ тебя мысли-то такія?.. Боже мой! Родительское чувство... отца вдругъ съ собакой... со псомъ приравняла!.. Да что-жь это, ей-Богу!.. Нюта, это не ты говоришь... это чудится мнѣ только!.. Нюта! родная моя!.. Поди ко мнѣ.

— Оставь, пожалуйста, нѣжности, папахенъ!—мимоходомъ махнула она рукой.—Я тебѣ повторяю, если хочешь жить со мной въ мирѣ, то чтобы въ домѣ у насъ не было больше Устинова, а если онъ еще разъ придетъ, то я надѣлаю ему такихъ дерзостей, какихъ онъ еще ни отъ кого не кушалъ.

— Ну, ужь нѣтъ! Этого не будетъ!—опять-таки рѣшительнымъ тономъ возразилъ Петръ Петровичъ.—Гостя, каковъ бы онъ ни былъ, въ

Digitized by Google

моемъ домѣ оскорблять не позволю, потому что онъ гость мой.

— Ха, ха, ха! Это у тебя все твои эти кавказскія, восточныя правила!—насмѣшливо проговорила она;—да если этотъ гость шпіонишка, подлецъ, мерзавецъ?

— Сударыня! да постыдись ты, Христа-ради!—укоризно всплеснулъ старикъ руками,—вѣдь ты благородная дѣвушка! Ну, что ты дѣвичьи уста свои оскверняешь такими гнусными словами! Откуда все это? И что это за тонъ-то у тебя нынче? Гдѣ-жь твоя скромность, голубка ты моя?!.

— Мнѣ это наконецъ надоѣло!—топнула она ножкой, снова скрещивая руки и становясь предъ отцомъ,—я хочу знать рѣшительно: будутъ ли у насъ бывать шпіоны, или не будутъ?

— Шпіоновъ не бывало и бывать не будетъ,—категорически отвѣтилъ старикъ, поднявшись съ мѣста,—а Андрей Павлычъ будетъ! И пока я живъ, я никому не позволю оскорбить его въ моемъ домѣ, и никто этого не осмѣлится!

— А, когда такъ,—такъ хорошо же!—взвизгнула Анна Петровна, заливаясь гнѣвными слезами;—это деспотизмъ... это насиліе... это самодурство, наконецъ!.. Этого я выносить не стану!.. я не въ силахъ больше!.. Терпѣніе мое лопнуло, такъ и я не хочу, не хочу, не хочу больше!—возвышала она голосъ.—Слышите ли, не хочу, говорю я вамъ!.. Послѣ этого между нами все кончено! Прощайте, Петръ Петровичъ!

И стремительно вырвавшись изъ комнаты, она мимоходомъ захватила гарибальдійку да бедуинъ, перекинутый черезъ спинку стула, и бросилась вонъ изъ дому.

— Нюта! Нюточка! голубчикъ!.. Куда ты!.. вернись! вернись, Христа-ради! вдругъ переполошившись схватился старикъ вдогонку за дочерью. Словно ошалѣлый, выбѣжалъ онъ за калитку и, какъ былъ въ одномъ халатѣ, безъ шапки побѣжалъ по улицѣ.

Нюточка спѣшно обернулась на его голосъ и видя, что онъ ее, пожалуй, догонитъ, сама торопливо пустилась бѣжать отъ него, махая встрѣчному извозчику, и, поравнявшись съ его дрожками, съ разбѣгу прыгнула въ нихъ.

— Пошелъ!.. Пошелъ живѣе! Поворачивай! чуть не задыхаясь, толкала она своего возницу—и тотъ, въ надеждѣ на хорошую выручку, со всеусердіемъ сталъ хлестать свою лошадь.

Въ эту минуту молодая дѣвушка вся была въ какой-то изступленно-нервной экзальтаціи. Ее душилъ приливъ злостной досады избалованнаго, капризнаго ребенка; слезы ручьями катились по щекамъ; лихорадочная дрожь колотила все тѣло. Она сама не помнила и не понимала хорошенько, что́ съ нею и что́ она дѣлаетъ.

Старикъ поглядѣлъ ей вслѣдъ и понякъ головою. Изъ разныхъ оконъ на эту сцену уже глядѣли любопытныя головы. «Господи! чужіе люди видѣли!» чѣмъ-то колючимъ отозвалось въ сознаніи Петра Петровича, и онъ вдругъ какъ-то осѣлся, сконфузился и, стараясь ни на кого не глядѣть, побрелъ въ свою калитку.

XXI.

Безъ дочери.

Не скоро пришелъ въ себя старый Лубянскій, но все-таки мало-по-малу болѣе спокойное, сознательное горе тихо овладѣло имъ, и среди этого горя нашлось еще мѣсто надеждѣ. Надежда же явилась потому, что слишкомъ велика была любовь его.

«И куда это поскакала она, сумасшедшая?—думалъ себѣ майоръ, слоняясь изъ угла въ уголъ по всѣмъ комнатамъ;—къ дурищѣ къ этой Затцихѣ, что ли? или къ Татьянѣ Николаевнѣ?.. Нѣтъ, та не того покроя, къ той не поскачетъ!.. Неужели къ Полоярову? вдругъ мелькнула ему жуткая, страшная мысль, которую онъ всячески постарался тотчасъ же отогнать отъ себя.—Нѣтъ, нѣтъ... нѣтъ, не можетъ этого быть!.. Какія глупости бредутъ мнѣ въ голову!.. Это я разстроенъ нынче, это оттого все... Моя Нюточка, нѣтъ, нѣтъ, она этого не сдѣлаетъ... Вѣрно у Затцихи... Она скоро вернется, утѣшалъ онъ себя баюкающею надеждою,—образумится и вернется... Она благоразумная вѣдь... не можетъ не вернуться... Надо тогда поговорить съ ней... Надо покротче, поласковѣе... Вѣдь и я ужь тоже! Развѣ можно эдакъ-то круто?.. Эдакъ нельзя... Надо уговорить, урезонить... Она пойметъ же вѣдь наконецъ».

А между тѣмъ время шло да шло себѣ, и пробило уже десять часовъ.

Майоръ снова начиналъ тревожиться и сердиться.

«Вѣдь эдакая, право, скверная, упрямая дѣвчонка! Характеръ-то какой настойчивый!.. Это хочетъ, чтобы я покорился, чтобы я первымъ прощенія просилъ да по ея бы сдѣлалъ... Ну ужь нѣтъ-съ, извините! Этого не будетъ! Этого нельзя-съ!.. Да-съ, этого нельзя-съ!.. Изъ-за пустой поблажки да честныхъ, хорошихъ людей обижать, это называется бабствомъ! А я не баба, и бабой не буду!.. Да-съ, не буду бабой я! вотъ что!»

Майоръ, жестикулируя, размахивая руками и говоря самъ съ собою въ полъ-шопота, все къ кому-то обращался, словно бы въ этой комнатѣ сидѣла воображаемая Нюточка.

«Нѣтъ, надо будетъ взять другія мѣры!.. Непремѣнно другія мѣры!» совѣтовалъ онъ самому себѣ.—Но какія именно будутъ эти предполагаемыя мѣры, старикъ не опредѣлялъ, и даже будто избѣгалъ такого опредѣленія: онъ только какъ бы утѣшалъ и баюкалъ себя тѣмъ, что мѣры не-

Digitized by Google

премѣнно должны быть другими. «Хорошо бы всѣхъ этихъ господъ тово... въ шею! показалъ онъ выразительнымъ жестомъ,—чтобы и духомъ ихъ тутъ не пахло! тогда будетъ отлично... тогда все какъ нельзя лучше пойдетъ!.. Да-да, непремѣнно другія мѣры»...

«Но, Господи! Что же это Нюточка?!..»

Пробило одиннадцать, а ея все нѣтъ еще. Вотъ и половина двѣнадцатаго, вотъ и двѣнадцать, но Нюта не возвращается. Безпокойство все болѣе и болѣе овладѣвало старикомъ, и къ этому безпокойству примѣшивалась и тоска, и страхъ безотчетный. Онъ рѣшился ожидать до часу, и все время, въ открытую форточку, напряженно и чутко прислушивался—не дребезжатъ ли на улицѣ дрожки, не слыхать ли легкихъ, приближающихся шаговъ... Онъ бы по чутью угадалъ звукъ походки своей дочери. И вотъ изрѣдка послышатся чьи-нибудь шаги,—майоръ встрепенется, сердце его станетъ биться порывистѣй, напряженнѣе... но нѣтъ,—не она!.. все не она это! все другіе посторонніе: либо не доходя гдѣ нибудь остановятся и затяхнутъ въ какой-нибудь чужой калиткѣ, либо все мимо да мимо проходятъ, а ея все нѣтъ, какъ нѣтъ!.. И когда же, наконецъ, она будетъ? И когда затихнетъ и уляжется этотъ страхъ, эта тоска, все болѣе и все мрачнѣе растущая въ сердцѣ стараго майора? Но вотъ и *часъ* простоналъ глухой колоколъ на далекой соборной колокольнѣ.

Майоръ съ лихорадочною поспѣшностію сталъ одѣваться и ушелъ изъ дому, къ несказанному, но безмолвному удивленію заспанной Максимовны.

Спѣшнымъ шагомъ, и почти-что рысцой, направился онъ въ Кривой переулокъ, гдѣ жила Лидинька Затцъ. Но въ Кривомъ переулкѣ все было глухо и тихо, и у одного только подъѣздика полиціймейстерской Дульцинеи обычнымъ образомъ стояла лихая пара подполковника Гнута, да полицейскій хожалый, завернувшись въ тулупъ, калякалъ о чемъ-то съ кучеромъ. Майоръ поспѣшно прошелъ мимо ихъ, стараясь спрятать въ воротникъ свое лицо, чтобы не видали его, словно бы, казалось ему, они могли и знать, и догадываться, куда онъ идетъ и кого отыскиваетъ.

Лидинька Затцъ не спала еще и, понятное дѣло, съ подобающимъ изумленіемъ встрѣтила посѣтителя, столь поздняго, столь рѣдкаго и при томъ въ такую странную, необычную пору. Она еще болѣе удивилась, когда тотъ спросилъ о своей дочери. Лидинька не знала гдѣ она, и сегодня весь день даже не видала ее. Майоръ ушелъ еще болѣе озадаченный и разстроенный.

— Не у Стрѣшневыхъ ли она? — сказала Затцъ вдогонку ему, на лѣстницѣ.

— Не знаю... Побѣгу сейчасъ.

— А можетъ быть...

Хотѣла еще что-то сказать она, но не договорила и замолкла. Видно было, что самое ее одолѣло вдругъ какое-то сомнѣніе.

— Что «можетъ быть?» жадно и тревожно обернулся на нее Лубянскій.

— Нѣтъ... ничего, я такъ только...

— Что «можетъ быть?» Говорите, не бойтесь!—настойчиво повторилъ онъ.

— М-м-можетъ быть, она... у Полоярова, — сомнительно высказалась Лидинька, которую засосалъ червячекъ ревности.

Старика словно вѣтромъ шатнуло, такъ что онъ едва успѣлъ ухватиться за перила. Это было слово, котораго онъ самъ себѣ не смѣлъ выговорить, предположеніе, котораго страшился, вопросъ, котораго даже не дерзалъ онъ задать себѣ. Нѣсколько секундъ простоялъ Петръ Петровичъ въ нѣмомъ раздумьи и, наконецъ, снова повернулся къ Лидинькѣ.

— Нѣтъ; этого нѣтъ и быть не можетъ!— твердо сказалъ онъ ей рѣшительнымъ и поддѣльно увѣреннымъ тономъ.—Это вздоръ!.. нелѣпость!.. Она... я знаю гдѣ, она—у Стрѣшневыхъ.

— Ну, ступайте, ищите! Помогай вамъ Господи!—проговорила Затцъ, закрывая двери, и въ голосѣ ея послышалась боль и насмѣшка уязвленной ревности и страдающаго самолюбія...

Петръ Петровичъ пошелъ въ другую часть города, гдѣ жили Стрѣшневы. Но въ окнахъ у нихъ было темно: тамъ, очевидно, всѣ давно уже спали.

«Что-жь стучаться-то, тревожить понапрасну, подумалъ себѣ майоръ,—стало быть ее тамъ нѣтъ... Только одинъ лишній скандалъ... Нечего и спрашивать!.. А кабы ночевать осталась, или заболѣла, такъ прислали бы сказать»...

«Куда жь теперь?»—спросилъ онъ себя мысленно. И стало ему вдругъ страшно, жутко и холодно... Замерещилось, будто онъ, онъ самъ жестоко обидѣлъ, оскорбилъ свое родное дитя, и оно, бѣдное, безумное, съ горя пошло да въ Волгу кинулось... утопилось... умерло... плыветъ теперь гдѣ-нибудь... или къ берегу прибило волной его мертвое тѣло...

И полный этихъ черныхъ мыслей, онъ, какъ къ единственной надеждѣ своей, бросился къ Устинову.

Учитель еще не спалъ и работалъ, обложенный какими-то книгами да математическими вычисленіями. Въ первую минуту онъ даже испуганно отшатнулся отъ своего нежданнаго гостя, до того было болѣзненно-блѣдно и разстроено лицо Лубянскаго.

— Петръ Петровичъ! Что съ вами?

Тотъ кое-какъ, съ трудомъ разсказалъ въ чемъ дѣло.

— Пойдемъ искать вмѣстѣ... помогите мнѣ... вмѣстѣ скорѣе, можетъ... какъ-нибудь... спасите ее!—говорилъ онъ урывками какихъ-то смутныхъ мыслей, въ какой-то полупомѣшанной растерянности.

Digitized by Google

Учитель молча, но поспѣшно сталъ одѣваться, и въ двѣ-три минуты былъ уже готовъ.

— Куда же идти-то?—спросилъ онъ, выйдя на улицу.

— На Волгу... на Волгу идти... Она тамъ вѣрно... тамъ... Гдѣ же больше? — бормоталъ майоръ, вась дрожа нервическимъ трепетомъ.

— Нѣтъ, Петръ Петровичъ, этого быть не можетъ, — самымъ увѣреннымъ тономъ сталъ успокоивать его Устиновъ.—Я головой готовъ ручаться, что не можетъ!.. Просто такъ подурила себѣ немножко, а это нѣтъ, это вы только напрасно себя безпокоите... Тутъ что-нибудь иное...

— Иное?.. Да что-жь иное? Затцъ говорила... что у этого... у Полоярова... Но вѣдь Затцъ дура... она вретъ это... этого быть не можетъ,— съ одышкой сказалъ наконецъ Лубянскій.

Устинову мелькнула вдругъ новая мысль, новая догадка.

— А вы тамъ были? у Полоярова-то?— осторожно спросилъ онъ.

— Нѣтъ, не былъ... Зачѣмъ же туда?.. Тамъ вѣдь нѣту...

— Да все-таки... попытаемся, сходимъ... можетъ, онъ знаетъ.

Отправились къ Ардальону. У воротъ того дома, гдѣ обиталъ онъ, дремалъ дежурный дворникъ.

— Дома господинъ Полояровъ, не знаешь ты?—спросилъ Устиновъ.

— Нѣтъ его дома; не бывалъ еще.

— А не была тутъ вечеромъ... молодая... дѣвушка? съ трудомъ проговорилъ Лубянскій.

— У Полоярова-то? — переспросилъ дворникъ.

— Да, да, у Полоярова...

— Какая это? Чернявенькая такая? Стриженая?

— Ну, да, да!.. Она самая... Не была?

— Вечеромъ? такъ часу, значитъ, въ девятомъ?

— Такъ, такъ; въ девятомъ, въ началѣ девятаго.

— Была, пріѣзжала, — подтвердилъ дворникъ.—Да она тутъ часто у него бываетъ.

— Гдѣ жъ она? здѣсь?—перебилъ Устиновъ.

— Нѣтъ; теперя нѣтъ ее, уѣхамши...

— Какъ уѣхавши!.. Куда?—почти вскрикнулъ Петръ Петровичъ.

— А не знаю доподлинно,.. Слышалъ, такъ, часу въ одиннадцатомъ, рядили ихы тутъ вдвоемъ извозчика за-городъ, значитъ, какъ быдто въ Гулянкину рощу... Самъ-то, кажись, маленько выпимши былъ, а въ точности не знаю, можетъ, и не туда... потому, назадъ еще не бывали.

— Ну, спасибо, спасибо, голубчикъ,—заговорилъ Лубянскій, торопливо порывшись въ карманѣ и сунувъ въ руку дворника какую-то монетку. — На, на, возьми себѣ! Пойдемте, Андрей Павлычъ... Пойдемте отсюда... Что жь намъ здѣсь дѣлать?

И старикъ торопливымъ шагомъ побрелъ отъ воротъ, гдѣ провожалъ его глазами удивленный дворникъ. Устиновъ пошелъ слѣдомъ и сталъ замѣчать, что Лубянскій усиленно старается придать себѣ бодрость. Но вотъ завернули они за уголъ, и здѣсь уже Петръ Петровичъ не выдержалъ: оперши на руку голову, онъ прислонился локтями къ забору и какъ-то странно закашлялся; но это былъ не кашель, а глухія старческія рыданія, которыя, сжимая горло, съ трудомъ вырывались изъ груди.

Учитель тихо отошелъ на нѣсколько шаговъ въ сторону, чтобы не мѣшать своимъ присутствіемъ этому порыву глубокаго горя, и въ то же время не спускалъ внимательныхъ глазъ со старика, будучи готовъ при первой надобности подать ему какую-либо помощь. Прошло нѣсколько минутъ, пока нарыдался Лубянскій. Тихо отклонясь отъ забора, онъ, шатаючись, сдѣлалъ два шага и присѣлъ на тумбу, подперевъ свой лобъ рукою.

Минуло еще нѣсколько минутъ, когда, наконецъ, учитель рѣшился подойти къ нему.

— Петръ Петровичъ!.. а, Петръ Петровичъ!.. Пойдемте-ко лучше домой... Я провожу васъ,— осторожно и тихо сказалъ онъ, съ участіемъ дотронувшись до плеча Лубянскаго.

— А?.. что?.. какъ?..—пробормоталъ тотъ, словно бы очнувшись.—А, это вы, голубчикъ?.. Что вы говорите?

— Я говорю, пойдемте домой... дома лучше... Что-жь сидѣть-то!..

— А?... Домой?... Хорошо, пойдемъ домой... Хорошо... пойдемте...

Устиновъ помогъ ему подняться съ тумбы и подъ руку повелъ по улицѣ. Старикъ видимо ослабѣлъ и даже слегка пошатывался.

Молча дошли они до самой калитки, и здѣсь Петръ Петровичъ какъ будто пріободрился немного.

— Спасибо вамъ, голубчикъ, спасибо,—сказалъ онъ сжимая руку учителя;—теперь ужь я самъ... Извините, что потревожилъ васъ... Не безпокойтесь, я самъ... я самъ какъ-нибудь.

Учитель понялъ, что ему хочется остаться одному-одинешеньку со своей думой, со своимъ великимъ горемъ, и потому, не входя во дворъ, простился у калитки.

Столь же, повидимому, бодро вошелъ старикъ и въ комнату. Сонная кухарка зажгла ему свѣчу и поставила ее на столъ, гдѣ еще съ десяти часовъ вечера былъ собранъ холодный ужинъ, за который майоръ никогда не садился безъ дочери. Два прибора и закуска до спхъ поръ оставались не тронутыми.

— Ступай, Максимовна, спи себѣ, ты не нужна мнѣ,—обернулся онъ къ кухаркѣ, которая, зѣвая и почесываясь, стояла у дверей.

Digitized by Google

Оставшись, наконецъ, совершенно одинъ, Петръ Петровичъ долго стоялъ по срединѣ комнаты не то въ какомъ-то разсѣянномъ раздумьи, не то въ полномъ оцѣпенѣломъ безмыслiи. Даже лицо его не выражало теперь никакого оттѣнка горя, тоски или думы, или другого какого ощущенiя, но не сказывалось въ немъ тоже и равнодушiя, ни апатичной усталости, а было оно, если можно такъ выразиться, вполнѣ безлично, безвыразительно.

Съ тѣмъ же тупымъ, безличнымъ взглядомъ подошелъ онъ къ столу, разсѣянно налилъ рюмку водки, разсѣянно пропустилъ ее сквозь зубы и, не закуся ни кусочкомъ хлѣба, медленно отошелъ на прежнее мѣсто.

Странное раздумье все еще владѣло имъ, и черезъ нѣсколько времени онъ опять повторилъ тотъ же маневръ съ рюмкой, словно бы и не помня, что одна уже выпита, и тихо, на цыпочкахъ, прокрался въ комнату дочери.

Передъ благословеннымъ образомъ покойной жены его тихо мерцала тамъ лампадка, которую никогда не забывала зажечь на ночь старая Максимовна, и свѣтъ этой лампадки слабо озарялъ предпостельный столикъ со свѣчей и графиномъ воды, кисейную занавѣску, нѣсколько книгъ на окошкѣ, дѣвическую кровать, застланную чистымъ, свѣжимъ бѣльемъ и тщательно, какъ всегда, приготовленную на ночь. Надъ кроватью висѣлъ небольшой портретъ покойной жены Петра Петровича, умершей назадъ тому четыре года. Фотографическiй оттискъ давно уже сталъ выцвѣтать, но все еще довольно живо хранилъ добрыя, мягкiя, спокойныя черты немного пожилой женщины.

Майоръ остановился и надолго застылъ въ раздумьи предъ постелью своей дочери.

Эта чистая, дѣвическая постель еще въ первый разъ въ жизни оставалась въ такую глухую, позднюю пору ночи пустою и несмятою.

«Гдѣ *она*?... Что *съ нею*»?...

Что-то колючее, какъ тонкая холодная игла, щекотно проникало старику въ самую заповѣдную глубь сокрушеннаго сердца.

«Ушла... Сама ушла... И нѣтъ ея... и не будетъ больше... Кабы жива была покойница, можетъ *этого* не случилось бы».

Словно больной, надоѣдливый зубъ, сердце все ныло и ныло такъ тихо, но непрестанно, и такъ долго, такъ однообразно...

Майоръ присѣлъ на стулъ передъ кроватью, около столика, безотчетно поправилъ отвернувшiйся край простыни, подперъ руками голову и безъ думы, безъ мысли, съ одною только болью въ сердцѣ, сталъ глядѣть все на тѣ же бѣлыя подушки да на тотъ же портретъ, смотрѣвшiй на него со стѣны добрыми, безмятежными глазами. Такъ застали его первые лучи солнца. Онъ спалъ теперь сномъ глухимъ и тяжелымъ.

XXII.

Великодушный Ардальонъ.

Въ десятомъ часу утра, отправляясь въ гимназiю, Устиновъ нарочно далъ крюку и завернулъ къ майору провѣдать, что съ нимъ теперь дѣлается. Онъ очень опасался за его здоровье. Майоръ уже проснулся, вымылся, оправился и, судя относительно, глядѣлъ довольно бодро.

— Что же мнѣ дѣлать теперь, Андрей Павлычъ? Научите, присовѣтуйте; я вѣдь просто голову потерялъ,—грустно говорилъ онъ Устинову.—Не знаю, хорошо ли это, но думаю пойти туда... все-таки что-нибудь.

— А не подождать ли, можетъ, сама вернется...

— Ахъ! да вѣдь сердце-то все мое изныло!.. Не могу я такъ,—тоскливо перебилъ старикъ.— Ужь хоть бы знать что-нибудь положительное! Ну, умерла она—ну, такъ бы, по крайней мѣрѣ, и зналъ, что умерла; а бросила—такъ бросила!.. Господь съ нею!.. А то, эта неизвѣстность хуже всего! Вѣдь ужь я измучился!

Устиновъ не нашелъ возраженiй противъ этого чувства, и старикъ вмѣстѣ съ нимъ вышелъ изъ дому. Одинъ пошелъ на службу, другой къ Ардальону Полоярову.

* * *

Анна Петровна проснулась давно и притомъ очень рано. Ей спалось плохо; перерывистый сонъ былъ смутенъ и тревоженъ; быть можетъ, новизна мѣста, а можетъ, и новизна положенiя способствовали такому лихорадочному состоянiю. Подобравъ подъ себя ноги и плотно закутавшись въ свой бедуинъ, она прижалась въ уголокъ кожанаго дивана, и раздумье о новомъ своемъ положенiи, о новой жизни, помимо ея собственной воли, неотступно брело въ ея голову. У другой стѣны, примостившись кое-какъ на составленныхъ креслахъ и стульяхъ, спалъ Ардальонъ Полояровъ, и дѣвушка порою влюбленно переводила взглядъ на его рослую фигуру и долго, внимательно останавливала его на лицѣ своего друга. Въ комнатѣ было грязно и безпорядочно, и вся обстановка съ перваго взгляда показывала, что здѣсь живетъ холостой бобыль-бездомовникъ.

Ардальонъ потянулся, почавкалъ губами, зѣвнулъ, и, открывъ глаза, приподнялся на локтяхъ со своихъ стульевъ.

— А, матушка, уже проснулась? — улыбнулся онъ Аннѣ Петровнѣ. — А что самоварчикъ? Побаловаться бы горяченькимъ, а то смерть какъ скверно!

Самоваръ давно уже стоялъ на столѣ и давно парился на немъ чайникъ, но новая хозяйка даже и не дотронулась до налитой чашки. Она молча подошла теперь къ столу, налила стаканъ и подала Полоярову.

— Что это? Никакъ глазки на слезки?—спро-

Digitized by Google

силъ онъ, взглянувъ на смутное, опечаленное лицо дѣвушки.—О чемъ это? Ужь не о папенькѣ ли стосковались?

— Да, о немъ,—отвѣтила она очень серьезно.

— Э, барышня! Это надо же было предвидѣть! Вѣдь рано ли, поздно ли, ты все равно должна же была оставить его.

— Да, но такъ оставить, какъ я оставила...

— Рѣшительно все одно и то-же. Важна сущность факта, а сущность законна, потому что естественна, а обстановка—такъ ли, или иначе совершился фактъ, это не суть бо важная; это пустяки!

— Но вѣдь дворникъ сказывалъ, что насъ спрашивали... Это вѣрно онъ былъ,—задумчиво проговорила дѣвушка, отвѣчая не Полоярову, но какъ будто самой себѣ, на какую-то свою собственную, отдѣльную мысль.

— Всенепремѣнно онъ... и должно-быть съ Устиновымъ,—подтвердилъ Ардальонъ.

— Я боюсь, что придетъ и сегодня,—сказала Нюточка.

— Ха-ха-ха! «боюсь»!... Чего же тутъ бояться?.. Ну, и пусть его приходитъ!.. Я бы даже желалъ, чтобы онъ пожаловалъ.

— Это зачѣмъ? — подняла она удивленные взоры.

— А затѣмъ, чтобы поглядѣть, какъ вы встрѣтитесь. Это тебѣ, матушка, будетъ хорошій оселокъ... что называется, проба пера. До сихъ поръ все пустяки были, а теперь игра пойдетъ въ серьезную. Вотъ ты и испытай, на сколько ты боецъ жизни! Теперь и узнаешь, есть ли у тебя настоящій характеръ или, просто, ты тряпица, кисейная барышня... Полно-ка, матушка, возьми лучше голову въ руки и будь заправскою женщиною, а сентиментальничанье къ чорту, если хочешь, чтобъ я уважалъ тебя! Коли передъ всякимъ старикомъ киснуть, такъ что же ты станешь дѣлать предъ настоящимъ, предъ серьезнымъ-то дѣломъ?

Въ дверь заглянула квартирная хозяйка и объявила Ардальону, что его какой-то старичокъ спрашиваетъ.

Лубянская смутилась и принужденной улыбкой хотѣла скрыть это чувство предъ Полояровымъ, который, въ свою очередь, окинулъ ее пристальнымъ испытующимъ взглядомъ.

— Ну, Анютка... Смотри, молодцомъ у меня!.. Смѣлѣй! — подмигнулъ онъ ей и растворилъ майору дверь своей комнаты.

Петръ Петровичъ сдѣлалъ нѣсколько шаговъ, но вдругъ тревожнымъ взглядомъ окинулъ всю обстановку и невольно попятился къ дверямъ, смущенный, сконфуженный и какъ бы пришибленный какою-то внезапностію.

Онъ ожидалъ многаго, но то, что увидѣлъ онъ здѣсь, было сверхъ его ожиданій.

Эта грязная, пропитанная табачнымъ дымомъ комната, эти составленные стулья, этотъ диванишко съ брошенной подушкой; этотъ разстегнутый воротъ кумачной рубахи, и среди всей этой обстановки вдругъ *она*, его чистая голубка, его родное, любимое дѣтище... Майоръ смѣшался и сконфузился до того, что не могъ ни глазъ поднять, ни выговорить хоть единое слово.

Полояровъ вызывающимъ взглядомъ глядѣлъ на дѣвушку.

Стараясь побороть въ себѣ чувство смущенной неловкости, она, съ улыбкой напускного равнодушія, словно бы ничего особеннаго и не случилось съ ней, направилась къ отцу, стоявшему на порогѣ:

— А, это ты, папахенъ? Здравствуй!.. Что же ты не входишь?

— Нюта!.. Гдѣ ты?.. Что съ тобой? — глухо проговорилъ онъ наконецъ, не двигаясь съ мѣста.

— Какъ, Боже мой, гдѣ? У Ардальона Михайловича—отвѣтила она все съ тою же дѣланною улыбкой. Да чего ты такой странный, папахенъ? Ровно ничего такого особеннаго не случилось, чтобы въ священный ужасъ приходить! Повздорили мы съ тобой вчера немножко, ну что же дѣлать, всяко бываетъ! Вчера повздорили, а сегодня помиримся.

Старикъ стоялъ и глядѣлъ на нее изумленно и недовѣрчиво, точно бы онъ и въ самомъ дѣлѣ не вѣрилъ, что это дочь его.

— Да чего ты такъ глядишь на меня,—продолжала она, ласково положивъ на плечо ему руку,—своя, не чужая! Все та же, что и прежде. Ну, хочешь, поцѣлуемся?

— Нюта! Голубушка! Что это ты надъ собою сдѣлала?—не выдержавъ наконецъ, зарыдалъ отецъ и припалъ на плечо дочери. — За что ты себя опозорила!.. Нюта... Нюта моя!..

— О, какіе ты вздоры говоришь, папахенъ!—ласково засмѣялась она.—Ну, чѣмъ же я себя опозорила? Что-жь, я подлость какую сдѣлала? украла? продала кого? Въ чемъ позоръ-то?

— У него... Нюта! у него на квартирѣ... ночью.. одна!.. Боже мой, Боже! до чего дожилъ я!

— Экая важность, что у него! — возразила дѣвушка, успѣвшая уже оправиться и даже нѣсколько успокоиться и облегчить себя тѣмъ, что отецъ такъ мягко встрѣтилъ ее. — Что у него, что въ другомъ мѣстѣ,—не все ли равно? А зачѣмъ притѣсняешь меня? Кабы ты больше уважалъ мои человѣческія права, я бы не ушла отъ тебя. А ушедши, куда же мнѣ было дѣваться? Конечно къ Полоярову, потому мы друзья съ нимъ.

— Нюта моя! Пощади ты мою сѣдую голову! Не говори ты такихъ словъ ужасныхъ!

И онъ вдругъ упалъ предъ ней на колѣни.

— Умоляю тебя!.. Господи! Кабы все это одинъ только сонъ былъ! Кабы ничего этого не было!.. Я не вѣрю... не могу вѣрить... Нюта!

Digitized by Google

скажи ты мнѣ, вѣдь этого ничего нѣту? Да?.. да? Вѣдь нѣту?

— Да чего нѣту? О чемъ ты хлопочешь, папахенъ? Не понимаю тебя я!

— Ну... хоть обмани ты меня... но только... Да нѣтъ, неужели же все это правда?

И онъ мучительно, тоскливо схватилъ себя за голову.

Дѣвушка, не зная что дѣлать, что отвѣчать ему, недоумѣло пожала плечами и бросила взглядъ на Полоярова, какъ-бы прося его помощи и совѣта. Но Ардальонъ, закуря папироску, спокойно разсѣлся на диванѣ и, заложивъ ногу на ногу, безучастно созерцалъ эту сцену.

— Ахъ, да встань же ты, папахенъ!—досадливо принялась Анна Петровна подымать старика съ колѣнъ. Ну, что это, право, за глупости!.. Это, наконецъ, скучно!.. Я разсержусь, папахенъ, слышишь ли? И чего тебѣ отъ меня хочется, понять не могу!

— Хочется мнѣ... хочется, Нюта... знать тебя чистой... не опозоренной... Вѣдь это все неправда? Ничего этого не было? Да?

— Старикъ заговаривается,—пробурчалъ Полояровъ.

— Я?.. Я?—поднялся вдругъ Петръ Петровичъ. И ты еще осмѣлился!

И онъ въ изступленіи, порывисто кинулся на Ардальона.

— Стопъ, машина! Стопъ! Не ву горяче па! Полегче! — отстранилъ его Полояровъ. — Вѣдь вамъ не сладить со мной: я маленько посильнѣе буду, да и горячиться-то не изъ чего! А вы присядьте-ка, да успокойтесь, мы вамъ чайку нальемъ, пожалуй, да тогда и потолкуемъ какъ слѣдуетъ.

— Папахенъ, милый мой!—обняла Лубянскаго дѣвушка, удерживая его дрожащія руки,—ей-Богу, все это напрасно! Ну, что за траги-комедія? И все изъ-за такихъ пустяковъ! Ну, можешь успокоиться: я все та же и люблю тебя попрежнему. Довольно съ тебя этого?

— Ахъ, Нюта, Нюта! Еслибъ у людей не было памяти!—сокрушенно вздохнулъ онъ, понемногу приходя въ себя.—Какъ вспомню, я съ ума схожу!.. За что ты убила меня? что я сдѣлалъ тебѣ? А вы!—обратился онъ къ Полоярову.—Я принималъ васъ въ домъ къ себѣ какъ честнаго человѣка, а вы вотъ чѣмъ отплатили!... Спасибо вамъ, господинъ Полояровъ!.. И тебѣ спасибо, дочка!

— Эхъ, почтеннѣйшій мой, Петръ Петровичъ!—махнулъ рукой Ардальонъ,—какую вы, право, ерунду городите, такъ даже слушать смѣшно! Ну, что же я такого безчестнаго сдѣлалъ противъ васъ. Что дочка-то ваша пришла ко мнѣ? Такъ не выгнать же мнѣ ее! Ну, все равно, что пришелъ бы Анцыферовъ или Подвиляньскій, то и она! Я вѣдь въ этомъ вашихъ пошлыхъ различій не дѣлаю, да и не понимаю ихъ. По мнѣ, это все равно! Она такой же пріятель мой, какъ и тѣ. Ну, попросилась переночевать. Кабы у меня была лишняя комната, я бы, конечно уступилъ ее, а нѣтъ комнаты, такъ гдѣ же мнѣ взять?

— А по ночамъ въ Гулянкины трактиры ѣздить съ порядочною дѣвушкою, это по вашему не безчестно? — презрительно и строго спросилъ его Лубянскій.

— Въ трактиры?.. М-да! Это какъ на чей взглядъ, конечно... По моему,—не безчестно; просто, погулять людямъ захотѣлось, ну и поѣхали. Самое естественное дѣло!

— Естественное дѣло позорить имя дѣвушки!

— Имя!.. ну, что такое имя?.. Какое-то фиктивное понятіе! Пишите ваше имя на вашей дверной доскѣ, на вашей книгѣ, на вашихъ векселяхъ тамъ, что ли,—это я все понимаю; а что люди погулять поѣхали, такъ причемъ тутъ имя-то? Все это, батюшка мой, одни только нелѣпые предразсудки! Эта пѣсня стара, ее бросить пора. Ну, да ужь такъ и быть! — съ рѣшимостью какой-то внезапной мысли, махнулъ вдругъ рукой Полояровъ. — Хоть это и въ корень противно моимъ принципамъ и убѣжденіямъ, но... ужь куда ни шло! лишь бы только кончить эти скучныя объясненія. Мнѣ, пожалуй, все равно! Коли вы находите, что Анна Петровна опозорена мною, я, извольте, женюсь на ней! То-есть формально сочетаюсь законнымъ бракомъ! Угодно вамъ этого? Ну ужь, кажется, «благороднѣе» невозможно!

Дѣвушка изумленно и радостно вскинула на него глаза свои.

— Папахенъ! голубчикъ! Старикашка ты мой милый! — весело защебетала вдругъ она, ластясь и увиваясь около отца.—Ну вотъ видишь ли, какъ все это вдругъ хорошо устроилось! Ну, о чемъ же печалиться? Ну, улыбнись мнѣ, что ли! Вѣдь чего же тебѣ еще больше? Вѣдь мы съ нимъ любимъ другъ друга!

«Вишь, заегозила, какъ про аналой-то услышала!»—молча и саркастически подумалъ себѣ Полояровъ. «Вотъ она, натура-то, и сказалась! Дрянь же ты, матушка, какъ погляжу я!.. Кисейная дрянь!»

Но старикъ не обрадовался. Великодушіе Ардальона не произвело на него ни малѣйшаго эффекта. Онъ стоялъ въ глубоко-грустномъ и сосредоточенномъ раздумьи, и только глаза его были устремлены на головку дочери, съ какою-то болѣзненно-тоскливою нѣжностью.

— Пойдемъ, Нюта, домой!—грустно проговорилъ онъ, и въ голосѣ его сказалась тихая мольба и полное прощеніе во имя неизбѣжной покорности предъ судьбой и совершившимся фактомъ.

— А ты не будешь притѣснять меня? Не станешь дѣлать наперекоръ мнѣ? заторгова-

Digitized by Google

лась вдругъ она.—Въ ней мигомъ проснулась капризно-своенравная, избалованная натура.—Я, пожалуй, вернусь, но только на вчерашнихъ моихъ условіяхъ! Не иначе!

— Пойдемъ, Нюта, домой!—тихо повторилъ старикъ, беря ее за руку.—Я ни въ чемъ тебѣ... ни въ чемъ не поперечу.

И лицо его нервно передернуло нѣчто горькое при этомъ послѣднемъ словѣ.

— И въ самомъ дѣлѣ, ступайте-ка вы лучше домой пока, охотно поддакнулъ Полояровъ.—Только ужь, пожалуйста, Петръ Петровичъ, вы ее не тово... Ужь теперь мнѣ, какъ жениху, предоставьте право слѣдить за ея поступками; не вамъ, а мнѣ вѣдь жить-то съ нею, такъ вы родительскую власть маленько тово... на удочку. Ха-ха-ха! Такъ, что ли, говорю-то я? ась?..

— Папахенъ!—защебетала снова радостная дѣвушка,—да что же ты не сказалъ еще ни слова! Радъ или не радъ? Я рада! Вѣдь говорю тебѣ, я люблю его! Ну, скажи же намъ, скажи, какъ это въ старыхъ комедіяхъ говорится: «дѣти мои, будьте счастливы!»—съ комическою важностью приподнялась она на цыпочки, разставляя руки въ видѣ театральнаго благословенія и, наконецъ, не выдержавъ, весело расхохоталась.

Старикъ глубоко вздохнулъ и покачалъ головою.

— Эхъ, милая моя!.. радоваться-то особенно нечему!—сказалъ онъ,—надо говорить правду: не такого жениха я всегда мечталъ тебѣ—извините, господинъ Полояровъ... Ну, да коли любишь, выходи, Господь съ тобою! Изъ двухъ золъ это, конечно, все-жь-таки меньшее... Одѣвайся, голубка!—Прощайте, господинъ Полояровъ.

И чрезъ минуту онъ увелъ свою дочь изъ этой безотчетно мерзкой для него квартиры.

XXIII.

Нежданный ходатай.

Первый часъ пополудни. Въ губернаторской столовой, за большимъ столомъ, сидитъ самое отборное общество града Славнобубенска и завтракаетъ. По правую руку отъ хозяйки—графиня де-Монтеспанъ, по лѣвую—баронъ Искъфонъ-Саксенъ. На другомъ концѣ стола—хозяинъ, а около него ксендзъ Ладыславъ Кунцевичъ и полковникъ Пшецыньскій. Пространство по обѣ стороны между этими двумя полюсами занимаютъ: княгиня-maman и князь-papà Почечуй-Чухломинскіе, шестерыкъ княженъ-дочекъ, маленькій Шписсъ и Анатоль де-Воляй. Одинъ только ни къ чему непригодный князь papà, съ ни къ чему не нужною княгинею-maman составляли тутъ нѣчто въ родѣ официально-непзбѣжнаго зла. Засимъ все остальное общество въ наличномъ составѣ своемъ представляло самый интимный кружокъ губернаторскаго дома. Тутъ были всѣ тѣ, кого особенно жаловала madame Гржибъ-Загржимбайло.

Константія Александровна праздновала сегодня день своего рожденія. Она хотѣла придать этому дню исключительно семейный характеръ и потому большого пріема не дѣлала. Служащіе, кто повыше, оставляли въ прихожей свои визитныя карточки, а кто пониже, тотъ расписывался на особомъ листкѣ, по которому Непомукъ потомъ опредѣлялъ степень благонамѣренности и служебной доброкачественности славнобубенскихъ чиновниковъ. Ея превосходительство нарочно не желала обременять себя утренними пріемами, чтобы сохранить надлежащую бодрость и свѣжесть къ вечеру, такъ какъ сегодня у нея заранѣе условленный пикникъ на картинномъ берегу Волги.

Непомукъ Анастасіевичъ любилъ хорошо поѣсть и хорошо выпить въ хорошей, интимной компаніи, а такъ какъ теперь собралась у него компанія самая хорошая и самая интимная, и такъ какъ при этомъ всѣ обрѣтались въ самомъ счастливомъ, въ самомъ праздничномъ настроеніи духа, то Непомукъ достаточно успѣлъ уже оказать подобающую честь разнымъ соленьямъ и сырамъ, пропустивъ предварительно двѣ веселыя рюмочки хорошей старой водки, которую «презентовалъ» ему любезный ксендзъ-пробощъ и теперь готовился оказать еще болѣе подобающую честь огромному ростбифу, который будетъ запитъ великолѣпнымъ англійскимъ элемъ.

И въ эту-то минуту едва лишь начавшихся гастрономическихъ наслажденій въ столовой неожиданно появилась официальная фигурка дежурнаго канцеляриста.

Непомукъ вообще терпѣть не могъ, чтобъ его безпокоили какими бы то ни было дѣлами и официальностями въ минуты наслажденія собственной его утробы, и потому онъ уже кинулъ выразительно-строгій взглядъ на смущеннаго чиновника, осмѣлившагося завѣдомо нарушить губернаторскія привычки, какъ вдругъ тотъ почтительно доложилъ, что его преосвященство, владыко Іосафъ, изволили пожаловать.

Визитъ былъ крайне рѣдкій, вполнѣ неожиданный, и потому показался всѣмъ нѣсколько страннымъ.

Непомукъ недоумѣло перекинулся взглядами съ супругой. Что дѣлать и какъ быть въ столь экстренномъ случаѣ? Прерывать свое упитыванье, лишь начавшееся при столь счастливыхъ обстоятельствахъ, и прерывать его, быть можетъ, на неопредѣленное время, для какихъ-нибудь дѣловыхъ разговоровъ, это значило-бы лишить себя одного изъ высшихъ наслажденій благами жизни и погрузиться на весь остальной день въ самое непріятное расположеніе духа. Отказать владыкѣ въ пріемѣ—неловко, коли ужь онъ разъ пріѣхалъ; засга-

Digitized by Google

вить его дожидаться — еще неловче; а доброе впечатлѣніе завтрака во всякомъ случаѣ уже испорчено этимъ неожиданнымъ и притомъ, втайнѣ, весьма непріятнымъ гостемъ. Непомукъ порядкомъ-таки не долюбливалъ владыку и между *своими* интимно называлъ его иронически «столпомъ» и «строгимъ ревнителемъ du pravoslavie».

Констанція Александровна, встрѣтя вопрошающій взглядъ супруга, своей миной и пожатіемъ плечъ послала ему отвѣтъ, что, молъ, нечего дѣлать, надо принять, и Непомукъ торопливо направился въ залу.

Посреди бѣлой залы рѣзко выдѣлялась черная высокая фигура владыки. Ряса тонкаго сукна и клобукъ, съ котораго почти до пятъ спадали складки креповой наметки, составляли его нарядъ, всегда отличавшійся самою строгою простотою, наравнѣ съ любымъ рядовымъ монахомъ его епархіи. Сѣдая, длинная борода обрамляла его продолговатое, блѣдное и худощавое лицо. Въ тихихъ глазахъ свѣтился умъ, улыбка дышала кротостію, и только одни характерные углы губъ давали чувствовать, что, въ случаѣ надобности, у этого человѣка найдется достаточно энергіи, мужества, силы воли и твердости характера.

Молчаливый поклонъ, которымъ опривѣтствовалъ онъ входящаго Непомука, отличался простотой и достоинствомъ.

— Ваше преосвященьство! Чему обязанъ такою честью?—любезно заговорилъ Гржибъ-Загржимбайло, подавая владыкѣ руку (какъ католикъ, онъ не подходилъ подъ его благословеніе).

— Я, кажется, къ вамъ не во-время?—съ видомъ извиняющейся предупредительности, освѣдомился Іосафъ, замѣтивъ то особенное чавканье и чмоканье губами, которыя всегда почти сопровождаютъ рѣчь только-что ѣвшаго, но недоѣвшаго человѣка.

— О, это рѣшительно все-равно! Такой почтенный гость всегда во-время!—торопливо заговорилъ Непомукъ съ нѣсколько принужденною, но зато весьма изысканною любезностью.— Позвольте просить ваше преосвященьство въ кабинетъ...

И хозяинъ съ вѣжливымъ поклономъ сдѣлалъ ему пригласительный жестъ по направленію кабинетной двери.

Славнобубенскаго владыку сильно не долюбливало все то, что интимно терлось около славнобубенскаго губернатора и особенно около губернаторши. Отношенія ихъ давно уже были натянуты. Какъ характеристику этихъ отношеній, въ Славнобубенскѣ разсказываютъ одинъ анекдотъ, сущность котораго не подлежитъ, по отзывамъ славнобубенцевъ, ни малѣйшему сомнѣнію. Однажды, по какому-то, чуть-ли не официальному случаю, владыка долженъ былъ обѣдать у губернатора. Непомукъ, конечно, посадилъ Іосафа за столомъ рядомъ съ собою. Подавались между прочимъ свиныя котлеты. Въ это время у нихъ завязался какой-то административно-дѣловой споръ, а Непомукъ вообще терпѣть не могъ ничего дѣлового за столомъ, во время упитыванія. Въ досадѣ на владыку, и желая размѣнять дѣло на шутку, чтобы потомъ ужь больше къ нему и не возвращаться, онъ, собственноручно наложивъ на тарелку свиныхъ котлетъ, любезно подалъ ихъ архіерею, говоря съ самою пріятною улыбкой:

— Ну, о дѣлѣ мы, ваше преосвященьство, послѣ! А теперь—неугодно ли? «Пріимите и ядите!» такъ вѣдь это, кажется, у васъ говорится?

Владыка на мгновеніе вспыхнулъ въ лицѣ и, смотря на губернатора, удивленно откинулся на спинку стула.

— Ваше преосвященьство! я къ вамъ обращаюсь!—говорилъ межъ тѣмъ Непомукъ, держа передъ нимъ котлеты.—Пріимите и ядите!

— Продолжайте,—ваше превосходительство, продолжайте,—съ очень вѣжливою улыбкой повернулъ Іосафъ свое спокойное лицо къ губернатору.

Такъ въ лоскъ и положило сконфуженнаго Непомука, предъ цѣлымъ столомъ, это неожиданное, но наповалъ бьющее «продолжайте!»

Старикъ Іосафъ былъ прежде всего твердый русскій человѣкъ, который презиралъ всякую кривду, всякое шатаніе житейское, какъ умственное, такъ и нравственное, шелъ неуклонно своимъ прямымъ путемъ, паче зѣницы ока оберегая русскіе интересы православной русской церкви и своей многочисленной паствы; онъ охотно благословлялъ и содѣйствовалъ открытію воскресныхъ и народныхъ школъ, но не иначе какъ подъ руководствомъ священниковъ или людей лично ему извѣстныхъ; къ нему шелъ за совѣтомъ и помощью всякій, дѣйствительно нуждающійся въ совѣтѣ либо въ помощи, и никогда не получалъ себѣ отказа. Немногоглаголивое и не частое слово его, раздававшееся съ епископской кафедры, звучало вѣрой въ Бога, любовью къ православной Россіи, надеждой на добрые плоды благихъ царскихъ починовъ, которыми будетъ нѣкогда красоваться земля свято-русская. Это строгое, неблазное, самоуважающее слово порою умѣло чутко поднимать въ массѣ ея русское народное чувство, ея вѣру въ Бога и въ свою силу и крѣпость, ея безграничное довѣріе и преданность Русскому государю. Сказать короче, въ тѣхъ особенныхъ обстоятельствахъ, въ которыхъ мы застаемъ городъ Славнобубенскъ, при тѣхъ призрачныхъ надеждахъ, которыя въ то время вообще возбуждало Поволжье—владыка Іосафъ на своемъ мѣстѣ былъ человѣкъ положительно вредный. Понятно, почему не долюбливали его въ салонѣ madame Гржибъ-Загржимбайло. Съ нимъ нужно бы было бороться,

Digitized by Google

и необходимость этой борьбы очень хорошо понималъ и чувствовалъ ксендзъ Кунцевичъ; его, по настоящему, надо бы было постараться какъ нибудь выжить отсюда подальше, гдѣ бы онъ могъ быть менѣе вреденъ. Но какъ бороться и въ особенности какъ выжить, если подъ него, что называется, иголки не подточишь, если этотъ старикъ на виду у всѣхъ, идетъ себѣ тихо, но вѣрно своею прямою дорогою и честно дѣлаетъ свое дѣло! Задача не малая, которую, такъ или иначе, необходимо нужно было рѣшить въ свою пользу.

Но... тамъ, гдѣ часто останавливаются великія силы, вдругъ иногда помогаютъ дѣлу маленькія и совсѣмъ ничтожныя, совсѣмъ пустыя обстоятельства, лишь бы только ловкій умъ сумѣлъ ими воспользоваться.

— Я нынѣ просителемъ къ вашему превосходительству! уже въ кабинетѣ тихо началъ владыка, обращаясь къ Непомуку.—Вы, конечно, позволите мнѣ походатайствовать предъ вами за одного изъ моей паствы?

— За кого это? серіозно сдвинувъ брови, спросилъ губернаторъ, которому былъ уже не понутру самый разговоръ подобнаго рода, въ то время, когда въ столовой ждетъ эль и ростбифъ.

— За старичка тутъ одного... за майора Лубянскаго, пояснилъ ему владыка. — Тѣмъ болѣе, ваше превосходительство,—продолжалъ онъ,—что въ этомъ дѣлѣ, какъ мнѣ достовѣрно извѣстно, вы были даже въ обманъ введены, а это, полагаю, даетъ мнѣ тѣмъ болѣе добрую возможность раскрыть предъ вами истину. Вы конечно, не посѣтуете на меня за это?

— Я это дѣло хорошо знаю, ваше преосвященство; я *очень* хорошо знаю это дѣло! отпарировалъ Непомукъ, котораго задѣли за живое слова Іосафа.

«Съ какой стати и по какому праву мѣшается этотъ старикъ въ непринадлежащую ему область гражданской администраціи?» — подумалъ онъ въ досадѣ на архіерея.

— И такъ, ваше превосходительство не посѣтуете на меня, если я все-таки буду продолжать по предмету моего ходатайства,—говорилъ владыка;—я нарочно самъ лично пріѣхалъ къ вашему превосходительству, потому что я очень беру къ сердцу это дѣло. Подъ полицейскій надзоръ отданъ человѣкъ вполнѣ почтенный, котораго я знаю давно какъ человѣка честнаго, благонамѣреннаго,—примите въ томъ мое ручательство. Вамъ, полагаю, невѣрно доложили о немъ.

— Ваше преосвященство,—началъ оправившись Непомукъ, — я осмѣлюсь замѣтить вамъ на это, что я слишкомъ хорошо знаю моихъ чиновниковъ и, какъ начальникъ, обязанъ вступиться за ихъ добрую славу: ни одинъ изъ нихъ *не можетъ* сдѣлать мнѣ невѣрный докладъ! И... наконецъ, я самъ слишкомъ подробно вникаю въ мои дѣла, и потому не могу быть обманутымъ. Сфера нашей гражданской администраціи, конечно, нѣсколько менѣе знакома вашему преосвященству, чѣмъ мнѣ, и потому... извините, ваше преосвященство!—я имѣю скромную претензію знать то, что творится въ моемъ хозяйствѣ, и что касается до этого майора, то мы имѣли достаточно данныхъ, основываясь на которыхъ, обязаны были поступить такъ, а не иначе. Это можетъ подтвердить и господинъ мѣстный жандармскій штабъ-офицеръ!

— То-есть, ваше превосходительство, хотите дать мнѣ уразумѣть, что я мѣшаюсь не въ свое дѣло,—благодушно улыбаясь, замѣтилъ Іосафъ; — но вѣдь я прошу только снизойти на просьбу, я въ этомъ случаѣ обращаюсь къ сердцу человѣка..

— Ваше преосвященство, — возразилъ губернаторъ,—моему сердцу жаль его, можетъ не менѣе. чѣмъ вамъ; но... сердце человѣка должно молчать тамъ, гдѣ дѣйствуетъ неуклонный долгъ администратора. Будучи самъ администраторомъ своей епархіи, вы, конечно, поймете меня, и я, повѣрьте, весьма радъ бы сдѣлать все угодное вамъ. но въ данномъ случаѣ мой долгъ положительно воспрещаетъ мнѣ всякое послабленіе. Да самое лучшее вотъ что—дернулся вдругъ Непомукъ.—Дѣло это такого рода,что я самъ ни за что не возьму на себя разрѣшать его согласно вашему ходатайству... И надо мной вѣдь тоже есть власти... А мы вотъ что, ваше преосвященство: у меня, кстати, теперь сидитъ баронъ Иксъ-фонъ-Саксенъ, какъ сами знаете, для общихъ наблюденій за направленіемъ края. Чего же лучше! Мы вотъ спросимъ его мнѣнія. Если онъ согласится, я сію же минуту исполню желаніе вашего преосвященства. Тогда я въ сторонѣ по крайней мѣрѣ.

И прежде чѣмъ Іосафъ успѣлъ что-либо вымолвить, губернаторъ бросился къ дверямъ въ столовую и позвалъ Саксена:

— Адольфъ Кристьяновичъ!.. Извините!.. Пожалуйте сюда на минуточку! Дѣло есть!

Баронъ неохотно покинулъ свою прелестную сосѣдку и небрежною походкою направился въ кабинетъ,

— Что скажете, mon cher?

Непомукъ изложилъ сущность ходатайства владыки и свои затрудненія удовлетворить его просьбѣ.

Нѣмецъ фонъ-Саксенъ остался нѣсколько недоволенъ тѣмъ, что владыка, при видѣ его, не выразилъ ему лично никакихъ особенныхъ знаковъ почтенія, и въ душѣ отдалъ въ этомъ отношеніи большое преимущество Кунцевичу, который всегда такъ видимо и почтительно умилялся предъ особо-поставленнымъ блистательнымъ положеніемъ барона.

Digitized by Google

— Я точно такъ-же не возьму на себя рѣшить этого,—съ суховатымъ поклономъ отклонился баронъ.

— Итакъ, ваше преосвященьство сами изволите видѣть! — пожалъ плечами Непомукъ. — Я говорилъ, что тутъ никакое послабленіе невозможно. Помилуйте, въ этой школѣ его Богъзнаетъ что́ дѣлалось.

— Не дѣлалось, а дѣлается, — съ значительнымъ удареніемъ, скромно поправилъ владыка;—и вотъ именно, въ качествѣ администратора моей епархіи, на обязанности коего лежитъ, между прочимъ, блюсти за духовною нравственностью своей паствы, я считаю долгомъ своимъ обратить вниманіе вашего превосходительства на то, что̀ нынѣ дѣлается въ здѣшней воскресной школѣ. Эта школа стала школой безбожія: тамъ открыто проповѣдуются такія мысли и ученія, отъ какихъ избави Богъ каждаго честнаго человѣка. Прежній законоучитель, человѣкъ достойный, котораго я самъ благословилъ на это дѣло, изгнанъ вдругъ чуть не съ позоромъ, а на мѣсто его учитъ какой-то исключенный изъ службы становой, вопреки постановленію закона.

— Но почему же становой, хотя бы исключенный, не можетъ быть хорошимъ учителемъ? — вмѣшался въ разговоръ фонъ-Саксенъ.—Сколько я понимаю, это одно къ другому не относится.

— Я и не говорю, что *не* можетъ, — отвѣтилъ владыка; — я говорю только, что этотъ человѣкъ открыто проповѣдуетъ безбожіе, читаетъ тамъ воспрещенныя брошюры и дѣлаетъ на нихъ свои комментаріи, отвращаетъ учениковъ отъ церкви, наконецъ... Вотъ что говорю я, ваше превосходительство!

— Н-да-а! Это, конечно, дурно!—небрежно протянулъ сквозь зубы фонъ-Саксенъ. — Хотя собственно говоря, въ нашъ вѣкъ болѣе важно, чтобы церковь была построена въ сердцѣ человѣка, чтобъ онъ въ сердцѣ своемъ имѣлъ церковь... Это, конечно, важнѣе, чѣмъ онъ будетъ ходить, ничего не чувствуя и не понимая, въ видимую церковь.

Іосафъ спокойно и нѣсколько строго посмотрѣлъ на либеральнаго Саксена.

— Да; ваше превосходительство изволили совершенно справедливо замѣтить, — сказалъ онъ тихо и медленно.—Въ нашъ вѣкъ дѣйствительно появилось—къ прискорбію истинной церкви—очень много людей, которые говорятъ, что ихъ церковь въ одномъ только сердцѣ построена; но—странное дѣло! я самъ знаю очень много подобныхъ и почти всегда замѣчалъ при этомъ, что если церковь въ сердцѣ, то колокольня непремѣнно въ головѣ построена... и колокола вдобавокъ очень дурно подобраны.

И сказавъ это своимъ старчески-ровнымъ, спокойнымъ голосомъ, владыка поднялся съ мѣста.

— Извините, ваше превосходительство, что безпокоилъ васъ,—поклонился онъ губернатору;—а мнѣ пора и къ дому.

Непомукъ, не удерживая его, пошелъ провожать до передней.

Фонъ-Саксенъ былъ жестоко уязвленъ словами Іосафа. Въ первую минуту онъ покраснѣлъ и закусилъ губы, но тотчасъ-же овладѣвъ собою, изобразилъ одну только улыбку презрительнаго пренебреженія — дескать, эти слова оскорбить меня никакъ не могутъ: я слишкомъ уменъ и слишкомъ высоко стою для этого!

— Какая грубость! Malotru!—быстро вошелъ въ столовую Непомукъ, выражая и лицомъ, и голосомъ, и походкой значительную степень негодованія. Онъ словно-бы желалъ показать, до какой степени возмущена вся его внутренность.—Это, наконецъ, чистое невѣжество!

— Ну, что-жь! — съ небрежною снисходительностью погримасничалъ Саксенъ,—на это вѣдь нельзя сердиться, онъ, во-первыхъ, уже въ тѣхъ предѣлахъ старости, за которыми все простительно, а во-вторыхъ... во-вторыхъ... чего-жь вы хотите отъ людей его званія? Это вполнѣ понятно!

Однако-же, произнося всѣ эти успокоительныя фразы для внѣшняго огражденія своего достоинства, баронъ въ душѣ весьма былъ золъ на владыку, ибо самымъ живѣйшимъ образомъ отнесъ на свой собственный счетъ его послѣднее слово.

— Это, наконецъ, ужь Богъ знаетъ что́ такое!—въ прежнемъ тонѣ продолжалъ Непомукъ;—до которыхъ же поръ будутъ продолжаться эти вмѣшательства!.. Вѣдь я не вмѣшиваюсь въ его управленіе, съ какой же стати онъ въ мое вмѣшивается? Этого, наконецъ, уже нельзя болѣе терпѣть, и я рѣшительно намѣренъ сдѣлать представленіе объ огражденіи себя на будущее время.

— О чемъ это онъ просилъ, я хорошенько не понялъ?—не выказывая особеннаго любопытства, съ обычною небрежностью спросилъ фонъ-Саксенъ.

— Mais... imaginez-vous, cher baron, администрація отдаетъ человѣка подъ надзоръ полиціи за зловредность его дѣйствій, за явный призывъ къ неповиновенію власти, за публичный скандалъ, за порицанія, наконецъ, правительственнаго и государственнаго принципа, администрація даже—каюсь въ томъ!—оказала здѣсь достаточное послабленіе этому господину, а его преосвященьство—какъ сами видите—вдругъ изволитъ являться съ претензіями на наше распоряженіе, требуетъ, чтобы мы сняли полицейскій надзоръ! Если мнѣ на каждомъ шагу будутъ дѣлать подобныя загвозд[illegible]

Digitized by Google

ни за что не могу отвѣчать предъ правительствомъ!

— Н-да; его преосвященство безпокойный, очень, очень безпокойный человѣкъ, надо сознаться въ томъ! многозначительно шевельнувъ усами, съ нѣкоторымъ прискорбіемъ замѣтилъ Пшецыньскій.

— Помилуйте!—волновался губернаторъ,— я, изъ крайней необходимости, учреждаю надъ школой административный надзоръ, поручаю его человѣку, лично извѣстному мнѣ своею благонамѣренностью, человѣку аттестованному съ самой отличной стороны директоромъ гимназіи, человѣку способному и прекрасному педагогу, а его преосвященьство вмѣшивается въ дѣло и видитъ въ этомъ распространеніе какихъ-то зловредныхъ идей, а самъ вступается за господина, который устраиваетъ антиправительственныя демонстраціи! Это наконецъ ни на что не похоже! При такихъ порядкахъ, и особенно въ настоящее смутное время, я рѣшительно отказываюсь управлять губерніей, если правительство не позаботится оградить меня! Или я губернаторъ, или я пѣшка!

— Но зачѣмъ же вы не дѣлаете представленія? Чего же ждать еще?—замѣтилъ фонъ-Саксенъ.—На вашемъ мѣстѣ я давно бы постарался оградить себя.

— Ахъ, баронъ!—прискорбно вздохнулъ губернаторъ; — это не такъ-то легко, какъ кажется; у нихъ тамъ въ синодѣ я не знаю какіе порядки и какими соображеніями они руководствуются: для насъ это вполнѣ terra incognita; но... я очень радъ, что все это случилось при васъ, что вы сами были свидѣтелемъ... Теперь вы видите что это такое! Я непремѣнно приму свои мѣры и приму ихъ немедленно; а будетъ ли успѣхъ, ей-Богу не знаю!

— Въ успѣхѣ нечего сомнѣваться! — авторитетно рѣшилъ баронъ. — Въ этомъ случаѣ, если что будетъ зависѣть отъ меня, я конечно подтвержу одну только голую истину. Но этого, дѣйствительно, невозможно такъ оставить!

Непомукъ не продолжалъ, и разговоръ на этотъ разъ прекратился. Веселое расположеніе духа его было поколеблено, и завтракъ испорченъ. Тѣмъ не менѣе, это непріятное приключеніе не измѣнило программу нынѣшняго дня, и пикникъ устроился своимъ порядкомъ.

На другой день въ почтовой конторѣ были приняты, съ казенными печатями, четыре пакета для отправки въ Петербургъ: одинъ отъ владыки, другой отъ губернатора, третій отъ жандармскаго штабъ-офицера и четвертый отъ барона Иксъ-фонъ-Саксена.

XXVI.

Съ неба свалилось.

Прошло около двухъ недѣль съ тѣхъ поръ, какъ исключили Шишкина. Ударъ внезапнаго горя столь сильно подѣйствовалъ на его старуху-мать, что она серьезно заболѣла. Дома лечить было не на что и пришлось отправиться въ городскую больницу. Шишкинъ остался одинъ въ убогой квартиркѣ, за которую было уже заплачено хозяевамъ за мѣсяцъ впередъ. Старуха жила скуднымъ пенсіономъ, да тѣми крохами, которыя удѣляли ей кое-кто изъ достаточныхъ знакомыхъ. Сынъ ея давалъ уроки въ трехъ домахъ и получалъ за это ежемѣсячно двѣнадцать рублей, но послѣ злосчастнаго «*Орла*» ему сразу отказали два дома, и молодому человѣку пришлось остаться на четырехъ рубляхъ въ мѣсяцъ, а на эту сумму не только въ Славнобубенскѣ, но даже и въ какомъ-нибудь Енотаевскѣ или Бузулукѣ особенно не разживешься, и потому Иванъ Шишкинъ начиналъ уже голодать. Занятій, или какого-либо дѣла онъ еще не подъискалъ себѣ и не зналъ пока что предлежитъ ему въ дальнѣйшемъ будущемъ. Что можно было заложить изъ домашняго скарба, то онъ уже снесъ къ армянкѣ-ростовщицѣ и часть денегъ отдалъ матери, на ея скудныя больничныя нужды, а остальное проѣлъ. Но вотъ опять стали подходить крутыя обстоятельства—закладывать было почти уже нечего—и Шишкинъ въ весьма грустномъ настроеніи духа похаживалъ по своей горенкѣ. Онъ былъ золъ и печаленъ: нужда со всѣхъ сторонъ, а помощи ни откуда и, какъ обыкновенно бываетъ съ неособенно сильными людьми, въ подобномъ положеніи, самъ онъ терялся и рѣшительно не могъ придумать чѣмъ бы и какъ пособить своему горю. Положеніе казалось ему безвыходнымъ и отчаяннымъ. Былъ десятый часъ вечера. Молодой человѣкъ уныло ходилъ въ темной комнатѣ, потому что свѣчу купить было не на что. Одинъ только лучъ маслянаго фонаря слабо закрадывался съ улицы въ его окошко и чуть свѣтлой полосой ложился на стѣну. Благодаря его безплатному свѣту, Шишкинъ могъ еще кое-какъ ходить по комнатѣ. Вдругъ замѣтилъ онъ, что кто-то заглянулъ къ нему въ окошко, но сначала не обратилъ на это обстоятельство никакого особеннаго вниманія и продолжалъ ходить попрежнему. Черезъ нѣсколько времени темный обликъ чьей-то вглядывавшейся фигуры опять появился на томъ же мѣстѣ. Шишкинъ вскинулъ глаза, быстро подошелъ къ окну, но въ эту самую минуту обликъ исчезъ. Онъ подождалъ, приглядѣлся и подумалъ, что это все только такъ ему показалось.

«Должно быть, нервы разстроены», рѣшилъ онъ самъ съ собою.

Вдругъ въ сѣняхъ послышались чьи-то незнакомые шаги, очевидно, нащупывавшіе полъ, чья-то рука шарила по двери, отыскивая ручку, и въ ту же минуту незапертая дверь довольно быстро и смѣло отворилась.

Digitized by Google

— Господинъ Шишкинъ здѣсь? — спросилъ вполнѣ незнакомый голосъ.

— Здѣсь. А что вамъ?

— Кажется, вы сами и есть?

— Да, это я. Что вамъ угодно?

— Письмо къ вамъ. Извольте получить.

И незнакомый человѣкъ, котораго ни наружности, ни костюма не могъ разглядѣть юноша, вручилъ ему запечатанный конвертъ.

— Отъ кого это? — спросилъ онъ.

— Тамъ написано... узнаете, — торопливо отвѣтилъ этотъ *кто-то*, и вдругъ исчезъ изъ комнаты, плотно прихлопнувъ за собою дверь. Въ сѣняхъ послышалось поспѣшное шарканье быстрыхъ, удаляющихся шаговъ.

— Да отъ кого же, однако?—закричалъ въ догонку ему Шишкинъ, взволнованно выбѣжавъ на дворъ, но чья-то тѣнь безъ отвѣта мелькнула въ калиткѣ и скрылась на улицѣ.

Эксъ-гимназистъ постоялъ въ нѣсколько тревожномъ раздумьи и вернулся въ горницу.

«Что-жь бы это значило?.. И что за странная таинственность!» думалъ онъ, ощупывая конвертъ. «Прочесть его; да какъ прочтешь-то?.. Хозяева не дадутъ вѣдь свѣчки».

Но недаромъ говорится, что голь хитра на выдумки. Вспомнилъ онъ, что подъ кроватью валяется какая-то старая досечка — дерево, стало быть, сухое. Онъ нашарилъ ее рукой и накололъ лучины. Спички, слава Богу, тоже нашлись, и Иванъ Шишкинъ устроилъ себѣ освѣщеніе.

Посмотрѣлъ онъ на конвертъ—нѣтъ никакой надписи; недовѣрчиво сорвалъ печать, развернулъ письмо: изъ бумажки выпала двадцати-пяти-рублевая ассигнація.

«Господи!.. да что-жь это?.. благодѣтель какой-то невѣдомый!» вскрикнулъ онъ въ радостномъ восторгѣ, и вѣря, и не вѣря глазамъ своимъ. Ощупалъ поднятую бумажку, внимательно осмотрѣлъ ее предъ огнемъ: такъ, дѣйствительно двадцать пять рублей, и эта цифра не подлежитъ уже ни малѣйшему сомнѣнію.— Что-жь это значитъ?

Взглянулъ на почеркъ; рука была совсѣмъ незнакомая. Онъ жадно сталъ читать письмо:

«Вашъ смѣлый поступокъ на литературно-музыкальномъ вечерѣ доказалъ, что вы обладаете въ достаточной мѣрѣ гражданскимъ мужествомъ. Ваше послѣдующее благородное поведеніе побуждаетъ насъ вѣрить, что вы человѣкъ честный, который дѣйствовалъ сознательно, изъ служенія своему принципу. Хотите ли стать въ ряды тѣхъ дѣятелей, которые несутъ съ собою новое соціальное устройство свободнаго общества? Хотите ли приносить пользу честному дѣлу? Если да, то дайте отвѣтъ. Вамъ дается сроку два дня на то, чтобы подумать и рѣшиться. Отвѣтъ вы можете дать слѣдующимъ образомъ: завтра, или послѣ завтра, ровно въ четыре часа пополудни, въ городскомъ саду, на поворотѣ изъ главной аллеи въ поперечную среднюю, противъ второй скамейки, начертите тростью на пескѣ дорожки крестъ, такъ чтобъ его можно было удобно замѣтить. Зная ваши временно стѣсненныя обстоятельства, покорнѣйше просимъ не отказаться отъ *общественнаго пособія* изъ того фонда, который существуетъ въ нашемъ обществѣ для вспоможенія его членовъ въ ихъ полезныхъ предпріятіяхъ. Во всякомъ случаѣ, — угодно ли вамъ будетъ принять наше предложеніе, или нѣтъ — вы должны прежде всего хранить самое строгое молчаніе, подъ страхомъ неминуемой отвѣтственности предъ трибуналомъ общества».

Волненіе отъ всей этой внезапности; радость при нежданныхъ и весьма значительныхъ для него деньгахъ; страхъ предъ страннымъ тономъ письма и особенно предъ заключительною и весьма-таки полновѣсною угрозою; заманчивость этой загадочно-таинственной неизвѣстности, за которою скрывается какая-то невѣдомая, но должно быть грозная и могучая сила (такъ по крайней мѣрѣ думалъ Шишкинъ) и наконецъ это лестно-пріятное щекотаніе по тѣмъ самымъ стрункамъ самолюбія, которыя пробуждаютъ въ молодомъ человѣкѣ самодовольно-гордое сознаніе собственнаго достоинства и значительности, что вотъ, молъ, сталобыть и я что-нибудь да значу, если меня ищутъ «такіе люди». Вотъ мысли, чувства и ощущенія, которыя овладѣли восемнадцатилѣтнимъ юношей по прочтеніи письма, невѣдомо кѣмъ поданнаго. Все это такъ странно, такъ неожиданно, внезапно, въ такую пору, въ такую минуту — кто же, и что же это такое? У Шишкина просто голова закружилась. Онъ отчасти испытывалъ ощущенія человѣка, стоящаго на самомъ краю площадки очень высокой башни. «А ну, какъ поймаютъ, какъ все это раскроется, обнаружится?—тогда что?.. Страшно, чортъ возьми!.. Страшно, но заманчиво. Служить честному, великому дѣлу, быть членомъ... *самому* быть членомъ... Меня зовутъ... меня ищутъ... *они* первые обратили на меня вниманіе, они, а не я... значитъ, я стóю того, если меня избираютъ!»

И онъ снова перечиталъ письмо, и старался вчитываться въ отдѣльныя, наиболѣе льстящія самолюбію фразы, повторяя ихъ про себя по два и по три раза, и словно бы любуясь этими фразами, ихъ смысломъ, значеніемъ, ихъ красивою сверткою.

Имъ овладѣло какое-то щекотно-щемящее, захватывающее, жуткое чувство. Самолюбіе разыгрывалось все болѣе. Онъ уже такъ живо сталъ воображать себя дѣятелемъ... чего?—это ему самому не было еще вполнѣ ясно,—дѣятелемъ *чего-то*, но чего-то высокаго, честнаго, благороднаго, дѣятелемъ, окруженнымъ таинственностью грозной силы. «Новое соціальное устройство свободнаго общества», кажется,

Digitized by Google

такъ сказано въ этомъ письмѣ? — Да, такъ точно! Онъ воображалъ себя устраивающимъ нѣчто большое, предъ чѣмъ всѣ преклоняются, дивятся ему и завидуютъ... Онъ извѣстенъ, онъ знаменитъ, имя его гремитъ во всѣхъ русскихъ и европейскихъ газетахъ и журналахъ, о немъ говорятъ, имъ интересуются, ему удивляются... Его вездѣ и повсюду встрѣчаетъ почетъ и любовь, и слава народная... Онъ говоритъ съ народомъ, даетъ ему новыя свободныя права, народъ избираетъ его своимъ диктаторомъ... Наполеонъ... Вѣдь могъ же Наполеонъ добиться всего этого! Простой артилерійскій поручикъ!.. Директоръ и инспекторъ гимназіи приходятъ къ нему и униженно вымаливаютъ пощады, потому что на площади эшафотъ стоитъ.. Онъ отсылаетъ ихъ на эшафотъ, но тамъ, въ самую роковую минуту, даритъ имъ пощаду и жизнь, въ виду восторженнаго народа, и даже награждаетъ весьма значительными деньгами... хорошенькая племянница директора внѣ себя отъ радости, кидается ему на шею. Да что племянница! тутъ ужь не племянница, а княгини и графини... Но нѣтъ! Онъ не унизится до брака съ княгиней... Его жена (если ужь жениться!) должна быть гражданкой, демократкой... А вдругъ жандармы? вдругъ Шпицынъскій является?.. Обыскъ, арестъ, казематы... Его вывозятъ на площадь, читаютъ приговоръ... Онъ гордо и смѣло всходитъ на эшафотъ... «Я умираю за васъ!»—говоритъ онъ народу... На ногахъ его кандалы, на рукахъ кандалы, на плечахъ каторжная сермяга съ бубновымъ тузомъ... Длинная, безконечно-длинная снѣжная пустыня... кандалы—звякъ, звякъ... пѣсня долгая поется во всю широкую грудь... Тобольскъ прошли... Томскъ прошли... Иркутскъ прошли... Нерчинскъ. Такъ вѣдь, кажется? «Тобольскъ, Омскъ, Томскъ, Красноярскъ, Иркутскъ, Чита — главный городъ Забайкальской области», Богъ-знаетъ, по какому сцѣпленію мыслей и почти машинально вспоминаетъ Шишкинъ старый, давно уже наизусть заученный урокъ изъ географіи. И онъ идетъ бодро и гордо... Онъ страдаетъ, но не падаетъ духомъ... «Я за васъ страдаю», говоритъ онъ кому-то; «вы не признали, вы отвергли меня!.. Я гибну... Что жъ? Ничего!.. Пусть гибну я, но я гибну за честное дѣло! за свободу!.. за свободу милліоновъ братій моихъ!»...

Такъ мечталъ юноша. Мысль его перелетала отъ знаменитости и диктатуры къ кандаламъ и Нерчинску; но одно его прельщало, другое же не пугало нисколько: въ обоихъ случаяхъ онъ чувствовалъ и мечталъ себя героемъ... И все это казалось ему такъ просто, такъ легко и возможно—и яркое восемнадцати-лѣтнее, золотое воображеніе заносилось все дальше и дальше, все выше, все привлекательнѣй... Онъ почувствовалъ себя какъ-то жутко, болѣзненно-счастливымъ. Двадцатипяти-рублевая ассигнація лежала передъ нимъ; онъ взялъ ее, и съ тѣмъ особеннымъ наслажденіемъ, которое хорошо знакомо людямъ, очень рѣдко имѣющимъ въ рукахъ своихъ деньги, пощупалъ и пошуршалъ ею между кончиками пальцевъ. Онъ воображалъ себя почти богатымъ. «Теперь деньги будутъ!» — говоритъ онъ себѣ съ непоколебимою увѣренностью. «Теперь-то ужь навѣрное будутъ!.. И много будетъ... У нихъ вонъ фондъ какой-то есть... для членовъ... значитъ, будутъ!.. Матушкѣ надо рублей десять снести... То-то обрадуется!.. Скажу: заработалъ!.. «Молчать подъ страхомъ неминуемой отвѣтственности»... Ну, еще бы тебѣ болтать! что я, мальчишка, что ли!.. Хорошо бы кумачевую рубаху завести, какъ у Ардальона Михайлыча... А вѣдь онъ вѣрно тоже тово?.. Впрочемъ, нѣтъ,— гдѣ ему?!.. Только надо бы еще и поддевку... плисовую... Если когда случится *то*, такъ непремѣнно такой указъ надо издать, чтобы фраки и мундиры долой, а одѣ бы только поддевки»...

Но мечтая такимъ образомъ и быстро перебѣгая отъ одной мысли къ другой, Шишкинъ вспомнилъ, что онъ сегодня очень плохо обѣдалъ, то-есть, лучше сказать, совсѣмъ не обѣдалъ, а съѣлъ одну только трехкопеечную булку, которую купилъ на бурлацкой пристани. Желудокъ, при этомъ воспоминаніи, непремнулъ заявить о себѣ довольно чувствительнымъ голодомъ. Юноша запряталъ письмо въ комодъ, отыскалъ шапку и весело отправился въ трактиръ, аппетитно разрѣшая вопросъ: чего бы лучше заказать себѣ, поросенка подъ хрѣномъ, или московскую селянку на сковородкѣ?

Вернувшись домой уже сытый и притомъ съ фунтомъ стеариновыхъ свѣчей подъ мышкой, да съ пачкой папиросъ въ карманѣ, Шишкинъ почувствовалъ себя еще болѣе довольнымъ и счастливымъ. На сытый желудокъ, при ровномъ свѣтѣ свѣчи и въ струйкахъ табачнаго дыму, лежа на постели, мечталось еще лучше. Онъ часто и такъ довѣрчиво улыбался широкою, мечтательною улыбкою на свои увлекательныя фантазіи, поминутно ворочался съ боку на бокъ и очень долго не могъ заснуть. Порою нѣчто острое и жуткое возвращало его изъ міра поэзіи въ міръ дѣйствительности, и вставалъ предъ нимъ серьезный и словно бы какой-то лотерейный вопросъ: что же дѣлать? Какъ быть? Вѣдь завтра или послѣ-завтра!

«Ну, конечно, крестъ! Есть тутъ долго думать о чемъ!..» беззавѣтно порѣшилъ онъ себѣ.

«...Противъ второй скамейки, на поворотѣ изъ большой въ среднюю поперечную... Однако же, какъ подумаешь, Господи, какъ страшно все это!»

Наконецъ-то Шишкинъ заснулъ, и снились

Digitized by Google

ему все тѣ же грезы, — снилась широкая, снѣжная пустыня... снилось дарованіе новыхъ правъ и диктатура надъ Русскою землею, и уничтоженный инспекторъ, и директорская племянница, и плисовая поддевка... Это были золотые, счастливые, героическіе сны и грезы.

XXV.

Крестъ начерченъ.

Шишкинъ съ нетерпѣніемъ ждалъ назначеннаго часа. На нынѣшнее утро раздумье почти уже не приходило ему въ голову. Онъ рѣшился: «была не была»! Утромъ сходилъ въ больницу къ матери и снесъ ей десять рублей, сказавъ что получилъ два новыхъ и очень выгодныхъ урока по рублю за часъ. Старуха, дѣйствительно, и удивилась, и обрадовалась несказанно, да и сынъ-то былъ доволенъ, что успѣлъ доставить ей эту надежную радость.

— Теперь, маменька, вы только выздоравливайте!—утѣшалъ онъ ее,—а денегъ у насъ съ вами будетъ вдоволь! Вотъ погодите: заживемъ припѣваючи.

Та слушала, и старое сердце ея дрожало любовью и слезами...

«А какъ же, если Сибирь... какъ же *она* то?»—мелькнула ему непріятная, укорливая мысль, и онъ самъ себѣ удивился, что до этихъ поръ во всѣхъ его мечтахъ и предположеніяхъ, при всемъ ихъ калейдоскопическомъ разнообразіи, мысль о матери ни разу не пришла ему въ голову.

«Какъ же мать-то?.. Что она тогда»? — думалъ онъ, и тотчасъ же утѣшилъ себя самымъ успокоительнымъ завѣреніемъ, что Сибирь—вздоръ! «Сибири не будетъ; надо только умѣть молчать хорошо... Вѣдь ужь *они*-то, при ихъ силахъ, при ихъ средствахъ, знаютъ же что дѣлаютъ».

Кто были эти *они*—Шишкинъ не зналъ, и какъ ни бился со вчерашняго вечера, все-таки никакъ не могъ опредѣлить себѣ *ихъ* даже приблизительно; но при этомъ, въ немъ почему-то поселилось твердое убѣжденіе, что *они* сила, ворочающая очень большими и могучими средствами.

Онъ ждалъ-не-дождался, когда-то, наконецъ, придутъ эти желанные четыре часа, и время сегодня казалось ему какимъ-то безконечнымъ. Уйдя отъ матери, онъ долго безъ цѣли бродилъ по городу, наконецъ, въ два часа пообѣдалъ въ трактирѣ и прямо оттуда отправился въ городской садъ. Вотъ и условный перекрестокъ, вотъ и вторая скамейка... на этой самой дорожкѣ будетъ начерченъ крестъ... Кто же замѣтитъ его? Кто прочтетъ этотъ отвѣтъ? Кто такой это будетъ? Теперь уже Шишкина завлекло лихорадочное любопытство разгадать поскорѣй, кто такіе эти таинственные, невѣдомые *они*, которымъ онъ уже весь принадлежитъ и душою, и тѣломъ, на жизнь и на смерть (такъ ему думалось).

День былъ прекрасный. Въ саду пестрѣло много гуляющихъ. Юноша пытливо и при томъ съ особенною выразительностью вглядывался во многія лица, стараясь разгадать: не одинъ ли *изъ нихъ* это идетъ мимо него.

Но вотъ, наконецъ, на соборной колокольнѣ пробило четыре.

«Что жь, чертить, или нѣтъ?..

«Или панъ, или пропалъ!.. Все равно теперь!»

Онъ торопливо, но внимательно оглядѣлся во всѣ стороны: кажется никто не обращаетъ на него особеннаго вниманія. Вставъ со скамейки и принявъ равнодушно-разсѣянный видъ, нервно-дрожащею рукою рѣзко начертилъ онъ на пескѣ крестъ и, посвистывая да поглядывая вверхъ на вѣтки и прутья, съ независимымъ видомъ, и какъ ни въ чемъ не бывало, пошелъ себѣ вдоль по дорожкѣ.

А между тѣмъ лицо его было нѣсколько блѣдно, и сердце билось шибко-шибко и немного болѣзненно.

«Ну, теперь ужь кончено!.. Баста на вѣки!.. Теперь ужь нѣтъ возврата» думалъ онъ себѣ— и было ему, по вчерашнему, такъ жутко и такъ радостно, только ощущенія эти сказывались теперь еще ярче и сильнѣе.

Онъ прошелся нѣсколько разъ по аллеѣ, все ожидая, что вотъ-вотъ кто-нибудь сейчасъ подойдетъ къ нему, дотронется легонько до плеча, шепнетъ какое-то условное, таинственное слово и поведетъ за собою, и приведетъ *куда-то*, и тамъ будутъ *они*, и онъ всѣхъ ихъ увидитъ, и начнутъ они сейчасъ «дѣло дѣлать»...

Но тщетно прохаживался и ждалъ увлекающійся юноша, тщетно заглядывалъ въ лицо чуть не каждому прохожему,—къ нему никто не прикасался и не шепталъ таинственнаго слова.

Онъ прошатался по саду до поздняго вечера, да такъ и не дождался, и ушелъ съ досадой и почти-что съ полнымъ разочарованіемъ въ сердцѣ. Мечтамъ его на сей день не суждено было сбыться.

XXVI.

Изъ тѣхъ или нѣтъ?

На другой день, навѣстивъ нарочно пораньше свою мать, Шишкинъ отправился, по вчерашнему бродить по саду. Но всѣ ожиданія его точно также были тщетны. Думая, что крестъ его либо не былъ замѣченъ, хотя онъ очень хорошо видѣлъ двѣ рѣзкія черты,—либо никто *изъ нихъ* не пришелъ вчера, вѣроятно, ожидая на сегодня крайняго назначеннаго срока,—онъ, едва лишь пробило четыре ч[redacted]

Digitized by Google

начертилъ новый крестъ на томъ же самомъ мѣстѣ, со всѣми вчерашними предосторожностями, и отправился гулять по главной аллеѣ. Предположивъ, что его прогулка мимо креста, выказывая извѣстную степень ненужнаго любопытства, быть можетъ, послужила причиной, что никто не подошелъ къ нему, изъ понятной предосторожности, онъ на нынѣшній разъ сдѣлавъ должное, нарочно сталъ прохаживаться по другимъ дорожкамъ.

Но опять-таки и на сегодня, до самаго поздняго вечера были тщетны всѣ его ожиданія, Озадаченный и еще болѣе раздосадованный, онъ рѣшился на завтра цѣлый день не выходить изъ сада, и точно: привелъ это рѣшеніе къ самому аккуратному исполненію, но результатъ оказался все такъ-же безуспѣшенъ.

Тѣмъ не менѣе ретивый юноша рѣшился продолжать ежедневно свои прогулки, до тѣхъ поръ, пока не добьется чего-нибудь положительнаго.

«Вѣдь не можетъ же быть, чтобы мистификація! Да и съ какой же стати?» разсуждалъ онъ самъ съ собою. «Какой же дуракъ, ради одной шутки, станетъ посылать такія деньги? А если кто-нибудь и рѣшился оказать мнѣ помощь. такъ тотъ, конечно, не сталъ бы шутить и издѣваться надо мною. Это было бы несообразно».

Заключенія Шишкина были вполнѣ разсудительны. Онъ гулялъ по саду, почти уже потерявъ всякую надежду на осуществленіе нетерпѣливой мечты своей, но все-таки ходилъ, почти изъ одного упрямства. Странная обстановка всего этого приключенія положительно сбила его съ толку. Онъ ломалъ себѣ голову надъ разрѣшеніемъ мудреной загадки и все-таки ни до чего не добился. Думалъ было въ третій разъ начертить условный знакъ, такъ какъ прежній былъ уже стертъ ступнями гуляющаго люда, но поостерегся, чтобы не подать этимъ кому-либо излишнихъ подозрѣній. Уже четвертый день сряду проводилъ онъ въ городскомъ саду.

Былъ третій часъ въ началѣ.

День стоялъ прекрасный. Теплое и весенне-яркое солнце высоко горѣло среди чистаго весенне-синяго неба. Молодая нѣжная поросль быстро прорѣзывалась изъ почекъ, и мягко-желтоватою зеленью запушила сочно налитыя, упругія вѣтви, въ которыхъ свистали, заливались и перекликивались весеннія птицы.

Иванъ Шишкинъ, уставши наконецъ шататься по дорожкамъ, сѣлъ въ тѣни стараго вяза на скамейку, помѣщавшуюся у площадки предъ павильономъ, куда на лѣтній сезонъ переселился нѣкій предприниматель и открывалъ тамъ кафе-ресторанъ и кондитерскую. По краямъ площадки, передъ скамейками стояли зеленые столики—признакъ того, что предприниматель уже открылъ свою лѣтнюю дѣятельность, къ услажденію славнобубенской гуляющей публики. Эксъ-гимназистъ снялъ фуражку, обтеръ со лба потъ, взъерошилъ немножко волосы и закурилъ папироску.

Вскорѣ на той же площадкѣ появился какой-то молодой человѣкъ, довольно привлекательной наружности, лѣтъ двадцати пяти, въ костюмѣ совершенно безвыразительномъ, обыденно-сѣроватомъ, но вполнѣ приличномъ, который, ничѣмъ особеннымъ не кидаясь въ глаза, точно также ничѣмъ не отличался отъ тысячи городскихъ костюмовъ, встрѣчаемыхъ на каждомъ шагу.

Шишкинъ сначала не обратилъ на него ни малѣйшаго вниманія.

Этотъ неизвѣстный господинъ присѣлъ на другой конецъ той же скамейки и сталъ отдуваться, какъ обыкновенно отдувается человѣкъ, утомленный ходьбою подъ солнечнымъ жаромъ. Затѣмъ неторопливо скрутилъ онъ себѣ папироску, вставилъ ее въ простой мундштучекъ и два раза искоса взглянулъ на своего сосѣда.

— Позвольте у васъ попросить огоньку!— вѣжливо обратился онъ къ Шишкину, подвигаясь ближе чѣмъ на пол-скамейки. Тотъ молча подалъ ему папироску, съ обычною въ такихъ случаяхъ готовностью.

— Очень вамъ благодаренъ. Фу, батюшки, какая жара сегодня!.. Это, кажись, еще первый день такой.

— Да, тепловато,—проговорилъ Шишкинъ, чувствуя какъ бы нѣкоторую необходимость отвѣтить на фразу, которая въ данную минуту ни къ кому, кромѣ него, не могла относиться.

— Даже и черезчуръ, я нахожу. Эй, человѣкъ!—закричалъ неизвѣстный сосѣдъ лакею, торчавшему на терассѣ павильона,—подай-ка мнѣ сюда пива бутылку, да только холоднаго!.. Смерть пить хочется!—какъ бы въ скобкахъ замѣтилъ онъ, обращаясь въ пол-взгляда къ Шишкину.

Тотъ ничего не отвѣтилъ на это, кромѣ какого-то безотносительнаго «мг!», сопровождаемаго легкимъ кивкомъ, и продолжалъ курить свою папиросу.

Прошла минута молчанія. Незнакомецъ искоса поглядывалъ порою на сосѣда и раза два откашлялся.

— Извините... Если не ошибаюсь, вы, кажется, господинъ Шишкинъ?—вѣжливо и немного застѣнчиво спросилъ онъ.

— Такъ точно-съ.

Гимназистъ оторопѣлъ и смутился.

«Вотъ оно!.. Это изъ нихъ! изъ нихъ навѣрно!.. Наконецъ-то!» думалъ онъ, силясь поскорѣй отдѣлаться отъ своего неумѣстнаго смущенія.

— Имѣлъ удовольствіе слышать васъ на публичномъ чтеніи, — продолжалъ незнакомецъ

Digitized by Google

съ легкимъ, но пріятнымъ поклономъ.—Ваше дарованіе... это, знаете, вѣдь надо особое искусство умѣть читать... Вы имъ вполнѣ обладаете.

Теперь уже Шишкинъ, въ свою очередь, сдѣлалъ легкій, но пріятный поклонъ.

«Изъ нихъ или нѣтъ?.. Изъ нихъ или нѣтъ?» прыгалъ въ умѣ его неотвязный вопросъ. — «Какъ бы это разрѣшить себѣ поскорѣе! Какъ бы вызнать его?»

— Позвольте узнать, съ кѣмъ имѣю удовольствіе говорить?—полусклонясь, приподнялъ онъ свою фуражку.

— Василій Свитка, изъ хохловъ,—какъ бы шутя, отрекомендовался незнакомый.—Бывшій казанскій студентъ... теперь, въ нѣкоторомъ родѣ, торговыми предпріятіями занимаемся. Я еще недавно здѣсь, въ Славнобубенскѣ,—говорилъ онъ совершенно просто и добродушно;—по дѣламъ зятя моего.

— А вашъ зять что̀ такое?—безцеремонно спросилъ юноша.

— А лѣсопромышленникъ... На Камѣ большія дачи у него... Жду вотъ теперь плотовъ, по первому половодью погнали... Лѣсъ сплавляемъ до Астрахани, такъ надо вотъ встрѣтить, провѣрку сдѣлать... да тутъ еще съ купцомъ съ однимъ заподрядиться надо... Вотъ и сижу пока.

«Нѣтъ, это не изъ тѣхъ, должно быть», сомнѣвался юноша, пытливо разсматривая сосѣда и слушая его болтовню, простую и, повидимому, вполнѣ искреннюю, вполнѣ лишенную всякихъ заднихъ мыслей.—«Нѣтъ, не изъ тѣхъ!.. Это просто такъ себѣ, добрый малый какой-то и только!» рѣшилъ онъ и успокоился.

Лакей принесъ на подносѣ бутылку.

— Не хотите ли? — предложилъ Свитка;—по жарѣ хорошо это, холодненькаго.

— Нѣтъ, благодарю васъ,—замявшись, нерѣшительно отказался Шишкинъ.

— Пожалуйста, не церемоньтесь!.. Мнѣ очень пріятно... Эй, человѣкъ! Тащи еще стаканъ, да скорѣе!

— Для перваго знакомства!—кивнулъ головой Свитка, дотронувшись краемъ своего стакана до налитаго стакана Шишкина. —Мнѣ очень пріятно... Я здѣсь, знаете ли, совершенно одинъ и никого почти не знаю, ни съ кѣмъ не знакомъ... Должно-быть, у васъ тутъ въ Славнобубенскѣ скука ужасная?..—То ли дѣло, бывало, у насъ, въ Казани!.. Дивный городъ, я вамъ скажу! Вы не бывали?

— Въ Казани? Нѣтъ?

— А жаль. Вамъ бы понравилось. Вы, конечно, въ университетъ намѣрены?

— Право, не знаю еще... какъ случится.

— Если поступать, такъ поступайте въ Казанскій, я вамъ совѣтую.

— Да мнѣ это довольно трудно... вѣдь я... замялся немного Шишкинъ, глядя въ землю,—вѣдь я за это самое чтеніе исключенъ изъ гимназіи.

— Какъ исключены!.. Быть не можетъ! сорвался съ мѣста неожиданно изумленный Свитка,—да за что же-съ?

— А вотъ, за «*Орла*».

— Ну, что за мерзости!.. И за что же исключать-то тутъ? Ахъ ты, Господи Боже мой!.. А я и не зналъ этого!

«Нѣтъ, это не изъ тѣхъ! Совсѣмъ не изъ тѣхъ!» окончательно убѣждалъ себя въ душѣ Иванъ Шишкинъ.

— Что жь вы намѣрены дѣлать теперь?—съ участіемъ спросилъ Свитка.

— А право, не знаю... Я не рѣшилъ еще.

Свитка призадумался.

— Гм!.. Это не хорошо. Мой совѣтъ все-таки въ университетъ. Экзаменъ вѣдь не затруднитъ васъ?

— Экзаменъ-то? Нисколько! Я экзамена не боюсь. Но... средства... Какъ добраться-то? У меня средствъ нѣтъ.

— А пѣшечкомъ?—пояснилъ Свитка, искоса взглядывая пытливо на сосѣда,—и пѣшечкомъ можно! Не вы первый, не вы и послѣдній. По крайности, прогуляетесь, время теперь хорошее, съ народомъ познакомитесь, а это вѣдь никогда не лишнее.

— Н-нѣтъ... Мнѣ это неудобно,—отклонился эксъ-гимназистъ, вспомня о своей прикосновенности къ какому-то «дѣлу».

— Почему такъ? съ живостью спросилъ Свитка.

— Такъ... Я ужь лучше тутъ какъ-нибудь устроюсь. А развѣ потомъ какъ-нибудь...

Тотъ какъ-то особенно и чуть замѣтно улыбнулся про-себя и опять заговорилъ съ прежнимъ участіемъ:

— Если хотите поступать, я могу объяснить вамъ все дѣло, какъ и что, однимъ словомъ, весь ходъ, всю процедуру... Научу какъ устроиться, заочно съ профессорами познакомлю, то-есть дамъ ихъ характеристики... Ну, а кромѣ того есть тамъ у меня товарищи кое-какіе, могу познакомить, дамъ письма, это все вѣдь на первое время необходимо въ чужомъ городѣ.

— Благодарю васъ... я подумаю.

— Подумайте, подумайте!.. Вообще господинъ Шишкинъ,—прибавилъ онъ, радушно и любезно протягивая руку, — мнѣ бы очень пріятно было познакомиться съ вами поближе... Извините, можетъ быть вы примете это за навязчивость съ моей стороны, но... я здѣсь одинъ, просто, слова не съ кѣмъ перемолвить.

Эксъ-гимназистъ охотно принялъ предложеніе этого знакомства.

— Я стою здѣсь въ нумерахъ Щепкова,—пояснилъ Свитка.—Милости просимъ ко мнѣ когда-нибудь, очень радъ буду! Да самое лучшее вотъ что: вы ничего не дѣлаете нынче вечеромъ?

Digitized by Google

— Особеннаго ничего.

— Такъ приходите-ко ко мнѣ!.. Поболтаемъ, закусимъ, а?

Шишкинъ согласился.—Юноши этого возраста вообще очень легко и скоро сходятся съ людьми.

Часу въ восьмомъ вечера онъ уже сидѣлъ въ гостяхъ у новаго своего знакомца. Тотъ разсказывалъ ему о Казанскомъ университетѣ, о жизни въ Казани... Потолковали и о современномъ положеніи дѣлъ вообще, и о Россіи въ особенности. Въ рѣчахъ Василія Свитки было очень много симпатіи къ Польшѣ. Шишкинъ тоже вполнѣ раздѣлялъ это чувство.

— Я думаю, что и наша матушка-Русь тоже тово... наканунѣ какой-нибудь большой революціи, — замѣтилъ хозяинъ, бросая пристальный взглядъ на гостя.

— Да вотъ ужь въ Высокихъ Снѣжкахъ поднимались, тамъ уже началось, авось и другіе подхватятъ, подтвердилъ ему Шишкинъ.

— Да, да; вообще въ воздухѣ, кажись, сильно попахиваетъ чѣмъ-то,—согласился Свитка;—но все-таки, мнѣ кажется, что всѣ эти бунты не приведутъ ни къ чему большому безъ послѣдовательной агитаціи... Въ этомъ дѣлѣ, какъ и во всѣхъ другихъ, нужна система, планъ; а безъ него будутъ однѣ только отдѣльныя вспышки. Если бы тутъ какая-нибудь организація была, ну тогда другое дѣло.

— А можетъ-быть и есть уже организація,— задорливо возразилъ Шишкинъ.

Свитка быстро вскинулъ на него глаза и, не сводя съ его лица своего внимательно наблюдающаго взора, спросилъ:

— Организація?.. А почему вы думаете, что есть?

Юноша спохватился, что чуть было не сказалъ лишняго. «Подъ страхомъ неминуемой отвѣтственности предъ трибуналомъ общества», отчеканилась въ его сознаніи знакомая фраза.

— То-есть, я... конечно, ни на чемъ собственно не основываю этого, пояснилъ онъ, — но... такъ, одно предположеніе... Почему-жь и не быть ей? Если Италія, напримѣръ... отчего-жь бы и намъ тоже?

— Нѣтъ-съ, батюшка, мы, русскіе, слишкомъ еще дураки для этого,—авторитетно возразилъ Свитка съ какимъ-то презрѣніемъ;—вы говорите: Италія! Такъ вѣдь въ Италіи, батюшка, карбонаріи-съ, Италія вся покрыта сѣтью революціонныхъ кружковъ, тайныхъ обществъ, въ Италіи былъ Буонаротти, тамъ есть — шутка сказать!—голова дѣлу, Мадзини, есть, наконецъ, сердце и руки, Джузеппе Гарибальди-съ! А у насъ-то что.

— А Герценъ? а Огаревъ? горячо вступился Шишкинъ? юное самолюбіе котораго особенно задѣли за живое эти презрительные отзывы о дуракахъ—русскихъ.

— Ну что же!.. Конечно, Герценъ-то есть, да вѣдь одна ласточка весны еще не дѣлаетъ!.. Ну, положимъ, что есть у насъ и Герценъ, и Огаревъ, и еще кто-нибудь кто ихъ тамъ знаетъ! Да гдѣ же наши кружки? гдѣ наша организація? Я нигдѣ и ни въ чемъ не вижу ея пока! Ну, вотъ сойдемся, напримѣръ, мы съ вами и потолкуемъ по душѣ, и оба, кажись, одушевлены одними стремленіями, однѣми симпатіями, а что изъ этого выходитъ? Пуфъ! Словоизверженіе одно, а чего-нибудь *дѣйствующаго* мы все-таки никогда не составимъ, и эта недѣятельность, эта апатія лежитъ въ нашей національной глупости, потому что мы, русскіе,—рабы по натурѣ своей и лучшаго ничего не желаемъ! И организаціи у насъ нѣтъ и никогда не будетъ!

Шишкина такъ и подмывало схватиться съ мѣста и сказать ему: «Анъ, нѣтъ молъ есть же! есть!» и показать въ подтвержденіе полученное имъ письмо и деньги, и для окончательной убѣдительности признаться, что самъ онъ членъ тайнаго общества и что, стало быть, русскіе не совсѣмъ ужь круглые дураки и презрѣнные рабы, какими изволитъ изображать ихъ господинъ Свитка. Однако-же попридержалъ на время свою прыть «подъ страхомъ неминуемой отвѣтственности».

— Н-ну, какъ знать чего не знаешь! — процѣдилъ онъ сквозь зубы не безъ нѣкоторой многозначительности въ тонѣ.

Хозяинъ исподлобья оглядѣлъ его своимъ изучающимъ взглядомъ и улыбнулся про себя, какъ прежде, чуть замѣтною, странною усмѣшкою.

Этотъ взглядъ и усмѣшка были замѣчены Шишкинымъ.

«Неужели *изъ тѣхъ*!»—быстро мелькнуло въ его соображеніи; но всѣ предшествовавшія обстоятельства изъ знакомства противорѣчили такому предположенію. «Зачѣмъ же онъ такъ пытливо взглянулъ на меня? Чему онъ такъ улыбнулся?» думалъ экъ-гимназистъ.—«Боже мой! ужь не шпіонъ ли это какой-нибудь?.. Можетъ, заодно съ Пшецыньскимъ... Можетъ, онъ хочетъ выпытать меня?»

И Шишкинъ вдругъ поблѣднѣлъ и тревожно забѣгалъ глазами по комнатѣ.

— Однако прощайте... мнѣ пора,—поднялся онъ съ мѣста, неловко и нѣсколько смущенно протягивая хозяину руку.

— Куда же вы?—изумился тотъ. — А я думалъ, мы цѣлый вечеръ проведемъ вмѣстѣ, чаю напьемся, закусимъ... Останьтесь-ко, полноте!

— Нѣтъ, ей-Богу, пора!.. Не могу я больше... Прощайте-съ.

— Ну, какъ знаете! До свиданья.

«И чего я такъ испугался?» думалъ Шишкинъ, подходя уже къ своей квартирѣ. «Вѣдь я самъ чуть не похвастался, что какъ знать чего не знаешь. Можетъ, онъ оттого-то только и поглядѣлъ на меня эдакъ... а онъ ужинать приглашалъ!.. Дуракъ, право, дуракъ я! И съ

Digitized by Google

чего онъ вообразился мнѣ то вдругъ изъ тѣхъ, то вдругъ шіономъ, а онъ, кажись, просто такъ-себѣ, добрый малый и очень не глупый... А я, какъ дуракъ, струсилъ!»

И на будущее время Шишкинъ рѣшился уже не трусить болѣе новаго знакомца.

XXVII.

Въ западнѣ.

На слѣдующій день, около четырехъ часовъ пополудни, прохаживаясь по главной аллеѣ городского сада, Шишкинъ, все еще не терявшій надежды, что ожиданія его увѣнчаются какимъ-нибудь успѣхомъ, вдругъ завидѣлъ идущаго на встрѣчу Василія Свитку, который еще издали кивалъ ему головой и махалъ руками.

— Здравствуйте, батюшка,—сказалъ онъ, подходя къ Шишкину.—А вы, кажись, частенько тутъ прогуливаетесь?

Тотъ немного смутился.

— Нѣтъ, я такъ только... отъ нечего дѣлать.

Свитка подхватилъ его подъ руку и, дойдя до поворота въ среднюю поперечную аллею, повернулъ туда какъ бы неумышленнымъ и совсѣмъ машинальнымъ образомъ..

— Фу? какъ усталъ я!.. Все время на пристаняхъ шатался... Ходилъ плоты встрѣчать. Присядьте-ко малость!

И онъ опустился какъ разъ на вторую скамейку.

Шишкинъ опять слегка смутился. Нѣкоторое сомнѣніе закралось ему въ голову: случайно все это, или нѣтъ? Изъ тѣхъ, или шіонитъ? Но взглянувъ внимательно на лицо своего знакомца и прочтя на немъ полнѣйшее и открытое простодушіе, онъ снова рѣшилъ, что Свитка ни то, ни другое.

— Послушайте, Шишкинъ, — началъ тотъ, усаживая подлѣ себя эксъ-гимназиста;—простите мою нескромность, но я все думалъ объ васъ какъ вы ушли отъ меня, и знаете-ли, что пришло мнѣ въ голову?

— Что такое?

— Вѣдь вы тутъ ровно ничего не дѣлаете, ничѣмъ особенно не занимаетесь?

— Уроки кой-какіе имѣю.

— Н-да, конечно это не маловажно... А я хотѣлъ было вамъ предложить прокатиться вмѣстѣ со мной до Астрахани, сплавились бы на плотахъ, а тамъ у меня есть знакомые изъ компанейскихъ, такъ что назадъ на пароходѣ ничего бы не стоило. Отличное бы дѣло, ей-Богу? а? Прямо бы въ Казань и предоставилъ, какъ разъ къ началу курса.

Шишкинъ задумался. Предложеніе имѣло свою заманчивую сторону, но... какъ-же тѣ-то? какъ-же отказаться отъ блестящей перспективы быть заправскимъ, серіознымъ дѣятелемъ «такого дѣла» или, по крайней мѣрѣ, хоть узнать-бы прежде что-нибудь положительное: есть-ли тутъ что, или одна только мистификація.

— А скоро поѣдете вы?—спросилъ онъ.

— А право не знаю еще!.. Думаю, скоро, на дняхъ.

— Н-нѣтъ, на дняхъ-то мнѣ неудобно.

— Отчего неудобно? — съ живостью спросилъ Свитка.

— Да такъ!.. Не могу я.

— Отчего не можете?

— Да мало-ли?.. Ну, уроки... ну, матушка у меня... нездоровая,—замялся Шишкинъ; да и вообще, просто не могу.

Оба примолкли.

— А я знаю, почему вы не можете!—вѣско и медленно началъ наконецъ Свитка, смотря ему въ глаза пристально и нагло.

Сердце юноши ёкнуло тревогой страха и ожиданія.

— Почему?—едва могъ проговорить онъ.

Тотъ, вмѣсто отвѣта, взялъ отъ него трость и рѣзко начертилъ ею крестъ на пескѣ дорожки.

Шишкинъ поблѣднѣлъ. Чувство внезапности, удивленіе, испугъ и страхъ, и радость разомъ отразились на его физіономіи, на которую неотводно продолжалъ глядѣть Свитка своимъ наглымъ взглядомъ.

— Дайте вашу руку!.. Вы человѣкъ годящійся! — похвалилъ онъ съ видомъ покровительства.

Юноша не успѣлъ еще придти въ себя.

— Но зачѣмъ-же вы только теперь!?.. Зачѣмъ не сразу... не тогда, какъ я крестъ поставилъ?

Тотъ усмѣхнулся будто на ребяческое слово.

— Гм... Сразу ничто, мой другъ, не дѣлается. Надо было прежде дать вамъ срокъ, чтобы поглядѣть, на сколько серьезна ваша рѣшимость, потомъ попытать вашу скромность, удостовѣриться, умѣете-ли вы держать языкъ на привязи, — ну, экзаменъ оказался удаченъ, значитъ теперь можно поздравить.

— Я вашъ—и душой и тѣломъ!—восторженно воскликнулъ юноша.—Дѣлайте со мной что хотите!.. Когда вы меня представите?

— Какъ это представите? куда? кому! — серьезно поморщился Свитка.

— Ну, понятно: членамъ нашего общества,—пояснилъ Шишкинъ.

— Членамъ? Да вы уже представлены: васъ знаютъ тамъ.—Развѣ безъ этого рѣшились бы выбрать васъ?

Этотъ отвѣтъ польстилъ самолюбію эксъ-гимназиста.

— Но когда-же я увижу ихъ?—оживленно спросилъ онъ.

— Кого это «ихъ»?

Digitized by Google

— Ну, разумѣется, членовъ!

— Полагаю, что совсѣмъ не увидите. Да это и не нужно. Вы знаете меня, и больше никого, и по всѣмъ дѣламъ будете сноситься только со мною.

— Стало-быть общества нѣтъ никакого?

— Напротивъ, есть, и весьма сильное, весьма многочисленное; но знать всѣхъ членовъ—это совершенно излишне и даже вредно; да наконецъ, и нѣтъ возможности: ихъ слишкомъ много, они разсѣяны повсюду.

— Что же я обязанъ дѣлать?—пожавъ плечами, спросилъ юноша. Дѣло выходило совсѣмъ не такъ, какъ мечталъ онъ, и въ мечтахъ оно казалось ему лучше, красивѣе какъ-то.

— Дѣлать? а вотъ что дѣлать, пояснилъ Свитка.—Вы будете строго и неуклонно исполнять то, что̀ вамъ укажутъ. Впослѣдствіи, съ моего разрѣшенія, вы можете избрать себѣ двухъ помощниковъ изъ надежныхъ и лично вамъ извѣстныхъ людей, но кромѣ васъ, они точно также не должны ничего и никого знать, я и самъ точно также никого не знаю. Понимаете? И вотъ, все что вамъ предоставляется. Средства на веденіе дѣла вы будете получать отъ меня, а за измѣну дѣлу, предваряю васъ, послѣдуетъ неминуемая кара.

— То-есть, какъ-же это?—оторопѣло спросилъ Шишкинъ.

— А такъ, что въ одинъ прекрасный день можно отправиться ad patres, очень серьезно отвѣтилъ Свитка.—Поэтому, будьте осторожны и прежде всего—языкъ за зубами. Назадъ ужь, конечно, отступленія нѣтъ; вы понимаете...

— Но... отправиться ad patres... Это легко сказать...

— Легко сказать, и не трудно исполнить. какая-нибудь маленькая доза стрихнину, уколъ отравленною булавкой, да и, Боже мой! мало ли есть средствъ для этого?

Свитка на первыхъ же порахъ нарочно старался побольше запугать неопытнаго юношу, чтобы тѣмъ легче забрать его въ руки и сдѣлать ему невозможнымъ поворотъ назадъ. Шишкинъ призадумался и даже пріунылъ немного. Онъ вдругъ почувствовалъ себя въ положеніи мышенка, попавшагося въ мышеловку на кусочекъ свиного сальца.

— Ну, другъ любезный! чуръ, головы не вѣшать! хлопнувъ по плечу, весело подбодрилъ его Свитка.—Знаете, говорятъ, это вообще дурная примѣта, если конь передъ боемъ вѣситъ голову. Смѣлѣе! Будьте достойны той чести, которую сдѣлалъ вамъ выборъ общества, будьте же порядочнымъ человѣкомъ! Надо помнить-то святое дѣло, за которое вы теперь взялись своею охотой!

— О, Боже мой, да я готовъ!.. Я готовъ! Неужели вы можете сомнѣваться?—воскликнулъ Шишкинъ.—Но въ чемъ же дѣло? И только давайте поскорѣе!

— Дѣло въ томъ, что дня черезъ два-три мы отправимся съ вами по Поволжью: гдѣ пѣшечкомъ, гдѣ на лодочкѣ, а гдѣ и конно, какъ случится; ну, и станемъ мужичкамъ православнымъ золотыя грамоты казать.—Понимаете-съ? прищурился Свитка.—Нынче вечеромъ будьте у меня: я покажу вамъ экземплярчикъ, и вообще потолкуемъ, условимся, а пока прощайте, да помните же хорошенько все, что̀ сказалъ я вамъ.

И пожавъ ему руку, Свитка быстро пошелъ изъ сада.

* * *

Передъ вечеромъ онъ постучался у двери ксендза-пробоща. Зося, отворивъ ему, объявила, что его мостци нѣтъ дома. Свитка вырвалъ листокъ изъ записной книжки и, написавъ на немъ нѣсколько словъ, тщательно свернулъ и отдалъ женщинѣ для передачи по принадлежности, а вечеромъ, возвратясь домой, ксендзъ Кунцевичъ не безъ труда разобралъ на этомъ листочкѣ слѣдующее:

«Дѣло съ гимназіастомъ кончено наиуспѣшнѣйше, послѣ завтра, въ ночь отправляемся».

«Фр. Пожондковськiй».

Черезъ сутки, дѣйствительно, Шишкинъ исчезъ изъ города. На прощанье, онъ вручилъ матери еще десять рублей и увѣрилъ ее, что ѣдетъ на вакацію къ одному помѣщику приготовлять къ гимназіи его сына.

XXVIII.

Женихъ.

Ардальонъ Полояровъ, совсѣмъ неожиданно для самого себя, очутился въ положеніи жениха. Онъ былъ, въ нѣкоторомъ родѣ, жертва собственнаго великодушія. Зато Лубянская все время оставалась вполнѣ довольна своею судьбою, въ качествѣ будущей супруги Ардальона Михайловича. Но о самомъ майорѣ далеко нельзя сказать того же. Въ странныхъ какихъ-то отношеніяхъ вдругъ очутились между собою эти три лица, съ той минуты, какъ слово великодушія нежданно-негадано было произнесено Полояровымъ. Старикъ не перечилъ, но и не радовался; напротивъ, теперь чаще, чѣмъ когда-либо, онъ, изъ своего уголочка, подолгу сталъ засматриваться на дочку съ молчаливою, но глубокою и тоскливою грустью. Хоть онъ и молчалъ, но по всему было видно, что сердце его и не чаетъ для дочери ничего хорошаго въ будущемъ, и не ждетъ никакого счастія въ этомъ бракѣ. Съ Полояровымъ отношенія его были суховато вѣжливы: въ нихъ проглядывало такое чувство, какъ будто, подавая руку Ардальону или говоря съ нимъ, старикъ боялся быть укушеннымъ какой-нибудь гадиной или чѣмъ-нибудь запачкаться,—чувство, давно не испытанное его простымъ, отзывчиво откро-

Digitized by Google

вѣрнымъ сердцемъ. Онъ какъ-то все не вѣрилъ въ чистоту Полояровскаго великодушія, и порою казалось ему, будто брака этого никогда не будетъ, что впрочемъ нисколько его и не печалило, лишь бы только быть увѣреннымъ, что она, чистая голубка его, осталась такою же, какъ и прежде; но... этой-то увѣренности и не хватало ему. Самъ Полояровъ ни мало впрочемъ не смущался подобнымъ отношеніемъ къ собственной особѣ; онъ, говоря его словами, «игнорировалъ глупаго старца» и, какъ ни въ чемъ не бывало, въ качествѣ жениха, почти ежедневно ходилъ къ нему то обѣдать, то чай пить, то ужинать. Только въ отношеніи Нюточки тонъ его сдѣлался еще рѣзче и нахальнѣе. Когда же майоръ замѣтилъ ему это однажды, то Ардальонъ отвѣчалъ, что «какъ мы съ нею теперь женихи, то особенно церемониться нечего, потому не съ тономъ жить, а съ человѣкомъ».

Одна только Нюточка, повидимому, казалась довольна и счастлива. Вѣра ея въ Полоярова была безгранична: ужь если *онъ* сказалъ, ужь если *онъ* что сдѣлалъ, значитъ, это такъ и должно, значитъ, иначе и быть ничего не можетъ, и все, что ни сдѣлаетъ онъ, все это хорошо, потому что Полояровъ не можетъ сдѣлать ничего дурного, потому что это человѣкъ иного закала, иного развитія, иного ума, даже просто, наконецъ, иной, совсѣмъ новой породы, тѣмъ болѣе, что и самъ онъ называлъ себя «новымъ человѣкомъ». Дѣвушка привязалась къ нему еще больше съ той минуты, какъ онъ, ради нея, ради любви къ ней, поступился даже самыми коренными изъ своихъ убѣжденій, предложивъ ей «формальнымъ образомъ окрутиться вокругъ аналоя». Она видѣла въ этомъ величайшую, съ его стороны, жертву, и жертва его льстила ея самолюбію.

Съ какимъ удовольствіемъ бѣгала она въ ряды, въ гостиный дворъ, накупать то себѣ, то ему разныя принадлежности къ своему приданому. Каждая вещица, каждая наволочка, полотенце, каждая дюжина чулокъ или платковъ носовыхъ, купленная на скромныя деньжишки, прикопленныя для нея майоромъ, приводила ее въ восторгъ. Съ какою радостію припасала она все это къ устройству будущаго своего хозяйства! Сколь свѣтло мечтала о томъ, какъ это у нихъ все такъ хорошо, такъ просто и мило будетъ устроено! Съ какимъ живымъ наслажденіемъ показывала жениху всѣ эти покупки и приготовленія, сама любуясь и на нихъ, и на него своими влюбленными глазами!

Но Полояровъ всѣ эти радости и восторги встрѣчалъ совершенно холодно: больно ужь не по нутру они ему были. И именно въ тѣ самыя минуты, когда она показывала ему новыя свои покупки, разсказывая намѣренія и планы будущаго житья-бытья, онъ глядѣлъ совсѣмъ равнодушно, какъ на нѣчто постороннее, и слушалъ вполнѣ безучастно, а иногда съ видимымъ даже раздраженіемъ и неудовольствіемъ.

Все это искренно огорчало любящую дѣвушку.

— Ардальонъ! да что это съ тобой!—высказала она ему однажды съ полудосадливымъ и полунѣжнымъ упрекомъ.—Я хлопочу, я бѣгаю, стараюсь, прошу твоего совѣта, одобренія, а ты глядишь на все это, словно бы совсѣмъ чужой, словно бы даже тебѣ непріятно это!.. Ей-Богу, хоть бы маленькое участіе!.. Неужели же тебя это нисколько не занимаетъ?

— Да чему тутъ особенно занимать-то?.. Есть на что радоваться!—фыркнулъ онъ, скосивъ губы;—ну, нравится тебѣ это,—ну и занимайся! Я не мѣшаю... Мнѣ-то что!

Нюта поглядѣла на него пристально, рѣшительнымъ взглядомъ.

— Послушай,—начала она послѣ нѣкотораго молчанія,—мнѣ кажется, ты раскаиваешься въ своемъ намѣреніи... Пожалуйста, не стѣсняй себя; скажи мнѣ прямо—вѣдь еще есть время...

Ардальонъ молчалъ и хмурился.

— Ну, вотъ видишь, ты молчишь, ты сердишься!.. Зачѣмъ все это! Не лучше ли прямо?.. (на рѣсницахъ ея задрожали слезы).—Милый ты мой!.. Ты знаешь, что мнѣ лично, пожалуй, и не нужно этого пустого обряда: я и безъ того люблю тебя—вѣдь ужь я доказала!.. Мнѣ ничего, ничего не нужно, но отецъ... вѣдь это ради отца... Я вѣдь понимаю, что и ты-то ради него только рѣшился. Милый мой! я тебя еще больше полюбила за эту жертву.

— Хм!.. Полюбить-то, пожалуй, и больше полюбила, — согласился онъ, по обыкновенію, медленно и туго потирая между колѣнъ свои руки и глядя мимо очковъ въ какое-то пространство предъ собою.—Насчетъ любви—не знаю, можетъ и такъ, а можетъ и нѣтъ; но уважать-то ужь, конечно, менѣе стала.

— Какъ!.. Почему это? — отклонилась дѣвушка, широко раскрывъ на него изумленные взоры.

— А потому, что за такіе пассажики нельзя никого уважать, да и не за что!.. Развѣ ты можешь уважать человѣка, измѣняющаго своимъ принципамъ, идущаго противъ убѣжденія? Ну, стало-быть, и меня не уважаешь!

— Но, милый мой, это совсѣмъ другое...

— Э, матушка! одно и то же! — перебилъ Ардальонъ, съ гримасой махнувъ рукою.

— Такъ не женись на мнѣ! Кто-жь тебя принуждаетъ! — открыто и просто предложила она.

Полояровъ скорчилъ новую, досадно-нетерпѣливую гримасу и нѣсколько времени не отвѣчалъ ни слова, только попрежнему теръ себѣ ладони. Нюточка тихо заплакала.

— Ну, ужь что сказано разъ... такъ ужь

Digitized by Google

нечего говорить, пробурчалъ наконецъ Ардальонъ сквозь зубы, въ какомъ-то раздумьи.— Да, пожалуйста, слезы-то въ сторону!—прибавилъ онъ, замѣтивъ, что невѣста вытерла платкомъ свои глаза;—терпѣть не могу, когда женщины плачутъ: у нихъ тогда такое глупое лицо — не то на моченую рѣпу, не то на каучуковую куклу похоже... Чего куксишь-то? Полно!.. Садись-ка лучше ко мнѣ на колѣни— это я, по крайности, люблю хоть; а слезы— къ чорту!

Нюта исполнила его желаніе, но съ этой минуты отлетѣли отъ нея всѣ счастливые мечты и планы. Она уже безъ удовольствія стала ходить въ ряды и даже неохотно готовила себѣ приданое, никогда болѣе не заставляя жениха любоваться на свои покупки. Въ душу ея закралось тяжелое и темное раздумье о своемъ сомнительномъ будущемъ...

Майоръ молчалъ и курилъ свою трубочку, но сердце его чуяло и родной глазъ очень хорошо замѣчалъ все, что дѣлается съ дѣвочкой.

Однажды она пошла въ ряды и, сдѣлавъ какую-то покупку, забѣжала «по пути» къ жениху, хотя, собственно говоря, это было вовсе не по пути ей.

Полояровъ спалъ на диванѣ. Нюта осторожно подкралась къ нему и разбудила своимъ любящимъ поцѣлуемъ.

— Здравствуй, милый! Что я тебѣ скажу... начала она весело и вмѣстѣ съ тѣмъ какъ-то таинственно и отчасти смущенно.

— Ну, ладно!.. Послѣ, послѣ!.. Теперь я спать хочу.... Убирайся, пожалуйста!.. Не мѣшай мнѣ, или—коли хочешь — посиди, пожалуй, пока высплюсь,—пробормоталъ Ардальонъ, и калачемъ отвернувшись къ спинкѣ дивана, въ ту же минуту сонно засопѣлъ съ носовымъ присвистомъ.

Дѣвушка постояла, посмотрѣла ему въ спину, повернулась и ушла. Съ больнымъ чувствомъ обиды возвратилась она домой, усѣлась на полу, на маленькую скамеечку, за какимъ-то каленкоромъ, который въ тотъ день кроила, и, положивъ на колѣни подпертую ладонями голову, заплакала тихо, беззвучно, но горько.

Майоръ, запахнувъ халатикъ, подкрался на цыпочкахъ къ двери и осторожно заглянулъ на дочь изъ своей комнаты. Тревога отеческой любви и вмѣстѣ съ тѣмъ негодующая досада на кого-то чѣмъ-то трепетнымъ отразились на лицѣ его. Нервно сжимая въ зубахъ чубучокъ своей носогрѣйки, пришелъ онъ въ зальце, гдѣ сидѣла Нюта, не замѣчавшая среди горя его присутствія, и зашагалъ онъ отъ одного угла до другого, искоса взглядывая иногда на плачущую дочку.

— Ну, его къ чорту!—нервно дрогнулъ голосъ старика.—Брось, Нюта!.. брось!.. Не стоитъ!.. Не думай ты о немъ больше!.. Право!.. Весь-то онъ, какъ есть, одной твоей слезинки не стоитъ!.. Ну его!.. Ей-Богу, говорю,—брось ты все это!

И онъ еще крѣпче защемилъ между зубами свой чубучокъ, потому что и у самого-то уже навертывались на глаза жгучія слезы обиды, боли и досады. Но Нюта, не подымая головы, только медленно и отрицательно покачала ею, и въ этомъ движеніи было такъ много чего-то кручиннаго, безнадежнаго, безпомощнаго...

Она теперь уже ощущала внутри себя нѣчто новое, въ чемъ ни за что не призналась бы старому майору.

XXIX.

„Эврика“ по-гречески значитъ: нашелъ.

Ардальона разбудили вторично. Но на этотъ резъ предъ нимъ уже стояла не улыбающаяся Нюточка, а почтальонъ, принесшій ему съ почты письмо. На конвертѣ значился петербургскій штемпель. Заспанный Полояровъ однакоже почти сразу догадался отъ кого было это посланіе.

«Все готово. Предпріятіе наше прочно поставлено на ноги, говорилось въ письмѣ, открываемъ типографію, швейную, переплетную, читальню и много еще другого. Если можешь, пріѣзжай поскорѣе, ты былъ бы теперь здѣсь очень кстати..

«До свиданія!

«Весь твой Лукашка».

«Не многоглаголиво, но ясно!» улыбнулся про-себя Полояровъ.—Письмо это заставило его призадуматься.

«Какъ-же тутъ быть? Неужели и въ самомъ дѣлѣ жениться? Чорта съ два?.. Добро-бы еще выгода какая», мыслилъ онъ самъ съ собою, «а то вдругъ ни съ того, ни съ сего,—на тебѣ! Фю!.. взялъ да и окрутился! Честь имѣемъ поздравить! Будущій отецъ семейства и славнобубенскій домовладѣлецъ съ улицы Перекопки,— пріятная перспектива! очень пріятная!— Нѣтъ, братъ, Ардальонъ Михайловичъ!—широко вздохнулъ онъ съ чувствомъ гиганта,—тебя ждетъ дѣло посерьезнѣе и почестнѣе, такъ тутъ нечего бабиться! Женщина, или дѣло—тутъ для порядочнаго человѣка выборъ одинъ. Ради удовольствія добродѣтельнаго папеньки такъ вотъ взять да и пожертвовать принципами? Да что-же я за дрянь-то послѣ этого!.. Что-же я за свинья-то!.. Любитъ... ну и любитъ!» продолжалъ онъ свои думы, вспомня о Нюточкѣ, «я-то что-же?.. Сама вѣдь шла, доброй волей; не пыткой принуждали-же! Такъ чего тутъ? Коли ты, матушка, не дрянь, а женщина, такъ ты поймешь, что для людей нашего закала — дѣло прежде всего, а потомъ ужь любовь и прочее... Любишь, такъ и такъ любить будешь!.. Можешь какъ нибудь пріѣхать потомъ; а нѣтъ—значитъ, дрянь, значитъ, замужъ только хочется выскочить!.. Ну.

Digitized by Google

и ищи себѣ подходящаго субъекта, а я... пожалуй, и я не прочь любить, и все такое... да только не въ такое время!.. Такъ и сказать ей это— небойсь, пойметъ барышня!—Однимъ словомъ, такъ или иначе, а этой канители, значитъ, шабашъ!» окончательно рѣшилъ Полояровъ.

Но вслѣдъ затѣмъ предъ нимъ вставали другіе, гораздо важнѣйшіе вопросы:

«Ѣхать... Конечно, надо ѣхать»! размышлялъ онъ, «объ этомъ нечего и говорить, и чѣмъ скорѣе, тѣмъ лучше, а то еще гляди, пожалуй, окрутятъ какъ-нибудь... заставятъ... Начальство, власти и прочее... Вѣдь добродѣтельный папенька, пожалуй, и на это способенъ!.. Но какъ тутъ, чортъ возьми, уѣдешь!.. Занять-бы у кого, что-ли?.. Хм... Какъ-же! поди займи въ этомъ подломъ обществѣ! Дадутъ чорта съ два!.. Дожидайся! Развѣ какъ-нибудь у Затцъ да у Нюточки прихватить?.. Сотнягу-бы, что-ли, — тогда хватитъ... Да бѣда, капиталы-то вѣдь у добродѣтельнаго папахена въ шкатулкѣ! Кабы у самой, такъ и говорить бы не о чемъ, а тутъ вотъ и ломай себѣ голову!»

И дѣйствительно, Ардальонъ Полояровъ упорно ломалъ голову надъ разрѣшеніемъ трудной задачи. При дальнѣйшихъ размышленіяхъ выходило, что и у Нюточки не совсѣмъ-то ловко взять деньги: станетъ подозрѣвать, догадается, пойдутъ слезы, драмы и прочее, а лучше махнуть такъ, чтобъ она узнала объ этомъ только по письму, уже послѣ отъѣзда; тогда дѣло короче будетъ. Оставалась одна только Лидинька Затцъ; но и тутъ встрѣчалось нѣкоторое сомнѣніе: Лидинька и безъ того уже зла на него за Лубянскую, за его предполагаемую женитьбу. Но, положимъ, что на этотъ счетъ можно бы легко разубѣдить ее; для этого потребуется только немного нѣжности да бойкій разговорецъ въ томъ духѣ и въ тѣхъ принципахъ, которымъ поклоняется съ нѣкотораго времени Лидинька, и сердце ея умягчится, и прикажетъ она своему благовѣрному добыть ей, какъ бы то ни было, денегъ, и благовѣрный въ этомъ случаѣ не будетъ ослушникомъ обожаемой супруги, только съ получателя документецъ возьметъ на всякій случай. Но главное сомнѣнье не въ этомъ. «А какъ дернетъ ее нелегкая», думалъ Полояровъ, «бросить благовѣрнаго? Да какъ ко мнѣ на шею накачается: бери, молъ, съ собою! тогда что?.. Куда мнѣ съ нею?.. А это весьма легко можетъ случиться!»

Возиться съ Лидинькой Затцъ никакъ не входило въ дальнѣйшіе расчеты и планы Ардальона Михайловича, и потому онъ еще бродилъ въ лабиринтѣ своихъ сомнѣній и предположеній, не останавливаясь ни на чемъ рѣшительномъ относительно путей добычи.

Какъ часто бываетъ съ человѣкомъ, который въ критическую минуту полнѣйшаго отсутствія какихъ бы то ни было денегъ начинаетъ вдругъ шарить по всѣмъ карманамъ стараго своего платья, въ чаяніи, авось-либо обрѣтется гдѣ какой-нибудь забытый, завалящій двугривенникъ, хотя самъ въ то же время почти вполнѣ убѣжденъ, что двугривенника въ жилеткахъ нѣтъ и быть не можетъ,—такъ точно и Ардальонъ Полояровъ, ходючи по комнатѣ, присѣлъ къ столу и почти безотчетно сталъ рыться въ ящикахъ, перебирая старыя бумаги, словно бы онѣ могли вдругъ подать ему какой-нибудь дѣльный, практическій совѣтъ.

Принялся онъ за это занятіе разсѣянно, почти и самъ не опредѣляя и даже не зная цѣли, зачѣмъ и для чего это дѣлаетъ, и вотъ, перебирая машинально бумагу за бумагой, цѣлый ворохъ писемъ и записокъ, адресовъ, рецептовъ, гостиничныхъ и иныхъ счетовъ, начатыхъ и неоконченныхъ статей, выписокъ, замѣтокъ, наткнулся онъ вдругъ на одну свою старую и позабытую рукопись. Листы ея были залиты кофе и частію закапаны саломъ, но рукопись эта напомнила Ардальону то крутое время, когда откупщикъ Верхохлебовъ, послѣ самоличной ревизіи, прогналъ вдругъ его съ очень вкусной и питательной должности. Она напомнила ему время, когда онъ только-что сталъ мечтать о литературномъ поприщѣ и принимался уже кое-что пописывать. Эта рукопись была даже чуть ли не первой его попыткой. Фигурировалъ въ ней откупщикъ Верхохлебовъ—въ тѣ дни либералъ и патріотъ сольгородскій, какъ нынѣ все такой же либералъ и патріотъ славнобубенскій. Фигурировалъ онъ въ этой рукописи своей собственной персоной, купно съ сожительницей законной и незаконной, со чады и домочадцы, и со всѣми дѣлами и помышленіями своими, со всѣмъ домашнимъ обиходомъ, и явными, и тайными грѣхами и провинностями, по части откупныхъ и иныхъ не совсѣмъ-то свѣтлыхъ операцій, которыя сильно попахивали уголовщиной. Писалъ тогда Полояровъ эту рукопись подъ впечатлѣніемъ свѣжихъ ранъ, причиненныхъ ему лишеніемъ питательнаго мѣста, подъ наплывомъ яростной злости и личнаго раздраженія противъ либерала и патріота сольгородскаго, и слѣды сей злобы явно сказывались на всемъ произведеніи его, которое было преисполнено обличительнаго жара и блистало молніями благороднаго негодованія и пафосомъ гражданскихъ чувствъ, то-есть носило въ себѣ всѣ тѣ новыя новинки, которыя познала земля Русская съ 1857 года,—время, къ коему относилась и самая рукопись. Но такъ какъ въ тѣ поры Ардальонъ Полояровъ былъ еще писатель юный и начинающій, а извѣстно, что юнымъ и начинающимъ писателямъ весьма свойствененъ бываетъ пересолъ увлеченія, то поэтому и онъ черезчуръ пересолилъ въ своемъ произведеніи всѣ благородныя и гражданскія чувства. Но въ то время все это казалось ему безусловно прекраснымъ и возвышеннымъ. Онъ гордился

Digitized by Google

своимъ произведеніемъ и, желая полною неожиданностью поразить сердце Верхохлебова, переписалъ начисто и втихомолку отправилъ свое созданіе въ одну изъ редакцій. Долго ждалъ онъ послѣ этого появленія его въ печати и даже писалъ письма въ редакцію, но неизвѣстно почему редакція не воспользовалась созданіемъ Ардальона Полоярова, которое такъ и погибло въ ея непригодномъ хламѣ. Слѣдующее произведеніе Ардальона, не касавшееся патріота съ его сожительницами и домашнимъ обиходомъ, было счастливѣе перваго; а затѣмъ вскорѣ получилъ онъ мѣсто станового пристава и, среди новыхъ впечатлѣній и занятій, позабылъ про свою рукопись. Такъ она съ тѣхъ поръ и лежала чернякомъ въ его столѣ, изрѣдка попадаясь случайно на глаза, при переборкѣ бумагъ, но уже не возбуждая собою никакихъ особыхъ соображеній. Впослѣдствіи даже самъ авторъ созналъ въ своемъ дѣтищѣ нѣкоторые недостатки, и это сознаніе не мало способствовало полному забвенію, тѣмъ болѣе, что и самыя раны, нанесенныя автору патріотомъ, отъ времени успѣли затянуться.

И вотъ теперь, въ критическую минуту жизни, сидитъ Ардальонъ надъ своею рукописью и въ разсѣянной задумчивости перебираетъ поблеклые листы ея, прочитывая коекакія мѣста и переносясь мыслію въ прошедшее.

Вдругъ его словно бы что-то кольнуло.

Быстро восклонясь отъ стола, онъ приложилъ палецъ къ губамъ и серьезно задумался.

Затѣмъ на лицѣ его отразилось нѣкоторое колебаніе, мелькнула тѣнь сомнѣнія; затѣмъ скользнулъ яркій лучъ надежды и наконецъ все оно самодовольно оживилось лучезарною и радостною улыбкою.

— Эврика!.. эврика, по-гречески значитъ: нашелъ!—воскликнулъ онъ, цѣликомъ повторяя знаменитую фразу Михайлы Васильевича Кречинскаго.

Черезъ полчаса послѣ этого, Ардальонъ уже сидѣлъ за перепискою рукописи, въ то же время значительно исправляя, сокращая и уснащая ее перцемъ и солью.

XXX.

Игра въ половинки.

Чрезъ день вся эта работа была уже готова. Полояровъ отправился къ Верхохлебову и приказалъ доложить о себѣ по весьма важному «для самого барина» и безотлагательно-нужному дѣлу.

Либералъ и патріотъ поморщился при имени Ардальона Полоярова, однако же, имѣя въ соображеніи какую-то невѣдомую важность и безотлагательность, приказалъ впустить его.

Ардальонъ по мягкому ковру вступилъ въ кабинетъ патріота, причемъ сопровождавшій лакей не безъ презрительной злобы покосился на его смазныя сапожища.

Славнобубенскій откупщикъ жилъ на широкую ногу. Кабинетъ его, какъ и весь домъ, носилъ яркую печать аляповатой, но спѣсивой роскоши. Тутъ все блистало бархатомъ и позолотой: точеный орѣхъ и рѣзной дубъ, ковры и бронза, и серебро въ шкафахъ за стекломъ, словно бы на выставкѣ, и призовые ковши и кубки (онъ былъ страстный любитель рысистыхъ лошадей), дорогое и рѣдкое оружіе, хотя самъ онъ никогда не употреблялъ его и даже не умѣлъ имъ владѣть, но держалъ затѣмъ единственно, что «пущай, молъ, будетъ: потому зачѣмъ ему не быть, коли это мы можемъ, и пущай всякъ видитъ и знаетъ, что мы все можемъ, хоша собственно намъ на все наплевать!» По стѣнамъ, въ роскошныхъ золоченыхъ рамахъ, висѣли разныя картины весьма сомнительнаго достоинства, но тѣмъ не менѣе на досчечкахъ при нихъ красовались имена Кукука, Калама, Верне, Деларошa и прочихъ. Всѣ эти произведенія искусства сбылъ ему въ Петербургѣ, за очень выгодный кушъ, нѣкій аферистъ, и Верхохлебовъ необыкновенно былъ доволенъ покупкой, «по крайности, стѣны не будутъ голыя и все же дому украшеніе». И въ залѣ, и въ гостиной, и въ кабинетѣ, — словомъ, повсюду, гдѣ только могъ, либералъ и патріотъ поразвѣшивалъ масляныя и фотографическія изображенія собственной персоны, и не иначе какъ во всѣхъ своихъ медаляхъ и регаліяхъ «за пожертвованія». Особенно въ этомъ отношеніи отличались залъ и кабинетъ, гдѣ висѣли портреты его во весь ростъ «въ самой государственной позитурѣ», какъ говорилъ онъ. Слабость къ регаліямъ доходила въ немъ до того, что онъ даже сдѣлалъ какое-то пожертвованіе самому шаху персидскому, за что и получилъ большую звѣзду Льва и Солнца, которую неукоснительно возлагалъ на себя во всѣхъ важныхъ и экстренныхъ случаяхъ жизни.

— Что скажете-съ? — въ пол-оборота и почти черезъ плечо обратился онъ къ Полоярову, встрѣтя легкимъ кивкомъ его поклонъ.

— Скажу очень многое! — съ многозначительной усмѣшкой отвѣтилъ гость, ни мало не измѣняя своему обычному, такъ сказать, Полояровскому достоинству. — У васъ есть на часъ свободнаго времени?

— Это смотря какъ: иное дѣло и на два и на три есть, а иное — и на пол-секунды нѣту.

— Ну, для моего, я надѣюсь, найдется! — съ полною увѣренностью замѣтилъ Ардальонъ.—Дѣло, говорю вамъ, очень важное, и вы будете мнѣ даже весьма благодарны за то, что я не пошелъ съ нимъ помимо васъ.

— Да въ чемъ дѣло-то? Вы мнѣ толкуйте

Digitized by Google

прямо, а не съ походцемъ, — сказалъ Верхохлебовъ, показывая знаки нетерпѣнія.

— Своевременно узнаете,—спокойно возразилъ Полояровъ.—Намъ нужно будетъ поговорить ладкомъ, по-божьи, чтобы толкомъ кончить. Прикажите-ка никого не принимать, пока я здѣсь.

— Да зачѣмъ-же это?—съ неудовольствіемъ замялся откупщикъ.

— А за тѣмъ, что присутствіе лишняго человѣка будетъ для васъ самихъ обременительно—вотъ увидите!

Верхохлебовъ позвонилъ и отдалъ требуемое распоряженіе.

— Вотъ это такъ! Это хорошо! одобрилъ нецеремонный гость.—Теперь ужь не взыщите—я присяду, и вамъ посовѣтую сдѣлать тоже, потому, знаете, стоя-то неловко.

И усѣвшись въ малиновое бархатное кресло, онъ вынулъ изъ бокового кармана рукопись.

— Что это? Никакъ статья какая?—прищурился Верхохлебовъ.—У меня, сударь мой, времени нѣтъ. Это ужь оставьте!

— Но Полояровъ, разъ уже добившись такого свиданья, рѣшительно не желалъ и не могъ даже оставить дѣло и уйти изъ этого кабинета безъ какого-либо положительнаго результата.

— Эй, Калистратъ Стратилактовичъ, смотрите, чтобъ не пришлось потомъ горько покаяться,—предостерегъ онъ весьма полновѣсно и внушительно;—знаете пословицу: и близокъ локоть, да не укусишь; такъ кусайте-ка пока еще можно! Говорю, сами благодарить будете! Вы вѣдь еще по прежнимъ отношеніямъ знаете, что я малый не дуракъ и при томъ человѣкъ предпріимчивый, а нынче вотъ не безъ успѣха литературой занимаюсь. Полноте! что артачиться! А вы лучше присядьте, да выслушайте: это недолго будетъ.

— Проектецъ, что ли, какой?—недовѣрчиво спросилъ Калистратъ Стратилактовичъ!

— Н-да, пожалуй, въ нѣкоторомъ родѣ, есть и проектецъ. Вотъ погляжу, какъ вы найдете... одобрите ли его. Прошу прослушать!

И комфортно разсѣвшись въ глубокомъ креслѣ да заложивъ ногу на ногу, Ардальонъ Михайловичъ, не безъ внутренняго удовольствія, принялся за чтеніе, и читалъ, что называется, съ чувствомъ, съ толкомъ, съ разстановкой, наблюдая, время отъ времени, изъ подъ своихъ очковъ, какое дѣйствіе производитъ его статья на Калистрата Стратилактовича. Но въ началѣ не было замѣтно никакого дѣйствія. Верхохлебовъ даже пренебрежительно перебилъ его:

— Что это? Никакъ повѣстулка какая-то?... Это къ намъ не подходящее!

— Постойте, не торопитесь, — остановилъ Полояровъ.—Оно только въ началѣ такъ кажется; «но подождемъ конца!» сказалъ дуракъ какой-то. Вотъ и вы, батюшка, подождите: своевременно все выяснится, все-съ обнажится!

И чтеніе продолжалось. И по мѣрѣ того, какъ продолжалось оно, оказывалось и достодолжное воздѣйствіе его на либерала и патріота славнобубенскаго. Брови его супились, лицо хмурилось, губы подергивало нервическою гримаскою. Онъ то блѣднѣлъ, то наливался пунцовымъ пѣномъ и дышалъ тяжело, съ какимъ-то сопѣньемъ; на лбу проступали капли крупнаго поту, а въ глазахъ выраженіе злобы и негодованія смѣнялось порою выраженіемъ ужаса и боязни.

До этой минуты либералъ и патріотъ славнобубенскій ни разу еще въ жизни своей не испытывалъ на собственной шкурѣ канчуковъ и плетей той «благодѣтельной гласности», за которую онъ столь часто и столь горячо распинался.

Полояровъ очень хорошо подмѣчалъ все, что съ нимъ дѣялось, и это обстоятельство придавало ему еще болѣе прыти. Онъ, не смущаясь ни мало, читалъ еще съ бо̀льшимъ чувствомъ, толкомъ и разстановкой.

Опубликованіе подобной статьи, во всякомъ случаѣ, было въ высшей степени неблагопріятно, невыгодно для Калистрата Стратилактовича. Она, изъ тьмы винныхъ подваловъ и изъ-подъ спуда собственной его совѣсти, выводила на свѣтъ Божій множество такихъ дѣлишекъ, которыя либералъ и патріотъ считалъ безвозвратно канувшими въ пучину забвенія. А тутъ вдругъ, нежданно-негаданно, всплываютъ они на показъ почтеннѣйшей и благосклонной публикѣ, во всей своей неприкосновенности, во всемъ блистаніи своей подпольной красоты. Особенно не кстати было все это именно въ настоящее время, когда патріотъ только-что сдѣлалъ новое «пожертвованіе» и, чрезъ ходатайство фонъ-Саксена и иныхъ сильныхъ людей въ Петербургѣ, ожидалъ полученія святыя Анны на шею.

Святая Анна! Боже мой!.. Онъ такъ давно и такъ сердечно мечталъ о ней, такъ томился, ждалъ и надѣялся, совершенно основательно полагая ее гораздо выше Льва и Солнца, «хоша Левъ будетъ и не въ примѣръ показистѣе»,— онъ ужь даже призвалъ къ себѣ живописца и заранѣе заказалъ ему перемалевать на портретахъ свои регаліи, чтобы выше всѣхъ прочихъ начертить сердечно-пріятную Анну, и теперь, когда Анна готова уже украсить собою его шею— вдругъ, словно съ неба, свалился—на-ко тебѣ!— эдакой позорный скандалище! «И хоть бы имято какъ-нибудь замаскировалъ, злодѣй, а то такъ-таки и катаетъ прозрачнымъ псевдонимомъ: вмѣсто Верхохлебова, да вдругъ Низкохлебовъ — ну, кто-жь не узнаетъ? И для кого еще останется хотя малѣйшее сомнѣніе? Но главное тутъ — Анна, святая Анна, которая

Digitized by Google

столь привлекательно улыбается ему въ недалекой перспективѣ, а послѣ этой мерзости— того и гляди — придется на вѣки сказать ей нѣжное прости! И весь капиталъ, значитъ, пошелъ ни къ чорту! Верхохлебовъ уразумѣлъ теперь ясно, что по всѣмъ вѣроятіямъ придется ему теперь дѣлать новое «пожертвованіе», только ужь не въ пользу казны, – и въ тайникѣ сердца своего рѣшилъ, что сдѣлать его необходимо.

«Десяти тысящъ не пожалѣю, думалъ онъ,— а ужь этой пакости не допущу!.. Потому имя марается... Лишь бы болѣе не запросилъ, каналья... Въ случаѣ надобности, можно и поторговаться. А какъ упрется?.. Вотъ она штукато!.. Коли упрется, пожалуй, что и уступишь... Эка напасть, помилуй Господи!..»

Полояровъ кончилъ.

Патріотъ отдувался, слозно кузнецкіе мѣхи и вытиралъ платкомъ обильный потъ со своей пунцовой физіономіи.

— Какъ вы находите это, почтеннѣйшій Калистратъ Стратилактовичъ?—не безъ гордой ироніи отнесся къ нему Ардаліонъ Михайловичъ.

— То-есть! что же-съ?—пробормоталъ тотъ невнятно; — пашквиль какой-то... Значитъ, пашквилями заниматься изволите... Что-жь, это похвально!

— Да не въ томъ сила-съ!—Каждый занимается чѣмъ можетъ: кто отъ откупозъ наживается, плоть и кровь народную высасываетъ, а кто литературнымъ трудомъ добываетъ; дѣло это, значитъ, отъ талантовъ и отъ способностей. А вы скажите-ка мнѣ лучше, узнаете ли вы кого-нибудь въ господинѣ Низкохлебовѣ?

— Почемъ же мнѣ знать-съ!.. Что вы тамъ напишете, — я знать этого не могу... Откуда-жь мнѣ!..

— Э, полноте, батюшка! Чего тутъ политику-то эту!.. Давайте лучше дѣло на чистоту: эта рукопись приготовлена мною для печати и отсылается завтра же въ Питеръ, въ самыхъ вѣрныхъ и надежныхъ рукахъ. Вы знаете, что вѣдь меня всѣ журналы печатаютъ, а за эту штуку обѣими руками ухватятся! Одна «*Искра*-то» чего стоитъ, а ужь о другихъ нечего и говорить!.. Впрочемъ я въ «*Искру*» дамъ одно только извлеченьеце, а всю эту штуку помѣщу въ «*Современникъ*». Скажите же откровенно: угодно вамъ, чтобы это все было цѣликомъ, какъ есть, пропечатано?

— Да мнѣ-то что же-съ!.. Конечно... я-то, собственно, не желалъ бы. Потому что жь это... марать отечественную литературу такими пашквилями. Дѣло зазорное-съ!

Полояровъ нагло расхохотался.

— Да полноте вамъ, почтеннѣйшій, вилять-то!.. Вѣдь мы отлично понимаемъ другъ друга!—Не бойтесь, одинъ другого не проведетъ! Скажите на прямикъ: я, молъ, не желаю, чтобы это было напечатано! Тогда у насъ и разговоръ пойдетъ настоящій, значитъ, по-божьи!..

— Да вѣдь за это можно и къ суду потянуть... Это вѣдь дѣло персональное-съ, — погрозился патріотъ.

— Ге-ге! Куда хватили! — ухмыльнулся обличитель.—А позвольте спросить, за что же вы это къ суду потянете? Что же вы на судѣ говорить-то станете? — что вотъ, меня, молъ, господинъ Полояровъ изобразилъ въ своемъ сочиненіи? Это, что ли?—А судъ васъ спроситъ: стало быть, вы признали самого себя? Ну, съ чѣмъ васъ и поздравляю! Вѣдь нынче, батюшка, не тѣ времена-съ; нынче гласность! газеты!—въ темную, значитъ, нельзя сыграть! Почему вы тутъ признаете себя? Развѣ Низкохлебовъ то же самое, что Верхохлебовъ.

— Не то же, да похоже,—возразилъ сбитый съ пункта Калистратъ Стратилактовичъ.

— Похоже да не съ рожи, хоша къ дѣлу и гоже—знаете, какъ говорится это, по-простому!—подхватилъ Ардальонъ.

— Но я... я могу сказать, какъ дѣло было-съ, какъ вы у меня въ кабинетѣ все это читали, какъ торговались...

— Можете!—согласился Полояровъ.—А гдѣ, позвольте узнать,—гдѣ у васъ на все на это свидѣтели найдутся? Дѣло-то вѣдь у насъ съ глазу на глазъ идетъ, а я — мало ль зачѣмъ могъ приходить къ вамъ! Кто видѣлъ? Кто слышалъ? Нѣтъ-съ, почтеннѣйшій, ни хера вы на этомъ не возьмете! И мы вѣдь тоже не лыкомъ шиты! А вы лучше, совѣтую вамъ, эдакъ душевно, по-божьи! Ну-съ, такъ что же-съ?— вопросительно прибавилъ онъ въ заключеніе,— говорите просто: желаете, аль нѣтъ?

— Не желаю, — тихо и какъ бы стыдливо сказалъ, наконецъ, Верхохлебовъ, упорно глядя на коверъ сильно потупленными глазами. Въэту минуту у него просто духъ захватило, «а ну, какъ хватитъ, каналья, сейчасъ такую цифрищу, отъ которой семь круговъ огненныхъ въ глазахъ заколесятся?!»

— Не желаете? — прищурился Ардальонъ. Ну, такъ покупайте за тысячу рублей!

Верхохлебовъ чуть съ мѣста не вскочилъ, чуть въ глаза не расхохотался своему мучителю, чуть дуракомъ его не назвалъ. Но ярославская смѣтка молніей озарила его голову. Онъ тотчасъ же быстро сообразилъ положеніе противника, сравнительно со своимъ собственнымъ, и солидно сдержалъ себя отъ всякихъ сильныхъ и неумѣстныхъ проявленій своихъ чувствъ и мыслей.

«Эге! подумалъ онъ. Малый-то, какъ видно, голякъ, щелкоперъ... Ну, другъ любезный, для тебя и тысящи, значитъ, ужь больно много... Не къ рылу тебѣ деньги такія... Не умѣешь ты ими пользоваться!»

— Хе, хе, хе!—тихо засмѣялся онъ въ бороду, съ чисто великорусскимъ шильническимъ

Digitized by Google

лукавствомъ истаго кулака. Тысящу!.. За что же-съ тутъ тысящу?.. Какъ это вы легко такія крупныя суммы валяете!.. У меня вѣдь не самодѣльныя, чтобы на вѣтеръ, зря, по тысящѣ кидать!.. А вы не заламывайте—вы по душѣ скажите!

— Н-н... нѣтъ, менѣе тысячи нельзя,—запнувшись, сказалъ Полояровъ, и въ голосѣ его явно дрогнуло внутреннее сомнѣніе.

— Чего тутъ нельзя!.. Вамъ нельзя взять, а мнѣ нельзя дать—у каждаго, значитъ, свои расчеты. А вы возьмите половинку? пятьсотъ? ась? Пятьсотъ рубликовъ? Что вы на это скажете?

— Н-нѣтъ, пятьсотъ слишкомъ мало... Пятисотъ невозможно!..

— Эхъ, любезнѣйшій! Ну, что вы мнѣ говорите! Вѣдь напечатать-то, такъ вамъ за нее сущую пустяковину дадутъ! Знаемъ мы тоже, что вашему брату платятъ-то! Ну, что-жь это такое?—говорилъ Верхохлебовъ, взявъ рукопись и перелистывая ее да прикидывая на вѣсъ по рукѣ.—Такъ-себѣ, жиденькая тетрадочка... Ну, сколько тутъ листиковъ-то этихъ? Сущая бездѣлица! Поди-ка, и всей-то бумаги на четверть фунта не будетъ, а вы вдругъ — тысящу! Берите-ка лучше по чести пятьсотъ! Деньги хорошія! Вѣдь экіе куши на панели не валяются... берите, что-ль, а то я неравно разсержусь!

— Нѣтъ, пятьсотъ мало... Ей-Богу нельзя, никакъ нельзя мнѣ! — полусдавался колеблющійся обличитель.

— Ну, такъ печатайте! Мнѣ все равно!.. Мнѣ это ровно что наплевать, коли вы чести не понимаете! — рѣшительно махнулъ рукой Верхохлебовъ.—Прощайте! Извольте уходить отсюда!.. Извольте!.. Мнѣ некогда тутъ съ вами!.. Поважнѣе вашего дѣла есть. Ступайте, любезнѣйшій, ступайте!

И онъ его выпроводилъ за двери.

«Что же, коли напечатать ее?» грустно раздумывалъ Полояровъ, очутясь уже внѣ кабинета, «вѣдь тутъ не болѣе какъ два съ половиной листа печатныхъ, а дадутъ за нихъ... ну, много-много, коли по пятидесяти съ листа... И то ужь красная плата! Значитъ, за все сто двадцать пять, а гляди, и того меньше будетъ... Что-жь, пятьсотъ рублей цѣна хорошая, вѣдь это выходитъ по двѣсти съ листа. Да такой благодати во вѣкъ не дождешься! Ну его къ чорту, помирюсь и на этомъ!»

И онъ направился обратно къ кабинету.

А въ это самое время Верхохлебова одолѣвали мысли и сомнѣнія другого рода.

«А ну, какъ напечатаетъ!» волновался онъ въ нерѣшимости. «Вѣдь скандалъ-то какой! Скандалище!.. А тутъ Анна... а тутъ срамъ, позоръ... да и слѣдствіе, пожалуй!.. Вернуть его нешто? Ужь куда ни шла тысяща! Дамъ ему!»

И онъ тоже направился вдогонку за Полояровымъ.

Столкнулись они въ самыхъ дверяхъ.

— А, вы еще здѣсь!.. Чего вамъ?—окинулъ его паріотъ притворно-удивленнымъ взглядомъ, сразу смекнувъ, что фонды его не совсѣмъ еще плохи.

— Я, Калистратъ Стратилактовичъ, согласенъ,—угрюмо проговорилъ обличитель.

— То-есть насчетъ чего-съ это?—прищурился тотъ съ обычнымъ шильничествомъ.

— Да насчетъ пятисотъ... Ужь такъ и быть! Для васъ только!

— Ахъ, насчетъ пятисотъ!.. Да-съ; ну, такъ что же?

— Вотъ вамъ рукопись, и позвольте деньги.

— Да-съ... Рукопись? Очень хорошо-съ. Такъ вы теперь согласны?.. Такъ-съ, такъ-съ... Да я-то вотъ, видите-ли, не согласенъ уже: я раздумалъ.

— Какъ же это такъ, право! почти жалобно простоналъ Полояровъ.

— А такъ, что надо было не привередничать, а сразу брать тогда, когда давалъ. Вотъ оно что-съ, любезнѣйшій!

— Да нѣтъ, это вы шутите!.. Давайте пятьсотъ и покончимъ!

— Нѣтъ-съ, сударь мой, теперича ужь я вамъ не дамъ пятисотъ, а не угодно ли помириться на половинкѣ? игриво предложилъ Верхохлебовъ.

«Да что жь это, дневной грабежъ, просто!» въ отчаяніи помыслилъ Ардальонъ, почувствовавъ себя, въ нѣкоторомъ родѣ, къ стѣнѣ припертымъ.

— Нѣтъ, перестаньте, Калистратъ Стратилактовичъ!—уговаривалъ онъ уже чуть не просительнымъ тономъ.—Ей-Богу, клянусь вамъ, меньше пятисотъ никакъ невозможно!

— Нѣ, нѣ! Полно, любезнѣйшій, полно! Что баловать-то! — отрицательно замахалъ откупщикъ.—Бери двѣсти пятьдесятъ, а то черезъ минуту и половины-то не дамъ!

Ардальонъ живо смекнулъ, что половина двухсотъ пятидесяти будетъ какъ разъ сто двадцать пять, то есть maximum журнальной платы.

— Ну, нечего дѣлать! Получайте рукопись!— съ глубоко скорбнымъ и досадливымъ вздохомъ сказалъ онъ.—Только не думалъ же я, Калистратъ Стратилактовичъ, чтобы вы были такой... Эхъ, право!

— Ну, а ты напредки думай! Это, значитъ, наука!

— Да ужь что съ вами!.. Вотъ вамъ тетрадка, давайте деньги.

Верхохлебовъ принялъ съ рукъ на руки Полояровскій пасквиль и внимательно поглядѣлъ на рукопись.

— Да вѣдь это бѣлякъ?—спросилъ онъ.

— Бѣлякъ, Калистратъ Стратилактовичъ.

Digitized by Google

— Ну, то-то, я вижу что бѣлякъ. А вы мнѣ, батюшка, чернячокъ пожалуйте, а безъ того нельзя. Мнѣ и чернячокъ тоже нуженъ. Доставьте прежде чернячокъ, тогда и деньги получите.

— Да на что же вамъ чернякъ-то? Не все ли равно это?

— Нѣтъ, ужь все-таки для спокойствія... Такъ-то поблагонадежнѣе будетъ.

Полоярова покоробило. Онъ понялъ, что этого гуся никакъ не проведешь.

— Хорошо-съ, я вамъ доставлю завтра утромъ,—попытался вильнуть онъ въ-послѣднее.

— Э, нѣтъ, милѣйшій, завтра ужь будетъ поздно! — отрицательно развелъ руками патріотъ.—А вы мнѣ его сейчасъ же доставьте, не медля ни секундочки, тогда и деньги съ рукъ на руки.

Ардальонъ согласился и на извозчикѣ полетѣлъ домой за черновою рукописью. Его душила злость и досада, но въ тщетномъ безсиліи злобы онъ только награждалъ себя названіями осла и дурака, а Верхохлебову посылалъ эпитеты подлеца и мерзавца. «Двѣсти пятьдесятъ рублей—шутка сказать!—такъ-таки ни за што изъ-подъ носа вотъ прахомъ развѣялись!... Экой мерзавецъ! Чуть три половины не отнялъ! Три половины! Тьфу, подлецъ какой!»

Черезъ четверть часа онъ опять уже стоялъ въ откупщичьемъ кабинетѣ.

— Ну что, милѣйшій, привезли?

— Привезъ, Калистратъ Стратилактовичъ! Извольте получить.

Верхохлебовъ взялъ чернякъ и тщательно провѣрилъ его съ бѣловою.

— Да ужь не безпокойтесь, вѣрно! Не надую, повѣрьте слову!—убѣждалъ его Ардальонъ Михайловичъ.— Вы мнѣ деньги-то поскорѣе давайте!

— Позвольте, батюшка!!.. Деньги!.. Такъ дѣла не дѣлаются. Своевременно и деньги получите; не задержу-съ, не бойтесь! А вы сперва вотъ что,—солидно предложилъ онъ съ видомъ вполнѣ довольнаго, резоннаго человѣка.—Извольте-ка мнѣ прежде выдать такую подписку, что вы обязуетесь ни на меня, ни на мое семейство никакихъ болѣе пашквилей не писать во всю вашу жизнь, и что все написанное вами въ переданныхъ нынѣ статьяхъ есть ложь и пашквиль, одна только ваша чистая выдумка, отъ которой вы, по совѣсти, отказываетесь и нигдѣ болѣе ни письменно, ни устно повторять этой лжи не станете. Вотъ, какъ вы мнѣ дадите такую подписку, я вамъ и деньги вручу-съ. Понимаете?

Полояровъ увидѣлъ, что тутъ, какъ ни вертись, а ровно ничего не подѣлаешь, и потому присѣлъ къ столу и подъ диктовку Верхохлебова настрочилъ требуемую подписку.

Калистратъ Стратилактовичъ внимательно перечелъ ее, аккуратно сложилъ пополамъ и, вмѣстѣ съ двумя рукописями, заперъ въ свой массивный несгараемый шкафъ, ключъ отъ котораго неизмѣнно носилъ въ карманѣ. Оттуда же, изъ одной полновѣсной пачки (Ардальонъ очень хорошо замѣтилъ эту полновѣсность быстрымъ и горящимъ взоромъ) отсчиталъ онъ двѣ новенькія радужныя бумажки да одну сѣрую, и съ полупоклономъ подалъ ихъ Полоярову.

— Таперича, значитъ, дѣло между нами чисто,—сказалъ онъ съ облегченно-сіяющей физіономіей.

— Послушайте, Калистратъ Стратилактовичъ, — въ минорномъ тонѣ заговорилъ Ардальонъ, кисло и жалостно пожимаясь,—вѣдь вы у меня, ей-Богу, за безцѣнокъ пріобрѣли, сами понимаете!... Вѣдь только одна крайность моя... Вы бы что нибудь прибавили... право! Ей-Богу, не грѣхъ бы вамъ! Вѣдь не разоритесь!

— Ну, ну! не скрипи, не скрипи! Ужь такъ и быть, куда ни шло, одну красненькую накину!—пренебрежительно утѣшилъ его патріотъ, выбрасывая на столъ десятирублевую ассигнацію.

И вдругъ захотѣлось ему, жестоко захотѣлось, до какого-то дьявольскаго зуда во всей волѣ и во всемъ помышленіи, во всемъ сердцѣ своемъ, безпощадно поддразнить Ардальона Полоярова.

Онъ выждалъ, пока тотъ положилъ деньги въ карманъ и сталъ откланиваться.

— Постой-ка, милый, постой малость самую!— остановилъ онъ его.— Слово тебѣ хочу сказать еще одно.

И самодовольно растопыривъ ноги и фертомъ заложа въ карманы панталонъ мясистыя руки свои, съ серьезнымъ лицомъ, но нагло издѣвающимися глазами сталъ онъ глядѣть въ Полояровскую физіономію.

— Что вамъ угодно?—угрюмо повернулся обличитель.

— А мнѣ угодно сказать тебѣ, что ты дура! Какъ есть дура-баба несуразая! Вѣдь поймешь голова, что я тебѣ за этотъ самый твой пашквиль не то что тысящу а десяти, пятнадцати тысящъ не пожалѣлъ бы!... Да чего тутъ пятнадцать! И всѣ бы двадцать пять отдалъ! И за тѣмъ не постоялъ бы, кабы дѣло въ-крутую пошло! Вотъ лопни глаза мои, чтобъ и съ мѣста съ этого не сойти, когда лгу.... А потому что какъ есть ты дура, не умѣлъ пользоваться, такъ будетъ съ тебя и двухъ съ половиною сотенекъ. Вотъ ты и упустилъ всю фартуну свою! Упусти-илъ!

И онъ весело и самодовольно расхохотался прямо ему въ лицо своимъ широкимъ, размашистымъ и неудержимымъ смѣхомъ. Полояровъ поблѣднѣлъ и даже зашатался отъ этого нежданнаго удара. Лицо его перекосила злостная судорога.

— У меня... все-жь-таки остались факты!— проговорилъ онъ съ трудомъ и чуть не задыхаясь.

Digitized by Google

— Факты!—шильнически прищурился Верхохлебовъ.—Нѣтъ, братъ, врешь! Вонъ они гдѣ, факты-то, у меня въ шкапчикѣ!... И только, значитъ! пикни ты мнѣ, такъ ничего не пожалѣю, а ужь засужу! За бугры спроважу!.. И всю подписку твою цѣликомъ пропечатаю! Ну, да теперь уже кончено! Что съ возу упало, то пропало!— благодушно-плутовски махнулъ онъ рукою. — Пошелъ, пошелъ отсюда! Проваливай, сударь! Не досугъ мнѣ съ тобою!.. Ишь, сапожищами-то по ковру наслѣдилъ какъ! У меня, братъ, ковры дорогіе, одинъ, поди чай, стоитъ дороже тебя самого и со всѣми-то потрохами твоими. Ну, убирайся же, съ Богомъ, убирайся! Христосъ съ тобою!

И онъ, безъ церемоніи, деликатными, легонькими толчками выпроводилъ его изъ комнаты.

XXXI.

Прощаюсь, ангелъ мой, съ тобою.

Какъ представить всю великую степень досады и злобы, которыми воспылалъ Ардальонъ Полояровъ, по выходѣ отъ Верхохлебова. Онъ, дѣйствительно, почувствовалъ, что лишился всей фортуны своей и кромѣ того еще дозволилъ насмѣяться и надругаться надъ собою «какому-нибудь» Калистрату Верхохлебову, тогда какъ часъ тому назадъ онъ изъ этого самаго Калистрата веревки могъ вить, и Калистратъ не пикнулъ бы. Хуже всего то, что самъ Ардальонъ чувствовалъ и сознавалъ, какъ разыгралъ онъ жалкаго дурака и упустилъ изъ рукъ своихъ львиную силу. «Какъ Исавъ... какъ Исавъ, за чечевичную похлебку!» думалъ онъ; «да и тотъ-то поступилъ умнѣе, потому продалъ какое-то тамъ фиктивное первенство, а я капиталъ... капиталъ!.. двадцать пять тысячъ серебромъ продалъ за двѣсти пятьдесятъ рублишекъ!» И на глаза его чуть слезы не проступали отъ боли всей злобы его.

Послѣ такого пассажа и тѣмъ паче невозможно было оставаться въ Славнобубенскѣ; Ардальону казалось (впрочемъ совершенно неосновательно), будто здѣсь каждая собака, каждый камень на улицѣ будетъ знать, какого дурака разыгралъ онъ и какъ надругался надъ нимъ— шутка сказать, надъ нимъ, надъ Ардальономъ Полояровымъ!—какой-нибудь кабатчикъ... Самолюбіе вопіяло. Надо было удирать поскорѣе. Онъ поѣхалъ на пристани узнать, когда отходятъ вверхъ пароходы. Оказалось, что *Самолетскій* пойдетъ завтра въ двѣнадцать часовъ дня,— «стало-быть, съ нимъ и поѣдемъ».

Вернувшись домой, Ардальонъ наказалъ хозяйкѣ, что кто бы его ни спрашивалъ, а особенно Затцъ и Лубянская, говорить всѣмъ «дома нѣтъ и когда будетъ—неизвѣстно и комната моя заперта, и ключъ унесъ съ собою». Послѣ таковой мѣры предосторожности, онъ спѣшно упаковался, уложилъ въ чемоданъ всѣ свои пожитки да бумаги и принялся за письмо къ невѣстѣ.

«Лубянская! Васъ, конечно, удивитъ это посланіе, писалъ онъ, но удивляться тутъ въ сущности нечему. Я получилъ извѣщеніе, которое немедленно призываетъ меня къ дѣлу. Надѣюсь, вы поймете, что дѣло для насъ прежде всего. Я бы позволилъ каждому назвать себя презрѣннымъ эгоистомъ и подлецомъ, если бы ради моего личнаго комфорта и счастія, ради моихъ личныхъ выгодъ, рѣшился пожертвовать счастіемъ милліоновъ и дѣломъ, которое составляетъ высшія стремленія людей нашего закала. Мой разумъ, моя совѣсть наконецъ рѣшительно воспрещаютъ мнѣ думать исключительно о себѣ тамъ, гдѣ надо безкорыстно служить дѣлу. Думать и желать иначе было бы малодушно. Я люблю васъ и, сколь ни горестно это, вижу тѣмъ не менѣе, что намъ необходимо разстаться. На долго ли? Это покажетъ будущее. Если со-временемъ ваше чувство ко мнѣ не остынетъ, можете пріѣхать въ Петербургъ, гдѣ я, вѣроятно, и останусь. Тогда отъ насъ будетъ зависѣть продолжать ли наши отношенія или нѣтъ; тогда же, глядя по обстоятельствамъ, быть можетъ, успѣемъ и сочетаться законнымъ бракомъ. Если же вамъ понравится кто-либо другой, можете спокойно назвать его своимъ супругомъ и быть увѣренною, что я ни на минуту не позволю себѣ стѣснять какими бы ни было обязательствами вашу судьбу. Во всякомъ случаѣ, надѣюсь, мы разстаемся друзьями. Пожелайте мнѣ успѣха въ нашихъ честныхъ начинаніяхъ, въ нашемъ общемъ великомъ дѣлѣ. Если всѣ сѣмена, брошенныя мною на вашу почву, не пропали безслѣдно, то я съ полнымъ моимъ уваженіемъ буду считать васъ женщиной дѣла, а какъ женщина дѣла, вы не имѣете даже права выставлять на первый планъ ваши личныя, эгоистическія желанія и чувства, и охотно покоритесь необходимости. Постарайтесь легко перенести нашу разлуку, быть-можетъ, только временную. Со-временемъ, если обстоятельства позволятъ, повторяю вамъ, вы можете пріѣхать. Васъ ожидаетъ тогда новая жизнь съ неизмѣнно преданнымъ вамъ

«Ардальономъ Полояровымъ».

«P. S. Нарочно уѣзжаю экспромтомъ и даже не прощаясь съ вами, чтобы избѣжать лишнихъ слезъ и печалей. Дальніе проводы—лишнія слезы, знаете пословицу, а я слезъ, вообще, терпѣть не могу, какъ вамъ уже хорошо извѣстно. Вѣрьте одному, что мнѣ очень тяжело разставаться съ вами. Кланяйтесь отъ меня всѣмъ добрымъ пріятелямъ».

Заклеивъ пакетъ и надписавъ адресъ, Ардальонъ отдалъ письмо хозяйкѣ съ точнымъ приказаніемъ отнести его къ Лубянской завтрашній день, въ три часа пополудни.

Въ двѣнадцатомъ часу онъ уже былъ на па-

Digitized by Google

лубѣ и все старался держаться болѣе за трубою, по ту сторону борта, которая обращена къ Волгѣ. Ему не хотѣлось, чтобы кто-либо изъ знакомыхъ могъ замѣтить его: онъ думалъ избѣжать обыкновенныхъ въ этихъ случаяхъ разспросовъ.

Но вотъ уже раздался послѣдній колоколъ, капитанъ съ бѣлаго мостика самолично подалъ третій пронзительный свистокъ; матросы засуетились около трапа и втащили его на палубу; шипѣвшій доселѣ пароходъ впервые тяжело вздохнулъ, богатырски ухнулъ всей утробой своей, выбросивъ изъ трубы клубы чернаго дыма, и медленно сталъ отваливать отъ пристани. Вода забулькала и замутилась подъ колесами. Раздались оживленнѣе чѣмъ прежде сотни голосовъ и отрывочныхъ возгласовъ, которые перекрещивались между пристанью и пароходнымъ бортомъ.

— Прощайте!.. Прощайте!

— Возвращайся скорѣй.

— Adieu-u!

— Adieu, ma chere!..

— Ы! чортъ, лѣшій! Право, чортъ!

— До свиданья, Валентинъ Захарычъ.

— N'oubliez pas!..

— Эхъ! Опоздалъ! Савоха, вѣдь говорилъ тѣ, дьяволу...

— Батюшки!.. батюшки!.. Я еще не сѣла! Подождите! Не отчаливайте!

— Кланяйтесь ея превосходительству!

— Хорошо, хорошо!

— Въ Тетюшахъ не забудь, голова, забросить...

— Auf widersehen, mein liebster! auf wiedersehen!

— Не плачь, бабонька! Ничаво!

— Ей!.. косушку!.. косушку-то!...

— Есть!

— Шерочка! dites à la princesse, quand elle reviendra...

— Маничку поцѣлуйте!..

И т. д. и т. д.

Головы кивали, нѣкоторыя руки крестились, бѣлые платки кое-гдѣ мелькали въ воздухѣ; рядомъ съ ними крутились шапки въ поднятыхъ рукахъ. Иныя лица глупо улыбались, иныя кисло слезливились и куксились. Полояровъ вздохнулъ совсѣмъ свободно и вышелъ изъ-за трубы.

— Ардальонъ Михайлычъ! Ардальонъ Михайлычъ!—раздались отчаянные голоса съ пристани.

Онъ съ неудовольствіемъ метнулъ взоръ въ ту сторону. Тамъ, протискавшись къ самому борту, стояли, вопили и махали ему руками запыхавшійся Анцыфровъ и удивленная Лидинька Затцъ.

Ардальонъ приподнялъ войлочную шляпу.

— Мы сейчасъ только-что отъ васъ,—кричала Лидинька.—Что это значитъ?.. Такъ внезапно!.. Куда это?

— Къ чорту на кулички!—ухмыльнулся Полояровъ и сдѣлалъ ей ручку.

— И даже не простившись!.. Хорошъ, батюшка!

— Чего тамъ «непростившись»! Ну, прощайте!.. Прощаюсь, ангелъ мой, съ тобою!—продекламировалъ онъ и захохоталъ своимъ несуразымъ смѣхомъ.

— Свинья! — злобственно буркнула ему Лидинька и оскорбленно отвернулась.

— Что-жь это?... Что-жь это теперь?... Какъ же я-то?—въ недоумѣніи разставляя руки, лепеталъ смущенный Анцыфровъ.

Лидинька не отвѣчала ему и съ видомъ разсѣяннаго равнодушія оглядывала суетню удалявшейся въ городъ публики.

Анцыфровъ, какъ брошенный на берегу щенокъ, который, приподнявъ переднюю лапку, визгливо тявкаетъ и смотритъ, виляя хвостикомъ, на удаляющагося хозяина, провожалъ теперь глазами все далѣе и далѣе отходящій пароходъ и недоумѣло шепталъ себѣ:

«Господи!.. Какъ же я-то теперь, ей-Богу!.. Какъ же это, право!..»

— Володенька!—повернулась къ нему Затцъ, когда на пристани почти уже никого не осталось,—давайте мнѣ вашу руку. Объявляю вамъ, что отнынѣ я назначаю васъ безсмѣннымъ адъютантомъ при моей особѣ.

Послѣднія слова были сказаны ею не безъ игриваго кокетства, что весьма удивило плюгавенькаго пискуна, ибо Лидинька никогда еще не обращалась къ нему въ подобномъ тонѣ.

— Ну, что же вы, хомякъ эдакой!—дернула она егоза рукавъ.—Слышали мое приказаніе? Давайте руку и пойдемте.

Анцыфровъ самодовольно пискнулъ, и крендельком подставивъ руку, на которую крѣпко и выразительно оперлась стриженая дама, задорнымъ воробьемъ поскакалъ съ нею вверхъ по сходнямъ.

XXXII.

Въ Жегуляхъ.

На лѣвомъ берегу Волги, у протока Куньей Воложки, окруженной темными лѣсистыми горами, пріютился городокъ Ставрополь со своими двумя каменными церковками. Начиная отъ этого городка, Волга беретъ прямо къ востоку до двухъ совершенно однообразныхъ, похожихъ одна на другую, каменистыхъ горъ, которыя называются поэтому «Двумя Братьями». Одинъ братъ стоитъ на правомъ берегу, другой какъ разъ насупротивъ его, на лѣвомъ. Съ этого послѣдняго мѣста будетъ виднѣться уже направо къ югу, въ голубоватой дали, городъ Самара. Отъ Самары Волга круто пой-

Digitized by Google

детъ на западъ, вплоть до города Сызрани. Нѣсколько выше Ставрополя, на правомъ берегу, лежитъ деревня Жегуля, и весь заворотъ Волги отъ Жегулей до Сызрани извѣстенъ подъ именемъ Луки Самарской. Въ Россіи рѣдко найдется мѣсто красивѣе горъ Жегулевскихъ, извѣстныхъ просто подъ именемъ Жегулей. На всемъ протяженіи ихъ, верстъ на восемьдесятъ, Волга, сжатая между крутизнами, словно широчайшій каналъ, течетъ ровно, прямо, стрѣлой. «Словно бы она тутъ тебѣ вразъ кнутомъ шибанута», говорятъ о ней мѣстные поволжане, характеризуя прямолинейное направленіе своей «матушки».

Дичь, глушь, тишина и величіе.

Вонъ потянулись они вверхъ, на восемьдесятъ и на сто саженъ надъ рѣчнымъ уровнемъ, эти утесистые великаны: то цѣлая сплошная масса ровно тянется съ версту, словно валъ гигантской крѣпости, заросшая дремучимъ, темнымъ, непродорнымъ лѣсомъ; то, глядишь, сплотился цѣлый рядъ скалистыхъ конусовъ, покрытыхъ, словно зеленой мерлушкой, кудрявымъ кустарникомъ. Подъемъ туда, на эти вершины, почти неприступенъ: тамъ гнѣздится соколъ, плаваетъ крупный крапчатый коршунъ да орелъ-бѣлохвостъ. По дѣвственнымъ вѣтвямъ прыгаетъ большая бѣлка-бѣлянка; при корняхъ сѣро-пестрый гадъ ползаетъ, а ниже, межъ водомоинъ и узкихъ ущелій, въ трущобахъ да въ берлогахъ, да въ каменистыхъ пещерахъ, вырытыхъ либо водой, либо временемъ, залегаетъ черный и красноватый медвѣдь, порскаетъ лисица, рыщетъ волкъ понурый да ходитъ человѣкъ бездомный, котораго народъ знаетъ подъ общимъ именемъ «куклима четырехсторонней губерніи», а самъ онъ себя при дознаньяхъ показываетъ спокойно и просто «Иваномъ родства непомнящимъ».

Плывешь ты внизъ по рѣкѣ, а справа по горамъ точно развалины замковъ какихъ-то разбросаны: вонъ, точно столбъ какой или обломленная колонна высится, и на вершинкѣ ея тонкое деревцо у самаго края прилѣпилось. Вотъ, подпертыя контрофорсами, выступаютъ остатки стѣнъ какого-то замка съ разрушенными башнями, и точно бы еще скважины бойницъ и амбразуры оконъ видны тамъ; вонъ цѣлый бастіонъ выдается угломъ впередъ, и весь онъ украшенъ причудливыми нишами да колонками. И невольно даешь ты разгулъ воображенію, которое на каждомъ шагу поражается этими обломками какой-то стародавней, фантастической, вѣками изжитой уже жизни... Но... никакихъ замковъ, никакой особо фантастической жизни и ничего никогда тутъ небывало, а всѣ эти чудеса понадѣлала природа изъ скалистыхъ известковыхъ горъ, да вѣчная Волга, которая прорыла да пробуравила въ этихъ скалахъ множество причудливыхъ пещеръ и водомоинъ. То насупятся тихія горы къ самой водѣ почти отвѣсными скалами, то разодвинутся узкимъ глубокимъ ущельемъ, въ которомъ взоръ замѣчаетъ другія, за другими третьи курчавыя и сизо-темныя лѣсистыя вершины. Налетитъ вѣтеръ, и пойдетъ по горамъ ровный гулъ и мягкій шумъ и шопотъ между лѣсами. Набѣжитъ гроза, и посыплются трескучіе, громоносные, долгіе раскаты, которые переливисто подхватываетъ и несетъ по дальнимъ ущельямъ гулкое, содрогающееся горное эхо. Жегулевскій старецъ-отшельникъ перекрестится въ отвѣтъ «Божьему гнѣву» и тихо зачитаетъ про себя псаломъ: «Живый въ помощи Вышняго, въ кровѣ Бога небеснаго». Въ Жегуляхъ, по природнымъ пещерамъ, либо въ нарочито вырытыхъ землянкахъ, спасаются иные старцы-отшельники; но всѣ они принадлежатъ не «Никоновской церкви», всѣ они люди «древняго благочестія». Скудно и сурово-подвижнически живетъ жегулевскій старецъ, въ постѣ и молитвѣ, и дикій звѣрь его не трогаетъ, и гадъ ползучій не жалитъ. По зарямъ выходитъ онъ молиться на востокъ, и мѣрно кладетъ земные поклоны. Вотъ пароходъ «бѣжитъ» мимо, старецъ долго машетъ ему бѣлымъ рушникомъ и шлетъ свое благословеніе странствующимъ и путешествующимъ. Вонъ по низу бурлаки съ однообразнымъ, протяжнымъ стономъ идутъ бечевою, старецъ съ вершины горы своей благословляетъ труждающагося и обремененнаго человѣка, и бурлакъ, завидѣвъ святого старца, благоговѣйно на ходу обнажаетъ свою облитую потомъ голову. А взобраться на вершину да глянуть окрестъ себя — Господи! что за кругозоръ откроется предъ тобой! что за даль раскинется тамъ верстъ на девяносто въ окружности! Вонъ подъ ногами, внизу, эта полоса Волги, «кнутомъ шибанутая», а тамъ, въ далекой-далекой дали «Сенгилѣевы Уши» виднѣются. Обернись на югъ, на западъ — замѣтишь индѣ искры солнца на крестахъ церквей православныхъ. Вонъ онъ, этотъ размашистый просторъ, эта необъятная ширь свято-русская! Вонъ она!

И долго, до самаго «Царева Бугра», до самыхъ «Двухъ Братьевъ» тянется эта безлюдная, дико и сурово-прелестная пустыня. На всемъ протяженіи ея приткнулись по рѣдкимъ лощинкамъ три-четыре деревни, и окрестъ этихъ сѣрыхъ деревнюшекъ мѣсто всегда такое хорошее, красивое, благодатное и покрытое тучной пашней, либо сочнымъ, веселымъ лугомъ. Близъ деревень, по берегу рѣки, у подножія нѣкоторыхъ скалъ, крестьяне мѣстами жгутъ известь и промышляютъ ею. Сказываютъ тоже иные изъ усольскихъ и жегулевскихъ мужиковъ, будто въ горахъ, кромѣ извести да сѣры, есть и золото самородное; но слова ихъ никѣмъ еще не провѣрены на дѣлѣ.

Теперь по Волгѣ то и дѣло «бѣгаютъ» па

Digitized by Google

роходы, и потому бурлакъ спокойно себѣ тянетъ бечеву Жегулями и спокойно плыветъ мимо ихъ расшива и бѣляна, а еще не далѣе какъ лѣтъ двадцать назадъ Жегули, это классическое мѣсто волжскихъ разбоевъ, были далеко не безопасны. Вдругъ, бывало, надъ гладью рѣки раздастся зычно молодецкое *сарынь на кичку!*—и судохозяинъ вмѣстѣ съ батраками, въ ужасѣ, ничкомъ падаетъ на палубу и лежитъ неподвижно, пока въ его суденышкѣ шарятъ, хозяйничаютъ да шалятъ вольные ребята.

Но если оживленнѣе стало на рѣкѣ, то въ горахъ, по стародавнему — все та же тихая, дивно-дикая пустыня. Тутъ гулялъ нѣкогда «батюшка», котораго понизовскіе поволжане обзываютъ въ разсказахъ то «Стенькой», то чествуютъ и величаютъ по изотчеству «Тимоѳеичемъ». Вамъ и теперь укажутъ въ Жегуляхъ нѣсколько горъ и враговъ, которые называются Стенькиными горами и Стенькиными врагами. Здѣсь всецѣло живутъ богатыя преданья о понизовской вольницѣ, потому что и обселили-то эти мѣста все больше бѣглые изъ помѣщичьихъ да монастырскихъ крестьянъ, да кое-кто изъ служилаго люда, словомъ, тотъ народъ, который въ устахъ своихъ теперешнихъ потомковъ, когда ихъ спрашиваютъ про предковъ, характеризуется словами, что былъ, молъ, это всякій сбродъ да наволока.

Надъ Жегулями собирались тучи. Въ лѣсу было сумрачно и такъ тихо, какъ будто все, что ни есть въ природѣ, притаило дыханье. Листъ шелестя упадетъ съ дерева, птица пугливо затрепещетъ крыломъ, сухая хворостинка хрустнетъ подъ ступнею зайца—всѣ эти звуки чутко слышатся въ пригнетенномъ, недвижномъ воздухѣ. Надъ горами скапливалась гроза—первая весенняя гроза. Дѣло шло къ вечеру, былъ часъ восьмой въ началѣ. По лѣсу брели два человѣка, одѣтые въ простыя сермяги, съ небольшими котомками за плечами. Опираясь на свои самодѣльныя дубинки, они ступали довольно бодро и видимо торопились добраться, пока до грозы, до какого-нибудь жилья.

Вдругъ зашумѣло и загудѣло по лѣсу — и этотъ мѣрный и ровный гулъ, начавшись гдѣ-то издалеча, побѣжалъ по лѣснымъ пространствамъ, пригнетая деревья на вершинахъ и сердито воя по ущельямъ. Только на днѣ глубокихъ враговъ, залегшихъ котловинами между горъ, было все тихо и глухо: туда не залеталъ горный вихрь. Стрижи и чайки, учуя бурю, низко-низко замелькали зигзагами надъ рѣкой, черкая воду своимъ острымъ крыломъ. Вороньё тревожно закаркало и стаями съ разныхъ концовъ потянуло куда-то на югъ, а гулъ все шелъ да шелъ по лѣсамъ и слышался въ немъ скрипучій и рѣзкій трескъ ломающихся стволовъ и сучьевъ. Лѣсная сова одиноко гукала на какомъ-то деревѣ, и въ этомъ гуканьи было нѣчто такое жалобное и похожее на дѣтскій больной стонъ, что прохожихъ чевольно хватала за-сердце пугливая тоска. Вдругъ въ лилово-свинцовой тучѣ какою-то судорогою затрепетала молнія и съ быстро перерывчатымъ трескомъ брызнулъ изъ нея бѣлый огонь внизъ на горную вершину. Въ ту-жь минуту, съ того самаго мѣста, гдѣ упалъ онъ, пока еще громовые раскаты перекликались по ущельямъ, закурился бѣлый дымокъ: какое-то дерево загорѣлось. Нѣсколько тяжелыхъ капель плеснулись на листья. Дрогнула еще одна молнія въ другомъ концѣ неба—и сразу послѣ нея зашумѣлъ частый и ровный ливень. Съ этимъ мгновеніемъ какъ будто немножко полегчало въ природѣ: дождевая влага разрѣжала эту густую, насыщенную электричествомъ сухость воздуха.

Путники спускались въ оврагъ. По глинистому дну его бурлилъ и крутился пѣнисто-мутный ручей, взбученный дождевой водой, и въ немъ кружились и стремительно неслись внизъ оторванные листья, сучья, вѣтви, корни и комья земли да глины, сейчасъ только отмытые отъ грунта.

Вдругъ, въ серединѣ ската, у подошвы каменистой скалы, путники замѣтили человѣческую фигуру. Это былъ высокій, босой старецъ въ длинной, холщевой рубахѣ, съ обнаженной, лысой головой, который спокойно глядѣлъ на небо и медленно крестился. Вѣтеръ взвѣвалъ остатки его волосъ и длинную совсѣмъ сѣдую бороду.

Въ первое мгновеніе оба путника даже вздрогнули и отступили шагъ назадъ—до того было неожиданно и странно это внезапное появленіе такой необыкновенной человѣческой фигуры, подъ страшною грозою, въ этой дикой пустынѣ.

— Э! жегулевскій старецъ!—оправясь отъ внезапнаго впечатлѣнія и отчасти обрадовавшись, сказалъ своему товарищу тотъ, который постарше.

— Гей! дѣдушка! — закричалъ онъ вслѣдъ за тѣмъ, силясь перекричать гулъ бури,—пусти, Христа ради, переждать грозу!

Тотъ повернулъ на крикъ голову и сталъ вглядываться да вслушиваться: кто зоветъ и что кричатъ ему?

— Грозу переждать пусти! — еще громче повторилъ спутникъ.

Старецъ призывно замахалъ имъ рукою и знаками силился указать имъ трошинку, по которой слѣдуетъ спуститься.

Путники уразумѣли, и хватаясь одной рукой за мокрыя вѣтви, а другой опираясь на дубинки, осторожно стали сходить внизъ по крутому и склизкому скату.

— У него вѣрно тутъ землянка гдѣ-ни-

Digitized by Google

будь, — сказалъ старшій. — Смотри, входя не забудь перекреститься, а то выгонитъ, пожалуй. Съ этимъ народомъ надо умѣть ладить: народъ нужный; ужь я немножко успѣлъ изучить ихъ!

Спутникъ не отвѣчалъ, но къ свѣдѣнію принялъ.

Еще не доходя нѣсколькихъ шаговъ до старца, передній почтительно снялъ шапку и низенько поклонился; «лучше пересолить, чѣмъ не досолить», подумалъ онъ. Товарищъ его неукоснительно повторялъ все то, что продѣлывалъ набольшій.

— Миръ вамъ!—степенно и просто поклонился старецъ.—Переждите пока.

— Впусти, дѣдушка! Мы люди добрые, — молвилъ старшій.

— Коли добрые, и того лучше, опять поклонился тотъ;—а и злой человѣкъ такъ все одно же: злому человѣку взять съ меня нечего! Войдите Бога-для! Милости просимъ.

— Благослови, дѣдушка!

И старшій, склонясь передъ старикомъ, прошелъ вмѣстѣ съ товарищемъ въ узкій проходецъ, завѣшенный простой цыновкой.

Это была пещера, высѣченная самою природою въ глубинѣ известково-каменистой скалы. Внутренность ея слабо освѣщалъ огонекъ неугасимой лампады передъ образами очень древняго письма, которые помѣщались на деревянной полочкѣ, вдѣланной въ каменную стѣну. По другой стѣнѣ держались двѣ другія полочки: на одной лежало нѣсколько книгъ въ древнихъ кожаныхъ переплетахъ съ застежками; на другой—коровай пшеничнаго хлѣба, да съ десятокъ луковокъ и кой-какая скудная деревянная посудинка. Въ углу была свалена грудка картофеля. Обрубокъ пня, перетащенный сюда изъ лѣсу, замѣнялъ столъ, а ворохъ сѣна, покрытый старенькимъ овчиннымъ тулупомъ, служилъ постелью старцу-отшельнику.

— Вотъ гроза перейдетъ, разложимъ костерокъ,—сказалъ старецъ;—тогда обсушитесь, а пока—Господь съ вами... Посидите, на постели-то...

— Эка нѣпогодь! ужасъ просто!—замѣтилъ младшій.—И съ чего это вдругъ поднялось!

— Божья благодать!—простодушно и кротко молвилъ старецъ.—Какъ хлѣба-то пойдутъ!.. Землѣ прохлада и насыщеніе. Жарынь-то какая стояла все!..

И онъ пошелъ изъ пещеры.

— Дѣдушка, вѣдь тебя измочитъ всего?

— Э, милый! гроза—Божье дѣло!.. Богъ съ небеси, значитъ, всякую тварь земную святою водою своею кропитъ. Въ это время молиться надо.

И онъ скрылся по ту сторону цыновки.

— Послушай-ко, Шишкинъ, штука хорошая!—шопотомъ началъ Свитка, чуть лишь они остались одни.—Вѣдь эти старцы имѣютъ огромное вліяніе на народъ; къ нимъ вотъ сюда и подаяніе приносятъ, и за совѣтомъ, и за поученіемъ идутъ — святыми почитаютъ— кабы этому старцу-то, что называется, очки втереть? Настроить бы по-легоньку на такой ладъ, чтобы самъ подходящую пѣсенку запѣлъ?.. А?.. Что ты на это скажешь?

— А что-жь, надо воспользоваться!—согласился Шишкинъ, — только съ чего начать? Какъ приступить-то?

— Ну, тамъ увидимъ! Къ чему-нибудь прицѣпимся.

Гроза все еще продолжалась. Но дождь шумѣлъ уже тише и ровнѣе, припускаясь иногда только на минуту съ новою, тревожно-напряженною силою и опять ослабѣвая. Блескъ молніи не залеталъ въ пещеру, и громовые удары слышались въ ней глухо. Казалось, будто вся эта сила гудитъ и гремитъ гдѣ-то тамъ, выше, надъ землею, а здѣсь—такая тишина, миръ и спокойствіе въ этомъ ровномъ, кроткомъ, неколеблющемся мерцаніи лампады, озаряющей темные, сурово-строгіе, святые лики. Но вотъ громовые удары стали все рѣже и глуше, и мѣрный шумъ дождя, все болѣе слабѣя, почти прекратился.

Вскорѣ отшельникъ снова появился въ кельѣ.

— Ну, что гроза, дѣдушка?

— Перешла, слава Господу!.. Пошла теперь туда на востёкъ, на Самару, а на закатѣ расчистило... Солнышко садится.

Путники выглянули изъ-подъ цыновки.

Въ воздухѣ разнеслась живительная свѣжесть, вмѣстѣ съ тихою вечернею прохладою. Листва стала какъ-то крѣпче и темнѣе, словно вся она подбодрилась, вымылась, напилась и напиталась во время грозы, и теперь такая сочная, свѣжая и нарядная спокойно готовится къ ночи, на сонъ грядущій. Тамъ, вдали на востокѣ и земля, и небо, и рѣка,—все было темно и подернуто сизо-свинцовымъ колоритомъ. Уходящія тучи, въ которыхъ порою все еще судорожно вздрагивали зеленовато-бѣлыя и лиловыя молніи, красовались тѣми разнообразно-суровыми и красивыми тонами, которыми всегда бываютъ окрашены разорванныя облака удаляющейся сильной грозы. А на западѣ все небо, весь воздухъ, и вода и скалы, и верхушки деревьевъ были залиты ярко-розовымъ, золотистымъ блескомъ заката. Прямо надъ головою висѣло далеко-далеко ушедшее въ глубь густо-синее небо, по которому кое-гдѣ неслись еще разорванные клочья бѣлыхъ, полупрозрачныхъ облаковъ. Вся природа бодро и тихо дышала какою-то неизъяснимою прелестью и могуче-спокойною силою молодой, обновленной жизни.

— Эка красота... красота-то какая! съ полнымъ наслаждающимся вздохомъ раздался тихій голосъ позади путниковъ.

Digitized by Google

Оба обернулись. За ними стоялъ старецъ и глядѣлъ вдаль, на закатъ, на горы и воды, играющія золотыми, струистыми полосами. На лицѣ его стояла безмятежная, свѣтлая улыбка.

— Ну, вотъ, дѣтушки, теперь и костерокъ разложимъ, пообсушимся да картошки подваримъ, дѣло-то и ладно будетъ!

И онъ опустился на нѣсколько саженъ въ оврагъ. Тамъ находилась другая небольшая пещерка. На полу былъ сложенъ валежникъ, сухолистье да дрова, а подъ потолкомъ сережками подвѣшены связки вяленой рыбы облы, которую поволжане зовутъ «воблой», мережи да лесы съ удочками. Старикъ иногда занимался рыболовствомъ. Онъ притащилъ теперь изъ своего запаснаго магазина связку сухой облы да охапку хвороста и разложилъ костеръ на площадкѣ, предъ входомъ въ свою келью. Двѣ-три пригоршни прошлогоднихъ листьевъ, подожженныхъ съ помощью трута, быстро занялись пламенемъ: огонекъ затрещалъ и побѣжалъ по прутьямъ, изъ костра закурился ѣдкій бѣлый дымокъ. Чрезъ нѣсколько минутъ валежникъ горячо разгорѣлся. Старикъ подвѣсилъ надъ нимъ на треногѣ небольшой котелокъ съ водой и картофелемъ и, вмѣстѣ съ гостями своими, присѣлъ на корточкахъ, поближе къ огню, сушиться. Тѣ ждали, что онъ начнетъ спрашивать ихъ, что за люди, откуда и куда путь держатъ и зачѣмъ идутъ; но старикъ даже и не подумалъ предложить хоть одинъ изъ подобныхъ вопросовъ. Это все было для него дѣло постороннее, чуждое, мірское; онъ зналъ только, что къ нему пришли два человѣка просить гостепріимства, и радушно предложилъ имъ все, что могъ, какъ предложилъ бы каждому, кто пришелъ бы къ нему за этимъ.

— Что, дѣдушка, хорошо въ пустынѣ-то?— спросилъ Василій Свитка.

— Хорошо, милый человѣкъ, хорошо! Тихо!

— И не страшно тебѣ?

— Зачѣмъ страшно? Человѣкъ одного только гнѣва Божьяго да дня суднаго страшиться долженъ.

— А звѣрь всякій? а змѣи? Вѣдь тутъ ихъ всего этого страсть!—подхватилъ Шишкинъ.

— Звѣрь не трогаетъ и змія не кусаетъ, потому имъ отъ Бога такой предѣлъ положенъ. Звѣря ты не тронь, и онъ тебя не тронетъ. Онъ на этотъ счетъ тоже справедливый. Ну опять же кто Бога знаетъ, тому по писанію «дадеся власть наступити на змію и скорпію и на всю силу вражію». Значитъ, чего-жь тутъ страшиться? Надо только вѣру имати. Сказано: «отъ Господа вся возможная суть».

— И въ міръ не хочется? — спросилъ Свитка.

Старецъ тихо поглядѣлъ на него и взглядъ его словно бы выразилъ: чего это малый пытаетъ-то блазно?

— Въ міръ?—молвилъ онъ, помолчавъ немного. — Да что въ міру-то дѣлать? Я и тутъ въ мірѣ... Вотъ онъ, міръ Божій, окрестъ меня... и тихъ и прекрасенъ... Чего же еще-то?

— Да, чѣмъ дальше отъ людей, тѣмъ лучше,—замѣтилъ Шишкинъ.—Теперь въ міру-то Богъ вѣсть что дѣлается!.. Кажись, никогда еще такого не бывало... Вѣру, дѣдушка, обижаютъ!

Старикъ внимательно посмотрѣлъ на юношу.

— Вѣру? Какую такую вѣру-то?

— Нашу, дѣдушка, нашу! Христіанскую.

— Кто-жь обижаетъ-то?

— Какъ кто!.. Извѣстно, начальство, власти...

Тотъ, прежде чѣмъ отвѣтить, еще разъ внимательно поглядѣлъ на обоихъ.

— За что-жь имъ свою-то вѣру обижать?— возразилъ онъ.—Они, напротивъ того, блюдутъ свою вѣру-то; имъ не стать обижать ее.

— Да имъ это все одно, дѣдушка!

Старикъ тихо улыбнулся. «Молодо—зелено», сказала улыбка его.

— Нѣтъ, чадушко, не все одно!—вздохнулъ онъ. — Ты какую вѣру разумѣешь-то? Вѣры есть разныя, и всяка себя православной нарицаетъ. Кабы *нашу* вѣру обижать, ну, это дѣло иное, потому вѣра наша старозаконная. Она же просія древле съ южныхъ странъ, отъ Кіева града. А нынѣ пошла все вѣра искаженная лящецами да щепотниками. Одни только наши отцы, что живутъ въ нѣмцахъ да въ туркахъ, прости Господи, остались невредимы въ вѣрѣ-то. А спаслись они по старымъ книгамъ, которыя писаны прежде Никона патріарха, ходяще по образу Божію и по подобію его. А которые и по Россіи живутъ, такъ и тѣхъ, слышно, нынѣ не трогаютъ. Да и что же трогать, коли они, по писанію, крыяхуся въ горахъ и вертепахъ, и въ пропастяхъ земныхъ, и никому никакого зла не творятъ?

— Э, дѣдушка! да мало ли гоненій на васъ бывало! Такъ неужто же все это терпѣть!.. Да до коихъ же поръ?

— А что же, милый? Гоненьевъ точно-что много было. Ну, гонимы—и терпимъ; хулимы—утѣшаемся о Господѣ нашемъ. Упованіе наше Отецъ, прибѣжище наше Сынъ, покровитель есть Духъ Святъ, и защита наша есть самъ Спаситель, равно соцарствующій Святой Троицѣ. Ты вотъ такъ строптиво мыслишь: до коихъ, молъ, поръ терпѣть-то?.. А что сказано-то? Сказано: «претерпѣвый до конца, той спасенъ будетъ». Значитъ и терпи.

— Да; вотъ какъ поляки, напримѣръ, тѣ тоже такъ разсуждаютъ,—сказалъ Свитка.—Ихъ тоже въ Польшѣ ужь какъ вѣдь мучаютъ! И казнятъ и огнемъ жгутъ, и въ Сибирь ссылаютъ тысячами, а они все терпѣли и терпятъ... Только собираются всѣмъ народомъ въ церковь Богу молиться за свое горе, чтобы Богъ избавилъ ихъ, а въ нихъ тутъ, въ самомъ же храмѣ Божьемъ

Digitized by Google

изъ ружьястрѣляютъ, штыками колютъ... и женщинъ, и малыхъ дѣтей, всѣхъ безъ разбору!

Старикъ сострадательно покачалъ головою.

— Кто-жь это ихъ такъ-то?—спросилъ онъ.

— Какъ кто!.. Да все наши же, русскіе! Солдаты... начальство.

— Ну, нѣтъ, милый! Это ты, должно, блазное слово молвишь! Чтобы русскій человѣкъ малыхъ ребятъ сталъ штыкомъ колоть, этого ни въ жизнь невозможно! Вотъ у насъ, точно что бывало, злотворцы наши, чиновники земскіе понаѣдутъ, молельни позапираютъ, иконы святыя отберутъ, иной озорникъ и надругательство какое сотворитъ, это все точно бываетъ объ иную пору, а чтобы бабъ съ ребятами въ церкви колоть—это ужь неправда!

— Чего неправда!—горячо подхватилъ Шишкинъ;—а вотъ недавно еще, съ мѣсяцъ назадъ, въ Славнобубенской губерніи, въ Высокихъ Снѣжкахъ, помѣщики да генералы съ солдатами по-мужикамъ стрѣляли! Сколько народу-то перебили, говорятъ! Страсти просто!

— Для чего-жь это они стрѣляли?—недовѣрчиво спросилъ старецъ.

— А такъ вотъ! Здорово живешь!

Тотъ съ видимымъ недовѣріемъ сомнительно покачалъ головою.

— Нѣтъ, что-нибудь да не такъ,—сказалъ онъ. — Здорово живешь стрѣлять не станутъ... Зналъ я нѣкогда и Высокіе Снѣжки, хорошее село. Только тамъ вѣдь больше все, почитай, народъ никоніанецъ живетъ. За что же въ нихъ стрѣлять-то. Помѣщику своихъ крестьянъ морить—себѣ же убытокъ.

— А за то, за самое, что имъ теперь волю дали! Помѣщики злы на это!

— Хм... злы-то, оно можетъ и злы, да вѣдь кто же волю-то далъ? Вѣдь царь далъ? А солдаты чьи? Все царскіе же? Такъ какъ-же-жь царь пошлетъ солдатъ бить крестьянъ за свою же волю? Это ты, малый, не вѣсть, что городишь! Туть, вѣрно, что-нибудь да не такъ!..

— Да вѣдь бьютъ-же, напримѣръ, хоть тѣхъ-же самыхъ поляковъ, ни за что, ни про что!—подвернулъ Свитка свое слово.

— Поляка коли и бьютъ, такъ за то, что полякъ бунтуетъ, — увѣренно возразилъ старикъ. — Онъ еще издревле мутитъ землю Русскую, все подъ свой римскій крыжъ поддать насъ хочетъ, за то его и бьютъ... Поляка, милый, бьютъ за дѣло. А впрочемъ, не нашему разуму судить про то!—рѣшительно завершилъ старикъ, — и вы меня, милые, такими рѣчами не блазните! не смущайте меня!.. Я этихъ самыхъ дѣлъ не знаю, и не вѣрю вамъ, и слушать не желаю!.. Мнѣ не о томъ надлежитъ помышленіе имѣть! А вотъ и картошка никакъ поспѣла!—заглянулъ онъ въ котелокъ. — Вотъ и поѣдимъ съ рыбицей. Ѣшьте себѣ, ничтоже сумняся! Милости просимъ!

Онъ отдѣлилъ себѣ въ особую посудинку нѣсколько картофелинъ, а остальныя подвинулъ гостямъ своимъ. И всѣ молча, съ молитвой, по примѣру старика, принялись за ужинъ.

Наступила уже ночь, а съ ея тишиной стало ощутительнымъ то особенное явленіе, которое лѣтомъ всегда замѣчается на Волгѣ: вдругъ, откуда-то съ юга пахнетъ въ лицо тебѣ струя теплаго, сильно нагрѣтаго воздуха, обвѣетъ всего тебя своимъ нѣжащимъ, мягкимъ дыханіемъ, то вдругъ вслѣдъ затѣмъ, съ сѣверо-востока рѣзкимъ холодкомъ потянетъ и опять, спустя нѣкоторое время, теплая струя, и опять холодокъ, а въ промежуткахъ — ровная тишь и мягкая ночная прохлада. Изъ-за горъ показался край полнаго мѣсяца въ темно-синемъ, чистомъ небѣ, и сквозь необыкновенно прозрачный воздухъ на золотистомъ дискѣ этого мѣсяца отчетливо и рѣзко вырисовывались черныя вѣтви молодыхъ деревьевъ на той вершинѣ, изъ-за которой онъ прорѣзывался. Гдѣ-то иволга тихо стонала; дикія утки крякали изрѣдка подъ берегомъ, а по водѣ, волнистыми струями, начинали бродить прозрачные туманы. И тихое безмолвіе жегулевской ночи нарушалось иногда только мѣрнымъ шумомъ парохода, который выбрасывалъ изъ трубы міріады красныхъ искорокъ, длинной полосой кружившихся змѣйками за кормою.

Путники улеглись въ пещерѣ, а на площадкѣ долго еще молился жегулевскій старецъ, кладя положенное число поклоновъ, и — пока до сна—разсѣянное ухо молодыхъ людей слышало слова благоговѣйной молитвы: «Боже, милостивъ буди ми грѣшному!.. Боже, направи мя на путь Твоея святыя истины и отъ злыхъ избави и отврати помыслы отъ лукаваго, да ничѣмъ же смущаемъ предстану предъ Тобою!»

XXXIII.

Золотая грамота.

Утро встало тихое, сіяющее. День былъ воскресный. Судя по солнцу, должно быть, былъ уже часъ одиннадцатый. Путники спускались съ горы въ лощину, гдѣ засѣла небольшая деревнюшка, дворовъ въ сорокъ. Еще издали можно было легко отличить кабакъ по той пестрой кучкѣ народа, которая стояла и галдѣла передъ крылечкомъ... Кабачная изба глядѣла наряднѣе прочихъ. Между сермягой и пестрядью ярко выдѣлялся кое-гдѣ розовый, желтый и голубой ситецъ, давая чувствовать собою каждому, что день дѣйствительно былъ праздничный. У кабака стояла небольшая крашеная телѣжка въ одну лошадку, въ какихъ обыкновенно ѣздятъ малой руки управляющіе, сельскіе попы, да приказчики хлѣбныхъ торговцевъ, скупающіе товаръ на мѣстѣ. Сытая лошадка стояла безъ привязи, потупя голову и терпѣливо отмахиваясь хвостомъ отъ докуч-

Digitized by Google

ливой волжской мошки. Встрѣченные лаемъ собакъ, отмахиваясь отъ нихъ дубинками, вступили путники въ деревню и прямехонько направились къ кабаку.

— Съ праздникомъ, господа честные!—мимоходомъ поклонились они кучкѣ народа, взбираясь на крылечко.

— И васъ съ тѣмъ же!—отвѣтили имъ.—Откуда Богъ несетъ?

— Съ подъ-Новодѣвичья... Пока, до Самары бредемъ.

— А что̀ такъ?

— Да такъ... бурлачили, да животомъ заболѣли подъ Новодѣвичьимъ-то... Приказчикъ и покинулъ... Теперь бредемъ, пока Богъ дастъ что.

— Ну, помогай вамъ Христосъ!

И они прошли въ кабачную горницу, разсѣлись въ уголку передъ столикомъ и спросили себѣ полуштофъ. Передъ стойкой, за которой возсѣдала плотная солдатка-кабатчица въ пестрыхъ ситцахъ, стояла кучка мужиковъ, съ которыми вершилъ дѣло захмѣлѣвшій кулакъ, въ синей чуйкѣ нѣмецкаго сукна. Рѣчь шла насчетъ пшеницы. Повидимому, только-что сейчасъ совершено было между ними рукобитье и теперь запивались магарычи. Свитка досталъ изъ котомки гармонику и заигралъ на ней развеселую пѣсню.

Шишкинъ молодецки хватилъ шкаликъ, подщелкнулъ языкомъ, поморщился и крякнулъ, да закусилъ со стойки сухарикомъ и залихватски запѣлъ подъ гармонику:

Какъ злодѣюшка чужа жена,
Да прельстила добра молодца меня,
За колѐчушко я брякъ! брякъ! брякъ!
А собáчушка-то тяфъ! тяфъ! тяфъ!
А сердечушко-то іокъ! іокъ! іокъ!
А какъ мужъ во дворъ да скокъ! скокъ! скокъ!
Мою спинушку набухали,
Что четырьми ли обухами,
А какъ пятый-то кистень
По бокамъ свистѣлъ.
Ой, свистъ! свистъ! свистъ!
Плетка хлысть! хлысть! хлысть!

— Эка черти! Важно! важно! — крикнулъ приказчикъ, подернувъ плечомъ и стукнувъ кулакомъ по стойкѣ.—Тетка! Ставь еще сладкой водки!

Заслыша звуки гармоники, въ кабакъ повалила и та кучка народа, что галдѣла предъ крылечкомъ. Солдатка привѣтливо ухмылялась, чуя хорошую выручку. Путники межъ тѣмъ, не обращая вниманія на новыхъ слушателей, продолжали свое дѣло. Свитка перемѣнилъ пѣсню и заигралъ новую. Шишкинъ съ той же молодецкой ухваткой, выразительно подмигивая нѣсколькимъ молодицамъ да дѣвкамъ, ухарски подхватилъ ее:

Пѣтушокъ, пѣтушокъ,
Золотой гребешокъ!
Зачѣмъ рано встаешь,
Голосисто поешь,
Голосисто поешь,
Съ милымъ спать не даешь?
И я встану ли, младешенька,
Раннымъ рано ли, ранешенько,
Я умоюсь ли, младешенька,
Бѣлымъ мылицемъ бѣлешенько,
Я взойду ли подъ насѣсточку,
Пѣтушка возьму за крылышко,
За правильное за перышко,
Я ударю объ насѣсточку:
Еще вотъ-тѣ, пѣтушокъ,
За ночной за смѣшокъ!
Зачѣмъ рано встаешь,
Голосисто поешь,
Голосисто поешь,
Съ милымъ спать не даешь!

— Ишь ты, какъ бурлаки-то пѣсни играютъ!—восхищались въ кучкѣ народа.—Ай, лядъ же дери ихъ!.. Хорошо, биря!.. Что̀ и говорить!. И отколь это такіе развеселые.

Пѣсни, видимо, душевнымъ образомъ располагали народъ въ пользу двухъ бурлаковъ. Надо было еще болѣе завладѣть этимъ хорошимъ, привѣтливымъ расположеніемъ, чтобы тѣмъ успѣшнѣе подготовить начало дѣла.

Шишкинъ подмигнулъ товарищу, налилъ еще немного изъ полуштофа и запѣлъ новую:

Ой, чобъ! чеба-чобъ
Чеботочки мои!
Черевички невелички,
Алы бархатныи!
Ужь я вышла молода
За новыи ворота,—
Черевички скрипятъ,
А молодчики глядятъ.
Ахъ, молодчики глядятъ—
Все гулять со мной хотятъ,
Меня въ гости зовутъ,
Въ карманъ золото кладутъ.

— Ай, лихо играютъ!.. Молодца! ей-ей, молодца̀!.. Веселые!—замѣчали слушатели.—И съ чего это ихъ такъ раззудило?

— Съ воли радуемся!—обратился къ мужикамъ Шишкинъ,—потому нонѣ, ребятушки, совсѣмъ ужь пошла вольная воля! Слышали, братцы?

— Чего эта?.. Волю?—Какъ-ста не слыхать! По церквамъ читали.

— Ну, это не та, что по церквамъ—это совсѣмъ особая!

— Какая особая?—недоумѣло переглянулись въ кучкѣ.

— Напольёновская! Вотъ какая!—подхватилъ Свитка.—Императоръ Наполеонъ третій, Бонапартъ, подарилъ эту волю.

— Эко чудовый парень!—ухмыльнулись нѣкоторые изъ слушателей.—Банапаръ... анпираторъ!.. Какой-тѣ Банапаръ? У насъ въ Расей одинъ государь Лександра Миколаичъ! Что толкуешь то, несуразый!

— А то и толкую! Слышали, братцы, про Крымскую войну? про Севастополь-то?

— Какъ-ста, не слыхать!.. Некрутчина тогды большая была...

Digitized by Google

— Ну, такъ вотъ, противъ насъ тогда воевалъ французъ...

— И турка!—подсказалъ кто-то изъ кучки.

Свитка глянулъ туда и замѣтилъ отставного солдатика въ заплатанномъ солдатскомъ пальтишкѣ.

— Ну да, и турка,—согласился онъ.—Такъ вотъ, Напольёнъ съ тѣмъ только и мировую подписалъ съ нашимъ государемъ, чтобы мужичкамъ безпремѣнно волю дать, а коли не дашь, говоритъ, такъ будемъ опять воевать, и все ваше царство завоюемъ.

— Ишь ты, какъ!—замѣчали озадаченные слушатели.—Да что-жь это ему такая объ насъ забота? Съ чего это?

— Потому и забота, что онъ — добродѣтельный человѣкъ и хочетъ, чтобы всѣ вольные были. Вотъ, сказываютъ, и поляковъ тоже ослободить велѣлъ.

— Поляковъ?—подхватилъ солдатикъ.— Ну, ужь это совсѣмъ напрасно! Полякъ глупъ, его, напротивъ, въ струнѣ надо содержать, а безъ того сичасъ забунтуетъ.

— Эхъ, голова! какъ это такъ легко сказать!—горячо вступился Свитка. — Если намъ съ тобой хорошо жить на свѣтѣ, и никто насъ не обижаетъ, развѣ мы станемъ бунтовать?—да Господи помилуй! Зачѣмъ намъ это?

— Ну, такъ то мы, а то поляки!—возразилъ солдатикъ.

— Да развѣ не все одно это?

— Нѣтъ, не все! Ужь про поляка ты мнѣ лучше и не говори. Поляка, братъ, я знаю, потому въ этой самой ихъ Польщѣ мы три года итояли. Первое дѣло—лядащій человѣкъ, а второе дѣло, что на всю-то ихъ Польщу комаръ на хвостѣ мозгу принесъ, да и тотъ-то бабы расхватали! Это слово не мимо идетъ!

Въ кучкѣ отзывчиво, дружно и весело раздался смѣхъ удовольствія. Очевидно, слово пришлось по сердцу.

У Василія Свитки при этомъ только слегка подернуло мускулъ справа надъ верхней губой.

— Н-да, вотъ тамъ толкуй, какъ знаешь,— продолжалъ онъ, — а Напольёнъ все-таки приказалъ волю дать, и далъ! А кабы не онъ, быть бы намъ вѣчно крѣпостными!

— Постой, парень!.. Постой... Ты это не то!—разводя руками, вмѣшался въ разговоръ захмѣлѣвшій приказчикъ. — Мы тоже на этотъ счетъ не безызвѣстны!.. Намъ старики тоже сказывали, какъ въ двѣнадцатымъ годѣ этого самаго Бонапартія мы метлой изъ Расеи погнали; и онъ, значитъ, за это за самое, опричь одной злобы, ничего къ намъ питать не можетъ!

— Такъ то былъ дядя, сказываютъ!—возразилъ Свитка, — а теперь на тронѣ сидитъ племянникъ, и онъ разсуждаетъ по-христіански: ваши мужички, говоритъ, моего дядю обидѣли, а я хочу имъ за зло добромъ заплатить, и потому пускай всѣ будутъ вольные. Вотъ онъ какъ разсуждаетъ!

— Нѣтъ, братъ, стой! — подошелъ къ столу солдатикъ.— А зачѣмъ-же онъ, коли такъ, эту Крынску кампанію свою затѣялъ? Сколько народу-то покалѣчилъ у насъ! Коли онъ такой сердобольный, такъ онъ бы лучше Богу молился. Вотъ что!

— Ну, ужь это не нашего ума дѣло, а лучше скажи-ка ему спасибо за его приказъ!

— Да кто-жь это нашему государю можетъ приказывать! — горячо стукнулъ солдатъ ладонью по столу.— Ты, братъ, эти глупыя рѣчи покинь лучше, пока мы тѣ бока не намяли! Пѣсни вотъ ты хорошо играешь, а ужь слова-то говоришь совсѣмъ какъ есть дурацкія!

— Постой, братцы!—перекрикивая всѣхъ, вмѣшался Иванъ Шишкинъ.—Чѣмъ по пустому толковать, такъ лучше настоящее дѣло! Пускай всякъ видитъ и судитъ. Вотъ что, братцы: какъ были мы подъ Новодѣвичьимъ, такъ при насъ тамъ вотъ какую грамоту читали и раздавали народу. Одна и на нашу долю досталася... Прислушайте-ко, пожалуйста!

И развязавъ свою котомку, онъ досталъ изъ нея сложенный вчетверо листъ плотной бумаги и показалъ его присутствующимъ.

На листѣ красивымъ шрифтомъ, съ золотомъ и киноварью, было отпечатано: «Золотая грамота».

— Это что-жь такое?—съ любопытствомъ и недоумѣніемъ пытали въ кучкѣ. Всѣ придвинулись поближе къ Шишкину.

— Это, братцы манифестъ! Царская грамота!—пояснилъ онъ.—Слушайте!

И сталъ громко и внятно читать:

«Божіею милостію, Мы, Александръ Вторый, Императоръ Всероссійскій, Царь Польскій, Великій Князь Финляндскій и проч. и проч. и проч.

«Въ постоянной заботливости Нашей о благѣ всѣхъ вѣрноподданныхъ Нашихъ, Мы, указомъ въ 19-й день февраля 1861 года, признали за благо отмѣнить крѣпостное право надъ сельскимъ сословіемъ, Богомъ ввѣренной Намъ, Россіи. Нынѣ, призвавъ Всемогущаго на помощь, настоящимъ Манифестомъ объявляемъ полную свободу всѣмъ вѣрноподданнымъ Нашимъ, къ какому-бы званію и состоянію они ни принадлежали. Отнынѣ свобода вѣры и выполненіе обрядовъ ея церкви составятъ достояніе каждаго. Всѣмъ крестьянамъ, какъ бывшимъ крѣпостнымъ, такъ и государственнымъ, даруемъ въ опредѣленномъ размѣрѣ землю, безъ всякой за оную уплаты, какъ помѣщикамъ, такъ и государству, въ полное, неотъемлемое потомственное ихъ владѣніе».

— Это, значитъ, господа, помѣщикамъ больше ни копейки! какъ есть шишъ одинъ!—пояснилъ Свитка.

— О?! И въ самъ - дѣлѣ?.. Это, братцы,

Digitized by Google

намъ на руку! — съ видимымъ удовольствіемъ откликнулся кое-кто изъ кучки. — Это и очень намъ любезно!.. Ну-ну! Валяй-ко дальше! Что еще тамъ прописано?

«Полагаясь на вѣрность народа Нашего,— продолжалъ Шишкинъ, весьма подбодренный сочувственнымъ отношеніемъ слушателей—Я, признавъ за благо для облегченія края упразднить армію Нашу! Мы отнынѣ впредь и навсегда освобождаемъ Нашихъ любезныхъ вѣрноподданныхъ отъ всякаго рода наборовъ и повинностей рекрутскихъ; затѣмъ, солдатамъ арміи Нашей повелѣваемъ возвратиться на мѣста ихъ родины».

— Значитъ, некрутчинѣ шабашъ?—спросилъ кто-то.

— Шабашъ!—подтвердилъ Свитка.—Отнынѣ и навсегда шабашъ и некрутчинѣ, и наборамъ, и всякому войску! Ни одного солдата больше не должно быть въ цѣлой Россіи! Всѣ будутъ вольные! Всякъ, значитъ, дѣлай, что хочешь!

— Э?!. Это важно!.. А насчетъ повинностей какъ?

— А вотъ, слушай далѣе!

«Уплата подушныхъ окладовъ, имѣвшихъ назначеніемъ содержаніе столь многочисленной арміи, со дня изданія Манифеста, отмѣняется. Всѣмъ солдатамъ, возвращающимся изъ службы, также всѣмъ дворовымъ людямъ, фабричнымъ и мѣщанамъ повелѣваемъ дать безъ всякаго возмездія надѣлъ земли изъ казенныхъ дачъ обширной Имперіи Нашей».

— Э, робя! Это, ей-ей, хорошо!..

— Что и говорить! Чего лучше!.. Надо только Бога молить...

— Да только неужто же все это французъ?

— Все онъ!—съ непоколебимою увѣренностью подтвердилъ Свитка.

— А какъ же насчетъ теперича лѣсу, ну и опять же всяко хозяйство надо обзавести себѣ, избу поставить, скотинку тамъ, что ли — безъ того нельзя же вѣдь, хоша и солдату, али дворовому. Это-то какъ же? Сказано про то аль нѣтъ?

— Про это хоть и не сказано, а слышали мы такъ, будто все это брать отъ помѣщиковъ,—объяснилъ Свитка.—Помѣщикъ долженъ отдавать все безпрекословно, а ежели кто заартачился сейчасъ его своей расправой, и бери все, что хочешь!

— Это хорошо!—одобрилъ чей-то голосъ, но большинство не подхватило, а напротивъ того, о чемъ-то сомнительно раздумалось!

— Ну, да этого не сказано; это, должно, малый вретъ, а ты читай далѣ!—молвилъ какой-то мужикъ.

«Въ каждой волости, равно въ городѣ,—продолжалъ Шишкинъ,—народъ избираетъ четырехъ, пользующихся его довѣріемъ, человѣкъ, которые, собравшись въ уѣздномъ городѣ, изберутъ совокупно уѣзднаго старшину и прочія уѣздныя власти. Четыре депутата отъ каждаго уѣзда, собравшись въ губернскій городъ, изберутъ губернскаго старшину и прочія губернскія власти. Депутаты отъ каждой губерніи, призванные въ Москву, составятъ Государственный Совѣтъ, который съ Нашею помощью будетъ управлять всею Русскою землею. Такова Монаршая воля Наша».

— Теперь, братцы, значитъ, сами управлятъся будемъ.

— Такъ, слышите, царь желаетъ!—комментировалъ Свитка.

Мужики призадумались.

— И бумаги править намъ же?— спросилъ одинъ.

— И бумаги, и все, какъ есть, всѣмъ самимъ заправлять.

— Самимъ?.. Ну, это что-то не тово... Какъ же теперь стану я заправлять, коли я грамотѣ не знаю.

— А мозги на что?.. Есть мозги—значитъ, и валяй!

— Да все-жь безъ грамоты не управишься. Тутъ, вона, мало ли чего нужно!..

— Ну, грамотныхъ выбирайте...

— Такъ-то, оно такъ!.. И значитъ, это мужики всѣмъ царствіемъ заправлять будутъ?

— Значитъ, будутъ.

— А господа-то куды же?

— А къ чорту! Куда хотятъ, туда и идутъ! А нѣтъ, и на сукъ можно вздернуть!

— Ишь, какой прыткой!.. На сукъ!.. За что же это на сукъ?.. Душа-то вѣдь тоже хрещеная!.. За эти дѣла и кнутьемъ на площади порятъ да въ каторгу шлютъ.—Нѣтъ, это ты, братъ, дуришь!.. Да ну, ладно! Читай далѣ!..

«Всякій объясняющій противное и не исполняющій Монаршей воли Нашей есть врагъ нашъ. Уповаемъ, что преданность народа оградитъ престолъ Нашъ отъ покушеній злонамѣренныхъ людей, не оправдавшихъ Наше Монаршее довѣріе. Повелѣваемъ всѣмъ подданнымъ Нашимъ вѣрить одному Нашему Монаршему слову».

— Такъ вотъ, слышишь, любезный, что самъ царь повелѣваетъ!—строго обратился Свитка къ мужику, высказавшему нѣкоторое сомнѣніе.— Ты, значитъ, ослушникъ волѣ царской!.. За это въ кандалы!.. За это вяжутъ да къ становому нашего брата, а ты, значитъ, молчи да вѣрь, коли это пропечатано!

— Да я что-жь... я ничево... я такъ только... Извѣстно, супротивъ царя не пойдешь,—опѣшилъ мужикъ и смущенно примолкнулъ.

«Если войска, обманываемыя ихъ начальниками,—продолжалъ межъ тѣмъ Шишкинъ,— если генералы, губернаторы, посредники осмѣлятся силою воспротивляться сему Манифесту—да возстанетъ всякій для защиты даруемой Мною свободы и, не щадя живота, высту-

Digitized by Google

пить на брань со всѣми, дерзающими противиться сей волѣ Нашей. Да благословитъ Всемогущій Господь Богъ начинанія Наши! Съ Нами Богъ! разумѣйте языцы и покоряйтеся, яко съ нами Богъ!»—громко и торжественно заключилъ Шишкинъ, вторично обращаясь къ слушателямъ и показывая красиво расписанный листъ.

На листъ глядѣли съ любопытствомъ, но въ каждой почти головѣ царило недоумѣнье и сомнѣніе. Манифестъ давалъ уже такъ много, что невольно рождался въ душѣ вопросъ: да ужь точно ли правда все это? — хотя быть-можетъ, каждый не прочь бы былъ воспользоваться его широкими посулами. Перспектива казалась заманчивою.

— Значитъ, коли начальство не согласно,— сейчасъ бунтовать?—спросилъ кто-то.

— Такъ, голова! Вѣрно!.. Сейчасъ и бунтуй!—съ полною увѣренностью одобрили оба бурлака.

— А отчего-жь это доселева за бунты-то все наказывали?

— Теперь, милый, другіе порядки пошли. Теперь самъ царь бунтовать велитъ.

Наступило новое раздумье и молчаніе.

— Други почтенные! братцы!—вдругъ возвысилъ голосъ отставной солдатикъ.—Это, надо быть, и вправду французъ всю эту штуку выдумалъ! Потому онъ, первымъ дѣломъ, въ этой грамотѣ что́ говоритъ?—Говоритъ, что войско прочь, что солдатовъ больше не требуется! — Такъ-ли?

— Такъ, такъ!.. Не требуется.

— А кто же Расею-то защищать будетъ?— продолжалъ онъ;—коли войска нѣтъ, сичасъ, значитъ, непріятель подошелъ, и сичасъ заполонилъ себѣ какъ есть всю землю. Это онъ подъ насъ, значитъ, ловкую штуку подводитъ!.. Никакъ тому быть не возможно, безъ войска-то! Онъ, значитъ, только глаза отводитъ!..

— Э!.. И въ самъ-дѣлѣ!—одобрили въ кучкѣ.—Оно точно, что такъ... А то бы съ чего ему сердобольствовать!

— Безпремѣнно такъ, братцы!.. Опять же хоть это взять: сами, говоритъ, управляйтесь. Теперь будемъ говорить по-солдатски! Примѣромъ взять—батальонъ. Какъ же-жь этта управится батальонъ безъ камандеровъ? Никакой каманды нѣтъ, и не знаешь ни куда тебѣ идти, ни что дѣлать. Солдатъ этому не обученъ, а камандеръ обученъ, онъ всю эту штуку знаетъ. Въ батальонѣ, теперича, только шестьсотъ, аль семьсотъ, а въ Расеѣ-то тьма народу! Какъ же-жь тутъ-то управиться? Это, значитъ, французъ подъ Расею всю эту штуку подводитъ, чтобы способнѣй заполонить-то было! Ей-Богу, такъ, братцы!.. Этому вы ничему не вѣрьте.

— Э, другъ любезный! Ты, стало быть, противъ царя! Ослушникъ воли царской!—напустился Свитка на солдата.—Братцы! Слышали, что царь насчетъ ослушниковъ сказалъ? Чего глядите-то?

— Нѣтъ, ты погоди! — выступилъ впередъ солдатикъ.—Нешто волю царскую такъ объявляютъ? Волю царскую по церквамъ, подъ колоколами читаютъ, а не въ кабакахъ! Царское слово черезъ начальство, да черезъ священство идетъ; а ты что за человѣкъ? По какому ты праву? а?

— Эй почтенные! Находка! — закричалъ вдругъ приказчикъ.

Пока Шишкинъ читалъ, а Свитка дѣлалъ поясненія, онъ подобрался къ раскрытой котомкѣ, изъ которой чуть-чуть высовывался край другой подобной же грамоты. Подобравшись и смекнувъ, что дѣло тутъ, кажись, не совсѣмъ-то чисто, онъ подъ шумокъ запустилъ въ нее руку и досталъ цѣлую пачку «золотыхъ грамотъ».

— Вонъ сколько съ ними добра!—кричалъ хмѣльной кулакъ.—Дѣло не чистое!.. Это, ребята, бунтовщики... Смуту варятъ!.. Бей ихъ!.. Бей въ мою голову!.. всѣхъ бей!.. Держи ихъ, ребята!.. Вяжи по рукамъ, да къ становому.

Агитаторы поблѣднѣли. Шишкинъ совсѣмъ почти растерялся, но Свитка не утратилъ присутствія духа. Минута была критическая. Люди, за нѣсколько еще минутъ расположенные вѣрить имъ, теперь готовы уже были кинуться на обоихъ и начать свою страшную расправу.

— Гдѣ твой кистень?.. Держись за мною!.. Не робѣй!—быстрымъ шопотомъ обратился къ Шишкину Свитка и мигомъ досталъ изъ-за пазухи заряженный револьверъ.

Солдатикъ, съ крикомъ «вяжи!» первый ретиво кинулся на него.

— Убью! — закричалъ тотъ и выстрѣлилъ почти въ упоръ.

Пуля, вырвавъ клокъ сукна изъ лѣваго рукава, шлепнулась въ стѣну.

— Кто первый подступится, убью на мѣстѣ!—грозно кричалъ Свитка.

И съ этимъ словомъ, пятясь къ дверямъ вмѣстѣ съ товарищемъ, онъ воспользовался минутнымъ ошеломленіемъ присутствующихъ и выскочилъ изъ горницы.

— Держи! держи!—раздались за ними крики. Но Свитка успѣлъ уже вскочить въ телѣжку, Шишкинъ вслѣдъ за нимъ — и сразу захватилъ вожжи. Ударивъ ими, что было мочи, по лошадкѣ, онъ отчаянно загикалъ, продолжая непрерывно хлестать ее—и озадаченная лошадь, дергая головою, быстро сорвалась съ мѣста и пошла вскачь—вонъ изъ деревни.

— Держи! держи!—раздавались межъ тѣмъ громкіе крики.

Весь народъ выскочилъ изъ кабака, и нѣсколько человѣкъ погнались за бѣглецами.

Свитка, упершись колѣномъ въ сидѣнье,

Digitized by Google

стоялъ, обернувшись назадъ къ преслѣдователямъ, и держалъ револьверъ наготовѣ.

— Удирай живѣй!.. Хлещи ее!.. Нагоняютъ!—задыхаясь, кричалъ онъ товарищу, и тотъ немилосердно гналъ бойкую лошадку.

Одинъ парень совсѣмъ уже почти хватался руками за задокъ телѣжки.

— Кистень!..дай кистень сюда!..живѣе—говорилъ Свитка и, не отвращая лица отъ преслѣдователя, протянулъ назадъ руку.

Шишкинъ торопливо вложилъ въ нее требуемое оружіе.

Парень уже держался за задокъ и на бѣгу старался заскочить въ телѣжку. Свитка хватилъ его кистенемъ въ лобъ,—тотъ вскрикнулъ и опрокинулся на дорогу. Остальные, не преслѣдуя бѣглецовъ, раздумчиво остановились надъ ушибленнымъ парнемъ, который съ посинѣлымъ лбомъ лежалъ безъ чувствъ поперекъ дороги.

Телѣжка межъ тѣмъ скрылась въ лѣсу, но Шишкинъ все еще гналъ и билъ вожжами лошадь.

Черезъ часъ бѣглецы очутились уже верстъ за семь. Конь былъ вконецъ заморенъ и не могъ уже двинуться съ мѣста. Они его покинули въ кустахъ, вмѣстѣ съ телѣжкой, и покрались кустами же вдоль по берегу. Теперь опасность погони нѣсколько миновала. На счастіе ихъ, неподалеку отъ берега стояла на водѣ рыбачья душегубка, и въ ней мальчишка какой-то удилъ рыбу. Они крикомъ стали звать его. Рыбакъ подчалилъ, бѣглецы прыгнули въ лодку и за гривенникъ, безъ излишнихъ торговъ и разговоровъ, перебрались на лѣвый берегъ, въ Самарскую губернію.

Здѣсь, пока, они уже были внѣ опасности.

XXXIV.

Послѣдняя литургія.

Прошло съ небольшимъ мѣсяцъ съ тѣхъ поръ, какъ владыка Іосафъ пріѣзжалъ къ губернатору ходатайствовать за майора Лубянскаго. И вдругъ теперь по городу Славнобубенску быстро пронеслась вѣсть, что владыка покидаетъ свою каѳедру, на которой честно служилъ столько лѣтъ, и что онъ переводится на дальный сѣверъ, въ другое епископство. Эта неожиданная вѣсть поразила многихъ. Большинство недоумѣвало. «Какъ? что? за чѣмъ и почему?» пыталъ каждый, и въ отвѣтъ встрѣчалъ только пожатіе плечами: никто почти не зналъ и даже не подозрѣвалъ настоящей причины этого внезапнаго смѣщенія. Весьма и весьма многіе искренно сожалѣли объ отъѣздѣ Іосафа: онъ никому не сдѣлалъ никакого зла; напротивъ, сколько людей оставляло въ сердцѣ своемъ благодарное воспоминаніе о томъ добрѣ, которое творилъ старикъ по силѣ своей возможности! Никто не могъ укорить его въ чемъ-либо недобромъ, и каждый сознавалъ въ душѣ, что старикъ былъ глубоко правдивымъ и честнымъ человѣкомъ. Тѣмъ страннѣе казался непосвященному большинству этотъ переводъ въ отдаленную, заброшенную полосу Россіи, переводъ, похожій скорѣе на какую-то ссылку.

По городу стало извѣстно, что въ слѣдующее воскресенье владыка въ послѣдній разъ будетъ литургисовать въ каѳедральномъ соборѣ. Эта литургія смущала нѣсколько полковника Шпецыньскаго и Непомука. И тотъ и другой ожидали, что старикъ не уйдетъ безъ того, чтобы не сказать какое-нибудь громовое, обличающее слово, во всеуслышаніе православной паствы своей. И если бы такое слово было произнесено, положеніе ихъ стало бы весьма неловкимъ.

Но вотъ наступило и воскресенье.

Церковь была полнехонька, безъ различія какихъ бы то ни было кастъ и сословій. Между народомъ, поближе къ каѳедрѣ, затершись въ одномъ уголкѣ, стоялъ Феликсъ Подвилянскій вмѣстѣ съ докторомъ Ярцемъ. Оба рѣшились выстоять всю службу, чтобы самолично быть свидѣтелями того, что произойдетъ сегодня. Они тоже ожидали чего-то...

Владыка служилъ, какъ и всегда, величественно и просто. Ясность душевная и твердое спокойствіе были написаны на его строгомъ и въ то же время кроткомъ лицѣ. Слова молитвы произносилъ онъ тихо, но явственно, такъ что голосъ его отчетливо былъ слышенъ во всѣхъ концахъ древняго храма. Подъ впечатлѣніемъ того сознанія, что эта литургія уже послѣдняя, прощальная, предстоящему народу служба владыки казалась еще величественнѣе, еще торжественнѣе. Но вотъ окончилась литургія. Всѣ взоры напряженно обратились къ алтарю, всѣ ожидали появленія владыки на каѳедрѣ, но каѳедра оставалась пуста. При звукахъ «исполаэти деспота!» разоблаченный архіерей взошелъ на амвонъ, посреди храма, и пѣніе замолкло.

Перекрестясь на алтарь, онъ положилъ земной поклонъ Богу и храму его, съ которымъ отъ нынѣ прощался на вѣки. Затѣмъ тихо отдалъ, на всѣ четыре стороны, по одному глубокому поясному поклону. Это было безмолвное прощаніе его съ народомъ.

— Прощайте, возлюбленные! Прощайте!—раздался его любящій, но твердый старческій голосъ.—Разставаясь съ вами, скажу одно вамъ: будьте твердыми сынами нашей Православной Восточной церкви; будьте твердыми и честными людьми русскими! Ежели кого обидѣлъ или прегрѣшилъ я предъ кѣмъ-либо изъ васъ, простите мнѣ ради Христа, простившаго врагамъ своимъ свое великое поруганіе, свою страшную крестную смерть. Прощайте!

И съ этимъ словомъ, благословивъ народъ, онъ пошелъ изъ храма.

Всѣ разомъ бросились къ владыкѣ. Каждый хотѣлъ получить отъ него еще одно благосло-

Digitized by Google

ніе и въ послѣдній разъ облобызать пастырскую руку. На многихъ глазахъ виднѣлись слезы.

Владыко уѣзжалъ почти нищимъ. Весь небольшой капиталъ, скопленный имъ изъ своего жалованья, около пяти тысячъ, онъ пожертвовалъ на богадѣльню, больницы и народныя школы своей бывшей епархіи. Вѣсть объ этомъ пожертвованіи какъ-то успѣла разнестись между предстоящими еще во время литургіи,—и это безкорыстіе еще болѣе возвысило владыку въ глазахъ покидаемой паствы.

— Виншуен' пану!—сойдя съ паперти, обратился Подвиляньскій къ Ярощо.—Поздравляю!

И онъ, съ многодовольной улыбкой, весело протянулъ и пожалъ руку своему пріятелю.

— Выпендзяли, хвала Богу!—съ такимъ же удовольствіемъ отвѣтствовалъ Ярощь.

Въ это время мимо ихъ сходилъ со ступенекъ Лубянскій. Онъ былъ растроганъ и шелъ, уныло понуривъ голову.

— Пану пулковнику! — прелюбезно снимая шляпу и пресладостно улыбаясь, обратился къ нему докторъ; — а когда же мы въ шашки сразимся!

Подвиляньскій тоже любезно раскланялся.

Майоръ отвѣтилъ обоимъ очень сухимъ поклономъ.

— Какъ жаль, что архіерей покидаетъ насъ! — съ гримасой сожалѣнія продолжалъ Ярощь, увязавшись за Лубянскимъ и таща за собою подъ руку Подвиляньскаго.—И скажите пожалуйста, отчего это такъ внезапно?

— Добрые люди постарались!—нехотя отвѣтилъ майоръ.

— Ай-ай-ай!.. Неужели такъ?!.. А говорятъ, онъ нѣкоторую частичку изъ своихъ капиталовъ пожертвовалъ на что-то? Правда-ли это?

— Не частичку, а все что имѣлъ!—выразительно поправилъ Лубянскій;—и завѣщалъ намъ еще быть твердыми и честными людьми русскими. Впрочемъ, это до васъ, господа, не касается: вы вѣдь поляки.—И, проговоривъ все это довольно рѣзкимъ тономъ, старикъ круто повернулъ отъ нихъ въ другую сторону.

XXXV.

Балъ у ея превосходительства.

Въ тотъ же день вечеромъ, передъ губернаторскимъ домомъ, былъ огромный съѣздъ экипажей. Жандармы на коняхъ, частный приставъ пѣшкомъ, квартальные и полицейскіе творили порядокъ и внушали достодолжное почтеніе толпѣ народа, собравшейся поглазѣть на ярко освѣщенныя окна. Это былъ балъ по случаю скораго отъѣзда барона Иксъ-фонъ-Саксена, послѣдній маневръ, которымъ правительница губерніи намѣревалась «добить милаго непріятеля».

Хозяйка и царица бала, она была совсѣмъ обворожительна. Брильянты на головѣ, брильянты на открытой шеѣ, золото и дорогіе камни на рукахъ, парижскіе цвѣты, старые брюссели, безпощадно открытыя, сверкающія плечи, обворожительная улыбка, полныя, вкусно-сдѣланныя руки съ розовымъ локоткомъ, роскошное платье, представлявшее символическое соединеніе польскихъ цвѣтовъ, кармазиннаго съ бѣлымъ,—вотъ то сверкающее, очаровательное впечатлѣніе, которымъ поражала въ первый мигъ прелестная женщина каждаго, при входѣ въ ея парадную большую залу.

Она какъ царица встрѣчала своихъ гостей, окруженная своимъ собственнымъ штатомъ, въ составѣ коего неизмѣнно стоялъ весь шестерикъ княженъ Почечуй-Чухломинскихъ.

Непомукъ, въ черномъ фракѣ, изъ-за борта котораго скромно выглядывала звѣзда, глядѣлъ совсѣмъ дипломатомъ и съ каждымъ былъ необыкновенно любезенъ, ни на іоту, впрочемъ, не спуская своего губернаторскаго значенія.

Прелестный Анатоль, первымъ дѣломъ, придя въ сокрушительный восторгъ отъ эффектнаго вида губернаторши и не замедливъ тотчасъ же сообщить ей самой объ этомъ восторгѣ, за что и былъ награжденъ очаровательной улыбкой, поспѣшилъ отправиться съ такими же восторгами къ другимъ представительницамъ славнобубенскаго mond'a. Черненькій Шписсъ поспѣвалъ рѣшительно повсюду: и насчетъ музыкантовъ, и насчетъ прислуги, и насчетъ поправки какой-нибудь свѣчи или розетки, и насчетъ стремительнаго поднятія носового платка, уроненнаго губернаторшей; онъ и старичковъ разсаживаетъ за зеленые столы, онъ и стаканъ лимонада несетъ на подносикѣ графинѣ де-Монтеспанъ, онъ и полькируетъ съ madame Пруцко, и вальсируетъ со старшею невѣстой неневѣстною, и говоритъ почтительныя, но пріятныя любезности барону Иксъ-фонъ-Саксену; словомъ, Шписсъ вездѣ и повсюду, и какъ всегда—вполнѣ незамѣнимый, вполнѣ необходимый Шписсъ, и всѣ говорятъ про него: «Ахъ, какой онъ милый! какой онъ прелестный!» И Шписсъ доволенъ и счастливъ, и Непомукъ тоже доволенъ, имѣя такого чиновника по особымъ порученіямъ, и рѣшаетъ про себя, что Шписса опять-таки необходимо нужно представить къ слѣдующей наградѣ.

Mesdames Чапыжниковъ и Ярыжниковъ, и Пруцко, и Фелисата Егоровна, и Нина Францевна, и Петровы, и Ершовы, и Сидоровы, всѣ преуспѣваютъ по мѣрѣ силъ и способностей. Всѣ очень нарядны, очень декольтированы, очень эффектны и прелестны (по крайней мѣрѣ, каждая сама о себѣ такъ думаетъ), и всѣ надѣются прельстить чье-нибудь слабое сердце... О сердцѣ барона онѣ отложили нынѣ уже всякое попеченіе, ибо это остзейское сердце оказалось давно уже въ плѣну у губерна-

Digitized by Google

торши. Дамы злились, но признавали это совершившимся фактомъ.

О баронѣ нечего говорить: онъ, какъ и всегда, былъ блистателенъ.

Но зато вниманіе публики на этомъ балѣ сильно привлекала одна новая и притомъ весьма интересная личность.

Это былъ сосланный, по политическимъ дѣламъ, на жительство въ Славнобубенскъ, графъ Северинъ-Маржецкій. Онъ только-что вчера, въ ночь, былъ привезенъ сюда съ жандармами. Еще недѣли за полторы до пріѣзда графа, ему былъ нанятъ на его собственный счетъ цѣлый домъ съ мебелью и всею утварью, такъ что пріѣхалъ онъ на все на готовое. Привезли его ночью прямо къ Непомуку. Констанція Александровна, спѣшно накинувъ свой изящный шлафрокъ, вышла сама къ сіятельному изгнаннику.

Приложивъ руку къ сердцу и дѣлая глубокій реверансъ, она въ нѣсколько торжественномъ тонѣ, весьма эффектно сказала ему привѣтливымъ голосомъ:

— Нехъ пршіймуе ясневельможны панъ первше пршивитанье къ краю непршіяцельскемъ одъ кобѣты польскей!

Растроганный графъ поклонился ей съ глубокимъ почтеніемъ и молча, но тепло поцѣловалъ протянутую ему руку.

Его приняли здѣсь какъ родного. Пани Констанція сама принялась хлопотать насчетъ теплаго чая и вкусной закуски для графа; а Непомукъ даже самолично проводилъ его потомъ въ приготовленное ему помѣщеніе, въ своей собственной каретѣ.

На утро, едва успѣлъ проснуться ясновельможный изгнанникъ, камердинеръ подалъ ему раздушенный пакетецъ. Это было особенное приглашеніе на сегодняшній балъ, написанное по-польски рукою самой Констанціи Александровны.

Графъ былъ весьма польщенъ такимъ вниманіемъ, такимъ теплымъ участіемъ на далекой чужбинѣ. Появленіе его вечеромъ въ губернаторской залѣ произвело рѣшительный эффектъ. Всѣ уже заранѣе знали о польскомъ графѣ, привезенномъ «въ наше захолустье» подъ надзоръ полиціи. Ея превосходительство разсказала нѣсколькимъ своимъ приближеннымъ съ такимъ участіемъ о «еще одномъ новомъ политическомъ страдальцѣ», и это придало еще большій интересъ новоприбывшему графу. Всѣ съ нетерпѣніемъ ожидали его появленія.

И вотъ, вмѣстѣ съ оповѣстительнымъ звонкомъ изъ швейцарской, раздался громкій голосъ ливрейнаго гайдука, поставленнаго при входной двери въ залу:

— Его сіятельство графъ Маржецкій.

По залѣ пробѣжали нѣкоторый гулъ и волненіе. Всѣ взоры обратились къ двери. Хозяйка съ хозяиномъ пошли на встрѣчу.

И вотъ, наконецъ, въ дверяхъ появился и отдалъ почтительный, но полный неизмѣримаго достоинства поклонъ хозяйкѣ и хозяину высокій, плотный мужчина лѣтъ пятидесяти. Лицо его носило на себѣ печать истаго поляка, а его выраженіе и вся фигура сразу показывали аристократическій характеръ стараго магната. Высокій, закатистый лобъ, широкія скулы и щеки, полный достоинства, спокойный и увѣренный взглядъ свѣтло-сѣрыхъ глазъ, нѣсколько орлиный носъ и энергически выдавшаяся впередъ нижняя скула, и круто загнутый подбородокъ придавали всей физіономіи графа такой характеръ самоувѣренной настойчивости и силы, которыя легко и притомъ всегда могутъ относиться ко всему остальному міру съ тонкимъ, иногда удачно выставляемымъ, иногда же удачно скрываемымъ, аристократическимъ презрѣніемъ. Закинутые назадъ короткіе и вьющіеся волосы съ серебристымъ оттѣнкомъ и нѣкогда черные, но нынѣ уже сивые усы придавали всей фигурѣ графа Маржецкаго какое-то рыцарское, кавалерійское удальство и самоувѣренность. Короче сказать, на пятьдесятъ-первомъ году жизни это былъ еще бравый и видный красавецъ и, замѣтьте, какъ особенное свойство польскаго типа,—красавецъ-аристократъ, красавецъ-магнатъ старо-польскій.

Можете представить себѣ, что сдѣлалось со всѣми этими mesdames Чапыжниковъ и Пруцко, со всѣми этими Фелисатами Егоровнами и Нинами Францевнами, со всѣми Марьями Ивановнами и ихъ невѣстами-барышнями!

Графъ приковалъ къ себѣ всеобщее вниманіе.

Судя по тому, какъ встрѣтилъ его губернаторъ-хозяинъ и губернаторша-хозяйка, какъ вошелъ и поклонился имъ графъ, какъ окинулъ онъ все общество равнодушно-холоднымъ и въ то же время снисходительнымъ взглядомъ, который, казалось, говорилъ: «Какіе вы всѣ жалкіе, мои милые! какіе вы всѣ, должно-быть, глупые! Но я постараюсь быть съ вами любезно-снисходительнымъ!»—и такъ, судя по всему этому, можно было сразу предположить, что сосланный графъ Северинъ-Маржецкій займетъ одно изъ самыхъ видныхъ и уважаемыхъ мѣстъ въ славнобубенскомъ обществѣ.

Констанція Александровна, во-первыхъ, отрекомендовала его барону. Графъ поклонился ему точно такъ же, какъ и хозяевамъ, то-есть, почтительно и въ то же время съ неимовѣрнымъ, хотя и притворно-скромнымъ достоинствомъ: «Древне-родовитый магнатъ, я нахожусь, по волѣ политическихъ обстоятельствъ, въ отчужденіи и несчастіи, крестъ которыхъ впрочемъ сумѣю нести на себѣ съ полнымъ человѣческимъ и гордо-молчаливымъ достоинствомъ»—

Digitized by Google

вотъ что выражалъ молчаливый поклонъ его. Саксенъ весьма любезно пожалъ ему руку, съ тою сочувствующею улыбкою, какую вызываетъ въ благовоспитанныхъ людяхъ несчастіе ближняго, который равенъ намъ по общественному положенію и имѣетъ право на особенное уваженіе наше по своему несчастію.

На мужчинъ фигура графа тоже производила весьма замѣтное впечатлѣніе. Въ это время выслапцы изъ Польши вообще были еще въ диковинку по «нашимъ захолустьямъ», и всякъ почти вмѣнялъ себѣ какъ бы въ священный долгъ сочувствовать «политическому страдальцу» (*мода* на это была такая). Мужчины, равно какъ и женщины, очень хорошо замѣтили изящнаго покроя лондонскій великолѣпный фракъ графа Северина и его брильянты, сверкавшіе у него въ запонкахъ на тончайшей батистовой сорочкѣ и на правой рукѣ, съ которой была сдернута перчатка. Чиновный людъ, усматривая особенное вниманіе, оказываемое графу со стороны губернаторской четы, по долгу служебнаго рвенія, утроилъ свою почтительность къ политическому высланцу: это показывало и внутреннюю либеральность чиновничьяго люда, и тонкое пониманіе служебно-дисциплинарныхъ отношеній, потому что «ежели самъ губернаторъ, то мы и тѣмъ паче...»

Констанція Александровна представляла графу нѣкоторыхъ дамъ, а Непомукъ Анастасьевичъ кое-кого изъ служащихъ (позначительнѣе) и кое-кого изъ дворянства. И всѣ представляемые были встрѣчаемы графомъ Северинымъ все съ однимъ и тѣмъ же выраженіемъ снисходительнаго достоинства, сквозь которое просвѣчивала холодность и сдержанность человѣка, поставленнаго обстоятельствами въ чуждую и презираемую среду, имѣющую надъ нимъ въ данный моментъ перевѣсъ грубой, физической силы: графъ чувствовалъ себя членомъ угнетенной національности, членомъ европейски-цивилизованной семьи, безпомощно оторваннымъ силой на чужбину, въ плѣнъ къ дикимъ, но довольно благодушнымъ и наивнымъ татарамъ.

Но замѣчательнѣе всего, что всѣ тѣ, которые имѣли честь быть представлены графу, въ глубинѣ души своей очень хорошо понимали и чувствовали, относительно себя, то же самое что чувствовалъ къ нимъ и графъ Маржецкій,—словно бы, дѣйствительно, всѣ они были варвары и татары предъ этимъ представителемъ европейской цивилизаціи и аристократизма; и въ то же время каждый изъ нихъ какъ бы стремился изобразить *что-то*, что онъ-то собственно самъ по себѣ, да и всѣ-то мы вообще вовсе не варвары и не татары, а очень либеральные и цивилизованные люди, но... но... сила, поставленная свыше, и т. д. «Это, молъ, она все, а не мы, а мы-то, собственно, что-же? мы рады, но мы пока ничего не можемъ... мы вовсе не такіе, повѣрьте! но... что дѣлать, ваше сіятельство...»

Поэтому всѣ лица, представляемыя графу, имѣли на своихъ физіономіяхъ какое-то извиняющееся выраженіе, словно бы они въ чемъ виноваты предъ нимъ и всею душою желаютъ оправдаться, желаютъ, чтобъ онъ считалъ виноватыми не ихъ собственно, а кого-то другого, посторонняго. Это было почти всеобщее выраженіе и мужчинъ и женщинъ. Одинъ только острословъ и философъ Подхалютинъ, по обыкновенію, не воздержался отъ своеобычной выходки. Когда Анатоль де-Воляй подвелъ его съ представленіемъ къ графу Северину, Астафій Егоровичъ, вытянувъ руки по швамъ и почтительно сгибая спину, съ выраженіемъ искренно-благоговѣйнаго сознанія собственной виновности произнесъ вдругъ самымъ серьезнымъ и покаяннымъ тономъ:

— Виноватъ, ваше сіятельство!.. Извините!

Графъ окинулъ его недоумѣлымъ и вопрошающимъ взглядомъ.

Виноватъ-съ!—повторилъ Подхалютинъ.

— То-есть, въ чемъ же? — медленно и съ усиліемъ произнесъ Маржецкій, показывая видъ, будто ему очень трудно выражаться на чужомъ и почти незнакомомъ языкѣ. Сказалъ онъ это «въ чемъ же» все съ тѣмъ же неизмѣннымъ выраженіемъ снисходительности и величайшей, но холодной вѣжливости, которыя болѣе чуткому на этотъ счетъ человѣку могли бы показаться даже въ высшей степени оскорбительными, но «наше захолустье» вообще мало понимало и различало это.

— Въ чемъ же?—повторилъ графъ съ тѣмъ же усиліемъ и затрудненіемъ.

— Въ чемъ? И самъ не знаю, ваше сіятельство!—вздохнулъ и развелъ руками философъ.—Но вы, какъ и я же, успѣли уже, вѣроятно, замѣтить, что здѣсь всѣ какъ будто въ чемъ-то виноваты предъ вашимъ сіятельствомъ; ну, а я человѣкъ мірской и, вмѣстѣ со всѣми, инстинктивно чувствую себя тѣмъ же и говорю: «виноватъ!» Я только, ваше сіятельство, болѣе откровененъ, чѣмъ другіе.

Анатоль досадливо краснѣлъ и кусалъ себѣ губы. Графъ, какъ будто немного смутился, не зная, какъ понять ему выходку Подхалютина: счесть ли ее за дерзкую насмѣшку, или отнести къ плодамъ русской наивности? Подхалютинъ очень хорошо видѣлъ досаду одного и смущеніе другого, и въ душѣ своей очень веселился таковому обстоятельству.

Графъ сидѣлъ въ гостиной, окруженный дамами, которыя являли собою лучшій букетъ элегантнаго Славнобубенска. Ни тѣни какой бы то ни было рисовки своимъ положеніемъ, ни малѣйшаго намека на какое бы то ни было фатовство и ломанье, ничего такого не сказывалось въ наружности графа, спокойной и сдержанно-

Digitized by Google

увѣренной въ своемъ достоинствѣ. Онъ весь былъ въ эту минуту олицетворенная польско-аристократическая вѣжливость и блисталъ равнодушною, нѣсколько холодною простотою.

Графиня де-Монтеспанъ, какъ женщина, играющая послѣ хозяйки первую роль въ ея обществѣ, взяла на себя преимущественное право занимать графа Северина, избѣгая впрочемъ вопросовъ о его родинѣ, ибо предположила себѣ, что воспоминанія о Польшѣ должны пробуждать въ немъ горькое и тяжелое чувство. Но нѣкоторыя изъ окружающихъ сильфидъ и фей славнобубенскихъ были на этотъ счетъ менѣе проницательны, чѣмъ графиня, и потому поминутно принимались бомбардировать гостя вопросами именно этого рода. Графиня морщилась и старалась заминать такіе разговоры, но матроны съ сильфидами не унимались. Разговоръ, конечно, шелъ исключительно по-французски и, надо замѣтить, что графиня усердно старалась и заботилась объ этомъ, дабы не утруждать гостя отвѣтами на чуждомъ и притомъ враждебномъ ему языкѣ, который ни въ какомъ случаѣ, казалось ей, не могъ быть ему пріятенъ. Но нѣкоторыя изъ сильфидъ, владѣя не совсѣмъ-то ловко французскимъ діалектомъ и въ то же время желая, во что бы то ни стало, быть любезными, то и дѣло мѣшали, по привычкѣ, французское съ нижегородскимъ.

— Скажите, пожалуйста, графъ,—приставала madame Ярыжникова,—правда ли, что у варшавянокъ у всѣхъ прелестныя ножки?

Графъ снисходительно улыбался и, въ нѣкоторомъ затрудненіи пожавъ плечами, отвѣчалъ, что и славнобубенскія ножки, сколько ему кажется, ничѣмъ не уступаютъ варшавскимъ.

Ярыжникова, принимая это на свой счетъ, кокетливо улыбалась и самодовольно-торжествующимъ взоромъ обводила гирлянду своихъ пріятельницъ.

— Это вѣдь больше зависитъ отъ обуви,—замѣтила madame Пруцко, уязвленная до извѣстной степени торжествомъ Ярыжниковой: — у иной и вовсе не хороша нога, но мастерскія ботинки—и кажется, будто прелестная ножка, а она совсѣмъ не хороша... Это бываетъ!..

— А вѣдь Варшава славится своими ботинками, замѣчала Фелисата Егоровна.— У меня тамъ кузенъ въ гусарахъ служилъ, такъ когда онъ въ отпускъ пріѣзжалъ, разъ привезъ мнѣ нѣсколько паръ... Превосходныя!..

Графъ отвѣчалъ только все одною и тою неизмѣнною своею улыбкою.

— Мнѣ кузенъ говорилъ,—продолжала Фелисата,—что Варшава очень веселый городъ.

— Былъ когда-то, — сдержанно замѣтилъ графъ.

— Э алянстанъ?—вопрошала она.—Вузаве ля боку дэ театръ, дэ консертъ, э сюръ-ту юнъ грандъ сосьетэ! Онъ' парль ке се тутафе юнъ бургъ эуропеэнь!

— Тамъ теперь не до веселья!—съ благочестивымъ вздохомъ замѣтила, потупляя взоры графиня и желая изобразить этимъ извѣстную долю сочувствія къ предметамъ, близкимъ сердцу графа Северина. Многія изъ дамъ, каждая по своему, повторили ея прискорбный взоръ и жестъ, и тоже не безъ побужденія сдѣлать этимъ пріятное графу.

— Но неужели же ваши женщины совсѣмъ не веселятся?—спросила Чапыжникова.

— Онѣ отвыкли отъ этого и не хотятъ, и даже забыли веселиться,—отвѣтилъ Маржецкій.

— О, Боже мой!.. бѣдняжки, право, эти польскія женщины! Какъ я отъ души сочувствую имъ!—жеманничая, говорила Чапыжникова, съ видимымъ желаніемъ придать себѣ мило-игривую и дѣтски-прелестную наивность.—И какіе, право, противные эти наши русскіе!.. Зачѣмъ они ихъ обижаютъ!.. Я вѣдь, графъ, большая либералка, предупреждаю васъ! Я очень большая либералка! Мнѣ ужъ и то мой мужъ говоритъ, что я какъ-нибудь попадусь въ Петропавловскую крѣпость, право!.. Но я все-таки не могу не сочувствовать тому, что возвышенно и прекрасно... И скажите пожалуйста,—оживленно продолжала она свое щебетанье,—эти бѣдныя наши польскія сестры, что же онѣ дѣлаютъ, если у нихъ нѣтъ теперь никакихъ развлеченій?

— Молиться и плакать—это все, что осталось имъ въ настоящее время,—тихо, но отчетливо и медленно проговорилъ графъ съ благоговѣйнымъ выраженіемъ глубокаго почтенія въ лицѣ, придавая тѣмъ самымъ значительную вѣскость своимъ серьезнымъ словамъ, вмѣстѣ съ которыми всталъ съ мѣста и пошелъ на встрѣчу хозяйкѣ, показавшейся въ дверяхъ залы.

Графъ Маржецкій въ теченіе цѣлаго вечера служилъ предметомъ вниманія, разговоровъ и замѣчаній, изъ которыхъ почти всѣ были въ его пользу. Русское общество, видимо, желало показать ему радушіе и привѣтъ, и притомъ такъ, чтобы онъ, высланецъ на чужбину, почувствовалъ это. Но главное, всѣмъ очень хотѣлось постоянно заявлять, что они не варвары, а очень цивилизованные люди.

Балъ дотянулся до мазурки. Графъ стоялъ въ залѣ отдѣльно и одиноко, любуясь на Шписса и Анатоля, на майора Перевохина и экс-гусара Гнута. Гнутъ танцовалъ «по-гусарски» прохаживаясь болѣе насчетъ пощелкиванья каблуками да позвякиванья шпорами, майоръ же выступалъ, какъ и всегда, истиннымъ бурбономъ, съ такимъ выраженіемъ лица и всей фигуры, какъ будто подходилъ къ фельдмаршалу на ординарцы. Шписсъ и въ мазуркѣ оставался все такимъ-же усердно преданнымъ чиновникомъ особыхъ порученій, а прелестный Анатоль выдѣлывалъ свои *па* съ тою небрежною самоувѣренностью и въ томъ характерѣ

Digitized by Google

которымъ всегда почти отличаются въ мазуркѣ питомцы Училища Правовѣдѣнія. О дамахъ нечего говорить: русскія дамы вообще, за довольно рѣдкими исключеніями, не умѣютъ танцовать мазурку и по большей части напоминаютъ собою въ это время то бѣгающихъ цыплятъ, то перевалистыхъ утокъ въ ту минуту, когда тѣ шлепаются съ берега въ воду. Дирижировалъ фигурами Болеславъ Казиміровичъ Пшецыньскій, почитавшійся первымъ мазуристомъ града Славнобубенска. Онъ выступалъ теперь въ первой парѣ съ губернаторшей. Констанція Александровна танцовала прелестно. Одинъ изъ мѣстныхъ литераторовъ-обывателей, удостоенный приглашенія на балъ, глядя на нее, уже свертывалъ въ умѣ своемъ фразу, по которой выходило, что «длинный шлейфъ ея блистательнаго платья граціозно и покорно слѣдовалъ за своею царственною повелительницею». И дѣйствительно, это была королева мазурки. Въ ней сказывалась та живая жилка, та вдохновительная искорка, которыя по натурѣ присущи въ мазуркѣ родовитой и красивой полькѣ.

Графъ Северинъ-Маржецкій любовался ею, и губернаторша танцовала отъ этого еще лучше, еще вдохновеннѣе, ибо знала и чувствовала, что ею любуются, что сегодня есть человѣкъ, который можетъ артистически понимать ее...

Пшецыньскій устроилъ, по ея просьбѣ, фигуру, въ которой дама сама выбираетъ себѣ кавалера. Въ первый разъ Констанція Александровна, предварительно устроивъ себѣ обворожительную улыбку, удостоила своимъ выборомъ тающаго барона Иксъ-фонъ-Саксенъ, и баронъ прошелся съ ней, какъ умѣлъ, то-есть, немножко по-нѣмецки, аккуратно и отчетливо, чѣмъ и вызвалъ легкую, едва скользнувшую усмѣшку на губахъ графа Северина.

Когда же снова дошла очередь до Констанціи Александровны, она, выйдя на середину залы и будто отыскивая кого-то глазами, замедлилась на минуту и потомъ прямо направилась къ одиноко стоящему графу. Тотъ въ смущеніи и отчасти съ испугомъ глядѣлъ на нее, какъ-бы вымаливая себѣ пощады.

— Одинъ туръ! — граціозно слегка склонилась предъ нимъ пани Констанція.

— Пощадите старость! — любезно пожавъ плечами, съ поклономъ пролепеталъ Маржецкій.

— Алежъ-бо прошен' пана! — какъ-то порывисто и пѣвуче прошептала она. — Ну!.. На погибель Москвы.

Графъ покорно подалъ ей руку.

Несмотря на свои пятьдесятъ лѣтъ, онъ танцовалъ такъ, какъ никто не умѣлъ танцовать въ Славнобубенскѣ. Всѣ теперь глядѣли на него, всѣ только и любовались этой блестяще-артистической парой. Даже самъ Болеславъ Казиміровичъ Пшецыньскій, танцовавшій отлично, съ военно-кавалерійской искоркой, залюбовался на графа и долженъ былъ сознаться въ душѣ, что пальма первенства остается за Маржецкимъ. Тутъ было нѣчто выше чѣмъ военно-кавалерійская искорка, тутъ была и беззавѣтная старо-польская удаль, и тонкое изящество; это танцовалъ полякъ и аристократъ. Послѣдняго-то именно и не доставало Болеславу Казиміровичу.

Ловко закрутивъ свою даму и еще ловчѣе опустя ее на ея стулъ, онъ почтительно поклонился и съ равнодушнымъ спокойствіемъ отошелъ на прежнее свое мѣсто.

— Еще Польска не згинэла!—замѣтилъ при этомъ Подхалютинъ, обращаясь къ кому-то изъ своихъ сосѣдей, подобно ему любовавшихся на блистательную пару.

— Еще бы сгинуть, коли тамъ люди умѣютъ и вставать и страдать за свою свободу!— замѣтилъ ему этотъ кто-то, желая заявить нѣкоторую либеральность.

— Нѣтъ, не страдать, а танцовать за свободу!—поправилъ славнобубенскій философъ.— И не згинэла Польска до тѣхъ поръ, пока тамъ будутъ умѣть вотъ этакъ плясать мазурку.

Каждая изъ славнобубенскихъ матронъ и сильфидъ, порхавшая по этой залѣ, укрыла теперь въ душѣ своей злостный умыселъ противъ графа: каждая рѣшила наперерывъ другъ передъ дружкой выбирать его своимъ кавалеромъ, но Маржецкій какъ будто проникъ тайнымъ уразумѣніемъ ихъ замыслы и потому вскорѣ незамѣтно удалился изъ залы.

За ужиномъ по одну сторону подлѣ хозяйки сидѣлъ баронъ Иксъ-фонъ-Саксенъ, а по другую графъ Северинъ-Маржецкій.

— Графъ, позвольте предложить вамъ тостъ, — вполголоса сказала она, выразительно глядя на своего сосѣда.

— Въ честь чего или кого? — спросилъ Маржецкій, внимательно склонясь къ ней въ пол-оборота.

— Въ честь того, чего мы болѣе всего желаемъ, — тихо проговорила губернаторша, метнувъ на него еще болѣе выразительный и восторженный взглядъ. Графъ понялъ, и чокнувшись залпомъ выпилъ бокалъ.

Потомъ она чокнулась и съ барономъ, со вздохомъ сожалѣнія по случаю его скораго отъѣзда. Балъ кончился въ пятомъ часу утра, и многіе, уѣзжая съ него, дѣлали свои соображенія относительно ссыльнаго графа. Появленіе его на этомъ балѣ, вниманіе губернатора, любезность хозяйки, туръ мазурки, мѣсто за ужиномъ, нѣкоторыя фразы и умѣнье держать себя въ обществѣ и, наконецъ, этотъ особенный ореолъ «политическаго мученичества», яркій еще тогда по духу самаго времени, — все это давало чувствовать проницательнымъ славнобубенцамъ, что графъ Северинъ-Маржецкій сразу занялъ одно изъ самыхъ видныхъ и почетныхъ мѣстъ «въ на-

Digitized by Google

шемъ захолустьѣ», что онъ большая и настоящая сила.

XXXVI.

Въ саду.

Солнце садилось за низкую тучу и послѣднимъ своимъ отблескомъ окрашивало ее въ густой темно-розовый и почти багряный цвѣтъ съ ярко-золотистыми скважинами въ серединѣ и излучинами по краямъ, сверкавшими словно растопленное золото. Волга мѣстами тоже была подернута этимъ багрянымъ отливомъ послѣднихъ лучей, которые жаркими искрами замирали на прорѣзныхъ крестахъ городскихъ церквей и колоколенъ да на причудливыхъ верхушкахъ высокихъ мачтъ у расшивъ, и горѣли кое-гдѣ на откосахъ большихъ надутыхъ парусовъ, которые тамъ и сямъ плавно несли суда внизъ по тѣченію.

Въ воздухѣ было тихо и тепло. Порою легкій вѣтерокъ съ Заволжья приносилъ воздушною струею свѣжій запахъ воды и степныхъ весеннихъ травъ. Стояли послѣдніе дни мая.

Въ небольшой и легкой плетеной бесѣдкѣ, сплошь обвитой побѣгами павоя и хмѣля, на зеленой скамьѣ, передъ зеленымъ садовымъ столикомъ сидѣла Татьяна Николаевна Стрѣшнева и шила себѣ къ лѣту холстинковое платье. Передъ нею лежали рабочій баулъ и недавно сорванныя съ клумбы двѣ розы. По саду начинали уже летать майскіе жуки да ночныя бабочки, и какъ-то гуще и сильнѣе запахло къ ночи со всѣхъ окружающихъ клумбъ ароматомъ резеды и садоваго жасмина.

Дѣвушка старалась шить прилежнѣй, потому что чувствовала, будто сегодня ей какъ-то не шьется. Голова была занята чѣмъ-то другимъ; взоръ отрывался отъ работы и задумчиво летѣлъ куда-то вдаль, на Заволжье, и долго, почти неподвижно тонулъ въ этомъ вечерѣющемъ пространствѣ; рука почти машинально останавливалась съ иглою, и только по прошествіи нѣсколькихъ минутъ, словно бы опомнясь и придя въ себя, дѣвушка замѣчала, что шитье ея забыто, а непослушныя мысли и глаза опять-вотъ блуждали гдѣ-то!

«Господи! Да что это со мной сегодня?» недоумѣло шептала она себѣ и снова, еще прилежнѣй, принималась за работу.

Или вдругъ начинала она пристально вглядываться и вслушиваться въ садовую чащу, словно бы ожидая чьего-то прихода. Но замѣтивъ, что слухъ и глаза опять обманули ее, снова наклонялась къ шитью, и только одна какая-то жилка въ нервно-молодомъ, впечатлительномъ лицѣ на мгновеніе вздрагивала досадливымъ нетерпѣніемъ. Задумчиво-ясная улыбка появлялась порой на глазахъ и во взорѣ, и свѣтло блуждала нѣкоторое время по лицу, словно бы въ эти минуты дѣвушка вспоминала о комъ-то и о чемъ-то, словно бы ей приходили на память чьи-то хорошія слова, чей-то милый образъ, какія-то пріятныя мгновенья, уже перешедшія въ недавнее прошлое, быть-можетъ только вчера, быть-можетъ еще сегодня... И она снова, нетерпѣливо и выжидательно, начинала вглядываться въ чащу.

Но въ саду было совсѣмъ тихо, только комарикъ какой-то звенѣлъ недалеко надъ ухомъ, да соловей гдѣ-то рано начиналъ выщелкивать, да еще гуще пахло резедой и жасминами.

Вдругъ по песку ближней дорожки послышались быстрые, легкіе молодые шаги.

Дѣвушка чутко вздрогнула, затаила свѣтлую, всю душу выдающую улыбку и принудила себя наклониться къ работѣ, стараясь сдѣлать видъ, будто она вся поглощена этимъ занятіемъ.

«Нѣтъ! Чего лгать-то!» мелькнула ей мысль,—и спѣшно отодвинувъ свой баулъ да холстинку, она нетерпѣливо и радостно подняла глаза и вся ждала ими, вотъ-тотъ, сію секунду появленія предъ собою кого-то, давно уже жданнаго и желаннаго.

Вошелъ Хвалынцевъ.

— Что такъ поздно?—съ легкимъ укоромъ, но внутренно довольнымъ тономъ, спросила Татьяна Николаевна, протягивая ему руку.

— Да вотъ, только-что съ дѣлами управился.

— Кончили?

— Совсѣмъ уже.

— И стало быть, завтра?—задумчиво проговорила она, опять устремляя долгій, блуждающій взглядъ на Заволжье.

— Завтра... Прощайте, Татьяна Николаевна!.. — тоже задумчиво и не сразу отвѣтилъ студентъ, садясь на зеленую скамейку.

— Ну, прощайте... Дай Богъ вамъ...

Она не договорила и отвернувшись глядѣла все въ ту же прозрачно-мглистую даль.

— А не хочется уѣзжать!.. Ей-Богу, такъ привыкъ я за все это время... заговорилъ онъ, глядя себѣ въ ноги, словно бы боялся прямымъ взглядомъ на нее выдать свои ощущенія.

— Нельзя, Константинъ Семеновичъ... нельзя. Надо ѣхать. Надо дѣло дѣлать.

— Эхъ, ей-Богу, и вы туда же!—съ нѣкоторою досадой махнулъ онъ рукой.—Отъ всѣхъ вокругъ только и слышишь «дѣло» да «дѣло», а какое дѣло-то?.. Какъ подумать-то хорошенько, такъ и дѣла-то никакого нѣтъ!

— А учиться?.. Развѣ это не дѣло?

— Положимъ и такъ; да что толку-то?

— Ну, коли о толкѣ говорить, такъ это длинные разговоры пойдутъ. Надо, голубчикъ мой, чтобъ у каждаго человѣка какое-нибудь дѣло было, какая-нибудь задача въ жизни.

— Вы, кажись, резонировать начинаете?— мягко улыбнулся Хвалынцевъ.

Digitized by Google

— Нѣтъ, а такъ мнѣ кажется. Скучно безъ дѣла-то.

— Хм!.. Ну, возьмемъ къ примѣру васъ хоть: какое у васъ дѣло?

— А вотъ—какъ видите; платье холстинковое шью себѣ.

— И въ этомъ задача жизни? — пошутилъ онъ.

— Вы къ словамъ придираетесь. Задача, положимъ, и не въ этомъ, а умѣть самой сшить себѣ платье—дѣло не лишнее.

— Да вѣдь это все такъ-себѣ, одни слова только или отъ нечего дѣлать! Задача въ жизни!.. легко сказать!.. И всѣ мы любимъ тѣшить себя такими красивыми словами. Оно и точно: сказалъ себѣ «задача въ жизни»—и доволенъ, какъ будто и въ самомъ дѣлѣ однимъ уже этимъ словомъ что-то опредѣлено, что-то сдѣлано, а разобрать поближе—и нѣтъ ничего! Ну, какая, напримѣръ, ваша задача въ жизни? Простите за вопросъ!—улыбнулся Хвалынцевъ.

Татьяна Николаевна поглядѣла на него серьезно и просто.

— Очень не хитрая,—сказала она.—Быть честной женщиной.

— Понятіе условное-съ. Одни понимаютъ его такъ, другіе иначе. Да вотъ вамъ, для наглядняго сравненія: мать Агаѳоклея потеряла жениха, пошла въ монастырь, всю жизнь осталась вѣрна его памяти, все имѣніе раздала нищимъ и на старости лѣтъ имѣетъ полное право сказать о себѣ: «я честная женщина»; ну, и наша общая знакомка Лидинька Затцъ тоже вѣдь съ полнымъ убѣжденіемъ и совсѣмъ искренно говоритъ: «я честная женщина».

— Что-жь, можетъ-быть, съ своей точки зрѣнія и Лидинька права,—пожала плечами Стрѣшнева,—какъ права и мать Агаѳоклея. Я, Константинъ Семеновичъ, понимаю это дѣло такъ,—продолжала она.—Прожить свою жизнь такъ, чтобы ни своя собственная совѣсть, ни людская ненависть ни въ чемъ не могли упрекнуть тебя, а главное—собственная совѣсть. Для этого нужно немножко сердца, то-есть человѣческаго сердца, немножко разсудка да искренности. Ну, вотъ и только.

— Рецептъ не особенно сложенъ,—возразилъ Хвалынцевъ,—и былъ бы очень даже хорошъ, если бы сердце не шло часто наперекоръ разсудку, вотъ, какъ у меня, напримѣръ, разсудокъ говоритъ: поѣзжай въ Петербургъ, тебѣ, братъ, давно пора, а сердце, быть-можетъ, проситъ здѣсь остаться. Что вы съ нимъ подѣлаете! Ну, и позвольте спросить васъ, что бы вы сдѣлали, если бы, выйдя замужъ да вдругъ... вѣдь всяко бываетъ!—глубоко полюбили бы другого?

Стрѣшнева, прежде чѣмъ отвѣтить, поглядѣла на него серьезно и нѣсколько строго, словно бы желая опредѣлить себѣ, подъ какимъ побужденіемъ былъ сдѣланъ этотъ вопросъ. Хвалынцевъ глядѣлъ на нее, какъ и всегда, и серьезно, и съ уваженіемъ.

— Что́ бы я сдѣлала?—медленно проговорила она.—Во-первыхъ, я бы не вышла иначе замужъ, какъ только убѣдясь прежде въ самой себѣ, что я *точно* люблю человѣка, что это не блажь, не вспышка, не увлеченіе, а дѣло крѣпкое и серьезное. Ну, и послѣ этого... мнѣ бы ужь, конечно, не пришлось полюбить другого.

— Да если другой-то будетъ лучше!

— Тутъ нѣтъ, мнѣ кажется, ни лучше, ни хуже,—столь же серьезно продолжала дѣвушка.—Можетъ-быть, я даже могла бы полюбить и очень дурного человѣка, потому что любишь не *за что-нибудь*, а любишь просто, потому что любится, да и только. Знаете пословицу: не по хорошу милъ, а по милу хорошъ. Но дѣло въ томъ, мнѣ кажется, что можно полюбить разъ да хорошо, а больше и не надо! Больше, ужь это будетъ не любовь, а Богъ знаетъ что! Одно баловство, ну, а я такими вещами не люблю баловать.

— Но какъ же послѣ этого Лидинька-то права, положимъ, хоть и «съ своей точки зрѣнія»?—спросилъ Хвалынцевъ, думая поймать на словѣ собесѣдницу.

— Лидинька? Да Лидинька не понимаетъ и никогда не понимала этого. И развѣ она виновата въ томъ? Вѣдь человѣкъ не виноватъ, если родился слѣпымъ или безрукимъ. О немъ только пожалѣть можно. То же самое и Лидинька.

— Однако, вѣдь эдакъ и все оправдать легко?—сомнительно улыбнулся студентъ.

— Обвинить еще легче. Лидинька никогда не любила, а теперь ужь едва-ли и можетъ полюбить серьезно. Она «за свободу чувства», какъ говоритъ она, и совершенно искренно стоитъ за эту свободу, не понимая, что это такое; притомъ же Лидинька не убила, не уворовала вещи какой-нибудь, словомъ, не сдѣлала ничего такого, что на условномъ языкѣ называется «подлостью». Лидинька, къ тому же еще «свои убѣжденія имѣетъ», и потому съ полнымъ правомъ и съ полною искренностью называетъ себя честной женщиной. Ей бы только, по настоящему, замужъ выходить не слѣдовало, но... это ошибка ея родныхъ; ее выдали, не спрашивая согласія, чуть не ребенкомъ.

Хвалынцевъ задумался.

— Такой взглядъ на серьезное чувство, безспорно, хорошъ,—сказалъ онъ наконецъ,—но вѣдь съ нимъ иногда рискуешь быть очень несчастливымъ въ жизни.

— То-есть, какъ это?—подняла голову дѣвушка.

— А такъ, что если вы любите человѣка вѣтренаго, увлекающагося, который разлюбитъ потомъ, который въ каждомъ смазливомъ личикѣ будетъ находить себѣ источникъ чувства или развлеченія, тогда что?

Digitized by Google

— Да, тогда не хорошо,—согласилась Стрѣшнева.—Это безспорно, величайшее несчастіе, но это еще не достаточная причина, чтобы и самой дѣлать то же.

— Опять маленькое резонерство!—подхватилъ Хвалынцевъ.—Это говоритъ голова или, пожалуй, сознаніе долга, но никакъ не сердце. Такого нестоющаго человѣка какъ не люби, а наконецъ все-таки станешь къ нему равнодушною. Тогда что?

— Тогда? Уйти въ свою улитку и затвориться.

— А коли душа снова запроситъ солнца, свѣта, воздуха; коли кровь еще въ каждой жилкѣ будетъ напоминать про молодость?

— А сила воли на что?

— Но вѣдь это какое-то факирство! Это значитъ душить самоё себя!

— Потому-то вотъ прежде и надо прочувствовать хорошо свое чувство, а потомъ уже рѣшаться,— серьезно сказала дѣвушка.

— А если обманешься и, главное, выйдешь замужъ, да потомъ увидишь, что дѣло-то плохо?

Она улыбнулась и собралась съ мыслями.

— Вы, Константинъ Семеновичъ, кажется, думаете, что я замужество полагаю первымъ и непремѣннымъ условіемъ серіознаго чувства?— осторожно отчасти застѣнчиво спросила Татьяна Николаевна.—Скажу вамъ на это вотъ что: да, если я полюблю человѣка, то хотѣла бы любить его откровенно и прямо, не стыдясь глядѣть въ глаза цѣлому свѣту, не прятаться, не скрывать свою любовь, а говорить всѣмъ: да, молъ, я люблю его! Поэтому я во всякомъ случаѣ предпочла бы быть женою, чѣмъ не женою любимому человѣку. Предпочла бы еще и потому, что, мнѣ кажется, я за себя могу отвѣтить: ужь если полюблю, такъ хорошо полюблю и не заставлю ни разу ни покраснѣть за себя, ни пожалѣть о томъ, что взялъ меня замужъ! И, наконецъ, во власти самой женщины сдѣлать такъ, чтобы человѣкъ всегда любилъ ее, чтобы ему и въ голову не пришло о возможности увлечься другою. Это *можетъ* сдѣлать женщина. Надо только умѣть любить прежде всего и... вѣрить!.. Въ себя вѣрить!

Она говорила съ увлеченіемъ. искренно, горячо. Голубые глаза ея горѣли и щеки раскраснѣлись молодымъ и горячимъ румянцемъ.

Хвалынцевъ жадно слушалъ и любовался ею, ловя глазами каждый ея взглядъ, каждое движеніе бровей, губъ, улыбку, выраженіе лица и чувствовалъ, какъ нѣчто острое и жуткое идетъ гдѣ-то внутри его и проникаетъ собою весь его составъ.

Ему было хорошо въ эту минуту. Онъ всѣмъ сердцемъ, всѣмъ разсудкомъ, всею волею склонялся передъ этой открытой простотой и беззавѣтной искренностью.

Разомъ обдавъ его своимъ яснымъ взглядомъ, дѣвушка замѣтила, угадала и поняла все и, еще больше зардѣвшись, вдругъ примолкла и тихо, немножко смущенно опустилась на прежнее мѣсто.

Разговоръ самъ собой прекратился, да и не къ чему было возобновлять его: на душѣ у обоихъ было такъ полно, такъ хорошо, такъ молодо и счастливо, что слова были излишни. Наступило полное и совсѣмъ спокойное молчаніе, въ которомъ еще отчетистѣй звенѣлъ какой-то назойливый комарикъ или ночная пчелка, и перерывисто раздавались надъ уснувшимъ берегомъ яркіе соловьиные раскаты. Она сидѣла, подпершись рукою, и въ задумчивости небрежно перебирала лепестки розы, а онъ сосредоточенно курилъ свою сигару и тихо глядѣлъ на ея полуопущенную русую головку. Съ того самаго раза, какъ Стрѣшнева пригласила его къ себѣ, послѣ сходки у Лубянской, онъ часто и почти ежедневно сталъ бывать въ домѣ ея тетки. Къ нему скоро привыкли и перестали стѣсняться. Татьянѣ Николаевнѣ незамѣтно даже стало нравиться его присутствіе, онъ и ей, и старухѣ пришелся по сердцу. Дѣвушка любила быть съ нимъ и говорить съ нимъ, а молодое весеннее чувство межъ тѣмъ обоимъ закрадывалось въ душу, и какъ это сдѣлалось — они сами того не знали и не замѣчали; а оно шло все дальше и все глубже запускало въ сердце свои живучіе молодые корни. Они ни разу даже не подумали объ этомъ чувствѣ, ни разу не позаботились заглянуть во внутрь себя и дать себѣ отчетъ о томъ, что̀ это такое; слово «люблю» ни разу не было сказано между ними, а между тѣмъ въ этотъ часъ оба инстинктивно какъ-то поняли, что они не просто знакомые, не просто пріятели или друзья, а что-то больше, что-то ближе, теплѣй и роднѣе другъ другу.

Поняли и молчали.

— Итакъ, завтра ѣдете? — прервала она, наконецъ, это молчаніе.

— Завтра... — проговорилъ Хвалынцевъ и бросилъ отъ себя окурокъ сигары.

— А въ самомъ дѣлѣ, грустно какъ-то разставаться, — задумчиво сказала она. — До послѣдней минуты объ этомъ и не думаешь, а тутъ—гляди—и грустно... Такъ все это хорошо было... время летѣло незамѣтно... и вдругъ ничего этого не будетъ...

— Остаться развѣ?—нерѣшительно и робко отозвался Хвалынцевъ.

Дѣвушка мелькомъ взглянула на него, но тотчасъ же потупясь отвернулась и молчала, не отвѣчая ни словомъ, ни жестомъ.

— Остаться?—еще тише молвилъ онъ.

— Нѣтъ, нѣтъ! Поѣзжайте... поѣзжайте... Надо ѣхать! — быстро и рѣшительно проговорила Татьяна Николаевна, какъ-то нервно и озабоченно принимаясь ощипывать лепестки своей розы, словно бы въ этомъ занятіи была теперь вся ея главная, сосредоточенная и серьезная забота.

Digitized by Google

— Значитъ, такъ и не увидимся больше?— спросилъ онъ, стараясь придать своему голосу спокойное и даже равнодушное выраженіе.

— Зачѣмъ не увидаться? Пріѣдете опять какъ-нибудь!.. А можетъ, и мы съ тетушкой по осени тоже въ Питеръ соберемся... Вотъ и увидимся.

Опять наступило молчаніе.

— Таня!—громко раздался съ террасы дома знакомый голосъ старушки. — Таня! гдѣ ты? Пора чай пить... Андрей Павлычъ пришелъ!

— Устиновъ здѣсь,—тихо вымолвилъ Хвалынцевъ.

Дѣвушка, ничего не отвѣтя, быстро собрала шитье, надѣла на руку баулъ и поднялась съ мѣста. Глаза ея встрѣтились съ глазами Хвалынцева.

— Ну, прощайте! — тихо, но рѣшительно сказала она, усиливаясь придать себѣ улыбку, тогда какъ щека ея нервно подрагивала и въ груди колесомъ ходило что-то похожее на подступающія слезы.

— Прощайте... Нѣтъ, до свиданья! — прошепталъ Хвалынцевъ и, взявъ протянутую ему руку, долго, тихо и горячо, не отрываясь, сталъ цѣловать ее.

— До свиданья... до свиданья...—вся слегка дрожа, тихо шептала и принужденно улыбалась дѣвушка и глядѣла въ его лицо, отрывая и въ то же время не желая отрывать отъ его губъ свою руку. — Ну, будетъ... будетъ... Пойдемте... Пора... Тетушка ждетъ къ чаю...

И они молча пошли по дорожкѣ въ сумракъ сада, сквозь который привѣтливо и весело глядѣлъ на нихъ изъ-за вѣтвей яркій свѣтъ лампы въ окнахъ хорошенькаго домика.

ПАНУРГОВО СТАДО

РОМАНЪ.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ.

I.

Въ коптилкѣ.

18-го сентября 1861 года, утромъ, въ половинѣ девятаго часа, Хвалынцевъ шелъ въ университетъ. Въ этотъ день открывались лекціи. Шелъ онъ бодро и весело, въ ожиданіи встрѣчъ со старыми товарищами, съ знакомыми профессорами.

«Что-то предстоитъ на нынѣшній годъ? какія дѣла, какіе интересы? будетъ ли все такъ же, попрежнему, процвѣтать своя домашняя, университетская «публицистика»? что *Сборникъ* студентскій? что «касса» сходки? Фишеръ, конечно, по-прежнему будетъ вѣщать, что «педагогика раздѣлявается на три половины, изъ которыхъ первая говоритъ о воспитаніи, но вторая равно о воспитаніи, а зато третья... тоже о воспитаніи». Ну, да впрочемъ Фишеръ—Богъ съ нимъ! а вотъ лекціи Костомарова, Спасовича, Кавелина—тутъ ужь вознаградимъ себя за всѣ три половины! Еще одинъ годъ—кандидатскій дипломъ въ руки—и гуляй себѣ Константинъ Семеновичъ по бѣлому свѣту, распоряжайся свою личностью, какъ признаешь удобнѣе!»

Весело мечтая такимъ образомъ, Хвалынцевъ почти и не замѣтилъ, какъ очутился передъ университетскимъ подъѣздомъ.

— А! старая гвардія! — привѣтливо, какъ стараго знакомаго, встрѣтилъ его въ сѣняхъ, на площадкѣ, почтенный университетскій швейцаръ.—Старая гвардія! добро пожаловать! Съ новымъ курсомъ, съ новымъ счастьемъ!

— Здорово, Савельичъ! Спасибо тебѣ! А что новаго?

— О, новаго много, много новаго! полны карманы наложишь новостей, и то не оберешься!—махнувъ рукой, ухмыльнулся старый Савельичъ. — Письмо есть къ вашей милости — нѣсколько дней ужь лежитъ.

И порывшись у себя на столикѣ, гдѣ у него обыкновенно раскладывались письма, адресованныя въ университетъ, на имя студентовъ, онъ старчески внимательно, поодаль отъ глазъ, разобралъ надпись и подалъ Хвалынцеву запечатанный конвертъ.

— Ну, ладно, послѣ прочтемъ на досугѣ,— проворчалъ себѣ подъ носъ студентъ и, сунувъ письмо въ боковой карманъ разстегнутаго сюртука, повѣсилъ пальто и быстрыми шагами поднялся наверхъ, по лѣстницѣ. Какъ разъ на верхней площадкѣ, носъ къ носу, столкнулась съ нимъ единая отъ полицейско-университетскихъ властей.

— Ай, ай, господинъ Хвалынцевъ, опять

Digitized by Google

воротнички! опять воротнички у васъ выпущены! и въ прошломъ году воротнички, и въ позапрошломъ воротнички, и нынче опять воротнички!—говорила власть, тщетно стараясь принять авторитетный тонъ, ибо чувствовала, что въ послѣдніе годы авторитетъ ея сильно расшатался.

— Ну да, Александръ Ивановичъ, и воротнички, и волосы длинноваты — это вѣдь мой всегдашній недостатокъ! Ничего, свои люди—какъ нибудь сочтемся!—полушутя, полунебрежно отвѣтилъ студентъ, проскальзывая въ дверь мимо власти, которая только развела руками да головой вослѣдъ ему покачала.

Въ длинномъ университетскомъ корридорѣ, тамъ и сямъ, около аудиторій, слонялись довольно уже людныя группы студентовъ. Въ этихъ слоняющихся группахъ даже непривычный глазъ могъ бы сразу отличить новичковъ отъ «старой гвардіи», по выраженію Савельича. Старая гвардія бойко ходила, громко говорила, весело смѣялась и держала себя по домашнему, «своими людьми», съ видимою независимостью; новички же, тщательно застегнутые на всѣ пуговицы, отличались несмѣлостью движеній и взглядовъ, и въ выраженіи лица всецѣло еще носили робкое и почти идеальное благоговѣніе ко «храму науки».

Мимоходомъ кивнувъ кой-кому головою, кой-кому пожавъ на ходу руку, Хвалынцевъ миновалъ наконецъ длинный корридоръ и спустился внизъ, въ курильную комнату, прозванную студентами по просту «коптилкой». Тамъ — все по старому: тѣ же грязно-желтыя стѣны, тѣ же двѣ-три убогія скамьи, тотъ же дымъ и окурки, тотъ же подслѣповатый сторожъ со своимъ запахомъ и тотъ же бородатый маркитантъ въ синей поддевкѣ, а у маркитанта все тѣ же неизмѣнные бутерброды съ колбасой и сыромъ да слоеные пирожки съ яблоками, вкусъ которыхъ уже много лѣтъ отмѣнно хорошо знакомъ всему университету.

Коптилка была полна молодежью. Кромѣ синихъ студентскихъ воротниковъ, составлявшихъ, конечно, значительное большинство, тутъ въ разныхъ углахъ виднѣлось довольно таки много военныхъ усовъ, съ офицерскими погонами, нѣсколько черныхъ чамарокъ и кавказскихъ чекменей, нѣсколько поддевокъ, партикулярныхъ сюртуковъ и пиджаковъ. Несмотря на ранній часъ утра, табачный дымъ уже стоялъ коромысломъ и не одинъ десятокъ молодыхъ звучныхъ голосовъ кричалъ и надсѣдался, что есть мочи, горячо стараясь перекричать всѣхъ остальныхъ, чтобы подать свое личное мнѣніе въ какомъ-то общемъ спорѣ. Что это былъ за споръ, свѣжему человѣку разобрать не представлялось ни малѣйшей возможности, потому что коптилка была преисполнена невообразимымъ гамомъ и гуломъ. Въ одной изъ группъ, прислонясь спиною къ окну, стояла молодая и довольно недурненькая собою дѣвушка, съ кокетливо-отброшенными назадъ короткими волосами, въ синей кашемировой юбкѣ, безъ кринолина, и съ узенькой ленточкой синяго галстучка, облегающаго мужской воротничекъ батистовой манишки. Фланелевая темная гарибальдійка скрывала ея стройную талію. Дѣвушка поминутно щуря, изъ-подъ синихъ очковъ, свои глазки, курила наотмашь папироску и горячо о чемъ-то говорила цѣлой группѣ разношерстной молодежи. Подлѣ нея, взмостившись на подоконникъ и свѣсивъ оттуда ноги, сидѣлъ и ораторствовалъ молодой студентъ въ золотыхъ очкахъ. Выразительные глаза и красивое, но не совсѣмъ пріятное лицо его носило въ себѣ явный отпечатокъ еврейскаго типа. По его костюму, которому онъ тщательно старался придать демократическую небрежность, все-таки ясно можно было видѣть, что студентъ этотъ—сынъ очень богатыхъ родителей.

— А! Хвалынцевъ! Вотъ и онъ! здравствуй! Сюда, сюда! скорѣй сюда! дѣло есть! Слышалъ?—накинулось на студента нѣсколько наиболѣе знакомыхъ ему молодыхъ людей, едва лишь онъ успѣлъ переступить порогъ коптилки.

— Въ чемъ дѣло, господа? какое дѣло? Гамъ такой, что и разобрать ничего невозможно.

— Общее дѣло! Петлю надъ нами затягиваютъ! мертвую петлю! Говорятъ, сходки запрещены!—кричали разные голоса.

— Какъ запрещены? Этого быть не можетъ!—возразилъ удивленный Хвалынцевъ.—Запретить ихъ могъ тотъ, кто разрѣшалъ, а Высочайшаго повелѣнія не было.

— Обошлись и такъ! Да это не все: касса отъ насъ отобрана, пособія изъ нея присуждаются не студентами, а инспекторомъ; редакторовъ и депутатовъ будетъ избирать правленіе университета.

— То есть, университетскій совѣтъ? — въ видѣ наиболѣе точной поправки спросилъ Хвалынцевъ.

— Нѣтъ, не совѣтъ, а *правленіе*, то есть канцелярія: секретарь, синдикъ, казначей и чиновники.

— Вздоръ! Это не имѣетъ смысла!

— О смыслѣ не говорятъ, — говорятъ о фактѣ.

Хвалынцевъ недоумѣло пожалъ плечами.

— Вы нынче держали переходный экзаменъ?—спросилъ его съ окошка студентъ съ еврейскимъ типомъ лица.

— Нѣтъ, не держалъ; а что?

— А то, что, значитъ, похѣрятъ изъ университета.

— За что? Коли я, по праву, могу не держать изъ третьяго въ четвертый!

— По праву? Было такое, да сплыло! Теперь если вы не держите экзамена, или не выдержали его—вонъ безъ дальнихъ разговоровъ! Свидѣтельства о бѣдности тоже похѣрены:

Digitized by Google

и бѣдный, и богатый—все равно, плати 50 рублей, а нѣтъ ихъ — вонъ! Матрикулы какія-то вводятъ...

— Какъ... что... матрикулы?... Это еще что такое? что́ это за матрикулы.

— Чортъ ихъ знаетъ!... Яснаго понятія на этотъ счетъ не имѣется.

— Господа, да этого быть не можетъ! этому вѣрить нельзя! — проговорилъ озадаченный Хвалынцевъ.

— Повѣришь, какъ на собственной шкурѣ почувствуешь.

— Да вы что? Вы за правительство, что-ли? — грубо вызывающимъ тономъ обратился къ нему одинъ изъ близъ-стоявшихъ студентовъ.

Хвалынцевъ вспыхнулъ и, несмущенно глядя ему въ глаза, произнесъ твердо и отчетливо:

— За здравый смыслъ и за законное право. Все это, повторяю, не имѣетъ смысла. Кто вамъ сказалъ это?

— Да вы откуда сами-то? изъ Японіи, что-ли, пріѣхали? Кто сказалъ!.. Весь городъ говоритъ! Въ газетахъ официально отпечатано!

— А намъ-то было-ли объявлено официально, черезъ попечителя, черезъ ректора, черезъ начальство?

— Начальство!.. Ха, ха, ха! Начальство струсило!.. Его и нѣтъ, оно и не показывается!

— Что-же дѣлать теперь?

— Объ этомъ-то вотъ и толкуется!

Хвалынцевъ, по пріѣздѣ изъ Славнобубенска, все лѣто, почти до вчерашняго дня, прожилъ у одного своего пріятеля въ тиши и глуши чухонской деревушки, на финляндскомъ берегу, прожилъ безъ газетъ, безъ писемъ, безъ новостей, и теперь вернулся въ Петербургъ къ началу курса, не имѣя обо всѣхъ университетскихъ перемѣнахъ ни малѣйшаго понятія. Все, услышанное въ коптилкѣ, ударило его какъ обухомъ. Здравый смыслъ отказывался вѣрить, а не вѣрить оказалось невозможно. Чувство досады и злобы охватило его. «Какъ, за что, почему, по какому праву?» закипали въ немъ протестующіе вопросы.—«Лишать права посылать изъ среды своей избранныхъ депутатовъ для заявленія студентскихъ нуждъ—да кто же будетъ объясняться? вся масса, что-ли?? Инспекторъ можетъ по своей прихоти утвердить или нѣтъ пособіе моему товарищу изъ кассы, которая принадлежитъ исключительно самимъ студентамъ, которая создалась ихъ собственною иниціативой, которая сложилась и поддерживается на наши собственные гроши. И надъ этою кассой посторонній контроль, постороннее распоряженіе ею! И это совершается въ томъ самомъ мѣстѣ, гдѣ голосъ профессора проповѣдуетъ съ каѳедры о юридическомъ, о гражданскомъ правѣ! И послѣ этого можно вѣрить въ непреложность этого права! А эти 50 рублей — поворотъ къ ограниченію числа студентовъ; это значитъ сдѣлать университетъ для большинства недоступнымъ, сдѣлать его достояніемъ касты, достояніемъ достаточныхъ людей. И не нашлось человѣка, который бы поднялъ голосъ противъ этого! — Господи! да что-жь это такое!»

Такъ думалъ Хвалынцевъ, негодуя всѣмъ пыломъ юношескаго увлеченія, а число людей, наполнявшихъ коптилку, съ каждой минутой возрастало и общій шумъ становился все сильнѣе. Сдѣлалось уже очень тѣсно и душно, табачный дымъ ѣлъ глаза, шумъ голосовъ, старавшихся перекричать другъ друга, немилосердно раздиралъ барабанную перепонку. И все-таки невозможно было понять что-либо въ этомъ гамѣ, и чѣмъ больше наполнялась коптилка, тѣмъ запутаннѣе становилось дѣло. Каждый въ отдѣльности зналъ, какія причины вызвали эту сходку, но никто не понималъ о чемъ, въ сущности, въ данную минуту идетъ весь этотъ гвалтъ, о чемъ и кто собственно споритъ, чего кто хочетъ, что слѣдуетъ предпринять и на что рѣшиться? Лекціи уже читались въ аудиторіяхъ, но объ нихъ не думали: большинство студентовъ было въ коптилкѣ. Ежеминутно то одинъ ораторъ, то вдругъ нѣсколько заразъ вскакивали на скамейки, на подоконники, кричали, махали руками, тщетно требуя слова—шумъ не умолкалъ. А если кому изъ этихъ ораторовъ и удавалось на нѣсколько мгновеній овладѣть вниманіемъ близъ-стоящей кучки, то вдругъ на скамью карабкался другой, перебивалъ говорящаго, требовалъ слова не ему, а себѣ, или вступалъ съ предшественникомъ въ горячую полемику; слушатели подымали новый крикъ, новые споры, ораторы снова требовали вниманія, снова взывали надсѣдающимся до хрипоты голосомъ, жестикулировали, убѣждали; ораторовъ не слушали, и они, махнувъ рукой, послѣ всѣхъ усилій, покидали импровизованную трибуну, чтобъ уступить мѣсто другимъ или снова появиться самимъ-же черезъ минуту, и увы!—все это было совершенно тщетно. Прошло уже около часу, а дѣло не пришло еще даже къ намеку на какой-либо результатъ.

Хвалынцевъ сталъ приглядываться къ группамъ спорщиковъ, стараясь уловить хоть въ одной изъ нихъ какую-нибудь нить настоящаго серьезнаго дѣла и вдругъ, къ удивленію своему, увидѣлъ старую знакомую физіономію, которую никакъ не ожидалъ встрѣтить здѣсь въ эту минуту.

По срединѣ одной кучки, въ красной кумачевой рубашкѣ и въ драповомъ пальто, стоялъ и разглагольствовалъ Ардальонъ Михайловичъ Полояровъ. Вокругъ него раздавались разнородные голоса, но ихъ нестройный хоръ, то и дѣло, покрывался баснстымъ голосомъ Ардальона. Онъ собственно не говорилъ, а только время-отъ-времени перебивалъ говоръ другихъ

Digitized by Google

своими возгласами и замѣчаніями, по большей части, отрицательнаго свойства.

— Шесть лѣтъ мы пользовались правомъ сходокъ и правомъ узаконеннымъ,—слышалось въ его группѣ.

— Что сходки? Сходки вздоръ-съ!—вдругъ перебилъ Полояровъ,—не въ сходкахъ сила! Сила въ насъ самихъ, коли мы сила!

— Депутаты... раздавался опять чей-то голосъ.

— И депутаты въ сущности вздоръ!—еще рѣшительнѣе и ровно ничего не выслушавъ, перебивалъ Ардальонъ.—Что такое депутаты?

— Да вы чего же собственно хотите?—уцѣпился за него одинъ студентъ, видимо раздосадованный этимъ безусловнымъ подведеніемъ всѣхъ студентскихъ нуждъ и потребностей подъ категорію вздора.

— Я-то?.. А вы чего?—увертливо отгрызнулся Полояровъ.

— Да мы-то знаемъ чего хотимъ, а вы все это отрицаете. Чего же, по вашему, нужно? Что же не вздоръ?

— Что не вздоръ? А потрудитесь сами догадаться,—отвѣтилъ Ардальонъ и, безъ церемоніи повернувшись къ студенту спиной, сталъ опять разглагольствовать:

— И ничего этого не нужно!.. Матрикулы... Вы говорите матрикулы?.. И матрикулы вздоръ! А надо показать, что мы сила, что съ нами нельзя шутить безнаказанно... Дѣйствовать надо!

Ардальона никто не слушалъ, его мнѣнія никто не спрашивалъ, но онъ насильственно врывался съ нимъ въ кружковый споръ, и когда, несмотря на это громогласно насильственное вторженіе, его все-таки не слушали, онъ продолжалъ колотить воздухъ словами, не обращаясь ровно ни къ кому, и разражался всѣмъ этимъ словоизверженіемъ единственно ради услажденія своей собственной особы. Ему очевидно, хотѣлось взять первенство въ спорахъ, заставить всѣхъ внимать одному себѣ, порисоваться предъ всею толпою, но толпѣ этой было теперь не до Полоярова, и потому, volens-nolens, онъ услаждался самимъ собою и ради самого же себя.

Но на одно мгновеніе ему удалось-таки приковать къ себѣ почти всеобщее вниманіе.

Въ коптилку вошли два-три студента аристократика, гладко прилизанные, подвитые, съ проборомъ на затылкѣ, въ бѣлыхъ жилетахъ, чистенькіе, щепетильненькіе, съ тоненькими папиросками въ зубахъ. Вошли они, очевидно, не ради сходки, а ради тоненькихъ папиросокъ и сладкихъ пирожковъ.

— Къ чорту аристократовъ! Долой бѣложилетниковъ!—громовымъ голосомъ заоралъ Ардальонъ Михайловичъ, нарочно для этого вскочивъ на скамейку и гнѣвно сверкая глазами.

— Аристократы, вонъ!—ретиво подхватилъ съ подоконника сынъ очень богатыхъ еврейскихъ родителей, во что бы то ни стало стремившійся быть «студентомъ волкомъ», ибо «волки» составляли антарктическій полюсъ «бѣложилетниковъ».

— Долой! вонъ!—еще болѣе возвысилъ голосъ Ардальонъ, столь удачно поддержанный возгласомъ съ подоконника.—Вонъ, аристократы! Имъ нѣтъ и не должно быть мѣста между честнымъ студенчествомъ!

Толпа вскинула взгляды на молодецкую фигуру Полоярова, затѣмъ перевела ихъ на жиденькія фигурки аристократиковъ, и нѣсколько десятковъ голосовъ завопили: «Вонъ! вонъ отсюда!» И аристократики удалились, впрочемъ, не безъ старанія изобразить на лицахъ презрительную выдержку собственнаго достоинства.

— Господа! за что же? Развѣ они не такіе же студенты? Развѣ они не товарищи наши?—попытался-было Хвалынцевъ противустать вопящимъ голосамъ.—Что за разъединеніе! Быть можетъ, имъ также было бы близко и дорого наше общее дѣло! За что же мы лишаемъ ихъ права принять въ немъ участіе?

— За то, что они аристократы!—ретиво возразилъ богатый студентъ еврейскаго типа.

— Но они студенты!—горячо вступился Хвалынцевъ.—Единодушія, господа, надо! Чѣмъ больше насъ будетъ безъ различія кастъ и сословій, тѣмъ лучше!

Нѣсколько крайнихъ изъ «волчьей партіи» взъѣлись на Хвалынцева.

— Заступникъ аристократовъ! Адвокатъ бѣложилетниковъ!—раздались ихъ негодующіе возгласы.—Противъ всѣхъ! противъ общественнаго мнѣнія.

— Подъ судъ! подъ судъ за это!—рявкнулъ чей-то голосъ.

— Подъ судъ адвокатовъ и заступниковъ! Подъ судъ барскихъ лизоблюдовъ!—подхватили нѣсколько голосовъ.—Сходку собрать, сходку! Судить! Выгнать къ чорту! Это измѣна общему дѣлу! Это подлость!

Хвалынцевъ побагровѣлъ отъ негодованія.

— Кто произнесъ слово подлость, тотъ глупъ!—смѣло и громко сказалъ онъ, обводя взоромъ сомкнувшуюся вокругъ него многочисленную кучку.—Если онъ не трусъ, то пусть выйдетъ сюда и я докажу ему, почему я считаю его глупымъ. Суда же я не боюсь, потому что знаю, что я правъ, а что я не барскій лизоблюдъ, такъ это знаютъ мои товарищи и порукою въ томъ мое трехлѣтнее студентство. На такую выходку можно отвѣчать только презрѣніемъ. Но, господа! съ жаромъ заключилъ онъ,—умоляю васъ, оставимте на время наши личные счеты: судить меня вы успѣете и послѣ; напередъ подумаемте лучше о нашемъ общемъ дѣлѣ! Да только потолковѣе!

— Браво! браво! Молодецъ!.. Дѣльно! Хорошо!—закричали и захлопали вокругъ него въ ла-

Digitized by Google

доши, и затѣмъ немедленно же поднялся прежній гамъ и шумъ, и споры, и опять потерялась всякая возможность разобрать что-либо въ этой кутерьмѣ и безладицѣ.

Хвалынцевъ, убѣдясь наконецъ, что сегодня тутъ никакихъ толковыхъ результатовъ не добьешься, собрался уже подняться наверхъ и идти въ аудиторію, какъ вдругъ до его плеча кто-то дотронулся.

— Господинъ Хвалынцевъ... извините... позвольте вамъ напомнить о себѣ, обратился къ нему высокій, но очень еще молодой человѣкъ, въ сильно заношенномъ партикулярномъ платьѣ.—Мы съ вами видѣлись еще въ Славянобубенскѣ... помните, литературное-то чтеніе... Шишкина, можетъ помните? Шишкина... Читали еще вмѣстѣ... Я вотъ Шишкинъ-то самый и есть!

И онъ раскланялся съ широкою, добродушно-привѣтливою улыбкою.

— А, какъ же, какъ же! Помню!—протянулъ ему руку Хвалынцевъ. — Какими вы судьбами здѣсь? Давно ли?

— Съ средины августа... Обстоятельства, знаете, нѣкоторыя заставили пріѣхать. Я тутъ съ однимъ товарищемъ, можетъ знаете Свитка Василій? Ну, такъ вотъ я съ нимъ... Поступилъ вольнослушателемъ.

— Ну, очень пріятно встрѣтиться!—еще разъ пожалъ ему руку Константинъ Семеновичъ, намѣреваясь удалиться.

— Господинъ Хвалынцевъ, хотя я и не знаю васъ, но позвольте отъ души пожать вамъ руку!— подойдя къ обоимъ, произнесъ молодой человѣкъ въ черной чамаркѣ.

Хвалынцевъ поглядѣлъ на него недоумѣвающимъ, удивленнымъ взглядомъ.

— Ахъ, вотъ и кстати! Позвольте познакомить!— предупредительно вмѣшался Шишкинъ. — Мой товарищъ, про котораго я сейчасъ говорилъ, Василій Свитка! Васъ называть не нужно: онъ уже знаетъ васъ.

— Да, подтвердилъ съ поклономъ товарищъ Шишкина. — Хотя я только сегодня впервые узналъ васъ, но я васъ уже уважаю.

— За что же это?—нѣсколько смущенно пожалъ плечами Хвалынцевъ.

— За вашъ честный и смѣлый поступокъ!— отчетливо и съ пріятно вѣжливой улыбкой проговорилъ Свитка, немного склонясь передъ Константиномъ Семеновичемъ.—Вы не задумались сдѣлать вызовъ на объясненіе тому глупцу, который оказался трусомъ; вы одинъ, почти противъ всѣхъ, не задумались смѣло высказать ваше мнѣніе въ защиту этихъ аристократовъ. Дѣйствительно, никто не имѣлъ ни малѣйшаго права и повода оскорбить ихъ такимъ образомъ, пока они имѣютъ честь носить студентскій мундиръ. И вы одинъ только противъ всѣхъ возвысили голосъ. Это съ вашей стороны и смѣло, и честно. Позвольте за это пожать вашу руку!

Слова эти, хотя Хвалынцевъ и нашелъ ихъ какъ-то выдѣланно фразистыми, весьма пріятно пощекотали его самолюбіе, и онъ добродушно, крѣпко и съ видимымъ удовольствіемъ стиснулъ протянутую ему руку.

Тонкій яѣдъ осторожной лести закрался въ темный уголокъ его души. Хвалынцеву было и пріятно, несмотря на подмѣченную фразистость Василія Свитки, и вмѣстѣ съ тѣмъ почувствовалъ онъ себя какъ-то гордѣе, удовлетвореннѣе.

— Мы, конечно, будемъ встрѣчаться здѣсь,— продолжалъ Свитка, — а потому мнѣ было бы очень, очень пріятно считать васъ своимъ знакомымъ.

— Ну, такъ будемте знакомы! — охотно согласился Константинъ Семеновичъ, въ третій разъ потрясая руку Свитки. — Будемте безъ фасоновъ, по-студентски!

— Ба, ба, ба! знакомыя все лица! — пробасилъ надъ самымъ его ухомъ голосъ Ардальона Полоярова. — Здравствуйте, Шишкинъ! Сегодня мы съ вами еще не поздоровались. А вѣдь вы, кажись, господинъ Хвалынцевъ? — прищурился онъ на студента.

— Такъ точно, господинъ Хвалынцевъ, — съ твердымъ удареніемъ, сухо и въ упоръ ему отвѣтилъ Константинъ Семеновичъ.

— Ну вотъ, я васъ и узналъ! Здравствуйте! Давайте лапку!

И не дожидаясь, чтобы студентъ протянулъ руку, онъ безцеремонно взялъ его повыше кисти и хлопнулъ его ладонью по всей своей пятернѣ, въ которой сжалъ и потрясъ пальцы Хвалынцева.

— Что за церемоніи, помилуйте! Мы вѣдь не аристократы какіе, — беззастѣнчиво возразилъ Полояровъ. —Что на душѣ, то и на дѣлѣ.

— Все это прекрасно, только я-то, помнится, никогда не имѣлъ съ вами фамильярнаго знакомства.

— Э, батенька, я ни съ кѣмъ церемонныхъ-то знакомствъ не имѣю!—махнулъ рукой Ардальонъ. — Я вѣдь человѣкъ прямой! Мы вѣдь съ вами никакихъ столкновеній не имѣли — такъ чего-же намъ?! А что если я тогда былъ секундантомъ у Подвиляньскаго, такъ это что-жь? дѣло прошлое! А я собственно ни противъ васъ, ни противъ Устинова ничего не имѣю, да и все это, знаете, въ сущности-то, одна только ерунда! Ей-Богу, ерунда! Порядочнымъ людямъ изъ-за такого вздора расходиться нечего! Все это ce sont des пустяки! Дайте-ка мнѣ папиросочку.

Хвалынцевъ только и могъ улыбнуться да пожать плечами на эту до наивности безстыдную наглость, и желая поскорѣй отвязаться, подалъ ему раскрытый портсигаръ.

— Э, вишь ты, какія у васъ богатыя папиросницы, — замѣтилъ онъ, вытягивая сигаретку. — Во всемъ-съ видна дворянская-то

Digitized by Google

струйка! А мы, батенька, по простотѣ: коли есть курево, такъ въ бумажномъ картузикѣ носимъ. Оно и дешево, и сердито! Вы долго еще пробудете здѣсь.

— До конца лекцій.

— Ну, такъ вѣрно еще встрѣтимся. До свиданья!

Хвалынцевъ небрежно кивнулъ ему головою, подалъ еще разъ руку Шишкину и Свиткѣ и удалился изъ шумной и дымной коптилки.

II.

Славнобубенскія вѣсти.

Придя домой въ самомъ скверномъ настроеніи духа, Хвалынцевъ вспомнилъ, что въ карманѣ у него есть письмо. Взглянулъ на конвертъ: штемпель Славнобубенской почтовой конторы.— «Вѣрно отъ Устинова», подумалъ онъ, распечатывая, и не ошибся: письмо, дѣйствительно, было отъ него.

«Любезный другъ
Константинъ Семеновичъ!

«Давно уже собирался писать тебѣ, долго раскачивался, раскачивался (то лѣнь, то дѣло) и, наконецъ, раскачался. Приготовься выслушать мой длинный рапортъ, если это тебя хоть сколько-нибудь интересуетъ. Съ чего начать бы только? По свойственному людямъ себялюбію, начну прежде всего съ самого себя. Поживаю я отлично скверно, до того скверно, что бѣжалъ бы куда глаза глядятъ, да жаль, что некуда! И не то, чтобы былъ нездоровъ— нѣтъ, мать-природа въ избыткѣ надѣлила меня *вожделѣнным*, а просто жить скверно, въ нравственномъ смыслѣ. Едва ли повѣришь ты, если я скажу, что глупая и пошлая клевета о моей принадлежности къ тайной полиціи получила самое широкое развитіе, проникла во всѣ углы и закоулки богоспасаемаго Славнобубенска и въѣлась во всеобщее убѣжденіе столь прочно, что шпіонство мое стало на степень непреложнаго, несомнѣннаго факта. Это поставило меня въ невыносимое положеніе, не лишенное, однако, самыхъ комическихъ сторонъ. Разныя власти и чиновники, у которыхъ рыльце въ пуху, стали сильно меня побаиваться и оказывать всяческія любезности, но ты хорошо поймешь то чувство, которое заставляетъ меня уклоняться отъ воспріятія ихъ любезностей, а эта уклончивость еще болѣе упрочиваетъ въ нихъ убѣжденіе, что я «тайный агентъ». Зачастую приходится мнѣ получать безымянныя письма, съ просьбами «донести куда слѣдуетъ», иногда даже «во имя либеральнаго прогресса и гуманности», или, какъ здѣсь болѣе выражаются, «ради человѣчества». И если бы ты только могъ представить себѣ, какихъ невообразимыхъ мерзостей, какихъ извѣтовъ, подвоховъ и подкоповъ исполнены эти анонимныя писанія «во имя человѣчества!» Вся закулисная сторона славнобубенской жизни, отъ стола любого присутственнаго мѣста до арестантской камеры, отъ пріемной губернатора до спальной чужой жены—все это служитъ удобнымъ матеріаломъ для этихъ писемъ, гнусныхъ до примитивной, наивной, несознающей себя подлости! Хотя къ заигрываньямъ властей и можно иногда относиться съ комической точки зрѣнія, но, воля твоя, жить въ этой средѣ и знать, что каждый чувствуетъ въ тебѣ шпіона—это невыносимо! Я совершенно бросилъ общество, нигдѣ не показываюсь, со всѣми почти пересталъ кланяться, и все-таки тяжело! Вѣдь это приходится ежедневно выносить нравственную пытку. Я ретивѣе ударился въ свои занятія, въ учительство—но увы! прежде столь сильное, нравственное вліяніе мое на учениковъ теперь совершенно исчезло: я ничего не могу подѣлать! Самолюбіе, сознаніе человѣческаго своего достоинства, чувство долга, наконецъ, не позволяютъ мнѣ смалодушничать, бросить все, признать себя побѣжденнымъ и бѣжать отсюда; я еще борюсь пока, и буду бороться, но борьба, подчасъ, черезчуръ уже тяжела становится—тяжела потому, что безцѣльна, потому что этимъ донъ-кихотскимъ боемъ съ вѣтряными мельницами только свое я, свое самолюбіе тѣшишь, а въ результатѣ бокамъ твоимъ все-жъ больно! Какъ тамъ ни презирай среду за ея баранью глупость и пошлость, а она вотъ все-таки деспотически давитъ тебя, и ты ежеминутно чувствуешь надъ собою силу ея гнета!

«Но довольно пока о себѣ, поговоримъ вообще о градѣ Славнобубенскѣ. Здѣсь—чортъ его знаетъ!—какая-то невообразимая и очень странная кутерьма происходитъ. Возьмемъ, напримѣръ, гимназію. На послѣднемъ учительскомъ совѣтѣ, Феликсъ Подвиляньскій внесъ на всеобщее обсужденіе вопросъ: не признаетъ ли совѣтъ благопотребнымъ и даже необходимымъ, для наиболѣе успѣшнаго умственнаго и нравственнаго развитія учениковъ, и для ознакомленія ихъ съ ходомъ событій современной жизни Россіи, въ которой имъ придется быть дѣятелями, допустить въ гимназіи безпрепятственное чтеніе «*Колокола*» и прочихъ заграничныхъ изданій? Комментаріевъ я никакихъ не дѣлаю, но скажу, что предложеніе это, пущенное на голоса, отвергнуто большинствомъ одного только голоса, и то лишь изъ приличія, поданнаго предсѣдателемъ, противъ Подвиляньскаго. Въ чиновныхъ и чиновничьихъ сферахъ проявился какой-то новый, особенный жанръ: ругать на-повалъ все, что носитъ на себѣ русское имя, дарить высокомѣрнымъ презрѣніемъ все, что отличается русскими симпатіями. Слово *патріотъ* стало у насъ какимъ-то позорящимъ ругательствомъ. Предсѣдатель казенной палаты однажды не на шутку обидѣлся, когда къ нему обратились, чтобъ онъ далъ

Digitized by Google

въ какомъ-то вопросѣ свое мнѣніе, «какъ добрый патріотъ», и отвѣчалъ, что онъ слишкомъ считаетъ себя развитымъ человѣкомъ, чтобы держаться такихъ узкихъ, отжившихъ понятій, какъ нелѣпое понятіе о патріотизмѣ. Особенно дамы преуспѣваютъ. Эти-то съ чего? ужь Господь ихъ знаетъ! Слышно, что кое-гдѣ по городу гуляютъ какія-то прокламаціи, подъ названіемъ «*Великоруссъ*» и «*Къ молодой Россіи*», но видѣть ихъ самому еще не приходилось, а толки-то — толки объ этомъ предметѣ идутъ горячіе и нескончаемые! Впрочемъ, Славнобубенскъ вообще веселится. Здѣсь живетъ нѣкто графъ Северинъ-Маржецкій, высланный сюда на жительство по политическимъ дѣламъ. Я, конечно, его не знаю, но кажется, что это открытая, честная и добрая душа. Онъ очень богатъ и постоянно щедрой рукой помогаетъ, безъ разбора, всѣмъ славнобубенскимъ бѣднымъ. Его очень хвалятъ. Онъ живетъ открыто, бываетъ за-просто у очень многихъ, даже и не изъ важныхъ, а у себя задаетъ еженедѣльно вечера, на которые съѣзжается, безъ разбору, чуть не весь Славнобубенскъ. Вотъ что значитъ цивилизованный человѣкъ: ссыльный и при томъ аристократъ по происхожденію, а ни тѣни ненависти къ русскимъ, ни тѣни кичливости въ выборѣ своихъ знакомствъ — ровенъ, милъ и любезенъ со всѣми, безъ различія. Я раза два видѣлъ его въ городскомъ саду: старикъ, а еще можно сказать, красавецъ. Наши барышни и барыни просто съ ума по немъ сходятъ и распѣваютъ какіе-то польскіе гимны, которые у насъ тутъ теперь въ большой модѣ между барышнями. Ну, что-жь бы тебѣ еще сказать о Славнобубенскѣ? Ахъ, да! Жандармскій полковникъ Пшецыньскій, арестовавшій тебя въ Высокихъ Снѣжкахъ, недавно получилъ Анну на шею за снѣжковское укрощеніе и по этому поводу лихо откалывалъ (съ орденомъ на шеѣ) мазурку на семейномъ вечерѣ въ лѣтнемъ помѣщеніи клуба. Это обстоятельство можетъ напомнить тебѣ мудрое изреченіе россійскихъ прописей, что «усердіе не остается безъ награды».

«Всѣ эти новости я знаю черезъ Татьяну Николаевну, которая поручила тебѣ очень и очень кланяться. Ты, вѣроятно, вскорѣ увидишь ее въ Петербургѣ. Онѣ съ теткой намѣреваются провести тамъ зиму. А мнѣ, сталобыть, будетъ еще грустнѣе и темнѣе въ моей и безъ того неприглядной жизни. Это вѣдь единственный домъ, гдѣ я бываю, гдѣ я просто отдыхаю душой, гдѣ мнѣ тепло и уютно, а теперь и этого не будетъ... Только и останется у меня одинъ старый майоръ Петръ Петровичъ. Да впрочемъ, и его-то жизнь не приглядиѣе моей. Съ дочкой-то его, кажись, что-то нехорошее. Она скрываетъ, отецъ не видитъ, а кончится чѣмъ-нибудь нехорошимъ. У меня просто душа болитъ за этого старика, да и ее-то бѣдную, жаль... Мерзавецъ Полояровъ!

«Нашъ бывшій кружокъ совершенно распался; впрочемъ, это началось при тебѣ. Воскресная школа осталась безъ всякаго призора, потому что съ завѣдывателями ея случился нѣкоторый скандаликъ. Заодно ужь посплетничаю тебѣ и объ этомъ! Въ послѣднее время завѣдывала ею знаменитая Лидинька Затцъ, вмѣстѣ съ плюгавенькимъ Анцыфрикомъ. Только вдругъ, въ одно прекрасное утро, по Славнобубенску разнесся слухъ, что Анцыфрикъ (вообще, по отъѣздѣ Полоярова, ютившійся подъ ея крылышкомъ) похитилъ Лидиньку отъ мужа; другіе же разсказывали, что не Анцыфровъ Лидиньку, а Лидинька Анцыфрова похитила и увезла съ собою въ Питеръ, но при этомъ взяла отъ мужа обязательство въ ежемѣсячномъ обезпеченіи, и тотъ, будто бы, далъ таковое съ удовольствіемъ. Такимъ образомъ, видишь ли, сколько великихъ дѣятелей эмигрировали изъ Славнобубенска, и все это богатство достается на долю вашего Питера! Однако, довольно сплетничать. Скажи-ка лучше, что это за слухи о новыхъ правилахъ, опубликованныхъ для университетовъ? Чѣмъ вызвана такая явная несправедливость относительно бѣдняковъ, если только это справедливо? Вѣдь я, напримѣръ, будь я въ университетѣ, я бы не имѣлъ возможности кончить курсъ. За что все сіе бысть? Пиши мнѣ, пожалуйста, обо всемъ объ этомъ, а пока желаю тебѣ всякаго благополучія.

«Твой Андрей Устиновъ».

Это письмо измѣнило настроеніе Хвалынцева. Вѣсть о скоромъ пріѣздѣ Стрѣшневой окрылила его, какъ птицу въ ясномъ воздухѣ, свѣтлою радостью. «Она пріѣдетъ... Она не забыла своего обѣщанія, она помнитъ его, велѣла ему очень, очень кланяться». — Хвалынцевъ еще и еще разъ перечелъ это мѣсто изъ Устиновскаго письма. — «Чего же болѣе? Теперь-то и жить, теперь-то и работать!.. Зная, что она тутъ, близко — она, такая свѣтлая, умная, милая, хорошая, — что она будетъ награждать его трудъ своимъ вниманіемъ, участіемъ, дарить за него своей лаской. — Господи! да тутъ чего же не сдѣлаешь! да тутъ почувствуешь силы Атланта! Одинъ, еще одинъ только годъ труда, — а тамъ рука объ руку, вмѣстѣ, ступай, работай, наслаждайся и живи, живи, живи».

Хвалынцевъ вспрыгнулъ съ кушетки и быстрыми шагами радостно заходилъ по комнатѣ.

III.

Прокламація и сходка 23-го сентября.

Всю недѣлю въ университетѣ продолжались [redacted] волненія. Большая и шумная сходка собрала

Digitized by Google

20-го сентября. Предъ началомъ ея было вывѣшено воззваніе, приглашавшее студентовъ къ единодушію; но единодушія, столь желаемаго въ данныхъ обстоятельствахъ, не было, хотя необходимость его сознавалась почти каждымъ членомъ университетской корпораціи. На этой сходкѣ, равно какъ и наканунѣ, присутствовало въ стѣнахъ университета очень много постороннихъ лицъ, служащихъ и неслужащихъ, которые, видимо, заявляли свое сочувствіе студентскому дѣлу. Сходка 20-го сентября не выработала никакихъ опредѣленныхъ положеній, не привела ни къ какимъ положительнымъ результатамъ, кромѣ того, что всеобщее недовольство возросло еще болѣе. Оно возрастало съ каждымъ днемъ и у многихъ переходило въ озлобленіе. Толковали, что всякія сходки положительно и безусловно воспрещены «Дополненіемъ къ министерскимъ правиламъ отъ 21-го іюня», но никто изъ начальствующихъ лицъ не появлялся передъ студентами съ объявленіемъ объ этомъ воспрещеніи. Ни начальство, ни полицейско-университетскія власти ни разу не появились ни на одной студентской сходкѣ: они словно бы исчезли куда-то. Студенты же вполнѣ за собою считали свое шестилѣтнее право сходокъ, пока имъ не объявлено прямо и формально о ихъ воспрещеніи и пока не розданы еще вновь вводимыя матрикулы. Всѣ эти дни университетъ былъ полонъ народомъ и вмѣщалъ въ стѣнахъ своихъ аудиторій до полуторы тысячи человѣкъ. Это были дни шумные, смутные и тяжелые для студентства.

* * *

23-го сентября, въ субботу, съ утра еще въ сборной залѣ стояла огромная толпа. На дверяхъ этой залы была вывѣшена прокламація, которая потомъ висѣла безпрепятственно въ теченіе шести часовъ сряду. Ни единая душа изъ начальства, по примѣру предъидущихъ дней, не появлялась даже въ виду студентовъ.

Хвалынцевъ еще внизу, въ швейцарской, услышалъ о какой-то прокламаціи и вмѣстѣ съ нѣсколькими товарищами спѣшно направился въ сборную комнату, изъ которой одни выходили, другіе входили, такъ что отливъ постоянно пополнялся новымъ приливомъ, и такимъ образомъ толпа ни на минуту не уменьшалась.

Не безъ труда пробрался Константинъ Семеновичъ поближе къ дверямъ, на которыхъ висѣло воззваніе, желая поближе разузнать въ чемъ дѣло.

Одинъ изъ студентовъ читалъ громко и явственно.

„Нашъ вѣкъ желѣзный, вѣкъ царей,
Штыковъ, законовъ безтолковыхъ,
Плодитъ безъ счету не людей —
Людишекъ, дрянненькихъ, грошовыхъ".

«Правительство бросило намъ перчатку, теперь посмотримъ, сколько наберется у насъ рыцарей, чтобы поднять ее. На словахъ ихъ очень много: куда ни обернешься — вездѣ красные, только какъ бы вамъ не пришлось краснѣть за нихъ.

«*Студенты буйствуютъ, студенты своевольничаютъ*», брюзжатъ сѣдовласые столпы отечества (прямые столпы), и вотъ являются передъ глазами публики декреты: впускать въ университетъ только платящихъ (выражаясь прямѣе: душить невѣжествомъ массу); запретить всякія сходки (то-есть, dividere et imperare, а какъ imperare, почувствуемъ впослѣдствіи). Вотъ покуда два образчика нѣжности.

«Этого мало? Да, конечно. Но это только цвѣтики... Но что же намъ дѣлать? Да ничего... молчать. И потому *молчите, молчите, молчите*.

«Русскій народъ издавна отличался долготерпѣніемъ. Били насъ татары—мы молчали просто, били цари—молчали и кланялись, теперь бьютъ нѣмцы—мы молчимъ и уважаемъ ихъ... Прогрессъ!.. Да въ самомъ дѣлѣ, что намъ за охота заваривать серьезную кашу? Мы вѣдь широкія натуры, готовыя на грязные полицейскіе скандальчики подъ пьяную руку. Это только тамъ, гдѣ-то на Западѣ, есть такія души, которыхъ ведетъ на подвиги одно пустое слово — la gloire.

«Теперь намъ запрещаютъ рѣшительно все, позволяютъ намъ сидѣть скромно на скамьяхъ, слушать цензурованныя страхомъ лекціи, вести себя прилично, какъ слѣдуетъ въ классѣ, и требуютъ не *разсуждать*, слышите ли—не *разсуждать*! Ха, ха, ха!»

По толпѣ пробѣжалъ громкій смѣхъ. Чей-то голосъ выкрикнулъ: — «Слушаемъ, ваше превосходительство! рады стараться!» и общій смѣхъ разлился еще дружнѣе.

«Но господа, — снова продолжалъ чтецъ,— если, паче чаянія, взбредетъ намъ, что и мы тоже люди, что у насъ есть головы — чтобы мыслить, языкъ — чтобы не доносить, а говорить то, что мыслимъ, есть цѣлыхъ пять чувствъ — чтобы воспринимать ощущенія отъ правительственныхъ ласкъ и глазомъ, и ухомъ и прочими благородными и неблагородными частями тѣла, что если о всемъ этомъ мы догадаемся нечаянно? Какъ вы думаете, что изъ этого выйдетъ? Да ничего... Посмотрите на эпиграфъ и увидите что выйдетъ».

— Вздоръ! Не правда! Межъ нами найдутся честные люди! Это незаслуженные укоры!—раздались тамъ и сямъ протестующіе возгласы.

«Всѣ данныя имѣются у насъ теперь, чтобы обмануться въ нашихъ словахъ», говорилось далѣе въ прокламаціи.

— И обманетесь! обманетесь! Вы уже и обманулись! — громко отвѣчали на это слушатели.

Digitized by Google

Студентъ продолжалъ читать:

«Мы—легіонъ, потому что за насъ здравый смыслъ, общественное мнѣніе, литература, профессора, безчисленные кружки свободно-мыслящихъ людей, западная Европа, все лучшее, передовое за насъ. Насъ много, болѣе даже, чѣмъ шпіоновъ. Стоитъ только показать, что насъ много. Теперь кто же противъ насъ? Пять, шесть олигарховъ, тирановъ, подлыхъ, крадущихъ, отравляющихъ рабовъ, желающихъ быть господами; они теперь выворачиваютъ только тулупы, чтобы пугать насъ, какъ малыхъ дѣтей, и чтобъ еще болѣе уподобиться своей братіи—звѣрямъ, но бояться ихъ нечего, стоитъ только пикнуть, что мы не боимся; потомъ противъ насъ нѣсколько тысячъ штыковъ, которыхъ не смѣютъ направить противъ насъ. Вотъ и все. Что же тутъ страшнаго?»

Иванъ Шишкинъ, стоявшій и слушавшій въ толпѣ, какъ-то вдругъ почувствовалъ, что и точно ничего нѣтъ страшнаго.

«Итакъ всѣ, кто не боится, пусть сплачиваются въ массу и... пусть будетъ, что будетъ. Худого не можетъ быть. Мы не за худое».

— Бояться!. Х-хе! Чего бояться? Плевать!— съ выразительной интонаціей прибавилъ Ардальонъ Полояровъ и, ради пущей изобразительности, отмѣнно хорошо плюнулъ на полъ, словно бы этимъ самымъ дѣйствіемъ торжественно и всенародно подтвердилъ, что и въ-заправду плевать на всѣхъ и вся. Его выходка нѣкоторымъ весьма понравилась: ее встрѣтили одобрительнымъ смѣхомъ — обстоятельство, очень польстившее Полоярову.

«Главное, бойтесь разногласія и не трусьте энергическихъ мѣръ», вѣщала далѣе прокламація. «Имѣйте въ головѣ одно: *стрѣлять въ насъ не смѣютъ*,—изъ-за университета въ Петербургѣ вспыхнетъ бунтъ. Уже теперь наши начальники твердятъ, покачивая головами: «*Столица не спокойна*». На нашихъ мы менѣе надѣемся, чѣмъ на *поляковъ*. Въ нихъ болѣе благороднаго самоотверженія; они умѣли смѣло покушаться нѣсколько разъ на пріобрѣтеніе своей свободы, умѣли безъ страха идти на пытку, въ рудники, страдать за идею, и поэтому нашъ братскій призывъ къ нимъ: принять самое дѣятельное участіе въ общемъ дѣлѣ, подѣлиться съ нами своей энергіей».

Кое-гдѣ между слушателями послышался легкій говоръ и шопотъ сомнѣнія. Сомнѣвались въ томъ, захотятъ ли и теперь поляки поддержать своимъ участіемъ общее университетское дѣло. Сомнѣвались исключительно почти одни только старые студенты, которые уже по трехъ-четырехлѣтнему опыту знали, что польскіе студенты всегда, за весьма и весьма ничтожными исключеніями, избѣгали общества студентовъ русскихъ и старались по возможности не имѣть съ ними никакого общаго дѣла. Поляки строго держались всегда своего отдѣльнаго, замкнутаго кружка, не хотѣли пользоваться студентской библіотекой, не обращались и не принимали пособій изъ студентской кассы, хотя многіе изъ нихъ доходили порою до послѣдней крайности. Они избѣгали даже протягивать руку знакомымъ русскимъ студентамъ, тогда какъ русскіе (и это могутъ подтвердить почти всѣ бывшіе въ университетѣ въ промежутокъ между 1857—60 годами) неоднократно протягивали польской партіи свои братскія объятія, предлагая полное единеніе и дружеское сліяніе во имя науки и общихъ интересовъ. Вѣжливо холодное, сухое и гордое презрѣніе, всегда слишкомъ явно сквозившее въ отношеніяхъ поляковъ къ русскимъ, было ихъ постояннымъ отвѣтомъ на эти беззавѣтно-хорошіе юношескіе порывы. И вотъ поэтому-то давній опытъ старыхъ студентовъ породилъ въ нѣкоторыхъ изъ нихъ говоръ сомнѣнія въ эту минуту.

«Энергія, энергія, энергія!» гласила въ заключеніе прокламація. — «Вспомнимъ, что мы молоды, а въ это время люди бываютъ благородны и самоотверженны; не пугайтесь ничего, повторяемъ еще разъ, хотя бы пришлось всему университету идти въ келью богомольнаго монастыря.

«Судите!.. Но не напонимайте собою эпиграфа». [1])

Когда окончилось это чтеніе, Хвалынцевъ пробрался въ корридоръ, который былъ полонъ народомъ. Едва успѣлъ Константинъ Семеновичъ перекинуться кое-съ кѣмъ изъ знакомыхъ нѣсколькими словами, какъ мимо него понеслась огромная гурьба, съ криками: «на сходку! на сходку! въ актовую залу!» Студенты бѣжали, опережая другъ друга. Увлеченный общимъ потокомъ, и Хвалынцевъ направился туда же.

Комнаты, прилегающія къ актовой залѣ, были биткомъ набиты народомъ. Въ толпѣ пробѣгалъ сильный ропотъ: двери залы оказались запертыми. Начальство, думая помѣшать сходкѣ, отдало приказъ не отпирать ихъ. Нѣкоторые предлагали собраться, все равно, въ XI-й аудиторіи, но XI-я аудиторія, устроенная амфитеатромъ и самая обширная изъ всѣхъ остальныхъ, не могла вмѣстить въ себѣ всего числа людей, желавшихъ присутствовать на сходкѣ. Напрасно прождавъ здѣсь долгое время и видя въ этой замкнутой двери явное намѣреніе помѣшать сходкѣ, студенты подняли сильный ропотъ. Толпа оставалась въ нерѣшительности, что̀ ей дѣлать и на что́ рѣшиться, какъ вдругъ кому-то пришла мысль направиться въ корридоръ смежный съ актовою залой, куда выходили стеклянныя двери. Толпа повалила на этотъ зовъ,—въ корридорѣ раздался трескъ и звонъ вышибленнаго стекла, чья-то рука чрезъ

[1]) См. „*Колоколъ*“ 1861 г., листъ 116, стр. [redacted] „Матеріалы для исторіи гоненія студентовъ.“

Digitized by Google

образовавшееся отверстіе отодвинула задвижку, которою дверь запиралась—и препятствіе было устранено. Шумный потокъ тѣсной и густой толпы хлынулъ въ актовую залу и въ минуту наполнилъ ее.

Тотчасъ же потребовали профессора, исполнявшаго должность ректора, для объясненій касательно новыхъ правилъ. Смущенный профессоръ, вмѣсто того, чтобы дать какой-либо ясный, категорическій отвѣтъ, сталъ говорить студентамъ о томъ, что онъ—профессоръ, и даже сынъ профессора, что профессоръ, по родству души своей со студентами, отгадываетъ ихъ желанія и проч. и проч., но ни слова о томъ, что студенты должны разойтись. Раздались свистки, шиканье, крики — профессоръ спѣшно удалился.

И вотъ, окончивъ такимъ образомъ расчетъ съ исправляющимъ должность ректора, студенты на этой сходкѣ окончательно рѣшили: новымъ правиламъ не подчиняться, 50 рублей не платить, матрикулы, которыя будутъ розданы, и билеты для входа уничтожить. Сходка, продолжавшаяся болѣе получаса, разошлась шумно.

IV.

Шествіе въ Колокольную улицу.

25-го числа, въ понедѣльникъ утромъ, придя по обыкновенію на лекціи, Хвалынцевъ былъ остановленъ передъ запертою дверью университета, около которой стояла все болѣе и болѣе прибывавшая кучка молодежи.

— Въ чемъ дѣло, господа? Чего вы тутъ стоите?

— А вотъ читайте, полюбуйтесь!

На дверяхъ было прибито краткое объявленіе, гласившее, что чтеніе лекцій въ университетѣ прекращено впредь до дальнѣйшихъ распоряженій.

— Вотъ тебѣ бабушка и Юрьевъ день!—острилъ кто-то въ кучкѣ.

Съ университетскаго двора прошло нѣсколько человѣкъ студентовъ, которые объявили, что точно такія-же объявленія вывѣшены на всѣхъ наружныхъ дверяхъ, и что—еще сюрпризъ!—лабораторія и студентская библіотека, какъ они сами въ томъ убѣдились, точно также закрыты.

— Ergo: университетъ закрытъ! — почти единодушно рѣшили въ толпѣ.

А толпа съ каждой минутой все прибывала и росла, такъ что до середины мостовой улица была занята ею. Среди молодежи были очевидцы, которые увѣряли, что сосѣднія зданія Кадетскаго корпуса, Академіи наукъ и биржи заняты жандармами, спрятанными на всякій случай. Извѣстіе это, весьма быстро передававшееся изъ устъ въ уста, иныхъ встревожило, а инымъ весьма польстило самолюбію: а вѣдь насъ-де боятся!

— Ничего, что жандармоны! Палки у насъ здоровыя! Справимся!—съ молотцоватою самонадѣянностью, громко заявлялъ Ардальонъ Полояровъ, потрясая, всѣмъ на показъ, своею козьмодемьянскою палицею.

— А! и вы, батенька, здѣсь! — замѣтивъ Хвалынцева, подошелъ онъ къ нему.

— Да я-то здѣсь, это не удивительно,—отвѣчалъ тотъ,—а вотъ вамъ-то что здѣсь дѣлать? Вѣдь вы не вольнослушатель?

— Гм... Хотя и не вольнослушатель, но посѣщаю. Я—другъ науки!—съ комически-важною улыбкою заявилъ Ардальонъ, словно-бы ему и самому-то казалось смѣшнымъ, что онъ—другъ науки.—Знаете, какъ это говорится: «amicus Plato, sed major amicus veritas», такъ вѣдь это, кажется? А ужь я, батенька, за правду всегда и вездѣ... Это ужь мы постоимъ! съ тѣмъ и возьмите!—говорилъ онъ, внушительно опираясь на свою дубину.

— А вы слышали, ваши славнобубенскіе друзья здѣсь, въ Петербургѣ,—сообщилъ ему Константинъ Семеновичъ.

— То-есть какіе это друзья?—нахмурясь и какимъ-то подозрительнымъ тономъ, нерѣшительно и неохотно спросилъ Полояровъ.

— Господинъ Анцыфровъ и госпожа Затцъ,—пояснилъ Хвалынцевъ.

— А! да, да! какъ-же здѣсь!—съ прояснившимся лицомъ подхватилъ Ардальонъ Михайловичъ.—Мы даже вмѣстѣ живемъ: коммуну себѣ составили.

— Какъ это коммуну?—удивился Хвалынцевъ.

— А такъ, какъ есть, настоящую коммуну, на основаніи соціалистовъ. Вѣдь вы, сударь мой, вѣроятно, маракуете кое-что въ соціалистахъ?.. Ну, тамъ, знаете, Фурье, Сенъ-Симонъ, Бюхнеръ, Молешотъ, Прудонъ... ну, тамъ, Фохтъ еще... ну, и прочіе—маракуете?

— Положимъ, что «маракую,» — удостовѣрилъ его Хвалынцевъ, съ трудомъ воздерживаясь отъ улыбки при этомъ вавилонскомъ смѣшеніи именъ.

— А когда маракуете, такъ и нашу коммуну поймете. Самое любезное дѣло! Дайте-ка папироску. У васъ хорошія.

Толпа студентовъ между тѣмъ возрасла до девятисотъ человѣкъ, увеличиваясь партикулярными лицами, такъ или иначе пріобщившими себя съ студентскому кругу. Улица была почти уже запружена, поэтому нѣсколько наиболѣе вліятельныхъ личностей, пользовавшихся авторитетомъ между товарищами, желая предупредить неумѣстное столкновеніе съ полиціей, подали мысль отправиться на большой дворъ, чтобы быть такимъ образомъ все-таки въ стѣнахъ университета, не подлежащаго вѣдѣнію

Digitized by Google

общей блюстительницы градскаго порядка,— и толпа хлынула въ ворота.

Долго еще шумѣли, судили, рядили внутри двора, но никто еще не зналъ окончательно, на что слѣдуетъ рѣшиться въ данномъ положеніи. Наконецъ притащили откуда-то лѣстницу и приставили ее къ стѣнѣ. Эта лѣстница послужила трибуной для ораторовъ. Полояровъ вскарабкался на дрова, сложенныя въ большомъ количествѣ тутъ-же на дворѣ и, съ высоты своего поста, ежеминутно порывался вѣщать народу. Рядомъ съ нимъ взгромоздились еще нѣсколько личностей, и между ними та хорошенькая студентка, которую замѣтилъ Хвалынцевъ недѣлю тому назадъ въ курильной комнатѣ.

На лѣстницѣ то появились, то исчезали фигуры студентовъ: нѣсколько ораторовъ смѣняли одинъ другого; толпа то слушала, то шумѣла среди всеобщихъ совѣщаній.

— Депутатовъ! Послать къ попечителю депутатовъ за объясненіемъ! — раздавались изъ среды ея громкіе голоса.

— Нѣтъ, ждать на дворѣ, пока пріѣдетъ попечитель!—кричали другіе.

— Чего тамъ ждать! просто всѣмъ, какъ есть всѣмъ, идти къ попечителю и требовать объясненій!—взывали третьи.

— Требовать немедленнаго открытія университета! уничтоженія матрикулъ! отмѣны платы!—слышались разные голоса.

— Господа! господа! — вопилъ на дровахъ Ардальонъ Полояровъ.—Господа, я прошу слова! Если мы общественная сила, господа, то надо дѣйствовать рѣшительно и силой взять то, что намъ принадлежитъ. Высадимъ просто любыя двери и займемъ университетъ! И университетъ будетъ открытъ и выгнать насъ изъ него не посмѣютъ. Войдемте, господа, силой!

Хвалынцевъ пробрался къ лѣстницѣ, и послѣ нѣкоторыхъ усилій ему удалось вскарабкаться на эту трибуну.

— Господа! громко и рѣшительно началъ онъ;—одну минуту терпѣнія и вниманія! Выслушайте меня!

Студенты въ теченіе трехъ лѣтъ успѣли хорошо узнать Хвалынцева. Въ очень многихъ кружкахъ онъ пользовался любовью, какъ добрый и честный товарищъ, и уваженіемъ, какъ хорошій, дѣльный, работящій студентъ. Поэтому, при появленіи его на лѣстницѣ, толпа замолкла и приготовилась выслушать.

— Законъ запретилъ намъ выбирать и посылать нашихъ депутатовъ для заявленія нашихъ нуждъ и потребностей, началъ онъ свою рѣчь,—исполнимте законъ, не станемъ ему противиться.

Кое-гдѣ зашикали, нѣсколько голосовъ закричали: «Вонъ! долой!» но Хвалынцевъ не смутился.

— Между тѣмъ, намъ надо знать, за что, какъ, по какому случаю закрытъ университетъ?—продолжалъ онъ. — Наконецъ, если начальство нашло нужнымъ прекратить чтеніе лекцій, то зачѣмъ заперты университетская и наша собственная, студентская библіотеки? зачѣмъ заперта лабораторія, тогда какъ и тѣ, и другая бываютъ открыты постоянно и даже во время каникулъ, когда нѣтъ лекцій? Мы имѣемъ полное и неоспоримое право знать, за что насъ лишили лекцій, лабораторіи и библіотекъ? Съ насъ взяли установленную плату за слушаніе лекцій, за право быть студентами; слѣдовательно, мы имѣемъ право на слушанье лекцій и право на объясненіе, за что и надолго ли насъ лишили университета! Мы купили себѣ это право.

— Браво! браво! Такъ! Хорошо!—одобрительно закричали въ толпѣ.

Хвалынцевъ выждалъ, пока умолкъ этотъ крикъ одобренія и продолжалъ:

— Но какимъ путемъ добиться необходимыхъ объясненій? Депутаты запрещены; адресы письменные и запросы наши, какъ уже доказано фактомъ, не передаются по назначенію. Что же дѣлать? Мнѣ кажется, что тѣ, которые предлагаютъ отправиться всѣмъ университетомъ къ попечителю и требовать у него объясненій, имѣютъ на своей сторонѣ тотъ шансъ, что это — единственный возможный намъ путь, послѣ запрещенія депутатовъ. Но, такъ какъ въ сосѣднихъ зданіяхъ спрятаны жандармы, то это явно показываетъ, что отъ насъ ожидаютъ уличныхъ безпорядковъ и демонстрацій. Господа! обманемте ихъ добрыя ожиданія и надежды! Мы пойдемъ всѣмъ университетомъ къ попечителю, но пойдемъ такъ, что никому не удастся, при всемъ желаніи, сдѣлать изъ насъ фрондеровъ и демонстраторовъ. Пока, мы еще не лишены права свободно и чинно ходить по улицамъ. Поэтому я, господа, предлагаю: отнюдь не выходя изъ предѣловъ легальности, идти смирно, благочинно, не по улицѣ, а по тротуару, по два, а много по три человѣка въ рядъ, на извѣстномъ разстояніи пара отъ пары, чтобы не мѣшать постороннимъ прохожимъ и чтобы насъ не могли назвать толпой. Куреніе папиросъ громкіе возгласы и прочее тому подобное строго устраняется. Согласны ли вы, господа, на мою программу.

— Браво! Хорошо! Отлично! Согласны! Всѣ согласны! — дружно подхватили въ толпѣ — и Хвалынцевъ сошелъ съ лѣстницы, привѣтствуемый горячими рукопожатіями многихъ своихъ товарищей.

— Хвалынцевъ! Господинъ Хвалынцевъ!— крикнулъ ему съ дровъ Ардальонъ Полояровъ. — Все это отлично, только легальность-то эта ужь вовсе напрасно! А по-моему, коли идти, то такъ чтобы чертямъ было тошно! Дернуть бы эдакъ «Марсельезку», или «Долго насъ помѣщики ду-

Digitized by Google

шили», а то что такъ-то! Идти какимъ-то пансіономъ благородныхъ дѣвицъ! Ну, на чорта ли это похоже! Надо, господа, заявить открыто, что мы—сила прежде всего! У насъ за плечами вся западная Европа стоитъ и смотритъ на насъ, а мы вдругъ—пансіономъ благородныхъ дѣвицъ! Ха, ха, ха, ха!

— Депутатъ! депутатъ отъ медицинской академіи. Слушайте, смотрите,—зашумѣли въ толпѣ. И дѣйствительно, на лѣстницѣ показался какой-то медико-хирургическій студентъ и объявилъ, что онъ, отъ лица медиковъ, выражаетъ сочувствіе студентамъ университета.

Медику похлопали, покричали «браво», пожали руки въ знакъ благодарности.

Послѣ него вскарабкался на лѣстницу какой-то офицеръ и тоже заявилъ, съ своей стороны, сочувствіе.

И офицеру тоже похлопали, покричали «браво» и пожали руки.

Офицеръ сошелъ съ трибуны и присоединился къ той группѣ, гдѣ стояло нѣсколько чамарокъ, и между ними Василій Свитка съ Иваномъ Шишкинымъ, которые тоже пожали ему руку, горячо и благодарно, какъ доброму и близкому знакомцу.

Господа! Товарищи! — раздался на дровахъ звучный и полный увлеченія женскій голосокъ.

Толпа обернулась на этотъ зовъ: на дровахъ стояла и махала платкомъ хорошенькая студентка.

— Желаю вамъ полнаго, счастливаго успѣха,—говорила она. — Отъ всей души желаю! Только помните одно, господа—какъ можно болѣе единодушія! Единодушіе, единодушіе и единодушіе! Это мое послѣднее слово!

— Браво! браво, Попова! Браво студентка! Молодецъ Попова! Благодаримъ! — зашумѣла толпа и чинно-тихо, въ величайшемъ порядкѣ, стала выходить съ университетскаго двора на набережную.

Путь лежалъ чрезъ Дворцовый мостъ и по Невскому проспекту отъ Адмиралтейства до Владимірской.

Василій Свитка нагналъ дорогою Хвалынцева.

— Спасибо вамъ, великое спасибо!—заговорилъ онъ, горячо пожимая ему руку.—Недѣлю тому назадъ вы показали благородную смѣлость противъ толпы, а сегодня показали хорошее умѣніе владѣть этою толпою и направлять ее. О, это золотое качество! Это драгоцѣнное свойство, а я вижу, что вы имъ отлично владѣете. И главное, умѣли направить-то съ величайшимъ тактомъ и вполнѣ легально. Вотъ что важно? Отъ этого много зависитъ!

«Чего этотъ баринъ все комплименты мнѣ говоритъ!» пробѣжала мысль въ головѣ Хвалынцева; но самолюбіе было опять-таки польщено и заглушило зародышъ сомнѣнія. — «А впрочемъ, онъ, кажется, хорошій господинъ», успокоительно убаюкалъ себя Константинъ Семеновичъ и не безъ удовольствія отвѣтилъ привѣтомъ на горячее пожатіе Свитки.

— Эхъ, право! — заговорилъ подошедшій въ эту минуту Полояровъ, — и на кой чортъ вы эту тишину и спокойствіе выдумали! Этимъ мы показываемъ имъ, будто боимся ихъ. Съ «Марсельезкой-то» эффектнѣе было бы.

— Ну, ступайте на другой конецъ улицы и пойте себѣ, коли вамъ нравится! — досадливо оборвалъ его Хвалынцевъ.

— Кто? Я-то? — насмѣшливо прищурился Полояровъ.

— Да, вы-то!

— Да меня... полиція заберетъ.

— Ну, вотъ то-то же и есть. А вы не смущайтесь, вы покажите ей ваше гражданское мужество.

— Хе, хе... Оно конечно... Но знаете, одинъ въ полѣ не воинъ. Кабы всѣ — другое дѣло; всѣхъ не тронутъ! А вы, господинъ Хвалынцевъ, я васъ полюбилъ, ей-Богу полюбилъ!— продолжалъ Ардальонъ, отчасти въ протекторскомъ,. отчасти въ подлаживающемся тонѣ.—Я васъ не зналъ прежде... Вѣдь я, признаться сказать, думалъ все, что вы шіонъ.

— Представьте, что я зналъ васъ прежде и всегда думалъ, что вы дуракъ,—съ дерзкимъ смѣхомъ и твердо глядя ему въ глаза, напрямикъ отрѣзалъ Хвалынцевъ.

Полояровъ отшатнулся назадъ и побагровѣлъ отъ злости. Онъ всегда былъ наглъ съ тѣми, кто смущался этимъ Полояровскимъ свойствомъ, и чѣмъ кто болѣе смущался, тѣмъ наглость его становилась сильнѣй и назойливѣй; ею онъ постоянно бралъ верхъ и придавалъ себѣ тонъ авторитета. Но вдругъ коса нашла на камень. Онъ никакъ не ожидалъ подобнаго отпора и осѣкся сразу. Онъ почувствовалъ ясно, что Хвалынцевъ не труситъ и никогда ни въ какомъ случаѣ не струситъ предъ его внушительной особой. Даже вся закипѣвшая въ немъ злость въ минуту оказалась безсильною передъ твердымъ, прямымъ и спокойнымъ взглядомъ студента. Онъ почувствовалъ себя какъ-то нравственно слабѣе Хвалынцева, почувствовалъ какую-то подчиненность болѣе сильному и смѣлому человѣку и потому сразу въ душѣ возненавидѣлъ его. Но ни ненависти, ни даже оскорбленія показать не рѣшился, а такъ какъ эта пилюля была имъ проглочена въ присутствіи другихъ лицъ, то Ардальонъ моментально сообразилъ за лучшее обратить все дѣло въ шутку.

— Хе, хе, хе!.. Однако вы, батенька, тово!.. шутникъ... ей-Богу шутникъ! — принужденно улыбаясь мило-пріятельской улыбкой, заговорилъ онъ. — Такъ-таки и дуракъ, по-вашему? Хе, хе, хе!.. Нѣтъ-съ, батенька, кто знаетъ меня поближе, тотъ не скажетъ, что Ардальонъ

Digitized by Google

Полояровъ дуракъ, да и вы не скажете, когда узнаете... Но шутникъ, право шутникъ.

— За шутку шуткой,—отвѣчалъ Хвалынцевъ;—знаете пословицу: что посѣешь, то и пожнешь.

— Да я не обижаюсь!.. Кто же вамъ сказалъ, что я обижаюсь? На все обижаться, такъ и печенокъ не хватитъ!.. Вѣдь брань на вороту не виснетъ, скажу я вамъ другую пословицу. Да это все ce sont des пустяки, а дайтека мнѣ лучше папиросочку. Смерть, курить хочется!

— Вѣдь былъ же уговоръ—на улицѣ не курить.

— Да что мнѣ уговоръ! Я человѣкъ независимый и ливреи не ношу, хотя бы и студентской. А впрочемъ, коли скупитесь дать, мы и свою достанемъ.

И онъ, подъ благовиднымъ предлогомъ куренія, отсталъ отъ Хвалынцева.

— Какъ вамъ нравится этотъ субъектъ?—спросилъ послѣдній у Василія Свитки.

— Знаю я его. Пустельга; ни къ чорту не годенъ!—съ презрительной миной махнулъ рукой Свитка.

Колонна студентовъ чинно тянулась по Невскому проспекту. Множество встрѣчныхъ постороннихъ лицъ, оглядывая съ изумленіемъ это собраніе студентскихъ фуражекъ, шинелей и пальто, спѣшили освѣдомляться, въ чемъ дѣло, и присоединялись къ шествію. Такимъ образомъ процессія тянулась почти на цѣлую версту и все увеличивалась постоянно присоединяющимися партіями разныхъ лицъ, мужчинъ и женщинъ, военныхъ, моряковъ, гимназистовъ, чиновниковъ, кадетовъ и даже уличныхъ разносчиковъ. Студенты межъ тѣмъ, несмотря на возрастающее скопище народа, шли попарно, либо по три человѣка, чтобы не занимать весь тротуаръ, не производить замѣшательства на улицѣ, и въ нѣкоторомъ разстояніи между парами, дабы, по возможности, менѣе походить на корпоративное скопище. Но масса ихъ синихъ околышей была столь велика, что стараніе это осталось совершенно тщетнымъ, и шествіе, невольно, само по себѣ, принимало видимый характеръ уличной демонстраціи. На дорогѣ встрѣтился имъ попечитель, который ѣхалъ въ университетъ. Онъ не остановился и проѣхалъ мимо. Но узнавъ, уже въ университетѣ, цѣль, съ которою отправились студенты, поспѣшилъ вернуться домой. Городскія власти, свѣдавъ объ этой процессіи, поскакали вслѣдъ за нею и, догнавъ студентовъ у Аничкина моста, вдругъ поѣхали шагомъ позади колонны, слѣдя и наблюдая за нею. Такой странный видъ имѣлъ этотъ поѣздъ на посторонніе глаза каждаго человѣка.

На Владимірской сопровождавшія власти вышли изъ экипажей и пошли пѣшкомъ по другой сторонѣ улицы. Одинъ изъ представителей власти, спѣшными шагами достигнувъ головы процессіи, сталъ поперекъ идущимъ студентамъ и крикнулъ внушительно и строго:

— Куда?.. Назадъ!

— Мы идемъ къ попечителю! — отвѣчали въ толпѣ.

— Его нѣтъ дома.

— Это намъ сообщитъ лакей въ его квартирѣ. Впрочемъ ничего, мы подождемъ.

И продолжали идти дальше, наконецъ повернули въ Колокольную улицу и здѣсь остановились передъ домомъ, въ которомъ жилъ попечитель.

У подъѣзда стоялъ полиціймейстеръ, съ казакомъ ординарцемъ, и потребовалъ, чтобы студенты немедленно же разошлись.

— Мы разойдемся тогда,—отвѣчали ему,—когда получимъ объясненіе отъ попечителя, а если вамъ угодно, чтобы это случилось поскорѣе, то пошлите за нимъ своего казака.

Полиціймейстеръ отказался и въ бездѣйствіи продолжалъ стоять себѣ у подъѣзда.

Толпа запрудила всю улицу. Любопытные изъ публики взбирались на ступеньки сосѣднихъ подъѣздовъ, на тумбы, на фонари, на фундаментъ ограды Владимірской церкви, чтобы съ болѣе возвышеннаго пункта видѣть, что происходитъ въ средѣ студентской толпы.

Черезъ нѣсколько минутъ пріѣхалъ и попечитель.

Его окружили и стали требовать объясненій. Попечитель, совершенно справедливо находя неудобнымъ объясненіе съ толпою на улицѣ, просилъ ее разойтись. Ему предложили принять объясненіе на квартирѣ.

— Но, господа... у меня семейство, дѣти,—возразилъ онъ.

— Мы ручаемся, мы отвѣчаемъ за ихъ безопасность!—кричали голоса изъ толпы.

Въ эту минуту показались въ улицѣ конные жандармы.

— Жандармы! давить будутъ!—вскрикнуло нѣсколько человѣкъ—и вся толпа пришла въ ярость. Забыто было и объясненіе, и попечитель. Раздались свистки, шиканье и крики: «Вонъ! вонъ!»

Жандармы шагомъ двигались далѣе.

Толпа всей гурьбой кинулась къ нимъ на встрѣчу и охватила ихъ съ фронта и съ фланговъ. Среди криковъ и шиканья, поднялись въ воздухѣ палки, въ особенности знаменитая дубина Ардальона Полоярова работала исправно по мордамъ жандармскихъ лошадей «ради пользы общественной». Жандармы удалились.

Студенты снова окружили попечителя и продолжали объясненіе.

— Но что же вамъ угодно, наконецъ, господа? — въ видимомъ затрудненіи спросилъ онъ.

— Долой матрикулы! долой министерство! долой пятидесятирублевую плату!—съ трудо[redacted]

Digitized by Google

можно было разслышать крики въ общемъ шумѣ и гвалтѣ раздраженной толпы. Съ минуты одержанія побѣды надъ жандармами спасительное благоразуміе было забыто — дурныя страсти и буйные инстинкты стали усиленно бродить и разгуливаться въ толпѣ.

— Мы хотимъ знать, почему закрытъ университетъ? — приступили къ попечителю немногіе изъ наиболѣе благоразумныхъ и скромныхъ въ своихъ требованіяхъ.

Попечитель пожалъ плечами. Студенты передавали потомъ другъ другу, будто онъ отвѣчалъ, что не знаетъ, почему университетъ закрыли. Но такъ ли это, или нѣтъ, а достовѣрно извѣстно, что почти получасовые резоны и убѣжденія его имѣли тотъ смыслъ, что объясняться на улицѣ онъ не можетъ, а дастъ отвѣтъ въ университетѣ.

— Нѣтъ, на улицѣ! Здѣсь же! Сейчасъ!— вопилъ Полояровъ.—Университета нѣтъ! университетъ закрытъ, значитъ въ университетѣ нельзя давать объясненій! Требуйте, господа, на улицѣ! Напирайте, не спускайте!.. На улицѣ, чортъ возьми, на улицѣ! — завопилъ онъ, въ заключеніе, что было мочи, во всю свою здоровенную глотку.

Многіе подхватили его возгласъ.

Между тѣмъ въ Колокольной заблистали мѣдныя каски пожарныхъ, появились отряды городовыхъ съ револьверами, жандармовъ съ саблями и рота стрѣлковаго баталіона, которая была остановлена на пути своемъ въ крѣпость, куда шла для занятія карауловъ. Отряды эти загородили выходъ изъ улицы со стороны Владимірской.

— Войско! Сбродъ всякій! Сволочь полицейская! Гнать ихъ отсюда! Вонъ! долой!—снова поднялись яростные крики и вопли, и толпа вторично готова была ринуться на войско. какъ вдругъ раздался рѣзкій звукъ сигальнаго рожка.

— Господа! насъ атакуютъ!... это атака!.. Въ насъ будутъ стрѣлять! сейчасъ стрѣляютъ!—смутно пронесся по толпѣ тревожный говоръ. У многихъ вырвался короткій вопль ужаса. Ужасъ и томительная тоска ежемгновеннаго ожиданія отразились на многихъ лицахъ. Многіе поблѣднѣли, перепугались и, растерянные, заметались во всѣ стороны. Поднялась суета, смятеніе, суматоха. Тамъ и сямъ непріятно-рѣзко послышался женскій визгъ. Смущеніе и паника были написаны почти на каждой, мгновенно поблѣднѣвшей физіономіи. Ардальонъ Полояровъ, блѣдный, дрожащій, перепуганный суетился чуть ли не болѣе всѣхъ и, усердно работая руками и ногами, какъ можно скорѣе искалъ себѣ выхода изъ толпы и, наконецъ прорвавшись кое-какъ къ тротуару, впопыхахъ опрокинулъ какую-то торговку съ яблоками, разсыпалъ весь ея товаръ и, словно заяцъ подъ кочку, далъ поскорѣе стрекача въ первый попавшійся подъѣздъ, въ которомъ и скрылся благополучно за стеклянною дверью.

— Ахъ, трусы, трусы!—злобно и презрительно ворчалъ себѣ сквозь зубы Василій Свитка; — и тутъ постоять за себя не могутъ!.. «А для довершенія эффекта хорошо, кабы разикъ горошкомъ хватили», подумалъ онъ; «послѣдствія, дастъ Богъ, были бы добрыя... поднялось бы скорѣй».

— Господа, чего вы! — стараясь придать себѣ спокойствіе и хладнокровіе, громко обращался къ студентамъ стоявшій рядомъ со Свиткой, Хвалынцевъ.—Не стыдно ли? Студенты, мужчины!.. Стрѣляютъ? Ну, что же, умѣйте стоять честными людьми, коли дѣло дошло до этого!

Его слова и спокойный видъ подѣйствовали на многихъ. Многимъ стало, и въ самомъ дѣлѣ, стыдно, особенно послѣ того, какъ голосъ Хвалынцева былъ поддержанъ молодой дѣвушкой студенткой.

Черезъ минуту болѣе половины этой толпы уже очнулось и было готово встрѣтить огонь. «Ура!!» громко и радостно вырывалось изъ нея, вмѣстѣ съ другими ободрительными криками и возгласами.

— Господа! успокойтесь! опаснаго нѣтъ ничего!—снуя по толпѣ, убѣждали между тѣмъ нѣсколько офицеровъ.—Это не пальба и не атака, это сигналъ «разсыпать цѣпь». Васъ просто хотятъ окружить, оцѣпить всѣ выходы и забрать удобнѣе.

Убѣжденія и доводы компетентныхъ людей возымѣли достодолжное дѣйствіе и на остальныхъ студентовъ. И они тоже вскорѣ оправились отъ паники, вполнѣ овладѣвъ собою. Вмѣстѣ съ этимъ вернулась прежняя самоувѣренность, и вся толпа ринулась къ жандармамъ.

Во всеобщей суматохѣ, жандармскій офицеръ и два-три солдата, спертые со всѣхъ сторонъ, обнажили сабли. Это уже переполнило чашу ярости и раздраженія. Снова раздались крики: «Войско вонъ! полиція вонъ!» — и толпа уже смѣло двинулась къ выходу изъ улицы.

Войско на нѣсколько шаговъ подалось впередъ, но попечитель, почтенный кавказскій генералъ, сталъ между солдатами и толпою— и этимъ быстрымъ, удачнымъ движеніемъ ему счастливо удалось предупредить столкновеніе.

Войско разступилось и пропустило мимо своихъ рядовъ толпу студентовъ съ попечителемъ, который шелъ во главѣ молодежи. Эта толпа направилась обратно въ университетъ, гдѣ должно было произойти обѣщанное объясненіе.

Между тѣмъ, вѣсть объ этомъ происшествіи быстро разнеслась по городу. Толпы народа всѣхъ званій, возрастовъ и состояній затопили близъ-лежащія улицы. Многіе провожали это

Digitized by Google

шествіе, многіе ограничивались простымъ любопытнымъ глазѣньемъ. Вездѣ шли самые разнорѣчивые толки. Въ иныхъ кучкахъ выражали сочувствіе студентамъ, въ другихъ сочувствіе полиціи.

— Это, братцы, все дворяне, все помѣщичьи дѣти бунтуютъ, объяснялъ одинъ зипунъ съ солдатскими усами.—Это все за то, что царь крестьянъ у нихъ отнялъ, да волю далъ, такъ это они таперича за то за самое!

— Нѣтъ, это все поляки! Извѣстно, на то и полякъ, чтобы бунтовать! полякъ завсегда бунтуетъ!—объясняли другіе зипуны и чуйки, и это послѣднее объясненіе было наиболѣе общимъ, наиболѣе распространеннымъ въ простомъ народѣ.

— Это, братцы, они за то, что, слышно, ихнее заведеніе закрыли, — толковали иные извозчики.—Мы это доподлинно знаемъ, потому завсегда возимъ ихъ на Островъ въ это самое заведеніе.

Уличные мальчишки бѣгали по улицамъ, висѣли на флангахъ студентской толпы и попрыгивая кричали: «Бунтъ! бунтъ!..»

Ардальонъ Полояровъ, убѣдясь наконецъ, что никакой серьезной опасности нѣтъ и не будетъ, покинулъ свое временное убѣжище въ сѣняхъ за подъѣздомъ и, присоединясь къ толпѣ студентовъ, ускалъ и натравливалъ мальчишекъ:

— Кричи, ребята: «рѣжь публику!» «Рѣжь публику» кричи! Жарь погромче! На пряники получите!

— Господинъ Полояровъ! Что вы глупости-то дѣлаете!—обернувшись къ нему, досадливо огрызнулся Хвалынцевъ;—или вамъ, въ самомъ дѣлѣ, угодно натравливать на насъ полицію?

— А что же? Я—ничего!—осклабясь, оправдывался Ардальонъ.—Я ихъ только добру учу, чтобъ они «республику» кричали... Общественное мнѣніе, знаете... Это ничего! это все пустое!..

Между тѣмъ студенты снова собрались на университетскомъ дворѣ. Когда они подходили къ цѣли своего путешествія, то увидѣли, что на площади, между университетомъ и академіей, уже былъ отрядъ жандармовъ. За университетомъ тоже стояли солдаты, спѣшно вызванные изъ казармъ Финляндскаго полка.

Начальство пожелало объясниться со студентами черезъ депутацію.

— Но вѣдь депутаціи запрещены самою же властью, самимъ правительствомъ?—возразили на это желаніе.

— Все равно; высылайте депутатовъ.

Это «все равно» породило въ толпѣ недоумѣніе: какъ-же, молъ, такъ? часъ тому назадъ депутаты запрещены, черезъ часъ опять дозволены; законъ межъ тѣмъ не отмѣненъ, а два представителя власти говорятъ «все равно, высылайте».—Да что-жь это такое? гдѣ же черта, которая отдѣляетъ границу закона отъ личнаго произвола? роптали студенты.—Что же такое было самое сегодняшнее шествіе, какъ не прискорбная необходимость, вслѣдствіе лишенія стараго права? И теперь, когда эта уличная демонстрація сдѣлана, когда, того и гляди, можно было ожидать ежеминутной кровавой стычки съ полиціей и войскомъ, стычки, въ которой, пожалуй, приняла бы участіе въ ту или другую сторону толпа посторонніхъ людей,—когда все это совершилось, вдругъ два представителя закона и власти говорятъ «все равно, высылайте!»—Въ этомъ «все равно» студенты явно увидѣли свою побѣду, свое торжество. Авторитетъ власти и закона былъ компрометированъ этою непослѣдовательностью. Студенты уполномочили для переговоровъ бывшую редакціонную коммисію и еще нѣсколько другихъ товарищей.

Объясненія депутатовъ съ попечителемъ и столичными властями длились довольно долгое время. Толпа студентовъ на университетскомъ дворѣ терпѣливо ждала возвращенія уполномоченныхъ. Къ ней присоединилось много посторонніхъ лицъ: партикулярныхъ и военныхъ, моряковъ, медиковъ, юнкеровъ и воспитанниковъ разныхъ учебныхъ заведеній.

Въ это время на дворъ вошелъ сѣдой какъ лунь адмиралъ, который пріобрѣлъ себѣ всесвѣтную почтенную извѣстность своими учеными морскими путешествіями. Онъ шелъ мѣрными шагами, заложивъ руки назадъ и смотрѣлъ на толпу. Толпа почему-то нашла его взглядъ гордымъ и презрительнымъ. Студенты встрѣтили его смѣхомъ, а одинъ изъ нихъ, выступивъ впередъ, назойливо обратился къ нему шутовски-вѣжливымъ тономъ:

— Ваше превосходительство! позвольте у васъ попросить папироску! Ваше превосходительство, одолжите пожалуйста папироску! Ваше превосходительство! а, ваше превосходительство! я прошу папироску! Я у *васъ* прошу, ваше превосходительство! одну только папироску—не болѣе, ваше превосходительство!

Студенты хохотали.

Старикъ внимательно поглядѣлъ на стоявшихъ вблизи морскихъ офицеровъ и, не сказавъ ни слова, пошелъ со двора.

Наконецъ появились депутаты. Толпа съ нетерпѣніемъ жаднаго любопытства бросилась къ нимъ на встрѣчу.

— Что? какъ? въ чемъ дѣло?—раздалась со всѣхъ сторонъ перекрестная перестрѣлка тысячи вопросовъ.

— Господа!—объявили депутаты,—начальство поручило передать вамъ, что университетъ будетъ открытъ 2-го октября.

— Браво! очень хорошо! Но зачѣмъ не сегодня? Зачѣмъ не сейчасъ? Мы требуемъ сегодня же! сейчасъ! сію минуту! безъ оттяжки, безъ разговоровъ!—раздались въ толпѣ шумныя замѣча[illegible]

Digitized by Google

— А закрытъ онъ пока,—продолжали депутаты,—какъ бы вы думали, для чего?

— Ну? ну?!

— Закрытъ онъ пока только... для изготовленія матрикулъ.

Толпа засмѣялась. Натяжка этого объясненія была слишкомъ очевидна. Сами студенты очень хорошо понимали настоящую причину закрытія.

— Библіотека и лабораторія будутъ открыты съ завтрашняго дня, то есть съ 26-го сентября,—передавали далѣе депутаты,—и никто изъ студентовъ арестованъ не будетъ. Намъ дано честное слово въ непремѣнномъ исполненіи этихъ обѣщаній...

Извѣстіе это было встрѣчено одобреніемъ толпы, но многіе выразили недовѣрчивое сомнѣніе.

— Засимъ мы передали попечителю и властямъ рѣшеніе субботней сходки,—продолжали депутаты.—Мы объявили имъ, что студенты новымъ правиламъ ни въ какомъ случаѣ подчиняться не будутъ, и что если начальство не хочетъ отмѣнить ихъ, то пусть лучше не открываетъ университета, — а если начальство вздумаетъ употребить старинную тактику, то есть, по одному заставлять подписывать матрикулы, то студенты, конечно, подпишутъ ихъ, но правилъ исполнять не будутъ, такъ какъ въ этомъ случаѣ согласіе ихъ будетъ вынужденное. На это начальство отвѣчало, что съ него требуютъ, чтобы матрикулы были подписаны, а потому оно должно настаивать на исполненіи этого, а тамъ студенты могутъ дѣлать, что хотятъ.

Эти слова были встрѣчены точно также взрывомъ самыхъ шумныхъ одобреній въ одной части студентовъ, тогда какъ другая часть была недовольна такимъ отвѣтомъ: она требовала безусловнаго уничтоженія матрикулъ самимъ правительствомъ.

— Наконецъ, господа, депутація поручилась, что студенты тотчасъ же по выслушаніи ея отвѣта разойдутся,—завершили свой отчетъ уполномоченные.—Поэтому, господа, не ставьте насъ и себя въ ложное положеніе,—разойдемся спокойно.

Студенты, кучками, толкуя между собой, немедленно стали очищать университетскій дворъ и расходиться въ разныя стороны отдѣльными группами. Очень многіе были недовольны и неудовлетворены отвѣтомъ.

— Браво! викторія!—весело шумѣлъ Полояровъ.—Почти полная викторія! То-есть, такъ сказать, «ты побѣдилъ, Галилеянинъ!»

V.

Докладчикъ „Центра“.

Въ этотъ же самый день, часу въ восьмомъ вечера, Василій Свитка слѣзъ съ извозчичьихъ дрожекъ на углу Канонерской улицы въ Коломнѣ и спѣшно поднялся по лѣстницѣ большого каменнаго дома. На одной изъ дверей, выходившихъ на эту лѣстницу, была прибита доска съ надписью: «Типографія І. Колтышко» Онъ постучался и спросилъ управляющаго типографіей. Рабочій, отворившій дверь, проводилъ его въ типографскую контору. Тамъ сидѣлъ и сводилъ какіе-то счеты человѣкъ лѣтъ тридцати, довольно тщедушной, рыжеватой наружности.

— А! вотъ вы! Наконецъ-то!— нетерпѣливо обратился онъ къ вошедшему изъ-за своей высокой конторки.—Что такое было сегодня? Что за происшествіе? Садитесь и разсказывайте скорѣе. Наши рабочіе болтаютъ, —бунтъ?

— Ну, бунтъ не бунтъ, а могло быть около того.

И Свитка разсказалъ исторію нынѣшняго утра.

Управляющій выслушалъ внимательно и пунктуально какъ бы формальное служебное донесеніе и спросилъ.

— А наши? Какъ держали себя наши?

— Съ величайшимъ тактомъ. Да вѣдь наши не дураки, лицомъ въ грязь не ударятъ! — похвалилъ Свитка съ самодовольной миной.

— Однако, что-жь они?

— Да что-жь... Послѣ субботней сходки, мы вечеромъ собрали свой сеймикъ. Утромъ тамъ была прокламація... въ нашихъ записывали. Мы положили—на время отбросить старую систему и сблизиться. Оно лучше; дѣло будетъ казаться болѣе общимъ.

— Ну, а между вожаками были наши?—любопытно спросилъ управляющій.

— Ни одного! Дѣло вели русскіе.

— Ни одного?! Прекрасно! Если такъ, то дѣйствительно съ тактомъ.

— Мы порѣшили еще на сеймикѣ инціативу предоставить русскимъ, а самимъ отнюдь не выдвигаться. Быть въ толпѣ—дѣло другое. Мы честно были въ толпѣ и честно вели себя, но въ вожаки — а ни Боже мой!

— А относительно сліянія, какое впечатлѣніе на русскихъ?—спросилъ управляющій.

— О, еще бы! — подхватилъ Свитка. — Очень польщены! Многіе вѣдь сомнѣвались. Наши вообще не балуютъ ихъ общеніемъ, поэтому теперь тѣ очень и очень довольны. О «братствѣ» кричатъ.

— Кричатъ? Гм... Ну, и пусть ихъ кричатъ!

— На здоровье! Нашихъ вѣдь оттого не убудетъ! И такъ, пане Лѣсницкій, будутъ мнѣ какія инструкціи? — впадая въ нѣсколько офиціальный тонъ и съ полупоклономъ подымаясь съ мѣста, спросилъ Свитка.

— А какъ-же, какъ-же!.. Подождите,—торопиться еще некуда, — удержалъ его управляющій и, вставъ изъ-за конторки, заходилъ — руки въ карманы — по комнатѣ въ сосредоточенномъ обдумываніи чего-то.

Digitized by Google

На нѣкоторое время наступило молчаніе, наполняемое мѣрнымъ шумомъ типографской скоропечатной машины за стѣною.

— Вотъ въ чемъ дѣло, — медленно началъ Лѣсницкій, какъ бы обдумывая каждое свое слово.—На дняхъ въ *Центрѣ* было совѣщаніе... Рѣшено, по возможности, осторожно и съ обдуманнымъ, тщательнымъ выборомъ притягивать къ дѣлу и русскихъ, то-есть собственно къ *нашему* дѣлу,—пояснилъ онъ.—Обстоятельства еще покажутъ впереди, какъ выгоднѣе: направить-ли ихъ на свою особую дѣятельность, какъ уже направлена «Земля и Воля», а мы будемъ въ этомъ случаѣ только незамѣтно для нихъ руководить и контролировать; или-же изъ наиболѣе пригодныхъ сдѣлать прямыхъ нашихъ бойцовъ? Объ этомъ теперь еще вопросъ въ Центрѣ.

— Да развѣ мы сами не справимся? — съ горделиво-увѣреннымъ достоинствомъ спросилъ Свитка.—Развѣ петербургскій Центръ все еще не полагается на однѣ польскія, народныя силы?

— Э, нѣтъ, не въ томъ дѣло! — перебилъ управляющій.—Во-первыхъ, говоря откровенно между нами, русскіе имѣютъ очень основательную пословицу насчетъ того, что выгоднѣй чужими руками жаръ загребать. Мы на этотъ разъ вполнѣ вѣримъ ихъ доброй пословицѣ. Это одно. А другое вотъ въ чемъ: русскіе бойцы въ нашемъ дѣлѣ очень хорошая декорація предъ Европой, предъ глазами западнаго общественнаго мнѣнія.

— То-есть, какъ-же такъ?—сомнѣваясь и морщась, спросилъ Свитка.

— А, очень просто! Если ужь москали, наши заклятые враги, наши палачи, сами идутъ очистительными жертвами въ польскій народный лагерь и бьются за польскую независимость,— развѣ этотъ фактъ не освящаетъ еще болѣе предъ глазами всего міра наше святое дѣло? Намъ нуженъ извѣстнаго рода декорумъ. Если уже сами русскіе за насъ, то Европа и подавно! Была-бы общественная совѣсть на нашей сторонѣ: намъ облегчится побѣда! Присутствіемъ русскихъ бойцовъ правительство будетъ озадачено, сконфужено, оно не будетъ знать, кого, наконецъ, считать своими, гдѣ враги, гдѣ друзья его, оно вконецъ уже растеряется и рухнетъ... по крайней мѣрѣ рухнетъ для Польши. Вотъ для чего нужны намъ русскіе. Можете вы указать на кого-нибудь изъ подходящихъ между студентами?—заключилъ онъ вопросомъ, останавливаясь предъ Свиткой.

Тотъ основательно подумалъ и назвалъ нѣсколько именъ.

— Но болѣе всѣхъ, какъ мнѣ кажется,— значительно промолвилъ онъ, — будетъ подходить одинъ...

— Кто такой?—съ живостью спросилъ Лѣсницкій.

— Студентъ Хвалынцевъ.

— А!.. Я немножко слыхалъ ужь про него. Что-жь, какъ вы его находите?

— Я наблюдалъ его и даже, такъ сказать, выщупывалъ слегка... вотъ въ эти послѣдніе дни.

— Да? ну, и что-жь?

— Да вотъ какъ скажу: человѣкъ смѣлый, рѣшительный, въ крутыя минуты хорошо владѣетъ собой... Говоритъ немного, но бойко и рѣзко и при этомъ отлично умѣетъ опираться на легальность... Я ужь въ немъ эту черточку подмѣтилъ. Все старается въ колею легальности!

— А, это очень важно! — въ скобкахъ замѣтилъ Лѣсницкій.

— То-то же и есть! — не безъ самодовольствія отозвался Свитка. — На товарищей имѣетъ вліяніе. Когда всѣ думали, что будутъ стрѣлять, онъ стоялъ рядомъ со мною, ну, и онъ былъ одинъ изъ немногихъ, которые нисколько не смутились... напротивъ, безъ излишняго азарта, совсѣмъ спокойно пристыдилъ товарищей, и тѣ оправились... Да, да, имѣетъ вліяніе!.. И въ то же время на сознательное увлеченіе способенъ.

Свитка, въ подтвержденіе своей характеристики, разсказалъ поведеніе Хвалынцева въ коптилкѣ и на университетскомъ дворѣ.

— Ого! да этотъ совсѣмъ годится! Такихъ бы побольше!—подалъ свое мнѣніе управляющій, не безъ удовольствія потирая руки.— Хорошо! Очень хорошо! Я сообщу о немъ.

— Такъ что же, пане Лѣсницкій, вербовать? Даете благословеніе?

— Вербовать! Вербовать непремѣнно! Найдите возможность показать намъ его. Да и остальныхъ, которыхъ думаете, тоже вербуйте.

— Хорошо, а Хвалынцева покажу вамъ поближе при первомъ удобномъ случаѣ.

— Очень желаю. А пока до свиданія; теперь можете отправляться, — наскоро откланялся управляющій.

Свитка удалился, а Лѣсницкій, почти немедленно по его уходѣ, отправился во внутренніе покои смежной квартиры, съ экстреннымъ докладомъ о только-что полученныхъ новостяхъ.

VI.

Сходка 27-го сентября.

На другое утро многіе студенты явились въ университетскую библіотеку за книгами. Дверь была заперта, и на ней, равно какъ и на всѣхъ наружныхъ выходахъ, прибито было объявленіе, что по случаю повторившихся безпорядковъ чтеніе лекцій прекращено и входъ въ университетъ закрытъ впредь до дальнѣйшихъ распоряженій.

Digitized by Google

Тутъ же было узнано, что вся депутація, высланная вчера, и много другихъ студентовъ арестованы въ ночь и отправлены въ казематы Петропавловской крѣпости. Нѣкоторые очевидцы ночного арестованія товарищей сообщили, что оно было производимо внѣ законныхъ основаній: арестуемымъ не предъявляли предписанія начальства, не объявляли причины ареста, а нѣкоторыхъ постороннихъ лицъ будто бы брали по подозрѣнію, что они раздѣляютъ студентскій образъ мыслей [1]).

Всѣхъ студентовъ, арестованныхъ въ эту ночь, было сорокъ два человѣка.

Послѣ нѣкоторыхъ совѣщаній, положено было собрать на завтрашній день новую сходку, въ десять часовъ утра, на университетскомъ дворѣ.

Студенты начали собираться въ университетѣ ранѣе назначеннаго срока, еще до девяти часовъ. Предполагалось вступить въ новое объясненіе съ попечителемъ. Онъ вскорѣ пріѣхалъ и былъ окруженъ въ швейцарской толпою, которая стала упрекать его въ несдержаніи слова. Попечитель объяснилъ, что все это не его распоряженія, что онъ любитъ университетъ и студентовъ, а доказательство тому было не далѣе, какъ третьягодня, въ Колокольной улицѣ, гдѣ, если бы не онъ, весьма легко могло бы произойти кровавое столкновеніе и что, наконецъ, депутаты арестованы административною властью въ смыслѣ зачинщиковъ всѣхъ происшедшихъ безпорядковъ. Ему сказали, что начальство поступило бы еще лучше, если бы вовсе не призывало войска противъ безоружныхъ людей, тогда, какъ теперь, вѣроятно, отсутствующему Государю дали знать въ Ливадію, что студенты бунтуютъ, выставили ихъ бунтовщиками и потому-де вынуждены были употребить военную силу. На это студенты получили отвѣтъ, что напротивъ въ донесеніи о третьегодняшнемъ происшествіи о нихъ былъ данъ отзывъ съ возможно лучшей стороны, и что этотъ отзывъ принятъ министромъ за основаніе въ донесеніи Государю. Въ это время пріѣхалъ генералъ-губернаторъ и вмѣстѣ съ попечителемъ удалился въ университетскую канцелярію.

Между тѣмъ, студентовъ собралось довольно уже много, и сходка на дворѣ была открыта. На мѣсто арестованныхъ явились новые руководители, и вотъ, послѣ долгихъ преній, былъ принятъ большинствомъ голосовъ адресъ министру. Смыслъ адреса заключался въ томъ, что въ университетѣ никакихъ зачинщиковъ нѣтъ и не было, что всѣ студенты одного и того же мнѣнія и дѣйствовали единодушно безъ чьихъ бы то ни было подстрекательствъ, и потому пусть начальство или освободитъ арестованныхъ товарищей, или же заберетъ остальныхъ. Прикатили откуда-то кадку, опрокинули ее вверхъ дномъ, положили на нее листы бумаги и приступили къ подпискѣ адреса.

Вдругъ раздался барабанный бой. Это подходилъ Финляндскій полкъ въ полномъ составѣ. Часть его помѣстили у однихъ воротъ университетскаго зданія и часть у другихъ. На набережной, передъ воротами, разъѣзжали верхами, въ каскахъ съ султанами, видимо озабоченные представители столичной власти и нѣсколько другихъ генераловъ, адъютантовъ и штабъ-офицеровъ. Попечитель стоялъ въ воротахъ, между студентами и войскомъ. Онъ былъ въ простомъ сюртукѣ и фуражкѣ. Тротуаръ по набережной былъ занятъ массами самой разнородной публики и густою цѣпью городской полиціи и жандармовъ.

Однако, не взирая на это грозное предупрежденіе, студенты рѣшились не расходиться до окончанія сходки и, въ случаѣ нападенія войска или жандармовъ, стоять смирно и отнюдь не пускать въ дѣло палокъ. Подняли вопросъ, избрать ли депутатовъ для подачи адреса, или идти съ нимъ опять всею массою, какъ третьягодня? Большая часть видѣла въ послѣднемъ способѣ ручательство въ томъ, что всѣхъ не арестуютъ, а коли брать, то пусть берутъ всѣхъ. Противная же партія говорила, что хотя очень вѣроятно, что депутатовъ и арестуютъ, но лучше арестъ нѣсколькихъ человѣкъ, чѣмъ стычка съ войсками. Многіе не ручались за то, что они хладнокровно, безъ сопротивленія, выдержатъ натискъ солдатъ, а тогда все дѣло будетъ испорчено. И наконецъ, шествіе массой останется еще въ запасѣ какъ послѣднее, крайнее средство. Большинство голосовъ рѣшило избрать депутатовъ.

Въ это самое время была отдана команда, и баталіонъ сталъ входить на университетскій дворъ.

Въ публикѣ, стоявшей на набережной, раздались свистки, шиканье и громкіе крики протеста и негодованія.

Приказано тотчасъ же ударить отбой, и войска возвратились на прежнее мѣсто.

Студенты продолжали стоять и выбирать депутатовъ. Рѣшили отправить ихъ съ адресомъ сейчасъ-же и ожидать возвращенія.

---

[1]) Въ „Офиціальной запискѣ по дѣлу о безпорядкахъ въ С.-Петербургскомъ университетѣ“ читаемъ: „Въ дѣлѣ коммиссіи находится актъ о заарестованіи студента Колениченко. Приставъ Выборгской части, Ф., арестовавшій его, выразился въ офиціальномъ актѣ слѣдующимъ образомъ: „Хотя въ спискѣ студентовъ, подлежащихъ аресту, Колениченко и не значится, но онъ, приставъ, счелъ не лишнимъ и его арестовать!“ Колениченко жилъ въ отдѣльной квартирѣ, одинъ, и у него никто не проживалъ изъ лицъ, подлежавшихъ аресту. Такимъ же образомъ одинъ изъ надзирателей 3-й части арестовалъ одного гимназиста за то, что онъ, по мнѣнію его, надзирателя, раздѣляетъ образъ мыслей студентовъ“.

Digitized by Google

Едва успѣли тѣ отправиться и дойти до воротъ, какъ раздались крики: «Депутатовъ забрали! депутаты арестованы!» —и вся толпа рванулась къ воротамъ выручать ихъ.

Столичныя власти старались успокоить взволнованную массу и убѣждали, что депутаты никакъ не будутъ арестованы, а что онѣ, власти, просто хотятъ только переговорить немного съ ними и поэтому просятъ господъ студентовъ ни мало не безпокоиться, а возвратиться во дворъ и безъ опасеній продолжать свою сходку.

Властямъ отвѣчаютъ, что имъ не вѣрятъ, потому что онѣ арестовали же третьягодня ночью депутатовъ прошлой сходки, тогда какъ, по ихъ же слову: «все равно высылайте», они были избраны.

Власти на это возражаютъ, что хотя и точно депутаты арестованы, только никакъ не по ихъ распоряженію, что онѣ, власти, тутъ ровно не при чемъ и не знаютъ даже, какъ и кѣмъ произведены аресты депутатовъ, и что, наконецъ, если они и арестованы, то отнюдь не какъ депутаты, а какъ зачинщики и что поэтому пусть господа студенты пожалуйста ни мало не тревожатся и сдѣлаютъ такое одолженіе удалятся во дворъ и продолжаютъ свои пренія.

Студенты отвѣчаютъ, что удаляться во дворъ они не желаютъ, а чтобы сдѣлать пріятное властямъ, пожалуй, согласны отступить на нѣсколько саженъ.

Власти очень любезно соглашаются на эти нѣсколько саженъ и затѣмъ вступаютъ въ объясненія съ депутатами, говоря, что онѣ никакъ, ни подъ какимъ видомъ не могутъ пропустить ихъ къ министру. Депутаты отвѣчаютъ, что въ такомъ случаѣ студенты пойдутъ всею массою. Шествія массы власти опять же никакъ не желаютъ. Выборные говорятъ, что студенты точно также его не желаютъ, и поэтому надо пропустить ихъ выборныхъ. Власти отвѣчаютъ, что пропустить ихъ не могутъ. Безплодный споръ на эту тему длится около четверти часа; обѣ стороны говорятъ и много любезнаго, и много довольно рѣзкаго другъ другу, но къ соглашенію придти не могутъ. Наконецъ, власти соглашаются пропустить депутатовъ, но съ тѣмъ условіемъ, чтобы студенты не дожидались ихъ отвѣта, а разошлись бы немедленно. Студенты на это не соглашаются и настаиваютъ на пропускѣ безусловномъ. На безусловный пропускъ опять-таки власти не соглашаются. Обѣ стороны спорятъ и выходятъ изъ себя. Наконецъ, власти объявляютъ, что онѣ имѣютъ приказъ считать сборище студентовъ за обыкновенную толпу, такъ какъ университетъ закрытъ и, слѣдовательно, студентовъ не существуетъ. Депутаты соглашаются, что и въ самомъ дѣлѣ закрытъ, и что поэтому власти, пожалуй, и могутъ думать, что студентовъ не существуетъ, что они, депутаты, даже готовы на время согласиться въ этомъ съ властями, но въ такомъ случаѣ зачѣмъ же вы призвали убѣждать насъ попечителя? Вѣдь онъ, стало быть, намъ больше не начальникъ! Власти обходятъ молчаніемъ столь коварный вопросъ и объявляютъ депутатамъ, что если студенты тотчасъ же не разойдутся, то чрезъ полчаса будетъ надвинуто войско. Депутаты объявляютъ объ этомъ сходкѣ, которая рѣшаетъ, что, пожалуй, можно и разойтись, и говоритъ депутатамъ, что они могутъ отправиться съ адресомъ въ другое время, а буде кто желаетъ узнавать новости касательно университета, то для этого, начиная съ завтрашняго дня, ежедневно собираться въ два часа пополудни на Невскомъ проспектѣ, гдѣ и можно будетъ сговориться насчетъ плана дѣйствій. Но расходясь студенты требуютъ, чтобы войско, неизвѣстно для чего, отступило на сто шаговъ. Власти отдаютъ приказъ, чтобы никакъ не болѣе, а ровно на сто. И войско ровно на сто шаговъ отступаетъ. Студенты спокойно проходятъ мимо его рядовъ и расходятся. Въ это время пріѣзжаетъ въ университетъ министръ народнаго просвѣщенія. Узнавъ о его пріѣздѣ, многіе съ пути поспѣшаютъ опять къ университету и ждутъ его выхода передъ подъѣздомъ, гдѣ опять собирается толпа, только на сей разъ уже безъ полиціи, властей и войска. Министръ, наконецъ, выходитъ. Его встрѣчаютъ шиканьемъ и свистомъ. Онъ садится въ экипажъ и уѣзжаетъ, сопровождаемый этими звуками. Толпа снова расходится.

VII.

„Синій день“ на Невскомъ.

На слѣдующій день, въ два часа пополудни, Невскій проспектъ представлялъ очень оживленное зрѣлище. Это было не то обычное оживленіе, какимъ онъ кипитъ ежедневно между часомъ и четырьмя. Такое оживленіе было на немъ, конечно, какъ всегда, и въ этотъ день, но оно носило на себѣ совершенно особый отпечатокъ, благодаря вчерашнему рѣшенію сходки.

Къ двумъ часамъ, тамъ и сямъ стали появляться небольшія группы студентовъ. Они ходили обыкновеннымъ прогулочнымъ образомъ, встрѣчались съ другими подобными же группами, останавливались, горячо толковали между собою и расходились, или же составляли одну слитую группу, которая принимала совмѣстную прогулку, разомкнувшись однако же на столько, чтобы къ ней не могъ придраться никакой полицейскій хожалый. Тутъ происходили встрѣчи съ новыми кучками, съ новыми группами; члены однѣхъ переходили на мѣсто

Digitized by Google

другихъ и снова расходились, и снова натыкались на новыя кучки. Такимъ образомъ, между университетскою молодежью шелъ обмѣнъ мыслей, замѣчаній, наблюденій и новостей, и все это, при помощи широкихъ тротуаровъ Невскаго проспекта, живо передавалось изъ одной группы въ другую, изъ другой въ третью и т. д. Множество лицъ, такъ или иначе близкихъ студентству и принадлежащихъ университету въ качествѣ вольнослушателей, любителей, студентокъ, и множество лицъ къ университету не принадлежащихъ, но почему-либо сочувствующихъ студентскому движенію, явились тоже на Невскій. У большей части изъ нихъ, въ какомъ-нибудь аттрибутѣ костюма проглядывалъ синій цвѣтъ—цвѣтъ воротниковъ студентской формы. У многихъ служащихъ были надѣты синіе галстуки, или синія ленточки на шляпѣ. Ардальонъ Полояровъ вывѣсилъ на свою скомканную войлочную шляпу широкую синюю атласную ленту, которой хватило бы на цѣлый длинный кушакъ женскаго платья. Этой лентой онъ позаимствовался у Лидиньки Затцъ, и такимъ образомъ, съ широко развѣвающимися позади его синими хвостами, разгуливалъ по Невскому, сожалѣя объ одномъ, что его козьмодемьянская дубина не могла быть, ради сей оказіи, перекрашена въ синій цвѣтъ. Женщины тоже отличались чѣмъ-нибудь синимъ: ленточкой, галстучкомъ, шляпкой, платьемъ, зонтикомъ, или чѣмъ-нибудь подобнымъ. Синій цвѣтъ долженствовалъ изображать собою видимый знакъ сочувствія студентскому дѣлу и какъ бы давалъ право предъявителю его на участіе въ разспросахъ и преніяхъ о студентскихъ интересахъ.

Это былъ какой-то день синяго цвѣта на Невскомъ проспектѣ.

Разныя офиціальныя лица озабоченно и шибко катались въ это самое время туда и сюда вдоль по Невскому. Сильная озабоченность и тревожное ожиданіе чего-то были, по большей части, написаны на ихъ лицахъ. Они внимательно посматривали на бродячія кучки синихъ околышей, на группы служащихъ и женщинъ, отличавшихся какою-либо синею вывѣской и, казалось, ожидали, что вотъ-вотъ сейчасъ что-то такое вспыхнетъ, что-то начнется...

Но ничего не вспыхивало и ничего не начиналось.

Время шло, начальство скакало, синія кучки шлялись, полиція, и явная и тайная, усердно наблюдала — первая наблюдала, занимая фронтовою вытяжкою свои посты, вторая—въ различныхъ образахъ шныряла тутъ и тамъ, вездѣ и нигдѣ, принюхивалась, прислушивалась, старалась какъ-нибудь затесаться промежъ синихъ кучекъ; и той и другой было здѣсь нынче количество изрядное, но... все-таки ничего не вспыхивало и ничего не начиналось...

Зачѣмъ озабоченно скачетъ и катается начальство, зачѣмъ сталкиваются и шатаются эти синія кучки, зачѣмъ шныритъ и вытягивается во фронтъ полиція? Зачѣмъ и для чего все это дѣлается? Всѣ эти вопросы, на глаза постороннято, безпристрастнаго и хладнокровнаго наблюдателя, могли бы произвести одно только недоумѣвающее пожатіе плечами.

И Василій Свитка, и панъ Лѣсницкій, и Иванъ Шишкинъ тоже гуляли по Невскому, но только безъ малѣйшихъ внѣшнихъ отличій синяго цвѣта. Зато маленькій Анцыфрикъ, вмѣстѣ съ Лидинькой Затцъ, пришпилили себѣ цѣлыя кокарды, одинъ къ мерлушечьей шапкѣ, другая къ лѣвому плечу на бурнусѣ, и въ такомъ видѣ, подъ ручку, прогуливались рядомъ съ Ардальономъ Полояровымъ, который сегодня рѣшительно обращалъ на себя всеобщее вниманіе своими развѣвающимися по вѣтру лентами.

— Ба! Хвалынцевъ! Вотъ и вы наконецъ появились!—растопыривъ руки, загородилъ ему дорогу Полояровъ. — Слыхали-съ? Университетъ-то?.. Казарму сдѣлали! Рота солдатъ и день и ночь внутри дежуритъ, ворота всѣ заперты, никого не впускаютъ и даже тѣ, кто живетъ-то тамъ, такъ и тѣ выходятъ не иначе, какъ съ билетомъ... Вотъ оно, какіе порядки!

— Что-жь, этого надо было ожидать,—пожалъ плечами студентъ.

— Нѣтъ, но это... это чортъ знаетъ что! Это свинство! Это возмутительно!—входя въ пафосъ, продолжалъ Ардальонъ.

— Возмутительно! Свинство! Подлость!—пищалъ изъ-подъ руки его Анцыфровъ.

— Что-жь прикажете дѣлать?

— Что дѣлать? А во! Идти и выгнать!—пояснилъ Ардальонъ, показавъ свою дубину.

— Поставятъ цѣлый баталіонъ.

— И баталіоны выгнать!

— И баталіоны выгнать, и всѣхъ выгнать.—поддакивалъ и горячился плюгавенькій Анцыфровъ.

Хвалынцевъ, не желая продолжать пустыхъ рѣчей, махнулъ рукою.

— Ступайте и выгоните,—сказалъ онъ, видѣясь поскорѣе отъ нихъ отвязаться.

— Нѣтъ, господинъ Хвалынцевъ,—вмѣшалась Лидинька Затцъ.—Въ васъ, я вижу, развитъ непозволительный индиферентизмъ, вы равнодушны къ общему дѣлу. Если вы порядочный господинъ, то этого нельзя-съ, или вы не принадлежите къ молодому поколѣнію и заодно съ полиціей, а только такой индиферентизмъ... Вы должны отъ него отказаться, если вы честный господинъ и если хотите, чтобъ я васъ уважала.

И пошла и пошла Лидинька, какъ мелкой дробью, сыпать словами на эту тему.

Хвалынцевъ, не дослушавъ ея, вѣжливо при-

Digitized by Google

поднялъ фуражку и поднялся на лѣсенку къ Доминику.

— Э? батенька! Постойте-ка минуту! На два слова! догналъ его Полояровъ.—Вы куда? къ Доминику?

— Какъ видите.

Они пошли въ ресторанъ. Хвалынцевъ усѣлся за особымъ столикомъ и спросилъ себѣ котлетку. Полояровъ помѣстился тутъ-же подлѣ него и потребовалъ себѣ того-же.

— Н-да-съ, я вамъ скажу, пришли времена!—со вздохомъ началъ онъ вполголоса, подозрительно и сурово озпрянсь во всѣ стороны.— Знаете-ли что́, будемте-ка лучше говорить потише, а то вѣдь здѣсь, поди-ка, и стѣны уши имѣютъ... Всѣ, вездѣ, повсюду, весь Петербургъ стоитъ и подслушиваетъ... весь Петербургъ!— Я вамъ скажу, то-есть, на каждомъ шагу, повсюду-съ!.. Что ни тумба, то шпіонъ, что ни фонарь, то полицейскій!

— Такъ лучше не говорить, если вы такъ опасаетесь. Да не къ чему: все безъ того хорошо извѣстно, новаго ничего вѣдь не скажемъ,— замѣтилъ Хвалынцевъ.

— Какъ знать-съ, можетъ, что́ и новое въ голову придетъ,—возразилъ Ардальонъ;—мысль требуетъ обмѣна. Теперича я вотъ какъ полагаю: времена-съ, батюшка мой, такія, что всѣ честные дѣятели должны сплотиться воедино,— тогда мы точно, будемъ настоящею силою. Каждый на это дѣло обязанъ положить свою лепту... Тутъ рядомъ идутъ принципы экономическіе, соціальные и политическіе—знакомы вы съ соціалистами?

— Вы ужь мнѣ предлагали однажды этотъ вопросъ.

— Да-да, помню!.. Ну, такъ стало быть, съ вами толковать можно. Мы, батенька, проводимъ въ жизнь эти самые принципы, для насъ они дѣло плоти и крови-съ!

— То-есть, кто-же это «мы»?—спросилъ студентъ.

— Мы! то-есть, я, напримѣръ... я, Анцыфровъ, Затцъ... Вотъ пріятель есть у меня одинъ, Лукашка,—у, какая у бестіи богатая башка, я вамъ скажу!—Ну, вотъ мы... и еще есть нѣкоторые... Люди-то найдутся! У насъ, сударь мой, слово нейдетъ въ разладъ съ дѣломъ.

— О! Въ самомъ дѣлѣ?—улыбнулся Хвалынцевъ.

— Да вы не улыбайтесь сомнительно!—подхватилъ Ардальонъ.—Я вамъ не пустяки болтаю. Да вотъ какъ скажу вамъ: прежде всего— принципы экономическіе и соціальные. Нужно весь строй этого глупаго и подлаго общества радикально измѣнить, передѣлать, сломать и уничтожить; все это должно рушиться!

— И что же будетъ тогда?—спросилъ студентъ, съ наивно-невиннымъ видомъ.

— А будетъ-то, чему уже положено нѣкоторое начало, — утвердительно сказалъ Полояровъ.—Да вотъ, хоть наша коммуна, къ примѣру сказать. Это—дѣло прочное-съ, и оно привьется, оно пойдетъ въ жизнь, потому у насъ все общее: общій трудъ, общій фондъ. Я, напримѣръ, литераторъ (это слово произнесъ онъ съ оттѣнкомъ горделиваго достоинства), ну, занимаюсь литературнымъ трудомъ, пописываю статейки тамъ въ разныхъ журналахъ и получаю, значитъ, свою плату; другой коробки клеитъ, третья при типографскомъ дѣлѣ: каждый свое зарабатываетъ—и въ общій фондъ, на общія потребности. Квартира у насъ общая, чай-сахаръ общій, столъ общій, а главное— убѣжденія общія. Тутъ, сами видите, принципъ экономическій тѣсно связанъ съ соціальнымъ. Это, батюшка мой, разумный и явный протестъ противъ эксплуатирующаго собственничества, протестъ за право каждаго на святой трудъ и борьба противъ обособляющихъ элементовъ.

— То-есть, что́ же вы разумѣете подъ обособляющимися элементами?—спросилъ Хвалынцевъ, котораго понемногу стали забавлять Полояровскіе курьезы.

— Обособляющіе элементы, это... это, какъ бы вамъ сказать... Велите-ка прежде дать мнѣ еще водки рюмку, а потомъ и обособляющіе элементы пойдутъ у насъ!

Хвалынцевъ тотчасъ же исполнилъ просьбу Полоярова.

— Обособляющіе элементы, это изволите ли видѣть,—началъ онъ поучающимъ тономъ,— напримѣръ, чинъ, сословіе, каста—это обособляющій элементъ; капиталъ, сосредоточенный въ однѣхъ рукахъ, который естественно требуетъ эксплуатаціи чужого труда—то же обособляющій элементъ; потомъ, напримѣръ, семья—опять же обособляющій элементъ. Поэтому борьба противу кастъ, сословій, противъ неравномѣрнаго распредѣленія богатствъ, противъ семьи, брака и тому подобныхъ мерзостей составляетъ задачу новыхъ людей нашего времени. Стало-быть, вы видите, что тутъ изъ связи принциповъ экономическихъ и соціальныхъ вытекаютъ сами собою и принципы политическіе; додуматься не трудно! Понимаете-съ—многозначительно подмигнулъ онъ глазомъ.—Дайте-ка мнѣ папироску!

Хвалынцевъ подозвалъ гарсона и сталъ расплачиваться.

— Э-хмм... Послушайте, батенька,—отворотясь отъ гарсона, тише чѣмъ въ полголоса обратился Ардальонъ къ Константину Семеновичу.— Заплатите-ка ему заодно ужь и за меня... совсѣмъ изъ ума вонъ: деньги забылъ, не захватилъ съ собою.

Хвалынцевъ со всею любезною предупредительностью поспѣшилъ исполнить просьбу Ардальона Михайловича.

— Н-да-съ, батюшка мой,—закуривъ папироску, глубоко и какъ-то интимно вздохнулъ Полояровъ, какъ обыкновенно вздыхаетъ

Digitized by Google

ловѣкъ, когда собирается съоткровенничать отъ сердца. — Вотъ, видите меня. Кромѣ честнаго труда, ничего не имѣю, а между тѣмъ вы знаете ли, что я... что вотъ этотъ самый Ардальонъ Полояровъ,—говорилъ онъ, начиная входить въ нѣкоторый умѣренный пафосъ и тыча себя въ грудь указательнымъ пальцемъ,—и-да-съ! вотъ этотъ самый человѣкъ, не далѣе какъ нынѣшней весною, могъ бы быть богачемъ капиталистомъ! Да вѣдь какъ-съ! Громадный капиталъ вотъ уже совсѣмъ въ рукахъ былъ, взять бы его, да въ карманъ положить, а я—нѣтъ-съ. И не то, чтобы капиталъ-то сомнительный,— нѣтъ, своимъ честнымъ трудомъ добытый, никому за него не обязанъ!

— И что-жь?—спросилъ Хвалынцевъ.

Полояровъ махнулъ рукой.

— Э! дуракъ былъ... не умѣлъ воспользоваться!— съ досадой сорвалось у него съ языка, и студентъ замѣтилъ, какъ лицо его передернула какая-то скверная гримаска досадливаго сожалѣнія о чемъ-то. Но Ардальонъ вдругъ спохватился.—То-есть вотъ видите ли,—сталъ онъ поправляться въ прежнемъ рисующемся тонѣ,— все бы это я могъ легко имѣть,— капиталъ, цѣлый капиталъ, говорю вамъ,—потому все это было мое, по праву, но... я самъ добровольно отъ всего отказался.

— Это для чего же? — полюбопытствовалъ студентъ.

— Для идеи!.. Да, милостивый государь, для идеи-съ и изъ-за идеи-съ, — съ удареніемъ и внушительно-горделиво отчеканилъ Полояровъ.—Я всѣмъ пожертвовалъ, все бросилъ: и не задумался, нѣтъ, въ ту же минуту бросилъ и отказался!.. Даже, если ужь вы такъ знать хотите, связи съ любимой женщиной порвалъ, какъ только почуялъ первый кличъ идеи. Нашъ братъ, батюшка мой,—наставительно прибавилъ онъ почти шопотомъ,—это тотъ же аскетъ: тамъ, гдѣ дѣло идеи, тамъ нѣтъ ни отца съ матерью, ни дома, ни любовницы, ни капитала—всѣмъ жертвуешь, все отвергаешь!

— Такъ и слѣдуетъ! — со скрытой ироніей похвалилъ его Хвалынцевъ.

Полояровъ, тѣмъ не менѣе, принялъ это за чистую монету.

— А, вы понимаете это! Вашу руку! Дайте пожать ее!—многозначительно промолвилъ онъ.— Послушайте, голубчикъ, у меня до васъ будетъ одна маленькая просьбица,—вдругъ перемѣнилъ онъ тонъ и заговорилъ въ фамильярно-заигрывающемъ и пріятельски-заискивающемъ родѣ,— не можете-ли одолжить мнѣ на самый короткій срокъ сущую бездѣлицу: рублишекъ десятокъ, не болѣе... Я долженъ за свою послѣднюю статью получить послѣзавтра... Мы съ вами сочтемся.

— Нѣтъ, извините, не могу, къ сожалѣнію!—отозвался Хвалынцевъ.

— Гм... не можете.. Ну, такъ хоть пятишницу дайте...

— Къ сожалѣнію и въ этомъ принужденъ отказать вамъ.

— Э, да вѣдь вы, голубчикъ, мы знаемъ васъ! Вы человѣкъ денежный! Въ нѣкоторомъ родѣ собственникъ!—подмигивалъ Полояровъ;— у васъ деньга водится!.. Одолжите, если не можете пяти, хоть зеленую .. Ей-Богу, честное слово, отдамъ, какъ только получу.

Хвалынцевъ, видя, что тутъ ничего не подѣлаешь, вынулъ и далъ ему трехрублевую бумажку.

— Сочтемся!—пробурчалъ Ардальонъ, пряча ее въ карманъ и даже не кивнувъ головой.— А послушайте-ка, батенька, — промолвилъ онъ,—переходите-ка въ нашъ лагерь, въ нашу коммуну! Ей-Богу, самое любезное дѣло! Вы подумайте! Это статья дѣльная. У насъ вѣдь и женщины есть въ нашей общинѣ,—какъ-то двусмысленно прибавилъ Полояровъ, словно бы имѣлъ затаенную мысль поддѣть на соблазнительный крючекъ Хвалынцева.

— Нѣтъ, слуга покорный,—иронически поклонился Константинъ Семеновичъ и пошелъ изъ ресторана.

Полояровъ подозрительно и сурово поглядѣлъ ему вослѣдъ и мрачно нахлобучилъ на глаза свою войлочную шляпу. Длинные хвосты широкихъ лентъ развѣваясь понеслись за нимъ сзади. Онъ вышелъ на Невскій и пошелъ отыскивать Анцыфрова съ Лидинькой, которыхъ и нашелъ, наконецъ, у Аничкина моста.

— Послушай, Полояровъ, это, наконецъ, изъ рукъ вонъ!—запальчиво обратилась къ нему Лидинька (съ пріѣздомъ въ Петербургъ она очень прогрессировалась и, не стѣсняясь никѣмъ и ничѣмъ, «по принципу» говорила Полоярову съ Анцыфровымъ прямо «ты»). — Это чортъ знаетъ что! Съ какой стати ты водишься съ этимъ господиномъ?

— Съ какимъ господиномъ? — покосясь на нее, проворчалъ Ардальонъ.—Чего ты?!

— Съ этомъ фатишкой, аристократишкой... Чего ты увязался за нимъ къ Доминику?

— Увязался!.. Вовсе не увязался! Я самъ по себѣ былъ. Скорѣй же онъ самъ за мной увязался, а ужь никакъ не я!—оправдывался Полояровъ.

— Я изъ вашего давешняго разговора совершенно убѣдилась, что этотъ господинъ и невѣжа и подлецъ!—раздраженно тараторила Лидинька. — Заодно съ жандармами, заодно съ полиціей. Оправдываетъ правительство...

— Ну, гдѣ же оправдываетъ! — попытался было заступиться Ардальонъ.

— Пожалуйста, ты не противорѣчь!—перебила Затцъ. — Сама знаю, что говорю! Учить меня нечего! Этотъ гнусный индиферентизмъ, этотъ небрежный тонъ, какъ будто *удостоиваетъ, снисходитъ*, говоря съ нами; его покло-

Digitized by Google

нился... уходитъ, руки не протягиваетъ... Нахалъ, подлецъ, фатишка и мерзавецъ! А ты съ нимъ якшаешься!

— Да честнóе же слово, онъ самъ! Я и не думалъ... Мнѣ что? Мнѣ на него плевать! — отчурался Ардальонъ отъ ея нападенiй.

— А мы съ Анцыфровымъ положительно убѣждены, что этотъ господинъ въ связи съ Третьимъ отдѣленiемъ!—брякнула вдругъ Лидинька.

— Ну, вотъ... Почему ты думаешь?

— Такъ. Это мое убѣжденiе.

— На чемъ же оно основано?..

— А хоть на томъ, что онъ не арестованъ... Почему онъ не арестованъ, когда другихъ то и дѣло берутъ?.. Зачѣмъ? Почему? я тебя спрашиваю...

— Гм!..—глубокомысленно промычалъ Полояровъ, подумавъ надъ ея словами.—А, впрочемъ, чортъ его знаетъ! Мнѣ и самому, пожалуй, сдается, что тутъ что-то подозрительное...

— Да ужь повѣрь, что такъ. У меня на этотъ счетъ нюхъ! Отличный нюхъ есть! — горячо убѣждала Лидинька.—Наконецъ, вспомни, въ Славнобубенскѣ эта дружба его съ отъявленнымъ, патентованнымъ шпіономъ; развѣ это недостаточное доказательство?

— Ну, и чортъ съ нимъ! Шпіонъ, такъ шпіонъ! Намъ-то что? Не знаться съ нимъ больше, да и вся не долга!—порѣшилъ Полояровъ.

— Нѣтъ, братъ, Ардаліоша, ты этого такъ не говори!—вмѣшался золотушный пискунокъ;— это такъ оставить нельзя! Долгъ каждаго порядочнаго господина, если мы узнали такую штуку, нашъ прямой долгъ чести предупредить поскорѣй порядочныхъ людей объ этомъ, а то вѣдь другiе пострадать могутъ...

— Конечно! разумѣется!—подхватила Лидинька.—Чѣмъ болѣе шпіоновъ будутъ извѣстны, тѣмъ болѣе мы безопасны.

Вскорѣ столкнулись они съ одною студентскою кучкою и затесались въ нее.

— Господа, будьте осторожнѣе со студентомъ Хвалынцевымъ, — внушительно-вѣскимъ тономъ предупредила Лидинька.

— Съ Хвалынцевымъ?.. Что такъ?—отозвались ей изъ кучки.

— Да ужь такъ!.. Мы только для вашей же пользы предупреждаемъ: будьте поосторожнѣй! погрозился Анцыфровъ.—Знаете, чай, пѣсенку:

„У царя у нашева
Ловкихъ слугъ довольно...“

Студенты переглянулись. По лицамъ ихъ пробѣжала тѣнь сомнѣнiя, недоумѣнiя... Однако сообщенiе Лидиньки было принято къ свѣдѣнiю.

Два-три такихъ «будьте поосторожнѣй», оброненныя въ двухъ, трехъ кучкахъ, послужили совершенно достаточнымъ поводомъ, чтобы молва полетѣла изъ одной группы въ другую, изъ другой въ третью и т. д., и т. д.—и тѣнь сомнѣнiя на личность честнаго товарища была брошена, а иные приняли ее тотчасъ же, сразу за несомнѣнную истину. Масса, въ такiе дни и въ такихъ положенiяхъ, какiе были тогда переживаемы петербургскимъ студентствомъ, обыкновенно становится весьма способною на подозрительность, на недовѣрiе къ личностямъ, даже весьма ей близкимъ. Она какъ бы теряетъ, во многихъ случаяхъ, чутье распознаванiя своихъ отъ чужихъ, черное отъ бѣлаго, и въ томъ подозрительномъ недовѣрiи, во всемъ склонна видѣть одно только черное, въ отношенiи котораго становится весьма легковѣрна.

VIII.

Герой въ иныхъ витаетъ сферахъ.

Выйдя отъ Доминика, Хвалынцевъ пошелъ по направленiю къ Полицейскому мосту. Не доходя голландской церкви, близъ магазина Юнкера, онъ почувствовалъ, что кто-то легонько дотронулся сзади до его локтя, обернулся, и вдругъ онѣмѣлъ отъ неожиданнаго радостнаго изумленiя.

Передъ нимъ стояла Татьяна Николаевна Стрѣшнева.

Лицо ея улыбалось и радовалось.

— Господи!..Да вы ли это?—воскликнулъ студентъ, протягивая ей обѣ руки.—Здравствуйте! Когда? Давно ли?

— Вчера только пріѣхали,—отвѣчала она голосомъ, переполненнымъ волненiя.—А какъ я рада, что встрѣтилась!.. Вѣдь я все думала да ломала голову себѣ, какими бы судьбами отыскать васъ? хотѣла дать знать, увѣдомить,—говорила она, глядя ему въ лицо свѣтлыми, радостными глазами. — Сегодня утромъ даже въ университетъ нарочно съѣздила, но тамъ Богъ знаетъ что́ такое: все заперто... солдаты.. останавливаютъ, не пропускаютъ, такъ ничего и не добилась! Вдругъ выхожу отъ Юнкера, а вы тутъ какъ тутъ!.. Ну, какъ я рада! Здравствуйте еще разъ! Да жмите же, что ли, руку-то крѣпче! Ну, вотъ такъ! Теперь—хорошо, по-дружески! Да что это у васъ такое множество студентовъ на Невскомъ? Это у васъ всегда такъ бываетъ?

— Нѣтъ, не всегда, отвѣчалъ Хвалынцевъ;— но что и какъ, это слишкомъ долго разсказывать.

— Ну, хорошо, разскажете и послѣ; а тетеперь вамъ нечего дѣлать? Если нечего, то пойдемте къ намъ. Тетушка рада будетъ. Мы здѣсь близехонько: въ Малой Морской, Hôtel de Paris. Хотите?

Хвалынцевъ предложилъ ей руку и они отправились.

Тетка обрадовалась ему какъ родному. Объ

Digitized by Google

онѣ оставили его у себя обѣдать — и Константинъ Семеновичъ, незамѣтно ни для нихъ, ни для самого себя, досидѣлъ въ ихъ номерѣ до поздняго вечера. Разговорамъ и разспросамъ съ обѣихъ сторонъ не было конца — и какъ это всегда бываетъ у хорошихъ, сердечно близкихъ и и давно невидавшихся знакомыхъ, которымъ есть что попередать другъ другу — разсказы перебивались вопросами, вопросы разсказами, одинъ разговоръ быстро, по мгновенно блеснувшему, кстати или не кстати, воспоминанію, смѣнялся другимъ, другой перебивался вдругъ внезапнымъ вопросомъ или замѣчаніемъ, затѣмъ опять переходилъ къ продолженію старой, оставленной темы. Тутъ фигурировали и Славнобубенскъ, и Москва, и Петербургъ, и общіе знакомые, и книги, и новыя сочиненія, и студенты, и кой-какія маленькія сплетни, къ которымъ кто-жь не питаетъ маленькой слабости?—и театръ, и вопросы о жизни, о политикѣ, о Лидинькѣ Затцъ, и музыка, и современныя событія, и тѣ особенные полунамеки, полувзгляды, полуулыбки, которые очень хорошо и очень тонко бываютъ понятны людямъ, когда у нихъ, при встрѣчѣ, при взглядѣ одного на другого сильнѣй и порывистѣй начинаетъ биться сердце, и въ этомъ сердцѣ сказывается какое-то особенное радостно-щемящее, хорошее и свѣтлое чувство.

Кажется, ужь обо всемъ вдосталь наговорились, а между тѣмъ и Татьяна Николаевна, оставшись одна предъ своей постелью, и Хвалынцевъ, возвращаясь къ себѣ домой—оба одинаково и равно чувствовали, что темы для разговоровъ далеко еще не истощены, что далеко не все еще сказалось, о чемъ-бы хотѣлось высказаться, что много и много еще нужно будетъ передать другъ другу...

Хвалынцевъ сталъ бывать у нихъ ежедневно. Весь молодой, внутренній міръ его, въ первые дни, такъ всецѣло наполнился этимъ присутствіемъ, этою близостью любимой дѣвушки, что онъ рѣшительно позабылъ все остальное на свѣтѣ—и университетъ, и студентовъ, и общее дѣло, и науку, о которой еще такъ ретиво мечталъ какую-нибудь недѣлю тому назадъ. Для него, на первыхъ порахъ, перестало быть интереснымъ или, просто сказать, совсѣмъ перестало существовать все, что̀ не она.

Почти цѣлые дни напролетъ онъ проводилъ съ нею у тетки. Татьянѣ Николаевнѣ такъ жадно хотѣлось все видѣть, все осмотрѣть, все узнать, со всѣмъ познакомиться, — чувство, слишкомъ хорошо знакомое всѣмъ людямъ, зажившимся въ провинціи и попавшимъ наконецъ на «свѣтъ Божій». Хвалынцевъ взялся быть ея неизмѣннымъ чичероне. Ей хотѣлось быть и въ Эрмитажѣ, и въ музеяхъ, и въ Публичной библіотекѣ, и въ Академіи художествъ, и въ оперѣ, и въ русскомъ театрѣ, и во французскомъ, и на клубныхъ семейныхъ вечерахъ, и послушать, какъ читаютъ россійскіе литераторы на публичныхъ чтеніяхъ, и поглядѣть на этихъ россійскихъ литераторовъ, каковы-то они суть въ натурѣ, по наружности; словомъ, желаніямъ Татьяны Николаевны не было конца, и кидалась она на все это съ жадной любознательностью новичка, который наконецъ-то дорвался до столь желаннаго и долго жданнаго предмета, о которомъ ему еще такъ давно и такъ много мечталось.

Проводя у Стрѣшневыхъ почти все свое время, Хвалынцевъ только вскользь успѣвалъ слѣдить за ходомъ университетскихъ событій, за движеніемъ и толками въ обществѣ, которые были вызваны этими событіями. А между тѣмъ въ городѣ толковали, что нѣсколько гвардейскихъ полковъ заявляютъ сильное движеніе въ пользу студентовъ и положительно отказываются идти, если ихъ пошлютъ противъ нихъ; что студентовъ и многихъ другихъ лицъ то и дѣло арестовываютъ, хватаютъ и забираютъ гдѣ ни попало и какъ ни попало, и днемъ, и ночью, и дома, и въ гостяхъ, и на улицѣ, что министръ не принялъ университетской депутаціи съ адресомъ. О новыхъ правилахъ и матрикулахъ, распубликованныхъ министерствомъ отъ 28-го сентября, въ обществѣ ходили самые нелестные толки. Большинство публики образованныхъ слоевъ было ими сильно недовольно. «Times» и другія заграничныя газеты то и дѣло печатали самыя неутѣшительныя корреспонденціи изъ Россіи, преисполненныя затаеннаго злорадства: для нихъ Россія представлялась теперь крѣпостью, подъ которую повсюду подведены пороховыя мины, крѣпостью, которая сама себя подкопала. Газеты эти весьма злобно и остроумно критиковали министерскія правила. «*Колоколъ*» билъ набатъ и даже «Le Nord» замѣтилъ, что многія изъ этихъ правилъ годны скорѣе для десятилѣтнихъ мальчиковъ, чѣмъ для студентовъ. Петербургская журналистика хранила молчаніе и только изрѣдка гдѣ-нибудь, между строками прорывался темный сочувственный студентамъ намекъ на современныя университетскія событія. Толковали между студентами и въ обществѣ, что всѣ офицеры артиллерійской академіи подали по начальству рапортъ, въ которомъ просятъ удерживать пять процентовъ изъ ихъ жалованья на уплату за бѣдныхъ студентовъ; съ негодованіемъ передавали также, что стипендіи бѣднымъ студентамъ будутъ отнынѣ выдаваться не въ университетѣ, а чрезъ полицію, въ полицейскихъ камерахъ; толковали, что профессора просили о смягченіи новыхъ правилъ, потомъ просили еще, чтобы имъ было поручено изслѣдовать все дѣло, и получили отказъ и въ томъ, и въ другомъ, просили о смягченіи участи арестованныхъ студентовъ—и новый отказъ. Нѣкоторые вѣстовщики распространяли, подъ рукой, слухи, будто студентовъ въ крѣпости пытаютъ, что ихъ будутъ

Digitized by Google

ссылать въ Сибирь, разстрѣливать, и много еще подобныхъ нелѣпостей, и эти послѣднія нелѣпости, точно такъ же, какъ и вѣсти основательныя, находили таки свое приложеніе въ нѣкоторыхъ сферахъ общества и распространялись даже усерднѣе и скорѣе, чѣмъ извѣстія болѣе положительнаго и разумнаго свойства.

Хвалынцевъ, увлеченный теперь дѣлами своего сердца болѣе, чѣмъ дѣлами студентства, не былъ на сходкѣ, которая собралась около университета 2-го октября—день, въ который начальство словесно обѣщало открыть лекціи. Но лекціи открыты не были. По этому поводу на сходкѣ произошли нѣкоторыя демонстраціи, результатомъ которыхъ были немедленные аресты. Между прочимъ арестованы тутъ же нѣсколько лицъ, къ университету не принадлежавшихъ.

* * *

11-го октября, вернувшись поздно вечеромъ домой, Хвалынцевъ нашелъ на столѣ у себя слѣдующее письмо:

«Нужды нѣтъ, что письмо это безъ подписи. Будьте твердо увѣрены, что вамъ пишетъ другъ и тайный вашъ доброжелатель. Вы вправѣ принять или отвергнуть совѣтъ, внушенный уваженіемъ и искреннимъ расположеніемъ къ вамъ. Зачѣмъ вы покинули вашихъ товарищей, ваше общее дѣло? Васъ не видать было нигдѣ: ни въ условные часы на Невскомъ, ни на сходкѣ 2-го октября, ни на частныхъ сходкахъ у товарищей. Многіе озадачены вашимъ поведеніемъ. Здѣсь уже успѣли пустить слухи, что вы (не расхохочитесь только!), что вы—шпіонъ. Сколь ни глупо, а многіе вѣрятъ. Вамъ надо поведеніемъ своимъ снять съ себя эту мерзкую клевету. Завтра открывается университетъ для взявшихъ матрикулы. Не-матрикулисты намѣрены собраться передъ началомъ лекцій, чтобы не допустить малодушныхъ товарищей своихъ покориться министерскимъ фуркуламъ. Имъ помѣшаютъ, ихъ не допустятъ заявить свою покорность и смиреномудріе. Мы ждемъ васъ завтра, какъ честнаго товарища, на предстоящей сходкѣ.

«Вашъ искренній доброжелатель».

Письмо это и озадачило, и раздосадовало Хвалынцева. «Что за тайный доброжелатель? Что за контроль надъ частною жизнью человѣка, надъ личными его отношеніями? Меня не видать тамъ-то и тамъ-то! — Да вамъ-то какое дѣло, гдѣ меня видать?!.. И сейчасъ уже «шпіонъ»... Господи, какъ это у нихъ все скоро!.. И глупо, и больно, и досадно!..»

И нервно крутя пальцами въ трубочку письмо, Хвалынцевъ заходилъ по комнатѣ. Онъ принялъ къ сердцу полученное извѣстіе — и втайнѣ его печалило, грызло и бѣсило заявленіе о его шпіонствѣ: «что это — нелѣпое ли предостереженіе, съ цѣлью постращать, или въ самомъ дѣлѣ правда?» Кровь кидалась ему въ голову, какъ только начиналъ онъ думать и воображать себѣ, что его фамилія сопоставляется «съ этимъ словомъ». Хвалынцевъ—шпіонъ!.. «Э, нѣтъ мои милые, я вамъ докажу... я вамъ докажу, что такъ нельзя!.. Это уже слишкомъ!» злобно бормоталъ онъ, стиснувъ зубы, а разсудокъ межъ тѣмъ скромно подшептывалъ въ это самое время простой вопросъ: «чѣмъ же ты это, любезный другъ, имъ докажешь?»—И досадливая злоба еще пуще подступала къ его сердцу.

Онъ долго не могъ уснуть. Все одна и та же оскорбительная мысль, все то же злобное чувство, даже и въ короткомъ, перерывчатомъ снѣ, не давало ему покою.

IX.

„Студентскій день".

Утромъ, часу въ одиннадцатомъ, онъ поѣхалъ къ Стрѣшневымъ.

Татьяна Николаевна сразу замѣтила, что ему какъ-то не по себѣ.

— Что съ вами нынче?—почти на первомъ же словѣ спросила она.

— А вотъ, прочтите и узнаете,—отвѣтилъ онъ, подавая вчерашнее письмо.

Та развернула бумагу и быстро принялась читать. По ея лицу можно было видѣть, какое впечатлѣніе производитъ на нее это посланіе.

— Какія мерзости! — вырвалось у нея съ негодованіемъ, когда она дочла до послѣдней строки.—Неужели это правда? Неужели у васъ такія нелѣпости распространяются такъ-же легко и быстро, какъ въ Славнобубенскѣ?

— А что-жь, мудренаго нѣту!

— Но послѣ этого мало-мальски самостоятельному человѣку просто жить нельзя!—Чуть высказалъ мнѣніе, несогласное съ большинствомъ—сейчасъ шпіонъ, сейчасъ подлецъ! Да это хуже всякаго рабства!

Хвалынцевъ пожалъ плечами.

— Устиновъ правъ: среда, дѣйствительно, тотъ же палачъ и деспотъ, — тихо сказалъ онъ; — какъ ее ни презирай, а она, помимо твоего презрѣнія, дастъ-таки почувствовать себя слишкомъ чувствительнымъ образомъ.

Татьяна Николаевна остановилась въ какой-то внутренней, сосредоточенной борьбѣ со своимъ собственнымъ раздумьемъ. Рѣшить ли такъ, или эдакъ? высказывалось въ ея взорѣ, въ ея суровой морщинкѣ надъ бровями, въ ея медленномъ и рѣдкомъ подергиваніи углами губъ. Видно было, что обвиненіе, павшее на Хвалынцева, слишкомъ успѣло задѣть ее за живое.

— Послушайте, Константинъ Семеновичъ!—рѣшительно подняла, наконецъ, она на него свои глаза.—Хоть это все и мерзость, и глу-

Digitized by Google

пость, но... мнѣ кажется, оставлять безъ вниманія такія вещи не должно. Ваше имя, ваша честь должны стоять слишкомъ высоко! Они не должны ни минуты оставаться подъ какой бы то ни было тѣнью!

— Что-жь прикажете дѣлать?—горько улыбнувшись, спросилъ онъ.

— Что дѣлать?—быстро и оживленно подхватила дѣвушка.—Прежде всего разъяснить это дѣло. Можетъ-быть, все это не болѣе, какъ плоская шутка какого-нибудь благопріятеля, не слишкомъ разборчиваго на средства; въ такомъ случаѣ наказать его за это, выставить его поступокъ на позоръ товарищей.

— О, помилуйте! до того ли имъ теперь!—перебилъ студентъ.—Въ университетѣ идетъ дѣло поважнѣй моего личнаго самолюбія. Да и едва ли шутка: мы, надо сознаться, слишкомъ скоры на самые рѣшительные приговоры.

Стрѣшнева снова задумалась.

— Въ такомъ случаѣ вотъ что: уважаете вы вашихъ товарищей или нѣтъ? Уважаете вы общее мнѣніе студентской массы?

— Вопросъ даже излишній,—возразилъ Хвалынцевъ.—Я самъ студентъ.

— Значитъ, уважаете,— утвердительно заключила дѣвушка. — Ну, такъ поѣзжайте сейчасъ же на сходку! Сейчасъ поѣзжайте! Тамъ вы сами воочію убѣдитесь, на сколько тутъ правды—и если *да*, то постарайтесь своимъ поведеніемъ доказать товарищамъ, что они на вашъ счетъ заблуждаются. Поѣзжайте! Вотъ вамъ рука моя на счастье... Я буду ждать васъ..

Хвалынцевъ съ любовью и благодарностью поцѣловалъ протянутую руку и отправился на сходку.

* * *

Подъѣзжая къ университету, онъ еще издали увидѣлъ огромную толпу, запрудившую всю набережную. Въ этой толпѣ пестрѣла самая разнообразная публика, сѣрѣли ряды войска, надъ которыми виднѣлись тонкія, частыя иглы штыковъ; нѣсколько гарцующихъ на мѣстѣ всадниковъ замѣтно выдавались надъ головами; еще далѣе—стройный рядъ конныхъ жандармовъ... Все это могло бы предвѣщать нѣчто недоброе, если бы частое повтореніе подобныхъ явленій за послѣднее время не пріучило студентовъ смотрѣть на нихъ, какъ на нѣчто весьма обыкновенное, въ родѣ необходимой декораціи при театральной комедіи.

Хвалынцевъ расплатился съ извозчикомъ и спѣшно отправился пѣшкомъ по набережной. Квартальный надзиратель и нѣсколько полицейскихъ пропустили его безпрепятственно. Онъ уже съ трудомъ пробирался между рядами солдатъ, съ одной стороны, и массою публики—съ другой, какъ вдругъ дорога ему была загорожена крупомъ строевой лошади. На сѣдлѣ красовался какой-то генералъ и жестикулируя говорилъ о чемъ-то толпѣ и солдатамъ. Хвалынцевъ пріостановился.

— Это мальчишки, которыхъ правительство кормитъ, поитъ и одѣваетъ на свой счетъ,—раздался голосъ съ коня,—а они, неблагодарные, бунтуютъ!.. Изъ нихъ, братцы, со временемъ выйдутъ подъячіе, которые грабятъ васъ, грабятъ народъ—дадимъ имъ хорошій урокъ!

Вся кровь бросилась въ голову Хвалынцева. Изъ груди, переполнившейся негодованіемъ, готовы были вырваться слезы.

— Ваше превосходительство! не всѣ средства хороши и позволительны! — закричалъ онъ.—Это ложь! это клевета!

Генералъ повернулся, желая поймать голосъ, осмѣлившійся встрѣтить его слова столь громкимъ протестомъ.

Ближайшая толпа изъ публики, смекнувъ въ чемъ дѣло, въ тотъ же мигъ закрыла собою студента и образовала между нимъ и всадникомъ довольно плотную и густую стѣну. Хвалынцевъ рванулся было впередъ, но его задержали и закрывая продолжали оттирать назадъ.

— Найти и взять,—крикнулъ генералъ, обращаясь къ близъ стоявшему городовому.

Тотъ расторопно кинулся въ толпу, но толпа, встрѣтившая его гуломъ и смѣхомъ, все болѣе и болѣе оттирала студента въ глубь, такъ что всѣ усилія полицейскаго остались тщетны.

Отчасти сконфуженный, генералъ шагомъ поѣхалъ далѣе, къ университету.

Хвалынцевъ, съ трудомъ пролагая себѣ дорогу въ толпѣ, отправился въ томъ же направленіи. Вотъ засинѣли передъ нимъ студентскіе околыши, вотъ онъ уже примкнулъ къ нхъ толпѣ. На сердцѣ у него было такъ смутно и такъ тревожно: онъ не зналъ, какъ отнесутся теперь къ нему его товарищи; онъ втайнѣ боялся за свое доброе имя и сознавалъ, что минута встрѣчи съ ними должна быть роковою, что послѣ нея нужно рѣшиться на что нибудь-такое, что сразу разубѣдило бы ихъ, разсѣяло всѣ предубѣжденія. Но чѣмъ именно должно быть это «*что-нибудь такое*», въ чемъ оно должно заключаться? студентъ не зналъ и не могъ еще дать самому себѣ яснаго отчета; онъ только былъ твердо увѣренъ, что «*что-нибудь такое*» онъ сдѣлаетъ, что оно будетъ и будетъ непремѣнно. У страха глаза велики, говоритъ пословица. У предубѣжденнаго въ какую-либо сторону человѣка они точно такъ же велики, а Хвалынцевъ явился сюда уже предубѣжденнымъ, настроеннымъ въ извѣстномъ направленіи, и потому былъ способенъ видѣть въ каждомъ взглядѣ, въ каждомъ пожатіи руки, въ каждомъ словѣ и движеніи знаменательное для себя явленіе, явленіе, направленное противъ своей личности въ дурную, враждебную сторону. Можетъ-быть, въ сущности, многаго изъ того что́ ему казалось, вовсе и не было, но ужь онъ-то самъ, по внутреннему настроенію, склоненъ былъ глядѣть на все

Digitized by Google

преувеличенными глазами и объяснять себѣ все такъ, какъ подсказывало ему его собственное, болѣзненное чувство. Ему показалось, что на него весьма многіе стали вдругъ косо глядѣть, что нѣкоторые какъ будто уклонились отъ встрѣчи съ его взглядомъ, отъ его поклона, что самыя рѣчи какъ будто становились сдержаннѣе, при первомъ его появленіи въ томъ или другомъ мѣстѣ толпы. Болѣзненное чувство досады и незаслуженнаго оскорбленія подымалось въ его душѣ, а на подобное настроеніе очень много повліяли и дурно проведенная ночь, и возбужденіе нервовъ, и неожиданное столкновеніе съ ораторствовавшимъ генераломъ. «А вѣдь струсилъ, подло струсилъ», самъ себя упрекалъ въ душѣ Хвалынцевъ.— «Слѣдовало бы не прятаться въ толпѣ, а выйти прямо къ нему и честно сказать: «это я сказалъ», а я почти безпрепятственно позволилъ оттереть себя. Арестовали бы, ну и пускай!.. Тогда бы, по крайней мѣрѣ, всѣ знали, всѣмъ бы было извѣстно»...

«И все вздоръ! И никто бы не зналъ, и никому не было бы извѣстно!» слѣдовалъ въ немъ новый потокъ мыслей.— «То было бы тамъ, а *они* здѣсь, откуда-жь бы узнали *они*? Никто изъ нихъ этого и не увидѣлъ бы... Доказать... Но чѣмъ доказать... Нужно, необходимо нужно что-то такое сдѣлать, чтобы всѣ увидѣли, чтобы всѣ поняли... Но что такое сдѣлать?.. Что именно нужно?...»

Чѣмъ болѣе поддавался Хвалынцевъ этимъ мыслямъ, тѣмъ все смутнѣе и тяжелѣе становилось ему, и онъ вдругъ какъ-то почувствовалъ себя одинокимъ, чужимъ, лишнимъ среди этой толпы товарищей, отторгнутымъ отъ нея членомъ, вслѣдствіе какого-то тайнаго, невѣдомаго, высшаго приговора. Ему стало очень горько и больно; досада и злость, и сознаніе своего безсилія еще пуще стали сжимать и щемить его душу.

«Какъ я приду *къ ней*? Что я скажу *ей*?.. Она вѣдь ждетъ меня, она сама, можетъ, такъ же страдаетъ», думалось ему.— «Нѣтъ, надо *сдѣлать*!.. надо сейчасъ доказать имъ... Но, Господи! Что же я сдѣлаю!... О, будь толпа за меня, будь я попрежнему безъ малѣйшей тѣни въ ея глазахъ, я былъ бы силенъ ею... я все бы сдѣлалъ тогда, все было бы такъ легко и такъ просто... а теперь, чортъ знаетъ, словно будто бы связанъ по рукамъ и ногамъ, словно будто бы паутиной какой-то опутанъ...»

— Господинъ Хвалынцевъ! Господинъ Хвалынцевъ!—послышался вдругъ ему чей-то дружелюбный, привѣтливый голосъ.

Константинъ Семеновичъ обернулся на зовъ и увидѣлъ на тротуарѣ набережной, между массою публики, Василія Свитку, который улыбаясь махалъ ему рукой.

Хвалынцевъ, погруженный въ свои тяжелыя думы и ощущенія, обрадовался этому голосу, какъ какому-то спасительному, благовѣстному звуку. Онъ поспѣшилъ пробраться къ Свиткѣ съ чувствомъ, весьма близкимъ къ чувству утопающаго, которому вдругъ представляется доска или сучокъ прибрежнаго кустарника.

Свитка стоялъ въ рядахъ публики, но нѣсколько человѣкъ его сосѣдей, какъ показалось Хвалынцеву, составляли какъ будто особую кучку знакомыхъ между собою людей. Тутъ были и Шишкинъ, и Лѣсницкій, физіономія котораго показалась студенту нѣсколько знакомою: онъ вспомнилъ, что видѣлъ, кажись, этого самаго господина вмѣстѣ со Свиткой и въ университетѣ однажды, и въ тотъ день, когда въ условленные часы гулялъ по Невскому.

Кромѣ этого господина, тутъ же стояло нѣсколько офицеровъ, между которыми особенно выдѣлялась фигура капитана генеральнаго штаба съ очень умнымъ, энергическимъ лицомъ. Этотъ капитанъ разговаривалъ съ блондиномъ чиновничьей наружности, очень скромнымъ и приличнымъ на видъ. Нѣсколько выдвинутая впередъ нижняя челюсть и тонкія подобранныя, сжатыя губы, несмотря на общую болѣзненность физіономіи, придавали его лицу какое-то презрительное и вмѣстѣ съ тѣмъ энергическое, твердое выраженіе рѣшимости и силы. Это лицо было изъ тѣхъ, которыя невольно останавливаютъ на себѣ нѣкоторое вниманіе. Онъ стоялъ въ распахнутомъ бобровомъ пальто и между развернувшимися бортами его кашне Хвалынцевъ замѣтилъ какой-то орденъ на его шеѣ. Несмотря на то, что сѣрые глаза его дышали наглостью, общее выраженіе ума и энергіи, вмѣстѣ съ изящною скромностью манеры держать себя, имѣло въ себѣ нѣчто подкупающее и даже располагающее въ его пользу.

— А молодцы матрикулисты! ей-Богу молодцы!—не безъ увлеченія похвалилъ Свитка, дружелюбно пожимая руку Хвалынцева.

— А что такъ?— спросилъ этотъ.

— Да какъ же! Собрали сходку и торжественно изорвали свои матрикулы... Это фактъ утѣшительный! Не-матрикулисты хотѣли помѣшать лекціямъ, но оказалось, что и мѣшать нечему: все само собою сдѣлалось какъ не надо лучше.

Хвалынцевъ съ высоты тротуара оглядѣлъ толпу. Болѣе двухсотъ студентовъ-матрикулистовъ стояли отдѣльной группой; человѣкъ полтораста, изъ невзявшихъ матрикулы, помѣщались неподалеку отъ нихъ. Разное начальство и власти, конныя и пѣшія, стояли около этихъ двухъ группъ и горячо о чемъ-то спорили, убѣждали, доказывали, то принимаясь грозить, то вдругъ увѣщевать; властямъ возражали—и власти снова начинали горячиться и снова грозить, но угрозы ихъ встрѣчались

Digitized by Google

или равнодушіемъ, или смѣхомъ; власти терялись, опять приступали къ заявленіямъ своей любви и симпатіи къ «молодому поколѣнію», молодое поколѣніе на любовь не поддавалось, и потому власти опять-таки выходили изъ себя.

Все уже это, на сей день, было старо, а отъ частыхъ повтореній становилось даже и скучнымъ.

Вдругъ раздался чей-то рѣзкій, взбѣшенный крикъ:

— Впередъ!.. Бей!.. Обходи!..

И рота солдатъ—ружья на руку, штыками впередъ—бросилась на толпу матрикулистовъ. Съ другой стороны въ нее врѣзались конные жандармы. Поднялся неистовый крикъ. Студентскія палки и нѣсколько солдатскихъ прикладовъ поднялись въ воздухѣ. Среди крика, шума и свалки послышались удары и отчаянные вопли.

Минута была ужасная.

Вдругъ Хвалынцевъ замѣтилъ, что въ нѣсколькихъ шагахъ отъ него грохнулся на мостовую человѣкъ. Онъ вглядѣлся и узналъ знакомаго: то лежалъ одинъ кандидатъ университета, кончившій курсъ нынѣшнею весной. Лицо его было облито кровью. Первымъ движеніемъ студента было броситься къ нему на помощь, но чья-то сильная рука предупредила его порывъ.

— Останьтесь!.. Куда вы!?.. Бога ради, останьтесь! — шепталъ ему Свитка, крѣпко ухвативъ его подъ руку.

Хвалынцевъ отъ сильнаго волненія не могъ выговорить ни слова и только взглядомъ и жестами показывая на окровавленнаго человѣка, все порывался къ нему.

Въ это время двое солдатъ подняли лежачаго и пособили ему держаться на ногахъ, а одинъ даже обмахнулъ обшлагомъ грязь съ полы его пальто. Раненый, очевидно, подъ впечатлѣніемъ сильной боли, плохо сознавалъ, что дѣлается вокругъ него и несвязно бормоталъ какія-то слова. Солдаты, подхвативъ его подъ руки, утащили куда-то.

Свалка продолжалась еще нѣсколько секундъ. Клочья разорваннаго платья, два-три лежачихъ и нѣсколько окровавленныхъ человѣкъ были ея результатомъ.

Солдаты окружили и оттѣснили на нѣкоторое разстояніе толпу матрикулистовъ. Лежачихъ тотчасъ же подняли и отправили въ госпиталь.

— Въ крѣпость!.. Маршъ! — скомандовалъ кто-то изъ начальства.

И толпа матрикулистовъ, окруженная конвоемъ, двинулась съ мѣста.

— Берите и насъ!.. Арестуйте и насъ вмѣстѣ съ ними! Мы хотимъ быть съ нашими товарищами! — раздались вдругъ крики изъ особой толпы не-матрикулистовъ, и вся она хлынула впередъ, на соединеніе съ арестованными.

Конвой разступился и безпрепятственно допустилъ это соединеніе.

Хвалынцевъ снова бросился впередъ.

— Да куда же вы, наконецъ?!.. Куда вы!— съ досадой остановилъ его Свитка.

— Пустите!—рванулся тотъ отъ него локтемъ.—Мое мѣсто тамъ... вмѣстѣ съ ними... Оставьте меня!

— Не оставлю!—спокойно возразилъ Свитка.—Прежде всего—это глупо!.. Что за неумѣстное донъ-кихотство!..

— Какое вамъ дѣло до меня!.. Мнѣ не нужно нянекъ!.. Пустите же, говорю вамъ!

И онъ успѣлъ вырваться изъ-подъ руки Свитки и кинулся впередъ.

Какой-то городовой налетѣлъ на него и, ухвативъ за шиворотъ, потащилъ къ арестованной толпѣ. Хвалынцевъ не противился.

— Оставить!.. Пусти его, каналья!—строго начальственнымъ тономъ проговорилъ въ эту самую минуту капитанъ генеральнаго штаба, подоспѣвшій на выручку вмѣстѣ съ двумятремя офицерами, которые доселѣ стояли въ толпѣ, около Свитки.

Городовой тотчасъ же выпустилъ шиворотъ Хвалынцева и, почтительнно вытянувшись предъ офицерами, спѣшно взялъ подъ козырекъ.

Двое изъ нихъ въ ту жь минуту подхватили подъ руки студента и почти насильно оттащили его въ толпу народа, на тротуаръ набережной.

А въ это время студенты подъ конвоемъ успѣли уже двинуться далѣе.

Хвалынцевъ, слишкомъ много перечувствовавшій и перестрадавшій въ эту ночь и въ это утро, взволнованный и возмущенный видомъ стычки, видомъ крови, наконецъ не выдержалъ. Ощущенія его за все это время были слишкомъ тягостно-разнообразны. Отворотясь отъ толпы, онъ облокотился на гранитныя перила набережной, судорожно закрылъ лицо руками и нервно зарыдалъ. Это были рыданія болѣзненнаго озлобленія.

— Полноте... успокойтесь,—тихо говорилъ ему Свитка, облокотившійся рядомъ съ нимъ на перила.

— Оставьте, говорю! — злобно прохрипѣлъ студентъ.—Чего вамъ отъ меня надо?.. Кто васъ просилъ мѣшаться?.. По какому праву?..

— По праву товарища,—спокойно пояснилъ Свитка.

— Вы мнѣ не товарищъ... Мои товарищи тамъ... А я не съ ними.

— Ну, а кого жь бы вы особенно удивили, если-бы были съ ними?—съ дружеской улыбкой возразилъ Свитка.—Эхъ, господинъ Хвалынцевъ! Донъ-кихотство вещь хорошая, да только не всегда!.. Я возмущенъ, можетъ-быть, не ме-

Digitized by Google

нѣе, но... если мстить, то мстить разумнѣе,— прибавилъ онъ шопотомъ и очень многозначительно.—Быть бараномъ въ стадѣ еще не велика заслуга, коли въ человѣкѣ есть силы и способность быть вожакомъ.

Хвалынцевъ окинулъ его недоумѣвающимъ взглядомъ.

— Полноте, успокойтесь, говорю вамъ, — продолжалъ Свитка.—Первый актъ траги-комедіи, можно сказать, конченъ... ну, и слава Богу!.. Полноте же, будьте мужчиной!.. Пойдемте ко мнѣ и потолкуемъ о дѣлѣ... Я довезу васъ... Я не отпущу васъ теперь одного: вы слишкомъ взволнованы, вы можете надѣлать совершенно ненужныхъ глупостей. Давайте вашу руку!

Въ тонѣ Василія Свитки было столько чего-то авторитетнаго, столько спокойствія и благоразумнаго сознанія своего права и силы и рѣшительности, что Хвалынцевъ, успѣвшій уже до извѣстной степени нравственно ослабѣть подъ ударами столькихъ впечатлѣній, почти безпрекословно подчинился волѣ этого новаго и неожиданнаго ментора.

Свитка нанялъ извозчика и повезъ Хвалынцева на свою квартиру, въ 13-ю линію Васильевскаго острова.

* * *

Въ общественныхъ толкахъ, этотъ достопамятный для петербургскаго университета день былъ названъ «студентскимъ днемъ». Это названіе надолго осталось за нимъ и въ воспоминаніяхъ тогдашняго и послѣдующаго студентства.

X.

Бесѣда съ мудрымъ Никодимомъ.

Охъ, господинъ Хвалынцевъ, да какой же вы, право, нервный! — говорилъ Свитка, качая головою, когда студентъ усѣлся уже въ старое, но очень мягкое и покойное кресло.—Ишь вѣдь, и до сихъ поръ, нѣтъ-нѣтъ, а все-таки дергаетъ лицо дрожью!

— Не дрожью, а злостью дергаетъ!—отвернувшись отъ него проворчалъ Хвалынцевъ.

— Злость—чувство очень почтенное, когда оно разумно направлено!—какъ бы между прочимъ замѣтилъ Свитка.—А знаете, выпейте-ка стаканъ бургонскаго; это васъ и освѣжитъ, и подкрѣпитъ, какъ слѣдуетъ; кстати, дома есть бутылочка, и посылать не надо... Я вѣдь человѣкъ запасливый!—говорилъ онъ, доставая изъ шкафчика темную бутылку и пару стакановъ.

Хвалынцевъ давно уже чувствовалъ внутреннюю, нѣсколько воспаленную, болѣзненную сухость и потому залпомъ выпилъ стаканъ вина, которое утолило его лихорадочную жажду.

— Хотите сигару, или папиросу? Только предупреждаю, сигарёнка такъ-себѣ, весьма посредственнаго достоинства—говорилъ Свитка, подвигая студенту и то и другое.—Главное у меня—чтобы вы успокоились. Это прежде всего. Сидите, лежите, курите, пейте, а когда будете совсѣмъ спокойны—будемъ толковать.

Хвалынцевъ съ улыбкой послѣдовалъ его предупредительнымъ, любезнымъ совѣтамъ, закурилъ себѣ сигару, налилъ въ стаканъ еще вина и съ ногами перемѣстился на диванъ, подложивъ себѣ подъ бокъ кожаную подушку.

— Ну-съ, теперь я въ совершенно покойномъ положеніи. Можете начинать, — полушутя обратился онъ къ своему любезному хозяину.

— Могу и начинать,— въ томъ же духѣ отвѣтилъ Свитка, въ свою очередь подливая себѣ бургонскаго.—Прежде всего, милостивый мой государь, господинъ Хвалынцевъ, да будетъ вамъ извѣстно, что вы—арестантъ.

Студентъ вскинулъ на него вопросительный взглядъ.

— Да-съ, вы—арестантъ,—продолжалъ Свитка, какъ-бы въ отвѣтъ на этотъ взглядъ,— потому что вы арестованы... Понимаете-съ?

— Немножко не понимаю,—улыбнулся Хвалынцевъ.

— Вы арестованы мною и у меня, и вскорѣ будете переправлены въ болѣе надежное мѣсто.

— Буде до того времени не уйду изъ-подъ ареста,—въ видѣ добавленія къ словамъ Свитки и впадая въ его тонъ, замѣтилъ Хвалынцевъ.

— Это само собою разумѣется!—поклонился тотъ, вполнѣ соглашаясь со своимъ гостемъ.— Но буде вы уйдете изъ-подъ ареста, то рискуете быть арестованнымъ санктъ-петербургскою явною или тайною полиціею. Вамъ это желательно?

— Мнѣ это рѣшительно все-равно.

— Какъ «все-равно»?.. А Малая Морская улица?

Хвалынцевъ въ замѣшательствѣ и въ нѣсколько тревожномъ недоумѣніи вскочилъ съ дивана.

— Ну, вотъ видите, я говорилъ вамъ, что вы еще не совсѣмъ спокойны. Оно такъ и есть!—полусмѣясь, замѣтилъ Свитка.—Ложитесь-ка лучше опять, и пейте, и курите, и ведите бесѣду, какъ подобаетъ мужу мудрому.

— Все это прекрасно,—возразилъ студентъ, возвращаясь на диванъ въ прежнее свое положеніе,—но...

— Что такое *но*?—лукаво улыбаясь, прищурился Свитка.

— Но?.. Но вы начинаете говорить загадки.

— А! на то и существуютъ на свѣтѣ загадки, чтобы ихъ отгадывать. Вы видите, что мнѣ кое-что извѣстно, и—повѣрьте слову—я бы никакъ не сталъ заводить рѣчь о такихъ деликатныхъ предметахъ, какъ Малая Морская

Digitized by Google

улица, если бы въ этомъ не было самой настоятельной надобности.

— Вѣрю вполнѣ, но мнѣ было бы интересно знать, кто васъ уполномочилъ на это?

— Н-да... я вижу, что коснулся дѣйствительно щекотливаго предмета!—уставя въ землю глаза, медленно проговорилъ Свитка.— Кто уполномочилъ меня?.. хм!.. Полагаю, вашъ собственный интересъ, ваша собственная польза.

— Ну, что-жь! Мнѣ, стало быть, остается только поблагодарить васъ за участіе къ моимъ пользамъ.

— О, я въ этомъ и не сомнѣваюсь! Но это вы успѣете сдѣлать и потомъ, впослѣдствіи!— говорилъ Свитка, притворяясь, будто не понялъ настоящаго смысла фразы Хвалынцева.— Вѣдь не можетъ же быть, чтобы человѣкъ въ вашемъ положеніи добровольно пожелалъ сидѣть, Богъ знаетъ сколько времени, въ Петропавловскихъ казематахъ.

— Какъ знать!.. — пожалъ плечами студентъ.—Вы сегодня же видѣли противное, и если бы не вы, да не тѣ господа офицеры, то и сидѣлъ бы!—Вѣдь отвели-же цѣлыхъ триста человѣкъ.

— Э, господинъ Хвалынцевъ! — перебилъ Свитка,—но вѣдь это отвели барашковъ... это отвели хоръ, а вы въ хоръ не годитесь: вы изъ породы солистовъ. Вѣдь туда, если я не ошибаюсь, кажись, и Полоярова нынче же отвели съ толпою; но какому же порядочному, серьезному человѣку охота стоять въ одной категоріи, съ позволенія сказать, съ господиномъ Полояровымъ? Помилуйте!

— Да; но какъ-бы то ни было, а только вы далеко не услугу оказали мнѣ, помѣшавъ моему аресту,—сдержанно замѣтилъ Хвалынцевъ.

Свитка, облокотясь на столъ надъ своимъ стаканомъ и подперевъ кулаками обѣ щеки, пристальнымъ взглядомъ уставился на студента.

— И вы серьезно хотѣли быть арестованнымъ?—спросилъ онъ.

— А положимъ, что и такъ; положимъ, что хотѣлъ совершенно серьезно.

Свитка тихо засмѣялся, и смѣхъ его вполнѣ выражалъ мысль, которая могла бы быть совершенно ясно формулирована словами: «нѣтъ, милый, ты меня не проведешь!»

— Ну, положимъ! — согласился онъ.—Но, извините за безцеремонный вопросъ: для чего же вы это хотѣли?

— Да хоть для того, чтобы быть вмѣстѣ съ моими товарищами, чтобы дѣлить ихъ участь.

— И для этого вы даже пожертвовали бы безъ всякаго сожалѣнія Малою Морскою улицей?—Простите новую нескромность.

— Н-ну, это другой вопросъ! — возразилъ студентъ.—Безъ сожалѣнія... не скажу.

— А, вотъ видите ли!.. Нѣтъ, господинъ Хвалынцевъ! — со вздохомъ поднялся онъ съ мѣста, однакоже не спуская съ собесѣдника пристальнаго взгляда.—Не потому только, чтобы быть съ товарищами, желали вы ареста!

— Такъ почему-жь, по вашему? — нахмурясь спросилъ студентъ.

— По моему?.. Я предполагаю, что ужь если было такое желаніе, то была и другая причина и... быть можетъ, я догадываюсь, какая! выслушайте меня!

И подсѣвъ рядомъ къ нему на диванъ, Свитка дружелюбно, какъ бы располагая въ пользу интимной откровенности, дотронулся ладонью до его колѣна.

— Можетъ быть, я и ошибаюсь,—началъ онъ,—а можетъ быть и нѣтъ. Не хотѣли ли вы доказать вашимъ арестомъ, что вы... что вы не шпіонъ, какъ распустили объ васъ тутъ нѣкоторые близорукіе болваны.

Хвалынцевъ мгновенно вспыхнулъ при этомъ словѣ, которое уязвило его подобно каплѣ растопленнаго свинца, упавшей на тѣло. Свитка, какъ нельзя вѣрнѣе, попалъ въ настоящую суть дѣла.

— Что вы не шпіонъ, то въ этомъ безусловно убѣжденъ каждый честный и порядочный человѣкъ, кто хоть сколько нибудь знаетъ васъ,—съ полнымъ спокойствіемъ и весьма вѣско продожалъ онъ; — что на каждаго честнаго человѣка это слово, это нареканіе производитъ такое же дѣйствіе, какъ и на васъ сію минуту — это вполнѣ естественно, иначе и быть не можетъ; но что вашъ арестъ вмѣстѣ съ товарищами ровно ни въ чемъ не разубѣдилъ бы близорукихъ болвановъ, то это также не подлежитъ ни малѣйшему сомнѣнію. «Помилуйте, скажетъ любой изъ нихъ, да его нарочно посадили, чтобы, во-первыхъ, глаза намъ отвести, а во-вторыхъ, чтобъ и здѣсь удобнѣе наблюдать за нами, а потомъ донести полиціи!» Вотъ что навѣрное скажетъ каждый оселъ! И, стало быть, арестъ вашъ былъ бы совершенно напрасенъ.

— Да... пожалуй, что и такъ... пожалуй, что вы и правы,—медленно и глухо проговорилъ наконецъ Хвалынцевъ, послѣ нѣкотораго раздумья надъ его словами.

— Да ужь повѣрьте на честь, что такъ!— утвердилъ Свитка. — И при томъ же аресты огуломъ хороши только для хора, повторяю вамъ, а для солистовъ они совсѣмъ не годятся-съ?

— Можетъ быть,—согласился студентъ,—но кто же вамъ сказалъ, что я-то солистъ.

— Э, батюшка! виденъ соколъ по полету, говорится пословица. И потому-то надо поберечь васъ, а чтобы поберечь, надо было арестовать.

Хвалынцевъ очень внимательно поглядѣлъ на Свитку. По его словамъ и, главное, по тону никакъ нельзя было сказать утверди-

Digitized by Google

тельно, говорится ли это серьезно, или такъ только, одной шутки ради.

— И вы меня арестовали? — улыбаясь, спросилъ онъ.

— И я васъ арестовалъ! — поклонился Свитка.—Арестовалъ пока у себя, а къ вечеру какъ уже сказано, переправлю въ болѣе надежное мѣсто. Надо убрать васъ подальше отъ Цѣпного моста.

— Да вы это серьезно, или въ шутку? — приподнявшись съ дивана, озабоченно спросилъ студентъ.

— Что за шутки, помилуй Богъ!

— Но...

— Опять «но»?

— Да непремѣнно! Я хочу спросить васъ, на чемъ вы все это основываете?

— На томъ, что знаю, что васъ хотятъ арестовать и, можетъ быть, не далѣе, какъ нынѣшнею ночью.

Эти слова были произнесены съ самою точною и неколебимою увѣренностью, какъ дѣйствительный фактъ, какъ истина, самая непреложная.

— Но за что же, наконецъ? — пожалъ плечами Хвалынцевъ.

— За то, что 25-го числа вы предложили шествіе въ Колокольную улицу, въ извѣстномъ порядкѣ, по извѣстной программѣ. Достаточно съ васъ этого?

— Но отчего жь меня не арестовали прежде, въ ту же ночь?

— Оттого, что изъ слѣдственнаго дознанія объ этомъ узнали они только вчера утромъ въ девять часовъ. Теперь понимаете?

— Это-то понять не трудно; но не понимаю одного: откуда вы-то все это знаете и притомъ съ такою точностью?—возразилъ озадаченный Хвалынцевъ.

— Хм... Вы, кажись, начинаете нѣсколько сомнѣваться въ моей личности?—добродушно и въ то же время лукаво улыбнулся Свитка. — Не сомнѣвайтесь! Я — вашъ добрый геній.

— Этого для меня мало. Я хочу знать, — замѣтилъ студентъ.

— Отчего же, когда-нибудь, можетъ, и узнаете,—отвѣчалъ Свитка, въ томъ же полушутливомъ и полусерьезномъ тонѣ. — Вы видите, что *намъ* кое-что извѣстно, и не только насчетъ вашего ареста, но и насчетъ Малой Морской.

— Вопросъ не въ томъ! — перебилъ Хвалынцевъ, — а въ томъ, откуда, почему и какъ извѣстно.

— Извѣстно ровно на столько и такъ, какъ оно есть въ дѣйствительности,—самымъ положительнымъ образомъ завѣрилъ Свитка, — а почему извѣстно, это, вотъ видите ли, я вамъ объясню на сколько возможно. Кромѣ правительственной полиціи, есть еще другая, которая, быть-можетъ, слѣдитъ, въ свою очередь, и за правительственною. Это, такъ-сказать, полиція внѣ полиціи. Вѣдь согласитесь, если на васъ нападаютъ, если противъ васъ изыскиваютъ разные тайные пути, которые должны вредить вамъ, то съ вашей стороны будетъ очень естественно подумать о самозащитѣ, о томъ, чтобы, по мѣрѣ возможности, парализовать эти вредные происки и замыслы. Ну, вотъ вамъ, отсюда и вытекаетъ полиція внѣ полиціи или, вѣрнѣе сказать, контръ-полиція.

Хвалынцевъ не на шутку раздумался надъ этими словами, которыя его и поразили, и озадачили, и какъ будто сказали многое, тогда какъ въ сущности не было сказано ровно ничего опредѣлительнаго. Эти слова только слегка, только чуть-чуть приподняли для него край непроницаемой завѣсы, за которою вдали, какъ можно предполагать и догадываться, кроется во мглѣ что-то большое, важное, таинственное, серьезное и сильное, но что̀ именно — распознать за мглою не возможно. Студентъ однако же сдѣлалъ еще одну попытку пощупать это неуловимое нѣчто.

— Хорошо,—сказалъ онъ.—Положимъ, вамъ удастся припрятать меня на время отъ жандармовъ, но что жь изъ этого? Вѣдь я же не могу вѣкъ быть спрятаннымъ, вѣдь рано ли, поздно ли, они все-таки найдутъ и притянутъ меня къ дѣлу.

— Объ этомъ не заботьтесь! Объ этомъ предоставьте заботу другимъ! — успокоительно и авторитетно отвѣчалъ Свитка. — Дѣло можно устроить и такъ, что все обойдется пустяками. Для этого руки найдутся, а спрятать васъ необходимо собственно на первое только время, пока тамъ идетъ вся эта передряга. Погодите: угомонятся.

Недоумѣніе Хвалынцева все-таки ни мало не разъяснилось.

— Вашъ арестъ будетъ сопряженъ для васъ съ нѣкоторымъ лишеніемъ,—продолжалъ Свитка,—то-есть я разумѣю Малую Морскую, но вы не безпокойтесь: мы найдемъ возможность тотчасъ же тамъ предупредить и успокоить; а показываться вамъ самимъ въ Hôtel de Paris неудобно по той причинѣ, что жандармамъ, точно такъ же какъ и намъ, уже кое-что извѣстно по поводу Морской, въ этомъ ужь вы мнѣ повѣрьте! И потому васъ могутъ захватить и тамъ, а это будетъ очень непріятно не одному только вамъ, а и другимъ особамъ.

Хвалынцевъ колебался, не зная, въ какую сторону направить свое рѣшеніе: принять ли предложеніе Свитки, или не принять его.

Свитка замѣтилъ это колебаніе и угадалъ внутренній смыслъ его.

— Дѣлайте, какъ хотите,—сказалъ онъ, принимая равнодушный видъ;—хотите согласиться со мною — соглашайтесь, а не желаете, такъ какъ угодно. Я, конечно, настаивать и удерживать васъ насильно не стану: я не имѣю права

Digitized by Google

на это. Но только знайте, господинъ Хвалынцевъ: если вы выйдите изъ-подъ моей опеки, вамъ грозитъ арестъ неминуемый. Каковы будутъ послѣдствія этого ареста, мнѣ, конечно, неизвѣстно еще, но во всякомъ случаѣ, они будутъ несравненно тяжелѣе, и самый арестъ продолжительнѣе, чѣмъ арестъ у меня. Я говорю все это вамъ не на вѣтеръ, а совершенно серьезно. И такъ, угодно вамъ имѣть дѣло съ вашимъ покорнѣйшимъ слугою, или угодно имѣть его съ Третьимъ отдѣленіемъ и Петропавловскими казематами?

— Господинъ Свитка,—началъ Хвалынцевъ, послѣ нѣкотораго раздумья,—я васъ слишкомъ мало знаю, для того чтобы... для того чтобы... ну, однимъ словомъ...

— Однимъ словомъ, для того, чтобы вполнѣ довѣриться мнѣ, повѣрить моимъ словамъ, хотите сказать вы, не правда ли?—перебилъ онъ

— Пожалуй, и такъ. Вы угадали.

— Гм... такъ вотъ въ чемъ дѣло!—ухмыльнулся Свитка, руки въ карманы, пройдясь по комнатѣ и остановясь, наконецъ, передъ своимъ гостемъ.—Другими словами, въ переводѣ на безцеремонный языкъ, ваша мысль формулируется такимъ образомъ. я не могу довѣриться тебѣ, любезный другъ, потому что ты, быть можетъ, не болѣе, какъ ловкій полицейскій шпіонъ и можешь головой выдать меня правительству Такъ что ли, господинъ Хвалынцевъ?

Студентъ немного сконфузился и промолчалъ. Свитка вполнѣ разгадалъ мысль его. Хвалынцевъ началъ и чувствовать, и понимать, что имѣетъ дѣло съ человѣкомъ настолько умнымъ и проницательнымъ, что отъ него трудно вилять куда-нибудь въ стороны.

— Ну, хорошо. Положимъ, что я шпіонъ,— продолжалъ межъ тѣмъ Свитка.—Стало быть, въ данную минуту вы уже въ рукахъ тайной полиціи, которая можетъ сдѣлать съ вами все, что заблагоразсудитъ, и никто знать этого не будетъ, потому что никто не зналъ и не видѣлъ какъ и гдѣ, и кѣмъ и когда вы арестованы. Если я шпіонъ, то и бѣжать вамъ отсюда некуда, потому что—почемъ вы знаете? можетъ, за этою дверью стоятъ уже жандармы, которые, чуть вы носъ покажете, схватятъ васъ, усадятъ въ темную карету и умчатъ хоть туда, куда Макаръ телятъ не гонялъ. Ха, ха, ха!... Полноте, господинъ Хвалынцевъ, не опасайтесь меня!—шутливо заключилъ Свитка, протягивая руку студенту.—Я прошу только немножко довѣрія, ради вашей же собственной пользы. Неужели это такъ трудно?

— Но кто же вы, наконецъ, и что все это значитъ?—пожавъ плечами, нетерпѣливо вскочилъ съ мѣста Хвалынцевъ.

— Повторяю вамъ еще разъ: я—вашъ добрый геній, а значитъ все это—полиція внѣ полиціи, или такъ-сказать, контръ-полиція. Болѣе это объяснять вамъ пока, ей-Богу, не могу и не имѣю права. Но еще разъ предваряю: внѣ моей опеки васъ ждетъ арестъ неминуемый.

— Да что же это, наконецъ, за участіе такое къ моей особѣ? Чѣмъ вызвалъ, чѣмъ заслужилъ я его? Почему не къ другимъ, а къ одному только мнѣ?..

— А почемъ вы знаете, что къ одному только вамъ? — Не безпокойтесь: есть и другіе!— удостовѣрилъ его Свитка. — А что касается участія къ вашей особѣ, то оно вызвано тѣмъ, что опять-таки мѣры, пригодныя для хора, не всегда годятся для солистовъ. Васъ надо поберечь. *Они* могутъ стричь наши волосы, брить нашу бороду,—но обрубать наши пальцы мы не можемъ дозволить. Обрубите пальцы—рука ваша ни къ чорту не годится. Дѣло вѣдь, кажется, ясное? Вотъ почему мы и бережемъ наши живыя, дѣятельныя силы. Если вы сами не хотите еще сознавать въ себѣ эту дѣятельную, живую силу, то другіе очень хорошо провидятъ ее въ васъ. Итакъ, угодно вамъ отдаться въ мое распоряженіе?

Хвалынцевъ начиналъ чувствовать досаду. Сознаніе, что онъ въ рукахъ у этого человѣка, который, очевидно, составляетъ звено какой-то тайной силы, но какой? — не извѣстно, — это сознаніе становилось все болѣе и болѣе ощутительнымъ для студента. Онъ, конечно, болѣе всего не хотѣлъ быть арестованъ правительственной полиціей: вся непріятная сторона такого ареста и всѣ лишенія, сопряженныя съ нимъ, говорили слишкомъ громко въ пользу того, чтобы всячески стараться избѣжать ихъ, особенно послѣ этой бесѣды съ Василіемъ Свиткой. Одно уже лишеніе встрѣчъ и свиданій съ Татьяной Николаевной на неопредѣленное и, конечно, болѣе или менѣе продолжительное время, казалось ему невыносимымъ. Арестъ у Свитки хотя тоже требовалъ этого послѣдняго лишенія, но все же не на столь долгій срокъ, и все же, въ сущности, этотъ послѣдній арестъ былъ несравненно легче перваго, уже потому, что онъ могъ быть только добровольнымъ. Стало-быть, колебаній въ выборѣ того или другого для Хвалынцева теперь уже не было. Но ему становилось досадно при сознаніи, что вотъ этотъ человѣкъ, съ которымъ онъ едва знакомъ, забираетъ надъ нимъ какую-то силу, какое-то нравственное преобладаніе, отъ которыхъ, пожалуй, можно и освободиться, да только не иначе, какъ въ явный ущербъ самому себѣ же. Стало-быть, благоразумнѣе будетъ пока подчиниться ему. Но, подчиняясь, невольно становишься въ соприкосновеніе съ какою-то таинственной и, какъ кажется, правильно и прочно организованной силой. Что эта за сила? Куда, какъ и кѣмъ она направлена? На сколько могуча и чѣмъ могуча она?—Все это были вопросы, неразрѣшимые теперь для Хвалынцева. Кое о чемъ можно было догадываться, но однѣхъ догадокъ слишкомъ мало казалось ему: хотѣлось *знать*,

Digitized by Google

а знать нельзя. Что же дѣлать? Или, зажмуря глаза, отдаться на авось этому потоку, этой таинственной и потому заманчивой силѣ? Она-то, можетъ быть, и есть настоящая, спасительная сила, а можетъ въ ней-то и заключается гибель.— Между чѣмъ выбирать тутъ? Отдаться подъ опеку Василія Свитки, значитъ слѣпо довѣриться этой силѣ, которая, какъ водоворотъ, притянетъ, закружитъ и, можетъ быть, засосетъ, поглотитъ тебя. Отказаться отъ Свитки—значитъ самому идти въ руки другой силы, которая навѣрное не посулитъ ничего свѣтлаго въ будущемъ. Нервы молодого человѣка достаточно уже были взбудоражены всѣми предшествовавшими впечатлѣніями. Онъ самъ чувствовалъ, что въ настоящемъ своемъ положеніи рѣшительно не можетъ относиться холодно и спокойно къ тѣмъ задачамъ и вопросамъ, которые подымались въ его головѣ: онъ не могъ теперь обсудить вполнѣ хладнокровно, какъ нѣчто постороннее, шансы того и другого—жандармовъ и Свитки. На сторонѣ той невѣдомой силы, которая въ лицѣ этого Свитки протягиваетъ теперь ему руку, онъ, какъ будто, чуялъ и свѣтъ, и правду и свободу или по крайней мѣрѣ борьбу за нихъ. Другая же сила представлялась ему враждебной и свѣту, и правдѣ, и свободѣ: неужели же онъ, полный молодости вѣры и силъ, отдастся безъ всякой борьбы этой послѣдней, враждебной силѣ? Нѣтъ, надо теперь избѣжать ее, укрыться отъ нея, для того чтобы потомъ успѣшнѣе бороться съ нею. Кромѣ этихъ соображеній, отрывочно и не совсѣмъ ясно мелькавшихъ въ глазахъ студента, на сторону Свитки тянуло его еще и любопытство, которое такъ легко и такъ заманчиво возбуждается въ предпріимчивомъ и впечатлительномъ человѣкѣ, когда онъ приходитъ въ первое соприкосновеніе съ чѣмъ-то таинственнымъ, неизвѣданнымъ.

— Ну, что же вы? Я жду, наконецъ, вашего отвѣта!—дружески, но рѣшительно обратился Свитка къ своему гостю, послѣ довольно продолжительной паузы.

— Дѣлайте какъ знаете!—подалъ ему руку Хвалынцевъ.—Признаю себя вашимъ арестантомъ.

— Это все, что могли вы сдѣлать лучшаго! поклонился Свитка,—и повѣрьте, каяться не станете. Какъ стемнѣетъ, я перевезу васъ въ болѣе надежное мѣсто. Тамъ вы будете вполнѣ безопасны.

XI.

Надежное мѣсто.

Въ началѣ шестого часа, когда совсѣмъ уже стемнѣло, Свитка привезъ Хвалынцева на уголъ Канонерской улицы и поднялся въ ту хорошо знакомую ему квартиру, на дверяхъ которой сіяла мѣдная доска съ надписью: «Типографія І. Колтышко». Тотъ же самый рыженькій Лѣсницкій на высокомъ табуретѣ сидѣлъ за высокой конторкой и сводилъ какіе-то счеты.

— Господинъ Хвалынцевъ!—громко назвалъ его Свитка, подходя къ конторкѣ.

Лѣсницкій тихо, изъ-за бумагъ, поднялъ глаза на студента, всталъ съ табурета и, не произнеся ни слова, какъ-то отрывисто стиснулъ и дернулъ его руку, въ знакъ пожатія.

— Мы разсчитываемъ на ваше гостепріимство,—продолжалъ Свитка.

Лѣсницкій сутуловато и отрывисто поклонился, оскаливъ широкой улыбкой свои рѣдкіе, но крупные бѣлые зубы и, подойдя къ двери, сдѣлалъ пригласительный жестъ своимъ посѣтителямъ.

Тѣ пошли вмѣстѣ съ нимъ по корридору, въ концѣ котораго управляющій отворилъ дверь въ особую, непроходную комнату, служившую жилищемъ если не ему, то кому либо изъ принадлежащихъ къ типографіи, и, указавъ на нее новымъ пригласительнымъ жестомъ, промолвилъ:

— Вотъ.

— Здѣсь вамъ, пока до времени, будетъ очень удобно,—пояснилъ Свитка.

Комната дѣйствительно была и удобна, и тепла, и уютна. Широкій, мягкій диванъ, письменный столъ, шкафъ и полки съ книгами составляли ея убранство.

— Вы обѣдали, господа? — спросилъ Лѣсницкій.

— Нѣтъ еще, не успѣли..

Управляющій торопливо удалился изъ комнаты, а черезъ нѣсколько времени лакей принесъ туда два прибора и обѣдъ, который былъ съѣденъ съ большимъ аппетитомъ двумя проголодавшимися юношами.

— Дайте мнѣ записку къ вашей хозяйкѣ, предложилъ Свитка студенту,—я привезу вамъ кое-что изъ бѣлья да тѣ вещи, которыя вамъ болѣе всего нужны, а въ Малую Морскую ничего не пишите.

— Отчего такъ? нѣсколько удивился Хвалынцевъ.

— Да ужь такъ. Довѣрьтесь мнѣ во всемъ, пожалуйста! Я вамъ худого не желаю. Надобно, чтобы никому не было извѣстно мѣсто вашего пребыванія... Вѣдь почемъ знать, и въ Малой Морской ничѣмъ не обезпечены отъ внезапнаго обыска; а если ваша записка какъ-нибудь не уничтожится — лишній документъ будетъ... Надо какъ можно болѣе избѣгать вообще документовъ. Къ чему подвергать лишнимъ затрудненіямъ если не себя, то другихъ? Я лучше самъ сейчасъ же съѣзжу туда и успокою насчетъ полной вашей безопасности.

— Дѣлайте, какъ знаете,—согласился Хвалынцевъ.

Свитка вскорѣ послѣ обѣда уѣхалъ.

Черезъ нѣсколько времени послѣ этого, въ

Digitized by Google

дверь осторожно и тихо постучался Лѣсницкій.

— Не хотите ли почитать что-нибудь? любезно предложилъ онъ;—вся полка къ вашимъ услугамъ. Впрочемъ тутъ больше все польскія да французскія. Есть нѣсколько и англійскихъ книжонокъ, а вы, можетъ быть, хотите русскаго.

— Пожалуй, дайте хоть русскаго.

Лѣсницкій отперъ одинъ изъ шкафчиковъ письменнаго стола и досталъ нѣсколько брошюръ, листковъ и томиковъ. Это все были лондонскія изданія Вольной русской книгопечатни.

— Вотъ вамъ. Можетъ, найдете что-нибудь нечитанное. А если что понадобиться—позвоните: человѣкъ придетъ. До свиданія.

И управляющій опять дернулъ руку студента и удалился.

Хвалынцевъ раздумался надъ настоящимъ своимъ положеніемъ.—«Какъ все это странно!» думалось ему. «Арестъ — не арестъ, а между тѣмъ нѣтъ своей воли, и нѣтъ ея по своей собственной охотѣ, по своему же выбору... Опека этого Свитки, котораго я почти совсѣмъ не знаю... Это участіе, это вниманіе—что все это такое? И за что, главное дѣло?.. И гдѣ, и у кого я теперь?.. «Типографія Колтышко»— но гдѣ же этотъ Колтышко? Вѣдь рыженькій баринъ, кажись, не долженъ быть Колтышкой... Онъ что-то въ родѣ фактора, конторщика... И кто онъ такой, и какъ его фамилія?.. Фу, ты, чортъ возьми! Хоть убей, если я что-нибудь понимаю во всемъ этомъ!.. «То, что годится для хора, не годится для солистовъ»... Да почему же я солистъ, наконецъ, и съ чего такое странное, хотя и лестное для меня заключеніе?.. «Мы не можемъ позволить обрубать себѣ пальцы»... «Контръ-полиція»... Все-то имъ извѣстно, все-то они знаютъ... Общество это тайное, что ли? Но гдѣ же оно? Кто его члены, и сколько ихъ, и въ чемъ его силы?.. Заманчиво, чортъ возьми!»

И сколько онъ ни думалъ, и что ни гадалъ обо всѣхъ этихъ обстоятельствахъ,—въ концѣ концовъ размышленія его приходили къ одному исходу: заманчиво и любопытно. И, кромѣ этого единственнаго исхода, никакого болѣе точнаго положительнаго отвѣта не представлялось на всѣ вопросы, которые ставило ему его странное положеніе. А любопытство, межъ тѣмъ, всей влекущей и заманчивой стороной своей разыгрывалось въ немъ все болѣе и болѣе. Онъ порѣшилъ, наконецъ, совершенно покориться своему загадочному положенію и терпѣливо ждать, что будетъ дальше, что изъ всего этого воспослѣдуетъ?

Прошло уже болѣе двухъ часовъ времени, а его никто и ничѣмъ не обезпокоилъ, только слуга принесъ стаканъ очень хорошаго чая. Такимъ образомъ, онъ могъ чувствовать себя совсѣмъ какъ дома. Свитка не возвращался, а Константину Семеновичу, межъ тѣмъ, очень хотѣлось поскорѣй узнать результатъ его посѣщенія Малой Морской улицы. Отъ нечего дѣлать, принялся за чтеніе и мало-по-малу увлекся. Въ то время съ такимъ жаднымъ интересомъ, съ такою вѣрою и увлеченіемъ поглощалась каждая строка, вышедшая изъ-подъ станка Вольной русской типографіи. А теперь въ рукахъ Хвалынцева, благодаря рыженькому господину, былъ такой обильный запасъ этихъ изданій, и столько нашелъ онъ въ нихъ новаго, еще не читаннаго. Кое-что попадалось ему и прежде, но большею частію урывкомъ, кое-что было извѣстно вскользь или только по слуху, по отзывамъ, по разговорамъ, а теперь все оно здѣсь, воочію, въ полномъ его распоряженіи, съ возможностью читать не вскользь, а основательно и прочно, углубляясь и вдумываясь въ смыслъ всего того, что въ то время и не одному Хвалынцеву, съ его увлекающейся юностью, казалось высшей и безусловной правдой, высшимъ откровеніемъ.

Такъ онъ и не дождался въ этотъ вечеръ Василія Свитку, а Свитка, между тѣмъ, пріѣзжалъ въ типографію и бесѣдовалъ съ Лѣсницкимъ, и послѣ этой бесѣды, отпустивъ отъ себя Свитку, Лѣсницкій тотчасъ же отправился во внутренніе покои квартиры, смежной съ типографіей.

Въ просторномъ кабинетѣ, за большимъ столомъ, при слабомъ освѣщеніи двухъ свѣчей, подъ зелеными абажурами, сидѣлъ хозяинъ этой квартиры. Комфортабельная и вмѣстѣ съ тѣмъ скромная обстановка, судя по обилію книгъ, корректуръ и дѣловыхъ казенныхъ бумагъ, указывала, что кабинетъ этотъ принадлежитъ лицу, которое соединяетъ въ себѣ литератора-издателя съ довольно значительнымъ чиновникомъ. Этотъ литераторъ-издатель и вмѣстѣ съ тѣмъ значительный чиновникъ былъ собственникъ типографіи, надворный совѣтникъ Іосифъ Игнатьевичъ Колтышко.

— Что́ еще новаго?—отрываясь отъ бумагъ, спросилъ онъ Лѣсницкаго.

— Все еще о Хвалынцевѣ,—оскаля короткой улыбкой свои зубы, поклонился управляющій.

— Ага! Прекрасно! въ чемъ же дѣло?

— Францишекъ обѣщаетъ полный успѣхъ. Говоритъ человѣкъ стоитъ, чтобы призаняться...

— Что́-жь, тѣмъ лучше. Займитесь оба.

— Но... Тутъ есть одно обстоятельство... Маленькая любовь... Францишекъ по этому поводу дѣлалъ уже свои наблюденія, справки многія собралъ, нашелъ даже хорошій случай познакомиться въ гостиницѣ съ горничною этой особы, ну, и онъ полагаетъ, что эту любовь надо бы какъ-нибудь устранить.

— А что́ такъ?

Digitized by Google

— Да такъ. Говоритъ, что можетъ помѣшать успѣху.

— Гм... Почему онъ такъ думаетъ?

— У него свои соображенія. Дѣвушка эта любитъ, конечно, эгоистически, то-есть прежде всего для самой себя и едва-ли захочетъ жертвовать женихомъ для какого бы то ни было дѣла. А тотъ вѣдь думаетъ жениться на ней. Стало-быть, если позволить развиваться этому чувству, окончательно привяжется къ ней, а она такъ и теперь уже, кажется, имѣетъ на него вліяніе—ну, и тогда ужь онъ погибъ для дѣла. Да еще вдобавокъ у обоихъ въ Славно-Губенской губерніи есть кой-какія имѣньица. А человѣкъ между тѣмъ, какъ есть, совсѣмъ подходящій;—жаль будетъ упустить! Франшекъ того убѣжденія, что необходимо, во что́ бы то ни стало, разорвать эту любовишку. И я думаю тоже.

— Гм... Легко сказать: разорвать!.. Какъ же вы разорвете?

— Дѣло не невозможное,—пожалъ плечами Лѣсницкій, снова скаля большіе, рѣдкіе зубы,—сто́итъ влюбиться въ другую. Оно, конечно, мудрено немного, потому—тутъ нуженъ и случай, и время. Но... можно найти и то, и другое. У насъ уже есть свой маленькій планъ, и если вы намъ поможете,—дастъ Богъ,—будетъ и удача.

— Вотъ какъ! Ужь и планъ готовъ!—шутливо улыбнулся Колтышко.—Любопытно знать, въ чемъ дѣло?

— Дѣло? Дѣло въ графинѣ Маржецкой.

Колтышко, откинувшись на спинку своего кресла, быстро вскинулъ взглядъ на Лѣсницкаго и поглядѣлъ на него пристально, внимательно и серьезно.

— Выдумка довольно оригинальная,—замѣтилъ онъ сквозь зубы,—но не слишкомъ ли ужь много для какого-нибудь студента?

— А какъ знать, чѣмъ можетъ быть для насъ этотъ студентъ?—пожалъ плечами Лѣсницкій.—Смотрѣть, какъ вы смотрите, такъ мы ровно никого не наверbуемъ. Если уже рѣшено разъ, что москали въ нашихъ рядахъ необходимы—надо вербовать ихъ, и чѣмъ скорѣе, чѣмъ больше, тѣмъ лучше. Кладите же начало!

— За мной дѣло не станетъ!—замѣтилъ Колтышко:—но... тутъ не я,—тутъ графиня. А что скажетъ графиня на это?

— А что же можетъ сказать она, если *дѣло* потребуетъ этого?—въ свою очередь спросилъ онъ.—Неужели же вскружить голову юношѣ—такой трудный и великій подвигъ, такая страшная жертва, на которую она не могла бы рѣшиться? И, наконецъ, чего же сто́итъ ей эта полезная шалость, и къ чему она ее обязываетъ?.. Вѣдь только вскружить,—не болѣе!

— М-м... да; это не дурно!—согласился наконецъ Колтышко.—Мы подумаемъ объ этомъ.

— Э, Боже мой! о чемъ тутъ думать?.. Говорю, чѣмъ скорѣй, тѣмъ лучше, — махнулъ рукою Лѣсницкій.

И онъ принялся объяснять своему патрону кое-какія соображенія относительно задуманнаго плана.

XII.

Дрессировка начинается.

Только на другой день, въ четвертомъ часу, Василій Свитка посѣтилъ, наконецъ, Хвалынцева. Онъ привезъ ему сакъ съ бѣльемъ и необходимыми вещами, извиняясь тысячью хлопотъ и бездною дѣлъ въ томъ, что не успѣлъ пріѣхать ранѣе. Эта же тысяча хлопотъ помѣшала Свиткѣ быть вчерашній день у Стрѣшневыхъ. Онъ говорилъ, что сейчасъ только оттуда, что молодой Стрѣшневой не видалъ, такъ какъ ее не было дома, а видѣлъ только старую тетку, которую вполнѣ успокоилъ насчетъ Хвалынцева, сказавъ, что онъ теперь внѣ всякой опасности, въ благонадежномъ мѣстѣ, но что нѣкоторыя, весьма важныя обстоятельства требуютъ недальняго отъѣзда его изъ Петербурга на непродолжительное время, и потому-де Хвалынцевъ проситъ ни мало не безпокоиться его отсутствіемъ. Болѣе сказаннаго, Свитка, пока до времени, ничего не могъ объяснить старушкѣ, только просилъ ее передать все это Татьянѣ Николаевнѣ, и засимъ держать въ секретѣ и его посѣщеніе, и сообщенныя имъ извѣстія. Старая тетка, по его словамъ, вполнѣ успокоилась и даже послала свой поклонъ Хвалынцеву—«буде вы увидите его раньше».

Хотя всего сообщеннаго было слишкомъ мало для Константина Семеновича—онъ ждалъ, что Свитка увидитъ самую Татьяну Николаевну и привезетъ отъ нея если не письмо, то хоть привѣтное, ободряющее, доброе слово—«но все же это лучше чѣмъ ничего», рѣшилъ онъ; «по крайней мѣрѣ, безпокоиться и опасаться не станутъ».

Уходя отъ Хвалынцева, Свитка внушительно предупредилъ его!

— Вамъ, вѣроятно, предстоитъ знакомство съ Колтышкой,—сказалъ онъ,—такъ вы глядите, не выдайте ни словомъ, ни взглядомъ о закулисной сторонѣ нашихъ отношеній и разговоровъ. Колтышко, предваряю васъ, ничего не знаетъ. Онъ ни во что не посвященъ.

— Да вѣдь и я ничего не знаю, и тоже ни во что не посвященъ,—возразилъ студентъ.

— Ну, все-таки теперь знаете неизмѣримо болѣе, чѣмъ онъ, поэтому—осторожность!

Хвалынцевъ мелькомъ, недовѣрчиво взглянулъ на Свитку. Въ этихъ послѣднихъ словахъ ему показалось что-то не совсѣмъ-то искреннее, что-то притворное.

Digitized by Google

— Но въ какомъ же смыслѣ и въ какомъ родѣ будетъ наше знакомство? — спросилъ онъ.—И не лучше ли, въ такомъ случаѣ, не знакомиться намъ вовсе?

Свитка немножко замялся.

— Н... нѣтъ, познакомиться-то необходимо,— сказалъ онъ,—вѣдь онъ все-жь-таки хозяинъ этой квартиры. Да вы не безпокойтесь: Лѣсницкій представитъ васъ какъ своего добраго знакомаго.

— Но чѣмъ же онъ объяснитъ мое присутствіе въ квартирѣ господина Колтышки.

— А тѣмъ и объяснитъ, что вы не желаете участвовать въ студентскихъ безпорядкахъ и попасться въ лапы жандармовъ, а потому просили его избавить васъ отъ тѣхъ и отъ другихъ въ этомъ укромномъ убѣжищѣ,— очень развязно и улыбаясь объяснилъ Свитка.

— Послушайте, добрый опекунъ, вы однако ставите меня въ очень фальшивое положеніе,— весьма серьезно замѣтилъ Константинъ Семеновичъ.—Я вамъ безконечно благодаренъ за ваше участіе и расположеніе ко мнѣ; но если... если все это необходимо сопряжено съ такого рода фальшью, то я, признаюсь вамъ, весьма затрудняюсь принимать ваше доброе участіе.

Свитка окинулъ его безпокойнымъ взглядомъ и лукаво улыбнулся.

— А жандармы? — многозначительно спросилъ онъ.

— Что-жь?.. Конечно, это очень невкусно, но... предъ жандармами у меня, по крайней мѣрѣ, нѣтъ и не будетъ фальшиваго положенія.

Свитка, притворяясь равнодушнымъ, спокойно прошелся по комнатѣ. Онъ понялъ, что сдѣлалъ промахъ, заговоривъ съ Хвалынцевымъ о предстоящемъ ему знакомствѣ и ведя весь послѣдующій разговоръ. Надо было, во что бы то ни стало, поправить теперь этотъ промахъ. Выпустить изъ рукъ своихъ Хвалынцева ему точно также не хотѣлось, да теперь это было бы и не расчетливо, послѣ того какъ ради его сдѣлано уже столько подходовъ и даже кое-что разоблачено до извѣстной степени. Свитка сообразилъ, что поправить промахъ свой онъ можетъ не иначе, какъ напустивъ на себя тонъ полной искренности и откровенности.

— Ну, Хвалынцевъ, будемте говорить по братски, по душѣ! — рѣшительно предложилъ онъ, остановясь передъ студентомъ и открыто протянувъ ему руку. — Въ чемъ вы видите фальшь своего положенія?

— Въ томъ, что вы меня заставляете играть роль какого-то подловатенькаго трусишки, который изъ боязни жандармовъ хочетъ укрыться отъ своихъ товарищей, отстать отъ общаго дѣла. Я не согласенъ на это.

— Ха, ха, ха! тихо засмѣялся Свитка.—Ну, я такъ и зналъ! Я такъ и зналъ, что не что иное, какъ это!.. Ну, дайте сюда вашу руку— помиримтесь!.. Это, дѣйствительно, фальшь — ну, значитъ, и долой ее!.. Выслушайте меня: Лѣсницкій объяснитъ Колтышкѣ прямо, что вамъ до времени нужно убѣжище, чтобъ избѣжать полицейскихъ агентовъ. Вѣдь это такъ и есть на самомъ дѣлѣ? Вы согласны?

Хвалынцевъ утвердительно кивнулъ головой.

— Колтышкѣ можно объяснить это вполнѣ откровенно,—продолжалъ Свитка;—это на столько порядочный и честный человѣкъ, что онъ, во-первыхъ, никакъ не лишитъ васъ этого убѣжища, во-вторыхъ, никому и ни за что не выдастъ васъ. Въ этомъ ужь мы на него смѣло можемъ положиться. Но... Колтышко, повторяю вамъ еще разъ, *ровно ничего не знаетъ* (послѣднія слова были произнесены съ особенною многозначительностью). Вы помните нѣчто изъ моихъ вчерашнихъ интимныхъ сообщеній?

Хвалынцевъ опять кивнулъ головой.

— Ну, такъ Колтышко ни о чемъ такомъ и малѣйшаго понятія не имѣетъ. Между прочимъ, сегодня вы, вѣроятно, будете обѣдать у него. За обѣдомъ, вѣроятно, будутъ и постороннія лица.—Онъ очень хлѣбосоленъ. — Между этими лицами могутъ быть и такія, которыя уже посвящены кое во что, а будутъ и такія, которыя ровно ни о чемъ, какъ и онъ же, понятія не имѣютъ и не должны имѣть. Такъ вотъ именно въ виду чего я говорилъ вамъ, что будьте какъ можно осторожнѣй и не показывайте ни малѣйшаго вида, что вамъ хоть чуточку что-нибудь извѣстно. Понимаете-съ?

— Это-то понять не мудрено,—возразилъ студентъ,—но вы мнѣ указываете на лицъ, посвященныхъ и непосвященныхъ. Во *что* посвященныхъ,—вопросъ? Я-то самъ, я лично, повторяю вамъ, ровно еще ни во что не считаю себя посвященнымъ.

Свитка опять тихо и лукаво засмѣялся.

— Э, Боже мой! Нельзя же сразу. Постепенность и послѣдовательность есть первое правило каждаго сильнаго и серьезнаго дѣла!—докторально замѣтилъ онъ студенту.—Неужели же вы хотите, чтобы мы на всѣхъ перекресткахъ о себѣ кричали? Подождите, придетъ время — и закричимъ! Наше вниманіе и участіе къ вамъ ровно еще ни къ чему не обязываетъ васъ. Намъ достаточно одного убѣжденія, что вы — честный человѣкъ, что вы во всякомъ случаѣ не доносчикъ. Вы сами, надѣюсь, крѣпко убѣждены въ этомъ, и этого одного убѣжденія достаточно, чтобы мы ни минуты не задумались протянуть вамъ руку помощи, оказать честную, братскую услугу. Вѣдь вы насъ не знаете и никогда не узнаете, если не захотите идти за-одно съ нами. А захотите—тогда другое дѣло! Намъ нужны люди, свободно и сознательно отдавшіеся дѣлу. Вы строго подумайте сначала, взвѣсьте свои силы, свои шансы pro и contra, и тогда рѣшайтесь. Да,—такъ да, а нѣтъ—такъ нѣтъ! Въ послѣднемъ случаѣ мы мирно и тихо разойдемся какъ порядочные люди; вы насъ не узнае-

Digitized by Google

те и никто изъ насъ—ни вы, ни мы—претендовать другъ на друга не будемъ. Повторяю еще разъ: въ честности и благородствѣ вашемъ мы убѣждены безусловно; стало-быть, мы вполнѣ спокойны за то, что если разойдемся, то настоящія отношенія будутъ тайной для всѣхъ и навсегда,—однимъ словомъ, умрутъ между нами. Ну, достаточно ли я сказалъ вамъ, господинъ Хвалынцевъ?

— Я вамъ могу пока поручиться за одно,—съ достоинствомъ и твердо заговорилъ студентъ.—Я, дѣйствительно, прежде всего и болѣе всего убѣжденъ, что я—честный человѣкъ и не дамъ вамъ повода разочароваться во мнѣ въ этомъ отношеніи.

— Ну, а остальное, что Богъ дастъ!—подхватилъ Свитка, хлопая ему по рукѣ своею ладонью;—а между прочимъ, я уже объяснилъ вашей хозяйкѣ, что вы по самой экстренной и непредвидѣнной надобности уѣхали за городъ и что она, въ случаѣ надобности, можетъ въ полиціи отмѣтить васъ выбывшимъ изъ Петербурга. Квартира, однако оставлена за вами. А теперь прощайте. Мнѣ некогда.

XIII.

Еще болѣе надежное мѣсто.

Въ обѣденную пору, часовъ около пяти, въ дверь Хвалынцева раздался знакомый уже ему осторожный стукъ, по которому онъ узналъ Лѣсницкаго.

— Іосифъ Игнатьевичъ васъ ждетъ къ обѣду,—сообщилъ управляющій, дернувъ руку студента своимъ обычнымъ пожатіемъ;—если готовы, пойдемте.

— Онъ уже знаетъ обо мнѣ? — спросилъ Хвалынцевъ.

— Знаетъ.

— Вы какъ именно объяснили ему?

— Вполнѣ сообразно вашему желанію,—съ улыбкой поклонился Лѣсницкій.

Дѣло обошлось безъ рекомендацій. Колтышко, замѣтя изъ своего кабинета входящаго Хвалынцева съ Лѣсницкимъ, самъ пошелъ къ нимъ на встрѣчу и какъ знакомый, молча, но съ милой, привѣтливой улыбкой протянулъ и радушно пожалъ руку студента.

— Пойдемте, я васъ познакомлю съ моими гостями,—сказалъ онъ, взявъ его подъ руку, и повелъ въ кабинетъ.

Тутъ было двое какихъ-то чиновниковъ, весьма приличной и солидной наружности, фамиліи которыхъ хотя и были названы, но Хвалынцевъ—какъ это зачастую случается—черезъ минуту, хоть убей, не помнилъ уже этихъ фамилій. Кромѣ чиновниковъ находился тутъ еще капитанъ генеральнаго штаба.

— Капитанъ Чарыковскій,—назвалъ его Колтышко, подводя къ нему студента.

Физіономіи хозяина и этого капитана сразу сказались чѣмъ-то знакомымъ, и очень недавно знакомымъ Константину Семеновичу. Умное и энергическое лицо Чарыковскаго и нѣсколько выдвинутая впередъ нижняя челюсть Колтышки, съ его тонкими, подобранными и сжатыми губами, придававшими его лицу какое-то презрительное и вмѣстѣ съ тѣмъ энергическое, твердое выраженіе рѣшимости и силы, и эти наглые сѣрые глаза, дышавшіе умомъ, и эта изящная скромность манеръ — все это сразу напомнило Хвалынцеву вчерашній день передъ университетомъ и ту минуту, когда онъ подошелъ къ Василію Свиткѣ. Теперь онъ вспомнилъ очень ясно, что подлѣ Свитки стоялъ именно капитанъ Чарыковскій, крикнувшій вмѣстѣ съ другими офицерами на полицейскаго, когда тотъ схватилъ за шиворотъ Хвалынцева; а тотъ блондинъ чиновникъ, въ распахнутомъ бобровомъ пальто, съ орденомъ на шеѣ, былъ не кто иной, какъ Іосифъ Игнатьевичъ Колтышко. «Кто изъ нихъ посвященъ, и кто не посвященъ?» думалъ себѣ Хвалынцевъ, стараясь разгадать свой вопросъ по лицамъ присутствующихъ. «Капитанъ, кажется, знаетъ. Эти чиновники—Богъ вѣсть: можетъ и да, а можетъ и нѣтъ; а вѣрнѣе, что нѣтъ. Но Колтышко... Неужели Колтышко ни во что не посвященъ?.. Этого быть не можетъ!.. Одна физіономія—одна физіономія-то чего стоитъ!.. Но гдѣ же тутъ правда и гдѣ мистификація? И кто кого, наконецъ, надуваетъ?»

Эти соображенія студента были прерваны шорохомъ и легкимъ свистомъ шелковаго женскаго платья. Хвалынцевъ поднялъ глаза—на порогѣ стояла женщина, вся въ черномъ. Колтышко предупредительно бросился къ ней на встрѣчу и, съ видомъ глубокой почтительности, подалъ руку.

«Фу! какая красавица!» невольно помыслилъ Хвалынцевъ при первомъ взглядѣ на эту женщину. И точно: въ ней была бездна красиваго. Ее невозможно было назвать красавицей въ строгомъ смыслѣ этого слова, но въ ней эффектно сверкало нѣчто поражающее, сценическое, декоративное. Высокій ростъ, необыкновенно соразмѣрная, гармоническая стройность; упругость и гибкость всѣхъ членовъ и сильнаго стана; лицо, полное игры и жизни, съ такимъ румянцемъ и такимъ цвѣтомъ, который явно говорилъ, что въ этомъ организмѣ много силъ, много крови и что организмъ этотъ созданъ не сѣвероМъ, а развился подъ болѣе благодатнымъ солнцемъ: блестящіе каріе глаза подъ энергически очерченными бровями и совершенно пепельные, роскошные волосы—все это, въ соединеніи съ необыкновенно симпатичной улыбкой и чисто славянскимъ типомъ лица, дѣлало эту женщину не то что красавицей, но лучше, поразительнѣе красавицы: оно отличало ее чѣмъ-то особымъ и говорило про фанатическую энер-

Digitized by Google

гію характера, про физическую мощь и въ то же время—сколь ни рѣдко такое сочетаніе—про тонкую и старую аристократическую породу.

— Графиня Маржецкая... громко назвалъ ее своимъ гостямъ Іосифъ Колтышко.

«Графиня Маржецкая... Опять-таки знакомая фамилія!» припомнилъ себѣ студентъ. «Устиновъ писалъ про какого-то сосланнаго графа Маржецкаго».

Колтышко отдѣльно представилъ ей Хвалынцева. Съ капитаномъ Чарыковскимъ, Лѣсницкимъ и однимъ изъ чиновниковъ она, повидимому, была уже раньше знакома.

Гости отправились въ столовую. Обѣдъ былъ очень оживленъ; бойкая, искристая веселость красивой графини невольно электризовала каждаго. Хвалынцевъ сидѣлъ рядомъ съ нею, что́ подавало ей поводъ очень часто обращаться къ нему съ разговоромъ и за маленькими услугами, въ родѣ просьбы налить стаканъ воды или рюмку вина. Въ обращеніи ея было столько милаго, привлекательнаго и такое отсутствіе принужденности, что Хвалынцевъ какъ-то сразу почувствовалъ себя, относительно, ея знакомымъ. Разговоръ все время шелъ то по-русски, то по-французски и только вскользь было оброшено кое-кѣмъ нѣсколькихъ польскихъ фразъ, непонятныхъ для Хвалынцева. Графиня, впрочемъ, показывала видъ, будто плохо изъясняется по-русски и потому въ устахъ ея раздавался почти исключительно бойкій и изящный французскій языкъ.

При первомъ ея появленіи Хвалынцевъ ждалъ, что сію минуту выйдетъ и хозяйка дома, но таковая не вышла, да и вся обстановка этой прекрасной квартиры явно показывала, что Іосифъ Игнатьевичъ Калтышко — человѣкъ холостой и одинокій. Вслѣдствіе этого, студенту показалось нѣсколько страннымъ появленіе аристократической особы за обѣдомъ холостого общества.—«Или эта графиня не графиня, или хоть и графиня, но какая-нибудь куртизанка и авантюристка, или... или ужь я и не знаю что!» подумалъ себѣ Хвалынцевъ. «Но нѣтъ, и на куртизанку не похожа: держитъ себя хоть и развязно, но въ высшей степени прилично и съ такимъ тактомъ, и потомъ эта глубокая почтительность, съ которою къ ней всѣ относятся,—да что́ же наконецъ, все это такое!?» За обѣдомъ она кстати упомянула въ разговорѣ нѣсколько именъ извѣстныхъ аристократическихъ домовъ, съ которыми, повидимому, у нея было знакомство и свои отношенія, и это еще болѣе заставило студента отдалиться отъ предположенія, что его сосѣдка—свѣтская куртизанка.

Послѣ обѣда, ведя ее въ гостиную, Колтышко наклонился къ ней и тихо спросилъ:

— Ну, какъ вы находите этого юношу?

— Ничего, онъ мнѣ нравится, — съ легкой, но очень милой гримаской отвѣтила она.

— Желаете, заняться?

— Отчего же; пожалуй.

— Ну, въ такомъ случаѣ, мы заранѣе поздравляемъ себя съ полнымъ успѣхомъ. Но имѣйте въ виду главное то, что́ я ужь объяснилъ вамъ.

— Ахъ, это соперницу?—улыбнулась она.— Надѣюсь не остаться побѣжденною.

И она все время была очень внимательна къ Хвалынцеву, что́ до извѣстной степени весьма льстило его юному самолюбію. Вечеромъ же, часовъ около девяти, переговоривъ о чемъ-то съ Лѣсницкимъ и отправивъ его распорядиться насчетъ экипажа, графиня совершенно неожиданно обратилась къ студенту съ просьбой проводить ее домой. Тотъ немножко смѣшался отъ неожиданности такого вызова, но поспѣшилъ отвѣтить ей полною готовностью.

Они отправились въ наемной каретѣ. У Владимірской графиня указала остановиться предъ подъѣздомъ одного большого дома. Хвалынцевъ повелъ ее въ третій этажъ по освѣщенной лѣстницѣ и остановился передъ дверью, съ мѣдною доской, на которой было написано: «графиня Цезарина Фердинандовна Маржецкая».

— Войдите,—предложила она ему, когда человѣкъ изнутри отворилъ дверь.

Хвалынцевъ не почелъ возможнымъ отказаться.

— Я попрошу васъ подождать минуту. Я только переодѣнусь, — сказала она въ гостиной и, шумя своимъ чернымъ шлейфомъ, скрылась за тяжелой портьерой боковой двери.

Хвалынцевъ присѣлъ къ столу, заваленному роскошными кипсеками и альбомами. Обстановка этой гостиной была изящна и роскошна. Прошло минутъ десять, когда изъ-за портьеры показалась очень приличная камеристка и сказала Хвалынцеву, что графиня проситъ его къ себѣ. Онъ пошелъ вслѣдъ за дѣвушкой, которая привела его въ будуаръ.

— Вы меня извините, что я принимаю васъ совсѣмъ по домашнему,—сказала Маржецкая, впервые протягивая ему руку.—Я ужасно устала... поэтому мнѣ такъ хочется побаловать себя!..

И, закинувъ надъ головою руки, она съ какою-то тигриною граціею и въ то же время улыбаясь дѣтски-свѣтлою, безпечною улыбкою, потянулась въ широкомъ покойномъ креслѣ.

— Впрочемъ, я люблю баловать себя только тогда, когда это возможно,—продолжала она,— а то я могу совершенно спокойно обходиться и безъ малѣйшаго комфорта. Для меня это все-равно.

Хвалынцевъ вопросительно поглядѣлъ на нее.

— Да; мнѣ приходилось на моемъ вѣку скакать на перекладныхъ, ночевать въ литовской курной хатѣ, обѣдать въ жидовской корчмѣ,

Digitized by Google

зябнуть на морозѣ или мокнуть подъ дождемъ на лосиной охотѣ, и такія рѣзкія перемѣны ни мало меня не безпокоятъ. Я переношу ихъ какъ добрый хлопецъ. Нервы у меня сильные.

Послѣ нѣсколькихъ минутъ разговора, Хвалынцевъ взялся за фуражку и поднялся съ мѣста.

— Куда же вы? — вскинула она на него глаза, съ нѣкоторымъ удивленіемъ.

— Вы устали, да и мнѣ домой пора,—сказалъ онъ.

— Домой?.. Но вы дома!

Хвалынцевъ выразилъ явное недоумѣніе на эту послѣднюю фразу.

— Ну да, вы дома,—подтвердила Маржецкая.—Вы остаетесь здѣсь, у меня, въ моей квартирѣ.

Недоумѣніе студента достигло высшаго предѣла. Онъ не зналъ, какъ понять ему все это, и молча, однимъ недоумѣвающимъ взглядомъ, устремленнымъ на свою собесѣдницу, ждалъ отъ нея дальнѣйшихъ объясненій.

— Развѣ тамъ ничего вамъ не сказали?— спросила она.

— Ничего. И я ровно ничего не понимаю.

— Оставаться тамъ далѣе для васъ было-бы неудобно,—продолжала Маржецкая,—здѣсь-же васъ уже никто не найдетъ: у меня вы вполнѣ безопасны. Вы проживете здѣсь столько, сколько потребуютъ обстоятельства.

Хвалынцевъ хотѣлъ было сдѣлать какое-то возраженіе.

— Вы меня ничѣмъ не стѣсните и не можете стѣснить,—торопливо предупредила она, какъ-бы предугадавъ, въ чемъ будетъ состоять это возраженіе.—Я уже распорядилась: для васъ сейчасъ будетъ готова комната, рядомъ съ комнатой моего сына.

— Но согласитесь, мое проживаніе у васъ можетъ казаться весьма страннымъ... Оно не можетъ же остаться тайною для всѣхъ. Ваша прислуга... наконецъ, кто-нибудь изъ вашихъ знакомыхъ какъ и чѣмъ они могутъ объяснить себѣ мое странное присутствіе въ вашемъ домѣ?

— Моя прислуга—лакей и дѣвушка знаютъ меня съ дѣтства и очень мнѣ преданы. Они такіе же поляки, какъ и я, и потому опасаться ихъ нечего!—успокоила графиня;—а что касается моихъ знакомыхъ, то хотя-бы кто изъ нихъ и узналъ какъ-нибудь,—такъ что-жъ? У меня есть пятилѣтній сынъ, которому нуженъ уже гувернеръ. Для моихъ знакомыхъ, вы гувернеръ моего сына.

— Виноватъ, но—позвольте еще одинъ вопросъ?—слегка поклонился Хвалынцевъ.—Почему мое присутствіе *тамъ* найдено неудобнымъ?

Цезарина пожала плечами.

— Съ фактическою точностью я не могу отвѣтить вамъ на это: я не знаю,—сказала она;—но вообще, типографія слишкомъ открытое мѣсто; туда можетъ придти всякій, хоть подъ предлогомъ заказовъ; наконецъ, наборщики, рабочіе—вѣдь за каждаго изъ нихъ нельзя поручиться; и между ними легко могутъ быть подкупленные, шпіоны... Вотъ почему, полагаю, вамъ неудобно было оставаться тамъ. А здѣсь, у меня вы безопаснѣе, чѣмъ гдѣ-либо. Никому ничего и въ голову не придетъ, и у меня ужь никакъ васъ не отыщутъ!

Хвалынцевъ остался предъ нею, стоя съ фуражкой въ рукахъ, въ замѣтномъ смущеніи.

— Ну, о чемъ же вы такъ задумались?— нѣсколько задорно и нѣсколько насмѣшливо улыбнулась она.

Студентъ еще болѣе смутился.

— Признаться откровенно, меня озадачиваетъ одно,—заговорилъ онъ, наконецъ.—Меня все удивляетъ, чѣмъ и за что́ заслужилъ я такое вниманіе къ моей особѣ со стороны людей или мало, или вовсе мнѣ незнакомыхъ?.. Вотъ, хоть бы напримѣръ и вы, графиня...

Она опять съ улыбкой пожала плечами.

— Чѣмъ заслужили вы это, мнѣ тоже неизвѣстно,—отвѣчала она.—Я знаю только одно: меня просили укрыть васъ на время отъ розысковъ полиціи, и я—какъ видите—въ точности исполняю это, зная, что этимъ я оказываю маленькую услугу честному юношѣ. Вотъ все, что я знаю.

Вошла камеристка и доложила, что комната готова. Графиня предложила Хвалынцеву вмѣстѣ осмотрѣть ее. Комната была и просторна и удобна. Диванъ, долженствовавшій служить постелью, былъ застланъ свѣжимъ прекраснымъ бѣльемъ и заставленъ ширмами. Все это было приготовлено въ какіе-нибудь полчаса. Графиня Маржецкая, одна съ сыномъ и съ двумя человѣками прислуги, занимала очень просторную и очень удобно расположенную квартиру, въ которой все говорило о довольствѣ и изобиліи матеріальныхъ средствъ молодой хозяйки.

— Я васъ прошу ни мало не стѣсняться! — въ высшей степени любезно предложила она;— хотите остаться здѣсь—располагайтесь, какъ у себя дома, а нѣтъ — пойдемте ко мнѣ, посидимъ, поболтаемъ еще. Я съ вами тоже не буду церемониться, и когда захочу спать, то такъ и скажу вамъ, тогда вы меня оставите.

Хвалынцевъ просидѣлъ и проболталъ весь остатокъ вечера. Она съ живымъ участіемъ разспрашивала его про студентскую исторію, про причины и весь ходъ ея; сама, въ свою очередь, разсказывала про Варшаву, про Польшу, про страданія своей отчизны и даже про свои семейныя обстоятельства, изъ которыхъ Хвалынцевъ узналъ, что мужъ ея, по одному дикому произволу русскихъ властей, высланъ подъ присмотръ полиціи, на житье въ Славянобубенскъ, что она нарочно пріѣхала въ Петер-

Digitized by Google

бургъ хлопотать за него, за облегченіе его печальной участи, и живетъ уже здѣсь нѣсколько мѣсяцевъ. Хвалынцевъ сообщилъ ей о ея мужѣ тѣ небольшія свѣдѣнія, которыя были ему извѣстны изъ письма Устинова, и графиня, казалось, съ такою радостью, съ такимъ теплымъ участіемъ и интересомъ выслушала его сообщенія, что можно было подумать, будто она изъ Славнобубенска не получаетъ никакихъ извѣстій. Она, впрочемъ, и жаловалась ему на крайнюю строгость полицейскаго вниманія къ письмамъ ея мужа. Было уже очень поздно, когда разстались они совершенно добрыми друзьями, и придя въ свою комнату, студентъ засталъ на столѣ у себя газеты, сигары, папиросы и легкій ужинъ съ бутылкой вина. Все это являло еще одинъ новый знакъ предупредительнаго вниманія къ его особѣ.

Онъ долго не могъ уснуть. Весь этотъ водоворотъ событій и приключеній, въ который попалъ онъ за послѣднее время, кружилъ ему голову. Эти студентскія демонстраціи, эти уличныя столкновенія съ войскомъ, это анонимное письмо съ извѣщеніемъ о нелѣпой клеветѣ, Стрѣшнева, Свитка, Колтышко, контръ-полиція, опека, жандармы, какое-то таинственное общество и наконецъ, эта графиня Цезарина Маржецкая и неожиданный пріютъ въ ея домѣ—что же все это такое? И какими судьбами онъ-то, почти помимо своей воли, даже помимо своего пониманія, пришелъ въ столкновеніе со всѣмъ этимъ таинственно-загадочнымъ міромъ? «Графиня Маржецкая.... Какъ? Неужели и она, думалъ Хвалынцевъ, — она, съ ея связями, съ ея положеніемъ, неужели и она тоже принадлежитъ къ «этому обществу»!.. А можетъ и не одна она... Можетъ, ихъ много тутъ такихъ, какъ она...» Его подавляло ясное почти до ощущенія сознаніе какой-то большой и таинственной силы, въ область которой судьба толкнула его и которая теперь всецѣло тяготѣетъ надъ нимъ. Но этотъ гнетъ не казался ему тягостнымъ: онъ не хотѣлъ освободиться изъ-подъ него; напротивъ, его манило отдаться теченію всѣхъ этихъ странныхъ обстоятельствъ, проникнуть далѣе и далѣе въ глубь и сущность дѣла, увидѣть, понять, разгадать что̀ это за міръ и что̀ за сила и, быть можетъ, сознательно отдаться ей... И среди всей этой вереницы мыслей мелькалъ сверкающій такою оригинальною красотою образъ графини Цезарины, которая въ эту самую минуту здѣсь, рядомъ, подъ одною кровлею, такая спокойная, простая, сильная и вмѣстѣ съ тѣмъ загадочная.... И этотъ образъ подавлялъ и затмевалъ своимъ блескомъ тихій обликъ другой женщины. Хвалынцеву было это даже досадно, онъ усиленно гналъ его изъ своего воображенія; но какъ-то невольно, независимо отъ него самого, этотъ блистательный образъ врывался въ область его думъ и поминутно прерывалъ собою нить его размышленій...

XIV.

Метаморфоза.

Поутру лакей передалъ ему сакъ съ вещами и объяснилъ, что этотъ сакъ, часъ тому назадъ, принесъ какой-то молодой человѣкъ, для передачи по назначенію, сказавъ, что тутъ же находятся и тѣ книги, что читалъ господинъ Хвалынцевъ. Отомкнувъ сакъ, студентъ дѣйствительно нашелъ тамъ цѣлую связку тѣхъ самыхъ лондонскихъ изданій, которыя такъ любезно предложилъ ему для прочтенія Лѣсницкій. «Все это очень любезно и очень внимательно», могъ только подумать Хвалынцевъ. Дни заточенія въ квартирѣ графини Маржецкой текли для него быстро и почти незамѣтно. Онъ очень скоро освоился въ новомъ своемъ помѣщеніи, благодаря той свободѣ, какую предоставила ему внимательная хозяйка. Всѣ утра его проходили почти исключительно въ чтеніи. Это чтеніе, которому отдавался онъ съ юношескимъ и почти невольнымъ увлеченіемъ, постепенно производило на него свое наркотическое вліяніе. Обѣды вмѣстѣ съ Цезариной, и потомъ, зачастую, цѣлые вечера въ ея обществѣ, съ глазу на глазъ съ этой интересной, умной и прелестной женщиной, рѣшительно не давали ему глубже вдуматься въ себя, въ свое положеніе, и даже чувство къ Татьянѣ Николаевнѣ мало-по-малу все какъ-то сглаживалось въ немъ и отходило на задній планъ, и онъ самъ все меньше и меньше замѣчалъ въ себѣ эту внутреннюю и какъ-то невольно совершавшуюся метаморфозу. Иногда по вечерамъ Цезарина просила его прочитать что нибудь и для нея, и въ такихъ случаяхъ всегда сама выбирала и давала ему книги. Это были листки французскихъ брошюръ, почти исключительно произведенія польской эмиграціи, которыя въ яркихъ, поражающихъ чертахъ изображали несчастія польской земли, стоны польскаго народа и не скупились на самыя черныя краски для обрисовки русскихъ отношеній къ Польшѣ и русскаго гнета. Цезарина слушала внимательно и даже благоговѣйно, хотя для нея всѣ эти книги и брошюры были давно уже знакомы. Часто нервическое, злобное движеніе отражалось на ея лицѣ, и тогда въ ея карихъ глазахъ свѣтилась фанатическая, непримиримая ненависть, и руки судорожно начинали мять и вертѣть какую-нибудь вещь, въ родѣ случайно попавшейся бумажки, батистоваго платка или бахромки на шали. Хвалынцевъ, отрывая глаза отъ печатныхъ строкъ, мелькомъ взглядывалъ на это лицо, и оно казалось ему еще болѣе пре-

Digitized by Google

краснымъ въ этомъ живомъ одушевленіи гнѣва и ненависти. А иногда, при чтеніи о пыткахъ, жестокихъ мукахъ и страданіяхъ какого-либо польскаго героя, въ глазахъ Цезарины вдругъ начинали сверкать слезы, и тогда лицо это казалось Хвалынцеву еще вдохновеннѣе, еще прекраснѣе.

Въ то время вообще на Руси такъ мало было извѣстно о Польшѣ, о польскихъ дѣлахъ и притязаніяхъ; изъ русскаго лагеря не подымалось ни единаго голоса для разъясненія нашихъ отношеній къ этой несчастной странѣ; тридцать лѣтъ у насъ на этотъ счетъ все молчало; все было темно, мертво и глухо, и эта мертвенность и глухота набрасывали мрачную и антипатичную тѣнь на эти русскія отношенія. Въ эти глухіе и нѣмые три десятка годовъ память современниковъ, свидѣтелей и очевидцевъ 1831 года понемногу притуплялась; негодованіе если въ нихъ и было, то намного смирялось и угомонялось самимъ временемъ; въ русскомъ сердцѣ давно уже поселилось если не примиреніе и забвеніе, то равнодушный и спокойный индиферентизмъ. Мы Польши не знали; большинство думало, что разъ она была усмирена, покорена и что затѣмъ съ нею навсегда уже покончены всѣ расчеты. Молодое же поколѣніе, благодаря все той же нѣмотствующей глухотѣ общественнаго сознанія, выростало въ полнѣйшемъ и всестороннемъ невѣдѣніи этой древней русско-польской тяжбы. Молодое поколѣніе, благодаря школьной скамьѣ, знало только стихотвореніе Пушкина «*Клеветникамъ Россіи*», но плохо понимало, ради чего оно написано. Находились иные радѣтели, которые рѣшались даже утверждать, что поэтъ былъ подкупленъ, соблазненъ камеръ-юнкерскимъ шитьемъ и дворскими милостями—и не было громкаго, разъясняющаго голоса въ защиту оскорбляемой памяти русскаго поэта. Знало еще молодое поколѣніе, что въ 1830 году Польша поднялась за свою свободу и независимость, за что была раздавлена русскими войсками, и это смутное знаніе естественно могло рождать въ каждомъ честномъ молодомъ сердцѣ одно только сочувствіе къ угнетенному и порабощенному народу. А между тѣмъ противная сторона не дремала. Въ эти глухія тридцать лѣтъ тамъ, на Западѣ, эмиграція создала своихъ историковъ, поэтовъ. публицистовъ, голоса которыхъ громко и дружно, на всю Европу, раздавались въ защиту польскаго дѣла, и эти голоса подхватывались чуждыми людьми другихъ національностей, усилившими общій негодующій хоръ, а мы все молчали и молчали, и съ этимъ молчаніемъ въ наши «образованныя» массы, мало-по-малу, но все болѣе и все прочнѣе проникало сознаніе, что правы *они*, а виноваты *мы*. «Колоколъ» громко и неустанно будилъ общественную совѣсть и взывалъ къ покаянію. И мы, позабывъ отъ времени самую сущность, самое ядро стараго дѣла, начинали уже смиренно каяться... Въ этомъ случаѣ, все, что относится къ *намъ*, могло всецѣло относиться и къ моему юному герою. И вдругъ, подъ ловкою и потому незамѣтною эгидою польской женщины, этому юношѣ раскрывается цѣлая исторія страданій, горя, угнетеній, насильствъ и мукъ порабощеннаго народа. Онъ только тутъ узналъ про эти муки, онъ ежедневно слышалъ свѣжіе разсказы еще о вчерашнихъ только событіяхъ изъ устъ молодой женщины, онъ видѣлъ порою взрывы ея невольнаго негодованія, порою ея слезы и... и, потупляя глаза, краснѣлъ за себя, за свой народъ, за свое правительство, которое становилось ему ненавистнымъ въ эти тяжелыя минуты. И что-жь ему оставалось дѣлать? Онъ зналъ и выслушивалъ только одну сторону. Другая сторона, какъ и онъ же, все еще молчала въ своемъ невѣдѣніи и конфузилась.

Часто, приходя въ будуаръ Цезарины, онъ заставалъ ее за работой. На широкихъ и большихъ пяльцахъ была натянута красная шелковая матерія, подшитая съ исподней стороны матеріей бѣлою. Работа графини близилась къ концу. Хвалынцевъ могъ свободно разсматривать на пунцовомъ фонѣ изображеніе креста съ терновымъ вѣнцомъ и двѣ пальмовыя вѣтви, а надъ всѣмъ этимъ парящаго бѣлаго орла. На исподней сторонѣ былъ вышитъ образъ Богоматери съ сердцемъ, пронзеннымъ семью мечами и съ надписью вокругъ: «Boże, zmiłój çie nad nami!» Надъ бѣлымъ орломъ тоже красовалась надпись, надъ окончаніемъ которой трудилась теперь графиня. Эта надпись, вышитая серебряною нитью и блестками, была сдѣлана на русскомъ языкѣ и гласила: «*За свободу вашу и нашу*».

Хвалынцева уже давно интересовала эта работа, но онъ все какъ-то не рѣшался спросить, что это и для чего графиня вышиваетъ? Наконецъ, однажды вечеромъ, сидя подлѣ нея и утомясь нѣсколько чтеніемъ, онъ отбросилъ въ сторону брошюру и сталъ слѣдить за интересовавшимъ его рукодѣльемъ. Графиня встала и, поднявъ бѣлую салфетку, до половины покрывавшую ея работу, стала любоваться на свое произведеніе.

— Хорошо?—спросила она, ласковымъ взглядомъ обратясь къ студенту и вызывая его этимъ на участіе.

— Прекрасно!—отъ души похвалилъ онъ.— Я ужь давно любуюсь на это вышиванье и давно хотѣлъ спросить, что это такое вы работаете?

— Это?—какъ-то загадочно и вмѣстѣ съ тѣмъ горделиво усмѣхнулась Цезарина.—Это для нашихъ будущихъ героевъ.

Хвалынцевъ вопросительно поглядѣлъ на нее.

— Это знамя,—продолжала она,—знамя сво-

Digitized by Google

боды, которое, со-временемъ, я вручу достойнѣйшему, а можетъ... раздумчиво замедлилась она,—можетъ и сама понесу его на встрѣчу вашимъ солдатамъ... Вѣдь тутъ не даромъ же написано: «за свободу вашу и нашу!»

При этихъ словахъ Хвалынцевъ замѣтилъ въ ней какую-то странную, отчасти театральную, но очень эффектную экзальтацію.

— Но нѣтъ!—минуту спустя, со вздохомъ продолжала она, закрывая салфеткой пальцы,—эта послѣдняя мечта едва-ли когда сбудется!.. Это знамя не для васъ, оно для поляковъ!.. Вы вѣдь умѣете быть только нѣмыми рабами вашего правительства.

И говоря это, она не скрыла безпощадно-презрительной усмѣшки, заигравшей на ея одушевленномъ лицѣ.

— Вы позволяете бить себя и угнетать, отказываетесь отъ свободы для того только, чтобы въ свою очередь бить и угнетать другія народности. Кто только подъ вами не стонетъ! Все ваше народное самолюбіе состоитъ въ томъ, чтобы быть хоть рабскимъ, но варварски-сильнымъ государствомъ и служить пугаломъ каждой цивилизаціи. Для этого вы даже нѣмцамъ продаетесь. Нѣтъ, вы не славяне, вы—рабы, татары.

— Но эти татары еще только вчера освободили двадцать милліоновъ рабовъ, и своихъ татарскихъ и вашихъ польскихъ!—возразилъ, задѣтый за-живое, Хвалынцевъ. Въ глубинѣ души онъ не могъ не сознаться, что графиня сильно задѣла его русское самолюбіе.

— Польскихъ?— изумленно возразила она и съ гордымъ достоинствомъ отрицательно покачала головой.—Вы ошибаетесь, вы не знаете исторіи: въ Польшѣ, слава Богу, давно уже нѣтъ рабовъ. Въ Польшѣ крестьяне лично свободны.

Студентъ, благодаря своему всероссійскополному невѣдѣнію, ничего не съумѣлъ возразить ей на это. Ему было только больно и горько слушать упреки этой женщины, и слушая ихъ, онъ все-таки не могъ не любоваться ею, не могъ не сознавать въ ней какого-то превосходства, которое даетъ человѣку его возвышенное и гордое страданіе.

— Но это знамя... заговорилъ онъ послѣ нѣкотораго молчанія,—отчего вы думаете, что нашъ солдатъ не пойметъ такихъ простыхъ и ясныхъ словъ: «за свободу вашу и нашу?» Слова общечеловѣческія.

— Вашъ солдатъ!.. Вашъ солдатъ уже цѣлые десятки поколѣній рождается и умираетъ рабомъ; въ немъ давно уже убито все человѣческое. Вашъ солдатъ умѣетъ только стрѣлять въ безоружную толпу, въ молящихся дѣтей и женщинъ.

— Графиня! Ну гдѣ же, когда-же это?— наконецъ не выдержавъ воскликнулъ Хвалынцевъ.

— Гдѣ?.. А, вы сомнѣваетесь!.. Я скажу вамъ гдѣ! Хоть-бы въ Варшавѣ... Боже мой!.. Какъ сейчасъ помню... это было только семь мѣсяцевъ назадъ... На Зигмунтовой площади, предъ замкомъ, стояли тысячи народа... Я тутъ же, въ одномъ изъ домовъ, глядѣла съ балкона... Вечеръ ужь былъ, темно становилось; солдаты ваши стояли противъ народа; въ этотъ день они нашъ крестъ изломали... и вдругъ раздались выстрѣлы... Помню только какой-то глухой ударъ и больше ничего, потому что упала замертво.

— Какъ! Вы, графиня? — тихо произнесъ изумленный Хвалынцевъ.

— Да, я!.. Что вы такъ удивляетесь?.. Я была ранена. Вы не вѣрите? Вотъ, смотрите!

И быстрымъ движеніемъ руки, она отстегнула воротъ кашемироваго пеньюара и, близко наклонясь надъ Хвалынцевымъ, обнажила предъ нимъ часть груди и все свое лѣвое, удивительно созданное, бѣлое плечо.

— Вотъ она, эта рана! Смотрите!—говорила Цезарина, указывая на темнобурое, круглое пятнышко и бороздку къ плечу, образовавшіяся отъ стянутой кожи. — Пуля ударила меня выше ключицы и скользнула по плечу. Два съ половиной мѣсяца я пролежала тогда. Десять человѣкъ было убито и болѣе ста ранено [1]). Я всѣмъ и каждому смѣло могу показать эту русскую рану!—съ гордымъ увлеченіемъ продолжала она. — Я горжусь ею; все-таки и моя капля крови пролилась за родину, за свободу!

Хотя все это было сдѣлано и сказано опять-таки съ какимъ-то присущимъ этой женщинѣ сценическимъ эффектомъ, но эффектъ удался какъ нельзя болѣе: онъ вполнѣ подѣйствовалъ на юношу, и Хвалынцевъ съ глубокимъ, почти благоговѣйнымъ уваженіемъ посмотрѣлъ на графиню Цезарину.

И въ эту ночь, опять-таки, долго не могъ уснуть онъ и долго ходилъ у себя по комнатѣ. И сердце, и голова его какъ-то мутились. Онъ силился дать себѣ отчетъ въ своихъ мысляхъ, въ своихъ чувствахъ, и не смѣлъ, боялся произнести окончательный и вѣрный приговоръ надъ собою. Въ первые дни его влекло къ этой женщинѣ одно только любопытство, возбужденное странностью его исключительнаго положенія. Въ то время ему хотѣлось только проникнуть въ заманчивую загадку того таинственнаго міра и той дѣятельности, въ которыхъ вращались Цезарина Маржецкая, Лѣсницкій и Свитка. Въ то первое время, замѣчательная, оригинальная красота этой женщины хотя и производила на него свое невольно-обаятельное впечатлѣніе, но эта красота, это богатство и роскошь тѣла говорили одной только чувственности — ощущеніе, которое, при

[1]) Демонстрація въ Варшавѣ 27-го марта (8-го апрѣля) 1861 г.

Digitized by Google

мысли о любви къ Татьянѣ, Хвалынцевъ гналъ отъ себя и безусловно осуждалъ его, хотя это ощущеніе все-таки, помимо его собственной воли, какъ тать закрадывалось въ душу и смущало его порою. Но теперь, когда прошло уже нѣсколько дней его таинственнаго пребыванія въ домѣ этой женщины, когда ежедневныя и довольно долгія бесѣды съ нею каждый разъ открывали ему въ ней какое-нибудь новое нравственное достоинство, когда, наконецъ, вотъ въ этотъ послѣдній вечеръ, она на столько высказалась предъ нимъ, онъ увидѣлъ въ ней нѣчто высшее, царящее надъ ея физической красотой, нѣчто героическое. Теперь ему сказалась въ ней нравственная мощь и великая, всепроникающая сила страстной любви къ своей родинѣ, къ свободѣ, къ народу своему, — сила, освященная страданіемъ и даже кровью. Ему казалось, что для подобной женщины можно всѣмъ рискнуть, всѣмъ пожертвовать, на все рѣшиться.

И подъ наплывомъ этихъ мыслей и ощущеній, въ немъ страстно совершалась теперь внутренняя метаморфоза.

XV.

Кружокъ.

Вскорѣ послѣ этого вечера, графиню Маржецкую посѣтилъ капитанъ Чарыковскій. Когда лакей доложилъ о его пріѣздѣ, Хвалынцевъ, по обыкновенію, поднялся съ мѣста, чтобъ удалиться въ свою комнату, но Цезарина просила его остаться, предваривъ, что Чарыковскій изъ такихъ людей, съ которыми можно отбросить въ сторону подобную осторожность.

— Рекомендую: гувернеръ моего сына, — представила она студента.

— А, да мы уже, кажется, знакомы, если господинъ Хвалынцевъ не забылъ меня?—любезно и радушно пожимая руку Константина Семеновича, сказалъ капитанъ.

Тотъ, съ неменьшею любезностью, поспѣшилъ заявить ему о своей памяти.

— Но нашъ молодой менторъ, кажется, скучаетъ,—продолжала Цезарина, весело посматривая то на студента, то на своего гостя.— Я вѣдь живу почти отшельницей, развлеченій у меня никакихъ, а вы, monsieur Хвалынцевъ, надѣюсь, привыкли къ обществу.

Хвалынцевъ отвѣтилъ что-то нескладное, въ родѣ того, что ея общество онъ предпочитаетъ всѣмъ другимъ на свѣтѣ, и самъ немножко сконфузился и смѣшался.

— Ну, это такъ, одна только любезная фраза! улыбнулась Цезарина,—а шутки въ сторону; я думаю, вы таки-скучаете. Вѣдь онъ такъ усердно посвятилъ себя занятіямъ съ моимъ сыномъ,—обратилась она къ Чарыковскому,—такъ ревностно предался своему дѣлу, что вотъ уже болѣе недѣли, какъ никуда не показывается, никуда даже изъ дому не выходитъ!

Чарыковскій съ вѣжливо-снисходительной усмѣшкой слушалъ эту болтовню Цезарины. Въ самыхъ простыхъ и незначительныхъ фразахъ своего разговора, обращаясь къ Хвалынцеву, онъ выказывалъ очень внимательную предупредительность и любезность, видимо желая понравиться молодому человѣку, расположить его въ свою пользу. Разговоръ перешелъ на университетскія событія, все еще составлявшія главную тему толковъ того времени. Капитанъ началъ порицать двусмысленное поведеніе нѣкоторыхъ профессоровъ, которыхъ Хвалынцевъ сталъ горячо отстаивать. Зная лично этихъ профессоровъ, ихъ образъ мыслей и отношенія къ студентамъ, онъ не могъ допустить и тѣни сомнѣнія относительно ихъ личности и потому горячо заспорилъ съ капитаномъ.

— Вы хотите доказательствъ? Если угодно, я готовъ!—предложилъ Чарыковскій.—Мнѣ самому не менѣе васъ больно разочарованіе въ этихъ людяхъ, но я могу доказать вамъ фактами, документами. Да самое лучшее вотъ что: если вы такъ живо принимаете это къ сердцу, пріѣзжайте ко мнѣ, мнѣ будетъ очень пріятно видѣть васъ у себя,—сказалъ онъ, радушно пожимая руку студента,—и не зачѣмъ откладывать въ долгій ящикъ, пріѣзжайте сегодня же вечеромъ, часу въ восьмомъ, у меня мы и потолкуемъ, а я постараюсь убѣдить васъ довольно осязательными документами.

— Ну, вотъ и прекрасно!—подхватила графиня;—monsieur Хвалынцевъ, по крайней мѣрѣ, хоть сколько-нибудь разсѣется, а кстати и я нынче вечеромъ не буду дома. Въ самомъ дѣлѣ, поѣзжайте-ка, поѣзжайте! А то у меня вы совсѣмъ одичаете, анахоретомъ, нелюдимомъ сдѣлаетесь.

Чарыковскій подалъ ему свою визитную карточку, на которой былъ его адресъ. Хвалынцевъ поблагодарилъ его и обѣщалъ пріѣхать. Хотя за всѣ эти дни онъ уже такъ успѣлъ привыкнуть къ своей замкнутости, которая стала ему мила и пріятна постояннымъ обществомъ умной и молодой женщины, и хотя въ первую минуту онъ даже съ затаеннымъ неудовольствіемъ встрѣтилъ приглашеніе капитана, однако же поощрительный, веселый взглядъ графини заставилъ его поколебаться.— «Къ тому же и она нынче не дома», подумалъ онъ и согласился.

— У него вы ничѣмъ не рискуете: ни непріятной встрѣчей, ни непріятными послѣдствіями, а нѣкоторое разсѣяніе для васъ все-таки необходимо. Поѣзжайте!—сказала Маржецкая, послѣ того какъ Чарыковскій удалился изъ ея гостиной.

Въ назначенный часъ Хвалынцевъ отпра-

Digitized by Google

вился по данному адресу. Капитанъ встрѣтилъ его въ высшей степени любезно, но студентъ вскорѣ замѣтилъ, что хозяинъ какъ-то мнется, какъ будто чѣмъ-то стѣсняется.

Константинъ Семеновичъ началъ уже думать, что посѣщеніе его пришлось почему-либо не совсѣмъ-то кстати, какъ вдругъ Чарыковскій предупредилъ его дальнѣйшее раздумье.

— Послушайте, Константинъ Семеновичъ (капитанъ еще утромъ очень внимательно освѣдомился о его имени и отчествѣ), вы не будете на меня въ претензіи, если я предложу вамъ, вмѣсто того чтобы провести вечеръ у меня, отправиться вмѣстѣ къ однимъ моимъ знакомымъ?—обратился онъ къ студенту.—Люди холостые и безцеремонные—они рады будутъ, а давеча мнѣ совсѣмъ было и изъ ума вонъ, что я обѣщалъ имъ пріѣхать. Поѣдемъ-ка вмѣстѣ, и ручаюсь вамъ, мы проведемъ вечерокъ недурно, только вы, пожалуйста, не стѣсняйтесь и не думайте, что ихъ чѣмъ-нибудь стѣсните! Церемоніи всѣ въ сторону!

— А кто они такіе?—спросилъ Хвалынцевъ.

— А наша молодежь изъ военной академіи. Люди простые, честные и хорошіе, и—повторяю—очень будутъ рады намъ. Катимте!

Хвалынцеву было теперь все равно гдѣ ни провести вечеръ, и онъ согласился тѣмъ охотнѣе, что ему еще съ обѣда у Колтышко почему-то казалось, будто Чарыковскій непремѣнно долженъ быть посвященъ въ тайны Лѣсницкаго и Свитки, а теперь — почемъ знать—можетъ, чрезъ это новое знакомство, предъ его пытливо-любопытными глазами приподнимается еще болѣе край той непроницаемой завѣсы, за которой кроется эта таинственная «сила» съ ея заманчивымъ, интереснымъ міромъ, а къ этому міру, послѣ столькихъ бесѣдъ съ Цезариной и послѣ всего, что́ довелось ему перечитать за нѣсколько дней своего заточенія и надъ чѣмъ было уже столько передумано, онъ, почти незамѣтно для самого себя, началъ чувствовать какое-то симпатическое и словно бы инстинктивное влеченіе. Теперь уже, пожалуй, и не одно только простое любопытство влекло его къ этому міру. Въ этомъ влеченіи стала играть извѣстную роль и симпатія,—правда, пока еще заочная, но уже на столько замѣтная, что одно только мимолетное предположеніе о вѣроятной возможности заглянуть поближе въ тайникъ Лѣсницкаго и Свитки заставило его съ живымъ удовольствіемъ принять предложеніе новаго знакомства. Чарыковскій порядилъ извозчика въ Офицерскую улицу, и они поѣхали. Про доказательство двусмысленнаго поведенія профессоровъ не было сказано ни слова.

Такъ этотъ вопросъ и канулъ для капитана въ Лету. Онъ былъ для него не болѣе какъ случайнымъ предлогомъ, чтобы заручиться посѣщеніемъ Хвалынцева.

Въ пяти довольно просторныхъ и помѣстительныхъ комнатахъ, составлявшихъ одну холостую квартиру, было говорно и людно. Тамъ ходили, сидѣли, разговаривали, пили чай, курили, спорили и читали человѣкъ тридцать народу. Это, большею частію, была все военная молодежь, въ сюртукахъ различныхъ родовъ оружія, и по преимуществу съ «ученымъ» артиллерійскимъ, либо инженернымъ кантомъ. Гвардейскій кавалерійскій мундиръ совершенно дружественно братался здѣсь со скромными петлицами армейскаго пѣхотинца; зеленый кантикъ путейца горячо, но пріятно спорилъ съ малиновымъ кантомъ лѣсничаго. Изъ партикулярныхъ костюмовъ замѣтны были только чамарка Василія Свитки да черный сюртукъ Лѣсницкаго.

Большой раскидной столъ въ просторной гостиной былъ заваленъ русскими и заграничными журналами, газетами, брошюрами и книгами. Въ смежной комнатѣ, на такомъ же большомъ раскидномъ столѣ, кипѣлъ вмѣстительный самоваръ, окруженный коллекціей разнокалиберныхъ стакановъ и чашекъ, а рядомъ съ нимъ помѣщалась небольшая батарея бутылокъ, разныя закуски и подносъ съ цѣлою горою сухарей, булокъ и пеклеваннаго хлѣба. Во всѣхъ комнатахъ было уже дымно отъ папиросъ и сигаръ, и вечеръ, несмотря на относительно ранній еще часъ, былъ уже въ полномъ разгарѣ. Надъ всѣмъ этимъ говорливымъ, оживленнымъ обществомъ вѣялъ какой-то духъ молодости, задора и горячки увлеченія.

Тутъ было четверо хозяевъ-сожителей — молодыхъ офицеровъ-академистовъ, которые подъ предлогомъ «литературныхъ вечеровъ», еженедѣльно собирали подъ своимъ безцеремоннымъ гостепріимнымъ кровомъ всю эту компанію.

Всѣ члены этого общества, какъ показалось Хвалынцеву, состояли въ довольно коротком знакомствѣ между собою, что́ впрочемъ и не мудрено, такъ какъ они были постоянными и неизмѣнными посѣтителями «литературныхъ вечеровъ» этой холостой квартиры.

Чарыковскій былъ принятъ хозяевами болѣе чѣмъ радушно: его встрѣтили съ радостью и почтеніемъ. Точно такая же привѣтливая почтительность выражалась въ отношеніи къ нему со стороны всѣхъ присутствующихъ. По всему можно было замѣтить, что капитанъ Чарыковскій въ этомъ обществѣ играетъ очень видную роль и пользуется большимъ авторитетомъ. Хвалынцевъ сразу замѣтилъ это, и ему стало особенно пріятнымъ то обстоятельство, что вводитъ его сюда именно капитанъ Чарыковскій. Обстоятельство это не ускользнуло и отъ вниманія почти всѣхъ остальныхъ членовъ собравшейся компаніи, которые, въ силу его,

Digitized by Google

при первомъ же знакомствѣ, оказали студенту радушное и какъ бы товарищеское вниманіе.

Чарыковскій представилъ Константина Семеновича четыремъ хозяевамъ, а тѣ, въ свою очередь, познакомили его кое съ кѣмъ изъ своихъ гостей.

Найдя здѣсь Лѣсницкаго и Свитку, Хвалынцевъ, въ первое время, все отыскивалъ глазами Колтышку, но Колтышки не было, и не было его ни въ началѣ, ни въ концѣ вечера.

— А что же Іосифа Игнатьевича нѣтъ?— спросилъ онъ, между прочимъ, у Свитки,—или онъ не бываетъ здѣсь?

— Нѣтъ, бываетъ иногда, но очень рѣдко,— отвѣчалъ тотъ, съ нѣкоторой неохотой, какъ показалось Хвалынцеву, и тотчасъ же перемѣнилъ разговоръ.

Все общество, въ разныхъ углахъ комнатъ, разбивалось на кружки, и въ каждомъ кружкѣ шли очень оживленные разговоры; толковали о разныхъ современныхъ вопросахъ, о политикѣ, объ интересахъ и новостяхъ дня, передавали разныя извѣстія, сплетни и анекдоты изъ правительственнаго, военнаго и административнаго міра, обсуждали разные проекты образованія, разбирали вопросы исторіи, права и даже метафизики, и всѣ эти разнородныя темы обобщались однимъ главнымъ мотивомъ, который въ тѣхъ или другихъ варіаціяхъ проходилъ во всѣхъ кружкахъ и сквозь всѣ темы, и этимъ главнымъ мотивомъ были Польша и революція—революція польская, русская, общеевропейская и, наконецъ, даже общечеловѣческая.

Хвалынцевъ замѣтилъ, что очень многіе за разрѣшеніемъ спорныхъ вопросовъ обращались къ Чарыковскому, который сидѣлъ въ самой отдаленной комнаткѣ, среди очень небольшого и тѣснаго кружка. Чарыковскій вообще говорилъ мало и держалъ себя весьма сдержанно, но все, что произносилъ онъ, носило скорѣе характеръ краткихъ и окончательныхъ приговоровъ, чѣмъ споровъ и разсужденій.

Много было толковъ о современномъ состояніи русскаго общества, и всѣ мнѣнія болѣе или менѣе согласовались въ томъ, что общество теперь наканунѣ огромнаго революціоннаго переворота, при чемъ проводили параллель между Россіей и Франціей 1788 года. Назначалось даже время, къ которому общерусская революція вспыхнетъ необходимо и неизбѣжно, и временемъ этимъ долженствовалъ быть 1863 г., когда окончательно прекратятся временно-обязательныя отношенія крестьянъ къ помѣщикамъ, а причина будущей революціи видѣлась въ томъ, что помѣщики недовольны и ропщутъ, и что правительство «понадуло» крестьянъ, и крестьяне будто бы увидятъ это по прекращеніи обязательныхъ отношеній. Чѣмъ именно правительство «понадуло», объ этомъ не говорилось, но всѣ какъ-то единодушно были согласны, что «понадуло, да и конецъ!» У многихъ на устахъ была знаменитая и, какъ видно модная въ этомъ кружкѣ фраза «*Колокола*»: «народъ обмануть!» Говорили и о финансовомъ кризисѣ, и о томъ, что Россія не сегодня-завтра — круглый банкротъ.

Въ тѣ времена почти вездѣ и зачастую слышались разговоры на подобныя темы. Хвалынцеву и самому не однажды доводилось разговаривать объ этихъ «матеріяхъ важныхъ»; но въ другихъ домахъ и въ другихъ кружкахъ, при разсужденіяхъ о печальномъ положеніи Россіи, онъ зачастую подмѣчалъ какую-то горечь русскаго сердца и боль русской души о своемъ кровномъ, родномъ дѣлѣ. Здѣсь же не могъ не замѣтить онъ нѣкотораго злорадства, которое явно сквозило во всѣхъ препирательствахъ и толкахъ о печальномъ современномъ положеніи. Болѣе общимъ вопросомъ былъ вопросъ о томъ, какъ встрѣтить и перенести будущую русскую революцію образованному и военному сословію.

— Я, полагаю,—говорилъ одинъ бравый поручикъ въ конно-артиллерійской формѣ, — я полагаю, что въ русскомъ обществѣ необходимо должны составиться свои центры дѣйствія, которые противупоставятъ силѣ правительства силу общественнаго заговора.

— Правительство уже безсильно! — съ шумомъ возражали ему съ разныхъ сторонъ. — Развѣ недостаточно доказательствъ хоть бы въ студентской исторіи? Развѣ всѣ эти стѣснительныя мѣры не доказательство слабости.

— Кружки! центры дѣйствія! — возражали другіе.—Но любопытно бы знать, какъ это организуются они среди *русскаго* общества?

— Какъ бы то ни было, но они, по силѣ вещей, должны организоваться! — съ убѣжденіемъ настаивалъ бравый поручикъ; — тихо, или быстро, явно или тайно — это зависитъ отъ силы людей, отъ сближенія, отъ согласія ихъ, но они образуются! Остановиться теперь уже невозможно. Тутъ все можетъ способствовать: и общественные толки, и слово, и печать, и дѣло — все должно быть пущено въ ходъ. Задача въ томъ, чтобы обезсилить окончательно власть.

— А войско?—возразилъ Хвалынцевъ.

— Э, что такое войско?—заспорилъ конно-артиллеристъ.—Я самъ солдатъ, я знаю! Дисциплина въ нашемъ войскѣ держится только страхомъ палки, шпицъ-рутенами, а вотъ погодите: отмѣнятъ тѣлесныя наказанія, дисциплина разомъ упадетъ до нуля, и войско сдѣлаетъ ручку правительству. Я убѣжденъ въ этомъ, я знаю. Вообще теперь самое полезное — оставлять коронную службу: этимъ власть обезсиливается.

— А я думаю, что иногда гораздо полезнѣе внести *свое* вліяніе въ служебную дѣятель-

Digitized by Google

ность, — скромно замѣтилъ офицеръ въ комиссаріатской формѣ.

— Да, *иногда*, — согласился бравый поручикъ,—но отнюдь не въ гражданской службѣ. Въ военной иное дѣло. Чѣмъ больше будетъ у насъ развитыхъ, образованныхъ офицеровъ, тѣмъ успѣшнѣе пойдетъ пропаганда: солдаты, во-первыхъ, не пойдутъ тогда противъ крестьянъ, когда тѣ подымутся всею землею; во-вторыхъ, образованные офицеры не помѣшаютъ освободиться и Польшѣ. Розовьете вы, какъ слѣдуетъ, пропаганду между офицерами — вы облегчите революцію и вызовете ее гораздо скорѣе. Образованный офицеръ не пойдетъ противъ поляковъ.

— Русскіе-то? Ха, ха, ха!.. всегда пойдутъ!— съ презрительной усмѣшкой махнулъ рукою путеецъ.

— Не пойдутъ!—настойчиво убѣждалъ поручикъ.—Я самъ солдатъ, говорю вамъ, я знаю!.. Не пойдутъ, если будутъ убѣждены, что выходъ русскихъ войскъ изъ Польши необходимъ, и если—conditio sine qua non—сила правительства будетъ равняться нулю.

— Но что вы заставите ихъ въ этомъ случаѣ разумѣть подъ Польшей? — скромно возразилъ Хвалынцевъ.—Тотъ-ли клочокъ земли, который извѣстенъ подъ именемъ Царства Польскаго, или...

— Какъ это «Царство Польское?»—съ недоумѣніемъ перебилъ его конно-артиллеристъ. — Не Царство разумѣю я, а всю, всю Польшу, какъ она есть,—всю, въ границахъ 1772 года! Всѣ тѣ земли, гдѣ масса народа или говоритъ по-польски, или привязана къ прежней уніатской вѣрѣ, всю Литву, Бѣлоруссію, Волынь, Украйну, Подолію, Малороссію, все это единая и нераздѣльная Польша. Иной я не признаю и не понимаю.

— Но вѣдь народъ въ Малороссіи... снова попытался было возразить Хвалынцевъ, но поручикъ не далъ ему даже досказать и заговорилъ еще съ бо́льшимъ жаромъ!

— Народъ!.. Во всѣхъ этихъ земляхъ народъ если и не носитъ официально имени поляковъ, то все же онъ полякъ, — полякъ до мозга кости своей, потому что въ немъ жизнь польская, стремленія польскія, духъ польскій; потому что этотъ народъ былъ польскимъ. Этому вѣдь только въ официальныхъ учебникахъ не учатъ, а на дѣлѣ оно такъ! Я это лучше знаю! И вамъ, господа русскіе, вамъ, честное, молодое поколѣніе, пора, наконецъ, проснуться отъ долгой русской летаргіи; и вы сами съ своимъ развитіемъ должны же понять, что вашъ первый, священный долгъ освободить Польшу и даже идти за нее передовыми бойцами, потому что, освобождая Польшу, вы освобождаете и Россію, себя освобождаете! Неужели вамъ, честнымъ юношамъ, не стыдно глядѣть въ глаза всей Европѣ, которая съ презрѣніемъ клеймитъ васъ названіемъ палачей и варваровъ? Смойте же, наконецъ, это позорное пятно! Докажите цѣлому свѣту, что вы честные, справедливые люди, что вы такіе же славяне, какъ и поляки, и не хотите вѣшать и стрѣлять своихъ братьевъ!

Офицеръ говорилъ бойко, краснорѣчиво, съ энергіей убѣжденія и фанатическимъ жаромъ. Въ его выразительныхъ глазахъ, въ его видной, красивой и энергической наружности было очень много симпатичнаго и невольно подкупающаго. Поминутныя фразы «я знаю», «я это лучше знаю», фразы, которыя указывали на маленькое самолюбіе и маленькую самоувѣренность этого офицера и которыя въ началѣ чуть было не заставили улыбнуться Хвалынцева, не помѣшали ему однако выслушать очень серьезно всю эту краснорѣчиво-горячую тираду. Слова «палачи и варвары», сопоставленныя со словами «честное молодое поколѣніе» даже ударили его по очень тонкой струнѣ молодого самолюбія, а въ послѣдніе дни эта самая струнка очень часто и очень ловко задѣвалась графиней Цезариной.

— Вы говорите о насъ, о русскомъ молодомъ поколѣніи,—обратился онъ къ поручику.— Неужели вы думаете, что мы не понимаемъ, не чувствуемъ сами всѣ эти упреки, которые высказываютъ Россіи? Но что же мы можемъ сдѣлать? Вѣдь все это хорошія слова, мы и сами ихъ хорошо умѣемъ говорить, но вы скажите намъ что̀ дѣлать? Если тутъ нужно дѣло, укажите его!

— Не сидѣть сложа руки,—горячо и выразительно началъ офицеръ, методически высчитывая по пальцамъ.—Это разъ! Потомъ, не глядѣть равнодушно на безобразія администраціи и вообще власти; организовать изъ себя кружки, которые и словомъ, и дѣломъ, и вообще чѣмъ только можно, противодѣйствуютъ этимъ безобразіямъ. Затѣмъ — вносить и словомъ и дѣломъ свою пропаганду въ массы общества; не служить ни въ какой службѣ, исключая какъ во фронтѣ, для подготовки войска, или брать только такія мѣста, гдѣ можно имѣть непосредственное вліяніе на мужиковъ— вотъ что нужно дѣлать! И во всякомъ случаѣ, идти рука объ руку съ поляками, потому что невозможно отдѣлять дѣло польской свободы отъ русскаго дѣла. Помогая полякамъ, вы только самимъ же себѣ помогаете, не болѣе!

— Но вопросъ въ томъ, захотятъ ли поляки нашего участія? — возразилъ Хвалынцевъ.—У насъ къ нимъ одно сочувствіе и ни тѣни ненависти. Но я знаю по трехлѣтнему университетскому опыту, поляки всегда чуждались насъ; у нихъ всегда для насъ одно только сдержанное и гордое презрѣніе; наконецъ, сколько разъ приходится слышать намъ отъ поляковъ слова злорадства и ненависти не къ правительству, но къ намъ, къ Россіи,

Digitized by Google

къ русскому народу, такъ нуждаются ли они въ нашемъ сочувствіи?

Говоря это, Хвалынцевъ думалъ сдѣлать легкій намекъ, что не далѣе какъ сегодня же, въ этой самой комнатѣ, все то, что въ русскомъ сердцѣ могло бы вызвать только боль и скорбь, здѣсь встрѣчало какое-то злорадство. Конно-артиллеристъ, казалось, угадалъ его мысль.

— Во-первыхъ, вездѣ есть свои фанатики,— заговорилъ онъ;—и смотрите на нихъ не болѣе, какъ на фанатиковъ. Случалось ли вамъ какъ-нибудь, напримѣръ, вколачивая гвоздь, хватить нечаянно молоткомъ по пальцу и въ первое мгновеніе, съ досадой, а то еще и выругавшись, швырнуть отъ себя молотокъ? Ну, за что вы изругали молотокъ? Вѣдь онъ не виноватъ, онъ только орудіе, но вы выругали его, потому что это орудіе причинило вамъ боль, вы вѣдь сдѣлали это почти безсознательно, не такъ ли?

Студентъ согласился.

— Ну, вотъ то же самое и фанатики!— живо подхватилъ поручикъ.—Они чувствуютъ боль и, отуманенные болью, не разбирая, ругаютъ молотокъ, а вѣдь молоткомъ-то является тутъ все же русскій народъ въ рукахъ правительства. А что касается студентовъ, то чего же вы могли и ждать отъ людей угнетенныхъ, задавленныхъ? Кто страдалъ такъ много и долго, тому свойственна и замкнутость, и недовѣріе. Вы имъ предлагали доброе *слово*— предложите теперь доброе *дѣло*, дайте не риторику, а хлѣбъ насущный, и тогда посмотрите, будутъ ли васъ чуждаться. Наконецъ, вы молодое поколѣніе, должны, со всѣмъ смиреніемъ, первые протянуть руку дѣла полякамъ, чтобы искупить долгій историческій грѣхъ вашихъ отцовъ. Фанатиковъ вѣдь немного, а за ними стоитъ цѣлый народъ, который съ надеждой смотритъ на васъ и ждетъ отъ васъ помощи.

Эта бесѣда сдѣлала-таки свое впечатлѣніе на Хвалынцева и впечатлѣніе становилось тѣмъ сильнѣе, чѣмъ болѣе старался онъ найти возраженій на доводы собесѣдника, а возраженій межъ тѣмъ не находилось. Студентъ, наконецъ, сознался въ глубинѣ души, что ему больше нечего сказать своему противнику.

«Стало-быть, правы все-таки *они*, а не *мы*. Что же дѣлать? Что дѣлать теперь?» снова поднялся въ немъ старый вопросъ, который уже неоднократно и прежде тысячью сомнѣній тревожилъ и умъ его и совѣсть, а теперь вдругъ сталъ предъ нимъ со всею настойчивою и безпощадною неотразимостью.

Хвалынцевъ ясно почувствовалъ, что пора наконецъ на что-нибудь рѣшиться.

XVI.

Роковые вопросы.

Въ нервно-возбужденномъ состояніи вышелъ онъ на улицу вмѣстѣ со Свиткой. Услужливый Свитка, подъ тѣмъ предлогомъ, что давно не видались и не болтали, вызвался пройтись съ нимъ, по пути. Хвалынцеву болѣе хотѣлось бы остаться одному, со своею мучащею, назойливою мыслью, но Свитка такъ неожиданно и съ такой естественной простотой предложилъ свое товарищество, что Константинъ Семеновичъ, взятый врасплохъ, не нашелъ даже достаточнаго предлога, чтобы отдѣлаться отъ него. Ночь была ясная и звѣздная.

— Ну что, вамъ не надоѣлъ еще вашъ арестъ?—шутя спросилъ Свитка дорогой.

— Пока еще нѣтъ. А все-таки, скоро ли онъ кончится?

— Теперь уже не долго... Дайте еще только чуточку поуспокоиться властямъ предержащимъ, и мы васъ выпустимъ: гуляйте себѣ на всѣ четыре стороны!

Хвалынцеву вдругъ стало даже жалко какъ-то, что скоро кончится для него эта прелесть таинственной жизни, подъ одною кровлею съ женщиной, которая все болѣе и болѣе овладѣвала его помыслами и чувствомъ.

— А какъ вы находите графиню Маржецкую?—неожиданно спросилъ Свитка.

— Я ее уважаю,—отвѣтилъ вполнѣ серьезно и даже нѣсколько сухо Хвалынцевъ, не желая дѣлать эту женщину предметомъ праздной, легкой болтовни, что чувствовалось по тону вопроса.—А вотъ вы скажите мнѣ лучше, кто этотъ конно-артиллеристъ?—спросилъ онъ.

— О, это голова!.. Кабы такихъ побольше между офицерами!

— Фамилія его?

— Бейгушъ. Онъ съ забраннаго края, съ Литвы. А какъ вы его находите?

— Онъ говоритъ дѣло, и хорошо говоритъ.

— Еще бы. Я думаю!.. А что, пане Хвалынцевъ, помните вы наши послѣдніе разговоры?—съ простодушною шутливостью предложилъ вдругъ Свитка новый вопросъ.

— Разговоры были не такого свойства, чтобы можно скоро забыть.

— Ну, и говоря откровенно, какъ теперь ваше мнѣніе?

— Вы хотите полной откровенности? Извольте!—согласился Хвалынцевъ. — Я сочувствую этому дѣлу, сочувствую, какъ мнѣ кажется, на сколько могу, всею душою моею, но...

— Вотъ всегда у васъ это «*но*» является,— смѣясь перебилъ Свитка; — а вы безъ «*но*»; говорите прямо!

— Я прямо и говорю вамъ.

— Итакъ, въ чемъ же «*но*»?

Digitized by Google

— «*Но*» въ томъ, что меня мучитъ одно весьма серьезное сомнѣніе. Я сомнѣваюсь въ себѣ самомъ, въ своихъ силахъ. Вѣдь чтобъ отдаться дѣлу, нужно взвѣсить и сообразить многое, и прежде всего, нужно знать его.

Свитка помолчалъ немного, обдумывая, что́ и какъ отвѣтить.

— Вы знаете уже достаточно, — серьезно заговорилъ онъ.—Если вы убѣждены, по собственному опыту, что то положеніе, въ какомъ принуждены жить и вы, и мы, есть положеніе невыносимое; если вы чувствуете, что не созданы быть малодушнымъ и подлымъ рабомъ—простите мой рѣзкій языкъ!—и если вы, наконецъ, сознаете, что такъ или иначе надо измѣнить это положеніе—вы уже знаете достаточно, чтобы рѣшиться! А когда вы окончательно рѣшитесь, то окончательно и все узнаете. Ранѣе же этого знать *все* невозможно: дѣло слишкомъ большое и серьезное. Скажу вамъ пока только то, что къ этому дѣлу принадлежатъ уже не сотни, но тысячи честныхъ и надежныхъ людей, по всѣмъ концамъ Россіи, на всѣхъ, такъ сказать, ступеняхъ общества.

— И вы увѣрены, что между этими тысячами не найдется хоть одного Іуды?—спросилъ Хвалынцевъ.

Свитка засмѣялся.

— О, такая увѣренность была бы слишкомъ наивна!—возразилъ онъ. — Тридцать сребренниковъ для мелкой душонки всегда будутъ достаточной приманкой. Но мы Іудъ не боимся, они для насъ ни мало не опасны. Все дѣло въ организаціи общества, а организація такова, что Іуда, во всякомъ случаѣ, можетъ выдать не болѣе трехъ человѣкъ, никакъ не болѣе! Ну, а убыль нѣсколькихъ головъ нисколько не повредитъ общему великому строю дѣла, потому что главныя нити и пружины — ухъ, какъ далеко и высоко отъ насъ грѣшныхъ!.. Каждый членъ имѣетъ свой опредѣленный кругъ обязанностей, и внѣ этого тѣснаго круга ему ничего неизвѣстно. Вѣдь и тутъ есть своя тайная іерархія и своя постепенность,—сразу никому не открывается *все*, а съ расширеніемъ дѣятельности и кругъ зрѣнія расширяется. Наконецъ, противъ Іудъ есть и противоядія хорошія: вспомните хотя бы контръполицію! Наши сидятъ вездѣ и повсюду, и слѣдятъ за всѣмъ, такъ что мы имѣемъ всегда полную возможность предупредить слишкомъ дурныя послѣдствія. А Іуды несутъ заслуженное возмездіе; вѣдь для нихъ существуетъ и спеціальное дерево—осина! И такъ, все-таки въ чемъ же ваше «*но*», я не понимаю?—спросилъ въ заключеніе Свитка.

— Мое «*но*», говорю вамъ,—сомнѣніе въ самомъ себѣ, въ своихъ силахъ. Чѣмъ могу я быть полезенъ? что̀ могу сдѣлать для дѣла? Соціальное положеніе мое слишкомъ еще маленькое, средства тоже не Богъ-вѣсть какія; подготовки къ дѣлу ни малѣйшей! Вы назвали меня солистомъ, но вотъ именно солиста-то въ себѣ я и не чувствую, а быть трутнемъ, какъ подумаю хорошенько, ужь нѣтъ ровно никакой охоты.

— Благородная скромность и честное сомнѣніе въ себѣ всегда были и будутъ отличительными признаками людей недюжинныхъ!—ментерски-серьезно и докторально замѣтилъ Свитка.—Одна только пустельга самоувѣренна и ни въ чемъ не сомнѣвается. Что вы изъ солистовъ, то это почувствуете вы сами при первомъ прикосновеніи къ серьезному дѣлу, а засимъ, вспомните что сказано: «имѣйте вѣру съ горчичное зерно, и вы будете двигать горами!» Не вѣрьте въ себя, но твердо вѣруйте въ дѣло, въ его правоту и святость, и вы тоже будете двигать, если и не горами, то массами живыхъ людей, которые для насъ теперь поважнѣе горъ!

Среди оживленнаго разговора Хвалынцевъ и не замѣтилъ, какъ они прошли болѣе половины пути. На углу Мѣщанской и Невскаго проспекта Свитка остановился и подалъ на прощанье руку.

— Ну, такъ какъ же? Въ дѣло или нѣтъ?—рѣшительно спросилъ онъ.

Студентъ пожалъ плечами.

— Э, Боже мой! Рѣшайтесь!—ободрительно махнулъ рукой Свитка,—рѣшайтесь такъ: aut Caesar aut nihil.

— А если nihil? — сомнительно спросилъ Хвалынцевъ.

— Nihil?.. Nihil все-таки лучше, чѣмъ рабское прозябанье, чѣмъ эта апатія и нравственная мертвечина! Коли побѣдимъ—честь намъ и слава, а нѣтъ—исторія тоже не забудетъ насъ, да и собственное сознаніе останется, что погибли по крайней мѣрѣ не безславно, а за честное дѣло, за братскую свободу. Вѣдь умѣли же гибнуть наши отцы въ двадцать пятомъ и тридцать первомъ годахъ. Что же мы, чортъ возьми, хуже ихъ, что ли? Или ужь мы не дѣти своихъ отцовъ? Вѣдь за насъ и сочувствіе, и любовь, и помощь всей Европы, всего либеральнаго міра! Вѣдь и гибнуть-то такимъ образомъ не каждому такая честь дается! Такъ что же вы, *да* или *нѣтъ*?

Хвалынцевъ почувствовалъ какую-то мучительно-трепетную и сладкую тоску.

— Бога ради... Бога ради!—взволнованно заговорилъ онъ, крѣпко стискивая руку Свитки,—дайте мнѣ однѣ только сутки, одну только ночь, еще разъ подумать, взвѣсить и смѣрить самого себя, и я скажу вамъ! Я прошу для того, что не хочу ни себя, ни васъ обманывать.

— Ну, Бепе! быть по сему!—порѣшилъ Свитка и простился.

Хвалынцевъ кликнулъ извозчика и поѣхалъ на Владимірскую.

Digitized by Google

«Да что же я, наконецъ?!! Что я за человѣкъ-то, въ самомъ дѣлѣ?» досадно раздумывалъ онъ.—«Все ли равно мнѣ, какъ ни жить и что ни терпѣть, или нѣтъ? И изъ-за чего не могу я рѣшиться ни туда, ни сюда? Ну что̀ меня заставляетъ быть не съ ними, что̀ меня удерживаетъ? Что же *здѣсь-то* въ самомъ дѣлѣ? Отсутствіе всякаго права, стѣсненіе слова, закрытіе университетовъ, свобода и стрѣляніе въ крестьянъ, какъ въ Высокихъ Снѣжкахъ, стрѣляніе въ поляковъ, въ безоружныя толпы дѣтей и женщинъ—это все, что-ли, такъ мило и достолюбезно? За это, что-ли, стою я? Чего же мнѣ жаль-то тутъ?!.. А *тамъ*, тамъ хоть можетъ быть и мечтаютъ, и увлекаются, да вѣдь какія мечты, какія увлеченія! Какія цѣли великія и какая подготовка! Итакъ, другъ любезный, кто же ты, наконецъ, и за что̀ стоишь ты?»

И съ этимъ роковымъ, но все еще не разрѣшеннымъ окончательно вопросомъ въ душѣ, Хвалынцевъ вернулся домой, въ квартиру графини Маржецкой.

XVII.

Aut Caesar, aut nihil!

Тихо пройдя въ свою комнату, онъ услышалъ звуки рояля. Человѣкъ на вопросъ его отвѣтилъ, что графиня одна и цѣлый вечеръ никуда не выѣзжала изъ дома. Это она играла. Чтобы не прерывать ея игры, Константинъ Семеновичъ осторожно вошелъ въ залу, освѣщенную одной только матовой лампой, и тихо остановился въ дверяхъ, позади Цезарины. Изъ-подъ ея изящно-блѣдныхъ, тонкихъ пальцевъ гремѣли полнозвучные, могучіе аккорды—и было въ нихъ что-то величественное, грозное и скорбящее. То были звуки какого-то религіознаго гимна, какъ показалось Хвалынцеву. Онъ стоялъ и слушалъ, какъ переливались эти звуки, какъ окрылялись они парящею въ небеса силой, словно грозно-молящіе стоны и вопли цѣлаго народа, и какъ потомъ стали стихать, стихать понемногу, переходя въ болѣе мягкіе, нѣжные тоны—и вдругъ, вмѣстѣ съ этимъ переходомъ, раздался страстно-пѣвучій, густой и полный контральто Цезарины:

Боже, что Польшу родимую нашу
Славой лелѣялъ столь долгіе вѣки,
Ты, отвращавшій намъ горькую чашу
Броней своей всемогущей опеки,
Нынѣ къ Тебѣ мы возносимъ моленье:
Отдай намъ свободу! Пошли избавленье!

Она пѣла по-польски. Константинъ Семеновичъ вслушался и узналъ знакомыя слова той знаменитой «Boze coś Polske», которую столько разъ декламировала и переводила ему Цезарина. Но пѣнія ея до сей минуты онъ еще не слыхалъ ни разу. Его поразилъ и этотъ звучный, симпатичный голосъ, и эта страстно-религіозная выразительность самой манеры пѣнія. Онъ стоялъ тихо, почти затаивъ дыханіе, изъ боязни обнаружить свое присутствіе и нарушить имъ вдохновеніе этой минуты. А эта женщина, казалось, вся была полна теперь вдохновенія и религіознаго восторга. Одѣта она была совсѣмъ по домашнему, въ кашемировый пеньюаръ, съ черными четками на шеѣ. На рукѣ, открытой гораздо выше кисти, чернѣлъ вороненый браслетъ, въ видѣ каторжной цѣпи. На плечи и спину ея падали густыми, тяжелыми волнами распущенные пепельные волосы — самая модная польская прическа того времени, служившая однимъ изъ символовъ скорби по отчизнѣ. Графиня, когда оставалась дома, почти всегда носила эту прическу, которая еще болѣе придавала оригинальной прелести ея и безъ того оригинальной красотѣ.

Она кончила свой гимнъ, а звуки, не переставая торжественно гремѣть и стонать подъ ея пальцами, мало-по-малу перелились въ иные тоны, которые дышали еще бо́льшимъ, почти фанатическимъ религіознымъ экстазомъ, и снова зазвучалъ ея контральто:

Съ дымомъ пожаровъ и съ кровію братій
Бьетъ въ небеса нашъ отчаянный голосъ.
Вопли послѣдніе... стоны проклятій...
Съ этихъ молитвъ побѣлѣетъ и волосъ!

Этотъ молящійся женскій голосъ, эти религіозно-торжественные звуки, этотъ напѣвъ, полный фанатизма и чего-то трагическаго, и наконецъ, самый смыслъ этихъ изступленныхъ многоскорбныхъ словъ—все это глубоко проникало въ душу юноши и произвело на него потрясающее дѣйствіе. Многое поднялось и заговорило въ немъ въ эту минуту: и сладкій трепетъ религіознаго восторга, и упоеніе звуками прекраснаго голоса, и теплое, страстное чувство увлеченія этою женщиною, и боль щемящая, и энергическая рѣшимость все принести въ жертву ради этого идола. Онъ стоялъ, какъ онѣмѣлый, какъ зачарованный, только внутренняя дрожь пробѣгала по всему тѣлу, да слезы, иными мгновеньями, готовы были хлынуть.

Цезарина встала изъ-за рояля и только тутъ замѣтила Хвалынцева. Она нѣсколько смутилась этою неожиданностью, но замедлясь на мигъ, прямо подошла къ нему и ясно увидѣла то впечатлѣніе, подъ которымъ онъ находился.

Словъ у него не было, но глаза говорили лучше словъ, и Цезарина поняла, что это такая минута въ нравственной жизни его внутренняго міра, которой нельзя дать пройти безплодно.

— Поздравьте меня: мое знамя готово! Сегодня кончила!—свѣтло улыбаясь, протянула

Digitized by Google

она ему руку; — я предпочла остаться нынче дома, и хорошо сдѣлала. Пойдемте, я вамъ покажу.

Въ немъ только-что начиналъ еще разсѣваться туманъ очарованія.

— Ну, что же вы стоите? Пойдемте, говорю!

— Постойте... Дайте опомниться... Отчего вы раньше никогда не пѣли?

Цезарина съ улыбкой пожала плечами.

— Такъ... не хотѣлось... Я вообще пою мало и рѣдко, развѣ ужь потребность такая на душу найдетъ, да и то только когда бываю одна, совсѣмъ одна. Однако-же, мнѣ хочется похвастаться предъ вами моимъ знаменемъ.

И она провела его въ будуаръ — обычное мѣсто ея работы.

Великолѣпное богатое знамя, отороченное золотой бахромой, съ золотыми кистями по концамъ, было уже снято съ пялецъ и наброшено, для виду, на высокую спинку широкаго готическаго кресла. Въ немъ дѣйствительно было на что полюбоваться и было чѣмъ похвалиться, и Цезарина сама залюбовалась на свое произведеніе.

— Все, какъ видите, все сработано моими собственными руками! — говорила она. — Никому не уступила я чести приложить къ этой работѣ свою руку! Даже весь матеріалъ, каждую нитку, каждую шелковинку сама покупала. Польское знамя должно быть сработано польскими же руками.

— И знамя вполнѣ достойно дѣла! — съ похвалой замѣтилъ Хвалынцевъ.

— А не странно ли! — вдругъ сказала она. — Вы, русскій, москаль, и вы первый увидѣли у меня это знамя, первый узнали про мою работу, на вашихъ глазахъ она кончилась, и даже первый похвалили ее вы, москаль!.. Москаль, говорю я!.. Но кто-то первый подыметъ и понесетъ его? — съ грустно-раздумчивымъ вздохомъ добавила она, послѣ короткаго молчанія.

— Найдется человѣкъ! — какъ-то неопредѣленно замѣтилъ Хвалынцевъ.

— О! если такой найдется, и если съумѣетъ быть дѣйствительно героемъ, — тихо говорила она, съ тою-же блуждающею по лицу грустно-раздумчивою улыбкою; — да я не знаю, на что бы я рѣшилась для такого человѣка! Вся благодарность польки... даже... вся душа, все сердце, вся жизнь, вся любовь моя принадлежала бы этому человѣку!..

— А если бы этотъ человѣкъ былъ русскій, москаль, какъ вы называете? — тихо спросилъ Хвалынцевъ, у котораго вдругъ захолонуло сердце.

— Все равно, кто бы ни былъ, лишь бы шелъ за свободу моей отчизны, лишь бы точно былъ героемъ! — съ огнемъ увлеченія заговорила Цезарина.

У Константина въ глазахъ даже замутилось. Онъ былъ блѣденъ. Онъ чувствовалъ, что сейчасъ должно свершиться съ нимъ что-то рѣшительное, роковое и безповоротное. Теперь уже, казалось, не самъ онъ идетъ къ этой цѣли, а такая-то независящая отъ его воли великая, внутренняя сила сама влечетъ и толкаетъ его дальше, дальше и дальше...

— А если... если я возьму и понесу это знамя? — съ трудомъ, почти задыхаясь, глухо проговорилъ наконецъ Хвалынцевъ.

Цезарина долго и серьезно посмотрѣла на него. Онъ неотводно глядѣлъ въ ея лицо, какъ-бы желая прочесть въ немъ свой приговоръ.

Она вдругъ тихо подняла свои руки и положила къ нему на плечи.

— Если это будетъ такъ, я ваша! — медленно и твердо сказала она. — Но знайте, только тогда... Тогда, но не раньше!

Хвалынцевъ восторженно схватилъ ея руки и сталъ покрывать ихъ безчисленными благодарными и влюбленными поцѣлуями. Онъ не видѣлъ ея лица, не видѣлъ того выраженія и той улыбки, которая играла на немъ въ эту минуту, но чувствовалъ, что эта женщина близко склоняется надъ его поникшимъ лицомъ, почти приникаетъ къ самому плечу его; чувствовалъ на горячей щекѣ своей легкое, случайное прикосновеніе ея душистаго локона; чувствовалъ, что она не отрываетъ и не хочетъ отрывать рукъ изъ-подъ его поцѣлуевъ, и какое-то странное благоговѣніе къ ней проницало всю его душу.

— Aut Caesar, aut nihil — шепталъ онъ, покрывая восторженными поцѣлуями ея блѣдныя, артистически созданныя руки.

XVIII.

Caesar.

На другой день, рано утромъ, графиня Маржецкая отослала съ человѣкомъ къ Іосифу Колтышкѣ записку, и въ тотъ же день, послѣ обѣда, совершенно неожиданно посѣтилъ Хвалынцева Свитка.

— Ну, пане Константы! я къ вамъ сегодня радостнымъ вѣстникомъ! — заговорилъ онъ, хлопнувъ своею ладонью въ руку студента; — поздравляю! вы свободны — арестъ вашъ конченъ, однимъ словомъ, гуляйте гдѣ благоугодно!

— Итакъ все уже кончено? — безъ особенныхъ признаковъ радости спросилъ Константинъ Семеновичъ.

— То-есть, главная-то гроза миновала. Я говорю насчетъ арестовъ, казематовъ, допросовъ и прочихъ удовольствій, — пояснилъ Свитка; — но тутъ еще остаются кое-какія маленькія загвоздки, которыя, впрочемъ, легко будутъ устранены, если только вы сами того захотите.

Digitized by Google

— Въ чемъ дѣло? Какія загвоздки?

— А это ужь по части администраціи и университета. Вы этого, можетъ быть, еще не знаете, а тамъ, что называется «свыше», рѣшено, буде кто не взялъ матрикулы — долой изъ студентовъ! А кто долой, тѣхъ въ сорокъ восемь часовъ высылаютъ изъ столицы на мѣсто родины, подъ надзоръ полиціи, если нѣтъ въ Петербургѣ близкихъ родныхъ или надежныхъ поручителей. Однимъ словомъ, очень попечительно! Нашихъ уже очень многихъ выслали на казенный счетъ, въ Польшу да въ Литву... Ха, ха, ха!.. Молодцы, ей-Богу! Мы имъ весьма даже благодарны за это. А есть у васъ кто-нибудь изъ родныхъ здѣсь?—спросилъ онъ.

— Никого не имѣется.

— Фю-фю-ю!.. Ну, эдакъ пожалуй черезъ двое сутокъ будете на пути въ славнобубенскія дебри и веси!.. Плохо дѣло!.. Надо будетъ, значитъ, подыскать надежнаго поручителя. Есть въ виду кто-нибудь?

Студентъ сталъ припоминать въ умѣ разныхъ своихъ знакомыхъ и сомнительно пожалъ плечами. Вполнѣ подходящаго и настолько короткаго знакомаго, къ которому можно бы обратиться съ такой просьбой, у него не было на примѣтѣ.

— Право не знаю теперь... Надо подумать,— сказалъ онъ.

— Ну, вы думайте себѣ, и мы тоже подумаемъ, авось кто-нибудь и выдумаетъ! Надо постараться, — весело усмѣхнулся Свитка и взялся за шапку.

— Постойте, — остановилъ его Хвалынцевъ.—Два слова насчетъ нашего послѣдняго разговора—я рѣшился.

Свитка притворился пріятно удивленнымъ.

— То-есть, aut Caesar, aut nihil? или рѣшились прочь?

— Я вашъ и душой и тѣломъ! дѣлайте со мною все, что потребуетъ польза дѣла,—сказалъ студентъ, и почувствовалъ послѣ этихъ словъ, словно бы какая-то гора у него съ плечъ скатилась.

Свитка въ отвѣтъ молча заключилъ его въ свои объятья и разцѣловался нѣсколькими крѣпкими поцѣлуями.

— Ну, вотъ за это спасибо! — радостно проговорилъ онъ.—И такъ, полный, нерушимый и братскій союзъ!.. Дѣло! что дѣло, то дѣло! А теперь, съ первой же минуты, необходимо сообщить вамъ кой-какія главныя инструкціи. Прежде всего помните пословицу: ѣшь пирогъ съ грибами, а языкъ держи за зубами. Это главнѣе всего. Если вы даже и будете знать, что такой-то, напримѣръ, принадлежитъ къ организаціи, то все-таки отнюдь не выдавайте ему себя; развѣ ужь будетъ вамъ поручено какое-либо дѣло лично къ нему—ну, въ этомъ случаѣ можно открыться, и то потому только, что необходимость заставитъ. Потомъ не старайтесь узнавать фамиліи принадлежащихъ къ организаціи. Это необходимо въ видахъ обезпеченія общей нашей безопасности. Часто, по какому-нибудь дѣлу, вамъ можетъ быть указанъ человѣкъ, совершенно вамъ неизвѣстный. Вамъ не скажутъ ни его фамиліи, ни его квартиры, но сообщатъ какой-нибудь внѣшній характеристичный признакъ и укажутъ мѣсто, гдѣ встрѣтиться—на улицѣ, въ церкви, въ театрѣ, въ трактирѣ, гдѣ бы то ни было. Чтобы подойти и заявить ему себя, вамъ скажутъ заранѣе двѣ или три цифры, которыя вы можете показать ему на клочкѣ бумажки, либо еще лучше, подойти и сказать это число. Онъ уже будетъ знать, что вы свой и что у васъ есть дѣло лично къ нему. Это, вотъ видите, я поясню вамъ примѣромъ. Напримѣръ, вы и я. Предположите, что мы совсѣмъ не знаемъ другъ друга. Центръ поручаетъ мнѣ передать вамъ какое-нибудь сообщеніе. Вы имѣете свой собственный, постоянный и неизмѣнный нумеръ или число; положимъ, что это число будетъ хоть 330.441. Я, вовсе не зная васъ, подхожу къ вамъ и осторожно, какъ будто про себя и въ сторону, говорю либо три первыя, либо три послѣднія цифры вашего числа, смотря по тому, которыя изъ нихъ будутъ сообщены мнѣ чрезъ моего непосредственнаго старшаго. Этотъ условный знакъ покажетъ вамъ, что я заслуживаю въ извѣстной мѣрѣ довѣріе. Если же я произнесу полное ваше число, то это значитъ, что я заслуживаю полнаго довѣрія. Тогда вы можете, по всѣмъ извѣстнымъ вамъ дѣламъ, говорить со мной совсѣмъ откровенно. Затѣмъ вотъ что: всѣ дѣла ведите болѣе на словахъ, а не на бумагѣ, чтобы никакихъ уликъ не оставалось, а если иногда необходимость и заставитъ писать, то старайтесь выражаться какъ-нибудь иносказательно или намеками, но никогда не высказывайтесь открыто и прямо. Можете съ осторожностью вербовать себѣ новыхъ адептовъ. Обыкновенно вербуйте двухъ, съ которыми вы сами составите тройку. Тройка принята въ основаніе здѣшней организаціи. Три двойки, одна тройки и единица составятъ десятокъ. Когда ваша двойка навербуетъ въ свой чередъ адептовъ, вы будете старшимъ десятникомъ, потомъ сотникомъ, и такъ далѣе. Вотъ и все, что вамъ надо пока принять къ свѣдѣнію, но это только пока, на первое время. И такъ руку, добрый товарищъ!

Хвалынцевъ съ удовольствіемъ подалъ ему руку, и они снова разцѣловались. Въ душѣ его въ эту минуту заговорило чувство гордаго довольства собою, что вотъ уже сдѣланъ первый шагъ на томъ пути, идти по которому онъ вчера далъ такое торжественное обѣщаніе графинѣ Цезаринѣ.

— Ахъ, да! Еще одно!—спохватился Свит-

Digitized by Google

ка.—У насъ принято въ сношеніяхъ съ членами, и особенно въ письменныхъ сношеніяхъ, избѣгать собственныхъ именъ и настоящихъ фамилій. Это тоже въ видахъ общей безопасности. Поэтому изберите для себя какой-нибудь псевдонимъ; только псевдонимомъ лучше взять названіе какой-нибудь вещи или отвлеченнаго предмета, чѣмъ фамилію, а то, пожалуй, еще qui pro quo какое-нибудь выйдетъ. Что вы хотите выбрать?

Хвалынцевъ подумалъ, — и мысль его невольно вилась около Цезарины, царившей теперь и надъ его чувствомъ и надъ всѣми помыслами.

— Вы мнѣ совѣтовали вчера рѣшиться на Caesar, aut nihil, сказалъ онъ,—я такъ и рѣшился. Пускай же, если нужно, и псевдонимъ мой будетъ Caesar!

— Браво! захлопалъ въ ладоши Свитка, улыбнувшись про себя такому мальчишеству. Браво! Славный и многознаменательный псевдонимъ! Отлично! Безподобно!

«Имя ея, имя Цезарины напоминаетъ», подумалъ про-себя Хвалынцевъ, только ради этого напоминанія и избравшій себѣ такой псевдонимъ. Въ этомъ было немножко и мальчишества, немножко и рыцарственнаго донъ-кихотства, и много юношеской влюбленности.

XIX.

Нежданный гость на новую дорогу.

Свитка отсовѣтовалъ Хвалынцеву тотчасъ же перебираться на старую квартиру. Онъ ему прямо, «какъ старшій», указывалъ оставаться у графини Маржецкой до того времени, пока не будетъ пріисканъ надежный поручитель, такъ какъ, въ противномъ случаѣ, полиція могла бы придраться къ экс-студенту и выслать его на родину въ теченіе двухъ сутокъ. Въ сущности же, Свитка дѣлалъ это для того, чтобы вновь завербованный адептъ еще болѣе укрѣпился въ своемъ рѣшеніи, а кто же лучше графини могъ поспособствовать этому?

На другой день утромъ онъ опять заѣхалъ къ Константину и, сообщивъ адресъ конно-артиллериста Бейгуша, сказалъ, что Бейгушъ будетъ ждать его нынче въ началѣ восьмого часа и что Хвалынцевъ непремѣнно долженъ явиться къ нему въ назначенное время.

Хвалынцевъ явился со всею аккуратностью новичка, усердно стремящагося къ исполненію своего долга, что для самолюбія всевозможныхъ доброхотныхъ новичковъ вообще бываетъ лестно и утѣшительно: это обыкновенно тѣшитъ ихъ на первое время.

Бейгушъ, вопреки ожиданіямъ Хвалынцева, ни полуслова не обронилъ ему насчетъ вступленія его въ тайное общество; онъ не выказалъ, по этому поводу, ни одобренія, ни признательности, ни даже какого бы то ни было мнѣнія, а прямо, безъ дальнихъ околичностей, спросилъ его:

— Вы не взяли себѣ матрикулы?

— Не взялъ.

— Стало-быть, вы покончили съ университетомъ?

— По неволѣ покончилъ.

— Въ университетѣ вы посвящали себя какой-либо исключительной спеціальности?

— Никакой. Я искалъ только университетскаго образованія.

— Для гражданской службы?

— Для чего бы то ни было.

— Но вы думали служить?

— Можетъ быть. Впрочемъ, окончательно я не рѣшилъ еще себѣ этотъ вопросъ.

— Такъ. Но теперь, въ настоящее время, не думаете ли вы посвятить себя какой-либо спеціальной дѣятельности?

— То-есть, въ какомъ это смыслѣ?

— Въ смыслѣ, напримѣръ, педагога, инженера, агронома, чиновника, врача, технолога, адвоката-юриста, и тому подобное.

— Нѣтъ, не думаю. Вообще, говорю, я не избралъ еще себѣ никакой исключительной дѣятельности.

— Но къ чему болѣе чувствуете себя склоннымъ?

Хвалынцевъ пожалъ плечами.

— У васъ есть какая-нибудь собственность?

— Есть часть имѣнія послѣ дяди и свое кой-какое.

— Можетъ быть, вы хотѣли бы служить по крестьянскимъ учрежденіямъ?

— Да; такая служба, мнѣ кажется, согласовалась бы съ моими способностями и симпатіями; но я пока еще не считаю себя достаточно подготовленнымъ для такой дѣятельности: у меня нѣтъ практическаго знакомства съ дѣломъ, съ бытомъ крестьянъ. Сначала, полагаю, надо эту сторону дѣла узнать покороче.

— Конечно; это безъ всякаго сомнѣнія. И такъ, вы пока еще не опредѣлили своего дальнѣйшаго пути?

— Какъ видите.

— Стало быть, для васъ, въ сущности, совершенно все равно, избрать тотъ или другой родъ дѣятельности?

— Пожалуй, кромѣ шпіонскаго, — шутливо улыбнулся Хвалынцевъ.

Бейгушъ посмотрѣлъ на него вопросительно и серьезно.

— Отчего же такъ? — спросилъ онъ. — Вы смотрите на это съ очень узкой и притомъ ошибочной точки зрѣнія.

Хвалынцевъ въ свою очередь поглядѣлъ вопросительно и недоумѣло.

— Да; это такъ!—продолжалъ Бейгушъ.— Должностей безчестныхъ нѣтъ. Есть только без-

Digitized by Google

честные люди. Вспомните, что не мѣсто красить человѣка, а человѣкъ—мѣсто.

— Но какими же судьбами человѣкъ можетъ украшать собою мѣсто шпіона?—смѣясь спросилъ Хвалынцевъ. Онъ былъ убѣжденъ, что Бейгушъ либо шутитъ не совсѣмъ-то кстати, либо съ разныхъ сторонъ выпытываетъ его.

— Какими судьбами?—переспросилъ поручикъ;—а очень просто. Представьте себѣ, что тайная полиція Луи-Наполеона вся наполнена людьми, и душою и тѣломъ преданными революціи; представьте себѣ, что нашъ корпусъ жандармовъ, наши секретныя канцеляріи переполнены прочными людьми нашего направленія: были-ли бы возможны аресты, ссылки, неудачныя движенія и взрывы? Положительно нѣтъ! И если въ этихъ учрежденіяхъ есть уже *наши*, то не должны ли мы благодарить ихъ, преклоняться, благословлять, даже благоговѣть предъ великимъ гражданскимъ подвигомъ этихъ самоотверженныхъ людей, которые, ради пользы великаго дѣла, не задумались навлечь на себя общественное нерасположеніе, недовѣріе, презрѣніе, однимъ словомъ, рѣшились покрыть себя позоромъ имени шпіона. Это высшій героизмъ! Это болѣе, чѣмъ на баррикадахъ подставить грудь свою подъ пули. На баррикадахъ вы жертвуете только собою и получаете въ награду красивое имя отважнаго героя; здѣсь-же вы точно такъ-же жертвуете собою, даже лучшею частію своего нравственнаго я, своимъ именемъ, своею честью, и охраняете сотни, тысячи людей, спасаете отъ погибели, можетъ быть, самое *дѣло* и въ награду за все несете общественное презрѣніе слѣпыхъ глупцовъ и непосвященныхъ, пользуетесь именемъ подлеца и шпіона: въ чемъ же болѣе жертвы? Что по вашему самоотверженнѣе и что болѣе достойно чести и удивленія?

— Согласенъ; но это уже цѣль оправдывающая средства,—замѣтилъ Хвалынцевъ.

— Да; цѣль оправдывающая средства!—съ спокойнымъ и твердымъ убѣжденіемъ подтвердилъ Бейгушъ.—Васъ, кажется, пугаетъ то, что это правило іезуитовъ? Не такъ-ли?

— Признаюсь, я не сочувствую іезуитскимъ правиламъ.

Бейгушъ тихо засмѣялся.

— Не сочувствуете, потому что не знаете ихъ. Это несочувствіе съ чужого голоса. Іезуиты, повѣрьте мнѣ, въ принципѣ стремятся къ высшему благу, къ торжеству высшей свободы всего человѣчества.

— На этихъ словахъ поручикъ остановился, замѣтивъ, что Хвалынцевъ начинаетъ морщиться.

— Но оставимъ іезуитовъ: они сами по себѣ, а мы сами по себѣ. Я сказалъ это такъ только, къ слову,—поспѣшилъ онъ оправдаться.—Дѣло не въ іезуитахъ, а въ извѣстномъ принципѣ. Но вѣдь и іезуиты не все же вырабатывали одну только скверность, выработали же и они что-нибудь хорошее, пригодное и для не-іезуитовъ. Отчего-жь бы намъ не позаимствоваться и у нихъ этимъ хорошимъ? Вѣдь это ребячество—думать иначе! Если вы хотите парализовать силы своего врага, боритесь съ нимъ оружіемъ, если не превосходнѣйшимъ, то хотя равнымъ, боритесь его же оружіемъ. Всѣ почти революціи шли этимъ путемъ; а иначе и заговоръ невозможенъ, и невозможенъ уже потому, что онъ, по самой сущности своей, обреченъ на тьму и тайну, пока не настанетъ часъ выказать его со всей прямотой, гордо и блистательно. Что дѣлать,—такова сущность вещей!

Хвалынцевъ не возразилъ ни слова.

— Но мы уклонились въ сторону,—продолжалъ поручикъ.—Я вамъ хотѣлъ сообщить только мой личный взглядъ, который, впрочемъ раздѣляется очень и очень многими, на то, что называется шпіонствомъ. Я хотѣлъ только сказать, что если оно полезно для дѣла, то не слѣдуетъ имъ пренебрегать и гнушаться. Собственно, главнѣе-то всего, я хотѣлъ спросить васъ, совершенно ли вы равнодушны къ выбору той, или другой дѣятельности?

— По крайней мѣрѣ, спеціальности у меня нѣтъ еще никакой,—отвѣтилъ Хвалынцевъ.

— Ну, а что вы думаете о военной службѣ?

— Хм... ухмыльнулся студентъ;—я ее не совсѣмъ-то уважаю.

— Отчего такъ?

— Оттого что, по моему, самая война есть величайшее зло и безобразіе въ человѣчествѣ,—стало-быть, какъ-же послѣ этого уважать ремесло и орудіе этого безобразія!

— Да; но это безобразіе пока неизбѣжно, и потому не лучше ли подумать о томъ, чтобы сдѣлать зло менѣе вреднымъ для хорошаго дѣла?

— Да что вы съ нимъ подѣлаете?

— Какъ что! Помилуйте! Внесите въ войско свою пропаганду, привейте къ солдатамъ, подѣйствуйте на ихъ убѣжденія, на ихъ чувства, на совѣсть, и вотъ зло уже на половину парализовано! Коли солдатъ не станетъ стрѣлять въ поляка, такъ вы уже достигли своей цѣли, а когда онъ вообще не захочетъ стрѣлять въ человѣка, въ ближняго, кто-бы тотъ ни былъ—вы уже на верху торжества своей идеи.

А если ближній, въ родѣ турка или француза, въ меня или въ русскаго солдата вдругъ стрѣлять пожелаетъ?—шутя возразилъ Хвалынцевъ.

— Не пожелаетъ. Никто не пожелаетъ, если идея блага проникнутъ въ общенародное сознаніе!—съ жаромъ отвѣчалъ Бейгушъ.—Но для того-то вотъ людямъ нашего закала, нашихъ убѣжденій и нужно, прежде всего, вносить пропаганду въ войско. Если у васъ нѣтъ въ жизни особой спеціальности, вступайте въ

Digitized by Google

военную службу, сближайтесь съ солдатомъ, вліяйте на него, старайтесь въ полкахъ заводить кружки, тайныя общества, а главное — имѣйте въ виду солдата. Вы поступите юнкеромъ, — стало-быть, вы будете гораздо ближе къ солдату чѣмъ офицеръ, ваши отношенія будутъ проще, короче офицерскихъ; вотъ и постарайтесь этимъ воспользоваться для дѣла.

Хвалынцевъ слушалъ молча. Въ душѣ онъ уже во многомъ соглашался съ Бейгушемъ.

— Намъ нужны въ войскѣ хорошіе, прочные дѣятели не изъ корпусовъ, но вотъ именно люди вашего, напримѣръ, развитія,—продолжалъ Бейгушъ.—Въ войскѣ вы сдѣлаете пользы для дѣла неизмѣримо болѣе, чѣмъ на всякомъ другомъ мѣстѣ. И какъ погляжу я на васъ, отчего бы вамъ и въ самомъ дѣлѣ не идти?—пожавъ плечами, остановился поручикъ передъ студентомъ; —молодость и сила у васъ есть, здоровье, даже красота, все это на вашей сторонѣ. И вдобавокъ, есть кой-какое состояньице: значитъ, жить совсѣмъ можно. Ступайте-ка, право, господинъ Хвалынцевъ! Я указываю вамъ чудную дорогу.

— Но вѣдь тутъ, кажется, есть множество формальностей для начала, при самомъ вступленіи,—усомнился Константинъ.

— Никакихъ!—съ живостью предупредилъ Бейгушъ, — то-есть, ровнехонько никакихъ! Ужь мы вамъ все это дѣло обдѣлаемъ и справимъ, и всѣ хлопоты устранимъ, все пойдетъ какъ по маслу, а вы только поступайте.

— Хорошо я подумаю, — согласился Хвалынцевъ.

Прежде чѣмъ окончательно рѣшиться, онъ хотѣлъ еще переговорить съ Цезариной. Идея о военной службѣ захватила его внезапно, врасплохъ. До нынѣшняго дня онъ никогда ни разу и не помышлялъ даже о возможности для себя военной карьеры. Люди тѣхъ кружковъ, въ которыхъ по преимуществу онъ вращался, смотрѣли на этотъ родъ службы скорѣе даже неблагосклонными и неуважительными, чѣмъ равнодушными глазами, и потому теперь, когда для дальнѣйшей жизни его предстали вдругъ новыя задачи и цѣли,—ему показалось какъ-то странно и дико видѣть и сознавать себя вдругъ военнымъ человѣкомъ, хотя поразобравъ себя, онъ вовсе не нашелъ въ душѣ своей особенной антипатіи къ этому дѣлу. Онъ хотѣлъ знать теперь, какъ взглянетъ на эту идею та женщина, для которой онъ чувствовалъ въ себѣ рѣшимость почти на все, чего бы она ни пожелала.

Въ тотъ же вечеръ онъ сообщилъ Цезаринѣ о предложеніи Бейгуша, и ждалъ, что она встрѣтитъ его слова такой улыбкой, какой обыкновенно встрѣчаются всякія несерьезныя, пустыя идеи. Но Цезарина, сверхъ ожиданія, отнеслась къ этой новости очень серьезно.

— Въ словахъ этого офицера много дѣльнаго,—сказала она.—Да, онъ правъ, потому что дѣйствительно теперь настало такое время, что необходимо какъ можно скорѣе подготовить войско, и если вы точно не избрали еще никакой спеціальности—ступайте! Я васъ благословляю.

— Но я никогда не думалъ.... какъ это, я... и вдругъ военный...

Онъ пожалъ плечами и сомнительно улыбнулся.

— А кто вызывался поднять и нести мое знамя?—насмѣшливо прищурилась на него Цезарина;—или, быть можетъ, вы—трусъ, господинъ Хвалынцевъ?

Эта шутка заставила его вспыхнуть яркимъ румянцемъ. Она уязвила его самолюбіе. Онъ почувствовалъ въ этой фразѣ оскорбленіе, но тутъ же въ душѣ сознался, что оно вызвано его же собственною нерѣшительностью и сомнѣніями.

— Трусъ ли я—не знаю,—отвѣтилъ онъ сдержанно,—можетъ и да, а можетъ и нѣтъ. Это покажетъ дѣло. Но, рѣшаясь на такой шагъ, я хотѣлъ только знать ваше мнѣніе.

— Мнѣніе женщины о намѣреніяхъ мужчины распорядиться своей жизнью!—иронически замѣтила графиня.—Въ этихъ случаяхъ у человѣка должно быть свое собственное мнѣніе.

Хвалынцевъ вновь почувствовалъ себя уязвленнымъ. Ему стало даже мальчишески досадно и на себя, и на Цезарину, и потому именно досадно, что показалось, будто она смотритъ на него въ эту минуту какъ на мальчика.

— Стоять противъ штыковъ и пуль вовсе не такъ страшно, какъ кажется,—добавила она послѣ короткаго молчанія;—вотъ все, что могу сказать я вамъ, и говорю по собственному опыту.

Это былъ новый чувствительный ударъ его самолюбію.

Хвалынцевъ начиналъ уже кусать себѣ губы отъ смущенья и досады. «Но что-жь это! Или она въ самомъ дѣлѣ считаетъ меня за мальчишку и малодушнаго труса?» думалось ему. Графиня замолчала и равнодушно занялась просматриваніемъ какой-то брошюры. Константинъ же положительно не чувствовалъ въ себѣ рѣшимости снова заговорить на эту тему. Молчаніе начинало уже казаться ему тягостнымъ, и съ каждой новой минутой этого неловкаго молчанья внутренняя, сдержанная досада на самого себя закипала въ немъ все больше и сильнѣе. Наконецъ, онъ какъ-то порывисто сорвался съ мѣста и молча протянулъ ей руку.

— Куда же вы?—равнодушно подняла она на него глаза изъ-за книги.

— Хочу написать этому офицеру, что я рѣшился, — сухимъ, но не совсѣмъ-то естественнымъ и внутренно раздраженнымъ тономъ сказалъ Хвалынцевъ.

— Къ чему же такая экстренность?—замѣтила Цезарина.—Это вы успѣете сдѣлать и

Digitized by Google

завтра, и притомъ на словахъ гораздо лучше, чѣмъ на бумагѣ.

— Если я, графиня, и колебался мунуту,— смущенно и тихо заговорилъ онъ,—то вѣрьте, это оттого, что мнѣ... Ну, да! мнѣ больно, мнѣ тяжело разстаться съ вами!..

Послѣднія слова онъ даже почти выкрикнулъ голосомъ, въ которомъ сказывались и напряженіе досады, и сдержанныя слезы.

— Зачѣмъ же разстаться?—съ легкимъ недоумѣніемъ подняла она брови.

— Да вѣдь вы же уѣдете отсюда!.. Будь я свободенъ,—это другое дѣло! я повсюду пошелъ бы за вами, я дѣлалъ бы все, чего бы вы ни потребовали!.. Но приковать себя къ службѣ, къ полку...

— Вы должны дѣлать не для меня, а для дѣла, которому служите,— строго замѣтила она;—но, впрочемъ, что же васъ тутъ особенно безпокоитъ? Мой отъѣздъ въ Варшаву? Ну, поѣзжайте и вы туда! Опредѣляйтесь въ какой-нибудь полкъ изъ тѣхъ, что стоятъ въ самой Варшавѣ; вотъ вамъ и разрѣшеніе вашей трудной проблемы!

И вмѣстѣ съ этими словами, она кинула на него ясный, мягко улыбающійся взглядъ, въ которомъ онъ почувствовалъ примиренье и забвеніе, и, свѣтлый и радостный, съ облегченной душою, съ безповоротною рѣшимостью на новое дѣло, Хвалынцевъ подошелъ къ своему идолу.

— Такъ, значитъ, вы благословляете?

— Благословляю, разрѣшаю и отпускаю!

И она, поднявъ руку какъ бы для благословенія, шутя и кокетливо дотронулась до его лба кончиками своихъ пальцевъ.

XX.

Поручитель.

Черезъ день, рано утромъ, къ Хвалынцеву опять-таки пріѣхалъ Свитка.

— Ну, пане Хвалынцевъ, вставайте и какъ можно скорѣй одѣвайтесь!

— Это еще ради чего такъ?!.

— Поручитель вамъ найденъ. Да вѣдь какой поручитель-то! Особа! Превосходительная особа—поймите вы это! Вѣдь съ такимъ поручителемъ вы какъ у Христа за пазухой!

— Да къ чему сейчасъ одѣваться-то?

— Э, батюшка: время! Онъ принимаетъ только до одиннадцати часовъ, а въ одиннадцать къ нему являются съ докладами, а въ двѣнадцать ужь уѣзжаетъ на службу,— то-есть преаккуратный старикъ, я вамъ скажу! Вы теперь поѣзжайте къ Колтышкѣ: онъ васъ будетъ ждать.

— А къ Колтышкѣ зачѣмъ еще?!

— Ха-ха!.. Зачѣмъ!.. Да вѣдь мы-то и все дѣло черезъ Колтышку обдѣлали! Самымъ политичнымъ образомъ! Колтышко, спасибо, добрый человѣкъ, не отказался помочь, а то вамъ плохо было-бы!.. Ну, такъ живѣй, живѣй одѣвайтесь, батюшка! Нечего мѣшкать!

Въ полчаса Хвалынцевъ былъ уже совершенно готовъ предстать предъ очи особы и поѣхалъ къ Іосифу Игнатьевичу. Тотъ уже дѣйствительно дожидался его, и они отправились.

Особа эта состояла на россійской государственной службѣ, въ рангѣ тайнаго совѣтника, занимала очень видное и даже вліятельное мѣсто, пользовалась съ разныхъ сторонъ большимъ респектомъ, была украшена различными регаліями и звѣздами, имѣла какую-то пожизненную казенную аренду, благопріобрѣтенный капиталъ въ банкѣ, подругу въ Средней Подъяческой, кресло въ оперѣ и балетѣ, авторитетный голосъ въ обществѣ и репутацію въ высшей степени благонамѣреннаго человѣка въ высокихъ сферахъ. Именовалась эта вѣская особа Маріаномъ Адалбертовичемъ Почебутъ-Коржимскимъ.

Въ передней особы, форменный курьеръ или вѣстовой снялъ съ обоихъ посѣтителей верхнюю одежду и пошелъ докладывать.

— Ихъ превосходительство изволятъ просить васъ пожаловать въ кабинетъ,—отнесся онъ по выходѣ отъ особы исключительно къ Іосифу Игнатьевичу.

— Вы подождите пока въ пріемной,—шепнулъ Колтышко Хвалынцеву.

Кабинетъ его превосходительства обрисовывалъ въ немъ и любителя просвѣщенія, и любителя государственной службы, и любителя прекраснаго пола, и любителя благонамѣренности. Объ изяществѣ и комфортѣ нечего и говорить. Три письменные стола съ дѣловыми бумагами, «Сенатскими Вѣдомостями» и Сводомъ Законовъ краснорѣчиво указывали на разнообразныя государственно-служебныя занятія Маріана Адалбертовича; тысячи полторы томовъ въ изящныхъ дубовыхъ шкафахъ, съ бюстами Сократа, Платона, Демосфена, Коперника и Мицкевича громко говорили о его любви къ просвѣщенію. Копіи съ Нефовской Наяды и съ двухъ его же нимфъ, мясистая вакханка подъ тѣнью винограда, французскія гравюры, изображающія Фанни Эльслеръ, двухъ наѣздницъ и еще что-то въ этомъ же родѣ; наконецъ, двѣ или три большія фотографіи балетныхъ танцовщицъ съ задранными ножками, показывали, что сей почтенный старецъ цѣнитъ искусство, пластику и можетъ претендовать на репутацію цѣнителя женской красоты, а цѣлый рядъ портретовъ Императорскаго Дома, начиная съ Петра Перваго, убѣждалъ всѣхъ и каждаго въ его благонамѣренности и и добрыхъ вѣрноподданническихъ чувствахъ.

Несмотря на ранній часъ утра, особа была уже гладко выбрита, въ напомаженномъ и подвитомъ парикѣ, въ форменномъ вицъ-мундирѣ.

Digitized by Google

со звѣздами. Его превосходительство казался глубокомысленно погруженнымъ въ подписываніе чего-то, когда въ кабинетъ почтительно вошелъ Іосифъ Игнатьевичъ.

— Вы, вѣроятно, съ этихъ студентомъ?— снисходительно и мягко улыбнулась особа, дѣлая Колтышкѣ округло-мягкій жестъ въ видѣ ручки.

— Ваше превосходительство угадали.

— Такъ онъ въ самомъ дѣлѣ стоитъ, чтобы ручаться?

— Это общее мнѣніе людей, успѣвшихъ коротко узнать его за послѣднее время.

— Хм... Не довѣряю я этой русской молодежи!.. Нѣтъ въ нихъ, знаете, этой стойкости, упора... выдержки настоящей нѣтъ.

— Этотъ человѣкъ, по отзывамъ, обѣщаетъ быть очень полезнымъ. Онъ съ тактомъ и достоинствомъ держалъ себя, напримѣръ, во всей этой студентской исторіи.

— Глупая исторія!—брезгливо и пренебрежительно двинулъ нижней губой его превосходительство.

— Совершенно согласенъ, но она была необходима,—возразилъ Колтышко.

— Несвоевременно, — пробрюзжалъ Почебутъ-Коржимскій.—И что за плоды! Усиленіе полицейскаго надзора, всеобщая репрессія... По моему, она только повредила ходу дѣла.

— То-есть, чѣмъ же? — скромно возразилъ Колтышко.

— Какъ чѣмъ?! Заставила оглянуться, насторожить уши... И все, что было уже сдѣлано къ должной подготовкѣ молодежи—все это назадъ теперь!

— Н-нѣтъ... Я позволяю себѣ думать, что опасенія вашего превосходительства нѣсколько напрасны,—осторожно замѣтилъ Колтышко.— Мы вѣдь ничего серьезнаго и не ждали отъ всей этой исторіи, и не глядѣли на нее какъ на серьезное дѣло. Она была не больше какъ пробный шаръ — узнать направленіе и силу вѣтра; не болѣе-съ! Польская фракція не выдвинула себя на показъ ни единымъ вожакомъ; стало быть никто не смѣетъ упрекнуть отдѣльно однихъ поляковъ: дѣйствовалъ весь университетъ, вожаки были русскіе.

— Да это я все очень хорошо и самъ знаю!— пожала плечами вѣская особа.

— Исторія если и была вызвана, съ помощью благопріятныхъ обстоятельствъ,—скромно продолжалъ Колтышко,—то единственно за тѣмъ, чтобы опредѣлить почву подъ ногами, и не столько для настоящаго, сколько для будущаго. Надо было узнать на опытѣ, на сколько подготовлено общество, масса, общественное мнѣніе и, пожалуй, даже войско. Это одно, а потомъ необходимо было знать, на сколько слабо или сильно правительство. Къ счастію, оно оказалось непослѣдовательнѣе и слабѣе даже, чѣмъ мы думали.

— Да въ этомъ-то отношеніи я и прежде понималъ все дѣло точно также,—согласился Почебутъ-Коржимскій, — вы мнѣ новаго ничего этимъ не говорите. Дѣйствительно, дѣло не болѣе какъ пробный шаръ, какъ барометръ общественнаго настроенія,—это такъ; но зло исторіи, по моему, въ томъ, что теперь огромная масса молодежи лишена своего естественнаго и легальногарантированнаго центра, какимъ былъ университетъ. Теперь же эти силы разбросались, онѣ раздроблены, разъединены. А вліять на людей въ однородной массѣ, такъ сказать въ кучѣ, въ стадѣ, или вліять на каждаго порознь и въ одиночку—это двѣ совсѣмъ разныя задачи, и вторая несравненно, неизмѣримо труднѣе! Вотъ въ чемъ нанесли вы ударъ самимъ себѣ! И я говорилъ вамъ это и прежде!

— Въ этомъ ваше превосходительство правы,—почтительно согласился Іосифъ Игнатьевичъ,—но дѣло далеко не непоправимое.

— А чѣмъ вы его поправлять будете? На поправку нужно время, нужно хотя бы наружное, но полное успокоеніе.

— Время своимъ чередомъ, а успокоенія, пожалуй, что и не нужно теперь,—возразилъ Колтышко.—Будутъ составляться кружки, тайныя братства, потайная пресса будетъ давать направленіе—и для того, и для другого есть уже достаточно подготовленныхъ дѣятелей,—стало быть пропаганда пойдетъ своей дорогой, если еще даже не сильнѣе. А дѣло это, кромѣ пробнаго шара, неожиданно дало теперь еще и положительные, хорошіе результаты: оно озлобило молодежь, во-первыхъ, во вторыхъ—общественное мнѣніе..

— Что до результатовъ, то я вижу только одинъ хорошій, перебила особа,—и это именно то, что правительство распорядилось экстренною высылкой на родину большей части не-матрикулистовъ.

— Это-то вотъ я и хотѣлъ сказать вашему превосходительству, — съ видимымъ удовольствіемъ подхватилъ Колтышко.—Мѣра необыкновенно удобная, необыкновенно кстати! Благодаря ей, сколько энергичныхъ агентовъ и пропагандистовъ разсѣялось теперь по Литвѣ, по Польшѣ! Каждый сдѣлаетъ свое дѣло, и дѣло не малое!

Его превосходительство, въ знакъ полнаго согласія, улыбнулся мягкою и многодовольною улыбкою.

— Такъ какъ же, ваше превосходительство, насчетъ молодого козла?—шутливо обратился къ нему Колтышко.

— Да что-жь, я готовъ, пожалуй... Вы что съ нимъ намѣреваетесь сдѣлать?

— Его убѣдили идти на военную службу.

— Гм... Это хорошо. Гдѣ же онъ опредѣляется? Здѣсь, въ Петербургѣ?

— То-есть, снарядимъ-то мы его здѣсь, но не въ гвардію, а попремъ въ какой-нибудь изъ

Digitized by Google

варшавскихъ полковъ. Тамъ онъ будетъ теперь полезнѣе. А Чарыковскій все это обдѣлаетъ въ Главномъ Штабѣ и быстро и хорошо!

— Хм... Прекрасно! — задумчиво одобрила особа.—Такъ что-жь, пожалуй, кликните сюда этого юношу.

Колтышко ввелъ въ кабинетъ Хвалынцева.

— Іосифъ Игнатьевичъ просилъ меня поручиться за васъ передъ начальствомъ,—стереотипно-офиціальнымъ тономъ обратился Маріанъ Адалбертовичъ къ Константину, не протягивая ему руки и не сажая, для чего между прочимъ и самъ поднялся съ мѣста.—Вы, молодой человѣкъ, надѣюсь, очень хорошо понимаете значеніе всякаго поручительства, и потому, конечно, постараетесь поведеніемъ своимъ оправдать то участіе, какое беретъ въ васъ, вотъ, почтеннѣйшій Іосифъ Игнатьевичъ. Я тѣмъ охотнѣе готовъ сдѣлать для него это маленькое одолженіе, что и самъ былъ когда-то молодъ, и самъ тоже увлекался, и до сихъ поръ даже сохранилъ любовь къ наукѣ и молодости... Я не врагъ молодого поколѣнія; напротивъ, я люблю молодое поколѣніе и жду отъ него многаго... м-м... много хорошаго. Поэтому дѣлаю для васъ тѣмъ охотнѣе...

Хвалынцевъ слегка поклонился.

— Вы, я слышалъ, желаете избрать себѣ военную карьеру?

— Да, я поступаю въ военную службу.

— Хотя я и гражданскій человѣкъ, но... одобряю!—замѣтилъ, съ благосклоннымъ жестомъ, его превосходительство.—Военная служба для молодого человѣка на мѣшаетъ... это формируетъ, регулируетъ... Это хорошо, однимъ словомъ!.. Постарайтесь и на новомъ своемъ поприщѣ стойко исполнять то, къ чему взываютъ долгъ и честь, и ваша совѣсть. Я надѣюсь, что вы вполнѣ оправдаете ту лестную рекомендацію, которую сдѣлалъ мнѣ о васъ многоуважаемый Іосифъ Игнатьевичъ.

Хвалынцевъ еще разъ отдалъ легкій поклонъ.

— Я напишу сейчасъ же маленькую записочку къ свѣтлѣйшему, а вы отправьтесь съ нею къ нему въ канцелярію, дождитесь его выхода къ просителямъ и тогда вручите ему лично. Я напишу, что прошу освободить васъ отъ полицейскаго надзора на мои поруки и даже прибавлю, что вы поступаете въ военную службу. Это ему будетъ пріятно,—съ улыбкой замѣтилъ, въ скобкахъ, Почебутъ-Коржимскій.—Вы передайте его свѣтлости отъ меня, что я самъ заѣду къ нему сегодня, если позволятъ дѣла службы. Прошу садиться.

И указавъ Хвалынцеву на стулъ, его превосходительство присѣлъ къ столу и въ очень почтительныхъ выраженіяхъ, не въ формѣ «маленькой записочки», но въ формѣ письма, написалъ къ свѣтлѣйшему, что онъ покорнѣйше проситъ его за студента Хвалынцева и прочее, что требовалось въ данномъ случаѣ. Въ этомъ же письмѣ было и извиненіе, что многообильныя и важныя дѣла службы лишаютъ его удовольствія выразить лично эту просьбу предъ его свѣтлостью.

Маріанъ Адалбертовичъ запечаталъ конвертъ собственнымъ перстнемъ и съ мягкою любезностью вручилъ свое посланіе Константину.

— Итакъ, молодой человѣкъ, желаю вамъ успѣха на вашемъ поприщѣ. Прощайте!

И Хвалынцевъ тотчасъ же откланялся.

XXI.

Что немножко безпокоило Хвалынцева.

Въ этотъ же самый день Константинъ могъ считать себя совсѣмъ уже свободнымъ человѣкомъ. Поручительство вѣской особы, принятое вполнѣ благосклонно въ канцеляріи его свѣтлости, становилось ему теперь болѣе чѣмъ достаточной гарантіей личной безопасности и спокойствія. Оно могло служить какъ бы патентомъ на благонамѣренность молодого человѣка въ глазахъ властей предержащихъ. Веселый и какъ нельзя болѣе довольный собою, полетѣлъ Хвалынцевъ на извозчикѣ къ Іосифу Игнатьевичу горячо поблагодарить его за такое существенное участіе къ его особѣ. Въ типографской конторѣ онъ засталъ и Лѣсницкаго, и Свитку и даже самого Колтышку. Всѣ они поздравляли его съ счастливымъ исходомъ, а Василій Свитка выказалъ даже радость и, повидимому, непритворнаго свойства. До прибытія Хвалынцева, въ этой самой конторѣ, между этими тремя лицами происходили нѣкоторыя совѣщанія, предметомъ которыхъ между прочимъ былъ и «новый козелъ», какъ спеціально прозвали они Константина, въ качествѣ единаго отъ членовъ многочисленнаго «*Панургова стада*». Свитка доказывалъ, что хотя Хвалынцевъ и «уловленъ», тѣмъ не менѣе его пока еще невозможно выпустить на полную свободу: «нянька все еще нужна покуда», говорилъ онъ; «спусти его съ привязи, пожалуй, забрыкается». Возможность этого брыканья Свитка предусматривалъ въ неизбѣжной встрѣчѣ Хвалынцева со Стрѣшневой. Надо было не допустить этой встрѣчи по крайней мѣрѣ хоть до тѣхъ поръ, когда все уже будетъ кончено, когда рекомендательное письмо отъ очень значительнаго лица изъ Главнаго Штаба къ полковому командиру и начальнику дивизіи будетъ добыто чрезъ Чарыковскаго, когда деньги и подорожная будутъ лежать въ карманѣ, такъ что только бы завтра сѣсть и ѣхать, тогда пусть себѣ на прощанье повидается. Все это могло быть сдѣлано менѣе чѣмъ въ недѣлю времени, и на эти-то дни Свитка думалъ перетащить Хвалынцева къ себѣ на квартиру, подъ свой ближній контроль, ради

Digitized by Google

пущаго развитія и укрѣпленія въ новомъ «символѣ вѣры». Петербургскій центръ имѣлъ въ виду для Константина довольно значительное, по его соображеніямъ, назначеніе въ Варшавѣ, въ сферѣ тайной революціонной дѣятельности, и назначеніе именно такое, на которомъ *долженъ* быть отнюдь не полякъ, но непремѣнно русскій.

Послѣ нѣкоторыхъ колебаній, Свиткѣ удалось наконецъ получить согласіе Константина на переѣздъ въ его квартиру. Они немедленно же отправились къ старой хозяйкѣ Хвалынцева, у которой онъ нанималъ себѣ комнату, для того чтобы, не теряя лишняго времени, сейчасъ же разсчитаться съ ней и заняться переѣздомъ на новое помѣщеніе.

Хозяйка очень обрадовалась внезапному появленію стараго и всегда очень исправнаго въ расчетахъ жильца, и съ первыхъ же почти словъ объявила, что въ его отсутствіе какъ-то пріѣзжала сюда какая-то молоденькая барышня и очень безпокоилась и разспрашивала, не извѣстно ли какъ и куда, и когда онъ уѣхалъ, и когда будетъ назадъ, но ни на одинъ изъ этихъ вопросовъ хозяйка не могла дать ей никакого отвѣта.

— Она оставила записку вамъ, вотъ здѣсь, на письменномъ столѣ,—пояснила она въ заключеніе.

«Эге, такъ барышня даже и на квартиру прискакала... Это неудобно!» подумалъ-себѣ Свитка, выслушавъ всѣ эти новости, послѣ чего еще болѣе сознавъ необходимость поскорѣе удалить Константина отъ возможности преждевременной встрѣчи.

Хвалынцевъ торопливо кинулся къ письменному столу, гдѣ на виду лежалъ оторванный полулистъ бумаги, въ нѣсколькихъ строкахъ исписанный карандашемъ быстрымъ и тревожнымъ женскимъ почеркомъ.

Свитка внимательно слѣдилъ за выраженіемъ его лица и видѣлъ, какъ тревожно забѣгали его глаза по этимъ косымъ строчкамъ.

«Бога ради, гдѣ вы и что съ вами?» стояло въ этой запискѣ. «Эта ужасная неизвѣстность въ-конецъ измучила меня. Я просто голову теряю. Если вы вернетесь въ эту квартиру живы и здоровы, то Бога ради, не медля ни одной минуты, сейчасъ же пріѣзжайте къ намъ. Все равно въ какое время, только пріѣзжайте. Если же нельзя, то хоть увѣдомьте. Я жду. Ваша Т.»

«Мы перемѣнили квартиру. Адресъ: Литейная улица, домъ № 00».

Свитка подмѣтилъ, какъ какое-то сильное движеніе внутренняго недовольства нервически передернуло лицевые мускулы Хвалынцева.

Онъ еще разъ перечиталъ записку и молча опустился въ кресло, полузакрывъ глаза рукою.

Странное дѣло! Въ послѣдніе дни онъ даже какъ-то совсѣмъ забылъ про Стрѣшневу. Въ головѣ его ни разу не мелькнулъ вопросъ: «Что съ ней? Что она думаетъ объ его странномъ отсутствіи? Какъ на нее должна дѣйствовать эта томительная неизвѣстность?» Предъ его помыслами, предъ его душой и сердцемъ, въ его воображеніи, въ его волѣ и желаніи стояла одна только Цезарина и Цезарина, вездѣ и во всемъ лишь она одна всецѣло и нераздѣльно. Всѣ эти дни онъ жилъ какою-то усиленною напряженною и одурманенною жизнью, среди какого-то фантастическаго міра затаенно-страстныхъ внутреннихъ ощущеній, подъ царящимъ обаяніемъ необыкновенной и могучей, какъ казалось ему, женщины. А теперь этотъ болтливый разсказъ квартирной хозяйки и эти нѣсколько строкъ, написанныя тревожною рукою и дышащія такимъ взволнованнымъ чувствомъ тоски и любовью, разомъ спустили его изъ міра восторженныхъ грезъ въ дѣйствительность настоящей жизни.

Онъ почувствовалъ острый уколъ укоризны, который нанесло ему его собственное сознаніе, его собственная совѣсть. Онъ ясно сознавалъ всю глубокую неправду свою предъ этою любящею дѣвушкою и въ томъ, что его одолѣло новое чувство къ другой женщинѣ, и въ томъ, что послѣ этой записки слѣдовало бы сейчасъ же, бросивъ все, летѣть къ ней, а между тѣмъ на такой подвигъ онъ рѣшительно не чувствовалъ въ себѣ силы. Поѣхать къ ней, успокоить, обрадовать ее, быть такимъ съ нею какъ прежде, а возможно ли это теперь быть такимъ какъ прежде? Притворяться, играть комедію? Но это не честно, да и къ чему жь оно поведетъ въ концѣ концовъ-то? Осудить себя за чувство къ Цезаринѣ, задушить его, выгнать его вонъ изъ сердца,—но опять-таки возможно ли это, когда это чувство, Богъ-вѣсть какъ и когда, незамѣтно и невольно, но такъ могуче овладѣло имъ, когда изъ-за него онъ всю будущность, всю жизнь свою поставилъ уже на карту, когда безповоротно сказано себѣ: «aut Caesar, aut nihil», когда наконецъ и теперь, послѣ этой записки, послѣ всѣхъ колючихъ укоровъ совѣсти, послѣ сознанія своей неправоты, это проклятое чувство наперекоръ всему—и разсудку, и долгу, и совѣсти,—вотъ такъ и взмываетъ его душу, какъ птицу въ ясную высь, въ неизвѣстную даль и все заглушаетъ, все уничтожаетъ собою. И посреди этого внутренняго хаоса, въ его душѣ ясно стоитъ одинъ только яркій и чудный образъ Цезарины, съ ея знаменемъ въ рукахъ, съ ея героическимъ призваніемъ, съ ея обѣтомъ полной и беззавѣтной любви, и вотъ такъ и манитъ, такъ и влечетъ къ себѣ словно какой-то сверхестественной, чарующей силой и симпатіей.

— Ну, батюшка, некогда мечтами заниматься! Время и за дѣло! Давайте-ка собираться поскорѣе да разсчитывайтесь съ хозяйкой!—настойчиво заторопилъ его Свитка, и юноша по первому его слову озабоченно захлопоталъ со своими сборами. Онъ обрадовался первой возможности ухватиться за какое-нибудь дѣло, а

Digitized by Google

тѣмъ болѣе за дѣло, не терпящее отлагательства, для того, чтобы этимъ дѣломъ, хотя бы механически, перебить напывъ своихъ тяжелыхъ мыслей и ощущеній, и для того, наконецъ, чтобы въ немъ найти баюкающій предлогъ и оправданіе самому себѣ въ томъ, что не летитъ тотчасъ же къ Стрѣшневой по ея призыву. Этими сборами, этимъ нетерпящимъ *дѣломъ* онъ просто вильнулъ передъ собственной совѣстью, просто думалъ обмануть себя, стакнуться съ самимъ собою, и все это оттого, что въ данную минуту рѣшительно не чувствовалъ въ себѣ силъ исполнить молящую просьбу дѣвушки и самъ съ собой не рѣшилъ еще, какъ быть и что дѣлать относительно ея дальше.

Сборы были не долгіе, и часа черезъ полтора Хвалынцевъ уже переѣхалъ на квартиру Свитки. Онъ рѣшилъ себѣ, что во всякомъ случаѣ надо поѣхать къ Стрѣшневымъ. Пришла было ему мысль замѣнить собственное посѣщеніе письмомъ, и онъ даже сѣлъ къ столу и принялся за писаніе, но дѣло какъ-то не клеилось.

«Нѣтъ, прямо на словахъ лучше!» порѣшилъ онъ наконецъ, бросая перо. «Слова нѣтъ, оно тяжело, очень тяжело и ей, и мнѣ будетъ это объясненіе, но все же лучше прямо!.. Надо ѣхать самому»....

Но рѣшивъ, что надо ѣхать, Хвалынцевъ все-таки не ѣхалъ. Все что-нибудь да останавливало, задерживало, мѣшало ему исполнить это намѣреніе. Въ сущности же ничто не мѣшало и ничто, при твердой волѣ, не могло бы остановить, если бы самъ Хвалынцевъ не радъ былъ придраться къ малѣйшему предлогу, чтобы отсрочить часъ своего посѣщенія. Все ему было некогда. Утромъ онъ говорилъ себѣ, что поѣдетъ послѣ обѣда или вечеромъ. Но тутъ подвертывался Свитка съ какимъ-нибудь дѣломъ, съ какими-нибудь наставленіями и инструкціями касательно будущихъ дѣйствій въ Варшавѣ, то надо было брать изъ университета бумаги, писать прошеніе объ опредѣленіи въ военную службу и отвозить все это къ Бейгушу, то вдругъ Свитка тащилъ его за чѣмъ-нибудь къ Лѣсницкому или на «литературный вечеръ», въ «кружокъ» Офицерской улицы, то вдругъ графиня Цезарина присылала сказать, что нынче она ждетъ къ себѣ Хвалынцева обѣдать, и вотъ такимъ образомъ, глядишь, день и промелькнулъ, а къ Стрѣшневымъ все-таки не съѣзжано.

— Ахъ, Боже мой, опять!.. Да когда жь я, наконецъ, поѣду!.. Вѣдь нужно, вѣдь это необходимо! Вѣдь это подло же, наконецъ, не ѣхать!— горько и мучительно посылалъ себѣ Константинъ Семеновичъ укоры, ложась въ постель, и вслѣдъ за тѣмъ баюкалъ себя твердымъ рѣшеніемъ: «Ну, ужь завтра баста! Завтра утромъ непремѣнно поѣду!»

Но наступало завтра, и рѣшеніе изъ столь твердаго «непремѣнно» переходило въ шаткое: «надо съѣздить»; а тутъ опять подвертывается препятствующій случай, и «надо съѣздить» отлагалось до вечера. И такъ шелъ день за день. Хвалынцевъ чувствовалъ, что относительно Татьяны у него не чиста совѣсть, а чѣмъ дольше тянутся эти проволочки, тѣмъ нечище и тяжелѣе становится на совѣсти, но признаться въ этомъ самому себѣ, безпощадно обнажить передъ собою это нехорошее чувство, назвать его настоящимъ именемъ у него духу не хватало. Онъ какъ бы старался закрыть себѣ глаза, забыться, закружиться въ какомъ-нибудь вихрѣ, и не могъ: укоряющее чувство, нѣтъ-нѣтъ, да все-таки колюче больно, до стыдливой краски въ лицѣ, вставало передъ нимъ во многія минуты этихъ дней. Такъ часто бываетъ съ людьми, которые знаютъ, что имъ нужно, напримѣръ, съѣздить туда-то и сдѣлать то-то, но которымъ исполнить это почему-либо непріятно или неловко, совѣстно, тяжело, и они день за день откладываютъ свое рѣшеніе, и съ каждымъ днемъ выполненіе даннаго рѣшенія становится для нихъ все труднѣе, все неловче и тяжелѣе, тогда какъ сразу, по первому порыву, оно было бы неизмѣримо и легче, и проще, и короче. Такъ точно было и съ Хвалынцевымъ, и онъ хорошо чувствовалъ все это, но... все-таки баюкалъ и обманывалъ себя разными оправдательными предлогами, не смѣя или боясь сознать въ себѣ малодушную нерѣшительность. Человѣкъ всегда склоненъ думать о себѣ лучше, чѣмъ онъ есть на самомъ дѣлѣ, внутри своей сокровенной сущности.

XXII.

Послѣднія инструкціи.

Однажды утромъ къ двумъ новымъ сожителямъ пріѣхалъ Бейгушъ.

— Ну, поздравляю васъ!—съ торжествующимъ видомъ обратился онъ къ Хвалынцеву.— Письмо уже послано въ дивизію вмѣстѣ съ бумагами. Да вѣдь какое письмо-то, батюшка! Какая рекомендація! Да послѣ этого, знаете ли вы, полковой-то командиръ передъ вами просто на заднихъ лапкахъ станетъ ходить! Ха-ха!.. Теперь вы, можно сказать, почти ужь и опредѣлены. Стоять будете въ самой Варшавѣ, при полковомъ штабѣ. Ну-съ, нижній чинъ! Что же вы? Извольте встать и вытянуться предъ офицеромъ! Руки по швамъ! — весело шутилъ онъ.—Вѣдь я теперь въ нѣкоторомъ родѣ начальство надъ вами. А и лихой же солдатъ будетъ! ей-Богу лихой!.. Ха-ха-ха!.. Вотъ какъ мы скоро васъ обдѣлали! Разъ, два и готово!

— Дѣйствительно скоро! — удивился Хвалынцевъ, никакъ не ожидавшій такой быстроты.

— Потому что, батюшка, все это въ нашихъ рукахъ, всѣмъ мы этимъ орудуемъ!—самодовольно похвалился Бейгушъ; — а вотъ вамъ кстати ужь и подорожная готова. Озаботился,

Digitized by Google

батюшка, самъ взялъ, чтобы васъ отъ лишнихъ хлопотъ избавить!—объявилъ онъ, подавая Хвалынцеву бумагу;—а остальные документы всѣ уже посланы съ письмомъ же. Ну-съ, довольны вы такою, по истинѣ, воинскою быстротою?

— Я даже и опомниться не успѣлъ,—улыбнулся Хвалынцевъ.

— То-то же вотъ и есть! А вы только служите своему дѣлу какъ слѣдуетъ, понимаете-съ?—какъ слѣдуетъ: умно, ловко, дѣятельно, такъ только ротикъ разинете, какъ увидите съ какой быстротой пойдетъ служебная карьера-съ!.. Ха-ха-ха!.. И повышенія, и отличія, и все это будетъ!

— Да я къ этому равнодушенъ,—махнулъ рукою Константинъ Семеновичъ.

— Вы равнодушны, да мы-то не равнодушны!—возразилъ Бейгушъ.—Для насъ необыкновенно важно, чтобы въ ту минуту, когда наступитъ для насъ полное торжество, наши люди возвышались надъ массами не однимъ только личнымъ вліяніемъ, но и внѣшними отличіями. Декорумъ, батюшка, великая вещь! Декорумъ-то вѣдь массы скорѣе и охотнѣе подчиняются. Вы, напримѣръ, юнкеръ, а я поручикъ; и вы, и я, положимъ, оба имѣемъ нравственное вліяніе на солдата, но будь-ка вы полковой командиръ, а я дивизіонный—вліяніе-то наше вѣдь на сто градусовъ поднялось бы!.. Будь-ка въ головахъ полковыхъ колоннъ все наши люди—ге-ге!.. Посмотрѣли бы вы, что изъ этого вышло бы!.. Но оно и будетъ! Оно и будетъ такъ!—одушевленно заключилъ поручикъ, со всей полнотой и твердостью искренняго убѣжденія.

— Когда же я могу ѣхать?—освѣдомился Хвалынцевъ.

— Да хоть завтра. Чѣмъ скорѣй, тѣмъ лучше. Деньги на дорогу есть?

— Есть пятьсотъ рублей свободныхъ.

— Ну, на первое время въ Варшавѣ этого будетъ очень и очень достаточно, а если бы тамъ, сверхъ ожиданія, вдругъ понадобились деньги, то я вамъ передъ отъѣздомъ дамъ одинъ адресъ и маленькій бланкъ; съ этимъ бланкомъ вы явитесь по адресу, и вамъ въ извѣстной степени будетъ открытъ кредитъ. Ну-съ, а теперь главная суть дѣла: центръ назначаетъ васъ членомъ варшавскаго отдѣленія русскаго общества «Земли и Воли». Главная ваша цѣль—пропаганда въ войскѣ, а частности и подробности и вообще указанія о своей дѣятельности вы узнаете уже на мѣстѣ отъ предсѣдателя. Номинація ваша на эту должность послана уже въ Варшаву. Ваше число—(Бейгушъ вынулъ свой бумажникъ и прочелъ въ записной книжкѣ), ваше число, на всякій случай, будетъ 7,342. Запишите его у себя и запомните. И вотъ вамъ еще одинъ адресъ,—сказалъ онъ, подавая Константину клочекъ бумажки.—Вы отыщите по немъ поручика Паляницу, и когда вы придете къ нему, то подайте ему еще вотъ этотъ клочекъ, и это, смотрите, не забудьте же сдѣлать при первой рекомендаціи, прежде всего. Это очень важно. Да смотрите, не потеряйте его какъ-нибудь!

Хвалынцевъ принялъ изъ рукъ Бейгуша еще одинъ новый клочекъ бумажки, зигзагами оторванный съ одной стороны, на которомъ было написано: *заслужив...*

Писаніе это доходило какъ разъ до оторваннаго края, а продолженіе слова или фразы, очевидно, должно было находиться на другой половинѣ этой бумажки.

Константинъ съ недоумѣніемъ поглядѣлъ на Бейгуша.

— Что же это должно означать?—спросилъ онъ.

— А, это необыкновенно важный клочекъ. Это для насъ все равно что вашъ паспортъ или вашъ нравственный атестатъ,—пояснилъ поручикъ.—Вы видите, что эта бумажка оторвана зигзагомъ; ну, такъ вотъ другая ея половинка отослана въ Варшаву, вмѣстѣ съ вашей номинаціей, а тамъ ужь она будетъ передана Паляницѣ, и когда вы къ нему явитесь и предъявите вашу половинку, то онъ свѣритъ ее со своей, и это будетъ для него подтвержденіе, что вы дѣйствительно то самое лицо, на имя котораго у нихъ имѣется номинація. На той половинкѣ обозначена и степень довѣрія, на которую вы имѣете право. Такъ вы сами видите теперь, что клочекъ этотъ весьма важенъ,—заключилъ Бейгушъ.—Въ такомъ великомъ дѣлѣ, батюшка, надо имѣть въ виду всѣ случайности и обезопаситься всевозможными предосторожностями. Это необходимо!

Бейгушъ торопилъ его отъѣздомъ, да Хвалынцевъ и самъ желалъ поскорѣй разстаться съ Петербургомъ, уйти въ новую среду, въ новую заманчивую дѣятельность, гдѣ ему въ непродолжительномъ времени предстояла встрѣча съ графиней Цезариной, уже на варшавской почвѣ. Онъ рѣшилъ выѣхать завтрашній же день, а на сегодня сдѣлать кое-какія послѣднія приготовленія къ отъѣзду и въ послѣдній разъ заѣхать къ Цезаринѣ—проститься до новаго свиданья.

Не теряя времени, онъ тотчасъ же выѣхалъ изъ дому.

XXIII.

«Довольно!»

«А вѣдь надобно заѣхать къ Стрѣшневымъ: вѣдь это невозможно же уѣхать такъ, не повидавшись, не простившись. Совсѣмъ даже неблаговидно выходитъ», думалъ Хвалынцевъ, проѣзжая по Невскому. И вдругъ, обращаясь къ самому себѣ всѣ эти укоризненныя наставленія, замѣтилъ онъ случайно, что на встрѣчу ѣдетъ кто-то, какъ будто похожій на Татья-

Digitized by Google

ну Николаевну, и въ этотъ самый мигъ болѣзненно почувствовалъ, что его словно жаромъ всего обдало. Спѣшно юркнулъ онъ лицомъ въ бобровый воротникъ шинели и спрятался въ немъ. Это было какое-то скорѣе безотчетно-инстинктивное, чѣмъ сознательное движеніе. Но поровнявшись со встрѣчной женщиной, Константинъ Семеновичъ робко кинулъ на нее искоса пытливый взглядъ и увидѣлъ, что онъ ошибся. Это была не Татьяна Николаевна. Ему стало совѣстно и стыдно за самого себя.

«Фу, Боже мой, какая я дрянь, однако!» презрительно и съ досадой подумалъ онъ, «а еще въ заговорщики собрался! И чего это я струсилъ?.. и вдругъ, словно мышонокъ въ нору юркнулъ... Экая подлость сидитъ въ человѣкѣ-то! И зачѣмъ я прячусь, зачѣмъ я давно не ѣду къ ней? Что это за странная боязнь! Сдѣлалъ я противъ нея какое-нибудь низкое, черное дѣло? — Нѣтъ. Разлюбилъ ее, полюбилъ другую?—Да! Въ этомъ и все дѣло. Но любя, давалъ ли я ей какія-нибудь клятвы, обѣщанія?—Никакихъ... Объ этомъ чувствѣ ни слова, даже намека яснаго не было сдѣлано между нами... Отношенія не заходили далѣе простого поцѣлуя руки, да и то не всегда позволялъ себѣ; такъ чего же я мнусь и прячусь? Это была скорѣе хорошая, теплая дружба, чѣмъ... это чувство. И развѣ я виноватъ, что полюбилъ другую? Развѣ я искалъ этого?.. Случай, судьба—и только».

Такими-то софизмами оправдывалъ себя Константинъ Семеновичъ, и въ нихъ почерпалъ для себя необходимую бодрость и твердость для предстоящаго посѣщенія. Онъ порѣшилъ ѣхать сейчасъ же, и приказалъ извозчику повернуть на Литейную. А какое-то внутреннее, ноющее чувство все-таки копошилось въ немъ, несмотря ни на какіе успокоительные софизмы, и порою исподтишка смутно шептало ему, что онъ все-таки что-то не хорошее дѣлаетъ относительно любящей его дѣвушки.

«Ну, какъ бы то тамъ ни было, а ужь теперь поздно!» злобно рѣшилъ онъ, вставая съ извозчика передъ домомъ, гдѣ жили Стрѣшневы. «Пусть оно и нехорошо... Пусть даже подло, но... Цезарина... Это женщина, которая и изъ подлеца сдѣлаетъ честнаго человѣка, и изъ честнаго — подлеца!.. А она для меня— все!.. Помоги же мнѣ, Цезарина!»

И съ этою мыслью онъ остановился передъ дверью квартиры Стрѣшневыхъ.

* * *

Въ тотъ день, когда Хвалынцевъ явился къ Татьянѣ Николаевнѣ съ анонимнымъ письмомъ и по ея убѣжденію отправился на послѣднюю студентскую сходку, окончившуюся кровавымъ столкновеніемъ, молодая дѣвушка нетерпѣливо ждала его возвращенія. Но прошелъ цѣлый день, прошелъ вечеръ, — онъ не вернулся. Ею овладѣло сильное безпокойство. Поутру она нарочно поѣхала къ однимъ своимъ знакомымъ, узнать какого рода происшествія были вчера передъ университетомъ. Тамъ разсказали ей, какъ было дѣло, даже со множествомъ не существовавшихъ подробностей, которыя тогда въ изобиліи плодились въ городскихъ толкахъ. Татьяна вернулась домой взволнованная и разстроенная. Ей уже чудилось, что Хвалынцевъ убитъ, не то израненъ, не то сидитъ теперь въ Петропавловскихъ казематахъ, и Богъ вѣсть какъ и на сколько продлится его заключеніе и что-то еще будетъ потомъ? чѣмъ-то все это кончится?..

Все это представлялось ей съ ясностью неизбѣжнаго, несомнѣннаго и почти уже совершившагося факта, и во всемъ случившемся съ Хвалынцевымъ она укоряла и обвиняла одну только себя! «Не приди мнѣ эта нелѣпая мысль посовѣтовать ему ѣхать туда, ничего бы этого не было! Онъ остался бы и цѣлъ и на свободѣ», думала она, «а теперь... все я, одна я всему причиной! И не все ль равно для меня, что какіе-то дураки будутъ о немъ того или другого мнѣнія? Вѣдь я-то сама знаю, я-то вѣдь убѣждена, что онъ честный—чего же мнѣ болѣе!.. Онъ изъ-за меня теперь терпитъ, мучится... за что?..»

Она не знала, что ей дѣлать, къ кому обратиться, чтобъ узнать о судьбѣ Константина, а время шло, съ каждымъ часомъ тщетнаго ожиданія росла ея тоска и мучительное безпокойство. Она поѣхала въ правленіе университета, въ надеждѣ — не знаютъ-ли тамъ о немъ чего-нибудь. Въ это время къ ея теткѣ пріѣхалъ въ гостиницу Василій Свитка и привезъ свое темное, но все-таки успокоительное извѣстіе. Татьяна стала ждать, что называется, у моря погоды. Въ университетѣ она узнала отъ швейцара, на всякій случай, прежній адресъ Хвалынцева, и когда прошло болѣе недѣли, а Свитка все не появлялся вторично и о Хвалынцевѣ ни слуху — Татьяна снова затосковала. Опять ей стали мерещиться разные страхи и ужасы, которымъ онъ, по ея заключенію, долженъ былъ подвергаться въ это время, и, наконецъ, въ этой тоскѣ не совладала она со своимъ неугомоннымъ сердцемъ: взяла и поѣхала къ нему на квартиру. Это посѣщеніе точно также не принесло ей ничего утѣшительнаго. Въ смутной надеждѣ, что авось онъ вдругъ и вернется какъ-нибудь, полувѣря и полуневѣря этому, она, на всякій случай, написала ему тутъ же нѣсколько строкъ на первомъ попавшемся клочкѣ бумаги.

Но и съ тѣхъ поръ прошло уже больше полуторы недѣли, а о Константинѣ ни слуху, ни духу. Татьяна въ-конецъ истосковалась. Отъ вѣчно-тревожной, одной и той-же думы и безсонныхъ ночей, она осунулась и побѣднѣла. Она совсѣмъ перестала показываться на свѣтъ Божій, никуда не выѣзжала, сидѣла большею

Digitized by Google

частію въ своей комнатѣ или бродила безъ цѣли по всей квартирѣ. Все ей опостылѣло, все раздражало — и работа, и чтеніе — просто рукъ ни къ чему приложить не могла. Тетка серьезно стала опасаться за ея здоровье. Въ то время онѣ уже переѣхали на постоянную квартиру, которая, по случаю временнаго отъѣзда хозяевъ, сдавалась на шесть мѣсяцевъ со всею мебелью и принадлежностью. Для старушки это была истинная находка, и съ тѣхъ поръ она всегда съ большой похвалой отзывалась о «Полицейскихъ Вѣдомостяхъ», въ которыхъ помѣщаются такія полезныя объявленія.

* * *

Татьяна Николаевна была одна. Тетка отправилась къ поздней обѣднѣ, ко «Всѣмъ Скорбящимъ», и еще не возвращалась. Часовая стрѣлка показывала еще только двѣнадцатый часъ въ началѣ.

Вдругъ звякнулъ колокольчикъ, и Татьяна услыхала въ передней знакомый голосъ, который спрашивалъ ее.

Вся кровь прихлынула ей къ сердцу, и застучало оно порывисто и шибко. Какъ стояла, такъ и осталась она на мѣстѣ, словно бы онѣмѣла вся. Послѣ столькихъ дней тщетнаго ожиданія, ей смутно представлялось, что это дѣйствительность. Но она боялась повѣрить въ то, что это все на яву, что это точно его голосъ.

Въ комнату вошелъ Хвалынцевъ.

— Голубчикъ!.. Милый ты мой!.. Здравствуй! — стремительно кинулась она къ нему, вся внѣ себя отъ счастія, радости и восторга.

Это нечаянное *ты*, еще впервые только сорвавшееся для него съ ея устъ, словно обожгло его. Столь сильный и неожиданный порывъ смутилъ молодого человѣка. Онъ почему-то ждалъ болѣе обыденной и болѣе сдержанной встрѣчи. Не допуская себя принять ея объятія, радостныя до полнаго самозабвенія, онъ, отступя на шагъ, тихо встрѣтилъ ея простертыя къ нему руки и съ чувствомъ, но очень сдержанно пожалъ ихъ.

— Здравствуйте, Татьяна Николаевна, — сказалъ онъ, стараясь казаться спокойнымъ.

Та, не отнимая отъ него рукъ, отшатнулась легкимъ движеніемъ назадъ и съ недоумѣніемъ заглянула ему въ глаза.

— Развѣ такъ друзья встрѣчаются послѣ такой разлуки?

— Мнѣ нужно поговорить съ вами, Татьяна Николаевна... Я не надолго... Я пріѣхалъ проститься... Завтра уѣзжаю...

Внутренняя тревога и смущеніе, несмотря на напускной спокойный тонъ, сквозили въ невольно отрывистыхъ и мало связныхъ фразахъ Хвалынцева.

Татьяна еще съ бо́льшимъ недоумѣніемъ поглядѣла на него.

— Что?.. Проститься?.. Уѣзжаете?.. Какъ это... куда уѣзжаете? Зачѣмъ? — пролепетала она.

— Да не близко ѣду... Можетъ, и не увидимся больше.

— Господи, да что это все такое!.. Гдѣ вы до сихъ поръ-то были,—говорите мнѣ!

— Я уѣзжаю изъ Петербурга... и... сегодня только пріѣхалъ, — солгалъ Хвалынцевъ.

— Гдѣ же вы были?—продолжала она разспрашивать съ возрастающимъ недоумѣніемъ. Сердце ея тревожно подсказало ей, что во всемъ этомъ кроется что-то недоброе.

— Гдѣ я былъ, — пожалъ онъ плечами, — этого я вамъ сказать не могу.

— Константинъ Семенычъ! да что вы, шутки шутите, что ли?

— Нѣтъ, я говорю совершенно серьезно.

— Такъ что же это за таинственность?!.. Почему это *мнѣ* вы вдругъ сказать не можете?

— Не имѣю права... Это не отъ одного меня зависитъ...

— Да вы мнѣ скажите толкомъ: сидѣли вы гдѣ-нибудь? Арестованы были? — Высылаютъ васъ теперь изъ города, что-ли?

— Нѣтъ, я самъ уѣзжаю, своей доброй охотой.

— Куда?

— Въ Варшаву.

Она молча оглядѣла его испытующимъ взглядомъ.

— На долго вы ѣдете?

— Не знаю... Можетъ, и навсегда.

— Что-жь это за странное рѣшеніе?

— Служить ѣду.

— Служить! — удивилась она.— Да прежде же курсъ вѣдь кончить надо! Куда же вы безъ диплома служить пойдете? И что за идея!

— Для моей службы можно и безъ дипломовъ; я вѣдь въ военную.

Изумленіе Стрѣшневой дошло до крайней точки, она даже руки опустила.

— Константинъ Семенычъ!.. Да что же вы, наконецъ, мистифицируете меня, или что?.. Если все это шутки, такъ кончите, пожалуйста! Хорошенькаго понемножку.

— Никакихъ тутъ шутокъ нѣту! Я вамъ говорю самымъ серьезнымъ образомъ! — вступился онъ за себя въ нѣсколько амбиціозномъ тонѣ; — да и что же тутъ невѣроятнаго, что человѣкъ пошелъ служить?

— Въ военную?!—подхватила Стрѣшнева.

— Да, въ военную, какъ будто это не все равно: военная или гражданская.

— Но это, вѣроятно, покамѣстъ такъ только... однѣ мечты, предположенія, намѣренія?—улыбнулась Татьяна, которой рѣшительно не хотѣлось вѣрить въ дикую идею Хвалынцева.

— Далеко не мечты и не намѣренія,—возразилъ онъ.—Я уже поступилъ... Я и теперь, можно сказать, считаюсь на службѣ.. Я уже зачисленъ въ N—скій полкъ.

Digitized by Google

Хвалынцевъ все это солгалъ, ради пущаго удостовѣренія въ справедливости словъ своихъ, но солгавши разъ, и въ этой лжи какъ бы даже порисовавшись предъ нею въ новомъ положеніи, онъ какъ будто самъ повѣрилъ въ истину сказаннаго; ему вдругъ и самому стало казаться, что все это точно такъ и есть, что онъ точно зачисленъ и уже служитъ.

Стрѣшнева молча поглядѣла на него вглядчивымъ, внимательнымъ взглядомъ.

— Что же за цѣль, наконецъ?—тихо спросила она, послѣ нѣкотораго молчанія.

— Цѣль... чуть-чуть замялся Хвалынцевъ. — Боже мой, да надо же человѣку что-нибудь дѣлать съ собою!.. Не небо же коптить, вотъ и цѣль вамъ!

Татьяна чутко чувствовала въ глубинѣ души, что это все что-то не то. Раза два молча прошлась она по комнатѣ и вдругъ съ веселымъ и рѣшительнымъ видомъ остановилась предъ Хвалынцевымъ.

— Полноте-ка, Константинъ Семенычъ! Оставьте все это!—съ убѣжденіемъ заговорила она, взявъ его руки и ласково глядя въ глаза.— Бросьте всѣ эти пустяки!.. Ей-Богу!.. Ну, что вамъ?!.. Давайте-ка лучше вотъ что: если вамъ здѣсь очень ужь надоѣло, укатимте въ Славянобубенскъ, поѣзжайте въ имѣніе, призаймитесь хозяйствомъ, ей-Богу-же, такъ-то лучше будетъ!.. А то что вдругъ—служба, да еще военная, да еще въ Варшаву... Нѣтъ, право, бросьте, голубчикъ!

— Все это такъ легко только говорить, — возразилъ онъ, видимо стараясь придать словамъ своимъ и серьезность и значительность,— но что сдѣлано, то сдѣлано, и назадъ его не вернешь!.. Это ужь теперь зависитъ не отъ моей воли, Татьяна Николаевна!

— Какъ не отъ вашей?.. Какъ не отъ вашей?!.. Вздоръ! Чисто отъ васъ одного только и зависитъ, больше ни отъ кого!—входя въ нѣкоторый азартъ, возражала и доказывала Стрѣшнева.—Во-первыхъ, если васъ зачислили, то могутъ и отчислить, вѣдь это не кабала же какая, не запродажей, не контрактомъ, а своею доброю охотою!.. Ну, вчера вамъ хотѣлось, а сегодня расхотѣлось... Ну, тамъ по домашнимъ обстоятельствамъ, по болѣзни, по встрѣтившимся препятствіямъ... да Господи! мало-ли можно найти предлоговъ для отставки!.. Стоитъ захотѣть только! Ну, захотите, Константинъ Семенычъ!.. Ну же, ну?.. Скорѣй!.. Да захотите же, Боже мой! Ну, что вамъ стоитъ отказаться отъ такой пустой идеи!?..

На эту живую, ласковую шутку, онъ только хмуро, съ опущенными внизъ глазами, отрицательно покачалъ головою.

Стрѣшнева снова пристально и долго поглядѣла на него пытливымъ, осторожнымъ взглядомъ и тихо опустилась на кресло подлѣ него.

Оба молчали, и обоимъ начинало становиться какъ-то неловко, и оба чувствовали въ то же время одинъ въ другомъ ту-же самую неловкость. А неловкость эта нашла оттого, что Стрѣшнева все больше и больше угадывала въ Хвалынцевѣ присутствіе какой-то неискренности и затаенности, и онъ тоже понялъ, что она угадала въ немъ именно *это*. Молчаніе начинало становиться тягостнымъ.

— Константинъ Семенычъ, это все не то... я чувствую, что не то,—очень серьезно начала наконецъ Татьяна, поборая въ себѣ нѣчто такое, что сильно удерживало ее отъ предстоящей послѣдней попытки.—У васъ что-то есть на душѣ, вы что-то, кажись, таите, скрываете... Ну, скажите мнѣ, зачѣмъ?.. Если это тяжело вамъ, не лучше ли облегчить себѣ душу?.. Предо мной вы можете говорить прямо, вы знаете меня... Вѣдь мы же друзья не на-вѣтеръ!

И она кротко взяла и не выпуская стала держать руку Хвалынцева, и вся фигура ея, и взглядъ, и лицо, и самый поворотъ головы, все это выражало собою теплое и любовное участіе. Раскрытая душа ея ждала, что вотъ-вотъ сейчасъ другая сочувственная душа перельетъ въ нее все свое горе, всю свою тайну, и она затишитъ, умиротворитъ, убаюкаетъ и исцѣлитъ эту другую, дорогую ей душу.

Константинъ сидѣлъ угрюмо, понурясь и не глядя на нее. Онъ чувствовалъ, что въ эту минуту предъ Татьяной не скроешься, что она чутьемъ угадаетъ правду, которой онъ и не хотѣлъ утаивать отъ нея, но только высказать эту правду было такъ тяжело, такъ мучительно-тяжело ему!..

— Вы хотите правды... Ну, скажу я вамъ эту правду!—выговорилъ онъ, наконецъ, стараясь напускной усмѣшкой замаскировать свою невольную и темную угрюмость.—Отчего-же и нѣтъ... Сказать, вѣдь это всего одна только минута... не болѣе... Да; конечно, я скажу вамъ, но... если бы знали какъ тяжело это... какъ тяжело это высказывать-то!..

И при этихъ словахъ, дѣвушка замѣтила, какъ лицо его передернулось движеніемъ внутренняго глухого страданія.

— Говорите, говорите,—тихимъ и ласковымъ шепотомъ ободрила она.

— Татьяна Николаевна!.. Я всю жизнь свою поставилъ на карту... безповоротно, безшабашно, и предо мною нѣтъ болѣе никакого выхода изъ этого положенія!..

— Но... изъ-за чего же все это?—участливо спросила она.

— Изъ-за женщины... глухо, смутно и чуть слышно отвѣтилъ Хвалынцевъ, весь блѣдный, и низко потупясь опущенными глазами.

Этимъ словомъ сказалось все. Татьяна не стала разспрашивать далѣе. Къ чему ей были слова, объясненія, подробности, когда однимъ лишь этимъ словомъ все безпощадно обнажи-

Digitized by Google

лось предъ нею: онъ любитъ другую женщину, онъ для нея всю жизнь поставилъ на карту, о чемъ же тутъ больше спрашивать? Что еще бередить ему сердце? И что еще, наконецъ, нужно знать больше этого?.. Все сказано, все сдѣлано,—довольно!

И она съ твердостью, сновно ножомъ отрѣзала, сказала сама себѣ это внутреннее «довольно!»

Хвалынцевъ медленно поднялъ на нее глаза, и ему показалось страннымъ лицо этой дѣвушки: онъ никакъ не ждалъ встрѣтить у нея такое лицо въ эту минуту. Нельзя сказать, чтобы даже тѣнь какой-либо болѣзненной мысли скользнула по немъ, чтобы хоть на мгновеніе дрогнуло въ немъ страданіе, злоба, укоръ, оскорбленіе, презрѣніе; нѣтъ, ни единое изъ этихъ ощущеній не выдавало себя въ лицѣ Татьяны. Оно было совершенно спокойно, и только ровная глубокая блѣдность сплошь разлилась и застыла на немъ. И глаза тоже глядѣли спокойно, но эти глаза какъ-то вдругъ потухли, словно бы умерли, словно бы искра жизни отлетѣла отъ нихъ.

— Ну, вотъ, я, кажется, ужь все сказалъ вамъ!—пересохшимъ, хриплымъ голосомъ промолвилъ Хвалынцевъ, подымаясь съ мѣста. Весь онъ былъ какой-то погнутый, притиснутый, словно бы на плечи ему навалилась какая-то тяжкая, темная сила и все удручаетъ, все гнететъ его собою.

Стрѣшнева тоже поднялась.

Разговоръ между ними съ этой минуты пропалъ, и больше не нужно было ни ему, ни ей никакихъ разговоровъ.

— Если можете, не отымайте отъ меня вашей дружбы, — смущенно и тихо попросилъ онъ, и въ тонѣ его просьбы Татьянѣ чутко сказалось затаенное страданіе.

— Дружбу!—повторила она, слегка пожавъ плечами,—берите!... если только когда-нибудь и на что-нибудь пригодится вамъ моя дружба.

Хвалынцевъ съ чувствомъ теплой благодарности пожалъ ея руку.

Снова наступило молчаніе. Оба стояли одинъ противъ другого, не глядя другъ на друга.

— Ну, прощайте, Татьяна Николаевна! — проговорилъ онъ наконецъ, съ полнымъ грудным вздохомъ;— коли можно, такъ не поминайте лихомъ! Это послѣдняя и единственная просьба.

Она махнула рукой, словно бы говоря: «что ужь! зачѣмъ лихомъ!..»

— Ну, дай вамъ Господи всякаго счастія!— непритворно пожелала она ему на прощанье, все съ тѣмъ же мертвеннымъ спокойствіемъ въ лицѣ и во взорѣ.

Дверь за ушедшимъ Хвалынцевымъ затворилась.

Татьяна почувствовала теперь, что она *одна*.

ПАНУРГОВО СТАДО.

РОМАНЪ.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ.

I.

Наединѣ со своею душой.

Хвалынцевъ ушелъ. Татьяна Николаевна слышала, какъ захлопнулась за нимъ выходная дверь въ прихожей и оставалась все въ томъ же, повидимому, спокойномъ положеніи. Въ совершенную противоположность Константину, который очень плохо умѣлъ скрывать свои внутреннія ощущенія, она не любила выдавать ихъ наружу. Всѣ ея глубокія и сильныя впечатлѣнія таила она внутри себя и тамъ перерабатывала ихъ силою собственной сосредоточенной натуры. Хвалынцеву не нужно было много словъ, чтобы заставить ее уразумѣть все, что такъ трудно казалось ему высказать. Довольно было сказать одно только слово, въ одномъ словѣ «женщина» выразить причину столь страннаго и спѣшнаго отъѣзда съ перемѣною своей жизненной карьеры,—и Татьяна поняла все остальное своимъ чуткимъ женскимъ инстинктомъ. Эта женщина была *не она*; это была *другая*... Мгновенность и нечаянность такого горькаго сознанія сильно уязвили ее. Она поблѣднѣла, и эту невольную блѣдность ей невозможно было скрыть: только ее одною и выразился ударъ, нанесенный Хвалынцевымъ. Понялъ ли онъ, нѣтъ ли—что ей было до того за дѣло? Она нашла въ себѣ достаточно силъ, чтобы ни словомъ, ни взгля-

Digitized by Google

домъ не показать ему того, что́ съ нею дѣлалось. Она сохранила видимое спокойствіе, прощаясь съ любимымъ человѣкомъ, не болѣе какъ съ обыкновеннымъ хорошимъ знакомымъ—всякое другое прощаніе было бы слишкомъ тяжело и неловко для него: она чувствовала это, молча проводила его глазами до дверей, и осталась одна.

Ни слезы, ни жалобы не вырвалось у нея. Порою одно только нервное дрожаніе какой-то жилки около губъ да трепетное появленіе легкой морщинки между бровями слабо выдавало всю тяжкую работу, кипѣвшую внутри.

Старая тетка вернулась домой и не замѣтила въ своей Танѣ ничего особеннаго.

— Новость, ma tante! — обыденнымъ спокойнымъ тономъ и между прочимъ разговоромъ сообщила она старухѣ. — Константинъ Семенычъ пріѣзжалъ безъ васъ.

— Да?.. Выпустили его?.. Гдѣ же онъ?.. Зачѣмъ ты его не оставила?—съ живымъ участіемъ всполошилась добрая старуха.

— Онъ заѣзжалъ на минутку проститься, и просилъ передать вамъ его поклонъ.

— Какъ проститься?.. Куда?.. Что такое?..— недоумѣло пожимала та плечами.

— Чуть ли не сегодня уѣзжаетъ въ Варшаву... Поступилъ въ военную службу.

— Да что́ ты, морочишь меня, что ли?

— Нѣтъ, я вамъ передаю совершенно серьезно то, что́ онъ говорилъ.

— Господи!.. Варшава... военная служба,— пожимала плечами старуха.—Но что же за причины, по крайней мѣрѣ?

— Этого я не знаю. Причинъ онъ не объяснилъ,—какъ-то коротко и нѣсколько отрывисто проговорила Стрѣшнева, не глядя на тетку.

Зато тетка во всѣ глаза глядѣла на нее вопросительно и удивленно, какъ бы ожидая отъ самой Татьяны объясненія этихъ причинъ и побужденій.

— Таня, что же все это значитъ? — послѣ нѣкотораго молчанія, тихо и какъ бы робко обратилась она къ племянницѣ.

— Не знаю, ma tante.

Опять наступило молчаніе, все съ тѣмъ же удивленнымъ взглядомъ старухи, вопросительно устремленнымъ на племянницу.

— Таня, будь со мной откровенна! — еще тише сказала наконецъ она съ мягкою, родственною просьбою въ голосѣ. — Ты вѣрно знаешь?.. Его вѣрно высылаютъ, насильно отдаютъ въ солдаты?.. да?..

— Самъ идетъ, добровольно; а больше я ничего не знаю.

«Нѣтъ, тутъ что-то не то!» домекнулась про себя старуха.—«Это спокойствіе въ ней... сдержанность эта... что нибудь да не то»...

— Таня... съ робкимъ участіемъ снова обратилась она къ ней,—какъ же ты-то теперь?

— Я? вскинула та глазами, въ которыхъ отсвѣчивало какое-то равнодушное удивленіе,— а что же я?... Я какъ и была... все по старому...

И это... Это тебя не трогаетъ, не волнуетъ?

Досадливое нетерпѣніе, а можетъ и сжатая внутренняя боль чуть-чуть дрогнули въ какой-то жилкѣ на лицѣ Татьяны.

— Вотъ что, ma tante,—рѣшительно сказала она, — мы больше объ этомъ говорить не будемъ... Дай ему Богъ всякаго счастья, ну, и... довольно!

Старуха поняла, что дѣвушкѣ слишкомъ тяжело говорить на эту тему, и потому, сколь ни хотѣлось ей самой узнать подробности и пружины всего этого страннаго обстоятельства, разговоръ между ними о Хвалынцевѣ не возобновлялся болѣе ни разу. Бывало, нарочно съ тайною мыслью про себя, какъ-нибудь кстати приплететъ старуха его имя, вспомня, что вотъ это, молъ, разсказывалъ Константинъ Семеновичъ, а вотъ то-то случилось при Константинѣ Семеновичѣ, а вотъ это блюдо онъ очень любилъ, или къ тому-то вотъ такъ-то относился; но при всѣхъ этихъ случаяхъ втайнѣ любопытный взоръ ея не могъ отыскать въ лицѣ дѣвушки ничего такого, что́ помогло бы хоть чуточку раскрыть ей загадку. Татьяна, отвѣчая на подобныя заявленія тетки, вспоминала о Хвалынцевѣ хотя и кратко, не распространяясь, но совершенно просто и спокойно, какъ и о многихъ хорошихъ знакомыхъ. Никогда ни малѣйшей тѣни ѣдкой горечи, злобы, упрека или сарказма не вырвалось у нея при упоминаніи этого имени, словно бы и въ самомъ дѣлѣ Хвалынцевъ былъ для нея не болѣе какъ случайный, хотя и хорошій знакомый—и только.

А между тѣмъ, внутри ея творилось другое.

Она никогда не придавала Хвалынцеву никакихъ особенныхъ героическихъ качествъ, идеальныхъ свойствъ и добродѣтелей, ради того лишь что онъ ей нравился: она была слишкомъ положительный человѣкъ для этого, глядѣла на жизнь и людей слишкомъ просто и прямо. Она не изукрашивала его, не глядѣла на него сквозь радужную призму, словомъ, не творила себѣ изъ него кумира, и между тѣмъ такъ много и глубоко полюбила его,—даже глубже и болѣе, чѣмъ сама могла думать до дней, послѣдовавшихъ за окончательной разлукой. Но какъ и за что полюбила?—ни того, ни другого объяснить себѣ она не могла, да и не старалась, а если-бы стала объяснять, то объясненіе это было бы фальшивое, измышленное ради самообмана. А въ натурѣ ея лежало слишкомъ много искренности, чтобы лгать предъ другими, и твердой прямоты, чтобъ обманывать самое себя. Какъ полюбился онъ ей? Полюбился незамѣтно, исподволь, такъ что и слово «люблю» ни разу не было сказано между ними, а она уже чувствовала, что любитъ. Шло и росло это чувство такъ тихо, просто и какъ бы совсѣмъ спокойно; но чѣмъ тише

Digitized by Google

и проще, тѣмъ прочнѣй и глубже пускало оно корни въ ея душу. За что полюбился онъ ей? Этотъ вопросъ, послѣ разлуки съ нимъ, она и сама себѣ задавала неоднократно, и былъ на него только одинъ отвѣтъ. Вспоминался Татьянѣ тотъ теплый, майскій вечеръ въ Славянобубенскѣ, когда въ бесѣдкѣ, обвитой густыми побѣгами павоя и хмѣля, сидя надъ шитьемъ, ожидала она обычнаго прихода Хвалынцева. Въ этотъ вечеръ былъ его послѣдній, прощальный приходъ: завтра утромъ онъ долженъ былъ ѣхать. И ясно, почти до малѣйшихъ подробностей, вспоминался ей случайный разговоръ, возбужденный тогда Хвалынцевымъ. Какъ-то довольно кстати предложилъ онъ ей нѣсколько щекотливый вопросъ: «что-бъ она сдѣлала, если бы, выйдя замужъ, глубоко полюбила впослѣдствіи другого?» Отвѣтъ былъ ясенъ и простъ: «я бы не вышла иначе, какъ только убѣдясь напередъ въ самой себѣ, что я *точно* люблю человѣка, что это не блажь, не вспышка, не увлеченіе, а дѣло крѣпкое и серьезное, и послѣ этого мнѣ ужь конечно не пришлось бы полюбить другого».

Теперь же Татьяна, къ несчастію, все болѣе убѣждалась, что ея чувство не блажь и не увлеченіе, а то крѣпкое и серьезное дѣло, которое точно должно назвать настоящею любовью, и при которомъ нельзя полюбить другого.

«Да если другой-то будетъ лучше?» задалъ ей Хвалынцевъ новый вопросъ въ тотъ вечеръ. И точно также, съ полною ясностью вспоминался теперь Татьянѣ ея отвѣтъ, который былъ ея всегдашнимъ, прочнымъ убѣжденіемъ, ибо она инстинктомъ чувствовала, что иначе и быть не можетъ. «Тутъ нѣтъ, мнѣ кажется, ни лучше, ни хуже», отвѣчала она, «можетъ-быть, я даже могла бы полюбить и очень дурного человѣка, потому что любишь не за *что-нибудь*, а любишь просто, *потому что любится*, да и только. И довольно полюбить разъ да хорошо, а больше и не надо—и одного хорошаго раза на всю жизнь хватитъ...»

И этотъ-то *разъ* былъ теперь для нея роковымъ разомъ. Не то, чтобы запало въ нее сознаніе, что Хвалынцевъ дурной человѣкъ: то что думалось ей порою, было хуже этого сознанія—ее брало сомнѣніе, что онъ человѣкъ легкій, вѣтреный, поверхностный и вообще ненадежный, на котораго едва ли можно въ какомъ-либо дѣлѣ крѣпко опереться. И эта-то ненадежность, эта нравственная, какъ казалось ей, слабость и шаткость болѣе всего наводили на нее горечь и досаду. Былъ ли таковъ Хвалынцевъ на самомъ дѣлѣ — это ужь другой вопросъ; но ей стало иногда казаться теперь, будто онъ таковъ, и въ такомъ ея взглядѣ на него—надо сознаться—чуть ли не главную роль игралo эгоистическое чувство любви къ отвернувшемуся отъ нея человѣку и женское самолюбіе, по струнамъ котораго онъ больно ударилъ тѣмъ, что предпочелъ ей другую, «до *такой* степени», до полнаго самопожертвованія. Взбалмошный фактъ поступленія въ военную службу и этотъ быстрый отъѣздъ, причиной котораго была «женщина», казались ей, по невѣдѣнію настоящихъ причинъ и побужденій, фактами сумасброднаго самопожертвованія. Когда она, забывъ про самое себя или, такъ сказать, отрѣшившись отъ себя, глядѣла на этотъ поступокъ какъ бы со стороны, онъ ей даже нравился своею сумасбродною рѣшительностью: «значитъ любитъ», думалось тогда Татьянѣ. Но когда уязвленная гордость, самолюбіе и пренебреженная любовь болѣзненно напоминали ей, что вѣдь это она, она сама оставлена и забыта, что все это сдѣлано для какой-то другой—въ душѣ ея закипало и ревнивое чувство злобы противъ Хвалынцева, и эгоистическое умаленіе того самаго поступка, который за минуту ей нравился и, можетъ, продолжалъ бы нравиться, если бы Хвалынцевъ былъ для нея постороннимъ, чужимъ человѣкомъ, если-бъ она любила не его, или никого не любила. Самолюбіе щемило, обиженная любовь не засыпала и противъ воли бродила въ ея сердцѣ—надо было убаюкать, уходить, задушить въ себѣ и то, и другое — и вотъ, плодомъ этого «надо» у нея и являлось сомнѣніе въ Хвалынцевѣ, въ его надежности. Это былъ для нея своего рода отводъ, который мучилъ ее чуть ли еще не болѣе чѣмъ все остальное. Чѣмъ бы ни казался ей порою Хвалынцевъ, она понимала, чувствовала и, такъ сказать, со всею внутреннею осязательностью души ощущала, что все-таки любитъ, и любитъ не переставая, не умаляясь въ своемъ, Богъ-вѣсть почему, глубокомъ и сильномъ чувствѣ.

Такія натуры, дѣйствительно, любятъ разъ да хорошо; въ нихъ это чувство зарождается тихо, кроется и коренится глубоко и высказывается просто, безъ аффектацій, да кромѣ того, эти натуры еще не любятъ казать его предъ посторонними глазами.

Вспоминалось еще Татьянѣ, какъ въ тотъ самый прощальный, майскій вечеръ, Хвалынцевъ, раздумавшись надъ ея словами, сказалъ ей, что ея взглядъ на серьезное чувство, пожалуй, хорошъ, да только та бѣда, что съ нимъ рискуешь иногда быть очень несчастливымъ въ жизни, если вдругъ ошибешься, да полюбишь человѣка вѣтренаго, увлекающагося, который разлюбитъ тебя потомъ, который въ каждомъ смазливомъ личикѣ будетъ находить себѣ источникъ чувства или развлеченія, — тогда что? спросилъ онъ въ томъ разговорѣ. «Да, тогда не хорошо!» согласилась съ нимъ Татьяна,—«и это, безспорно, величайшее несчастіе». Да, тогда не хорошо, часто и теперь повторяла она себѣ, раздумываясь и надъ его словами, и надъ своимъ упрямымъ, невольнымъ чувствомъ. «А я говорила ему тогда, что во

Digitized by Google

власти самой женщины сдѣлать такъ, чтобы человѣкъ *всегда* любилъ тебя», горько думалось Татьянѣ въ эти минуты, «только одну тебя! чтобы ему и въ голову не пришло о возможности увлечься другою. Я говорила ему, что это *можетъ* сдѣлать женщина, что для этого ей надо только умѣть любить, любить прежде всего и вѣрить, въ себя вѣрить. Ну вотъ, ты и вѣрила въ себя, ты и любила, и любишь, что же ты не сдѣлала такъ, чтобъ онъ не ушелъ отъ тебя, чтобъ онъ не увлекся другою, чтобъ онъ любилъ только тебя одну, что жь ты не сдѣлала этого? Или силенки не хватило? Или мало любила еще?» Все это были желчные, ядовитые вопросы, полные саркастическихъ упрековъ самой себѣ, и этими безплодными вопросами она еще пуще бередила свою больную, раненую душу. Эта глухая борьба и внутренняя работа надъ собою становились порой слишкомъ тяжелы. Нуженъ былъ какой-нибудь исходъ, какое-нибудь отвлеченіе, отдыхъ, а этого не было. Сказать все теткѣ, подѣлиться съ ней душою Татьяна не могла, не хотѣла. Хоть и знала она, что тетка сердечно, сочувственно приметъ ея исповѣдь, но какое-то внутреннее «нельзя», «не надо», «не къ чему», удерживало ее отъ этого: есть натуры, которыя отъ наиболѣе близкихъ, родственныхъ и любящихъ ихъ людей наиболѣе ревниво оберегаютъ тайникъ своего внутренняго міра. Татьяна чувствовала, что былъ одинъ только человѣкъ, къ которому она могла бы совсѣмъ разумно, совсѣмъ сердечно и просто придти и сказать свое горе, и что этотъ человѣкъ понялъ бы ее скорѣе и глубже чѣмъ всякій другой. Такимъ человѣкомъ былъ для нея Андрей Павловичъ Устиновъ. Подавляемая своими тяжелыми думами, она вспомнила теперь про него, про свою добрую дружбу къ нему. Какъ женщина и притомъ женщина чуткая, она не могла не замѣчать въ немъ то полное глубокаго, почти благоговѣйнаго уваженія чувство, которое питалъ онъ къ ней. Это чувство было на столько скромно, застѣнчиво и робко, что онъ какъ бы боялся не только высказать, но даже дать ей хоть сколько-нибудь замѣтить его. Татьяна между тѣмъ очень хорошо это видѣла и понимала, что маленькій математикъ любитъ ее такъ же тихо и глубоко, какъ она Хвалынцева. Но подмѣтивъ въ немъ это чувство, она взамѣнъ могла дать ему только дружбу. Подъ наплывомъ своихъ воспоминаній, въ одну изъ тѣхъ въ высшей степени рѣдкихъ у нея минутъ, когда переполненная душа настоятельно запросила подѣлиться съ кѣмъ-нибудь своимъ горемъ. Татьяна въ какомъ-то экзальтированномъ порывѣ сѣла и написала письмо Устинову. Это была полная и откровенная исповѣдь всей глухой борьбы, которую она теперь столь упорно, но тщетно осиливала. Внутреннее одиночество, душевное сиротство томило ее, и она просила Устинова, если возможно, пріѣхать въ Петербургъ. Она знала, что онъ безъ того часто предъ ея отъѣздомъ высказывалъ намѣреніе покинуть, ради Петербурга, постылый ему Славнобубенскъ, а теперь, по первому ея призыву, явился бы сюда непремѣнно. Только въ немъ одномъ казалось ей возможнымъ найти себѣ безкорыстную, нравственную поддержку и дружеское успокоеніе. Но часъ спустя, перечитавъ свое письмо, Татьяна разорвала его на куски. «Не надо!» рѣшила она себѣ. «Ты вѣдь знала и раньше, что онъ любитъ тебя; такъ зачѣмъ же не раньше, а только теперь? Оттого что тебя больно ударили, такъ ты и бѣжишь какъ малый ребенокъ подъ крылышко няньки, чтобъ она тебя утѣшила, успокоила... А вѣдь онъ любитъ тебя такъ же какъ ты *этого*; но вѣдь онъ ни подъ чье крылышко не прятался, когда ты ему платила равнодушіемъ подъ видомъ дружбы,—а теперь, какъ больно стало, такъ и къ нему!.. Нѣтъ, не надо! Не пойду я къ нему, ни къ кому не пойду!.. И никого, и ничего мнѣ не надо!»

Она рѣдко стала выходить изъ дому,—развѣ только для прогулокъ, выбирая для нихъ улицы менѣе людныя, потому что ей какъ-то безсознательно досаденъ становился весь этотъ кишучій шумъ и грохотъ, вся эта толчея бойкой городской жизни. Она съ удовольствіемъ промѣняла бы теперь этотъ Петербургъ на двухъ-оконную комнатку въ глухой, степной деревнюшкѣ: ей захотѣлось уйти и спрятаться отъ всѣхъ и всего, а болѣе отъ самой себя, отъ своей тоски и думы. Знакомыхъ у ея тетки здѣсь было очень не много, да и тѣ-то стали въ тягость Татьянѣ; даже театръ, который она такъ любила, утратилъ для нея всю свою прелесть. Мало-по-малу на нее стала цѣлыми днями находить какая-то лѣниво-сонная апатія. Но такое состояніе скоро было замѣчено ею, и она испугалась его. «Нѣтъ, надо кончить это! Надо дѣло дѣлать, а то эдакъ въ-конецъ распустишь себя!» сказала она себѣ и нравственно встрепенулась. Но какое дѣло? Въ чемъ дѣло и гдѣ найти его, это дѣло по душѣ, по сердцу? Въ окружающей обстановкѣ данной минуты Татьяна не видѣла для себя этого спасительнаго дѣла, которое исцѣлило бы ее, да его тамъ и не было. Какъ же, наконецъ, быть-то? задала она себѣ вопросъ. Читать и учиться! больше учиться, больше читать — это все, что до времени остается ей, а тамъ... время, говорятъ, вылечитъ. И Татьяна остановилась на этомъ рѣшеніи.

II.

Книжная торговля и кабинетъ для чтенія Луки Благопріобрѣтова и К°.

Эти слова яркими и крупными буквами были начертаны на большой вывѣскѣ, прибитой надъ

Digitized by Google

пятью окнами перваго этажа одного изъ большихъ домовъ, на одной изъ бойкихъ, промышленныхъ улицъ, и эти-то самыя слова случайно, во время прогулки, попались на глаза Татьянѣ Николаевнѣ Стрѣшневой.

«Вотъ и кстати!» подумала она. «Дай зайду, авось можно абонироваться, чтобъ брать книги на домъ».

Подумала и зашла.

Обстановка магазина довольно прилична. За ясеневою конторкою стоитъ какая-то дама весьма привлекательной наружности, съ пенснэ на носу, и вписываетъ что-то въ конторскую книгу. Полурастворенная дверь позволяетъ видѣть часть смежной внутренней комнаты, которая, судя по обстановкѣ, служила кабинетомъ для чтенія. Изъ этой комнаты доносилось нѣсколько одновременно спорящихъ голосовъ, между которыми вмѣшивался порою и голосъ женщины.

Стрѣшнева обратилась къ дамѣ, стоявшей за конторкой.

Дама, прежде чѣмъ отвѣтить на ея вопросъ, оглядѣла ее всю съ ногъ до головы и, продолжая вписывать, спросила въ свою очередь:

— А вы на какія книги хотите абонироваться?

— Тамъ смотря какъ... Это будетъ зависѣть отъ моего выбора.

— Мы на глупыя книги не принимаемъ абонемента,—ни съ того, ни съ сего замѣтила вдругъ дама въ пенснэ.—Если вы на такое чтеніе думаете подписаться, такъ обратитесь лучше въ другія библіотеки.

Такая неожиданная выходка, ничѣмъ не вызванная со стороны Стрѣшневой, показалась ей по меньшей мѣрѣ очень странною. Она уже готовилась возразить, что, по ея мнѣнію, въ книжномъ магазинѣ, ради его собственныхъ выгодъ, должны быть всякія книги, а на выборъ для чтенія той или другой изъ нихъ едва-ли можно налагать такія условія, какъ вдругъ въ эту самую минуту съ порога смежной комнаты громко раздался пріятно удивленный голосъ:

— Ахъ!.. Стрѣшнева!?.. Неужели это вы? Да какими судьбами? Здравствуйте!

Татьяна Николаевна обернулась и увидѣла старую свою знакомку.

На порогѣ, съ неизмѣнной папироской въ рукахъ, стояла Лидинька Затцъ.

Въ Славнобубенскѣ онѣ были нѣсколько лѣтъ сряду хорошими знакомыми. Лидинька не безъ внутренняго удовольствія называла себя даже пріятельницею Стрѣшневой и, несмотря на все свое подчиненіе авторитету Ардальона Полоярова, не долюбливавшаго Татьяны, имѣла твердость не измѣнять къ ней своихъ отношеній, хотя отношенія эти и были чисто внѣшнія. Въ сущности, Лидинька не понимала Стрѣшневой, да никогда и не задавалась мыслью понять ее; но такъ какъ разъ уже установилось между ними доброе знакомство, и такъ какъ Стрѣшнева оказывала ей нѣкоторое вниманіе, всегда была очень мила и ласкова съ нею, и наконецъ, такъ какъ она, благодаря себѣ и теткѣ, была довольно хорошо и независимо поставлена въ славнобубенскомъ «обществѣ», то Лидинька и считала за лучшее сохранять съ ней свои хорошія отношенія и по-своему даже «любила» ее.

Она и теперь, повидимому, очень обрадовалась этой неожиданной встрѣчѣ и даже поцѣловалась съ Татьяной.

— Здравствуйте, миленькая моя! Какими вы судьбами забрели сюда? Ступайте къ намъ сюда, сюда, вотъ въ эту комнату: это наша читальня!—тараторила Лидинька, таща Стрѣшневу за собою.—Какъ у насъ тутъ прекрасно! Просто первый сортъ! Пойдемте, поболтаемте, я васъ съ *нашими* познакомлю... Господа! вотъ вамъ Стрѣшнева, моя славнобубенская пріятельница! — возгласила она въ заключеніе своей болтовни, введя Стрѣшневу въ читальную комнату, гдѣ засѣдали три-четыре человѣка весьма разнообразной наружности.

— А это вотъ, — продолжала Лидинька, указывая по очереди на засѣдавшихъ господъ, — Благопріобрѣтовъ, Малгоржанъ - Казаладзе, Фрумкинъ и князь Сапово-Неплохово, въ нѣкоторомъ родѣ благородная отрасль древняго аристократическаго рода, хотя намъ на это наплевать!

При этихъ словахъ, господинъ, названный княземъ, съ поклономъ новой гостьѣ, глупо оскалилъ свои зубы и еще глупѣе какъ-то загототалъ громкимъ смѣхомъ. Это «наплевать», очевидно, весьма ему понравилось. Лука Благопріобрѣтовъ, имя котораго красовалось на вывѣскѣ, былъ рябъ и вихроватъ. Желтые, короткіе волосья его вихрами торчали во всѣ стороны какъ на головѣ, такъ и на лицѣ. Весьма несуразо скроенный, одѣтый въ неуклюжій пиджакъ и туфли онъ былъ высокъ, узловатъ въ костяхъ и все какъ-то сутулился, ежился, пружился, и говорилъ не иначе какъ угрюмымъ басомъ и при томъ очень воздержно, только въ самыхъ крайнихъ случаяхъ, ограничиваясь болѣе либо выразительнымъ молчаніемъ, либо же краткимъ мычаньемъ очень глубокомысленнаго свойства. Онъ сохранялъ въ себѣ явные слѣды провинціальной семинаріи добраго стараго времени и на взглядъ казался уже пожилымъ человѣкомъ, хотя ему еще не было и тридцати лѣтъ.

Малгоржанъ-Казаладзе принадлежалъ къ расѣ «восточныхъ человѣковъ» армянскаго происхожденія и немного подходилъ къ тому достолюбезному типу, который извѣстенъ подъ именемъ отвратительныхъ красавцевъ. Впрочемъ Малгоржанъ и самъ, по общей слабости своихъ соотчичей, думалъ о себѣ, что онъ «молодца и красавица» и что поэтому ни одна женщина противъ его красоты устоять не можетъ.

Digitized by Google

Моисей Исаакович Фрумкинъ, очень вертлявый молодой человѣкъ, довольно красивой наружности, постоянно старался держать себя какъ можно бойче и развязнѣе, втайнѣ желая тѣмъ самымъ скрыть свое семитическое происхожденіе, и въ силу этой же причины очень огорчался въ душѣ своей тѣмъ печальнымъ обстоятельствомъ, что носилъ выдающее имя Моисея, да еще вдобавокъ Исааковича.

Князь Сапово-Неплохово являлъ изъ себя тощаго, длиннаго, безбородаго юношу, съ пошленькой физіономіей и въ безукоризненномъ костюмѣ по послѣдней модной картинкѣ. Этотъ князь, повидимому, весьма гордился тѣмъ, что находится въ обществѣ Малгоржана, Фрумкина, Затцъ и Благопріобрѣтова, къ которымъ охотно относился со знаками искренняго почтенія. Онъ былъ здѣсь всѣхъ моложе и всѣхъ глупѣе, о чемъ краснорѣчиво свидѣтельствовала его физіономія! Болѣе сего сказать о немъ нечего.

Всѣ эти личности состояли членами той компаніи, для которой Лука Благопріобрѣтовъ служилъ вывѣской. Лидинька тараторила какъ сорока, не умолкая почти ни на минуту. Слова: «ассоціація, трудъ, капиталъ, раздѣленіе труда, индиферентизмъ, дѣло, подлость, подлецы, правомѣрность, цѣлесообразность, коммунизмъ, прогрессизмъ, соціализмъ, позитивизмъ, реализмъ» и т. п., каскадомъ лились съ языка Лидиньки, которая съ переѣздомъ въ Петербургъ, какъ замѣтила теперь Стрѣшнева, стала еще бойче и въ извѣстномъ направленіи полированнѣе. По всему было замѣтно, что общество Фрумкина и Благопріобрѣтова очень хорошо отшлифовало ее относительно этого направленія. Лидинька не безъ увлеченія повѣствовала Стрѣшневой, что они, вообще новые люди (то есть и она въ ихъ числѣ), устроили свою жизнь на совершенно новыхъ началахъ, что у нихъ организовалась правильная ассоціація съ общимъ раздѣленіемъ труда и заработка, что эта ассоціація завела вотъ уже книжную торговлю и переплетную мастерскую, и теперь хлопочетъ о заведеніи швейной и типографіи, и что всѣ они, а она, Лидинька, въ особенности, ужасно теперь заняты дѣломъ, и что дѣла у ней вообще просто по горло: «вся въ дѣлѣ, ни на минуту безъ дѣла», тараторила она, и Стрѣшнева довольно внимательно слушала ея болтовню. Фрумкинъ вызвался руководить выборомъ ея чтенія и предложилъ на первый разъ Бокля, котораго Татьяна хоть и читала, однако же не прочь была и еще разъ перечитать повнимательнѣе; но Благопріобрѣтовъ не одобрилъ такого выбора.

— Бокль, это такъ-себѣ. Онъ, пожалуй, хоть и изрядный реалистъ, — замѣтилъ Лука, — а все-таки швахъ! До точки не доходитъ... филистеръ! А если читать—никого и ничего не читайте! Однихъ нашихъ! Наши честнѣй и послѣдовательнѣй... ничего не побоялись, не струсили ни передъ кѣмъ... Наши пошли гораздо логичнѣе, дальше пошли, чѣмъ всѣ эти хваленые Бокли. Это повѣрьте, ей-Богу такъ.

— Что это, Благопріобрѣтовъ, какая у васъ скверная привычка: все «ей-Богу», да, «ей-Богу»!—тотчасъ же замѣтила Лидинька.—Предоставьте дуракамъ и невѣждамъ употреблять это слово, а мы, кажется, можемъ обойтись и безъ подобныхъ пошлостей.

Благопріобрѣтовъ, нисколько не стѣсняясь, замѣтилъ на это Лидинькѣ, что она сказала глупость, но Лидинька съ апломбомъ возразила ему, что она только послѣдовательна.

Стрѣшнева просидѣла въ читальнѣ около часу. Лидинька просила ее заходить почаще и сама тоже обѣщалась какъ-нибудь завернуть къ ней. Въ концѣ концовъ ее снабдили абонементнымъ билетомъ и связкою нѣсколькихъ книжекъ, по преимуществу состоявшихъ изъ собранныхъ и переплетенныхъ воедино кой-какихъ журнальныхъ статей. Выборъ этихъ книжекъ удостоилъ сдѣлать для Татьяны самъ Лука Благопріобрѣтовъ, сказавъ, что эти статьи не достаточно прочесть, но надо даже изучать какъ догматъ всякому порядочному и честному человѣку.

Хотя Стрѣшнева и не слѣпо повѣрила на первый разъ рекомендаціи Благопріобрѣтова, тѣмъ не менѣе въ этихъ книжкахъ заключался для нея извѣстный интересъ, и онѣ были охотно приняты ею.

Теперь, казалось ей, былъ отысканъ хоть призракъ какого-нибудь дѣла: книга все же представляла нѣкоторое отвлеченіе отъ тяжелыхъ думъ и гнетущаго чувства.

III.

Призракъ дѣла.

Сначала чтеніе подвигалось туго. Часто случалось такъ, что, водя глазами по печатнымъ строчкамъ, Татьяна машинально читала одни только слова, когда какъ мысли ея были далеко отъ книги. Но каждый разъ словно бы очнувшись, она замѣчала въ себѣ эту разсѣянность и приневоливала свою мысль и вниманіе. Однажды въ читальнѣ она увидѣла на полкѣ Гумбольдтовъ «*Космосъ*» и взяла его. Съ первыхъ страницъ и съ «*Космосомъ*» пошла у ней та же исторія машинальнаго бѣганія глазами по строчкамъ, но нѣсколько разъ переломивъ свою разсѣянность, она стала внимательнѣй вдумываться въ смыслъ читаемыхъ страницъ и мало-по-малу великій интересъ великой книги охватилъ ея умъ и приковалъ къ себѣ все ея вниманіе. Ярко поэтическая, исполненная глубокаго смысла, картина цѣлаго міра развертывалась предъ ея глазами. «*Космосъ*» увлекъ её и сдѣлалъ тотъ внутренній переворотъ, котораго она тщетно искала доселѣ. Въ спокойной, мощной и строгой мысли поэта-ученаго она мало-по-

Digitized by Google

малу нашла свой собственный міръ и покой душевный. Хотя въ этомъ и не было забвенія прошлаго, но онъ принесъ ей съ собою то, что въ ея думахъ и воспоминаніяхъ все менѣе и менѣе оставалось теперь ѣдкой горечи и тоскливаго гнета. Это былъ покой тихій и нѣсколько грустный, похожій на медленное выздоровленіе тяжко больного человѣка. Выздоровленіе часъ за часомъ, день за днемъ приноситъ съ собою частичку свѣжихъ, обновленныхъ силъ, съ которыми все болѣе пробуждается въ организмѣ потребность жизни и дѣятельности. То же было и съ Татьяной: задавшись разъ исканіемъ дѣла, она не покинула своей задачи; напротивъ, съ наплывомъ этого тихаго мира и покоя душевнаго, въ ней стала все громче и сильнѣе говорить потребность какого-нибудь живого, плодотворнаго дѣла. Весь вопросъ для нея былъ теперь только въ томъ: какого?

Теперь уже ее стали одолѣвать сомнѣнія иного рода. Что это были за сомнѣнія, пусть разскажетъ отрывокъ изъ ея собственнаго письма къ Устинову. Татьяна совершенно неожиданно получила отъ него письмо, гдѣ онъ сообщалъ о своемъ окончательномъ рѣшеніи бросить въ самомъ скоромъ времени службу въ Славнобубенскѣ, чтобы пріѣхать въ Петербургъ, и спрашивалъ у Татьяны объ ея столичномъ житьѣ-бытьѣ, о Хвалынцевѣ, о Полояровской компаніи, о которой отзывался хотя и вскользь но не безъ иронія. Стрѣшнева обрадовалась случаю писать къ нему и, не откладывая въ дальній ящикъ, принялась за отвѣтъ.

«Вы спрашиваете про мое житье-бытье да про то, что я дѣлаю», между прочимъ писала она въ своемъ отвѣтѣ.—«Что вамъ сказать на это? Стыдно сознаться, а утаить не могу, что пока ровно еще ничего не дѣлаю. Только всего и дѣла-то у меня что читаю, но это, какъ начинаетъ мнѣ теперь казаться, еще не дѣло, а только призракъ дѣла, или пожалуй, оно могло бы быть при случаѣ подготовкой къ дѣлу. Помните ли, моимъ всегдашнимъ убѣжденіемъ было, что скучно жить на свѣтѣ безъ дѣла, что необходимо надо, чтобы у каждаго человѣка было хоть какое-нибудь дѣло, цѣль, задача въ его жизни. И—увы!—съ убѣжденіемъ такого рода, я сама ясно вижу, что вотъ именно у меня-то, у меня самой и нѣтъ ровно никакого серьезнаго жизненнаго дѣла. Вы, мой добрый другъ, иронизируете надъ Лидинькой Затцъ и Полояровской компаніей, а я вамъ— къ величайшему вашему удивленію — скажу на это, что иронія тутъ совершенно напрасна. Я сама еще очень недавно относилась къ нимъ точно такъ-же, а теперь... теперь у меня на хватило бы духу на это, потому что я чувствую, что съ подобнымъ отношеніемъ я была бы неправа передъ ними. Можно было посмѣиваться надъ этими людьми, когда они только разглагольствовали, когда все *дѣло* ограничивалось у нихъ одними только словами да звонкими фразами. Но хватитъ ли у васъ духу смѣяться, когда вы увидите, что фраза не осталась фразой, что эта фраза, проникнутая вѣрой и убѣжденіемъ, переходитъ на практическую, житейскую почву, воплощается уже въ серьезномъ насущномъ дѣлѣ? Оставимте въ сторонѣ всѣ Полояровскія нелѣпости о пресловутомъ «гнетѣ петербургскаго царизма» et cetera, да и самого Полоярова тоже въ сторону! Но вотъ, напримѣръ, открытіе книжной торговли, учрежденіе переплетной мастерской, швейной, типографіи, и все это на разумныхъ и строгихъ началахъ ассоціаціи — это уже не нелѣпость, а практическое, насущное дѣло, ведущее въ концѣ концовъ къ тому, чтобъ упрочить честный трудъ на честныхъ основаніяхъ, на его свободѣ и на справедливости. Тутъ уже дѣло идетъ о вѣрномъ и честномъ кускѣ хлѣба, стало быть о томъ, чтобы людямъ было легче и удобнѣе жить на свѣтѣ. И надъ этимъ стремленіемъ, осуществляемымъ практически, мы съ вами смѣяться, конечно, не станемъ. Все сдѣланное доселѣ въ данномъ отношеніи этими людьми не болѣе какъ первая попытка, первое зерно, брошенное въ почву; но если ростъ этого зерна будетъ правиленъ, сколько блестящихъ, неоцѣнимыхъ плодовъ принесетъ оно!.. Я въ Петербургѣ совершенно случайно натолкнулась на этихъ «новыхъ людей». Я еще ихъ очень мало знаю, встрѣчаюсь съ ними не особенно часто; но я стала пристальнѣй приглядываться къ нимъ и раздумываться надъ ними. Конечно въ нихъ есть свои странныя, неуклюжія, пожалуй, и смѣшныя стороны, есть и свои крайности, но при этомъ, какъ мнѣ кажется, въ нихъ много характера, энергіи, упорства и вѣры въ свое дѣло. Они едва ли способны на крупныя уступки и сдѣлки съ тѣмъ порядкомъ вещей, на борьбу съ которымъ ихъ вызываетъ стремленіе къ своему идеалу. Все это, повторяю вамъ, мнѣ такъ кажется. Они уже тѣмъ неизмѣримо счастливѣе меня, что нашли свое дѣло и идутъ своей дорогой, съ твердою вѣрою и въ это дѣло, и въ свое призваніе, а я... я все еще стою на какомъ-то распутьи и жду. А зачѣмъ стою и чего жду,—про то и сама не знаю. Вы говорите про Лидиньку Затцъ. Мы съ вами знавали ее въ Славнобубенскѣ пустою и нѣсколько эксцентричною болтуньей; но тѣмъ-то мнѣ и горьше, что даже эта пустельга дѣлаетъ дѣло на сколько можетъ и умѣетъ дѣлать, что даже и она нашла себѣ его, а я, грѣшная, остаюсь только при однихъ исканіяхъ да добрыхъ порываньяхъ, отъ которыхъ въ результатѣ все-таки нуль оказывается. Это-то вотъ горькое раздумье надъ собою, приведшее меня къ такому сознанію, и заставило меня нѣсколько иначе посмотрѣть на Лидиньку и ей по-

Digitized by Google

добныхъ. Я вглядываюсь теперь и хочу вглядѣться въ нихъ еще ближе, еще пристальнѣе. Во всякомъ случаѣ, теперь я стала глядѣть на людей этой категоріи гораздо серьезнѣе, чѣмъ прежде».

Такова была исповѣдь Татьяны, таковы были мотивы, побуждавшіе ее пока если не къ окончательному сближенію съ ея новыми знакомцами, то къ установкѣ извѣстнаго взгляда на нихъ. Причиною этого была все та-же неопредѣленная жажда жизненной дѣятельности, своего рода Sehnsucht, стремленіе къ призраку *дѣла*, такого хорошаго, полезнаго дѣла, которому можно бы было отдать себя вполнѣ и въ немъ окончательно уже найти забвеніе и успокоеніе душевное.

IV.

Вдовушка Сусанна.

Въ Петербургѣ есть цѣлые дома съ такимъ расположеніемъ большинства квартиръ, которое какъ нельзя удобнѣе приспособлено къ устройству въ нихъ такъ называемыхъ chambres garnies. Общій, наиболѣе распространенный типъ подобной квартиры непремѣнно представляетъ длинный, полутемный корридоръ, съ двухъ сторонъ котораго идутъ дверки, ведущія въ отдѣльныя комнаты. Одна или двѣ изъ такихъ комнатъ размѣрами своими всегда превосходятъ всѣ остальныя и какъ бы заранѣе предназначаются «подъ хорошаго жильца». Эти квартиры рѣдко остаются въ Петербургѣ пустыми и постоянно приносятъ хорошій доходъ какъ съемщикамъ, такъ и домовладѣльцамъ. Одна изъ подобныхъ квартиръ, въ одномъ изъ недалекихъ отъ центра кварталовъ, была нанята на имя вдовы штабсъ-ротмистра Сусанны Ивановны Стекльштромъ.

Сусанна Ивановна въ полномъ совершенствѣ была то, что называется «интересная вдовушка». Для того чтобы быть «интересной вдовушкой», у нея имѣлось все: двадцать восемь лѣтъ отъ роду, очень привлекательная наружность, извѣстнаго рода лоскъ и капиталъ. Капиталъ — это главное. А капиталъ Сусанны Ивановны простирался ровно до шестидесяти тысячъ. У Сусанны Ивановны были великолѣпные густые и длинные каштановые волосы и агатовые каріе глаза. Это были глаза большіе, лѣниво-томные и безконечно добрые съ нѣсколько коровьимъ оттѣнкомъ въ выраженіи, что придавало имъ только извѣстный характеръ, но отнюдь не мѣшало ихъ красивости. Та же доброта высказывалась и въ ея крупныхъ, чувственныхъ губахъ. Эти волосы и эти глаза, съ этимъ очеркомъ губъ и съ мягкой полноватостью всей ея комплекціи, при правильной соразмѣрности средняго роста, дѣлали изъ Сусанны Ивановны, какъ сказано уже, очень привлекательную женщину. Мужчины смотрѣли на нее съ тѣмъ особеннымъ выраженіемъ, которое находится у мужчинъ далеко не для каждой женщины и которое всегда является, напримѣръ, у ремонтеровъ и у страстныхъ любителей лошадей при взглядѣ на хорошую, красиво-статистую лошадь. Въ общемъ и наиболѣе постоянномъ выраженіи красиваго лица Сусанны Ивановны господствовала все та же безконечная доброта, отчасти апатичная лѣнивость и еще какая-то недальновидность. Мужчины, поглядывая на Сусанну Ивановну, не безъ нѣкотораго своекорыстія, обыкновенно думали про себя: «а хорошо бы, чортъ возьми, порасшевелить эту бабенку!» Все это доказываетъ только, что интересная вдовушка принадлежала къ числу такъ называемыхъ «вкусныхъ и сдобныхъ» женщинъ, вѣчно служащихъ для огромнаго большинства субъектовъ непрекраснаго пола одною изъ самыхъ лакомыхъ приманокъ. Даже самая недальновидность, отражавшаяся въ ея физіономіи, не вредила общему впечатлѣнію, ибо — по замѣчанію нѣкоторыхъ компетентныхъ цѣнителей — недальновидность въ иныхъ случаяхъ относится никакъ не къ недостаткамъ, но къ положительнымъ достоинствамъ женщины.

Сусанна Ивановна семнадцати лѣтъ вышла замужъ за гусарскаго корнета Стекльштрома и при томъ вышла по самой страстной, неукротимой любви къ этому корнету. Все имущество корнета, кромѣ носильнаго платья, заключалось въ серебряныхъ ментишкетахъ да въ дорожномъ погребцѣ, при чемъ однако онъ какими-то судьбами могъ служить въ гусарахъ; этому, впрочемъ, помогало необыкновенно ловкое умѣнье дѣлать долги, не теряя собственнаго достоинства. Сусанна Ивановна, единственная дочь и наслѣдница очень богатаго южно-степного помѣщика, съ ея стотысячнымъ приданымъ, была блистательной приманкой и не для одного только гусарскаго корнета. А тутъ вдругъ эта пылкая любовь къ его особѣ. Корнетъ Стекльштромъ въ одинъ мигъ сообразилъ, что съ его стороны было бы величайшею и непростительнѣйшею глупостью не воспылать къ Сусаннѣ Ивановнѣ взаимною любовью — и воспылалъ. И что всего замѣчательнѣе, воспылалъ совершенно искренно, со всѣмъ корнетскимъ пыломъ. Родитель о такомъ бракѣ и слышать не хотѣлъ; тогда корнетъ Стекльштромъ выкралъ Сусанну Ивановну изъ родительской усадьбы, увезъ ее въ эскадронъ и обвѣнчался экстреннымъ манеромъ. Сусанна Ивановна была въ восторгѣ и отъ того, что ее увезли потайнымъ образомъ, и отъ того, что у нея такой хорошенькій мужъ, въ голубомъ гусарскомъ долманѣ, и на третій день послѣ столь радостнаго событія подкатила четверней къ родительскому крыльцу, вмѣстѣ съ молодымъ мужемъ, въ великолѣпномъ дормезѣ,

Digitized by Google

нарочно взятомъ для этого случая у полкового командира. Родитель было первымъ дѣломъ на дыбы: «ты, молъ, не дочь моя! у меня нѣтъ болѣе дочери! видѣть не хочу!» и проч. А Сусанна Ивановна ему на это: «Батюшка! мы дѣти ваши! мы любимъ» и т. д., словомъ, все совершенно такъ, какъ бываетъ въ театральныхъ представленія, для вящаго сходства съ которыми, родитель, въ концѣ концовъ, простеръ надъ ними руки и очень трогательно произнесъ: «Дѣти мои, будьте счастливы» и задалъ великолѣпный банкетъ всему гусарскому полку и всему мѣстному «благородному дворянству». Родитель даже очень полюбилъ своего зятька и по прошествіи трехъ лѣтъ отписалъ ему, что такъ какъ его родительское здоровье становится плохо, то и хотѣлъ бы онъ послѣдніе дни свои провести съ дѣтьми и внуками, а посему выходи-ко въ отставку и перебирайся ко мнѣ въ деревню. Зять такъ и сдѣлалъ, а мѣсяцевъ десять спустя родитель скончался—и madame Стекльштромъ сдѣлалась обладательницей богатаго наслѣдства. Отставной штабсъ-ротмистръ зажилъ широко, на гусарско-барскую ногу, и супруга была этимъ очень довольна. Прожили они такимъ образомъ во взаимномъ мирѣ, любви и согласіи почти девять лѣтъ, считая со дня своей свадьбы. Самъ Стекльштромъ за все это время успѣлъ сильно облѣниться, обрюзгнуть, растолстѣть и сталъ страдать одышкой. Madame же Стекльштромъ только хорошѣла себѣ на привольной помѣщичьей жизни. Было у нихъ двое дѣтей—двое мальчиковъ, и родители съ обоюднаго своего согласія порѣшили, что пора, молъ, для мальчиковъ, взять гувернера, который былъ бы заодно ужь и учителемъ. Бонна-француженка у нихъ ужь была, и мальчуганы хорошо болтали по-французски; къ нѣмецкому же языку и къ нѣмцамъ самъ Стекльштромъ, несмотря на свою отчасти германскую фамилію, питалъ,—сколь ни странно это—самое непримиримое отвращеніе и учить дѣтей «этому телячьему языку» ни за что не хотѣлъ. Поэтому рѣшено было не брать въ гувернеры ни нѣмца, ни француза. Случилось ему быть по дѣламъ въ Ростовѣ-на-Дону, и тутъ ему кстати отрекомендовали хорошаго гувернера. Отрекомендовалъ нѣкоторый нахичеванскій купецъ-армянинъ, съ которымъ Стекльштромъ имѣлъ дѣла по шерстяной торговлѣ. Въ качествѣ искомаго гувернера къ экс-гусару явился молодой человѣкъ армянскаго происхожденія и отрекомендовался студентомъ, который «по домашнимъ обстоятельствамъ» не успѣлъ докончить университетскаго образованія. Точно-ли молодой человѣкъ былъ студентомъ и на сколько въ показаніяхъ его правды, Стекльштромъ не справлялся, а просто «морда» ему понравилась, и онъ взялъ его въ гувернеры. Этотъ гувернеръ изъ восточныхъ человѣковъ былъ Малгоржанъ-Казаладзе.

Этотъ Малгоржанъ, какъ сказано уже, въ силу солидарности со всѣми своими единородцами, воображалъ о себѣ, что онъ «молодца и красавица», и вдругъ — увы! къ несчастію толстаго Стекльштрома, Сусанна Ивановна нашла его тоже «молодцой и красавицей»... Помѣщичьи хлѣба въ то время были еще хорошіе, жирные, деревенское житье привольное, спанье на пуховикахъ сладкое, деревенская скука великая, и барское, а особенно женское бездѣлье неисчерпаемое,—и вотъ, въ силу всѣхъ этихъ совокупныхъ причинъ, а болѣе всего отъ скуки и бездѣлья, полѣзла дурь въ голову Сусанны Ивановны. А тутъ еще этотъ Малгоржанъ со своими «новыми идеями». Онъ сразу почти принялся «развивать» Сусанну Ивановну, и развитіе это касалось болѣе того, что жить такъ, какъ Сусанна Ивановна живетъ, для «мыслящей женщины» невозможно, что эдакъ можно задохнуться — и Сусанна Ивановна вдругъ стала сознавать, что и точно можно задохнуться и что она уже задыхается. Потомъ Малгоржанъ сталъ увѣрять, что она хотя еще и не развитая, но очень замѣчательная, «мыслящая и изъ ряду вонъ выходящая женщина»—и Сусанна Ивановна стала чувствовать, что она и мыслитъ, и изъ ряду выходитъ, хотя до Малгоржана ни того, ни другого въ себѣ не замѣчала; но тѣмъ-то и болѣе чести этому Малгоржану, тѣмъ-то и выше заслуга его, что онъ первый подмѣтилъ въ ней это выдаваніе изъ ряду, что онъ первый «разбудилъ» въ ней «трезвую мысль». Сталъ Малгоржанъ говорить ей, что хотя ея супругъ, быть можетъ, и очень почтенный по-своему человѣкъ, но что онъ, во всякомъ случаѣ, человѣкъ ретроградный и «не понимаетъ» своей супруги, и даже не можетъ понимать ее—и Сусанна Ивановна вдругъ стала замѣчать, что и въ самомъ дѣлѣ не понимаетъ и понять не можетъ, что онъ только спитъ да ѣстъ, да со старостой объ овсахъ толкуетъ. Малгоржанъ сталъ увѣрять ее, что она, вслѣдствіе всего этого, очень несчастлива въ своей семейной жизни, что эта обстановка не по ней—и Сусанна Ивановна увѣровала, что и точно она очень несчастлива и что ей какъ можно скорѣй надо другую обстановку. Результатъ всего этого развитія, которое тѣмъ только и ограничилось, былъ очень лакомъ для нахичеванскаго Малгоржана. Со скуки Сусаннѣ Ивановнѣ казалось даже, что она очень привязана къ Малгоржану, что безъ него она жить не можетъ, что онъ первый, который «понялъ, разбудилъ и воззвалъ ее къ новой жизни», что онъ всегда, даже и до своего появленія въ ихъ домѣ, былъ ея идеаломъ, что она всегда стремилась къ такому идеалу и только теперь обрѣла его. Сначала все было шло хорошо у нихъ въ этой новой жизни при старой обстановкѣ. Развитіе благополучно дошло до точки, желанной Малгоржану: толстый

Digitized by Google

Стекльштромъ по-прежнему ѣлъ, спалъ и толковалъ объ овсахъ со старостой, какъ вдругъ этотъ самый злодѣй-староста, «жалѣючи пана», подшепнулъ ему однажды, что у самой пани «съ тымъ голоцупымъ гармяшкой щось-то такѐ скоромне — бодай стонадсять чортывъ ёго батькови!»

Стекльштромъ зналъ, что староста мужикъ честный, вѣрный и правдивый, который на-вѣтеръ зря слова не кинетъ, тѣмъ не менѣе очень разсердился, вспылилъ, сказалъ ему дурака и каналью и съ топотомъ выгналъ изъ кабинета. Но старостино слово заронилось ему въ душу и втайнѣ стало сосать и тревожить его. Толстякъ исподволь началъ наблюдать за женой и гувернеромъ, и вскорѣ долженъ былъ убѣдиться, что старостино слово не мимо шло. Онъ, ни мало не думая, принялъ Малгоржана въ арапники, и послѣ горячей собственноручной расправы, вытурилъ изъ дому, «чтобъ черезъ часъ и духу его на десять верстъ не пахло!» Сконфуженный Малгоржанъ удалился въ родную Нахичевань, а у Стекльштрома съ этой несчастной минуты пошелъ непрерывный кавардакъ въ его семейной жизни. Съ Сусанной Ивановной стали дѣлаться нервные припадки, пошли истерики, вопли, слезы, укоры, брань... Дѣти, видя, что мать чего-то вопитъ, тоже ревъ подымаютъ, и идетъ этотъ ревъ и вой по всему дому. Супружескія крупныя сцены вспыхивали ежедневно, а то и по нѣскольку разъ на день. Сусанна Ивановна томилась по своемъ Малгоржанѣ и все порывалась летѣть къ нему и за нимъ хоть на край свѣта; дѣти забыты, заброшены, занеряшены и неумыты; хозяйство ползетъ въ-рознь, всякое дѣло изъ рукъ валится; за столомъ въ горло кусокъ нейдетъ, вся домашняя прислуга съ толку сбилась и въ барскихъ комнатахъ ходитъ какъ одурѣлая... Адомъ сталъ этотъ домъ и эта жизнь для толстаго и лѣниваго Стекльштрома. Наконецъ Сусанна Ивановна рѣшительно объявила ему, что жить болѣе съ нимъ не намѣрена и уѣзжаетъ сегодня же, что онъ съ дѣтьми можетъ оставаться въ деревнѣ, а она съ своей стороны, такъ какъ все состояніе принадлежитъ ей, будетъ высылать ему и дѣтямъ ежегодно извѣстнаго рода пенсію, и засимъ проситъ считать ее свободною во всѣхъ отношеніяхъ. Стекльштромъ ни слова не возразилъ ей на это: онъ радъ былъ избавиться отъ домашняго ада—и Сусанна Ивановна укатила, впрочемъ очень нѣжно простясь со своими мальчиками. Чрезъ двѣ-три недѣли послѣ этого она уже была въ Петербургѣ, въ сопровожденіи своего «кузена» Малгоржана-Казаладзе.

Однако столь рѣзкая перемѣна въ семейныхъ обстоятельствахъ не прошла даромъ для экс-гусара. Онъ затосковалъ, и съ горя, въ кругломъ безвыѣздномъ одиночествѣ, сильно сталъ придерживаться чарочки! Онъ сдѣлался еще лѣнивѣе и сонливѣе, по цѣлымъ суткамъ не сползалъ со своего дивана и кончилъ тѣмъ, что чрезъ полгода подобной жизни, въ одну душную ночь хватилъ его кондрашка; къ полудню случился второй ударъ, вечеромъ третій — и штабсъ-ротмистръ Стекльштромъ переселился въ обители горнія.

Сусанна Ивановна сдѣлалась «интересной вдовушкой».

Она съѣздила въ деревню за тѣмъ, чтобы надъ могилой мужа воздвигнуть приличный мавзолей, свести свои счеты да дѣла и забрать своихъ ребятъ, которыхъ намѣревалась помѣстить въ Петербургѣ въ полный пансіонъ къ одному педагогу. По сведеніи счетовъ оказалось, что въ теченіе девяти лѣтъ прожито безъ малаго шестьдесятъ тысячъ, что, при широкой жизни, сравнительно говоря, было еще не особенно много. Сусанна Ивановна порѣшила продать свое имѣніе, ужасно продешевилась на этой продажѣ, но все-таки въ концѣ концовъ у нея осталось наличныхъ еще около шестидесяти тысячъ, съ которыми она и прикатила опять въ Петербургъ, въ объятія восточнаго кузена. У Малгоржана были здѣсь его старые знакомые, съ которыми онъ сошелся еще года за два предъ симъ, въ то время какъ въ качествѣ вольнослушателя посѣщалъ университетскія лекціи. Между этими знакомцами первую роль играли Лука Благопріобрѣтовъ и Моисей Фрумкинъ. Малгоржанъ уважалъ и того, и другого. Появясь въ Петербургѣ съ такою интересною особою, какъ Сусанна Ивановна, онъ никакъ не воздержался, чтобы не познакомить съ нею своихъ уважаемыхъ пріятелей, предъ которыми предварительно распространился о томъ, какая это замѣчательная женщина, какъ онъ постарался дать ей человѣческое развитіе и затѣмъ вырвалъ изъ когтей тирана и деспота мужа. Лука съ Моисеемъ весьма благосклонно отнеслись къ «кузинкѣ» Малгоржана.

Лука Благопріобрѣтовъ хотя и былъ человѣкъ узкій, односторонній, но въ высшей степени своеобразно честный. Это былъ по природѣ своей фанатикъ, и не будь онъ «новымъ человѣкомъ», то навѣрное былъ бы самымъ суровымъ отшельникомъ-монахомъ. Другихъ исходовъ для него не существовало бы. Онъ и теперь велъ жизнь самую суровую, исполненную всяческихъ, и вольныхъ и невольныхъ, лишеній. Это былъ идеалистъ реализма или, вѣрнѣе сказать, мистикъ реализма, которому поклонялся съ фанатизмомъ индійскаго факира. И онъ глубоко вѣровалъ въ то, чему поклонялся. Будучи нищъ и убогъ средствами, но твердъ и богатъ своею вѣрою, онъ упорно мечталъ о множествѣ проектовъ, ведущихъ къ пересозданію рода человѣческаго, къ обновленію соціальнаго строя человѣческой жизни. Ему хотѣлось, чтобъ люди жили въ великолѣпныхъ аллюминіевыхъ фаланстерахъ, предъ которыми казались бы жалки

Digitized by Google

и ничтожны дворцы сильныхъ міра сего, чтобы всякій трудъ исполнялся не иначе, какъ съ веселой пѣсней и пляской, чтобы каждый человѣкъ имѣлъ въ день три фунта мяса къ обѣду, а между тѣмъ самъ Лука зачастую не имѣлъ куда голову преклонить, спалъ на бульварѣ, ходилъ работать на биржу, когда не было въ виду ничего лучшаго, и иногда сидѣлъ безъ обѣда. Но собственныя несчастія и неудачи какъ-то мало его безпокоили; привыкъ-ли онъ къ нимъ, или натура ужь у него была такая закаленная, только эти лишенія и невзгоды составляли для него даже предметъ самодовольной гордости. Онъ именно какъ-бы гордился тѣмъ, что ему ѣсть нечего и голову преклонить некуда, и еще самъ даже старался увеличивать свои неудобства. Когда, напримѣръ, кто-нибудь изъ товарищей предлагалъ Лукѣ теплую комнату и мягкую постель, Лука зачастую отказывался и уходилъ спать на бульваръ или въ паркъ Петровскій.

Моисей же Фрумкинъ былъ великій практикъ въ дѣлахъ міра сего и обладалъ чисто іудейской увертливой и находчивой смѣткой. Когда Малгоржанъ-Казаладзе повѣдалъ двумъ своимъ пріятелямъ о подвигѣ развитія, учиненномъ надъ помѣщицей Сусанной, и о томъ, что у этой Сусанны есть шестьдесятъ тысячъ чистоганомъ, Фрумкину вдругъ явилась блестящая идея приспособить Сусанну «къ дѣлу». Онъ сообразилъ, что хорошо было бы убѣдить эту Сусанну основать на часть ея денегъ нѣчто въ родѣ фаланстера для совмѣстнаго сожитія «новыхъ людей» и тутъ же кстати примкнуть швейную, переплетную и прочія блага. Эту богатую идею сообщилъ онъ Лукѣ, и Лука схватился за нее со всѣмъ жаромъ: онъ видѣлъ въ ней фактическое осуществленіе своей завѣтной мечты о перерожденіи и перевоспитаніи рода человѣческаго. Когда друзья посвятили Малгоржана въ свой проектъ, то Малгоржанъ сильно поморщился, однако же послѣ довольно долгихъ и энергическихъ убѣжденій, боясь потерять репутацію «новаго человѣка» и уваженіе Луки и Моисея, склонился на ихъ доводы, склонился съ затаеннымъ сокрушеніемъ сердца, ибо втанѣ ласкалъ себя пріятною мыслію, что эти шестьдесятъ тысячъ въ силу, такъ сказать, нравственнаго сродства съ Сусанной, принадлежатъ и ему, въ нѣкоторомъ смыслѣ. Но убѣжденный наконецъ краснорѣчивыми доводами Фрумкина, онъ разсчелъ, что устройство фаланстера и прочихъ благъ потребуетъ немного — что-нибудь въ родѣ пяти-шести тысячъ, и потому, какъ ни больно это было въ сущности, далъ друзьямъ свое согласіе и обѣщалъ дѣйствовать на Сусанну заодно съ ними.

Фрумкинъ приступилъ къ интересной вдовушкѣ исподволь, гораздо глубже и дѣльнѣе, чѣмъ Малгоржанъ, посвящая ее въ нѣдра новыхъ идей новаго человѣчества. Съ нею, впрочемъ, работы ему было не много: врожденныя качества недальновидности и безконечной, коровьей доброты, столь ярко написанныя на ея лицѣ, помогли ему въ этомъ случаѣ чуть ли не болѣе, чѣмъ всѣ великія идеи и горячія убѣжденія. Вдовушка Сусанна никому никогда и почти ни въ чемъ не умѣла отказывать, а потому весьма охотно согласилась нанять на свое имя пригодную квартиру и, подъ видомъ жильцовъ, пускать въ нее на жительство тѣхъ людей, на которыхъ укажетъ Малгоржанъ и его пріятели. Трудъ и капиталъ въ этомъ случаѣ предполагались общіе, на основаніи строгой ассоціаціи, такъ что Сусанна, судя по доводамъ Фрумкина, и не могла быть въ какихъ-нибудь особенныхъ убыткахъ. Съ основаніемъ фаланстера предполагалось тотчасъ же приступить къ осуществленію и прочихъ проектовъ.

Мечтатель Лука, продолжая изможать свою плоть добровольными лишеніями, былъ совершенно счастливъ, и въ это-то время написалъ къ Полоярору то немногоглаголивое, но яснорѣчивое посланіе, которое побудило Ардальона летѣть изъ Славнобубенска въ Питеръ.

V.

Великіе проекты продолжаютъ осуществляться.

Шатался по Петербургу безъ всякаго дѣла нѣкій юный князь Сапово-Неплохово. Воспитаніе и образованіе свое съ грѣхомъ пополамъ кое-какъ окончилъ онъ въ одномъ изъ привилегированныхъ разсадниковъ «статскихъ» дѣятелей земли Русской. Впрочемъ, онъ не то, чтобы даже окончилъ курсъ, а просто выдали ему изъ разсадника свидѣтельство, что находился, молъ, въ такомъ-то заведеніи. Поэтому князь Сапово-Неплохово, въ сущности, былъ то, что называется «любитель просвѣщенія». Естественное предназначеніе этого князя, казалось бы, должно заключаться въ граненьи тротуаровъ Невскаго проспекта, въ посѣщеніи французскихъ спектаклей да различныхъ Бланшъ, Жозефинъ, Прозерпинъ и проч. Но у князя открылась вдругъ одна злосчастная слабость: князь возжелалъ сдѣлаться великимъ человѣкомъ, свѣтиломъ своего отечества,—онъ ощутилъ до такой степени сильный зудъ писательства, что во что бы то ни стало заказалъ себѣ быть литераторомъ. «Быть литераторомъ»—это стало любимѣйшею мечтою, счастливѣйшею надеждою, неотступною idée fixe юнаго князя, которая преслѣдовала его и на яву, и во снѣ. Князь сочинялъ стихи, романы, очерки, драмы, эпопеи, водевили, критическіе и соціальные этюды, политическія статейки, фельетоны, словомъ—все, чѣмъ только можетъ быть богата самая разнообразная литература.

Digitized by Google

Это былъ самый плодовитѣйшій отецъ своихъ твореній. Каждое изъ нихъ отдавалось отличному каллиграфу, который переписывалъ княжеское произведеніе отчетливѣйшимъ образомъ и трудился надъ затѣйливымъ изукрашеніемъ заглавнаго листа, послѣ чего тетрадь поступала къ переплетчику и выходила изъ его мастерской не иначе, какъ въ великолѣпной бархатной и золотомъ тисненой обложкѣ. Можно съ полною увѣренностью утверждать, что ни одно изъ произведеній самыхъ величайшихъ геніевъ человѣчества не удостоилось чести побывать въ рукахъ своего творца съ такою роскошною внѣшностью, какъ произведенія князя Сапово-Неплохово. Но при этой неукротимой и почти болѣзненной слабости къ писательству и при громадномъ авторскомъ самолюбіи, неизбѣжно соединенномъ съ нею, князь Сапово — увы! былъ бездаренъ и глупъ. И эти два качества отражались въ каждомъ его произведеніи. Но, какъ всегда бываетъ въ подобныхъ случаяхъ, они ярко кидались въ глаза всѣмъ и каждому, исключая самого князя, который считалъ себя самымъ разнообразнымъ геніемъ, потому что можетъ писать все—отъ физіологическаго трактата до водевиля. Князь жаждалъ извѣстности и славы. Со своими роскошно отдѣланными тетрадями онъ кидался во всѣ рѣшительно редакціи, отъ «Современника» до «Домашней Бесѣды», и конечно, не было въ Россіи человѣка, который бы лучше и тверже зналъ наизусть адресы всевозможныхъ петербургскихъ и московскихъ редакцій, а князь изучилъ ихъ по многократнымъ, собственноличнымъ опытамъ.

Но увы!—не нашлось ни одной газетки, ни одного журнальчика, который рѣшился бы украсить свои страницы однимъ изъ безчисленныхъ произведеній Сапово-Неплохово. И что же?—Князь не падалъ, не унывалъ духомъ, не разочаровался, даже не озлобился ни на единую изъ редакцій! Черта похвальнаго, рѣдкаго великодушія и незлобивости, при авторскомъ самолюбіи князя. Онъ всячески искалъ знакомства съ россійскими литераторами, зачастую назойливо являлся ко многимъ изъ нихъ на поклонъ и радъ былъ кормить ихъ обѣдами и ужинами. Охотники, конечно, находились. Князю было рѣшительно все равно какого сорта эти литераторы—лишь бы только литераторы! Онъ довольствовался счастливымъ сознаніемъ, что это «писатели», помѣщающіе статьи свои въ журналахъ. И вотъ, этого-то князя, со всѣми его слабостями, намѣтилъ себѣ однажды Моисей Исааковичъ Фрумкинъ, который въ одной изъ редакцій занимался иногда переводами.

Для Фрумкина подобный князь былъ неоцѣненной находкой—и Фрумкинъ рѣшилъ, что и его, точно такъ-же какъ Сусанну Ивановну, необходимо нужно «приспособить къ дѣлу». Князь сохранилъ еще нѣкоторые остатки отъ состоянія, тысячъ до тридцати. Этотъ капиталецъ можно было пустить въ предпріятіе. Фрумкинъ познакомилъ князя съ Лукою и «литераторомъ» Полояровымъ.

Князь остался въ восторгѣ и отъ того, и отъ другого, а особенно отъ Полоярова, который, будучи предупрежденъ Фрумкинымъ, сталъ расхваливать княжескія стихотворенія. Ардальонъ сразу огорошилъ князя такою новостью, что всѣ журналисты, молъ, сволочь, эксплуататоры честнаго труда и вдобавокъ ни уха, ни рыла не смыслятъ, и что гораздо лучше взять да основать свой собственный отдѣльный и независимый органъ, и въ немъ уже невозбранно печатать все, чего только душа пожелаетъ. Князю необыкновенно улыбнулась идея — самому быть редакторомъ и печатать въ *своемъ* журналѣ всѣ свои произведенія.

На такое дѣло онъ ни на минуту не призадумался бы ухлопать все свое состояньишко. Но Фрумкинъ, хотя и очень сочувствовалъ такой идеѣ, однако же находилъ, что сначала практичнѣе было бы устроить дѣло книжной торговли съ общественной читальней, которая могла служить общимъ центромъ для людей своего кружка, а при книжной торговлѣ можно сперва, въ видѣ подготовительнаго опыта, заняться изданіемъ отдѣльныхъ хорошихъ книжекъ, преимущественно по части переводовъ, а потомъ уже приступить и къ журналу.

Князь и отъ этой идеи остался въ восторгѣ, а такъ какъ ее поддерживалъ и Лука Благопріобрѣтовъ, то ей и суждено было осуществиться ранѣе журнала. Былъ подысканъ одинъ полуразорившійся книгопродавецъ, у котораго на княжескія деньги купленъ магазинъ,—и вотъ, въ одно прекрасное утро, надъ окнами этого магазина появилась извѣстная уже вывѣска: «Книжная торговля и кабинетъ для чтенія Луки Благопріобрѣтова и К°». Имя Луки появилось на этой вывѣскѣ по просьбѣ самого князя, который не хотѣлъ (хотя и не сознавался въ томъ), чтобы его аристократическое имя блистало на уличной, торгашеской вывѣскѣ.

Фрумкинъ по этому поводу прочелъ блистательный панегирикъ его скромности. Магазинъ хотя и былъ пріобрѣтенъ исключительно на княжескія деньги, но, по проекту Моисея и Ардальона, все это дѣло предполагалось основаннымъ на началахъ ассоціаціи: князь внесъ капиталъ денежный, а остальные должны были внести капиталъ умственнаго и матеріальнаго труда и чрезъ этотъ вкладъ сдѣлаться равноправными дольщиками. Но въ сущности, если кто и трудился неусыпно и неустанно, то это одинъ Лука Благопріобрѣтовъ, который ради этого дѣла отказался отъ житья въ фаланстерѣ и поселился кое-какъ въ узенькой

Digitized by Google

и темной каморкѣ, находившейся тутъ же, при книжномъ магазинѣ. Нужды нѣтъ, что каморка походила болѣе на тѣсный чуланъ, чѣмъ на комнату—неприхотливый Лука былъ ею совершенно доволенъ, и все свое время проводилъ при книжномъ дѣлѣ. Днемъ приводилъ въ порядокъ книги, справлялъ должность библіотекаря, конторщика, бухгалтера, приказчика и даже разсыльнаго, а ночью составлялъ каталоги, писалъ отчеты и еще успѣвалъ справляться за сторожа, для чего собственно и поселился въ каморкѣ. Онъ поутру и печи топилъ, и полъ подметалъ, и на всѣ эти работы у него какъ-то съ избыткомъ хватало времени. Однимъ словомъ, это былъ самый дѣятельный участникъ предпріятія, и имя его не даромъ стояло на вывѣскѣ. Остальная компанія, въ ожиданіи будущихъ успѣховъ и барышей, была только пріятной компаніей — не болѣе. Впрочемъ, и вдовушку Сусанну пріурочили къ дѣлу, «чтобы не даромъ ѣла хлѣбъ». Ее поставили за магазинную конторку и, въ помощь Лукѣ, заставили продавать книги. Вдовушка, сдѣлавшись компаньонкой, отполировалась въ этой компаніи почти не менѣе Лидиньки Затцъ. Хотя и многаго она не понимала, и хотя вообще «новыя идеи» шли къ Сусаннѣ въ родѣ того, какъ сѣдло къ коровѣ, тѣмъ не менѣе она съ большимъ успѣхомъ усвоила себѣ тотъ особенный тонъ и жанръ, который показался такъ страннымъ Татьянѣ Николаевнѣ, когда Сусанна встрѣтила ее предположеніемъ, что ей нужны, вѣроятно, глупыя книжки.

Князь былъ совершенно счастливъ. Онъ чувствовалъ живѣйшую благодарность къ Фрумкину, Лукѣ и Ардальону, и все время плавалъ въ восторгѣ, что наконецъ-то добрая судьба поставила его въ обществѣ «такихъ людей». Моисей увѣрилъ его, что онъ даже въ нѣкоторомъ родѣ Меценатъ и, вмѣстѣ съ Полояровымъ, сбывалъ ему очень выгодно на чистыя деньги разныя свои статейки, въ качествѣ матеріаловъ для будущаго журнала. Этихъ Моисеевскихъ и Полояровскихъ матеріаловъ набралось у князя уже изрядное количество, и не мало денегъ было за нихъ переплачено двумъ даровитымъ авторамъ, а дѣло о журналѣ все еще стояло на точкѣ замерзанія. Фрумкинъ находилъ, что прежде чѣмъ затѣвать журналъ, необходимо основать свою собственную типографію, въ которой онъ могъ бы печататься, и завѣдываніе этою типографіею взять въ свои собственныя Монсеевы руки. И вотъ, вскорѣ плохенькая типографія была пріобрѣтена, тоже по случаю, и Лидинька Затцъ занялась было наборщицкимъ дѣломъ, но вскорѣ впрочемъ нашла, что это дѣло не по ней, и что она несравненно будетъ полезнѣе въ читальной, хотя бы даже однимъ своимъ присутствіемъ.

VI.

Вечеръ въ коммунѣ.

У обитателей «фаланстера», извѣстнаго болѣе подъ именемъ «коммуны», былъ «вечеръ». Они порѣшили сообща—разъ въ недѣлю дѣлать сборные вечера для знакомыхъ. Тутъ присутствовали теперь всѣ наличные обитатели этой коммуны: Лидинька Затцъ, Анцыфровъ, Полояровъ, Малгоржанъ-Казаладзе, юный князь и вдовушка Сусанна. Мы застаемъ ихъ теперь въ «общей комнатѣ». Эта общая комната, хотя въ ней и сидѣло теперь нѣсколько человѣкъ, все почему-то невольно напоминала какой-то нежилой покой: совершенно голыя стѣны, голыя окна, изъ которыхъ въ одномъ только висѣла, Богъ-вѣсть для чего, коленкоровая штора, у стѣнъ въ безпорядкѣ приткнулись нѣсколько плетеныхъ стульевъ, въ одномъ углу валялись какія-то вещи, что-то въ родѣ столовой да кухонной посуды, какія-то картонки, какая-то литографія въ запыленной рамкѣ, сухая трава какая-то въ бумажномъ тюричкѣ, ножка отъ сломаннаго кресла... По срединѣ комнаты стоялъ большой раздвижной столъ съ нѣсколько безобразно приготовленнымъ чайнымъ приборомъ. Словомъ, эта «общая комната» дѣлала такое впечатлѣніе, какъ словно бы она совсѣмъ нежилая, или бы въ нее только-что переѣзжали новые жильцы, не успѣвшіе еще устроиться.

Здѣсь собралось уже нѣсколько гостей. Однимъ изъ первыхъ по времени былъ Лука Благопріобрѣтовъ, который не то скромно, не то угрюмо и совершенно молча, недвижимымъ сидѣлъ въ углу на стулѣ. Вдовушка помѣщалась за чайнымъ столомъ и занималась приготовленіемъ чая, а о-бокъ съ нею присосѣдился Василій Свитка и бравый конно-артиллерійскій поручикъ Бейгушъ, который довольно весело и непринужденно болталъ съ Сусанной Ивановной, къ видимому неудовольствію Малгоржана, искоса поглядывавшаго на нихъ изъ другого конца комнаты. Болтовня браваго поручика, очевидно, была весьма пріятна вдовушкѣ Сусаннѣ, а это тѣмъ болѣе бѣсило восточнаго кузена. Остальные гости занимались кто чѣмъ хотѣлъ, не стѣсняя ни себя, ни хозяевъ.

Въ передней раздался звонокъ, возвѣщавшій новаго посѣтителя.

— Малгоржанъ! подите, отворите дверь!— вскричалъ Полояровъ восточному человѣку.

— Ходите сами!—возразилъ Казаладзе.

— Подите, говорю! Это къ вамъ гости.

— А почему вы думаете, что ко мнѣ? А можетъ это къ вамъ?

Звонокъ повторился.

— Малгоржанъ! Да подите же!

Digitized by Google

— Я не пойду... Ступайте вы, Анцыфровъ, коли онъ не хочетъ.

— Да это не ко мнѣ; это, вѣроятно, къ вамъ звонятъ,—отозвался дохленькій.

— Нѣтъ, къ вамъ.

— Нѣтъ, не ко мнѣ, потому что...

— Потому что не потому что, а я уже разъ отворялъ, а теперь очередь за другими. Пускай кто хочетъ, тотъ и идетъ!

Звонокъ повторился въ третій разъ.

— Малгоржанъ, да не спорьте же!—досадливо возгласилъ Полояровъ.—По теоріи вѣроятностей, это къ вамъ, говорю!

Бейгушъ, съ весьма сдержанной ироническою улыбкой слушавшій этотъ курьезный споръ сообитателей, всталъ наконецъ съ мѣста и прошелъ въ переднюю. Лидинька подбѣжала къ дверямъ полюбопытствовать, кого еще принесло тамъ?

Бейгушъ отомкнулъ задвижку и впустилъ даму, которой весьма предупредительно помогъ снять салопъ.

— А! Стрѣшнева! здравствуйте, миленькая! наконецъ-то вы къ намъ забрались! — застрекотала Лидинька.

Полояровъ сдѣлалъ кислую гримасу. — «И на кой чортъ они ее сюда поваживаютъ!» пробурчалъ онъ себѣ подъ носъ.

Татьяна Николаевна раза по два въ недѣлю обыкновенно захаживала за книгами въ компанейскую читальню и тамъ проводила нѣсколько времени въ разговорахъ съ ея неизмѣнными *завсегдатаями*. Въ послѣднее время это было для нея почти единственнымъ развлеченіемъ. Лидинька Затцъ вмѣстѣ съ Сусанной Ивановной чуть-ли не каждый разъ приглашали ее посѣтить какъ-нибудь ихъ «коммуну», и Стрѣшнева обѣщалась, но все какъ-то не успѣвала собраться, а Лидинька между тѣмъ, безъ особенныхъ претензій, заѣзжала къ ней уже дважды. Татьяна знала, что въ коммунѣ бываютъ вечера, и вспомнивъ, что именно сегодня тамъ вечеръ, взяла и поѣхала, предваривъ тетку, чтобы за нею прислали человѣка часу въ двѣнадцатомъ. Ей все еще хотѣлось разсмотрѣть поближе этихъ «новыхъ людей», которымъ она втайнѣ даже нѣсколько завидовала, воображая, что они живутъ «для дѣла» и приносятъ свою посильную пользу насущнымъ и честнымъ требованіямъ жизни, а всѣ тѣ книжки и статьи, которыми снабжали ее изъ читальной, еще крѣпче поселяли это убѣжденіе въ ней, къ «коптительницѣ неба», какъ она себя называла.

— А вотъ, господа, кстати!—хлопнула въ ладоши Лидинька, входя въ залу и обращаясь ко всѣмъ вообще.—Дѣло касается женскаго вопроса. Сейчасъ вотъ Бейгушъ снялъ со Стрѣшневой салопъ, имѣетъ-ли право мужчина снимать салопъ съ женщины?

— Отчего же нѣтъ?—отозвалась вдовушка.

— А по-моему не имѣетъ, потому что это униженіе женщины. Да-съ!—торжественно раскланялась Лидинька.—А я бы на мѣстѣ Стрѣшневой не позволила бы ему. Все равно тоже что и руку у женщины цѣловать! Это все поэзія-съ, гниль, а по отношенію къ правамъ женщины, это—оскорбленіе... Вообще, сниманье салопа, цѣлованье руки и прочее, это есть символъ рабства. Отчего мы у васъ не цѣлуемъ? Отчего-съ? Отвѣчайте мнѣ!

Бейгушъ съ улыбкой, въ которой выражалась явная затруднительность дать ей какой-либо отвѣтъ на это, только плечами пожалъ; но изъ двухъ «вопросовъ», возбужденныхъ Лидинькой, возникъ очень оживленный и даже горячій споръ, въ которомъ приняла участіе большая часть присутствующихъ. И послѣ долгихъ пререканій, порѣшили наконецъ на томъ, что ни снимать салопъ, ни цѣловать руку мужчина женщинѣ отнюдь не долженъ. Лидинька искренно торжествовала.

— Новыя начала жизни вырабатываемъ, душечка!—пояснила она Татьянѣ.

Между тѣмъ Свитка съ Бейгушемъ и Сусанной, почти съ самого начала этого спора, устранились отъ всякаго въ немъ участія. Они, подъ прикрытіемъ большого самовара, усѣлись себѣ совершенно отдѣльной группой и вели свои разговоры, не обращая ни малѣйшаго вниманія на прочихъ. Когда же, наконецъ, былъ порѣшенъ вопросъ о поцѣлуѣ и салопѣ, нестройный говоръ затихъ и наступила минута мимолетнаго, но почти общаго молчанія, что иногда случается послѣ долгихъ и горячихъ словопреній. Въ эту-т самую минуту вниманіе нѣкоторыхъ почти невольнымъ образомъ остановилъ на себѣ бравый поручикъ. Въ рукахъ у него была случайно подвернувшаяся книга,—кажись, какой-то журналъ за прежніе годы—и Бейгушъ что-то читалъ по ней тихо, почти въ-полголоса, но выразительно-красивое лицо его было одушевлено какимъ-то особеннымъ чувствомъ, какъ будто въ этой книгѣ онъ сдѣлалъ неожиданную, но въ высшей степени пріятную находку.

Вдовушка Сусанна слушала его съ апатично-привѣтливой улыбкой, но едва-ли понимая, что онъ читаетъ.

„Когда меня ты будешь покидать,—
декламировалъ Бейгушъ,

Не говори „*прощай*“ мнѣ на прощанье:
Я не хочу въ послѣдній мигъ страдать,
И разставаясь, знать о разставаньи!
Въ послѣдній часъ, и веселъ, и счастливъ,
У ногъ твоихъ, волшебница, я сяду
И вѣчное „люблю“ проговоривъ,
Изъ рукъ твоихъ приму я каплю яду;
И головой склонившися моей
Къ тебѣ на грудь, подруга молодая,
Засну, глядясь въ лазурь твоихъ очей
И сладкія уста твои лобзая;
И такъ просплю до страшнаго суда;
Ты въ оный часъ о другѣ не забудешь:
Съ небесъ сойдешь ты ангеломъ сюда

Digitized by Google

И легкою рукой меня разбудишь,—
Вновь на груди владычицы моей
Проснусь тогда роскошливо мечтая,
Что я дремалъ, глядясь въ лазурь очей
И сладкія уста твои лобзая!"

— А мастерски передалъ!—съ увлеченіемъ воскликнулъ онъ, окончивъ свою декламацію.

Нѣкоторые господа еще во время чтенія недоумѣло переглядывались между собою.

— Фу! фу! фу!.. Кажись поэзіей понесло откуда-то!.. Батюшки мои! стишки читаетъ!— смѣшливо затараторила Затцъ, потянувъ по воздуху носомъ и тотчасъ-же защемивъ себѣ ноздри двумя пальцами. Она желала этимъ игриво и мило изобразить чувство отвращенія.

Многіе захохотали, взглянувъ на комическій жестъ Лидиньки и, очевидно, найдя ея выходку въ извѣстной степени остроумною.

— Что это вы за ерундищу читали?—спросилъ Казаладзе задорнымъ тономъ пренебрежительной ироніи, которая относилась, повидимому, не къ Бейгушу, а къ стихамъ, хотя въ душѣ-то у Малгоржана кипѣла злоба противъ самого Бейгуша.

— Ерундищу?! — вскинулъ тотъ на него удивленные взоры.—Это Мицкевичъ.

— Это ерунда!—подтвердилъ въ отвѣтъ Казаладзе.

— Вы, вѣроятно, не разслышали: это, говорю вамъ, Адамъ Мицкевичъ въ великолѣпномъ переводѣ.

— Ну, такъ что-жь что Мицкевичъ?! И весь-то вашъ Мицкевичъ выѣденнаго яйца не стоитъ!

— И конечно! Что-жь такое Мицкевичъ?!— подхватили нѣкоторые, присоединяясь къ Казаладзе, въ виду удобной возможности новаго словопренія.

Легкая иронія дрогнула на губахъ Бейгуша.

— Для насъ, для поляковъ, Мицкевичъ — священное знамя, — сказалъ онъ; — для насъ Мицкевичъ, пожалуй, побольше, чѣмъ для русскихъ Пушкинъ или Лермонтовъ.

— Ха-ха! Значитъ, оба лучше! Одинъ былъ глупѣе другого, другой былъ глупѣй одного!— подхватилъ Полояровъ.—Одинъ—разочарованный гвардейскій моншеръ, юнкерскій поэтъ, а другой—полудурье, флюгеръ въ придворной ливреѣ. Мицкевича вашего я не знаю, а судя по этимъ стишонкамъ,—такъ-себѣ, клубничку воспѣваетъ.

— Такъ это по вашему, клубничка?—не безъ азарта привсталъ поручикъ съ мѣста, опираясь на столъ кулаками.

— А то что же-съ? Вѣдь онъ же тутъ про любовь что-то болтаетъ?

— Такъ послѣ этого и Венера Милосская клубничка, и Мурильевская Мадонна клубничка!

— Ну, и разумѣется, клубничка! А вы какъ полагали?.. Батюшка мой, я вамъ скажу-съ, — ударяя себя въ грудь и тоже входя въ азартъ, говорилъ Полояровъ, — я вамъ скажу-съ, по моему убѣжденію, есть въ мірѣ только два сорта людей: мы и подлецы! А поэты тамъ эти всѣ, артисты, художники, это все подлецы! Потому что человѣкъ, воспѣвающій клубничку и разныхъ высокихъ особъ, какъ напримѣръ Пушкинъ Петра, а Шекспиръ Елизавету—такой человѣкъ способенъ воровать платки изъ кармана!

— Ну, а Дантъ? а Гомеръ? — подстрекнулъ Бейгушъ.

— Э, полноте, пожалуйста!—досадливо махнулъ рукою Ардальонъ; — что вы про Гомера толкуете!.. Дуракъ, обскурантъ! вѣрилъ въ какихъ-то тамъ боговъ...

— Въ какихъ же?—улыбнулся Бейгушъ.

— Въ какихъ-съ?..

Полояровъ чуточку замялся.

— Да что вы экзаменовать меня что-ли хотите?

— Нѣтъ, мнѣ просто любопытно знать,—не болѣе.

— Ну, а я ужь такими пустяками не занимался-съ. Человѣку нашего поколѣнія и нашего развитія пожалуй-что оно и стыдно бы, да и некогда заниматься подобными глупостями! Хм! говорятъ тоже вотъ, что Шекспиръ этотъ реально смотрѣлъ на вещи! — продолжалъ онъ, благо ужь имена ему подъ руку подвернулись,—ни чорта въ немъ нѣтъ реальнаго! Во-первыхъ, невѣжда: корабли у него вдругъ къ Богеміи пристаютъ! Ха, ха, ха!.. къ Богеміи!

— А гдѣ это Богемія?—совершенно невинно вопросила вдовушка.

— Въ Германіи, мимоходомъ буркнулъ ей Полояровъ. — А во-вторыхъ, какая же это реальность,—продолжалъ онъ, — коли вдругъ вѣдьмъ повыдумывалъ да Гамлетову тѣнь еще тамъ, да чортъ знаетъ что!.. Или вдругъ относится серьезно къ такому пошлому чувству какъ ревность, и драму на этомъ строитъ! Вѣдь узкость, узкость-то какая! А дураки ротъ разѣваютъ да кричатъ ему: геній! геній!.. Плевка онъ стоитъ, этотъ вашъ геній!

— Это все не то. Это все праздныя рѣчи!— глухимъ своимъ голосомъ вмѣшался въ споръ Лука Благопріобрѣтовъ, медвѣжевато выползая изъ своего угла. И Пушкинъ вашъ, и всѣ эти баре — все это одинъ голый развратъ, потому что сама эстетика и это, такъ называемое, искусство пресловутое — тоже развратъ. И всѣхъ бы ихъ на осину за это! Вотъ что-съ!

Лука Благопріобрѣтовъ въ совершенно спокойномъ или въ злющемся состояніи обыкновенно молчалъ, а если и заявлялъ свое мнѣніе, то всегда очень кратко, почти односложными словами, а то и просто мычаньемъ. Но когда онъ оживлялся, что впрочемъ случалось очень рѣдко, или если его ужь черезчуръ что-нибудь за-живое задѣвало — тогда глаза его начинали

Digitized by Google

сверкать, на хмуромъ лбу напряженно выступали синія жилы, и весь онъ такъ и напоминалъ собою фанатическаго отшельника, инквизитора.

— Взгляните-съ на дѣло исторически,—обратился объ къ Бейгушу.—Гдѣ и при комъ испоконъ вѣковъ ютилась эта мерзость? Когда наиболѣе процвѣтало это ваше искусство и чему оно служило?—На содержаніи у разныхъ аристократовъ, у разныхъ Медичиссовъ, да Меценатовъ!.. Какіе сюжеты-съ? — Микель-Анджело вдругъ эдакую возмутительную пошлость какъ «*Страшный Судъ*» изображаетъ; и не въ каррикатурѣ, а серьезно-съ, трагически! Вмѣсто того, чтобы вести къ разоблаченію мистификаціи и предразсудковъ, онъ этой картиной еще болѣе запугиваетъ простое воображеніе, оказываетъ услугу невѣжеству и клерикальнымъ эксплуататорамъ! А всѣ эти Мурильи, Рафаэли и прочая сволочь малюютъ ангеловъ, да мадоннъ, да героевъ съ богами, тогда какъ у нихъ подъ носомъ кишмякишатъ такіе веселенькіе пейзажики, какъ голодъ, нищета народная, невѣжество массъ, рабство и тиранія, а они, подлецы,—на-ко тебѣ!—въ небесахъ витать изволятъ! Искусство, батюшка мой, только и можетъ жить, что при дворѣ тирановъ! Искусство—это лизоблюдничанье, пресмыканье! Для меня эти слова — синонимы! У народа нормально развитого и свободнаго никакого искусства нѣтъ и не должно быть! А занимаешься искусствомъ, такъ тебя надо либо въ больницу умалишенныхъ, либо въ исправительный домъ! У свободнаго народа вмѣсто искусства полезныя ремесла должны стоять на первомъ планѣ, потому что выдѣлка хлопка или сапоги хорошо сшитые гораздо нужнѣе народу, они полезнѣе, а стало быть и выше всѣхъ этихъ мадоннъ и Шекспировъ!

— Н-да-съ! И вотъ если бы ирландцы питались вмѣсто картофеля горохомъ, — визгливо запищалъ вдругъ, ни къ селу, ни къ городу, маленькій Анцыфрикъ,—такъ они были бы и умнѣе, и богаче, и свободнѣе! Н-да-съ!

— А я изъ всѣхъ искусствъ признаю одно только повивальное искусство, которому и намѣрена посвятить себя!—громогласно заявила Лидинька во всеобщее свѣдѣніе, хотя всѣ и безъ того знали, что она теперь хочетъ быть повитухой, какъ мѣсяцъ тому назадъ хотѣла быть наборщицей, а два мѣсяца назадъ—закройщицей. У Лидиньки вообще было очень много самыхъ разнообразныхъ, но всегда самыхъ благихъ хотѣній.

— Такъ вотъ-съ и выходитъ, что вашъ «священный» Мицкевичъ—лизоблюдъ, въ нѣкоторомъ родѣ!—нахально подступилъ къ Бейгушу ревнивый восточный кузенъ, которому все хотѣлось какъ нибудь оборвать счастливаго своего соперника.

— По-моему выходитъ только то, что если я чего не знаю, то о томъ и спорить не буду!—обидчиво вставая съ мѣста, возразилъ поручикъ.—Я полякъ, я патріотъ, и говорю это открыто и громко, а потому мнѣ дорога каждая строка моего народнаго поэта.

— О! ужь и на патріотизмъ пошло!—замахавъ руками, подхватилъ юный князь Саповo-Неплохово и залился скалозубнымъ, судорожнымъ смѣхомъ. — Патріотомъ быть! ха, ха, ха, ха! Патріотомъ!.. Ой, Боже мой! до коликъ просто!.. ха, ха, ха! Но вѣдь это ниже всякаго человѣческаго достоинства! ха, ха, ха, ха! Какой же порядочный человѣкъ въ наше время... Нѣтъ, не могу, ей-Богу!.. Ха, ха, ха!.. Ой, батюшки, не могу!.. Патріотомъ!

И князь, сюсюкая и слюнявясь отъ слезнаго хохота, снова покатывался на стулѣ, какъ будто въ словѣ «патріотъ» заключался для него талисманъ неистощимаго смѣха.

Бейгушъ смотрѣлъ на него сначала недоумѣло, а потомъ съ усмѣшкой грустнаго снисхожденія. На губахъ у него какъ будто шевелилось и готово уже было сорваться слово «дуракъ», но Василій Свитка предупредительно дотронулся до него подъ столомъ ногою—и Бейгушъ воздержался отъ всякихъ изъявленій своего мнѣнія.

— А вотъ новость, господа! Новость!—возопила Лидинька, вдругъ спохватившись съ этою новостью, про которую не успѣла вспомнить ранѣе.—Въ нѣкоторомъ родѣ событіе, господа!—Бюхнеръ вышелъ! Цѣна два съ полтиной! Кто не купитъ, тотъ подлецъ!

— Всенепремѣннѣйше подлецъ!—авторитетно скрѣпилъ Полояровъ.

— Почему же это такъ строго?—съ улыбкой спросила Стрѣшнева у Лидиньки.

— Потомъ, душечка, что только одни матеріалисты могутъ быть честны. Объ этомъ вонъ и въ «Современномъ Словѣ» такъ пишутъ.

— Ну, «Современное Слово» еще не авторитетъ,—замѣтила Татьяна.

— Нѣтъ-съ, какъ для кого, а для мыслящаго реалиста авторитетъ! И не малый!—компетентно вмѣшался Полояровъ, котораго все время подмывало, по старой памяти, сказать Татьянѣ что нибудь колкое.

— Это доказываетъ только, что авторитеты бываютъ разные!—съ миролюбивыми цѣлями, снисходительно и мягко помирила ихъ Лидинька.

— Конечно разные, — согласился Ардальонъ;—для иныхъ вонъ и Гумбольдъ авторитетъ, пожалуй.

— И для меня въ томъ числѣ,—съ улыбкой замѣтила Татьяна.

— Ну, а для насъ онъ только прусской службы дѣйствительный тайный совѣтникъ и кавалеръ!— отвѣтилъ Полояровъ, съ выразительной презрительностью наперевъ на свое опредѣленіе Гумбольда.—Больно ужь онъ разные крестики да ордена любилъ, чтобы быть для насъ авторитетомъ!

— Ужь вы, кажись, нынче и Гумбольдта

Digitized by Google

отрицаете?—съ улыбкой прищурясь на Ардальона, обратился къ нему Бейгушъ со своего мѣста.

Свитка опять предупредительно толкнулъ его ногою.

— Отрицаю-съ. А что?

— Нѣтъ ничего... Я только такъ... Почему-жь и не отрицать, въ самомъ дѣлѣ?

— Всеконечно-съ!—вмѣшался Малгоржанъ-Казаладзе, — потому что отрицаніе — это сила! единственная, можно сказать, сила, а прочее все вздоръ и гиль!

— Старая истина!—любезно согласился Бейгушъ.—Въ этомъ родѣ еще и Репетиловъ когда-то сказалъ, что «водевиль есть вещь, а прочее все гиль».

Свитка опять толкнулъ его ногою, но на сей разъ почти напрасно, такъ какъ восточный человѣкъ не домекнулся въ чемъ суть и подумалъ, что дѣло идетъ вѣроятно о какомъ нибудь литераторѣ стараго времени.

Вскорѣ послѣ этого Свитка съ Бейгушемъ перемигнулись и взялись за шапки. Вдовушка Сусанна, съ самодовольно-лѣнивой улыбкой выслушивая послѣднія любезности, обращенныя къ ней тише чѣмъ въ полголоса, довольно крѣпко и не безъ нѣжности пожала на прощанье руку браваго артиллериста. Малгоржанъ же, не протягивая руки, удостоилъ его однимъ только сухимъ поклономъ. Оба пріятеля удалились, далеко недождавшись окончанія «вечера».

* * *

— Фу, ты, чортъ возьми! Ажно голова затрещала съ дурнями!—широко вздохнулъ Бейгушъ, очутясь на улицѣ.—Вотъ народы-то!.. Ей-Богу, кабы не эта вкусная вдовушка, нога моя не была-бы у этой сволочи!

— Что дѣлать, мой другъ!—нельзя! Надо бывать иногда, надо слѣдить, отношенія поддерживать,—возразилъ Свитка.—А ты крайне неосторожень! Я ужь толкалъ, толкалъ: нѣтъ, неймется-таки человѣку!

— Да вѣдь невыносимо же, наконецъ!.. Уши вянутъ! Тфу!.. И поручикъ энергически плюнулъ.

— А ты пересиль себя. Я вотъ только слушаю да услаждаюсь. Пусть ихъ врутъ себѣ что угодно и сколько угодно! Чѣмъ больше вранья, тѣмъ лучше.

— Но вѣдь въ этомъ же смысла нѣтъ человѣческаго! Какой-то хаосъ, путаница понятій, сумбуръ непроходимый!

— Этотъ сумбуръ имѣетъ теперь большой ходъ и огромное примѣненіе въ россійскомъ обществѣ. Вѣдь это, милый мой, все «новые люди», передовые люди, ихъ теперь слушаютъ, имъ покланяются, ихъ даже — смѣшно сказать, а вѣдь такъ,—ихъ боятся! Они теперь авторитеты. Вѣдь всю это белиберду, самъ знаешь, они въ журналахъ болтаютъ. Достаточно какому-нибудь Полоярову выхватить любое уважаемое имя, заплевать его, зашвырять грязью какихъ-нибудь темныхъ намековъ собственнаго изобрѣтенія, сказать во всеуслышаніе: это молъ, дуракъ, или это подлецъ—и что же?—вѣдь все великое всероссійское стадо, какъ одинъ баранъ, заблеетъ тебѣ: дуракъ! дуракъ! подлецъ! подлецъ! Чего же ты хочешь, если они теперь и въ самомъ дѣлѣ огромная *сила* въ этомъ обществѣ!?

— Нечего сказать, хороша сила и хорошо общество!—презрительно фыркнулъ поручикъ.

— По Сенькѣ и шапка, мой другъ!—развелъ руками Свитка;—а я знаю только одно, что если они сила, и большинство ихъ слушаетъ—ну, и стало быть, они намъ полезны! Ну и пользуйся ими! Пропагандируй, внушай, братъ, исподволь, развивай незамѣтно свою идею, долби ихъ, какъ капля камень, а они ребята добрые — небойсь, разнесутъ твою идею по бѣлому свѣту, проведутъ ее и въ печать, и въ общество, въ массы, да еще будутъ думать при этомъ, будто твоя идея ихъ же собственное изобрѣтеніе. Ну, и пускай ихъ! А ты знай себѣ только пользуйся!

— Все это очень резонно,—согласился поручикъ, — да къ сожалѣнію черезчуръ уже скучно.

— Ну, и поскучай, а вдовушка Сусанна тебѣ будетъ развлеченіемъ.

— Н-да! вдовушка эта, чортъ возьми! очень-таки вкусная! — ухмыльнулся поручикъ!

— А пятьдесятъ тысячъ и того еще вкуснѣе? подмигнулъ Свитка. — Ну, а что? какъ?.. Кажись, что крѣпость обложена, мины кой-куда подведены и атака подвигается?

— Подвигается! — самодовольно сообщилъ поручикъ.

— И стало быть, крѣпость наша возьмется штурмомъ, или сама сдастся на капитуляцію бравому пану поручику и будемъ мы праздновать побѣду? а?

— И будемъ праздновать побѣду!—весело и декламаторски заключилъ Бейгушъ.

VII.

Поздній звонокъ.

И на кой чортъ къ намъ эти разные офицеришки таскаются!—ѣдко и озлобленно началъ Малгоржанъ тотчасъ по уходѣ Бейгуша. — Эдакъ скоро и квартальные, и жандармы, пожалуй, сдѣлаются у насъ членами!

— Бейгушъ ко мнѣ ходитъ; онъ мой гость,— отозвалась вдовушка.

— То-то что вашъ! Только срамъ одинъ!.. Между порядочными, честными людьми и вдругъ эта ливрея, вывѣска деспотизма! Его просто слѣдуетъ не пускать сюда больше!

Я имѣю право принимать своихъ гостей,— утверждала Сусанна.—Мы и всѣ такъ условливались съ самаго начала.

— Нѣтъ-съ, не имѣете! отнюдь не имѣете!

Digitized by Google

Вы можете принимать только тѣхъ, кого вамъ дозволитъ все общество... Это только подъ контролемъ общества можно, а иначе это измѣна общему дѣлу, иначе это подлость! Почемъ я знаю, что это за господинъ? Можетъ онъ шпіонъ какой-нибудь!

— Да вѣдь вы же сами меня съ нимъ познакомили... Чего вы привязались?.. Сами хвалили: и такой, и эдакой, а теперь вдругъ— шпіонъ!

Казаладзе, ходючи по комнатѣ, словно бы оступился: его совсѣмъ подсѣкло на минуту простое возраженіе простоватой Сусанны.

— Это онъ ревнуетъ, — глухо буркнулъ изъ своего угла Благопріобрѣтовъ.

Всѣ засмѣялись. Малгоржану нечего было отвѣчать. Онъ только злобно окинулъ смѣющихся своими красновато-жирными восточными глазами и самъ принужденно засмѣялся.

— Ну-съ, граждане и гражданки!—возгласилъ Полояровъ, входя въ комнату съ полными руками: въ одной рукѣ тащилъ онъ цѣлую корзину съ дюжиной пивныхъ бутылокъ, въ другой нѣсколько тюричковъ съ разными припасами. — Для гражданъ пиво, а есть и водка, и колбаса найдется; а для гражданокъ яблочки и пряники — дамскія удовольствія! Впрочемъ, если кто изъ гражданокъ возжелаетъ чего иного, хотя бы и водочки, то и это не возбраняется! Матушка-Сусаннушка, не хотите ли опрокинуть стакашекъ? Хватимъ-ка заедино! Ей-Богу!.. Пріучайтесь къ напитку! Дѣло годящее! Потому ежели пойдемъ въ страны Сибирскія— тамъ вѣдь холодно—ну, и по неволѣ придется водочкой тѣлеса согрѣвать; такъ вы ужь лучше заранѣе пріучайтесь.

— Я въ Сибирь не пойду; мнѣ не къ чему,— апатично отозвалась Сусанна, кутая плечи въ кашемировый платокъ.

— А я такъ вѣроятно пойду!.. Прогуляюсь!— съ какой-то особенной самодовольной похвальбой ухмыльнулся Полояровъ.

— Нѣтъ, не пойдешь... Что тамъ тебѣ дѣлать!—замѣтилъ Лука.

Это мимолетное замѣчаніе немножко ущипнуло Ардальона Михайловича.

— Какъ что?—полушутя подмигнулъ онъ.— Пойду! И всеконечно пойду! Такъ сказать, піонеромъ цивилизаціи и свободы... Да вы что о Сибири-то думаете? Сибири-съ предстоитъ блистательная будущность: это будутъ, я вамъ скажу-съ, наши Сѣверо-Американскіе штаты, потому сторона она здоровая, непочатая, да и закваска въ ней хорошая сидитъ, благодаря нашему брату-колонизатору. Сибири съ Россіей нечего дѣлать, въ Россіи все гниль одна! И теперича сошли они меня въ Сибирь, да я имъ первый за это великое спасибо скажу! Лучшей услуги они мнѣ и оказать не могутъ! И вы, братцы, по мнѣ не плачьте тогда, а радуйтесь!

— И что жь ты тамъ дѣлать станешь?— поддразнивалъ Лука, строго храня самый невинный видъ.

— А ужь это наше дѣло?— съ глубокомысленной многозначительностью увильнулъ Полояровъ отъ прямого отвѣта, что́ всегда дѣлалъ онъ, когда въ головѣ прямыхъ отвѣтовъ не находилось.

— А ты не таи; ты скажи. Шпіоновъ нѣтъ вѣдь.

— Да чего ты пристал-то ко мнѣ со шпіонами?! Чорта ли мнѣ шпіоны! Не боюсь я вашихъ шпіоновъ! Плевать!

— Что шпіоновъ не боишься, это похвально. Да только мы вѣдь не про шпіоновъ, а про то, что́ ты въ Сибири дѣлать станешь?

— Что дѣлать стану?.. Революцію дѣлать стану! Вотъ что стану!.. Чего привязался!— огрызнулся Ардальонъ, обрадовавшись въ глубинѣ души тому, что нашелъ подходящее словцо — и пошелъ ораторствовать на тему «революціи».

— Теперича тамъ эти господа поляки у себя въ Варшавѣ гимны все какіе-то поютъ,—говорилъ онъ,—гимны!.. Чортъ знаетъ, что такое!.. Какіе тутъ гимны, коли тутъ нужно во́!.. Кулакъ нуженъ, а они гимны!.. Тоже, слышно, вотъ, капиталы все сбираютъ, пожертвованія, а никакихъ тутъ, въ сущности, особенныхъ капиталовъ и не требуется! Дайте мнѣ только десять тысячъ рублей, да я вамъ за десять тысячъ всю Россію подыму! Какое угодно пари!.. Ничего больше, какъ только десять тысячъ! Да и того много, пожалуй!

Татьяна Николаевна, едва скрывая улыбку, поглядѣла на Ардальона сильно изумленными глазами.

— Вы удивляетесь?.. Вы не вѣрите?—подхватилъ онъ, поймавъ ея взглядъ. — Я вамъ сейчасъ докажу-съ, такъ сказать, ариѳметически! По пальцамъ разочту-съ!.. Десять тысячъ рублей—и хоть какую угодно революцію сейчасъ же можно сдѣлать! Вѣдь я ужь, матушка моя, думалъ-таки надъ этимъ предметомъ! Я разсчитывалъ, и высчитывалъ, и концы съ концами сводилъ!.. Н-да-съ! Не съ вѣтру говорю вамъ! Теперича будемъ класть такъ,—приступилъ онъ къ дѣлу, высчитывая по пальцамъ,—поѣздка въ Лондонъ, туда и обратно, и потомъ житье въ Лондонѣ... ну, хоть мѣсяцъ срокомъ; житье, конечно, самое скромное; все это обойдется триста рублей. Это разъ.

— Зачѣмъ же въ Лондонъ? Можно и въ Берлинъ. Въ Берлинѣ дешевле,—разсудительно замѣтила Лидинька.

— Не мѣшай ты, чортъ!— буркнулъ ей Полояровъ, тряхнувъ волосами.—Въ Лондонѣ мы изготовимъ хорошенькую прокламацію-съ,—продолжалъ онъ развивать свою тему;—да не такую, какъ эти вамъ тамъ всѣ «Великороссы» да «Земля и Воля»—это все слабо-съ. Ну, «Къ

Digitized by Google

молодой Россіи» еще туда-сюда, подходитъ, но и та дрянь, говоря въ сущности; а мы изготовимъ горяченькую, самую настоящую, которая понятна была бы всѣмъ сословіямъ. Ну-съ, Трюбнеръ съ Герценомъ отпечатаютъ намъ ее по дешевой цѣнѣ, а то можно убѣдить ихъ, чтобы и даромъ, потому для эдакого предпріятія не грѣхъ. Прокламацію надо будетъ отпечатать въ шестистахъ тысячахъ экземпляровъ: шестьсотъ тысячъ—это очень достаточно на всю грамотную Россію, а то можно и прибавить потомъ, сколько потребуется, вторымъ изданіемъ. Прокламація должна быть кратка и отпечатана убористо, шрифтомъ боргесомъ или петитомъ, бумагу можно достать въ кредитъ—это опять же Александръ Ивановичъ съ Трюбнеромъ сварганятъ, тѣмъ паче, что печать съ бумагой будетъ единственная услуга, которую Россія съ нихъ потребуетъ, потому что, по моему крайнему убѣжденію, Герценъ слишкомъ ужь отсталъ и ни на что болѣе не пригоденъ. Итакъ, печать даромъ, а бумага въ кредитъ. Это два.

— А если не дадутъ въ кредитъ?—улыбнулась Стрѣшнева.

— Кто это-съ?.. Англичане-то?.. Фи-фю—съ присвистомъ прищурился Полояровъ.—На эдакое дѣло да кредиту не сдѣлать! Нѣтъ-съ, матушка моя, англичане слишкомъ умны, чтобы не понять всѣхъ выгодъ! Рискъ тутъ для нихъ не большой, а коли предпріятіе удастся, такъ вѣдь они очень хорошо понимаютъ, что тутъ вѣдь свободной торговлей пахнетъ для нихъ! Вотъ что-съ!

— Это все, конечно, такъ!—вполнѣ согласился и одобрилъ князь Сапово-Неплохово.—Но... трудно такую массу переправить въ Россію: я ѣздилъ заграницу — меня въ таможнѣ осматривали...

— Ничего тутъ труднаго нѣту!—съ убѣжденіемъ возразилъ Анцыфровъ; — проходитъ же контрабанда, и «Колоколъ» проходитъ, и «Молодая Россія» прошла. Можно цѣлый корабль нанять для этого.

— Ну, конечно, можно и корабль, — согласился Ардальонъ; — стоитъ это будетъ рублей тысячу. Это три. Итого, пока еще только тысяча триста.

— Но зачѣмъ же непремѣнно въ Лондонъ? И для чего тутъ Лондонъ?—настаивала межъ тѣмъ Лидинька Затцъ, суетливо обращаясь поочереди ко всѣмъ и каждому,—на что намъ Лондонъ! — Гораздо же дешевле можно здѣсь, у себя дома, въ своей собственной типографіи? Не такъ ли я говорю? Не правда ли?

— Въ Лондонѣ шрифты и бумага лучше,— возразилъ Полояровъ; — и притомъ здѣсь, въ этомъ подломъ обществѣ, ты ни у чорта не достанешь въ кредитъ такого количества бумаги, да и подозрѣніе, пожалуй, возникнетъ: для чего, молъ, понадобилось вдругъ столько бумаги? А тамъ, это все безопасно. Ну-съ, затѣмъ тысячи три на разъѣзды по матушкѣ Россіи, съ остановками по разнымъ городамъ, для заведенія надежныхъ агентуръ, которыя уже будутъ дѣйствовать, пускать въ народъ эти прокламаціи, — и вотъ, почти что и всѣ расходы: четыре тысячи триста! Остальное въ запасный фондъ, на непредвидѣнные и экстренные расходы. Но это все одна только матеріальная часть, а теперь разберемъ шансы нравственные. Во-первыхъ, вся Россія недовольна: крестьяне недовольны тѣмъ, что обмануты волей, дворяне недовольны тѣмъ, что крестьянъ отняли, духовенство недовольно своимъ положеніемъ, купечество недовольно разными стѣсненіями торговли и упадкомъ кредита, войско недовольно разными нововведеніями, мѣщанство налогами, чиновничество начальствомъ за оставленіе за штатомъ—да всѣ, однимъ словомъ! вся Россія недовольна! Тутъ, значитъ, и вари свою кашу!.. Ге-ге! да дайте мнѣ эти деньги — я вамъ все предпріятіе устрою!...

— А вѣдь я бы могъ!—съ грустно-раздумчивымъ вздохомъ прибавилъ онъ черезъ минуту.—Я бы могъ!.. Вѣдь у меня-съ недальше какъ нынѣшней весною цѣлый капиталъ въ рукахъ былъ!.. Капиталъ-съ!.. Шутка сказать двадцать-пять тысячъ серебромъ!.. Двадцать-пять тысячъ!.. Н-да-съ, кабы мнѣ теперь да эти денежки — что бы тутъ было!.... И-и, Боже мой, что бы было!..

И печально покачивая головой, онъ замолкъ въ грустномъ раздумьѣ.

Вдругъ въ эту минуту, среди всеобщаго молчанія, раздался сильный звонокъ.

Полояровъ растерянно вздрогнулъ и даже поблѣднѣлъ немного.

Время было уже позднее: двѣнадцатый часъ ночи. Обычные посѣтители комунныхъ вечеровъ, кажись, всѣ на лицо. — Кому бы быть въ такую позднюю пору? Этотъ неожиданный и притомъ такой смѣлый, сильный звонокъ почти на всѣхъ присутствующихъ произвелъ довольно странное впечатлѣніе: иныхъ покоробило, инымъ какъ-то жутко стало, а у кой-кого и легкій морозецъ по спинѣ побѣжалъ. Всѣ какъ-то невольно переглянулись, но рѣшительно ни единая душа не тронулась съ мѣста, чтобы идти въ прихожую и отворить тамъ двери.

Звонокъ повторился еще съ большей силой.

— Малгоржанъ, подите... отворите тамъ... смущенно проговорилъ Полояровъ.

Восточный человѣкъ досадливо передернулъ плечами.

— Ходите сами... Я-то съ какой стати?!

— Эхъ, ей-Богу, вѣчно вы!.. Мнѣ оно не тово... не совсѣмъ-то ловко... Поймите же!

— Я не пойду!—рѣшительно отрѣзалъ Малгоржанъ-Казаладзе.

— Анцыфровъ, ступай ты, голубчикъ.

Digitized by Google

— Можетъ, полиція... жандармы, — весь съежившись, кинулъ пискунокъ робко-молящій взглядъ на своего патрона.

Почти всѣ изъ присутствующихъ сдѣлали, каждый про себя, подобное же предположеніе. Полояровъ смущенно, съ какимъ-то тревожнымъ сосаньемъ подъ ложечкой, припомнилъ себѣ, что въ письменномъ столѣ его хранится завалящійся нумеръ «Колокола», карточка Герцена и листокъ «Великоросса», невѣдомо кѣмъ подброшенный недавно къ дверямъ общежительной квартиры.

«И нужно же было оставить!.. И дернула-жь нелегкая не уничтожить!» — корилъ онъ себя мысленно.

— Господа, да кто же пойдетъ наконецъ?— спросила храбрая Лидинька Затцъ, впрочемъ не двигаясь съ мѣста.

— Ей-Богу, господа, жандармы!.. Кому же больше? — смущенно улыбаясь, прошепталъ Анцыфровъ.

— А я такъ думаю, что это просто за мной пришли,—сказала Стрѣшнева, направляясь въ прихожую. — Я распорядилась, чтобы въ двѣнадцатомъ часу за мной человѣка прислали.

Всѣ находились въ жутко-напряженномъ ожиданіи, пока она отворяла дверь, но зато какъ же всѣ ожили, и какъ отлегло у всѣхъ отъ сердца, и вмѣстѣ съ тѣмъ въ какое недоумѣніе пришли всѣ, когда въ прихожей вдругъ раздались два женскія восклицанья и вслѣдъ за тѣмъ послышались быстрые, звонкіе поцѣлуи.

Полояровъ первый очень храбро подлетѣлъ теперь къ двери, внимательно вглядѣлся въ новоприбывшее лицо, и вдругъ, словно бы не вѣря собственнымъ глазамъ, отступилъ назадъ, еще болѣе смущенный, чѣмъ за минуту предъ этимъ.

— Ба!.. Лубянская... Какими судьбами?.. Вотъ сюрпризъ-то! — растерянно пробормоталъ онъ, опустивъ глаза и руки.

VIII.

Какими судьбами появилась Лубянская.

Дѣйствительно, это былъ сюрпризъ и не для одного Полоярова. Стрѣшнева и Лидинька съ Анцыфровымъ изумились не менѣе его, когда увидѣли передъ собою Нюточку Лубянскую столь неожиданно и въ такую неурочную, позднюю пору. Татьяна первая замѣтила въ ней явные признаки какого-то волненья и разстройства. По всему было видно, что она не то огорчена чѣмъ-то, не то испугана и не успѣла еще придти въ себя, какъ слѣдуетъ.

Лидинька Затцъ засуетилась съ чаемъ, съ яблоками, съ поцѣлуями, которые у нея въ первую минуту были совершенно искренни и безразсчетны, и въ то-же время засыпала Нюточку сотней разспросовъ. Оказалось, что Лубянская не далѣе, какъ сегодня утромъ одна-одинешенька прикатила въ Петербургъ изъ Славнобубенска. На дебаркадерѣ подвернулся какой-то услужливый факторъ съ предложеніемъ, не нужно-ли ей остановиться въ нумерахъ, расхвалилъ эти нумера, и ловко подхвативъ ея сакъ-вояжъ, повлекъ за собою въ нѣкую Гончарную улицу и привелъ въ какую-то грязную трущобу, увѣряя, что лучше этихъ нумеровъ она въ цѣломъ Петербургѣ ничего не отыщетъ. Лубянской, очутившейся въ первый разъ въ жизни совсѣмъ одинешенькой, въ совершенно незнакомомъ, чужомъ городѣ, было теперь не до комфорта. Она думала, что и въ Петербургѣ, какъ въ Славнобубенскѣ, всякій знаетъ всякаго, и потому первымъ дѣломъ освѣдомилась у фактора, гдѣ тутъ живетъ Лидинька Затцъ или Ардальонъ Михайловичъ Полояровъ, но факторъ только ухмыльнулся на столь странный вопросъ и объяснилъ, что для такихъ надобностей въ здѣшней столицѣ адресный столъ имѣется, для чего и послалъ ее на Садовую улицу, въ домъ Куканова.

Въ адресномъ столѣ, за двѣ копейки серебромъ, Лубянской объявили, что и Лидинька Затцъ, и Ардальонъ Полояровъ проживаютъ тамъ-то и тамъ-то. Узнавъ это, она намѣревалась завтра же разыскать ихъ, а пока вернулась въ свои нумера на Гончарной улицѣ и, чувствуя сильное утомленіе съ дороги, легла отдохнуть; но какіе-то мужчины въ сосѣдней комнатѣ рѣшительно не давали ей покою; тамъ, очевидно, шло пьянство, картежъ и поминутные споры. Наконецъ, когда она вышла въ корридоръ, чтобы приказать подать себѣ обѣдъ, одинъ изъ этихъ господъ нахальнымъ образомъ пристадъ къ ней съ любезностями и сталъ тащить къ себѣ въ нумеръ, а когда ей удалось вырваться отъ него, онъ началъ ломиться въ дверь ея комнаты. Нюточка заперлась на ключъ, съ твердымъ намѣреніемъ завтра же выбраться вонъ изъ этой трущобы, но веселые сосѣди то и дѣло стучали къ ней въ дверь, которая вела къ нимъ изъ ея комнаты, просовывали въ замочную скважину гусиное перышко, прикладывали глазъ къ щелкѣ, сопровождая все это безконечными двусмысленностями и циническою бранью на ея упорство. Наконецъ, уже поздно вечеромъ, у сосѣдей послышались веселые женскіе голоса, и вскорѣ все это разразилось неистовыми криками, ругатней, буйнымъ скандаломъ и дракой... Били какого-то мужчину, били двухъ какихъ-то женщинъ, били бутылки и посуду... Поднялась возня, суматоха, женскіе вопли, отчаянные крики, «караулъ»!.. Хозяйка нумеровъ бѣгала по корридору и вопила... кто-то побѣжалъ за полиціей, кто-то накинулся на хозяйку, да заодно ужь и ее избилъ; одна женщина, обезумѣвъ отъ страха и побоевъ, въ растерзанномъ видѣ бѣгала по корридору и ревмя-

Digitized by Google

ревѣла неистовымъ, истерическимъ голосомъ— и все это среди чада и смрада, въ туманѣ табачнаго дыма, при тускломъ свѣтѣ корридорной лампочки. Нюточка до такой степени перепугалась, что, вся дрожа какъ осиновый листъ, наскоро накинула на себя платокъ да салопчикъ и, съ сакъ-вояжемъ подъ полой, опрометью бросилась вонъ изъ этихъ нумеровъ. Тамъ было не до нея въ ту минуту, и потому ее никто не остановилъ, никто даже и вниманія не обратилъ, какъ и когда она шмыгнула изъ корридора— благо, выходная дверь стояла настежь растворена. Нюточка долго бѣжала по улицѣ отъ этого вертепа, бѣжала куда глаза глядятъ, пока нѣсколько не пришла въ себя, и тогда только при свѣтѣ фонаря отыскала въ портмоне записку, данную ей давеча въ адресномъ столѣ, взяла извозчика и поѣхала разыскивать Ардальона Полоярова. Кромѣ этого, она не знала ни на что рѣшиться, ни куда дѣваться ночью, среди незнакомаго города.

Добрая вдовушка, узнавъ исторію всѣхъ этихъ приключеній, очень радушно предложила Лубянской свою комнату.

— Да зачѣмъ же непремѣнно вашу?—возразила Затцъ;—вѣдь есть же еще три свободныя комнаты: Лубянская можетъ занять подъ себя хоть любую. Она вѣдь тоже изъ нашихъ... Что-жь!.. А я съ своей стороны неспрочь, пожалуй, чтобъ и она жила. Вѣдь мы здѣсь живемъ коммуной, на равныхъ основаніяхъ, и другъ другу ничѣмъ не обязаны,—пояснила она Нюточкѣ, и вслѣдъ затѣмъ обратилась ко всѣмъ вообще.—Такъ какъ, господа? Принимаете, что-ли, новую гражданку?

Сожители дали утвердительный отвѣтъ, и лишь одинъ Полояровъ промычалъ нѣчто неясное, не то-бы соглашаясь, не то-бы глухо протестуя.

— А впрочемъ, и я согласенъ,—какъ-то особенно ухмыляясь, рѣшилъ онъ послѣ минутнаго соображенія.

Юный князь слонялся отъ одного гостя къ другому, глупо скаля зубы отъ удовольствія, и всѣмъ пожималъ руку, приговаривая:

— А нашего полку прибыло!.. А?.. Прибыло!.. га-га-га!.. прибыло вѣдь! а?.. неправда-ли? а?..

Полояровъ же то похмуро пружился, туго и медленно потирая между колѣнъ свои ладони, то слегка ухмылялся какъ-бы въ отвѣтъ какой-то бродившей въ немъ мысленкѣ, и больше все отмалчивался, устремляя на Нюточку изъ-подъ синихъ очковъ пытливые взгляды.

Лубянская осталась въ коммунѣ.

IX.

Святые принципы Полоярова.

Гости разъѣхались. Сусанна стала хлопотать надъ устройствомъ комнаты для Нюточки и кое-какъ приладила ей на диванѣ постель. Нюточка все время сама помогала доброй вдовушкѣ въ этихъ неособенно сложныхъ и непродолжительныхъ хлопотахъ. Менѣе чѣмъ въ четверть часа все было уже готово, и Сусанна простилась съ Лубянской, сказавъ, что ей не въ моготу спать хочется, какъ всегда, когда въ коммунѣ бываетъ много гостей.

Нюточка осталась одна и медленно, въ раздумьѣ, стала раздѣваться. Это раздумье брало ее насчетъ Полоярова: онъ какъ-то такъ странно и неловко встрѣтился съ нею, какъ будто эта встрѣча почему-то была ему не по нутру, почему-то досадна и непріятна;— что же это значитъ? какъ понять ей это?.. А между тѣмъ... между тѣмъ, не могла же она и не пріѣхать: на это вынудила крайняя необходимость. Чѣмъ же теперь все это кончится, и что дальше будетъ.

Кто-то взялся за дверную ручку и потрогалъ ее.

— Кто тамъ? — окликнула Нюточка.

— Я! — отозвался Полояровъ;—что это вы запираться-то вздумали? У насъ это совсѣмъ не принято. Отворите-ка.

— Да я ужь совсѣмъ почти раздѣта.

— Ну, такъ что же? Одѣта-ль, раздѣта-ль— это до меня нисколько не касается. Ко мнѣ, пожалуй, входите сколько угодно, когда я раздѣтъ — это мнѣ все единственно. Отворяйте же, что-ли, говорю вамъ! Нужно мнѣ васъ!

Нюточка накинула на плечи дорожный пледъ и впустила Полоярова.

— Скажите, какія нынче скромности у насъ! — съ усмѣшкой процѣдилъ онъ сквозь зубы, кинувъ взглядъ на пледъ, окутавшій собою всю фигуру дѣвушку, и сѣлъ на приготовленную ей постель.

— Ну, здравствуйте, Анна Петровна!

— Здравствуйте, Ардальонъ Михайловичъ.

— Что-жь такъ-то? — усмѣхнулся онъ. — Давайте, что-ли, лапу сюда, по старому, по бывалому; ну, и тово... сольемте уста, такъ сказать, въ блаженствѣ поцѣлуя!.. Ась?

И онъ потянулъ было ее къ себѣ, но Лубянская сдержанно и сухо отклонилась въ сторону. Вообще она была съ нимъ теперь какъ будто на-сторожѣ: это сказывалось въ каждомъ словѣ, въ каждомъ взглядѣ и движеніи, во всей манерѣ ея относительно Ардальона.

— Это что-жь такое? — скосилъ онъ на нее глаза и губы. — Не желаете-съ?.. И не надо! Хотитё, такъ хотитё, а не хотитё, такъ какъ хотитё.

— Ардальонъ Михайловичъ, мнѣ не до поцѣлуевъ и не до шутокъ!—съ какою-то горечью въ тонѣ и не глядя на него, тихо проговорила дѣвушка.

— Хм... Вотъ какъ!.. Такъ для чего же вы собственно пожаловали-то сюда?

Нюточка горько усмѣхнулась.

Digitized by Google

— А вы еще не догадались?.. Мнѣ такъ ужь на людей даже совѣстно глядѣть... Я скрывала, я пряталась пока было возможно, а теперь... мнѣ нельзя было оставаться тамъ долѣе — поймите вы это.

— Не понимаю. Отчего же такъ?

— Да вѣдь тамъ отецъ!.. А онъ ничего не знаетъ!

— Да скажите вы толкомъ: беременны вы, что ли?—нахмурясь и морщась, перебилъ Полояровъ.

Нюточка покраснѣла и тихо опустила глаза.

— Э-э!.. А мнѣ и не въ-домекъ съ перваго разу! — протянулъ онъ, крутя себѣ папироску. — Ну, что-жь? — самое натуральное и простое дѣло. Естественное предназначеніе каждой самки; что-жь тутъ особеннаго!.. Вы читали «О происхожденіи видовъ» Дарвина.

Она съ досадливымъ сожалѣніемъ взглянула на своего бывшаго друга и пожала плечами.

— Я хочу говорить съ вами серьезно. Мнѣ необходимо это, поймите вы!— убѣдительнымъ тономъ проговорила Нюточка.

— Да и я вѣдь серьезно! — отозвался Ардальонъ.—Я васъ къ тому спрашиваю про Дарвина, что ежели бы вы что-нибудь дѣльное вычитали изъ него, такъ поняли бы, что это ваше естественное назначеніе, какъ самки, и тогда бы вы не стали творить драмъ и романовъ изъ-за такого пустяка. Отецъ!.. Ну, что-жь такое отецъ? При чемъ онъ-то тутъ въ этомъ процессѣ? Тутъ дѣло акушерки, а не отца! И зачѣмъ это вдругъ понадобилось вамъ скрывать отъ него? — Не понимаю!

— Что-жь, по вашему, я должна была гордиться и хвастать?

— Ни то, ни другое, а и скрывать-то нечего: простой физіологическій процессъ — и баста.

Нетерпѣливое чувство досады отразилось на лицѣ дѣвушки.

— Ардальонъ Михайловичъ! — рѣшительно сказала она, становясь передъ нимъ. — Звонкихъ словъ я и прежде слыхала отъ васъ не мало. Оставьте ихъ хоть теперь-то. Я пришла къ вамъ не за фразами, а за помощью... Вѣдь вы же будете отецъ этого ребенка!.. Вы должны войди въ мое положеніе, если вы честный человѣкъ.

Ардальонъ, въ свою очередь, досадливо передернулся на своемъ мѣстѣ.

— Да я-то что же?—возразилъ онъ, пожавъ плечами.—Вотъ вы, небойсь, укоряете меня въ звонкихъ фразахъ, а сами еще пуще того звонкія-то словечки въ ходъ пущаете!.. «Должны, долгъ, честный человѣкъ»... Да что такое этотъ вашъ долгъ честь-то? — Понятіе совершенно условное-съ. Австралійскіе дикари, напримѣръ, ѣдятъ человѣчину и находятъ, что это вполнѣ честно и нравственно, потому что они, побѣдители, ѣдятъ своихъ враговъ, побѣжденныхъ; а дураки англійскіе миссіонеры говорятъ, что это безнравственно кушать себѣ подобныхъ; а мы, напримѣръ, находимъ, что это ни нравственно, ни безнравственно, а просто штука въ томъ, что мы не сдѣлали себѣ привычки жрать человѣчину, или предки наши почему-то отвыкли отъ этого; ну, или просто отъ того, наконецъ, что это у насъ не принято, не въ обыкновеніи—и только! Ну, и кто же тутъ правъ: дикари, или миссіонеры?—По своему, пожалуй, и тѣ и другіе, потому что понятіе-то самое о нравственномъ и законномъ — совершенно условное понятіе. Я могу понимать такъ, а вы иначе. И наконецъ, то, что нравственно и честно для пошляковъ и филистеровъ, то по нашимъ убѣжденіямъ и безнравственно, и подло.

Лубянская поблѣднѣла и хмуро изъ-подъ сведенныхъ бровей уставилась глазами въ Полоярова.

— Вы для чего же все это говорите мнѣ?— медленно и тихо спросила она, подавляя въ себѣ накипь внутренняго негодованія и волненія.—Какъ, наконецъ, прикажете понять все это? Такъ ли, что вы отказываетесь и отъ меня, и отъ своего будущаго ребенка и бросаете меня въ эту минуту совершенно на произволъ судьбы? Такъ, что ли?

Вопросъ былъ поставленъ слишкомъ ясно и прямо. Полояровъ нѣсколько позамялся.

— Н-то есть... какъ вамъ сказать?—съ трудомъ началъ онъ выматывать изъ себя слова, медленно потирая между колѣнъ свои ладони.— Если вамъ угодно будетъ припомнить факты, которые даетъ намъ, напримѣръ, зоологія, то вы увидите, что въ натуральномъ бракѣ самецъ имѣетъ свое особое назначеніе, а забота о потомствѣ лежитъ исключительно на особахъ женскаго пола. Это самое естественное и потому самое раціональное. Помилуйте-съ! Я васъ считаю за порядочную и развитую дѣвушку, а вамъ вдругъ приходится вмѣсто того такія азбучныя истины втолковывать! Это стыдно-съ!.. Роль каждаго самца ограничивается только...

— Скажите же наконецъ прямо!—нервно перебила его Нюточка.—Вѣдь отъ всѣхъ этихъ изворотовъ вы въ моихъ глазахъ ни на волосъ не станете лучше! Говорите прямо!

— Я прямо и говорю. Я говорю, что, основываясь на разумныхъ началахъ физической природы и слѣдуя ея законамъ, я имѣю право считать себя ничѣмъ не связаннымъ; но это еще не значитъ, чтобы я отказывался помочь вамъ. Я только все еще не могу въ толкъ себѣ взять хорошенько, въ чемъ именно эта помощь?.. Какого рода помощи вы отъ меня желаете? Если это законный бракъ, то я пасъ! Потому что законный бракъ противорѣчитъ всѣмъ моимъ принципамъ, и наконецъ, въ моей

Digitized by Google

жизни—почемъ вы знаете? — въ моей жизни, быть можетъ, есть или могутъ быть такого рода предпріятія, когда человѣку въ пору только за одну свою голову отвѣтъ держать. Каждое честное дѣло прежде всего требуетъ свободы-съ, и я, всей душой принадлежа моему дѣлу, не имѣю права связывать себя, а иначе я подлецъ! Такъ вы скажите мнѣ, въ чемъ же помощь-то?

— Успокойтесь: законнаго брака я никогда и ни въ какомъ случаѣ отъ васъ не потребую!— твердо сказала она, бросивъ на своего собесѣдника взглядъ ледяного презрѣнія. — Это было бы ужь совсѣмъ безуміе!

Полояровъ недовѣрчиво и осторожно покосился на Нюточку, желая убѣдиться, въ какой мѣрѣ истинно сказанное ею. Взглянулъ и успокоился. Даже лицо его прояснилось. Словно упала съ плечъ гиря, которая тяготила его съ минуты перваго появленія Нюточки въ этой квартирѣ.

— Ну, такъ въ чемъ же, голубчикъ мой, помощь-то? Говорите—я все готовъ... все что могу... располагайте мною!—заговорилъ онъ вдругъ мягко и ласково. Въ душѣ его въ эту самую минуту незамѣтно проползло своекорыстное соображеньице, что къ чему же, молъ, совсѣмъ ужь отталкивать отъ себя эту молодую и хорошенькую Нюточку?

— Я все-таки попрошу васъ прежде выслушать меня... тѣмъ же сухимъ и сдержаннымъ тономъ начала дѣвушка.—О моемъ положеніи вы знали еще до вашего отъѣзда изъ Славнобубенска, стало быть, для васъ это не составляетъ новости. Мнѣ остается теперь нѣсколько менѣе двухъ мѣсяцевъ. Признаться отцу я не могла.. не рѣшалась... Онъ не перенесъ бы такого позора... Если это и убьетъ его, когда узнаетъ, ну, такъ хоть не на моихъ глазахъ (при этихъ словахъ въ голосѣ ея дрогнули сжатыя слезы). Я довольно передумала объ этомъ, пока рѣшила себѣ какъ быть—продолжала она.—Я лгала, я скрывалась, пока можно было лгать и скрываться... Далѣе ужь нельзя. Мнѣ, говорю вамъ, совѣстно на людей смотрѣть! Осталось либо съ мосту да въ воду, либо бѣжать оттуда. Все еще есть надежда, авось-либо отецъ какъ-нибудь перенесетъ этотъ ударъ, что ушла-то я отъ него, а можетъ быть еще скрою какъ-нибудь... Коли перенесетъ, тогда вернусь, а то нѣтъ!.. Я ушла тайкомъ; записку только оставила Устинову, чтобы поберегъ безъ меня старика... Онъ честный—я теперь убѣдилась... Онъ это какъ-нибудь обдѣлаетъ, устроитъ... Признаться только не могла ему... Ну, да все равно!.. Паспорта у меня нѣтъ никакого, а вѣдь это надо, кажется? Теперь, вотъ все, что́ я попрошу у васъ: вы помогите мнѣ какъ-нибудь скрыть все это и до времени не оставьте ребенка. Можете вы мнѣ это сдѣлать, или не можете?

Полояровъ чуточку подумалъ. «Только-то и всего?» сказалъ онъ мысленно самому себѣ, «а я-то думалъ и не вѣсть что такое!»

— Могу!—отвѣтилъ онъ рѣшительно и даже не безъ веселости.—Се сонъ де пустяки. Мы всю эту штуку вамъ во́ какъ обдѣлаемъ! И овцы будутъ цѣлы, и волки сыты. Это я все могу, а только ты, Нюта, не сердись. Дутье-то въ сторону! А лучше протяни-ка лапку старому другу!.. Честно и открыто протяни! Отъ сердца! Ну, Нюта!.. Что же?.. Я жду!.. ласково понудилъ онъ, послѣ короткаго выжидательнаго молчанія, подставивъ ей свои ладони.— Хочешь услуги отъ меня, такъ мирись!

Дѣвушка слегка колебалась, но потомъ въ молчаніи и не глядя на него, медленно и холодно протянула ему руку. Богъ ее знаетъ— а только она и сама-то хорошенько не понимала, презираетъ ли, ненавидитъ-ли, или все еще любитъ этого человѣка. А по правдѣ сказать, въ ея чувствѣ къ нему тлѣлось пока еще и то, и другое, и третье...

Совсѣмъ уже прояснившійся Полояровъ почти насильно притянулъ къ себѣ все еще безмолвную Нюточку и звонко поцѣловалъ ее.

— Ты только моихъ святыхъ принциповъ не тронь,—самодовольно заключилъ онъ, облапивъ ея плечи; — а-то во всемъ прочемъ я какъ есть человѣкъ хорошій!

X.

Какимъ образомъ члены коммуны тяготы другъ друга носили.

Коммуна, какъ сказано уже, обогатилась новымъ членомъ. Лубянская осталась тамъ на житье. Вынудила ее на это самая простая и неизбѣжная необходимость, такъ какъ иначе что́ же оставалось ей, неопытной и молодой дѣвушкѣ, одинешенькой въ громадномъ и совсѣмъ незнакомомъ, совсѣмъ чужомъ городѣ, почти безъ средствъ, и при томъ въ такомъ исключительномъ положеніи, которое поневолѣ устраняло всякую возможность работы ради насущнаго куска хлѣба. Она бросилась въ Петербургъ сгоряча, очертя голову, не зная, какъ тамъ все это будетъ, и какъ-то еще все обойдется и устроится — бросилась на авось, съ одной темной надеждой, что вѣроятно какъ-нибудь да обойдется, что Полояровъ ее выручитъ, что отецъ, можетъ быть, и не узнаетъ, что какими бы то ни было судьбами надо будетъ скрыть, обмануть его, отвести всѣ подозрѣнія, а ка́къ именно—этого-то она и не знала, но только думала, что тамъ Полояровъ, конечно, что нибудь придумаетъ и устроитъ. Въ этой дѣвочкѣ всецѣло процвѣтала еще крайняя и совсѣмъ зеленая молодость. Своенравное и балованное дома дитя, она съ дѣтства еще, безъ призора матери, привыкла совсѣмъ

Digitized by Google

самостоятельно распоряжаться собою, и потому не долго думала надъ проектомъ побѣга въ Петербургъ. Этотъ проектъ создался молодымъ затаеннымъ горемъ, опасностью огласки, стыдомъ передъ цѣлымъ городомъ, мыслью о горькомъ позорѣ стараго отца, котораго она по своёму любила дѣтски-деспотическою любовью, а съ тѣхъ поръ какъ, покинутая Полояровымъ, осталась одна со своей затаенной кручиной, полюбила его еще болѣе, глубже, сердечнѣе, серьезнѣй. Словомъ, этотъ взбалмошный проектъ побѣга создало безвыходное отчаяніе. Подѣлиться мыслью не съ кѣмъ, спросить совѣта не у кого, да и стыдно, и не безопасно.—Что тутъ дѣлать? Явилась блажная мысль — Нюточка за нее и ухватилась, да не долго думая и привела въ исполненіе. Какъ ни работалъ надъ ея «развитіемъ» Ардальонъ Полояровъ, какъ ни успѣшно увѣнчались его труды капризнымъ порывомъ ея беззавѣтнаго увлеченія, однако же этому ментору не удалось искоренить изъ нея того «предразсудка», который называется дѣвичьей стыдливостью. Полояровское «развитіе» не успѣло еще проникнуть у нея въ корень, а проѣло одну только верхнюю оболочку. Нюта боялась и стыдилась предстоящаго позора и неизбѣжной огласки, если это случится въ Славнобубенскѣ. И вотъ, по ея искреннему, глубокому убѣжденію, ей осталось одно изъ двухъ: либо съ моста въ воду, либо сбѣжать на время. Что̀ изъ этого выйдетъ—она не знала; но нѣкоторая смутная надежда на какой-нибудь, быть можетъ, сносный исходъ заставилъ ее выбрать побѣгъ. Безъ паспорта, съ однимъ легенькимъ сакъ-вояжемъ да со ста рублями, скопленными за долгое время изъ подарковъ отца, сѣла она на пароходъ. На дворѣ стояла уже поздняя осень, навигація того и гляди, не сегодня—завтра прекратится, поэтому надо было спѣшить. Она оставила Устинову короткое письмо, въ которомъ, не объясняя причинъ, сообщала, что непредвидѣнныя и очень важныя обстоятельства вынуждаютъ ее, безъ позволенія отца, уѣхать мѣсяца на три, и умоляла устроить дѣло какъ-нибудь такъ, чтобы отецъ не очень сокрушался и безпокоился о ней, такъ какъ ей не предстоитъ ровно никакой опасности, и проч. Пароходъ, на который сѣла Нюточка, дѣлалъ уже чуть ли не послѣдній изъ своихъ самыхъ позднихъ рейсовъ. Она доѣхала водою до Твери, а оттуда по желѣзной дорогѣ махнула въ Петербургъ. Дальнѣйшая исторія уже извѣстна.

* * *

На другой же день утромъ Полояровъ открыто и совершенно неожиданно для Лубянской заявилъ членамъ коммуны о томъ, что состоитъ съ нею въ натуральномъ бракѣ; но такая откровенность, къ удивленію дѣвушки, никому не показалась ни странною, ни зазорною, ни неумѣстною; напротивъ, всѣ приняли извѣстіе это, какъ самую простую, достодолжную и обыденную вещь, и только одна Лубянская сама же покраснѣла до ушей и, со слезами досады на глазахъ, не знала куда дѣваться отъ устремившихся на нее равнодушныхъ и какихъ-то словно бы оцѣночныхъ взглядовъ.

— Конфузиться, матушка, нечего! — полушутя и полувнушительно замѣтилъ ей Полояровъ.—Это въ тебѣ пошлый предразсудокъ конфузится, а ты его по сусоламъ, по сусоламъ предразсудокъ-то этотъ!.. Гони его, стервеца! Надо жь было отрекомендоваться и привести въ ясность, что ты моя натуральная жена. Что жь такое! Святое дѣло!

— Эхъ, братъ Анютка!—замѣтилъ онъ ей потомъ, неодобрительно качая головою, — совсѣмъ ты безъ меня испортилась, какъ я погляжу! То-есть, вся моя работа надъ тобой словно-бъ ни къ чорту!.. теперь хотя сызнова начинай! А кстати: у тебя съ собою деньги-то есть?—спросилъ онъ тутъ же дѣловымъ тономъ.—Сколько денегъ-то?

— Пятьдесятъ рублей съ мелочью осталось.

— Ну, такъ ты, матушка, изволь-ка ихъ сейчасъ же вручить мнѣ, для пріобщенія въ общую кассу: тутъ вѣдь у насъ даромъ-то никто не живетъ, тунеядства не водится; а въ концѣ каждаго мѣсяца я всѣмъ членамъ представлю отчетъ, и тогда можешь повѣрять меня.

Лубянская вручила ему свои деньги, и Полояровъ записалъ ихъ на приходъ; но эта запись нисколько не помѣшала ему тутъ же изъ этихъ самыхъ денегъ отдать долгъ сапожному подмастерью за новыя подметки къ его собственнымъ сапогамъ, принесеннымъ въ это время.

Полояровъ распоряжался кассой и вообще былъ главнымъ администраторомъ коммуны. Разъ въ мѣсяцъ онъ обязанъ былъ въ общемъ собраніи представлять членамъ-общежителямъ отчетъ во всѣхъ приходахъ и по всѣмъ расходамъ, употребленнымъ на общія нужды. Потому у Ардальона чаще и больше чѣмъ у другихъ водились деньги. Въ крайнемъ же случаѣ онъ всегда обращался либо къ Сусаннѣ, либо къ князю Сапово-Неплохово съ просьбою дать въ долгъ на имя коммуны, и конечно, никогда почти не получалъ отказа: дѣлалъ долгъ вѣдь не Ардальонъ, а коммуна!

Странное впечатлѣніе дѣлала эта коммуна съ непривычки на Лубянскую. Она казалась ей какой-то квартирой безъ хозяевъ; живутъ-себѣ какіе-то люди, словно бы и вмѣстѣ, а словно бы и порознь, одинъ съ другимъ не чинится, не церемонится, каждый творитъ себѣ что хочетъ, и никому ни до чего дѣла нѣтъ. Полояровъ какъ будто распоряжается, но и онъ не хозяинъ. Квартира на имя Сусанны, но и она держитъ себя простой жилицей. По

Digitized by Google

всѣмъ комнатамъ вѣчная грязь, пыль и безпорядокъ. Мебели мало, да и та какая-то сбродная и глядитъ такъ, какъ будто она тутъ ровно ни къ чему непригодна. Въ одной комнатѣ помѣщается, напримѣръ, диванъ, и только; въ другой—Богъ-вѣсть для чего стоитъ трюмо въ одномъ углу, а въ другомъ кожаное кресло; въ третьей столъ да комодъ и тюфякъ на полу: это комната маленькаго Анцыфрика; четвертая меблирована одними только стульями; въ пятой ровно ничего нѣтъ—и вотъ все въ этомъ родѣ, а комнатъ между тѣмъ много. Трудно, почти невозможно опредѣлить, на что именно походила эта квартира. казарма не казарма, и на chambres garnies не похожа. Было въ ней что-то затхлое, холодное, нежилое. Обстоятельной осѣдлости, того что̀ называется очагомъ, не сказывалось въ ней вовсе, а все казалось какъ словно бы не то въѣзжаютъ, но то выѣжаютъ какіе-то жильцы, и такъ-то вотъ изо-дня-въ-день, постоянно, неизмѣнно. Захочетъ, напримѣръ, дворникъ принести дровъ и воды, ну есть дрова съ водою, а не захочетъ—сидятъ безъ того и другого. А въ квартирѣ холодно, ажно паръ отъ дыханія ходитъ, и чайку испить смерть-бы хотѣлось. Жильцы ёжатся и негодуютъ на Полоярова.

— Полояровъ! Да что же это наконецъ такое!—пристаетъ къ нему то тотъ, то другой.— Опять воды ни капли нѣту!.. Ардальонъ Михайлычъ, да что жь это, ей-Богу! Просто руки отъ холода коченѣютъ. Что это вы не распорядитесь! Пошли бы приказали, чтобъ онъ, каналья, хоть дровъ-то притащилъ. Вѣдь такъ жить невозможно!

— А мнѣ-то что! — огрызается Полояровъ, кутаясь въ свою чуйку на собачьемъ мѣху.

— Да вѣдь холодно! Тараканову морозить, что ли!

— Ну, и морозьте.

— Да подите же, распорядитесь, наконецъ.

— А мнѣ-то что, говорю вамъ! Что я къ вамъ въ халуи нанялся, что ли? Кому зябко, тотъ и ступай, и распоряжайся, а мнѣ не холодно, мнѣ и такъ хорошо.

Обыкновенно, никакой прислуги въ коммунѣ не водилось, потому что, сколько ни нанимали ее, ни одинъ человѣкъ болѣе трехъ-четырехъ дней рѣшительно былъ не въ состояніи у нихъ выжить. Поживетъ, поглядитъ да и объявитъ: «Нѣтъ ужь, молъ, пожалуйте мнѣ мой паспортъ».

— Что-жь такъ? Зачѣмъ вамъ паспортъ?

— Да ужь такъ... не рука намъ...

— Отчего же не рука? Вѣдь вы же такой человѣкъ, какъ и мы; и мы вамъ всякое уваженіе, кажись, оказываемъ; нравственная личность ваша здѣсь не страдаетъ, трудъ вашъ оплачивается... Отчего же вамъ не жить?

— Да ужь что это за жизнь! Помилуйте! Ни хозяевъ, никого и ничего нѣтъ, не знаешь кого тебѣ слушаться. Одинъ кричитъ—сапоги ему чисти, а другой — мыться дай! третьему въ лавочку аль на почту бѣги, четвертому поясницу растирай, пятому полъ подмети, и все въ одно время, и всякій кричитъ, требуетъ, обижается, что не исполняешь, а гдѣ жь тутъ? У меня не десять рукъ, не разорваться...

И прислуга получаетъ свой паспортъ.

— Что мало жилось? Аль не вкусно?—спрашиваетъ прислугу дворникъ при заявленіи о выпискѣ.

Прислуга только рукой машетъ.

— Штой-то, милый человѣкъ! говоритъ.— Сколько ни живали по людямъ, а нигдѣ еще таковѝ-то не видывали! Дураково логово какое-то, а не фатера!

— Это вы истинно такъ, что дураково логово!—ухмыляясь соглашается дворникъ.

И вотъ, въ силу того обстоятельства, что никакая прислуга не могла выжить въ коммунѣ и всѣ попытки къ прочному найму и удержанію ея оставались тщетны, члены порѣшили, наконецъ, между собою: не нанимать болѣе никакой прислуги, а всѣ обязанности ея исправлять самимъ, для чего и распредѣлить ихъ между всѣми. Ардальонъ Полояровъ, однако, въ качествѣ главнаго администратора и артельщика, устранилъ себя отъ всякой «черной работы». Такимъ образомъ на долю князя Сапово-Неплохово досталось выливать грязную воду и выносить помои. Анцыфровъ долженъ былъ сапоги всѣмъ чистить, что̀ впрочемъ приходилось не часто, въ силу принципа, исключавшаго всякій внѣшній лоскъ и щегольство; обязанность Малгоржана заключалась въ побѣгушкахъ въ лавочку за всѣми надобностями и въ мытьѣ посуды, а Моисей Фрумкинъ подметалъ полы, въ чемъ тоже не было особенно частой потребности; Лидинька Затцъ взялась чулки штопать на всю братію и наставлять самоваръ. Послѣдняя обязанность была довольно-таки затруднительна, такъ какъ самоваръ цѣлый день почти не сходилъ съ общаго стола коммуны. Вдовушка же Сусанна должна была разливать всѣмъ чай и вести счетъ бѣлью, а для возложенія на нее такой, сравнительно, весьма легкой обязанности у Полоярова имѣлись свои особыя причины и соображенія, которымъ остальные члены мало противорѣчили, и то лишь по присущей имъ страсти противорѣчить. Причины и соображенія заключались въ томъ, что карманъ вдовушки зачастую оказывалъ услуги превыше всякихъ служительскихъ обязанностей, а для того, чтобы пользоваться услугами ея кармана, надо же было сдѣлать ей хоть какую-нибудь льготу, а то вдругъ—гляди—какъ закапризничаетъ дура, да пожалуй еще не захочетъ жить въ коммунѣ, такъ тутъ и засядешь какъ ракъ на мели.

Что же касается до обязанности отворять

Digitized by Google

дверь приходящимъ, то эта обязанность никому не была передана въ исключительное вѣдѣніе, и вотъ потому-то каждый раздававшійся у дверей звонокъ служилъ поводомъ къ постояннымъ и безплоднымъ пререканіямъ между членами: «Подите, молъ, вы отворите; это вѣроятно къ вамъ!»—«Нѣтъ, вы; это къ вамъ!» и т. д. Но съ поселеніемъ на житье Нюты Лубянской, обязанность отворять двери была возложена на нее, какъ не требующая особеннаго физическаго труда, во вниманіе къ ея положенію. Ради этого Нюта большею частію должна была сидѣть дома. Такимъ-то вотъ образомъ всѣ члены-общежители, словно бы по-писанію, тяготы другъ друга носили.

Иногда къ коммунистамъ приходили гости. Эти посѣтители раздѣлялись на общихъ и частныхъ. Общіе—если они были со всѣми равно знакомы и появлялись на коммунныхъ вечерахъ, а частные ходили къ кому-либо изъ членовъ. На такого гостя остальными членами не обращалось уже не малѣйшаго вниманія: если Полояровъ ходилъ въ одномъ только нижнемъ бѣльѣ, то такъ и продолжалъ себѣ; если Лидинька Затцъ громко ругалась съ Анцыфровымъ и лѣзла къ нему въ-цѣпки, то такъ и продолжала лѣзть и ругаться, ничто же не сумняся и не стѣсняясь ни мало присутствіемъ посторонняго человѣка. Если на столѣ стоитъ чай, то гостю никто не предложитъ стакана, пока онъ самъ не догадается взять себѣ, потому что иначе это была бы «пошлая жантильность». Или если, напримѣръ, гость пришелъ къ Малгоржану, а Полояровъ или Лидинька за что нибудь противъ этого гостя зубы точили, то опять же, ни мало не стѣсняясь приступали къ нему съ объясненіемъ и начинали зубъ-за-зубъ считаться, а то и до формальной ругани доходило, и Малгоржанъ не находилъ умѣстнымъ вступаться за своего гостя: «пущай его самъ, молъ, какъ знаетъ, такъ и вѣдается!» Вообще же такое нестѣснительное отношеніе къ посѣтителямъ коммуны образовалось изъ этого принципа, что весь міръ раздѣляется на *«мы»* и *«подлецы»*; то что не *мы*, то подлецы да пошляки, и обратно. Другихъ градацій нѣтъ и не допускается. Стало быть, пошляки и подлецы ужь никоимъ образомъ не могли быть допущены въ кругъ коммунистическаго знакомства, а *со-своими* людьми, *«съ нашими»*, чиниться нечего: тутъ вся душу нараспашку. А ежели бы какими ни-на-есть судьбами случайно и затесался въ коммуну какой-нибудь подлецъ и пошлякъ, то съ нимъ уже и подавно нечего стѣсняться, а напротивъ слѣдуетъ сразу же огорошить его такъ, чтобы онъ впредь ужь и носа сюда показать не осмѣлился.

Полояровъ верховодилъ всей компаніей, хотя и никто изъ нихъ не призналъ бы этого, если бы указать имъ прямо на существованіе такихъ отношеній между нимъ и членами. Напротивъ, каждый совершенно искренно, съ убѣжденіемъ и даже не безъ задѣтаго самолюбія сталъ бы увѣрять, что Полояровъ для нихъ нуль, ровно что наплевать, что они всѣ совершенно равноправные члены и никто ни надъ кѣмъ и ни надъ чѣмъ не верховодитъ. А между тѣмъ Полояровъ распоряжался всѣмъ въ коммунѣ чуть ли не самопроизвольно. Если бы кто что дѣлалъ къ общей пользѣ помимо Полоярова—Полояровъ непремѣнно это охаетъ и найдетъ ни къ чорту не годнымъ. Только то, что онъ самъ сдѣлаетъ, то и безупречно, то и прекрасно, а остальные всѣ дураки, и никто ничего не можетъ, никто ничего не знаетъ и не понимаетъ. Анцыфровъ не понимаетъ какъ сапоги чистить, князь не понимаетъ какъ слѣдуетъ помои выливать, Лидинька носокъ штопать не умѣетъ, Малгоржанъ толку въ покупкахъ не смыслитъ, Сусанна не имѣетъ понятія о томъ какъ чай разливается, а вотъ если бы онъ, Полояровъ, взялся за дѣло, такъ у него все кипѣло бы.

— Ну, такъ чего же вы!.. Вотъ и взялись бы!..

— Я-то?.. Хм!.. У меня и безъ этого много дѣла! Безъ меня, не бойсь, по моей части и одинъ-то день никто справиться не можетъ. Я, батюшка не дармоѣдъ и не подлецъ, чтобы своими обязанностями манкировать!

День въ коммунѣ и начинался и кончался безалаберно. Съ восьми и до двѣнадцати часовъ самоваръ со стола не сходитъ, Лидинька то и дѣло раздуваетъ его голенищемъ Полояровскаго сапога, подбавляетъ воды, углей и ругается. Вообще, какъ только коммуна проснулась, такъ и ругань въ ней подымается. Ругаются всѣ вообще и каждый порознь. Анцыфрова ругаютъ, что сапоги скверно вычистилъ; князя, что помои середь комнаты розлилъ; Лидиньку за то, что самоваръ съ чадомъ принесла, Полоярова за то, что холодно, а вдовушку за то, что косички расплетаетъ да сидитъ себѣ за своими пудрами и кольдкремами, тогда какъ тутъ люди просто издыхаютъ: такъ чаю пить хотятъ! И всѣ ругаемые, въ свой чередъ, отругиваются изъ разныхъ концовъ и логовищъ общежительнаго обиталища. А тутъ, между тѣмъ, то и дѣло въ прихожей звонки раздаются: то къ тому, то къ другому посѣтители являются, гости, которые вообще не были стѣсняемы временемъ своего появленія, а также и особы въ родѣ дворника, водовоза, лавочника со счетомъ,—и эта послѣдняя публика претъ все больше къ администратору Полоярову, а Полояровъ, по большей части, дома не сказывается и велитъ всѣмъ отказывать, либо же утѣшать ихъ тѣмъ, что поѣхалъ-де въ редакцію деньги за статьи получать.

Наконецъ, кое-какъ, съ грѣхомъ пополамъ, вся эта публика расходилась, а за нею не-

Digitized by Google

много погодя и обитатели, по большой части, направляли стопы свои въ разные стороны града. Кто шелъ въ читальню или, вѣрнѣе сказать, говорильню при магазинѣ Луки Благопріобрѣтова, кто въ редакцію, кто въ типографію, а кто и просто себѣ наблюдать жизнь и нравы на Невскомъ проспектѣ и размышлять о высшей несправедливости судебъ и о подломъ устройствѣ соціальныхъ отношеній. У Лиданьки Затцъ чуть ли не каждую недѣлю являлись какія нибудь новыя великія начинанія: то она на юридическомъ факультетѣ лекціи слушаетъ, то въ анатомическій театръ въ медицинскую академію бѣгаетъ и все наровитъ «запустить скальпель въ кадаверъ» (Лидинька очень любитъ такія слова), то она швейному, то переплетному дѣлу обучается, то въ наборщицы поступаетъ, то стенографіи учится, то въ акушерки готовится, то вдругъ дѣтей обучаетъ и открываетъ у себя безплатную школу.

Находятся кой-какіе несвѣдущіе родители, которые, соблазнясь, главное дѣло, безплатностью, посылаютъ ребятишекъ къ Лидинькѣ въ науку.

А Лидинька обучаетъ слѣдующимъ образомъ. Дѣти, напримѣръ, приходятъ съ букварями.

— Вы что это за книженки принесли? Азбуку?—Этого вовсе не нужно! Это все потомъ, какъ-нибудь послѣ, а теперь главное о развитіи вашемъ надо позаботиться. Вы, мальчуганъ, напримѣръ, какъ васъ зовутъ?

— Степкой.

— Ну, хорошо-съ. Такъ вотъ что, Степка, въ Бога вы вѣруете?

— Вѣрую-съ.

— Это очень глупо съ вашей стороны. Почему же вы вѣруете? Сообразите-ка хорошенько и дайте мнѣ отвѣтъ: почему это вы вѣруете?

Степка не понимаетъ и упорно молчитъ.

— Какъ вы полагаете, Богъ-то есть или нѣтъ?

— Какъ-же!.. Богъ есть.

— Гдѣ же онъ есть?

Мальчуганъ вглядывается въ уголъ, но образа не находитъ.

— Въ церкви есть,—говоритъ онъ.

— Въ церкви Бога нѣтъ. Церковь это такой же домъ, какъ и этотъ, только что архитектура въ ней особенная. Вотъ и все... Вы Бога-то видѣли?

— Видѣлъ.

— Гдѣ же вы его видѣли?

— А на иконѣ нарисованъ.

— Икона это не Богъ, а простая доска. Бога-то, миленькій мой, нѣтъ и не бывало, а если вамъ говорятъ что есть, такъ это васъ только обманываютъ.

— Зачѣмъ же обманывать? — вопрошаетъ недоумѣвающій мальчуганъ.

— А затѣмъ, чтобы массы держать въ невѣжествѣ и рабствѣ, и чрезъ то легче эксплуатировать ихъ. Это политика такая.

Степка ровно ничего не понимаетъ и смотритъ, выпуча глаза.

— Такъ стало въ церковь-то ходить не надо?

— Не надо, миленькій.

— И Богу молиться не надо?

— И Богу не молитесь. Это все глупости, одна только лишняя трата времени, которое вы могли бы употребить болѣе производительно.

Потомъ развитіе продолжается слѣдующимъ образомъ:

— Когда вы, миленькій, встрѣтите на улицѣ попа, или полицейскаго, или офицера, такъ вы плюньте или выругайтесь про-себя,—говоритъ Лидинька самымъ серьезнымъ ментор-скимъ тономъ.

— Зачѣмъ?—вопрошаетъ поучаемый.

— Затѣмъ, что вы всѣхъ ихъ должны ненавидѣть. А ненавидѣть ихъ надо за то, что всѣ они служатъ ложному принципу; они агенты грубой силы, поддержка деспотизма и централизаціи. Понимаете, миленькій Степка?

Степка конфузится и сознается, что не совсѣмъ-то понимаетъ.

— Ну, это оттого, что вы еще дуракъ, а когда разовьетесь тогда поймете.

Впрочемъ, Степка изъ всего ученія понялъ, что молиться не надо, а на поповъ и военныхъ слѣдуетъ плевать; Лидинька же остается довольна пока и этими первыми шагами умственнаго и нравственнаго развитія маленькаго Степки. Но вскорѣ и менторство надоѣдаетъ ей, а потому она объявляетъ, что заниматься ей некогда и проситъ миленькихъ Степокъ не приходить къ ней болѣе.

Къ первому часу дня коммуна совершенно пустѣла. Оставалась въ ней одна только Нюточка, которую пока еще нельзя было приткнуть ни къ какому «дѣлу», кромѣ отворянія дверей приходящимъ. Пустота царствовала въ коммунѣ вплоть до вечера, когда все населеніе ея собиралось опочить отъ многотрудныхъ и разнообразныхъ дѣлъ своихъ и предпріятій. Впрочемъ, нельзя сказать, чтобы коммуна всегда оставалась пустою; иногда въ ней, безъ всякой надобности и повода, цѣлый день толкались ея обитатели, или тотъ и другой изъ нихъ, а иногда хоть возьми ее всю да и выкради.

Обѣда въ коммунѣ не стряпали, а вся братія ходила питать себя по близости въ одну кухмистерскую, которую содержала нѣкоторая дама или дѣвица, принадлежавшая тоже къ лику «новыхъ людей». Въ эту кухмистерскую могли имѣть доступъ только «свои», присовокупленные къ тому же лику, а изъ посторонних, изъ незнакомыхъ людей ни одинъ человѣкъ не нашелъ бы себѣ тамъ ни тарелки супу,

Digitized by Google

ни куска мяса. Попасть въ эту кухмистерскую можно было не иначе какъ по личной рекомендаціи кого-либо изъ хорошо знакомыхъ, постоянныхъ ея членовъ-посѣтителей, и только лишь въ этомъ случаѣ новый человѣкъ пріобрѣталъ себѣ право получать за свои тридцать копеекъ два-три блюда и уничтожать ихъ въ стѣнахъ этой ѣдальни и въ состольничествѣ ея почтенныхъ членовъ. Хотя обѣды и не всегда удовлетворяли достодолжной доброкачественности, хотя въ грязноватомъ на видъ бульонѣ и плавали подъ-часъ перья или волосы стряпухи, а говядина иногда уподоблялась скорѣе зажаренной подошвѣ, чѣмъ говядинѣ, тѣмъ не менѣе члены-состольники стоически переваривали все это «изъ принципа»: посѣщая эту кухмистерскую, они «поддерживали принципъ» и при томъ уже были увѣрены, что ни одинъ пошлякъ и подлецъ сюда не проникнетъ и не будетъ ѣсть съ ними перловаго супа.

Впослѣдствіи, обжившись уже въ коммунѣ и приглядѣвшись къ коммунной жизни, Нюта невольно подмѣтила въ ней такія отношенія, которыя едва-ли могли удовлетворять идеалу чистаго коммунизма. Но эти отношенія обходились какъ-то всеобщимъ молчаніемъ, словно бы всѣ ужь такъ условились, чтобы о нихъ не упоминать и не замѣчать ихъ существованія. Чѣмъ далѣе и глубже вникала Лубянская въ жизнь коммуны, тѣмъ болѣе убѣждалась, что всѣ эти Полояровы, Анцыфровы, Лидѝньки, Малгоржаны, Фрумкины живутъ на счетъ добродушно-простоватой вдовушки Сусанны и князька-идіота. Сами же вносятъ въ общую сокровищницу очень мало или почти ничего. Въ лавкѣ, напримѣръ, забираютъ на книжку, а придетъ срокъ расплачиваться, Полояровъ идетъ къ Сусаннѣ:

— Матушка Сусаннушка, одолжите-ка пока деньжонокъ... вотъ, въ лавку надо платить... А при мѣсячномъ расчетѣ коммуна съ вами сквитается.

— Сколько вамъ?

— Столько-то.

— Извольте.

— Вѣдь за вами. Полояровъ, есть ужь, кажется, достаточно денегъ?—вступается восточный кузенъ, всегда очень чуткій на карманные интересы своей «кузинки».

Полояровъ, въ отвѣтъ на это, считаетъ долгомъ своимъ обидѣться:

— За мною!.. Что̀ это значитъ «за мною»?!... Я попрошу васъ не употреблять такихъ выраженій. Это глупо и пошло, потому что вы очень хорошо знаете, что тутъ не *я*, а коммуна, стало быть и вы, и Сусанна Ивановна, и всѣ! Я не для себя беру, а для коммуны! А по мнѣ, пожалуй, чортъ съ вами! распоряжайтесь сами какъ знаете! Посмотрю я, какъ-то вы безъ меня управитесь!

— Малгоржанъ, какъ вамъ не стыдно!—накидываются на восточнаго кузена всѣ Анцыфровы, Фрумкины и Лидѝньки. — Это довольно даже подло съ вашей стороны! Оскорбляя Полоярова, вы насъ всѣхъ оскорбляете. Во-первыхъ, не ваше дѣло мѣшаться; во-вторыхъ, на основаніи ассоціаціи, мы всѣ несемъ равные расходы и всѣ вмѣстѣ обезпечиваемъ наши общіе долги. Если берутся деньги у Сусанны, такъ это ровно еще ничего не значитъ: сегодня у нея, а завтра могутъ быть у меня взяты, а тамъ у Фрумкина, у Анцыфрова, у васъ... Стало быть, это глупо и пошло укорять Полоярова! Мы еще должны быть благодарны Полоярову!

И вдовушка начинаетъ чувствовать въ глубинѣ души, что и она также должна быть благодарна Полоярову. Чувствуетъ ли Малгоржанъ тоже самое—это остается въ неизвѣстности, но онъ во всякомъ случаѣ умолкаетъ, побѣжденный общимъ напоромъ ассоціаторовъ.

Точно такимъ же образомъ Полояровъ обращался за ссудами и къ князю, но кромѣ Ардальона, къ князю обращались еще и всѣ остальные, если кому-либо требовались деньги на собственныя, не коммунистическія надобности. Все это забиралось у князя въ счетъ будущихъ трудовъ по будущему его журналу: Лидинька брала въ счетъ будущихъ своихъ переводовъ, Анцыфровъ въ счетъ будущихъ корректуръ, остальные въ счетъ будущихъ статей и т. д. Одинъ только Малгоржанъ-Казаладзе былъ столь гордъ, что не обращался къ князю; но за то во всѣхъ подобныхъ случаяхъ онъ исключительно и безконтрольно обращался съ глазу на глазъ къ своей милой и доброй кузинкѣ. И въ силу этого Малгоржанъ думалъ, что онъ можетъ игнорировать князя.

Не трудно было Лубянской подмѣтить и тѣ особенныя отношенія, которыя существовали между нѣкоторыми изъ членовъ коммуны и которыя даже «по принципу» ни для кого не составляли тайны. Лидинька Затцъ дружила съ плюгавенькимъ Анцыфрикомъ и строго держала его въ рукахъ. Дружба между ними началась еще въ Славнобубенскѣ, немедленно послѣ отъѣзда оттуда Полоярова, и въ силу этой дружбы, Лидинька даже похитила Анцыфрова изъ Славнобубенска и увезла съ собою въ Питеръ.

Полоярову же Анцыфровъ постоянно былъ нуженъ, какъ самый вѣрный сеидъ, безусловно поклоняющійся каждому Полояровскому слову и дѣянію. Потому-то, входя въ коммуну, Полояровъ прежде всего втащилъ въ нее и Анцыфрова, а за Анцыфровымъ, разумѣется, послѣдовала туда и Лидинька, по убѣжденію того же Ардальона Полоярова. Лидинькѣ было пріятно и удобно дружить съ маленькимъ золотушнымъ пискункомъ, и именно потому, что она его въ рукахъ держала. Когда еще въ Славнобубенскѣ она дружила съ Полояровымъ, то Полояровъ деспотически и безцеремонно управлялъ ею по своему произволу — и Лидинька подчинялась болѣе сильной натурѣ,

Digitized by Google

хотя ей подъ-часъ и тяжело бывало такое подчиненіе. Съ отъѣздомъ же Ардальона, она сразу эмансипировалась отъ его вліянія и, подруживъ съ Анцыфровымъ, взяла относительно его ту самую деспотическую роль, какую по отношенію къ ней занималъ Полояровъ. Пискунокъ былъ самый вѣрный рабъ ея; она дѣлала съ нимъ все, что хотѣла, держала его на посылкахъ, на побѣгушкахъ, заставляла обдѣлывать разныя свои дѣлишки, и въ иную злую минуту изливала на немъ свои душевныя ощущенія и капризы, такъ что въ коммунѣ не въ рѣдкость было услышать пронзительный, бранящійся голосъ Лидиньки и жалобный визгъ пискуна. Она его и царапала, и щипала, и даже била порою. Положеніе его въ коммунѣ было далеко не завидное: по совершенному отсутствію какой бы то ни было силенки и самостоятельности въ характерѣ, онъ постоянно долженъ былъ подчиняться теперь обоюдному вліянію и Лидиньки, и Полоярова, изъ которыхъ зачастую одно становилось прямо въ разрѣзъ другому, вслѣдствіе какого-нибудь каприза Лидиньки и Ардальона. Угодишь одной, попадешь подъ гнѣвъ другого, и такимъ образомъ Анцыфрику постоянно приходилось, что называется, сидѣть между двумя стульями. Словомъ, это былъ совсѣмъ жалкій, совсѣмъ несчастный пискунокъ.

Точно такимъ же образомъ не укрылась отъ Лубянской и особенность дружбы Малгоржана съ Сусанной. Но—увы!.. эта дружба доживала свои послѣдніе дни, вися на тонкомъ волоскѣ, ежеминутно готовомъ оборваться; и восточный кузенъ очень чутко начиналъ это чувствовать, хотя все еще продолжалъ по старому пользоваться карманомъ кузинки. Бравый Бейгушъ все чаще и чаще показывался въ коммунѣ и, не обращая на кузена ни малѣйшаго вниманія, открыто велъ свою атаку на вдовушку Сусанну. Онъ къ ней одной ходилъ въ гости и никого больше знать не хотѣлъ. Восточный человѣкъ мучился ревностью, но какъ ревновать, если ревность признана чувствомъ позорнымъ! Надо было скрывать ее, а скрывать Малгоржанъ не умѣлъ и въ то же время чувствовалъ полное безсиліе свое передъ бравымъ поручикомъ.

А между тѣмъ, Сусанна оказывала поручику очень замѣтное вниманіе и даже благосклонность. Малгоржанъ увидѣлъ въ ней явную холодность и даже въ поведеніи ея сталъ подмѣчать нѣчто странное. Такъ, напримѣръ, случалось нѣсколько разъ, что вдовушка манкировала своею обязанностью конторщицы и вдругъ куда-то исчезала изъ книжнаго магазина, а иные знакомые потомъ говорили, что въ это самое время видѣли ее на Набережной или въ Лѣтнемъ саду подъ руку съ какимъ-то конно-артиллеристомъ. Потомъ стало случаться и такъ, что вдовушка и вечеромъ не показывается въ коммунѣ, а возвратится домой уже позднею ночью. Малгоржанъ, сиротствуя въ часы ея отсутствія, скрежеталъ зубами и грызъ себѣ ногти, ходючи по своей комнатѣ, и ясно предчувствовалъ начало конца. Это же общее начало конца смутно начинали уже предчувствовать и нѣкоторые другіе члены коммуны.

XI.

Теорія и жизнь.

То, чего ждала и чего такъ страшилась Лубянская, наконецъ совершилось: она стала матерью. Полояровъ заранѣе уговорился на сей конецъ съ одной знакомой акушеркой, принимавшей къ себѣ на квартиру скрывающихся родильницъ, и Нюточка, въ ожиданіи предстоящаго событія, дней за пять до него, перебралась къ этой акушеркѣ. Участь ребенка, еще до его рожденія, была уже опредѣлена Ардальономъ. Онъ порѣшилъ сдать его въ Воспитательный домъ и на томъ покончить къ нему всѣ дальнѣйшія отношенія. Нюточка, пока еще не знала, что̀ такое *мать*, не противорѣчила Ардальону и даже соглашалась съ нимъ, находя что это конечно всего удобнѣе, хотя въ душѣ у нея какое-то смутное чувство и шептало въ то же самое время, что такой удобный расчетъ съ будущимъ существомъ сдается почему-то и не совсѣмъ удобнымъ. Однако, пока ничего еще не было—все казалось, повидимому, и легко и просто.

Но не то почувствовала она, когда наконецъ стала матерью. Неодолимый инстинктъ самки и нравственное, человѣческое чувство матери громко заговорили въ ея сердцѣ. Когда она услышала слабый крикъ своего хилаго мальчика, когда потомъ съ невольной свѣтлой улыбкой заглянула въ его младенчески сморщенное личико и нѣжнымъ осторожнымъ поцѣлуемъ прикоснулась къ его теплой пунцовой щечкѣ, она почуяла, что это слабое, хилое, безпомощное существо—ея ребенокъ и что разстаться съ нимъ, бросить его на произволъ Воспитательнаго дома нельзя, невозможно. Чувство женщины, чувство матери и даже простое инстинктивное чувство самки возмутились такимъ черствымъ рѣшеніемъ. То, что прежде казалось такъ легко, теперь стало неодолимо трудно. И эта нравственная метаморфоза совершилась сама собою, безъ какихъ бы то ни было вліяній: она родилась естественно вмѣстѣ съ рожденіемъ ребенка. Что предстоитъ этому ребенку далѣе? Какая судьба ожидаетъ его? Какимъ образомъ нужно будетъ распорядиться его вскормленіемъ, его воспитаніемъ?—Нюта еще не знала, но твердо и ясно знала только то, что на произволъ судьбы она его ни за что не броситъ. Не только Полояровъ, но и родной отецъ, и никто и ничто въ цѣломъ

Digitized by Google

мірѣ не заставили бы ее теперь отступиться отъ своего ребенка. Такое рѣшеніе было внѣ ея силъ, внѣ ея воли; оно было просто невозможно.

Ардальонъ Полояровъ между тѣмъ думалъ совсѣмъ иначе. Особенная Полояровская простота воззрѣній на жизнь и человѣческія отношенія дѣлала ему все и яснымъ, и легкимъ, и очень возможнымъ—была бы лишь своя охота! Скорѣе сбыть ребенка съ рукъ было прямымъ его расчетомъ: ребенокъ этотъ—какъ ни вертись—являлся прямой уликой такихъ отношеній, расплатою за которыя можетъ послѣдовать законный бракъ, особенно если старый майоръ настойчиво и формально поведетъ дѣло.—«А чортъ его знаетъ, можетъ и поведетъ!» думалъ себѣ Полояровъ, и порѣшилъ во что бы то ни стало избавиться отъ явной улики. Нельзя сказать, чтобы онъ являлъ собою особенно нѣжнаго отца и мужа. Появившись у постели Нюточки въ первый день рожденія сына, онъ въ слѣдующій разъ пожаловалъ только на четвертый и, безъ дальнихъ околичностей, сразу заговорилъ о томъ, что ребенка-то пора бы ужь и пристроить.

— Надо бы хоть окрестить-то прежде,—замѣтила акушерка.

— А на что это крестить? — возразилъ Ардальонъ и даже притворился удивленнымъ.

— Да какъ же не крестивши-то?—пожала та плечами.

— Вотъ еще глупости!.. Лишній расходъ—попамъ на водку давать.

— Да все же, ужь порядокъ такой.

— Глупый порядокъ и больше ничего. Словно безъ того ужь и жить нельзя?

— А какъ имя-то? Вѣдь имя ему надо же?

— Ну, что-жь такое имя?.. Не все-ль равно имя? Ну, вздумается мнѣ его «Чеснокомъ» назвать, ну и будетъ Чеснокомъ!.. Чеснокъ—чѣмъ же не имя?—Преотличное имя! И очень даже благозвучно выходитъ.

— Ну, что это, ей-Богу, вы словно ко псу младенца приравниваете!.. Вамъ дѣло говоришь, а вы Богъ знаетъ что! Вѣдь безъ крещенья не обойдетесь, коли на то законъ такой!

— Ну, какъ сдадимъ въ Воспитательный, тамъ пущай и крестятъ его какъ хотятъ, а намъ, мать моя, некогда такими пустяками заниматься!

Нюта, у постели которой происходилъ весь этотъ разговоръ, сначала было слушала его молча, но при послѣднихъ словахъ вдругъ вспыхнула въ лицѣ и съ твердой рѣшимостью въ слабомъ больномъ голосѣ проговорила:

— Окрещенъ онъ будетъ завтра же, а въ Воспитательный отдавать я его не позволю.

— Такъ я и спросилъ твоего позволенія!—полушутя возразилъ ей Полояровъ.

— Я этого не позволю,—повторила она еще съ большей твердостью, разстанавливая слова.

— Почему-жь это ты «не позволишь»?—слегка нахмурился Ардальонъ.

— Потому что это *мой* ребенокъ.

— Мой ребенокъ!.. Онъ столько же и мой, какъ твой.

Нюта отвѣтила на эти слова какой-то странной, почти презрительной усмѣшкой.

— А я скажу,—вмѣшалась акушерка,—что если ужь сдавать маленькаго въ Воспитательный, такъ лучше теперь сдавать, а то вы, Анна Петровна, пуще привыкнете къ нему, тогда тяжелѣе будетъ. Съ непривычки-то всегда легче.

— Я ужь привыкла,—сказала Нюта все тѣмъ же тономъ, который выражалъ полную внутреннюю рѣшимость.

— Хм!.. когда-жь это ты успѣла привыкнуть? — съ пріятельской ироніей замѣтилъ Полояровъ.

— Съ первой минуты.

— А! скажите пожалуйста!.. Вотъ какъ!.. И какъ не стыдно порядочной, развитой женщинѣ такую ерунду пороть!.. Нѣтъ, братъ, Анютка, погляжу я на тебя—никуда-то ты не годишься!.. Всѣ мои труды ни къ чорту!.. Ну, разсуди, пожалуйста, логически: что ты станешь дѣлать съ этимъ лишнимъ грузомъ? Я, какъ честный человѣкъ, считаю съ своей стороны долгомъ предупредить тебя, что я не возьму на себя ни малѣйшей заботы объ этомъ ребенкѣ, если ты вздумаешь дѣлать глупости, оставлять его. Согласиться на это было бы съ моей стороны просто подло: я такъ считаю. Я не могу, не имѣю права взять на себя это! У меня—сама знаешь—и безъ того много заботъ и много серьезнаго дѣла. А это значитъ связывать себя!.. Ужь ты тогда для дѣла, братъ, шабашъ! А я весь принадлежу дѣлу, прежде всего и болѣе всего!

Досадливо-нетерпѣливая гримаска покривила губы Лубянской.

— Оставьте вы, Христа ради, эти вѣчныя фразы о дѣлѣ! — сказала она съ раздраженіемъ.—Какое дѣло-то, и сами не знаете!.. Васъ никто и не проситъ!.. Развѣ я навязываю вамъ?.. Обойдусь и безъ васъ!.. Мой ребенокъ, моя и забота!

— Но вѣдь это, наконецъ, нелѣпо!—пожимая плечами, продолжалъ онъ убѣждать и настаивать.—Ну, разсуди ты здраво, эгоистически: съ какой стати обременять себя этимъ лишнимъ грузомъ, когда забота о воспитаніи дѣтей должна бы естественнымъ образомъ лежать на прямой обязанности цѣлаго общества? Вѣдь не мнѣ и не тебѣ, не Ивану и не Марьѣ, а всему обществу нужны дѣятели, граждане—ну, оно и заботься, оно и воспитывай; а разъ, что ты родила—твое дѣло исполнено, и баста! Есть Воспитательный домъ—ну, и пользуйся имъ! А то что же, наконецъ? Проповѣдуемъ мы одно, а дѣлаемъ другое! Гдѣ же послѣ этого

Digitized by Google

*

твои принципы, глупая ты коза моя, гдѣ же служеніе дѣлу, идеѣ?!

— Нѣтъ у меня никакихъ вашихъ идей и принциповъ!—со злобой отрѣзала ему Нюта.— Сказала разъ нѣтъ—и нѣтъ! И не будетъ по вашему! И пока жива, никогда я этого не позволю!

— Ну, ладно, ладно!—какъ бы соглашаясь, замахалъ рукой Полояровъ и въ то же время выразительно подмигнулъ акушеркѣ: дескать, пусть ее болтаетъ, а мы-таки свое сдѣлаемъ.

Нюта подмѣтила этотъ взглядъ и чутко поняла его значенье.

Въ душу ея закралось тревожное опасеніе, какъ бы Полояровъ насильно или обманомъ не отнялъ у нея ребенка. На нее напалъ затаенный и мучительный страхъ. Что онъ въ состояніи сдѣлать это—она не сомнѣвалась; поэтому надо быть теперь вѣчно на-сторожѣ, надо, можетъ, тяжелой борьбой отстаивать свое материнское право.

По уходѣ Ардальона, она настояла, чтобы ребенокъ былъ немедленно перенесенъ въ ея комнату и положенъ рядомъ съ ея постелью. Ему кое-какъ приладили ложе изъ двухъ составленныхъ креселъ. Нюта нѣсколько успокоилась, но все-таки не покидала въ душѣ своихъ опасеній.

XII.

Жизнь пересилила.

Два дня послѣ этого прошли благополучно. Полояровъ не показывался, однако же Нюта не отпускала ребенка изъ своей комнаты. Подъ вечеръ третьяго благополучнаго дня она заснула, но вскорѣ ее разбудилъ легкій скрипъ двери. Все время настроенная воображеніемъ на ожиданіе недобраго, она чутко раскрыла глаза и первый взглядъ тревожно кинула на постель ребенка. Постель была пуста.

Она громко окликнула акушерку — та не откликнулась. Въ испугѣ и волненіи стремительно вскочила больная съ кровати и, какъ была, на босую ногу, опрометью кинулась вонъ изъ спальни. Спѣшно перебѣжавъ двѣ смежныя комнаты, Нюта влетѣла въ гостиную. Тамъ стоялъ Полояровъ, въ своей собачьей чуйкѣ, съ шапкой въ рукахъ, а рядомъ акушеркина кухарка въ платкѣ и шугаѣ. Сама же акушерка укутывала въ салопъ младенца.

Съ крикомъ «не дамъ!» кинулась на нее Нюта и стала отнимать ребенка.

— Бога ради... Что вы!.. Успокойтесь... Вы себя губите!.. убѣждала та, стараясь своими вразумленьями пересилить вопли матери.

Но Нюта словно обезумѣла. Она ничего не слышала, не понимала и не видѣла, кромѣ своего ребенка.

— Прочь ты, сумасшедшая!—гнѣвно отстранилъ ее Полояровъ.—А вы не слушайте! дѣлайте, пожалуйста, свое дѣло!.. Чего стали-то?

— Ахъ ты Господи! Говорила же я, что не надо этого дѣлать!.. послушалась сдуру!.. и вышло такъ!—бормотала растерянная повитуха, остановясь въ нерѣшительности.

— Дѣлайте, говорю вамъ, свое дѣло!—настаивалъ Ардальонъ.—Эй ты, тетка, бери-ка ребенка да и ѣдемъ! Что тутъ глядѣть-то ей въ зубы!

И онъ подступилъ было къ Нютѣ съ тѣмъ, чтобы силою взять отъ нея младенца, но та, какъ раненная волчиха, крѣпко прижавъ дитя къ своей груди, впилась въ Полоярова такими безумно-грозными, горящими глазами и закричала такимъ неистово-отчаяннымъ, истерическимъ крикомъ, что тотъ струсилъ и здорово чертыхнувшись, бросился вонъ изъ квартиры.

Нюту колотила конвульсивная дрожь. Она глядѣла впередъ, прямо передъ собою, помѣшанными, бѣгающими глазами, и съ непрерывными всю душу раздирающими криками жала къ груди своего ребенка. Эти страшные крики вырывались у нея совсѣмъ безсознательно, помимо ея разсудка и воли. Всѣ убѣжденія двухъ женщинъ были тщетны: она не допускала къ себѣ ни ту, ни другую, встрѣчая обѣихъ такимъ же грознымъ, волчьимъ взглядомъ, какъ и Полоярова, при малѣйшемъ ихъ подступѣ. Тѣ окончательно растерялись и перетрусили. Наконецъ, быстрымъ, неожиданнымъ движеніемъ сорвалась она съ мѣста, со своей драгоцѣнной ношей, и бросилась въ свою комнату. Тамъ, почти въ безсознательномъ, изступленномъ состояніи упавъ на постель и не выпуская изъ рукъ ребенка, несчастная разразилась страшными, истерическими, давящими рыданіями, а конвульсивная, судорожная дрожь межъ тѣмъ все болѣе, все сильнѣе подымала ея члены. Такое состояніе продолжалось болѣе часу.

Акушерка бросилась за докторомъ. Когда тотъ пріѣхалъ, больная уже стихла, и вся изнеможенная, вся въ холодномъ поту, лежала почти безъ чувствъ и совсѣмъ безъ сознанія. Только грудь высоко и медленно напрягалась и опускалась съ какимъ-то тяжелымъ, надорваннымъ хрипѣньемъ. Зубы были стиснуты, глаза закатились, а цѣпкія руки словно приросли къ ребенку. Врачъ осмотрѣлъ ее внимательно, подробно разспросилъ о симптомахъ, какими сопровождалось болѣзненное состояніе и нашелъ въ больной сильное, почти безнадежное горячечное состояніе въ соединеніи съ неизбѣжнымъ помѣшательствомъ.

XIII.

Новые гости пріѣхали.

Таня! а Таня!.. Бѣги скорѣе сюда! Погляди кто пріѣхалъ-то!—раздался изъ залы радостный и громкій голосъ Стрѣшневой-тетки.

Digitized by Google

Татьяна вышла въ залу и въ радостномъ недоумѣніи отшатнулась назадъ.

— Андрей Павлычъ!..

— Собственной персоной! Здравствуйте!

И Устиновъ, крѣпко пожавъ протянутую ему руку, нагнулся своею плотно стриженною головою и поцѣловалъ ее.

— Какъ вы хорошо сдѣлали, что пріѣхали!.. На долго?

— Не знаю, на долго ли, не знаю, какъ и куда еще шатнетъ судьба отсюда, но съ Славнобубенскомъ простился... Не въ моготу!

— А вы знаете, кто еще здѣсь изъ тамошнихъ?—Лубянская, Нюта,—сообщила тетка.

Устиновъ утвердительно кивнулъ головою.

— Знаю-съ, и вотъ именно благодаря-то отчасти ей и я въ Петербургѣ.

— Какъ такъ? — съ живымъ интересомъ спросила Татьяна.

— Я вѣдь не одинъ... Мы съ Петромъ Петровичемъ, съ майоромъ прикатили.

— И старикъ тоже здѣсь? — спросили обѣ дамы.

— Вмѣстѣ, говорю. Онъ за дочкою. Скажите, знаете вы что съ нею? Гдѣ она? Мы ничего этого не знаемъ.

Дамы переглянулись и помолчали.

— Она развѣ ничего не писала? — уклончиво и съ нѣкоторой неловкостью спросила Татьяна.

— Ни полслова! Старикъ искалъ ее въ Москвѣ—но тамъ ни слѣда. Поѣхали сюда... Я почему-то былъ твердо убѣжденъ, что она здѣсь, въ Петербургѣ. Ей иначе нигдѣ и быть нельзя, по нѣкоторымъ соображеніямъ. Видите ли, въ чемъ дѣло и почему собственно я-то тутъ принимаю участіе, — сталъ объяснять Устиновъ, придвинувъ поближе къ столу свое кресло.—Она вѣдь убѣжала... И такъ это вдругъ, неожиданно... Отецъ и не подозрѣвалъ, и не предчувствовалъ ничего себѣ. Но вдругъ я получаю престранное и отчасти пребезтолковое письмо, гдѣ она меня проситъ поберечь старика и говоритъ, что, можетъ, вернется мѣсяца черезъ три, а можетъ, и совсѣмъ не вернется. Представьте себѣ мое положеніе! Думаю-себѣ: что же тутъ теперь станешь дѣлать? Во-первыхъ, самъ ничего не понимаю и не знаю какъ и что тутъ произошло; во-вторыхъ, и своихъ-то собственныхъ непріятностей куча, а тутъ еще старикъ... Что же съ нимъ-то теперь будетъ, думаю-себѣ. Ѣду къ старику и застаю его въ постели... совсѣмъ убитый горемъ. Потрясло его все это ужасно, такъ что вѣдь онъ пять недѣль съ постели не вставалъ, и мы ужь было думали, что конецъ; однако ничего, пересилилъ. Натура-то вѣдь крѣпкая еще какая!.. Вывезла! Я на все время болѣзни просто ужь къ нему перебрался, а то вѣдь лежитъ, бѣдняга, одинъ и приглядѣть-то за нимъ некому: одна баба въ домѣ, да и та съ ногъ сбилась совсѣмъ. Ну, сталъ онъ тутъ, наконецъ, поправляться и говоритъ мнѣ какъ-то: вы, говоритъ, въ Питеръ собирались; поѣдемте вмѣстѣ; я тоже хочу, говоритъ. «Ужь куда тебѣ, батюшка, думаю, въ Питеръ!» Однако не перечу. Что-жь вы думаете? Какъ только маломальски оправился, первымъ же дѣломъ сталъ торопить отъѣздомъ. — Поѣдемте, говоритъ, живую, или мертвую, а ужь я найду ее!.. Какъ это тамъ... она, безъ денегъ, безъ вида, безо всего... Не могу я безъ нея, говоритъ. Ну вотъ и поѣхали. Въ Москвѣ прожили недѣлю, искали, справлялись — ничего! Сегодня только-что съ машины. Его-то я оставилъ пока въ нумерѣ въ гостиницѣ, а самъ вотъ, первымъ дѣломъ къ вамъ прикатилъ. Помогите чѣмъ можете въ нашемъ дѣлѣ! Не знаете ли вы чего?—обратился онъ въ заключеніе съ просьбою къ дамамъ.

— Знаю и могу, пожалуй, дать ея адресъ, сказала Татьяна,—только надо это вамъ сдѣлать какъ нибудь осторожнѣе,—съ поспѣшной озабоченностью прибавила она. — Я не знаю, какія тамъ у нея отношенія съ отцомъ, но прежде чѣмъ ѣхать ему, мнѣ кажется, лучше бы вамъ самимъ сперва съѣздить къ ней и повидаться.

— Вы давно ее видѣли?—спросилъ Устиновъ.

— Въ послѣдній разъ недѣли съ три тому... А съ тѣхъ поръ не видала.

— Гдѣ жь она живетъ?

— Въ коммунѣ.

Устиновъ въ недоумѣніи вскинулся на Стрѣшневу глазами.

— Гдѣ?—повторилъ онъ, какъ бы не разслышавъ.

— Въ коммунѣ,—улыбнулась Татьяна.

— Въ коммунѣ?.. Это что жь еще такое?.. Какіе же тамъ коммунисты?

— Наши общіе знакомцы... Полояровъ, Анцыфровъ, Лидинька...

— Ахъ, вотъ оно что!.. Да, теперь понимаю!—полупоклонился Устиновъ, какъ-то раздумчиво покачавъ своей большой стрижинной головой.—Стало быть, надо, не теряя времени, ѣхать въ эту коммуну.

Стрѣшнева вспомнила, что отношенія между Устиновымъ и Полояровымъ съ братьею еще въ Славнобубенскѣ стали весьма натянуты, и потому ей не хотѣлось подвергать его непріятной встрѣчѣ съ этими господами.

— Погодите, посидите-ка лучше съ нами, дайте на себя поглядѣть!—весело предложила она старому своему пріятелю; — а мы лучше дѣло-то вотъ какъ устроимъ: чѣмъ самимъ вамъ ѣздить, такъ лучше я напишу къ ней записку, чтобы она пріѣзжала сейчасъ же, безотлагательно, по очень важному дѣлу, и на извозчикѣ пошлю за нею человѣка. Это будетъ гораздо удобнѣе.

Digitized by Google

Устиновъ охотно согласился.

Посланный вернулся черезъ часъ и подалъ Татьянѣ заклеенное облаткой письмо.

Молча пробѣжавъ его глазами, она какъ-то смутилась и поглядѣла на тетку и на Устинова, и опять на письмо, словно бы затрудняясь передать имъ его содержаніе.

Тѣ вопросительно-ожидающимъ взглядомъ глядѣли на нее.

— Ну-съ, въ чемъ дѣло?— спросилъ Андрей Павловичъ.

— Прочтите,—отозвалась Стрѣшнева и передала ему листокъ.

Устиновъ сталъ читать про себя.

«Миленькая Стрѣшнева, Лубянской уже нѣтъ въ коммунѣ. Двѣ недѣли тому назадъ она переѣхала къ знакомой акушеркѣ, такъ какъ должна была родить. Теперь она уже родила, но находится въ очень опасномъ положеніи. Если вамъ хочется видѣть ее, такъ вотъ вамъ адресъ: Пески, Слоновая улица, домъ № 00, у акушерки Степановой. Вся ваша Л. Затцъ.

«Письмо ваше къ Лубянской препровождаю обратно; я его не читала, потому что читать чужія письма считаю подлостью».

— Н-ну... Сюрпризъ для старика! — тихо, съ испугомъ и озабоченно проговорилъ Устиновъ.—Я, признаться, и прежде еще подозрѣвалъ, что не что иное, какъ это и есть настоящая причина ея побѣга, но... Петръ-то Петровичъ... какъ только онъ это вынесетъ!..

— Я поѣду... медлить-то нечего!—черезъ минуту поднялся онъ съ мѣста. — Дайте-ка адресъ... Слоновая улица, Пески, у Степановой... Хорошо; не забуду. До свиданья!..

И озабоченный Устиновъ откланялся дамамъ.

XIV.

Предъ постелью больной.

Онъ поѣхалъ прямо по данному адресу и вскорѣ отыскалъ акушерку Степанову.

Въ маленькой, тѣсной комнаткѣ, съ низкимъ потолкомъ, съ кисловато-затхлымъ воздухомъ, чуялось присутствіе тяжко больного человѣка. Устиновъ заглянулъ за ширмы и въ полумракѣ разглядѣлъ больную. Она лежала разметавшись, желтовато-блѣдная, исхудалая, въ сильномъ горячечномъ жару. Неподвижные глаза были широко раскрыты, но глядѣли безсмысленно, ничего не видя. Появленіе посторонняго человѣка не оказало на нее никакого впечатлѣнія: она была въ безпамятствѣ. Устиновъ осторожно дотронулся до ея лба. Лобъ былъ сухъ и неестественно горячъ. Неподвижные глаза все такъ же глядѣли въ пространство. Она не замѣтила и прикосновенія.

— Анна Петровна... тихо произнесъ учитель.

Больная не шелохнулась, не откликнулась.

«Плохо!» помыслилъ онъ со вздохомъ и обратился къ акушеркѣ:

— Давно ужь такъ?

— Третьи сутки,— отвѣчала та скорбнымъ шопотомъ.

— А ребенокъ гдѣ?

— Взяли! — махнула она рукою. — Я говорила еще и прежде имъ, чтобы они этого не дѣлали — ну, не послушались... А это вотъ и подѣйствовало на нее такимъ образомъ... Ни за что не хотѣла отдать младенца-то...

— Кто же взялъ-то его и куда?—спросилъ Устиновъ.

— Господинъ Полояровъ-съ. Они все въ Воспитательный желали, а ей этого ни за что не хотѣлось. Въ первый-то разъ какъ пріѣхали они брать его, такъ она, и Боже мой, какъ противъ этого! Вырвала ребенка и не отдала... И вотъ отъ этого потрясенья-то больше и случилось... какъ видите.

— Да какъ же вы-то, сударыня, допустили до этого?

Повитуха оробѣло поглядѣла на Устинова.

— Да я-то.. помилуйте, что же я могу?.. Они вѣдь отецъ ребенку... Я съ своей стороны какіе могла, такіе резоны имъ и представляла, ну, они и слушать ничего не желали...

— Такъ когда же онъ окончательно ребенка-то взялъ?

— А вчерашняго дня утромъ пріѣзжали въ каретѣ съ какой-то дамой... Больная въ безпамятствѣ была... Они потребовали, стали настаивать, что это необходимо, я и отдала... Я тутъ что же-съ?.. Я человѣкъ посторонній и мнѣ ихнія семейныя дѣла неизвѣстны... Мнѣ ужь и то хлопотъ-то теперь столько, что кабы знала все это раньше, такъ и, Господи! ни за какія деньги, кажись, не взяла бы на себя всю эту обузу!.. Избави Богъ!.. И то ужь совсѣмъ съ ногъ сбилась съ нею!.. Помилуйте, вѣдь я, говорю вамъ, человѣкъ посторонній. ея совсѣмъ даже не знаю, а при томъ занятія свои тоже, практику имѣю—и все это теперь въ сторону!.. Конечно, по христіанству только... не выгнать же отъ себя, коли ужь такое горе случилось.

— И что-жь, она все одна такъ и лежитъ? Присмотръ есть ли за нею хоть какой?

— Да вотъ, приглядываю по силамъ; ужь и то, говорю вамъ, всю практику бросила на это время... Оставить-то не на кого... Ну, тоже докторъ — спасибо ему — навѣщаетъ пока, а что господинъ Полояровъ, такъ очень даже мало ѣздятъ; я просто удивляюсь на нихъ... Эдакой, подумаешь, ученый, умный человѣкъ, писатель, и никакого состраданія!.. Какъ даже не грѣшно!..

— Одного я только боюсь, — совсѣмъ уже тихимъ шопотомъ прибавила она, помолчавъ немного; — вида-то у нея при себѣ никакого

Digitized by Google

нѣтъ; и когда я спросила про то господина Полоярова, такъ они очень даже уклончиво отвѣтили, что видъ имъ будетъ; однако вотъ все нѣтъ до сей поры. А я боюсь, что какъ неравно—не дай Богъ—умретъ, что я съ ней тутъ стану дѣлать-то тогда безъ вида? Вѣдь у насъ такъ на этотъ счетъ строго, что и хоронить, пожалуй, не станутъ, да еще исторію себѣ съ полиціей наживешь... Боюсь я этого страхъ какъ!

— Не безпокойтесь, видъ будетъ: ея отецъ теперь пріѣхалъ,—успокоилъ ее Устиновъ.— Я вотъ сейчасъ съѣзжу за старикомъ и привезу его...

Въ это время тихо скрипнула дверь.

Андрей Павловичъ обернулся и увидалъ медвѣжевато входящаго на цыпочкахъ Ардальона Полоярова. Тотъ невольно остановился, пораженный нежданнымъ появленіемъ такого необычайнаго и притомъ крайне непріятнаго посѣтителя. Они въ упоръ почти вымѣряли другъ друга злобными глазами.

— Вы здѣсь какими судьбами?—шопотомъ, но грубо спросилъ Полояровъ. — Кто васъ привелъ сюда?.. Чего вамъ здѣсь надо?

— Это не ваше дѣло! — рѣзко, но тоже шопотомъ отвѣчалъ Устиновъ.

— Нѣтъ-съ мое, потому она на моемъ попеченіи...

— Она на попеченіи отца своего, котораго я сейчасъ привезу сюда.

При этомъ неожиданномъ извѣщеніи, Полояровъ вдругъ поблѣднѣлъ, смутился и насупился.

— Отца, вы говорите?

— Да отца... Онъ сейчасъ будетъ здѣсь.

— Ну, что-жь... пущай его! — принужденно ухмыльнулся Полояровъ.

Въ душѣ Устинова кипѣла противъ него злоба.

— Я посмотрю, такъ ли вы будете ухмыляться, — вѣско проговорилъ онъ,—когда всѣ ваши поступки съ этой несчастной будутъ обнаружены предъ судомъ, предъ правительствомъ... наконецъ, гласно предъ судомъ общественнаго мнѣнія... Я посмотрю тогда!

Въ душѣ у Полоярова ёкнуло что-то жуткое и тревожное; однако онъ постарался выдержать, на сколько могъ, свой прежній равнодушно-пренебрежительный тонъ!

— Вотъ какъ-съ!.. Предъ судомъ и гласно... и даже предъ правительствомъ... Больно ужь вы, господинъ Устиновъ, любите прибѣгать подъ защиту благодѣтельнаго правительства!.. Что жь! это какъ кому по вкусу и по наклонностямъ!.. Только желалъ бы я знать, въ чемъ это вы намѣрены обвинять меня предъ вашимъ правительствомъ? Не въ томъ ли, что я, совсѣмъ чужой, посторонній человѣкъ, изъ одного только простого чувства человѣческаго состраданія, рѣшился помочь моей старой знакомой въ ея критическомъ положеніи и сдѣлалъ для нея все, что могъ? Въ этомъ, что-ли, обвинять вы меня будете?

— Не забѣгайте-съ впередъ! Здѣсь не это, а ребенокъ...

— Такъ что жь, что ребенокъ? — удивился Ардальонъ! — Ребенокъ ея, а не мой!.. Мнѣ какое дѣло до ребенка? Отецъ я ему, что ли?!

Устинова глубоко поразила такая безпредѣльная наглость.

— Честный вы человѣкъ! такъ вы и отъ этого отказываетесь?.

— А вы желали бы, чтобъ я и это на себя взялъ?.. Ха, ха, ха!.. Какой вы щедрый однако!—презрительно усмѣхнулся Полояровъ.— Этотъ ребенокъ столько же мой, сколько и вашъ!.. Почемъ знать, съ кѣмъ она прижила его! Можетъ, и съ вами! Вѣдь вы были съ нею такой же знакомый, какъ и я!..

Повитуха, не менѣе Устинова пораженная этой наглостью, даже руками всплеснула.

— Какъ!.. Вчера былъ вашъ, а сегодня не вашъ! — подступила она къ Полоярову.—И вы это можете при мнѣ говорить?.. при мнѣ, когда вы вчера, какъ отецъ, требовали отъ меня этого ребенка? Да у меня свидѣтели-съ найдутся!.. Моя прислуга слышала, докторъ слышалъ какъ больная въ бреду называла васъ отцомъ!.. Какой же вы человѣкъ послѣ этого!.. Отъ своего ребенка отказываться.

Полояровъ растерялся. Онъ понялъ, что необдуманно увлекшись пререканіемъ съ Устиновымъ, попалъ теперь въ силки, что даже и юридически, пожалуй, ничего не подѣлаешь противъ совокупности столь многоразличныхъ доказательствъ, между которыми и его письмо, и его обѣщаніе жениться, и участіе, какое принималъ въ родильницѣ, и наконецъ эти свидѣтели.

Мигомъ же послѣ этого сообразилъ онъ, что взятый маневръ негодится, что наглостью тутъ ничего не возьмешь, и потому въ глубинѣ души струсилъ не мало.

— Ну, полноте! все это глупости! — въ мягкомъ, примирительномъ тонѣ заговорилъ онъ Устинову, тщетно ловя для заискивающаго пожатія его руку. — Вы не повѣрите... видя всѣ эти ея страданія, я самъ такъ изстрадался, такъ измучился душою, что просто себя не помню! Не помню, что дѣлаю, что говорю... Я просто теперь какъ сумасшедшій (онъ тяжко взялся за голову и медленно, какъ бы пробуждаясь, провелъ рукой по лбу). Какъ добрый и порядочный человѣкъ, извините меня, Бога ради, если я сказалъ вамъ что нибудь глупое или рѣзкое... Я въ такомъ странномъ состояніи... Такъ тяжело мнѣ... такъ тяжело.

И онъ тяжело опустился на стулъ и кручинно подперъ лицо облокоченными на столъ руками. Но переходъ отъ одного настроенія къ другому былъ сдѣланъ и рѣзко, и аляповато.

Digitized by Google

такъ что обнажилъ въ Полояровѣ неумѣлаго актера.

Устиновъ окинулъ его гадливо-презрительнымъ взглядомъ и, не сказавъ ни слова, направился къ двери, но тамъ на минуту замедлился въ раздумьи и снова подошелъ къ Полоярову.

— Я васъ прошу удалиться отсюда заблаговременно,—сказалъ онъ,—потому что черезъ полчаса здѣсь будетъ отецъ ея.

Полояровъ показалъ видъ, будто онъ настолько удрученъ тяжкимъ горемъ, что даже не слышитъ обращенной къ нему рѣчи.

Устиновъ повторилъ еще вразумительнѣе свое требованіе и вышелъ изъ комнаты.

XV.

При послѣднихъ минутахъ.

Мрачный и смущенный, вернулся онъ въ нумеръ гостиницы, гдѣ нетерпѣливо ожидалъ его старикъ Лубянскій.

Взглянувъ на лицо Устинова, майоръ чутко угадалъ, что тотъ, должно быть, принесъ вѣсти недобрыя.

Андрей Павловичъ молчалъ, либо старался отдѣлываться фразами и вопросами о совсѣмъ постороннихъ предметахъ, но все это какъ-то не клеилось, какъ-то неловко выходило. Онъ боялся, онъ просто духомъ падалъ предъ необходимостью раскрыть старику всю ужасную истину.—«Тотъ же ножъ» думалъ онъ.—«Возьми его да и ударь ему прямо въ сердце... тоже самое будетъ!»

Но это молчаніе и усиленное стараніе заводить разговоръ о постороннихъ вещахъ еще болѣе убѣждали старика въ томъ, что Устиновъ принесъ съ собою что-то недоброе.

— Да разскажите же наконецъ,—приступилъ онъ къ учителю. — Ну, были вы у Стрѣшневыхъ?.. ну, и что же?.. Какъ? Говорили вы тамъ?.. Спрашивали?

— Былъ же, говорю!—какъ бы нехотя, отвѣчалъ тотъ.

— Ну, и что же?..

— Да ничего... Все такія же... Вамъ кланяются...

— Да нѣтъ! Я спрашиваю, говорили ли...

— Да что говорить-то тамъ... Такъ, говорили... разное тамъ...

Старикъ молча прошелся нѣсколько разъ по комнатѣ. Онъ словно бы сосредоточивался, словно бы внутренно приготовлялся, рѣшаясь на что-то важное, большое и наконецъ сталъ предъ учителемъ, спокойно и твердо глядя ему въ глаза.

— Андрей Павлычъ,—началъ онъ съ такимъ спокойствіемъ непреклонной рѣшимости, которое поразило Устинова.—Не скрывайте, говорите лучше прямо... Меня вы не обманете: я вижу, я очень хорошо вижу по васъ, что вы знаете что-то очень недоброе, да только сказать не рѣшаетесь... Ничего!.. Какъ бы ни было худо то, что́ вы скажете, я перенесу.. Я ужь много перенесъ... ну, и еще перенесу... Вы видите, я спокоенъ... Вѣдь все равно же, рано-ли, поздно-ли, узнаю... Говорите лучше сразу!

Старикъ замолкъ и ожидалъ рокового удара все съ тѣмъ же твердымъ спокойствіемъ.

Учитель собрался, наконецъ, съ духомъ.

— Да что сказать-то!—какъ-то глухо, подавленно началъ онъ. — Поѣдемте къ ней... умираетъ... Внука вамъ Богъ далъ, да скрали вчера... въ Воспитательный сбросили.

И онъ угрюмо отвернулся въ сторону, стараясь не взглянуть въ лицо старику.

Дѣйствительно, лицо его было страшно въ эту минуту. Мрачные глаза потухли, а на вискахъ и въ щекахъ, словно желѣзные, упруго и круто заходили старческіе мускулы. Майоръ, только уперся напряженными пальцами въ столъ и стоялъ неподвижно. Онъ ломалъ себя нравственно, дѣлалъ надъ собою какое-то страшное усиліе, пряча въ самую сокровенную глубину души великій грузъ своего неисходнаго горя. Устиновъ, отвернувшись, слышалъ только, какъ раза два короткимъ, невыразимо-болѣзненнымъ скрежетомъ заскрипѣли его зубы.

— Ну, поѣдемте... Теперь я готовъ!—глухо, но спокойно сказалъ старикъ черезъ минуту.

И они отправились.

* * *

Больная была все въ томъ же безнадежномъ безпамятствѣ. У нея уже начинались признаки медленной, но мучительной агоніи.

— Часъ спустя послѣ пріѣзда къ ней отца въ этой маленькой комнатѣ тускло мерцала лампадка предъ образомъ, который былъ поставленъ на предпостельный столикъ, покрытый чистой, бѣлой салфеткой.

Священникъ, въ темной рясѣ и въ старенькомъ эпитрахилѣ, шепталъ надъ изголовьемъ больной глухую исповѣдь. Старый майоръ, опустясь предъ постелью на колѣни и тихо склонившись лицомъ къ холодѣющей рукѣ дочери, молился почти безъ словъ, но какою-то глубокою, напряженною, всю душу проницающею молитвою. За нимъ, шагахъ въ двухъ, тоже на колѣняхъ, стояла акушерка и тоже молилась, набожно, но какъ-то обыкновенно, въ должную мѣру. Въ дверяхъ помѣстилась кухарка и глядѣла на все съ тупымъ любопытствомъ, столь же тупо крестясь и кланяясь порою, съ быстрымъ размахомъ руки и корпуса. И тутъ же, у дверной притолоки, прислонясь къ ней, стоялъ Устиновъ. Крѣпко стиснувъ пальцы сложенныхъ рукъ, онъ не молился, и по угрюмому лицу его бродили темныя тѣни какихъ-то злобныхъ, мрачныхъ и тяжелыхъ думъ.

Священникъ кончилъ свое дѣло и перекре-

Digitized by Google

стилъ умирающую. Она подавала еще слабые признаки жизни легкимъ хрипѣніемъ и медленной икотой, но посинѣлые пальцы рукъ и вытянутыя ноги все больше и больше холодѣли. Смерть одолѣвала...

Часа два спустя, въ маленькой залѣ, наискось къ переднему углу, стоялъ уже столъ, покрытый простынею и пахло только-что накуреннымъ ладаномъ.

XVI.

Послѣ похоронъ.

Похороны были не пышны и не многолюдны; майоръ съ Устиновымъ, Стрѣшнева съ теткой, повитуха Степанова да Лидинька Затцъ со вдовушкой Сусанной—вотъ и вся публика, почтившая покойницу проводами. Ардальона Полоярова не было.

Священникъ торопливо отпѣлъ надъ могилой послѣднюю литію и спѣшно удалился съ дьячкомъ по другія требы; удалились и Лидинька съ Сусанной читать надгробныя надписи—обыкновенное занятіе всѣхъ, кто безъ особеннаго горя личной потери рѣдко посѣщаетъ кладбища. Надъ зарываемой могилой оставались теперь только майоръ да старуха Стрѣшнева. Татьяна, чтобы разсѣять нѣсколько чувство дурноты и головной боли, навѣяное спертымъ воздухомъ церкви, отправилась вмѣстѣ съ Устиновымъ пройтись немного по деревяннымъ мосткамъ, ведущимъ вдоль аллеи въ глубину кладбищенской рощи.

День былъ тихій, безсолнечный, съ небольшимъ морозцемъ. Между прутьями и сучьями кустовъ держались насѣвшіе на нихъ хлопья пушистаго снѣга. Эти хлопья изрѣдка, медленно и тихо, то тамъ, то сямъ падали съ вѣтвей на землю. Надъ куполомъ церкви щебетали галки, а на верхушкѣ березы гдѣ-то воронъ тихо посылалъ къ кому-то свое короткое: «кррукъ! кррукъ!..»

Могила была, наконецъ, зарыта. Двое могильщиковъ, снявъ шапки и медля уходить, стояли въ ожиданіи «чайка-съ». Лубянскій далъ сколько-то мелочи, и они удалились съ безконечно-свѣтлыми лицами, что, повидимому, такъ противорѣчило ихъ мрачной профессіи.

— Ну, Нюта!—вздохнулъ майоръ. — Теперь не моя, а Божья... Богъ далъ, Богъ и взялъ. Не хорошо, сударыня моя,—прибавилъ онъ съ какой-то горькой улыбкой, обращаясь къ старухѣ,—не хорошо на старости лѣтъ дѣтей хоронить.

— Что дѣлать! Божья воля! — отвѣтила та, лишь бы что отвѣтить.—Надо покориться...

— Покориться! — усмѣхнулся Лубянскій; — да что-жь тутъ и дѣлать-то больше, сударыня моя, какъ не покориться... Кабы въ человѣкѣ сила была безсмертная, ну, такъ боролся бы! А это (онъ кивнулъ головой не окружающія могилы), это вѣдь сильнѣе! Да я что-жь, я не ропщу!— прибавилъ старикъ, помолчавъ немного. — Что ропотъ?!.. ропотомъ согрѣшишь, а дѣла все-жь не поправишь!.. Его святая воля! — Зналъ, что творилъ... Можетъ, оно и лучше, что она умерла... Да и что за жизнь ея была бы? Всѣ радости дѣвичьи, всѣ деньки-то ея красные—все это добрые люди отняли да обворовали!

Старуха Стрѣшнева, боясь какъ-бы потеря дочери не произвела на старика слишкомъ сильнаго потрясенія и какъ бы онъ въ-конецъ не затосковался въ одиночествѣ, думала хоть чѣмъ-нибудь разсѣять его на первое время, чтобъ былъ онъ больше на людяхъ, а не наединѣ съ самимъ съ собою, и потому предложила ему перебраться, пока что, къ ней на квартиру.

— Все же лучше, чѣмъ въ трактирѣ,—говорила она,—да и вамъ спокойнѣе.

— Да я что-жь.... я спокоенъ, сударыня, я спокоенъ теперь,—полусмущенно и благодарно говорилъ онъ.—Спасибо вамъ.... за ваше участіе доброе спасибо!... Переѣхать къ вамъ — это, полагаю, стѣснительно будетъ, да и при томъ же ужь я такъ.... съ Андреемъ вотъ Павлычемъ вмѣстѣ.... а посѣщать васъ почаще, это вотъ вы мнѣ позвольте.

Старуха предложила ему довезти его до дому въ ея каретѣ.

— А я, тетя, пройдусь немного пѣшкомъ съ Андреемъ Павлычемъ—погода хорошая,— сказала Татьяна и подала руку Устинову.

Карета тронулась изъ кладбищенскихъ воротъ.

— Замѣчаете вы,—обратилась къ нему Татьяна,—какъ спокоенъ старикъ-то? Я думала было, что это окончательно убьетъ его, но нѣтъ,—слава Богу, ничего еще пока....держится.

— Онъ ужь давно убитъ! грустно усмѣхнулся Устиновъ.—Два раза живую терять ее такъ, какъ онъ терялъ — это было тяжелѣе, чѣмъ мертвую хоронить. Если бы вы знали, если бы вы только могли представить себѣ все, что онъ вытерпѣлъ и какъ перестрадалъ!... Если выдержалъ и не умеръ до этого, такъ теперь-то выдержитъ!... Это все же легче, чѣмъ то!... А что горя-то у него было столько, какъ не дай Богъ никому.... Но теперь все это горе, знаете, выкипѣло, перегорѣло въ душѣ, и оттого онъ кажется спокойнымъ. Черезчуръ ужь глубокое, тяжелое горе всегда спокойно.

— А жаль Лубянскую.... Такъ рано и такъ ужасно умереть!... раздумчиво и грустно замѣтила Стрѣшнева.

— Да, въ Лубянской многаго и многихъ жаль! — нѣсколько помолчавъ, и какъ бы въ отвѣтъ на какую-то свою собственную мысль проговорилъ Устиновъ.—Она, пожалуй, не годилась бы въ героини романа, но въ судьбѣ ея есть много поучительнаго. Знаете ли, меня

Digitized by Google

просто злость беретъ, какъ раздумаешься надо всѣмъ этимъ! Вѣдь что́ такое, въ сущности, эта Нюточка Лубянская? — Самая обыкновенная дѣвушка, какихъ вы встрѣтите тысячи. Были у нея добрые, честные порывы, были стремленія къ хорошему, къ новой и свѣтлой жизни, къ труду—и потому-то вотъ мнѣ еще досаднѣе и больнѣе за всѣхъ этихъ Нюточекъ! Не встрѣться ей на дорогѣ господинъ Полояровъ—не то бы, можетъ, и изъ Нюты вышло. Она, какъ хотите, даже хорошо сдѣлала, что догадалась умереть во-время!

Стрѣшнева посмотрѣла на него вопросительно и съ нѣкоторымъ недоумѣніемъ.

— Да въ самомъ дѣлѣ! — продолжалъ онъ въ отвѣтъ на ея взглядъ,—потому что́, что-жь оставалось ей въ жизни? Отъ одного берега отстала, къ другому не пристала, да и пристать-то никогда не могла бы. Вотъ эти всѣ господа Полояровы стремятся—на словахъ, по крайней мѣрѣ — къ тому, чтобы вывести женщину на новую дорогу. Прекрасно-съ, зачѣмъ нѣтъ? Да только дорога дорогѣ рознь. Оно, конечно, такіе казусы, какъ съ Нюточкой, и безъ новыхъ людей сплошь да рядомъ встрѣчаются; «*отцы*» тоже маху не давали, и сущность осталась та же, но форма, внѣшняя форма измѣнилась. Прежде брали нѣжными вздохами, блестящимъ мундиромъ, красивой рожицей, а теперь господа Полояровы берутъ на удочку новыхъ идей, приманкой «новой жизни», благо въ женщину заронилось смутное стремленіе выбиться изъ своего тѣснаго положенія. Но вотъ что́ скверно-съ, что Полояровы все это въ «принципъ» возводятъ. Сдѣлаетъ человѣкъ мерзость, и убѣжденъ, что ему и должно такъ дѣлать! Сдѣлай ту же самую мерзость гвардейскій офицеръ, маменькинъ сынокъ и вообще всякъ, кого они пошлецомъ обзываютъ — всѣ Полояровы въ набатъ забьютъ, тенденціозную повѣсть напишутъ, съ гражданской скорбью, съ цивическимъ негодованіемъ и ужь какъ чувствительно выставятъ «несчастную жертву» пошлеца! А сдѣлалъ вотъ то же самое не гвардейскій пошлецъ, а самъ господинъ Полояровъ—и объ этомъ никто изъ нихъ ни гу-гу! Промолчатъ-съ, замажутъ, запрячутъ и проглотятъ всю суть дѣла... И Боже васъ избави назвать за это подлецомъ Полоярова!—Разбой! доносъ! клевета! завопитъ на васъ все стадо, и выльется на вашу голову вся клоака самыхъ гнусныхъ мерзостей собственнаго ихъ изобрѣтенія, лишь бы доѣхать васъ не мытьемъ, такъ ка́таньемъ! А почтеннѣйшая публика, слыша ревъ, и сама начинаетъ вторить: разбой! клевета! доносы!... Тьфу, ты Господи! да что же это наконецъ такое!—Повальный сумбуръ какой-то!

Устиновъ досадливо замолчалъ и шелъ нѣсколько времени, не проронивъ слова. И по его лицу, и по его тону Стрѣшнева замѣтила, что въ немъ искренно высказывается теперь все то, что́ давно уже успѣло накипѣть на сердцѣ.

— Или вотъ тоже еще!—снова началъ маленькій математикъ, опять увлекаясь своей темой.—Какъ поглядишь, какіе все это ярые эмансипаторы, всѣ эти господа Полояровы! Черезъ два слова въ третье Джонъ-Стюартъ Милль на языкѣ, угнетеніе женщины, свобода и равноправіе отношеній, свобода чувства, безобразіе брака—и какія вѣдь все хорошія слова, подумаешь! Даже повѣсти и романы спеціально на этотъ предметъ сочиняютъ. Но странное дѣло! Замѣчали-ль вы, что во всѣхъ этихъ повѣстяхъ они тщательно избѣгаютъ дѣтей? Такъ избѣгаютъ, чтобы въ головѣ читателя даже и намека на вопросъ о дѣтяхъ не возникло бы! Я не помню, чтобы которая изъ ихъ героинь имѣла ребенка. Устраиваютъ для нея новую жизнь, новое счастіе, новыя отношенія, но о дѣтяхъ опять-таки ни гу-гу! Что́ это, скажи-же на милость: наивная-ли простота и невѣдѣніе, или же лукавое передергиваніе житейской правды? А придай-ка они любой своей героинѣ хоть одного ребенка—и кончено! тенденціознаго романа не существуетъ! И вотъ вамъ живой примѣръ — та же самая Нюточка. Романъ-то, пожалуй, и вышелъ, да только совсѣмъ въ другомъ вкусѣ, и господа Полояровы этого романа не напишутъ, а и прочтутъ, такъ не одобрятъ, а изо всѣхъ силъ поторопятся поскорѣй, на весь міръ крещеный, обозвать его клеветой да подлымъ доносомъ!

Digitized by Google

ПАНУРГОВО СТАДО.

РОМАНЪ.

ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ.

I.

Сумбуръ.

Наступилъ годъ 1862, — годъ тысячелѣтія Россіи. Въ Великомъ Новѣ-городѣ ставили по этому поводу памятникъ. Лондонскій «Колоколъ» съ самодовольною скромностью нашелъ, что форма памятника очень льститъ ему, ибо напоминаетъ собою «Колоколъ» — «только который?—вѣчевой или лондонскій?» спрашивалъ г. Герценъ.

Всевозможные Малгоржаны и Анцыфровы были убѣждены, что конечно лондонскій, но что объ этомъ не догадались только *на верху*. Нѣкоторые ученые писали статьи и изслѣдованія на тему «тысячелѣтія»; и по поводу этого же самаго пресловутаго тысячелѣтія газеты и журналы трубили торжественный тушъ нашему прогрессу и совершенствованію.

Дѣйствительно, совершенствованіе было великое.

Главнѣйшимъ образомъ былъ открытъ и усовершенствованъ отечественный канканъ.

Въ то же время послѣдовало открытіе новаго рода невѣдомой дотолѣ болѣзни, которая названа спеціалистами «гражданскою скорбью»; засимъ, однимъ изъ цивическихъ скорбныхъ поэтовъ была открыта «долина, въ которой спятъ слезы гражданина».

Усовершенствована до послѣдней степени брань литературная.

Усовершенствованы способы борьбы съ противниками мнѣній и убѣжденій.

Усовершенствованъ штатъ санктъ-петербургской полиціи, воспріятіемъ въ нее «болѣе либеральныхъ элементовъ».

Происходили ученые съѣзды, гдѣ на жизнь или смерть рѣшалась судьба злосчастныхъ буквъ Ѣ, Θ и V.

Левъ Камбекъ издавалъ журналъ подъ названіемъ «Ерунда». — Это, по истинѣ, было знаменіе времени,—увы! ни единымъ проницательнымъ человѣкомъ тогда неоцѣненное.

Появился трактатъ «о табунныхъ свойствахъ русскаго человѣка», который очень не понравился великимъ дѣятелямъ «Искры». Они никакъ не соглашались признать себя ржущимъ стадомъ, хотя такого признанія никто отъ нихъ и не требовалъ.

Появился трактатъ о пользѣ шпицрутеновъ и объ удобствѣ палокъ, которыми можно дуть солдатъ за фронтомъ, даже во время дѣла, подъ огнемъ непріятеля. Къ чести русской арміи, 106 офицеровъ разнаго рода оружія протестовали противъ этого трактата. Впервые печатно было названо имя г. Герцена. Осмѣлился на это, понятно не безъ разрѣшенія, г. Шедо-Ферроти и тѣмъ стяжалъ себѣ славу: его имя, доселѣ неизвѣстное, было связано теперь съ громкимъ именемъ нашего refugié. Добродушныхъ сыновъ отечества весьма радовало печатное появленіе фамиліи г. Герцена: семь буквъ этой фамиліи, крупнымъ шрифтомъ красовавшіяся въ окнахъ книжныхъ магазиновъ, пріятно ласкали глазъ сыновъ отечества, ибо въ этихъ семи буквахъ они прозирали либеральную уступку либеральнымъ требованіямъ вѣка. Фактъ этотъ былъ отнесенъ ими къ числу общественныхъ пріобрѣтеній.

Къ числу таковыхъ же надо отнести и убѣжденіе, что всѣ тѣ, кому стукнуло за сорокъ, суть «отсталые», и не имѣютъ уже права принадлежать къ молодому поколѣнію, сколько бы передъ нимъ ни лебезили.

Тверскіе гимназисты торжественно выгнали изъ общественнаго собранія даму, несмотря на то, что у нея имѣлся входной билетъ, за то только, что она была... жена капельмейстера. Тверскіе гимназисты имѣли мужество издѣваться надъ смущеніемъ и слезами этой женщины.

Директоръ Коммерческой академіи въ Москвѣ торжественно публиковалъ въ своемъ «Отчетѣ» о томъ, что онъ ввелъ въ это учебное заведеніе изданіе журнала и каррикатурнаго альбома подъ названіемъ «Чепуха», гдѣ воспитанники (они же и издатели, и сотрудники) осмѣиваютъ своихъ надзирателей, учителей и т. п. Господинъ директоръ самъ цензоровалъ «Чепуху» и заявилъ, что эта «Чепуха» заставляетъ его «иногда отъ души посмѣяться».

Digitized by Google

Тотъ же самый директоръ и въ томъ же самомъ «Отчетѣ» публиковалъ, что при всей его прогрессивности, онъ не могъ воздержаться отъ тѣлесныхъ наказаній учениковъ и не сумѣлъ обойтись безъ розогъ.

* * *

Это была эпоха финансовыхъ, торговыхъ, общественныхъ и всяческихъ затрудненій, съ которыми Россія вступала во второе свое тысячелѣтіе.

Безденежье достигло до того, что мелкое серебро совершенно исчезло изъ обращенія, и говоря о немъ, всегда прибавляли «блаженной памяти, 84-й пробы». Въ виду такого финансоваго кризиса, правительство сдѣлало новый заемъ въ 15 милліоновъ фунтовъ стерлинговъ у парижскихъ и лондонскихъ Ротшильдовъ.

Былъ впервые опубликованъ государственный бюджетъ и поднялся вопросъ о поземельныхъ банкахъ.

Вмѣстѣ съ этимъ носились слухи, что съ новымъ тысячелѣтіемъ отмѣнятся старые шпицрутены, клейма и плети.

Поднялся вопросъ объ измѣненіи законовъ о печати. Литературныя силы были призваны къ посильному участію въ обсужденіи этого вопроса; но литературныя силы, говоря относительно, мало обратили на это вниманія: имъ было не до того — всѣ способности, вся дѣятельность ихъ оставались направленными на взаимное заушеніе и оплеваніе.

Съ января мѣсяца въ Москвѣ, въ Тулѣ, въ Калугѣ и въ Петербургѣ открылись дворянскіе съѣзды, съ обычною цѣлью выборовъ. Но эти съѣзды получали теперь новый характеръ: они были первые послѣ уничтоженія крѣпостного права, первые въ новой эрѣ жизни. Само правительство предложило на обсужденіе дворянъ вопросы касательно земско-выборнаго начала въ управленіи, въ финансахъ, въ судѣ. Эти вопросы, въ такомъ видѣ, предлагались еще впервые: съ нихъ починалась новая полоса жизни, и пренія по необходимости должны были получить характеръ совѣщательно-государственный. Поднялись голоса разные: одинъ, по поводу распространенія выборнаго начала, на все земство вопіетъ «о неумѣстности соединенія дворянства въ одной коммисіи съ прочими сословіями»; другой, становясь подъ охрану «Дворянской Грамоты» Екатерины II, доказываетъ права дворянъ на землю и на неудобства въ надѣлѣ ею крестьянъ, а потому предлагаетъ господамъ дворянамъ нѣкоторыя измѣненія въ Положеніи 19-го февраля, сообразно съ «Дворянскою Грамотою», третій требуетъ новаго утвержденія на помѣщичью землю, введенія какихъ-то вѣчныхъ паспортовъ; четвертые добровольно отказываются отъ всѣхъ своихъ сословныхъ правъ и преимуществъ.

Толковали и даже писали, будто дворянство цѣлой губерніи, одно изъ самыхъ передовыхъ, уже совершило надъ собою добровольный актъ закланія, принесло жертву самоуничиженія и просило о сліяніи его со всей остальной массой народа—въ формѣ уничтоженія всѣхъ своихъ правъ. Объ уничтоженіи тѣлесныхъ наказаній пока только говорили, но и de jure и de facto они еще благоденствовали, и потому многіе искренно удивлялись, что вотъ-де какіе передовые люди: готовы лечь даже подъ розги и подъ плеть во имя прогресса! Вмѣсто того, чтобы подымать на уровень *своихъ* правъ всю остальную массу народа, мы приносили жертву самоотреченія и самоуничтоженія и думали, что это прогрессъ.

Въ то же самое время, какъ тверскіе гимназисты изгоняли изъ собранія даму, тринадцать лицъ, принадлежавшихъ къ составу мировыхъ учрежденій Тверской губерніи, изъ которыхъ многіе уже перешагнули границу лѣтъ, гдѣ по тогдашней вѣрѣ молодого поколѣнія начиналась область «отсталости», были арестованы, привезены въ Петропавловскую крѣпость и преданы суду Сената. По офиціальному извѣщенію «Сѣверной Почты», эти тринадцать лицъ «позволили себѣ письменно заявить мѣстному губернскому по крестьянскому дѣлу присутствію, что они впредь намѣрены руководствоваться въ своихъ дѣйствіяхъ воззрѣніями и убѣжденіями, не согласными съ Положеніемъ 19-го февраля 1861 года, и что всякій другой образъ дѣйствій они признаютъ враждебнымъ обществу».

Все это въ совокупности знаменовало собою чрезвычайную, напряженную возбужденность тогдашняго хода дѣлъ и общественнаго положенія.

* * *

Изъ Польши доходили смутныя вѣсти. Что такое тамъ дѣлалось — мы мало еще смыслили, ограничиваясь перепечаткою краткихъ сухихъ извѣстій изъ офиціальной «Газеты Польской». Слышно было, что въ Варшавѣ поднялись новыя демонстраціи, особенно противъ Фелинскаго, что тамъ опять запѣли гимны...

Польскій вопросъ только еще нарождался въ русской литературѣ. Одинъ лишь «День» подымалъ его, но и то въ теоретической, отвлеченной сферѣ. Это были честныя усилія, честныя стремленія и золотыя мечты поставить его на обсужденіе людей нашего и польскаго лагеря. «День» хотѣлъ обоюдно выяснить дѣло, придти къ полюбовному соглашенію и дружно идти впередъ, рука объ руку. Ему откликнулся писатель Грабовскій, открыто и смѣло доказывая права Польши на западную нашу окраину, на основаніи католическо-шляхетской цивилизаціи. Народъ при этомъ не принимался ни въ какое соображеніе. Грабовскій заявилъ, что интересы католицизма и Польши суть одно и то-же. Это былъ въ то время въ высшей степени знаменательный голосъ, который однако же кое-гдѣ въ литературѣ былъ найденъ лишь ультрамонтанскимъ отголоскомъ, не болѣе.

Digitized by Google

Литература не понимала еще сути этого дѣла. Въ тогдашнихъ органахъ ея, не исключая даже офиціознаго «Нашего Времени», Сѣверо-Западный край зачастую назывался просто Польшею. Извѣстія изъ Виленской и Минской губерніи были «извѣстіями изъ Польши». Литература и сама-то еще не знала хорошенько, Россія ли это, или Польша? Когда Иванъ Аксаковъ назвалъ стремленія и посягательства поляковъ на Западный край и на Кіевъ политическимъ безумiемъ, то такъ называемое «общественное мнѣніе», въ лицѣ всѣхъ журналовъ, напало на него «за рѣзкія выраженія, направленныя противъ поляковъ».

Мы еще вмѣняли себѣ въ гражданскій долгъ дѣлать имъ граціозные книксены, приправленные сантиментальными улыбками. Мы слыхали только, что поляки хотятъ свободы—и этого словца для насъ было уже достаточно, чтобы мы, во имя либерализма, позволили карнать себя по Днѣпръ, отъ моря до моря. Они говорили намъ, что «это, молъ, все наше» — мы кланялись и вѣрили. Не вѣрить и отстаивать «захваченное» было бы не либерально, а мы такъ боялись, чтобы кто не подумалъ—будто мы не либеральны.

А въ это время въ Парижѣ панъ Духинскій уже громко проповѣдывалъ съ кафедры, что мы, москали, не славяне, а какая-то презрѣнная помѣсь финско-татарскаго племени, ублюдки азіатской семьи, дикіе и варварскіе Тураны, грозящіе гибелью славянству и европейской цивилизаціи. Доказательства этому панъ Духинскій находилъ между прочимъ и въ томъ, что наши женщины отличаются маленькой ножкой—явный признакъ сродства съ китаянками, и что москали вовсе не подвержены ревматизму, который будто бы есть спеціальная болѣзнь цивилизованной Западной Европы; мы же до того монголы, что не можемъ даже чувствовать ревматической ломоты, и что, стало быть, въ видахъ охраненія цивилизованнаго міра, надо возстановить на мѣстѣ нынѣшней Россіи старую Польшу, а москалей прогнать за Уралъ въ Средне-Азіатскія степи. Въ Парижѣ цѣлое ученое общество принялось издавать карту, гдѣ мы были отмежеваны, въ качествѣ туранскихъ выходцевъ, въ подобающія намъ границы—и европейское общественное мнѣніе съ живымъ, горячимъ участіемъ ухватилось за пропаганду идей пана Духинскаго.

Наша литература пренебрегла или проглядѣла этотъ фактъ. Ей было не до того: она задавала сама себѣ «вселенскую смазь» и «загибала салазки», по выраженію автора «Очерковъ бурсы». Одинъ только «Колоколъ» вопіялъ о незаконности и преступности нашего нѣмецки-казарменнаго и татарски-благодѣтельнаго обладанія несчастною страною, полною такихъ свѣтлыхъ воспоминаній вольнолюбивой, республиканской старины, полною стремленій къ свѣту, свободѣ, цивилизаціи, въ которой она далеко превзошла наше московско-татарское варварство.

Мы благоговѣйно внимали, поучались и—сознательно, или безсознательно — повторяли всѣ эти фразы.

Между тѣмъ Польшѣ, черезъ часъ по столовой ложкѣ, давались кой-какія льготы; предполагалось реорганизовать суды, пересмотрѣть кодексъ наказаній... Шагъ впередъ—шагъ назадъ; сегодня вдругъ строгости усиленныя, а завтра—ни съ того, ни съ сего самая странная слабость. Все это было шатко, все показывало отсутствіе какой бы то ни было системы, во всемъ являлся рядъ полумѣръ, полуступокъ, словно бы люди и не знали дотолѣ, что за звѣрь такой эта Польша, съ которою ему вдругъ теперь приходится возиться? Власть безъ авторитета, авторитетъ безъ голоса, сомнѣвающійся даже въ собственномъ своемъ правѣ—это было положеніе человѣка, съ завязанными глазами, который въ незнакомой комнатѣ и съ незнакомыми людьми играетъ въ жмурки. Его пятнаютъ, скользятъ изъ-подъ рукъ, тычутъ и щиплютъ спереди и сзади, съ боковъ, сверху, снизу,—а онъ, стараясь поймать хоть кого-нибудь, тщетно машетъ руками и бьетъ по воздуху, съ каждымъ шагомъ боясь оступиться и упасть—къ общему удовольствію играющихъ. Такая политика клонилась къ явному и неизбѣжному ущербу нашего національнаго и государственнаго достоинства.

* * *

Бываютъ, точно, времена
Совсѣмъ особеннаго свойства!

Какого же свойства были времена 1862-го года?

То были времена, когда по преемственному завѣту 1858-го—59-го года, большинство газетныхъ статей все еще начиналось извѣстною стереотипною фразою «въ настоящее время, когда» и т. д.

Передъ этимъ въ нашей литературѣ всецѣло господствовалъ «безобразный поступокъ» «Вѣка». Всѣ журналы, всѣ газеты наполнялись этимъ «безобразнымъ поступкомъ», а одна изъ нихъ чуть ли даже не открыла спеціальный отдѣлъ для этого «поступка».—«Камень Виногоровъ... «Вѣкъ»... madame Толмачева... безобразный поступокъ «Вѣка»... Виногоровъ... безобразный» только и слышалось со всѣхъ сторонъ литературной арены.

Къ началу 1862 года мы нѣсколько поугомонились и попримолкли съ этимъ «безобразнымъ поступкомъ», успѣвшимъ надоѣсть всѣмъ и каждому до послѣдней крайности: на сцену готовился выйти кукельванъ въ пивѣ г. Крона.

Сама madame Толмачева появилась передъ санктпетербургскою публикою на одномъ лите-

Digitized by Google

ратурномъ вечерѣ, благодарила господъ литераторовъ за столь ревностные протесты противъ «безобразнаго поступка» «Вѣка» и прочла какіе-то либеральные стишки, впрочемъ прочла довольно неискусно. Публика привѣтствовала ее восторженными рукоплесканіями и затѣмъ—всему этому суждено было кануть въ Лету забвенія.

То были времена такъ называемой «благодѣтельной гласности». По вопросамъ государственнымъ, политическимъ и общественнымъ гласности еще никакой не было: она не простиралась даже и на столько, чтобы передавать пренія дворянскихъ съѣздовъ, но зато всѣ понимали «благодѣтельную гласность» какъ плеть для наказанія преступника, или какъ дубину для самозащиты, и это было еще самое лучшее, самое чистое пониманіе ея. Въ нѣкоторыхъ же литературныхъ органахъ она понималась какъ прекрасное средство швырять собственною грязью въ противниковъ, или же какъ пугало противъ трактирныхъ буфетчиковъ, когда тѣ требовали уплаты за напитое и наѣденное. Въ этихъ случаяхъ петербургскимъ трактирщикамъ грозились «спалить ихъ одною «Искрою»—и трактирщики трепетали предъ такою «благодѣтельною гласностью».

То были времена вокабулъ, Икса, Игрека и Зета, времена алфавитной гласности, когда въ «Искрѣ» обличались какой-то идилликъ Филимонъ, какой-то воевода Болотяный, какіе-то Мидасъ, Психъ, Урлукъ, Рыковъ и Макаръ-Гасильникъ; обличались города Чертогорскъ, Уморскъ, Грязнославъ и проч., и когда въ обличительныхъ стишкахъ, разъ въ недѣлю, неизбѣжно какъ смерть, риѳмовались «Вѣкъ» и Левъ Камбекъ, Краевскій и «берегъ Невскій», Чичеринъ, «меринъ» и «благонамѣренъ».

Къ этому времени не осталось уже ни одного имени не заплеваннымъ, ибо вѣрнѣйшее средство прослыть прогрессистомъ заключалось въ томъ, чтобы ругаться надъ достойными людьми: значитъ, молъ, я достойнѣйшій, если достойныхъ забрызгиваю грязью.

Басня о Слонѣ и Моськѣ повторялась въ тысячѣ примѣровъ, и часто Моськи, благодаря своему лаю, становились Слонами.

Это еще было время доброй, наивной вѣры во всякаго, кто кричалъ громко и называлъ себя либераломъ. — Какъ же? человѣкъ вѣдь кричитъ: я либералъ!—ну, значитъ и точно либералъ.

Время искренней вѣры, время вѣры въ искренность кричавшихъ!

И какое раболѣпіе выказывали эти господа предъ барами, бросавшими имъ подачки: все равно, будь этотъ баринъ оракулъ-литературный, или откупщикъ, давшій деньги на изданіе сатирическаго журнала, съ тѣмъ чтобы его тамъ не задѣвали. И зато съ какою вольнонаемною наглостью накидывались они на всякаго, на кого только этимъ барамъ угодно было натравить ихъ! Усердіе, достойное лучшей участи...

И какъ мы были лакомы тогда до всяческихъ протестовъ, въ которыхъ однако выступали на борьбу не мысли, не идеи противъ идей, а по преимуществу чванство нравственнымъ достоинствомъ противъ мнимой нравственной низости.

То были времена, когда, по словамъ одного тогдашняго стихотвореньица,—

Сикофанты, адаманты
И гиганты прессы
Собирался всѣ вмѣстѣ
Сочинять прогрессы.—

И точно: это было *сочиненіе* своихъ собственныхъ прогрессовъ въ ущербъ прогрессу дѣйствительной жизни и здраваго смысла.

Нѣкто, во имя собственныхъ прогрессовъ сталъ отрицать, напримѣръ, литературную собственность.—«Можетъ ли авторъ сказать, писалъ этотъ нѣкто, что мысль, изложенная имъ въ своемъ сочиненіи, есть его личная собственность? Только люди очень самолюбивые и не достаточно слѣдившіе за процессомъ мышленія могутъ въ каждой своей мысли видѣть свою исключительную собственность. У мысли нѣтъ отдѣльнаго хозяина, какъ нѣтъ хозяина у воздуха, и рѣшительно несправедливо говорить, что такая-то мысль принадлежитъ такому-то, а такая-то такому-то... Мысль не собственность и оплачиванію не подлежитъ. Тутъ продается возможность усвоивать ее, называемая печатаніемъ. Если въ этомъ дѣлѣ такую роль играетъ печатаніе, то въ такомъ случаѣ награда слѣдуетъ не автору, а Гуттенбергу; а какъ Гуттенберга нѣтъ въ живыхъ, то и давать ее некому. Если же рѣчь о возможности усвоенія разсматривать отдѣльно отъ печатанія, то вѣдь и устная рѣчь представляетъ ту же возможность: все чтеніе лекцій основано на этой возможности. А какъ за лекціи берутъ деньги, то отчего же не брать денегъ за всякій разговоръ, за всякую мысль, которая покажется кому-либо его собственной? Развивая теорію возможности усвоенія мыслей, не трудно придти къ тому, что люди не должны говорить ни одного слова даромъ, потому что всякій разговоръ есть рядъ мыслей» [1]).—По этой своеобразной логикѣ, нѣтъ литературной собственности, нѣтъ права на мысль, права на изображеніе, права на имя, и вовсе не надо даже и литературы, и прессы вообще, а вмѣсто всего этого давайте, молъ, говорить! Мы будемъ говорить и поучать васъ, а вы слушайте; а кто не слушаетъ и не согласенъ съ нами, тотъ «тупоумный глупецъ», «дрянной пошлякъ» и проч.

[1]) „Современникъ", мартъ 1872 годъ. „Литературная собственность".

Digitized by Google

Но все это еще только наивно и странно; мы же на томъ не остановились, мы дошли до столбовъ Геркулесовыхъ. Для доказательства истинности своихъ «убѣжденій» и для вящаго распространенія ихъ, мы прибѣгали ко всяческимъ насиліямъ: явная ложь, клевета, самовосхваленіе — словомъ, всѣ темныя силы, какія только находились въ распоряженіи поборниковъ истины, были пущены въ ходъ для зажатія рта противникамъ, подымавшимъ голосъ во имя простого здраваго смысла.

Въ виду всѣхъ нелѣпостей и промаховъ всевозможныхъ плюгавыхъ Анцыфриковъ, журнальные оракулы приказывали здравому смыслу молчать, потому «пусть лучше ошибаются, но пусть не забываютъ общаго дѣла».

Это было своего рода фатовство, фанфаронство «общимъ дѣломъ». Въ чемъ оно, это «общее дѣло»? — того и сами не знали большинство этихъ фатовъ и фанфароновъ. Одни въ этой фразѣ поклонялись какому-то невѣдомому кумиру, другіе эксплуатировали ее въ пользу собственныхъ кармановъ или самолюбій. И это понятно: въ тѣ времена у насъ не было еще дѣйствительной общественной жизни, не было истиннаго, дѣйствительнаго участія въ общемъ дѣлѣ. Общество слышало только голоса разные, но дѣлъ не видѣло, и потому оцѣнка общественныхъ дѣятелей была очень трудна. Подъ видомъ ихъ, могли свободно фигурировать всякія побужденія, не выключая простого фатовства и фанфаронства, со стремленіемъ чѣмъ нибудь ухлопать свой досугъ, лишь бы заявить себя.

Настало вавилонское смѣшеніе ролей: рутина и невѣжество выдавались за передовое направленіе, а прямое, истинное передовое направленіе провозглашалось рутиною и отсталостью.

Должность либерально-прогрессивнаго доносчика, должность литературнаго палача, производящаго торговую казнь надъ именами и мнѣніями, стали почетными. Изъ разныхъ угловъ и щелей повыползали на свѣтъ Божій боксеры и спадассины нигилизма, жандармы прогресса, будочники гуманности, сыщики либерализма—все это были великіе прогрессисты на пути общественнаго паденія!..

Расплодилось множество людей, желавшихъ сдѣлаться эффектными жертвами, людей, игравшихъ роль того самаго матроса, который до того любилъ генерала Джаксона, что, не зная чѣмъ бы лучше доказать ему любовь свою, бросился съ высоты мачты въ море, провозгласивъ: «я умираю за генерала Джаксона!»— И это великое множество, безспорно, были въ большинствѣ своемъ даже хорошіе и честные люди, и о нихъ можно развѣ пожалѣть, что такой энтузіазмъ не нашелъ себѣ тогда болѣе достойнаго примѣненія. Но было и нѣчто хуже: мы были свидѣтелями своего рода биржевой игры въ гражданскія добродѣтели, гдѣ одному подставляли ногу, чтобы поднять курсъ на акціи гражданской честности и достоинствъ другого.

Жандармы прогресса и будочники нигилизма открыто провозглашали ультиматумъ такого рода: «кто не съ нами—того мы обязаны уничтожить, смѣшать съ грязью, заклеймить какъ врага человѣчества. Мы обязаны это дѣлать потому, что всякій кто не за насъ—тотъ противъ насъ, и можетъ повредить успѣху нашего великаго дѣла». Они съ гигантской безстѣнчивостью объявляли, что въ полемической статьѣ позволительно, умѣстно и, пожалуй, даже хорошо взваливать на своего противника всевозможныя нелѣпости и всячески издѣваться надъ нимъ, разсыпаясь въ остротахъ и колкостяхъ [1]).

Какое полное, какое блистательное торжество іезуитизма!

* * *

Февральская книжка «Русскаго Вѣстника» принесла съ собою «Отцовъ и Дѣтей» Тургенева. Поднялась цѣлая буря толковъ, споровъ, сплетень, философскихъ недоразумѣній въ обществѣ и литературѣ. Ни одно еще произведеніе Тургенева не возбуждало столько говора и интереса, ни одно не было болѣе популярно и современно. Все то, что бродило въ обществѣ какъ неопредѣленная, скорѣе ощущаемая, чѣмъ сознаваемая сила, воплотилось теперь въ опредѣленный, цѣльный образъ. Два лагеря, два стремленія, два потока обозначились рѣзко и прямо.

Въ гостиныхъ, въ клубахъ, въ департаментахъ, въ ресторанахъ, въ аудиторіяхъ, въ книжныхъ магазинахъ первые два-три мѣсяца только и толковъ было что объ «Отцахъ и Дѣтяхъ». — «Ты за кого? за «Отцовъ» или за «Дѣтей»? зачастую было обычнымъ и первымъ вопросомъ двухъ пріятелей при встрѣчѣ.— «Люди общества и литературы продолжаютъ имъ заниматься наравнѣ съ самыми неотлагательными своими забстами и имѣя при этомъ самыя разнообразныя цѣли и заднія мысли: кто хочетъ осмотрѣться при этомъ огонькѣ и заглянуть впередъ, кто выглядываетъ врага, кто узнаетъ единомышленника, кто разрываетъ связь, заключенную въ темнотѣ и по ошибкѣ, кто срываетъ съ себя предубѣжденіе, кто отказывается отъ напускного дурачества, а кому огонекъ рѣжетъ глаза, тому, разумѣется, хочется поплевать на него».—Эта характеристика впечатлѣній, замѣчательная по своей мѣткости, принадлежитъ одной изъ лучшихъ и честныхъ статей того времени объ «Отцахъ и Дѣтяхъ» [2]).

---

[1]) „Современникъ", мартъ 1872 г. „Русская литература", стр. 70.

[2]) „Библіотека для Чтенія", май 1862. „Не въ бровь, а въ глазъ".

Digitized by Google

Въ лагерѣ проповѣдниковъ новыхъ началъ вдругъ произошло по поводу Базарова странное и неожиданное раздвоеніе: своя своихъ не познаша.

Прежде всего накинулись на самого автора, на его личность, одни съ пренебрежительнымъ сожалѣніемъ «къ его тупоумію, недальновидности и несообразительности», другіе просто со слюною бѣшеной собаки, но это уже былъ крикъ нестерпимой боли, это были вопли Ситниковыхъ и Кукшиныхъ, которые почувствовали на себѣ рубцы бичующей правды. Критики этого направленія провозгласили, что съ этого времени и всѣ прочія произведенія Тургенева должны считаться ничего нестоющими.

То же было и по поводу Писемскаго, и притомъ въ то же самое время: «Искра», одобренная и поддержанная «Современникомъ» въ лицѣ четырехъ его соредакторовъ, спеціально заявившихъ ей въ особомъ благоволивомъ адресѣ свое одобреніе, сдѣлала знаменитый силлогизмъ такого рода: «Никита Безрыловъ написалъ фельетонъ, достойный всякаго порицанія; *слѣдственно* романы и повѣсти г. Писемскаго, да и самъ г. Писемскій должны быть преданы всеобщему поруганію». Это была совсѣмъ особая логика,—логика Гоголевской мѣщанки Пошлепиной, объяснимая и оправдываемая только крикомъ боли и «слюною бѣшеной собаки».

«Современникъ» объявилъ Базарова лицомъ несуществующимъ, ложью, фальшью, гнусною и преступною клеветою на людей новаго направленія, сравнилъ Базарова съ Асмодеемъ нашего времени, являющимся въ какомъ-то романѣ В. Аскоченскаго; и при этомъ поставилъ Тургенева во всѣхъ отношеніяхъ неизмѣримо ниже сего послѣдняго автора. «Современникъ» кричалъ, что Тургеневъ — ненавистникъ всякаго образованія, особенно женскаго, ненавистникъ всего народа и молодежи, проповѣдникъ помѣщичьяго разврата, и даже не можетъ поднести лица своего къ микроскопу, для наблюденій надъ козявкой, «а наши, молъ, дѣвушки готовы смотрѣть въ микроскопъ на что только угодно и даже ручками потрогать» [1]).

«Русское Слово» представило собою явный контрастъ воплямъ «Современника». Оно съ похвальною искренностью признало въ Базаровѣ полный типъ человѣка своего направленія. Съ высоты своего величія отнесясь къ Тургеневу съ сожалѣніемъ за отсутствіе въ немъ настоящаго пониманія новыхъ задачъ, оно тѣмъ не менѣе объявило, что романистъ, помимо своего вѣдома и собственной воли, написалъ похвальный панегирикъ «новымъ людямъ». «Русское Слово» сдѣлало въ высшей степени замѣчательную характеристику новаго типа и его «принциповъ». — «На людей, подобныхъ Базарову, можно негодовать сколько душѣ угодно, говорилъ этотъ журналъ устами Д. Писарева, но признать ихъ искренность рѣшительно необходимо. Эти люди могутъ быть честными гражданскими дѣятелями и — отъявленными мошенниками, *смотря по обстоятельствамъ и по личнымъ вкусамъ*. Ничто, кромѣ личнаго вкуса, *не мѣшаетъ имъ убивать и грабить*, и ничто, кромѣ личнаго вкуса, не побуждаетъ людей подобнаго закала дѣлать открытія въ области наукъ и общественной жизни... Ни надъ собой, ни внѣ себя, ни внутри себя онъ (Базаровъ) не признаетъ никакого регулятора, никакого нравственнаго закона, никакого принципа.—Впереди никакой высокой цѣли, въ умѣ — никакого высокаго помысла и, при всемъ этомъ, силы огромныя... Китайскіе тайпинги и индійскіе душители, въ сравненіи съ послѣдователями этой секты (Базаровщины), просто ягнята, люди они образованные, но положиться на нихъ можно столько же, какъ на извѣстнаго Фарингеа. Это вотъ какой народецъ: захочетъ — сдѣлаетъ полезнѣйшую реформу, захочетъ — зарѣжетъ человѣка, захочетъ—откроетъ истину въ наукѣ, захочетъ—вскроетъ шкатулку у васъ въ кабинетѣ» [1]).

И эти слова не безобразная клевета, не фальшивый доносъ!.. Нѣтъ, напротивъ! Дѣлая подобную рекомендацію, критикъ «Русскаго Слова» восторженно, съ увлеченіемъ признавалъ въ Базаровѣ своего выразителя, свой типъ, свою силу, красоту и надежду.

До сихъ поръ жандармы и сыщики этого направленія именовали себя то «свистунами», то «сектой поморцевъ». — Базаровъ назвалъ себя «нигилистомъ», и съ тѣхъ поръ это словцо стало самымъ популярнымъ по лицу земли Русской.

Въ первое время послѣ «Отцовъ и Дѣтей» это направленіе окрестили было «Базаровщиной», а послѣдователей его «Базаровцами»; но вскорѣ два эти термина были вытѣснены изъ употребленія. Ихъ окончательно замѣнили слова «нигилизмъ» и «нигилисты».

Слово было найдено—понятіе уяснилось.

* * *

А наука? А стремленіе къ знанію, къ просвѣщенію? На этотъ вопросъ лучше всего отвѣтятъ намъ слова, сказанныя въ то время однимъ почтеннымъ профессоромъ, котораго никто не заподозритъ ни въ клеветѣ, ни въ пристрастіи, ни въ отсутствіи любви къ наукѣ, и который имѣлъ случай извѣдать на опытѣ людей и тенденціи извѣстнаго сорта. Вотъ эти знаменательныя и характеристичныя слова:

«Между молодыми людьми въ послѣднее время, намъ случалось встрѣчать такихъ господъ, которые проповѣдуютъ, что *наука сама по себѣ не только безполезна, но даже вредна*,

[1]) „Современникъ", мартъ 1862. „Русская литература".

[1]) „Русское Слово", мартъ 1862. „Русская литература".

Digitized by Google

потому что отвлекаетъ умы отъ другихъ, болѣе *плодотворныхъ* сферъ дѣятельности. «Теперь не то время, говорятъ эти господа, пришла пора общественной дѣятельности—будемъ заниматься современными вопросами». Вслѣдствіе этого, они требуютъ отъ профессора, чтобы онъ передъ своими слушателями кокетничалъ модными, либеральными фразами, притягивалъ факты своей науки къ любимымъ модными тенденціямъ, хотя бы то было ни къ селу, ни къ городу, и вообще имѣлъ бы въ виду не научную истину, а легкое приложеніе того-сего изъ своей науки къ современнымъ вопросамъ жизни. Чуть только профессоръ въ своихъ чтеніяхъ объективенъ — эти господа рѣшаютъ, что онъ *отсталъ*, что сущность его лекцій—*мертвечина*, что поэтому его не только не должно слушать, но слѣдуетъ прогнать. При этомъ не берется во вниманіе то, что есть много другихъ слушателей, которые находятъ для себя не безполезнымъ посѣщать его аудиторію. Вздумается воображающимъ себя *передовыми* людьми молодого поколѣнія устроить демонстрацію — профессоръ долженъ показывать къ нимъ сочувствіе, хотя бы противъ собственнаго убѣжденія, иначе—ему грозятъ свистками, ругательствами, даже побоями... Дивный способъ распространенія либеральныхъ и гуманныхъ идей!» [1])

Къ этой характеристикѣ прибавлять намъ отъ себя болѣе нечего.

* *
*

Къ началу 1862 года возникло очень много воскресныхъ школъ. Вопросъ о народномъ образованіи казался однимъ изъ самыхъ горячихъ, животрепещущихъ и насущныхъ вопросовъ. Никогда еще онъ не стоялъ въ такихъ благопріятныхъ обстоятельствахъ, какъ именно въ это самое время. Въ обществѣ сознавалась идея необходимости сближенія съ народомъ. «Положеніе 19-го февраля» порѣшило крѣпость, крестьянамъ предоставлялись права самосуда и самоуправленія—все это были двигатели такого рода, что по неволѣ гнали къ сознанію о настоятельной нуждѣ и пользѣ грамотности и давали толчекъ стремленію къ ней. Поэтому и воскресныхъ школъ возникло великое множество. Ихъ заводили при гимназіяхъ, при училищахъ, и въ частныхъ домахъ, и въ приходахъ, и въ войсковыхъ казармахъ. Люди, объявившіе себя передовыми и прогрессистами, почти вездѣ захватили въ свои руки власть, и голосъ, и преподаваніе въ этихъ школахъ. Духовныя лица почти повсюду были тщательно устранены отъ дѣла. Кромѣ того, стали заводить народныя безплатныя читальни. Въ Петербургѣ одна была открыта при Галванической ротѣ, другая при воскресной Самсоніевской школѣ на Выборгской сторонѣ.

Въ началѣ успѣхъ этихъ школъ былъ блистателенъ. Особенною популярностью въ обществѣ пользовались Самсоніевская и на Петербургской сторонѣ Введенская. Въ пользу ихъ то и дѣло устраивались подписки, концерты, лекціи, литературные вечера, любительскіе спектакли, такъ что въ средствахъ не было недостатка. Самое устройство школъ устраняло всякія стѣсненія. Администрація не вмѣшивалась въ дѣло своимъ цензорскимъ контролемъ, всѣмъ ходомъ дѣлъ и преподаванія завѣдывали сходки учителей, распорядительная власть принадлежала лицамъ, выбраннымъ самою сходкою, и сходка же ихъ контролировала. Ученики дѣлились на кружки, и каждый кружокъ поручался неизмѣнно одному преподавателю. Множество молодежи, студенты, медики, офицеры, гимназисты, семинаристы, дѣвушки и даже свѣтскія дамы и барышни стремились записаться въ число дѣятелей и преподавателей.

Мода на воскресныя школы пошла ужасная, невообразимая — все это бросилось поучать народъ, все толковало о сближеніи съ народомъ, о привитіи къ нему новыхъ идей и свободныхъ началъ «новой жизни».

И что же?..

Не прошло и года, какъ множество школъ уже закрылось, умерло естественною, ненасильственною смертью. Жаръ охладѣлъ, энергія смѣнилась апатіей... Мода проходила, мода успѣла уже надоѣсть своимъ мимолетнымъ приверженцамъ.

Тѣ изъ школъ, существованіе которыхъ еще кое-какъ продолжалось, стали бѣдны и средствами, и учителями, и учениками. Радѣтели и «любители народа» начинали манкировать дѣломъ, опаздывать на уроки и вовсе не являться въ школу. Вмѣсто ученья завелось гуляньe: ученики и учителя расхаживали, прогуливались по заламъ, толкуя не объ *азахъ*, а о современныхъ вопросахъ. Большинство же учениковъ хотѣло *азовъ*, а такъ какъ азами зачастую некому было заниматься, потому что нынче тотъ, а завтра этотъ кружокъ оставались безъ учителя, то вскорѣ недовольство стало проникать въ среду учащихся; за недовольствомъ слѣдовало охлажденіе, ученики оставляли школу — и школа умирала естественною смертью.

Дѣло спуталось, довѣріе было подорвано, и «любители народа» сами же нанесли тяжкій ударъ столь облюбленному ими народному просвѣщенію.

* * *

А въ общество, между тѣмъ, невѣдомо откуда, сыпались многочисленныя произведенія подпольной печати. Рѣдкая недѣля проходила безъ какой-нибудь новой прокламаціи, воззванія, программы дѣйствій, программы требованій,

[1]) Н. И. Костомаровъ. „Мѣшать или не мѣшать учиться". Май, 1862.

Digitized by Google

ультиматумовъ, угрозъ... Тутъ были и «Великороссъ», и «Земля и Воля», и многое другое.

Эти листки приклеивались невидимою рукою къ фонарнымъ столбамъ, на углахъ улицъ, къ стѣнамъ домовъ; подбрасывались въ магазины, въ харчевни, въ трактиры, въ кабаки; ихъ находили на тротуарахъ, на рынкахъ, въ церквахъ, въ присутственныхъ мѣстахъ, въ казармахъ, въ учебныхъ заведеніяхъ. Они присылались по городской почтѣ къ людямъ извѣстнымъ, почтеннымъ и высокопоставленнымъ. Часто, возвращаясь домой, хозяинъ находилъ на лѣстницѣ предъ дверьми своей квартиры какой-нибудь конвертъ съ подобной прокламаціей; часто въ чьей нибудь прихожей раздавался звонокъ — и неизвѣстный человѣкъ, сунувъ въ руку лакея или горничной свернутый листокъ, торопливо сбѣгалъ внизъ и, скрывшись за подъѣздомъ, удиралъ во всѣ лопатки на лихачѣ-извозчикѣ.

Безцеремонность въ распространеніи этихъ подметныхъ листковъ дошла до того, что во время заутрени въ Свѣтлое Воскресенье, въ самомъ Зимнемъ дворцѣ, при многолюднѣйшемъ собраніи, было разбросано во многихъ экземплярахъ воззваніе «къ русскимъ офицерамъ». Оно валялось на подоконникахъ, на мебели, и многіе изъ офицеровъ, не выключая и весьма почтенныхъ генераловъ, совершенно неожиданно находили у себя въ заднемъ карманѣ, вмѣстѣ съ носовымъ платкомъ, и эту прокламацію.

* * *

А въ это же самое время процвѣтало царство скандала и канкана.

Канканъ самый неистовый, невообразимый сталъ процвѣтать съ зимы 1861 года, какъ разъ послѣ студентскихъ исторій, и все шелъ crescendo и crescendo, съ шумомъ, съ блескомъ и трескомъ, такъ что къ веснѣ изображаемаго времени, покрытый скандальнымъ ореоломъ своей блистательной славы, достигъ уже полнаго апогея.

Маскарады Большого театра впервые пріютили и узаконили его въ яркой храминѣ Таліи и Мельпомены. Тамъ подвизались наемные танцоры и танцорки, разряженные въ невозможно причудливые и весьма декольтированные костюмы. Иные изъ нихъ, какъ слышно было, плясали даже и по наряду, то-есть, въ нѣкоторомъ родѣ, какъ бы официально, по службѣ. Обыкновенно болѣе шести тысячъ народа, бывало, ломилось въ залу Большого театра, и вокругъ каре танцующихъ была вѣчная давка. Взрывы неистовыхъ «браво!» и рукоплесканій привѣтствовали каждое пикантное или безцеремонно-наглое тѣлодвиженіе, каждую приподнятую выше колѣна юбку, каждый смѣлый и ловкій взмахъ ноги, когда красивая маска носкомъ своей ботинки задорно сбивала шляпу съ выразительно подставленной къ ней головы своего vis-à-vis кавалера.

Въ этихъ маскарадахъ не было ни изящества, ни остроумія, ни таинственно-заманчивой поэтической прелести, словомъ — ничего такого, чѣмъ столь изобильно отличались маскарады добраго стараго, романтическаго времени. Тутъ было одно безконечное царство канкана. Изъ-подъ бархатныхъ полумасокъ по преимуществу слышался нѣмецкій говоръ, и стремленія каждой интриги сводились на исканіе—какъ бы нашелся какой-нибудь дуракъ, который угостилъ бы даровымъ ужиномъ и даровымъ шампанскимъ. И дѣйствительно, употребленіе крѣпкихъ напитковъ дѣлало здѣсь прогрессъ неимовѣрный.

Великосвѣтскія дамы ѣздили въ ложи и оттуда любовались сквозь свои лорнеты и бинокли на вальпургіевы ночи самаго циническаго канкана.

Но и маскарадный канканъ являлся сущею ничтожностью сравнительно съ тѣмъ, который свирѣпствовалъ въ танцъ-классахъ.

Ежедневно на всевозможныхъ загородныхъ балахъ, у Излера, въ Екатерингофѣ, въ Петровскомъ вокзалѣ, на Крестовскомъ, въ Александровскомъ паркѣ только и былъ одинъ канканъ и канканъ.

Кадриль Штрауса «Hommage à St.-Pétersbourg», вальсъ «Jl baccio» и полька «Folichon» всѣ вечера и напролетъ всѣ ночи гремѣли въ этихъ пріютахъ канкана.

Но всего этого оказалось еще мало.

Канкану покровительствовали, а по системѣ протекціонизма, надо было заботиться о его развитіи, и потому канканъ-танцклассы открывались уже не на окраинахъ, а въ самомъ центрѣ Санктъ-Петербурга. Пальму первенства взялъ знаменитый Ефремовъ, неподалеку отъ Цѣпного моста, на углу Моховой и Пантелеймоновской улицъ. Передъ входомъ горѣла ярко иллюминованная транспарантная вывѣска, на которой огромными красными буквами значилось:

Танцовальный вечеръ, начало въ 9 часовъ, цѣна 1 рубль.

Всевозможные Гебгардты, Егаревы и Марцинкевичи изъ кожи лѣзли, стремясь перещеголять другъ друга и оспорить пальму первенства у Ефремова. А кромѣ этихъ главныхъ антрепренеровъ, сколько развелось еще второстепенныхъ, третьестепенныхъ и вовсе безстепенныхъ, трущобныхъ танцъ-классиковъ! Звуки «фолишоновъ» еженощно оглашали во всевозможныхъ концахъ и направленіяхъ улицы столицы.

И тутъ были тоже свои официальные танцоры и танцорки, были свои извѣстности и знаменитости, между которыми блистали громадный Фокинъ и такъ называемая Катька-Ригольбошъ. Этотъ Фокинъ былъ въ своемъ родѣ

Digitized by Google

первый левъ сезона, его слава росла, о немъ говорили, его поили, имъ занимались, ему рукоплескали, фельетонисты разныхъ газетъ посвящали ему плоды своихъ вдохновеній.

Но кромѣ этихъ офиціальныхъ танцоровъ, образовался многочисленный классъ добровольныхъ «благородныхъ любителей»—и все это подвизалось и преуспѣвало въ ужасающихъ пà, поражало чудесами эквилибристики и канканнаго воображенія. Массы молодыхъ и старыхъ зрителей наполняли всѣ эти залы. Новинка привлекала. Разнузданность и цинизмъ танцорокъ достигали до такой степени, что пріѣзжіе истые парижане не вѣрили глазамъ своимъ, увѣряли, что у нихъ въ Парижѣ ничего равнаго этому и нѣтъ, и не было, и не видывано, и безконечно удивлялись par le principe de la liberté russe.

И все это бѣснованіе, чѣмъ дальше, тѣмъ все больше, текло бурнымъ, неудержимымъ потокомъ.

Впрочемъ, принципъ веселья изобрѣтенъ не нами: мы только потщились пересадить его на петербургскую почву. Честь этого принципа принадлежитъ вѣнскимъ австрійцамъ. По ихъ теоріи, канканъ — хорошій признакъ: веселье изгоняетъ дурныя и мрачныя политическія мысли.

И это было истинное, великое торжество канкана.

* * *

Дикости въ проявленіяхъ жизни общественной, разноголосица во всѣхъ сферахъ общества, фанфаронство общимъ и народнымъ дѣломъ, вопросительный знакъ значительной части дворянства предъ новымъ экономическимъ бытомъ, финансовый кризисъ, зловѣщія тучи на окраинахъ, государственныя затрудненія, неумѣлость, злорадство, апатія къ серьезному здравомысленному дѣлу, непониманіе прямыхъ народныхъ интересовъ, подпольная интрига и козни, наплывъ революціонныхъ прокламацій и брань, брань, одна повальная брань въ несчастной полунѣмотствующей литературѣ и, наконецъ, въ видѣ паліативы, эта безумная и развратная оргія канкана,—вотъ общая картина того положенія, въ которомъ засталъ Россію 1862 годъ.

И точно: это былъ какой-то сумбуръ, какая-то тяжелая, хмѣльная, чадная оргія.

Но это было явленіе нормальное.

Это было прямое и естественное слѣдствіе причинъ историческихъ, начиная съ Гатчиновщины, Аракчеевщины и кончая тридцати-лѣтнимъ гробовымъ молчаніемъ.

Это была расплата за прошлое.

А между тѣмъ, забавляясь и фарфароня «общимъ дѣломъ», всѣ, еже о нигилизмѣ юродствующіе, доигрывались мало-по-малу не только до сумасшедшаго дома, но и гораздо далѣе того. Они доигрывались до крупной услуги ярому обскурантизму.

II.

Что значитъ смѣть свое сужденіе имѣть.

Сезонъ 61 — 62 года былъ необыкновенно богатъ всевозможными любительскими спектаклями, концертами и литературными чтеніями. Все это предлагалось публикѣ въ пользу «бѣдныхъ учащихся», народныхъ читаленъ, студентовъ и медиковъ, воскресныхъ школъ и литературнаго фонда.

Послѣ закрытія университета, нѣкоторые профессора согласились между собою читать публичныя лекціи. Петропавловская школа и Городская Дума уступили имъ для этой цѣли свои залы. Плата была самая доступная, по четвертаку за лекцію, и такимъ образомъ въ Петербургѣ открылся родъ общедоступнаго, партикулярнаго университета, что̀ могло бы быть весьма важно для тѣхъ экс-студентовъ, которые, въ силу извѣстныхъ обстоятельствъ, оказались лишенными возможности докончить прежнимъ путемъ свое образованіе. Но въ дѣйствительности, для нѣкоторыхъ негласныхъ вожаковъ и подстрекателей молодежи это было важно главнѣйшимъ образомъ потому, что хотя главный органъ науки и былъ закрытъ, но ходъ агитаціи, подъ прикрытіемъ якобы науки, могъ продолжать свое дѣло, и ею кромѣ студентовъ могъ теперь удобно и просто, безъ всякихъ стѣснительныхъ формальностей, пользоваться каждый желающій. Профессора распредѣлили между собою часы лекцій, нѣсколько бывшихъ студентовъ взялись распоряжаться продажей билетовъ, такъ какъ выручка предназначена была въ пользу ихъ бѣдныхъ товарищей — и дѣло двинулось ходко, энергически и, казалось, имѣло на своей сторонѣ всѣ шансы блистательнаго успѣха.

Тотчасъ же явилась *мода* на публичныя лекціи, но увы!—для многихъ цѣлью этой моды далеко не была *одна наука*.

Болѣе всѣхъ полны были аудиторіи на лекціяхъ гг. Костомарова, Павлова, Стасюлевича, Утина, Кавелина и Спасовича.

Костомаровъ читалъ «Исторію Московской Руси XVI вѣка», и лекціи его, отмѣченныя мастерствомъ изложенія, представляли интересъ увлекательный, такъ что аудиторія его достигала до двухъ тысячъ слушателей. Большинство между ними составляли диллетантки, такъ что зала казалась наполненною однѣми только женщинами. Эти посѣтительницы лекцій рѣзко дѣлились на два разряда: однѣ были «студентки», другія, то есть большинство — просто диллетантки. Первыя занимались преимущественно юридическими науками и посѣщали аудиторіи еще до закрытія университета.

Digitized by Google

вторыя познакомились съ университетской наукой только съ тѣхъ поръ, какъ открылись публичныя лекціи, и отличались тѣмъ, что носили шляпки, шиньоны, кринолины, перчатки и, по невѣдѣнію, въ разговоры о Бюхнерѣ, Фогтѣ, Молешотѣ и Фейербахѣ, какъ и вообще въ «большіе разговоры» не вступали. Этими диллетантками въ дѣлѣ науки руководила пока еще одна только современная мода, а наиболѣе скромныя и серьезныя изъ нихъ посѣщали лекціи Фаминцына «о физіологіи растеній». Многія дамы пріѣзжали въ каретахъ и съ ливрейными лакеями, но французскій языкъ слышался очень мало. Нѣкоторыя изъ нихъ записывали.

Много и мундировъ попадалось на этихъ лекціяхъ; даже тамъ и сямъ блестѣли иногда и генеральскіе погоны. Рвеніе къ лекціямъ простиралось до того, что публика вламывалась потокомъ въ дверь аудиторіи въ то время, какъ профессоръ еще не кончилъ чтенія. Студентки видимо старались выдѣлиться изъ массы диллетантокъ стриженными волосами и оригинальнымъ костюмомъ, неизмѣнную принадлежность котораго составляли отсутствіе кринолина и мужская гарибальдійка, либо мужская же барашковая шапка. Стараніе выдѣлиться замѣчалось также и въ силѣ преній о «вопросахъ» и вообще о матеріяхъ важныхъ. Въ антрактахъ и на лекціяхъ, до появленія профессора, онѣ всегда вели оживленныя и довольно шумныя бесѣды.

Но между мужчинами не замедлили явиться «спеціалисты» по части «женскаго вопроса». Они тотчасъ же поставили своей задачей перезнакомиться чуть ли не со всѣми слушательницами: и со студентками, и съ диллетантками. Съ галантерейной любезностью, а иные и безъ галантерейной, но просто съ любезностью сновали они отъ одного женскаго кружка или кучки къ другимъ, къ третьимъ, пока не перепорхаютъ по всѣмъ безъ исключенія; тамъ спорили, здѣсь говорили комплименты, мѣнялись лекціями, жали ручки, сбѣгали внизъ и предупредительно надѣвали салопы, и вообще старались показать, что они кавалеры не безъ современности и не безъ пріятности. Другіе же, напротивъ, проповѣдывали простоту нравовъ и эгоизмъ, а въ силу того и другого ни за что не соглашались уступать свой стулъ ни одной слушательницѣ, сколь бы она о томъ ни просила.

Вообще на этихъ лекціяхъ, благодаря ихъ модѣ, «новые люди» и «новые нравы» сталкивались лицомъ къ лицу съ людьми и нравами прежняго закала.

* * *

2-го марта, въ огромной залѣ Руадзе, считавшейся тогда самой модной концертной залой, былъ литературно-музыкальный вечеръ въ пользу литературнаго фонда.

Антонъ Рубинштейнъ игралъ на роялѣ, Венявскій на скрипкѣ, Лагруа пѣла, нѣсколько литераторовъ читали свои произведенія... Публики собралось гораздо болѣе тысячи человѣкъ: тутъ присутствовали литераторы и ученые всѣхъ кружковъ и партій, люди великосвѣтскіе и средняго класса, моряки, студенты, военные, особенно генеральнаго штаба,—словомъ, на этомъ вечерѣ было необыкновенно удачно собрано все образованное меньшинство Петербурга, который до того дня еще не запомнилъ болѣе многочисленнаго и блистательнаго собранія на литературныхъ чтеніяхъ.

Тутъ же присутствовала и наша «коммуна» въ лицѣ всѣхъ своихъ представителей. Лидинька Затцъ, одѣтая со всѣмъ «по домашнему», громко объясняла какой-то стриженой и вѣроятно пріѣзжей дѣвицѣ свойства, качества и особенности присутствовавшихъ литераторовъ и ученыхъ. Она безцеремонно тыкала на нихъ указательнымъ пальцемъ, поясняя, что «это, молъ, дураки-постепеновцы, а этотъ—порядочный господинъ, потому что «изъ нашихъ», а тотъ—подлецъ и шпіонъ, потому что пишетъ въ газетѣ, которая «ругаетъ нашихъ», а кто нашихъ ругаетъ, тѣ всѣ подлецы, мерзавцы и шпіоны; а вотъ эти двое—дрянные пошляки и тупоумные глупцы, потому что они оба поэты, стишонки сочиняютъ; а этотъ профессоръ тоже дрянной пошлякъ, затѣмъ что держится политико-экономическихъ принциповъ; а тотъ совсѣмъ подлецъ и негодяй, такъ какъ онъ читаетъ что-то такое о полицейскихъ и уголовныхъ законахъ, въ духѣ вмѣняемости, тогда какъ вообще вся идея вмѣняемости есть подлость, и самый принципъ права—въ сущности, нелѣпость, да и вся-то юриспруденція вообще самая рабская наука и потому вовсе не наука, и дураки тѣ, кто ею занимаются!»

Анцыфровъ, Малгоржанъ и князь заранѣе приготовляли ладони для аплодисментовъ нѣкоторымъ изъ чтецовъ, которыхъ они считали «изъ нашихъ». Ардальонъ Полояровъ, скрестивъ на груди руки и нарочно всклокочивъ болѣе обыкновеннаго волоса, старался глядѣть «извѣстнымъ литераторомъ» и все напущалъ на себя молчаливо-свирѣпую мрачность. Ему вообще очень хотѣлось быть замѣченнымъ, чтобы публика, взирая на него, вопрошала: кто это, молъ, съ такимъ умнымъ, выразительнымъ лицомъ, съ такою замѣчательною физіономіей?—«Это?—это нашъ извѣстный литераторъ Ардальонъ Полояровъ», не безъ почтительности отвѣчаютъ вопрошающимъ.—По крайней мѣрѣ самому Полоярову мечталось, что и спрашивать, и отвѣчать должны непремѣнно въ этомъ родѣ.

Ради чего же собственно отличался такою экстраординарною блистательностью вечеръ 2-го марта?

Digitized by Google

Разгадка этого обстоятельства крылась въ томъ, что нынче долженъ былъ впервые показаться передъ публикой Чернышевскій, стоявшій въ тѣ дни въ апогеѣ своей славы и имѣвшій множество горячихъ поклонниковъ и горячихъ враговъ. Поклонники заранѣе уже готовили своему идолу блистательную овацію, а публика нейтральная вообще интересовалась увидѣть воочію того, о комъ столько кричали и писали, кого такъ страстно превозносили и такъ страстно порицали и въ обществѣ, и въ литературѣ, и кого наконецъ въ журнальномъ мірѣ столь много боялись либо изъ раболѣпія предъ авторитетомъ, либо изъ трусости предъ его безцеремонно-рѣзкимъ словомъ въ полемикѣ.

Когда онъ появился на эстрадѣ, въ залѣ вдругъ разразился такой громъ продолжительныхъ встрѣчныхъ рукоплесканій, какого рѣдко кто изъ литераторовъ и ученыхъ удостоивался до сего времени.

Онъ началъ... Но это было не чтеніе, а экспромтъ, импровизація. Онъ разсказывалъ «о знакомствѣ своемъ съ Добролюбовымъ». Монологъ его, крайне неискусный и вялый, сопровождавшійся къ тому же странными, по своей безцеремонности, манерами, не прерывался ни единымъ знакомъ одобренія со стороны слушателей. Публика очевидно ожидала не этого. Недоумѣніе ея росло все болѣе, послышался ропотъ, даже смѣшливое фырканье... Наконецъ, кто-то подошелъ къ каѳедрѣ и сказалъ, что пора кончить, и когда публицистъ замолкъ, вдругъ раздались свистки, шипѣнье, шиканье и крики негодованія. Напрасно ярые приверженцы его старались хлопаньемъ своимъ затушить этотъ общій взрывъ,—увы! всѣ невѣроятныя усилія ихъ легкихъ, гортани, каблуковъ и ладоней оказались тщетны. Буря свиста пересиливала всѣ другія бури.

Князь Саповò-Неплохòво не зналъ, какъ ему быть: Малгоржанъ съ Фрумкинымъ хлопали, а одинъ великосвѣтскій однокашникъ князя шикалъ и подталкивалъ его на то же самое. Лидинька же глазами дѣлала ему знаки хлопать, какъ можно усерднѣе. Добродушный, но злосчастный князь, желая угодить и той, и другому, вдругъ зашикалъ и захлопалъ въ одно и то же время. Свистящія губы его улыбались въ знакъ довольства самимъ собою, ибо юному князю казалось, что совмѣстивъ аплодисменты со свистомъ, онъ нашелъ самое остроумное разрѣшеніе труднѣйшей проблемы.

Полояровъ не свисталъ, но и не хлопалъ. Онъ только хранилъ свой мрачный видъ и въ эту минуту постарался сдѣлать его еще мрачнѣе и суровѣе. Это тоже было своего рода разрѣшеніе проблемы: взглянувъ на Ардальона, можно бы было подумать, что онъ негодуетъ... можетъ, на импровизатора, а можетъ, на публику. Но внутри его копошилось довольство и радость. Самолюбивая и завистливая душа его вообще никому не прощала никакого успѣха, и потому эта душа ликовала теперь, созерцая полнѣйшее публичное фіаско того, котораго Ардальонъ Полояровъ снисходительно заявлялъ «солидарнымъ съ собою».

Въ послѣдующіе дни большинство литературныхъ органовъ возстали противъ «публичнаго поведенія» знаменитаго публициста: и въ фельетонахъ, и въ обозрѣніяхъ внутренней политики, и въ полемическихъ статьяхъ заговорили о его самовосхваленіи, о его панегирикахъ своему уму, о неприличіи его тона и внѣшнихъ пріемовъ передъ публикой. Газета «Наше Время» посвятила даже цѣлую передовую статью спеціально «манерамъ» г. Чернышевскаго. Одинъ лишь вольнонаемно-сатирическій журналецъ силился защитить и оправдать его поведеніе, но этими своими усиліями оказалъ ему лишь то, что называется медвѣжьей услугой.

Но вечеръ 2-го марта былъ знаменателенъ не столько этимъ фіаско, сколько другимъ обстоятельствомъ, которое въ ближайшемъ будущемъ разрѣшилось послѣдствіями весьма печальнаго свойства.

На этомъ же самомъ вечерѣ профессоръ петербургскаго университета, П. В. Павловъ, читалъ статью «Тысячелѣтіе Россіи», встрѣченную публикой съ энтузіазмомъ.

6-го же марта въ газетѣ «Сѣверная Почта» было напечатано слѣдующее:

«При чтеніи статьи, г. Павловъ дозволилъ себѣ выраженія и возгласы, не находившіеся въ статьѣ, пропущенной цензурою, и клонившіеся къ возбужденію неудовольствія противъ правительства. Вслѣдствіе сего, статскому совѣтнику Платону Павлову запрещено чтеніе публичныхъ лекцій и сдѣлано распоряженіе о высылкѣ его на жительство, подъ надзоръ полиціи, въ отдаленный уѣздный городъ».

Это возбудило къ нему сильное сочувствіе въ обществѣ. Тотчасъ же нашлись ловкіе господа, которые, думая воспользоваться столь удобной минутой, возжелали и несчастіе человѣка поэксплуатировать въ пользу своихъ гаденькихъ стремленьицъ. Эти «промышленники прогресса», которые не умѣли или не хотѣли прежде, до его публичной выходки, сочувствовать голосу профессора, вздумали теперь записать его въ свои ряды, прицѣпить и его имя къ своей разношерстной кликѣ. Это была своего рода передержка въ глазахъ общества, такъ какъ профессоръ никогда не принадлежалъ къ Полояровско-Анцыфровскимъ партіямъ прогресса.

* * *

8-го марта въ Александровской залѣ городской думы профессоръ Костомаровъ читалъ свою лекцію. Аудиторія была биткомъ набита.

Digitized by Google

Еще до начала чтенія, въ публикѣ сказывалось какое-то лихорадочное броженіе. Въ настроеніи ея на этотъ разъ было что-то ненормальное, экзальтированное. Разные господа перебѣгали отъ кучки къ кучкѣ, шныряли между рядами стульевъ, шептались, передавали что-то, дѣлали какія-то предупрежденія, распоряженія, планы, и вообще суетились болѣе обыкновеннаго. Публика, очевидно, была къ чему-то подготовлена, ожидала чего-то особеннаго, крупнаго, выходящаго изъ ряда обычныхъ явленій. Тамъ и сямъ упоминалось имя Павлова, передавались обстоятельства вечера 2-го марта...

«Коммуна» была вся налицо. Полояровъ протискивался впередъ, чтобы быть поближе къ кафедрѣ, Анцыфровъ пѣтушкомъ слѣдовалъ за нимъ, держась за полу его пальто и подслѣповато наступая на ноги всѣмъ встрѣчнымъ. Лидинька Затцъ, забравшись сначала въ самую середину одного ряда стульевъ, гдѣ она завела громогласную бесѣду съ нѣсколькими своими знакомцами и знакомками, захотѣла пробраться тоже поближе къ кафедрѣ; но такъ какъ и въ ту, и въ другую сторону проходъ былъ весьма затрудненъ, по причинѣ множества столпившагося народу, то она не долго думая подобрала юбку и зашагала цѣликомъ по стульямъ, валяя напрямикъ черезъ спинки и крича во весь голосъ:—«Полояровъ! Анцыфрикъ! Подождите, черти, меня! Сядемъ всѣ вмѣстѣ!» Ни мало не стѣсняясь тѣмъ, что мокрохвостыя юбки и грязныя ноги ея задѣваютъ по плечамъ и даже по физіономіямъ впереди сидящихъ слушателей, она храбро прокладывала себѣ дорогу впередъ, пока наконецъ не соединилась со своими пріятелями. Впрочемъ, такой оригинальный способъ передвиженія былъ уже здѣсь не въ диковину, потому что еще и прежде иныя студентки зачастую прибѣгали къ нему для сокращенія разстояній.

Лекція прошла въ какомъ-то напряженномъ ожиданіи. Большинству слушателей едва сидѣлось отъ нетерпѣнія, скоро-ли она кончится.

Профессоръ кончилъ и сошелъ съ каѳедры. Тогда на мѣстѣ его тотчасъ же появился какой-то лохматый господинъ и громогласно объявилъ, что такъ какъ профессоръ Павловъ сосланъ, то распорядители порѣшили, что публичныя лекціи сегодняшнимъ числомъ прекращаются и никакихъ болѣе чтеній впредь уже не будетъ.

Публика захлопала и закричала «браво!»

Профессоръ же, очевидно, приведенный въ недоумѣніе столь самовольнымъ и неожиданнымъ заявленіемъ, въ которомъ заключалась такая странная логика, снова взошелъ на кафедру и въ свою очередь обратился въ публикѣ съ вопросомъ: желаетъ ли она продолженія его лекцій, такъ какъ между ссылкой и публичными лекціями нѣтъ никакой достаточно законной и разумной причины, которая оправдывала бы столь самовольное и насильственное прекращеніе чтеній?

Болѣе сотни голосовъ съ разныхъ концовъ залы закричали: «Читайте! Читайте! Къ чему прекращать?! Отчего не продолжать? Мы хотимъ слушать! Читайте!»

Послѣ этого профессоръ объявилъ, что онъ будетъ читать.

Но едва лишь сказалъ онъ эти слова, какъ въ залѣ раздался свистъ, шиканье, шипѣнье, крики: «вонъ! долой!» и даже... площадныя ругательства.

— Онъ подкупленъ!—оралъ Полояровъ, жестами указывая на человѣка, который всей своей жизнью доказалъ долголѣтнюю и неизмѣнную преданность либеральной идеѣ.—Онъ за-одно съ жандармами!...

— Подкупленъ!.. подкупленъ правительствомъ, полиціей!—орала, какъ стадо барановъ, свистящая и гикающая толпа.

— Эй, вы! за сколько васъ наняли? сколько вамъ заплатили?—кричалъ Полояровъ, не выставляя однако очень близко на показъ свою физіономію.

— Ступайте читать свои лекціи въ Третье Отдѣленіе! Тамъ васъ будутъ слушать!—пронзительно визжала Лидинька, стоя на стулѣ, среди поднявшейся толпы.

— Въ Третье! въ Третье!.. Тамъ будутъ!—вторило стадо.

Профессоръ не смутился. Въ лицѣ его было спокойствіе и твердость, и только въ движеніи энергически очерченныхъ губъ сказывалось, быть можетъ, подавляемое негодованіе.

Онъ снова сталъ говорить, несмотря на шумъ и гвалтъ, и говорилъ громко, твердо и явственно.

Толпа на минуту примолкла.

Онъ говорилъ, что не намѣренъ потакать такому пошлому либерализму, что гаерство не достойно науки и ея цѣлей, и что извѣстные поступки, въ родѣ настоящаго деспотическаго и безнравственнаго насилія надъ человѣческою личностью, характеризуютъ не либераловъ, а Репетиловыхъ, изъ которыхъ впослѣдствіи легко выходятъ Расплюевы.

Вновь поднялась неистовая буря озлобленныхъ криковъ, гама, свиста, гоготанья... и опять площадныя ругательства, опять безобразные, гнусные намеки и предположенія, опять комки нравственной грязи и оскорбленій.

Въ этотъ день совершенъ былъ подвигъ настоящаго гражданскаго мужества. Противъ болѣе чѣмъ двухтысячной толпы, расточительно-щедрой въ своемъ деспотически-злобномъ опьяненіи на всяческую хулу, оскорбленіе и насиліе, стоялъ *одинъ* человѣкъ, незащищенный ничѣмъ, кромѣ своего личнаго убѣжденія, кромѣ непоколебимаго, глубокаго сознанія долга, права и чести. Среди двухтысячнаго стада,

Digitized by Google

которымъ коноводили нѣсколько завзятыхъ вожаковъ, бывшихъ, въ свою очередь, передовыми баранами въ другомъ, еще большемъ, громаднѣйшемъ стадѣ, выдвигалась одна только самостоятельная личность, не захотѣвшая, во имя правды и науки, подчиниться никакому насилію, — и противъ этого *одного*, противъ этого честнаго права, противъ законной свободы личности поднялся слѣпой и дикій деспотизмъ массы, самообольщенно мнившей о своемъ великомъ либерализмѣ. А сколько въ этой толпѣ было еще тѣхъ самыхъ юношей, которые не далѣе какъ годъ назадъ восторженно выносили на своихъ рукахъ этого же самаго профессора изъ его аудиторіи!

8-е марта показало самымъ наглядным и убѣдительнымъ образомъ, чего стоитъ свобода личнаго мнѣнія, во сколько цѣнится независимость убѣжденія и вообще что значитъ «смѣть *свое* сужденіе имѣть», и этимъ-то самымъ 8-е же марта для меньшинства образованнаго общества поднесло первую склянку отрезвляющаго спирта: оно сдѣлало поворотъ въ извѣстной части наименѣе зависимаго общественнаго мнѣнія, и въ этомъ, такъ сказать, историческая заслуга 8-го марта; въ этомъ лежитъ его право на память въ лѣтописяхъ санктъ-петербургскаго развитія и прогресса.

* * *

Изъ разныхъ угловъ литературы поднялся лай.

Но на кого? На тѣхъ, кто поступили по-Репетиловски? — Нѣтъ, осужденію и лаю подвергся профессоръ. И это понятно: могли ли мы, смѣли ли мы поднять голосъ противъ такъ называемаго «молодого поколѣнія»? Мы такъ боялись и гнѣва журнальныхъ оракуловъ, и того, чтобы о насъ не подумали, будто мы «отсталые»; каждому изъ насъ такъ хотѣлось, въ родѣ Петра Ивановича Бобчинскаго, «пѣтушкомъ, пѣтушкомъ» побѣжать за «молодымъ поколѣніемъ», заявить всѣмъ и каждому, что и я, молъ, тоже молодое поколѣніе. И такъ уже мы всѣ привыкли раболѣпно льстить этому кумиру, что что бы ни выкидывали иные господа, прикрывавшіеся этой соблазнительной фирмой, мы уже заранѣе всегда были на ихъ сторонѣ. Впрочемъ, это не мѣшало намъ проповѣдывать о гражданской честности.

Но — надо отдать справедливость—въ «Петербургскихъ Вѣдомостяхъ» поднялся одинъ голосъ противъ теченія. Правда, голосъ не совсѣмъ-то громкій и смѣлый, но и за то уже великое спасибо! Тамъ была напечатана маленькая статейка: «Учиться, или не учиться?» На нее послѣдовалъ отвѣтъ: «Учиться, но какъ?» гдѣ, конечно, осуждался профессоръ, ибо авторъ писалъ «въ защиту молодого поколѣнія». Затѣмъ въ «Современникѣ» въ защиту того же «поколѣнія» появилась статья: «Научились ли?» мечущая перуны гнѣва и презрѣнія въ топоумныхъ пошляковъ и проч.

И въ сколь многихъ изъ этихъ писаній каждому свѣжему чутью слышался поддѣльный неискренній тонъ сочувствія и приторная лесть новому идолу! Прежде, бывало, курили сильнымъ и высокимъ міра; нынѣ—«молодому поколѣнію». Мы только перемѣнили ярлычки на кумирахъ, а сущность осталась та-же: мы поклонялись *силѣ*, разумной или нѣтъ — это все равно: была бы только сила!

Между тѣмъ, многіе слушатели словесно и письменно стали заявлять профессору, чтобы онъ возобновилъ свой курсъ, прерванный 8-го марта — и профессоръ объявилъ въ газетахъ, что, подчиняясь желанію слушателей, онъ вновь начнетъ свои чтенія, лишь только пріищетъ новую аудиторію.

Между его противниками, сдѣлавшими скандалъ 8-го марта, поднялось новое броженіе. Многіе изъ нихъ спѣшили запастись мѣдными и полицейскими свистками да моченными яблоками, чтобы встрѣтить ими открытіе чтеній. Къ профессору посыпались пасквильныя, безъимянныя письма и угрозы; даже нѣкто выкинулъ гнусный фарсъ, грозя ему смертію за противодѣйствіе общему дѣлу.

Черезъ недѣлю Костомаровъ объявилъ, что его лекціи вновь открываются въ залѣ Руадзе. Сонмъ противниковъ уже совсѣмъ было приготовился къ новому великому скандалу «во имя свободы», какъ вдругъ на слѣдующій день «въ Сѣверной Почтѣ» появилось слѣдующее объявленіе.

«По распоряженію г. управляющаго министерствомъ народнаго просвѣщенія, вслѣдствіе безпорядковъ, бывшихъ на лекціи г. профессора Костомарова, навлекающихъ нареканія на студентовъ здѣшняго университета, прекращаются разрѣшенныя прежде публичныя лекціи слѣдующихъ гг. профессоровъ и преподавателей: Костомарова, Утина, Спасовича, Менделѣева, Калиновскаго, Благовѣщенскаго, Ивановскаго, Гайковскаго, Лохвицкаго и Гадолина».

Итакъ, лекціи были запрещены, но это запрещеніе не вызвало даже никакихъ, сколько-нибудь сильныхъ оппозиціонныхъ толковъ. Мимолетная мода уже миновала, какъ миновала она на воскресныя школы и на многое другое...

III.

Меркурій.

Начиная съ зимняго сезона 60-го, или 59-го года, на петербургскомъ горизонтѣ время отъ времени стала появляться нѣкоторая новая личность. Хотя на петербургскомъ горизонтѣ появляется ежесезонно многое множество личностей, которымъ вообще можно дать имя метеоровъ: онѣ появляются, вертятся, иногда на мгно-

Digitized by Google

венье блистаютъ и потомъ исчезаютъ невѣдомо куда и невѣдомо когда, никѣмъ незамѣченныя, никѣмъ не вспоминаемыя, на другой же день всѣми забытыя; но та личность, которую мы имѣемъ въ виду представить читателю, пріобрѣла себѣ нѣкоторую извѣстность въ петербургскомъ свѣтѣ и вообще была замѣтна.

Это былъ метеоръ, но метеоръ болѣе блестящій, чѣмъ другія, подобныя ему тѣла газообразнаго свойства.

Метеоръ извѣстенъ былъ въ свѣтѣ подъ именемъ графа Слопчицькаго, а въ польскомъ кружкѣ его титуловали просто графомъ Тадеушемъ, то-есть звали однимъ только именемъ, ибо метеоръ былъ настолько популяренъ, что достаточно было сказать «нашъ грабя Тадеушъ» — и всѣ уже хорошо знали о комъ идетъ рѣчь, и при томъ же совокупленіе титула съ однимъ только собственнымъ именемъ, безъ фамиліи выражаетъ по-польски и почтеніе, и дружелюбность и даже право на нѣкоторую знаменитость: дескать, всѣ должны знать кто такой графъ Тадеушъ; какъ, напримѣръ, достаточно сказать: князь Адамъ, или графъ Андрей—и уже каждый, въ нѣкоторомъ родѣ, обязанъ знать, что дѣло идетъ о князѣ Чарторыйскомъ и о графѣ Замойскомъ. Для поляковъ же нетитулованныхъ, кажется, нѣтъ выше наслажденія, какъ похвастаться передъ кѣмъ бы то ни было личными отношеніями къ своимъ магнатамъ. Въ этомъ случаѣ они готовы обманывать даже самихъ себя насчетъ важности и блеска титуловъ графа такого-то и такого-то, и даже самаго мизерненькаго графика, извѣстность котораго простирается едва лишь на свой маленькій муравейникъ, они непремѣнно произведутъ въ первые магнаты, лишь бы только онъ былъ «панъ грабя».

Но насколько панъ Слопчицькій въ дѣйствительности имѣлъ правъ на графскій титулъ, этого не разрѣшила бы ни одна герольдія въ мірѣ. Вообще, онъ былъ графъ самаго сомнительнаго качества,—болѣе для виду, и едва ли не самъ себѣ доставилъ графскую корону.

Въ Петербургѣ его можно было встрѣтить вездѣ и повсюду: и на обѣдѣ въ англійскомъ клубѣ, и на раутѣ князя Г., въ салонѣ графини К., въ оперѣ, и вообще въ любомъ спектаклѣ, на биржѣ, и на бѣгахъ, въ Лѣтнемъ саду, у генеральши Пахонтьевой, у любой артистки, въ танцъ-классахъ у Гебгардтъ и Марцинкевича, въ гостяхъ у содержателя гласной кассы ссудъ Карповича, въ редакціи «Петербургской Сплетни», въ гостиной любой кокотки—словомъ, куда ни подите, вездѣ вы могли бы наткнуться на графа Слопчицькаго. Но болѣе всего любилъ онъ тереться въ кругахъ, которые такъ или иначе стремятся называть себя «избранными», аристократическими.

Онъ отлично владѣлъ французскимъ, весьма порядочно русскимъ и недурно нѣмецкимъ языками, да при этомъ еще отличался польскимъ изящною развязностью манеръ и тою особенною наглостью, которая повсюду растворяла ему любыя двери. И дѣйствительно, у него было необыкновенное умѣнье втираться въ домъ и въ дружбу. Ему ровно ничего не значило со второй встрѣчи съ человѣкомъ прямо, ни съ того, ни съ сего начать съ нимъ вдругъ *на ты*, самымъ пріятельски-фамильярнымъ тономъ: «Ah, mon cher, какъ, дескать, поживаешь?!.. Что, душечка, подѣлываешь? Давно былъ у нашего милаго князя?.. А, кстати, что тебя такъ давно не видать у нашей прелестной Жозефины?» и т. д. все въ такомъ же миломъ родѣ.

Но зато такъ же точно ровно ничего не значило ему въ другой разъ, столкнувшись носъ къ носу съ тѣмъ же самымъ импровизированнымъ пріятелемъ, вдругъ не узнать его или не отвѣтить на поклонъ. И вѣдь не то, чтобы онъ и въ самомъ дѣлѣ не узналъ человѣка, нѣтъ, узналъ очень хорошо, но притворился незнакомымъ. Иногда у него это дѣлается по минованіи надобности въ человѣкѣ или по какимъ-либо расчетамъ, а иногда и вовсе безъ всякихъ расчетовъ, а просто такъ, потому лишь, что онъ — панъ грабя Слопчицькій.

Это былъ панъ, чрезвычайно легкій на подъемъ. Сегодня онъ, напримѣръ, въ Петербургѣ, а черезъ недѣлю въ Парижѣ или въ Лондонѣ, а тамъ—глядь!—въ Вильнѣ въ генералъ-губернаторскихъ салонахъ трется, то вдругъ въ недѣлю въ Неаполь слетаетъ и назадъ въ Петербургъ вернется, а то въ какихъ нибудь Тельшахъ или Шавляхъ съ жидами какія-то сдѣлки заключаетъ, потомъ его видятъ на Тверскомъ бульварѣ въ Москвѣ, а черезъ трое сутокъ онъ уже въ Варшавѣ, въ кондитерской у Люрса «Curjera Warszawskiego» пробѣгаетъ и прохлаждается «водою содовей съ цитриновымъ сокемъ», но черезъ недѣлю—глядь!—опять нашъ панъ грабя бѣжитъ своею торопливою походкою по Невскому проспекту.

Иногда панъ грабя ходитъ, прячась отъ людей, въ старенькомъ пиджачкѣ, и вся фигура его невольно изображаетъ собою видимое отсутствіе «пенѣнзы». И что же!—не далѣе какъ вчера еще встрѣтили вы его въ такомъ, говоря относительно, убожествѣ, такъ что даже онъ самъ поспѣшилъ отвернуться отъ васъ къ окну перваго встрѣчнаго магазина и внимательно заняться разсматриваніемъ всякихъ бездѣлушекъ, нарочно для того, чтобы вы его не узнали, а сегодня онъ уже ѣдетъ въ Парижъ, и не иначе какъ въ вагонѣ перваго класса, а черезъ двѣ-три недѣли возвращается оттуда съ великолѣпнѣйшимъ фракомъ, съ огромнымъ запасомъ самаго тонкаго бѣлья, съ

Digitized by Google

самымъ разнообразнымъ и причудливымъ выборомъ всевозможныхъ аттрибутовъ гардероба и туалета. Между тѣмъ виленскіе «родаки» его очень хорошо знаютъ, что у пана грабего, кромѣ фантастическаго титула, за душею нѣтъ ни кола, ни двора и ни въ единомъ изъ европейскихъ банковъ никакихъ капиталовъ на его имя не хранится.—Откуда же, однако, изъ какихъ богатыхъ источниковъ черпаетъ нашъ грабя Тадеушъ средства на эти ежеминутныя летанья по всей Европѣ и на эти рѣзкіе переходы отъ старенькаго пиджачка къ великолѣпнымъ парижскимъ фракамъ? Въ Петербургѣ, при встрѣчѣ съ такимъ вопросомъ, люди обыкновенно дѣлаютъ самое индиферентное заключеніе: «А чортъ его знаетъ! должно быть, играетъ въ карты, а впрочемъ, онъ ничего, славный малый!»

И точно: онъ былъ и славный малый, и bon-vivant, и бонмотистъ, и каламбуристъ, и артистъ, и въ карты игралъ, и фокусы отлично показывалъ; но не богиня зеленаго поля была его добрымъ геніемъ, открывавшимъ ему финансовые источники.

У пана грабего Слопчицькаго былъ свой собственный добрый геній совсѣмъ особаго рода. Что это за добрый геній—про то не вѣдалъ никто, даже и изъ «виленьскихъ родаковъ», за исключеніемъ весьма и весьма ограниченнаго числа лицъ посвященныхъ...

Въ высшихъ сферахъ «святой справы» панъ грабя Слопчицькій былъ извѣстенъ подъ спеціальнымъ прозвищемъ «Меркурія», — «c'est le Mercure de l'Hôtel Lambert» отчасти иронически, отчасти покровительственно отзывались о немъ нѣкоторые «филяры велькего будованя». У него имѣлись два спеціальныя назначенія. Одно изъ нихъ было такъ называемая «салонная миссія» (missia salonowa), въ силу которой Меркурій обязанъ былъ постоянно вертѣться во всевозможныхъ салонахъ, незамѣтно и ловко, между болтовней объ оперѣ и вчерашнемъ раутѣ, пропагандировать и такъ и сякъ свою «великую идею», подъ-часъ поражать умы сердобольныхъ барынь повѣствованіями о русскихъ ужасахъ и варварствахъ, о страданіяхъ несчастной, угнетенной Польши, возбуждать салонное и особенно дамское сочувствіе польскому дѣлу, подъ-часъ же ловко втирать очки довѣрчивому и умѣренно-либеральному сановнику насчетъ консервативности западнаго «дворáньства» и скрытно-революціонныхъ элементовъ «хлопства», которое только и можно удерживать въ повиновеніи посредствомъ воинскихъ экзекуцій. Кромѣ этого, панъ грабя обязанъ былъ всячески вынюхивать и вывѣдывать о всевозможныхъ новостяхъ правительственнаго и административнаго міра, о всякомъ малѣйшемъ мѣропріятіи, проектѣ, предположеніи, которыя такъ или иначе могутъ имѣть то или другое отношеніе къ польскому дѣлу. Часто какой-нибудь случайный разговоръ, какая-нибудь фраза, оброненная тѣмъ или другимъ высокопоставленнымъ лицомъ, служили для пана грабего великимъ поводомъ къ своимъ, совершенно особымъ соображеніямъ, выводамъ, заключеніямъ,—и обо всемъ этомъ, о слышанномъ, видѣнномъ, о сдѣланномъ и подстроенномъ онъ немедленно же сообщалъ по назначенію въ Парижъ или въ Варшаву, въ Вильну—словомъ, куда требовалось, смотря по обстоятельствамъ. Зачастую, вслѣдствіе этихъ сообщеній, онъ получалъ какое-нибудь экстренное назначеніе изъ Ламберова Отеля, и тогда-то у пана грабего, совершенно неожиданно для всѣхъ его знакомыхъ, вдругъ являлась самая спѣшная, безотлагательная необходимость летѣть въ Москву, въ Дрезденъ, въ Римъ, въ Тельши, въ Женеву, въ Казань, въ Константинополь... Словомъ, вчера онъ и самъ не зналъ, гдѣ будетъ сегодня, а сегодня не вѣдаетъ, гдѣ проночуетъ завтра. Въ этихъ повсюдныхъ перелетахъ заключалось его второе спеціальное назначеніе. Онъ леталъ политическимъ курьеромъ къ дипломатическимъ представителямъ Ламберова Отеля при разныхъ правительственныхъ передняхъ Европы и къ тайнымъ представителямъ польской справы внутри Россіи, привозя съ собою тѣмъ и другимъ сообщенія наиболѣе важнаго свойства.

Въ этой-то второй миссіи и заключалась разгадка его великолѣпныхъ фраковъ, его финансовъ, его существованія и его гонора. Добрый геній пана грабего ютился въ кабинетѣ Ламберова Отеля, и вотъ почему дано ему было спеціальное прозвище «Меркурія».

Онъ благоденствуетъ и доселѣ. Графъ Муравьевъ его не повѣсилъ. Напротивъ, въ самый разгаръ временъ повстанскихъ, панъ грабя, когда только бывалъ въ Вильнѣ, неукоснительно являлся въ пріемные дни на поклонъ къ Муравьеву. Его имя, впрочемъ безъ графскаго титула, можно найти на всевозможныхъ «дворáньскихъ адрèссахъ», въ которыхъ онъ свидѣтельствовалъ, если и не о вѣрноподданствѣ своемъ, то о высокихъ чувствахъ своего «вѣрнопредáньства». Пана грабего и доселѣ можно встрѣтить иногда то въ Петербургѣ, то въ Вильнѣ, то въ Парижѣ и проч., и проч. — Полезная миссія его не кончилась.

Въ наши дни онъ съ подобающимъ ужасомъ распространяется въ нѣкоторыхъ петербургскихъ салонахъ о революціонныхъ и соціалистическихъ началахъ Муравьевскихъ «дѣятелей» въ Западномъ краѣ и вообще враждебно относится какъ къ русской, такъ и къ польской «партіи красныхъ». Онъ, конечно, самый консервативный и самый «вѣрнопредáнный изъ напвѣрнопреданнѣйшихъ» польскихъ пановъ.

Digitized by Google

IV.

Панъ грабя Тадеушъ и просто панъ Анзельмъ.

Онъ былъ знакомъ и съ Бейгушемъ. Онъ не могъ не быть съ нимъ знакомымъ, во-первыхъ потому, что съ кѣмъ же и не знакомъ онъ Петербургѣ, а во-вторыхъ, и это главное, Бейгушъ, какъ добрый патріотъ, былъ связанъ съ нимъ единствомъ идеи, общностью дѣла. Конно-артиллерійскій мундиръ поручика, въ глазахъ Слопчицькаго давалъ ему право на аттестацію «поржонднѐго хлопàка» и вслѣдствіе того панъ грабя любезно снисходилъ до пріятельскаго знакомства съ бравымъ поручикомъ. Хотя въ аристократическихъ салонахъ—гдѣ, впрочемъ, панъ Тадеушъ съ паномъ Анзельмомъ не встрѣчались—онъ и не признался бы въ пріятельствѣ съ безвѣстнымъ офицеромъ, но въ сферахъ пониже, и особенно въ польскихъ кружкахъ, весьма охотно называлъ себя его хорошимъ знакомымъ. Тутъ уже панъ Анзельмъ былъ въ его рекомендаціи не иначе какъ «муй доброжы пршіяціолекъ».

Въ плохія или, такъ сказать, въ «пиджачныя» времена, когда въ карманѣ не сказывались дома лишнія «пенензы», когда жаль было лишній рубль бросить на пропитаніе въ модномъ ресторанѣ и когда не предстояло случая попасть на обѣдъ въ какое-нибудь аристократическое семейство, панъ грабя зачастую направлялъ алчущія стопы свои «до пршіяцѐля Анзельма» и снисходительно пользовался его офицерской похлебкой. Панъ же Анзельмъ, съ своей стороны, не мало гордился въ душѣ тѣмъ, что можетъ назвать своимъ короткимъ пріятелемъ «ясневельможнѐго пана» съ такимъ аристократическимъ титуломъ. Въ «кружкѣ» знали объ этой дружбѣ, и находились иные родовитые шляхтичи, которые даже отчасти завидовали дружбѣ Бейгуша съ аристократствующимъ проходимцемъ. Въ таковомъ чувствѣ родовитыхъ шляхтичей, конечно, первую если не единственную роль игралъ ясновельможный графскій титулъ.

Однажды, въ плохое время господства стараго пиджака, панъ грабя пришелъ покормиться къ Бейгушу и увидалъ у него на письменномъ столѣ фотографическую акварельную карточку прехорошенькой женщины, обдѣланную въ очень изящную рамочку.

— Ah, tiens!.. Ба, ба, ба!.. Этто что̀ значитъ?!—развязно вскричалъ онъ, схватывая со стола портретикъ и любуясь на него.—Пане капитане!.. Пршіяцѐлю!.. Такъ вотъ мы какими дѣлами занимаемся!?.

Бейгушъ—не въ силахъ сдержаться отъ невольнаго проявленія внутренняго самодовольства,со скромной улыбкой покрутилъ свой красивый усъ.

— Кто такая?.. купчиха? чиновница? гувернанточка?.. а? лукаво подмигивая и продолжая любоваться, допытывалъ грабя.

— Нѣтъ... барыня одна... знакомая... такъ-себѣ, просто... какъ бы неохотно сообщилъ Бейгушъ, тогда какъ въ душѣ весьма и весьма охотно бы разсказалъ ему всю суть своей «офицерской интрижки».

— Барыня!?. Sapristi!.! Да какъ же это я ее не знаю?—удивился Слопчицькій.—Я, кажется, ихъ всѣхъ на перечетъ знаю!.. Должно быть нездѣшняя?.. а?.. пріѣзжая, вѣрно?

— Н-нѣтъ... она здѣсь живетъ.

— Mais, mon cher!.. Кто-жь она такая, если это не нескромно съ моей стороны?

— Нигилистка,—улыбнулся Бейгушъ.

— Ah, ça!.. une nihiliste!.. Аум!—плотоядно мурлыкнулъ онъ.—Vraiment c'est piquant—la petite nihiliste!.. а?.. Прехорошенькая!

— Н-да, превкусная барынька!—многозначительно согласился Бейгушъ.

— Voilà c'est le mot!.. Именно превкусная!.. Глаза-то какіе!.. А губы? а ноздри?—О, многообѣщающія ноздри! И при томъ же еще нигилистка! Да это, ей-Богу, преинтересно!.. Але-жь ѐстешь тѐнги ходакъ, душѐчко!—весело хлопнулъ онъ по плечу поручика. — Но только отчего-жь у нея волосы не острижены? Вѣдь у этихъ нигилистокъ, говорятъ, волосы подъ гребенку стригутъ? Только фис!.. Это, положимъ, оригинально, однако очень некрасиво.

— Нѣтъ, эта не выстрижетъ!.. Эта не изъ такихъ нигилистокъ!—заступился Бейгушъ.—А у нея, надо отдать ей всякую справедливость, просто божественные волосы!.. Роскошь!

— О, да это видно! Это видно сейчасъ же!—съ видомъ компетентнаго судьи, поспѣшилъ согласиться панъ грабя.—А ты продолжаешь посѣщать нигилистовъ?—впадая въ дѣловой, серьезный тонъ, обратился онъ къ Бейгушу.

— Какъ же, постоянно бываю!

— Ну, и каково теперь настроены эти инструменты?

— Да, признаться сказать, настраиваетъ ихъ болѣе одинъ пріятель мой, Свитка, а я, грѣшный человѣкъ я болѣе насчетъ этой прелестной вдовушки.

— А она еще и вдовушка, вдобавокъ?

— Вдовушка. Да это что̀! А ты скажи, что кромѣ этого и богата вдобавокъ!—похвалился Бейгушъ.

— О?!. Еще и богата!.. А какъ богата?

— Около пятидесяти тысячъ чистоганомъ.

— Тсс!—покачалъ головой панъ грабя.—От-то пѐнкна штука!.. Послушай же, коханку! Если она такъ добра къ тебѣ и такъ богата, съ нея слѣдовало бы слупить сколько можно въ пользу дѣла, въ фундушъ народо́вы?

Digitized by Google

— Не безпокойся! свое дѣло знаемъ!—подмигнулъ панъ Анзельмъ;—триста рублей на прошлой еще недѣлѣ подписала. Уговорилъ.

Панъ грабя плотоядно улыбнулся и весело потеръ себѣ руки

— А у прочихъ какъ идетъ подписка?—спросилъ онъ.

— Ничего-себѣ. Гдѣ лучше, гдѣ хуже, но въ общемъ довольно порядочно. Ужь на что коммунисты: вѣдь это все народъ, что называется, ni foi, ni loi, однако Свитка и съ тѣхъ ухитрился слупить малую толику.

— А эти триста рублей... ты ихъ отправилъ уже?—съ какой-то особенной заботливостью спросилъ панъ грабя.

— Н-нѣтъ еще... раздумчиво отвѣтилъ Бейгушъ, и сейчасъ же вдругъ спохватился.—Ахъ, это триста-то рублей?—Какъ же, какъ же! Тогда же отправлены!

«Такъ-то спокойнѣе, а то еще взаймы попроситъ», подумалъ онъ себѣ и поспѣшилъ перевести разговоръ на другую тему.

— Да, да!.. дѣло вообще не дурно идетъ!—говорилъ онъ.—То, что панъ ведетъ въ салонахъ, Свитка проводитъ въ коммунахъ! я—и тамъ, и сямъ, а больше въ казармахъ, то-есть такъ-себѣ, исподволь, въ батарейной школѣ, потому тутъ большая осторожность нужна.

— Дѣло идетъ!—компетентно и съ видимымъ удовольствіемъ подтвердилъ панъ грабя. — Теперь гляди, душа моя, вотъ какъ: у меня—пропаганда сальонова, у Колтышки—литерáцька и наукова, Чарыковскаго—пропаганда войскóва, у Почебутъ-Коржимскаго—«между столпами отечества», такъ сказать, у тебя съ этимъ Свиткой твоимъ—коммуны и и нигилисты... А разныя министерства, канцеляріи, управленія? А университетъ? а корпуса? а школы, гимназіи, институты?—Охо-хохо!..

Еще Польска не згинэла
Пуки мы жіемы!

запѣлъ онъ вдругъ, прихлопнувъ въ ладоши, и въ два-три па прошелся мазуркой по комнатѣ.—Тутъ и стадо сальонóве, и стадо наукове, и стадо войскове, а вшистко у купе—едне вельке стадо дуракове! Ха, ха, ха, ха!—весело заключилъ онъ—руки въ карманы—граціозно поворачиваясь на одномъ каблукѣ, видимо довольный эффектомъ послѣдней фразы.

Послѣ обѣда, въ которомъ денщикъ Голембикъ показывалъ свое кулинарное искусство, панъ-грабя Слопчицькій, развалясь въ креслѣ и ковыряя въ зубахъ съ такимъ сибаритскимъ видомъ, какъ будто онъ только что всталъ изъза Лукулловскаго пиршества, снова завелъ съ поручикомъ разговоръ насчетъ прелестной вдовушки. Его ужасно интересовало: кто она?—Но Бейгушъ съ видомъ притворной скромности сказалъ, что онъ не имѣетъ обыкновенія называть фамиліи тѣхъ особъ, которыя дарятъ его своею благосклонностью. Однако, черезъ пять минутъ, увлеченный жаромъ своего разсказа и такимъ внимательнымъ, даже пріятельски завистливымъ участіемъ друга Тедеуша, выболталъ что «*моя*-де Сусанна—это божество! вдова гусарскаго полковника барона Стекльштрома (полковника и барона онъ прибавилъ для пущей важности), что эта прелесть готова ему всѣмъ пожертвовать, что она влюблена въ него безъ памяти, что вообще, это—добрѣйшее и благороднѣйшее существо изъ всѣхъ, какихъ онъ только зналъ на свѣтѣ, существо которое ни въ чемъ не умѣетъ отказывать, и вотъ доказательство: эти триста рублей, пожертвованные въ пользу народоваго дѣла, но... одно лишь безконечно жаль: москéвка!

— Такъ что-жь, что москевка?—выпучилъ глаза Тадеушъ.

— А то, что кабы не москевка, честное слово—женился бы сейчасъ же!

— А я бы на твоемъ мѣстѣ и непремѣнно женился бы! И чѣмъ скорѣе, тѣмъ лучше!—резонерскимъ тономъ заговорилъ панъ грабя.—Если дѣйствительно, какъ ты говоришь, изъ нея веревки вить можно, да еще если къ тому же эта добродѣтель ни въ чемъ отказывать не умѣетъ, а для тебя готова всѣмъ пожертвовать—я бы вотъ сію же минуту «къ алтарю». Къ алтарю, сударыня, безъ всякихъ разговоровъ! И пусть себѣ Исаія ликуетъ по-москéвску! Я тоже стану ликовать съ нимъ вмѣстѣ!

— Жениться на москéвкѣ! — съ пренебрежительной гримасой повелъ плечами поручикъ.

— От-то éще!.. «на москéвкѣ»!.. Да я-бъ на Юліи Пастранѣ женился!—Абы пенѣнзы!

— Да, но могу ли я связывать себя, когда отчизна не сегодня-завтра можетъ потребовать меня къ дѣлу?—съ видомъ благороднаго достоинства возразилъ Бейгушъ.

— Ну, когда потребуетъ, ты и развяжись.

— Съ законною-то женою?

— А хоть бы съ перезаконной!.. Что жь такое!.. Кто мѣшаетъ тебѣ въ одно прекрасное утро пропѣть романсъ: «Прощаюсь, ангелъ мой, съ тобою!» сдѣлать ручку и улыбнуться... А то и пѣть ничего не нужно, а просто втихомолку улетучился да и баста!.. «Ищи меня въ лѣсахъ Литвы»... Штука-то простая!

— Ну, это, пожалуй, не такъ легко, какъ кажется!

— Чего тамъ не легко! Что жь она, пойдетъ тебя разыскивать, преслѣдовать черезъ полицію, что ли? Погорюетъ двѣ недѣли, и по добротѣ, общей всему Евину роду, постарается утѣшить кого-нибудь въ одиночествѣ, и сама вмѣстѣ съ тѣмъ утѣшится, ну, и только!.. А пятьдесятъ тысячъ, мой другъ, это легко вымолвить, но не легко добыть. Пятьдесятъ тысячъ по улицамъ не валяются! Вѣдь это —

Digitized by Google

шутка сказать! — это триста семьдесятъ пять тысячъ польскихъ золотыхъ!.. Ухъ!.. да это духъ захватываетъ!

Панъ грабя даже выскочилъ изъ своего глубокаго, покойнаго кресла.

— Анзельмъ, — съ рѣшительнымъ видомъ остановился онъ передъ Бейгушемъ.—Если ты не женишься, это будетъ величайшая ошибка... Э, да чего тамъ ошибка! Это будетъ пошлая, непростительная глупость съ твоей стороны! Понимаешь?.. Я считаю тебя слишкомъ умнымъ и разсчетливымъ малымъ, чтобы ты могъ упустить такой кладъ! И именно вотъ на тотъ самый случай, когда, какъ ты говоришь, Польша призоветъ тебя къ дѣлу, что жь ты съ пустыми руками пойдешь на встрѣчу ойчизнѣ?.. Э, брацишку! Драться на голодные зубы куда какъ скверно!.. Будемъ смотрѣть практически, будемъ предусмотрительны! Ежели бы, напримѣръ, чего не дай Богъ и чего, я увѣренъ, не случится, но все-таки, положимъ, что *ежели бы*... Итакъ, ежели бы мы проиграли: имѣя въ карманѣ деньги, всегда можно, при нѣкоторой ловкости, удрать за границу и жить себѣ въ Парижѣ или въ Швейцаріи препорядочнымъ образомъ, и работать сколько можно на пользу дѣла, а безъ денегъ что ты? Что предстоитъ тебѣ?—Вятка или Иркутскъ! И это еще самое легкое! Я, братъ, человѣкъ прежде всего практическій. Я самъ подъ-часъ увлекаюсь и люблю помечтать о томъ, о семъ, но... практики при этомъ никогда не забываю!

Бейгушъ сидѣлъ, вытянувъ ноги, и молчалъ не то колеблясь, не то соображая что-то.

Панъ Тедеушъ, насвистывая какую-то французскую шансонетку и подщелкивая пальцами, съ легкимъ канканнымъ подергиваніемъ прошелся по комнатѣ и снова сталъ предъ Анзельмомъ.

— Педантъ-моралистъ, пожалуй скажетъ, что это не совсѣмъ-то тово... снова заговорилъ онъ, развивая свою тему, но, мой другъ, во-первыхъ, между мужемъ и женою—все общее: что мое то твое -это первое правило, а во-вторыхъ, я понялъ бы такую щепетильность относительно польки, француженки, словомъ, относительно всякой порядочной женщины любой націи цивилизованной, европейской; но относительно москевки — воля твоя, душа моя,—я этого не понимаю! Мало того: я рѣшительно *не допускаю* этого!

Панъ грабя пришелъ даже въ нѣкоторый патріотическій азартъ и говорилъ сильно жестикулируя.

— Какъ! — продолжалъ онъ, наступая. — Они сто лѣтъ уже грабятъ наши домы, наши земли, наши финансы, нашихъ дѣдовъ, отцовъ и насъ теперь грабятъ, а мы будемъ деликатничать съ ними!.. Вздоръ!.. Ты только тѣмъ или другимъ способомъ берешь назадъ, возвращаешь себѣ свое добро, свое кровное, законно тебѣ принадлежащее!.. Съ этой точки зрѣнія я оправдываю и взятки и казнокрадство!— Ей-Богу такъ!.. Я передъ тобой говорю теперь откровенно, да и чего намъ скрываться другъ передъ другомъ?.. Они твою родину распластали, подѣлили ее и ограбили, а ты будешь еще думать да церемониться: можно ли, да слѣдуетъ ли мнѣ воспользоваться капиталомъ моей жены-москевки?—Спроси цѣлую Польшу—и вся Польша отвѣтитъ тебѣ: «не можно, а должно!»

Панъ грабя былъ даже величественъ въ своемъ пафосѣ.

Бейгушъ, видимо убѣжденный, тихо улыбался въ отвѣтъ какому-то своему особому расчету и соображенію.

— А что? не рискнуть ли и въ самомъ дѣлѣ?—повернулъ онъ прояснившееся лицо къ пріятелю.

— Онъ еще спрашиваетъ! — возведя глаза къ потолку и пожавъ плечами, воскликнулъ Слопчицкій.—Онъ еще спрашиваетъ!.. О, тяжелая артиллерія! Да что это, ей-Богу!.. Рискуй, душа моя! Прямо рискуй!—Рискъ благородное дѣло.

V.

И хочется, и колется...

Нѣсколько дней спустя послѣ похоронъ Лубянской, члены коммуны въ одно далеко не прекрасное утро были поражены совершенно неожиданной новостью.

Въ это самое далеко не прекрасное утро нѣкоторые изъ членовъ, слѣдуя повседневному обыкновенію, отправились для препровожденія времени въ книжный магазинъ Луки Благопріобрѣтова и Комп.

Но вообразите себѣ всю степень паническаго недоумѣнія ихъ, когда входную дверь они нашли не только запертою, но и запечатанною, и при этомъ оказалось, что печать насомнѣнно принадлежитъ кварталу мѣстной полиціи. Члены толкнулись съ черной лѣстницы въ другую дверь, но и тамъ то-же самое. Позвали дворника, и тотъ объяснилъ, что нынѣшнею ночью пріѣзжали жандармы съ полиціей, сдѣлали большой обыскъ, запечатали магазинъ и забрали самого Луку Благопріобрѣтова.

Всѣ ужасно переполошились. Какъ, за что и почему взятъ Лука—никто не зналъ. Недоумѣнію не было предѣловъ. Никто даже и подозрѣвать не могъ, чтобы возможно было арестовать Благопріобрѣтова, этого, повидимому, столь скромнаго, немногоглаголиваго, всегда осторожно сдержаннаго, осторожно поступающаго подвижника. Ему, казалось, только и дѣла было, что до своей конторки, до своихъ книжныхъ полокъ... Правда, любилъ онъ постоянно мечтать о возрожденіи человѣ-

Digitized by Google

чества для новаго духа и новой жизни въ аллюминіевыхъ фаланстерахъ—но что жь изъ того? Кому теплѣй, или холоднѣй было отъ мечтаній Луки Благопріобрѣтова? Члены коммуны чуть ли даже не единодушно были убѣждены, что этотъ вѣчный труженикъ способенъ только смотрѣть за книжнымъ магазиномъ, корпѣть надъ конторскими книгами и счетами, да еще по принципу добровольно измозжать плоть свою, а онъ вдругъ чѣмъ-то еще такимъ занимался, за что люди знакомятся съ секретными комнатами близъ Цѣпного моста. Но чѣмъ же занимался Лука Благопріобрѣтовъ? Что такое творилъ онъ? Для чего ни единой души изъ коммунистовъ не посвятилъ въ свои предпріятія?—На эти вопросы никто не могъ подыскать отвѣта, и только одно недоумѣніе все сильнѣй разросталось?

— А?.. Каковъ?.. Лукашка-то нашъ?.. А? обращался ко всѣмъ Ардальонъ Полояровъ.

— Чортъ знаетъ, что такое!.. И кто бы ждалъ отъ него! Кто бы могъ ожидать!—пожимая плечами, топырили руки члены коммуны.

Всѣхъ ужасно заинтересовало, что́ такое именно дѣлалъ Лука и за что, и куда именно спрятанъ теперь?

Съ помощью Сусанны навели черезъ Бейгуша стороной кой-какія справки и пронюхали, что взятъ Лука по очень важному дѣлу, за какое-то особенное «предпріятіе»; но что за «предпріятіе» такое и въ чемъ его важность—это оставалось покрыто мракомъ неизвѣстности.

Зато начиная съ этой минуты, уваженіе къ таинственному Лукѣ возвысилось на сто градусовъ. Но вмѣстѣ съ уваженіемъ, на сто же градусовъ возвысился и страхъ нѣкоторыхъ коммунистовъ: «а ну, какъ и меня такъ же сжамкаютъ?» За что бы собственно сжамкать Малгоржана или Анцыфрова—этого ни Малгоржанъ, ни Анцыфровъ и сами не вѣдали, но почему же, казалось имъ, и не сжамкать, если сжамкали Луку? Вообще, очень затруднительно опредѣлить то особенное психическое настроеніе, которое одолѣло членовъ коммуны послѣ ареста Луки. Это было очень странное настроеніе. Каждому изъ нихъ и очень страшно было ареста, и очень хотѣлось его. Каждый хотѣлъ бы быть арестованъ, потому что это тотчасъ же возбуждаетъ въ цѣломъ обществѣ говоръ, толки, участіе, сочувствіе,—словомъ, дѣлаетъ изъ человѣка въ нѣкоторомъ родѣ героя, а если и не героя, то во всякомъ случаѣ очень интересную личность: «А, молъ, Анцыфровъ-то! Представьте — бѣдный!.. Въ крѣпости, въ казематахъ». — «Неужели?!» — «Да, взятъ»...—«Ай-ай!.. скажите пожалуйста!.. Какъ жаль!.. И вѣдь это все наши лучшіе люди!» Всѣмъ вообще Анцыфровымъ казалось, что если говорятъ о нихъ, то не иначе, какъ о лучшихъ людяхъ земли Русской — дескать, соль и соль наша. И вотъ, въ силу таковыхъ-то побужденій, заманчиво щекочущихъ самолюбіце, и восточнымъ Малгоржанамъ, и маленькимъ Анцыфрикамъ, и Моисеямъ Фрумкинымъ, и даже князю Сапово ужасно какъ хотѣлось быть арестованными, и при томъ не иначе какъ ночью, и не иначе какъ съ жандармами, съ каретой, съ казематами,—словомъ, со всѣми эффектными аттрибутами, которые придаютъ ореолъ мученичества и политическій интересъ личности каждаго плюгавенькаго Анцыфрика. Но всѣмъ имъ непремѣнно хотѣлось быть мучениками при томъ лишь единственномъ и неизмѣнномъ условіи, чтобы ихъ всѣхъ взяли, подержали-себѣ маленько и потомъ благополучно бы выпустили съ Богомъ на волю, дабы они могли безпрепятственно опять гулять между любезными согражданами, засѣдать въ читальной Благопріобрѣтова, проживать въ коммунѣ и повѣствовать о своемъ гражданскомъ мужествѣ и подвигахъ онаго во время заточенія. О, при этихъ условіяхъ сколь желательно и сколь лестно быть политически арестованнымъ! Это вѣдь просто отличіе, въ нѣкоторомъ родѣ повышеніе въ чинъ или орденъ на шею!

Но... если арестуютъ, да не подержатъ и выпустятъ, а вдругъ ушлютъ въ какой-нибудь городъ Кадниковъ или Бугульму, подъ надзоръ мѣстныхъ властей полицейскихъ,—словомъ, въ какія-нибудь такія допотопныя страны, гдѣ ни о гражданскомъ мужествѣ, ни о гражданской скорби еще и не слыхивали... Вдругъ эдакая-то бѣда стрясется!—Тогда что?.. Оно, конечно, можно и въ Кадниковъ, идти, такъ сказать, піонеромъ цивилизаціи и гражданскихъ чувствъ, но, чортъ возьми, тамъ насчетъ этихъ предметовъ и слова-то сказать не съ кѣмъ! Ты имъ будешь о гражданскомъ мужествѣ и о прочемъ, а они тебѣ на это:—«Н-да-съ... Такъ-съ... Да это, молъ, что-съ! А вотъ не хотите ли въ стуколку?» Главная бѣда, что тамъ разговаривать-то рѣшительно не съ кѣмъ! И поэтому, въ силу соображеній о Кадниковѣ и Бугульмѣ, члены коммуны, вмѣстѣ съ желаніемъ эффектнаго ареста, въ то же время и сильно потрухивали его.

Каждый Анцыфрикъ, каждый Малгоржанъ въ то же самое утро, какъ только узнали объ арестѣ Луки, поспѣшили домой и тщательно перерыли и пересмотрѣли всѣ книжки, всѣ бумажки свои; но запретныхъ плодовъ между ними, за исключеніемъ двухъ-трехъ невинныхъ фотографическихъ карточекъ, рѣшительно не оказалось, несмотря на все стремленіе этихъ господъ подвести хотя что-либо, собственной цензурой, подъ категорію запрещеннаго. Тѣмъ не менѣе, для вящаго успокоенія, они побросали въ огонь и карточки, и много разнаго хлама въ родѣ старыхъ корректуръ, старыхъ рукописей, записокъ, писемъ, счетовъ и прочаго.

Digitized by Google

Это существеннѣе всего способствовало облегченію ящиковъ стола и собственнаго ихъ духа.

Каждый въ отдѣльности, невольно поддаваясь въ душѣ чувству страха за возможность неблагопріятнаго ареста, хотѣлъ бы какъ нибудь увильнуть отъ него и потому стремился исчезнуть куда ни-на-есть изъ коммуны, укрыться гдѣ-нибудь на сторонѣ, въ мѣстѣ укромномъ, глухомъ и безопасномъ, и каждый, въ то-же самое время, ясно провидѣлъ въ другомъ подобное же эгоистическое стремленіе; но Малгоржану, напримѣръ, не хотѣлось, чтобы Анцыфровъ избѣжалъ ареста, тогда какъ самъ онъ, оставаясь въ коммунѣ, подвергнется ему; равно и Анцыфрову не хотѣлось, чтобы и Малгоржанъ укрылся, если ему, Анцыфрову, предлежитъ сія печальная участь.—«Ужь лучше всѣмъ вмѣстѣ, всѣмъ за-одно», думаетъ каждый въ глубинѣ души, и потому одинъ за другимъ зорко наблюдаетъ, чтобы тотъ не увильнулъ какъ-нибудь изъ коммуны. Такимъ образомъ, первое время всѣ члены коммуны держались какъ бы въ стадѣ, и если выходили куда, то старались сдѣлать это, по возможности, гуртомъ. Одна только вдовушка Сусанна, не раздѣляя этихъ опасеній, ни за что не желала подчиниться теперь стаднымъ свойствамъ и требованіямъ. Какъ ни убѣждали ее сидѣть дома, какъ ни увѣрялъ ревнивый Малгоржанъ, что это даже подлость не сидѣть, когда всѣ сидятъ, Сусанна все-таки урывалась изъ коммуны и возвращалась только позднимъ вечеромъ. Малгоржанъ-Казаладзе, быть можетъ и не безъ основаній, подозрѣвалъ, что причина этихъ настойчивыхъ уклоненій и продолжительныхъ отлучекъ «кузинки» лежитъ не въ чемъ иномъ, какъ въ бравыхъ свойствахъ краснаго Бейгуша.

Впрочемъ, сама «кузинка», несмотря на всѣ назойливыя приставанья, не давала восточному человѣку ни малѣйшаго отчета въ своихъ послѣднихъ поступкахъ. Восточный человѣкъ бѣсился, выходилъ изъ себя и жестоко испытывалъ то самое чувство, которое — увы! — онъ еще почти вчера называлъ гнуснымъ и недостойнымъ порядочнаго человѣка, проповѣдуя, что чувство это совершенно тождественно съ тѣми побужденіями, въ силу которыхъ пошляки и подлецы не позволяютъ другому человѣку надѣть своего носильнаго платья или брезгаютъ пить изъ одного и того же стакана одну и ту же воду. Короче, онъ жестоко ревновалъ свою «кузинку».

Прошло нѣсколько дней послѣ ареста, надѣлавшаго столько переполоха. Сожители все ожидали, что не сегодня-завтра нагрянутъ жандармы и ихъ заберутъ. Каждый внезапный и порывистый звонокъ приводилъ ихъ въ смущеніе. И чего такъ страшились эти политическіе жеребята, они и сами не знали, но только страшились, потому что время тогда такое было... «Тамъ берутъ, тутъ берутъ — отчего же и насъ не взять?» все думаетъ-себѣ Малгоржанъ или Анцыфровъ, безпрестанно возвращаясь все къ одной и той же господствующей и тревожащей мысли.

Но проходила ночь за ночью, день за днемъ, а роковой звонокъ не раздавался. Если и были звонки, то все такіе, которые Полояровъ называлъ «глупыми»: они возвѣщали либо знакомыхъ, либо кредиторовъ. Жандармы не появлялись. Это, наконецъ, становится даже досадно, зачѣмъ они не появляются! И именно досадно потому, что съ каждымъ днемъ вѣроятность ареста уменьшалась, а вмѣстѣ съ этимъ уменьшеніемъ опасности пропорціонально росло заманчивое желаніе быть эффектно арестованнымъ—само собою, съ соблюденіемъ того условія, что подержатъ маленько да и выпустятъ. И съ каждымъ же днемъ Малгоржаны и Анцыфровы, всякъ про себя, почему-то все болѣе убѣждались, что если возьмутъ, то непремѣнно выпустятъ здрава и невредима. Это было желаніе играть въ героевъ и боязнь дурныхъ шансовъ игры—совершенно по пословицѣ: «и хочется и колется»...

Одна только Сусанна, всецѣло занятая другими мыслями, была чужда этихъ желаній.

Но... дни шли за днями, ареста не послѣдовало—и члены мало-по-малу совсѣмъ успокоились.

А между тѣмъ, съ исчезновеніемъ Луки Благопріобрѣтова, всѣ дѣла ассоціаціи стали какъ-то расползаться, не клеиться. Ужь не говоря о книжномъ магазинѣ, которымъ онъ одинъ только и занимался какъ слѣдуетъ и который доставлялъ довольно значительную поддержку для существованія коммуны,—всѣ эти швейныя и переплетныя тоже пошли врозь. Богъ-вѣсть какъ и отчего, члены и сами не понимали, только съ отсутствіемъ Луки все у нихъ стало не клеиться. Этотъ немногоглаголивый, медвѣжеватый, узколобый Лука, который постоянно уклонялся отъ сожительства въ коммунѣ, быть можетъ для того, чтобы успѣшнѣе заниматься какимъ-то своимъ особымъ таинственнымъ «предпріятіемъ», этотъ Лука, на котораго всѣ склонны были смотрѣть почти какъ на послѣднюю спицу въ колесницѣ—онъ-то, невѣдомо для сочленовъ, и былъ настоящею, живою душою всего дѣла, главнымъ направителемъ, руководителемъ и дѣятелемъ всей работы, всѣхъ предпріятій, клонившихся къ возрожденію человѣчества. Духъ отлетѣлъ—и организмъ сталъ разрушаться.

VI.

Сюрпризъ отъ вдовушки Сусанны.

Не прошло и мѣсяца послѣ ареста Луки, какъ членовъ коммуны поразила новая и весьма существенная непріятность.

Digitized by Google

Однажды вдовушка Сусанна исчезла и ночевать не вернулась. Малгоржанъ очень тревожился. Прошли еще сутки, а вдовушки нѣтъ какъ нѣтъ. Малгоржана уже начинали мучить нѣкоторыя темныя предчувствія. Онъ ужь замышлялъ-было подавать въ полицію объявку объ исчезновеніи «кузинки», какъ вдругъ на третій день утромъ Лидинька Затцъ получила съ городской почты письмо. Хотя это письмо и было адресовано на ея имя, но содержаніе его относилось ко всѣмъ вообще. Это было, въ нѣкоторымъ родѣ, посланіе соборное.

«Любезные сограждане! (писала Сусанна) Спѣшу васъ удивить очень пріятною для меня новостью: третьяго дня вечеромъ я сочеталась формально-законнымъ бракомъ съ поручикомъ конной артиллеріи Анзельмомъ Людвиговичемъ Бейгушъ. Новое мое положеніе препятствуетъ мнѣ продолжать старую жизнь съ вами, мои любезные сожители. Поэтому, я прошу мою милую Лидиньку вещи мои собрать и переслать ко мнѣ по прилагаемому адресу. Мужу моему и мнѣ будетъ очень пріятно видѣть у себя всѣхъ васъ безъ исключенія. По воскресеньямъ вечеромъ мы всегда дома. Вмѣстѣ съ этимъ, нахожу нужнымъ увѣдомить васъ, что я сегодня же препроводила къ хозяину дома деньги, слѣдуемыя ему за послѣдній мѣсяцъ, и на дальнѣйшее время отказалась отъ квартиры. Если желаете оставаться въ ней, то постарайтесь уже сами какъ-нибудь устроить это. Вѣрьте, мои друзья, что время, проведенное мною съ вами, останется для меня навсегда однимъ изъ самыхъ пріятныхъ воспоминаній. Остаюсь преданная вамъ

«Сусанна Бейгушъ».

Карась, внезапно свалившійся съ неба, не могъ бы произвести болѣе сильнаго, болѣе неожиданнаго впечатлѣнія, чѣмъ это недлинное посланіе. «Какъ замужемъ!?.. А какъ же мы-то теперь?» мелькнуло прежде всего въ головѣ каждаго.

Полояровъ, изобразивъ гримасу, которая выражала собою какъ-бы восклицаніе: вотъ тебѣ, бабушка, и Юрьевъ день!—обратился съ комическимъ поклономъ къ Малгоржану. Тотъ былъ внѣ себя.

— Дайте мнѣ кинжалъ!.. Я восточный человѣкъ!.. Я... я съ кинжаломъ пойду!.. Я этого не позволю!—чуть не задыхаясь и бѣгая по комнатѣ, съ крѣпко сжатыми кулаками, не заговорилъ, а какъ-то захаркалъ гортаннымъ своимъ голосомъ Малгоржанъ-Казаладзе. Когда онъ былъ взволнованъ или раздраженъ чѣмъ-нибудь, то быстрый говоръ его всегда переходилъ въ какое-то горловое харканье—почти общее свойство людей его расы. Глаза Малгоржана налились кровью, губы дрожали, въ душѣ кипѣла ревность, а въ головѣ вставалъ призракъ вопроса: какъ же ты теперь безъ кузинки существовать-то будешь?..

— Это подлость!.. Это измѣна! Измѣна дѣлу!—тараторила азартная Лидинька. — Законный бракъ... и еще съ военнымъ... съ офицеришкой!.. Гдѣ жь принципъ, послѣ этого!?.. Это низость, мерзость, пошлость!.. Это надо огласить! Непремѣнно надо! Чтобы во всѣхъ газетахъ, во всѣхъ журналахъ оттрепали ее за этакую подлую измѣну!.. Надо, чтобы «Искра», чтобы каррикатуры... Погоди-жь ты, голубушка!.. Я, господа, я это устрою!.. Непремѣнно устрою!.. Это такъ нельзя оставить! Это до всѣхъ касается, до всѣхъ честныхъ и мыслящихъ людей... Это общее дѣло, господа!.. Анцыфровъ, приготовь мнѣ бумагу, я буду сейчасъ же каррикатуру въ «Искру» сочинять!

Животрепещущая Лидинька горячилась не менѣе оскорбленнаго Малгоржана.

— Какъ же теперь квартира?—размышлялъ болѣе практичный Моисей Фрумкинъ.—Князь! надо, чтобы это вы теперь на себя взяли, на свое имя... съ квартирой-то...

— Да, да, съ квартирой... на свое имя... на себя взялъ... безсознательно, но благодушно повторялъ князь, улыбаясь и хлопая глазами въ одно и то же время.

— Дайте жь мнѣ кинжалъ! Я восточный человѣкъ!.. азіатскій человѣкъ!.. Понимаете?!.. Я... я пойду... Я съ кинжаломъ!—харкалъ межъ тѣмъ азартно бѣгающій Казаладзе.

— Ну, и что жь, что ты съ кинжаломъ?—философски ухмылялся, обращаясь къ нему болѣе всѣхъ спокойный Полояровъ.

— Я съ кинжаломъ!.. съ большимъ кинжаломъ!—не слушая его, оралъ покинутый кузенъ.

— Ну, и съ большимъ! Ну, и что жь изъ того, что ты съ большимъ кинжаломъ?

— Я ее заколю, его заколю, всѣхъ заколю!.. Я не позволю!.. Она мнѣ деньги должна еще... Она мнѣ пускай деньги мои прежде отдастъ... Я жаловаться буду... Я мои права имѣю!..

— Азія!.. Смирися!.. Смирися, безобразіе Азіи, говорю тебѣ!—комически-ораторскимъ тономъ взывалъ къ нему Ардальонъ, простирая руки.—Не ву горяче па! Что съ возу упало, то пропало!.. Гляди на жизнь философски, какъ гляжу я—и благо ти будетъ! Ну, что же, что кузинка носъ показала? Укротись и старайся сыскать новую—и будешь ты утѣшенъ! Вотъ тебѣ мое вѣрное слово!

И долго еще подымалась въ тотъ день пыль смятенія въ коммунѣ. Долго еще возглашалъ Малгоржанъ о своемъ восточномъ происхожденіи, долго и Лидинька тараторила объ измѣнахъ, подлости и пошлости, то принимаясь за каррикатуру, то измышляя горяченькую обличительную статейку, чтобы хорошенько хлестнуть въ ней Сусанну за измѣну принципамъ и общему дѣлу. А Моисей Фрумкинъ и Ардальонъ Полояровъ, каждый втайнѣ, самъ про себя, измышляли уже новые пути и планы для обезпеченія собственнаго и коммуннаго житья-бытья безъ

Digitized by Google

посредства щедраго кармана безкорыстной вдовушки.

VII.

Мины и подкопы.

Планы эти естественнымъ образомъ сошлись на князѣ Сапово-Неплохово. Да и кто-жь бы иначе могъ замѣнить вдовушку Сусанну? Ни Ардальонъ, ни Фрумкинъ не повѣрили другъ другу своихъ сокровенныхъ цѣлей и стремленій: каждый дѣйствовалъ особо, потому что каждый разсчитывалъ пріобрѣсти себѣ исключительное вліяніе на князя; и оба въ то же время чувствовали, что одинъ другому мѣшаетъ, перебиваетъ дорогу и, пожалуй, даже ногу не прочь подставить. Изъ этого возникла затаенная вражда Моисея къ Ардальону и Ардальона къ Моисею. Это были два врага, которые одновременно вели осаду на одну и ту же крѣпость: оба хотѣли взять крѣпость и въ то же время сокрушить другого осаждающаго.

Моисею ужь давно было не по душѣ то нравственное преобладаніе, которымъ пользовался въ коммунѣ Полояровъ, тѣмъ болѣе, что смышленый Моисей какъ нельзя лучше понималъ, что все это преобладаніе, всѣми чувствуемое, но въ-явь никѣмъ не признаваемое, построено единственно на безпардонномъ нахальствѣ Ардальона, на его наглости, на его громкомъ голосѣ и на его безапелляціонно-авторитетномъ тонѣ, которымъ онъ рѣшалъ, что всѣ—дураки и пошляки, и никто ничего не знаетъ, не смыслитъ и не умѣетъ, давая тѣмъ самымъ чувствовать, что уменъ и свѣдущъ одинъ только онъ, Ардальонъ Полояровъ. Самолюбіе Фрумкина давно уже страдало втайнѣ и отъ Полояровскаго первенства, и отъ Полояровской безцеремонности отношеній. Оно страдало тѣмъ болѣе, что Фрумкинъ чувствовалъ и сознавалъ, что и онъ точно такъ же могъ бы играть ту же самую роль, какую теперь играетъ Полояровъ и что немножко бы только нахальства—и ничто тому не помѣшаетъ. Моисей въ глубинѣ души своей рѣшилъ сокрушить Ардальона и стать на его мѣсто. Ардальонъ же, пользуясь столько времени своими преимуществами, считалъ себя съ этой стороны вполнѣ обезпеченнымъ, несокрушимымъ, и стремился только къ тому, чтобы не допустить Моисея до исключительнаго вліянія на князя Сапово-Неплохово. Но задавшись такою цѣлью, онъ совершенно упустилъ изъ виду, что кромѣ Моисея, въ коммунѣ существуютъ еще и другіе члены, которыхъ впрочемъ онъ привыкъ считать за ничто, а этими-то именно членами и воспользовался исподволь Моисей Фрумкинъ. Полояровъ, въ безпечномъ спокойствіи своемъ, ничего еще и не подозрѣвалъ, а Фрумкинъ между тѣмъ съ этой стороны успѣлъ уже подвести подъ него весьма значительныя мины.

Каждый изъ коммунистовъ, конечно, не менѣе Фрумкина чувствовалъ на себѣ тягость Полояровскаго преобладанія, каждый, быть можетъ, сознавалъ, что Полояровъ третируетъ его въ душѣ какъ дурака, но... такъ какъ Полояровъ разъ уже завоевалъ себѣ это привилегированное положеніе и всѣ подчинились такому порядку вещей (сначала, конечно, безсознательно), то потомъ уже всѣ и молчали. Кто молчалъ изъ малодушія, изъ трусости, кто отъ безхарактерности или въ силу подчиненія болѣе сильной натурѣ Ардальона, а кто и отъ самолюбія: «какъ-же, молъ, я сознаюсь, что Ардальонъ командуетъ надо мною... Хоть онъ, молъ, и такъ, а только я виду не покажу». И такимъ образомъ, чувствуя извѣстнаго рода тягость, всѣ молча выносили ее до поры до времени. Можетъ быть, этимъ господамъ пришлось бы и очень еще долго выносить ее, если бы въ душѣ Моисея не возникла коварная мысль воспользоваться Ардальоновскими преимуществами.

Этими побужденіями болѣе всего руководили расчеты на карманъ глупаго князя, въ который и Ардальонъ протягивалъ свою лапу. Были тутъ у Моисея и еще кое-какія соображенія, и тоже финансоваго свойства: Моисей былъ самый работящій человѣкъ изъ всѣхъ коммунныхъ сожителей. Онъ и переводами занимался, и корректуры правилъ, и фельетончики въ одну газетку поставлялъ, за что и получалъ приличное вознагражденіе. Сумма его мѣсячнаго заработка превышала заработокъ другихъ; поэтому Моисею было обидно, что съ какой же стати онъ долженъ свой заработокъ отдавать въ кассу, находящуюся въ завѣдываніи Полоярова, и съ какой стати этотъ самый Полояровъ, зарабатывая гораздо меньше, но пользуясь равными условіями жизни, живетъ, въ нѣкоторомъ родѣ, на его, Фрумкина, счетъ? Что оба они, равно съ прочими, живали на счетъ князя и Сусанны—этого Моисей въ расчетъ не принималъ и вообще старался исключать изъ своихъ соображеній, какъ нѣчто къ дѣлу вовсе не подходящее; но помнилъ онъ только себя и свой собственный, личный заработокъ.

Моисей мало-по-малу успѣлъ и прочимъ членамъ внушить мысль, что Полояровъ, зарабатывая самъ очень немного и въ то же время распоряжаясь общими деньгами, живетъ по преимуществу на ихъ общій счетъ. Это открытіе очень понравилось членамъ и оно-то послужило началомъ возстанія противъ Ардальона. Полояровъ обязанъ былъ ежемѣсячно представлять отчетъ общему собранію членовъ, но прошло уже нѣсколько мѣсяцевъ, а онъ объ отчетѣ и не думалъ, да и ему никто не напоминалъ про это. Всѣ, казалось, жили спустя

Digitized by Google

рукава, а Полояровъ болѣе всѣхъ, и потому позамотался-таки и позапутался въ расчетахъ весьма изрядным образомъ.

Подготовя свою партію, Фрумкинъ, наконецъ, явно возсталъ противъ Ардальона. Всѣ, въ одинъ голосъ, потребовали у него отчетовъ. Ардальонъ почувствовалъ весьма критическое положеніе. Хотѣлъ было, по обыкновенію, взять нахальствомъ, — не удалось, хотѣлъ и такъ и сякъ вильнуть въ сторону—и тоже не удалось. Члены настойчиво предъявляли свои требованія, Фрумкинъ кричалъ болѣе всѣхъ и даже грозился предать гласности всѣ поступки Полоярова, если тотъ не представитъ самаго точнаго, вполнѣ удовлетворяющаго отчета.

Даже маленькій Анцыфрикъ совсѣмъ вышелъ изъ повиновенія. Полояровъ растерялся. Авторитетъ его видимо падалъ и почти уже превратился въ ничто. Въ коммунѣ поселился раздоръ, раздвоеніе, или, вѣрнѣе сказать, возстаніе противъ Ардальоновской диктатуры. Такимъ образомъ, этотъ развѣнчиваемый кумиръ испытывалъ теперь на себѣ общую судьбу всевозможныхъ диктаторовъ: пока не появлялось соперника — онъ могъ дѣлать все, что угодно, и всѣ ему подчинялись, всѣ молчали, всѣ терпѣли; но чуть явился соперникъ въ лицѣ Моисея — всѣ разомъ поднялись и завопили противъ Полоярова. Всѣмъ даже и лестно, и пріятно было теперь выместить на немъ все свое прошлое униженіе, презираемость, повиновеніе и молчаніе. Фрумкинъ явно одолѣвалъ,— Ардальону оставалось только покориться со смиреніемъ...

VIII.

«Съ того берега».

Но не таковъ былъ Ардальонъ, чтобы сразу смириться передъ Фрумкинымъ. Еще въ тѣ времена, когда онъ былъ становымъ приставомъ, онъ сдѣлалъ себѣ такую привычку, чтобы всѣ ему покорялись, а теперь вдругъ какой-нибудь Мошка Фрумкинъ одолѣваетъ! Нѣтъ, этого нельзя! Это невозможно! Горьше всего была потеря авторитета, потеря преобладанія. Во что бы то ни стало, надо приложить всѣ усилія, пустить въ ходъ всѣ способы, всю изобрѣтательность къ тому, чтобы возстановить свой авторитетъ въ прежней силѣ. Разъ, что онъ возстановленъ, преобладаніе и безконтрольность администратуры явятся сами собою, какъ естественныя слѣдствія Полояровскаго авторитета, и тогда Ардальонъ наступитъ на василиска и покоритъ подъ ногу свою змія и скорпія и Мошку Фрумкина.

Хотя Ардальонъ и былъ теперь весьма сконфуженъ, хотя онъ и въ-конецъ растерялся, тѣмъ не менѣе продолжалъ третировать въ душѣ своихъ сотоварищей, какъ дураковъ. А между тѣмъ самолюбіе вопіетъ, злоба на Мошку кипитъ, обаяніе недавней власти требуетъ возстановленія падшаго достоинства, мозги работаютъ надъ скорѣйшимъ изобрѣтеніемъ способовъ для этого возстановленія, а тутъ эта сконфуженность мѣшаетъ, эта растерянность и самая необходимость поспѣшности лишаютъ возможности спокойно сосредоточиться въ своихъ мысляхъ, обдумать, обстроить получше, обставить половче все дѣло — и вотъ, Ардальонъ Полояровъ сгоряча додумывается до замѣчательнаго изобрѣтенія.

* * *

Члены назначили ему вечеръ, когда онъ обязанъ былъ представить имъ отчеты. Такъ какъ Фрумкинъ опасался съ ихъ стороны охлажденія къ дѣлу, думая, что Ардальонъ успѣетъ подвести подъ нихъ какую-нибудь такую механику, которая возвратитъ ему общее ихъ довѣріе и расположеніе, то и рѣшился поэтому дѣйствовать сгоряча, не давая ни членамъ, ни Полоярову сообразиться и одуматься. Впрочемъ, члены достаточно сильно поднялись противъ своего администратора и сами назначили ему слѣдственное засѣданіе на другой же день послѣ возстанія.

Съ утра они, по обыкновенію, разбрелись; но Полояровъ остался дома и все время запершись сидѣлъ въ своей комнатѣ. Вечеромъ же, когда всѣ собрались, онъ самъ, безъ всякаго зова и понужденія, очень спокойно вышелъ къ нимъ въ залу. Въ лицѣ его было гордое и нѣсколько презрительное спокойствіе незаслуженно-оскорбленнаго достоинства. Это лицо какъ-будто говорило: «а все-таки вы-де дурачье, и я стою на столько высоко, что всѣ ваши оскорбленія никакъ до меня не достигнутъ».

— Извините, господа, — началъ Ардальонъ очень тихо, сухо и сдержанно.—Извините меня, что я не успѣлъ приготовить вамъ отчетъ... Я попрошу на это еще дня два сроку... сегодня никакъ не могъ, потому что получилъ изъ-за границы очень важное для меня письмо и долженъ былъ по поводу его заняться нѣкоторыми соображеніями.

— Какое намъ дѣло до вашихъ писемъ!— отозвался Фрумкинъ.—Изъ-за вашихъ корреспонденцій не терпѣть же общему интересу! Это довольно странно!

— А можетъ эта корреспонденція касается еще болѣе важныхъ и болѣе общихъ интересовъ чѣмъ ваши? — загадочно и вѣско возразилъ Полояровъ.—Вы думаете, что весь міръ только въ вашихъ однихъ интересахъ и заключается?.. Но я повторяю вамъ, что я не могъ и даже... просто не имѣлъ права оставить безъ извѣстныхъ соображеній это письмо.

— Да какое письмо-то?.. Откуда письмо?— не утерпѣла любопытная Лидинька.

Digitized by Google

— Изъ Лондона,—какъ бы не-хотя и равнодушно отвѣтилъ ей Полояровъ.

Всѣ насторожили уши.

— Изъ Лондона?—протянула удивленная и озадаченная Затцъ. — Это еще новости какія-то!.. Хм... Съ кѣмъ же это у васъ корреспонденціи въ Лондонѣ завелись?

— А вы полагали, что я только съ вами и могъ вести ихъ? Слишкомъ много чести мнѣ! — иронически поклонился ей Ардальонъ.

— Вы изъ Лондона письмо получили? Отъ кого же это! — вмѣшался Малгоржанъ, любопытный не менѣе Лидиньки.

— Отъ Герцена... Отъ кого же еще!—опять какъ бы не-хотя и равнодушно отвѣтилъ Полояровъ.

Это послѣднее сообщеніе произвело-таки своего рода эффектъ. Фрумкинъ смутно сталъ предчувствовать, что противникъ подводитъ какіе-то еще невѣдомые ему подвохи. Всѣ переглянулись — и въ этихъ скрестившихся взглядахъ сказалось и недоумѣніе, и сильное любопытство: «Какъ это, молъ, Ардальонъ Полояровъ — и вдругъ письмо отъ Герцена!.. Герценъ и Полояровъ!.. Э!.. Значитъ, Полояровъ-таки молодецъ... Штука-то не простая!» помыслилъ каждый про-себя не безъ того, чтобы не ощутить въ душѣ маленькій позывъ на возвратъ нѣкотораго уваженія къ Ардальону.

— Да! — со вздохомъ началъ Полояровъ грустнымъ и горько-ироническимъ тономъ, вынимая изъ бокового кармана разорванный конвертъ. — Мои друзья, тѣ, на кого я такъ надѣялся, кому я вѣрилъ, кого я считалъ людьми одинаковыхъ убѣжденій со мною, всѣ тѣ, для которыхъ я готовъ былъ по-братски жертвовать и временемъ, и трудами, и моимъ честнымъ заработочимъ кускомъ хлѣба—всѣ тѣ отъ меня отвернулись, подозрѣваютъ меня въ какихъ-то продѣлкахъ, считаютъ за какого-то подлеца и мерзавца!.. Это въ благодарность за мое-то братское радушіе!.. А вотъ люди иного сорта, люди, съ которыми я, положимъ, лично и не знакомъ, но эти люди и заочно знаютъ меня и дѣлаютъ мнѣ честь и уваженіе... Они вотъ и заочно успѣли понять и оцѣнить меня... А мнѣ больше ничего и не нужно! Я и тѣмъ счастливъ! Считайте меня послѣ этого за кого вамъ угодно — мнѣ рѣшительно все равно: я все-таки знаю, что за мною остается уваженіе такихъ людей, до которыхъ намъ съ вами далеко, господа.

Всю эту рѣчь, очевидно подготовленную заранѣе, Полояровъ произнесъ даже растроганнымъ голосомъ и при томъ съ чувствомъ неуязвимаго, благороднаго достоинства, которое знаетъ себѣ настоящую цѣну.

— Да мы тебя вовсе и не думаемъ за подлеца считать! — вступилась Лидинька. — Мы только отчета хотимъ, потому что это такъ въ правилахъ положено... Что-жь тутъ такого?

— А о чемъ пишетъ-то? Покажи, душа моя... прочти, пожалуйста!—ласково приступилъ Малгоржанъ, въ которомъ сила любопытства значительно умягчила на время силу враждебности къ сотоварищу.

Моисей Фрумкинъ мрачно стоялъ поодаль у окна и въ злобномъ молчаніи кусалъ себѣ ногти. Онъ сильно опасался теперь, что члены примирятся съ Ардальономъ, и вся его стратегика рухнетъ, опрокинутая ловкимъ противникомъ. Глупый князь, побѣжденный именемъ Герцена, уже юлилъ около Полоярова и искательной улыбкой осклаблялъ свои зубы. За исключеніемъ одного только Моисея, всѣ члены любопытно подвинулись къ Ардальону Михайловичу и не безъ благосклонности приготовились услышать Герценовское посланіе.

Полояровъ развернулъ письмо и началъ читать:

«Милостивый Государь
«Ардальонъ Михайловичъ!

«Мы не знакомы съ вами лично. Вы выступили бойцомъ на ваше поле далеко позднѣе насъ: мы были уже тогда вдали отъ родины, и здѣсь, на этомъ берегу, готовились къ святому служенію ей... Мы вышли ранними сѣятелями. Вамъ досталась доля болѣе завидная чѣмъ намъ: вы насъ моложе, вы насъ бодрѣе. Вы на мѣстѣ осязаете вашу родную почву, и вамъ, быть можетъ, предстоитъ честная жатва... А мы... мы только издали можемъ смотрѣть на нее, наблюдать ее, мучительно скорбѣть о ней, о нашей, пока еще несчастной родинѣ и присоединять нашъ горячій голосъ, но увы! только голосъ — къ свѣтлой благородной дѣятельности людей вашего поколѣнія. Мы не знакомы съ вами лично, но мы заочно знаемъ васъ. Добрыя вѣсти о дѣятельности честныхъ людей хорошо доходятъ къ намъ изъ Россіи, несмотря на россійско-нѣмецкія таможни, татарскія цензуры и рафинированную жандармерію. Вы остаетесь однимъ изъ тѣхъ немногихъ дѣятелей, которые высоко держатъ въ Россіи знамя демократическаго соціализма. Съ свѣтлымъ упованіемъ обращаются наши очи на этихъ апостоловъ, бѣдныхъ числомъ, но богатыхъ духомъ и вѣрою. Идите же твердо и неуклонно вашимъ тернистымъ путемъ къ источнику новой жизни! Борьба неизбѣжна—боритесь! Мы будемъ благословлять васъ. Вы побѣдите—мы будемъ братски ликовать съ вами. Вы падете—мы запишемъ на вѣчную память всему міру ваши громкія имена въ наши святые мартирологи, мы вплетемъ ихъ въ славный вѣнецъ нашихъ мучениковъ свободы. Идите!—надъ вами заря побѣды! Отходящіе бойцы кланяются новымъ побѣдителямъ. Привѣтъ вамъ изъ нашего далёка! Горячо жму вашу руку. Вашъ А. Герценъ».

Digitized by Google

Письмо это сначала озадачило всѣхъ слушателей. Малгоржанъ уже сталъ было сладко улыбаться своими жирными глазами. Анцыфровъ ласково заегозилъ и головенкой, и руками и ногами—точь-въ-точь какъ маленькій пёсикъ съ закорюченнымъ хвостикомъ, а князь просто заржалъ отъ восторга и, слюняво сюсюкая, горячо ухватилъ и трясъ руку Полоярова:

— Браво!.. Поздравляю!.. Благодарю!.. благодарю!.. лепеталъ онъ захлебываясь.—Браво! ей-Богу, браво! Я радъ... я душевно радъ!..

— А покажите-ка конвертъ? — съ какимъ-то затаеннымъ умысломъ и съ видимымъ недовѣріемъ обратился къ Ардальону Фрумкинъ.

Легкая тѣнь смущенія пробѣжала по лицу Полоярова. Онъ насупился и кашлянувъ отвернулся, будто и не слыхалъ словъ Моисея.

Тотъ повторилъ свое требованіе.

— На кой вамъ чортъ конвертъ еще понадобился?

— Такъ. Видѣть желаю.

— Нечего вамъ тутъ видѣть! Ничего вы дальше своего носа не увидите.

— А вы все-таки покажите. Отчего это вы такъ упорно не желаете показать мнѣ?

— Да мнѣ что!.. Пожалуй, на-те! глядите!

И онъ пренебрежительно бросилъ конвертъ Моисею.

Тотъ взялъ его со стола и внимательно оглядѣлъ съ обѣихъ сторонъ.

— Какими же вы судьбами получили это письмо?.. Тутъ что-то ни нашихъ ни заграничныхъ штемпелей не видать... да и маркъ тоже нѣту.

Фрумкинъ вопросительно испытующимъ взглядомъ поглядѣлъ въ лицо Полоярову.

Ардальонъ скосилъ глаза свои внизъ и въ сторону.

— Экой вы младенецъ невинный!—помолчавъ немного, но все-таки не глядя на Моисея, насмѣшливо заговорилъ онъ. — Какой же это дуракъ сталъ бы такія письма прямо по почтѣ пересылать? Для этого надо не имѣть въ башкѣ ни капли человѣческаго смысла! Развѣ такія вещи по почтѣ пересылаются?

— А какъ вы получили его? — любопытно допытывалъ Малгоржанъ съ пріятной улыбкой.

— Да нынче вотъ... Сижу я это надъ вашими расчетами (слово «расчеты» Полояровъ произнесъ не безъ преднамѣренной ироніи), вдругъ звонокъ. Я отворяю, смотрю—какой-то совершенно незнакомый господинъ. — «Здѣсь, говоритъ, живетъ Ардальонъ Михайловичъ Полояровъ?» — Здѣсь, говорю:—я самъ и есть; а вамъ что, говорю, угодно? Тутъ онъ мнѣ подалъ это самое письмо. «Я, говоритъ, изъ друзей... вы не сомнѣвайтесь! Проѣздомъ изъ-за границы и ѣду теперь въ Москву, а черезъ нѣсколько дней вернусь, и тогда, говоритъ, непремѣнно буду у васъ». Я заперъ дверь за нимъ, распечатываю и просто глазамъ не вѣрю!.. Да—прибавилъ Ардальонъ въ заключеніе съ самодовольной улыбкой, — порадовалъ-таки меня Александръ Ивановичъ — спасибо ему, голубчику!.. Это вѣдь просто патентъ, въ нѣкоторомъ родѣ... Этимъ можно гордиться-съ!

— Гордиться-то можно, да только не вамъ,— съ ѣдкостью замѣтилъ Фрумкинъ.

— Отчего жь бы это и не мнѣ-съ?

— А оттого, что не вы ли сами всегда обзываете Герцена и дуракомъ-то, и отсталымъ-то, и лишнимъ человѣкомъ, и краснобаемъ. Вспомните-ка, вѣдь это все ваши эпитеты! То вдругъ еще вчера онъ у васъ выдохшійся болтунъ, пустельга-колотовка, а сегодня ужь вы гордитесь имъ!.. Послѣдовательно-съ! И главное, прочность вашихъ убѣжденій рисуетъ!

Полояровъ побагровѣлъ и злобно вскинулся глазами на Моисея.

— Я съ вами и говорить-то не хочу! — презрительно пробурчалъ онъ отворачиваясь.

— Это всеконечно такъ-съ! — съ улыбкой поклонился Фрумкинъ.—Больше вамъ и сказать-то мнѣ нечего.

Онъ чувствовалъ, что шансы его борьбы съ Полояровымъ начинаютъ колебаться, и потому, какъ утопающій за соломинку, хватался теперь за каждый малѣйшій крючекъ, чтобы повернуть дѣло въ свою пользу.

— А мнѣ, господа, это письмо кажется очень сомнительнымъ!—не стѣсняясь присутствіемъ Ардальона, громко обратился онъ къ присутствующимъ.—И странно это, право! Отчего вдругъ Ардальонъ Михайловичъ получаетъ отъ Герцена хвалебный гимнъ своей честности, какъ разъ въ то самое время, когда мы настойчиво потребовали отъ него отчетовъ? Не знаю, какъ вы, господа, а я нахожу, что это очень странная игра случая!

Лидинька громко захохотала одобрительнымъ смѣхомъ. Анцыфровъ вслѣдъ за нею тоже было фыркнулъ, но заячьимъ взглядомъ взглянувъ на Ардальона, тотчасъ же струсилъ и примолкъ. И Малгоржанъ, глядя на другихъ, состроилъ вдругъ лукавую усмѣшку, озаренный новою мыслію со стороны Моисея. Фрумкинъ же, видя это, начиналъ уже ощущать предвѣстіе нѣкотораго торжества.

Полояровъ въ первое мгновенье окончательно смутился. Злоба въ немъ закипала все болѣе.

— Я... я... я... отрывисто заговорилъ онъ, заикаясь отъ волненія и злости, — я за такія сомнѣнія морду колочу!

Эти слова сопровождались весьма выразительнымъ жестомъ въ воздухѣ.

И нужно же ему было произнести такое слово! И нужно же было изобразить такой жестъ!.. Эта «морда» сразу сдѣлала то, что члены-сожители снова и всецѣло передались на сторону Фрумкина. Весь эффектъ Герценовскаго посланія пропалъ задаромъ. Эта «морда» очень

Digitized by Google

живо напомнила членамъ Полояровскія свойства и качества, его безцеремонность, его самомнѣніе, его нравственную диктатуру, которую только вчера, благодаря Фрумкину, они успѣли сбросить съ своей шеи. Герценовское письмо разставляло имъ новыя сѣти, и это очень хорошо поняли теперь злосчастные коммунисты. Они поняли, что примириться съ Полояровымъ, поддавшись обаянію Герценовскихъ похвалъ его особѣ, значитъ опять пойти къ нему въ кабалу, и потому очень живо отшатнулись отъ Ардальона, тѣмъ болѣе, что Моисей Фрумкинъ успѣлъ даже заронить въ нихъ сомнѣніе касательно подлинности хвалебнаго письма.

— Нѣтъ, главное, онъ-то! Онъ-то въ дѣятели попалъ!—пронзительнымъ своимъ голосомъ затараторила Лидинька, которая, какъ флюгеръ по вѣтру, перешмыгивала отъ одного къ другому.—Скажите пожалуйста, какіе нынче дѣятели!.. Нѣтъ, настоящіе-то дѣятели не такъ поступаютъ... Вотъ Лука у насъ былъ настоящій дѣятель, такъ тотъ, небойсь, писемъ не получалъ и всенародно не хвастался ими. Дѣятели-то теперь по казематамъ сидятъ... Вотъ гдѣ дѣятели!.. И въ самомъ дѣлѣ, поглядишь, то тотъ арестованъ, то другой, того взяли, тотъ сосланъ, — берутъ ежедневно и здѣсь, и тамъ, а одно только наше красно-солнышко, нашъ дѣятель, свѣтъ-Ардальонъ Михайловичъ, на свободѣ гуляетъ... Нѣтъ-съ, батюшка, кабы ты былъ настоящій дѣятель, такъ тебя ужь давнымъ-давно бы арестовали, а ты вишь все еще промежъ насъ толкаешься. А отчего ты не арестованъ? Отчего?

— Глупый вопросъ!—пожавъ плечами, буркнулъ Полояровъ.

— Нѣтъ, ты мнѣ скажи, отчего ты не арестованъ?—какъ піявка впилась Лидинька все съ однимъ и тѣмъ же вопросомъ.

— Оттого, что ты дура.

— Это, сударь мой, не причина-съ. А ты мнѣ все-таки скажи, отчего Лука вотъ арестованъ, а ты нѣтъ? Ты скажи мнѣ, а я послушаю!

— Н-да-съ! Отчего вы и въ самомъ дѣлѣ не арестованы, если вы такой важный дѣятель, если вы одинъ только высоко держите знамя демократическаго соціализма?—ядовито поддержалъ Лидиньку Моисей Фрумкинъ.—Тутъ вотъ поглядишь, кто и гораздо пониже васъ держали знамя-то это, однако и тѣхъ позабирали, а вы благоденствуете на свободѣ. Какіе это боги покровительствуютъ вамъ.

— Нѣтъ, ты скажи намъ, отчего и зачѣмъ ты не арестованъ?—приставала между тѣмъ Лидинька.

— А вы мнѣ скажите, зачѣмъ вы не арестованы?—руки въ боки и ноги врозь, съ нахально смѣющимся лицомъ обратился Полояровъ ко всѣмъ присутствующимъ.

— Да мы вѣдь писемъ отъ Герцена не получаемъ,—отвѣтилъ за всѣхъ Моисей Фрумкинъ.

— А отчего вы не получаете?

Нѣкоторые изъ членовъ совѣщательно переглянулись между собою. Фрумкинъ молчалъ.

— Ну-съ, такъ отъ чего же вы не получаете?—съ возрастающимъ нахальствомъ наступалъ на нихъ Полояровъ.

Что было отвѣчать ему на такой назойливый вопросъ?

— Отчего мы, и въ самомъ дѣлѣ, не получаемъ?—хлопая глазами и принимая все это въ самую серьезную сторону, тихо спросилъ наивный князь у Моисея.

— А я вамъ скажу отчего!—продолжалъ Ардальонъ, стоя фертомъ передъ всею компаніею.—Оттого, что вы рыломъ еще не вышли получать-то такія письма! Вотъ отчего!

— Ладно, ладно! А вы намъ, милостивый государь, извольте все-таки отчеты представить!—завопило на Полоярова все общество, въ-конецъ уже оскорбленное послѣдней выходкой. Вы намъ отчеты подайте, а если черезъ два дня у насъ не будетъ отчетовъ, такъ мы ихъ у васъ гласно, печатнымъ образомъ потребуемъ! Въ газетахъ отшлепаемъ-съ! И посмотримъ, какія тогда-то вотъ письма къ вамъ станетъ Герценъ писать!

Полояровъ, махнувъ рукою, ретировался въ свою комнату.

IX.

Изъ угла въ уголъ по комнатѣ.

Ему было жутко. Герценовское письмо, на которое онъ такъ разсчитывалъ, окончательно не вывезло. Упорная наглость—элементъ наиболѣе присущій, наиболѣе естественный въ натурѣ Полоярова—тоже не помогла. «Ахъ, кабы не жидъ!» думаетъ себѣ Ардальонъ. «Кабы не онъ, все бы шло, какъ по маслу!.. Съ остальными бы управился!» Но эти остальные были сильны теперь жидомъ, а жидъ ими, и въ результатѣ, сколь ни прикидывалъ и такъ и сякъ Полояровъ—выходило, что все-таки ничего противъ этой соединенной силы не подѣлаешь... Главнѣйшимъ образомъ смущала эта угроза «предать его благодѣтельной гласности».—«Охъ, ужь эта благодѣтельная!» злобно сжимая зубы, мыслилъ Полояровъ.—«А ну, какъ отпечатаютъ?!» Эта мысль приводила его въ содроганіе: если отпечатаютъ, тогда въ журнальномъ мірѣ погибла его репутація, тогда эти каналья Фрумкины сдѣлаютъ, что и статей его, пожалуй, принимать не станутъ; тогда по всѣмъ кружкамъ, по всѣмъ знакомымъ и незнакомымъ, по всѣмъ союзникамъ, друзьямъ и врагамъ самое имя его эти Фрумкины пронесутъ, яко волъ глаголъ.—«Всѣ эти «Искры» въ набатъ ударятъ, пойдутъ теребить, потрошить, копаться въ тебѣ, и на всѣ лады, и въ стихахъ и въ прозѣ, переворошатъ всю твою внут-

Digitized by Google

ность».—И Полояровъ съ наслажденіемъ начинаетъ желать, чтобы надъ всѣми этими «Искрами» надъ всѣми газетами, надъ всѣми Фрумкиными вдругъ стряслась бы такая бѣда, такая гроза, чтобы слова про него некому было пикнуть. Эти самыя «Искры» и Фрумкины еще только вчера составляли его силу, его первую угрозу «подлецамъ и пошлякамъ», эти самыя «Искры» вчера еще съ такимъ ласковымъ почтеніемъ относились къ нему, а сегодня онъ уже ихъ боится... И все это надѣлалъ какой-нибудь Мошка Фрумкинъ.

— Нѣтъ, надо какъ ни-на-есть поправить это дѣло! — рѣшаетъ себѣ Полояровъ. —Лобъ разшибу, а поправлю!

«Просить у нихъ прощенія, что-ли?» мелькаетъ ему мысль. «Нѣтъ, не годится!.. Простить-то, пожалуй, простятъ, но ужь прежняго уваженья не будетъ... и каналья Фрумкинъ на твое мѣсто сядетъ».

— Какъ!.. Чтобы вдругъ Фрумкинъ... Да никогда!.. Ни въ жисть!—азартно схватывается съ мѣста Полояровъ, и начинаетъ шагать по комнатѣ.

«Эхъ, любезные друзья мои!» продолжаетъ онъ думать, не безъ злорадства потирая руки. «Кабы это я былъ теперь становымъ, а вы бы у меня въ станѣ проживали, показалъ бы я вамъ куда Макаръ телятъ гоняетъ... Всѣхъ бы эдакъ: ты что, молъ, есть за человѣкъ такой? Ты, молъ, Фрумкинъ?—Тарарахъ тебя, каналья!.. Таррахъ-трахъ!.. Разъ-два!.. Справа налѣво!.. Въ острогъ! въ секретную! При отношеніи—такъ, молъ, и такъ»...

— Рррасшибу! — въ увлеченіи вскрикнулъ Полояровъ, описавъ по воздуху разящее движіе кулакомъ, и съ размаху хватилъ имъ по столу. Ни въ чемъ неповинный столъ затрясся и задребезжалъ со стоявшимъ на немъ стаканомъ недопитаго чая.

— Тише ты, дьяволъ!—огрызнулся на него въ полъ-оборота Ардальонъ Михайловичъ и снова зашагалъ по комнатѣ.

И вотъ, все больше и больше предается онъ злорадственнымъ мечтамъ; думается ему, что онъ и точно становой приставъ и дѣлаетъ облаву на Фрумкина, на Малгоржана... Лидинька въ ногахъ у него валяется, прощенья проситъ... Я те прощу! Я те прощу сейчасъ, голубушка! Эй, сотскій, приготовь-ко горяченькихъ... Ну, матушка моя, съ Богомъ!.. А ты, іудейская твоя морда... Тарарахъ!.. въ кандалы его!.. Я те дамъ соціализмы заводить!.. Я те вспишу пропаганду! Ты думалъ, что ты можешь мнѣ не покоряться? Ты бунтовать? Ты народъ смущать?.. Ты власть мою не признавать?.. Вотъ-съ, ваше превосходительство! Вотъ онъ на лицо предъ вашимъ превосходительствомъ! главный бунтовщикъ-съ!.. И всѣ они здѣсь же, подъ конвоемъ-съ! Всѣхъ захватилъ и изловилъ...

— Не стоитъ благодарности-съ, ваше превосходительство... Помилуйте-съ... Мой долгъ... радъ животъ положить!.. Какое распоряженіе изволите теперь сдѣлать-съ?.. Въ острогъ?..— Очень хорошо-съ. Ну, любезнѣйшіе, пожалуйте-съ!.. Милости просимъ на казенное содержаніе!.. А что? Будете теперь сомнѣваться, отъ кого мы письма получаемъ? Будете требовать отчетовъ? ась?..

И куда-куда не заносятъ злорадно-золотыя мечты огорченнаго Ардальона! Эти мечты въ данную минуту были и его утѣшеніемъ, и его отместкой врагамъ за свое недавнее поруганіе. Воображается ему, что его за усердіе къ ордену на шею представляютъ, что онъ даже въ донскіе казаки переходитъ и командуетъ цѣлымъ казачьимъ полкомъ, спеціально предназначеннымъ для того, чтобы переловить и истребить всѣхъ Фрумкиныхъ на свѣтѣ. И тутъ же почему-то представляется ему его послѣдняя статья «О пауперизмѣ и пролетаріатѣ въ смыслѣ четвертаго сословія», за которую благодарный редакторъ предлагаетъ ему по тысячѣ съ листа, а благодарная Европа даритъ почетную премію, и разныя ученыя общества, клубы, ассоціаціи присылаютъ ему дипломы на званіе почетнаго члена... Губернаторъ снова благодаритъ его и снова представляетъ къ наградѣ, къ чину, къ ордену... И этотъ губернаторъ вдругъ не кто иной, какъ самъ Александръ Ивановичъ Герценъ... который съ гордостью называетъ его своимъ другомъ и велитъ публиковать о томъ во всѣхъ газетахъ...

Эти золотыя мечты переходили почти въ какой-то бредъ и грезы, что впрочемъ и не мудрено при томъ возбужденномъ состояніи, въ какомъ находился теперь Ардальонъ Михайловичъ.

Но возвращаясь, по временамъ, къ дѣйствительности, голова его додумалась-таки до рѣшенія какъ быть и что слѣдуетъ дѣлать. Присѣвъ къ столу и вынувъ чистый листъ бумаги, онъ принялся писать, медленно выводя буквы и какъ бы обдумывая каждое слово.

« Его Высокопревосходительству.... » но вдругъ зачеркнулъ написанное и вмѣсто того выставилъ:

«Его Сіятельству Господину Шефу Корпуса....»

Засимъ подумалъ, пустилъ нѣсколько колецъ табачнаго дыма, еще подумалъ и снова зачеркнулъ, и сталъ писать такъ:

«Въ Третье...»

— Нѣтъ, не такъ! — рѣшилъ онъ, наконецъ, еще разъ подумавъ, и снова прописалъ полный титулъ того, кому адресовалась бумага, а затѣмъ уже сталъ излагать самое дѣло:

«Симъ имѣю честь, по долгу вѣрноподданической присяги и по внушенію гражданскаго моего чувства, почтительнѣйше извѣстить, что вольно-

Digitized by Google

проживающій въ городѣ Санктъ-Петербургѣ *нигилистъ* Моисей Исааковъ Фрумкинъ распространяетъ пропаганду зловредныхъ идей, вредящихъ началамъ доброй нравственности и Святой Религіи, подрывающихъ авторитетъ Высшей Власти и Закона, стремящихся къ ниспроверженію существующаго порядка и наносящихъ ущербъ цѣлости Государства. А посему...»

На этомъ «посему» Полояровъ опять остановился.

«Нѣтъ «посему» еще рано!.. Надо бы прежде еще что-нибудь такое... пополновѣснѣе, а потомъ уже «посему»... Но что бы такое?»

И снова сталъ онъ ходить по комнатѣ и придумывать нѣчто полновѣснѣе, но среди этихъ раздумываній пришла ему вдругъ мысль: «А что какъ ничего этого не удастся?.. Какъ если Фрумкина-то возьмутъ, подержатъ-подержатъ, да и выпустятъ, а онъ тогда вернется къ намъ—го-го, какимъ фертомъ!.. Не подходи! Да какъ начнетъ опять каверзы подъ меня подводить?.. Тутъ ужь баста!.. Вся эта сволочь прямо на его сторонѣ будетъ... Какъ же, молъ, мучился, терпѣлъ... сочувствіе и прочее...»

— Нѣтъ, это не годится! Это не подходящее!—порѣшилъ Полояровъ и въ мелкіе кусочки изорвалъ начатый доносъ свой. —Этимъ я только дамъ ему же лишніе выгодные шансы противъ себя самого. А лучше бы что нибудь другое!.. Но что жь другое?.. Что?

И снова зашагалъ онъ по комнатѣ.

Въ залѣ раздавались межъ тѣмъ веселые голоса и громкій смѣхъ. Громче всѣхъ хохотала Лидинька. О чемъ тамъ разговаривали, Полярову не было слышно сквозь затворенную дверь. Можно было только догадываться, что надъ чѣмъ-то или надъ кѣмъ-то смѣются.—«Ага, вѣрно меня на смѣхъ подымаютъ!» домекнулся Полояровъ, и на цыпочкахъ подойдя къ двери, внимательно сталъ вслушиваться сквозь замочную скважину. Но и подслушиванье не опредѣлило ему точнѣе причину общаго смѣха. Слышно было только нѣсколько голосовъ, раза два какъ будто словно «*онъ*» сказали, да еще какъ будто слово «*дѣятель*», — такъ по крайней мѣрѣ послышалось... А можетъ, и не *дѣятель*... можетъ, *сѣятель*, а можетъ и другое что — чортъ его знаетъ! — Не разберешь! И опять этотъ невнятный шумъ говора покрылся взрывомъ дружнаго смѣха.

«Ну да!.. «Онъ»... «*дѣятель*»... Это они надо мною!.. Надо мною!» думалъ Полояровъ, злобно кусая себѣ губы. Ему сдѣлалось и больно, и досадно, и просто избилъ бы ихъ всѣхъ!.. Но главное, это такъ больно и такъ обидно, что хоть плакать готовъ...

И онъ на нѣсколько минутъ, подъ вліяніемъ щемящаго до слезъ ощущенія обиды и боли, вдругъ почувствовалъ себя такимъ несчастнымъ, пришибленнымъ, такимъ несправедливо угнетеннымъ, такимъ отверженнымъ и жалкимъ, но въ высшей степени честнымъ и благороднымъ человѣкомъ.

— Да! вотъ всегда такова-то правда людская на свѣтѣ!—печально и горько вздыхалъ онъ.— Ты душу за нихъ отдать готовъ, ты на крестъ, на плаху идешь, а они надъ тобой издѣваются, они въ тебя каменьями и грязью швыряютъ... Люди, люди!.. братьями вы называетесь!.. Что-жь, рвите меня по-братски! бейте меня, плюйте, терзайте!..

И Полоярову представляется, какъ его бьютъ и терзаютъ «за правду», и какъ онъ благородно переноситъ все это! Какъ возвышенно страдаетъ онъ!.. О, да! Онъ невинно страдаетъ! Онъ — мученикъ правды, мученикъ человѣческой злобы, зависти, интриги!.. Это они всѣ его уму, его генію, его таланту, его успѣхамъ завидуютъ! Это все одна черная, низкая зависть!

И опять представляется ему, что онъ, изнуренный, обезсиленный безплодной борьбой противъ людского зла и неправды, умираетъ въ злѣйшей чахоткѣ, въ смрадной больницѣ на гнилomъ соломенномъ тюфякѣ... Вотъ кляча на роспускахъ везетъ некрашеный, убогій гробъ, и въ этомъ гробу онъ, Ардальонъ Полояровъ... И всѣ эти люди приходятъ глядѣть на него... Да!

> И только трупъ его увидя,
> Какъ много сдѣлалъ онъ, поймутъ,
> И какъ любилъ онъ, ненавидя!..

начинаетъ наконецъ онъ патетически думать и мечтать Некрасовскими стихами.

— Тьфу!!!—какъбы опомнившись, энергически плюнулъ Полояровъ почти въ ту же минуту.— Да что жь это я, въ самомъ дѣлѣ?!.. Ужь до стиховъ!.. Ерундища какая-то все въ голову ползетъ... Смѣшно, право!

«А ты скажи, зачѣмъ ты не арестованъ? Нѣтъ, ты, братъ, постой! Ты намъ прежде скажи, зачѣмъ и почему ты не арестованъ? Зачѣмъ Лука арестованъ, а ты нѣтъ?»—смутно звучатъ въ ушахъ Полоярова какъ будто бы давнишніе голоса.

«А и въ самомъ дѣлѣ, зачѣмъ я не арестованъ?» остановясь среди комнаты, задаетъ онъ вдругъ самому себѣ неожиданный вопросъ и даже не безъ нѣкотораго удивленія. «Для чего я не арестованъ доселѣ, и почему мнѣ не быть бы арестованнымъ?..

.... «А что, если бы вдругъ хоть сегодня ночью нахлынули жандармы и взяли бы меня?..

.... «Хм!.. А вѣдь это даже недурно бы было!.. Ей-Богу, недурно!.. Во-первыхъ, всѣ эти отчеты тогда къ чорту!.. во-вторыхъ...

.... «Во-вторыхъ, арестовали же Луку... значитъ, и меня можно!..

.... «Н-да! вотъ, нейбось, какъ сжамкали Луку, такъ и куды какъ всѣ уважать его стали!.. Кто, почитай, и совсѣмъ-то не зналъ его, или былъ

Digitized by Google

на однихъ только шапочныхъ поклонахъ, такъ и тотъ теперь, поди-ка, вездѣ трубитъ: «какъ же молъ, очень коротко знакомы были!.. Даже, можно сказать, пріятели!..» И сколько этихъ пріятелей сразу же найдется, чуть только сжамкаютъ человѣка! Каждому, небойсь, хочется, чтобъ Лукашкина извѣстность и слава хоть заднимъ концомъ, а и меня бы чуточку задѣла... Ха, ха, ха!.. Ей-Богу, отмѣнная это штука быть арестованнымъ!.. Сейчасъ это они тебя въ десять разъ больше уважать начинаютъ».

«Нѣтъ, ты, братъ, скажи, зачѣмъ ты не арестованъ, коли ты держишь знамя демократическаго соціализма? Ты скажи, какіе боги тебѣ покровительствуютъ?»—снова начинаютъ смутно гудѣть въ головѣ Ардальона всѣ эти давешніе возгласы.

...«И въ самомъ дѣлѣ, отличная штука!» размышляетъ онъ далѣе. «То-есть вотъ какъ: если заберутъ меня завтра или послѣ завтра, то отчеты, главное дѣло, сейчасъ же фю-фю!.. А потомъ какъ выпустятъ, такъ этихъ дурацкихъ отчетовъ ужь никто съ меня не потребуетъ... Го-го! поглядѣлъ бы я тогда, кто это осмѣлится!.. Нѣтъ, братцы, шалишь! Тогда всѣ вы, сколько васъ ни есть, опять и знакомствомъ моимъ, и дружбой гордиться станете... Уважать меня станете, подлизываться ко мнѣ... Ну, Іудей! Что̀ взялъ?!. Сѣлъ на мое мѣсто? а? Нѣтъ, братъ, тогда ужь и духомъ твоимъ въ нашей коммунѣ не попахнетъ!.. Выживу!.. Ха, ха, ха!.. Ей-Богу, отмѣнная штука!.. Вотъ фортель-то!.. Ну, братъ, Ардальонъ Михайловичъ, крѣпись! Шевели мозгами, пошевеливай!..

...«И для чего бы, въ самомъ дѣлѣ, не быть мнѣ арестованнымъ?.. Это даже для приличія, такъ сказать, для конвенансу, для поддержки собственнаго достоинства слѣдовало бы. Вѣдь я все-жь таки—чортъ возьми!—извѣстнаго рода общественное положеніе имѣю... Какъ поглядишь, всѣ болѣе или менѣе порядочные люди, то-есть почти всѣ арестованы, а я нѣтъ!.. Гм... Это даже и стыдно, и обидно отчасти. Что̀ же, развѣ я уже такъ ничтоженъ, что и ареста не стою?.. И вѣдь каждый мозглякъ Анцыфровъ, каждая дура Лидинька послѣ этого въ правѣ будутъ подумать про меня, что я сущая ничтожность... И точно: какой же я серьезный дѣятель, если гуляю себѣ на свободѣ, когда даже Лука Благопріобрѣтовъ арестованъ!..

...«И не понимаю просто, чего эти жандармы ждутъ?!. Чего они медлятъ-то?.. Просто, дѣломъ своимъ не занимаются, какъ слѣдуетъ. У насъ вѣдь и все такъ! все спустя рукава!..

...«Ахъ, ты Господи! Если бы надоумило ихъ явиться и забрать меня хоть сію минуту!

...«Ну что-жь, подержатъ да и выпустятъ. Какія улики? гдѣ факты?—Нигдѣ и никакихъ!.. Въ чемъ виноватъ?—Ни въ чемъ рѣшительно. Все чисто!.. Стало быть, тутъ мнѣ и опасаться нечего... И всеконечно такъ, что подержатъ да и выпустятъ... Но только какъ же бы это сдѣлать, чтобы быть арестованнымъ?» задалъ себѣ Ардальонъ новый и послѣдній вопросъ самаго серьезнаго свойства, и снова сосредоточенно зашагалъ по комнатѣ.

Черезъ полчаса, онъ тихо и спокойно уже подошелъ къ своему столу, досталъ листъ бумаги, погнулъ на ногтѣ стальное перо и тщательно обмакнулъ его въ чернила.

X.

Дождались.

Прошелъ день—Полояровъ не говорилъ ни съ кѣмъ изъ членовъ коммуны или, лучше сказать, съ нимъ говорить не хотѣли. Въ этотъ день онъ только утромъ часа на два уходилъ изъ дому, а потомъ все сидѣлъ запершись. На слѣдующій день наступилъ крайній срокъ, назначенный ему для представленія отчетовъ. Ардальонъ Михайловичъ сказался больнымъ, все время лежалъ подъ своей чуйкой и довольно смиренно просилъ у Малгоржана передать членамъ, что и сегодня онъ не можетъ по болѣзни представить имъ отчеты, и потому покорнѣйше проситъ имѣть къ нему маленькое состраданіе, ради болѣзни, и отсрочить еще на нѣкоторое время.

Члены согласились, и Моисей Фрумкинъ почти торжествовалъ: въ этомъ отлыниваньи Полоярова и въ его на много пониженномъ, смиренномъ тонѣ онъ провидѣлъ уже зорю своей побѣды.

Но вдругъ...

Въ этотъ же самый день, но уже ночью, часу въ третьемъ, когда вся коммуна покоилась глубокимъ сномъ, въ прихожей раздался звонокъ...

Разъ... другой... третій...

Боже мой, что̀-жь это значитъ?!. Вся коммуна переполошилась.

— Анцыфровъ!.. вы слышите?

— Слышу... Но что это такое?

— А вотъ узнаемъ. Ступайте отворите!

— Нѣтъ, ужь увольте-съ!.. Встаньте вы, Малгоржанъ... вамъ ближе.

— Да я сплю... Не заставляйте же дожидаться!

— Но у меня туфлей нѣтъ...

— У меня возьмите!

Но въ это время въ корридорѣ зашлепали тяжелые шаги Полоярова и вскорѣ послышался звукъ отмыкаемой двери.

— Господинъ Полояровъ дома?—спросилъ чей-то чужой, незнакомый голосъ.

— Дома. Я Полояровъ.

По корридору раздались шаги нѣсколькихъ людей, сопровождаемые звяканьемъ шпоръ и легкимъ лязгомъ сабель.

Малгоржанъ высунулъ носъ въ щель своей

Digitized by Google

полупритворенной двери. Изъ противуположной щели выглядывалъ носъ Анцыфрова. Въ третьей двери бѣлѣлась ночная кофта Лидиньки, и только изъ комнаты князя раздавался далеко не аристократическій и никакими звонками не возмутимый храпъ юнаго Мецената.

Наѣхавшіе люди скрылись за дверью Полояровской комнаты.

— Полиція... жандармы... жутко и испуганно прошепталъ Малгоржану плюгавенькій, словно бы дѣлаясь еще меньше и еще плюгавѣе отъ страху.

— Дождались!—со вздохомъ, тихо воскликнулъ восточный человѣкъ, и сталъ одѣваться.

Въ коммунѣ шелъ горячій обыскъ. Обыскивали бумаги и у Малгоржана, и у Лидиньки, и у всѣхъ остальныхъ, но тщательнѣе всего обыскивали у Полоярова.

Ардальонъ во все время обыска былъ невозмутимо спокоенъ, въ совершенную противуположность прочимъ своимъ сожителямъ, которые праздновали-таки трусу не малую.

Но вдругъ онъ словно вспомнилъ про что-то и поблѣднѣлъ, тяжело проведя по лицу рукою.

«Какая злая иронія судьбы! Какая коварная насмѣшка слѣпого случая!.. И какъ было не подумать раньше! Какъ было не предусмотрѣть, не уничтожить?.. Совсѣмъ даже изъ головы вонъ, при этихъ всѣхъ передрягахъ!.. Эдакая непростительная, необъяснимая разсѣянность!.. Эдакое разгильдяйство!.. А все эти дьяволы Фрумкины!.. Вотъ что значитъ всецѣло увлечься одной стороной дѣла!—Кажись вѣдь ужь какъ думалъ-то! и все обдумалъ, и все передумалъ, а это и упустилъ... не додумался! Словно бы, какъ нарочно... И вѣдь пустякъ-то какой!.. Господи! что жь теперь будетъ?!!»

Полояровъ нечаянно спохватился, что въ боковомъ карманѣ его пальто осталось письмо за подписью Герцена, которое онъ, потерпѣвъ фіаско, впопыхахъ сунулъ туда да и позабылъ куда именно сунулъ. И какъ это такъ?! — Словно затменіе какое нашло. Вотъ ужь именно врагъ-то гдѣ попуталъ.

Все еще не довѣряя себѣ и своей памяти, онъ, совсѣмъ одѣвшись уже, для пущаго удостовѣренія, запустилъ руку въ боковой карманъ и пощупалъ тамъ.—Такъ и есть!.. лежитъ... лежитъ, проклятое!..

«И какъ это право!» недоумѣваетъ Полояровъ. «Еще третьяго дня вечеромъ, перебираючи бумаги, мнѣ вѣдь казалось, что я его сжегъ вмѣстѣ съ прочимъ лишнимъ хламомъ... Вотъ оно, что значитъ дѣлать дѣла въ такомъ ненормальномъ, возбужденномъ состояніи духа!.. Теперь пиши: пропало!..

«Надо бы какъ нибудь поосторожнѣе вынуть его оттуда и уничтожить, лишь бы только не замѣтили», домекнулся Ардальонъ Михайловичъ и, улучивъ минутку, повидимому, самую удобную, запустилъ руку въ карманъ и сжалъ въ кулакъ скомканное письмо, съ намѣреніемъ при первой возможности бросить его куда-нибудь въ сторону, когда станутъ уходить изъ квартиры или садиться въ карету.

Однако это движеніе руки было далеко не своевременно, что́ служило явнымъ доказательствомъ новой ненормальности душевнаго состоянія, которое весьма естественно овладѣло Ардальономъ, чуть лишь онъ вспомнилъ про Герценовское письмо. Онъ плохо сообразилъ, хотя расчетъ и казался вѣрнымъ.

Это роковое и уже вторичное движеніе руки въ боковой карманъ, несмотря на то, что, по мнѣнію Ардальона, минутка казалась очень для того удобною — не укрылось-таки отъ зоркаго и староопытнаго глаза одного изъ господъ полицейскихъ.

— Потрудитесь вынуть вашу руку!—очень деликатно даже не безъ нѣкоторой нѣжности предложилъ онъ Полоярову.

— Это зачѣмъ же-съ? — глухо пробурчалъ тотъ.

— Такъ. Я васъ прошу сдѣлать это въ личное мнѣ одолженіе.

Ардальонъ оставилъ въ карманѣ скомканное письмо и, вынувъ руку, показалъ ее растопыренной ладонью вѣжливому офицеру, какъ бы для вящаго доказательства, что въ рукѣ у него ровно ничего не находится.

Это, повидимому, ничего не значущее и самое естественное движеніе показалось опытному докѣ весьма подозрительнымъ: оно навело его на пущее подозрѣніе, что въ боковомъ карманѣ Полоярова должно быть что-то не ладно...

— Вы, конечно, будете столь обязательны и не откажетесь вынуть то, что лежитъ у васъ въ этомъ карманѣ?—еще мягче, слаще и любезнѣе предложилъ онъ своему «субъекту».

— У меня тамъ... ничего нѣтъ,—запнулся слегка Полояровъ.

— Однако?

— Ей-Богу, ничего!..

— Тѣмъ лучше-съ. Но тогда вы, для большаго убѣжденія, конечно, не откажетесь вывернуть и показать намъ этотъ кармашекъ?

— Да развѣ вы мнѣ не довѣряете?

— О, нѣтъ!.. Помилуйте, какъ это вы можете думать!.. Но... знаете-ли — что дѣлать! ужь это наша обязанность такая... нашъ долгъ, такъ сказать...

Полояровъ ни кармана не выворачивалъ, ни довода никакого не представлялъ, а стоялъ себѣ безъ движенія, словно бы и не понимая, чего хочется офицеру.

— Ужь вы меня извините, если такъ!—съ полупоклономъ любезно пожалъ офицеръ плечами. — Я, конечно, со всей моей деликатностью... но... я прикажу унтеръ-офицеру обез-

Digitized by Google

покоить васъ маленькимъ обыскомъ... Что дѣлать-съ!.. Бога ради, извините... Эй! Изотовъ!

Полояровъ увидѣлъ ясно, что влопался теперь окончательно и, скрѣпя сокрушенное сердце, отдалъ роковое письмо.

Офицеръ очень деликатно, дѣйствуя болѣе большимъ и указательными пальцами рукъ, развернулъ и тщательно расправилъ скомканную бумажку и все съ той же мягкой, пріятной улыбочкой посмотрѣлъ на заголовокъ посланія и на подпись.

— А!.. Герценъ!—съ видомъ какого-то почтительнаго благоговѣнія, почти шопотомъ произнесъ онъ, разсматривая подпись; полюбовался ею, далъ полюбоваться и другимъ своимъ сотоварищамъ и рачительно присоединилъ письмо къ прочимъ бумагамъ.

— А замѣчательный человѣкъ-съ! — добродушно и даже съ маслицемъ въ улыбающемся взорѣ обратился онъ къ Полоярову, такимъ постороннимъ, совсѣмъ неофиціальнымъ тономъ, какъ будто велъ самую пріятную, задушевную бесѣду.—Да-съ, истинно замѣчательный человѣкъ!.. Какой талантъ! И вѣдь сколько бы пользы могъ принести отечеству! Конечно, есть нѣкоторыя крайности, увлеченія, но... Бойкое перо! бойкое! Мнѣ въ особенности, знаете, стиль его нравится. Прекрасный стиль!

Полояровъ стоялъ и только хлопалъ глазами.

Обыскъ въ коммунѣ былъ наконецъ оконченъ. Бумаги всѣхъ сожителей—каждая пачка отдѣльно—были перевязаны бечевками и запечатаны.

Поклонникъ Герценовскаго стиля очень любезно извинился передъ всѣми членами коммуны, что по долгу службы нашелся въ необходимости обезпокоить ихъ въ такую позднюю пору, и еще любезнѣе предложилъ Полоярову одѣть чуйку и слѣдовать по назначенію вмѣстѣ съ обыскной комисіей.

Вскорѣ послѣ этого они отправились.

По уходѣ ихъ, и Фрумкинъ, и князь, и Лидинька съ Анцыфровымъ, словно сконфуженные, стояли по серединѣ залы, и не говоря ни слова, только поглядывали другъ на друга.

— Н-ну, дождались!—протянулъ, наконецъ, Малгоржанъ, разводя руками.

— Дождались! — въ отвѣтъ ему повторилъ про-себя каждый изъ членовъ.

Нельзя сказать, чтобъ остатокъ ночи провели они спокойно.

XI.

Есть многое въ природѣ, другъ Гораціо, что и не снилось порядочнымъ людямъ.

Дня три спустя послѣ этого ареста, Андрей Павловичъ Устиновъ получилъ черезъ полицію приглашеніе пожаловать въ назначенный часъ въ одно очень важное административное вѣдомство. Недоумѣвая, что бы могло значить и предвѣщать это краткое официальное приглашеніе, онъ далъ подписку, въ томъ, что требованіе будетъ исполнено, а къ назначенному времени облекся во фракъ и отправился куда требовалось.

Его провели въ особую комнату какой-то особой канцеляріи или экспедиціи, гдѣ нѣкоторый весьма благонамѣренно-внушительной наружности чиновникъ съ либеральными бакенбардами, очень любезно предложилъ ему занять кресло у заваленнаго бумагами стола, за которымъ самъ занимался. Кромѣ этого чиновника здѣсь никого больше не было.

— Извините, что мы васъ обезпокоили,—началъ онъ,—но видите-ли, намъ надо получить отъ васъ нѣкоторыя необходимыя объясненія по поводу вашего доноса.

Устинову показалось, что онъ либо не понялъ, либо ослышался.

— Какъ вы изволили сказать?—внимательно подалъ онъ впередъ свою голову, наставляя ухо.

— Нѣкоторыя дополнительныя свѣдѣнія и объясненія по поводу доноса,—вразумительнѣе повторили благонамѣренно-либеральныя бакенбарды.

— То-есть... какого доноса?.. стараясь вникнуть въ суть, еще болѣе подался впередъ учитель.—Извините, я, можетъ, не совсѣмъ точно понимаю... Развѣ на меня доносъ кѣмъ-либо сдѣланъ?

— О, нѣтъ! — улыбнулся чиновникъ. — Но намъ нужны отъ васъ объясненія по поводу вашего собственнаго доноса.

— Доноса?!.. Моего?!.. въ крайнемъ изумленіи откинулся Устиновъ на спинку кресла.— Извините-съ, тутъ должно быть какое-нибудь недоразумѣніе... Я ни на кого никакихъ доносовъ не дѣлалъ!

Теперь уже чиновникъ въ свой чередъ внимательно и недоумѣло поглядѣлъ на Устинова.

— Но какъ же это однако?.. Позвольте...

И онъ вытащилъ изъ кипы бумагъ какую-то записку и свѣрился съ нею.

— Вы вѣдь господинъ Устиновъ?

— Да, я Устиновъ.

— Ваше имя Андрей Павловичъ?

— Да, это мое имя.

— Вы бывшій учитель Славнобубенской гимназіи?

— Совершенно вѣрно.

— Ну, такъ вы это и есть. Ошибки быть не можетъ. Вы Ардальона Полоярова знаете?

— Полоярова?—Знаю.

— Вы знакомы съ нимъ?

— Былъ когда-то, но теперь раззнакомился.

— По какимъ причинамъ?

Устиновъ пожалъ плечами. «Зачѣмъ ему отъ меня все это нужно знать?» подумалось ему.

Digitized by Google

— Да безъ всякихъ особенныхъ причинъ,— объяснилъ онъ,—просто потому, что не люблю глупыхъ знакомствъ.

— Но... какъ же доносъ-то?

— Какой доносъ, наконецъ?—уже не безъ прорывавшейся досады возразилъ Устиновъ.

Чиновникъ снова поглядѣлъ на него внимательно.

— У насъ полученъ доносъ на Полоярова, подписанный вашимъ именемъ.

— Это мистификація!—воскликнулъ Устиновъ.— Но... позвольте, однако, взглянуть на него... Это очень любопытно. И притомъ крайне меня удивляетъ! Кому бы могла придти мысль и съ какою цѣлью писать доносы отъ моего имени?

Чиновникъ порылся у себя на столѣ и подалъ Устинову бумагу.

Тотъ сталъ читать:

«Симъ имѣю честь, по долгу вѣрноподданнической присяги и по внушенію гражданскаго моего чувства, почтительнѣйше извѣстить, что вольно-проживающій въ городѣ Санктъ-Петербургѣ (слѣдуетъ адресъ) *нигилистъ* Ардальонъ Михайловъ Полояровъ имѣетъ весьма зловредное вліяніе на нѣкоторыхъ лицъ, проживающихъ въ одной съ нимъ квартирѣ. Вышепомянутый нигилистъ Полояровъ ведетъ дѣятельную пропаганду идей и дѣйствій, вредящихъ началамъ доброй нравственности и Святой Религіи, подрывающихъ священный авторитетъ Закона и Высшей Власти, стремящихся къ ниспроверженію существующаго порядка и наносящихъ ущербъ цѣлости Государства. Фактическія доказательства его злонамѣренности, заключающіяся въ его бумагахъ, сочиненіяхъ, корреспонденціи и въ хранящихся у него брошюрахъ и книгахъ могутъ быть почерпнуты посредствомъ немедленно произведеннаго обыска въ занимаемой имъ квартирѣ. Онъ же сильно прикосновененъ къ дѣлу уволеннаго изъ духовнаго сословія Луки Благопріобрѣтова, о о чемъ долгомъ поставляю довести до свѣдѣнія надлежащей власти.

«Бывшій учитель Славнобубенской гимназіи Андрей Павловъ Устиновъ».

Маленькій математикъ прочелъ все это и въ величайшемъ недоумѣніи только пожалъ плечами.

— Невѣроятная мистификація!... Чья-то очень глупая и очень злая шутка, не болѣе!— проговорилъ онъ.—И на сколько я знаю Полоярова,—это просто дуракъ; пожалуй, пустой болтунъ, какихъ теперь тысячи щеголяютъ по бѣлому свѣту, но что касается до какихъ-либо дѣйствій и идей, то у него ровно никакихъ идей въ головѣ не имѣется, и полагаю, что каждый мало-мальски серьезный заговорщикъ постыдился бы назвать его своимъ сотоварищемъ.

— Это ваше убѣжденіе? — пытливо спросилъ чиновникъ.

— Да, это мое искреннее убѣжденіе, основанное на достаточномъ знаніи господина Полоярова.

— Мы по этому-то поводу и пригласили васъ,—пояснилъ чиновникъ,—потому что, видите ли, при самомъ тщательномъ обыскѣ ни у кого во всей этой квартирѣ не оказалось ровно ничего подозрительнаго... бумаги, письма—все это самое пустячное! Къ дѣлу Благопріобрѣтова, которое теперь выяснилось для насъ всестороннее и какъ нельзя полнѣе, этотъ Полояровъ ровно никакого отношенія не имѣетъ. Но вотъ, нашлось тутъ у него одно письмо за подписью Герцена; мы его свѣряли съ нѣсколькими подлинными письмами Герцена, но въ почеркѣ и тѣни нѣтъ сходства! Напротивъ, этотъ почеркъ, очевидно измѣненный нарочно, очень походитъ на почеркъ самого доноса. И притомъ конвертъ—мы знаемъ лондонскіе конверты—этотъ не похожъ ни мало, а просто слишкомъ знакомая всѣмъ наша домодѣльная, гостинодворская работа. Это видно сразу, и оно-то еще болѣе наводитъ на мысль, что письмо не изъ Лондона, а вѣроятно все та же продѣлка.

— Въ такомъ случаѣ,—замѣтилъ Устиновъ,— я еще болѣе прихожу къ убѣжденію, что все это—дѣло чьей-то гнусной шутки, жертвою которой сдѣланы Полояровъ и мое имя.

Чиновникъ, какъ бы соображая и обдумывая что-то, запустилъ руки въ свои либеральныя бакенбарды и плавно сталъ пропускать ихъ между пальцами.

— Это, во всякомъ случаѣ, требуетъ разъясненія,—медленно процѣдилъ онъ сквозь зубы и обратился къ Устинову.—Вы не откажетесь, конечно, въ видахъ собственнаго своего интереса, разъяснить, на сколько возможно, это дѣло?

— Дѣло слишкомъ близко и чувствительно касается моего имени,—подтвердилъ Андрей Павловичъ.—Но какъ же мнѣ разъяснить его, если я самъ пока еще ровно ничего тутъ не понимаю?

— Не знаете ли вы, напримѣръ... не вспомните ли, можетъ, есть кто-нибудь, кто питаетъ и къ вамъ, и къ Полоярову личную вражду, ненависть?

— И ко мнѣ, и къ Полоярову вмѣстѣ? Нѣтъ, такихъ рѣшительно не знаю.

— А ваши личныя отношенія къ нему, въ настоящее время, какого свойства? Совершенно равнодушныя?

— Мм... То-есть, какъ вамъ сказать?..

— Я къ тому васъ спрашиваю объ этомъ,— пояснилъ чиновникъ, съ граціознымъ достоинствомъ поправляя положеніе своего шейнаго ордена на бѣлой сорочкѣ,—что, можетъ быть, тотъ, кто сыгралъ съ вами эту шутку, имѣлъ въ виду, конечно, обставить ее такъ, чтобы все дѣло не противорѣчило вашимъ личнымъ

Digitized by Google

дѣйствительнымъ отношеніямъ къ Полоярову; потому что странно же предположить, чтобы такая продѣлка была сдѣлана отъ имени совсѣмъ посторонняго, незнакомаго человѣка. Вѣроятно, тотъ, кто подписалъ здѣсь ваше имя, разсчитывалъ на какую-нибудь особенность вашихъ личныхъ отношеній къ этому господину, и вотъ почему именно я спрашиваю васъ, какого свойства ваши отношенія: равнодушныя или враждебныя?

— Мм... Враждебныя—это уже было бы черезчуръ много въ отношеніи такого господина, какъ Полояровъ, но конечно, отношенія эти уже никакъ не могутъ назваться дружелюбными.

— Стало быть, скорѣе приближаются къ враждебнымъ?

— Да; пожалуй.

— Не на нихъ ли тутъ и разсчитывалось?

— Не знаю; можетъ быть.

Чиновникъ снова запустилъ пальцы въ бакенбарды и снова сообразительно подумалъ о чемъ-то.

— Какъ вы полагаете,—совѣщательно обратился онъ къ Устинову,—не помогло ли бы отчасти разъясненію ваше, напримѣръ, личное свиданіе съ Полояровымъ? Можетъ быть, переговоривъ съ нимъ, мы бы всѣ вмѣстѣ напали на какія-нибудь нити?—Какъ знать? умъ хорошо, а два лучше, говоритъ пословица.

— Мнѣ все равно; я не прочь, пожалуй,—согласился Устиновъ.

— Въ такомъ случаѣ, я бы просилъ васъ на нѣкоторое время удалиться въ ту комнату... Это будетъ недолго; а когда понадобится, я попрошу васъ опять. Вы тамъ найдете газеты и журналы, если угодно.

Андрей Павловичъ удалился, а чиновникъ сдѣлалъ распоряженіе, чтобы привели арестанта Полоярова.

Черезъ нѣсколько минутъ Ардальонъ предсталъ предъ благонамѣренно-либеральныя бакенбарды солиднаго чиновника, и ему, точно такъ же какъ и Устинову, любезно было предложено то-же самое кресло.

Полояровъ совершенно спокойно, и даже не безъ нѣкоторой рисовки своимъ положеніемъ, занялъ указанное ему мѣсто.

— Вы знаете, что доносъ на васъ сдѣланъ нѣкоимъ учителемъ Устиновымъ?—помолчавъ немного, внезапно спросилъ чиновникъ арестанта.

— Да!—вполнѣ утвердительно кивнулъ головой Полояровъ.

Это «*да*» и такая увѣренная положительность жеста и тона, какими оно сопровождалось, показались чиновнику очень странными.

— Да; это такъ,—подтвердилъ и онъ ему въ свою очередь.—Но вы-то почему это знаете?

Послѣдній вопросъ былъ сопровождаемъ самой благосклонной улыбкой.

— То-есть, я такъ догадываюсь,—поправился Полояровъ,—потому что кому же больше?

— О?.. Такъ значитъ, у этого господина есть какіе-нибудь особые поводы на это?

— Непремѣнно такъ,—подтвердилъ Ардальонъ;—потому что онъ радъ бы меня въ ложкѣ воды утопить, и при томъ же онъ еще въ Славнобубенскѣ, какъ слышно было, любилъ заниматься доносами,—ну, такъ это ему съ-руки болѣе чѣмъ кому-либо!

— Стало быть, вы полагаете, что это сдѣлано изъ личной вражды къ вамъ?

— Не иначе-съ! Чтобы надѣлать мнѣ лишнихъ непріятностей, выставить въ невыгодномъ свѣтѣ предъ правительствомъ. Что же касается меня, — съ видомъ благороднаго достоинства прибавилъ Полояровъ, — я знаю только одно, что я невиненъ и оклеветанъ напрасно.

— А письмо отъ Герцена? — улыбнулся чиновникъ.

— Что же-съ?.. Я ничѣмъ не заслужилъ такихъ похвалъ!.. Я и дѣлъ-то съ нимъ никогда никакихъ не имѣлъ и даже, по моему крайнему убѣжденію, считаю его просто выдохшимся болтуномъ, который даже и вредить-то не можетъ! А мнѣ это письмо принесъ какой-то неизвѣстный въ тотъ самый вечеръ, какъ меня арестовали. Вся бѣда моя только въ томъ, что я не успѣлъ его уничтожить... Я не придалъ ему ровно никакого значенія и посмѣялся надъ нимъ, просто какъ надъ глупостью. Но теперь я вижу ясно, что и оно должно быть тоже Устиновской работы, чтобы вѣрнѣе погубить меня... Но Богъ съ нимъ, съ этимъ милымъ барпномъ!—великодушно махнулъ Ардальонъ рукою и даже вздохнулъ при этомъ:—зломъ за зло платить не хочу и не желаю ему ничего дурного... Богъ съ нимъ! Справедливый законъ, безъ сомнѣнія, увидитъ мою правоту и невинность, и тогда, если я буду освобожденъ, я не стану его преслѣдовать и буду даже тогда просить его сіятельство оставить и забыть все это дѣло... Пусть же лучше его накажетъ собственная совѣсть!

— Это конечно! Наказаніе Божеское сильнѣй человѣческаго,— съ чувствомъ согласился чиновникъ и позвонилъ.

Вошелъ унтеръ-офицеръ.

— Тамъ ждетъ меня въ этой комнатѣ одинъ господинъ... Скажи ему, что онъ можетъ войти.

— Слушаю-съ.

— Прикажете мнѣ удалиться?—приподнялся Полояровъ.

— Сію минуту-съ!—безразлично и вскользь кивнулъ ему чиновникъ, наклонившись надъ кипою своихъ бумагъ и будто отыскивая въ нихъ что-то.

Растворилась дверь и вошелъ Устиновъ.

Ардальонъ вздрогнулъ, вскочилъ съ мѣста, отшатнулся назадъ и поблѣднѣлъ мгновенно.

Онъ могъ бы ожидать чего хотите, но только

Digitized by Google

никакъ не этого появленія въ настоящую минуту.

Величайшее смущеніе покрыло собою всю его фигуру.

Эта внезапность въ одинъ мигъ сдѣлала то, что онъ въ-конецъ растерялся и никакъ не могъ ни овладѣть собою ни собрать своихъ мыслей.

— Господинъ Полояровъ рѣшительно утверждаетъ, что этотъ доносъ написали вы по личной къ нему ненависти,—обратился чиновникъ къ Устинову.—Господинъ Полояровъ даже весьма страннымъ образомъ изумилъ меня, сказавъ сразу самымъ рѣшительнымъ тономъ, что это не кто иной и быть не можетъ, какъ только вы, господинъ Устиновъ.

Краска негодованія выступила на лицѣ учителя.

— Господинъ Полояровъ лжетъ,—съ твердостью проговорилъ онъ, глядя въ упоръ въ смущенное, перепуганное лицо Ардальона.—Соберите всѣ мои письма, записки, рукописи, созовите экспертовъ и они вамъ подтвердятъ, что это наглая ложь! Вотъ, кстати, со мною какъ разъ есть одно мое письмо, я не успѣлъ забросить его въ почтовый ящикъ,—продолжалъ Андрей Павловичъ, вынувъ изъ бокового кармана и сламывая печать.—Вотъ оно! Сличите сейчасъ мою руку, мою подпись... Подписывая доносъ своимъ именемъ, я, конечно, не имѣлъ бы ни малѣйшей надобности измѣнять свой почеркъ. Позвольте же теперь, господинъ Полояровъ, узнать цѣль, съ которою вы это утверждаете?!

— А за-одно ужь,—домекнулся чиновникъ,—мы сличимъ и почеркъ господина Полоярова да и его друзей, — здѣсь, кстати, довольно есть разныхъ писемъ, — авось до чего и доберемся! Сходство нѣкоторыхъ отдѣльныхъ буквъ, какъ тамъ ни измѣняй, а все-таки узнаешь! У насъ вѣдь есть на это и опытные эксперты подъ рукою!

Онъ позвонилъ. Явился унтеръ-офицеръ, которому было приказано позвать какого-го Карла Иваныча.

Вошелъ Карлъ Ивановичъ—благоприличной-благонамѣренной наружности чиновникъ, щупленькій, сивенькій, лѣтъ около пятидесяти, съ орденомъ въ петлицѣ.

— Вотъ, Карлъ Иванычъ, потрудитесь, пожалуйста, сейчасъ же сличить почерки этихъ рукъ,—обратился къ нему обладатель либеральныхъ бакенбардъ, подавая доносъ, Герценовское письмо, письмо Устинова и одинъ листокъ изъ рукописи Полоярова.

Карлъ Ивановичъ, не торопясь протеръ свои толстые золотые очки, методически осѣдлалъ ими востренькій носикъ и сосредоточенно погрузился въ разсмотрѣніе предложенныхъ ему бумагъ.

— Это совсѣмъ посторонняя рука,—сказалъ онъ наконецъ, откладывая въ сторону письмо Андрея Павловича. — А это и это похоже... очень похоже,—объявилъ онъ черезъ нѣсколько времени, указывая либеральнымъ бакенбардамъ на доносъ и письмо отъ Герцена.—Всѣ эти три бумаги писаны одною рукою, компетентно порѣшилъ онъ, наконецъ, сличивъ ихъ съ рукописью Полоярова,—въ этомъ нѣтъ сомнѣнія, потому что, глядите сами, характеръ отдѣльныхъ буквъ—вотъ, напримѣръ: р, б, ж, д, к, т, в,—во всѣхъ трехъ бумагахъ точены и одинаковъ до поразительности. Въ нихъ измѣненъ только наклонъ почерка, но характеръ руки—все одинъ и тотъ же. Я вѣдь уже двадцать лѣтъ этимъ дѣломъ занимаюсь, слава Богу, зубы съѣсть успѣлъ на немъ! — Это одна рука писала, — повторилъ онъ еще разъ тономъ непоколебимаго убѣжденія.

Ардальонъ почувствовалъ себя, въ нѣкоторомъ родѣ, взятымъ за горло и крѣпко притиснутымъ въ уголъ къ стѣнѣ. Все сорвалось, все лопнуло и все уже кончено!.. Гдѣ доводы? Гдѣ оправданія? Что тутъ выдумаешь?.. Ни одной мысли порядочной нѣтъ въ головѣ! Логика, находчивость—все это сбилось, спуталось и полетѣло къ чорту! Пропалъ человѣкъ, ни за грошъ пропалъ!.. Все потеряно, кромѣ... да нѣтъ, даже и «*кромѣ*» потеряно!

— Простите!..Пощадите!..Виноватъ...одинъ... одинъ кругомъ виноватъ!—глухо пробормоталъ онъ дрожащими, посинѣлыми губами, съ безконечно жалкимъ, глубоко-растерянным и перетрусившимъ видомъ приближаясь къ столу чиновника.

— Въ чемъ-съ прикажете простить васъ и въ чемъ вы одинъ виноваты? — методически размѣренно, пунктуально, съ спокойно-ледяной улыбкой спросилъ чиновникъ, привставъ съ мѣста и эластически упираясь на столъ сжатыми пальцами.

Въ головѣ Полоярова точно колесило что-то, въ ушахъ тонко звенѣло и въ глазахъ рябило какими-то плавающими сверху внизъ водянистыми мушками. Онъ смутно и безсмысленно видѣлъ только сверканіе дорогого перстня на упертомъ въ столъ указательномъ пальцѣ своего неприступно и морозно-вѣжливаго допросчика.

— И такъ, спрашиваю васъ еще разъ: въ чемъ прикажете простить васъ и въ чемъ вы одинъ виноваты-съ?

— Я... я... этотъ доносъ... я самъ на себя написалъ его.

Устиновъ, широко раскрывъ и ротъ, и глаза, даже отшатнулся назадъ отъ изумленія: столь неожиданно и нелѣпо было это признаніе! Логика его просто отказывалась понять такое дикое, ни съ чѣмъ не сообразное дѣйствіе.—Доносъ на самого себя!

— А письмо Герцена къ вашей особѣ? — металлически звучалъ между тѣмъ спокойный, ничѣмъ не возмутимый голосъ допросчика.

— Тоже самъ написалъ... сконфуженнымъ

Digitized by Google

шопотомъ пробормоталъ Полояровъ, не зная куда дѣваться отъ двухъ съ разныхъ сторонъ устремленныхъ на него взглядовъ.

— Съ какою цѣлью вы это дѣлали?—допрашивалъ чиновникъ.

— По глупости-съ... Виноватъ... Пощадите... Пощадите!.. Я круглый сирота... Ни отца, ни матери!..

И онъ началъ тяжело всхлипывать. Лицо его искривилось, нижняя губа конвульсивно задергалась, и въ глазахъ показались непритворныя, настоящія слезы...

Дѣйствительно, онъ былъ очень жалокъ въ эту минуту.

— Сядьте... успокойтесь, придите въ себя!—вдругъ предупредительно и мягко заговорилъ чиновникъ, наливая ему въ стаканъ воды изъ граненаго графина.—Выпейте воды... нѣсколько глотковъ—это васъ облегчитъ... Успокойтесь же, успокойтесь!..

Полояровъ почти повалился въ подставленное ему кресло, трясущеюся рукою взялъ отъ чиновника стаканъ и жадно вытянулъ изъ него всю воду. Всхлипыванья стали меньше. Черезъ нѣсколько минутъ онъ сдѣлался гораздо спокойнѣе, но все-таки въ величайшемъ смущеніи чувствовалъ, что глазъ поднять не можетъ ни на своего столь внимательнаго допросчика, ни на глубоко пораженнаго Устинова, и особенно на Устинова.

— Ну, скажите же мнѣ теперь откровенно: что васъ побудило писать на самого себя доносы?—уже мягко и участливо приступилъ чиновникъ къ новому допрашиванью.

— Хотѣлъ быть арестованнымъ,—тихо проговорилъ Полояровъ.

— Но что за цѣль?!.. Кому же пріятно быть арестованнымъ?—пожалъ плечами допросчикъ.

— Такъ...

— Какъ «такъ!» — Этого же быть не можетъ!.. И я увѣренъ, что, сознавшись въ главномъ, вы не захотите скрыть и причинъ. Вѣдь были же причины?!

— Это все Фрумкинъ,—говорилъ Ардальонъ, все такъ-же со смущенно потупленными глазами.—Фрумкинъ вотъ, да еще Малгоржанъ Казаладзе... да Затцъ...

— Ну, да, это все ваши сожители. Такъ что же этотъ Фрумкинъ и прочіе?

— Это все они-съ... Они стали ко мнѣ приставать, что, молъ, всѣ честные и порядочные люди арестованы и сидятъ, а я одинъ хожу на свободѣ, одинъ не арестованъ... Они все приставали и смѣялись надо мною... Мнѣ это обидно сдѣлалось...

— Ну, и что же?

— Я и написалъ. Они говорили, что могутъ только тѣхъ уважать, кто арестованъ... а меня всякаго уваженія лишили... Мнѣ же это обидно и больно было...

— А вы очень развѣ дорожите ихъ уваженіемъ?—улыбнулся чиновникъ.

— Да какъ же-съ... вмѣстѣ живемъ вѣдь...

— Ну, а письмо къ самому себѣ написали?

— Письмо-съ...

Полояровъ запнулся и растерянно поглядѣлъ вокругъ себя опущенными глазами.

— Письмо-съ... Это такъ.

— Ну, вотъ! Опять у васъ это «такъ».

— Да это все поэтому же... Они меня ругали... все-равно какъ за дрянь какую почитали... даже ругать стали мерзавцемъ...

— А вы и написали письмо, чтобы разубѣдить ихъ?

— Да-съ... потому они сейчасъ уважать начинаютъ... Впрочемъ, я все это такъ больше... по молодости и опрометчивости...

— Ну, какая же у васъ молодость, однако!—улыбнулся чиновникъ.—Вы, конечно, не старикъ, но уже и не юноша...

— По опрометчивости-съ... Я, признаться сказать... я въ ненормальномъ состояніи всѣ эти дни находился.

Счастливая мысль блеснула въ головѣ Полоярова. Эта мысль была первымъ проблескомъ возвращавшагося самообладанія, и онъ за нее ухватился.

— Что вы называете ненормальнымъ состояніемъ?—спросилъ чиновникъ.

— Пьянъ былъ-съ... Такъ какъ мнѣ это все очень было горько и обидно, что они меня такъ обзываютъ, то я съ горя-съ... Всѣ эти дни вотъ... И въ этомъ состояніи мнѣ пришла мысль написать письмо и доносъ... Я думалъ, пусть же лучше мнѣ пропадать, чѣмъ терпѣть все это!

— Но для чего же вы подписывали доносъ именемъ господина Устинова?

— Надо же было какъ-нибудь подписать. Это я помнилъ, что безымянный доносъ силы не имѣетъ,—я и подписалъ...

— Но почему же непремѣнно именемъ господина Устинова, а не другимъ?

— Такъ это... Еще въ Славнобубенскѣ слышно было, будто они занимаются доносами... Я это вспомнилъ себѣ и подписалъ... Потому тоже, что никакого другого имени не вспомнилъ себѣ въ ту пору... Я тогда никакъ не предполагалъ, чтобы это все могло такъ обернуться, какъ теперь вдругъ обернулось.

— То-есть, вы разсчитывали, что мы не станемъ разыскивать господина Устинова и не потревожимъ его, чтобы удостовѣриться?

— Да, я разсчитывалъ...

— Ну, надо отдать справедливость, вы разсчитывали на нашу очень... очень большую наивность.

— Пьянъ былъ-съ, — вздохнулъ Полояровъ. — Это съ-пьяну все.

— Однако, нельзя сказать, чтобы доносъ

Digitized by Google

былъ написанъ пьяною рукою,—замѣтилъ чиновникъ, разсматривая бумагу.

— Ей-Богу, пьянъ былъ-съ!.. Богомъ клянусь!.. Рука у меня, впрочемъ, всегда очень твердая.

— Ну, можетъ быть. А вотъ въ письмѣ къ самому себѣ вы пишете, что вы—одинъ изъ немногихъ, которые высоко держатъ знамя демократическаго соціализма въ Россіи. Вы, значитъ, сочувствуете этимъ убѣжденіямъ?

— Ей-Богу, нѣтъ! Видитъ Богъ—нисколько!.. Честное слово! — оторопѣло и торопливо сталъ отнѣкиваться и завѣрять Полояровъ, ударяя себя въ грудь рукою, но все еще избѣгая взглядовъ на Устинова. — Помилуйте, я даже самъ занималъ нѣкогда должность въ полицейской администраціи... Могу ли я! А что я точно, всей душой сочувствую прогрессу, который намъ указанъ самимъ правительствомъ; но чтобы сочувствовать *этому* — Боже меня избави!.. Я, напротивъ, спорилъ съ ними всегда, и они меня за то мерзавцемъ стали обзывать... Это они вотъ сочувствуютъ... Они всѣ сочувствуютъ! Это повѣрьте!

— Кто это они? — спросилъ пунктуальный чиновникъ.

— Они-съ... То-есть Фрумкинъ вотъ, въ особенности... Малгоржанъ, Анцыфровъ, князь Сапово-Ноплохово, госпожа Затцъ, Благопріобрѣтовъ... пояснилъ Полояровъ, стараясь припомнить еще нѣсколько именъ своихъ знакомыхъ.

— Но въ такомъ случаѣ, если вы такъ расходитесь съ этими господами въ убѣжденіяхъ, то для чего же вамъ понадобилось писать къ себѣ письмо подобнаго рода?

— Они же меня ругали, я вамъ докладываю!—съ жалкой миной, развелъ руками Полояровъ.

— Ну такъ вамъ-то что?.. Вы бы плюнули на ихъ брань, и только!

— Мнѣ это очень, говорю, обидно было... Они при томъ же про меня даже печатать хотѣли... Мою гражданскую и литературную репутацію замарать, чтобы никуда моихъ статей не принимали, а я человѣкъ бѣдный... я только моимъ честнымъ трудомъ живу... Мнѣ и ѣсть послѣ этого нечего было бы!

— Ну, стали бы работать въ другихъ редакціяхъ.

— Помилуйте-съ, это невозможно.

— Отчего же невозможно?

— Да какъ же-съ... Они вѣдь противнаго лагеря... У нихъ направленіе совсѣмъ другое... и въ убѣжденіяхъ мы расходимся.

— Да вѣдь вы же расходитесь въ убѣжденіяхъ съ вашими сожителями?

— Это такъ, да все же... Съ другими-то я не знакомъ... и кланяться не люблю.

— Ну, наконецъ, если вы сочувствуете правительственному прогрессу и либерализму, работали бы въ офиціальныхъ газетахъ, въ «Сѣверной Почтѣ», напримѣръ.

— Да что жь, я пожалуй... Я не прочь бы... Если бы это можно было устроить—я готовъ съ своей стороны!.. Почему же?..

Устинову стало ужь очень противно слушать все это. Онъ взялся за шляпу и обратился къ чиновнику:

— Могу я теперь удалиться, такъ какъ дѣло, полагаю вполнѣ уже разъяснилось?

— Pardon!.. Сію минуту-съ!.. съ предупредительной любезностью и даже не безъ извѣстной граціи полуобернулся тотъ къ учителю и снова заговорилъ съ Полояровымъ.—Очень жаль мнѣ васъ, господинъ Полояровъ, но все-таки долженъ я вамъ сказать, что въ результатѣ всего этого дѣла, вы сами приготовили себѣ весьма печальныя послѣдствія.

Выраженіе испуга и тревоги опять отразились въ смущенномъ лицѣ Ардальона.

Вы дозволили себѣ подписаться подъ доносомъ именемъ другого, — продолжалъ чиновникъ,—а вы знаете, какъ это называется и къ какого рода преступленіямъ относится вашъ поступокъ?

— Простите!.. Я прошу милости... Снисхожденія прошу,—забормоталъ Ардальонъ съ какою-то мятущеюся тоскою въ испуганныхъ взорахъ.—Съ пьяну... по глупости-съ... Если возможно, я готовъ чѣмъ угодно искупить мою вину... Все что знаю, все что мнѣ только извѣстно, я могу — какъ передъ Богомъ — безъ утайки... съ полной откровенностью... Я раскаяваюсь... Простите, Бога ради!..

Полояровъ готовъ уже былъ начать плести и впутывать всѣхъ своихъ знакомыхъ, всѣхъ кого знаетъ, всѣхъ про кого могъ только вспомнить что-либо, даже всѣхъ тѣхъ кого и не зналъ лично, но про кого слышалъ что-нибудь такое подходящее, или даже и не подходящее ни къ селу, ни къ городу. Въ случаѣ же надобности, можно, пожалуй, и изобрѣсти нѣчто, основываясь на болѣе или менѣе вѣроятныхъ догадкахъ и предположеніяхъ. — Словомъ, все что можешь—все плети и путай въ дѣло: и нужное, и не нужное, лишь бы самому какъ-нибудь вынырнуть. Бодрость окончательно покинула его. Этотъ арестъ и все это дѣло, казавшіеся такими пустяками на свободѣ, стали теперь страшно пугать его, въ особенности послѣ того, какъ это приняло такой неожиданный оборотъ и какъ пришлось отвѣдать на опытѣ что такое значитъ арестъ извѣстнаго рода. Полоярову стали теперь мерещиться разные страхи: и казематы, и сѣрыя куртки, и ссылки, и всякія мытарства.

Болѣе струсить и пасть духомъ было уже невозможно. Въ эту минуту всѣ эти чувства дошли въ немъ даже до какого-то лихорадочнаго, щекотнаго ощущенія заячьяго страха.

— Простите!.. Простите *вы* меня! — расте-

Digitized by Google

рянно обратился онъ къ Устинову, ловя его руки.—Не сдѣлайте меня несчастнымъ!.. Умоляю васъ!

— Если тутъ можетъ имѣть на сколько-нибудь значенія мой голосъ,—обратился Андрей Павловичъ къ чиновнику,—то я покорнѣйше прошу оставить это дѣло безъ послѣдствій. Я не желаю преслѣдовать господина Полоярова.

— Вамъ, конечно, прежде всего принадлежитъ право преслѣдованія,—замѣтилъ чиновникъ.

— Если только мнѣ, то я отказываюсь отъ этого права.

Устиновымъ овладѣло такое чувство презрѣнія и гадливости и вмѣстѣ съ тѣмъ сожалѣнія къ этому уничтоженному существу, которое стояло теперь передъ нимъ, тщетно ловя его руки, что ему хотѣлось только вырваться поскорѣй отсюда на свѣжій воздухъ, на свѣтъ Божій. Это ужасное, жалкое, оскорбительное для всякаго человѣческаго достоинства положеніе, въ какое поставилъ себя Ардальонъ Михайловичъ Полояровъ, исключало уже возможность негодованія на него. Оно исключало всякую возможность соприкосновенія съ нимъ, даже возможность преслѣдованія его путемъ закона. Можно было только плюнуть и постараться поскорѣе забыть, что бываютъ въ жизни случаи, когда то, что̀ называется человѣкомъ, можетъ падать такъ низко.

Полоярова подъ конвоемъ унтеръ-офицера увели въ его нумеръ.

Устиновъ послѣ этого поспѣшилъ откланяться.

XII.

Добрая овца нашла своего добраго пастыря.

Панъ Анзельмъ рискнулъ и... женился. Все это произошло очень просто.

Однажды вечеромъ, когда офицерскій кабинетъ, онъ же и гостиная, и столовая, и зала, былъ таинственно освѣщенъ лампою подъ темнымъ бумажнымъ абажуромъ и, вмѣстѣ съ хозяиномъ, казалось, представлялъ таинственное ожиданіе чего-то или кого-то, когда вдругъ послышался въ этомъ кабинетѣ тихій шелестъ женскаго платья и то, что когда-то, во времена оны, называлось гармоніей устъ и созвучіемъ поцѣлуевъ,—панъ Бейгушъ, среди страстныхъ изъявленій своихъ восторженныхъ чувствъ, объявилъ, что существованіе врозь другъ отъ друга ужасно тяготитъ его, что долѣе такъ продолжаться не можетъ, или иначе онъ пулю въ лобъ себѣ всадитъ. Вдовушка не на шутку испугалась этой пули. Затѣмъ Бейгушъ изъяснилъ, что онъ на столько горячо ее любитъ, и самая любовь его столь свята, велика, чиста и возвышенна, что онъ хотѣлъ бы не скрывать ее нигдѣ и ни при комъ, хотѣлъ бы гордиться ею предъ цѣлымъ свѣтомъ.—Короче сказать, если вдовушка не хочетъ губить его, сдѣлать на вѣки несчастнымъ, то пусть вмѣстѣ съ сердцемъ возьметъ и руку, пусть вмѣсто любовника назоветъ его мужемъ.

Вдовушка, словно музыку какую, слушала весь этотъ сумбурный пылъ офицерскихъ признаній и восторгалась...

«Ахъ, какъ онъ меня любитъ! Боже мой, какъ онъ любитъ меня!» восхищалась она въ душѣ, упоенная этой музыкой и счастіемъ подобной любви.

«А вѣдь славно будетъ съ такимъ бравымъ красивымъ муженькомъ, въ такомъ щегольскомъ мундирѣ съ бархатомъ, показаться въ собраніи, въ оперѣ, прогуляться подъ-руку по Невскому!» мечтала себѣ Сусанна. «Онъ такая прелесть, я тоже не дурна: да на насъ просто заглядываться будутъ!.. Лидька вся высохнетъ отъ зависти. Воображаю себѣ, какъ это она озлится!.. сейчасъ щучьи зубы свои выставитъ и вся позеленѣетъ... Ахъ, ей-Богу, прелесть! Надо будетъ сдѣлать себѣ новую бархатную шубку съ соболями и соболью шапочку... Ахъ, это будетъ чудо какъ хорошо! Карточки визитныя закажу себѣ: Сусанна Ивановна Бейгушъ... Susanne de Beygouche... Ахъ, какая хорошая фамилія! Кто это такая хорошенькая дамочка?—Это? это madame Beygouche... Ахъ ей-Богу, какое счастіе!»

А панъ Анзельмъ межъ тѣмъ у ногъ ея пламенно требовалъ согласія.

— Сусанна! радость моя!.. шепталъ онъ, обнимая ея колѣни.—Если ты не согласишься быть моею и предъ людьми, и предъ Богомъ—клянусь тебѣ!—вотъ револьверъ! я пущу въ себя всѣ шесть пуль разомъ!.. Клянусь тебѣ въ томъ моею любовью! Всѣ шесть пуль въ эту голову!

«Ахъ, какъ онъ меня любитъ! Боже мой, какъ онъ любитъ меня!» восхищалась простодушная вдовушка и, конечно, поспѣшила дать ему полное свое согласіе: видѣть его пронизаннымъ всѣми шестью пулями разомъ было бы такъ ужасно, такъ жестоко,—могла-ль она не согласиться.

Бейгушъ приказалъ ей молчать обо всемъ до дня свадьбы и особенно въ коммунѣ хранить на этотъ счетъ самую строгую тайну. Она, на другой же день послѣ его предложенія, принесла ему всѣ свои бумаги, необходимыя при вѣнчаніи, а поручикъ дѣятельно сталъ хлопотать у начальства «о разрѣшеніи вступленія въ первый законный бракъ». Начальство препятствій не встрѣтило, и черезъ три недѣли Сусанна Ивановна торжественно перемѣнила фамилію Стекльштромъ на Бейгушъ, а къ тому времени и визитныя карточки, и шубка съ соболями, и шапочка со-

Digitized by Google

болья были готовы, — словомъ все выходило точно такъ, какъ она о томъ мечтала.

Бейгушъ подобралъ четырехъ свидѣтелей: пана грабего, Свитку да двухъ своихъ товарищей-артиллеристовъ (панъ грабя былъ даже его шаферомъ), и такимъ образомъ, безъ торжественнаго шума, безъ лишнихъ глазъ, тихо и скромно повѣнчался въ одной изъ домашнихъ церквей. Къ этому времени у него была уже нанята и омеблирована маленькая, но не дурная, уютная квартирка, куда онъ тотчасъ же перевезъ жену свою. Счастливая и веселая Сусанна называла ее своимъ маленькимъ раемъ. На третій день послѣ свадьбы она, подъ диктовку мужа, написала въ коммуну извѣстное уже письмо и тѣмъ покончила всѣ отношенія къ бывшимъ своимъ сожителямъ.

XIII.

Благородное слово на благородное дѣло.

Прошелъ цѣлый мѣсяцъ—медовый мѣсяцъ супружеской жизни Бейгуша. Сусанна блаженствовала: ее всѣ называли теперь madame Beygouche; на визитныхъ карточкахъ, которыя она поразвозила въ нѣсколько знакомыхъ домовъ ея мужа, стояла даже красивая частица de; бархатная шубка съ шапочкой необыкновенно шли ей къ лицу; она ѣздитъ съ мужемъ и въ собраніе, и въ театръ; нѣкоторые дѣйствительно обращаютъ маленькое вниманіе на красивую парочку, но счастливой, самообольщенной Сусаннѣ это вниманіе кажется огромнымъ и почти всеобщимъ, и она этимъ такъ довольна, такъ счастлива, а у себя дома еще довольнѣй и счастливѣе: мужъ ее такъ любитъ, онъ такъ внимателенъ, такъ нѣженъ, его ласки такъ горячи, такъ полны страсти... Сусанна окончательно привязалась къ своему бравому мужу. За такое счастіе, за такія ласки, добрая, мягкая душа ея стала способна для него на все, на всякій подвигъ, на всякую жертву.

Между тѣмъ къ концу перваго мѣсяца счастливый и столь облюбленный мужъ сталъ порою задумываться... Его начинала смущать именно эта, повидимому, безграничная привязанность Сусанны. Ея крупныя чувственныя губы, ея животно-добрые, сладострастные глаза просили все больше и больше новыхъ поцѣлуевъ, новыхъ ласкъ, а ему все это успѣло уже поприсытиться. Онъ начиналъ чувствовать нѣкоторую тягость и скуку, оставаясь продолжительное время наединѣ съ женою. Говорить съ нею... но о чемъ говорить съ нею? Она только добра, но увы!—не умна ни мало!.. Говорить съ нею не о чемъ, кромѣ какъ о поцѣлуяхъ, о о новой шляпкѣ, о фасонѣ новаго платья, о коммунѣ, о любви да о томъ, какъ была вчера въ театрѣ одѣта такая-то, или такая-то. Бейгушу это подъ-часъ становилось даже досадно, но онъ былъ терпѣливъ, подавляя въ себѣ злобное чувство и стараясь искусственно подогрѣвать себя на новыя нѣжности и ласки.

Какъ-то разъ, находясь въ непріятномъ расположеніи духа и въ грустномъ раздумьи, по поводу этихъ самыхъ причинъ, шелъ Бейгушъ одинъ по Невскому проспекту и нечаянно столкнулся съ паномъ Слопчицкимъ. Панъ грабя на сей разъ былъ въ авантажѣ, одѣтъ изящно и потому добръ, веселъ и изобрѣтателенъ на всякую остроумную штуку.

— А я только вчера изъ Варшавы, говорилъ онъ Бейгушу, фланерски ухватя его подъ руку и направляя праздныя стопы свои въ одну съ нимъ сторону.—Ну, душа моя, дѣла наши идутъ пока отлично! Наѣздъ сконфуженъ, потерялъ и руки, и голову, и носъ опустилъ на квинту!.. Варшава теперь чудо что такое!.. Эдакая пестрота, движеніе, чамарки, кунтуши, конфедератки, буты, то-есть просто душа радуется!.. Доброе времячко! Ну, а ты какъ?.. Что семейная сладость и прочее?.. а?

— Да что, братъ, я тоже опустилъ носъ на квинту!—съ грустной досадой проговорилъ Бейгушъ.

— Те, те, те!.. Что я слышу!? Медовый мѣсяцъ не кончился, а онъ на квинту?.. Или женка не любитъ?

— То-то что черезчуръ уже влюбилась.

— Значитъ, тѣмъ лучше! А веревки вьешь изъ нея?

— И это, пожалуй, можно.

— Ну, такъ пять съ плюсомъ тебѣ за поведеніе! Въ чемъ же дѣло? Или капиталовъ оказалось меньше чѣмъ думалъ?

— Нѣтъ, на этотъ счетъ, слава Богу, не ошибся.

— Э, душа моя, такъ крячи vivat!.. Ей-Богу, просто позавидовать можно человѣку: и любятъто его, и веревки-то онъ вьетъ, и въ капиталахъ не разочаровался, и женка прелесть какая хорошенькая! Да ты, mon cher, просто привередничаешь послѣ этого!

— Да, привередничаешь! — кисловато пробрюзжалъ Бейгушъ.—Связалъ себя по рукамъ и по ногамъ, тогда какъ почти-что равнодушенъ къ женщинѣ!

— Ну, стало быть, и того еще лучше!—подхватилъ панъ грабя.—Если такъ, то тѣмъ легче можешь во всякое время сдѣлать ей ручку и улыбнуться. Капиталы перевелъ уже на свое имя, или нѣтъ еще?

— То-то что нѣтъ.

— Э, братъ, швахъ!.. За это тебѣ изъ поведенія нуль! А еще хвалишься, что веревки вьешь! Чего же ты медлишь-то?

— Да какъ тебѣ сказать!.. Ужасно вѣдь не ловко это... И какъ приступить?.. Вѣдь это ей покажется и странно, и подозрительно, если такъ «ни съ бухты ни съ барахты» ляпнешь ей: переведи, молъ, все состояніе на мое имя!.. А

Digitized by Google

сама она еще не догадалась объ этомъ... Надо какъ-нибудь исподволь, поосторожнѣй да половче, а тутъ, можетъ, ни сегодня—завтра придется браться за дѣло, уходить въ Литву. Вотъ тутъ и раздумывай надъ такою задачей.

— То-есть, по-просту сказать, ты либо деликатничаешь некстати, либо не умѣешь взяться за дѣло,—порѣшилъ панъ грабя.—И при томъ, я понимаю, душа моя!.. Я очень хорошо понимаю тебя!—тебѣ хотѣлось бы прежде всего остаться въ ея глазахъ и вообще выйти изъ этого дѣла джентльменомъ. Не такъ-ли?

Бейгушъ молчалъ и шелъ потупясь.

— Ты молчишь, — продолжалъ, пытливо взглянувъ на него, Слопчицкій;—ну, конечно такъ! Молчаніе есть знакъ согласія. А что ты мнѣ скажешь,—вдругъ полновѣсно и съ торжествующей загадочностью заговорилъ онъ,—что скажешь ты мнѣ, если бы напримѣръ, я, твой пріятель, помогъ тебѣ обдѣлать всю эту исторію такъ, что и деньги завтра-же у тебя въ карманѣ будутъ, и джентльменомъ ты передъ женой останешься?.. Ну-те, пане капитане, отвѣчайте мнѣ!

— Хм... Что-жъ отвѣчать на это!—полусоблазняясь, полунедовѣрчиво усмѣхнулся Бейгушъ.

— Нѣтъ, братъ, ты отвѣть!.. Я вѣдь говорю тебѣ серьезно, не на вѣтеръ! Только ты постой напередъ! Такъ дѣла не дѣлаются. А ты вотъ что: хочешь идти со мной на условіе?

— На какое условіе?—все съ тою же усмѣшкой спросилъ поручикъ.

— Во-первыхъ, обѣдъ у Дюссо съ трюфелями и шампанскимъ,—это прежде всего! Во-вторыхъ, пять процентовъ со всего капитала, который хоть завтра же, при моей помощи, перейдетъ къ тебѣ въ руки.

— Да; но какъ перейдетъ—вопросъ?—усомнился Бейгушъ.

Панъ грабя при этомъ поспѣшилъ даже, хотя пріятельски, но благородно обидѣться.

— Странное дѣло!—воскликнулъ онъ, оскорбленно подфыркивая.—«Какъ перейдетъ?» Неужели же ты можешь предполагать что-нибудь нечестное, неблаговидное!.. Хм!.. Ты, кажется, долженъ бы хорошо знать меня, что я, какъ дворянинъ и порядочный человѣкъ, не въ состояніи предложить ничего неблагороднаго! Объ этомъ даже и думать нелѣпо. Я полагаю, что и ты, и я—оба мы такъ поставлены въ свѣтѣ и по рожденію, и по положенію, и по образованію, что не можемъ сдѣлать ничего такого, за что общественное мнѣніе могло бы набросить на насъ какую-нибудь тѣнь. Если я тебѣ, какъ доброму пріятелю, предлагаю помощь, то понятно, что въ ней нѣтъ ничего компрометирующаго. Я вѣдь только изъ участія къ тебѣ же, а впрочемъ какъ хочешь.

— Ну, вотъ, ты ужъ и обидѣлся, кажись!—поспѣшилъ Бейгушъ поправить свою неосторожность.—Зачѣмъ такъ странно принимать каждое слово! Я, напротивъ—я буду безконечно тебѣ благодаренъ, если ты укажешь путь, чтобъ она сама, добровольно, предложила мнѣ деньги.

— А условіе?—торгуясь, подмигнулъ панъ грабя.—У меня, братъ, дружба дружбой, а деньги деньгами. Даешь пять процентовъ?

— Прекрасно, да съ какой же суммы?—заторговался въ свою очередь и Бейгушъ.

— Съ какой бы ни было! Однимъ словомъ, съ той, какая очутится у тебя въ карманѣ.

— Изволь, даю, но помни: только съ тѣмъ, чтобы жена отдала мнѣ сама доброю своею охотою.

— А то какъ же иначе?—опять подфыркнулъ Слопчицкій.—Такъ пять процентовъ?

— Пять.

— Значитъ, идетъ?

— Идетъ!

— И кромѣ того обѣдъ у Дюссо съ трюфелями и шампанскимъ. Чуръ!—по картѣ я самъ заказывать стану! Это условіе я тоже выговариваю себѣ заранѣе.

— Не прочь и отъ этого,—согласился поручикъ.—Ты заказывать, я платить.

— Вотъ, вотъ оно-то самое и есть!—съ живостью подхватилъ панъ Тадеушъ.—А ты актеръ хорошій?

Бейгушъ посмотрѣлъ на пріятеля съ нѣкоторымъ недоумѣніемъ.

— Это что же значитъ?—спросилъ онъ, смѣясь.

— О! ты не сомнѣвайся,—увѣрилъ тотъ,—это статья очень важная въ нашемъ дѣлѣ... Такъ какъ же,—хорошій?

— Въ любительскихъ спектакляхъ раза два подвизался?

— Ну, и эдакъ тово... въ драмахъ и въ трагедіяхъ?

— Нѣтъ, больше въ водевиляхъ.

— Э... Ну, мы соединимъ водевиль съ трагедіей и закончимъ комической развязкой, къ общему удовольствію, — порѣшилъ веселый и довольный собою панъ грабя.—А насчетъ трагедіи ты можешь?

— Не знаю, не пробовалъ.

— Не пробовалъ?—Такъ вотъ тебѣ первый дебютъ! Впрочемъ, я полагаю, что гдѣ дѣло своего кармана коснется, тутъ ой-ой! всякій человѣкъ, небойсь, отличнымъ актеромъ вдругъ сдѣлается! и въ водевилѣ запоетъ, и въ трагедіи завоетъ! Такъ какъ же,—по рукамъ?

— По рукамъ! уже сказано!

— И исполнено будетъ точно?

— Точно и вѣрно.

— Слово гондремъ?

— Слово гондремъ!

— Ну, давай же, примемся за дѣло!

Digitized by Google

XIV.

Любишь — не любишь.

На другой день послѣ этого разговора у Бейгуша было назначенъ маленькій «вечеръ». Были человѣка два-три военныхъ, Свитка и панъ грабя Слопчицькій. Изъ фамилій офицеровъ, которыми нѣтъ никакой надобности обременять память читателя, ни одна ни оканчивалась на *овъ*, или *инъ*, а все на *ицкій*, *гицкій* и *евичъ*. Изъ дамъ никого не было. Сусанна очень любила дѣлать у себя petites soirées подобнаго рода: ей пока еще нравилась роль молодой хозяйки, ее такъ забавляло сидѣть за чайнымъ столомъ, дѣлать тартинки и разливать гостямъ чай въ свѣтлые, граненаго хрусталя стаканы. Все это было такъ мило, уютно и красиво, послѣ первобытной простоты коммуннаго обихода. Матовый фонарикъ въ гостиной, яркій каминъ, зелень на окнахъ, красивая покойная мебель и мягкіе ковры—все это такъ красило ея новую обстановку, посреди которой, въ роли счастливой молодой хозяйки, она и постороннимъ, и самой себѣ казалась еще прелестнѣе. Сусаннѣ грезилось, что она дѣйствительно нашла теперь свой маленькій рай и свое большое счастье... Все у нея есть: красивый мужъ, у мужа веселые, милые пріятели, есть миленькая квартирка, и сколько свѣжихъ, модныхъ нарядовъ!

Двое изъ офицеровъ спеціально прикомандировали себя къ молодой хозяйкѣ и даже слегка ухаживали за нею, что̀ ей очень нравилось и подавало поводъ къ маленькому кокетству. Сусанна хоть и сильно облюбила своего мужа, но... видя около себя ухаживающаго мужчину—по прирожденной ей слабости, никакъ не могла воздержаться отъ нѣкотораго кокетства: ей хотѣлось, чтобы всѣ безъ исключенія были ею заинтересованы и находили бы ее прелестной.

Остальные, въ томъ числѣ и самъ Бейгушъ, засѣли за столъ, въ невинный ералашъ «по маленькой».

Вечеръ тянулся своимъ чередомъ до ужина, который былъ обиленъ и веселымъ разговоромъ, и добрымъ виномъ. Послѣ ужина гости вскорѣ взялись за шапки и откланялись. Остался одинъ Слопчицькій.

Онъ шутя присѣлъ къ ломберному столу и, промежъ болтовни, прокинулъ направо и налѣво.

— А что, не рискнуть ли на маленькую?— игриво предложилъ ему Бейгушъ.

— Поздно,—взглянувъ на часы, уклонился панъ Тадеушъ.—Вы люди молодые, вамъ и бабай пора!

— Нѣтъ, что̀ за поздно!.. Шутя, двѣ-три таліи, не болѣе!—приставалъ между тѣмъ Бейгушъ. — Садись-ка, садись, пріятель! Дай-ка я тебя вздую немножко на сонъ грядущій!

— Да что жь, я пожалуй... если тебѣ такъ хочется,—не-хотя согласился панъ грабя, вынимая бумажникъ и заложивъ банкъ въ двадцать-пять рублей.

Бейгушъ взялъ колоду и приготовился понтировать. Сусанна полуприсѣла къ нему на ручку кресла и обвила его шею рукою.

— А вы, пани Бейгушóва, не мастерица въ «любишь не любишь»?—шутя обратился къ ней Слопчицькій.

— Я? Нѣтъ, я люблю!—похвалилась она.

— Такъ что жь?.. Не хотите ли поставить карточку?

— О, съ удовольствіемъ!

— Я васъ тоже *съ удовольствіемъ* обыграю! Вѣдь вы истая москѣвка?

— Россіянка pur-sang.

— А я—пòлякъ пюрсанóвы.

— Ну, такъ что жь?

— Э! какъ «что жь»!.. весело подхватилъ панъ грабя.—Я, видите ли, полякъ и ненавижу русскихъ, и потому обыгрываю ихъ въ карты.

Сусанна засмѣялась.

— Да, смѣйтесь! Вотъ и васъ поэтому объиграю. Ну, что̀ вы поставили?

— Я?.. Червонный король!—отозвалась молодая супруга, выбирая карту.

— А что цѣна ему?

— Рубль.

— Э, дешево же вы королей цѣните!.. Вишь, какая, республиканка!.. А ты, душа моя, что ставишь?—обратился онъ къ Бейгушу.

— Анзельмъ, ставь даму! — подтолкнула мужа Сусанна.

— Пожалуй, можно и даму, — улыбнулся Анзельмъ.

— Э?.. И оба червонные!—воскликнулъ грабя, взглянувъ на Бейгушеву карту.—Значитъ, полный марьяжъ! Король и дама—молодая чета. Такъ и слѣдуетъ въ медовомъ мѣсяцѣ! А что̀ идетъ?—вопросительно поднялъ онъ глаза на партнера.

— Тоже рубль! — весело отвѣтила за мужа оживленная Сусанна.

— Однако, послушайте! — серьезно и внушительно предостерегъ ее Тадеушъ, — здакъ вѣдь какъ разъ можно жестоко зарваться! Первыя карты въ рубль! Вѣдь такъ-то и тысячи спустишь въ одинъ вечеръ! Начало въ рубли—во что же конецъ у васъ будетъ? Не уменьшить ли кушикъ?.. а?.. Право, благоразумнѣе будетъ!

— Нѣтъ, нѣтъ! пускай по рублю идутъ!.. По рублю!.. И слышать ничего больше не хочу! Понимаете? Я хочу такъ! Не смѣете мнѣ противорѣчить!—кокетливо и капризнымъ тономъ баловаинаго ребенка притопнула на него Сусанна.

Digitized by Google

— Ну, инъ быть по сему,—со вздохомъ согласился панъ грабя и сталъ метать отчетливо и изящно.

— Дама дана!—возгласилъ онъ, прокинувъ нѣсколько картъ.

Глазами, блещущими отъ удовольствія, Сусанна съ живымъ интересомъ слѣдила за ходомъ игры, быстро ловя взорами выпадающія карты.

— Король битъ! А что?—обратился къ ней Слопчицкій,—а что? Не говорилъ я вамъ, что какъ добрый врагъ, поражаю москалей на картахъ?... Хе-хе!.. А вы мнѣ не вѣрили!.. Ну, такъ вотъ же вамъ! Рублишко имѣю за вами.

Супруги поставили еще по картѣ. Обѣ карты были даны. Успѣхъ еще болѣе оживилъ и подзадорилъ Сусанну. Она загнула уголъ и присоединила нѣсколько очковъ мазу.

Карта снова была дана ей.

Не въ силахъ сдержаться отъ внутренняго удовольствія, она захлопала въ ладоши и радостно засмѣялась какъ ребенокъ.

— Уголъ!.. еще разъ уголъ!—говорила она, выдергивая новую карту.

— Вишь, какая вы азартная, однако!—шутя покачалъ головою панъ грабя.—Съ новой карты да прямо уголъ!

Карта была бита,—Сусаннѣ пришлось разстаться съ выигрышемъ. Поворотъ успѣха ущипнулъ ее и задѣлъ за-живое. Съ разгорѣвшимися щеками и глазами, думая сразу вернуть весь проигрышъ, она поставила на карту равную ему сумму. Карта снова дана. Успѣхъ малый породилъ жажду успѣха бо́льшаго. Она поставила *на пе*—и взяла.

— Э, да вы у меня ужь весь банкъ сорвали!.. Нѣтъ, съ вами бѣда играть! — говорилъ Слопчицкій, передавая ей деньги,—да мало того, еще и приплатиться приходится.

Онъ досталъ бумажникъ и вынулъ сторублевую.

— Ну, меньше нѣтъ. Пожалуйте сдачи, а то и на извозчика не будетъ,—сказалъ онъ, кладя на столъ бумажку. — А можетъ хотите еще попытать счастья?—заманчиво подмигнулъ ей панъ грабя.—Вишь, вамъ все идетъ «любишь да любишь!» Какая, право, счастливая! И въ жизни везетъ, и въ картахъ везетъ, и въ любви везетъ! Такъ что же, угодно еще немножко?

Сусанна, раздраженная уже столь легкимъ выигрышемъ, съ радостью согласилась.

Слопчицкій снова началъ метать съ той особенной отчетливо-изящной граціей и хладнокровіемъ, которыя дѣлали игру съ его особой въ высшей степени пріятною. Въ немъ сразу былъ виденъ опытный, ловкій и свѣтскій игрокъ-джентльменъ. Недаромъ же панъ грабя въ великосвѣтскомъ кругу показывалъ и фокусы порою...

Сначала игра шла съ перемѣннымъ счастіемъ. Бейгушъ игралъ сдержанно и осторожно; зато Сусанна увлекалась безъ мѣры и ставила все крупные куши. Каждый маленькій успѣхъ придавалъ ей рѣшимость и смѣлость дальнѣйшаго риска, а каждая крупная неудача колола подъ сердце, волновала, будила новый азартъ и желаніе отыграться скорѣе, сразу, съ одной карты! Въ ея игрѣ не было ни малѣйшей сдержанности, ни малѣйшаго благоразумія, такъ что панъ грабя только улыбался да головой покачивалъ, глядя на азартныя выходки ретивой партнерки.

Но чѣмъ далѣе шла игра, тѣмъ все болѣе склонялось счастіе на сторону банкомета. Онъ убилъ уже подъ-рядъ нѣсколько крупныхъ картъ Сусанны.

— Ну, однако, матушка, баста!—рѣшительно и серьезно остановилъ ее Бейгушъ.—Еще и четверти часа не прошло, а ты уже шестьсотъ рублей спустить успѣла! Ступай-ка спать лучше! Теперь только въ пору мужу поправлять твои грѣхи. Надо отыгрываться!

— Нѣтъ, я хочу еще!.. Я сама буду!—настойчиво говорила Сусанна, словно совсѣмъ хмѣльная отъ своего азарта.

— Ну, не дури же, Сусанна!.. Это глупо, наконецъ! — насупилъ брови Бейгушъ.—Я говорю тебѣ серьезно. Вѣдь подумай: шестьсотъ рублей въ какія-нибудь пятнадцать минутъ!

— Да я не дальше какъ двѣ минуты назадъ была триста въ выигрышѣ! — возражала она.

— Ну, то было да сплыло.

— Но я хочу играть! — притопнула молодая супруга.

— А я не хочу,—рѣшительно возразилъ ей супругъ.

— Графъ! мечите же!.. Я играю!—настойчиво обратилась она къ Тадеушу.

Тотъ положилъ карты на столъ и сидѣлъ сложа руки.

— Мечите же, графъ, говорю вамъ!

— Полноте, Сусанна Ивановна!.. Что за ребячество!—увѣщательно заговорилъ онъ. — Я рѣшительно не стану болѣе метать для васъ.

— Но я требую!

— А я не стану.

— Ну, я прошу... Графъ, слышите ли?— Я, я *прошу* васъ.

— А я все-таки не стану.

— Но это, наконецъ, невѣжливо.

— Пусть такъ! И пусть я буду невѣжей, а метать все-таки не стану вамъ.

Сусанна съ сердцемъ бросила на столъ свои карты.

— Ну, это наконецъ уже выходитъ изъ всякихъ границъ!—поднялся Бейгушъ съ мѣста.— Ступай спать, говорю тебѣ. Я этого требую, Сусанна, или мы серьезно поссоримся.

Онъ проговорилъ все это рѣшительнымъ и строгимъ тономъ. Въ недовольномъ взорѣ его свѣтилась непреклонная, мужская воля.

Digitized by Google

Сусанна взглянула на него и, какъ ребенокъ, пойманный на шалости, робко и сконфуженно потупилась. Ее до сихъ поръ никто еще въ строгихъ рукахъ не держалъ, а она, напротивъ, любила строгія руки. Это-то именно и нравилось, и было ей любо въ мужчинѣ.

Бейгушъ молча обнялъ ее за талію и повелъ изъ комнаты въ спальню.

— Будь же умница и ложись-себѣ! — полунѣжно и полустрого сказалъ онъ ей.—Шестьсотъ рублей—шутка ль сказать! Помолись лучше Богу, чтобъ я отыгралъ ихъ поскорѣе, тогда скорѣй и къ тебѣ приду!

И поцѣловавъ ее въ лобъ, онъ спокойно вернулся къ Слопчицькому.

Игра началась снова.

Но Сусанна не раздѣлась и не легла. Она походила изъ угла въ уголъ, посидѣла на кушеткѣ, снова походила и снова посидѣла, но наконецъ не вытерпѣла: осторжно на цыпочкахъ вышла въ гостиную и оттуда, притаясь за портьерой, стала глядѣть на играющихъ. Ужь ей теперь хотѣлось, чтобъ они поскорѣе кончили. Но игра продолжалась и, повидимому, очень серьезно. Счастіе было на сторонѣ Слопчицькаго.

Сусанна постояла минутъ съ десять и тихо удалилась въ спальню.

Бейгушъ, по шороху въ смежной комнатѣ, очень хорошо слышалъ ея присутствіе, но и виду не показалъ, что замѣчаетъ ее. Напротивъ, чувствуя, что она стоитъ и смотритъ изъ-за портьеры, онъ, ероша рукою волосы, устроилъ себѣ серьезную и даже озлобленную физіономію и еще внимательнѣе погрузился въ игру.

Слопчицькій улыбнулся и не безъ коварства кивнулъ на дверь по уходѣ Сусанны.

А она, между тѣмъ, все еще не ложилась. Уютно помѣстясь на кушеткѣ, съ поджатыми подъ себя ножками, она принялась за какой-то романъ Поль-де-Кока,—писателя, котораго отъ души находила теперь несравненно занимательнѣй всѣхъ Дарвиновъ и Боклей на свѣтѣ. Но и чтеніе на сей разъ какъ-то не давалось ей. Нетерпѣливое ожиданіе—скоро ли тамъ наконецъ, кончатъ, скоро ли мужъ придетъ, и вмѣстѣ съ тѣмъ Евино любопытство узнать, что тамъ дѣлается и какъ идетъ игра, заставили ее, спустя часъ времени, снова на цыпочкахъ выйти въ гостиную и помѣститься за портьерой.

Они все еще играли. Предъ обоими стояло по стакану краснаго вина; множество гнутыхъ картъ валялось подъ столомъ. Злобно сжимая въ зубахъ сигару, Бейгушъ, повидимому, такъ взволнованно и тревожно ставилъ карту за картой, а панъ грабя билъ ихъ такъ отчетливо, хладнокровно и изящно. Счастіе рѣшительно повернулось спиной къ поручику.

Вдругъ онъ, какъ-будто замѣтя чье-то присутствіе за портьерой, раза два строго и вглядчиво вскинулъ туда злые глаза и закричалъ, будто выведенный изъ терпѣнья.

— Ступай же, наконецъ, спать Сусанна!

Молодая супруга даже струхнула предъ этимъ взглядомъ и голосомъ и, надувъ губки, окончательно уже удалилась къ себѣ, помѣстилась передъ зеркаломъ и медленно стала раздѣваться.

«А вѣдь, ей-Богу, я еще прехорошенькая!.. превкусная!» съ наивно свѣтлой улыбкой подумала она, глядя на себя въ зеркало, на свои глаза, блещущіе отъ давешняго волненія, на эти свѣжія, красивыя плечи и на эти волнистые, роскошные волосы, упавшіе въ ту самую минуту густыми, тяжелыми прядями на стройную спину.

XV.

На что оказалась способною Сусанна.

Въ залѣ между тѣмъ продолжалась игра.

Сусанна не-хотя, медлительно раздѣлась, не-хотя легла въ постель, не-хотя принялась за книжку. Но вскорѣ строки стали двоиться, пестрить, рябить и сплываться въ глазахъ, книжка неслышно выпала изъ руки на одѣяло— Сусанна заснула.

Сонъ ея былъ не совсѣмъ-то покоенъ. Раза два просыпалась она, широко раскрывала сонные глаза, осматривалась вокругъ—все одна... мужа нѣтъ еще. «Ахъ Боже мой! что́ это они тамъ!.. Надо бы сходить посмотрѣть», думаетъ она, но сонъ моритъ, сладко смыкаетъ вѣки, оковываетъ волю—и она снова засыпаетъ.

Когда въ третій разъ проснулась Сусанна, свѣча совсѣмъ ужь оплыла и догорѣла, сквозь занавѣску пробивался свѣтъ утра, а мужа все еще не было.

Крайне встревоженная и даже раздосадованная послѣднимъ обстоятельствомъ, она наскоро вдѣла въ туфли босыя ножки, торопливо накинула на плечи шлафрокъ и пошла въ залу.

Тамъ, къ удивленію ея, никого уже не было. Одинъ только раскрытый столъ, разбросанныя карты, мѣлки и щетки да роспитая бутылка свидѣтельствовали о недавней игрѣ.

Сусанна подумала, что мужъ ушелъ изъ дому вмѣстѣ съ Слопчицькимъ, и заглянула въ переднюю: шинель висѣла на своемъ обычномъ мѣстѣ и пальто тоже.

Она разбудила человѣка.

— Баринъ ушелъ куда?

— Никакъ нѣтъ... Они дома.

— Гдѣ же онъ?

— Не знаю-съ... Я хотѣлъ раздѣть ихъ.— они сказали, что сами, и прошли въ кабинетъ.

«Милый!» подумала Сусанна.. «Это онъ не хотѣлъ меня потревожить».

Она подошла къ двери кабинета и взялась

Digitized by Google

за ручку—дверь оказалась запертою на замокъ. Она заглянула въ скважину —заперто изнутри и ключъ въ замкѣ оставленъ.

«Странно!.. зачѣмъ ему вдругъ пришла охота запираться?» подумалось ей.

Въ эту минуту въ кабинетѣ послышались шаги, тихіе, осторожные, съ явнымъ намѣреніемъ скрыть малѣйшій шелестъ, но Сусанна очень хорошо ихъ слышала.

— Анзельмъ!.. Ты не спишь?.. Отвори мнѣ!— сказала она, снова потрогавъ ручку.

— Въ кабинетѣ никто не откликнулся и шаги тотчасъ же окончательно притихли.

— Анзельмъ! Ты слышишь?.. Отвори мнѣ... Это я!—повторила Сусанна.

И снова ни отклика, ни звука.

Это ее встревожило. Въ сердце кольнуло предчувствіе чего-то недобраго.

— Анзельмъ! Отвори мнѣ сейчасъ, говорю тебѣ!—настойчиво и громко заговорила она, съ силою дергая дверную ручку, такъ что если-бъ Анзельмъ даже спалъ глубокимъ сномъ, то не могъ бы не проснуться отъ стука и шума.

Опять ни отклика и звука, словно бы въ кабинетѣ и нѣтъ никого.

— Анзельмъ! Я буду кричать... Я стану ломиться, созову людей, если ты сейчасъ же не отворишь!—нервно и со слезами въ голосѣ закричала испуганная Сусанна.

— Ступай и ложись... Я сейчасъ приду къ тебѣ... тихо отвѣтилъ Бейгушъ изъ-за запертой двери.

— Отвори мнѣ, говорю тебѣ!.. Я не уйду отсюда, пока ты не отворишь!

И она съ новой силой стала дергать за ручку.

— Анзельмъ!.. Анзельмъ!—раздавались подъ дверью ея громкіе истерически-рыдающіе крики!

Ключъ щелкнулъ въ замкѣ, и Сусанна въ тотъ же мигъ стремительно растворила себѣ двери.

Предъ нею стоялъ мужъ — блѣдный, со взъерошенными волосами, съ явнымъ разстройствомъ въ омраченномъ лицѣ.

Сусанна зоркимъ окомъ окинула мужа и комнату: на столѣ лежалъ револьверъ, кучка пороху съ двумя-тремя пулями на листѣ бѣлой бумаги и недописанное письмо.

— Анзельмъ... что это значитъ?—оторопѣло проговорила она, переводя бѣглые, взволнованные взоры съ лица своего мужа на всѣ эти предметы, прежде всего кинувшіеся ей въ глаза.

Тотъ не отвѣчалъ и, отвернувшись отъ жены, мрачно прошелся по комнатѣ.

Сусанна быстрымъ движеніемъ схватила со стола револьверъ и сунула его въ карманъ шлафрока, а потомъ разсыпала на полъ весь порохъ съ листа бумаги и взялась за письмо.

Бейгушъ, въ величайшемъ изнеможеніи какъ бы уставши и видѣть, и понимать что вокругъ него происходитъ, погрузился въ кресло и, положивъ на столъ руки, опустилъ на нихъ отяжелѣлую голову.

Сусанна жадными, тревожными глазами забѣгала по строчкамъ его писанья.

«Милая и неоцѣненная моя Сусанна! Прощай! Прощай на вѣки и не кляни, а прости своего несчастнаго мужа. Я не стою тебя — я сознаю это — и потому не долженъ, не имѣю болѣе права жить на свѣтѣ. Мнѣ остается только одно: пустить себѣ въ лобъ пулю, что я и исполню сейчасъ же. Боже мой! Еслибъ ты знала, какъ я несчастенъ и какъ я люблю тебя — тебя, моя добрая, красивая, нѣжная!.. Чего бы не далъ я теперь за новую возможность наслаждаться съ тобою и жизнью, и счастіемъ!.. А жизнь только-что стала такъ весело и привѣтно улыбаться намъ обоимъ, сулила столько счастія, столько радостей и блаженства взаимной любви!.. И увы! всему конецъ теперь!.. Будь проклятъ тотъ часъ, когда дьяволъ подтолкнулъ меня сѣсть за зеленый столъ! Теперь въ расплату за все, я отдаю ему свою душу. Но ты, моя чистая, прекрасная голубица, послѣ того какъ трупъ мой, лишенный христіанскаго погребенія и зашитый въ рогожу, будетъ брошенъ въ яму на собачьемъ кладбищѣ, вмѣстѣ со всякою падалью, — ты не прокляни меня, но прости и помолись, какъ добрый ангелъ, за мою погибшую душу!.. Шутя сѣвъ играть, я проигралъ Тадеушу сорокъ тысячъ. Карточный долгъ для каждаго порядочнаго человѣка есть долгъ священный, а я — увы!.. я нищій! Я ничего не имѣю кромѣ моихъ эполетъ, которыя не хочу покрывать позоромъ: я не хочу, чтобы кто-либо могъ указать на меня пальцемъ какъ на несостоятельнаго игрока. Я сдѣлалъ подлость, позволивъ себѣ увлечься до такой цифры, тогда какъ самъ не имѣлъ возможности уплатить, и за эту подлость долженъ быть наказанъ. Мнѣ не остается ничего болѣе, какъ умереть. И чѣмъ скорѣй, тѣмъ лучше. Прощай же, моя несравненная, моя...»

На этомъ мѣстѣ письмо прерывалось.

Сусанна громко рыдала, читая эти строки, а Бейгушъ все сидѣлъ неподвижно, положивъ на руки свою голову и, казалось, ничего не видѣлъ и не слышалъ.

Она подбѣжала къ нему и обвила его шею.

— Анзельмъ!.. Безумный ты!.. Милый... Да подыми же голову!.. И тебѣ не стыдно? не совѣстно? Развѣ мое состояніе не твое?.. Я твоя и все твое!.. все! все! Бери все у меня!— въ страстномъ и нѣжномъ порывѣ говорила она, стараясь поднять его голову.—Анзельмъ! Да откликнись же! Взгляни!.. Ахъ, да не пугай же ты меня!.. Господи! что это съ нимъ!

И она зарыдала, припавъ къ плечу его.

Digitized by Google

Онъ поднялъ голову и ласково провелъ рукою по волосамъ жены.

— Полно, Сусанна... полна, милая! тихо, но безнадежно-грустно проговорилъ онъ.—Что сдѣлано, того не поправишь!.. Успокойся же...

— Нѣтъ, поправишь! поправишь!—съ новой силой убѣжденія воскликнула она, оживленная этими знаками пробужденія и участія къ ней,— поправишь, мой милый! Сейчасъ же поѣдемъ въ банкъ, вынемъ сорокъ тысячъ — и ты отвези ихъ!.. И о чемъ убиваться!?.. Боже мой, ну не все ли равно?.. Ну, разъ проигралъ, въ другой ужь не будешь!.. Ну, и полно же, Анзя мой! ну, прояснись! ну, улыбнись мнѣ, солнышко мое!.. Ну же?.. ну?..

И она, смѣясь и улыбаясь сквозь слезы, съ нѣжностью старалась заглянуть ему въ отуманенные глаза, какъ бы выжидая отвѣтной улыбки, но онъ грустно и отрицательно покачалъ головою.

— Нѣтъ, Сусанна... благодарю тебя, но... я никогда не возьму твоихъ денегъ!.. Ты, можетъ быть, потомъ раскаешься въ этомъ добромъ порывѣ... Какъ знать!.. Ты можешь разлюбить меня, разойтись со мною... да и мало ли что!..

— Разлюбить тебя!.. Тебя-то?.. Розойтись съ тобой!—воскликнула она, порывисто отклонясь отъ него.—Сумасшедшій ты!.. Что это ты бредишь!.. Нѣтъ, ужь разъ что ты мой, такъ ужь мой навсегда!.. Я покаюсь!.. Ха, ха, ха!.. Я покаюсь, что спасла тебя отъ смерти для самой же себя!—Нѣтъ, ты нынче рѣшительно съ ума сошелъ, мой милый. Вотъ тебѣ мой сказъ: вынь изъ банка деньги и отвези ему. Я тебѣ велю это... Я тебѣ приказываю. — Слышишь.

— Ребенокъ!.. добрый ребенокъ! И всю жизнь ты будешь ребенкомъ!—грустно усмѣхнулся онъ.—Все отдать за одну ночь подлаго увлеченія!.. Все твое состояніе!.. Нѣтъ, не хочу, Сусанна!

— А я хочу!.. И во-первыхъ, вовсе не все состояніе: у насъ остается около десяти тысячъ. Ну, что-жь?—мы еще молоды, ты будешь служить, я трудиться, — проживемъ какъ-нибудь!

«Глупая, но добрая бабенка!» не безъ чувства подумалъ въ душѣ Бейгушъ и поцѣловалъ Сусанну.

— Такъ что же?.. Берешь ты эти деньги?.. Они твои... Ну, если такъ не хочешь—я дарю тебѣ ихъ!.. Можешь дѣлать съ ними что угодно! Мнѣ, кромѣ тебя, ничего не нужно. Они твои, говорю тебѣ!

— Эй, покаешься!—еще разъ предостерегъ ее Бейгушъ, но уже видимо прояснѣнный и успокоившійся.

— Ну, ужь покаюсь ли, нѣтъ ли—это мое дѣло! — порѣшила она, — только я отъ своего слова не отступлюсь!

Обрадованный мужъ крѣпко сжалъ ее въ объятіяхъ и зацѣловалъ безчисленными поцѣлуями.

Сусаннѣ только этого и нужно было. Она вѣрила въ свѣтлое будущее, вѣрила въ возможность прожить хорошо и счастливо безъ копейки, то-есть вѣрнѣе сказать, едва ли понимала она, что значитъ жизнь безъ копейки, съ вѣчнымъ трудомъ и заботой. Доселѣ испытывать этого ей еще не доводилось, и потому взглядъ ея на жизнь былъ легокъ, и поверхностенъ. Съ ея расплывающейся добротой, съ ея распущенною безпечностью ей нужно было только ласкъ человѣка, котораго она любила въ данную минуту.

«А какъ видно, порядочный-таки дуракъ былъ этотъ восточный кузенъ», подумалъ про себя Бейгушъ. «Вѣдь ужь давнымъ-давно могъ бы обобрать ее, какъ липку!»

— Ну, моя спасительница! Спасибо тебѣ!—говорилъ онъ вслухъ.—Ты просто мой добрый геній, мое провидѣніе! Пятью бы минутами позднѣе—и всему конецъ.

— Но ужь впередъ такой глупости не будетъ... Нѣтъ? не будетъ? Поклянись мнѣ! поклянись всѣмъ, что тебѣ всего дороже на свѣтѣ!—горячо приступила она къ мужу, не выпуская его изъ объятій.—А ужь этотъ проклятый пистолетишко! Ужь погоди жь ты: я его такъ теперь упрячу, что ужь никогда не найти тебѣ!.. Нѣ-ѣтъ, ужь это кончено!

Въ то же самое утро молодые супруги вынули изъ банка сорокъ тысячъ.

XVI.

Чего никакъ не могъ предвидѣть панъ грабя.

Итакъ, поздравляю! въ тебѣ есть положительный драматическій талантъ!—весело похвалилъ панъ грабя пана Анзельма, наслаждаясь тонкимъ обѣдомъ въ одномъ изъ отдѣльныхъ кабинетовъ ресторана Дюссо.—И что-жь ты теперь сдѣлаешь съ этими деньгами?

— Очень просто: придется переложить ихъ на свое имя,—повѣдалъ пану Тадеушу панъ Анзельмъ.

— Благоразумно! апробую!—ещеразъ похвалилъ Тадеушъ.

Это было на другой день послѣ только-что описанной исторіи. Бейгушъ свято держалъ свое слово: панъ грабя получилъ пять процентовъ и тонкій обѣдъ по собственному заказу.

— И такъ-таки сразу сама предложила?—продолжалъ онъ.

— Предложила, подарила, умолила, заставила взять; все, что ты хочешь,—подтвердилъ поручикъ.

— Ага!.. Теперь, душа моя, видишь, какой я вообще тонкій знатокъ женскаго сердца?—похвалился грабя.

Digitized by Google

— Вижу, и отдаю полную справедливость!

— Но этого мало: я еще къ тому и великодушный другъ! Другой за такую науку слушлъ бы съ тебя не пять процентовъ; но я и этимъ доволенъ. Я доволенъ въ особенности тѣмъ, что, оказавъ маленькую услугу тебѣ, какъ доброму другу, вмѣстѣ съ тѣмъ оказалъ услугу и нашему дѣлу. Теперь у тебя, по крайней мѣрѣ, руки развязаны, а то что бы ты сталъ дѣлать въ рѣшительную минуту?!.. Намъ, братъ, нужны теперь средства, и охъ-какъ нужны!— съ серьезнымъ вздохомъ подтвердилъ Слопчицькій.—Фундушъ народовый и народова офяра—это все прекрасно, но на всякій случай не мѣшаетъ здакъ, знаешь, ощущать въ своемъ карманѣ свой собственный капиталъ. Скрывать отъ самихъ себя нечего: дѣло, во всякомъ разѣ, очень рисковое!

— Это такъ, — согласился Бейгушъ, — но знаешь ли, была минута, когда я серьезно готовъ былъ отступиться отъ нашего плана и отказаться отъ денегъ и отъ всего!

— Э! это ужь не хорошо!.. Не одобряю!—замѣтилъ грабя, качая головой. — Тогда бы ты, значитъ, лишилъ меня удовольствія скушать съ тобою этотъ обѣдъ. За что же такъ?.. Это ужь было бы не по-пріятельски!

— Но я бы тебя поставилъ на мое мѣсто! Вѣришь ли, она такъ искренно, такъ свято и безкорыстно предложила мнѣ эти деньги, что мнѣ просто стало совѣстно. — За что я, думаю себѣ, такъ жестоко обманываю ее?.. Ахъ, другъ мой, еслибъ она была немножко поумнѣе и еслибъ немножко поменѣе меня любила, все это было бы гораздо легче сдѣлать!

— Но вѣдь и теперь, сколько я вижу, не особенно трудно,—замѣтилъ Слопчицькій.

— Что говорить про то!—подхватилъ Бейгушъ,—но мнѣ-то самому, мнѣ, моей совѣсти трудно—пойми ты это!

— А, вотъ оно въ чемъ дѣло!—насмѣшливо, но серьезно улыбнулся Тадеушъ. — Ну, братъ, берегись! Ты, я вижу, москалиться начинаешь!.. Эдакъ, пожалуй, когда они опять станутъ насъ грабить и рѣзать, тебѣ тоже совѣстно сдѣлается, и ты будешь просить у нихъ прощенья за ихъ же преступленія?

— Это совсѣмъ другое, — возразилъ Бейгушъ!—Тѣ наши враги, и мы ихъ ненавидимъ; но это моя жена, которая меня любитъ.

— А ты ее любишь?—все тѣмъ же насмѣшливымъ, но серьезнымъ тономъ спросилъ Слопчицкій.

— Она жена моя, — уклончиво отвѣтилъ Анзельмъ.

— А къ какой націи имѣетъ честь принадлежать ваша супруга? И чего ради въ сущности женились вы на ней?

— Это все такъ; это все я очень хорошо знаю,—согласился Бейгушъ,—но, другъ мой, ей-Богу, я не ожидалъ столько самоотверженія!

— По глупости, прости за откровенность. Самоотверженіе по глупости! Такая ему и цѣна!

— Нѣтъ, по любви!—не безъ самохвальной горделивости возразилъ поручикъ.

— Ну, и по любви!.. Не въ послѣдній разъ! На твой вѣкъ хватитъ еще женской любви, съ избыткомъ! Ну, и ты тоже люби ее за это, пока любится, — надоѣдите же когда нибудь другъ другу. Но позволь спросить безъ обиняковъ: кого ты больше любишь—Польшу или Сусанну?

— Объ этомъ не можетъ быть даже и вопроса!—съ достоинствомъ промолвилъ поручикъ.

— А не можетъ быть вопроса, значитъ не можетъ быть и сомнѣній и колебаній, значитъ нѣтъ и выбора,—порѣшилъ панъ грабя.

— Пусть такъ, но все же... раздумчиво проворилъ Бейгушъ,—все же какой-то бѣсъ смущаетъ меня... шепчетъ мнѣ, что это...

— Ну?.. Что же именно «это»? — выжидательно глядя на состольника пытающимъ взглядомъ, спросилъ Слопчицькій.

— Что это не хорошо!—съ тяжелымъ вздохомъ, но рѣшительно докончилъ Бейгушъ.

— Мало того, что не хорошо, пусть будетъ это даже подлость и преступленіе! Допускаю; пусть такъ!—говорилъ Тадеушъ, сдвинувъ свои брови.—Но подлость противъ заклятаго, потомственнаго врага не есть подлость! Преступленіе противъ москаля не есть преступленіе! Это есть законная, святая месть! Это есть подвигъ.

— Но вѣдь тутъ женщина!.. любящая женщина!—защищался Бейгушъ, и въ тонѣ его дрогнуло даже что-то похожее на внутреннее страданье.

— Эта женщина не полька.

— Не все-ль равно?!

— Нѣтъ, не все!—горячо вступился Тадеушъ.— Еслибъ это была полька, — о, да! такой поступокъ противъ нея былъ бы величайшею низостью. Но любовь москѣвки я не признаю любовью! Жабы любить не могутъ и ихъ любить невозможно! Если полька выходитъ замужъ за москаля,—это горько, но это я еще понимаю: она можетъ на пользу родинѣ вліять на мужа, парализовать его вредную дѣятельность, можетъ дѣтей своихъ воспитать честно, сдѣлать изъ нихъ добрыхъ поляковъ. Но много-ль честныхъ поляковъ женятся на москѣвкахъ? — Это рѣдкія исключенія. И если ужь полякъ допустилъ себя до подобной женитьбы, то развѣ ради какихъ нибудь особыхъ и важныхъ цѣлей, а иначе это подлость, измѣна своимъ, измѣна родинѣ, для которой и онъ, и все его потомство погибли навсегда и безвозвратно! А если ты не доглядѣлъ за собою, если ты полюбилъ безъ расчета, такъ не будь же тряпкой и постарайся вырвать изъ себя это чувство, потому что оно марaетъ, оно позоритъ тебя!

Анзельмъ молчалъ нахмурясь и медленно тянулъ вино изъ уемистаго стакана.

Слопчицькій поглядѣлъ на него, улыбнулся

Digitized by Google

и, хлопнувъ его по плечу, перемѣнилъ свой горячій, фанатически-суровый тонъ на прежнюю пріятельски-веселую и насмѣшливо-беззаботную ноту.

— Эхъ, дружище,—заговорилъ онъ, чокаясь о край стакана своего пріятеля, — кажется, вѣдь оба мы съ тобой воспитывались когда-то въ Вильнѣ у превелебныхъ отцовъ миссіонаржей [1]), и хоть были они—между нами будь сказано—скоты препорядочные, но я ихъ уважаю! Во-первыхъ, жить умѣли, во вторыхъ, пить умѣли, а въ третьихъ, все-таки были добрыми, если не лучшими патріотами, и то что они въ меня насадили, то во мнѣ крѣпко живетъ, и никакимъ московскимъ вдовушкамъ, ни графинямъ, ни княгинямъ ни чиновницамъ, ни танцовщицамъ этихъ корней изъ меня не вырвать! А ты, какъ видно, забываешь ментор-скія назиданья... Это не хорошо, дружище!.. Встряхнись!

Бейгушъ вернулся домой съ обѣда не въ веселомъ расположеніи духа. Онъ много выпилъ, но вино не дало ни хмѣлю, ни облегченія: оно только болѣзненно-тяжело подѣйствовало ему на организмъ и принесло еще болѣе мрачное настроеніе.

Сусанна, по обыкновенію, встрѣтила его любовно и беззаботно. Со вчерашняго утра ни тѣни упрека, ни тѣни сожалѣнія о безпутно утраченныхъ деньгахъ не встрѣтилъ онъ въ этой женщинѣ. Она была съ нимъ какъ и всегда, словно бы ничего такого и не случилось, словно жизнь и не должна теперь ни на волосъ измѣниться; напротивъ, Сусанна какъ будто стала еще теплѣе и мягче, еще любовнѣе съ нимъ, оттого что для нея была ужасна мысль потерять его на вѣки. Она не сознавала, но чувствовала, что съ той минуты, какъ спасла его отъ смерти и сохранила для самой себя, онъ сталъ ей еще милѣе и дороже. Странное дѣло,—но то что въ первое время ихъ близкихъ отношеній было для нея не болѣе какъ прихотью, капризомъ, новымъ развлеченіемъ отъ надоѣвшаго кузена, то съ теченіемъ времени, и особенно послѣ свадьбы, стало для нея дорогимъ и завѣтнымъ. Это уже было свое, родное. Капризъ и прихоть незамѣтно перешли въ чувство любви, въ отрадное ощущеніе надъ собою болѣе разумной, болѣе крѣпкой воли и силы.

Замѣтивъ, что мужъ не совсѣмъ-то здоровъ, Сусанна, безъ воркотни, безъ неудовольствія, уложила его въ постель и почти всю ночь, какъ добрая сидѣлка, нѣжно, кротко и терпѣливо ухаживала за нимъ, охраняла его покой, предупреждала малѣйшій взглядъ, малѣйшее желаніе.

Все это минутами еще болѣе коло и щемило душу Бейгуша. Давешнія убѣжденія и доводы пана *граб го* разбивались объ это простое даже мало сознающее себя чувство любви и безграничной привязанности, которое такимъ яркимъ огнемъ горѣло для Анзельма въ сердцѣ Сусанны. Но чѣмъ яснѣй дѣлалось въ немъ сознаніе этого простого и столь глубокаго чувства, тѣмъ хуже и темнѣй на душѣ становилось ему, тѣмъ гнуснѣе представлялась недавняя комедія съ деньгами...

«О, какъ же я подлъ и низокъ передъ нею!» посылалъ онъ себѣ мысленные упреки.

И послѣ этого каждый новый знакъ участія и вниманія жены, какъ капля растопленнаго свинца, жегъ и колюче пронизывалъ его душу. Въ эти минуты въ немъ, быть-можетъ помимо собственной его воли, но одною только неотразимою силою жизненнаго факта, совершался внутренній переворотъ: изъ грязи паденія, оправдываемаго принципомъ народной, исторической вражды, выростало хорошее, честное чувство уваженія, любви и благодарности. *Москевка* ужь не существовала: предъ его нравственнымъ взоромъ стояла теперь *женщина*, которая была его *женою*.

XVII.

Ардальонъ съ ореоломъ мученика.

Полоярова подержали-подержали да и выпустили. Да и что-жь болѣе оставалось съ нимъ дѣлать, какъ не выпустить? Не держать же человѣка за одну только глупость его! Впрочемъ, арестъ былъ вмѣненъ ему въ наказаніе.

Полояровъ снова очутился на свободѣ.

Но теперь ужь это былъ не прежній Полояровъ, а рафинированный.

Это былъ Полояровъ-мученикъ, Полояровъ, «пострадавшій за убѣжденія».

Какъ гордо несъ онъ теперь свою голову! Какую усиленную, сосредоточенную мрачность старался сообщить своему взору! Съ какою таинственностью подавалъ при встрѣчѣ руку своимъ знакомымъ!

— Ардальонъ Михайлычъ... Батенька!.. Что съ вами? вопрошаютъ его знакомые,—вы, говорятъ, арестованы были?

— Былъ-съ, — съ какою-то таинственною, озлобленною и въ то же время торжествующею мрачностью лаконически подтверждаетъ Полояровъ.

— За что и какъ? Разскажите пожалуйста!

— Такъ-съ. У насъ эти вещи очень просто совершаются.

— Но однако? Какъ же и за что?

— По доносу-съ.

---

[1]) Отцы миссіонеры были прямыми преемниками и наслѣдниками отцовъ іезуитовъ. Въ ихъ рукахъ до 1863 года, главнѣйшимъ образомъ, сосредоточивалось воспитаніе юношества въ Польшѣ и въ Западной Россіи. Въ Варшавѣ имъ принадлежалъ богатый монастырь Св. Креста—одинъ изъ важнѣйшихъ пріютовъ повстанской организаціи.

Digitized by Google

— Кто же донесъ-то? Неизвѣстно?

— Нѣтъ-съ, извѣстно. Нашлись добрые людишки... Ну, да вѣдь и мы тоже не лыкомъ шиты! Что-нибудь да смекаемъ! Одинъ учителишко есть тутъ... Устиновъ нѣкто, такъ это вотъ они-съ изволятъ сими похвальными дѣлами заниматься.

— Какой мерзавецъ!—качая головой, восклицаетъ соболѣзнующій знакомый и старается запечатлѣть въ своей памяти имя «учителишки Устинова», для того, во-первыхъ, чтобы самому знать на случай какой-нибудь возможной встрѣчи съ нимъ, что этотъ, молъ, баринъ шпіонъ, и потому поосторожнѣе, а во-вторыхъ, чтобы и другихъ предупредить, да и вообще не забыть бы имени при разсказахъ о томъ, кто и что были причиной мученичества «нашего Ардальона Михайловича».

— Но тутъ и не одинъ Устиновъ, тутъ и *другіе* есть!—многозначительно продолжаетъ Полояровъ, видимо желая показать, что теперь, послѣ мученій, ему ой-ой-ой какъ много кое-чего извѣстно!

— Кто же другіе? Надо всѣхъ знать! Чѣмъ больше знать ихъ, тѣмъ безопаснѣе!—горячо наступаетъ на мученика вопрошающій знакомецъ.

— Есть тутъ... *изъ нашихъ*, изъ своихъ же, такіе подлецы!—какъ бы не-хотя замѣчалъ Полояровъ.

— Но кто-же? кто?.. Чего скрывать! Къ позорному столбу ихъ! Въ «*Колоколъ*»! Имена ихъ отпечатать! Пускай же всѣ знаютъ!

— Да слѣдовало-бы!.. Вы вѣдь, кажись, знакомы съ господиномъ Фрумкинымъ?

— Да, я кое-гдѣ съ нимъ встрѣчался. А что?

— Да такъ... Коли знакомы, такъ разузнакомьтесь и вообще держитесь при немъ поосторожнѣй! Это вамъ мой добрый, пріятельскій совѣтъ; потому, что за охота потерпѣть изъ-за какого-нибудь подлеца, изъ-за Іуды!..

Знакомецъ крайне удивленъ, однакоже и это сообщеніе принимаетъ къ свѣдѣнію.

— Фрумкинъ!.. Скажите! Кто бы могъ ожидать!.. Мнѣ онъ казался такимъ порядочнымъ человѣкомъ...

— Н-да-съ! Всѣ они порядочные до поры до времени!

— Но на основаніи чего же вы такъ думаете про него?

— Ну, батенька! это долга исторія повѣствовать-то вамъ! Да и наскучило ужь мнѣ!.. Однимъ словомъ, повѣрьте: если я говорю такъ, то ужь, значитъ, есть серьезныя основанія! Я на-вѣтеръ говорить не стану... Я вѣдь самъ-съ, на своей шкурѣ перенесъ все это!—энергически увѣряетъ Ардальонъ Полояровъ.

— Ну, а какъ *тамъ-то*?... любопытно вопрошаетъ знакомецъ.— Какъ держали-то васъ? какъ обращались?..

— Хм!.. Какъ держали!—сквозь стиснутые зубы бормочетъ Полояровъ и тотчасъ же устраиваетъ себѣ озлобленно-мрачную физіономію.— Могу сказать, хорошо держали!

— Нѣтъ, въ самомъ дѣлѣ, хорошо?

— Н-да-съ, не дурно! Селедками, напримѣръ, кормили и пить не давали... въ нетопленой комнатѣ по трое сутокъ сидѣть заставляли... спать не давали. Чуть ты заснешь, сейчасъ тебя ужь будятъ: «пожалуйте къ допросу!» А допросы всѣ, надо вамъ сказать, все ночью у нихъ происходятъ. Ну-съ, спросятъ о чемъ-нибудь и отпустятъ. Ты только что прилегъ, опять будятъ: «еще къ допросу пожалуйте!» И вотъ такъ-то все время-съ!

Знакомецъ въ ужасѣ и съ соболѣзнованіемъ качаетъ головою.

— Н-да-съ!... Инквизиція! Утонченная, рафинированная инквизиція-съ!—восклицаетъ Ардальонъ. — И знаете ли, я вамъ скажу, надо имѣть слишкомъ твердый характеръ, слишкомъ большой запасецъ силы воли, чтобы не пасть духомъ и не сдѣлаться подлецомъ при такой инквизиціи.... Тутъ-съ, батенька мой, вотъ ужь именно-что гражданское мужество нужно!... Н-да-съ!... Но ужь за то же, могу сказать, и закалился же я теперь!... Теперь они могутъ дѣлать со мной все, что угодно, ни шиша имъ отъ меня не добиться.

— Но какъ же они васъ выпустили?—недоумѣваетъ удивляющійся знакомецъ.

— Да такъ вотъ и выпустили! Что-жь такое!—разводитъ руками Полояровъ.—Подержали-съ, да и выпустили, потому убѣдились, что со мной ничего не подѣлаешь. Я и самъ, впрочемъ, не понимаю, какъ это они рѣшились! Но это что! Нѣтъ-съ, я вамъ лучше скажу-съ! Они меня подкупить хотѣли.

— Какъ подкупить?!

— Да такъ-съ. Очень просто. Предлагали мнѣ отличнѣйшее мѣсто, карьеру и прочее... Единовременно цѣлый капиталъ предлагали! Пятнадцать тысячъ рублей!.. Предлагали журналъ основать съ тѣмъ, что онъ даже можетъ себѣ быть *нашимъ*, либеральнымъ органомъ, а они во всякомъ случаѣ субсидію постоянно будутъ давать. То-есть, конечно, все это очень тонко и политично предлагалось, но такъ, что я могъ очень хорошо понять, куда оно клонитъ.

— И вы отказались?!

— И я отказался. Я имъ говорю на это: милостивые вы мои государи! Ардальона Полоярова можно сослать въ каторгу, можно пытать, можно, наконецъ, казнить, повѣсить, но *купить* Ардальона Полоярова нельзя-съ!

— Такъ и сказали?!

— Такъ и сказалъ-съ. Да чего же? Что я церемониться съ ними буду, что ли? Вотъ еще!.. Надо было, батенька мой, вести себя со строгимъ сознаніемъ своего достоинства. Вѣдь я—шутка ль сказать!—я предъ звѣздами-съ, предъ цѣлою комисіей истязался-то!

Digitized by Google

— И вы гдѣ же сидѣли?

— Въ крѣпости-съ. Въ Алексѣевскомъ равелинѣ.

— Неужели?!

— Н-да-съ! И еще въ томъ самомъ нумерѣ, гдѣ Пестель сидѣлъ. Вотъ мы, батюшка, какъ! Это мнѣ послѣ плацъ-майоръ сообщилъ. «Хотя мы, говоритъ, и принуждены были васъ арестовать, но зато, говоритъ, вы сидите въ томъ самомъ казематѣ, въ которомъ знаменитый Пестель сидѣлъ». Ха-ха-ха!.. Какъ вамъ это нравится?.. а? хорошо-съ? Нѣтъ, каково утѣшенье-то!.. Чудаки, ей-Богу!

— И васъ послѣ этого выпустили?!

— Какъ видите: цѣлъ, здравъ и невредимъ. Да и что-жь бы они со мной подѣлали, если противъ меня нѣтъ никакихъ уликъ и фактовъ? Мы, батенька, тоже вѣдь мозгами-то пошевеливаемъ не хуже, коли не получше другихъ, и за себя еще потягаемся-съ!

Ардальонъ хотя и напускалъ на себя злобственную мрачность, тѣмъ не менѣе въ глубинѣ души былъ очень доволенъ собой: ему всѣ удивлялись, всѣ его слушали, всѣ ему сочувствовали, даже... уважать его стали гораздо болѣе прежняго. Такимъ образомъ, относительно уваженія онъ не ошибся въ расчетѣ.

Онъ продолжалъ очень живописно повѣствовать всѣмъ и каждому объ инквизиціонныхъ мученіяхъ и пыткахъ, которыя ему довелось испытать, о своемъ великомъ гражданскомъ мужествѣ, о своемъ подвигѣ, и отъ столь частыхъ повѣствованій съ теченіемъ времени и самъ наконецъ убѣдился, что все это точно такъ и было въ дѣйствительности. И если-бы кто-нибудь вдругъ возразилъ ему, что «послушай-ка, братъ, Ардальонъ, вѣдь ты это все врешь и выдумываешь», то онъ не на шутку оскорбился бы и горячо сталъ бы вступаться за истину, ибо самъ былъ теперь уже твердо убѣжденъ, что все это чистая истина, все это точно *было*, все это онъ говорилъ и все это съ нимъ дѣлали.

Ардальонъ вошелъ нѣкоторымъ образомъ въ славу: надъ нимъ возсіялъ ореолъ политическаго мученика, и какой же бы Фрумкинъ осмѣлился теперь пикнуть противъ него хоть единое слово?

Впрочемъ, Фрумкину не для чего уже было возставать противъ Ардальона. Во время его ареста, практичный Моисей съумѣлъ такъ ловко обдѣлать свои дѣлишки, что за долги коммуны, принятые имъ на себя, перевелъ типографію на свое имя, въ полную свою собственность, совсѣмъ уже забралъ въ руки юнаго князя и кончилъ тѣмъ, что въ одно прекрасное утро покинулъ вмѣстѣ съ нимъ на произволъ судьбы коммуну и ея обитателей. Князь переселился къ Фрумкину мечтать о скорѣйшемъ осуществленіи «собственнаго своего журнала».

Наличные обитатели коммуны, т. е. Лидинька съ Анцыфровымъ и Малгоржаномъ, очутились въ очень стѣснительномъ положеніи, и потому поспѣшили перемѣнить квартиру. Эти «нумера» стали уже не подъ силу ихъ соединенному карману; новыхъ охотниковъ на коммунное сожительство какъ-то все не подыскивалось, хотя Лидинька съ Малгоржаномъ и пытались неоднократно перетянуть къ себѣ кое-кого изъ другихъ петербургскихъ коммунъ. Они наняли, наконецъ, небольшую квартирку въ Троицкомъ переулкѣ, въ четвертомъ этажѣ одного большого дома. Всѣ предпріятія въ родѣ швейныхъ и переплетныхъ полопались сами собой послѣ ареста Луки Благопріобрѣтова, и ко времени переѣзда въ Троицкій переулокъ окончательно уже умерли естественною смертью. Для Лидиньки наступило время дѣйствительнаго «личнаго труда», о которомъ она всегда столь много хлопотала на словахъ; но этотъ личный трудъ, состоявшій въ переводахъ съ французскаго, далеко не показался ей теперь вкуснымъ, по той причинѣ, что Лидинька ни къ какому труду, кромѣ обильныхъ словоизверженій, рѣшительно не была способна. Поэтому она чуть не ежедневно бомбардировала своего благовѣрнаго письмами, въ которыхъ настойчиво изображала, что если онъ «мало-мальски честный и порядочный, то пусть присылаетъ ей поболѣе денегъ, въ противномъ же случаѣ, въ Петербургѣ, молъ, есть генералъ-губернаторъ Суворовъ, и я, молъ, твоя законная жена, на всякій скандалъ пущусь и надѣлаю тебѣ много пакостей». Благовѣрный, будучи человѣкомъ характера робкаго и миролюбиваго и притомъ, по духу времени, смирясь предъ эмансипированными стремленіями къ независимому труду и жизни своей супруги, спѣшилъ высылать ей денегъ, по скольку лишь было ему возможно. Лидинька съ его помощью кое-какъ перебивалась и еще находила возможность поддерживать иногда существованіе обоихъ своихъ сожителей, которымъ «трудъ», за исключеніемъ разговорнаго, тоже какъ-то все не давался. Оба они не находили дѣла, соотвѣтствующаго своимъ способностямъ и призванію. Впрочемъ, Анцыфровъ правилъ гдѣ-то, съ грѣхомъ пополамъ, корректуру, хотя самъ и не особенно силенъ былъ по части орѳографіи, а Малгоржанъ нашелъ себѣ «урокъ», обучать по-русски какого-то восточнаго человѣка изъ «восточныхъ конвойныхъ князей», который, кромѣ платы, угощалъ его еще и шашлыкъ-кебабомъ.

Потерявъ щедрую «кузинку», Малгоржанъ принялся съ горя объяснять свою восточную страсть Лидинькѣ Затцъ и былъ ею утѣшенъ въ самомъ непродолжительномъ времени. Маленькій Анцыфрикъ сталъ было ревновать, но Лидинька каждый разъ его просто-на-просто била за столь неумѣстное, непослѣдовательное

Digitized by Google

и дикое чувство. И каждый разъ послѣ такой трепки злосчастный пискунокъ взмащивался съ ножками на подоконникъ и принимался горько плакать, думая себѣ, за что это онъ уродился такимъ несчастнымъ, что всѣ его обижаютъ.

Какъ-то разъ приходитъ кто-то изъ гостей и застаетъ его въ слезахъ, съ исцарапанной физіономіей.

— Анцыфрикъ! о чемъ это вы плачете?

— Лидька побила... всхлипывая, отвѣтилъ золотушный пискунъ и обтеръ обшлагомъ свои горькія слезы.

— Побила?.. Да вы бы ей сдачи!

— Не могу я... Она... она сильнѣе меня.

— Вотъ еще!.. Сильнѣе! Ха-ха!.. Да вы бы ей... ну, хоть бы носъ откусили, что-ли!

— Я ужь что-нибудь да сдѣлаю... я непремѣнно сдѣлаю! Я только терпѣливъ, потому что ссориться не люблю... а я тоже... если меня разсердятъ... такъ ужь я... я тоже сердитый... я очень сердитый! И постою за себя!.. Я не позволю!..

Маленькій пискунокъ, стараясь унять свои всхлипыванія, топорщился и показывалъ свою храбрость; но чуть вошла въ комнату Лидинька, тотчасъ же примолкъ и обиженно съежился на своемъ подоконникѣ.

Однако, мысль о томъ, что если ужь не побить, такъ хоть носъ откусить своей «натуральной супругѣ» и тѣмъ отмстить ей за всѣ ея царапанья и обиды, крѣпко засѣла ему въ голову. Онъ возымѣлъ пламенное желаніе при первомъ удобномъ случаѣ привести эту мысль въ исполненіе. Лидинька же, ничего не подозрѣвая о его затаенныхъ коварныхъ умыслахъ, продолжала попрежнему держать при себѣ этого «натуральнаго мужа» на посылкахъ и побѣгушкахъ, чѣмъ-то въ родѣ комнатной собаченки.

Въ такомъ-то положеніи находились дѣла и отношенія тройственной коммунистической четы, когда выпустили изъ-подъ ареста Ардальона Михайловича Полоярова.

Ему не трудно было, справясь у дворника прежней квартиры, отыскать ихъ новое жительство.

Храня сухой и сдержанный видъ человѣка обиженнаго и поссорившагося, онъ явился къ нимъ, подъ предлогомъ, чтобы забрать кое-что изъ оставшихся вещей своихъ, бѣлье да платье, однако же съ сильнымъ желаніемъ въ душѣ, чтобы дѣло приняло удачный оборотъ и дало бы ему возможность снова поселиться въ коммунѣ и снова верховодить ея сожителями. Въ сущности онъ очень хорошо сознавалъ, что внѣ коммуны ему почти некуда и дѣваться.

Сожители встрѣтили его ласково и радостно, и на столько радостно, что это вышло даже сверхъ всякихъ ожиданій Ардальона. Онъ все же былъ между ними наиболѣе сильный и предпріимчивый характеръ. А въ затруднительныхъ матеріальныхъ обстоятельствахъ, его силы и предпріимчивость были теперь для коммуны сущимъ кладомъ. Кромѣ того, всѣ эти люди были въ сущности вовсе незлобивые люди. Они только такъ себѣ, отъ нечего дѣлать, какъ флюгарки по-вѣтру вертѣлись, впрочемъ, при неизмѣнно либеральномъ скрипѣ. Удалился отъ нихъ Фрумкинъ со своими каверзами, и вся ихъ злоба на Ардальона сама собой исчезла, особенно съ тѣхъ поръ, какъ онъ «томился въ заключеніи». Это «заключеніе» разомъ подняло его въ нихъ глазахъ, разомъ породило вѣру и въ Герценовское письмо, и въ то, что онъ одинъ только высоко держитъ въ Россіи знамя демократическаго соціализма. Когда арестъ его возбудилъ нѣкоторое кудахтанье въ нигилистическихъ курятникахъ, то флюгарки стали даже въ нѣкоторомъ родѣ хвастаться и гордиться его дружбой и совмѣстнымъ сожительствомъ. Поэтому его внезапное появленіе, его «возстаніе изъ мертвыхъ» и поразило ихъ столь радостно.

Ардальонъ не упустилъ благопріятнаго случая распространиться предъ ними объ ужасахъ инквизиціи и своей гражданской стойкости, и тѣмъ окончательно покорилъ сердца ихъ. Они первые стали теперь трубить о его славѣ и осѣнили главу его ореоломъ политическаго мученичества. Они первые предложили ему тотчасъ же по-братски поселиться въ коммунѣ на прежнихъ основаніяхъ, и Ардальонъ, конечно, ни замедлилъ тотчасъ же забрать администратуру въ свои руки, а сожители до извѣстной степени были даже рады тому, что предпріимчивый администраторъ избавляетъ теперь ихъ головы отъ многихъ лишнихъ хлопотъ и заботъ.

XVIII.

«Молодая Россія».

19-го апрѣля с.-петербургскій оберъ-полиціймейстеръ публиковалъ приказъ по полиціи, въ которомъ предписывалъ ей наблюдать за тѣмъ, чтобы подпольныя воззванія не появлялись въ столицѣ, и даже самое появленіе ихъ относилъ къ недостаточности полицейскаго надзора. Полиція, конечно, наблюдала, но... наблюденія ея оставались сами по себѣ, а прокламаціи тоже сами по себѣ благополучно продолжали «возмущать спокойствіе мирныхъ обывателей». Эти разнообразные листки, тянувшіе всѣ болѣе или менѣе сказку про бѣлаго бычка, частію приходили изъ-за границы, а частію печатались дома на ручныхъ станкахъ, что можно было отличить сразу, по одной ихъ внѣшности. Сначала это были памфлеты на правительство и его представителей, потомъ всяческія программы политическаго и обществен-

Digitized by Google

наго обновленія, и наконецъ, призывъ къ топору и истребленію.

Въ началѣ мая мѣсяца, съ особеннымъ обиліемъ стала распространяться по Петербургу довольно длинная и многорѣчивая прокламація «*Къ молодой Россіи*».

«Мы требуемъ уничтоженія брака, гласила она между прочимъ, какъ явленія въ высшей степени безнравственнаго и немыслимаго при полномъ равенствѣ половъ и безъ котораго немыслимо уничтоженіе наслѣдства. Мы требуемъ полнаго освобожденія женщины, дарованія ей всѣхъ тѣхъ политическихъ и гражданскихъ правъ, какими будутъ пользоваться мужчины. Мы требуемъ уничтоженія семьи, препятствующей развитію человѣка. Мы требуемъ общественнаго воспитанія дѣтей, требуемъ содержанія ихъ на счетъ общества, до конца ученія. Мы требуемъ заведенія общественныхъ фабрикъ, управлять которыми должны лица, выбранныя отъ общества, обязанныя по истеченіи извѣстнаго срока давать ему отчетъ; требуемъ заведеній общественныхъ лавокъ, въ которыхъ продавались бы товары по той цѣнѣ, которой они дѣйствительно стоятъ, а не по той, которую заблагоразсудится назначить торговцу для своего скорѣйшаго обогащенія». Религія какая бы то ни было, а христіанская и православіе въ особенности, совершенно отмѣнялась. Церкви немедленно должны быть упразднены. Всякая собственность—долой! Каждый собственникъ—воръ и преступникъ! «Мы изучали исторію Запада, гласилось тамъ далѣе, и это изученіе не прошло для насъ даромъ: мы будемъ послѣдовательнѣе не только жалкихъ революціонеровъ 48-го года, но и великихъ революціонеровъ 93-го года. Мы не испугаемся, если намъ придется пролить втрое болѣе крови, чѣмъ пролито якобинцами въ 90-хъ годахъ». Словомъ, требовалось немедленное уничтоженіе всѣхъ тѣхъ началъ, на которыхъ основано современное бытіе всякаго общества и государства. Герценъ объявлялся отсталымъ и ни на что непригоднымъ человѣкомъ.

Затѣмъ, въ числѣ самыхъ настоятельныхъ, первыхъ дѣйствій «Молодой Россіи», представлялась неизбѣжная необходимость вырѣзать, по крайней мѣрѣ, хоть полтораста тысячъ русскихъ дворянъ и помѣщиковъ, смертію казнить вообще всѣхъ собственниковъ, положить подъ топоръ всѣхъ вообще ретроградовъ и противниковъ благодѣтельной радикальной реформы и идей «Молодой Россіи». «Кто не съ нами, тотъ противъ насъ, тотъ врагъ нашъ, а враговъ слѣдуетъ истреблять всѣми средствами». Это называлось самымъ простымъ и обыкновеннымъ «освѣженіемъ политической и общественной атмосферы». А въ случаѣ сопротивленія, авторы «Молодой Россіи» грозились «камня на камнѣ не оставить». «Насъ слишкомъ много, и мы имѣемъ полную вѣру въ себя и въ свои силы», заявляла эта «Молодая Россія». Прокламація, кончавшаяся призывомъ къ скорѣйшему возстанію, заключалась торжественнымъ возгласомъ, который былъ отпечатанъ даже особымъ шрифтомъ и долженствовалъ служить лозунгомъ дѣла и бойни: «Да здравствуетъ Молодая Россія и русская соціально-демократическая республика!»

«Молодая Россія» разсчитывала, что никакой другой, а именно этотъ самый возгласъ будетъ гремѣть въ устахъ народа, когда этотъ народъ пойдетъ дѣлать революцію съ его плотничьими топорами. Она даже съ полною увѣренностью заявила: «мы-де надѣемся на сочувствіе народа».

Русское общество положило, наконецъ, себѣ въ ротъ палецъ недоумѣнія.

«Нѣтъ, ужь это, что ж такое!.. И меня, значитъ, рѣзать?.. Да за что же меня-то? Помилуйте!» поднялся говоръ съ разныхъ концовъ и слоевъ этого общества. «Нѣтъ ужь воля ваша, а это сумбуръ какой-то!.. Это, значитъ, я моего Ваничку да Надюшу въ Воспитательный сбрось, а мою Марью Ивановну въ люпанаръ отведи? Да за что же такъ?.. Развѣ Марьѣ Ивановнѣ въ люпанарѣ-то лучше будетъ?»

Такъ разсуждало «нравственное мѣщанство», неспособное, по своей тупоумной пошлости, возвыситься до пониманія столь великихъ, въ своей первобытной простотѣ и ясности, идей «Молодой Россіи».

XIX.

Quae medicamenta non sanant—ferrum sanat, quae ferrum non sanat—ignis sanat.

16-го мая, Каретной части, по Лиговкѣ, въ домѣ подъ № 224, въ шесть часовъ по полудни, произошелъ пожаръ. Загорѣлись надворныя деревянныя службы и огонь быстро перешелъ на сосѣднія нежилыя зданія, которыя, за ветхостью ихъ, вскорѣ всѣ сгорѣли и разбросаны. Причина пожара осталась неизвѣстною [1]).

17-го мая, Нарвской части, по 6-й ротѣ Измайловскаго полка, въ пять часовъ по полудни, при домѣ № 14, загорѣлся нежилой сарай, гдѣ хранилась старая мебель. Пожаръ прекра-

[1]) Свѣдѣнія о пожарахъ и большая часть подробностей и отдѣльныхъ эпизодовъ заимствованы изъ нѣкоторыхъ официальныхъ записокъ и документовъ, а также изъ газетъ и журналовъ 1862 года. Впрочемъ, многое изъ того, что въ этихъ послѣднихъ источникахъ являлось какъ факты, необходимо должно было теперь подвергнуться строгому анализу и критикѣ, а потому все то, что не имѣетъ фактической достовѣрности авторъ передаетъ, какъ слухи и толки, ходившіе въ обществѣ того времени, ибо всѣ эти слухи и толки имѣютъ ту особенность, что необыкновенно рельефно характеризуютъ напряженную и во многихъ отношеніяхъ замѣчательную эпоху 1862 года.

Digitized by Google

шенъ безъ вреда для сосѣднихъ зданій, причина же пожара осталась неизвѣстною.

19-го мая, въ пять часовъ утра, Рождественской части, по Невскому проспекту, въ домѣ подъ № 26, произошелъ пожаръ, который вскорѣ прекращенъ, безъ особеннаго вреда строенію.

20-го мая, въ пять часовъ по полудни, Московской части, по Загородному проспекту, во дворѣ зданія лейбъ-гвардіи Семеновскаго полка, загорѣлось деревянное нежилое помѣщеніе, принадлежавшее музыкантской командѣ. Строеніе это сгорѣло до основанія, но бывшія съ нимъ въ сосѣдствѣ деревянныя постройки отстоены. Причина пожара осталась неизвѣстною.

21-го мая, въ пять часовъ утра, произошелъ пожаръ на Большой Охтѣ. Онъ начался съ дома мѣщанки Макарихиной, на Большомъ Охтенскомъ проспектѣ, противъ пожарной части Охтенскаго квартала, въ деревянномъ зданіи котораго отъ жару потрескались всѣ стекла. Огонь, гонимый сильнымъ вѣтромъ отъ Невы, распространился съ быстротою по тремъ улицамъ: Георгіевской, Конторской и Оградской, которыя до самой рѣчки Чернявки превращены въ пепелъ. Въ продолженіе менѣе чѣмъ полутора часа сгорѣло около двадцати пяти домовъ, со службами, въ томъ числѣ и находившаяся на берегу рѣчки, на Георгіевской улицѣ, часовня во имя Смоленской Божіей Матери, заложенная Петромъ Великимъ въ 1703 году. По неимовѣрной быстротѣ пожара, жителямъ почти ничего не удалось спасти изъ своего имущества. Погорѣло много коровъ, (охтянки—почти единственныя петербургскія молочницы), лошадей и домашней птицы. Обгорѣлые трупы лошадей и коровъ еще на слѣдующіе дни валялись на пожарищѣ. Причина пожара осталась неизвѣстною.

22-го мая было два пожара. Первый, въ восемь часовъ утра, на Петербургской сторонѣ, куда потребовалось нѣсколько пожарныхъ частей, второй ровно въ полдень, въ Ямской. Загорѣлось въ деревянномъ сараѣ, на заднемъ дворѣ дома № 243. Не далѣе, какъ черезъ восемнадцать минутъ двѣ пожарныя команды были уже на мѣстѣ, близъ церкви Іоанна Предтечи, на набережной Лиговки, за мостомъ черезъ Обводный каналъ. Но, несмотря на то, что вслѣдъ за этими двумя командами прискакала еще и третья, предотвратить страшное бѣдствіе было невозможно. Сильный, порывистый вѣтеръ, старыя деревянныя надворныя строенія, поставленныя слишкомъ близко одно къ другому, предшествовавшее сухое время, все это вмѣстѣ было причиною, что черезъ полчаса отъ начала пожара уже шесть домовъ, съ ихъ надворными строеніями, были охвачены пламенемъ. Пять минутъ спустя, на другой сторонѣ Лиговки, почти мгновенно, охватило нѣсколько домовъ и надворныхъ строеній, за Шмелевымъ переулкомъ. Къ часу дня уже длинная линія горѣвшихъ домовъ отняла у пожарной команды возможность дѣйствовать совокупными силами въ одномъ какомъ-нибудь пунктѣ, тѣмъ болѣе, что надо было отряжать трубы на противоположную сторону Лиговки, гдѣ въ нѣсколькихъ мѣстахъ безпрестанно начинало горѣть, но распространеніе огня предупреждалось усиліями частью пожарной команды, а частью и самихъ жителей. Всѣ дома со всѣми надворными строеніями по лѣвой сторонѣ Лиговки, отъ № 126 до № 164, сгорѣли совершенно; на правой—отъ № 243 до 253. Причины пожаровъ, какъ на Петербургской, такъ и въ Ямской, остались неизвѣстными.

23-го мая было пять пожаровъ: въ два часа утра, при сильномъ вѣтрѣ, начался пожаръ на Малой Охтѣ, въ Солдатской слободкѣ, которая и сгорѣла вся до основанія—около 40 домовъ, населенныхъ исключительно бѣднымъ, работящимъ людомъ. Еще не всѣ части пожарныхъ командъ успѣли возвратиться въ казармы, какъ вдругъ, около трехъ съ половиной часовъ по полудни, загорѣлось въ Гороховой улицѣ, между Семеновскимъ мостомъ и Садовою, въ домѣ Яковлева, гдѣ сгорѣлъ каменный двухэтажный флигель и каменныя службы съ сѣноваломъ, въ которыхъ хранился разный столярный матеріалъ. Въ этихъ-то службахъ и загорѣлось. Пожаръ въ Гороховой далеко еще не былъ потушенъ, какъ уже выкинули шары Каретной части: здѣсь загорѣлось опять-таки въ Ямской, въ Кобыльей улицѣ, съ задовъ дома № 104, откуда огонь распространился на всѣ дома по Лиговкѣ, такъ что весь громадный четырехугольникъ между улицами: Кобыльею и Лиговкою и отъ церкви Іоанна Предтечи до Глазовскаго моста, сгорѣлъ до основанія. Въ это же время, какъ полагаютъ, отъ перекинутаго огня, загорѣлся на противоположной сторонѣ Лиговки, въ Разъѣзжей улицѣ, шестой домъ отъ моста. Огонь распространился на четыре сосѣдніе дома, изъ которыхъ одинъ былъ деревянный, и всѣ они сгорѣли. Пожаръ шелъ такъ быстро и такъ внезапно охватывалъ дома, что многіе люди едва успѣвали спастись, спускаясь изъ оконъ и съ балконовъ. Сгорѣло много извозчичьихъ лошадей; одинъ хозяинъ лишился ихъ до шестидесяти головъ. Въ одно время съ пожарами въ Гороховой и Ямской, загорѣлось въ Лештукоскомъ переулкѣ, въ домѣ купца Ушкова. Здѣсь пожаръ обнаружился въ деревянномъ сараѣ, наполненномъ складомъ тряпья, пуха и перьевъ. Огонь пошелъ быстро катать по сосѣднимъ каменнымъ флигелямъ, которые оба сгорѣли. Сюда могла прибыть только одна изъ пожарныхъ частей, и она успѣла остановить распространеніе пожара, отстоявъ сосѣдній домъ Колчина, при помощи мѣстныхъ жителей, усердно таскавшихъ воду въ ведрахъ и въ шайкахъ. Еще всѣ пожарныя команды были на пожарѣ въ Ямской, гдѣ заливали горѣвшія развалины, какъ въ

Digitized by Google

одиннадцать часовъ вечера вспыхнулъ новый пожаръ на Невскомъ проспектѣ, между Николаевскою и Владимірскою улицами, въ домѣ Вилье. Здѣсь онъ начался въ надворныхъ службахъ, гдѣ помѣщались сѣновалъ и сараи, на второмъ дворѣ, и перешелъ на два дома въ Стремянной улицѣ. Огонь прекращенъ къ четыремъ часамъ утра. Причины всѣхъ этихъ пожаровъ остались неизвѣстны... А между тѣмъ еще къ утру 24-го мая можно было видѣть всѣ степени пожара въ длинномъ рядѣ домовъ по набережной Лиговки. Одни изъ нихъ, уже совершенно уничтоженые, представляли только дымившіяся развалины; въ другихъ огненная работа сосредоточивалась внутри, пожирая остатки балокъ и обрушившихся стропилъ; въ третьихъ полымя длинными языками вырывалось еще изъ всѣхъ оконъ. Пожаръ у Александровскаго рынка тоже еще далеко не былъ потушенъ.

24-го мая, опять-таки на Гороховой улицѣ, вспыхнулъ пожаръ въ домѣ протоіерея Окунева, начавшійся въ деревянномъ пустомъ сараѣ и окончившійся въ каменныхъ флигеляхъ этого дома. Вслѣдъ затѣмъ загорѣлось на Васильевскомъ островѣ, но огонь вскорѣ прекращенъ. Причины этихъ двухъ пожаровъ остались неизвѣстны.

26-го и 27-го мая городъ вспыхивалъ съ разныхъ концовъ, но эти пожары, которые вскорѣ тушились, казались уже ничтожными петербургскимъ жителямъ, привыкшимъ въ предыдущіе дни къ огню громадныхъ размѣровъ, истреблявшему цѣлыя улицы, цѣлые кварталы. Говоря сравнительно, въ эти дни было пожарное затишье; но народъ не успокаивался; онъ какъ бы какимъ-то инстинктомъ чуялъ, что это — тишина предъ бурей. Ходили смутные слухи, что на этомъ не кончится, что скоро сгоритъ Толкучій рынокъ, а затѣмъ и со всѣмъ Петербургомъ будетъ порѣшено.

26-го мая, въ субботу, на Апраксиномъ дворѣ были подброшены письма, извѣщавшія о пожарѣ, имѣющемъ быть на завтра, въ Троицынъ день.

И дѣйствительно: въ воскресенье Апраксинъ дворъ загорался три раза, но неудачно. Огонь успѣвали замѣчать во-время и тушили.

28-го мая, IV-й Адмиралтейской части, въ одиннадцать часовъ утра, въ каменномъ домѣ купца Прокофьева, изъ запертой кладовой при щепенной лавкѣ купца Георгіева, показался сильный дымъ, но прибывшею тотчасъ пожарною командою начинавшійся пожаръ потушенъ. Горѣлъ лежавшій у штукатурной перегородки разный хламъ.

28-го же мая по Апраксину переулку, въ домѣ Трифонова, въ два съ половиной часа по полудни показался дымъ изъ дровяного сарая, прилегавшаго задней стѣной къ рядамъ Толкучаго рынка. По осмотрѣ сарая, оказалась въ немъ тлѣвшая подброшенная («вѣроятно съ умысломъ», какъ замѣчаетъ полицейская газета) пакля, которая и была тотчасъ потушена. Послѣ этого среди Апраксина двора, въ промежутокъ двухъ часовъ времени, два раза тушили пуки хлопка и пакли, пропитанные смолою.

28-го мая былъ праздникъ, Духовъ день. Торговля на Апраксиномъ дворѣ на сей разъ шла весьма незначительная. Большинство лавокъ и ларей оставались запертыми. Впрочемъ, кое-кто поторговывалъ, и по всѣмъ направленіямъ рынка бродили сторожа; а потому купечество надѣялось, что угроза не будетъ исполнена.

XX.

Пожаръ 28-го мая 1862 года.

Погода стала теплая: даже было жарко, что́ становилось особенно ощутительно послѣ холодной, дождливой и, можно сказать, суровой весны. Вторая половина мая стояла хотя сухая, но очень холодная. Порывистые, сѣверо-западные вѣтры дули съ рѣдкимъ постоянствомъ.

Въ Духовъ день Петербургъ гуляетъ.

Около четырехъ часовъ по полудни улицы были полны народомъ, въ праздничныхъ нарядахъ. По Фонтанкѣ сновали ялики съ праздничными пассажирами; кто направлялся въ Екатерингофъ, кто въ Лѣтній садъ. И тамъ, и здѣсь въ Духовъ день Петербургъ искони справляетъ народное гулянье. Въ Лѣтнемъ саду — по преимуществу праздникъ купечества. Въ прежніе годы здѣсь происходилъ выборъ и выставка купеческихъ невѣстъ, разряженныхъ въ марабу, шелки, и въ жемчугъ, и въ брильянты. Съ годами, конечно, вывелись эти смотрины, но самый обычай посѣщать въ Духовъ день гулянье Лѣтняго сада всецѣло сохранился и до сихъ поръ въ средѣ петербургскаго купечества изъ-подъ Невскаго, съ Ямской, съ Ивановской улицы. Весь Щукинъ и Апраксинъ дворы имѣютъ тутъ полный комплектъ своихъ представителей: тутъ и хозяева съ хозяйками и съ дочерьми, тутъ и приказчики, и просто молодцы, и сидѣльцы, и конторщики, и лавочные мальчишки. Народъ торопился на свое гулянье, спѣша воспользоваться нѣсколькими часами, когда наконецъ и въ воздухѣ потеплѣло, и въ городѣ какъ будто поуспокоилось чуточку послѣ цѣлыхъ двѣнадцати сутокъ безпокойствъ, страха и пожарной передряги.

Въ Лѣтнемъ саду гремѣло нѣсколько оркестровъ музыки и кишмя-кишѣла густая, празднично-пестрая толпа. Народу столпилось, что́ называется, видимо-невидимо.

Вдругъ, въ шестомъ часу по полудни, съ разныхъ концовъ раздались громкіе крики: «Горимъ! Горимъ! Пожаръ! Толкучій горитъ!» Сквозь просвѣты деревьевъ можно было разглядѣть вдали густую черную и громадно-широкую

Digitized by Google

полосу дыма, которая стлалась по небу и быстро мчалась нескончаемой лентой густыхъ клубовъ все дальше и дальше... При первыхъ крикахъ тревоги, гуляющіе бросились къ воротамъ. Началась давка, суета, суматоха, и въ этой-то суматохѣ шелъ самый дерзкій, неслыханный доселѣ грабежъ. Съ мужчинъ срывали часы, нагло, лицомъ къ лицу, запускали руку въ карманы и вытаскивали бумажники, съ женщинъ рвали цѣпочки, браслеты, фермуары, даже вырывали серьги изъ ушей, не говоря уже о шаляхъ и бурнусахъ, которые просто стягивались съ плечъ, причемъ многія даже сами спѣшили освободиться отъ нихъ, изъ боязни задушиться, такъ какъ застегнутый воротъ давилъ собою горло. Многія изъ женщинъ выходили изъ сада измятыя, избитыя, изорванныя, окровавленныя, съ оборванными ушами; многихъ вытаскивали безъ чувствъ или въ истерикѣ. Садъ стоналъ отъ звуковъ музыки, отъ криковъ, воплей, брани и рыданій...

У многихъ тысячей дрожало въ душѣ чувство, что въ эту минуту они выходятъ изъ сада, быть можетъ, уже круглыми нищими.

Чѣмъ болѣе приближались толпы къ пожарищу, тѣмъ все явственнѣе становился тотъ жуткій, зловѣщій людской гулъ, который всегда порождается какъ бы въ самомъ воздухѣ, въ виду великой бѣды общественной. Этотъ гулъ шаговъ, экипажей, голосовъ, говора, крика смѣшался съ подобнымъ вихрю трескомъ и ревомъ пожара. Какой-то болѣзненный, дрожащій, сумрачный отпечатокъ испуга и тревоги отпечатлѣвался не только на лицахъ, но какъ будто на самомъ городѣ, на камняхъ, на зданіяхъ, на стеклахъ, въ самихъ улицахъ, въ свинцовой ряби водъ!... Громадная туча дыму заслонила собою солнце, которое еле-еле проглядывало изъ-за нея какимъ-то тускло-багровымъ, каленымъ пятномъ и наводило на всѣ предметы тотъ особый свѣтъ, который придавалъ имъ зловѣщій характеръ тоскливости и смятенія.

Съ каждой минутой красновато-черный столбъ дыма все выше и дальше протягивался по небу. Изъ-за домовъ и строеній не видать еще было самого пожарища, но страшные языки густого и тусклаго пламени, казалось, облизывали небо. Въ черныхъ клубахъ сверкали и неслись, подхваченные кружащимся вихремъ, крупныя искры, уголья, головни, листы бумаги, лоскутья какихъ-то тканей, оборвыши всяческаго хлама.... Стаи голубей бѣсновались со стаями ласточекъ, воробьевъ и галокъ. Съ отчаянными криками и пискомъ они вздымались высоко-высоко, кружились въ воздухѣ, черкая его крыльями въ зигзагахъ своего полета, и, какъ ошалѣлые, гдѣ бы улетать скорѣе отъ пожара, они, напротивъ того, ныряли въ самое пламя, пропадали въ облакахъ дыма... Пламя хлестало ихъ концами своихъ языковъ или вдругъ охватывало всею своею огненною влагою—стаи вырывались изъ огня, и то тамъ, то здѣсь падали мертвыя и дымящіяся птицы. Цѣлый дождь искръ, угольевъ, пеплу и горящихъ головней сыпался съ неба на крыши, на мостовыя, на головы прохожихъ. И это небо, съ его солнцемъ, съ этимъ огненнымъ дождемъ и мятущимися стаями птицъ представлялось испуганнымъ глазамъ народа въ грозно-страшномъ, ужасающемъ величіи.

Даже въ такихъ отдаленныхъ отъ мѣста катастрофы улицахъ, какъ Офицерская, замѣтно было сильное, необычное движеніе, а въ Мѣщанской становилось уже тѣсно отъ столпленія двухъ потоковъ народа, изъ которыхъ одинъ стремился на пожаръ, а другой убѣгалъ съ пожара. Черезъ Каменный мостъ никого не пускали въ экипажахъ, и на самомъ мосту уже являлись предвѣстники бѣды: испуганныя лица, дрожки, кареты и возы, нагруженные вещами, пожитками и товарами, суматоха, брань, крики, слезы, проклятія.... По ту сторону моста, хотя до пожарища лежало еще болѣе полуверсты разстоянія, начиналась уже сильная давка. Всѣ окрестные переулки, что ведутъ на Садовую, были загружены бѣгущимъ народомъ, грудами мебели, тюками товаровъ, сброшенныхъ въ огромныя кучи. Громадный потокъ толпы стремился къ Апраксину двору, тѣснилъ, сбивалъ съ ногъ, захватывалъ и уносилъ съ собою и тѣхъ, кто шелъ на встрѣчу, и и тѣхъ, кто спасалъ изъ домовъ свои пожитки. Никакія усилія полиціи и конныхъ жандармовъ не могли сдержать этого напора, который опрокидывалъ и людей, и лошадей, давившихъ подъ своими копытами и всадника, и того, кто имѣлъ несчастіе подвернуться тутъ въ эту минуту. Въ переулкахъ уже было такъ тѣсно, что нагруженные возы при встрѣчѣ едва могли разъѣзжаться. На перекресткахъ въ особенности была страшная давка; на одномъ изъ нихъ въ нѣсколько минутъ нагромоздили пропасть разныхъ вещей, и столпилось столько народу, что не только проѣхать или пройти, но просто съ мѣста двинуться не было ни малѣйшей возможности. Полиція принялась расталкивать народъ — народъ сталъ растаскивать вещи, а тащить, между тѣмъ, некуда. Изъ сосѣднихъ домовъ тоже выбираются и стаскиваютъ пожитки въ эту же груду; со всѣхъ сторонъ и везутъ, и несутъ, и народъ валитъ. Груда вещей съ грохомъ валится на мостовую, давитъ, зашибаетъ людей... крики, стоны, ругательства... По Садовой тоже навалены груды разныхъ вещей и товаровъ, и снуютъ массы народа, и тѣснота стоитъ такая, что пожарныя команды и бочки съ водой едва-едва могутъ пробираться шагомъ, поминутно цѣпляясь колесами за всевозможную мебель и поневолѣ останавливаясь, чтобы не давить народа. Изъ каменныхъ корпусовъ Апраксина двора летятъ звенья разбиваемыхъ оконъ, выламываются двери лавокъ; изъ оконъ и изъ

Digitized by Google

дверей летитъ на улицу нужное и не нужное: мѣха, шубы, шапки, цѣлыя груды сапогъ, куски всевозможныхъ матерій, женскіе уборы, ящики галантерейныхъ вещей, пустыя картонки, коробки. Летящія изъ оконъ тяжести кого съ ногъ сшибаютъ, кому попадаютъ въ голову. Тамъ вонъ несутъ замертво окровавленнаго человѣка: ящикомъ, говорятъ, зашибло, а сейчасъ опять пронесли обгорѣлаго солдата пожарной команды съ переломленными ногами: съ крыши упалъ въ самое полымя. Кто-то — неизвѣстно для чего—лѣзетъ вверхъ по водосточной трубѣ, двое какихъ-то кадетъ, тоже невѣдомо зачѣмъ, отдираютъ вывѣску; офицеръ какой-то, вышибя каблукомъ окно, спускаетъ на веревкѣ мебель, студентъ съ ломомъ бросается къ двери и выламываетъ ее. Никто и самъ не знаетъ, зачѣмъ онъ дѣлаетъ то или это; испугъ, озлобленіе, растерянность неумѣлость ярко написаны на всѣхъ лицахъ этой безконечной толпы. Жандармы стараются оттереть толпу отъ огня—масса пятится, опрокидывается на груды вещей, ломаетъ себѣ шеи, руки и ноги, падаетъ, давитъ другъ друга, а сзади, между тѣмъ, напираютъ другія массы, которыя не видятъ что́ творится впереди и лѣзутъ къ огню съ неудержимой силой. Одинъ растерявшійся квартальный гонитъ въ одну сторону, другой, невѣдомо зачѣмъ, оттираетъ въ другую, городовые валяютъ шапки съ головъ зазѣвавшихся зрителей и прутъ на толпу въ третій конецъ; но новыя массы, какъ волны, валятъ и валятъ одна за другою, и все впередъ, все на огонь, и давятъ и опрокидываютъ все встрѣчное, несутся съ ревомъ чрезъ груды вещей и ломаютъ все, что́ ни попало. Каждый атомъ этихъ живыхъ массъ воодушевленъ однимъ стремленіемъ спасать и помогать, но ни одинъ не знаетъ что̀ дѣлать, что̀ спасать, кому помогать, куда направиться. Все ошалѣло, все помутилось и потеряло голову. Одна великая, мірская бѣда царитъ надо всѣми.

Въ Апраксиномъ переулкѣ становится такъ жарко, что начинаютъ загораться дома, противоположные рынку. Заливать ихъ уже невозможно отъ жару. Народъ, валя другъ друга, бѣжитъ изъ этого переулка,—торопится не задохнуться и не сгорѣть заживо въ пеклѣ огня и дыма.

Въ Чернышевомъ переулкѣ нѣсколько менѣе давки, но жаръ зато невыносимый. Изъ воротъ Щукина двора вдругъ летитъ цѣлый ураганъ пуху и перьевъ, которые съ трескомъ и шипѣньемъ разносятся по вѣтру и распространяютъ отвратительный смрадъ. Куры, цесарки, утки, гуси, индѣйки, павлины и всякая мелкая птица изъ птичнаго ряда квокчетъ, крякаетъ, гогочетъ, кричитъ и стонетъ, тщетно выбиваясь изъ своихъ клѣтокъ; а которымъ удалось какими-то судьбами освободиться изъ нихъ, тѣ кружатся, снуютъ и бѣгаютъ, какъ шальныя, по пожарищу, ища, но не находя себѣ выхода и, наконецъ, живьемъ запекаются и жарятся въ этой адской кухнѣ. На тротуарѣ, какъ и на Садовой, валяются разные товары: груды полушубковъ, груды трико, драпу, дорогихъ суконъ, груды битаго хрусталя, фаянса и всякой посуды, перины, подушки, тюфяки, диваны и громадныя простѣночныя зеркала. Головы сахару, разбитыя бочки кофе, цибики чаю валяются въ грязи, разсыпаются по мостовой. Народъ неистово накидывается на миндаль, пастилу и орѣхи, хватаетъ горстями просыпанный чай, набиваетъ карманы разными продуктами. Приказчики ломаютъ двери и выбрасываютъ что́ ни попало: изъ оконъ летятъ ананасы, банки съ вареньемъ, вина, трюфели, виноградъ, всяческіе консервы; бочки съ фруктами бьются въ дребезги; груши, яблоки и апельсины прыгаютъ по мостовой какъ мячики, разлетаются какъ картечь и катятся во всѣ стороны. Толпа огуломъ накидывается на всѣ эти блага, давитъ ихъ подъ ногами и въ одинъ мигъ расхищаетъ все, что лишь возможно расхитить. «Ничего братцы! Бери знай!.. Съѣстное, не грѣхъ! Все одно прахомъ пойдетъ!» раздаются въ этой толпѣ поощрительные возгласы.

Верхній этажъ пылаетъ, а многія лавки внизу еще заперты. Прибѣжалъ хозяинъ одной изъ нихъ, взглянулъ на пламя, поднялъ руки вверхъ и тутъ же замертво хлопнулся объ землю.

Съ противоположнаго берега Фонтанки, около Лештукова переулка и Мѣщанской гильдіи, открывалась страшная, поразительная картина пожара, во всемъ его адскомъ ужасѣ. Изъ воротъ, выходившихъ на набережную, спѣшно выкатывали разные экипажи: кареты, тарантасы, коляски, дормезы, сани и дрожки. Тутъ же тѣснились телѣги, на которыя торговцы набрасывали свой товаръ, — больше все разный пестрый хламъ изъ Лоскутнаго ряда; валили его также на барки, на плоты и на лодки, подходившія къ гранитному берегу. Множество всякихъ узловъ, вещей, и хламу, и рѣдкостей, оружіе, картины, бронзы, китайскія вазы, рѣдкія книги и груды вообще книжнаго товару, домашняя утварь, желѣзо, мебель—все это валилось съ берега, чрезъ чугунную рѣшотку, на суда, но великое множество изъ этихъ вещей падало въ воду и тонуло.

Между тѣмъ, барки съ дровами спѣшили поскорѣй уйти отъ пожарища внизъ по теченію. На водѣ шла такая же толкотня и сумятица, какъ и на сушѣ. Не прошло и двадцати минутъ отъ начала пожара, какъ огонь побѣжалъ уже по самому забору рынка. Уголъ его, выходившій на набережную и Апраксинъ переулокъ, занятъ былъ громаднымъ дровянымъ складомъ. Квадраты досокъ и бревенъ, тѣсно сложенные одни возлѣ другихъ, возвышались надъ землею болѣе чѣмъ на три сажени. Къ этому складу примыкали каретный

Digitized by Google

и желѣзный ряды. Все это менѣе чѣмъ въ десять минутъ пылало гигантскимъ, сокрушительнымъ пламенемъ. Народъ еще копошился на той сторонѣ, пока пожаръ не дошелъ до забора; но когда золотыя полосы и жилки огня пробились сквозь его щели—жаръ вдругъ сдѣлался невыносимъ до такой степени, что чрезъ минуту на набережной не было уже ни одной души. За нѣсколько мгновеній предъ бѣгствомъ отсюда, выломали въ нѣсколькихъ мѣстахъ чугунную рѣшотку, своротили съ мѣста нѣсколько гранитныхъ тумбъ и посбрасывали въ воду значительное число экипажей, надѣясь спасти ихъ хоть этимъ средствомъ. Впрочемъ, много каретъ и колясокъ, за недостаткомъ времени, остались на опустѣлой набережной, которая, съ отсутствіемъ людей, вдругъ приняла какой-то мертвенный, тоскливо-пустынный и мрачный видъ. Огонь работалъ. Вѣтеръ клубками катилъ по набережной комья и пучки какого-то горящаго хлама. Горѣли черныя кареты, горѣли фонарные столбы.

Рядомъ съ Мѣщанскою гильдіей, на противуположной сторонѣ Фонтанки, съ балкона дома Шамо, гдѣ жилъ тогда пишущій эти строки, открывался чуть ли не лучшій, чуть ли не самый страшный видъ въ цѣломъ городѣ на это пожарище. Внизу, подъ балкономъ, кишѣла и гудѣла непроходимая толпа, сквозь которую съ неимовѣрнымъ трудомъ прокладывали себѣ дорогу воинскія команды, торопившіяся на свои экстренные посты. Духота и жара были здѣсь такія, что всѣ стекла полопались; желѣзная рѣшотка балкона раскалилась до такой степени, что обжигала руки, оконныя рамы и ворота тлѣли и загорались. Надо было ежеминутно обливать ихъ водою, но чуть растворишь дверь балкона, какъ палящій жаръ такъ и обдастъ тебѣ все лицо. Оставаться на балконѣ не иначе было возможно, какъ покрывъ голову мокрой салфеткой. Но едва успѣли обдать стекла и рамы нѣсколькими ведрами воды какъ чрезъ минуту жаръ каленаго воздуха уже высушивалъ ихъ, и дерево начинало тлѣть сызнова.

А на той сторонѣ, прямо предъ глазами бушевало, ревѣло и свистало цѣлое море сплошного огня. Заборъ давно уже рухнулъ. Желѣзо плавилось потоками и клокотало, какъ въ калильной печи, раздражая глазъ невыносимо яркимъ свѣтомъ. Тутъ же горѣли купоросъ и сѣра, которая свѣтилась переливами великолѣпнаго зеленаго и голубого огня. Въ воздухѣ поднялась цѣлая буря. Сильный и порывистый морской вѣтеръ гналъ потоки пламени прямо на громадное зданіе министерства внутреннихъ дѣлъ. Огненные языки уже лизали его стѣны, и черезъ нѣсколько минутъ министерскій домъ пылалъ, какъ и Толкучка. Дома въ Апраксиномъ переулкѣ тоже горѣли. Пламя крутилось и металось во всѣ стороны; иногда столбъ его, какъ огненный смерчъ, высоко уходилъ въ небо и крутился длинною спиралью. А тамъ, вдали, за этимъ моремъ, мгновеньями виднѣлось другое, густо-багровое и даже какъ будто какое-то темное, черноватое пламя: то горѣли каменные флигеля суконныхъ рядовъ, выходящіе на уголъ Садовой и Чернышева переулка.

Въ семь съ половиною часовъ пламя вырвалось наконецъ на Садовую улицу, противъ оптовыхъ лавокъ, между Мучнымъ переулкомъ и Государственнымъ банкомъ. Ломовые извозчики подъѣзжали безпрестанно; вещи съ мостовой укладывались и увозились по мѣрѣ возможности, но все-таки цѣлыя груды ихъ оставались еще на улицѣ. Брошенные шкафы, ящики и множество другихъ деревянныхъ удобовозгарающихся вещей валялись въ томъ положеніи, какъ повыбрасывали ихъ изъ оконъ второго этажа. Весь этотъ хламъ тоже начиналъ загораться и угрожалъ собою зданіямъ противоположной стороны; и дѣйствительно, одинъ изъ флигелей Государственнаго банка уже загорѣлся, но вскорѣ его отстояли. Надо было очистить улицу отъ хлама. Народу было множество, но онъ стоялъ себѣ простымъ зрителемъ и только препятствовалъ разъѣзжаться повозкамъ. Цѣпи военныхъ часовыхъ еще не было. Солдаты продолжали выносить вещи, но спасали по указанію самихъ же купцовъ, потерявшихъ голову, совсѣмъ ничтожные и даже непригодные предметы, въ родѣ сапожныхъ подошвенныхъ шпиньковъ, поломанныхъ диванов и стульевъ, битыхъ зеркалъ, разную бумагу, корзины, гвозди, пуговицы, вату и тряпье. Хотѣли солдаты ломать крышу, но не случилось ни топоровъ, ни ломовъ, которые явились уже гораздо позже. Солдаты тщетно бѣгали по лавкамъ, въ надеждѣ отыскать ихъ у торговцевъ, но желѣзныхъ лавокъ по близости не было.

Кто-то подалъ дѣльную мысль, чтобы брошенныя на улицѣ вещи втаскивать обратно подъ арки Апраксина—работа закипѣла, и единственно лишь этому слѣдуетъ приписать спасеніе Государственнаго банка и вообще зданій противоположной стороны Садовой улицы. Нѣкоторыя лавки, послѣ того какъ въ нихъ были выломаны двери, къ неожиданному и крайнему удивленію свидѣтелей, оказались внутри совершенно пустыми. Это возбудило громкій ропотъ, жалобы и подозрѣнія на хозяевъ въ томъ, что они, очевидно, вывезя весь товаръ предъ пожаромъ, вѣроятно знали, что онъ случится.

— Гляди, банкротами объявятся!—замѣчали въ толпѣ.

— А можетъ ради иного злостнаго банкротства и Толкучій горитъ!—предположилъ нѣкто.

— Нѣтъ, баринъ, врешь! Толкучій не купечество, а хичные люди подожгли! Ужь они давно на него зарились! Тѣ самые, что народъ православный по міру пустить хотятъ, да не-

Digitized by Google

хорошія бумаги подбрасываютъ! Это ужь мы доподлинно знаемъ! Это вѣрно!

Лавки, оказавшіяся пустыми, стояли подъ №№ 40, 44 и 45 [1]).

Солдаты выносили товары и вещи, но все это было вполнѣ безполезно. Ни купцы, ни приказчики не условливались съ ними о мѣстахъ складки, и тѣ впопыхахъ, роняя по дорогѣ и подымая вещи, или будучи задержаны толпой, теряли изъ виду своихъ провожатыхъ и потомъ отыскивали ихъ при шумѣ и замѣшательствѣ, нарочно производимомъ многочисленными мошенниками, на которыхъ слышались жалобы изъ разныхъ мѣстъ и лавокъ, и которые объявляли себя хозяевами чужого добра. Приказчики разгоняли ихъ, дубася по чемъ попало желѣзными замками, звали полицейскихъ офицеровъ и солдатъ; но тѣ и сами не знали, въ какую имъ сторону идти и брать ли этихъ господъ, отъ которыхъ хотя и припахивало водкой, но которые по большей части одѣты были прилично, называли себя дворянами или чиновниками, и съ примѣрнымъ безкорыстіемъ, усердствовали въ разбитіи дверей тѣхъ лавокъ, хозяева которыхъ не успѣвали во-время явиться на мѣсто.

Вообще, повсюду шелъ грабежъ страшнѣйшій. Хозяева вещей стараются поймать вора, ловятъ и праваго и виноватаго, завязывается драка, вступается полиція, а грабежъ тѣмъ часомъ идетъ еще болѣе.

А тутъ у Апраксина переулка «поджигателя» вдругъ поймали.

— Гей! ребята! Вали смотрѣть! Поджигатель! Поджигатель! — реветъ толпа, обуянная злобой и любопытствомъ.

Человѣкъ десять ухватили какого-то блѣднаго отъ страха молодого человѣка, предъ которымъ стоитъ лавочникъ и держитъ въ рукахъ бутылку съ какимъ-то чернымъ порошкомъ и коробокъ спичекъ, отнятые у «поджигателя».

— Что это за порошокъ, любезный?

— Э, робя! Это порохъ!.. Ей-ей, порохъ! Ишь, какой блестящій!

— Мажь ему рожу! Мажь эфтимъ самымъ суставомъ!—вопитъ толпа.

— Держи, братцы, крѣпче! Вотъ я ему сейчасъ!—говоритъ лавочникъ, насыпая въ руку порошокъ изъ бутылки.

Пойманный судорожно присѣдаетъ.

— Стой, братцы!—кричитъ кто-то.—Давай, я на языкъ попробую!

— Не трошь! Ротъ обдеретъ!

— Полно!.. Еще, гляди, помрешь, аль лопнешь сею секунтою!

— Небойсь!.. Не помремъ!.. Давай!.. Я сейчасъ узнаю!

Порошокъ оказывается обыкновеннымъ чернымъ пескомъ, для засыпки письма.

— Ну, ступай съ Богомъ! Христосъ съ тобой! Не сердися!.. Самъ видишь, время нонѣ какое!

Пойманный перекрестившись пускается бѣжать, что есть духу.

— Держи! Держи! Воръ бѣжитъ! Воръ!— преслѣдуетъ его крикомъ какая-то баба, въ-конецъ опалѣлая отъ страха.

Нѣсколько человѣкъ изъ толпы кидаются ловить «вора», который сейчасъ только-что былъ «поджигателемъ». Къ счастію, полиція поспѣшаетъ на выручку.

А въ это же самое время бѣжитъ по улицѣ, выпучивъ глаза, какой-то растрепанный, оборванный, но бывшій порядочно одѣтымъ человѣкъ, безъ шапки, съ обезображеннымъ лицомъ. Онъ безсмысленно смотритъ впередъ, безпорядочно машетъ руками и вопитъ страшныя проклятія.

— Сумасшедшій!.. Помѣшался! Господи!.. Человѣкъ въ умѣ помѣшался!—проносится въ толпѣ стонъ состраданія.

Помѣшанный бѣжитъ далѣе и исчезаетъ въ народѣ.

Какая-то растрепанная женщина, съ ребенкомъ на рукахъ, вдругъ бросается съ визгомъ подъ пожарную тройку.

— Стой!.. Стой!.. Берегись! Раздавили!.. Подъ лошадей попала!.. Ребенокъ-то, ребенокъ!.. Ай-ай-ай, Господи!.. проносятся отчаянные крики.

Пьяный господинъ, въ отставномъ пальто, съ кокардой на красномъ околышѣ потертой фуражки, азартно колотитъ по зубамъ встрѣчныхъ и поперечныхъ и хрипло, начальственныхъ тономъ оретъ.

— Назадъ!.. Назадъ, говорю вамъ! Сюда нельзя! Не смѣть ходить сюда!

Смущенная толпа молча пятится предъ азартною кокардой.

То тамъ, то здѣсь появляются разные самозванные начальники и запретители, которые обращаются съ приказаніями къ толпѣ, что «и сюда, молъ, нельзя, и туда нельзя». Иногда толпа послушаетъ запретителя и попятится, а иногда какой-нибудь смѣльчакъ и по зубамъ его съѣздитъ. За симъ неизбѣжно поднимается драка, кончающаяся цѣлой свалкой...

— Поберегись!.. Уйди!.. Прочь съ дороги! Убью!.. Берегись! Караулъ!.. Ка-ра-у-у-улъ! Стой!.. Что за человѣкъ такой? неумолкаемо раздается со всѣхъ сторонъ надъ одурѣвшею толпою.

Какой-то старикъ съ длинной сѣдой бородой, припавъ лицомъ къ стѣнѣ, вдругъ тяжко

---

[1]) Фактъ этотъ засвидѣтельствованъ официально нѣсколькими лицами. Съ какою цѣлью и почему были вынесены изъ этихъ лавокъ всѣ товары? О цѣли, конечно, судить трудно; но *почему*?—это другой вопросъ. О предстоявшемъ пожарѣ Апраксина и Толкучки уже заранѣе ходили темные слухи, а 26-го мая были подброшены извѣщательныя письма.

Digitized by Google

и страшно зарыдалъ разбитымъ, старческимъ рыданьемъ.

— У!.. Разбойники!.. Жечь ихъ! самихъ жечь!—гудѣло въ толпѣ со стономъ и скрипящею злобою.

Страшный вѣтеръ отрывалъ отъ пожара цѣлые клубы пламени и несъ ихъ въ воздухѣ отдѣльными клочьями.

Около шести часовъ по полудни огонь показался на противоположной сторонѣ Фонтанки. Быть-можетъ его перебросило. Здѣсь, повидимому, никто не чаялъ новаго пожара, какъ вдругъ, почти мгновенно, освѣтило дровяные дворы и досчатые склады; затѣмъ и четверти часа не прошло, какъ уже пылали Чернышевъ, Троицкій и Щербаковъ переулки. Въ послѣдній, въ особенности, было страшно взглянуть: это самый узкій изъ всѣхъ петербургскихъ переулковъ, застроенный, по большей части, ветхими деревянными лачугами, и теперь въ немъ кипѣла и трещала цѣлая рѣка непрерывнаго, сплошного огня: тамъ уже ни души не было. Оттуда можно было только спасаться, но не спасать. Въ общей сложности, горѣло пространство, по крайней мѣрѣ, на три версты въ окружности. Тринадцать частей съ ихъ резервами—все, чѣмъ богатъ въ этомъ отношеніи городъ—были раскинуты на столь громадномъ протяженіи и совершенно терялись въ немъ. Работа ихъ, повидимому, была вполнѣ безсильна. Пожарные солдаты, измученные длиннымъ рядомъ предшествовавшихъ безпрерывныхъ пожаровъ, въ теченіе цѣлыхъ двѣнадцати дней лишенные сна и покоя, часто по цѣлымъ суткамъ голодные отъ недостатка времени проглотить какой-нибудь кусокъ,—въ настоящую минуту еле двигали руки и ноги. Сколько изъ нихъ, бывало, въ ожиданіи воды, присядутъ къ колесу бочки и тотчасъ же засыпаютъ глубокимъ сномъ; сколько, бывало, валились съ ногъ на мостовую въ совершенно безчувственномъ состояніи; одинъ сталъ-было колѣнами на подножку, склонилъ голову на дроги, да такъ и остался недвижимъ: никакими усиліями не могли его растолкать—онъ онѣмѣлъ совершенно. А сколько этихъ людей калѣчилось, убивалось, гибло въ огнѣ жертвами собственнаго самоотверженія! Спасибо еще, что находились добрые люди, которые привозили имъ на пожаръ хлѣба, вина и калачей,—и трудно представить себѣ, до какой степени простиралась благодарность этихъ солдатъ. Хвативъ глотокъ водки и на-ходу закусывая кускомъ хлѣба, они съ новой энергіей кидались въ свою каторжную работу и дѣлали все, что только въ состояніи сдѣлать человѣческія силы.

Въ минуту тяжкихъ общественныхъ испытаній какъ-то само собою сглаживается и исчезаетъ то, что зовется кастою, сословностью, разностью положеній, званій и состояній. Вмѣсто этого является масса, сила, міръ, нѣчто единое, или то, что можно понимать подъ словомъ *народъ*, въ самомъ широкомъ смыслѣ. Такъ было и теперь. Пожаръ сталъ общею бѣдою; тушить его стало общимъ дѣломъ. Офицеры гвардіи и отставные солдаты, чиновники, пажи, гимназисты и студенты, лицеисты и правовѣды, денди въ изящнѣйшихъ пальто, съ пенснэ на носу, и пролетаріи съ Сѣнной площади, священники, негоціанты, капиталисты и нищіе, лица заслуженыя и простые работники, баре и мѣщане,—словомъ, всѣ, кто только могъ, посильно помогали дѣлу; карабкались на подмостки пожарныхъ машинъ и, облитые потоками грязной воды, обсыпанные пепломъ, подъ дождемъ сыплющихся искръ и углей, усердно качали и качали воду, опустошая на всѣхъ пунктахъ цѣлыя сотни бочекъ. Въ одномъ мѣстѣ какой-то заслуженый, сѣдой генералъ, видя, что рвеніе толпы къ помощи начинаетъ ослабѣвать, а утомленные, между тѣмъ, выбиваются изъ послѣднихъ силъ, влѣзъ на пожарную трубу и, не говоря ни слова, что было мочи, сталъ качать воду. Этотъ примѣръ былъ своего рода электрической искрой: сотни рукъ въ одну минуту двинулись къ машинѣ, чтобъ освободить честнаго добраго человѣка отъ непосильнаго ему труда. Двое кадетъ инженернаго корпуса виднѣлись вмѣстѣ съ нѣсколькими пожарными на объятой пламенемъ крышѣ высокаго, пятиэтажнаго дома и усердно работали тамъ топорами. Какой-то молодой человѣкъ, безъ сюртука, одѣтый въ одну рубашку и панталоны, съ студентской фуражкой на головѣ, съ топоромъ за кожанымъ поясомъ, предводительствуя небольшой группой своихъ товарищей-студентовъ, просто поражалъ толпу, смотрѣвшую на пожаръ, чудесами нелмовѣрнаго мужества. Сначала онъ работалъ около министерства внутреннихъ дѣлъ, но потомъ, когда тутъ нечего уже было дѣлать, бросился со своими товарищами въ Троицкій переулокъ. За нимъ послѣдовала цѣлая толпа, чтобы полюбоваться на молодецкій образъ дѣйствія отважнаго юноши. Тутъ онъ по лѣстницѣ бросился на одинъ изъ загорѣвшихся уже домовъ, и толпа снизу видѣла какъ изъ-подъ его топора летѣли щепы, когда онъ быстро рубилъ горѣвшія балки. Товарищи его помогали ему сбрасывать балки на-земь, но вдругъ раздается зловѣщій трескъ, подъ студентомъ рушится потолокъ и онъ проваливается. Крикъ ужаса вырвался у глядѣвшей толпы. Прошло минуты двѣ ожиданія, обдающаго нѣмой тишиной и дрожью, и холодомъ. Но вотъ онъ однако показывается въ окнѣ пылающаго верхняго этажа. Товарищи его, успѣвшіе между тѣмъ спуститься внизъ, помогаютъ ему сдѣлать то же, приставляютъ лѣстницу, но онъ видимо страдаетъ отъ боли. Не прошло и пяти минутъ, какъ снова, заткнувъ топоръ за поясъ,

Digitized by Google

онъ вновь взбирается по лѣстницѣ на другой горящій домъ, хотя толпа и не пускала его. Это самоотверженіе тѣмъ болѣе могло назваться подвигомъ, что толпа громко говорила, будто Петербургъ жгутъ поляки и студенты. Одинъ видъ синяго околыша студентской фуражки возбуждалъ уже въ этой слѣпой толпѣ враждебную подозрительность и негодованіе.

Примѣры великодушія являли многіе городскіе и ломовые извозчики. Болѣе полутораста ломовыхъ прикатили къ мѣсту пожара съ Калашниковой пристани, чтобы перевозить товары за самую ничтожную плату и даже вовсе безъ всякой платы. Одинъ извозчикъ, съ Литейной, прислалъ для той же цѣли безвозмездно пятнадцать четверо-мѣстныхъ каретъ. Но зато были и такіе спекулянты, которые за перевозку клади отъ Гостинаго двора на Царицынъ лугъ, разстояніе менѣе чѣмъ полверсты, драли по тридцати-пяти рублей съ воза или по пятидесяти съ омнибуса. Кто хотѣлъ въ мутной водѣ рыбу ловить, тому было теперь всяческое раздолье.

XXI.

Наши знакомцы на пожарѣ.

Андрей Павловичъ Устиновъ въ этотъ день обѣдалъ у Стрѣшневыхъ. Еще сидѣли за столомъ, когда принесена была вѣсть, что Толкучій горитъ. Черезъ полчаса опять прибѣжала горничная и объявила, что пожаръ — страсти какой! что въ Петербургѣ отродясь такого и не видано! Татьянѣ Николаевнѣ вздумалось пойти поглядѣть, что тамъ такое дѣлается, и она отправилась вмѣстѣ съ Устиновымъ.

Литейная, Владимірская, Александринская площадь, Садовая, словомъ, всѣ ближайшія къ пожару улицы, площади и переулки были запружены народомъ и экипажами, загромождены мебелью, завалены товарами, узлами и всякими пожитками. Бабы ревмя ревѣли, сидя на нихъ и карауля остатки своего добра отъ расхищенія. Солдаты съ ружьями тамъ и сямъ стояли часовыми при грудахъ имущества. Длинныя цѣпи ихъ протянулись вдоль ближайшихъ улицъ. Изъ домовъ продолжали выносить и спасаться жильцы. Со всѣхъ сторонъ было одно и то же: пламя, дымъ, обгорѣлыя бревна, стропила, доски, оторванные листы желѣзныхъ крышъ, мрачные остовы сгорѣвшихъ домовъ, закопченыя стѣны, выбитыя окна, искры и головни... Повсюду бѣготня, ѣзда, суета, сумятица, слезы и вопли, крики, ругательства и проклятія, и все это покрывается свистомъ порывистаго вѣтра, ревомъ пожара, трескомъ рушащихся домовъ и шипѣньемъ высокихъ струй воды, направляемыхъ въ самыя сильныя пѣкла.

— Поджигаютъ!.. Поджигаютъ!—слышалось со всѣхъ сторонъ, отъ встрѣчнаго и поперечнаго.

Кто поджигаетъ? — Тьма предположеній, но ни одного положительнаго, вѣрнаго отвѣта. Одно только чувство немедленной и безпощадно-страшной мести невидимымъ, тайнымъ врагамъ съ каждой минутой все болѣе и болѣе разгорается въ массахъ народа.

Устиновъ, подъ руку со Стрѣшневой, пробирались по Троицкому переулку. Предъ воротами одного дома имъ поневолѣ пришлось остановиться, такъ какъ огромная толпа стояла тутъ не двигаясь и глядѣла на загоравшійся домъ съ противоположной стороны переулка.

— Батюшки! да никакъ это наша коммуна выносится,—сказала Стрѣшнева, замѣтивъ въ двухъ шагахъ отъ себя Лидиньку Затцъ, сидѣвшую на грудѣ узловъ и мебели.—Ну, такъ и есть, вонъ и Малгоржанъ тащитъ сюда что-то!

— Лидинька! Здравствуйте!—крикнула ей Татьяна.

Затцъ обернулась. Лицо ея было нервно и встревожено. На немъ явно отпечатлѣвались испугъ и растерянность.

— Ахъ, это вы!.. Здравствуйте, здравствуйте, миленькая!—быстро и взволнованно заговорила она, видимо обрадовавшись.—Голубушка, помогите, Христа ради!.. Выноспмся... сейчасъ вѣрно и у насъ загорится... Помогите, покараульте вотъ... За всѣмъ не доглядишь, а у меня ужь и то новое пальто украли... Эдакое бѣдствіе!.. Ахъ, ужь, кажется, если бы только узнать, кто эти мерзавцы поджигатели, вотъ бы ужь, кажется, своими руками!.. Разстрѣливать эдакихъ изверговъ мало!.. Вѣдь тутъ народъ, цѣлый народъ страдаетъ!.. Подлецы эдакіе!. Но пальто мое... Господи! на прошлой недѣлѣ только двадцатьпять рублей заплатила... и представьте, сейчасъ стащили вотъ... Эдакая обида!

Вдругъ, въ эту самую минуту изъ-подъ воротъ послышались отчаянные крики: «держи!.. держи, братцы, держи!» и вслѣдъ затѣмъ выскочила какая-то блѣдная, испитая, оборванная фигурка, безъ шапки, кутая что-то подъ мышкой, и тотчасъ же за нею появился Ардальонъ Полояровъ. Блѣдный и растрепанный, съ горящими, ошалѣлыми глазами, онъ гнался во всю прыть за испитою, оборванною фигуркою и простиралъ впередъ руки, силясь догнать и поймать ее.

— Держи, братцы, держи!.. Воръ! Мазурикъ!.. Сейчасъ штаны мои изъ-подъ руки стащилъ! — вопилъ запыхавшійся Ардальонъ, вслѣдъ за которымъ, словно мячикъ, выкатился и Анцыфрикъ, пища во весь свой плюгавый голосенокъ. — Держи! штаны укралъ!.. штаны наши! Держи его!.. въ полицію!.. Батюшки!.. грабятъ!..

Толпа тотчасъ же задержала испитого мазурика, который, весь дрожа и присѣдая отъ страху, кидалъ вокругъ себя дикіе, молящіе взгляды.

Digitized by Google

Полояровъ нагналъ его и цапнулъ за волосы.

— Вотъ онъ, кто поджигатель-то!.. Вотъ онъ!—вопилъ Ардальонъ Михайловичъ!—Отдай штаны, подлецъ!.. Братцы помогите! Отымите! За что-жь имъ грабить-то позволять!

Коммунисты гуртомъ бросились спасать Полояровскіе штаны. Толпа мигомъ окружила и Ардальона, и мазурика, и загудѣла своимъ смѣшаннымъ, но зловѣщимъ гуломъ.

— Бей его!.. Бей, братцы! — раздавался сквозь этотъ гулъ озлобленно-растерянный голосъ Ардальона.

Нѣсколько кулаковъ замелькали надъ головами широкими размахами, и вслѣдъ за тѣмъ всю душу раздирающій крикъ и жалобные стоны пронеслись надъ толпою.

— Уйдемте... Бога ради, уйдемте поскорѣй отсюда!—прошептала поблѣднѣвшая Татьяна, прижимаясь къ рукѣ Устинова.

Они съ величайшимъ трудомъ прокладывали себѣ дорогу. Иногда волна людской толпы захлестывала ихъ собою, подхватывала и несла впередъ своимъ собственнымъ невольнымъ движеніемъ, и въ такія минуты было легче идти: приходилось только защищать свои бока, но самому продираться было уже не къ чему: толпа несла сама собою.

Такимъ образомъ, и сами не понимая какъ, они вмѣстѣ съ захлестнувшимъ ихъ потокомъ очутились на Чернышевской площади, предъ пылающимъ министерствомъ внутреннихъ дѣлъ. Тутъ было нѣсколько просторнѣе и потому сказывался кой-какой порядокъ. Груды бумагъ и «дѣлъ» валялись на мостовой. Порывы вѣтра подхватывали ихъ, рвали, кружили и разносили въ стороны. Нѣсколько студентовъ захватили пять или шесть извозчичьихъ дрожекъ и, наваливъ туда кипы этихъ бумагъ, отвозили ихъ подъ своимъ надзоромъ въ болѣе безопасное мѣсто. Другіе ловили и подхватывали на лету отдѣльные листы и отдавали ихъ тѣмъ же студентамъ. Фасадъ министерства стоялъ подъ вѣтромъ и потому языки огненнаго пламени, выкатывавшіеся изъ всѣхъ оконъ верхняго и средняго этажей, плавно подымались вверхъ, и уже оттуда вѣтеръ металъ ихъ во всѣ стороны. Сквозь пролетныя арки сосѣдняго дома министерства народнаго просвѣщенія, несмотря на огонь адскаго пожара, порою открывалось вдали на нѣсколько мгновеній небо, все багровое отъ послѣднихъ лучей заходящаго солнца. Начинало смеркаться. Въ воздухѣ понемногу темнѣло, и вмѣстѣ съ синевою сумерекъ увеличивалось зарево пожаровъ. Оно становилось теперь какимъ-то грознымъ, зловѣщимъ, ярко-кровавымъ. Стаи голубей и листы бумаги все еще высоко кружились надъ пожарищемъ, мгновеньями сверкая подъ лучами огня своею яркою бѣлизною. Иногда бумага казалась птицею, а птица бумагой. Вода въ Фонтанкѣ вся поворочѣла, и на мелкихъ изломахъ ея зыби, словно на стальной чешуѣ, миріадами свѣтлыхъ точекъ, полосокъ и змѣекъ играли отблески кроваваго огня. По теченію медленно плыли одна за другой три покинутыя барки, наполненныя дровами. Одна изъ нихъ горѣла.

Устиновъ и Стрѣшнева молча, съ какою-то обмирающею скорбью въ душѣ, глядѣли на всю эту мрачную, ужасную картину.

Спиною къ нимъ, въ какомъ-нибудь шагѣ разстоянія, остановились двое молодыхъ людей и, повидимому, любовались пожаромъ.

— Это тоже изъ коммунистовъ, — шепнула Татьяна, указавъ на одного изъ нихъ глазами.—Я и другого, кажется, тамъ встрѣчала...

То были Моисей Фрумкинъ и Василій Свитка, нечаянно столкнувшіеся гдѣ-то на пожарѣ. Свитка, противъ обыкновенія, щеголялъ теперь не въ чамаркѣ, а въ обыкновенномъ пиджакѣ.

— А славно горитъ... Просто прелесть, какая картина! — съ улыбкой обратился онъ къ Моисею.

— Н-да! эффектно, чортъ возьми!—процѣдилъ тотъ сквозь сжатые зубы.

Какой-то пожилой, обрюзглый господинъ съ рыжими усами и съ чиновничьею кокардой на шапкѣ, стоявшій тутъ же по сосѣдству, почти рядомъ съ ними, свирѣпымъ взглядомъ поглядѣлъ на обоихъ, молча, но въ высшей степени подозрительно.

Тѣ однако, продолжая любоваться эффектомъ огня, не замѣтили этого взгляда.

— Quae medicamenta non sanant — ferrum sanat, quae ferrum non sanat—ignis sanat![1]) тихо, но вѣско проговорилъ Свитка.

Чиновникъ снова метнулъ на него подозрительный взглядъ и сталъ прислушиваться.

— Это старая истина и, кажись, справедливая, — согласился Фрумкинъ. — А вѣдь, говорятъ, будто это поляки? а?—съ улыбкой обратился онъ къ пріятелю.

Тотъ поглядѣлъ на него черезъ плечо такимъ взглядомъ, въ которомъ сквозила и насмѣшка и презрѣніе.

— Вы полагаете?—сказалъ онъ.—Говорятъ тоже, будто русскіе студенты, но я этого не полагаю. Что же касается до поляковъ, то у нихъ пока еще, слава Богу, есть другія средства борьбы; а на это дѣло и изъ своихъ, изъ русскихъ, найдется достаточно героевъ.

— Н-да, сѣверный исполинъ просыпается — съ оттѣнкомъ какого-то самодовольнаго самохвальства замѣтилъ Моисей Фрумкинъ.

— Да намъ-то что до этого «исполина», до этого Росса-колосса! Вѣдь мы съ вами не принадлежимъ къ его туранской національности, — съ легкою проніей замѣтилъ Свитка.

— Конечно, я космополитъ въ сущности!—

[1]) Чему лекарство не поможетъ — желѣзо поможетъ, чему желѣзо не поможетъ — огонь поможетъ.

Digitized by Google

поспѣшилъ объясниться Фрумкинъ, подмѣтившій иронію пріятеля и, какъ еврей, понявшій, куда она мѣтитъ.—Но вѣдь космополитизмъ не врагъ идеѣ о національности, если только эта идея подымается во имя революціоннаго начала, въ смыслѣ общеевропейской революціи.

Рыжіе усы съ кокардой очевидно ловили каждое слово этой неосторожной бесѣды.

— Ignis sana', — продолжалъ между тѣмъ Фрумкинъ.—Это конечно такъ! Средство слишкомъ радикальное, но оно должно наконецъ подѣйствовать, именно потому, что это радикально!

— А что ваша типографія? — перебилъ его Свитка.

— Слава Богу, я успѣлъ застраховать ее!— мимоходомъ отвѣтилъ Моисей и поспѣшилъ вернуться къ дальнѣйшему развитію своей темы. — Какъ бы то ни было, но мы видимъ, что правительство безсильно, говорилъ онъ; — правительство не можетъ и не умѣетъ бороться даже и съ этими пожарами: оно само горитъ. Сегодня, дастъ Богъ, сгорятъ эти два министерства, а завтра, можетъ, и остальныя. И народъ тоже вѣдь очень хорошо видитъ и понимаетъ это безсиліе, онъ начнетъ завтра же презирать ту власть, которая сегодня не можетъ и не умѣетъ помочь народу. А между тѣмъ горятъ-то все не богатые, а самые бѣдные кварталы—значитъ, тотчасъ же возникнетъ пролетаріатъ, съ ненавистью къ правительству и къ капиталу, который не горитъ теперь, а выѣзжаетъ на дачи. Пожары — вотъ вы увидите, окончательно раздражатъ народъ и сдѣлаютъ его воспріимчивѣе для принятія новыхъ идей и порядковъ, —ну, и конечно, хочешь-не-хочешь втолкнутъ его въ революцію. А вѣдь этого, въ сущности, только и нужно, и съ этой стороны я понимаю и даже оправдываю пожары.

Но не успѣлъ еще Моисей договорить послѣдней фразы, какъ подслушивавшій чиновникъ съ яростью ухватилъ его сзади за шиворотъ.

— Братцы! Православные! Бунтовщикъ! Поджигатель!—закричалъ онъ на всю площадь своимъ хриплымъ басомъ! — Эй! Народъ русскій! Сюда! Ко мнѣ! Я врага отечества поймалъ! В-р-р-рага отечества! Казни его, народъ православный! Выдаю тебѣ его головою! Вотъ онъ!

Рыжіе усы мощной рукой потрясали шиворотъ съежившаго Фрумкина, который, какъ ни старался вывернуться, однако ничего не подѣлалъ. Свитка же, чуть лишь замѣтилъ въ самый первый мигъ эту руку, схватившую его знакомца, тотчасъ же юркнулъ назадъ и затерялся въ толпѣ.

Нѣсколько десятковъ человѣкъ самаго разношерстнаго народа въ ту же минуту плотно окружили со всѣхъ сторонъ чиновника и Моисея.

— Хвалилъ пожары! Говоритъ, что это хорошее дѣло, что онъ одобряетъ!—докладывалъ толпѣ поимщикъ.—Обыскать его братцы!

— Обыскать! Обыскать! — подхватили въ толпѣ, и нѣсколько рукъ запустилось во всѣ карманы какъ смерть поблѣднѣвшаго Фрумкина.

— Вотъ оно!.. Вотъ!!. Нашелъ!.. Всю механику, братцы, нашелъ! — выкрикнулъ одинъ голосъ — и передъ глазами толпы появились мельхіоровая спичечница съ желтымъ селитрянымъ фитилемъ, пара сигаръ, какіе-то пять порошковъ въ аптекарскихъ конвертикахъ.

— Это у тебя зачѣмъ имѣются поджигательные снаряды?—допытывалъ чиновникъ въ героической позѣ судьи и рѣшителя. Хотя отъ этого оратора и сильно отдавало сивушнымъ масломъ, но толпа на такое обстоятельство не обратила ни малѣйшаго вниманія, которое было поглощено «поджигателемъ» и сдѣланными у него находками.

— Я тебя спрашиваю, для чего у тебя эти поджигательные снаряды?—продолжалъ яростный ораторъ-судья и слѣдователь.

— Это спички... папиросы зажигать,—пробормоталъ въ-конецъ оробѣвшій Фрумкинъ.

— Папиросы зажигать? А можетъ, и столицу поджигать?

— Это такъ! «Поджигать»! Это вѣрно! — гудѣли голоса въ окружавшей толпѣ.

— А зачѣмъ у тебя эти порошки?.. Это, братцы, самый составъ-то и есть, которымъ поджигаютъ!—объяснилъ чиновникъ, обращаясь ко всему ареопагу.

— Боже мой... зжвините, это Доверовы порошки... позвольте, я поглочу одинъ хоть сейчасъ же... вы увидите!—бормоталъ Фрумкинъ, тщетно ища себѣ хотя въ комъ-нибудь нѣкоторой поддержки.

Но всѣ глаза такъ предупрежденно, такъ подозрительно и съ такою злобою смотрѣли на него, что тутъ ужь рѣшительно нечего было ждать себѣ защиты.

— Православные!—хрипѣлъ между тѣмъ чиновникъ.—Я самъ былъ земскимъ засѣдателемъ по этимъ дѣламъ! Я знаю, что это зажигательный снарядъ... Я самъ все время слышалъ, какъ онъ хвалилъ пожары!.. Полицію сюда! Полицію!

— На што полицію!—отзывались въ толпѣ,— съ полиціей лишняя возня, а лучше своимъ судомъ!

— Своимъ! Своимъ судомъ лучше!—подхватили десятки новыхъ голосовъ.—Въ огонь его, душегуба, да и вся недолга! Въ огонь!.. Бери, братцы! Подхватывай!.. Чего ждать-то!.. Швыряй прямо въ огонь-то!.. Псу пеcья и смерть! Пущай подыхаетъ! Въ огонь его! Въ полымя! Умѣлъ поджигать, умѣй и жариться таперя.

— Братцы!.. Я русскій!... Я православ-

Digitized by Google

ный... Я увъ Бога вѣрую!—молящимъ голосомъ бормоталъ Фрумкинъ, и спѣшно сталъ креститься для доказательства, что онъ и русскій, и въ Бога вѣруетъ.

— Русскій? откликались ему въ толпѣ. — Врешь, братъ—жидъ! по голосу слышно!.. По рожѣ видно, что нехристь! Небось, не надуешь!.. Въ огонь, его, братцы!.. Берися!..

Десятка полтора охочихъ рукъ подхватили несчастнаго Моисея за руки и за ноги, и потащили къ огню, съ намѣреніемъ раскачать его и швырнуть въ пламя.

Въ эту самую минуту, къ счастію замѣтивъ особенное движеніе толпы, налетѣлъ на нее какой-то полицейскій майоръ верхомъ и двое жандармовъ.

— Гаспадинъ офицеръ! гаспадинъ офицеръ! Бога ради!.. Спасите!.. Невиннаго спасите!—громко молящимъ, отчаяннымъ голосомъ взывалъ къ нему Фрумкинъ.

Майоръ, съ помощью жандармовъ, силою разогналъ толпу, и всѣ они тотчасъ же взяли подъ свою непосредственную опеку злосчастнаго космополита, о которомъ, впрочемъ, толпа почти тутъ же и позабыла: вниманіе ея въ эту самую минуту всецѣло отвлеклось въ другую сторону.

XXII.

Ignis non sanat.

На площадь валила несмѣтная масса народа. Гулъ сотенъ тысячъ голосовъ разражался въ потрясенномъ воздухѣ однимъ гигантскимъ, единодушнымъ крикомъ—однимъ безконечнымъ «*ура*». Надъ этими массами развѣвались султаны нѣсколькихъ всадниковъ. Впереди былъ одинъ. Онъ медленно подвигался впередъ на своемъ конѣ, совершенно отдѣленный, отрѣзанный отъ остальныхъ всадниковъ живыми волнами плотной массы народа. Это ему кричали «*ура*» эти сотни тысячъ грудей, поднятыхъ однимъ восторженнымъ порывомъ, однимъ стремленіемъ. Это на него были устремлены эти сотни тысячъ глазъ, горѣвшихъ одною мыслію, одной надеждой, одной вѣрой и любовью. Русскій народъ встрѣчалъ Русскаго Царя. Иной встрѣчи и быть не могло: у нихъ одна и та же радость и горе, одни и тѣ же друзья и недруги, и это высшее единеніе чувствовалось инстинктивно, само собою, никѣмъ и ничѣмъ не подсказанное, никакимъ искусствомъ не прививаемое: оно органически, естественно рождалось изъ двухъ близкихъ словъ, изъ двухъ родныхъ понятій: *народъ и царь*.

«Батюшка!.. Царь!.. Спаси!.. Заступись! Ты одинъ наша надежа! Отецъ нашъ!» вопилъ народъ, кидаясь къ царскому стремени, и обнимая ноги государя. «Мы знали, что Ты съ нами! Ты нашъ! Ты не оставишь... Мы всѣ съ Тобою! Всѣ за Тебя! Не выдадимъ! Умремъ—не выдадимъ!..»

И снова тысячегрудое, громовое «*ура*» потрясало воздухъ и заглушало свистъ и ревъ пожара.

Съ трудомъ прокладывая себѣ дорогу чрезъ волнующееся море народныхъ массъ, государь продолжалъ одинъ, безъ свиты, оставленной далеко позади, медленнымъ шагомъ ѣхать впередъ. У Чернышева моста онъ на минуту остановилъ коня и оглядѣлся. Впереди было море огня, позади море огня. Надъ головою свистала буря и сыпался огненный дождь искръ и пепла—и среди всего этого хаоса и разрушенья раздавались тяжкіе стоны, рыданья, вопли о помощи, о защитѣ и могучее, восторженное, ни на единый мигъ несмолкавшее «*ура*» всего народа.

Всѣ мысли, всѣ взоры были теперь прикованы къ лицу государя. Это лицо было блѣдно и величественно. Оно было просто искренно, и потому такимъ теплымъ, восторженнымъ и благоговѣйнымъ чувствомъ поражало души людскія. Оно было понятно народу. Для народа оно было свое, близкое, кровное, родное. Сквозь кажущееся спокойствіе, въ этомъ блѣдномъ лицѣ проглядывала скорбь глубокая, проглядывала великая мука души. Нѣсколько крупныхъ слезъ тихо скатилось по лицу государя...

Народъ видѣлъ эту скорбь, видѣлъ эти слезы. Быть можетъ, никогда еще не былъ *онъ* такъ близокъ народу, такъ высоко популяренъ, какъ въ эти тяжкія минуты всенародной бѣды. Не было такой непереходной преграды, которая бы не преодолѣлась, не было такой великой жертвы, которая не принеслась бы народомъ, съ восторгомъ несокрушимой силы и любви, съ охотой доброй воли, по единому *его* слову.

Съ этой минуты для народа *онъ*, одинъ *онъ* былъ *все*: Внѣ *его*, мимо *его* народъ ничего не зналъ, ничего не видѣлъ. Старая историческая связь закрѣпилась теперь еще разъ новыми узами.

19-го февраля 1861 года, они опознали другъ друга въ словѣ и дѣлѣ свободы. 28-го мая 1862 года огонь пожаровъ закалилъ ихъ нравственныя узы. Горящій городъ, — все равно какъ и Москва 1812 года, — сталъ огненною купелью ихъ взаимной силы и единенія.

Быть можетъ, ни раньше, ни позже, а именно въ эту самую глубоко-скорбную минуту свершился тотъ нравственный кризисъ, тотъ благодѣтельный переломъ въ тифозной горячкѣ общественнаго организма того времени, который потомъ съ такою мощью и достоинствомъ сказался на весь міръ однимъ годомъ позднѣе.

Ignis non sanat. Это уже было рѣшено. Кто думалъ иначе, тотъ былъ слѣпъ. Но радикальное лекарство, дѣйствительно, произвело и ра-

Digitized by Google

дикальныя послѣдствія, — только совсѣмъ въ другую сторону.

Новыя массы, новыя живыя рѣки людей отовсюду стремились на встрѣчу государю. Вѣсть о томъ, что онъ самъ здѣсь же, на пожарѣ, вмѣстѣ со всѣмъ народомъ, какъ электрическая искра, пробѣгала въ массахъ и крики «ура» оглашали воздухъ за версту и болѣе разстоянія отъ того мѣста, гдѣ находился царь. Тамъ его не видѣли, но чувствовали его присутствіе.

— Слышите?.. Слышите эти крики?—говорила Татьяна съ невольными восторженными слезами на глазахъ: она сейчасъ была свидѣтельницей этой встрѣчи, этихъ порывовъ; она тоже и притомъ близко видѣла этотъ блѣдный, величественный обликъ, съ медленно катящеюся слезой—и отзывчивое, простое и чуткое сердце ея дрожало тѣмъ же восторгомъ, тою же любовью, какъ и сердце всего этого народа.

— Да, точно: исполинъ просыпается!—отозвался ей Устиновъ!—да только проснется-то онъ вовсе не такъ и не за тѣмъ, какъ ждутъ и надѣятся господа Фрумкины!.. Любители народа!.. Показать бы ихъ теперь этому народу! Пускай бы послушали, не кричитъ ли онъ по ихъ рецепту: «да здравствуетъ молодая Россія и русская соціально-демократическая республика!»

XXIII.

Кому и какія услуги оказаны пожарами.

На слѣдующіе дни Петербургъ былъ похожъ на городъ въ осадномъ положеніи: дымящіяся развалины, по всѣмъ площадямъ таборы погорѣльцевъ, груды пожитковъ, слезы и нищета, усиленные военные патрули, часовые съ ружьями на скрытыхъ и явныхъ экстренныхъ постахъ по всѣмъ улицамъ и во многихъ дворахъ. Ворота домовъ на запорѣ, дворники день и ночь на строгомъ дежурствѣ, повсюду наготовѣ бочки, ушаты и ведра съ водою. Ночью не дозволяютъ ходить по тротуарамъ, днемъ не пускаютъ во дворы и на лѣстницы пока не скажешь къ кому идешь—тогда одинъ изъ дворниковъ отправляется по слѣдамъ и доводитъ до самой двери. Повсюду самая усиленная бдительность, и несмотря на это—29-го мая загорѣлся отъ поджога Александринскій театръ, въ то время когда еще очень много было огня и на Толкучемъ, и въ Троицкомъ, въ Щербаковомъ и въ иныхъ мѣстахъ за Фонтанкой, а 30-го мая сдѣлано болѣе десяти поджоговъ. Сильный вѣтеръ благопріятствовалъ. Въ этотъ день сильно горѣли Пески, гдѣ дворники очень исправно караулили до пяти часовъ утра, а въ этотъ часъ, по общему соглашенію, отправились отдохнуть,—и черезъ полчаса Пески загорѣлись. Пожаръ этотъ заранѣе былъ уже назначенъ подметными письмами на 30-е мая, что и исполнено въ точности. Другіе поджоги въ тотъ день были: на Мѣщанской, около ломбарда, на углу Мѣщанской и Вознесенскаго, около склада аптекарскихъ и москательныхъ товаровъ, затѣмъ во дворѣ откупной конторы, гдѣ помѣщались большіе запасы водки и спирта, два поджога въ Коломнѣ, въ Большой Подъяческой и др. 31-го мая поджигали Первый Сухопутный госпиталь и Кушелевку, и тогда же были подброшены новыя письма о предстоящихъ большихъ пожарахъ на 3-е іюня и о поджогахъ пороховыхъ погребовъ. Призывали экспертовъ для сличенія рукъ, и тѣ нашли, что всѣ письма писаны одной рукой, но измѣненными почерками (прямѣе или косѣе). Поджигатели дѣйствовали неутомимо.—«Ишь ты, мореходы какіе!» говорилъ народъ; «по вѣтру дѣйствуютъ! Все вѣтра ждутъ». 1-го и 2-го іюня все время шелъ дождь и потому поджоговъ, сравнительно, было менѣе. Съ этого же времени стала на десять дней совсѣмъ осенняя, свирѣпая непогода, Реомюръ падалъ до 4 градусовъ тепла. Безостановочный, мелкій, осенній дождь и студеные вѣтры довершали несчастіе погорѣльцевъ, которые ютились на площадяхъ, подъ открытымъ небомъ, въ грязи и мокротѣ, чуть не на морозѣ — и какихъ только проклятій не посылалось тутъ поджигателямъ!

Нравственное состояніе жителей было возбуждено въ высшей степени: чуть ли не въ каждомъ прохожемъ подозрѣвали тайнаго врага. За молодыми людьми слѣдили повсюду, такъ что нѣкоторые изъ студентовъ являлись въ редакціи газетъ, прося вступиться и защитить ихъ печатнымъ словомъ. Сцены кровавыхъ уличныхъ расправъ и самосуда повторялись безпрестанно, такъ что просто опасно стало ходить по улицамъ. Ночью народъ останавливалъ всякаго, по малѣйшему подозрѣнію, обыскивалъ и заставлялъ говорить: «Какъ ты говоришь-то, какъ выговоръ-отъ у тебя—русскій ли?» До утра 1-го іюня было взято девятнадцать человѣкъ по подозрѣнію въ поджогахъ и болѣе четырехсотъ мелкихъ воришекъ. О пожарѣ на Толкучемъ купецъ Александровъ, въ лавкѣ котораго первоначально загорѣлось, далъ показаніе, что «28-го мая, въ пятомъ часу, пришли къ нему въ лавку четверо молодыхъ людей, перебирали товары—все будто не находятъ что имъ нужно, пошли къ нему наверхъ, рылись и ушли, купивъ на рубль разнаго хламу. Чрезъ четверть часа, услышавъ запахъ гари, Александровъ вышелъ посмотрѣть, не горитъ ли въ сосѣднемъ трактирѣ, который загорался наканунѣ, возвращается въ свою лавку—а ужь оттуда дымъ валитъ». 1-го іюня, въ Александро-Невской лаврѣ, въ саду, монахи поймали молодого человѣка съ зажигательными снарядами, спрятавшагося за кустъ. 1-го же іюня

Digitized by Google

были подброшены письма о томъ, что пожаровъ болѣе не будетъ, такъ какъ народъ русскій оказался глупъ до такой степени, что не могъ понять высокой цѣли, для достиженія которой они дѣлались, и что поэтому отнынѣ станутъ отравлять. Это уже была величайшая нелѣпость, какую только могла продиктовать безысходная, безсильная злоба; тѣмъ не менѣе вѣсть эта наводила на легковѣрныхъ ужасъ болѣе даже, чѣмъ самые пожары. Народъ ожесточался и свирѣпѣлъ съ каждымъ днемъ все хуже и хуже въ виду этихъ слуховъ и ежедневныхъ новыхъ поджоговъ. Петербургъ сталъ океаномъ сплетень и самыхъ нелѣпыхъ толковъ. Кто болѣе трусилъ, тотъ болѣе сочинялъ. Толковали, что дворникъ поймалъ на поджогѣ протопопа въ камилавкѣ; что поджигаетъ главнѣйшимъ образомъ какой-то генералъ, у котораго спина намазана горючимъ составомъ, такъ что стоитъ ему почесаться спиною о заборъ—онъ и загорится; что за Аракчеевскими казармами приготовлено пять висѣлицъ, и на одной изъ нихъ уже повѣшенъ одинъ генералъ «за измѣну»; что пожарные представили одного иностранца и одного русскаго, которые давали имъ 100 р., чтобы только они не тушили Толкучаго рынка; что семидесятилѣтняя баба ходила въ Смольный поджигать и, схваченная тамъ, объяснила на допросѣ будто получила 100 рублей, но не откроетъ-де, кто далъ ей деньги, хошь въ кусочки искрошите; что Петербургъ поджигаетъ цѣлая шайка въ триста человѣкъ, и что видѣли, какъ ночью Тихвинская Богородица ходила, сама изъ Тихвина пришла и говорила: «вы, голубчики, не бойтесь, эфтому кварталу не горѣть». Николая Чудотворца тоже видѣли ночью, — «ходитъ, оберегаетъ». Толковали также и въ народѣ, и въ газетахъ, будто 29-го мая, въ третьемъ часу по полудни, ѣхалъ въ дрожкахъ мимо министерства внутреннихъ дѣлъ молодой человѣкъ, съ небольшой бородкой, хорошо одѣтый, въ статскомъ пальто, и будто онъ бросилъ небольшой шаръ или клубъ, который высоко прыгнулъ и потомъ упалъ, не зажегши ничего. Бывшіе тутъ немногіе люди закричали «держи! лови!» но неизвѣстный успѣлъ уже ускакать. Одинъ изъ служащихъ въ министерствѣ (нѣкто П., какъ назвало «*Наше Время*») представилъ-де этотъ шаръ по начальству, и оказалось, что «бомба» сдѣлана изъ трута, напитаннаго внутри разными веществами, какъ маленькія курительныя свѣчи, но не чернаго, а бураго цвѣта, и будто люди, свѣдующіе въ химіи, объявили, что бомба могла быть сдѣлана не иначе-де, какъ въ химической лабораторіи. Та же газета сообщила, что въ комисіи о поджогахъ одинъ изъ членовъ будто-бы говорилъ о необходимости пытокъ, но прочіе-де не согласились на это. Подметныя письма посылались по городской почтѣ и разбрасывались по улицамъ. Въ комисіи была собрана ихъ огромная пачка, въ которой иныя оказались писаны на плохомъ французскомъ языкѣ, а иныя даже въ стихахъ.

И въ это же время приходили офиціальныя вѣсти о большихъ пожарахъ изъ провинціи: 27-го мая сгорѣли присутственныя мѣста и половина города Боровичей; 27-го же мая, во время обѣденъ, горѣлъ Могилевъ, при сильномъ вѣтрѣ, при чемъ уничтожено 24 зданія. 30-го мая горѣлъ Малый Ярославецъ. 31-го мая, ночью, горѣлъ Черниговъ, гдѣ погибло 27 домовъ, 17 флигелей, 133 нумера лавокъ и нѣкоторыя присутственныя мѣста. Москва тоже не избѣгла общей участи: 24-го мая, въ полдень, Пятницкой части въ домѣ Васильевой произошелъ пожаръ въ холостомъ деревянномъ строеніи съ дровами, соломою и угольями. Причина пожара осталась неизвѣстною. Въ тотъ же день, въ 9 часовъ вечера, горѣли мясные ряды на Міусской площади, гдѣ вдругъ, и тоже отъ неизвѣстной причины, загорѣлся подъ навѣсомъ лѣсной матеріалъ. Въ тотъ же день, когда еще не кончился пожаръ въ рядахъ, загорѣлся въ третьемъ часу ночи домъ Масловой, Серпуховской части, гдѣ, точно также отъ неизвѣстной причины, огонь показался въ сѣняхъ. Въ ночь на 29-е мая, въ первомъ часу, Серпуховской же части, вдругъ загорѣлась тесовая обшивка домоваго угла у мѣщанина Антонова, и тоже отъ неизвѣстной и совершенно непонятной причины.—Все это усиливало панику не только народа, но и страховыхъ обществъ, изъ которыхъ нѣкоторыя отказывались принимать на страхъ имущества. Народъ негодовалъ на медленность слѣдственной пожарной комисіи и громко требовалъ мести. Каждое утро всѣ, бывало, кидались на полицейскую газету: нѣтъ ли тамъ объявленія о казняхъ. Всюду высказывалось нетерпѣніе, ропотъ на слѣдователей, на юстицію. Вчерашніе либералы вдругъ заговорили о томъ, что надо вѣшать и разстрѣливать, что надо пытать хоть двухъ или трехъ изъ пойманныхъ поджигателей; вчерашніе ярые прогрессисты сегодня вдругъ превратились въ ярыхъ ретроградовъ, и сами не подозрѣвали при этомъ, сколько комизма было во вчерашнемъ ихъ радикальномъ либеральничаньи и въ сегодняшней внезапной метаморфозѣ, и сколько гнуснаго въ этомъ требованіи казней и пытокъ.

31-го мая, въ 8 часовъ утра, вывезли на Мытнинскую площадь гвардейскаго офицера Владиміра Обручева для публичнаго объявленія ему приговора. Онъ присуждался къ каторжной работѣ за распространеніе «Великороссa». Площадь была полна народомъ, и въ этой массѣ слышалось злобное рычанье, ропотъ на то, что мало казнить такимъ образомъ, а слѣдуетъ вѣшать, вѣшать за ребро на желѣзный

Digitized by Google

крюкъ. Когда же каторжная шапка, надѣтая палачемъ на осужденнаго, нахлобучилась ему на глаза—въ народѣ вдругъ раздался хохотъ... Фактъ безобразный и доселѣ никогда не бывалый въ народѣ, у котораго для преступника, каковъ бы онъ ни былъ, нѣтъ имени *злодѣя*, а существуетъ человѣческое слово *несчастный*. Но этотъ, самъ по себѣ возмутительный, фактъ слишкомъ ярко рисуетъ каково было въ тѣ дни общее настроеніе массы, какова была сила народнаго озлобленія.

Заграничная пресса тоже очень много занималась пожарами. «Siècle» совершенно серьезно разсказывалъ, напримѣръ, что Петербургъ телеграфировалъ Москвѣ: «Горю! пришлите трубы!» въ ту самую минуту, какъ Москва слала ему депеши: «Пожаръ! тушите!» — Но странное дѣло: въ заграничной прессѣ было всеобщее убѣжденіе, что наши пожары суть дѣло особой пропаганды, особаго комитета и имѣютъ исключительно политическую цѣль.

* * *

Погорѣльцамъ немедленно были отведены разныя казенныя помѣщенія, казармы, манежи, и были розданы пятьсотъ палатокъ, которыя тотчасъ же раскинулись таборомъ на Семеновскомъ плацу и на самомъ пожарищѣ. Въ этихъ таборахъ тотчасъ же возникъ новый торгъ. Но убытки толкучнаго пожара были громадны: они простирались за шестьдесятъ милліоновъ рублей серебромъ. Болѣе двадцати тысячъ человѣкъ сидѣльцевъ, приказчиковъ, мальчиковъ, рабочихъ, хозяевъ ларей остались положительно безъ куска хлѣба. Толпа этого народа нѣсколько разъ собиралась у станціи Царскосельской желѣзной дороги и ждала государя, а когда государь выходилъ на крыльцо, она становилась на колѣни и кричала «ура!», вопія въ то же время о хлѣбѣ и защитѣ. 8-го іюня въ таборъ погорѣльцевъ на Семеновскомъ плацу пріѣхала государыня, останавливалась у множества лавокъ, покупала разную мелочь и платила съ избыткомъ наиболѣе нуждавшимся.

Съ 31-го мая Петербургъ раздѣлился на три военныя генералъ-губернаторства, и издано повелѣніе о томъ, чтобы всѣхъ, кто будетъ взятъ съ поджигательными снарядами и веществами, а равно подстрекателей къ безпорядкамъ судить полевымъ военнымъ судомъ въ 24 часа, съ предоставленіемъ военному генералъ-губернатору права конфирмовать и приводить въ исполненіе приговоры военнаго суда.

Въ Исаакіевскомъ соборѣ митрополитъ Исидоръ совершилъ молебствіе объ отвращеніи бѣдствій, и такія же молебствія ежедневно отправлялись во всѣхъ церквахъ. Со всѣхъ ступеней общества стали стекаться пожертвованія въ пользу погорѣльцевъ и вскорѣ доросли до весьма значительной цифры.

Вскорѣ послѣ грознаго объявленія о полевомъ военномъ судѣ пожары совершенно прекратились, а между тѣмъ послѣдовало нѣсколько вызванныхъ исключительно ими правительственныхъ мѣръ весьма знаменательнаго свойства.

3-го іюня объявлено о закрытіи Самсоніевской и Введенской воскресныхъ школъ и объ учрежденіи особой комисіи для изслѣдованія дѣйствій ихъ преподавателей и распорядителей. Въ объявленіи, опубликованномъ по этому поводу «Сѣверной Почтой» сказано: «Показаніями фабричныхъ работниковъ обнаружено, что въ этихъ воскресныхъ школахъ преподается ученіе, направленное къ потрясенію религіозныхъ вѣрованій, къ распространенію соціалистическихъ понятій о правѣ собственности и къ возмущенію противъ правительства. Два работника, сперва посѣщавшіе Самсоніевскую, а нынѣ посѣщающіе Введенскую школу, позволили себѣ возмутительные толки, отзываясь о политическихъ переворотахъ, о пользѣ пожаровъ, о надобности сжечь весь Петербургъ» и т. п.

6-го іюня всѣмъ начальникамъ губерній предоставлено право судить полевымъ военнымъ судомъ поджигателей и раскидывателей угрозливыхъ подметныхъ писемъ.

6-го же іюня закрытъ Шахматный клубъ. Въ объявленіи было сказано, что это распоряженіе состоялось «въ видахъ прекращенія встревоженнаго состоянія умовъ и къ предупрежденію между населеніемъ столицы не имѣющихъ никакого основанія толковъ о современныхъ событіяхъ». «Въ Шахматномъ клубѣ, говорило оффиціальное объявленіе, происходятъ и изъ него распространяются тѣ неосновательныя сужденія».

Въ тотъ же день закрыты всѣ народныя читальни. Въ объявленіи говорилось, что «мѣра эта принята вслѣдствіе замѣченнаго вреднаго направленія нѣкоторыхъ изъ учрежденныхъ въ послѣднее время народныхъ читаленъ, коп даютъ средства не столько для чтенія, сколько для распространенія между посѣщающими ихъ лицами сочиненій, имѣющихъ цѣлію произвести безпорядки и волненіе въ народѣ, а также для распространенія безосновательныхъ толковъ».

8-го іюня было объявлено о закрытіи воскресныхъ школъ и другихъ училищъ, учрежденныхъ при войскахъ, для лицъ, не принадлежащихъ къ военному вѣдомству. «Несмотря на всѣ установленныя правила для надзора за воскресными и безплатными школами, говорилось въ объявленіи, нынѣ положительно обнаружено, въ нѣкоторыхъ изъ нихъ, что подъ благовиднымъ предлогомъ распространенія въ народѣ грамотности, люди злоумышленные покушались въ этихъ школахъ развивать вредныя ученія, возмутительныя идеи, превратныя понятія о правѣ собственности и безвѣріе. Государь импе-

Digitized by Google

раторъ, имѣя въ виду, что при многихъ воинскихъ частяхъ также учреждены вескресныя безплатныя школы, что по затруднительности за ними надзора, злоумышленные люди могутъ и въ этихъ школахъ проводить вредныя и ложныя ученія, что притомъ обнаружены уже нѣкоторыя преступныя покушенія увлечь и нижнихъ чиновъ къ нарушенію долга службы и присяги, высочайше повелѣть соизволилъ, въ предупрежденіе могущихъ быть пагубныхъ послѣдствій, нынѣ же закрыть всѣ учрежденныя при войскахъ воскресныя школы и вообще всякія училища для лицъ, не принадлежащихъ къ военному вѣдомству, и впредь никакихъ сборищъ постороннихъ людей въ зданіяхъ, занимаемыхъ войсками, отнюдь не допускать».

12-го іюня объявлено о закрытіи воскресныхъ школъ и читаленъ во всей Имперіи, вслѣдствіе обнаруженнаго во многихъ изъ нихъ подобнаго же направленія.

14-го іюня объявлено о закрытіи недавно учрежденнаго при «Обществѣ для пособія нуждающимся литераторамъ и ученымъ» особаго отдѣленія для вспоможенія студентамъ. Въ этотъ же день объявлено высочайшее повелѣніе о томъ, чтобы «чтеніе публичныхъ лекцій въ Петербургѣ впредь разрѣшать не иначе, какъ по взаимному соглашенію министровъ внутреннихъ дѣлъ и народнаго просвѣщенія съ военнымъ генералъ-губернаторомъ и главнымъ начальникомъ III-го отдѣленія».

Вскорѣ былъ напечатанъ приказъ и о томъ, что трое офицеровъ гвардейскаго сапернаго баталіона предаются военному суду за содѣйствіе, противъ порядка службы, къ уничтоженію бумагъ, имѣвшихся при бывшемъ студентѣ Петербургскаго университета Яковлевѣ, во время его арестованія, 10-го мая, когда означенный Яковлевъ, придя въ казармы лейбъ-гвардіи сапернаго баталіона, старался возмутить нижнихъ чиновъ онаго.

* * *

Петербургскіе пожары кончились, но толки о нихъ и повсемѣстная паника долго еще не проходили въ обществѣ. Всѣхъ вообще поражало это холодное, какъ бы обдуманное и послѣдовательное дѣйствіе поджоговъ, которое невольно указывало на существованіе цѣлаго систематическаго плана. Горѣли почти исключительно кварталы бѣднаго работящаго населенія, горѣлъ рынокъ, исключительно удовлетворявшій самымъ первымъ, насущно-необходимымъ потребностямъ бѣднаго класса. Кто винилъ агитаторовъ особаго рода, а кто простыхъ мошенниковъ; но противъ послѣдняго обвиненія даже и въ литературѣ возражали недоумѣніемъ, что для чего бы-де мошенникамъ жечь бѣдняковъ, у которыхъ и грабить-то нечего, тогда какъ кварталы богатыхъ людей остаются нетронутыми: для чего имъ жечь Толкучій, когда онъ искони служилъ для ихъ сбыта единственнымъ и незамѣнимымъ притономъ? Иностранная же печать, какъ сказано уже, видѣла тутъ исключительно политическія цѣли, желаніе вызвать насильственно пролетаріатъ, который помогъ бы государственному перевороту. Комисія, составленная для изслѣдованія причинъ пожаровъ, канула словно въ воду, и всѣ ея дѣйствія, несмотря на громкія требованія газетъ, журналовъ и общественнаго мнѣнія, несмотря на лихорадочное ожиданіе всего населенія Петербурга, всего русскаго общества, не опубликовала результатовъ ни своихъ дѣйствій, ни ни своихъ свѣдѣній. Отчего это вышло такъ, а не иначе — никому не извѣстно. «Journal de St.-Petersbourg», отъ 19-го іюня, напечаталъ даже статью, предназначенную спеціально для успокоенія толковъ европейской печати, изъ которой можно заключить, что никакихъ особенныхъ пожаровъ, вызванныхъ поджогами, въ сущности, пожалуй, и не было, и что пожары въ Россіи составляютъ слишкомъ обыкновенное, всегдашнее явленіе. Въ послѣднемъ, конечно, нельзя не согласиться съ этимъ журналомъ.

Итакъ, на вопросъ: кто же, наконецъ, поджигалъ Петербургъ и былъ ли онъ поджигаемъ? — нынѣ, по прошествіи нѣсколькихъ лѣтъ, оставаясь строго добросовѣстнымъ, можно отвѣтить лишь одно: *мы не знаемъ*. Мы только правдиво и безпристрастно сгруппировали факты, заимствованные преимущественно изъ офиціальныхъ данныхъ.

XXIV.

Наканунѣ чего-то новаго.

Послѣ пожаровъ вдругъ наступило какое-то мрачное затишье. Время отъ времени слышно было, что того-то и того-то взяли жандармы, а такой-то сидитъ въ крѣпости. Такимъ образомъ были взяты и посажены нѣсколько довольно видныхъ и даже крупныхъ литературныхъ дѣятелей радикальной партіи.

На все общество, какъ тихая, непросвѣтная туча, наплыла тяжелая паника: иные ждали какихъ-то новыхъ бѣдствій, иные новыхъ арестовъ... Разговоры стали тише, таинственнѣе.

16-го іюня во рву Новогеоргіевской крѣпости были разстрѣляны офицеры Аргольдтъ, Сливицкій и унтеръ-офицеръ Ростковскій, за распространеніе въ войскахъ возмутительныхъ воззваній, а наканунѣ ихъ казни въ Петербургъ пришла изъ Варшавы телеграмма, извѣщавшая, что въ Саксонскомъ саду ранили пулею сзади, въ шею, намѣстника Царства Польскаго генерала Лидерса. 16-го же числа на мѣсто Лидерса былъ назначенъ великій князь Константинъ Николаевичъ.

* * *

Digitized by Google

Былъ холодный, дождливый вечеръ, въ концѣ іюня мѣсяца, который въ этомъ году весь выстоялъ сырой и холодный. Въ гостиной у Стрѣшневыхъ собралось маленькое общество: тетка съ племянницей да Устиновъ со старымъ майоромъ.

— И вы не шутя говорите, что пришли проститься?—полугрустно и полунедовѣрчиво глядя на Лубянскаго, сказала Стрѣшнева-тетка.

— Завтра-съ или много что послѣзавтра ѣду,—съ легкимъ наклоненіемъ головы улыбнулся въ отвѣтъ Петръ Петровичъ.

— И такъ внезапно, неожиданно!

— А что жь? Долго ли нашему брату, солдату-то старому, въ походъ собраться! Дѣло привычное!

— Да что вамъ за охота? Вѣдь тамъ время теперь такое смутное...

— Эхъ, да вѣдь надо жь съ собой дѣлать что-нибудь!—беззавѣтно махнулъ рукою Лубянскій. — Вѣдь меня тоже тоска взяла жить-то такъ, какъ я живу! Сами вы посудите, сударыня, что-бъ я сталъ дѣлать? Вернуться въ Славнобубенскъ, — ну, претитъ мнѣ это! Не могу! И думалъ ужь было, да не могу!.. И вы сами, конечно, хорошо понимаете мои чувства, отчего и почему не могу я... вѣдь тамъ мнѣ на каждомъ шагу...

Майоръ не договорилъ, но по лицу его скользнуло что-то сдавленное, горькое, колючее.

Старуха въ отвѣтъ ему сочувственно качнула головой. Она, дѣйствительно, понимала, что возвратиться въ Славнобубенскъ и жить тамъ по-старому было для него очень трудно и больно: кромѣ толковъ и пересудовъ про дочку, пересудовъ и злыхъ, и фальшиво-сочувственныхъ, и равнодушно-вздорныхъ, на которые ему невольно приходилось бы ежедневно натыкаться, тамъ каждый уголокъ въ его домишкѣ, каждая вещица служили бы неотвязнымъ и горькимъ воспоминаніемъ про нее и про ея преждевременную потерю. Возвратиться туда значило бы, вмѣсто возможнаго успокоенія, самому идти на безконечное, ежеминутное усиленіе боли самой чуткой, самой больной струны его сердца...

— Оставаться здѣсь тоже не по-сердцу мнѣ какъ-то,—продолжалъ майоръ. — Вѣдь кромѣ васъ двухъ да Андрея Павловича у меня никого и ничего здѣсь нѣту. Да и вы вѣдь не вѣчно же въ Петербургѣ. А тутъ для меня и жизнь, и люди—все какое-то не свое, все чужое. Куда же дѣваться?—Силы, слава Богу, еще есть и здоровья хватитъ; дряхлость еще не совсѣмъ одолѣла. Пока дочка была на свѣтѣ—ну, думалъ, для нея жить стану, замужъ выдамъ за хорошаго человѣка, а тогда ужь на покой... Ну, видно, не суждено было этого!.. А вѣдь съ самимъ собою надо же какъ-нибудь распорядиться человѣку, я и рѣшился...

— Да какъ это вы, право, надумались такъ быстро, я и въ толкъ себѣ не возьму!—развела руками старуха.

— А какъ надумался?—очень просто, сударыня!—пояснилъ майоръ.—Недѣли съ двѣ тому назадъ иду я какъ-то по Садовой, мимо комендантскаго управленія, а оттуда изъ подъѣзда въ это самое время выходитъ полковникъ какой-то. Воззрился это я на него совсѣмъ машинально, только чу!—какъ будто лицо что-то знакомое... Гляжу и онъ на меня тоже эдакъ пристально смотритъ. «Петръ Петровичъ! ты ли это?» говоритъ. Тутъ я его сейчасъ по голосу-то и призналъ: Пчельниковъ—старый, закадычный пріятель, однополчанинъ. Ну, обнялись мы это, разцѣловались... Вѣдь и не мудрено, сударыня: на Кавказѣ-то у насъ, бывало, пріятельскія отношенія не на фу-фу установлялись! Изъ одного котелка кашицу хлебали, на одной буркѣ спали, у одного костерка отогрѣвалися. Это истинно сказать, что братская армія была!.. Ну, затащилъ онъ это меня сейчасъ же къ себѣ, обѣдать оставилъ. Разговорились мы. Какъ и что ты? спрашиваю.—А такъ и такъ, говоритъ, полкомъ нынѣ командую, въ Польшѣ стоимъ, а сюда въ двадцати-восьми-дневный отпускъ по дѣламъ прикатилъ. Пошло на откровенности... ну, тутъ и я старому другу про свои невеселыя исторіи разсказалъ. А я вамъ скажу, сударыня, что если человѣкъ сирота-сиротой на свѣтѣ, такъ это самое одиночество-то его никогда ему не покажется грустнѣе, какъ если вдругъ встрѣтишься со старымъ товарищемъ, съ которымъ ты дѣлилъ когда-то свои лучшіе, свѣтлые дни, да какъ если разговоришься по душѣ про все это!.. Горько и мнѣ въ ту пору стало!.. Разболтались про былое, про полкъ, про лѣвый флангъ, про товарищей, да про экспедиціи — расшевелило меня все это не на шутку! А онъ мнѣ и говоритъ: что тебѣ, говоритъ, такъ-то по свѣту чужакомъ скитаться!—все равно, бобыль! Ступайка лучше опять на службу царскую! Я, говоритъ, не моложе тебя, а служу еще; отчего и тебѣ не служить бы? Ступай, говоритъ, ко мнѣ въ полкъ; при первой вакансіи баталіонъ получишь. Жизнь, говоритъ, тебѣ знакомая, своя родная, и по крайности будешь не одинъ, а со мною; а я старый холостякъ—тоже, значитъ, бобыль! И такъ онъ мнѣ это тепло да радушно предложилъ, такъ это сказалось у него отъ сердца, по-братски, что меня не на шутку раздумье взяло. Стали мы это судить, рядить, и то, и сё, забрала меня охота; значитъ, вновь защекотала старая жилка. Что-жь, думаю себѣ, силы, и въ самомъ дѣлѣ, есть еще довольно, маяться по свѣту скучно безъ дѣла... А и то сказать, признаться откровенно, такая на меня порою, послѣ Нютиной смерти, тоска находитъ, что радъ бы въ омутъ; а тутъ все-жь-таки дѣло какое ни-на-есть, занятіе по душѣ, старый товарищъ... Подумалъ я это, взвѣсилъ

Digitized by Google

все и рѣшился. Я даже сердечно радъ, что такъ неожиданно и такой счастливый исходъ представился. Это просто спасеніе мнѣ... просто, я такъ считаю, Божій промыселъ надо мною!

— И вы уже все порѣшили и все устроили?— не безъ удивленія пожала плечами старуха.

— Господи, да много ли на это времени-то надо! — улыбнулся майоръ. — Прошеніе въ инспекторскій департаментъ на другой же день подали, Пчельниковъ похлопоталъ, и завтра или послѣ завтра, я думаю, ужь въ «Инвалидѣ» будетъ приказъ пропечатанъ. Я вмѣстѣ съ Пчельниковымъ и ѣду.

Старуха только головою качала.

— А я такъ отъ души завидую даже Петру Петровичу, — вмѣшался Устиновъ. — И право, блаженъ человѣкъ, если въ эти годы еще находитъ въ себѣ столько силы и воли, чтобы сыскать себѣ дѣло по душѣ и взяться за него! Оно вѣдь все же *дѣло* и притомъ честное. Тамъ-то вѣдь все-таки настоящая, живая жизнь, а здѣсь-то что!.. Куда ни оглянись—вездѣ одинъ лишь повальный и безконечный сумбуръ! Рядъ величайшихъ и самыхъ нелѣпыхъ противорѣчій слова съ дѣломъ, дѣла съ живою жизнью и здравымъ смысломъ! Кабы только возможно—я радъ бы не знаю куда бѣжать отъ этого сумбура, да жаль, что некуда!

— Экой вы непосѣда! — шутя улыбнулась Татьяна.—Изъ Славнобубенска бѣжитъ въ Пигеръ, а теперь отсюда радъ бѣжать.

— Ну, ужь не отъ васъ бы это слышать!— вскинулъ на нея глаза Устиновъ. — Что-жь, по вашему, здѣсь прекрасно?

— Да вѣдь и вездѣ все то же! Въ Славнобубенскѣ развѣ не тотъ же сумбуръ?

— Мм... То-есть, какъ вамъ сказать!.. Тамъ онъ наивнѣе, тамъ онъ болѣе безсознателенъ. Тамъ скорѣе одни только отголоски того, что творится здѣсь. Въ Славнобубенскѣ стадо, а вожаки пасутъ его въ городѣ Санктъ-Петербургѣ. И кто же вожаки-то?—Смѣшно и стыдно сказать!—Полояровы съ Анцыфриками!

— Ну, гдѣ же Полояровы!.. Развѣ это вожаки?—усомнилась Татьяна.

— А развѣ нѣтъ, спрошу я васъ въ свою очередь? Развѣ то, что проповѣдуетъ Полояровъ, не слушается и не принимается тысячами головъ? Я согласенъ, что очень обидно за то общество, гдѣ голоса Полояровыхъ могутъ имѣть такое значеніе, но развѣ вы сами не видали множества примѣровъ?

— Что-жь это доказываетъ? — сопросила Стрѣшнева.

— Это доказываетъ то, что наше общество теперь находится въ какомъ-то дикомъ, угарномъ чаду—это своего рода хмѣль, оргія,—и что необходимъ хорошій нашатырный спиртъ, который отрезвилъ бы его. Намъ нужна добрая встряска, чтобы мы очнулись, и я не знаю, откуда она придетъ: изнутри или извнѣ и что именно послужитъ въ этомъ случаѣ отрезвляющимъ спиртомъ, но что это будетъ, что это случится и довольно скоро, въ томъ, кажется, не должно быть сомнѣній. Такъ продолжать невозможно, и никакое общество не можетъ жить въ подобномъ угарѣ... Я удивляюсь только одному,—нѣсколько помолчавъ, опять обратился Устиновъ къ Стрѣшневой,— какъ это вы, съ вашимъ простымъ и яснымъ здравымъ смысломъ, могли сойтись съ этими «новыми людьми»? Какъ вы могли такъ долго заблуждаться на ихъ счетъ? Неужели же вы не разглядѣли, что такое, въ сущности, всѣ эти Фрумкины и Малгоржаны? Вотъ что мнѣ странно!

— Андрей Павловичъ,—серьезно начала въ отвѣтъ ему Татьяна.—Во-первыхъ, вы сами, и притомъ одинъ только вы, лучше всѣхъ знаете тѣ побужденія, какія свели меня съ ними. Мнѣ казался въ нихъ призракъ серьезнаго, насущнаго и хорошаго дѣла, а я бездѣльемъ страдаю. Это одно. А во-вторыхъ, не всѣ же тамъ были Фрумкины да Малгоржаны. Было кое-что посильнѣе и посерьезнѣе. Вѣдь не я одна заблуждалась: такъ-же точно заблуждалось множество мнѣ подобныхъ!

— Кто же именно въ нихъ посильнѣй и посерьезнѣе?—пожалъ плечами Устиновъ.

— Кто? А напримѣръ хоть этотъ Лука Благопріобрѣтовъ. Признаться сказать, если что и заставило меня поближе подойти къ нимъ, тамъ именно эта оригинальная личность, съ ея фанатической вѣрой, съ ея упорнымъ трудомъ. Вѣдь это же человѣкъ честный, а онъ былъ для меня совсѣмъ новымъ, невиданнымъ явленіемъ жизни. Вотъ, если хотите, мое оправданіе.

— И вы... немножко увлеклись имъ?

Татьяна слегка вспыхнула.

— Нѣтъ,—отвѣтила она твердо и просто.— Я только старалась разглядѣть; другого у меня не было; но... при другихъ обстоятельствахъ... сложись моя внутренняя жизнь не такъ странно и капризно, какъ она теперь сложилась, что же?.. быть можетъ, я и могла бы имъ увлечься!

Устиновъ нѣсколько мгновеній раздумчиво поникъ головою.

— Нѣтъ, Татьяна Николаевна!—поднялъ онъ наконецъ на нее грустные, но въ то же время ясные взоры.—Все это не то! Не то, чего вамъ надобно! Въ васъ сидитъ просто-себѣ хорошая русская женщина; вы все дѣла себѣ ищите, а его пока еще нѣтъ... Погодите, придетъ и оно! Сама жизнь обнаружитъ его предъ вами, безъ всякихъ особенныхъ исканій. Дѣло, быть можетъ и скоро, всѣмъ найдется; быть можетъ, оно будетъ и не громкое, не блестяще-героическое, да за то прочное и честное, и серьезное дѣло! Не отрывайтесь только отъ родной почвы и не ищите его въ заоблачныхъ сферахъ, въ тео-

Digitized by Google

ретическихъ утопіяхъ; сама жизнь, но только не такая, какъ здѣсь теперь, а простая, трезвая жизнь приведетъ живого человѣка къ живому и трезвому дѣлу. А теперь... (Устиновъ вздохнулъ, какъ бы высвобождая грудь изъ-подъ какой-то тяжести), теперь бы вонъ отсюда, изъ этого города!.. Посмотрите, какая грустная темень, какой гнетъ повсюду... холодно, неприглядно... и этою гарью, гарью удушливою въ воздухѣ пахнетъ... Нѣтъ, ей-Богу, счастливый майоръ, что можетъ убѣжать отсюда!..

XXV.

Въ виду возможности безпечальнаго будущаго.

Анзельмъ Бейгушъ создалъ самъ себѣ тайникъ нравственной муки. Съ той минуты, какъ въ Сусаннѣ исчезла для него *москевка* и возродилась женщина, называвшаяся его женою, эта сокровенная мука стала грызть его душу. Предъ всепобѣждающимъ сознаніемъ любви и самоотверженія этой женщины исчезали и разсѣивались какъ дымъ всѣ софизмы, всѣ оправдательные доводы, созданные теоріей Слопчицькаго.—«Она недалека, она всегда казалась мнѣ такою,—думалъ Бейгушъ о своей женѣ;—пусть будетъ такъ!.. Но много ли на свѣтѣ умныхъ женщинъ съ такимъ сердцемъ!.. И что тутъ умъ, если всѣ ея недостатки она способна восполнить однимъ своимъ чувствомъ, этою безконечною любовью!».

Быть можетъ, онъ теперь идеализировалъ себѣ свою жену; быть можетъ, ея самоотверженный поступокъ проистекалъ изъ побужденій болѣе простой сущности, потому что и въ самомъ дѣлѣ, будь Сусанна поумнѣе, она, быть можетъ, не взирая на всю свою прирожденную доброту и на всю свою страстность къ Бейгушу, не поддалась бы столь легко въ подставленную ей ловушку: все это конечно былъ такъ; но теперь и эта идеализація со стороны Бейгуша была понятна: ее подсказывало ему собственное его самолюбіе, собственная гордость: «это, молъ, *меня* такъ любятъ, это *для меня* приносятъ такія жертвы, не задумываясь ни единой минуты!» Одно лишь было тутъ ясно: это—безгранично добрая любовь. «А въ отвѣтъ на такую любовь нельзя надругаться надъ женщиной!» думалъ себѣ Бейгушъ. «Если даже она и сама не сознаетъ, не понимаетъ вполнѣ всего значенія своего поступка; если онъ съ перваго мгновенья казался ей такимъ легкимъ, такимъ простымъ и естественнымъ дѣломъ, то даже это самое непониманье еще болѣе возвышаетъ силу ея любви. И ты... ты не стоишь этой женщины, ты подлецъ, обманщикъ, воръ предъ нею! Смѣйся теперь, если можешь! Издѣвайся надъ нею! Превозноси себя за свою собственную низость! Низость во имя патріотизма!.. Что-жь вѣдь побужденіе высокое? вѣдь такъ? Вѣдь ты же былъ убѣжденъ, что для славы и свободы отечества всѣ средства хороши и позволительны?—И что же! Несмотря на все это, въ душѣ у тебя все-таки сидитъ кто-то, который шепчетъ тебѣ ежеминутно «подлеца» за твой патріотическій поступокъ!»

— Нѣтъ, подлецомъ я не буду!.. Еще есть время... еще не все для меня кончено! — съ твердымъ убѣжденіемъ говорилъ Бейгушъ самому себѣ, говорилъ и... все-таки молчалъ предъ Сусанной, все-таки таилъ у себя ея деньги.

«Надо отдать ихъ! Надо признаться!.. Но какъ признаться? Какъ языкъ-то повернется на такое признанье?.. И неужели она проститъ и это?.. Проститъ! Проститъ навѣрное! Но тѣмъ-то оно горьше для собственной твоей совѣсти! Если бы возможно было тотчасъ же разстаться, разойтись заклятыми врагами, это, кажись, и лучше, и легче бы мнѣ было; но встрѣтить въ отвѣтъ на твою низость всепрощающій, любящій взглядъ—это ужасно, это невыносимо!»

Бейгушъ словно бы стоялъ теперь на распутіи: предъ нимъ двѣ дороги, и онъ знаетъ, что по которой-нибудь надо же наконецъ, неизбѣжно надо идти; но по которой?—Сомнѣнья нѣтъ, по той, которая прямѣе и честнѣе; но какъ ступить на нее? какъ сдѣлать этотъ тяжкій первый шагъ? Онъ зналъ, что это *надо*, но пока еще стоялъ и медлилъ на распутіи, желая и не рѣшаясь занести ногу. И такъ-то изо-дня-въ-день въ душѣ его безпрестанно подымался цѣлый рядъ роковыхъ вопросовъ, сомнѣній, мученій совѣсти, укоризнъ, а тихая семейная жизнь текла между тѣмъ для него своею ровною и скромною чередою. Сусанна и не подозрѣвала, что творится въ душѣ ея мужа. Видя порою его угрюмую и какъ будто озлобленную мрачность, а порою глубокую, молчаливую тоску, она въ простотѣ сердца думала, что онъ все томится по своемъ злосчастномъ проигрышѣ, и потому всячески старалась, на сколько могла и умѣла, облегчить его грусть, разсѣять тяжелую думу, утѣшить его хотя бы своею собственною безпечальною вѣрою въ свѣтлую, безбѣдную будущность.

— Ну, стоятъ ли эти глупыя деньги, чтобы убиваться о нихъ такимъ образомъ!—говорила она ему порою, съ такою свѣтлою, искреннею улыбкою.—Я, ей-Богу, никогда не давала имъ ужь такой особенной цѣны. Ну, проживемъ какъ-нибудь!

— Какъ?— грустно улыбался въ отвѣтъ ей Бейгушъ.

— Ну, какъ нибудь!.. Я ужь не знаю тамъ... Живутъ же люди!

«Развѣ обрадовать ее?.. Сказать, что деньги здѣсь, у меня, цѣлешеньки?» мелькала ему свѣтлая мысль. И какъ самому-то хотѣлось въ эти минуты облегчить себя полнымъ, искреннимъ признаніемъ! Вотъ уже это признаніе почти совсѣмъ готово, вотъ уже оно вертится на языкѣ

Digitized by Google

само высказывается въ глазахъ, но... Богъ знаетъ почему, только чувствуется въ то же время, что въ этомъ признаніи есть что-то роковое—и слово, готовое уже сорваться, какъ-то невольно, само собою замираетъ на языкѣ, а тяжелая дума еще злѣе послѣ этого ложится на сердце, въ которомъ опять вотъ кто-то сидитъ и шепчетъ ему страшное названіе, и даритъ его такимъ безконечнымъ самопрезрѣніемъ.

Ни одной жалобы, ни одного упрека за все это время не вырвалось у Сусанны. Бейгушъ ждалъ, что такъ или иначе непремѣнно будетъ и то, и другое, но ожиданія его оказывались напрасны. Онъ сталъ замѣчать въ женѣ даже нѣчто противное своимъ ожиданіямъ: она, незамѣтно отъ него, старалась экономничать и суживать не только свои прихоти, но и потребности, зачастую отказывая себѣ даже въ извозчикѣ.

— Сусанна, тебѣ бы нужно новую весеннюю шляпку,—говорилъ онъ ей, напримѣръ, замѣчая, во время прогулки, что она съ живымъ любопытствомъ останавливаетъ глаза на соблазнительныхъ окнахъ модныхъ магазиновъ.

— Нѣтъ, голубчикъ мой, у меня и прошлогодняя еще очень хороша!—торопилась она успокоить и умѣрить его желаніе, тогда какъ самой—смерть какъ хотѣлось бы пощеголять и въ новой шляпкѣ.

Бейгушъ очень хорошо все это видѣлъ, чувствовалъ и понималъ. Собственное сердце и чувство справедливости невольно подсказывали ему, что за всю эту простую, безкорыстную любовь надо платить хоть отвѣтною доброю ласкою,—и онъ, почти самъ того не замѣчая, сталъ платить ею Сусаннѣ и легко, и охотно. Таковой переворотъ совершился въ немъ исподволь, но прочно, потому что это было естественно. Тихая супружеская жизнь, съ ея уютной обстановкой, начинала уже ему нравиться. Подъ-часъ, мечтая съ самимъ собою, онъ уже сталъ находить въ ней влекущую прелесть, впереди уже мерещилась ему возможность спокойнаго счастья... И эта возможность дѣйствительно была, потому что Сусанна чувствовала надъ собою превосходство его нравственной силы, потому что ей нужно было, и она даже сама хотѣла, чтобы ее «въ рукахъ держалъ» тотъ, кого она любитъ, потому что, наконецъ, въ Бейгушѣ были всѣ данныя, необходимыя для этого, данныя, которыхъ — увы! совсѣмъ не обрѣталось ни въ покойникѣ Стекльштромѣ, ни въ восточномъ кузенѣ Малгоржанѣ. Впрочемъ, ни того, ни другого она, въ сущности, никогда не любила. Настоящее, дѣйствительное чувство—насколько была способна по-своему чувствовать Сусанна—впервые пришло къ ней только съ Бейгушемъ.

«Надо бы только какъ ни-на-есть выйти изъ этой лжи, изъ этого гнуснаго, фальшиваго положенія», думалъ себѣ Бейгушъ въ минуты своихъ мечтаній, «а тамъ... тамъ будетъ и миръ, и покой.. и счастье...»

Наконецъ, въ одну счастливую минуту посѣтила его мысль о такой удобной комбинаціи, которая даже сразу разрѣшила бы всю тяжесть его ложнаго положенія.

«Такъ и быть!» рѣшилъ онъ самъ съ собою, «куда ни шло, но... надо сыграть еще одну и уже послѣднюю комедію въ своей жизни!.. Надо уловить первую подходящую удобную минуту и открыть ей, что деньги цѣлы, что вся эта исторія съ проигрышемъ была не болѣе какъ комедія... комедія, которую я разыгралъ, желая испытать ее... испытать, насколько она любитъ, на сколько можетъ простираться ея самоотверженіе... Надо—увы!.. надо обмануть еще одинъ, но уже послѣдній разъ!.. Затѣмъ... затѣмъ возвратить ей деньги и, если можно, постараться навсегда уже жить съ нею честнымъ человѣкомъ!»

XXVI.

Выборы въ «военномъ кружкѣ».

Въ самый день этого счастливаго, по мнѣнію Бейгуша, рѣшенія, онъ совершенно неожиданно получилъ небольшую записку отъ капитана Чарыковскаго, который приглашалъ его на нынѣшній вечеръ, отложивъ всѣ текущія дѣла и занятія, непремѣнно явиться къ назначенному часу, для весьма важныхъ и экстренныхъ совѣщаній, въ Офицерскую улицу, въ квартиру, занимаемую четырьмя слушателями академіи генеральнаго штаба, гдѣ обыкновенно собирался, подъ видомъ «литературныхъ вечеровъ», польскій «военный кружокъ Петербурга».

Бейгушъ отправился, торопясь не опоздать на назначенному часу.

«Кружокъ» былъ почти уже въ полномъ сборѣ. Поджидали еще только двухъ-трехъ человѣкъ, такъ какъ Чарыковскій не хотѣлъ открывать совѣщаній, пока не будутъ на лицо всѣ приглашенные. Всѣ пять комнатъ были наполнены исключительно военными разнаго рода оружій и спеціальностей. На большинствѣ изъ нихъ красовались академическіе эксельбанты и «ученые» кантики по низу бархатныхъ воротниковъ. Тутъ были инженеры и путейцы, артиллеристы и телеграфные, и горные, пѣхота и кавалерія, гвардія и армія, круглымъ числомъ до сорока офицеровъ. Въ комнатахъ было дымно отъ папиросъ и шумно отъ самаго разнообразнаго, но почти исключительно польскаго говора.

Наконецъ, когда всѣ уже оказались въ сборѣ, капитанъ Чарыковскій занялъ предсѣдательское кресло въ залѣ, на концѣ большаго раздвижного стола, и громкимъ звонкомъ призвалъ всѣхъ наличныхъ членовъ къ тишинѣ и вниманію.

Зало переполнилась народомъ. Каждый горо-

Digitized by Google

пился занять себѣ мѣсто поудобнѣе: на стульяхъ, на подоконникахъ, но большинство тѣснилось у стола, поближе къ предсѣдателю.

Чрезъ минуту наступила достодолжная тишина, и капитанъ Чарыковскій, положивъ предъ собою какія-то бумаги, не безъ торжественности поднялся со своего кресла.

— Панове-братья!—началъ онъ громко и самоувѣренно, не глядя ни на кого, помимо всѣхъ устремляя спокойный взоръ въ противуположную ему стѣну.—21-го іюня въ 11 часовъ вечера, какъ всѣмъ вамъ уже извѣстно, варшавская телеграмма принесла сюда извѣстіе, что новый намѣстникъ, великій князь Константинъ, раненъ изъ пистолета. Тому прошло уже пять дней. Сегодня утромъ мы получили изъ Варшавы сообщенія, которыя собственно и вызвали наше экстренное собраніе. Положеніе тамъ натянуто до послѣдней возможности; такъ что народный взрывъ можетъ случиться ежеминутно. Но... если Польша готова къ поголовному взрыву, то и русскія войска, вѣроятно, готовы къ сопротивленію, а вы сами солдаты, стало-быть понимаете, что каковъ бы ни былъ этотъ взрывъ, ему трудно, почти невозможно устоять противъ нѣсколькихъ баталіоновъ регулярнаго войска. Варшава требуетъ отъ насъ организаторовъ, инструкторовъ, офицеровъ, довудцовъ. Она требуетъ, чтобы мы какъ можно скорѣе высылали военныхъ агентовъ и въ Конгрессувку, и въ Литву, и въ Кіевъ, и въ Житоміръ. Народовое войско готово, есть и оружіе, и запасы, но нѣтъ еще офицеровъ, нѣтъ организаторовъ. И тѣхъ, и другихъ въ вашемъ лицѣ подготовила сама Россія для нашей отчизны. Наше время, господа, приспѣло; надо торопиться. И я отъ себя точно также повторяю вамъ: надо торопиться! И вотъ по какимъ именно соображеніямъ: до самыхъ послѣднихъ дней наши миссіи и наша пропаганда, какъ нельзя успѣшнѣе, подготовили русское общество къ сочувствію нашему святому дѣлу. Европа уже давно за насъ; но вы конечно согласитесь, что сочувствіе громаднаго числа москалей гораздо будетъ поважнѣе для насъ, чѣмъ сочувствіе Европы! Масса москалей своимъ голосомъ очень можетъ сдѣлать то, что̀ правительство не осмѣлится рѣшительно противодѣйствовать намъ, оно должно будетъ уступить, будучи раздавлено общественнымъ мнѣніемъ своего же собственнаго народа, тѣмъ паче, когда оно увидитъ въ рядахъ нашихъ бойцовъ своихъ же собственныхъ, чистокровныхъ русскихъ. А эти бойцы уже есть, и ихъ найдется еще больше! Теперь два слова объ этомъ самомъ русскомъ обществѣ: въ немъ очень сильно бродильное начало; оно само, пожалуй, не знаетъ хорошенько чего ему хочется, потому что вся сумма его національной жизни въ послѣднее время показываетъ какую-то непроходимую, темную путаницу понятій и отношеній; но во всей этой нелѣпой путаницѣ для насъ ясны двѣ вещи: сильное броженіе и подготовленное нами же сочувствіе нашему дѣлу. Однако, въ послѣднее время пресловутая «Молодая Россія», да еще пожары и два выстрѣла въ Варшавѣ сдѣлали, къ сожалѣнію, то, что въ этомъ обществѣ подымается весьма замѣтная реакція. Она уже слышна и въ литературѣ. Мы не должны допустить ее развиться до значительной силы, потому что тогда намъ уже гораздо труднѣе будетъ справиться. Надо еще торопиться и потому, наконецъ, что съ будущаго года прекращается двухлѣтнее переходное состояніе крестьянъ. «Земля и Воля» къ тому времени имѣетъ прочную увѣренность поднять революцію внутри Россіи. «Земля и Воля» обѣщаетъ намъ самую дѣятельную поддержку. Но главное, чего мы должны опасаться, это все-таки реакціи, потери сочувствія массы образованнаго общества. Крупныя событія, въ родѣ здѣшнихъ пожаровъ и варшавскихъ выстрѣловъ, ставятъ дѣло такъ, что оно быстро должно идти къ своимъ конечнымъ результатамъ. Событія не ждутъ и, какъ видите, опережаютъ даже благоразуміе и осторожность, но эти же самыя событія знаменуютъ всю силу нетерпѣливаго броженія. Массы ждутъ только сигнала, чтобы подняться. Горько будетъ, если онѣ подымутся нестройныя, неорганизованныя, и если черезъ то самое не удастся наше великое дѣло. Поэтому-то, въ силу всего сказаннаго, намъ—volens-nolens—надо торопиться, чтобы не проиграть. Надо работать, пока еще не охладѣло посторонее сочувствіе. А времени межъ тѣмъ немного господа! Самое долшее, что̀ остается намъ, это какихъ нибудь шесть мѣсяцевъ, да и того-то дай-Богъ! И въ этотъ краткій срокъ намъ необходимо надо осѣтить всю Польшу въ ея старыхъ границахъ нашею военною организаціею. Организація административно-гражданская уже есть давно, какъ вы знаете, и дѣйствуетъ превосходно. Вся остановка за нами. Мы должны изъ того, что̀ уже, но сырого матеріала организовать стройные военные отряды, народную нашу армію, обучить на сколько возможно нашихъ будущихъ солдатъ, чтобъ они ловко умѣли дѣйствовать и косой, и саблей, и штыкомъ, и пулей, ввести дисциплину, а духъ свободы и духъ военный—старый польскій духъ, благодаря Бога, еще не умеръ! Задача трудна, господа, особенно въ виду столь короткаго срока, но... въ насъ есть энергія, есть молодыя силы, есть твердая вѣра въ свое дѣло, есть любовь къ свободѣ и родинѣ, есть, наконецъ, способности и разумъ, а быть можетъ, найдутся между нами и геніальные военные таланты! Съ такими данными, господа, намъ нечего задумываться, а надо поскорѣе дѣло дѣлать! Поэтому всякъ изъ насъ, кто только чувствуетъ въ себѣ честнаго поляка, пусть немедля возьмется за дѣло! По порученію варшавскаго народнаго комитета, я имѣю честь

Digitized by Google

предложить вамъ, господа, чтобы вы немедленно же приступили по собственной своей свободной инициативѣ къ выбору изъ среды себя наиболѣе способныхъ организаторовъ въ разныя части Польши, Литвы и Руси. Я не сомнѣваюсь, что выборъ будетъ сдѣланъ вполнѣ достойный, потому что это дѣло есть дѣло Бога и отчизны!

Чарыковскій кончилъ и съ легкимъ поклономъ опустился въ свое кресло. Онъ говорилъ горячо, отчетливо, складно, и потому рѣчь его была прослушана съ величайшимъ вниманіемъ. Когда замолкъ, наконецъ, его звучный выразительный голосъ, въ залѣ нѣкоторое время царствовала еще полнѣйшая тишина. Слово его сдѣлало замѣтно сильное, вѣское впечатлѣніе. Едва лишь чрезъ двѣ-три минуты стали члены пошевеливаться и совѣщаться, но вскорѣ сдержанный говоръ перешелъ въ горячіе громкіе споры. Панъ А. не хотѣлъ пана В., а панъ В. не хотѣлъ пана А., но хотѣлъ пана С. Панъ же С. хотѣлъ всѣхъ трехъ разомъ, а чрезъ минуту никого не хотѣлъ кромѣ своей собственной особы. Въ этихъ спорахъ, доходившихъ уже кое у кого до колкостей и до крупной перебранки, прошло болѣе часу времени, и казалось, что споры могутъ продолжаться сколько угодно часовъ, могутъ дойти, пожалуй, до перепалки, до потасовки, до вызова, до пощечинъ, но только отнюдь не до сути дѣла. Капитанъ Чарыковскій видѣлъ это и, не безъ горькой грусти, подпершись рукою, молча сидѣлъ на своемъ предсѣдательскомъ креслѣ. Наконецъ, рука его нервно дернула колокольчикъ. Споры не умолкали, и Чарыковскій еще энергичнѣе повторилъ свой звонокъ.

— Панове-братья! —съ ѣдкой улыбкой возвысилъ онъ свой голосъ.—Неужели и теперь, въ такую минуту и ради такого дѣла, мы въ сто тысячъ первый разъ повторимъ на себѣ ту проклятую пословицу, которая гласитъ, что гдѣ два поляка, тамъ три убѣжденія?! Если такъ, то лучше разойдемтесь и отвѣтимте нашимъ варшавскимъ братьямъ, что мы свое личное самолюбіе предпочитаемъ общему дѣлу!

Эти немногія слова были чѣмъ-то въ родѣ ушата холодной воды, внезапно пролитаго на головы горячихъ и самолюбивыхъ спорщиковъ: большинство сконфузилось и примолкло, коекто пытался защититься и отстоять свое мнѣніе, но Чарыковскій, послѣ своей рѣчи не принимавшій до этой самой минуты никакого участія въ преніяхъ, сталъ теперь хотя и косвенно, но очень ловко руководить выборами. Онъ исподволь подходилъ то къ тому, то къ другому, то къ третьему кружку, прислушивался, перемолвливался съ тѣмъ или другимъ изъ членовъ, и каждой партійкѣ успѣвалъ всучить свое собственное мнѣніе, навести на желанную ему личность, подшепнуть ту или другую фамилію — и, благодаря только этой уловкѣ, выборы наконецъ совершились. Между нѣсколькими организаторами, которымъ почти немедленно предстояло отправляться въ назначенные пункты, было и имя Бейгуша. Когда до слуха его коснулся звукъ собственной его фамиліи, онъ невольно поблѣднѣлъ и смутился. Это назначеніе, почетное со стороны патріотической идеи, показалось ему теперь равносильнымъ самому жестокому приговору. Сердце его ёкнуло такой тоской, такъ болѣзненно сжалось и такъ упало вслѣдъ за тѣмъ, что казалось, будто онъ свое существованіе поставилъ на роковую, предательскую карту, которая ему измѣнила. — «Неужели жь это въ самомъ дѣлѣ будетъ такъ? Неужели я точно долженъ бросить, разорвать все и идти? Неужели это уже рѣшено безперемѣнно, безповоротно?» думалъ онъ, стоя отдѣльно отъ прочихъ. «Нѣтъ, этого быть не можетъ! Это невозможно! По крайней мѣрѣ, *для меня и теперь* это невозможно!»

Въ эту минуту въ первый разъ въ своей жизни онъ сознательно и серьезно почувствовалъ, что любитъ, что ему кровно дорога женщина, называющаяся его женою.

Подавляя въ себѣ признаки внутренняго волненія, блѣдный и пасмурный, выступилъ онъ впередъ и попросилъ у собранія слова.

Почти всѣ благосклонно приготовились выслушать его.

— Благодарю васъ за честь, господа, которую вы мнѣ сдѣлали вашимъ выборомъ, — началъ онъ не совсѣмъ-то твердымъ голосомъ.— Честь эта слишкомъ велика для меня, но... потому-то я и не чувствую себя вполнѣ достойнымъ ея... Я готовъ служить нашему дѣлу, но только не тамъ, а здѣсь, въ Петербургѣ... Я прошу у васъ позволенія остаться... прошу назначить мнѣ здѣсь какой-либо родъ дѣятельности, и я постараюсь выполнить его добросовѣстно. Еще разъ: увольте меня, господа, отъ этого назначенія!

Слова его были совсѣмъ неожиданны и показались странными. Каждый глядѣлъ на него съ недоумѣніемъ, не понимая его цѣлей и побужденій. Чарыковскій былъ изумленъ не менѣе прочихъ.

— Конечно, не чувство расчета и самохраненія говоритъ вашими устами?—проговорилъ онъ хотя и сквозь зубы, но очень явственно.

Бейгушъ вспыхнулъ и гордо поднялъ голову.

— Надѣюсь, капитанъ, что никакъ не оно! Вы, кажется, достаточно меня знаете.

Капитанъ молча поклонился въ знакъ своего согласія.

— Вы, поручикъ, принадлежите къ организаціи, — сказалъ онъ, — и потому не имѣете права отказываться отъ общаго выбора.

— Но я прошу о снисхожденіи... Я не отказываюсь отъ служенія дѣлу, но неужели же

Digitized by Google

здѣсь, въ Петербургѣ, не найдется для меня никакихъ полезныхъ занятій.

— Что̀ заставляетъ васъ просить объ этомъ?

Бейгушъ нѣсколько смутился: «Какъ сказать имъ настоящую, сокровенную причину? Поймутъ ли, уважитъ ли ее чужое, нелюбящее сердце?»

— Вы спрашиваете, что̀ заставляетъ меня?— проговорилъ онъ наконецъ;—заставляютъ мои семейныя обстоятельства.

Чарыковскій съ изумленіемъ поглядѣлъ на него.

— Вы ли это говорите, Бейгушъ! Васъ ли я слышу?! пожалъ онъ плечами. — Развѣ въ такомъ дѣлѣ могутъ что-нибудь значить какія бы то ни было семейныя обстоятельства? Что это вы сказали! Опомнитесь!

Бейгушъ поникъ головою. Онъ чувствовалъ, что на него внимательно устремлены теперь всѣ взоры, и чувствовалъ, что въ этихъ взорахъ уже просвѣчиваетъ нѣчто враждебное и презрительное.

— Какъ другъ, какъ солдатъ, какъ полякъ, умоляю васъ еще разъ: опомнитесь! возьмите назадъ свои слова!—съ чувствомъ и убѣдительно, положивъ руку на грудь, проговорилъ Чарыковскій.

— Повторяю вамъ, я не отказываюсь отъ дѣла!—тихо сказалъ Бейгушъ. — Но, господа, какъ знать чужое сердце и какъ судить его!.. Берите отъ меня все, что я могу дать, но оставьте же мнѣ хоть одинъ маленькій уголокъ моей личной, исключительно мнѣ принадлежащей жизни! Неужели-жь отъ этого можетъ сколько нибудь пострадать дѣло моей родины? Я не герой, а простой работникъ... Перемѣните на шахматной доскѣ двѣ рядомъ стоящія пѣшки, поставьте одну на мѣсто другой—развѣ отъ этого ваша игра хоть сколько нибудь измѣнится?

— Слишкомъ много скромности съ вашей стороны, господинъ поручикъ!—не безъ ѣдкости замѣтилъ Чарыковскій.—Вы не пѣшка, а офицеръ, и потому на шахматной доскѣ имѣете свои особые ходы. Впрочемъ... какъ вамъ угодно!

Чарыковскій сухо поклонился и сѣлъ, явно показывая, что считаетъ оконченными всѣ дальнѣйшія пренія на эту тему!

Между членами организаціи пошелъ смутный шопотъ. До слуха Бейгуша, какъ будто долетѣло слово «измѣнникъ». — Вся кровь хлынула ему въ голову. Удаляясь изъ собранія, онъ прошелъ, въ нѣкоторомъ родѣ, сквозь строй безпощадно-враждебныхъ и холодно-презрительныхъ взглядовъ.

XXVII.

Fatum.

Какой страшный разладъ между идеей, дѣломъ и своимъ сердцемъ почувствовалъ Бейгушъ! Согласить одно съ другимъ было невозможно: этотъ разладъ, по самой сущности своей, являлся непримиримымъ. Надо было чѣмъ-нибудь однимъ пожертвовать: или отказаться отъ дѣла, которому былъ преданъ душой и убѣжденіемъ, въ которое вѣровалъ, отказаться съ тѣмъ, чтобы потомъ уже всю жизнь нести на себѣ клеймо отверженія, имя «измѣнника»; или же ради дѣла жертвовать любовью, грезами мирнаго, покойнаго счастія. «Какъ согласить одно съ другимъ?» пытался Бейгушъ задавать себѣ трудную задачу. «Взять съ собой Сусанну, ѣхать съ нею вмѣстѣ?—Но моя идея для нея не своя, а чужая! Положимъ, она пойдетъ за мною, но вѣдь она не одна, у нея здѣсь же, въ Петербургѣ, двое сыновей воспитываются. По какому праву я отыму у нихъ мать? Какъ оставить ихъ на произволъ судьбы? И наконецъ, можно ли взять на совѣсть судьбу этой женщины, заставить ее, быть можетъ, скитаться съ собою по лѣсамъ, обречь ее на тысячи лишеній, на темное будущее... А если... если придется сложить свою голову—что̀ съ нею тогда? Если дѣло не удастся, если и меня, и ее вмѣстѣ со мною поймаютъ, захватятъ,—тогда что? — Тюрьма, ссылка, Сибирь, и опять-таки тысячи всяческихъ лишеній... И это все въ награду за ея самоотверженіе, за ея любовь!.. И изъ-за чего? Изъ-за моего лишь эгоистическаго побужденія, изъ-за того, что я полюбилъ ее!.. Нѣтъ, не возьму я этого на совѣсть!» рѣшилъ себѣ Бейгушъ. «Гибнуть одному, а не четыремъ вмѣстѣ, изъ которыхъ трое совсѣмъ чужды этому дѣлу!»

Онъ провелъ безсонную, мучительную ночь. Свѣжее воспоминаніе о сценѣ, разыгравшейся вечеромъ въ «кружкѣ», воспоминаніе объ этихъ взглядахъ и улыбкахъ, объ этомъ безмолвномъ, но уничтожающемъ презрѣніи давило ему грудь, истерическими спазмами душило горло и словно желѣзными тисками стягивало голову. Онъ всталъ съ постели полубольной, съ какой-то моральной и физической тяжестью во всемъ организмѣ. Хотѣлось бы на воздухъ—освѣжиться, разсѣяться,—и Бейгушъ ушелъ изъ дому. Въ этотъ день случайно онъ встрѣтился на улицѣ съ двумя своими короткими пріятелями. Оба были офицеры, оба принадлежали къ той же организаціи и оба присутствовали во вчерашнемъ собраніи. Бейгушъ, по всегдашней привычкѣ, кивнулъ имъ головою, но тѣ не отвѣтили на поклонъ, и не то чтобы отвернулись отъ него, не то чтобы сдѣлали видъ будто не узнаютъ его; напротивъ, оба прямо и твердо глядѣли ему въ глаза, и въ ихъ взорѣ онъ ясно прочелъ то же самое презрѣніе, то же самое имя «измѣнника».

Бейгушъ смутился и потупилъ взглядъ. Эта встрѣча словно обожгла его.—«Нѣтъ, жить такъ далѣе, продолжать безконечно выносить такіе взгляды... Нѣтъ, это невозможно!» рѣшилъ онъ самъ съ собою. «Если бы ты не вѣрилъ въ дѣло, не сочувствовалъ ему, — ну,

Digitized by Google

тогда куда-бъ ни шло еще!.. Но любя ихъ всѣхъ, страдая съ ними одною болью, дѣля ихъ мысли, ихъ убѣжденія, молясь одному Богу, слыть между ними «измѣнникомъ», добровольно лишить себя честнаго имени поляка... нѣтъ, это невозможно!» повторилъ себѣ еще разъ Бейгушъ.

Эти взгляды двухъ его пріятелей показались ему знаменательными. Понявъ ихъ значеніе, онъ уже зналъ, что могутъ они предвѣщать ему въ будущемъ. Какъ полякъ и притомъ до вчерашняго дня столь дѣятельный членъ петербургской организаціи, онъ зналъ, чему подвергается, не говоря уже объ измѣнникѣ, простой ослушникъ предписаній высшаго революціоннаго комитета. Онъ слишкомъ близко стоялъ къ дѣлу, чтобы не знать этого. Онъ могъ теперь ожидать всякихъ непріятностей и несчастій по службѣ, въ обществѣ, въ жизни. Ловкіе «воротилы дѣла» могли путемъ тайной интриги подвести подъ него такую каверзу, что начальство, считавшее его доселѣ однимъ изъ лучшихъ и благонадежнѣйшихъ офицеровъ, вдругъ могло бы найти его весьма неблагонадежнымъ, могло придраться къ какому-нибудь случайному упущенію по службѣ (а мало ли ихъ!), чтобы отдать его подъ судъ, могло найти вреднымъ его образъ мыслей или какіе-нибудь его поступки и исключить изъ службы. Но это все было бы еще самымъ легкимъ и ничтожнымъ въ сравненіи съ тѣмъ что могло угрожать ему. Въ обществѣ—того и гляди—о немъ могли пойти самые дурные слухи, могла быть замарана его репутація, подорванъ его нравственный кредитъ, онъ легко могъ быть сдѣланъ молвою и мошенникомъ, и негодяемъ, и шпіономъ, и лжецомъ, и воромъ и всѣмъ, всѣмъ, чѣмъ угодно. Наконецъ, онъ зналъ, что власть и сила польскаго ржонда велика, что корни ея на огромное пространство развѣтвляются подъ землей, а ползучіе побѣги, незамѣтно, но цѣпко поднимаются очень высоко, что въ этомъ ржондѣ существуетъ верховный тайный трибуналъ, который судитъ безапелляціонно и неуклонно приводитъ въ исполненіе свои приговоры надъ ослушниками и отступниками. Въ этихъ приговорахъ бывали и ножъ изъ-за угла, и ядъ въ кускѣ хлѣба или въ стаканѣ воды. Исполненіе этихъ приговоровъ не могло быть стѣсняемо ни временемъ, ни пространствомъ. Все это очень хорошо понималъ Бейгушъ и при этомъ чувствовалъ, что если надъ нимъ будетъ произнесенъ подобный приговоръ, то для него онъ будетъ суровѣе и безпощаднѣе, чѣмъ для многихъ другихъ, потому что Бейгушъ стоялъ слишкомъ близко къ дѣлу, ему было извѣстно много такого, что являлось весьма важнымъ и существеннымъ для успѣха и для многихъ лицъ петербургской организаціи, которыя теперь весьма легко станутъ опасаться, что отступничество столь дѣятельнаго члена можетъ имѣть и для нихъ, и для дѣла очень вредныя, а быть можетъ, и непоправимыя послѣдствія. Ясно, что эти люди постараются теперь избавиться отъ него какъ можно скорѣе и при томъ самымъ радикальнымъ образомъ.

И между тѣмъ Бейгушъ не чувствовалъ въ себѣ отступника. Онъ все-таки горячо любилъ и этихъ людей, и дѣло, но столь же горячо любилъ и Сусанну.

«Да, вотъ она, казнь за черный умыселъ, за воровское подлое намѣреніе!—горько раздумывалъ онъ.—Ты сдѣлалъ ее своею женою, съ тѣмъ чтобы ограбить и бросить, какъ старую перчатку... а вмѣсто того, и самъ не знаю какъ, полюбилъ ее, пуще самаго дорогого, самаго завѣтнаго!.. Какая пронія! Какая отместка!»

Бейгушъ, давая себѣ строгій отчетъ о своихъ мысляхъ и побужденіяхъ, сознавалъ, что почти не чувствуетъ ни малѣйшаго страха предъ возможностью подпольной казни: смерть тѣмъ или другимъ способомъ страшила его не столько, какъ это проклятое имя Іуды, измѣнника.—«Измѣнникъ своимъ братьямъ, Іуда идеи, отступникъ своей родины, своей матери-Польши... бррр!.. Вотъ что ужасно! вотъ что невыносимо! вотъ что скажутъ о тебѣ и вотъ какую память по себѣ ты оставишь!» думалъ Бейгушъ—и при одной этой мысли его обдавало холодомъ и дрожью. Онъ чувствовалъ, что надъ нимъ тяготѣетъ какой-то страшный fatum, который—хочешь не хочешь—подчиняетъ себѣ его волю, его поступки, его помышленія, который словно бы говоритъ ему: иди или умри съ именемъ Іуды!—И этотъ fatum является въ лицѣ того же «кружка», того же тайнаго комитета «святой справы», этотъ вершащій все и вся Deus ex machina есть его же собственное личное сопричастіе къ дѣлу, къ «организаціи». И никакихъ выходовъ нѣтъ изъ этого положенія!

«Если-бъ еще одна женщина, одна любовь могла все замѣнить собою человѣку», мыслилъ онъ въ самомъ мучительномъ состояніи духа. «Пусть даже будетъ такъ! Я вѣрю въ это!.. Что-бъ съ тобой ни случилось, какимъ бы именемъ тебя ни заклеймили, пусть тебя навѣки похоронятъ въ Сибири, въ какомъ-нибудь Обдорскѣ, пусть сошлютъ въ каторгу, въ рудники: пусть все это такъ; но если ты безпредѣльно любишь, если она, твоя любовь съ тобою,—тутъ, пожалуй, можно бы еще все перенести, все выстрадать! Какъ бы страшно ни заклеймили тебя эти люди, твои же братья, но зная, что есть на Божьемъ свѣтѣ хоть одна бѣдная душа, которая тебя любитъ и вѣритъ въ тебя, которая для тебя на все готова,—о! зная это, можно стать выше всѣхъ этихъ людей и всей слѣпой злобы ихъ! Можно бы уйти внутрь себя, жить своимъ сердцемъ, своей душою... Да; все это можно, если бы только

Digitized by Google

такъ!.. Но если тебя не сегодня-завтра ждетъ заугольная смерть, тогда что? Какой результатъ?—Лучшіе люди твоей родины съ ненавистью и презрѣніемъ скажутъ про тебя: собакѣ и смерть собачья! Умереть съ именемъ Іуды, измѣнника — и только!.. Нѣтъ, видно, великое дѣло требуетъ и жертвъ великихъ!.. Иди, иди—и нѣтъ тебѣ другой дороги, другого выхода!»

Въ нервномъ и возбужденномъ состояніи Бейгушъ, послѣ непродолжительной, но страшной и роковой борьбы съ самимъ собою, поѣхалъ вечеромъ къ капитану Чарыковскому.

Тотъ встрѣтилъ его сухо, однимъ лишь вопросительнымъ взглядомъ.

— Я прошу васъ забыть все прошлое,— трудно дыша, смущеннымъ, но рѣшительнымъ тономъ началъ Бейгушъ.—Я виноватъ предъ общимъ дѣломъ... виноватъ тѣмъ, что допустилъ себя увлечься своимъ личнымъ чувствомъ, но... теперь я пріѣхалъ сказать вамъ, что съ этой минуты я попрежнему вашъ... весь вашъ!.. Забудьте и протяните мнѣ честно вашу руку!

Лицо его дрожало внутреннимъ волненіемъ, на глазахъ блистали слезы.

Чарыковскій ступилъ шагъ впередъ, горячо обнялъ его, и оба они разцѣловались.

Съ этой минуты миръ съ «кружкомъ» былъ возстановленъ; но далеко еще не было такого же мира съ самимъ собою въ наболѣвшей душѣ Бейгуша.

XXVIII.

Alea jacta est.

Въ нѣсколько дней офиціальная сторона дѣла, долженствовавшая служить ему благопріличной и легальной маской, была обработана: Бейгушъ получилъ отъ военнаго вѣдомства экстренную командировку въ Литву, по одному изъ тѣхъ дѣлъ третьестепенной важности, на которыя во всякомъ вѣдомствѣ зачастую и при томъ самымъ обыкновеннымъ образомъ случаются командировки. Все это очень легко и очень быстро обработалъ ему Чарыковскій, который въ то время пользовался хотя косвеннымъ, но весьма значительнымъ вліяніемъ, какъ дѣльный, умный, ученый и необыкновенно способный человѣкъ. И труды, и мнѣнія его по военно-спеціальнымъ вопросамъ очень уважались, да и вообще онъ пользовался хорошимъ авторитетомъ и не въ однихъ лишь «кружкахъ организаціи». Точно такимъ же образомъ, при его посредствѣ, подъ разными служебными предлогами были отправлены, подобно Бейгушу, и всѣ остальные организаторы въ разныя мѣста Западнаго края.

У Бейгуша все уже было готово къ отъѣзду: инструкція и подорожная вмѣстѣ съ прогонами въ карманѣ, субсидія отъ организаціи тоже. вещи, то-есть самое лишь необходимое, исподволь, понемногу перенесены къ Чарыковскому, такъ что теперь оставалось только садиться въ вагонъ и ѣхать. А какъ не хотѣлось бы ѣхать! Какъ томительно проситъ собственное сердце остаться, помедлить... хоть нѣсколько бы дней еще помедлить!..

Бейгушъ скрывалъ отъ Сусанны и свои приготовленія, и свой отъѣздъ. Онъ зналъ, что она настойчиво стала бы просить его отказаться подъ какимъ бы то ни было предлогомъ отъ казеннаго порученія, что въ крайнемъ случаѣ сама рѣшилась бы ѣхать съ нимъ, убѣдила бы, умолила бы его своею любовью согласиться на это. Но разсудокъ громко и твердо говорилъ ему, что ѣдучи на такое рисковое дѣло, было бы и опасно да и грѣшно тащить ее за собою. Въ умѣ своемъ онъ уже рѣшилъ, что этому не бывать ни подъ какимъ условіемъ; но въ то же время боялся, что слишкомъ тепло любитъ ее для того, чтобъ ея просьбы и слезы не поколебали его рѣшимости, и потому онъ дѣлалъ все это втайнѣ.

Подъ вліяніемъ мысли о необходимости близкой и можетъ-быть вѣчной разлуки, онъ невольно сталъ еще добрѣе и нѣжнѣе къ этой женщинѣ, онъ чувствовалъ, будто теперь она стала ему еще дороже, будто полюбилась ему еще болѣе. Сусанна, въ простотѣ сердечной, въ эти дни просто была на верху блаженства. Ей уже, дѣйствительно, не хотѣлось болѣе ни новыхъ шляпокъ, ни ложъ въ театрѣ, ни дачи въ Павловскѣ: ласки мужа, его внимательная и какая-то болѣзненно-задушевная нѣжность замѣнили ей всѣ посторонніе помыслы и желанія. Отчасти смущало ее порою только то, что среди ласковаго, веселаго разговора, мужъ ея вдругъ, ни съ того, ни съ сего, на нѣсколько мгновеній становился какъ-то тоскливо угрюмъ и озабоченъ, или вдругъ нападала на него то непонятная разсѣянность, то какая-то глубокая подавляющая дума. Сусанна попросту думала себѣ, что это онъ все о проигранныхъ деньгахъ, и потому въ благодарность за его ласки еще живѣе старалась всячески развлечь, приголубить и успокоить его.

Бейгушъ жадно впивалъ теперь жизнь, полную любви, наслажденія и тихихъ семейныхъ радостей. Ему такъ сильно хотѣлось взять отъ этой жизни все, что только можно взять, все, что только можетъ она дать ему, хотѣлось до послѣдней капли осушить эту чашу, чтобы потомъ разбить ее въ дребезги, но за то чтобы впослѣдствіи, при иной, грядущей, темной и одинокой жизни, было чѣмъ помянуть эти немногія, но хорошія, свѣтлыя минуты!

Хотѣлось ему открыть Сусаннѣ, что деньги ея цѣлы и что именно вся комедія была разыграна имъ для одного лишь испытанія, но... силъ не хватало на это. Его нравственное

Digitized by Google

чувство, возрожденное и очищенное силой любви, рѣшительно возмущало его противъ новой уловки, новой лжи. «Къ чему хитрить и притворяться! Къ чему еще разъ обманывать эту дѣтски-наивную, простую душу, которая и безъ того ничего не хочетъ, ничего не требуетъ, кромѣ добраго слова да теплой ласки!» думалось Бейгушу, и онъ молчалъ, рѣшившись внутренно открыть ей на прощанье всю горькую правду.

Наконецъ наступилъ канунъ отъѣзда. Завтрашнее утро—крайній, послѣдній срокъ. Дѣло не ждетъ, Чарыковскій нетерпѣливо и настойчиво понукаетъ. Надо ѣхать, надо кончить все и беззавѣтно махнуть на все рукою!

Въ теченіе послѣдняго вечера Бейгушъ нѣсколько разъ пытался высказать Сусаннѣ правду о ея деньгахъ, и все-таки силъ не хватало. Жалко и больно было, пока самъ еще здѣсь на лицо, хоть на мгновенье помутить счастливое чувство мира и покоя, чувство ея безграничной вѣры въ его нравственную личность.

Онъ выждалъ пока, наконецъ, Сусанна заснула, и тихо, осторожно вышелъ изъ спальни.

Былъ уже въ исходѣ четвертый часъ ночи. Блѣдный разсвѣтъ петербургской бѣлой ночи глядѣлъ въ окна.

Бейгушъ долго просидѣлъ въ глубокомъ и тяжкомъ раздумьи предъ своимъ кабинетнымъ столомъ, но наконецъ встрепенулся, смутно провелъ по лицу рукою и сталъ писать.

«Все кончено, Сусанна! Надо, наконецъ, сказать тебѣ всю горькую правду, писалъ онъ. Я женился на тебѣ ради самаго гнуснаго обмана, съ намѣреніемъ обокрасть тебя и бросить. Но не знаю, сама ли судьба, или безграничная любовь твоя отомстили мнѣ за мою низость. Задумавъ надругаться надъ тобою, я кончилъ тѣмъ, что глубоко полюбилъ тебя, побѣжденный твоею же любовью. Деньги твои цѣлы почти сполна, за исключеніемъ двухъ тысячъ, отданныхъ по условію моему достойному сообщнику. Они лежатъ въ банкѣ, а билеты ты найдешь въ среднемъ ящикѣ моего стола. Ключъ я оставляю».

Затѣмъ Бейгушъ подробно разсказалъ всю исторію мнимаго проигрыша.

«Теперь уже не ради комедіи, какъ въ томъ письмѣ, продолжалъ онъ, а взаправду скажу тебѣ: *прости меня, если можешь*! Мы не увидимся больше; развѣ счастливая судьба сведетъ насъ какъ нибудь впослѣдствіи. И какъ бы желалъ я этой счастливой судьбы! Какъ страстно желалъ бы!.. Не спрашивай, не допытывай ни у кого и никогда, почему я разстаюсь съ тобой такъ странно, такъ внезапно. Предупредить этого ничѣмъ нельзя: *это такъ должно*. Разспрашивая и разглашая объ этомъ, ты можешь только повредить мнѣ самымъ страшнымъ образомъ. Почему это такъ,—я въ настоящее время не имѣю права сказать тебѣ. Впослѣдствіи, и даже быть можетъ скоро, сама все узнаешь изъ дѣла, безъ справокъ и разспросовъ. Скажу пока одно: я уѣзжаю въ Литву по экстренному порученію моего начальства. Такъ ты это и знай, такъ и говори знакомымъ, буде станутъ спрашивать. Но вообще, если любишь меня, то не распространяйся и какъ можно менѣе говори обо мнѣ. Я наказанъ вдвойнѣ: и тѣмъ, что полюбилъ тебя, и тѣмъ, что долженъ разстаться.

«Да, какъ полякъ, я не имѣлъ права полюбить русскую женщину. Какое жестокое, ужасное положеніе!.. Будь проклята и эта пламенная, историческая вражда, и то, что̀ породило ее! Благодаря ей, вся моя личная жизнь (да и одна ли моя только!) построена на фальши, на противуестественномъ умерщвленіи въ себѣ самыхъ лучшихъ, самыхъ святыхъ и завѣтныхъ чувствъ во имя одной идеи.

«И это необходимо! Отказаться отъ этого не въ моей власти, не въ моей волѣ, если только я хочу сохранить себѣ честное польское имя, если я не сдѣлаюсь измѣнникомъ Польши. А я имъ никакъ и никогда не сдѣлаюсь!.. Что жь дѣлать мнѣ, если я люблю и *ее*, и *тебя*! Но которую же больше?.. Сердце шепчетъ: *тебя*, а долгъ и клятва кричатъ мнѣ: Польшу! Польшу! ее одну и никого и ничего болѣе!.. Такова наша суровая, историческая заповѣдь. Нужно только безконечно жалѣть и сокрушаться о томъ, что есть въ жизни народа такія непримиримыя положенія, когда отдѣльная личность, даже помимо собственной воли, насильственно принуждена разрывать самыя дорогія свои связи и отношенія. Такъ точно и со мною. Пожалѣй же обо мнѣ, моя Сусанна!

«Я не хотѣлъ тебѣ говорить и объяснять причинъ, а вышло вотъ какъ-то, что сказалось даже гораздо болѣе, чѣмъ бы слѣдовало. Не оставляй у себя этого письма и никому не говори про него. Самое лучшее: прочти, пойми его сердцемъ и сожги, чтобъ и слѣдовъ не осталось. Это моя послѣдняя просьба. А *послѣднія* просьбы всегда исполняются строго.

«Нѣтъ, есть и еще одна: прости, благослови заочно и люби меня, какъ умѣла любить до этой минуты. Авось еще и не все кончено! Авось еще встрѣтимся, но только дай Богъ, чтобъ на радость и счастіе!»

Онъ дописалъ. Былъ седьмой часъ въ началѣ. Лакей уже проснулся и подметалъ въ столовой. Бейгушъ, со всевозможною осторожностью, прошелъ въ спальню и положилъ письмо на туалетѣ, такъ что оно прежде всего должно было кинуться въ глаза женѣ, когда она встанетъ съ постели.

Сусанна спала тихо и безмятежно, сладкимъ утреннимъ сномъ, подложивъ обнаженную красивую руку подъ свою розовую щеку.

Затаивъ дыханіе, безъ малѣйшаго движенія,

Digitized by Google

Бейгушъ глядѣлъ и любовался на нее влюбленными глазами.

Наконецъ-таки не осилилъ себя: приблизился къ постели и съ жуткимъ чувствомъ въ душѣ припикъ трепещущими губами къ щекѣ жены.

Сусанна не-хотя раскрыла глаза, увидѣла мужа, и думая, что онъ уже всталъ за тѣмъ, чтобы по обыкновенію отправляться въ свою батарею, улыбнулась ему и, повернувшись на другой бокъ, тотчасъ же снова заснула.

Послѣ этого Бейгушъ спѣшно одѣлся у себя въ кабинетѣ и ушелъ изъ дому. Онъ отправился къ Чарыковскому, который лично хотѣлъ проводить его на желѣзную дорогу.

Утро стояло свѣтлое и свѣжее. Ночью шелъ дождикъ, и разорванныя тучи плавали еще по небу, но солнце блистало ярко и радостно, словно привѣтствуя и маня своимъ блескомъ отходящаго въ трудный и темный путь.

— Ну!.. alea jacta est!—съ глубокимъ и полнымъ вздохомъ сказалъ себѣ Бейгушъ. — Да, жребій брошенъ! Подготовительный періодъ нашъ конченъ. Теперь—борьба! На арену выступаютъ двѣ силы... Что-то будетъ? Что-то выйдетъ?... Но... вернуться уже нельзя, невозможно: alea jacta est.

Digitized by Google

ДВѢ СИЛЫ.

ХРОНИКА

НОВАГО СМУТНАГО ВРЕМЕНИ ГОСУДАРСТВА РОССІЙСКАГО.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ.

I.

Сюрпризъ на пути въ Варшаву.

Станція Луга. Двадцать-пять минутъ. Буфетъ!

Хвалынцевъ вышелъ изъ вагона и, вмѣстѣ съ толпой алчущихъ и жаждущихъ пассажировъ, направился въ залу, гдѣ дымящіяся блюда разнообразныхъ снѣдей, среди столовъ, покрытыхъ свѣжимъ бѣльемъ, яснымъ хрусталемъ, бутылками и цвѣтами, такъ вкусно и привѣтливо манили къ себѣ взоры и аппетитъ проголодавшихся путешественниковъ.

Онъ спросилъ себѣ обѣдъ и, съ торопливостью—по большей части свойственною непривычнымъ желѣзно-дорожнымъ путникамъ, которые боятся опоздать при роковомъ звонкѣ—принялся истреблять поданныя ему блюда.

Но не успѣлъ онъ еще изрядно потрудиться надъ крыломъ пулярки подъ рисомъ, какъ вдругъ почувствовалъ, что кто-то сзади хлопнулъ его по плечу самымъ пріятельскимъ образомъ.

Константинъ обернулся и просто ошалѣлъ отъ изумленія.

Предъ нимъ стоялъ и улыбался Свитка, воочію тотъ самый Свитка, который давеча проводилъ его на желѣзную дорогу и простился, такъ что Хвалынцевъ былъ убѣжденъ, что посвятитель и менторъ его остался въ Петербургѣ, а онъ вдругъ—на тебѣ!—черезъ четыре часа пути является тутъ какъ тутъ, нежданный, негаданный.

— Вы какими судьбами?—пробормоталъ изумленный Константинъ Семеновичъ.

— Хм... Не судьбами, батюшка; судебъ вообще нѣтъ, а есть желѣзныя дороги и непредвидимыя случайности, и вотъ въ силу одной изъ таковыхъ случайностей я и ѣду съ вами.

Хвалынцевъ недовѣрчиво поглядѣлъ на него.

— Но вѣдь вы же, провожая меня, сколько я понимаю, никакъ не располагали отправиться вмѣстѣ?—замѣтилъ онъ,—и вдругъ...

— И вдругъ отправился!.. ха, ха, ха... оно точно чудно немножко, но... въ нашемъ дѣлѣ, батюшка, случается иногда непредвидимыя и совершенно неожиданныя случайности: одна изъ такихъ, говорю вамъ, и постигла меня.

— Но когда же, наконецъ, она успѣла васъ постигнуть, если вы, не думая ѣхать, простились со мною за три минуты до отхода машины?

— А вотъ въ эти-то три минуты и постигла.

— Дѣйствительно чудно... Нельзя не согласиться!—съ скептической улыбкой замѣтилъ Хвалынцевъ.—Куда же вы ѣдете?

— По пути съ вами.

— Я это вижу, но далекъ ли вашъ путь?

— О, еще пространствуемъ малую толику! Я ѣду въ Литву.

— Надолго?

— Мм... смотря по тому, какъ потребуютъ обстоятельства... Впрочемъ, не думаю, чтобы надолго: недѣли на полторы, на двѣ—не болѣе.

— И что же, это вы сами надумали ѣхать?

— Напротивъ, я и не воображалъ. Меня послали.

— Хм...

И кромѣ этого «хм!» Хвалынцевъ ровно ничего не нашелъ отвѣтить ему, хотя въ душѣ и подумалъ себѣ, что тутъ что то не такъ...

Digitized by Google

Въ душу его закралось темное подозрѣніе: ужь не съ тою ли, молъ, цѣлью, чтобы слѣдить за каждымъ его шагомъ, приставленъ къ нему этотъ Свитка?—«Чего добраго, они, можетъ, думаютъ, что я обману ихъ довѣріе, что я измѣню имъ, и потому такъ зорко слѣдятъ за мною?» думалось ему. «Хм... Ну, все равно, пусть слѣдятъ, осторожность, говорятъ, не мѣшаетъ».

— Вы вѣдь во второмъ классѣ ѣдете?—отнесся къ Хвалынцеву Свитка.

— Во второмъ.

— А я въ третьемъ. Я и билетъ-то себѣ взялъ только на Царскосельской станціи, а дотуда заплатилъ уже въ вагонѣ оберъ-кондуктору.

— И какъ-же вы это такъ — безъ бѣлья, безъ вещей, безо всего?

Свитка только улыбнулся и беззаботно махнулъ рукою.

— Есть мнѣ когда думать о такихъ пустякахъ! — сказалъ онъ. — Были-бы деньги со мною, а прочее все вздоръ! Сорочку лишнюю куплю себѣ въ Вильнѣ, въ первомъ попавшемся магазинѣ, а не то и добрые люди одолжатъ на время, а больше мнѣ ничего и не надо. Послушайте!—какъ бы подъ впечатлѣніемъ новой мысли, предложилъ онъ Хвалынцеву. — Пересаживайтесь-ка ко мнѣ въ третій! Въ третьемъ, конечно, менѣе комфорту, но за то гораздо веселѣе и занимательнѣе. Ей-Богу! Третій классъ не лишенъ даже своего рода поучительности. Садись-ка право! А когда захочется спать, для пущаго комфорту, пожалуй, и я тогда съ вами во второй переберусь.

Хвалынцевъ согласился, и они поѣхали вмѣстѣ.

«Чортъ ихъ знаетъ», думалъ себѣ Константинъ Семеновичъ. «Это какой-то своего рода театральный эффектъ, такое неожиданное появленіе; какъ будто этого нельзя было сдѣлать гораздо проще?! Или же они, въ самомъ дѣлѣ, слѣдятъ за мною?.. Но, если вѣрить имъ, въ ихъ дѣлѣ участвуютъ многія тысячи людей, а надъ каждымъ изъ этихъ тысячъ возможно ли устроить такой зоркій и бдительный контроль? Что-же касается меня», пришелъ онъ къ скромному заключенію, «то я пока еще вовсе не такая важная птица въ этомъ дѣлѣ, чтобы за мною нужно было слѣдить особо. Не разберешь!»

И дѣйствительно, разобрать ему всю эту путаницу было невозможно, хотя, въ сущности, ларчикъ открывался просто. Дѣло въ томъ, что изъ «Петербургскаго центра» Свитка, дня за три до отъѣзда Хвалынцева, дѣйствительно получилъ порученіе съѣздить въ Литву для нѣкоторыхъ совѣщаній и переговоровъ съ мѣстными «филярами», а за-одно ужь ему было поручено еще и прослѣдить за Хвалынцевымъ, убѣдиться въ окончательной прочности его намѣреній и убѣжденій и, такъ-сказать, проконвоировать его подъ своимъ личнымъ досмотромъ до возможно дальнѣйшаго пункта, пользуясь этимъ временемъ, между прочимъ, и для того, чтобы пуще и пуще укрѣплять его мысли, волю, желаніе и убѣжденіе на новой почвѣ общаго дѣла. Агенты святой народовой справы никогда не упускали даже малѣйшаго случая въ этомъ направленіи, если только случай представлялъ имъ къ тому мало-мальскую возможность и удобство. Но... Свитка и не подозрѣвалъ, что именно его-то послѣдняя миссія и заронила въ душу новаго адепта первое сѣмя сомнѣнія.

— Послушайте, Константинъ Семеновичъ, — весело и радушно предложилъ онъ какъ-то во время пути, — вѣдь и для васъ, и для дѣла, въ сущности, рѣшительно все-равно, пріѣдете-ли вы въ Варшаву нѣсколькими днями раньше или позже; никто отъ этого, при настоящемъ положеніи дѣла, ни выиграетъ, ни проиграетъ, могу васъ смѣло увѣрить въ томъ моимъ словомъ. А я вамъ хочу предложить одну маленькую, но очень пріятную экскурсію.

— Что такое?—съ нѣкоторымъ недовѣріемъ спросилъ Хвалынцевъ, уже невольно ожидая еще какого-нибудь новаго сюрприза.

— А вотъ что: хотите вы познакомиться съ нашею милою патріархальною Литвою?—предложилъ Свитка.—Могу васъ увѣрить, знакомство это ни въ какомъ случаѣ не будетъ для васъ лишнимъ. Край превосходный, и посмотрите, какъ онъ дивно настроенъ! Вотъ ужь именно, батюшка, если гдѣ можно съ пользой для дѣла поучиться чему-либо, такъ это у насъ, въ Литвѣ! Мы съ вами проѣхались-бы немного по краю, побывали-бы у кой-какихъ помѣщиковъ... Поглядите на нихъ... Можетъ, и понравятся вамъ... А что за женщины! О, какія женщины, чортъ ихъ возьми! Ей-Богу, поѣдемте!—соблазнялъ Свитка.—Побываемъ мимоѣздомъ въ Вильно, въ Гродно, вы тутъ по крайней мѣрѣ воочію посмотрите, что такое были наши польскіе да и вообще европейскіе города въ XVII и XVIII вѣкѣ; вѣдь тамъ, батюшка мой, чуть не на каждомъ перекресткѣ что ни домъ, то цѣлая исторія двухъ столѣтій! Да и вообще знакомство съ цѣлымъ краемъ, въ общей суммѣ знаній, вещь далеко не лишняя, а жизнь и путешествіе намъ почти ничего не будетъ стоить—развѣ сущую бездѣлицу... И такъ, рѣшайте-ка!—подалъ онъ въ заключеніе свою руку.—Поѣдемъ, тѣмъ болѣе, что все это продлится дней пять-шесть, ну, много недѣлю, но ужъ никакъ не дольше.

Хвалынцевъ, послѣ нѣсколькихъ соблазнительныхъ увѣщаній, далъ ему слово.

Digitized by Google

II.

Впечатлѣнія по дорогѣ Литвою.

Пески, болота, тощія рѣченки, тощія пашни на глинистомъ или песчаномъ грунтѣ, сосновые лѣса и тоже большею частію на пескѣ; вересъ да очеретъ, опять пески и пески, опять лѣса, лѣса и болота; убогенькія и словно пришибленныя къ землѣ сѣрыя деревнюшки; убогіе и точно также пришибленные изъ-сѣра-бѣлые крестьяне, которые при встрѣчѣ съ проѣзжимъ-*не*мужикомъ уничиженно обнажаютъ головы; тощія маленькія лошаденки рыжей масти; жиды на подводахъ съ бочками водки; нищіе при дорогамъ; на-бѣло вымазанныя глиною корчмы съ жидами и жиденятами; кое-гдѣ на выгонахъ убогая скотинка; свиньи подъ каждымъ заборомъ, въ каждой деревенской лужѣ; высокіе кресты на плѣшинахъ песчаныхъ пригорковъ, обозначающіе убогія, необнесенныя оградами кладбища; такіе-же высокіе кресты, тамъ и сямъ разбросанные по полямъ, вблизи и вдали, на сколько хватитъ око, цѣлыя группы крестовъ при деревенскихъ околицахъ; кое-гдѣ аллеи пирамидальныхъ тополей при въѣздахъ въ панскую усадьбу; высокіе, бѣлокаменные, крытые черепицею, двухбашенные костелы и низенькія, убогія, почернѣлыя, покосившіяся на бокъ православныя церкви; сытый, усатый панъ въ нетычанкѣ; самодовольно выбритый ксендзъ на сытой лошадкѣ и грязно, убого одѣтый священникъ пѣшкомъ или въ хлопскомъ «полукóшекѣ» — голь, нищета, какой-то гнетъ, какая-то безконечно-унылая, безпросвѣтная пришибленность, забитость, скудость во всемъ и повсюду, — вотъ то неприглядное впечатлѣніе, которое съ перваго взгляда сдѣлала эта хваленая «Литва» на свѣжую душу Хвалынцева, привыкшаго доселѣ къ широкимъ картинамъ великорусской, поволжской жизни. Онъ не воздержался, чтобы не высказать эти впечатлѣнія своему спутнику.

— Хм!—злобно и не безъ горечи ухмыльнулся въ отвѣтъ ему Свитка.—Васъ поражаетъ пришибленность! а кто довелъ край до такого положенія, какъ не русское правительство?

— Но, позвольте-съ,—не совсѣмъ смѣло на первый разъ возразилъ Хвалынцевъ, желая сдѣлать возраженіе свое и поделикатнѣе, но въ то же время такъ, чтобы въ немъ и нѣкоторая доля «самостоятельности» проглядывала.—Позвольте-съ, вѣдь то же самое правительство и въ великорусскихъ губерніяхъ, а разница межъ тѣмъ сильно замѣтна.

— Хм... И то да не то!.. Оно такъ только кажется. Свой своему по неволѣ братъ, а здѣсь вѣдь край чужой, заграбленный—ну, такъ и дави его! Чего жалѣть-то! Въ этомъ-то и вся нехитрая правительственная система.

— Ну, нельзя сказать, помѣщики на видъ у васъ глядятъ-таки сытенько, а крестьянинъ вонъ только подгулялъ на этотъ счетъ,—замѣтилъ Хвалынцевъ.

Свитка, съ коварной усмѣшкой, какъ будто согласился въ душѣ съ возраженіемъ Хвалынцева, но нарочно, посвистывая, отвернулся въ сторону и сдѣлалъ видъ, будто не разслышалъ или не обратилъ вниманія на заключенія своего спутника.

— Но ужь, надѣюсь, вы никакъ не станете утверждать,—началъ онъ черезъ минуту,—что это край русскій. Худо ли, хорошо ли, но это у насъ свое, самобытное, литовское! Да-съ! Возьмите хоть самую внѣшность края, возьмите ее вы, человѣкъ мимоѣзжій, чужой, и скажите по совѣсти: представляется ли все это вамъ краемъ русскимъ? Развѣ хоть эти вонъ кресты, эти костелы не говорятъ вамъ прямо, что здѣсь католицизмъ и Польша?

Въ это самое время, какъ будто нарочно, неподалеку въ сторонѣ, показалась убогаго, жалкаго вида православная церквица съ покосившимся восьмиконечнымъ русскимъ крестомъ.

— Что это, костелъ? — обратился Хвалынцевъ къ подводчику.

— Гэто?.. нѣ, паночку, гэто церква!—указалъ тотъ на убогій срубъ своимъ кнутикомъ.

— Ну, а это-то какъ же?—съ пытливымъ сомнѣніемъ взглянувъ на Свитку, возразилъ Хвалынцевъ.—Попы да церкви-то какъ же?

Свитка съ ироническимъ пренебреженіемъ подфыркнулъ и скосилъ свои губы.

— Пфе!.. Ну, ужь нашли возраженіе! — сказалъ онъ.—Попы!.. Да вѣдь эти всѣ попы или насажены сюда вашимъ же правительствомъ, или насильно обращены изъ уніатовъ! Правительство и церквей настроило, обману ради. Тоже вѣдь своя пропаганда. Но только обмануть-то ему никого не удастся.

Хвалынцевъ замолчалъ и на минуту погрузился въ нѣкоторое раздумье.

— Но отчего же эти церкви въ такомъ жалкомъ видѣ, если правительство настроило ихъ ради пропаганды?—снова принялся онъ упорно возражать, воображая тѣмъ самымъ поддержать свою самостоятельность и независимость мнѣній.—Вѣдь для такой пропаганды, которая дѣйствуетъ обманомъ, нуженъ блескъ прежде всего?

— Отчего-съ? А оттого, что здѣсь крестьянство и весь народъ вообще душой преданъ католицизму либо же бывшей уніи и ненавидитъ всѣкаемое православіе, — горячо заговорилъ Свитка, какъ бы заранѣе предчувствуя торжество своей аргументаціи. — Оттого, что въ костелъ идетъ народъ охотой, а въ церковь по полицейскому принужденію, загономъ. На благоустройство костела жертвуетъ и панъ, и хлопъ свою лишнюю копейку, а на церковь никто вамъ ни гроша не дастъ, а ремонтныя деньги, что идутъ на поддержку отъ прави-

Digitized by Google

тельства, благочинные да попы въ свой карманъ кладутъ, да на бумагѣ фантастическіе итоги выводятъ. Вотъ вамъ и причины этого «жалкаго вида», да и вообще православная церковь жалка и бѣдна здѣсь потому, что она чужда всѣмъ и каждому, а костелъ здѣсь свой, и свой потому, что въ немъ польская вѣра, польскій духъ, а на ихъ сторонѣ всѣ народныя симпатіи, и вы это увидите, вы сами убѣдитесь въ этомъ. Вотъ, погодите, поѣдемъ мы съ вами по помѣщикамъ. Вѣдь вы имѣете, конечно, понятіе о томъ что̀ такое вашъ великорусскій помѣщикъ?—спросилъ Свитка опять-таки съ какимъ-то затаеннымъ коварствомъ въ душѣ, съ какою-то внутреннею двусмысленностью и вообще не безъ задней мысли.

— Отчасти-съ. Самъ вѣдь тоже принадлежу къ ихъ лику,—отвѣтилъ Хвалынцевъ.

— Ну, да вы-то исключеніе. А вотъ вы посмотрите-ка на нашихъ! Это, батюшка мой, по общему убѣжденію, дѣйствительно представители краевой интеллигенціи и цивилизаціи; тутъ хоть и патріархальность, но въ ней есть движеніе, жизнь есть, отсутствіе косности. Да впрочемъ что! Я хвастаться не хочу, а вы лучше сами увидите, сами посмотрите отношенія ихъ къ общему дѣлу, и вотъ въ чемъ именно задатки нашего будущаго успѣха. Вся Польша, вся Литва, это какъ одинъ человѣкъ!

Просвѣщая такимъ образомъ своего спутника, Свитка чуть ли не всю дорогу избиралъ Литву и мѣстныя отношенія почти исключительной темой своихъ разговоровъ, и, пока они были другъ подлѣ друга, нельзя сказать, чтобы старанія Свитки оставались безплодны; онъ имѣлъ преимущество компетентнаго аборигена предъ мимоѣзжимъ пришлецомъ, и Хвалынцевъ по неволѣ вѣрилъ, если не всему, то очень и очень многому, потому что прежде всего онъ вѣрилъ въ безусловную честность самого Свитки, и если порой наплывала на него нѣкоторая тѣнь сомнѣнія, то онъ старался гнать ее, какъ чувство недостойное порядочнаго человѣка, разъ уже отдавшагося душой извѣстному «дѣлу».

III.

Въ корчмѣ.

— Мы съ вами, любезный другъ, ѣдемъ теперь къ пану Котырло—старый мой добродѣй и золотая душа!—сообщилъ на послѣдней смѣнѣ лошадей Василій Свитка, который, по наблюденіямъ Хвалынцева, съ тѣхъ поръ какъ охватило его литовскою жизнью и природой, какъ сталъ дышать роднымъ литовскимъ воздухомъ, сдѣлался какъ-то слащавѣе, сантиментальнѣе, словно этотъ воздухъ и природа умаслили и размягчили его душу. О всемъ литовскомъ онъ говорилъ и вспоминалъ не иначе какъ съ похвалой и нѣкоимъ сладостнымъ умиленіемъ. «Чувство родины», думалъ про-себя Хвалынцевъ, и потому мало въ чемъ перечилъ ему относительно «Литвы» и ея прелестей.

— Кто этотъ панъ Котырло? — полюбопытствовалъ узнать Константинъ Семеновичъ.

— Э, золотая душа!—подтвердилъ Свитка — Чуть-чуть не магнатъ, батюшка! былъ два трехлѣтія понятовымъ маршалкомъ! И родство, и связи, и состояніе! Очень старая дворянская фамилія! А ужь какъ насъ примутъ!

— Да за коимъ чортомъ, скажите пожалуйста, мы къ нему поѣдемъ?—перебилъ его Хвалынцевъ, который, зная Свитку за демократа и краснаго, недоумѣвалъ что̀ ему дѣлать у пана Котырло, «чуть не магната», съ родствомъ, связями и состояніемъ.

— Для васъ это должно быть вопросомъ совершенно равнодушнымъ,—замѣтилъ Свитка.— А впрочемъ, недурно будетъ, если вы сами посмотрите на бытъ и жизнь нашего шляхетства. Лишнее знакомство въ этомъ отношеніи не мѣшаетъ, и даже будетъ полезно.

При этихъ словахъ Хвалынцевъ опять-таки уловилъ въ лицѣ пріятеля мимолетную улыбку затаеннаго коварства. Ему показалось, какъ будто у этого Свитки есть на душѣ своя особая идея, особая цѣль, особые планы, которыхъ онъ не высказываетъ, но словно желаетъ *подвести* подо что-то своего пріятеля и заставить его самого доглядѣться и додуматься *до чего-то*.

* * *

Часовъ около восьми вечера путники наши выѣхали въ мѣстечко Червлёны, которымъ владѣлъ панъ Котырло. Сквозь прясло осенняго тумана, Хвалынцевъ замѣтилъ обширную, четырехстороннюю площадь, по краямъ которой вкривь и вкось лѣпились то сѣрые, то выбѣленные домишки, а по срединѣ смутно вырисовывались двѣ башни надъ темной массой каменнаго костела. Свитка приказалъ подводчику ѣхать въ «заѣздный домъ»..

Деревянный домишко, къ которому съ одной стороны прилѣпилась сквозная галлерейка на покосившихся столбикахъ, а сзади, подъ одною и тою же кровлею, примкнулъ сарай для возовъ и лошадей, представлялъ собою и заѣзжій дворъ, и корчму, и клубъ для мѣстнаго населенія.

Сыроватый туманъ отъ людского дыханія и тютюновый дымъ, ошибающій запахъ сивухи, бочка которой лежала на видномъ мѣстѣ, нѣсколько сѣрыхъ фигуръ за большимъ столомъ и на лавкахъ вдоль стѣнъ, тускло освѣщаемыхъ, сквозь чадный туманъ, мутнымъ свѣтомъ коптящагося каганца; неопредѣленныхъ лѣтъ грязная шинкарка-жидовка; визгъ и вой нѣсколькихъ жиденятъ, малъ-мала меньше, да суетящійся жидъ, который обрадовался пріѣзду новыхъ постояльцевъ, въ сладкой надеждѣ на барышъ съ ихъ постоя, — вотъ что встрѣтило

Digitized by Google

Хвалынцева, чуть только онъ переступилъ порогъ «заѣзднаго дома».

Смежная комната, куда нашихъ путниковъ проводилъ суетливый еврей, носила названіе «панской» и отличалась относительною чистотою. Крашеный столъ, два прежесткіе дивана, три-четыре стула грубой работы, да кривое, до невозможности засиженное мухами. зеркало составляли его убранство, къ которому надо присоединить еще и тѣ старыя, и тоже до невозможности засиженныя мухами литографіи, какія только и можно еще встрѣтить по захолустнымъ заѣзжимъ домамъ да на почтовыхъ станціяхъ. Тутъ уже менѣе ошибало сивушнымъ масломъ, но зато господствовалъ характеристичный еврейскій запахъ чернушки, безъ сѣмянъ которой не пекутся еврейскія булки.

Предоставивъ Хвалынцеву располагаться здѣсь какъ хочетъ со всѣмъ дорожнымъ скарбомъ, Свитка тотчасъ же приказалъ проводить себя въ панскую усадьбу.

Не раздѣваясь, Хвалынцевъ разлегся на одномъ изъ жесткихъ диванов и, какъ человѣкъ, которому ровно нечего дѣлать и который достаточно усталъ съ дороги для того, чтобы думать о чемъ либо, сталъ разсѣянно глядѣть въ полураскрытую дверь и невольно прислушиваться къ разговору въ смежной горницѣ. Говоръ былъ пьяноватъ, и потому достаточно громокъ.

На сколько Хвалынцевъ могъ замѣтить мелькомъ, тамъ сидѣло нѣсколько крестьянъ, и между ними человѣкъ лѣтъ подъ-сорокъ, который и наружностью, и манерами своими старался приблизиться къ типу мелкаго шляхтича-офиціалиста. По его жилеткѣ и длинно-полому сюртуку, по его смазнымъ сапогамъ, усамъ и бакамъ, спускавшимся подъ подбородокъ, почти безошибочно можно было заключить, что этотъ субъектъ, котораго мужики не безъ нѣкоторой почтительности титуловали «добродѣемъ, мопáнковмъ и паномъ Михаломъ», принадлежитъ либо къ числу приказчиковъ вотчинной панской конторы, либо же просто къ панской дворовой челяди.

— Цяпéрь ни ни!.. Цяпéрь воля!—разглагольствовалъ одинъ изъ пьяненькихъ крестьянъ, энергически ударяя по краю стола закорузлой ладонью. — Треба тольки Богу та Цару дзяковаць што вызволиу!

— Ябъ яму ще й больш подзяковау, кабъ іонъ мяне вызволиу спадъ Янкеля!—замѣтилъ на это другой, неменѣе пьяненькій крестьянинъ, намекая не безъ задней мысли на суетливаго корчмаря-еврея. — Спакуль панъ не зъѣу, то Янкель зъѣсць! Заусимъ съѣсць, бадай яму!..

— Н-н-ну? — гнусаво и не безъ претензіи на амбицію протянулъ Янкель съ характерно-еврейской растяжкой и пѣвучестью.—Сказжитъ спизжалуста, Янкель изъѣлъ. Зацѣмъ я тибѣ изъѣлъ и сшто я изъѣлъ? Н-н-ну?

— Чаго «ну»! — азартно приподнялся мужикъ. — Ты у мяне за скольки квартоу мого пол-кавалка зямли на рокъ узяу? га?.. За дзевяць квартоу? А я цябѣ засѣяу, тай зняу хлѣбъ, тай пазвазиу у пуню за скольки квартоу?. га?.. За три?.. Уся моя праца тай увесь мой хлѣбъ за двадцать квартоу пайшоу! А цяперь мянѣ ажъ на полкварты вѣры нема! А большъ таго празъ цябѣ пропасць повиненъ и заусимъ, зъ дзѣцями! Усё гаспадарство гэть до чорта! А усё празъ цябѣ!

— Не ты адзинъ, куме! И усѣ такъ-то! Усѣ падъ Янкелемъ! и усѣ спадъ Янкеля живуць!— примирительно замѣтилъ третій, съ безнадежностью махнувъ рукою, словно желая выразить, что таковой порядокъ вещей предопредѣленъ уже свыше непреклонной судьбой и ничего, значитъ, противъ него не подѣлаешь.

— Н-ну-у? Хай жонка несе сштуку халсцины, я цебѣ дамъ ажъ цалу кварту! — свелькодушничалъ Янкель.

Мужикъ только взглянулъ на него изъ подлобья и, укоризненно помотавъ головой, въ безсильной и сдержанной злобѣ отвернулся въ сторону. Очевидно, у жинки не было уже въ запасѣ лишней штуки холста, за которую Янкель столь соблазнительно сулилъ цѣлую кварту водки.

— Павѣръ на бирку? Ну што, бачь, табе!— убѣждалъ Янкеля кумъ примиритель, которому тоже весьма желательно бы было роспить съ кумомъ по лишней чаркѣ.

— На биркэ?—ухмылялся Янкель.—А он-то и сшто такого?—краснорѣчиво указалъ онъ на дверной косякъ, на которомъ въ длинномъ рядѣ сдѣланныхъ мѣломъ черточекъ послѣдовательно отмѣчалось количество отпущенной въ долгъ водки.—Болшъ на биркэ а ни ницъ!

— А скольки ты наддау? Какъ мы не знали таго! — эллегически убѣждалъ кумъ, намекая корчмарю на самовольныя и плутовскія прибавки черточекъ на дверномъ косякѣ.

— Н-ну, малчи, сшволачь! — презрительно возвысилъ тотъ голосъ и отвернулся, явно показывая видъ, что не намѣренъ долѣе продолжать разговоръ съ такими грубыми мужиками.

— Пачайкàйце, панове! Я вамъ пагажду!— вмѣшался дворовый. — Гей, Янкель! Ставъ кварту за мяне! Дай Боже на здарòве панàмъ, бо кабъ не панъ, дакъ бы и горѣлки не пакупиць!

— Але?!—протянулъ одинъ изъ мужиковъ, кидая вопросительный взглядъ на дворового.— Чи ще й мало было батогоу?

— А што-жъ іонъ сблаговалъ гля цябе? [1]) вступился дворовый.

— А нѣ? не сблаговалъ?—насупивъ брови, горячо возразилъ пьяненькій и потому расхо-

[1]) Сблаговать—причинять какую либо мерзость, сдѣлать недоброе.

Digitized by Google

дившійся кумъ. — Што было шкоды якой, то усё адъ няго! Нада прауду казаць! Насъ было у бацка́ три сыны — ледва усихъ трохъ у солдаты непоздавау, тай то двохъ здау, адзинъ я застауси, бо падъ мѣрку не падайшоу, а тобъ бацьку зъ маткой по міру хадзиць! А сколькі батогоу празъ его-мосць изъѣу! А цѣснота, а бѣднота! А даѣучать сколькі пашкодзиу намъ? Ой, та што тамъ, Боже мой... Млостно й гутарыць! [1]) Панъ!.. Не панъ а чортъ іонъ быу гля насъ! От-што!

— Гэто такъ, такъ!—одобрительно подтвердили нѣкоторые изъ состольниковъ; — прауду кажучи, треба вяльми Богу та Цару даяковаць за волю, бо цяперь хоць батожиць, може, не будуць; а й то згодно! [2]).

— А усё жь безъ паноу Царъ недау бы и воли, бо панамъ такъ схацѣлось, кабъ хлопи вольны были, отъ Царъ и зрабиу по паньскому! — на перекоръ общему мнѣнію возразилъ дворовый, очевидно принявшій на себя защиту панскихъ интересовъ.

— Ай, што брехаць непутно!—махнувъ рукой, какъ на пустыя рѣчи, выкрикнулъ пьяненькій кумъ. — Паны!.. А што-жь паны упярод не хацѣли кабъ намъ воля была, а цяперъ удругъ схацѣли яну?.. Съ чаго жь такъ?.. Полна, добрадзѣю.

— Нашъ панъ заусягды хацѣу! — упорно отстаивалъ панскій защитникъ.

— Нашъ панъ?.. Ге-ге!

При этомъ возраженіи хлопы—себѣ на умѣ—только усмѣхнулись.

— Але! — подтвердилъ дворовый, — бо іонъ сильно магущи панъ и багатъ незличито! И есць у няго много й золота, й сярабра, й бумажной манеты, и іонъ якъ захоче, то усихъ сваихъ хлопоу адзалаццъ! Нада только зъ имъ пакорна абхадзицца та слухаць яго воли: што укаже, то й мусимъ рабиць, и усимъ намъ зъ таго згода будзе!

— А то такъ... такъ, такъ!—поддакнулъ и Янкель,—бо вже іонъ велькі панъ! И усшё и сшто захоцыть, то изъ вамъ й издѣлаиць! И сшамъ панъ ассессоржи [3]) и сшамъ панъ шпраникъ, и усшё начальство зподъ пана зживуць, и сшамъ энгералъ-гибернаторъ изъ имъ велькі шпіяціулекъ! Ну-у, и сштошь ви тутъ говоритю!

— Пачайкайце, панове! Пачайкайце трошку!— не безъ нѣкоторой восторженности сталъ жестикулировать дворовый, возвысивъ свой голосъ.— Паны хацяць кабъ скарѣйшъ навращилася Польща, и якъ тольки яна навращицца, намъ усимъ тоды жицье будзе, якъ нетреба найлепшъ! [4]) Уся зямля наша, уся воля наша, ни начальства, ни падушныхъ, ни чого не будзе, а будземъ мы усѣ роуно якъ паны! Кабъ тольки Польща!..

— Польща!.. Ге-ге!—возразилъ ничѣмъ недовольный и во всемъ скептичный кумъ. — Дзѣдъ мой пòмёръ ще за й за тридцять рокоу, такъ я ще тодысь памятую, іонъ сказуваў яка така была та Польща, бадай яну черци драли! Щей й горшъ было, якъ при панщизнѣ!

— Ну, горшъ панщизны не може й быць!— замѣтили нѣкоторые.

— А забій мяне Богъ, кали не горшъ! Стары людзи кажуць! Стары людзи не ашука́юць [1]). Яны лепшъ, якъ мы памятуюць сабѣ.

Въ это время изъ усадьбы прибѣжалъ казачекъ звать Хвалынцева въ домъ, такъ что Константинъ лишился уже возможности быть невольнымъ слушателемъ разговоровъ, имѣвшихъ для него даже нѣкоторую долю поучительности. Наскоро поправивъ свой туалетъ, онъ пошелъ вслѣдъ за казачкомъ, думая себѣ: «ну, каковъ-то этотъ панъ Котырло?»

Пьяныя рѣчи корчемной публики на много противорѣчили тѣмъ розовымъ картинамъ, которыя рисовались столь идиллически-яркими красками въ разсказахъ Василія Свитки. Все то, что изъ-за полупритворенной двери удалось Хвалынцеву разслушать въ этой пьяной, но не лишенной смысла бесѣдѣ, навело его на нѣкоторыя мысли, породившія въ душѣ еще и еще нѣсколько зачатковъ новыхъ сомнѣній. Противорѣчіе выходило явное. Свитка говоритъ, что между хлопомъ и помѣщикомъ дружба, любовь, согласіе и взаимная поддержка, а рѣчь подгулявшаго хлопа дышитъ неудержимою ненавистью къ благодѣтелю пану. Свитка говоритъ, что народъ ненавидитъ русское правительство, а пьяный хлопъ тепло благодаритъ Русскаго царя за волю, въ которой пока еще,—да и то сомнительно,—видитъ единое лишь благо, что, можетъ, теперь паны не станутъ уже больше его батожить. Свитка говоритъ, что народъ спитъ и видитъ, какъ бы поскорѣй возвратилась прежняя Польша съ ея порядками, а пьяный хлопъ проклинаетъ эту желанную Польшу хуже чѣмъ недавнюю барщину. Свитка говоритъ, что у здѣшняго народа нѣтъ ровно ничего общаго съ народомъ великорусскимъ, а между тѣмъ онъ, Хвалынцевъ, отлично съ перваго разу понимаетъ рѣчь этого народа, которая отличается только нѣкоторыми мѣстными особенностями. Свитка говоритъ, что здѣсь вездѣ и во всемъ чистѣйшая Польша, вѣетъ польскій духъ, звучитъ польская рѣчь, а между тѣмъ онъ, Хвалынцевъ, вмѣсто польской рѣчи слышитъ бѣлорусскій, родственный по духу и смыслу говоръ; польскій же духъ находитъ только въ дворовомъ человѣкѣ, да отчасти въ шинкарѣ-евреѣ, которые оба по своему положенію терлись и трутся болѣе около панства, приходятъ съ панствомъ

[1]) Млостно—тошно.
[2]) Згодно—выгодно, удобно.
[3]) Ассессоръ—становой приставъ.
[4]) Найлепшъ—наилучшее.

[1]) Не ашука́юць—не обманутъ.

Digitized by Google

все-таки въ большее соприкосновеніе, чѣмъ хлопъ-земледѣлецъ, и потому дѣйствительно заражаются польскимъ духомъ. — «Но гдѣ же здѣсь собственно Польша?» думаетъ себѣ Хвалынцевъ; «гдѣ же она? Въ этихъ придорожныхъ крестахъ? Въ этомъ костелѣ? Въ этой усадьбѣ развѣ?»

Онъ вступилъ въ широкій, обсаженный пирамидальными тополями панскій дворъ, и встрѣченъ былъ дружнымъ лаемъ собакъ, отъ которыхъ казачекъ ретиво отмахивался кнутикомъ, выгадывая такимъ образомъ безопасный проходъ своему спутнику.

IV.

„Палацъ слоняны".

Длинный, низенькій, одноэтажный деревянный домъ, съ высокой соломенной кровлей, бока которой справа и слѣва были срѣзаны,— домъ съ выдающимся по серединѣ крыльцомъ, которое такимъ образомъ дѣлило его посредствомъ сѣней на двѣ равныя половины, взглянулъ на Хвалынцева изъ вечерней мглы рядомъ освѣщенныхъ окошекъ. По сторонамъ двора, вокругъ и около, можно было разглядѣть нѣсколько жилыхъ и хозяйственныхъ построекъ, разбросанныхъ безъ всякаго порядка, въ какомъ-то хаотическомъ видѣ.

Едва вступилъ Хвалынцевъ въ сѣни и сталъ скидать съ себя верхнюю одежду, какъ дверь изъ залы отворилась и на порогѣ ея, въ сопровожденіи Свитки, показался самъ панъ Котырло, и притомъ съ самымъ радушнымъ, предупредительнымъ видомъ.

Это былъ мужчина лѣтъ за пятьдесятъ, весьма еще бодрый и нѣсколько дородный, очень живо напоминавшій собою тѣхъ неслужащихъ дворянъ-помѣщиковъ, которые, бо́льшую часть своихъ досуговъ посвящая лошадямъ и собакамъ, арапникамъ и зайцамъ, стараются всю наружность свою, весь складъ свой, весь типъ свой приблизить къ типу лихихъ, старослуживыхъ отставныхъ майоровъ-поляковъ, которые любятъ, чтобы въ отставкѣ ихъ титуловали полковниками.

Панъ Котырло, пожимая обѣими руками руку Хвалынцева и весь расплываясь въ сладко-привѣтливой улыбкѣ, еще въ сѣняхъ обратился къ нему на французскомъ языкѣ съ привѣтствіемъ, которое заключалось въ томъ, что онъ душевно радъ видѣть у себя человѣка родственной національности, съ которымъ познакомился уже заочно изъ рекомендаціи Свитки, и потому-де проситъ войти въ свой домъ, какъ въ домъ искренняго друга. Это привѣтствіе и весь складъ его, очевидно, были уже нѣсколько обдуманы заранѣе.

Хвалынцевъ вступилъ въ залу, гдѣ и былъ представленъ всему семейству. Ему тотчасъ же съ самою предупредительною любезностью былъ предложенъ на почетномъ мѣстѣ, возлѣ самого хозяина, стулъ за длиннымъ чайнымъ столомъ, вокругъ котораго сидѣло теперь все общество. На столѣ было вдоволь наставлено разныхъ разностей: вареній и печеній, на которыя вообще такія мастерицы польскія хозяйки. Тутъ были и бабы, и мазурки, и сухарѐчки, и вендли́на, и шинка, и палатки, и ки́шки, и колбасы—и все это въ большомъ изобиліи. Тутъ же красовались какія-то разнокалиберныя, сбродныя чашки, блюдцы и стаканы, и глиняная крынка со сливками, прямо съ погреба, и великолѣпнѣйшія тарелки стараго саксонскаго фарфора подъ жирными ки́шками и палатками, и простой молочникъ съ отбитымъ носкомъ и со склеенною сургучомъ ручкою.

Все семейство пана Котырло въ отношеніи Хвалынцева сразу же постаралось выказать самый радушный пріемъ.

Сама пани Котырлѝва—высокая худощаво-болѣзненная женщина, лѣтъ уже за сорокъ, постоянно хранила какъ бы нѣсколько обиженный и богомольный видъ, поджимала губы и закатывала порою глаза, но въ сущности казалась бабой не злою. Она держала себя съ нѣкоторою церемонностью, очевидно, желая изобразить собою особу весьма хорошаго тона. Подлѣ нея лежалъ ворохъ корпіи, которую она щипала очень тщательно, съ богомольнымъ видомъ сестры милосердія. Такіе же ворохи корпіи за этимъ столомъ Хвалынцевъ увидѣлъ еще предъ двумя или тремя особами. Двѣ дочери—двѣ панны Котырлу́вны, прилежно занятыя шитьемъ мужскихъ сорочекъ и портовъ изъ самаго грубаго холста, весьма напоминали собой пухлый, сдобный папушникъ домашняго печенья. Видно было, что онѣ съ младенчества и по сей день отлично выкормлены въ деревнѣ на сытыхъ помѣщичьихъ хлѣбахъ. Изъ себя довольно крупныя, сильно и здорово румяныя, востроглазыя и смѣшливыя, хотя и не очень-то граціозныя, онѣ постарались сразу завладѣть Хвалынцевымъ и, въ-перебой другъ дружкѣ, обратились къ нему на польскомъ языкѣ съ банальнымъ вопросомъ: «давно ль онъ въ ихнихъ краяхъ и какъ нравится ему Польша?»—и только тогда лишь, какъ замѣтили, что гость ихъ затрудняется отвѣтомъ, не вполнѣ точно уяснивъ себѣ смыслъ любезныхъ вопросовъ, обѣ рѣшились повторить ихъ на языкѣ французскомъ.

— О, мы васъ будемъ учить по-польски. Непремѣнно будемъ!—тараторили обѣ Котырлу́вны.—И мы васъ выучимъ! Навѣрно выучимъ! И отлично!.. Вѣдь вы же кое-что понимаете?.. Это такой прекрасный языкъ!.. Языкъ Мицкевича!

— Кое-что—да!—согласился Хвалынцевъ.— Въ вашемъ языкѣ есть много общаго съ русскимъ...

Digitized by Google

— Мм... то-есть съ *русинскимъ*, или вообще со славянскимъ, но не съ московскимъ, pas avec la langue moscovite!—замѣтили ему на это панны, оставшіяся какъ будто нѣсколько недовольны тѣмъ, что Хвалынцевъ заявилъ о сходствѣ польскаго языка съ русскимъ.

Онѣ, въ отношеніи своего гостя, съ первыхъ же минутъ пустили въ ходъ то особое, небольно хитростное и небольно суразое кокетство, которое свойственно большей части этихъ паненокъ, выросшихъ среди деревенскихъ усадебъ, промежъ окольныхъ заматерѣлыхъ сосѣдей, и все старающихся копировать, впрочемъ, по большей части весьма неудачно, одну изъ героинь Мицкевича, сантиментальную Зосю. [1]) Тутъ было и стрѣлянье глазами, и наивничанье, вовсе не наивное, и нѣкоторое жеманство, съ претензіей походить на грацію котенка; но хорошаго во всемъ этомъ было, по крайней мѣрѣ, то, что оно казалось искренно. Видно было, что паненки наскучались въ деревнѣ и рады-радехоньки новому человѣку, да еще молодому, да еще и столь недурному собою!

Молодой паничъ, ихъ братецъ, являлъ изъ себя довольно красиваго, но упорно молчащаго юношу, въ длинныхъ сапогахъ и сѣрой чамаркѣ. Кромѣ этихъ лицъ, составлявшихъ семейство пана Котырло, тутъ же находилась еще не то племянница, не то сирота какая-то; потомъ еще нѣчто блеклое и сухопарое, въ родѣ бывшей гувернантки, а нынѣ—родъ компаньонки или ключницы. И та, и другая сидѣли за шитьемъ портовъ и сорочекъ, точно такъ же, какъ и обѣ паненки.

Когда Хвалынцевъ впослѣдствіи, подъ конецъ уже вечера, нескромно полюбопытствовалъ узнать, для чего собственно онѣ въ восемь рукъ столь прилежно занимаются шитьемъ изъ столь грубаго матеріала, то онѣ въ нѣкоторомъ замѣшательствѣ сперва значительно переглянулись между собою, а затѣмъ уже одна изъ паненокъ отвѣтила ему не совсѣмъ-то увѣреннымъ голосомъ:

— Это такъ... просто, для домашнихъ надобностей... ничего болѣе!

Далѣе отъ эксъ-гувернантки, за тѣмъ же столомъ, скромненько и тихонько сидѣлъ какой-то дальній, пожилой и притомъ бѣдный родственникъ, конечно родовитый шляхтичъ, всегда подобострастный къ пану и пани; а потомъ еще тоже родственникъ, только уже подъ стать паничу-сыну, казавшійся чѣмъ-то въ родѣ великовозрастнаго, но неокончалаго гимназиста, который на все очень добродушно, но очень глупо улыбался и пучилъ глаза. Но за исключеніемъ болтливой гувернантки, все это были лица безъ рѣчей, служившія лишь для пополненія семейной картины и щипавшія корпію. Они и жили, и пили, и ѣли въ Котырловской усадьбѣ, выказывая за то своимъ патронамъ чувства глубокой почтительности и благодарности, выражавшіяся въ гуртовомъ цѣлованіи рукъ у пана и пани, послѣ каждаго завтрака, обѣда, чая и ужина, причемъ, впрочемъ, эксъ-гувернантка и пожилой родственникъ самого пана Котырло лобызали не въ руку, а въ плечо.

— Какъ вы хорошо сдѣлали, что пріѣхали именно теперь, а не позже!—застрекотала одна изъ паненокъ, обращаясь къ обоимъ пріятелямъ, и потому ухитряясь съ необыкновенною быстротою одну и ту же фразу произносить по-польски и тотчасъ же переводить ее, Хвалынцева ради, по-французски.—Я говорю, что вы необыкновенно хорошо и умно сдѣлали, пріѣхавши теперь: у насъ тутъ послѣ-завтра кіермашъ, гости понаѣдутъ, охоту устроимъ — вотъ весело-то будетъ!.. Я васъ заранѣе ангажирую на первую кадриль!—стрѣльнула она на Хвалынцева.

— А жалоба?—замѣтилъ Свитка, указавъ глазами на ея траурное платье.

Паненка нѣсколько смутилась.

— Жалобу скинемъ на этотъ разъ!—храбро поддержала ее сестрица.

— А что скажутъ?—продолжалъ Свитка.

— Ай, Іезусъ!.. «Что скажутъ»!.. Но мы такъ давно не танцовали!.. Вы, впрочемъ, не думайте, чтобы мы были дурныя польки!—поспѣшила она завѣрить.—О, нѣтъ! далеко нѣтъ! И вы увидите! Мы вамъ докажемъ! Но вѣдь ужасная же скука, а это такъ рѣдко удается!.. И, наконецъ, вѣдь въ Вильнѣ танцовали же всѣ, публично, на Бельмонтѣ, да еще какъ! Самыя знатныя дамы!..

— Да, но тамъ была политическая цѣль! — возражалъ Свитка.—Тамъ графъ Тышкевичъ дѣлалъ визиты портному и открыто катался съ нимъ въ своемъ экипажѣ; тамъ первыя аристократки танцовали съ мастеровыми, съ ремесленниками, съ лакеями, даже съ сапожниками [1]), но тамъ оно понятно: тамъ дѣло шло о пропагандѣ сліянія.

— А мы развѣ не можемъ устроить то же съ нашими хлопами?—воспріимчиво подхватила шустрая паненка. — О, непремѣнно устроимъ! И я заранѣе предлагаю вамъ туръ вальса на погибель Москвы! Ну-съ, посмотримъ: какъ добрый патріотъ, посмѣете ли вы отказаться отъ этого тура, если онъ будетъ предложенъ вамъ съ такой идеей?

Свитка любезно и смиренно склонилъ свою голову, въ знакъ покорности и согласія.

«Бѣдныя паненки»! думалъ про себя Хвалынцевъ. «И потанцовать-то имъ нельзя просто! Даже и подъ вальсъ нужна политическая подкладка!»

[1]) Въ „Панѣ Тадеушѣ".

[1]) У поляковъ, вообще, званіе сапожника почему-то изстари пользуется наибольшимъ презрѣніемъ, несмотря на то, что изъ этого цеха у нихъ выходили и выходятъ патріотическіе дѣятели, имена которыхъ пріобрѣли даже нѣкоторую историческую извѣстность, какъ напримѣръ, Килинскій, Гишпанскій и пр.

Digitized by Google

Самъ панъ Котырло, подъ шумокъ общей болтовни, вставляя время отъ времени какое нибудь слово, вопросъ или замѣчаніе, старался осторожно выщупывать Хвалынцева съ болѣе серьезныхъ сторонъ. Такъ, между прочимъ, смѣсью французскаго, польскаго и даже русскаго языка сообщилъ онъ ему, что теперь Литва серьезно взялась за умъ, потому времена-де такія: освобожденіе и прочее, что паны дѣйствительно задумываютъ серьезное сліяніе съ народомъ, заботятся о народной нравственности, учреждаютъ братства трезвости, устраиваютъ школы, просвѣщаютъ, вразумляютъ и прочее.

— И у меня вѣдь тоже школа заведена!—не безъ нѣкоторой благодушной гордости похвалился онъ. — Ксендзъ обучаетъ, органистъ обучаетъ, ну, и онѣ вотъ тоже иногда,—кивнулъ онъ головой на своихъ дочекъ. — Если васъ этотъ предметъ интересуетъ, я вотъ вамъ завтра утромъ покажу ее.

— И много уже такихъ школъ у васъ заведено?—полюбопытствовалъ Хвалынцевъ.

— Да таки порядочно. Въ каждой парафіи [1]) стараются имѣть; нельзя иначе: съ этимъ дѣломъ торопиться надо! Дѣло благое!

— Ну, и успѣшно идетъ?

— О, еще какъ!.. Вѣдь иниціатива-то наша! Да вотъ вы сами увидите!

— Значитъ, правительство тутъ совершенно не заботилось объ этомъ предметѣ?—освѣдомился Хвалынцевъ.

— Мм... то-есть какъ вамъ сказать!—замялся нѣсколько Котырло.—Правительственныя школы, положимъ, хоть и есть кое-гдѣ, но онѣ всѣ въ упадкѣ: народъ не любитъ ихъ, да и учить тамъ не умѣютъ.

— Что-жь за причина?—удивился Хвалынцевъ.

— А причина, видите ли, та, что тамъ попъ, а здѣсь ксендзъ.

— Такъ что жь?—выразилъ гость еще большее удивленіе.

— О, Боже мой! — компетентно улыбнулся Котырло.—Вы спрашиваете «что жь», да кто же не знаетъ, что нашъ ксендзъ во сто разъ ученѣй попа и образованнѣй, и цивилизованнѣй! Вѣдь попъ здѣсь ничѣмъ почти не отличается отъ хлопа: та же грубость, то же невѣжество! Тогда какъ на сторонѣ ксендза и знаніе, и умѣнье, и метода, и любовь къ дѣлу; и, наконецъ, ксендзъ, какъ хотите, и роднѣе, и ближе мужику, — однимъ словомъ, симпатичнѣе: мужикъ ему вѣритъ, мужикъ его любитъ, уважаетъ его. Отъ этого и успѣхъ такой въ нашихъ школахъ. Тутъ все-таки *свое*, а тамъ—извините—наяздовое, чужое.

Дѣля вниманіе свое одновременно между разговоромъ пана Котырло и болтовней его дочекъ, Хвалынцевъ въ то же самое время оглядывалъ и обстановку, среди которой онъ находился.

Эта обстановка дѣлала на него своеобразное и, до нѣкоторой степени, даже странное по своей новизнѣ впечатлѣніе. Свитка еще заранѣе рекомендовалъ ему, какъ идеалъ старопольскаго радушія и довольства, Котырловскій «палацъ сломяны», то-есть дворецъ подъ соломенной кровлей. «Дворецъ» тѣмъ паче долженъ былъ заинтересовать свѣжаго, мимоѣзжаго человѣка. И дѣйствительно, оригинальность бросалась въ глаза сама собою, съ перваго взгляда: панъ Котырло, обладатель цѣлаго мѣстечка, такъ сказать, крупный собственникъ, крупный землевладѣлецъ, человѣкъ «съ состояніемъ, съ родствомъ и связями», съ вліяніемъ, какъ бывшій два трехлѣтія «маршалокъ понятовы» [1]), и наконецъ «чуть не магнатъ», какъ рекомендовалъ его Свитка, и что же? этотъ «чуть не магнатъ» живетъ въ «сломяномъ палацѣ» съ низенькими, заплатанными окошками, на ржавыхъ желѣзныхъ петляхъ и задвижкахъ съ расщелистымъ, скрипучимъ поломъ, со стѣнками, бѣленными мѣломъ и глиной, съ низкимъ потолкомъ, настланнымъ на поперечныя и ничѣмъ не маскированныя балки. И тутъ же вотъ у пана Котырло висятъ по мазаннымъ стѣнамъ прекрасныя старыя картины въ тяжелыхъ золоченныхъ рамахъ, между которыми Хвалынцевъ замѣтилъ два приморскихъ вида, созданныхъ, по всѣмъ видимостямъ кистію Жозефа Верне, двѣ маскарадныя сцены, на которыхъ явно сказался характеръ Ватo, замѣтилъ одного Вувермана, съ неизмѣннымъ, характернымъ крупомъ бѣлой лошади. Но рядомъ же съ этими замѣчательными произведеніями висѣли плохо раскрашенныя, чуть не лубочныя литографіи, изъ которыхъ одна изображала семейство польскаго старца-магната, изгнанника, за которымъ на заднемъ планѣ пылаетъ его фамильный замокъ, сжигаемый московскими казаками, а на другой—извѣстная могила Наполеона на островѣ Св. Елены, гдѣ склонившіяся надъ могильною плитой деревья образовываютъ въ просвѣтахъ своими сучьями и вѣтвями печально склоненный силуэтъ императора въ традиціонной маленькой шляпѣ и даже со шпагой. Тутъ же стояли старинныя бронзы, французскія и китайскія вазы, старый фарфоръ на двухъ простѣночныхъ горкахъ; надъ диваномъ красовалось большое роскошно-широкое зеркало, и вмѣстѣ со всѣмъ этимъ жесткая, сборная, неудобная мебель «краёвего», если даже не домашняго издѣлія, самой грубой, такъ сказать, Собакевичевской работы, изъ простой сосны и ясеня. Смежная гостиная, куда все общество, со своими корпіями и шитьемъ, перемѣстилось послѣ чая, была въ томъ же родѣ, только сильно припахивала какою-то затхлостью

[1]) Парафія—приходъ.

[1]) Уѣздный предводитель дворянства.

Digitized by Google

и всецѣло носила на себѣ характеръ временъ консульства и первой имперіи, но въ ней, по-крайней мѣрѣ, случайно, или по преданію, былъ хоть какой-нибудь характеръ. Въ этой гостиной у окна стояли неизмѣнныя пяльцы съ неизмѣннымъ вышиваньемъ подушки, для которой дѣлался теперь по узору польскій «бялы оржелъ» со всѣми его аттрибутами. Надъ диваномъ помѣщалась картина «Страшнаго суда», гдѣ Христосъ принимаетъ въ свои объятія измученную женщину, въ цѣпяхъ и терновомъ вѣнцѣ, а Вельзевулъ когтями разрываетъ на части дебелую бабищу въ сарафанѣ и кокошникѣ, подъ которою въ геенѣ огненной жарятся и корчатся православные чернецы, генералы, казаки, любодѣи, обжоры, Іуда Искаріотскій и прочіе тяжкіе грѣшники; апостолъ Петръ отмыкаетъ врата рая, и въ нихъ входитъ цѣлый легіонъ праведниковъ, одѣтыхъ въ кунтуши и конфедератки. По бокамъ «Страшнаго суда» висѣли портреты: хозяина въ маршалковскомъ мундирѣ, опирающагося на книгу, и хозяйки, съ пунцовымъ розаномъ въ ненатурально изверченной рукѣ. Всѣ эти три произведенія, обличавшія весьма безхитростную кисть, были работаны лѣтъ пятнадцать тому назадъ живописцемъ-самоучкой изъ дворовыхъ челядинцевъ одного сосѣдняго помѣщика, снабжавшаго такимъ образомъ большою любезностью сломяные палацы и костелы всего околодка произведеніями собственнаго своего крѣпостного генія. Подъ «Страшнымъ судомъ, въ старинныхъ инкрустированныхъ рамочкахъ чернаго дерева, висѣли рядомъ двѣ миніатюры на слоновой кости: одна представляла бабушку нынѣшнихъ внучекъ—паненокъ Котырлувнъ,—въ бѣломъ коротенькомъ лифчикѣ на сборкахъ, съ громадными коками, съ поджатыми губами, какъ будто бы собирающимися произнести слово pomme, а другая изображала ихъ дѣдушку, въ разукрашенномъ нарядѣ польскаго каштеляна. Далѣе по стѣнамъ помѣщались въ рамочкахъ, оклеенныхъ золотымъ бордюромъ, литографическіе портреты разныхъ польскихъ патріотическихъ знаменитостей, да еще кое-какіе варшавскіе виды.

Едва прошелъ какой-нибудь часъ съ того времени, какъ все общество изъ-за чайнаго стола переселилось въ гостиную, едва панъ Котырло успѣлъ вдосталь похвалиться успѣхомъ краёвыхъ обществъ трезвости, вводимыхъ между хлопами по иниціативѣ ксендзовъ и помѣщиковъ, а паны Котырлувны, въ-перебой ему, не успѣли узнать въ достаточной точности танцуетъ ли и любитъ ли гость мазурку, и нравятся ли ему польки (въ этомъ, впрочемъ, онѣ не сомнѣвались), сама же пани Котырлова не успѣла вдосталь навздыхаться при воспоминаніи о послѣдней проповѣди отца-визитатора, пріѣзжавшаго въ сосѣдній кляшторъ,—какъ въ дверяхъ гостиной появился доморощенный лакей, въ штанахъ засунутыхъ въ голенища смазныхъ сапоговъ, но зато въ ливрейномъ фракѣ съ фамильными пана Котырло гербами, и объявилъ, что ужинъ поданъ.

— Прошен', панове, до коляцыи!—сантиментально-прискорбнымъ, но радушнымъ тономъ пригласила гостей пани Котырлова, полуболѣзненно подымаясь съ мѣста и указывая жестомъ на дверь,—и всѣ направились въ столовую комнату, соблюдая неизмѣнную градацію мѣстъ и отношеній: сначала хозяева съ гостями, потомъ паненки съ паничомъ, а потомъ уже приживальныя лица безъ рѣчей. Панъ Котырло подъ руку подвелъ Хвалынцева къ маленькому, отдѣльно въ углу стоявшему столику, на которомъ былъ поставленъ графинчикъ и старофамильная серебряная чарка. Пожилой, скромный родственникъ, съ меланхолическимъ видомъ, медленно потирая руки, уже потаптывался около этого привлекательнаго столика и косился взоромъ на завѣтный графинчикъ, почтительно, хотя и съ внутреннимъ нетерпѣніемъ, выжидая своей очереди.

— Я васъ попотчую правдивой старой литевкой!—сказалъ своимъ гостямъ панъ Котырло, и сказалъ это тѣмъ отчасти торжественно-таинственнымъ тономъ, который всегда служитъ предвареніемъ о чемъ-нибудь необыкновенномъ, достопримѣчательномъ, чѣмъ можно и удивить пріятно, и съ удовольствіемъ похвалиться. При этомъ онъ даже слегка чмокнулъ кончики своихъ пальцевъ, затѣмъ взялъ въ одну руку графинчикъ, а въ другую чарку и, держа ее предъ Хвалынцевымъ, съ толковымъ видомъ знатока сталъ неторопливо наполнять ее желтоватой влагой литовскаго нектара. Константинъ уже было совсѣмъ протянулъ къ чаркѣ свою руку, какъ вдругъ панъ Котырло съ поклономъ поднесъ ее къ собственнымъ губамъ и, откинувъ назадъ голову, мигомъ осушилъ ее. Не впопадъ протянутая рука гостя торопливо и неловко опустилась книзу, и эта маленькая ошибка нѣсколько смутила и сконфузила Хвалынцева. Хозяинъ, кажись, замѣтилъ это и, опрокинувъ въ себя чарку, тотчасъ же любезно подалъ ее Константину, самолично налилъ до верху и, сдѣлавъ рукою пригласительный жестъ съ радушною любезностію промолвилъ:

— Прошен'.

Хвалынцевъ выпилъ, не успѣвъ еще достаточно оправиться отъ своего конфуза, и почувствовалъ, какъ внутри его распространяется какая-то пріятная, бархатно-гладящая и живительная теплота. «Стара литевка» была дѣйствительно достопримѣчательна. Но выпивъ, онъ подмѣтилъ, что Котырло, въ виду его смущенія, очень хорошо имъ разгаданнаго, смотритъ на него какимъ-то улыбающимся, благодушно-пропическимъ взглядомъ. Эта подмѣтка была для Константина причиной новаго маленькаго конфуза.

Digitized by Google

— Что, хорошо?—прищуривъ глазъ, спросилъ Котырло тономъ неминуемо ожидающимъ похвалы великой.

— Кге!.. дѣйствительно, прекрасно!.. великолѣпная водка!.. никогда еще не пилъ такой!—крякнулъ Хвалынцевъ, ощущая внутри пріятную жгучую теплоту, разливающуюся, что называется, по всѣмъ жилкамъ и суставчикамъ.

— Хе, хе, хе!—благодушно усмѣхнулся Котырло.—А ужь это у насъ на Литвѣ обычай такой,—продолжалъ онъ, въ намѣреніи разъяснить Хвалынцеву настоящую причину его конфуза.—У насъ всегда первую чарку пьетъ самъ хозяинъ, а ужь потомъ, тотчасъ-же послѣ себя, передаетъ ее своему гостю и самъ наливаетъ. Это стародавній обычай! Хе, хе!.. Польша вѣдь только стариной и держится!.. А вы ужь простите великодушно, потому что мы, поляки, отъ своихъ родныхъ и старыхъ обычаевъ никогда и нигдѣ не отступаемъ.

— Это похвальная, прекрасная черта!—замѣтилъ Хвалынцевъ.—Но что-же онъ обозначаетъ собою, этотъ вашъ обычай?

— А вотъ видите,—самодовольно пояснилъ Котырло. — Обычай этотъ идетъ вотъ откуда: случалось въ былыя времена, что на пирахъ и на банкетахъ иногда отравляли виномъ какого-нибудь гостя, соперника тамъ, что-ли, по любви, по выборамъ, по наслѣдству, или тяжебника, понимаете? Ну, конечно, въ древности чего не случалось... Такъ вотъ съ тѣхъ поръ у насъ и обычай такой завелся, чтобы хозяинъ пилъ не иначе какъ первый изъ той самой чарки и изъ той самой бутылки, изъ которыхъ онъ потчуетъ своего гостя. Это для того, видите-ли, чтобы гость былъ совершенно покоенъ, что ни чарка, ни водка не отравлены. Ну, конечно, старина, обычай,—вы понимаете? Прошу покорно до коляцыи!

И онъ подъ руку повелъ Хвалынцева къ столу и посадилъ рядомъ съ собою.

«Хороши, однако, нравы и обычаи были», подумалъ про себя Константинъ Семеновичъ.

Столъ на половину только былъ покрытъ грязною-распрегрязною скатертью, которая уже чортъ знаетъ сколько времени была въ употребленіи, такъ что пестрѣла со всѣхъ концовъ разными масляными, винными, суповыми и соусными пятнами. За столомъ прислуживали: какая-то задрипанная, заплесненная и грязная-распрегрязная дѣвка, рваный и заплатанный казачекъ, босикомъ, и лакей въ фамильномъ фракѣ съ аристократическими гербами. Дѣвка поражала глазъ своею смоклою грязью, казачекъ вліялъ на аппетитъ шмыганьемъ своего носа и тасканьемъ изъ онаго, а лакей дѣйствовалъ на обоняніе вонью сала и дегтя отъ своихъ смазныхъ сапожищъ, красовавшихся на немъ вмѣстѣ съ аристократической ливреей.

Хвалынцевъ развернулъ салфетку и увидѣлъ, что она, подобно скатерти, была вся грязная-распрегрязная, затертая, пятнистая, давно уже незнакомая съ мытьемъ и притомъ вся въ дырьяхъ, вся рваная отъ долгаго употребленія. Но тѣмъ не менѣе въ одномъ изъ угловъ ея красовался шифръ пана Котырло и неизвѣстно по какому праву приплетенная надъ шифромъ графская корона. Остальныя салфетки были точно также грязныя и дырявыя. Но зато между столовыми вещами кое-гдѣ виднѣлся богатый хрусталь и саксонскій фарфоръ, и все это точно также съ графскими коронами и Котырловскимъ шифромъ!

Ливрейный лакей внесъ и поставилъ предъ экс-гувернанткой большую, дымящуюся миску съ кипяченымъ молокомъ, въ которомъ изобильно плавали «оборанки», нѣчто въ родѣ нашихъ россійскихъ клецокъ. Когда тарелка этого блюда была поставлена предъ Хвалынцевымъ, причемъ казачекъ, подавшій ее, оставилъ на закраинѣ ясный слѣдъ своего грязнаго, окунутаго въ молоко пальца, то панъ Котырло не безъ самодовольства пояснилъ своему гостю, что это національное польское блюдо называется «мнихи» и при этомъ посовѣтовалъ подложить въ него «еще трошечку» масла да подсыпать перцу, соли и сахару, что и исполнилъ для самого себя въ количествѣ весьма изобильномъ. Хвалынцеву польскіе «мнихи» не понравились, но онъ принудилъ себя съѣсть тарелку.

За этимъ блюдомъ шли неизмѣнные: «бѝгосъ» и «зрáзы съ кашей», потомъ жареный «генсь зе сливкáми и зъ яблокáми» и потомъ «налѣсни́ки зе повидлами». Все это запивалось разными наливками: малину́вкой, вишни́вкой и помаранчу́вкой», а въ заключеніе послѣдовала вдругъ, совершенно неожиданно для Хвалынцева, жириая «кава за смѣтàнкой». Онъ не привыкъ ужинать и при томъ былъ уже давнымъ давно сытъ, но хозяева такъ радушно и насильно подкладывали ему на тарелку и такъ изобильно подливали въ рюмки, что онъ, наконецъ, нешутя, сталъ опасаться за свой желудокъ и свою голову. Это черезчуръ радушное гостепріимство, напоминавшее собою всеславянскую Демьянову уху, начинало уже походить на нѣчто въ родѣ настоящей физической пытки, такъ что Хвалынцевъ подъ конецъ ощутилъ въ себѣ даже злобственное настроеніе духа.

Вскорѣ послѣ ужина, который стоилъ добраго обѣда, путниковъ нашихъ отпустили на покой. Казачекъ проводилъ ихъ черезъ дворъ въ отдѣльный флигель, гдѣ для нихъ была уже приготовлена вытопленная комната съ постелями, въ которыхъ подушки были непозволительно мягки, а тюфяки замѣнялись «сѣнниками», т. е. большими мѣшками, набитыми сѣномъ.

— Фу-у!!.. Слава тебѣ, Господи!.. Наконецъ-то!—съ облегченнымъ, но не безъ злобы вырвав-

Digitized by Google

шимся вздохомъ произнесъ Хвалынцевъ, разлегшись на своемъ сыроватомъ сѣнникѣ, когда казачекъ совсѣмъ уже удалился изъ комнаты.

— Чего вы? — приподнявшись на локтѣ, уставился на него глазами Василій Свитка.

— Одолѣли, проклятые!—пробормоталъ Константинъ Семеновичъ.

— То-есть, что это?

— Да все, мой батюшка!.. Ну, ударь разъ, ударь два, да и удовольствуйся; а то вѣдь все боксомъ да боксомъ!.. Эдакъ вѣдь, пожалуй, и лопнешь!..

— Закормили? Хе, хе, хе!.. — ухмыльнулся Свитка.—За то, батюшка, по нашему, по-польски!.. Ну, а какъ вамъ понравилось?

— То-есть, что понравилось?

— Да все вообще?

— Мм... какъ вамъ сказать!.. Я нахожу, что все это, въ сущности ужасное свинство.

Свитка при этихъ словахъ даже привскочилъ съ постели.

— Вотъ-те и на!—смѣясь, воскликнулъ онъ.— То-есть, что вы собственно называете свинствомъ? Объяснитесь пожалуйста!

— Свинствомъ?—да *все*, если угодно!—отозвался Хвалынцевъ, пыхтя своей папиросой.— Это лучше всего я вамъ объясню сравненіемъ.

— Ну-съ?!.. Очень любопытно. Я васъ слушаю.

— А вотъ, видите-ли-съ,—началъ Константинъ,—меня прежде всего поражаетъ здѣсь эта странная, какая-то таборная, полу-цыганская обстановка быта и жизни. Я, надо вамъ сказать, достаточно хорошо знакомъ со всевозможными обстановками великорусской помѣщичьей жизни, начиная отъ великолѣпныхъ тузовъ славнобубенскаго дворянства и до послѣдней мелкой сошки. Но картины этой жизни совсѣмъ не подходятъ къ картинамъ той: тутъ у васъ, дѣйствительно, нѣчто свое, не похожее на великорусскій бытъ.

— Ну, вотъ то-то же и есть, что свое! сами соглашаетесь!—перебилъ Свитка.

— Погодите любезный другъ! — возразилъ Хвалынцевъ. — Дѣло-то, вотъ видите ли, въ чемъ: тамъ, бывало, если помѣщикъ являетъ изъ себя туза, такъ ужь онъ тузъ до конца ногтей своихъ, до малѣйшей подробности своей жизни, а если грязнецъ, то ужь такъ во всемъ и всегда грязнецомъ и смотритъ. Тамъ, бывало если человѣкъ только *тянется*, чтобы походить на туза, такъ ужь онъ изъ кожи лѣзетъ для этого, и наружную свою обстановку, такъ или иначе, но ужь устроитъ, по возможности, соотвѣтственнымъ образомъ, хоть и знаетъ, что въ перспективѣ чрезъ это имѣнію навѣрное грозитъ продажа съ молотка. А если нѣтъ у него такихъ стремленій и нѣтъ достатковъ, то ужь на нѣтъ и суда нѣтъ! Вообще тамъ у насъ, какъ мнѣ кажется, все какъ-то *проще*, безпритязательнѣе, соотвѣтственнѣе дѣйствительной сущности дѣла, потребностямъ и жизни.

— Ну-съ, а здѣсь?.. не безъ нѣкоторой иронiи подстрекнулъ его Свитка.

— А здѣсь, — началъ Хвалынцевъ, — меня поражаетъ, и уже не въ первый разъ, рядъ противорѣчій, которыя для непривычной натуры звучатъ рядомъ крупныхъ диссонансовъ.

— Хм... Это любопытно!—замѣтилъ Свитка.—Объясните пожалуйста.

— А вотъ сейчасъ. Тамъ у насъ, вотъ видите-ли, грязца, такъ грязца, а комфортъ, такъ ужь комфортъ, чортъ возьми! Здѣсь же... здѣсь полнѣйшее отсутствіе порядочности въ обиходныхъ привычкахъ жизни и тысяча самыхъ кичливыхъ претензій и магнатски-спѣсивыхъ замашекъ. Здѣсь нѣтъ потребности и, кажись, нѣтъ даже самаго понятія о настоящемъ достоинственномъ, человѣчески самоуважающемъ комфортѣ жизни, несмотря на средства и достатки. Зато куда какъ много есть крупной, но—извините за откровенность—дико шляхетской спѣси!.. И это сказывается какъ-то невольно, само-собою, съ перваго разу, съ перваго взгляда!

— То-есть, въ чемъ напримѣръ?—нѣсколько нахмурился Свитка.

— Во всемъ-съ! — подтвердилъ Хвалынцевъ.—Не говорю уже о черезчуръ сельской простотѣ этого сломянаго палаца, но эти Вато, Вуверманы, Верне рядомъ со «Страшными судами» и «Могилами Наполеона», эти севры и саксы рядомъ съ крынками и рваными грязными салфетками, эти гербовыя ливреи съ заплатами и смазными сапожищами, — все это, батюшка мой, какъ хотите, выходятъ магнатскія претензіи съ прорѣхами.

На этихъ словахъ, Свитка вдругъ погасилъ свѣчку и со словами: «Ну, прощайте, однако, я спать хочу!»—рѣшительно перевернулся на другой бокъ, лицомъ къ стѣнкѣ.

Хвалынцеву показалось, что пріятель остался какъ будто не совсѣмъ-то доволенъ его откровеннымъ и столь обильнымъ словоизліяніемъ. Онъ и самъ сознавалъ, что, увлекшись откровенностью, сказалъ, быть можетъ, нѣсколько лишняго, нѣсколько такого, чего бы человѣку политикующему, находясь въ чужомъ мѣстѣ, подъ чужою, національно враждебною, но столь назойливо гостепріимною кровлею, не слѣдовало бы вовсе высказывать, но... въ то же время онъ чувствовалъ, что нѣсколько рюмокъ разныхъ вишнiвокъ, малинувокъ, памаранчувокъ и прочаго невольно развязали языкъ его.

....«И чортъ его знаетъ, что оно такое!» думается Хвалынцеву, мысль котораго сама собою все возвращалась къ предмету только что оконченныхъ откровенныхъ изліяній. «Это вѣдь не спѣсивая голь, не наслѣдіе донъ-Сезаръ де-Базана и вѣдь не прорѣхи бѣдности,—нѣтъ, напротивъ! тутъ во всемъ виденъ

Digitized by Google

достатокъ, видны хорошія средства: но это просто неумѣніе жить, незнакомство съ порядочностію жизни, съ комфортомъ, съ гармоническимъ соотвѣтствіемъ житейской обстановки; тутъ просто отсутствіе порядочныхъ привычекъ, просто нравственное захолустье какое-то и прирожденное свинячество, которое въѣлось въ плоть и кровь и стало достолюбезнымъ!»

И вотъ при всѣхъ этихъ мысляхъ и впечатлѣніяхъ, Хвалынцевъ опять и опять-таки долженъ былъ сознаться, что хваленая Литва пока еще ровно ни въ чемъ не показалась ему привлекательною.

«Или ужь я самъ такой закоренѣлый русакъ, и все мнѣ это, значитъ, чужое», подумалось вдругъ ему, «или у меня ужь такое скверное расположеніе духа за всѣ эти дни, или... или ужь я и не знаю, наконецъ, что это такое!.. Знаю только одно, что все это мнѣ крайне не по душѣ, но... вѣдь я-то самъ, я вѣдь съ ними, я вѣдь за нихъ... Что же въ нихъ есть хорошаго?.. Что?»

«Цезарина!» въ отвѣтъ на этотъ вопросъ подшепнуло ему какое-то глубоко-затаившееся чувство—и яркій, красивый образъ польской женщины, на нѣсколько мгновеній, снова всталъ, со всѣмъ своимъ обаяніемъ предъ его нравственными очами...

V.

Szkolka dla dzieci viejskich.

Эту надпись прочелъ Хвалынцевъ на доскѣ надъ крылечкомъ небольшого домика, куда на другое утро повелъ его и Свитку обязательный панъ Котырло. Предъ этимъ они только что осмотрѣли хозяйственныя постройки, стодолу, сараи, конюшни и птичникъ, скотный дворъ, винокурню, овчарню, псарню, мельницу, и гости не могли не замѣтить, что на всемъ этомъ хозяйствѣ лежала печать прочнаго, солидно-помѣщичьяго благосостоянія. Особенно понравились Хвалынцеву совсѣмъ почти незнакомыя въ Великороссіи красивыя и вѣковѣчныя постройки сараевъ изъ полевого булыжнаго камня, скрѣпленнаго надежнымъ цементомъ. Контрастъ между «палацомъ сломянымъ», какъ личнымъ обиталищемъ пана Котырло, и всѣми этими хозяйственными заведеніями, расположенными хотя и хаотично, но зато построенными вполнѣ солидно, прочно, хозяйственно и прекрасно, не могъ не броситься невольно, самъ собою въ глаза его гостямъ. Панъ Котырло хотѣлъ, что называется, товаръ лицомъ показать, и потому, произведши уже на гостей пріятное впечатлѣніе своимъ матеріальнымъ благосостояніемъ, намѣревался теперь поразить ихъ заботами о нравственномъ и умственномъ благосостояніи своихъ «подданьныхъ» и потому-то напослѣдокъ уже привелъ ихъ въ устроенную имъ сельскую школу.

Когда они вошли туда, тамъ уже кишѣла какъ будто нарочно собранная на показъ толпа ребятишекъ, человѣкъ до тридцати, въ присутствіи сельскаго ксендза, — и учитель ихъ, мѣстный костельный органистъ, въ наипочтительнѣйшемъ согбеніи, подошелъ къ ясновельможному пану и облобызалъ его руку; ксендзъ же, которому была протянута рука, слегка облобызалъ панское плечо, за что былъ награжденъ мимолетнымъ небрежнымъ поцѣлуемъ въ високъ. Вообще, на поцѣлуи въ руку и въ плечо панъ не изъявилъ ни малѣйшаго сопротивленія, изъ чего Хвалынцевъ справедливо заключилъ, что эти лобызанія тутъ дѣло обычное. Ребятишки тоже было бросились подобострастно цѣловать, но уже не руку, а только полу панскаго пальто; однако процедура эта, вѣроятно, показалась пану слишкомъ продолжительною, и потому онъ всѣхъ ихъ прогналъ на мѣста, явно желая, впрочемъ, обнаружить при этомъ отеческую ласковость тона.

Наружность школьной комнаты сдѣлала на Хвалынцева очень благопріятное впечатлѣніе: отсутствіе всякаго сора на полу, чистота стѣнъ, шкафчикъ съ книжками, нѣсколько простыхъ длинныхъ столовъ со скамейками, на стѣнахъ литографическія изображенія изъ Евангелія и изъ Библіи, въ родѣ исторій блуднаго сына, Іова многострадальнаго, Юдиѳи, отрубающей голову нечестивому царю Олоферну, Фараона, гибнущаго съ войскомъ въ пучинѣ морской, десяти казней египетскихъ и прочаго въ родѣ назидающемъ и устрашающемъ. Затѣмъ тутъ же висѣла таблица съ портретами «крулей польскихъ», портреты Костюшки, Собіескаго, Понятовскаго и Мицкевича, а въ переднемъ углу нѣсколько образовъ, между которыми, кромѣ неизбѣжныхъ Ченстоховской и Остробрамской, красовались «свѣнты Станиславъ, патронъ польскен', свѣнты Казимержъ, патронъ Латвы и свѣнты Юзефъ, патронъ Руси». У входной двери на стѣнѣ было повѣшено маленькое распятіе съ раковинкой—«кршестельничкой», въ которую была налита вода святая, дабы каждый входящій, буде онъ только добрый католикъ, могъ-бы омочить въ нее конецъ большого пальца и сотворить крестное знаменіе. Все это, какъ нельзя болѣе гармонируя одно другому, вполнѣ соотвѣтствовало понятію о самой образцовой, самой благоустроенной сельской школѣ. Но особенное вниманіе Хвалынцева остановили на себѣ надписи вдоль стѣнныхъ карнизовъ, сдѣланныя по-печатному черными крупными литерами. Эти надписи, въ родѣ краткихъ молитвъ, гласили, конечно по-польски. «Боже, змилуй сен' надъ нами!» «Боже, збавъ ойчизнен'!» «Подъ твоен' обронен' уцѣкамы сен'!» и далѣе въ подобномъ же духѣ.

Соображая видѣнное и осмотрѣнное въ это

Digitized by Google

утро, и особенно глядя на эту «школку», Хвалынцевъ очень горько укорилъ себя въ душѣ за скороспѣлость сдѣланныхъ имъ вчера заключеній о «свинячествѣ» домашней обстановки и жизни пана Котырло. «Если тамъ и есть это свинячество», подумалось ему, «зато здѣсь какое благоустройство! зато въ какомъ порядкѣ все хозяйство!» И онъ преисполнился въ душѣ нѣкотораго уваженія къ создателю того и другого и съ непритворнымъ удивленіемъ высказалъ ему, что не ожидалъ встрѣтить ничего подобнаго и что сельскимъ школамъ «у насъ, въ Россіи», далеко до такого образцоваго устройства.

Это замѣчаніе пролило нѣкоторый отрадный елей на сердце пана Котырло, который съ подобающею самодовольною скромностью отвѣтилъ, что радъ всегда, по силѣ возможности, служить народу.

— Оно хоть и въ клерикальномъ духѣ немножко,—прибавилъ онъ, какъ-бы извиняясь предъ Хвалынцевымъ, лишь только замѣтилъ, что тотъ обратилъ особенное вниманіе на стѣнныя надписи,—но кто знаетъ нашъ литовскій народъ, тотъ знаетъ, что для него это всего необходимѣе.

«Панъ органиста», руководимый отчасти ксендзомъ, сталъ показывать свою педагогическую дѣятельность и успѣхи своихъ школьниковъ. Прежде всего онъ заставилъ ихъ спѣть всѣмъ хоромъ, на костельный ладъ, какое-то величаніе и благодареніе благодѣтельному и *«найяснѣйшему»* ойцу и пану Котырло за всѣ его великія милости и заботы. Потомъ нѣкоторые изъ школьниковъ писали цыфирь на доскѣ, а нѣкоторые читали по своимъ букварямъ. Хвалынцевъ полюбопытствовалъ заглянуть въ одинъ изъ нихъ и очень удивился въ душѣ, увидя, что русскій языкъ, то-есть мѣстный бѣлорусскій говоръ, на которомъ въ этомъ букварѣ были составлены нѣкоторыя изреченія и правила, изображается вдругъ латино-польскими буквами. На первый разъ это показалось ему нѣсколько страннымъ, потому что, казалось-бы, и естественнѣе, и проще русскую рѣчь изображать и русской грамотой, но спутникъ и менторъ его, очень хорошо угадавъ по выраженію лица мысль своего Телемака, предупредилъ его минутное недоумѣнье своимъ разъясненіемъ.

— Что вы смотрите на букварь?—съ улыбкой спросилъ онъ въ полголоса, въ то время какъ вниманіе Котырло и прочихъ было отвлечено отвѣтами учениковъ.—Вѣрно что онъ по-польски?

— Да,—кивнулъ ему Хвалынцевъ.

— О, это вполнѣ понятно, если вы возьмете въ соображеніе ту непримиримую антипатію, которую чувствуетъ здѣшній народъ ко всему «москевському». Эта антипатія, повѣрьте мнѣ, простирается даже и на шрифтъ москевській, и по русскому букварю онъ вамъ ни за что не станетъ учиться!

Панъ Котырло, видимо развеселенный и удовольствованный впечатлѣніемъ, сдѣланнымъ на гостей его школой и успѣхами школьниковъ, захотѣлъ—pour la bonne bouche—показать степень ихъ бойкости и развитія.

— А ну бо, хлопцы! — возвысилъ онъ голосъ (съ крестьянами и школьниками Котырло изъяснялся мѣстнымъ говоромъ).—Кто скаже мнѣ цяперъ вѣрши? Ну, ты! — обратился онъ къ одному мальчугану изъ тѣхъ, что былъ побойчѣе видомъ,—деклямуй мнѣ вѣрши! «Гуторку двохъ сосѣдоу» вѣшь?

— Вѣмъ, пане!—бойко вскочилъ мальчуганъ съ мѣста.

— Ну, деклямуй! А мы послухаемъ! Они у насъ и это умѣютъ! Вы не думайте!—обратился онъ къ Хвалынцеву.

Мальчишка торопливо и монотонно, какъ заданный урокъ, сталъ говорить стихи, видимо стараясь не сбиться и во-время припомнить слѣдуемое слово:

Мой саколику сусѣдзе,
Муси канецъ свѣта будзе,
Во вже надто царъ гуляе
И людзей, якъ псоу, стрѣляе,
Чуваць, што въ русской губерни
Гдзѣ народъ яму быу вѣрный
Дзѣсяць тысячъ разстрѣляли,
За то што прауды искали.

— Ну ты, далѣй!—ткнулъ Котырло пальцемъ на слѣдующаго мальчугана.

Тотъ, робѣя, и еще болѣе боясь какъ бы не сбиться, продолжалъ стихи такимъ же монотоннымъ, но уже заикающимся голосомъ:

А у Варшавѣ усѣ касціолы,
Наветъ усѣ жидоуски школы
Ободрали, обокрали,
И людъ за касціолоу забрали
Да й у неволю засадили,
Кабъ больш Бога не хвалили.

— Ты цяперъ! Дальшъ!—ткнулъ Котырло еще одного школьника, и тотъ сразу же подхватилъ гораздо бойче своего предшественника:

А усе по указу царя,
Може енъ нечиста вѣра,
Антыхристъ, што кажуць людзи,
Во енъ вельми круциць, муциць,
Народъ Божій баламуциць,
Себѣ богомъ называе,
Кто не вѣриць, тыхъ стрѣляе.

— От-такъ, такъ, хлопче! «Себѣ богомъ называе, а кто не вѣриць, тыхъ стрѣляе!» Добрже, хлопче! добрже! — перебилъ его Котырло, видимо довольный всею этою сценою, и потрепалъ хлопца по щекѣ въ знакъ своего высшаго панскаго одобренія.

Онъ не оставилъ безъ подобнаго же благоволенія и остальныхъ хлопцевъ, которые успѣли отличиться такъ или иначе предъ посѣти-

Digitized by Google

телями, а въ знакъ высшей награды, роздалъ имъ нѣсколько копеекъ и позволилъ облобызать свою руку. Мальчишки жадно цѣловали протянутую имъ панскую длань, но еще жаднѣе прятали себѣ за пазуху только что полученныя копейки. Послѣднія, какъ видно, составляли для нихъ лучшее поощреніе, чтобы заучивать наизусть подобныя «вѣрши».

— Это, конечно, только такъ... однѣ лишь шутки, шутки, вы понимаете! — обратился Котырло къ Хвалынцеву насчетъ стиховъ такимъ добродушно пріятельскимъ тономъ, въ которомъ сказывалась какъ бы просьба о снисхожденіи и оправданіе себя въ столь невинной забавѣ.—Но... знаете, это воспитываетъ... вкореняетъ... Это шутки... а онѣ межъ тѣмъ возбуждаютъ духъ... духъ, вы понимаете!.. Какъ хотите, а мы все-таки дѣти Ржечи Посполитой, и этого намъ забыть невозможно — никогда и никому, отъ перваго магната до послѣдняго хлопа!

Хвалынцевъ сочувственно кивнулъ головой, въ подтвержденіе того, что онъ дѣйствительно понимаетъ; но, въ сущности, въ голову его засѣло новое сомнѣніе, вызванное опять-таки новымъ противорѣчіемъ. Да и въ самомъ дѣлѣ, какъ же это такъ? Вчера вотъ въ корчмѣ отцы этихъ дѣтей, въ пріятельской откровенной бесѣдѣ, съ теплою, живою благодарностью поминаютъ Царя за недавнюю волю, а здѣсь вотъ, въ школѣ, дѣти этихъ самыхъ отцовъ, подъ ферулой пана Котырло, ксендза и пана органисты, трактуютъ того же самаго Царя антихристомъ, который себя Богомъ называетъ и стрѣляетъ въ тѣхъ, кто не вѣритъ въ его божественность.

«Конечно, пропаганда», успокаивалъ себя Хвалынцевъ. «Это все понятно, какъ необходимость со стороны пропаганды, но...»

Въ этомъ-то *«но»* и явился камень преткновенія, какой-то рифъ, коварно и предательски скрытый подъ гладко-текущею поверхностью воды. Въ пропагандѣ, направленной подобнымъ образомъ со стороны помѣщика, шляхетскаго пана и «чуть не магната», смутно и почти инстинктивно слышалась Хвалынцеву какая-то ложь, неискренность, задняя, фальшивая мысль, какой-то разладъ между лицевою стороною дѣла и его подкладкой, между жизнью и пропагандой. Но въ чемъ именно кроется этотъ разладъ, эта затаенная фальшь и неискренность, Хвалынцевъ пока еще не могъ объяснить, не умѣлъ дать себѣ яснаго отчета. Онъ только вдругъ сталъ чувствовать, что тутъ все это дѣло, кажись, не совсѣмъ-то ладно и не совсѣмъ-то такъ выходитъ, какъ его увѣряли, да и теперь еще всячески стараются увѣрить.

Потомъ... потомъ и еще одно не могло не броситься въ глаза: хозяйство пана Котырло такъ благоустроено, и школа у него такая прекрасная, и такъ заботился онъ, повидимому, объ умственной и нравственной пищѣ этихъ ребятишекъ, хоть отцы въ корчмѣ вчера и сильно-таки поругивали его (ну, да впрочемъ, темный народъ эти отцы!), но вотъ что грустно: зачѣмъ эти мальчишки, то-есть большая часть изъ нихъ, на видъ такіе все хилые, болѣзненно-блѣдные, словно заморенные? Зачѣмъ, по крайней мѣрѣ, двѣ трети изъ нихъ въ эту прекрасную филантропическую школу являются не то что безъ сапогъ или въ берестяныхъ лапотишкахъ, а чисто-на-чисто босикомъ, по холодной ноябрьской грязи и слякоти и всѣ одѣты просто-таки въ заплатахъ, въ оборышахъ, въ нищенскихъ рубищахъ? Отчего это такъ? Отчего этотъ панъ Котырло, столь богатый и благоустроенный, столь гуманно пекущійся о развитіи своихъ хлоповъ, которые чуть не вчера еще были его «подданными», не попекся раньше хоть немного о томъ, чтобы крѣпостные его въ рубищахъ не щеголяли? Неужели же и въ этомъ все тотъ же «ржондъ москевьскій» причиненъ и повиненъ?

— Итакъ, вамъ понравилась наша школа?— спросилъ Хвалынцева Котырло, пожимая ему руку съ такимъ радушіемъ, на которое, повидимому, не могло воспослѣдовать ничего иного, кромѣ безусловнаго комплимента.

— А у васъ въ Россіи есть подобныя школы?—вслѣдъ за тѣмъ спросилъ онъ.

— Можетъ быть и есть гдѣ-нибудь,—отвѣтилъ Константинъ, — но, говоря откровенно, мнѣ подобное устройство приходится видѣть еще въ первый разъ.

— Въ Россіи!—пренебрежительно подфыркнулъ себѣ подъ носъ Василій Свитка. — Въ Россіи ничего нѣтъ, кромѣ кнута и острога.

— Грустная истина! — вздохнулъ, поднявъ глаза вверхъ, панъ Котырло. — Грустная и горькая истина!.. Но это потому, что въ Россіи вообще нѣтъ народа, въ настоящемъ смыслѣ этого слова.

Это замѣчаніе и удивило, и задѣло за живое Хвалынцева.

— Виноватъ, я это не совсѣмъ-то понимаю,— замѣтилъ онъ,—и вы конечно извините меня, если послѣ вашихъ словъ я спрошу васъ: что вы называете *народомъ*?

— Народомъ?.. Народъ—это *мы*,—увѣренно съ полнымъ убѣжденіемъ отвѣтилъ Котырло.

— То-есть... опять-таки прошу извинить меня: кто это *мы*? Для меня, русака, оно не совсѣмъ-то понятно.

— Мы, то есть цивилизованный слой Польши: духовенство, студентство, н-ну, пожалуй, ремесленники вообще, но, главнѣйшимъ образомъ, тотъ слой, который свято хранитъ въ себѣ преданія завѣтной вольной старины, преданія свободы и Ржечи Посполитой, то-есть шляхетство, магнатерія...

Digitized by Google

— Понимаю, но... все-таки магнатерія не народъ.

— А что же?—поднявъ брови, живо спросилъ Котырло.

— Магнатерія — это магнатерія, то-есть аристократія, каковою она была вездѣ и повсюду, но это не народъ.

Въ отвѣтъ на это Котырло улыбнулся очень вѣжливо, но очень тонкой улыбкой.

— Н-да, я согласенъ,— сказалъ онъ. — Въ Россіи и даже, пожалуй, вездѣ это такъ. Но въ Литвѣ и Польшѣ,— а въ Литвѣ по преимуществу—народъ это магнаты.

— Хм... не зная Литвы, не смѣю спорить,— сомнительно пожалъ плечами Хвалынцевъ.— Но мнѣ кажется, что двадцать-тридцать фамилій еще не составляютъ того, что называется *народомъ*.

— О, да! Согласенъ!.. Ну, а двадцать-тридцать тысячъ дворянъ-помѣщиковъ составляютъ его по вашему или нѣтъ?

— По нашему? Едва ли?!.. Да и вообще едва ли двадцать-тридцать тысячъ составляютъ *народъ*, тамъ гдѣ есть нѣсколько милліоновъ крестьянъ; не говорю уже о прочихъ не шляхетныхъ сословіяхъ.

— Ахъ, господа москали! Вотъ и всѣ-то вы таковы!—досадливо, но стараясь не потерять вида любезности, воскликнулъ, пожимая плечами, панъ Котырло.—У васъ у всѣхъ, только Бога ради извините меня,—у васъ у всѣхъ, говорю я, совершенно фальшивый взглядъ на демократію. По вашему выходитъ, что и Мирабо не смѣетъ быть демократомъ потому только, что онъ *графъ* Мирабо. Для васъ демократія это — *мужикъ*, тогда какъ у насъ, поляковъ, мужикъ—это есть въ сущности не болѣе какъ сырой, если только не мертвый экономическій матеріалъ.

Хвалынцевъ, выпуча глаза, даже откинулся нѣсколько назадъ отъ неожиданности такой фразы.

— Не пугайтесь кажущейся рѣзкости такого опредѣленія,—мягко, взявъ его за локоть, съ сладкой убѣдительностью сказалъ Котырло. — Не пугайтесь, мой добрый и честный москаль!.. потому что, видите ли, по нашему народъ — это то, что живетъ, мыслитъ, чувствуетъ, стремится къ свободѣ, къ знанію... то, что цивилизуетъ, подымаетъ нравственно, гуманизируетъ, образовываетъ темную, полудикую массу. Вотъ это народъ по нашему!

— А по нашему,—возразилъ Хвалынцевъ,— это могло бы быть, пожалуй, вожаками народа, подобно тому какъ офицеры—вожаки солдатъ, да и то еще въ такомъ только случаѣ, если бы настоящій народъ захотѣлъ и согласился признать ихъ за вожаковъ своихъ, если бы они сами по духу и по крови принадлежали къ тому же народу, были бы, такъ сказать, плоть отъ плоти его и кость отъ кости его.

— Э, Боже мой!—махнулъ рукой Котырло.— Опять таки вы употребляете слово *народъ* въ вашемъ, извините меня, странномъ, исключительно московскомъ смыслѣ!

— Я иного не понимаю,— замѣтилъ Хвалынцевъ.—Для меня нѣтъ иного понятія въ словѣ *народъ*; для меня это только совокупность всѣхъ живыхъ силъ отдѣльной націи, безъ всякихъ кастъ, сословій и различій по происхожденію, образованію, капиталу и по чему бы то ни было. Мы не выдѣляемъ изъ народа ни мужика, ни аристократа, ни невѣжды, ни цивилизованнаго.

— Хорошо, — согласился Котырло; — но какую же активную силу имѣетъ сама по себѣ эта темная, нецивилизованная масса, инертивная по самой своей природѣ? Вѣдь для хлопа, какъ и для вашего крестьянина, нѣтъ другихъ интересовъ, кромѣ интересовъ его желудка, то-есть кромѣ экономическихъ интересовъ.

— У насъ были 1612 и 1812 годы,—скромно замѣтилъ Хвалынцевъ.

— Ну, опять-таки тѣ же самые экономическіе интересы,—возразилъ Котырло,— потому что въ первомъ случаѣ поляки, а во второмъ французы мѣшали вашему «народу» отправлять свои естественныя, экономическія надобности. Мы хорошо понимаемъ, что «народа» въ его настоящемъ полудикомъ состояніи не сдвинешь съ экономической почвы, и потому-то мы образовываемъ, цивилизуемъ его, стараемся всевозможными усиліями поднять его на высоту того гражданственнаго сознанія, что онъ и мы—народъ единый и нераздѣльный. Не мы до него спускаемся, но его до себя подымаемъ, и неужели же вы за это осудите насъ?

Хвалынцевъ, не имѣвшій почти никакого понятія объ историческихъ отношеніяхъ польской шляхты къ ея «быдлу», могъ только отдать полную дань похвалы и почтенія таковому гуманному стремленію.

— Да-съ!.. И вотъ потому-то, — продолжалъ Котырло!—шляхетство наше, которое создало для себя такую благородную миссію, и имѣетъ всѣ права называться *народомъ* попреимуществу. Мы еще только подготовляемъ мужика, но интеллигенція наша, дворянство наше, духовенство наше—у всего этого только и есть одинъ великій лозунгъ: «великая, всецѣлая и нераздѣльная наша старая Польша».

VI.

Маленькій опытъ сліянія съ народомъ.

Прибѣжалъ запыхавшійся казачекъ и объявилъ, что гости ѣдутъ. Панъ Котырло заторопился на встрѣчу этимъ новымъ гостямъ.

По тополевой аллеѣ шибкою рысью приближался шикарный фаэтонъ, запряженный парою добрыхъ узкошеихъ и длинноухихъ коней поль-

Digitized by Google

ской породы. Блестящая упряжь отличалась польско-краковскимъ характеромъ. Кучеръ въ кракускѣ, съ распитой пелериной, съ рядами блестящихъ наборчатыхъ бляхъ на поясѣ, съ длиннымъ бичемъ въ рукѣ, которымъ онъ такъ громко, такъ щегольски похлопывалъ, а самъ глядѣлъ молодцомъ и словно бы настоящимъ кракусомъ. Гайдукъ на запяткахъ, не менѣе молодцовато и какъ бы безпечно, крестомъ на груди сложивъ свои руки, сидѣлъ, видимо красуясь своей конфедераткой и чамаркой сѣраго сукна, съ зеленой оторокой. Онъ даже былъ вооруженъ револьверомъ и охотничьимъ ножемъ на лакированной портупеѣ, въ томъ родѣ, какъ у посланничьихъ выѣзднихъ лакеевъ, и такимъ образомъ являлъ собою какъ бы стража и тѣлохранителя своего пана, который съ сигарой въ зубахъ, въ изящнѣйшемъ парижскомъ костюмѣ, небрежно покоился на эластическихъ подушкахъ своего фаэтона. Поровнявшись съ Котырло, этотъ панъ привсталъ въ своемъ экипажѣ и, проносясь мимо, сдѣлалъ «манифестацію» своей гарибальдійкой, широкимъ размахомъ руки поднялъ ее надъ своею тщательно-завитою расчесанною и напомаженною головою. Судя по его «люшкѣ» и по вытянутымъ въ мышиные хвостики усамъ, Хвалынцевъ принялъ было его за характернаго француза, но, по объясненію пана Котырло, оказалось, что это Селява-Жабчинскій, мѣстный мировой посредникъ, либералъ и bon-vivant, жившій большею частію то въ Парижѣ, то въ Варшавѣ, и притомъ большой «авантурникъ». Теперь для Хвалынцева стало ясно, почему наружность его столь напоминаетъ и парикмахера, и свѣтскаго шуллера вмѣстѣ. Сильно набѣленная и нарумяненная дама, которая сидѣла подлѣ него, могла бы показаться если не матушкой, то по крайней мѣрѣ почтенной тетушкой этого господина; но оказалось, что некрасивая, хотя и желающая быть прелестною, особа—ни больше, ни меньше, какъ богатая супруга пана-посредника; причемъ значительная разница лѣтъ, вѣроятно, не служила помѣхой для ихъ семейнаго счастія.

Фаэтонъ, сопровождаемый разливистымъ лаемъ собакъ, шикарно подкатилъ къ крыльцу сломянаго палаца. Паненки и паничи повыбѣгали на встрѣчу. Ахи, восклицанія, поцѣлуи — словомъ: всѣ радости пріятнѣйшей встрѣчи сопровождали прибытіе этой четы, которая и по состоянію, и по посредничьему положенію пользовалась въ избыткѣ ласкательнымъ вниманіемъ и почетомъ. Тотчасъ появился завтракъ съ неизмѣнной «старой литевкой», съ жирной «кавой» и всевозможными вкусностями домашней кладовой и кухни. А тѣмъ часомъ и еще новые гости подъѣхали: панъ ассессоржъ Шпарага и панъ Косачъ—земскій засѣдатель. Это, конечно, были гости не важные, но тѣмъ не менѣе люди нужные, и потому отказу въ любезностяхъ для нихъ тоже не было, хотя панъ Котырло, какъ родовитый состоятельный шляхтичъ, бывшій «маршалокъ» и «чуть не магнатъ» держалъ себя предъ Шпарагой и Косачемъ съ замѣтнымъ оттѣнкомъ благосклоннаго къ нимъ достоинства.

Послѣ завтрака кракусъ-кучеръ, отпрягшій уже было коней и занявшійся въ людской пріятною «люлькою тютуну» въ неменѣе пріятной бесѣдѣ, вдругъ былъ потревоженъ очень досаднымъ приказаніемъ снова закладывать коней въ фаэтонъ и живѣе подкатывать къ крыльцу.

Панъ Котырло, очень оживленно и даже не безъ громкаго хохота разговаривавшій о чемъ-то съ посредникомъ въ своемъ кабинетѣ, вышелъ оттуда съ нимъ облаченный во фракъ и готовый, повидимому, ѣхать куда-то. Панъ Селява-Жабчинскій тоже переодѣлся въ этотъ парадный костюмъ и, для пущаго блеску, навѣсилъ на грудь посредничью цѣпь. О чемъ они тамъ между собою такъ весело разговаривали, Хвалынцевъ, конечно, не зналъ, но слышалъ, какъ, выходя изъ кабинета, Котырло, со смѣхомъ пожимая плечами, говорилъ посреднику:

— Алежъ то глупьство, муй пане! то южъ надто! [1])

— Ну, ну, ничего! Такъ надо! Ѣдемъ, ѣдемъ!—поощрительно похлопывая его слегка по рукѣ около плеча, уговаривалъ посредникъ и, натянувъ свѣжія палевыя перчатки, не безъ граціи изобразилъ легкій поклонъ всему обществу.

Сѣли въ фаэтонъ и поѣхали.

— Куда это они?—спросилъ Хвалынцевъ у Свитки, глядя въ окно на отъѣзжавшій экипажъ.

— Кажись, съ визитами,—пояснилъ тотъ вкратцѣ.

Часа черезъ два они вернулись, а къ этому времени подъѣхали еще двое гостей—двое помѣщиковъ солиднаго, старосвѣтскаго покроя, панъ Хомчевскій, стрѣлокъ и латинистъ-классикъ, и панъ Прындичъ, просто себѣ такъ «старожитный» панъ, безъ всякихъ индивидуальныхъ отличій.

— Ну, панове, потѣха!—съ громкимъ смѣхомъ влетѣлъ въ залу парадный посредникъ,—давно ужь такой потѣхи не видалъ! Ха, ха, ха!.. Ей-Богу, потѣха!

— А что? А что такое?—оживленно обступили гости вошедшихъ.

— Шляхетный панъ-маршалокъ дѣлалъ визиты своимъ хлопамъ!—торжественно пояснилъ Селява, указывая на Котырло шутливо-церемоніальнымъ рекомендательнымъ жестомъ.

— Ну, вотъ! Самъ же потащилъ меня!—съ полусмущенной улыбкой оправдывался маршалокъ, который хотя уже и не былъ маршалкомъ, но всѣми безъ исключенія титуловался

[1]) Слишкомъ, черезчуръ.

Digitized by Google

этимъ прозваніемъ въ силу стараго польскаго обычая, гдѣ бывало достаточно человѣку разъ побыть чѣмъ нибудь отъ маршалка до «вознаго», чтобы потомъ уже на всю свою жизнь серьезно титуловаться «паномъ маршалкомъ» или «паномъ вознымъ» [1]).

— Хлопамъ!.. Визиты хлопамъ!—вышучилъ глаза панъ Прындичъ, который былъ просто себѣ панъ старожитный. Онъ весь былъ повергнутъ въ пучину несказаннаго изумленія, тогда какъ другой панъ, Хомчевскій, стрѣлокъ и классикъ, улыбкой своею выражалъ явное недовѣріе,—шутишь, молъ, братъ, знаемъ!

— А ей-Богу же правда. Вмѣстѣ дѣлали!—подтвердилъ посредникъ. — То-есть ко всѣмъ наиболѣе вліятельнымъ и богатымъ, но и къ двумъ тоже самымъ бѣднымъ и ничтожнымъ, pour l'égalité, для уравновѣшенія.

— Да за какимъ дьяволомъ, съ позволенія сказать, извините, понадобилось вамъ дѣлать визиты къ хлопамъ?—развелъ руками недоумѣвающій старожитный гость.—Развѣ они понимаютъ шляхетное обращеніе?

— О, ретроградъ!—съ комическимъ ужасомъ, качая головой, воскликнулъ посредникъ.—«За какимъ дьяволомъ!» А я бы посовѣтовалъ и вамъ-то поскорѣй взяться за умъ! Надѣвайте-ка фракъ, да и къ своимъ отправляйтесь, по нашему примѣру! Я ужь это не въ первый разъ дѣлаю.

— Алежъ за якимъ дзяблемъ!?—начиная уже нѣсколько горячиться, повторилъ ретроградъ.

— Э! Вы все свое! А интересы сліянія?.. Ну, ну и... гражданская равноправность, пожалуй... Нѣтъ, это не лишнее, это не мѣшаетъ... и въ свое время, повѣрьте мнѣ, очень-таки можетъ пригодиться намъ! Политиковать, такъ ужь политиковать, мой пане! Вы думаете это наше изобрѣтеніе, или что мы одни такъ дѣлаемъ? Извините-съ! Магнаты, князья, графы и тѣ не гнушаются! Почитайте-ка, да послушайте-ка, что дѣлается на Волыни! Вотъ съ кого примѣръ брать надо, если мы добрые потріоты!

— Ну, да! А самъ говоритъ: «потѣха»!—кивнулъ на него головой классикъ.

— А что-жь, и дѣйствительно потѣха! Только потѣха не въ томъ, что мы дѣлали визиты, а въ томъ, какъ они эти визиты принимали! Ха, ха, ха!.. О, Боже-жь мой! Нѣтъ, это просто стоитъ въ лицахъ представить!.. Вообразите себѣ, напримѣръ, подъѣзжаемъ... гайдукъ спрыгиваетъ съ запятокъ, бѣжитъ, освѣдомляется: дома ли? принимаютъ ли? могутъ ли принять?

И панъ Селява-Жабчинскій очень живо и изобразительно представилъ въ лицахъ то глупое недоумѣніе и недовѣріе хлоповъ, съ какимъ они на первый разъ, съ непривычки, принимали панскіе визиты, какъ пугались бабы и дѣвки, какъ онѣ, словно шальныя, опрометью кидались въ хлѣвы и закуты прятаться отъ панскаго посѣщенія, какъ ребятишки при видѣ такой паники начинали ревѣть и визжать со страху, какъ недоумѣлые хлопы долго не могли взять себѣ въ толкъ, что это молъ «визитъ», а не бѣда какая, не реквизиція, грозящая разореніемъ и ссылкой или солдатчиной, и наконецъ, какъ скверно пахнетъ, какой воздухъ тяжелый и отвратительный въ этихъ грязныхъ, поганыхъ, противныхъ хатахъ, такой тяжелый и такъ это тамъ все грязно, что нужны, молъ, вся сила гражданскаго мужества и все самоотверженіе ради великаго дѣла, ради ойчизны, чтобы рѣшаться на подобные визиты, но... это необходимо, этого требуетъ долгъ.

Вслѣдъ затѣмъ панъ Селява-Жабчинскій очень юмористично, обращаясь преимущественно къ дамамъ, разсказалъ, какъ они съ паномъ Котырло, чуть не каждый разъ стукаясь объ низкія притолки дверей, входили въ своихъ фракахъ и раздушенныхъ перчаткахъ въ эти противныя хаты, какъ пожимали руку хлопу (хорошо, что хоть рука-то въ перчаткѣ), какъ разсаживались на лавкѣ, словно въ великосвѣтской гостиной, и приглашали хлопа садиться рядомъ съ собою, но глупый хлопъ только кланялся да все пятился отъ нихъ подальше, либо къ печкѣ, либо къ двери; какъ они распрашивали о томъ: «все ли онъ въ добромъ здоровьи? Какъ поживаетъ его супруга? Что дѣтки подѣлываютъ? Хорошо ли идетъ хозяйство и пр.»; какъ объясняли ему, что теперь онъ такой же панъ, какъ и они, такой же гражданинъ равноправный, и что они, молъ, всѣ вмѣстѣ, безъ всякихъ различій, одинъ и тотъ же народъ, одни и тѣ же дѣти общей матери Польши, а глупый хлопъ, все-таки съ непривычки же на первый разъ, только глазами хлопалъ да кланялся учащенно.

— Впрочемъ, ничего! доброе начало положено! А тамъ все пойдетъ уже само собою!—утѣшался розовой надеждой либерально-шляхетный посредникъ.

Слушатели съ живымъ участіемъ внимали его веселому разсказу, который очень часто прерывался ихъ неудержимымъ смѣхомъ; но этотъ смѣхъ относился никакъ не къ самому пану Селявѣ-Жабчинскому.

Хвалынцевъ, хотя и не вполнѣ еще понималъ по-польски, но все-таки понялъ всю сущность разсказа. Сначала онъ, по нѣкоторому малодушію, изъ чувства условнаго приличія относительно гостепріимныхъ хозяевъ, которые такъ искренно и такъ усердно хохотали, тоже состроилъ было нѣчто въ родѣ смѣющейся гримасы, но потомъ, почувствовавъ весь смыслъ панскаго издѣвательства, онъ ощутилъ въ душѣ присутствіе нѣкотораго злобнаго на-

[1]) Возный — мелкая должность въ старыхъ польскихъ судахъ въ родѣ пристава.

Digitized by Google

строенія. Ему стало не то гадко, не то больно отъ этого циническаго насмѣханья и отъ всего этого безконечно-іезуитскаго лицемѣрія, которое побудило либеральныхъ пановъ дѣлать визиты, любезничать и толковать о сліяніи и равноправности со своими жалкими хлопами, которыхъ эти господа столь глубоко и столь шляхетно презираютъ.

«Нѣтъ! тутъ опять-таки что-то не то! Опять-таки фальшь какая-то!» подумалось ему снова, и опять въ душѣ защемила боль неяснаго сомнѣнья.

VII.

За стѣною.

Деревенскій помѣщичій день проходитъ главнѣйшимъ образомъ въ ѣдѣ, и ѣдою же подраздѣляется на части: отъ чая до закуски, отъ закуски до завтрака, отъ завтрака до новой закуски, а тамъ до обѣда, до лакомства разными вареньями и сластями, до чая, до ужина, послѣ котораго эта растительная жизнь завершается сномъ богатырскимъ на мягкихъ перинахъ.

Въ теченіе всего утра Хвалынцевъ вдосталь находился и насмотрѣлся на всевозможныя хозяйственныя учрежденія пана Котырло, такъ что не грѣхъ было и устать, а потому послѣ сытаго и, по обыкновенію, польски жирнаго обѣда, ему стала-таки улыбаться заманчивая мысль: пойти и прилечь на часочекъ. Онъ отправился въ отдѣльной флигелекъ, гдѣ еще со вчерашняго вечера для него и Свитки была отведена комната и гдѣ постоянно помѣщалась контора пана Котырло, въ которой, какъ бы въ некоемъ центральномъ министерствѣ, сосредоточивалось управленіе всѣми сельскими и экономическими дѣлами. Комната, занимаемая Хвалынцевымъ, отдѣлялась отъ этой конторы одною лишь тонкою досчатою перегородкою, которая, впрочемъ, доходила вплоть до потолка, но изобиловала достаточнымъ количествомъ щелей между досками, и эти щели, волей-неволей давали полную возможность отчасти видѣть и въ совершенствѣ слышать все, что́ происходитъ за стѣною.

Хвалынцевъ, питая въ душѣ сладкую надежду на послѣобѣденный сонъ, нарочно постарался уйти никѣмъ не замѣченный, изъ опасенія чтобы паненки такъ или иначе не завладѣли его особой, а паче всего не вздумали бы затѣять какія-нибудь petits jeux или засадить его за разбитыя клавикорды. Маневръ ему удался, и потому, пробравшись черезъ дворъ въ свою комнату, онъ спустилъ на окошкѣ мату, очень искусно сплетенную изъ соломы домодѣльной работой, устроилъ въ комнатѣ полную темноту, улегся самымъ удобнымъ образомъ и тотчасъ же заснулъ. Но не прошло и получаса, какъ сквозь сонъ до него стали долетать отзвуки какого-то говора, которые наконецъ-таки и разбудили его. Говорили за стѣной въ конторѣ. Хвалынцевъ перевернулся на другой бокъ и зажмурилъ глаза въ надеждѣ заснуть вторично. Не тутъ-то было: застѣнные разговоры принимаютъ все болѣе и болѣе оживленный характеръ, и Хвалынцевъ, хочешь не хочешь, по неволѣ долженъ слушать ихъ. Тѣмъ не менѣе, надежда на сонъ пока еще не окончательно его оставила: онъ всячески старался уснуть, не обращая вниманія на говоръ, но черезъ нѣсколько минутъ, съ досадой въ душѣ, долженъ былъ оставить свои пріятныя надежды.

За стѣной очень явственно можно было различить голоса мирового посредника, самого пана Котырло и нѣсколькихъ крестьянъ. Что это голоса крестьянскіе, Хвалынцевъ сразу угадалъ по тому сдавленному, гортанному звуку голоса, которымъ обыкновенно говорятъ слабогрудые люди и который служитъ однимъ изъ характеристичныхъ признаковъ бѣлорусскаго крестьянина. И помѣщикъ, и посредникъ совокупными усиліями старались, повидимому, въ чемъ-то убѣдить призванныхъ хлоповъ и относились къ нимъ необыкновенно мягкимъ, ласковымъ, вразумляющимъ тономъ. Съ мужиками разговоръ у нихъ шелъ на томъ смѣшанномъ, не то польскомъ, не то бѣлорусскомъ нарѣчіи, которое, кажись, является продуктомъ чуть ли не мѣстнаго изобрѣтенія самихъ же пановъ для объясненій съ ихъ хлопами. По крайней мѣрѣ, польскій панъ никогда не объясняется съ бѣлорусскимъ крестьяниномъ ни на чистомъ польскомъ языкѣ, какъ на не совсѣмъ понятномъ для бѣлорусса, ни на мѣстномъ нарѣчіи, искони почитаемомъ «хлопскимъ», то-есть унизительнымъ для шляхетнаго пана; поэтому житейская практика пановъ и выработала здѣсь эту средне-пропорціональную мѣшанину.

Хвалынцевъ, слушая по неволѣ, вскорѣ сталъ догадываться и разумѣть, о чемъ именно идетъ дѣло за стѣною. Мировой посредникъ вмѣстѣ съ паномъ Котырло всячески старались втолковать мужикамъ, что если они желаютъ на будущее время остаться крестьянами и получить на выкупъ ту самую землю, которою они искони и по сей день пользуются, то «по закону» имъ придется платить въ годъ по сорока рублей серебромъ за участокъ, но что помѣщикъ, панъ Котырло, «отъ своей ласки панской», отъ всего чистаго своего сердца желаетъ имъ, хлопамъ, сдѣлать добро за всю ихъ вѣрную службу, а потому великодушно соглашается отдать имъ ту самую землю *на аренду* по двадцати рублей въ годъ за участокъ; но согласіе свое на это даетъ въ томъ только случаѣ, если они изъ крестьянъ перейдутъ въ дворовые, а этотъ переходъ въ дворовые бу-

Digitized by Google

детъ для нихъ «незличито выгоденъ» въ томъ отношеніи, что они-де, будучи дворовыми, будутъ пользоваться льготой и отъ платежа податей, и отъ рекрутчины, и что все это въ высшей степени благодѣтельное для нихъ дѣло есть такой пустякъ, въ сущности, что стоитъ лишь имъ, хлопамъ, не теряя золотого времени, сейчасъ-же подписать добровольный актъ, что они-де отказываются отъ своихъ правъ на выкупъ ихъ участковъ, а оставляютъ тѣ участки у себя въ арендѣ—вотъ и все! А ужь перечисленіе ихъ въ дворовые совершится самымъ законнымъ путемъ, и это-де не ихняя уже забота, такъ какъ самъ панъ Котырло съ паномъ посредникомъ постараются объ этомъ, но что во всякомъ случаѣ дворовымъ быть и гораздо почетнѣе, и гораздо выгоднѣе, чѣмъ крестьяниномъ, и что панъ Котырло единственно изъ своей ласки панской, изъ великодушія, для ихъ же добра предлагаетъ имъ такую прекрасную сдѣлку.

«Мм... не дурно», думаетъ про себя Хвалынцевъ; «у пана Котырло, какъ видно, губа-то не дура. Двадцать рублей вмѣсто сорока, аренда вмѣсто выкупа, а въ результатѣ, на дѣйствительномъ-то фактѣ одно лишь круглое обезземеленье хлопа... крестьянскій пролетаріатъ, вѣчная зависимость отъ пана — ей-Богу не дурно! и въ то же время гуманныя школы, гуманное «сліяніе», визиты къ хлопамъ, высокія идеи о вольной ойчизнѣ, да что жь это, однако! И неужели тѣ не поймутъ и согласятся?»

Однако-же хлопы, насколько можно было предположить себѣ за стѣной, стали мяться и почесываться, выказывая раздумчивую нерѣшительность.

— А вы, паночку, кажеце, што павинны мы по сорокъ рублеу на рокъ за кавалокъ плацицъ?—послышался наконецъ одинъ неувѣренный голосъ.

Посредникъ подтвердилъ, что если на выкупъ, то «по закону» надо будетъ по сорока.

— А выбачайце, яснавяльможный!—продолжалъ несмѣло другой голосъ,—бо мы цемны людъ, може што й не зрозумѣли... А какъ знаць намъ, по якому закону?

Посредникъ нѣсколько замялся и пояснилъ, что «по закону», то-есть собственно значитъ по уставной громатѣ.

Хлопы снова зачесали въ затылкахъ и раздумчиво потупились.

— Алежь яна ще й не згатована, ще й не подписана громадой? — замѣтилъ кто-то изъ хлоповъ.

— А, муй коханы! Алежь то вшистко рувне!—ласково сталъ убѣждать посредникъ.—Не подписано теразъ, ну, усе равно заутра. чи на послѣзаутра подпишамы, громада же безъ мала уся сгодилась, лечьбы насчетъ выгона да лѣсовыхъ укосовъ сгодиться-бы, а то и скончоно!

— Але!—подтвердили нѣкоторые хлопы.

И посредникъ вмѣстѣ съ паномъ снова принялись ублажать неподатливыхъ хлоповъ и изображать имъ въ самыхъ привлекательныхъ краскахъ всю сладость выгоды, весь почетъ перехода изъ крестьянства въ дворовые, причемъ главное что не сорокъ, а двадцать только, всего на всего двадцать рублей платить придется!

Крестьяне все еще раздумывали, покрякивали, потаптывались съ ноги на ногу и тупили глаза да головы въ землю.

— А може й такъ, выбачайце, паночку яснавяльможный!—заговорилъ наконецъ одинъ изъ нихъ. — Може мой такій дурны розумъ, а я сабѣ мыслю такъ што... ну, добро жъ: цяперь мы пирамѣнимся зъ хлопоу на дворовыи, а патымъ намъ вже й не вольно будзе зъ дваравыхъ та й зноу на хресцьяны абернутьца. То кажу, такъ?

— А то такъ, такъ!—подтвердили и панъ, и посредникъ.

— Ну, нехай, такъ! И я мыслю сабѣ, што муси быць такъ!.. А цяперъ панъ мнѣ каже, какъ я за двадцять рубли зняу на гаренду мой кавалокъ; ну, гэто такъ, гэто гля мяне гожо. А може й тамъ, патымъ, празъ сколько время, панъ мнѣ скажецъ: невольно больш за двадцять, а плаци каже напярод тридцять, альбо сорокъ рубли, кали хочешь гарендоваць, а не то, каже, вонъ пайшолъ! Ну, и што жъ тоды мнѣ будзе, безъ земли, безъ усяво?

И панъ, и посредникъ необычайно поспѣшили возмутиться такимъ невѣроятнымъ и коварнымъ предположеніемъ. Селява-Жабчинскій принялся увѣрять, что это вовсе невозможно, что ихъ панъ, панъ Котырло, такой добрый, такой честный, благородный, великодушный человѣкъ, что онъ не то что не захочетъ, а и не подумаетъ никогда сдѣлать со своимъ вѣрнымъ и добрымъ хлопомъ подобную мерзость. Панъ Котырло со своей стороны клялся и божился, ударяя себя въ грудь кулакомъ и призывая пана Бога во свидѣтели, что никогда ничего такого и быть не можетъ. Онъ горячо увѣрялъ, что любитъ своихъ хлоповъ, и что только изъ чистосердечнаго, искренняго желанія добра для нихъ же, дураковъ, дѣлаетъ имъ столь выгодное предложеніе, что онъ даже не ожидалъ отъ нихъ за всю свою искренность и панскую ласку такого обиднаго, оскорбительнаго предположенія, что онъ всегда желалъ быть для нихъ «якъ панъ ойтецъ» и думалъ, что и они до него тоже «якъ добры дзѣци», а вмѣсто того... Панъ Котырло «деклямовалъ» все это не безъ горячаго увлеченія, и при томъ столь огорченнымъ, даже оскорбленнымъ отечески-ласковымъ тономъ! А панъ посредникъ

Digitized by Google

тотчасъ же, подмѣтя въ панѣ Котырло эту огорченную струнку, грустно сталъ укорять неблагодарныхъ хлоповъ, что какъ же, молъ, имъ не стыдно и не совѣстно, и какъ даже предъ Богомъ не грѣшно, въ отплату за всю панскую ласку, за всю любовь и заботу панскую, за всѣ попеченія объ ихнемъ же хлопскомъ благѣ, платить ему такимъ обиднымъ недовѣріемъ, что имъ-де слѣдуетъ покаяться, просить у пана прощенія, просить его о позволеніи поцѣловать руку панскую, и закончилъ тѣмъ, что панъ Котырло, по добротѣ своей, вѣрно не откажется простить ихъ и, въ знакъ примиренія, велитъ поднести имъ по доброму «кручку паньской вудки».

Добродѣтельный панъ, въ знакъ того, что у него мягкое, незлопамятное сердце, тотчасъ же распорядился послать за водкой своего конторщика, пана Михала, а панъ Михалъ не замедлилъ явиться съ цѣлымъ двухведернымъ боченкомъ. Оскорбленный помѣщикъ, въ своемъ присутствіи, приказалъ пану Михалу угощать оскорбителей-хлоповъ, прибавя со вздохомъ, что въ «такое время» онъ не желаетъ, чтобы между имъ и хлопами оставалось какое-нибудь зло и недоразумѣніе, и что онъ охотно имъ все прощаетъ и забываетъ.

Хвалынцевъ слышалъ, какъ забулькала изъ боченка хмельная влага, и ошибающій сивушный запахъ тотчасъ же достигъ до его обонянія сквозь узкія щели перегородки. Заинтересованный всей этой сценой, онъ приподнялся съ подушки и заглянулъ въ одну изъ ближайшихъ щелей. У большого стола, разглядѣлъ онъ, сидѣлъ Котырло съ посредникомъ, на которомъ красовалась его золотая цѣпь, и по взволнованнымъ ихъ лицамъ можно было догадаться, что ихъ весьма живо и существенно интересуетъ благопріятный для ихъ желаній и цѣлей исходъ предлагаемой сдѣлки. На столѣ предъ посредникомъ лежалъ начисто переписанный листъ бумаги, по всей вѣроятности, актъ добровольнаго отреченія отъ выкупного надѣла. У дверей помѣщалось человѣкъ двадцать хлоповъ, которыхъ въ эту минуту усердно угощалъ водкой панъ конторщикъ, и въ этомъ послѣднемъ Хвалынцевъ сразу же узналъ того самаго дворового человѣка, въ длинномъ сюртукѣ, который вчера въ корчмѣ пропагандировалъ хлопамъ желанное возстановленіе Польши и прославлялъ неизреченную доброту пана Котырло.

Послѣ перваго «крючка», панъ былъ столь добръ и ласковъ, что разрѣшилъ угостить по второму, а послѣ второго, ужь куда ни шло, чтобы произвести цѣлесообразное дѣйствіе—и по третьему. По три «крючка» на брата не замедлили произвести его: блѣдно-болѣзненныя, забитыя, зачахлыя лица хлоповъ раскраснѣлись, оживились и повеселѣли. Въ тонѣ ихъ придавленныхъ изнутри, тоще-гортанныхъ голосовъ послышалась какая-то расплывающаяся мягкость. Они всѣ поочередно подходили къ пану съ приниженнымъ, согбеннымъ выраженіемъ своей благодарности; кто посмѣлѣй, тотъ цѣловалъ панскую руку, а кто поробчѣе, тотъ ограничивался благоговѣйно-почтительнымъ лобызаніемъ передней полы панской драповой венгерки, щегольски отороченной бѣлыми смушками и фигурно расшитой черными шелковыми снурками. Послѣ этой церемоніи, которую панъ Котырло принималъ какъ должное, какъ необходимое, съ самымъ невозмутимымъ чувствомъ сознанія своего родового, шляхетнаго превосходства, хлопы загалдѣли межъ собою, а посредникъ еще пуще сталъ распинаться предъ ними за ихъ собственное благо, за льготы быта дворовыхъ людей, которые межъ тѣмъ остаются такими же крестьянами, при тѣхъ же участкахъ, а главное за эти соблазнительные двадцать вмѣсто сорока рублей платы. Въ средѣ хлоповъ уже раздавались поддающіеся, сочувственные голоса, и не прошло десяти минутъ, какъ согласіе ихъ на сдѣлку было дано, и актъ добровольнаго отказа отъ выкупныхъ надѣловъ подписанъ и скрѣпленъ самымъ надлежащимъ и законнымъ порядкомъ. Такимъ образомъ, цѣлая деревня въ двадцать дворовъ, сосѣдняя съ мѣстечкомъ, но въ числѣ прочихъ точно также принадлежащая пану Котырло, переходила у него въ состояніе безземельныхъ дворовыхъ. Двадцать прекрасныхъ участковъ, вслѣдствіе добровольныхъ отказовъ пьяныхъ крестьянъ, становились его полною и неотъемлемою собственностью на вѣки-вѣчные. Вмѣстѣ съ этими двадцатью участками было пріобрѣтено, по крайней мѣрѣ, сорокъ безземельныхъ, вполнѣ отъ пана зависимыхъ батраковъ-пролетаріевъ.

Панъ Котырло вздохнулъ свободнымъ, облегченнымъ вздохомъ, и отъ нескрываемаго внутренняго удовольствія, потирая свои мягкія полныя руки, расщедрился во вся и приказалъ пану Михалу поднести крестьянамъ, за ихъ покорство и разумность, еще водки по скольку тамъ придется на весь остальной боченокъ.

Хлопы всѣмъ гуртомъ кланялись и благодарили еще разъ за панскую милость и ласку.

Дѣло было кончено, и черезъ нѣсколько минутъ контора опустѣла.

Вся эта сцена сдѣлала на Хвалынцева возмущающее впечатлѣніе. Будучи самъ помѣщикомъ, и едва лишь девять, десять мѣсяцевъ тому назадъ заключая со своими крестьянами добросовѣстный актъ уставной грамоты, онъ не могъ не понять теперь, какая гнусная обманная продѣлка кроется подъ великодушіемъ пана Котырло. Оставаясь въ потемкахъ своей комнаты и лежа на сѣнникѣ съ заложенными подъ голову руками, онъ невольно погрузился въ новое, тяжелое и глубокое раздумье.

Digitized by Google

VIII.

Два храма.

На другой день, отъ ранняго утра еще, мѣстечко Червлёны кишѣло народомъ, который сбрелся сюда съ разныхъ окрестныхъ деревень, усадебъ, фольварковъ и мѣстечекъ по случаю «кіермаша». Червлёнскій костелъ праздновалъ свой храмовой праздникъ, а въ Червлёнахъ искони уже съ храмовымъ праздникомъ была неразлучна ярмарка—кіермашъ. Мелкая шляхта, въ бричкахъ и телѣжкахъ, останавливала лошадей и задавала имъ кормъ либо на дворѣ у костельной ограды, либо же въ заѣздныхъ домахъ у «пани Янкелевой» и у «пана Эльки», а все что на общественной лѣстницѣ стоитъ ниже «дробной шляхты», какъ напримѣръ: войты, полѣсовщики, сотскіе и десятскіе, да и крестьяне, которые позажиточнѣй, все это гуртомъ лѣпилось по корчмамъ, которыми въ немаломъ количествѣ изобиловали Червлёны. Окрестные паны пріѣзжали въ крытыхъ нетычанкахъ и въ допотопныхъ коляскахъ, но не иначе какъ въ польской упряжи «съ бичемъ», и ѣхали, кто познатнѣй и покороче знакомѣй, прямо въ усадьбу къ пану Котырло, а прочіе биткомъ набивались въ двухъ-трехъ «панскихъ» комнатахъ заѣздныхъ домовъ, гдѣ пани и паненки торопливо переодѣвались въ праздничную, парадную «жалобу», боясь опоздать къ «набожéньству», такъ какъ на вышкѣ костельной колокольни давно уже трезвонили въ раскачивающіеся «дзвоны». Мужики въ бѣлыхъ, начисто выстиранныхъ «кошýляхъ» и въ новыхъ свиткахъ, бабы съ цвѣтными хýстками на головахъ, дѣвки въ лентахъ и въ яркихъ искусственныхъ цвѣтахъ, заплетенныхъ въ косы, и тѣ и другія съ разноцвѣтными «пацюркàми» на шеяхъ и съ неизмѣнными «шкаплéржами», выставленными нарочно напоказъ, ради щегольства, поверхъ бараньихъ «кожýшковъ» и суконныхъ «сукмянцевъ», перехваченныхъ въ таліи, все это и пѣшкомъ и на возахъ, въ плетеныхъ изъ лозы «полукòшикахъ», съ разныхъ сторонъ направлялось къ базарной площади, которая сплошь уже заставлена была возами, такъ что почти не было и проходу. Одни изъ нихъ оставались «доглядáть» возы, другіе шли «до косьціолу», третьи до «церквы́», которая, сгорбившись и покосившись отъ ветхости, тоже благовѣстила себѣ въ убогій колоколишко, гдѣ-то тамъ вдалекѣ, на выѣздѣ изъ мѣстечка, около кладбища.

«До плебаньи, на обáдекъ до пробоща», точно также какъ и «до пана Котырло» понаѣхали свои особые гости въ образѣ сосѣднихъ ксендзовъ, между которыми въ видѣ непремѣннаго и неизмѣннаго чирья, еще со вчерашняго вечера уже затесался какой-то странствующій краснорожій бернардинъ «клестражъ», «ксензъ-брацúшекъ», учуявшій нѣкимъ инстинктомъ предстоящій «обядекъ съ колдунáми, съ тушоной капустой, со старой литéвкой, пúвкемъ, міодкемъ и ксендзовскими наливками». Странствующій бернардинъ, какъ и подобаетъ смиренно-скудному служителю Божію, не имѣлъ при себѣ ничего, кромѣ своей коричневой хламиды да небольшого чемоданчика, сплошь набитаго тетрадками проповѣдей, приноровленныхъ ко всевозможнымъ празднествамъ католическаго костела. Съ этимъ чемоданчикомъ, да еще съ запасомъ всевозможныхъ «новинокъ», сплетень, «диктеріекъ» и анекдотовъ, онъ обтекалъ міръ литовскій, сказывая свои проповѣди и анекдоты, и за то получая отъ ксендзовъ и пановъ временной пріютъ, лакомый кусокъ, а иногда и подводу съ живымъ бараномъ—до слѣдующей плебаніи.

Весь проходъ отъ ограды до паперти занятъ былъ рядами нищихъ, убогихъ, хромыхъ, горбатыхъ и слѣпыхъ обоего пола, и въ ихъ средѣ голосами разными и воплями дикими раздавался нестройный хоръ всевозможныхъ «кантычекъ». Одинъ «старýшекъ подкосьцёлны» съ «ксёнжкою» и «кіемъ» въ рукахъ, разбитымъ старческимъ голосомъ завываетъ «Лазàржа».

Певны человѣкъ богаты
Въ злото, сребро, шкарлаты,
Ядалъ, пилъ, тылько танцовалъ,
Дзень и ноцъ банкетóвалъ...

Другой «старýшекъ», увѣшанный «ружанцàми, крижикàми, медаликàми и шкаплержáми», заправляетъ цѣлой партіей, которая съ ожесточеніемъ подхватываетъ за нимъ «Дзесенціору»:

А Богъ розскáзалъ: вѣржъ въ Бога еднего,
Други: имéня не бержъ дáрмо Его,
Тршѐціе: памѐнтай, бысь свѐнцилъ дни мóе,
Чва̀рте: шà нуй ойца, мàткон' твоѐн',
Пióнте: не зàбiй, шусте; не цудзóложъ,
Сюдме: не крàдній; усьме: фàльшу нѐ множъ,
А дзевенте: не пóжондай,
До цудзыхъ жóнекъ не пршисёндай.

И все это козлогласованіе покрывается въ перебой «жебрàньемъ» въ самомъ плачевномъ, скрипучемъ надоѣдливомъ тонѣ:

— Панòчку! Панѐнко! Дрогѐньки, злоцѐньки! Хоць грошичекъ на мяне бѣднаго калѣку!— причемъ къ мимоидущимъ протягиваются десятки рукъ, шапокъ, тарелокъ, и чуть лишь грошикъ попадаетъ въ которую изъ нихъ, тотчасъ же начинаются завистливые щипки, тычки, колотушки и ругань вперемежку съ «панòчку, злоцѐньки! Мáтко Бóжско!» и пр.

Тутъ же рядомъ съ нищими ютятся столики и стойки, покрытые и завѣшанные четками, крестиками, образками, пестрыми шкаплержами, литографіями Ченстоховской и Остробрамской Богоматери, распятіями, «крштелена

Digitized by Google

цѣми» и прочими предметами подобнаго рода, служащими на религіозныя потребы «доброчинныхъ католиковъ».

Коляска пана Котырло уже дважды подъѣзжала къ костелу, подвозя поочередно все его семейство, которое помѣщалось впереди всѣхъ, на особомъ видномъ мѣстѣ, гдѣ на широкомъ коврѣ было поставлено нѣсколько креселъ и стульевъ. Органъ гудѣлъ и гремѣлъ съ высоты хоръ, и голосъ пана-органисты звучалъ и разливался особенно звонко какими-то праздничными трелями, когда Хвалынцевъ вмѣстѣ съ Свиткой вошли въ костелъ. Алтарь, убранный по праздничному кружевами, букетами фальшивыхъ цвѣтовъ и рядами длинныхъ восковыхъ свѣчъ; по бокамъ главнаго и меньшихъ алтарей позолоченныя и раскрашенныя статуи разныхъ святыхъ, съ характерно-католическими физіономіями, въ какихъ-то изысканныхъ и какъ бы театральныхъ позахъ; воздѣтыя руки и плѣшивый затылокъ ксендза, облаченнаго въ кружева и въ пестрый коротенькій «ὸрнатъ», а по бокамъ его двое колѣнопреклоненныхъ мальчиковъ въ «кὸмжахъ» съ разноцвѣтными лентами на груди и съ пронзительными колокольчиками въ рукахъ; по бокамъ скамеекъ и по стѣнамъ ряды разноцвѣтныхъ «хорὸнгви» въ видѣ знаменъ, — все это, увидѣнное въ первый разъ, произвело на Хвалынцева довольно яркое и пріятное впечатлѣніе. Невольно давая себѣ въ немъ отчетъ, онъ замѣтилъ, что все въ этомъ храмѣ разсчитано на внѣшній эффектъ, все такъ и бьетъ на зрѣніе, на слухъ, на внѣшнее чувство, и не могъ не сознаться, что все это дѣйствительно хорошо и очень красиво, хотя и черезчуръ уже изысканно и декоративно.

Оглядывая молящуюся публику, которая размѣстилась по рядамъ скамеекъ, онъ тоже не могъ не замѣтить, что на скамейкахъ этихъ разсѣлось все то, что такъ или иначе причисляетъ себя къ крупной и дробной шляхтѣ: крупная шляхта впереди, дробная назади; на самыхъ же заднихъ мѣстахъ засѣдали разные офиціалисты, лакеи, горничныя, псари, егеря и вообще наиболѣе крупныя личности изъ панскихъ дворень; хлопы же смиренно тѣснились, и уже не сидя, а стоя позади всѣхъ избранныхъ и шляхетныхъ, въ полутемномъ пространствѣ подъ хорами. Всѣ эти пани и паненки въ красивыхъ и разнообразныхъ жалὸбахъ, всѣ эти солидные паны въ смушковыхъ венгеркахъ и молодые паничи въ чамаркахъ, порой старались изобразить на лицахъ своихъ напряженное чувство религіознаго экстаза (въ особенности же молодыя пани и панны), но по большей части шушукались между собою и съ видимымъ праздничнымъ удовольствіемъ глазѣли по сторонамъ, а иногда не безъ кокетства кидали какъ бы случайные взоры на молодыхъ паничей, которые въ свою очередь видимо рисовались своими небрежно-красивыми позами и щегольскими чамарками. Кто изъ нихъ хотѣлъ казаться въ нѣкоторомъ родѣ демократомъ, тотъ щеголялъ чамаркой изъ простого сѣраго сукна, а кто желалъ проявить въ себѣ тенденціи аристократическаго свойства, тотъ облекался въ драповыя или, что̀ еще грандіознѣе, въ бархатныя; но какъ аристократическія, такъ и демократическія венгерки и чамарки необходимо были съ величайшею изысканностію расшиты шелковыми снурками, такъ что въ тѣхъ и другихъ собственно сказывался лишь великолѣпный шикъ двоякаго рода: шикъ аристократическій и шикъ демократическій, —такъ сказать, шикъ Чарторыйскихъ и шикъ Мѣрославскаго.

Но если жалὸба, и оба шика, и кокетливые взгляды съ непринужденными позами, и вызываемое по временамъ напряженно-религіозное выраженіе лицъ носили на себѣ какъ-бы дѣланный и очевидно показной характеръ, то хлопы въ своемъ тѣсномъ, полутемномъ углу молились съ тупымъ, но искреннимъ фанатизмомъ, почти не вставая съ колѣнъ и то ударяя себя въ грудь кулаками, то распростираясь на полу ницъ, что̀ называется «кржижемъ». Эти оттѣнки молитвеннаго настроенія шляхты и хлоповъ сами собой сказывались слишкомъ ярко, для того, чтобы наблюдательный взглядъ свѣжаго, посторонняго человѣка, какимъ былъ теперь Хвалынцевъ, не мὸгъ сразу-же ихъ подмѣтить.

«Гдѣ-же однако народъ?» подумалось Хвалынцеву, глядя на ряды скамеекъ, переполненныхъ шляхтой, и на темное пространство подъ хорами, гдѣ тѣснилось нѣсколько десятковъ сѣрыхъ свитокъ и сукмяновъ.—Гдѣ же эти хлопы, которые такъ привержены костелу? Неужели-же тутъ вотъ и все?»

Сомнѣніе взяло Хвалынцева: ему насказали слишкомъ много, такъ что дѣйствительность, сравнительно съ разсказами, казалась теперь скудна и мизерна. «Этого быть не можетъ!» подумалъ онъ и рѣшилъ удостовѣриться собственными глазами. Для этой цѣли онъ пошелъ въ ту убогую «церквὺ», которая гдѣ-то тамъ, на выѣздѣ, какъ-бы заброшенная и заглохшая, уныло звякала въ убогій колоколишко. Ему захотѣлось посравнить и посмотрѣть, что̀ за публика собирается тамъ въ этой церкви?

— Гдѣ тутъ церковь? Это, что-ли?—спросилъ онъ у встрѣчнаго хлопа, дойдя до самой околицы.

— Але, паночку! Ось та сὰма!—пробормоталъ хлопъ, обнажая почтительно голову и указывая на ветхое, покосившееся, заплѣсневѣлое и какое-то облупленное зданіе. Хвалынцевъ не безъ изумленія окинулъ взоромъ-то, что̀ называлось храмомъ Божіимъ. Хотя и въ душѣ, и на дѣлѣ онъ признавалъ себя человѣкомъ вполнѣ индифферентнымъ къ дѣлу религіи вообще, но

Digitized by Google

тутъ—и самъ не вѣсть почему—почувствовалъ вдругъ какое-то горькое, обидное ощущеніе: эта церковь называлась въ этомъ краѣ *русскою* церковью, тогда какъ костелъ назывался *польскимъ* костеломъ. А сравненіе между тою и другимъ, при первомъ-же взглядѣ на нихъ, невольно било въ глаза, невольно и при томъ само-собою напрашивалось въ мысли: тотъ красуется на площади, на лучшемъ, на самомъ видномъ мѣстѣ селенія, а эта запрятана въ какую-то трущобку, словно-бы ее стыдно и на глаза показать добрымъ людямъ; тотъ гордо высится своими бѣлыми башнями, красуется своимъ фронтономъ и прорѣзными, причудливо-узорчатыми крестами, а эта стоитъ себѣ словно-бы пришибленная къ землѣ, и если бы не покосившійся крестъ надъ входомъ, то ее скорѣе можно-бы было принять за заброшенный хлѣбный амбаръ, чѣмъ за церковь—до такой степени во всей внѣшности ея отсутствовали признаки благолѣпія, подобающаго даже самому бѣдному храму. Привыкнувъ на всемъ знакомомъ ему пространствѣ Великороссіи встрѣчать множество церквей, то щегольски-богатыхъ новой архитектурой, то изящныхъ въ простотѣ своего древняго стиля, и во всякомъ случаѣ благолѣпныхъ, Хвалынцевъ былъ просто пораженъ этимъ четырехугольнымъ срубомъ, дѣйствительно, напоминавшимъ что-то въ родѣ амбара или сарая.

Онъ вошелъ въ притворъ и выступилъ на средину храма. Два узенькихъ оконца съ заматовѣлыми стеклами, тускло пропускавшими нѣсколько скудныхъ лучей дневного свѣта, освѣщали блѣдный иконостасикъ, съ образами какого-то смѣшаннаго характера: не то это были католическіе образа, не то православные. Тоненькія свѣчи желтаго воску теплились предъ мѣстными иконами не въ паникадилахъ, а въ какихъ-то высокихъ желѣзныхъ подсвѣчникахъ, изображавшихъ собою утвержденный на подножкѣ и увѣнчанный обручемъ прутъ, который былъ утыканъ горящими свѣчами. Эти подсвѣчники являлись, по всей вѣроятности, произведеніемъ мѣстной кузницы. Священникъ облаченъ въ убогую, старенькую, изношенную ризу; на клиросѣ нестройно поетъ дьячекъ съ какимъ-то любителемъ изъ хлоповъ и двумя крестьянскими мальчиками. И все это вокругъ такъ бѣдно, такъ скудно, такъ пришиблено!..

Хвалынцевъ оглядѣлъ молящихся, пришелъ въ изумленіе, оказавшееся, послѣ нѣкотораго размышленія, изумленіемъ поучительнаго свойства. Въ церкви было не много народа, но народъ этотъ былъ исключительно *сырой*—куда ни глянь—все однѣ только свитки хлопскія, сукмяны да кожушки, и нигдѣ ни тѣни, ни малѣйшаго признака того, что могло бы напомнить собою принадлежность если не къ шляхтѣ, то хотъ къ помѣщичьимъ дворовымъ людямъ: одни только хлопы и хлопы...

«Вотъ она *русская-то* церковь!.. Что-жъ это, однако?!..» снова подумалось Хвалынцеву, и теперь для него уже вполнѣ стали ясны тѣ мимолетныя выраженія, которыя, во время своего путешествія по Литвѣ, тамъ и сямъ удалось ему подслушать: «хлопська вяра; попъ до хлопа, плебанъ до пана».—Русскій инстинктъ, русское чувство, помимо собственной его воли, закрадывались въ душу Хвалынцева, незамѣтно подтачивая кору напускного космополитизма, и это чувство, чѣмъ болѣе теперь глядѣлъ онъ на представшую ему картину, тѣмъ глубже сказывалось какой-то обидой, какой то горечью и грустнымъ раздумьемъ. Это чувство смутно подсказывало ему, что во всемъ слышанномъ отъ Свитки и Котырло о «казенной вѣрѣ», о «казенной церкви» опять-таки кроется какая-то фальшь, какая-то утайка лицевой стороны дѣла, какая-то тенденціозная маска...

Въ церкви было холодно. По ней ходилъ сырой паръ отъ людского дыханія, который, мѣшаясь съ дымомъ ладона, наполнялъ внутренность храма какимъ-то мглистымъ туманомъ. Хвалынцевъ сталъ вглядываться въ лица молящихся, и ни въ одномъ изъ нихъ не подмѣтилъ того изступленно-фанатическаго дѣланнаго экстаза, который столь крупными чертами кидался въ глаза въ костелѣ. Здѣсь, напротивъ, общее выраженіе лицъ было обыденное и до того спокойное, что глазъ поверхностнаго наблюдателя скорѣй бы даже могъ принять его за признакъ религіознаго индифферентизма, и на это послѣднее предположеніе могло бы пожалуй натолкнуть отчасти и то обстоятельство, что многія женскія груди украшались католическими шкаплержами, въ рукахъ у нѣкоторыхъ изъ бабъ были очевидно польскіе молитвенники, а иныя изъ нихъ такъ даже и крестились поримски; но все-таки общее впечатлѣніе слишкомъ различествовало отъ впечатлѣній, только что унесенныхъ Хвалынцевымъ изъ костела.

Когда онъ пришелъ въ церковь, то засталъ почти уже самый конецъ обѣдни, которая здѣсь кончилась гораздо ранѣе костельной «мши». Вскорѣ прихожане стали выходить изъ церкви и группами останавливались, «балакая» промежъ себя въ церковной оградѣ. Вышелъ и священникъ—изъ себя поджарый, захудалый попикъ, не молодыхъ, но еще и не преклонныхъ лѣтъ, въ тощенькой шубенкѣ. Еще едва показался онъ на паперти, какъ многіе изъ хлоповъ, съ фамильярно-почтительною привѣтливостью снявъ свои шапки, подходили подъ благословленіе «пана ойца», а иные, безъ малѣйшихъ признаковъ робости или застѣнчивости, замѣчаемой въ нихъ постоянно въ отношеніяхъ съ панами и панскими офиціалистами, привѣтливо и радушно вступали съ «паномъ ойцомъ» въ разговоры, такъ что, судя по этому обращенію, можно было безошибочно предположить, что панъ ойтецъ для сѣраго хлопа свой человѣкъ, родной и близкій его быту, его жизни, его

Digitized by Google

интересамъ. Одна кучка хлоповъ, человѣкъ въ пять или шесть, отличавшаяся наибольшею солидностію, обступила священника, очевидно, прося у него какого-то совѣта, и панъ ойтецъ, степенно толкуя о какомъ-то дѣлѣ, скрылся вмѣстѣ съ ними въ низенькой двери своей начисто выбѣленной хаты.

«Да, хоть тутъ и шкаплержи у иной бабы, и два польскіе молитвенника, и кажущійся индифферентизмъ», подумалъ себѣ Хвалынцевъ, глядя на эти группы расходящагося люда, «но... все-таки Польша, кажись, не здѣсь, а тамъ, въ костелѣ... Здѣсь—одни хлопы, а тамъ биткомъ-набито шляхтой... и все-таки *здѣсь-то* ни мало не похоже на Польшу», рѣшилъ онъ самъ съ собою. «Это скорѣй же что-то свое, самобытное, если ужъ не считать его русскимъ». — Пойду еще поглядѣть на Польшу! сказалъ онъ себѣ, и снова направился къ костелу.

Пришедши туда, онъ засталъ уже на высотѣ кафедры краснорожаго бернардина, который съ сильной жестикуляціей и съ декламаторскими пріемами католическаго оратора горячо импровизировалъ какую-то проповѣдь. Голосъ его то возвышался до визга фальцетныхъ нотъ, то падалъ до глухого, гробового баса, то гремѣлъ громовыми раскатами, то стихалъ до умиленно-нѣжнаго шопота. Публика слушала его съ напряженнымъ и живымъ вниманіемъ, чутко ловя каждое слово, каждый жестъ,—и на лицахъ присутствующихъ ясно отпечатлѣвалось выраженіе какой-то мрачной, глухо-изступленной ненависти, сдавленной боли, внутренняго страданія... Многія пани и паненки утирали тихія слезы, паны слушали въ какомъ-то фанатически-озлобленномъ молчаніи, хлопы же изъ своего полутемнаго пространства подъ хорами устремляли на проповѣдника взоры, исполненные тупого вниманія. Казалось, что слово проповѣдника, главнѣйшимъ образомъ, имѣло въ виду именно хлоповъ и по преимуществу къ нимъ обращалось.

Хвалынцевъ, конечно, съ трудомъ вникалъ въ смыслъ этой рѣчи, но все-таки кое-что понялъ. Бернардинъ говорилъ о страданіяхъ Богоматери предъ крестомъ и гробомъ распятаго Христа и проводилъ параллель между Ея страданіями и мукою отчизны, которая плачетъ надъ гробомъ распятаго народа польскаго; говорилъ, что какъ Христосъ воскресъ отъ смерти, такъ и народъ польскій долженъ возстать, чтобы воскреснуть «въ рувнóсти, вольнóсти и неподлеглости изъ-подъ неволи москевскей». Для этой цѣли каждый добрый католикъ долженъ избѣгать всякаго общенія со схизматиками, даже до такой степени, что если бы въ отсутствіи ксендза пришлось какому отцу крестить своего умирающаго ребенка, то пусть лучше ребенокъ умираетъ некрещенымъ, чѣмъ принявшимъ крещеніе отъ поганой руки «схизматицкаго попа», ибо въ этомъ случаѣ чистая душа его уподобляется духу пса и утрачивается не только для Польши, но и для неба. Слово свое бернардинъ заключилъ, наконецъ, тѣмъ, что каждый добрый полякъ уже потому долженъ всѣ свои силы и средства употребить на дѣло отчизны, что и самъ Христóсъ былъ «родовиты пóлякъ» и не за что иное, какъ только за свое польское происхожденіе распятъ и замученъ жидами и москалями [1]).

Весь этотъ грубый, дубоватый фанатизмъ бернардинской проповѣди поразилъ Хвалынцева въ особенности тѣмъ, что непосредственное, прямое вліяніе его всецѣло отразилось всею своею положительною стороною не на хлопахъ, на которыхъ оно было разсчитано, а главнѣйшимъ образомъ на цивилизованной шляхтѣ. Это была для него своего рода новость, вполнѣ неожиданная: до сей минуты онъ никакъ не могъ себѣ представить, чтобы на людей, которыхъ Свитка столь многократно выдавалъ ему въ своихъ бесѣдахъ за сокъ интеллигенціи края, можно было подѣйствовать столь грубыми наркотическими средствами. На миловидныхъ личикахъ этихъ паненокъ, на физіономіяхъ всѣхъ этихъ статныхъ паничей и пановъ родовитыхъ, въ эту минуту столь ярко отпечатлѣвалось чувство фанатической ненависти, что въ источникѣ ея уже невозможно было усомниться.

«Что же послѣ этого всѣ тѣ рѣчи, которыя мы слышали!» съ горечью подумалось ему, «всѣ эти возгласы о взаимномъ братствѣ, о борьбѣ «за свободу вашу и нашу»!.. неужто опять-таки фальшь, опять лицемѣріе!?..»

Болѣзненное чувство горечи, обиды и тяжкаго сомнѣнія все болѣе и болѣе закрадывалось въ его душу; давешній космополитъ петербургскихъ болотъ здѣсь, «на Литвѣ», почти помимо собственной воли, начиналъ чувствовать себя русскимъ. Это общество было ему чуждо, и въ ту минуту онъ до поразительной ясности созналъ въ себѣ ощущеніе одиночества и полной отчужденности. Одинъ только образъ Цезарины яркими блестками мелькалъ мгновеньями въ его влюбленномъ воображеніи; но теперь этотъ образъ уже не примирялъ, а только смирялъ его внутреннюю борьбу и на минуту баюкалъ его сомнѣнія.

«Миша» была кончена. Въ костелѣ готовились къ какой-то процессіи. Молодыя паненки подняли на плечахъ своихъ парадныя носилки съ образомъ Ченстоховской Богоматери, убран-

[1]) Такого рода мысли во многихъ проповѣдяхъ того времени далеко не составляли исключенія, и даже нелѣпости, подобныя родовитошляхетному происхожденію Христа, сколь онѣ ни кажутся теперь невѣроятными, находили въ нихъ свое мѣсто. Это факты, на которые легко могутъ быть даны доказательства, тѣмъ болѣе, что въ свое время они не были пропущены даже и русскою литературою.

Digitized by Google

нымъ въ кисею, кружева и пестрыя ленты; паничи схватились за древки знаменъ и хоругвей, которыя плавно заколыхались надъ толпою своими разноцвѣтными полотнищами; предъ алтаремъ поднялся балдахинъ съ кистями, подъ которымъ помѣстился ксендзъ съ реликвіями въ рукахъ, прижатыхъ къ груди—и вотъ загудѣлъ органъ, зазвенѣли колокольчики—и всѣ присутствовавшіе разомъ опустились на колѣни.

Костелъ въ то же время наполнился громкими и торжественными звуками, въ которыхъ сразу послышалось Хвалынцеву что-то знакомое: онъ узналъ ихъ. Это былъ тотъ самый знаменитый гимнъ «Боже цось Польске», который еще столь недавно пѣла Цезарина въ тотъ роковой вечеръ и который тогда же порѣшилъ его судьбу...

Теперь тѣ же самые звуки съ изступленіемъ и силой вырывались изъ сотни человѣческихъ грудей и заглушали собою гулъ и аккорды органа. Но вотъ всѣ присутствовавшіе поднялись съ колѣнъ—и процессія медленно и торжественно двинулась вонъ изъ костела. Впереди ея сакристіянъ на длинномъ посеребренномъ древкѣ несъ распятіе, покрытое траурнымъ крепомъ; за нимъ, въ рукахъ какого-то дюжаго панича, склонялась напередъ черная похоронная хоругвь съ серебряными позументами и кистями, какъ бы осѣняя собою траурный крестъ; за этою хоругвью рядами потянулись остальные костельные стяги, паненки съ разукрашеннымъ образомъ, паны и пани съ зажженными свѣчами, мальчишки съ пронзительными колокольчиками и наконецъ самъ ксендзъ подъ балдахиномъ, благоговѣйно поддерживаемый подъ руки самимъ паномъ Котырло и вообще самыми важными, вліятельными панами околодка. Вся эта процессія, съ неумолчнымъ пѣніемъ того же гимна, при звукѣ колоколовъ, обошла вокругъ костела и остановилась въ оградѣ, неподалеку отъ главныхъ воротъ, гдѣ была вырыта довольно глубокая яма въ аршинъ окружности.

Нѣсколько дюжихъ хлоповъ, откуда ни возьмись, притащили громадный крестъ, окрашенный въ черный цвѣтъ съ бѣлыми траурными каймами по всѣмъ ребрамъ и съ какою-то надписью поперекъ продольнаго бруса. Ксендзъ пробормоталъ по книжкѣ какія-то приличныя случаю молитвы, окропилъ святою водою яму, и высокій крестъ былъ водруженъ, врытъ въ землю, забитъ клиньями и камнями, для пущей крѣпости, и наконецъ освященъ при пѣніи «Боже цось Польске».

Подъ вліяніемъ охватившаго всю душу чувства одиночества и отчужденности, Хвалынцевъ хоть и вышелъ вмѣстѣ съ толпою изъ костела, но теперь отдѣлился отъ нея и, выйдя за ограду, примкнулъ къ толпѣ сѣрыхъ хлоповъ, любопытно глазѣвшихъ на торжественно-красивое шествіе. Онъ поднялъ глаза на траурный крестъ, только-что водруженный на надлежащее мѣсто, и прочелъ на немъ крупную надпись: «Тенъ кржижъ поставіоны ту на памёнтекъ о дню 2-его марца 1861 року въ Варшавѣ».

«А, это значитъ, на память о пяти патріотическихъ жертвахъ!» вполнѣ основательно домекнулся онъ.

А въ это время изъ сотни шляхетскихъ грудей еще пуще гремѣлъ, потрясая холодный воздухъ, неизмѣнно повторяющійся припѣвъ народнаго гимна:

Пршедъ Тве олтаржи занесимъ благане:
Ойчизны вольность рачь намъ вруциць, Пане!

— Анакейка! слышь, братецъ? Цудно!.. Яй-Богу цудно!—обратился по сосѣдству съ Хвалынцевымъ какой-то сѣрый и уже подгуляв шій хлопъ къ стоявшему рядомъ съ нимъ бѣлобрысому парню.—Штойта, слышь Анакейка, паны спѣваюць, кабъ паншизна наврацилась... Яй-Богу!

— Ну-у?—недовѣрчиво обернулся на него бѣлобрысый.

— А такъ!—подтвердилъ сосѣдъ.—Вот-яна, слышь, панцизны вольнасць!..

Хвалынцевъ прислушался и точно: въ гулѣ и шумѣ смѣшанныхъ поющихъ голосовъ и ярмарочнаго гвалту у пѣвцовъ выходило какъ-будто и въ самомъ дѣлѣ *панцизна*, вмѣсто *ойчизна*.

— Ай, добрадзею, и то!—съ наивнымъ удивленіемъ согласился бѣлобрысый парень.

— Яны вже дауно пра то спѣваюць,—замѣтилъ на это кто-то изъ толпы.—Усе у Бога моляць, кабъ яна знду варацилась...

— А пекъ имъ! Бодай ихъ и зямля не пріймала бы!—прорычалъ бѣлобрысый, медвѣжевато косясь на процессію, и въ голосѣ, которымъ сказаны были эти слова, явно прозвучала нотка какой-то стародавней, накипѣлой и наболѣлой ненависти.—Пайдземъ лучшъ до кôрчмы, дабрадзею!—прибавилъ онъ, хлопнувъ по плечу сосѣда,—кабъ и не чуваць пра то!

«Вотъ тѣ и на!» подумалъ себѣ Хвалынцевъ и даже мысленно при этомъ присвистнулъ сардонически. «Это уже всего прелестнѣй! Паны объ «ойчизнѣ», а «сырой экономическій матеріалъ», вмѣсто того, знай себѣ «паншизну» чуетъ! Вотъ и поди ты тутъ!»—И онъ, хочешь-нехочешь, не могъ воздержаться, чтобы не засмѣяться при этомъ горькимъ и нѣсколько озлобленнымъ смѣхомъ.

IX.

Кіермашъ.

Послѣ сцены съ крестьянами, которую случайно и подневольно выглядѣлъ и выслушалъ

Digitized by Google

Хвалынцевъ за стѣною панской конторы, нравственому чувству его стало претить дальнѣйшее пребываніе подъ гостепріимнымъ кровомъ пана Котырло. Не находя удобнымъ въ данный моментъ пускаться со Свиткой въ интимныя объясненія по этому предмету, онъ въ тотъ же вечеръ объявилъ было ему, что хочетъ ѣхать далѣе, но Свитка, погруженный въ свои собственныя дѣла и порученія, и при томъ постоянно развлекаемый привольною жизнью въ радушной семьѣ старыхъ своихъ знакомыхъ, не имѣлъ ни времени, ни охоты вглядываться и вдумываться въ нравственное состояніе своего спутника: онъ не подмѣтилъ ни затаенной борьбы, ни сомнѣній, волновавшихъ Хвалынцева, и потому просто-напросто сталъ уговаривать его повременить отъѣздомъ еще какой нибудь денекъ-другой, съ тѣмъ, чтобы потомъ заразъ уже тронуться вмѣстѣ.

— Я еще не кончилъ тутъ своихъ порученій, а вамъ все равно, да и люди вѣдь хорошіе!—говорилъ онъ, убѣждая пріятеля остаться. Но о томъ какого рода его «порученіе»— Свитка вообще отзывался довольно глухо, а Хвалынцевъ, помня одно изъ первыхъ правилъ «организаціи»—отнюдь не вывѣдывать того, что не касается прямыхъ и непосредственныхъ обязанностей его, какъ члена, не почиталъ умѣстнымъ допытываться у Свитки о родѣ и свойствѣ его дѣлъ и порученій; онъ зналъ только, что эти порученія касаются «общаго дѣла». Но при наплывѣ тѣхъ сомнѣній, которыя неожиданными сюрпризами ставили передъ нимъ самыя простыя столкновенія съ самой обыденной житейской практикой здѣшнихъ мѣстъ, онъ чувствовалъ, что словно бы съ нимъ играютъ въ жмурки, что онъ долженъ случайно и при томъ ощупью наталкиваться на здѣшнюю фальшь и здѣшнюю правду. Эти сомнѣнія начинали втайнѣ грызть и мучить его, потому что, благодаря имъ, онъ чувствовалъ внутренній разладъ между своей однажды принятой рѣшимостью безповоротно отдаться «дѣлу» и тѣмъ голосомъ внутренней правды, который сталъ подсказывать ему, что о дѣлѣ-то собственно онъ вотъ и до сихъ поръ все еще почти понятія не имѣетъ, и что оно во многомъ, кажись, выходитъ вовсе не таково, какимъ ему старались его представить. Но... своего рода point d'honneur, вѣрность разъ данному слову и, главнѣйшимъ образомъ, обаятельное чувство къ обаятельной женщинѣ заставляли его идти впередъ безъ оглядки, и потому, самъ пугаясь своихъ сомнѣній, онъ сначала было намѣревался сгоряча ужь лучше сразу убѣжать отъ нихъ и для того поскорѣе уѣхать отсюда. Онъ сознавалъ, что это, положимъ, безхарактерно и глупо, ибо напоминаетъ страуса, прячущаго голову въ виду опасности; но въ то же время оно казалось ему и вполнѣ послѣдовательнымъ въ виду разъ даннаго обѣта. И такимъ образомъ, онъ стоялъ теперь въ нерѣшительномъ раздумьи на явившемся передъ нимъ распутьи. Однако, убѣдительныя просьбы Свитки повременить двумя днями и основательно представленные имъ резоны о крайней затруднительности путешествія одному «москалю» по незнакомому, глухому краю, заставили Хвалынцева покориться перспективѣ дальнѣйшаго пребыванія въ Червлёнахъ. Теперь же, послѣ костела и церкви, послѣ только что разыгравшейся любопытной и поучительной сценки между какимъ-то «добродзѣемъ» и «Аникейкой» и, наконецъ, послѣ столь ясно и живо сознаннаго чувства собственной отчужденности отъ всего этого шляхетскаго міра— Хвалынцеву уже самому захотѣлось попригляд'ѣться да понаблюдать по возможности болѣе этотъ мірокъ и мѣстныя отношенія. «Отъ самого себя не уйдешь», рѣшилъ онъ размышляя о всѣхъ своихъ сомнѣніяхъ, «ужь если разъ они закрались въ тебя — кончено! не выживешь! куда ни бѣги, повсюду погонятся за тобою, пока не разубѣдишься такъ или иначе!»

Послѣ довольно шумнаго и людnаго завтрака у пана Котырло, Хвалынцевъ отправился вмѣстѣ со Свиткой бродить по ярмаркѣ. Базарная площадь предъ костеломъ еще болѣе, чѣмъ давеча, загромоздилась крестьянскими возами, такъ что лавировать въ узкомъ лабиринтѣ межъ оглоблями, лошадиными хвостами, колесами и воловьими мордами было весьма затруднительно. Волы, коровы, лошади, овцы, свиньи, телята, возы, люди, солома, сѣно, гуси, индюшки —все это перемѣшалось между собою въ самомъ пестромъ безпорядкѣ. Тамъ вонъ навалена цѣлая гора новенькихъ ведеръ, боченковъ, балеекъ и кадушекъ; тутъ невыносимо сельдями воняетъ; здѣсь натыкаешься на груду горшковъ, на копу овса; справа продаютъ косы и грабли, слѣва — сапоги, валенки, полушубки, а нѣсколько далѣе разныя сласти: пряники, фиги, орѣхи; вотъ повесло съ одной стороны дегтемъ, съ другой — цыбулькой; а тамъ вонъ пестрѣетъ «панскій товаръ»: яркія ленты, ситцевые платки и шерстяныя матеріи; тамъ шапки и картузы; тамъ кнуты и ободья, колеса, сани, и тутъ же толкутся бабы и молодицы, какія-то шляхтянки, какіе-то солдаты. Городскіе барышники и наѣзжіе паничи въ венгеркахъ, съ арапниками въ рукахъ, шныряютъ между возами и прицѣниваются по преимуществу къ конямъ. Земскія власти, въ родѣ войтовъ и сотскихъ, степенно похаживаютъ съ кнутиками и дубинками. Полѣсовщики, съ охотничьими барсуковыми сумками черезъ плечо, стараются сбыть пристрѣленнаго зайца или дикую козу. Евреи снуютъ во всѣ стороны съ вѣчною своею хлопотливостью и гвалтомъ, въ-явѣ олицетворяя собою изреченіе царя Соломона: «суета суетъ

Digitized by Google

и всяческая суета». Нищіе слѣпцы усѣлись на самомъ бойкомъ мѣстѣ и въ цѣлыхъ шесть глотокъ что есть мочи деруть своего «Лазаржа», и вмѣстѣ съ ихъ гнусавымъ пѣніемъ несется по площади ржаніе жеребятъ, коровье мычаніе, хрюканье и визгъ огорчаемыхъ поросятъ, гусиный гоготъ, гулъ людского говора и разнообразные крики, а наипаче всего гвалтъ жидовскій — безконечный, всеодолѣвающій, повсюду слышимый и непрерывный. Вотъ какая-то хмельная баба, верхомъ на лошаденкѣ, избоченясь, продирается сквозь толпу, встрѣчаемая и сопровождаемая громкимъ смѣхомъ, а рядомъ съ нею выплясываетъ трепака загулявшій хлопъ, подъ звуки визгливой скрипицы, пріобрѣтенной отъ какого-нибудь захожаго солдатика. Двое другихъ хлоповъ обнявшись слѣдуютъ за плясуномъ и усердно подпѣваютъ ему:

Чики, чики, чичику
Ѣдзець баба на быку,
Пытается у Василя
Чи далеко до сяла?
Ахъ ты баба косовóка
Видзишь, сило недалека!

Публика, глядя на нихъ, утѣшается и сопровождаетъ всю эту компанію дружнымъ, одобрительнымъ смѣхомъ.

Проходя мимо одной корчмы, пріятели наши заслышали звуки диковатой музыки.

— Зайдемъ-ка, поглядимъ: это любопытно,— предложилъ Свитка.

Хвалынцевъ съ удовольствіемъ согласился, и они въ ту же минуту очутились въ дымной пропитанной винными парами атмосферѣ довольно просторной комнаты, въ которой скучилось человѣкъ шестьдесятъ народу. Въ углу, подлѣ шинкарскаго стола, помѣщались музыканты: старикъ еврей бойко дѣйствовалъ руками на цымбалахъ, молодой еврейчикъ съ увлеченіемъ, раскачиваясь всѣмъ корпусомъ и закидывая назадъ растрепанную голову, лихо пилилъ на скрипицѣ, а другой азартно гудѣлъ на бубнѣ. Нѣсколько паръ, гдѣ молодица съ парнемъ, а гдѣ и просто баба съ бабой, обнявшись подъ руки другъ съ другомъ, танцовали, такъ называемые «кружки», нѣчто въ родѣ вальса, и при этомъ подпѣвали себѣ въ ладъ коротенькія пѣсни.

Ахъ ты мати мая,
А я дочка твая,
Чамужъ мяне не учила
Якъ я маленька была?

притапывая каблуками и манерно склоняя на бокъ голову, голосила одна разбитная молодица, а здоровенный «дзѣцюкъ», недавая ей кончить, подхватывалъ на перебой:

Дзѣвчиначка го, го, го!
Люби мяне голаго:
Я сарочки не маю
Жаницися думаю.
Якъ сарочку здабуду,
Жаницися не буду.

А въ это же самое время другой «дзѣцюкъ», не обращая ни малѣйшаго вниманія ни на музыку, ни на танцы, сидѣлъ облокотясь обѣими руками на столъ, предъ своей кружкой пива, и проливая, повидимому, совершенно безпричинныя слезы, зычно горланилъ себѣ особую, самостоятельную пѣсню:

Забалѣла галава адъ зяленаго вина;
Сабералась галава до слауна горада Масквы,
А на той же на Масквѣ долга улица широка..

Хвалынцевъ съ живѣйшимъ любопытствомъ прислушивался ко всѣмъ этимъ пѣснямъ, къ ихъ своеобразнымъ напѣвамъ, въ которыхъ неизмѣнно слышится что-то тягостное, тягуче-тоскливое, но въ которыхъ однако же чутко сказывалось ему какъ будто что-то свое, знакомое, родное...

— Гей! музыка! Кабъ цѣ ободрáна кабыла споткáлася! Грай казачка! Казачка, кажу! Танцоваць хачу! — хлопнувъ ладонью по столу и вытеревъ сермяжнымъ рукавомъ слезы, поднялся съ мѣста парень, только что пѣвшій про Москву, и затѣмъ, раздвинувъ танцующія пары, выступилъ на середину комнаты и выбралъ себѣ пьяненькую партнерку, которая, руки въ боки, помѣстилась напротивъ него.

Музыка не заставила долго просить себя и тотчасъ же грянула «казачка». Дзѣцюкъ, прислушиваясь къ звукамъ, подергивалъ въ тактъ плечами, а молодица сѣменила на мѣстѣ, какъ вдругъ онъ рванулся отчаянно впередъ, взмахнулъ рукою, схватился за пасмы волосъ своихъ и пошелъ, и пошелъ работать и отчеканивать то носкомъ, то каблуками, съ самымъ серьезнымъ и даже мрачнымъ выраженіемъ лица.

А по корчмѣ раздавалась разухабистая, лихая пѣсня:

Ой, ты, дзѣвка, лебѐдка мая
Сподобалася мнѣ паходка твая!
Якъ ты идзѣшь, то мнѣ мило глядзѣць,
Якъ ты сядзѣжь, мае сердцо дрыжиць,
Якъ ты ходзишь, дакъ ты цѣшишь мяне,
Якъ ты станешь, дакъ смѣшишь мяне!

Но вдругъ дзѣцюкъ остановился, не кончивъ и даже какъ-то разомъ оборвавъ свою пляску. Онъ перевалисто, медвѣжеватыми шагами воротился на свое прежнее мѣсто, отодвинувъ съ него какого-то хлопчика, и снова подперевъ голову обѣими руками, сосредоточенно понурился надъ своей недопитой квартой пива. Черезъ нѣсколько минутъ, всѣ такъ же, ни на кого не обращая вниманія и съ тѣмъ же мрачнымъ выраженіемъ лица, онъ вдругъ, словно бы былъ совсѣмъ одинъ въ этой горницѣ, заголосилъ себѣ новую пѣсню:

Digitized by Google

Ой, сподъ Слуцка, та сподъ Клецка
Ѣзде дружба [1]) модецка,
Одъ княжати изъ-подъ Минска,
Воюваци мѣста Пинска,
Мѣста Пинска воеваци,
Отъ Ляховъ обороняци
Хоць прійшли не дали рады: [2])
Погинули усѣ отъ здрады. [3])
А я пойду у постъ вяликій
До Турова, до владыки,
Щобъ молебну одслужици,
Да й покаюсь за грѣхи,
Дзень и ноцъ буду малици,
Дзень и ноцъ буду прасици,
Кабы сгинули Ляхи.

— И вы говорите, что это не Русь!—не выдержавъ себя, наконецъ, съ дружескимъ укоромъ обратился къ Свиткѣ Хвалынцевъ, долго съ серьезнымъ вниманіемъ присматривавшійся и прислушивавшійся къ этой пѣснѣ.—И вы хотите доказать, что это... (онъ не договорилъ и замялся на минуту). Ахъ, любезный дружище! кой-чортъ! Это просто та же самая наша Русь сиволапая! Какъ и вездѣ—все одна и та же!

Свитка улыбнулся съ легкой ироніей.

— Вы полагаете?—проговорилъ онъ самоувѣренно, авторитетнымъ тономъ.

— Не полагаю, я убѣждаюсь,—со вздохомъ подтвердилъ Хвалынцевъ. — Пѣсня не вретъ, а вы вслушайтесь въ эту пѣсню: въ ней все, и звуки, и складъ, и пошибъ, все это русское, наше. Да и дѣтина-то этотъ горланитъ себѣ, небойсь, не про Варшаву, а про «славный городъ Москву», чай, сами слыхали? И мнѣ кажется, какъ вы съ этимъ народомъ не бейтесь, ничего вамъ противъ этого не подѣлать!

— Ну, это еще бабушка на́двое сказала!—съ тою же самоувѣренною ироніею замѣтилъ Свитка.

— На́двое?.. Ой-ли?.. Глядите, не ошибиться бы намъ!.. Вѣдь эта бабушка — сама жизнь, понимаете ли, *жизнь*, а тутъ она становится чуть-ли не въ разрѣзъ съ нами.

— А давеча въ костелѣ? что?!..

— Въ костелѣ?.. А давеча въ церкви?—скажу я вамъ на это.

У Свитки чуть замѣтно дрогнули углы губъ и нахмурились брови, отъ какого-то непріятнаго, скрытаго чувства.

— А вы были тамъ?—какъ бы совсѣмъ равнодушно спросилъ онъ Хвалынцева.

— Былъ-съ; и тамъ и здѣсь—въ обоихъ.

— Ну, и что же?

— А то, что коли ужъ говорить откровенно, хотьна Литвѣ, по вашему, народъ—это шляхта, а эта сѣрочь,—«простой экономическій матеріалъ», говоря вашими же словами, но...

— Что же «но»?—съ худо скрытой досадой улыбнулся менторъ.

— Но... но чѣмъ больше вглядываюсь, тѣмъ больше убѣждаюсь, и просто чую моимъ русскимъ инстинктомъ, что онъ, этотъ «экономическій матеріалъ», не пойдетъ вмѣстѣ съ нами!

— Не пойдетъ охотой, все равно пойдетъ силой,—съ спокойною увѣренностью проговорилъ Свитка.

— Силой? Да кто же его заставитъ? Ужь не шляхта-ли?

— Къ чему же шляхта? На это есть у насъ другіе факторы: русское правительство заставитъ.

Хвалынцевъ не безъ изумленія посмотрѣлъ ему въ глаза и, въ виду этого самосознательно увѣреннаго, спокойнаго тона, невольно разсмѣялся.

— Qui vivra, verra!—пожавъ плечами, отвѣтилъ на его смѣхъ пріятель.

X.

Панское полеванье.

На другой день, еще на разсвѣтѣ, часовъ около шести, казачекъ явился въ опочивальню нашихъ пріятелей и сталъ настойчиво будить ихъ. Хвалынцеву хотѣлось еще понѣжиться въ томъ сладкомъ снѣ, который всегда одолѣваетъ подъ утро не въ пору разбуженнаго человѣка, но Свитка быстро вскочилъ съ сѣнника и, поёживаясь отъ легкаго холода, проворно сталъ надѣвать сапоги и мыться, чтобы поскорѣй разогнать остатки одолѣвавшей дремоты.

— А ну-те бо! вставайте, вставайте! Нечего нѣжиться! На службѣ вѣдь вамъ этого не позволятъ!—тормошилъ онъ Хвалынцева, наскоро совершая свой туалетъ.—Слышите, вонъ ужь охотники собрались, ружья справляютъ, собаки визжатъ... Да и кони-то никакъ готовы! Ну, ну просыпайтесь! Полно вамъ въ самомъ дѣлѣ! Ясю! давай пану одѣться!

Хвалынцевъ, наконецъ, преодолѣлъ свою дремоту и вскочилъ съ постели.

Подъ окнами на дворѣ, дѣйствительно, слышенъ былъ звонкій, веселый визгъ собакъ, забираемыхъ на смычки, фырканье и топотъ засѣдланныхъ коней, громыханье колесъ о промерзлую почву и разные людскіе голоса, говоръ, возгласы, споры и распоряженья. Хвалынцевъ приподнялъ соломенную мату и, протеревъ запотѣлое стекло, вглядчиво прищурилъ глаза: сквозь утренній туманъ на дворѣ было замѣтно большое движеніе: псари, егеря, кучера, лакеи и всякая дворовая челядь хлопотливо и спѣшно снаряжалась къ охотѣ. Судя по этому легкому туману, день обѣщалъ быть хорошимъ, съ легкимъ, бодрящимъ морозцемъ. Ага! да кромѣ изморози, и легкій снѣжокъ еще выпалъ—первый ноябрьскій снѣгъ—и бѣлою скатертью сплошь запушилъ крыльцо съ протоптанными свѣжими, мокрыми слѣдами, соло-

[1]) Дружина, рать.
[2]) Помощи, пособія.
[3]) Измѣны.

Digitized by Google

менныя крыши, обширный дворъ и тамъ вдали, за греблей, широкія поля на отлогихъ косогорахъ. Слава Богу! самый подходящій денекъ для доброй охоты! Видъ этого свѣжаго перваго снѣга, паръ, валившій изъ конскихъ ноздрей, веселый визгъ слегка озябшихъ собакъ, суета людская на дворѣ и легкій холодокъ въ комнатѣ, гдѣ остывшая за ночь печка не давала уже тепла, все это произвело на Хвалынцева бодрящее, веселое впечатлѣніе, и онъ, съ невольной улыбкой въ лицѣ и съ ощущеніемъ легкаго здороваго озноба во всемъ тѣлѣ, поспѣшно сталъ натягивать свое платье. За стѣною, въ панской конторѣ, тоже слышались негромкіе голоса и щелкали осматриваемые курки; шомпола шипѣли въ дулахъ, загоняя пыжи изъ пакли; дробь и картечь съ мелкимъ рокотомъ сыпались въ стволы; поминутно скрипѣла и хлопала дверь, то впуская то выпуская кого-нибудь изъ охотниковъ и каждый разъ при этомъ напуская въ комнату утренняго холода, который рѣзкимъ ощущеніемъ давалъ себя чувствовать даже сквозь щели перегородки, отдѣлявшей отъ конторы комнату нашихъ пріятелей.

Менѣе чѣмъ въ четверть часа Хвалынцевъ былъ уже готовъ: затянулъ ремнемъ свою дубленку, и черезъ темныя сѣни переступилъ порогъ конторы. Тамъ онъ нашелъ станового, пана Шпарагу, который былъ страстнымъ охотникомъ, и пана Косача, который хотя охотникомъ и не былъ, но отъ компаніи не отставалъ. Либеральный панъ посредникъ, несмотря на столь раннюю пору, уже успѣлъ облечься въ изящный англійскій охотничій костюмъ и, попивая чай съ коньякомъ, наблюдалъ, какъ его лакей, тоже одѣтый по-охотничьи, заряжалъ его дорогую лондонскую двухстволку. Двое старосвѣтскихъ пановъ, панъ Хомчевскій и панъ Прындичъ, очевидно привычные и бывалые охотники, вырядились по-свойски: въ русскія кеньги да въ теплые полушубки, и никому кромѣ самихъ себя не довѣряя заряжать свои старыя винтовки, закусывали на дорожку копченымъ саломъ и запивали его изъ «добрыхъ килишковъ» «гданскою» водкою. На столѣ, посреди разнокалибернаго прибора, носившаго на себѣ явный характеръ спѣшнаго холостого безпорядка, шипѣлъ уёмистый самоваръ, и Хвалынцевъ съ величайшимъ удовольствіемъ хватилъ стаканъ горячаго чаю.

Въ костелѣ звякалъ колоколъ: это панъ Котырло, какъ добрый, старый охотникъ, свято исполнявшій всѣ традиціи и обычаи заправскаго «полеванья», еще съ вечера заказалъ ксендзу на утро литію святому Губерту, покровителю охоты, и теперь ксендзъ исполнялъ приказъ своего пана.

Хвалынцеву тоже одолжили кое-какое старенькое одноствольное ружьишко, на замкѣ котораго онъ прочелъ россійскую надпись «Тула». Черезъ полчаса, одинъ изъ псарей явился доложить, что все уже готово. Старосвѣтскіе паны вмѣстѣ со становымъ Шпарагой наскоро пропустили еще по одному килишку — и вся компанія высыпала на дворъ. Псари съ доѣзжачимъ, на кое-какъ засѣданныхъ клячахъ, вытянулись предъ крыльцомъ въ одну шеренгу; впереди ихъ на сворахъ, переминаясь на молодомъ снѣгу и поджимая съ холоду ноги, повизгивали и облизывались собаки. Далѣе стояли запряженныя повозки, брички и нетычанки; изъ нихъ однѣ были приготовлены для охотниковъ, которые предпочитали ѣхать въ экипажахъ, а другіе дожидались выхода дамъ. Пани и паненки тоже хотѣли присутствовать на охотѣ, но, по всегдашнему обыкновенію запаздывать при раннемъ вставаньи, въ настоящій моментъ были еще неготовы, справляясь со своимъ туалетомъ. Нѣсколько коней, по большей части изъ кавалерійскаго брака, стояли у крыльца, засѣданные,—который англійскимъ, который казацкимъ, а который и Богъ вѣсть какимъ сѣдломъ, въ ожиданіи панства. Но вотъ, появился на крыльцѣ самъ панъ Котырло съ персидскимъ кинжаломъ за поясомъ, съ буйволовымъ рогомъ черезъ плечо и съ черкесской нагайкой въ рукѣ. Опытнымъ, строгимъ глазомъ окинулъ онъ всю охоту, пожалъ руки гостямъ, кивнулъ головою остальнымъ охотникамъ, почтительно снявшимъ свои шапки, и вскарабкавшись на подведенную ему сѣрую кобылу, набожно перекрестился и далъ знакъ трогаться со двора. Охотники, крестясь и нахлобучивая шапки, при радостномъ визгѣ и лаѣ собакъ, потянулись вслѣдъ за паномъ Котырло, который, какъ и всегда въ подобныхъ случаяхъ, никому не уступалъ почетнаго званія маршалка охоты. Хвалынцевъ съ Василіемъ Свиткой, предпочитая ѣхать въ таратайкѣ, тронулись вслѣдъ за другими, вмѣстѣ съ фурой, въ которой помѣщались съѣдобные запасы, выпивка и походная кухня.

Охота, какъ видно, готовилась на славу, потому что по дорогѣ, выѣзжая то на встрѣчу, то съ боковыхъ проселковъ, время отъ времени, присоединялись къ главному корпусу новые охотники,—кто въ повозкѣ, кто верхомъ со сворами,—почтительно кланялись пану Котырло, какъ главнокомандующему соединенныхъ силъ, пріятельски здоровались съ остальными и, весело болтая, смѣшивались съ пестрою толпою пановъ, псарей и доѣзжачихъ.

Спустя около получаса, всю эту компанію нагнали и экипажи съ дамами. Веселыя, разрумянившіяся на утреннемъ холодкѣ лица паненокъ и ихъ звонкое молодое щебетанье тотчасъ же послужили значительной приманкой для многихъ охотниковъ, особенно изъ тѣхъ, кто побойчѣй да помоложе, такъ что они со всѣхъ сторонъ облѣпили своими конями дамскіе экипажи и, разсыпаясь въ тысячахъ ло-

Digitized by Google

безностей и комплиментовъ, старались заставить гарцовать своихъ Россинантовъ и вообще заботились о томъ, чтобы держаться какъ можно болѣе лихими молодцами.

Хвалынцевъ не безъ улыбки оглядывалъ этотъ кортежъ, да по правдѣ сказать, нельзя было и не улыбнуться: молодые паничи и даже нѣкоторые изъ солидныхъ пожилыхъ пановъ снарядились словно бы не на охоту, а на непріятеля. У кого за поясомъ торчалъ ятаганъ турецкій, у кого револьверъ, у кого въ кабурахъ пара дѣдовскихъ пистолей, у кого даже сабля или шашка съ боку, и всѣ при этомъ еще съ ножами, съ кинжалами, съ ружьями, винтовками, двухстволками, а нѣкій пожилой панъ, выѣхавшій къ охотѣ съ одного проселка, вмѣстѣ съ двумя своими гайдуками, явился даже одѣтымъ въ уланскій колетъ, съ красными отворотами, съ лядункой черезъ плечо, въ старой, Николаевскаго времени, уланской шапкѣ съ помпономъ, отъ которой спускались на спину шнурки серебряныхъ этишкетовъ; съ боку у него лязгала кавалерійская сабля, а разбитый на ноги конь былъ засѣданъ съ уланскимъ вальтрапомъ. Панъ отдалъ всѣмъ подъ козырекъ, по-военному, и, стараясь держать посадку, то и дѣло закручивалъ свои сивые нафабренные усы. Несмотря на посинѣлое отъ мороза лицо, онъ стоически переносилъ холодъ, предпочитая красоваться въ своемъ кургузомъ колетѣ, коротенькія фалдочки котораго преуморительно шлепали на рыси объ жирныя, круглыя ляшки воинственнаго пана; и самъ онъ при этомъ тоже грузно шлепалъ въ сѣдло, встряхиваясь всѣмъ корпусомъ и эполетами. Несмотря на то, что былъ давно уже въ отставкѣ, эксъ-уланъ все-таки не воздержался, чтобы ради этакого парада не напялить на себя закоптѣлые отъ времени эполеты. Это былъ панъ Копецъ, титулуемый не иначе какъ «паномъ пулковникомъ», хотя на самомъ дѣлѣ былъ только ротмистромъ въ отставкѣ.—Панъ пулковникъ знаменитъ былъ на весь околодокъ воинственнымъ жаромъ своихъ гиперболическихъ разсказовъ о баснословныхъ дѣлахъ и невѣроятныхъ подвигахъ былого времени. Только иногда онъ сбивался въ показаніяхъ, говоря, что служилъ то въ знаменитыхъ «чвартакахъ», то въ «уланьскей легіи рабовъ ойчизны», тогда какъ въ сущности, самая служба его началась гораздо позже 1831-го года, и всѣ это очень хорошо знали, но тѣмъ не менѣе всѣ любили пана пулковника за его воинственный жаръ и даже съ увлеченіемъ шляхетнаго гонора слушали его разсказы.

Къ пану пулковнику тотчасъ же пристроились человѣкъ дѣвнадцать всадниковъ, и онъ не приминулъ построить ихъ на ходу въ одну шеренгу, а самъ, ставъ передъ ними и преуморительнымъ образомъ, сбиваясь въ командныхъ словахъ, давно уже имъ полузабытыхъ и наполовину присочиняемыхъ, браво и громко командавалъ всей этой ватагѣ:

— Швадронъ! У право по трши заѣдзь! Прамо, дырэкція у право!.. Швадронъ! до фронту тршимай! Маршъ!

И всѣ эти паны и паничи, въ своихъ разнообразныхъ чамаркахъ, венгеркахъ и дубленкахъ, со всѣмъ своимъ разнокалибернымъ оружіемъ, то и дѣло дергая поводьями коней, но неизмѣнно стараясь при этомъ гарцовать и красоваться на виду у дамъ, повидимому, самымъ серьезнымъ образомъ подчинялись импровизированной командѣ пана пулковника и продѣлывали разныя эволюціи: то вдругъ заѣзжали по три, то справа рядами, то строили фронтъ,—и панъ пулковникъ, видимо войдя въ роль командира, хвалилъ ихъ самымъ начальственнымъ тономъ. Но вдругъ онъ выхватилъ свою саблю и, закричавъ «швадронъ! пики къ ата-а-кѣ!.. маршъ-маршъ!» всадилъ шпоры коню и, неистово размахивая саблей, пустился въ карьеръ вдоль по вспаханному полю. «Швадронъ» во весь опоръ, съ гикомъ и крикомъ, бросился за нимъ. Раздалось вдругъ нѣсколько выстрѣловъ. Но громче всѣхъ гремѣлъ голосъ пана пулковника.

— Напршудъ, панове!.. за мной!.. Бей! коли!.. руби!.. шахъ-махъ!.. Гопъ-гопъ!.. «Маршъ маршъ, Хлопицькій, а за нимъ Дембицькій»!.. «Еще Польска не згинэла»!.. За мной!

Богъ вѣсть, до какихъ поръ продолжалась бы вся эта потѣха, если бы панъ Котырло, съ досадливой миной на недовольномъ лицѣ, не остановилъ своимъ властнымъ маршалковымъ крикомъ воинственную компанію, выговаривая ей, что неумѣстными, преждевременными выстрѣлами они только звѣрину попугаютъ и безъ толку коней потомятъ, такъ что и вся охота, пожалуй, пойдетъ ни къ чорту.

Алежь знатно, пане, москаля побили! Доскона!е!—покручивая усъ, похвалялся панъ пулковникъ, возвратясь со своею пестрою ватагою къ дамскимъ экипажамъ. Паненки вполнѣ одобрили его воинственный жаръ, за что онъ отблагодарилъ ихъ кавалерійскимъ салютомъ своей сабли. Паничи тоже казались необычайно довольны подвигомъ своей побѣдоносной атаки на москаля и съ гордо самодовольными улыбками присоединялись къ эскорту дамскихъ экипажей.

— Экъ имъ любо-то въ солдатики играть!— говорилъ въ это время Хвалынцевъ своему пріятелю. —Ради чего все сіе бысть, однако? И ради чего этотъ баринъ въ какомъ-то шутовскомъ нарядѣ выѣхалъ, скажите мнѣ, пожалуйста?

Свитка немного поморщился.

— Что жь, тутъ дурного ничего нѣту, — процѣдилъ онъ сквозь зубы.

— Дурного нѣтъ, но смѣшного много.

Digitized by Google

— Какъ кому!.. А по-моему и это не лишнее: можетъ пригодиться.

Хвалынцевъ недовѣрчиво засмѣялся.

— Ну, полноте!—сказалъ онъ,—серьезный вы человѣкъ, а говорите неподобное! Вѣдь не научитъ же такая потѣха и взаправду бить москалей!

— Все-таки... это... это духъ воспитываетъ.

— Хм... Развѣ что духъ!—помолчавъ, согласился Константинъ, видя, что тонъ и направленіе его замѣчаній не нравятся Свиткѣ.

Межъ тѣмъ компанія прибыла уже на условный пунктъ, къ опушкѣ Карначевской рощи. Эта небольшая роща, въ которой на обычномъ мѣстѣ тотчасъ же расположился поваръ съ походными таганцами и вертелами и со всею своею фурою, должна была, по заранѣе составленному плану, находиться въ тылу линіи охотниковъ. Шагахъ въ пятистахъ отъ нея синѣлъ сосновый боръ, извѣстный подъ именемъ «Вишóвника». Когда Хвалынцевъ, озадаченный странной этимологіей этого слова, освѣдомился у своего возницы, откуда происходитъ и что́ обозначаетъ это странное названіе,то тотъ весьма наивно и просто отвѣтилъему:

— А то, паночку, гля таво, што въ ёмъ спакуль вѣку усё вѣшаютца... гля таво й Вишóвникъ.

— То-есть какъ это вѣшаются?—переспросилъ Константинъ, оставаясь въ нѣкоторомъ недоумѣніи предъ такимъ объясненіемъ.

— А такъ, якъ усягды!—тѣмъ же тономъ отвѣтилъ возница,—на поясцу, чи на вяро́вци... захлястнець за сукъ, пятлю сдѣлаець, та й гатова!

— И много тутъ вѣшалось?

— А усѣ, кому го́ро яко́, аль такъ сабѣ ма́рно жиць на свѣци...

— И давно ему такое прозваніе дано?

— А дауно. Ще й отъ дзѣдоу зосталося... То здауна такъ, паночку!

Хвалынцевъ пожалъ плечами.

— Чего вы?—озирнулся на него Свитка.

— А того, что сколько ни жилъ въ Россіи,— отвѣчалъ Константинъ,—и въ скольких мѣстахъ ни перебывалъ, но, ей-Богу, нигдѣ не встрѣчалъ такого характернаго названія!

— Не доводилось, значитъ, — замѣтилъ Свитка.

— Да!.. А вотъ здѣсь довелось!—съ нѣкотораго рода маленькимъ злорадствомъ отпарировалъ Хвалынцевъ, понявъ изъ тона Свитки сокровенный смыслъ его замѣчанія, которымъ онъ хотѣлъ сказать, что и въ Россіи молъ тоже самое. Всѣми этими случайностями, на-лету подхватываемыми свѣдѣніями обогащалась сокровищница знакомства Хвалынцева съ хваленою Литвою.

Между Карначевскою рощею и Вишóвникомъ, почти по самой опушкѣ, растянулась полукруглою линіею длинная цѣпь охотниковъ, занявшая собою отъ одного фланга до другого разстояніе версты въ полторы, коли не больше. Хвалынцеву досталось мѣсто при самой дорогѣ, которая, пролегая мимо Карначевской рощи, уходила въ глубь сосноваго бора. Онъ выбралъ себѣ наиболѣе удобный пунктъ, около старой, опаленной и разбитой грозою сосны, которая одиноко высилась своимъ искалѣченнымъ стволомъ надъ мелкимъ хвойнымъ кустарникомъ, и довольно удобно примостился за ея прикрытіемъ, въ огражденіе себя отъ чуткаго вниманія зоркаго звѣря. Наторенный проселокъ, со своими двумя глубокими колеями, пролегалъ отъ него шагахъ въ пяти, не болѣе. Вправо и влѣво отъ себя, шаговъ на пятьдесятъ разстоянія, Хвалынцевъ могъ видѣть двухъ сосѣднихъ стрѣлковъ, которые оба принадлежали, кажись, къ дворнѣ пана Котырло. «Если и дамъ промахъ, значитъ, тѣ поддержатъ», подумалъ себѣ Константинъ, не имѣвшій претензіи считать себя ни особенно ловкимъ, ни особенно опытнымъ и страстнымъ охотникомъ. Онъ въ охотѣ всегда любилъ болѣе окружавшую его природу и потомъ хорошій способъ убить праздное время не безъ пользы для собственнаго здоровья.

Въ воздухѣ было тихо и чуялся легкій морозецъ. Въ лѣсу тоже стояла тишина невозмутимая, только вѣтеръ порою съ легкимъ шумомъ тянулъ по вершинамъ. Прошло съ добрый часъ времени съ тѣхъ поръ, какъ Хвалынцевъ занялъ свое мѣсто подъ опаленною сосною. Вдругъ далеко-далеко въ лѣсу послышался короткій лай собаки. Чрезъ нѣсколько мгновеній къ нему присоединился другой собачій голосъ, къ другому третій, а тамъ еще и еще, и минуты черезъ три лѣсъ огласился знакомою переливчатою музыкою... Гончія дружно вели по звѣрю. Хвалынцевъ заботливо осмотрѣлъ свой курокъ и прислушался: направленіе собачьяго лая казалось значительно лѣвѣе... «Далеко; не на насъ ведутъ»... Въ эту самую минуту ухо его различило другой, совсѣмъ посторонній звукъ. Онъ обернулся и увидѣлъ, что позади, приближаясь къ нему, громыхаетъ по замерзлымъ колеямъ легкая повозка, запряженная въ одну лошадку. По морозцу лошадка бѣжала бойко, такъ что повозка приближалась довольно быстро. Вдругъ сосѣдній стрѣлокъ справа неистово замахалъ на нее руками, какъ бы желая остановить, но видя, что это не помогаетъ, рѣшился наконецъ закричать въ полголоса, продолжая свою жестикуляцію:

— Стой!.. Стой!.. Назадъ!.. Невольно!.. Н - вольно далѣй!.. Пречь зъ колѣи!

Повозка почти приблизилась къ тому мѣсту, гдѣ стоялъ Хвалынцевъ.

— Тпрру-у!..Тпруу-ся!—послышался изъ нея недовольный голосъ. Лошадка стала и отфыркнулась.

Digitized by Google

Хвалынцевъ обернулся и увидѣлъ священника, того самаго, какъ показалось ему, который вчера служилъ обѣдню въ Червленской церкви. Онъ одинъ сидѣлъ въ своей повозкѣ и самъ правилъ.

— Полеванье, запѣвне?—началъ было онъ по-польски, замѣтивъ Хвалынцева и приподнявъ ему свою широкополую шляпу.

— Да, батюшка, охота—отвѣчалъ тотъ по-русски.

— Такъ-съ... проѣхать, значитъ, не можно?

— Не знаю, право... Вѣроятно, нельзя. Потому облава съ той стороны — сюда, значитъ, гонятъ.

— Такъ-съ... Хм... Какая жь досада, право!—со вздохомъ прицмокнувъ языкомъ, проговорилъ священникъ, безразлично осматриваясь въ лѣсъ и по сторонамъ озабоченнымъ взглядомъ.

— А вамъ очень спѣшно?—спросилъ Хвалынцевъ.

— Да надо бы... болящій тутъ у меня одинъ—вотъ въ Минькахъ, за лѣсомъ тутъ... версты четыре будетъ.

— Такъ вы что́ же, навѣстить?

— Да; лекарствице везу...

— Сами лечите?—продолжалъ разспрашивать Хвалынцевъ, который, соскучившись стоять болѣе часу на одномъ мѣстѣ и слыша по лаю, что звѣря гонятъ совсѣмъ въ другую сторону, радъ былъ случаю развлечься немножко болтовнею съ постороннимъ человѣкомъ, который къ тому же представлялъ собою для него нѣкоторый интересъ, какъ русскій священникъ этого края.

— Да-съ, врачуемъ съ Божьею помощью,—скромно и просто отвѣчалъ тотъ.— Медиковъ-то по ближности нѣтъ, ну да не всегда и ѣдутъ они охотно къ селянину... Такъ вотъ по необходимости... и тѣмъ паче своего прихода. А вы, осмѣлюсь полюбопытствовать, сдается мнѣ, русскій?—съ нѣкоторою застѣнчивостью вдругъ спросилъ онъ.

— Русскій, батюшка. А что́?

— Такъ, по выговору слышно. Очень пріятно... Знаете, въ здѣшнемъ краѣ это на рѣдкость, если кто изъ Россіи. Вѣрно на службу прибыть изволили?

— Нѣтъ, батюшка, проѣздомъ... Совсѣмъ случайно попалъ.

— Сродниковъ, значитъ, или знакомыхъ имѣете?

— Да вотъ почти только что познакомился. У попутчика моего тутъ знакомые, а я ужь такъ только съ нимъ.

— Такъ-съ, такъ-съ,—раздумчиво проговорилъ священникъ, вглядываясь вдаль дороги все тѣмъ же безразличнымъ взглядомъ.—Вчера, если не ошибаюсь,—вдругъ прибавилъ онъ, привѣтливо обращаясь снова къ Хвалынцеву,—въ церкви нашей изволили быть... сдается мнѣ, будто примѣтилъ за обѣдней...

— Какъ же, батюшка, былъ,—словоохотливо подтвердилъ Константинъ. — Это первая еще церковь, въ которой мнѣ довелось быть въ здѣшнемъ краѣ.

— Церкви-то вообще здѣсь не богатыя,— замѣтилъ священникъ, какъ бы извиняясь въ нищенской внѣшности своего храма.

— Зато костелы, кажись, очень богаты?

— Костелы... Н-да, костелы богаты... Ну, да большому кораблю большое и плаванье, говорится...

— А развѣ православная церковь здѣсь такой маленькій корабликъ?

— Не маленькій, а знаете... извините на моемъ откровенномъ словѣ,—забытый, такъ сказать, обиженный корабль, и трудно плавать въ здѣшнихъ моряхъ-то: очень ужь много всякихъ камней подводныхъ...

— Почему такъ?

— Да по всему-съ: и духовно, и матеріально. Теперь начать хотя бы съ матеріальнаго: вѣдь ксендзъ вонъ, даромъ что безбраченъ, а одного казеннаго положенія получаетъ почти втрое болѣе противъ нашего брата, ну и отъ помѣщиковъ тоже поддержка большая, а намъ откуда же? Хлопы народъ вѣдь бѣдный, круглый годъ картошку да хлѣбъ съ мякиной ѣдятъ... на поддержку храма и то вонъ во сколько лѣтъ никакъ не скопимся... А въ Россіи-то насъ, къ тому же, кажется, какъ будто и за русскихъ совсѣмъ не почитаютъ... и не знаютъ насъ даже... совсѣмъ позабыты... Такъ вотъ и сиротствуемъ—и народъ, и церковь, и священнослужители...

Хвалынцеву, послѣ столь откровенно и безпритязательно высказанныхъ словъ, захотѣлось, придравшись къ случаю, провѣрить нѣсколько достовѣрность Свиткинскихъ и Котырловскихъ сообщеній.

— А меня, напротивъ, всѣ увѣряли тутъ, сказалъ онъ,—что правительство костелъ притѣсняетъ, а всячески пропагандируетъ православіе, что даже въ заграничныхъ газетахъ жалуются.

Священникъ усмѣхнулся.

— Кто это увѣряетъ-съ?

— Да вотъ новые мои знакомые.

— Да?.. ну что жь... бываетъ.—Священникъ какъ бы затруднился вполнѣ открыто высказать свою мысль передъ незнакомымъ человѣкомъ,—бываетъ такъ, что увѣряютъ иногда будто и бѣлое—не бѣлое, а черное. Всякое на свѣтѣ бываетъ! А что это насчетъ заграничныхъ газетъ говорить вы изволите,—продолжалъ онъ,—такъ я вамъ скажу, что намъ-то даже вотъ и жаловаться некуда и некому.

— Что жь такъ?—удивился Хвалынцевъ.

— Безполезно-съ. Ужь таковъ нашъ опытъ историческій. Пожалуйся — изъ тебя сейчасъ

Digitized by Google

сдѣлаютъ ябедника, безпокойнаго человѣка, ославятъ доносчикомъ, шпіономъ, а то пожалуй административнымъ порядкомъ и въ дальній монастырь на заточеніе упрячутъ... У насъ и эти примѣры есть.

— Но вѣдь есть же у васъ, наконецъ, и безпристрастные, честные, справедливые люди?

— Конечно-съ... какъ не быть, да поди, доберись до нихъ! Надо прежде сквозь двадцать мытарствъ перейти, а на каждомъ изъ нихъ тебѣ шею свернуть могутъ. Вѣдь они здѣсь сила!

— То-есть кто это?

— А господа дворяне... ну, и чиновничество тоже разумѣю въ томъ же счетѣ... Да, большая сила!—раздумчиво и неспѣшно повторилъ священникъ, но вдругъ, какъ бы спохватившись, приподнялъ слегка свою шляпу и съ смущенной торопливостью обратился къ Хвалынцеву, словно бы извиняясь въ чемъ.—Вы, впрочемъ, милостивый государь, не обезсудьте на такомъ моемъ словѣ... можетъ, я что и вопреки... съ такой моей откровенностью... Но такъ какъ собственно думалъ себѣ, что русскаго человѣка встрѣтилъ, то больше поэтому!.. Вѣдь намъ это въ рѣдкость!.. А то, знаете, и высказать-то здѣсь некому... въ себѣ таишь все это... Но впрочемъ, извините, ежели что не такъ...

Хвалынцевъ въ отвѣтъ на это поспѣшилъ открыто и радушно протянуть ему руку и просилъ отнюдь не сомнѣваться въ немъ.

— Меня, напротивъ, все это крайнѣ интересуетъ, всѣ эти здѣшнія отношенія,—говорилъ онъ,—вѣдь я тутъ просто какъ въ темномъ лѣсу, такъ что, ей-Богу, сердечно радъ каждому случаю, каждой встрѣчѣ, которая мнѣ разъясняетъ мои собственныя сомнѣнія... Я, видите ли, батюшка, я и самъ начинаю убѣждаться, — признался онъ въ заключеніе,—что здѣсь многое не такъ, какъ я думалъ и какъ меня увѣряли...

— Да-съ,—продолжалъ съ легкою усмѣшкою священникъ.—Хотя бы вотъ насчетъ того, какъ вы изволили выразить, будто костелъ въ притѣсненіи; а знаете ли, какъ называется здѣсь наша православная церковь, православная вѣра?—«хлопська цэрковъ», «хлопська вяра», и нѣтъ имъ другого имени опричь какъ «хлопскія»; спросите любого крестьянина какой ты вѣры?—онъ вамъ отвѣтитъ «хлопськой» и православнаго крестьянина они иначе не называютъ, какъ презрительнымъ словомъ «попадзюкъ», то-есть это значитъ, что онъ къ попу ходитъ на духовныя требы, съ попомъ, а не съ ксендзомъ дѣло имѣетъ; а римская вѣра «панской вѣрой» величается,—ну, вотъ вамъ и изволите видѣть, какое ей утѣсненіе.

Мало-по-малу разговоръ перешелъ на животрепещущій въ то время вопросъ объ отношеніяхъ крестьянъ къ помѣщикамъ. Хвалынцевъ замѣтилъ, въ похвалу здѣшнихъ помѣщиковъ, что они были первые, которые поспѣшили столь либерально откликнуться на призывъ къ эмансипаціи.

— Да-съ, они вообще очень ловкіе!—согласился священникъ.—Почему же однако и не заявить себя съ либеральной стороны, коли за кулисами можно дѣло обдѣлать по-своему?

— То-есть?—попыталъ Хвалынцевъ, желая вызвать собесѣдника на объясненіе.

— То-есть посредники-то вѣдь свои же люди,—а по пословицѣ: рука руку моетъ. Почему же и не обсчитать темнаго хлопа, напримѣръ, показавши хотя бы въ уставныхъ грамотахъ и земельный надѣлъ, и всякія угодья меньше того, что на самомъ дѣлѣ? ну, а оцѣночную норму можно и гораздо повыше взять,—вѣдь дѣльцы-то всѣ, милостивый государь, люди-то свои, говорю вамъ, а хлопу одно прозваніе: «быдло!» А черезъ то, глядь и землицы побольше выгадаемъ, и выкупная сумма понадбавится, а деньги-то намъ теперь ой, какъ нужны... время такое... И это вѣдь не отдѣльный какой-либо случай: это въ нашемъ краѣ всеобщее теперь, завседневное явленіе.

— Такъ неужели же не найдется никого, кто бы раскрылъ глаза хоть бы хлопамъ-то этимъ? — въ изумленіи пожалъ плечами Хвалынцевъ, не мало возмущенный этими свѣдѣніями, которыя въ ту пору составляли для него совершенную и притомъ неожиданную новость.

— А вотъ изволите видѣть, — усмѣхнулся священникъ съ оттѣнкомъ ѣдкой, накипѣлой горечи,—помѣщикъ—это панъ, посредникъ тоже панъ, чиновникъ, какой вамъ угодно, тоже панъ, и ксендзъ, по положенію своему, панъ и пану же служитъ, и все это вкупѣ называется поляками, а крестьянинъ — это хлопъ, быдло, существо иной природы... Ну, вотъ намъ, попамъ своимъ, хлопъ пока еще вѣритъ, приходитъ зачастую: такъ и такъ, пане ойче, объясните. Ну, конечно, совѣсть требуетъ не держать его во тьмѣ; объяснишь ему, наставишь, а за этимъ у насъ тоже зорко слѣдятъ, и какъ только провѣдаютъ, сейчасъ каверзу на тебя, доносъ: такой-то попъ народъ смущаетъ, бунтъ производитъ, соціалистскія и коммунистскія идеи распространяетъ, неповиновеніе властямъ и помѣщикамъ и все такое прочее. Ну, сейчасъ слѣдствіе, пріѣдетъ слѣдователь—опять же панъ; а пойдете въ судъ—и судья, и секретарь, и всѣ остальные — все паны, все шляхетные... И бывали случаи, да даже еще недавно, что кромѣ хлопотъ и непріятностей, нашего брата и съ приходовъ смѣщали. Да-съ, мудрено здѣсь плавать, говорю вамъ,—ой, какъ мудрено-то: вездѣ и во всемъ большую силу имѣютъ!

— Но вѣдь это же безвыходное положеніе!—воскликнулъ Хвалынцевъ.

— Пока—совершенно безвыходное,—согла-

Digitized by Google

сился священникъ, — а будущее въ руцѣ Божіей... Его святая воля!

Въ это время съ лѣвой стороны раздалось нѣсколько выстрѣловъ, перекатнымъ эхомъ пронесшихся по лѣсу, и черезъ минуту музыка собачьяго лая была покрыта побѣдно-призывными звуками охотничьяго рога.

— Надо полагать, звѣря забили,—замѣтилъ священникъ, прислушиваясь къ этимъ звукамъ;—викторію трубятъ.

Хвалынцевъ оглядѣлся по сторонамъ. Оба сосѣдніе стрѣлка тронулись уже съ мѣстъ и шли по направленію влѣво на звукъ призывнаго рога.

— Кончено, что-ли? — окликнулъ Константинъ подходившаго охотника.

— Скончòну, панòчку!—подтвердилъ тотъ, приподымая свою сѣрую барашковую шапку.

— Ну, теперь и мнѣ, значитъ, вольно проѣхать,—замѣтилъ священникъ. — Очень пріятно!.. очень пріятно!—привѣтливо приподнимая шляпу, отнесся онъ къ Хвалынцеву. — Благодарю за бесѣду... душевно благодарю.

— Позвольте, батюшка, познакомиться! — обратился къ нему Константинъ Семеновичъ, протягивая руку и назвавъ себя.

— А, очень радъ! Отецъ Конотовичъ, Сильвестръ, отрекомендовался въ свой чередъ священникъ, и, завернувшись плотнѣе въ свою старенькую заячью шубу, тронулъ вожжи. Застоявшаяся лошадка потрусила бодрой рысцой въ глубину сосноваго лѣса.

Хвалынцевъ, проводивъ его глазами, вскинулъ ружье за плечо и зашагалъ по цѣлинѣ широкимъ шагомъ, поспѣшая вслѣдъ за другими охотниками къ сборному пункту.

XI.

«Kochajmy sie!»

Зычный рогъ доѣзжачаго, скликавшій собакъ и охотниковъ, возвѣщалъ торжество немалое: на пана-посредника Селяву-Жабчинскаго какъ разъ выбѣжалъ кабанъ. Посредникъ прицѣлился и далъ промахъ, спустилъ другой курокъ и тоже мимо, вслѣдствіе чего и задалъ тягу въ сторону, а кабанъ былъ положенъ мѣткимъ выстрѣломъ въ самое ухо, который во слѣдъ ему пустилъ старосвѣтскій помѣщикъ, панъ Хомчевскій, въ ту самую минуту, когда панъ Селява давалъ стрекача, а кабанъ, валя цѣликомъ все въ одномъ направленіи и ломая на ходу низенькія молодыя вѣтви и сучья кустарниковъ, перешелъ уже линію охотничьей цѣпи. На снѣгу, обагренномъ нѣсколькими пятнами крови, лежалъ полновѣсный и неуклюжій трупъ его, окружаемый группами подходившихъ охотниковъ, вслѣдъ за которыми подошелъ и Хвалынцевъ. Перекрестный огонь веселыхъ шутокъ, поздравленій, разспросовъ, разсказовъ, восторговъ, похвалъ, объясненій и горячихъ споровъ трещалъ надъ тушей убитаго звѣря. Голодныя собаки съ жадностю въ глазахъ, но осторожно приподнявъ переднюю ногу, аппетитно и пытливо обнюхивали кабана и исподтишка слизывали тихо капавшую кровь. Панъ Селява-Жабчинскій горячо отвергалъ фактъ собственнаго «драпàка» и оспаривалъ у старосвѣтскаго помѣщика честь ловкаго выстрѣла. Эксъ-уланъ, натянувъ поверхъ колета волчью шубу и все-таки порядкомъ продрогнувъ а можетъ только и подъ предлогомъ холода, исправно тянулъ изъ горлышка охотничьей фляги. Дамы и паненки, потаптываясь зазябшими ножками, весело смѣялись и звонко тараторили, пуская мимо ушей любезности комплименты чамаркòвыхъ паничей, такъ какъ въ эту минуту ихъ несравненно болѣе занималъ дюжій кабанъ, чѣмъ всѣ эти паничи съ ихъ чамарками, сердцами и комплиментами. Наконецъ, подъѣхала повозка, на которую егеря свалили убитаго звѣря, а панъ Котырло, въ качествѣ маршàлка охоты, примирилъ двухъ спорящихъ соперниковъ, заставя ихъ поцѣловаться, но все-таки честь выстрѣла оставивъ за старосвѣтскимъ паномъ, и вслѣдъ затѣмъ охотники стали расходиться, занимая цѣпь въ совсѣмъ новомъ направленіи, для вторичной облавы, версты за полторы отъ прежняго мѣста. Эта вторая облава не имѣла уже такого блистательнаго успѣха, но все-таки взяла, если не качествомъ, то количествомъ добычи: она принесла одну серну и трехъ зайцевъ.

Вся компанія уже и прозябла, и проголодалась порядочно. Былъ второй часъ пополудни. Мàршалокъ объявилъ охоту конченной и съ любезностью старо-польскаго хозяина пригласилъ всѣхъ безъ исключенія гостей—и своихъ, и участвовавшихъ—въ Карначевскую рощу.

Тамъ уже панскіе челядинцы, подъ надзоромъ и руководствомъ стараго дворецкаго, успѣли приготовить все, чтò было необходимо къ импровизированному пиру: для дамъ раскинута была большая палатка, устланная коврами и волчьими шкурами, а для мужчинъ помѣщеніе хотя и не отличалось такимъ комфортомъ, за то было весьма живописно: между составленными экипажами и стволами нѣсколькихъ деревьевъ, на приподнятыхъ вверхъ дышлахъ и оглобляхъ, были съ подвѣтренной стороны прилажены большіе пестрые ковры, брезенты и цыновки; подобные же ковры устилали землю въ огороженномъ такимъ образомъ пространствѣ, гдѣ стоялъ подъ бѣлою скатертью большой складной столъ, уставленный батареями бутылокъ, башнями тарелокъ, кареями стакановъ и грудами ножей, вилокъ и ложекъ. Нѣсколько складныхъ стульевъ помѣщались вокругъ стола, а кромѣ того валялись еще на коврахъ нѣсколько кожаныхъ подушекъ, матрасиковъ и экипажныхъ сидѣній. Предъ входомъ пылалъ

Digitized by Google

и трещалъ большой костеръ, а нѣсколько въ сторонѣ другой подобный же, у котораго, на разныхъ каганцахъ и треножкахъ, поваръ съ двумя поварятами разогрѣвалъ, заранѣе еще въ ночь приготовленные, соусы и жарилъ на вертелѣ мясо. Около него стояли ящики, банки и боченки съ разными припасами, и суетилась прислуга. Эти пестрыя навѣсы, эти ковры, экипажи съ привязанными около нихъ лошадьми, которыя мѣрно хрустѣли зубами надъ заданными торбами овса, эти своры разношерстныхъ собакъ, эти ярко-пылающіе костры и оживленныя группы охотниковъ и женщинъ— все это вмѣстѣ представляло разнообразную, пеструю, довольно поэтическую и очень красивую картину, напоминавшую собою отчасти нѣчто въ родѣ цыганскаго табора.

День былъ почти безвѣтреный и ясный; морозъ не превышалъ двухъ градусовъ, а костры и время отъ времени приносимыя въ дамскую палатку жаровни, при помощи вина и теплаго платья, дѣлали вовсе не чувствительнымъ даже и тотъ маленькій холодъ, который чувствовался въ воздухѣ. На столѣ вкуснымъ паромъ дымились блюда, приносимыя разомъ, безъ всякаго особеннаго порядка. Тутъ главную роль играли: столь излюбленная польскими охотниками тушоная капуста, и бигосъ, и зразы и жареныя куропатки. Вино, хоть и не весьма-то высокаго качества, все больше съ рижскими ярлыками, лилось въ изобиліи и поглощалось съ примѣрнымъ аппетитомъ. Чѣмъ болѣе охотники пили и ѣли, ѣли и пили, тѣмъ болѣе разгорались ихъ бодрыя, здоровыя лица и тѣмъ громче и свободнѣе становился перекрестный огонь разсказовъ, споровъ, восклицаній и смѣха. Панъ Селява-Жабчинскій повѣствовалъ о томъ, какъ онъ въ Тирольскихъ альпахъ убилъ въ одну охоту трехъ ланей, вися надъ обрывомъ, на такой узенькой тропкѣ, что еле-еле гдѣ было ногу поставить, а въ Уэльзѣ вмѣстѣ съ герцогомъ Кембриджскимъ, ни болѣе ни менѣе, какъ съ нимъ самимъ, да еще съ лордомъ Шевсбюри, затравилъ громаднѣйшаго медвѣдя. Становой Шпарага утверждалъ, что своими глазами видѣлъ у одного полѣшука, на Полѣсьи, заколдованное ружье, которое бьетъ хоть на тысячу шаговъ только дикаго звѣря, но въ домашнее животное, будь то хоть волъ, хоть свинья, хоть самъ панъ Шпарага, въ двухъ-трехъ шагахъ дастъ непремѣнно промахъ! А въ отвѣтъ ему кто-то увѣрялъ, что все это ровно еще ничего не значитъ въ сравненіи съ похожденіями барона Мюнгаузена; но панъ Шпарага въ простотѣ и невинности сердечной и не подозрѣвалъ кто такой этотъ баронъ Мюнгаузенъ и какое отношеніе имѣютъ похожденія сего знаменитаго барона къ его повѣствованію о заколдованныхъ ружьяхъ. Старый эксъ-уланъ, молодцовато и не безъ видимой рисовки опираясь на саблю, поминалъ времена настоящія и хвалилъ прошедшія, восторгался воспоминаніемъ о томъ, какъ пили уланы, какъ били рабы ойчизны, какъ плясали мазурку чвартаки, и опять путалъ свою воображаемую службу между тѣмъ и этимъ полками и, наконецъ, дойдя до высшаго пафоса, вдругъ выхватилъ изъ ноженъ свою саблю и сталъ отчаянно махать ею по воздуху, изображая какъ они рубились съ москалемъ въ прежніе годы. Эта послѣдняя эволюція пана Конца была столь внезапна, что слушавшіе паничи разомъ отскочили въ стороны, опасаясь какъ бы невзначай не задѣла ихъ уланская сабля, а собаки съ азартнымъ лаемъ бросились было на пана-пулковника, но угрожаемыя его клинкомъ, держались въ оборонительныхъ позиціяхъ на благородной дистанціи и не переставали на него лаять, такъ что чѣмъ больше онъ махаетъ, тѣмъ громче и сильнѣй подымается вой и лай собачій.

Выпито было уже очень и очень изрядно, когда панъ Котырло приказалъ подать нѣсколько большихъ бокаловъ стараго богемскаго хрусталя, съ гравюрами, надписями и съ выпуклымъ дномъ, безъ ноженъ, такъ что бокалъ этой конструкціи никоимъ образомъ не могъ быть поставленъ на столъ: надо было или выпивать его до дна, или держать въ рукахъ пока не выпьешь, а по приговору пана-маршалка ни сосѣди, ни слуги ни отъ кого не могли принимать недопитаго бокала. Откупорили нѣсколько бутылокъ «венгржина» и наполнили ими эти монстры. Панъ Котырло, поднявшись со своего предсѣдательскаго мѣста, провозгласилъ любимый старо-польскій тостъ:

— Кохаймы сен, панове! [1])

И вмѣстѣ съ этими словами, нагнувшись къ своему сосѣду, тому самому старожитному пану Хомчевскому, который мѣткимъ выстрѣломъ положилъ кабана и чрезъ то сталъ, въ нѣкоторомъ родѣ, героемъ и лауреатомъ нынѣшняго полеванья, панъ Котырло съ чувствомъ облобызался съ нимъ дважды и залпомъ выпилъ свою стопу.

Панъ Шпарага затянулъ приличную случаю пѣсню, панъ Конецъ сталъ вторить баскомъ, кое-кто подтянулъ разными голосами, и наконецъ весь хоръ грянулъ дружное: «цу́пу-лу́пу, лу́пу-цу́пу!»

— «Выпилъ Ку́ба до Яку́ба», начиналъ панъ Шпарага.

— «Якубъ до Михала», подхватывалъ панъ пулковникъ, отчеканивая тактъ своей саблей.

Выпилъ ты, выпилъ я—
Компанія цала!

— «А кто не выпіе», присоединялись голоса любителей, «тэго ве два кія!» И вслѣдъ

[1]) Возлюбимъ другъ друга.

Digitized by Google

за нимъ «компанія цàла» подхватывала во всю глотку:

Цупу-лупу! лупу-цупу!
Тэго ве два кія!

Хвалынцевъ въ полголоса попросилъ у Свитки объяснить ему значеніе столь оригинальнаго припѣва, и Свитки пояснилъ что «цýпу-лýпу, лýпу-цýпу» есть очень наглядное звукоподражательное выраженіе палочныхъ ударовъ по спинѣ.—Кто не выпиваетъ, того, значитъ, цýпу-лýпу въ двѣ палки, понимаете?—добавилъ онъ шутливо.

Хвалынцеву, дѣйствительно, стало теперь вполнѣ понятно, что нѣкоторые паны для усиленія впечатлѣнія этого «цýпу-лýпу» громко въ тактъ шлепали себя ладонями по колѣнямъ, а панъ Шпарага увлекся до того, что даже не безъ азарту и весьма выразительно сталъ при каждомъ припѣвѣ лупить съ двухъ сторонъ собственными руками свои же собственныя щеки.

Застольная пѣсня шла далѣе:

Индыкъ съ сóсемъ, барщъ съ бигóсемъ,
Ядлы негдысь паны,
Дзись шинкарка и кухарка
Ѣдзон' якъ боцяны.
Кто жабами жіе,
Тэго вѐ два кія!
Лупу-цупу! цупу-лупу!
Тэго вѐ два кія!

Хвалынцевъ просилъ Свитку объяснить ему смыслъ всей этой пѣсни, которая казалась столь характерною. Добрый товарищъ, чувствуя теплое и милое настроеніе духа послѣ нѣсколькихъ стакановъ вина, охотно согласился исполнить желаніе своего пріятеля. Смыслъ охотничьей пѣсеньки, кромѣ поясненнаго уже куплета, былъ таковъ:

«Старинный панъ, хотя и ходилъ въ жупанѣ (одежда, почитавшаяся простою), зато какъ шляхтичъ, какъ дворянинъ, ворочалъ деньгами, золотомъ; теперь же всякій—увы! ходитъ въ куцомъ фракѣ, а межъ тѣмъ въ карманѣ у него шишъ! Но кто живетъ безъ гроша, того лупи въ двѣ палки! Цýпу-лýпу! лýпу-цупу! Того лупи въ двѣ палки! Индюка съ соусомъ и борщъ съ бигосомъ нѣкогда паны лишь ѣдали, а теперь всякая шинкарка (обыкновенно изъ евреекъ) и всякая кухарка ѣдятъ, словно аисты (то-есть позволяютъ себѣ дѣлать нѣкоторый выборъ въ своей пищѣ, какъ бы приравниваются къ панамъ). А кто желаетъ наслаждаться блюдами изъ лягушекъ, кто живетъ напыщенно (какъ могутъ жить магнаты) того бей въ двѣ палки! Цýпу-лýпу! лýпу-цýпу! Бей того въ двѣ палки! Нѣкогда только одна лишь сама пани, барыня, носила кружева и перлы, а теперь—увы! всякая кухарка и шинкарка позволяетъ себѣ одѣваться какъ важная дама. Но если кто позволяетъ себѣ жить свыше своего прирожденнаго общественнаго положенія, того лупи въ двѣ палки! Цýпу-лýпу! лýпу-цýпу! Того лупи въ двѣ палки!»

— Ну какъ вамъ нравится эта наша древняя пѣсня, которая даже и по сей день, несмотря на древность, все-таки поется? Мы любимъ и чтимъ свою святую старину!—проговорилъ Свитка, на видъ какъ будто расплывчиво и масляно, а въ сущности не безъ хитраго какого-то умысла.

— Да вы это какъ, въ насмѣшку, что-ли, спрашиваете меня?—отозвался Хвалынцевъ.

— Въ насмѣшку?—будто-бы удивился Свитка.—Да что же тутъ смѣшного? Просто милая пѣсенка, которая совѣтуетъ каждому жить по средствамъ, по состоянію—что жь тутъ достойнаго смѣха?

— По вашему, ничего,—возразилъ Константинъ,—а по моему... если только хотите, чтобъ я откровенно...

— Ахъ, пожалуйста! Откровенность прежде всего!

— Ну, такъ я вамъ долженъ сказать, что во всю свою жизнь еще я не слыхалъ ничего, что выражало бы болѣе характерно всю мелочность замкнутаго самолюбія шляхтича, всю нелѣпую притязательность стараго аристократизма, чтобы ни кто не осмѣливался жить столь же комфортабельно, сколь живетъ оно, дворянство. Это по-моему, одна изъ самыхъ кастовыхъ, изъ самыхъ бѣлокостныхъ пѣсенъ всего міра, несмотря на всю ея пустоту и наивность!

— Ну, вотъ! вы все это съ точки зрѣнія своего русскаго сиволапаго демократизма!—махнулъ рукой Свитка.

А между тѣмъ, веселая компанія продолжала все ту же пѣсню, и послѣ каждаго «цýпу-лýпу» сосѣдъ передавалъ сосѣду опорожненный бокалъ, а этотъ, наполнивъ его до краевъ, возглашалъ новое «кохайны сен'»!—и старыя стопы довольно быстро и дружно, подъ звуки характернаго припѣва, обходили кругъ застольниковъ.

XII.

Фацеція паньська.

Въ то самое время какъ тосты «кохаймы сен'» вмѣстѣ съ «цýпу-лýпу» дошли до полнаго разгара, такъ что въ панскихъ головахъ пошли уже колесомъ вертѣться разныя — и удалыя, и шляхетныя мысли, проекты и фантазіи, вдругъ послышалось на пролегавшей мимо и неподалеку дорогѣ громыханье приближавшейся повозки. Первый, обратившій вниманіе на это совершенно ничтожное и случайное обстоятельство, былъ эксъ-уланъ, который подошелъ къ костру запалить свою коротенькую охотничью «файку» [1]).

[1]) Трубку.

Digitized by Google

— Попъ ѣдетъ, панове! Плюнуть надо! — возгласилъ онъ, обращаясь къ компаніи, и присовокупилъ въ поясненіе:

— Какъ служилъ я въ уланахъ, такъ у насъ въ полку было повѣрье, что встрѣчаться съ попомъ означаетъ неудачу и несчастіе, а чтобъ оно не случилось, то надо поскорѣе во слѣдъ ему плюнуть.—Плюйте, панове!

— Э, да это онъ, панскій добро́дзѣй!—воскликнулъ панъ Селява-Жабчинскій, обративъ и съ своей стороны вниманіе на приближавшуюся повозку.

— А вѣдь опять смущалъ хлоповъ! Мнѣ донесли-таки!—съ нѣсколько злобной досадой тихо сказалъ панъ Котырло, обращаясь къ посреднику.

— О?.. Опять? — нахмурился Селява. — Когда? давно?

— Вчера еще... но я ужь вечеромъ зналъ.

Посредникъ произнесъ только сквозь зубы: «тссъ» и озабоченно покачалъ головой.—Ужь не насчетъ ли перехода въ дворовые?—спросилъ онъ.

Котырло подтвердилъ его догадку.

— От-то, пане, бэстія!—съ досадой, хлопнувъ рукой по столу, воскликнулъ Селява. — Смотрите, все дѣло испортитъ!.. Эхъ, проучить бы слѣдовало!.. За позволеньемъ панскимъ, ясъ его сію же минуту!..

— Цу́пу-лу́пу, лу́пу-цу́пу! по́па ве два кія—прибавилъ на распѣвъ становой Шпарага.

Компанія расхохоталась въ отвѣтъ этой импровизаціи и подхватила ее нестройными уже голосами.

Между тѣмъ подгулявшій панъ Селява-Жабчинскій успѣлъ въ это время перемигнуться, перешепнуться и стакнуться о чемъ-то съ предпріимчивымъ и еще болѣе подгулявшимъ эксъ-уланомъ, такъ что едва лишь замолкъ послѣдній звукъ припѣва, панъ Копецъ энергично вскочилъ съ мѣста и громко воззвалъ ко всей компаніи:

— Панове-браця! Кто хочетъ въ охотники на штурмъ?.. въ атаку на по́па?.. Кто желаетъ, тотъ къ ко́нямъ! Къ ко́нямъ, панове! До бро́ни! И гайже на по́па!...

— Гай-гай!.. Гайда, панове! Къ ко́нямъ!.. браво!.. подхватило нѣсколько голосовъ, и съ шумомъ и смѣхомъ человѣкъ семь молодежи азартно посрывались со своихъ мѣстъ и бросились къ гайдукамъ съ приказаніемъ скорѣе подтягивать лошадямъ подпруги.

Котырло попытался было остановить, но расходившійся уланъ вмѣстѣ съ Селявой убѣдительно принялись успокаивать и увѣрять его, что ничего непріятнаго не случится, что просто они только захватятъ попа, ради потѣхи, попугаютъ его немного, приведутъ сюда и заставятъ его пить, а затѣмъ прочтутъ добрую нотацію, чтобы зналъ какъ смущать хлоповъ на будущее время, и, не тронувъ его ни пальцемъ, отпустятъ съ миромъ. Котырло не успѣлъ еще отвѣтить ни да, ни нѣтъ на ихъ увѣренья, какъ молодежь была уже на коняхъ, а эксъ-уланъ, договаривая еще свои послѣднія успокоительныя увѣренія, занесъ ногу въ стремя, грузно перевалился въ сѣдло и крикнувъ: «маршъ-маршъ! за мной!» погнался крупной рысью за проѣхавшей повозкой.

Отецъ Сильвестръ межъ тѣмъ, ничего не подозрѣвая, трусилъ себѣ легонькой рысцой по дорогѣ и уже оставилъ за собою панскій таборъ саженяхъ во ста, когда на него нежданно-негаданно съ гикомъ и гвалтомъ вдругъ налетѣли съ боковъ и сзади восемь всадниковъ.

— Стой! стой!.. Здавайся въ плѣнъ! Въ плѣнъ!.. И безъ капитуляціи!—оралъ вмѣстѣ съ молодежью панъ Копецъ, ставъ поперекъ дороги предъ повозкой и махая своей саблей.

— А-ни съ мѣста, или пулю въ лобъ!—кричали паничи, и чтобы нагнать на непріятеля пущаго страху, не безъ эффекта прицѣливались въ него, примѣрно, кто изъ ружья, кто изъ пистолета, а кто замахивался охотничьимъ ножомъ, и все это сопровождалось хохотомъ, гвалтомъ и криками: «въ плѣнъ, стой! вивать!» и т. п.

Оторопѣвшій отецъ Сильвестръ, рѣшительно непонимая въ чемъ дѣло и чего хотятъ отъ него, придержалъ вожжи и растерянно поглядывалъ то на того, то на другого. Межъ тѣмъ кто-то схватилъ за поводъ его лошадку и повернулъ ее назадъ по дорогѣ, такъ что отцу Сильвестру волей-неволей пришлось ѣхать въ лѣсъ подъ конвоемъ торжествующихъ свою побѣду паничей.

Весь остальной таборъ встрѣтилъ этотъ поѣздъ громкими виватами, рукоплесканіями и стаканами вина. Побѣда была полная.

На растерянномъ и смущенно-блѣдномъ лицѣ священника сказывалась однако догадка, что его желаютъ вышутить, поднять на-смѣхъ, а можетъ и оскорбить чѣмъ-либо. Онъ молча и совершенно пассивно сидѣлъ въ своей повозкѣ, держа вожжи, но не правя ими, и ждалъ что будетъ.

— Слѣзай, пане попе!.. Вылѣзай, свенты ойче схизматыцьки!—распоряжался межъ тѣмъ эксъ-уланъ.—Гей, хлопцы! Ссадить его!

Двое гайдуковъ схватили отца Сильвестра подъ руки и стали высаживать его изъ повозки.

Священникъ не оказывалъ ни малѣйшаго сопротивленія.

— Вотъ такъ, такъ его!.. Молодцы!.. Ставь его на землю! ставь!.. А теперь послѣ такой побѣды можно и вина выпить! Пусть прелестныя панны будутъ столь любезны и въ награду за нашу побѣду не откажутъ сами изъ своихъ божественныхъ ручекъ поднести по стакану рыцарямъ!

Digitized by Google

И панны дѣйствительно не отказали. Напротивъ онѣ очень весело и съ большой охотой предложили по стакану желающимъ. Никто, конечно, изъ рыцарей не отказался отъ такой награды, а эксъ-уланъ первый, преклонивъ колѣно предъ угощавшей его панной Котырлувной и приложивъ руку къ сердцу, разомъ и какъ-то бравурно осушилъ стаканъ и съ чувствомъ чмокнулъ подносившую ему ручку.

Компанія при этомъ все также рукоплескала и кричала «виватъ!»

Рыцари всѣ до единаго послѣдовали примѣру своего «довудцы»: каждый становился предъ какой-либо изъ дамъ на одно колѣно, глядѣлъ на нее сантиментальнымъ взоромъ, а иной и сантиментальный вздохъ испускалъ, затѣмъ выпивалъ свой стаканъ и чмокалъ руку.

А священникъ межъ тѣмъ стоялъ между двухъ гайдуковъ и молча, безучастно выжидалъ что будетъ далѣе...

— Теперь надъ военноплѣннымъ надлежитъ нарядить военный судъ! — предложилъ эксъ-уланъ, обращаясь ко всей компаніи.—Панове! Ржечь-Посполита! Кого найяснѣйшее панство желаетъ избрать презусомъ комисіи судной?

— Пана Конца! Пана пулковника! Пана довудцу! — отозвался цѣлый хоръ мужскихъ и женскихъ голосовъ, и эксъ-уланъ былъ избранъ въ презусы единогласнымъ рѣшеніемъ всей Ржечи-Посполитой.

— Благодарю за честь! — приложивъ руку къ сердцу, почтительно, однимъ раскачивающимся на весь полукругъ поклономъ, отвѣтилъ панъ Конецъ всему собранію и сѣлъ на предполагаемое предсѣдательское мѣсто.

— Вице-президентомъ будетъ нашъ почтенный панъ посредникъ, прокуроромъ панъ Шпарага, а ассессорами мои боевые товарищи,—продолжалъ панъ презусъ.—Панове-судъ! прошу занять ваши мѣста! Гей, хлопцы!.. Вы будете жандармерія народова! Введите подсудимаго и поставьте его предъ трибуналъ! Аттрибутами суда у насъ будетъ бутылка, пробка и стаканъ.

Гайдуки крѣпко ухватили священника подъ руки и, не выпуская его рукъ, ущемленныхъ между ихъ здоровыми мускулами, привели его къ столу и поставили на указанномъ мѣстѣ противъ презуса.

Презусъ поднялся со стула и комически-торжественно-офиціальнымъ тономъ обратился къ отцу Сильвестру:

— Ну, вацьпане! за всѣ твои проступки и преступленія военный судъ приговариваетъ тебя къ повѣшенію за бороду на колокольнѣ или къ разстрѣлянію фасолей и горохомъ, но по неизрѣченной своей милости смертную казнь замѣняетъ тебѣ слѣдующею карой: ты, свѣнты ойче, долженъ намъ проплясать трепака и выпить кварту водки. Вина тебѣ не дадимъ, потому что ты въ немъ толку не смыслишь, и притомъ сказано: не мечите бисера предъ вепржовыми [1]) братьями. Ты видишь, что я выражаюсь еще очень деликатно. Итакъ, пляши трепака! Пляши же, свѣнты ойче!

Компанія хохотала, находя своего презуса въ высшей степени остроумнымъ человѣкомъ.

— Я прошу отпустить меня... мнѣ, право, некогда, да и не мѣсто мнѣ здѣсь,—совершенно просто и серьезно проронилъ отецъ Сильвестръ свое первое слово.

— Пляши, пане попе! Пляши безъ возраженій! Хуже будетъ!—настойчиво кричала ему вмѣстѣ со своимъ презусомъ компанія хмѣльныхъ ассессоровъ.

Священникъ стоялъ неподвижно и холодно-серьезнымъ взглядомъ смотрѣлъ на своихъ судей.

— А, не хочешь! Гей, хлопцы, бери его подъ руки и пляши!.. Панове, надо пѣсню! безъ пѣсни что за трепакъ!

И презусъ затянулъ невѣрнымъ хмѣльнымъ голосомъ:

Съ тамъ-тэй [2]) страны Вислы
Компала сен [3]) врона,
А панъ попъ нашъ мыслялъ,
Же то его жона!

Гайдуки кинулись было къ отцу Сильвестру исполнять отданное имъ приказаніе, но тотъ съ силой рванулся отъ нихъ руками, и съ такимъ повелительнымъ пылающимъ взоромъ, такимъ внушительнымъ, полнымъ достоинства и грознымъ голосомъ крикнулъ имъ: «прочь», что тѣ невольно попятились и стали въ нерѣшительности, не зная что теперь имъ дѣлать.

— А, понимаю!—приложивъ палецъ ко лбу, домекнулся презусъ, — панъ попъ не хочетъ плясать, не подкрѣпившись предварительно! Ну, и конечно: что за пляска безъ вина! Гей! поднести вацьпану кварту водки! живо!

Гайдуки мигомъ распорядились, какъ слѣдуетъ.

— Пей, пане ойче!.. Ты вообрази, что это свѣнта кревъ и пей!—сказалъ посредникъ Селява.

Священникъ вздрогнулъ при этомъ кощунствѣ и, рѣшительно отвернувшись, пошелъ быстрыми шагами къ своей повозкѣ.

— А, утекать! Нѣтъ, стой!.. Хлопцы! держите! не пускайте!.. Ты думаешь, не заставятъ? Нѣтъ, заставятъ! Выпьешь!

Священника опять сзади ухватили за руки. Посредникъ сорвался съ мѣста и стремительно подскочилъ къ нему.

— А что!—злобно-шипящимъ полушопотомъ быстро сталъ онъ выговаривать, грозя пальцемъ предъ лицомъ отца Сильвестра;—а что, будешь теперь возмущать хлоповъ? будешь

---

[1]) Вепржъ—кабанъ.
[2]) Съ той стороны.
[3]) Купалась.

Digitized by Google

учить ихъ не вѣрить намъ, законнымъ властямъ? будешь нашептывать, чтобы пану своему не повиновались?.. Га?.. будешь?.. Подожди, это такъ тебѣ только шутки, а ужь я тебя упеку!.. упеку! Вздумалъ съ кѣмъ тягаться! Ты думаешь, на васъ администраціи нѣтъ? Подожди же!..

— Что, все пить не хочетъ? — приподнимаясь на локтяхъ, громко спросилъ Копецъ!— не хочетъ? Ну, такъ за бороду лить! на голову, за шиворотъ, куда ни попало! Лей, хлопцы! Лей моею властною рукою!.. Какъ!? ты благородной шляхтѣ сопротивляться?! Тебя благородное панство удостоиваетъ своей компаніи, другой былъ бы радъ и счастливъ тѣмъ, а ты сопротивляться?!.. Лей ему, хлопцы, за шиворотъ! Лей!

Лакей, державшій кварту, съ холопскимъ хихиканьемъ поднялъ было руку, чтобы вылить за воротникъ священнику водку, но тотъ снова рванулся что лишь было мочи отъ державшихъ его гайдуковъ и этимъ движеніемъ удалось ему нечаянно вышибить изъ рукъ лакея кварту, которая отлетѣла въ сторону, выплеснувъ изъ себя всю водку прямо въ лицо посреднику Селявѣ.

Священникъ почувствовавъ себя свободнымъ, кинулся бѣжать куда ни попадя отъ этого скопища.

— Свору! свору сюда!—задыхаясь, кричалъ разъяренный панъ Селява и сталъ натравливать на отца Конотовича нѣсколько собакъ, пустившись за нимъ въ догонку. — Иш-га! ишга!.. на-на-на-на! бери его!.. Уж-га-а!

Нѣсколько собакъ, натравленныхъ посредникомъ, бросились на священника.

Хвалынцевъ, весь блѣдный отъ негодованія, тяжело и трудно дыша, быстрыми шагами подошелъ къ пану Котырло и нервически крѣпко сжалъ его руку.

— Какъ честный человѣкъ, прекратите эту гнусную сцену! — сказалъ онъ, и въ тотъ же моментъ, поднявъ валявшійся на коврѣ охотничій арапникъ, не слушая, не дожидая какого-либо рѣшенія и отвѣта со стороны хозяина, бросился на выручку къ отцу Сильвестру, когда тотъ съ испуганными криками тщетно отмахивался отъ налетѣвшихъ собакъ, которыя трепали уже полы его заячьей шубенки. Нѣсколько ударовъ бича по собакамъ освободили отца Сильвестра. Самъ Котырло, смущенный въ душѣ словомъ Хвалынцева и только теперь домекнувшись о всей неловкости, всей неумѣстности сцены, разыгравшейся въ глазахъ посторонняго человѣка, и притомъ москаля (хоць и бардзо поржонднего человѣка, а все жь москаля!) поспѣшилъ за нимъ, цыкая на собакъ и ругая, примѣрно, псарей, какъ, молъ, они осмѣлились спустить свору и не удержать ее во-время! Для виду онъ даже извинился слегка предъ священникомъ и выразилъ ему свое сожалѣніе, что произошла вся эта непріятность, которой онъ вовсе не желалъ и даже не могъ предвидѣть.

Перепуганный священникъ, еще не успѣвъ придти въ себя, только оглядывалъ порванныя полы своей шубенки. Хвалынцевъ проводилъ его до повозки, и отецъ Сильвестръ, съ благодарностью пожавъ ему руку, отправился, не преслѣдуемый уже никакими выходками. Вернувшись къ охотничьей компаніи, Константинъ Семеновичъ засталъ тамъ довольно горячій споръ между паномъ Котырло и посредникомъ. Котырло утверждалъ, что не слѣдовало доводить шутку до такихъ предѣловъ, и даже вовсе не слѣдовало трогать попа, а Селява-Жабчинскій вмѣстѣ съ эксъ-уланомъ и нѣсколькими паничами доказывали, что напротивъ, такъ-то и слѣдуетъ, что все это въ сущности величайшіе пустяки, что нужно было бы проучить посерьезнѣе «москевського шпега», и что наконецъ почему же имъ и не продѣлать всю эту штуку надъ какимъ-нибудь подлымъ шпегомъ, если имъ вдругъ пришла въ голову такая «фацеція»: это, молъ, не болѣе какъ одна изъ хорошихъ фацецій, на которыя еще наши дѣды и прадѣды были такіе великіе мастера.

Въ это самое время раздалось вдругъ нѣсколько ружейныхъ выстрѣловъ, обратившихъ на себя общее вниманіе. Выстрѣлы трещали въ рощѣ близъ дороги, по которой проѣзжалъ отецъ Конотовичъ. Взглянувъ въ ту сторону, Хвалынцевъ увидѣлъ, что лошадка, преслѣдуемая ружейною трескотнею, шарахнулась съ перепугу въ сторону и понесла. Повозка, прыгая и подскакивая на камняхъ и колеяхъ, кренясь то въ ту, то въ эту сторону, мчалась со слишкомъ достаточною быстротою, чтобы сѣдокъ съ успѣхомъ могъ подвергнуться риску свернуть себѣ шею и переломить ребра. Черезъ минуту онъ пропалъ изъ виду вмѣстѣ съ прыгающею повозкою и ошалѣлою лошадью. Паны хохотали. Оказалось, что вся эта новая штука есть продолженіе милой фацеціи панской. Панъ Селява вмѣстѣ съ паномъ Копцемъ, еще раньше, въ то время какъ только что привезли плѣненнаго попа, успѣли шепнуть доѣзжачему, чтобы тотъ сію же минуту распорядился выслать на дорогу незамѣтнымъ образомъ нѣсколькихъ егерей, а тѣ пусть засядутъ за кустами и, какъ только попъ поѣдетъ мимо, встрѣтятъ и проводятъ его холостыми выстрѣлами. Планъ удался въ совершенствѣ и эффектъ вышелъ блистательный.

Но общая гармонія была уже нарушена, и это чувствовалось каждымъ. Нарушилъ ее все тотъ же москаль, хоть и поржондны чловѣкъ—Хвалынцевъ своимъ откровенно высказаннымъ пану Котырло взглядомъ на всю эту сцену, назвавъ ее, въ минуту возмущеннаго негодованія, «гнусною» и затѣмъ кинувшись съ арапникомъ на

Digitized by Google

выручку отца Сильвестра. Этотъ порывъ слишкомъ явно нарушилъ единство отношенія къ панской фаціи, показалъ собою, что она не пользуется единодушною симпатіею, на что, конечно, разсчитывали творцы фаціи, не принимая ровно ни въ какой расчетъ Хвалынцева. Этотъ порывъ заставилъ сполитиковать и пана Котырло, который изъ приличія, и притомъ уже явно ради своего гостя-москаля сталъ на его сторону и даже горячо заспорилъ противъ Селявы и Копца. А разъ что гармонія была нарушена, въ праздничной компаніи явилось что-то натянутое, и гости стали готовиться къ отъѣзду. Нѣкоторые изъ нихъ тихо разговаривали между собою и искоса посматривали на Хвалынцева взглядомъ далеко не дружелюбнымъ. Очевидно, его заступничество за «схизматыцького попа» и при томъ еще «москевського шпега» пришлось здѣсь далеко не понутру и даже на самого заступника кинуло невыгодную тѣнь подозрительнаго свойства. Нѣкоторые изъ пановъ подходили къ Свиткѣ и о чемъ-то тихо говорили съ нимъ, какъ видно разспрашивали его насчетъ Хвалынцева: «что это, молъ, за гусь и зачѣмъ, для чего и откуда онъ взялся?» Константинъ Семеновичъ очень хорошо чувствовалъ, что всѣ эти тихіе разговоры касаются его, и ощущая нѣкоторую томительную неловкость, не могъ дождаться, когда-то наконецъ можно будетъ удалиться изъ этой компаніи. Онъ рѣшилъ себѣ: завтра же, во что бы то ни стало, разстаться съ гостепріимнымъ кровомъ пана Котырло. Онъ былъ золъ и на себя, и на всѣхъ этихъ господъ, испытывая какъ въ отношеніи къ нимъ, такъ равно и къ самому себѣ чувство нѣкотораго презрѣнія, съ тѣмъ лишь оттѣнкомъ, что эти господа внушали ему кромѣ презрѣнія какую-то еще особенную гадливость.

«Но», думалось ему въ то же время, «они-то тутъ всѣ свои, родаки что-называется, и всѣ эти фаціи—это ихъ плоть и кровь, ихъ привычки, ихъ обычаи и нравы—это у нихъ все *свое*, все родное; а ты-то, другъ любезный, ты-то съ коего чорта затесался между ними? Что у тебя-то общаго можетъ быть съ этими господами? Революція?.. Общее дѣло?!»

Въ первый разъ въ жизни эти три слова: «революція» и «общее дѣло» прозвучали въ его душѣ какою-то смутною фальшью. Ему *почувствовалось*, что такъ-называемое «общее дѣло» вовсе «не общее», что его «идеалы» и стремленія этихъ всѣхъ господъ слишкомъ расходятся между собою, даже... даже слово «революція» вдругъ показалось какъ будто немножко смѣшнымъ и немножко пустымъ нашему революціонеру. «За кого и противъ кого революція?» *За свободу вашу и нашу*, вспомнились ему при этомъ вопросѣ знаменательныя слова, красиво вышитыя на знамени графини Цезарины. «Хороша свобода, нечего сказать! Свобода травить поповъ собаками, свобода объегоривать ловкимъ манеромъ темнаго хлопа... Нѣтъ, чортъ возьми, тутъ все фальшь какая-то!.. Но *какая* и въ чемъ ея суть? Вотъ чего надо добиться. Надо этотъ темный вопросъ разрѣшить», думалось Хвалынцеву. «Да и во мнѣ-то самомъ все та же фальшь сидитъ!» порѣшилъ онъ съ досадой. «Цезарина—это не фальшь, это страсть... Можетъ-быть слѣпая, глупая, дикая, но страсть, и страсть всепоглощающая... Ради нея куда хочешь—хоть на каторгу, хоть подъ пули!» И опять яркій образъ польской графини на нѣсколько мгновеній затмилъ свѣтомъ блескомъ въ его смущенной, колеблющейся душѣ всѣ остальныя чувства и сомнѣнія. «Да, да, она одна! И только она!.. И ничего болѣе!» жаркой думой прильнувъ къ этому образу, мысленно говорилъ самому себѣ Константинъ.—«Все, все для нея, вся жизнь, вся судьба, вся будущность—бери все себѣ, все! За одну ласку, за одинъ привѣтъ...»

И онъ, взволнованный до внутренней нервной дрожи, до колючей сухости во рту и въ горлѣ, жадно выпилъ стоявшій предъ нимъ стаканъ вина.

«А это все сволочь!» рѣзко и безцеремонно порѣшилъ онъ въ душѣ, перенося мысль къ окружавшимъ его Копцамъ, Шпарагамъ и Селявамъ.

— Поѣдемъ; наша бричка запряжена,—подошелъ къ нему Свитка.

Хвалынцеву показалось, что слова эти были сказаны тѣмъ особеннымъ, нѣсколько суховатымъ тономъ, который одновременно изобличалъ и внутреннее недовольство имъ самого Свитки, и нѣкоторую смущенную неловкость предъ нимъ за свои только-что оконченные разговоры о немъ съ панами.

Константинъ молча послѣдовалъ за своимъ ментором, и они поѣхали вслѣдъ за другими.

Оба довольно долгое время молчали. Обоимъ было какъ-будто неловко чего-то.

Наконецъ Свитка первый рѣшился нарушить это молчаніе, начинавшее становиться тягостнымъ.

— И что вамъ, право, за охота была, Константинъ Семеновичъ, вступаться за этого попа!—началъ онъ поддѣльно мягкимъ дружелюбнымъ тономъ.

Хвалынцевъ, ощутивъ внутри себя какое-то враждебное чувство, огородилъ себя имъ какъ будто щитомъ и кинулъ въ лицо Свиткѣ холодновопросительный взглядъ.

— А по-вашему надо бы было аплодировать что ли, когда человѣка собаками травятъ?—немножко рѣзко сказалъ онъ.

Свитка, замѣтивъ эту рѣзкость тона и какъ стальную твердость холоднаго взгляда, тотчасъ же постарался придать своему голосу и выраженію лица еще болѣе мягкости и дружелюбія.

— Нѣтъ, не то,—заговорилъ онъ,—а такъ

Digitized by Google

только, разсуждая что чортъ ли вамъ въ немъ, совсѣмъ посторонній человѣкъ, да и попъ еще къ тому же.

— Мнѣ кажется, кто бы ни былъ — это рѣшительно все равно!—не измѣняя тона, возразилъ Хвалынцевъ.

— А мнѣ такъ право досадно немножко, продолжалъ Свитка,—все это такъ было хорошо, шло такъ мило, интимно такъ, и вдругъ... Да и они всѣ такіе, право, славные ребята, и такъ были расположены къ вамъ...

— Расположены? — перебилъ Хвалынцевъ, чувствуя, что злоба снова начинаетъ подступать къ нему.—Расположены, вы говорите? Ну, а я вамъ признаюсь, что я вовсе не расположенъ къ нимъ! Я золъ на самого себя, я готовъ самого себя презрѣть за ту подленькую щепетильность, за ту малодушную уступчивость, которая, изъ чувства обязанности гостепріимствомъ, заставила меня безмолвно сидѣть и быть свидѣтелемъ всей этой гнусности съ самаго ея начала... Я, необинуясь, называю это подлостью въ самомъ себѣ! Слѣдовало не допустить этого въ самомъ началѣ-съ, а не тогда уже, какъ собаки стали рвать человѣка! Есть положенія, знаете, когда черезчуръ покладливая деликатность, какъ у у меня вотъ, переходитъ въ низость, становится подлостью!

— Ахъ, голубчикъ мой, Константинъ Семеновичъ!—хихикнулъ по обыкновенію Свитка,—ну, добро бы было изъ чего донкихотствовать, а то вѣдь сами посудите: съ одной стороны порядочные люди, стоящіе у одного съ нами дѣла, а съ другой какой-то попъ-доносчикъ, и вдругъ... И наконецъ, вѣдь все же это были не болѣе какъ шутки!

— Порядочные люди!—презрительно усмѣхнулся Хвалынцевъ.—Порядочные люди, любезный мой другъ, узнаются точно такъ-же и по ихъ шуткамъ, какъ и по серьезнымъ дѣламъ; а съ этими господами, стоящими, какъ вы говорите, у одного съ нами дѣла, я, извините меня, рядомъ съ ними ни у какихъ дѣлъ стоять не желаю!

Свитка окинулъ его бѣглымъ, удивленнымъ и немножко даже встревоженнымъ взглядомъ, но лучъ какой-то затаенной своекорыстной радости и торжества на одно мгновеніе блеснулъ въ его взорѣ.

— Ахъ, ты, Господи, Боже мой!—пожалъ онъ плечами,—и изъ-чего только человѣкъ волнуется! Да вѣдь говорю же вамъ, голубчикъ мой, что этотъ попъ — это человѣкъ положительно вредный для нашего дѣла... Это доносчикъ, шпіонъ, который, какъ и всѣ они здѣсь, посаженъ на своемъ мѣстѣ правительствомъ, чтобы слѣдить за каждымъ нашимъ шагомъ, подглядывать, да подслушивать! Да этихъ каналій, по настоящему, на колокольняхъ вверхъ ногами вѣшать бы слѣдовало!—уже съ азартомъ досады заключилъ монологъ свой Василій Свитка.

Хвалынцевъ поглядѣлъ ему въ глаза, усмѣхнулся и молча повернулъ въ сторону лицо свое.

— Чему вы усмѣхаетесь?—весь вспыхнувъ и словно булавкой уколотый, быстро спросилъ его пріятель. Константинъ отвѣтилъ не сразу.

— Больно ужь всѣ вы, господа, какъ погляжу я, стрѣлять да вѣшать охочи!—съ легкимъ ироническимъ вздохомъ проговорилъ онъ, и разговоръ на этомъ оборвался, не возобновляясь уже ни единымъ словомъ до самаго конца дороги. Обоимъ было досадно и какъ-то не по себѣ, оба были недовольны другъ другомъ, а Хвалынцевъ отчасти даже и разочарованъ въ своемъ менторѣ и другѣ.

XIII.

Во время безсонной ночи.

Вернувшись съ охоты, Хвалынцевъ прошелъ прямо къ себѣ во флигелекъ и попросилъ Свитку извиниться за него, буде спросятъ о немъ, и сказать, что онъ чувствуетъ себя слишкомъ усталымъ. Ему не хотѣлось болѣе ни видѣть всѣхъ этихъ пановъ, ни якшаться съ ними. Онъ еще разъ твердо рѣшилъ себѣ завтра же ѣхать отсюда. Нервы его были разстроены, раздражены, и состояніе духа желчное и досадливое. Не то, чтобъ онъ черезчуръ уже свысока взиралъ на всѣхъ этихъ пановъ, не то, чтобы чувствовалъ какое-либо свое превосходство предъ ними; напротивъ, онъ казнился своимъ собственнымъ малодушіемъ, онъ въ эти минуты дѣйствительно презиралъ самого себя и злобился на себя же,—но при всемъ этомъ была еще и особая причина, которая вызывала и поддерживала его желчно-досадливое настроеніе: онъ все яснѣе и яснѣе чувствовалъ внутренній разладъ съ самимъ собою, чувствовалъ себя вполнѣ чуждымъ всему и всѣмъ въ этомъ краѣ, въ этой жизни, для которыхъ онъ отдалъ свою собственную жизнь и дѣятельность и отдалъ «безъ поворота», какъ казалось ему. Что тутъ, въ этой панской средѣ, задумано и стряпается нѣчто большое, нѣчто серьезное, это чувствовалось само собою; но опять же чувствовалось ему и то, что вся эта стряпня и всѣ эти ихъ задачи, кажись, совсѣмъ не такія, о которыхъ идеально мечталъ еще столь недавно нашъ юный другъ, думая объ «общемъ дѣлѣ». Мало того, что «общее дѣло» онъ начиналъ находить далеко не «общимъ», но сверхъ того минутами ему вдругъ стало казаться, что по отношенію его-то самого это вовсе лишнее и совсѣмъ постороннее дѣло, что никакихъ этихъ революцій совсѣмъ даже не нужно ему дѣлать купно съ какими-то польскими панами. Онъ наконецъ сознался себѣ, что съ поразительнымъ легкомысліемъ свои собственныя мечты—и не болѣе какъ мечты—принималъ до сихъ поръ за «общее дѣло», тогда какъ въ сущности за-

Digitized by Google

же вовсе не знаетъ, что̀ это за дѣло и куда оно клонитъ. Онъ сознался себѣ, что просто съ завязанными глазами кинулся, очертя голову, на какой-то неизвѣстный ему путь, гадательно предположивъ себѣ заранѣе, что путь этотъ долженъ быть такимъ-то и такимъ-то и приведетъ къ такой-то вотъ цѣли. И вдругъ теперь оказывается, что путь вовсе не таковъ, какъ о немъ думалось, а цѣль—совсѣмъ другая, посторонняя и даже Богъ ее знаетъ какая именно...

Краска стыда выступила на его щеки. Въ эти минуты онъ самому себѣ началъ казаться жалкимъ и смѣшнымъ человѣкомъ, и даже не человѣкомъ, а глупымъ мальчишкой, мышенкомъ, собравшимся творить великія дѣла и вдругъ попавшимся въ ловушку.

Это печальное сознаніе, эта ѣдкая досада, этотъ стыдъ жгучій до слезъ, до боли, до скрежета зубнаго, и рядомъ съ ними образъ Цезарины — увлекательный, неотразимо-манящій и зовущій за собою всѣмъ обаяніемъ молодой, впервые въ жизни почувствованной страсти—страсти еще неудовлетворенной, но полной самыхъ живыхъ, самыхъ свѣтлыхъ и сладкихъ надеждъ...

Въ этихъ-то двухъ крайностяхъ, въ этихъ двухъ несовмѣстимыхъ противуположностяхъ и крылась настоящая причина того внутренняго разлада съ самимъ собою, который Хвалынцевъ ощущалъ тѣмъ сильнѣе, чѣмъ болѣе вглядывался въ глубь себя и въ явленія окружавшей его среды и жизни.

Онъ легъ въ постель раньше обыкновеннаго, но очень и очень долго ему не спалось.

Къ наплыву этихъ думъ и ощущеній приплеталось еще очень много другихъ, посторонннихъ. Онъ, напримѣръ, испытывалъ злобное чувство враждебности ко всѣмъ этимъ Котырламъ, Селявамъ, Шпарагамъ, Косачамъ и Концамъ, ко всѣмъ этимъ позирующимъ, гарцующимъ и рисующимся паничамъ въ чамаркахъ и конфедераткахъ, ко всѣмъ этимъ самодовольнымъ и нагло-шляхетнымъ солиднымъ панамъ, и къ ихъ ханжеско-патріотическимъ супругамъ, и къ кокетничающимъ панямъ, къ сахаристымъ взаимнымъ утчивостямъ всѣхъ этихъ господъ, къ утчивостямъ, вовсе ненужнымъ въ простой обиходной жизни и даже какъ-то странно рѣжущимъ глазъ постороннему человѣку, къ ихъ приторнымъ, сантиментальнымъ ухаживаньямъ за этими панями и паненками, къ ихъ нахальной, хвастливой похвальбѣ, къ ихъ манерамъ, потомъ къ свинячеству ихъ домашней обстановки и жизни, къ спѣсиво-надутымъ претензіямъ, къ ихъ шляхетности и къ гонору, даже къ красиво-театральнымъ эффектамъ ихъ ксендза и костела. Даже ихъ радушіе казалось приторнымъ, дѣланнымъ, а потому противнымъ, гостепріимство же излишнимъ и тягостно-обременительнымъ. Эта враждебность минутами доходила въ Хвалынцевѣ до раздражительной, мелочной придирчивости: онъ съ злобнымъ удовольствіемъ старался выискивать въ нихъ все дурное, а не видѣть ничего хорошаго было ему въ то же время такъ легко и просто, потому что оно самымъ естественнымъ образомъ дѣлалось какъ-то такъ, что ничто хорошее не приходило въ голову, настроенную столь односторонно. И эту враждебность возбуждало въ его душѣ не что иное, какъ гнетущее чувство собственнаго внутренняго одиночества, собственной отчужденности, болѣзненное сознаніе, что я здѣсь какъ-то лишній, посторонній, что я здѣсь всѣмъ чуждъ и мнѣ равно всѣ чужды—всѣ и во всемъ, что, невзирая на все радушіе, чувствуешь себя все-таки въ какихъ-то холодныхъ тискахъ, все-таки внутренно-замкнутымъ человѣкомъ и, несмотря на какое-то воображаемое «общее дѣло», не находишь ни единой общей точки нравственнаго соприкосновенія съ ними, тогда какъ вотъ хотя бы этотъ попъ, этотъ отецъ Сильвестръ—странное дѣло!—какъ-то ближе, и роднѣе кажется почему-то... Ну, казалось бы, «что̀ ему Гекуба и что̀ онъ ей!» и не особенно-то онъ попамъ сочувствовалъ еще съ университета, а религіознымъ индифферентистомъ самого себя почиталъ, а вотъ — поди жь ты! съ этимъ самымъ попомъ Сильвестромъ сразу почувствовалъ себя какъ-то совсѣмъ иначе, чѣмъ съ милыми, любезными панами: какъ-то проще, доступнѣе, сердечнѣе и легче... Вѣдь ужь на что бы вотъ, казалось, Котырло и Свитка: товаръ лицомъ ему показываютъ, всячески стараются убѣдить, заставить его вѣрить, а все не вѣрится, все фальшь какая-то чуется въ ихъ увѣреньяхъ; а попъ Сильвестръ, вовсе не думая и не заботясь о довѣріи, между тѣмъ сразу какъ-то безхитростно вызываетъ его.

Одну минуту Хвалынцевъ сталъ было «напущать» на себя «трезвые взгляды», говоря себѣ общеизбитыя формулы о томъ, что чувство подобнаго озлобленія есть низменное, недостойное чувство, что цивилизація должна-де гуманизировать отношенія къ людямъ, должна уравнивать ихъ помимо различій національности, кастъ и прочаго, что симпатія къ попу вытекаетъ у него изъ узкаго чувства національнаго предпочтенія и есть не что инсе, какъ та же «національная безтактность».—«Нѣтъ, впрочемъ, не изъ національнаго, а изъ демократическаго принципа», попытался онъ тутъ же оправдаться и поправиться предъ самимъ собою, но чрезъ минуту уже самъ надъ собою началъ злобно издѣваться за эти «похвальныя трезвыя мысли» — и чувство злобы послѣ этого еще сильнѣе заговорило въ немъ.

— Ахъ, да какой же все это вздоръ, какая пошлая глупость всѣ эти хорошія слова и похвальныя мысли! сказалъ онъ самому себѣ.—

Digitized by Google

«Демократическій, вдругъ принципъ»... «цивилизація»!.. «уравненіе»!.. Ну, и уравнивайся! Ну, и трави вмѣстѣ съ ними поповъ да зайцевъ, или зайцевъ да поповъ! Вѣдь все одно и то же!

...«Нѣтъ видно тутъ не «демократическій принципъ» и не одно «національное предпочтеніе», а нѣчто другое, болѣе глубокое, лежитъ въ основаніи»...

Но вотъ этого-то *«нѣчто»* и не могъ еще Хвалынцевъ вполнѣ ясно и осязательно опредѣлить себѣ въ своемъ умѣ; онъ только чувствовалъ его въ своемъ сердцѣ,—чувствовалъ, что подгоняемыя кнутомъ цивилизаціи отношенія къ панамъ суть не что иное, какъ фальшь въ сокровенной своей сущности, а въ невольной симпатіи къ травленному хлопскому попу, совсѣмъ помимо измышленнаго какого-то тамъ «демократическаго принципа», лежитъ нѣчто простое, искреннее и правдивое, нѣчто въ высшей степени жизненное и душевное.

И вотъ опять охватываетъ его болѣзненное чувство злобы и презрѣнія къ самому себѣ за подленькую уступчивость, за то малодушіе, которое допустило его нѣсколько минутъ скрывать въ себѣ человѣческій протестъ и оставаться безучастнымъ, хотя и не равнодушнымъ зрителемъ, когда надъ этимъ попомъ начались панскія издѣвательства.

«Нѣтъ, вонъ отсюда! Вонъ поскорѣе», чуть не въ сотый разъ порѣшилъ онъ, злобно и нервически ворочаясь въ темнотѣ на своей постели.

XIV.

Сейникъ панскій.

Въ то самое время какъ Хвалынцевъ, сказавшись усталымъ, предавался въ уединеніи своей комнаты всѣмъ этимъ болѣзненно-желчнымъ думамъ и ощущеніямъ, въ главномъ флигелѣ господскаго дома было ярко освѣщено; однако движенія особеннаго или шумной веселости вовсе не замѣчалось. Напротивъ, тамъ было даже какъ-то тише, чѣмъ всегда, хотя въ усадьбу и съѣхалось нѣсколько гостей, нарочно, втихомолку приглашенныхъ паномъ Котырло послѣ охоты. По Хвалынцевѣ, конечно, вовсе не скучали, и даже когда Свитка передалъ его извиненіе въ столь раннемъ отходѣ на покой, то хозяева остались весьма довольны: все же лишній, посторонній человѣкъ не будетъ на глазахъ торчать въ такое время, когда подлежитъ настоятельная надобность толковать о дѣлахъ весьма серьезныхъ и важныхъ. Свитка тоже былъ доволенъ не менѣе, если только не болѣе прочихъ.

Общество сидѣло въ двухъ отдѣльныхъ и не смежныхъ комнатахъ: мужчины заперлись въ кабинетѣ, а дамы въ гостиной, въ своемъ особомъ и тѣсномъ кружкѣ. Онѣ почти шопотомъ и съ таинственнымъ видомъ сообщали разныя новости и слухи, неизмѣнно касавшіеся «ойчизны». Одна передавала, будто знаетъ навѣрно, отъ самыхъ что ни есть достовѣрныхъ людей, что Гарибальди находится теперь въ Варшавѣ, для того, чтобы въ нужную минуту принять главное начальство надъ народовымъ войскомъ; другая увѣряла, что «англѣльска эскадра» съ десантомъ находится уже въ Поневѣжѣ, и что вотъ тоже одинъ благочестивый ксендзъ предсказаніе одно сдѣлалъ насчетъ французскаго флота: къ этому ксендзу, видите-ли, являлась Ченстоховская Богородица и сообщила, что на 25-е декабря, на самое «Боже народзѐне» Она приведетъ по Вислѣ, подъ самую Варшаву, весь броненосный французскій флотъ и будетъ бомбардировать цитадель и сожжетъ ее, и москалей всѣхъ повыгонитъ, и стало-быть надо намъ только подождать 25-го декабря. Одна изъ паненокъ по этому поводу разочла сколько дней, сколько часовъ, сколько минутъ и секундъ остается отъ сего дня до желаннаго срока, и обѣщала каждодневно читать особую литію Ченстоховской Богородицѣ, чтобъ Она какъ-нибудь сократила эти дни, часы и минуты. Но занимательнѣе всѣхъ оказалась красавица преклонныхъ лѣтъ — супруга пана Селявы-Жабчинскаго. Она хлопотливо порылась въ своемъ ридикюлѣ, вытащила оттуда свой молитвенникъ и достала сложенную между его листками бумажку, которую тотчасъ же, попрося всеобщаго вниманія, стала читать таинственно-тихимъ, но тѣмъ не менѣе торжественнымъ тономъ. Это было весьма распространенное и въ многочисленныхъ спискахъ ходившее по рукамъ въ то время «Предсказаніе нѣкоей ясновидящей нѣмки».

«Отъ Россіи, охваченной общимъ кровавымъ мятежемъ,—внятно читала посредница,—котораго жертвой пали правительство и тайный сенатъ, отпадаютъ всѣ пограничныя области, даже черкесы возвращаютъ себѣ свое давнее достояніе. Польша, въ давнихъ границахъ, перестраиваетъ карту Европы. Развѣнчанные монархи: царь русскій, императоръ австрійскій и король прусскій, спасаются въ Лондонъ. Умираетъ Наполеонъ III, и поляки, избавясь отъ всѣхъ враговъ и соперниковъ, созываютъ въ 1865 году на общій конгрессъ представителей вновь возникшихъ государствъ въ Варшаву, которая становится центральной столицей всей Европы».

Слушательницы съ благоговѣйнымъ восторгомъ и съ безусловной вѣрой, что все непремѣнно такъ и сбудется, внимали торжественному чтенію посредницы. Но сама пани Котырлова пожелала закрѣпить это предсказаніе свидѣтельствомъ духовъ, дабы ни въ комъ уже не оставалось ни малѣйшихъ сомнѣній. Она

Digitized by Google

вмѣстѣ съ религіознымъ фанатизмомъ соединила еще и фанатическую вѣру въ спиритизмъ, подобно безчисленному множеству полекъ того времени, и сама себя почитала медіумомъ. Пани Котырлова взяла карандашъ, утвердила его вертикально на подложенномъ подъ руку листѣ бумаги и задумалась. Водворилось всеобщее молчаніе. Всѣ взоры устремились на карандашъ съ напряженнѣйшимъ вниманіемъ и даже съ нѣкоторымъ страхомъ и трепетомъ. И вотъ минутъ черезъ десять, усталая, безъ всякой подпоры, рука стала шевелиться—карандашъ вывелъ какія-то каракули. Всѣ нагнулись смотрѣть что написали духи и по этимъ каракулямъ единодушно порѣшили, что такъ тому и быть, ибо духи дали отвѣтъ ясный и утвердительный.

Послѣ этого дамская бесѣда продолжалась въ этомъ же родѣ, до самаго ужина, изрѣдка перерываясь развѣ какою-нибудь стократно уже жеванною и пережеванною сплетнею изъ окрестнаго околодка.

Но не то было въ кабинетѣ, гдѣ, запершись отъ любопытныхъ глазъ и ушей лакеевъ и дѣвокъ, сидѣло почти все наиболѣе вѣское «панство повятове».

— Шановне панство,—началъ Василій Свитка, когда всѣ разсѣлись попокойнѣе и закурили кто сигару, а кто трубку съ длиннымъ чубукомъ изъ кабинетной коллекціи пана Котырло,—я очень радъ, что подъ предлогомъ кіермаша и охоты мы собрались теперь здѣсь въ числѣ нѣсколькихъ избранныхъ. Въ томъ, что мы честные патріоты, которые не выдадутъ общую тайну ни предъ Сибирью, ни подъ пыткой даже, кажется, нечего сомнѣваться.

Паны зашевелились: кто молча кивнулъ головой, кто промычалъ себѣ подъ носъ, въ видѣ утвержденія, нѣчто въ родѣ: «конечно!» «а якъ же-жъ!» «натуральне!» «ого!»

— Поэтому,—продолжалъ Свитка,—позвольте мнѣ рекомендовать себя предъ вами: я посланъ отъ Петербургскаго Центра съ нѣкоторыми порученіями, съ которыми буду имѣть честь познакомить васъ, а въ доказательство, что я имѣю на то извѣстное полномочіе, вотъ мой мандатъ [1]), потрудитесь взглянуть на него.

И вынувъ изъ бумажника небольшой билетикъ, исписанный мелкимъ почеркомъ и скрѣпленный голубою печатью Петербургскаго Центра, онъ предъявилъ его всему собранію.

Посредникъ, морщась и щурясь, поднесъ близко къ лампѣ бумажку и прочелъ Свиткино полномочіе.

— Сомнѣній нѣтъ: печать Петербургскаго Центра, и мандатъ совершенно правиленъ, рѣшающимъ, авторитетнымъ тономъ проговорилъ онъ, возвращая билетъ, и прибавилъ: «мы къ вашимъ услугамъ».

Всѣ сидѣли, кто гдѣ и кто какъ, а Свитка въ видѣ докладчика, опершись обоими кулаками на столъ и стоя въ любезно-почтительной, но тѣмъ не менѣе самодостоинственной позѣ, обращался ко всему собранію.

— Въ нашемъ Центрѣ получено самое достовѣрное дипломатическое сообщеніе, — началъ онъ, обводя глазами,—да впрочемъ, вѣроятно и вамъ оно извѣстно. Слова въ высшей степени знаменательныя! Наши эмигранты чрезъ принца Наполеона еще разъ хлопотали у императора французовъ за наше дѣло. Вы знаете отвѣтъ, который имъ былъ переданъ? Я могу сообщить вамъ его буквально отъ слова до слова, вотъ онъ: «Поляки должны сами подать первый знакъ жизни; но поляки-обыватели спокойны, а я не могу воскрешать мертвыхъ». Когда-же ему стали говорить о нашихъ будущихъ границахъ, то вотъ опять-таки его слова на это: «Пролитіе крови обозначитъ, гдѣ собственно таятся естественныя границы Польши: возстаніе намѣтитъ ихъ».

— Виватъ, Наполеонъ! Виватъ цесаржъ! восторженно сорвались съ мѣстъ и загалдѣли нѣсколько пановъ разомъ.—О, теперь баста! наше дѣло выиграно! Теперь finis Moscoviae!.. Consumptum est!

— Позвольте, шановне панство! позвольте!—перебилъ Свитка,—прошу не забыть словъ: «я не могу воскрешать мертвыхъ»,—это что значитъ? Это значитъ, что намъ надо скорѣе подумать о прочной организаціи вооруженнаго возстанья.

— Э, что тамъ долго думать!—махнулъ рукой эксъ-уланъ.—Просто тремъ-бремъ! шахъ-махъ!.. бей москаля и баста! По-моему такъ!.. Я на этотъ счетъ все-равно какъ *Кропитель* у нашего Мицкевича: тремъ-бремъ и баста!

— Это дѣлаетъ честь вашей храбрости,—вмѣшался Селява,—но все-таки надо обсудить сначала...

— Нечего тамъ судить!

— Однако-же позвольте!..

— Вздоръ! Ничего не хочу слушать!.. Шахъ-махъ и баста!

— Но такъ-же невозможно!..

— Что-съ!?.. А кто мнѣ запретитъ?.. Кто смѣетъ?.. Или я не такой-же благородный шляхтичъ, какъ и вы, какъ и всѣ? Да мой родъ еще, можетъ, постарше... да въ нашемъ гербѣ...

— Да нѣтъ, позвольте...

— Вздоръ! не желаю! ничего не желаю! Какъ шляхтичъ, я могу мое мнѣніе имѣть... Мое такое право на то есть!.. И мое мнѣніе я сумѣю поддержать моею саблею...

— Ну, вотъ! ну, вотъ! ужь и до сабель! За сабли всегда еще успѣемъ схватиться!—мягко и примирительно вступился между спорящими

[1]) Мандатъ—то же что номинація, нѣчто въ родѣ патента на извѣстную должность и удостовѣреніе, что предъявитель есть точно должностное лицо.

Digitized by Google

*

панъ Котырло, наливая и поднося завзятому эксъ-улану большую рюмку наливки.—Ну, успокойтесь, панове, и будемъ слушать, будемъ толковать... Лучше вотъ пейте!.. Вишнювка добрая!

— In vino veritas! — скрѣпилъ панъ Хомчевскій, лауреатъ нынѣшней охоты, который по старинѣ любилъ свою рѣчь уснащать латинскими изреченіями, и къ самой латыни относился всегда восторженно, называя ее не иначе какъ «свѣнта лацина».

Червленскій ксендзъ, тоже приглашенный на сеймикъ и тоже весьма любившій мудрыя латинскія изреченія, но плохо съ ними управлявшійся, считалъ непремѣннымъ своимъ долгомъ, при каждомъ классическомъ изреченіи Хомчевскаго, благоволиво и съ удовольствіемъ мотнуть головою и поддакнуть ему этимъ безмолвнымъ выраженіемъ своего компетентнаго одобренія, дескать: «аппробую! они не понимаютъ, а мы съ вами понимаемъ, мы люди ученые!» Впрочемъ, благодушный ксендзъ участіе свое въ сеймикѣ ограничивалъ одной лишь аппробаціей «свѣнтей лацины», да усерднымъ прислушиваньемъ къ чужимъ рѣчамъ, причемъ, въ видѣ вниманія къ словамъ ораторовъ и размышленія надъ ними, онъ очень серьезно и глубокомысленно поводилъ бровями, а самъ, главнѣйшимъ образомъ, только потѣлъ и усердно, но систематически, то-есть исподволь и неторопливо, приналегалъ на Котырловскую вишнювку.

Эксъ-уланъ, послѣ мировой съ Селявой, ворча подъ носъ, наконецъ-то кое-какъ успокоился надъ своей рюмкой.

— Что̀ касается границъ, — продолжалъ Свитка, снявъ со стѣны ландкарту и разложивъ ее на столѣ предъ собою,—то тутъ, я полагаю, не можетъ быть и толковъ. Мы обязаны твердо и непреклонно держаться границъ 72-го года.

— Мало!.. Не хочу!.. Не желаю!.. Мало!— забурлилъ опять панъ Копецъ.

— Были совѣщанія въ Вильнѣ и Петербургѣ,—не обративъ особеннаго вниманія на пана Копца, говорилъ далѣе Свитка,—и такъ какъ по дипломатическому сообщенію, границы Польши должны быть намѣчены самимъ повстаньемъ, то и рѣшены три главные передовые пункта, въ которыхъ оно должно начаться одновременно, если даже не раньше, съ повсемѣстнымъ возстаніемъ внутри края. Эти пункты... вотъ они (Свитка склонился къ картѣ и сталъ водить по ней пальцемъ): крайній сѣверо-восточный около Люцина, на рубежѣ Псковской губерніи и Эстляндской; затѣмъ прямо на востокъ, около Смоленской границы будутъ у насъ Горки—пунктъ крайне важный и многообѣщающій: Горыгорецкій институтъ почти весь уйдетъ въ лѣса! Ну и, наконецъ, крайнимъ юго-западнымъ предположено избрать Кіевъ и даже южнѣе, то-есть лѣса около Бѣлой-Церкви и Таращи, а можетъ еще и далѣе, хоть до Умани. Таковъ, господа, первоначальный планъ движенія на восточной нашей границѣ.

— Не согласенъ!.. Мало! — хлопнувъ кулакомъ по столу, снова вскочилъ завзятый панъ Копецъ.—Граница 72-го года! Да что̀ это за граница?! Это не граница, а тьфу! Съ такими границами и жить нельзя!

— А пану пулковнику чего бы хотѣлось?— прищурился на него задира-посредникъ.

— А вотъ чего!

И онъ подскочилъ къ ландкартѣ и, вглядываясь въ нее бѣгающими взорами, сбивчиво, торопливо и неувѣренно сталъ водить по ней пальцемъ.

— Позвольте-съ... вотъ... вотъ... сейчасъ... Во-первыхъ,—торжественно и авторитетно началъ онъ, отыскавъ наконецъ то, чего ему хотѣлось,—во-первыхъ, Курляндія была наша?

— Такъ, подъ протекторатомъ нашимъ, — подтвердилъ панъ Хомчевскій.

— Все равно; значитъ, наша! Значитъ, безъ Курляндіи намъ невозможно. Во-вторыхъ — Псковъ.

— Псковъ!?.. удивленно выпучили на Копца глаза свои чуть ли не всѣ присутствующіе.

— Псковъ, непремѣнно Псковъ! И не иначе!—несмущенно подтвердилъ онъ.—Въ-третьихъ Смоленскъ,—и какъ тотъ, такъ и другой со всей ихъ территоріей. Далѣе на югъ, по теченію Днѣпра вплоть до Чернаго моря. Днѣпръ—рѣка польская, а безъ моря намъ невозможно. Словомъ: отъ моря и до моря. Вотъ моя граница и на иную я не согласенъ!

— Позвольте-съ,—снова вмѣшался посредникъ, — Псковъ-то со Смоленскомъ на какомъ же практическомъ основаніи? Тамъ вѣдь нашихъ и не пахнетъ, сколько помнится.

— Отвоюемъ, чортъ возьми!—снова хлопнулъ по столу Копецъ.—Отвоюемъ и будетъ наше!

— Но... практическое основаніе?

— А то̀, что Смоленскъ былъ за нами, а подъ Псковъ еще Баторій ходилъ. Я вѣдь тоже, чортъ возьми, исторію знаю!

— Этакъ, пожалуй, Жолкевскій когда-то и въ Москвѣ сидѣлъ!

— А что̀ жь? И Москву отвоюемъ!.. Москва городъ хорошій!.. Пригодится!

Почти всѣ засмѣялись, но не язвительно, а дружелюбно.

— А такъ!—убѣдительно и съ азартомъ подтвердилъ эксъ-уланъ,—все, гдѣ есть или гдѣ были когда-либо наши *должно* быть нашимъ!

— Ну, такимъ-то образомъ,—опять ввернулъ слово Селява,—нашихъ слишкомъ достаточно было и есть, да и еще будетъ, пожалуй, хоть бы въ Сибири, напримѣръ...

— И Сибирь отвоюемъ! расходился было панъ пулковникъ, но вдругъ словно бы осѣкся,

Digitized by Google

поперхнулся и плюнулъ,—и Сибирь! Э, нѣтъ!.. Тьфу!!!.. Сибиру не надо, панове! Ну его къ дзьяблу! Только своихъ выберемъ оттуда, а самого не нужно!... Сибиру не хочу!.. Кэпськи интэресъ, муй пане!

Всѣ опять засмѣялись.

— Позвольте, господа,—возвысилъ голосъ Свитка.—Мысль о Сибири вовсе не столь комична, какъ кажется! И притомъ мысль о возстаніи въ Сибири далеко не новая мысль! Еще нашъ знаменитый дѣятель тридцать-перваго года, Петръ Высоцкій, первый сталъ было приводить ее въ исполненіе, а потомъ позднѣе бывшій овручскій Базыльянскій опатъ Сіероцинскій, у котораго все уже было готово: самый обширный военный заговоръ... Сибирь—сторона почтенная: тамъ всякихъ революціонныхъ элементовъ пропасть! И мы даже теперь имѣемъ свои основанія сильно разсчитывать на нее въ нашемъ дѣлѣ.

Панъ пулковникъ при этомъ самодовольно и залихватски покрутилъ сивый усъ свой.

— Охъ, черезчуръ ужь много съ насъ будетъ, панове!—вздохнулъ, покачавъ головою, старый Хомчевскій. — Не вытянемъ. Dormit parum possessor divitiarum!—прибавилъ онъ назидательно.

— Asinus asinorum in secula seculorum! бухнулъ ему на это пріятель его Копецъ.

Хомчевскій вскочилъ какъ уязвленный и вспыхнулъ.

— Примѣните къ себѣ!—закричалъ онъ. И новая ссора готова была уже загорѣться; паны вцѣпились бы другъ другу въ чубы, но панъ Котырло поспѣшилъ урезонить пріятелей и уговорилъ пана пулковника взять назадъ свое дерзкое слово. Кончилось тѣмъ, что пріятели выпили и угомонились безъ злобы другъ на друга.

— Сибирь, конечно, будетъ сама по себѣ,— продолжалъ Свитка; — она, по всей вѣроятности, составитъ особую, совершенно самостоятельную республику въ родѣ Соединенныхъ Штатовъ, но лишь бы она поднялась одновременно съ Россіей и съ нами: тогда онѣ обѣ помогутъ намъ освободиться. Планъ таковъ: охватить возстаніемъ всю Россію съ двухъ фланговъ. Мы и Малороссія съ запада; съ востока на Волгѣ и на Уралѣ — мужики, казаки, киргизы, татары и всякіе инородцы; съ сѣвера — архангельскіе, вологодскіе и костромскіе раскольники; съ юга Донъ и Кавказъ, да еще Сибирь въ резервѣ — вездѣ уже тутъ закинуты сѣти, повсюду кипитъ работа и кипитъ отлично! Мы держимъ въ рукахъ своихъ хорошія нити; мнѣ поручено сообщить и вамъ объ этомъ. Свѣдѣнія наши вполнѣ достовѣрны: сомнѣній быть не можетъ. Но мы все-таки должны подняться первые, а тѣ ужь за нами!

— Per me licet! Я, пожалуй, и согласенъ, но какъ?—вздохнулъ и безпомощно развелъ руками старосвѣтскій панъ.

— А такъ, что тремъ-бремъ и квитъ!.. «Катай-валяй, стрѣляй по ребрамъ, по усамъ! Шахъ-махъ! Коли-руби! Не поддавайся самъ!»— съ азартною жестикуляціей и даже прыскаясь слюною, продекламировалъ изъ Мицкевича панъ-пулковникъ. «Кропить, лупить, крестить— и весь тутъ разговоръ!» заключилъ онъ, молодцовато уперевъ одну руку въ бокъ, а другою хватаясь за усъ и выразительно прикусивъ его зубами.

— Atque iterum! — безнадежно махнулъ на него рукою панъ Хомчевскій.

— Вы спрашиваете: какъ? —сказалъ Свитка, обращаясь преимущественно къ обожателю «свѣнтей лацины».—Планъ есть, обсужденный, выработанный, все какъ должно!.. Конечно,— продолжалъ онъ, — планъ нѣсколько смѣлый, но не невозможный, если взять въ соображеніе, что подъ Россію со всѣхъ концовъ подведены свои же внутреннія, но вѣрныя мины. Планъ очень осуществимый!

— А именно, — полюбопытствовалъ посредникъ.

— А именно, вотъ что̀, — приступилъ Свитка къ новымъ объясненіямъ. — Изволите видѣть, планъ этотъ думанъ и передуманъ и такъ, и сякъ; по поводу его были даже сношенія и съ Лондономъ, и съ Парижемъ, а думали-то надъ нимъ хорошіе спеціалисты: ни болѣе, ни менѣе, какъ люди русскаго генеральнаго штаба-съ. Планъ широкій и распадается такъ-сказать на двѣ вѣтви; внутреннюю и внѣшнюю!

Всѣ подвинулись ближе къ разсказчику и приготовились внимательно выслушать его. Дѣло, видимо, начинало живо интересовать ихъ.

— Ну, что̀-то тамъ генеральный штабъ придумалъ на погибель Москвы? — съ усмѣшкой легкаго недовѣрія къ силамъ генеральнаго штаба пробурчалъ себѣ подъ носъ панъ пулковникъ.

— Attentissime! — поднявъ руку кверху и втягивая въ себя воздухъ, шипяще какъ-то прошептала «свѣнта лацина».

— Вѣтвь внутренняя состоитъ въ томъ,— продолжалъ Свитка, — чтобы, во-первыхъ, все населеніе забраннаго края вовлечь въ мятежъ.

— Легко сказать, — сомнительно мотнувъ головою, вздохнулъ панъ Котырло.

— Легко! —съ убѣжденіемъ подтвердилъ докладчикъ. — Легко-съ! надо только, что называется, роями, тучами цѣлыми напустить на край мелкія банды, такъ-сказать, наводнить его мелкими отрядами, у которыхъ будетъ особая задача, а именно: первымъ дѣломъ терроръ!.. Терроромъ, и безпощаднымъ терроромъ, надо заставить хлопа идти въ банду, коль не пойдетъ охотой.

— Ну, тутъ и новые смазные чоботы не ма-

Digitized by Google

лую роль играть будутъ, какъ добрая приманка!—съ видомъ знатока, небрежно уронилъ слово Селява-Жабчинскій.

— Тѣмъ лучше! — замѣтилъ Свитка. — Но терроръ, это главное. Затѣмъ — единовременно дѣлать повсюду всякіе безпорядки: портить дороги, жечь казенные склады, рвать телеграфныя проволоки, какъ можно болѣе утомлять царскія войска, не давая имъ ни дня, ни ночи покою; для этого наши классическіе лѣса дадутъ намъ возможность укрываться отъ преслѣдованія, дѣлать быстрые и неожиданные маневры, однимъ словомъ, надо, чтобы пожаръ охватилъ весь край сразу, чтобы какъ громъ грянулъ!

— А то такъ! такъ! какъ громъ! и сразу! браво! виватъ! —опять съ восторженными возгласами посрывалось съ мѣстъ воспріимчивое панство, живо увлекшись картиной такой энергической и разносторонней войны.

— Позвольте! Это еще не все, а одна только первая вѣтвь нашего плана!—предупредилъ Свитка.—Однѣ массы будутъ разсѣяны роями, другія же должны быть компактны, сосредоточены въ цѣлые военные корпуса, въ бригады, въ дивизіи, и для нихъ предназначается иная роль. Это уже вторая вѣтвь — внѣшняя.

Свитка замедлился на минутку, вздохнулъ, какъ бы собираясь съ мыслями, и принялся за дальнѣйшее развитіе плана.

— Нѣкто, извѣстный намъ лично,—заговорилъ онъ снова,—человѣкъ военный и замѣчательный, котораго однако я не имѣю права назвать вамъ по имени, но, пожалуй, объявлю его будущій псевдонимъ, такъ какъ онъ уже избралъ себѣ псевдонимъ: онъ явится подъ именемъ «Топора». Топоръ,—не правда ли, знаменательно и мѣтко? [1])

— Ухъ!.. Красный?!—сильно поморщась, съ недовѣрчивостью и нескрываемымъ недовольствомъ вскричалъ Котырло.

Бо́льшая часть присутствующихъ тоже устроила себѣ кислыя и сомнѣвающіяся физіономіи.

— Не красный, а умный, и потому побѣлѣетъ какъ настанетъ для того время нужное!—успокоилъ Свитка.—Онъ предназначается для Россіи, а тамъ можно взять только крайнею краснотою, поэтому и Топоромъ назвалъ онъ себя; тамъ это имя будетъ понятно!

Физіономіи пановъ прояснились. Котырло даже сдѣлалъ видъ, что теперь онъ домекнулся и вполнѣ понялъ въ чемъ дѣло, и потому одобряетъ его отъ всей души своей.

— Этотъ Топоръ откроетъ военныя дѣйствія въ Горкахъ, на рубежѣ Смоленской губерніи,—продолжалъ Свитка.—Съ помощью Горигорецкихъ студентовъ онъ возьметъ Горки, Борисовъ, Рогачевъ и Кричевъ; добудетъ въ Кричевѣ цѣлую батарею артиллеріи, которая уже столько времени стоитъ себѣ безъ всякаго прикрытія; а офицеры тамъ уже и теперь на двѣ трети—все наши! Затѣмъ вмѣстѣ со студентами и поднятымъ народомъ явится въ Россію, а молва пойдетъ далече, еще гораздо раньше его, что Топоръ-де съ польскою ратью и съ пушками идетъ освобождать народъ отъ уставныхъ грамотъ. Маршрутъ его будетъ таковъ: онъ обязанъ пройти сквозь губерніи: Смоленскую, Тверскую, Московскую, Владимірскую и Нижегородскую, и поднять весь правый берегъ Волги, а въ это-же самое время, другой филяръ [1]) въ Казани подымаетъ пугачевщину на лѣвомъ берегу. Калужская губернія подхватитъ бунтъ отъ сосѣдки своей, Московской, и уже черезъ Орловскую и Курскую поведетъ далѣе на югъ, для соединенія съ нашимъ повстаньемъ на юго-западѣ и въ Малороссіи. Вотъ нашъ планъ, панове!

— Виватъ, Топоръ!.. нѣхъ-жіе Топоръ! Это такъ!.. Это по нашему!.. Кропить, такъ кропить, а крестить, такъ крестить! На всѣ стороны!.. Браво!—поднялся новый гвалтъ и движеніе въ табачномъ дыму просторнаго кабинета.

— Однако, позвольте, панове! И это еще не все!—возвысилъ голосъ Василій Свитка.—Намъ надо имѣть прочный опорный пунктъ, безъ него не обойдемся; поэтому нужно взять Динабургскую крѣпость.

— Ну-у!.. Куда тамъ! Ужь и Динабургъ!—болѣе чѣмъ сомнительнымъ тономъ, какъ-бы въ виду очевидной нелѣпости, заговорили почти всѣ присутствующіе кромѣ эксъ-улана, которому весьма понравилась красивая идея взять штурмомъ русскую крѣпость.

— Да, именно Динабургъ,—увѣренно подтвердилъ Свитка.—Конечно, если-бъ я сказалъ вамъ, что мы возьмемъ его посредствомъ правильной осады или штурмомъ, то это была-бы такая нелѣпость, послѣ которой надо-бы было пану Котырло тотчасъ-же послать за докторомъ и пустить мнѣ кровь, въ предупрежденіе сумасшедшей горячки; но я ни о чемъ подобномъ и не заикаюсь. Мы возьмемъ нашу крѣпость совершенно спокойно и самымъ вѣрнымъ путемъ.

Присутствующіе при этихъ словахъ выразили знаки самаго живого, нетерпѣливаго любопытства, и еще ближе сплотились около Свитки.

— Мы нападемъ на крѣпость не извнѣ, а изнутри.

— То-есть какъ-же это?

— А очень просто!—отвѣчалъ онъ.—Подъ предлогомъ постройки костела, который уже предположенъ самимъ правительствомъ внутри крѣпости, мы введемъ туда, въ видѣ рабочихъ, массу нашихъ людей. Дѣло, какъ видите, бого-

[1]) Лудвигъ Жвирждовскій, капитанъ генеральнаго штаба.

[1]) Киневичъ, дѣйствовавшій въ Казани вмѣстѣ съ Чернякомъ и другими.

Digitized by Google

угодное! Кромѣ того, теперь уже идетъ сильная и успѣшная пропаганда въ динабургскихъ арестантскихъ ротахъ, такъ что въ назначенную ночь и часъ офицеры, между которыми есть очень много нашихъ, откроютъ тюрьмы, арсеналы, вооружатъ людей, арестуютъ коменданта, переколютъ часовыхъ, и крѣпость, менѣе чѣмъ въ какой-нибудь часъ времени, будетъ наша! И все это произойдетъ такъ тихо, такъ гладко, что когда городъ проснется поутру, такъ ахнетъ отъ изумленія предъ неожиданностію и чистотою такой работы.

Паны просто плавали въ маслѣ восторга. Планъ дѣйствительно былъ превосходенъ.

— Но и это еще не все!—продолжалъ Свитка.—Другой изъ нашихъ дѣятелей, которому, по всей вѣроятности, предстоитъ играть на Литвѣ громадную роль и котораго я рѣшусь назвать вамъ опять-таки не по имени, а по его будущему псевдониму — Долéнго [1]), человѣкъ весьма уважаемый русскимъ правительствомъ. Этотъ человѣкъ стянетъ десятитысячный корпусъ въ Ковенскую губернію, соединится съ иностраннымъ десантомъ, потому что къ этому времени уже подоспѣетъ обѣщанная помощь французовъ и англичанъ, и съ этими соединенными силами онъ пойдетъ подымать Остзейскій край, а затѣмъ двинется на Вильну. Въ это время, замѣтьте, возстаніе уже будетъ въ полномъ разливѣ и въ Конгресувкѣ, и на Украйнѣ. Топоръ овладѣетъ линіей Днѣпра, а Долéнго линіей Двины, и такимъ образомъ царскія войска будутъ окружены, отрѣзаны и безпомощны. Мы дадимъ имъ полнѣйшій шахъ и матъ.

— То-есть шахъ-махъ!—и плюскъ!—съ выразительнымъ размашистымъ жестомъ скрѣпилъ панъ пулковникъ.

— Certe certissime! Вѣрнѣе вѣрнаго!—вскочилъ съ мѣста даже и панъ Хомчевскій, увлеченный столь блестящею и, повидимому, весьма возможною картиною будущихъ побѣдъ и успѣховъ.

— Все это прекрасно! — послѣ нѣкотораго раздумья вздохнувъ замѣтилъ панъ Котырло.— Но я смотрю на дѣло не увлекаясь. Для такихъ предпріятій нужны руки, нуженъ народъ, а что вы съ нашимъ народомъ проклятымъ подѣлаете!

— Обратите народъ въ чернь! — возразилъ Свитка,—и вы всего достигнете!

— Легко сказать: обратите!.. А гдѣ возможность?

— Возможность вся въ вашихъ рукахъ, господа помѣщики, вся въ вашей волѣ, была бы лишь охота да энергія! Во-первыхъ,—сталъ высчитывать Свитка,—костелъ, который свое дѣло дѣлаетъ безпримѣрно хорошо; во-вторыхъ, ваши школы; въ-третьихъ, институтъ нашихъ мировыхъ посредниковъ, съ помощью которыхъ можно расплодить еще болѣе пролетаріата.

— Надо обезземеливать, — промолвилъ Котырло.

— Совершенно справедливо! Надо обезземеливать, и обезземеливайте! Переводите ихъ въ дворовые, въ кутники, дѣлайте что хотите, но только увеличивайте пролетаріатъ, усиливайте классъ батраковъ. При участковомъ владѣніи это въ тысячу разъ легче, чѣмъ при общинномъ. Но помните: одно изъ первыхъ условій, чтобы народъ поскорѣе былъ обращенъ въ чернь! Это ручательство вѣрнаго успѣха!

— Certissime! — съ удовольствіемъ потирая руки, возгласилъ панъ Хомчевскій.—Съ этимъ я вполнѣ согласенъ, но... (онъ вздохнулъ и возвелъ глаза къ потолку) гдѣ ручательство, что наши блестящіе планы безпрепятственно приведутся въ исполненіе, что все такъ и будетъ, такъ и случится, какъ мы предполагаемъ, что они до времени не станутъ извѣстны москалю? Кто мнѣ поручится, что все это будетъ, такъ-сказать, impune — безнаказанно, безопасно?.. Я хоть и вѣрный стрѣлокъ, но безъ вѣрнаго расчета не желалъ бы рисковать ни моей головой, ни моимъ маентkомъ [1]), а ни даже зарядомъ моей охотничьей двухстволки.

— Ручательство въ слѣпотѣ москéвской, ужь если говорить совсѣмъ откровенно!—подхватилъ Свитка.—Да чего же лучше! Вотъ вамъ одинъ образчикъ: вы знаете ли, напримѣръ, кѣмъ оберегается безопасность нашего тайнаго комитета въ Вильнѣ?

— А ну-те?—съ живымъ любопытствомъ отозвался Хомчевскій.

— Да ни болѣе, ни менѣе, какъ русскимъ же карауломъ, русскими штыками!

— То-есть это аллегорія, конечно?

— Какая тамъ аллегорія! Буквально! Вы знаете, гдѣ этотъ комитетъ собирается? гдѣ происходятъ его секретныя совѣщанія.

— А ну-те?

— Въ генералъ-губернаторскомъ кабинетѣ.

Многіе выпучили глаза и засмѣялись этому сообщенію, какъ фарсу.

— Честное слово! — подтвердилъ Свитка. — Не только что въ генералъ-губернаторскомъ домѣ, но иногда даже въ собственномъ кабинетѣ его высокопревосходительства. Тамъ, въ портфеляхъ, между дѣловыми бумагами, передаются по назначенію и наши бумажки, тамъ же во время официальныхъ докладовъ и пріемовъ происходятъ и наши доклады и пріемы; а это, конечно, самое умное и самое безопасное: Боско всѣ свои фокусы, безъ всякихъ аппаратовъ, дѣлалъ на глазахъ всей почтеннѣйшей публики и оттого его никогда ни поймать, ни разгадать не могли. То-то и хорошо, господа, что нѣсколько нашихъ добрыхъ филяровъ сидятъ за большими плечами—и виленскими, и петербургскими.

Паны согласились, что это дѣйствительно хорошо.

[1]) Сигизмундъ Сѣраковскій, капитанъ генеральнаго штаба.

[1]) Имѣніемъ.

Digitized by Google

— Ахъ, чуть было не забылъ! — хлопнулъ себя по лбу Василій Свитка.—Еще одно интересненькое сообщеньице. Наши очень успѣшно хлопочутъ у Ротшильда и Монтефіори, чтобы тѣ посодѣйствовали пониженію русскихъ фондовъ на всѣхъ европейскихъ рынкахъ.

— Ого, ну и что же?—спросилъ Котырло.

— Содѣйствіе обѣщано почти что навѣрное, какъ скоро начнется возстаніе; а между тѣмъ къ тому же времени и въ Лондонѣ, и въ Парижѣ уже заготовляются громадные выпуски русскихъ фальшивыхъ серій и ассигнацій, которыми мы будемъ въ состояніи просто наводнить всю Россію — и кредитъ ея лопнетъ. А поддѣлка артистическая!.. Неотличишь, а-ни-ни.

— Хм!.. раздумчиво крутя усъ, произнесъ панъ Копецъ. — Эдакъ, пожалуй, камуфлетомъ въ самихъ себя же хватимъ съ этими ассигнаціями... Жиды принимать не станутъ... Средство-то немножко того...

— Средство освященное еще великимъ Наполеономъ,—гордо поднявъ голову, замѣтилъ Свитка.—Дѣло не въ жидахъ, а въ томъ, чтобы парализовать врага на всѣхъ существенныхъ пунктахъ.

— А, Напольйонемъ—разводя руками,—почтительно и даже благоговѣйно произнесъ эксъ-уланъ.—Да!.. Ну, это иное дѣло!.. Напольйонъ!.. Предъ этимъ именемъ я склоняюсь ницъ и молчу, я молчу, муй пане!

— Теперь, господа, я желалъ бы знать,— снова заговорилъ Свитка,—какъ вы смотрите, то-есть лучше сказать, какова программа вашихъ современныхъ дѣйствій, вашъ взглядъ на задачу относительно *настоящаго* именно времени? Мое любопытство будетъ простительно,— принимая деликатно-извиняющійся тонъ, пояснилъ онъ,—если я скажу, что мнѣ поручено собрать объ этомъ свѣдѣнія для соображеній Петербургскаго Центра... Это даже одинъ изъ пунктовъ моей инструкціи.

— Нашъ взглядъ... да какъ сказать?.... нашъ взглядъ, то-есть...

Паны очевидно пришли въ затрудненіе предъ вопросомъ, поставленнымъ такимъ образомъ.

— То-есть я разумѣю программу дѣйствій дворянства относительно правительства въ настоящее время,—пояснилъ Свитка.—Весьма бы желательно,—прибавилъ онъ,—во всемъ Западномъ краѣ достичь по этому предмету полнѣйшей гармоніи и единообразія.

— А, да-а! — подхватилъ солидный и разсудительный панъ Котырло. — Не знаю, какъ гдѣ, но мы, по крайней мѣрѣ, держимся политики галицкихъ помѣщиковъ сороковыхъ годовъ, то-есть все броженіе относимъ къ агитаціямъ красныхъ, къ волненію умовъ между хлопами. Когда требуютъ объясненій, мы даемъ отзывы, что дескать положеніемъ 19-го февраля пользуются какіе-то невѣдомые намъ агитаторы и мутятъ народъ, который, выйдя изъ подъ власти помѣщиковъ, думаетъ себѣ, что онъ ужь можетъ теперь не повиноваться и власти правительства, и что стало-быть мѣстныя власти обязаны укрощать крестьянъ.

— Ну, а что касается самихъ крестьянъ,— весело подхватилъ Селява-Жабчинскій, — то тутъ мы проводимъ сліяніе, любовь, братство, равноправность и прочія подобныя конфетки. Средство, ничего себѣ, дѣйствуетъ. Ловятся и на эту удочку! Ну, конечно, подъ рукой постоянно пускаются слухи, что освобожденіемъ обязаны они никакъ не правительству, — это тоже съ одной стороны не мѣшаетъ, помня галиційскую рѣзню 46-го года.

Свитка чуть замѣтно, но очень коварно улыбнулся про себя и въ то же мгновеніе поспѣшилъ принять прежнее спокойное выраженіе.

— Да,—подтвердилъ Котырло,—и чтобы подобныя сцены не могли повториться, по неволѣ надо содѣйствовать распространенію братствъ трезвости, даже себѣ въ убытокъ, потому что сколько ужь винокурень совсѣмъ стали, да и моя тоже!—прибавилъ онъ съ хозяйственно-сокрушеннымъ вздохомъ.

— Теперь, господа, я подхожу къ самой существенной, къ самой важной части моего порученія,—опять принявъ дѣловой и какъ бы официальный тонъ, сказалъ Свитка, и снова занялъ у стола прежнее мѣсто и прежнюю позу.—Наше общее дѣло, на которое смотритъ вся Европа, весь міръ, должно имѣть видъ и формы вполнѣ благоустроеннаго возстанія.

— Натуральне!—подалъ голосъ Селява.

Прочіе выразили минами и жестами полное свое согласіе съ заявленнымъ мнѣніемъ Свитки.

— Благоустройства же мы можемъ достигнуть,—продолжалъ тотъ,—единственно посредствомъ *организаціи*, то-есть намъ надобно позаботиться о томъ, чтобы заблаговременно, гораздо ранѣе рѣшительнаго дня и часа, даже чѣмъ скорѣе тѣмъ лучше, устроить и ввести повсюду въ дѣйствіе нашу тайную революціонную администрацію. Вся *организація* должна быть строго подчинена одной высшей, такъ-сказать, центральной распорядительной власти — *ржонду народовему*. Организація должна прочно связать всѣ сословія, собрать и правильно распредѣлить наши народныя силы и систематически употребить ихъ для предстоящей борьбы, а безъ того и наши широкіе, наши блестящіе планы не удадутся!.. Населеніе должно прямо, незамѣтно для самого себя и какъ бы совершенно естественно перейти отъ русской власти подъ нашу революціонную.

— Мм... это такъ, конечно,—замѣтилъ Котырло;—но... тутъ есть одинъ весьма существенный вопросъ, такъ-сказать, вопросъ жизни или смерти.

— То-есть?—спросилъ Свитка.

— То-есть, въ чьихъ рукахъ будетъ нахо-

Digitized by Google

диться эта высшая, центральная власть? Если въ рукахъ красной сволочи, то слуга покорный...

Свитка опять улыбнулся про себя тонкою, чуть замѣтною, но очень коварною улыбкою и опять еще скорѣе поспѣшилъ смаскировать ее строго-серьезной миной.

— Мнѣ кажется, что для Литвы объ этомъ не можетъ быть и вопроса,—сказалъ онъ.—Въ Литвѣ и власть, и вліяніе всегда останутся на сторонѣ бѣлыхъ.

— Хм... А если эта центральная красная власть однимъ декретомъ изъ Варшавы скассуетъ и бѣлыхъ, и всю ихъ организацію, да пойдетъ терроромъ вводить свои соціальныя и коммунистическія бредни на счетъ нашей собственности и нашихъ родовыхъ привилегій. Тогда что?

— Тогда?.. Тогда мы можемъ и отложиться отъ Варшавы. Какая же надобность непремѣнно идти за нею на привязи? Идемъ пока намъ это нужно и удобно; а неудобно—только они насъ и видѣли! Не Литва въ Польшѣ, а Польша въ Литвѣ нуждается!—съ силою искренняго убѣжденія прибавилъ Свитка.—Литва, слава тебѣ Боже, слишкомъ достаточно сильна, чтобы существовать совершенно самостоятельно и независимо; а Польшѣ одной безъ насъ не вытянуть: мы для нея житница, мы для нея остъ-индскія колоніи. Польша безъ Литвы—это и географическій, и политическій абсурдъ, а если мы сила, такъ гнись подъ насъ, пляши подъ нашу музыку или пропадай себѣ. Варшавскіе красные сапожники намъ ни сколько не страшны.

Эта рѣчь Свитки бодро, освѣжительно подѣйствовала на присутствующихъ. Онъ говорилъ съ такою увѣренностью, съ такою силою убѣжденія, и столь ловко умѣлъ задѣть чувствительную струну «мѣстнаго патріотизма», что на физіономіяхъ пановъ заиграли самодовольныя улыбки гордаго сознанія своей силы и значенія. Имъ даже очень понравилась мысль, что они, коли захотятъ, то могутъ и наплевать на Польшу и быть сами по себѣ, а Польша сама по себѣ—пускай-де намъ кланяется и нашей милости панской выпрашиваетъ. Новая идейка эта очень лестно и пріятно щекотала мѣстно-литовское самолюбіе шляхты.

— И такъ, панове, насчетъ организаціи,—приступилъ къ дѣлу Свитка.—Мѣстная организація должна состоять изъ начальниковъ: воеводскаго, повятоваго, окренговаго и парафіяльнаго [1]). Для сбора податей должны быть назначены особые побо́рцы, а для мѣстныхъ бандъ особые довудцы, по воеводствамъ же—военные воеводы; мѣстные довудцы будутъ пока организаторами мѣстныхъ военныхъ силъ. Кромѣ того, отъ высшаго ржонда въ каждое воеводство будетъ назначенъ особый комисаръ, со значительными полномочіями, для общихъ наблюденій за исполнительностью членовъ организаціи и за теченіемъ дѣлъ вообще, а своевременно, то-есть когда необходимость укажетъ дѣйствовать на инерцію массъ терроромъ, предполагается въ каждомъ повѣтѣ учредить трибуналъ съ немедленной карой за неповиновеніе.

— От-то такъ! От-то по нашему!—обрадовался панъ Копецъ, но панъ Котырло далеко не выразилъ такого же чувства, Онъ, напротивъ, поцмокивая, морщась, тужась и разглядывая свои ногти, выжималъ изъ себя завѣтную мысль.

— Видите ли, мм... оно все, пожалуй, очень стройно придумано,—говорилъ онъ, медленно и тягуче,—но... мы бы думали... по-мо́ему, по крайней мѣрѣ... мнѣ сдается, что этотъ трибуналъ, комисары и прочее, все это пахнетъ какъ-то краснотою... А мы бы думали то же самое сдѣлать, да только проще, интимнѣе...

Свитка нахмурился и закусилъ губу.

— То-есть какъ же бы, напримѣръ?—спросилъ онъ сквозь зубы и, чтобы не слишкомъ явно выдать свои внутреннія ощущенія, закурилъ папироску.

— По крайней мѣрѣ, наставленія Ламберова Отеля, которыя *намъ* ни въ какомъ случаѣ нельзя не принимать въ соображеніе,—продолжалъ Котырло,—именно указываютъ намъ на такое простое, интимное устройство. Мы, видите ли, склонны смотрѣть на возстаніе какъ на свое домашнее дѣло и разсчитываемъ имѣть по уѣздамъ двухъ-трехъ человѣкъ, которые поведутъ дѣло, и конечно въ каждомъ изъ насъ будутъ имѣть послушнаго и надежнаго помощника... И такую организацію подготовили бы къ тому времени, когда по нашимъ расчетамъ, настанетъ для этого пригодная, безопасная пора... Впрочемъ красные, коли хотятъ, пускай начинаютъ дѣло, а мы поглядимъ.

Эти мысли пришлись крайне не по вкусу скромному на видъ Василію Свиткѣ. Онѣ становились поперекъ его собственнымъ планамъ и цѣлямъ, поперекъ той двойной и огромной игрѣ, которую онъ, втайнѣ ото всѣхъ, давно уже задумалъ и сообразилъ въ своемъ умѣ, шансы которой разсчитывалъ и преслѣдовалъ постоянно, прикидываясь, гдѣ нужно, умѣреннымъ, бѣлымъ, чуть не консерваторомъ и, пока до времени, играя второстепенную роль въ Петербургскомъ Центрѣ. Выслушавъ возраженіе пана Котырло, онъ собрался съ мыслями и началъ, по возможности, ровнѣе и спокойнѣе.

— Такъ нельзя, господа,—заговорилъ онъ, обращаясь преимущественно къ своему оппоненту.—Или мы любимъ болѣе всего свой комфортъ и свою собственность, или же дѣло своей *родины*. Съ такою выжидательною политикою вы рискуете остаться за флагомъ, рискуете обремизиться при шансахъ самой вѣрной игры. Въ такомъ случаѣ лучше ужь прямо, разъ навсегда, махнуть рукою на дѣло и садиться писать вѣрноподданническіе адресы.

[1]) То-есть изъ начальниковъ губернскаго, уѣзднаго, станового и приходскаго.

Digitized by Google

Но этотъ свой смертный приговоръ мы еще успѣемъ подписать и послѣ, когда все лопнетъ... Не торопите же его вашею нерѣшительностью. Вы пугаетесь красныхъ, а между тѣмъ сами хотите выжидать, пока они всю власть захватятъ въ свои руки; вы сами и власть, и себя головой выдаете имъ... Ахъ, господа, господа!—со вздохомъ воскликнулъ онъ, укоризненно покачавъ головою. — Съ вашими пустыми страхами вы забываете, что красные на Литвѣ — это нуль. Вся сила у насъ въ собственникахъ, въ шляхтѣ. Въ васъ весь залогъ успѣха, а вы выпускаете иниціативу изъ своихъ рукъ.

— Напротивъ, мы желаемъ удержать ее,— возразилъ Котырло.

— И между тѣмъ упустите. И это вѣрнѣе вѣрнаго.

— Позвольте-съ однако...

— Да такъ же! Вѣдь согласитесь, что въ настоящую минуту общій ходъ дѣла зашелъ уже слишкомъ далеко, такъ что сторонись вы или не сторонись, удерживай его или не удерживай—это рѣшительно ничего не значитъ: вамъ его не удержать. Дѣло все-тали идетъ и пойдетъ помимо васъ своей собственной силой, собственнымъ движеніемъ, инерціей. Вѣдь ужь ему сколько же толчковъ было дано! Вы сами давали ихъ чуть не до сего дня. А на полудорогѣ остановиться нельзя. Но пока вы сторонитесь да выжидаете, красные, понятное дѣло, заберутъ все въ свои руки: роковая сила обстоятельствъ, логика жизни къ нынѣшнему нулю прибавитъ одну или даже двѣ единицы, и тогда...

Свитка не окончилъ, но завершилъ выразительнымъ и вполнѣ понятнымъ жестомъ.

Горячій потокъ его рѣчи, начатой столь спокойно, начиналъ дѣйствовать. Бо̀льшая часть присутствовавшихъ была на его сторонѣ и даже самъ Котырло колеблясь раздумался надъ его словами. Ораторъ замѣтилъ про-себя дѣйствіе, произведенное его рѣчью.

— Ахъ, господа! — съ жаромъ воскликнулъ онъ, послѣ минутнаго молчанія. — Забудемте на время и красныхъ, и бѣлыхъ, и синихъ, и всякихъ, а будемте пока только честными патріотами, честными литвинами. А счеты свои покончимъ и послѣ. Прежде съ москалями покончимъ.

— Браво, такъ, вѣрно! О чемъ тутъ думать да сомнѣваться!.. Вѣрно!—загомонила вся «шано̀вна шляхта».

Котырло медленно восклонилъ свою голову и съ чувствомъ протянулъ Свиткѣ руку.

«Фу-у!.. Слава тебѣ, Господи! Наконецъ то!» облегченно и радостно вздохнулъ въ глубинѣ души своей этотъ послѣдній, съ такимъ чувствомъ, какъ будто бы вытянулъ въ гору на собственныхъ плечахъ великій и богатый грузъ.

— Господа!—воскликнулъ онъ. — Ваше почтенное собраніе представляетъ здѣсь все наиболѣе вѣское, вліятельное и интеллигентное здѣшняго повѣта («ничего, надо маслицемъ подмазать», подумалъ онъ про себя). Зачѣмъ вамъ медлить предъ исполненіемъ наиболѣе существеннаго дѣла? Произведите тотчасъ же между собою выборы начальниковъ повятовыхъ и окренговыхъ, чтобы хоть не даромъ собрался нашъ нынѣшній сеймикъ.

— Браво!.. Идетъ!.. Согласны!.. Мы, чортъ возьми, сила; мы власть изъ рукъ упустить не желаемъ! Мы сами и безъ красныхъ сумѣемъ быть красными, когда потребуется! Да!.. галдѣли воспріимчивые паны и, покинувъ свои мѣста, толкались по всему кабинету.

Но когда начались выборы, когда одинъ сталъ предлагать того-то, а другой другого, третій же третьяго, и т. д., то дѣло дошло до споровъ и крупныхъ разговоровъ. Панъ Хомчевскій все мирилъ и ублажалъ своей «свѣнтой лациной», панъ Селява егозилъ, элегантничалъ и старался казаться язвительнымъ и тонкимъ политикомъ (ему очень хотѣлось быть выбраннымъ во что-нибудь); панъ Копецъ горячился, прыскался, краснѣлъ какъ ракъ, крутилъ усъ, кричалъ «не желаю»!.. И этого не желаю, и того не желаю, «ничего не желаю!» кричалъ, по старинѣ: «не позва̀лямъ! Veto!» такъ какъ извѣстно, что безъ этихъ двухъ завѣтныхъ словечекъ ни единый панскій сеймъ и сеймикъ, во вся времена и вѣки, никоимъ образомъ и ни въ какомъ случаѣ, обойтись не можетъ, ибо иначе и сеймъ не въ сеймъ уже будетъ. Дошло до того, что кому-то и за что-то, но за что именно и самъ не понимая толкомъ, панъ пулковникъ опять сталъ грозиться своей саблей. Тутъ появились на свѣтъ Божій и старыя, полузабытыя дрязги и сплетни, и взаимныя покоры, и фамильные гербы, и шляхетныя привилегіи; фигурировали и давнія права, и родственныя связи, и даже степень благонадежности предъ россійскимъ начальствомъ,—словомъ, всего было вдосталь и въ-волю. Паны расходились. Говоръ, споры, ссоры, толки, уговоры, наконецъ даже слезы, лобзанья и примиренья и опять взрывы крупныхъ споровъ, рисовка своимъ благородствомъ, шутки, смѣхъ, шумъ и безурядица, все эти длилось болѣе часа. Наконецъ, кое-какъ «сгодзили сен'» [1]. Недоумѣнія разрѣшились — выборы были сдѣланы. Должность «начельни́ка повятове́го» предложили было пану Котырло, но тотъ подъ разными, болѣе или менѣе благовидными предлогами уклонился, заявивъ впрочемъ, что кромѣ этой должности, къ которой онъ, по совѣсти, не чувствуетъ достаточно силъ, энергіи и способности, вся его жизнь и все состояніе принадлежитъ «свѣнтей справѣ» [2]) и «ойчизнѣ».

---

[1]) Согласились.
[2]) Святому дѣлу.

Digitized by Google

Вмѣсто пана Котырло на повятовые выбрали пана Селяву-Жабчинскаго. Этотъ былъ необыкновенно доволенъ, словно бы его въ генералы произвели и арендой пожаловали, и съ нескрываемою радостью, даже съ нѣсколько горделивымъ достоинствомъ и уже отчасти покровительственно пожималъ панамъ руки, благодаря ихъ за то, что почтили его своимъ шляхетнымъ довѣріемъ. Пана Хомчевскаго выбрали въ окренговые, при чемъ онъ только развелъ руками и, поднявъ глаза къ потолку, словно бы выражая тѣмъ покорность волѣ судебъ, произнесъ со вздохомъ: «Sic astra volunt!» Выбрали и еще нѣсколько пановъ: кого тоже въ окренговые, кого въ парафіяльные, а эксъ-улану пану Концу предоставили честь, ради его воинственности, быть мѣстнымъ довудцей и организаторомъ будущихъ воинскихъ силъ. Панъ пулковникъ тоже былъ необыкновенно доволенъ предстоящею ему ролью.

— Вышколимъ, чортъ возьми, вашу братью, панове!—похвалялся онъ, крутя усъ и гоголемъ похаживая между панами.—Такъ-то вымуштруемъ, что цѣлый чвáрты корпусъ москевськiй отъ одного виду нашего лытки покажетъ! Шахъ-махъ! Плюскъ и баста!

Въ заключеніе же, поздравляя другъ друга, паны лобызались, умилялись, похвалялись, обѣщались, другъ другу клялись и, въ силу предложенія пана Хомчевскаго, выраженнаго по обыкновенію въ латинской формѣ: «ergo bibamus!» роспили еще нѣсколько бутылокъ «венгржины» при дружныхъ и бурныхъ возгласахъ:

— Нѣхъ жie Польска! [1]) Нѣхъ жie вольносць!... Пречь за москалями!... Засмродзили [2]) Польскен' москале!.. Убирайтесь къ чертямъ!

Свитка былъ очень доволенъ.

«Ну, любезные друзья мои!» думалъ онъ, уже поздно ночью возвращаясь въ свой флигилекъ; «вы хотите «красною сволочью» воспользоваться какъ убойной скотиной, какъ пушечнымъ мясомъ, а «красная сволочь» васъ къ дѣлу приспособила. Посмотримъ, кто кого перехитритъ!.. Карманъ-то во всякомъ случаѣ, а можетъ и лбы, и гербы ваши пригодятся намъ».

Придя въ свою комнату, когда Хвалынцевъ уже спалъ, Свитка тщательно, особо имъ изобрѣтенными буквами и знаками записалъ въ своей записной книжкѣ всѣ имена и соотвѣтственныя должности выбранныхъ нынче дворянъ.

«Теперь вы, голубчики, въ моихъ рукахъ!» съ истиннымъ удовольствіемъ подумалъ онъ, съ наслажденіемъ потягиваясь и расправляя свои члены, какъ-бы послѣ многотрудной работы. «Теперь, чуть что заартачитесь въ рѣшительную минуту, такъ можно вамъ и русскими жандармами и слѣдственною тюрьмою пригрозить: имена-то всѣ въ книжкѣ, а факты, дастъ Богъ, будутъ на-лицо... Вотъ вамъ, бѣлые друзья мои, и красная сволочь!»

И онъ, потирая ладони, самодовольно разсмѣялся веселымъ, но злораднымъ смѣхомъ.

XV.

У отца Сильвестра.

Проснувшись послѣ крѣпкаго и безгрезнаго подъ-утренняго сна, Хвалынцевъ всталъ довольно рано, осторожно одѣлся, чтобы не разбудить спавшаго товарища, и пошелъ на мѣстечко—попытать, нельзя-ли гдѣ порядить себѣ лошадей? Жиды однако везти не соглашались, потому что была пятница и, значитъ, къ вечеру у нихъ «шабашъ заходитъ».

День былъ такой-же ясный, сухой безвѣтреный, какъ и вчера.

Константинъ, въ надеждѣ найти себѣ какого-нибудь подводчика между крестьянами, пошелъ бродить по мѣстечку. Свѣжій, бодрящій утренній воздухъ, ясное ноябрьское солнце, тишина и легкій моціонъ какъ-то утихомирили его вчерашнюю желчность и навели на душу ясное спокойствіе. Онъ, незамѣтно для себя самого, забрелъ на самый конецъ мѣстечка, туда гдѣ стояла православная церковь, и проходя мимо начисто выбѣленнаго домика, крытаго соломой, услышалъ стукъ топора и сквозь незапертыя ворота увидалъ внутри двора отца Сильвестра. Попъ, въ одномъ сѣренькомъ нанковомъ подрясникѣ, рубилъ какую-то доску и вмѣстѣ съ батракомъ своимъ трудился надъ починкой ветхаго сарайчика, который они совокупными усиліями приводили въ надлежащій видъ, прилаживая къ нему досечки и подпирая стѣны его кольями.

Случайно обернувшись въ это самое время, отецъ Сильвестръ замѣтилъ Хвалынцева и на его привѣтствіе отвѣтилъ радушнымъ поклономъ.

— Гулять изволите?—окликнулъ онъ его, выпустивъ топоръ и обѣими руками расправляя изнатужившуюся поясницу.

— Лошадей ищу, уѣзжать хочу отсюда,—объяснилъ Хвалынцевъ.

— Такъ зачѣмъ-же дѣло стало? На мызѣ вамъ изъ экономіи дадутъ. Вамъ самимъ и трудиться незачѣмъ.

— Нѣтъ, Господь съ ними!—непріятно поморщась, поспѣшилъ возразить Константинъ Семеновичъ.—Къ чему ихъ еще и этимъ одолженіемъ стѣснять!.. Я не хочу. Но только вотъ бѣда въ чемъ...

И онъ разсказалъ свое затрудненіе съ жидами по поводу шабаша.

— Ну этому горю можно пособить,—утѣшилъ его отецъ Конотовичъ. — Ежели вамъ угодно будетъ обождать у меня малое время, то я за-

[1]) Да здравствуетъ Польша.
[2]) Испакостили.

Digitized by Google

разъ пошлю батрака, вотъ онъ приведетъ какого ни есть хозяина, вы и порядитесь.

Хвалынцевъ поблагодарилъ и согласился.

Онъ окинулъ взглядомъ дворъ и домъ и всѣ хозяйственныя пристройки: все это дышало какою-то мирною домовитостью. Избытка не оказывалось ни въ чемъ никакого, но ото всего вѣяло скромнымъ, нравственнымъ и матеріальнымъ довольствомъ, тѣмъ неприхотливымъ довольствомъ труда и старанія, котораго достигаетъ иногда неусыпно-заботящаяся, непрестанно-борящаяся, работящая бѣдность. На облѣзлой и засохлой старой соснѣ пріютилось широкое гнѣздо аистовъ, которыхъ здѣсь называютъ «боцянами» или «черногузами». Нынѣ оно опустѣло по осени, но съ будущей весной вновь будетъ занято тою же самою прошлогоднею парою крылатыхъ обитателей. Надъ низенькими небольшими окошками поповскаго домика сѣрѣютъ, тоже опустѣлыя, ласточьи гнѣзда,—но Боже избави, чтобы кто осмѣлился дотронуться и разорить ихъ! То же самое и въ отношеніи аистовыхъ гнѣздъ: ласточка-благовѣстница есть Божія излюбленная пташка, а аистъ-змѣеистребитель человѣку на великую пользу живетъ, и какъ тотъ, такъ и другія дому сему Божье благословленіе и благодать своимъ пребываніемъ приносятъ.

Соломенная кровля, поросшая отъ старости густымъ и плотнымъ ярко-зеленымъ мхомъ, вся изрыта чернѣющимися норками воробьиныхъ гнѣздъ. По выбѣленнымъ стѣнамъ на шнуркахъ и дротахъ взвиваются снизу вверхъ засохшіе побѣги хмѣля, тыквы, фасоля, павоя и дикаго винограда. Въ маленькомъ садикѣ, межъ огородныхъ грядокъ, торчатъ корявыя деревца яблонекъ, раскидистыя, высокія груши, поджарыя, тонкостволыя сливы да вишни. У крылечка двѣ клумбы съ незатѣйливыми поблеклыми цвѣтками, между которыми высоко торчатъ облетѣлые стебельки мальвъ, извѣстныхъ болѣе подъ именемъ туберозы, и тутъ же въ разныхъ уголкахъ разсажены кустики сирени, розъ, бузины и пахучаго Божьяго дерева. На дворѣ, въ кучѣ навоза, кудахтая, роются пестрыя куры и поросята, утки полощатся во врытомъ въ землю корытѣ, и гордо похаживаетъ павлинъ. Баба-работница, съ подтыканной высоко за поясъ юбкой, обнаруживающей почти по колѣни ея босыя, закорузлыя ноги, тащитъ звонкія ведра къ студеному колодцу—и высокій «журавѣль» медленно скрыпитъ и рыпитъ, погружая бадью въ темную глубь криницы, а мохнатый старый песъ дворовый лѣниво и понуро повертѣлся раза два на мѣстѣ, обнюхалъ его и улегся на крылечкѣ, и дремлетъ себѣ, грѣя на солнышкѣ свои старослуживыя кости. Пахло слегка дымкомъ, навозомъ, дегтемъ и утреннимъ, сухимъ осенне-холодноватымъ воздухомъ. И все это такъ просто и такъ ясно говорило про скромный, упорный трудъ черно-рабочій, и еще болѣе навѣяло на Хвалынцева мягкое ощущеніе внутренняго мира, тишины и какого-то кроткаго и серьезнаго спокойствія.

— А хорошо у васъ тутъ!—съ невольно полнымъ, облегчающимъ вздохомъ сказалъ онъ, послѣ минуты раздумчиваго созерцанія.

Священникъ какъ-то грустно и спокойно усмѣхнулся.

— Ничего себѣ... живемъ кое-какъ съ Божьей помощью, — проговорилъ онъ. — Вотъ, працуемъ,[1]) сакѣркой[2]) постукиваемъ: хлѣвушку надо починить, а то зимою, гляди, все развалится, какъ снѣгу наверхъ навалитъ. Да не прикажете ли до хаты, въ горницу?—вдругъ спохватился отецъ Сильвестръ,—что на дворѣ-то стоять?.. Милости просимъ!.. Зайдите пока!

Черезъ темныя, но чистенькія сѣнцы, гдѣ пахло мятой и другими цѣлительно-ароматическими травами, сушеные пучки которыхъ висѣли здѣсь подъ потолкомъ, Хвалынцевъ прошелъ въ смежную горницу, служившую отцу Сильвестру и гостиной, и кабинетомъ. Въ горницѣ чуть-чуть припахивало ладономъ. У окошекъ, на домодѣльныхъ горкахъ, стояли горшечки цвѣтовъ: герань, левкои, фуксіи, мирты, а по угламъ въ деревянныхъ кадушкахъ произрастали два довольно уже рослые олеандра. Надъ окнами, между скромныхъ кисейныхъ занавѣсокъ, висѣли двѣ затѣйливыя клѣтки: въ одной канарейка, въ другой скворецъ; а по стѣнамъ нѣсколько сбродныхъ картинъ подъ стекломъ и два-три образа, вѣроятно, перенесенные изъ церковной ризницы. Въ переднемъ углу предъ образомъ теплилась лампадка на полочкѣ, съ которой спускалась небольшая лиловая пелена, отороченная золотымъ позументомъ и съ позументнымъ же крестомъ посрединѣ. На столикѣ подъ образами лежали: Требникъ въ темной кожѣ, засохшая просфора, почернѣлый небольшой крестъ изъ аплике и небольшое-же Евангеліе въ слиняломъ бархатномъ переплетѣ съ финифтяною живописью по угламъ верхней доски; а невдалекѣ отъ передняго угла были прибиты три полки: верхняя занята книгами, очевидно, духовнаго содержанія, въ старинныхъ кожаныхъ переплетахъ съ металлическими застежками, а на двухъ нижнихъ былъ всякій печатный сбродъ: нумера «Сына Отечества» и «Виленскій Курьеръ», и растрепанныя книжки «Отечественныхъ Записокъ» да старинной «Библіотеки», «Домашній лѣчебникъ» и «Опытный садоводъ» и прочій подобный случайный сбродъ, который обыкновенно, встрѣчается у людей любящихъ почитать, но не систематизирующихъ свою библіотеку. Подъ этими полками, въ простѣнкѣ между двухъ окошекъ, помѣщался простой рабочій столъ отца Сильвестра, обтянутый черной клеенкой, а надъ яснсвымъ диваномъ, пред-

[1]) Работаемъ.
[2]) Топорикомъ.

Digitized by Google

ставлявшимъ собою какъ-бы часть гостиной, висѣли двѣ раскрашенныя литографіи въ рамкахъ: на одной былъ изображенъ государь въ порфирѣ, а на другой императрица въ русскомъ нарядѣ. Въ незатѣйливой, безхитростной обстановкѣ этой горенки все было такъ чистенько и просто, но вмѣстѣ съ тѣмъ порядочно, домовито и уютно, что Хвалынцеву невольно, самъ собою, напросился на сравненіе контрастъ соломеннаго палаццо пана Котырло. Если правда, что по характеру обстановки жилища можно предугадать и о характерѣ его обитателя, то горница отца Сильвестра сдѣлала на Хвалынцева столь симпатичное впечатлѣніе, что симпатію свою онъ еще болѣе перенесъ на хозяина этого дома.

Прошло не болѣе пяти минутъ, какъ въ горницу вошла работница съ большимъ подносомъ и поставила на преддиванный столъ бутылку наливки, графинчикъ водки, маринованыхъ грибковъ, еще кое-чего и три тарелочки варенья: малины, вишень и крыжовнику, а вслѣдъ за нею появилась въ бѣломъ чепцѣ и въ ковровомъ платкѣ сама попадья, женщина лѣтъ подъ сорокъ, низенькая и дородная, съ безхитростно-простоватымъ, но безконечно-добродушнымъ, располагающимъ лицомъ.

— А вотъ и матушка моя,—отрекомендовалъ ее отецъ Сильвестръ; — двадцать-третій годъ сожительствуемъ.

Матушка, съ неловкими, но очень привѣтливыми поклонами, захлопотала около поданной закуски, причемъ все кругленькое лицо ея озарилось такою несходящею съ него мягкою и доброю улыбкою, что масляные глазки ея совсѣмъ ушли въ маленькія щелочки и глядѣли оттуда съ такимъ выраженіемъ, что все лицо ея, вся фигура ея высказывали одно безконечное стремленіе чѣмъ ни-на-есть, но только побольше, порадушнѣе, отъ всей души угодить гостю.

— Прошен' пана!—залепетала она по-польски своимъ мягкимъ голосомъ, подвигая къ Константину и варенье, и наливку, и грибки, и колбасу домашняго копченья.

При звукахъ польскаго языка, Хвалынцевъ почти невольно кинулъ на нее мимолетный взглядъ, въ которомъ сказался оттѣнокъ удивленія.

Отецъ Сильвестръ, казалось, замѣтилъ это.

— Господинъ Хвалынцевъ—русскіе, съ нѣкоторымъ смущеніемъ, но внушительно предупредилъ онъ свою матушку.

— А, панъ зъ Россіи! еще привѣтливѣе и радушнѣе залепетала она.—То для-мне бардзо пріемне!.. Прошен' пана закоштоваць... [1])

— Они по-польски не говорятъ!—съ пущею вразумительностью, но съ улыбкой еще большаго смущенія, обратился къ ней отецъ Конотовичъ.

[1]) А, панъ изъ Россіи! Это для меня очень пріятно. Прошу пана откушать.

Матушка поняла, наконецъ, въ чемъ дѣло и смутилась сама чуть ли не болѣе своего мужа.

— Звынитє!.. мы такъ... привыкли... тутъ усе по-польску,—заговорила она, видимо затрудняясь въ пріискиваніи словъ и выраженій.

— Ахъ, сдѣлайте одолженіе!.. Я... розумію... поспѣшилъ предупредить Константинъ, почему-то вдругъ начавъ коверкать русскую рѣчь, изъ желанія поддѣлаться въ ладъ матушкѣ, словно его языкъ сталъ бы понятнѣе для нея отъ этого коверканья на будто бы польскую стать.

— Нѣтъ, ужь вы, матушка, лучше по простому, по хлопскому!—добродушно посовѣтовалъ женѣ отецъ Конотовичъ.—Все же понятнѣе будетъ, и для васъ оно за привычку.

Матушка только улыбалась да слегка покланивалась съ какимъ-то извиняющимся видомъ.

— Вы лучше подите да насчетъ чайку намъ распорядитесь,—указывая ей значительнымъ взглядомъ на внутреннюю дверь, сказалъ отецъ Сильвестръ — и жена его сейчасъ же удалилась, все съ тою же безконечно доброю улыбкою и съ тѣмъ же нѣсколько оторопѣлымъ, извиняющимся видомъ.

Хвалынцеву сдѣлалось даже неловко и совѣстно какъ-то при мысли, что онъ сталъ причиной такого смущенія и столькихъ хлопотъ для этихъ простыхъ и добрыхъ людей.

Минутку спустя по уходѣ матушки, послѣ небольшого молчанія, слегка покашливая да покряхтывая и все еще не оправясь отъ нѣкотораго затруднительнаго смущенія, отецъ Сильвестръ обратился къ Хвалынцеву.

— Вы извините... для васъ, конечно, показалось очень страннымъ,—началъ онъ въ оправдательно-объяснительномъ тонѣ, — что вдругъ это... матушка православнаго священника, и вдругъ по-польски... но — прибавилъ онъ со вздохомъ,—что дѣлать!.. Отчасти, это, конечно, наша собственная вина, собственное небреженіе, но это здѣсь—общее... это всѣ онѣ такъ у насъ.

— Да что жь тутъ?.. Почему жь и не говорить,—пробормоталъ-было Хвалынцевъ, чтобы какъ-нибудь сгладить неловкое смущеніе хозяина.

— Э, нѣтъ, не смотрите такъ! — серьезно перебилъ его отецъ Сильвестръ. — Мы вотъ только теперь начинаемъ чувствовать плоды нашихъ небреженій вообще!.. Оно, казалось бы, пустяки, но изъ подобныхъ обыденныхъ пустяковъ вѣдь и вся жизнь человѣческая слагается и свои результаты приноситъ. Положеніе-то наше горькое такое въ этомъ краѣ!.. Вы представьте себѣ, что у насъ не только во всей епархіи, но во всемъ Сѣверо-Западномъ краѣ нѣтъ ни одной школы, ни одного училища для дѣвицъ духовнаго званія.

— Неужели?—удивленно и какъ будто съ нѣкоторымъ недовѣріемъ воскликнулъ Хвалынцевъ.

Digitized by Google

— Да-съ! и нѣтъ, и не было, да Богъ вѣсть и будетъ ли еще когда!—съ горечью подтвердилъ отецъ Конотовичъ.—Ну, а дочерямъ-то все-таки хочется дать какое ни на-есть воспитаніе; ужь это какъ будто и совѣсть, и долгъ родительскій обязываютъ! А гдѣ его дашь! Иное дѣло, конечно, самъ призаймешься, научишь, чего самъ еще не забылъ съ семинарской скамейки, да вѣдь не всякій къ этому даже возможность имѣетъ, такъ что благо и то, когда лишь писать, читать да считать дочку свою обучишь—и то благодареніе Господу!.. Потому-то вотъ многіе изъ насъ по неволѣ дочерей въ польскіе пансіоны сдаютъ; русскихъ учительницъ нѣтъ вовсе, да если-бъ и завелась какая, то господа поляки сразу выкурятъ какимъ ни-на-есть способомъ! Ну, а вѣдь наши нынѣшнія матушки—это вѣдь все еще дочери нашихъ отцовъ, такъ сказать, старое поколѣніе; эти-то и совсѣмъ на Польшѣ выросли и воспитались! Дома-то между собой говоримъ конечно все больше по-простому, по-бѣлорусски, а въ обществѣ не принято какъ-то... совѣстятся! Да и заговори-ка, такъ каждый шляхтичъ, каждая шляхтянка засмѣютъ! Положеніе грустное и дай Богъ только силы кое-какъ бороться съ нимъ!

— Да; здѣсь, кажись, сколько я замѣчаю, что-то странное творится,—промолвилъ Хвалынцевъ, желая какъ-нибудь навести разговоръ на существенно-интересовавшія его темы.

Священникъ многозначительно усмѣхнулся.

— Хм... странное, говорите вы,—сказалъ онъ.—Не странное, а гнусное!.. Да вотъ, дастъ Богъ, скоро все станетъ ясно!.. Авось-либо тогда прозрятъ наши слѣпорожденные!

Заложивъ руки въ карманы подрясника, онъ съ нѣкоторымъ оттѣнкомъ досадливаго волненія прошелся по комнатѣ и вдругъ остановился предъ Хвалынцевымъ,

— Обманъ на обманѣ сидитъ и обманомъ погоняетъ, какъ говорится!—вѣско промолвилъ онъ.—Вездѣ и повсюду одинъ великій и безконечный обманъ! Вотъ что̀ такое этотъ край несчастный! И все это для доказательства, что тутъ исконная Польша!

Хвалынцевъ посмотрѣлъ на него вопросительно, взглядомъ, безмолвно вызывающимъ на дальнѣйшее объясненіе,

— Да такъ! — продолжалъ священникъ. — Теперь хоть положеніе народа возьмите. Дали свободу. Хорошо-съ. Казалось бы, какая первая при этомъ забота дворянства? Разъяснить ему самую суть Положенія, да честно развернуться? А здѣсь нѣтъ! Здѣсь какъ бы затемнить поболѣе. Мужикъ царю благодаренъ, а намъ это хуже остраго ножа; надо убить въ немъ это чувство, надо заставить его думать, что не царь, а паны съ Чарторыйскимъ дали волю, что они вмѣстѣ съ Наполеономъ послѣ Крыма заставили дать ее; а самп межъ тѣмъ и вкривь, и вкось, какъ кому вздумается, въ своихъ личныхъ видахъ толкуютъ Положеніе. Ну, хлопъ вѣдь теменъ, безграмотенъ, забитъ, на него прикрикни—онъ и вѣритъ. А въ это время мы его и обмѣриваемъ, и переселяемъ, и совсѣмъ обезземеливаемъ, а чуть кто вступится за свои человѣческія права, мы сейчасъ: «бунтъ! разбой! коммунизмъ!» сейчасъ бумаги, донесенія пишемъ, присылки войскъ требуемъ. Ну, конечно, войска являются съ поспѣшностію! сейчасъ экзекуція и прочее. Хлопы, конечно, взвоютъ, а имъ тутъ подъ рукой: «а цо, добродзѣи, дтъ якъ вамъ каже, вашъ царъ жалуе! Отъ яка его милосць, яка, каже, воля его!»

— Но отчего же вы, напримѣръ, священники православные, отчего вы не разъясните народу?—воскликнулъ Хвалынцевъ.

Отецъ Конотовичъ усмѣхнулся.

— Русскимъ священникамъ,—сказалъ онъ,—со стороны администраціи крѣпко на̀ крѣпко запрещенно вмѣшиваться въ эти дѣла.

Хвалынцевъ только плечами пожалъ.

— Но все-жь-таки отступленія отъ закона бываютъ столь возмутительны и обманъ столь великъ,—продолжалъ отецъ Сильвестръ,—что нашъ братъ, несмотря на все свое униженіе, рѣшается порою взяться за роль разъяснителя и даже заступника; но только Боже ты мой—что̀ жь изъ этого и происходитъ!

— А что̀?—отозвался Хвалынцевъ.

— Извѣстно что̀? Сейчасъ это отъ помѣщиковъ, отъ посредниковъ, отъ становыхъ жалобы, что попъ народъ смущаетъ. Затѣмъ начнутъ тебя тягать на слѣдствія, отрѣшатъ отъ прихода и мало ли что̀!.. Да впрочемъ, мы уже съ вами еще вчера, во время полеванья, насчетъ этого предмета разговоръ имѣли. Но замѣчательно,—прибавилъ онъ, — что противъ ксендзовъ не поступило еще ни единой жалобы! Администрація наша, изволите видѣть, почитаетъ ихъ самымъ вѣрнымъ оплотомъ порядка и власти, а мы, попы сиволапые, мы—бунтовщики, смутьяны; за нами строгій глазъ да и глазъ нуженъ! Вотъ какъ!

— Но вѣдь есть же между помѣщиками и хорошіе люди, съ гуманными воззрѣніями? — сказалъ Хвалынцевъ.

— Надо полагать, что свѣтъ не безъ добрыхъ людей,—отозвался отецъ Сильвестръ.— Вотъ нашъ посредникъ, панъ Селява-Жабчинскій, конечно, изволите знать его?

— Знаю, а что?

— Большимъ либераломъ нынѣ показуетъ себя! А между тѣмъ у этого либерала чуть что не до 19-го февраля шлея съ хомутомъ была въ повседневномъ употребленіи.

— То-есть что̀ это значитъ?—недоумѣвая, спросилъ Константинъ.

— А, это, изволите видѣть, въ здѣшнемъ краѣ былъ изобрѣтенъ и даже распространенъ

Digitized by Google

весьма много особый приборъ, который въ барщинные дни надѣвался на нѣкоторыхъ хлоповъ. Онъ такъ и называется *хомутъ со шлеей*. Какъ надѣнутъ, такъ хлопъ по-неволѣ цѣлый день ни голову опустить, ни присѣсть не можетъ, а все стоитъ да работаетъ, потому что присѣсть или голову опустить—сейчасъ на острые гвозди наткнешься, острія-то и дадутъ себя знать! Вотъ какой приборъ остроумный!

Хвалынцевъ просто глаза выпучилъ отъ изумленія.

— Да-съ,—продолжалъ Конотовичъ.—А вотъ вы, поди-ка, у себя-то въ великой Россіи и не слыхали про такія тонкости? Ну, а у насъ это, говорю вамъ, въ большомъ обыкновеніи было!.. Но хомутъ со шлеей не мѣшаетъ либерализму, и панъ Селява-Жабчинскій большой даже либералъ, хоть и собаками людей травитъ, — прибавилъ онъ съ улыбкой. Да впрочемъ вѣдь и это либерально: вѣдь попа травилъ!

— Да, кстати, — съ живостью спохватился Хвалынцевъ, — неужели этому негодяю такъ безнаказанно сойдетъ съ рукъ его вчерашняя мерзость?

Священникъ только усмѣхнулся въ виду очевидной наивности подобнаго вопроса.

— А что же вы хотите?—сказалъ онъ.

— Но вѣдь есть же какой-нибудь законъ и управа?

— Ни закона, ни управы никакой здѣсь нѣту,—спокойно, просто и утвердительно отвѣтилъ отецъ Конотовичъ;—здѣсь, государь мой, бываютъ примѣры, что не только панская травля, но и панскія убійства, панскія засѣкновенія на́ смерть съ рукъ сходятъ. Одинъ напяснѣйшій панъ всю слѣдственную комиссію нагайками перепоролъ, живыхъ людей по груди въ землю на трое сутокъ въ наказаніе закапывалъ—и то ничего [1]). Начать съ ними дѣло, такъ ужь заранѣе петлю на шею! А еще тѣмъ паче «русскому попу»: вѣдь мы здѣсь только «терпимы» пока еще; такъ намъ это и нѣкоторыя начальственныя лица внушаютъ. Только терпимы, поймите вы это!

— Все это очень грустно,—согласился Хвалынцевъ,—но въ то-же время, мнѣ кажется, все это доказываетъ то, что само правительство смотритъ на этотъ край, какъ на край польскій.

— Польскій?—нахмурилъ брови отецъ Конотовичъ.—А вотъ каковъ онъ польскій! Извольте посмотрѣть на маленькій образчикъ хотя бы исторической польщизны, если ужь не желаете принимать во вниманіе такого аргумента, какъ живой языкъ живого народа, то-есть я говорю не о панахъ-пришельцахъ или перевертняхъ; я говорю о хлопахъ. Извольте вотъ взглянуть сюда.

И онъ подвелъ Хвалынцева къ одной изъ висѣвшихъ на стѣнѣ картинокъ. Это была очень древняя, рѣзная на мѣди гравюра, которая съ надписями надъ изображенными предметами представляла видъ какого-то города. Надписи были латинскія.

— Это видъ города Гродны въ 1593 году,—пояснилъ священникъ. — Гравюра — собственность еще моего дѣда, а заимствована она изъ одной древней географіи XVI же вѣка; была у дѣда такая, да крысы въ кладовой поѣли болѣе чѣмъ на половину, а вотъ это только и всего, что̀ сохранилось. Но полное изданіе ея есть, я знаю, въ Виленскомъ музеѣ [1]). Тутъ вотъ сверху,—пояснилъ онъ, указывая на части картинки,—вы видите гербъ: погонь, орелъ одноглавый и архангелъ Михаилъ, а по срединѣ медвѣдь; тогда еще гродненскій гербъ былъ не «зубръ», а «медвѣдь». Это гербъ соединенныхъ земель: Литвы, Польши и Руси; стало-быть изображеніе относится къ тому времени, какъ Литва была уже съ «короной». Но вотъ обратите вниманіе на эту надпись по сторонамъ герба: тутъ написано: «Grodna»— замѣтьте, *a* въ окончаніи, а не *o*, какъ теперь пишутъ поляки «Вильно», «Гродно», «Ковно», чтобы доказать ихъ польскій корень. Нѣтъ-съ, а это есть та же самая русская *Городня*, о которой ея древніе акты и записи упоминаютъ. Но это еще все ничего-съ, а вотъ взгляните на эти надписи: «Templum *Russorum* lateri-cium», «Templum *Russorum* muro circumdato», Templum *Russorum* in urbe», и всѣхъ церквей православныхъ въ это время было въ городѣ Гроднѣ девять числомъ,—у меня вотъ тутъ вымѣтка сдѣлана. Но вотъ извольте взглянуть на эту башенку и надпись: *Templum Polonorum in urle*. На девять русскихъ церквей одинъ только Templum polonorum! И это въ 1593 году, то-есть за 268 лѣтъ до нашего времени, до сего текущаго 1861 года! Что̀ вы на это скажете-съ?

— Доказательство краснорѣчивое, согласился Хвалынцевъ, — и противъ него ничего не скажешь.

— Ну, такъ вотъ то-то же и есть! А тамъ-то и не одинъ гродненскій видъ; а находятся

---

[1]) Это факты, относительно, весьма еще недавніе, несмотря на то, что кажутся невѣроятными. Напримѣръ, князь Ог—скій, ковенскій помѣщикъ, снискалъ себѣ большую извѣстность своими деспотическими тиранствами: сѣкъ попово̀въ, становыхъ, засѣдателей, исправниковъ, убивалъ неоднократно людей, крестьянъ своихъ въ наказаніе въ землю закапывалъ. А наслѣдники его даже недавно отличились на поприщѣ воронья со своими „надворными казаками“. Какъ о томъ, такъ и объ этомъ даже наша публицистическая литература упоминала.

[1]) Авторъ видѣлъ это замѣчательное изданіе у одного польскаго графа П., который, впрочемъ, кажись, и не подозрѣваетъ, какой обличающій, антипольщизновый документъ хранитъ онъ въ своей прекрасной коллекціи древностей.

Digitized by Google

виды и Вильны, и Ковны, и другихъ городовъ литовскихъ и съ такими же краснорѣчивыми доказательствами. Но я еще не говорю вамъ про древніе мѣстные акты, которые въ послѣдніе годы господа поляки стараются всячески истреблять; но въ Вильнѣ сохранилось еще достаточно, чтобъ убѣдить невѣрующаго... Мы, государь мой, здѣшніе старожилы, уроженцы здѣшніе, такъ намъ исторія-то своего края доподлинно извѣстна, а что россійскіе чиновники да ученые нѣкоторые такъ ужь точно что изумляютъ насъ иногда своими взглядами! Надо чести ихъ приписать.

— Да, батюшка; это конечно все такъ,—вздумалъ возразить Хвалынцевъ,—но... чтобы судить о современныхъ намъ вещахъ, надо брать этотъ край не въ его историческомъ прошломъ, а въ его настоящемъ; ну а вѣдь настоящее, на первый взглядъ, по крайней мѣрѣ, представляетъ здѣсь Польшу или ужь сильное преобладаніе «польщизны», какъ вы называете это.

— Да, *преобладаніе*, я съ вами совершенно согласенъ!—сказалъ отецъ Конотовичъ;—и особенно съ того времени, какъ край этотъ отошелъ подъ власть Россіи. Никто даже лучше не споспѣшествовалъ сему въ ущербъ народу, какъ русское правительство съ русскими генералъ-губернаторами!

Хвалынцевъ засмѣялся.

— Вы смѣетесь?.. Хм... Я самъ смѣяться бы сталъ, если бы не хотѣлось плакать, горько плакать, государь мой!—покачалъ головой отецъ Сильвестръ.—За доказательствами ходить не далеко-съ! Да вотъ, къ примѣру, когда не будетъ скучно, могу разсказать вамъ вкратцѣ весьма назидательную исторію хотя бы виленской православной святыни — нашей древней святыни! Есть тамъ Митрополитальный соборъ Пречистыя, то-есть *былъ* во время оно, при польскихъ королякъ, а нынѣ въ немъ еврейскія кузницы устроены, а допрежь кузницъ ветеринарная конюшня помѣщалась, и на такое употребленіе съ разрѣшенія правительства отдалъ храмъ Пречистыя бывшій попечитель Виленскаго учебнаго округа, князь Адамъ Чарторыйскій, тотъ самый, что при блаженныя памяти императорѣ Александрѣ Благословенномъ былъ русскимъ министромъ иностранныхъ дѣлъ, а съ 31 года бѣжалъ заграницу и мнилъ себя «польскимъ крулемъ» быти,—такъ и называлъ себя «Адамомъ первшимъ», и паны его тоже такъ титуловали по самый день кончины, въ іюнѣ сего года.

Хвалынцевъ опять засмѣялся.

— Не вѣрите?—ухмыльнулся отецъ Конотовичъ.—Оно и точно! Есть одинъ стихъ, слыхалъ я: «свѣжо преданіе а вѣрится съ трудомъ!» ну, а это вовсе даже и не преданіе, а настоящее, но незнакомый человѣкъ не то что съ трудомъ, а совсѣмъ не повѣритъ!.. Да-съ! Или вотъ тоже,— продолжалъ онъ, послѣ нѣкотораго раздумья, все съ тою же горькой улыбкой.—Былъ въ Вильнѣ, еще даже и при русскомъ правительствѣ, храмъ Святыя Параскевы, «первый каменный храмъ, возведенный Богу Истинному на землѣ Литовской», какъ говоритъ лѣтописецъ; въ этомъ храмѣ покоятся останки великой княгини Маріи Ярославовны, въ этомъ храмѣ императоръ Петръ Великій пѣлъ благодарственные молебны за одержанныя побѣды и поставилъ въ немъ на память потомкамъ отбитое шведское знамя, а нынѣ этотъ храмъ-то въ развалинахъ, достигнутыхъ почти искусственно, нарочно, насильно почти! Нынѣ онъ отданъ на домашнія потребы разновѣрцамъ, и даже... срамно и вымолвить! на мѣстѣ престола Божія публичныя отхожія мѣста отведены! И это все творится на глазахъ россійскихъ генералъ-губернаторовъ, при русскомъ правленіи. Ну, конечное дѣло, какъ же тутъ не убѣдиться каждому, что православіе только терпимо, а римская или польская вѣра есть господствующая, коренная въ краѣ? И вотъ такъ-то на нашихъ глазахъ и создается историческая ложь,—тысяча неправдъ историческихъ.

— Ну, а костелы-то какъ же?—спросилъ Хвалынцевъ.

— То есть что это «какъ-же»?—отозвался отецъ Сильвестръ.—Есть, конечно много и древнихъ, край-то вѣдь великъ! и особенно много по городамъ; да и какъ имъ не быть и не множиться, если сами правительственныя лица, чиновники россійской службы, говорятъ намъ иногда, что правительство интересуется здѣсь только костеломъ и ни мало не интересуется православною церковью [1]). Вы изволили видѣть, какъ въ нашемъ-же мѣстечкѣ позавчера латинскій крыжъ водружали?

— Какъ-же, имѣлъ это удовольствіе,—подтвердилъ Константинъ Семеновичъ.

— Имѣли? Ну, такъ я вамъ скажу, что въ послѣдніе годы они особенно стараются поставить ихъ повсюду какъ можно больше, а при томъ еще какіе костелы великолѣпные возводятъ! Да вотъ какъ,—продолжалъ Конотовичъ.—Съ 1854 года по настоящее время въ однѣхъ только шести западныхъ губерніяхъ возведено болѣе трехсотъ новыхъ костеловъ [2]), а русскіе храмы гніютъ и разрушаются. И зачастую случается и такъ, что умретъ священникъ или выбудетъ куда, храмъ упра-

---

[1]) Факты несомнѣнные, документальные, которые въ случаѣ надобности могутъ быть подтверждены даже и именами россійскихъ чиновниковъ того времени.

[2]) Съ 1854 по 1863 годъ возведено въ Сѣверо-Западномъ краѣ 339 новыхъ латинскихъ костеловъ, не говоря уже о томъ, сколько каплицъ и филій обращены въ приходскіе храмы, зачастую обманнымъ путемъ и безъ всякаго правительственнаго разрѣшенія

Digitized by Google

нается, или хорошо еще, коли только нѣсколько мѣсяцевъ останется безъ настоятеля, тогда какъ въ латинскихъ костелахъ — при каждомъ живетъ и работаетъ на *святу справу* по три, по четыре ксендза.

— Къ чему же всѣ эти старанія насчетъ крестовъ и костеловъ?—спросилъ Хвалынцевъ.

— Какъ къ чему!?—Понятное дѣло!—возразилъ священникъ.—Къ тому, чтобы придать цѣлому краю какъ можно болѣе католическую, сирѣчь, польскую внѣшность. Ну вотъ, напримѣръ, хоть вы, новый, свѣжій человѣкъ проѣзжаете, смотрите на все это и думаете себѣ: а и вправду вѣдь страна-то совсѣмъ польская выходитъ! Но тутъ не одни проѣзжіе, а нѣчто поважнѣе, позначительнѣе въ виду имѣется: на этой внѣшности строятся политико-историческія притязанія-съ!

— Но если массы народа почти на половину остаются православными?—возразилъ Хвалынцевъ.

— Нѣтъ-съ, извините, поболѣе гораздо чѣмъ на половину!—оспорилъ отецъ Сильвестръ.—Да вѣдь это въ глаза-то никому не кидается, а *крыжъ* [1]), да костелъ—онъ, такъ сказать, вопіетъ собою. Ну, и при томъ, при императорѣ Александрѣ I, да и въ прошлое десятилѣтіе тоже, особенно въ глухую пору Крымской войны, здѣсь по всему краю большія совращенія бывали; помѣщики и ксендзы насильно, истязаніями отрывали народъ отъ церкви: бывало, батожьемъ, розгами, да не березовыми, а терномъ и шиповникомъ къ костелу-то прилучили. Попъ безъ панскаго разрѣшенія не смѣлъ даже крестить крестьянскаго, православнаго младенца! Бывали примѣры, что цѣлый приходъ, въ тысячу душъ, подобными путями присоединялся къ латинству, Вѣдь здѣсь, государь мой, *костелъ* и *Польша* суть синонимы; стало-быть дѣло понятное!

И священникъ снова взволнованно заходилъ по горницѣ.

— Ну, а школы каково идутъ здѣсь?—послѣ нѣкотораго молчанія, освѣдомился Хвалынцевъ.—Вотъ вамъ вѣрное и хорошее средство противъ пропаганды!

— Казенныя школы плохо идутъ; но панскія и ксендзовскія школки отлично,—отвѣчалъ отецъ Сильвестръ.

— Что-жь такъ?

— А то, что крестьянамъ съ костёльныхъ кафедръ, не говоря уже о конфессіоналахъ, именемъ Бога запрещается отдавать ребятъ въ казенныя сельскія школы. Гдѣ православные приходы, тамъ идутъ еще кое-какъ, но тоже плохо, потому что и посредники, и помѣщики, и становые, и старшины иные, все это препятствуетъ, всячески придирается, тормозитъ все дѣло. Кое-какъ боремся однако. Вы думаете, даромъ что-ли паны-то нынѣ такъ часто между собою собираются?—продолжалъ онъ снова, останавливаясь предъ Хвалынцевымъ.—Вы думаете, что это они и въ-правду для кіермаша или для полеванья понаѣхали?

— А для чего?—спросилъ Константинъ.

— Кіермашъ или полеванье — это только благовидные предлоги,—пояснилъ отецъ Сильвестръ,—а дѣло-то въ томъ, что панство да шляхтянство нынѣ по всему краю сбирается. Это у нихъ все свои сеймики окренговые [1]), да повятовые [2]) идутъ; все, видите-ли, насчетъ плановъ о будущемъ повстаніи совѣщаются, какъ-бы дѣйствовать дружнѣе. Это вотъ что-съ!

— Ну, что-жь, это понятно, если они общее дѣло затѣваютъ,—возразилъ Хвалынцевъ.

— Какъ-же не понятно!—отчасти злобно воскликнулъ отецъ Конотовичъ,—слишкомъ даже хорошо понятно! Одни только слѣпорожденные наши, кажись, ничего не видятъ и не понимаютъ... Да впрочемъ что!—махнулъ онъ рукой.—Можетъ, и ваша правда, что правительство смотритъ на нашъ край какъ на Польшу, но... правительство вольно смотрѣть какъ ему благоугодно,—сила не въ этомъ.

— А въ чемъ-же?

— Въ томъ, какъ народъ нашъ будетъ смотрѣть; это главное!—вѣско и многозначительно проговорилъ отецъ Конотовичъ. — Правда, народъ забитъ, народъ задавленъ, но... пока народъ не умеръ окончательно, пока не разложился духовно, онъ только не болѣе какъ прижатая стальная пружина... повстанье отпуститъ эту пружину и она отпрянетъ! Отпрянетъ тѣмъ съ большею силою, чѣмъ больше ее нажимали!

Отецъ Конотовичъ произносилъ эти слова голосомъ твердаго и глубокаго убѣжденія. Сжатыя брови его нервически дрожали, взоръ горѣлъ, а узловато-костистый указательный палецъ крѣпко сжатаго кулака угрозливо и выразительно постукивалъ о край стола. Видно было, что внутри этого человѣка много и много уже и накипѣло, и наболѣло, и теперь, какъ возмущенная стоячая вода, все поднялось наружу, и, какъ вода же, крутило и мутило на взволнованной поверхности.

— Не дай Богъ, конечно, — продолжалъ онъ,—но если и въ-правду правительство станетъ продолжать глядѣть на насъ какъ на Польшу, не дай Богъ, говорю, но... не поручусь, чтобы здѣсь не повторилось нѣчто подобное галиційской рѣзнѣ 46 года!... Хлопъ покоренъ, но онъ свирѣпъ бываетъ!... И тогда уже самъ, помимо правительства, порѣшитъ свое дѣло!

На нѣсколько минутъ воцарилось полнѣйшее молчаніе, только и слышно было, какъ сквo-

[1]) Крестъ.

[1]) Окружные.
[2]) Уѣздные.

Digitized by Google

рецъ встряхивался порою крыльями да канарейка, изрѣдка чиликая тихимъ, коротким высвистомъ, перепархивала съ донца на жердочку, съ жердочки на донце, гдѣ чистила свой носикъ и, долбя имъ, поклевывала конопляное сѣмя. Отецъ Сильвестръ, понуря голову и попрежнему заложивъ руки въ карманы подрясника, съ похмурымъ лицомъ, ходилъ по комнатѣ, а Хвалынцевъ неподвижно сидѣлъ въ креслѣ, облокотясь на столъ и подперевъ руками голову. Онъ почувствовалъ глубокую искренность и правду во всемъ, что говорилъ отецъ Сильвестръ, и глубоко задумался надъ его словами. Пелена все болѣе и болѣе спадала съ глазъ его, но вмѣстѣ съ этимъ все безвыходнѣе представлялось ему свое собственное положеніе...

— Словомъ, все ложь, ложь и ложь! вездѣ и повсюду!—проговорилъ вдругъ, какъ бы въ заключеніе всего сказаннаго, отецъ Сильвестръ, остановясь по срединѣ комнаты. — Это даже и не заговоръ, а просто какая-то мерзкая подпольная интрига; про Польшу — не знаю, но здѣсь, въ этомъ краѣ, по крайней мѣрѣ, одна интрига съ самыми неблаговидными цѣлями. Съ самыми неблаговидными даже во всечеловѣческомъ смыслѣ!

Хвалынцевъ поднялся съ мѣста подъ впечатлѣніемъ посѣтившей его мысли.

— Послушайте, отецъ Сильвестръ,—началъ онъ.—Все, что вы мнѣ говорили, до того для меня ново, что я просто пораженъ!.. У насъ, въ Россіи, вѣдь никто и не подозрѣваетъ ничего подобнаго! Мы вѣдь и понятія объ этомъ краѣ не имѣемъ!

— Гдѣ вамъ тамъ имѣть! Стать ли тамъ, въ Россіи, нами заниматься!—съ горечью перебилъ священникъ.

— Ну, вотъ то-то-же и есть! по пословицѣ, батюшка: дитя не плачетъ, мать не разумѣетъ.

— Для глухой и слѣпой матери плачь, не плачь, все едино!—махнулъ тотъ рукою.

— Ну, вотъ оттого-то, что она глуха,—подхватилъ Хвалынцевъ, — ей и надо кричать, погромче кричать, чтобъ услышала! Кричать всѣми силами, пока не услышитъ наконецъ. Отчего, напримѣръ, вы, зная и переживъ, и перевидавъ такъ много, между тѣмъ молчите? Не грѣхъ ли это?!

Священникъ поднялъ на него удивленный взглядъ.

— А что же, по вашему мнѣнію, я долженъ дѣлать?—глухо спросилъ онъ.

— Что? Писать! печатать! во всеуслышанье, на весь грамотный людъ! Въ Россіи есть честные журналы и газеты,—они дадутъ вамъ мѣсто. Вотъ что дѣлать!

— Н-да!... вотъ оно что! — съ горько-злобною ироніей ухмыльнулся отецъ Конотовичъ.— Писать, вы говорите... Хм... А я вамъ скажу, государь мой, что были у насъ эти писатели; одного изъ нихъ я самъ даже нѣкогда лично зналъ, но судьба его, по милости писанья, оказалась очень плачевна!.. Изъ него усердные чиновники сдѣлали яко бы шпіона, доносчика, безпокойнаго человѣка, смутьяна: тягали, тягали по слѣдствіямъ, по тюрьмамъ, да и кончили тѣмъ, что административнымъ порядкомъ съ жандармами спровадили изъ края въ дальній, глухой монастырь на пожизненное заточеніе. Вонъ оно, каково у насъ писательство кончается! Да не въ этомъ сила,—прибавилъ онъ многозначительно, съ сознаніемъ всей важности и серьезности своей мысли. — У насъ стоитъ на череду настоятельное, нетерпящее дѣло поважнѣе всякаго писательства. Намъ надо народъ соблюсти,—это главное. Это наша святая задача! Соблюсти его Богу и землѣ родной вѣрна и честна!... А кто блюсти-то будетъ? Все тотъ же попъ сиволапый! Видно ужь и въ самомъ дѣлѣ говорится не даромъ, что «плебанъ для пана, а попъ для хлопа!»—заключилъ онъ уже съ мягкою полувеселою улыбкою.

Въ эту минуту въ комнату вошелъ батракъ и остановился у двери.

— Что скажешь, хлопче?

— Нѣма коні, пане ойче,—объявилъ онъ.— Шукау, шукау [1]), ажъ нихто не вязець...

— Что такъ?—удивился священникъ.

— А такъ! бо байдужо усѣ спалахнулися. Щей зъ вечора соцкій хадзиу по хатамъ та народъ на раду [2]) у паньскій дворъ сдыма́у, каб йшли зра́ну.

— Что тамъ за рада? (Это на сходъ,—пояснилъ онъ Хвалынцеву.)

— А хто е зна штось тамъ такъ,—отозвался батракъ.—Какъ я бѣгъ (бѣжалъ), такъ жиды сказували, што бунта якась-то... Ажъ усе сяло тамъ'...

— Бунтъ!.. Что за вздоръ!—нахмурясь, проговорилъ отецъ Сильвестръ и вопросительно поглядѣлъ на Хвалынцева.

— Гавораць, бунта,—подтвердилъ работникъ.

— Ну, хорошо! Ступай себѣ!

Тотъ неспѣшно удалился.

Священникъ поплотнѣе приперъ за нимъ двери.

— Надо, однако, пойти посмотрѣть, узнать что тамъ такое? — берясь за шапку, сказалъ Хвалынцевъ.

— Штука извѣстная!—махнулъ рукою отецъ Сильвестръ.—Они вѣдь все теперь стараются бить на бунты! Но готовъ прозакладывать что хотите, сто противъ одного пойду, — прибавилъ онъ съ силой глубокаго и прочнаго убѣжденія,—что никакого бунта нѣтъ! Панскія штуки-съ! И будь я не попъ Сильвестръ, если все это не кончится воинской экзекуціей. Вотъ посмотрите!—Только къ тому вѣдь и клонятъ.

Хвалынцевъ дружески съ нимъ разстался и

---

[1]) Искалъ.
[2]) Совѣщаніе.

Digitized by Google

пошелъ въ усадьбу съ намѣреніемъ въ послѣдній разъ, но уже рѣшительно побудить Василія Свитку къ скорѣйшему отъѣзду—сегодня-же.

XVI.

Одинъ изъ тысячи хлопскихъ бунтовъ того времени.

Подстрекаемый понятнымъ любопытствомъ, Хвалынцевъ спѣшно вернулся въ усадьбу. Предъ панской конторой стояла толпа хлоповъ, состоявшая исключительно изъ однихъ «господарей» или хозяевъ, такъ какъ батракамъ и безземельнымъ тутъ нечего было дѣлать. Въ толпѣ, по обыкновенію, галдѣли и горлопанили, какъ и на всякой мірской сходкѣ. На крылечкѣ стояли посредникъ въ золотой цѣпи и панъ Котырло; поэтому хлопы все время пребывали съ почтительно обнаженными головами. Становой, или «ассесоръ» панъ Шпарага, который вчера тотчасъ же послѣ полеванья уѣхалъ по службѣ въ одну изъ ближнихъ волостей, а нынѣ утромъ нарочно возвратился въ Червлёны, стоялъ теперь тоже на крылечкѣ, нѣсколько позади пана Котырло и Селявы, которые хранили его здѣсь на всякій случай, какъ бы въ видѣ резерва. У самыхъ ступенекъ, предъ крыльцомъ, занимали мѣсто личности наиболѣе толковитыя и вліятельныя между крестьянами, и между ними конторскій писарь, панъ Михалъ, староста, сотскій и десятскіе, волостной писарь и волостной старшина; всѣ съ кнутиками или съ посошками, являвшими собою знакъ данной имъ власти. Панъ Михалъ избралъ свой постъ предъ ступеньками съ особенною цѣлью—подмѣчать спорщиковъ и говоруновъ наиболѣе несогласныхъ съ предложеніями пана и посредника. Этимъ спорщикамъ, въ случаѣ неблагополучнаго для хлоповъ исхода всего дѣла, конечно предстояла весьма печальная перспектива, какъ зачинщикамъ и подстрекателямъ, и хлопы очень хорошо понимали роль пана Михала, а потому косились на него крайне боязливымъ и недружелюбнымъ образомъ. Но панъ Михалъ, какъ истый панскій клевретъ, чувствовалъ всю свою силу и «потенцію», особенно въ присутствіи самого «наияснѣйшаго» пана, а потому изображалъ полнѣйшее и даже презрительное равнодушіе къ недружелюбнымъ взглядамъ и шепотываніямъ хлопской «громады».

Посредникъ уговаривалъ хлоповъ покончить съ уставною грамотою, подписать ее, согласиться съ предложеніями пана, который-де вамъ не желаетъ шкоды,—однимъ словомъ, кончить все это скорѣе, теперь же, безъ всякихъ споровъ и пререканій, за что панъ, по своей ласкѣ, жалуетъ имъ на всю громаду десять ведеръ водки.

Громада не соглашалась, и на всѣ разспросы посредника, заминаясь, отвѣтствовала одно только, что «намъ-де такъ, ваше велыкое велычество, не згодно».

И долго Селява-Жабчинскій не могъ добиться толку, почему именно «не згодно». Громада, очевидно была себѣ на умѣ, но затруднялась высказать свои опасенія и всѣ тѣ мысли и думки, что̀ лежали у нея на душѣ. На всѣ краснорѣчивыя и привлекательно соблазнительныя увѣренія посредника въ громадѣ высказывалось одно общее недовѣріе и сомнѣніе, которое можно было ясно прочесть на каждой хлопской физіономіи.

Посредникъ все добивался, отчего они не хотятъ подписывать уставную грамоту.

— Та што̀-жъ, каже, ваше велыкое велычество, кабъ мы яну знали якáсь-то яна,—отозвался наконецъ одинъ голосъ изъ толпы,—а то вашество усё до насъ: «пышить, та пышить», а што пысано й што пысать мы й незнáемо.

— Да грамоту-жь, — досадливо пояснилъ Селява.

— Дакъ покажиць намъ яну.

— Та когда-жъ въ насъ вѣры нѣма?

— Э, нѣ, яснавяльможный, не то, а такъ, каже... заминалась и почесывалась громада, не рѣшаясь отвѣтить прямо, что дѣйствительно въ ней вѣры нѣтъ.

— Вы, панове-громада,—ласково ублажалъ Селява,—вы пану сваму вѣрте якъ пану Богу... Панъ не ошукаець [1]).

— А такъ; мы й вѣруймо... Алежъ покажиць тую хграмоту.

Селява увѣрялъ, что это совершенно излишняя процедура, что онъ на словахъ выяснилъ имъ всѣ статьи и пункты, и что самую грамоту будутъ видѣть въ конторѣ выборные отъ громады и всѣ тѣ, которые станутъ ее подписывать и класть кресты [2]).

— Алежъ мы хочемо, кабъ-то при усёй громадци было,—настаивали хлопы.

Посредникъ уклонялся отъ послѣдняго требованія, и такимъ образомъ дѣло уже сколько времени не двигалось ни взадъ, ни впередъ.

Вмѣшался становой и съ начальственными покрикиваніями объявилъ имъ, что это съ ихъ стороны не болѣе какъ упрямство и явное непокорство власти посредника.

Хлопы приниженно кланялись, но на подпись грамоты, въ тѣхъ условіяхъ, какъ имъ было предлагаемо, согласія своего все-таки не давали.

— Эге, да это бунтъ, — заголосилъ панъ Шпарага.—Бунтовщики!.. Здрайцы!.. [3]) Въ

---

[1]) Не обманетъ.

[2]) Неграмотные обыкновенно пишутъ своею рукой три креста, противъ которыхъ писарь отмѣчаетъ имя приложившаго руку. Таковые кресты, на основаніи закона, равносильны собственноручной подписи.

[3]) Измѣнники.

Digitized by Google

кайданы [1]) всѣхъ забью!.. Въ лозы прійму!.. Всѣхъ до Сибиру отправлю!.. Вы бунтовать, канальи!.. Вы власти, вы закона не слушаться, бестіи... Вотъ я вамъ!..

Хлопы въ первую минуту оторопѣли было при видѣ поднятыхъ и угрожающихъ кулаковъ пана «асесс̀ора» и при его неистовыхъ взвизгиваньяхъ и крикахъ, но потомъ одумались и уже молча выслушивали потокъ его угрозъ, покорно склонивъ свои обнаженныя головы.

— Ну, какъ по вашему бунта, дакъ нехай бунта, а по нашому ни... Мы сваму Цару не зрадзимо [2]),—послышались голоса въ хлопской громадѣ.

Но однихъ возгласовъ пана станового было совершенно достаточно для того, чтобъ ихъ подхватилъ кое-кто изъ панской дворни, а отсель переняли, по принадлежности, вездѣсущіе, всезнающіе жидки — и вотъ въ какія-нибудь четверть часа тревожная вѣсть о хлопскомъ бунтѣ успѣла уже изъ конца въ конецъ облетѣть все мѣстечко.

Дѣло межъ тѣмъ ни на шагъ не подавалось. Крестьяне смутно чуяли какой-то обманъ, какую-то неправду, затѣянную противъ нихъ, и потому крѣпились и настаивали, чтобъ имъ воочію была показана уставная грамота. Рѣшились, наконецъ, вынести и показать имъ бумагу. Хлопы вытолкнули впередъ какого-то Марцина Осташéню, наиболѣе бойкаго грамотея изъ своей среды, съ тѣмъ чтобъ онъ во всеуслышанье прочелъ имъ грамоту.

— Я самъ буду читать,—возразилъ посредникъ.

— А выбачайце [3]), вашо велыкое велычества, нехай вже такá ваша ласка паньска, нехай Осташéня читае, бо уся громада Осташéню хоче.

Посредникъ однако уклонялся отъ этого требованія подъ разными увертливыми предлогами и никакъ не хотѣлъ вручить грамоту смиренно выпяченному впередъ и смиренно стоявшему Осташéнѣ. Оно и понятно, потому что словесный уговоръ съ громадой на разверстаніе угодій и условія выкупа были одни, а въ уставной грамотѣ показаны другія, то-есть тѣ же, но съ весьма значительными измѣненіями въ пользу помѣщика сообразно съ фальшиво-составленнымъ въ его пользу имущественнымъ инвентаремъ, и это-то обстоятельство ни пану Котырло, ни пану Селявѣ не хотѣлось обнаруживать предъ хлопами. Они оба разсчитывали, что съ помощью ласковыхъ уговоровъ и десяти ведеръ водки, а въ случаѣ крайности и угрозами станового, заставятъ хлоповъ зря согласиться на подпись—однимъ словомъ, питали сладкія надежды ловкимъ манеромъ обдѣлать тепленькое дѣльце съ патріотической подкладкой, а теперь, благодаря неожиданному упрямству громады, эти надежды начинали колебаться.

Наконецъ остроумному пану Селявѣ пришла вдругъ одна недурненькая мысль. Онъ кивнулъ пану Котырло и становому, и всѣ трое удалились на короткое время въ контору для необходимыхъ совѣщаній. Минутъ чрезъ десять оттуда вышли уже только двое: посредникъ съ помѣщикомъ, а панъ асессоръ благоразсудилъ лучше подождать, пока его не потребуютъ опять на крылечко.

— Ну, что̀ жь, панове-громада? Не упинайтеся!—опять принимая ласковый тонъ, обратился къ міру Селява.

— А то жь, якъ казали, то такъ и будзе,— непреклонно, хотя и съ обыкновеннымъ покорнымъ видомъ, отвѣтило нѣсколько голосовъ.

— Ну, нехай по-вашему.... Читайте.

И онъ подалъ бумагу Марцину Осташéнѣ.

Тотъ небойко, но съ видимымъ стараніемъ придать какъ можно болѣе вразумительности своему чтенію, сталъ разбирать грамоту. Громада обступила его со всѣхъ сторонъ и внимательно, боясь проронить хоть единое слово, съ открытыми ртами, съ выпученными глазами и настороженнымъ ухомъ вслушивалась въ слова, внятно произносимыя Осташéней. Только время отъ времени, когда статьи грамоты разногласили со словеснымъ уговоромъ, какой-нибудь сосѣдъ исподтишка толкалъ въ бокъ сосѣда и дѣлалъ ему выразительный взглядъ,— дескать, смекай-ко! На что̀ другой коротко кивалъ головою: эге, молъ, разумѣемъ!

Когда же чтеніе было кончено, то вся громада раздумчиво понурила головы.

— Алежъ тутъ у гхрамотци иншей прописáно!—заговорили нѣкоторые,—не такъ, якъ мы згодзилисе тодысь!..

— То було панъ казáу, што Пацюровско урочисько гля насъ адаець, а ципéрачки якъ и заусѣмъ нѣтъ яго.

— Тай лѣсу нима а-ни прéнта, а-ни кавáлка, а такъ сáможъ казáу...

— Тай што тамъ лѣсу! Бо дай Боже й такъ! А и волы пасвиць нима гдѣ; кабъ кастбисько, а и то ни кавáлка.

— А іонъ на то й низважáя! [4]) От-што! Яму што?!

— Такò жицье то горей за собаку будзе!

— Дбай, кабъ не горей! бяри просто торбу та кіекъ, тай хадзи-сабѣ рабоваць гдзѣ—шукай скориночки [5]).

— Отто жъ такá й прауда паньска!

Но и это еще было не все, что крестьяне лишались тѣхъ луговъ, лѣса и выгона, которыми пользовались искони, при помѣщичьемъ

[1]) Цѣпи.
[2]) Не здрадзимо—не измѣнимъ.
[3]) Извините.
[4]) Не обращаетъ вниманія.
[5]) Рабоваць — просить милостыню. Скориночки—корки хлѣба. Дбай—думай, заботься.

Digitized by Google

правѣ. Въ силу уставной грамоты, большая часть ихъ поселковъ окружалась отнынѣ помѣщичьею землею, а крестьянскія пахоты отведены въ значительной отдаленности, и даже тѣ несчастныя угодья, которыя предоставлялись въ ихъ пользованіе, были разбросаны Богъ-знаетъ гдѣ и какъ и почти всѣ окружены такъ или иначе панскими владѣньями, такъ что для крестьянъ (но никакъ не для помѣщика) выходила ужаснѣйшая черезполосица, при которой ужь никоимъ образомъ нельзя было вести самостоятельнаго, правильнаго хозяйства. Потравы при такомъ порядкѣ должны быть и постоянны, и неизбѣжны, а за потравы плати безпрестанно *штрафы*, приходи въ вѣчныя столкновенія съ паномъ, въ которыхъ ты всегда останешься виноватымъ... Но зато подобная несамостоятельность и вообще весь порядокъ дѣлъ такого рода былъ весьма выгоденъ для помѣщика, во-первыхъ тѣмъ, что его владѣнія были сконцентрированы, а во-вторыхъ тѣмъ, что онъ пріобрѣтаетъ отнынѣ гнетъ постояннаго преобладанія надъ хлопами, которые должны будутъ очутиться у своего бывшаго пана въ изрядной-таки зависимости, съ присоединеніемъ для него новой и значительно выгодной статьи дохода отъ штрафовъ за потравы.

Сколь ни считали паны этихъ хлоповъ тупыми и забитыми, однако же хлопы сразу поняли, что эта уставная грамота затягиваетъ надъ ними мертвую петлю, что изъ огня прежней крѣпостной «панщизны» они вдругъ, попадаютъ теперь въ полымя новой и уже безъисходной зависимости отъ того же самаго пана.

— Нѣ, яснавяльможный, выбачайце, адначожъ намъ гэтаго подпысуваць, ниякъ не можна!—заговорили въ громадѣ.—Мы хочемо, кабъ намъ аддали, што намъ самъ Царъ палажиу, а большъ таго намъ не треба.

Посредникъ, казалось, только этого и ждалъ. Съ ретивостью, достойною лучшей участи, сталъ онъ увѣрять хлоповъ, что это-то самое и есть все то, что̀ имъ слѣдуетъ по закону, по царскому Положенію, и что самая грамота строго составлена въ силу этого лишь царскаго Положенія, а что касается до обѣщанныхъ угодій: какъ лѣсъ, луга и выгонъ, то панъ, хотя и не обязанъ по закону отдавать ихъ, но охотно подаритъ ихъ потомъ, со-временемъ, изъ своей панской милости и ласки и если онъ теперь же не оговариваетъ ихъ въ уставной грамотѣ, то только потому, что это бы было противузаконно.

— Нѣ!... не хочемо мы таго! Не треба намъ паньскихъ подарунковъ, загалдѣлъ міръ,—а намъ што одъ Цара положо̀но то бъ намъ и дацъ! То бъ мы тольки сабѣ и хацѣли!... Отштo!.. А одъ паньскихъ подарунковъ а-ни славы, ни ужитку! [1])

[1]) Ни славы, ни пользы нѣтъ.

И опять идутъ новыя распинанья, что царь именно и велѣлъ отдать имъ только то, что̀ поставлено въ уставной грамотѣ.

— А пакажиць же намъ, гдысь то іонъ пра то одпысау? У якому лúсту?—отозвались хлопы.—Якъ дастé намъ таго лúсту, за Царскими печáтьмы, дакъ повѣруймо, а то нѣтъ чаго дарéмне й балáкаць ту!

Но панъ Селява-Жабчинскій, несмотря на всю свою изобрѣтательность, въ данную минуту не могъ никоимъ образомъ изобрѣсти «листу» подобнаго сорта. Онъ обратился къ Котырлѣ и по-французски, да и то почему-то въ полголоса, сталъ совѣтоваться, что-жь, молъ, теперь намъ остается дѣлать?!

Въ это самое время изъ толпы выдвинулось цѣлыхъ двѣнадцать человѣкъ и всѣ они разомъ бухнулись въ ноги предъ крылечкомъ. Это были тѣ самые, которые добровольно возжелали перечислиться въ дворовые. Бухнувшись въ ноги, они слезно стали вымаливать, чтобы Котырло «съ ласки» [1]) своей панской отпустилъ ихъ снова на «господарство» [2]), что они передумали и желаютъ лучше выплачивать по сорока рублей въ годъ выкупа, чѣмъ по двадцати арендной платы, «абы зноу поварацицьца на хлопи, бо то наша одъ вѣку батьковщизна була» [3]).

Но тутъ панъ Котырло и разговаривать не сталъ, а просто прогналъ ихъ вонъ, сказавъ имъ, что они «дурни», своей же выгоды не понимаютъ. Актъ добровольнаго соглашенія былъ вѣдь уже подписанъ и хранился въ его бюро, стало-быть, чего-же еще ему и разговаривать? Но все-таки онъ былъ недоволенъ тѣмъ, что эти дурни, представлявшіе собою цѣлый отдѣльный выселокъ, бросились со своими мольбами предъ цѣлой громадой, а это обстоятельство могло угрожать тѣмъ, что дальнѣйшія выгодныя сдѣлки такого рода, пожалуй, больше у него и не состоятся: охотниковъ не найдется!..

— Я знаю, чьи все это штуки! знаю, кто васъ науськалъ!—погрозилъ онъ имъ пальцемъ, вспомня ненавистнаго «схизматыцкéго» попа Сильвестра.—Только смотрите, какъ-бы вамъ съ вашимъ учителемъ не улетѣть къ чертямъ, съ веревкой на шеѣ!

Затѣмъ панъ Котырло подозвалъ къ себѣ своего конторщика, пана Мúхала, который все время неослабно наблюдалъ за хлопской громадой, и шепнулъ ему что-то на ухо. Тотъ удалился въ контору, и черезъ минуту, въ сопровожденіи его, выпуская дымъ послѣдней трубочной затяжки, появился оттуда панъ асессоръ.

— Такъ что-жь, панове-громада,—возгласилъ

[1]) По милости.
[2]) Хозяйство.
[3]) Чтобы снова обратиться въ крестьянъ, потому что это искони была наша батьковщина.

Digitized by Google

при этомъ посредникъ,—не хочете по царскому Положенію сгодиться на грамоту?

— Пакажиць намъ тое Положене, штобъ мы забачили! Хочь зирнуць якось-то яно! А такъ неможна! — отвѣтили въ толпѣ.

— Такъ не хочете? —рѣшительно и настойчиво повторилъ посредникъ.

— Та што-жь, кали не згодна!

— Въ остатній разъ пытаю: не хочете?

— Не хочемо, ваше велыкое велычество, поки не забачимо сами!.. Не хочемо!

— Пане асессорже!—обратился Селява къ Шпарагѣ,—прошу прислушать: Высочайшаго Положенья не принимаютъ! *Высочайшаго* Положенья!.. Царскому слову вѣры не даютъ!

— Такъ не хочете?—повернулся онъ еще разъ къ громадѣ.

Въ толпѣ понуро молчали.

Селява еще разъ повторилъ свой томительный вопросъ.

Но онъ остался безъ отвѣта. Тягостное молчаніе, еще ниже пригнетая долу и безъ того уже понурыя, беззащитныя хлопскія головы, всецѣло царило надъ громадой.

— Мы ждемъ остатняго слова! Отвѣчайте!— крикнулъ посредникъ.

Прошло еще одно мгновеніе колеблющаго, мрачно-томительнаго молчанія, и вдругъ...

— Не хочемо!—однимъ, единодушно-отчаяннымъ вздохомъ и рѣшительнымъ воплемъ вырвалось послѣднее слово изъ груди нѣсколькихъ десятковъ хлопской громады.

Даже панъ Селява былъ пораженъ эффектомъ этого единодушнаго вопля. На одно мгновеніе онъ даже поблѣднѣлъ и отшатнулся назадъ; но это продолжалось у него только мгновенье: онъ въ ту-жь минуту совладалъ съ собою и, окинувъ понурую толпу холоднымъ и строгимъ взглядомъ, выступилъ шагъ впередъ.

— Э-э!.. да тутъ и точно бунтъ!—протянулъ онъ съ какой-то зловѣщей угрозой. — Такъ вы не только-что пану своему законному не покоряться, не только-что не признавать власти моей и пана асессора, но даже и Царскому указу противитесь!?.. Положенія 19-го февраля не признаете... Пане асессорже!—обратился онъ вдругъ къ Шпарагѣ, снимая свою цѣпь, — мое дѣло кончено. Начинайте! Теперь уже ваше дѣло, пане асессорже!

Становой не заставилъ долго просить себя. Внушительно и неторопливо засучивъ рукава, причемъ изъ-подъ одного изъ нихъ очень ловко успѣлъ выпустить казацкую нагайку, онъ съ яростнымъ визгомъ, махая въ воздухѣ кулакомъ и своимъ страшнымъ снарядомъ, ринулся на толпу впередъ всею дебелою грудью, всѣмъ откормленнымъ пузомъ, локтями, каблуками и колѣнками—и здоровая нагайка въ ту-жь минуту пошла гулять по чемъ ни попадя... Только слышно было частое щелканіе ея о хлопскія спины, головы, плечи и груди. По нѣсколькимъ лицамъ уже струилась кровь, на другихъ накипали полосами сине-бурые и багровые волдыри, а нагайка пана-асессора все еще продолжала свою административную работу. Но хлопы, какъ стадо барановъ, ошалѣвъ отъ страху и боли, все пуще жались въ кучу и толклись на мѣстѣ. Изрѣдка изъ этой кучи вырывался короткій, болѣзненный стонъ, слѣдовавшій непосредственно за глухимъ пляцканьемъ нагайки, удары которой слышались большею частію въ совершенной тишинѣ, такъ что иной любитель могъ бы по ея короткому, отрывистому щелканью, сосчитать число изобильно-щедрыхъ ударовъ. Раздавался одинъ только запыхавшійся, хрипливо-визжащій голосъ станового, который въ этомъ случаѣ, быть-можетъ вопреки польскому патріотизму, оказался весьма изобрѣтательнымъ любителемъ крѣпкихъ выраженій чисто-россійскаго свойства. Онъ словно охмѣлѣлъ отъ удовольствія щелкать нагайкой и видѣть кровь. Но какъ ни надсѣдался своей глоткой, какъ не упражнялъ свои мускулы рукъ и ногъ—кромѣ молчанія, нарушаемаго изрѣдка все тѣми же короткими воплями нестерпимой боли, ничего не выходило изъ этой толпы. Хлопы все такъ-же ошалѣло, покорно толклись на одномъ мѣстѣ и жались въ кучу. Только кровяныя пятна на землѣ, на лицахъ, на одеждѣ свидѣтельствовали о примѣрномъ усердіи административной нагайки.

Наконецъ панъ Шпарага усталъ работать. По его лицу и съ широкой лысины градомъ катился изобильный потъ. Было мокро и подъ мышками и за шиворотомъ, но моціонъ всегда приносилъ ему очень большую пользу, и притомъ панъ-асессоръ былъ вообще большой любитель рукопашныхъ работъ подобнаго рода, а тѣмъ паче теперь, когда этотъ случай, при свидѣтельствѣ посредника и Котырло, заявляя столь краснорѣчиво о его безстрашіи и гражданскомъ мужествѣ въ смыслѣ укротителя бунтовъ, давалъ ему право на вящее вниманіе со стороны высшаго начальства и позволялъ даже разсчитывать какъ на пріятную и лестную награду, такъ равно и на стократное подтвержденіе и безъ того уже упроченной репутаціи примѣрнаго, благонадежнаго и благонамѣреннаго чиновника. Притомъ и въ глазахъ прекраснаго пола этотъ пассажъ могъ поставить его очень высоко въ томъ смыслѣ, что онъ одинъ—*одинъ*, лишь со своей нагайкой, ни на мгновеніе не призадумался, когда потребовалось столь мужественно, столь героически-храбро ринуться въ «громадную» толпу взбунтовавшихся хлоповъ; а извѣстно, что ни одинъ родовитый шляхтичъ, танцующій мазурку, хотя бы даже и въ шкурѣ станового, никакъ не можетъ не принимать въ соображеніе и мнѣнія о немъ прекраснаго пола. Однимъ словомъ, панъ Шпарага вспотѣлъ, панъ Шпарага усталъ, но онъ чувствовалъ себя въ нѣкоторомъ родѣ героемъ, онъ успѣлъ съ

Digitized by Google

избыткомъ удовлетворить жадному чувству своей административной исполнительности и потому былъ «бардзо уконтентованы» [1]).

Селява-Жабчинскій снова надѣлъ свою позлащенную цѣпь и выступилъ впередъ на мѣсто удалившагося станового.

— Такъ что вы, все еще не хочете?— возвысилъ онъ къ толпѣ свой голосъ.

Прошелъ моментъ молчанія, и вдругъ изъ всей толпы разомъ вырвался все тотъ же прежній вопль:

— Не хочемо!!!..

— Но только теперь уже въ немъ слышалась разрывающая грудь, озлобленная, непримиримая, непреклонная и остервенѣлая рѣшимость.

— Маршъ до дому, лайдаки!—затопавъ ногами, закричалъ посредникъ. — Не хотѣли добромъ соглашаться, все равно царскія казаки заставятъ!.. Москале не паны—шутить не будутъ!.. Не хочете пановъ слушать, послушаетесь царскихъ штыковъ. А то не наша вина, коли намъ приказъ такой!.. Намъ нечего дѣлать!.. Не своя воля! царскую жь волю справляемъ!.. Пеняйте на себя теперь, а мы не виноваты... Маршъ, говорю, до дому, шельмы, неблагодарныя твари!..

И «свободные» хлопы, все такъ-же понуривъ въ безпомощномъ раздумьи свои головы, утирая «юшку» [2]) съ окровавленныхъ лицъ и тихо толкуя о чемъ-то межъ собою, неспѣшно побрели со двора, затѣмъ постояли немного за воротами и, наконецъ, небольшими группами стали расходиться по хатамъ.

А въ это время подъ диктовку Селявы и станового, панъ Михалъ уже строчилъ донесеніе къ разнымъ подлежащимъ властямъ, учрежденіямъ и начальствамъ, о томъ, якобы крестьяне Червлёнской волости, несмотря на кроткія увѣщанія посредника, не желали подписывать уставную грамоту, на которую еще прежде послѣдовало ихъ согласіе, въ чемъ онъ усматриваетъ зловредныя подстрекательства со стороны мѣстнаго православнаго священника. Когда же, наконецъ, былъ исчерпанъ весь запасъ ласковыхъ увѣщаній и строго законныхъ предъявленій, основанныхъ на прямомъ смыслѣ «Положенія», то крестьяне выказали столь много злостнаго и закоренѣлаго упорства, что оказали открытое сопротивленіе власти посредника и станового пристава, позволивъ себѣ даже кощунственно сомнѣваться въ подлинности Высочайшаго указа и Высочайше утвержденныхъ положеній. Вслѣдствіе чего помѣщикъ находится въ справедливомъ опасеніи не только за собственность, но даже и за жизнь свою и своего семейства. «Во всемъ этомъ, къ прискорбію, нельзя не усмотрѣть, добавляло донесеніе, явныхъ плодовъ тѣхъ зловредныхъ ученій коммунизма, соціализма и отрицанія авторитета всякой власти, распространеніе которыхъ все сильнѣе съ нѣкотораго времени замѣчается въ крестьянской средѣ, а потому-де ощущается настоятельнѣйшая надобность въ самоскорѣйшей присылкѣ воинской экзекуціи для огражденія собственности и личности помѣщика, а равно и для возстановленія надлежащаго уваженія къ закону и попранной власти».

Паны, въ нужныхъ случаяхъ, подобныхъ настоящему, умѣли отлично изъясниться и даже весьма краснорѣчиво писать по-русски. Донесенія и извѣщенія тотчасъ же были отправлены съ нарочными, которымъ приказано «лупить во всѣ лопатки».

Когда Хвалынцевъ, озлобленный еще болѣе вчерашняго, по окончаніи всей этой исторіи, которую онъ видѣлъ и слышалъ только урывками сквозь окно своей комнаты, собрался было предложить Свиткѣ немедленный отъѣздъ изъ «этого проклятаго гнѣзда», предположивъ сказать ему, что въ случаѣ несогласія, онъ самъ немедленно, хотя бы пѣшкомъ, уходитъ отсюда, Свитка вдругъ, къ его крайнему изумленію, самъ сообщилъ, что они уѣзжаютъ сегодня же послѣ обѣда.

— Ну, вы обѣдайте! а я съ ними ни ѣсть, ни видѣться больше не стану! Съ меня ужь слишкомъ довольно!—сказалъ Хвалынцевъ, ни мало не думая скрывать своего желчнаго презрѣнія.

— Ну, полноте!—съ обычной своей ухмылкой притворно и потому приторно-добродушнымъ тономъ началъ Свитка.—Смотрите вы на это нѣсколько иначе, какъ я напримѣръ... Презрѣніе презрѣніемъ, а обѣдъ обѣдомъ!

— Послушайте, — перебилъ Хвалынцевъ ухвативъ его за руку слишкомъ выразительно для того, чтобы тотъ не понялъ значенія и смысла такого пожатія. — Разъ на всегда: оставьте вы этотъ вашъ тонъ со мною... и вообще не будемте лучше вовсе говорить объ этомъ... по крайней мѣрѣ, до времени!.. Я надѣюсь, вы уважите мою просьбу!

Свитка только съ крайнимъ и нѣсколько тревожнымъ изумленіемъ посмотрѣлъ ему прямо въ лицо, что даже было противу его обыкновенія, ибо онъ избѣгалъ вообще прямыхъ взглядовъ и все болѣе косилъ внизъ и въ стороны и, не сказавъ ни слова, отвернулся и вышелъ изъ комнаты.

Константинъ сталъ собирать свои дорожныя вещи.

Спустя нѣкоторое время, казачекъ пришелъ звать его къ завтраку. Онъ приказалъ благодарить. Казачекъ удалился, и вскорѣ вернулся опять, уже съ цѣлымъ подносомъ закусокъ и дымящимся кускомъ ростбифу, но Хвалынцевъ безъ всякой церемоніи послалъ его къ чорту. Тотъ вылетѣлъ еще быстрѣе, чѣмъ при-

---

1) Очень доволенъ.
2) Кровь.

Digitized by Google

летѣлъ, а злобствующій герой нашъ былъ радъ, что хоть на какомъ-нибудь и хоть отчасти успѣлъ сорвать кипѣвшую въ немъ злобу, сожалѣя объ одномъ лишь, что мало и не столь крѣпко, какъ хотѣлось, пожалъ руку своему благопріятелю Свиткѣ.

Часа полтора спустя Свитка возвратился, посвистывая и поковыривая перышкомъ въ зубахъ; весело, какъ ни въ чемъ ни бывало, въ одну минуту собрался въ дорогу—бричка уже стояла у крыльца—и обратясь къ Хвалынцеву, сказалъ, что можно ѣхать. Тотъ не заставилъ повторять себѣ этой фразы, такъ какъ былъ уже давно готовъ. Наскоро, и притомъ довольно сухо и обоюдно холодно простился онъ на крыльцѣ, не входя даже въ домъ, съ самимъ паномъ Котырло, вовсе не заботясь о томъ, насколько это вѣжливо или невѣжливо, поблагодарилъ его за гостепріимство, попросилъ передать свое почтеніе супругѣ и всѣмъ домашнимъ и, пока Свитка съ чувствомъ лобызался съ паномъ, прыгнулъ въ бричку и уже ни на что болѣе усиленно старался не обращать никакого вниманія. Поведеніе его, безъ всякаго сомнѣнія, должно было казаться крайне страннымъ, но онъ объ этомъ ни мало не заботился, напротивъ, даже испытывалъ въ душѣ своей, именно по этому самому поводу, какое-то злобное удовольствіе.

Бричка тронулась, и онъ навсегда простился съ гостепріимнымъ кровомъ Червлёнскаго пана.

Пріятели долго молчали, испытывая каждый то-же самое неловкое чувство недовольства другъ другомъ и обоюднаго недовѣрія, которое испытали уже однажды, возвращаясь вмѣстѣ съ панской охоты. Каждый чувствовалъ межъ тѣмъ, что надо, необходимо надо говорить много, долго и серьезно, что надо объясниться, наконецъ, самымъ рѣшительнымъ образомъ—и оба, межъ тѣмъ, молчали, изрѣдка перекидываясь развѣ какими-нибудь ничтожными фразами, не имѣвшими ровно никакого отношенія къ волновавшимъ ихъ мыслямъ и чувствамъ; даже оба притворно старались при этомъ казаться «какъ всегда», словно бы между ними ровно ничего не вышло и не прозвучало въ ихъ отношеніяхъ ни малѣйшаго диссонанса.

Въ такихъ натянутыхъ, притворныхъ отношеніяхъ прошла вся дорога.

* * *

На другой день, подъ вечеръ, остановившись въ одномъ попутномъ мѣстечкѣ кормить лошадей, они встрѣтили подымавшуюся съ привала сотню донскихъ казаковъ, которые садились уже на своихъ поджарыхъ коней, готовясь выступить въ дальнѣйшій походъ.

— Куда Богъ несетъ?—обратился Хвалынцевъ, выглѣзая у корчмы изъ брички, къ одному отсталому уряднику, который, запаливъ себѣ «носогрѣйку», грузно перевалился всѣмъ корпусомъ чрезъ сѣдло, взбираясь на свою добрую кляченку.

— На ахсѣкуцыю... въ Червлёны,—отозвался тотъ, не глядя на вопрошавшаго и не выпуская изъ зубовъ коротенькую трубку.—Но-о, ты, стерво!—рыкнулъ онъ вслѣдъ затѣмъ на свою нестоявшую смирно лошадь и, вклепивъ ей въ бока нѣсколько здоровыхъ нагаекъ, помчался, раскачиваясь въ сѣдлѣ, въ-догонку за сотней, которая обыкновенною казачьею «ходой» удалялась изъ мѣстечка съ лихою, разухабистою пѣснею.

Со донскимъ-и молодымъ-и казакомъ-да
Я бы вольной казачкой была!

съ высвистомъ и гарканьемъ раздавался хоръ здоровыхъ, дюжихъ голосовъ, уже на гребляхъ, за шумящею мельницею, и тонкіе подголоски долго еще развилисто звенѣли и дрожали въ чуткомъ, вечерѣющемъ, морозно-ясномъ воздухѣ и все дальше, все тише уходили, терялись и таяли гдѣ-то тамъ, за горою...

Digitized by Google

ДВѢ СИЛЫ.

ХРОНИКА

НОВАГО СМУТНАГО ВРЕМЕНИ ГОСУДАРСТВА РОССІЙСКАГО.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ.

I.

Гродна и ея первые сюрпризы.

Въ городъ Гродну пріѣхали вечеромъ и остановились у Эстерки, на Мостовой улицѣ.

Едва наши усталые и разбитые съ дороги путники успѣли занять нумеръ—грязноватую и припахивающую не топленою, но сажистою печью комнату съ окнами на улицу, едва успѣли внести туда чемоданъ Хвалынцева, какъ ужь осторожно пріотворилась дверь и въ ея щели показался чей-то носъ. На обстоятельство это сначала не было обращено вниманія, и потому дверь немножко скрипнула, и носъ выставился нѣсколько болѣе.

— Кто тамъ? окликнулъ Хвалынцевъ.

— То ми,—съ деликатною робостью, но въ то же время съ нагловатою настойчивостью возвѣстилъ голосъ, принадлежащій очевидно обладателю прооунувшагося носа.

— Кто вы?

— Ми... гасшпидинъ Гершко...

И вслѣдъ за симъ носъ высунулся еще болѣе, за носомъ показалась кивающая бородка, за бородкой нѣкоторый намекъ на пейсы и, наконецъ, въ комнату юркнула фигурка поджараго еврейчика и остановилась у дверей, съ нѣсколькими лукаво-почтительными, ужимковатыми поклонами.

— Что вамъ угодно?—спросилъ Хвалынцевъ.

При этомъ вопросѣ поджарый еврейчикъ съ нескрываемымъ удивленіемъ и даже недоумѣло выпучилъ на него глаза: онъ совсѣмъ не привыкъ къ подобнымъ деликатнымъ формамъ обращенія: *вы*, да еще *угодно*—совсѣмъ какъ-то странно и даже смѣшно выходитъ.

Константинъ, уже нахмурясь, внушительнѣе повторилъ свой вопросъ.

Поджарая фигурка снова стала кланяться съ тѣми же характерными ужимками и плутоватою почтительностью.

— Ми... такъ... факторъ тутейши, гасшпидинъ Гершко,—отрекомендовался еврейчикъ.—Можже гасшпидинъ баро-онъ сгхоче спасшйлаць куды, альбо можже сшто пакупиць—то хэто ми... ми усшё можемъ.

Хвалынцевъ объявилъ, что ему ровно ничего не нужно, но фигурка не удалялась. Она только отвѣтила покорнѣйшимъ поклономъ и продолжала, какъ ни въ чемъ не бывало, стоять у двери, высматривая что дѣлаютъ, о чемъ говорятъ и какія вещи раскладываютъ новоприбывшіе.

— Что же вы тутъ стоите еще?—обернулся на фигурку Хвалынцевъ.

— Ми... такъ... можже тенъ панъ цось потшебуе? [1])—пронырливо вильнулъ Гершко носомъ и глазами на Свитку, словно бы какимъ-то инстинктивнымъ нюхомъ угадывая въ немъ поляка.

— Ницъ, муй коханы!

«Гасшпидинъ» Гершко опять наипочтительнѣйше поклонился на это, но опять-таки настойчиво, хоть и плутовато-смиренно, продолжалъ занимать свой постъ у двери и высматривать всякую малѣйшую мелочь своими хитрыми, внимательными глазами.

Хвалынцевъ вопросительно-строгимъ взглядомъ окинулъ назойливаго еврея.

— Можже для гасшпидинъ баро-онъ сшамева-аръ, то ми можемъ прика́заць.

---

[1]) Можетъ этому пану что-нибудь потребуется.

Digitized by Google

— Уже приказано.

— То ми мозжемъ изндвъ сшказаць, кабъ яайскорѣйшъ.

— Ненужно!

— Н-ну, то хай такъ.

Факторъ не удалялся выждалъ подходящую минуту и снова заявилъ о своемъ присутствіи:

— А мозже панъ гербáту ше зъ румемъ, або съ арáкемъ, чи зъ коньякемъ, чи то зъ сокемъ якимъ, то усшё хвто мозжемъ.

Хвалынцевъ наконецъ съ весьма рѣшительнымъ видомъ сталъ наступать на еврея.

Тотъ чуть замѣтилъ этотъ маневръ, какъ въ то же мгновеніе юркнулъ за дверь, въ послѣдній разъ кивнулъ изъ-за нея своимъ носомъ и спѣшно захлопнулъ за собою половинку. Но не прошло и трехъ-четырехъ минутъ, какъ пытливый носъ изъ-за двери показался снова, а вслѣдъ затѣмъ и вся поджарая фигурка «гасшпидина» Гершки очутилась на прежнемъ своемъ мѣстѣ.

— Опять вы тутъ?! — крикнулъ Хвалынцевъ, смѣясь и досадуя въ одно и то же время.

— Зжвините!.. Мы вамъ одногхо сшіова гхочемъ сшказаць. Мозже вы лькобите музикумъ сшлюшить, то ми до васъ перведемъ одногхо какогхо еврей, катори вамъ и на сшкрипка, и на віоля, и ни флікотка, и на губы якъ на тромбо-онъ зыграе... И такъ дазже отченъ даволна гхарасшьо-о!.. И мазуречка, и пдлка, и зъ дперу, и зъ увертуру, и усшё сшто ни схóчите!.. И па русшьку «па матушку» засшпѣва, и «ай гевалтъ Насштасья», и усшё.

— Какую тамъ «по матушку?»—разсмѣялся Хвалынцевъ.

— Н-ну, какъ зже жь ніѣтъ?—съ достоинствомъ увѣренности возразилъ еврей.—Гасшпидинъ баро-онъ сшамъ русшьки; а сшамъ не зжнайтъ?.. «На низъ па матушку», такой есть пѣсёнъ... Н-ну, ф-фэ!.. Гасшпидинъ баро-онъ усшё изжнайтъ!—подмигнулъ онъ съ любезной плутоватостью,—ви такъ толки изъ намъ сшпміётся, а ви усшё изжнайтъ!

— Убирайтесь вы съ вашей музыкой и съ матушкой, и со всѣмъ, и съ потрохами своими!—крикнулъ Хвалынцевъ, широко растворяя ему дверь и комически-церемоннымъ жестомъ приглашая выйти вонъ изъ комнаты.

— Н-ну, какъ не нада, то хай такъ!—ужимковато поклонился сынъ Израилевъ и съ покорнымъ вздохомъ вышелъ изъ нумера.

Но и этимъ еще не кончилось.

Чрезъ малый промежутокъ времени дверь снова пріотворилась и во всей послѣдовательности произошло повтореніе прежней процедуры осторожнаго появлянія носа, пейсъ, мигающей бородки и прочаго, пока фигурка Гершки сполна не очутилась на обычномъ мѣстѣ.

— Еще чтд такое?!.. Вѣдь это ужь, наконецъ, просто ни на что не похоже!

— Зжвините!.. поспѣшилъ предупредить герръ-факторъ.—Ми вамъ ищé одногхо сшіова ймѣемъ сшказаць... Отченъ вазжный и деликатни закрэтъ!

И онъ съ плутоватой усмѣшкой подмигнулъ Хвалынцеву, приглашая его приблизиться къ себѣ на кратчайшую дистанцію.

— Ну, чтó за секретъ? Говорите!

— Пардонъ, мусшье! усшлюхъ не мозжна!—нѣсколько освоившись, и потому уже съ извѣстнаго сорта шутливымъ заигрываньемъ возразилъ «гасшпидинъ» Гершко.—Какъ ми зжнакдми изъ отчинъ гхардсши баро-оны и гасшпида, и какъ насъ изнайтъ гхрафъ Валицки и гхрафъ Косаховски, и панъ Пспепендовски, и панъ Цержиньски, и кхнязь Щеремисовъ, и усшё энгералъ и пулковники, и усшё гхусша-ары и вуляны, и усшё гасшпида оффици-иръ, и усше паньство...

— Ну, да ладно! безъ прелюдій... Въ чемъ дѣло-то?—нетерпѣливо перебилъ Хвалынцевъ.

Гершко лукаво поманилъ его и пальцемъ, и глазкомъ, и головой, и даже плечомъ поближе къ себѣ, и когда Константинъ приблизился къ нему на желанное для герръ-фактора разстояніе, то-есть когда онъ уже слишкомъ ясно ощутилъ характеристичный запахъ «цыбульки», чернушки и жидовскаго поту,—герръ-факторъ съ большою таинственностью, улыбаясь и подмигивая, сталъ сообщать ему свой «деликатни закрэтъ», на соблазнительность котораго онъ сильно разсчитывалъ и потому все время держалъ его въ запасѣ къ послѣднему концу, какъ средство, противу котораго, по мнѣнію Гершки, устоять невозможно и которое, стало-быть, достойно вознаградитъ всѣ его факторскіе труды, предложенія и услуги.

— Убирайся ты къ черту со своими деликатностями!—вдругъ мѣняя *вы* на *ты*, внушительно топнулъ на него Хвалынцевъ.—Ничего не нужно! Слышишь-ли? Вонъ пошелъ!

Герръ-факторъ вздохнулъ, покорно пожалъ плечами: какъ, молъ, вамъ будетъ угодно! и быстро метнулъ на всѣ предметы послѣдній внимательно разбѣгающійся взглядъ, которымъ въ такомъ совершенствѣ, кажется, только и умѣютъ владѣть одни лишь сыны Израиля.

— Зжвините!.. До свиданью вамъ!—разочарованно и даже съ видомъ обиженнаго достоинства проговорилъ онъ, отвѣшивая поклонъ, и съ явной неохотой, неторопливо удалился изъ нумера.

Послѣ этого уже никто не нарушалъ спокойствія нашихъ путниковъ. Печка была имъ вытоплена, самоваръ принесенъ и, напившись чаю, они улеглись съ миромъ. Хвалынцевъ, съ дороги, чувствовалъ себя достаточно-таки усталымъ и потому какъ улегся, такъ почти тотчасъ-же и захрапѣлъ богатырскимъ сномъ, предоставя въ безнаказанную жертву голоднымъ жидовскимъ клопамъ и блохамъ свое бренное тѣло.

Digitized by Google

Проснувшись по-утру отъ яркаго солнца, которое сквозь незавѣшенное окно до рѣзи въ глазахъ било ему прямо въ лицо своимъ холоднымъ ноябрьскимъ блескомъ, онъ морщась и щурясь, протянулъ руку къ столику за папироской и карманными часами. Стрѣлки показывали уже безъ десяти минутъ девять.

— Однако, здòрово выспался! Чуть не двѣнадцать часовъ сряду!.. Свитка!—громко окликнулъ онъ, — вставать пора! Ужь девять!

Но, поднявъ вслѣдъ за этимъ съ подушки свою голову, онъ къ удивленію увидѣлъ, что Свиткина постель уже пуста, а самого Свитки въ комнатѣ и духу не пахло: Богъ его знаетъ, когда и какъ успѣлъ проснуться, потихоньку одѣться и еще тише улизнуть изъ нумера. Хвалынцевъ только присвистнулъ: «фи фюю» и закурилъ папироску. Яркое солнце такъ весело било въ окна, съ улицы такъ суетно доносился давно уже неслышанный гомонъ и шумъ городской жизни, а продолжительный покойный сонъ такъ бодро и освѣжительно подѣйствовалъ на весь молодой, здоровый организмъ Хвалынцева, что ему ужасно какъ захотѣлось поскорѣе встать, умыться, одѣться и весело сбѣжать внизъ на улицу, чтобы безъ цѣли потеряться въ шумѣ и движеніи ея жизни, при этомъ веселомъ, хоть и не грѣющемъ солнечномъ блескѣ.

Закуривъ папироску, онъ сталъ глазами искать сонетку, но таковой нигдѣ не оказалось. Въ корридорѣ, между тѣмъ, слышалось чье-то поминутное, проворное шмыганье башмаками по полу и мѣрный, шаркающій звукъ чищенья сапогъ. Онъ крикнулъ человѣка. Никто не откликнулся. Онъ въ другой разъ посильнѣе, и вслѣдъ за тѣмъ въ третій еще громче; но результатъ былъ столь же безуспѣшенъ, какъ и съ перваго разу. Тогда, нечего дѣлать, босикомъ вскочилъ съ постели и пріотворилъ дверь въ холодный корридоръ. Человѣкъ, почти тутъ-же, въ какихъ-нибудь пяти шагахъ, флегматично чистилъ чьи-то сапоги. Чертыхнувшись съ досады на глухую тетерю, Константинъ кликнулъ его къ себѣ въ нумеръ и приказалъ подать умыться. Глухая тетеря, не-хотя, процѣдила сквозь зубы: «зàразъ» и, какъ ни въ чемъ ни бывало, продолжала свое дѣло. Продрогшій Хвалынцевъ поспѣшилъ юркнуть подъ теплое одѣяло. Но не прошло и двухъ минутъ, какъ словно-бы по вчерашнему, съ легкимъ скрипомъ, осторожно пріотворилась дверь и опять показался изъ ея щели чей-то пронырливый носъ и кивающая бородка.

— Дýгхи, мидло, вòда колòньсшка, щѣткп, гхребіонки, пемада, сшями какъ ни нада найлучши, парижски... скороговоркой пробормоталъ чей-то гортанный голосъ, но только не Гершкинъ, и вслѣдъ за этимъ съ тремя коробами неторопливо, но настойчиво вползъ горбатенькій еврейчикъ, и покланясь Хвалынцеву, очень серьезно произнесъ:

— Здравствуйте вамъ!

— Что тебѣ?—съ нетерпѣливо досадливымъ вопросомъ поднялъ тотъ голову.

— Мúдло, пемада, белявки, сшкарпѣткп, дýгхи, вòда колòньсшка, антрìментъ [1])...

— Слыхалъ, слыхалъ!.. Убирайся къ чорту!

Еврейчикъ только поклонился, но къ чорту убираться и не подумалъ, а напротивъ, систематически, аккуратно принялся развязывать и раскладывать всѣ свои три короба.

— Ничего не куплю! Слышишь-ли? Ничего!.. Все это совершенно напрасно!

— Н-ну, хай, ничегхо!.. Хай толки панъ такъ пасшмотриць.

— Лучше убирайся! Напрасный трудъ!

— Н-ну и сшто зъ тогхо пану? Хай напрешни! Алезжь мой трудъ, не паньски! У пана очи не вивàлицца, якъ панъ забàчиць.

Противу столь философскаго аргумента Хвалынцевъ не нашелъ никакого возраженія и, пока не придетъ человѣкъ съ водою, рѣшился терпѣливо выносить назойливое присутствіе горбатенькаго еврейчика.

— Ни мúдло, ни колòньсшки вòда, ни дýгхи ни пемады парижски пану не потсшéбне?

— Сказано разъ не надо.

— А гхарòсше мидло!.. и сшкарпѣткп гхарòсши! Французшки! Ну, а мозже плáтки батыстови?

— Не надо!—слегка сгримасничалъ Константинъ, котораго однако начинала нѣсколько развлекать эта болтовня.

— Ну, это мозже пачтòва бемáгха? щургучъ кувэрты? пэрьевъ сшталной?

Хвалынцевъ только молча отрицательно мотнулъ головой.

— Мозже гòлки, белявки, нитки ангѣльсшки,— продолжалъ еврейчикъ, выкладывая все больше и больше свой безконечный хламъ.—Зжáпенки, гудзики, педтяшки, перечинна нò-озжикъ, бисержъ?..

— Ну, на какого-же дьявола мнѣ твоего бисеру? Ну скажи пожалуйста!—отозвался Константинъ.

— Н-ну, то мозже вакса ангѣльсшка?.. Запалки вѣньски? Перешокъ въ зжубы пану?

— Ничего мнѣ не надо! Понимаешь-ли ты?! Русскими словами говорю тебѣ: ничего ровнёхонько!

— Н-ну, и сшто зжъ ви гхля мине ни якого гандлу не хочище изждѣлаць?.. Дайце зжь минѣ хоць трошéчку тарговаць одъ васъ... Скýдова минѣ зжиць? Я зжь бѣдны еврей!.. Никакой гешефтъ махенъ невозможна такъ!

— Да мнѣ-то какое дѣло! — разсмѣялся Хвалынцевъ на эти укоризненныя притязанія.

— Ой-вай! Каму зжъ и дзяло какъ не вамъ?.. Такúй гхарòсши гасшпида!

[1]) Чернила.

Digitized by Google

Еврейчикъ въ колеблющемся раздумьи замедлился на одну минутку.

— Н-ну, зжвините, гасшпидинъ! — рѣшительно и вмѣстѣ съ тѣмъ торжественно-таинственнымъ тономъ заговорилъ онъ, снова принимаясь рыться въ коробкахъ. — Тѐразъ я гхля васъ йиѣю такогхо товаръ показаць, такогхо товаръ... ай-вай, какой! Такой сшто ни якимъ сшпасо́бемъ не можна не пакупиць!.. Зжволте пасшматрѣць! Хоць зъ аднимъ глязкомъ пасшматриць!

И онъ съ заранѣе торжествующимъ видомъ вытащилъ предосудительнаго содержанія фотографическія карточки и еще нѣкоторые, хорошо извѣстные въ секретной продажѣ, предметы.

Очевидно, что эти послѣдніе товары, словно какъ и у Гершки его вчерашній «дэликанти закрэтъ», составляли для горбунка крайній резервъ, долженствовавшій дѣйствовать неотразимо. Но каково-же было его изумленіе и испугъ, когда Хвалынцевъ, мелькомъ взглянувъ на всѣ эти прелести, вдругъ не шутя закричалъ ему:

— Убирайся ты къ чорту съ этими мерзостями!.. Вонъ!

Жидъ торопливо подобралъ кое-какъ въ охабку всѣ свои разбросанные по полу товары и спѣшно вышмыгнулъ изъ комнаты. Но... сердце не камень! Полминуты спустя, еврейскій носъ опять просунулся въ скрипнувшую дверь и гортанный голосъ снова затараторилъ скороговоркой:

— А можже гальсштуки пану? Сшарпе́чки, ренкави́чки, карвате́льки?.. А?

Но на этотъ разъ съ сильнаго размаху пущенный въ дверь сапогъ заставилъ спѣшно ретироваться іудейскій носъ—и дверь затворилась.

Но испытаніе этимъ не кончилось: почти вслѣдъ за горбункомъ явилась «мадамъ Сорка» съ холстомъ подъ мышкой и картонками въ пятерняхъ, гдѣ у нея были «мани́чки, фоко́ли, чу́лки, пля́тки, ленты» и прочій товаръ подобнаго рода; явился Янкель-перчаточникъ съ предложеніемъ своихъ услугъ; явился часовщикъ какой-то:—«А можже пану часи начиниць?»—Не надо! — «Ну, то хоць пасшматрѣць пазжволте!» И едва этотъ вылетѣлъ за дверь, какъ показался какой-то Ицекъ и предложилъ «щига́рке контрабандо́вы», и все приставалъ, чтобы взять у него хоть «одногхо щига́рке на перо́ба, бо такой щигарке сшто и самъ Напольонъ не куриць и на цалы Гамбурхъ такой не знайци!» Сѣдой старикъ прокрался тихо́хонько, съ красноватыми слезящимися глазками и съ пожелтѣлыми отъ времени пейсами. Этотъ изображалъ изъ себя несчастнаго — «та́ки сляби сштару́шекъ» — и со вздохами, назойливѣйшимъ образомъ приставалъ «пакупиць» у него янтарные мундштуки, янтарныя бусы, сережки, брошки, колечки, запонки — все это «янтаро́ве, бурштыно́ве, чи то рого́ве», и все это ровнѣхонько никуда не пригодное дорожному человѣку; но «сшляби сштару́шекъ» такимъ несчастнымъ тономъ просилъ «пакупиць» у него хоць сшто-нѐбуць», дать ему «одъ добры гасшпидинъ хоць на хлѣбъ заработаць», что Хвалынцевъ—куда ни шло — купилъ за рубль серебра дрянной мундштучишко, вся цѣна которому была тридцать копеекъ. Но въ таковой его щедрости крылось и его наказаніе, не замедлившее тотчасъ же проявить свою кару. Какъ только жиды пронюхали, что «сшляби сштарушекъ» сдѣлалъ такой богатый, такой «ви́годни гешефтъ», откуда ни возьмись ихъ явилась цѣлая куча: тутъ былъ и портной, и сапожникъ и «щирульникъ», и еще одинъ старушекъ «о́птыкъ» и мозольный операторъ въ одно и то же время, который приставалъ, чтобы «пакупиць» у него «окуля́ры», или позволить вырѣзать мозоль, или по крайней мѣрѣ хоть пластырь наложить; тутъ были и старыя, и малыя, и мадамъ Хайка, и мамзэлъ Мерка, и Ривка, и Рашка, и Баська и Лейка—«и усшё зъ насшихъ, съ тутейшихъ, съ гроднѐньскихъ, и усшё такой гхарошій мадамы!» Нужды нѣтъ, что Хвалынцевъ былъ въ одномъ нижнемъ бѣльѣ: «мадамы» этимъ не стѣснялись нимало, «абы гандель зро́биць!» Мадамъ Сорка—такъ та даже подошла къ нему и на ощупь осмотрѣла качество холста его «невыразимыхъ» причемъ заявила, что у нея «найлѣпшъ одъ этогхо!»

— Но этому конца не будетъ! — взбѣсился наконецъ Хвалынцевъ, потерявъ уже остатки послѣдняго терпѣнія. — Вонъ!.. Къ чорту!.. Всѣ!..

И для пущей вразумительности онъ ухватилъ за спинку первый попавшійся стулъ и размахнулся имъ въ направленіи рода Израилева.

Радикальная мѣра эта подѣйствовала. Гасшпида, мада́мы и мамзэли мигомъ повылетѣли въ корридоръ, и Константинъ, захлопнувъ за ними на ключъ свою дверь, избавился наконецъ отъ нашествія іудейскаго.

Умывшись, онъ присѣлъ къ столу, наскоро сдѣлать свой туалетъ, какъ вдругъ въ это самое время со звономъ и дребезгомъ посыпались на полъ осколки стеколъ и вмѣстѣ съ этимъ что-то тяжелое влетѣло въ комнату и ударилось неподалеку отъ Хвалынцева. Онъ оглянулся вокругъ: пара стеколъ въ двойной рамѣ была выбита камнемъ, пущеннымъ сюда съ улицы, и самый камень, съ дѣтскій кулакъ величиною, лежалъ посреди комнаты.

Первымъ движеніемъ Хвалынцева было подскочить къ окну, чтобы посмотрѣть, кто это изволитъ заниматься такими милыми шалостями; но на улицѣ все было суетно-спокойно, какъ и всегда: люди шли—каждый по своему дѣлу, каждый самъ по себѣ, а выбитыхъ сте-

Digitized by Google

колъ, кажись, и не замѣчалъ никто: никакой кучки на противоположномъ тротуарѣ не стояло, никакихъ мальчишекъ не бѣгало. А между тѣмъ камень несомнѣнно пущенъ съ улицы.

Вошелъ нумерной съ вычищеннымъ платьемъ,—но безъ особеннаго удивленія взглянулъ на выбитыя стекла и какъ-то странно улыбнулся про-себя. Отъ Хвалынцева не ускользнула мимолетная игра его физіономіи.

— Что́ жь это наконецъ такое?!.. То жиды въ дверь, то камни въ окно!—сталъ говорить онъ съ чувствомъ понятнаго негодованія.

— А цо жь, спшибу [1]) выбили,—равнодушно замѣтилъ нумерной, какъ бы выражая своимъ тономъ, что — что̀-жь тутъ такого? Ничего, молъ особеннаго не случилось; такъ, молъ, и должно это быть; и ничего удивительнаго тутъ нѣту!— Затѣмъ, поднявъ съ полу камень, онъ съ тѣмъ же равнодушіемъ и апатичной улыбкой сталъ его разглядывать и прикидывать на вѣсъ:

— А дужы та̀ки... Ого!.. Цѐнжки!.. [2])

— Кто это занимается у васъ такими шутками?—спросилъ Хвалынцевъ.

— Альбо я вѣмъ?— пожалъ плечами лакей.—То не шутки, а такъ бываетъ. На пршешлей недзѣли то такъ само жъ повибивали... то для тѐго, жебы москалювъ не пршіймывать до готэлю.

«А, такъ вотъ оно что!» подумалъ себѣ Хвалынцевъ. «Это, значитъ, не простая случайность, что камень попалъ сюда, а потому-то именно и сюда, что здѣсь москаль стоитъ, и непросто уличная мальчишеская шалость, а сознательная мерзость съ политической подкладкой... Недурно!»—И глядя на это спокойно-равнодушное и отчасти насмѣшливо улыбавшееся лицо поляка-лакея, Константину показалось, что панъ-лакей какъ будто весьма даже доволенъ, что произошелъ такой казусъ.— «А можетъ быть», подумалось ему, «тутъ дѣло и не безъ того-таки, чтобы ему не было извѣстно, кто́ именно пускаетъ камни въ окна нумеровъ, занимаемыхъ москалями».

— Что́ жь теперь дѣлать? — пожалъ онъ плечами, глядя на пустой переплетъ, сквозь который съ улицы тянуло весьма чувствительнымъ холодомъ.

Панъ-лакей, въ отвѣтъ, и себѣ тоже пожалъ плечами.

— Альбо-жь я вѣмъ?—процѣдилъ онъ сквозь зубы все съ той же полускрытой насмѣшкой.— То для тѐго же панъ есть москаль,—съ наглостію было прибавлено имъ вслѣдъ за симъ, ради пущаго поясненія.

Хвалынцева скребануло за сердце такое чувство, видимымъ проявленіемъ котораго должна бы была быть непосредственная прогулка палки или чего ни попало по нагло-спокойной и какъ бы вызывающей физіономіи пана-лакея. Но онъ сдержалъ въ себѣ такой «нецивилизованный и антигуманный» порывъ и, проглотивъ пилюльку, рѣшился сдѣлать видъ будто не разслышалъ или не понялъ того, что̀ было ему сказано, и это, конечно, было самое благоразумное, потому что поднять исторію съ паномъ-лакеемъ, который вдобавокъ, кажись, весьма желалъ этого, было бы, во всякомъ случаѣ, весьма некрасиво.

— Есть у васъ, по крайней мѣрѣ, другіе нумера, въ которые нельзя пускать камня?— спросилъ онъ, примѣтно начиная ощущать рѣзкій холодъ, сквозь голландскую сорочку.

— Та̀кихъ нѐма... ве вшистке можно, — ухмыльнулся лакей.

— Все равно, какой нибудь другой нумеръ!— Не сидѣть же здѣсь въ холоду!

— Нѐма... заѐнты!—коротко и какъ бы нехотя отвѣчалъ тотъ.

Хвалынцевъ снова ощутилъ въ себѣ непохвальный, дикій зудъ «нецивилизованнаго и негуманнаго желанія». Онъ испытывалъ чувство личнаго раздраженія, личной злости противъ пана лакея, а въ то же время стыдился въ душѣ этого чувства и отнюдь не желалъ выказать, что панъ-лакей можетъ стать съ нимъ какъ-бы на одну доску, можетъ его раздразнить, задѣть за живое, подзадорить и вызвать, сообразно своему желанію, на скверную исторію; а что у пана-лакея было такое желаніе, Хвалынцевъ понималъ очень хорошо и нимало въ томъ не сомнѣвался.

— Пожалуйста, чтобы стекла были сейчасъ-же вставлены,—сдержанно и, вопреки своимъ ощущеніямъ, даже мягко сказалъ онъ. — По крайней мѣрѣ, къ тому времени, какъ я вернусь, чтобы это было уже сдѣлано.

Лакей молча повернулся и пошелъ къ двери.

— Вы слышите-ли и понимаете-ли, что̀ я сказалъ вамъ?—возвысилъ голосъ Хвалынцевъ уже до предѣла внушительной строгости.

Лакей обернулся, кивнулъ въ отвѣтъ головой и вышелъ.

Дрожа отъ холоду и наскоро одѣвшись, Константинъ Семеновичъ въ непріятномъ, раздражительномъ состояніи духа вышелъ на улицу.

II.

Похороны нѣкоего «почтивого чловѣка».

Солнце сіяло все такъ-же ярко и весело. Въ воздухѣ пахло легкимъ морозцемъ, отчего, казалось, и самое движеніе на улицахъ становилось какъ-то живѣе, веселѣе, словно-бы это солнце подбодряло и людей, и лошадокъ извозчичьихъ, и собакъ, бѣгавшихъ стаями, и свиней, разгуливавшихъ по улицамъ въ спокойствіи безмятежнаго созерцанія сточныхъ ка-

[1]) Стекло.
[2]) Тяжелый.

Digitized by Google

навокъ. Со всѣхъ сторонъ слышался гортанный, неугомонный говоръ евреевъ; особенно-же еврейки, сидя на жаровняхъ, у дверей своихъ пестрыхъ и грязно-тѣсныхъ лавчёнокъ, шумно перекликались и переговаривались съ сосѣдками тѣмъ особеннымъ, свойственнымъ только еврейскимъ женщинамъ звукомъ голоса, который очень напоминаетъ утиное кряканье, когда цѣлое стадо этихъ птицъ сойдется пополоскаться у деревенской лужи. Еврейскій говоръ господствовалъ здѣсь вездѣ и повсюду. Жидовки, по большей части, сидѣли у лавчёнокъ и занимались «гандлёмъ», а жиды шныряли по всѣмъ направленіямъ, топотались на узенькихъ тротуарахъ, сталкивались другъ съ другомъ и столкнувшись тотчасъ-же начинали между собой безконечные разговоры. Казалось, что всѣ они знали другъ друга, всѣ были другъ съ другомъ знакомы, родственны и другъ другу пріятны и достолюбезны, и каждый до другого имѣлъ какое-либо безотлагательное дѣло. Но это только такъ казалось. Въ сущности-же никакого дѣла не было, а въ этихъ шныряньяхъ, сталкиваньяхъ и разговорахъ выражалось одно лишь вѣчное стремленіе къ удовлетворенію неодолимой еврейской потребности, которая можетъ быть названа потребностью къ непосѣдливости, къ вѣчному движенію и къ ненасытному любопытству. Сбивъ на затылокъ свои шапки, и непремѣнно не иначе какъ на затылокъ,—съ тростью въ рукахъ, на которую однако ни одинъ изъ нихъ никогда не опирается, а просто несетъ ее, ухватившись за середину палки, и помахиваетъ да поигрываетъ ею; въ вѣчныхъ длинныхъ хламидахъ, въ нанковыхъ сѣрыхъ или черныхъ длинныхъ сюртукахъ, или въ такихъ-же пальто, съ низкой таліей, сыны Израиля цѣлый день шатаются себѣ по улицамъ и вынюхиваютъ нельзя-ли гдѣ, какими-нибудь судьбами, сдѣлать какой-нибудь «гешефтъ». И нужды нѣтъ, что «гешефтъ», этотъ, вовсе не собразно трудамъ и хлопотамъ, принесетъ ему какую-нибудь полушку прибыли: еврей и тѣмъ доволенъ, потому что у него ужь такая естественная потребность, какъ воздухъ, какъ пища, чтобъ «айнъ гешефтъ махенъ!» Это какая-то страсть, безкорыстная любовь къ «гешефту» ради «гешефта», своего рода искусство для искусства.

Хвалынцева развлекало это юркое, пестрое и говорливое движеніе. Гродна показалась ему городомъ очень многолюднымъ и оживленнымъ самою кипучею дѣятельностью. Оно и немудрено, потому что доселѣ онъ присмотрѣлся къ однимъ лишь великорусскимъ городамъ, гдѣ и въ десятую долю нѣтъ такой уличной жизни, и гдѣ поэтому кажется все такимъ сонливымъ, безмятежно-вялымъ и мирно-апатичнымъ.

На площади, предъ гауптвахтой, стояли возы съ дровами и разными сельскими продуктами, а въ смежной улицѣ бабы, разсѣвшись на тротуарахъ и занявъ своими товарами все ихъ пространство, продавали горшки, корыта, капусту, картофель, лукъ и прочую овощь. Въ этихъ двухъ послѣднихъ мѣстахъ къ еврейскому говору замѣтно примѣшивалось уже и хлопское, бѣлорусское «дзяканье». Тутъ, по площади, кромѣ «штучныхъ» продавцовъ-евреевъ, носившихъ на рукахъ кто сапоги, кто гору картузовъ, кто ворохъ всякаго платья, толклись и бабы, и «хлопы», и мѣщане, и солдаты, и вообще всякій сѣрый людъ, неопредѣленнаго съ виду городского или подгороднаго характера.

Хвалынцевъ прошелъ мимо рядовъ и ратуши и вышелъ на лежавшую передъ нею площадку, носящую прозаическое имя «Телятника». Эта площадка со всѣхъ сторонъ была обрамлена аллеей великолѣпныхъ, вѣковыхъ пирамидальныхъ тополей и составляла любимѣйшее мѣсто городскихъ прогулокъ. Налѣво предъ Хвалынцевымъ, за древнею каменною оградою, приспособленною къ помѣщенію въ ней торговыхъ рядовъ, возвышалось высокое бѣлое зданіе православнаго собора, отчасти въ готическомъ вкусѣ, безъ куполовъ,—къ чему такъ не привыкъ великорусскій глазъ,—но зато съ высокой остроконечной башней, которуй, впрочемъ, далеко нельзя назвать красивою. Направо же отъ Константина, изъ-за высокихъ тополей, казалось, взлетали на небо двѣ очень изящныя башни католической «фары», изукрашенныя колонками и разными завитками да орнаментами въ родѣ вазоновъ, съ исходящими изъ нихъ остроконечными листьями; изъ-за этихъ башенъ виднѣлась темная масса тяжело насѣвшаго главнаго купола. Фара на видъ казалась довольно изящной и дѣлала пріятное впечатлѣніе. Рядомъ съ нею виднѣлось угрюмое грязно-желтое зданіе по-іезуитскаго монастыря, похожее болѣе на тюрьму, стѣны которой впрочемъ бѣлѣлись тутъ же, въ ближайшемъ сосѣдствѣ. На тополевую площадку, со стороны, противоположной ратушѣ, выходилъ рядъ разнокалиберныхъ, крытыхъ черепицею домовъ, стѣны которыхъ, окрашенныя то въ голубую, то въ зеленую, то въ розовую, то въ желтую краску, помнили еще времена Стефана Баторія, Зигмунда-Августа и Владислава IV. Отъ всего этого на взглядъ такъ и вѣяло почтенною, сѣдою древностью, городовыми привилегіями, шляхетскою крѣпостью и магдебургскимъ правомъ времень «Ржечи Посполитой».

Разбѣгаясь глазами на весь этотъ пестрый видъ и движеніе, которые сосредоточились на такомъ тѣсномъ, небольшомъ пространствѣ, Хвалынцевъ по-неволѣ увлекся новостью картины, новостью производимыхъ ею впечатлѣній, и это помогло ему окончательно стряхнуть съ

Digitized by Google

себя то непріятное расположеніе духа, съ которымъ онъ вышелъ полчаса тому назадъ изъ своего нумера.

Подойдя поближе къ фарѣ, Константинъ увидѣлъ предъ нею довольно большую толпу, состоявшую преимущественно изъ мужчинъ, и между ними виднѣлось нѣсколько «чамарокъ» бекешъ и пальто, которые, въ силу «краёвой» моды, были по большей части, со шнурками, переплетенными на груди въ родѣ какъ у гусаръ. Толпа стояла на мѣстѣ, противъ главнаго входа и никуда не двигалась. Тутъ же ожидали чьего-то гроба запряженныя цугомъ погребальныя дроги. Въ толпѣ гудѣлъ исключительно польскій говоръ. Хвалынцевъ приблизился къ ней съ намѣреніемъ пробраться какъ-нибудь въ костелъ, но здѣсь вниманіе его случайно было остановлено на минуту одной маленькой сценкой, которая показалась ему довольно характеристичною. Близъ этой толпы и почти совсѣмъ принадлежа къ ней, стоялъ какой-то высокій офицеръ съ великолѣпными русыми усами и говорилъ что-то, кажись, касательно служебныхъ дѣлъ, какому-то унтеру, который, снявъ шапку, стоялъ предъ нимъ на вытяжку и выслушивалъ начальническое распоряженіе. Но главное, что во всемъ этомъ заставило Хвалынцева обратить вниманіе, что показалось ему весьма страннымъ и даже удивительнымъ, такъ это чистѣйшій польскій языкъ, на которомъ офицеръ обращался къ своему унтеру, а унтеръ, въ свою очередь, отвѣчалъ ему по-польски же, поминутно вставляя въ свою рѣчь одно только русское выраженіе: «ваше благородіе».

«Хм... это, какъ видно, дѣйствительное пріобрѣтеніе польщизны», подумалось ему не безъ нѣкоторой назидательности, по поводу того, что впервые въ жизни довелось видѣть человѣка, одѣтаго въ русскую солдатскую шинель, который говоритъ по службѣ со своимъ офицеромъ на польскомъ языкѣ. Фактъ, дѣйствительно, былъ мимолетный и совсѣмъ случайный, но тѣмъ-то онъ и казался знаменательнѣй.

Хвалынцевъ кое-какъ мимо толпы, межъ рядами нищихъ, осаждавшихъ лѣстницу и притворъ, пробрался во внутрь костела. Тамъ было полнымъ-полно народа. Что-то яркое, блестящее, лѣпное, пестрое, и вверху густые гудящіе аккорды органа, да столбъ солнечнаго свѣта, прорѣзывавшій сверху внизъ всю внутренность храма—вотъ все, что въ первый моментъ поразило здѣсь глазъ и слухъ не успѣвшаго еще осмотрѣться Хвалынцева.

У самаго входа, гдѣ стоитъ большой крестъ съ грубымъ рѣзнымъ изображеніемъ распятаго Христа въ терновомъ вѣнцѣ, съ изобильно окровавленнымъ лицомъ, руками и бокомъ, и гдѣ обыкновенно помѣщаются «хрыстельницы» со святой водой, Константинъ обратилъ вниманіе на совершенно особенное явленіе. По обѣимъ сторонамъ около двери, молитвенно опершись колѣнками въ подушки стульевъ, а руками облокотясь на спинки, стояли двѣ замѣчательно хорошенькія женщины въ глубокомъ, но очень изящномъ траурномъ нарядѣ и держали предъ собою жестяныя кружки, изрѣдка потряхивая ими для привлеченія вниманія входящихъ и выходящихъ. Около этихъ особъ, съ боковъ и позади ихъ стульевъ, помѣщалось нѣсколько франтовъ, изъ которыхъ на нѣкоторыхъ виднѣлись чамарки. Эти франты, стараясь казаться изящными и элегантными, наперерывъ нашептывали что-то двумъ хорошенькимъ патріоткамъ, съ тѣмъ особенно приторнымъ выраженіемъ лицъ, которое составляетъ неизмѣнную присущую принадлежность полячка, ухаживающаго за женщиной. Патріотки выслушивали своихъ обожателей съ кокетливою благосклонностью, стараясь въ то же время не потерять выраженія благоговѣйно-молитвеннаго вниманія на своихъ хорошенькихъ личикахъ. Замѣтивъ остановившагося рядомъ Хвалынцева и его взглядъ, устремленный на одну изъ нихъ, патріотка перемигнулась со своею vis-à-vis и выразительно тряхнула кружкой. Другая тотчасъ же повторила этотъ маневръ, поднявъ прямо на Константина свои ясные глазки. Но тотъ, какъ имъ казалось, не понималъ, въ чемъ дѣло.

— «Офяра народова» [1]), внятно проговорила патріотка своимъ тихимъ, мелодичнымъ голосомъ, повидимому не относясь ни къ кому, но краснорѣчивымъ взглядомъ адресуя эти какъ будто безразличныя слова прямо къ Хвалынцеву, и снова вразумительно тряхнула кружкой.

Константинъ, наконецъ, догадался, что ему слѣдовало сдѣлать, и сталъ шарить въ карманѣ; но увы! тамъ не оказалось ни одной копейки мелочи. Покраснѣвъ, самъ не зная отчего, онъ съ нѣкоторымъ замѣшательствомъ вынулъ бумажникъ, въ надеждѣ отыскать тамъ какой-нибудь рублишко. Но въ пачкѣ его денегъ самою меньшей величиной оказались трехрублевыя бумажки. Досадно, а нечего дѣлать: придется три рубля выложить, такъ какъ прятать назадъ свои деньги уже не позволило бы чувство собственнаго достоинства, и онъ, краснѣя еще болѣе, смущенно всунулъ зеленую бумажку въ прорѣзь жестяной кружки.

Хорошенькая патріотка выразительно привѣтливымъ взглядомъ и очаровательной улыбкой поблагодарила его за эту невольно щедрую жертву, которая была тоже замѣчена и близъ стоявшими франтами. Они переглянулись между собою и оглядѣли неизвѣстнаго имъ жертвователя, одни, какъ показалось ему, взглядомъ далеко не дружелюбнымъ, другіе же, напротивъ, довольно благосклонно.

Теперь только Хвалынцевъ оглядѣлся и почувствовалъ внутреннюю возможность наблюдать и разсматривать. Храмъ былъ свѣтелъ и обши-

[1]) Жертва на народное дѣло.

Digitized by Google

ренъ. Прямо предъ глазами съ двухъ сторонъ шли впередъ два ряда древнихъ рѣзныхъ скамеекъ, сплошь набитыхъ молящимся народомъ, среди котораго преобладалъ черный цвѣтъ «жало́бы». По бокамъ этихъ скамеекъ, у внутренняго прохода, пестрѣлъ цѣлый рядъ разноцвѣтныхъ хоругвей; и по сторонамъ главнаго алтаря, надъ балюстрадой, какъ бы осѣняя входъ къ нему, склонялись развернутыя полотнища такихъ же костельныхъ стяговъ, съ нашитыми на нихъ бѣлыми, красными и позументными большими крестами. Сочетаніе цвѣтовъ этихъ стяговъ явно носило на себѣ національно-польскій характеръ: бѣлый съ краснымъ, желтый съ синимъ и амарантовый. Главный алтарь, украшенный цвѣтами, безчисленными мигающими звѣздочками зажженныхъ свѣчъ, рѣзьбой и позолотой, былъ великолѣпенъ и производилъ впечатлѣніе чего-то красиво-грандіознаго, чему особенно помогали окружающіе его на приличной высотѣ тринадцать колоссальныхъ бѣлыхъ статуй апостоловъ съ Христомъ по срединѣ.

Лѣпные ангелы и херувимы, напоминавшіе болѣе французскихъ амуровъ и купидоновъ, а равно и раскрашенныя, раззолоченныя статуи святыхъ у множества боковыхъ алтарей были тоже весьма красивы и, по обыкновенію, отличались фанатически-сладостно и экстазно-католическимъ выраженіемъ лицъ и театральною изысканностью своихъ позъ, въ которыхъ сказывалось даже какъ будто что-то балетное.

Нѣсколько дней тому назадъ, костелъ въ Червлёнахъ показался Хвалынцеву очень эффектенъ, но теперь внутренній эффектъ гродненской фары превзошелъ всѣ его ожиданія, тѣмъ болѣе, что доселѣ ему вовсе не доводилось видѣть католическихъ храмовъ, ибо, живя въ Петербургѣ и проходя чуть ли не ежедневно мимо костела Св. Екатерины, ему какъ-то ни разу даже и въ голову не забрело зайти и осмотрѣть его.

Впереди длиннаго ряда скамеекъ, по срединѣ храма возвышался черный катафалкъ съ очень высоко вознесеннымъ на него чернымъ же гробомъ. Катафалкъ былъ изобильно декорированъ цвѣтами, зеленью растеній, коврами, огнями восковыхъ свѣчъ и какими-то четырьмя пирамидами по угламъ съ символическими изображеніями страданія и смерти, причемъ всѣ эти терновые вѣнцы, клещи, гвозди, плетки, крючья, копья и адамовы головы со скрещенными костями очень рельефно выдѣлялись своимъ бѣлымъ, серебрянымъ цвѣтомъ на черномъ фонѣ пирамидъ, служившихъ тумбами для вѣтвистыхъ канделябръ, горѣвшихъ тамъ, наверху, цѣлыми клубками огней, которые какъ-то странно мигали и рѣяли предъ глазами въ рѣзкомъ столбѣ солнечнаго свѣта.

Органъ съ высоты хоръ гудѣлъ, вибрируя воздухъ похоронными, мрачными аккордами, къ которымъ присоединялось нѣсколько людскихъ голосовъ и струнныхъ инструментовъ.

«Requiem» былъ торжественъ и великолѣпенъ въ полномъ смыслѣ. На многихъ женскихъ лицахъ видны были слезы; нѣсколько человѣческихъ фигуръ, по обыкновенію, лежали «крижемъ» [1]), распростершись ницъ и растопыря ноги и руки на холодномъ каменномъ помостѣ.

— Скажите, пожалуйста, кого это отпѣваютъ!—спросилъ по-русски Константинъ Семеновичъ у одного изъ рядомъ стоявшихъ франтовъ.

Франтъ весьма непріязненно и нагло оглядѣлъ его съ ногъ до головы и грубо отвернулся. Другіе тоже, не выключая и прелестной патріотки, за минуту еще благодарившей нашего героя столь дивной улыбкой, оглядѣли его крайне-враждебно, ненавистно и даже презрительно.

— Шпегъ москевськи! [2]) — послышалось въ ихъ средѣ довольно явственно сдѣланное замѣчаніе. Хвалынцевъ почувствовалъ себя очень неловко. Его разбирало и смущеніе, и досада, и тѣмъ сильнѣе, чѣмъ дольше оставался онъ подъ дерзкими, вызывающими взглядами кучки патріотовъ. Но... дѣлать нечего! пришлось нравственно съежиться и скромненько перейти на другую сторону, чтобы затеряться въ толпѣ. Боковымъ проходомъ, мимо древнихъ, рѣзныхъ конфессіоналовъ, пробрался онъ впередъ, на правую площадку и сталъ у стѣны, подлѣ какихъ-то двухъ очень приличн, одѣтыхъ господъ, изъ которыхъ одинъ даже держалъ въ рукахъ форменную фуражку съ кокардой. Эти господа тихо говорили между собою по-польски.

На этомъ, вновь избранномъ мѣстѣ, по прошествіи нѣсколькихъ минутъ, злосчастный герой нашъ оправился и отчасти успокоился отъ своихъ смѣшанныхъ чувствъ смущенія, неловкости и досады съ нѣкоторою примѣсью злости. Онъ уразумѣлъ, что тутъ, какъ видно, ничего не подѣлаешь, что досадовать и сердиться на такіе сюрпризы будетъ очень глупо, а обижаться на грубость даже невозможно. «Самъ же виноватъ, зачѣмъ заговорилъ по-русски!» малодушно упрекнулъ онъ себя, и черезъ минуту додумался до будто успокоивающей мысли, что выходка эта никакъ-де не относится ко мнѣ лично, а ко всѣмъ вообще моимъ соотчичамъ, и что стало быть... виноваты сами же соотчичи, а я такъ только, случайно подвернувшійся субъектъ, имѣвшій неосторожность заявить себя русскимъ.

«Однако же, какая страшная сила ненависти!» подумалось ему. «И неужели же придется прятаться и скрывать, что ты рус-

---

[1]) Крестомъ.

[2]) Шпіонъ московскій.

Digitized by Google

скій?.. Неужели же нужно будетъ вѣчно краснѣть за это несчастное имя!»

Такая мысль показалась ему горькою и оскорбительною даже до какого-то болѣзненнаго, колючаго и ноющаго чувства. Сколь ни старался онъ извинять такое отношеніе поляка къ русскому, сколь ни оправдывалъ его, взваливая всю тяжесть отвѣтственности за него на одну лишь русскую сторону, но какой-то голосъ высшей внутренней правды и справедливости инстинктивно говорилъ ему, что это фальшь, что это не такъ, или по крайней мѣрѣ не совсѣмъ-то. такъ, и что русскіе въ этой враждѣ вовсе не столь исключительно виноваты.

Межъ тѣмъ прекрасные, перекатные, торжественно-печальные звуки, эффектно-поставленный катафалкъ, эффектно служащіе ксёндзы и столько разнообразныхъ молящихся лицъ и выраженій, и между ними столько хорошенькихъ и зачастую тоже эффектныхъ въ своемъ траурномъ уборѣ женскихъ головокъ, все это, по прошествіи еще нѣсколькихъ минутъ, успѣло еще разъ настолько развлечь Хвалынцева, разсѣять его невеселыя мысли и на столько успокоить состояніе духа, что ему вновь захотѣлось удовлетворить своему любопытству, узнать, кто этотъ знаменитый покойникъ, удостоившійся такого многолюднаго сборища и столь великолѣпныхъ похоронъ?

Но на этотъ разъ, дабы не быть снова оплеваннымъ ни за-что, ни про-что, онъ рѣшился покривить немножко душою, и потому отнесся къ своему сосѣду съ чиновничьей кокардой на французскомъ діалектѣ.

Кокарда сначала оглядѣла его недоумѣвающимъ и даже сомнѣвающимся взглядомъ. а потомъ вопросительно переглянулась со своимъ сосѣдомъ, затѣмъ опять заглянула въ самое лицо вопрошавшаго Хвалынцева и наконецъ рѣшилась заговорить тономъ нѣкотораго замѣчанія и даже выговора:

— Чи-жь панъ не мувви по-польску? панъ не розумe? [1])

Хвалынцевъ при этомъ устроилъ себѣ такую физіономію, какъ будто онъ слушаетъ, но рѣшительно не понимаетъ того языка, на которомъ къ нему относятся.

— Est-ce que monsieur n'est pas Polonais?— вѣжливо спросилъ его другой изъ сосѣдей.

— Non, monsieur—съ живостью подхватилъ Константинъ Семеновичъ, рѣшившійся до конца уже малодушно кривить душою.—Относительно здѣшняго края я иностранецъ. — Je suis un étranger.

И чиновничья кокарда, и ея солидный сосѣдъ, казалось, вполнѣ удовлетворились такимъ отвѣтомъ, несмотря на его гибкую и нѣсколько уклончивую форму. Они даже съ большой охотой вступили съ «чудоземцемъ» [1]) въ очень любезные разговоры.

— Вы, сударь, желаете знать кого мы хоронимъ? — начала кокарда, которая казалась гораздо юнѣе своего солиднаго сосѣда, и начала это, конечно, по-французски, съ глубоко-грустнымъ вздохомъ, не забывъ устроить себѣ предварительно печальную физіономію. — Вы видите предъ собою гробъ еще одной новой жертвы!

Хвалынцевъ бросилъ на него удивленно-вопросительный взглядъ.

— Да, милостивый государь,—подтвердилъ чиновникъ,—вы видите новую жертву изъ безчисленнаго ряда нашихъ жертвъ... Жертву, конечно, русскаго варварства и насилія... О, если бы вы знали что́ они съ нами дѣлаютъ!.. Но нѣтъ, вы иностранецъ, вы не можете имѣть о томъ никакого понятія! Никакое воображеніе, никакая фантазія не въ состояніи представить вамъ этихъ ужасовъ!!!..

Чиновникъ, ради пущей экспрессіи, закатилъ глаза и весь содрогнулся, и притомъ такъ сильно, что вмѣстѣ съ нимъ содрогнулась даже его форменная фуражка съ кокардой.

— Кто жь этотъ мученикъ, скажите пожалуйста, и что́ съ нимъ такое сдѣлали?—спросилъ Хвалынцевъ.

— Это... это такъ, простой обыватель, ремесленникъ... нѣкто Пшездецкій,—нѣсколько замявшись, но ни мало не смутясь, отвѣтилъ чиновникъ.—Вся его вина въ томъ, что онъ былъ добрый патріотъ и открыто выражалъ свои мысли, ни для кого впрочемъ не вредныя... Его схватили, посадили въ острогъ, въ мрачное подземелье, гдѣ у *нихъ* помѣщается инквизиція, и тамъ замучили пытками и голодною смертью... На всемъ тѣлѣ его видны ужасные глубокіе рубцы и раны... Я самъ видѣлъ!.. *Они* вѣдь, вы знаете ли, какъ мучатъ?— Раскаливаютъ, напримѣръ, на огнѣ стальные прутья, съ заостренными крючками, и сѣкутъ этимъ по груди и животу... крючки, какъ когти впиваются въ тѣло, раздираютъ и жгутъ его, а слѣдственная комисія въ это самое время тутъ же закусываетъ и пьетъ водку!.. А чѣмъ они кормятъ? Боже мой!.. Этотъ несчастный, говорю вамъ, съ голоду умеръ... Они, напримѣръ, даютъ супъ изъ гнилыхъ провіантскихъ крысъ! Буквально такъ! Говядину, видите ли, надо еще покупать, тогда какъ крысы имъ даромъ приходятся. Но подъ конецъ, этому несчастному даже и крысъ не давали, такъ что онъ умеръ буквально голодною смертью! Бѣдный былъ человѣкъ... семейство большое въ крайней нищетѣ оставилъ...

— Но эти великолѣпныя похороны?.. Кто жь его хоронитъ?—спросилъ Хвалынцевъ.

---

[1]) Развѣ панъ не говоритъ по-польски? Панъ не понимаетъ?

[1]) Чужеземцемъ.

Digitized by Google

— *Мы* народъ польскій... Мы умѣемъ чтить своихъ мучениковъ,—съ достоинствомъ благородной гордости отвѣчалъ чиновникъ.— Вы иностранецъ, и не можете знать того, что дѣлаютъ эти кровопійцы съ нашимъ несчастнымъ краемъ... Вы ѣдете въ Россію или изъ Россіи?

— Въ Литву,—сказалъ Хвалынцевъ.

— О, не ѣздите, не ѣздите!.. Лучше вернитесь въ Европу!—съ живымъ участіемъ и даже съ выраженіемъ испуганнаго соболѣзнованія заговорилъ чиновникъ.—Вы не можете представить себѣ что̀ тутъ дѣлается! Пьяные солдаты и казаки бродятъ шайками по цѣлому краю, жгутъ цѣлыя деревни, сѣкутъ помѣщиковъ, а иногда даже, среди бѣлаго дня, нападаютъ на проѣзжихъ, грабятъ, рѣжутъ и убиваютъ—и все это вполнѣ безнаказанно!.. Я вамъ говорю это навѣрное, потому что знаю ближайшимъ образомъ: я служу чиновникомъ по особымъ порученіямъ при здѣшнемъ губернаторѣ, и потому на точность моихъ свѣдѣній вы можете вполнѣ положиться.

Хвалынцевъ, наконецъ, потерялъ всякое терпѣніе выслушивать эту нахальную ложь и притворяться иностранцемъ. Въ немъ закипѣло чувство нѣкотораго злораднаго удовольствія, при одной мысли, которую онъ, по первому порыву, не задумался тотчасъ же привести въ исполненіе.

— Послушайте, милостивый государь,—совершенно неожиданно заговорилъ онъ вдругъ по-русски,—или вы каждаго иностранца считаете за круглаго дурака, или ужь любовь къ отечеству самому вамъ затмила послѣдній разсудокъ?! Позвольте же вамъ теперь откровенно высказать, что я не вѣрю ни единому слову изъ того, что̀ вы мнѣ разсказывали, и говорю вамъ прямо въ глаза, что вы—лгунъ, вы, губернаторскій чиновникъ!

Все это было сказано весьма хладнокровно и вѣско, но на столько тихо, что ни на одну минуту не обратило на Хвалынцева вниманія даже ближайшихъ изъ молившихся, и такимъ образомъ видимое, внѣшнее уваженіе къ храму не было нарушено.

Оба сосѣда были такъ поражены этой неожиданной выходкой, что не нашлось у нихъ ни единаго слова, ни единаго звука, ни даже движенія какого-либо, чтобы отвѣтить на нее.

Краснорѣчивый губернаторскій чиновникъ сконфузился и растерялся до послѣдней крайности. Онъ то блѣднѣлъ, то краснѣлъ и, безпрестанно мигая, смотрѣлъ не видя на Хвалынцева безсмысленно-тупыми оловянными глазами. Ошеломляющій ударъ нанесенъ былъ столь внезапно, что вышибъ изъ его головы послѣдніе остатки какихъ-либо мыслей и соображенія. Это былъ своего рода столбнякъ и какъ бы моральное безсознательное состояніе.

Хвалынцевъ несмущенно и прямо глядѣлъ ему въ глаза, выжидая, что̀ изо всего этого воспослѣдуетъ; но кромѣ хлопанья туманно-бараньими бѣльмами не воспослѣдовало ровно ничего. Хвалынцевъ выждалъ такимъ образомъ нѣсколько секундъ, которыя—онъ чувствовалъ это—были невыносимо-тягостны, просто уничтожающи съ лица земли для обоихъ этихъ субъектовъ, но убѣдясь, наконецъ, что больше ничего не будетъ, сколько ни стой передъ нимъ, онъ молча, поклонился обоимъ иронически-почтительнымъ поклономъ и спокойно ровнымъ, неторопливымъ шагомъ отошелъ нѣсколько въ сторону.

Между тѣмъ гробъ сняли съ катафалка. Раздался рѣзкимъ диссонансомъ чей-то истерическій вопль, въ разныхъ концахъ храма послышались женскія рыданія, и народъ повалилъ изъ костела. Подхваченный живою и довольно плотною массою, Хвалынцевъ тоже направился вмѣстѣ съ общимъ потокомъ и, не безъ нѣкоторыхъ затрудненій и усилій въ общей тѣснотѣ и давкѣ, очутился наконецъ на улицѣ.

Вскорѣ процессія вытянулась по Бригитской улицѣ и тронулась чрезвычайно медленнымъ шагомъ по направленію къ кладбищу.

Хвалынцевъ и слыхалъ, и въ газетахъ читалъ кое-что о варшавскихъ похоронныхъ демонстраціяхъ.—«Ужь и это не демонстрація-ль?» домекнулся онъ и, въ ожиданіи какой-нибудь вѣроятно любопытной развязки, рѣшился слѣдовать вмѣстѣ съ процессіей.

А процессія была столь же великолѣпна и торжественна, какъ и отпѣванье. Впереди шелъ частный приставъ съ нѣсколькими полицейскими солдатами и, наблюдая за порядкомъ, расчищалъ дорогу. За ними гусинымъ шагомъ выступалъ костельный сакристіянъ [1]) въ бѣлой комжѣ и на черномъ древкѣ несъ высоко поднятое Распятіе. За сакристіяномъ слѣдовали по-парно члены костельныхъ братствъ съ довольно толстыми зажженными свѣчами изъ желтаго воску. Сначала шли братчицы, а за ними братчики. За братчиками точно такъ-же выступали по-парно францисканскіе монахи въ своихъ черныхъ хламидахъ съ каптурами и капюшонами—и Боже мой, какихъ только тутъ не было физіономій: и фанатически-суровыхъ, и сухощаво-постныхъ, и добродѣтельно-лисьихъ, и смиренно-кроткихъ-волчьихъ, но достолюбезное большинство ихъ все-таки отличалось тою лоснящеюся, румяно самодовольною полнотою и дородностью, которыя служатъ вѣрнымъ признакомъ безмятежно-эпикурейской жизни. За монашествующей братьей несли безчисленное множество костельныхъ хоругвей, а за хоругвями шло приходское духовенство: ксендзы и клерики, а послѣ ксендза-дзекана [2]) выступала съ печальною сантиментальностью.

---

[1]) Пономарь.
[2]) Благочиннаго.

Digitized by Google

склонивъ нѣсколько въ его сторону свою голову, нѣкоторая весьма эксцентричная особа. Это была женщина уже значительно преклоннаго, хотя молодящагося возраста. На ней былъ траурный костюмъ совершенно особаго рода: мужская конфедератка съ чернымъ плюмажемъ и длинное, черное драповое пальто, на которомъ сзади, немного пониже таліи, была нашита большая бѣлая «трупья глова» со скрещенными костями. Не мало подивясь на эксцентричный костюмъ этой особы, Хвалынцевъ хотѣлъ было причислить ее къ лику какого-нибудь женскаго монашествующаго ордена, но плюмажъ и конфедератка, но растрепанная съ кокетливыми претензіями куафюра и слой бѣлилъ да румянъ на старушечьемъ лицѣ—заставили его отказаться отъ своего первоначальнаго предположенія. Такъ онъ съ тѣмъ и остался, что никоимъ образомъ не могъ опредѣлить себѣ, что̀ это за странная особа съ Адамовой головой на бурнусѣ? За духовенствомъ слѣдовали, тихо покачиваясь, дроги съ балдахиномъ, подъ которымъ очень эффектно стоялъ черный гробъ, обитый серебрянымъ позументомъ и такими же гвоздиками. За гробомъ несли траурную хоругвь, съ изображеніемъ сломаннаго креста, въ память извѣстнаго варшавскаго событія [1]), и тутъ же шли цеховыя знамена, такъ какъ покойный принадлежалъ къ классу ремесленниковъ. Затѣмъ уже, и по сторонамъ, и сзади, валомъ валили густыя толпы народа. И весь этотъ народъ, всѣ эти братчики и братчицы, ксендзы, францисканы и клерики оглашали улицу раздирательно-завывающимъ и крайне нестройнымъ пѣніемъ. Все это сборище, надсѣдаясь во всю грудь, голосами разными вопіяло: «свѣнты Боже! свѣнты моцны!! свѣнты несмертѐльны!!! змилуй сен, надъ нами!!!» [2]).

Уличные мальчишки, гимназисты младшаго и старшаго возраста, къ которымъ присоединилось нѣсколько чамарковыхъ паничей и даже одинъ какой-то господинъ весьма солидной и отчасти внушительной наружности, усердно занимались тѣмъ, что всѣмъ встрѣчнымъ извозчикамъ орали: «стой! тржимай на̀ бокъ, пся юха! [3]) на́ бокъ!» — и извозчики должны были съѣзжать мѣстами даже на тротуаръ, чтобы дать дорогу величественной процессіи. Кромѣ этого дѣла, компанія мальчишекъ, гимназистовъ и чамарковыхъ паничей, купно съ солиднымъ паномъ, занималась еще и тѣмъ, что со всякаго встрѣчнаго жида съ-налёту сдирала шапку и швыряла ее на земь, норовя, по возможности такъ, чтобы каждая жидовская шапка непремѣнно выкупалась въ грязной сточной канавкѣ. Но и этимъ похвальнымъ дѣломъ не ограничивалась еще миссія юныхъ патріотовъ: они точно также старались сталкивать въ сточныя канавки зазѣвавшихся жиденятъ, жидовокъ и русскихъ прохожихъ солдатъ. Но насколько часто и успѣшно повторялась эта веселая процедура съ еврейками и жиденятами, на столько же рѣдко удавалась она съ солдатомъ. Поэтому относительно солдатъ дѣятельная компанія юныхъ патріотовъ ограничились по большой части тѣмъ, что въ изобиліи плевала имъ во слѣдъ, норовя попасть своими плевками сзади на полы и въ спину солдатской шинели. Патріотки въ этомъ отношеніи были гораздо смѣлѣе: онѣ нерѣдко рѣшались плевать прямо въ солдатскую физіономію. Хвалынцеву удалось даже быть свидѣтелемъ одной довольно типичной сцены этого рода. Одна прехорошенькая, преграціозная патріотка, одѣтая въ очень изящную «жало̀бу», очень мило и даже не безъ кокетства плюнула на встрѣчнаго усача-улана, который, по силѣ своей физики, могъ бы не только-что эту субтильную паненку, но и весьма многихъ изъ этихъ дюжихъ пановъ, что̀-называется, однимъ ногтемъ прищелкнуть. Храбрая паненка норовила попасть прямехонько-таки въ усастую уланскую физіономію, но на ходу недостаточно изловчилась, такъ что плевокъ вмѣсто физіономіи попалъ на грудь. Здоровенный, ражій ула́нина, только ухмыляясь, головой покачалъ; а затѣмъ, вытирая обшлагомъ полновѣсный плевокъ, обернулся на граціозную паненку и самымъ добродушнѣйшимъ образомъ, все съ той же бойкой ухмылкой и все такъ-же покачивая усастой мордой, громко и внятно проговорилъ ей во слѣдъ:

— Ай, братъ-полечка, нехорошо-о, братъ!.. Шинель-атъ—вещія казенная, такъ на́штожь ее сваеми плевками марать?!.. Нехорошо-о, право нехорошо!

Хвалынцевъ не могъ не расхохотаться отъ всей души при этомъ, повидимому, наивно-добродушномъ, но въ сущности довольно-таки бойкомъ и ѣдкомъ замѣчаніи, каковое проявленіе столь неумѣстной веселости тотчасъ же вызвало противъ него нѣсколько грозныхъ взглядовъ и непріязненныхъ, подозрительныхъ пошептываній со стороны ближайшихъ къ нему патріотовъ обоего пола.

Погребальная процессія приближалась уже къ мосту, ведущему за городъ на Скидельскую дорогу, подъ которымъ проложены желѣзнодорожные рельсы, какъ вдругъ въ это самое время на мостъ, направляясь съ Татарской улицы, вступала другая духовная процессія. Это были тоже похороны, только очень и очень скромныя. Открытый гробъ, съ крышкой впереди, несли на рукахъ нѣсколько солдатиковъ,

[1]) Въ 1861 году по всему Сѣверо-Западному краю, можно сказать, не было почти ни одного костела, гдѣ бы не имѣлось черной хоругви съ нашитымъ на ней бѣлымъ сломаннымъ крестомъ и подписями въ родѣ. „Боже змилуй-сен' надъ нами!“ „Боже збавъ ойчизнен' и т. п. (Боже, помилуй насъ! Боже, спаси отечество).

[2]) Святый Боже, Святый крѣпкій и проч.

[3]) Держи въ сторону, собачья кровь!

Digitized by Google

а предъ гробомъ шелъ православный священникъ въ предшествіи большого церковнаго креста. Хотя эта послѣдняя процессія вступила уже на́ мостъ, но гурьба гимназистовъ разомъ бросилась на перерѣзъ ей, съ криками: «Пречь зъ колéи! Назадъ! Идзце до дзьябла, пршеклéнте! Пречь зъ москалями!» [1]) А частный приставъ, наблюдавшій за благочиніемъ, поспѣшилъ туда же, вслѣдъ за гурьбою школяровъ да чамарокъ, и силою своего полицейскаго авторитета, при помощи внушительно-властнаго распорядительнаго покрикиванья и жестикуляціи, «возстановилъ достодолжный и законный порядокъ», то-есть заставилъ гробъ осадить назадъ и даже сойти съ моста вспять на перекрестокъ всю злосчастную православную процессію, которая, нужды нѣтъ что по времени поспѣла впередъ, а все-таки должна была остановиться и смиренно ждать, пока сполна не пройдетъ длинная и пышная процессія польская. Панъ Пшедзецкій во гробѣ своемъ подъ балдахиномъ, съ плавно-качающимися кистями, изволилъ наконецъ, съ подобающимъ гономъ и величіемъ, прослѣдовать мимо простого, тесоваго гроба, въ которомъ терпѣливо дожидалось своей смиренной очереди нешляхетное, бренное тѣло какого-то усопшаго отставного солдата.

Однако и это было еще ничто-себѣ; но Хвалынцева до глубины души возмутило то, что несмотря на присутствіе креста, равно общаго какъ для православныхъ, такъ и для католиковъ, нѣкоторые патріоты и патріотки—а послѣднія даже по преимуществу — проходя мимо, стали выкидывать кое-какіе кощунственные кунстштюки и нахально дѣлать нагло-циническія и неприличныя замѣчанія и насмѣшки надъ «пóпемъ» и «москевскимъ» покойникомъ. Несмотря на свое равнодушіе (то-есть Хвалынцевъ привыкъ думать, будто онъ равнодушенъ) ко всякимъ религіознымъ предметамъ и темамъ вообще, онъ почувствовалъ, какъ при этой наглости вся душа его возмутилась. Кровь прилила къ вискамъ и къ сердцу, въ груди что-то кипучее колесомъ заходило, колючія слезы подступили къ горлу, а кулаки и скулы межъ тѣмъ судорожно сжимались подъ давленіемъ чувства сознательно-безсильной злобы и оскорбленія. Онъ понималъ, что это оскорбленіе нарочно наносится этому попу и покойнику единственно потому, что это православный, то-есть русскій попъ, и православный, то-есть русскій же покойникъ.

Ему вдругъ стало мерзко, противно продолжать путь за паномъ Пшедзецкимъ, противно отъ одного сознанія, что и онъ, хотя-бы то однимъ лишь своимъ пассивнымъ присутствіемъ, принадлежитъ къ этой чуждой и враждебной ему толпѣ—и онъ остановился. Нарочно, подъ вліяніемъ внезапно прихлынувшаго чувства, мысли и желанія показать предъ всею польскою толпою, а главное предъ собственною совѣстью и предъ этими убогими солдатиками и попомъ—буде кто изъ нихъ замѣтитъ его, а хоть и не замѣтитъ, такъ все равно!—показать, что онъ русскій, что онъ не принадлежитъ ни духомъ, ни тѣломъ къ этой гордо проходящей толпѣ,—Хвалынцевъ искренно снялъ шапку и сознательно трижды осѣнилъ себя широкимъ, русскимъ, православнымъ крестомъ, съ невольно благоговѣйнымъ чувствомъ въ душѣ поклонясь этимъ безнаказанно оскорбляемымъ русскимъ: кресту и покойнику.

Затѣмъ, давъ пройти этой послѣдней процессіи, онъ вскочилъ на перваго попавшагося извозчика и поѣхалъ обратно въ городъ.

— Скажи, пожалуйста, кого это хоронятъ?— спросилъ онъ, ѣдучи, у своего извозчика.

— Пшаздецкаго,—отвѣтилъ тотъ такимъ удивленнымъ тономъ, какъ будто не допускалъ ни малѣйшаго сомнѣнія въ томъ, чтобы сѣдокъ его могъ не знать, кто такой Пшедзецкій.

Но Хвалынцевъ тотчасъ-же сразу и предложилъ ему этотъ самый вопросъ: кто-же, молъ, таковъ этотъ панъ Пшедзецкій?

— А такъ-сабѣ... абывацель, — отвѣтилъ возница.

— Чѣмъ-же замѣчателенъ этотъ обыватель?

— А ничѣмъ!.. Чѣмъ-жа яму быць замячацельному?.. Сказуваюць, рямесляникъ—чабатарь быу, швецъ?

— А ты не зналъ его?

— Я?.. Нѣ, ба́ринка, не знау.

— Но, конечно, слыхалъ про него прежде?

— Пра кого-сь то? — переспросилъ извозчикъ.

— Да про Пшедзецкаго-жь?

— Пра Пшаздецкаго?.. Нѣ, слыхаць, ничóго не слыхау, баринка.

— Такъ за что же ему такія почести воздаютъ?

Извозчикъ подумалъ нѣсколько и отвѣтилъ не вдругъ. Очевидно, такой вопросъ самому ему ни разу еще не приходилъ въ голову.

— А хто é знаé!—сказалъ онъ наконецъ.— Гэто усѣ паны наши... Ани нóничъ зачасто такъ, случаицца хоронять...

— Ну, да хорошо: будь это панъ, оно былобы понятно,—возразилъ Хвалынцевъ,—но почему-же все это великолѣпіе собственно для сапожника Пшедзецкаго?

— А такъ-сабѣ, — пожалъ плечами извозчикъ,—гля таго, што іонъ, кажуць, «пачтивы чловѣкъ [1]) быу»... От-што!

«Н-да, такъ это значитъ похороны «почтивéго чловѣка», улыбнулся про себя Хвалынцевъ, и вспомнивъ, что онъ какъ всталъ еще

[1]) Прочь съ дороги! Назадъ! Убирайся къ черту проклятые! Прочь съ москалями!

[1]) Почтенный, честный.

Digitized by Google

съ постели, до сей поры не хлебнулъ ни глотка чаю, приказалъ везти себя въ какую-нибудь кофейную или кондитерскую изъ тѣхъ, что получше.

III.

Чего иногда могла стоить и чѣмъ могла угрожать чашка кофе.

Но гродненскія кондитерскія—онѣ-же и кофейныя—оказались обѣ хуже: выбирать было не изъ чего: у Кантлера то же что у Аданки, а у Аданки то же, что и у Кантлера, то-есть та же изобильная грязца, тѣ же спертые кисловатые запахи, тѣ же, какъ камень ссохшіеся торты и миндальныя печенья, тѣ же крахмальныя, выкрашенныя конфекты да леденцы; та же водка и «гродненьскего» производства разные ликеры, та же жирная «кава» и «чекоряда» [1]) и въ заключеніе тотъ-же вылинявшій окривѣлый бильярдъ въ пыльно-дымной табачной атмосферѣ, съ пожелтѣлыми отъ времени шарами.

На бильярдѣ звучно щелкали кіями какой-то комисаріатскій офицеръ и какой-то паничъ, почему-то сильно напоминавшій собою канцелярскую службу въ губернскомъ правленіи. И офицеръ, и паничъ, весьма занятые игрой, переговаривались между собою по-польски, дѣлая по большей части тѣ отличающіяся плоскимъ жартомъ замѣчанія, которыя обыкновенно дѣлаютъ игроки дурного тона, когда чувствуютъ себя въ хорошемъ игрецкомъ настроеніи духа. Тутъ-же возсѣдало нѣсколько пановъ, палатскихъ и иныхъ чиновниковъ да два-три пѣхотныхъ офицера, — кто за стакаюмъ кофе, кто за кружкой пива, кто играя въ домино или въ шашки, а кто и просто такъ-себѣ, въ сухую слѣдя за игрой или углубясь въ чтеніе газетъ. Газеты-же были здѣсь исключительно польскія.

Хвалынцевъ сѣлъ у столика, близъ окошка, и спросилъ себѣ чашку кофе. Мальчишка въ грязномъ фартучкѣ, съ продранными локтями, котораго подозвалъ онъ къ себѣ, выслушалъ отданное по-русски приказаніе и отойдя, какъ ни въ чемъ не бывало, сталъ на прежнее свое мѣсто, прислонясь къ стѣнкѣ да заложивъ за спину руки, и началъ равнодушно слѣдить за игрой.

Хвалынцевъ всталъ и, подойдя къ нему, повторилъ свое требованіе.

Мальчишка только шмыгнулъ носомъ, обтирательно проведя подъ нимъ рукою, и затѣмъ, отойдя шага два-три въ сторону и уже не обращая на незнакомаго гостя-москаля ни малѣйшаго вниманія, продолжалъ попрежнему разсѣянно слѣдить за игрою.

Такая дерзкая наглость въ мальчишкѣ начинала уже снова вводить Хвалынцева въ досаду, чувство которой во всѣ эти дни доводилось испытывать ему столь часто и столь много. Онъ снова подошелъ къ нему, и на сей разъ внушительно строгимъ голосомъ и даже грубо передалъ свое требованіе.

Мальчишка злобно озирнулся на него исподлобья и, пробормотавъ «зáразъ, пане!» — неторопливо, съ явной неохотой, пошелъ изъ комнаты отдавать трижды полученное приказаніе.

«Что́ это за испорченный народишко, однако!» подумалъ себѣ Хвалынцевъ. «Говоришь ты ему что ласково, по человѣчески, онъ рыло воротитъ, онъ чуть не плюетъ на тебя, а едва прикрикнешь да выругаешься, сейчасъ и струситъ, сейчасъ и «зáразъ, пане», хоть и при этомъ все-же свой гоноръ шляхетный выдерживать старается. Экая гнусность!» досадливо выругался онъ еще разъ, въ заключеніе, и терпѣливо сталъ дожидаться своего кофе.

Но рядъ мелочныхъ испытаній далеко еще не окончился для него.

Время отъ времени въ «цукерню» и «кавярню» прибывали разные новые посѣтители.

Двое изъ нихъ спросили себѣ тоже кофе и, несмотря на то, что оба пришли позже Хвалынцева, требованіе ихъ было удовлетворено почти безотлагательно: сначала принесли одному, потомъ нѣкоторое время спустя и другому.

— А что-же мнѣ-то?—окликнулъ злосчастный герой нашъ.

— Зáразъ!—не глядя на него, обронилъ слово мальчишка и прошмыгнулъ въ заднюю дверь.

Посѣтителямъ, и старымъ и новымъ, безпрепятственно подавали кому пиво, кому чай, кому шоколадъ, смотря по требованію, и только одного Хвалынцева, казалось, хотѣли заставить изощрять чувство его долготерпѣнія.

Пришелъ еще какой-то панъ и потребовалъ «шклянку кавы», и кофе черезъ минуту явился къ услугамъ панскаго аппетита.

Константинъ ясно увидѣлъ, наконецъ, что вся эта продѣлка съ его долготерпѣніемъ совершается не иначе, какъ нарочно, что такимъ невниманіемъ къ его требованію имѣется въ виду выказать явное пренебреженіе къ «москалю», для котораго нѣтъ здѣсь не то-что чашки кофе, но даже стакана простой воды за его собственныя деньги, что «до́бры обыватéли» готовы поступиться своими мелочными интересишками, лишь бы сдѣлать какую-либо непріятность незнакомому человѣку, который виноватъ предъ ними только тѣмъ, что носитъ ненавистное имъ имя «москаля».

Не желая, однако, продолжать служить мишенью для подобныхъ выходокъ, онъ всталъ и направился къ двери съ намѣреніемъ уйти изъ патріотической «кавярни», какъ вдругъ въ до-

[1]) Кофе и шоколадъ.

Digitized by Google

гонку ему, изъ-за прилавка раздался нецеремонный голосъ господина, стоявшаго у контòрки:

— Пршепрашамъ пана! Панъ éще не заплáцилъ пенёндзы: злóты и грòшы пентць. [1])

Хвалынцевъ обернулся на него съ вопросительнымъ взглядомъ.

— Панъ не заплàцилъ пенёндзы,—еще громче и нахальнѣе повторилъ застоечный панъ, явно съ тѣмъ намѣреніемъ, чтобы его слова были услышаны посторонними посѣтителями.

— Вы ошибаетесь,—сдержанно проговорилъ Константинъ,—мнѣ нé за что платить: я ничего не пилъ и не ѣлъ у васъ.

Панъ закáзалъ филижáнкень [2]) кавы, съ безусловнымъ сознаніемъ своей правоты возразилъ панъ изъ-за прилавка.

— Да; но мнѣ ее не подаютъ, тогда какъ другимъ въ это время успѣли подать уже нѣсколько стакановъ; а мнѣ ждать некогда.

— Пршепрашамъ пана!.. Алежь для цалéго святу одъ рáзу неможно!.. А кеды панъ южъ закáзалъ, то тршéба заплáциць! Пану вольно пиць, чи нéпиць—для́ мнѣ то вшистко рувне [3]) плюхо-просящимъ тономъ выговаривалъ застоечный панъ, съ «гоноровою шляхетностью» разводя руками и пожимая плечами.

— Цо ту такéго? [4])—вполголоса пытливо вопрошали другъ у друга въ это самое время разные панки, появляясь въ дверяхъ изъ другой комнаты, привлеченные сюда необычно громкимъ голосомъ застоечнаго пана, что очевидно предвѣщало имъ наклевывающійся скандальчикъ.—Прошен' пана, цо ту такéго?

— Панъ москаль нéхце плáциць пенёндзы, и вéнцей ницъ! [5]) пояснилъ кто-то изъ этой кучки.

— А, то почтци́вы москаль!

— Пфэ, пане! москáле нигды не плацон'. Така южъ натура!

Подобнаго сорта милыя замѣчанія готовы были излиться цѣлымъ потокомъ на злосчастную голову нашего героя. Положеніе его было одно изъ самыхъ непріятнѣйшихъ. Онъ очень хорошо понималъ, что застоечному пану хочется покуражиться надъ нимъ, ибо застоечный панъ сознавалъ, что онъ въ изрядномъ количествѣ окруженъ «своими» и что стало-быть панъ москаль дѣлай чтó хочешь, хоть «до самóго пана губернатóра» ступай, а все-таки въ концѣ-концовъ останется съ носомъ; поэтому куражиться можно было вполнѣ безнаказанно. Понимая же это, Хвалынцевъ сознавалъ полнѣйшую необходимость воздержаться теперь отъ всякаго рѣзкаго проявленія, дабы не наткнуться на скандалъ, который ему съ такимъ удовольствіемъ готовы были подстроить, а этого удовольствія на свой счетъ онъ и не желалъ имъ доставлять. Но въ то же время ему крайне не хотѣлось удовлетворить неосновательному и столь нахально выражаемому требованію застоечнаго пана. Не въ 17 копейкахъ былъ расчетъ, а въ томъ, что эта уступка дерзкому нахальству доставитъ всѣмъ этимъ полячкамъ мелкое торжество: «чтò, дескать, заставили таки дружка сдѣлать по своему! Ага, молъ, струсилъ, панъ москаль! Ничего, братъ, плати даже за то, что мы, шляхетные люди, должны были нѣсколько минутъ выносить твое присутствіе среди нашей компаніи!» Хвалынцевъ понималъ, что и съ его стороны это точно такое же мелкое чувство, которое, пожалуй, ни въ чемъ не уступаетъ мелкому торжеству этихъ полячковъ; но понимая это, онъ все-таки никакъ не могъ отрѣшиться отъ него, стать выше своего низменнаго, въ данную минуту, самолюбія. «Конечно, лучше бы бросить имъ эти гроши и уйти», мелькала ему благая мысль, но застоечный панъ глядѣлъ въ упоръ такъ нагло, а стоявшіе въ дверяхъ полячки столь были увѣрены именно въ такомъ самомъ исходѣ всей этой исторіи и столь безцеремонно подсмѣивались на его счетъ, что онъ чувствовалъ всю окончательную невозможность и уйти, не платя ни полушки, и заплатить ни зà-что, ни прò-что. «Ни то, ни другое!» смутно, но рѣшительно мелькало въ его головѣ, тогда какъ чувство оскорбленія и злости начинало просто душить его, отдавалось тяжкимъ стѣсненіемъ въ груди и заволакивало глаза безразличнымъ туманомъ. «Ни то, ни другое... Но чтò же? Чтò?..» А панки между тѣмъ глядятъ и ждутъ. Онъ не видя чувствовалъ на себѣ ихъ неотводные взгляды. «Хватить развѣ чѣмъ ни попадя? раскроить башку и тѣмъ, и этому? молніей мелькнула вдругъ ему безумная мысль подъ гнетущимъ давленіемъ безысходной злобы.

И Богъ вѣсть, чѣмъ бы могла кончиться вся эта исторія — вѣрнѣе всего, очень бы скверно — если бы въ эту самую минуту не вошелъ замурзанный мальчишка съ чашкой кофе на подносѣ и не поставилъ ее на столикѣ возлѣ Хвалынцева, промолвивъ:

— Для пана.

Исходъ былъ хоть и вовсе не блистателенъ, ибо послѣ всего, чтò случилось, сидѣть на глазахъ у застоечнаго пана и глотать кофе казалось Хвалынцеву крайне миролюбиво и даже очень жалостно: «что, молъ, бѣдненькій сжалились наконецъ надъ тобою?» Однако надо было сознаться, что это все же единственный, сколько-нибудь возможный для самолюбія

[1]) Прошу извинить! Панъ еще не уплатилъ денегъ: семнадцать съ половиною копеекъ.

[2]) Филижанка—чашка.

[3]) Извините, сударь!.. Но вѣдь на весь міръ сразу не поспѣешь. А если панъ уже заказалъ, то и слѣдуетъ уплатить. Пану вольно пить или не пить—мнѣ это все равно.

[4]) Чтó тутъ такое.

[5]) Господинъ москаль не хочетъ платить, и все тутъ!

Digitized by Google

исходъ изъ того нелѣпаго положенія, въ которое былъ поставленъ злосчастный герой нашъ. Мысль о томъ, чтобы хватить чѣмъ ни попало, была сама по себѣ безобразна. Оно бы, пожалуй, возможно, и даже пройди еще одна лишь секунда и не выручи этотъ мальчишка, Хвалынцевъ чувствовалъ, что онъ хватилъ бы, непремѣнно хватилъ бы, невольно, помимо разсудка, въ силу однихъ лишь все затмевающихъ животныхъ инстинктовъ злости и бѣшенства, но... эта чашка кофе, подоспѣвшая такъ кстати, все-таки хоть мало-мальски выручила: во-первыхъ, нахальное требованіе буфетчика осталось неудовлетвореннымъ, во-вторыхъ, панки лишились ожидаемаго торжества, и, наконецъ, въ-третьихъ, требованіе самого Хвалынцева было исполнено, хоть и поздно, а все жь таки исполнено. Теперь онъ, какъ слѣдуетъ, совершенно справедливо заплатитъ деньги и уйдетъ спокойно порядочнымъ человѣкомъ, а не струсившимъ и оплеваннымъ мальчишкой, надъ которымъ покуражились какъ только хотѣли. «Кажется, я ни разу не взглянулъ на этихъ пановъ?» задавалъ онъ самому себѣ сомнѣвающійся вопросъ. «Но точно ли ни разу?.. Кажется что такъ!.. Да; помню, дѣйствительно ни разу!.. Точно!.. И какъ это хорошо, въ самомъ дѣлѣ!.. Полнѣйшее презрѣніе: будто и не замѣтилъ!.. А что если эти какія-то глупыя замѣчанія ихнія... за которыя стоило бы морду побить!» мелькнула ему вдругъ какъ-то сама по себѣ «какъ беззаконная комета», побочная мысль «антигуманнаго свойства».—«Н-да... Но и то еще для нихъ вѣдь сомнительно, попали ль они въ цѣль: я вѣдь «москаль» и польскаго языка не понимаю... Это надо будетъ какъ-нибудь заявить имъ, что я не понимаю!» какъ бы въ скобкахъ сдѣлалъ онъ самому себѣ внутреннюю нотабену.

Но все-таки чашка жирнаго кофе далеко не показалась ему такою вкусною, какою онъ навѣрное нашелъ бы ее, послѣ прогулки натощакъ, не случись всей этой непріятной исторіи, а теперь... теперь онъ глотаетъ жирную влагу помимо всякаго желанія. Горячій кофе теперь противенъ ему, и даже въ глотку не лѣзетъ, даже вкусу никакого онъ въ немъ не чувствуетъ, а все-таки пьетъ, пьетъ по необходимости, такъ сказать, для выдержки, для характеру, для самолюбія, для того, наконецъ, чтобы имѣть законное право заплатить застоечному нахалу 17 копеекъ, или, какъ выражаются здѣсь, «злоты, гроши пентцъ». Бѣдный герой мой! Онъ пьетъ, обжигаетъ себѣ нёбо, а все-таки пьетъ, съ одною лишь мыслію, какъ бы допить поскорѣе «и показать... показать имъ».

Что̀ показать?— Это и самъ онъ сознавалъ довольно-таки смутно; чувствовалъ только, что «надо показать... *надо*... и очень много... наказать ихъ, каналій!»

Но какъ наказать?—Опять-таки представленіе объ этомъ было самое смутное.

Выпивъ, наконецъ, чашку и морщась отъ боли въ обожженномъ рту, но съ такимъ видомъ, какъ будто вовсе не отъ боли, а отъ проглоченной мерзости, онъ неторопливо досталъ папироску, неторопливо повертѣлъ ее съ равнодушнымъ, разсѣянно-задумчивымъ видомъ и неторопливо же подошелъ къ огню закурить ее. И это была нарочная, умышленная неторопливость, будто бы ради выдержки собственнаго достоинства, тогда какъ самому хотѣлось бы поскорѣе вырваться и убѣжать отсюда, ибо онъ чувствовалъ, какъ въ груди опять начинаетъ колесомъ ходить что-то жуткое и въ горлѣ опять давитъ что-то такъ сухо, давитъ какимъ-то спазматически-колючимъ сжатіемъ, такъ что, чувствуя все это, онъ дѣлалъ надъ собою большое усиліе, чтобы глотать и давить въ себѣ эти тяжелыя ощущенія, которыя вотъ-вотъ того и гляди прорвутся наружу самымъ неумѣстнымъ проявленіемъ и разрѣшатся озлобленными рыданіями, и тогда... тогда нѣтъ ничего мудренаго, если прихлынетъ бѣшеное затменіе и опять явится шальная мысль хватить на-повалъ чѣмъ ни по́падя! Онъ чувствовалъ, что внутри его кипитъ сильное, почти истерическое раздраженіе, и напрягалъ всю силу воли, чтобы подавить его.

Закуривъ наконецъ папироску, все съ той же гримасой, будто бы отъ проглоченной мерзости, подошелъ онъ къ стойкѣ и недовольнымъ, но презрительно-спокойнымъ голосомъ спросилъ, указывая взоромъ на выпитую чашку:

— Что̀ стоятъ эти помои?

— Якъ-то?—устроивъ себѣ глупую физіономію, отозвался застоечный панъ. Теперь уже онъ притворялся, будто онъ не понимаетъ языка русскаго.

— Я спрашиваю, что стоятъ эти помои, которыя вы подаете подъ именемъ кофе? — съ вразумительной разстановкой словъ и нарочно придавъ металлическую звучность своему, нѣсколько повышенному голосу, повторилъ свой вопросъ Константинъ Семеновичъ.

— Не розу́мемъ!.. [1]) пожалъ плечами буфетчикъ и, смотря на него притворно-недоумѣвающимъ взглядомъ, прибавилъ, помолчавъ малое время:

— Цо вацьпанъ потржебу́е? [2])

Хвалынцевъ упорно глядѣлъ ему прямо въ глаза блестяще-холоднымъ и твердымъ взглядомъ, тогда какъ внутри себя онъ чувствовалъ, какъ тамъ въ груди *играетъ* что-то, играетъ и ходитъ, и дрожитъ всѣми жилками, всѣми нервами чувство живой, только-что вновь народившейся ненависти. И вдругъ судьба ему дала на одно мгновеніе счастливое, злорадное

[1]) Не понимаю.
[2]) Что вамъ, сударь, угодно?

Digitized by Google

удовольствіе: онъ увидѣлъ, какъ подъ вліяніемъ его твердаго, холоднаго, смѣлаго взгляда, нахальные глазенки застоечнаго пана вдругъ потупились и смущенно забѣгали внизъ и въ стороны, всячески избѣгая новой встрѣчи съ этимъ непріятно-блестящимъ, стальнымъ и острымъ взглядомъ «пршеклентего [1]) москаля». Это неожиданное открытіе вдругъ какъ-то нравственно подняло Хвалынцева, подняло духъ его и, вмѣстѣ съ пробудившеюся увѣренностію въ самомъ себѣ, придало столь нужное ему теперь не дѣланное, а настоящее спокойствіе—спокойствіе сознанной силы и нравственнаго перевѣса.

— Але цожъ вацьпанъ потржебуе?.. продолжалъ межъ тѣмъ бормотать, уже замѣтно поспустивши тонъ, застоечный шляхтичъ, все такъ же бѣгая глазенками и избѣгая встрѣчи со взглядомъ Хвалынцева.

— Если вы не понимаете по-русски, то пришлите вмѣсто себя кого другого, кто-бы понялъ меня,—все тѣмъ-же ровнымъ, повышеннымъ голосомъ заговорилъ послѣдній,—потому что я точно также не понимаю по-польски.

Эту послѣднюю фразу онъ постарался произнести особенно отчетливо и ясно.

— Алежъ нема кого, пане!—пожимая плечами, бормоталъ буфетчикъ. — А въ рещи [2]), махнулъ онъ рукою,—зъ пана—злоты, грошы пентць.

«Ага! понялъ голубчикъ! заставилъ-таки понять!» съ чувствомъ нѣсколько мелочного самодовольствія подумалъ себѣ Хвалынцевъ. «И все это врутъ они: всѣ они отлично понимаютъ!.. Одно только притворство!» Онъ неторопливо раскрылъ бумажникъ, небрежно вынулъ пачку ассигнацій — ту, что была потолще — оставивъ двѣ другія нѣсколько на виду въ бумажникѣ; затѣмъ какъ-бы нечаянно, мелькомъ давъ замѣтить въ ней нѣсколько крупныхъ бумажекъ, онъ вытащилъ зелененькую и небрежно швырнулъ ее на конторку подъ самый носъ застоечному пану. И все это продѣлывалъ умышленно, нарочно, даже съ чувствомъ какого-то ребяческаго самоуслажденія: вотъ-же, молъ, тебѣ! На, смотри, каналья!.. Смѣетъ думать, полячишко поганый, будто семнадцати копеекъ нѣтъ!

Теперь уже Хвалынцеву почему-то вдругъ вообразилось, что тотъ непремѣнно думалъ это. У него даже образовалась какая-то увѣренность въ томъ, совершенно безосновательная, но твердая.

Получивъ сдачу, которая, къ пріятному удивленію Хвалынцева, была ему подана довольно вѣжливо («что значитъ, однако выдержка!» самодовольно подумалось ему при этомъ; «стоило лишь показать рѣшительную и твердую смѣлость — полячокъ и струсилъ!»), онъ вышелъ наконецъ на свѣжій воздухъ и только тутъ вздохнулъ легко и свободно.

Однако-же отголоски внутренняго раздраженія, чуть было не разразившагося истерикою злости, давали еще ему чувствовать себя то волненіемъ, то нервнымъ ощущеніемъ дрожи въ рукахъ и внутри груди, то холодными мурашками за спиною и въ верхней части рукъ отъ локтя къ плечу и лопаткѣ.

Онъ чувствовалъ настоятельную потребность хорошенько пройтись, освѣжиться, успокоиться и хоть сколько-нибудь разсѣять себя, и потому тотчасъ-же отправился бродить куда глаза глядятъ, съ цѣлью «осматривать городъ», или, лучше сказать, просто безъ всякой опредѣленной цѣли.

IV.

На Коложѣ.

Хвалынцевъ любилъ испытывать то, что можетъ быть названо чувствомъ чужого, незнакомаго мѣста, чужого города. Если судьба заносила его въ совершенно неизвѣстный ему, никогда невиданный имъ городъ, гдѣ у него даже нѣтъ никого знакомыхъ, онъ любилъ пойти безъ всякой цѣли бродить по незнакомымъ улицамъ, площадямъ, переулкамъ, приглядываться къ домамъ, къ людямъ, къ характеру нечаянно открывавшейся мѣстности, перспективы, пустыря-ли какого, или древняго храма, думать, какіе-то здѣсь люди живутъ и что-то у нихъ за нужды, что за жизнь, что за борьба, какія стремленія, хлопоты, интересы, какіе характеры, какіе у нихъ домики, и по виду этихъ домиковъ дополнять, дорисовывать въ воображеніи картину повседневнаго быта и жизни ихъ обитателей. Каждый домикъ какъ будто свою особую физіономію имѣетъ, свой личный характеръ оказываетъ, чему особенно помогаютъ окна, играющія въ этомъ отношеніи роль глазъ человѣческихъ. Одинъ домишко глядитъ на улицу весело, словно бы улыбается, другой стоитъ себѣ состроивши кислую гримасу, третій своими окнами-глазками словно бы жалуется на что-то, словно бы обидѣли его, четвертый глядитъ на все какъ-то подозрительно скосившись. Хвалынцевъ очень любилъ совсѣмъ потеряться въ этихъ незнакомыхъ улицахъ и переулкахъ съ этими самыми домиками, любилъ идти, ни у кого не пытая дороги, а просто такъ-себѣ на удачу, куда Богъ ни выведетъ. Въ это время глазъ всегда дѣлается какъ-то внимательнѣе, приглядчивѣе, развивается чувство наблюдательности; мысль, не занятая ничѣмъ особеннымъ, работаетъ межъ тѣмъ съ какою-то пытливою прихотливостью, а воображеніе помогаетъ ей изукрашивать эту работу... Какъ-то впечатлительнѣе

[1]) Проклятаго.
[2]) Впрочемъ

Digitized by Google

становишься въ это время и все стараешься запомнить, усвоить себѣ характеръ и видъ какихъ-либо предметовъ, зданій, перспективъ, для того чтобы не забыть ихъ впослѣдствіи—запомнить даже самое впечатлѣніе, подъ которымъ ихъ видѣлъ.—Любилъ Хвалынцевъ и это чувство полнаго, круглаго одиночества, среди многолюдья: я, дескать, никого не знаю, и меня никто не знаетъ; броди себѣ, гляди, мечтай, наблюдай—никому до тебя никакого дѣла нѣтъ, никто не остановитъ, не развлечетъ, и не побезпокоитъ тебя. Хорошо! славно такъ!—И каждый разъ, попавши въ чужой городъ, онъ съ удовольствіемъ переживалъ это чувство чужого, незнакомаго мѣста.

Такъ точно и теперь вотъ съ нимъ было. Движеніе, свѣжій воздухъ, яркое солнце и это самое чувство осадили, успокоили окончательно его волненіе. Онъ даже и не старался о томъ, чтобы не думать о давешней исторіи: по прошествіи нѣкотораго времени оно какъ-то само-собою незамѣтно перестало думаться; мысли и впечатлительность настроились на другое—и мало-по-малу это знакомое, тихое, пріятное и немного какъ-будто грустное, но хорошо-щемящее чувство чужого мѣста всецѣло охватило собою Хвалынцева. Онъ побродилъ уже достаточно, но усталости не испытывалъ ни малѣйшей. Прошелъ мимо желтаго одноэтажнаго, построеннаго покоемъ зданія, съ какою-то статуей на куполѣ крыши, за которою чернѣли вѣковыя деревья обширнаго сада, и по присутствію полицейскихъ да казаковъ догадался, что это—губернаторскій домъ. Впрочемъ, губернаторскіе дома, почти во всѣхъ губернскихъ городахъ, всегда какъ-то сразу, сами собою узнаются: около нихъ неизмѣнно царитъ какая-то неуловимая, невѣсть въ чемъ именно заключающаяся, но тѣмъ не менѣе чувствуемая, словно перемѣна воздуха, какая-то официальная атмосфера: такъ вотъ тутъ и пахнетъ тебѣ губернаторскимъ домомъ!

Затѣмъ, оставя вправо отъ себя какіе-то пустыри, пошелъ герой нашъ по пустынной площади, по направленію къ виднѣвшемуся прямо впереди какому-то трехъэтажному голубому дому, къ заднему фасаду котораго тоже примыкали обширные сады. По «всевидящему оку», изображенному на фронтонѣ, да по вышедшему изъ воротъ монаху и двумъ-тремъ попавшимся на встрѣчу субъектамъ въ шинеляхъ семинарскаго покроя съ пѣвческими физіономіями, Хвалынцевъ догадался, что голубое зданіе должно быть архіерейскій домъ, и не переходя мостикъ, спустился налѣво въ глубокій оврагъ, по крутымъ, размытымъ бокамъ котораго кое-гдѣ лѣпились убогія бѣленыя мазанки, сарайчики да садочки, а по дну извивалась рѣченка Городничанка, чрезъ которую мѣстами можно было просто перешагнуть съ небольшимъ напряженіемъ. Мѣсто это очень оригинально и довольно красиво, и при томъ выходитъ изъ всякаго условно-городского характера. Не замѣтно для самого себя, бредя все дальше да дальше по этому оврагу—гдѣ, подымаясь тропинкой на откосы боковъ, а гдѣ спускаясь на самое дно — онъ вдругъ замѣтилъ, какъ неожиданно впереди сверкнула въ глаза ему, словно воронёная сталь въ солнечныхъ блесткахъ, полоса рѣки, и оглянулся вокругъ себя. Онъ былъ на днѣ широко-раздвинувшагося оврага. И направо, и налѣво подымались значительныя крутизны. У самой вершины лѣвой кручи виднѣлись какія-то древнія развалины: будто остатки башни, выступы стѣнъ, угловъ и даже темное окошко можно было замѣтить въ стѣнѣ пониже уровня вершины. Это были развалины древнихъ гродненскихъ укрѣпленій, остатки окруженнаго глубокимъ рвомъ замка, отъ котораго понынѣ уцѣлѣлъ только одинъ изъ флигелей, и этому флигелю новѣйшая цивилизація постаралась придать казенный, строго-казарменный характеръ. На вершинѣ правой крутизны, изъ-за купы древнихъ деревъ, тоже виднѣлись какія-то развалины: колонны и стѣны, а прямо за рѣкою вырисовывалась на синемъ фонѣ неба красивенькая колокольня надъ желтыми стѣнами и черепичными кровлями францискан-скаго «кляштора» [1]). По обоимъ склонамъ кручъ бродили козы, тихо пощипывая пожелтѣлую, прихваченную морозомъ травку. Черные силуэты этихъ козъ съ необыкновенною отчетливостью вырисовывались и на самой вершинѣ лѣвой крутизны, тамъ, гдѣ среди развалинъ, надъ самымъ обрывомъ спокойно разсѣлись, посасывая трубочки, двое какихъ-то русскихъ солдатиковъ, тоже ясно обозначавшіеся своими силуэтами на голубомъ фонѣ прозрачнаго воздуха.

«Ахъ, какъ хорошо тутъ!» невольно вздохнулось Хвалынцеву. «Какая прелесть!..»

И ему захотѣлось побродить среди этихъ развалинъ, разсмотрѣть ихъ поближе и поглядѣть, каковъ-то долженъ быть видъ оттуда, съ этихъ вершинъ, на городъ и на широкую даль прилегающихъ за Нѣманомъ окрестностей. Подъёмъ на правую крутизну былъ нѣсколько отложе, чѣмъ на лѣвую, которая зато примыкала къ самому городу, и потому Константинъ рѣшилъ себѣ: сначала взобраться направо, а потомъ уже осмотрѣть развалины замка, откуда будетъ гораздо ближе вернуться въ городъ. Такъ онъ и сдѣлалъ. Хватаясь иногда за обнажавшіеся корни деревъ, перевѣсившихъ свои голыя вѣтви надъ его головою, по узенькой, извилистой тропинкѣ, которая мѣстами пролегала по самому обрыву, Хвалынцевъ добрался до вершины, гдѣ предъ нимъ открылась ровная площадка, засаженная старыми

[1]) Монастыря.

Digitized by Google

деревьями, между которыми высокіе пирамидальные тополи занимали весьма видное мѣсто. Тутъ же были и развалины.

Надъ самой кручей, на краю высокаго, почти отвѣснаго обрыва, высились полуразрушенныя стѣны, одна часть которыхъ нѣкогда, вмѣстѣ съ глыбою почвы, рухнула въ Нѣманъ, оставивъ на вершинѣ, кромѣ уцѣлѣвшей части стѣнъ, еще и нѣсколько отдѣльныхъ, устоявшихъ съ того времени колоннъ, на которыя когда-то упирались высокіе своды. Это были остатки храма, характеръ постройки котораго свидѣтельствовалъ о его глубокой древности. Всѣ стѣны были выведены изъ дикаго камня, сплоченнаго между собою надежнымъ цементомъ. Полукруглая алтарная стѣна, обращенная на востокъ, вмѣстѣ со стѣною сѣверною, въ которой были пробиты двери и окна, а равно и часть западной сохранились еще очень хорошо. Съ наружной ихъ стороны можно было видѣть мозаичныя украшенія въ видѣ крестовъ и звѣздъ, цвѣта которыхъ и доселѣ еще очень свѣжи; внутренняя же стѣна испещрена была правильно-круглыми отверстіями. Это были *голосники*, то-есть кувшины, замурованные въ стѣны для благозвучнаго резонанса внутри храма. Теперь голосники эти являли собою прочный и безопасный пріютъ для воробьевъ, которые во множествѣ посвивали свои гнѣзда въ темной глубинѣ этихъ акустическихъ кувшиновъ. Хвалынцевъ вспомнилъ, что нѣкогда гдѣ-то читалъ онъ, что подобнаго рода кувшины-голосники являлись въ церковныхъ постройкахъ X—XII вѣковъ; это одно уже указало ему приблизительно на время, къ которому можно было отнести сооруженіе над-нѣманскаго храма. На алтарномъ сводѣ, кое-гдѣ мѣстами, сохранились еще остатки фресковой живописи: слабо виднѣлся очеркъ головы какого-то святого и расписной, каёмчатый карнизъ. У ногъ чернѣлъ полузаваленный сходъ въ церковные склепы. Тамъ и сямъ, и внутри, и внѣ храма, валялось нѣсколько намогильныхъ плитъ, и Хвалынцевъ съ величайшимъ трудомъ могъ разобрать совсѣмъ почти стершіяся надписи двухъ изъ этихъ камней. На одномъ виднѣлось имя какой-то Голицыной, на другомъ высѣченное по-латыни имя Лизогуба. Разбросанная вокругъ и около масса кирпичей, булыжника, гранита, мусора и щебня валялась въ особенномъ изобиліи въ сохранившейся части восточной и сѣверной стѣнъ. Вокругъ все было такъ тихо и глухо. Легкій вѣтеръ свистѣлъ иногда въ оголенныхъ прутьяхъ высокихъ тополевыхъ вершинъ. Солнце ласковымъ свѣтомъ обливало это картинное мѣсто запустѣнія; внизу, глубоко подъ ногами, сверкала стальная полоса Нѣмана, и было на немъ все тоже такъ пустынно: ни одной лодочки, никакой жизни, кромѣ быстраго движенія вѣчныхъ волнъ. Налѣво городъ виднѣлся, скученный въ довольно тѣсномъ пространствѣ со своими буро-красными, остроконечными и высокими черепичными кровлями, со своими башнями, куполами и изящно легкими, причудливо прорѣзными крестами католическихъ колоколенъ. Прямо предъ глазами, за рѣкою — широкая даль открывалась, даль, синѣвшая лѣсами и туманомъ; направо убѣгалъ Нѣманъ и прятался за излучинами своихъ крутыхъ и лѣсистыхъ береговъ... Нѣманъ—старая порубежная рѣка: тамъ, за нею, сейчасъ-же начинается Польша...

Хвалынцевъ долго любовался на всю эту широкую картину, отъ которой вѣяло на душу какою-то тихою, свѣтло-спокойною грустью. Тамъ каждая пядь земли безмолвно свидѣтельствовала о старой, исторической борьбѣ, о бурной жизни давно минувшихъ временъ... Отъ этой картины онъ снова перевелъ взоры свои на окружавшія его развалины. Уцѣлѣвшія стѣны и колонны были исчерчены всевозможными надписями и стихами. Надписи почти исключительно были польскія и отчасти русскія, но послѣднія довольно-таки безграмотны, и по конструкціи рѣчи можно было заключить, что вышли онѣ изъ-подъ руки польской. Это были по большей части разныя пошлости, плоскія изъясненія въ любви, и стихами, и прозой, отчасти надписи пасквильнаго свойства, а отчасти и совсѣмъ неприличнаго, циническаго характера. Но одна изъ нихъ особенно обратила на себя вниманіе Константина. Она была сдѣлана на алтарной стѣнѣ, съ правой стороны, и по-польски гласила слѣдующее:

„Псе głосy неидон' подъ небiсы! [1])

Грубый цинизмъ обыкновеннаго задорнаго свойства, казалось, былъ еще какъ-то сноснѣе: по крайней мѣрѣ, можно было думать, что такія надписи чертила неумѣлая рука едва научившагося писать школьника, который совершенно безразлично чертитъ то же самое на любомъ заборѣ или на стѣнѣ этихъ развалинъ, не вѣдая и не понимая, какія это стѣны и какія развалины. Но «псе głосы» своимъ ѣдкимъ сарказмомъ свидѣтельствовали ясно, что эту послѣднюю надпись начертала сознающая и ненавидящая рука.

«Песьи голоса не возносятся въ небеса!— какая эпитафія къ этимъ смертнымъ останкамъ, къ этимъ развалинамъ!» съ невыразимо щемящею грустью подумалось Хвалынцеву.— «Песьи голоса!..» Какова-же однако сила слѣпой ненависти, если она не пощадила даже могильныхъ остатковъ древности, этой святыни христіанскаго храма!»

Чѣмъ больше разбиралъ онъ подобныя надругательства, щеголявшія кощунствомъ патріотической ненависти, тѣмъ грустнѣе и горьче

[1]) Собачьи голоса не возносятся въ небеса

Digitized by Google

становилось ему на душѣ. А эта пустынность, эта тишина вокругъ, эти голыя вѣтви и перебѣгающій шумъ вѣтра, доносившійся снизу плескъ рѣки, унылость поздней осени и гдѣ-то невдалекѣ однообразное, короткое карканье ворона на вершинѣ березы—все это еще болѣе и болѣе. въ соединеніи съ горькими мыслями и сознаніемъ собственнаго одиночества, собственной отчужденности, навѣвало на душу щемящее, занывающее ощущеніе грусти—грусти тихой, но саднѣющей, колючей и чуть не до слезъ захватывающей всего человѣка.

Быть можетъ, долго бы еще простоялъ Хвалынцевъ въ этомъ нѣмомъ оцѣпенѣніи грусти, если бы до слуха его не достигли отзвуки чьихъ-то тихо бродившихъ шаговъ и невнятнаго старческаго бормотанья гдѣ-то тутъ же, близко за стѣною.

Онъ встряхнулся и вышелъ посмотрѣть, кто тамъ бродитъ.

— Господи Іисусе Христе, Сыне Божій, помилуй и прости. Эка грѣхъ какой!.. Эка люди нехороше... А-ахъ!.. Ну, ужь только! Ишь ты какъ!.. съ соболѣзнованіемъ и досадой шамкалъ чей-то старческій голосъ.

Хвалынцевъ завернулъ за алтарную стѣну и увидѣлъ древняго, совсѣмъ сѣдого старичка, который, сгорбившись отъ лѣтъ, невѣрными, старческими руками тщательно отметалъ метлою нечистоты отъ церковной стѣны и сбрасывалъ ихъ внизъ по обрыву.

Замѣтивъ постороннаго, старикъ обернулся и, щиткомъ приложивъ руку къ глазамъ, вглядчиво, незоркимъ окомъ старался разглядѣть, что за человѣкъ такой подходитъ?

— Здравствуй, дѣдушко! Богъ помочь!—приподнявъ шапку, внятно и громко проговорилъ Хвалынцевъ.

Старикъ дрожащею рукой снялъ тоже свою шапченку и поклонился почтительно-степенно, хотя, какъ показалось Хвалынцеву, словно бы съ какою-то недовѣрчивостью.

— Здравствуйте,—прошамкали его старческія губы.

— Что дѣлаешь, дѣдушко?—совсѣмъ близко подойдя къ нему, проговорилъ Хвалынцевъ съ особенною ласковостью въ улыбкѣ и голосѣ. Услыхавъ русскую рѣчь, онъ хотѣлъ какъ-нибудь завязать бесѣду.

— Да вотъ, паскудятъ все мѣсто святое... Ишь ты!—проговорилъ старикъ съ такимъ видомъ, въ которомъ чуялось внутреннее возмущенное чувство.

Хвалынцевъ соболѣзновательно покачалъ головою.

— Кто-жь это?—спросилъ онъ.

— А люди... нехорошіе... Злые люди... Нѣтъ, вишь, имъ другого мѣста! Храмъ Божій для экого дѣла нашли! Ты вотъ тутъ очистишь, а они, гляди, на другой день опять!

— Что-жь, неужели это нарочно?

— А то не нарочно?!. Знаю я ихъ!

— Кто-жь это? поляки?

— Извѣстно, поляки! Паничи ихніе—вотъ что́ учатся... И чему ихъ тамъ только учатъ, прости Господи!.. Нешто не видно, что мѣсто святое?!. Хоть и завалилось, а все же престолъ Господень стоялъ. О-охъ, грѣхи наши тяжкіе!—со вздохомъ покачалъ онъ головою, снова принимаясь за свою работу.

— А ты, дѣдушко, ихъ подкараулилъ бы да пристыдилъ хорошенько, — посовѣтовалъ Хвалынцевъ.

— Стыдилъ!—махнулъ дѣдъ рукою.—Ты ихъ стыдишь, а они въ тебя ка́меньемъ да грязью швыряютъ... да насмѣхаются еще!... Одно слово: злые люди... нехорошіе...

И метла снова зашу́ркала въ его старческихъ рукахъ.

— Вотъ тутъ тоже, я замѣтилъ, надписи есть нехорошія по стѣнамъ, — сказалъ Константинъ,—ты бы стеръ, аль замазалъ ихъ, дѣдушко.

— Гдѣ?—озабоченно обернулся старикъ,—покажи, Христа ради!.. Я ужь сколько разовъ и въ кои-то годы все стираю, да все, вишь, пишутъ... Глазами нонѣ совсѣмъ плохъ сталъ—не вижу... такъ иное дѣло и не различишь чего... Покажи, сдѣлай милость хрестьянскую!.. Я замажу коё мѣсто—глины то есть достаточно... кабы только знать!

Старикъ кончилъ, наконецъ, свое дѣло и вошелъ во внутрь развалинъ. Хвалынцевъ указалъ ему, гдѣ были надписи. Тотъ замѣтилъ себѣ эти мѣста, укоризненно и грустно качая головою.

Константинъ присѣлъ на камень.

— Ты, дѣдушко, русскій, конечно?—спросилъ онъ.

— А то какой-же? Извѣстно, русскій!.. Съ-подъ свого, съ-подъ Бѣлаго Царя живемъ!—съ движеніемъ какого-то нравственнаго достоинства проговорилъ старикъ, тоже присѣвши рядомъ.

— Ты изъ какихъ же мѣстъ?—продолжалъ разспрашивать Хвалынцевъ.

— Я-то?.. Я здѣшній, гродненскій; изъ мѣщанъ.

Константинъ съ удивленіемъ вскинулся на него глазами.

— Что воззрился такъ?—добродушно ухмыльнулся дѣдко.

— Да удивительно мнѣ то, что такъ чисто по-русски говоришь, словно бы ты изъ коренной Россіи.

— Да здѣсь-то развѣ не Россея?—возразилъ старикъ.—Все же она одна, какъ есть, вездѣ... Одинъ Царь, одинъ корень, одна граница, и одно званіе есть—Имперія.

— А поляки говорятъ, что Польша, и отвоевать хотятъ,—улыбнулся Константинъ, думая подстрекнуть его.

Digitized by Google

— Польща... отвоевать! — недовольно мотнувъ головою, прошамкалъ старикъ. — Вояки тоже!.. Имъ бы гдѣ блудить развѣ, да мѣсто святое паскудить—вотъ ихъ весь и предѣлъ!

— Но въ самомъ дѣлѣ, ты отлично говоришь по-русски!—снова замѣтилъ Хвалынцевъ, которому, дѣйствительно, было и странно, и интересно слышать такой говоръ изъ устъ мѣстнаго коренного жителя.

— Я-то?—улыбнулся дѣдко.—Да какъ мнѣ не говорить, когда я весь вѣкъ въ солдатахъ служилъ?.. Фанагорійскаго Гарнадерскаго свѣтлѣющаго князя Суворова-Рымницкаго полку—вотъ гдѣ я служилъ!—съ оттѣнкомъ нѣкоторой гордости и даже похвальбы проговорилъ онъ, вразумительно отдѣляя каждое слово въ титулѣ своего полка.

— И кавалеріи имѣешь?—спросилъ Хвалынцевъ.

— А то нѣтъ?—весь-то вѣкъ служимши!—гордо мотнулъ дѣдъ головою, — имѣю святыя медали! И за француза, и за туречину, и безпорочную, и хрестъ тоже за польское укрощеніе имѣю—за Аршаву, значитъ.

— И француза помнишь, — удивился Хвалынцевъ.

— Какъ его не помнить! Я съ того самаго года и въ службу пошелъ, какъ по небу красная планида съ хвостомъ ходила, а на другой годъ опосля того и французъ съ двадесять языкъ на Россею пришелъ... Вотъ я съ коихъ поръ! Четыремъ императорамъ на своемъ вѣку присяги держалъ, а при двухъ въ службѣ находился...

— Скажи, пожалуйста, какъ это мѣсто называется?—послѣ короткаго молчанія спросилъ Константинъ, окинувъ окрестъ себя глазами.

— Это-та?.. Это Колоджа называется; и церковь тоже Коложанская, значитъ.

— Православная церковь-то была?

— Какъ же! Извѣстно, православная! Для того ей вотъ и честь-то такая! — съ горькою ироніей, грустно усмѣхнулся старикъ.

— А древняя, должно быть...

— Хм... какъ не древняя, коли ей вѣку всего ея больше какъ за семьсотъ годовъ есть.. Самая что ни есть древнѣющая церковь во всей гродненской странѣ... И въ экомъ-то вотъ запущеніи!.. Издревле-то вишь ты,—пояснилъ онъ,—тутъ все благочестіе было... польской вѣры еще не было... польская-то ужь потомъ пошла, а допрежь тово—старые люди сказывали, и въ книгахъ быдто тоже есть писано, что все какъ есть одно благочестіе было!.. Ихъ-хи!.. Времена-то теперь слезовыя!—помолчавъ немного, вздохнулъ онъ и грустно закачалъ головою.

— А ты, значитъ, сторожемъ сюда приставленъ?—спросилъ Хвалынцевъ.

— Я-то?.. Я самъ себя приставилъ,—усмѣхнулся дѣдко.—Какъ рѣшили меня этта въ чистую, такъ я, значитъ, въ свое мѣсто пришелъ и жилъ вотъ... Ну, а потомъ вижу-себѣ: годы идутъ мои уже дряхлые; надо, думаю, какъ ни-на-есть Богу потрудиться... Вижу, опять же, мѣсто святое и такая вдругъ пустыня и въ эдакомъ запущеніи... подумалъ я себѣ это да и облюбилъ его... Ну, и живу вотъ, поколь Богъ смерти не дастъ.

— А гдѣ же живешь?—спросилъ Константинъ.

— Кто-ся?—отозвался старикъ.

— Да ты же, дѣдко?!

— Я-то?.. А вотъ тута! — И онъ указалъ рукою на груду кирпичей подъ сохранившимся въ цѣлости алтарнымъ сводомъ.

— Какъ, то-есть, тутъ?—переспросилъ удивленный Хвалынцевъ.—Да гдѣ же тутъ жить?!

— А вотъ тутъ и жить!—совершенно просто, какъ о самомъ естественномъ дѣлѣ, подтвердилъ старикъ.—Чѣмъ же не мѣсто?

— Да развѣ можно такъ-то?

— А зачѣмъ же не можно?.. Что жь, мѣсто Божье, а мнѣ немного надо.

— А спишь-то ты гдѣ же?

— А тута и сплю же; вотъ, за камешками.

Хвалынцевъ полюбопытствовалъ взглянуть на стариково ложе и убѣдиться въ точности его словъ. Подойдя къ грудѣ кирпичей и вскарабкавшись на нее, онъ дѣйствительно увидѣлъ своеобразно належанное мѣсто, гдѣ былъ брошенъ небольшой пучекъ слежалой соломы да старенькій продранный кожушекъ. Убѣдясь въ истинѣ простыхъ, безхитростныхъ словъ дѣдки, онъ невольно посмотрѣлъ на него со страннымъ, смѣшаннымъ чувствомъ удивленья и благоговѣнія къ этой простой, безвѣстной, но столь могуче-твердой силѣ подвижническаго духа.

— Но ты, конечно, только лѣтомъ здѣсь спишь?—все еще не вполнѣ убѣдясь, спросилъ онъ его.

— Нѣтъ, завсегда почти.

— Даже и зимою?

— И зимой когда, тоже... Развѣ ужь дюжій морозъ доймета, ну, тогда къ сосѣду въ хату постучишься... Добрый человѣкъ сосѣдъ тутъ у меня есть неподалечку... привитаетъ тоже когда, грѣшнымъ дѣломъ... пріютъ даетъ...

— Но вѣдь тутъ же, наконецъ, и холодно, и дождикъ, и снѣгъ къ тебѣ западаетъ?—участливо промолвилъ Хвалынцевъ.

— Случается. Да это что жь!.. Дождичекъ, аль снѣжокъ, извѣстно, Божье дѣло! Тоже вѣдь и ему нужно же идти — безъ того нельзя вѣдь! Ну, а у меня кости-то походныя, одно слово, гарнадерскія! сызмальства пріобыкли!.. Наше дѣло теперича такое: гдѣ прилегъ тутъ тебѣ и постеля, камешекъ за подушечку, а нѣбушко за положокъ, а тутъ коли еще соломки малость да кожушекъ,—такъ и очень прекрасно!.. Спокой!.. Ну, а какъ ежели морозъ, тогда ужь—слабъ че-

Digitized by Google

ловѣкъ!—иное дѣло и не выдержишь, къ сосѣду попросишься.

— И давно такъ живешь ты?

— Нѣтъ недавно...

— А какъ недавно-то?

— Да такъ, годовъ съ шестнадцать будетъ, не болѣ.

— А кормишься съ чего ты?—спросилъ Хвалынцевъ.

— Какъ съ чего?!.. Вѣдь я же государскую пенсію получаю... свою, значитъ, заслуженную... Ну, и сосѣдъ тоже когда прикармливаетъ... Да мнѣ что, мнѣ много ль и нужно-то?.. хлѣбца въ водицѣ размочишь себѣ, пососешь малость—и сытъ!

«Вотъ она, эта безвѣстная, темная, но какая же зато великая сила духа!» съ невольнымъ благоговѣніемъ думалось Хвалынцеву. «И вся-то она вотъ кроется въ простомъ русскомъ человѣкѣ... И не требуетъ себѣ ни похвалъ громкихъ, ни удивленія... Умретъ человѣкъ, вѣдь и знать никто не будетъ... Да вѣдь и то сказать, не для людей, не для мірской славы, а для Бога вѣдь и дѣлается... Сила вѣры какая! Стойкость-то какая! Да и простота же какая великая при этомъ!»

Сѣдой дѣдко глядѣлъ такимъ круглымъ, непокрытымъ бѣднякомъ въ своей потертой шапченкѣ, въ своемъ заплатанномъ, тощенькомъ сукмянцѣ, и такъ онъ былъ худъ и блѣденъ съ лица и съ тѣла, и такъ старчески потрясывалась порою его голова и руки (одни глаза только были глубоко и кротко покойны), что Хвалынцеву, по мгновенному и невольному движенію сердца, захотѣлось вдругъ чѣмъ ни-наесть пособить его убогой бѣдности.

Онъ досталъ изъ бумажника пятирублевую ассигнацію и подошелъ къ старику.

— Дѣдушко!—сказалъ онъ, немного смущаясь,—вотъ что, голубчикъ, спасибо тебѣ, во-первыхъ, за бесѣду твою... Позволь мнѣ... На вотъ, тебѣ пригодится...

Старикъ съ покойнымъ удивленіемъ посмотрѣлъ на ассигнацію, а потомъ на Хвалынцева.

— Это что же?.. Зачѣмъ?—спросилъ онъ, видимо недоумѣвая.

— Это я тебѣ... возьми, дѣдушко! — проговорилъ Константинъ, тщетно суя ему бумажку.

— Мнѣ-ѣ?.. Да зачѣмъ же мнѣ-то?

— Возьми... все равно пригодится.

— Хм... Спасибо, добрый человѣкъ... Только это напрасно! Я, какъ есть, всѣмъ доволенъ... И куды же мнѣ такія деньги?.. Нѣтъ, ужь ты лучше спрячь ихъ!.. Твое дѣло молодое, тебѣ пригодятся, а мнѣ куда же?!..

— Ну, коли себѣ не хочешь, такъ отдай сосѣду! — нашелся Хвалынцевъ, — сосѣдъ-то вѣдь поди-ка человѣкъ бѣдный.

— Извѣстно, бѣдный! Съ чего же богатому быть?—Человѣкъ трудящійся.

— Ну, такъ вотъ ты и отдай ему отъ меня.

Старикъ, колеблясь, призадумался на минутку и принялъ деньги.

— Развѣ что для сосѣда!—сказалъ онъ.— Дѣло бѣдокурое: семья!.. Спасибо-те, милый человѣкъ!.. За это тебѣ, значитъ, Господь воздастъ...

Хвалынцевъ почувствовалъ искреннюю радость и довольство, когда старикъ согласился, наконецъ, взять отъ него деньги; а то ему начинало становиться больно и совѣстно при мысли, что, можетъ, онъ нечаянно обидѣлъ дѣда своимъ предложеніемъ. Но мысль объ обидѣ была слишкомъ далека отъ простого и кроткаго сердца этого простого же и непосредственнаго человѣка: онъ потому только и не взялъ для себя этихъ денегъ, что къ чему же онѣ ему? И, вдобавокъ, не заслужилъ-то онъ ихъ ничѣмъ, подобно своей «государской пенсіи»; ну, а для бѣднаго сосѣда дѣло другое!

Хвалынцевъ вдругъ почувствовалъ у себя на душѣ такъ легко, свѣтло, такъ хорошо и спокойно, что снова ему захотѣлось остаться одному — вполнѣ, совсѣмъ какъ есть одному, наединѣ съ самимъ собою, съ своею собственною утихомиренною и просвѣтленною душою. и потому онъ поспѣшилъ проститься со старымъ ветераномъ.

— Постой, добрый человѣкъ... Постой-ка малость!—окликнулъ его старикъ въ догонку,— тебя какъ звать-то? Крёстное имя тебѣ какое?

— А что?—обернулся Хвалынцевъ.

— Да такъ; надобно...

— Да зачѣмъ тебѣ?

— Экой ты какой, право! — мотнулъ головой дѣдко,—ну, значитъ, надобно.

— Ну, а ты скажи зачѣмъ? — улыбнулся Константинъ Семеновичъ.

— Ишь ты!.. Ничего съ тобой не подѣлаешь!.. Ну, затѣмъ и надобно, чтобы знать, какъ помянуть тебя... Богу за-тебя помолиться... человѣкъ-то ты молодой еще...

— Константиномъ крещенъ, — сказалъ ему Хвалынцевъ.

— Константиномъ?.. Ладно; будемъ помнить... Ну, теперь прощай... Дай Богъ тебѣ!..

И старикъ съ тихимъ степеннымъ поклономъ проводилъ его съ площадки [1]).

V.

Добрая встрѣча.

Прошатавшись столько времени, Хвалынцевъ почувствовалъ наконецъ голодъ и легкую усталость. Онъ зашелъ домой, гдѣ только-что кончали вставлять стекла. Комната за все это время сильно все-таки выстудилась, такъ что оставаться въ ней до новой вытопки было рѣшительно невозможно. Онъ справился относительно Свитки, но оказалось, что тотъ до сихъ поръ еще не возвращался. А между тѣмъ хо-

[1]) Этотъ старикъ, очень мало извѣстный даже въ самой Гроднѣ, былъ живъ еще недавно

Digitized by Google

тялось ѣсть. Что̀ тутъ дѣлать? Воизбѣжаніе какихъ-либо новыхъ непріятныхъ столкновеній съ задирчивыми патріотами, Константинъ намѣревался было, несмотря на холодъ, пообѣдать дома, но это оказалось невозможнымъ, потому что «мадамъ Эстерка» въ своемъ «заѣздномъ домѣ» для постояльцевъ стола не держала. Приходилось значитъ какъ ни-на-есть, идти отыскивать какого-нибудь трактирнаго обѣда. Эта печальная необходимость вновь повергла нашего героя въ несовсѣмъ-то пріятное расположеніе духа. Впрочемъ, какъ бы то ни было, но онъ рѣшилъ себѣ не терять собственнаго достоинства и не притворяться болѣе иностранцемъ, а быть самимъ собою — русскимъ, такимъ какъ и всегда, какимъ сотворила его природа и выростила родная, русская почва.— «Нечего, и въ самомъ дѣлѣ, плясать по дудкѣ этихъ нахаловъ!.. Что̀ за малодушіе!» сказалъ онъ самому себѣ и отправился на поиски обѣда. У Эстерки ему сказали, что обѣдъ можно найти въ «рестаурацыи» и растолковали, какъ найти ее. Послѣднее было вовсе не трудно: стоило только дойти до устья Мостовой улицы, къ гостиному двору, и тутъ же, заворотѝвъ налѣво, первая дверь въ угловомъ домѣ и будетъ эта самая «рестаурацыя».

Подходя къ цѣли своихъ исканій, Хвалынцевъ нагналъ двухъ какихъ-то офицеровъ, которые, повидимому, направлялись туда же. И дѣйствительно, онъ не ошибся въ своемъ предположеніи: офицеры скрылись какъ разъ за указанною ему дверью.—«Ну, вотъ и прекрасно!» подумалъ себѣ Константинъ; «ежели опять случится какая-нибудь непріятность, я просто обращусь къ нимъ какъ проѣзжій, какъ русскій, наконецъ, къ русскимъ же офицерамъ, и, въ случаѣ надобности, попрошу принять въ себѣ участіе... Конечно, ежели порядочные люди, они въ этомъ не откажутъ... Можно даже будетъ сообщить имъ, какъ-нибудь à propos, что я самъ ѣду въ Варшаву въ полкъ», додумалъ онъ себѣ кстати, не безъ нѣкотораго юнаго самодовольствія, что-дескать «и я тоже почти военный, и какъ будущій собратъ и прочее»... Однимъ словомъ, Хвалынцеву, по молодости лѣтъ, не непріятно было при мысли о возможности немножечко заявить себя съ будущей воинственной стороны, и не только что предъ этими офицерами, но отчасти и предъ самимъ собою порисоваться чуточку своимъ будущимъ военнымъ званіемъ. За все это время онъ успѣлъ уже на столько свыкнуться съ мыслію о предстоящемъ ему положеніи, что иногда находилъ въ немъ даже свои пріятныя и красивыя стороны, даже не безъ нѣкотораго самодовольствія думалъ о томъ, что гусарскій долманъ, шапка и сабля будутъ идти къ нему, даже передъ зеркаломъ становился иногда въ красиво-воинственную позу и на мгновенье воображалъ себя уже кавалеристомъ. Но такія удаленія въ область мечтаній находили на него только мгновеньями, и онъ тотчасъ же отрезвлялъ, осаживалъ себя, и съ насмѣшливой улыбкой надъ собственною особой, краснѣя отъ сознанія въ себѣ какой-то внутренней неловкости предъ самимъ же собою, качалъ головой и бормоталъ сквозь зубы: «экое ребячество, однако!.. Вотъ глупость-то!» Ему уже какъ-будто было стыдно давать столь беззавѣтно естественную дань своей все еще «бѣлогубой» и потому золотой юности.

Подъ вліяніемъ надежды на содѣйствіе офицеровъ, «къ которымъ можно обратиться въ случаѣ крайней надобности», Хвалынцевъ вошелъ въ трактиръ. Въ первой комнатѣ щелкали бильярдные шары, виднѣлись нахальныя рожи и пахло пивомъ, табачнымъ дымомъ, кухоннымъ чадомъ жаренаго масла и какой-то комнатной кислятиной. Однимъ словомъ, первое впечатлѣніе, все равно какъ и давеча въ «цукернѣ», было непріятное. Во второй комнатѣ за буфетомъ сидѣлъ какой-то громадный, коренастый, плотный панъ въ галстухѣ ярко-краснаго цвѣта, съ пивною, одутловатою и лоснящеюся физіономіею и съ неумолчно сопящимъ богатырскимъ носомъ, а подлѣ него, съ претензіями на кокетливость, вертѣлась какая-то пани въ жалобѣ, — не дурнушка и не хорошенькая, а такъ-себѣ, и притомъ лѣтъ уже подъ тридцать. Около этой пани, не безъ военной ловкости, небрежно опершись на буфетную стойку, стояли тѣ самые офицеры, на которыхъ разсчитывалъ юный герой нашъ, и очень любезно болтали съ ней о чемъ-то, но увы!—опять разочарованіе для Хвалынцева!— болтали по-польски.

Константинъ прошелъ въ смежную столовую и сразу занялъ себѣ у большого стола свободное мѣсто.

— Чего̀ панъ потршебуе? [1])—съ обычной фразой, очень вѣжливо подлетѣлъ къ нему съ грязной салфеткой въ рукѣ грязно одѣтый трактирный слуга.

Хвалынцевъ на минутку замялся, и вдругъ:

— Обядъ,—проговорилъ онъ, скрадывая отчетливость звуковъ и замѣняя въ этомъ словѣ букву ѣ буквою я, а удареніе ставя на первой гласной и такимъ образомъ коверкая русское: *обѣдъ* на польское: *обядъ*.

— Зàразъ, пане! ѐдней хвили! [2])—очень вѣжливо и предупредительно поклонился лакей, и обернувшись къ другому, возившемуся съ чѣмъ-то у одного изъ столиковъ, вскричалъ ему:

— Эй, Станѝшекъ! Прошен' картѐчкен' порцiйнен' для пана! [3])

А Хвалынцевъ, межъ тѣмъ, вспыхнулъ багровой краской стыда и досады: «Опять!.. опять смалодушничалъ!» укорилъ онъ себя мысленно.

[1]) Что̀ вамъ угодно.
[2]) Сейчасъ, въ одну минуту.
[3]) Обѣденную карту.

Digitized by Google

Станíшекъ тотчасъ-же принесъ требуемую картéчку. Вѣжливый лакей выхватилъ ее у него изъ рукъ и предупредительно подалъ Хвалынцеву.

Тотъ сталъ разбирать безграмотно написанный листокъ:

«Зупа ракóва, зупа цытринóва, штукáменцъ, фляки господарски, колдýны, гузарска пéчень, налéсники... Чортъ ихъ разберетъ что̀ оно такое!» съ досадой пожалъ онъ плечами и, конфузясь еще болѣе, несмѣло поднялъ глаза на вѣжливо ожидавшаго лакея и спросилъ его:

— А по-русски написанной карточки у васъ развѣ нѣту?..

— Цó пану? — нахмурился вдругъ лакей, будто-бы не разслышавъ.

Константинъ повторилъ свой вопросъ.

— Пршепрашамъ пана, не розýмемъ, по якему панъ мýви... Ницъ не розýмемъ! [1])

Хвалынцева разбирала досада.—Онъ чувствовалъ, что снова начинается притворство, но тѣмъ не менѣе, вопреки самому себѣ, снова невольно какъ-то смалодушничалъ. У него была одна изъ тѣхъ мягкихъ, деликатныхъ натуръ, которыя, какъ mimosa pudica, инстинктивно какъ-то ёжатся и подбираются въ первую минуту при встрѣчѣ съ каждымъ нахальствомъ и съ какою-бы то ни было наглостью.

— Я... прóшу... руськ... то-есть москéвску картéчку,—сковеркалъ онъ будто бы на польскій ладъ свою фразу, предполагая тѣмъ самымъ подкупить въ свою пользу лакея.

Но тотъ былъ истинно-гражданскій неподкупенъ.

— Цó то за москéвски картéчки!?.. Тутай нима такихъ! [2])—съ гордымъ пренебреженіемъ проговорилъ онъ и тотчасъ же отошелъ отъ Хвалынцева съ такимъ видомъ, какъ будто на томъ мѣстѣ, гдѣ тотъ сидѣлъ, никого не сидѣло, а было просто пустое мѣсто.

Константинъ Семеновичъ вскипѣлъ негодованіемъ, но... осадилъ себя тотчасъ же. Онъ ужасно боялся всякихъ скандальныхъ исторій, а особенно здѣсь, въ чужомъ, незнакомомъ и столь враждебно настроенномъ городѣ. У него была именно одна изъ тѣхъ натуръ, которыя человѣку, значительно превосходящему ихъ общественнымъ положеніемъ, въ состояніи смѣло наговорить много рѣзкихъ и даже дерзкихъ вещей, будучи на то вызваны первою дерзостью и пренебреженіемъ; человѣку равному имъ по общественному или нравственному положенію эти натуры, послѣ перваго смущенія, всегда бываютъ въ состояніи дать достойный порядочнаго человѣка отвѣтъ, показать отпоръ и при случаѣ даже какъ слѣдуетъ наказать нахала; но съ нахаломъ на лакейской подкладкѣ, съ наглецомъ, стоящимъ гораздо ниже на общественной лѣстницѣ, эти натуры, — быть можетъ, изъ привитаго имъ воспитаніемъ щекотливаго и деликатнаго чувства гуманности и сознанія человѣческаго «равноправія».—рѣшительно осѣкаются, конфузятся, краснѣютъ, и, во имя принципа «равноправія», почему-то вдругъ начинаютъ чувствовать себя какъ будто даже нѣсколько виноватыми предъ халуйскою наглостью какого-нибудь лакея. Какъ въ первыхъ двухъ случаяхъ, такъ и въ послѣднемъ это происходитъ въ подобныхъ натурахъ изъ одинаковаго источника: причина тутъ черезчуръ деликатная, щекотливая и строго охраняющая высоту собственнаго самолюбія щепетильность. Только въ послѣднемъ случаѣ она боится, чтобы какъ-нибудь не уронить себя, и потому ёжится, подбирается и молчаливо сноситъ всякое нахальство...

Такъ было теперь и съ Хвалынцевымъ. Всею раздосадованною душою своею желая строго осадить трактирнаго патріота-лакея, онъ между тѣмъ осадился самъ и молчалъ, чувствуя, какъ все болѣе краснѣетъ и хлопаетъ вѣками.

«Къ офицерамъ развѣ»... мелькнула было ему спасительная мысль, но офицеры съ такою игривою любезностью продолжали болтать съ вертлявой полькой, что напрасно было бы ихъ и затрогивать. «Да и что, въ самомъ дѣлѣ, я за младенецъ такой, что мнѣ непремѣнно нужны чужія помочи!» съ досадой на себя подумалъ Хвалынцевъ и въ нерѣшительности продолжалъ сидѣть надъ непонятной «картéчкой порційной», не предпринимая ровно ничего и не зная даже, какъ теперь поступить ему.

Въ эту самую минуту, въ разстегнутомъ на распашку форменномъ сюртукѣ, съ ухарски-помятой фуражкой на головѣ, твердою, увѣренной походкой вошелъ въ комнату какой-то военный докторъ съ хлыстомъ и чуднымъ, волнисто-чернымъ сéтеромъ и посвистывая съ громомъ отодвинулъ себѣ стулъ. Не снимая съ головы фуражки и не замѣчая ровно никого, онъ непринужденно усѣлся какъ-разъ напротивъ Хвалынцева и бойко оглянулся вокругъ, ища человѣка.

— Эй, вы!.. Канальи!.. Обѣдать мнѣ!.. Да живо у меня, чег-р-ртъ васъ возьми!—чистѣйшимъ русскимъ языкомъ и звучнымъ пріятнымъ баритономъ закричалъ онъ, нѣсколько картавя, и потому съ особенною старательностью налегая на букву *р*, которая въ соединеніи съ *з* выходила у него какъ-то особенно красиво, какимъ-то придыхательно-рокочущимъ звукомъ.

Оба лакея въ ту жь минуту живо бросились къ нему: одинъ съ грязной салфеткой, другой съ «картечкой» и оба готовые съ подневольной охотой предупредить его малѣйшее желаніе.

[1]) Извините, не понимаю по каковски вы это говорите, ничего не понимаю.

[2]) Что это за московскія карточки? Тутъ нѣтъ такихъ.

Digitized by Google

«Какая славная, симпатичная рожа! Именно рожа!» съ особеннымъ удовольствіемъ и съ особенною ласковостью, глядя на это лицо, подумалось Хвалынцеву. А между тѣмъ лицо вовсе не отличалось изяществомъ и красотою: напротивъ, на немъ, какъ говорится, чортъ въ свайку игралъ: все оно было вихрявое, корявое, въ оспинахъ, съ ухарски закрученными усами, съ взъерошенными волосами, но такое открытое, умное, добродушно-честное, съ такимъ разумнымъ, крутымъ и выпуклымъ лбомъ, съ такими свѣтлыми, мужественно-добрыми и смѣлыми глазами, что, несмотря на рябоватость и вихры, оно стоило лица любого красавца, и даже если бы этого человѣка поставить рядомъ съ любымъ патентованнымъ, писаннымъ красавцемъ предъ любою смыслящею женщиною и шепнуть ей: «выбирай, котораго хочешь себѣ въ мужья или въ любовники?» то нѣтъ сомнѣнія, что женщина, указавъ на корявую рожу, съ восторгомъ увлеченія сказала бы: «этого». Это было одно изъ тѣхъ красиво-некрасивыхъ, свѣтло-умныхъ, мужественныхъ лицъ, которымъ дано свыше въ счастливый удѣлъ нравиться хорошимъ женщинамъ и—внѣ всякаго донъ-жуанизма и сердцеѣдства — невольно, инстинктивно покорять себѣ женскую волю, женское чувство. Такимъ это лицо показалось теперь Хвалынцеву. Онъ вглядывался урывками въ эти привлекательныя черты, въ эту высокую, мужественно-стройную, коренастую фигуру, и вдругъ:

«Боже мой, какое знакомое лицо!.. Я гдѣ-то видѣлъ его, гдѣ-то встрѣчался съ нимъ!» мелькнуло въ умѣ Константину. «Да, дѣйствительно встрѣчался... Но гдѣ?.. Когда?..»

Онъ напрягалъ всѣ усилія своей памяти, стараясь припомнить себѣ, но тщетно; между тѣмъ, чѣмъ болѣе вглядывался, тѣмъ болѣе убѣждался, что это лицо знакомо, навѣрное знакомо ему!—«Ахъ, ты, чортъ возьми, неужели же я не вспомню!.. Какая досада!.. А между тѣмъ... эти черты... улыбка... взглядъ... вихры, все это такъ знакомо мнѣ, все это я видѣлъ гдѣ-то и когда-то, и все это такъ напоминаетъ мнѣ что-то смутное, хорошее»... И дѣйствительно, оно напоминаетъ ему *нѣчто*, подобно тому, какъ иногда какая-нибудь отрывочная, выхваченная откуда-то музыкальная фраза, стихъ забытаго и невѣдомо чьего стихотворенія, внезапно разлившійся запахъ духовъ, употреблявшихся кѣмъ-то и когда-то, или вдругъ принесенный съ вѣтромъ откуда-то весенній ароматъ цвѣтовъ какихъ-то, нежданно повѣетъ на васъ чѣмъ-то знакомымъ, былымъ, изжитымъ, и хорошо изжитымъ, но давно позабытымъ... «Чѣмъ же это, чѣмъ повѣяло на тебя? Когда и гдѣ, и какъ все это было?» задаешь самому себѣ напряженно-мучащіе вопросы — и не можешь припомнить!.. Припоминаешь до поразительности ясно запахъ, звукъ, то-есть изжитое нѣкогда *ощущеніе*, впечатлѣніе факта, а самый фактъ, словно нарочно и такъ досадно, какъ будто дразня тебя, ускользаетъ изъ твоей памяти!

Докторъ, казалось, замѣтилъ взглядъ Хвалынцева и потому раза два искоса посмотрѣлъ на него съ мимолетнымъ, равнодушнымъ вниманіемъ.

«Къ нему развѣ?..» мелькнуло въ сознаніи Константина—и онъ тотчасъ же, что́ называется съ-онику, рѣшился обратиться къ доктору:

— Извините,—сказалъ онъ, и вдругъ почувствовалъ послѣ этого, что уже начинаетъ смущаться.—Я попрошу васъ помочь мнѣ... («Тьфу, совсѣмъ не то!» говорила въ это самое время внутренняя мысль, — «не то! не такъ!»), то-есть, оказать нѣкоторое содѣйствіе... маленькую услугу...

Докторъ смотрѣлъ на него взглядомъ вѣжливо-холоднаго вниманія.

— Къ вашимъ услугамъ... чѣмъ могу-съ?—проговорилъ онъ невнятной скороговоркой.

— Я русскій... проѣзжій... («А что́, какъ онъ вдругъ думаетъ, что я у него денежнаго пособія хочу просить?» съ внутреннимъ ужасомъ и мурашками по спинѣ промелькнуло въ умѣ Хвалынцева — и онъ окончательно сконфузился. «Какая глупость!.. Нѣтъ!.. По внѣшности долженъ же видѣть, что не то!»)

— Ну-съ?—поощрительно ласковымъ взглядомъ подбодрилъ его докторъ, замѣтя эту конфузливую застѣнчивость.

— Я по-польски не говорю и не понимаю ни слова, а меня, кажись, здѣсь за это наказываютъ самымъ наглымъ невниманіемъ къ моимъ требованіямъ, а между тѣмъ ужасно ѣсть хочется!—поправился наконецъ Хвалынцевъ, ободренный взглядомъ своего vis-à-vis, и когда проговорилъ всю эту фразу, то вдругъ облегченно почувствовалъ, будто у него цѣлая гора съ плечъ свалилась.

— Ну, въ этомъ мы вамъ поможемъ!—улыбнулся докторъ и обернулся къ лакею. — Эй, ты! вацьпанъ! поди-ка сюда!

— Што барыну вгодно?—подлетѣлъ къ нему и, почтительно сгибаясь, проговорилъ тотъ самый лакей, который Хвалынцеву сейчасъ лишь заявилъ, что онъ «ницъ не розумѣ».

— Видите?.. понимаетъ! говоритъ! отлично!—указалъ на него докторъ,—и всѣ они такъ-то повѣрьте! Чтобъ у меня сію минуту вотъ имъ былъ поданъ обѣдъ! Слышишь?

— Слушаю, барынъ.

— Ну, то-то-же!.. Маршъ!.. А карточку я вамъ переведу по-русски, вы себѣ и выберете,—прибавилъ онъ, обратясь къ Хвалынцеву, который самымъ искреннимъ образомъ выразилъ ему тутъ же свою безконечную благодарность.

Когда Константину подали (въ самомъ непродолжительномъ времени) «зупу цытринову»,

Digitized by Google

докторъ, подперевъ свои скулы обѣими ладонями и пристально вглядываясь въ него, сказалъ вдругъ:

— А мнѣ ваше лицо ужасно знакомо!

У Хвалынцева, при этихъ неожиданныхъ словахъ, дрогнула внутри какая-то радостная жилка живого удовольствія.

— Представьте, я это же самое думалъ о васъ!—воскликнулъ онъ съ свѣтлой улыбкой.— Мы съ вами гдѣ-то и когда-то встрѣчались... только гдѣ-вотъ?—хоть убей, не могу припомнить!.. А ужасно знакомо!

— Я вамъ сейчасъ припомню, гдѣ,—сказалъ докторъ,—мы встрѣчались съ вами раза два-три у студента Устинова.

— У Андрея Павлыча?—съ живостью перебилъ Константинъ.

— У Андрея Павлыча,—подтвердилъ докторъ,—назадъ тому это уже года три, пожалуй.

— Господи!.. Да вѣдь это-же мой другъ большой!—искренно, но съ затаеннымъ самодовольствомъ воскликнулъ Хвалынцевъ. Онъ уважалъ Устинова и, гордясь въ душѣ дружбой и довѣріемъ этого человѣка, радъ былъ и предъ общимъ знакомымъ намекнуть на свои къ нему отношенія.

— Ну, и мой тоже «вельки пршіяцёлэкъ»,— отозвался докторъ. — Я былъ тогда еще въ Медико-Хирургической Академіи на пятомъ курсѣ, а онъ тоже свою физико-математику кончалъ.

Подобно тому, какъ часто случается, что повѣявшій на душу чѣмъ-то давно знакомымъ, но давно забытымъ, запахъ или звукъ—какъ скоро ты вспомнишь себѣ, что именно онъ напоминаетъ — озаряетъ вдругъ, одномгновенно въ твоей памяти самымъ яркимъ свѣтомъ и до малѣйшихъ мелочей и подробностей всю позабытую картину прошлаго, съ которымъ этотъ звукъ или запахъ тѣсно соединенъ, и озаряетъ ее съ тѣмъ большею ясностію, съ тѣмъ бо́льшими деталями и подробностями, чѣмъ болѣе ты не могъ припомнить, что̀ именно онъ напоминаетъ тебѣ, — такъ точно и теперь: одно напоминаніе имени Устинова и того обстоятельства, что напомнившій присовокупилъ еще о себѣ, что онъ былъ въ то время медико-хирургическимъ студентомъ, вдругъ озарило яркимъ свѣтомъ память Хвалынцева. Онъ съ необыкновенною ясностію, живо и подробно, въ одно мгновеніе, воспроизвелъ въ воображеніи своемъ всю картину того прошлаго времени: маленькую студенческую комнатку на «Острову», съ ея табачнымъ дымомъ и запахомъ холостого жилья, съ ея самоваромъ и лавочною колбасою, съ ея черной доской, на которой мѣломъ были выведены быстрой рукой написанныя сложно-математическія формулы; вспомнилъ маленькаго большеголоваго математика, вспомнилъ ясно и эту корявую «рожу» съ ея вѣчно-беззаботной, умной улыбкой и съ какою-то беззавѣтною размашистостью удалой русской натуры... Все, все это до послѣднихъ мелочей вспомнилось теперь Хвалынцеву, моментально озаренное яркимъ и теплымъ солнцемъ юношескаго воспоминанія.

— Да вы... позвольте... ваша фамилія Холодецъ?—вдругъ припомнивъ и это, быстро спросилъ онъ.

— Холодецъ,—подтвердилъ докторъ,—только не польскій холодецъ, то-бишь «хлудникъ»,— прибавилъ онъ съ улыбкой,—а россійскій. Впрочемъ, чортъ его знаетъ какой! Отецъ былъ съ Хохландіи, мать ярославская, а самъ я aus Kurland!..

— Ну, такъ, такъ!.. Холодецъ!—со свѣтлой улыбкой удовольствія говорилъ Константинъ,— да Боже мой! еще недавно, нѣсколько мѣсяцевъ тому назадъ, онъ неоднократно, бывало, поминалъ ваше имя... говорилъ про васъ...

— Гдѣ онъ теперь?—съ живостью спросилъ докторъ.

— Теперь можетъ-быть въ Петербургѣ, но послѣднее письмо я получилъ отъ него въ сентябрѣ еще изъ Славнобубенска.

— Учительствуетъ тамъ?

— Учительствуетъ.

— Ну, а мы вотъ тутъ во древнемъ градѣ Городнѣ подвизаемся. Эка судьба-то людей швыряетъ, подумаешь!.. А вы, сдается мнѣ такъ, буде не ошибаюсь,—прибавилъ докторъ,—вы кажись вѣдь Хвалынцевъ?

— Хвалынцевъ!—подтвердилъ Константинъ, испытывая въ душѣ пріятное чувство отъ сознанія того, что и его фамилія была припомнена.

— Ну, такъ здравствуйте!.. Вѣдь мы, значитъ, старые знакомые!—привставъ съ мѣста и открыто, радушно протягивая чрезъ столъ свою руку, сказалъ Холодецъ.—Les amis de nos amis sont nos amis,—какъ говорятъ французы.

Они пожали другъ другу руки, и Хвалынцевъ съ особеннымъ удовольствіемъ въ душѣ ощутилъ впечатлѣніе правдиво-прямого и честнаго, именно, *честнаго* пожатія руки со стороны доктора.

Въ этихъ лучисто-свѣтлыхъ глазахъ, въ этой корявой, милой рожѣ, въ открытой улыбкѣ, въ звучномъ голосѣ, во всей этой коренасто-размашистой, смѣлой и сильной фигурѣ было нѣчто влекущее, располагающее, нѣчто озаряющее теплымъ, хорошимъ внутреннимъ свѣтомъ того, кто открыто и просто приближался къ этому человѣку. Онъ былъ почти непонятно, невольно, но очень, очень симпатиченъ.

Хвалынцевъ отъ души былъ радъ своей неожиданной встрѣчѣ.

Оба разговорились какъ-то просто, безцеремонно, по душѣ, какъ дѣйствительно старые знакомые. Да впрочемъ съ Холодцомъ надо было одно изъ двухъ: или совсѣмъ не говорить, или же говорить по душѣ,—такой ужь человѣкъ былъ.

Константинъ разсказалъ ему въ нѣсколько

Digitized by Google

комическомъ тонѣ всѣ свои затрудненія и непріятности, перенесенныя въ теченіе нынѣшняго дня въ «цукернѣ» и въ «рестаурацыи» до счастливаго столкновенія съ нимъ, Холодцомъ, и спросилъ его:

— Скажите. пожалуйста, какими судьбами устраиваете вы, напримѣръ, такъ, что говорите по-русски, и они вамъ никакихъ шикановъ не дѣлаютъ, а напротивъ относятся къ вамъ даже съ очень замѣтнымъ почтеніемъ?.. Или ужь это оттого, что вы обжились здѣсь и попривыкли они къ вамъ, а я вотъ проѣзжій, такъ потому это, что-ли... ужь и не знаю, какъ объяснить себѣ!

— Да, батюшка мой,—отвѣтилъ Холодецъ,— могу сказать, что я ихъ пріучилъ къ своей особѣ, заставилъ привыкнуть къ себѣ, а сначала они тоже было и ко мнѣ со своимъ гоноромъ, все-равно какъ къ вамъ вотъ... Да я отучилъ ихъ отъ этого сразу. Надо вамъ сказать,—пояснилъ онъ,—что мы всѣ пріѣзжаемъ сюда изъ Россіи, не имѣя объ этихъ «тутэйшихъ» панахъ ни малѣйшаго понятія, и все прилагаемъ къ нимъ наши школьныя общегуманныя теоріи и воззрѣнія, тогда какъ здѣсь это все окончательно неприложимо, и они, чѣмъ больше вы съ ними гуманничаете, тѣмъ они нахальнѣе садятся вамъ на шею и уничтожаютъ васъ, такъ или иначе. Здѣсь, батюшка мой, Дарвиновская «борьба за существованіе» идетъ: чья возьметъ, значитъ. Дѣло-то здѣсь на ножахъ стоитъ, а не на гуманныхъ теорійкахъ.

— Сначала, какъ пріѣхалъ я этта въ полкъ,— продолжалъ словоохотливо Холодецъ, — прямо изъ Академіи (ну, знаете, со всѣми этими нашими гуманностями и прочими конфетками), *они* было и насѣли на меня, все-равно какъ и на васъ-же. Да куда! Еще хуже гораздо!.. Ну, обидно стало, наконецъ... Да вотъ, въ этомъ-же самомъ кабакѣ было. Прихожу я, знаете, сюда однажды вечеромъ: поѣсть захотѣлось, а самъ (пришлось, знаете, какъ-то такъ!) порядкомъ былъ «дрызнувши»,—случается!.. Они мнѣ, видя такое мое состояніе, вдругъ этта очень ужь обидную наглость изобразили. Вздрвало меня это. «Ахъ, вы, растакъ васъ!» думаю себѣ,— ну, и разнесъ-же ихъ! То-есть, что называется, въ пр-рахъ разнесъ!.. Мужикъ-то я, какъ сами видите, здоровый, и силу въ себѣ имѣю большую, а они меня очень ужь наглостью своею озлили,—я и разнесъ... то-есть вотъ какъ!—вотъ и эту прилавочную свиную морду тоже!.. Бить не люблю, но тутъ пришлось! Ну, жаловаться пошли. Конечно хотя мнѣ изъ-за нихъ, скотовъ, сутки на гауптвахтѣ посидѣть пришлось, зато ужь они меня всѣ, сколько ихъ ни есть въ Гроднѣ, съ тѣхъ самыхъ поръ отъ души уважаютъ; и по русски вѣдь понимаютъ со мною! Я — грѣшный человѣкъ — я ихъ въ струнѣ содержу. Это имъ полезно бываетъ, все равно какъ oleum ricinum, или какъ добрая синапизма! ей Богу! Вы что думаете себѣ?.. Это, я вамъ скажу, вотъ какой народецъ: чуть ты къ кому по-человѣчески, онъ, во-первыхъ, норовитъ сейчасъ же осѣдлать и замундштучить тебя, сдѣлать изъ твоей персоны свою вьючную скотину, а во-вторыхъ, непремѣнно, какъ нина-есть, напаскудитъ тебѣ, да и не просто вѣдь, не православно напаскудитъ, а непремѣнно «съ гордосцью народовей!» Вотъ какъ!.. Но чуть ты ему показалъ свой кулакъ да ногти, онъ сейчасъ тебѣ: «падамъ до ногъ!.. пршепрашамъ, пане ясневельможны!» сейчасъ-же, мерзецъ, пятки твои благоговѣйно, со вкусомъ лизать начинаетъ. Вотъ, батюшка мой, каковъ народецъ! И съ нимъ иначе нельзя!—заключилъ Холодецъ, и Хвалынцевъ не могъ въ душѣ своей не согласиться, что въ его словахъ заключается очевидная правда.

Онъ кстати разсказалъ при этомъ утреннее столкновеніе свое въ костелѣ съ двумя приличными съ виду панами.

— Эге, постойте, батенька!.. перебилъ его, выслушавъ почти всю исторію, Холодецъ.—Вы говорите, что съ кокардой-то губернаторскимъ чиновникомъ назвался?

— Губернаторскимъ,—подтвердилъ Константинъ Семеновичъ.

— А какой онъ съ виду-то? Не эдакой ли рыженькій, золотушненькій, что какъ посмотришь, такъ невольно фридрихъ-гераусъ хочется сотворить? Однимъ словомъ: глисту съ краснымъ околышемъ напоминаетъ? Эдакую, знаете, тоненькую глисту съ кокардой?

Опредѣленіе Холодца хотя было, такъ сказать, и метафорически-аллегорично, но до такой степени мѣтко, яркообразно и характерно, что Хвалынцевъ, сразу узналъ, кого онъ подразумѣваетъ.

— Онъ! онъ!.. Какъ есть, онъ живой!—невольно воскликнулъ Константинъ Семеновичъ.

— Э, да это значитъ, панъ Пршиподхлѣбный! Знаю я его... Какъ не знать пана Стася Пршиподхлѣбнѣго... Только вы говорите, будто онъ назвалъ себя «по особымъ порученіямъ»?

— Да, губернаторскимъ чиновникомъ по особымъ порученіямъ, подтвердилъ Хвалынцевъ.

— Ну, это онъ вретъ!—замѣтилъ Холодецъ.— Онъ точно губернаторскій чиновникъ, только не по особымъ, а просто для письмоводства, канцелярскій перваго разряда. Да впрочемъ, повышеніе въ степеняхъ—это у нихъ общая слабость, постоянная болѣзнь, все равно, какъ швейцарскій кретинизмъ или петербургскіе тифы да холеры. У нихъ, напримѣръ, ротмистръ или майоръ непремѣнно «панъ пулковникъ», сельскій учитель не иначе, какъ «панъ профессоръ», гимназистъ—«панъ студентъ», фельдшеръ — «панъ докторъ» и т. д... а что эта шляхта, напримѣръ, дворяне, паны поссесіонаты, сирѣчь помѣщики, такъ ужь изъ этихъ, навѣрное, кто владѣлъ двумя стами хлопскихъ душъ, того всѣ величаютъ «панъ грабя», а не то и «ксіонжь найяснѣйши»,—сейчасъ же придадутъ графскій

Digitized by Google

или княжескій титулъ; а сами эти импровизированные графы да князья ни мало этимъ не оскорбляются; напротивъ, сами же на ложкахъ своихъ, на салфеткахъ (буде у кого есть), на фронтонахъ, на каретахъ, на конвертахъ и почтовыхъ бумажкахъ да на печатяхъ своихъ сейчасъ «прши свдимъ гэрбу» выставляютъ свой шифръ и графскую или княжескую корону. Таковъ уже здѣсь воздухъ аристократическій!.. А этого-то пана Пршиподхлѣбнѣго я знаю!.. Онъ у нихъ то, что называется «комиссаржъ опи́нiи публи́чней».

— Это что же такое? — изумился Хвалынцевъ, не понявшій такого громкаго титула.

— А это, видите, есть у нихъ своя «организація революцыйна народова»,—пояснилъ Холодецъ,—и это мы стороною знаемъ про-себя доподлинно! Такъ вотъ видите ли, въ этой организаціи существуютъ разныя должности, и между прочимъ должность «комиссаржа опи́нiи публи́чней», обязанность котораго состоитъ въ томъ, чтобы быть ходячимъ телеграфомъ, ходячей газетой, олицетворенной сплетней политической и распространять какъ можно болѣе всякіе слухи, а наипаче всякую нелѣпую, но пикантную ложь.

— Да зачѣмъ же это?—недоумѣвая, пожалъ плечами Хвалынцевъ.

— Вотъ вопросъ!.. Понятное дѣло зачѣмъ!—сказалъ докторъ.—Затѣмъ, батюшка мой, чтобы въ темныхъ массахъ неослабно поддерживать «духъ народовы», а проѣзжихъ разныхъ, въ родѣ какъ вы вотъ, да иностранцевъ вводить въ сердобольный ужасъ и въ негодованіе на «ржондъ московскій». Ну, молва-то вѣдь бѣжитъ, растетъ, распространяется; а этого намъ только и нужно. Тутъ вѣдь всякія средства хороши и пригодны!

— Но вѣдь этотъ... какъ его?.. Пши... Пши...

— Пршиподхлѣбный, — подсказалъ Холодецъ.

— Да, панъ Пршиподхлѣбный! Онъ же вѣдь состоитъ на государственной службѣ, — возразилъ Хвалынцевъ.

— Состоитъ,—подтвердилъ докторъ.—Что жь изъ этого? Тутъ, батюшка мой, это никакъ не помѣха, а напротивъ, одно другому очень помогаетъ.

«Да вѣдь я-то! я-то самъ чѣмъ же намѣреваюсь быть? развѣ не тѣмъ же? развѣ не тоже служить двумъ богамъ?» съ колючимъ и горькимъ ударомъ въ самое сердце вдругъ подумалъ себѣ Хвалынцевъ—и ему вдругъ стало совѣстно, стыдно и даже недостойно какъ-то сидѣть и такъ откровенно, дружески говорить съ этою прямою и честною душою, которая такъ смѣло, ясно и привѣтливо глядѣла на него изъ симпатичныхъ, довѣрчивыхъ глазъ доктора.

«Нѣтъ! Нѣтъ!.. Я не буду такимъ!.. Я не пойду! не пойду за ними!» вдругъ заговорилъ какой-то сильный, внутренній голосъ въ душѣ Константина — и, принявъ это, повидимому, твердое рѣшеніе, онъ вдругъ почувствовалъ себя какъ-то честно, легко и спокойно.

— Вотъ тоже!.. Глядите сюда, налѣво, вотъ на этого достопочтеннаго субъекта, съ такою административно-внушительною и джентльменски-аристократическою наружностью!—указавъ глазами, но нимало не понизивъ голоса, обратилъ Холодецъ вниманіе Хвалынцева на одного господина, сидѣвшаго за отдѣльнымъ столикомъ, въ компаніи двухъ-трехъ родовитыхъ пановъ, тоже весьма джентльменскаго свойства.— Замѣтьте, прислушайтесь, — говорилъ Холодецъ,—разговоръ тамъ идетъ по-польски да по-французски... Богъ его знаетъ какой. Это для насъ, конечно, совершенно постороннее дѣло и даже не интересно нисколько; но *по-польски*— вонъ что замѣтить надобно! И этотъ баринъ хотя и плохо, *но старается* говорить по-польски!

— А кто это такой?—тихо спросилъ Хвалынцевъ.

— Это?.. Это, батюшка мой, одинъ изъ нашихъ высокихъ губернскихъ тузовъ,—пояснилъ докторъ.—Это князь ***, недавно пріѣхавшій изъ Россіи. Настоящій, а не тутэйшій князь, такъ сказать, прямой Рюриковичъ, и видите, какъ тутэйшіе-то обработываютъ на свой ладъ нашихъ россійскихъ князей и администраторовъ.

— Зачѣмъ же онъ обѣдаетъ въ скверномъ трактирѣ?—удивился Хвалынцевъ.

— Что жь дѣлать, коли лучшаго нѣту. А князь общество любитъ, и эти паны навѣрное пригласили его распить съ собою нѣсколько бутылочекъ шампанскаго: русскій князь любитъ-таки это! Случилось мнѣ быть съ нимъ какъ-то разъ въ одномъ домѣ,—продолжалъ Холодецъ.—ну и наслушался же я!.. Во-первыхъ, презрѣніе къ намъ грѣшнымъ самой высокой, 96-й аристократической пробы; во-вторыхъ, вѣроятно, въ силу этого же презрѣнія, его сіятельство по пріѣздѣ своемъ тотчасъ же постарался дружески сойтись съ тутэйшими родовитыми панами и сталъ, въ крутой ущербъ клопу, тянуть во всемъ панскую руку; а въ-третьихъ, беззастѣнчиво, при русскихъ, и при-такихъ русскихъ, которые достаточно-таки знаютъ и исторію здѣшняго края, этотъ баринъ, не краснѣя, изволитъ проповѣдывать, что «помилуйте, молъ, насъ надо всѣхъ скорѣе выгнать отсюда! И странное, молъ, дѣло, какъ это Россія не видитъ, что въ этомъ краѣ нѣтъ ровнехонько ничего русскаго, что онъ составляетъ съ собственно-Польшею какъ есть одно тѣло и одинъ нераздѣльный духъ!» — Ну, панамъ это и на руку: они ему рукоплещутъ, они его за это шампанскимъ поятъ. А что?— примолвилъ онъ вдругъ,—не распить ли ужь и намъ, кстати, бутылочку холодненькаго, ради доброй встрѣчи?

Digitized by Google

Это было предложено такъ хорошо, такъ пріятельски радушно, что Хвалынцевъ не почелъ возможнымъ отказаться. Но не желая остаться въ долгу, онъ и съ своей стороны потребовалъ бутылку, по окончаніи первой,—и новые пріятели, дружески калякая между собою, незамѣтно усидѣли двѣ бутылки редереру, что впрочемъ ни мало не подѣйствовало на ихъ головы. Холодецъ вообще былъ очень крѣпокъ, и могъ свободно выпить, что называется, чортову пропасть, такъ что не только свалить съ ногъ, но просто заставить его охмѣлѣть, было дѣло далеко не легкое. Въ холостыхъ, дружескихъ попойкахъ ему, въ концѣ концовъ, обыкновенно доставалась хлопотливая роль «оберегателя и развозителя пьяныхъ тѣлъ».—Такъ онъ уже и зналъ это свое назначеніе.

VI.

Дома у Холодца.

— А знаете что, если вамъ теперь нечего дѣлать, пойдемте ко мнѣ чай пить,—предложилъ докторъ, когда другая бутылка была кончена.

Хвалынцевъ съ удовольствіемъ согласился, и они отправились.

— А подъ вечеръ, какъ отдохнемъ, выйдемъ, пожалуй, прогуляться на Телятникъ, тамъ тоже иногда любопытныя штуки бываютъ,—сообщилъ онъ Константину.

Холодецъ жилъ на одной изъ самыхъ тихихъ и вѣчно пустынныхъ улицъ, которыя, обрамляясь съ обѣихъ сторонъ своихъ фруктовыми садами, тянутся параллельными линіями между Роскошью и Ржезницкой [1]). Онъ занималъ въ глубинѣ закрытаго двора отдѣльный деревянный флигелекъ, который двумя сторонами своими вдавался въ небольшой садъ, гдѣ весной и лѣтомъ должно быть просто прелесть какъ хорошо! Два окошка изъ кабинета и одно изъ спальной выходили у Холодца прямо въ зелень этого садика,

— Чаю, Ибрагимовъ! да живѣе, голубчикъ!—еще входя въ сѣни, вскричалъ онъ своему денщику, изъ касимовскихъ татаръ, и вдругъ, откуда ни возьмись, съ радостнымъ визгомъ и лаемъ бросилось къ нему тутъ же нѣсколько собакъ, между которыми былъ и бернаръ, и волкодавъ, и понтеръ, и булька, и великолѣпная, граціозная борзая.

— Ну, вы, благодѣтели!.. Ладно!.. будетъ!.. довольно!.. говорилъ имъ докторъ, снимая пальто, тогда какъ собаки визжали и, махая хвостами, вились около него и нѣжно, ласково кидались ему на грудь.—Ну, ты, Кавуръ,.. Эка, подлецъ, чуть съ ногъ не сбилъ!—крикнулъ онъ на громаднаго чернаго бернара, съ необыкновенно умною и кротко добродѣтельною мордою.—Проходите, Хвалынцевъ, вотъ сюда, въ эту дверь, а то эти скоты, пожалуй, съ ногъ совсѣмъ сшибутъ васъ. У меня вѣдь ихъ цѣлая псарня: шесть душъ крѣпостныхъ имѣю благопріобрѣтенныхъ.

Хвалынцевъ прошелъ въ указанную ему дверь и очутился въ очень милой, симпатичной комнатѣ.

Эта комната, служившая кабинетомъ и всѣмъ чѣмъ угодно, какъ нельзя болѣе обрисовывала собою и характеръ самого хозяина. Впрочемъ и вся его квартира была въ томъ же духѣ. Прежде всего здѣсь слегка, но непріятно чувствовался тотъ особенный «холостой» запахъ мужчины, который такъ свойствененъ нѣкоторымъ офицерскимъ и студентскимъ квартирамъ, что составляетъ по преимуществу ихъ характеристичный запахъ. Потомъ здѣсь съ перваго взгляда кидался въ глаза хаотическій, но очень красивый безпорядокъ во всей обстановкѣ. Бываютъ разные безпорядки подобныхъ обстановокъ: бываютъ иногда очень красивые, но вы чувствуете въ нихъ какую-то изысканность, словно бы этотъ безпорядокъ придумывался нарочно, словно бы надъ нимъ измышляли: какъ бы это, молъ, сдѣлать, устроить его покрасивѣе, поизящнѣе!—и тутъ уже явно сказывается претензія, иногда очень изящная, но все-таки претензія. Здѣсь же, прежде всего чувствовалось явное отсутствіе какихъ бы то ни было претензій, какой бы то ни было предвзятой, нарочной мысли. Этотъ хаосъ и красивый безпорядокъ здѣсь являлся какъ-то самъ собою и былъ вполнѣ естественъ, такъ что казалось, будто доктора Холодца и невозможно вообразить себѣ безъ этого хаотическаго безпорядка. Стѣны были завѣшены персидскими и французскими бархатными коврами. Иные изъ нихъ уже совсѣмъ выцвѣли отъ ветхости и употребленія, другіе же, напротивъ, глядѣли своими яркими цвѣтами, точно бы сію вотъ минуту изъ-подъ ткацкаго станка. Рисунки этихъ пестрыхъ ковровъ изображали букеты, арабскаго коня съ бедуиномъ, оленя, преслѣдуемаго собаками, отдыхающаго льва и задумчивую амазонку. На полу валялись тоже стертые ковры и неотдѣланныя волчьи шкуры,—трофеи неоднократныхъ травль самого доктора. Въ углу блестѣлъ наконечникъ рогатины, но рогатина эта не отличалась ни малѣйшимъ щегольствомъ, а заявляла себя практическою крѣпостью, которая надежно могла бы выдержать тяжесть медвѣжьей туши. На одномъ изъ стѣнныхъ ковровъ висѣло три охотничьихъ ружья, пара старинныхъ пистолетовъ съ золотой насѣчкой, офицерскій форменный револьверъ, базалаевскій кинжалъ и персидская шашка. Пропасть всевозможныхъ книгъ въ безпорядкѣ валялась вездѣ и повсюду: на столѣ, на полкахъ, на стульяхъ, на

[1]) Названіе улицъ въ городѣ Гроднѣ,—нынѣшнія Садовая и Полицейская.

Digitized by Google

подоконникахъ, и между ними можно было замѣтить самыя разнообразныя изданія: «Военно-Медицинскій Журналъ», «Медицинскій Вѣстникъ», истрепанный «Современникъ», «Записки», «Revue des deux Mondes», «Воинскій Уставъ», Фогтъ, Дарвинъ, Четьи-Минеи въ древнемъ корешкѣ и французскія компактныя иллюстрированныя изданія Бальзака и Поль-де-Кока, — все это находило себѣ мѣсто въ хаотическомъ безпорядкѣ изобильно разбросанныхъ книгъ доктора Холодца. На простой тесовой полкѣ виднѣлись разные химическіе препараты, реторты, склянки съ разноцвѣтными жидкостями, медицинскіе и хирургическіе аппараты и инструменты, и оттуда же, осклабляясь, выглядывали два черепа, на одномъ изъ которыхъ была ухарски напялена старая уланская фуражка, вѣроятно, позабытый и оставленный въ такомъ же положеніи плодъ веселаго настроенія котораго-нибудь изъ военныхъ пріятелей доктора. Папиросные окурки и табачная зола разбросаны были повсюду.

По одной стѣнѣ чернѣлись скрещенныя рапиры съ эспадронами и двѣ маски. Чья-то маленькая, лиловая женская перчатка очень лукаво выглядывала на свѣтъ Божій, нечаянно высунувшись изъ-подъ книгъ, на письменномъ столѣ, гдѣ и самое существованіе ея, очевидно, было позабыто и хозяиномъ этой комнаты, и той шалуньей, которая ее здѣсь ненарокомъ оставила. На письменномъ столѣ, между бумагами, лежали двѣ подковы, нѣсколько раковинъ да минераловъ, разбросанныхъ тоже и на подоконникахъ и на полкѣ, и на шкафчикѣ, а подлѣ подковъ стоялъ микроскопъ, стетоскопъ, стереоскопъ и два женскіе акварельные портрета: на одномъ была изображена очень почтенная старушка, по всѣмъ вѣроятіямъ — мать доктора; на другомъ какая-то очень красивая женщина—надо такъ думать, отмѣченная чѣмъ-нибудь особеннымъ въ его цыгански-безшабашномъ сердцѣ... Тутъ же пыллился и холодалъ съ утра недопитый стаканъ чая съ лимономъ, забытый точно такъ же, какъ и все остальное, и денщикомъ, и бариномъ. На дверяхъ была прибита картонная мишень съ этикеткой Пражскаго Лебеды, очень мѣтко пробитая маленькими пистолетными пульками комнатнаго монтекристо. У оконъ, на простыхъ деревянныхъ стойкахъ, зеленѣли цвѣты и кое-какія экзотическія растенія, а по стѣнамъ развѣшано было нѣсколько гравюръ и двѣ масляныя картины безъ рамъ,—обѣ старой, хорошей работы: на одной какой-то сельскій видъ, на другой очень экспрессивная голова страдающаго Христа.

Когда Хвалынцевъ мелькомъ заглянулъ въ смежную комнату, гдѣ помѣщалась спальня доктора, то замѣтилъ надъ желѣзною походною кроватью, рядомъ съ бархатнымъ надпостельнымъ ковромъ, древняго письма образъ въ древней же кованой и позолоченной ризѣ. Онъ не утерпѣлъ, чтобы по минутному, необдуманному побужденію не освѣдомиться на этотъ счетъ у доктора.

— Что это у васъ за образъ?—спросилъ онъ, никакъ не ожидая въ спальнѣ «современнаго» человѣка и притомъ еще «медика» встрѣтить вдругъ православную святыню.

— Это предсмертное благословеніе моей матери,—отвѣтилъ докторъ серьезно, просто и совершенно спокойно.

Хвалынцеву, послѣ такого несмущеннаго и столь естественнаго отвѣта, стало нѣсколько стыдно въ душѣ за то чувство, которое вызвало его на нескромный вопросъ, и потому, отвернувшись къ стѣнѣ, онъ сталъ разсматривать висѣвшія тамъ гравюры подъ стекломъ, въ простыхъ, черныхъ узенькихъ рамкахъ. Между этими произведеніями искусства сказывалось тоже нѣчто безпорядочное: тутъ были очень красивые эскизы лошадиныхъ головъ, хромолитографическій портретъ бульдога въ гороховомъ сюртукѣ, съ сигарою въ зубахъ, фотографія съ группы Лаокоона, портреты доктора Пирогова и Гоголя, фотографіи Венеры Медицейской, Сикстинская Мадонна и двѣ-три шикарныя гравюры, изображавшія полуобнаженныхъ женщинъ и парижскихъ гризетокъ въ изысканно-пикантныхъ костюмахъ и въ изломанно-изящныхъ и тоже весьма пикантныхъ позахъ.

— Что это вы разсматриваете? — мимоходомъ спросилъ Холодецъ, руки въ карманы и посвистывая расхаживавшій по комнатѣ.

— Да вотъ, на это сочетаніе гляжу,—отвѣтилъ Константинъ, указавъ глазами на Мадонну и гризетокъ.

— Э, батюшка! — улыбнувшись, махнулъ рукою докторъ.—Оно и точно, странно немного. Но... вѣдь я отчасти то, что называется *кинико*. У меня все это ужасно нелѣпо, но какъ-то органически совмѣщается во мнѣ: идеализмъ съ матеріализмомъ, святой Августинъ и Молешоттъ, Гегель и Фейербахъ, Сикстинская Мадонна и гризетки, арапники и хирургическіе инструменты, Шекспиръ и Поль-де-Кокъ, Добролюбовъ съ Чернышевскимъ и Фетъ съ Полонскимъ. Чортъ его знаетъ! это какая-то ерунда выходитъ, но нѣдь и самъ-то я въ сущности не что иное, какъ олицетворенная ерунда и безалаберность! Да что вы стоите все? Садитесь-ка! — обернулся онъ вдругъ къ Хвалынцеву и, бросивъ кожаную подушку, указалъ ему покойное мѣсто на диванѣ.—Э, да тутъ страхъ какая пыль!.. Ибрагимовъ!.. Сотри-ка, братецъ!.. просто сѣсть нельзя! Извините, пожалуйста!

Ибрагимовъ явился съ тряпкой и сталъ стирать обильную пыль съ дивана и креселъ. Хвалынцевъ замѣтилъ при этомъ, что были доста-

Digitized by Google

точно-таки лежало на всѣхъ безъ исключенія вещахъ и предметахъ докторской комнаты.

— Что̀ это у васъ такое?—вдругъ спросилъ онъ, усмотрѣвъ въ углу пудовыя гири и круто изогнутую кочергу.—Кто это занимается?

— Да все я же!—отвѣтилъ докторъ, ходючи изъ угла въ уголъ.

— Какъ!.. неужто сами гнете такъ!?

— Бываетъ, по малости!.. Чортъ его знаетъ!.. Иногда, я вамъ скажу, чувствуешь въ себѣ такой избытокъ этой безпричинной силищи, что, кажись, не только кочергу, а и самого чорта все хотѣлось бы гнуть да ломать!.. Время такое на меня находитъ каторжное!

— Но это любопытно!—невольно и какъ бы про себя, замѣтилъ Хвалынцевъ.

— Да что̀ тутъ любопытнаго!.. Такіе пустяки!

— Покажите, пожалуйста, если не въ трудъ!—приставъ Константинъ Семеновичъ.

— Извольте, пожалуй,—усмѣхнулся докторъ и, взявъ изъ угла на одну ладонь два связанные веревкой пудовика, на отвѣсѣ вытянутой рукой поднялъ ихъ въ воздухъ предъ собой, не выше лица и, словно не съ пудовиками, а съ какимъ-нибудь десятифунтовикомъ, продѣлалъ предъ Хвалынцевымъ, легко и свободно, нѣсколько такихъ мудреныхъ штукъ, которыя самымъ наглядным образомъ показывали страшную его физическую силу. Послѣ этого становилось вполнѣ понятно, что онъ одинъ могъ, какъ нельзя легче, разнести цѣлую «рестаурацыю».

«Эка силища-то!» любуясь на его статную фигуру, подумалъ про себя Хвалынцевъ. «Экой молодчина, право!.. Ему-бы, ей-Богу, не то что докторомъ, а развѣ-бы въ уланахъ служить, да и только!..»

Ибрагимовъ внесъ кипящій самоваръ и поставилъ его на столикъ.

— А!.. Вотъ и панъ Чаиньскій, то бишь Гербатовскій пришѣхалъ до насъ!—швырнувъ въ уголъ свои гири, воскликнулъ Холодецъ.— У меня, знаете, изъ всѣхъ нигилистическихъ добродѣтелей осталась только одна—любовь къ чаю, но и то я не люблю, когда чай денщики гдѣ-то тамъ, на кухнѣ, разливаютъ; а я люблю эдакъ, знаете, чтобы самоварчикъ передо мною пошипѣлъ себѣ маленько!.. Ужасно люблю это шипѣнье!.. Дѣтство, знаете, какъ-то напоминаетъ... Да что̀ вы не курите? Хотите сигару?

— Есть у меня; благодарю васъ.

Константинъ закурилъ и спокойно раскинулся на кожаномъ диванѣ.

Ибрагимовъ принесъ два стакана въ мельхіоровыхъ подстаканникахъ, ромъ, лимонъ, сливки и какихъ-то сухариковъ.

— Я и это все люблю, чтобы, такъ-сказать, матримоніально было, — замѣтилъ Холодецъ, распоряжаясь у чайнаго столика.

Въ это время откуда ни возьмись набѣжало вдругъ полдюжины собакъ, какъ видно, издавна пріученныхъ приходить къ своему хозяину въ положенные часы закуски и чая, въ сладкой надеждѣ на подачку какого-нибудь лакомаго кусочка, и вмѣстѣ съ этимъ изъ другой комнаты послышался громкій клекотъ и хлопанье сильныхъ крыльевъ.

— Ибрагимовъ! отвяжи-ка, братъ, кречета!—крикнулъ Холодецъ.

— У васъ и этотъ есть?—удивился Хвалынцевъ.

— Мало-ли какой дряни нѣтъ у меня!—усмѣхнулся докторъ.—Сидитъ тамъ себѣ на цѣпочкѣ, въ спальнѣ, и жердочка ему приложена такая.

— Что-же это вы, охотитесь?

— Да; я всякую охоту люблю. А болѣе того, знаете, просто люблю приручать ихняго брата. У меня вонъ въ темной комнатѣ и волченокъ на привязи сидитъ; тоже оцивилизовать стараюсь... Не знаю только, что выйдетъ изъ этого... можетъ и удастся. Ну, ты, Ксендзъ! Куда лѣзешь со своимъ рыломъ! Жди!—крикнулъ онъ на прекрасную узкомордую, поджарую собаку чистокровной борзой породы.

— Какъ? какъ онъ у васъ называется?—смѣясь, подхватилъ Хвалынцевъ.

— Ксендзъ—обернулся на него докторъ.— Вы только взгляните вотъ на эту морду анаѳемскую—ну, вотъ просто какъ есть характерная польско-ксендзовская морда! Такъ іезуитомъ и смотритъ, каналья, да отъ ксендза-же щенкомъ и добытъ, потому и кличка такая; только вотъ боюсь все, какъ-бы его, сердечнаго, за это не убили.

— А что̀ такъ!—спросилъ Хвалынцевъ.

— Да такъ; паненки наши все обижаются, какъ когда ежели на улицѣ покличешь его. Я ужь и то Ибрагимову говорю, чтобы пуще глазу берегъ.

— Бережемъ, ваше благородіе,—отозвался денщикъ.—Ничего, будьте благонадежны! Что ему, псу экому, дѣлается!

— Ну то-то! Ты гляди у меня!

— Слушаю-съ; какъ есть, не извольте безпокоиться. Онъ самъ зубастъ, обидѣть себя не дозволитъ.

«По барину и собаки», подумалъ про себя Хвалынцевъ; но въ это самое мгновеніе, случайно взглянувъ близъ себя на полъ, онъ вдругъ припрыгнулъ на диванѣ, вздрогнувъ отъ ужаса и поспѣшилъ поджать подъ себя обѣ ноги.

— Чего вы?—выпучилъ на него глаза свои докторъ.

Константинъ, съ выраженіемъ испуга, безъ словъ указалъ ему пальцемъ на полъ: изъ-подъ дивана, медленно и красиво сгибая изъ-стальную спину, выползало что-то длинное, тонкое, пресмыкающееся.

— А!.. И Василискъ Ивановичъ тутъ! И ты, братъ, выползъ! Знать, сливочки почуялъ!—ласкательно улыбнулся Холодецъ.—Не бойтесь,— обратился онъ къ Хвалынцеву, — это у меня

Digitized by Google

простой ужъ. Они вѣдь не опасны, а Василискъ Иванычъ и совсѣмъ ручной къ тому-же.

— Откуда-же и этотъ-то у васъ, наконецъ?—спросилъ Хвалынцевъ, все-таки не рѣшаясь спустить свои ноги.

— А я его еще прошлымъ лѣтомъ, такъ сказать, въ младенческомъ возрастѣ поймалъ и на воспитаніе къ себѣ принялъ,—сообщилъ докторъ. — Ничего себѣ, удалось приручить, какъ не надо лучше!

— У ихъ благородія всякая гадина водится,—любезно и дружелюбно ухмыляясь, замѣтилъ Ибрагимовъ. — Вонъ тамъ тоже и черепаха есть... тоже на содержаніи.

— Гдѣ-жь она?—спросилъ Хвалынцевъ.

— А тамъ вонъ, въ кухнѣ; шуршитъ себѣ за печкой... И пречудной звѣрь, надо такъ доложить. Иное время забьется себѣ въ уголъ, подъ печку, и по скольку недѣль не вылазитъ! Ты ей хлѣбца, коренья какого, аль говядинки сырой тамъ что-ли покрошишь, а она и не дотронется! И по мѣсяцу случается вѣдь ничего не трескаетъ, ей-Богу-съ! Съ чего только живетъ, подумаешь? Совсѣмъ какъ есть неядущій звѣрь! Вотъ Василискъ Иванычъ, тотъ у насъ жаденъ-таки, а та нисколько!

Ужъ между тѣмъ доползъ до стула, на которомъ сидѣлъ Холодецъ, приготовившій ему тѣмъ часомъ блюдце сливокъ съ моченымъ сухарикомъ да съ сахаромъ, и остановился, растянувшись на полу, и пытливо приподнялъ, поводя въ стороны, свою довольно красивую головку.

— Ну, ну, ступай сюда! Ползи, ползи! — проговорилъ докторъ, нагнувшись со стула и подставивъ ему свою ладонь, на которую ужъ, поводя головкой, тотчасъ же вползъ самымъ дружелюбнымъ, безбоязненнымъ образомъ.

— Онъ вѣдь у насъ ученый тоже, цивилизованный!—ласково говорилъ Холодецъ.—Ну, видишь, братъ, свою порцію?.. а?.. видишь?.. чувствуешь?.. Ну, проси, проси и кланяйся, какъ слѣдуетъ благоприличному джентльмену!.. Проси!..

И ужъ, очевидно пріученный къ пониманію нѣкоторыхъ движеній и словъ своего хозяина, расположившись очень удобно и цѣпко на рукѣ и обшлагѣ сюртука, вдругъ приподнялся вверхъ, почти до половины своей длины, и, раскрывъ свою пасть, зашипѣлъ и, очень красиво, очень граціозно изгибаясь своимъ тѣломъ, сдѣлалъ два раза движеніе, которое дѣйствительно весьма комично напоминало поклонъ.

— Ну, вотъ такъ! Молодецъ, молодецъ! — хвалилъ его докторъ; но вдругъ, замѣтивъ, что Хвалынцеву какъ будто нервно-непріятно видѣть это животное, обратился къ своему денщику.—Ибрагимовъ, возьми-ка, братъ, Василиска Иваныча, покорми тамъ его.

— Ну, ты, Божья гадина, ходи сюда, ходи, братъ!—промолвилъ денщикъ, принимая изъ бариновыхъ рукъ ужа и блюдце со сливками.— Пойдемъ-ка, покормимся!

И онъ унесъ его изъ комнаты, причемъ ужъ, не выказавъ ни малѣйшаго безпокойства, привычнымъ образомъ обвился вокругъ руки Ибрагимова.

«Вотъ человѣкъ-то: и люди, и животныя любятъ его. Всѣмъ-то онъ симпатиченъ!» добродушно подумалъ себѣ Хвалынцевъ, и подъ вліяніемъ этой послѣдней мысли, вдругъ сказалъ ему:

— Послушайте, Холодецъ, а вѣдь васъ должно быть дѣти очень любятъ.

— Почему-же вы такъ думаете?—съ улыбкой удивленія отозвался докторъ.

— Н-не знаю, но мнѣ такъ кажется.

— Да, — подумавъ нѣсколько, отвѣтилъ тотъ, — меня дѣйствительно любятъ дѣти и собаки. Да только они одни и любятъ.

— А люди?—спросилъ Константинъ.

— Люди?.. Какъ вамъ сказать? Всяко случается: одни любятъ, а другіе и куда какъ не жалуютъ! Да это, впрочемъ, что-же? По-моему это ужъ значитъ совсѣмъ плохой человѣчишко, котораго будто-бы любятъ всѣ безъ исключенія. Это значитъ, что въ сущности его никто не любитъ.

— А пожалуй, что и правда! — подумавъ, согласился Хвалынцевъ.

— Скажите-ка мнѣ лучше,—перевелъ разговоръ докторъ на другой предметъ, — какими судьбами вы это вдругъ у насъ въ Гроднѣ очутились?

— Да такъ вотъ, проѣздомъ въ Варшаву... Захотѣлось поглядѣть, что̀ это за города въ здѣшнемъ краѣ?

— За границу вѣрно ѣдете?

— Нѣтъ, я въ самую Варшаву... на службу ѣду.

— О? Это дѣло хорошее! Русскимъ людямъ хоть и плохо тамъ теперь, но они нужны. Мѣсто имѣете, что-ли?

— Н-нѣтъ, я... я вѣдь въ военную,—сказалъ Хвалынцевъ, и вдругъ почему-то почелъ нужнымъ сконфузиться.

— Да?!—отозвался докторъ съ нѣкоторымъ удивленіемъ.—Что̀-жь, это дѣло хорошее!

— Вы находите?—съ какою-то безразличной и гибко-понимаемой улыбкой замѣтилъ Константинъ Семеновичъ.

— Я-то? Да я что́-жь?.. Я нахожу, что всякая вообще честная служба есть хорошее и полезное дѣло,—пожалъ Холодецъ плечами.

— Н-ну, знаете, не всѣ такъ смотрятъ на военную собственно...

— То-есть въ какомъ же это отношеніи?— остановился противъ него докторъ.

— Да такъ; вѣдь существуетъ мнѣніе, что военная служба это такъ-сказать «агентура грубой силы кулака», «поддержка деспотизма» и пр.

Digitized by Google

— Ну-у!—махнулъ рукою Холодецъ.—Знаемъ мы, слыхали когда-то эти пѣсни! Дескать, полезнѣе и гуманнѣе сабли и штыки перековать и перелить на скоропечатныя машины. Оно, конечно, слова нѣтъ, что гораздо полезнѣе, да вѣдь для этого надо подождать, когда прекратится Дарвиновскій законъ борьбы за существованіе и когда, значитъ, на землѣ аллюминіевый вѣкъ настанетъ.

— Какой, какой? — съ живостью переспросилъ Хвалынцевъ.

— Аллюминіевый, говорю. Были вѣдь, какъ знаете, вѣка: золотой и мѣдный, нынѣ стоитъ, какъ молвятъ мудрецы, желѣзный, а въ будущемъ грядетъ «самый цымисъ», говоря по-жидовски, то-есть аллюминіевый.

— Это что-жь такое?—усмѣхнулся Константинъ.

— А это значитъ, когда люди станутъ жить въ аллюминіевыхъ дворцахъ, ровно какъ теперь солдаты въ казармахъ, и когда потекутъ молочныя рѣки въ берегахъ кисельныхъ, а съ неба станетъ медовый дождикъ капать и вмѣсто снѣга повалятъ клочья американскаго хлопка. Да неужто-же вы не знаете этого двѣнадцатаго члена нигилистическаго символа вѣры?

— Какъ не знать! Но что-же, это одно изъ самыхъ свѣтлыхъ упованій! — рѣшился мягко возразить Константинъ Семеновичъ.

— Кто говоритъ! Да только вотъ бѣда: жить-то въ этихъ аллюминіевыхъ казармахъ по заведеннымъ часамъ невыносимо будетъ для живыхъ людей! Вѣдь это отсутствіе увлеченій, эта безошибочность, размѣренность, эти положенные часы приливамъ и отливамъ, они вѣдь всякую самостоятельность, всю независимую, свободную личность человѣческую въ прахъ стираютъ. Вѣдь это все-равно, что сказать себѣ: «я свободный рабъ»,—ну, что это выйдетъ? Полнѣйшій абсурдъ! Вѣдь жить такимъ образомъ, это все-равно, что весь вѣкъ маршировать по ровно-укатанному плацу или твердить таблицу умноженія. Куда какъ весело! Не знаю, какъ вы, а я отъ такого удовольствія, ради столь прелестной жизни, на первой-же осинѣ удавился-бы!

— Стало быть, вы нисколько не вѣрите въ наши, такъ называемыя, «нигилистическія теоріи?»—спросилъ Хвалынцевъ.

— Каюсь! грѣшный человѣкъ! даже ни одной минуточки не вѣрилъ!—съ покаяннымъ видомъ развелъ руками Холодецъ.—Я слишкомъ практически положителенъ; даже... даже слишкомъ матеріалистъ для того, чтобы вѣровать въ такую ерунду! Вѣдь новѣйшій нигилизмъ—онъ, въ сущности, очень сродни средневѣковому фанатическому мистицизму. Всѣ эти аллюминіевы казармы, вся эта нетерпимость — развѣ это не пахнетъ тѣмъ же мистицизмомъ? Идолы только какъ будто перемѣнились, а подкладка, реальная сущность дѣла все та же осталась.

— Стало быть, отчуждаясь отъ нихъ, вы ихъ презираете?—немножко не кстати спросилъ Хвалынцевъ.

— Я!—расширивъ на него глаза, остановился Холодецъ.—Я?! Боже меня избави! Я слишкомъ толерантенъ для этого! Есть, конечно, между ними много мерзавцевъ, которымъ, по настоящему, прямое бы мѣсто въ острогѣ между негодяями и мошенниками, но есть и много честныхъ, высокочестныхъ идеалистовъ! И за что же ихъ презирать или ненавидѣть?.. Развѣ можно, напримѣръ, презирать намъ Саванароллу — этого фанатическаго мистика и католика—за то, что онъ за свои убѣжденія безстрашно взошелъ на костеръ!.. Да Боже меня избави отъ этого!.. А между *этими* есть тоже своего рода маленькіе Саванароллы. Это вѣдь — все то же вѣчное стремленіе человѣческой души къ отвлеченному идеализму, и если они теперь клянутся не иначе какъ Льюисомъ, Бюхнеромъ и Молешоттомъ, такъ это значитъ только, что они вмѣсто Николы-Святителя молятся Симеону Столпнику, а еще больше оттого, что они добренькіе дурачки и не понимаютъ того, чѣмъ клянутся. И знаете: какъ тѣ, мистики, надѣлали много зла людямъ въ свое время, такъ и эти могли бы его надѣлать, дай лишь волю!—Трезвый человѣкъ никогда не пойдетъ вмѣстѣ съ ними!

— А съ кѣмъ же?—спросилъ несмѣло, удивленный этими рѣчами, Константинъ Семеновичъ.

— Съ кѣмъ?—Съ своимъ живымъ народомъ, къ которому онъ принадлежитъ плотью и кровью и всѣмъ своимъ нравственнымъ складомъ; а если ужъ нѣтъ подъ нимъ этой *своей* прирожденной почвы, такъ трезвый человѣкъ ужъ лучше ни съ кѣмъ не пойдетъ, а самъ по себѣ будетъ.

— И ничего съ него не будетъ!—улыбнувшись, замѣтилъ Хвалынцевъ.

— Ну, и ничего съ него не будетъ!.. Это хоть и плохо, а по-моему, все же лучше, чѣмъ распинаться за метафизику такого рода, какъ, напримѣръ, отчего вмѣсто снѣга не сыплется хлопокъ, который пригрѣлъ бы бѣдняка-рабочаго? распинаться, когда подъ рукою есть насущное дѣло, и тѣмъ только портить его.

Хвалынцева въ то время поразилъ подобный взглядъ на людей, къ которымъ не безъ нѣкотораго гордаго самодовольства онъ и себя причислялъ отчасти, и если не причислялъ совсѣмъ, то только потому, что, ставя ихъ очень высоко въ своемъ мнѣніи, гдѣ у него были намѣчены яркія имена нѣкоторыхъ передовыхъ двигателей этого направленія,—онъ считалъ себя пока еще недостойнымъ развязать даже ремня отъ сандаліи ихъ,—и вдругъ такой неожиданный взглядъ встрѣчаетъ онъ на этихъ людей у человѣка, которому, казалось бы, самому, уже только какъ медику и потому матеріалисту, слѣдовало принадлежать къ ихъ лику! Но этотъ человѣкъ вдругъ об-

Digitized by Google

виняетъ въ крайнемъ идеализмѣ людей, распинающихся, повидимому, за матеріалистическія теоріи, и попросту, безъ церемоніи титулуетъ ихъ жалкими глупцами и невѣждами. А между тѣмъ, не принимая уже въ соображеніе Ардальона Полоярова, Анцыфрика, Лидиньку Затцъ и имъ подобныхъ, но останавливаясь только на лучшихъ, на свѣтлыхъ экземплярахъ этого направленія, онъ не могъ не сознаться, что въ безпощадномъ взглядѣ доктора Холодца лежитъ очень много неотразимой правды.

— Но, сами вы что же? реалистъ, конечно?—спросилъ Хвалынцевъ.

— Я-то?—подумавъ, сказалъ Холодецъ,—да какъ вамъ сказать?.. Если ужь непремѣнно нужны какіе-нибудь ярлыки, то, конечно, реалистъ, и полагаю, поосновательнѣе, чѣмъ всѣ эти господа.

— Ну, а образа и Мадонны?—улыбнулся Константинъ.

— Что жь такое?—возразилъ докторъ.—Образъ — предсмертная память моей матери, а Мадонна — геніальное произведеніе человѣческаго духа. Неужели жь вы думаете, что научный реализмъ и разумно-практическое, правдивое отношеніе къ жизни исключаютъ изъ человѣческой сущности такія теплыя и хорошія стороны, какъ любовь къ тому, что дорого, что естественно для сердца и что прекрасно, какъ любовь къ отцу и матери, напримѣръ, любовь къ искусству, любовь къ своей родинѣ? Да если такъ, то это не реализмъ, а, извините, какое-то абсолютное свинство.

— Но вѣдь въ нихъ все же есть хорошія стороны,—заступился Хвалынцевъ, думая тѣмъ самымъ вызвать доктора на исповѣдь еще болѣе подробную.

— Да; напримѣръ, донъ-кихотство; но и то далеко не во всѣхъ, а въ лучшихъ, идеальнѣйшихъ субъектахъ этой породы; пожалуй, я согласенъ, это хорошая, хотя и праздная, совсѣмъ безполезная сторона,—согласился Холодецъ.—Вотъ въ томъ-то и бѣда,—дополнилъ онъ, — что лучшіе изъ нихъ заслуживаютъ одного только сожалѣнія. Сожалѣніе—это есть единственное человѣческое къ нимъ отношеніе, а вѣдь если не это, то остается одно лишь презрѣніе. Но, согласитесь, это было бы очень ужь грустно.

— Есть и кромѣ донъ-кихотства кое-что,—возразилъ Константинъ Семеновичъ.

— Напримѣръ?—улыбнулся докторъ.

— Напримѣръ демократическій закалъ.

— Согласенъ; но демократическаго закала вы и у насъ не отымете. А затѣмъ-съ?

— Затѣмъ, напримѣръ, гуманность.

— Позвольте-съ,—съ живостью перебилъ докторъ.—Вы говорите гуманность; да въ чемъ же она, коли эти господа весь міръ дѣлятъ на *мы* и *подлецы*, и что *не мы*, то *подлецы*, а противъ подлецовъ всѣ средства хороши и позволительны? А я вамъ скажу, что въ каждомъ изъ нихъ сидитъ свой маленькій Аракчеевъ, графъ Алексѣй Андреевичъ, который «безъ лести преданъ», и вся ихъ гуманность не простирается далѣе идеальнаго устройства аракчеевскихъ военныхъ поселеній; они весь міръ готовы бы обратить въ соціально-коммунистическое военное поселеніе, надъ которымъ каждый изъ нихъ былъ бы графомъ Алексѣемъ Андреевичемъ. Гуманность!.. Хм!.. продолжалъ Холодецъ, снова начиная оживленно расхаживать по своей комнатѣ. — Эти всѣ громкія слова потому-то имъ и любы, что ровно ничего не выражаютъ собою. Вы мнѣ укажите, на чемъ это въ практическомъ-то, житейскомъ примѣненіи отразилась эта ихняя гуманность?

— Ну, а напримѣръ сочувствіе къ Польшѣ, къ польскому дѣлу?—проговорилъ Хвалынцевъ, имѣя про-себя свою заднюю мысль пощупать на этотъ счетъ доктора.

Но докторъ только расхохотался.

— Чему вы?—спросилъ его Константинъ.

— Какъ чему, батюшка вы мой!.. Очень ужь смѣшно!.. Сочувствіе къ тому, о чемъ они ни малѣйшаго понятія не имѣютъ. Это-то самое сочувствіе и представляетъ самое смѣшное, самое уродливое и невѣжественное явленіе у нашихъ нигилистовъ.

Хвалынцевъ попросилъ разъяснить ему, что именно находитъ докторъ здѣсь смѣшнымъ и уродливымъ.

— Да какъ же,—возразилъ Холодецъ,—они вѣдь, прежде всего, отвергаютъ всякую религію, а Польша вся въ католицизмѣ и имъ только и держится. Эта есть самая католическая дщерь римскаго престола; затѣмъ они ярые демократы и красные, а истинная Польша—вся бѣлая, вся шляхетная, магнатски-аристократическая; они стоятъ за разрушеніе общества даже въ его современныхъ, американскихъ началахъ, а Польша вся въ своихъ средневѣковыхъ, магнатски-феодальныхъ тенденціяхъ и привилегіяхъ; они, наконецъ, желали бы раздробить и въ-конецъ отвергнуть не только Россію, но и всякое государство, а Польша всѣми силами стремится возстановить свое дряблое, гнилое, *панское* государство, въ самой государственной формѣ польской Ржечи Посполитой, да еще при этомъ основываетъ его на господствѣ надъ пятнадцатью милліонами русскаго народа, чуждаго ей и по происхожденію, и по языку, да даже и по вѣрѣ больше чѣмъ на половину: и вдобавокъ еще, этотъ народъ долженъ быть лишенъ всякаго права на человѣческое свободно-гражданское существованіе, а превратиться въ *быдло*, какимъ онъ былъ и до сегодня. Ну, согласитесь сами, развѣ это сочувствіе не верхъ невѣжества и безобразія?

— И вы ни въ какомъ случаѣ не протя-

Digitized by Google

нули бы этой Польшѣ руку помощи?— вскричалъ задѣтый за живое Хвалынцевъ.

— Я!—сдѣлавъ строго изумленные глаза, повернулся къ нему докторъ.—Что вы называете рукою помощи? Если эта помощь коснулась бы моей спеціальности, то, конечно, какъ медикъ, я обязанъ былъ бы подать ее каждому человѣку, кто бы онъ ни былъ; но что касается до помощи политической, то извините! Я на двухъ стульяхъ сидѣть не умѣю, а сижу ужь всегда на какомъ-нибудь одномъ. Достаточно того, что я до мозга костей чувствую себя русскимъ. Да кромѣ того у меня есть еще и свои родовыя, традиціонныя причины не якшаться съ ними: мой прадѣдъ былъ замученъ въ Варшавѣ вмѣстѣ съ тридцатью гайдамаками Гонты и Желѣзняка, у моего дѣда панъ Потоцкій выкроилъ изъ спины два ремня на бритвы своему «служонцему», мой отецъ раненъ въ бедро на вылетъ польскою пулею въ 31 году при штурмѣ Варшавы. Въ трехъ поколѣніяхъ, батюшка мой, въ трехъ поколѣніяхъ моего рода повторяется все одна и та же кровавая исторія по милости поляковъ; такъ какъ же вы хотите, чтобъ я якшался вдругъ съ ними противъ своихъ же?

Съ жуткимъ, щемящимъ чувствомъ въ душѣ слушалъ Хвалынцевъ этого человѣка.— «Какъ счастливъ онъ!» думалось ему, «какъ счастливъ онъ этою твердостью, этою безбоязненною прямотою своихъ отношеній къ *нашему* дѣлу!.. Какъ ясно и спокойно должно быть у него на душѣ!.. Какъ открыто и честно онъ долженъ всегда себя чувствовать!.. Счастливый человѣкъ!.. А я?..

«Боже мой, какое гнусное, какое рабское положеніе!.. Я уже не свободенъ, я закрѣпощенъ, закрѣпощенъ дѣлу, котораго не знаю, людямъ, которымъ не сочувствую...

«Господи! какъ бы хотѣлось сбросить съ себя весь этотъ грузъ! Какъ бы хотѣлось чувствовать и сознавать себя въ свободномъ независимомъ положеніи этого славнаго Холодца!.. О, какъ бы дорого я далъ теперь за эту возможность!..

«А что? не попытаться ли?.. сегодня-же? сразу?» мелькнула вдругъ ему соблазнительная мысль.

«А слово?.. честное слово, сознательно данное однажды?» заговорилъ вдругъ на это какой-то другой голосъ, поднявшійся въ его душѣ съ какой-то темной, безпросвѣтной тучей,—а месть? а наказаніе?..

«Что наказаніе!.. Это не страшно!.. Пусть!

«А измѣна?.... Измѣнникомъ назовутъ.... Іудой!

«А русскіе, *свои-то*, развѣ не назовутъ тѣмъ же Іудой и измѣнникомъ?.. Да вотъ онъ, этотъ самый честный, прямой Холодецъ,— онъ развѣ не назоветъ меня тѣмъ же? не станетъ презирать меня?

«О, Боже мой!.. Какое страшное, фальшивое положеніе!.. Идти на дѣло, чуть не ненавидя, чуть не проклиная его!.. Идти противу своихъ за чужими!.. И развѣ эти чужіе въ душѣ не станутъ презирать меня точно также?..

«Нѣтъ! Нѣтъ!.. Не пойду я съ ними!» чуть было не вскрикнулъ Хвалынцевъ, глубоко и всецѣло отдавшись своимъ, всю душу раздирающимъ мыслямъ—и выраженіе глубокаго, душевнаго страданія, борьбы и мучительнаго волненія вдругъ отразилось на поблѣднѣвшемъ лицѣ его.

«А Цезарина?» всталъ вдругъ передъ нимъ роковой вопросъ и—увы! опять затмилъ собою всѣ другіе вопросы и сомнѣнія...

Константинъ грустно и безсильно поникъ головою.

— Что это съ вами? Не дурно ли?—быстро и озабоченно спросилъ вдругъ докторъ, замѣтя въ немъ это печальное состояніе.

— Н-нѣтъ... ничего... это такъ, пройдетъ!— черезъ силу отвѣчалъ Хвалынцевъ,—со мной иногда бываетъ это... такъ, находитъ, знаете... Просто раздумался себѣ, и немножко какъ-то грустно стало.

— О чемъ?— ласково улыбнулся Холодецъ и сочувственно взялъ его за руку.

— Такъ... Мало ль о чемъ!—И о прошломъ, и о будущемъ...

— Ужъ не военная ль служба пугаетъ?— шутливо замѣтилъ докторъ.

— А что вы думаете? — ухватился за эту мысль Константинъ.—Ѣдешь почти въ чужую землю, ни родныхъ, ни знакомыхъ, то-есть буквально никого!.. А тамъ, позади себя брошено много хорошаго... Да и Богъ-вѣсть, съ какими людьми придется служить? Сойдусь-ли?

— Вóна о чемъ!.. Словно бы желтоносый птенчикъ впервые изъ-подъ крылышка матушки!.. Есть о чемъ думать!—дружески подтрунилъ докторъ —Объ этомъ, сударь мой, не безпокойтесь. Военная служба, какъ и всякая другая честная служба, дѣло хорошее, и буде не трусъ вы, то пугаться ея нечего! Съ полячьемъ, конечно, возжаться не станете, да и они съ вами не станутъ!

При этихъ словахъ Константинъ невольно какъ-то съ нервнымъ содроганіемъ сжалъ руку доктора, которую тотъ во все время не выпускалъ изъ его руки. Эти слова больно кольнули его подъ сердце, словно бы укоръ неумытной и строгой совѣсти, такъ что вдругъ захотѣлось взять да и высказать предъ этимъ человѣкомъ всю правду, всѣ свои муки и сомнѣнія. Одно мгновеніе Константина такъ и подмывало на этотъ порывъ, но... духу какъ-то не хватило, страшно стало сдѣлать вдругъ, сразу такой рѣшительный шагъ; образъ Цезарины снова молніеноснымъ лучомъ сверкнулъ въ его воображеніи и пронизалъ собою всю душу—и онъ осѣкся, остановился и сдержалъ въ себѣ свой безза-

Digitized by Google

вѣтно-стремительный, честный порывъ, совсѣмъ уже было готовый вырваться наружу.

— И притомъ же, — спокойно продолжалъ докторъ досказывать ему свою мысль, — притомъ же вы въ каждомъ полку навѣрное встрѣтите двухъ-трехъ вполнѣ развитыхъ, даже очень образованныхъ людей, изъ университетскихъ тоже, съ которыми, при доброй волѣ, вамъ не трудно будетъ сойтись по-человѣчески и какъ слѣдуетъ; кромѣ того, можно держать сто противъ одного, что вы попадете въ простую, но честную среду добрыхъ и хорошихъ людей, которые васъ примутъ какъ добраго товарища. Повѣрьте мнѣ въ этомъ! — Я вѣдь уже знаю нѣсколько наши русскіе армейскіе полки; и плюньте вы тѣмъ въ глаза, кто станетъ увѣрять васъ, что тамъ все одни мордобійцы да стекловышибатели, бурбоны да солдафоны,—право такъ! Вѣдь и полки наши стараются заплевать теперь, какъ и многое другое хорошее на Руси, а вы не вѣрьте и ступайте себѣ съ Богомъ своею дорогою!.. Дорога честная!

Хвалынцеву было и грустно, и отрадно какъ-то слушать эти искреннія, добрыя рѣчи.

«О, какъ бы я на самомъ дѣлѣ могъ быть счастливъ», думалось ему, «если бы только могъ войти въ эту полковую среду совсѣмъ честнымъ человѣкомъ, безъ всякихъ революціонныхъ заговоровъ и цѣлей, безъ сидѣнья на двухъ стульяхъ; если бы могъ каждому товарищу прямо и честно посмотрѣть въ глаза, зная, что я имѣю право смотрѣть такъ. А теперь ужь, быть можетъ, и поздно...

«Нѣтъ, нѣтъ! почемъ знать, можетъ, и не поздно еще!.. можетъ еще все, все хорошее вернется ко мнѣ?!» въ-перебой предыдущей мысли, какимъ-то свѣтлымъ, дѣтскимъ упованіемъ подымался вдругъ въ душѣ его новый, желанный голосъ, и онъ жарко, всей душой, напряженно хотѣлъ внимать и вѣровать этому доброму, утѣшительному голосу.

— Однако теперь уже самое время,—сказалъ Холодецъ, посмотрѣвъ на часы. — Если желаете прогуляться да взглянуть еще кое на что, такъ отправимтесь!

И они пошли на Телятникъ.

VII.

На Телятникѣ.

Хвалынцевъ съ докторомъ раза два прошлись по тополевой аллеѣ и усѣлись на одной изъ деревянныхъ скамеекъ. На Телятникѣ было довольно-таки гуляющей публики; но что наиболѣе кидалось въ глаза, такъ это постоянное присутствіе въ этомъ мѣстѣ какихъ-то темныхъ личностей, о которыхъ никто изъ старожилыхъ городскихъ обывателей, пожалуй, не съумѣлъ бы сказать кто и что это за люди, чѣмъ занимаются, къ какому классу принадлежатъ: не то ремесленники, не то лакеи, не то мелкіе чиновники, такъ, что-то такое, неподходящее ни подъ какую категорію, ни подъ одно опредѣленіе. Между ними были очень молодые, почти ребята, были и юноши, были и люди среднихъ лѣтъ, одѣтые кто показистѣе, то есть относительно показистѣе, а кто и совсѣмъ глядѣлъ обшарпанцемъ. Они цѣлые дни проводили на улицахъ и преимущественно на этомъ Телятникѣ; по крайней мѣрѣ Хвалынцевъ, бывши здѣсь еще утромъ, потомъ проходя мимо съ Холодцомъ изъ трактира, и теперь вотъ, подъ-вечеръ, замѣчалъ все тѣхъ же неопредѣленнаго качества господъ, которые гуляли, шатались, шлялись, сидѣли на скамейкахъ, курили папироски, сходились иногда кучками и толковали между собой, толковали такъ, какъ толкуютъ люди, которымъ равнехонько-таки нечего дѣлать. Первое, что кидалось въ глаза у всѣхъ этихъ господъ, какъ отличительный, характеристичный признакъ, это ихъ постоянная и полнѣйшая праздность: вѣчно на улицѣ и вѣчно праздны. Иногда, сходясь между собою, они говорили очень тихо, какъ будто разсуждая объ очень серьезныхъ и чуть не таинственныхъ вещахъ, иногда же галдѣли о чемъ-то очень громко, съ шуточками и задирочками, сопровождая тѣ и другія хохотомъ. На прохожихъ и гуляющихъ посматривали они съ какою-то независимою наглостью, отпуская иногда и на ихъ счетъ какую-нибудь плоскую и часто циническую шуточку, а иныхъ такъ, пожалуй, непрочь были бы и задѣть; по крайней мѣрѣ нагло вызывающіе взгляды, кидаемые ими на нѣкоторыхъ, по преимуществу солидныхъ, степенныхъ и хорошо одѣтыхъ людей, явно вызывали охоту задирчиво задѣть человѣка, лишь бы только былъ мало-мальски подходящій поводъ.

Этотъ бездѣльно шатающійся людъ сдѣлалъ на Хвалынцева, какъ на свѣжаго человѣка, впечатлѣніе непріятное.

— Скажите, пожалуйста, что это за шатуны?.. И вѣчно торчатъ здѣсь!—отнесся онъ къ доктору.

— Чортъ ихъ знаетъ, кто они и откуда!— пожалъ тотъ плечами.—Это явленіе наблюдается въ Гроднѣ, относительно, съ недавняго еще времени, такъ, съ лѣта или съ весны, а прежде никогда ничего подобнаго не бывало. Но то же самое, говорятъ, замѣчаютъ и въ другихъ городахъ,—прибавилъ онъ,—въ Вильнѣ, въ Ковнѣ, въ Варшавѣ, да вездѣ почти!

— Должна же быть какая причина?—замѣтилъ Хвалынцевъ.

— Не безъ того!.. Ужь конечно не даромъ!— согласился докторъ,—да коли хотите, профессіято ихъ ясна: вотъ, напримѣръ, чуть какая демонстрація, въ родѣ сегодняшнихъ похоронъ— они тутъ первые; окна ли выбивать въ квартирахъ «москевскихъ чинувниковъ» и у «алыхъ

Digitized by Google

поляковъ», опять они же; «коцью [1]) музыку» устроить, цвѣтной шлейфъ оборвать, сѣрной кислотой облить—это все ихъ спеціальность. И замѣчательно, что полиція, зная ихъ отлично, ни одного, межъ тѣмъ, не хватаетъ!

— Глядятъ какими-то пролетаріями,—замѣтилъ Хвалынцевъ, издали глядя на одну изъ собравшихся кучекъ.

— Да, вообще трущобными джентльменами,—отозвался докторъ.

— Но чѣмъ же они существуютъ, если этакъ весь день на площади?.. На какія средства?—удивленно спросилъ Константинъ.

— Это-то вотъ и есть загадка!—отвѣтилъ докторъ.—Меня самого, признаюсь, интересуетъ-таки этотъ вопросъ. Стало-быть, кто-нибудь да ужь заботится о ихъ желудкахъ и даже о прихотяхъ, потому что и сыты, и одѣты кое-какъ, и папироски покуриваютъ, и пьяны иногда бываютъ; но кто содержитъ всю эту сволочь—вопросъ темный!

Кромѣ этихъ подозрительныхъ джентльменовъ по Телятнику рыскало еще множество оборвышей, нищенствовавшихъ уличныхъ мальчишекъ и гимназистовъ всѣхъ возрастовъ, въ ихъ форменныхъ фуражкахъ.

— Вотъ и эти тоже,—обратилъ докторъ на послѣднихъ вниманіе Хвалынцева.—Загляните въ гимназію, въ классы—пусто! Цѣлые дни, съ утра до ночи, вотъ все такъ по городу и шныряютъ, тоже скандальчики, гдѣ можно, устраиваютъ, а чтобы учиться,—вотъ годъ ужъ скоро, какъ и помину нѣтъ!

— Скажите пожалуйста, что это за эксцентричная особа—вонъ-вонъ тамъ, видите, съ адамовой головой на спинѣ?—любопытно спросилъ Хвалынцевъ, замѣтивъ вдругъ давешнюю процессіонную барыню, которая теперь быстрыми шагами разгуливала по серединѣ Телятника, окруженная гимназистами, и очень оживленно, очень весело разговаривала съ ними. Гимназисты не то подтрунивали надъ этой странной женщиной, не то дружили съ нею.

— О, адамову-то голову! Какъ не знать!.. Ее вся Гродна знаетъ!—улыбнулся докторъ.—Это, батюшка мой, жена чиновника русской коронной службы. Сейчасъ какъ только какая-нибудь костельная процессія—сейчасъ эту головку сантиментально на бочекъ и маршъ на самомъ видномъ мѣстѣ! Такъ и щеголяетъ!

— Я думалъ, монахиня какая, что ли...

— Нѣтъ, это наша крайняя патріотка съ крайнимъ демократическимъ закаломъ,—красная. Вотъ всѣ эти «лобузы» [2]) большіе съ нею пріятели.

— А мертвая голова-то зачѣмъ?

— А это, такъ сказать, *кричащій* патріотизмъ. Она, сказываютъ, губернатора здѣшняго за ногу укусила.

— Что такое?—разсмѣялся Хвалынцевъ.—Какъ это за ногу?

— Такъ-таки просто зубами, то-есть самымъ натуральнымъ способомъ. Полюбилось это имъ всѣмъ гуртомъ къ губернатору шататься,—началъ разсказывать докторъ,—соберутся всѣ эти жалобницы да лобузы и—вали-валомъ! Ломятъ въ пріемную залу, будто съ какой-нибудь просьбой общественной, а въ сущности скандала ради. Вотъ этакъ-то приперли однажды цѣлымъ кагаломъ, а она предъ губернаторомъ бацъ въ ноги, будто съ просьбой, знаете, колѣни отца и благодѣтеля обнять желаетъ, да вдругъ и цапъ его за икру!.. Такъ вѣдь и вцѣпилась зубами, словно бульдогъ какой! Тотъ визжитъ и ежится, потѣетъ и прыгаетъ, а она его какъ захватила обѣими челюстями и баста! не пущаетъ и шабашъ! А кагалъ надрывается съ хохоту. Такъ вѣдь что? Насилу вырвался, да какъ задастъ стрекача въ огороды да потомъ все пустырями, пустырями—такъ и изъ города удралъ!.. Ей-Богу! Отъ конфузіи да отъ страху въ бѣгство обратился. Вотъ они, батюшка, каковы здѣсь милыя дѣти! А еще слабый и нѣжный полъ, такъ сказать!

Въ эту самую минуту предъ новыми нашими пріятелями прошли какія-то миловидныя паненки въ кокетливой жалобѣ и подлѣ нихъ три или четыре офицера, которые очень любезно, какъ добрые знакомые, болтали съ этими паненками по-польски.

— Скажите, пожалуйста, вотъ это еще очень удивляетъ меня,—замѣтилъ Константинъ Семеновичъ.—Въ третій разъ встрѣчаю офицеровъ, и все они по-польски да по-польски; что это значитъ?

И онъ кстати разсказалъ про то, какъ утромъ у костела видѣлъ офицера, говорившаго по-польски съ унтеромъ.

— Что-жь мудренаго,—сказалъ Холодецъ,—коли одни и тѣ же войска стоятъ здѣсь въ этомъ краѣ чуть не тридцать лѣтъ. Придетъ изъ Россіи дивизія чистенькая, русская, а здѣсь сейчасъ же начинаютъ набираться въ нее юнкера изъ тутэйшихъ пановъ; ну, ихъ, конечно, въ офицеры, а они сейчасъ въ полку постараются занять всѣ штабныя должности, а тамъ и мѣста ротныхъ, эскадронныхъ, батальонныхъ командировъ: своя отъ своихъ, что называется, за уши въ гору тянутъ, такъ что даже должности нижнихъ чиновъ — всѣ эти тамъ фельдфебеля, вахмистры, унтера, капенармусы—все это почти-что на двѣ трети изъ поляковъ, а тамъ, глядишь, черезъ нѣсколько лѣтъ въ полку изъ русскихъ осталось вдругъ какихъ нибудь два-три офицера, два-три татарина, два-три нѣмца, а остальное все какъ есть одни поляки! Тутъ, батюшка, иногда до

---

[1]) Кошачью.

[2]) Лобузами въ Варшавѣ называютъ уличныхъ шатуновъ, иногда „лобузъ“ значитъ то же, что въ Москвѣ жуликъ, въ Петербургѣ мазурикъ.

Digitized by Google

того доходитъ, что на домашнихъ ученьяхъ чуть не командуютъ по-польски; а что ежели ротный унтерамъ распеканцію даетъ или какіе интимно-хозяйственные разговоры съ фельдфебелемъ ведетъ, такъ ужь это изъ десяти случаевъ пять навѣрное будетъ по-польски; такъ что жь мудренаго, если эти офицерики, ухаживая за полечками и желая быть галантными кавалерами, болтаютъ себѣ на языкѣ Мицкевича? Этимъ-то ужь, такъ сказать, и Богъ велѣлъ. Здѣсь иногда и русскій человѣкъ, особенно въ недавнее прошлое время, ужасно какъ быстро ополячивался!—добавилъ Холодецъ.—Да и теперь-то зачастую случается.

Гуляющія пары и группы межъ тѣмъ проходили мимо нашихъ собесѣдниковъ.

Русской рѣчи почти вовсе не было слышно, развѣ долетало какое-нибудь слово, но и то какъ исключительная рѣдкость. Даже евреи со своими супругами, если только не по своему, то ужь навѣрное говорили по-польски. Здѣсь прогуливались евреи, причислявшіе себя къ «цивилизованнымъ», а признакомъ цивилизаціи у супруга служилъ цилиндръ на головѣ, отсутствіе пейсъ, аккуратно подстриженная бородка и пальто-пальмерстонъ съ неимовѣрно длинной таліей и съ полами до пятъ, а у супруги кринолинъ, шиньонъ и модная шляпка; дѣвицы же еврейскія, несмотря на поздне-осеннее, прохладное время, щеголяли съ непокрытыми головами. Ни на одной изъ женщинъ нельзя было замѣтить цвѣтного платья: все черное да черное, все та же характерная, повальная жалоба, зачастую съ покрытымъ крепомъ широкимъ бѣлымъ плерезомъ на подолѣ.

— Неужели здѣсь и еврейки даже носятъ трауръ?—удивился Хвалынцевъ.

— А какъ же! Патріоты вѣдь увѣряютъ ихъ, что они «братья поляки Мойжешовéго вызнанья» [1]); ну да и изъ экономіи: что за охота вернуться домой съ подоломъ, прожженнымъ сѣрной кислотой?

— А русскія барыни?

— О, эти еще болѣе, чѣмъ кто-либо! Имъ и въ жалобѣ-то рискованное дѣло показываться на улицѣ однѣмъ безъ мужчины: не только что кислоты, а и оскорбленій не оберешься! Да впрочемъ ихъ вѣдь и немного у насъ; а изъ тѣхъ, что официально только называются русскими, то-есть тѣ, которыя отъ смѣшаннаго брака, такъ эти зачастую еще полячистѣе самихъ полекъ; нужды нѣтъ, что православныя, а бѣгаютъ все по костеламъ, въ процессіяхъ этихъ, въ демонстраціяхъ разныхъ всегда чуть не на первомъ мѣстѣ, вѣчно съ польскими молитвенниками, и не иначе, какъ съ гордостію говорятъ о себѣ, что они «польки русскей вяры чили всходнéго вызнаня». Это самыя заядлыя!

[1]) Моисеева закона.

Въ эту самую минуту вниманіе Хвалынцева было отвлечено мальчишескими криками, уськаньемъ и поддразниваньемъ, раздававшимися по серединѣ Телятника. Черезъ площадку проходилъ православный священникъ, въ обычной городской священнической одеждѣ. Толпа гимназистовъ, держась тѣсною кучею и слѣдуя за нимъ въ нѣсколько осторожномъ отдаленіи, кричала ему сзади:

— Попъ! попъ! Чортъ твою душу хопъ! чортъ твою душу хопъ!.. Схизматыкъ!.. Попъ пршеклентый! [1])

— Что это за безобразіе!—невольно возмутясь этою сценой, пожалъ плечами Хвалынцевъ.— За что же это, наконецъ, такія наглыя оскорбленія?

— Э, еще и не то бываетъ! Это что!—возразилъ Холодецъ, — это вотъ вамъ легенькій образчикъ польской вѣротерпимости. А это еще какой попъ-то, надо замѣтить: онъ, какъ говорятъ по крайней мѣрѣ, совсѣмъ полякъ въ православной рясѣ; говоритъ не иначе, какъ по-польски, дружитъ съ ксендзами, даже нѣкоторыхъ прихожанъ и исповѣдуетъ-то на польскомъ языкѣ, а у себя въ алтарѣ къ пономарю обращается напримѣръ: «Пане Яне! Прендзей кадзидло, прошен' пана!» [2]) Вотъ это попъ-то какой! Такъ имъ бы, казалось, лелѣять бы только эдакого-то человѣка золотого, а вотъ нѣтъ же!.. Поди-ка ты! До такой степени сильна фанатическая ненависть къ православной рясѣ, что даже польскія его добродѣтели забываются!

— Чего же, наконецъ, полиція-то смотритъ?— воскликнулъ вдругъ нашъ революціонеръ, и... увы! ни мало не почувствовалъ въ душѣ угрызенія совѣсти за столь ретроградное восклицаніе. — Вѣдь этакъ просто по улицамъ ходить невозможно!

— Полиція-то? — усмѣхнулся докторъ.—А вонъ она!.. Видите, вонъ тутъ же на углу «панъ стойкòвый» торчитъ себѣ для порядку да мило улыбается на милыхъ шалуновъ. Тутъ, батюшка, и полиція-то вся, отъ старшихъ до младшихъ, все это полячки, изъ «добрыхъ обывацéлей»; полиція-то имъ и есть самый лучшій другъ и пособникъ.

Хвалынцевъ только плечами пожалъ отъ печально-досаднаго изумленія.

— Послушайте!—сказалъ онъ послѣ нѣкотораго раздумья. — Вѣдь всѣ эти штуки, это ужь чисто соціальная сторона дѣла, а въ соціальныхъ вопросахъ правительство зачастую бываетъ безсильно; противодѣйствовать этой пропагандѣ и вообще всѣмъ безобразіямъ, на мой взглядъ, по крайней мѣрѣ, должно бы было само здѣшнее русское общество. Это вѣдь уже чисто его вина.

[1]) Проклятый.

[2]) Скорѣй кадило, прошу папа.

Digitized by Google

Докторъ въ отвѣтъ на это засмѣялся.

— Русское общество!.. «Здѣшнее русское общество», говорите вы?—воскликнулъ онъ.— Да гдѣ же оно прежде всего? У насъ есть здѣсь польское и еврейское общество и, знаете ли, очень и очень-таки хорошо, плотно организованное; но русскаго общества нѣтъ да никогда не бывало.

— Какъ! позвольте!—возразилъ Хвалынцевъ,—а великорусскіе чиновники, напримѣръ? А православные бѣлоруссы изъ городскихъ обывателей? А попы православные? Конечно вѣдь не всѣ же таковы, какъ вотъ этотъ, что прошелъ сейчасъ. Развѣ все это не составляетъ элементовъ для общества?

— А вотъ посмотримъ!—началъ ему на это Холодецъ. — Возьмите сначала хоть послѣднихъ, то-есть поповъ. Между ними, я вамъ скажу, всякіе бываютъ. Я не говорю объ одной Гроднѣ, но о цѣломъ краѣ, на сколько я его знаю. Между ними очень многіе искренно сожалѣютъ, напримѣръ, объ уніи и мечтаютъ, «кабы она зновъ навроцилася»; эти всѣ почти сочувствуютъ полякамъ. Да оно и понятно: правительство ихъ «возсоединило» и затѣмъ бросило на произволъ судьбы, а «найяснѣйшее панство», которое допрежь сего и почетъ уніятскому попу оказывало, и поддержку, и пособіе, и все, что хотите,—панство вдругъ отъ него круто отвернулось, какъ отъ малодушнаго человѣка, который принялъ «схизму»—и несчастный попъ волею россійской власти вдругъ очутился на самомъ критическомъ распутьи. Что дѣлать? Ѣсть-то да пить все-жь таки хочется: правительство ничѣмъ не помогаетъ, панъ прекратилъ свои подачки—ну, вотъ тутъ-то и пошли такія явленія, что попъ ради гарнца овса сталъ подлизываться къ ксендзу, заискивать его дружбы и покровительства у пана, «абы жиць съ чего было!» Худшіе, то-есть малодушнѣйшіе, изъ ихняго брата бываютъ просто домашними шутами у пана; кто же поумнѣе, тотъ покорнѣйшій слуга того же пана, а кто почестнѣе, тотъ окончательно ушелъ въ «хлопство», въ «быдло» своего прихода; и хоть панство дѣлаетъ ему на каждомъ шагу всевозможныя мерзости, но онъ все-таки твердо держится своего; это изъ нихъ, конечно, люди самые честные и достойные всякаго уваженія, да и слава Богу еще, что въ нихъ нѣтъ недостатка; благодаря имъ-то и простой сельскій народъ остается пока еще самимъ собою, несмотря на долю религіознаго индифферентизма, который вы иногда замѣтите здѣсь въ православномъ собственно населеніи. Это все я говорю о попахъ сельскихъ,—продолжалъ Холодецъ,—а что касается до городскихъ, ну... то они всѣ большею частію отмѣнные практики и политики; держатся того берега, гдѣ теченіе сильнѣе, поэтому при настоящемъ положеніи дѣлъ, они, можно сказать, не составляютъ ровно никакого пригоднаго элемента для русскаго общества: теченіе-то вѣдь неизмѣримо сильнѣе съ польской стороны.

Свѣдѣніе это было для Хвалынцева совсѣмъ ново, но онъ все-таки не хотѣлъ оставить своей первоначальной мысли, подавшей поводъ къ этому спору.

— Ну, хорошо-съ; а великорусскіе чиновники, которые есть же тутъ?—сказалъ онъ.

Докторъ только рукою махнулъ.

— Объ этихъ лучше и не говорить!—пренебрежительно проронилъ онъ сквозь зубы.—Вышій экземпляръ этого рода вы изволили давеча за обѣдомъ видѣть въ трактирѣ, въ лицѣ его сіятельства князя ***. Ну-съ, хорошъ?

— Жалостенъ!—усмѣхнулся Хвалынцевъ.

— Жалостенъ? А это еще чуть ли не лучшій! Во-первыхъ, — продолжалъ Холодецъ,— всѣ мы пріѣзжаемъ сюда съ убѣжденіемъ, что здѣсь Польша, и рѣдко кто изъ насъ задастъ себѣ трудъ вглядѣться, точно ли здѣсь Польша? А иной хоть и раскуситъ, но какъ же не тянуть панскую руку? Это вѣдь будетъ такъ нелиберально, такъ отстало, такъ—съ позволенія сказать — русски-патріотично! За это, вѣдь, пожалуй, чего добраго, еще и въ *Колоколѣ* отшлепаютъ, и всю карьеру свою тогда потеряешь! А вѣдь мы, прежде всего, стараемся, какъ бы не подумали о насъ, что мы не либералы. Ты хоть скажи мнѣ пожалуй, что я подлецъ, но только либеральный подлецъ — и я тебя за это въ умиленіи расцѣлую! Это вотъ одинъ сортъ нашихъ русскихъ чиновниковъ. Затѣмъ другой сортъ—это просто взяточники и честолюбцы, которые потому тянутъ за панову, что тѣ имъ въ руку за это изрядно суютъ и всячески стараются для нихъ темными путями о крестахъ, чинахъ и отличіяхъ. Третій сортъ, наконецъ, знай-себѣ строчитъ только входящія да исходящія, рапорты да отношенія и ни до чего больше ему и дѣла нѣтъ; онъ и не слыхалъ даже, что это, молъ, за звѣрь такой польская пропаганда? Ему лишь бы къ празднику наградныя да мѣсячное жалованье получить, а затѣмъ... а затѣмъ — «какъ начальство-съ прикажетъ!» И будь тутъ для него Россія ли, Польша ли, Турція или даже Патагонія—«Гудокъ ли, гусли—Литва ли, Русь ли»—это ему рѣшительно все равно! Вотъ вамъ три типа нашихъ великорусскихъ чиновниковъ, а всѣ вмѣстѣ, въ совокупности, мы дичимъ другъ друга и сидимъ по своимъ берлогамъ въ разбродъ, въ одиночку, особнякомъ, и почти не знаемъ другъ друга, а все оттого, что русскій чиновникъ прежде всего *чиновникъ*, а кромѣ рапортовъ да исходящихъ, да жалованья да еще либерализма ни до какихъ соціальныхъ больныхъ и щемящихъ вопросовъ ему и дѣла нѣтъ! Итакъ, вотъ вамъ и второй общественный элементъ у насъ кругомъ нулемъ оказывается.

Digitized by Google

— Да неужели же всѣ такіе?—недовѣрчиво воскликнулъ Хвалынцевъ.

— Нѣтъ, попадаются иногда счастливыя исключенія,—сказалъ докторъ,—но... одна ласточка еще весны не дѣлаетъ и къ тому же еще одинъ въ полѣ не воинъ, какъ сами, поди-ка чай, знаете!

— Но объясните же, Бога ради,—воскликнулъ Константинъ,—откуда это, отчего это въ русскихъ людяхъ вдругъ является такая паскудная уступчивость всѣмъ этимъ наглымъ притязаніямъ, это подлизыванье, уклончивость эта?

— Э! а вы ни во что не берете наше мелкое самолюбьице да чванство!—возразилъ докторъ. Во-первыхъ, мы либералы,—не забывайте! Во-вторыхъ, мы начальства и *Колокола* боимся, а въ-третьихъ, насъ хлѣбомъ не корми, лишь бы только поляки сказали про насъ: «А, то хоць и мòскаль, алежь поржòндны москаль и тàки добрже-мыслёнцы!» [1]). Вѣдь подобный отзывъ это для насъ въ нѣкоторомъ родѣ праздникъ сердца, именины души! Пропадай тамъ пропадомъ «мать-Рассѣй»—лишь бы «чужіе» сказали, что мы «либералы». О, для этого мы готовы подъ эту сиволапую «Рассѣй» даже собственноручно втихомолку огоньку подложить и лягнуть еще ее вдобавокъ во всю свою мочь ослиную!.. Это вѣдь такъ либерально!

— Но... возвращаясь къ прежнему вопросу, продолжалъ Хвалынцевъ,—а третій же элементъ? Православные и образованные бѣлоруссы? Эти-то чтò же?

— Эти тоже бываютъ двоякаго рода,—началъ было Холодецъ, какъ вдругъ...

Въ эту самую минуту приблизились двое какихъ-то господъ, довольно прилично, хоть и скромно одѣтыхъ, и опустились на ту же самую скамейку, гдѣ сидѣли наши пріятели. Одинъ изъ новопришедшихъ курилъ папироску.

Хвалынцеву вдругъ тоже захотѣлось покурить. Онъ вынулъ портъ-сигаръ, досталъ одну сигару себѣ, другую предложилъ доктору, и затѣмъ очень вѣжливо обратился къ своему курившему сосѣду, сказавъ ему по-русски:

— Позвольте, пожалуйста, попросить у васъ огня?

Но сосѣдъ въ отвѣтъ на это оглядѣлъ его съ ногъ до головы и потомъ обратно съ головы до ногъ нагло-удивленнымъ взглядомъ, потомъ передернулъ плечами, пересмѣхнулся о чемъ-то со своимъ пріятелемъ и вдругъ съ дерзкимъ нахальствомъ бросилъ свою почти только-что закуренную папиросу на землю, какъ разъ предъ Хвалынцевымъ, затопталъ ее и поднялся со скамейки вмѣстѣ съ товарищемъ въ намѣреніи удалиться.

— Экой невѣжа!—нарочно громко сказалъ ему вслѣдъ Константинъ, возмущенный этою безпричинною дерзостью.

— Какъ нельзя болѣе кстати!—воскликнулъ Холодецъ.—Не безпокойтесь, у меня съ собой воздушныя спички... На́-те вамъ; закуривайте. Но это, говорю, какъ нельзя болѣе кстати!—продолжалъ онъ.—Я хотя и незнакомъ, но знаю этого барина. Это вамъ одинъ изъ образчиковъ православнаго бѣлорусса-горожанина. Ихъ у насъ, какъ я сказалъ уже, двѣ категоріи: одни—это чиновники, вышедшіе изъ поповичей, изъ мѣщанъ, однимъ словомъ, не изъ шляхетнаго сословія; это почти все народъ честный, скромный, преданный своей русской національности, но народъ бѣдный, маленькій и потому забитый. Притомъ же они почти всѣ и всегда и повсюду состоятъ подъ начальствомъ поляковъ, которые всегда занимаютъ здѣсь наиболѣе видныя, вліятельныя и доходныя мѣста, а отъ этихъ начальниковъ зависитъ ихъ единственный трудовой кусокъ хлѣба; стало быть, подумайте сами, ужь до борьбы ли тутъ съ какою бы то ни было пропагандой, когда дай Богъ только кое-какъ поддерживать борьбу за собственное свое злосчастное существованіе. Эти, значитъ, сами по себѣ опять же таки не сила для общества; они лишь *могли бы быть* силой при хорошей нравственной поддержкѣ со стороны русскихъ.

— Затѣмъ, вторая категорія, къ которой принадлежитъ вотъ только-что ушедшій «невѣжа»,—продолжалъ докторъ.—Это, какъ есть, тѣ же самые поляки «всходнéго вызванья», [1]) потому что это потомки древней шляхты, нѣкогда буянившей на сеймахъ, или приписаны къ гербу милостью какого-нибудь магната и изъ халуевъ панской дворни возведены панскою милостью во дворянское Россійской имперіи достоинство. Эти за стыдъ почитаютъ говорить по-русски и въ православную церковь ходить, потому что она *русская*; бредятъ Мицкевичемъ и Польшей, а о Пушкинѣ да о Россіи и понятія никакого не имѣютъ, и подымись только возстаніе, они одни изъ первыхъ схватятся за оружіе! Какого же вы хотите тутъ русскаго общества, когда здѣсь всѣ почти, за исключеніемъ хлоповъ да на половину поповъ и горсточки чиновниковъ—все это, какъ есть, заражено явно или тайно политическимъ польскимъ сифилисомъ.

Хвалынцевъ долго и грустно раздумался надъ словами доктора.

— Господи! А тутъ еще всякую попытку къ отпору наши же публицисты «національною безтактностью» клеймятъ!—проговорилъ онъ горько, качая головой.

— «Національная безтакность!»—иронически усмѣхнулся Холодецъ.—Да, дѣйствительно, эта пресловутая статья есть «національная безтактность» и притомъ величайшая безтакт-

[1]) А, это хоть и москаль, но дѣльный москаль и такой благомыслящій.

[1]) Восточнаго исповѣданія.

Digitized by Google

ность... со стороны автора! Вѣдь тутъ ненависть и борьба не противъ правительства, а противъ всего русскаго народа, противъ русскаго смысла, противъ русскаго православія, противъ всего соціальнаго и государственнаго склада жизни русской. Это историческая ненависть; а философы-то наши этого не понимаютъ! Эхъ, да что! Легко имъ говорить-то тамъ сидючи у себя по своимъ петербургскимъ кабинетамъ!—досадливо и горячо продолжалъ онъ.—Слышно вотъ тоже, что ссылаютъ этихъ господъ полонофиловъ то въ Вятку, подъ надзоръ, а то еще куда и подальше; только это совсѣмъ напрасно. Ихъ бы не въ Вятку, а вотъ сюда бы высылать на свободное жительство. Пускай бы пожили маленько да поглядѣли, да на собственной своей шкурѣ все это примѣрили бы; небойсь, тогда какъ разъ другую пѣсенку запоютъ!.. И это было бы для нихъ, можетъ-быть, лучшее наказаніе и лучшее исправленіе!

Хвалынцевъ на это ничего не отвѣтилъ, но собственная его совѣсть тихо и укоризненно подшепнула ему, что докторъ правъ, и правъ безусловно.

Онъ уже въ одинъ лишь день пребыванія своего въ Гродиѣ успѣлъ достаточно примѣрить на себѣ и переиспытать на собственной шкурѣ малую толику отъ сладости этихъ польскихъ прелестей, воздвизающихся за «братство, любовь и свободу *вашу и нашу!*»

Начинало все болѣе и болѣе смеркаться. Скудные фонари имѣютъ обыкновеніе горѣть въ Гродиѣ только двѣ недѣли въ мѣсяцъ, притомъ зажигаются довольно поздно, поэтому во мглѣ сѣрѣющихъ сумерокъ и, такъ сказать, подъ ея покровительствомъ, предъ фарой, не сходя однако съ Телятника, стали собираться сначала отдѣльныя кучки гимназистовъ, а къ нимъ присоединялись группы тѣхъ подозрительныхъ джентльменовъ, которыхъ спеціальность состояла въ повседневномъ торчаніи на площадкѣ. Такимъ образомъ изъ этихъ группъ и кучекъ мало-по-малу собралась довольно-таки порядочная толпа, которая казалась еще значительнѣе, чѣмъ на самомъ дѣлѣ, оттого что кучи жидятъ и жидковъ, держась отъ нея въ нѣкоторомъ, весьма небольшомъ впрочемъ, отдаленіи, стояли, глазѣли и любопытно выжидали, что-то сейчасъ будетъ?

Толпа сначала было погалдѣла, пожужжала между собою, но вскорѣ изъ среды ея раздалось нѣсколько дѣтскихъ нестройныхъ голосовъ, къ которымъ не дружно присоединялись понемногу и голоса взрослыхъ. Неспѣвшаяся предварительно толпа желала исполнить предъ фарой «гымнъ народовы», то-есть все ту же знаменитую «Боже, цось Польскен'», но изъ желанія этого ровно ничего не выходило, кромѣ какого-то дикаго, нестройнаго оранья, которое драло ухо своими нестерпимыми диссонансами и въ которомъ преобладали мальчишескіе выкрики и надсѣданья во всю грудь.

Пѣніе всѣхъ этихъ гимновъ къ тому времени было уже формально запрещено правительствомъ, и потому какъ только раздалось это козлогласованье, отъ городской гауптвахты направился казачій и пѣхотный патруль, человѣкъ шесть, не болѣе, но не успѣлъ онъ еще пройти и половины площади, какъ жидки, которые первые усмотрѣли его, тотчасъ же сообщили пѣвунамъ о приближеніи «москаля», и толпа въ тотъ же мигъ разсыпалась во всѣ стороны, оглашая воздухъ гикомъ, визгомъ, ревомъ и побѣдными криками: «ура!.. виватъ!.. Пречь зъ москалями!.. Нѣхъ жіе Польска! [1]

Но чуть лишь патруль, обойдя площадку, возвращался къ гауптвахтѣ, какъ кучки мало-по-малу начинали снова сходиться; предъ фарой снова образовывалась толпа, и чрезъ минуту какой-нибудь дребезжащій мальчишескій голосъ неувѣренно начиналъ уже выводить: «Бо-оже цось По-ольскен'»... Толпа подхватывала. Казаки появлялись снова, и снова все разсыпалось какъ горохъ, и снова воздухъ оглашался тѣмъ-же гикомъ, визгомъ и криками *ура!* и прочаго...

Такая продѣлка повторялась раза три, а можетъ-быть и больше, но Хвалынцеву надоѣло уже наблюдать все одну и ту же школьническую штуку, да къ тому-же, послѣ столь разнообразныхъ впечатлѣній и физической дѣятельности нынѣшняго дня, онъ чувствовалъ потребность отдохнуть, тѣмъ болѣе, что завтра утромъ надо было торопиться на желѣзную дорогу, чтобы ѣхать въ дальнѣйшій путь — въ Варшаву.

Онъ разстался съ докторомъ, который обѣщался придти завтра на банхофъ проводить его, и пошелъ на Мостовую, къ нумерамъ Эстерки. Но едва сошелъ онъ съ Телятника, какъ вдругъ сзади кто-то мимоходомъ такъ толкнулъ его въ бокъ, что Константинъ оступился съ края тротуара, по которому шелъ, и выше чѣмъ по щиколотку бултыхнулся въ грязную лужу сточной канавки. Онъ оглянулся: мимо его, руки въ карманы, спѣшной походкой прошмыгнули два джентльмена, по характеру своей наружности—насколько можно было различить — смахивавшіе на присяжныхъ завсегдатаевъ Телятника.

— Ф-фэ! засмродзили польскен' москалe!—съ наглымъ смѣхомъ воскликнулъ одинъ изъ нихъ, тогда какъ другой продолжалъ напѣвать себѣ въ полголоса:

Еще Польска не згинэла
Поки мы жіемы!

«Однако какъ они все это слѣдятъ и быстро подмѣчаютъ!» думалъ себѣ Константинъ, послѣ первой минуты испуга и злобной досады, возвра-

[1]) Долой москалей! Да здравствуетъ Польша!

Digitized by Google

щаясь домой, но держась уже поближе къ стѣнкѣ. «Это вѣроятно, наказаніе за русскую рѣчь на Телятникѣ».

Злополучный герой нашъ, думая такъ, и не воображалъ, что въ ту минуту надъ нимъ уже было совершено еще и другое наказаніе, поубыточнѣе какого-нибудь толчка въ грязную канавку.

VIII.

Панна Ванда.

Подъ утро Василію Свиткѣ спалось плохо. Онъ часто пробуждался, боясь не проспать нужнаго ему часа. Въ окнахъ только еще брезжился сѣрый полусумракъ разсвѣта. «Нѣтъ, еще рано», думалъ себѣ Свитка и поворачивался на другой бокъ, и снова засыпалъ тревожнымъ и какъ-бы бдительнымъ сномъ, чтобы чрезъ какіе-нибудь полчаса снова на одну секунду проснуться. Наконецъ, въ половинѣ восьмого онъ совсѣмъ уже пробудился, взглянулъ на часы и тихо, осторожно сталъ одѣваться, боясь не потревожить сладкій утренній сонъ своего усталаго съ дороги товарища. Свитка располагалъ вернуться въ общій ихъ нумеръ часамъ къ одиннадцати и разсчитывалъ, что такимъ образомъ онъ еще захватитъ Хвалынцева дома; но обстоятельства выдались совсѣмъ вопреки послѣднему предположенію, что̀ и послужило начальною и невольною причиною всѣхъ мелочныхъ передрягъ, которыя въ теченіе гродненскаго дня довелось переиспытать Константину и которыя уже достаточно извѣстны читателю.

Одѣвшись и выйдя тихо изъ комнаты, Свитка умылся уже въ корридорѣ и спѣшно сбѣжалъ внизъ по лѣстницѣ. Быстрымъ и легкимъ шагомъ, весело напѣвая себѣ что-то подъ носъ и улыбаясь широкой, свѣтлой улыбкой, онъ шелъ по улицѣ и вскорѣ, мимо большого деревяннаго креста, поднялся на парапетъ, застроенный плохенькими жидовскими домишками и ведущій въ ограду Бернардынскаго монастыря. Это былъ часъ, когда въ монастырскомъ костелѣ совершается ранняя «миша». Онъ вошелъ въ храмъ, подъ громадными и высокими сводами котораго его обдало сыроватымъ холодомъ. Тамъ было совсѣмъ почти пусто. Прекрасный органъ тихо игралъ въ вышинѣ какую-то тихую и сладостную мелодію. Ксендзъ въ простомъ облаченіи тихо совершалъ евхаристію. Двѣ-три колѣнопреклоненныя, черныя фигуры женщинъ виднѣлись у боковыхъ алтарей, а одна, склонившись къ рѣшеткѣ древняго дубоваго конфессіонала, у крашеннаго изящною рѣзьбою, горячо и грустно шептала свою исповѣдь. Два-три нищихъ старика ежелись и горбились у входныхъ «кршстеленицъ» и въ полголоса бормотали какія-то молитвы, медленно ударяя себя въ грудь озябшими кулаками. Медленные шаги Василія Свитки гулко раздались подъ чуткими сводами. Онъ искалъ кого-то глазами и шелъ налѣво къ одному изъ боковыхъ алтарей, какъ бы уже къ заранѣе извѣстному, условному мѣсту. Пройдя еще нѣсколько шаговъ, онъ вздрогнулъ и, сдерживая закушенною губою лукаво-радостную свѣтлую улыбку, затаился у одной изъ массивныхъ колоннъ и ждалъ, и трепеталъ внутреннимъ легкимъ трепетомъ, и глядѣлъ неотводнымъ взоромъ...

Предъ нимъ въ пяти шагахъ, спиною къ нему, стояла колѣнопреклоненная женщина. Густая, темно-каштановая коса ея, небрежно свернутая и упрятанная подъ тонкую сѣтку, выбивалась изъ-подъ бѣлой кокетливой конфедератки и тяжело падала на спину, нѣсколько ниже прекрасно очерченнаго изгиба молодой бѣлой шеи. Женщина эта, уронивъ на колѣни сложенныя руки и прислонясь головкою къ балюстрадѣ алтаря, задумчиво остановила взоръ свой на изваяніи какого-то святого и, казалось, отдыхала послѣ горячей молитвы въ какомъ-то благоговѣйномъ полузабытьи, подъ обаяніемъ тихихъ аккордовъ той сладостной мелодіи, что̀ звучала и зыбко струилась по храму съ высоты хоръ.

— Магдалина... совсѣмъ Магдалина у подножья креста!—восторженно шепталъ Свитка, пожирая жадно-блестящими глазами стройно склоненную фигуру этой женщины. Ему и хотѣлось бы, чтобы она обернулась и вдругъ нечаянно увидѣла его, а вмѣстѣ съ тѣмъ и не хотѣлось, потому что хотѣлось еще и еще глядѣть, затаясь трепетно въ своемъ чувствѣ и все бы любоваться на этотъ стройный очеркъ...

Но вдругъ, вѣроятно какимъ-то инстинктомъ почуявъ устремленный на себя сзади взглядъ, она, восклонясь отъ балюстрады, оглянулась и даже вздрогнула вся, отшатнувшись назадъ съ широко раскрытыми, радостно изумленными глазами.

Еще мгновеніе—и она, легче и гибче молодой серны, была уже подлѣ него.

— Конста́нты!.. [1]) милый!.. восторженно шептала она, сжимая его руки въ своихъ маленькихъ, изящно-длинныхъ ручкахъ и, точно такъ-же какъ и онъ, пожирая радостнымъ взоромъ все лицо его. — Константы!.. да неужто это ты!.. здѣсь! Да какъ же?.. когда?.. какимъ образомъ?..

— Здравствуй... здравствуй, моя прелесть!— шепталъ онъ ей въ отвѣтъ, чувствуя, какъ все усиливается въ немъ внутренняя дрожь радостнаго волненія.—Я зналъ, я чувствовалъ, что найду тебя здѣсь... на обычномъ мѣстѣ... вѣдь это же твой часъ... а ты, моя радость, ты—вѣдь я знаю!—ты постоянна въ своихъ привычкахъ и симпатіяхъ... Ну, здравствуй же!.. здравствуй!.. Боже мой, такъ и хочется поцѣловать ее!.. Такъ и зацѣловалъ бы всю!..

---

[1]) Константинъ.

Digitized by Google

— Тсс!.. внимательно и быстро озираясь по сторонамъ, приложила она пальчикъ къ смѣющимся губкамъ. —Постой, погоди!.. Ахъ какой ты!.. Не здѣсь... Успѣешь еще...

— Знаю, что успѣю, да ждать-то нѣтъ терпѣнія!..

— Ага!.. терпѣнія нѣтъ! а зачѣмъ такъ долго не ѣхалъ?.. Твоя бѣдная Ванда просто изныла вся!.. Зачѣмъ не ѣхалъ? зачѣмъ мучилъ меня? такъ мучься самъ же теперь!.. Даже и не писалъ сколько времени... Ы! противный! гадкій!.. Пошелъ!.. не люблю! терпѣть не могу! Вотъ же тебѣ!

— А между тѣмъ глаза говорили совсѣмъ другое, и тонкіе пальчики въ лайковой черной перчаткѣ все такъ же нервно и крѣпко сжимали его руки.

— Ну, пойдемъ... мотнувъ головкой къ выходу, шепнула она и, въ послѣдній разъ преклонивъ предъ алтаремъ колѣни да перекрестясь какъ истая католичка, она быстро и весело, какою-то радостно порхающею, легкою походкою пошла на нѣсколько шаговъ впереди своего друга и, проходя мимо немногихъ прихожанъ, нарочно, но неудачно старалась все придать своему лицу серьезное и даже строгое выраженіе, и все это затѣмъ, чтобы тѣ не подумали про-себя, будто это она обрадовалась такъ и бѣжитъ изъ костела на свиданіе съ молодымъ человѣкомъ.

Выйдя изъ храма, она было направилась прямой дорогой, но онъ круто повернулъ тотчасъ же вправо.

— Куда же ты?—подняла она изумленные глазки.

— Иди, моя радость! Не спрашивай!

— Да куда же?

— Ахъ, да иди ужь!

Она только пожала плечами и, какъ-то по-птичьи, осторожно переступая своими ножонками, изящно обутыми въ высокіе венгерскіе сапо́жки на кривыхъ высокихъ каблучкахъ, съ лукавой усмѣшкой качая головою, пошла за своимъ другомъ.

Онъ велъ ее вдоль костельной стѣны на пустынный монастырскій дворъ, въ заросшій кустами палисадникъ, туда гдѣ за заднимъ фасомъ костела возвышались стройные тополи, длинныя тѣни которыхъ причудливо бѣжали косяками вверхъ по бѣлой стѣнѣ, ярко залитой холоднымъ солнечнымъ блескомъ.

Здѣсь онъ остановился, прислонясь къ углу, между стѣною и выступомъ контрафорса, и зорко прислушиваясь, оглядѣлся вокругъ себя. Она, ставъ напротивъ его, выжидательно глядѣла на него пытающими глазами.

Все было тихо и глухо. На дворѣ ни души. Изъ костела слабо доносятся звуки органа, да воробьи трещатъ въ тополевыхъ прутьяхъ, весело разыгравшись на солнышкѣ.

— Ну, ступай сюда... ближе... ближе, голубка моя!.. Ну, давай же теперь губки свои! Наконецъ-то!..

— Господи! только за тѣмъ-то?! — смѣясь, прошептала она и въ то-жь мгновеніе невольно потянулась къ нему, привлеченная объятіемъ рукъ, сильно и страстно обхватившихъ весь ея гибкій станъ.

Свитка въ какомъ-то забытьи восторга покрывалъ безчисленными поцѣлуями ея губы, глазки, щеки, все румяно-похолодѣвшее лицо ея, обвѣянное этимъ легкимъ, пріятнымъ на ощущеніе холодкомъ свѣжаго утренняго воздуха.

— Ну, будетъ!.. будетъ!.. довольно!—стонущимъ шопотомъ говорила она изъ-подъ его поцѣлуевъ.—Тсс!.. Идутъ... ей-Богу, идутъ... идетъ кто-то... Ахъ, да оставь же!

И она съ силой вырвалась изъ его ослабѣлыхъ объятій.

— Ну, что это право!—тономъ шутливаго неудовольствія говорила она, оправляя свою прическу, платье и шапочку.—Стыда нѣтъ у сорванца!.. Вѣдь грѣхъ-то какой!.. У са́маго костела!.. Нашелъ мѣсто хорошее... Вотъ теперь по вашей милости и ступай завтра на исповѣдь, и кайся у конфессіонала! Очень пріятно!.. Что я ксендзу теперь говорить-то буду!

— Такъ и скажи, что со мной цѣловалась,— смѣялся Свитка.—По крайней мѣрѣ, хоть позавидуетъ.

— Ну, теперь куда же?.. Конечно, къ намъ надѣюсь?—спросила она, совершенно ужь оправясь.

— Нечего и спрашивать! Разумѣется къ вамъ.

— «Разумѣется! разумѣется!»—передразнила она его съ уморительной гримасой, — а какъ по четыре мѣсяца ни строчки не отвѣчать на письма, такъ это тоже «разумѣется»?.. Стоило бы тебя за это... знаешь ли?.. Ну, да ужь хорошо же! Теперь я тебя не выпущу!.. Пойдемъ блазень противный!

— И подхвативъ его подъ руку, она весело пошла со двора своею легкой, нѣсколько раскачивающейся походкой.

Спустясь подъ руку съ Мостовой, они направились по Подольной улицѣ къ той высокой аркѣ, по которой пролетаютъ гремя и клубясь поѣзды желѣзной дороги и которая пересѣкаетъ эту скромную и тихую гродненскую улицу на половинѣ ея протяженія, предшествуя тому громадному длинному мосту, что необыкновенно смѣло, легко и граціозно переброшенъ на значительной высотѣ черезъ Нѣманъ, покоясь надъ нимъ на четырехъ высокихъ и стройныхъ колоннахъ, по двѣ въ рядъ, что придаетъ этому мосту вмѣстѣ съ дальними перспективами крутыхъ лѣсистыхъ береговъ и съ древнимъ городомъ, раскинувшимся уступами по горѣ со своими башнями и колокольнями и высокими острыми кровлями, красоту, дѣйствительно замѣчательную, особенно если изгля-

Digitized by Google

нуть на всю эту картину съ середины рѣки, съ другого городского моста.

— Ну, разсказывай, что́ братъ, что́ матушка?—пыталъ свою подругу Свитка.

— Да что разсказывать! Увидишь!.. Матушка совсѣмъ почти ослѣпла,—говорила она.— Все спиритизмомъ занимается, духовъ какихъ-то будто чуетъ, все допытывается у нихъ про дѣло наше, про Польшу, а если не это, то либо все молится, либо ворчитъ на сестренку да на братишку на малаго. Впрочемъ, я ее нынче въ рукахъ немного держу, чтобы на меня по крайней мѣрѣ не ворчала.

— Ну, и что же духи ей разсказываютъ?— иронически спросилъ Свитка.

— Да ты чего?—строго посмотрѣла на него панна Ванда.—Почемъ мы знаемъ, можетъ и правда... Нынче у насъ многія этимъ занимаются... Стало-быть, есть же что-нибудь.

— Брата найду ли я дома? — серьезно, помолчавъ немного, спросилъ Свитка. — Мнѣ нужно о многомъ и объ очень важномъ переговорить съ нимъ.

— Увидишь, какъ вернется... Теперь онъ въ должности.

— А что, какъ сборы?.. На какую сумму теперь?

— Ну-съ, а какъ ваша милость изволитъ думать?—бойко поддразнила его Ванда.

— Да почемъ я знаю! — пожалъ онъ плечами.

— А ты догадайся!

— Не мастеръ на отгадки.

— А я не скажу! Догадайся, коли можешь!

— Скажешь, мой другъ, какъ представлю тебѣ номинацію [1]).

— Такъ не скажу же вотъ!

— Ну, полно! Говори, въ самомъ дѣлѣ! Вѣдь это вещь серьезная.

— Пятнадцать тысячъ злотыхъ! — помолчавъ немного, съ торжествующимъ и полновѣсным видомъ объявила Ванда. — Пятнадцать тысячъ, моя гадкая прелесть!.. И это съ однихъ только обывательскихъ сборовъ за послѣдніе два мѣсяца! Каково?

— Н-недурно? — процѣдилъ сквозь зубы Свитка,—но надобно бы больше..

— Съ одного-то Гродна?

— Городъ не маленькій.

— Да, но тутъ я не считаю эти аристократическіе костельные кружечные сборы да складки помѣщиковъ; до меня это не касается, а отъ *нашихъ* собственно побурцовъ податковыхъ [2])—это, какъ хочешь, отлично.

— Отчеты еще не представлены?—послѣ новаго раздумчиваго молчанія, озабоченно и серьезно спросилъ Свитка.

— У брата все въ порядкѣ, все приготовлено... Можно сдать хоть сегодня.

— Деньги у тебя еще?

— По обыкновенію, въ моей шкатулкѣ.

— Ты... вотъ что... замялся нѣсколько Свитка. — Ты мнѣ выдай пять тысячъ... мнѣ нужно.

— Дашь квитанцію, выдамъ,—подумавъ, согласилась Ванда.

Свитка помолчалъ и слегка поморщился.

— А ты безъ квитанціи... улыбнулся онъ какъ-то деликатно и робко.

— А ты стоишь того?—укорливо стала она выговаривать.

— Стою, голубка! ей-Богу стою!.. Денегъ у меня совсѣмъ мало остается.

— Константы! вѣдь это же не мои... Подумай!—серьезно предупредила она.

— Ахъ, Боже мой, знаю, что народовы!.. Что за напоминаніе!?

— Онъ же еще и сердится!.. Это мнѣ нравится!—подтрунивая надъ нимъ, разсмѣялась Ванда.—А ну, покажите, покажите вашу надутую мордочку!

— Ахъ, Ванда! право мнѣ не до шутокъ!— досадливо цмокнулъ онъ губами.—Ты добрая дѣвушка, ты должна понять это!.. Кому же тебѣ и дать, какъ не мнѣ?!

— Послушай!.. безсовѣстный ты!—укорила она, пріостановясь на минутку и заглянувъ ему въ глаза.—«Кому же какъ не мнѣ»!.. Да ужь если я тебѣ себя отдала, если я себя не пожалѣла, такъ что говорить о деньгахъ!.. Но... вѣдь не мои, говорю тебѣ!.. Ксендзъ Эйсмонтъ на-дняхъ встрѣтился съ братомъ, такъ и то ужь напоминалъ, что пора бы, молъ, сдать къ нему въ общую кассу...

— Къ чорту всѣхъ этихъ ксендзовъ Эйсмонтовъ! — вспылилъ Свитка. — Очень нужно сдавать ему!.. Единство кассы, подумаешь, выдумали!.. Нѣтъ, господа, погодите, дайте маленькій срокъ, я все это уничтожу и въ бараній рогъ согну всѣхъ этихъ непрошенныхъ контролеровъ!.. Ксендзъ Эйсмонтъ!.. А кто этого ксендза уполномочивалъ?

— Какъ кто?!.. Онъ же вѣдь выбранъ былъ,—возразила Ванда.

— Вотъ я его выберу, дай только въ Вильну добраться!.. грозилъ вспыльчивый Свитка.— Очень нужно въ однѣхъ рукахъ такія громадныя суммы оставлять; а онъ возьметъ да потихоньку и удеретъ съ денежками за границу. Вотъ ты и ищи его тамъ и взыскивай фундушъ народовый, а онъ тебѣ фигу покажетъ!.. Не отдавать ему денегъ!.. Слышишь ли? Не смѣть отдавать больше, и кончено!

— Если бы моя власть, Константы... заговорила-было дѣвушка, но Свитка круто перебилъ ее.

---

[1]) Документъ, опредѣляющій назначеніе на какую-либо должность или полномочіе на какое-либо особое порученіе.

[2]) Сборщиковъ податей.

Digitized by Google

— Не твоя власть, а моя!.. Я знаю, что говорю и что дѣлаю!.. Я говорю тебѣ,—продолжалъ онъ черезъ минуту, уже успокоясь,— я говорю тебѣ, дай только мнѣ до Вильны добраться, и я устрою, что «выдзялъ» [1]) тотчасъ же вышлетъ полную номинацію на твое имя. Тогда не ксендзъ Эйсмонтъ, а ты у меня будешь главной казначейшей. Намъ еще, Ванда, нужны, очень нужны будутъ деньги,— внушительно и вѣско добавилъ онъ.—Погоди, вотъ я переговорю съ тобой и съ братомъ, такъ ты сама увидишь и согласишься... Намъ надо, Ванда, какъ можно крѣпче сплотить и расширить свою собственную партію... У меня уже есть планъ... хорошій, выработанный планъ!.. И люди найдутся!.. Такъ что же, моя прелесть, даешь что ли мнѣ пять тысячъ?— заключилъ онъ нѣжно-ласковымъ, заигрывающимъ тономъ.

Дѣвушка помолчала и поглядѣла на него пристально и нѣжно.

— Развѣ твоя Ванда можетъ отказать тебѣ въ чемъ-либо?—улыбнулась она своей свѣтлой улыбкой.

— Молодецъ дѣвочка!.. Люблю!—воскликнулъ Свитка, крѣпко сжавъ подъ своимъ локтемъ ея руку. — Не будь здѣсь народу на улицѣ, такъ бы и расцѣловалъ тебя за это!

— А безъ того и не подумалъ бы?—лукаво усмѣхнулась она.

— Я-то?.. А вотъ погоди, дай время, лишь одну минутку удобную: я тебѣ напомню старину!.. Твой Константы — твой по прежнему! Твой безраздѣльно!—проговорилъ онъ со страстнымъ увлеченіемъ, судорожно сжимая ея ручонку, которая граціозно покоилась у него подъ рукою.

Въ это время они приблизились къ воротамъ, прорѣзаннымъ въ высокомъ деревянномъ заборѣ, и вошли въ калитку.

Въ глубинѣ поросшаго травою двора стоялъ старенькій покрившійся отъ времени, но чистенько выбѣленный деревянный домишко съ гонтовою кровлею, съ крытымъ, выдающимся на столбикахъ крылечкомъ по срединѣ передняго фасада и съ небольшимъ садикомъ позади, который спускался почти къ самому Нѣману.

Этотъ домишко принадлежалъ матери панны Ванды, вдовѣ надворнаго совѣтника Влодко, который во время оно занималъ недурненькое мѣстечко въ губернской іерархіи, и плодомъ этого мѣстечка—впрочемъ, плодомъ весьма скромнымъ—оказался у него домишко на Подольной улицѣ, гдѣ теперь помѣщалась его вдова, старая пани Влодкова, съ дочерью панной Влодкувной и сыномъ Юзефомъ, котораго еще покойный отецъ успѣлъ довольно выгодно пристроить на коронную службу. Остальныя дѣти пани Влодковой, дочка Анця и сынъ Стасикъ, какъ малолѣтки, въ особенный расчетъ еще не принимались.

Панна Ванда вошла сама и ввела съ собою въ этотъ домикъ своего гостя, какъ полная и самовластная хозяйка. Анця съ визгомъ, въ припрыжку бросилась къ ней на встрѣчу со своими подстриженными волосами, угловатыми плечиками, красными, худощаво-длинными ручонками и гусиными плоскими ногами. Анця вступала въ ту пору, когда дѣвочки физически «тянутся» вверхъ и потому становятся некрасивы.

Стасикъ, мальчонка лѣтъ десяти, не ходящій въ гимназію гимназистъ, какъ до сестрина прихода, такъ и теперь продолжалъ съ увлеченіемъ заниматься своимъ дѣломъ: повѣсивъ на стѣну портретъ князя Паскевича-Варшавскаго, онъ усердно разстрѣливалъ его острой деревянной стрѣлкой изъ самодѣльнаго самострѣла—и портретъ весь былъ истыканъ и изъязвленъ до того, что на немъ уже просто мѣста живого не оставалось.

— А, старый пріятель!—воскликнулъ Свитка, входя въ маленькую, скромно убранную залицу.—Чѣмъ это заниматься изволишь? А?

— Графа Паскевича разстрѣливаю,—бойко отвѣчалъ мальчонка.—Я ужь много москевскихъ генераловъ перестрѣлялъ.

— Молодецъ, брацишку! Практикуйся,— потрепавъ его по плечу и щекѣ похвалилъ Свитка.—Практикуйся. Это пригодится. А за каждаго забитаго москаля семьдесятъ-три грѣха тебѣ простится.

— Э! Я одинъ ихъ двѣ дюжины положу. Четырехъ застрѣлю, шестерыхъ заколю пикой, шестерыхъ штыкомъ проткну, а остальнымъ всѣмъ саблею головы прочь,—похвалялся бойкій мальчонка.

— А латинскую грамматику учишь?.. Ну-ка, просклоняй мнѣ *mensa*.

— Какая тамъ *mensa*,—махнулъ тотъ рукою.—Теперь у насъ никто ничего не учитъ... И въ гимназію больше не ходимъ... Хорошо такъ! Славно!..

— Ну, а матулька гдѣ?

— А тамъ,—кивнулъ мальчонка на запертую дверь.—Богу все молится. Ну, графъ Паскевичъ, теперь я тебѣ въ носъ!—снова обратился онъ къ прерванному на минуту занятію, и сталъ очень старательно прицѣливаться въ носъ ненавистнаго покорителя Варшавы.

— Пойдемъ ко мнѣ,—мимоходомъ кивнула Свиткѣ панна Ванда, успѣвшая уже скинуть свою шубку, и провела его въ свою комнату, затворивъ за собою двери.

— Ну, теперь ты мой!.. Совсѣмъ мой,—говорила она, сама вдругъ первая кинувшись ему на шею, но чрезъ минуту по прошествіи этого внезапнаго порыва, она уже спокойно сидѣла предъ зеркаломъ туалетнаго столика и

[1]) Отдѣлъ ржонда.

Digitized by Google

высвободивъ изъ-подъ сѣтки свою волнистую косу, мягко и плавно стала проводить по ней черепаховымъ гребнемъ, и когда расчесала наконецъ вполнѣ, то закинула ее всю однимъ размашистымъ движеніемъ за спину, слѣдуя обще-польской модѣ того времени, когда расчесанная и распущенная коса служила вмѣстѣ съ жалобой видимымъ символомъ глубокой скорби по ойчизнѣ.

Эта маленькая комнатка, убранная чрезвычайно просто, казалась очень мила, если не брать въ расчетъ ея юбокъ и прочаго. Ситцевыя занавѣски и зелень на окнахъ; на стѣнахъ нѣсколько картинокъ въ «бордюрныхъ» рамочкахъ подъ стекломъ, изображавшихъ какіе-то римскіе да константинопольскіе виды и нѣсколько военныхъ подвиговъ Наполеона I; какъ тѣ, такъ и другія были отчетливо гравированы на стали и очевидно заимствованы изъ какихъ-то изданій. Затѣмъ фотографическія карточки въ рамочкахъ, изъ которыхъ выглядывали физіономіи разныхъ родныхъ и знакомыхъ, и между прочимъ физіономія красиваго ксендза и Василія Свитки, въ чамаркѣ и конфедераткѣ, молодецки заломленной на бекрень. Въ переднемъ углу, гдѣ висѣлъ образъ Остробрамской мадонны, былъ прилаженъ столикъ, покрытый бѣлою вязаною салфеткою, и на немъ устроенъ маленькій «олтаржикъ»: металлическое Распятіе, предъ нимъ Библія и молитвенникъ, а по бокамъ два «вазончика» съ искусственными цвѣтами. Надъ «олтаржикомъ» въ углу красовался цѣлый рядъ миніатюрныхъ раскрашенныхъ гравюръ въ рамочкахъ, все съ католическими священными сюжетами, и разрисованныя молитвы «до найсвѣнтшей панны Маріи» и «до сердца Іезусового». А съ другой стороны, у стѣны, завѣшанной бархатнымъ ковромъ или, какъ называютъ здѣсь, «дываномъ», стояла дѣвическая кровать панны Ванды, за которою далѣе на стѣнѣ висѣли ничѣмъ не прикрытыя плосенныя чистыя и грязныя юбки, кофты и капоты. У окна стоялъ письменный (онъ же и рабочій) столикъ, а на столикѣ красовались два фотографическіе портрета въ орѣховыхъ рамкахъ: одинъ, поменьше и попроще, представлялъ того же самаго ксендза, карточка котораго висѣла на стѣнѣ, а на другомъ, на роскошномъ, былъ изображенъ солидныхъ лѣтъ офицеръ въ жандармскомъ мундирѣ съ эксельбантомъ на лѣвомъ плечѣ.

— Этотъ зачѣмъ у тебя здѣсь?—ткнувъ на него пальцемъ, съ неудовольствіемъ пробормоталъ Свитка.

— Подарилъ,—пожавъ плечами, вскинула на него глаза свои Ванда, словно бы желая выразить этимъ движеніемъ, что вотъ, молъ, вопросъ, какъ будто не понимаетъ! Самое естественное дѣло.

— Скажите, пожалуйста, какія нѣжности еще, — насмѣшливо и брюзгливо выдвинувъ нижнюю губу, проворчалъ Свитка.

— Какой ты странный, Константы,—отозвалась дѣвушка, — будто не знаешь, что это необходимо.

— Хм... Какъ не знать!.. Къ сожалѣнію, очень хорошо знаю!.. Развѣ у васъ все еще продолжается? — подозрительно и глухо спросилъ онъ послѣ нѣкотораго раздумчиваго молчанія.

Ванда, въ маленькомъ смущеніи закуривая папироску и не глядя на пріятеля серьезно и озабоченно-прищуренными глазками, вмѣсто отвѣта словомъ, только утвердительно кивнула головой.

— Бываетъ у тебя? — съ какимъ-то мрачнымъ удовольствіемъ самоугрызенія продолжалъ допытывать ее Свитка.

Дѣвушка, опять не глядя на него, повторила свой отвѣтный кивокъ.

— Каждый день бываетъ?

Та отрицательно покачала головкой.

— Но часто?

Кивокъ утвердительный.

— Ну, а ты у него?

— Ахъ, да конечно бываю!—съ маленькой досадой проговорила наконецъ она, отвернувшись къ стѣнкѣ, и стала что-то очень ужь усердно копошиться въ своихъ разнообразныхъ юбкахъ.—И что спрашиваетъ человѣкъ! Какъ будто не знаетъ! И будто не понимаетъ, что это необходимо ради собственной же пользы, ради общаго дѣла?! Вотъ еще на-дняхъ я его убаюкала послѣ обѣда, а сама — къ столу его къ письменному! И очень важныя бумажки успѣла подсмотрѣть... Что дѣлать, мой другъ,— печальная необходимость!

— Надѣюсь, ни ты къ нему, ни онъ къ тебѣ сегодня не пожалуетъ?—все съ тѣмъ же злобнымъ удовольствіемъ продолжалъ Свитка.

— Ну, разумѣется! Я пошлю сказать ему, что не могу, занята, что дома нѣтъ и такъ далѣе!—проговорила она, граціозно на одномъ каблукѣ поворачиваясь къ своему другу.

— Ты, пожалуйста, спрячь куда-нибудь эту жандармскую морду, чтобъ она мнѣ глазъ не мозолила, да и этого быка тоже убери!— ткнулъ онъ пальцемъ на красивую рожу дороднаго ксендза.

Ванда, всплеснувъ руками, однимъ ловкимъ пируэтомъ, съ смѣющимся лицомъ подлетѣла къ нему и ласково обхватила своими слегка надушенными ладонями его щеки.

— Да ты что это?.. Ужь не ревновать ли меня вздумалъ?.. А?.. Этого только не доставало! — защебетала она. — Жандарма изволь, пожалуй, уберу, а милого моего ксендза Винтора ни за что!.. И не приставай!.. Это мой другъ, пріятель, не такой какъ ты, гадкій!

— То-то! Онъ, кажись, у всѣхъ у васъ

Digitized by Google

тутъ въ Гродно пріятель,—оттого быкомъ такимъ и смотритъ.

— Эй, Константы!.. Перестань!—пригрозила она пальчикомъ, опускаясь на его колѣно.— Лучше перестань, говорю! А не то уши выдеру! И больно вѣдь выдеру! Цѣлый день горѣть будутъ!.. И что это за глупость вдругъ: ревновать! — продолжала она капризно-кошачьимъ тономъ.—И какое ты имѣешь право ревновать меня къ Винтору? Если бы даже у меня и было что... вѣдь я тебя не допытываю, какъ ты тамъ въ Петербургѣ у себя живешь!

Свитка съ грустно-мягкой улыбкой поглядѣлъ на ея граціозную фигурку и тихо покачалъ головою.

— Ахъ, ты моя милая, трижды милая, но трижды вѣтреная Ванда! — со вздохомъ примирительно произнесъ онъ.

— Ну, не хмуриться! И кончено!—повелительно топнувъ ножкой, приказала она.— Пожалуй, ужь такъ и быть, зашвырну обоихъ, пока ты въ Гродно! Только чтобъ объ этомъ у насъ никакихъ болѣе разговоровъ! Понимаете-съ?.. И что за вздоры, право! Кто бы тамъ ни былъ, но сегодня — я твоя... вся твоя... И ты мой!— горячо лепетала она, стремительно отдаваясь опять своему беззавѣтному, нервно-страстному порыву.—Ну, чего тебѣ еще надо?... Чего, шальная голова?!.. Ну, цѣлуй меня!.. Цѣлуй, пока позволяю!.. Кто бы ты тамъ ни былъ, но знай, отвратительный, гадкій человѣкъ, что сердцемъ моимъ, душою моею я люблю только тебя и никого болѣе!.. Первый ты былъ, кого я полюбила, и навсегда ты у меня первымъ останешься!

Ванда была права. Она говорила искренно. Жандарма она любила не любя, но ради патріотическаго долга, ради пользы общаго дѣла. Не было той административной тайны, которая, невѣдомо для ея усатаго немилаго друга, не была бы ей вполнѣ извѣстна, а чрезъ нея и всѣмъ друзьямъ Свиткиной партіи. Ксендза она любила какъ истая католичка-полька, которая, сколько извѣстно, никакъ не можетъ обойтись безъ того, чтобы хоть разъ въ своей жизни не облюбить какого-нибудь ксендза или монаха; но зато истиннаго «коханка» своего пана Константего любила она всей душой, всѣмъ сердцемъ, всѣми нервами своими, настоящею, неподдѣльною любовью. Одно только странно: какимъ образомъ всѣ эти три лица могли совмѣщаться въ ея сердцѣ? Но... они совмѣщались.

— Сколько, ты говоришь, тебѣ нужно?— спросила она, выдвинувъ верхній ящикъ комода и доставъ оттуда изящно инкрустированную шкатулку,—пять тысячъ что-ли?

— Пять, моя радость!

Ванда открыла шкатулку ключикомъ, висѣвшимъ у нея на шеѣ вмѣстѣ съ крестикомъ и образкомъ, надавила какую-то искусно маскированную пружину—и вдругъ внутренность ящика, заключавшая въ себѣ, на бархатномъ подбоѣ, весь женскій несессеръ съ нѣкоторыми туалетными принадлежностями, поднялась и остановилась на полвершка выше верхняго края шкатулки. Ванда осторожно сняла ее прочь и, надавивъ другую пружинку, открыла фальшивый полъ шкатулки, за которымъ помѣщался потайной ящикъ, туго наполненный кредитными билетами и нѣкоторыми бумагами политически-секретнаго свойства. Надо сознаться, что лучшаго и наиболѣе секретнаго хранилища для народовой кассы трудно было и желать: даже опытный полицейскій сыщикъ ни на минуту не усумнился бы въ полной невинности этого несессера, даже опытный механикъ призадумался бы нѣсколько надъ его остроумно-простымъ, но двойнымъ секретомъ.

Ванда тщательно, аккуратно отсчитала требуемую сумму и подала Свиткѣ пачку ассигнацій.

Тотъ благодарно пожалъ и поцѣловалъ ея щедрую ароматную ручку.

— Однако, какъ-же ты сдѣлаешься насчетъ этихъ денегъ съ отчетами-то? — озабоченно спросилъ онъ ее черезъ минуту, когда шкатулка была снова уже спрятана въ комодъ.

— Ну, это ужь не твое дѣло!—ласково, но круто обрѣзала Ванда.—Получилъ сколько хотѣлось и молчи! Будь доволенъ!

Свитка глядѣлъ на нее возлюбленно-улыбающимися глазами.

— Экая ты прелесть въ самомъ дѣлѣ!— воскликнулъ онъ, однимъ порывистымъ движеніемъ стиснувъ себѣ руки столь сильно, что даже суставы пальцевъ хрустнули. — Совсѣмъ прелесть!.. Мадонна моя!.. Королева моя!

— Ахъ, мой другъ... увы! Только твоя! — съ шутливымъ вздохомъ покачала она головкой.

Другъ на это лишь загадочно улыбнулся.

— Почемъ ты знаешь!—значительно подернулъ онъ бровью и плечами. — А вдругъ ты и въ самомъ дѣлѣ будешь чѣмъ-нибудь въ родѣ королевы?.. а?.. Что тогда?

— Тогда?.. тогда я тебя первымъ-же указомъ моимъ въ Сибирь отправлю, потому что иначе ты тотчасъ-же заговоръ противъ нашего королевскаго величества составишь.

Свитка разсмѣялся и, припавъ предъ нею на колѣни, обнялъ ея станъ и глядѣлъ ей въ глаза восторженно-нѣжнымъ молящимся взоромъ.

— Нѣтъ, а что ежели?.. а?.. Подумай-ка!?

— Я ужь тебѣ сказала «что», — отвѣтила Ванда, перебирая своими пальчиками его волосы.

Digitized by Google

— Прелесть моя!—не спуская съ нея глазъ, выразительно шепталъ онъ.—Мадонна!.. Крулева... Ванда!.. Ванда!.. крулева Литвы!

— А кто-же крулемъ будетъ?—улыбнулась она.

— Крулемъ?.. Хм...

Свитка не отвѣтилъ, кто.

— У насъ уже есть одинъ круль Друзгеницкій,—засмѣялась дѣвушка;—такъ и называется Друзгеницкимъ крулемъ! Ужь не онъ-ли?

— Хм... Нѣтъ, не онъ, моя радость!

— Такъ кто-же?.. Ужь не ты-ли?..

— Хм... А хоть-бы и я, напримѣръ?

— Ахъ, вотъ оно кто!.. Честь имѣю поздравить ваше будущее величество!.. Ахъ ты, рожа, рожа!.. Крулемъ быть захотѣлъ! Скажите пожалуйста!—хохотала она, всплеснувъ руками, и вдругъ вскочивъ съ мѣста, притащила Свитку къ своему туалету.

— Поди-ка, поди сюда!—щебетала она, заливаясь смѣхомъ,—смотрися въ зеркало!.. Ну, смотрись-же, коли приказываю!

— Да зачѣмъ-же это?

— Хочу примѣрить къ тебѣ будущую корону... Поглядѣть хочу, насколько она будетъ къ тебѣ идти... Ну, смотрѣться!

И поставивъ Свитку предъ зеркаломъ, она съ лукаво-шаловливой улыбкой завела сзади его свою руку и приставила ему надъ макушкой головы въ видѣ роговъ два свои пальчика.

— Въ самый разъ!.. Какъ не надо лучше!.. Удивительно какъ идетъ къ тебѣ!—восклицала она, кивая надъ нимъ своими пальцами-рожками. — Ахъ, какъ хорошъ!.. Просто прелесть!

И вдругъ стремительно охвативъ той-же рукой его шею, она неожиданно придвинула къ нему свое личико и звучно поцѣловала въ самыя губы веселымъ, полнымъ вкуснымъ поцѣлуемъ.

— Экая школьница! — пробормоталъ онъ, любуясь на свою шаловливую подругу.

— Такъ какъ же? Такъ-таки и круль? а? смѣялась Ванда.—Константы первшы, круль Литвы!

— Н-ну, круль, не круль, а... диктаторъ, пожалуй!—не то шутя, не то серьезно замѣтилъ Свитка.

Дѣвушка вдругъ перестала смѣяться, поглядѣла ему въ лицо серьезнымъ, пытающимъ взглядомъ.

— Да ты это что же задумалъ себѣ, а?—спросила она, взявъ его за руку.—Ну-ка, братъ, кайся!

— Молчи... Умѣй молчать; когда-нибудь узнаешь!—значительно, внушающимъ тономъ проговорилъ ей Свитка.

— Я хочу знать теперь... сейчасъ же, сію минуту!—топнула она ножкой.

— Н... насколько можно, быть-можетъ, и сегодня узнаешь.

— Да нѣтъ, ты это въ самомъ дѣлѣ серьезно?

— Я жь тебѣ говорю, что дѣло не шуточное и очень серьезное. Надо только умѣть молчать: отъ этого *все* зависитъ.

— Ну, я-то, гдѣ нужно, молчать умѣю!—съ сознаніемъ своей собственной силы и характера тихо замѣтила Ванда и вышла вскричать служанкѣ, чтобы та подала ей спиртовой кофейникъ и приготовила бы все какъ слѣдуетъ: и сметанку, и сухарéчки, и двѣ филижанки, да несла бы все это поскорѣе сюда, къ ней въ комнату.

— Ну, мой будущій круль и повелитель!—снова уже веселая шаловливая вернулась Ванда къ своему другу,—пока тамъ что будетъ, то Богъ вѣсть, а сегодня я знаю навѣрное только то, что цѣлый день тебя не выпущу отъ себя: сегодня ты—мой безраздѣльно! И потому сейчасъ же пошлю Зоську за двумя бутылками шампанскаго... въ честь рѣдкаго посѣщенія вашего будущаго величества... Ужь куда ни шло! Кутить, такъ кутить, разоряться, такъ ужь разоряться!.. Вы какъ объ этомъ думаете, моя мерзкая прелесть?

— Умныя рѣчи пріятно и слышать, говорятъ москали,—замѣтилъ ей на это Свитка.

— А брату къ тому же ксендзъ Винторъ прислалъ на дняхъ одну бутылку превосходной старки, просто на рѣдкость!—соблазнительно похваливала Ванда.—А къ обѣду прикажу сдѣлать вашъ любимый бигосъ и колдуны. Я вѣдь хозяйка хорошая и знаю къ тому же, что у вашей милости губа не дура! Да кстати, не хочешь ли пока закусить теперь-же?

И не дожидая даже отвѣта, она быстро побѣжала на кухню, чтобы самолично, какъ истая, домовитая полька-хозяйка, распорядиться насчетъ закуски для своего друга и собственными ручками нарѣзать и наложить ему разныхъ печеній, копченій, вареній и соленій.

IX.

Ржондъ противу ржонда, справа противу справы.

Вечеромъ, въ пріятномъ и тепломъ настроеніи духа, послѣ обѣда съ шампанскимъ, Свитка сидѣлъ все въ той же комнаткѣ панны Ванды вмѣстѣ съ нею и съ братомъ ея Юзефомъ Влодко. На столѣ кипѣлъ самоваръ. Дверь была тщательно притворена и самый разговоръ шелъ тихо, почти въ полголоса. Весьма важная сущность этого разговора обусловливала собою необходимость этихъ двухъ предосторожностей, даже относительно собственныхъ домашнихъ.

Юзефъ Влодко, очень скромный на видъ человѣкъ лѣтъ двадцати-восьми, съ наружностію старательно-исполнительнаго чиновника,—весь находился подъ вліяніемъ своей сестры, а стало быть и Свитки. Онъ былъ весьма не глупъ, но

Digitized by Google

въ высшей степени скромнаго мнѣнія о самомъ себѣ, о своемъ значеніи, о своихъ способностяхъ и характерѣ. Будь онъ предоставленъ самому себѣ, изъ него никогда не вышло бы не только революціонера, но даже и чиновника, до такой степени простиралось его недовѣріе къ собственнымъ силамъ. Надъ нимъ всегда были необходимы близость и вліяніе болѣе сильной, болѣе самоувѣренной натуры, въ которой онъ находилъ бы нравственную поддержку, и такою натурой была для него сестра Ванда. Безусловная точность и исполнительность, безусловная вѣрность однажды усвоенному плану и стремленію— конечно, не иначе, какъ при вліяніи болѣе сильной натуры — составляли главныя добродѣтели характера Юзефа Влодко. Самъ по себѣ это былъ человѣкъ очень мягкій и даже, можно сказать, женственно-деликатный. Умѣніе держать свое слово и хранить чужую тайну также относились къ числу его достоинствъ, что показываетъ въ немъ уже присутствіе нравственно-стойкихъ качествъ. Эти-то качества вмѣстѣ съ его величайшею скромностію и послужили для ксендза Эйсмонта достаточной гарантіей къ тому назначенію, которое Юзефъ Влодко, по настоянію сестры, занялъ въ организаціи народовой: онъ служилъ передаточной и контрольной инстанціей между сборщиками «податковъ народовыхъ» и ксендзомъ Эйсмонтомъ, личность, значеніе и дѣятельность котораго, по неизмѣннымъ принципамъ организаціи, должны были оставаться подъ мракомъ глубокой тайны для всѣхъ ниже стоящихъ членовъ «свѣнтей справы». Но скромный Юзефъ былъ надѣленъ отъ природы особаго рода энергіей въ настойчивомъ преслѣдованіи и преодолѣніи разъ заданныхъ ему цѣлей и плановъ, хотя эта неуклонная энергія была точно такъ-же скромна, какъ и все прочее въ этомъ человѣкѣ. У него было только полнѣйшее отсутствіе собственной иниціативы. По природѣ своей это былъ идеальнѣйшій исполнитель. Эта способность къ слѣпому повиновенію, къ безусловной исполнительности цѣлей и приказаній человѣка, въ котораго онъ вѣрилъ, могла-бы, при случаѣ, сдѣлать изъ него даже нѣчто въ родѣ Равальяка. Если бы такой обвѣрованный имъ человѣкъ далъ ему въ руки кинжалъ и сказалъ: «ad majorem Dei et Patriae gloriam и ради пользы общаго дѣла ступай и убей такого-то общаго нашего врага» — скромный, женственно-мягкій и даже сантиментально-чувствительный Юзефъ, вопреки всѣмъ добрымъ инстинктамъ своей натуры, подавивъ въ себѣ нравственное отвращеніе, взялъ-бы кинжалъ вмѣстѣ съ благословеніемъ—и рука его не дрогнула-бы заколоть намѣченную жертву, какъ потомъ и самъ онъ не дрогнулъ-бы предъ эшафотомъ, а напротивъ взошелъ-бы на него и умеръ со своею обычною скромностію, безъ фарсовъ, безъ картинно-героической рисовки, но съ сознаніемъ безусловно и вѣрно исполненнаго долга и съ молитвой въ душѣ, да отпущено ему будетъ преступленіе убійства, искупаемое собственною казнью. Такіе люди, какъ Юзефъ Влодко,—золотые, неоцѣненные, незамѣнимые люди для вожаковъ всякихъ заговоровъ и таинственно-политическихъ партій. Свитка очень хорошо понималъ это и потому глубоко цѣнилъ въ душѣ Юзефа Влодко и дорожилъ имъ, приберегая его для нужной и рѣшительной минуты. Ванда и Юзефъ—лучшихъ сотрудниковъ, помощниковъ и исполнителей было-бы невозможно и желать ему! Ванда любила этого таинственнаго, хотя и столь *обыденнаго* на видъ «пана Константего». Она вѣрила въ него,— этого было достаточно, чтобъ и Юзефъ точно также любилъ и не вѣрилъ, а вѣровалъ въ него, ибо въ Юзефѣ любовь способна переходить въ обожаніе, а вѣра въ вѣрованіе. Онъ глубоко уважалъ въ своей скромной душѣ этого пана Константего за его умъ, за его университетское образованіе, котораго совсѣмъ не было у самаго Юзефа, за его обширно-дѣятельную и—насколько Юзефъ догадывался своимъ чутьемъ—очень и очень немаловажную, хотя на видъ тоже довольно скромную роль въ патріотической организаціи, а главное за то, что сестра Ванда любила и тоже уважала этого человѣка. «Сестра Ванда» — этого уже было довольно для брата Юзефа.

Бесѣда за чайными стаканами, надъ которыми носился ароматъ лимона и хорошаго рома, шла хотя и въ полголоса, но очень оживленно, съ большимъ участіемъ, интересомъ и вниманіемъ со стороны Ванды и Юзефа, подъ легкій шумокъ шипящаго самовара.

— Былъ я между ними, видѣлъ и наблюдалъ опять всю эту шляхетную гниль!— говорилъ Свитка.—Ничего себѣ, подъ шумокъ пошаливаютъ да дѣлишки свои обдѣлываютъ. Имъ вотъ—совсѣмъ по русской пословицѣ:—«и хочется, и колется, и маменька не велитъ».

— А что такъ? — съ живостію спросилъ Юзефъ.

— Да то, что возстаніе имъ хотѣлось бы сдѣлать какъ бы своимъ частнымъ, домашнимъ дѣломъ, а нашего брата, котораго они «красною сволочью» величаютъ, желалось бы имъ очень пустить подъ первый огонь, въ качествѣ пушечнаго мяса; инициативу власти удержать межъ тѣмъ за собою, загребя жаръ нашими руками, и оставить съ носомъ, а въ случаѣ неудачи дѣла свернуть все на хлоповъ да на «красную сволочь».

— Планъ не дуренъ!—улыбнулся Юзефъ.

— Еще бъ тебѣ дуренъ!.. Но штука-то въ томъ, что желая добыть себѣ всѣ эти лакомства, они въ то же время побаиваются и шибко побаиваются красной-то сволочи. Нюхомъ чуютъ, откуда грозитъ имъ настоящая опасность.

— А ты, поди-ка, побѣлѣлъ въ этой компаніи?—замѣтила Ванда.

Digitized by Google

— О, еще какъ!... Такимъ бѣлымъ барашкомъ прикинулся, что просто прелесть! — похвалился Свитка. — Да вѣдь нельзя же иначе. Наша программа, друзья мои, — продолжалъ онъ,—должна заключаться въ томъ, чтобы до времени, до рѣшительной минуты, слиться съ бѣлыми и съ варшавскимъ ржондомъ въ самый тѣсный и замкнутый кругъ, притворяться самыми наибѣлѣйшими, изъ бѣлыхъ бѣлыми, а между тѣмъ добиться у Варшавы утвержденія на мѣстахъ организаціи своихъ собственныхъ креатуръ, людей нашей партіи. Пусть бѣлые составляютъ свою собственную организацію и мечтаютъ себѣ, что вся она замѣщена здѣсь «своими людьми». Чѣмъ они болѣе будутъ убѣждены въ этомъ, тѣмъ лучше для насъ. Только, чуръ, не дремать, а осторожно, исподволь, подводить подъ бѣлыхъ нашу собственную тайную организацію. Пригодные люди для этого найдутся въ мелкой шляхтѣ, въ чиновникахъ, въ офиціалистахъ, въ батракахъ безземельныхъ, и въ данную минуту мы всѣхъ этихъ ясновельможныхъ прихлопнемъ, такъ что и не опомнятся! Терроромъ и страшнымъ терроромъ надо будетъ дѣйствовать! Земля, конечно, вся сполна крестьянамъ и каждому, кто захочетъ быть земледѣльцемъ. Ничего, галиційская рѣзня была дѣло хорошее, и повтореніе этого бенефиса можетъ и намъ пригодиться. Этого они ужасно боятся и потому все торопятся съ этими обществами трезвости. Для насъ-то оно неудобно; но зато милые бѣлые друзья какъ нельзя болѣе стараются въ нашу пользу тѣмъ, что обезземеливаютъ хлопа да экзекуціи наводятъ на него. Въ концѣ концовъ хлопъ озлобится уже непримиримо и противъ нихъ, и противъ Москвы, а этого-то намъ и надо. Тогда только терроръ, атака—и хлопсъ!.. Но до времени все-таки намъ надо солидарными трудами, взаимною помощью и поддержкою укрѣплять свое собственное дѣло,—заключилъ Свитка.—Безъ пановъ, къ несчастію, на Литвѣ ничего не подѣлаешь: и сила, и средства всѣ въ ихъ рукахъ; поэтому надо какъ можно тише и ловче подвести и провести ихъ!

— Все это прекрасно,—замѣтила Ванда,—но... что́ скажетъ Варшава? Центральный Комитетъ?

— Что? — сдвинулъ брови Свитка. — Да неужто же ты думаешь, что такой безтолковой башкѣ, какъ Варшава, можно ввѣрять будущую судьбу Литвы? Да будь я проклятъ, если когда-нибудь соглашусь на это! Какъ равный съ равнымъ, какъ свободный съ свободнымъ, это, пожалуй, извольте! На основаніи вольной федераціи, но не иначе! А позволить имъ тутъ у насъ хозяйничать и распоряжаться — да никогда! Литва должна быть вполнѣ самостоятельна и будетъ! Она, слава Богу, достаточно еще сильна для того, чтобы быть вполнѣ независимою и отъ Москвы, и отъ Варшавы.

— Но вѣдь варшавскій ржондъ это сила, настоящая сила!—замѣтила Ванда.—Нужна будетъ борьба; даромъ они вѣдь власти не уступятъ, а какъ ты одолѣешь ихъ? Вѣдь съ ними и паны наши соединятся.

— Есть у меня, мой другъ, и на тѣхъ и на другихъ порошокъ персидскій! — улыбнулся Свитка. — Противъ ржонда я уже завязываю узелокъ съ мѣрославчиками, заклятыми его врагами, а противъ нашихъ ясновельможныхъ у меня всегда есть дѣйствительная угроза, которая ихъ заставитъ нѣмѣть и дрожать предо мною: мнѣ извѣстна вся ихъ организація,—я вѣдь самъ теперь бѣлый, прошу не забывать этого,—въ случаѣ неповиновенія можно будетъ пригрозиться опубликовать всѣ ихъ имена, должности и дѣйствія въ газетахъ. Черезъ это что́ выходитъ? Съ одной стороны, отвѣтственность предъ наяздовымъ правительствомъ, конфискаціи, ссылки, казни, а съ другой—компрометація предъ лицомъ Польши: дескать, тормозы и измѣнники дѣлу свободы. Имъ-то вѣдь составъ нашей особой организаціи не будетъ извѣстенъ, поэтому и бороться противъ насъ тѣмъ же оружіемъ нельзя!

— Фортель хорошій!—съ выраженіемъ удовольствія подхватилъ Юзефъ.—Дѣйствительно, это въ своемъ родѣ порошокъ персидскій! Но вѣдь потомъ съ мѣрославчиками придется разсчитываться?

— О, эти намъ не опасны!—пренебрежительно махнулъ рукою Свитка.—Они сильны, пожалуй, на столько, чтобы вредить своему заклятому врагу, варшавскому ржонду, подвести подъ него интригу, подкопать его; но сами изъ себя они никогда не составятъ прочной организаціи; въ нихъ вѣдь только красный задоръ да фанатизмъ, пожалуй, но ни на каплю здраваго смысла и политическаго такта. Они годятся для уличной рѣзни, но не для административной организаціи. Мы имъ всегда успѣемъ потомъ дать камуфлетъ! И наконецъ, пускай себѣ, что хотятъ, то и творятъ въ Варшавѣ, а въ Литву, чуръ, не мѣшаться! Я имѣю основаніе думать, что они на эту сдѣлку пойдутъ, если объявить имъ, что въ интригѣ противъ варшавскаго ржонда литовскій комитетъ съ ними солидаренъ.

— Какія же собственно должности намъ надо будетъ замѣстить своими,— спросилъ Юзефъ,— если вся организація въ рукахъ бѣлыхъ?

— А вотъ въ томъ-то и штука!—хитрецки усмѣхнулся Свитка.—Главное дѣло, чтобы воеводскіе комисары были изъ нашихъ [1]). Для

[1]) Въ каждое воеводство отъ высшей инстанціи (варшавскаго ржонда) назначался особый *комисаръ*, который былъ полновластнымъ распорядителемъ мѣстныхъ средствъ и наблюдателемъ за исполнительностію всѣхъ членовъ организаціи своего воеводства. Онъ могъ уже отъ себя назначать и требовать утвержденія въ должности комисаровъ повятовыхъ, которые были ближайшими наблюдателями въ уѣздахъ.

Digitized by Google

этого-то я и думаю вскорѣ отправиться въ Варшаву и выхлопотать у комитета назначенія нашихъ кандидатовъ. Этого-то я съумѣю добиться во что бы то ни стало!

— Да, тогда-то, конечно, уже легко будетъ подтасовать всю организацію изъ нашихъ!— согласился Юзефъ.

— А трибуналы учредимъ уже мы сами, безъ ихней помощи,—продолжалъ Свитка.—Трибуналъ будетъ въ непосредственномъ вѣдѣніи воеводскаго комисара, стало-быть въ нашихъ рукахъ! И трибуналъ долженъ быть неумолимъ, террористиченъ, съ немедленной смертной карой за малѣйшее неповиновеніе! Съ населеніемъ должно будетъ обращаться несравненно суровѣе, чѣмъ московскія власти,—это первый залогъ успѣха!

Ванда въ эту минуту любовалась своимъ другомъ. Когда онъ говорилъ, все лицо его какъ-то преображалось: брови сурово сдвигались, губы сжимались выраженіемъ непреклонной воли и силы, взоръ горѣлъ рѣшимостью и вѣрой въ себя и въ «дѣло», а въ лицѣ,—въ щекахъ и скулахъ,—такъ энергически ходили какъ бы желѣзные мускулы... Онъ дѣйствительно сдѣлался хорошъ въ эти минуты, хорошъ до вдохновенія, до фанатизма.

Юзефъ межъ тѣмъ сосредоточенно задумался, глядя неподвижными глазами на сѣрый пепелъ своей дешевенькой сигарки.

На нѣсколько минутъ воцарилось глубокое молчаніе.

Свитка, тоже погрузясь въ свои думы, все съ тѣмъ же медленнымъ энергическимъ движеніемъ скулъ, твердыми шагами ходилъ по комнатѣ. Ванда тихо слѣдила за нимъ своимъ любящимъ, свѣтлымъ взоромъ. Наконецъ онъ встряхнулъ волосами, словно-бы сбрасывая съ себя весь грузъ тяжелыхъ размышленій, и вздохнувъ съ просвѣтленной улыбкой подошелъ къ глубоко задумавшемуся Юзефу.

— Ну, встряхнись!.. О чемъ ты?—дружески положилъ онъ ему руки на плечи.

Влодко вздрогнулъ и, какъ-бы пробуждаясь отъ своего состоянія, въ которомъ только-что находился, произнесъ своимъ скромнымъ, несмѣлымъ голосомъ:

— Удастся-ли!

— Что за сомнѣнія, мой милый!—ободрительно воскликнулъ Свитка.—Вѣрь, что удастся, и удастся!.. «Имѣйте вѣру съ горчичное зерно, и вы будете двигать горами!.. Толцыте, и отверзится!» Изо всѣхъ евангельскихъ истинъ я уважаю только эту! Повѣрь, мой другъ, что въ нужную минуту я съумѣю захватить въ свои руки безусловную диктатуру надъ всею Литвою!.. Да и черта-ли намъ тянуться въ хвостѣ петербургскаго или варшавскаго центра, когда гораздо удобнѣе стать самимъ во главѣ своего самостоятельнаго дѣла? И выгоднѣе, и почетнѣе, и все что хочешь!.. Отъ этого, повѣрь, ни мы, ни наша партія, ни демократія, ни Литва, никто не будетъ въ накладѣ, кромѣ Москвы, да ясновельможныхъ!

— Хм!.. Черта-ли мнѣ въ самомъ дѣлѣ,—продолжалъ онъ черезъ минуту, снова заходивъ по комнатѣ.—Черта-ли мнѣ быть какимъ-то разсыльнымъ при петербургскомъ центрѣ, вертѣться пятою спицей въ колесницѣ, когда я чувствую въ себѣ силы быть осью и рычагомъ всего дѣла... А если ужь гибнуть, такъ ужь лучше гибнуть за себя самого, за свою собственную идею, чѣмъ пропадать въ качествѣ прихвостня какихъ-то тамъ ясновельможныхъ и чиновныхъ вожаковъ, которыхъ я вотъ въ эту самую ежевую рукавицу могу сжать и вышвырнуть куда мнѣ угодно!

Ванда въ какомъ-то экзальтированномъ экстазѣ, возбужденномъ въ ней этою гордою и энергическою рѣчью, этимъ смѣлымъ замысломъ (Константы какъ будто еще болѣе выросъ въ ея глазахъ), этими надеждами и вѣрой въ дѣло и въ собственныя силы этого милаго ей человѣка, подошла къ нему, подвела его къ брату и соединила ихъ руки.

— Онъ пойдетъ за тобой!—произнесла она увѣреннымъ, твердымъ голосомъ.—И онъ, и я— мы твои!.. Вмѣстѣ побѣдить или гибнуть, все-равно!.. Но зато вмѣстѣ!

Свитка обнялъ крѣпко пожалъ руки.

— Да, друзья мои!—заговорилъ онъ въ какомъ-то свѣтломъ волненіи,—наша святая задача: вмѣстѣ съ политической революціей произвести и соціальную; а безъ этого все та же панская, старо-польская гниль выйдетъ! Помните-же программу: глубокая тайна, во-первыхъ! Потомъ собственная организація и терроръ... А девизъ нашъ: «Ржондъ противъ ржонда и справа противъ справы!»

Крѣпкій и дружескій союзъ на новое, отчаянно-смѣлое предпріятіе былъ заключенъ.

Затѣмъ Свитка уже сталъ развивать Юзефу нѣкоторыя частности и подробности своего плана въ тѣхъ частяхъ, для которыхъ собственно ему было необходимо содѣйствіе Влодка въ его отсутствіе. Онъ зналъ, что это помощникъ лучшій изъ лучшихъ, лишь-бы только его увлечь да разъяснить, что собственно нужно дѣлать, а ужь исполнитъ онъ тихо и скромно, но образцово-точно!

Юзефъ внималъ и запечатлѣвалъ въ сердцѣ и въ памяти слова своего предпріимчиваго друга.

— Ахъ! однако мнѣ пора!—посмотрѣвъ на часы, воскликнулъ Свитка, когда всѣ инструкціи и наставленія были уже сообщены.—Вѣдь меня тамъ мой бѣлогубый пижонъ дожидается!..

Онъ еще за обѣдомъ сообщилъ, что странствовалъ доселѣ съ Хвалынцевымъ.

— Скажи на милость, зачѣмъ ты еще этого привѣсокъ за собою таскаешь?!—пожала плечами Ванда.

Digitized by Google

Свитка улыбнулся.

— Онъ нуженъ мнѣ... Со-временемъ еще пригодится: приспособимъ.

— Да; но онъ — ты говоришь — какъ-то чрезчуръ уже *по москевску* оппозируетъ во всемъ...

— Это ничего! Вытанцуется!.. Это въ немъ все отъ излишняго гуманизма да отъ «демократическаго закала», какъ говоритъ онъ,—пояснилъ Свитка.—Въ панахъ, вишь, разочаровался. Но это, въ сущности, еще не большая бѣда: тѣмъ лучше его къ своей сворѣ приспособимъ!

— А коли не удастся?

— Ну, а не удастся, такъ вѣдь и сбыть его легко! — порѣшилъ онъ. — Къ тому же ихъ братъ, русачокъ, намъ и для европейской декораціи нуженъ... Мнѣ, признаться, отчасти некогда было всѣ эти дни признаться имъ какъ слѣдуетъ; ну да еще время не ушло! И въ Варшавѣ успѣю!

И Свитка простился со своими друзьями, пообѣщавшись на завтра снова придти къ нимъ потолковать и пообѣдать.

Ванда, накинувъ платокъ, выбѣжала проводить его въ холодныя сѣни и на крылечкѣ наградила на прощанье своимъ горячимъ, свободнымъ, ничьимъ постороннимъ присутствіемъ невозмущеннымъ поцѣлуемъ.

Свитка ушелъ довольный, и счастливый, и любящій, чувствуя въ себѣ избытокъ какой-то долго сдержанной внутри, но кипучей, неугомонной жизни и жажды дѣятельности и громкой, блистательной славы.

Ванда... дѣло... свой замыселъ... весь стройный, обдуманный ходъ его... любовь... успѣхъ... Хвалынцевъ... диктатура... пять тысячъ злотыхъ... Литва... слава... все это вмѣстѣ и разомъ какъ-то перемѣшалось и радужно-блестящимъ колесомъ ходило въ закружившейся головѣ его.

Онъ слишкомъ долгое время вынашивалъ и таилъ въ себѣ всѣ свои мысли и планы — и сегодня только въ первый разъ въ жизни довелось ему ихъ высказать предъ посторонними.

Поэтому онъ чувствовалъ себя и жутко, и легко...

И все хотѣлось жизни, жизни,—больше, какъ можно больше простору и жизни, которая въ немъ, словно вновь пробившійся родникъ, бурлила, кипѣла и рвалась наружу — разлиться широкимъ потокомъ по вольному бѣлому свѣту...

X.

„Опять сомнѣнія и муки“.

«Что же мнѣ дѣлать, однако, и какъ быть?» задавалъ себѣ мучительный вопросъ Хвалынцевъ, идучи съ Телятника въ свой нумеръ, послѣ того, какъ пришлось неожиданно принять ножную ванну въ сточной канавкѣ. «Что же мнѣ дѣлать, въ самомъ дѣлѣ, и на что, наконецъ, рѣшиться? — Вѣдь такъ же нельзя!.. Невозможно!

«Бросить развѣ все это да ѣхать обратно въ Питеръ... въ Славнобубенскъ... засѣсть себѣ въ деревнѣ, хозяйничать, приглядываться къ быту, а тамъ—искать потомъ должности посредника... у себя же, въ своемъ участкѣ... въ Славнобубенскъ наѣзжать буду... тамъ Устиновъ, Лубянскій старикъ... Стрѣшнева.. Таня Стрѣшнева... А вѣдь она милая!.. И нравилась же мнѣ!.. Вотъ, можетъ опять будемъ собираться маленькимъ своимъ кружкомъ... толковать... жить... вечеръ, садъ, красный закатъ и искры солнца на крестахъ за широкою рѣкою... соловьи и сирень... Ахъ, какъ тогда хорошо было! И давно ли, подумаешь! — всего лишь нѣсколько мѣсяцевъ назадъ... Хорошо такъ!.. Славно! Уютно и тепло такъ было!..

«Махнуть развѣ въ Славнобубенскъ?.. а?.. Къ чорту всю эту «свѣнту справу» и прочее!.. Ну, какой я революціонеръ, и въ самомъ дѣлѣ? Курамъ на смѣхъ!

... «Таня... А вѣдь славная она дѣвушка!.. И какъ это я могъ такъ скоро разлюбить ее!.. А можетъ еще... можетъ еще и опять все вернется, все по старому будетъ... можетъ, я ее опять... опять полюблю?.. а?.. Почемъ знать?»

Но нѣтъ!.. рядомъ съ милою головкою этой маленькой Тани, всегда такъ просто умной, такъ просто милой, такъ просто любящей, подымался и обдавалъ какимъ-то сверкающимъ, неотразимымъ обаяніемъ царственный образъ графини Цезарины... Онъ магнетически зачаровывалъ и рабски притягивалъ къ себѣ, къ своимъ ногамъ — этимъ страннымъ обаяніемъ красоты и силы, прелестью таинственности, атмосферой какого-то непроницаемаго, невѣдомаго, но великаго заговора и какою-то захватывающею духъ прелестью ощущеній человѣка, котораго подхватили сзади подъ локти и держатъ въ воздухѣ, надъ глубокою, темною, зіяющею бездной... Этотъ образъ приковывалъ къ себѣ чѣмъ-то загадочно-демоническимъ и горячею, упоительною поэзіею чувственныхъ, сладострастныхъ грезъ... Это было какое-то могущественное и злобное обаяніе царицы-Клеопатры, заговорщицы-польки, демона-баядерки и очковой змѣи вмѣстѣ и въ одно и то же время.

Онъ чувствовалъ, какъ становится ничтоженъ предъ нею, какъ падаетъ вся его рѣшимость, вся отрезвляющая сила воли и разсудка, даже... даже чести предъ соблазномъ и хмѣлемъ этого обольстительнаго, прекраснаго дьявола-женщины.

«Вернуться въ Питеръ...» думалъ Хвалынцевъ, «но тамъ вѣдь теперь и *она*, и Таня, и тетка ея, и Устиновъ... Вернуться, а *что скажутъ*?.. Что подумаютъ обо мнѣ?.. Да и

Digitized by Google

одни ли они? А Свитка? а Бейгушъ? а Колтышко? а Чарыковскій?.. А главное, что *она* то скажетъ, что она подумаетъ?.. Какими глазами я встрѣчусь и съ нею, и съ Таней, и со всѣми этими людьми?.. Вѣдь это срамъ будетъ, малодушіе... даже больше: это будетъ глупо и смѣшно, дурацки смѣшно!.. Поѣхалъ вдругъ человѣкъ въ военную службу вступать и вдругъ на тебѣ! чрезъ двѣ недѣли вернулся: «Здравствуйте! я къ вамъ обратно...» Что жь такъ? Значитъ струсилъ, любезный? аль мужества и силенки не хватило? али мальчишка еще?.. Вѣдь это срамъ, позоръ! Это всеобщее презрѣніе будетъ, смѣхъ, сарказмъ, насмѣшки... Положимъ, хоть и не выскажутъ мнѣ этого въ лицо, но я самъ, я въ глазахъ читать все это буду. я буду чувствовать это!.. Даже хуже: мнѣ вѣчно *казаться* будетъ это!

«Нѣтъ, вернуться окончательно невозможно!» твердо порѣшилъ себѣ Хвалынцевъ. «Надо идти впередъ, дальше, выше... Куда?—Богъ вѣсть куда!.. Иди съ завязанными глазами, куда ведутъ тебя!.. Ты вѣдь рабъ теперь — рабъ собственнаго честнаго слова и... этой женщины!..»

И онъ на нѣсколько минутъ, повидимому, безповоротно, безпомощно, безъ всякой попытки на борьбу, отдался этому теченію.

Но воспоминанія гродненскаго дня и всей этой литовско-панской недѣли какъ-то невольно, сами собою пришли опять ему въ голову.

«Какъ же, однако, идти мнѣ и съ ними, съ людьми, съ которыми у меня нѣтъ да, какъ видно, и не можетъ быть ничего общаго, и никогда не будетъ?» снова задалъ онъ себѣ мучительный вопросъ. «Вѣдь не выдержу! Чувствую, что не выдержу, не вынесу я ихъ и всей этой ихъ ненависти, узкости, мелкости, и всей ихъ жизни и характера, которые мнѣ такъ глубоко противны...

... «Фу! Боже мой!.. Подумаешь: въ какое я болото залѣзъ, въ какую безвыходную ловушку попался!..»

При этомъ онъ даже остановился по срединѣ улицы.

... «Ахъ ты, жалкій, жалкій, ничтожный безхарактерный ты человѣчишко!..»

Это самоугрызеніе, самобичеваніе было невыносимо тяжело и въ то же время какъ-то жутко, болѣзненно-пріятно, словно бы давно уже ноющій больной зубъ, который все ноетъ, ноетъ, потомъ какъ будто начинаетъ затихать, замирать понемногу, все тише и тише, все легче и легче, и вотъ совсѣмъ затихъ, замеръ... и такъ пріятно, такъ хорошо это утомленно-нервное забытье... И вдругъ опять его схватило, задергало! Опять заныло, еще пуще, еще больнѣе прежняго... И такъ повторяется все это дальше и дальше, каждый часъ, каждую ночь, недѣли и мѣсяцы, безконечно, безпрерывно, безнадежно и безпредѣльно...

«Фу! какое проклятое существованіе!

... «Но какъ же быть, однако, и что дѣлать?» опять встаетъ все тотъ же роковой, неотразимый вопросъ.

... «Надо рѣшиться.

«Да; надо. Но на что рѣшиться?

... «Ѣхать въ Варшаву и...

«Служить?

... «Да, служить въ военной службѣ, коли ужь рѣшился разъ и нарочно поѣхалъ за тѣмъ. Служить... Конечно! И непремѣнно служить!

«И какъ?.. Пожалуй, «вѣрой и правдой?»— насмѣшливо подшептываетъ какой-то внутренній, безпощадно язвящій, ироническій голосъ.

.... «Да!.. И вѣрой и правдой, какъ служитъ Холодецъ, Устиновъ, напримѣръ, какъ всѣ порядочные и честные люди... «Я на двухъ стульяхъ сидѣть не умѣю»—ахъ, какое это у него убійственное колючее, безпощадное, прожигающее слово вырвалось сегодня!..

«А вы, милостивый государь, небойсь, и на двухъ какъ-нибудь усидите, сбалансируете? ась?

.... «Нѣтъ, чортъ возьми... Врешь!.. Врешь, подлецъ!»—съ нервнымъ скрежетомъ зубовъ и съ подергиваньемъ личныхъ мускуловъ, говоритъ какой-то внутренній возмутившійся честный голосъ: «Не стану! Не усижу! Не хочу, не буду сидѣть!»

«А Цезарина?»

И опять наплываетъ темное, безпомощное, беззащитное безсилье, которое какъ-то сковываетъ и душу, и мысль, и руки, опущенныя, повисшія какъ плети...

.... «И такъ! опять-таки на что же рѣшиться?

«Ѣхать и служить... служить просто, ничего не предпринимая по *этому* дѣлу, не ходить къ Паляницѣ, не предъявлять ему своего условнаго числа... то-есть ровно-таки ни шагу не дѣлать въ этомъ направленіи самому и ждать, пока что-нибудь не случится особенное.

.... «Да что же именно?

«Что? Не знаю... Что-нибудь!.. Какъ судьба укажетъ...»

Онъ въ эту минуту былъ похожъ на того голоднаго фаталиста-дервиша, который подставилъ свою голову подъ страшную грозовую тучу и, ничего впередъ не загадывая точнаго и опредѣленнаго, ждалъ что будетъ? ждалъ *б знадежно*, что можетъ изъ этой тучи убьетъ его громомъ небеснымъ, а можетъ она же пошлетъ ему и небесную манну.

Между тѣмъ, несмотря на всѣ сомнѣнія, на всю нерѣшительность, на все безсиліе воли предъ всепокоряющей мыслью о Цезаринѣ, несмотря даже на недавно зародившееся злобное отвращеніе къ панамъ-полякамъ и ихъ панскому дѣлу, его все словно бы тянуло перегнуться черезъ тоненькую жердь, зыбко-обра-

Digitized by Google

мявшую этотъ колодезь, и пытливо заглянуть въ его темную, мглисто-черную глубину. Это въ Хвалынцевѣ было нѣсколько похоже на давешное чувство при видѣ ужа: его и тянуло любоваться на красиво-изгибающуюся змѣю, и почему-то непріятно, нервно тяжело было смотрѣть на нее, какъ она обвивалась вокругъ руки доктора и продѣлывала свои уморительно смѣшные, но въ то же время граціозные курбеты.

Это также похоже было и на «чувство темноты», на то особенно знакомое дѣтямъ чувство темной комнаты, когда они, въ темнѣющіе сумерки, забившись въ уголокъ около печки и тѣсно прижавшись другъ къ дружкѣ, разсказываютъ себѣ страшныя, морозомъ подирающія сказки о мертвецахъ и привидѣніяхъ, а густая, таинственная тьма смежной пустой комнаты, межъ тѣмъ, глядитъ на нихъ сквозь открытую дверь... И такъ жутко становится на душѣ, такъ боязно, а между тѣмъ что-то такъ и подмываетъ, чтобы — нѣтъ-нѣтъ да и бросить косящійся взглядъ въ эту нѣмую и почему-то страшную, пугающую тьму... и все думаешь, слушаешь, ежишься и ждешь, что вотъ-вотъ сейчасъ оттуда покажется изъ темноты и заглянетъ слегка въ дверь что-то бѣлое, страшное, невѣдомое... и боишься его, и хочешь, чтобъ оно показалось,—и потому снова и снова невольно, съ какимъ-то жуткимъ, замирающимъ наслажденіемъ ужаса косишься на страшную темноту, глядящую въ дверь этой смежной комнаты.

Нѣчто подобное, напоминающее ощущенія дѣтства, только вызванное болѣе серьезной причиной, испытывалъ теперь Хвалынцевъ, шагая по значительно опустѣвшей, темной улицѣ незнакомаго города.

Онъ, наконецъ, оглянулся, пришелъ въ себя и замѣтилъ, что зашелъ не туда, куда слѣдовало, и очутился около воротъ Борисо-Глѣбскаго монастыря... Лампада тускло мерцала предъ образомъ, въ глубинѣ надворотной часовни... Вокругъ все такъ пусто, тихо, безлюдно... Вдалекѣ кое-гдѣ огоньки виднѣются въ окнахъ убогихъ деревянныхъ домишекъ... Собака гдѣ-то завываетъ такъ жалобно и протяжно. Хвалынцеву вдругъ стало еще жутче какъ-то. Онъ быстро повернулся и спѣшными шагами пошелъ назадъ къ нумерамъ Эстерки.

«И такъ, на чемъ же мы остановились?» задалъ онъ себѣ опять пытающій вопросъ. «Да!.. Ѣхать, служить, ничего не предпринимая и... ждать что́ будетъ».

И—странное дѣло!—остановясь на такомъ почти неопредѣленномъ рѣшеніи, онъ вдругъ почувствовалъ себя какъ-то легче и спокойнѣе.

Это опять-таки было чувство страуса, въ минуту опасности, въ минуту преслѣдованія врагомъ, прячущаго свою голову въ колючій кустъ изсохшаго терновника и воображающаго, что если онъ не видитъ, то значитъ, уже укрытъ и безопасенъ.

Страусъ, конечно, жестоко ошибается; но страусу все-таки становится отъ этого и легче, и спокойнѣе.

XI.

Опять непріятности.

Придя въ свой нумеръ, Хвалынцевъ узналъ, что Свитка все еще не возвращался.

«Ну, какъ бы то ни было, придетъ онъ, или не придетъ, а завтра утромъ я ѣду», рѣшилъ себѣ Константинъ, скидая и передавая человѣку свое пальто.

Тотъ вздѣлъ его на вѣшалку и вдругъ съ удивленіемъ и улыбкой въ голосѣ процѣдилъ себѣ сквозь зубы:

— Э-э!.. От-то штука!.. а-гà!.. Бардзо [1]) чисто!.. Ось якъ!.. И-и!.. и тутъ!

— Что тамъ такое? — обернулся на него Хвалынцевъ.

— Прошен' пана!.. Нехъ панъ самъ зобачи!

И онъ развернулъ обѣ полы, Вся спина пальто какъ бы не существовала: на ней въ нѣсколькихъ мѣстахъ виднѣлись пятнистыя дыры различныхъ величинъ, словно бы вещь была облита сзади какою-либо ѣдкою жидкостью.

— Что это!?—въ недоумѣніи спросилъ Хвалынцевъ.

— Витріоля! [2])—съ обычною своею плюхо-просящею, равнодушно-подсмѣивающеюся ухмылочкою пояснилъ ему нумерной.

— Ахъ ты чортъ возьми!.. Гдѣ это угораздило такъ!?

— Альбожъ я вѣмъ?—пожалъ плечами лакей,—а пенкне таки панъ убралсен'!..

— Экіе мерзавцы! — съ досадой выбранился Хвалынцевъ. — Хорошая вещь — и теперь хоть къ чорту бросай!.. Какіе негодяи, однако!

— Ктось то? — съ наглою, притворно-непонимающею и какъ бы дразнящею миною, уставился на него лакей глазами.

— Кто?.. Ваша братья полячишки поганые!.. Вотъ кто!

— Пршепрашамъ пана! Нигды!—поднялъ лакей свою голову съ тою характерною «гордостью народовей», по выраженію Холодца, которая способна еще болѣе раздражать и безъ того уже раздраженнаго человѣка. — Нигды, муй пане! Поляцы то завше сон' наипоржонднѣйшы людъ у свѣци! То шляхетны людъ, муй пане, а не таки, янъ панъ мувi!.. А може для тэго такъ сробили пану,—пояснилъ

---

1) Очень.

2) Царская водка (сѣрная кислота).

Digitized by Google

онъ, помолчавъ немного,—же панъ есть москаль... може панъ, на улицы размàвіалъ зъ кимъ по-москевську?

— Такъ по-каковски же мнѣ говорить, чортъ васъ возьми!

— А, ну—то такъ есть!

— Въ полицію-бы за это... за рѣшетку! чтобы поморили хорошенько!—досадливо бормоталъ себѣ подъ носъ нашъ революціонеръ, возмущавшійся бывало при самомъ словѣ «полиція» — и увы! опять-таки не почувствовалъ теперь за столь преступную мысль ни малѣйшихъ угрызеній совѣсти.

— А! до полиціи?—Можно и такъ! Алежь вприщудъ налѣжы бымъ злапаць, а панъ не злапалъ... Хе, хе, хе-ее [1])!

— Ну, жаль, что не замѣтилъ, а ужь избилъ бы хоть, по крайней мѣрѣ!—ходючи по комнатѣ говорилъ Хвалынцевъ, срывая свою безсильную досаду этимъ безплоднымъ бормотаньемъ, хотя самъ въ душѣ своей и зналъ, что вѣдь никакъ бы не избилъ; но теперь ему хотѣлось такъ думать, что избилъ-бы непремѣнно.

Лакей опять ухмыльнулся съ выводящею изъ предѣловъ терпѣнія «гордосцью народовей».

— А-а, бицьсен'!—разставилъ онъ руки, пожимая плечами.—Пршепрàшамъ пана! бицьсен' ту не вольне!.. Може въ Россіи то вольне—нéвѣмъ тэго, а въ Польскей—то кэпьски интэресъ, муй пане... О-ой, бардзо кэпьски!

Хвалынцеву стало, наконецъ, казаться, что панъ-лакей не то издѣвается надъ нимъ, не то нотаціи ему читаетъ. Это его взорвало.

— Что?! — крикнулъ онъ, сдвинувъ сердито брови и быстро подступая къ пану-лакею.

Но сей нимало не испугался. Напротивъ, все лицо его такъ и вызывало на исторію, такъ и говорило: голубчикъ, сдѣлай одолженіе, хвàти меня! Лучшей услуги ты мнѣ и оказать не можешь! Только хвати, а ужь я тебя сейчасъ-же «злапаю», и впутаешься ты у меня въ скандалъ, и подѣлишься со мною въ заключеніе своимъ карманомъ на самомъ легальномъ основаніи, и потому панъ-лакей, въ отвѣтъ на его грозное «что!?» вылупя глаза и близко подставивъ ему свою физіономію, съ невыразимо шляхетнымъ нахальствомъ отвѣтилъ:

— А то!—да такъ и остался предъ нимъ съ нагло-вылупленными бѣльмами и съ плюхо-вызывательно подставленной мордой.

Въ первое мгновеніе у Хвалынцева уже застучало было въ вискахъ, въ глазахъ зарябило и отъ мàкушки головы побѣжали, стекая и прыгая внизъ по всему тѣлу, зловѣщія муражи бѣшенства, но къ счастію, онъ какъ-бы сквозь тяжелый сонъ опомнился и понялъ, что его *вызываютъ* на крайность, что именно этого-то и хочется...

А лакей межъ тѣмъ продолжалъ еще стоять въ своей дразнящей позѣ, которая безмолвно какъ-бы говорила все то же: «*а то*»!

Эта выдержка лакейской наглости, какъ только Хвалынцевъ опомнился и сдержалъ себя, во второе мгновеніе уже заставила его, какъ мимозу, по обыкновенію съёжиться.

— Счетъ мнѣ подать!—рѣзкъ сказалъ онъ, отходя отъ нумерного.—Утромъоя ѣду. Только чтобы счетъ былъ по-русски, я вашихъ польскихъ не понимаю.

Лакей, измѣнивъ вызывающую позу на прежнюю равнодушно-спокойную, продолжалъ стоять и разсматривать дыры на пальто.

— Счетъ, говорю! И убирайся къ чорту!—вспыльчиво топнулъ Константинъ ногою, въ досадѣ уже на самого себя за то, что вотъ опять-таки, невольно съёжился и уступилъ польско-лакейской наглости.

Лакей, очевидно, разочарованный въ своихъ пріятныхъ ожиданіяхъ плюхи, скандала и вознагражденія, повернулся и угрюмо, но неспѣшно вышелъ за двери.

— О, Господи!.. Когда-же, наконецъ, это кончится!—схватясь за голову, съ отчаяннымъ вздохомъ проговорилъ себѣ Хвалынцевъ.

Черезъ нѣсколько минутъ лакей вернулся и подалъ счетъ.

— Но вѣдь это по-польски,—сказалъ Константинъ, взглянувъ на бумажку,

— А такъ, — подтвердилъ тотъ.

— Ступай и принеси по-русски.

— А, муй пане!—досадливо дернулся лакей. — Кеды жъ ту нéма никого, кто-бымъ розумѣлъ и пúсалъ по-русську! Альбожъ для пана не вшúстко то рувне?!

Хвалынцевъ въ нарочномъ спокойствіи поднялся съ мѣста.

— Если мнѣ чрезъ пять минутъ не будетъ принесено русскаго счета,—сказалъ онъ рѣшительно и твердо,—то я съ этимъ вотъ самымъ счетомъ пойду въ полицію и попрошу, чтобы мнѣ тамъ перевели его по-русски; въ такомъ случаѣ и деньги будутъ тамъ же уплачены. Но не иначе! Ступай!

Минутъ чрезъ десять нумерной явился съ русскимъ счетомъ. Послѣдняя угроза возымѣла надлежащее дѣйствіе, потому что хотя гродненская полиція и была переполнена добрыми патріотами, но составители счета очень хорошо чувствовали и понимали, что ни одинъ изъ этихъ полицейскихъ патріотовъ не упуститъ пріятнаго случая слупить съ нихъ лишній рублишко «за безпокойство». Хвалынцевъ принялъ изъ рукъ лакея длинноватую бумажку и не безъ нѣкотораго усилія сталъ разбирать ее:

[1]) Но впередъ слѣдовало поймать.

Digitized by Google

Рахунекъ.

За выпись двохъ паспорты	40 гроши
За нумеру дви сутку . . .	3 рубля
Самоварекъ еденъ	40 гроши
Дви свицы	2 злоты 10 гроши
Дви постелю зъ билизней	1 рубель
Дви порцій дрова	3 злоты 10 гроши
Шкло выбите и друге шкло	1 рубель
Огулемъ . .	6 рубли гроши 50

— Да это разбой!—невольно вкричалъ Хвалынцевъ, дойдя до итога.—Шесть рублей за скверную комнату! за клоповникъ!.. И наконецъ, съ какой же стати мнѣ еще и за стекла платить?

— А кто жъ бымъ мусялъ заплàциць?! Може панъ мнѣма собѣ, ижъ то я повиненъ плàциць? то пршепрáшамъ: èстемъ не коштовны, не пенензы чловѣкъ!

— Это вы что же, со всѣхъ такъ деретe? Или только съ меня за то, что я «москаль»?—съ раздражительно-злобной усмѣшкой спросилъ Хвалынцевъ.

— Тэго нéвѣмъ, муй пане! алежъ тáки естъ рахýнекъ,—развелъ руками лакей.

— Позови мнѣ хозяина!—додумался Константинъ Семеновичъ.

— Его нéма въ дому, муй пане!—доложилъ нумерной.

— Ну, такъ конторщика тамъ, что ли!

— Такъ само, муй пане.

— Что такое!?

— Такъ само, муй пане.

— Да что такое «такъ само», чортъ возьми?!. Тоже дома нѣту, что ли?

— Такъ само, муй пане.

— Тьфу, ты чортъ,—досадливо плюнулъ Хвалынцевъ.—Наладилъ себѣ «такъ само»... Ну, ужь народецъ, нечего сказать!.. Да на вашего брата не «московскій», а развѣ татарскій бы «ржондъ» только въ пору!.. Ахъ, вы анаѳемы эдакіе!

— Не разумѣмъ, цо панъ кржúчи... Ницъ не розумѣмъ!

— Ну, если нѣтъ и конторщика, такъ есть же кто-нибудь, наконецъ?—спросилъ Константинъ.

— Нéма никòго, муй пане.

— Да вѣдь «рахунекъ»-то этотъ писалъ же кто-нибудь?

— Такъ естъ, муй пане.

— Ну, такъ кто-же писалъ его?

— Чловѣкъ, муй пане.

— Такъ позови же ты мнѣ этого «чловѣка?»

— Такъ само-жъ, муй пане.

— Что такое опять «такъ само?!»

— Пршедставьямъ пану, ижъ такъ само.

— Фу, ты, Господи!.. Да съ ними, наконецъ, каменное терпѣніе, и то лопнетъ!.. Я тебя спрашиваю: чтó такое «такъ само»?.. Тоже дома нѣту, что ли?!

— Такъ естъ, муй пане.

— Врешь, каналья!—крикнулъ выведенный изъ себя Хвалынцевъ, стукнувъ кулакомъ по столу.

Лакей тотчасъ-же принялъ позу «гонорòву», исполненную великаго собственнаго достоинства.

— Прòшен' пáна не урòнгацьсен' бо естемъ шляхцицъ родовиты одъ потопу! пршинàймнѣй бѣдны, алежъ родовиты, правдзивы шляхцицъ!—Тáкъ сáмо якъ и пáнъ, и може й éще вѣнцей [1]) одъ пана! Алежъ бѣдны и тыле для тэго на служебнúцкемъ урождовáнью! [2])

— Позвать мнѣ того, кто писалъ!—еще настойчивѣе крикнулъ Хвалынцевъ.

— Мамъ гòноръ доложиць пану, же нéма въ дòму!—вразумительно отвѣтилъ съ поклономъ лакей.

— Кто же есть, наконецъ?

— Естемъ самъ до услуги панськой!—снова поклонился нумерной.

— Такъ это ты писалъ, значитъ?

— Я-а!?—гордо отклонился онъ назадъ, все тѣмъ же благородно-польскимъ жестомъ указывая себѣ на грудь.—Пршепрашамъ пана, по москевьску не имѣмъ ни мувиць, а-ни чúтаць, а-ни пúсаць: éстемъ крéвны полякъ, муй пане!

Хвалынцевъ все болѣе и болѣе убѣждался, что надъ нимъ издѣваются самымъ наглымъ, самымъ непозволительнымъ образомъ. И хуже всего, что (онъ понималъ), разъ начавши исторію изъ-за разбойничьяго счета, взять теперь и уплатить значило бы признать себя побѣжденнымъ, а въ такомъ случаѣ изъ чего же было и подымать всю исторію? Сказать, что заплачу, молъ, послѣ—не значитъ ли подать имъ поводъ думать, что это съ его стороны тоже косвенное признаніе себя побѣжденнымъ, или же пустой, вздорный капризъ, или же наконецъ, чтó хуже всего, подать имъ подозрѣніе, будто у него и денегъ-то нѣтъ ни копейки, и что онъ думаетъ подождать возвращенія товарища, который за него заплатитъ?

Однимъ словомъ, Хвалынцевъ понималъ, что съ своею ребяческою запальчивостью онъ попалъ въ самое нелѣпое, въ глупѣйшее положеніе, изъ котораго просто не знаешь, какъ и выпутаться хотя бы съ какимъ-нибудь достоинствомъ.

«Какой же я жалкій, безсильный младенецъ», думалось ему съ досадой и ѣдкой горечью надъ самимъ собою. «Какое же я, должно быть, ничтожество, если всякій лакей, первый попавшійся прохвостъ можетъ безнаказанно куражиться и издѣваться надо мною!.. И наконецъ... наконецъ, какъ низко, какъ презрительно втоптано здѣсь въ грязь русское имя... Вѣдь это все за то, что я русскій... О, Боже!—«Естемъ родовúты пòлякъ, муй пане», еще какъ будто

[1]) Больше.
[2]) На частной службѣ.

Digitized by Google

бы звучали, межъ тѣмъ, въ его ушахъ полныя шляхетной гордости и достоинства послѣднія слова нахальнаго пана-лакея.

— Мнѣ нѣтъ дѣла до того, какого сорта ты прохвостъ, польскій или жидовскій!—все болѣе выходя изъ себя, ругался и кричалъ Хвалынцевъ.—Если ко мнѣ тотчасъ же не придетъ тотъ, кто писалъ этотъ счетъ, то я сію же минуту поѣду хоть къ губернатору и найду на васъ, скотовъ эдакихъ, управу! Слышишь ли ты, мерзавецъ!?

— Прошен' пана не кржичець, бо я й самъ закржичен' ёще й глоснѣй и грознѣй!—съ дерзкой угрозой возвысилъ голосъ лакей, и вызывающе поднявъ свою голову, сдѣлалъ кулакомъ угрожающій жестъ своему противнику.

Хвалынцевъ просто задыхался отъ бѣшенства. Это было похоже на тяжкое, сковывающее всѣ члены, языкъ и волю ощущеніе сознаго кошмара.

— Вонъ, негодяй!.. Или убью на мѣстѣ!—съ невѣроятнымъ усиліемъ высвобождая голосъ изъ онѣмѣвшей гортани и груди, дико завопилъ онъ и, схвативъ за спинку первый попавшійся довольно-тяжелый стулъ, какъ перышко, съ неестественной, необычайной нервной силой, угрозливо взмахнулъ имъ надъ головою.

Лакей попятился и закричалъ словно бы его рѣжутъ:

— Ратуйце, панове!.. Гвалтъ!.. Варта!.. Ой-ой-ой, варта, панове!!.. [1])

Въ это самое мгновеніе внезапно распахнулась дверь, и на порогѣ—весь блѣдный, недоумѣвающій появился Василій Свитка.

Хвалынцевъ чуть-чуть лишь мимо головы лакея съ размаху съ громомъ и трескомъ швырнулъ свой стулъ въ пустой уголъ. Нумерной едва-едва успѣлъ уклониться отъ страшнаго удара.

— Что это?.. Боже мой, что тутъ такое?!—взволнованно забормоталъ Свитка и вдругъ, замѣтивъ лакея, повелительно крикнулъ ему: «вонъ!»—но не довольствуясь еще и этимъ, ухватилъ его за шиворотъ и вышвырнулъ за двери.

XII.

Послѣ бури.

Что съ вами?.. Константинъ Семеновичъ... батюшка!.. Голубчикъ, что съ вами?—перепуганно бормоталъ, весь блѣдный, Свитка, ухвативъ его за руку и заглядывая въ лицо.—Успокойтесь, Бога ради... Въ чемъ дѣло-то?.. а?.. голубчикъ!..

Но Хвалынцевъ не могъ говорить. У него потерялся голосъ и, кажись, самая возможность, самая способность произнести хотя бы-то одно какое-нибудь слово. Онъ только хрипло, тяжело и медленно дышалъ широко раскрытымъ пересохшимъ ртомъ, какъ-то захлебываясь вдыхаемымъ воздухомъ, словно бы ему мало было этого воздуха или бы что-нибудь не пускало его проникнуть въ легкія. Кровь до такой степени прихлынула къ груди, что онъ все еще задыхался и былъ блѣденъ, какъ синеватое полотно. Все тѣло дрожало конвульсивно-лихорадочною дрожью, и одни лишь глаза горѣли тусклымъ зловѣщимъ огнемъ бѣшеной собаки. Онъ пока еще не помнилъ себя: *человѣкъ* исчезъ въ немъ окончательно, осталась одна физическая, животная сторона бѣшенства, свойственная лишь сумасшедшему или же дикому звѣрю. Грудь съ какимъ-то истерическимъ заиканьемъ рыданій глухо клокотала внутри и то подымалась, то опускалась высоко и медленно. Онъ былъ страшенъ. Состояніе его было близко къ нервному удару.

Свитка испугался не на шутку и, не говоря уже ни слова, тихо, на цыпочкахъ отошелъ въ сторону и робко поглядывалъ изъ угла на своего пріятеля, сомнительно ожидая, чѣмъ-то все это кончится и не мало-таки струхнувши въ душѣ за свою собственную безопасность.

Такъ прошло минуты три.

Вдругъ Хвалынцевъ повалился на кровать, около которой стоялъ, и разразился глухими, истерическими рыданьями.

Въ нихъ теперь было его единственное спасеніе. А если-бы не они, то нервный ударъ не замедлилъ бы.

«Эге, братъ, такъ вотъ ты каковъ дикій гусь», подумалъ себѣ Свитка, все еще не осмѣливаясь снова подойти къ нему.—Да съ тобою, какъ видно, шутки-то иногда и плохи бываютъ!..

«Это и хорошо, и дурно», продолжалъ онъ думать; «съ одной стороны хорошо, даже очень хорошо, а съ другой очень дурно»...

Хвалынцевъ продолжалъ рыдать, но конвульсивныя вздрагиванія становились уже рѣже и тише. У него наконецъ-то выжались слезы, и уже онѣ теперь начинали одерживать внутреннюю побѣду надъ потрясеннымъ организмомъ. Со слезами понемногу возвращалось и нравственное сознаніе.

Замѣтивъ этотъ благополучный переломъ, Свитка съ нѣкоторою осторожностію рѣшился наконецъ приблизиться къ пріятелю.

— Константинъ Семеновичъ,—робко и тихо заговорилъ онъ,—а, Константинъ Семеновичъ!.. Да очнитесь же хоть чуточку!.. Ну, успокойтесь... придите въ себя... Да вотъ что, выпейте-ка воды, это лучше будетъ... успокоитъ васъ... Ну, хоть одинъ глоточекъ...

И онъ, поспѣшно наливъ стаканъ, поднесъ его къ Хвалынцеву и въ эластичной позѣ, готовый тотчасъ-же отпрыгнуть назадъ при ма-

[1]) Караулъ.

Digitized by Google

лѣйшемъ угрожающемъ движеніи, рѣшился осторожно приподнять съ подушки его голову.

— Ну, голубчикъ... ну, миленькій... ну, хлебните-же... хоть глоточекъ-то!—дружески, умоляющимъ голосомъ лепеталъ онъ.

Константинъ жадно прильнулъ губами къ краю стакана и изъ рукъ Свитки опорожнилъ его большими, тяжелыми, булькающими въ груди глотками.

— Еще!—просипѣлъ онъ невнятнымъ шопотомъ, вздыхая при этомъ содрогающимся, перерывчатымъ вздохомъ, какимъ обыкновенно вздыхается людямъ, а особенно дѣтямъ, послѣ тяжелыхъ слезъ, натомившихъ и обезсилившихъ грудь конвульсіями рыданій.

Свитка поспѣшилъ налить и подать ему второй стаканъ и даже взялъ въ руки графинъ на случай, если бы понадобилось наливать третій, или защищаться отъ бѣшенаго нападенія: онъ все еще не вполнѣ былъ увѣренъ въ наступившей безопасности.

Хвалынцевъ и этотъ стаканъ хватилъ столь-же жадно и залпомъ.

— Что это съ вами, другъ мой?.. Скажите, Бога ради, какъ? что? почему?—успокоительно и участливо приступилъ къ нему Свитка.

— Н-н-не мо-гу... п-потомъ,—черезъ силу произнесъ Константинъ.

— Ну, ну, не надо, не надо теперь... послѣ... а теперь вы, главное, успокойтесь... Да не надо-ли лавровишневыхъ капель?.. а?.. Я пошлю сейчасъ!

Тотъ отрицательно и съ нервной гримасой покачалъ головою.

— Ну, хорошо, хорошо... только успокойтесь... Воды еще не хотите?

И онъ предупредительно налилъ третій стаканъ, отъ котораго тоже не послѣдовало отказу, и послѣ этого, едва лишь черезъ полчаса слишкомъ, Хвалынцевъ на столько успокоился и пришелъ въ себя, что могъ думать, соображать и безпрепятственно владѣть языкомъ, однимъ словомъ, разговаривать.

— Боже мой, вѣдь я чуть не убилъ его!— медленно, отъ глазъ къ затылку проводя по головѣ рукою, проговорилъ онъ.

— Н-да-съ... вонъ стулище-то и то лежитъ въ углу разломанный,—замѣтилъ Свитка.

Хвалынцевъ покачалъ головою.

— Счастливый случай, — прошепталъ онъ.

— Что это, счастливый случай?—недоумѣвая, переспросилъ его пріятель.

— Да то, что Богъ уберегъ... вѣдь чуточку правѣе, да не увернись онъ во-время — и на смерть-бы!.. на мѣстѣ!..

— Да... это ужасно!—раздумчиво согласился Свитка.—Но разскажите-же теперь,—присовокупилъ онъ, дружески взявъ его за руку, — что васъ такъ взволновало?

— Да многое-съ!.. Это съ самаго утра еще началось.

И онъ, на сколько позволяло ему теперь настоящее его состояніе, разсказалъ своему ментору и посвятителю исторію съ камнемъ, съ кондитеромъ, съ лакеемъ трактирнымъ, казусъ ножной ванны въ сточной канавкѣ, казусъ съ пальто и наконецъ всю возмутительную продѣлку плюхо-просившаго лакея, который, наконецъ, дошелъ не только что до крику, но до наступательной угрозы замахивающимися кулаками.

— Вонъ, полюбуйтеся на мое пальто да и на этотъ счетецъ! — заключилъ Хвалынцевъ.

Свитка, взглянувъ на первое, только головой помоталъ огорченно да сдѣлалъ видъ, будто эта продѣлка до глубины души возмущаетъ его.

— А что до счета,—сказалъ онъ, беря бумажку,—то позвольте, это что-нибудь да не такъ: либо недоразумѣніе какое, либо-же просто сами лакеи думали сорвать съ васъ лишку... Позвольте, я сейчасъ-же пойду самъ и все эти разузнаю.

И онъ поспѣшно вышелъ изъ комнаты

— Ну, такъ и есть, возвѣстилъ—онъ, возвращаясь минутъ черезъ десять, въ теченіе которыхъ Хвалынцевъ, особенно послѣ облегченія души разсказомъ, почти совершенно успокоился, — такъ и есть! И вышло по моему, что жидокъ-конторщикъ, то-есть не конторщикъ собственно, а помощникъ конторщика, который наваракалъ эти каракули, хотѣлъ попользоваться малою толикою и — вретъ бестія! — отговаривается тѣмъ, что перепуталъ нечаянно запись нашу съ сосѣднимъ нумеромъ, да еще тѣмъ, что плохо понимаетъ русскій языкъ,—послѣднее-то, конечно, справедливо.

— Ну, ужь это какъ водится!.. Знаемъ мы!— недовѣрчиво пробормоталъ Хвалынцевъ.

— А чортъ ихъ знаетъ! можетъ, и правда, а можетъ, и врутъ!—сказалъ на это Свитка.—Но дѣло въ томъ, что съ насъ всего-то на всего, какъ оказалось теперь, приходится только два рубля семь гривенъ, и ни за какія стекла ничего этого не нужно: значитъ, на вашу долю рубль тридцать-пять.

— Что тамъ за доли!.. Стоитъ ли о такихъ пустякахъ! — махнулъ рукой Константинъ.— Позвольте ужь мнѣ одному... вѣдь все равно?!.. Вы же на дорогѣ платили...

— Н-ну, какъ хотите!—какъ бы не хотя согласился пріятель.

— Только позвольте попросить васъ... будьте такъ добры, кликните этого мерзавца нумернаго.

— Да-а... Зачѣмъ онъ вамъ?... Лучше потомъ ужь.

— Чего вы?—съ доброй улыбкой поднялъ на него глаза Хвалынцевъ, — не бойтесь, не убью... теперь ужь прошло.

Свитка исполнилъ его желаніе—и нумерной

Digitized by Google

явился вдругъ какъ шелковый; — словно бы совсѣмъ въ другого человѣка переродился.

Хвалынцевъ замѣтилъ про себя столь рѣзкую и столь быструю метаморфозу, причемъ не безъ основанія подумалъ, что ею онъ обязанъ все тому же своему ментору и посвятителю, который, вѣроятно, задалъ тамъ этому лакею добрую и патріотически-внушительную головомойку. Оно такъ и было дѣйствительно: Свитка даже припугнулъ всѣхъ этихъ пановъ-лакеевъ и конторщиковъ великимъ и таинственно-важнымъ значеніемъ Хвалынцева, что это, молъ, такой человѣкъ, который, коли захочетъ, то всѣхъ ихъ завтра же, если даже не въ ночь, можетъ хоть бы въ слѣдственную политическую коммисію отправить и въ тюрьму засадить, и что этимъ человѣкомъ даже сами патріоты и наивельможнѣйшіе паны дорожатъ и стараются заслужить его благоволеніе, и что съ нимъ было поступлено очень, очень опрометчиво и глупо.

Свитка вралъ, но сумѣлъ соврать все это столь серьезно, вѣско и внушительно, и притомъ съ такимъ чувствомъ доброжелательной, патріотической и польски-родственной пріязни къ опрометчивому лакею, что и шляхтичъ-лакей, и конторщикъ повѣрили ему, пожалуй, болѣе даже чѣмъ на половину.

Панъ-лакей весьма вѣжливо и почтительно принялъ отъ Хвалынцева слѣдуемыя деньги и еще почтительнѣе приподнесъ ему на блюдечкѣ причитавшуюся сдачу. Когда же Константинъ пренебрежительно отодвинулъ эту сдачу нѣсколько въ сторону, ясно давъ понять нумерному, что онъ можетъ взять ее въ собственную свою пользу, то «родовиты шляхцицъ одъ потопу» какъ-то преподленько и прегнусненько изогнувшись, съ заискивающей улыбочкой припалъ было къ локтю Хвалынцева, но тотъ быстро и съ пренебреженіемъ отдернулъ свою руку. — Отпотопный шляхтичъ, слегка клюнувшись носомъ, чмокнулъ цѣлующими губами одинъ лишь воздухъ и съ глубокимъ поклономъ, въ почтительнѣйшемъ согбеніи, на цыпочкахъ удалился изъ нумера.

XIII.

Свитка слегка показываетъ свою настоящую шкуру и когти.

Ну вотъ вы теперь, кажись, и въ самомъ дѣлѣ, совсѣмъ успокоились!.. Я такъ радъ, право! — привѣтливо и даже весело заговорилъ Свитка. — Простите меня, Бога ради, что я васъ такъ неделикатно бросилъ сегодня на произволъ судьбы!.. Я никакъ не разсчитывалъ!.. Предполагалъ вернуться домой еще утромъ, часамъ къ одиннадцати, но... вышелъ такой непредвидѣнный казусъ... дѣла, обстоятельства разныя задержали... И знаете ли, очень и очень таки важныя дѣла!.. Ей-Богу!.. Ужь я было порывался къ вамъ — и совѣсть-то мучитъ, и безпокоюсь, но... вотъ только-что теперь успѣлъ отдѣлаться и покончить!.. Бога ради, вы ужь извините меня!..

— Да полноте! — перебилъ его Хвалынцевъ протягивая руку, — я ни мало не думаю претендовать на васъ! Нужное дѣло прежде всего!.. Объ этомъ что-жь, и говорить нечего!

— Такъ вы не сердитесь?! — весело схватилъ его руку Василій Свитка.

— Да нѣтъ же, говорю вамъ! Во-истинно нѣтъ!

— Ну, вотъ, благодарю васъ, голубчикъ!..

— Ахъ, знаете, я такъ радъ, такъ доволенъ нынѣшнимъ днемъ! — съ какимъ-то трудно-сдержаннымъ внутреннимъ увлеченіемъ говорилъ черезъ минуту Свитка, быстро и легко расхаживая по комнатѣ и весело, свѣтло улыбаясь. — Такъ доволенъ, что просто и сказать не умѣю!.. Дѣла идутъ отлично! Планы удаются превосходно!.. въ нѣкоторомъ родѣ «и солнце, и любовь», и все, что угодно! — такъ вѣдь это, кажется, въ какомъ-то романсѣ поется?.. Но это все пустяки, такъ себѣ, бирюльки, привѣски, а всего главнѣе то, что дѣло — *дѣло-съ*, батюшка мой, удается!

— Знаете ли что? — быстрымъ поворотомъ остановился онъ вдругъ предъ Хвалынцевымъ. — Я сегодня въ такомъ исключительномъ настроеніи, что ужасно какъ хочется выпить!.. Я ужь пилъ сегодня порядочно; но все-таки хочется еще... «паки и паки!..» Выпьемте-ка бутылочку! Тѣмъ болѣе, что завтра мы разстаемся, такъ ужь на прощанье!.. а?..

Хвалынцевъ послѣ всей этой послѣдней передряги чувствовалъ какую-то внутреннюю жажду, такъ что и самъ непрочь былъ бы чего-нибудь выпить, и потому онъ не отказался отъ сдѣланнаго ему предложенія.

Свитка въ припрыжку вылетѣлъ въ коридоръ и заказалъ бутылку шампанскаго, которое очень скоро явилось къ его услугамъ, такъ какъ у «мадамъ Эстерки» имѣлся свой собственный погребъ.

Когда шелковый шляхтичъ-лакей, откупоривъ бутылку, налилъ вино и удалился, Свитка поднялъ свой стаканъ.

— Ну, за успѣхъ нашего общаго дѣла! — предложилъ онъ тостъ, изъявляя намѣреніе чокнуться съ пріятелемъ.

Но послѣдній, къ крайнему его удивленію, стакана не поднялъ и не чокнулся.

— Константинъ Семеновичъ!.. Что же это вы, батюшка? — вытаращилъ на него менторъ свои глаза. — Или не слышали моего тоста?

— Нѣтъ, слышалъ очень хорошо-съ!

— Такъ что жь не пьете-то?

— Я, любезный другъ мой, не имѣю обыкновенія пить за то, чего не знаю и даже не

Digitized by Google

понимаю вовсе,—сказалъ онъ тихо, размѣренно и внятно.

Свитка чуть даже стакана не выронилъ. Его словно бы такъ и отшатнуло назадъ.

— То-есть какъ же это?.. Объяснитесь, Бога ради!—пробормоталъ онъ.

— Да, намъ, дѣйствительно, надо объясниться; и хорошенько, окончательно переговорить между собой!—все тѣмъ же ровнымъ и спокойно-рѣшительнымъ тономъ согласился Хвалынцевъ.

— Извольте, я готовъ... Я васъ слушаю,— промолвилъ Свитка и, выпивъ залпомъ свой стаканъ, придвинулъ себѣ кресло и усѣлся поближе къ столу и къ Хвалынцеву.

— Прежде всего я долженъ вамъ сказать,— собравшись съ духомъ, началъ Хвалынцевъ,— что я поступилъ крайне опрометчиво, крайне малодушно и даже... даже *недобросовѣстно*, давши вамъ слово на такое дѣло, которое для меня была тьма непроницаемая. Но извините меня, Свитка: я буду вполнѣ откровененъ и, можетъ-быть, даже рѣзокъ.

— Я васъ слушаю,—слегка склонивъ въ знакъ согласія свою голову, промолвилъ менторъ.—Въ чемъ же-съ «но»?

— Хм... «*Но*» мое въ томъ, какъ я думаю,— продолжалъ Хвалынцевъ,—что и вы поступили недобросовѣстно, взявши съ меня слово. И тѣмъ болѣе, вы вѣдь очень хорошо знали, что слово-то я, совсѣмъ какъ дуракъ какой, даю вамъ, а о дѣлѣ самъ-то понятія ни малѣйшаго не имѣю!

— Вы ошибаетесь: вы знаете столько, сколько вамъ *нужно* знать... Вы знаете даже нѣсколько болѣе! — внушительно и вѣско замѣтилъ Свитка.

— О, да!—подтвердилъ Хвалынцевъ.—Теперь-то я дѣйствительно узналъ его гораздо болѣе, чѣмъ бы вамъ хотѣлось, можетъ-быть! Вы совершенно правы. Поэтому-то я и говорю теперь съ вами... Я буду продолжать.

— Слушаю-съ.

— Въ то время, какъ я имѣлъ непростительную глупость дать вамъ мое слово, у меня, признаюсь вамъ, были *свои* воззрѣнія на это дѣло, собственныя прелестныя иллюзіи, основанныя отчасти Богъ-вѣсть на чемъ, на своей фантазіи что ли, а отчасти на увѣреніяхъ вашихъ и... *той* женщины... Вы знаете ее. Эти-то вотъ мои иллюзіи и заблуждающіеся взгляды могутъ отчасти, если не извинить, то хотя бы объяснить вамъ мою опрометчивость. Чѣмъ извинять прикажете васъ—я не знаю.

Свитка сдѣлалъ нетерпѣливое движеніе.

— Постойте, не перебивайте меня... благо ужь такъ меня прорвало! — слегка дотронулся до него Константинъ. — Я разочаровался въ вашемъ дѣлѣ. Я узналъ его, конечно, еще слишкомъ мало; но уже слишкомъ много и горько разочарованъ даже и тѣмъ, что узналъ, — а что же будетъ далѣе?.. Помните ли, Свитка, вы мнѣ постоянно толковали, что у насъ съ вами одинъ общій врагъ, это—наше русское правительство?

Менторъ утвердительно кивнулъ головою.

— Ну-съ, а я теперь съ болью, но воочію убѣдился, что врагъ вашъ не правительство, а русскій народъ, русскій смыслъ, весь складъ русской народной, земской и государственной жизни (Хвалынцевъ повторялъ теперь давешнюю мысль Холодца, какъ бы за свою собственную). А съ правительствомъ съ такимъ-то вы бы еще ужились, да пожалуй и преудобно, отлично ужились бы!

Свитка только улыбнулся себѣ подъ носъ очень ироническою и горькою усмѣшкой.

— Затѣмъ-съ, — продолжалъ Константинъ Семеновичъ,—и вы неоднократно, и графиня Цезарина увѣряли меня, что это дѣло идетъ «за свободу вашу и нашу».

— Да, да! За свободу!.. За свободу вашу и нашу!—съ энтузіазмомъ перебилъ менторъ и налилъ себѣ новый стаканъ.

— Хороша же свобода, нечего сказать!— теперь уже въ свою очередь съ горечью усмѣхнулся Хвалынцевъ.—Въ чемъ она и гдѣ она, эта *ваша*, но не наша хваленая свобода? Вы толкуете о свободѣ и братствѣ, и о любви всечеловѣческой; а это братство и любовь—ужь не въ травлѣ-ль православнаго попа? не въ обираніи ль темнаго, забитаго хлопа? не въ лишеніи ль его послѣдняго куска хлѣба? не въ этихъ ли импровизованныхъ бунтахъ, нагайкахъ и казацкихъ экзекуціяхъ, гдѣ этотъ «ржондъ московскій» является вдругъ — на смѣхъ и горе здравому смыслу — вашимъ лучшимъ, усерднѣйшимъ и безкорыстнымъ пособникомъ? Въ этомъ что ли ваша свобода-съ?.. И почему, позвольте васъ спросить, напримѣръ, почему ваши милые, «либеральные», «интеллигентные» паны травили попа? Нутъ-ка, почему-съ?

— Н...да такъ! просто глупая скверная шутка!

— Нѣтъ-съ, извините! А я такъ думаю — потому, что это православный, то-есть *русскій* попъ. Ксендза, небойсь, не травите! Ксендзъ у васъ въ почетѣ! Потомъ, почему въ такомъ загонѣ, въ такомъ жалкомъ видѣ православныя церкви?—Опять-таки потому же, что это русскія церкви! Почему въ такомъ ужасномъ угнетеніи народъ, который вашимъ панамъ желалось бы и вовсе пустить съ сумою по міру?— Опять же таки потому, любезный другъ мой, что это племя чуждое вамъ по крови даже; потому-то оно у васъ и не народъ, а *быдло*, потому-то вы его и въ «шлею съ хомутомъ» заковываете въ рабочіе дни!.. И это, по вашему, свобода «ваша и наша», общее братство и любовь?!.. Нѣтъ-съ, это традиціонная,

Digitized by Google

историческая, племенная... да, къ несчастію, племенная ненависть! Ну, да и народъ же этотъ тоже и васъ-то не меньше ненавидитъ!.. Слыхалъ я кой-какія тепленькія рѣчи его! Да и вы сами—вспомните-ка хотя бы въ корчмѣ, на кіермашѣ, ту пѣсенку, въ которой хлопъ-то этотъ, захожій человѣкъ, молитъ Бога «кабы сгинули ляхи»—я ее по вѣкъ мой не забуду! Она мнѣ—спасибо ей—чуть не впервые глаза раскрыла!

— Эта вражда ничего не значитъ, — возразилъ Свитка.—Она дѣлу не помѣха, а скорѣе подспорье.

— Какъ подспорье! — вскинулся на него Хвалынцевъ.—Да что же вы, въ смѣшки со мною играете, что ли!.. Не помѣха!.. Хороша не помѣха, если ужь—да хоть бы я, напримѣръ—человѣкъ, отдавшійся вашему дѣлу, человѣкъ, имѣющій нѣкоторую претензію на цивилизацію, на умственное и нравственное развитіе; человѣкъ, который эту вражду и такъ, и сякъ старается, до извѣстной степени, оправдывать, извинять, и при всемъ этомъ я не могу ее выдержать! Въ теченіе этихъ нѣсколькихъ дней, а особенно сегодня, я почти на каждомъ шагу встрѣчалъ такую страшную ненависть, подвергался такимъ оскорбленіямъ, что—простите за откровенность — но я чувствую, какъ во мнѣ самомъ начинаетъ зарождаться и пускать корни такая же ненависть и къ польскому дѣлу вашему, и ко всей вашей Польшѣ. А этой ненависти во мнѣ и тѣни не было! Напротивъ, было самое теплое, братское, искреннее сочувствіе! И за что же, наконецъ, вся эта злоба, вся эта ненависть? — Смѣшно и дико сказать!—За то лишь, единственное за то лишь, что я *русскій*!.. Боже мой! да скажите по совѣсти, что́ же послѣ этого можетъ быть между нами общаго? И какъ же это я-то пойду за ваше «общее» дѣло?

Свитка нѣкоторое время молчалъ, въ глубокомъ раздумьи понуря свою голову.

— Другъ мой! — поднялъ онъ ее наконецъ съ грустнымъ вздохомъ.—Одно вамъ скажу на это: *смиреніе*!.. Смиреніе предъ страдалицей, распятой на крестѣ человѣчества на Голгоѳѣ свободы вашими русскими палачами!.. Смиреніе, говорю, потому что вы, русскіе, слишкомъ долго и безнаказанно мучили, терзали и оскорбляли ее!

— Фраза, фраза. И еще разъ фраза!—тоже помолчавъ нѣсколько, отчеканилъ ему на это Хвалынцевъ.—Если, во-первыхъ, заглянуть въ исторію, то эта распятая страдалица и насъ не мало оскорбляла и распинала, а бѣлорусса—такъ вотъ по сей день преотмѣнно распинаетъ. Это первое-съ. А во-вторыхъ, вы говорите: «смиреніе». Хорошо-съ. Я поглядѣлъ бы, какъ бы это *вы* смирились, если бы вамъ, напримѣръ, какъ мнѣ сегодня, приходилось чуть не на каждомъ шагу натыкаться на мелкія, положимъ, но нестерпимыя оскорбленія. Что́ бы вы тутъ заговорили? И не въ правѣ ли вы были бы подумать, что французскій рецептъ смиренія что-то больно пахнетъ неумѣстной насмѣшкой и подбавляетъ только еще болѣе горечи и отравы?.. *Смиреніе*!.. Ха-ха!.. И это еще одинъ лишь день, а что же будетъ дальше?.. Или, можетъ-быть, вы посовѣтуете еще мнѣ, ради избѣжанія столкновеній съ вашими, наклеить печатную этикетку на свою шапку, гдѣ было бы изображено, что я, молъ, членъ ржонда народоваго, да съ этой вывѣской и щеголять по варшавскимъ улицамъ? Это бы что ли еще? а? Какъ вы полагаете?.. Я такъ думаю, что это вполнѣ стоитъ вашего *смиренія*.

— Ну-съ, и такъ, что́-же?—вновь поднялъ на него глаза свои Свитка.

— Что-же? А вотъ что-съ!—категорически отвѣтилъ Хвалынцевъ.—Такъ какъ я къ такому смиренію ни мало не чувствую себя способнымъ,—а вонъ, чуть было не убилъ человѣка,—и такъ какъ на шапку свою предохранительнаго ярлыка наклеивать тоже не намѣренъ, то долгомъ своимъ поставляю предупредить васъ, чтобъ отъ сей минуты вы болѣе не считали меня принадлежащимъ къ вашей организаціи.

Свитка сдѣлалъ какое-то странное, порывистое движеніе, словно-бы Хвалынцевъ падалъ въ пропасть, и онъ хотѣлъ удержать его.

— Позвольте-съ!—нѣсколько отстранилъ его слегка рукою Хвалынцевъ.—Дайте мнѣ кончить. На мой счетъ вы можете быть совершенно покойны: вы видѣли, что я не задумался вполнѣ искренно и честно высказать вамъ все то, что́ лежало у меня на сердцѣ; поэтому повѣрьте точно также моей искренности и чести еще разъ, если я вамъ скажу, что я не Іуда и не продамъ, не выдамъ — даже и подъ пыткой не выдамъ ни васъ, и никого изъ вашихъ, и ни дѣла вашего, котораго подробности для меня — terra incognita. Опасаться меня вамъ нечего, можете просто лишь вычеркнуть меня изъ вашихъ списковъ.

— Что-же вы намѣрены дѣлать?—съ плохо скрываемой тревогой спросилъ Василій Свитка.

— Ѣхать въ Варшаву и служить въ военной службѣ.

— И только?

— И только-съ.

— Но... послушайте, Хвалынцевъ!.. Подумайте: ваше честное слово, клятва ваша?

— Я вамъ сказалъ уже: я не Іуда и Іудой не буду.

— Не въ томъ сила: Іуды — вы знаете — намъ не страшны. Отъ нихъ очень удобно и легко мы отдѣлываемся, въ случаѣ надобности; но... но я васъ долженъ предупредить, что

Digitized by Google

наше общество не прощаетъ произвольнаго нарушенія разъ даннаго слова.

— Хм... Помнится, прежде вы не то говорили,—полунасмѣшливо улыбнулся Хвалынцевъ.—Склоняя меня вступить въ ваше общество, вы увѣряли, что если не сойдемся, то разойдемся просто и спокойно, какъ честные, порядочные люди, а теперь... вѣтры, вѣроятно, измѣнились?.. а?.. Но, все-таки любопытно-бы знать, что дѣлаетъ ваше общество съ нарушителями обманомъ взятаго слова?

— Что-съ? *Ка-ра-етъ* ихъ!—выразительно проговорилъ Свитка.

— Ахъ, вотъ оно что!.. *Караетъ*! презрительно усмѣхнулся Хвалынцевъ.—Что-жь, это впрочемъ совершенно естественно, и вы во всякое время, даже хотя-бы сегодня ночью можете вполнѣ свободно «покарать» меня—заколоть, зарѣзать, застрѣлить, удушить—смотря по тому, что болѣе по душѣ придется. Я, съ своей стороны, даже на столько не попрепятствую вамъ, что не потружусь перейти и въ другую комнату, а чтобы не заставлять васъ долго томиться ожиданіемъ, то сейчасъ-же раздѣваюсь и ложусь спать. Покойной ночи желаю вамъ!—презрительно поклонился въ заключеніе Хвалынцевъ.

— Послушайте, Константинъ Семеновичъ, за что-же вы меня-то собственно оскорбляете теперь!—съ чувствомъ дружескаго упрека заговорилъ Свитка.—Богъ съ вами!.. Не ожидалъ я этого!.. Я понимаю, вы сегодня слишкомъ раздражены, разстроены... и потому я не сержусь... я не могу и не хочу принять этихъ словъ такъ, какъ, можетъ-быть, принялъ-бы въ другое время. Но... надо-же кончить нашъ разговоръ.

— Я уже кончилъ, — возразилъ Хвалынцевъ.—Прибавлю въ заключеніе одно развѣ, что за дѣло народное, за принципъ демократическій я могъ еще идти вмѣстѣ съ вами. Но за дѣло въ пользу дворянъ и ксендзовъ вашихъ, за революцію кастовую, шляхетскую и ксендзовскую я—«баричъ» и «дворянинъ» по происхожденію,—я не пойду, несмотря на всѣ ваши «кары» и прочее, и потому я беру назадъ, я возвращаю себѣ мое, обманомъ взятое у меня, честное слово. Довольно-ли съ васъ этого?

— Пока совершенно довольно!—вѣжливо, но безъ малѣйшей злобы или иронiи поклонился Свитка.—Ну-съ, вы сказали уже *все*, что хотѣлось?

— Какъ видите!

— Прекрасно-съ. Я васъ слушалъ; теперь-же прошу васъ, выслушайте въ свою очередь и вы меня.

— Къ вашимъ услугамъ! — слегка поклонился Хвалынцевъ и сѣлъ на прежнее мѣсто.

— Я у васъ къ тому прошу вниманія,— пояснилъ менторъ,—что, выслушавъ меня, вы можетъ быть одумаетесь и возвратите мнѣ обратно, съ полнымъ довѣріемъ, ваше отнятое теперь слово.

Все это было произнесено столь увѣренно, столь, повидимому, разумно-сознательно, что Константинъ невольно окинулъ Свитку изумленно-любопытнымъ взоромъ.

— Все, что говорили вы о панахъ и о народѣ, и о ихъ взаимныхъ отношеніяхъ,—началъ послѣдній спокойно, сосредоточенно, словно-бы какую лекцію,—все это, говорю я, вполнѣ вѣрно, и я, относительно пановъ и народа, безусловно раздѣляю вашъ взглядъ.

Хвалынцевъ даже съ мѣста вскочилъ, пораженный такою неожиданностью.

— Дѣйствительно, Константинъ Семенычъ, вы глубоко правы!—продолжалъ менторъ.— Великорусскій вашъ крестьянинъ и въ сотую долю не имѣетъ понятія о томъ, что вынесъ на своей несчастной спинѣ отъ панскихъ милостей нашъ литовскій хлопъ... Объ этомъ, если писать, то писать цѣлые томы, и то перомъ развѣ Виктора Гюго!.. Наша магнатерія, наше панство — все это гниль и мерзость, которую надо съ корнемъ вырвать. Я васъ, знакомя съ Литвой, нарочно повезъ къ моему добродѣю пану Котырло, чтобы вы сами приглядѣлись ко всей этой бѣлой сволочи. Я заранѣе былъ почти увѣренъ, я зналъ, какого рода впечатлѣнія должны вы унести изъ такой панской трущобы, и—какъ видите—я не ошибся. У меня вѣдь въ этомъ своя цѣль была, добрѣйшій мой Константинъ Семеновичъ!.. Всѣ эти нумерные лакеи, кондитеры, трактирщики, все это панская сволочь, такая-же, какъ и паны, изъ той-же самой панской дворни, и все это та же самая порча, гниль и зараза, которую точно также прочь! свести *на нѣтъ*, и разомъ!..

Хвалынцевъ глядѣлъ на своего ментора все болѣе и болѣе недоумѣвающимъ взглядомъ.

— Позвольте!—перебилъ онъ.—Да не вы ли же сами говорили мнѣ постоянно въ ихъ защиту, и увѣряли, что это все прекраснѣйшіе люди, сокъ и соль земли вашей? И что-же!

— Да-съ, говорилъ, говорилъ, почтеннѣйшій Константинъ Семеновичъ и увѣрялъ васъ въ этомъ,—безпрекословно согласился Свитка.—Я *нарочно* становился на панскую, на бѣлую точку зрѣнія, нарочно эдакъ мягонько противорѣчилъ вамъ,—продолжалъ онъ,—а вѣдь вы-то отъ этихъ противорѣчій, поди-ка, еще болѣе мозгами сами въ себѣ шевелили, еще болѣе критическій взглядъ себѣ усвоивали. Ну, признайтесь-ка, не такъ-ли? Ну, говорите откровенно, по совѣсти, правъ я или не правъ?

— М... можетъ-быть,—подумавъ, согласился Хвалынцевъ.

— Хе, хе, хе. Вотъ то-то же и есть, голубчикъ вы мой!.. Въ этомъ-то и штука-съ —постучалъ пальцемъ объ столъ Свитка. — Итакъ повторяю вамъ, все это панство, шляхетство, магнатерія — все это гнилые корни, которые надо

Digitized by Google

скорѣе прочь и печку подтопить ими. Они теперь испугались царской воли, да и повторенія галиційской рѣзни тоже побаиваются и потому, во-первыхъ, совсѣмъ сбились съ панталыку, не знаютъ какъ быть имъ теперь съ хлопомъ: то они съ нимъ братаются, заигрываютъ, визиты, вишь, дѣлаютъ, а то нагайками лупятъ да казаковъ наводятъ; а во-вторыхъ, схватились за заговоръ и думаютъ сыграть выгодную партійку въ политическую революцію, въ *политическую*, замѣтьте, а не въ *соціальную*. «Какъ можно! Боже избави, молъ, насъ отъ такого смертнаго грѣха». Ну, и пусть себѣ тѣшатся пока еще не пришелъ часъ ихъ!.. Однимъ словомъ,—продолжалъ Свитка,—эта шляхетная панская и наполовину ксендзовская Польша, это одинъ лишь видимый, верхній слой; это навозъ, который долженъ покрыть и удобрить намъ почву. Онъ удобряетъ ее своими матеріальными средствами, которыя должны стать нашими. Итакъ, это *видимая* Польша и *видимая* революція. Но есть еще Польша и революція другая, невидимая, тайная, подземная, о которой паны-то, можетъ-быть, едва ли и догадываются. Эта другая Польша есть литовско-польско-славяно-русская соціально-демократическая и, конечно, республиканская федерація, а революція эта подземная, то-есть наша-то, не просто политическая, а политическо-соціальная-съ, революція «земли и воли». Наше дѣло можетъ лопнуть: меня, можетъ-быть, повѣсятъ со-временемъ во градѣ Гродно или Вильно, все это легко можетъ случиться... Но попомните мое слово: не пройдетъ и десяти лѣтъ, какъ ваше русское и славянское общество, а можетъ быть даже и ваше правительство, почувствуютъ, сознаютъ всю животворность, всю великую будущность идеи всеславянскаго вольнаго союза, подъ гегемоніей кого-нибудь старшаго — насъ или васъ. И это будетъ! Будетъ непремѣнно, необходимо, неизбѣжно! Это естественный порядокъ вещей. Простая историческая логика событій и жизни незамѣтно приведетъ къ этому. Россія съ Польшей въ данную минуту — это двѣ борющіяся противоположныя силы, но ни та, ни другая, безъ вольной всеславянской федераціи ,настоящей силы не составляютъ. Настоящая великая сила будетъ только во всеславянствѣ, потому что на западѣ, по сосѣдству, подъ бокомъ зрѣетъ другая сила, и буде не сплотимся въ крѣпкій союзъ—она васъ приготовитъ подъ нѣмецкимъ соусомъ и съѣстъ, скушаетъ себѣ на здоровье, какъ скушала уже лужичанъ, поморянъ-поруссовъ да и нашу Познань на придачу. Вотъ попомните мое слово! И знаете-ли, ей-Богу я не шучу, когда говорю, что даже ваше правительство скоро пойметъ это: оно только съ республикой не помирится, а съ демократическимъ принципомъ, судя по началу, пожалуй, охотно пойдетъ рука объ руку. Но... одни только наши польскіе паны, шляхетство и магнатерія наша никогда не поймутъ этой простой штуки—и потому ее къ чорту!.. Вотъ попомните мое слово, говорю вамъ: меня, вѣроятно, повѣсятъ или разстрѣляютъ тамъ, что ли (это вѣдь у нихъ какъ-то тамъ одно благороднѣе другого почитается), но это все равно; а вотъ идея-то наша—это, сударь мой, живучая идея, и она одолѣваетъ! Да это, впрочемъ, первоначально-то еще идея чеховъ да вашихъ московскихъ славянофиловъ, а мы только соціально-республиканскую подкладку дополнили къ ней, не болѣе. Внѣ славянства нѣсть спасенія,—заключилъ Свитка,— ни намъ, ни вамъ. Такъ вы это и знайте.

И онъ залпомъ выпилъ третій стаканъ шампанскаго.

Хвалынцевъ съ какимъ-то страннымъ, смѣшаннымъ чувствомъ удивленія, недовѣрія и анализа глядѣлъ теперь на своего ментора. Предъ нимъ вдругъ раскрывался теперь совсѣмъ другой, совсѣмъ новый человѣкъ, о присутствіи котораго, и вдобавокъ о такомъ страстномъ присутствіи, въ этомъ скромномъ, тихонькомъ Василіи Свиткѣ онъ и не подозрѣвалъ до сей минуты. И, странное дѣло! Хвалынцевъ невольно долженъ былъ сознаться себѣ, что въ нѣкоторыхъ идеяхъ и какъ-то пророчески вдохновенныхъ рѣчахъ этого новаго, совсѣмъ новаго человѣка было много такого, что̀ казалось ему въ высшей степени симпатичнымъ, чѣмъ-то такимъ, за что̀ можно было бы, пожалуй, пойти и рискнуть своей головой, если бы только не эта проклятая, племенная вражда и злоба.

— Вы говорите объ экзекуціяхъ да объ обезземеливаніи, — продолжалъ межъ тѣмъ Свитка. — Это ничего. Пусть бѣлая сволочь потѣшается. На свою же вѣдь голову. Повѣрьте. Мы этому не должны препятствовать, потому что земля вмѣстѣ съ волей все равно будетъ же таки принадлежать сполна всѣмъ свободнымъ земледѣльцамъ, кто бы они ни были. Пускай ихъ тѣшатся, говорю вамъ, пока еще не пришелъ роковой часъ ихъ!.. Пускай! пускай все такъ и будетъ!.. А онъ придетъ, этотъ часъ... мы, подземные, мы приведемъ его на ихъ голову и... и тогда... Свитка поднялся съ мѣста. Ноздри его расширились, глаза горѣли, и во всемъ этомъ вдругъ преобразившемся человѣкѣ засіяло, какъ молнія изъ черной тучи, что-то грозное, энергически-мощное, фанатически-вдохновенное.—И тогда,— говорилъ онъ, твердо опершись кулакомъ о столъ,—нашъ святой мужицкій топоръ и честный рабочій ножъ не должны остановиться даже... даже и надъ колыбелью панскаго ребенка! [1])

---

[1]) Исторически вѣрныя слова и постоянное proffession de foi бывшаго диктатора Литвы

Digitized by Google

Хвалынцевъ наконецъ пришелъ даже въ какой-то ужасъ.

— Позвольте, Свитка!—вскричалъ онъ, тоже подымаясь съ мѣста.—Позвольте!.. Я помню, вы еще недавно соглашались съ вашимъ Котырломъ, что хлопы — это не болѣе, какъ мертвый, сырой экономическій матеріалъ, а что истинный народъ въ Литвѣ—это все то, что мыслитъ, живетъ, цивилизуетъ, то-есть, значитъ, шляхта и магнаты!

— Да, соглашался, Хвалынцевъ!—подтвердилъ менторъ.—Соглашался и даже самъ говорилъ то-же! Я нарочно становился предъ вами на точку зрѣнія нашихъ бѣлыхъ, старался даже гораздо сильнѣе предупреждать все то, что вы могли бы услышать и возмутиться еще болѣе, чѣмъ теперь, среди этой гнусной среды!.. Да, я говорилъ все это!

— А теперь! теперь-то что же вы говорите!.. И чему же, наконецъ, я долженъ вѣрить: тому, или этому?.. Вѣдь вы и тогда казались столь же искренни! И... и кто же, наконецъ, вы сами-то, послѣ этого?! Кто вы?

— Я?.. Я—Василій Свитка!—спокойно-насмѣшливымъ и загадочно-испытующимъ взоромъ глядя на Хвалынцева, неторопливо произнесъ менторъ.—А впрочемъ, я и не Василій Свитка, а Францишекъ Пожондковскій...

Хвалынцевъ съ новымъ необычайнымъ изумленіемъ восклонился отъ стола и въ упоръ пытливо оглядѣлъ своего собесѣдника.

— А впрочемъ, коли хотите,—тѣмъ же тономъ продолжалъ тотъ,—я и не Францишекъ Пожондковскій, а «иной, еще невѣдомый избранникъ»... Однимъ словомъ, я — Конрадъ Валенродъ въ плебейской волчьей шкурѣ. Теперь понимаете-съ *кто я*?.. Я вамъ показалъ отчасти мою шкуру и мои когти.

Хвалынцевъ, не произнося ни единаго слова, продолжалъ глядѣть на него все съ тѣмъ же чувствомъ возрастающаго изумленія.

— Да-съ, — продолжалъ межъ тѣмъ Свитка. —И вотъ этотъ самый плебей Валенродъ предлагаетъ вамъ, славнобубенскому Россійской имперіи, столбовому дворянину Константину Семенову сыну Хвалынцеву: угодно вамъ будетъ честно раздѣлить съ нимъ одно изъ двухъ: или громкую славу и счастливую будущность при осуществленіи великой идеи, или же за ту же самую великую идею двѣнадцать штуцерныхъ пуль, а можетъ и петлю гицеля. Впрочемъ, послѣднее есть уже изящный варіантъ второго. Итакъ, угодно вамъ, Хвалынцевъ?

И Свитка выжидательно протянулъ ему руку.

Константинъ глубоко раздумался и наконецъ медленно, отрицательно покачалъ головою.

— Нѣтъ!—сказалъ онъ, подымая на Свитку прямой и открытый взглядъ.—Все, что я могу сказать вамъ вполнѣ искренно въ настоящую минуту, такъ это мое рѣшеніе, на которомъ я остановился, идучи вечеромъ сюда, вотъ въ этотъ самый нумеръ: я ѣду служить и *только* служить... а тамъ... какъ угодно будетъ случаю... Что будетъ, то и будетъ!.. Вотъ вамъ! И больше ничего вы отъ меня не требуйте!

Лицо Свитки окончательно прояснилось.

— Ну, и прекрасно!—заключилъ онъ, схвативъ въ свою ладонь руку Хвалынева.—На этомъ, значитъ, пока и помиримтесь. Вы успокоитесь, поживете въ Варшавѣ, поразмыслите, а тѣмъ временемъ, можетъ, и я туда понаѣду—мы, конечно, свидимся, откровенно, по душѣ потолкуемъ и, авось, на чемъ-нибудь и порѣшимъ: такъ дакъ-такъ, а нѣтъ—какъ хотите... неволить не будемъ. А пока, докончимте-ка, уже безъ всякихъ тостовъ, наше шампанское.

Пріятели выпили и угомонились.

XIV.

Послѣднее пожеланье.

На другой день утромъ, торопясь не опоздать, Хвалынцевъ вмѣстѣ со Свиткой пріѣхали на дебаркадеръ желѣзной дороги.

Константинъ, выгрузивъ съ извозчика свои вещи, тотчасъ же направился къ кассѣ брать билетъ, но такъ какъ онъ спросилъ его по-русски, то патріотъ-кассиръ, пустивъ мимо ушей его просьбу, усердно раздавалъ билеты всевозможнымъ жидамъ и полякамъ. Хвалынцевъ принужденъ былъ, наконецъ, обратиться къ жандарму, предварительно давъ ему на водку вмѣстѣ съ суммой на добычу второклассного билета.—«И тутъ у меня не обошлось-таки безъ власти предержащей, да еще какой! жандармской!» съ грустною ироніей надъ самимъ собою подумалось ему.

Свитка обѣщалъ опять, можетъ-быть скоро, пріѣхать къ нему въ Варшаву, но Хвалынцевъ выслушалъ это хотя, повидимому, и очень любезно, однако же вполнѣ равнодушно.

Не такъ бы онъ слушалъ его двѣ недѣли тому назадъ!..

Раздался звонокъ. Подходилъ виленскій поѣздъ. Пассажиры, толпясь и толкаясь, бросились къ вагонамъ, поспѣшая занять себѣ мѣста поудобнѣе. Хвалынцевъ тоже послѣдовалъ примѣру всей почтеннѣйшей, хотя и толкающейся публики, и ему удалось добыть себѣ хорошее мѣстечко, въ отдѣльномъ купе, у окна, которое онъ и не замедлилъ открыть сію же минуту.

Свитка стоялъ на платформѣ предъ его окошкомъ и заботливо освѣдомлялся, хорошо ли и «выгодно ли» помѣстился его пріятель.

Ударили второй звонокъ. Кондукторы спѣшно стали захлопывать дверцы вагоновъ. Служащіе при станціи въ своихъ форменныхъ фуражкахъ, съ офиціально-форменными и нарочно, ради прибывшаго поѣзда, начальниче

Digitized by Google

ски устроенными физіономіями, безъ всякой видимой цѣли и надобности стояли на платформѣ и глазѣли на готовый отойти поѣздъ.

Вдругъ хлопнула стеклянная дверь и показался Холодецъ. Онъ спѣшно шагалъ по платформѣ, отыскивая кого-то глазами.

Хвалынцевъ домекнулся, что это его онъ ищетъ.

— Я здѣсь, докторъ! здѣсь!—закричалъ онъ, высунувшись изъ окошка.

— А!.. вотъ вы гдѣ!.. Здравствуйте!—поднявшись на вагонную ступеньку, протянулъ онъ ему черезъ окошко руку.—А ужь я-то торопился!.. Проклятаго Шліомку-извозчика всю дорогу кулаками во всѣ лопатки подбодрялъ... думалъ, что опоздаю!.. Фу, ты Господи! А все эта служба задержала—что̀ дѣлать!.. Ужь не взыщите! И то слава Богу, что поспѣлъ-таки!

Свитка недоумѣвающимъ, вопросительнымъ взглядомъ посматривалъ то на незнакомаго ему Холодца, то на Хвалынцева, какъ бы говоря тѣмъ самымъ: «Что же, молъ, сей сонъ означаетъ?»

Раздался третій звонокъ, вслѣдъ за которымъ съ задняго конца поѣзда послышался рѣзкій, дрожащій свистокъ оберъ-кондуктора. Паровозъ тоже гукнулъ въ отвѣтъ и медленно запыхалъ чернымъ дымомъ.

— Ну, прощайте!—говорилъ Холодецъ.—Дай вамъ Богъ всего тамъ хорошаго! Одно только паче всего помните: прямо и честно! по-русски! И все пойдетъ прекрасно!.. Прощайте!

— До свиданья!—крикнулъ Хвалынцевъ.

— А и то правда! Что за «прощайте!» Лучше до свиданья... подхватилъ докторъ.—Говорятъ, только гора съ горой не того... а человѣкъ съ человѣкомъ всегда. Авось еще разъ судьба столкнетъ гдѣ-нибудь, почемъ знать!.. Ну, до свиданья, голубчикъ! и да хранятъ васъ всѣ святые угодники!.. До свиданья!

Поѣздъ въ это время уже тронулся. Хвалынцевъ глядѣлъ изъ окошка, привѣтливо улыбаясь доктору. Наконецъ клубы густого, бѣлаго дыма застлали ему собою платформу и въ свою очередь скрыли и его отъ глазъ провожающихъ.

Они остались вдвоемъ другъ предъ другомъ—Свитка и Холодецъ—и почти невольно, почти машинально, но внимательно смѣрили одинъ другого пытающимъ взглядомъ и разошлись.

И тотъ, и другой, въ своемъ родѣ, были тоже—«двѣ силы».

Digitized by Google

ДВѢ СИЛЫ.

ХРОНИКА

НОВАГО СМУТНАГО ВРЕМЕНИ ГОСУДАРСТВА РОССІЙСКАГО.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ.

I.

Въ Варшавѣ.

Октября 5-го [1]) 1861 года, умеръ высокочтимый польскими патріотами варшавскій архіепископъ Фіалковскій.

Революціонный тайный комитетъ по поводу его смерти издалъ слѣдующее печальное воззваніе:

«Соотечественники!

«Богу угодно было поразить скорбью сердца наши, воззвавъ къ своей славѣ покойнаго архіепископа Фіалковскаго. Дабы почтить заслуги и память его, просимъ возложить на себя знаки глубокаго траура и носить ихъ въ продолженіе восьми дней».

Днемъ торжественныхъ похоронъ его было назначено 10-е октября.

А на этотъ-же самый день въ маленькомъ городишкѣ Городлѣ, Люблинской губерніи, гдѣ за 448 лѣтъ, въ 1413 году, совершился актъ уніи восточной церкви съ западною, собралось для празднованія годовщины этого событія великое множество польской шляхты со всѣхъ владѣній и земель бывшаго Польскаго королевства. Здѣсь, какъ гласитъ протестъ «противъ нарушенія нашихъ вольностей и противъ невольническаго образа правленія», составленный тамъ-же и того-же числа, участвовали: воеводство Познанское, земля Всховская, герцогство Силезское, воеводства: Калишское, Гнѣзненское Сѣрадское, земля Велюнская, воеводства: Ленчицкое, Брестъ-Куявское, Иновраплавское, земля Добржинская, воеводства: Плоцкое, Мазовецкое, земли: Черская, Варшавская, Визская, Вышеградская, Закрочимская, Цыновская, Ломжинская, Рожанская, Ливская, Нивская, воеводство Равское, земли: Сохачевская, Гостынская, воеводства: Хелмское, Мальборгское, Вармія, Краковское, Сандомірское, Кіевское, Русское, земли: Львовская, Перемышельская, Санская, Галицкая, Хелмская, воеводства: Волынское, Подольское, Люблинское, земля Луковская, воеводства: Белзское, Подлясское, земли: Дрибицкая, Мельницкая, Бѣльская, воеводства: Брацлавское, Черниговское, Виленское, Трокское, княжество Жмудское, воеводства: Смоленское, Полоцкое, Новгородское, княжество Слуцкое, воеводства: Витебское, Брестское, Мстиславское, Минское, Лифляндское и Курляндское.

Варшавскій митропольный капитулъ, обязавшійся честнымъ словомъ не допускать никакихъ демонстрацій при похоронахъ своего архіепископа, избралъ именно этотъ знаменательный день для его торжественнаго погребенія. Всѣ приготовленія къ похоронамъ были облечены глубокою таинственностью; только наканунѣ громогласно вступили въ Варшаву вытребованныя распоряженіемъ тайнаго комитета партіи крестьянъ, долженствовавшія изображать собою «скорбь народа польскаго» при торжественныхъ проводахъ. Эти партіи, подъ предводительствомъ своихъ помѣщиковъ и гминныхъ войтовъ, встрѣчались на заставахъ депутаціями «Варшавскихъ братій» и вступали въ городъ съ пѣніемъ гимновъ.

Въ три часа пополудни печальное шествіе двинулось изъ Медовой улицы; но вмѣсто кратчайшей дороги, избрало длиннѣйшій путь по самымъ многолюднымъ улицамъ, съ которыхъ вся городская полиція была предупредительно

[1]) По старому стилю—23-е сентября.

Digitized by Google

убрана прочь, дабы видомъ своимъ не раздражать страстей народныхъ, и замѣнена обывательскими констаблями. Процессія этихъ похоронъ превосходила великолѣпіемъ своимъ всѣ остальныя процессіи демонстраціоннаго періода и даже далеко оставляла за собою знаменитое торжество погребенія «пяти жертвъ», изъ которыхъ впрочемъ одна оказалась живою и здоровою, а роль «жертвы» изображалъ собою пустой гробъ, наполненный для соотвѣтственной тяжести камнями и, конечно, плотно закупоренный крышкой. Нечего уже говорить о тѣхъ безчисленныхъ рядахъ духовенства и монашескихъ орденовъ, которые со свѣчами, кржижами и хоронгвами предшествовали гробу; но непосредственно за траурной колесницей несли огромное знамя съ изображеніемъ бѣлаго орла и погони, а за нимъ на бархатныхъ подушкахъ съ кистями слѣдовали короны: польская королевская и литовская великокняжеская. Затѣмъ шли чиновники всѣхъ гражданскихъ управленій по вѣдомствамъ и разрядамъ, члены магистрата, цехи со своими знаменами, воспитанники всевозможныхъ учебныхъ заведеній съ польскими значками, подъ предводительствомъ своихъ директоровъ, инспекторовъ и наставниковъ, а за этими уже двигались отряды крестьянъ подъ предводительствомъ помѣщиковъ, одѣтыхъ въ національные костюмы. Крестьяне шли тоже со значками, а различались отрядъ отъ отряда по цвѣту одежды и конфедератокъ. Тротуары, окна, балконы, крыши, трубы — все это было покрыто безчисленными массами народа. Гробъ архіепископа опустили въ подалтарный епископскій склепъ Свенто-Янскаго каѳедральнаго собора, подъ сѣнію знаменъ и коронъ, съ обычнымъ пѣніемъ патріотическихъ гимновъ и съ горячими патріотическими рѣчами.

Въ тотъ-же день, въ великолѣпной столовой Европейскаго отеля, отдѣланной въ помпейскомъ вкусѣ, было устроено публичное угощеніе и чествованіе роскошнымъ обѣдомъ всѣхъ крестьянъ, прибывшихъ на архіепископскіе похороны, причемъ внѣ всякихъ сословныхъ различій, поселянамъ старались оказывать всяческій почетъ, уваженіе и заискивающую ласку. Къ каждому изъ нихъ нарочно придали ассистента изъ членовъ делегаціи и бывшаго агрономическаго общества, которымъ было поручено, не щадя усилій, всячески настраивать хлоповъ на революціонный, но братски дружелюбный панамъ и патріотическій ладъ. Тутъ, при обильныхъ возліяніяхъ, не было недостатка въ восторженныхъ рѣчахъ, гдѣ выставлялось въ самихъ яркихъ образахъ оскорбленіе народа и римской вѣры сынами дьявола—москалями, стоны Польши подъ кровавымъ игомъ Москвы и наконецъ было сдѣлано приглашеніе всѣмъ вѣрнымъ сынамъ отчизны возстать поголовно и передушить, пережечь, перерѣзать враговъ святой Польши. Затѣмъ шли объятія, поцѣлуи, клятвы братской любви, клятвы биться на жизнь или смерть съ москалями, и наконецъ все это заключилось проводами еще болѣе торжественными чѣмъ вчерашняя встрѣча: тысячи экипажей и пѣшихъ массъ тянулись съ привѣтственными кликами и гимнами въ разныхъ направленіяхъ къ заставамъ и къ станціи желѣзной дороги, чтобы еще разъ братски проститься и, по возможности, еще болѣе задобрить будущихъ ратниковъ и бойцовъ за свободу отчизны.

Правительство колебалось, не зная что дѣлать, на что рѣшиться. Вновь хотѣли дѣйствовать то войскомъ, то благодушной терпимостью, то либерализмомъ, то полумѣрами, и, въ концѣ концовъ, не дѣйствовали никакъ. Авторитетъ власти падалъ съ каждымъ днемъ, съ каждымъ часомъ. Наконецъ варшавскій генералъ-губернаторъ, генералъ-адъютантъ Герштенцвейгъ, побуждаемый двумя столь крупными демонстраціями, какъ Городельскій сеймъ и похороны Фіалковскаго, происшедшими въ одинъ и тотъ-же день, настоялъ на мѣрѣ, повидимому, рѣзкой и энергической.

Утромъ 14-го октября на всѣхъ площадяхъ и перекресткахъ Варшавы появились войска, занявшія опредѣленные посты и пункты, а на углахъ улицъ варшавяки прочли афиши, объяснившія о введеніи военнаго положенія. Высшая власть при этомъ нашла нужнымъ обратиться къ «полякамъ» съ особой прокламаціей, въ которой сѣтовала, что несмотря на ея надежды возстановить нарушенное въ краѣ спокойствіе мѣрами кротости, «враги общественнаго порядка, приписывая снисходительность правительства не благимъ его намѣреніямъ, а вѣроятно безсилію, съ каждымъ днемъ становятся дерзновеннѣе. Толпы уличной черни», гласила далѣе эта свѣтующая прокламація, «насильственно врываются въ жилища мирныхъ гражданъ, разбиваютъ лавки и мастерскія, грабятъ въ особенности осѣдлыхъ здѣсь иностранцевъ и, стараясь посредствомъ внушеннаго ими страха овладѣть волей всѣхъ сословій, не остановились даже нанести безчестіе священному для народа сану епископа. Полиція не только не уважается, но ежедневно подвергается обидамъ. Войско, призываемое для водворенія порядка, встрѣчается оскорбленіями. Повсемѣстно распространяются самыя возмутительныя объявленія и воззванія къ народу. Подъ видомъ религіозныхъ обрядовъ совершаются политическія демонстраціи... Потворство и преступное содѣйствіе нѣкоторыхъ лицъ римско-католическаго духовенства превратили католическіе храмы въ мѣста враждебныхъ правительству изъявленій. Священники проповѣдуютъ ненависть и неуваженіе къ верховной власти. Въ костелахъ и внѣ оныхъ поютъ воспрещенные правительствомъ гимны,

Digitized by Google

производятъ сборы денегъ и вещей на революціонныя цѣли и, наконецъ, въ нѣкоторыхъ мѣстахъ совершаемыя въ высокоторжественные дни молебствія за Государя Императора были заглушены пѣніемъ тѣхъ же гимновъ». Законная власть сознавала въ той прокламаціи, что «все это составляетъ рядъ такихъ преступленій, которыя не могли быть терпимы, но предстоящіе выборы въ уѣздные и городскіе совѣты побуждали-де ее воздержаться отъ принятія рѣшительныхъ мѣръ, дабы не нарушить общественнаго спокойствія. Между тѣмъ ходъ выборовъ не оправдалъ ожиданій», жаловалась далѣе все та же прокламація. «Во многихъ мѣстахъ они совершились подъ вліяніемъ нравственнаго насилія и сопровождались тѣми же враждебными правительству намѣреніями!.. Подобныя дѣйствія, угрожающія ниспроверженіемъ законной власти и водворившія въ краѣ анархію, вынуждаютъ правительство прибѣгнуть къ мѣрамъ, болѣе дѣйствительнымъ». Такимъ образомъ, какъ бы извиняясь предъ поляками за введеніе военнаго положенія, эта прокламація, достопримѣчательная по своему откровенно свѣтующему тону и смыслу, обращалась къ тѣмъ же полякамъ съ просьбой отъ лица власти приблизить своимъ добрымъ поведеніемъ то время, когда можно будетъ снять военное положеніе и снова приступить къ правильному развитію дарованныхъ Царству Польскому либеральныхъ учрежденій.

Первыя минуты по прочтеніи этой прокламаціи были отмѣчены общественнымъ недоумѣніемъ, нѣкоторымъ раздумьемъ въ виду неожиданнаго препятствія, что и было принято властью за признакъ устрашенія, но потомъ, и весьма скоро, недоумѣніе и раздумье разрѣшились презрительнымъ смѣхомъ. Варшава слишкомъ хорошо уже знала и слишкомъ привыкла къ этой «политикѣ мягкой, благодушной кротости и воздержанія», которая была въ сущности политикой конфуза и недоумѣвающаго безсилія. Военное положеніе и не удивило, и не остановило Варшаву: она, напротивъ, желала даже вызвать новое кровавое столкновеніе народа съ войскомъ.

Нѣсколько ранѣе правительственной прокламаціи было выставлено во множествѣ экземпляровъ украшенное портретомъ Костюшки объявленіе тайнаго комитета. Теперь же оно разными таинственными путями стало распространяться еще болѣе. Оно гласило къ народу:

«15-го октября — годовщина смерти покойнаго Ѳаддея Костюшки. Въ день этотъ постановлено почтить память вождя, ниспосланнаго Богомъ для возрожденія и избавленія Польши отъ ига, — вождя, который выполнилъ свою жертву предъ Богомъ и отчизной, хранивъ непоколебимо до послѣдней минуты своей жизни пречистое польское и христіанское знамя. Будемъ же далѣе нести съ самопожертвованіемъ это знамя истины и свободы, дабы оно содѣлалось тріумфомъ, радостью и основой величія и счастія великаго по мысли Божіей народа!»

Итакъ, на другой день послѣ объявленія военнаго положенія, съ утра еще всѣ лавки въ городѣ были заперты и ни одна изъ нихъ не открылась при наступленіи обычнаго часа. Хотя 15-е октября было днемъ будничнымъ, однако же народъ густыми толпами, какъ словно въ великій праздникъ, валилъ въ костелы, а по преимуществу къ фарѣ, къ бернардынамъ и къ массіонаржамъ, [1]) которыхъ костелъ Свентего Кржижа [2]) съ 60-го года сдѣлался самымъ модньмъ въ Варшавѣ, такъ что громадная церковь не могла вмѣстить въ себѣ желающихъ молиться и пѣть въ ней гимны, а потому отцы миссіонаржи стали продавать мѣста въ своемъ храмѣ, и такимъ образомъ за привилегированное мѣсто на хорахъ модныя аристократическія клерикалки платили святымъ отцамъ по 100 и по 150 руб. годовой платы. Приготовленія къ торжественной панихидѣ дѣлались во всѣхъ вообще варшавскихъ костелахъ, но въ этихъ трехъ они должны были поразить своимъ великолѣпіемъ: пышные катафалки, цвѣты, знамена, эмблематическіе знаки и изображенія, декораціи—все это должно было напоминать народу стараго вождя и кричать о страданіяхъ отчизны.

По окончаніи панихиды, едва началось пѣніе гимновъ, какъ тотчасъ же ко входамъ этихъ трехъ костеловъ были придвинуты войска, для того чтобы при выходѣ арестовать пѣвшихъ мужчинъ. Но народъ не выходилъ изъ храмовъ, и дѣло такимъ образомъ дотянулось до одиннадцати часовъ вечера. У Свентего Кржижа одураченное войско давно уже впрочемъ сторожило пустой костелъ, потому что весь народъ выбрался изъ него неизвѣстнымъ начальству потайнымъ ходомъ во дворъ, въ садъ и незамѣтно спасался черезъ недоступные для глазъ заборы и крыши домовъ, прилегавшихъ сзади и со стороны къ монастырю миссіонаржей. Въ одиннадцать часовъ вечера приказали солдатамъ составить ружья въ козлы, снять шапки и войти въ костелъ, чтобы понудить народъ къ выходу. Поднялся вой, крикъ, вопли, слезы, однако-же мужчины, которыхъ въ обоихъ костелахъ оказалось до 3,500 человѣкъ, безъ сопротивленія очистили костелы и въ тотъ же вечеръ были отведены въ цитадель. Но замѣчательно, что между коноводами этой костельной исторіи, кромѣ ксендзовъ, ретивѣйшими дѣятелями оказались евреи.

Разбирая безпристрастно всѣ обстоятельства этого происшествія, невольно приходишь къ заключенію, что власть, кажись, едва ли сама себѣ уяснила надлежащимъ образомъ цѣль,

---

[1]) Миссіонерамъ.
[2]) Св. Креста

Digitized by Google

ради которой устроила эту облаву, потому что на слѣдующее же утро почти всѣ забранные люди были выпущены изъ цитадели. Ихъ опрашивали только кто къ какому сословію принадлежитъ, словно бы это нужно было для какихъ-либо статистическихъ свѣдѣній. Поэтому множество лицъ шляхетныхъ нарочно пачкали себѣ лицо сажей, терлись одеждой объ выбѣленныя стѣны и при опросѣ называли себя ремесленниками, изобрѣтая вымышленныя фамиліи. Такимъ образомъ всѣ важнѣйшіе вожаки и заправилы ускользнули, а въ концѣ концовъ власть была поднята на смѣхъ при убѣжденіи, что она какъ ни грозись, а ничего сдѣлать не можетъ и не смѣетъ.

На утро 16-го числа разыгрался скандалъ великій.

По смерти Фіалковскаго на должность архіепископа былъ избранъ капитуломъ, но еще не утвержденъ правительствомъ, нѣкто прелатъ Бялобржескій.

Это былъ человѣкъ довольно ограниченный и даже не особенный фанатикъ, но какъ нельзя болѣе пригодный къ дѣлу подъ руководствомъ мужей искусившихся и мудрыхъ, какими былъ полонъ капитулъ варшавскій. Бялобржескій въ ту же ночь собралъ капитулъ на экстренное совѣщаніе, къ которому было приглашено нѣсколько свѣтскихъ лицъ, и вотъ, плодомъ ихъ ночного совѣта явилось то, что Варшава на утро, къ удивленію своему, проснулась безъ обычнаго костельнаго звона и народъ нашелъ церкви запертыми. Совѣщаніе признало, что костелы Свенто-Кржижскій и Бернардинскій осквернены появленіемъ въ нихъ войска москевскаго и потому должны быть запечатаны впредь до новаго освященія, а всѣ прочіе костелы, въ предупрежденіе подобнаго осквернения, надлежитъ закрыть на неопредѣленное время и вообще прекратить вездѣ всякое богослуженіе. Мѣра эта была приведена въ исполненіе немедленно. Но замѣчательно при этомъ одно нелишенное извѣстной доли комизма обстоятельство, заключавшееся въ томъ, что еврейскій божничій надзоръ вдругъ съ своей стороны нашелъ нужнымъ закрыть тоже и еврейскую синагогу на Налевкахъ, которой однако никто и ничтò не угрожало и не «осквернялo». Власть обратилась къ Бялобржескому съ требованіемъ объ отмѣнѣ столь невѣроятнаго распоряженія капитула. Руководимый же и наставляемый столь премудрыми мужами, прелатъ съ рѣзкостью отозвался, что исполнитъ это въ такомъ только случаѣ, если солдатамъ и полиціи будетъ окончательно воспрещенъ входъ въ костелы, и всѣ арестованные какъ во храмахъ, такъ и на улицахъ, немедленно освобождены, ибо арестъ ихъ, какъ лицъ принадлежащихъ римско-католической церкви, нарушаетъ ея священныя права. Вслѣдъ затѣмъ, по обыкновенію, потянулись безплодные и длинные переговоры, а между тѣмъ по городу и въ обществѣ какъ русскомъ, такъ и польскомъ пошли темные слухи о какой-то американской дуэли между намѣстникомъ Царства и генераломъ Герштенцвейгомъ, и будто бы послѣдній, въ силу вынутаго жребія, долженъ былъ застрѣлиться... Толковъ и сплетенъ ходило много, одна другой нелѣпѣе, одна другой причудливѣе и таинственнѣе. Среди безплодныхъ переговоровъ съ администраторомъ архіепархіи и варшавскимъ капитуломъ высшій представитель законной власти, графъ Ламбертъ, заболѣлъ и выѣхалъ за границу; на мѣсто его былъ назначенъ генералъ-адъютантъ Лидерсъ, а до его прибытія въ управленіе Царствомъ вступилъ вторично военный министръ Сухозанетъ. Вообще съ 18-го (30-го) мая 1861 года, то-есть со дня смерти весьма престарѣлаго и благодушнаго намѣстника, князя Горчакова, и до прибытія генерала Лидерса, въ теченіе какихъ-нибудь пяти мѣсяцевъ, смѣнилось четыре временныхъ представителя намѣстничьей власти. Генералъ Лидерсъ былъ пятымъ. Въ этихъ частыхъ перемѣнахъ представителей высшаго правительства; въ этихъ рѣзкихъ, крутыхъ переходахъ отъ благодушія къ стрѣляніямъ, отъ бездѣйствія къ ублаженіямъ и жалобамъ, отъ увѣщаній къ новымъ стрѣляніямъ и опять къ благодушію, къ выжиданію, къ воздержанію, къ либеральнымъ мѣропріятіямъ, къ угрозамъ и стращаніямъ къ новымъ сѣтованіямъ и укорамъ и наконецъ къ невнушающему достодолжнаго страха военному положенію,—во всемъ этомъ поляки, самодовольно покручивая усъ, да ухарски заломивъ на-бекрень «рогатывку» и вызывательно посматривая на «зайца-москаля», видѣли одни лишь колебанія, сконфуженность, неумѣлость, робость и отсутствіе всякой системы у русскаго правительства и уже нетерпѣливо высчитывали мѣсяцы и дни, когда они окончательно, вооруженной рукой должны будутъ побѣдоносно «выпéндзить [1]) пана заенца-москаля» [2]) изъ предѣловъ земли польской за Двину, за Днѣпръ и даже за Волгу—въ Туранскія степи.

Одинъ только человѣкъ держался доселѣ, казалось бы, и прочно и крѣпко, и этотъ одинъ былъ графъ Вielепольскій, маркизъ Гонзаго-Мышковскій, сначала весьма непопулярный, но потомъ мало-по-малу, вслѣдствіе своего постояннаго антагонизма представителямъ военнаго элемента, сдѣлавшійся достолюбезнымъ для добрыхъ бѣлыхъ патріотовъ своей партіи. Но и этотъ одинъ наконецъ пошатнулся; правда, весьма не надолго, но пошатнулся.

Въ концѣ октября прибылъ въ Варшаву генералъ Лидерсъ, а въ началѣ ноября графъ Вielепольскій былъ вытребованъ въ Петер-

[1]) Выгнать.
[2]) Зайца

Digitized by Google

бургъ и вслѣдъ затѣмъ всемилостивѣйше уволенъ отъ должности главнаго директора (то-есть министра) духовныхъ дѣлъ и народнаго просвѣщенія. Произошло это по настояніямъ генерала Сухозанета о необходимости удалить его изъ Царства Польскаго. Впрочемъ, партія его не унывала и твердо вѣрила въ его скорое возвращеніе въ величіи и сіяніи новой славы и могущества. Одни только красные продолжали ненавидѣть какъ орудіе русскихъ цѣлей и не понимать этого тонкаго, новѣйшаго Конрада Валенрода земли польской.

Таково-то было положеніе дѣлъ въ Варшавѣ въ то время, когда юный герой нашъ, надрессированный графиней Маржецкой, и послѣ своего путешествія по Литвѣ, и послѣ гродненскихъ разочарованій, на всѣхъ парахъ летѣлъ въ этотъ мудреный городъ.

II.

Въ первыя минуты по пріѣздѣ.

Поѣздъ тихо подошелъ къ громадному дебаркадеру Варшавской станціи. Множество жидковъ, факторовъ, коммиссіонеровъ отъ разныхъ отелей, съ бляхами на шапкахъ, дружкарей [1]) въ гороховыхъ ливреяхъ съ пелеринами, толклись въ большой залѣ, гдѣ выдаютъ билеты и багажъ.

— Отель Эуропэйски, — прошен' пàна! — приподнимая фуражку съ бляхою, выразительно проговорилъ коммиссіонеръ почти надъ самымъ ухомъ Хвалынцева.—Панъ мà бàгажъ при сóбѣ? [2])

Константинъ, проученный уже гродненскимъ днемъ, рѣшилъ изображать собою иностранца, хотя бы на первыя минуты, пока не осядется въ какой-нибудь гостиницѣ; поэтому онъ молча вынулъ багажный билетъ и передалъ его коммиссіонеру, который очень предупредительно проводилъ новаго своего кліента къ экипажу. Дружкарь щелкнулъ бичомъ, и пара длинноухихъ, длинношеихъ польскихъ коней тронулась бойкою рысью. Прага не показалась особенно привлекательною Хвалынцеву: сначала—длинные, желтые заборы, длинные бараки, а далѣе разнокалиберные бѣлые домишки; жиды, жиденята, бабы съ повязками на головахъ, бублики, яблоки, солдаты, дозорца полицейскій на углу, пригородные обыватели и опять жиды да жидовки, а на вывѣскахъ: «пиво марцовѐ», «пиво овсяне», «зàкладъ вина», «фляки господарске», «Дыстрыбуція». Но вотъ мѣстность расширилась, рѣка мелькнула въ глазахъ, за рѣкою что-то красивое, оригинальное...

Висла катитъ свои мутно-желтыя воды межъ песчаныхъ отмелей... нѣсколько «берлинокъ» виднѣются на ней у пристани...

А по ту сторону рѣки, дѣйствительно, прелесть что за картина!.. Вдали направо виднѣются желтыя и красно-кирпичныя стѣны цитадели, валы, эспланада, силуэты пирамидальныхъ тополей. Вдали налѣво, по ею сторону неотчетливо вырисовываются въ мягкомъ туманѣ округлыми, крупными лиловатыми очерками купы деревъ и раины «Сасской Кэмпы», а по ту сторону рѣки, еще лѣвѣе и совсѣмъ уже вдали — еще болѣе смутными, мягкими абрисами выступаютъ сады и паркъ Лазенковскій. Прямо предъ глазами—съѣздъ и опять-таки тополи, кучи острыхъ, черепичныхъ кровель, разнокалиберныя, тамъ и сямъ разбросанныя башенки. Правѣе съѣзда выступаютъ темнокоричневыя стѣны королевскаго замка съ его террасами и пристройками, съ его двумя башнями и причудливыми куполами, съ прихотливыми шпицами: лѣвѣе отъ съѣзда видна, какъ-то плотно осѣвшая, темно-сѣрая масса Бернардинскаго костела и его четырехугольная, простая, но тоже плотная башня. За королевскимъ замкомъ выдается такъ-называемая «Гноёва гура», по которой словно бы каскадами прядаютъ внизъ хвостообразные, длинные свѣсившіеся прутья какихъ-то густыхъ кустарниковъ, надъ коими амфитеатромъ возвышаются узенькіе, высокіе, многоэтажные каменные домики, въ одно, два, или много въ три окошечка по фасаду. Эти домики—очень древней постройки—пестрѣютъ разными цвѣтами: желтымъ, голубымъ, грязно-розовымъ, бѣлымъ, сѣрымъ, а надъ ними легко и какъ будто прозрачно стремятся вверхъ, въ небеса, невысокая, но очень изящная, прихотливо прорѣзанная колоколенка и готическія колонки со статуей Христа надъ самымъ верхнимъ фронтономъ фары. Еще далѣе за «Гноёвой горой», надъ кучами черепичныхъ кровель, уже сквозь легкій туманъ, прорѣзываются въ воздухѣ купола Сакраментокъ на Фретѣ, башенки и шпицы реформатовъ, францискановъ и высокая, четырехугольная, самаго простого романскаго стиля, башня «Панны Маріи». А кинуть взглядъ налѣво, за темносѣрыхъ бернардиновъ, подъ которыми внизу лѣпятся домишки «Маріенштадта» и Броварной улицы — тамъ, вдалекѣ, надъ каменными массами домовъ «Новаго Свята», стройно уходятъ въ небо два темные шпиля съ пѣтухами надъ знаменитымъ Свентымъ Кржижемъ... Хвалынцевъ, съѣзжая къ мосту, невольно залюбовался на эту широко-раскинувшуюся за рѣкой картину. Въ ней было для него много чего-то новаго, невиданнаго еще досель, много своеобразнаго, совсѣмъ не похожаго на *наше*, русское. Какою-то новою, неизвѣданною еще жизнью пахнýло на него отъ этихъ стѣнъ и башенекъ, къ которымъ онъ теперь приближался съ такимъ любопытствомъ, съ такимъ ожиданіемъ чего-то...

[1]) Извозчиковъ.
[2]) Съ собою.

Digitized by Google

Вотъ переѣхалъ онъ черезъ мостъ; вотъ, похлопывая бичомъ, дружка поднялась въ гору мимо замка и бернардынувъ — вотъ площадь Зигмунда, обставленная древними домами, и на ней колонна съ фонтанами и съ изображеніемъ короля Сигизмунда-Августа, нанесшаго ударъ своею саблею. Свернули налѣво въ знаменитое «Краковске пршедмѣсце»:[1]) налѣво гауптвахта, пріютившаяся подъ тѣнью четырехъ красивыхъ каштановъ, а впереди, прямо предъ глазами, каменное изваяніе Богородицы, на пьедесталѣ которой подвѣшены шкалики, фонарики, лампадки, зажигающіяся по вечерамъ, а на ступеняхъ повержены вѣнки, букеты, нѣсколько колѣнопреклоненныхъ фигуръ. мелькнуло въ глаза предъ этою статуей — больше все женщины, въ черномъ... Вотъ улица съузилась до такой степени, что два экипажа съ трудомъ могутъ разъѣхаться. «Славное мѣстечко для устройства баррикадъ», подумалъ съ улыбкою Хвалынцевъ. По обѣимъ сторонамъ этого узенькаго пространства высятся каменные, многоэтажные старые дома, большею частію съ зелеными ставенками во всѣхъ этажахъ; на тротуарахъ снуетъ народъ, черныя женскія тѣни, конфедератки... говоръ, гомонъ и шумъ городской жизни... много движенья и ѣзды... Въ окнахъ безчисленныхъ магазиновъ мелькаютъ разные товары и бездѣлушки, фрукты и бутылки, фотографія, ружья, бронзы, перчатки, матеріи, шляпки, табакъ, конфекты и пр. Яркія вывѣски бьютъ въ глаза своими французскими и польскими надписями. Все это мелькаетъ предъ глазами такъ быстро, что Хвалынцевъ, напрягая все любопытное вниманіе, могъ только схватывать общее мимолетное впечатлѣніе.

Но вотъ и знаменитый «Отэль Эуропейски». Толстый швейцаръ съ нахально-шляхетскою, т.-е. польски-приличною физіономіею встрѣтилъ Хвалынцева въ дверяхъ, причемъ быстро оглядѣлъ его съ ногъ до головы и, вѣроятно рѣшивъ про-себя, что птица, молъ, должно быть неважная, не удостоилъ его никакими знаками своего шляхетно-швейцарскаго вниманія. Помощникъ этого пана-швейцара повелъ Константина по довольно широкой каменной лѣстницѣ наверхъ, въ четвертый этажъ, предполагая по виду новоприбывшаго постояльца, что ему требуется одинъ изъ самыхъ дешевыхъ нумеровъ—и въ этомъ отношеніи онъ ни мало ни разошелся съ Хвалынцевымъ, предугадавъ его желаніе занять комнату попроще и подешевле. Впрочемъ комната, хотя и маленькая, хотя и подъ небесами, однакожь оказалась довольно приличною. Хвалынцевъ, рѣшившійся изображать собою иностранца, обратился къ человѣку по-нѣмецки—и вслѣдствіе этого къ нему былъ тотчасъ же доставленъ нѣмецъ-лакей, очень предупредительно исполнявшій его приказанія. Но роль иностранца продолжалась недолго: помощникъ швейцара спросилъ для прописки его видъ—и національность новаго постояльца была немедленно открыта. Впрочемъ, это обстоятельство, хотя и поселило тотчасъ же нѣкоторую сухость, холодность и сдержанность въ отношеніи къ нему лакея, за минуту еще столь предупредительнаго; однако же ни мало не нарушило его вѣжливости и исполнительности. Видно было, что прислуга здѣсь, несмотря на разлитую въ самомъ воздухѣ патріотическую ненависть къ москалямъ, была выдрессирована изрядно. «И за то спаснбо!» смиренно подумалъ себѣ Хвалынцевъ, достаточно уже проученный городомъ Гродной и его лакейско-патріотическими прелестями.

[1]) Краковское предмѣстье.

III.

За ужиномъ въ Помпейской залѣ.

Вечеромъ, сойдя въ столовую, въ ту самую знаменитую столовую въ помпейскомъ вкусѣ, гдѣ послѣ похоронъ Фіалковскаго паны угощали хлоповъ—Константинъ спросилъ себѣ закусить. Зала была ярко освѣщена газомъ. Группы партикулярныхъ мужчинъ и нѣсколько скромныхъ траурныхъ женщинъ сидѣли за разными отдѣльными столиками и за большимъ табль-д'отнымъ столомъ, къ которому присѣлъ и Хвалынцевъ. Въ залѣ было довольно говорно, но вдругъ послышался легкій лязгъ сабель, возвѣстившій приходъ въ столовую трехъ-четырехъ офицеровъ. При видѣ ихъ въ одинъ мигъ все смолкло—и одни только враждебные, вызывающіе и нахальные взгляды со всѣхъ сторонъ впились въ русскіе мундиры, которые однако весьма скромно заняли себѣ мѣста за большимъ столомъ, почти рядомъ съ Хвалынцевымъ, и къ прислугѣ адресовались не иначе какъ по-польски. Прошло не болѣе какой-нибудь минуты, въ теченіе которой партикулярная публика, сидѣвшая за тѣмъ же столомъ, оставалась въ какомъ-то безмолвномъ недоумѣніи или замѣшательствѣ, какъ вдругъ вся она почти разомъ поднялась и, забравъ свои приборы и бутылки, переселилась—кто куда—на другіе боковые столики, при чемъ люди совершенно незнакомые весьма радушно дѣлились тамъ своими мѣстами. Въ одну минуту большой столъ опустѣлъ, словно бы за нимъ помѣстилась чумная зараза. Остались одни офицеры да Хвалынцевъ.—«Однако, нечего сказать, милое положеніе!» подумалъ себѣ послѣдній. Офицеры, быть можетъ, по неволѣ дѣлали видъ, будто не замѣчаютъ этой демонстраціи, и старались держать себя какъ можно скромнѣе, хотя между собою и говорили по-русски. Партикулярная публика впрочемъ ограничилась оставленіемъ большого стола да враждебно вызывающими взглядами, и болѣе ничего не предпринимала противу русскихъ мундировъ.

Digitized by Google

Пришло еще нѣсколько офицеровъ и, видя мундиры, заняли мѣста за тѣмъ же столомъ.

Очевидно, военные, чувствуя всю тягость, всю отчужденность своего общественнаго положенія среди поляковъ, невольно и почти инстинктивно жались въ общую кучу, ближе другъ къ другу, ближе къ собрату по эполетамъ. Почти сейчасъ же вслѣдъ за появленіемъ послѣдней офицерской компаніи, какая-то темная, глубоко-траурная фигура молодой и очень красивой женщины съ очень блѣднымъ лицомъ и фосфорически свѣтящимся взглядомъ большихъ глазъ отдѣлилась отъ одного стола и медленно проходя по залѣ мимо столиковъ, занятыхъ партикулярными группами, у каждаго мимоходомъ шептала что-то—и партикулярныя группы одна за другой спѣшили доѣдать свои куски, допивать стаканы, расплачиваться съ прислугой и удалялись изъ залы, такъ что спустя какихъ-нибудь семь-восемь минутъ столовая совсѣмъ почти опустѣла. Оставалась одна только офицерская группа за главнымъ столомъ.

— Скажите пожалуйста, что все это значитъ? — спросилъ одинъ изъ офицеровъ въ адъютантскомъ сюртукѣ, очевидно, человѣкъ новоприбывшій, свѣжій и потому совсѣмъ незнакомый съ обстоятельствами и условіями мѣстной современной жизни. — Для чего всѣ эти господа, во-первыхъ, повскакали изъ-за нашего стола, а потомъ всѣ поудирали отсюда?

— Это значитъ,—пояснилъ ему товарищъ,— что они не желаютъ дышать воздухомъ, зараженнымъ присутствіемъ москалей.

— Ну что за вздоръ, мой милый!

— Ничуть не вздоръ, а сущая правда. Загляните въ любую цукерню: чуть покажется русскій мундиръ — ему сейчасъ непріятный скандалъ устроятъ. Мы потому уже и не ходимъ по одиночкѣ, а всегда компаніей! Ну, а придешь компаніей, они сейчасъ либо со стола долой, либо и совсѣмъ вонъ изъ комнаты.

— Но вѣдь это же невыносимо, такое положеніе,—пожалъ адъютантъ плечами.

— Ничего; насъ пріучаютъ къ кротости и терпѣнію!—улыбнулся одинъ изъ офицеровъ.— Нѣсколько мѣсяцевъ назадъ было не въ примѣръ хуже, да и то—велѣно было терпѣть— и терпѣли! А теперь-то что! — теперь еще сносно!

— Но вѣдь это уже, господа, оскорбленіе не лицамъ (потому-что они насъ не знаютъ), а явное оскорбленіе мундиру.

— Э, помилуйте!—горько усмѣхнулся собесѣдникъ.—Что ужь тутъ говорить объ оскорбленіяхъ мундиру, если мы сносили оскорбленія знаменамъ!

— Какъ знаменамъ?!.. Что вы говорите!— воскликнулъ адъютантъ, сдѣлавъ большіе, удивленные глаза.

— Да такъ-съ, очень просто: бывало, проходитъ со знаменемъ караулъ къ намѣстнику въ замокъ, а съ тротуаровъ разные лобусы да панки плюютъ въ знамя и камнями, и грязью! А идетъ караулъ вотъ этимъ узкимъ мѣстомъ Краковскаго предмѣстья, такъ на него, бывало, съ верхнихъ этажей льютъ изъ горшковъ всякую мерзость!

— Да!—подтвердилъ одинъ изъ офицеровъ.— Грустно, а правда!.. Или вотъ тоже,—продолжалъ онъ,—выходитъ, напримѣръ, отъ бернардиновъ духовная процессія, а гауптвахта тутъ же, какъ знаете, подъ каштанами. Ну, сейчасъ «караулъ вонъ!» воинскую почесть отдавать процессіи. Такъ что-жь вы думаете! Каждый «добры обывацель», каждая пани и панна священнымъ долгомъ своимъ считаетъ, проходя мимо часового и мимо взвода, плюнуть имъ въ лицо, такъ что, бывало, пока проходитъ процессія—фронтъ стоитъ весь заплеванный и держитъ на «караулъ!»

— Какъ! И офицеры это дозволяли?

— А что-жь бы они сдѣлали, позвольте васъ спросить?

— Да я не знаю что бы тутъ сдѣлалъ, но не стоять же и не терпѣть!

— Уставъ о гарнизонной службѣ предписываетъ отдавать воинскую почесть духовнымъ процессіямъ.

— Да за такое оскорбленіе какъ это, или какъ швырянье грязью въ знамя... я бы, кажется... въ штыки бы принялъ того, кто осмѣлился бы сдѣлать это, и, по совѣсти, считалъ бы себя совершенно правымъ!

— Въ штыки-съ? —усмѣхнулся офицеръ.— А вотъ вамъ маленькій примѣръ, въ отвѣтъ на это. Какъ оно вамъ понравится? Проходитъ однажды по Краковскому предмѣстью одинъ офицеръ; вдругъ на встрѣчу ему выходятъ изъ цукерни трое пановъ въ чамаркахъ и конфедераткахъ, съ толстыми дубинами въ рукахъ, стали у дверей, избоченились и усы покручиваютъ... Тотъ, не обращая на нихъ ни малѣйшаго вниманія, проходитъ себѣ мимо, какъ вдругъ одинъ изъ пановъ, ни съ того ни съ сего, развернулся да и трахъ его въ физіономію!.. Тотъ ошалѣлъ и по-первому, весьма понятному, движенію, выхватилъ саблю и полоснулъ ею пана по башкѣ. Ну, сейчасъ гвалтъ: «Ратуйце, панове! Здрайца! Москале біен!» [1]) Набѣжала въ минуту толпа, офицера сшибли съ ногъ, избили чуть ли не до полусмерти, да благо наскочили польскіе полиціанты: отняли! Ну, и чѣмъ же кончилось: офицеръ былъ преданъ суду за обнаженіе оружія противъ мирныхъ гражданъ и угодилъ туда, куда Макаръ телятъ гоняетъ! Потому-то мы и не ходимъ уже въ одиночку...

— И это вы все, господа, выносили!—съ горькой укоризной, въ раздумьи покачалъ адъютантъ головою.

---

[1]) Бьютъ.

Digitized by Google

— Выносили-съ!.. Помилуйте: вступиться за себя, за мундиръ, за знамя,—а что́ Европа, а что «Колоколъ», что «либеральная пресса» скажетъ!.. Варварами, татарами назовутъ!.. Какъ можно! Мы этого такъ боимся! Я вамъ говорю: къ долготерпѣнію, кротости и смиренію пріучаютъ!.. Но серьезно говоря,—продолжалъ офицеръ,—вы знаете ли, здѣсь было одно время, что мы не на шутку опасались, какъ бы вмѣсто польскаго возстанія да не разыгралось бы вдругъ возстаніе русскихъ солдатъ противъ здѣшнихъ властей за допущеніе всѣхъ этихъ безнаказанныхъ оскорбленій! Солдатики уже сильно-таки и грозно роптали и злобились, такъ что продолжись еще немного эта система смиренія, — Богъ-вѣсть, что бы могло въ нашихъ полкахъ разыграться и чѣмъ бы кончилось, да хорошо, что во-время хоть чуточку спохватились!

При Хвалынцевѣ незнакомые офицеры говорили не стѣсняясь, такъ какъ по опыту уже оставались увѣрены, что онъ или русскій, предъ которымъ, значитъ, нечего скрываться, какъ предъ своимъ, или же иностранецъ, и стало-быть не понимаетъ по-русски; но ужь ни въ какомъ случаѣ не полякъ, потому что полякъ, кто бы онъ ни былъ, ни за что не осмѣлился бы остаться за однимъ столомъ съ офицерами, коль скоро всѣ другіе оставили самую залу.

— А между тѣмъ вы знаете ли, господа,— замѣтилъ адъютантъ,—какое общее и громадное сочувствіе къ этому «польскому дѣлу» тамъ у насъ, въ Россіи! Я вамъ могу поручиться за двѣ трети гвардейскихъ офицеровъ, которые во всѣхъ салонахъ открыто говорятъ, что въ случаѣ польскаго возстанія, они ни за что не пойдутъ драться противъ поляковъ.

При этомъ сообщеніи большинство офицеровъ нахмурилось съ видомъ неудовольствія.

— Ну, мы на этотъ счетъ думаемъ нѣсколько иначе,—замѣтилъ капитанъ, разсказывавшій про скандалы со знаменемъ.—Мы, во-первыхъ, видите ли, глубокая армія, и потому полагаемъ, что смотрѣть на польское дѣло петербургскимъ образомъ можетъ только какой-нибудь моншеръ съ Невскаго проспекта; а пустить бы этого моншера сюда, въ Варшаву, въ нашу среду, такъ небойсь, чрезъ недѣлю другое бы запѣлъ, голубчикъ, какъ пришлось бы на собственной шкурѣ примѣрить, что такое эти вацьпаны!

«Опять! опять и здѣсь вотъ наши русскіе люди повторяютъ тоже самое!» подумалъ Хвалынцевъ, вспомня при этомъ подобныя же мысли и замѣчанія доктора Холодца. «И это слышишь съ перваго шага! съ первой встрѣчи!.. Неужели же всѣ мы тамъ, въ Петербургѣ и въ Россіи, такъ жестоко заблуждаемся?!..»

— Но развѣ и у насъ нѣту подобныхъ?— замѣтилъ капитану одинъ изъ его однополчанъ-товарищей.

— У насъ-то?.. Хм!.. То-есть, найдется, пожалуй въ каждомъ полку два-три дурачка, сбитыхъ съ толку Искандеромъ, да нѣсколько полячковъ, которые всѣ смотрятъ на утёкъ, но ужь это вѣдь «своя отъ своихъ», такъ что они и не удивительно.

— Какъ! а такой-то и такой-то, и вотъ такіе-то? (офицеръ назвалъ нѣсколько чисто-русскихъ фамилій).

— Такъ развѣ это *наши*?—огрызнулся на него капитанъ.—Вѣдь это же все это «моменты», [1]) другъ мой! Да и то не всѣ, а только развѣ тѣ, что пріѣзжаютъ сюда прямо изъ Петербурга да и хвастаются, что я, молъ, все время въ кружкѣ «Современника» находился, и самъ Чернышевскій мнѣ руку трясъ!—Эко счастье какое!.. Такъ вѣдь «моментъ» развѣ это человѣкъ? Онъ только и умѣетъ какъ заведенная машинка—трррррр... на каждую заданную тему. Да и то мы еще посмотримъ, какую пѣсенку запоютъ всѣ эти господа генеральные либералы, какъ дѣло-то до ихъ собственной шкуры коснется!.. А я, по крайней мѣрѣ, такъ полагаю, что все это у нихъ одна модная болтовня пустая и больше ничего, а чуть до настоящаго дѣла дойдетъ, повѣрьте мнѣ, другое выйдетъ! — заключилъ капитанъ, допивая свою бутылку пива.

— Но тутъ вотъ вѣдь еще въ чемъ роковая-то штука!—ввернулъ свое слово другой офицеръ.— Главный вопросъ вовсе не въ томъ, пойдутъ-ли противъ поляковъ *всѣ* офицеры безъ исключенія, или не пойдутъ; вся сила въ томъ, что *солдаты* пойдутъ поголовно и съ величайшей, съ адской охотой, потому что они оскорблены и озлоблены уже до нѣльзя, и горе тому офицеру, который не пойдетъ или въ рѣшительную минуту не поведетъ своихъ солдатъ въ дѣло! Ужь и теперь тѣхъ изъ нашихъ, которые проповѣдуютъ деликатность и смиреніе, солдатики промежъ себя обзываютъ измѣнниками.

— Это плохо рекомендуетъ вашу дисциплину, господа,—замѣтилъ адъютантъ.

— Что-съ? Нѣтъ-съ, извините!—горячо вступились нѣсколько офицеровъ. — Дисциплина-то у насъ значитъ въ порядкѣ, если мы, несмотря на весь градъ невыносимыхъ оскорбленій, и чисто-военныхъ, и человѣческихъ, сумѣли однако до сихъ поръ сдерживать солдатъ отъ взрыва!

— Ну, какая-же тутъ однако измѣна!—какъ о явной нелѣпости отнесся адъютантъ.

— Да для насъ-то съ вами,—возразили ему,— оно дѣло совсѣмъ ясное, что тутъ просто поли-

[1]) „Моментами" въ арміи принято называть тѣхъ изъ офицеровъ генеральнаго штаба, говоруновъ, которые, практически не смысля военнаго дѣла, разражаются при каждомъ удобномъ и неудобномъ случаѣ краснорѣчиво-туманными теоріями о немъ, и кичатся своимъ „ученымъ" званіемъ предъ простыми смертными — фронтовыми офицерами.

Digitized by Google

тическая неумѣлость, конфузъ какой то, а солдатъ политическихъ тонкостей не понимаетъ, а то что для насъ съ вами конфузъ и неумѣлость, то для него «измѣна». Вѣдь солдатъ когда-то и Барклая, и Дибича измѣнниками называлъ, а это во всякомъ случаѣ плохо!

Хвалынцеву было крайне интересно и поучительно слушать всѣ эти разговоры; но давно уже окончивъ свою закуску и не находя болѣе никакихъ удобныхъ предлоговъ оставаться безъ всякой надобности въ столовой, онъ счелъ дальнѣйшее свое присутствіе среди посторонней компаніи не совсѣмъ-то ловкимъ и потому удалился въ свой нумеръ.

«Фу, ты, Господи»! съ тяжелымъ и полнымъ вздохомъ сказалъ онъ самому себѣ, оставшись одинъ въ своей комнатѣ.—«Скоро-ли все это со мною кончится?.. Ужь хоть-бы приткнуться поскорѣй къ какой-нибудь сторонѣ, къ какому-нибудь дѣлу, хоть къ службѣ, что-ли, лишь бы только съ плечъ долой весь этотъ грузъ фальши и сомнѣній!»

IV.

Нечаянные гости.

На утро, едва онъ всталъ съ постели, едва успѣлъ нáскоро сдѣлать свой туалетъ и приказать человѣку подать себѣ чаю, какъ въ дверь его нумера осторожно постучались.

— Entrez!—крикнулъ Хвалынцевъ.

Дверь растворилась, и въ комнату вошли двое совершенно незнакомыхъ господъ. И тотъ, и другой были одѣты вполнѣ прилично. Константинъ успѣлъ мелькомъ замѣтить, что за дверью въ корридорѣ остался еще третій, какъ будто на-сторожѣ. Одинъ изъ вошедшихъ остановился у порога, а другой, вынимая изъ кармана записную книжку, подошелъ къ Хвалынцеву и отчетливымъ голосомъ произнесъ по-русски, но съ сильнымъ польскимъ акцентомъ.

— № 97-й, дворанинъ Хвалынцовъ. Двадцать-пьять рублей.

— Что вамъ угодно, господа? — обратился къ нимъ Константинъ, сильно изумленный этимъ страннымъ и неожиданнымъ визитомъ.

— № 97-й, дворанинъ Хвалынцовъ. Двадцать-пьять рублей!—настойчиво, но вѣжливо и притомъ какимъ-то офиціальнымъ тономъ повторилъ господинъ съ записной книжкой.

— Какіе двадцать-пять рублей?.. Кому? Зачѣмъ и за что?.. Я не понимаю!.. Объяснитесь пожалуйста! — нахмурился Константинъ Семеновичъ, кидая недоумѣлые взгляды на того и на другого посѣтителя, и вдругъ въ эту самую минуту замѣтилъ, что господинъ, стоявшій у двери, быстро вынулъ изъ бокового кармана маленькій револьверъ и, какъ-бы приготовляясь къ выстрѣлу, наложилъ большой палецъ правой руки на курокъ, а указательный на собачку.

— Я не понимаю, чего вы отъ меня хотите?—нѣсколько смѣшавшись отъ таковой неожиданности, проговорилъ Хвалынцевъ.

— Двадцать-пьять рублей народовыхъ подáтковъ, — очень вѣжливо пояснилъ ему господинъ съ записной книжкой!—Потрудиться, пожалуста, заплáтить поскорѣйшъ, бо намъ некогда.

Хвалынцевъ пожалъ плечами и видя, что съ такими милыми гостями ничего не подѣлаешь, пошелъ въ бумажникъ доставать деньги.

— Благодару вамъ!—проговорилъ господинъ, принимая двадцати-пяти-рублевую бумажку и пряча ее въ карманъ вмѣстѣ съ записной книжкой.—Теперъ позвольте вамъ выдать квитáнцыю въ полученью.

И онъ изъ какой-то тетрадочки вырвалъ одинъ листочекъ, на которомъ было что-то написано, стояла синяя печать и значилась чья-то подпись, и очень любезно подалъ ее Хвалынцеву.

— Теперъ вы можете жить совершенно спокойно въ вашемъ нумеру: васъ бóлѣй никто не потревожить, а ежели и прійдутъ за податкáми, то покажúть имъ только эту картéчку. Прощайте!

И оба таинственные гостя очень вѣжливо откланялись и удалились изъ нумера.

Хвалынцеву стало ужасно досадно и за свое нѣсколько трусливое поведеніе—«вѣдь не посмѣлъ-же бы выстрѣлить, чортъ возьми!» — и за эту вѣжливо-нахальную безцеремонность, и даже за двадцать-пять рублей, брошенныхъ чортъ знаетъ кому и чортъ знаетъ на что! «Сборщики... а можетъ быть вовсе и не сборщики, а какіе-нибудь мазурики!» Но... досадуй, не досадуй, а ужь ничего не подѣлаешь. видно, это здѣсь въ порядкѣ вещей, если Богъвѣсть что за люди средь бѣла дня могутъ свободно входить въ нумера многолюдной и лучшей гостиницы и нагло требовать съ заряженнымъ револьверомъ какихъ-то «податковъ народовыхъ».

Однако, на всякій случай, онъ спряталъ въ свой бумажникъ полученную квитанцію, и сдѣлалъ это собственно для опыта, что, молъ, изъ этого выйдетъ, въ случаѣ новаго появленія какихъ-либо сборщиковъ? Затѣмъ, одѣвшись и не дождавшись чаю, онъ спустился на улицу и зашелъ въ находящуюся въ томъ-же домѣ извѣстную кондитерскую Конти, съ цѣлью выпить стаканъ кофе. Расписной плафонъ, колонны подъ яшму и мраморъ, фрески по стѣнамъ, статуи въ нишахъ, мозаичный полъ, мраморные столы, прекрасная, мягкая, бархатная мебель и значительное число партикулярныхъ посѣтителей, между которыми были цѣлыя семейства съ траурными дамами и дѣтьми, являющіяся сюда пить свою утреннюю «каву» — вотъ каковою представилась Хва-

Digitized by Google

лынцеву эта извѣстная въ Варшавѣ «цукерня». Большинство мужчинъ и даже нѣкоторыя женщины сидѣли совсѣмъ углубясь въ чтеніе политическихъ газетъ—и это составляло здѣсь (какъ и во всѣхъ, впрочемъ, варшавскихъ цукерняхъ того времени) явленіе довольно характеристическое: все это траурное, волнующееся, непосѣдливое населеніе жаждало политическихъ новостей и жадно накидывалось на газеты. Значительные взгляды, таинственное перешептыванье, шушуканье, тихіе, вѣчно-серьезные разговоры, подозрительное поглядыванье на незнакомыхъ лицъ, глубокій трауръ и эти женскія блѣдныя лица съ горящими, блуждающими, злыми, или задумчивыми, или же тревожно-фанатическими глазами—все это такъ и пахло какимъ-то заговоромъ, чѣмъ-то зловѣщимъ, роковымъ и враждебнымъ, что, казалось, было разлито въ самомъ воздухѣ, какъ то удушливое электричество, которое является предвѣстникомъ страшной грозы... Хвалынцеву поневолѣ стало какъ-то жутко одному одинешеньку, русскому и чужому, среди всѣхъ этихъ враждебныхъ, страдающихъ и ненавидящихъ лицъ. Онъ, подъ вліяніемъ этого тягостнаго впечатлѣнія, поспѣшилъ допить свою «шклянку» и, по своему обыкновенію, пошелъ безъ цѣли бродить по незнакомому, чужому городу, или, такъ-сказать, «знакомиться» съ нимъ.

V.

Впечатлѣніе Варшавы.

Онъ шелъ по Краковскому предмѣстью, въ направленіи къ площади Зигмунда, къ той исторически-знаменитой площади, которая была ареной большей части варшавскихъ революціонныхъ демонстрацій. День былъ сухой и яркій съ чуть замѣтнымъ морозцемъ, и потому Краковское предмѣстье кишѣло народомъ и било въ глаза своимъ траурнымъ цвѣтомъ; все та же черная жало́ба на изящныхъ посвоему варшавянкахъ, черныя чамарки, показывавшіяся на улицахъ, несмотря на правительственное запрещеніе, и все то же выраженіе лицъ, которое за минуту назадъ, равно какъ и вчера вечеромъ, поражало Константина въ кондитерской и за табль-д'отомъ. Въ окнахъ магазиновъ виднѣлись роскошно драпированные уборы, наряды и матеріи, но эти уборы и эти матеріи были все исключительно чернаго цвѣта съ разными траурными оттѣнками. Всевозможныя «багательки» [1]) и украшенія, въ родѣ серегъ, брошекъ, браслетовъ, бусъ, цѣпочекъ, поясныхъ пряжекъ, все это было точно такъ же темное, черное, траурное, съ бѣлыми каемками и патріотическими надписями; булавки и пряжки съ бѣлымъ польскимъ орломъ, брошки съ вѣнцомъ терновымъ и сломаннымъ крестомъ, стальныя цѣпочки къ часамъ, исключительно въ видѣ каторжныхъ цѣпей съ ядромъ и мертвою головою. Въ эстампныхъ магазинахъ были выставлены портреты разныхъ польскихъ знаменитостей: Мицкевича, Костюшки, Каминскаго, Красицкаго, Сырокомли, Крашевскаго, Понятовскаго, Эмиліи Плятеръ, раввина Іошелеса, который являлъ собою современную патріотическую извѣстность, и какого-то еврея въ гусарскомъ мундирѣ, по прозванію, кажется, Берко, который отличался своею храбростію и патріотизмомъ въ возстаніи 30 года; тутъ же виднѣлась и типическая фигура старика Гарибальди, и прекрасная литографія съ знаменитой картины Юзефа Зиммлера «Смерть крулевы Барбары Радзивиллувны». Между фотографическими выставками красовались разныя красивыя пани и панны, то съ грустными и страдающими, то съ фанатически-вызывающими, гордыми лицами и непремѣнно съ непричесанными, распущенными волосами; рядомъ съ ними выставлялись портреты разныхъ лихихъ пановъ и паничей съ польскими усами, въ чамаркахъ и кунтушахъ, портреты и карточки все тѣхъ же артистическихъ, литературныхъ и патріотическихъ знаменитостей, между которыми особенно кидалась въ глаза курчавая голова въ натуральную величину, съ крайне-нахальной, самоувѣренной физіономіей. Это былъ самъ панъ Гишпаньскій — знаменитый панъ Гишпаньскій, сапожникъ съ Длугой улицы, отличавшійся въ недавно уничтоженной «делегаціи» варшавскихъ обывателей, возникшей по слабости мѣстной власти вслѣдъ за убіеніемъ «пяти жертвъ». Карточки этого пана Гишпаньскаго съ сапожной колодкой въ рукахъ, торчали на каждомъ почти шагу рядомъ съ карточками башмачника Килинскаго, еще болѣе знаменитаго въ извѣстную подъ именемъ «Варшавской заутрени» рѣзню 1794 года. На углахъ улицъ пестрѣютъ разныя объявленія и афиши, гласящія, что на театрѣ «Розманітосьци» идетъ комедія «Панъ Гельдхабъ» съ Жолкевскимъ въ главной роли, а на «Велькемъ театру» [4]) балетъ «Моднярки» [2]) или «Орфеушъ въ пекле» [3]) съ паннами: Дылевской, Олевинской, Квицинской, съ панами Квятковскимъ, Тарновскимъ, Попелемъ и Филиборномъ, и вѣчно здѣсь какая нибудь праздная кучка стоитъ и читаетъ. Такія же кучки глазѣютъ и въ окна магазиновъ и лавченокъ. А вонъ въ окнѣ одного чайнаго магазина какими-то судьбами прилѣпился вдругъ «спѣвъ гисторичны о Болеславѣ Хробрымъ». Зачѣмъ здѣсь этотъ патріотическій и «гисторичны спѣвъ» [4]) вмѣстѣ съ чаемъ?

[1]) Бездѣлушки.

[1]) Большомъ театрѣ.
[2]) „Модистки".
[3]) „Орфей въ аду".
[4]) Историческая пѣснь.

Digitized by Google

про то ужъ одинъ Богъ знаетъ: но это здѣсь тоже «въ порядкѣ вещей». Но вотъ Зигмундова площадь со своимъ напкатоличнѣйшимъ крулемъ Зигмундомъ, съ верху своей колонны якобы посѣкающимъ «глувы невѣрныхъ—ad majorem Dei gloriam», а тамъ вонъ и замокъ Зигмундовъ, оцѣпленный мрачно и тихо расхаживающими часовыми съ заряженными ружьями. Сквозь ворота этого замка виднѣются во дворѣ и мѣдныя орудія на зеленыхъ лафетахъ, совсѣмъ готовыя къ дѣйствію.

Вотъ, въ углу площади, словно узкій и темный корридоръ открывается Свенто-Янская улица, одна изъ самыхъ древнихъ въ Варшавѣ. Грязь, вонь, кочни капусты, виноградъ, фрукты, грушисапежанки, морковь, бабы и жиды, повозки съ мусоромъ, повозки съ овощью, грязные, замурзанные жиденята, собаки, цыбулька, жидовки въ дверяхъ лавченокъ, наполненныхъ всякимъ хламомъ, съ подвѣшеннымъ надъ входомъ краснымъ зонтикомъ, который, замѣняя собою вывѣску, раскачивается по волѣ вѣтра; древніе, высокіе дома безъ воротъ, но съ одною лишь массивною, окованною въ желѣзо дверью, съ гербами, съ надписями на чугунныхъ доскахъ, съ разными изваяніями и аллегорическими изображеніями надъ каждымъ почти входомъ, и тутъ же великолѣпный фасадъ древняго каѳедральнаго собора, или такъ называемой «фары»; но этого фасада не разглядишь, благодаря узости самой улицы, а за нимъ, почти сейчасъ же, черезъ нѣсколько домовъ, знаменитое «Старе място», небольшая четырехугольная и безобразно грязная площадка, сплошь обставленная древнѣйшими разноцвѣтными домами, узкими, высокими, съ черепичными острыми кровлями, съ балкончиками, фонариками, вышками, съ безчисленнымъ множествомъ зеленыхъ ставень, съ разными фигурками и изваяніями на крышахъ, а посреди этой площадки, на которой нѣкогда казнили Остапа Бульбу, Гонту, Желѣзняка и многихъ иныхъ борцовъ за дѣло православія и вольной казачины, возвышается круглая цистерна, съ прекрасной бронзовой статуей, изображающей роскошную женщину съ рыбьимъ хвостомъ, которая, подставивъ щитъ, смѣло и широко замахнулась на кого-то въ воздухѣ польскою саблею. Это—муниципальный гербъ города Варшавы. «Сирена... прекрасная, поющая и разящая; какъ много въ этомъ поэтическаго смысла и политическаго, роковаго значенія», подумалось Хвалынцеву, глядя на это художественное изваяніе.

Но все это: «Старе място», Свенто-Янская улица, фара, узкіе дома, барельефы, надписи, гербы, евреи, монахи, нищіе, торговки, пестрыя лавчонки и какая-то наивность грязной уличной, обыденной жизни, не скрывающей никакихъ своихъ отправленій,—все это вѣяло историческимъ прошлымъ, отзывалось средними вѣками и являло какую-то особую, своеобразную и въ высшей степени характерную жизнь. Хвалынцевъ, между прочимъ, обратилъ нѣкоторое вниманіе и на оригинальныя старинныя вывѣски, которыя красовались надъ входами въ разные кабачки, ядальни, дыстрыбуціи, мелочныя и хламныя лавчонки: на одной, напримѣръ, изображена звѣзда, на другой олень, на третьей всевидящее око и *страшенный* левъ, или крутогрудый лебедь, или же бѣлый орелъ, и сообразно этимъ изображеніямъ находятся надписи: «подъ гвяздон'» «подъ эленемъ» «подъ свентымъ окемъ», «подъ львемъ» «подъ лабендземъ», «подъ бялымъ оржлемъ»,— все это относилось по крайней мѣрѣ къ прошлому XVIII вѣку, да такъ съ тѣхъ поръ и осталось здѣсь нерушимо надъ дверьми тѣхъ же самыхъ кабачковъ и дыстрыбуцій, которые въ своихъ стѣнахъ видывали еще пра-предковъ нынѣшнихъ варшавяковъ.

Бродя по кривымъ, извилистымъ и узкимъ улицамъ «стараго города», Хвалынцевъ незамѣтно вышелъ въ болѣе чистую часть и очутился близъ Саксонскаго сада. Онъ вошелъ подъ сѣнь этихъ роскошныхъ, величественныхъ каштановъ, которые помнятъ еще времена Зигмунда-Августа; на многихъ деревьяхъ держались еще листья, хотя уже прихваченные морозомъ, но все еще зеленые. Идетъ онъ по аллеѣ, но и здѣсь все тѣ же черныя, траурныя тѣни съ блѣдными лицами бродятъ по дорожкамъ, тѣ же чамарки, то же шушуканье на скамейкахъ, съ которыхъ мигомъ исчезаетъ партикулярная публика, чуть только присядетъ туда офицеръ или завѣдомо русскій; тѣ же пытливо и тревожно пронзающіе васъ взгляды, а иногда и нахально-самоувѣренныя, вызывающія улыбки; всматриванье, поглядыванье, подслушиванье, исканіе скандала, буде только является маломальская возможность устроить его какому-нибудь одинокому москалю... Все точно такъ же и здѣсь, какъ и въ столовой, въ цукерняхъ, на улицахъ, пахнетъ разлитою въ воздухѣ враждой и таинственнымъ заговоромъ. Траурныя тѣни движутся тихо, медленно, словно бы составляютъ собою какую-то безконечную и зловѣщую похоронную процессію. Въ однихъ только дѣтскихъ группахъ замѣтна говорливая, быстро движущаяся жизнь: вотъ двѣ партіи мальчугановъ раздѣлились между собою и играютъ «въ москалей и поляковъ»; поляки храбро атакуютъ москалей, бьютъ ихъ и всегда остаются побѣдителями, вслѣдствіе чего охотниковъ принимать на себя роль ненавистныхъ москалей становится все меньше и меньше. Траурныя дѣвочки возятъ въ черныхъ повозкахъ одѣтыхъ въ трауръ куколъ и катаютъ по дорожкамъ траурные, черные съ бѣлой каемкой обручи. Какою-то невыразимою, захватывающею духъ и щемящею грустью повѣяло на Хвалынцева при видѣ этихъ тихо блуждающихъ черныхъ тѣней и этихъ траурныхъ игръ, дышащихъ скорбью

Digitized by Google

и ненавистью, и онъ поспѣшилъ уйти изъ этого «похороннаго» сада.

Возвращаясь изъ него по Саксонской площади, мимо обелиска, воздвигнутаго въ память польскимъ генераламъ и офицерамъ, сохранившимъ вѣрность своему Царю въ возстаніе тридцатаго года, памятника, нарочно служившаго въ настоящее время общественнымъ мѣстомъ нѣкоторыхъ естественныхъ отправленій публики,—Хвалынцевъ еще разъ наглядно могъ убѣдиться въ страшной силѣ той непримиримой, глубокой ненависти, которая чрезъ тридцать лѣтъ не прощаетъ даже мертвымъ, искупившимъ собственною мученическою смертью то, что они считали за истину и святой долгъ и что въ глазахъ польскихъ революціонеровъ было измѣной дѣлу отчизны. Но перебирая въ умѣ своемъ впечатлѣнія нынѣшняго дня, вспоминая всѣ эти памятники многовѣковой и если не народной, то во всякомъ случаѣ городовой и шляхетной жизни; возстановляя предъ собою всѣ эти древнія зданія замка, бернардиновъ, Зигмундовой колонны, фары, Стараго мѣста, всѣ многолѣтніе дома, покрытые еще доселѣ средневѣковою плѣсенью и историческими воспоминаніями цѣлыхъ столѣтій бурно и славно прожитой жизни, Хвалынцевъ, какъ честный человѣкъ, не могъ не придти къ одному достопримѣчательному сознанію, которое онъ въ тотъ же день, подъ свѣжимъ, неизгладившимся впечатлѣніемъ, занесъ въ свою записную книжку.

«Да! здѣсь есть за что встать и за что побороться!» съ глубокимъ убѣжденіемъ писалъ онъ тамъ. «Всѣ эти монастыри, костелы и колонны, историческія площади, мѣста и улицы, историческіе дома и зданія,—со всѣмъ этимъ соединено здѣсь столько славныхъ, свѣтлыхъ и столько горькихъ воспоминаній, что они не скоро изгладятся изъ памяти народнаго сердца!.. Это такой же славянскій центръ, какъ наша Москва, какъ чешская Прага; здѣсь вѣками прошла цѣлая жизнь своеобразная, богатая и характерная. Здѣсь легъ въ основаніе быта совсѣмъ особый, нимало не похожій на нашъ, культъ жизни, понятій, вѣрованій, стремленій, политики, государства, что нѣтъ ничего мудренаго, если и до сихъ поръ невозможно забыть этого культа! Всѣ эти мѣста для поляка то же самое, что для насъ московскій Кремль съ его святынями. Отъ этого всего не легко... даже нельзя, невозможно отказаться, потому что всѣ эти памятники стародавней жизни просто мозолятъ глаза собою: они кричатъ, они вопіютъ о прошломъ и требуютъ его возвращенія! Надо одно изъ двухъ: либо сполна отдать ихъ полякамъ, либо уничтожить ихъ въ три часа грозными пушками Александровской цитадели! Иначе же, пока существуютъ на глазахъ у всѣхъ эти историческіе памятники прошлой независимости и славы—здѣсь никогда не будетъ ни полнаго мира, ни полнаго покоя, ни полнаго счастья! Или же все это надо перевоспитать, сдѣлать нашимъ русскимъ, во имя свѣтлаго *настоящаго* заставить забыть историческое *прошлое*, а это дѣлается если не вѣками, то долгими и долгими годами неуклонной, твердой и честной *русской* политики!.. Но съ нашими вѣчными колебаніями придемъ ли мы къ этому? А если и придемъ, то скоро ли?.. Для насъ, какъ кажется, остается теперь одно открытое поле—это *хлопская Польша*. Съумѣемъ ли мы мирно взять ее и слить съ собою—вотъ въ чемъ вопросъ! И все-таки, въ концѣ концовъ, надо сознаться, что здѣсь родовитому ляху есть за что встать и побороться до послѣдней возможности, до послѣдняго издыханія историческихъ воспоминаній! Но... все-таки для меня, а вмѣстѣ со мною, кажись, и для каждаго русскаго—вся эта историческая, славная, шляхетская жизнь, всѣ эти мозолящіе глаза памятники—увы!—остаются чуждыми и не говорятъ моему сердцу того, что говоритъ ему московскій Кремль и Кіевскія святыни... Итакъ за что же здѣсь я встану и буду бороться противъ своихъ, противъ русскихъ?.. Вотъ онъ, роковой вопросъ!.. И неужели же, въ концѣ концовъ, для меня во всемъ этомъ дѣлѣ остается одна лишь блестяще-обаятельная польская женщина, одна Цезарина?»

Это была для Хвалынцева невыносимо тяжкая минута размышленій и нравственнаго сознанія. Ему тяжело было записывать на память себѣ эти роковыя строки.

VI.

Уже на службѣ.

1861 годъ отошелъ въ вѣчность, оставя въ наслѣдіе шестьдесятъ-второму смутное время въ Москвѣ и Петербургѣ и еще болѣе смутное, натянутое и тягостное положеніе въ Варшавѣ.

Прошло нѣсколько мѣсяцевъ со дня прибытія Хвалынцева въ этотъ послѣдній городъ. Въ это время онъ давнымъ-давно успѣлъ уже опредѣлиться въ полкъ и надѣть кавалерійскій мундиръ, что произошло еще на первыхъ порахъ его прибытія въ Варшаву. Въ полку его полюбили; начальство тоже взирало на него довольно благосклонно, и такимъ образомъ, новая, военная жизнь, захватя его въ свое русло, показалась ему доброю, простою и хорошею жизнью. Онъ попалъ въ честную армейскую среду, *честную*, конечно, не въ томъ смыслѣ, какъ понимается этотъ эластическій эпитетъ въ полояровскихъ кружкахъ Москвы и Санктъ-Петербурга, но честную по-солдатски и вмѣстѣ съ тѣмъ по-человѣчески; въ среду, не умѣющую сидѣть на двухъ стульяхъ, не задаю-

Digitized by Google

щуюся выспренними соціально-политическими вопросами, но зато свято и неуклонно исполняющую свой долгъ (какъ бы онъ ни былъ иногда малъ и скроменъ); въ среду, всегда умѣющую безропотно подставить свой лобъ и свою грудь, гдѣ потребуютъ интересы того (для иныхъ быть-можетъ и страннаго) принципа, который называется «русскимъ государствомъ», «русскою землею»; въ среду, умѣющую и всегда готовую, въ то же время, протянуть и братскую руку помощи и участія каждому несчастному, кто только въ нихъ нуждается. Въ тѣ годы, о которыхъ идетъ наше повѣствованіе, на эту скромную среду со всѣхъ концовъ россійской и отчасти польской литературы и изъ многихъ кружковъ русскаго общества сыпались тысячи насмѣшекъ, оскорбленій и обвиненій, дышавшихъ сатирой, если только не крайнею ненавистью, и каждый борзописецъ вмѣнялъ себѣ въ особенную заслугу лягнуть такъ или иначе человѣка, носящаго военный мундиръ и вѣрнаго извѣстнымъ принципамъ, забывая, что этотъ самый оплевываемый и лягаемый человѣкъ еще такъ недавно отстоялъ грудью своею импровизированную, фиктивную крѣпость, которая называлась Севастополемъ; но это ему не вмѣнялось въ заслугу и обходилось молчаніемъ, а на видъ выставлялись исключительно темныя личности и темныя проявленія тогдашняго военнаго быта. Но наша заграничная революціонная печать, понимая то значеніе, какое имѣетъ военный элементъ и во внутренней и во внѣшней жизни государства, старалась, время-отъ-времени, заигрывать и кокетничать съ нимъ, высылала къ нему свои вопіющія и взывающія прокламаціи и только тогда разразилась противъ него «анаѳемой» и «подлыми», когда ясно и осязательно убѣдилась на дѣлѣ, что никакія кокетливыя заигрыванья не приведутъ къ ея желанной цѣли.

Эта добрая среда открыто и просто, по-солдатски, приняла Хвалынцева въ свое лоно и облюбила его какъ славнаго, хорошаго юношу, который по всему обѣщалъ быть хорошимъ кавалеристомъ и хорошимъ товарищемъ, и ни на единую минуту не заподозрила въ немъ принадлежности къ тѣмъ враждебнымъ для нея элементамъ, которыми кишѣла тогда Польша и которые, какъ накипь, всплывали время-отъ-времени на широкую поверхность нашей русской жизни.

Да впрочемъ, и самъ Хвалынцевъ за все это время никому не подавалъ ни малѣйшаго повода заподозрить себя въ тѣхъ цѣляхъ и намѣреніяхъ, ради которыхъ онъ вступалъ въ военную службу. Опредѣляясь на службу, онъ не пошелъ къ офицеру Паляницѣ, обратиться къ которому, какъ къ главному агенту «варшавскаго отдѣла русскаго общества земли и воли», ему было рекомендовано еще въ Петербургѣ, а вмѣстѣ того занялся просто службой, и былъ совершенно доволенъ своимъ положеніемъ, въ какое прихотливой судьбѣ угодно было забросить его такъ случайно и такъ неожиданно.

Одно только мучило, грызло и терзало его въ иныя долгія и безсонныя ночи,—это странная, почти необъяснимая, почти роковая страсть къ графинѣ Цезаринѣ. Она не была для него тѣмъ добрымъ, простымъ, хорошимъ женщиной-человѣкомъ, женщиной-другомъ, какимъ во время оно являлась ему Татьяна Стрѣшнева; въ графинѣ Цезаринѣ Маржецкой онъ видѣлъ прелестную, коварно-граціозную, обаятельную, влекущую къ себѣ женщину-самку, окруженную такимъ блестящимъ и поэтическимъ ореоломъ женственности, таинственности и революціонизма. Онъ не встрѣчалъ еще въ жизни своей подобныхъ женщинъ, и Цезарина вліяла и дѣйствовала на него какъ новость, какъ нѣчто невиданное, какъ нѣчто такое, что хочется постичь и разгадать во что бы то ни стало. Она была для него тѣмъ яркимъ и манящимъ пламенемъ лампы, на которое довѣрчиво и беззавѣтно летитъ въ открытое окно изъ мирной и темной глубины тихаго сада глупый мотылекъ, для того лишь, чтобы обжечь свои крылья, если только не поплатиться на этомъ предательскомъ пламени всею своею бѣдною жизнью.

Хвалынцевъ жилъ въ средѣ своихъ полковыхъ товарищей и исподволь очень порядочно научился польскому языку. Русскимъ людямъ знаніе этого близкаго къ намъ языка достается не трудно въ томъ городѣ, гдѣ польскіе звуки, такъ сказать, носятся, звучатъ и перекрещиваются между собою въ самомъ воздухѣ. Не послѣднею также практическою школою языка для молодыхъ военныхъ служатъ Варшавскій театръ «Розмаитосьци» [1]) и «кобѣты», то-есть тѣ вѣчно игривыя, вѣчно болтливыя и веселыя варшавянки-гризетки, что, несмотря ни на какую жалобу, ни на какіе декреты грозныхъ подземныхъ комитетовъ и трибуналовъ, во вся времена и вѣки, никоимъ образомъ не могутъ отказаться отъ своей женской слабости къ «москалямъ», которыхъ онѣ всегда по душѣ предпочитали своимъ варшавскимъ «элегантамъ». А эти милыя и веселыя «кобѣты» всегда водятся явно или подъ сурдинку въ каждой средѣ полковой молодежи, такъ что Хвалынцевъ поневолѣ сталкивался съ ними у нѣкоторыхъ изъ своихъ полковыхъ товарищей, и такимъ образомъ варшавскій театръ и варшавскія женщины даже и въ ту политически-тяжкую годину невольно служили для него лучшею практическою школою польскаго языка, которымъ иногда, въ свободные часы, занимался онъ еще и теоретически, посредствомъ чтенія и иныхъ упражненій. Въ относительно

[1]) Variété—театръ „разнообразія", гдѣ даетъ свои представленія польская драматическая труппа.

Digitized by Google

короткое время онъ довольно основательно овладѣлъ этимъ языкомъ, въ сущности вовсе нетруднымъ.

Итакъ, онъ жилъ и служилъ себѣ, какъ живется и служится вообще обыденнымъ порядкомъ, то-есть довольно сносно, а въ это самое время на горизонтѣ варшавской политической жизни совершались событія, относительное значеніе которыхъ уже отмѣчено исторіей того смутнаго времени.

VII.

Терроръ и паника, и еще нѣчто.

Костелы были закрыты. Прелатъ Бялобржескій, бывшій орудіемъ другихъ, а самъ по себѣ явившій предъ судомъ въ своей особѣ немощнаго и довольно безхарактернаго, довольно трусливаго старикашку, былъ приговоренъ къ годовому заключенію въ крѣпости, безъ лишенія сана и ордена, хотя капитулу и краснымъ очень хотѣлось, чтобы его разстрѣляли, дабы этою новою казнью увеличить въ глазахъ Европы число польскихъ мучениковъ. Военное положеніе, какъ дѣтское пугало, все еще висѣло надъ Варшавой, тяготя собою однѣхъ лишь русскихъ властей, но ни мало никого не пугая и не вразумляя; авторитетъ законной власти вслѣдствіе этого почти съ каждымъ днемъ падалъ все болѣе и болѣе, а вмѣстѣ съ его паденіемъ прогрессивно разыгрывались революціонныя страсти, вездѣ, гдѣ только можно: и на школьной скамейкѣ, и у семейнаго очага и предъ домашней исповѣдальней ксендза и монаха, и въ мѣстахъ общественныхъ собраній. Положеніе становилось все болѣе натянутымъ, и хотя не было рѣзкихъ публичныхъ проявленій демонстративнаго характера, тѣмъ не менѣе все, что могло подняться, въ грозной тишинѣ готовилось къ страшному взрыву, къ вооруженному возстанію, какими бы то ни было путями, съ единою мыслью: выйти полными побѣдителями.

Военное положеніе между прочимъ вызывало безпрестанные аресты; брали и за дѣло, и безъ дѣла, но какъ въ томъ, такъ и въ другомъ случаѣ эти аресты кончались сущими пустяками: нѣсколько дней заключенія въ полицейской «кòзѣ» или въ цитадели и только, такъ что въ варшавякахъ разыгралась наконецъ своего рода модная страсть къ арестамъ: множество лицъ сами добивались ареста и простотаки навязывались на него, какъ на особое отличіе, потому что этимъ пустякомъ пріобрѣталась въ общественномъ мнѣніи репутація добраго патріота. Кому ни разу не довелось побывать если не въ цитадели, то хоть въ «кòзѣ», того зачастую начинали подозрѣвать въ шпіонствѣ и вообще въ патріотической неблагонадежности. Евреи тоже, словно-бы особой милости, добивались ареста въ качествѣ польскихъ возмутителей, и комическіе факты, какъ напримѣръ тотъ, что одинъ извѣстный варшавскій еврей-купецъ считалъ себя серьезно обиженнымъ, громко жалуясь, что сынъ его, никому не уступающій въ чувствахъ хорошаго поляка, не былъ еще ни разу арестованъ,— такіе факты случались сплошь и рядомъ. Многіе господа пріобрѣли даже особенную ловкость и опытность въ искусствѣ быть многократно арестованными и каждый разъ выпутываться безъ серьезныхъ послѣдствій; а между тѣмъ эта продѣлка упрочивала за ними громкую репутацію отличнѣйшихъ патріотовъ. Такимъ образомъ, рядомъ съ серьезными и тихими подготовленіями къ грозной развязкѣ шла объ руку и эта мелочно-суетная, комически-шутовская сторона дѣла.

9-го февраля 1862 года, прибылъ въ Варшаву на архіепископскую каѳедру ксендзъ Феликсъ Фелинскій. Еще до его прибытія общественное мнѣніе было уже предубѣждено въ дурную сторону относительно новаго архіепископа: уже одно то, что онъ назначенъ указомъ прямо изъ Петербурга, помимо капитула, и что до сей поры состоялъ профессоромъ въ Петербургской Духовной Академіи, дѣлало его весьма непопулярнымъ. Въ лицѣ его хотѣлось бы прославить новаго мученика за дѣло ойчизны, новую жертву московскаго гнета, а онъ межъ тѣмъ съ перваго же шага открылъ всѣ костелы для богослуженія, не одобрилъ политически-безтактное поведеніе ксендзовъ и пѣніе гимновъ, да вдобавокъ заговорилъ въ духѣ примиренія о либеральныхъ намѣреніяхъ правительства, лично ему извѣстныхъ. Это подняло противъ него цѣлую бурю толковъ, пасквилей, карриктуръ, а одинъ реформатскій монахъ даже въ публичной проповѣди отдѣлывалъ его самымъ безпощаднымъ и оскорбительнымъ образомъ. Буря эта наконецъ разыгралась тѣмъ, что 10-го апрѣля, едва лишь Фелинскій взошелъ на каѳедру въ фарѣ, какъ рѣчь его была заглушена свистками, шиканьемъ, крикомъ — и многочисленные коноводы почти силою принудили весь народъ выйти изъ храма. Для поддержанія собственнаго авторитета, молодой и элегантный Фелинскій задумалъ было составить себѣ особую партію въ средѣ модныхъ аристократическихъ клерикалокъ. Самъ онъ носилъ постоянно сутану фіолетоваго цвѣта; модныя девотки по его увѣщаніямъ рѣшились къ своей жалобѣ примѣшивать какой-нибудь бантикъ или ленточку того-же самаго цвѣта, но это послужило къ тому лишь, что всѣхъ этихъ барынь окрестили сатирическимъ прозвищемъ «фіалокъ Фелинскаго», а то еще обзывали и «коханками Фелинскаго». Такимъ образомъ, архіепископъ потерпѣлъ полное и рѣшительное фіаско. Поляки въ этомъ случаѣ оказались и относительно Феликса Фелинскаго такими-же непроницательными и политически-безтактными

Digitized by Google

слѣпцами, какъ относительно маркиза Віелепольскаго, и напрасно «Gazeta Polska» краснорѣчиво старалась вразумить ихъ, указывая въ немъ будущаго дѣятеля и героя польскаго дѣла—никакое краснорѣчіе, никакія вразумленія не помогали: идеи «примиренія» были нетернимы, хотя весьма значительное большинство, такъ сказать, на собственной шкурѣ чувствовало всю крайнюю необходимость этого примиренія, потому что за послѣднее время торговля пришла въ страшный упадокъ, въ промышленности господствовалъ окончательный застой, заводы, фабрики, ремесленныя мастерскія бѣднѣли и пустѣли съ каждымъ днемъ все болѣе, около двухъ третей мелкихъ ремесленныхъ заведеній въ цѣломъ краѣ закрылись за положительнымъ отсутствіемъ рабочихъ рукъ; кредитъ падалъ, множество капиталовъ лопалось, круглое банкротство заглядывало во всѣ промышленныя и торговыя щели—странѣ грозилъ окончательный экономическій кризисъ. Массы рабочаго, ремесленнаго люда шатались безъ дѣла по улицамъ и дорогамъ, нищенствовали и до послѣдней нитки пропивались въ кабакахъ и баваріяхъ. Трудъ былъ заброшенъ въ ожиданіи *чего-то*—и вся эта полуголодная, полупьяная масса, въ какомъ-то тревожномъ, возбужденномъ состояніи, готовая на всякую демонстрацію, равно какъ и на всякую легкую наживу, глухо волновалась и нетерпѣливо ожидала близкой развязки. Какая будетъ развязка? — это было для названной массы дѣло темное, гадательное и почти невѣдомое: но трудъ все-таки сталъ, а кровожадные инстинкты вызывались наружу. Умѣренное большинство очень хорошо видѣло все это и понимало страшное, критическое положеніе своего края, но... у этого большинства не хватало духу возвысить свой голосъ: ово трусило и глухо молчало предъ грозною и темною силою революціонныхъ трибуналовъ. Грабежи, съ объявленіемъ военнаго положенія, не прекратились, а усилились: разбивали среди бѣла дня лавки, мастерскія, разрушали цѣлые склады и заводы, и это все безнаказанно творилось и въ Варшавѣ, и въ городахъ, и вообще въ губерніяхъ Царства. Рѣдкій день проходилъ безъ того, чтобы на улицахъ, въ домахъ, въ костелахъ и на дорогахъ не истязали самымъ безчеловѣчнымъ образомъ «дурныхъ поляковъ»; ихъ забивали часто до смерти. Достаточно было кому-нибудь, по личной злобѣ, пришпилить къ заду платья своего недруга или кредитора бумажку съ надписью «Szpieg»—и этотъ шпьегъ [1]) избивался яростною толпою, гдѣ ни попало: на улицѣ или въ костелѣ. Полиція пряталась, не смѣя и носа показать, или появлялась только затѣмъ, чтобы подобрать изувѣченное тѣло. Цѣлыя толпы съ кастрюлями, сковородниками, свистками и трещетками собирались подъ окнами какого-нибудь «дурного поляка» или «москаля» и задавали ему «коцью музыку», финаломъ которой обыкновенно являлось огульное выбиваніе стеколъ уличными камнями, — и это еще была изъ самыхъ легкихъ мѣръ наказанія. По варшавскимъ улицамъ гордо разгуливали мальчишки, лѣтъ 16-ти—18-ти, одѣтые въ черныя блузы и подпоясанные пеньковыми веревками, петлею продѣтыми въ желѣзное кольцо. Эта веревка служила символомъ висѣльной петли, а самое появленіе милыхъ юношей на улицахъ долженствовало служить къ устрашенію «робкихъ патріотовъ». Это былъ какъ бы первообразъ будущихъ жандармовъ-вѣшателей, будущіе ихъ кадры.

Еще въ январѣ 1862 года пошли и по Варшавѣ, и по провинціи самые положительные слухи о вооруженіяхъ націи: назывались даже лица, у которыхъ сосредоточиваются денежныя складки на закупку оружія, дѣлались заказы на бельгійскихъ оружейныхъ фабрикахъ, въ самой Варшавѣ устраивались тайные экзерциргаузы, въ которые стекалась молодежь обучаться военному дѣлу по уставу Мѣрославскаго, экземпляры котораго въ десяткахъ тысячъ были распространены по Польшѣ и всему Западному краю. Игра шла почти уже въ открытую.

Съ одной стороны грозный терроръ, съ другой нѣмая паника; надъ тѣмъ и надъ другою—страшный экономическій кризисъ цѣлой страны, а подъ ними, какъ слабый — и надо сознаться—печально-комическій аккомпаниментъ всей этой траги-комедіи, безпрестанныя и никого неувѣряющія увѣренія мѣстнаго начальства, что оно при военномъ положеніи имѣетъ въ рукахъ своихъ достаточно сильную власть для сохраненія общественнаго спокойствія...

VIII.

Hymn narodowy.

3-го мая—день знаменательный для *бѣлыхъ* польскихъ патріотовъ. Это день знаменитой «конституціи 3-го мая», составленной Чарторыйскимъ. Вечеромъ, наканунѣ этого дня, за вечерней службой и въ самый день конституціонной годовщины, во время обѣдни, по варшавскимъ костеламъ вновь раздались революціонные гимны, замолкнувшіе было на нѣкоторое время. Пѣніе этихъ гимновъ, конечно, сопровождалось обильными арестами при выходѣ изъ храмовъ. 3-го мая во время «мши» [1]) многочисленная публика собралась по преимуществу къ Свентему Кржижу, какъ въ самый модный храмъ того времени. На улицѣ, предъ костеломъ стояло много экипажей и толпы людей, между которыми замѣчались многочисленныя группы гимназистовъ и студентовъ.

Хвалынцевъ какъ разъ въ это самое время

[1]) Шпіонъ.

[1]) Обѣдня.

Digitized by Google

проходилъ по Новому Свѣту вмѣстѣ съ однимъ изъ своихъ полковыхъ товарищей и поневолѣ замѣшался въ толпу, которая стояла предъ статуей Христа въ терновомъ вѣнцѣ, упавшаго подъ тяжестью креста и указующаго на небо.

— А это вѣдь не спроста,—замѣтилъ онъ своему однополчанину.—Должно быть у Кржижа опять что-нибудь творится.

— Да развѣ ты не знаешь? — отозвался тотъ; — вѣдь со вчерашняго дня опять запѣли. Навѣрное и теперь поютъ.

— О?.. въ самомъ дѣлѣ?—отозвался тотъ.— Вѣдь это крайне любопытно!

— Что тамъ любопытнаго! Орутъ себѣ во все горло да и только.

— Но я въ самой Варшавѣ никогда еще не слыхалъ этихъ гимновъ; зайдемъ, пожалуйста!

— Зайдемъ, пожалуй!

И оба товарища поднялись на ступени костельной паперти.

Съ трудомъ, чрезъ плотную массу народа, пробрались они во внутренность храма, но и то принуждены были остановиться почти въ самыхъ дверяхъ, за невозможностью двинуться далѣе. Здѣсь они столкнулись носъ къ носу съ жандармскимъ офицеромъ, бывшимъ своимъ однополчаниномъ. Хвалынцевъ на первыхъ порахъ своего вступленія въ службу еще засталъ его на короткое время въ полку, и потому былъ знакомъ съ нимъ. Жандармскій офицеръ былъ полячокъ по происхожденію и потому для пущаго заявленія предъ начальствомъ своей благонадежности и благонамѣренности, а равно и ради выгодъ служебныхъ и экономическихъ, заблагоразсудилъ перейти въ полицейскіе жандармы. Въ полку ни мало не пожалѣли объ утратѣ сего товарища.

— А!.. господа!.. Милые, старые товарищи!—заговорилъ жандармъ, съ какой-то торопливой, заискивающей любезностью, крѣпко и чисто по-польски пожимая обоимъ руки.—Вы сюда какими судьбами!?

— А вы-то какими?—спросилъ его товарищъ Хвалынцева.

— Я?.. Э, я по необходимости, по службѣ!.. Такая непріятная служба, и совсѣмъ я къ ней, какъ вижу, неспособенъ... То-ли дѣло въ полку-то было!..

— Да впрочемъ вы вѣдь, кажись, и всѣ къ этой службѣ не совсѣмъ-то тово...

— Э, нѣтъ, не скажите!.. Есть, напротивъ, очень способные; но я-то собственно... Но что же дѣлать!.. Представьте, это полячье безмозглое вздумало снова эти... гимны свои дурацкіе... Ну, вотъ и послали, чтобъ арестовать ихъ... Удивительно глупый народъ, я вамъ скажу!.. Удивительно-съ глупый!..

— Что же вы такъ бранитесь, вѣдь вы сами...

— Нѣтъ-съ, то-есть,—торопливо и предупредительно перебилъ жандармъ, — то-есть я самъ собственно только католикъ, но что эти всѣ господа... это что же, помилуйте!.. Но что васъ то собственно, господа, привлекло сюда?

— А вотъ Хвалынцеву любопытно послушать, что это за гимны... никогда не слыхалъ еще.

— Э, помилуйте, есть тутъ что слушать!.. Ничего поучительнаго!.. такъ, просто дикая глупость одна...

— Но все же любопытно,—ввернулъ слово Константинъ Семеновичъ.

— Да, ну, если любопытно, то конечно... отчего жь и не посмѣяться!

Но Хвалынцевъ не нашелъ, надъ чѣмъ бы тутъ можно было смѣяться. Сцена, открывшаяся предъ нимъ, не заключала въ себѣ ничего смѣшного. Предъ глазами его былъ высокій, свѣтлый храмъ, биткомъ наполненный народомъ, и весь этотъ народъ стоялъ на колѣняхъ; но предъ алтаремъ не было замѣтно ни одного священнодѣйствующаго лица. Впереди виднѣлась группа черныхъ, колѣнопреклоненныхъ женщинъ. На всѣхъ лицахъ лежала печать выразительной, озлобленной скорби, взоры горѣли молитвой, фанатизмомъ, отчаяніемъ, религіознымъ экстазомъ и ненавистью... Вверху гудѣлъ органъ, но аккомпанирующіе звуки его почти заглушались: вся эта плотная, колѣнопреклоненная масса, какъ одинъ человѣкъ, полною грудью, во весь голосъ издавала страшные, морозомъ подирающіе вопли, которые были мрачнымъ гимномъ отчаянія, ропота и укоризны, обращенныхъ къ Богу.

Гимнъ только-что начинался. Хвалынцевъ съ напряженнымъ вниманіемъ прислушивался къ выразительнымъ стихамъ его.

«Когда-жь Ты, о, Господи! нашу услышишь мольбу!» въ одинъ голосъ гремѣла эта сила мужскихъ и женскихъ голосовъ,—и отъ мрачныхъ аккордовъ всей этой тысячегрудой взывающей массы, казалось, сотрясались самыя стѣны древняго храма:

Когда-жь Ты, о, Господи! нашу услышишь мольбу
И дажь воскресенье изъ гроба неволи?!
Ужь мѣра страданій исполнилась въ нашемъ гробу,
И жертвы, и смерть ужь не страшны намъ болѣ!
Мы пойдемъ на штыки, на ножи палачей,—
Но только свободу, отдай намъ свободу!
Вѣдь наши отцы въ багряницѣ изъ крови своей
Твой крестъ защищали въ былую невзгоду.
Въ крылатыхъ доспѣхахъ летѣли съ врагами на бой,
На сабляхъ несли Твое имя святое.—
За что же теперь ихъ сыны позабыты Тобой?!
За что присудилъ имъ мученіе злое?!
Зачѣмъ же, о, Господи! взоръ всеблагой Твой и слухъ
Отъ насъ отвращенъ и стенаній не чуетъ.

Digitized by Google

И предалъ тому своихъ вѣрныхъ Ты слугъ,
Кто крестъ Твой нещадно ужь дважды бичуетъ.

Хвалынцевъ весь находился подъ страшно-гнетущимъ и потрясающимъ впечатлѣніемъ этихъ какъ бы изстрадавшихся, отчаянно-рѣшительныхъ и могильно-грозныхъ звуковъ: ни единой свѣтлой, умиляющей ноты—одна только скорбь, одно лишь отчаяніе и горькій, изступленный упрекъ да сѣтующая жалоба звучали въ этихъ аккордахъ. И дѣйствительно, пѣніе—или скорѣе стоны и вопли, чѣмъ пѣніе—всей этой массы голосовъ, слитыхъ въ одно фанатически-изступленное чувство, въ одну мысль укоризны и отчаянія, и вмѣстѣ съ тѣмъ самый видъ этой тысячеглавой толпы, плотно слитой и поверженной на колѣни, то съ согбенными спинами, то съ дерзко и вызывающе поднятыми къ алтарю взорами, производили впечатлѣніе сильное, глубокое, потрясающее и мрачно-поэтическое. Онъ — человѣкъ, чуждый этому міру, человѣкъ иной національности,—въ эту минуту живо и глубоко почувствовалъ и позналъ ту страшную силу, которая можетъ и должна электризовать и фанатически вздымать цѣлыя массы народа, настроеннаго подобнымъ образомъ. Онъ понялъ, что достаточно одной такой поэтической и эффектной минуты, чтобъ она увлекла собою эти массы и на площадь, и подъ пули, и на баррикады. Онъ понялъ теперь, *что̀ именно* сковываетъ воедино волю и силу этихъ столь разнообразно поставленныхъ въ жизни людей, и что̀ дѣйствительно можетъ возбуждать въ нихъ, хотя бы минутную, но глубоко-искреннюю готовность «идти на штыки и ножи палачей». Эта минута, заключающая въ себѣ это роковое *нѣчто*, вздымающее людей на подобную высоту духа, есть именно сила изступленнаго, религіозно-католическаго экстаза — сила польскаго костела.

Подавленный своимъ поражающимъ впечатлѣніемъ, онъ только слушалъ и глядѣлъ машинально, изъ чувства нѣкоторой вѣжливости улыбаясь полячку-жандарму, который въ это самое время что-то и о чемъ-то говорилъ ему, должно быть что-то очень любезное и, по его мнѣнію, вѣроятно остроумное, но что̀ именно, Хвалынцевъ не слушалъ, не понималъ, да и не желалъ и не могъ понимать и слышать.

Взглядъ его былъ прикованъ къ одному мѣсту, у правой стѣны, гдѣ за нѣсколько мгновеній предъ этимъ онъ вдругъ нечаянно встрѣтился съ другимъ, устремленнымъ на него взглядомъ.

У Хвалынцева закружилась голова отъ какого-то угарнаго, сладко-опьяняющаго чувства. Сердце вдругъ упало, застыло на одно мгновеніе, но тотчасъ-же взыграло какимъ-то смѣшаннымъ ощущеніемъ страха, смущенія и радости.

Да; нѣтъ сомнѣнія, взглядъ устремленъ именно на него, но отчего-жь, при всей его пристальности, въ немъ ни на единый мигъ не мелькнулъ лучъ привѣта? Отчего эти глаза глядятъ такъ холодно, такъ строго, съ оттѣнкомъ какого-то удивленія?.. Но сомнѣнія быть не можетъ: это она, графиня Цезарина... Это взглядъ ея столь хорошо ему знакомыхъ глазъ, ея лицо, ея выраженіе, ростъ и весь складъ фигуры — именно ея! Онъ узналъ ее окончательно! Идти къ ней не хотѣлось-бы, но... не хватало рѣшимости.

Межъ тѣмъ затихли послѣдніе, финальные аккорды гимна. Народъ повалилъ было изъ костела, но тутъ начались аресты. Противъ полячка-жандарма, между полицейскими солдатами, якобы въ качествѣ арестованнаго, помѣстился полячокъ-обыватель, изъ природы варшавскихъ «элегантовъ» съ двойнымъ, очень тщательно расчесаннымъ проборомъ, съ усиками, вытянутыми въ струнку и съ парижской люишкой. «Элегантъ», хотя и самъ принадлежалъ къ ярымъ пѣвунамъ-патріотамъ, но находилъ не безвыгоднымъ для себя, какъ и многіе «элеганты» и неэлеганты того времени, служить и нашимъ, и вашимъ. Онъ посредствомъ незамѣтнаго и непонятнаго для непосвященныхъ глазъ условнаго знака, въ родѣ поигрыванія цѣпочкой при приближеніи какой-либо личности, давалъ этимъ жандарму знать, что такого-то или такую-то арестовать, молъ, слѣдуетъ, — и полячокъ-жандармъ, со всею офиціальною и притомъ со всею польскою «гржечносцью» немедленно арестовывалъ указаннаго субъекта. Впрочемъ, элегантъ свое дѣло дѣлалъ съ разборомъ, и очевидно, не безъ задней мысли патріотическаго свойства: указывая однихъ, онъ пропускалъ другихъ, по своимъ соображеніямъ, въ расчетъ которыхъ входила бо̀льшая или ме́ньшая пригодность даннаго субъекта къ дѣлу «свентей справы», либо принадлежность его къ той или другой политической партіи.

Сцена арестованія была изъ самыхъ непріятныхъ: однимъ (впрочемъ не очень многимъ) хотѣлось какъ-нибудь улизнуть, и они довольно комически старались исполнить этотъ маневръ разными стратегическими хитростями; другіе очень жалостно и униженно просили отпустить ихъ, но этихъ и еще было меньше, большинство-же позволяло себя арестовывать довольно равнодушно, чтобы не сказать вполнѣ охотно. Одни изъ этого большинства принимали гордо-спокойный видъ «страдальцевъ за ойчизну», другіе, шедшіе подъ арестъ съ видимымъ удовольствіемъ, трунили и подшучивали надъ собой, надъ товарищами, надъ полиціей—вполнѣ безразлично, а третьи такъ даже сами съ просительнымъ видомъ обращались къ офицеру, «нѣхъ панъ бе́ндзе такъ ла́скавъ арестова̀ць мень! Нѣхъ панъ позво̀ли

Digitized by Google

мнѣ ісць до кòзы, бо и я спѣва́лэмъ, муй пане!» и жандармъ не отказывалъ ни единой изъ этихъ послѣднихъ просьбъ. Было очевидно, что всей этой комедіей ареста «добре обывацели» радѣхоньки воспользоваться ради легкаго и притомъ столь моднаго способа попасть въ герои, въ страдальцы, въ мученики за Польшу. Но несмотря на то, что каждый отлично понималъ значеніе этой комедіи, она сопровождалась другой комедіей слезъ, воплей, вздоховъ и проклятій на «утѣснителей», расточавшихся изъ толпы зрителей, между которыми точно также было пропасть желающихъ попасть въ модные герои и героини, а между тѣмъ слезы и вопли раздавались съ такимъ отчаяннымъ видомъ, какъ будто всѣхъ этихъ арестантовъ сейчасъ-же поведутъ на висѣлицу. Контрастъ между этой дешевенькой сценой и тѣмъ грандіознымъ впечатлѣніемъ, которое за минуту еще дѣлалъ гимнъ колѣно-преклоненнаго народа, былъ слишкомъ быстръ и потому противно-гадокъ. Тутъ отъ великаго до смѣшного явилось теперь даже менѣе одного шага.

Оставаясь почти невольнымъ свидѣтелемъ этой печально смѣшной комедіи, Хвалынцевъ сквозь толпу обступившаго народа устремилъ внимательно-разглядывающій взглядъ во внутрь костела—туда, въ ту сторону, гдѣ встрѣтился со взоромъ Цезарины. Она все еще стояла на своемъ мѣстѣ, какъ будто въ какомъ-то раздумьи, въ какой-то нерѣшительности и совсѣмъ безучастно относилась къ сценѣ арестаціи, разыгрывавшейся у входа. Между тѣмъ костелъ пустѣлъ все болѣе и болѣе: полиція приглашала удаляться всѣхъ избавлявшихся отъ ареста. Оставалась уже небольшая лишь кучка самыхъ упорныхъ или же самыхъ любопытныхъ патріотовъ. Вдругъ, Хвалынцевъ замѣтилъ, что графиня Маржецкая, послѣ минутнаго колебанія, прямо направилась къ выходу очень твердой, увѣренной и смѣлой поступью.

Эле́гантъ, замѣтивъ ее, съ самымъ невиннымъ видомъ предупредительно схватился за свою цѣпочку.

— Пршепрашамъ, муя пани!—вѣжливо загородилъ ей дорогу жандармъ.

Но графиня вдругъ, совершенно неожиданно для всѣхъ, круто повернулась къ Хвалынцеву, какъ бы вовсе не замѣтивъ обращенныхъ къ ней словъ и движенія жандарма и, къ крайнему изумленію самого Константина, заговорила съ нимъ по-русски!

— Здравствуйте, господинъ Хвалынцевъ!—привѣтливо, какъ добрая, старая знакомая, сказала она, протянувъ къ нему руку.—Какая неожиданная встрѣча!.. Очень рада видѣть васъ!

Герой нашъ отчасти растерялся отъ неожиданности такого подхода и отъ прихлынувшей радости. Но и жандармъ просто ошалѣлъ, услыхавъ русскую рѣчь въ костелѣ, со стороны женщины, одѣтой въ очень изящное черное шелковое платье, на которую его vis-à-vis элегантъ даже и въ это мгновеніе дѣлалъ свои предупредительные знаки. Эта русская рѣчь въ данномъ случаѣ казалась явленіемъ столь страннымъ, что, несмотря на упорное поигрываніе цѣпочки, жандармъ, предположивъ здѣсь какое-нибудь недоразумѣніе, не сомнѣвался въ ошибкѣ со стороны предупредительнаго элегантa.

— Давно вы здѣсь, графиня?—спросилъ наконецъ Хвалынцевъ, собравшись кое-какъ съ мыслями.

— Я?.. только вчера изъ Петербурга!—солгала она, и солгала очень искусно, то-есть съ безукоризненнымъ видомъ правды, простоты и невинности.—Я ѣду за границу,—продолжала Цезарина какъ ни въ чемъ не бывало,—но устала съ дороги и думала хоть одинъ день отдохнуть въ Варшавѣ... Между прочимъ, мнѣ было бы любопытно посмотрѣть что это здѣсь дѣлается... Въ гостиницѣ, гдѣ я остановилась, горничная дѣвушка болтала что-то про какіе-то гимны... Мнѣ захотѣлось посмотрѣть, послушать... Я нахожу, что это довольно оригинально, эти гимны—vraiment.

Жандармъ, уже не глядя на элегантa, былъ вполнѣ убѣжденъ, что созерцаетъ какую-нибудь русскую, петербургскую барыню. Хвалынцевъ тоже почти ротъ разинулъ отъ изумленія, услыхавъ русскую рѣчь изъ устъ женщины, которая—насколько онъ зналъ ее—всегда тщательно избѣгала употребленія этого ненавистнаго ей языка, такъ что онъ даже искренно былъ убѣжденъ до сей минуты, будто она очень плохо знаетъ и понимаетъ русскую рѣчь.

— Однако, здѣсь такая толпа... съ легкой гримаской окинувъ взоромъ паперть и улицу, заговорила Цезарина.—Будьте такъ любезны, дайте мнѣ вашу руку и проводите меня до моего экипажа.

Константинъ не заставилъ ее повторить себѣ просьбу. Почти внѣ себя отъ восторга, возбужденнаго всей этой неожиданной встрѣчей и любезностью, онъ подставилъ ей руку и—мимо жандарма, который даже слегка взялъ ей подъ козырекъ, словно бы извиняясь и давая дорогу—провелъ ее вдоль толпы арестантовъ и зрителей, занимавшихъ ступени паперти.

— Вотъ моя карета,—сказала графиня, указывая глазами на очень изящный экипажъ съ англійскою упряжью, который стоялъ тутъ же предъ тротуаромъ.

Хвалынцевъ поспѣшилъ открыть ей дверцу.

— Благодарю васъ!—протянула она еще разъ ему руку.—Я могла быть арестована, но вы меня избавили отъ всѣхъ этихъ полицейскихъ непріятностей, а мнѣ, по нѣкоторымъ очень важнымъ для меня соображеніямъ, было бы вовсе не кстати теперь быть арестованною... Еще разъ благодарю васъ!.. До свиданья!

И она легко порхнула въ свою карету. Дверца

Digitized by Google

захлопнулась. Кучеръ тронулъ вожжи—и экипажъ помчался по Новому Свѣту.

Константинъ не успѣлъ еще опомниться. Все это произошло столь быстро, столь неожиданно и даже столь странно, что казалось ему какимъ-то тяжело-сладкимъ сномъ, мимолетной грезой: сейчасъ вотъ была здѣсь, говорила... онъ слышалъ этотъ знакомый, милый сердцу, мелодическій голосъ, онъ какъ будто еще чувствовалъ всѣми нервами прикосновеніе ея руки, мягкое, легкое пожатіе этихъ пальцевъ — все это было, и точно вѣдь *было* сейчасъ, сію минуту, и все это вдругъ исчезло куда-то, почти мгновенно и безъ слѣда... куда? зачѣмъ? — Богъ вѣсть! И когда-то снова придется встрѣтиться, да и встрѣтишься ль еще? — тоже Богъ вѣсть! — «Однако же она сказала «до свиданья», а не «прощайте», смутно и радостно подумалось ему, — «до свиданья... Значитъ, не всему еще конецъ; значитъ, еще увидимся...»

Вдругъ, въ эту минуту на улицѣ раздались громкіе дружные крики, перешедшіе даже въ какой-то свирѣпый ревъ громадной толпы...

Хвалынцевъ какъ бы очнулся и оглядѣлъ, что вокругъ него происходитъ.

Полицейскій конвой сводилъ съ паперти арестованныхъ, и это-то шествіе было встрѣчено ревомъ со стороны толпы, наполнявшей площадку предъ Свентымъ Кржижемъ и памятникомъ Копернику. Въ переднихъ рядахъ этой толпы виднѣлось множество гимназистовъ, студентовъ Главной Школы и агрономовъ съ Маримонта. Вдругъ въ полицію полетѣли камни. Полицейскіе обнажили сабли, и дѣло уже готово было тотчасъ же дойти до новаго кроваваго столкновенія, но къ счастію, показались штыки... подоспѣлъ сильный военный патруль — и массы народа вдругъ смолкли... Съ тихимъ гомономъ ропота и ругательствъ онѣ тотчасъ же разбрелись въ стороны. Патруль мѣрнымъ шагомъ, въ грозномъ молчаніи, спокойно и твердо прошелъ мимо площади, за минуту еще столь шумно волновавшейся.

IX.

Слабая струна.

Хвалынцевъ все еще подъ обаяніемъ встрѣчи съ Цезариной, словно въ чаду, медленно и почти безсознательно двигался вслѣдъ за толпою расходившагося народа по Новому Свѣту. Вдругъ кто-то сзади ласково взялъ его подъ руку. Онъ оглянулся и вдругъ:

— Здравствуйте, Константинъ Семеновичъ!.. ха, ха, ха!.. Здравствуйте, батенька! Что, небойсь, не ожидали такой встрѣчи? а?..

Предъ изумленнымъ глазами Хвалынцева предстоялъ и улыбался Василій Свитка.

— Какой встрѣчи?—сухо и недоумѣло проговорилъ Константинъ, не успѣвшій сразу отрѣшиться отъ своей мысли о встрѣчѣ съ графиней.—О какой встрѣчѣ вы говорите? съ вами, что-ли?

— Ну, да хоть бы и со мной, и... и еще кое съ кѣмъ... ха, ха, ха!.. шутилъ Василій Свитка. Ну, дайте же пожать вашу лапку!.. Такъ не ожидали-съ?

— Съ вами, признаться, не ожидалъ...

— А *не* со мной?

— Я не понимаю, что вы хотите сказать.

— Хе-хе... Полноте, дружище!.. А кого вы сейчасъ въ карету-то подсаживали? ну-ка?—лукаво подмигнулъ Свитка. — Все, батюшка мой, видѣлъ, все-съ!.. Отъ нашего вниманія ничто не ускользаетъ!

Хвалынцевъ нѣсколько смутился.

— Н-да, наблюдательныя способности у васъ-таки развиты изрядно,—процѣдилъ онъ сквозь зубы.

— У меня-то? Еще-бы!.. Мнѣ-бы только и быть шефомъ полиціи! Ха, ха, ха!.. Да чего это вы точно-бы дуетесь на меня?—спросилъ вдругъ Свитка.—Разстались мы съ вами, кажись, по-дружески.

Хвалынцеву былъ крайне непріятенъ этотъ фамиліарно - дружескій, лукаво - добродушный тонъ, которымъ непрошенный пріятель нахально забирался къ нему въ душу. «Какъ-бы отдѣлаться отъ этого барина?» подумалось ему, но отдѣлаться отъ Свитки вообще было не такъ-то легко, если самъ онъ не желалъ этого.

— Быть не въ духѣ, кажись, вамъ нѣ отчего,—продолжалъ межъ тѣмъ Свитка,—потому что встрѣча съ графиней... это не должно дѣйствовать на васъ дурно...

— Оставьте вы, пожалуйста, мои встрѣчи! Они до васъ ни мало не касаются!—безъ всякой церемоніи огрызнулся Хвалынцевъ, высвобождая свою руку изъ-подъ руки пріятеля.

— Уй, какой сердитый!—шутливо и какъ ни въ чемъ не бывало воскликнулъ Свитка — Да что это съ вами, голубчикъ!? Или вы и въ самомъ дѣлѣ на меня дуетесь?

— И на васъ я ни мало не дуюсь, будьте покойны!

— Да я-то не безпокоюсь; но... этотъ тонъ, эта сухость... вы точно и говорить не хотите со старымъ пріятелемъ.

— Да говорить-то намъ нѣ о чемъ.

— Какъ!—изумился Свитка.—У насъ съ вами было столько общихъ интересовъ...

— Да, *было*, но теперь ихъ *нѣтъ*,—подчеркнулъ Хвалынцевъ.

Пріятель на мгновенье нахмурился и закусилъ губы. Онъ быстро сообразилъ нѣчто въ умѣ своемъ.

— Послушайте, Константинъ Семеновичъ,—началъ онъ тихо и кротко, но вмѣстѣ съ тѣмъ очень серьезно.—Если у насъ уже нѣтъ общихъ интересовъ по извѣстному дѣлу, то все-таки остается личное знакомство... Противъ меня,

Digitized by Google

какъ частнаго человѣка, надѣюсь, вы ничего имѣть не можете? Мы можемъ не говорить и даже, пожалуй, совсѣмъ забыть про общее дѣло, какъ про дѣло не состоявшееся съ вашей стороны по какимъ бы то ни было причинамъ... васъ къ нему никто тянуть и насиловать больше не станетъ; но за всѣмъ тѣмъ предъ вами остается вашъ старый знакомецъ, какъ частное лицо. Неужели и въ этомъ разѣ вы имѣете противъ меня что-либо?

— Господь съ вами, ничего я противъ васъ не имѣю! — успокоительно произнесъ Хвалынцевъ, думая посредствомъ такого маневра поскорѣе отдѣлаться и отъ докучнаго объясненія, и отъ самого Свитки.

— Ну, а если ничего, такъ что-же это за тонъ такой со старымъ пріятелемъ?

— Э, Боже мой, да мало-ли что можетъ въ иной часъ быть на душѣ у человѣка! Нельзя-же вѣчно быть ровнымъ!

— Да; ну, это другое дѣло!.. Въ такомъ случаѣ я ни мало не въ претензіи!—успокоился Свитка, возвращаясь къ своему веселому настроенію.—Вы куда теперь направляетесь?

— Прямо по Новому Свѣту.

— Ну, вотъ, стало-быть, намъ и по дорогѣ!

Хвалынцевъ ничего не сказалъ на это.

— А въ самомъ дѣлѣ, что за прелесть эта графиня Маржецкая!—заболталъ вдругъ Свитка, послѣ нѣкотораго молчанія, идя все рядомъ съ Константиномъ.—Вы были у нея здѣсь въ Варшавѣ?

— Нѣтъ, не былъ, — вскользь сказалъ Хвалынцевъ.

— О? въ самомъ дѣлѣ?—удивился Свитка.— Она живетъ на Уяздовской аллеѣ... у нея премиленькій палаццо! просто игрушка!.. Она вѣдь, впрочемъ, уже недѣль около трехъ какъ пріѣхала въ Варшаву, но живетъ очень замкнуто... хлопоты по имѣнію, знаете... у намѣстника хочетъ просить освобожденія изъ-подъ секвестра мужнина майората... Только не знаю, удастся-ли ей...

Свитка, повидимому случайно, а въ сущности далеко не спроста заболталъ о графинѣ Маржецкой: онъ съ умысломъ распространился вскользь о ея дѣлахъ, желая показать Хвалынцеву, что ему кое-что извѣстно о женщинѣ, составляющей самую слабую и отзывчивую струну въ сердцѣ его пріятеля.

— Вы развѣ знакомы съ ней? — спросилъ Хвалынцевъ.

Маневръ, очевидно, сталъ удаваться. «Средство, какъ кажется, дѣйствуетъ!»

— Отчасти, да! — подтвердилъ Свитка. — Раза два я былъ по дѣлу; но у насъ съ ней есть одинъ домъ общихъ знакомыхъ, гдѣ и она, и я очень коротки, такъ что могу сказать, знаю и ее, и про нее достаточно.

— То-есть что же это «про нее»?—подозрительно спросилъ Хвалынцевъ.

— Да такъ, разное... То-есть, конечно, ничего дурного или предосудительнаго,—поспѣшилъ замѣтить Свитка,—но собственно и о ея жизни, бытѣ, привычкахъ, симпатіяхъ и антипатіяхъ...

— Ого! даже и о симпатіяхъ съ антипатіями! — недовѣрчиво улыбнулся Константинъ.— Это заставляетъ предполагать очень короткое, хорошее знакомство.

— Да что-жь, мудренаго нѣтъ! — сталъ оправдываться Свитка.— У насъ же, говорю вамъ, есть общіе короткіе знакомые, а Варшава относительно подноготной своего ближняго—городъ совсѣмъ провинціальный и благодушный.

Сердце не камень—и маневръ подѣйствовалъ: Хвалынцевъ поддался на удочку. Подъ вліяніемъ недавней встрѣчи, онъ плохо маскировалъ тотъ живѣйшій интересъ, который невольно пробивался у него въ разспросахъ о Цезаринѣ. Затронувъ же его слабую струну, Свитка, исподволь, понемножку удовлетворялъ его жгучему любопытству, отвлекаясь помпутно въ своей болтовнѣ къ постороннимъ предметамъ и такимъ образомъ заставляя пріятеля предлагать себѣ все новые и новые вопросы о Цезаринѣ, то-есть заставляя его самого первымъ возвращаться все къ одной и той же интересной темѣ. Такое положеніе заставляло Хвалынцева въ свою очередь все мягче и дружелюбнѣе относиться къ пріятелю, такъ что когда они незамѣтно подошли къ воротамъ того дома, гдѣ обиталъ Константинъ Семеновичъ, то Свитка получилъ отъ него очень радушное предложеніе зайдти къ нему хоть на минутку, отъ чего онъ, конечно, не отказался. На первый разъ только этого и было нужно Василію Свиткѣ. Черезъ полчаса онъ дружески простился съ Константиномъ, оставя ему, во-первыхъ, свой адресъ (то-есть вѣрнѣе сказать, одинъ изъ своихъ адресовъ), а во-вторыхъ—обѣщаніе заглядывать къ пріятелю почаще.

X.

Свитка предлагаетъ сыграть въ кошку и мышку.

Выйдя отъ Хвалынцева, Свитка тотчасъ же кликнулъ «дружку» и приказалъ ему ѣхать въ Уяздовскую аллею. Впадая въ площадь «Трехъ Крестовъ» (названіе, которое по-польски надо выговорить, точно чихнуть два раза: «трши кржижи»), эта аллея является какъ бы продолженіемъ «Новаго Свѣта» и служитъ мѣстомъ жительства отборной, наиболѣе элегантной и наиболѣе родовитой части варшавскихъ обывателей. Уяздовская аллея, ведущая отъ «Тршехъ Кржижувъ» къ Лазенкамъ и Бельведеру, служитъ также и любимымъ мѣстомъ

Digitized by Google

предвечернихъ прогулокъ въ экипажахъ. По прекрасному шоссе, между рядами роскошныхъ, раскидистыхъ каштановъ, часовъ около шести пополудни, и особенно въ праздничные дни, здѣсь снуютъ самые разнообразные экипажи, начиная отъ коляски обыкновеннаго, биржевого «дружкаря» и кончая самыми причудливыми тюльбюри, фаетонами и одноколками. Однѣ лишь россійскія «линейки» являются рѣдкимъ исключеніемъ. Статскіе наѣздники, рѣдко обладающіе красивой и правильной посадкой, граціозныя наѣздницы галопируютъ то порознь, то цѣлой «кальвакадой», предоставляя въ удѣлъ скромнымъ пѣшеходамъ любоваться и завидовать...

Изъ-за рядовъ каштановыхъ деревьевъ выглядываютъ небольшіе, но очень изящные домики самыхъ разнообразныхъ и часто весьма причудливыхъ архитектурныхъ стилей. Одинъ уже внѣшній видъ этихъ домиковъ, обрамленныхъ изящными рѣшетками и пестрыми палисадниками, показываетъ, что они предназначены для обитанія избранныхъ, счастливыхъ смертныхъ, не заботящихся о меркантильно-промышленныхъ цѣляхъ, безъ чего не обходится ни одинъ домъ въ центрѣ города, но стремящихся къ удовлетворенію своего уютно-семейнаго комфорта. Всѣ эти домишки слишкомъ миніатюрны, чтобъ имѣть право назваться «палаццами», но они очень напоминаютъ собою прелестныя дачки, такъ что попавши въ Уяздовскую аллею, вамъ вдругъ начинаетъ казаться, что вы совсѣмъ уже за городомъ.

Предъ чугунною рѣшеткой одного изъ такихъ домовъ Свитка остановилъ своего «дружку».

На ступеньки подъѣзда вышелъ къ нему человѣкъ въ штиблетахъ и темно-коричневомъ фракѣ съ эксельбантомъ и графскими гербами.

— Графиня не принимаетъ,—объявилъ онъ самымъ категорическимъ образомъ.

Свитка, не удостоивая его излишнимъ разговоромъ, вынулъ свою карточку и, написавъ на ней «по крайне важному *общему* дѣлу», приказалъ немедленно передать ее графинѣ.

Минуты черезъ двѣ лакей снова вышелъ на подъѣздъ и вѣжливо проводилъ посѣтителя черезъ двѣ-три комнаты на внутреннюю террасу, выходившую въ небольшой, но очень изящный садикъ. Подъ навѣсомъ холщевой маркизы, въ зелени цвѣтущихъ гортензій, розъ и жасминовъ, встрѣтила своего гостя траурная графиня. Взглядъ ея скользнулъ по немъ съ видомъ равнодушнаго вопроса, какъ по совершенно незнакомому человѣку.

— Позвольте напомнить, — началъ Свитка съ несовсѣмъ-то ловкимъ поклономъ, смутясь отчасти подъ этимъ равнодушно-вопросительнымъ взглядомъ, — имѣлъ честь въ Петербургѣ... у Колтышко... у васъ въ домѣ тоже....

— А, помню! — благосклонно кивнула головой Цезарина и, не протягивая руки, указала ему на легкій плетеный стулъ, а сама плавно опустилась въ покойную качалку.

— Я къ вамъ по порученію комитета,— впадая въ офиціальный тонъ, началъ Свитка.—Вы сегодня встрѣтили Хвалынцева, и онъ проводилъ васъ до кареты.

Маржецкая при этихъ словахъ вскинула на него нахмуренно-вопросительный взглядъ.

— Что-жь изъ этого? — сухо и недовольно спросила она.

— Комитетъ имѣетъ до васъ великую и покорнѣйшую просьбу.

— А именно?

— А именно: заняться еще немножко этимъ юношей.

Графиня еще пуще нахмурила свои выразительныя брови.

— Я въ этомъ не вижу болѣе надобности,— сказала она подумавъ.

— Но комитетъ видитъ ее,— вѣжливо возразилъ Свитка, — и притомъ очень большую и настоятельную... Комитетъ усерднѣйше проситъ васъ оказать эту услугу общему дѣлу.

— Я полагаю, что она уже оказана мною слишкомъ достаточно.

— Къ сожалѣнію, нѣтъ!— пожавъ плечами вздохнулъ Свитка; — это растеніе нуждается еще въ нѣкоторомъ уходѣ и воздѣлываніи... Оно оказывается не слишкомъ-то податливымъ и трудно климатизируется.

— Въ такомъ случаѣ, я нахожу, прежде всего, что это растеніе не стоитъ вовсе никакого ухода,—улыбнулась графиня;—оно вполнѣ безполезно.

— Я позволяю себѣ не согласиться съ этимъ мнѣніемъ,—мягко возразилъ гость.—Онъ намъ положительно нуженъ; а потому комитетъ и обращается къ вашему великодушію.

Графиня подумала.

— Если это такъ необходимо, то... въ крайнемъ случаѣ... конечно,—промолвила она съ несовсѣмъ-то большой охотой,—хотя признаюсь вамъ, мнѣ вовсе не улыбается эта миссія: онъ мнѣ и тогда еще надоѣлъ уже; а теперь опять!.. Это вѣдь ужасно! И главное, такъ скучно!—поморщилась Цезарина и сдѣлала очень милую гримаску.—И наконецъ, я все-таки остаюсь при прежнемъ моемъ мнѣніи: вы слишкомъ много обращаете на него вниманія, слишкомъ много возитесь съ нимъ, тогда какъ онъ ни почему не заслуживаетъ этого.

— Что-жь дѣлать!—снова пожалъ плечами Свитка,—можетъ, первоначально это и была ошибка съ нашей стороны; но... мы, къ сожалѣнію, слишкомъ ужь далеко зашли съ нимъ, онъ слишкомъ много знаетъ уже, посвященъ нѣсколько болѣе, чѣмъ бы слѣдовало, и потому нельзя бросить его на полудорогѣ... Надо продолжать, надо по необходимости вести до конца его.

— Хм... Но къ чему-же!.. Не лучше-ли вамъ

Digitized by Google

найдти случай какъ-нибудь отъ него совсѣмъ отдѣлаться?

— То-есть?—внимательно вперилъ въ нее пытливый взглядъ Свитка.

— То-есть такъ, чтобъ онъ былъ для васъ безопасенъ.

— Но если онъ можетъ быть еще полезенъ? Отдѣлаться, конечно, всегда въ нашей власти, но мы хотимъ попытаться прежде обратить его на путь истины, а отдѣлаться—это уже крайнее средство, и мы будемъ имѣть его въ запасѣ.

— Но неужели-жь моего вліянія было еще недостаточно? вѣдь онъ тогда совсѣмъ уже было рѣшился!—спросила Цезарина съ нѣсколько тщеславнымъ и легкомысленнымъ сознаніемъ своего женскаго всесильнаго могущества.

— Къ удивленію и къ сожалѣнію — недостаточно!—съ улыбкой вздохнулъ Свитка.

Эти слова отчасти задѣли за живое женское самолюбіе графини.

— Что-же онъ, передумалъ?—спросила она, пренебрежительно двинувъ губою.

— Увы!..

— Значитъ онъ трусъ!

— Напротивъ! — съ убѣжденіемъ возразилъ ей Свитка.

— Такъ что-жь это за колебанія? что за малодушная нерѣшительность?.. Онъ струсилъ,— говорю вамъ.

— Нѣтъ, онъ *разочаровался*.

— Въ комъ и въ чемъ?

— О, только не въ васъ!.. Никакъ не въ васъ, графиня! — съ живостью подхватилъ собесѣдникъ.

Цезарина презрительно и свысока усмѣхнулась.

— Много чести! — проговорила она. — Такъ въ комъ-же, если не во мнѣ?

— Мм... Какъ вамъ сказать!.. Отчасти въ нѣкоторыхъ дѣятеляхъ, а отчасти и въ самомъ дѣлѣ.

— Ну, и бросьте его съ Богомъ, когда такъ!

— Нельзя; слишкомъ далеко зашло, говорю вамъ! А вы одна только можете *очаровать* его снова... Ваша власть надъ нимъ безпредѣльна, насколько я понимаю... А онъ намъ еще пригодится.

— Не понимаю, на что это онъ можетъ годиться вамъ!—пожала она плечами.—Человѣкъ самый дюжинный и въ герои вовсе не годится.

— О, Боже мой! Да изъ насъ никто и не смотритъ на него, какъ на феникса,—съ живостію подхватилъ Свитка.—Человѣкъ-то онъ, конечно, самый обыкновенный, но... вѣдь не богамъ-же горшки обжигать, въ самомъ дѣлѣ! А въ немъ есть нѣкоторыя очень пригодныя качества.

— Напримѣръ?—недовѣрчиво прищурилась графиня.

— Напримѣръ, онъ человѣкъ далеко не глупый,—это разъ.

— Но не положительно умный,—оспорила она.

— Пожалуй! Но положительнаго ума отъ него и не требуется. Во-вторыхъ, онъ крайне молодъ душою. Это и его недостатокъ, и его достоинство. Въ-третьихъ, онъ способенъ на увлеченіе: въ немъ есть страсть, и вы, графиня, конечно знаете эту сторону его характера.

— Въ-четвертыхъ!—перебивъ Свитку, стала она высчитывать,—человѣкъ онъ ужасно легкій, поверхностный, безъ малѣйшей основательности.

— Отчасти можетъ быть вы и правы,—согласился Свитка,—но эти качества въ немъ опять-таки отъ его молодости. Это для дѣла еще не помѣха, а въ иныхъ случаяхъ, пожалуй, и достоинство. Но въ немъ есть энергія, есть упрямство, если не сила воли; я даже знаю случай, когда во время студенческой исторіи онъ обратился къ толпѣ товарищей съ очень разумною и одушевленною рѣчью—толпа его послушалась; стало быть, этотъ человѣкъ въ иныхъ случаяхъ можетъ даже и вліяніе свое оказывать, увлекать за собою. Вѣдь эта-то собственно черта и заставила насъ тогда обратить на него вниманіе.

— Ну, хорошо,—согласилась Цезарина,—въ Петербургѣ, между русскою молодежью онъ, пожалуй, могъ быть намъ полезенъ; но здѣсь-то что вы съ нимъ намѣрены дѣлать?

— Какъ что! Помилуйте!—горячо вступился Свитка.—У него есть уже свое назначеніе въ здѣшнемъ отдѣлѣ «Земли и Воли»—это первое! А затѣмъ—пропаганда въ войскѣ, между солдатами, между офицерами, и наконецъ, если онъ и попадется, если его сошлютъ или разстрѣляютъ, то подумайте, какая это прекрасная декорація для Европы!.. Для пользы, для болѣе очевидной правоты нашего праваго дѣла даже необходимо, чтобы въ нашемъ лагерѣ были настоящіе, кровные русскіе. Ихъ борьба за насъ еще болѣе санкціонируетъ наше дѣло! Подумайте!.. Это разъ рѣшено, и оно, говорю вамъ, необходимо, безусловно необходимо намъ!

Графиня ничего не отвѣтила, но видимо раздумалась надъ словами своего гостя.

— И потомъ,—продолжалъ онъ,—въ сущности что вамъ это стоитъ!.. А между тѣмъ услуга общему дѣлу, которому вы уже приносили столько добрыхъ, незабвенныхъ услугъ. Вы, говорю вамъ, всесильны надъ этимъ юношей: онъ любитъ васъ безпредѣльно и страстно; вамъ это будетъ такъ легко: немножко ласки, немножко кокетства, немножко горячихъ фразъ о дѣлѣ да чуточку надежды въ его пользу—вотъ и все!.. Принесите, графиня, эту маленькую жертву, позаймитесь имъ еще немножко!

— Ахъ, я готова-бы, но... это, право, такъ скучно!—поморщилась она, какъ балованный капризный ребенокъ.

— Ну, и поскучайте немножко для благой

Digitized by Google

цѣли!—съ улыбкою упрашивалъ Свитка. —Вѣдь приходится-же вамъ скучать иногда въ засѣданіяхъ «Доброчинности» [1]), это будетъ маленькая игра въ кошку и мышку, значитъ, нѣсколько веселѣе. Итакъ,—поднялся онъ съ мѣста,—какой отвѣтъ прикажете мнѣ передать отъ васъ комитету?

— Передайте, что я, пожалуй, согласна,—равнодушно сказала она, тоже подымаясь изъ своей качалки.—Хоть и скучно, но... нечего дѣлать! роль свою постараюсь исполнить исправно; только попросите пожалуйста вашихъ друзей впередъ не навязывать мнѣ болѣе подобныхъ ролей.

Свитка глубоко и почтительно поклонился.

— О, графиня!—проговорилъ онъ съ чувствомъ,—повѣрьте, что мы глубоко цѣнимъ ваше истинно патріотическое самопожертвованіе!.. Простите великодушно! Но... что-же дѣлать! обстоятельства вынуждаютъ просить у васъ этой новой жертвы... Принесите-же ее ради воскресающей Польши!

— Я уже сказала!—привѣтливо улыбнулась она, польщенная послѣдними фразами гостя.—Только когда-же вы доставите мнѣ случай какъ-нибудь кстати встрѣтиться съ этимъ Хвалынцевымъ?

— Я васъ увѣдомлю, графиня. Этотъ случай вѣроятно будетъ на-дняхъ же.

И онъ вторично откланялся ей глубокопочтительнымъ и благодарнымъ поклономъ.

XI.

На волоскѣ.

Свитка сталъ иногда захаживать къ Хвалынцеву. Посѣщенія его никогда не бывали продолжительны: онъ, что̀ называется, «забѣгалъ» между дѣломъ и вѣчно торопясь опять по дѣлу, выкуривалъ одну-другую папироску, вышивалъ рюмку водки, закусивъ ее чѣмъ попало, и въ этотъ промежутокъ времени выбалтывалъ цѣлый коробъ городскихъ ходячихъ новостей, слуховъ и сплетенъ, въ которыхъ тогда, болѣе чѣмъ когда-либо, не было недостатка. Кромѣ того, посѣщенія его не были ежедневны: онъ всегда дѣлалъ промежутокъ между ними дня въ два, въ три, но каждый разъ какъ бы вскользь и мимоходомъ сообщалъ Хвалынцеву что-нибудь насчетъ графини Маржецкой: то разскажетъ, бывало, что вчера она каталась по Уяздовской аллеѣ или гуляла съ сыномъ своимъ въ Лазенкахъ; то вдругъ, что нынче встрѣтилъ онъ ее у Свентего Кржижа, а третьяго-дня видѣлъ въ модномъ магазинѣ, какъ она покупала себѣ прелестную траурную шляпку, которая къ ней удивительно какъ идетъ! Или же сообщалъ о ходѣ ея дѣла и хлопотъ по мужнину майорату—словомъ, ни одинъ визитъ не обходился безъ того, чтобы какъ-нибудь кстати не было упомянуто имя Цезарины или не сообщена о ней какая-нибудь, хотя бы то самая пустячная новость; и эти сообщенія, какъ водится, почти незамѣтно, исподволь и вполнѣ естественно сводились на разговоръ о графинѣ. Мало-по-малу въ душѣ Хвалынцева образовался родъ потребности слышать и узнавать отъ Свитки новости о своемъ идолѣ и говорить о немъ. А Свитка межъ тѣмъ вливалъ въ него этотъ сладкій ядъ медленно, капля по каплѣ, съ хорошимъ и вѣрнымъ расчетомъ на послѣдовательность дѣйствія своего яда. Такъ, однажды онъ сообщилъ Константину, что вчера встрѣтился съ *нею* въ домѣ общихъ знакомыхъ и что она, выбравъ нарочно удобную минуту, разговорилась съ нимъ, вспоминала о томъ, какъ онъ захаживалъ къ ней въ домъ въ Петербургѣ, въ то время, когда у нея скрывался Хвалынцевъ, и кстати спросила, что̀ съ Хвалынцевымъ и гдѣ онъ теперь находится, и что̀ дѣлаетъ, упомянула о своей неожиданной встрѣчѣ съ нимъ въ костелѣ и вообще явно интересовалась его личностью. Свитка вообще умѣлъ врать искусно и правдоподобно, такъ что Хвалынцевъ вполнѣ вѣрилъ ему, тѣмъ болѣе, что всегда охотно вѣрится тому, чему хочется вѣрить. Радужныя мечты и надежды цѣлымъ фантастическимъ роемъ снова закружились въ головѣ Константина. Послѣ этого сообщенія Свитка пропалъ и не показывался цѣлую недѣлю. Хвалынцевъ уже и раньше начиналъ чувствовать нѣкоторую нравственную потребность въ бесѣдахъ съ нимъ о Цезаринѣ, въ узнаваніи тѣхъ маленькихъ и ничтожныхъ, но въ высшей степени интересныхъ и пріятныхъ для влюбленной головы новостей и сообщеній о любимой женщинѣ, которыя всегда оказывались въ запасѣ у Василія Свитки. Когда, бывало, Свитка не приходитъ дня два—Хвалынцевъ начинаетъ уже ощущать, что ему какъ будто недостаетъ чего-то, какъ будто какая-то неудовлетворенность, какое-то пустое мѣсто остается въ душѣ, которое восполнялось только съ новымъ приходомъ пріятеля. Не является Свитка и на третій день — Хвалынцевъ уже чувствуетъ какъ бы нравственную потребность видѣть его и узнать что-нибудь о Цезаринѣ, или по-крайней мѣрѣ хоть поговорить о ней. Наконецъ появляется этотъ несносный своимъ отсутствіемъ Свитка—и Константинъ встрѣчаетъ его съ искренней, своекорыстной и плохо скрываемой радостью и дружески коритъ за продолжительную проволочку его «забѣжекъ». Ему бы хотѣлось уже, чтобъ Свитка каждый день забѣгалъ къ нему, даже два раза въ день, даже больше—лишь бы слушать и говорить на тему, столь раздражительно дѣйствующую на его влюбленную мысль и молодое, околдованное сердце.

Порою на него находили минуты грустныхъ

[1]) Благотворительное общество въ Варшавѣ.

Digitized by Google

сомнѣній и тяжелаго раздумья, и это были тѣ минуты, когда логика разсудка заявляла свой голосъ.

«Къ чему все это!» думалось тогда Хвалынцеву. «Разъ, что я уже по убѣжденію, по совѣсти, твердо рѣшилъ себѣ не быть болѣе *съ ними*; если я честно воротился назадъ къ своимъ, какое дѣло мнѣ до Цезарины?!.. И возможны ли, наконецъ, эти безумныя надежды на нее, возможна ли эта любовь, если эта женщина отдаетъ мнѣ ее только подъ условіемъ моей измѣны, самой низкой, самой черной измѣны изъ всѣхъ, какія лишь бываютъ на свѣтѣ?!

«О, если бы ты вѣрилъ въ это дѣло, если бы для тебя теперь еще были возможны, какъ въ первую минуту, хотя бы твои собственныя, личныя иллюзіи, если бы ты могъ заблуждаться въ этомъ *дѣлѣ*, считая его дѣйствительно *общимъ*, близкимъ и кровнымъ всѣмъ намъ — о, тогда бы... какое счастіе! Я могъ бы честно любить, любить не противъ совѣсти, не противъ чести, не противъ долга... Тогда бы было, по крайней мѣрѣ, хоть какое-нибудь оправданіе этому чувству, этой несчастной, проклятой страсти. А теперь... теперь между мной и ею пѣлая бездна—непроходимая, безконечная бездна!.. Разъ, что ты не съ *ними* — эта любовь невозможна, безцѣльна, безплодна!—Къ чему же она?.. бросить ее! вырвать ее вонъ изъ сердца, заглушить, задушить ее въ себѣ — это будетъ единственное умное и честное дѣло; это все, что остается мнѣ теперь!

«... Вырвать, задушить—легко сказать!.. Ну, и вырывай ее вмѣстѣ съ сердцемъ, души вмѣстѣ съ самимъ собою!.. И развѣ иначе возможно сдѣлать это?..»

И дѣйствительно, наперекоръ разсудку, наперекоръ даже самой совѣсти и чувству чести, Хвалынцевъ съ ужасомъ чувствовалъ, что въ немъ нѣтъ силъ отрѣшиться отъ этого проклятаго, слѣпого чувства, которое послѣ новой встрѣчи съ Цезариной, во всѣ эти послѣдніе дни обуяло его съ новою, еще неиспытанною доселѣ и неотразимою мощью.

Онъ, дѣйствительно, страдалъ, изнемогая въ безсильной борьбѣ съ самимъ собою, сознавалъ все свое нравственное ничтожество, всю свою немощь—и былъ истинно несчастливъ.

Всѣ товарищи ясно видѣли въ немъ какую-то странную перемѣну, но никто изъ нихъ, кромѣ Свитки, не подозрѣвалъ, что именно творится въ глубинѣ его сердца и совѣсти.

Онъ сознавалъ, что его вторичное сближеніе со Свиткой, и всѣ эти сообщенія, новости, извѣстія и разговоры о *ней*—совершенно напрасны и безцѣльны и просто глупы, наконецъ, что всего этого, по настоящему, вовсе бы не слѣдовало ему дѣлать, но...

И какъ скоро возникало въ душѣ это всесильное *но*, онъ чувствовалъ, что съ него-то и начинается его собственное безсиліе воли, его «нравственное паденіе». Въ эти минуты онъ былъ похожъ на запойнаго пьяницу, который мучительно сознаетъ весь вредъ, все безобразіе своей несчастной слабости и все-таки тянется къ рюмкѣ. И какъ для пьяницы эта рюмка несетъ съ собою одуряющій туманъ забвенья и какъ бы нѣкое облегченье, такъ и для Хвалынцева въ этихъ Свиткиныхъ извѣстіяхъ и разговорахъ заключался подобный же туманъ сладкой одури. Онъ не шутя признавалъ въ себѣ эти минуты — минутами «нравственнаго паденія и немощи», но какъ скоро подъ раздражающимъ интересомъ хоть знать о *ней* что-либо, если ужь не видѣть ее самоё, подъ обаяніемъ разговоровъ о любимой женщинѣ, подъ впечатлѣніемъ ея чуднаго образа, который весь такъ вотъ и рисуется при этомъ въ его воображеніи со всѣми своими благоухающими, яркими красками,—какъ скоро подъ вліяніемъ всего этого забывалось сознаніе собственнаго паденія и немощи, Константину становилось вдругъ легко и отрадно. Такимъ образомъ, собственно самое это «паденіе» приносило ему съ собою счастливыя и ничѣмъ незамѣнимыя минуты облегченія и беззавѣтнаго забытья. Но уходилъ отъ него Свитка—и съ его уходомъ исчезали вскорѣ и счастливыя минуты, оставляя по себѣ только раздраженіе возбужденнаго и неудовлетворяемаго чувства да новый грузъ старыхъ сомнѣній, укоровъ и печальнаго сознанія собственнаго презрѣннаго ничтожества.

Что жь оставалось ему послѣ этого, при сознаніи полной невозможности побороть и убить въ себѣ свое несчастное, слѣпое чувство,—ему, который просто изнемогалъ, уставалъ и нравственно, и даже физически подъ гнетомъ непрестанной борьбы съ самимъ собою? — Оставалось — почти невольно, почти боясь признаться въ томъ самому себѣ—искать тѣхъ сладкихъ, облегчающихъ и беззавѣтно счастливыхъ минутъ одури и забвенія, которыя онъ самъ же заклеймилъ именемъ своего паденія нравственнаго. И онъ поэтому желалъ и ждалъ со всѣмъ нетерпѣніемъ влюбленной юности кратковременныхъ посѣщеній Василія Свитки, досадуя лишь на то, что зачѣмъ они такъ краткосрочны и не столь часты, какъ бы хотѣлось.

Свитка межъ тѣмъ хорошо понималъ все, что происходитъ въ душѣ Хвалынцева. Болтая въ первыя свои забѣжки о разныхъ городскихъ новостяхъ и лишь упоминая вскользь о Цезаринѣ, онъ мало-по-малу довелъ Константина до того, что въ послѣдующихъ посѣщеніяхъ графиня Маржецкая сдѣлалась почти исключительной темой ихъ разговоровъ. И сдѣлалось это какъ-то такъ незамѣтно, исподволь, какъ будто само собою, что впрочемъ и было вполнѣ естественно при извѣстномъ уже исключительномъ настроеніи Хвалынцева. Но по-

Digitized by Google

свящая свои бесѣды графинѣ Цезаринѣ, Свитка тщательно избѣгалъ малѣйшаго напоминанія о «*дѣлѣ*» и прикосновенности къ нему самого Хвалынцева, словно бы между ними никогда ничего не существовало, кромѣ самаго простого *личнаго* пріятельства и знакомства, словно бы Константинъ, дѣйствительно, былъ совсѣмъ освобожденъ отъ всякаго нравственнаго обязательства, отъ всякой прежней связи своей съ «дѣломъ». И на подобную тактику у Свитки были свои довольно вѣрные расчеты: поступая такъ, онъ зналъ, что тѣмъ самымъ какъ бы устраняетъ отъ глазъ Хвалынцева грозный призракъ, какъ бы успокоиваетъ и мало-по-малу баюкаетъ его совѣсть; зналъ еще и то, что переводя своего друга на поле его чувства и страсти и исключивъ изъ своихъ отношеній съ нимъ самый призракъ «дѣла», онъ исподволь возстановляетъ подорвавшееся было довѣріе къ нему Хвалынцева. Возстановить же вполнѣ это довѣріе и на время убаюкать Константина—составляло для Свитки, въ отношеніи его, пока самое важное дѣло.

И вотъ, сообщивъ ему импровизованное извѣстіе о томъ, что Цезарина очень имъ интересовалась, Свитка вдругъ исчезъ на цѣлую недѣлю, давши впрочемъ на прощанье слово забѣжать на другой же день. Но прошелъ другой, и третій день, а пріятель не показывается. Въ тщетномъ ожиданіи его Хвалынцевъ впалъ наконецъ въ какое-то напряженно-нервное возбужденіе. Онъ вздрагивалъ при каждомъ звонкѣ въ его прихожей, и появленіе вмѣсто ожидаемаго лица кого-нибудь посторонняго раздражало его просто до нервической злости, маскировать и скрывать которую стоило ему труда не малаго. Послѣднее Свиткино сообщеніе окрылило и подняло его, какъ птицу, взлетѣвшую въ ясную высь, такъ что нравственная потребность видѣть добраго пріятеля достигла въ немъ до какой-то пламенной Sehnsucht,—и вотъ, напрасно прождавъ его три дня, Хвалынцевъ рѣшился наконецъ самъ идти и отыскивать Свитку. Послѣдній имѣлъ свои основательныя причины какъ на то, чтобъ избрать себѣ нѣсколько, болѣе или менѣе секретныхъ и даже таинственныхъ мѣстъ для жительства, такъ равно и на то, чтобы въ этихъ квартирахъ какъ можно менѣе посѣщали его постороннія лица, и просилъ Хвалынцева, оставляя ему еще въ первый визитъ одинъ изъ своихъ адресовъ, не стѣсняться отдачей визита, а посѣтить его развѣ только въ случаѣ самой крайней и настоятельной надобности. «Ужь лучше къ вамъ, безъ всякихъ церемоній, я самъ почаще забѣгать стану!» сказалъ онъ тогда на прощанье,—и Константинъ Семеновичъ, вслѣдствіе таковой просьбы, до сей поры ни разу еще не потревожилъ пріятеля своимъ посѣщеніемъ. Но теперь онъ рѣшился идти къ нему. Отыскавъ на Электоральной улицѣ показанный въ адресѣ домъ, онъ черезъ грязный дворишко забрался по грязной деревянной лѣстницѣ на верхній этажъ грязнаго же каменнаго флигеля, но пожилая женщина, отворявшая ему дверь, увидя военный мундиръ и саблю, оглядѣла незнакомаго посѣтителя крайне подозрительно и коротко отвѣтила на его вопросъ, что Свитка здѣсь хоть и жилъ, но теперь болѣе не живетъ, потому что два дня какъ выѣхалъ неизвѣстно куда изъ Варшавы и неизвѣстно когда воротится.

Итакъ, надежда лопнула въ самомъ началѣ, да и впереди не теплится даже ни единаго луча ея. Хвалынцевъ впалъ въ какую-то мрачно-тоскливую и нѣсколько злобную хандру. Мысль о Цезаринѣ, разожженная этимъ неожиданнымъ препятствіемъ, овладѣла имъ окончательно, до того, что, подавленный ею, онъ даже забылъ свои служебныя обязанности, за что и скушалъ онъ весьма вѣжливый, но весьма непріятный выговоръ, на который впрочемъ, будучи всецѣло поглощенъ все тою же неотступною и проклятою мыслью, не обратилъ ни малѣйшаго, даже самаго равнодушнаго вниманія. Все свое свободное время онъ сталъ шататься по городу, припоминая тѣ мѣста, гдѣ, по словамъ Свитки, тотъ встрѣчался съ Цезариной и такимъ образомъ проводилъ цѣлые часы то на Уяздовской аллеѣ, то въ Лазенковскомъ паркѣ, то около модныхъ магазиновъ, въ сладкой надеждѣ встрѣтить еще разъ своего идола, но идолъ столь часто встрѣчаемый Свиткой, для Хвалынцева какъ будто накрылся шапкой-невидимкой. Порою находили на него прежнія, но теперь еще болѣе жуткія минуты раздумья и самогрызенія,—онъ злобно хохоталъ надъ собою, какъ надъ глупцомъ и мальчишкой, за эти сантиментальныя и нелѣпыя шатанья по завѣтнымъ мѣстамъ и съ полною рѣшимостью бросить свою дурь бѣжалъ домой, но черезъ нѣсколько времени тоскливая хандра снова выгоняла его на улицу.

Въ такомъ-то состояніи духа только что вышелъ онъ однажды изъ дому, какъ вдругъ внизу подъ воротами неожиданно столкнулся со Свиткой. Хвалынцевъ вдругъ сталъ и радъ ему, и золъ на него какимъ-то смѣшаннымъ чувствомъ ребяческой свѣтлой радости и ребяческой досадливой злости.

— А я къ вамъ! — по обыкновенію весело заболталъ пріятель. — Вы куда? по дѣлу или гулять? Если гулять, то пойдемте, пожалуй, вмѣстѣ.

Они отправились, и въ отвѣтъ на горячія укоризны Хвалынцева, Свитка шутя оправдывался тѣмъ, что ему, молъ, была крайняя необходимость отлучиться на цѣлую недѣлю, что дѣло, молъ, прежде всего и прочее, въ подобномъ родѣ, и по обыкновенію у него нельзя

Digitized by Google

было разобрать, вретъ ли онъ все это, или же говоритъ правду сущую.

Разговоръ, само собою, обратился вскорѣ къ извѣстной излюбленной темѣ.

Свитка съ усмѣшкой слушалъ печально-комическую исторію сантиментальныхъ шатаній своего юнаго пріятеля.

— Господи Боже мой! Я просто не надивлюсь на васъ!—всплеснулъ онъ руками.— Вмѣсто того, чтобы бродить по городу рыцаремъ печальнаго образа или торчать таинственнымъ испанцемъ у нея подъ окнами, не лучше-ли и не проще ли гораздо было бы взять да и отправиться прямо къ ней въ домъ съ визитомъ?! И тѣмъ болѣе, вы вѣдь знали, что она до нѣкоторой степени даже интересуется вашей особой!.. Какой же вы птенецъ еще батенька!

Хвалынцеву не понравилось въ душѣ послѣднее опредѣленіе откровеннаго пріятеля — не понравилось быть можетъ потому, что во многомъ и многомъ онъ былъ еще птенцомъ въ дѣйствительности. Однакоже онъ не выразилъ ничѣмъ своего маленькаго неудовольствія.

— Къ ней!? — изумленно возразилъ онъ, вскинувъ глазами на Свитку. — Да развѣ я могу идти къ ней?!

— А почему же бы и нѣтъ? Вѣдь вы же знакомы съ ней, и даже проживали въ ея квартирѣ.

— Вотъ потому-то и не могу,—похмуро проговорилъ Хвалынцевъ.

— Какъ! только поэтому?! Извините, я не понимаю, что вы этимъ хотите сказать. Поясните мнѣ, буде возможно.

— Извольте: съ чѣмъ я приду туда?

— Какъ съ чѣмъ?—со своею любезностью, съ своею любовью, съ чѣмъ угодно наконецъ!

— Послушайте, Свитка, это вовсе не шутки!

— А я, напротивъ думаю, что вы это все шутите! Право же шутите! Ей-Богу шутите! «Съ чѣмъ приду я»—ха, ха, ха!

Хвалынцеву было крайне тяжело высказать ему тѣ мысли и чувства, которыя въ рядѣ долгихъ и мучительныхъ сомнѣній удерживали его не только что отъ шага за порогъ Цезарины, но и заставляли голосомъ совѣсти и разсудка заглушать въ себѣ самую любовь къ этой женщинѣ. Но сколь ни тягостно было ему рѣшиться, онъ все-таки высказался предъ Свиткой вполнѣ откровенно.

— Хвалынцевъ *вашъ* могъ-бы и быть у нея, и любить ее,—заключилъ онъ свое признаніе,— но Хвалынцеву не *вашему* тамъ нечего дѣлать, да и нѣтъ ему тамъ мѣста!

— Ну, въ такомъ разѣ это ужь ваше дѣло!—пробурчалъ Свитка, къ крайнему своему удивленію, не замѣтивъ въ Константинѣ во все время его исповѣди ни раскаянія въ его поворотѣ назадъ отъ «дѣла», ни даже сожалѣнія о невозможности переступить порогъ графини Маржецкой. Хвалынцевъ просто поставилъ передъ нимъ только фактъ, каковымъ обнажали его въ собственныхъ глазахъ не страсть, не любовь, а строгая логика собственнаго разсудка.

— Н-да-съ, это ужь ваше дѣло!—тѣмъ-же тономъ повторилъ Свитка.—И я ужь тутъ помочь вамъ ничѣмъ не могу.

— Да я и не хочу, и не ищу ничьей помощи!—замѣтилъ Хвалынцевъ.

— Ой-ли?.. Значитъ, на собственныя свои силы полагаемся?

— Да, то-есть на силу разсудка и на силу долга.

— Хм... фраза, мой другъ, не дурна! Одобряю!

— Я говорю не фразу, а то, что долженъ чувствовать.

— «*Долженъ*»!—вотъ въ этомъ-то и сила!.. А всегда ли вы это чувствуете?

— По крайней мѣрѣ, такъ велитъ и разсудокъ, и долгъ.

— А сердце какъ велитъ вамъ, позвольте полюбопытствовать?

— Оставимте сердце; его нечего слушать, гдѣ есть вещи поважнѣе.

— И это недурно сказано. Одобряю!.. Но *всегда-ли* вы покоряетесь разсудку и смиряете сердце, или только *иногда*?

— Оставимте этотъ разговоръ!—махнулъ рукою Хвалынцевъ.—Знаете пословицу: что съ возу упало, то пропало.

— Да; у того разини мужика, который не доглядѣлъ или не поднялъ, а поднять-то вѣдь всегда можно!—добавилъ Свитка.—Такъ стало быть никогда не рѣшитесь переступить порогъ графини Цезарины?

— Такъ думаю.

— Только *думаете*?

— Увѣренъ.

— О?!.. Хвалю за твердость характера!— сдѣлалъ ему ручку пріятель.

Они шли въ это время по Краковскому предмѣстью. На углу Трембацкой улицы, къ стѣнѣ каменнаго дома прибита была уличная витрина, гдѣ за проволочной рѣшеткой красовалась большая розовая афиша. Пріятели остановились и стали читать ее.

— А знаете-ли что, другъ любезный,—заговорилъ Свитка, прервавъ свое чтеніе,—я нахожу, что вы черезчуръ уже застоялись, какъ ваша кавалерійская лошадь, то-есть засидѣлись дома и захандрились,—вамъ необходимо развлечься!.. Поглядите на себя — вѣдь это просто срамъ! Отъ хандры да отъ вашихъ конюшень съ манежами скоро совсѣмъ плѣсенью покроетесь, и то вонъ борода-то ужь сколько времени не брита!.. Сходите-ка вы лучше къ Квицинскому да побрейтесь, а потомъ въ театръ, да возьмите себѣ въ кассѣ билетъ на

Digitized by Google

нынѣшній спектакль. Взгляните, вѣдь прелесть что за спектакликъ!—Два акта изъ «Орфеуша въ пеклѣ», и при томъ самые веселые акты, а затѣмъ «Веселье въ Ойцовѣ»—опера и балетъ. Оффенбахъ и Тарновскій! Это васъ хоть разсѣетъ нѣсколько.

— А что-жь, пожалуй! — равнодушно согласился Хвалынцевъ.

И Свитка непосредственно вслѣдъ за этимъ рѣшеніемъ проводилъ его въ кассу «Велькéго Театра», причемъ заботливость свою о пріятелѣ простеръ даже до того, что освѣдомился въ какомъ ряду и какой именно нумеръ взялъ онъ, послѣ чего лично предоставилъ его въ парикмахерскую Квицинскаго и здѣсь простился.

— До Уяздовскóй аллеи! — бойко и весело скомандовалъ онъ гороховому дружкѣ, прыгнувъ въ его развалистую четырехмѣстную коляску.

XII.

Въ театрѣ.

Въ началѣ седьмого часа Хвалынцевъ вошелъ въ партеръ «Велькéго Театра». Со введеніемъ въ Варшавѣ военнаго положенія, спектакли начинались ровно въ шесть часовъ и кончались въ десять. На сценѣ шелъ уже пресловутый «Орфеушъ»; и партеръ былъ почти полонъ. При взглядѣ на этотъ партеръ, Константинъ вдругъ почувствовалъ себя совсѣмъ какъ будто въ Россіи, какъ будто въ Петербургѣ: всѣ ряды пестрѣли военными мундирами: уланы, гусары, пѣхотинцы, штабные наполняли всѣ мѣста и являлись преобладающей публикой театра. Въ антрактахъ слышался повсюду русскій говоръ. Въ первомъ ряду креселъ замѣтно виднѣлась характерная сѣдоусая фигура башъ-Кадыкларскаго героя, князя Бебутова, который былъ въ то время комендантомъ Варшавы. Статскій костюмъ являлся рѣдкимъ исключеніемъ въ этой массѣ военныхъ мундировъ. Впрочемъ, въ среднихъ и, преимущественно, въ заднихъ рядахъ было нѣсколько «цывильныхъ», очевидно, поляковъ изъ которыхъ большинство придавали своимъ лицамъ такое постное, строго-холодное выраженіе, какъ будто желали дать почувствовать кому-то, что они находятся здѣсь вовсе не для собственнаго развлеченія, а скорѣе по обязанностямъ какой-либо особой «народовой» службы. Они держались особнякомъ, не хлопали, не вызывали и не соприкасались ни съ кѣмъ изъ «москалей». Дамъ было очень мало, большею частію въ скромныхъ ложахъ верхнихъ ярусовъ или въ заднихъ мѣстахъ партера; но и эти напускали на себя постный видъ и всѣ безъ исключенія были одѣты въ черное. Сцена блистала яркими и пестрыми костюмами. Оркестръ былъ недуренъ, но голоса по большей части плохи; зато артистки, какъ женщины, были прелестны и, благодаря своимъ красивымъ бюстамъ и лицамъ, вызывали порою оглушительный громъ рукоплесканій со стороны военной публики. Панна Квицинская одна только пѣла хорошо и, изображая *Купидо* — стало-быть мальчика — получила на свою долю наибольшую дань аплодисментовъ.

По окончаніи «Орфея», когда еще большинство публики неистово гремѣло и хлопало, вызывая весь Оффенбаховскій Олимпъ и все царство Плутона, къ Хвалынцеву, котораго кресло было какъ разъ на проходѣ, приблизился какой-то скромный и совершенно неизвѣстный ему молодой человѣкъ изъ «цывильныхъ» и, прежде всего вѣжливо извинившись, обратился къ нему на французскомъ языкѣ съ вопросомъ:

— Вы видите вонъ ту литерную ложу съ лѣвой стороны съ закрытой ширмой?

Константинъ, нѣсколько озадаченный этимъ неожиданнымъ подходомъ и еще болѣе неожиданнымъ вопросомъ, отвѣчалъ утвердительно:

— Васъ тамъ ждутъ, — съ какимъ-то особымъ, нѣсколько таинственнымъ и значительнымъ выраженіемъ сообщилъ «цывильный».

— Меня?!—удивился Хвалынцевъ.

— Да, именно *васъ*; и мнѣ препоручили передать вамъ приглашеніе... Васъ ждутъ тамъ въ этомъ антрактѣ?

И вѣжливо поклонившись, молодой человѣкъ скромно отошелъ отъ Хвалынцева. «Это что еще за приключеніе!»—пожавъ плечами, подумалъ Константинъ Семеновичъ. Подходъ и сообщеніе неизвѣстнаго молодого человѣка — сообщеніе, выраженное столь таинственно и неопредѣленно, хоть кому бы могло показаться страннымъ и загадочнымъ, тѣмъ болѣе, что въ типѣ лица, въ манерѣ и въ акцентѣ таинственный вѣстникъ явно обнаружилъ свое польское происхожденіе. «Идти, или не ходить?» думалось Константину, котораго невольно брало нѣкоторое сомнѣніе въ виду исключительныхъ обстоятельствъ той эпохи. Конечно, остаться въ партерѣ было бы благоразумнѣе, но удалая молодость и любопытство, подстрекаемое таинственностью вызова, манили его въ закрытую ложу. Онъ подошелъ къ балюстрадѣ, отдѣляющей партеръ отъ оркестра, и старался засмотрѣть снизу вверхъ, не увидитъ ли что въ указанной ложѣ; но тамъ царилъ полусвѣтъ, въ которомъ ничего и никого не было видно. Кинувъ взглядъ вдоль по партеру, онъ замѣтилъ вдали своего извѣстителя, который стоялъ противъ него и смотрѣлъ на него пристальнымъ взглядомъ.—«Чортъ возьми! подумаетъ еще пожалуй, что я трушу!» мелькнуло въ головѣ Хвалынцева, и отъ этой мысли легкая краска стыда и досады выступила на его щеки. Онъ вспомнилъ впрочемъ, что бояться нечего, такъ какъ въ карманѣ его лежитъ маленькій заряженный револьверъ,—оружіе, безъ котораго въ то время не выходили изъ дому русскіе въ Варшавѣ, и окончательно увлеченный заманчивой стороной

Digitized by Google

таинственнаго приглашенія, твердымъ и спокойнымъ шагомъ направился къ указанной ложѣ. Однако же, сердце его забилось нѣсколько сильнѣе обыкновеннаго, когда онъ подходилъ къ ней по корридору. Остановясь предъ дверью ложи, Константинъ осторожно постучалъ въ нее, и дверь пріотворилась.

Хвалынцевъ невольно отступилъ на шагъ и смѣшался.

Предъ нимъ стояла Цезарина.

— Войдите!—ласково кивнула она ему головой, — здѣсь никого нѣтъ, я одна, входите смѣло!

Онъ переступилъ порогъ, и дверь за нимъ была захлопнута рукою графини.

Чувство, которое всегда овладѣваетъ искренно влюбленнымъ и несамонадѣяннымъ человѣкомъ при внезапной встрѣчѣ съ любимой, но малодоступной женщиной, всецѣло охватило Хвалынцева. Это чувство было смущеніе и радость. Цезарина своей улыбкой и дружескимъ тономъ своего разговора видимо старалась ободрить его. Это были добрыя, ласково-привѣтливыя, но ничего незначущія фразы, на которыя онъ отвѣчалъ, по большей части, односложными словами. Одни только глаза его выражали восторгъ и безпредѣльную радость, наполнявшіе въ эту минуту его душу. Но мало-по-малу онъ совладалъ со своимъ смущеніемъ и оправился.

— Скажите, зачѣмъ вы какъ будто избѣгаете меня?—прямо спросила его, наконецъ, Маржецкая.—Вѣдь вы знали, что я въ Варшавѣ!

— Почему же я могъ знать это?—возразилъ онъ, какъ бы оправдывдаясь.

— Неправда, вы хорошо это знали: вамъ Свитка про меня говорилъ и вы часто съ нимъ обо мнѣ разговаривали... Видите, я все знаю и знаю потому, что я сама съ нимъ часто о васъ говорила... Я интересовалась вами, и говорю вамъ это не скрываясь! — Мнѣ хотѣлось знать, какъ вы и что вы?.. Вѣдь мы—помните—въ Петербургѣ разстались съ вами какъ добрые друзья, а у полекъ есть то, что называется памятью сердца... Отчего вы не пріѣзжали ко мнѣ послѣ того, какъ мы встрѣтились съ вами въ костелѣ?—А я ждала васъ. Вѣдь я не даромъ же сказала вамъ тогда «до свиданья!»

Хвалынцевъ не совсѣмъ-то ловко и не совсѣмъ-то кстати сталъ оправдываться обиліемъ занятій по службѣ и тѣмъ, что не считалъ себя въ правѣ, не смѣлъ явиться къ ней, зная общее настроеніе здѣсь противъ «москалей».

— Все это вздоръ,—перебила графиня.—Вы для меня не москаль, а просто мой старый добрый знакомый.

Хвалынцевъ въ отвѣтъ на это обѣщалъ посѣтить ее въ непродолжительномъ времени.

— Отклыдывать нечего, — весело возразила ему Цезарина.—Разъ, что мы встрѣтились, благодаря счастливому случаѣ, я хочу провести этотъ вечеръ съ вами.

Тотъ чуть не вспрыгнулъ отъ счастія.

— Вы свободны?—продолжала она.

— Совершенно.

— Въ такомъ случаѣ вотъ что: вы знаете мой адресъ?—Пріѣзжайте ко мнѣ послѣ спектакля, мы вспомнимъ съ вами наши петербургскіе вечера и скромные ужины! Но... прибавила она, раздумчиво и серьезно помолчавъ минутку.—О вашемъ посѣщеніи никто не долженъ знать, т. е. я разумѣю моихъ домашнихъ, мою прислугу. Вы знаете, какое время теперь!.. Поэтому мы съ вами устроимся вотъ какимъ образомъ: вы берите дружку и доѣзжайте до «Трехъ Крестовъ», а оттуда въ Уяздовъ ступайте уже пѣшкомъ. Изъ моего сада на аллею выходитъ чугунная рѣшетка и въ ней калитка есть; она будетъ открыта—ключъ у меня, и я уже сама, помимо прислуги, распоряжусь объ этомъ. Вы можете войти совершенно свободно въ мой садъ и подождите меня тамъ—я къ вамъ выйду, а къ тому времени мой холодный ужинъ будетъ уже на столѣ и я распоряжусь заблаговременно удалить прислугу, такъ что мы будемъ совершенно одни и внѣ всякой опасности отъ чьихъ бы то ни было глазъ! Согласны?

Хвалынцевъ не помнилъ себя отъ восторга и горячо поцѣловалъ протянутую ему руку.

— Теперь ступайте въ партеръ,—продолжала Цезарина, не выпуская изъ его ладони своихъ пальцевъ.—Досидите тамъ до конца спектакля, а я межъ тѣмъ сейчасъ отправляюсь домой, чтобъ успѣть всѣмъ распорядиться до вашего пріѣзда.

И она направилась изъ ложи. Хвалынцевъ хотѣлъ было послѣдовать за нею, чтобы проводить до подъѣзда, но Цезарина отклонила его услуги. Закутавшись въ шаль, накинутую ей на плечи ливрейнымъ гайдукомъ, она спѣшно пошла по корридору и, какъ легкая тѣнь, скрылась внизу на поворотѣ лѣстницы.

Хвалынцевъ, просидѣвъ нѣкоторое время въ театральной цукернѣ Люрса, вернулся въ театръ, когда въ оркестрѣ гремѣла уже мазурка и на сценѣ мелькала цѣлая вереница длинноусыхъ хватовъ, въ яркихъ кунтушахъ съ «вылетами», въ «рогатывкахъ», заломленныхъ набекрень, и съ низко спущенными золотыми «пасами». Подхвативъ каждый по красивой женщинѣ, они лихо, съ громомъ, стукомъ и звономъ отхватывали съ ними старо-польскую мазурку, изображая пресловутое «Веселье въ Ойцовѣ». Тутъ мелькали теперь всѣ знаменитости варшавскаго балета: Менье, Квятковскій, Тарновскій, Пухальскій, Попель, и его «дрцука» бѣлокурая Попелювна, и панна Оливинска, и панна Дылевская, какъ самыя красивыя представительницы женскаго персонала, а за ними прыгали уже всѣ эти панны Холевинскія, Піотровскія, Брандты, Страусы и прочія извѣстныя подъ общимъ именемъ «балетничекъ варшавскихъ». Русскій партеръ то и дѣло гремѣлъ взрывами

Digitized by Google

рукоплесканій и дѣлалъ это по обыкновенію съ такимъ искреннимъ добродушіемъ, которое, казалось, ни на единый мигъ не допускало въ немъ и тѣни сомнѣнія, что всѣ эти по неволѣ прыгающіе Квятковскіе, Піотровскія и Брандты, быть можетъ, въ эти самыя минуты шлютъ въ душѣ самыя искреннія и тяжкія проклятія апплодирующимъ «москалямъ».

Но Хвалынцеву было уже не до мазурки. Онъ весь былъ преисполненъ такой восторженной радости, по поводу столь неожиданно назначеннаго ему свиданія, что готовъ бы былъ броситься на шею первому встрѣчному и весь міръ заключить въ свои объятія Это была свѣтлая, свѣжая, беззавѣтно молодая радость. Онъ былъ какъ въ чаду, какъ въ дурманѣ: пестрота партера и театральныхъ орнаментовъ, блескъ огней и блескъ сценическихъ костюмовъ, звуки оркестра, стукъ и звякъ и мелканіе мазурки, красивыя лица и плечи, и громъ рукоплесканій— все это сливалось для него въ одну какую-то смутную, неопредѣленную, но яркую и пеструю грезу. Онъ сидѣлъ въ партерѣ совершенно безучастно къ тому, что̀ дѣлается вокругъ и что происходитъ на сценѣ, сидѣлъ потому только, что *она* велѣла ему досидѣть до конца спектакля, а самъ межъ тѣмъ нетерпѣливо, неудержимо рвался душою въ каштановыя аллеи Уяздова,— туда, за чугунную рѣшетку, въ таинственную глубину темнаго, уединеннаго сада. Никакое сомнѣніе, никакая темная мысль ни на единое мгновеніе не омрачали его душу: онъ былъ убѣжденъ въ искренности назначеннаго ему свиданія, онъ безусловно вѣровалъ въ Цезарину и въ свое молодое, нежданно прихлынувшее счастіе.

Еще не было 10-ти часовъ, какъ спектакль уже окончился. Торопливо продравшись сквозь суету и движеніе расходящейся публики на освѣщенный газомъ подъѣздъ, мимо топочущихъ лошадей, мимо экипажныхъ колесъ и жандармскихъ касокъ, Хвалынцевъ вышелъ на площадь и, кликнувъ дружку, покатилъ въ Уяздовскую аллею.

Странный видъ представляла Варшава того времени въ этотъ часъ вечера. Въ городѣ все уже было тихо и глухо, ставни закрыты, сторы спущены, лавки и магазины заперты, въ одномъ лишь театрѣ раздавались еще пока веселые звуки, на одной лишь театральной площади было еще яркое освѣщеніе и замѣчалась жизнь, движеніе, суета, говоръ, крикъ жандармовъ и «дружкарей»; но отъ остального города, погруженнаго въ мракъ и молчаніе, вѣяло чѣмъ-то могильнымъ, зловѣщимъ, какимъ-то холодомъ и общимъ заговоромъ противъ кого-то и чего-то. По тротуарамъ виднѣлись ряды движущихся огоньковъ и около каждаго изъ нихъ темная тѣнь прохожаго. Эти огоньки напоминали собою не то блестящія звѣздочки свѣтляковъ, когда они расползаются по вѣтвямъ дерева, не то какую-то странную, фантастическую процессію темныхъ тѣней со свѣтящимися точками. Это были послѣдніе, запоздалые пѣшеходы изъ «цывильныхъ», которые торопились поскорѣе добраться до дому изъ театра, изъ гостей, изъ «баварій» и «огрудковъ», такъ какъ послѣ 10-ти часовъ вечера появленіе на улицѣ «цывильнаго» человѣка, хотя бы даже и съ «латаркой», т. е. съ фонарикомъ, неизбѣжно влекло за собою, въ силу военнаго положенія, отправку «до цыркула», т. е. въ полицейскую часть, осмотръ, разспросъ и ночевку въ этомъ непригляднымъ пріютѣ. Съ 7-ми часовъ вечера обыватели обязаны были появляться на улицахъ не иначе, какъ съ «латарками», а въ 10 часовъ всякое движеніе въ городѣ окончательно уже прекращалось. Чтобы показаться на улицѣ послѣ этого урочнаго часа «цывильному» человѣку, необходимо было имѣть особый разрѣшительный билетъ изъ полиціи, а это дѣлалось съ большимъ трудомъ и то не для поляковъ, а почти исключительно для коренныхъ русскихъ людей изъ купцовъ и чиновниковъ. Одни офицеры имѣли право ходить по городу безъ фонаря, и потому послѣ 10-ти часовъ можно было услышать иногда на опустѣлой улицѣ лязгъ двухъ-трехъ сабель, такъ какъ наши военные, во избѣжаніе непріятныхъ столкновеній, а иногда и встрѣчи съ кинжаломъ заговорщика, изъ-подъ какой-нибудь подворотни, предпочитали ходить по-двое или по-трое. Но чѣмъ болѣе удалялся Хвалынцевъ отъ городского центра, чѣмъ далѣе катилъ онъ по «Новому Свѣту», тѣмъ глуше и безлюднѣе становились улицы. Однѣ только тѣни полицейскихъ торчали кое-гдѣ на углахъ да на перекресткахъ, да одинъ за другимъ двигались пѣхотные патрули, которые въ свое время были очень остроумно сравнены однимъ русскимъ корреспондентомъ съ извѣстными «уточками», безконечно выплывающими одна за другой изъ трень-бренькающей дѣтской игрушки. Вотъ мѣрно звуча кованными копытами, прослѣдовалъ шагомъ кавалерійскій разъѣздъ, — сабли на-голо и пики на перевѣсъ чрезъ сѣдла; за нимъ черезъ нѣкоторое время,—другой подобный же разъѣздъ, который скрылся за поворотомъ въ смежную улицу,—и снова молчаливыя тѣни полицейскихъ, снова мѣрный шагъ пѣхотныхъ патрулей, снова нѣмая тишина и пустыня межъ темныхъ каменныхъ громадъ лучшей улицы города... Вотъ въ который именно часъ Варшава ясно давала чувствовать свое ненормальное, исключительное положеніе; вотъ когда въ ея нѣмомъ воздухѣ начинало пахнуть какимъ-то зловѣщимъ заговоромъ! . Въ обычные же часы дня поверхностный наблюдатель нашелъ бы, что она—ничего себѣ, городъ какъ городъ, мирно живущій своей обыденной жизнью, ибо днемъ не видать было на улицахъ даже солдатъ и поли-

Digitized by Google

цейскихъ въ количествѣ свыше обыкновеннаго; напротивъ, ихъ было тутъ даже гораздо менѣе чѣмъ, напримѣръ, въ Москвѣ или въ Петербургѣ; но съ наступленіемъ ночи, при видѣ этихъ нѣмыхъ патрулей, двигающихся въ нѣмой тишинѣ, каждый невольно начиналъ чувствовать себя въ положеніи человѣка, сидящаго на бочкѣ пороха или двигающагося по направленію какой-то подземной мины, которую вотъ-вотъ взорветъ со страшнымъ трескомъ,—и все полетитъ къ чорту!

XIII.

«Carpe diem!»

Но Хвалынцеву въ настоящую минуту ничто подобное не приходило въ голову. Онъ весь былъ — ожиданіе скораго свиданія со своимъ идоломъ и, то и дѣло, ежеминутно погонялъ своего «дружкаря» нетерпѣливыми возгласами: «прендзей! прендзей рушай! скорѣе!» — Но тотъ, пощелкивая бичомъ, и безъ того уже гналъ во всю рысь свою длинноухую пару. На площади Трехъ Крестовъ Константинъ расплатился съ дружкаремъ и, съ замираніемъ сердца, вступилъ въ густыя, темныя сѣни уяздовскихъ каштановъ. Вотъ и знакомый палацъ графини Маржецкой. Тамъ, внутри, казалось, все уже давно покоится глубокимъ сномъ, и ни единая полоска свѣта не пробивается сквозь щели наглухо захлопнутыхъ ставень. И внутри, и снаружи, повсюду мракъ и тишина глубокая. Вотъ и чугунная рѣшетка. Константинъ нащупалъ калитку, подавилъ ручку запора, которая тотчасъ же подалась на его легкое усиліе—и калитка открылась предъ нимъ свободно и безъ шума. Бережно подобравъ свою саблю, чтобы неумѣстный лязгъ ея не нарушилъ окрестной тишины, онъ осторожными шагами пошелъ мимо стѣны дома, по песку садовой дорожки. Въ воздухѣ тихаго сада разливался запахъ резеды и левкоя. Таинственныя кудрявыя кущи, въ глубину которыхъ убѣгали садовыя дорожки, какъ-то сторожко и чутко глядѣли на необычнаго посѣтителя своими темными впадинами, словно бы и маня, и остерегая его въ одно и то же время. Константинъ завернулъ за уголъ и очутился предъ заднимъ фасадомъ палаца, около садовой террасы, заставленной цвѣтами и растеніями. На эту террасу выходила стеклянная дверь и два раскрытыя окна, которыя были слабо освѣщены матовымъ свѣтомъ лампы, разливавшимся изъ-подъ нахлобученнаго на нее абажура. Сердце Константина сильно и мѣрно стучало. Онъ осторожно, неслышными шагами поднялся на ступени и заглянулъ въ окна: въ комнатѣ никого не было; въ одномъ углу онъ разглядѣлъ круглый столъ, сервированный на два прибора. Повидимому, здѣсь уже было готово къ скромному ужину, обѣщанному графиней. Но гдѣ же сама она? гдѣ эта фея — обитательница этого палаца и этого сада, которые казались теперь Константину словно заколдованными,—гдѣ она?

Онъ, еще тише чѣмъ поднялся, сошелъ теперь со ступеней террасы и, мимо дикаго винограда и абрикосовыхъ деревьевъ, лѣпившихся по переплету рѣшетки вдоль домовой стѣны, пошелъ далѣе. Вотъ еще одно освѣщенное окно въ боковой комнатѣ, которое тоже выходитъ въ садъ и въ эту минуту стоитъ открытымъ настежь. Мягкій и теплый воздухъ ночи вливается въ него струею до того плавною и тихою, что даже не колеблетъ пламени свѣчи, поставленной на столикѣ близъ окошка, которое было прорѣзано на столько низко, что человѣку, стоящему на дорожкѣ, въ двухъ шагахъ отъ него, можно было безъ всякаго затрудненія видѣть все, что происходитъ въ комнатѣ. И Константинъ, въ чаяніи увидѣть тамъ Цезарину, пожираемый нетерпѣніемъ и ожиданіемъ скораго свиданія, не удержался предъ искушеніемъ и заглянулъ въ окошко.

Вдругъ сердце его упало на мгновеніе, и онъ остановился какъ зачарованный, приковавшись взоромъ въ глубину освѣщенной комнаты. Тамъ была она. Онъ увидѣлъ ее въ томъ же черномъ платьѣ, въ какомъ была она за часъ предъ этимъ въ театрѣ. Только густыя, пепельныя косы были распущены, по домашнему, въ силу мѣстнаго революціоннаго обычая, и, разсыпаясь волнистыми прядями, падали на спину и плечи.

Она стояла почти въ профиль къ окну, опустясь на колѣни позади своего раздѣтаго и тоже колѣнопреклоненнаго ребенка предъ образомъ Ченстоховской Богородицы, висѣвшимъ надъ его кроваткой. Молитвенно сложивъ своему мальчику руки, она заставляла его повторять за собой, на сонъ грядущій, слова польской молитвы. Звучный, контральтовый голосъ ея дышалъ фанатическимъ упованіемъ, и каждое слово отчетливо и ясно доносилось до Хвалынцева. Послѣ обычнаго «Ойче нашъ, ктуры есть въ небѣ», она заставила ребенка повторять за собою извѣстную «Литанію пилигрима»—эти фанатизирующія и сурово-мощныя, какъ бы изъ желѣза выкованныя слова молитвы, вылившейся изъ-подъ поэтическаго пера Адама Мицкевича.

— «Cyre elejson, Christe elejson!» внятно и плавно звучалъ голосъ Цезарины, сопровождаемый дѣтскимъ лепетомъ ея ребенка.— «Христе, услыши насъ! Христе, выслушай насъ! Боже Отче, изведшій люди Твоя изъ земли Египетской и возвратившій ихъ въ землю Святую,—возврати насъ въ отчизну нашу!

«Сыне Избавителю, Ты — замученный и распятый, воскресъ изъ мертвыхъ и цар-

Digitized by Google

ствуешь во славѣ, — воскреси изъ мертвыхъ отчизну нашу!

«Матерь Божья, Ты, которую отцы наши «Царицей Польши и Литвы» называли—избави Польшу и Литву!

«Святый Станиславе, защитникъ Польши, молись за насъ!

«Святый Казиміръ, защитникъ Литвы, молись за насъ!

«Святый Іосифъ, защитникъ Руси, молись за насъ!

«Вси Святые, защитники Рѣчи Посполитой нашей, молитесь за насъ!

«Отъ неволи московской, австріяцкой и прусской избави насъ, Господи!

«Ради мученичества юношей литовскихъ, палками забитыхъ, въ рудникахъ и въ изгнаніи погибшихъ, избави насъ, Господи!

«Ради мученичества обывателей ошмянскихъ, въ храмахъ Твоихъ и въ домахъ вырѣзанныхъ избави насъ, Господи!

«Ради мученичества воиновъ, въ Кронштадтѣ убіенныхъ, избави насъ, Господи!

«За раны, слезы и терпѣніе всѣхъ узниковъ, изгнанниковъ и странниковъ польскихъ, избави ихъ, Господи!

«Тебя молимъ и просимъ: услыши насъ, Господи!

«О брани всеобщей за вольность народовъ просимъ мы, Господи!

«Объ оружіи и орлахъ народныхъ нашихъ просимъ мы, Господи!

«О гробѣ костямъ нашимъ на землѣ нашей просимъ мы, Господи!

«Господу помолимся!

«Господи Боже всемогущій! Сыны народа воинскаго возносятъ къ Тебѣ руки безоружныя и взываютъ къ Тебѣ изъ чуждыхъ странъ: изъ глубины рудниковъ сибирскихъ, изъ степей Алжира, изъ снѣговъ камчатскихъ и изъ чужой земли французской, зане въ отчизнѣ нашей, Польшѣ—повѣрь, о Господи!—не вольно есть взывать къ Тебѣ. Старцы наши, жены и дѣти молятся тебѣ лишь втайнѣ: мыслью и слезами...

«Боже Ягеллоновъ, Боже Собіесскихъ, Боже Костюшковъ, умилосердися надъ нами и надъ отчизной нашей! Позволь намъ вновь молиться Тебѣ обычаемъ предковъ, на полѣ битвы, съ оружіемъ въ рукахъ, предъ алтаремъ, сложеннымъ изъ литавръ и пушекъ, подъ балдахиномъ орловъ и знаменъ нашихъ! Въ отчизнѣ же нашей дозволь молиться намъ въ храмахъ городовъ и весей нашихъ. Amen! Amen! Amen!»

Молитва давно уже была кончена, и мальчикъ, перекрещенный трижды своею матерью, давно уложенъ въ постель, и окно было захлопнуто и стора спущена, и свѣтъ свѣчи замѣнился слабымъ мерцаніемъ лампады, а Хвалынцевъ все еще неподвижно стоялъ на своемъ мѣстѣ, изумленный и пораженный сильнымъ и совершенно новымъ впечатлѣніемъ только что услышанной молитвы.—«Такъ вотъ онъ, этотъ глубокій и вѣчно живой родникъ польской ненависти къ намъ!» думалось ему. «Вотъ откуда бьютъ его неизсякаемыя струи! Еще изъ пеленокъ, съ молокомъ матери, съ первымъ лепетомъ молитвы ребенокъ всасываетъ вражду и привыкаетъ къ ненависти!.. Борьба противъ мятежа понятна; но чѣмъ станешь бороться противъ дѣтской молитвы?!..»

* * *

Тихо стукнула стеклянная дверь на терасѣ—и по ступенямъ лѣстницы плавно заколебался темный силуэтъ сходящей женщины. Хвалынцевъ бросился къ ней на встрѣчу, но она легкимъ движеніемъ руки предупредительно остановила его не въ мѣру порывистое и страстное движеніе.

— Давно вы здѣсь?—заговорила она полушопотомъ.—Васъ никто не замѣтилъ? Никто не видалъ, когда вы входили въ калитку?

Хвалынцевъ успокоилъ ее насчетъ полнѣйшаго своего incognito.

— Мы останемся съ вами въ саду, пока въ домѣ всѣ улягутся и заснутъ,—продолжала Цезарина.—Моя дѣвушка не спитъ еще. Дайте мнѣ вашу руку и пойдемте подальше, въ глубину—тамъ насъ не услышатъ, тамъ можно говорить свободно.

И она повела его въ отдаленный уголъ сада, къ бесѣдкѣ, устроенной изъ кустовъ сирени и жасмина и осѣненной сверху сплетавшимися вѣтвями бѣлыхъ акацій. Тамъ стояла чугунная садовая скамейка.

Тихая ночь, благоуханіе цвѣтовъ и свѣжей травы, темнота сада, таинственность свиданія и близость любимой женщины, идущей рядомъ, рука объ руку, что позволяло ея спутнику осязательно чувствовать эту руку, по которой пробѣгала мгновеньями легкая нервическая дрожь—все это слишкомъ сильномъ электризовало Хвалынцева, все это раздражительно дѣйствовало и на душу, и на молодую кровь, погружая его въ дурманъ какого-то страстнаго опьяненія. Ради этой женщины, онъ чувствовалъ теперь въ себѣ рѣшимость на все, за одно ел слово, за единую ласку.

Они сѣли рядомъ, близко другъ къ другу. Цезарина взяла его руку.

— Я не даромъ позвала васъ сегодня; я хотѣла предложить вамъ одинъ серьезный вопросъ,—начала она послѣ нѣкотораго молчанія, какъ-бы собравшись съ мыслями для предстоящаго объясненія.—Помните-ли вы тотъ вечеръ въ Петербургѣ, когда я, только что окончивъ мое польское знамя, вамъ первому показала его?

Хвалынцевъ отвѣчалъ утвердительно.

— Помните-ли, — продолжала Цезарина,— вызванная вами, я сказала тогда, что буду принадлежать вся, отдамся съ гордостью, откры-

Digitized by Google

то, предъ цѣлымъ свѣтомъ, тому человѣку, который смѣло возьметъ это знамя и подниметъ его «за свободу вашу и нашу»? Помните ли вопросъ, который вы мнѣ сдѣлали при этомъ?

— Да; я спросилъ, что̀ будетъ, если такимъ человѣкомъ окажется вдругъ русскій?

— Правда, и на это вамъ было отвѣчено, что все-равно, кто-бъ ни былъ онъ, лишь-бы шелъ за свободу моей родины, лишь-бы точно былъ героемъ! Тогда вы вызвались сами; вы сказали, что этимъ героемъ будете вы. Я не звала васъ, вы сами вызвались на подвигъ. Скажите, что побудило васъ тогда на это?

— Мое чувство и ваше обѣщаніе,—открыто отвѣтилъ Хвалынцевъ.

— Стало быть, вы любили меня?

— Вы это видѣли... Вы это знаете.

— А теперь, Хвалынцевъ? — спросила она съ полузастѣнчивой и полукокетливой улыбкой.

— Теперь, какъ тогда... Нѣтъ!—съ жаромъ перебилъ онъ самого себя.—Теперь болѣе! болѣе чѣмъ тогда!.. Время не охладило,—напротивъ, усилило это чувство!

Цезарина замолкла на минуту и раздумчиво потупилась.

— Если я вызвала васъ сюда, въ такую пору,—начала она наконецъ съ такимъ выраженіемъ, которое заставляло думать, что ей стоитъ нѣкотораго усилія дѣлать дальнѣйшее признаніе. — Если я подняла съ вами этотъ разговоръ, то вѣрьте, это потому... потому что... я помню прошлое... Однимъ словомъ, что̀ тутъ таиться!.. Ну, да, потому что я сама люблю васъ! Я полюбила васъ еще тогда, въ Петербургѣ... Но я полька, не забывайте этого, Хвалынцевъ! Я полька, и потому моя любовь можетъ принадлежать только тому человѣку, который душу свою положитъ за Польшу! Вспомните, когда вы сказали, что *вы* будете тѣмъ москалемъ, который подыметъ мое польское знамя, я вамъ отвѣчала, что если это будетъ такъ, я ваша, *но только тогда, а не раньше*! Таковъ былъ мой отвѣтъ, и вы мнѣ обѣщали... Съ тѣхъ поръ прошло восемь мѣсяцевъ. Теперь... теперь, Хвалынцевъ, я готова быть вашей: я люблю васъ, но... отвѣчайте мнѣ прямо и честно: что вы сдѣлали въ теченіе всего этого времени для нашего общаго дѣла?

Что̀ было отвѣчать ему?! Съ одной стороны—эта лихорадка опьяняющей страсти, эта женщина, признающаяся въ готовности любить его, эта близкая возможность полнаго, безграничнаго счастія, которое само говоритъ ему: «протяни только руку и бери меня!» а съ другой стороны—этотъ роковой и столь опредѣленно поставленный вопросъ: «что вы сдѣлали для общаго дѣла?»

— Я ничего не сдѣлалъ!—смутно, съ усиліемъ прошепталъ онъ, безнадежно понуривъ свою голову.

— Отчего?—съ живостью спросила Цезарина, схвативъ его за руку.—Значитъ, вы не на столько любили меня? Значитъ, вы передумали, раскаялись, разочаровались?

Въ ея тонѣ, въ ея взглядѣ и жестѣ, которыми сопровождался этотъ вопросъ, заключалось нѣчто ободряющее, нѣчто такое, что долженствовало нравственно поддержать человѣка и поднять его снова на высоту тѣхъ требованій, которыя предъявлялись ему цѣною чувства этой женщины, цѣною полнаго обладанія ею.

— Вы правы: я разочаровался въ дѣлѣ!—признался наконецъ Хвалынцевъ.—*Ваше* дѣло не *наше*! Изъ ряда случайныхъ столкновеній я, какъ мнѣ кажется, достаточно узналъ его и—воля ваша—я не могу идти съ вами! *Ваше* дѣло требуетъ прежде всего, чтобъ я сдѣлался измѣнникомъ *своему* народу. Вѣдь вы не пошли бы на такую сдѣлку, графиня? Такъ не требуйте-жь ее и отъ меня!

— Отъ васъ не требуютъ измѣны!—суровохолодно и строго заговорила Цезарина.—Напротивъ, васъ зовутъ во имя вашего же народа; вамъ говорятъ: ступайте за свободу *вашу* и *нашу*! Дѣло идетъ о взаимной помощи противъ общаго врага, а не объ измѣнѣ! Васъ зовутъ на дѣло вашихъ святыхъ мучениковъ, на дѣло вашихъ декабристовъ, на дѣло Герцена, на то дѣло, за которое сидятъ теперь въ казематахъ лучшіе, благороднѣйшіе представители вашего молодого поколѣнія, за которое на дняхъ еще погибли такіе же военные какъ вы, Арнгольдъ и Сливицкій! Вы ѣхали сюда членомъ не польскаго комитета, а русскаго отдѣла «Земли и Воли», стало-быть ради вашего же народнаго дѣла! Нѣтъ, Хвалынцевъ!—заключила она съ одушевленіемъ, — или вы трусъ, или вы любить не умѣете!

Константинъ вскочилъ словно ужаленный. Эти слова, какъ двойной ударъ ножа, вдвойнѣ поразили его самолюбіе. И услышать ихъ изъ устъ женщины, ради которой онъ всѣмъ былъ готовъ пожертвовать! Услышать въ такую минуту, когда она, казалось, совсѣмъ была готова отдаться ему!.. Это было уже слишкомъ. Ударъ ножа разсчитанъ былъ вѣрно. Будь Хвалынцеву не двадцать съ небольшимъ лѣтъ, этому удару можно было бы навѣрное предсказать промахъ, но его юность, его пылъ, его молодое, чуткое самолюбіе и его шальная страсть къ этой женщинѣ сдѣлали то, что ударъ, направленный ею, попалъ ему прямо въ сердце и врѣзался въ него глубоко колючимъ остріемъ ядовитаго слова.

— Я вашъ! — рѣшительно протянулъ онъ руку Цезаринѣ.—Не ради идеи, не ради дѣла, въ которое я и теперь не вѣрую, но ради васъ, единственно только ради васъ и ради любви моей къ вамъ отдаюсь я въ вашу волю!.. Дѣлайте теперь со мной что хотите; если я вамъ

Digitized by Google

нуженъ, распоряжайтесь, приказывайте—я все исполню... Я не трусъ и любить я умѣю!.. Вы увидите... я докажу вамъ это! — съ жаромъ задѣтаго юнаго самолюбія закончилъ Хвалынцевъ, проговоривъ послѣднія фразы такимъ надтреснутымъ голосомъ, въ которомъ невольно прорвались горькія, жгучія слезы.

Цезаринѣ даже стало жаль его. Все-таки какъ женщина, она не могла, хотя бы и мимолетно, не сжалиться надъ этою свѣжестью и чистотою чувства, надъ этимъ мальчикомъ—врагомъ, москалемъ, который за одну ея ласку готовъ теперь хоть завтра же сложить предъ палачемъ свою бѣдную голову. Женщина—какъ она ни называйся, къ какому народу ни принадлежи, какой вражды ни чувствуй, племенной или политической, все-таки останется женщиной, всегда и прежде всего женщиной, у которой есть своя женская сторона чисто женскаго самолюбія, и этой-то женщинѣ прежде всего нравится суетно-гордое сознаніе, что ее любятъ, что она безо всякаго старанія, безо всякихъ усилій съ своей стороны, однимъ лишь обаяніемъ своей красоты и внутренней силы, даже и племенному врагу своему съумѣла внушить такую сильную любовь, такую слѣпую, восторженную страсть, что можетъ послать его подъ пули; подъ висѣлицу, подъ топоръ, можетъ заставить забыть ради нея и долгъ, и честь, и все на свѣтѣ! Въ польской же женщинѣ эта сторона женскаго самолюбія развита въ особенности сильно и чутко, быть-можетъ потому, что сами же польскіе мужчины своею извѣчною, традиціонною податливостію привили къ ней это свойство. Въ Польшѣ мужчина только орудіе; но властвуетъ, царитъ и управляетъ тамъ женщина. Такъ было издревле, такъ есть и нынѣ, и вся-то жизнь, вся цивилизація польская вполнѣ наглядно выражается тою характерною фигурою мазурки, въ которой мужчина стоитъ, преклонивъ колѣно, а женщина вьется и кружится вокругъ него легкой и властительной сильфидой!

— Если такъ,—заключила Цезарина, — то вы завтра же отправитесь къ этому... какъ его? къ поручику Паляницѣ; вы этимъ исполните только то, что вамъ было указано еще въ Петербургѣ. Вы ему представите вашъ нумеръ и номинацію, а тамъ—онъ ужь укажетъ, что должно вамъ дѣлать. И тогда... тогда,—проговорила Цезарина глубоко убѣжденнымъ тономъ,—если вы честно исполните все, чего потребуетъ дѣло, приходите ко мнѣ, я сдержу мое слово! Не сомнѣвайтесь и не бойтесь за себя и за дѣло: насъ много, у насъ цѣлые легіоны, мы не можемъ не быть побѣдителями—и мы побѣдимъ! Мы побѣдимъ, если каждый будетъ вѣровать въ дѣло. Вѣруйте же въ меня, по крайней мѣрѣ, и ради меня дѣлайте то, что укажутъ!

И хвативъ руками виски Хвалынцева, она приблизила къ себѣ его голову и приникла къ его лбу беззвучнымъ поцѣлуемъ.

— Вотъ вамъ мое благословеніе!—смутно прошепталъ ея голосъ.—Теперь пойдемте; въ домѣ спятъ уже и насъ давно ждетъ ужинъ.

Хотя неожиданный переходъ къ столь прозаическому мотиву былъ, повидимому, слишкомъ крутъ и рѣзокъ, но Цезарина какъ-то вдругъ съумѣла придать ему ту немножко пикантную и изящную легкость, съ которой, среди самымъ патетическихъ минутъ, могутъ и умѣютъ говорить объ ужинѣ истыя француженки и польки. Съ этой минуты въ графинѣ Маржецкой исчезла возвышенная и пламенная патріотка, а осталась одна только милая, веселая и, на взглядъ, не совсѣмъ-то ужь недоступная женщина.

Но это только такъ казалось. Графиня Маржецкая продолжала ту же игру и ту же комедію, только уже въ новой роли, и этотъ переходъ отъ суровой спартанки къ чему-то очень милому, увлекательному и легкому, не выходя впрочемъ изъ границъ достодолжной сдержанности, совершился въ ней, не шокируя глазъ и чувство, какъ-то вдругъ, самъ собой, вполнѣ естественно и, такъ сказать, органически. Все дѣло въ томъ, что она умѣла и *казаться и стать* всѣмъ чѣмъ угодно, не переставая въ то же время быть полькой и графиней Маржецкой.

Часъ, проведенный за ужиномъ, прошелъ легко, свободно, весело и потому незамѣтно. Цезарина задалась мыслію не давать ни на единый мигъ опомниться Хвалынцеву, помѣшать ему погрузиться въ себя, раздуматься и поразмыслить надъ своимъ положеніемъ и рѣшимостію на предпринятое дѣло; поэтому она все время держала его подъ страстнымъ обаяніемъ своей красоты, кокетства, граціи, маня и дразня, но не удовлетворяя его чувства и тѣмъ самымъ укрѣпляя въ немъ юношескую, беззавѣтную рѣшимость добиться-таки торжества надъ нею, когда бы то ни было и во что бы то ни стало.

«Carpe diem»! эгоистически припомнилось ему старое Гораціанское правило, когда, простясь съ Цезариной, онъ шелъ одинъ, глухой ночью, по Уяздовской аллеѣ, одурманенный своею страстью, надеждой и всѣми впечатлѣніями этого вечера: «Лови мгновенье!.. Хоть день да мой, но ужь зато онъ будетъ моимъ вполнѣ, безраздѣльно!.. И въ самомъ дѣлѣ, одна минута безумства, счастія и потомъ... въ расплату за нее пулю въ лобъ себѣ!.. И лучше! Жалѣть не стоитъ, да и не зачѣмъ!»

XIV.

Поручикъ Паляница.

Поручикъ Паляница обиталъ на улицѣ Фретѣ, неподалеку отъ того мѣста, гдѣ уже кон-

Digitized by Google

чаются городскія строенія и начинается пустынное, ровное поле цитадельной эспланады. Эта часть города и бѣдна, и тоже довольно пустынна. Она служитъ мѣстомъ обиталища для работниковъ и евреевъ самаго бѣднаго класса, которые кучатся и лѣпятся, словно какая грибчатая поросль, по убогимъ деревяннымъ лачугамъ да по старымъ полуразрушеннымъ «каменицамъ» [1]), на которыхъ дырявыя крыши съ провалившимися черепицами наглядно свидѣтельствуютъ какъ о ветхости построекъ, такъ равно и о скудости средствъ домовладѣльцевъ. Поручикъ Паляница нарочно избралъ себѣ для жительства эту пустынную и довольно отдаленную часть города, потому что она представляла ему двоякія выгоды: и отъ казармъ не далеко, да и опасности менѣе отъ постороннихъ глазъ и чужого вниманія: что за интересъ этимъ сосѣдямъ-евреямъ и мѣщанамъ-работникамъ наблюдать и знать, чѣмъ занимается въ тиши своего кабинета какой-то поручикъ, когда у нихъ и своего-то собственнаго дѣла да и насущныхъ нуждъ по горло!

Когда по темной, грязной и вонючей деревянной лѣстницѣ Хвалынцевъ подымался въ квартиру Паляницы, сердце его въ послѣдній разъ смутно ёкнуло подъ новымъ гнетомъ раздумья, укора и сомнѣнія. Онъ нарочно замедлилъ шагъ. «*Подлость!*» шепталъ ему какой-то внутренній голосъ. «Не вернуться-ли?»

А между тѣмъ, почти машинально, онъ все-таки подымался вверхъ по ступенькамъ.

Вотъ и площадка предъ дверью. Тутъ-же какая-то еврейка стирала въ корытѣ что-то въ родѣ пелёнокъ и вопросительно посмотрѣла на Хвалынцева.

Константинъ остановился въ замѣшательствѣ. Ему казалось, будто и эта еврейка, и тѣ ребятишки, что играютъ на дворѣ, и тотъ дворникъ, что внизу указалъ ему лѣстницу и растолковалъ какъ пройти въ «мѣшканье пана Паляницы» — будто всѣ они знаютъ и догадываются о цѣли его посѣщенія. Разсудкомъ онъ постигалъ, что такое предположеніе нелѣпо какъ нельзя болѣе, но оно почему-то копошилось въ его душѣ и было причиной его смущенія.

«Не хорошее, не честное дѣло»... снова шепнулъ ему внутренній голосъ и, послѣ минутнаго колебанія, Константинъ уже повернулся было съ намѣреніемъ уйти, какъ вдругъ его окликнула еврейка:

— А чéго панъ шýка?.. [1]) Може, до пана Паляницы?

Хвалынцевъ, какъ школьникъ, пойманный на мѣстѣ преступленія, смутился еще больше и, ужъ и самъ не постигая какъ и для чего, отвѣтилъ ей утвердительнымъ кивкомъ головы.

Предупредительная еврейка указала ему на дверь и даже сама дернула за шнурокъ звонка.

«Судьба... видно судьба!» мелькнуло въ умѣ Хвалынцева! «Но... дай Господи, чтобъ его не было дома!»

Дверь пріотворилась, и изъ нея на половину выглянула чья-то физіономія.

Еврейка поспѣшила объяснить, что пришедшему пану нужно пана Паляницу.

— Ваше имя? — отнесся къ Хвалынцеву субъектъ, выглядывавшій изъ-за двери.

Тотъ назвалъ себя.

— Прошу! — буркнулъ сквозь зубы вопрошавшій и раскрылъ предъ нимъ настежь всю половинку.

Волей-неволей пришлось войти.

Константинъ очутился въ тѣсной и грязной прихожей — она же и кухня—гдѣ на первомъ планѣ кидался въ глаза закоптѣлый очагъ или, такъ-называемый здѣсь, «кòминъ», у окна на ларѣ лежалъ въ-растяжку и храпѣлъ денщикъ.

— Прошу!—снова буркнулъ ему отворявшій субъектъ и пропустилъ его въ слѣдующую комнату, неприглядная обстановка которой напоминала скорѣе нумеръ скверной гостиницы, чѣмъ жилую квартиру осѣдлаго человѣка, и отличалась всѣми излишествами холостого неряшества.

Хвалынцевъ не зналъ за кого слѣдуетъ принимать стоявшаго предъ нимъ человѣка, который въ свой чередъ, остановясь по серединѣ комнаты, молча и вопросительно глядѣлъ на нежданнаго гостя.

Это былъ мужчина лѣтъ двадцати-семи, длиннаго роста и жидкой комплекціи, къ которому какъ нельзя болѣе подходило бы прозвище «дылды». Онъ былъ смуглый и сильный брюнетъ, съ очень низкимъ лбомъ и коротко остриженными волосами, которые торчали на головѣ его какъ жесткая щетка; въ кругъ сведенныхъ густыхъ бровяхъ его присутствовало характерное выраженіе неуклонности и упорства, но сѣрые глаза уставлялись изъ-подъ этихъ бровей какъ-то тупо и неподвижно, напоминая своимъ выраженіемъ взглядъ сонной окуня. Одѣтъ онъ былъ тоже довольно оригинально: на немъ красовалась малороссійская сорочка съ узорчато вышитымъ воротникомъ и пазухой; сорочка эта запускалась въ широкія нанковыя шаровары, которыя тоже были запущены въ красные сафьянные чòботы не то малороссійскаго, не то бухарскаго покроя. Малороссійскій широкій поясъ, гдѣ перемѣшивались красный и зеленый цвѣта, стягивалъ его талію и съ обоихъ боковъ спускался къ колѣнамъ своими длинными концами. Не доставало только бараньей шапки, чтобы сейчасъ

[1]) Каменица—каменный домъ.
[1]) Чего вы ищете?

Digitized by Google

же поставить этого господина въ «живыя картины» изображать «парубка» на какомъ-нибудь спектаклѣ любителей.

Хвалынцеву было очень неловко стоять подъ упорно-неподвижнымъ взглядомъ неизвѣстнаго субъекта, и потому, чтобы прервать такое положеніе, онъ рѣшился еще разъ заявить, что ему нужно поручика Паляницу.

— Я Паляница,—глухимъ груднымъ голосомъ отвѣтилъ на это дылда, все-таки продолжая глядѣть на него своимъ рыбьимъ взглядомъ.

— Въ такомъ случаѣ, позвольте...

И порывшись въ бумажникѣ, Константинъ отыскалъ тамъ завѣтный клочокъ бумажки, данный ему Бейгушемъ еще въ Петербургѣ наканунѣ отъѣзда въ Варшаву, съ наставленіемъ предъявить его по пріѣздѣ поручику Паляницѣ, какъ предсѣдателю варшавскаго отдѣла «Земли и Воли».

Этотъ клочокъ, оторванный съ одной стороны зигзагами и заключавшій въ себѣ недоконченное слово «*заслужив*», долженствовалъ служить Хвалынцеву его нравственнымъ аттестатомъ, такъ какъ другая половина бумажки, пересланная своевременно «Петербургскимъ Центромъ» къ Паляницѣ, заключала въ окончаніи фразы ту степень довѣрія, которую предсѣдатель могъ оказать новому члену отдѣла «Земли и Воли», а свѣрка зигзага служила для него гарантіей, что предъявитель первой половины бумажки есть дѣйствительно то самое лицо, которое аккредитовано «Петербургскимъ Центромъ».

Константинъ молча подалъ этотъ клочокъ Паляницѣ.

— Сейчасъ. Подождите тутъ, взявъ бумажку, буркнулъ ему дылда и, мѣшковато повернувшись, вышелъ въ другую комнату, причемъ не забылъ плотно затворить за собою двери.

Оставшись одинъ, Хвалынцевъ принялся разглядывать комнату. На стѣнѣ висѣли портреты Шевченки и философа Сковороды, да еще старинный малороссійскій торбанъ, наполовину съ оборванными струнами, и этимъ ограничивалось все убранство по эстетической части, на окнахъ — зола отъ папиросъ, на столѣ—папиросныя гильзы, вата и разсыпанный табакъ. Тутъ же лежало нѣсколько книжекъ, на заглавіе которыхъ Константинъ не преминулъ обратить вниманіе. То были «Кобзарь» Шевченка, либретто «Наталки-Полтавки», «Москаля Чаривника», да два или три разрозненные нумера «Основы».

Прошло минутъ около пяти, прежде чѣмъ Паляница опять вернулся въ комнату, неся въ рукѣ два клочка бумажки.

— Вашъ нумеръ?— спросилъ онъ Константина.

— Онъ у меня записанъ... Кажется, что 7,342.

— Такъ точно,—подтвердилъ Паляница. — Вы не ошиблись; дѣйствительно, вы записаны подъ этимъ нумеромъ.

И онъ показалъ ему оба клочка бумажки, сложивъ ихъ по зигзагу разрыва, такъ что Хвалынцевъ могъ теперь свободно прочесть всю фразу: «*заслуживаетъ на полное довѣріе* № 7,342. В. О. Р. Об. З. и В.» [1]) Сбоку была приложена посредствомъ пресса синяя печать, гдѣ изображены двѣ руки, пожимающія одна другую, а вокругъ ихъ кольцомъ шла надпись: «*Wolnosc, Rownosc, Niepodleglosc Wydział Petersburgski*».

— Отчего такъ долго не являлись?—спросилъ Паляница своимъ отрывистымъ тономъ, не выговаривая, а скорѣе какъ-то глухо бурча слова сквозь зубы.

— Не могъ раньше,—пожалъ плечами Хвалынцевъ.

— Что́ жь такъ? Могу знать причины?

— Да такъ, разныя... служба, то да се, не оглядѣлся пока,—мало ли что!

— Это не резонъ. Должны были тотчасъ явиться.

Хвалынцеву не понравился такой рѣзкій тонъ, напоминавшій нѣчто въ родѣ начальническаго выговора, поэтому онъ рѣшился отбросить въ сторону всякую уклончивость и объявилъ на прямикъ, что коли, молъ, вы такъ уже хотите знать, то я скажу вамъ прямо, что сомнѣнія одолѣвали, вѣры не было въ дѣло, потому и не шелъ.

— Отчего же вѣры не было? — спросилъ Паляница.—Это странно: не было вѣры, а тутъ прописано, что заслуживаете полнаго довѣрія,—какъ же такъ?

— А очень просто, — усмѣхнулся Хвалынцевъ. — Въ Петербургѣ многое казалось такъ, а здѣсь на дѣлѣ показалось иначе.

— Гм... Отъ этого и сомнѣнія?

— Разумѣется.

— Гм... А теперь вѣра есть?

— Стало-быть есть, ежели я къ вамъ явился.

— Откуда же вѣра вдругъ взялась?

— Ну, на этотъ вопросъ отвѣчать вамъ довольно трудно, такъ какъ тутъ дѣло начинаетъ уже касаться для меня довольно тонкихъ психическихъ сторонъ,—возразилъ ему Хвалынцевъ.—Да и при томъ,—продолжалъ онъ,—разъ, что я здѣсь, у васъ, то это одно уже, кажется, можетъ служить доказательствомъ моей готовности къ дѣлу. А впрочемъ, если вы во мнѣ сомнѣваетесь, или я вамъ не нуженъ болѣе, то честь имѣю кланяться.

И онъ направился къ прихожей.

— Постойте, постойте! куда-же вы?—торопливо остановилъ его въ догонку Паляница.—

---

[1]) То есть Варшавскій Отдѣлъ Русскаго Общества „Земли и Воли".

Digitized by Google

Останьтесь, пожалуйста!.. Такъ вѣдь нельзя!.. Развѣ я сказалъ, что сомнѣваюсь, или что не нужно?.. Я этого не сказалъ!.. Вы напрасно обидѣлись. Я хотѣлъ только сказать, что долго ждалъ васъ, много времени даромъ потеряно, безъ пользы для дѣла—вотъ что хотѣлъ я, а не то, что вы думаете... Я радъ, очень радъ познакомиться... будемъ какъ товарищи.

И онъ, быстро протянувъ свою руку, не то что пожалъ, а скорѣе какъ-то рѣзко дернулъ книзу и давнулъ руку Хвалынцева.

— Ну, вотъ и прекрасно... Садитесь. Прошу... Вы что пьете? водку или вино?

— Что случится... Впрочемъ благодарю васъ, теперь я не хочу ни того, ни другого.

— Ну, какъ знаете... А то можно послать? а?.. Вы безъ церемоніи! Я самъ ничего не пью... никогда. Но товарищи приходятъ, тѣ пьютъ. Такъ какъ-же? послать что-ли?

Хвалынцевъ еще разъ поблагодарилъ и отказался.

— Впрочемъ, теперь мудрено-бы и послать,— продолжалъ Паляница, — потому денщикъ пьянъ, какъ стелька.. Видѣли? лежитъ тамъ... со вчерашняго дня лежитъ... Идіотъ совсѣмъ. Замѣчательный идіотъ! Да!.. Я нарочно взялъ такого.

— Для чего-же? вѣдь это очень неудобно,— отозвался Хвалынцевъ.

— Напротивъ. Самое удобное! Умный понималъ-бы все и... чортъ его знаетъ, могъ-бы выдать или сболтнуть. А этотъ и видитъ да ничего не понимаетъ... Такъ-то лучше! Спокойнѣе!.. А вчера какой случай былъ,—продолжалъ Паляница. — Вы знаете, почему онъ пьянъ.

— Откуда-жь мнѣ! — пожалъ Константинъ плечами.

— Я вамъ разскажу. Курьезъ!.. Онъ со мною зубъ за́ зубъ, особенно какъ выпьетъ... Я ему позволяю—зубъ за́ зубъ-то... позволяю и ничего... мнѣ нравится, и потомъ — принципъ. Но вчера я далъ ему въ зубы... Ухъ, какъ! здо́рово далъ!.. А онъ, что вы думаете?.. а? Онъ меня на о́тмашь да въ грудь кулакомъ!.. Ей-Богу!

Хвалынцевъ невольно вытаращилъ глаза отъ крайняго изумленія.

— А?.. что?—продолжалъ невозмутимый Паляница, — вы не вѣрите?... Повѣрьте! Прямо въ грудь... Хорошо что не въ глазъ, фонарь бы подставилъ. Каковъ!.. а?

— Но какъ-же вы его держите еще?—воскликнулъ Хвалынцевъ, почти не вѣря ушамъ и не зная, что заключить по спокойному тону разсказа: вретъ-ли человѣкъ на смѣхъ или правду говоритъ.

— А что-жь бы, по вашему? — возразилъ Паляница. — По мо́ему прекрасно!.. Я послѣ этого на шею ему кинулся... въ объятія принялъ... разцѣловался... Да!.. И далъ рубль на водку... Поощрять надо! Вотъ онъ и пьянствуетъ.

Хвалынцевъ ничего не возразилъ болѣе, но безпокойно-пытливый взглядъ его, пробѣгавшій по лицу и по всей длинной фигурѣ Паляницы, ясно выражалъ сомнѣніе, ужь не сумасшедшій-ли полно предъ нимъ?

— Да; я радъ за него,—говорилъ межъ тѣмъ Поляница, — радъ въ его лицѣ за русскаго солдата!.. Онъ хоть идіотъ, денщикъ-то, но я тѣмъ болѣе радъ, потому это показываетъ, что въ немъ сознаніе проснулось... Понимаете, принципъ!.. Я нарочно далъ на водку, для того чтобы въ кабакъ пошелъ; въ кабакѣ съ-пьянч. поди-ка, навѣрное товарищамъ сболтнулъ, а тѣ себѣ на умѣ, да другимъ шепнули, а въ результатѣ, понимаете что? Сознаніе, что не все-же начальство насъ по зубамъ, а можемъ и мы начальство въ зубы!.. Такъ-ли?.. а?..

— Пожалуй и такъ,—согласился Хвалынцевъ,—но только что-же изъ этого выйдетъ, если дѣло пойдетъ такимъ образомъ?

— А! Это-то намъ и нужно!.. «Что выйдетъ?» Выйдетъ-то, что дисциплина фю-ить! Не станутъ уважать начальство, слушать не станутъ, не пойдутъ драться противъ поляковъ... Начальство будетъ безсильно и... ничего съ ними не подѣлаетъ. А затѣмъ они за поляковъ пойдутъ... освободиться помогутъ... Вотъ что!

— Это почему-же вы думаете?

— Потому что сознаніе усвоятъ... сознаніе правъ каждаго человѣка на свободу... Мой поступокъ въ этомъ случаѣ есть самоотверженіе... высшее самоотверженіе... во имя идеи... Да-съ!.. Я такъ и понимаю!.. Пусть каждый офицеръ поступитъ такъ-же, и мы живо тиранію свалимъ!.. Свобода воцарится!.. Да!

— Хорошо-съ, но кто-же поведетъ ихъ за поляковъ, и почему опять-таки вы такъ увѣрены, что солдаты пойдутъ за нихъ?—спросилъ Хвалынцевъ, котораго заинтересовалъ ходъ логики курьезнаго субъекта.

— Кто поведетъ? мы!.. съ увѣренностью промолвилъ Паляница.—Мы и сами-же поляки!.. Вотъ кто! А пойдутъ во имя идеи... А кто за идею не пойдетъ, тотъ за водку пойдетъ, деньгами купимъ!.. У поляковъ есть деньги... Много денегъ! Всю европейскую дипломатію купили, вотъ что!

— Да вѣдь по вашей системѣ дисциплина-то — фю-ить!

— Ну, фю-ить!.. Такъ что-же?

— Какимъ-же образомъ послѣ этого вы будете вести ихъ въ дѣло и заставите себѣ повиноваться?

— А!.. мы, это совсѣмъ особь статья!.. Намъ надо подорвать дисциплину только въ русскомъ войскѣ... поймите это... А тамъ мы ее снова возстановимъ!

— Какими-же судьбами?

Digitized by Google

— Очень просто-съ... Во-первыхъ развитіемъ гражданскаго долга... ну и мужества... соціальныя идеи тоже... а во-вторыхъ, терроромъ... Гдѣ идея не поможетъ, тамъ казнить, разстрѣливать... вѣшать будемъ... Нѣсколько жертвъ, и кончено... Страху нагонимъ, и дисциплина возстановится... сама собою!

— А если начальство предупредитъ васъ подобными мѣрами? да если вы же первый и поплатитесь своей головой?

— Помилуйте, гдѣ ему!—махнулъ рукой Паляница, — не догадается!.. А если и догадается, такъ что-же?.. Пусть!.. Я радъ буду... съ удовольствіемъ!.. Я съумѣю умереть... благой примѣръ собой покажу... прочимъ... Послѣдователи будутъ... Исторія, Герценъ свое слово скажетъ. Развѣ этого мало?.. Для этого можно умереть!.. Смерть—что, пустяки! Тьфу! и только!.. Что человѣкъ, что плевокъ, въ сущности, развѣ не одно и то же?.. Одно! Ей-Богу одно!

«Тьфу, ты! какой непроходимый сумбуръ, однако!» съ жалостью и досадой подумалось Хвалынцеву. «Очевидно, у человѣка зайчикъ какой-то въ головѣ бѣгаетъ».

— Скажите пожалуйста, гдѣ вы воспитывались?—безъ дальнихъ околичностей спросилъ онъ Паляницу, вовсе не принимая въ соображеніе насколько такой вопросъ можетъ показаться тому умѣстнымъ и пристойнымъ.

— Въ кадетскомъ корпусѣ,—безъ запинки буркнулъ длинный офицеръ.

«То-то ты и выглядишь такимъ закаломъ-кадетомъ!» подумалъ про-себя Хвалынцевъ.

— Впрочемъ, я остался очень недоволенъ корпуснымъ образованіемъ,—пояснилъ Паляница, — и потому уже на службѣ постарался самъ доразвить себя... Нарочно въ Лондонъ ѣздилъ... Съ Герценомъ познакомился... Обѣдалъ у него... Впрочемъ, Бакунинъ мнѣ больше нравится... Радикальнѣе, знаете, и... того... глубже понимаетъ... настоящую суть... въ корень!.. Съ нимъ мы больше сошлись... Впрочемъ, знаете, у меня всегда... то-есть съ дѣтства еще страсть къ механикѣ была... все хотѣлъ технологомъ сдѣлаться, но... не удалось!.. Я самоучка... И теперь вотъ... тоже все... машинки разныя дѣлаю... изобрѣтаю...

— Какого-же рода машинки? — спросилъ Хвалынцевъ.

— Радикальныя... То-есть, знаете... больше все въ революціонномъ смыслѣ и духѣ. Самыя радикальныя!

Константинъ снова выпучилъ глаза отъ изумленія.

— Что вы на меня такъ уставились?—невозмутимо и серьезно спросилъ Паляница.

— Какъ это «радикальныя»?.. Объясните, пожалуйста, я не понимаю,—попросилъ Хвалынцевъ.

— Очень просто... Я вамъ могу показать модельки... Все... какъ есть, все самъ, своими руками дѣлалъ... собственными-съ!.. И самъ изобрѣталъ... самоучкой... Да вотъ, коли интересуетесь, пожалуйте въ эту комнату!.. Прошу!

— И онъ отворилъ дверь въ смежную комнату, гдѣ помѣщался его кабинетъ и спальня.

Эта маленькая горница сдѣлала на Хвалынцева еще болѣе странное впечатлѣніе, такъ что въ немъ окончательно утвердилась мысль, будто въ головѣ поручика далеко не все обстоитъ благополучно.

Стѣны этой комнаты были выкрашены черной клеевой краской, потолокъ и полъ тоже, а карнизы, углы и ободки вокругъ двери и окна обведены бѣлыми каёмками. Все это поражало глазъ чѣмъ-то траурнымъ, погребальнымъ, и это мрачное впечатлѣніе усиливалось еще тѣмъ, что по стѣнамъ кое-гдѣ были намалеваны бѣлой краской «Адамовы головы» со скрещенными костями. У одной изъ стѣнъ стояла желѣзная кровать, покрытая чернымъ солдатскимъ сукномъ, окайменнымъ бѣлой полотняной полоской; наволочки на подушкахъ были тоже черныя, кашемировыя. Съ двухъ сторонъ надъ кроватью, на боковой стѣнѣ и въ головахъ, нарисованы большіе бѣлые кресты, какіе обыкновенно нашиваются на траурныхъ аналояхъ и престолникахъ. На стѣнахъ развѣшана странная коллекція, а именно: три человѣческихъ, нѣсколько собачьихъ, кошачьихъ, конскихъ и бычачьихъ череповъ, челюсти, ребра, рога и разныя кости. Двѣ-три гравюры изображали сцены изъ испанской инквизиціи: на одной сжиганіе на кострѣ, на другой пытка на дыбѣ, на третьей что-то еще болѣе скверное. Словомъ, ничто въ этой странной комнатѣ не напоминало офицера: вся обстановка ея, приличная болѣе суровой келіи изувѣра-аскета, служила явнымъ обличеніемъ мономаніи ея обитателя.

Хвалынцевъ былъ настолько пораженъ, что съ нескрываемымъ изумленіемъ оглядывалъ и стѣны, и хозяина.

— Все самъ устроивалъ... по секрету... на свои деньги, своими руками... и по своему вкусу!—похвалился предъ нимъ Паляница. — Сюда я никого не пускаю, кромѣ идіота и... самыхъ близкихъ людей... Но... вы—свой, про васъ писано, что заслуживаете довѣрія, поэтому вамъ тоже можно... вы, конечно, какъ товарищъ... понимаете?.. Коль скоро велѣно полное довѣріе, я не скрываюсь... Вы не шпіонъ?.. Вѣдь нѣтъ? Не шпіонъ?.. а?.. Посмотрите, я вамъ покажу мои модельки... Прехорошенькія вещицы!.. Какъ вамъ понравится?..

И онъ снялъ со стола простыню, покрывавшую какія-то вещи.

Хвалынцевъ увидѣлъ, дѣйствительно, «прехорошенькія», то-есть очень искусно и щеголевато сдѣланныя, но престранныя игрушки.

Digitized by Google

— Что же это такое?—недоумѣло спросилъ онъ изобрѣтателя.

— Это вотъ, напримѣръ,—началъ Паляница, взявъ въ руки одну вещицу,—это усовершенствованная гильотина! Обратите вниманіе, какъ быстро и спокойно опускается рѣзакъ!.. А? И ни малѣйшаго звука—тихо, плавно!.. Если *эта* отрубитъ голову, то гораздо лучше чѣмъ нынѣшнія... гораздо гуманнѣе... Кабы во Франціи, то привилегію дали бы... а? Какъ вы думаете?.. А это вотъ висѣлица... и тоже усовершенствованная,—продолжалъ Паляница, показывая другую модель.

Но Хвалынцеву стало противно разсматривать дальнѣйшіе продукты изобрѣтательности механика-самоучки, и потому онъ поспѣшилъ обратиться къ нему съ вопросомъ дѣлового свойства.

— Объясните, пожалуйста,—сказалъ онъ,—въ чемъ будутъ заключаться мои обязанности по «комитету» и какого рода работа для меня предполагается?

Этотъ вопросъ видимо затруднилъ Паляницу.

— То-есть, какъ вамъ сказать!—пожалъ онъ плечами.—Пока еще никакой особой работы... Я пока и самъ не знаю... но... подумаемъ... Тамъ, впослѣдствіи, увидимъ... А обязанности... Какія же обязанности? Повиноваться, конечно; дѣлать что укажутъ; обсуждать предметы разные, если потребуется. Ну, вотъ и все пока!

— Позвольте, однако,—возразилъ Хвалынцевъ.—Въ такомъ случаѣ, что же такое этотъ «Варшавскій Отдѣлъ Земли и Воли»? Мистификація что-ли?

Паляница даже обидѣлся нѣсколько.

— Какъ мистификація!?.. Почему вы такъ заключаете?

— По вашимъ же собственнымъ словамъ. Откровенно говоря, я, идучи къ вамъ, воображалъ себѣ нѣчто гораздо болѣе серьезное, а тутъ вдругъ оказывается, что у васъ и дѣлать-то нечего!..

— Хм... Какой вы прыткій!.. Погодите, дѣло найдется... Всему свой чередъ... Дѣло будетъ, не безпокойтесь. Когда придетъ время, скажу. Ну, а пока приходите ко мнѣ почаще... познакомимтесь, потолкуемъ, у меня вы кое-кого встрѣтите. Приходите сегодня вечеромъ... а? Придете? да?

Хвалынцевъ далъ обѣщаніе и поспѣшилъ проститься съ Паляницей.

Смутное и тяжелое впечатлѣніе вынесъ онъ въ душѣ послѣ этого визита. «Гдѣ же эта русская революція? Гдѣ ея сила, если представителемъ ея является вдругъ какой-то полупомѣшанный кадетъ, который и самъ не знаетъ что нужно дѣлать?.. Неужели они всѣ такіе же, какъ этотъ маньякъ?» думалось ему. «Коли такъ, то хорошая компанія, нечего сказать! И что я стану съ ними дѣлать?»

Но онъ постарался убаюкать себя мыслію, что не слѣдуетъ поддаваться первому впечатлѣнію, что надо наперед осмотрѣться, освоиться съ новымъ дѣломъ, ознакомиться ближе съ людьми, и тогда... тогда, смотря по обстоятельствамъ, либо самому стать головой и принять все дѣло въ свои руки, либо идти за другими, если только въ этомъ будетъ хоть какой-нибудь серьезный смыслъ и польза. «А если ни того, ни другого?» все-таки вставалъ въ головѣ назойливый скептическій вопросъ. Но могучимъ и всепокоряющимъ отвѣтомъ на него являлся образъ Цезарины и яркое, живое, обстоятельное воспоминаніе о вчерашнемъ свиданіи съ нею въ темномъ саду, о ея обѣщаніи, о словѣ, взятомъ ею... И тутъ уже въ горячей головѣ Хвалынцева всѣ разсудочныя соображенія, всѣ сомнѣнія разлетались какъ дымъ, тутъ же въ его душѣ возникалъ цѣлый рой блестящихъ радужныхъ надеждъ, порождаемыхъ слѣпою страстью, центромъ которыхъ была она—Цезарина, и все чувство, всѣ помыслы стремились только къ тому, чтобы добиться наконецъ ея полной любви, хотя бы въ расплату пришлось отдать и честь, и голову.

XV.

Варшавскій отдѣлъ «Земли и Воли».

Вечеромъ онъ снова пріѣхалъ къ Паляницѣ и засталъ уже тамъ двухъ-трехъ офицеровъ. Одинъ изъ нихъ, коротенькій человѣчекъ, съ одутловатымъ и лоснящимся отъ поту лицомъ, былъ однополчаниномъ Паляницы. Лицо его, не выражая ровно ничего, служило вывѣской полнѣйшаго внутренняго ничтожества. Онъ вообще говорилъ мало, а больше все отдувался, немилосердно пыхтѣлъ папироской и налегалъ преимущественно на бутылки стоявшаго предъ нимъ пива. Это былъ поручикъ Евгеній Добровольскій, выдававшій себя, смотря по обстоятельствамъ, то за поляка, то за малоросса, хотя въ акцентѣ его явно сказывалось никакъ не малорусское, а чисто польское происхожденіе. Другой офицеръ, капитанъ Велертъ въ разстегнутомъ сюртукѣ, съ ученымъ кантомъ, то и дѣло принималъ изломанно-небрежныя позы, закидывался въ кресло, задиралъ ногу на ногу, и все это ломанье поминутно сопровождалъ зѣвотой и какой-то кислой, брюзгливой миной, которая не сходила съ его болѣзненно-блѣднаго, желчнаго и апатично-утомленнаго лица. Эта мина силилась изобразить презрѣніе къ кому-то и чему-то, дескать: все мнѣ надоѣло, потому что всѣ на свѣтѣ, кромѣ меня, дураки ужасные, пошляки непроходимые, одинъ я только и уменъ, и ученъ, и честенъ. Онъ, очевидно, игралъ здѣсь роль оракула и, обладая способностью безъ умолку трещать съ авторитетной наглостію о чемъ угодно и сколько угодно.

Digitized by Google

сыпля при этомъ именами и мудрыми словечками, приковывалъ къ себѣ подобострастное вниманіе остальныхъ членовъ кружка. Третій собесѣдникъ—саперный прапорщикъ Нарцисъ Кошкадамовъ, походилъ болѣе на семинариста въ военномъ платьѣ, чѣмъ на дѣйствительнаго офицера. На его небритомъ лицѣ болѣе всего кидались въ глаза выдающіяся скулы и острый подбородокъ. Выраженія глазъ нельзя было видѣть, потому что взглядъ ихъ прикрывался синими стеклами очковъ. Онъ то и дѣло пощипывалъ у себя волосики жиденькихъ усиковъ и все старался придать своей улыбкѣ проницающую язвительность. Говорилъ мало, безусловно соглашаясь во всемъ съ капитаномъ Велертомъ и, видимо, раболѣпствуя какъ вѣрный сеидъ предъ его особой. Можно было сразу же замѣтить, что Велертъ—идеалъ для Нарциса Кошкадамова, что Нарцисъ смотритъ его глазами, мыслитъ его умомъ, чувствуетъ его сердцемъ и неудачно стремится во всемъ подражать брюзгливому капитану. Его жидкіе и масляные волосы каштановаго цвѣта вились въ мелкія колечки и были неопрятно и неприлично длинны, вслѣдствіе чего узенькій воротникъ его сюртука былъ сильно залосненъ, несмотря на то, что голова Нарциса сидѣла на длинной и какъ бы гуспной шеѣ. Эта голова то и дѣло упражнялась въ гимнастикѣ поддакивающихъ кивковъ, чуть только капитанъ Велертъ раскрывалъ ротъ, чтобы изречи какую-нибудь «великую истину». Во всемъ его складѣ, въ покроѣ сюртука и во всей неопрятной наружности сказывался тотъ неприличный «шикъ», которымъ по преимуществу любятъ отличаться писаря, фельдшера и инженерные кондукторы семинарско-нигилистическаго пошиба.

Нельзя сказать, чтобы вся эта компанія произвела на Хвалынцева впечатлѣніе благопріятнаго свойства; къ капитану же Велерту онъ съ первой минуты почувствовалъ какую-то безотчетную антипатію, нѣчто отталкивающее. Въ особенности это претенціозное ломанье и эта кисло-брюзгливая улыбка больно ужь стали ему противны.

Хотя Хвалынцеву и не выказали сухости или недовѣрія, но встрѣтили его совершенно равнодушно. Онъ засталъ все общество за чтеніемъ. Паляница, въ своемъ quasi-малорусскомъ костюмѣ, сидѣлъ на диванѣ, поджавъ подъ себя ноги, и вслухъ читалъ своимъ гостямъ листокъ Герценовскаго «Колокола», нѣсколько нумеровъ котораго было разбросано на столѣ.

— Свѣженькіе получили! Садитесь и слушайте!—пригласилъ онъ Хвалынцева, отрекомендовавъ его предварительно по чину и фамиліи всѣмъ собесѣдникамъ.—Господа! вниманіе!—прибавилъ онъ вслѣдъ за тѣмъ, возвысивъ голосъ.—Отвѣтъ на извѣстное вамъ письмо... Слушайте!

И началъ читать:

«Мы получили на дняхъ письмо изъ Польши отъ одного русскаго офицера, писанное отъ имени нѣсколькихъ товарищей его. Много тяжелыхъ минутъ, много устали и горя стираютъ такія строки. Если больше будетъ такихъ офицеровъ, они легко очистятъ русское оружіе отъ ржавчины, которой его покрыла запекшаяся на немъ польская и крестьянская кровь. Вотъ что онъ пишетъ между прочимъ: «Едва поляки замѣтили наши слабыя усилія сблизиться съ ними и смыть позорное пятно, лежащее на насъ, какъ братски подали намъ руку; имъ обязаны мы тѣмъ, что получаемъ «Колоколъ», имъ, что можемъ переслать это письмо. Къ сожалѣнію, они имѣютъ много правъ недовѣрять намъ, потому что офицеры часто принимаютъ на себя роль шпіоновъ»... (Слѣдуетъ небольшой перечень шпіонствующихъ офицеровъ, состоящихъ при варшавскомъ ордонансъ-гаузѣ.) Мы просимъ корреспондента еще разъ провѣрить имена, и тогда мы охотно ихъ отпечатаемъ, въ поощреніе другимъ».

— Надо провѣрить,—замѣтилъ кислый Велертъ.

— Непремѣнно надо! непремѣнно!—тотчасъ же подхватилъ сеидствующій Кошкадамовъ.

— Да ужь не бойтесь: вѣрно! И провѣрять нечего!—порѣшилъ Паляница.—Надо написать, чтобы поскорѣе пропечаталъ, не сомнѣваясь.

— А у васъ въ спискѣ есть такой-то? (Кошкадамовъ назвалъ фамилію одного плацъ-адъютанта).

— Нѣтъ, этого не помѣстили.

— Почему такъ?

— Мм... да о немъ не слыхать ничего такого.

— Это ровно ничего не значитъ, а онъ все-таки свинья! Представьте себѣ, какъ-то разъ въ театрѣ подходитъ ко мнѣ и вдругъ дѣлаетъ замѣчаніе, что у меня волосы черезчуръ длинны, что комендантъ замѣтилъ-де и послалъ его напомнить мнѣ о парикмахерѣ. Каково-съ!?

— Ну, это, не есть доказательство шпіонства,—рѣшился скромно замѣтить Хвалынцевъ.

— Какъ кому-съ!—фертомъ повернулся къ нему прапорщикъ, не совсѣмъ-то довольный мнѣніемъ Константина. — А по моему уже одинъ этотъ оранжевый воротникъ есть патентъ на шпіонство! И при томъ, господа, надо было слышать тонъ, которымъ онъ позволилъ себѣ передавать замѣчаніе... Знаете, эдакая сухая полицейская вѣжливость... Я, конечно, промолчалъ, потому что не стоитъ же чортъ знаетъ съ кѣмъ затѣвать исторію и подвергаться непріятностямъ, но тѣмъ не менѣе этого господина непремѣнно слѣдуетъ внести въ списокъ и пропечатать! Непремѣнно!

— Ну, ну, не горячись! внесу, внесу, будь покоенъ,—ублажилъ Нарциса Паляница.

Digitized by Google

— Мое мнѣніе, вовсе не слѣдуетъ имена печатать,—замѣтилъ коротышъ Добровольскій, пружась и созерцая свой стаканъ пива, — бо этимъ мы для нихъ только одолженье сдѣлаемъ, потому что начальство за это ихъ же скорѣйшъ на повышеніе и къ наградѣ представить.

— Совершенно основательно! — согласился Велертъ. Физіономія Нарциса вытянулась въ недовольную мину, а шея, кажись, стала еще длиннѣе, но, какъ вѣрный сеидъ, онъ не посмѣлъ ни единымъ словомъ поперечить своему повелителю и, съ прискорбіемъ въ душѣ, долженъ былъ отказаться отъ сладкой надежды насолить посредствомъ «Колокола» лично для него непріятному офицеру.

— И то правда! Значитъ, написать, чтобы не печаталъ вовсе,—порѣшилъ Паляница, и снова взялся за «Колоколъ».

«...Мы думаемъ, что съ нашей стороны необходима искупительная жертва», продолжалъ онъ чтеніе. «Мы готовы на нее, и только ждемъ случая принести ее съ возможно большей пользой».

— А теперь, господа, слушайте слова самого Герцена!—и Паляница не безъ торжественности и даже съ декламаціей прочелъ возвышеннымъ голосомъ слѣдующее:

«...Съ этимъ сознаніемъ прошлаго грѣха, съ этой готовностью пасть жертвой искупленія, съ этимъ смиреніемъ, можно надѣлать чудеса! Вашу руку, будущіе герои, будущіе мученики, будущіе воины русскаго земства!» [1])

— Ура!!—егозливо сорвался съ мѣста Кошкадамовъ, желая изобразить «неподдѣльный» восторгъ и увлеченіе.

— Вы понимаете... какъ много значитъ... это слово, господа!—растроганнымъ и взволнованнымъ голосомъ заговорилъ Паляница.—Да!.. это, слово... вѣдь это... это благословеніе, господа!.. Шутка сказать!.. Герценъ... и вдругъ такое привѣтствіе... Этимъ гордиться надо, господа!..

— Ничего себѣ, статейка бойкая!—процѣдилъ сквозь зубы Велертъ, небрежно покачиваясь на креслѣ.

— Нѣтъ! не говорите такъ! Не кощунствуйте!—возопилъ на него Паляница даже съ какимъ-то глухимъ завываньемъ въ голосѣ.—Вѣра нужна, господа!.. вѣра и увлеченіе!

— Да что онъ вамъ далъ? Папа римскій, что-ли?!

— Да! папа!.. больше, чѣмъ папа! — Монархъ русской революціи! Богъ! вотъ кто!.. Я только и свѣтъ узналъ, какъ его увидѣлъ! Прозрѣлъ!... А безъ него что я? Прохвостъ былъ и только! Я душу за него отдамъ! — стукнулъ себя въ грудь кулакомъ Паляница,—и при мнѣ... никому не позволю... никому! Никто не смѣетъ!...Да!

— Послушайте, поручикъ,—лѣниво заговорилъ Велертъ.—Вы, какъ извѣстный матросъ, умираете за генерала Джаксона. Я Герцена уважаю не менѣе васъ, но мнѣ кажется, что вѣра и рѣшимость на дѣло должны составлять продуктъ нашего собственнаго мышленія и чувства; мы ближе видимъ, ближе чувствуемъ и понимаемъ дѣло, чѣмъ онъ «съ того берега», и намъ вовсе не нужно никакихъ санкціонированій; мы и безъ нихъ пойдемъ себѣ сами! А вы его рядите въ роль какого-то баньщика и хотите, чтобъ онъ вамъ поддавалъ пару вѣры и увлеченія.

— Велертъ!.. Молчите!—завопилъ побѣднѣвшій Паляница, нервно потрясая опущенными кулаками.—Молчите, капитанъ!.. Я хорошо понимаю васъ... У васъ вездѣ только свое «я» на первомъ планѣ... Вы слишкомъ самолюбивы... Вамъ кажется, что правительство не достаточно васъ оцѣнило... поэтому вы и злы на правительство... только поэтому!.. Поэтому вы и съ нами... Вы разсчитываете, что здѣсь скорѣе добудете извѣстность и славу... Вотъ почему вы тутъ, а не по призванію!

Слова Паляницы, повидимому, попали въ самую чувствительную жилку. Велертъ закусилъ губу и всталъ съ видомъ оскорбленнаго человѣка, который на дерзость платитъ презрѣніемъ, взялъ свою кепи и удалился, отдавъ общій поклонъ, но не протянувъ руки хозяину.

Заметавшійся Нарцисъ Кошкадамовъ поспѣшилъ за своимъ идоломъ.

— И лучше!.. Провалитесь къ чорту!—буркнулъ вослѣдъ имъ Паляница.—Вотъ такъ-то и все у насъ! Чуть сойдемся, и поругаемся!.. Никакого единства!—обратясь къ Хвалынцеву, промолвилъ онъ какъ бы въ назиданіе. — А впрочемъ, чортъ съ ними!.. Кума съ возу—кому легче!

— Теперь они свой особливый «Отдѣлъ» зачнутъ основывать,—насмѣшливо замѣтилъ Добровольскій.

— Ну и пусть!.. Надо будетъ писнуть къ Герцену... Ошельмуемъ такъ, что никто вѣры не дастъ... Пусть тогда основываются!

— Это хорошо! — согласился коротышъ.— Але жь когда писать, то надо какъ найскорѣйшъ, а то они и сами могутъ написать, предупредить могутъ.

— Не боюсь!—съ сознаніемъ собственнаго достоинства заявилъ Паляница.—Не боюсь!.. *Онъ* знаетъ кто я, и мнѣ больше повѣрятъ.. можно сообщить въ формѣ протокола... и за печатью.

Этой быстро разыгравшейся сцены и послѣдующаго разговора было совершенно достаточно, чтобы Хвалынцевъ понялъ, что тутъ, въ этомъ крохотномъ кружкѣ, въ этомъ громкомъ «Отдѣлѣ Земли и Воли», царствуетъ полнѣйшая разладица и мелкая интрига, основанная на лич-

[1]) «Колоколъ», 1862 года, № 135.

Digitized by Google

ныхъ болѣзненныхъ самолюбіяхъ. Онъ однако имѣлъ терпѣнье досидѣть до конца вечера, въ расчетѣ, что не все же будутъ одни только чтенія да разговоры, что коснется же наконецъ Паляница и самой сути ихъ «общаго» дѣла, но увы! ожиданіе это было вовсе неосновательно. Поручикъ, поуспокоившись, снова принялся за «Колоколъ» и громко прочелъ весь нумеръ отъ доски до доски. Добровольскій, ни разу не привставъ съ мѣста, все время слушалъ его съ истинно воловьимъ терпѣніемъ, тупо погрузивъ свой взглядъ въ донце пивного стакана. Хвалынцеву стало наконецъ скучно, такъ что онъ исподтишка раза два скромно зѣвнулъ себѣ въ руку. Но это не укрылось отъ зоркаго Паляницы. Пріостановивъ на минуту свое чтеніе, онъ замѣтилъ ему дружески внушительнымъ тономъ:

— Нѣтъ, однако, вы слушайте, а не зѣвайте!.. Вы слушайте, говорю, потому что... здѣсь каждое слово—откровеніе... каждая строка—евангеліе!

Но наконецъ была дочитана и послѣдняя строка послѣдняго нумера, возвѣщавшая, что слѣдующій листъ «Колокола» выйдетъ такого-то числа, и Паляница бережно сложилъ и спряталъ листокъ съ такимъ вздохомъ, какъ будто ему сердечно и глубоко жаль, что нѣтъ у него еще, еще и еще безконечнаго продолженія этой «духовной пищи».

Разговоръ шелъ довольно вяло, потому что Паляница былъ вообще не мастеръ на краснобайство, а Добровольскій и тѣмъ болѣе: онъ по большей части отдѣлывался односложными словами, рѣдко выдавливая изъ себя двѣ-три какія-нибудь недлинныя фразы, и только все отдувался да обтиралъ потный лобъ надъ своимъ пивомъ. Паляница снялъ со стѣны общипанный торбанъ.

— Давайте я вамъ «пісню чи то думку заспіваю!»—сказалъ онъ.

И усѣвшись въ свою любимую позу—«по-турецки» или «по-запорожски», поджавъ подъ себя ноги и подстроивъ инструментъ, онъ задумчиво забрянчалъ по далеко неполнымъ струнамъ.

„Мовчитъ море, мовчатъ горы
Могилы сумуютъ,
А надъ дитьми казацькими
Москали пануютъ!“

чувствительно пѣлъ или, лучше сказать, нылъ Паляница своимъ глухимъ баритономъ, воображая себя въ эту минуту запорожскимъ казакомъ или бандуристомъ. Хвалынцевъ въ душѣ долженъ былъ сознаться, что это «нытье» вовсе не усладительно и далеко не мелодично.

— Вы малороссъ?—спросилъ онъ, когда Паляница кончилъ.

— Я? Эге! Съ-питъ самóго Пирятина! — похвалился поручикъ, заговоривъ вдругъ малороссійскимъ жаргономъ. — Батькú уси пильтáвськи та черныговськи!.. А ось мои бòги!— указалъ онъ на портреты Сковороды и Шевченка.

— И, какъ кажется, вы большой патріотъ малорусскій?—спросилъ Константинъ Семеновичъ.

— Я?.. Хиба жь вы не бачите?!.. Плоть одъ плоти и кость одъ кости!.. И костюма дòма иного не ношу, какъ только «оцэй-ось»... А чтò я вамъ покажу еще!—сорвался онъ вдругъ съ мѣста, съ необычайно довольной улыбкой, и бросился къ платяному шкапу. Очевидно, Паляница попалъ на самаго любимаго своего конька, и потому весь претворился какъ то изъ суроваго буркающаго заговорщика въ наивно благодушнаго, расплывчатаго хохла. Онъ вытащилъ изъ шкапа сермяжную свитку съ каптуромъ и широкія чумскія шаровары, насквозь пропитанныя дегтемъ.

— Ось вамъ! дывитесь-бо! — торжественно возгласилъ онъ, распяливая предъ Хвалынцевымъ эти чумацкіе доспѣхи и объясняя, что самъ добылъ ихъ подъ Чигириномъ у чумака! Якъ пахнуть!... а?!.. Понюхайтэ!

И поднеся къ своему носу шаровары, онъ съ истиннымъ наслажденіемъ потянулъ въ себя ихъ дегтярное благовоніе.

Хвалынцевъ не могъ удержаться отъ невольной улыбки.

Паляница замѣтилъ и обидѣлся.

— Вы улыбаетесь... Напрасно!.. Улыбаться нечему!—заговорилъ онъ, косясь и морщась, и притомъ сразу взявъ свой обыкновенный буркающій тонъ. — Смѣяться вообще легко-съ... да!.. къ сожалѣнію, очень легко-съ... Но надо напередъ почувствовать... проникнуться... Для иного это — штаны и только, а для иного — святыня... потому что это народное... это народъ... это труженникъ носитъ... это запахъ пота и крови труженника!.. Да-съ!.. А смѣяться можно надъ чѣмъ угодно... Смѣхомъ насъ не удивишь!..

И онъ бережно заперъ въ шкапъ свои чумацкія «святыни». Хвалынцевъ изъ вѣжливости началъ было, впрочемъ довольно умѣренно, завѣрять его, что онъ, Паляница, ошибается, принимая его улыбку въ такую сторону.

— Такъ чему же вы улыбнулись... позвольте допытаться!?—покосился на него поручикъ.— Согласитесь, это довольно глупо.

Хвалынцеву стало наконецъ досадно.

— Да хотя бы тому, что нахожу въ васъ громадное противорѣчіе съ самимъ собою! — рѣшился онъ высказаться напрямикъ. — Вы, извините за откровенность, называете себя малорусскимъ патріотомъ, и въ то же время за поляковъ горой стоите, всѣмъ войскомъ помогать имъ собираетесь... Какъ это въ васъ одно съ другимъ совмѣщается?

— А чтò жь такое?

— Да вспомните немножко исторію вашей родины, коли вы ее знаете!

Digitized by Google

— Помню и знаю-съ!.. Такъ что же?

— А то, что будь живъ хотя бы Тарасъ Шевченко, не говоря уже о Гонтахъ и Желѣзнякахъ, такъ вѣдь онъ, поди-ка, не благословилъ бы васъ на такое дѣло.

Паляница понуро задумался.

— Хм!—сказалъ онъ наконецъ.—Вы, можетъ полагаете, что Тарасъ назвалъ бы меня «нэ дорóбленымъ»?.. была у покойника привычка такая... любилъ это словцо!.. Хм... Такъ что ли?

— Пожалуй, вы и не ошибаетесь,—согласился Хвалынцевъ.

— Да-съ... Я не ошибаюсь!.. Но вы ошибаетесь!.. Я вамъ объясню... Полякъ съ малороссомъ, положимъ, злые враги... Но у меня и у поляка есть общій злѣйшій врагъ — правительство!.. Я помогу поляку свалить прежде всего этого общаго врага... а ужь потомъ... тамъ мы сами промежъ себя разберемся... И Герценъ говорилъ мнѣ то же, когда я въ Лондонѣ былъ... Это идея... Да-съ!.. И выходитъ все-жь-таки, что смѣяться нечему!

«Кадетъ!.. Непроходимый кадетъ!.. И облóмина-то какая!» мысленно повторялъ Хвалынцевъ, уходя отъ поручика Паляницы.

XVI.

Политика и жизнь наканунѣ взрыва.

Межъ тѣмъ, пока Хвалынцевъ, поглощенный своею страстью къ Цезаринѣ, жилъ исключительно въ мірѣ своего внутренняго чувства, своей борьбы и страданій, событія міра политическаго и жизни общественной шли своимъ чередомъ и близились къ роковой и грозной развязкѣ. Тайный комитетъ святой справы польской, готовясь къ открытому возстанію съ оружіемъ въ рукахъ, спѣшилъ заручиться сочувствіемъ европейской прессы. Чарторыйскіе и Замойскій не жалѣли денегъ на подкупы журналистовъ. Герцену не платили денегъ, но зато Герценъ былъ поддѣтъ на самолюбіе и купленъ обманомъ: партія магнатовъ, черезъ нѣкоторыхъ своихъ агентовъ, притворявшихся красными демократами, успѣла убѣдить его, что будто бы Центральный Комитетъ до такой степени преисполненъ благоговѣнія къ его доктринамъ, что объявилъ своимъ принципомъ «право крестьянъ на землю» и «право всякаго народа располагать своей судьбой». По этому поводу было даже подтасовано письмо къ нему въ Лондонъ. Герценъ поспѣшилъ объявить, что это письмо «отмѣчаетъ новую эпоху въ великой эпопеѣ польской борьбы за независимость», потому что начала возстанія такъ широки де, такъ современны и такъ ясно высказаны, что мы де «не сомнѣваемся въ глубокомъ дѣятельномъ сочувствіи, которое возбудятъ ваши слова во всѣхъ русскихъ», а потому де «съ радостью передали ваши слова нашимъ соотечественникамъ, и благодаря васъ отъ всего сердца за то, что вы избрали насъ посредниками вашего сближенія съ русскими, мы не можемъ ничѣмъ достойнѣе отвѣчать вамъ, какъ печатая письмо къ русскимъ офицерамъ, стоящимъ въ Польшѣ». Это письмо издателей «Колокола», начинавшееся словами: «Друзья и Братья!» всемѣрно старалось убѣдить русскихъ офицеровъ, что поддерживать правительство имъ невозможно, «не совершивъ сознательно преступленія или не унизившись до степени безсознательныхъ палачей», что «время слѣпого повиновенія миновало» и что «дисциплина не обязательна тамъ, гдѣ она зоветъ на злодѣйство».—«Не вѣрьте этой религіи рабства (т. е. дисциплинѣ)», восклицали издатели «Колокола»; «на ней основаны величайшія бѣдствія народовъ! Не подымать орудія противъ поляковъ заставляетъ васъ совѣсть, уваженіе къ правотѣ ихъ дѣла, къ достоинству человѣка и наконецъ уваженіе къ нашему русскому земскому дѣлу». Они «съ чистой совѣстью, со страхомъ истины», совѣтовали имъ «идти подъ судъ, въ арестантскія роты, быть разстрѣляннымъ, быть поднятыми на штыки, но не подымать оружія противъ поляковъ»; они учили, какимъ образомъ слѣдуетъ организовать въ полкахъ тайные кружки съ цѣлью заговора и революціи, какъ «дѣлать пропаганду» между солдатами и увѣряли, что ежели офицеры бросятся съ русскими и польскими солдатами въ Литву и Малороссію, то имъ откликнутся «Волга и Днѣпръ, Донъ и Уралъ»! [1]) Герценъ въ этомъ случаѣ, по отзывамъ самихъ-же поляковъ, игралъ въ ихъ рукахъ «роль лимона, изъ котораго слѣдуетъ выжать послѣднія капли соку, для того, чтобы потомъ выбросить его за окно» — и Герценъ, ничто-же сумняшеся, дѣйствительно разыгралъ роль выжатаго лимона. Но въ то время слово его значило еще много. Между тѣмъ, Центральный Комитетъ въ Варшавѣ, еще гораздо ранѣе Герценовскаго посланія къ «друзьямъ и братьямъ», т.-е. со времени объявленія военнаго положенія, уже самъ по себѣ сталъ заботиться, чтобы пріобрѣсти сочувствіе войскъ, расположенныхъ въ краѣ, для чего и началъ распространять между войсками возмутительныя прокламаціи на русскомъ языкѣ, обращенныя непосредственно къ солдатамъ. Но всѣ эти попытки оказались тщетными: съ одной стороны, солдатъ оставался неколебимо вѣренъ своему долгу, а съ другой—ненависть и раздраженіе шляхты и мѣщанъ, фанатизированныхъ ксендзами, были до такой степени велики, что ихъ уже не могли сдержать никакіе совѣты, увѣщанія и предписанія Центральнаго Комитета: при каждомъ мало-мальски удобномъ случаѣ, гдѣ можно было разсчитывать на безнаказан-

[1]) „Колоколъ“, 1862, № 147.

Digitized by Google

ность, солдатъ и офицеръ постоянно подвергались оскорбленіямъ. А этихъ случаевъ, несмотря на военное положеніе, было-таки достаточно много... Весь результатъ, какого успѣли добиться въ этомъ отношеніи члены Центральнаго Комитета, заключался въ томъ лишь, что нѣсколько офицеровъ, между которыми на двѣ трети были поляки, увлеклись ихъ комитетской и Герценовской пропагандой и поплатились за это жестоко. Поручики: Иванъ Арнгольдъ, Василій Каплинскій, Станиславъ Абрамовичъ, подпоручикъ Петръ Сливицкій, унтеръ-офицеръ Францъ Ростковскій и рядовой Леонъ Щуръ сдѣлались жертвами этой пропаганды. Арнгольдъ, Сливицкій и Ростковскій оказались виновными въ распространеніи между своими подчиненными возмутительныхъ сочиненій и вредныхъ идей, имѣвшихъ цѣлью колебать въ нихъ духъ вѣрности, и въ возбужденіи нижнихъ чиновъ къ явному неповиновенію начальству и къ открытому бунту. За эти преступленія Арнгольдъ, Сливицкій и Ростковскій, 16-го іюня 1862 года, по конфирмаціи графа Лидерса, были разстрѣляны во рву Новогеоргіевской крѣпости, а остальные сосланы на каторгу или подвержены срочному заключенію въ казематахъ. Герценъ по поводу ихъ смерти разразился слѣдующей іереміадой:

«16-го іюня 1862 г. совершилось великое преступленіе... Черный день этотъ будетъ памятенъ и вамъ, поляки, за которыхъ умерли три русскихъ (?) мученика, и ихъ товарищамъ, которымъ они завѣщали великій примѣръ, и намъ всѣмъ, которымъ они указали—не только, какъ это правительство, набѣленное прогрессомъ, легко убиваетъ, но какъ проснувшіеся къ сознанію офицеры наши геройски умираютъ! [1])

«Колоколъ», не взирая на обличающую явность именъ и фамилій, силился убѣдить, что преступники какъ эти, такъ и другіе «*всѣ русскіе*», а потому де «всѣхъ перестрѣлять неловко», и съ замѣчательной наивностью возвѣщалъ, что «жертва эта была необходима», такъ какъ «она произвела наилучшее впечатлѣніе на поляковъ и войско» [2]). Въ повонзковскомъ лагерѣ, подъ Варшавой, была устроена ничтожная демонстрація. Полякъ-офицеръ, поручикъ Готскій-Даниловичъ, въ сообществѣ съ поручиками Зейномъ и Огородниковымъ, обманнымъ образомъ успѣли склонить священника, чтобы тотъ отслужилъ имъ панихиду по рабамъ Божіимъ Іоаннѣ, Петрѣ и Ѳеодорѣ, и это, само по себѣ мизерное обстоятельство дало «Колоколу» поводъ пышно благовѣстить «о наилучшемъ впечатлѣніи на войско»!

Въ отмщеніе за казнь трехъ преступниковъ, Центральный Комитетъ постановилъ казнить нѣсколько русскихъ и рѣшилъ начать съ исправляющаго должность намѣстника Царства, графа Лидерса, въ качествѣ лица, конфирмовавшаго смертный приговоръ. Въ Саксонскомъ саду есть особое отдѣленіе, гдѣ устроенъ ресторанъ и заведеніе минеральныхъ водъ. Лѣтомъ, съ шести часовъ утра, тамъ уже пилитъ на скрипицахъ плохенькій оркестрикъ, прогуливаются варшавянки, какъ павы, въ полномъ туалетѣ, фланируютъ нѣкоторые «элеганты», дѣлаютъ свой моціонъ разные дряхлые «эмериты», пьющіе воды, и сидятъ за особыми столиками цѣлыя семейства со чады и домочадцы, являющіяся сюда пить «млéко» и утреннюю» кáву зо сметáнкей». Въ лѣто 1862 года, тутъ-же можно было встрѣчать и генералъ-адъютанта Лидерса, который тоже пользовался минеральными водами. 15-го (27-го) іюня, въ $7^1/_2$ часовъ утра, неизвѣстный человѣкъ подошелъ къ графу сзади и почти въ упоръ направилъ въ него дуло пистолета. Раздался выстрѣлъ, прожегшій воротникъ пальто. Графъ былъ раненъ. Убійца хладнокровно продулъ пистолетъ, положилъ его въ карманъ и, посреди гуляющей публики, преспокойно, неторопливымъ шагомъ, вышелъ изъ сада чрезъ «цукерню» на Граничную улицу. И между всей этой публикой не нашлось человѣка, который бросился бы за убійцей: никто не рѣшался или не желалъ преслѣдовать, не исключая даже и полицейскихъ агентовъ. Такимъ образомъ убійца остался неоткрытымъ, а «Колоколъ», возвѣщая объ этомъ происшествіи, заявлялъ, что несмотря на полное его равнодушіе къ тому, живъ-ли Лидерсъ или нѣтъ, «все-таки досадно, что его подняли до выстрѣла и реабилитировали до раны», и распространялъ увѣренія, будто въ Варшавѣ общественное мнѣніе и даже сама полиція приписываютъ выстрѣлъ русскому, но никакъ не поляку [1]). «Колоколу» не хотѣлось, чтобы въ глазахъ Европы пятно перваго убійства пало на негодяя польской національности.

Еще до этого выстрѣла, а именно въ концѣ мая мѣсяца, по Варшавѣ пошли слухи, что въ Царство назначается новый намѣстникъ. Слухи эти не замедлили оправдаться на дѣлѣ. 29-го мая (10-го іюня) графъ Лидерсъ, при открытіи засѣданій Государственнаго Совѣта, объявилъ, что онъ получилъ отъ Государя Императора телеграмму, которая извѣщаетъ о назначеніи великаго князя Константина Николаевича намѣстникомъ Царства, а Маркиза Велепольскаго начальникомъ гражданскаго управленія.

Торжество этого магната послѣ недавняго паденія было теперь несомнѣнное, и, въ виду такого торжества, всѣ партіи замолкли противъ него на нѣкоторое время: дескать «наша взяла! Поглядимъ, что будетъ далѣе!» Перемѣны въ главномъ управленіи Края всѣ при-

[1]) „Колоколъ“, 1862 года, № 140.
[2]) „Колоколъ“, 1862 года, № 143.

[1]) „Колоколъ“, №№ 139 и 143.

Digitized by Google

лисывали исключительно вліянію маркиза, и онъ самъ не только не отрицалъ, но даже положительно заявилъ о томъ при первомъ удобномъ случаѣ.

Маркизъ Велепольскій пріѣхалъ въ Варшаву за двѣ съ половиной недѣли до прибытія великаго князя, уже въ роли главнаго начальника по гражданскому управленію, то-есть въ роли «премьера», какъ называли тогда въ Варшавѣ, и на другой-же день, 5-го (17-го) іюня, при пріемѣ представителей всѣхъ подвѣдомственныхъ ему мѣстъ и учрежденій, обратился къ нимъ съ рѣчью, изъ которой всѣ ясно увидѣли, что политическая программа его заключается въ автономіи, строго ограниченной предѣлами Царства. Эти предѣлы удовлетворили весьма немногихъ; большинство-же и слышать не хотѣло о какой-нибудь «Конгрессувкѣ»: «подавай всю Польшу», въ предѣлахъ, по крайней мѣрѣ, 1772 года—Польшу «вольную и неподлеглую», съ сеймомъ, арміей и «флотой». Красная партія рѣшила «заявить *неудовольствіе* націи въ виду новаго порядка»—убійствомъ великаго князя. Нѣкто Игнатій Хмѣленскій, сынъ польскаго помѣщика, со своимъ подручнымъ, портняжнымъ подмастерьемъ Радовичемъ, подыскали «нужнаго человѣка», тоже портняжнаго подмастерья, двадцати-двухлѣтняго парня Людвига Ярошинскаго, который взялся выполнить убійство.

На другой же день по прибытіи великаго князя злодѣи съ утра слѣдили за нимъ въ то время, когда онъ былъ въ православномъ соборѣ, но не дождавшись его выхода оттуда, отправились къ фарѣ, гдѣ нашли, что имъ точно также будетъ не безопасно совершить свое намѣреніе, которое однако же Ярошинскій успѣлъ выполнить въ тотъ же день вечеромъ, при выходѣ великаго князя изъ театра. Къ счастью, какъ извѣстно, пуля причинила только легкую рану. Ярошинскій былъ схваченъ на мѣстѣ. Сообщникъ же его, какой-то молодой человѣкъ, имя котораго Ярошинскому не было извѣстно, успѣлъ скрыться. Радовичу съ Хмѣленскимъ тоже удалось бѣжать за границу.

Маркизъ Велепольскій, по поводу этого преступнаго покушенія, выступилъ въ засѣданіи Государственнаго Совѣта съ пышной рѣчью (вообще, маркизъ очень любилъ произносить «руководящія рѣчи»), гдѣ заявлялъ о скорби и негодованіи, проникнувшихъ народъ польскій, когда «послѣ свѣтлыхъ дней, ночь изъ скрытой пещеры своей изринула это новое покушеніе, исполнившее весь Край ужаса». Но увы!—заявленіе о скорби и негодованіи поляковъ какъ нельзя болѣе расходилось съ истиной. Всѣ очевидцы и безпристрастные свидѣтели того времени очень живо еще помнятъ, что чувства эти выразились только въ русскомъ варшавскомъ кружкѣ, да въ русскомъ военномъ сословіи; у поляковъ же выразилась одна только *сконфуженность*, которою руководили страхъ и опасеніе, что теперь-то вотъ вѣроятно будутъ приняты противъ нихъ самыя крупныя и крутыя мѣры. Но какъ скоро они увидѣли, что никакихъ крутыхъ мѣръ не предпринимается, то сконфуженность и страхъ тотчасъ же уступили мѣсто прежнему нахальству и удвоенной наглости. Ярошинскій, судившійся гласнымъ судомъ при польскомъ защитникѣ, былъ приговоренъ къ повѣшенію, и это общество, питавшее, по увѣреніямъ маркиза, такое сильное негодованіе къ убійствамъ, не затруднилось тотчасъ же признать въ Ярошинскомъ святого мученика, покланяться трупу его на висѣлицѣ и даже открыть особое небесное знаменіе, по поводу его смерти. Во время его казни случилось весьма обыкновенное при лѣтнихъ жарахъ явленіе туманнаго кольца вокругъ солнца. Это тотчасъ же было разъяснено какъ чрезвычайное небесное знаменіе, въ видѣ благословенія свыше, ниспосланное мученику. Трупъ оставался на висѣлицѣ до вечера, и во все это время толпы варшавскихъ обывателей, множество лицъ высшаго класса и въ особенности множество дамъ въ глубокомъ траурѣ приходили воздать «мученику» послѣдній долгъ патріотическаго благоговѣнія и, стоя на колѣняхъ, молились ему, какъ святому. Гицеля по червонцу и даже болѣе продавали потомъ кусочки веревки, на которой онъ былъ повѣшенъ, и модныя патріотки оправляли эти кусочки въ золото, и какъ «реликвіи» вставляли къ себѣ въ медальоны, въ крестики, въ брошки, браслеты и кольца. А нѣкій ловкій портной изъ евреевъ сдѣлалъ даже очень выгодный «гешефтъ», въ теченіе цѣлаго мѣсяца все продавая по секрету сюртукъ Ярошинскаго, и такимъ образомъ напродавалъ этихъ сюртуковъ значительное количество и на очень солидную сумму. Наконецъ, 28-го августа во всѣхъ варшавскихъ костелахъ открыто была отправлена панихида, «за душу новаго мученика свободы Людвига Ярошинскаго», какъ извѣщало о томъ объявленіе, которое заблаговременно въ изобиліи разбрасывалось на улицахъ.

Маркизъ—надо отдать ему справедливость—очень энергически принялся за дѣла управленія и за свои реформы, стараясь развить какъ можно шире основы польской автономіи. Онъ ускорилъ введеніе на выборномъ началѣ губернскихъ уѣздныхъ и городскихъ совѣтовъ и открытіе ихъ дѣйствій. Для этой-то будто бы цѣли, подъ предлогомъ, что военное положеніе, на которомъ находился Край, препятствуетъ скорѣйшему введенію въ жизнь новыхъ институцій, маркизъ Велепольскій настоялъ на снятіи этого военнаго положенія почти со всей территоріи Царства, за исключеніемъ лишь десяти городовъ, наиболѣе рѣзко проявлявшихъ въ себѣ революціонную смуту. Но главнѣй-

Digitized by Google

шимъ образомъ принялся маркизъ «очищать» Край «отъ лишняго сора». Это «очищеніе» заключалось въ немедленномъ и быстромъ замѣщеніи всѣхъ должностей, какъ высшей, такъ и низшей администраціи, исключительно поляками. Съ этой цѣлью онъ удалилъ отъ должностей и изъ службы не только всѣхъ русскихъ чиновниковъ, но даже и тѣхъ изъ поляковъ, которые въ общественномъ мнѣніи не пользовались репутаціей хорошихъ и вполнѣ надежныхъ патріотовъ.

Между тѣмъ русское правительство, все еще не теряя надежды на успокоеніе Края мирнымъ путемъ, не охладѣло въ своихъ уступчивыхъ намѣреніяхъ даже и послѣ примѣненія системы революціонныхъ убійствъ и террора, которые, по плану заговорщиковъ, должны были «упростить» и «ускорить» дѣло возстановленія Польши. Въ это время появилось первое воззваніе великаго князя намѣстника къ полякамъ, которое тономъ своей глубокой и доброжелательной искренности навѣрное сдѣлало бы самое свѣтлое, отрадное и миротворное впечатлѣніе на всякое другое общество; но для общества польскаго оно осталось вполнѣ безплоднымъ. Великій князь между прочимъ исчислялъ въ этомъ воззваніи всѣ реформы, уже утвержденныя Высочайшею властію, въ удовлетвореніе дѣйствительныхъ потребностей Края, какъ-то: учрежденіе Государственнаго Совѣта, организація университета и училищъ, очиншеваніе крестьянъ, эмансипація евреевъ, учрежденіе выборныхъ земскихъ совѣтовъ, преобразованіе администраціи и проч.

И что же?—Первымъ отвѣтомъ на воззваніе великаго князя со стороны не «красныхъ», а самыхъ «умѣренныхъ» и «бѣлыхъ» патріотовъ была дерзкая выходка, которая заключалась въ томъ, что эти господа подали графу Андрею Замойскому адресъ, гдѣ они гордо заявляли, что, какъ поляки, они тогда только станутъ съ довѣріемъ подкрѣплять правительство, «когда это правительство будетъ *нашимъ польскимъ*, когда, при свободныхъ институціяхъ, будутъ *соединены всѣ области*, составляющія нашу отчизну», и въ заключеніе удостовѣряли, что они не умѣютъ «дѣлить любви къ отечеству» и любятъ *всю* свою отчизну, «въ тѣхъ предѣлахъ, которые начертаны ей Богомъ и завѣщаны народными преданіями».

Слѣдствіемъ этой выходки была высылка графа Замойскаго въ Петербургъ, гдѣ ему и предложено выѣхать за границу. Но паденіе популярнаго Замойскаго, какъ сильнаго соперника непопулярнаго маркиза Велепольскаго, уже окончательно раздражило и озлобило противъ послѣдняго все польское общество, которое въ ослѣпленной злобѣ своей не понимало сокровеннаго смысла и истиннаго значенія всѣхъ его дѣйствій и мѣропріятій... Не вполнѣ еще понимали его въ то время и русскіе. Между тѣмъ, событія быстро шли впередъ. Реформы Велепольскаго не удовлетворили никого. Умѣренные рѣшили, что надо возможно шире пользоваться даруемыми льготами, чтобы посредствомъ ихъ принести какъ можно болѣе пользы польскому дѣлу и какъ можно болѣе вреда причинить Россіи. Красные же шли напроломъ и, въ концѣ концовъ, посредствомъ террора, тиранически подчинили своей невидимой силѣ общественную волю. Противъ самого Велепольскаго было сдѣлано два покушенія. Подметныя письма ежедневно грозили ему, но маркизъ обезопасилъ себя тѣмъ, что на улицахъ показывался не иначе какъ въ глухой желѣзной каретѣ, окруженной десяткомъ жандармовъ, которые съ грохотомъ и пылью во всю прыть эскортировали его во время проѣздовъ.

Подземная революціонная организація не только не ослабѣла, но росла и крѣпла. Въ началѣ октября она дополнена учрежденіемъ «народнаго революціоннаго союза», задача котораго заключалась въ прямомъ вооруженномъ возстаніи не противъ мѣстной администраціи, но противъ Россіи, противъ русскаго Царя и русскаго народа, съ цѣлью возстановленія Польши во всѣхъ тѣхъ ея предѣлахъ, которыми исторически она когда-либо владѣла. Во главѣ этого союза стоялъ, помимо «ржонда народоваго», еще «комитетъ народовы революцыйны», подъ предсѣдательствомъ Мѣрославскаго, причемъ однако «ржондъ народовы» оставался въ полной своей силѣ. Интриги, происки, подкопы и козни между тѣмъ и другимъ учрежденіемъ не замедлили обнаружиться съ перваго же дня ихъ существованія. Подпольныя газеты: «Рухъ», «Стражница» и другія, тотчасъ же опубликовали «Уставъ народнаго ревслюціоннаго союза», «Уставъ народнаго революціоннаго комитета» и «Инструкціи для уѣздныхъ комитетовъ», а «Центральный Народный Комитетъ», или такъ-называемый «ржондъ народовы», въ свою очередь опубликовалъ въ тѣхъ же газетахъ свое постановленіе», въ силу котораго «каждый гражданинъ, любящій отчизну и желающій возстановить ея самостоятельность», долженъ былъ уплатить единовременно «надзвычайную» народную подать, основою которой служилъ капиталъ каждаго изъ гражданъ, считая въ полпроцента отъ ста съ недвижимыхъ имуществъ и капиталовъ. Срокъ уплаты этой подати назначался къ 10-му ноября 1862 года. Въ Польшѣ находится весьма значительное число иностранныхъ колонистовъ, ремесленниковъ, фабрикантовъ и заводчиковъ, изъ которыхъ очень и очень многіе живутъ тамъ, не принимая русскаго подданства. Всѣ эти лица, а также большинство евреевъ и крестьянъ, уже много разъ обираемые и до этого времени ксендзами и разными пройдохами, чувствуя всю тягость послѣдней «над-

Digitized by Google

звычайной» подати, отказались было платить ее. Тогда «ржондъ народовый» пустилъ въ дѣло поджоги. Города и села запылали по цѣлому Краю; пожары охватили Литву, Бѣлоруссію, Украйну, Волынь, Подолію, Познань и Галицію. Впослѣдствіи раскрылось самымъ положительнымъ образомъ, что первыми жертвами пламени дѣлались исключительно неисправные плательщики «податка надзвычайнего», а отъ нихъ уже огонь самъ собою переходилъ и на жилища исправныхъ и добрыхъ «обывателей». Но замѣчательно вотъ что: террористы до такой степени успѣли на всѣ пылавшіе края и области нагнать паническій страхъ, что, несмотря на единоличныя появленія многихъ сборщиковъ, несмотря на явныя ихъ угрозы «спалить все до тла за отказъ въ платежѣ»—не было ни единаго примѣра, чтобы хоть кто-нибудь изъ недовольныхъ обывателей рѣшился задержать и представить законнымъ властямъ подобнаго сборщика! Огонь подѣйствовалъ живо: обыватели, волей-неволей, спѣшили вносить требуемую подать.

Но эта мѣра была еще изъ числа «снисходительныхъ». Таковою охарактеризовали ее сами же поляки. Съ 2-го ноября стала примѣняться уже мѣра иного свойства: по всему Краю пошли ежедневно совершаться политическія убійства, по приговору «тайнаго трибунала», а часто и вовсе безъ всякаго приговора. Рѣшено было убивать всѣхъ вообще «несочувствующихъ», всѣхъ «сомнительныхъ патріотовъ и чиновниковъ правительства, почему-либо признанныхъ вредными для народнаго дѣла», и приговоры имъ объявлять печатно въ подземныхъ газетахъ, гдѣ однако приговоры эти, для пущей вѣрности, печатались уже по исполненіи убійства. Такимъ образомъ, между прочимъ, въ Варшавѣ, середь бѣлаго дня, былъ заколотъ кинжалами чиновникъ Фелькнеръ. Убійство это совершилось въ пятомъ часу дня, а главный убійца еще въ семь часовъ вечера свободно разгуливалъ по всему городу въ окровавленной бѣлой чамаркѣ, и когда его спрашивали что значитъ эта кровь, то онъ съ самохвальствомъ и преспокойно отвѣчалъ всѣмъ и каждому, что закололъ свинью и вслѣдствіе этого однимъ-де скверным человѣкомъ стало меньше на свѣтѣ. Полицейскіе видѣли его окровавленную чамарку, встрѣчали его на многихъ пунктахъ города, но схватить убійцу ни одинъ изъ этихъ «добрыхъ польскихъ полиціантовъ» не хотѣлъ или не рѣшился.

Въ Варшавѣ было жутко. Такъ, по крайней мѣрѣ, чувствовали себя въ ней русскіе люди. Въ ожиданіи взрыва, цѣлыя семейства русскихъ сходились на ночь въ чью-нибудь болѣе надежную квартиру, обыкновенно къ кому-нибудь изъ военныхъ, имѣвшихъ помѣщеніе въ казармахъ, занятыхъ войсками, и тамъ коекакъ проводили свои безпокойныя ночи. Поляки сулили русскимъ повтореніе знаменитой «варшавской заутрени» и грозились вырѣзать всѣхъ поголовно, не щадя ни старости, ни женщинъ, ни младенцевъ. Гимновъ, кошачьихъ концертовъ или иныхъ какихъ-либо демонстрацій болѣе не было: ихъ считали уже не нужными, но въ варшавскомъ воздухѣ, болѣе даже чѣмъ въ самый разгаръ демонстративнаго періода, чувствовалась теперь гнетущая, роковая тяжесть, предвѣщавшая съ минуты на минуту разраженіе грозы. Ремесленныя заведенія въ конецъ уже опустѣли; по улицамъ, «баваріямъ» и «кнейпамъ» съ утра и до ночи шаталась бездѣльная молодежь низшихъ слоевъ населенія, небывалымъ образомъ сорила деньгами, появлявшимися въ ея дырявыхъ карманахъ Богъ вѣсть откуда, и безшабашно предавалась необузданному разгулу: невидимые благодѣтели неусыпно старались какъ можно болѣе и скорѣе развратить и споить ее съ кругу. По городу ходили разсказы, что каждую ночь въ катакомбы «Свентего Кржижа» и Капуцинскаго «кляштора» проводятъ чрезъ стародавніе подземные ходы множество людей, по очередному призыву, и тамъ ксендзы и монахи приводятъ ихъ къ присягѣ на вѣрность «ржонду», снабжаютъ оружіемъ и благословляютъ особо-избранныхъ на тайныя убійства. Молва нѣсколько разъ назначала уже день и часъ всеобщаго взрыва.

А въ то-же время столбцы европейскихъ газетъ наполнялись варшавскими статейками и корреспонденціями, въ которыхъ авторы, въ расчетѣ на увеличеніе пламенныхъ европейскихъ симпатій, іезуитски-униженнымъ, сладенькимъ и притворно-святошескимъ тономъ стонали и жаловались на варварское безсердечіе «утѣснителей», на изобиліе новыхъ и новыхъ жертвъ угнетенной отчизны, на раны, язвы и страданія распятаго народа и на всѣ лады причитали: «мученики! мученики! несчастные, бѣдные, высоко-христіанскіе, святые мученики!» Это стереотипное выраженіе повторялось чуть не въ каждой строкѣ, и не было того поляка, который при этомъ тотчасъ-же не принялъ-бы на себя физіономію Св. Бонифація.

XVII.

Жертва всесожженія.

Хвалынцеву хотѣлось, чтобы Цезарина знала, что онъ уже былъ у Паляницы и что такимъ образомъ воля ея исполнена. Это былъ впрочемъ только предлогъ, а въ сущности ему просто хотѣлось, какъ влюбленному человѣку, еще разъ быть у нея, видѣться съ нею, снова услышать изъ ея устъ слово надежды и ободренія, потому что онъ сильно нуждался въ немъ: проклятый

Digitized by Google

сомнѣнія и внутренній голосъ, такъ ясно назвавшій ему поступокъ его подлостью, опять поднялись въ душѣ. Ему нужно было или съ твердостью порвать все сразу, или поскорѣе найти себѣ внутреннюю поддержку, которую только одна Цезарина и могла оказать ему. На первое у него не хватало твердости, потому что его сковывала несчастная страсть къ этой женщинѣ. Оставалось только второе: подлѣ Цезарины, подъ обаяніемъ ея ласки, ея взгляда, улыбки и голоса замирали всѣ сомнѣнія, засыпала совѣсть, и онъ чувствовалъ въ себѣ наркотическую рѣшимость очертя голову броситься въ пропасть. Нужды нѣтъ, что страсть его остается не удовлетворенною,—у неговсе-же есть пока животворящая надежда, что рано или поздно онъ возьметъ свое,—но ему просто нужно было видѣть Цезарину, хотя нѣсколько минутъ «быть съ нею», ощущать ея присутствіе для того только, чтобы наркотизировать себя снова, чтобы заглушать въ себѣ на нѣкоторое время этотъ изобличающій, неугомонный внутренній голосъ. Онъ поѣхалъ къ Цезаринѣ, но неудачно выбралъ время своего визита: поѣхалъ онъ днемъ—его не приняли. Съ досадой и смущеніемъ въ душѣ рѣшилъ онъ по неволѣ отложить свое посѣщеніе до вечера. Поѣхалъ вечеромъ—опять не приняли. Хвалынцевъ все-таки настоялъ, чтобы человѣкъ еще разъ доложилъ графинѣ, что онъ имѣетъ сообщить ей нѣчто весьма важное и потому проситъ назначить ему время пріема. Отвѣтъ на это былъ таковъ, что «ясневельможна пани грабина» очень извиняется, что она подумаетъ, извѣститъ, но теперь никакъ, ни подъ какимъ видомъ, принять пана не можетъ. Пришлось отъѣхать ни съ чѣмъ, и лишь одна досада и болѣзненное ощущеніе тоски снова подступили къ сердцу Хвалынцева. На другой день онъ нѣсколько разъ подолгу прохаживался по аллеѣ мимо ея оконъ, все поджидая не выйдетъ ли она на прогулку, не поѣдетъ ли въ городъ или кататься. «Хоть бы одно мгновеніе взглянуть на нее! хоть бы мимолетнымъ взоромъ перемолвиться съ нею!» Но увы! неудачные ли часы выбралъ Константинъ для сторожевыхъ прогулокъ, или же графиня цѣлый день не выходила изъ дому, только онъ не видалъ ее и даже ея тѣни въ окошкѣ не удалось ему подмѣтить.

Но онъ имѣлъ терпѣніе и еще одинъ день провести подобнымъ же глупымъ образомъ, и все съ такимъ же печальнымъ результатомъ, такъ что даже «ревировый дозорца» замѣтилъ наконецъ его странное шатаніе все по одному и тому же опредѣленному пространству Уяздовской аллеи и сталъ слѣдить за нимъ подозрительнымъ взглядомъ.

На слѣдующій день къ нему совершенно неожиданно забѣжалъ Василій Свитка и съ серьезнымъ видомъ подалъ ему наглухо заклеенный конвертикъ.

— Былъ въ костелѣ,—пояснилъ онъ, — и тамъ просили меня передать.

— Письмо!.. Отъ кого это?—взволнованно и какъ бы съ нѣкоторымъ предчувствіемъ воскликнулъ Хвалынцевъ.

— Прочтите и отгадаете!—улыбнулся Свитка.

Константинъ вскрылъ конвертъ, взглянулъ на почеркъ—рука незнакомая, подписи никакой, писано по-французски. Вотъ что прочелъ онъ:

«Я знаю, что вы были у П. Но это только еще начало, не болѣе. Я жду продолженія. Не домогайтесь видѣть меня. *Теперь* я нигдѣ и ни въ какую пору не могу принять васъ, ни видѣться съ вами. На это—вѣрьте мнѣ—есть свои, очень серьезныя и вполнѣ уважительныя причины... Не обвиняйте меня за это! Не ходите тоже мимо моихъ оконъ: это до извѣстной степени можетъ меня компрометировать: вспомните, теперь время какое... Да и къ вамъ вовсе не идетъ роль мечтательнаго испанца, въ то время, когда у васъ на рукахъ такое серьезное дѣло. Займитесь лучше имъ поприлежнѣе и простите тонъ моего замѣчанія, который однако же внушенъ мнѣ чувствомъ истинной къ вамъ дружбы. Вѣрьте одному: я все тотъ же добрый другъ вашъ и твердо помню мое слово. Сдержите ли ваше?.. Письмо это уничтожьте немедленно».

Хвалынцевъ прочиталъ это письмо разъ, другой, третій... Оно и уязвляло его слегка, и дарило ласковой надеждой. Эти строки писала ея рука, и ихъ нужно уничтожить. Возможно ли! Вѣдь это *все*, что остается ему пока отъ Цезарины, которая Богъ-вѣсть еще когда позволитъ видѣться съ собою. Онъ чувствовалъ, что уничтожить письмо у него не хватитъ ни силы, ни воли, потому что все сердце настойчиво проситъ сохранить эти строки, какъ святыню, какъ лучшую и единственную память о любимой женщинѣ — и онъ спряталъ его въ свой боковой карманъ.

— Позвольте,—остановилъ его Свитка,—мнѣ извѣстно, что это письмо должно быть уничтожено тотчасъ же.

Хвалынцевъ не сказалъ ни слова, но хмуро вскинулъ на него вопросительный взглядъ.

— Я не знаю и не имѣю права знать содержаніе письма,—продолжалъ Свитка,—но когда мнѣ вручали его для передачи вамъ, то пояснили, что оно должно быть истреблено тутъ же, въ моемъ присутствіи; поэтому, дорогой мой Константинъ Семеновичъ, вотъ вамъ и свѣча, и спички! Позвольте прислужиться: ужь я за-одно и зажгу ее!

— Что за недовѣріе!—въдосадливомъ недоумѣніи пожавъ плечами, воскликнулъ Хвалынцевъ.

— Отнюдь не недовѣріе!—предупредительно возразилъ ему Свитка.—Къ чему оно вамъ? «вещественный знакъ невещественныхъ отно-

Digitized by Google

шеній», что-ли? Вы забываете, что у каждаго изъ насъ въ любую минуту можетъ быть обыскъ... Ну, найдутъ, захватятъ у васъ это письмо? Хорошо развѣ?! Женщина будетъ скомпрометирована, а главное запутана... Пойдутъ всѣ эти непріятности, обыски, аресты, допросы—и все изъ-за пустого клочка бумажки!

Константинъ долженъ былъ сознаться себѣ, что въ словахъ пріятеля есть значительная доля правды, и потому съ затаенною грустью досталъ письмо изъ кармана, съ напряженнымъ вниманіемъ перечелъ его глазами еще и еще разъ, словно бы желая, чтобъ этотъ почеркъ, эти слова и строки потверже и навсегда запечатлѣлись въ памяти его сердца и, все-таки съ тайной неохотой и сожалѣніемъ, медленно поднесъ бумажку къ зажженной свѣчѣ. Черезъ минуту отъ письма осталась только черная искоробленная пластинка легкаго пепла.

Константинъ невольно вздохнулъ и задумался.

— Жертва всесожженія! — пошутилъ надъ нимъ пріятель.

XVIII.

Адресъ и разрывъ.

Хвалынцевъ сталъ иногда захаживать къ поручику Паляницѣ. Сколь ни противенъ былъ ему въ душѣ самъ Паляница, на котораго онъ принуждалъ себя смотрѣть снисходительно, какъ на полупомѣшаннаго чудака, сколь ни противна съ перваго же раза показалась и вся остальная компанія, тѣмъ не менѣе онъ не прерывалъ съ этимъ кружкомъ своихъ отношеній, единственно во имя Цезарины, во имя того, что на это была ея воля, ея непремѣнное условіе, поставленное цѣною любви ея въ будущемъ.

Но ни Велертъ, ни Кошкадамовъ не бывали болѣе у Паляницы съ того самаго вечера, какъ произошла между ними ссора изъ-за Герцена. Они отдѣлились отъ «кружка», въ которомъ теперь Хвалынцевъ ни разу не встрѣтилъ никого, кромѣ неизмѣннаго Добровольскаго съ пивомъ, да самого хозяина съ его торбаномъ и модельками.

Какъ ни придетъ, бывало, Хвалынцевъ, непремѣнно застанетъ Паляницу на одномъ изъ любимыхъ его коньковъ: либо новую «радикальную» модельку сочиняетъ, либо на торбанѣ брянчитъ.

«Когда же, наконецъ, настоящее-то серьезное дѣло у нихъ начнется?» думаетъ себѣ Хвалынцевъ. Но о «дѣлѣ» идутъ только либеральные споры да разговоры, а самаго «дѣла» все еще пока ни на волосъ незамѣтно. Все только «Колоколъ» почитывается да изобрѣтаются разные способы пропаганды въ войскахъ и разные стратегическіе планы уничтоженія Россіи, всеобщаго возстанія и т. п., но ни способы, ни планы ни на іоту не прилагаются къ дѣйствительности. «Неужели же и здѣсь все та же самая всероссійская говорильня, что въ Москвѣ и въ Питерѣ? Неужели ничего новаго, серьезнаго, «заправскаго»? думается Хвалынцеву, и начинаетъ ему сдаваться, что и точно ничего тутъ нѣтъ и не будетъ, кромѣ пустой болтовни. «Кто же кого, однако, тутъ надуваетъ? И ради чего всѣ эти пышные заголовки «отдѣловъ», всѣ эти рекламы въ «Колоколѣ», и что же наконецъ самый отдѣлъ-то составляетъ? Кто его члены и много ли ихъ?

Сколько разъ ни пытался Хвалынцевъ задавать подобные вопросы Паляницѣ, тотъ либо отмалчивался, глубокомысленно и загадочно устремляя куда-то въ пространство свой неподвижный, тупой взглядъ соннаго окуня, либо же отдѣлывался короткими фразами, въ родѣ: «погодите!» «узнаете» «будетъ время; теперь не время еще».

— Да когда жь оно придетъ, это время-то ваше!.. Поглядите, у поляковъ все кипитъ вѣдь!

— Ну, и пусть ихъ!.. У насъ свои задачи...

— Какія?

— Ну, тамъ... узнаете потомъ...

— Когда же?

— Когда время будетъ... Придетъ время, тогда всѣ пойдемъ... вмѣстѣ... Тогда узнаете...

— Да вы-то сами знаете хоть что нибудь?

— Я знаю.

— Извините, сомнѣваюсь!

— Сомнѣвайтесь, пожалуй... Во всякомъ случаѣ, это не *ваше* дѣло, а мое... Я руководитель, я глава отдѣла—мнѣ и знать!

На этомъ обыкновенно и прекращались всѣ разговоры о дѣлѣ.

Хвалынцевъ самымъ искреннимъ образомъ все болѣе и болѣе утверждался въ убѣжденіи, что весь этотъ пресловутый «Отдѣлъ Земли и Воли» есть не что иное, какъ пустѣйшій пуфъ и мистификація, либо же невиннѣйшая забава «недоробленнаго» Паляницы, за которую однако же онъ можетъ при случаѣ поплатиться серьезнымъ образомъ, «и пропадетъ человѣкъ ни за грошъ, да мы-то, какъ дураки, туда же лѣземъ!»

Но это заключеніе, во всякомъ случаѣ, было слишкомъ преждевременно.

Однажды, въ сентябрѣ мѣсяцѣ, онъ получилъ отъ Паляницы лаконическую записку слѣдующаго содержанія:

«Приходите сегодня вечеромъ. Непремѣнно. Очень важное дѣло».

Константинъ отправился.

— Ну, вотъ, вы все пытались про дѣло... убивались по немъ,—встрѣтилъ его Паляница.—Вотъ вамъ и дѣло приспѣло... Садитесь и слушайте... Прошу!

И взявъ въ обѣ руки начисто переписан-

Digitized by Google

ный листъ хорошей писчей бумаги, онъ, стоя, началъ глухимъ голосомъ, со свойственной ему торжественной декламаціей, читать:

«Отъ русскихъ офицеровъ, стоящихъ въ Польшѣ».

— Это что жь такое?—въ недоумѣніи спросилъ Хвалынцевъ.

— Адресъ!—съ гордымъ самодовольствіемъ пояснилъ Паляница, — торжественный адресъ отъ всѣхъ русскихъ офицеровъ, стоящихъ въ Польшѣ... Наше, такъ-сказать, profession de foi... Отъ *всѣхъ* офицеровъ—понимаете! Шикъ, чортъ возьми!.. Европа заговоритъ, батюшка!.. Слушайте!

И онъ приступилъ къ дальнѣйшему чтенію:

«Русское войско въ Польшѣ поставлено въ странное, невыносимое положеніе. Ему приходится быть палачомъ польскаго народа или отказаться отъ повиновенія начальству».

— Ну, кто же отказывается, однако, изъ массы-то?—замѣтилъ Хвалынцевъ.

— Не въ этомъ дѣло!—съ легкимъ неудовольствіемъ возразилъ Паляница.—Все равно, отказывается ли, нѣтъ ли, но... такъ нужно!.. Прошу слушать далѣе.

«...Солдаты и офицеры устали быть палачами. Эта должность сдѣлалась для войска ненавистною. Бить безоружныхъ, преслѣдовать молящихся по церквамъ, хватать прохожихъ на улицахъ, держать въ осадномъ положеніи поляковъ за то, что любятъ Польшу—съ каждымъ днемъ все больше и больше становится въ глазахъ войска дѣломъ безчеловѣчнымъ и потому преступнымъ. Проникнутое недовѣріемъ къ начальству и отвращеніемъ отъ своей безчеловѣчной службы, войско спрашиваетъ себя: ради чего оно будетъ палачомъ польскаго народа и какая въ томъ польза для народа русскаго!»

— Позвольте! — перебилъ Хвалынцевъ, — недовѣріе къ начальству, отвращеніе, да гдѣ же все это? И кто же, скажите по совѣсти, слышалъ отъ солдата подобные вопросы?

— Не въ томъ сила! Такъ должно!—слегка, но нетерпѣливо топнулъ ногой Паляница и сталъ читать про то, какъ до солдатъ доходятъ вѣсти, что внутри Россіи войску приказываютъ быть палачомъ народа русскаго и что войска въ Польшѣ смотрятъ на это съ омерзѣніемъ. «...Недавнее разстрѣливаніе въ Польшѣ русскихъ офицеровъ и унтеръ-офицеровъ, любимыхъ и уважаемыхъ товарищами, исполнило войско трудно укротимымъ негодованіемъ. Еще шагъ въ подобныхъ дѣйствіяхъ правительства, и мы не отвѣчаемъ за спокойствіе въ войскѣ».

— Да кто это писалъ, скажите, Бога ради!—воскликнулъ Хвалынцевъ. — Послушайте, поручикъ, вѣдь мы съ вами не на лунѣ живемъ, а въ той-же Польшѣ, и принадлежимъ къ тому-же войску; ну, скажите-же по чести, есть-ли тутъ хоть слово правды? Гдѣ-же это «трудно укротимое негодованіе», когда сами мы съ вами не разъ слышали, какъ солдаты говорили про Арнгольдта и Ростковскаго: «собакѣ собачья смерть. Такъ, молъ, имъ и надо, измѣнникамъ!» Вы сами-же скорбѣли о подобномъ отношеніи къ нимъ. И наконецъ, какіе-же они русскіе, когда и мы, и все войско очень хорошо знаемъ, что это были поляки.

— Герценъ говоритъ русскіе, и притомъ на нихъ русскій мундиръ—значитъ русскіе!—сухо и холодно замѣтилъ Паляница и сталъ читать далѣе про то, что постоянное дразненіе поляковъ полицейскимъ гнетомъ додразнитъ ихъ до возстанія. «...Что станетъ тогда дѣлать войско въ настоящемъ его настроеніи? Оно не только не остановитъ поляковъ, но *пристанетъ къ нимъ* и можетъ-быть никакая сила не удержитъ его. Офицеры удержать его не въ силахъ и не захотятъ».

— Такихъ офицеровъ, однако, разъ, два, да и обчелся,—замѣтилъ Хвалынцевъ,—а вы возьмите общую массу ихъ! Эта масса, какъ сами знаете, подвергается слишкомъ многимъ и тяжелымъ оскорбленіямъ... Въ ней уже образовалась, къ несчастію, непримиримая ненависть къ полякамъ... Эту массу только пусти!

Паляница сдѣлалъ нетерпѣливое движеніе и гримасу, но на сей разъ промолчалъ, очевидно подавляя въ себѣ какую-то рѣзкую выходку противъ Хвалынцева, которая уже готова была вырваться.

— Но... продолжайте, пожалуйста!—пригласилъ его Константинъ Семеновичъ. — Любопытно знать, къ чему въ концѣ концовъ все это клонитъ?

— Я, наконецъ, не для васъ читаю... я это единственно для себя и для Добровольскаго,— буркнулъ покосясь Паляница и снова, взявшись за бумагу, воскликнулъ патетическимъ голосомъ.

«...Спасти войско только одно средство—перестать дразнить и угнетать поляковъ, не доводить ихъ до взрыва, снять позорное осадное положеніе и дать Польшѣ свободно учредиться по понятіямъ и желаніямъ польскаго народа».

— То-есть, значитъ, просто взять и уйти изъ Польши,—не утерпѣлъ Хвалынцевъ

— Да-съ, взять и уйти.

— Согласенъ, пожалуй: но насчетъ осаднаго положенія, вѣдь оно ужь и безъ того снимается; скоро и совсѣмъ его не будетъ

— Ну и пущай!

— Стало-быть и просить объ этомъ нечего.

— Гдѣ просить? Кого?..

— Да въ адресѣ-же, Господи!

— Въ адресѣ?.. Ну нѣтъ-съ! Извините!.. Въ адресѣ—это другое дѣло! Адресъ въ Европу пойдетъ!

— Какъ въ Европу? Вѣдь его же предполагается подать...

Digitized by Google

— Это зачѣмъ?

— Да вѣдь адресъ писанъ, чтобы его подать.

— Это все-равно! Но только мы его подавать не станемъ.

— Такъ что-же это въ такомъ случаѣ,—выпучилъ Хвалынцевъ изумленные глаза, — упражненіе въ литературномъ стилѣ на заданную тему? На кой-же прахъ онъ писанъ, коли не подавать!

— Подавать не нужно... Вы слушайте далѣе! Здѣсь сказано вотъ что:

«...Мы обратились къ вамъ черезъ посредство печати и гласности, а не по начальству; начальство никогда не передало-бы вамъ нашего голоса—голоса правды». Ловко?.. а?!. Что вы на это скажете?

«...Мы скрыли наши имена; искреннее слово честнаго человѣка начальствомъ считается за бунтъ, и назвавшись мы только подверглись-бы незаслуженной карѣ».

Адресъ кончался словами: «Примите увѣреніе въ нашей искренности» [1]).

— Что вы на это скажете? Каково написано-съ?.. А?—похвалился предъ Константиномъ Паляница.

— Что же, относительно стиля — искусно изложено; жаль только, что съ истиной расходится.

Паляница вспыхнулъ и насупился.

— Что вы хотите этимъ сказать?

— Да не болѣе какъ то, что еслибъ этотъ адресъ былъ написанъ отъ имени какого-нибудь извѣстнаго кружка, даже хотя-бы отъ нашего «Отдѣла», или отъ нѣсколькихъ единомысленныхъ офицеровъ, онъ имѣлъ бы свой raison d'être, но онъ пишется отъ имени *всѣхъ русскихъ офицеровъ въ Польшѣ*, — позвольте спросить, не чрезчуръ-ли ужь это хвачено? Кто уполномочивалъ составителя говорить за всѣхъ и увѣрять, что это profession de foi каждаго?

— Такъ я лжецъ, по вашему?! — рѣзко вскрикнулъ Паляница.

— А развѣ *вы* авторъ адреса?

— Положимъ, хоть-бы и я.

— Въ такомъ случаѣ вы очень самонадѣянно расходитесь съ истиной.

— Однако, милостивый государь... вы, кажется, забываете, что... говорите мнѣ дерзости...

— Вамъ *лично* я не имѣлъ-бы никакой причины говорить ихъ; я высказалъ только свой взглядъ на адресъ, и полагаю, что собственно за этимъ и былъ приглашенъ сюда. Но,—перебилъ самого себя Хвалынцевъ,—оставимте наши личныя препирательства! Это самая безплодная почва... Скажите лучше, что предполагается сдѣлать съ этимъ адресомъ?

— Напечатать,—отвѣтилъ за Паляницу Добровольскій.

— Гдѣ? въ «Колоколѣ»?

— Ну, конечно!

— И такъ-таки отъ имени *всѣхъ*?

— Н-да... потому что... Однимъ словомъ, то такъ вже предположѣно.

— Но берете-ли вы въ расчетъ, что и Герценъ въ свою очередь можетъ спросить васъ: точно-ли это profession de foi всѣхъ офицеровъ?

— Мы вже думали объ этомъ, — сказалъ Добровольскій.

— Думали? тѣмъ лучше! Чѣмъ-же вы ему удостовѣрите общность адреса?

— Подписями.

— Какими?

— Офицерскими.

— Я васъ не понимаю, Добровольскій. Кто-жь будутъ эти офицеры и много-ль ихъ будетъ?

— Много.

— Да нѣтъ, полноте играть въ жмурки!.. Ну и чего мы, въ самомъ дѣлѣ, въ своемъ-то собственномъ кружкѣ станемъ еще сами себя обманывать? Развѣ мы не знаемъ настоящаго положенія дѣла? Развѣ мы не знаемъ настроенія офицеровъ?

— Не у томъ сила, а подписы будуть!

— Чьи? ваша, моя, да поручика Паляницы?

— И наши будуть, конечне, тоже.

— А затѣмъ?

— А затѣмъ и другіе будуть.

— Какимъ-же путемъ вы ихъ добудете?

— Есть тутъ одинъ человѣчекъ такой — писаромъ Минаевымъ прозываетсе — онъ и сдобудеть [1]).

— Да полноте! Что за мистификація!—говорите проще и понятнѣе! говорите прямо!

— Я буду прямо!—вмѣшался наконецъ молчавшій доселѣ Паляница.—Говорю какъ начальникъ. Я — глава «Отдѣла» и потому я начальникъ, которому обязаны повиновеніемъ... Мои слова будутъ приказаніемъ... Предупреждаю объ этомъ... Мнѣ нѣтъ дѣла, сочувствуетъ кто или не сочувствуетъ; но разъ принадлежитъ къ нашей организаціи—долженъ исполнять безпрекословно, если приказываютъ... Я предупреждаю объ этомъ... Нарочно и заблаговременно... Поворотовъ нѣтъ у насъ и быть не должно!

— Хвалынцевъ очень хорошо понялъ, что вся эта выходка направлена исключительно

[1]) „Колоколъ", 1862 г., № 148.

[1]) Писарь главнаго штаба войскъ 1-ой арміи, Минаевъ долгое время передавалъ агентамъ „ржонда народоваго" всѣ секретныя распоряженія русскаго военнаго начальства. За эти преступленія онъ былъ разстрѣлянъ. № 29-ый приказа революціоннаго начальника города (Варшавы), извѣщая объ его казни, восклицаетъ о немъ: „благородный Минаевъ!"

Digitized by Google

въ его сторону. Это царапнуло его самолюбіе и озлило.

— Адресъ долженъ быть посланъ съ подписями,—продолжалъ межъ тѣмъ Паляница.— Дѣло не въ томъ, какія это будутъ подписи, лишь бы были! Это нужно для Европы!.. Интересъ дѣла требуетъ, чтобы подобный адресъ былъ напечатанъ—и будетъ! Напечатаютъ безъ подписей, но Герценъ долженъ удостовѣрить, что подписи у него есть... Поэтому должны быть подписи... Минаевъ добудетъ изъ штаба списки... Онъ самъ составитъ списокъ офицерскихъ фамилій и принесетъ завтра. Вы умѣете писать разнообразными почерками?—безъ дальнѣйшихъ обиняковъ, напрямикъ, обратился Паляница къ Хвалынцеву.

— Ужь не хотите ли вы заставить меня подписываться подъ чужія руки? — спросилъ этотъ послѣдній, сухо и съ нескрываемымъ презрѣніемъ.

— Я васъ спрашиваю, умѣете ли?—настойчиво повторилъ Паляница.

— Нѣтъ, не умѣю.

— Да вы, можетъ, не пробовали?

— И пробовать не стану.

— Вѣдь это, въ сущности, такой пустякъ!

— Можетъ-быть.

— У меня уже припасены разнообразныя чернила: и черныя, и ржавыя, и блѣдныя, и синія — всякія! Будемъ писать вперемежку, втроемъ, а затѣмъ... у васъ есть знакомый, Константинъ Калиновскій... Хороши вы съ нимъ?

— Никакого Калиновскаго не знаю.

— Ну, какъ не знаете!.. Навѣрно знаете!.. Можетъ подъ другой фамиліей?.. Какъ онъ тамъ, Францишекъ Пожондковскій, что ли?

— Такъ, Пожондковскій,—подтвердилъ Добровольскій.

Въ умѣ Хвалынцева мелькнуло что-то смутно знакомое, какъ будто онъ слышалъ гдѣ и когда-то эту фамилію, да только вспомнить не можетъ.

— Не припомню,—сказалъ онъ наконецъ.

— Онъ еще тоже Васильемъ Свиткой прозывается,—подсказалъ Добровольскій.

— Свитку знаете?—спросилъ Паляница.

Хвалынцевъ отвѣтилъ утвердительно.

— Ну, такъ вотъ что... Втроемъ намъ всѣхъ подписей не обварганить, а ихъ нужно штукъ пятьсотъ или четыреста по крайней мѣрѣ. Вы возьмите съ собою часть Минаевскаго списка съ подписнымъ листомъ и передайте его Свиткѣ... Объясните ему, конечно, въ чемъ дѣло... Попросите содѣйствія «Русскому Отдѣлу Земли и Воли», онъ ужь все остальное дѣло живо обварганитъ! Пойдетъ листъ по рукамъ у поляковъ,—а они въ одинъ день покроютъ его подписями! У нихъ много найдется, которые пишутъ по-русски!.. Они это живо!

Хвалынцевъ поблѣднѣлъ и, тяжело поднявшись съ мѣста, выпрямился во весь ростъ. Сухія губы его нервно дрожали.

— Я... этого... не сдѣлаю, съ усиліемъ и медленно проговорилъ онъ задыхающимся голосомъ.

— Нѣтъ, вы это сдѣлаете!—твердо и увѣренно возразилъ ему Паляница.—Вы обязаны повиноваться, и... не ваше дѣло разбирать, пригодно-ли то или это средство... Здѣсь средства хороши! Намъ не оставляютъ иного выбора!.. Вы должны подъ страхомъ смерти сдѣлать то, что вамъ приказывается, а иначе...

— Смерти не боюсь и мерзости дѣлать все-таки не стану... Довольно!.. Будетъ съ меня!—закричалъ Хвалынцевъ.

— Во имя данной мнѣ власти, объявляю... началъ было Паляница торжественнымъ тономъ, какъ вдругъ:

— Молчать!—повелительно крикнулъ ему Константинъ.—Какая власть?.. Гдѣ она?.. Гдѣ этотъ вашъ пресловутый «Отдѣлъ»?.. Онъ пуфъ, мыльный пузырь! Онъ только въ рекламахъ «Колокола» существуетъ! Вы всѣ обманщики, фигляры! Я могъ поддаться, могъ идти открыто за дѣло, которое считалъ дѣломъ свободы, я не отступилъ бы предъ открытой борьбой, какъ бы безумна она ни была—ну, что жь! я рисковалъ только своей жизнью, своей головой, и я бы положилъ ее... Но вы зовете меня на грязный подлогъ... Вы предлагаете шулерскую передержку съ тѣмъ, чтобы поднадуть и правительство, и общественное мнѣніе... Нѣтъ, милостивый государь!.. Стопъ!.. Я не пойду за вами, и съ этой минуты я не членъ вашего мнѣническаго «Отдѣла»!

И, не поклонившись, Константинъ удалился изъ квартиры поручика.

— Подлецъ!.. Измѣнникъ!—глухимъ и бѣшено-злобнымъ голосомъ крикнулъ ему вслѣдъ Паляница.

XIX.

Трибуналъ народовый.

Въ той части Варшавы, которая находится по сосѣдству съ замкомъ Зигмунда, фарой, Старымъ Мѣстомъ и «Подваломъ», и вообще извѣстна подъ именемъ Стараго Города, есть одинъ замѣчательный домъ. Онъ выходитъ на двѣ улицы: Кршиве-Коло и Бржозовую, пролегающую гораздо ниже первой, подъ горою, такъ что домъ, о которомъ мы говоримъ, занимаетъ собой весь скатъ горы, и если посмотрѣть на него съ улицы Кршиве-Коло, то онъ представится вамъ въ видѣ весьма скромнаго и даже приличнаго трехъ-этажнаго домика. Но спуститесь на Бржозову и взгляните на него оттуда, снизу—и вы увидите потемнѣвшую отъ времени, древнюю каменную громаду въ шесть этажей подъ черепичной кровлей.

Digitized by Google

Всевозможныя галлерейки, корридоры, лѣстницы, проходы и выходы во дворы и дворики, лежащіе на различныхъ пунктахъ горнаго ската, одинъ выше другого, придаютъ этому дому какой-то лабиринтный и притомъ сквозной характеръ, какъ нельзя болѣе удобный для проскальзыванія разныхъ темныхъ личностей и для притона воровскихъ шаекъ. И дѣйствительно, домъ Грабовскаго въ Варшавѣ почти то-же самое, что домъ Вяземскаго въ Петербургѣ, только, конечно, не въ такихъ громадныхъ размѣрахъ. Тутъ вѣчный притонъ бродячихъ женщинъ, бѣглыхъ людей и разнаго рода безпаспортныхъ бродягъ; поэтому для обитателей дома Грабовскаго въ Варшавѣ существовало даже особое названіе: «legia nadwislinska», то-есть надвислинскій легіонъ. Еще въ 1830 и 1831 годахъ этотъ домъ, какъ вспоминаютъ старожилы, игралъ нѣкоторую роль въ революціонномъ движеніи, хотя онъ же послужилъ однажды и средствомъ къ укрытію и бѣгству нѣсколькихъ варшавскихъ обывателей, преданныхъ законному правительству, которые чрезъ мудреные проходы и закоулки этого дома успѣли избѣжать смерти отъ преслѣдовавшей ихъ по улицамъ толпы революціонеровъ.

На шестомъ этажѣ этого дома есть небольшая квартирка, всего лишь въ двѣ комнаты, которая приходится вровень съ чердаками, подъ черепичной кровлей. Одно окно этой квартиры выходитъ на Бржозовую улицу, два окна съ правой стороны на мощеный дворъ, и два съ лѣвой тоже во дворъ, поросшій травой и кустарникомъ. Къ каждому изъ боковыхъ оконъ ведетъ отдѣльная ниша, длиною до сажени; въ каждой изъ этихъ нишъ продѣлана вровень съ поломъ небольшая форточка, въ которую однако свободно можетъ пролѣзть человѣкъ, даже весьма изрядной комплекціи. Эти форточки выкрашены совершенно подъ цвѣтъ стѣны, такъ что съ перваго взгляда трудно ихъ и примѣтить и на вопросъ о ихъ назначеніи можно было-бы отвѣчать, что служатъ онѣ дверцами для чего-нибудь въ родѣ шкафиковъ, гдѣ хранятъ домашнюю посуду, дрова или иной какой-либо хламъ. Казалось бы и въ самомъ дѣлѣ, что можно предполагать особеннаго въ этой квартирѣ, за ея толстыми наружными стѣнами, какими вообще отличаются старыя варшавскія постройки? А между тѣмъ стоило лишь открыть любую изъ форточекъ, и «особенное» тотчасъ же выступило бы на сцену. За этими форточками, внутри капитальной стѣны, были устроены три темныя каморки, съ очень хорошо настланнымъ деревяннымъ поломъ, каждая аршина въ два съ небольшимъ въ квадратѣ, такъ что въ этихъ каморкахъ можно бы и стать очень удобно, а еще удобнѣе сидѣть, и человѣка три, четыре легко могли бы устроиться на время въ этомъ потайномъ помѣщеніи. Изъ первой каморки существуетъ проходецъ въ другую, а изъ этой въ третью, изъ которой особая лазейка, въ видѣ треугольнаго отверстія, выводитъ на чердакъ, а тамъ уже есть и слуховыя окна на крышу, и дверь на лѣстницу въ сѣни, и еще одна потайная лазейка, въ одномъ изъ самыхъ темныхъ чердачныхъ угловъ, которая ведетъ на смежный, но уже потайной чердакъ съ плоской кровлей. Если смотрѣть снаружи, со двора, то вамъ представится кровля, совершенно плотно прилегающая къ стѣнамъ и къ балкамъ потолка, въ родѣ того, какъ бываетъ это у восточныхъ саклей, такъ что подъ этой кровлей никакъ невозможно заподозрить присутствіе чердака, а между тѣмъ онъ существуетъ, будучи устроенъ нѣсколько исключительнымъ образомъ, не такъ, какъ обыкновенно устраиваются вообще всѣ чердаки на свѣтѣ. Полъ его, представляющій очень прочную деревянную настилку, лежитъ не въ уровень съ верхнимъ краемъ стѣнъ, а аршина на два ниже его, что и дѣлаетъ изъ этого чердака отличный и преудобный тайникъ, гдѣ можно спрятать множество вещей, въ родѣ оружія, пороху и платья, и вообще контрабанды, а въ случаѣ надобности, тамъ же могутъ укрыться на время болѣе двадцати человѣкъ, которымъ было бы неудобно только стоять, но сидѣть и лежать они могли бы наилучшимъ образомъ. Въ прежнія времена, когда этимъ домомъ исключительно распоряжалась «легія надвисляньска», ловкіе контрабандисты постоянно пользовались этимъ потайнымъ чердакомъ для сокрытія своихъ запрещенныхъ товаровъ, и это было имъ тѣмъ удобнѣе, что Висла и коммерческая пристань находятся почти тутъ же, что называется, подъ бокомъ.

Въ то время, къ которому относятся событія нашего разсказа, въ описанной квартирѣ съ тайниками обиталъ одинокій старикъ, лѣтъ шестидесяти, совершенно лысый, сѣдобородый, въ очкахъ, и довольно еще красивый собой. Это былъ чиновникъ совѣта управленія, что на Красинской площади, по имени Владиславъ Крушинскій. Прошлая жизнь, полная увлеченій, оставила свои слѣды на его лицѣ, при взглядѣ на которое вы могли бы сказать, что, судя по физіономіи, натура у этого человѣка широкая, добрая и размашистая, но вамъ и въ голову отнюдь бы не пришло, что этотъ почтенный старецъ, въ качествѣ члена подземнаго ржонда, исполняетъ должность «начальника операторувъ» и вмѣстѣ съ двумя своими сотоварищами и помощниками держитъ въ своихъ рукахъ всю «операторную часть ржонда народоваго». Операторскою частью называлась въ ржондѣ организація вѣшателей и кинжальщиковъ, которымъ уже впослѣдствіи было присвоено болѣе громкое названіе «мстителей народовыхъ».

Digitized by Google

Двое ближайшихъ помощниковъ Крушинскаго были еще молодые люди. Одинъ изъ нихъ, Штейнгреберъ, студентъ Варшавской Главной Школы, происходилъ изъ мѣстныхъ «цивилизованныхъ» жидковъ, другой—Игнатій Трущинскій, сынъ жандармскаго подполковника русской службы, собственноручно приговорившій къ смертной казни даже своего роднаго отца, что̀ и было вмѣнено ему ржондомъ въ особую, римско-гражданскую доблесть. Этотъ Трущинскій былъ поставленъ въ исключительно благопріятныя обстоятельства для подпольной дѣятельности. Онъ жилъ вмѣстѣ съ отцомъ своимъ въ Мировскихъ кошарахъ [1]) на Броварнѣ, гдѣ квартируютъ всѣ варшавскіе жандармы и жандармскіе офицеры. Эта часть города, обитаемая исключительно военнымъ населеніемъ, почти совершенно отдѣлена отъ остальной Варшавы стѣной и заставой, гдѣ постоянно стоитъ на часахъ жандармъ, обязанность котораго, между прочимъ, состояла и въ томъ, чтобы не пропускать въ районъ казармъ никого изъ статскихъ въ экипажахъ. Проживая въ такомъ привилегированномъ мѣстѣ, исключенномъ изъ-подъ всякаго надзора городской полиціи, Игнатій Трущинскій могъ совершенно спокойно и безопасно заниматься своими революціонными дѣлами по части «операторной».

Четвертый сотозарищъ названныхъ героевъ былъ ксендзъ Кароль Микошевскій, добившійся въ данное время немалой популярности между варшавскою молодежью. До 1861 года онъ былъ бѣднымъ викаріемъ одной изъ варшавскихъ парафій (приходовъ), какъ вдругъ судьба ему улыбнулась: знакомая старушка, умирая, оставила ему 10,000 злотыхъ, и ксендзъ Кароль почувствовалъ себя счастливымъ. Онъ тотчасъ же напечаталъ свои проповѣди «объ опасностяхъ невоздержанія» и открылъ свой маленькій «салонъ». Оставаться разъ въ недѣлю дома, подчивать гостей чашкой чая, стаканомъ воды съ сахаромъ и флер-д'оранжемъ, бутербродами съ ветчиной и сладкими пирожками или такъ-называемымъ «тястéчкемъ»— это называется «имѣть салонъ», а ксендзъ Кароль, собирая къ себѣ праздную молодежь, фельетонистовъ, хроникеровъ и весь задній дворъ варшавской печати, кормилъ весь этотъ сбродъ отмѣнными ужинами — и въ воздаяніе за свое гостепріимство, былъ избранъ въ члены Центральнаго Комитета. Сдѣлавшись членомъ комитета, ксендзъ Кароль, успѣвшій около того же времени изъ викаріевъ стать пробощемъ и получить пробство на Желязной, для пущей безопасности, перемѣнилъ себѣ имя и назвался Сикстомъ. По ночамъ Сикстъ засѣдалъ въ комитетѣ или въ трибуналѣ, подписывалъ смертные приговоры, писалъ памфлеты противъ правительства и варшавскаго архіепископа, а днемъ терся въ прихожей директора коммисіи внутреннихъ и духовныхъ дѣлъ, которому изъявлялъ свое благородное негодованіе на революцію, ходилъ къ архіепископу на лобызаніе руки его преосвященства, и когда ему говорили тамъ о революціонныхъ крамолахъ и убійствахъ, онъ помахивалъ главою, вздыхалъ, закатывалъ глаза и приговаривалъ съ набожнымъ сокрушеніемъ: «O tempora! o mores!»

Въ сентябрѣ 1862 года, около семи часовъ вечера, въ чердачной квартиркѣ Владислава Крушинскаго собрались его сотоварищи: жидокъ Штейнгреберъ, Игнатій Трущинскій, ксендзъ Сикстъ, въ качествѣ наблюдающаго члена отъ Центральнаго Комитета, и Василій Свитка, въ качествѣ обвинителя. Эти пять человѣкъ изображали собою соединенное присутствіе народнаго трибунала. На столѣ предъ ними стояло цинковое распятіе и у подножія креста былъ положенъ обнаженный кинжалъ. Эти два предмета изображали собою эмблему суда, и хотя подобные аттрибуты, въ сущности, были совершенно не нужны, такъ какъ могли бы представить собой только лишнюю улику или лишнее затрудненіе въ томъ случаѣ, если-бы членамъ грознаго трибунала, при лязгѣ жандармской сабли за запертой дверью, пришлось ползкомъ пробираться въ форточки тайниковъ, тѣмъ не менѣе аттрибуты эти присутствовали на судейскомъ столѣ, въ силу распространенной между поляками страсти къ мистическимъ, романтическимъ и страшнымъ декораціямъ. Въ той же комнатѣ на другомъ столѣ находились аттрибуты иного рода, въ видѣ бутылки съ водкой, закуски и полудюжины «марцоваго» пива.

Компанія трибунала сидѣла за судейскимъ столомъ, курила, закусывала, прихлебывала пиво, но къ суду еще не приступала. Ксендзъ Сикстъ, въ разстегнутой сутанѣ, небрежно закинувшись на спинку стула, повѣствовалъ о нѣкоторыхъ планахъ и намѣреніяхъ ржонда, и хотя, въ сущности, по силѣ ржондовыхъ постановленій, ему вовсе не слѣдовало бы болтать о томъ, что̀ не относилось прямымъ образомъ къ вѣдѣнію членовъ трибунала и составляло въ нѣкоторомъ родѣ «государственную тайну» ржонда, но настойка и пиво въ совокупности съ душевной компаніей развязали болтливый языкъ Сикста, а между его собесѣдниками не нашлось ни одного, кто напомнилъ бы ему про обѣтъ молчанія, по той простой и естественной причинѣ, что каждому было крайне любопытно узнать о высшихъ и таинственнѣйшихъ намѣреніяхъ Центральнаго Комитета.

— Не жить! не жить москàлю, а ни-ни!—съ увѣренностью доказывалъ Сикстъ, высчитывая по пальцамъ.—Во-первыхъ, рѣшено уже подорвать финансовый кредитъ Россіи. Во-вторыхъ...

— Шутка сказать, подорвать кредитъ!—со-

[1]) Кошары—казармы.

Digitized by Google

мнительно усмѣхнулся старикъ Крушинскій.— Какъ вы его подорвете у такого государства?

— Что за государство!.. Колоссъ на глиняныхъ ногахъ, и только!.. А подорвать — это пустяки! Рѣшено выпустить огромное количество фальшивыхъ кредитныхъ билетовъ... Въ Лондонѣ уже работаются, а нашъ Игнатій Хмѣлинскій—помогай ему Боже!—заблаговременно уже условился о заготовленіи и о привозѣ въ Край... Всѣ либеральныя правительства, вся Европа намъ въ этомъ дѣлѣ помогаютъ, потому... потому и для Европы важно, чтобы подорвать... Понимаете?

— А хорошо-ли поддѣланы?—небезъ алчнаго любопытства освѣдомился Штейнгребер.

— Поддѣланы-то?.. О, мой польскій братъ мойжешовѣго вызна́нья! Поддѣланы такъ, что твой та́туле а ни на мо́ментъ не задумался-бы принять и размѣнять любую сторублевку! Вотъ какъ поддѣланы!.. Но это что! — продолжалъ Сикстъ,—я говорю не жить, потому что кредитки кредитками, а мы еще нѣсколько блистательныхъ фейерверковъ устроимъ! Вотъ такъ штука будетъ!

— Въ чемъ-же дѣло?—спросилъ юный и ретивый Трущинскій.

— А въ томъ, что рѣшено взорвать и сжечь всѣ казармы и бомбардировать цидатель конгревовыми ракетами!

— Ну-у!—недовѣрчиво махнулъ рукою старецъ.

— Чего «ну»! Не нукай, брацишку! Почѐкай трошѐчку!.. Я знаю, что́ говорю! Потому... мы уже вошли въ условіе съ двумя французами - спеціалистами... Одинъ, какъ его?.. Ганье д'Альбенъ, а другой Маньянъ... берутся сжечь и бомбардировать; только два милліона злотыхъ, шельмы, требуютъ за это!

— И вы дадите?—съ опасеніемъ спросилъ еврейчикъ.

— И мы дадимъ!.. Пятьсотъ тысячъ уже выдали въ задатокъ... Поѣхали во Францію дѣлать приготовленія.

— Да они надуютъ! — всплеснулъ руками Штейнгребер.—Я-бъ и самъ надулъ, ей-Богу, кабы такія деньги!

— О, мой братъ мойжешовѣго вызна́нья!.. Надулъ бы во имя ойчизны вольной и неподлегой!.. Хе, хе, хе!.. Что говоришь ты и что́ слышу я!?.. Gloria in excelsis!.. Ты надулъ бы, а они не надуютъ... Имъ Наполеонъ не позволитъ, да и мы имъ въ Парижѣ цѣлый процессъ сдѣлаемъ, искъ предъявимъ, пускай-ко попробуютъ!.. Нѣтъ, благородная нація не надуетъ!.. ни-ни!.. а ни Боже мой! Не допускаю!.. Н-не допускаю!

— Два милліона!—покачалъ головой многоопытный старецъ.—Гдѣ ихъ взять, два милліона! Легко сказать, да гдѣ достать?

— Т-ссъ!.. Не богохульствуй! Смири въ себѣ духъ строптивости и противорѣчія... Ты говоришь, гдѣ достать? Хм!.. Я тебѣ скажу гдѣ! Во-первыхъ, при первой возможности мы воспользуемся казначействомъ, и мы имѣемъ на это право, потому въ казначействѣ чьи деньги? а?.. Польскія, не такъ ли? А если польскія, то имъ и подобаетъ быть въ рукахъ истиннаго польскаго правительства... Поэтому, при удобномъ случаѣ, сдѣлаемъ простую транспортацію!.. Понимаешь? то-есть изъ одной кассы въ другую... Это разъ. А во-вторыхъ, уже рѣшено выпустить въ несмѣтномъ количествѣ народовыя облигаціи и заставить каждаго обязательно принимать ихъ... Понимаешь, тутъ уже не двумя милліонишками какими-нибудь пахнетъ!.. Подымай выше!

— Н-ну, а если брать не станутъ? — усомнился Штейнгребер.

— Что́-о?—насупился на него Сикстъ.—Не станутъ?.. Кто это не станетъ?.. Твой та́туле, что-ли?.. Я тебѣ скажу на это, что ежели твой татуле не станетъ брать, то ты же первый подпишешь ему смертный приговоръ и самъ-же вздернешь его на осиновый сукъ! И я благословлю тебя на подвигъ! И когда твой татуле запляшетъ въ воздухѣ мазурку, то твой дя́дькель охотно приметъ все сполна и за себя, и за братца, да еще прибавки попроситъ! Такъ ли я говорю? Вѣрно?.. Ну, значитъ, и не спорь со мной!

— Однако, панове, время уходитъ! — взглянувъ на часы, замѣтилъ Свитка.—Не пора ли за дѣло, а то какъ разъ рискуемъ вмѣсто дома переночевать въ ко́зѣ: десятый часъ въ началѣ.

— Да что́, много тамъ у васъ на сегодня?— дѣловымъ тономъ спросилъ старикъ Крушинскій.

— Нѣтъ, пустяки! Всего только два человѣка.

— Пхе!.. Стоило изъ-за такой дряни трибуналъ собирать!—замѣтилъ Сикстъ.—Я думалъ, двадцать по крайней мѣрѣ, а у него только двое!

— Господа!.. Именемъ ржонда народоваго я открываю трибуналъ!—поднявшись съ мѣста, торжественно - офиціальнымъ тономъ возгласилъ Крушинскій.—Прошу занять свои мѣста. Благословите, отче!

— И по слову предсѣдателя, вся компанія стала при своихъ стульяхъ, съ серьезнымъ видомъ молитвеннаго благоговѣнія сложивъ руки и преклонивъ головы, а ксендзъ Микошевскій, оборотясь къ распятію, забормоталъ въ полголоса «молитву о помощи Духа Святаго предъ началомъ добраго дѣла».

Наконецъ, получивъ отъ него общее пастырское благословеніе, всѣ разсѣлись на свои мѣста и приняли натянутый офиціально-серьезный видъ, приготовляясь съ слушанію доклада Свитки, который вынулъ изъ своего портмоне тоненькую бумажку, свернутую въ самый маленькій шарикъ, тщательно расправилъ ее и, пододвинувъ къ себѣ поближе свѣчку, сталъ читать черезъ лупу микроскопиче-

Digitized by Google

ски написанныя строки. Первымъ обвинялся какой-то еврей-ростовщикъ Шмуль Путкамеръ, по доносу сборщика Юзефа Чауке, въ нежеланіи платить народовую подать, въ непочтительномъ отзывѣ о ржондѣ, высказанномъ будто бы въ глаза самому Чауке, при требованіи имъ уплаты подати, и, наконецъ, въ знакомствѣ его, Путкамера, съ частнымъ приставомъ Дроздовичемъ, что уже само по себѣ служитъ доказательствомъ его шпіонской профессіи, а потому-де сей жидъ Шмуль Путкамеръ, недостойный называться именемъ іюляка Моисеева закона, приговаривается, какъ зловредный гражданинъ, къ смертной казни чрезъ отравленіе, ибо расправа посредствомъ кинжала, какъ болѣе благородная казнь, сочтена для него слишкомъ высокою, и онъ признанъ недостойнымъ подобной милости.

— Позвольте, господа,—вмѣшался Штейнгреберъ,—я немножко знаю этого Путкамера, но сильно сомнѣваюсь, чтобъ онъ былъ шпіономъ. Знакомство съ Дроздовичемъ ничего еще не доказываетъ. Это бы надо разслѣдовать болѣе обстоятельнымъ образомъ.

— Вздоръ!—закричалъ Микошевскій.—Стóитъ еще задавать себѣ трудъ разслѣдовать!.. Изъ-за какого нибудь подлаго жидюги!..

— Но вѣдь обвиненіе голословно! На чемъ этотъ Чауке основываетъ его?

— На внутреннемъ убѣжденіи и на знакомствѣ съ Дроздовичемъ, этого совершенно достаточно! — авторитетно порѣшилъ Сикстъ, осушивъ свой куфель пива.

— А что, ежели этотъ Чауке долженъ Путкамеру по векселю и путемъ доноса думаетъ избавиться отъ долга? — пустилъ загвоздку Штейнгреберъ, явно желавшій отстоять своего соплеменника.

— Ну, и помогай ему Боже,—отвѣтилъ на это ксендзъ Микошевскій. — Во всякомъ случаѣ,—прибавилъ онъ, — Чуаке *нашъ*, Чауке намъ извѣстенъ, а Путкамеръ нѣтъ; Чауке принадлежитъ къ орґанизаціи и служитъ сборщикомъ, и вдобавокъ очень хорошій, усердный сборщикъ и благонамѣренный полякъ—уже по одному этому мы должны уважить его доносъ... Какое же довѣріе послѣ этого мы будемъ оказывать своимъ, если станемъ еще провѣрять ихъ показанія!.. Mortus est!.. Мой голосъ за казнь. Кто со мной, господа, и кто противъ?

Всѣ безусловно согласились съ Сикстомъ, и даже еврей Штейнгреберъ, при всемъ своемъ тайномъ нежеланіи, долженъ былъ присоединиться къ общему рѣшенію и подписать свое имя на протоколѣ.

— Ну, кончайте скорѣй! кто еще тамъ у васъ? Я ужь спать хочу!—нетерпѣливо обратился къ Свиткѣ ксендзъ Микошевскій.

Обвинитель снова склонился надъ своей микроскопически-исписанной бумажкой, но медлилъ надъ нею въ какой- то странной нерѣшительности, нарочно стараясь показать видъ, будто онъ не можетъ разобрать написаннаго.

— Да читайте-же! Чего вы мямлите?—еще нетерпѣливѣе отнесся къ нему Сикстъ.

— Позвольте, сейчасъ...

И онъ началъ медленно, оттягивая слогъ за слогомъ, будто и въ самомъ дѣлѣ трудно разбираетъ буквы:

«По... по... по пред-ставленію... по представленію... пред... пред-сѣда... сѣда-те-ля...»

— Да что вы, читать разучились, что-ли?

— Мм... позвольте, сейчасъ... «По представленію предсѣдателя»...

— И Свитка снова замолкъ надъ бумажкой, но на этотъ разъ уже не показывая вида, будто не можетъ разобрать ее.

— Далѣе!—досадливо топнулъ ногой Микошевскій.

Свитка молчалъ, будто и не слышалъ этого возгласа.

Микошевскій пристально взглянулъ ему въ лицо и невольно удивился. Это лицо было блѣдно, съ глазами, заволокнутыми какимъ-то туманомъ, и отпечатлѣвало въ себѣ всѣ признаки разстройства и смущенія.

— Да что это съ вами?.. Вы на себя не похожи! Вамъ дурно, что-ли? — воскликнулъ Микошевскій.

— Да, мнѣ не хорошо. Я не могу этого читать... то-есть прочесть не могу, поспѣшилъ онъ поправить свою обмолвку.—Пусть кто-нибудь другой читаетъ.

— А обязанность обвиненія?—поднялъ на него очки старикъ Крушинскій.

— Я не могу... Извините, господа... Я передаю мою обязанность... Читайте за меня сами... Я не могу, говорю вамъ... Обвиняйте сами кто знаетъ...

И проведя рукой по волосамъ, Свитка съ усиліемъ поднялся съ мѣста и, почти шатаясь, въ какомъ-то странномъ волненіи, весь блѣдный вышелъ въ другую комнату.

Всѣ члены трибунала въ недоумѣніи вопросительно переглянулись между собою.

На минуту настало какое-то странное, нерѣшительное молчаніе.

Ксендзъ Кароль пожалъ плечами и, взявъ со стола бумажку и лупу, сталъ читать по запискѣ:

«По представленію предсѣдателя варшавскаго отдѣла русскаго общества «Земля и Воля», членъ означеннаго общества Константинъ Хвалынцевъ, принадлежащій къ составу русскихъ войскъ, за измѣну общему дѣлу предается суду народнаго трибунала. Предсѣдатель, признавая его крайне опаснымъ для цѣлей и преуспѣянія дальнѣйшей дѣятельности общества, покорнѣйше проситъ Центральный Комитетъ озаботиться, чтобы приговоръ высокочтимаго трибунала былъ положенъ и приве-

Digitized by Google

денъ въ исполненіе въ возможно скорѣйшемъ времени».

— Повиненъ есть!—окончивъ чтеніе, сразу произнесъ Микошевскій.—Ваше мнѣніе, господа?—обратился онъ къ членамъ.

— Смерть!—почти въ одинъ голосъ отвѣтили остальные.

— Гей, пане прокуратóру!—крикнулъ Сикстъ въ другую комнату,—ваше мнѣніе? Съ большинствомъ согласны? а?

Свитка молчалъ.

— Э, да что́ это съ нимъ такое? Никакъ заболѣлъ и въ самомъ дѣлѣ?—процѣдилъ сквозь зубы ксендзъ и направился къ Свиткѣ, который сидѣлъ, отвернувшись къ окну и облокотясь на подоконникъ. — Что́ съ вами, другъ мой?—тихо произнесъ Микошевскій, съ нѣжностію склонясь надъ нимъ и участливо засматривая ему въ лицо. Но каково же было удивленіе подгулявшаго Сикста, когда въ глазахъ сотоварища онъ замѣтилъ нѣчто похожее на слезы.

— Вы плачете?.. Другъ мой, что́ это?.. Нервы?—произнесъ онъ тише, чѣмъ въ полголоса.

— Если можно, спасите его!—крѣпко схвативъ руку Микошевскаго, порывисто прошепталъ Свитка.

— Кого?—недоумѣло спросилъ ксендзъ.

— Его... Хвалынцева... Это я запуталъ его въ дѣло... Я одинъ виноватъ... Повѣрьте! Клянусь вамъ! Я хорошо знаю этого человѣка и знаю, что онъ человѣкъ честный. Вся вина его только въ несходствѣ убѣжденій съ Паляницей. Примѣните къ нему статью кодекса объ изгнаніи... Можно устроить такъ, что само начальство вытуритъ его изъ службы, и пусть убирается къ себѣ въ Россію. Спасите, если можете!

— Милостивый государь, я вижу, что вы дѣйствительно больны, потому что говорите нелѣпости,—сухо возразилъ ему Микошевскій.

— Но я люблю этого человѣка, мнѣ жаль его! И мнѣ больно, что я ни за грошъ погубилъ его!.. Тутъ совѣсть говоритъ, поймите вы это!.. Я долженъ былъ по приказанію комитета обвинять его, а между тѣмъ... эта казнь противъ моего убѣжденія.

— О вашемъ убѣжденіи никто не спрашиваетъ,—серьезно перебилъ егоксендзъ,—и если бы вы имѣли не осторожность гласно и формально отказаться въ той комнатѣ отъ обвиненія, вы сами подлежали бы суду трибунала. Но я щажу васъ, я промолчу объ этомъ. Стыдитесь! Вы, полякъ, за москаля!.. Ну, добро, жидъ за жида стоялъ—это понятно; но полякъ за москаля... Фи! Я не узнаю васъ! Опомнитесь и берегитесь!

И войдя въ комнату засѣданія, Сикстъ произнесъ громко и увѣренно:

— Панъ прокураторъ боленъ, но онъ согласенъ съ общимъ мнѣніемъ.

Услышавъ эти слова, Свитка безсильно и покорно склонился головой на подоконникъ. Въ Варшавѣ онъ былъ не то, что въ Литвѣ: въ Варшавѣ онъ былъ не свободенъ: онъ долженъ былъ слѣпо подчиняться грозной и карающей власти комитета и какъ можно тщательнѣе таить отъ всѣхъ свои замыслы о самостоятельной роли, о сепараціи Литвы и о диктатурѣ надъ нею. Боже избави, если-бы здѣсь на него пала хоть малѣйшая тѣнь подозрѣнія, и тѣмъ болѣе, что здѣсь все, даже самая малѣйшая бездѣлица могла легко навлекать всякія подозрѣнія. Онъ и то уже поступилъ слишкомъ неосторожно, увлекшись человѣческимъ порывомъ своего сердца и такъ откровенно высказавшись предъ Сикстомъ о Хвалынцевѣ. Надо было по необходимости подчиниться безпощадному рѣшенію Сикста, который, помимо номинальнаго предсѣдателя, вертѣлъ какъ хотѣлъ цѣлымъ трибуналомъ, и Свитка подчинился.

— Итакъ, рѣшеніе единогласно! — продолжалъ межъ тѣмъ Микошевскій. — Но теперь еще вопросъ, господа: родъ казни для послѣдняго субъекта?

— Кинжалъ!—единогласно отвѣтили члены.

— Да будетъ! Пишите приговоръ, пане Трущинскій,—заключилъ ксендзъ.

Забота объ исполненіи послѣдняго приговора возложена была Крушевскимъ на Штейнгребера, который убѣдительно просилъ увезлить его отъ устройства казни надъ единоплеменникомъ, и въ замѣнъ освобожденія своего отъ убійства еврея обѣщалъ казнить чрезъ своихъ подчиненныхъ кинжальщиковъ трехъ русскихъ или трехъ дурныхъ поляковъ. Ксендзъ Сикстъ великодушно разрѣшилъ ему это, — и черезъ четверть часа вся компанія, позажигавъ свои латáрки, простилась съ хозяиномъ, торопясь добраться домой до урочнаго часа, послѣ котораго цивильнымъ людямъ воспрещалась ходьба по городу. И глядя на эти спокойныя лица да прислушавшись къ невинной болтовнѣ, никому и въ голову не могло бы придти, что эти люди всего лишь нѣсколько минутъ назадъ подписали смертный приговоръ двумъ человѣкамъ. Одинъ только Свитка хранилъ угрюмое и грустное молчаніе и поспѣшилъ проститься съ товарищами.

— Помните же мои слова и берегитесь... выкиньте дурь изъ головы, дружески говорю вамъ!—шепнулъ ему ксендзъ на прощанье, выразительно пожимая руку.

XX.

Варшавскія трущобы.

Броварная улица въ Варшавѣ идетъ подъ горою, вдоль берега Вислы, и не болѣе какъ ша-

Digitized by Google

гахъ въ двухстахъ разстоянія отъ него. Это улица весьма интересная. Тутъ вы встрѣтите оборванную бабу, которая съ метлой въ рукѣ, стоя по срединѣ мостовой, исправляетъ должность дворника, а вдоль стѣнъ убогихъ низенькихъ лачужекъ сидятъ старухи жидовки, похожія скорѣе на какихъ-то гномовъ, чѣмъ на существа, носящія образъ человѣческій: сидятъ онѣ подлѣ своего товара—лотка съ вялыми вишнями или гнилыми грушами, штопаютъ какую-то ветошь да парятъ на солнышкѣ свои древнія кости, въ тѣ дни, когда оно блещетъ надъ Варшавой. Жиденята, собаки, оборванцы, шарманки, подозрительные «лобусы» и еще болѣе подозрительные торгаши то и дѣло снуютъ взадъ и впередъ по этой улицѣ, на которой отъ ранняго утра до урочнаго часа вечера непрестанно проявляется самое бойкое движеніе. Это улица дѣятельная, торговая, съ сильно преобладающимъ еврейскимъ элементомъ. Но это элементъ, такъ-сказать, наружный, показной, который кидается вамъ въ глаза на самой улицѣ, въ окнахъ, у пороговъ входныхъ дверей, за стойками лавченокъ и т. д. А попробуйте заглянуть во дворъ любого изъ подобныхъ домишекъ, особенно (если это будетъ будній день) вечеромъ, около девяти-десяти часовъ, и вы совершенно неожиданно натолкнетесь на такое населеніе, котораго въ теченіе дня совсѣмъ не примѣтишь—по очень простой, впрочемъ, причинѣ: днемъ его тамъ нѣтъ. Надо замѣтить, что самый родъ торговли на Броварной довольно исключителенъ: наружная сторона улицы, по преимуществу, шинкуетъ. Нѣтъ того сквернаго домишки, въ которомъ не помѣщалось бы что-нибудь въ родѣ кабака, кнейпы, баваріи, харчевни, кофейни или съѣстной лавки; преимущественно же благоденствуютъ шинки. Шинокъ—почти необходимая принадлежность чуть ли не каждаго дома на Броварной. И познакомясь съ характеромъ жизни «надворныхъ» непоказныхъ обитателей этой улицы, перестанешь удивляться такому изобилію этихъ увеселительныхъ заведеній и поймешь, что иначе и быть нельзя, что шинокъ тутъ является отцомъ-защитникомъ и матерью-кормилицей этого непоказного народа. Но распивочная торговля опять-таки составляетъ принадлежность внѣшняго вида улицы и ея внѣшней жизни. Эта торговля, вмѣстѣ съ большею частью домишекъ, принадлежитъ хозяевамъ-евреямъ. Каждый почти домовладѣлецъ непремѣнно держитъ шинокъ, и этотъ шинокъ служитъ тутъ чѣмъ-то въ родѣ круговой поруки: съ нимъ тѣсно связана *возможность* самаго существованія «надворныхъ» обитателей; онъ же является и поддержкой хозяина-еврея, ибо въ противномъ случаѣ послѣднему пришлось бы лишиться своихъ непоказныхъ жильцовъ. Торговля Броварной улицы, какъ и самая жизнь ея, дѣлится на двѣ рѣзко раздѣльныя категоріи: наружную и надворную.

Если бы кто рѣшился войти въ любой изъ этихъ домишекъ, то первое, что представилось бы ему въ проходномъ корридорѣ, это — баба-дворникъ. Тутъ почти совсѣмъ нѣтъ мужчинъ, исправляющихъ дворничью должность. Баба-дворникъ это обыкновенно растрепанная женщина, со сбитой на сторону головной покрышкой, въ видѣ какого-то тряпья, въ ветхихъ лохмотьяхъ вмѣсто одежды, босая, старая, грязная, съ метлой въ рукахъ и въ то же время часто съ грудным ребенкомъ, подвязаннымъ у нея какъ-то черезъ плечо, съ помощью полотнянаго снаряда, напоминающаго своимъ устройствомъ нѣчто въ родѣ матросской койки. Среди томящаго лѣтняго зноя, какъ и въ зимній холодъ почти въ одномъ и томъ же неизмѣнномъ костюмѣ, развѣ только съ прибавленіемъ рваныхъ сапогъ, эта женщина-дворникъ всѣ свои дни проводитъ въ вѣчной работѣ: она и во дворѣ всякій хламъ убираетъ въ сторонку, и корридоръ подметаетъ, когда объ этомъ распорядится «ревировый» [1]), и улицу мететъ, и дрова носитъ на общую печь, у которой, между прочимъ, отогрѣваетъ порою свои закоченѣлые члены. Да и ночью-то не всегда ей бываетъ покойно: въ узкой, тѣсной каморкѣ, гдѣ съ трудомъ только можно повернуться и гдѣ едва найдется мѣстечко, чтобы прилечь отъ усталости, ее часто пронимаетъ холодъ и сырость, такъ какъ далеко не всѣ подобныя каморки бываютъ снабжены печами. Намаявшись въ теченіе дня отъ постоянной своей работы, она ложится спать все-таки позже другихъ обитателей дома, да и то, по стуку въ дверь, придется не одинъ разъ вскочить отъ сна и отомкнуть дверную защелку у входа. А просыпается баба-дворникъ, по обязанности, раньше всѣхъ — и опять за ту же работу!.. Такимъ образомъ, эта вѣчная труженица является крайне забитымъ, робкимъ существомъ: ей и отъ ревироваго за непорядокъ достается, а отъ хозяевъ и подавно. Ей дается пріютъ, въ видѣ извѣстной уже каморки, да вдобавокъ еще какой-нибудь рублишко, или около того, въ мѣсяцъ жалованья. На эти средства она должна существовать часто съ ребятами, часто съ мужемъ, или приходящимъ къ ней «коханкомъ», которые въ непремѣнную свою обязанность поставляютъ пропивать заработанные ею гроши. И на таковую обязанность мужа или коханка никогда не слышится почти ни малѣйшаго ропота со стороны бабы-дворника. Такая ужь любящая натура! Чуть только переступаетъ за порогъ охраняемой ею двери какой-нибудь господинъ, одѣтый приличнымъ образомъ (что впрочемъ въ этихъ мѣстахъ случается рѣдко), баба-дворникъ первымъ дѣломъ подвертывается къ нему подъ руку и старается

[1]) Околодочный надзиратель.

Digitized by Google

уничиженно облобызать въ плечо, что на свѣжаго человѣка дѣйствуетъ особенно непріятнымъ образомъ, тѣмъ болѣе, что на первыхъ порахъ ничего подобнаго никакъ не ожидаешь. И если отдернешь отъ нея свою руку, баба-дворникъ останется очень удивлена и растеряна—до того уже стали ей привычны подобныя лобызанья.

По близости общей для всѣхъ обитателей печи (обыкновенно закоптѣлый каминъ въ проходномъ корридорѣ) виситъ гдѣ-нибудь на стѣнѣ росписаніе жильцовъ дома, по числу занимаемыхъ ими квартиръ. Это росписаніе, если вы не знакомы съ условіями быта и жизни Броварной улицы, тоже не мало изумитъ васъ. Домишко ветхій, маленькій, тѣсный, въ которомъ два-то семейства—еще куда бы ни шло—помѣстятся какъ-нибудь, а три—уже съ нѣкоторымъ трудомъ и стѣсненіемъ, и вдругъ, роспись жильцовъ такого домишки гласитъ вамъ, что въ немъ имѣется тридцать квартиръ, иногда немного больше, такъ что цифра тридцать можетъ служить среднею для всѣхъ подобныхъ обиталищъ этой улицы. Вы невольно изумляетесь, какъ это, молъ, тридцать квартиръ? да откуда ихъ столько наберется? да гдѣ жь онѣ всѣ, наконецъ, помѣщаются, если тутъ хватитъ мѣста всего-то только на двѣ, на три квартиры? И вы не ошиблись: въ самомъ домишкѣ ихъ, дѣйствительно, не болѣе двухъ, трехъ. Но стоитъ вслѣдъ за бабой-дворникомъ пройти по клавише-подобнымъ гнилымъ и грязнымъ доскамъ корридора во внутрь двора, принадлежащаго этому домишкѣ—тутъ, среди разнаго хлама и мусора, тянутся по краямъ досчатыя клѣтушки, въ родѣ чуланчиковъ или дрянныхъ сараишекъ для дровъ и ненужной рухляди. Вы такъ и думаете, что это не болѣе, какъ складочные чуланы, имѣющіе свое обыкновенное назначеніе. Ничуть не бывало: это—квартиры, въ которыхъ живутъ люди и платятъ за наемъ ихъ хозяину. Мало того, тутъ есть еще свои аристократы и свои плебеи. Чтобъ убѣдиться, стоитъ войти въ любую изъ берлогъ той и другой категоріи, и вы будете имѣть довольно наглядное понятіе о томъ, что такое аристократія и что такое парія въ средѣ надворныхъ обитателей Броварной. Евреи-хозяева, конечно, въ этотъ расчетъ уже не входятъ, ибо они баснословные Крезы въ сравненіи со своими жильцами.

Вотъ цѣлый рядъ чуланчиковъ, въ которые ведутъ кое-какъ прикрѣпленныя на ржавыхъ петляхъ двери. Толкнуть хорошенько ногою любую изъ нихъ, сразу же и разсыплется да еще, пожалуй, и всему зданію ущербъ нанесетъ. На внутренней сторонѣ двери прилѣплена, посредствомъ хлѣбнаго мякиша, Матка-Бозка—обыкновенное изображеніе Ченстоховской Богородицы, какое вы найдете въ тысячахъ варшавскихъ квартиръ, на дверяхъ чуть ли не каждой польки и религіознаго поляка.

Въ этой конурѣ замѣтны кое-какіе признаки скудной осѣдлости. У стѣнъ помѣщаются два, три подобія постелей—обыкновенно нѣсколько досокъ, положенныхъ на обрубки деревянныхъ колодъ и прикрытыхъ всевозможнымъ тряпьемъ грязнѣйшаго свойства и неопредѣлимаго цвѣта. У противоположной стѣны вкопана въ землю точно такая-же колода, и къ ней, въ горизонтальномъ положеніи, прибитъ гвоздемъ доска. Эта послѣдняя мебель имѣетъ назначеніе обыкновеннаго стола, къ которому, впрочемъ, никакого соотвѣтственнаго сѣдалища не полагается. Окошекъ тоже не полагается: ихъ съ успѣхомъ замѣняютъ пространныя щели и дыры въ крышѣ и стѣнахъ, сквозь которыя можетъ свободно продувать вѣтеръ, капать дождь, сыпаться снѣгъ и вообще представляется полная возможность заглядывать сюда всѣмъ воздушнымъ проявленіямъ погоды. О печахъ нечего и думать: ихъ замѣняетъ природная теплота человѣческаго тѣла и кой-какія лохмотья. Но все-таки и здѣсь является своего рода претензія на нѣкоторый комфортъ и эстетическую сторону жизни: на стѣнахъ развѣшаны грубыя малеванья разныхъ католическихъ святыхъ, обрывки модныхъ картинокъ, вырѣзки политипажей изъ разныхъ иллюстрированныхъ изданій, и, наконецъ, бутылочные этикеты. Правда, всѣ эти изображенія загрязнены слѣдами мутныхъ потѣковъ, такъ какъ во время дождя въ эти людскія жилища стекаетъ съ крышъ вся грязная вода, а черезъ нѣсколько часовъ, глядишь, полъ, которымъ служитъ просто голая земля, является чѣмъ-то въ родѣ сплошной густой и вонючей лужи. Претензія на эстетическую сторону жизни сказывается въ лѣтнюю пору и еще въ одной принадлежности большей части аристократическихъ помѣщеній. Принадлежность эта—всякія травы, цвѣты и зеленыя вѣтви, которыми посыпаютъ полъ и унизываютъ потолокъ, благо щелей достаточно. Такимъ образомъ у нѣкоторыхъ изъ броварныхъ аристократовъ является нѣчто въ родѣ своего собственнаго домашняго сада. Эти вѣтви и цвѣты все-таки хоть немного помогаютъ очисткѣ и освѣженію воздуха, который безъ этого спасительнаго средства спирается въ такихъ жилищахъ до крайне удушливаго зловонія.

Таково помѣщеніе аристократовъ.

Паріи селятся несравненно хуже, такъ что, наконецъ, приходишь въ сильное сомнѣніе: точно-ли ужь возможно какое-либо существованіе при такой обстановкѣ, при такихъ условіяхъ жизни? А между тѣмъ, возможно; между тѣмъ люди живутъ тутъ цѣлыми годами, зиму и лѣто, и даже имъ весьма тяжело бываетъ разстаться со своимъ жилищемъ, до того ужь они свыкаются съ нимъ!

Digitized by Google

Блудный сынъ, съ которымъ знакомитъ насъ евангельская притча, безъ всякаго сомнѣнія, сравнительно пользовался бо́льшими удобствами, во время жизни своей со свиньями, чѣмъ эти злосчастные паріи Броварной улицы. Да что́ ужь тутъ говорить о блудномъ сынѣ! Самыя свиньи, собаки и прочія домашнія животныя, въ томъ положеніи, въ какомъ находятся они у всѣхъ почти фермеровъ, помѣщиковъ и многихъ крестьянъ, пользуются несравненно бо́льшими удобствами, чѣмъ эти жалкіе люди. Едва-ли можно даже вообразить себѣ что-либо подобное. Углы и трущобы московскіе и петербургскіе, поставленные въ самыя невыгодныя условія для человѣческаго существованія, все-таки ничто въ сравненіи съ безобразіемъ варшавскихъ трущобъ Броварной улицы. Въ тѣхъ видно, по крайней мѣрѣ, что такъ или иначе онѣ предназначаются для жизни человѣка; здѣсь же и невзыскательному животному, кажись, трудно-бы было помѣститься съ тѣмъ, чтобы постоянно дышать этимъ воздухомъ и вѣчно подвергаться всяческимъ вліяніямъ стихій въ лѣтнюю и особенно въ зимнюю пору. Впрочемъ, иные изъ обывателей выговариваютъ себѣ на зиму особенное право: приходить въ шинокъ во время сильнаго холода и тамъ отогрѣваться въ тепломъ воздухѣ. Большая часть хозяевъ соглашается на это условіе съ великодушною благосклонностью. Но устроить подобныя конуры и отдать ихъ подъ жилье, въ наймы людямъ, могла единственно лишь жидовская изобрѣтательность, умудряющаяся вытягивать свою долю выгоды изъ послѣдней, брошенной и, казалось-бы, ровно ни къ чему непригодной дряни.

Представьте себѣ самый тѣсный хлѣвъ, кой-какъ сколоченный изъ гнилыхъ барочныхъ досокъ, съ кой-какъ прилаженной дверкой, похожей болѣе на форточку, а иногда и просто съ дырой для входа, въ которую нечего и думать, чтобы пройти, какъ обыкновенно ходятъ люди, то-есть вытянувшись въ ростъ человѣческій, а надо пробираться либо ползкомъ, либо согнувшись, что́ называется, въ три погибели. Въ этой ямѣ уже нѣтъ никакихъ признаковъ осѣдлости: просто голыя дырявыя стѣны, дырявая досчатая настилка вмѣсто крыши (она же и потолокъ), а полъ — земля, устланная грязной, навозной соломой. На этой самой соломѣ люди сидятъ, ѣдятъ, спятъ, я бы прибавилъ и *ходятъ*, если бы тутъ была хоть какая-нибудь возможность ходить: остается одно средство—ползать. Такъ обыкновенно и дѣлается. Случается, что эти хлѣвы сдаются хозяевами въ наемъ съ условіемъ не выводить изъ нихъ домашнюю скотину, и тогда люди, уже буквально, живутъ вмѣстѣ со свиньями. Рядомъ съ такимъ жилищемъ, а иногда и прямо въ самой свинярнѣ помѣщается зловонный складъ товара, сбытъ котораго даетъ средства для поддержанія существованія этихъ варшавскихъ парій. Но объ этомъ послѣ.

Обыкновенная цѣна за подобное помѣщеніе— десять злотыхъ, или полтора рубля серебромъ въ мѣсяцъ, значитъ, 18 рублей въ годъ, сумма весьма-таки не малая для чернорабочей поденщицы. И вотъ однѣ только свинярни, принадлежащія подобному домишкѣ, приносятъ хозяину-еврею 540 рублей годового дохода, если взять среднюю норму въ 30 квартиръ. Доходы съ шинка еще впятеро превышаютъ эту цифру, но о нихъ мы говорить не станемъ.

Въ одной конуркѣ обыкновенно помѣщается отъ двухъ до шести человѣческихъ паръ, а иногда случается и больше того. Дѣти при этомъ въ расчетъ не идутъ, мы беремъ однихъ взрослыхъ. Эти пары нанимаютъ сообща свое логовище, значитъ, при совмѣстномъ житьѣ четырехъ человѣкъ, на долю одной пары приходится мѣсячной платы 75 копѣекъ, а при шести— по четвертаку. Такая выгода, естественно, заставляетъ ихъ группироваться въ возможно большее число паръ, насколько лишь дозволятъ тѣсные предѣлы такой человѣческой берлоги.

Всѣ эти пары соединены, каждая между собой, узами свободной любви, или, что́ одно и то же, свободнаго сожительства. Но при такомъ устройствѣ ихъ быта, вся гнетущая сторона жизни, весь производительный трудъ выпадаетъ исключительно на долю женщины, — совершенное подобіе африканскихъ кафровъ и полинезійскихъ дикарей. Женщина здѣсь полная, безусловная раба своего мужа или коханка. Она, отъ ранняго утра до поздняго вечера, несетъ тяжелый поденный трудъ, а самецъ ея въ это время засѣдаетъ безвыходно въ шинкѣ, изъ котораго выходитъ вечеромъ единственно затѣмъ, чтобы попробовать крѣпость своихъ кулаковъ на выносливомъ тѣлѣ самки, отобрать отъ нея дневной заработокъ, который завтра же будетъ имъ пропитъ, и затѣмъ, въ ожиданіи утра и предстоящаго пьянства, завалиться спать, какъ попало и гдѣ попало. Между этими парами зачастую происходятъ самыя отчаянныя драки, гдѣ пускается въ ходъ и дреколье, и топоръ, буде подъ руку какъ-нибудь попадется,—драки, составляющія вѣчный предметъ разбирательствъ въ XI циркулѣ и доводящія мужчинъ до тюрьмы, а случается и до каторжной работы.

Но что́ всего замѣчательнѣе, эти женщины, по большей части все старыя и сильно безобразныя, искренно привязаны къ своимъ сожителямъ, почти всегда добровольно отдаютъ имъ заработанныя деньги, не рощутъ на страшные побои и увѣчья, заставляющіе ихъ иногда по недѣлямъ отлеживаться въ грязномъ углу, почти безъ пищи, если изъ жалости кто-нибудь не кинетъ больной, какъ собакѣ, какой-нибудь огрызокъ хлѣба, и наконецъ, избитыя, ободранныя, ограбленныя, онѣ еще идутъ вмѣстѣ съ

Digitized by Google

мужемъ, котораго за буйство забрала полиція, и съ энтузіазмомъ и горькими слезами, на колѣняхъ выпрашиваютъ ему въ циркулѣ помилованія.

И эти пары, кромѣ свободнаго сожительства, часто бываютъ еще связаны своими дѣтьми. Въ этой ужасной обстановкѣ, иногда среди зимней стужи, въ оледенѣлыхъ стѣнахъ и на оледенѣлой землѣ, женщина, безъ малѣйшей посторонней помощи, безъ малѣйшаго участія къ себѣ со стороны своего паразита-мужа и остальныхъ сожителей, производитъ на свѣтъ живое существо, которое зачастую тутъ же и умираетъ вмѣстѣ съ матерью. Это послѣднее приключеніе служитъ паразиту источникомъ великой досады и горя: кто жъ теперь будетъ зарабатывать деньги, которыя онъ безпрепятственно могъ бы относить къ шинкарю?! И паразитъ съ горя напивается пуще обыкновеннаго, отдавая въ шинокъ послѣднія лохмотья покойницы, которую межъ тѣмъ квартирные хозяева съ помощью полицейскаго коммисара торопятся свезти на кладбище, чтобы поскорѣй опростать мѣсто въ берлогѣ подъ новаго жильца или жилицу.

Атмосфера въ этихъ берлогахъ убійственная. Да и не мудрено: такова профессія, таковъ промыселъ этихъ парій. Съ самаго ранняго утра женщины, запасшись мѣшками и корзинами, выходятъ на работу, вразбродъ по всему городу, особенно же по торговымъ и грязнымъ кварталамъ. Здѣсь онѣ занимаются подбираньемъ всевозможныхъ уличныхъ нечистотъ, которыя послѣ уже, у себя на квартирѣ, группируютъ въ разные отдѣлы. Мужчины въ это время еще спятъ, а проснувшись, непосредственно отправляются въ шинокъ и начинаютъ свое обыденное засѣданіе въ этомъ злачномъ и прохладномъ мѣстѣ. Такимъ образомъ въ теченіе цѣлаго дня квартиры ихъ остаются почти совершенно пустыми. Изрѣдка развѣ попадется какая-нибудь женщина за домашней работой, то-есть за складкой и сортировкой подобранныхъ продуктовъ своей торговли, да мертвецки спящій въ повалку пьяный мужчина. Трезвыхъ и тѣмъ болѣе дѣятельныхъ мужчинъ совсѣмъ не видать между населеніемъ этихъ берлогъ.

Между тѣмъ вотъ какіе предметы составляютъ искомый товаръ труженицъ -женщинъ: песій пометъ, который покупаютъ у нихъ жиды, отъ 30 до 40 коп. за корзинку, и потомъ перепродаютъ его перчаточникамъ, битое стекло на пуды (по 20 коп. за пудъ) черезъ тѣхъ же евреевъ сбывается стекляннымъ заводамъ на переливку; тряпье и оборвыши бумаги (по 20 коп. за два пуда) идутъ на бумажныя фабрики, и наконецъ кости (по грошу фунтъ) на сахарные заводы.

Всѣ эти предметы зачастую сваливаются въ томъ же самомъ жилищѣ, заражая собою воздухъ до невозможной степени. Тутъ гнѣздо тифа и холеры. Но привычка—дѣло великое. Эти люди не только не смущаются присутствіемъ собранныхъ продуктовъ, а еще умудряются иногда устраивать себѣ на нихъ временныя постели и спятъ на ложѣ изъ костей, покрытыхъ грудою рваныхъ и грязныхъ тряпокъ и бумажекъ. Выборомъ костей вообще не затрудняются. Чаще всего, конечно, попадаютъ къ нимъ кости убойнаго скота, но если попадется собачій или лошадиный остовъ, то и тѣмъ не пренебрегаютъ. Мѣстные старожилы говорятъ—не знаю, впрочемъ, насколько этому можно вѣрить—будто въ прежнее время, когда еще былъ совершенно свободенъ пропускъ за черту города, иныя женщины этого класса пробирались на кладбища, особенно въ тѣ ночи, когда продолжительнымъ и сильнымъ дождемъ поразмываетъ могилы, изъ которыхъ часто въ такихъ случаяхъ торчатъ человѣческія кости. Эти кости будто бы также служили имъ добычей и въ числѣ другихъ сбывались на заводы. Вообще же вся торговля этого народа происходитъ не иначе, какъ чрезъ посредство жидовъ-шинкарей, которые уже сами-по-себѣ имѣютъ дѣло съ фабриками и заводами.

Теперь надо посмотрѣть изъ какихъ классовъ общаго населенія слагается этотъ особенный изолированный классъ трущобныхъ обитателей Броварной улицы. Мужчины — всякій сбродъ: мѣщане, солдаты отставные, дворовые люди, прислуга, пропоицы-чиновники, выгнанные изъ службы, пропоицы-ремесленники, прогнанные отъ хозяевъ, замотыги-крестьяне и тому подобный людъ, изъ котораго обыкновенно формируется паразитный наростъ общества и который преимущественно предъ прочими классами, подъ вліяніемъ невыгодныхъ условій подобной жизни, поставляетъ наибольшее число кандидатовъ въ тюрьмы, исправительныя заведенія, арестантскія роты и каторжную работу въ сибирскихъ рудникахъ. Женщины по большой части принадлежатъ къ пришлому въ городъ крестьянскому сословію, но есть между ними и мѣщанки, попадаются даже личности и изъ выше поставленныхъ слоевъ общества. Женщины эти, за весьма немногими исключеніями, начиная съ развратной жизни, проходятъ мало-помалу всѣ ея степени и подъ старость оканчиваютъ существованіе въ берлогахъ Броварной улицы. Многія изъ нихъ тутъ и родились, и выросли, и даже состарѣлись; но кто былъ отецъ, кто мать—про то одному Богу извѣстно.

И такимъ образомъ тянется не жизнь, а прозябаніе этихъ жалкихъ людей, одинъ видъ которыхъ вмѣстѣ съ видомъ ихъ жилья не на шутку покоробитъ нервы и сожметъ жалостью сердце человѣка, которому впервые доведется все это увидѣть.

Броварная улица въ періодъ революціоннаго террора преимущественно поставляла контингентъ простыхъ работниковъ, заурядныхъ исполнителей «по части операторной». Здѣсь уже были готовые книжальщики и мѣшатели, для

Digitized by Google

которыхъ своя голова была не дорога, а дороги только тѣ пятьдесятъ копеекъ, что получали они въ сутки отъ агентовъ ржонда, и тѣ полтора рубля, что, по положенію, выплачивались имъ за каждую удачно совершенную «операцію».

XXI.

Операторъ.

На другой день послѣ засѣданія тайнаго трибунала, добрый полякъ Моисеева закона, панъ Штейнгреберъ, съ самымъ невиннымъ видомъ пробирался внизъ по Беднарской улицѣ на Броварную. Онъ всегда принималъ самый беззаботный, самый невинный и благонамѣренный видъ, когда шелъ съ какимъ-нибудь рискованнымъ порученіемъ по своей спеціальности. Баба-дворникъ пропустила его въ темный коррридоръ одного изъ двадцати-квартирныхъ домишекъ.

— А что, дома панъ Биртусъ?—спросилъ панъ Штейнгреберъ, предварительно изогнувшись для того, чтобы заглянуть во входную дыру одной надворной берлоги.

— Въ огрудкѣ!—не-хотя и раздраженно отвѣтила ему оттуда женщина съ синяками на лицѣ, возившаяся въ берлогѣ надъ сортировкой костей и бумаги.

Панъ Штейнгреберъ зналъ уже въ какомъ именно «огрудкѣ» можетъ засѣдать панъ Биртусъ и потому, не разспрашивая болѣе, вышелъ опять на улицу и пошелъ въ извѣстномъ ему направленіи.

Въ предѣлахъ «Стараго Города», который скучился около площади «Старе Място» лабиринтомъ своихъ узкихъ, шумныхъ и грязныхъ переулковъ, съ высокими, узкими и пестрыми домами, гдѣ каждый изгибъ улицы, каждый камень, наконецъ, отзывается чѣмъ-то средневѣковымъ и именно католически-средневѣковымъ, — одною изъ наиболѣе оригинальныхъ особенностей являются пріютившіеся тамъ и сямъ, за высокими стѣнами и каменными заборами, «огрудки», которые также называются «кнейпами». Въ прежнія времена, когда еще въ Варшавѣ и не слышно было о революціонномъ террорѣ, стоило пройтись иногда хотя бы по Подвальной улицѣ, лѣтомъ, часовъ около восьми вечера—до слуха вашего непремѣнно донеслись бы изъ нѣсколькихъ мѣстъ веселые звуки музыки. Съ одной стороны, бывало, зудитъ вамъ въ ухо разбитая, хриплая шарманка, съ другой — разсѣкаетъ воздухъ рѣзкій тромбонъ, съ третьей—турецкій барабанъ съ металлическими тарелками размѣренно бухаетъ свои воинственные такты, тамъ—скрипка, здѣсь — кларнетъ; повсюду, бывало, видишь и слышишь, что жизнь тутъ ключемъ кипитъ, что Варшава—городъ веселый, беззаботный, что она звуки любитъ, движеніе любитъ. Но въ то время, къ которому относятся событія нашего разсказа, надъ этой искони веселой частью города царила тягостная тишина, мертвенность, отсутствіе какого бы то ни было намека на веселый звукъ веселой жизни: все смотрѣло мрачно, злобно, подозрительно... Но огрудки, за исключеніемъ звуковъ, не переставали жить по старинѣ своей обычной жизнью.

Чрезъ очень старую, толстую, окованную желѣзомъ дверь, панъ Штейнгреберъ вошелъ въ корридоръ еще болѣе стараго дома. Фонарь, постоянно вывѣшенный въ этомъ корридорѣ и тускло мигающій днемъ и ночью, указалъ ему проходъ во дворъ и оттуда въ «огрудекъ», извѣстный подъ фирмою «Эдемъ». Но чтобы попасть въ этотъ «Эдемъ» обитателей Броварной, надо было пройти всѣ пункты Дантовой «Комедіи» въ миніатюрѣ. Роль ада въ этомъ случаѣ игралъ мрачный, узкій и сырой корридоръ, выводящій въ чистилище, то-есть на дворъ, пространствомъ въ три-четыре квадратныхъ сажени, словно глубокій ящикъ, загороженный со всѣхъ сторонъ высокими стѣнами. Здѣсь ощущается уже нѣкоторое присутствіе свѣта. Я бы сказалъ «и воздуха», если-бы не побоялся сдѣлать мѣстную погрѣшность, такъ какъ еврейскіе дворы вообще чистотою воздуха не изобилуютъ. На то, впрочемъ, этотъ дворъ и служитъ чистилищемъ, сквозь которое, по неуклюжимъ острымъ камнямъ да ветхозавѣтной грязи ведетъ путь въ «Эдемъ», гдѣ въ до-повстанскія времена раздавались райскіе звуки хромого оркестрика, составленнаго изъ шести или семи убогихъ артистовъ еврейскаго происхожденія, и гдѣ, какъ прежде, такъ и теперь, предлагается каждому посѣтителю за пять грошей куфель варшавскаго пива, которое, неизвѣстно почему, носитъ титулъ баварскаго, «самаго баварскаго, какого даже и въ Баваріи не найдете», по остроумному объясненію краснощекой Гебы.

На какихъ-нибудь десяти квадратныхъ саженяхъ растутъ себѣ пять-шесть тощихъ кустиковъ сирени да акаціи, вдоль стѣнъ идутъ кой-какъ сколоченные навѣсы и животрепещущія бесѣдочки; въ глубинѣ — буфетъ съ разносортными водками; со стороны — запахъ жарящагося масла, вѣрный признакъ огрудковой кухни, гдѣ мѣстный Каремъ являетъ алкающей публикѣ свое искусство во всевозможныхъ польскихъ снѣдяхъ. По всѣмъ направленіямъ огрудка то и дѣло шныряютъ, либо съ тарелками, либо съ куфелями и бутылками, Гебы—«служонцы», изъ которыхъ иныя весьма миловидны и своими бойкими глазами очевидно пронзаютъ сердца многихъ «завсегдатаевъ» огрудка.

Въ самомъ заднемъ уголкѣ садика, въ рѣшетчатой бесѣдочкѣ, подъ покровомъ сиреневыхъ кустовъ, постоянно съ утра до ночи

Digitized by Google

ютилась нѣкая компанія крайне подозрительнаго свойства. Эта компанія, обратившаяся въ завсегдатаевъ «Эдема» съ того самаго времени, какъ начались первыя уличныя демонстраціи въ Варшавѣ, основала въ укромной бесѣдочкѣ нѣчто въ родѣ своего клуба. При взглядѣ на эти обшарпанные, рваные костюмы самаго разнообразнаго цвѣта, покроя и характера, начиная съ фрака и кончая женской кофтой, а въ особенности, при взглядѣ на полупьяныя, наглыя и подлыя физіономіи членовъ этой компаніи, которые каждаго незнакомаго человѣка окидывали подозрительными, нахальными и дерзко вызывающими взорами, вы не усомнились бы отнести эту компанію къ категоріи уличныхъ мазуриковъ, которые собрались сюда запивать магарычи послѣ удачной ночной работы. И дѣйствительно, въ доповстанское время эти молодцы, близко знакомые съ полицейскими камерами, были сполна извѣстны полиціи въ качествѣ любителей чужой собственности, но въ Варшавѣ описываемой минуты, въ Варшавѣ, управляемой подземнымъ ржондомъ, они съ гордостью называли себя патріотами. Ни одна уличная демонстрація, ни одинъ крупный скандалъ, ни одно костельное сборище не обходились безъ ихъ ближайшаго участія, и къ ихъ посредству обыкновенно обращались всѣ таинственные антрепренеры демонстрацій, устроители кошачьихъ концертовъ и т. п. Подозрительная компанія, называвшая себя *чернымъ братствомъ*, близко знала всю паразитную сволочь мужского населенія Броварной, Кршивего-кола и другихъ трущобныхъ закоулковъ, могла и умѣла въ нужную минуту кликнуть кличъ и собрать толпы праздношатающагося, полупьянаго люда, разсѣяться въ этихъ толпахъ и, каждый въ одиночку, настраивать ихъ извѣстнымъ образомъ на то или другое дѣло и направлять въ ту или другую сторону.

Члены «чернаго братства» если и знали взаимно имена другъ друга, то избѣгали употреблять ихъ. Въ «Эдемѣ» они обращались одинъ къ другому не иначе, какъ подъ литерами или нумерами: панъ А, панъ В, панъ С, панъ Нумеръ Тршидесенты и, подъ этими-же литерами были извѣстны и тайнымъ антрепренерамъ ржонда.

Къ этой-то компаніи и направился теперь панъ Штейнгреберъ.

— Панъ D, на одну минуту... дѣло есть,— обратился онъ къ одному завсегдатаю, вѣжливо приподнимая свою шапку.

Сапожный подмастерье Биртусъ, извѣстный здѣсь подъ кличкою пана D и видимо пользовавшійся авторитетомъ между своими компаньонами, неторопливо, съ достоинствомъ поднялся съ мѣста и вышелъ изъ бесѣдки.

— Что такое? въ чемъ дѣло?—черезъ плечо спросилъ онъ Штейнгребера, отойдя съ нимъ на приличное разстояніе и садясь за уединенно-торчавшій столикъ.

— Заказъ есть,—любезно сообщилъ ему цивилизованный еврейчикъ.

— Хм... рѣзницкая работа? кабаны колоть а?

— Такъ, вѣрно, муй коханы! У тебя есть смекалка!

— Хм... догадаться не трудно! — ухмыльнулся Биртусъ, расправляя усы. Онъ хоть и считался подчиненнымъ пана Штейнгребера, какъ начальника одного изъ операторскихъ отдѣловъ, но старался держать себя предъ нимъ съ «республиканскою независимостью», дескать, ровность, чортъ возьми, такъ ужь полная ровность, и на начальство, значитъ, наплевать! Штейнгреберъ-же, не производившій лично «операцій», а только руководившій ими, постоянно чувствовалъ нужду въ услугахъ пана Биртуса и потому въ сношеніяхъ съ нимъ благоразумно пряталъ въ карманъ свою начальственность и относился къ своему подчиненному не иначе, какъ съ нѣсколько искательною любезностью.

— Такъ какъ-же?—помолчавъ съ минутку, спросилъ онъ размышлявшаго о чемъ-то Биртуса.

— То-есть, чего это «какъ-же»?—разсѣянно повернулъ тотъ голову.

— Да насчетъ заказа?

— Да что насчетъ заказа? Плохо вы платите, панове, не стоитъ съ вами и дѣла имѣть, вотъ что я скажу вамъ!—небрежно зѣвнулъ Биртусъ. — Обѣщали аккуратно выплачивать нашему брату по пятнадцати злотыхъ въ сутки, а вотъ ужь одиннадцатый день, что отъ васъ и десёнтки[1]) не видать на пиво! Такъ вѣдь нельзя! На васъ такимъ манеромъ никто и работать не станетъ!

— Что-же дѣлать! времена теперь тугія!— сокрушенно вздохнулъ еврейчикъ.—Дай срокъ, вытуримъ москаля, все сполна уплатимъ...

— Эге!.. Уплатимъ!.. Нѣтъ, не бойсь, самъ ты изъ комитета на нашу работу крупными кушами получаешь, да только куши-то эти въ твоемъ карманѣ остаются! Я вѣдь знаю! Меня не проведешь!

— Ай, убей-же меня Богъ!

— Ну, ну, не клянись, а то вѣдь и взаправду убьетъ, пожалуй! Съ Богомъ, братъ, не шути! Это не свой братъ!

— Ну, хорошо, я доложу... Комитетъ разсмотритъ и уплатитъ, тутъ сомнѣній быть не можетъ!

— Нѣтъ, это что! Это мы уже слыхали не разъ!.. А ты, братъ, деньги на столъ, а тогда и разговаривать будемъ!

— Но подумай же, муй коханы, войди въ наше положеніе!.. вспомни только, вѣдь это дѣло ойчизны—святое дѣло! вѣдь это надъ подлымъ москалемъ надо совершить справедливую кару!

---

[1]) Пять копеекъ.

Digitized by Google

— Да что ты мнѣ про москаля поешь!.. Москаль-ли, полякъ-ли — это намъ все-равно! Ты мнѣ заплати только, такъ я и тебя придушу, пожалуй, коли хочешь!

— Много чести, коханку, много чести!.. Ты очень любезенъ, но... все же...

— Ну, братъ, некогда мнѣ толковать тутъ съ тобой въ сухую!—рѣшительно поднялся Биртусъ.—Ты вотъ и пива не догадался поставить доброму человѣку, а хочешь, чтобъ я тебѣ шинку [1]) изъ москаля готовилъ!

— Одну минутку!—умоляя, остановилъ его за рукавъ Штейнгреберъ.

— Чего еще?.. Вѣдь все уже сказано!

— Я прикажу пива подать.

— Приказывай, коли охота есть, а я къ своимъ пойду, тамъ разговоръ интересный...

— Но подумай, вѣдь это комитетъ! вѣдь это рэндъ народовый!.. Вѣдь это же все его декретомъ!.. Вѣдь съ комитетомъ шутить нельзя!

— Ахъ ты, шутъ полосатый!—нагло, руки въ боки, расхохотался въ глаза ему Биртусъ.—Боимся мы васъ, что-ли, со всѣми вашими комитетами?! Плевать я хочу на весь вашъ комитетъ! Не мы въ немъ, а онъ въ насъ нуждается! А хотите, чтобы мы на васъ работали, такъ держите уговоръ по чести, чтобы все это было благородно, какъ между порядочными людьми!.. Условились платить—ну, и платите, а тогда и требуйте! А то выходитъ, что прощалыги, и насъ, простыхъ, добрыхъ людей, ремесленниковъ, только подъ знакомство съ Дитвальдомъ [2]) подводите! Это уже не честно!

— Одну минутку, душе́чко!.. одну минутку!—снова схватилъ еврейчикъ уходящаго Биртуса.—Большой секретъ есть, и до тебя лично касается.

Тотъ недовѣрчиво и неохотно остановился.

— Слушай, брацишку... я велю пива подать?.. А?

— Тьфу-ты, проклятый!.. От-то лайдакъ!.. Ай, Боже-жь мой, Боже!

— Ну, говорю-жь, одну только секундочку!.. Ну, слушай... Деньги, такъ и быть, я тебѣ выплачу сполна... сейчасъ-же, сію минуту... только выслушай.

— Плати деньги.

— Ну, ну, сейчасъ-же, говорю, сейчасъ... Вотъ видишь-ли...

— Плати деньги, или проваливай!—настойчиво и круто повторилъ Биртусъ.

— Ну, ну, хорошо... только заслони меня,—согласился жидокъ, запуская руку въ боковой карманъ,—или нѣтъ лучше зайдемъ куда-нибудь въ такой уголокъ, гдѣ бы насъ не видѣли, а то неравно и другіе пристанутъ, а у насъ насчетъ денегъ очень круто, говорю тебѣ!

И они прошли въ одну изъ незанятыхъ бесѣдокъ.

— Ну, заслони-жь меня, дружочекъ...

— Да не видать, будь покоенъ...

— Нѣтъ, все-же заслонивши-то понадежнѣе будетъ... а то, ей-Богу, увидятъ!.. Я тебѣ скажу по секрету, что это я одному только тебѣ выплачиваю, и то не изъ казенныхъ, а изъ своихъ собственныхъ, изъ карманныхъ,—якъ Бога кохамъ и якъ пана кохамъ!

Биртусъ только выразительно подсвистнулъ на это—дескать: нечего зубы-то заговаривать, «изъ собственныхъ», такъ я тебѣ и повѣрилъ!

Штейнгреберъ присѣлъ за столикъ и, сто́рожко озираясь по сторонамъ черезъ драночную зеленую рѣшетку, нерѣшительно вынулъ изъ кармана бумажникъ.

— Да заслони жь меня, прошу тебя, отъ входа!

Биртусъ, спиною къ входу, сталъ, облокотясь на столъ, противъ своего начальника и ожидательно устремилъ на бумажникъ плотоядные взоры.

— Слушай, мопа́нку,—заговорилъ онъ вѣско и рѣшительно,—ты за-одно ужь давай мнѣ и на долю товарищей.. я расплачусь съ ними, а то такъ неловко....

— Ай, не можно! какъ Богъ святъ на небѣ, не возможно! Только одному тебѣ, и то по дружбѣ!

— Ну, ну, ладно! только доставай поскорѣе!

Штейнгреберъ раскрылъ свой бумажникъ и сталъ уже отсчитывать ассигнаціи, какъ вдругъ Биртусъ, словно ловкая кошка, мгновенно цапнулъ его за руку и выдернулъ изъ нея деньги.

— Гевалтъ!—коротко выкрикнулъ было перепуганный еврейчикъ.

— Тсс!.. услышатъ!—шопотомъ предостерегъ его Биртусъ.—Чего ты? Успокойся!.. Я только пересчитать хочу, самъ лично удостовѣриться желаю, а ты *гевалтъ* орешь!

И онъ неторопливо сталъ отсчитывать мелкія бумажки. Оказалось, что у Штейнгребера въ наличности было шестьдесятъ рублей. Биртусъ отсчиталъ ровно половину.

— Ну, вотъ это мнѣ, а остальное тебѣ! — сказалъ онъ безапелляціонно-рѣшающимъ тономъ.—Такъ какъ ты говоришь, что это не казенныя, а твои, то я и подѣлился съ тобой по-братски, а ты съ казны получи что мнѣ слѣдуетъ и за прошлое, и въ счетъ будущаго, да гляди, не проговорись моимъ товарищамъ, а то они остальное отъ тебя выдятъ — ребята вѣдь ловкіе!

— Но ты же долженъ подѣлиться съ ними!—невольно кислымъ тономъ пролепеталъ Штейнгреберъ.

[1]) Ветчину, окорокъ.

[2]) Дитвальдъ — имя привилегированнаго варшавскаго палача, который присутствовалъ при исполненіи казни, скрѣпляя смертельный протоколъ своей подписью.

Digitized by Google

— Нѣтъ, мопáнку, ужь это ты дѣлись, коли хочешь, а я не стану! Мнѣ вѣдь этакая благодать не часто приходитъ!—замѣтилъ Биртусъ, пряча деньги въ боковой карманъ и застегиваясь, для пущей вѣрности, на всѣ пуговицы.— Ну, а теперь, мой почтенный шефъ, давайте и о дѣлѣ потолкуемъ, — прибавилъ онъ, быстро перемѣнивъ прежній грубоватый тонъ на самый вѣжливый и любезный.—Вамъ угодно, чтобы мы кабаны покололи и чтобы вамъ добрая шинка была? Это можно съ удовольствіемъ!

Штейнгреберъ, которому пришлось такъ внезапно и неожиданно разстаться съ половиною ржондовыхъ денегъ, тогда какъ онъ совсѣмъ былъ расположенъ считать ихъ своей собственностью, остался крайне огорченъ поступкомъ негодяя Биртуса, но—дѣлать нечего!—Биртусъ былъ ему нуженъ, и потому, скрѣпя сердце, онъ рѣшилъ покориться силѣ даннаго случая и расчелъ, что теперь ему лучше всего остается вступить въ свою «законную» роль начальника пана Биртуса.

— Трибуналъ ржонда народоваго,—началъ онъ въ нѣсколько холодномъ и офиціальномъ тонѣ,—въ засѣданіи своемъ отъ вчерашняго числа приговорилъ къ смертной казни за измѣну москаля Хвалынцева. Это лицо будетъ указано. Именемъ трибунала повелѣваю тебѣ исполнить надъ нимъ приговоръ.

— Кому это? Мнѣ?—прищурился Биртусъ.

— Тебѣ, именемъ трибунала!—подтвердилъ Штейнгреберъ.

— Ну, ужь это дудки!

— Какъ дудки?!—вскочилъ встревоженный еврейчикъ.

— Дудки, мопáнку, дудки! Я вамъ и то уже самолично два приговора исполнилъ, а потому имѣю право разсчитывать на нѣкоторое повышеніе въ организаціи! Что я вамъ, простой работникъ, поденщикъ дался, что ли?... Меня всѣ мои товарищи уважаютъ, а вы хотите, чтобъ я вамъ свиней кололъ, какъ простой рѣзникъ! Нѣтъ, чортъ возьми, позвольте тоже и мнѣ теперь распоряжаться, я самъ хочу быть панóмъ и начальникомъ!

— Но, коханку, подумай, вѣдь это ужь сопротивленіе власти трибунала...

— Ну, и сопротивленіе! такъ что же?

— Какъ что же?... Вѣдь это, въ нѣкоторомъ родѣ, съ твоей стороны бунтъ выходитъ?..

— Ну, да!... Ну, и бунтъ!... Конечно, бунтъ, на то и революція! А вы что себѣ думали?

Смѣшавшійся Штейнгреберъ, не находя уже болѣе никакихъ возраженій и чувствуя, что онъ не власть, а простая пѣшка предъ этимъ «революціонеромъ», стоялъ предъ нимъ, смущенно и недоумѣло растопыривъ пальцы.

— Вотъ что я скажу тебѣ, мопáнку!—хлопнувъ его по плечу, продолжалъ межъ тѣмъ Биртусъ.—Самому мнѣ изъ-за васъ больно ужь рисковать своей башкой не приходится! Довольно съ васъ и тѣхъ двухъ моихъ «крестниковъ»! Тѣ заказы я исполнилъ вамъ честно, и баста! А то зарвешься и влопаешься... Это вѣдь рискъ! А я, коли хотите, заподряжу вамъ человѣка, который возьмется... Новичекъ еще, но это ничего! Обработаемъ! Угодно?

Штейнгреберъ согласился.

— Гдѣ жь этотъ человѣчекъ? — спросилъ онъ.

— А вонъ, сидитъ съ моей компаніей... Совсѣмъ еще мальчишка, но это и лучше: по крайней мѣрѣ, легче уломаемъ, да и дешевле обойдется.

— А какъ зовутъ его?

— Зовутъ-то?.. А зовутъ его панъ Нумеръ Тршидесенты.

— И скоро можно обработать?

— Къ завтрашнему дню будетъ готовъ, ручаюсь.

— Но какъ же мнѣ-то узнать про то?

— А я васъ извѣщу, вы ужь распорядитесь только, чтобы ксендзъ привелъ его къ присягѣ, такъ какъ онъ человѣкъ очень набожный и добрый католикъ, а объ остальномъ, кромѣ платы, и не заботьтесь: я все беру на себя; вы мнѣ только напередъ кабана укажите, котораго колоть, чтобы мы твердо въ лицо его знали, а то неравно можно ошибиться, ну, а это уже не хорошо, потому что вамъ тогда въ «Рухѣ» опять извиняться придется, что закололи-де по ошибкѣ.

Условившись такимъ образомъ съ панóмъ Биртусомъ, панъ Штейнгреберъ не побрезгалъ пожать ему грязную руку и ушелъ изъ «Эдема», хотя и обнадеженный насчетъ «заказа», но сильно огорченный и раздосадованный въ душѣ по поводу дѣлежа, столь безцеремонно произведеннаго его прямымъ подчиненнымъ.

«Ты у меня еще за это поплатишься! Я тебѣ этого не подарю!.. Надо будетъ при первомъ же случаѣ найти надежнаго человѣка и приколоть, во что бы то ни стало, это животное, а то иначе никакого уваженія, никакой дисциплины не будетъ», рѣшилъ про-себя панъ Штейнгреберъ, еще не успѣвъ даже выйти на улицу.

XXII.

Въ катакомбахъ.

Черезъ день послѣ этого свиданія, панъ Биртусъ очень набожно слушалъ вечернее «набоженство» въ Кармелитскомъ костелѣ, что на Краковскомъ предмѣстьи. О-бокъ съ нимъ стоялъ молодой и щедушный парнишка, лѣтъ восемнадцати, съ виду похожій на забулдыжнаго мастерового. Это былъ панъ Нумеръ Тршидесенты. Выраженіе ожиданія въ его испитомъ лицѣ порою смѣнялось легкою тѣнью тоскливаго раздумья и нерѣшительности. По этой

Digitized by Google

тѣни можно было бы замѣтить, что въ юношѣ происходитъ какая-то внутренняя борьба съ самимъ собой. Иногда эта тоскливость въ его лицѣ выступала до того ясно, что даже панъ Биртусъ замѣчалъ ее, и своимъ взглядомъ и своей миной старался подбодрить юношу. Въ половинѣ костельной службы мимо этой пары прошелъ Штейнгреберъ съ ксендзомъ Микошевскимъ и кивнулъ Биртусу, который послѣдовалъ за нимъ въ другой конецъ костела. Нумеръ Тршидесенты, оставшійся на своемъ мѣстѣ, оборотясь въ ту сторону, видѣлъ, что панъ D пошептался о чемъ-то съ цивилизованнымъ еврейчикомъ, а тотъ, въ свою очередь, отпустивъ отъ себя пана D, сталъ шептаться съ ксендзомъ, послѣ чего ксендзъ пробрался въ сакристію, не забывъ, по обычаю, идучи мимо главнаго алтаря, «пршиклянчить» [1]) и слегка ударить себя кулакомъ въ перси. Скрывшись въ сакристіи, ксендзъ Кароль уже не показывался болѣе въ храмѣ. По окончаніи набожества, къ Биртусу подошелъ мягкой, неслышной и вкрадчивой походкой монахъ-кармелитъ и, беззвучно пошевеливъ губами, болѣе взглядомъ, чѣмъ словомъ пригласилъ Биртуса вмѣстѣ съ его спутникомъ слѣдовать за собой. Онъ провелъ ихъ въ сакристію и попросилъ обождать, пока всѣ посторонніе удалятся изъ костела. Минутъ десять спустя, когда массивный ключъ звонко повернулся въ массивномъ замкѣ главныхъ дверей, монахъ зажегъ потайной фонарикъ и, захвативъ съ собою связку большихъ ключей, снова пригласилъ Биртуса съ парнишкой слѣдовать за собой. Чрезъ боковую узенькую и низкую дверку онъ вывелъ ихъ на обширный монастырскій дворъ и, ради предосторожности спрятавъ фонарь подъ полой своей широкой власяницы, повелъ вдоль костельной стѣны къ другой низкой, но широкой двери, которая вела въ костельные подвалы. Здѣсь онъ передалъ фонарь Биртусу, попросивъ подержать его на минутку и заслонить свѣтъ фуражкой. Визгнулъ ключъ въ ржавомъ затворѣ, открылась одна половинка дверей — и на путниковъ изъ глубины мрачнаго подвала пахнуло сыростью и запахомъ плесени. Монахъ, придерживая дверь, пригласилъ ихъ спуститься туда первыми. Нумеръ Тршидесенты услышалъ за собой стукъ захлопнувшейся грузной половинки и уже невольно вздрогнулъ, подумавъ, что его оставили здѣсь одного съ паномъ D, какъ въ ту жь минуту мимо его беззвучно скользнула темная тѣнь, и монахъ, взявъ фонарь отъ Биртуса, пошелъ впереди ихъ, освѣщая и указывая дорогу.

Кармелитскій кляшторъ особенно замѣчателенъ своими длинными подземельями, которыя занимаютъ весьма большое пространство и образуютъ такое сцѣпленіе различныхъ закоулковъ и развѣтвленій, что надо быть очень хорошо знакомымъ съ ними, чтобы не спутаться и не заблудиться въ этомъ подземномъ лабиринтѣ. Подземелья эти, вырытыя довольно глубоко въ твердомъ грунтѣ и облицованныя древними большими кирпичами, почти всѣ имѣютъ видъ высокихъ и широкихъ залъ, съ полукруглыми сводами, которые покоятся на массивныхъ колоннахъ. Въ прежнее время, до отвода мѣстности на Повонзкахъ, катакомбы эти, имѣя назначенія усыпальницъ, были однимъ изъ самыхъ обширныхъ кладбищъ Варшавы. Но отцамъ-кармелитамъ представилась выгодная возможность отдать свои катакомбы подъ обширный винный складъ купцу Зейделю и вслѣдствіе этого часть гробовъ они посвозили по ночамъ на Повонзки, а съ остальною частью распорядились самымъ безцеремоннымъ образомъ: отвели одно подземелье, находящееся подъ главнымъ входомъ въ костелъ, и до верху завалили его костями и трупами, выброшенными изъ гробовъ, какъ попало, и накиданными въ груды, одинъ на другой; гробовыми же досками цѣлую зиму отопляли монастырскія помѣщенія. Самое смѣлое воображеніе едва ли могло бы представить себѣ болѣе ужасную и отвратительную картину, чѣмъ та, которую являютъ собою эти безобразныя груды человѣческихъ труповъ. Здѣсь неуваженіе къ смертнымъ останкамъ дошло до крайнихъ предѣловъ, и это кощунство оказывалось монахами единственно ради тѣхъ 15,000 злотыхъ, которые ежегодно получали они отъ купца Зейделя. Впрочемъ, всѣхъ мертвецовъ невозможно было упрятать и въ эту набитую до верху катакомбу, а потому въ нѣкоторыхъ боковыхъ камерахъ и корридорахъ, которые не заняты винными бочками, валяются еще куски истлѣвшей одежды, черепа́ и ребра и кое-гдѣ попадаются полуразвалившіеся гробы, изъ которыхъ торчатъ человѣческія кости. Крысы и летучія мыши нашли себѣ привольное обиталище въ этихъ подземельяхъ: послѣднія цѣлыми рядами унизываютъ сырыя стѣны, поросшія грибчатою порослью, цѣпляясь одною изъ заднихъ лапокъ за кирпичныя скважины и вися внизъ головою.

Жуткое чувство безотчетнаго страха обуяло не только юношу, но и пана Биртуса, когда они, слѣдуя за тѣнью монаха, углублялись все дальше и дальше въ закоулки, корридоры и залы этого мрачнаго лабиринта, и особенно когда, бывало, хрустнетъ подъ ступнею сломавшееся ребро, или черепъ, нечаянно тронутый носкомъ сапога, шурша откатится въ сторону. Иногда крыса перебѣгала имъ дорогу, а летучія мыши, испуганныя свѣтомъ фонаря, цѣлыми вереницами со слабымъ пискомъ тревожно летали надъ головою, и широкія тѣни отъ ихъ неуклюжихъ крыльевъ, смутно колеблясь на стѣнахъ и на потолкѣ, казались какими-то призраками, которые трепетно поднимаются изъ этихъ полуразрушенныхъ

[1]) Преклонить колѣно.

Digitized by Google

гробовъ и возмущенно сопровождаютъ таинственное шествіе трехъ спутниковъ.

Наконецъ, въ одномъ изъ боковыхъ закоулковъ мелькнула полоса свѣта. Монахъ-путеводитель, поднявъ повыше фонарь, остановился въ проходѣ и сдѣлалъ пригласительный жестъ юношѣ, а Биртусу приказалъ остаться на мѣстѣ.

Панъ Тршидесенты боязливо покосился на своего ментора и замялся: онъ не рѣшался слѣдовать далѣе въ одиночку.

— Ступай, ступай! не бойся! — ободрилъ менторъ и почти насильно втолкнулъ его въ смежную катакомбу.

Монахъ въ эту самую минуту скрылъ фонарь у себя подъ полой. Юноша обернулся назадъ, но тамъ уже былъ мракъ непроницаемый. Онъ глянулъ впередъ и остановился, пораженный невольнымъ страхомъ, шепча какую-то молитву и торопливо крестя свою грудь трепещущей рукой.

Здѣсь все было разсчитано на эффектъ, все клонилось къ тому, чтобы сразу произвести подавляющее и фанатическое впечатлѣніе на неопытнаго и мало развитого неофита.

Да и въ самомъ дѣлѣ, какому-нибудь юношѣ мастеровому можно было смутиться не на шутку, когда увидѣлъ онъ предъ собою, въ какихъ-нибудь пяти шагахъ разстоянія, старый черный гробъ, на крышкѣ котораго по серединѣ было поставлено Распятіе, а по бокамъ его горѣли двѣ желтыя восковыя свѣчи въ оловянныхъ шандалахъ. Предъ пьедесталомъ Распятія, какъ требовала обычная польско-революціонная формальность, блестѣли два скрещенные кинжала, а по ту сторону гроба стояла черная фигура ксендза, лицо котораго было покрыто остроконечнымъ капюшономъ съ двумя дырами для глазъ. Этотъ капюшонъ, употребляемый монахами нѣкоторыхъ орденовъ, надѣвался польскими ксендзами въ подобныхъ случаяхъ нарочно, для большей безопасности: неофитъ не могъ видѣть черты лица приводящаго его къ революціонной присягѣ и черезъ то лишался возможности выдать его при случаѣ законному пратительству. За ксендзомъ, въ нѣкоторомъ отдаленіи, уже полускрываясь во мракѣ, неподвижно стояли два монаха, въ точно такихъ же нахлобученныхъ капюшонахъ, которые своей странной остроконечной формой придавали этимъ тремъ фигурамъ нечеловѣческій, страшный и зловѣщій характеръ.

— Приблизься, сынъ мой!.. Не бойся, ты между друзьями,—мягкимъ и кроткимъ голосомъ проговорилъ ксендзъ, замѣтивъ смущеніе юноши, но звукъ этого голоса, глухо выходившій изъ-подъ матеріи капюшона, казался страннымъ и неестественнымъ.

Мастеровой не двигался съ мѣста и все еще машинально продолжалъ креститься.

— Да ступай же ты, быдло!.. От-то дурень, право!—досадливо буркнулъ ему сзади изъ мрака панъ Биртусъ и, для пущей убѣдительности, пихнулъ его впередъ обѣими пятернями.

Панъ Тршидесенты, убѣдясь, что менторъ его здѣсь, что онъ не покинутъ, уже нѣсколько спокойнѣе приблизился ко гробу.

— Преклони голову и колѣни, сынъ мой,— продолжалъ тотъ же кроткій и неестественный голосъ изъ-подъ капюшона.

Тршидесенты безпрекословно исполнилъ это требованіе.

— Добровольно ли ты пришелъ сюда, сынъ мой, и знаешь ли зачѣмъ приходишь?

— Добровольно... знаю,—прошепталъ юноша.

— Добрый ли ты полякъ и добрый ли католикъ?

— Добрый... вымолвилъ онъ уже нѣсколько внятнѣе.

— Любишь ли свою отчизну, нашу многострадательную и на крестѣ распятую Польшу?

— Люблю, пане ойче!

— Желаешь ли ея возстанія изъ мертвыхъ и освобожденія изъ-подъ ига нѣмцевъ и москалей?

— Желаю, ойче!

— Желаешь ли служить ей и всего себя принести въ жертву, какъ добрый и вѣрный сынъ, ради счастія и свободы нашей общей матери—Польши?

— Желаю, ойче!

— Ненавидишь ли утѣснителей народа нашего всѣмъ сердцемъ, всѣмъ духомъ и всѣмъ помышленіемъ твоимъ.

— Ненавижу.

— Желаешь ли мстить безпощадною и святою местью всѣмъ врагамъ народа нашего?

— Желаю, пане ойче!

— Ты не присягалъ еще на вѣрность рэонду народовому?

— Нѣтъ еще, ойче!

— Въ такомъ случаѣ подыми руку, коснись ею края знамени и повторяй за мною то, что я буду говорить тебѣ.

При этихъ словахъ одинъ изъ монаховъ выступилъ изъ темноты, взялъ церковную хоругвь, прислоненную къ углу стѣны, и, развернувъ ее, наклонилъ нѣсколько древко надъ присягающимъ юношей, а ксендзъ, вынувъ изъ-за пазухи листъ бумаги, приблизилъ его къ свѣчѣ и началъ читать, отчетливо и медленно отдѣляя фразы.

Юноша повторялъ за нимъ каждое слово, невольно поддаваясь волненію религіознаго страха, къ которому такъ располагала вся исключительная обстановка этого таинственнаго обряда.

«Клянусь всемогущему Богу, говорилъ онъ вслѣдъ за ксендзомъ,—клянусь Пресвятой Его Матери и всѣмъ святымъ, что отнынѣ принадлежу къ народной организаціи, и что всѣ силы, имущество мое и жизнь я готовъ посвя-

Digitized by Google

гить для освобожденія отчизны. Клянусь, что всегда и вездѣ буду слѣпо и безусловно повиноваться повелѣніямъ Центральнаго Народоваго Комитета, какъ единственной законной власти и начальникамъ отъ него установленнымъ. Клянусь, что свято буду исполнять обязанности на меня возложенныя, что готовъ буду по первому требованію стать на указанное мѣсто съ оружіемъ, которое мнѣ будетъ дано, и начать сражаться съ врагомъ отчизны и пролить послѣднюю каплю крови за ея освобожденіе. Клянусь свято сохранить тайну, какъ на свободѣ, такъ и въ темницѣ, несмотря на мученія и истязанія. Ежели бы я нарушилъ сію клятву и сдѣлался измѣнникомъ отечества или не исполнилъ своихъ обязанностей, то да не минуетъ меня заслуженная казнь отъ Бога и людей въ настоящей жизни и въ загробной. Въ этомъ да поможетъ мнѣ Господь Богъ, Пресвятая Его Матерь и всѣ святые. Amen».

— Теперь, сынъ мой, наложи правую руку твою на эти кинжалы,—обратился ксендзъ къ юношѣ, указавъ ему на скрещенные клинки,—и повторяй за мною особую присягу мстителей народовыхъ.

И онъ снова сталъ читать своимъ размѣреннымъ голосомъ:

«Присягаю Богомъ всемогущимъ на слѣпое повиновеніе рэонду народовому; клянусь безпрекословно и твердой рукой исполнять тѣ казни, которыя будутъ мнѣ поручены, и принимаю на себя всю отвѣтственность предъ трибуналомъ народовымъ за промедленіе, а тѣмъ паче за неисполненіе убійства, возложеннаго на меня рэондомъ народовымъ. Amen».

— Цѣлуй крестъ на своей клятвѣ, сынъ мой,—внушительно заговорилъ ксендзъ, окончивъ присягу,—цѣлуй раны и язвы Распятаго и проси Бога, да поможетъ тебѣ, во имя этихъ ранъ и язвъ, твердо владѣть вручаемымъ тебѣ оружіемъ. Теперь ты выше, чѣмъ простой ратникъ-повстанецъ, ты принялъ двойную присягу и потому назначеніе твое неизмѣримо важнѣе и почетнѣе: ты ангелъ-мститель твоего народа. Нанося смѣло и вѣрно смертельный ударъ твоимъ освященнымъ оружіемъ и знай, что самъ Богъ направляетъ твою разящую руку. Не ты разишь—самъ Богъ разитъ; ты же только избранный сосудъ, избранное орудіе разящаго Бога и Его святой воли. Богъ сохранитъ тебя здрава и невредима во всѣхъ путяхъ твоихъ; поэтому не бойся ничего. Святая церковь будетъ за тебя молиться неустанно, и каждый подвигъ твой на поприщѣ мстителя народнаго—въ книгѣ живота зачтенъ тебѣ будетъ въ такое доброе дѣло, за которое всѣ твои грѣхи простятся. Если-же Богъ похотѣлъ-бы,—продолжалъ ксендзъ со вздохомъ,—чтобы ты попался въ когти москалю, то да не смущается сердце твое и этимъ испытаніемъ, ибо ангелъ Господень сохранитъ тебя и, незримо для врага, изведетъ изъ темницы. Но ежели-бы тебѣ предстояла и самая смерть отъ руки московской, то не смущайся и виждь въ этомъ всеблагій перстъ Божій, ибо это будетъ служить тебѣ видимымъ знаменіемъ, что ты угоденъ Господу, что Богъ еще при земной твоей жизни уготовалъ тебѣ райскій вѣнецъ и возвелъ въ санъ святыхъ своихъ великомучениковъ.

Продекламировавъ весьма гладко и не безъ патетизма всю эту тираду, ксендзъ подошелъ къ колѣнопреклоненному юношѣ и, наложивъ свои руки на его голову, произнесъ разрѣшительную молитву и далъ ему «отпустъ», т. е. прощеніе всѣхъ грѣховъ его.

— Завтра утромъ приходи къ обѣднѣ въ этотъ же костелъ: тебѣ дадутъ причастіе,—сообщилъ онъ ему въ заключеніе.

Вслѣдъ затѣмъ изъ глубины катакомбы выступилъ другой монахъ съ бѣлымъ металлическимъ подносомъ, на которомъ помѣщались церковное кропило и сосудъ со святой водой.

Съ почтительнымъ поклономъ и молча приблизился онъ къ ксендзу, приводившему къ присягѣ. Тогда ксендзъ прочиталъ молитву надъ кинжалами, благословилъ ихъ, окропилъ святой водой и, поцѣловавъ одинъ изъ клинковъ, подобно тому какъ цѣлуется напрестольный крестъ, съ благоговѣніемъ подалъ его пану Тршидесентему, окропя и благословя заодно ужь и его вмѣстѣ съ кинжалами.

— Во имя святой Польши и пролитой крови братій твоихъ, вручается тебѣ это освященное оружіе,—заговорилъ онъ снова въ томъ же патетическомъ тонѣ. — Храни его до времени у сердца, на груди, подъ одеждою твоею и употребляй съ честію, во славу Бога и отчизны. Теперь можешь встать, добрый сынъ мой. Привѣтствую и поздравляю тебя, какъ новаго бойца за вольность, ровность и неподлеглость нашу.

Панъ нумеръ Тршидесенты вложилъ кинжалъ въ поданныя ему ножны и спряталъ его подъ жилеткой. Затѣмъ ксендзъ указалъ ему на выходъ, гдѣ ожидали его панъ Биртусъ и кармелитъ съ фонарикомъ. Юноша удалился.

Оставшіеся въ катакомбѣ сняли съ головъ капюшоны—и ксендзъ Кароль Микошевскій обнаружилъ свою смиренно-мудрую физіономію.

— А что, пане ксенже, не зайти-ли теперь ко мнѣ въ келью да не потребовать-ли намъ старой венгржины?—лукаво и добродушно подмигивая, предложилъ ему одинъ изъ монаховъ,—у насъ вѣдь добрая, заповѣдная!.. Одно слово: монастырская!

— Что-жь, нынче вѣдь разрѣшеніе вина и елея, а послѣ трудовъ такихъ и подавно подобаетъ!—шутливо согласился Микошевскій.

— А у него, кстати, какія карточки фотографическія есть!—присовокупилъ другой монашекъ,—недавно изъ-за границы тайно привезли

Digitized by Google

намъ... Прелесть, что за позы и что за фигуры! И больше все, знаешь, вдакъ, нашъ братъ монахъ смиренный фигурируетъ, ну и святыя матери тоже; но есть и отъ мірскаго кое-что... Однимъ словомъ, очень, любопытно и завлекательно!

И смиренные служители церкви, припрятавъ въ уголокъ аттрибуты только-что оконченной присяги, безпечно и весело болтая, покинули мрачныя катакомбы и отправились мирно наслаждаться постнымъ венгерскимъ виномъ и скоромными карточками.

XXIII.

Узелокъ.

Въ минуту окончательнаго разрыва, когда Хвалынцевъ, сопровождаемый словомъ «измѣнникъ», вышелъ отъ поручика Паляницы, онъ былъ почти внѣ себя. Голова его горѣла, нервы были возбуждены, и въ мозгу роились безсвязные отрывки какихъ-то мыслей. Одно только сознаніе, одно убѣжденіе выступало ясно и опредѣленно изъ этого хаоса мыслей и ощущеній, это то, что онъ поступилъ честно, разрывая съ компаніей революціонныхъ шулеровъ и плутовъ, что иначе и поступить нельзя, если не дѣлаться сознательно самому такимъ же революціоннымъ мошенникомъ. И въ то же время въ груди его ныло и щемило чувство, близко похожее на отчаяніе. Онъ сознавалъ, что разрывая съ Паляницей, онъ разрываетъ въ то же время не съ одной «Землей и Волей», а со всею польской организаціею, въ которой помимо «Земли и Воли» для него не было, да и не могло быть мѣста и назначенія. Разрывъ же съ поляками былъ разрывомъ и съ Цезариной. Онъ зналъ, что тутъ нѣтъ выбора и нѣтъ иного исхода. Но чувство чести превозмогло надъ страстью. Въ эту минуту ему приходилось хоронить на вѣки и свою страстную любовь, и свои радужныя мечты и надежды. Вотъ въ чемъ крылась причина близкаго къ отчаянью чувства. Но какъ уйти отъ «дѣла», когда *она* ничего еще не знаетъ, когда она ждетъ и надѣется, и полна убѣжденіемъ, что ради ея онъ весь принадлежитъ этому «дѣлу»! — «Уйти такъ, какъ теперь уходишь, это значитъ скрыться, убѣжать, словно бы я испугался и струсилъ; это значитъ дать ей право презирать меня», думалось Хвалынцеву. «Нѣтъ я уйду открыто! Пусть знаетъ, пусть знаетъ все, и если она честный человѣкъ, если въ душѣ ея таится хоть искра справедливости, она не должна, не можетъ осудить меня... Все же я унесу если не любовь, такъ уваженіе этой женщины».

И онъ рѣшился идти къ Цезаринѣ и высказать ей все, съ откровенной прямотой.

Но сегодня было уже поздно приводить въ исполненіе это намѣреніе, такъ какъ часовая стрѣлка показывала двѣнадцатый часъ ночи въ исходѣ. Хвалынцевъ, погруженный исключительно въ хаосъ своихъ мыслей и тревожныхъ чувствъ, рѣшительно не замѣтилъ, какъ пробродилъ столько времени по улицамъ. Но онъ не чувствовалъ ни малѣйшей физической усталости; напротивъ, внутри его какъ будто что подмывало идти и идти все дальше и дальше, не останавливаясь, не отдыхая и не отдавая себѣ отчета куда и зачѣмъ идетъ. Ему казалось только, будто онъ стремится куда-то и къ чему-то, и въ этомъ безвѣстномъ, но неодолимомъ стремленіи заключается въ данный моментъ вся цѣль его существованія. Онъ скинулъ фуражку, обтеръ свой лобъ — и ночная прохлада освѣжительно подѣйствовала на его пылавшую голову. Это помогло ему нѣсколько придти въ себя. Константинъ остановился на минуту, чтобъ осмотрѣться, куда занесло его, и узналъ вокругъ себя окрестности Лазенокъ и Бельведера. «Надо назадъ, домой надо», подсказалъ ему проснувшійся разсудокъ, и онъ поворотилъ въ Уяздовскую аллею. «А завтра къ Цезаринѣ, и все сказать ей!» рѣшилъ онъ самъ съ собой.

Но вотъ, идучи по пустынной аллеѣ, подходитъ онъ уже близко къ дому графини Маржецкой. Вокругъ господствуетъ фантастическій сумракъ, борясь сквозь вѣтви деревьевъ съ огнями газовыхъ фонарей; безлюдье и тишина глубокая, только листья каштановъ таинственно шепчутся между собой. Вотъ и знакомая чугунная рѣшетка вокругъ столь-же знакомаго дома; вотъ и стѣна, мимо которой съ такимъ замираніемъ сердца, весь радостный и счастливый, пробирался онъ разъ на назначенное ему свиданіе... Въ окнахъ темно, какъ и тогда-же. Вотъ и калитка... Но что это?!.. Хвалынцевъ остановился въ недоумѣніи. Рѣшетчатая калитка, вопреки обыкновенію, была не заперта; ее даже какъ будто нарочно оставили слегка открытой. «Что жъ это значитъ?» подумалъ озадаченный Хвалынцевъ. Сколько разъ, послѣ того свиданія, приходилось ему въ такую же позднюю пору проходить мимо этой самой рѣшетки—и калитка всегда была заперта на ключъ. Онъ это зналъ навѣрное, потому что иногда, поддаваясь почти безотчетному и чисто юношескому влеченію, мимоходомъ толкалъ ее рукой, думая про себя: «авось, на счастье отперто, и что, если отперто вдругъ для меня?» Но эти опыты привели его къ убѣжденію, что калитка всегда и для всѣхъ безъ исключенія, кромѣ того раза, остается запертою. «Кто жъ, помимо самой Цезарины, могъ отворить ее теперь? И для чего, или... для *кого* она можетъ быть отперта?»

И не взвѣшивая своего намѣренія, не задавъ себѣ даже вопроса: хорошо ли и умѣстно ли, зачѣмъ и по какому праву онъ это дѣ-

Digitized by Google

лаетъ, Хвалынцевъ переша́гнулъ порогъ и пошелъ мимо стѣны, знакомымъ путемъ, въ садъ графини Цезарины. Вотъ онъ завернулъ за уголъ. Полосы свѣта падали изъ оконъ на террасу и слабо освѣщали вѣтви ближайшихъ сиреней. Хвалынцевъ поднялся на ступени и вдругъ отшатнулся, не вѣря глазамъ своимъ.

Сквозь стеклянную раму двери, онъ въ первое же мгновеніе и какъ нельзя болѣе ясно увидѣлъ, что въ той самой комнатѣ, гдѣ и его принимали, близъ того же самаго накрытаго для ужина стола, на которомъ и теперь, какъ тогда, въ серебряномъ холодильникѣ стояло вино, въ хрустальной плоской вазѣ красиво рисовались разные фрукты, на томъ же самомъ роскошномъ диванѣ, гдѣ и онъ сидѣлъ, графиня Цезарина полулежала теперь въ объятіяхъ какого-то статнаго молодого красавца, одѣтаго въ изящную чамарку, закинувъ на его плечи свои обнаженныя красивыя руки и, съ восторженно страстной влюблённой улыбкой глядя ему въ глаза, ласково и небрежно играла его роскошными кудрями.

Хотѣлось бы считать все это за сонъ и наважденіе, хотѣлось бы не вѣрить глазамъ, но увы!—невозможно было не вѣрить. Дѣйствительность этой нежданной картины чужого счастія слишкомъ ясно и такъ-сказать осязательно предстала теперь передъ Хвалынцевымъ. Пелена спала съ глазъ его. Онъ только тутъ понялъ, что эта женщина никогда его не любила, что онъ все время былъ въ ея рукахъ жертвой какого-то темнаго и злого обмана.

Вся кровь прихлынула ему къ головѣ. Оскорбленіе этого сознаннаго обмана, мучительное чувство обиды, ревности и поруганной любви—все это разомъ заколесило въ груди его до ощущенія физической дурноты. Стиснувъ до боли свои зубы и неотводно глядя сквозь стекла широко раскрытыми, почти безумными глазами, онъ вдругъ рванулъ ручку замка; но дверь оказалась запертой. Зачѣмъ и для чего онъ это сдѣлалъ, Константинъ и самъ себѣ не могъ хорошенько дать отчета.

Дребезжанье рванутой двери заставило между тѣмъ испуганно вздрогнуть и смутиться счастливую пару. Цезарина отшатнулась въ сторону.

Хвалынцевъ рванулъ вторично ручку, и вся дверь задребезжала еще сильнѣе подъ его напоромъ.

Красавецъ поднялся, плохо оправляясь отъ смущенія, подошелъ наконецъ къ двери и, приложивъ щиткомъ руку къ бровямъ, старался разглядѣть, что́ это творится тамъ, за темными стеклами?

— Кто тамъ?—нетвердо спросилъ онъ, по-польски.

— Мнѣ надо видѣть графиню Цезарину. Отворите!—не помня себя, отвѣчалъ по-русски Хвалынцевъ.

Звуки русскаго языка и призракъ военнаго мундира еще болѣе повергли поляка въ смущеніе.

— Кажись, полиція,—пробормоталъ онъ упавшимъ голосомъ, оборотясь къ Цезаринѣ.

— Полиція?.. Отворите! — приказала она вслѣдъ за мгновеньемъ внутренняго колебанія.

Но каково же было ея изумленіе, когда вмѣсто ожидаемаго жандарма, предъ ней очутился Хвалынцевъ.

Гордо закинувъ голову, со всей массой своихъ роскошныхъ пепельныхъ волосъ, она смѣло ступила шагъ впередъ, и все поблѣднѣвшее лицо ея одушевилось негодованіемъ, а каріе глаза изъ-подъ энергично сдвинувшихся бровей загорѣлись фосфорическимъ блескомъ.

— Это вы!?.. глухимъ, но твердымъ и сдержаннымъ голосомъ проговорила она, измѣряя взглядомъ вошедшаго.—По какому праву... и какъ вы осмѣлились нахально врываться ночью въ мою квартиру?

Хвалынцевъ собралъ всѣ усилія, чтобы по возможности овладѣть собой.

— Я пришелъ возвратить вамъ ваше слово, и взять назадъ мое обѣщаніе,—проговорилъ онъ голосомъ, прерывавшимся отъ волненія.

— Обѣщаніе?.. Слово?.. Какое слово?.. Я никакихъ вамъ словъ не давала!

— Избавьте отъ необходимости повторять ваше обѣщаніе, графиня!.. Вы понимаете, о чемъ говорю я... Тѣмъ болѣе, что едва ли вамъ будетъ по сердцу, если я стану распространяться въ присутствіи этого свидѣтеля,—сказалъ Хвалынцевъ, указавъ глазами на красавца, который стоялъ въ замѣшательствѣ и ровно ничего не понимая.

— Жозефъ!—обратилась къ нему негодующая Цезарина,—меня оскорбляютъ въ вашемъ присутствіи, а вы стоите и слушаете!

Красавецъ шагнулъ было впередъ, но Хвалынцевъ остановилъ его взглядомъ.

— Позвольте, — сказалъ онъ ему, — черезъ минуту, если угодно, я буду вполнѣ къ вашимъ услугамъ. А теперь, графиня, — продолжалъ онъ,—мнѣ остается только сказать вамъ, что я не желаю болѣе быть игрушкой политическихъ плутовъ и интригановъ... Я понялъ вполнѣ ваше пресловутое *дѣло*, и съ нынѣшняго дня окончательно разрываю съ нимъ мои связи... Полагаю, что въ виду нашихъ обоюдныхъ обѣщаній, вамъ было необходимо знать объ этомъ. Вотъ цѣль моего дерзкаго и неумѣстнаго прихода, за который, если этому господину угодно (онъ снова показалъ глазами на красавца), я готовъ дать ему удовлетвореніе.

— Да, милостивый государь, мнѣ это угодно,—съ вѣжливо-сухимъ поклономъ отозвался красавецъ.—Но только дѣло вотъ въ чемъ,—продолжалъ онъ съ ироническою улыбкой,—наши шансы въ этомъ случаѣ не равны; вы относительно меня въ привилегированномъ положе-

Digitized by Google

ніи: вы русскій и военный, а я полякъ. Если вы убьете меня, вамъ ничего не сдѣлаютъ, а убей я васъ, меня сошлютъ въ Сибирь, а можетъ-быть и повѣсятъ. Поэтому позвольте, если вы джентльменъ и понимаете, что такое обязанности чести, позвольте предложить вамъ иной способъ дуэли—на узелокъ. Не выходя отсюда, мы съ вами вынемъ жребій, и кому достанется, тотъ къ утру обязанъ покончить съ собой какимъ угодно способомъ. Это и вѣрнѣе, и шансы уравниваетъ. Угодно въ такомъ видѣ принять мой вызовъ?

— Принимаю!—не подумавъ, рѣшительно и сразу согласился Хвалынцевъ. Въ томъ нравственномъ положеніи, въ какомъ находился онъ въ данныя минуты, оскорбленный и обманутый въ самомъ сильномъ и завѣтномъ своемъ чувствѣ, подавляемый затаеннымъ презрѣніемъ къ самому себѣ за измѣну не польскому, а русскому дѣлу, и за ту глупую, жалкую роль, которую онъ такъ слѣпо разыгрывалъ столько времени, Константинъ съ радостью ухватился за мысль о смерти, которая представилась ему теперь единственнымъ и самымъ свѣтлымъ, самымъ желаннымъ исходомъ изъ его запутаннаго и безвыходнаго положенія. Въ эту минуту онъ не только желалъ, чтобы роковой узелокъ достался ему, но былъ убѣжденъ и даже вѣровалъ какъ-то, что онъ непремѣнно ему достанется.

— Потрудитесь сейчасъ же приготовить жребій,—нетерпѣливо отнесся онъ къ противнику. Тотъ вынулъ изъ кармана батистовый платокъ, завязалъ одинъ конецъ его въ узелъ и почтительно подалъ Цезаринѣ.

— Вы, графиня, единственный секундантъ при этой дуэли,—сказалъ онъ ей съ рыцарскою любезностью.—Позвольте же изъ вашихъ рукъ принять намъ наши жеребьи.

Цезарина взяла платокъ, затѣмъ, отвернувшись нѣсколько въ сторону, перемѣшала въ пальцахъ два жеребьевые угла его и, расправивъ въ видѣ уголковъ оба маленькіе кончика, торчавшіе изъ ея сжатаго кулака, протянула къ противникамъ свою руку. Тѣ одновременно взялись и одновременно выдернули жребіи.

Роковой узелокъ достался не Хвалынцеву.

— Досадно! — проворчалъ онъ сквозь зубы, оглядывая свой жребій и какъ-бы все еще не вполнѣ убѣждаясь, точно-ли онъ гладкій.

Между тѣмъ, легкая смутная тѣнь чуть замѣтно пробѣжала на мгновенье въ побѣлѣвшемъ слегка лицѣ молодого красавца, который съ выраженіемъ какого-то страннаго недоумѣнія оглядѣлъ узелокъ, словно-бы тоже не вѣря, что онъ могъ достаться на его долю. Но эта невольная игра лица и взгляда продолжалась не болѣе одной секунды. Затѣмъ молодой человѣкъ тотчасъ-же поспѣшилъ оправиться и овладѣть собою.

— Судьба! — съ нѣсколько принужденной улыбкой сказалъ онъ Цезаринѣ, пряча въ карманъ свой платокъ, и тотчасъ-же спокойно и съ достоинствомъ обратился къ Хвалынцеву.

— Милостивый государь,—слегка, но вполнѣ джентльменски поклонился онъ ему, — можете вполнѣ быть увѣрены, что къ утру будетъ исполнено.

— Не сомнѣваюсь,—отвѣтилъ въ свой чередъ подобнымъ же поклономъ Хвалынцевъ. «А жаль, что не мнѣ!» искренно подумалось ему при этомъ.

— Затѣмъ, графиня,—прибавилъ онъ, обратясь къ Цезаринѣ,—позвольте просить извиненія, что я такъ некстати и такъ грубо побезпокоилъ васъ... Честь имѣю кланяться!

И онъ удалился изъ ея дома.

Гдѣ и какъ былъ проведенъ имъ остатокъ ночи, Хвалынцевъ и самъ не помнилъ. Равно не помнилъ и того, какія мысли бродили въ головѣ, какія чувства тѣснились и бушевали въ сердцѣ. Подъ утро онъ вернулся къ себѣ домой словно-бы въ какомъ-то одурманенномъ и окаменѣломъ состояніи. Чувствительность и способность воспринимать какія бы то ни было впечатлѣнія, казалось, совершенно притупились въ немъ къ этому времени. Не раздѣваясь, бросился онъ въ постель, но спалъ-ли, нѣтъ-ли, въ томъ не могъ дать себѣ никакого отчета. Къ полудню слуга его догадался, что дѣло, кажись, плохо и бросился за полковымъ докторомъ. Врачъ осмотрѣлъ больного и открылъ въ немъ всѣ признаки нервной горячки. Онъ сообщилъ объ этомъ товарищамъ Константина; тѣ посѣтили больного, лежавшаго въ полномъ безпамятствѣ, и, такъ какъ уходъ за нимъ одного лишь слуги не могъ почесться достаточнымъ и надежнымъ, то на общемъ совѣтѣ съ докторомъ было порѣшено перенести его въ Уяздовскій госпиталь. Къ вечеру явились санитарные служителя съ крытыми носилками,—и наступившую ночь Хвалынцевъ провелъ уже въ особой камерѣ, подъ надежной госпитальной кровлей.

XXIV.

Послѣ болѣзни.

Онъ пролежалъ около двухъ мѣсяцевъ. Сначала болѣзнь туго поддавалась усиліямъ врачей, но наконецъ наступилъ благодѣтельный кризисъ и съ того самаго дня въ благополучномъ исходѣ горячки уже не могло быть сомнѣній. Молодая натура взяла свое, жизнь пересилила въ этой борьбѣ со смертію, и здоровье стало быстро поправляться, организмъ дѣятельно пополнялся новыми силами, такъ что въ первыхъ числахъ ноября Константинъ выписался изъ госпиталя уже совершенно бодрымъ, сильнымъ и здоровымъ попрежнему.

А въ это время панъ Нумеръ Тршидесенты давно уже принялъ свою присягу и ждалъ...

Digitized by Google

За Хвалынцевымъ исподоволь и незамѣтно слѣдили надежные глаза и уши, которые умѣли проникать повсюду, оставаясь въ глубочайшей тайнѣ. Съ тѣхъ поръ, какъ трибуналъ народовый произнесъ надъ нимъ свой заочный приговоръ, предсѣдателю операторской части, старцу Крушинскому, очень хорошо и подробно былъ извѣстенъ, такъ-сказать, каждый шагъ Хвалынцева; этотъ старецъ день за днемъ слѣдилъ и зналъ весь ходъ его болѣзни, благодаря зоркому своему помощнику, Игнатію Трущинскому, который, въ качествѣ сына жандармскаго подполковника русской службы, имѣлъ возможность, подъ самыми невинными и законными предлогами, узнавать стороной все, что дѣлается въ военныхъ и вообще въ русскихъ сферахъ Варшавы. Въ госпиталѣ ему даже легче было слѣдить за Хвалынцевымъ, чѣмъ въ городѣ, когда онъ послѣ болѣзни снова попалъ на свою квартиру. Тутъ мѣшали и служба и товарищи, съ обществомъ которыхъ Константинъ теперь почти не разставался. Покончивъ съ Паляницей, онъ встряхнулся и почувствовалъ душевную потребность честно и добросовѣстно заняться своимъ военнымъ дѣломъ, своей службой, и какъ можно ближе и сердечнѣе опять сойтись съ товарищами, отъ которыхъ одно время совсѣмъ было отшатнулся. И то, и другое вполнѣ удалось ему, потому что натура у него была дѣятельная, подвижная, а душа отзывчивая и открытая. Теперь онъ уже «не сидѣлъ на двухъ стульяхъ» какъ прежде, но все-таки далеко еще не зналъ душевнаго покоя. Его тяготило прошлое, укоряло и грызло сознаніе своей виновности, и какъ часто, бывало, щеки его невольно вспыхивали краской жгучаго стыда при воспоминаніи о своей жалкой роли у Цезарины и у Свитки, или при мысли о томъ, что онъ могъ, во имя страсти къ чуждой и мало знаемой женщинѣ, идти заодно съ врагами своего народа, которыхъ не уважалъ въ душѣ, противъ *своихъ*, которымъ, по самой природѣ, естественно и законно принадлежали всѣ симпатіи, вся родственность и любовь его. «Это подлость, больше которой нѣтъ на свѣтѣ!» говорилъ ему неумолимый голосъ совѣсти, и вотъ все чаще и все настоятельнѣе стала теперь приходить ему мысль объ очищеніи себя полнымъ покаяніемъ, о томъ, чтобы понести свою заслуженную кару, сколь бы она ни была тяжела и сурова, и воспрянуть изъ этой кары другимъ, совсѣмъ новымъ человѣкомъ, съ обновленнымъ и просвѣтленнымъ духомъ, со спокойною, чистою и примиренною совѣстью. Онъ всей душой стремился къ этому завѣтному желанію, и, будь онъ *одинъ*, его ни на минуту не остановилъ бы страхъ заслуженной кары; но въ томъ-то и сила, что въ этомъ отношеніи судьба его спутана съ другими лицами, участіе которыхъ въ общемъ «дѣлѣ» невольно обнаружилось бы изъ его откровеннаго признанія. Хотя нѣкоторыхъ изъ этихъ людей и ненавидѣлъ онъ въ душѣ своей, считая ихъ виновниками своего паденія, а другихъ презиралъ за ихъ тупое, самонадѣянное ничтожество, но все-таки нравственное чувство его содрогалось предъ словомъ «доносъ». Это слово тяжко и жестоко страшило его. Онъ былъ бы воистину радъ и счастливъ возможностью поплатиться за прошлое, если бы только дѣло раскрылось инымъ путемъ помимо его, если бы, напримѣръ, кто-нибудь изъ сотоварищей по заговору выдалъ его самъ. О тогда бы все, все, что касается самого себя, одной лишь своей головы, все это чистосердечно положилъ бы онъ на вѣсы правосудія и смиренно принялъ бы очистительную кару! Но самому выдавать другихъ, хотя и презираемыхъ и ненавидимыхъ, самому брать на свою совѣсть вѣчный и тяжкій укоръ за чужую судьбу и свободу, за чужое несчастіе, а можетъ и самую жизнь—нѣтъ, это невозможно! И онъ чувствовалъ, что на такой поступокъ никогда бы не хватило его. Хотя вся его преступность ограничивалась только знакомствомъ съ загадочнымъ Свиткой да вступленіемъ въ тайный союзъ Паляницы, гдѣ болѣе болтали, чѣмъ дѣлали; хотя онъ и былъ убѣжденъ, что самъ этотъ маньякъ Паляница, по глупости своей, едва ли можетъ кому и чему-либо нанести какой-нибудь вредъ, и хотя, наконецъ, виновность Хвалынцева заключалась только въ неясныхъ намѣреніяхъ, отъ которыхъ, впрочемъ, онъ отшатнулся при первомъ же шуллерски-нечестномъ предложеніи, но тѣмъ не менѣе тяжело ему было самое сознаніе, что онъ, какъ тряпка, могъ допустить себя барахтаться въ грязи всего этого ничтожества, возжаться со всѣми этими проходимцами, называться ихъ единомышленникомъ и сотоварищемъ, нося честный русскій мундиръ и имѣя у себя настоящихъ и дѣйствительно честныхъ товарищей, — вотъ что грызло его душу и палило стыдомъ его щеки, и вотъ почему вопіяла въ немъ потребность гласнаго, открытаго покаянія, которое очистило бы и возродило его къ новой жизни и дало бы право снова открыто и прямо глядѣть въ глаза всѣмъ честнымъ людямъ.

Ему казалось, будто теперь онъ понялъ Цезарину. И это, пожалуй, было такъ, но только отчасти: польской сущности этой женщины онъ все-таки не понималъ, да и не могъ-бы понять въ то время. Но ему стало понятно, что она не ради своего чувства къ нему, а ради какой-то другой, совсѣмъ посторонней цѣли завлекла его въ опасное и чуждое ему дѣло, что въ отношеніяхъ къ нему у нея была какая-то фальшь, притворство, какой-то посторонній расчетъ, а вовсе не искреннее чувство. Это все стало теперь понятно для Хва-

Digitized by Google

лынцева, и были минуты, когда, вспоминая все, чѣмъ она съ первой встрѣчи завлекала его, и все, что обнаружилось для него только въ послѣднюю ночь предъ болѣзнью, вспоминая разсчитанное коварство, ложь, притворство, онъ начиналъ ненавидѣть эту женщину, и ненавидѣлъ тѣмъ сильнѣе, чѣмъ болѣе ощущалъ боль своего разбитаго, поруганнаго чувства къ ней и чѣмъ болѣе сознавалъ, въ какіе жалкіе шуты вышучивала его для чего-то эта обаятельная графиня Цезарина. Тутъ уже уязвленное молодое и чуткое самолюбіе питало въ немъ эту ненависть.—Но странное дѣло!—среди столь сильной ненависти, вдругъ иногда почему-то невольно приходило на память все неотразимое обаяніе Цезарины, вся красота ея, весь чувственный соблазнъ ея, и даже съ особенной яркостью вставала въ воображеніи именно та минута, когда въ образѣ разъяренной тигрицы, гордо закинувъ голову, съ этимъ грознымъ фосфорическимъ свѣтомъ глазъ, она опрокинулась на него всѣмъ негодованіемъ и всею яростью оскорбленной женщины, во время его послѣдняго ночного посѣщенія. Онъ вспоминалъ все впечатлѣніе этой минуты, отъ котораго духъ захватывало, вспоминалъ всю грозную прелесть и сверкающую красоту ея, въ какой величаво предстала она въ тѣ мгновенія, и увы! съ негодованіемъ на самого себя чувствовалъ, что, къ несчастію, не все еще кончено, не все еще умерло въ его сердцѣ относительно этой проклятой женщины. Наперекоръ самолюбію, наперекоръ чести и разсудку проявлялись-таки порою мгновенія, когда Константинъ сознавалъ, что все еще любитъ ее, любитъ въ самой ненависти, въ самомъ презрѣніи къ ней, и любитъ не душу, а только красоту, только это дивное, чувственное тѣло. Онъ боролся съ самимъ собой и превозмогалъ себя, но тѣмъ не менѣе подобныя минуты страсти, какъ шквалы, налетали еще порой на его душу, и Константинъ предчувствовалъ, что не мало борьбы, не мало самыхъ строгихъ и крутыхъ усилій надъ собой предстоитъ еще ему впереди, пока не одолѣетъ и не убьетъ окончательно своего непокорнаго, болѣзненнаго чувства, пока не воцарится въ душѣ его мирное и свѣтлое затишье.

XXV.

«По декрету трибунала».

Игнатій Трущинскій, знавшій Хвалынцева въ лицо, однажды, при случайной встрѣчѣ въ кондитерской Конти, гдѣ Константинъ игралъ съ товарищами на бильярдѣ, указалъ на него своему собрату Штейнгреберу. Цивилизованный еврейчикъ, замѣтивъ себѣ хорошенько черты лица и наружность Хвалынцева, сталъ выслѣживать, гдѣ и въ какіе часы онъ больше и чаще бываетъ. Оказалось, что онъ довольно часто пріѣзжаетъ съ товарищами обѣдать въ ресторанъ Европейскаго отеля, откуда обыкновенно они переходятъ къ Конти сыграть партію-другую на бильярдѣ. Узнавъ это, Штейнгреберу уже не трудно было указать на него въ бильярдной залѣ пану Биртусу, которому нарочно, ради этого случая, былъ даже пожертвованъ скромный, но приличный костюмъ, безъ чего его не пустили-бы сидѣть и пить пиво въ аристократической цукернѣ. Послѣ этого, панъ Биртусъ принялъ на себя обязанность уже спеціально слѣдить за Константиномъ, и на слѣдующій же день, захвативъ съ собой пана Тршидесентего, сталъ въ обѣденный часъ прогуливаться съ нимъ по Краковскому предмѣстью, мимо Европейскаго отеля, поджидая, когда подъѣдетъ Хвалынцевъ и наказывая своему ученику какъ можно лучше и вѣрнѣе запримѣтить себѣ этого «ладайка-москаля», чтобы потомъ, борони Боже, не вышло-бы какой ошибки. Въ урочный часъ Константинъ подъѣхалъ къ отелю и, пока расплачивался съ дружкаремъ, оба молодца Броварной улицы успѣли подойти какъ разъ къ самому подъѣзду, такъ что Хвалынцевъ прошелъ мимо ихъ въ какомъ-нибудь шагѣ разстоянія. Панъ Нумеръ Тршидесенты въ это время достаточно успѣлъ схватить себѣ общее впечатлѣніе его наружности, такъ что на другой день, когда панъ Биртусъ захотѣлъ сдѣлать ему провѣрку, Нумеръ Тршидесенты уже самъ первый указалъ ему подъѣхавшаго Константина. Биртусъ остался очень доволенъ его наблюдательностью и доложилъ Штейнгреберу, что теперь можно быть насчетъ «шинки» въ полной увѣренности и что ошибки произойти уже не можетъ.

Все это было дѣломъ четырехъ-пяти дней, не болѣе.

Но какъ ни зорко слѣдили эти господа за Хвалынцевымъ, какъ ни подстерегали его по разнымъ закоулкамъ и подворотнямъ вблизи его квартиры, обстоятельства случайнымъ образомъ складывались такъ, что мальчонкѣ-мастеровому крайне рискованно было бы приводить въ исполненіе приговоръ трибунала: то посторонняго народа много на улицѣ, то полицейскій дозоръ напротивъ торчитъ и смотритъ, то русскіе солдаты проходятъ, то самъ Хвалынцевъ идетъ, но не одинъ, а съ товарищами—все это неловко, неудобно, опасно и не позволяетъ разсчитывать на удачу дѣла и на вѣрность удара. Словомъ сказать, дѣло не выгорало. Время проходитъ, приговоръ подписанъ и данъ къ исполненію уже давнымъ-давно, а намѣченная жертва между тѣмъ преспокойно еще гуляетъ по варшавскимъ улицамъ. Ксендзъ Кароль Микошевскій началъ даже находить, что такое промедленіе наноситъ ущербъ достоинству и авторитету трибунала. Въ центральномъ комитетѣ, по этому поводу, были недовольны частію операторной, и

Digitized by Google

черезъ Миколаевскаго сдѣлали формальное и строгое замѣчаніе шефу операторовъ, достопочтенному старцу Крушинскому, который въ свою очередь объявилъ выговоръ помощнику своему Штейнгреберу. Надо замѣтить, что ржондъ народовый вообще чрезвычайно любилъ подражать всѣмъ формальнымъ канцелярскимъ порядкамъ настоящихъ правительствъ и не скупился на циркуляры, указанія, предписанія и выговоры по всѣмъ своимъ нисходящимъ инстанціямъ. Вся эта комическая пародія продѣлывалась съ большою аккуратностью и замѣчательнымъ постоянствомъ.

Жидокъ Штейнгреберъ, въ свою очередь, приналегъ на пана Биртуса и объявилъ, что если дѣло пойдетъ и далѣе такимъ образомъ, то имъ перестанутъ выплачивать жалованье.

Нумеръ Тршидесенты со дня своей присяги началъ получать жалованье по три злотыхъ и десять грошей въ день [1]). На эту сумму онъ могъ быть и сытъ и пьянъ ежедневно. Теперь ему убавили содержаніе ровно на половину, такъ что мальчонка долженъ былъ дѣлать выборъ: или быть сытымъ, или быть пьянымъ, но совмѣстно и то и другое стало уже для него недоступно. Это огорчающее обстоятельство должно было возбудить его энергію и рѣшимость; потому-то подобныя мѣры и принимались всегда противъ недостаточно-энергичныхъ кинжальщиковъ. Прошло еще дня три, исправительная мѣра не подѣйствовала: Хвалынцевъ былъ живъ и преспокойно продолжалъ показываться на улицахъ. Нумеру Тршидесентему совсѣмъ перестали платить жалованье. Это обстоятельство обрекало его на дѣйствительный и безвыходный голодъ. А тутъ еще панъ Биртусъ объявилъ, по приказанію шефа операторовъ, что если Нумеръ Тршидесенты черезъ три дня послѣ настоящаго объявленія не исполнитъ порученнаго ему приговора, то надъ нимъ самимъ будетъ исполнена смертная казнь, какъ надъ ослушникомъ священной воли народнаго трибунала. Поставленный въ безвыходное положеніе, съ одной стороны, крайнимъ голодомъ, а съ другой—этой нешуточной угрозой, Нумеръ Тршидесенты увидѣлъ, что какъ ни кинь, все клинъ выходитъ: убьешь Хвалынцева—повѣсятъ, не убьешь его—задушатъ, и въ послѣднемъ случаѣ даже вѣрнѣе, чѣмъ въ первомъ, потому что тамъ еще есть надежда скрыться да и *свои* помогутъ, а тутъ ужь никуда не скроешься и никто не окажетъ помощи. Ему не оставалось никакого выбора, а при этомъ еще Биртусъ соблазняетъ, что если, молъ, исполнишь казнь, то получишь пятнадцать злотыхъ въ награду за работу и снова жалованье выдавать станутъ. И вотъ, побуждаемый голодомъ и страхомъ наказанія, мальчонка рѣшается дѣйствовать на-удалую.

Подъ вечеръ забрался онъ на лѣстницу, которая вела въ квартиру Хвалынцева, и рѣшился дѣйствовать на-авось: если накроютъ его прежде, чѣмъ онъ успѣетъ исполнить свою «работу», значитъ, ужь такъ ему на роду написано пропадать. Онъ забился въ самый темный уголокъ подъ лѣстницей и, присѣвъ на корточки, ждалъ появленія своей жертвы. По его предположенію, Хвалынцевъ послѣ обѣда долженъ будетъ вернуться домой, такъ, по крайней мѣрѣ, уже нѣсколько разъ случалось во время его наблюденій. Но вотъ бѣда, если вернется не одинъ, а съ кѣмъ-нибудь изъ товарищей... У бѣднаго мальчонки, отъ этого предположенія даже мураши по спинѣ побѣжали, и онъ началъ горячо молиться, чтобы дѣло его обошлось удачно, чтобы все устроилось такъ, какъ слѣдуетъ. Время ожиданія было мучительно. Нѣсколько разъ по лѣстницѣ подымались и спускались какіе-то люди, жильцы этого дома, и несчастный мальчонка жался глубже въ свой уголъ, крестясь и трепеща, чтобы его какъ-нибудь не открыли.

Но вотъ послышались чьи-то твердые шаги и лязгъ сабли. Сердце кинжальщика забилось чаще и сильнѣе. Онъ прислушался: судя по звуку, это шаги одиночные. Притаившійся мальчонка далъ вошедшему подняться на нѣсколько ступеней, и затѣмъ, торопливо крестясь, какъ кошка, неслышно выскочилъ изъ-подъ лѣстницы и на цыпочкахъ побѣжалъ въ догонку за подымавшимся человѣкомъ. Въ сѣняхъ настолько уже господствовалъ сумракъ, что издали разглядѣть черты лица было невозможно.

— Пршепрашамъ пане! [1]) робко произнесъ кинжальщикъ, остановивъ того на первой площадкѣ и стараясь разглядѣть физіономію.

— Что такое? — едва успѣлъ проговорить остановленный, какъ вдругъ:

— По декрету трибунала! — воскликнулъ узнавшій его кинжальщикъ, съ размаху воная свое оружіе въ стоявшаго предъ нимъ человѣка и опрометью, чуть не кубаремъ, кинулся съ лѣстницы.

Дверь подъѣзда хлопнула, и убійца скрылся изъ виду.

— Держи!.. лови!—что есть мочи закричалъ Хвалынцевъ и бросился въ догонку. Выбѣжавъ на тротуаръ, онъ успѣлъ еще замѣтить, какъ какой-то человѣкъ бѣжалъ въ лѣвую сторону, но въ ту-жь минуту Константину показалось, что убѣгавшій не то юркнулъ въ какія то ворота, не то просто провалился сквозь землю. Однимъ словомъ, кинжальщикъ въ ту-жь минуту исчезъ у него изъ глазъ. Константинъ, продолжая бѣжать, вдругъ почувствовалъ у себя въ лѣвомъ плечѣ, около ключицы, какую-то острую боль, до того сильную, что въ глазахъ у него помутилось. Онъ сдѣлалъ надъ собой послѣднее усиліе, но успѣлъ только вы-

[1]) Пятьдесятъ копеекъ

[1]) Извините сударь!

Digitized by Google

крикнуть еще разъ что-то неясное, зашатался и грохнулся почти безъ чувствъ на мостовую.

Люди проходили мимо, но не останавливались. Обыватели варшавскіе въ то время очень хорошо уже знали, что такое значитъ, если на улицѣ лежитъ человѣкъ, истекающій кровью. Иные изъ нихъ только косились на то мѣсто, гдѣ лежалъ онъ, и торопились уйти подальше, другіе же, на мгновенье пріостановясь около тѣла, плевали въ его сторону и, проворчавъ что-нибудь въ родѣ «пся кревъ» или «пся юха», съ выраженіемъ ненависти, проходили мимо. Никто не нагнулся, чтобы подать помощь, никто не кинулся на розыски убійцы.

Полякъ-полицейскій, котораго прохожіе оповѣстили, что въ нѣсколькихъ шагахъ лежитъ какой-то раненый, неторопливо приблизился къ Хвалынцеву, осмотрѣлъ его со всѣхъ сторонъ и подалъ призывный свистокъ сосѣднему дозорцу. Черезъ минуту подошелъ другой полицейскій, посовѣтовался съ товарищемъ какъ быть и что дѣлать, подумалъ, покачалъ головой и догадался, что надо бы позвать доктора. Поговорили, стоитъ ли еще ходить за докторомъ; но рѣшили, что неравно начальство, спроситъ зачѣмъ не исполнили этого, и потому въ огражденіе себя «съ легальной стороны», одинъ изъ полицейскихъ стукнулся въ дверь врача, проживавшаго въ нѣсколькихъ шагахъ по сосѣдству. Врачъ-полякъ, узнавъ, что помощь его нужна раненому кинжальщикомъ, отказался подъ предлогомъ собственной болѣзни, другой же польскій врачъ, къ которому послѣ этого поспѣшилъ полицейскій, сказалъ просто, что ему нѣтъ дѣла и нѣтъ времени для этого. Пришлось бѣжать въ казармы и отыскивать русскаго военнаго доктора.

Полуобморочное состояніе Хвалынцева продолжалось не долго. Оно было болѣе слѣдствіемъ внезапнаго испуга и потрясенія, чѣмъ опасности самой раны. Черезъ двѣ-три минуты Константинъ уже пришелъ въ себя и, съ помощью дозорца, поднялся на ноги. Подошли двое солдатъ, случайно проходившихъ мимо. Одинъ изъ нихъ оказался однополчаниномъ Хвалынцева и узналъ его. Онъ тотчасъ же кинулся оповѣстить двухъ товарищей Константина, жившихъ по сосѣдству, и побѣжалъ за полковымъ докторомъ. Между тѣмъ полицейскій, съ помощью другого прохожаго солдата, внесъ раненаго въ помѣщеніе ближайшей еврейской лавочки, чтобъ оградить его отъ праздная любопытства толпы, которая стала собираться тотчасъ же, чуть лишь замѣтила присутствіе дозорца на мѣстѣ происшествія. Въ числѣ любопытныхъ между прочимъ присутствовалъ и панъ Биртусъ, поджидавшій въ одной изъ ближайшихъ *баварій* результатовъ «работы» Нумера Тршидесентего. Теперь онъ стоялъ съ самымъ невиннымъ и даже сострадающимъ видомъ, покачивая головою и какъ бы про себя приговаривалъ въ полголоса: «Ай, Іезусъ-Марія! оттожь лайдаки! Яка шкода, ай-ай-ай!.. От-то пршекленты»...

Черезъ нѣсколько минутъ прибѣжали двое товарищей Хвалынцева, а за ними, спустя малое время, появились одинъ за другимъ и двое военныхъ врачей, привезенныхъ изъ разныхъ мѣстъ солдатомъ и полицейскимъ. Немедленно обмыли кровь и осмотрѣли рану, которая оказалась хотя и опасной, но далеко не смертельной. Рука убійцы была не вѣрна, да и толстая шинель Хвалынцева тоже оказала нѣкоторую защиту. Поражено было плечо отъ ключицы къ лопаткѣ, но, къ счастію, легкое осталось не задѣто. Больному наскоро сдѣлали первую перевязку и, осторожно положивъ въ наемный экипажъ, перевезли его въ Уяздовскій госпиталь, съ которымъ онъ еще такъ недавно разстался.

* * *

Въ мѣстныхъ кружкахъ русскаго общества всѣ были возмущены и изумлены этимъ покушеніемъ. Никто не понималъ, что за цѣль могла быть у убійцъ въ этомъ случаѣ, и чѣмъ могъ Хвалынцевъ навлечь на себя такую кару народоваго ржонда. Толковали разно: одни говорили, что это была не болѣе какъ простая проба кинжала, который надо же было испытать на комъ-нибудь, а Хвалынцевъ случайно подвернулся подъ руку, и только; другіе передавали слухи, будто Центральный Комитетъ рѣшилъ нападать подобнымъ образомъ на всѣхъ военныхъ и русскихъ безъ разбора и безъ исключенія; третьи увѣряли, что ударъ былъ направленъ въ Хвалынцева по ошибкѣ, а предназначался совсѣмъ для другого лица; словомъ, толковъ и разговоровъ въ первое время было множество.

Ожидали чѣмъ-то и какъ разъяснится смыслъ этого нападенія революціоннымъ «начельникомъ мяста» въ подпольномъ «Рухѣ»; но оффиціальный органъ подземнаго ржонда о случаѣ съ Хвалынцевымъ хранилъ упорное и глубокое молчаніе.

У ржонда были на это свои основательныя причины.

Панъ Биртусъ, тершійся въ толпѣ и присутствовавшій у дверей еврейской лавчонки все время, пока доктора производили тамъ осмотръ раны, наблюдалъ и слушалъ, что говорится вокругъ по этому поводу. Слухъ о томъ, что рана вовсе не смертельна, не замедлилъ тотчасъ-же распространиться въ ожидавшей толпѣ черезъ хозяевъ лавчонки и черезъ того-же полицейскаго дозорца, который присутствовалъ при осмотрѣ. Съ донесеніемъ объ этомъ прискорбномъ обстоятельствѣ, Биртусъ, какъ только повезли Хвалынцева въ госпиталь, сейчасъ-же отправился къ Штейнгреберу. Тотъ доложилъ шефу, и на другое утро послѣдовало экстренное засѣданіе трибунала для того, чтобы провѣрить и обсудить это обстоя-

Digitized by Google

тельство. Игнатій Трущинскій поѣхалъ навести справку и привезъ извѣстіе, что дѣйствительно рана сама по себѣ отнюдь не угрожаетъ смертію, если таковая не послѣдуетъ отъ какой-нибудь побочной причины. Достопочтенный Крушинскій по этому поводу приказалъ Штейнгреберу, чтобы неловкому кинжальщику непремѣнно было дано двадцать горячихъ бизуновъ [1]), для науки, дабы на будущее время работалъ чище. А между тѣмъ поднялся вопросъ: какимъ образомъ объявить въ «Рухѣ» о не вполнѣ удавшейся экзекуціи? Ржондъ народовый имѣлъ обыкновеніе опубликовывать приговоры своего трибунала уже послѣ ихъ исполненія. Это дѣлалось для пущей вѣрности и безопасности, чтобы не попасть впросакъ, напечатавъ: человѣкъ казненъ, тогда какъ онъ еще здравствуетъ. Ржондъ понималъ, что такіе промахи вели бы къ ослабленіе его террорическаго авторитета. Шефъ операторовъ въ данномъ случаѣ былъ того мнѣнія, что слѣдуетъ напечатать полный приговоръ, въ томъ видѣ, какъ онъ постановленъ трибуналомъ, съ примѣчаніемъ, что казнь исполнена тогда-то, и не вдаваться въ объясненія о неполной удачѣ кинжальнаго удара. Но Василій Свитка съ этимъ мнѣніемъ не соглашался изъ опасенія за свою шкуру. Онъ зналъ, что разъ это будетъ напечатано, русское правительство тотчасъ-же схватится за Хвалынцева, подыметъ новое слѣдствіе, и какъ знать! быть-можетъ Хвалынцевъ, озлобленный ударомъ кинжала, выдастъ и самого Свитку, и Паляницу, и многихъ другихъ изъ лицъ, прикосновенныхъ къ дѣлу, а это уже грозитъ серьезной опасностью центральной организаціи, тогда какъ теперь, изъ чувства самосохраненія, онъ, понятное дѣло, молчитъ о томъ, что самъ принадлежалъ къ заговору. Остальные члены нашли мнѣніе Свитки вполнѣ основательнымъ.

— Въ такомъ случаѣ можно извиниться и сообщить, что ударъ нанесенъ по ошибкѣ, предложилъ Трущинскій.

— Нѣтъ, ужь по моему лучше вовсе промолчать, чѣмъ извиняться и признавать свои ошибки!—порѣшилъ ксендзъ Микошевскій—и всѣ безусловно согласились съ его мнѣніемъ.

Такимъ-то образомъ «Рухъ» и не обмолвился ни единымъ словомъ о казни Хвалынцева.

Но хотя «Рухъ» и молчалъ, а толки о происшествіи все-таки продолжались, и въ виду этихъ толковъ, Паляница съ Добровольскимъ да и самъ Свитка чувствовали себя не совсѣмъ-то хорошо. Ихъ одолѣвало опасеніе: а что, какъ вдругъ Хвалынцевъ добровольно принесетъ признаніе въ своей винѣ, разсчитывая на то, что правительство приметъ во вниманіе его разрывъ съ революціей и его рану, и потому положитъ ему легкое наказаніе, да и схватится за всѣхъ его соучастниковъ, скрывать которыхъ теперь Хвалынцеву нѣтъ никакого расчета, а напротивъ, есть полный расчетъ выдать ихъ всѣхъ головою? Это предположеніе казалось имъ очень основательнымъ и потому пугало не на шутку. Хоть панъ Нумеръ Тршидесенты и получилъ свои двадцать бизуновъ, но отъ этого было не легче ни Свиткѣ, ни Палянице, ни Добровольскому. Черезъ день, Василій Свитка, съ однимъ изъ своихъ фальшивыхъ, но вполнѣ «законныхъ» паспортовъ, катилъ уже по желѣзной дорогѣ въ Литву, а еще черезъ день о Палянице съ Добровольскимъ въ полковомъ приказѣ было объявлено, что они исключаются изъ списковъ, какъ пропавшіе безъ вѣсти. Оба на время бѣжали изъ Варшавы.

ДВѢ СИЛЫ

ХРОНІКА

НОВАГО СМУТНАГО ВРЕМЕНИ ГОСУДАРСТВА РОССІЙСКАГО.

ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ.

I.

«De broni!»

Смутно и мрачно истекали послѣдніе дни 1862 года. Поляки торопились разыграть послѣдній актъ своей нескончаемой драмы, а мѣра, предложенная маркизомъ Велепольскимъ только помогла имъ ускорить это кровавое окончаніе. Въ видахъ «умиротворенія» края, онъ придумалъ административную мѣру, которая, въ сущности, не могла принести правительству никакой пользы, но зато до крайности раздражила городское населеніе и, можно сказать, поторопилась додразнить его до взрыва, который и без-

[1]) Плетей.

Digitized by Google

того былъ неизбѣженъ. Этой мѣрой явился рекрутскій наборъ, произведенный не обычнымъ порядкомъ, а по выбору полиціи, которая забирала въ солдаты личностей «подозрительныхъ и неблагонадежныхъ въ политическомъ отношеніи». Крестьяне-собственники и вообще хлѣбопашцы были избавлены отъ рекрутчины, зато разные челядинцы, мелкая шляхта, ремесленники, городскіе пролетаріи сдѣлались главною цѣлью набора. Цѣль же была та, чтобъ изъятіемъ изъ общественной среды «безпокойныхъ личностей» не допустить Край до возстанія. Мѣра была и не легальна, и безполезна уже потому, что одна, сама по себѣ, она никоимъ образомъ не могла ни предотвратить возстанія, ни измѣнить его характеръ. Если бы у маркиза было желаніе «ускорить» взрывъ, съ тѣмъ, чтобы поскорѣе задушить революцію, то это одно могло-бы еще, пожалуй, хоть на сколько нибудь служить — не говорю «оправданіемъ», но—достаточнымъ объясненіемъ придуманной мѣры. Какъ-бы то ни было, въ результатѣ онъ навлекъ на насъ одинъ только лишній и тяжелый упрекъ со стороны общественнаго мнѣнія Европы. А на нашу голову и безъ того сыпался тогда градъ упрековъ...

По Варшавѣ, да и по всему Царству Польскому, уже въ декабрѣ ходилъ слухъ, что лицъ, отмѣченныхъ въ наборъ, будутъ забирать по цѣлому Краю въ ночь съ 14 на 15-е января 1863 года. Паническій страхъ обуялъ на первое время значительную часть молодежи. Одни торопились распродать что было поцѣннѣе изъ вещей и бѣжать за границу, въ Галицію, гдѣ уже были сдѣланы всѣ приготовленія къ формированію бандъ, другіе кинулись къ «довудцамъ» и «организаторамъ» за совѣтомъ и покровительствомъ. Но тѣ и сами на первые дни потеряли головы, тѣмъ болѣе, что въ самомъ «ржондѣ» въ это время господствовали сильные раздоры и несогласія между комитетами: центральнымъ, бѣлымъ и краснымъ. Общія фразы: «Мы васъ не выдадимъ, мы защитимъ васъ», заключали въ себѣ мало утѣшительнаго: завербованные въ «бойцы свободы» требовали болѣе положительныхъ указаній, но на ихъ домогательства довудцы давали двусмысленный отвѣтъ: «Сидите дома, это москали все только врутъ, ничего не будетъ! А еслибы васъ и забрали, то Комитетъ выручитъ!» Въ виду такой неопредѣленности, всѣ, кто чувствовалъ себя такъ или иначе скомпрометированнымъ, порѣшили: въ ночь съ 14-го на 15-е января не оставаться дома, чтобы такимъ образомъ спрятаться хоть на первое время, а тамъ—что Богъ дастъ и что ржондъ укажетъ!

Въ минуту этой паники Центральный Комитетъ почувствовалъ, что вліяніе его на массы начинаетъ колебаться, и потому рѣшился немедленно-же вызвать вооруженное возстаніе, не дожидаясь пока совершится наборъ, и именно съ цѣлью предупредить эту мѣру. Въ виду такой опасности, ему удалось, наконецъ, покорить себѣ и бѣлыхъ, и красныхъ, послѣ чего была выпущена пламенно написанная прокламація, призывавшая всѣхъ поляковъ «do broni», то есть къ оружію, внушая, что тотъ, кто хочетъ истинно служить Богу и отечеству, долженъ отнынѣ дѣйствовать огнемъ и мечемъ. Въ то же время подъ рукой было пущено въ «десятки» секретное приказаніе уходить тайкомъ «до лясу», а сборными пунктами для варшавскихъ выходцевъ назначены ближніе лѣса Кампиносскіе, Сѣроцкіе и Насельскіе. Въ этихъ лѣсахъ безоружные выходцы, получившіе при отправленіи по двѣ, по три злотувки на дорогу, должны были ожидать дальнѣйшихъ распоряженій. Выходить назначено было черезъ Петербургскую заставу или чрезъ Шмулёвскую къ Радзимину. Лозунгъ при этомъ былъ слѣдующій:

— Нѣхъ бендзе похвалены Езусъ Христусъ! [1])

— И на вѣки вѣкувъ. Аменъ. А куда Богъ несетъ?

— На добре праце. [2])

Уходили обыкновенно подъ вечеръ, въ сумерки, отправляясь изъ домовъ по-одиночкѣ, или подъ-руку съ «коханкой» и таща на палкѣ узелокъ съ колбасами, булками и водкой. Но за «рогатками» скоплялась уже цѣлая толпа этихъ выходцевъ. «Коханки» провожали ихъ за заставу, гдѣ, раздѣливъ послѣднюю закуску съ друзьями, возвращались въ городъ уже одинокія, а друзья цѣлыми партіями, цѣлыми толпами ежедневно направлялись по дорогѣ къ Сѣроцку. Полицейскіе чиновники изъ поляковъ, приставленные у «рогатокъ», никогда не останавливали и не задерживали этихъ путешественниковъ. Да и вообще, законныя власти, благодаря все тому же маркизу Велепольскому, не препятствовали имъ уходить, потому что—какъ говорили—маркизъ увѣрялъ, будто зимній холодъ и голодъ заставятъ этихъ господъ вскорѣ возвратиться въ Варшаву.

Ровно въ полночь съ 10-го на 11-е января (22—23), по многимъ городамъ и мѣстечкамъ цѣлаго Края вдругъ раздался роковой ударъ призывнаго колокола. Это былъ заранѣе условленный сигналъ, по которому вездѣ и повсюду одновременно должно было вспыхнуть всеобщее возстаніе. Изъ этой полночи ржондъ задумалъ сдѣлать новую Варѳоломеевскую ночь для русскихъ. И едва раздались удары призывнаго колокола, какъ въ разные города и мѣстечки ворвались вооруженныя банды. Инсургенты вламывались въ дома, гдѣ по-одиночкѣ жили на постоѣ русскіе солдаты, и убивали ихъ сонныхъ, въ постели. Съ нѣкоторыми же изъ захваченныхъ въ плѣнъ поступали варварски: выкалывали глаза, вырѣ-

[1]) Да будетъ препрославленъ Іисусъ Христосъ.
[2]) На хорошую работу.

Digitized by Google

зывали языкъ, обрубали уши, а въ селеніи Стокъ, близъ Сѣдлеца, гдѣ нѣсколько солдатъ Костромского пѣхотнаго полка заперлись въ жильѣ и защищались оттуда съ рѣдкой отвагой, повстанцы, не имѣвшіе мужества одолѣть ихъ открытой силой, подожгли жилье и живьемъ сожгли не сдававшихся русскихъ. Рядъ подобныхъ жестокостей и это коварство ночного нападенія на сонныхъ и безоружныхъ сразу же поселили въ солдатахъ непримиримую злобу къ полякамъ.

Черезъ нѣсколько дней телеграфъ повсюду разнесъ вѣсть о новой Варѳоломеевской ночи, и вся Россія, все, что было въ ней честнаго и русскаго, дрогнуло отъ негодованія. Одинъ только «Колоколъ» наперекоръ фактамъ, не переставалъ цинически-настойчиво увѣрять, будто «самое замѣчательное состоитъ въ томъ, что этой Варѳоломеевской ночи не было, и не только не было, но само собою разумѣется, что о ней никогда никто, кромѣ полицейскихъ композиторовъ, и не думалъ». [1])

Мрачно и жалко было начало возстанія въ дни, предшествовавшіе этой роковой полночи. Еще съ 10-хъ чиселъ декабря варшавскіе выходцы стали наполнять Кампиносскіе и Насельскіе лѣса. Послѣдніе были въ особенности удобны для побродяжества, потому что они очень обширны, трущобисты, и, занимая пространство болѣе чѣмъ во сто верстъ, тянутся къ самой прусской границѣ. Въ эти-то глухія дебри и уходили по преимуществу варшавяки. Безъ теплой одежды и обуви, безъ денегъ, безъ провіанта и безъ оружія, жалкія, голодныя и холодныя партіи ютились кое-какъ на снѣгу, или въ слякоти подъ кустами да подъ корчами лѣсного бурелома, пугаясь каждаго шороха, каждаго лѣсного звука, въ которыхъ имъ все чудилось приближеніе москалей, казаковъ или «черкесовъ». [2]) Къ этимъ несчастнымъ партіямъ наѣзжали иногда на короткое время изъ Варшавы «делегаты ржонда» и будующіе «довудцы», и тогда къ пріѣзжимъ со всѣхъ сторонъ сыпались безконечныя жалобы: такой-то не получилъ водки при раздачѣ, тотъ колбасы требовалъ, тотъ хлѣба и сапогъ, этотъ просилъ теплую фуфайку, и всѣ вообще обвиняли отряднаго «ржондцу» и интенданта въ покражѣ нѣсколькихъ рублей съ копейками, такъ какъ панъ интендантъ купилъ только водки, колбасы и хлѣба, а пива не покупалъ. Гости укоряли «ржондцу» въ недостаткѣ патріотизма, и утѣшали толпу тѣмъ, что въ свое время предадутъ его военному суду, а голодныхъ и босыхъ увѣщевали подождать терпѣливо до вечера или до завтра. Во избѣжаніе казачьихъ поисковъ, партіи эти не залеживались подолгу въ однѣхъ и тѣхъ же берлогахъ, а перекочевывали ежедневно на новыя логовища. Эти перекочевки исполнены были всяческихъ тревогъ: въ каждомъ пнѣ напуганное воображеніе видѣло казака, и потому сторожевые ведеты то и дѣло полошили двигающуюся партію ложными извѣстіями о появленіи москалей. При каждомъ подобномъ извѣстіи, происходилъ переполохъ ужасный: одни кидались ломать сучья и вооружались ими, другіе прятались въ кусты, третьи спѣшили удирать куда глаза глядятъ, и всѣ вообще отказывались отъ всякаго повиновенія, да и повиноваться-то, по большей части, было некому, такъ какъ импровизованные офицеры спѣшили первые удрать и спрятаться подальше, при вѣсти о москалѣ. Такимъ образомъ, эти безоружныя и голодныя банды таяли болѣе чѣмъ на половину еще до встрѣчи съ противникомъ, который и не думалъ пока двигаться на поиски. Наконецъ, ропотъ на голодъ, холодъ и безоружность достигъ до Центральнаго Комитета, гдѣ нашли, что необходимо поддержать мужество и бодрость «бойцовъ свободы», и потому снова направили въ лѣса комитетскихъ делегатовъ, на сей разъ «уполномоченныхъ» объявить, что хотя пока еще и нѣтъ оружія, но оно хранится въ Плонскѣ, Плоцкѣ, Невиклѣ и въ другихъ мѣстахъ въ большомъ количествѣ, гдѣ и помѣряемся съ противникомъ; о маршрутахъ, молъ, уже позаботились, проводники уже готовы, и на каждомъ привалѣ будетъ вдоволь водки, пива, хлѣба и мяса. Бойцы свободы кричали: «vivat!» и шли скитаться въ новыя дебри, гдѣ однако не оказывалось ни проводниковъ, ни водки, ни хлѣба. Въ это время у Центральнаго Комитета не было еще составлено никакого военнаго плана: точно также какъ и въ лѣсахъ, тамъ еще шла пока невообразимая безтолочь и безурядица; время тратилось въ борьбѣ съ бѣлыми, которые умоляли отложить нѣсколько возстаніе, и съ красными, которые настаивали на томъ, чтобы направить безоружныя банды на Модлинъ и приказать имъ взять во что бы то ни стало Новогеоргіевскую крѣпость. Но наконецъ Комитетъ одолѣлъ, и тогда-то были присланы въ банды довудцы, но увы!—многіе изъ нихъ, одолѣваемые жалобами своихъ подчиненныхъ и въ страхѣ за собственную свою шкуру, тайкомъ удирали отъ ввѣренныхъ имъ отрядовъ, оставляя людей на произволъ судьбы, и скрывались у сосѣднихъ помѣщиковъ, гдѣ вдосталь предавались упоенію толковъ о будущихъ побѣдахъ и ухаживанію за паненками. Нерѣдко случалось, что, среди такого времяпровожденія, покинутыя банды, случайно набредя на какой-нибудь панскій фольваркъ, отыскивали тамъ своего бѣглаго довудцу, который при этомъ воспламенялся патріотическимъ жаромъ, говорилъ имъ пламенные спичи, поилъ ихъ на да-

[1]) „Колоколъ“ 1863, №№ 157 и 158.

[2]) Кавказскіе казаки варшавскаго конвойнаго дивизіона издавна извѣстны у поляковъ подъ именемъ черкесовъ.

Digitized by Google

ровщину панской водкой и, при первой же удобной минутѣ, спѣшилъ вновь задать тайкомъ «драпа́ка» отъ своего докучнаго воинства.

Но вотъ въ Комитетѣ, одолѣвшемъ своихъ противниковъ, нравственно занялъ первое мѣсто энергичный и необычайно дѣятельный Стефанъ Бобровскій, а въ лѣса «варшавскаго отдѣла» отправился офицеръ русскихъ войскъ Сигизмундъ Падлевскій, пріятель Бобровскаго, не менѣе его дѣятельный и энергичный, человѣкъ несомнѣннаго мужества, отчаянный, рѣшительный, съ сильной волей и деспотически-диктаторскими замашками. Эти два лица мигомъ перевернули по-своему все дѣло: явились и «довудцы», явилось и оружіе, хотя и не въ такомъ количествѣ, какъ обѣщалось, и вотъ, первымъ и довольно быстрымъ послѣдствіемъ свершившагося переворота было нападеніе на сонныхъ москалей, подъ звуки полуночного набата.

Но эта первая попытка, несмотря на всю ея внезапность, повсюду почти была отбита съ уроно́мъ для поляковъ; роты русскихъ солдатъ успѣли въ порядкѣ отступить въ мѣста своихъ полковыхъ штабовъ, поплатясь, конечно, каждая нѣсколькими людьми, которыхъ инсургентамъ удалось прирѣзать въ постели или захватить и изуродовать. Послѣ этого повстанцы разсѣялись по всему Краю во множествѣ мелкихъ партизанскихъ бандъ, которыя портили желѣзныя дороги, рвали телеграфныя проволоки, грабили почтовые мальпосты и убивали проѣзжихъ, если тѣ имѣли на себѣ русскую военную форму. Едва приближались русскія войска, которыя небольшими подвижными колоннами по всѣмъ направленіямъ искрещивали Край, повстанскія банды разсыпа́лись, не дожидаясь боевой встрѣчи, съ тѣмъ чтобы тотчасъ же собраться вновь въ тылу прошедшей колонны. Если русскіе случайно натыкались на подобную банду, то какая-нибудь двадцатиминутная перестрѣлка рѣшала дѣло, и поляки вразсыпную искали себѣ спасенія въ бѣгствѣ. Хотя зима въ этомъ году стояла теплая, такъ что, напримѣръ, 15-го января въ Варшавѣ доходило до десяти градусовъ тепла, да и Висла всю зиму не замерзала, тѣмъ не менѣе городскіе обыватели, составлявшіе главную силу бандъ, были далеко не привычны къ трудамъ и лишеніямъ бивуачной скитальческой жизни. Поэтому до начала марта партизанскія дѣйствія шли вообще очень вяло и безсвязно. Главная задача состояла не въ томъ, чтобы драться, а въ томъ лишь, чтобъ утомлять русскія войска безплодными поисками и демонстрировать предъ Европой газетными извѣстіями, что банды, молъ, есть и держатся, и дерутся, и уничтожить ихъ невозможно. Но вотъ пахну́ли первые дни весны—и возстаніе оживилось.

II.

Генералъ-довудца и его штабъ въ прадѣдовскомъ замкѣ.

Въ одной изъ лѣсистыхъ мѣстностей Августовскаго уѣзда, на крутомъ и обрывистомъ берегу Нѣмана, изрытомъ извилистыми и глубокими оврагами, поросшими кудрявою растительностью, возвышается въ пустынномъ уединеніи старинный родовой за́мокъ графовъ Маржецкихъ. Толстыя кирпичныя стѣны этого дома, воздвигнутыя еще въ XVII вѣкѣ, не разъ подвергались потомъ по частямъ наружной реставраціи: вотъ башня, сохранившая еще и доселѣ свой первоначальный старо-польскій стиль, а рядомъ съ ней какая-то пристройка совершенно въ голландскомъ родѣ, далѣе—главный фасадъ съ большимъ крыльцомъ во вкусѣ «Рококо», возобновленный въ прошломъ столѣтіи; тутъ же и домашняя капелла, греческій фронтонъ, который явно указываетъ на время ея реставраціи въ началѣ нынѣшняго XIX вѣка; домашнія службы и хозяйственныя постройки, разбросанныя вокругъ, но нѣсколько поодаль отъ за́мка, строены уже безъ всякаго стиля, а просто себѣ такъ, какъ обыкновенно строятся онѣ на Литвѣ и въ Польшѣ. Длинная аллея вѣковыхъ пирамидальныхъ тополей ведетъ къ каменнымъ воротамъ, за которыми раскинулся широкій дворъ, примыкающій къ главному лицевому фасаду. Противоположная сторона за́мка, обращенная къ рѣкѣ, вся прячется въ купахъ липъ, и вязовъ, и кленовъ стариннаго сада, который по двумъ оврагамъ красиво сбѣгаетъ къ самому Нѣману. Это уединенное мѣсто исполнено дикой прелести. Противный берегъ, и вправо, и влѣво, и въ глубину, на необразимое пространство величаво поросъ вѣковѣчной дремучей пущей, которая темной тѣнью угрюмо опрокинулась въ Нѣманъ и кажется издали темносиней зубчатой стѣной,—такой характеръ контуровъ придаютъ ей остроконечныя верхушки высокихъ сосенъ и елей.

Графиня Цезарина весну этого года проводила въ родовомъ за́мкѣ своего сосланнаго супруга.

Былъ девятый часъ вечера. Заходящее солнце обливало розовымъ золотомъ старую бѣлосѣрую башню и зарѣчныя лѣсныя вершины. На Нѣманѣ легкій, прозрачный туманъ подымался. Въ это время стояли уже ясные, чудные дни мая мѣсяца.

На половинѣ графини только-что начинали зажигать лампы. Въ старинной, но очень красивой и комфортабельной гостиной, украшенной портретами прабабушекъ и старо-польскихъ дѣдовъ сгруппировалось вокругъ хозяйки небольшое общество. Всѣ сидѣли у раскрытыхъ оконъ, выходившихъ въ садъ, откуда въ яр-

Digitized by Google

кихъ раскатахъ доносилась перекличка при-нѣманскихъ соловьевъ, мелодическіе высвисты чернаго дрозда и нѣжные стоны иволги.

Графиня Цезарина, придвинувъ къ себѣ рабочій столикъ, собственноручно прилаживала ярко-пунцовый плюмажъ изъ страусовыхъ перьевъ въ красивой бѣлой конфедераткѣ. Предъ нею лежала металлическая кокарда, которая долженствовала красоваться на той же конфедераткѣ у основанія плюмажа. Это была кокарда польскихъ «несмертельныхъ», то-есть безсмертныхъ уланъ, и потому изображала собой рельефную *Адамову голову* надъ двумя скрещенными костями. За кресломъ графини, немного сбоку и чуть-чуть облокотясь на его спинку, сидѣлъ высокій, статный и очень красивый молодой человѣкъ, въ какой-то предупредительной позѣ, будто «на чеку», будто весь готовый кинуться куда угодно по первому слову, по первому взгляду прелестной женщины, — сидѣлъ и, просто, впивался въ нее восторженно-влюбленными глазами. Противъ Цезарины, покойно и безцеремонно погрузясь въ глубокое кресло и смакуя съ ложечки кусокъ мороженаго, возсѣдалъ нѣсколько тучный мужчина, хотя и пожилого возраста, но необыкновенно представительнаго вида, съ характернымъ аристократическипольскимъ лицомъ, выраженіе котораго дышало гордо-самоувѣреннымъ достоинствомъ и въ тоже время благоволивой снисходительностью къ тѣмъ изъ окружавшихъ, которыхъ онъ считалъ ниже себя по общественному положенію. Впрочемъ, эта благоволивая снисходительность отнюдь не относилась у него къ самой хозяйкѣ, на которую онъ поглядывалъ такимъ взоромъ, что въ немъ сказывалась и легкая родственная фамильярность, и легкая лакомость жирнаго кота, съ какою обыкновенно глядятъ на молодыхъ женщинъ самоувѣренные и бывалые, но уже отставные ловеласы. «О! я все знаю, меня не проведешь! И если я уже самъ не могу завоевать тебя, такъ хоть погляжу какъ счастливъ тобою этотъ влюбленный юноша», казалось, говорилъ самодовольный взглядъ бывшаго ловеласа. Это былъ двоюродный братъ мужа Цезарины, тоже графъ и тоже Маржецкій— извѣстный Сченсный (Феликсъ) Маржецкій, на котораго въ сороковыхъ годахъ заглядывались женщины и въ Петербургѣ, и въ Варшавѣ, и въ Парижѣ. Всю жизнь свою проведя въ сферѣ идеальнаго поклоненія искусству и реальнаго поклоненія красотѣ женщинъ, онъ подъ конецъ своей фланерской жизни растратилъ все свое состояніе и сдѣлался самымъ аристократическимъ демократомъ, аристократическимъ краснымъ... Онъ рисовался, онъ бравировалъ этой ролью графа-радикала, хотя въ сущности не поступился бы ни единою изъ своихъ родовыхъ привилегій, и относился въ душѣ, а иногда и на словахъ, съ величайшимъ почтеніемъ къ *своему* древнему роду. По его мнѣнію, одни только Маржецкіе были настоящіе, родовитые магнаты—ну, да пожалуй еще Чарторыйскіе съ Замойскими, а прочее все—такъ-себѣ, заурядная аристократія, немножко поболѣе обыкновенной шляхты. И потому, будучи въ душѣ заклятой «бѣлой костью», онъ, какъ «европейски образованный человѣкъ своего вѣка», считалъ, что вполнѣ имѣетъ право быть демократомъ, если это ему нравится, а тѣмъ болѣе, если это его «позируетъ извѣстнымъ образомъ». Проигравшись окончательно въ рулетку, онъ пріѣхалъ теперь на родину, съ цѣлью «спасать отечество». Это былъ истинный диллетантъ во всемъ, эпикуреецъ, немножко атеистъ, немножко артистъ и поэтъ, и потому не захотѣлъ онъ, подобно другимъ родовитымъ собратамъ своимъ, копаться во тьмѣ подпольной конспираціи и дипломатической интриги. Нѣтъ, какъ истый рыцарь, графъ Сченсный Маржецкій пріѣхалъ въ Польшу съ тѣмъ, чтобы выступить противъ врага на борьбу съ открытымъ забраломъ, лицомъ къ лицу, во главѣ своего отряда и съ громкимъ титуломъ довудцы-генерала, въ роли достойной рода Маржецкихъ, которые умѣли нѣкогда драться рядомъ съ Баторіемъ и Собіескимъ.

Третье лицо, державшееся около графа не то чтобы рядомъ и не то чтобы сзади, былъ старый нашъ знакомецъ, эксъ-уланъ, панъ Копецъ. Здѣсь очутился онъ случайно: организованная имъ маленькая банда была разбита въ первой же стычкѣ, а панъ Копецъ, при первыхъ выстрѣлахъ чуть ли не первымъ пустился на-утекъ съ поля битвы, успѣлъ коекакъ скрыться въ лѣсахъ и, благополучно переправясь черезъ Нѣманъ, явился искать прибѣжища въ замокъ Маржецкихъ. Графъ Сченсный, какъ генералъ будущихъ «регулярныхъ силъ» Августовскаго воеводства, великодушно предложилъ у себя пану Копцу должность начальника «всей кавалеріи» и мѣсто своего ближайшаго помощника по хозяйственной части въ «обозѣ» [1]) и въ «военномъ совѣтѣ», а пока, въ ожиданіи новыхъ военныхъ подвиговъ, эксъ-уланъ беззаботно проживалъ себѣ «на ласкáвемъ хлѣбѣ» у графини Цезарины. Остальные трое мужчинъ, которыхъ Маржецкій называлъ своимъ штабомъ, были: «панъ адъютантъ» Поль Секерко — очень молоденькій, розовый и бойкій мальчикъ изъ хорошей дворянской фамиліи; «панъ капитанъ» — черномазый, угрюмый мужчина, лѣтъ уже подъ сорокъ, избравшій себѣ псевдонимомъ прозвище «Сычъ», что какъ нельзя болѣе подходило къ его характеру, и наконецъ третій, «панъ поручикъ», небогатый и потому скромно державшійся парень изъ мѣстныхъ шляхтичей-чиновниковъ, который на видъ являлъ собой совер-

[1]) Обозъ—лагерь

Digitized by Google

шенно безцвѣтную личность. Онъ обходился не только-что безъ псевдонима, но даже и безъ собственнаго имени, а называлъ себя просто «нашомъ поручникомъ», и всѣ другіе тоже такъ его называли. Всѣ они красовались теперь въ своихъ щегольскихъ чамаркахъ, позвякивали шпорами, и, безъ всякой надобности, сидѣли при саблях, очевидно необыкновенно гордые и счастливые тѣмъ, что находятся въ высокомъ обществѣ родовитыхъ и богатыхъ магнатовъ. Если прибавить къ этимъ лицамъ еще фигуру капеллана и траурную фигуру пожилой компаньонки, то общество, засѣдавшее въ гостиной графини, будетъ вполнѣ очерчено въ надлежащей рамкѣ.

— О, это будетъ очень красиво, очень эффектно!—съ увлеченіемъ говорилъ статный юноша, сидѣвшій за кресломъ Цезарины.— Вдругъ цѣлый эскадронъ—«*эскадронъ смерти*»: черные съ бѣлымъ значки на пикахъ, черныя чамарки съ бѣлымъ крестомъ на груди, бѣлыя конфедератки съ краснымъ плюмажемъ и эта «трупья глува»!..

— А кабы къ этому да еще красные плащи!.. Хорошо бы!—рѣшился скромно замѣтить панъ поручникъ, не вполнѣ увѣренный какъ будетъ принято его замѣчаніе.

— О, тогда бы это была «адская колонна»!— восторженно замѣтилъ адъютантъ-мальчикъ.— А хорошо бы, въ самомъ дѣлѣ, назвать эскадронъ «адской колонной», или «красными чертями»... а?.. «Красные черти» — ей-Богу не дурно! Въ одномъ названіи уже какая сила и выразительность!

— Нѣтъ, «эскадронъ безсмертныхъ» или «легіонъ смерти» гораздо поэтичнѣе: оно и мрачнѣе, и грознѣе, и внушительнѣе!—возражалъ статный поклонникъ Цезарины.

— Хорошо, — охотно согласился адъютантикъ,—но тогда отчего же бы не сдѣлать такъ: одну часть назвать «эскадрономъ безсмертныхъ», другую «легіономъ смерти», третью «адской колонной», а четвертую «красными чертями»; развѣ у насъ не хватитъ людей на всѣ четыре части?

— Панъ ма рацію[1]), — замѣтилъ графъ Сченсный, сдѣлавъ адъютанту благосклонное движеніе рукою. — Ваша идея мнѣ нравится! Пожалуйста, заготовьте приказъ объ этомъ и, поскорѣе, на завтра же!

Адъютантъ поднялся съ мѣста и слегка щелкнулъ шпорами, явно желая сдѣлать поклонъ совсѣмъ «по военному».

— Но... вотъ что,—въ покровительственно-начальственномъ тонѣ отнесся къ нему черезъ плечо графъ Маржецкій,—скажите, мой милый, отчего я на васъ не вижу эксельбантовъ?.. Вы, кажется, адъютантъ, а эксельбанты, сколько мнѣ извѣстно, есть необходимая принадлежность адъютантской формы.

— Мнѣ бы и самому очень хотѣлось,—съ легкой застѣнчивостью залепеталъ вспыхнувшій юноша,—но... я не смѣлъ... я не зналъ, можно ли это...

— Не можно, мой милый, а должно! И вообще, прошу васъ всѣхъ, господа, строжайше соблюдать принятую форму, потому что... это вообще очень важно... Не забывайте, что мы будемъ «партизаны регулярные», это не то что всякій сбродъ... А вы, мой милый помощникъ и интендантъ,—обратился графъ къ пану Коццу,—пожалуйста распорядитесь, чтобы мой факторъ Шмуль завтра же съѣздилъ въ Августовъ, и— какъ знаетъ, какъ хочетъ, но чтобы непремѣнно привезъ двѣ пары эксельбантовъ... Я желаю, чтобы мой штабъ вообще носилъ эксельбанты. О, красивый мундиръ... это вообще очень, очень много значитъ и многое придаетъ человѣку!.. Не такъ ли, графиня? Вы, какъ женщина, конечно, вполнѣ понимаете это?

— Мундиръ хорошъ на парадѣ, а мы готовимся къ бою,—мягко замѣтила Цезарина.

— О, конечно такъ! Но неужели вы думаете, что вашъ старый поклонникъ рѣшился бы уйти изъ родового замка графовъ Маржецкихъ, не сдѣлавъ парада въ честь такой прелестной хозяйки и такой патріотки?! Вы будете царицей нашего военнаго торжества, и я самъ проведу предъ вами мои войска церемоніальнымъ маршемъ, самъ буду парадировать во главѣ и отсалютую вамъ моей дѣдовской саблей... И тѣмъ болѣе, что какъ генералъ цѣлаго военнаго отдѣла, я даже обязанъ — понимаете ли — *обязанъ*, по долгу службы, сдѣлать смотръ всѣмъ моимъ силамъ, прежде чѣмъ поведу ихъ противъ непріятеля... Мы должны взаимно познакомиться, они должны узнать и полюбить своего начальника. Не такъ ли, господа?

Генеральскій штабъ вполнѣ согласился съ мнѣніемъ своего принципала, потому что, болѣе или менѣе, каждому улыбалась пріятная идея попарадировать красиво на коняхъ предъ графиней и сосѣдними паннами, которыя, подъ предлогомъ воскресной «мши» въ костелѣ, непремѣнно съѣдутся посмотрѣть на «воякові народовыхъ».

— Но жаль, что музыки не будетъ! Парадъ хорошъ при звукахъ воинственной музыки,— опять рѣшился вставить свое скромное слово панъ поручникъ изъ бѣдныхъ шляхтичей.

— Успокойтесь, милѣйшій! Вашъ генералъ уже все предусмотрѣлъ и обо всемъ позаботился!—съ благосклонной улыбкой черезъ плечо замѣтилъ графъ своему поручику. — Мой Шмуль сообщилъ какъ-то, что здѣсь по Августовскому повѣту, шатаются какіе-то чехи-трубадуры, семь человѣкъ, просто-себѣ странствующіе музыканты, и я приказалъ ему поря-

[1]) Резонно, основательно.

Digitized by Google

дить ихъ за хорошую плату въ мой корпусъ... Надо только придумать этимъ чехамъ соотвѣтственную форму... Я займусь этимъ вопросомъ. Мнѣ иногда, послѣ хорошаго обѣда, за доброй сигарой, за рюмкой ликера приходятъ хорошія идеи... будьте спокойны, я непремѣнно займусь этимъ вопросомъ, и навѣрное изобрѣту и придумаю.

Цезарина приладила наконецъ красный плюмажъ, прикрѣпила кокарду и, любуясь на свою работу, подала конфедератку статному красавцу.

— Жозефъ, надѣньте на себя, примѣрьте,— сказала она. — Я хочу посмотрѣть, какъ къ вамъ идетъ.

Молодой человѣкъ исполнилъ ея просьбу и сталъ предъ ней въ непринужденной, но красивой позѣ, искоса поглядывая на свое изображеніе въ зеркалѣ. Самодовольная улыбка невольно скользила слегка по его губамъ: онъ чувствовалъ, что красивая шапка необыкновенно идетъ къ нему, что онъ очень хорошъ, что на него невольно любуются всѣ и прежде всѣхъ и болѣе всѣхъ любуется *она*, его королева. Но почувствовавъ, что нельзя-же долго и безъ нужды оставаться въ шапкѣ, онъ, не безъ внутренняго сожалѣнія, снялъ, наконецъ, свою конфедератку и благодарно поцѣловалъ руку Цезарины.

— Ну-съ, милостивый государь, а вы какъ же?—шутливо и ласково обратился къ нему Маржецкій,—такъ-таки и не желаете у меня командовать эскадрономъ?

— Оставьте меня, генералъ, при моей скромной роли,—вѣжливо уклонился молодой красавецъ;—все-равно я, по обязанности, буду впереди всѣхъ: я понесу знамя, которое даритъ намъ графиня, и этой завидной доли мнѣ-бы никому не хотѣлось уступить.

— Въ такомъ случаѣ, я ничего не имѣю противъ, оставайтесь нашимъ «хорунжимъ» [1]) и... я увѣренъ, что знамя графини поведетъ насъ къ побѣдамъ... Оно будетъ вдохновлять насъ воспоминаніемъ о лучшей женщинѣ, какую я только знаю на свѣтѣ, а этого одного уже достаточно, чтобы разбить хоть сорокъ, хоть пятьдесятъ тысячъ дрянныхъ москалей. Не такъ-ли, господа? вы согласны?

Лица штаба щелканьемъ шпоръ и легкими кивками изъявили и на сей разъ полное свое согласіе съ принципаломъ.

— Тремъ-бремъ! Плюскъ! и готово! выпалилъ вдругъ панъ Копецъ, одной рукой расправляя усы, а другой описавъ разящее движеніе по воздуху.

— Браво, мой интендантъ, мой кавалеристъ! браво!—слегка похлопалъ его по колѣну Маржецкій.—Что мнѣ въ васъ необыкновенно нравится, такъ это ваша прямая старо-польская удаль.

— Всегда былъ, есть и останусь кавалеристомъ!—снова выпалилъ эксъ-уланъ, съ немалымъ самохвальствомъ, которое въ немъ однако всѣ признавали за откровенную прямоту и простоту натуры, свойственную старому рубакѣ.

— Раздѣляю вашу страсть къ кавалеріи,— благосклонно похвалилъ его графъ Сченсный.— Полякъ по натурѣ своей рыцарь, человѣкъ благорожденный, и потому онъ кавалеристъ... Я понимаю, что у насъ никто изъ порядочныхъ людей не хочетъ идти въ пѣхоту: пѣхота это войско рабовъ, войско нѣмцевъ и москалей, а намъ, полякамъ, намъ прирожденно чувство шляхетности, и потому каждый изъ насъ стремится быть кавалеристомъ. Не такъ-ли?

— А я слыхалъ,—началъ вдругъ адъютантикъ, очевидно стараясь опять навести разговоръ на любимую свою тему,—я слыхалъ, что въ корпусѣ Чаховскаго всѣ лица штаба носятъ очень красивые мундиры, эксельбанты, плюмажи и кромѣ того красные панталоны, какъ у французовъ.

— Красные панталоны? Въ самомъ дѣлѣ?— освѣдомился графъ. — А это дѣйствительно должно быть очень красиво... И притомъ красный цвѣтъ — традиціонный цвѣтъ демократизма и революціи, цвѣтъ либеральной Франціи... Parbleu! мнѣ это нравится... въ этомъ есть идея... хорошая демократическая идея!.. Какъ вы думаете объ этомъ, мой милый интендантъ? Не послать-ли намъ за одно Шмуля, чтобъ онъ купилъ въ Августовѣ и краснаго сукна для меня и для штаба? Распорядитесь-ка объ этомъ завтра-же. А вы, господинъ адъютантъ, составьте приказъ, что для лицъ отряднаго штаба, въ дополненіе установленной формы, учреждаются красные панталоны; и хорошо-бы было, если-бы вы постарались при этомъ какъ-нибудь, отчасти, провести идею... идею—вы понимаете?

— Будетъ исполнено!—съ сіяющимъ лицомъ поспѣшилъ завѣрить Поль Секерко, внѣ себя отъ радости, что отнынѣ будетъ щеголять въ красныхъ панталонахъ.

Въ эту самую минуту вошелъ ливрейный гайдукъ и доложилъ, что пріѣхали двое какихъ-то господъ, которые спрашиваютъ ясневельможнаго пана грабѐго [1]).

— Меня?—нахмуривъ бровь, повернулся къ нему Маржецкій.—И сколько разъ еще повторять мнѣ вамъ, чтобы не смѣли величать меня ясневельможнымъ графомъ!?.. На свѣтѣ много графовъ есть, а генералъ августовскаго военнаго отдѣла только одинъ... Я—генералъ, и не смѣть меня величать иначе!.. Кто такіе?

---

[1]) Знаменоносцемъ.

[1]) Графа.

Digitized by Google

— Не знаю... Одинъ цивильный, а другой войсковый.

— Войсковый?.. Польскаго войска?

— Н-нѣтъ... Сдается такъ, будто-бы москаль.

— Москаль?—невольно вырвалось у присутствующихъ, и всѣ въ тревожномъ недоумѣніи переглянулись другъ съ другомъ.

— Господа, что-жь это значитъ?—пробормоталъ Маржецкій, не умѣя скрыть внутренняго безпокойства.

— Э, чего тамъ, что еще значитъ!—похрабрился эксъ-уланъ,—просто, плюскъ! и баста!

— Тс... постойте, не кричите такъ!—досадливо остановилъ его за руку графъ Сченсный и поспѣшно обратился къ остальнымъ мужчинамъ. — Господа, вы въ шпорахъ и при саблѣхъ... Бога ради, снимите ваши сабли, спрячьте ихъ... да и сами-то лучше уходите, скройтесь на время...

— От-то ёще! Чего бояться?! — похрабрился Конецъ, однако уже не совсѣмъ-то увѣреннымъ тономъ.

— Позвольте, нетерпѣливо—перебилъ его Маржецкій.—Надѣюсь, господа, вы понимаете, конечно, что не трусость говоритъ моими устами, но благоразуміе... спасительное благоразуміе... торопливо заговорилъ онъ, перебѣгая взоромъ съ одного на другого.

— Погодите,—спокойно перебила графиня.—Ты видѣлъ ихъ? — обратилась она къ лакею. — Сколько ихъ? Только двое или есть еще съ ними какіе-нибудь солдаты, жандармы, казаки тамъ что-ли?

— Э, нѣтъ! только двое, дали-Богъ, какъ есть двое, и никого больше нѣту,—завѣрилъ гайдукъ.—Я видѣлъ, какъ они еще по аллеѣ подъѣзжали: только двое и было.

— Въ такомъ случаѣ, господа, позвольте мнѣ, какъ хозяйкѣ, принять ихъ; а вы всѣ, не исключая даже и васъ, мой милый графъ, удалитесь на время... Вы выйдете потомъ, когда я разъясню въ чемъ дѣло... Васъ позовутъ тогда.

И компанія добрыхъ вояковъ безпрекословно поспѣшила исполнить благоразумный совѣтъ графини, удалясь на цыпочкахъ во внутреннія покои. Статный красавецъ хотѣлъ было остаться, но Цезарина безмолвнымъ жестомъ и взглядомъ отправила и его вслѣдъ за другими. Съ ней остались только ксендзъ да компаньонка.

— Проси!—приказала она лакею.

Чрезъ минуту въ гостиную вошли двое запыленныхъ путниковъ. Одѣтый въ партикулярный костюмъ шелъ впереди. Цезарина вглядѣлась въ него—и невольно вырвалось у нея восклицаніе удивленія. Она узнала въ немъ Василія Свитку.

— Позвольте представить вамъ, графиня, моего спутника,—проговорилъ онъ, указывая на товарища. Онъ *нашъ* вполнѣ, хотя и носитъ пока военный мундиръ, но это только для большей безопасности: въ дорогѣ, знаете, казаки, пикеты и всякая сволочь попалается; это не лишнее: все-жь-таки гарантія...

— Съ кѣмъ имѣю удовольствіе?... невнятно пролепетала Цезарина, съ вопросительной и сдержанно-привѣтливой улыбкой приподнимаясь съ мѣста.

— Поручикъ Бейгушъ,—назвалъ себя товарищъ Свитки, раскланиваясь по привычкѣ краткимъ военнымъ поклономъ. —Помнится, разъ я имѣлъ честь встрѣтить васъ въ Петербургѣ, у нашего общаго пріятеля, у Колтышко... Но не въ этомъ дѣло. Я имѣю назначеніе въ военно-народный отдѣлъ Августовскаго воеводства и потому мнѣ надо видѣть генерала... Могу я видѣть его?

— Сію минуту!

— И Цезарина сама пошла звать своего храбраго, но благоразумнаго кузена.

Успокоенный генералъ вышелъ къ новоприбывшимъ уже совсѣмъ по-генеральски.

— Что вамъ угодно?

Послѣдовала новая рекомендація и взаимное представленіе.

— Очень пріятно!— процѣдилъ сквозь зубы Маржецкій, не протягивая однако руку, а ограничась однимъ лишь благоволивымъ жестомъ.— Кто васъ прислалъ ко мнѣ?

— Тотъ, кто имѣлъ на это единственное право: ржондъ народовый.

— Склоняюсь предъ волею ржонда. Но зачѣмъ собственно вы присланы?

— Въ ваше распоряженіе, въ качествѣ офицера генеральнаго штаба.

— А я,—поспѣшилъ вставить Свитка,—я въ качествѣ гражданскаго делегата, на случай движенія въ Литву, такъ какъ я собственно принадлежу къ организаціи Литовскаго Отдѣла. Впрочемъ, я ѣду завтра же и постараюсь снова побывать у васъ уже въ лѣсахъ литовскихъ.

Маржецкій кивнулъ ему на это вскользь головой.

— Въ качествѣ генеральнаго штаба?—прищурясь, обратился онъ къ Бейгушу.

— *Офицера* генеральнаго штаба, — поправилъ его бравый поручикъ.

— Ну да, конечно, офицера... А имѣете вы достаточныя познанія для этого?.. Сколько я знаю, должность офицера генеральнаго штаба имѣетъ свои особенныя обязанности и требуетъ, такъ-сказать... однимъ словомъ...

— Я кончилъ курсъ въ академіи, — поспѣшилъ заявить ему Бейгушъ, видя, что генералъ начинаетъ нѣсколько путаться.

— О, въ такомъ случаѣ я склоняюсь предъ авторитетомъ науки!.. Я слишкомъ проникнутъ

Digitized by Google

священнымъ уваженіемъ къ наукѣ и потому склоняюсь!—слегка покачиваясь и раскланиваясь, сдѣлалъ графъ новое благоволивое движеніе рукой.

Увидя предъ собою не лѣсового, не импровизованнаго, а настоящаго офицера, да узнавъ еще вдобавокъ, что офицеръ этотъ кончилъ курсъ въ военной академіи, графъ Маржецкій въ душѣ необычайно обрадовался. Въ сущности, онъ не имѣлъ ровно никакого понятія о военномъ дѣлѣ, а ужь о такихъ, по мнѣнію его «мелочахъ», какъ организованіе части, ея вооруженіе, снабженіе, обученіе — нечего и говорить. Графъ полагалъ, что это вовсе не его дѣло заниматься подобными пустяками, что это все предметы низшаго порядка, для которыхъ нужны чернорабочія руки, а онъ, благосклонно согласившійся принять на себя званіе начальника и генерала, ради вящаго прославленія фамиліи Маржецкихъ, онъ призванъ только направлять, воодушевлять, подавать доблестный примѣръ въ бою и вообще вести ко славѣ своихъ соотчичей. Поэтому свѣдущій военный человѣкъ пришелся ему теперь какъ нельзя болѣе кстати: по сосѣднимъ лѣснымъ фольваркамъ уже болѣе недѣли скрывались собранные люди, готовые идти въ банду, но съ ними ровно ничего не дѣлали, а только кормили да поили на счетъ патріотки-графини. Хотя панъ Копецъ и увѣрялъ все, что онъ «учитъ» и «приготовляетъ», но результаты этого приготовленія сказывались пока только въ томъ, что разношерстная сволочь, собранная изъ городской и «мястечковой» черни, пьянствовала безъ просыпу, бездѣльничала, ссорилась и дралась между собой и начинала уже дебоширить по сосѣднимъ деревнямъ, что вызывало ропотъ и озлобленіе со стороны безучастныхъ хлоповъ. Время межъ тѣмъ уходило, и графъ очень хорошо начиналъ понимать, что въ средѣ его штаба никто не умѣетъ и не знаетъ какъ должно приступиться къ дѣлу: всѣ хотятъ только командовать, властвовать, начальствовать, а поучить и потрудиться никто не желаетъ. Важнѣйшая забота графа, какъ и каждаго, впрочемъ, генерала этого возстанія, состояла въ томъ, чтобъ изобрѣсти костюмъ, *форменное платье* для своей банды и найти *хорошаго майора*, который дѣлалъ бы все дѣло по строевой части, а генералъ тѣмъ временемъ спокойно бы жуировалъ и пожиналъ себѣ лавры. Лица свиты и штаба предназначались не для дѣла, а болѣе для внѣшней обстановки, для эффектнаго «антуража», для красиваго вида да для того еще, чтобы генералу было съ кѣмъ позабавиться пріятной болтовней, пображничать и поиграть въ карты; вся же часть дѣйствительной работы и настоящаго дѣла, насколько оно исполнялось и существовало въ безшабашныхъ бандахъ, исключительно возлагалась на плечи чернорабочаго *майора*. «Майоръ» польской банды—это обыкновенно итальянецъ, венгерецъ, французъ, иногда полякъ, который-кое-что и кое-какъ смыслитъ въ военномъ дѣлѣ. Онъ могъ командовать отъ имени главнаго вождя, но такъ, чтобы всѣ думали, будто это вовсе не онъ, а самъ генералъ командуетъ и распоряжается; поэтому ему предоставлялась извѣстная свобода дѣйствій, но съ тѣмъ условіемъ, чтобъ онъ не слишкомъ выставлялъ свое честолюбіе, не вдавался бы въ польскую политику, повиновался безъ разсужденій непогрѣшимому ржонду, не дѣлалъ дурныхъ внушеній крестьянамъ противъ помѣщиковъ и почиталъ бы польское духовенство.

Эти условія графъ Маржецкій предложилъ и Бейгушу, уведя его предварительно въ особую комнату, чтобъ избѣжать постороннихъ свидѣтелей, а такъ какъ Бейгушъ былъ ему очень и очень-таки нуженъ, то условія были предложены въ самой мягкой и деликатной формѣ, при чемъ графъ не поскупился на самую очаровательную любезность.

Бейгушъ сразу понялъ, съ кѣмъ имѣетъ дѣло, но его привела сюда не собственная, а иная воля, которой онъ обязанъ былъ слѣпо повиноваться, въ силу добровольной присяги и чтобъ окончательно очистить себя отъ черныхъ подозрѣній, возбужденныхъ противъ него еще въ Петербургѣ по поводу нежеланія ѣхать въ Литву. Петербургскому Центру, конечно, не могла быть извѣстна та нравственная метаморфоза, которая заставила браваго поручика искренно и честно полюбить свою «москéвку-жену», послѣ нечестной продѣлки съ нею. Да и что было за дѣло этому Центру до какихъ бы то ни было метаморфозъ, разъ, что человѣкъ связалъ себя добровольно клятвой патріота. Поэтому тогдашнее колебаніе этого человѣка показалось членамъ «военнаго кружка» крайне подозрительнымъ. Бейгушъ долженъ былъ поневолѣ уступить грозному напору общественнаго мнѣнія своихъ товарищей-поляковъ и исполнить то, что отъ него требовалось, но тѣмъ не менѣе тѣнь сомнѣній и подозрѣнія сопровождала его съ тѣхъ поръ повсюду, и въ Вильнѣ и въ Варшавѣ. Надо было снять съ себя эту тѣнь, и для того надо было повиноваться слѣпо и безпрекословно.

— Я солдатъ, мое дѣло исполнить то, что приказываютъ,—коротко отвѣтилъ онъ графу Маржецкому на всѣ его предложенія и условія.

— Въ такомъ случаѣ, завтра же будетъ отданъ приказъ о назначеніи васъ майоромъ моего штаба!—крѣпко пожимая ему обѣ руки, съ самою тонкою любезностью заключилъ графъ, почувствовавшій, что теперь тяжкая гиря заботъ перекатилась съ его барскихъ плечъ на шею сговорчиваго поручика.

«Форма придумана, майоръ найденъ — чего жь болѣе?! Остается только пожинать мирты Эрота и лавры побѣды», самодовольно по-

Digitized by Google

думалъ себѣ графъ-довудца, вводя вновь пожалованнаго майора въ гостиную, чтобы представить его членамъ своего штаба, которые успѣли уже пронюхать, что опасности нѣтъ никакой, что прибыли-де *свои*, и потому смѣло повысыпали въ гостиную, гдѣ въ волю могли теперь щеголять и рисоваться своими воинственными позами и рѣчами, своими «штыфлями» [1]), шпорами и саблями предъ *«цивильнымъ»* делегатомъ» Свиткой.

III.

На сборномъ пунктѣ.

Прошло двѣнадцать дней со времени прибытія Бейгуша въ замокъ Маржецкихъ. Въ это время было окончательно рѣшено на военномъ совѣтѣ вторгнуться въ предѣлы Гродненской губерніи, гдѣ и держаться въ лѣсахъ, дѣлая по временамъ партизанскіе налеты въ ту или въ другую сторону. Въ это же время Бейгушъ наскоро занялся кое-какой подготовкой людей и распредѣленіемъ ихъ въ уланы, въ *тирольеры* и въ косиньеры, а организаторъ Августовскаго воеводства успѣлъ окончить доставку въ замокъ разныхъ принадлежностей боевого снаряженія, которыя съ помощью жидковъ, подвозились по частямъ: то въ товарныхъ ящикахъ, то въ бочкахъ, то въ возахъ, наполненныхъ для виду сѣномъ и соломой, а кое-что доставлено даже и водой, въ нѣмецкихъ «берлинкахъ». На ближайшихъ фольваркахъ графини по стодоламъ и сараямъ уже нѣсколько дней стояло болѣе двухъ сотенъ коней, скупленныхъ и пожертвованныхъ въ банду окрестными помѣщиками. Сосѣдняя шляхта вся стремилась въ кавалерію, не желая мозолить свои благородныя ноги въ службѣ пѣхотной наряду со всякимъ «быдломъ». Поэтому многіе изъ будущихъ кавалеристовъ, чтобы не тратиться на фуражъ, заблаговременно доставили своихъ Росинантовъ на фольварковое довольствіе графини. Наконецъ Бейгушъ успѣлъ кое-какъ сладиться съ «генераломъ» насчетъ времени сбора и оповѣстить будущихъ воиновъ о мѣстѣ, днѣ и часѣ. «Генералу» не особенно хотѣлось разставаться съ комфортабельной жизнью у гостепріимной кузины, гдѣ можно было такъ безопасно щеголять въ импровизованномъ военномъ костюмѣ, со всѣми этими «бутами», шпорами, эксельбантами и еще безопаснѣе разглагольствовать предъ почтительнымъ штабомъ объ «ойчизнѣ» и свободѣ, о Гарибальди и Мадзини, изобрѣтать новыя дополненія къ мундирной формѣ, отдавать приказы, говорить комплименты, мечтать о смотрахъ, парадахъ, фестиваляхъ и заранѣе торжествовать будущія побѣды. Поэтому графъ Сченсный, подъ разными благовидными предлогами, старался, по возможности, оттягивать время выступленія въ лѣса, и въ душѣ остался даже не совсѣмъ-то доволенъ своимъ «майоромъ» за его излишнюю расторопность.

— Зачѣмъ такъ скоро? Спѣшите медленно: это, на мой взглядъ, самая лучшая тактика и самое вѣрное средство побѣждать врага!—съ любезно-кисловатой миной и тономъ дружескаго выговора внушалъ онъ Бейгушу.

Но вотъ прибылъ курьеръ народоваго рэнда, которымъ на этотъ разъ явилась какая-то барыня, привезшая въ шиньонѣ своемъ двѣ официальныя записки. Одна была отъ воеводскаго организатора, извѣщавшаго, что оружіе и все прочее доставленное уже снаряженіе находится въ самомъ исправномъ видѣ и въ полномъ комплектѣ, а потому де не угодно ли генералу дать квитанцію въ полученіи, что генералъ и не замедлилъ исполнить, не полюбопытствовавъ даже взглянуть, что это за оружіе и что за снаряженіе: для подобной «мелочной работы» у него былъ отдувавшійся за все «майоръ генеральнаго штаба». Но на этотъ разъ даже и ему не догадался графъ поручить предварительный осмотръ запакованнаго оружія. Другая же записка отъ лица Центральнаго Комитета формально и настойчиво предлагала немедленно же начать военныя дѣйствія и прежде всего сдѣлать попытку военной демонстраціи въ направленіи на Ковно или Гродно, смотря по тому, куда будетъ удобнѣе.

Послѣ этого у генерала уже не оставалось благовидныхъ предлоговъ для дальнѣйшей медлительности, и однако жь онъ все-таки думалъ-было немножко помедлить подъ предлогомъ маленькаго насморка, который отъ лѣсной сырости можетъ обратиться въ злокачественный.

Цезарина, со всей женской деликатностью, старалась ему внушить, что дальнѣйшее промедленіе будетъ не совсѣмъ-то удобно для его воинской репутаціи въ глазахъ общественнаго мнѣнія.

— Берегитесь, милый генералъ,—замѣтила она съ легкой усмѣшкой.—Хотя мнѣ и очень пріятно ваше общество, но вы рискуете найти здѣсь вашу Капую, вы, который такъ пламенно стремились на поле битвы...

— Да, стремился, видитъ Богъ, стремился!—сахарно вздохнулъ старый ловелась,—но увы!.. я встрѣтилъ васъ, очаровательная графиня!.. А видя васъ, какой же Цезарь, какой Александръ или Ганнибалъ не сдѣлался бы капуанцемъ!?..

— Ну, это вовсе не лестный комплиментъ для польки въ настоящую годину,—замѣтила графиня.

— Увы! что жь дѣлать, но я чувствую, что

[1]) Штыфлями назывались высокія повстанскія ботфорты.

Digitized by Google

я вашъ капуанецъ!—отшучивался графъ, но вдругъ остановился, встрѣтивъ презрительный взглядъ Бейгуша, который присутствовалъ при этомъ разговорѣ. Съ этой минуты ясновельможный довудца глубоко и жестоко возненавидѣлъ въ душѣ своего расторопнаго майора.

— Надѣюсь, впрочемъ, графиня, вы понимаете, что это съ моей стороны не болѣе какъ шутка?—догадался онъ не совсѣмъ ловко поправиться въ глазахъ Цезарины, послѣ минуты внутренняго смущенія.

* * *

Время близилось къ полуночи. На уединенной лѣсной полянѣ, у одинокой избушки «кутника», нетерпѣливыми шагами прохаживался человѣкъ, закутанный въ кавказскую бурку. Въ нѣсколькихъ саженяхъ отъ него стояло десятка два тяжело нагруженныхъ возовъ, около которыхъ тамъ и сямъ тихо разговаривали между собою хлопы-подводчики. Возы только-что прибыли, а человѣкъ въ буркѣ уже болѣе часа шагалъ взадъ и впередъ, поджидая кого-то, и съ каждой минутой досадливое нетерпѣніе его становилось все сильнѣе и замѣтнѣе. Онъ останавливался, вглядывался въ темную даль, прислушивался, слегка потаптывая ногой, иногда бормоталъ про себя далеко нелестные эпитеты, адресованные къ кому-то отсутствующему, и снова принимался шагать по полянѣ. Это былъ Бейгушъ, одиноко пріѣхавшій верхомъ на сборный пунктъ въ заранѣе назначенное время. Изъ будущихъ воякъ никого еще не было.

Но вотъ наконецъ-то, уже во второмъ часу ночи, съ разныхъ сторонъ стали выходить изъ чащи лѣса люди по десятку, по два и болѣе. Иные изъ нихъ вели въ поводу незасѣдланныхъ коней. Молчаливо, съ таинственнымъ видомъ и поникшей головой приближались оттуда и отсюда новыя партіи. Сосѣдніе паничи пріѣзжали въ бричкахъ и нетычанкахъ, а за ними ѣхали фуры и телѣги съ разной поклажей этихъ паничей, надѣявшихся устроить свою «лѣсовую жизнь» какъ можно удобнѣе и пріятнѣе. Съ каждой минутой лѣсная поляна около хатки оживлялась все болѣе и болѣе, людской гомонъ и говоръ становился вольнѣе и громче, хотя и сохранялъ еще пока въ себѣ характеръ какой-то сдержанности и таинственности, подъ впечатлѣніемъ ночи и таинственной обстановки предпріятія. Тамъ и сямъ мигали красныя огненныя точки запаленныхъ «фаекъ» [1]) и папиросъ. Но вотъ вмѣстѣ съ запахомъ табака и махорки, потянуло въ воздухѣ ѣдкимъ дымкомъ: въ двухъ мѣстахъ накидали хворосту, еловыхъ вѣтвей да соломы и развели костры. Послышался говоръ и смѣхъ нѣсколькихъ женскихъ молодыхъ голосовъ, хотя и не замѣтно было ни одной юбки, ни одного обычнаго женскаго костюма. Это понаѣхавшіе паничи попривозили съ собою своихъ героинь, переодѣтыхъ въ буты и въ чамарки. Безъ такихъ героинь-патріотокъ не могла обойтись ни одна сколько-нибудь «порядочная» шляхетная банда.

— А гдѣ же генералъ?—освѣдомился у Бейгуша одинъ изъ подошедшихъ паничей.—Или еще не пріѣхалъ?

— Онъ и не пріѣдетъ,—неохотно отвѣчалъ Бейгушъ.

— Вѣроятно важныя занятія, совѣтъ военный или что-нибудь такое?

— Нѣтъ, скорѣе просто въ карты рѣжется,—замѣтилъ на это другой изъ подошедшихъ.

— Въ карты!—подхватилъ третій.—От-то штука! Пенкна штука, дали Бугъ, пандве. А что, не перекинуться-ли и намъ въ маленькій штоссикъ.

И воспріимчивые паничи сейчасъ-же постлали у костра два-три плаща, разсѣлись на нихъ въ тѣсный кружокъ; одинъ досталъ изъ чемодана двѣ новыя колоды картъ, другой притащилъ водку, третій закуску, и всѣ, кажись, тотчасъ-же позабыли о цѣли, съ какой пріѣхали на эту поляну.

На душѣ у Бейгуша было смутно и досадно. Онъ подошелъ къ кучкѣ игроковъ и напомнивъ, что въ данную минуту такая забава вовсе неумѣстна, просилъ прекратить игру.

— Лучше-бы, господа, помогли мнѣ сдѣлать расчетъ людямъ: они еще не сосчитаны.

— Это до насъ не касается. Надѣемся, мы не урядники, а офицеры,—отвѣчали изъ кучки.

— Потому-то я и прошу васъ.

— Э, полноте! Садитесь-ка лучше съ нами.

— Господа, вы добровольно записались въ отрядъ, стало-быть знаете, что-такое военная дисциплина. Я пока еще не приказываю, а прошу васъ какъ старшій товарищъ.

— А почему это вы «старшій товарищъ»? Развѣ вы довудца? У насъ *генералъ* старшій, а другихъ мы пока еще не знаемъ,—опрокинулись на Бейгуша нѣсколько голосовъ разомъ.—И что это такое за различія *старшій и младшій*? Какъ шляхта, какъ офицеры, полагаю, мы всѣ равны въ обществѣ.

Бейгушъ тоскливо оглядѣлся вокругъ. Положеніе его было крайне затруднительно и непріятно: опереться было не на кого, и онъ живо почувствовалъ теперь, что одинъ въ полѣ не воинъ, что въ данную минуту онъ совершенно одинокъ и безпомощенъ противъ нѣсколькихъ нахаловъ, которые, пользуясь своимъ числомъ, не задумаются затѣять съ нимъ самую скандальную исторію, а пожалуй и драку. Что тутъ дѣлать? Какъ выйти изъ такого положенія?

— Господа, я еще разъ прошу васъ вспомнить, что дѣло, для котораго вы здѣсь, слиш-

[1]) Курительная коротенькая трубка.

Digitized by Google

комъ серьезно и свято,—рѣшился онъ напослѣднюю попытку.

— Э, полноте! Ужь будто отечество погибнетъ отъ того, что мы прокинемъ двѣ-три таліи!

— Такъ вамъ рѣшительно не угодно кончить?

— Ахъ, да перестаньте пожалуйста! Дѣлайте свое дѣло, если оно у васъ есть, и не мѣшайте намъ заниматься нашимъ.

— Въ такомъ случаѣ завтра вамъ придется сильно раскаяваться въ этомъ,—проговорилъ онъ, едва сдерживая въ себѣ кипѣвшее негодованіе, и отошелъ въ сторону. Другого, впрочемъ, ничего и не оставалось ему покамѣстъ. Межъ тѣмъ время близилось къ разсвѣту. Надо было торопиться сборомъ и снаряженіемъ.

— Всѣ-ли на-лицо?—громко окликнулъ Бейгушъ толпу, раскинувшуюся на полянѣ.

— Кажись, что всѣ; по крайней мѣрѣ, ужь съ полчаса какъ никто болѣе не подходитъ,—отвѣтилъ ему панъ Сташецъ, ржондца [1]) одного изъ фольварковъ графини, выбранный въ старшіе урядники тиральеровъ.

По приказанію Бейгуша, толпа скучилась въ одно мѣсто и примолкла. Онъ вынулъ изъ бокового кармана списокъ и сталъ по именамъ выкликать людей. Кто былъ назначенъ въ тиральеры, тотъ шелъ въ особую кучу, направо, кто въ косиньеры—налѣво, а кавалерія толпилась нѣсколько въ сторонѣ съ табуномъ разномастныхъ и разнокалиберныхъ коней, на половину не снаряженныхъ и не засѣдланныхъ. Наконецъ, перекличка и сортировка были окончены. Но тутъ, на первомъ-же шагу, встрѣтилась непредвидѣнная неудача: по спискамъ общая численность банды простаралась свыше шестисотъ человѣкъ, а на-лицо оказалось только четыреста съ чѣмъ-то. Лошади тоже не всѣ въ должномъ количествѣ, такъ что одна треть охотниковъ-кавалеристовъ, вмѣсто четырехъ конскихъ ногъ, благополучно оказывается только на своихъ на двоихъ... Бейгушъ считаетъ и людей, и коней, свѣряетъ недочетъ и вновь пересчитываетъ. Толпа не хочетъ ждать, не стоитъ на мѣстѣ, галдитъ, поминутно разбредается во всѣ стороны: тамъ драка, тамъ смѣхъ, здѣсь ругань. Но вотъ наконецъ-то, послѣ долгихъ и тщетныхъ усилій, заранѣе выбранные урядники кое-какъ приводятъ эти кучи въ нѣкоторый порядокъ, заставляя ихъ строиться въ ряды съ помощью крѣпкой брани, зуботычинъ и подзатыльниковъ. А паничи-офицеры межъ тѣмъ все еще продолжаютъ себѣ преспокойно рѣзаться въ штоссъ, не обращая ни малѣйшаго вниманія на хлопоты и распорядки «майора». Но двухъ сотенъ, значившихся въ комплектѣ, такъ-таки и не досчитались. Эти двѣ сотни разбрелись, Богъ вѣсть куда. Оказалось, что иные люди, прокормившись и пображничавъ около трехъ недѣль на даровщину, заблагоразсудили перекочевать въ другія банды, на томъ основаніи, что тамъ жалованья будто бы больше платятъ, другіе же не хотѣли даже идти на сборный пунктъ и остались на квартирахъ, а третьи, безъ объясненія причинъ, просто убрались по-добру-по-здорову, скрылись, сбѣжали и были отмѣчены «пропавшими безъ вѣсти».

Приступили къ разборкѣ оружія, мундировъ, амуниціи. Все, что было на полянѣ, шумно и безо всякаго порядка кинулось къ возамъ и стало разбивать ящики, бочки, вспарывать тюки, и тутъ-то послѣдовало новое нежданное разочарованіе для Бейгуша. Организаторъ, обѣщавшій прислать четыреста ружей и востребовавшій съ графа квитанцію именно въ этомъ числѣ, прислалъ ихъ только двѣсти, да и то не бельгійскихъ штуцеровъ, какъ значилось въ его бумагѣ, а разнаго сброда и хлама, въ родѣ старыхъ карабиновъ, и мушкетоновъ, кремневыхъ ружей, охотничьихъ двуствольныхъ, бракованныхъ «туляковъ» и австрійскихъ винтовокъ. И все это оказалось Богъ-знаетъ въ какомъ видѣ: тамъ нѣтъ шомпола, здѣсь курокъ не дѣйствуетъ. Люди, бросившіеся впотьмахъ на повозки, хватаютъ первое, что попало подъ руку. Кому досталось ружье, кому сабля, этому пистолетъ, тому патронташъ, иному одни патроны, а оружія никакого, одинъ тащитъ узду, другой сѣдло безъ потника. Бейгушъ выходитъ изъ себя, вынимаетъ саблю и, кинувшись въ толпу, начинаетъ вмѣстѣ съ урядниками плашмя фухтелять направо и налѣво. Съ помощью этого рѣшительнаго средства, кое-какой порядокъ снова возстановляется на нѣкоторое время. Но тутъ опять новыя неудачи, новыя открытія: вахмистръ докладываетъ, что потниковъ нѣтъ болѣе чѣмъ на половину, про нихъ совсѣмъ забыли; зато бѣлыя конфедератки съ красными гарусными султанчиками всѣ на-лицо, и черныя чамарки съ бѣлыми крестами, и *холщевые коллеты* съ красными отворотами и все это въ совокупности издали имѣетъ видъ очень красивый. Другой урядникъ докладываетъ, что значительное количество штыковъ вовсе не подогнаны къ ружьямъ: гайка у штыка черезчуръ узка и принадлежитъ ружью какого-то другого калибра, патроны не входятъ въ дуло, а другіе, напротивъ, идутъ уже слишкомъ легко, съ невозможнымъ зазоромъ, капсюлей тоже нѣтъ, а тѣ, которые отыскались, подходятъ едва къ десятому ружью, не насаживаются на стержень, или слишкомъ слабы, не разбиваются, даютъ осѣчки. Одинъ жалуется на сапоги, которые жмутъ, другой на узкую чамарку, тотъ недоволенъ своимъ черезчуръ широкимъ картузомъ, этотъ пѣшкомъ отъ мундштука; нѣтъ принадлежностей къ

[1]) Управляющій.

Digitized by Google

мундштуку, да и самъ мундштукъ никуда не годится. Люди, и безъ того уже достаточно деморализованные, начинаютъ громко роптать, видя во всемъ такую несостоятельность. Жалобы летятъ со всѣхъ сторонъ, а что отвѣчать на нихъ, и чѣмъ помочь дѣлу? Кто предварительно осматривалъ эти ружья? Кто укладывалъ ихъ въ ящики и въ повозки? Кто считалъ и дѣлалъ сборку всѣхъ этихъ предметовъ? Пронырливые евреи, трусливые аптекаря, болтливые адвокаты, невѣжды паны и чиновники, отроду не державшіе ружья въ рукахъ, фанатики-ксендзы и восторженныя женщины...

Зато «трупьи глувы», со скрещенными костями, и эти черные съ бѣлымъ флюгера́ на пикахъ дѣлаютъ такое траурное, мрачно-поэтическое впечатлѣніе; зато неуклюжія и безполезныя косы, оказавшіяся въ порядкѣ болѣе всего прочаго, такъ эффектно сверкаютъ на своихъ длинныхъ четырехаршинныхъ древкахъ; зато все это такъ красиво, такъ символично и во всемъ напоминаетъ «ойчизну за кржижу распне́нту»... [1]) А это-то и есть самое главное, въ этомъ-то и вся суть, по мнѣнію кобѣтъ [2]), ксендзовъ и адвокатовъ.

Съ каждой минутой ропотъ и жалобы становились сильнѣе. Урядники кое-какъ уговаривали рощущихъ, утѣшая и клянясь, что всѣ бѣды минуютъ, что все найдется, все исправится, лишь бы только тронуться въ походъ и перейти Нѣманъ, а тамъ ужъ все, все будетъ въ полномъ изобиліи и порядкѣ.

Бейгушъ молчалъ. У него не хватало духу расточать подобныя увѣренія обманутымъ людямъ и утѣшать тѣмъ, на что не могло быть и призрака сбыточной надежды. Слезы отчаянія готовы были брызнуть изъ его глазъ.

Но время не терпитъ — уже свѣтать начинаетъ. Хочешь-нехочешь, а надо тронуться. Такъ повелѣваетъ ржондъ народовый, подъ страхомъ смерти и общественнаго позора, подъ страхомъ чернаго имени «здрайцы» [3]), за невыполненіе въ точности его безапелляціонныхъ повелѣній. И вотъ, краснѣя отъ жгучаго стыда, съ болью въ душѣ за судьбу этихъ четырехъ сотенъ людей, на половину безоружныхъ, онъ вынимаетъ саблю и неувѣреннымъ, надтреснутымъ голосомъ подаетъ команду.

— Впередъ! Маршъ!... Богъ помочь, панове! На Него надежда!

И не-хотя, молча и понуро, словно бы на смерть обреченная, банда тихо снимается съ мѣста и уходитъ въ глубину густого, болотистаго лѣса. Шалопаи-паничи, по необходимости прекративъ игру и попойку, позавалились въ свои брички, и вмѣстѣ съ отважными героинями поплелись вслѣдъ за бандой въ хвостѣ длиннаго обоза.

IV.

Лѣсная маювка.

Графъ Сченсный Маржецкій и приближенныя лица его штаба, проведя вечеръ за картами, а половину ночи за веселымъ ужиномъ, покоились еще сладкимъ и безмятежнымъ сномъ, на пышныхъ пуховикахъ, по своимъ спальнямъ, когда отрядъ подошелъ къ мѣсту переправы, верстахъ въ трехъ ниже за́мка. Солнце уже сіяло на небѣ и предвѣщало жаркій день.

Уѣзжая съ вечера на сборный пунктъ, Бейгушъ усиленно просилъ капитана съ поручикомъ озаботиться, чтобы къ разсвѣту на мѣстѣ переправы, кромѣ парома, постоянно находившагося въ этомъ пунктѣ, приготовить еще столько лодокъ, сколько было возможно собрать въ ближайшей окрестности.

Но какова же была его досада, когда, подойдя къ Нѣману онъ не нашелъ ни одного челна, тогда какъ сдѣлать это было вовсе не трудно. Съ досады давъ сильныя шпоры коню, Бейгушъ помчался въ за́мокъ и приказалъ разбудить графа. Но сонный камердинеръ не отважился на такой подвигъ, оправдываясь, что ясновельможный недавно только изволилъ започивать и не приказалъ будить себя ни подъ какимъ предлогомъ.

Бейгушъ почти насильно ворвался въ его комнату.

— Генералъ! отрядъ уже готовъ и ждетъ на переправѣ!—проговорилъ онъ надъ ухомъ спящаго, безцеремонно тряся его за плечи.

— А?.. что́... какъ?—въ просонкахъ хлопалъ тотъ глазами.—А!.. это вы?.. что вамъ надо?.. Вѣдь я жь не велѣлъ будить себя... Дайте мнѣ спать, пожалуйста... Экая скотина этотъ Якубъ мой!..

Бейгушъ повторилъ свое сообщеніе.

— На переправѣ?.. Что такое на переправѣ?.. Кто на перѣправѣ? Отрядъ?.. Ну и пускай его!.. И прекрасно!.. Переправляйтесь!—съ досадой бормоталъ полусонный довудца.

— Не на чемъ, генералъ,—замѣтилъ Бейгушъ.

— Что такое не на чемъ?... Мнѣ-то что? Это вѣдь ваша забота, ваше дѣло! Хорошъ же у васъ порядокъ!.. Ахъ, ей-Богу!.. Вы мнѣ мой сонъ перебили... Я теперь и не усну пожалуй!..

— И прекрасно сдѣлаете...

— Да, вамъ легко говорить, а я цѣлую ночь не спалъ...

— Я тоже не спалъ ее. Повторяю, отрядъ дожидается васъ.

— Дожидается?.. Хм... Ну, пусть подождетъ... Можно и потомъ переправиться... Отведите его въ лѣсъ обратно и подождите тамъ... Часовъ въ

[1]) Отечество, на крестѣ распятое.
[2]) Женщинъ.
[3]) Измѣнника.

Digitized by Google

десять я пріѣду... Прощайте, господинъ майоръ, мнѣ некогда...

И генералъ повернулся на другой бокъ, спиной къ Бейгушу, съ самымъ рѣшительнымъ намѣреніемъ не отвѣчать болѣе ни слова, ни звука и не поддаваться никакимъ настояніямъ.

Бейгушъ вышелъ изъ спальни, стукнувъ за собой дверью. Съ отчаянія онъ готовъ былъ рвать на себѣ волосы.

Но дѣлать было нечего. Лодокъ нѣтъ да и день на дворѣ, казачьи разъѣзды могутъ случайно рыскать на томъ берегу, какіе-нибудь барочники на Нѣманѣ, какіе-нибудь проѣзжіе хлопы увидятъ, разболтаютъ, — словомъ, при дневномъ свѣтѣ переправа и безъ того небезопасная становилась положительно невозможной. Нечего было и думать начинать ее въ эту пору, на одномъ паромѣ да на двухъ рыбачьихъ лодчонкахъ.

Спѣшно вскочивъ на взмыленнаго коня, со злобой и отчаяніемъ въ сердцѣ, помчался онъ обратно къ покинутому отряду и отвелъ его неподалеку отъ берега въ густую, непродорную чащу. Люди были голодны, а возы съ провіантомъ, собранные на окрестныхъ фольваркахъ графини, еще и не прибыли къ переправѣ, благодаря тому, что панъ интендантъ, онъ же и начальникъ «всей кавалеріи», спалъ богатырскимъ сномъ въ замкѣ, послѣ нѣсколькихъ бутылокъ доброй венгржины и наливокъ, осушенныхъ за ужиномъ. Бейгушъ готовъ былъ бросить все и бѣжать хоть на край свѣта. Ему было больно, совѣстно и стыдно глядѣть на жалкихъ и голодныхъ людей Августовскаго «корпуса», и только одно совѣстливое чувство чести и нравственнаго долга понудило его остаться вмѣстѣ съ ними, раздѣляя ихъ голодъ и усталость. Люди межъ тѣмъ не переставали роптать, и роптали тѣмъ болѣе, что шалопайные паничи, вмѣстѣ со своими героинями, опять раскинули ковры и наметы около повозокъ и, немного проспавшись, снова занялись чаями, картами да закуской. Для нихъ лѣсная скитальческая жизнь, пока еще цѣлы были запасы, представлялась только веселой лѣсной «маювкой» [1]).

И чѣмъ сильнѣе, чѣмъ рѣзче былъ контрастъ между ропотомъ всякаго сброда, составлявшаго главную силу банды, и этимъ беззаботнымъ, сытымъ и пьянымъ смѣхомъ паничей съ ихъ женщинами, тѣмъ все злобнѣе и мрачнѣе становилось на душѣ у Бейгуша. Еще въ самомъ началѣ дѣла, на первомъ же шагу рисковаго предпріятія, онъ уже ясно сталъ предвидѣть теперь роковое начало конца его. Это, можно сказать, былъ уже конецъ въ самомъ началѣ и даже безъ всякаго начала. Отойдя нѣсколько въ сторону отъ бивуака, онъ раскинулъ подъ деревомъ свою бурку и отвернулся на ней отъ людей, стараясь притвориться спящимъ, чтобы ничего не видѣть и не слышать, ни этого хлопскаго ропота, ни панскаго разгула. «Ахъ, если-бы теперь пришли москали, и если-бы первая пуля досталась на мою долю!.. Господи! Какое счастіе мнѣ это было бы!» смутно и глубокоискренно подумалось ему въ эту тяжелую минуту.

Часу уже въ первомъ дня на бивуакъ прискакалъ юный Поль Секерко.

— Фу! насилу-то отыскалъ васъ! Экъ, въ какую глушь забрались! И не продерешься!—говорилъ онъ, отирая съ лица обильный потъ.—Что вы тутъ дѣлаете, майоръ? Генералъ недоволенъ: вы не прислали ему сказать о мѣстѣ бивуака; онъ прислалъ вамъ приказаніе, чтобы вы немедленно привели отрядъ во дворъ замка и тамъ построили бы его развернутымъ фронтомъ.

— Это зачѣмъ?!—выпучивъ глаза отъ изумленія, воскликнулъ Бейгушъ.

— Какъ, помилуйте, генералъ желаетъ, во-первыхъ, лично познакомиться со своимъ войскомъ, а во-вторыхъ, сдѣлать парадъ съ церемоніальнымъ маршемъ. Это его непремѣнная воля.

— Тьфу!.. какія глупости! — вскипятился Бейгушъ отъ досады. — Скажите, молодой человѣкъ, вашему генералу, что я ему середь бѣла дня не стану безъ нужды водить отрядъ на показъ постороннимъ людямъ! Это безуміе! Это значитъ рисковать удачей всей экспедиціи, портить въ самомъ началѣ все дѣло и играть судьбой и жизнью нѣсколькихъ сотенъ людей! Теперь не до парадовъ,—взволнованно жестикулировалъ онъ, будучи радъ, что есть человѣкъ, который передастъ всѣ его рѣзкости и горькія истины по прямому назначенію;—люди голодны, со вчерашняго дня и куска хлѣба не съѣли еще, а вашъ генералъ и не позаботился объ этомъ!

— Но генералъ непремѣнно желаетъ познакомиться,—въ затрудненіи пожималъ плечами Секерко.

— Ну, такъ пусть его пріѣзжаетъ сюда и знакомится сколько душѣ его угодно!

— Но... въ такомъ случаѣ надо выбрать здѣсь какую-нибудь удобную поляну.

— Выбирайте, коли охота.

И Бейгушъ безъ дальнѣйшихъ церемоній отвернулся и пошелъ прочь отъ юнаго адъютанта.

Едва къ четыремъ часамъ панъ Копецъ догадался прислать на бивуакъ провіантскія фуры съ ветчиной, хлѣбомъ и водкой, да и то благодаря лишь напоминанію Поля Секерко: но зато вслѣдъ за провіантомъ и самъ онъ прибылъ вскорѣ «до обозу».

— Майоръ, генералъ вами очень недоволенъ.— сухо обратился онъ къ Бейгушу.—Да-съ, недоволенъ и велѣлъ вамъ передать, что на этотъ разъ охотно извиняетъ, но впередъ не намѣренъ терпѣть никакихъ нарушеній его воли

[1]) Маювка—весенній пикникъ.

Digitized by Google

Отыскали вы поляну для парада?.. Генералъ въ шесть часовъ прибудетъ сюда со свитой и сдѣлаетъ смотръ войскамъ.

— Послушайте,—съ горечью усмѣхнулся Бейгушъ,—вы говорите, что вы старый служака, неужели же вы не понимаете всей безсмысленности подобныхъ комедій въ настоящемъ положеніи?

— Но что жь дѣлать!—пожалъ Копецъ плечами.—Такова ужь его воля!.. Надо же потѣшить его... Вѣдь какъ хотите, все-таки *графъ*—шутка сказать!.. Такое лицо... Вѣдь это сила!.. Надо имѣть въ виду и будущее... тѣмъ болѣе, что уже распорядились принести сюда алтарь—ксендзъ будетъ служить молебенъ... Музыкантовъ тоже Шмуль привезъ сегодня утромъ... Это возбудитъ духъ отряда.

— Дѣлайте какъ знаете!—махнулъ рукой Бейгушъ.

Копецъ выкликнулъ изъ банды полѣсовщиковъ, знакомыхъ съ мѣстностью, и приказалъ имъ выбрать по близости просторную поляну. Тѣ сказали, что знаютъ неподалеку подходящее мѣсто и вызвались проводить. Не давъ людямъ хорошенько окончить обѣдъ, эксъ-уланъ приказалъ имъ взять оружіе и самъ повелъ всю орду вслѣдъ за проводниками, которые черезъ десять минутъ ходьбы привели всадниковъ на полянку, сажень около полутораста въ окружности. Здѣсь панъ Копецъ построилъ въ развернутомъ фронтѣ сперва кавалерію, потомъ тиральеровъ, наконецъ косиньеровъ, и занялся репетиціей парада. Бейгушъ стоялъ въ сторонѣ, не принимая никакого участія въ его хлопотахъ.

— Да помогите же мнѣ, наконецъ, господинъ майоръ генеральнаго штаба!.. Я, чортъ возьми, кавалеристъ и по пѣхотному не знаю!

— Въ чемъ прикажете помочь вамъ, господинъ полковникъ?—пожавъ плечами и усмѣхаясь, подошелъ къ нему Бейгушъ.

— Какъ въ чемъ? Ну, покажите людямъ, какъ ходить въ ногу, какъ дѣлать «презентуй бронь», [1]) научите салютовать господъ офицеровъ и какъ должно имъ парадировать мимо начальника.

— Лишнее, господинъ полковникъ! — махнулъ тотъ рукою.

— Какъ лишнее?! Вѣдь мы же, чортъ возьми, наконецъ, регулярное войско называемся,—должны-же мы умѣть все это! Неужели васъ это не интересуетъ?

— Увы! я выжилъ уже изъ тѣхъ лѣтъ, когда нравится игра въ солдатики!—иронически, но вовсе не весело вздохнулъ Бейгушъ.

— Хо-о!.. Такъ по вашему, это игра въ солдатики?!

— Не болѣе. И если будетъ такъ продолжаться, то лучше распустить людей по домамъ сію-же минуту.

— Однако, господинъ майоръ, у васъ чортъ знаетъ какой неподатливый характеръ.

— Да, въ особенности на бездѣльныя вещи.

— Какъ?! Такъ я по-вашему бездѣльникъ?.. Такъ я бездѣльникъ?!—побагровѣлъ и забрызгалъ сквозь усы панъ Копецъ.—Да я уши обрублю тому, кто осмѣлится сказать это мнѣ, старому кавалеристу!.. Я сатисфакцію!.. Да! Я сатисфакцію потребую!

— Во-первыхъ, я не называлъ васъ бездѣльникомъ,—замѣтилъ Бейгушъ спокойно и прямо глядя ему въ глаза,—а во-вторыхъ, если вамъ угодно удовлетворенія, извольте хоть сейчасъ. На чемъ прикажете?

— Какъ?!. Вы вызываете меня на дуэль?.. Предъ фронтомъ!? при исполненіи моихъ служебныхъ обязанностей!? Вы, майоръ, меня, полковника!? Такъ *это* у васъ дисциплиной называется?.. Гe-ге! Хорошо-же! Пусть только пріѣдетъ генералъ, я подамъ формальный рапортъ и потребую военнаго суда надъ вами!

Бейгушъ могъ только усмѣхнуться и пожать плечами на выходку храбраго пана, который такъ быстро и неожиданно перепрыгнулъ съ сатисфакціи на военный судъ, едва лишь замѣтилъ, что противникъ не попятился предъ его угрозой. Эта сцена, впрочемъ, была прекращена появленіемъ ксендза и церковниковъ съ аналоемъ, образомъ и облаченіями. Панъ Копецъ нашелъ теперь благовидный предлогъ удалиться отъ Бейгуша и озабоченно занялся указаніями какъ и гдѣ установить походный алтарь и прочее.

Бейгушъ почувствовалъ, что пріобрѣлъ себѣ еще одного новаго и едва-ли примиримаго врага въ лицѣ пана полковника.

«Господи! чѣмъ-же все это кончится?!» тоскливо грызъ его душу неотступный вопросъ, который подымало въ ней отчаяніе за участь людей и дѣла.

Но вотъ, на двухъ фурманкахъ пріѣхалъ графскій факторъ Шмуль съ музыкантами. Этихъ несчастныхъ чеховъ успѣли уже перерядить въ повстанскія чамарки, наобѣщавъ имъ золотыя горы и выдавъ въ задатокъ по пятнадцати злотыхъ на брата. Шмуль объявилъ, что «ясневельмозны панъ энгералъ» сейчасъ прибудетъ «до обозу» со всей свитой и съ самой «ясневельмозной пани грабиной», которая тоже ѣдетъ верхомъ «на конику». Поэтому панъ Копецъ поторопился поставить музыкантовъ, со всѣми ихъ трубами, кларнетомъ и турецкимъ барабаномъ, на правый флангъ «арміи», и внушилъ имъ, что какъ только подъѣдетъ генералъ, то немедленно-бы грянули ему навстрѣчу «Еще Польска не згинэла».

Прошло еще минутъ десять; и вотъ прискакалъ одинъ изъ трехъ «несмерцельныхъ» улановъ, выставленныхъ на дорогу съ тѣмъ, чтобы

[1]) На краулъ.

Digitized by Google

извѣстить отрядъ и указать къ нему путь генералу.

— Ѣдетъ! ѣдетъ!—кричалъ онъ, махая руками.

— Смирно! — гаркнулъ Копецъ на весь отрядъ.—Цихо, дзяблы! На рамен' броиь!

И по этой командѣ вояки, кто какъ могъ и умѣлъ, взяли на плечо свое оружіе.

Копецъ что есть мочи шпорилъ и горячилъ коня, видимо стараясь гарцовать и рисоваться предъ фронтомъ.

Но вотъ изъ-за деревьевъ показалась веселая кавалькада.

— Презентуй бронь!—снова гаркнулъ воинственный Копецъ и, салютуя саблей, короткимъ галопомъ поскакалъ навстрѣчу генералу.

Чехи грянули «Польску», люди заорали «vivat!»—и графъ Сченсный, рядомъ съ Цезариной и въ сопровожденіи красноштаннаго штаба, съ лихимъ и величественно-горделивымъ выраженіемъ въ лицѣ, какъ истый фельдмаршалъ поѣхалъ вдоль по фронту, «манифестуя» людямъ своей конфедераткой. Въ эти мгновенья онъ воображалъ себя чѣмъ-то очень близкимъ къ Наполеону предъ Аустерлицемъ.

Но объѣздъ «арміи», занимавшей по фронту очень небольшое протяженіе, продолжался гораздо менѣе трехъ минутъ, послѣ чего генералъ слѣзъ съ коня и предложилъ ксендзу служить молебенъ.

— Вы понимаете, что я-то собственно не вѣрю, но для этихъ добрыхъ людей надо же показать себя добрымъ католикомъ,—не преминулъ онъ въ сотый разъ порисоваться предъ штабомъ и графиней своимъ «маленькимъ атеизмомъ».

Ксендзъ Игнацій принялся служить, а клиръ подпѣвалъ ему нестройными голосами. Въ концѣ молебна принесли знамя, которое было привезено въ экипажѣ, сопровождавшемъ графиню.

Цезарина развернула полотнище и сама наклонила предъ алтаремъ свой стягъ съ золотыми кистями. Костельный мальчикъ, въ бѣлой «комжѣ», подалъ кропило и святую воду. Ксендзъ прочиталъ молитву и окропилъ знамя. Тогда Цезарина торжественно вручила его «пану хорунжему». Снова грянули чехи «Польску», и снова, еще громче прежняго, раздались повстанскіе виваты. Графъ былъ въ упоеніи, въ восторгѣ, и съ аристократическимъ чувствомъ любовался на картину «арміи», привѣтствовавшей свое нарядное знамя, которое такъ красиво развѣвалось въ воздухѣ. Онъ приказалъ полковнику командовать парадомъ, а самъ, склоняя предъ Цезариной и саблю, и голову, повелъ мимо нея свой корпусъ, подъ звуки трубъ и турецкаго барабана. Затѣмъ выскочилъ передъ фронтъ и сталъ говорить своей арміи воинственную рѣчь, гдѣ указывалъ и на знамя, и на Цезарину, и на Европу, которая съ надеждой смотритъ на героевъ отчизны и съ нетерпѣніемъ ожидаетъ отъ нихъ побѣды надъ варварскими врагами католицизма, прогресса, цивилизаціи и свободы.

А затѣмъ снова музыка, крики «нѣхъ жіе Польска!» и виваты, лобзанья, обниманья, потрясаніе оружіемъ... Растроганный графъ отиралъ слезы умиленія; Копецъ ругался на москалей и гарцовалъ ни къ селу ни къ городу; штабъ «манифестовалъ» высоко поднятыми конфедератками и красовался красными штанами; ксендзъ Игнацій благословлялъ банду, кропилъ ее водой и давалъ воинамъ отечества «отпускъ» всѣхъ грѣховъ настоящихъ, прошедшихъ и будущихъ, а красивый знаменоносецъ, подъ аккомпанементъ всего этого шума, восторженно клялся Цезаринѣ умереть съ ея знаменемъ въ рукахъ, но не отдать его москалямъ. Наконецъ, вся эта толпа, съ ксендзомъ и генераломъ, со Шмулемъ, знаменемъ и панами во главѣ, съ ревомъ и пѣніемъ подъ музыку «Съ дымемъ пожаровъ», двинулась обратно къ мѣсту бивуака, гдѣ ожидали ее новыя бочки съ водкой и пивомъ, присланныя ради праздника Цезариной, которая, проводивъ толпу, поѣхала домой въ приготовленной для нея коляскѣ.

Въ повстанскомъ лагерѣ пошло разливное море. Безсмертные и тиральеры съ косиньерами упивались водкой и пивомъ, а графъ, приказавъ раскинуть себѣ шатеръ, объявилъ своему штабу и паничамъ-офицерамъ, что намѣренъ задать имъ добрую «маковку» съ ужиномъ и жженкой. Панъ Копецъ, успѣвшій тотчасъ же перезнакомиться со всѣми героинями-патріотками, находившимися въ бандѣ, представлялъ ихъ поочередно генералу, и тотъ остался въ полномъ восторгѣ отъ всѣхъ этихъ барынь, восклицая, что только одна безсмертная Польша можетъ рождать подобныхъ женщинъ-героевъ, и только въ Польшѣ женщина можетъ и умѣетъ на ряду съ героемъ-мужчиной драться и умирать за отечество. Одна изъ героинь въ особенности понравилась старому ловеласу, такъ что онъ поторопился предложить ей у себя постъ «особо-довѣреннаго адъютанта», на что героиня согласилась съ величайшимъ и довольно кокетливо выраженнымъ удовольствіемъ, къ крайнему конфузу своего пріятеля-панича, который, отъ ревности и досады, приказалъ своимъ людямъ поскорѣе складывать пожитки, запрягать лошадей, и въ четверть часа укатилъ изъ банды во-свояси, предоставивъ счастливому сопернику-довудцѣ проливать кровь за отечество и украшаться «миртами Эрота и лаврами побѣды».

Цѣлый вечеръ продолжалось самое безшабашное веселье, дымились костры, челядь и «быдло» банды орали пѣсни, музыка гремѣла польки, кадрили и мазурки, героическія панны въ бутахъ отплясывали жестокій канканъ, ксендзъ говорилъ побасенки да ухаживалъ око-

Digitized by Google

ло яствъ и бутылокъ, а паны, перепивая другъ друга, хвалились оружіемъ, лошадьми и побѣдами надъ женщинами и надъ «москалемъ».

О Бейгушѣ, казалось, всѣ позабыли. Генералъ, упоенный не столько жженкой, сколько лестью окружающихъ, щедро раздавалъ имъ чины, должности и назначенія.

А ночь между тѣмъ наступала.

Бейгушъ рѣшился, наконецъ, не церемониться болѣе и окончательно выяснить свои фальшивыя отношенія къ бандѣ и ея генералу. Безъ всякаго доклада, единственный трезвый человѣкъ среди этого табора гулякъ, онъ вошелъ въ шатеръ Маржецкаго и объявилъ довудцѣ, что имѣетъ настоятельную надобность переговорить съ нимъ наединѣ о серьезномъ дѣлѣ.

Графъ Сченсный неохотно, съ гримасой, поднялся съ мѣста и вышелъ изъ шатра вмѣстѣ со своимъ «майоромъ».

— Послушайте, честный ли вы человѣкъ?— безъ дальнихъ околичностей, серьезно и неуступчиво приступилъ къ нему Бейгушъ, съ перваго же слова.

— Что за вопросъ, милостивый государь?!— возразилъ графъ, совсѣмъ уже готовый оскорбиться.

— Вопросъ самый естественный въ виду того, что вы дѣлаете. Вы забываете, что на васъ лежитъ нравственная отвѣтственность за судьбу всѣхъ этихъ людей; вы не позаботились даже окружиться цѣпью сторожевыхъ ведетовъ; русскія войска каждую минуту могутъ подойти и забрать насъ врасплохъ.

— Но... но это, кажись, ваша бы забота, господинъ майоръ?—всхорохорился обиженный довудца.—И, признаюсь, мнѣ очень странно, что вы приходите выговаривать мнѣ за то, за что собственно я бы долженъ вамъ сдѣлать выговоръ. Вамъ предоставлена власть, отчего вы не распоряжаетесь?

— Власть, которую однако вы на каждомъ шагу парализуете...

— Я?.. Сдѣлайте одолженіе, распоряжайтесь; я буду очень доволенъ.

— Въ такомъ случаѣ, кончите сію же минуту вашу оргію,—рѣшительно предложилъ Бейгушъ.—Время начинать переправу; еще часа два, и уже будетъ поздно, а у насъ ничего не готово...

— Ну, начинайте!.. Начинайте, господинъ майоръ! Я, кажется, не мѣшаю и не препятствую.

— Во-вторыхъ,—продолжалъ Бейгушъ,—удалите сію же минуту изъ лагеря всѣхъ этихъ барышень и ихъ кавалеровъ.

— Зачѣмъ?.. Это невозможно!

— Это необходимо, говорю вамъ, это первая причина безпорядковъ. Лагерь не бабье дѣло.

— О, какой ретроградный взглядъ! Женщина, которая съ оружіемъ въ рукахъ встаетъ за свободу, такой же герой, какъ и мужчина; ихъ мѣсто рядомъ!

Бейгушъ махнулъ рукой, отвернулся и пошелъ прочь отъ генерала.

— Куда же вы, господинъ майоръ?.. Постойте, подождите!.. Куда вы?

— Вонъ изъ лагеря,—съ горечью отвѣчалъ тотъ, пріостановясь на минуту.—Я вижу ясно, что мнѣ остается только одно: идти къ русскимъ и принести имъ свою повинную голову.

Графъ былъ не на столько хмѣленъ, чтобы не сознать, что ему угрожаетъ опасность лишиться единственнаго человѣка, знающаго военное дѣло и способнаго распоряжаться.

— Quelle idée! Quelle idée, mon brave!— сказалъ онъ притворно-дружескимъ и увѣщательнымъ тономъ, взявъ его за руку.—Зачѣмъ такой мрачный взглядъ!.. Вотъ видите ли, что... скажу откровенно... Вы говорите, барышни... Ну, хорошо, я согласенъ; только не теперь, а какъ-нибудь потомъ, послѣ... мы съ вами найдемъ благовидный предлогъ и удалимъ. А пока сдѣлайте мнѣ эту маленькую уступку!.. Я васъ прошу!.. Я къ вамъ пришлю сейчасъ на помощь Сыча и Секерко, начинайте съ ними переправу и распоряжайтесь всѣмъ отъ моего имени, но только не трогайте барышень и ихъ кавалеровъ: они всѣ право такіе славные!

Бейгушъ только плечами пожалъ. Вчера онъ думалъ было показать на этихъ паничахъ примѣръ воинской строгости, а теперь убѣдился, что съ нихъ и взыскивать нечего, если первый примѣръ распущенности подаетъ самъ генералъ-довудца. Онъ еще разъ раздумался надъ своимъ печальнымъ положеніемъ. Что остается? Съ одной стороны настойчивое предписаніе Центральнаго Комитета, а съ другой — убѣжденіе въ окончательной невозможности сдѣлать что-либо путное съ такимъ генераломъ. А между тѣмъ, отвязаться отъ него невозможно: этотъ генералъ, которымъ ржондъ дорожилъ ради его громкаго имени, навязанъ былъ ему на шею какъ непремѣнное условіе, и, волей-неволей, Бейгушъ долженъ былъ ему подчиняться. Бросить все и головою выдать одного себя русскимъ? Бейгушъ чувствовалъ, что это было бы самое разумное, самое честное, но его останавливалъ страхъ предъ именемъ «здрайцы», измѣнника, которымъ заклеймятъ его навѣки предъ лицомъ цѣлой Польши. Это бы значило подтвердить тѣ подозрѣнія, которыя пали на него еще въ Петербургѣ, а въ душѣ его не было на столько нравственной силы и независимости, чтобы презрѣть все это во имя высшей правды, и потому, отчаявшись и не вѣря въ успѣхъ, онъ слѣпо рѣшился дѣйствовать на-авось, очертя голову, съ намѣреніемъ найти себѣ смерть подъ русскими пулями, и съ такою рѣшимостью началъ переправу полупьяной банды.

Digitized by Google

V.

Въ лѣсномъ «обозѣ».

Едва лишь къ семи часамъ утра успѣли окончить длинную процедуру этой переправы, которая производилась съ помощью парома и двухъ-трехъ рыбачьихъ лодокъ, добытыхъ по сосѣдству. Послѣднимъ переправился генералъ со своимъ штабомъ, и чуть лишь ступилъ на противный берегъ Нѣмана, какъ тотчасъ же завалился съ свою коляску и заснулъ самымъ безмятежнымъ образомъ. Пьяный штабъ послѣдовалъ благому примѣру, размѣстясь возможно удобнымъ образомъ въ своихъ фурманкахъ и нетычанкахъ, а за штабомъ не приминули сдѣлать тоже самое и всѣ почти остальные офицеры.

Наконецъ отрядъ тронулся. Вѣковѣчная пуща скоро скрыла его въ глубинѣ зеленой чащи, но лѣсное движеніе было крайне затруднительно. Надо было идти узкой и вязкой тропой, которая обозначалась двумя колеями когда-то проѣхавшаго воза. Пѣхота и конница, идучи не болѣе какъ по два человѣка въ рядъ, растянулась вмѣстѣ съ обозами верстъ на пять. Эта длинная колонна безпрестанно разрывалась: возы и фурманки, которыхъ хватило бы, по крайней мѣрѣ, на трехтысячный отрядъ, помнутно вязли въ болотѣ и препятствовали движенію; приходилось останавливаться, скликать людей, вытаскивать неуклюжіе экипажи; всякъ при этомъ лѣзъ распоряжаться и командовать, но никто не хотѣлъ подсобить добровольно, пока-то, наконецъ, не выручало «быдло», т. е. косиньеры, которыхъ на эту «помочь» сгоняли нагайками. Колонна шла безъ охранительныхъ боковыхъ патрулей, несмотря на то, что Бейгушъ, тщетно разрывавшійся на части, безпрестанно, и лаской, и угрозами, посылалъ людей въ этотъ необходимый нарядъ; но ничто не помогало: патруль отдѣлялся, уходилъ въ сторону и затѣмъ либо дезертировалъ, либо самовольно спѣшилъ возвратиться къ колоннѣ, изъ боязни какъ бы не попасться въ лапы казакамъ.

Къ счастію банды, во всей окрестности, что называется, и духомъ казачьимъ не пахло. Малочисленные подвижные русскіе отрядцы не могли быть вездѣ и повсюду и — благодаря случайности — пуща, оставленная на время безъ всякихъ наблюденій, благополучно укрывала пока банду графа Сченснаго отъ роковой встрѣчи.

Панъ Копецъ, успѣвшій кое-какъ проспаться на походѣ, безпрестанно гарцовалъ на своей лошади, съ цѣлью показать «солдатамъ» собственную ловкость и лихость, и время отъ времени такъ усердно подгонялъ фухтелями отставшихъ косиньеровъ, что одному невзначай поранилъ голову, а другому ухо разсѣкъ.

На каждомъ привалѣ генеральскія фуры и офицерскія повозки, пролагая себѣ путь къ группѣ начальниковъ, сгоняли отдыхавшихъ людей въ сторону съ тропинки въ болото, причемъ отъ кучеровъ нерѣдко доставалось бичемъ неповоротливому «быдлу». Генералъ съ офицерами весело принимались «подкрѣплять силы», пить и закусывать, а люди межъ тѣмъ голодали, довольствуясь лицезрѣніемъ закусывающаго начальства и питаясь пока пріятнымъ обѣщаніемъ, что поѣдите, молъ, вечеромъ на бивуакѣ, а теперь-де некогда для васъ разворачивать провіантскія фуры.

Наконецъ, уже подъ вечеръ, пройдя нѣсколько болѣе двадцати верстъ, пришли на мѣсто ночлега. Тутъ среди пущи, торчала подъ деревьями одинокая хатка лѣсника; ее тотчасъ же заняли подъ помѣщеніе генерала и его «самаго довѣреннаго адъютанта», который, съ пенсне на носу, бойко передавалъ своимъ женскимъ голоскомъ генеральскія приказанія. На этого «адъютанта» остальныя героини банды стали уже поглядывать съ нескрываемой завистью и злобой, быть-можетъ потому, что каждой въ душѣ хотѣлось бы занять такое первенствующее мѣсто около знатнаго довудцы. Ксендзъ Игнацій не менѣе героинь-адъютантовъ необходимое лицо при бандѣ, въ качествѣ капеллана и узорѣшителя всѣхъ грѣховъ—тотчасъ же приступилъ къ дѣятельнымъ распоряженіямъ по части генеральской кухни и походнаго погреба. Бейгушъ межъ тѣмъ старался возстановить хоть какой-нибудь порядокъ и расположить лагерь такъ, чтобы въ виду нечаяннаго нападенія была возможность выстроиться всѣмъ частямъ для встрѣчи, но не тутъ-то было; панъ Копецъ, какъ начальникъ кавалеріи, и притомъ «полковникъ», не хотѣлъ подчиняться распоряженіямъ «майора»; начальники тиральеровъ тоже не соглашались располагаться на назначаемыхъ мѣстахъ, начальники косиньеровъ съ своей стороны представляли какія-то возраженія; Бейгушъ просто надсѣдался, стараясь втолковать имъ существенность своихъ распоряженій, необходимость какого-нибудь боевого порядка, но наконецъ долженъ былъ безнадежно махнуть рукою: его не слушали, не понимали, представляли нелѣпыя возраженія и, въ концѣ концовъ, расположились по собственному произволу, какъ кому казалось удобнѣе. Злосчастному «майору» съ перваго же шага суждено было встрѣтить въ средѣ своихъ товарищей споры, пререканія, партіи, каверзы и интриги, недовѣріе и подозрительность, взаимный обманъ и чуть не взаимное предательство. Частные эгоистическіе интересы въ каждой мелочи сейчасъ же выступали на первый планъ, честолюбіе всѣхъ парализовало дѣйствія одного: никто не

Digitized by Google

хочетъ и не умѣетъ повиноваться, но всякій лѣзетъ, хотя и не умѣетъ, властвовать и повелѣвать. Съ перваго-же ночлега всѣ эти начальники отдѣльныхъ частей, болѣе или менѣе, переругались другъ съ другомъ, и каждый передъ своими пріятелями и подчиненными утверждалъ заочно про остальныхъ, что всѣ они подлецы и измѣнники, а одинъ только онъ честенъ и одинъ лишь его взглядъ исключительно хорошъ и вѣренъ.

Едва угомонилась и осѣлась кое-какъ сумятица и каша съ обозами да съ перемѣщеніями людей на бивуакѣ, какъ началась нескончаемая процедура со сторожевой службой: никто не хочетъ идти на сторожевые посты, всякъ старается увильнуть, отлынять отъ этой трудной обязанности; офицеры, расположившись около повозокъ за картами да за закусками, и слушать не хотятъ про какіе-то ведеты.— «Не наше дѣло, пусть другіе идутъ, мы безъ того устали!»

Бейгушъ проситъ наконецъ генерала, чтобы онъ самъ энергически и строго вмѣшался въ дѣло.

— Ахъ, любезнѣйшій мой майоръ!—съ кисловатой гримасой отвѣчаетъ ясновельможный,—не могу же я самъ поминутно мѣшаться во всѣ пустяки и мелочи!.. Постарайтесь сами какъ-нибудь уладить все это... Мнѣ, право, не до форпостовъ!

Нечего дѣлать: унтеръ-офицеры нагайками и фухтелями сгоняютъ людей на сторожевую службу и кое-какъ разставляютъ на указанныхъ мѣстахъ пикеты и *нумера* [1]). Проходитъ два часа—урочное время смѣны, а смѣнять никто и не думаетъ; проходитъ три и четыре часа, а часовые все еще стоятъ безсмѣнно: про нихъ какъ будто позабыли, и опять хлопочетъ злосчастный Бейгушъ, на сей разъ уже просто изъ человѣческаго сострадания; опять надо прибѣгать къ убѣжденіямъ, просьбамъ и ссорамъ, къ фухтелямъ и нагайкамъ, надо отыскивать очередныхъ стрѣлковъ и косиньеровъ, которые, чтобы отлынять отъ форпостовъ, разбрелись и попрятались подъ кустами, позарывались въ сѣно и солому. Но вотъ кое-какъ собрали смѣну—опять нареканія и проклятія; кто побойчѣе, тотъ, придя въ передовую цѣпь, не хочетъ становиться на нумеръ, а кто посмирнѣе, тотъ едва смѣнясь, сейчасъ же опять становится по неволѣ на мѣсто непокорнаго и, давъ отойти смѣнѣ, валится отъ усталости на землю и какъ убитый засыпаетъ подъ деревомъ.

И такимъ-то образомъ пошла лѣсная жизнь и въ послѣдующіе дни. На утро ксендзъ Игнацій обыкновенно служитъ «мшу», исповѣдуетъ и снова даетъ «отпусты» желающимъ; Бейгушъ съ помощью урядничьихъ фухтелей кое-какъ собираетъ людей на ученье; генералъ еще опочиваетъ послѣ вчерашнихъ трудовъ, а на его походной кухнѣ уже стучатъ поварскіе ножи, рубятся котлеты, жарятся бифштексы для привилегированнаго штаба, кипятъ самовары... И опять повторяются тѣ же исторіи съ форпостной службой, опять жалобы и недовольство: тому сапогъ не хватаетъ, тому водки не дали; возы съ припасами опустошаются довольно быстро, а панъ «интендантъ» и не думаетъ позаботиться о правильномъ расходованіи провіанта, такъ что около полудня оказывается уже надобность послать часть людей на фуражировку. Въ это предпріятіе снаряжаютъ все тѣхъ парій косиньеровъ въ томъ разсужденіи, что если ихъ перебьютъ москали, то не такъ жалко; тиральеры нужнѣе и потому ихъ слѣдуетъ поберечь. На половину босые и оборванные, грязные и презираемые, не слыша ни отъ кого привѣтливаго слова и видя поощреніе только въ фухтеляхъ, безъ гроша за душой, эти люди идутъ шататься по рѣдкимъ пущенскимъ поселкамъ да по хатамъ кутниковъ, требуя хлѣба, молока, сала и отбирая все это насильно. Наконецъ, къ вечеру приносятъ они «до обозу» набранные продукты. Интендантъ Копецъ подзываетъ улановъ и тиральеровъ и приступаетъ къ дѣлежу: лучшіе куски офицерамъ и урядникамъ, затѣмъ кавалеристамъ и стрѣлкамъ, а скудные остатки косиньерамъ, которые все время оставались впроголодь. Быдло начинаетъ роптать, а за ропотъ панъ интендантъ приказываетъ отпустить по десятку горячихъ «бизуновъ» бунтующимъ зачинщикамъ.

Между тѣмъ въ генеральскомъ штабѣ вечерній балъ начинается. Бутылки не сходятъ со стола, самовары шипятъ, слуги едва поспѣваютъ угождать панскимъ прихотямъ. Чехи наигрываютъ польки да кадрили, и женскій элементъ банды опять выступаетъ на первый планъ въ своихъ мужскихъ костюмахъ. Каждый изъ паничей-офицеровъ непремѣнно старается «вести къ славѣ» свою коханку. Панъ поручикъ ведетъ къ славѣ панну Зосю, а панъ капитанъ панну Олесю, и каждая изъ нихъ состоитъ при своемъ другѣ въ качествѣ «особо-довѣреннаго ординарца». Этотъ отчаянный легіонъ вмѣшивается во все, сплетничаетъ, ссорится между собою и ссоритъ мужчинъ, мирится, цѣлуется, запиваетъ мировую и снова сплетничаетъ, исповѣдуется у ксендза Игнація, причащается, отплясываетъ канканъ и мазурку, дебоширитъ въ офицерскихъ оргіяхъ и въ концѣ концовъ дерется и царапается между собою... Ревность, брань, слезы, нѣжности и насмѣшки — и все это сплошь, подъ рядъ, безъ малѣйшаго перерыва и отдыха. Бейгушу на третій день подобной жизни стало глубоко противно его пребываніе въ бандѣ.

[1]) *Нумерами* у повстанцевъ назывались часовые на аванпостахъ.

Digitized by Google

VI

Гроза идетъ.

10-го мая прибылъ въ Вильну генералъ Муравьевъ, о которомъ европейскія газеты съ ужасомъ трубили, что онъ облеченъ полномочіями диктаторской власти. Поляки Сѣверо-Западнаго края знали Муравьева еще по преданіямъ тридцатыхъ годовъ, и новое появленіе его на политическомъ поприщѣ встрѣчено было въ ихъ средѣ затаеннымъ страхомъ и отчаяніемъ: они уже предвидѣли, что съ появленіемъ этого человѣка приходитъ конецъ святой справѣ, хотя и старались еще храбриться по наружности. Ржондъ народовый рѣшилъ, именно по поводу назначенія Муравьева, сосредоточить вооруженное возстаніе по преимуществу въ Литвѣ, съ цѣлію показать Европѣ, что Муравьевъ не пугаетъ поляковъ, что теперь-то они съ нимъ и поборются. Для этого были двинуты изъ «Конгрессувки» въ предѣлы Ковенской и Гродненской губерній всѣ шайки, какія только можно было сформировать или собрать изъ остатковъ прежнихъ бандъ. Вспыхнувъ на берегахъ Вислы, польскій мятежъ съ мая мѣсяца пошелъ усиленно гулять по лѣсистымъ берегамъ Виліи и Нѣмана. Вся его кровавая энергія сосредоточилась теперь почти исключительно на литовско-русской почвѣ; то тамъ, то здѣсь почти ежедневно происходили стычки и схватки, въ которыхъ непроходимыя литовскія пущи оказывали повстанцамъ не малыя услуги, скрывая ихъ отъ поисковъ и преслѣдованія русскихъ отрядовъ. Въ этотъ періодъ возстанія поляки Литвы и Царства напрягали всѣ свои послѣднія усилія, чтобы поддержать мятежъ «противъ Муравьева». На разныхъ пунктахъ, вовсе не отдаленныхъ отъ мѣстъ расположенія русскихъ летучихъ отрядовъ, безпрестанно возникали новыя шайки не изъ десятковъ, а изъ сотенъ повстанцевъ. Правда, все это разсыпалось какъ горохъ и пряталось по лѣснымъ трущобамъ при первомъ появленіи русскихъ, но тотчасъ же собиралось вновь, чуть лишь минула на время опасность. Проходя черезъ какое-нибудь мѣстечко, повстанцы, если не чуяли ближайшаго сосѣдства нашихъ отрядовъ, забирали съ собой всѣхъ наличныхъ цирульниковъ, кузнецовъ, слесарей, портныхъ и другихъ подходящихъ ремесленниковъ, которыхъ заставляли въ лѣсу работать на банды, подъ руководствомъ болѣе искусныхъ мастеровъ, прибывавшихъ въ лагерь обыкновенно изъ Вильны и Варшавы. По всѣмъ дорогамъ, тропинкамъ и проселкамъ начинали въ это время особенно замѣтно сновать какія-то темныя личности, не то шляхтичи, не то однодворцы, которые, бывало, вербуютъ по корчмамъ людей, наводятъ справки, собираютъ и доставляютъ свѣдѣнія, ведутъ переговоры съ ксендзами и «ржондцами» имѣній, дѣлаютъ разныя покупки и отправляютъ ихъ «по назначенію», въ особенности же зорко слѣдятъ за духомъ, поступками и намѣреніями мѣстныхъ жителей, дабы знать кто другъ, а кто врагъ, кто «полякъ доброжемысленцы» [1]), а кто «шпегъ и здрайца» [2]). Эти эмиссары «главныхъ квартиръ» дѣйствовали тѣмъ успѣшнѣе, что по виду ничѣмъ не отличались отъ обыкновенныхъ жителей и никакимъ неумѣстнымъ, неосторожнымъ разговоромъ не изобличали своей профессіи. Только и было въ нихъ подозрительнаго, что внезапныя появленія въ какомъ либо мѣстѣ, невѣсть откуда, и столь же внезапныя исчезновенія невѣдомо куда.

Какъ громъ небесный, поразилъ литовско-польскихъ помѣщиковъ Высочайшій указъ 1-го марта 1863 года о прекращеніи всякихъ обязательныхъ отношеній къ нимъ крестьянскаго люда. Въ теченіе апрѣля мѣсяца, несмотря на всѣ проволочки и оттяжки мѣстныхъ гражданскихъ чиновниковъ польскаго происхожденія, указъ все-таки былъ обнародованъ въ большинствѣ селъ и волостей Сѣверо-Западнаго края. Крестьяне приняли съ восторгомъ вѣсть объ окончательномъ своемъ освобожденіи: и православные и католики, безразлично, въ ознаменованіе этого событія, спѣшили ставить у себя «каплицы» во имя Св. Александра Невскаго. Отъ разныхъ сельскихъ обществъ и приходовъ Виленской и Гродненской губерній посыпались благодарственныя письма Монарху и заявленія военнымъ властямъ о готовности задавить «панское рушенье», помогать войскамъ, составлять изъ себя партизанскіе отряды и сельскія «варты» [3]). Въ самой Польшѣ было то же самое: около Кутнова и Влоцлавка, напримѣръ, хлопы поголовно возстали на пановъ и заявили прямо о намѣреніи «рзнонць» [4]) свою шляхту и помѣщиковъ, такъ что полковнику Нелидову пришлось, во избѣжаніе кровопролитія, оставить ихъ волонтерами при своемъ отрядѣ. Военнымъ властямъ нерѣдко съ трудомъ надо было сдерживать крестьянскую злобу на пановъ,—злобу, накопившуюся вѣками и которая особенно сильно сказалась на литовской Руси, гдѣ съ именемъ поляка невольно связывалась мысль о прошедшемъ гнетѣ во всѣхъ его разнообразныхъ проявленіяхъ, потому что литовскій полякъ—это не столько даже помѣщикъ (между помѣщиками были и русскіе), сколько его управляющій-шляхтичъ; полякъ—это не всегда губернаторъ, но навѣрное чиновникъ его канцеляріи, письмоводитель станового; полякъ на литовской Руси—это все то, что стояло въ

[1]) Благомыслящій въ польскомъ духѣ.
[2]) Шпіонъ и измѣнникъ.
[3]) Караулы.
[4]) Рѣзать

Digitized by Google

непосредственномъ столкновеніи съ народомъ, что росло на немъ гнилымъ паразитнымъ грибомъ и постоянно давило его въ теченіе нѣсколькихъ вѣковъ. И замѣчателенъ фактъ, что панская Вильна, Гродна и Ковна, равно какъ и Варшава, впервые облеклись въ глубокій трауръ въ самый день 19-го февраля 1861 года [1]). Хотя Герценъ изъ силъ выбивался, стараясь увѣрить Россію и Европу, что Центральный польскій Народный Комитетъ начинаетъ возстаніе во имя земли и воли крестьянамъ, но это не помѣшало Центральному Комитету обмануть и Герцена, и крестьянъ. Центральный Комитетъ, если бъ и захотѣлъ, то не могъ-бы дать ни земли, ни воли, потому что это значило-бы возстановить противъ себя и противъ возстанія всю громадную помѣщичью партію *бѣлыхъ*, которая дѣйствительно приносила ему громадныя матеріальныя услуги и жертвы: и самый ржондъ народовый да и все это возстаніе только и могли еще кое-какъ держаться помѣщичьими деньгами и хлѣбомъ. Вотъ почему, повторяемъ, указъ 1-го марта поразилъ польскій мятежъ въ самое сердце. Но надо было во что бы ни стало продолжать этотъ кровавый пуфъ, показать Европѣ, что литовско-русскій крестьянинъ «не хочетъ царской воли», что въ отвѣтъ на нее, онъ идетъ въ лѣса, въ банды, и съ оружіемъ въ рукахъ братски умираетъ вмѣстѣ съ помѣщикомъ за общую польскую свободу и отчизну. Вотъ съ какой цѣлью въ апрѣлѣ и въ маѣ были двинуты изъ «Конгрессувки» новыя банды въ жмудскіе и гродненскіе лѣса, и вотъ почему въ числѣ довудцевъ стали все болѣе и болѣе попадаться имена знатныхъ дворянскихъ фамилій, этихъ, по выраженію Герцена, лучшихъ, поэтическихъ, рыцарскихъ и доблестныхъ представителей цивилизованной Европы [2]). Литовскіе ксендзы всемѣрно принялись предостерегать народъ отъ «коварной царской воли» и даже изобрѣли по этому поводу «тропарь преподобному отцу нашему Игнатію Лойолѣ», написанный и напечатанный по-русски, и заставляли гродненскихъ черноруссовъ заучивать его наизусть. Но ничто не помогало — ни рыцарскіе представители Европы, ни преподобный отецъ Лойола: восторгъ крестьянъ по поводу царской воли былъ неудержимъ, а злоба на пановъ и того болѣе: «Кабы только дали намъ ружья! Кабы только позволили, мы бы показали!» говорили безоружные и не всегда достаточно защищенные крестьяне. Но должно же было Европѣ знать и вѣрить, что хлопы не желаютъ воли. Для этого ихъ насильно уводили въ банды и позволяли иногда свободно убѣгать изъ нихъ, а послѣ подобнаго побѣга, какой-нибудь ржондца или ксендзъ съ помѣщикомъ тотчасъ же извѣщали начальство офиціальнымъ донесеніемъ, что тамъ-то и тамъ-то проживаетъ повстанецъ *крестьянинъ* такой-то; земское начальство изъ польскихъ чиновниковъ, конечно, сейчасъ же забирало повстанца въ свои лапы, а нѣсколько дней спустя всѣ эти донесенія и эпизоды очень аккуратно появлялись въ заграничной печати. Одно только сельское православное духовенство въ эту печальную годину явило себя стойкимъ и мужественнымъ стоятелемъ за «хлопскую вѣру» и «хлопскую народность».

VII.

Побѣда въ Червленахъ.

Графъ Сченсный Маржецкій, проснувшись въ одно утро въ своемъ лѣсномъ обиталищѣ, вспомнилъ наконецъ, что надо же что-нибудь сдѣлать на пользу и славу дорогой отчизны, и такъ какъ инструкція ржонда предписывала ему, по возможности болѣе и чаще, демонстрировать летучими отрядами въ разныхъ направленіяхъ и мѣстностяхъ Литвы, то Сченсный, собравъ военный совѣтъ, объявилъ, что намѣренъ съ «главными силами» держаться пока на мѣстѣ, въ избранномъ уже станѣ, а пану-полковнику Копцу предлагаетъ произвести съ кавалеріей рекогносцировку «въ какомъ угодно направленіи».

Мѣстность пану Копцу, какъ «тутейшему» обывателю, была знакома хорошо, да при томъ и всѣ окрестные помѣщики состояли съ нимъ, болѣе или менѣе, въ пріятельскихъ отношеніяхъ. Ну какъ не пощеголять предъ нимъ опять воинственною ролью довудцы? Какъ удержаться отъ соблазна, подмывающаго упиться еще разъ еиміамомъ ихъ лести, подобострастныхъ встрѣчъ, поклоновъ и угощеній?.. Панъ Копецъ живо собралъ свои «шквадроны несмерцельникувъ и дзябловъ червоныхъ» [1]), снарядилъ самый легкій обозъ, причемъ, конечно, не упустилъ прежде всего нагрузить запасами свою собственную фурманку и, захвативъ съ собой ксендза Игнацего да капитана Сыча, двинулся налегкѣ прямо на Червлены, въ гости къ старому своему добродѣю и благопріятелю, пану Котырло.

Панъ Копецъ, впрочемъ, не даромъ избралъ Червлены первою цѣлью своей экспедиціи. Еще наканунѣ его выступленія, въ лѣсной лагерь пробрался одинъ изъ эмиссаровъ, шны-

[1]) Этотъ историческій фактъ въ свое время былъ дважды подтверждаемъ „С.-Петербургскими Вѣдомостями". (№ 55 и № 121, 1863 года). „Говоря о здѣшнемъ траурѣ, писано въ этой газетѣ, мы должны замѣтить, какъ многознаменательный фактъ, что эта модная манія увидѣла впервые свѣтъ въ тотъ великій день, когда ко всеобщей радости всѣхъ друзей человѣчества, былъ обнародованъ манифестъ 19-го февраля. Такое стеченіе обстоятельствъ наводитъ на многія, многія думы".

[2]) „Колоколъ". 1863, № 167.

[1]) Красныхъ чертей.

Digitized by Google

рявшихъ по всѣмъ дорогамъ, и привезъ отъ пана Котырло дружескій поклонъ съ извѣстіемъ, что хлопы въ Червленахъ сильно волнуются, косо и сурово поглядываютъ на панскую усадьбу, служатъ молебны за Царя и зорко держатъ вокругъ всего имѣнія свою сельскую «варту», а главнымъ вдохновителемъ и двигателемъ ихъ въ этомъ направленіи является все тотъ же ненавистный хлопскій попъ Сильвестръ Конотовичъ. Надо было помочь старому пріятелю возстановить силу его авторитета, устрашить хлоповъ, наказать «схизматицкаго» попа и, кстати, собрать кое-какую контрибуцію; а такъ какъ выборъ направленія «рекогносцировки» генералъ оставилъ на волю самого Конца, то панъ полковникъ поэтому и махнулъ-себѣ прямо на Червлены. Путь предстоялъ верстъ на сорокъ съ чѣмъ-то и, какъ старый кавалеристъ, Конецъ предполагалъ окончить его въ одинъ переходъ, держась по преимуществу лѣсныхъ дорогъ, чтобъ удачнѣе скрыть свое движеніе.

Судьба щадила пана Конца и позволила его отряду счастливо избѣжать опасной встрѣчи съ русскими. Между прочимъ, попался ему на дорогѣ какой-то парень въ «полукòшекѣ», запряженномъ сытой лошадкой. Парень было «злякáуся» [1]), наткнувшись на конныхъ повстанцевъ и хотѣлъ «задать драпáка», но уходить было уже поздно и некуда; поэтому онъ— хочешь не хочешь — придержалъ «коняку» и снялъ свой «капелюхъ». [2])

— Стой, пся кревъ! Скудова ѣдзешь?—окликнулъ его Конецъ, заговоривъ съ нимъ «похлопську».

— Съ Гостынки,—пробормоталъ тотъ съ поклономъ.

— А чи нѣма тамъ москалювъ?

— Не чуть, паночку... Нѣма...

— А чи не спотκàвсе, часомъ, на дорози гдзѣ зъ казаками?

— Нѣ, и на дорози не бачно было...

— А може, брешешь, пся юха?

— А вбѣй мене Богъ!..

— То вольно ѣхаць?

— Вольно, вольно, паночку, а нижъ адной души не бачну!

— А дакуль ѣдзешь?

— А ось, тутай... по пана-ойца... по требу...

— По якъ требу?

— Та кажу, паночку, бацько хвòры... вмырая.., сповядацься хòчя... послау по пана-ойца, кабъ хутчей привьёзъ, а то може й не застаня...

— Э, глупство!.. Брешешь, хлопче!.. Выпрагай коняку та й гайдà зъ нами! Уланемъ бендзешь зроблёны!

— Ой, паночку!—слезно взмолился испуганный парень.—Уся власць ваша... Не вольно мнѣ, бо бацько, кажу, вмырая... Адпусциць мене, паночку!

— Ну, ну, быдло! Выпрагай... Прендко!.. [1]) Тай сядай нà конь, бо нѣма часу балáкаць!..

— Ой, пане мой яснавяльможны!.. Змилуйся гля пана-Бога!—повалился парень въ ноги Концу.—Якъ же такъ, бацько мой кревны... хвòры, кажу...

— Гей, хлопцы!—обернулся полковникъ къ уланамъ. — Десять бизуновъ ему въ спину да сажай нá конь силой, когда добромъ не хочетъ!

Хлопцы не заставили повторить себѣ приказаніе: въ одну минуту лошадка была выпряжена, полукошекъ брошенъ на дорогѣ, а парень отхлестанъ, посаженъ на свою коняку и поставленъ въ ряды защитниковъ отечества, между двухъ надежныхъ уланъ, которымъ велѣно держать его подъ присмотромъ.

— Пускай же не болтаютъ москали, что въ бандахъ нѣтъ у насъ хлоповъ!—съ самодовольной усмѣшкой, крутя сивый усъ, обратился Конецъ къ ксендзу Игнацéму, ѣхавшему рядомъ.

Подъ Червлены конная банда пришла уже вечеромъ, когда совсѣмъ стемнѣло, и заночевала въ Вишовникѣ—лѣсъ, стоявшій версты на три отъ мѣстечка. Конецъ тотчасъ же послалъ надежнаго эмиссара къ пану Котырло провѣдать, нѣтъ ли по близости москалей. Эмиссаръ воротился подъ утро, съ извѣстіемъ, что по всей окрестности тихо и не слыхать о появленіи русскихъ отрядовъ. Эта вѣсть на много придала самоувѣренности пану Концу, который порѣшилъ, что стало-быть въ Червлены слѣдуетъ войти не иначе, какъ тріумфаторомъ, съ церемоніаломъ, съ парадомъ и трубными звуками, тѣмъ болѣе, что ради воскреснаго дня въ мѣстечкѣ соберется много пановъ и народа, стекающагося на базаръ и къ обѣднѣ.

Червленскаго ксендза и пана Котырло предупредилъ объ этомъ уже утромъ все тотъ же посланецъ. Но крупному землевладѣльцу и собственнику Червленъ было крайне не по сердцу это торжественное вступленіе, ибо онъ зналъ, что за торжество пана Конца, котораго ему, какъ доброму патріоту, подобаетъ встрѣтить соотвѣтственнымъ образомъ, русская власть потянетъ къ отвѣту все его же, пана Котырло, за сочувствіе и помощь мятежникамъ; поэтому крупный землевладѣлецъ, не желавшій за торжество благопріятеля платиться контрибуціей съ собственнаго «маентка», живо составилъ въ головѣ своей планъ, что принять-то Конца онъ пожалуй, и приметъ, но вслѣдъ за его уходомъ, сейчасъ же поѣдетъ къ ближайшему военному начальнику и заявитъ, что приходили-де повстанцы и, подъ угрозою смерти и пожара, насильно позабирали у него изъ экономіи фуражъ и съѣстные продукты. Составивъ себѣ такой

---

[1]) Испугался.
[2]) Шапка.

[1]) Скоро.

Digitized by Google

ловкій планъ, панъ Котырло успокоился и даже не безъ удовольствія сталъ поджидать торжественнаго вступленія повстанцевъ.

Собравшійся народъ присутствовалъ еще въ церкви и въ костелѣ, когда панъ Копецъ, въ предшествіи четырехъ «шквадронòвыхъ» трубачей, которые что есть мòчи трубили что-то такое «фанфардное», вступилъ въ Червлены во главѣ своего воинства. У околицы, на пикетѣ мѣстной сельской стражи имъ попалось три хлопа, изъ которыхъ одинъ конный, завидѣвъ повстанцевъ, ударился-было цѣликомъ по полю, съ цѣлью предупредить русскихъ о появленіи нежданныхъ гостей, но Копецъ послалъ въ догонку за нимъ нѣсколькихъ уланъ, которымъ и удалось перенять бѣднаго стражника. Захвативъ такимъ образомъ весь пикетъ, Копецъ объявилъ его военноплѣннымъ и подлежащимъ полевому суду «за измѣну». Связанныхъ хлоповъ притрочили къ сѣдламъ и, окруживъ опущенными пиками конвоя, ввели въ мѣстечко въ хвостѣ своей колонны.

Топотъ коней и звуки трубъ привлекли вниманіе обывателей. Все еврейское населеніе Червленъ и всѣ крестьяне, оставшіеся на базарной площади «доглядàть» свои возы, кинулись въ ту сторону, откуда вступали польскіе тріумфаторы. Еврейки и маленькіе жиденята со страху подняли гвалтъ и вопли, а крестьяне какъ-то глухо, и скорѣе враждебно, чѣмъ дружелюбно загомонили между собой по поводу появленія народовыхъ воякъ. На лицахъ этой крестьянской толпы написано было недоумѣніе и нерѣшительность боязни.

Отрядъ остановился на площади предъ костеломъ. Ксендзъ, при колокольномъ звонѣ, съ крестомъ и «хоронгвами», вышелъ на паперть и привѣтствовалъ побѣдоноснаго полковника. Шляхта, высыпавшая изъ костела, махала шапками и платками, кричала «vivat!» и восторженно кидалась въ ряды защитниковъ ойчизны, обниматься и цѣловаться съ ними. Мѣстныя «шляхтянки» поспѣшали домой и щедро, полными фартуками и корзинами, выносили изъ своихъ «комóръ» гусиныя полатки, сало, булки, колбасы, сыръ, молоко и сметану. Все это тотчасъ же поѣдалось, выпивалось или переходило въ кабуры да въ чемоданы воителей.

Пана Котырло не было. Узнавъ о намѣреніи Копца, онъ еще рано утромъ благоразумно послалъ извѣстить ксендза, что чувствуетъ себя нездоровымъ, и потому не можетъ со своимъ семействомъ присутствовать сегодня у обѣдни. Впрочемъ, въ обольщеніи своего торжества, Копецъ о немъ и не вспомнилъ. У него пока была другая, болѣе важная и, такъ сказать, «государственная» забота. Дѣло въ томъ, что на углу площади стоялъ домикъ, надъ крылечкомъ котораго помѣщалась деревянная доска съ надписью «Волостное правленіе» и съ намалеваннымъ на ней русскимъ государственнымъ гербомъ.

Принявъ отъ ксендза благословеніе, Копецъ отправился въ костелъ слушать «Te Deum» по поводу своего побѣдоноснаго занятія Червленъ, а одного изъ офицеровъ отрядилъ со взводомъ «красныхъ чертей» — «ниспровергнуть русскаго орла, захватить всю наличную кассу и уничтожить слѣды наздòваго владычества».

Взводъ «чертей», сопровождаемый толпой шляхты и любопытными евреями, направился къ волостному правленію и сталъ разстрѣливать вывѣску. Черезъ минуту весь орелъ былъ продырявленъ пулями и доска изщеплена. Все это совершалось совершенно серьезно, при оглушительныхъ виватахъ шляхты. Затѣмъ воители, не забывъ предварительно воспользоваться кассой, повыносили изъ правленія шнуровыя книги, дѣла, бумаги и, вмѣстѣ съ изщепленнымъ и снятымъ орломъ, сваливъ на площади все это въ одну кучу, подожгли ее. Виваты не умолкали, торжество было полное.

Между тѣмъ капитанъ Сычъ получилъ отъ Копца еще болѣе важное порученіе. Точно также съ особымъ взводомъ, онъ отправился къ православной церкви, гдѣ въ это время отецъ Сильвестръ совершалъ еще литургію. Приставивъ къ дверямъ караулъ, Сычъ вошелъ въ алтарь и потребовалъ, чтобы отецъ Конотовичъ немедленно же прочелъ своимъ прихожанамъ манифестъ народоваго ржонда и «манифестъ о секретной царской волѣ», а затѣмъ привелъ бы народъ къ присягѣ на вѣрность польскому «ржонду».

Священникъ наотрѣзъ отказался и просилъ Сыча не мѣшать ему продолжать службу.

Капитанъ пробормоталъ какую-то угрозу и удалился, оставивъ караулъ предъ дверями. Онъ поскакалъ къ пану Копцу съ докладомъ о рѣшительномъ отказѣ священника. Панъ полковникъ, подпѣвая звукамъ «Te-Deum'a,» вскользь выслушалъ его докладъ и кратко буркнулъ въ отвѣтъ какое-то слово. Сычъ поклонился и вышелъ изъ костела.

Пять минутъ спустя, въ православную церковь шумно ворвалась толпа повстанскихъ улановъ, а тамъ, какъ разъ въ это самое время, торжественно растворились Царскія врата и въ нихъ показался отецъ Сильвестръ со Святыми Дарами.

— Со страхомъ Божіимъ и вѣрою приступите!—спокойно, твердо и громко раздался по храму его голосъ.

Нѣсколько человѣкъ съ обнаженными саблями и пистолетами въ рукахъ окружили его со всѣхъ сторонъ, а одинъ изъ урядниковъ накинулъ на него веревку и захлестнулъ петлю вокругъ шеи.

Отецъ Сильвестръ не дрогнулъ, только смертная блѣдность разлилась по лицу его.

Вдругъ раздался отчаянный вопль, и въ ку-

Digitized by Google

чу повстанцевъ ринулась обезумѣвшая женщина: то была престарѣлая жена отца Конотовича, которая, вопя и взывая о помощи, борясь руками и расталкивая злодѣевъ, пробивалась на выручку мужа. Народъ словно бы онѣмѣлъ и окаменѣлъ отъ ужаса; но нѣкоторые изъ прихожанъ очнулись и тоже кинулись было къ своему пастырю.

— Остановись!.. Я съ Дарами!..—крикнулъ женѣ своей отецъ Сильвестръ, опасавшійся не за жизнь свою, а за то, какъ бы въ этой толкотнѣ и сумятицѣ не пролить или не уронить на землю чашу.

Трое дюжихъ повстанцевъ подхватили женщину на руки и насильно отнесли ее въ сторону.

— Кто приступится, пулю въ лобъ!—грозно обернулся къ народу Сычъ, потрясая револьверомъ.—Тащи его!—приказалъ онъ своимъ приспѣшникамъ, кивнувъ на Сильвестра, и урядникъ повлекъ священника на веревкѣ.

Отецъ Конотовичъ крѣпко прижалъ къ груди чашу и безтрепетно, твердою поступью, пошелъ за урядникомъ, чувствуя, что задыхается подъ петлей.

Вдругъ, въ эту самую минуту, продираясь сквозь караулъ, поставленный у входа въ церковь, вбѣжалъ запыхавшійся еврей изъ мѣстныхъ обывателей, жившій по сосѣдству съ отцомъ Сильвестромъ.

— Ой, вай! Ратуйтесен', панове! ратуйтесен', Москале идзон'! Енгералъ Ганецкій!.. Москале!—кричалъ онъ, размахивая руками.

«Енгералъ Ганецкій»—это было магическое слово. Въ тотъ же мигъ урядникъ бросилъ веревку и давай Богъ ноги, а за нимъ капитанъ Сычъ и вся остальная братія, давя, толкаясь и перегоняя другъ друга, въ страхѣ и ужасѣ кинулись вонъ изъ церкви, скорѣе къ своимъ конямъ, и въ паническомъ безпорядкѣ поскакали на площадь, гдѣ межъ тѣмъ спокойно стояло остальное воинство, раздавались виваты и пылали дѣла волостного правленія.

Переполохъ пошелъ ужасный. Увидя сотоварищей, сломя голову скачущихъ отъ церкви съ криками: «Москале! Ганецкій!» остальные взводы обоихъ «шквадроновъ» поддались точно такой же паникѣ. Кто-то изъ шляхтичей догадался дать знать пану Копцу, находившемуся еще въ костелѣ. Но панъ довудца, гдѣ бы напередъ разузнать основательно въ чемъ дѣло, да возстановить хоть какой-нибудь порядокъ, опрометью вскочилъ скорѣе въ сѣдло и задалъ такого «драпáка», что далеко опередилъ всю банду, благодаря прыткимъ и здоровымъ ногамъ своей лошади.

Не ранѣе какъ уже подъ самымъ лѣсомъ пришелъ онъ въ себя и поинтересовался разслѣдовать съ чего весь сыръ-боръ загорѣлся? Гдѣ эти москали и страшный Ганецкій? Откуда они показались? Кто и когда ихъ видѣлъ, въ какой сторонѣ и далеко-ли? Кто далъ знать о нихъ? Или развѣ прискакалъ кто-нибудь съ пикетовъ? Оказалось, что никто ничего не знаетъ и не понимаетъ, никто ничего не видѣлъ, и съ пикетовъ люди не пріѣзжали, а просто крикнулъ одинъ только жидъ какой-то.

Копецъ ввелъ свою банду въ опушку лѣса и, велѣвъ одному надежному человѣку переодѣться въ крестьянское платье, послалъ его въ Червлены провѣдать о положеніи дѣла, да кромѣ того, направилъ два разъѣзда обозрѣть мѣстность около мѣстечка и высмотрѣть, что дѣлаютъ покинутые пикеты. Черезъ часъ разъѣзды вернулись и донесли, что люди на сторожевыхъ постахъ стоятъ-себѣ самымъ спокойнымъ образомъ, а еще нѣсколько времени спустя вернулся и переодѣтый посланецъ. Изъ его разсказа оказалось, что въ мѣстечкѣ болтаютъ, будто никакихъ москалей и духу близко не пахнетъ, а всю штуку удралъ еврей Зильберовичъ, который, провѣдавъ, что уланы пошли въ церковь вѣшать священника, вздумалъ спасти его отъ петли, такъ какъ вѣроятно имѣетъ съ нимъ какія-то дѣла и денежные расчеты.

Краска стыда и негодованія покрыла и безъ того уже багровое лицо пана Копца. Онъ выругался энергичнѣйшимъ образомъ и, рѣшивъ, что надо немедленно-же и во что-бы ни стало наказать измѣнниковъ, рысью повелъ свою кавалерію обратно въ Червлены.

Базаръ былъ въ полномъ разгарѣ, и народъ, толкуя о сегодняшнемъ происшествіи, большими кучами толпился на площади, когда въ мѣстечкѣ снова показались повстанскіе «шквадроны», уже безъ трубныхъ звуковъ и безо всякаго торжества, но зато исполненные желаніемъ отомстить за свое посрамленіе. Трусоватость защитниковъ отчизны сказалась слишкомъ рѣзко, явно и всенародно, ничтожность причины, возбудившей ихъ панику, обнаружилась слишкомъ скоро, и весь фарсъ торжественнаго вступленія разыгрался такъ жалко и смѣшно, что уязвленное самолюбіе всякъ не могло не вопіять о возстановленіи своего достоинства, хотя-бы для этого пришлось прибѣгнуть къ крови и пожару. Всѣ всяки чувствовали, что повстанскій авторитетъ ихъ можетъ быть спасенъ только въ томъ случаѣ, если имъ удастся нагнать на народъ жестокаго страху. Вступивъ на рысяхъ въ мѣстечко, они тотчасъ-же заняли всѣ выѣзды и тропинки, съ цѣлью не выпустить изъ Червленъ ни единаго человѣка; затѣмъ окружили домъ отца Сильвестра и, арестовавъ на площади волостного старшину, приказали ему, подъ страхомъ смертной казни, сію-же минуту указать еврея Зильберовича и тѣхъ трехъ крестьянъ, что были захвачены на вартѣ и упущены изъ плѣна «при отступленіи».

Перепуганный старшина, къ груди котораго

Digitized by Google

была приставлена пара пистолетовъ, безпрекословно исполнилъ волю повстанскаго полковника, и черезъ десять минутъ предъ рядами польской конницы уже стояли, связанные по рукамъ, отецъ Сильвестръ, еврей Зильберовичъ и трое стражниковъ.

Народъ снова обступилъ повстанцевъ и смутно, въ ожиданіи чего-то страшнаго, стоялъ, обнаживъ свои головы.

На площадь вынесли откуда-то столъ и нѣсколько стульевъ.

Ксендзъ Игнацы взобрался на этотъ столъ и оповѣстилъ народу, что желаетъ говорить проповѣдь. Часть повстанскихъ улановъ разсѣялась между массою народа и, принявъ на себя полицейскія обязанности, кулакомъ и словомъ старалась возстановить достодолжную тишину и вниманіе.

— Во имя Ойца, Сына и Духа Свянтего,— началъ Игнацы, набожно осѣняя себя католическимъ крестнымъ знаменіемъ.—Муи коханы браця и сіостры о Христусѣ! Вы въ глупой вашей простотѣ вѣрите царскимъ указамъ о волѣ, но вы не знаете что̀ это за воля. Вотъ, слушайте, я прочитаю вамъ *подлинный* царскій манифестъ о *секретной* волѣ, тогда вы узнаете что̀ оно такое. Внимайте, братія! Вотъ что̀ гласитъ манифестъ московскій.

И, развернувъ печатный листъ, ксендзъ Игнацы началъ читать громко и явственно:

«Объявляю всенародно, что воля есть Царя истребить всѣхъ католиковъ, зачиная отъ господъ, потомъ дворанъ, всю шляхту, а кончить на крестьянахъ; за то вся ихъ земля и все имущество будутъ принадлежать къ тѣмъ, которыя заострутъ ножи, косы и топоры. Осмѣляйте людей на резь, всѣ за дѣло возьмитесь, будете богаты; Царь въ благодарность здѣлаетъ васъ членами и россійскими дворанами; въ семъ дѣлѣ будутъ подтверждать отцы духовныя; въ томъ воля Божая! Взываетъ васъ общая русская любовь, наша славная вѣра и вся благочесть, истребить католиковъ до единаго. А мы съ помощію церквы благословляемъ васъ и повелеваемъ укреплять духъ водкой, для истребленія слугъ дьявольскихъ, очистить свѣтъ отъ противниковъ Божыхъ. Богъ, церковъ, царь повелѣваетъ.» [1])

Въ толпѣ между католиками пошелъ смутный говоръ. Шляхта, искренно или нѣтъ, но показывала видъ будто безусловно вѣритъ прочтенному манифесту и волновалась негодуя: «москалямъ велѣно рѣзать... Теперь всѣхъ, всѣхъ перерѣжутъ, камня на камнѣ не оставятъ, а вы, хлопы глупые, имъ помогаете!» Но хлопы-католики еще не выказывали никакихъ признаковъ волненія; они разду мчиво стояли, не зная вѣрить или нѣтъ, и скорѣе склонялись на сторону недовѣрія. Зато повстанскіе уланы принялись сильно агитировать мѣякую шляхту. Между тѣмъ ксендзъ Игнацы снова подалъ знакъ ко вниманію, и черезъ нѣсколько минутъ площадь смолкла.

— Вы вѣрно слышали,—началъ онъ,—что теперь установлено правленіе польское, что это правленіе польское даетъ вамъ справедливую свободу, какъ у французовъ, и возвратитъ еще вашу прежнюю справедливую вѣру дѣдовъ и прадѣдовъ. Обманываетъ васъ москаль, толкуя, что эти паны поднялись, чтобы вернуть назадъ панщизну [1]). Наше дѣло о справедливой свободѣ, которой наши отцы и дѣды издавна ожидали, и которую москаль съ кровопійцами вашими задержать хочетъ. Дѣло наше—дѣло такой свободы, которую самъ Богъ, прійдя на сей свѣтъ, желалъ установить и за которую пролилъ Свою святую кровь, претерпѣвая крестныя мученія. Миновала уже панщизна, миновала ваша обида, и никакая сила не вернетъ ее—ни московская, ни чертовская. Теперь-то настало то̀ время, что каждому будетъ отмѣрено такъ, какъ онъ самъ себѣ намѣритъ. Панъ будетъ злой—пана повѣсимъ какъ собаку, хлопъ будетъ злой—и хлопа повѣсимъ, а дворы ихъ и села сожгутся, и будетъ справедливая свобода, ибо того самъ Богъ желаетъ и Пречистая Богородица. Чиншовъ, оброку и податей въ казну московскую не платить, а платить только казнѣ польской, такъ какъ вы сами принадлежите правленію польскому. Ополченій и карауловъ по селамъ чтобы не было! А если поймаютъ кого на вартѣ или изъ ополченія, то повѣсятъ—не теперь, такъ послѣ. За вашу свободу проливаютъ кровь справедливые люди, а вы, какъ тѣ Каины и Искаріоты, добрыхъ братій предаете врагамъ вашимъ! Правленіе польское спрашиваетъ у васъ, какъ вы смѣли помогать москалю въ нечистомъ дѣлѣ? Гдѣ былъ у васъ умъ, гдѣ была у васъ правда? Подумали ль вы о страшномъ судѣ Божіемъ? Вы скажете, что дѣлали по неволѣ, но мы люди свободные, и нѣтъ у насъ неволи, а кто изъ васъ хочетъ московской воли, тому мы пропишемъ висѣлицу [2]).

Пока ксендзъ Игнацы съ высоты стола проповѣдывалъ народу, панъ Копецъ, присѣвъ къ тому же столу строчилъ краткій рапортъ графу Маржецкому о своихъ подвигахъ и дѣяніяхъ.

«Сего числа утромъ, писалъ онъ, я торжественно вступилъ было въ мѣстечко Червлены, Гродненскаго воеводства; отъ имени народнаго правленія низложилъ и уничтожилъ московское владычество; а на его мѣсто возвелъ польское народное правленіе въ лицѣ обывателя Антонія Юцевича, коего обязанность состоитъ въ представительствѣ народной гра-

[1]) Орѳографія подлинника соблюдена въ точности.

[1]) Барщину.

[2]) Исторически вѣрно. Проповѣдь эта была отпечатана въ Вильнѣ, въ день Св. Бартоломея на особомъ листкѣ, и распущена по все

Digitized by Google

жданской власти, пока не будетъ прочно введено постоянное правленіе [1]).

«Измѣнники народному дѣлу будутъ немедленно же подвергнуты мною заслуженной карѣ, о чемъ вашему превосходительству донести честь имѣю».

Капитанъ Сычъ, вслѣдъ за подписью Конца, скрѣпилъ это донесеніе и своимъ рукоприкладствомъ, въ качествѣ правящаго должность адъютанта, а затѣмъ оно тотчасъ же было отправлено съ нарочнымъ въ станъ къ графу Маржецкому.

— Теперь же, о братія! — вѣщалъ между тѣмъ ксендзъ Игнацы, — да познаетъ всякъ изъ васъ милость польскаго правленія, которую оно оказываетъ вамъ, присоединяя васъ къ числу своихъ вѣрноподданныхъ, и да увидитъ всякъ его силу, дабы на будущее время вы себѣ крѣпко намотали на усъ, что ржондъ народовой не шутитъ съ измѣнниками отчизны. Вотъ, предъ вами нечестивый служитель алтаря,—указалъ онъ на связаннаго отца Сильвестра,— священникъ, который, вмѣсто внушеній о послушаніи и любви къ законному вашему правительству научалъ васъ измѣнять дѣлу польской родины и помогать Богомъ проклятому московскому наѣзду, былъ «шпегомъ» этого наѣзда, возмущалъ васъ противъ кроткихъ и добрыхъ вашихъ помѣщиковъ, коихъ вся вина только въ томъ, что они суть добрые патріоты, училъ васъ вѣрить лживой волѣ царской и не вѣрить справедливой свободѣ польской. Преступленія эти многи и обильны и вопіютъ на небо! Вотъ предъ вами другая собака,—указалъ онъ на еврея Зильберовича,—жидъ, недостойный называться братомъ-полякомъ Моисеева закона, жидъ, который осмѣлился смутить сегодня ложнымъ извѣщеніемъ ваше доблестное воинство народовое! Вотъ, наконецъ, эти три гнусные хлопа, которые, забывая Бога и совѣсть, забывъ долгъ истинныхъ сыновъ отчизны, стали на стражу противъ насъ, своихъ кровныхъ братій и намѣревались извѣстить москалей о нашемъ благодатномъ для васъ прибытіи. Но ни одно изъ этихъ намѣреній не удалось симъ гнуснымъ людямъ. Да познаете въ этомъ, о братія, перстъ Божій, сохраняющій насъ на всѣхъ путяхъ нашихъ, да не преткнемъ ногу нашу о камень, но да поборемъ льва и змія, василиска и скорпія! Вы же, недостойные, идите во адъ къ отцу вашему дьяволу, принять достойную награду за ваше преступленіе! Да спалитъ огонь жилища ваши и да будутъ имена ваши анаѳема-прокляты нынѣ, и присно, и на вѣки вѣковъ! Amen!

Ксендзъ Игнацы слѣзъ со стола, а панъ Конецъ вскочилъ на подведеннаго ему коня и, высоко держа надъ головой конфедератку, провозгласилъ громко надъ толпой:

— Объявляю всѣмъ друзьямъ и недругамъ, что отнынѣ московское правительство въ Червленахъ и на всей окрестной землѣ мною низложено навсегда и возведенъ единый и вѣчный, законный нашъ польскій ржондъ народовый! Vivat! Нѣхъ жіе Польска!

Шляхта и уланы, махая шапками, восторженно подхватили эти виваты и восклицанія.

Крестьяне же, по большей части, безмолвствовали. Они были смущены и напуганы появленіемъ вооруженной шайки, ибо по опыту уже знали, что защитники отечества добромъ не уходятъ ни откуда и что расправа у нихъ бываетъ коротка и безпощадна.

Между тѣмъ, панъ Конецъ втайнѣ сообразилъ себѣ, что хотя измѣнниковъ и необходимо надо повѣсить, но чортъ возьми, если неравно попадешься какъ-нибудь потомъ въ лапы къ москалямъ, да если они провѣдаютъ, что казнь-то совершена имъ, паномъ Концемъ?— «Вѣдь ужь тогда никакой пощады не жди: и самого навѣрное вздернутъ». Поэтому панъ-полковникъ сообразилъ, что гораздо благоразумнѣе будетъ, если онъ увильнетъ отъ видимой иниціативы въ этомъ дѣлѣ, немножко стушуется, отойдетъ на второй планъ, а предоставитъ первыя и наиболѣе видныя, активныя роли капитану Сычу и ксендзу Игнацёму. Капитанъ Сычъ весьма охотно принялъ его предложеніе распоряжаться казнью и съ видимымъ удовольствіемъ принялся устраивать «смертный кортежъ», затѣявъ обставить его какъ можно торжественнѣе. Онъ выстроилъ оба эскадрона шпалерой отъ площади до ограды православной церкви, окружилъ конвоемъ осужденныхъ, впереди шествія пустилъ трубачей, приказавъ играть имъ, что̀ сами знаютъ, — «абы цось погржебовéго», [1]) и тѣ принялись усердно издавать какіе-то нестройные, дикіе звуки, раздиравшіе и душу, и ухо; а въ замокъ шествія панъ Сычъ отрядилъ особый взводъ «несмерцельникувъ» въ томъ предположеніи, что ихъ «трупьи гловы», бѣлые кресты и черные съ бѣлымъ флюгера будутъ какъ нельзя болѣе соотвѣтствовать общему мрачному впечатлѣнію. Присущая польскому характеру страсть къ театральничанью, къ позировкѣ, къ громкимъ словамъ, къ мистическимъ и романтическимъ эффектамъ, даже и въ данномъ случаѣ ухитрилась найти себѣ поводъ къ особому «торжеству», въ которомъ вдоволь можно было порисоваться предъ толпой и особенно предъ женщинами, въ роли «грознаго меча правосудія».

[1]) Исторически вѣрно. Заимствовано изъ бумагъ и документовъ покойнаго полковника С. А. Райковскаго. Измѣнено только названіе мѣстечка, а именно: въ подлинникѣ, подписанномъ Колышкой, названо мѣстечко „Ковенскаго воеводства".

[1]) Лишь бы что-нибудь похоронное.

Digitized by Google

Въ такомъ порядкѣ «смертный кортежъ», подъ предводительствомъ Сыча, медленно двинулся къ церковной оградѣ, гдѣ на перекладинѣ воротъ уже приготовлены были двѣ петли.

Отца Сильвестра и еврея Зильберовича подвели подъ висѣлицу.

Но панъ Сычъ не ограничился еще этимъ эффектомъ! Для пущаго назиданія и устрашенія толпы, онъ приказалъ, чтобы на мѣсто казни были приведены семейства осужденныхъ и заставилъ ихъ смотрѣть, какъ будутъ вѣшать. Жена и дѣти Зильберовича истерически вопили, рыдали и бились въ толпѣ своихъ соплеменниковъ, такъ что нѣсколько дюжихъ повстанцевъ едва могли удержать ихъ. Но когда привели мертвенно-блѣдную жену отца Сильвестра и поставили ее въ трехъ шагахъ отъ мужа, она уже не рвалась и не вопила, какъ давеча въ церкви. Въ лицѣ этой женщины царило, если можно такъ выразиться, какое-то спокойствіе ужаса, нѣчто высшее, чѣмъ обыкновенный страхъ или отчаяніе, словно бы она вполнѣ сознавала какая это минута. Несчастная сдѣлала было шагъ къ мужу, но ее не допустили.

— Прощай!—тихо кивнулъ ей головою священникъ, и чтобы ободрить ее, хотѣлъ было улыбнуться, но улыбки не вышло, одна только конвульсивная судорога, вмѣсто нея, покривила его посинѣлыя губы.

И онъ видѣлъ, какъ жена его опустилась на колѣни, какъ устремила взоры къ небу, на церковный крестъ, и, осѣняя себя его знаменіемъ, стала шептать какую-то молитву.

Повстанцы, исполнявшіе роли палачей, накинули на осужденныхъ петли. Еврей былъ уже безъ чувствъ, въ безсознательномъ состояніи, такъ что его пришлось поддерживать на ногахъ, какъ куклу, но отецъ Сильвестръ стоялъ, повидимому, спокойно и твердо.

— Господи! въ руцѣ Твои предаю духъ мой!— прошепталъ онъ, вскинувъ къ небу взоръ, какъ вдругъ, въ это самое мгновенье гицеля крѣпко дернули веревки—и двѣ страшныя фигуры закачались въ воздухѣ.

Глухой стонъ ужаса пронесся въ дрогнувшемъ народѣ, а колѣнопреклоненная женщина все еще глядѣла на небо и молилась.

Въ это время, въ нѣсколькихъ концахъ мѣстечка, взвились къ облакамъ клубы чернаго дыма—и народъ съ отчаянными криками: «Пожаръ!.. Горимъ!» кинулся въ разныя стороны.—Это ксендзъ Игнацы приказалъ своимъ приспѣшникамъ поджечь дома осужденныхъ «здрайцовъ», въ числѣ которыхъ были и три хаты пойманныхъ сельскихъ стражниковъ.

Панъ Копецъ собралъ людей своихъ «шкадроновъ» и повелъ ихъ изъ мѣстечка. За околицей, въ томъ самомъ мѣстѣ, гдѣ былъ взятъ крестьянскій пикетъ, капитанъ Сычъ приказалъ повѣсить на ближайшей соснѣ и трехъ несчастныхъ хлоповъ, захваченныхъ «на вартѣ».

Повстанская кавалерія не успѣла еще спрятаться въ темномъ Вишовникѣ, а осторожный и предусмотрительный панъ Котырло, тайкомъ, окольными путями пробирался уже въ закрытой коляскѣ къ мѣсному военному начальнику, со слезнымъ донесеніемъ, что нагрянули-де нежданно-негаданно какіе-то неизвѣстные вооруженные люди, повѣсили нѣсколько человѣкъ, зажгли нѣсколько строеній и скрылись невѣдомо куда, а онъ-де и самъ едва укрылся отъ смертной опасности и разоренія, и теперь «какъ наивѣрно-предáньный своему Царю и ойтечеству» спѣшитъ заявить обо всемъ законной власти, чтобы не было на него потомъ какихъ-либо подозрѣній и нареканія. При этомъ физіономія Св. Бонифація была уже заранѣе разсчитана, обдумана и устроена себѣ благонамѣреннымъ паномъ Котырло.

VIII.

Тревога.

Графъ Маржецкій, получивъ донесеніе Копца, принялъ его съ такимъ восторгомъ, какъ словно то была вѣсть о великой побѣдѣ или о вооруженномъ занятіи цѣлаго края. Копія съ этого донесенія тотчасъ же была послана въ Центральной Комитетъ, съ просьбой немедленно напечатать ее въ «Вядомосцяхъ зъ поля битвы» [1]) и если возможно, то опубликовать и въ заграничной прессѣ. Вмѣстѣ съ этимъ, графъ отправилъ нарочнаго и къ Цезаринѣ съ письмомъ, въ которомъ напоминалъ о ея обѣщаніи посѣтить его лагерь, гдѣ онъ готовитъ цѣлый праздникъ для пріема столь дорогой гостьи, тѣмъ болѣе, что «всей его арміи» пламенно желалось бы отпраздновать въ ея присутствіи первой успѣхъ своего оружія въ Червленахъ. Цезаринѣ и самой хотѣлось прокатиться «до обозу», взглянуть на поэтическую обстановку лѣсной жизни «польскихъ героевъ», устроить тамъ веселую «кальвакаду», проѣздиться верхомъ и вообще весело провести день, столь оригинальный и исключительный, какой навряд ли выдастся вторично въ жизни. Какая же польская женщина отказалась бы въ то время отъ удовольствія похвалиться при случаѣ предъ пріятельницами, что и она тоже была въ лѣсу, въ военномъ станѣ? А тутъ еще для нея, *для нея одной* готовятъ цѣлый праздникъ, весь корпусъ жаждетъ ее видѣть, и вдобавокъ, графъ Маржецкій увѣряетъ, что дорога вполнѣ доступна, легка, непродолжительна и совершенно безопасна. Впрочемъ, послѣднее обстоятельство было безразлично для

[1]) Военные бюллетени „ржонда“, выходившіе въ Варшавѣ періодическими листками, подъ этимъ названіемъ.

Digitized by Google

Цезарины: ее не пугала опасность, — напротивъ, пылкой и впечатлительной душѣ ея даже хотѣлось порою риска и опасности, которыя разнообразили бы монотонность ея сельскаго уединенія. Ей очень хотѣлось бы увидѣть настоящій бой, присутствовать на самомъ мѣстѣ сраженія, испытать что̀ за чувства, что̀ за впечатлѣнія волнуютъ въ это время человѣческую душу, увлечь другихъ къ героизму и самой увлечься, тѣмъ болѣе, что это все казалось ей такъ весело, такъ ярко и поэтично!.. А кромѣ того, хотѣлось еще увидѣть и своего статнаго красавца Жозефа, который долженъ быть такъ дивно хорошъ на породистомъ конѣ, съ ея знаменемъ въ рукахъ, предъ эскадронами польской кавалеріи... Однимъ словомъ, мысль объ этой ноѣздкѣ вполнѣ улыбалась графинѣ Цезаринѣ; она обѣщала пріѣхать непремѣнно, во что̀ бы то ни стало, обдумала весь костюмъ и даже заблаговременно отправила въ лагерь дамское сѣдло и своего кровнаго, свѣтлосѣраго Баязета, съ Сангушковскаго завода.

Въ лагерѣ межъ тѣмъ шли усиленныя приготовленія къ пріѣзду и встрѣчѣ графини. Ксендзъ Игнацы весь ушелъ въ соображенія по части кулинарнаго искусства, винъ и напитковъ, хлопоталъ, суетился, наблюдалъ за поварами, приказывалъ огородить елками, въ видѣ бесѣдки, извѣстное пространство лѣсной лужайки, гдѣ долженъ будетъ помѣститься обѣденный столъ; Поль Секерко устраивалъ иллюминацію къ вечеру и самъ клеилъ бумажные фонарики; Маржецкій снаряжалъ почетный караулъ для графини и обдумывалъ церемоніалъ встрѣчи; благополучно возвратившійся Копецъ училъ церемоніальному маршу свою кавалерію; тиральеры готовили холостые патроны для залповъ во время обѣденныхъ тостовъ, чистили и исправляли перепачканные свои мундиры; чехи разучивали какой-то новый полонезъ, и однѣ лишь героини были не совсѣмъ-то довольны, такъ какъ Маржецкій приказалъ Копцу убрать ихъ куда нибудь на время посѣщенія Цезарины, такъ, чтобы и гòлоса ихъ не было слышно, да и физіономіи не выставлялись-бы. Не былъ доволенъ еще и Бейгушъ, не принимавшій никакого участія во всѣхъ этихъ приготовленіяхъ; но зато онъ позаботился усилить на всякій случай сторожевые посты, направить по разнымъ направленіямъ особые разъѣзды и приказалъ имъ глядѣть какъ можно зорче и слушать какъ можно чутче. Его давило и грызло словно-бы какое предчувствіе, что вся эта шумная потѣха ясновельможнаго довудцы и вся эта игра въ солдатики не обойдется даромъ...

Наконецъ насталъ и день праздника. Цезарина пріѣхала. Овація, манифестація, встрѣчи, виваты, полонезы, почетный караулъ и преклоненіе знамени, и чего-чего тутъ не было!.. Графиня сіяла отъ восторга, любовалась лѣсомъ, любовалась лагеремъ, косиньерами, кострами и была беззаботно весела, какъ ребенокъ. Нарядъ ея удался какъ нельзя лучше: бѣлая бархатная конфедератка со страусовымъ плюмажемъ, изящный хлыстъ, перчатки съ крагами, венгерскіе сапожки съ золотыми звонкими подковками и фіолетовый атласный кунтушъ, весь расшитый серебромъ, съ откидными рукавами или такъ-называемыми «вылѣтами», надѣтый поверхъ блѣдно-палеваго платья-амазонки съ роскошнымъ шлейфомъ—все это было хотя и нѣсколько театрально, но необыкновенно эффектно, красиво, изящно, все такъ ловко на ней сидѣло, такъ удивительно шло къ лицу и гармонировало между собою, что и старый ловеласъ, и юный «хоронжій», красавецъ Жозефъ—оба онѣмѣли отъ восхищенія и восторга, при первомъ же взглядѣ на свою героиню. Да и сама она чувствовала, что очаровательно хороша сегодня.

Графъ Сченсный и статный Жозефъ не покидали ее ни на минуту, предупреждая малѣйшій взглядъ, малѣйшее желаніе дорогой гостьи. И ксендзъ Игнацы, и панъ интендантъ Копецъ, еще до ея пріѣзда, ради усиленныхъ трудовъ своихъ хватившіе на радостяхъ «правдивой старей литевки», оба были теперь въ необыкновенно «добрымъ гумòржѣ» и цвѣли, какъ піоны, отъ вина и удовольствія. Ксендзъ былъ особенно въ ударѣ, и потому всевозможныя «диктерійки», риемы, присловія и пословицы въ «старожитномъ» родѣ и духѣ лились у него рѣкою.

Наконецъ, послѣ объѣзда лагеря и прогулки на аванпосты, графъ Сченсный подалъ Цезаринѣ руку и, подъ звуки полонеза, повелъ ее къ обѣденному столу, гдѣ ксендзъ Игнацы уже заранѣе взялъ на себя роль мажоръ-дома, оберъ-шенка, всеобщаго угощателя и увеселителя. И блюды, и застольный порядокъ, съ присовокупленіемъ разныхъ ксендзовскихъ «диктеріекъ»—все это было обѣщано графинѣ совершенно въ «добромъ, старожитномъ польскомъ родѣ», и потому достопочтенный ксендзъ, въ силу стараго обычая, не преминулъ предъ обѣдомъ прежде всего говорить громко молитву и благословить питія и яства. Въ разгаръ повстанскаго патріотизма у поляковъ во всемъ пошла мода на всякую «старожитность».

— Выпьемъ, шановне [1]) панство, для начала по килишку венглювки, а по другому нашей правдивой литевской старушки!—поднявъ графинъ и золотую чарку, возгласилъ ксендзъ мажоръ-домъ, обращаясь къ мужчинамъ.

Выпили, закусили и разсѣлись. Подали бульонъ изъ бараньихъ ножекъ.

— Выпіймы знувъ по килишку, жебы бяра́не ножки не бѣга́лы!—опять возгласилъ Игнацы съ комически-серьезнымъ видомъ. Это уже у него начинались «диктерійки» и присловья, а потому всѣ мужчины сочли своимъ долгомъ

[1]) Почтенное.

Digitized by Google

разсмѣяться и, конечно, выпить. На всякое блюдо и на всякій напитокъ у ксендза Игнацего непремѣнно была въ запасѣ особая прибаутка, какъ того требовалъ «звычай старожитны». Подаютъ, напримѣръ, зразы съ кашей, артистически приготовленныя,—ксендзъ предлагаетъ, чтобы зразы не смѣшались съ кашей, раздѣлить ихъ цитриновой наливкой.

Подаютъ новое блюдо въ старо-польскомъ порядкѣ.

— Ш-ша, панове!—разставляя руки, возглашаетъ ксендзъ все съ тѣмъ же необычно важнымъ и комически-серьезнымъ видомъ. — Ш-ша!.. Индыкъ надзѣваны яблкамі и сливками дò насъ ѣдзе! [1])

— Вѣнцъ, цужъ намъ робицъ: чи уцѣкать, чи броницъ сен'? [2])—съ комическимъ ужасомъ, въ тонъ ксендзу, восклицаетъ шіоновый Копецъ.

— Э, фе, панове!.. Нѣхъ уцѣкаіон' москале,— махаетъ ксендзъ рукою; — а мы, якъ поржондне людзе, зъѣмы его-мосць, та й запіемы вишніовко, для тэго жебы индыкъ не балбòталъ глупства и жебы была у насъ perilitas et orexis.

— От-такъ!—подхватываетъ Копецъ,—от-то есть бáрдзо дòбрже, мóсци панòве! бо полякъ здàвна сытъ не зъ тэго цо іе, а зъ тэго цо піе! [3])

— Ну, а тэразъ, панове, жебы индыкъ не глодны у насъ сѣдзялъ—предлагаетъ ксендзъ,— нѣхъ пршинесон' намъ, и ему мнихувъ! [4])

— Ага, ага!—хлопаетъ въ ладоши Копецъ,— слышáлемъ, же мнихи сон' вéльке майстры на куры, индыки и бараны,—то мòже и намъ они цо дорáдзон' до стравéнья [5]).

— Мнихи, якъ ми сен' сдáе, сон'то людзе и éще Бòже слуги, а зàтымъ глòднымъ сѣдзѣць имъ есть неподóбна!—докторально замѣчаетъ на это ксендзъ Игнацы. — Подáйце жь намъ паштэцикъ, для накармѣнія мнихувъ! Нѣхъ же мнихи знаіон', же мы и ихъ не запоминáмы, и одмавяіон' за наше гржѣхи пацюрже! [6])

— Але жь знáлемъ еднéго мниха, ктуры пилъ вúно,—замѣчаетъ Копецъ, съ особенной пристальностью устремляя взглядъ на ксендза и приложивъ къ своему носу указательный палецъ,—такъ сдае ми сен', же не шкодáйло бы даць напиць сен' и нашимъ мнихамъ [4]).

Подобный-то нехитрый жартъ въ стародавнемъ вкусѣ, къ общему удовольствію сотольниковъ, сопровождалъ у ксендза Игнацéго каждую перемѣну блюдъ и напитковъ. Онъ уже началъ былъ приговариваться къ тому, кáкъ послѣ обѣда станетъ почтенное панство подпивать «тэго-овэго, по трòшку вшисткéго, запалимъ фаéчки и бендземъ гáдаць баéчки» [5]), а панъ Копецъ уже задекламировалъ:

Еще польска не сгиняла,
Кеды мы жіемы,
Еще вудка не сплесняла,
Кеды мы піемы,

какъ вдругъ, гдѣ-то вдалекѣ раздался выстрѣлъ.

— Чу!.. Что̀ такое? что̀ это, панове? — сторожко поднявъ палецъ, въ нѣкоторомъ смущеніи заговорилъ графъ Маржецкій, обводя собесѣдниковъ пытливыми и встревоженными глазами.

— Выстрѣлъ,—отвѣтилъ ему Бейгушъ, который во весь обѣдъ не проронилъ еще ни одного слова.

— Какъ выстрѣлъ!?. Зачѣмъ выстрѣлъ?.. Кто смѣетъ стрѣлять безъ спросу?

— А хотя бы москали, почемъ знать?

— О, полноте, что это вы говорите!..

Однако безпокойство сильно-таки заиграло въ подвижномъ лицѣ графа. Онъ не умѣлъ скрывать своихъ ощущеній.

— Не пугайтесь, надо узнать напередъ,— холодно успокоилъ его Бейгушъ.

— Съ чего это вы взяли, что я пугаюсь, чортъ возьми!? «Пугаюсь» это мнѣ нравится!— бормоталъ графъ, силясь придать себѣ небрежную улыбку.

Раздался еще одинъ выстрѣлъ... другой, третій... еще и еще.

— Милѣйшій майоръ... Бога ради, что жь это такое однако?

— Перестрѣлка, ваше превосходительство; развѣ вы не слышите?—иронически усмѣхнулся Бейгушъ.

— Перестрѣлка?!. Зачѣмъ? гдѣ перестрѣлка?..

— Судя по звуку, у насъ въ тылу. Барабанщикъ!.. Тревогу!—крикнулъ Бейгушъ, вставая изъ-за стола.—Гей! Коня мнѣ!.. Живѣе!..

— До брони, панове! до брони! — понеслись по лагерю крики урядниковъ, мѣшаясь со звукомъ трубы и рокотомъ барабана. Въ мигъ под-

---

[1]) Индюкъ, начиненный яблоками и сливами, ѣдетъ къ намъ.

[2]) Однако, что жь намъ сдѣлать: или удирать, или обороняться?

[3]) Полякъ искони сытъ не тѣмъ, что̀ онъ ѣстъ, а тѣмъ, что̀ пьетъ.

[4]) Ну, а теперь, господа, чтобы индюкъ не сидѣлъ у насъ голодный, пусть принесутъ и намъ, и ему мниховъ (одно изъ любимѣйшихъ польскихъ блюдъ въ Литвѣ).

[5]) Слыхалъ я, что монахи большіе мастера на куръ, индюковъ и баранину, такъ можетъ статься они и намъ порадѣютъ.

[6]) Монахи, какъ мнѣ кажется, люди и еще Божьи слуги, а потому голоднымъ сидѣть имъ не подобаетъ. Подайте жь намъ паштетъ, для накормленія монаховъ. Пускай же монахи знаютъ, что мы ихъ не забываемъ, и отчитываютъ за наши грѣхи по четкамъ.

[4]) Однакожъ знавалъ я одного монаха, который пилъ вино, такъ мнѣ кажется, что не мѣшало бы дать напиться и нашимъ монахамъ.

[5]) Того, другого, понемножечку всего; закуримъ трубочки и станемъ смѣшить другъ друга побасенками.

Digitized by Google

нялась величайшая сумятица, бѣготня и безтолочь.

— Гей, живѣе запрягать экипажъ! — крикнулъ гайдукамъ своимъ графъ Сченсный.

— Не экипажъ запрягать, а *съдлать коня*, ваше превосходительство! — выразительно поправилъ его Бейгушъ, уже занося ногу въ стремя.

— Я не для себя... я для графини,—пробормоталъ покраснѣвшій довудца, котораго какъ школьника поймали на затаенной мысли.

— Графинѣ ѣхать въ ту сторону нельзя: дорога отрѣзана. Развѣ вы не слышите, откуда приближаются выстрѣлы?

— Но... въ такомъ случаѣ, можно въ другую сторону?

— Я никуда не поѣду, я останусь здѣсь!— рѣшительно объявила Цезарина, съ сіяющимъ лицомъ и пылающимъ взоромъ, натягивая на руку перчатку.

Вдругъ прискакалъ уланъ изъ цѣпи, вопя что есть мочи: «москале! москале, панове!.. Москале!»

— Я поѣду разузнать въ чемъ дѣло,—сказалъ Бейгушъ Маржецкому, но тотъ стремительно вдругъ кинулся къ нему и схватилъ коня его за поводъ.

— Не уѣзжайте, Бога ради! — растерянно бормоталъ онъ. — Не уѣзжайте!.. Съ кѣмъ же я... съ кѣмъ же войско останется?!

— Войско остается съ вами: вы его начальникъ...

— Нѣтъ, Бога ради... Примите ужь вы сами начальство... хоть на первое время... Видите, какая каша идетъ... Надо устроить ихъ... надо вести... Ведите, майоръ... умоляю васъ, ведите! Не стѣсняйтесь мною... я послѣ, послѣ ужь... я потомъ... Ахъ, да ведите же, Бога ради!

— Хорошо. Только пустите прежде поводъ моего коня!—нетерпѣливо и досадливо откликнулся Бейгушъ и, давъ шпоры лошади, поскакалъ къ переполошенному отряду. Тамъ все еще шла сумятица. Лишь немногіе изъ офицеровъ находились на своихъ мѣстахъ, между солдатами, устраивая ихъ во взводы; большинство же кинулось къ своимъ повозкамъ и лошадямъ, думая болѣе о томъ, какъ бы удрать, нежели о томъ, чтобы сражаться. Урядники были значительно лучше этихъ офицеровъ: они ругались, кричали, дрались кулаками, фухтелями, саблями, но все-жь-таки старались возстановить хоть какой-нибудь порядокъ. Панъ Копецъ оказался однако исправнѣе тиральеровъ и косиньеровъ. Нѣсколько лишнихъ стакановъ, выпитыхъ за обѣдомъ, немного придали ему храбрости и самоувѣренной продерзости. Работая, что называется, всѣми легкими и нелегкими, онъ довольно живо успѣлъ выстроить свои «несмерцельные шквадроны», предъ фронтомъ которыхъ красовался уже на лихомъ конѣ панъ хоронжій, съ развернутымъ знаменемъ Цезарины. Она же, смѣясь, какъ шальной ребенокъ, легкимъ ударомъ хлыста подбодрила своего сіятельнаго кузена, чтобы тотъ проворнѣе карабкался на лошадь, и рядомъ съ нимъ загарцовала сдержаннымъ троттомъ, подъѣзжая на своемъ Баязетѣ къ кавалерійскому фронту.

— Иль со щитомъ, иль на щитѣ! Неправда ли?—бросила она мимолетное слово, проѣзжая мимо красавца Жозефа.

Тотъ молча кивнулъ ей головою.

— Э, я вижу, одинъ только Бейгушъ молодецъ между вами,—засмѣялась графиня,—съ нимъ весело и любо! Ей-Богу!.. Посмотрите, какъ онъ живо устроилъ и косиньеровъ, и стрѣлковъ, а вы-то!..

Эти слова заставили Жозефа встрепенуться и построже заглянуть въ свою помутившуюся душу. Межъ тѣмъ все уже было готово, и Бейгушъ, не адресуясь болѣе ни съ чѣмъ къ графу Маржецкому, какъ полный и самостоятельный начальникъ, самъ двинулъ отрядъ на позицію.

Выстрѣлы слышались все ближе и ближе, огонь становился сильнѣе и чаще, — но съ кѣмъ же это тамъ дерутся москали? Что за отрядъ и кто его довудца?

IX.

Мы и Они.

Пока Хвалынцевъ оправлялся отъ раны, нанесенной ему кинжаломъ пана Тршидесентѣго, возстаніе, подобно костру, сложенному изъ сухихъ полѣньевъ и хворосту, успѣло съ трескомъ и дымомъ ярко распылаться по цѣлому краю. Въ Варшавѣ со-дня-на-день ожидали всеобщаго взрыва; поляки сами неоднократно уже назначали день и часъ, обѣщали поголовную рѣзню съ 22-го на 23-е марта, а послѣ Пасхи зловѣщіе слухи и физіономіи еще болѣе стали гулять по Варшавѣ; потомъ подобные же посулы были на 3-е мая—историческій день «заложенія крулевства», то-есть основанія польскаго государства и день знаменитой конституціи Чарторыйскаго, — словомъ, обѣщанія, угрозы и застращиванія повторялись почти періодически; но грозныя пушки Александровской цитадели, могущія чрезъ три часа обратить Варшаву въ груду развалинъ, глядѣли спокойно и строго изъ своихъ амбразуръ, и Варшава, volens-nolens, ограничивалась однимъ глухимъ волненіемъ. Теперь уже было не то, что въ періодъ демонстрацій 1861—62 года: теперь, въ случаѣ открытаго нападенія вооруженныхъ массъ городскихъ обывателей, едва ли кому изъ русскихъ властей пришло бы въ голову шутить и деликатничать. Ржондъ народовый, хотя и собирался бомбардировать цитадель конгревовыми ракетами, однако въ то же время очень хорошо зналъ и

Digitized by Google

свойство пушекъ этой цитадели, а потому рѣшился щадить Варшаву, полагаясь на своевременность европейскаго вооруженнаго вмѣшательства. Ржонду хотѣлось сохранить въ цѣлости столицу Польши для будушей Ржечи Посполитой.

Между тѣмъ «Колоколъ» въ началѣ 1863 года не только продолжалъ свои кокетливыя заигрыванія съ русскимъ войскомъ, но даже усилилъ ихъ до предѣловъ послѣдней возможности. Такъ, напримѣръ, новогодній свой спичъ онъ кончалъ «заздравнымъ кубкомъ въ хвалу и славу русскихъ воиновъ», увѣрялъ будто «казаку на Кавказѣ стало противно бить независимаго черкеса» [1]), и будто «военные должны стать съ поляками по тому высшему нравственному закону, предъ которымъ блѣднѣютъ и краски знамени, и обѣты присяги» [2]), посылалъ русскихъ офицеровъ на казнь, утѣшая ихъ тѣмъ, что мы-де (то есть издатели «Колокола») предъ ними, идущими на смерть, склоняемъ сѣдыя головы наши и просимъ ихъ благословенія [3]). Для бо́льшаго воздѣйствія на русское войско, «Колоколъ» завелъ на страницахъ своего «Общаго Вѣча» какого-то «Старообрядца», который увѣрялъ, что за русское правительство могутъ стоять только «нелюбители православія», что русскимъ людямъ «не нужно опасаться, но должно точно и съ увѣренностью надѣяться, что подъ польскимъ управленіемъ намъ будетъ несравненно лучше теперешняго тиранственнаго положенія», и все это потому, что «поляки не безчеловѣчны, не властолюбны и не грабительны, и ни за что не будутъ тѣснить и мучить народъ беззащитный; поляки суть истинные желатели свободы» [4]). «Братья старообрядцы! восклицалъ тотъ же голосъ, братья старообрядцы! Вызовите казаковъ изъ Польши! Спасите ихъ души отъ проклятія и научите ихъ лучше смерть принять, чѣмъ безчеловѣчно святотатствовать» [5]). Въ то же время другой голосъ, принадлежащій какой-то «Украинкѣ», обращался къ русскимъ женщинамъ съ заявленіемъ, что теперь «Россія гибнетъ хуже чѣмъ во времена Минина» и что «ее надо спасти». «Сестры, будемъ же мы на этотъ разъ Мининымъ! приглашала «Украинка». Не допустимъ нашихъ мужей, братьевъ, сыновей окончательно сгубить себя. Употребимъ всю *силу любви* [1]) нашей къ нимъ, чтобы поднять ихъ духъ до геройскаго, смѣлаго отреченія идти противъ поляковъ», и въ заключеніе объявляла, что «нѣтъ ничего тяжелѣе и грустнѣе чувства русскаго патріотизма [2]). Впрочемъ, въ этомъ послѣднемъ отношеніи Герценъ поступилъ еще рѣшительнѣе, начистоту причисливъ себя къ «русскимъ независимымъ, то-есть не несущимъ на себѣ креста патріотизма», и объявивъ, что онъ никогда «терпѣть не могъ патріотизма», потому что «это самая злая, ненавистная добродѣтель изъ всѣхъ» [3]). Вообще, кого-кого только не выкликалъ въ это время «Колоколъ» изъ нѣдръ Россіи! На его страницахъ безпрестанно фигурировали и «друзья-юноши», и «друзья - крестьяне», и «друзья-офицеры», и «друзья - семинаристы», которымъ «терять нечего», и «сестры-женщины», и «братья-солдаты», и «братья - старообрядцы» и наконецъ даже какой-то «многоуважаемый инокъ». Всѣ эти друзья и братья съ пафосомъ приглашались отречься отъ русскаго государства и возстать съ поляками и за поляковъ.

Но увы! разочарованіе «Колокола» настало даже гораздо скорѣе, чѣмъ можно было предполагать. Адресъ на имя великаго князя Константина Николаевича, подтасованный Варшавскимъ Отдѣломъ Земли и Воли, появился безъ подписей въ «Колоколѣ» въ концѣ 1862 года. Но спустя короткое время, на страницахъ европейскихъ газетъ раздался протестъ русскихъ офицеровъ, расположенныхъ въ Варшавѣ и Польшѣ, протестъ, покрытый множествомъ подписей и отвергавшій всякую солидарность съ подложнымъ адресомъ. «Печатая документъ, содержаніе котораго для насъ столь же непріятно какъ и безчестно, говорилось въ этомъ протестѣ, г. Герценъ находитъ достаточнымъ засвидѣтельствовать однимъ своимъ личнымъ ручательствомъ достовѣрность и подлинность письма, цѣль котораго выставить насъ измѣнниками Государю, отечеству и долгу. Г. Герценъ, по своей заботливой услужливости, отъ которой мы просимъ его освободить насъ, нашелъ нужнымъ давать совѣты относительно обязанностей нашего положенія. Мы не просили его объ этомъ и желали бы избавиться отъ такихъ попеченій. По его мнѣнію, честь наша требуетъ, чтобы мы помогали оружіемъ всякому безпорядку, всякому стремленію, которое враждебно правительству и общественному порядку. — Честь не допу-

---

[1]) „Колоколъ", 1863 (1-е января), № 153.
[2]) „Колоколъ", 1863, № 154.
[3]) Ibid.
[4]) Вообще позволительно сомнѣваться, что врядъ ли подъ именемъ этого „Старообрядца" скрывался дѣйствительный старообрядецъ, а не кто либо изъ людей близкихъ редакціи и вовсе незнакомыхъ съ бытомъ и настроеніемъ русскаго народа. Эта догадка нагляднѣе всего подтверждается тѣмъ дѣланнымъ, нарочно придуманнымъ языкомъ, какимъ въ дѣйствительности ни одинъ русскій человѣкъ не выражался. Для примѣра укажемъ хотя бы на такую наивную и крайне неумѣлую поддѣлку какъ *знахарь здоровя* („Общее Вѣче", № 12) взамѣнъ слова *медикъ*. Очевидно, сочинитель забылъ или не домекнулся, что въ нашемъ простомъ народѣ, для опредѣленія этого понятія, искони существуетъ коренное русское слово *лѣкарь*.
[5]) „Общее Вѣче" № 11.

[1]) Курсивъ въ подлинникѣ.
[2]) „Колоколъ" № 158.
[3]) „Колоколь", № 167.

Digitized by Google

скаетъ измѣны присягѣ, добровольно принятой. Наши обязанности въ Варшавѣ таковы же, какъ и вездѣ: вѣрность Императору и установленнымъ законамъ».

Но несмотря на этотъ протестъ, перепечатанный и въ самомъ «Колоколѣ», журналъ этотъ не переставалъ увѣрять, что подложный адресъ вовсе не подложенъ, и что напротивъ, протестъ составленъ подневольно и подписывался по принужденію начальствующихъ лицъ. Эти увѣренія, вопреки очевидной истинѣ, долго еще продолжались въ «Колоколѣ» со слѣпымъ и черезчуръ настойчивымъ упорствомъ. Но это упорство имѣло въ виду уже не Россію, а Европу, на которую нужно было напустить тьмы и мглы, такъ какъ въ европейской печати все сильнѣй и дружнѣй раздавались голоса, призывавшіе западныя державы къ крестовому походу противъ Россіи. — «Мы (т. е. Англія) должны соединиться съ Франціей и поддержать Австрію!» вопіялъ «Morning Post» (февр. 24), въ то время какъ «Колоколъ» усердно переводилъ и перепечатывалъ эти строки «Австрія и Англія обѣ должны требовать освобожденія Польши... Россія *слишкомъ безсильна*, чтобы напасть, а Пруссія, ея союзникъ, слишкомъ ничтожна; обѣ державы слабы, дезорганизованы и должны подчиниться рѣшенію остальной Европы, когда Наполеонъ, лордъ Пальмерстонъ, Рехбергъ и Гарибальди соединятся для достиженія общей цѣли». [1]) Эти громы не ограничивались одною Россіею: за честное союзничество съ нами, Герценъ неоднократно предрекалъ анаѳему и гибель Пруссіи и, между прочимъ, обращался къ ней съ такимъ пророчествомъ, что «нѣтъ-де, не быть тебѣ, Пруссіи, во главѣ германскаго единства! Нѣтъ, ты сама развалишься, государство безъ народности,—военная нелѣпость, созданная королемъ-энциклопедистомъ!» [2]) Зато «очищенная Австрія» удостоивалась его кокетливыхъ похвалъ и поощреній за каждую поблажку повстанцамъ, за каждый подвохъ противъ Россіи, зато восхвалилъ онъ даже католическіе монастыри и ихъ монаховъ. [3])

Открылись военныя дѣйствія противъ повстанцевъ. Офицеры и солдаты честно исполняли свой долгъ. «Братья старообрядцы» не вызвали казаковъ изъ Польши, а сами стали присоединяться волонтерами къ русскимъ летучимъ отрядамъ; «русскія сестры» тоже не сдѣлались Миниными по рецепту «Колокола», а употребили «силу любви» своей на ухаживаніе за ранеными въ госпиталяхъ Западнаго Края, въ качествѣ сестеръ милосердія, на складчины въ пользу ихъ и семействъ русскихъ людей, священниковъ да крестьянъ, замученныхъ повстанцами,—словомъ сказать, дѣло сорвалось, не выгорѣло, воззванія пропали втунѣ, обманчивыя надежды лопнули,—и вотъ, «Колоколъ», разражается іереміадой, которую такъ и озаглавилъ «Плачемъ»: «Ну, солдатики, вы хорошо отслужили вашу службу въ Польшѣ! Не забудьте и дома, какъ вы весело жгли господскія усадьбы, каково пили винца изъ панскихъ погребовъ, каково поразбивали сундучки съ ихъ добромъ, «при всемъ блескѣ пожара». Не все же поляковъ да поляковъ—вы ужь не оставьте вашей милостью и нашихъ-то, русскихъ». Тутъ же вопіетъ онъ, что «пора пасть Россіи» и въ заключеніе обращается съ проклятіемъ: «Что же вы, анаѳемы, сдѣлали изъ всѣхъ усилій нашихъ!? Все, что мы лѣпили по песчинкѣ, смыли ваши помои, унесла ваша грязь, и черезъ пятнадцать лѣтъ я снова, идя по улицѣ, боюсь, чтобъ не узнали, что я русскій»... [1]) Слѣпая злоба его тутъ же необузданно предается фельетонному кощунству и глумленію надъ мертвыми, надъ памятью человѣка, случайно захваченнаго по дорогѣ и съ варварской жестокостью замученнаго жандармами-вѣшателями единственно за то только, что былъ одѣтъ въ русскій жандармскій мундиръ. [2])

Эта же злоба не разъ предавала поруганію имена тѣхъ русскихъ, которые за границею дѣлали денежныя складки въ пользу нашихъ раненыхъ солдатъ и семействъ убитыхъ; зато имена поляковъ, казненныхъ за тайныя убійства, съ благоговѣніемъ вписывались въ «святые мартирологи» «Колокола». Складки эти были тѣмъ болѣе прискорбны лондонскимъ эмигрантамъ, что касса русскаго «фонда на общее дѣло» давно уже не обогащалась никакими посторонними приношеніями и съ каждымъ днемъ пустѣла все болѣе и болѣе. Напрасно «Колоколъ» безъ числа взывалъ о пожертвованіяхъ «въ общій фондъ» и «на общее дѣло»—ему уже никто не откликался изъ русскихъ. Но признавшись, что никто не хочетъ болѣе жертвовать въ пользу «Земли и Воли», Герценъ въ слѣдующемъ же нумерѣ впадалъ въ странное противорѣчіе съ самимъ собой, самонадѣянно увѣряя, что «говорить о силѣ общества «Земли и Воли» неумѣстно», [3]) и это въ то время, когда названное общество выпрашивало у варшавскаго раввина *сто пятьдесятъ* (150) *рублей* «на поддержку польскаго дѣла въ Россіи!»

Вмѣсто недавнихъ заигрываній, на русское войско посыпались всяческія клеветы, и Россія стала обзываться въ презрительномъ смыслѣ уже

---

[1]) „Колоколъ“, № 157.
[2]) Ibid
[3]) „Колоколъ“ № 159. „Что за чудное свойство польскаго возстанія, что оно очищаетъ все, до чего коснется, даже Австрію и монастыри!“

[1]) „Колоколъ“ № 158. „Плачъ“.
[2]) Одна газета, описывая смерть капитана Грауерта, назвала его мученикомъ. Герценъ, между прочими выходками по этому поводу, восклицаетъ: „какъ удивятся въ раю! Это первый святой по корпусу жандармовъ!“ „Колоколъ“ № 150.
[3]) „Колоколъ“ № 164.

Digitized by Google

«казарменной, гвардейской и армейской Россіей». [1]) Г. Огаревъ распинался въ неоднократныхъ увѣреніяхъ, что стотысячное русское войско въ Польшѣ «грабитъ хорошо, а деретъся плохо и оттого не можетъ сладить съ двадцатью тысячами повстанцевъ», [2]) что солдаты наши еще «кое-какъ держатся въ перепалкѣ на дальнемъ разстояніи, но такъ какъ у поляковъ пороху мало, и они жалѣютъ зарядовъ и сейчасъ берутся за косы, то наши солдаты большею частью разбѣгаются по деревнямъ, гдѣ они грабятъ и убиваютъ всѣхъ безъ разбора». [3])

Чуть, бывало, зайдетъ рѣчь о варварствѣ русскихъ войскъ въ какой-либо деревнѣ и надъ какимъ-либо польскимъ помѣщикомъ, сейчасъ-же слѣдуетъ сожалѣніе, что корреспондентъ позабылъ названіе деревни и имя помѣщика, но зато отлично помнитъ всѣ до единой русскія фамиліи! «Колоколъ», въ своемъ слѣпомъ усердіи къ польскому дѣлу, договорился наконецъ до Богъ-знаетъ какихъ нелѣпостей, въ родѣ заявленія, что должность министра внутреннихъ дѣлъ у насъ занимаетъ какой-то Келлеръ [4]), когда всему свѣту было извѣстно, что портфель этого министерства принадлежалъ тогда г. Валуеву, или что польскихъ помѣщиковъ арестовываютъ за то, что они «противу царскаго указа отпустили усы и бороды», [5]) что нашъ извѣстный русскій и православный генералъ Иванъ Ѳедоровичъ Ганецкій есть полякъ и называется Владиславомъ Казиміровичемъ или Казиміромъ Владиславовичемъ, что на постахъ и караулахъ при желѣзнодорожныхъ станціяхъ весь строй постоянно бываетъ пьянъ и, не выходя изъ фронта, производитъ насилія, грабежи и безчинства надъ пассажирами, что въ Вильнѣ не видать солдатъ иначе, какъ пьяныхъ, что очень много офицеровъ и нижнихъ чиновъ перешло къ инсургентамъ за плату 30 руб. въ мѣсяцъ и что, вообще, *нагайки драгунъ* дружно работаютъ, тогда какъ извѣстно, что наши драгуны никогда и ни въ какихъ случаяхъ не имѣютъ нагаекъ въ своемъ снаряженіи. Наконецъ, послѣ всего этого, Герценъ разражается истерическимъ крикомъ «подлые», посылая его всѣмъ русскимъ, не раздѣляющимъ его симпатій къ Польшѣ: «Подлые!.. Ни сердце, ни умъ, ни опытъ ничему ихъ не учатъ, оттого что они *подлые*», и тутъ-же отказывается отъ всякой солидарности съ Россіей. «Всѣ прежніе грѣхи, говоритъ онъ, всѣ настоящіе недостатки Польши искупаютъ ей ея мученики и наши мучители. Они смертью своей убиваютъ враговъ своихъ. Каждое замученное тѣло, брошенное грязными палачами въ землю польскую, освобождаетъ ее и освобождаетъ насъ самихъ отъ призрачнаго патріотизма» [1])... «Тотъ, кто любитъ народъ русскій, тотъ долженъ во искупленіе его звать на главу его кару очистительныхъ несчастій»—и Герценъ не задумывается призывать, въ видѣ такой кары, войну Европы на Россію, иронически подзадоривая эту старую Европу, что она, безъ сомнѣнія, имѣетъ полное право сложа руки смотрѣть, какъ лучшій, поэтическій, рыцарскій, доблестный представитель ея—Польша, гибнетъ, терзаемая грубымъ, плотоядным животнымъ, паразитно выросшимъ на несчастномъ, забитомъ народѣ» [2]).

Появились извѣстныя ноты трехъ западныхъ державъ: Англіи, Франціи и Австріи — актъ величайшей политической наглости, которая, основываясь на призрачномъ правѣ трактатовъ 1815 года и забывая о правѣ завоеванія 1831 года, позволила себѣ вмѣшаться во внутреннія дѣла Россіи. Этой наглости, конечно, не мало способствовали подстрекающія заявленія о безсиліи нашего государства и о его внутреннихъ революціонныхъ броженіяхъ, то и дѣло раздававшіяся въ европейской печати, съ легкой руки «Колокола». Наглость этихъ требованій простиралась до того, что ноты иностранныхъ державъ осмѣлились низводить наше правительство на одну доску съ какимъ-то безымяннымъ подпольнымъ ржондомъ, приглашая насъ вступать съ этимъ ржондомъ въ политическія соглашенія и признать его воюющей стороной. Всѣ эти политическія каверзы и продѣлки совершались именно въ расчетѣ на воображаемое безсиліе Россіи, въ расчетѣ на то, что мы трусимъ и смиренно подчинимся ультиматуму трехъ западныхъ кабинетовъ. Но наши «благожелатели» жестоко ошиблись въ этомъ расчетѣ. Еще прежде дипломатическихъ отвѣтовъ князя Горчакова, раздался въ одинъ голосъ единодушный отвѣтъ цѣлой Россіи. Къ подножію трона со всѣхъ концовъ, со всѣхъ сторонъ, угловъ и закоулковъ Русской земли посыпались безчисленные адресы. Оскорбленный духъ народа всталъ и заявилъ себя такъ твердо, такъ рѣшительно, что западные благожелатели попятились.—«Что они такъ испугались»? вопрошалъ при этомъ «Колоколъ», забывшій на этотъ разъ свои подуськиванія и подпѣванія разнымъ «Morning Post'амъ». «Чего они такъ испугались или чѣмъ ихъ всѣхъ такъ настращали, что нельзя больше удержать вопль, крикъ, плачъ, завыванье патріотизма, усердіе безъ границъ, преданность безъ смысла? Адресы, панихиды, молебны на чистомъ воздухѣ и въ воздухѣ, продымленномъ ладономъ, адресы отъ грамотныхъ и безграмотныхъ, отъ старообрядцевъ и новообрядцевъ, отъ курляндскихъ, эстляндскихъ и лифляндъ-

[1]) „Колоколъ" № 164.
[2]) „Общее Вѣче" № 16.—Выкликаніе духовъ.
[3]) „Колоколъ" № 163.
[4]) Ibid.
[5]) Ibid.

[1]) № 166.
[2]) 167.

Digitized by Google

скихъ русскихъ, отъ временно-обязанныхъ крестьянъ и безсрочно-разоренныхъ помѣщиковъ, отъ старшинъ Рогожскаго кладбища и школярей (sic!) кладбища науки, называемаго московскимъ университетомъ» [1]).

Герценъ не понялъ, что тутъ не правительство, а весь народъ всталъ за свою историческую тяжбу, за свое право, добытое многовѣковою «борьбою за политическое существованіе», какъ не понялъ и того, что у народа есть свой инстинктъ, свое чутье, котораго ничѣмъ и никогда не обманешь. Теперь онъ сталъ жалобно причитать о «простомъ сердцѣ простыхъ людей, которые безхитростно поддались официальному обману и, помня недавнее освобожденіе, воображаютъ, что отечество въ опасности», [2]) что народъ вѣритъ въ правоту неправаго дѣла, будто награбленное нѣмецкимъ правительствомъ (то-есть Сѣверо и Юго-Западный край) есть его народное и законное достояніе, что за правительство «простодушно подаетъ свой голосъ обманутое небывалой опасностью старообрядчество и крестьянство» [3]). Но и жалобныя причитанія продолжались недолго. Адресы попрежнему сыпались отовсюду; общее одушевленіе росло, готовность на всяческія жертвы за цѣлость, неприкосновенность и достоинство русской державы высказывалась слишкомъ громко, горячо, искренно, и Англія, въ виду этой высоты народнаго духа, первая попятилась назадъ. 8-го мая лордъ Россель заявилъ въ парламентѣ, что «при данномъ настроеніи русскаго правительства, а *еще болѣе русскаго народа*, не можетъ быть и рѣчи объ отдѣленіи какой-либо части этой великой имперіи», что шутки съ ней крайне опасны, а потому Англіи и нельзя рисковать случайностями вооруженной борьбы. Отвѣтныя ноты князя Горчакова, написанныя съ достоинствомъ прямоты и твердости, подобающими державѣ, сознающей свое законное право, сдѣлали такое впечатлѣніе и на кабинеты, и на общественное мнѣніе Европы, что угрожающія позы трехъ нашихъ противницъ превратились въ вѣжливо-скромный и ласковый поклонъ. Противники отретировались. Полная дипломатическая побѣда Россіи была одержана блистательно, и Герценъ, съ сожалѣніемъ, съ горечью и грустью разочарованія воскликнулъ въ «Колоколѣ», что «войны не будетъ!» [4]). Пока изъ Финляндіи не было адресовъ, онъ всячески кололъ этимъ глаза русскому правительству, а когда адресы появились, то безцеремонно объявилъ, что они добыты стараніями чиновниковъ, обманомъ и подкупомъ [5]), и наконецъ рѣшилъ, что адресы всей Россіи есть ничего незначущая поддѣлка, но что въ то время русское общество повально заражено «сифилисомъ патріотизма» [1]). Въ это время «друзья-солдаты и офицеры» превратились у него уже въ палачей и грабителей, «друзья-старообрядцы» и «друзья-казаки» въ изувѣровъ и святотатцевъ, а «друзья-юноши» были обозваны «наемными школярами». Нравственныя связи съ Россіей были порваны, значеніе Герцена рухнуло навсегда. Его погубило польское дѣло. «Выжавъ до конца этотъ лимонъ», сами поляки отъ него отшатнулись, бросили и забыли, не сказавъ ему даже спасибо [2]).

Въ Варшавѣ межъ тѣмъ смутно гомонилась глухая тревога. Всякій день по вечерамъ за черту городского вала пробирались охотники «до лясу», мужчины и женщины. Одни уходили, другіе возвращались. Бѣжавшіе изъ города и послужившіе у Лангевича и у другихъ довудцевъ, преспокойно пріѣзжали себѣ въ отпускъ, на побывку къ варшавскимъ «родакамъ», проживали нѣкоторое время въ городѣ, фланировали по улицамъ да въ Саксонскомъ саду и снова уходили по-добру по-здорову въ какія-нибудь новыя банды. Многіе изъ этихъ временно-отпускныхъ принимали на себя роль «квестарей», на подобіе обыкновенныхъ польскихъ квестарей, какіе всегда собирали на бѣдныхъ, ходючи по квартирамъ обывателей. Повстанскіе «квестáржи» точно также шлялись по разнымъ квартирамъ, по преимуществу появляясь въ русскихъ домахъ, въ то

---

[1]) „Колоколъ“ № 163.
[2]) Ibid.
[3]) „Общее вѣче“ № 16.
[4]) „Колоколъ“ № 169.
[5]) № 167.

[1]) № 168.

[2]) Герценъ съ самаго начала своей пропаганды былъ почти исключительно орудіемъ польскихъ рукъ. Въ письмѣ его къ Чарнецкому („Колоколъ“ 1863 года, № 159—„Десятилѣтіе вольной русской типографіи въ Лондонѣ“) мы находимъ въ этомъ отношеніи въ высшей степени знаменательныя признанія. „Въ Россіи никто не откликался на первые призывы „Колокола“, говоритъ онъ въ этомъ письмѣ, но вотъ преждевременно состарѣвшійся, болѣзненный *Станиславъ Ворцель* встрепенулся при вѣсти о русской типографіи; онъ помогалъ мнѣ дѣлать заказы, разсчитывалъ число буквъ, устраивалъ станокъ въ *польской типографіи*. Угасая, святой старикъ и передъ смертію благословилъ еще разъ нашъ трудъ своей умирающей рукой. Второй листъ, выпущенный русской типографіей въ Лондонѣ, былъ о *Польшѣ*. Крестьянское дѣло и *польскій вопросъ* сами собой легли *въ основу русской пропаганды*. И вотъ съ тѣхъ-то поръ, любезный Чарнецкій, мы десятый годъ печатаемъ съ вами безъ устали и отдыха.. *Помощь*, которую вы мнѣ сдѣлали *упорной, неустанной всегдашней работой*, страшно мнѣ облегчила весь трудъ... Въ лицѣ вашемъ *польская помощь и участіе въ нашемъ дѣлѣ не перемежались*... Спасибо вамъ!.. И тѣмъ больше спасибо вамъ, что начала наши были темны и бѣдны. Три года мы печатали, не только не продавъ ни одного экземпляра, но не имѣя возможности почти ни одного экземпляра послать въ Россію; кромѣ первыхъ летучихъ листовъ, *отправленныхъ Ворцелемъ и его друзьями въ Варшаву*, все печатанное лежало у насъ на рукахъ или въ книжныхъ подвалахъ благочестиваго Paternoster R w“.

Digitized by Google

время, когда мужчины отсутствуютъ, и безцеремонно требовали у запуганныхъ женщинъ денегъ «на раненыхъ». Въ этомъ отношеніи въ наиболѣе странное положеніе были поставлены русскіе домовладѣльцы, нерѣдко женатые на полькахъ. Они, напримѣръ, не смѣли требовать квартирную плату со своихъ польскихъ жильцовъ; иной жилецъ принесетъ только частицу денегъ, а остальные, говоритъ, удержалъ на общее дѣло, или съ меня-де взыскали въ счетъ наложенной на васъ подати. Вдругъ окажется, что пропала какая-нибудь домашняя рухлядь, бѣлье да платье или желѣзныя вещи: пилы, топоры, ножи кухонные и т. п., но толковать объ этомъ съ домовымъ «ржондцемъ» считалось не безопаснымъ, и потому поневолѣ приходилось смотрѣть на все сквозь пальцы. По нѣскольку разъ въ день, бывало, отворится дверь и входитъ какой-нибудь подозрительный лобусъ: «Я, говоритъ, до лясу иду, не поможете ли чѣмъ съ ласки паньскей?» Другой изъ лясу вернулся: «Я, говоритъ, за ойчизну сражался, раненъ и пр., не будетъ ли милости помочь чѣмъ?» Третій изъ цитадели выпущенъ—политическій мученикъ, значитъ, страдалецъ за отечество, за свободу, тоже проситъ «зъ ласки»—и ему тоже надо дать, и дать не пустякъ, не гроши какіе-нибудь, а по крайней мѣрѣ нѣсколько «злотувокъ», потому что въ противномъ случаѣ обидится и погрозится мщеніемъ народовымъ, а въ результатѣ домохозяину навѣрное приключится какая-нибудь неожиданная и далеко не безопасная мерзость. Такъ-же и квартиры извѣстныхъ артистовъ, артистокъ и вообще людей со средствами, на ряду съ русскими землевладѣльцами, подвергались подобнымъ же безцеремоннымъ визитамъ, съ просьбою «не оставить». Ржондъ объявлялъ не разъ, что подобные просители должны имѣть отъ него особое уполномочіе, бланкъ на квесту и на личную помощь, безъ которой просилъ обывателей денегъ имъ не давать; но это не дѣйствовало, и на сто проситолей едва ли двое являлись съ «картэчками» народоваго ржонда. Иные назойливо приходили по пяти, по шести разъ въ день, и на требованіе «картэчки», отвѣчая какой-либо глухой угрозой, добивались-таки каждый разъ какой-нибудь подачки. Подобное вымогательство и тунеядство разрослись до такой громадной степени, что въ одной лишь Варшавѣ, въ теченіе первыхъ трехъ-четырехъ мѣсяцевъ возстанія, эти самозванные пройдохи понабирали въ собственные карманы болѣе ста тысячъ рублей серебромъ, на счетъ народоваго ржонда. Въ эту же эпоху и ксендзы болѣе чѣмъ когда-либо торговали особаго рода индульгенціями. Бывало, иная ревностная католичка, по слабости здоровья, не можетъ переносить постной пищи, а межъ тѣмъ ксендзъ, приходящій къ ней въ домъ преподавать «рекколекціи» (наставленія), требуетъ соблюденія поста, ради спасенія ойчизны. Чтобы помирить одно съ другимъ, благочестивыя хозяйки вносили въ «фундушъ желѣзны» извѣстную сумму, которая, конечно, вручалась ксендзу-реколектору, и взамѣнъ получали отъ ксендза, за его подписью и печатью, билетъ, который заключалъ въ себѣ разрѣшеніе употреблять скоромную пищу и заблаговременный «отпускъ» этого грѣха. Такой билетъ нерѣдко выдавался на цѣлый домъ, съ семействомъ, со чады, домочадцы, «служонцы», и даже съ «мѣшканцами» (жильцами), и въ знакъ особаго уваженія вѣшался иногда въ гостиной на стѣнѣ, на какомъ-нибудь видномъ и почетномъ мѣстѣ! Патріотическая экономія доходила до того, что очень многіе зажиточные люди перестали пить чай и отказывали себѣ не только въ лишнихъ «бутикахъ», въ «ренкавичкахъ» и въ «карвателькахъ», но носили даже чернаго цвѣта бѣлье, и это называлось тогда «сподней жалобой», то-есть нижнимъ трауромъ. Но сердце варшавянокъ не долго выдерживало искусъ простоты и скромности траурнаго наряда. Настали весенніе дни, зацвѣли каштаны Саксонскаго сада — и варшавскія дамы защеголяли своей «жалобой» до того ужь роскошно, что подпольный листокъ «Правда» (№ 10) обратился къ нимъ съ предостереженіемъ и вопросомъ: «неужели эти великолѣпныя убранства, эти метущіе дорогу шлейфы, эти кринолины, эти дорогія накидки и бурнусы, вышитые прехитрыми узорами юбки, балетные фестоны, пышныя кружева, шляпки съ удивительными перьями и наконецъ эти невѣроятныя прически—неужели все это согласно сколько-нибудь съ тѣмъ ужаснымъ положеніемъ, въ какомъ находится наше отечество? Правда, прибавлялъ листокъ, вы ходите *исключительно въ черномъ*, но развѣ въ этомъ заключается истинный трауръ? Это *мода*, и больше ничего!» Такимъ-то опредѣленіемъ заклеймилъ органъ «ржонда» кокетливыя поползновенія варшавскихъ патріотокъ. А между тѣмъ эти же самыя щеголихи одной русской дѣвушкѣ публично, на улицѣ, плевали въ лицо за то только, что у нея, при скромномъ черномъ нарядѣ, былъ надѣтъ на шеѣ розовый бантикъ. Но голосъ подпольной «Правды» на первый разъ не образумилъ патріотокъ: господство кружевъ, шлейфовъ и кринолиновъ продолжалось въ той-же силѣ. Варшавянки соглашались лучше не пить своей утренней «кавы и гербаты» въ пользу ойчизны, но не могли отказаться отъ кринолина и шиньона. Тогда революціонный комендантъ и подпольный оберъ-полиціймейстеръ напустили на нихъ нѣсколько десятковъ лобусовъ, вооруженныхъ палками съ острымъ желѣзнымъ крючкомъ на наконечникѣ. Съ помощью этого снаряда, лобусы очень ловко и быстро срывали съ модницъ шиньоны и кринолины, оставляя ихъ на улицахъ часто даже безъ «сподней жалобы». Скандаловъ изъ этого выходило множество. Варшавяки и

Digitized by Google

особенно варшавянки возмутились не на шутку; раздались громкіе голоса противъ наглости ржонда, который, боясь потерять свою популярность, поспѣшилъ отказаться отъ всякой солидарности съ обрывателями и свалилъ всю вину сначала на какую-то партію «черныхъ», а потомъ просто-на-просто на русское правительство, что это, дескать, оно все нарочно подкупаетъ лобусовъ, чтобы отучить патріотокъ отъ жалóбы. Но русское правительство въ этомъ случаѣ поступило практичнѣе: оно просто наложило на жалóбу двадцати-пятирублевый штрафъ, и эта мѣра подѣйствовала гораздо существеннѣе палокъ съ крючками. Однако ловкія польки и тутъ нашли возможность извернуться, по пословицѣ «и Богу свѣчка, и чорту кочерга». — Выходя изъ дому, онѣ стали надѣвать на черныя платья сѣрыя юбки, и придя въ гости, снимали эти юбки въ прихожей вмѣстѣ съ верхней одеждой и такимъ образомъ все-же оставались въ «жалóбѣ». Въ эпоху до штрафовъ и самыя свадьбы совершались не иначе, какъ въ траурѣ. Самый глубокій трауръ, надѣтый на невѣстѣ, во время вѣнчанія, служилъ даже признакомъ хорошаго тона. А сколько браковъ было заключено подъ непремѣннымъ условіемъ, чтобы молодой мужъ на слѣдующее-же утро отправился «до лясу»! Браки этого рода вошли тогда въ особенную моду. Впрочемъ, подобныхъ модъ существовало множество и въ Варшавѣ, и во всей Польшѣ. Такъ, напримѣръ, у гимназистовъ сдѣлалось чѣмъ-то въ родѣ особаго и высшаго патріотическаго подвига обязанность получать изъ русскаго языка нули и единицы. Тотъ ученикъ, который сподрядъ весь годъ получалъ круглый нуль, удостоивался особенныхъ подарковъ, похвалъ и овацій со стороны родителей, знакомыхъ, польскихъ учителей, товарищей и преимущественно со стороны молодыхъ патріотокъ. Въ нѣкоторыхъ мѣстахъ было формально положено, что за каждый нуль изъ русскаго языка, избранная красивая дѣвушка или дама *обязана* была награждать наединѣ взрослаго гимназиста своимъ страстнымъ поцѣлуемъ, и не иначе какъ страстнымъ, для того чтобы прелесть этой награды превозмогла страхъ начальническихъ взысканій и влекла къ новымъ подвигамъ. Другая, не менѣе замѣчательная мода состояла въ томъ, чтобы, проходя мимо православныхъ церквей, всенародно затыкать себѣ уши при звонѣ русскаго колокола. Третья мода — отсутствіе на головахъ мужчинъ пуховыхъ шляпъ-цилиндровъ. Поляки почему-то считали эти шляпы исключительной принадлежностью русскихъ. И стоило лишь кому-нибудь показаться на улицѣ въ цилиндрѣ, чтобы толпа лобусовъ и мальчишекъ тотчасъ же окружила дерзновеннаго съ криками: «рура ангельска! рура ангельска!» [1]),

[1]) Англійская дымовая труба.

вслѣдъ за которыми нерѣдко слѣдовали комки нечистотъ и грязи. Четвертая мода — отсутствіе какой бы то ни было музыки и пѣнія, за исключеніемъ патріотическихъ гимновъ. Впрочемъ, это была мода, такъ-сказать, принудительная со стороны ржонда; но замѣчательно, что даже полиціанты законнаго правительства сами запрещали музыку, — и горе, бывало, если появится на улицѣ какой-нибудь несчастный итальянецъ или чехъ со своей хриплой шарманкой! — Полиціанты тотчасъ же и безъ разсужденій тащили его «въ циркулъ до кóзы». — Такъ повелѣвалъ подпольный оберъ-полиціймейстеръ, и правительственная полиція безпрекословно исполняла его распоряженія. Впрочемъ, это не покажется особенно мудренымъ, если принять въ соображеніе, что между варшавскими полиціантами много было тайныхъ агентовъ революціоннаго ржонда. Въ ряду модныхъ проявленій стояло также необычайное сочувствіе къ Гарибальди, и къ его аспромонтскому сапогу. Имя итальянскаго героя повторяли даже и тѣ, кто о немъ не имѣлъ никакого понятія: «есть-де въ Польшѣ такой человѣкъ, Гарибальди называется, онъ-де и все возстаніе поднялъ, онъ же и москалей выгонитъ». Фотографическія карточки его раскупались бойко; фотографы дѣлали хорошіе «гешефты» не только съ его портретами, но даже и со снимками съ его сапога, пробитаго пулей при Аспромонте. Варшавская фантазія изукрасила этотъ сапогъ эмблемами и аттрибутами польскаго возстанія, окруживъ его косиньерами и аллегорическими фигурами Литвы, Польши, Свободы и пр. Столь же бойко раскупались карточки Лангевича и Пустовойтовой, о которыхъ разсказывали всевозможныя легенды самаго героическаго свойства. Сплетнямъ, суевѣріямъ, баснямъ и разговорамъ не было конца — и всему вѣрилось безусловно. — «Франція уже тутъ на границѣ!» болтаетъ одинъ. «Макъ-Магонъ съ 7-мъ корпусомъ уже вступилъ въ Люблинскую губернію и наполеоновскій орелъ летитъ на помощь польскому бѣлому орлу», прибавляетъ другой. — «Саксонскій консулъ арестованъ въ Варшавѣ, и такъ какъ французскій консулъ воспротивился этому акту возмутительнаго своеволія, то посланники отозваны», таинственно повѣствуетъ третій. — «Наполеонъ не посмѣетъ отказать въ помощи, потому что шавельскіе инсургенты послали ему письмо съ угрозой, если не поможетъ, то будетъ преданъ суду шавельскаго революціоннаго трибунала и неминуемо подвергнется «справедливой смертной казни» [1]). Герценъ съ Бакунинымъ собираютъ «легіонъ русскихъ братій» Ученики военныхъ училищъ затѣваютъ бунтъ въ пользу поляковъ, солдаты поклялись, что впредь

[1]) Фактъ.

Digitized by Google

не будутъ сражаться, раскольники уже соединились съ повстанцами, Австрія наша союзница, «сама Хина (Китай) за насъ идзе!» Москаль бѣжитъ, и наши легіоны вездѣ одерживаютъ побѣды!»—Таковъ былъ общій тонъ всѣхъ разговоровъ и сообщеній. Общую увѣренность въ побѣдахъ поддерживали революціонныя «Вядомосци съ поля битвы», гдѣ безпрестанно печатались громкіе бюллетени и донесенія о блистательно выигранныхъ битвахъ. Краковскій «Часъ» немедленно же перепечатывалъ эти извѣстія, откуда они расходились уже во всѣ европейскія газеты. Остальные летучіе подпольные листки — «Стражница», «Рухъ», «Новины Политичне» и «Правда» наперебой трубили о необычныхъ подвигахъ польскихъ героевъ, и все это сопровождалось твердою увѣренностью въ божественную помощь, которая уже проявляется въ чудесахъ и знаменіяхъ; говорили, что гдѣ-то въ близкой окрестности уродились чудотворные бобы съ изображеніемъ польскаго орла, что на Смочей улицѣ, близъ Повонзковскаго кладбища, выросло *дрзжево чудотворне* съ изображеніемъ креста — и вся Варшава бѣгала на Смочу смотрѣть что̀ за *дрзжево*; и хотя никакого креста на немъ не призрастало, тѣмъ не менѣе траурныя дамы стояли передъ деревомъ на колѣняхъ и молились, ударяя себя въ грудь кулаками, а мужчины благоговѣйно обнажали головы. Одинъ парафіальный ксендзъ объявилъ въ проповѣди, что «Матка Бозка Ченстоховська» дала ему слово провести подъ цидатель французскій броненосный флотъ,—и опять вся Варшава, въ теченіе нѣсколькихъ дней, бѣгаетъ на берегъ Вислы и на мостъ, и смотритъ вдаль, наводитъ бинокли, подзорныя трубы и ждетъ когда-то появится наконецъ «Матка Бозка» съ броненоснымъ флотомъ. И добро бы дѣлало это простонародіе, а то нѣтъ: расфранченные «элеганты» и изящныя дамы пріѣзжали въ экипажахъ и тоже наводили вдаль бинокли и лорнеты. Ловкіе евреи продавали носовые платки и сорочки, омоченные въ крови (вѣроятнѣе всего въ телячьей), увѣряя и божась, что это кровь того или другого изъ казненныхъ мучениковъ. И всѣ охотно вѣрили, или показывали видъ, что вѣрятъ столь грубой мистификаціи, раскупая нарасхватъ платки «свентыхъ менченикувъ замордованныхъ». А между тѣмъ въ Варшавѣ повторялись безпрестанныя убійства. Рѣдко проходилъ день безъ того, чтобы не пала одна, двѣ и болѣе жертвъ отъ руки народовыхъ «операторовъ». Убивали мужчинъ, убивали и женщинъ; такъ, между прочими, была заколота кинжаломъ на мосту одна очень молоденькая и замѣчательной красоты дѣвушка изъ хорошаго семейства, въ то время какъ выходила утромъ изъ купальни— и вся Варшава только плечами пожала отъ недоумѣнія: сами поляки не могли понять, за что сдѣлано такое убійство и чѣмъ могло провиниться или повредить ржонду это невинное существо? Подъ предлогомъ политической казни нерѣдко дѣйствовала личная месть и даже нѣчто хуже, а именно расчетъ отдѣлаться отъ назойливаго кредитора. Того-то закололи, этого зарѣзали, тамъ повѣсили, здѣсь отравили—только, бывало, и слышно изо-дня-въ-день по Варшавѣ, такъ что, наконецъ, подобнаго рода новости перестали даже производить свое впечатлѣніе: къ нимъ привыкли какъ къ явленію нормальному, и самое вниманіе общественное какъ-то притупилось къ нимъ вслѣдствіе безпрестанныхъ повтореній.

А на цитадельной эспланадѣ, время отъ времени, разыгрывались иныя трагедіи... Туманное утро. На сѣроватомъ фонѣ небосклона чернѣется силуэтъ эшафота, съ двумя столбами и перекладиной, покоемъ. Вокругъ него ряды войскъ; въ отдаленіи широко раскинувшаяся цѣпь конныхъ казаковъ едва сдерживаетъ напоръ массъ любопытнаго народа. Вотъ послышался монотонный бой барабана... Изъ воротъ цитадели показалась процессія. Открываетъ это шествіе оригинальная фигура верхомъ на замундштученномъ ворономъ конѣ; на головѣ — цилиндръ, обвитый траурнымъ крепомъ, на рукахъ бѣлыя лайковыя перчатки, поверхъ чернаго фрака накинута на плечи широкая красная мантія съ кистями. Это— панъ Дитвальдъ, наслѣдственный «мечъ справедливѡсци» города Варшавы. За его красной мантіей идутъ «гицеля», помощники и прислужники по его профессіи; а за ними въ нѣсколькихъ шагахъ разстоянія медленнымъ шагомъ выступаетъ ксендзъ-бернардинъ, въ своей коричневой хламидѣ, съ распятіемъ въ рукахъ, и рядомъ съ нимъ кто-то мертвенно-блѣдный, полуживой, полусознающій все совершающееся вокругъ него въ данную минуту... Онъ шатается отъ слабости, ноги его подкашиваются,— одинъ изъ гицелей поддерживаетъ его подъ руку; сзади жандармъ несетъ бѣлый саванъ съ остроконечнымъ капюшономъ; вокругъ этой группы сверкаютъ штыки конвоя, а по бокамъ ѣдутъ конные жандармы съ обнаженными саблями. Процессія останавливается предъ эшафотомъ. Осужденному велятъ обнажить голову. «Слушай, на кра-улъ!» раздается команда, и вслѣдъ за ней звуки горновъ и барабановъ. Аудиторъ выступаетъ впередъ съ листомъ бумаги, и все умолкаетъ. На нѣсколько минутъ водворяется мертвая тишина. Слышится чтеніе приговора, а тамъ опять грянула дробь барабановъ. «Мечъ правосудія» подходитъ къ осужденному, беретъ его за руку и, подведя подъ висѣлицу, передаетъ своимъ помощникамъ а самъ торопится сорвать съ руки и брезгливо бросить на землю перчатку, «осквернённую» прикосновеніемъ къ убійцѣ. Гицеля принимаются за работу. Словно пауки, живо и

Digitized by Google

ловко опутываютъ они веревкой руки и ноги осужденнаго, напяливаютъ на него смертный мѣшокъ, закрываютъ голову и лицо капюшономъ, ставятъ на скамейку, черное ожерелье веревки уже захлестнуто вокругъ шеи... Мгновеніе—и бѣлая фигура болтается подъ покоемъ. Стонъ и гулъ раздается вдали за казачьей цѣпью... Панъ Дитвальдъ сосредоточенно смотритъ на свои карманные часы, считаетъ секунды и взглядываетъ порой на болтающуюся фигуру. Проходитъ минуты двѣ. «Скончóны!» тихо и авторитетно произноситъ онъ, и подъ протоколомъ казни подписываетъ свое имя съ традиціоннымъ титуломъ «мечъ справедливѣсци». Войска уходятъ, красная мантія снимается, и все кончено... Но тамъ, въ массахъ народа не кончаются вопли, рыданія, колѣнопреклоненіе, изступленная молитва, изступленная злоба и рокотъ проклятій...

X.

Вновь испеченный.

Съ началомъ вооруженнаго возстанія, полкъ, въ которомъ служилъ Хвалынцевъ, выступилъ изъ-подъ Варшавы и отдѣльными эскадронами вошелъ въ составъ нѣсколькихъ отрядовъ. До Константина доходили иногда вѣсти объ экспедиціяхъ и стычкахъ, гдѣ участвовали его товарищи, въ то время, какъ онъ по неволѣ долженъ былъ лежать въ Уяздовскомъ госпиталѣ и возиться со своей раной, опасность которой требовала весьма тщательнаго, осторожнаго и продолжительнаго лѣченія. Ему до смерти надоѣло валяться на госпитальной койкѣ, въ то время, какъ другіе живутъ такой кипучей, лихорадочной жизнью и дѣятельностью, дерутся, борятся, испытываютъ столько новыхъ разнообразныхъ и сильныхъ впечатлѣній. Онъ всей душой рвался на волю изъ своей госпитальной палаты, а между тѣмъ медики каждый разъ утѣшаютъ, что лѣченіе идетъ правильно и прекрасно, но... все еще надо «погодить маленько», все еще рано выписываться.

Не разъ теперь глубоко и грустно раздумывался онъ надъ своимъ нравственнымъ положеніемъ. Давно уже онъ отрезвился, давно уже повязка спала съ его глазъ, и вѣры въ «общее дѣло» давно уже не было въ его душѣ; единственная связь съ этимъ «дѣломъ», созданная роковымъ недоразумѣніемъ и слѣпой страстью къ Цезаринѣ, была окончательно порвана, а предательскій ударъ кинжала окончательно освобождалъ его отъ всякихъ отношеній и къ польскому заговору, и къ жалкой шайкѣ Варшавскаго Отдѣла «Земли и Воли». Теперь онъ могъ честно, безъ внутренняго разлада, безъ внутреннихъ противорѣчій съ самимъ собой чувствовать себя русскимъ, — человѣкомъ своей родины и своего народа, который такъ громко и такъ высоко на весь міръ заявлялъ себя въ ту напряженную тревожную эпоху. Все, что было въ немъ чужого, наноснаго, извращеннаго при помощи талантливой пропаганды «Колокола» и иныхъ нерусскихъ идей и стремленій — все это теперь отпало, смылось съ его души: правда жизни взяла верхъ надъ сочиненной и предвзятой ложью чуждой пропаганды. Но втайнѣ его все-таки снѣдалъ и грызъ неотвязный упрекъ совѣсти за свое прошлое, за временное отступничество отъ *своихъ*, за свое малодушное якшаніе съ завѣдомыми врагами своей земли и народа. Онъ произнесъ полное осужденіе самому себѣ и жаждалъ только одного, чтобы милость судьбы дала ему возможность искупленія, которое было ему нужно не ради какихъ-либо выгодъ житейскаго спокойствія, не ради увѣренности, что его не тронутъ, не потянутъ къ расплатѣ—ни расплатъ, ни наказанія онъ не страшился: онъ принялъ бы ихъ покорно и легко, какъ должное, какъ заслуженное,—но искупленіе было нужно ему ради собственной совѣсти, ради внутренняго примиренія съ самимъ собой, все равно, будетъ ли принесено ему это искупленіе карающимъ приговоромъ военнаго суда или самъ онъ возьметъ его себѣ съ бою въ кровавой схваткѣ, и вотъ почему онъ такъ жадно стремился вырваться поскорѣе изъ стѣнъ Уяздовскаго госпиталя. Наконецъ, въ апрѣлѣ мѣсяцѣ доктора объявили ему однажды, что онъ здоровъ совершенно, и чрезъ часъ его уже не было въ Уяздовѣ.

Приказъ о производствѣ его въ офицеры, по выслугѣ установленнаго срока, былъ полученъ еще въ то время, когда онъ лежалъ въ госпиталѣ. Наскоро обмундировавшись въ два-три дня и явившись въ штабъ да по начальству, онъ на четвертый день, съ первой же «летучей оказіей», сопровождаемой конвоемъ казаковъ, въ числѣ другихъ попутчиковъ, ѣхалъ уже по назначенію къ своему эскадрону.

Эскадронъ майора Вѣтохина, куда командиръ полка зачислилъ теперь Хвалынцева, былъ на ту пору расположенъ въ мѣстечкѣ Нова-Руда Августовской губерніи, въ районѣ которой ему приходилось то занимать наблюдательные пункты, то держать кордонную линію, то вдругъ экстренно собираться и входить въ составъ какой-либо подвижной колонны, дѣлать громадные переходы, рыскать по лѣсамъ и болотамъ, отыскивая повстанцевъ, разсѣевать и гнать ихъ при встрѣчѣ—все это, въ совокупности, представляло жизнь, исполненную самой кипучей дѣятельности, тревогъ и самыхъ разнообразныхъ впечатлѣній.

Командиръ эскадрона — старый сивоусый майоръ, холостякъ, прослуживший двадцать-два года все въ одномъ и томъ же гусарскомъ полку, подравшійся на своемъ вѣку и противъ

Digitized by Google

венгерцевъ, и противъ турокъ на Дунаѣ, принялъ Хвалынцева такъ, какъ могъ принять только родной отецъ и какъ умѣютъ пока еще принимать у насъ молодыхъ офицеровъ старые, закаленные въ армейской службѣ служаки.

— Испекли?—воскликнулъ онъ съ добродушной радостью, хлопнувъ Константина по наплечной корнетской гомбочкѣ.

— Какъ видите, майоръ...

— Вижу, голубчикъ, вижу! Ужь не первый десятокъ вашего брата, вновь испеченнаго, у себя вижу, а пожалуй что и за сотню перевалило!.. Въ Бога вѣруешь?

— Вѣрую.

— Царя чтишь?

— Чту.

— Товарищей уважаешь?

— Уважаю.

— А водку пьешь?

— Пью.

— Ну, обними меня!.. Поцѣлуемся!.. Гусаръ, значитъ, будешь хорошій... Ну, а на счетъ службы у меня ухо востро держи! Уговоръ лучше денегъ; хочешь служить, такъ наперед знай: дружба дружбой, а служба службой.—Взыщу, и строго взыщу, коли за дѣло!.. А другомъ все-таки буду, и ты, старика, не осуди—потому таковъ ужь порядокъ, дѣло святое!.. Что́ ни понадобится, бѣги прямо какъ къ отцу родному—отказу не будетъ! Эй! Чубарый!—крикнулъ онъ своего денщика,—приготовь-ка, братецъ, поживѣй закуску, да бѣги къ господамъ офицерамъ, скажи: майоръ-де немедленно просить изволятъ на водку—вновь испеченнаго корнета вспрыснуть, по обычаю!.. Живо!.. Ну-съ, ваше благородіе,—обратился онъ вслѣдъ за тѣмъ къ Хвалынцеву, — «кладите шляпу, сдѣньте шпагу», венгерку на распашку и будьте какъ дома, потому офиціальное представленіе ваше кончено.

Въ тотъ же самый день, въ убогой хатѣ того же самаго майора, эскадронные товарищи радушно приняли въ свою боевую среду новаго друга, и узы братства были заключены между ними съ перваго же раза. Ничто такъ не сближаетъ людей и не роднитъ ихъ между собою, какъ боевая жизнь и обстановка.

XI.

Рѳбакъ, ксендзъ-партизанъ и вѣшатель.

Во второй половинѣ мая мѣсяца, въ окрестностяхъ Новой-Руды пошли тревожные слухи о цѣлой бандѣ жандармовъ-вѣшателей, которая перекинулась черезъ Нѣманъ изъ Виленской губерніи, гдѣ-то неподалеку отъ Гайлунъ и Друскеникъ, и — во главѣ со своимъ довудцей, ксендзомъ Рѳбакомъ, — производитъ разныя безчинства, жестокости, казни и облагаетъ крестьянъ подушной податью. Придя въ одну деревню и узнавъ, что тамошнія дѣвушки танцовали на своемъ сельскомъ праздникѣ съ солдатами проходившей роты, ксендзъ-довудца приказалъ собрать всѣхъ дѣвушекъ на выгонъ и пересѣчь ихъ до единой. Въ другомъ мѣстѣ приспѣшники его захватили отставного солдата, который служилъ сторожемъ при сельскомъ хлѣбномъ магазинѣ, выкололи ему глаза и вырвали изъ суставовъ руки, а потомъ ноги, «для того, чтобы впредь могъ исполнять какъ слѣдуетъ свою обязанность». Въ третьемъ мѣстѣ поймали по дорогѣ казака и заживо изрѣзали его въ куски, еще гдѣ-то живьемъ закопали въ землю нѣмецкаго колониста, повѣсили русскаго учителя и фельдшера, распоровъ первому животъ, а второму прибивъ къ груди его паспортъ четырьмя гвоздями; какому-то крестьянину содрали съ головы кожу и оставили при немъ записку, что это «заломалъ его медвѣдь польскій за сочувствіе и послуги медвѣдямъ русскимъ». Вообще, ни одинъ изъ довудцевъ не предавался такимъ изысканнымъ жестокостямъ, какъ знаменитый ксендзъ Рѳбакъ (червякъ), взявшій себѣ этотъ псевдонимъ изъ Мицкевича «пана Тадеуша» и стяжавшій громкую, но черную славу даже между своими соотечественниками. Оставляя по себѣ такіе ужасные слѣды, Рѳбакъ долгое время былъ рѣшительно неуловимъ. Онъ отлично зналъ край и, нагоняя жестокаго страху на жителей, опасавшихся его мщенія и потому молчавшихъ о близкомъ присутствіи ксендза-вѣшателя, этотъ палачъ постоянно успѣвалъ съ замѣчательною ловкостью ускользать отъ преслѣдованія русскихъ отрядовъ, хотя и вертѣлся у нихъ то съ боку, то въ тылу, то прямо подъ носомъ. Становилось ли ему жутко въ Тракскомъ уѣздѣ, онъ перекидывался за Нѣманъ въ «Корону», [1]) къ Сейнамъ, къ Августову или къ Маріамполю; начинали ль тѣснить и облавить его здѣсь, онъ снова уходилъ за Нѣманъ, куда-нибудь въ Ковенскую губернію и начиналъ разгуливать по Жмуди, а черезъ нѣсколько времени, гляди, опять появляется то тамъ, то сямъ на мѣстахъ своихъ прежнихъ подвиговъ. Въ этомъ отношеніи Рѳбакъ обладалъ замѣчательнымъ партизанскимъ талантомъ. Часто банда его раздѣлялась на нѣсколько мелкихъ отрядцевъ, подъ временнымъ начальствомъ особо-довѣренныхъ подручныхъ, и въ то время, какъ самъ онъ находился въ одномъ какомъ-нибудь пунктѣ, подручные принимали на себя его псевдонимъ и дѣйствовали, то-есть казнили, въ разныхъ направленіяхъ. Такимъ образомъ, страшное имя его гремѣло одновременно во многихъ мѣстахъ и на зна-

[1]) „Короною“ поляки называютъ собственно коренную Польшу, въ отличіе отъ Литвы и Руси, которыя считаются у нихъ „провинціями“, относительно-главной метрополіи.

Digitized by Google

чительныхъ разстояніяхъ, становилось чѣмъ-то вездѣсущимъ и пріобрѣтало легендарное значеніе. Ксендзъ Рѳбакъ былъ вездѣ и нигдѣ; вездѣ куролесилъ, казнилъ, наводилъ ужасъ и нигдѣ не давался въ руки.

Какъ только дошли въ Августовъ слухи и вѣсти о появленіи Рѳбака, начальникъ мѣстнаго военнаго отдѣла тотчасъ же распорядился отправить на поиски нѣсколько отрядовъ въ разныхъ направленіяхъ.

XII.

Старый знакомый нежданнымъ гостемъ.

Майоръ Вѣтохинъ со своими офицерами только-что садился во второмъ часу дня за обѣдъ, какъ подъѣхала къ его хатѣ обывательская парная подвода, въ сопровожденіи четырехъ конвойныхъ казаковъ верхами.

— Кого Богъ даетъ?—спросилъ майоръ, вглядчиво оборачиваясь къ окну со своего мѣста.

— Чужой кто-то... старикъ... майорскіе погоны пѣхотные,—объявилъ одинъ изъ офицеровъ, ближе всѣхъ сидѣвшій къ растворенному окошку.

Черезъ минуту дверь отворилась.

— Хлѣбъ да соль, господа!.. Извините!—снимая на порогѣ запыленную фуражку, нѣсколько смущенно проговорилъ вошедшій, очевидно, никакъ не чаявшій попасть прямо къ обѣду.—Могу я видѣть эскадроннаго командира?—прибавилъ онъ, обводя присутствовавшихъ вопросительнымъ взглядомъ.

— Къ вашимъ услугамъ!—поднялся съ мѣста майоръ и назвалъ свою фамилію.

— Позвольте передать... отъ полковника Пчельникова,—съ полупоклономъ проговорилъ старикъ-пѣхотинецъ, доставъ изъ бокового кармана пакетъ за казенной печатью.

— Садитесь, пожалуйста,—предложилъ ему Вѣтохинъ и, сорвавъ конвертъ, пробѣжалъ глазами бумагу. По мѣрѣ чтенія лицо его все болѣе и болѣе озарялось довольной улыбкой.

— Поздравляю, господа, съ экспедиціей!—радостно проговорилъ онъ наконецъ, обращаясь къ своимъ офицерамъ, и въ полголоса, какъ бы подъ большимъ секретомъ, но вполнѣ внятно сталъ читать имъ «конфиденціальное сообщеніе». «Вслѣдствіе предписанія г. начальника отдѣла, отъ такого-то числа, за № такимъ-то, ввѣренный вамъ эскадронъ назначенъ въ составъ моего отряда, а посему предписываю вашему высокоблагородію, съ полученіемъ сего, немедленно изготовиться къ экспедиціи противъ появившейся въ окрестностяхъ шайки ксендза Рѳбака. Ввѣренный мнѣ отрядъ прибудетъ въ мѣстечко Нову-Руду сего числа вечеромъ и послѣ трехчасового привала двинется въ направленіи на Красно, Сапочкинъ и Ятвице. Не дожидаясь моего прибытія, ваше высокоблагородіе имѣете выступить, въ видѣ авангарда, какъ наискорѣе, въ томъ же направленіи, своевременно посылая ко мнѣ донесенія обо всемъ, что будетъ замѣчено вашими разъѣздами. Въ случаѣ если-бы шайка Рѳбака переправилась обратно за Нѣманъ, то, не стѣсняясь переходомъ оной въ районъ Виленскаго военнаго округа, преслѣдовать безостановочно, но при этомъ вы имѣете озаботиться о средствахъ переправы для моего отряда. NN—скаго пѣхотнаго полка командиръ полковникъ Пчельниковъ».

— Ура!—крикнулъ было одинъ изъ офицеровъ, радостно сорвавшись съ мѣста.

— Тсс!.. остановилъ его эскадронный,—секретъ, господа, прежде всего секретъ!.. Тутъ вѣдь за каждымъ нашимъ шагомъ слѣдятъ и все передаютъ повстанцамъ: узнаютъ часомъ ранѣе, и пиши пропало! Вся экспедиція ни къ чорту!.. Уйдутъ!..

И Вѣтохинъ сейчасъ же послалъ за эскадроннымъ вахмистромъ, чтобы отдать ему приказанія о секретномъ сборѣ.

Старый пѣхотинецъ сталъ отказываться.

— Куда же вы, майоръ?—остановилъ его Вѣтохинъ.—Погодите...

— Нельзя-съ, тороплюсь въ Пяски... тамъ велѣно мнѣ взять роту да пятьдесятъ казаковъ и тоже идти на поиски.

— Да вы туда какъ? На подводѣ?

— На обывательской, подъ конвоемъ.

— Такъ погодите же, пока перепрягаютъ... пять минутъ!.. Перекусите чѣмъ Богъ послалъ... Господа, угощайте майора!

Съ первой минуты появленія новаго гостя, его лицо, его голосъ и вся фигура сказались Хвалынцеву чѣмъ-то знакомымъ. Нѣкоторое время онъ вглядывался въ физіономію старика и наконецъ подошелъ къ нему.

— Извините, майоръ, ваше имя Петръ Петровичъ Лубянскій?—спросилъ онъ.

— Да, я Лубянскій.

— Вы не знаете меня?

Старикъ пристально вскинулся на него глазами.

— Господи Боже мой!.. Да неужели Хвалынцевъ?!.. Батюшка!.. Какими судьбами?..

И они бросились въ объятія другъ друга.

Пошли разспросы: какъ? что? Старика усадили за столъ. Онъ-таки проголодался съ дороги. Хвалынцевъ между прочимъ неосторожно спросилъ его про дочку, про его Нюточку и вдругъ, замѣтивъ, что лицо майора на мгновенье передернуло что-то глубоко и затаенно скорбное, спохватился, что вѣроятно сдѣлалъ какой-нибудь промахъ, но уже было поздно.

— Умерла,—отрывисто и какъ бы вскользь проговорилъ Лубянскій.—Вотъ почему-то и я... какъ видите, тоже здѣсь,—продолжалъ онъ,—надоѣло, знаете, тамъ-то... Что, думаю, одному

Digitized by Google

бобылёмъ на старости лѣтъ быкáться! И пошелъ сюда... Здѣсь все-же жизнь... И пользу какую ни есть принести можно... Да и тово... отвлеченіе, знаете, есть для себя... Здѣсь лучше... А умирать все-равно надо... такъ ужь лучше здѣсь умереть... по-солдатски, по крайней мѣрѣ!.. Люди нашего вѣка, батюшка, все ужь помаленьку на тотъ свѣтъ подбираться начинаютъ... Старуху Гореву помните?

— Тетку Татьяны Николаевны?—весь встрепенулся Хвалынцевъ. — Какъ не помнить, помилуйте!.. Что-жь она?

— А тоже вотъ недавно... долго жить приказала.

— А Татьяна-то Николаевна какъ-же теперь?—помолчавъ, спросилъ Хвалынцевъ, на котораго это неожиданное извѣстіе произвело нѣсколько грустное впечатлѣніе.

— Да что-жь Татьяна Николаевна!—пожалъ старикъ плечами,—одна осталась, круглой сиротою...

— Не вышла замужъ?—понижая голосъ и съ чувствомъ какого-то затаеннаго внутренняго опасенія продолжалъ Хвалынцевъ, почувствовавъ, что ему будетъ больно и тяжело узнать, если Татьяна позабыла его.

— Э, гдѣ ужь!—махнулъ Петръ Петровичъ. — Помилуйте, за кого тамъ выйти... Да она, кажись, и не думаетъ объ этомъ. Фантазерка она большая, но хорошая, честная фантазерка.

— А что?—насторожилъ уши Хвалынцевъ.

— Да какъ-же!—усмѣхнулся майоръ. — Писалъ мнѣ этта недавно Устиновъ, Андрей Павлычъ... А, кстати,—перебилъ онъ самого себя,—Устиновъ-то... вы не слыхали? Вѣдь онъ теперь здѣсь, недалеко, по сосѣдству!

— Какъ такъ?—радостно встрепенулся Хвалынцевъ.

— Да какъ-же!.. Въ Гроднѣ!.. Тамъ у него, пишетъ, есть старый пріятель какой-то... Какъ бишь его?.. Забылъ... докторъ военный...

— Холодецъ?—подсказалъ Константинъ.

— Ну, ну, онъ самый и есть!.. Они вмѣстѣ и живутъ теперь.

— Да Устиновъ-то какими-же судьбами въ Гроднѣ очутился?

— А очень просто-съ. Вѣдь онъ въ послѣднее время въ Питерѣ жилъ безъ мѣста; ну, а тутъ вдругъ въ Сѣверо-Западный край русскихъ людей стали на службу вызывать, онъ и поѣхалъ учителемъ въ гимназію... Назначили въ Гродну, а тамъ нечаянно съ этимъ пріятелемъ своимъ столкнулся... И прекрасно, пишетъ, устроился!..

— Ваше высокоблагородіе, подвода готова,—доложилъ вошедшій казакъ и тѣмъ невольно прервалъ дальнѣйшіе разспросы.

— Да и намъ, господа, время. Собирайтесь-ка поживѣе,—замѣтилъ Вѣтохинъ своимъ офицерамъ.

— Ну, а Татьяна-то Николаевна?.. Вы про нее хотѣли что-то... Бога ради, хоть одно слово еще!—съ живымъ и нетерпѣливымъ любопытствомъ приставалъ межъ тѣмъ Хвалынцевъ, удерживая Лубянскаго за руку.

— Ну, батюшка, долго разсказывать!.. Некогда!—благодушно улыбнулся ему старый майоръ, выходя изъ хаты и на ходу прощаясь съ офицерами. — Вотъ погодите,—прибавилъ онъ,—побьемъ Рóбака, встрѣтимся, дастъ Богъ, послѣ экспедиціи, тогда ужь все разскажу вамъ на досугѣ!

И черезъ минуту пароконная подвода, окруженная четырьмя казаками, быстро покатила по дорогѣ въ Пяски, оставляя за собой облака золотистой пыли.

Въ это время гусары уже выводили изъ конюшенъ лошадей и строились на площади предъ квартирой майора. Любопытные жидки озабоченно шныряли туда и сюда, стараясь пронюхать въ чемъ дѣло, а изъ-за угловъ подозрительно и враждебно выглядывали пытливыя физіономіи разныхъ обывателей и обывательницъ изъ мѣстной «дробной шляхты», которая въ этомъ внезапномъ сборѣ эскадрона инстинктивно уже учуяла что-то недоброе для своей «свентей справы» и только искала случая, какъ-бы предувѣдомить кого слѣдуетъ о грозящей опасности.

XIII.

Мученики, не вписанные въ „мартирологи Колокола“.

Первыя двѣнадцать верстъ эскадронъ сдѣлалъ безъ всякихъ приключеній. Въ попутныхъ деревняхъ и мужчины, и женщины встрѣчали его совершенно спокойно, стоя группами у своихъ хатъ, еъ кучей разной дѣтворы; молодицы охотно выносили ведра съ водой утолять жажду солдатъ, а мужики кланялись, снимали свои «капелюхи» и свободно отвѣчали на разспросы—все это для опытнаго майора служило вѣрнымъ признакомъ, что банда не посѣщала еще этихъ селеній и не бродила въ ближайшей окрестности. Но вотъ, прошли еще верстъ десять, и поведеніе крестьянъ въ дальнѣйшихъ деревняхъ рѣзко измѣнилось. Здѣсь уже, при входѣ отряда въ околицу, хлопъ ни на кого не глядитъ, прячется, пугается, спѣшитъ смущенно удрать куда-нибудь подальше и на разспросы отвѣчаетъ однимъ лаконическимъ «нѣвѣмъ». Такое поведеніе тоже служило однимъ изъ признаковъ, но это уже былъ вѣрный признакъ близости непріятеля. Это значило, что банда только-что побывала въ деревнѣ, успѣла настращать крестьянъ, наобѣщать имъ висѣлицъ и пожаровъ за общеніе съ москалемъ, успѣла быть-можетъ кого нибудь увести и повѣсить для примѣра, и теперь

Digitized by Google

скрывается гдѣ-нибудь тутъ же, въ ближайшемъ сосѣдствѣ. Эскадронъ усилилъ мѣры военныхъ предосторожностей и безостановочно двигался дальше. Вотъ лѣсъ навстрѣчу, и на самой опушкѣ его замѣчены уже явные слѣды недавняго становища: полупотухшій костеръ, окурки папиросъ, оборвыши бумажекъ, портянка какая-то, клочки разбросаннаго сѣна и соломы.

— Господи!.. Братцы, гльди-тко, страсть какая!—раздался вдругъ голосъ одного изъ солдатъ, посланныхъ обшарить мѣсто покинутаго бивуака.

На зовъ его бросилось нѣсколько всадниковъ, которые вдругъ остановились у одного изъ деревьевъ въ безмолвномъ негодованіи и въ смущеніи. Предъ ними качался на суку обнаженный трупъ четырнадцатилѣтней дѣвочки, удавленной узломъ изъ собственныхъ косъ и повѣшенной за волосы. На груди ея пригвождена была бумажка съ надписью: *По подозрѣнію въ шпіонствѣ.*

— Глянь-ко, братцы, дѣвонька-то... а? Ну, какого зла могла она сдѣлать!—покачивая головами, тихо говорили промежъ себя гусары. Иные молча крестились и отъѣзжали прочь, другіе же озлобленно ворчали угрозу не давать убійцамъ пощады при встрѣчѣ. Просили-было у майора позволенія снять и закопать повѣшенную, «хоть съ молитвой, замѣсто христіанскаго погребенія», но мѣшкать было некогда: майоръ торопился накрыть банду врасплохъ и какъ можно скорѣе. Кто-то изъ солдатъ сорвалъ широкій листъ лопуха, положилъ его на землю, въ то мѣсто, надъ которымъ висѣла дѣвочка, и кинулъ на лопухъ копейку. Нѣсколько гусаръ молча послѣдовали примѣру товарища, и на лопухѣ въ минуту образовалась кучка мѣдныхъ денегъ.

— Для чего вы это, ребята? — спросилъ одинъ изъ офицеровъ.

— А пущай, ваше благородіе, на похороны ей будетъ, — отвѣтилъ кто-то изъ жертвователей.

— Да вѣдь это напрасно: придетъ какой-нибудь бродяга-повстанецъ и преспокойно заберетъ себѣ ваши гроши.

— Ну, и пущай его, ваше благородіе, коли грѣха не боится!.. Это все-единственно! А только все-жь ей отъ насъ, значитъ, пущай на поминки душѣ ея будетъ...

Офицеры, по примѣру солдатъ, тоже бросили въ кучку сколько-то мелочи и тронулись далѣе.

Но не прошелъ эскадронъ и нѣсколькихъ десятковъ саженей, какъ невдалекѣ отъ дороги послышался слабый, страдальческій стонъ. Особый патруль бросился въ ту сторону, и черезъ минуту изъ чащи выскочилъ на дорогу ефрейторъ съ донесеніемъ:

— Ваше высокоблагородіе!.. Раненый казачекъ лежитъ неподалечку-съ... шаговъ съ двадцать въ сторону будетъ.

Вѣтохинъ съ Хвалынцевымъ бросились по указанію ефрейтора, и оба невольно вскрикнули отъ ужаса.

Въ нѣсколькихъ шагахъ отъ раненаго валялись двое убитыхъ, а третій тутъ же висѣлъ на одномъ изъ деревьевъ, и въ этомъ третьемъ они вдругъ узнали старика Лубянскаго. На развороченную грудь его страшно было взглянуть.

Раненый казакъ былъ еще въ памяти и кое-какъ могъ разсказать случившееся. Оказалось, что часа три тому назадъ, когда Лубянскій проѣзжалъ мимо этого мѣста по лѣсной дорогѣ, съ обѣихъ сторонъ ея, изъ чащи еловыхъ кустарниковъ, вдругъ раздались залпы. Въ подлѣсной деревушкѣ майору перемѣняли подводу, а въ это время кто-то успѣлъ оповѣстить банду, которая устроила засаду. Подводчикъ былъ убитъ на мѣстѣ, майоръ раненъ въ бокъ, а съ нимъ вмѣстѣ и двумъ казакамъ досталось по пулѣ, остальные же двое кинулись-было на-утекъ, но одного изъ нихъ захватили, а послѣднему удалось-таки пробиться и ускакать по дорогѣ въ Пяски. Тогда повстанцы окружили путниковъ, стащили ихъ съ коней, а майора сняли съ подводы и всѣхъ повели въ чащу. Здѣсь надъ ними дѣлали разныя надругательства.

— Ксендзъ обѣщалъ помиловать, — разсказывалъ казакъ!—«И раны вамъ, говоритъ, вылѣчимъ, и денегъ по пятнадцати рублевъ дадимъ, только, значитъ, переходите къ намъ въ банду». А майоръ ему на это самое въ рожу плюнуть изволили. «Ну, говоритъ, коли ты такъ, готовься. Пять минутъ вамъ всѣмъ на покаяніе!» и приказалъ достать веревки. Майоръ одначе-жь не смутились, и мы тоже не захотѣли у ксендза крыжъ его цѣловать... Это его пуще всего взбѣсило. «Вы, говоритъ, теперь казаки, а я изъ васъ сдѣлаю улановъ», и приступилъ къ майору, велѣлъ снять съ него сюртукъ да рубашку и держать покрѣпче, а самъ кинжаломъ распоролъ ему грудь вдоль и поперекъ и приказалъ разворотить. «Это тебѣ, говоритъ, лацканы будутъ, теперь ты по гвардіи». Майоръ хоть бы охнулъ! Только и сказали ему на все на это «собаку».—«Видно, говорятъ, не знаешь ты, собака, русскаго солдата!» и снова плюнуть въ него изволили. Тогда они стали вѣшать майора: подвѣсятъ, вдакъ, маленько и опять опустятъ, подвѣсятъ и опустятъ, чтобы, значитъ, мученьевъ больше предоставить ему, но одначе-жь повѣсили-таки, наконецъ, и какъ только это вздернули, майоръ вдругъ руку изволили поднять и словно бы кулакомъ на нихъ на всѣхъ погрозиться, такъ что ажно всѣ дрогнули отъ страху

Digitized by Google

и стонъ пошелъ между ними... [1]) А тутъ вдругъ пригналъ на кляченкѣ жидокъ какой-то и кричитъ: «Ратуйтеся! Москàле выступаютъ!» И тутъ они всѣ ужасти какъ испужались! Вѣшать насъ уже некогда было, а приказали просто разстрѣлять, ну и впопыхахъ, уже садясь на коней, дали по насъ нѣсколько выстрѣловъ, говарищей на смерть убили, а меня Богъ помиловалъ: только поранили, значитъ... Одначе-жь я все-таки изъ опаски думалъ, что лучше мертвымъ прикинуться, и притворился эдакъ. А они, вѣрно, подумали, что убитъ и не трогали больше, и сейчасъ же всѣ ускакали... И лошадей нашихъ угнали, проклятые!.. Больно ужь лошадей-то жаль, ваше скородіе!..

Пока раненый велъ съ передышкой свой разсказъ, подъѣхалъ эскадронный вахмистръ и объяснилъ, что солдаты въ придорожномъ рву отыскали еще одно тѣло: это былъ убитый подводчикъ. Вѣтохинъ приказалъ гусарамъ снять Лубянскаго и подобрать убитыхъ. Весь эскадронный обозъ состоялъ изъ двухъ обывательскихъ подводъ. На одну изъ нихъ сложили мертвыхъ, а другую уступили подъ раненаго и съ возможною скоростью двинулись далѣе. Движеніе въ незнакомомъ и довольно густомъ лѣсу оказалось крайне затруднительно. Надо было осторожно и внимательно осматривать всѣ ближайшіе кусты и заросли, изъ которыхъ каждая могла таить въ себѣ засаду. Боковые патрули то и дѣло вязли въ болотныхъ трущобахъ, плутали въ чащахъ и ежеминутно рисковали отбиться отъ эскадрона. Сообщеніе между ними кое-какъ поддерживалось только условными свистками, въ которыхъ они старались подражать голосамъ разной лѣсной птицы.

Ужасная смерть Лубянскаго, видимо, сдѣлала сильное и глубокое впечатлѣніе на весь эскадронъ. Гусары, слышавшіе разсказъ раненаго казака, мрачно передавали его въ рядахъ другимъ товарищамъ.

— Ваше высокоблагородіе!—въ полголоса обратился къ Вѣтохину подъѣхавшій вахмистръ.—Люди очинно просятъ васъ, не прикажите щадить... потому больно ужь обидно!..

Вѣтохинъ понурился и не отвѣтилъ ни слова. Онъ сдѣлалъ видъ, будто не разслышалъ словъ своего стараго вахмистра. Отказать — значило заставить роптать на себя справедливо озлобленныхъ и оскорбленныхъ людей, а разрѣшить... Вѣтохинъ понималъ, къ какимъ ужаснымъ, безпощадно-кровавымъ результатамъ могло повести такое разрѣшеніе, а онъ зналъ, что въ бандахъ попадаются не только насильно захваченные крестьяне, но даже и двѣнадцатилѣтнія дѣти.

Но ни на комъ изъ офицеровъ вся тяжесть недавняго впечатлѣнія не отразилась такой скорбной грустью, какъ на Хвалынцевѣ. Порой что-то похожее на рыданія давило ему грудь и сжимало горло. Въ душѣ его смутно проходила цѣлая вереница воспоминаній: скромное зальце въ славнобубенскомъ домикѣ майора, и самъ майоръ въ своемъ стеганомъ халатикѣ за шахматной доской. Хорошенькая и капризная Нюта Лубянская... Устиновъ, Татьяна... И та звѣздная ночь вспоминается, когда они втроемъ возвращались со сходки у этой бѣдной Нюты... литературный вечеръ и несчастное приключеніе съ «Орломъ» гимназиста Шишкина... несостоявшаяся дуэль Устинова и снова Татьяна... А тамъ блуждающая мысль невольно какъ-то набредаетъ на закатъ солнца надъ Волгой, на послѣдній прощальный разговоръ въ садовой бесѣдкѣ съ Татьяной и на тѣ слова, которыя тогда говорила ему эта дѣвушка... И Богъ-вѣсть, зачѣмъ и для чего вспоминается теперь Хвалынцеву вся грустная прелесть ея простоты, ея скромнаго, дѣвственнаго, но глубокаго чувства, ея честный взглядъ, открытая, довѣрчивая улыбка и эта благоухающая свѣжесть ея молодости... Вспоминается и свое собственное чувство, которое зарождалось тогда въ его душѣ и которое было такъ безжалостно заглушено въ немъ ради другой обаятельной женщины... Казалось бы, давно ли все это было, а между тѣмъ уже цѣлая полоса жизни — и какой еще жизни! — прошла между этимъ недавнимъ прошлымъ и настоящимъ... И все это было забыто, все такъ скоро изгладилось въ душѣ, но вдругъ — сегодняшняя встрѣча съ майоромъ, мимолетный разговоръ съ нимъ за столомъ и эта нежданная, трагическая кончина снова поднимаютъ въ душѣ все прошлое, съ такой поразительной яркостью, съ такой болѣзненно-щемящей жаждой возврата всего, всего, что нѣкогда было столь дорого и мило... «Что онъ хотѣлъ мнѣ сказать о ней и не успѣлъ досказать?» мучилъ Хвалынцева безотвѣтный вопросъ, который заставлялъ предполагать за собой многое...

Но вдругъ размышленія его были прерваны двумя гусарами, прибывшими изъ передового разъѣзда. Одинъ изъ нихъ тащилъ за поводъ какую-то клячу, на которой сидѣлъ, весь сгорбившись, помертвѣлый со страху еврей, а другой, ѣхавшій сбоку, внушительно держалъ на изготовкѣ пистолетъ, направленный въ високъ сына Израилева.

— Еврея переняли, ваше скородіе! — доложилъ передовой майору.

— О?.. Что же онъ, знаетъ что-нибудь?—отозвался Вѣтохинъ.

— Говоритъ «ницъ», одначе-жь, надо быть

[1]) Исторически вѣрно. См. рапортъ частнаго военнаго начальника Кѣлецкаго уѣзда военному начальнику Радомскаго отдѣла отъ 7-го мая 1863 года (Военный журналъ отъ 19-го мая. „С.-Петербургскія Вѣдомости“ 1863 года, № 113) о смерти Полоцкаго пѣхотнаго полка капитана Никифорова.

Digitized by Google

вретъ, ваше скородіе, потому кабы ему не знать, то такъ бы прямо и ѣхать по дорогѣ, а онъ этта чуть завидѣлъ разъѣздъ, сейчасъ стрекача́ въ сторону—насилу догнали-съ!

— Бетхеръ, допытайте-ка его тамъ, въ обозѣ, да осмотрите напередъ, не найдется ли чего?—обратился майоръ съ непріятнымъ порученіемъ къ старшему поручику.

Конвоиры потащили арестанта на клячѣ вслѣдъ за Бетхеромъ, въ хвостъ эскадронной колонны.

— Готовь фухтеля, ребята!—послышался оттуда озлобленный голосъ поручика, у котораго еще сердце не уходилось послѣ недавней картины казненныхъ и который поэтому радъ былъ сорвать его на первыхъ порахъ хоть на подозрительномъ евреѣ.

— Ой вай! гевалтъ! Ясневельможны пане! Васше високоблягхордне блягхородю!—взвопилъ умоляющій плѣнникъ, при видѣ нѣсколькихъ внезапно обнаженныхъ сабель.

Между тѣмъ его обыскали и въ сапогѣ подъ подошвой нашли «мандатъ» на должность сельскаго жандарма народоваго ржонда, надписанный на имя Сруля Шепшела. Ясная улика была на лицо.

— То не мои чоботы, да́ли-бугхъ, не мои!—отнѣкивался еврейчикъ.

Но разговаривать было безполезно.

— Въ фухтеля его!

— Уй, пачака́йце! Вшистко доложу, вшистко!—упалъ онъ на колѣни и признался, что дѣйствительно состоитъ въ должности сельскаго жандарма, на обязанность котораго возложено шпіонство за русскими властями и войсками, своевременное предувѣдомленіе о ихъ мѣропріятіяхъ и движеніяхъ, а также наблюденіе за поведеніемъ жителей; признался также, что должность эту принялъ, во-первыхъ, потому, что получаетъ за нее десять рублей жалованья—«алежь ке́пську плацон', лайдаки!» [1]) а во-вторыхъ еще — и это главное — потому, что такая почетная должность внушаетъ обывателямъ «вельки страхъ» къ его «властной персонѣ», а за этотъ страхъ онъ можетъ взимать съ нихъ въ свою пользу разные негласные поборы. Затѣмъ открылъ онъ, что о назначеніи отрядовъ противъ Рѳбака тотчасъ же дано было знать по секрету мѣстному «начельнику» народныхъ жандармовъ, «ажъ зъ Августова», и чуть ли еще не по телеграфу, и что о выступленіи «гузарськѣго шквадрону» извѣстилъ его тоже сельскій жандармъ изъ сосѣдняго мѣстечка, который былъ предувѣдомленъ такимъ же образомъ другимъ своимъ товарищемъ-сосѣдомъ и въ свою очередь успѣлъ предупредить его, еврея, прискакавъ во весь духъ окольными путями, а онъ, Сруль Шепшелъ, уже извѣстилъ «его превелѐбну мосць пана ксендза Рѳбака, ктуры былъ тутай, алежъ якъ задалъ драпака, такъ ажъ до тыхъ часъ дра́пье!» [1])

— Куда онъ направился? По какой дорогѣ? Въ какое мѣсто?—допытывалъ поручикъ Бетхеръ, межъ тѣмъ какъ четыре гусара стояли надъ евреемъ, готовые принять его въ фухтеля своими обнаженными саблями.

Сруль Шепшелъ сначала было заминался и отнѣкивался: «кеды жъ я вѣмъ», да «что я знаю», но потомъ объявилъ, что если «ясневельможны войсковы москале» дадутъ ему «пянть-дзе́сенць рублі», то онъ ужь такъ и быть откроетъ имъ и всю банду и самого Рѳбака выдастъ головою. Пятидесяти рублей конечно ему не дали и даже не пообѣщали, а просто отправили связаннаго и подъ надежнымъ конвоемъ въ авангардный взводъ, приказавъ указывать дорогу и вести прямо на банду, съ тѣмъ, что если обманетъ или хоть чуточку покривитъ душой, то будетъ тотчасъ же изрубленъ на мѣстѣ.

Блѣдный жидокъ, притроченный къ сѣдлу своей «шкапы», съ закрученными на спину руками, весь дрожа и бормоча про-себя какую-то молитву да потряхивая пейсами, потрусилъ рысцой впередъ къ авангарду, между двумя гусарами. Съ одной стороны лезвіе сабли, а съ другой—остріе опущенной на-перевѣсъ пики очень непріятно блестѣли у него предъ глазами и безмолвно, но внушительно убѣждали, что кривить душой теперь уже нѣтъ ему ни малѣйшей возможности.

Между тѣмъ наступилъ уже вечеръ. Въ лѣсу становилось сумрачно и сыро. Кони, сдѣлавъ почти тридцати-верстный переходъ, съ однимъ незначительнымъ приваломъ, начинали уже нѣсколько уставать подъ своимъ тяжелымъ походнымъ вьюкомъ. Но остэнавливаться среди незнакомаго лѣса было бы рискованно, и потому Вѣтохинъ рѣшилъ продолжалъ путь, пока не выберется на открытую мѣстность, тѣмъ болѣе что Сруль Шепшелъ увѣрялъ и божился, будто скоро конецъ этому лѣсу. И точно, черезъ полчаса показались между порѣдѣвшими стволами сосенъ блѣдные просвѣты угасшаго заката.

Вскорѣ послѣ этого эскадронъ выбрался изъ опушки на открытую и широкую поляну, тонувшую въ тускломъ и слегка туманномъ сумракѣ вечера, сквозь который тамъ и сямъ мигало нѣсколько огоньковъ въ какихъ-то двухъ-трехъ деревнюшкахъ. Было тихо и на землѣ, и въ воздухѣ, только собаки заливались гдѣ-то около жилья да болотныя жабы далече въ какомъ-то тинистомъ ставку, подъ корявыми вербами, поднимали вечерній концертъ, монотонно выводя свои урчащіе и своеобразно-ме-

[1]) Да скверно платятъ, негодяи!

[1]) Который былъ здѣсь, но какъ задалъ стрекача, такъ и до сихъ поръ удираетъ.

Digitized by Google

лодическіе стоны. Вѣтохинъ остановился и стянулъ къ себѣ разсыпанные по лѣсу боковые разъѣзды.

Вдругъ впереди послышался, все болѣе и болѣе приближавшійся, быстрый конскій топотъ. Но въ авангардномъ взводѣ тихо: ни выстрѣла, ни голосовъ не слышно.

— Что́ жь это значитъ? Неужели свои?— въ полголоса обратился Хвалынцевъкъ майору.

— Ахъ, далъ бы Богъ, на подмогу!.. это бы недурно!—проворчалъ тотъ въ отвѣтъ, но на всякій случай перестроилъ эскадронъ изъ справа-по-шести во взводную колонну, чтобы въ моментъ выстроить фронтъ и встрѣтить атакой, если, неровенъ часъ, окажется вдругъ непріятель.

Между тѣмъ многочисленный топотъ слышался все ближе и ближе, и вскорѣ на дорогѣ сквозь густую пыль показалась какая-то темная масса. Очевидно, эта масса спокойно прошла мимо гусарскаго авангарда.

— Свои!.. Теперь нѣтъ сомнѣнія,—замѣтилъ одинъ изъ офицеровъ.

— Полусотня сто-ой! послышался оттуда чей-то командный голосъ, и топотъ стихъ въ ту же минуту, а на встрѣчу къ эскадрону отдѣлился и поскакалъ одинъ всадникъ.

— Эсаулъ Малявкинъ,— отрекомендовался онъ, подъѣхавъ къ майору и приложивъ къ козырьку руку, на которой болталась опущенная нагайка.

— Откуда вы?—освѣдомился Вѣтохинъ.

— Изъ Пясковъ... Бѣгимъ на выручку.. Пригналъ этта казачокъ насчетъ несчастья съ майоромъ Лубянскимъ... Ну, мы сейчасъ же по тревогѣ и выступили... Всю дорогу, почитай, на рысяхъ гнали... Пѣхотные тоже поспѣшаютъ за нами... Банду не встрѣнули?

— Къ сожалѣнію, нѣтъ еще!—вздохнулъ майоръ, пожавъ плечами.

— Досадно, чортъ! — крякнулъ сотникъ и, какъ бы для пущаго выраженія этого чувства, стегнулъ нагайкой по крупу своего вертляваго дончака-головодёра.—А не знаете ль, майоръ, прибавилъ онъ,—какія насчетъ насъ инструкціи были у Лубянскаго?

— Въ подробности не сказывалъ, а бумаги его вмѣстѣ съ сюртукомъ забралъ съ собой Рòбакъ,—отозвался Вѣтохинъ.

— Что́ жь намъ дѣлать теперича?.. Какъ прикажете?

— Да что́ жь, конечно, присоединяться къ эскадрону и дѣйствовать вмѣстѣ, пока полковникъ Пчельниковъ не пришлетъ изъ отряда особыхъ приказаній.

— Слушаю-съ!

И сотникъ опять закатилъ двѣ добрыя нагайки своему головодёру, который крутымъ поворотомъ взвился подъ нимъ на дыбы и какъ стрѣла помчался къ полусотнѣ.

Рѣшено было сдѣлать часа на четыре привалъ у ближайшей деревни, гдѣ подождать, пока подойдетъ пѣхотная рота, заготовить для нея сколь возможно болѣе обывательскихъ подводъ, выкормить лошадей и дать закусить людямъ, которые съ ранняго обѣда ничего не ѣли, да за-одно уже похоронить и своихъ покойниковъ.

Подошли къ околицѣ, и первымъ же дѣломъ, выставивъ вокругъ казачьи «бекеты», послали кое-кого изъ донцовъ пошарить по хатамъ да по стодòламъ, не отыщется ли «языка» какого.

Офицеры межъ тѣмъ улеглись себѣ въ кучку, подъ заборомъ крайней хаты, и принялись за сухомятную закуску, испивая изъ походной майорской фляги. Тутъ же рядомъ лошади мѣрно хрустѣли въ тишинѣ зубами, выѣдая подвѣшенныя торбы [1]), а люди поочередно принимали изъ рукъ вахмистра общую чарку водки, добытой въ жидовскомъ шинкѣ, безъ котораго не обходится ни одинъ польскій и литовскій поселокъ. Костровъ не разводили, чтобы не привлекать на себя безъ надобности вниманія повстанскихъ шпіоновъ, которые, въ разныхъ видахъ и образахъ, безпрестанно шныряли тайкомъ вездѣ и повсюду. Эта предосторожность была необходима, потому что повстанскія банды никогда не шли нашимъ отрядамъ на встрѣчу, а всегда удирали заблаговременно, и потому, чтобы вѣрнѣе настичь и захватить ихъ, необходимо нужно было, по возможности, скрываться отъ предупредительнаго вниманія польскихъ шпіоновъ.

— Ваше скородіе! языка въ стодолѣ поймали! Только молчитъ, не сказывается, шельма!—доложилъ вдругъ бойкій казачій урядникъ, за которымъ нѣсколько товарищей вели скрученнаго повстанца, въ чамаркѣ, въ штыфляхъ и въ рогатывкѣ. По всѣмъ наружнымъ признакамъ, это былъ одинъ изъ представителей «дробной шляхты» польской, а его костюмъ указывалъ на несомнѣнное знакомство съ лѣсомъ. Вѣтохинъ приказалъ препроводить его для разспросовъ въ казачью полусотню, гдѣ нагайки очень скоро развязали упорный языкъ шляхтича. Оказалось, что это былъ одинъ изъ членовъ шайки Рòбака, оставленный здѣсь для наблюденій за отрядами, по случаю отсутствія мѣстнаго жандарма. Отъ него же было узнано, что Рòбакъ, бывшій здѣсь часа три назадъ, ударился на-утекъ къ Нѣману, по направленію къ замку графовъ Маржецкихъ. Это показаніе совершенно согласовалось со свѣдѣніями, добытыми на пути отъ Сруля Шепшела. Медлить было нечего.

— Константинъ Семенычъ! — озабоченно обратился майоръ къ Хвалынцеву. — Черезъ

[1]) „Выѣдать торбу"—кавалерійское выраженіе, значитъ съѣсть отмѣренную дачу овса, засыпаемаго въ холщевый мѣшочекъ, который подвѣшивается лошади къ мордѣ.

Digitized by Google

часъ, а не то и скорѣе, какъ только лошади выѣдятъ торбы и кончатъ водопой, берите вашъ взводъ да двадцать казаковъ на придачу, ну и этого «языка», пожалуй тоже, и живо, голубчикъ, какъ можно живѣе валяйте въ погоню!.. Захватите ксендза, если успѣете, на переправѣ, или помѣшайте ей, или задержите, пока мы подоспѣемъ съ пѣхотой... Можете развлечь или заманить его на себя — однимъ словомъ, что́ удастся, лишь бы только слѣдъ его не потерять изъ виду!

Хвалынцевъ былъ утомленъ не менѣе другихъ, но это отдѣльное, самостоятельное порученіе льстило его молодому самолюбію — чувство, которое достаточно возбудило въ немъ и силъ, и бодрости, и энергіи. Онъ съ благодарностью пожалъ руку майора и пошелъ распорядиться да поторопить людей своего взвода.

Между тѣмъ въ полѣ, немного въ сторонѣ отъ эскадрона, нѣсколько гусаръ и казаковъ рыли желѣзными заступами широкую могилу, и тутъ же двое солдатиковъ наскоро мастерили православный крестъ, матеріаломъ для котораго послужили запасные подковные гвозди да двѣ жердины, вытащенныя изъ садовой изгороди. Вскорѣ эта печальная работа была готова. Весь эскадронъ и полусотня въ благоговѣйномъ молчаніи, съ обнаженными головами, обступили могилу. Принесли на шинеляхъ четыре трупа и бережно опустили въ неглубокую яму.

На деревнѣ какой-то казакъ отыскалъ у одной хозяйки восковую свѣчу «громни́цу», которую крестьяне въ Западномъ краѣ теплятъ предъ иконами во время грозы и зажигаютъ надъ покойниками. Теперь ее тоже затеплили и воткнули въ выкопанную рыхлую землю на краю могилы, въ головахъ четырехъ русскихъ мучениковъ. Старый, сивоусый вахмистръ какъ-то строго и угрюмо прочиталъ въ полголоса «Отче нашъ» да «Богородицу» и перекрестилъ усопшихъ и ихъ общую братскую могилу. Майоръ со всѣми офицерами первые бросили на нихъ по горсти земли, а за офицерами стали, крестясь, подходить и бросать пригоршни казаки вперемежку съ гусарами. Хвалынцевъ, которому еще впервые доводилось видѣть подобный обрядъ военнаго христіанскаго погребенія, трепетно ощущалъ въ душѣ, что эта святая минута, во всей своей трогательной простотѣ, подъ звѣзднымъ небомъ тихой, темно-синей ночи, полна глубокаго и таинственно-тихаго величія. Чувствуя, что слезы вновь закипаютъ въ груди, но весь отрѣшась на время отъ самого себя, весь отдавшись строгому впечатлѣнію этого разлитаго вокругъ величія, онъ безмолвно и вдумчиво глядѣлъ на мертвое лицо Лубянскаго, по которому смутно и неровно колебался порою скользящій отсвѣтъ восковой свѣчи.

— Пора... собирайтесь, голубчикъ!—вывелъ его изъ этого полузабытья голосъ Вѣтохина.

Константинъ еще разъ перекрестился и отдалъ земной поклонъ усопшимъ.

Черезъ двадцать минутъ его команда, съ притроченнымъ въ сѣдло и связаннымъ по рукамъ проводникомъ-повстанцемъ, уже неслась по проселку крупной рысью, исчезая изъ глазъ отдыхавшаго отряда въ тускломъ сумракѣ теплой, благодатной ночи.

XIV.

Погоня.

Было уже позднее утро, когда Хвалынцевъ, проплутавъ по милости проводника всю ночь Богъ-вѣсть по какимъ весямъ и дебрямъ, выбрался наконецъ на настоящую дорогу и подошелъ къ замку Маржецкихъ. Повстанецъ, очевидно, съ умысломъ повелъ сначала команду совершенно въ противную сторону, и когда часа въ четыре утра, при въѣздѣ въ одну пріѣманскую деревню, Хвалынцевъ справился у крестьянъ о направленіи своего пути, то оказалось, что онъ очутился отъ за́мка Маржецкихъ по крайней мѣрѣ верстъ на двадцать въ сторону. Проводникъ, снятый съ лошади, палъ на колѣни и слезно сталъ клясться и увѣрять, что онъ невиненъ, что впотьмахъ да въ страхѣ за свою судьбу, и притомъ связанный по рукамъ, онъ самъ невольно сбился съ дороги. Эти слезы и выраженіе испуга показались Хвалынцеву на столько искренни, что онъ не далъ позволенія разстрѣлять или повѣсить шляхтича, о чемъ просили его взводный вахмистръ и казачій урядникъ.

— Пригодится еще,—кратко отвѣтилъ имъ Константинъ и велѣлъ построже караулить его.

Люди и лошади послѣ такого форсированнаго марша пришли въ крайнее утомленіе. О дальнѣйшемъ пути, не давъ напередъ отдыха часа на четыре, по крайней мѣрѣ, нечего было и думать. Выставивъ необходимые пикеты и приказавъ смѣнять ихъ черезъ каждый часъ, Хвалынцевъ позволилъ размундштучить коней и освободить имъ подпруги. Люди, свободные отъ караула, задали торбы и сразу-же, какъ убитые, заснули подлѣ своихъ лошадей, не выпуская изъ рукъ оружія.

Безъ четверти въ восемь часовъ утра, проснувшійся Хвалынцевъ поднялъ свою команду и на-рысяхъ пошелъ далѣе, но уже по вѣрной дорогѣ. Связанный шляхтичъ, повидимому, служилъ добросовѣстно.—«Но чортъ-ли теперь въ его услугѣ!» досадливо думалось Константину. «Ро́бакъ навѣрное ушелъ уже за Нѣманъ или вильнулъ куда-нибудь въ сторону»... Досаднѣе всего было то, что первое самостоятельное порученіе кончается такъ неудачно.

Около десяти часовъ подошли къ замку

Digitized by Google

Маржецкихъ. Вызвали старика «каштеляна», который съ низкими поклонами объявилъ, что ни о какихъ повстанцахъ у нихъ и не слыхать, что сама ясневельможна пани грабина рано утромъ сегодня уѣхала «до Августова», и что, если угодно, отрядъ можетъ осмотрѣть весь замокъ, обыскать всѣ службы, всю «экономію», и въ заключеніе весьма радушно предложилъ людямъ водки, шинки [1]) и хлѣба, а конямъ оброку [2]) и сѣна. Люди были голодны, да и запасъ фуража истощился, и потому Хвалынцевъ не отказался ни отъ того, ни отъ другого. Пока вахмистръ съ нѣсколькими гусарами, на всякій случай, для бо́льшаго удостовѣренія, наскоро дѣлали осмотръ за́мка и службъ, всѣ припасы были уже розданы по рукамъ. Благодаря распорядительному каштеляну и расторопнымъ челядинцамъ, все это было исполнено менѣе чѣмъ въ десять минутъ.

Хвалынцевъ предложилъ плату—каштелянъ наотрѣзъ отказался и пояснилъ, что ясневельможна пани грабина разъ навсегда приказала давать русскому войску безвозмездно все, что́ бы ни потребовалось.

— Ну, а повстанцамъ вы тоже даете?—усмѣхнулся Хвалынцевъ.

— Э, тѣ и сами возьмутъ, когда нагрянутъ!—уклончиво отвѣтилъ старый каштелянъ и съ низкими поклонами проводилъ со двора команду.

Подкрѣпясь передъ этимъ сномъ, а теперь пищей, люди Хвалынцева стали гораздо веселѣй и бодрѣй. Запалили носогрѣйки, повели между собой разговоры, послышались шутки; одинъ взводный балагуръ очень живо и смѣшно изображалъ какимъ образомъ ксендзы заманиваютъ панковъ до лясу—и Богъ его знаетъ, откуда и какъ онъ все это такъ характерно и типично подмѣтилъ. Товарищи-солдаты и самъ Хвалынцевъ невольно смѣялись, слушая ловкаго разсказчика и подходили уже близко къ пара́му, когда къ Константину подъѣха́лъ казачій урядникъ.

— Ваше благородіе, сакма есть!—радостно заявилъ онъ, указывая нагайкой на траву близъ дороги.

— Что такое сакма?—переспросилъ непонявшій его Хвалынцевъ.

— А это, ваше благородіе, по нашему, по казачьему, значитъ людской да конскій слѣдъ, сакма-то... И видно, что свѣжая, недавняя—извольте хоть сами взглянуть.

Константинъ съѣхалъ вмѣстѣ съ урядникомъ съ проселка и дѣйствительно убѣдился въ свѣжести слѣда.

— Да это, быть можетъ, наши раньше насъ поспѣли,—замѣтилъ онъ сомнѣвающимся тономъ.

— Никакъ нѣтъ, ваше благородіе, это повстанецъ... это аны такъ ѣздютъ...

— Почему же ты такъ думаешь?

— Да ужь мы знаемъ!.. Это видко сразу, который *енъ*, а которы наши... Мы ужь доподлинно знаемъ и пѣхотную подошву, и казачью подкову... Вотъ, взгляньте на глинку, на слѣдокъ: тутъ гвоздь другой, не русскій гвоздь, подбойка, значитъ, не та, да и шипъ не казачій... Нѣтъ, ваше благородіе, ужь это *енъ* прошелъ безпремѣнно! будьте благонадежны!—заключилъ урядникъ съ полной и окончательной увѣренностью.

Подошли къ переправѣ. Паромъ оказался на томъ берегу, да и лодки тамъ же вытащены на песокъ. Толкнулись въ сторожку, гдѣ жили паромщики,—ни души. Подали кличъ на ту сторону—никто не откликается: очевидно, и тамъ никого нѣтъ, всѣ разбѣжались. А слѣды межъ тѣмъ сближаются какъ разъ къ мѣсту причала, и притомъ совсѣмъ свѣжіе, ясно и рѣзко отпечатлѣнные на сыроватой глинистой почвѣ; видно, что переправа вотъ-вотъ только-что окончена, быть можетъ, не прошло еще и часу!

Чувство досады при видѣ полной неудачи своего порученія охватило Хвалынцева такимъ живымъ ощущеніемъ, что ему даже обидно сдѣлалось—обидно на себя, на проводника, на случай, на судьбу, на весь свѣтъ, однимъ словомъ, онъ представлялъ себѣ какъ подъѣдетъ Вѣтохинъ, увидитъ всю суть и укоризненно скажетъ ему съ досадливой горечью: «Эхъ, батюшка!»... Больше ничего не нужно, никакого другого слова, но это «батюшка» просто ужасно для самолюбія!.. Подавляемый тяжестью этого чувства, онъ рѣшилъ себѣ, что надо по крайней мѣрѣ исполнить хотя послѣднюю часть порученія—приготовить средства для переправы отряда. Какъ это сдѣлать?

— Что́, ребята, не возьмется ли кто переплыть на ту сторону?—обратился онъ къ людямъ.

Тѣ смѣрили на глазъ разстояніе и силу теченія, которое около того берега было весьма-таки быстро.

— Мудрено, ваше благородіе,—въ полголоса замѣтилъ урядникъ,—кабы лодочку какую.

— Да гдѣ жь ее взять у чорта!—досадливо выбранился Хвалынцевъ и кинулъ вокругъ себя ищущій взглядъ, не найдется ли около чего подходящаго? Этотъ взглядъ мимолетно скользнулъ по бревенчатому срубу сторожки.

«А вѣдь изъ бревенъ-то можно бы плотъ связать?» домекнулся онъ про-себя и энергически обратился къ солдатамъ:

— Разноси, ребята, сторожку!.. Живо... По бревнамъ! Шанцевый инструментъ есть съ собой?

— Два топора у нашихъ прихвачено,—доложилъ урядникъ.

— Руби, живѣе связи... Давай плотъ мастерить!

---

[1]) Ветчины.
[2]) Овса.

Digitized by Google

— Да безъ лома врядъ ли что подѣлаешь... Чѣмъ ихъ выворачивать станемъ?

— Ничего, замѣсто лома колья пойдутъ—лѣсу вокругъ довольно. А вязать будемъ чумбурами.

— И то,—согласился урядникъ, и работа закипѣла.

Въ это время къ Константину подошелъ плѣнный повстанецъ и слезно сталъ просить, нельзя ли развязать ему руки, чтобы хоть сколько-нибудь облегчить его страданія. Взглянувъ на затекшіе, посинѣлые пальцы плѣнника и сознавая, что дальнѣйшая жестокость ни къ чему не поведетъ, Хвалынцевъ приказалъ развязать его. Освобожденный повстанецъ кинулся сначала цѣловать полу его пальто, а потомъ очень усердно принялся помогать гусарамъ и казакамъ въ ихъ работѣ. Онъ сбросилъ съ себя чамарку и остался въ одной сорочкѣ. Солдаты, видя такое усердіе, не препятствовали ему подсоблять сколько душѣ угодно, и даже весьма благодушно стали подтрунивать. «Порадѣй, порадѣй-ка, братецъ, на міръ, поработай на москалей!.. На мать-Рассей работишь, значитъ!» Чрезъ нѣсколько времени плѣнный, обтирая съ лица обильный потъ, подошелъ къ Хвалынцеву и попросилъ позволенія отойти нѣсколько саженъ къ рѣкѣ, чтобы утолить свою жажду. Константинъ, руководя работой и будучи весь поглощенъ этимъ занятіемъ, не обратилъ на него особаго вниманія и потому мимоходомъ, разсѣянно далъ свое позволеніе. Людямъ тоже было не до повстанца. Вдругъ, минутъ пять спустя, кто-то изъ солдатиковъ, указывая на Нѣманъ, возвѣстилъ товарищамъ:

— Гляди, гляди, ребята!.. Полячекъ - то нашъ!.. Утекаетъ, шельма.

Всѣ повернули головы по направленію его руки и увидѣли плывущаго плѣнника, который усиленно гребъ руками и достигалъ уже середины рѣки.

— Убѣгить, проклятый!.. Стрѣлять бы надо,—замѣчали казаки.—Чернолобовъ, у тебя глазъ мѣткій; бери-ка винтовку, догони его. Позвольте, ваше благородіе?

— Погожь, ребята,—разсудительно замѣтилъ урядникъ;—винтовки наши и на томъ берегу его дохватятъ, а напередъ лучше давай поглядимъ: коли доплыветъ, значитъ и намъ можно. Тогда и лодки, и паромъ живо сюда переправимъ. Это онъ намъ, спасибо, пробу дѣластъ.

И урядникъ, вмѣстѣ съ Чернолобовымъ, взведя курки, взяли на изготовку свои винтовки и внимательно стали слѣдить за плывущимъ повстанцемъ. Бѣлая его сорочка, при каждомъ взмахѣ рукъ, ярко сверкала на солнцѣ въ серебристыхъ брызгахъ, то показываясь надъ водою, то исчезая въ ней.

— Доплыветъ,—замѣчали иные, наблюдая усилія бѣглеца.

— Ой, гдѣ ужь!.. Гляди-ка, слабнуть сталъ,—отзывались нѣкоторые.

— Ей-ей доплываетъ, шельмецъ!.. Чернолобовъ, ты, братъ, гляди: какъ только на берегъ станетъ выходить, тутъ ты его и спущай обратно въ воду.

— Ладно, не промахнусь,—со спокойной и увѣренной насмѣшкой кивнулъ Чернолобовъ, не сводя съ пловца внимательнаго взора.

Тотъ межъ тѣмъ выплылъ уже въ полосу самаго быстраго теченія, которое замѣтно выдѣлялось въ массѣ спокойной воды рѣзвой игрой солнечныхъ блестокъ и особою рябью. Силы видимо измѣняли ему, взмахъ руки становился все рѣже, тяжеле. Онъ напрягалъ послѣднія усилія, но теченіе относило его отъ берега. Вотъ окунуло его... вотъ опять вынырнулъ... кружитъ... закрутило... Еще одно ужасное, невѣроятное усиліе... Плыветъ, плыветъ... Нѣтъ, опять-таки окунуло... Вынырнетъ или нѣтъ?.. Если вынырнетъ, то пожалуй и доберется... Вынырнулъ.

— Гляди, Чернолобовъ, не зѣвай!

— Не галди подъ руку: знамо!

— Цѣлься!

Но нѣтъ, несчастный мелькнулъ надъ поверхностью на одно лишь мгновенье и снова канулъ въ воду... Прошла минута, двѣ—все спокойно, тихо, и масса воды такъ плавно несется мимо и мимо, и золотыя блестки надъ быстриной прыгаютъ въ глазахъ и змѣистыми струйками обгоняютъ другъ друга.

— Тутъ ему и аминь!—опуская винтовку, нарушилъ, наконецъ, общее глубокое молчаніе казакъ Чернолобовъ, и работа закипѣла снова.

— Ваше благородіе!—подошелъ къ Хвалынцеву урядникъ. — Пущай, значитъ, плотъ будетъ плотомъ и аны за имъ работаютъ, а мы тѣмъ часомъ авось-либо лодки сюда переправимъ.

— Да какими же судьбами? — недоумѣло спросилъ Хвалынцевъ.

— А очинно просто-съ!.. Порохонщиковъ! Гуськовъ! тащи сюда эти два бревна да давай чумбуры!—приказалъ онъ двумъ ловкимъ казакамъ.

Живо оба бревна плотно связаны чумбурами и спущены на воду. Еще живѣе раздѣлись до нага двое казаковъ и, взявъ каждый по длинному шесту, смастеренному тутъ же изъ срубленныхъ елокъ, сѣли верхомъ на пару связанныхъ бревенъ и поплыли черезъ рѣку, то опираясь шестами въ дно, то работая ими какъ веслами. Теченіе относило пловцовъ въ сторону, и на самой быстринѣ, гдѣ ихъ стало крутить, была однако минута весьма критическая, но казацкое счастье, какъ видно, пришло на помощь русскому *авось*,—и хоть трудно было, очень трудно, но смѣльчаки благо-

Digitized by Google

получно выбрались на противный берегъ. Тутъ они сдвинули въ воду обѣ лодки, привязавъ одну къ другой все тѣмъ же чумбуромъ, захватили весла и вернулись къ товарищамъ. Теперь уже не трудно было переправить потребное количество людей, дружныя усилія которыхъ помогли вскорѣ одолѣть паромъ, спустить его на воду и, съ помощью шестовъ, пригнать на свой берегъ. Все это было дѣломъ менѣе получаса. Команда переправилась вся сполна за одинъ разъ. Половина лошадей умѣстилась на паромѣ, а остальныхъ пустили за нимъ да за лодками вплавь на поводахъ, — и все обошлось какъ нельзя лучше. Хвалынцевъ вернулъ на ту сторону и паромъ, и лодки съ шестью казаками, которымъ были сданы на руки всѣ чумбуры, топоры и приказано какъ можно скорѣе вязать плотъ, чтобы доставить отряду Вѣтохина лишнее средство для скорѣйшей переправы. Этимъ же казакамъ онъ вручилъ и записку къ майору, наскоро написанную карандашемъ на клочкѣ бумаги. Въ ней онъ кратко извѣщалъ его о всѣхъ главнѣйшихъ своихъ приключеніяхъ, мѣропріятіяхъ и о намѣреніи идти на поискъ Рѣбака въ Гродненскую пущу, гдѣ свѣжая «сакма» будетъ служить ему вѣрнымъ указаніемъ для открытія банды.

Но не успѣли еще люди засѣдлать лошадей, какъ у переправы показались казаки, гусары, а затѣмъ и пѣхотинцы на подводахъ. Хвалынцевъ ясно разглядѣлъ между всѣми типичную фигуру Вѣтохина на его статномъ горячемъ жеребцѣ, и видѣлъ, какъ одинъ изъ оставленныхъ казаковъ подалъ ему записку. Отдѣлясь на своемъ конѣ нѣсколько въ сторону отъ команды, Константинъ подъѣхалъ къ самой водѣ и старался напряженно, хотя и тщетно слѣдить, какое впечатлѣніе дѣлаетъ на майора его донесеніе.

Тотъ прочелъ и бросилъ взглядъ на противный берегъ.

— Съ Богомъ! Сейчасъ буду вслѣдъ за вами!—послышался съ той стороны его голосъ.

Хвалынцева до этой самой минуты грызло безпокойное сомнѣніе — не испортилъ-ли онъ все дѣло тѣмъ, что не успѣлъ выполнить въ точности даннаго ему порученія? Какъ молодой и неопытный офицеръ, которому впервые довелось дѣйствовать самостоятельно, онъ, естественно, хотѣлъ отличиться и въ то же время былъ недовѣрчивъ къ самому себѣ и полонъ сомнѣнія: такъ-ли онъ дѣйствуетъ какъ слѣдуетъ? Это былъ щекотливый вопросъ самолюбія, вопросъ болѣе важный для него самого, для его собственнаго сознанія, чѣмъ для другихъ: ему важно было получить увѣренность въ самомъ себѣ, въ правильности своихъ распоряженій, и потому-то это *съ Богомъ!* долетѣвшее съ того берега, сразу ободрило, успокоило и даже развеселило его. «Слава Тебѣ, Господи! Значитъ, я пока ничего еще не испортилъ», подумалось ему при этомъ, и онъ бойко, весело и увѣренно скомандовалъ движеніе впередъ своимъ людямъ.

XV.

Бой.

Старыя высокія сосны и между ними густой, хорошо выросшій ельникъ, перемѣшанный съ ольхой и осиной, приняли въ свою прохладную сѣнь маленькій отрядецъ Хвалынцева. Зоркіе и сметливые казаки вели путь по «сакмѣ», которая все далѣе и далѣе углублялась въ пущу. Сначала почва была суха и песчана, а потомъ вперемежку пошли болота. Старые пни, поросшіе мохомъ, вывороченныя корчи и между ними большія болотныя ямы, наполненныя разными гадами, представляли на каждомъ шагу преграду для движенія. Мѣстами лѣсъ до того становился густъ и болотистъ, что казалось-бы, только съ опытными проводниками можно было проникать въ его глубину, а между тѣмъ казаки, никогда не бывавшіе въ этой пущѣ, ничто-же сумняся, пролагали себѣ дорогу по одной лишь «сакмѣ», то-есть, говоря вѣрнѣе, просто по какому-то чутью, по врожденному нюху и смѣткѣ. Эта обширная пуща далеко не во всѣхъ концахъ и урочищахъ своихъ извѣстна жителямъ рѣдкихъ лѣсныхъ деревень и поселковъ; хорошо знаютъ ее только «кутники», одиноко живущіе въ лѣсу, да и тѣхъ-то свѣдѣнія иногда простираются не далѣе нѣсколькихъ верстъ въ окружности своего жилища. Но вотъ болота перемежаются иногда съ «грудомъ», гдѣ почва становится суха и возвышенна; здѣсь множество грибовъ и ягодъ, земляника рдѣетъ по склонамъ небольшихъ пригорковъ, кучи бурелому валяются повсюду и мирно истлѣваютъ себѣ, долгіе годы не тронутые ничьею рукою. Высокіе кусты орѣшника разрослись мѣстами такъ густо и часто, что съ трудомъ пробираешься сквозь эту массу зелени: въ двухъ шагахъ ничего не видно. Глубоко-мирнымъ, вѣковѣчнымъ и глухимъ покоемъ вѣетъ подъ сѣнью пущи, такъ что Хвалынцеву, который невольно отдался впечатлѣнію этого лѣса, вдругъ показалась дикою самая мысль о враждѣ, войнѣ и крови среди этой поэтической тишины и покоя. Тутъ скорѣе всего проникали въ душу историческія воспоминанія сѣдой, баснословной древности. Такъ и казалось все, будто на этихъ пустынныхъ «урочискахъ» [1]) встаютъ образы Кейстута, Скиргайло, Ольгерда, Гедымина, Миндовга... Празднества въ заповѣдныхъ лѣсахъ въ честь Перкуна, жрецъ

[1]) Урочисько - урочище.

Digitized by Google

и поэтъ Лиздейко, священный неугасимый зничъ и его весталки-вайделотки.

Вдругъ раздавшійся выстрѣлъ и рѣзкій свистъ пули мимо самаго уха разомъ вернулъ Хвалынцева изъ области мечтаній къ суровой дѣйствительности. Звукъ былъ настолько рѣзокъ и неожиданъ, что Константинъ, никогда еще неслыхавшій свиста пули, не вдругъ и сообразилъ, что̀ оно такое.

— Что это?.. Неужели выстрѣлъ? — спросилъ онъ ѣхавшаго рядомъ вахмистра, съ недоумѣніемъ оглядываясь по сторонамъ.

— Такъ точно-съ,—тихо отвѣчалъ тотъ со спокойной и легкой усмѣшкой, которая вѣроятно относилась отчасти къ неопытности молодого корнета.

Хвалынцевъ замѣтилъ и понялъ эту усмѣшку, невольно покраснѣвъ за свой недоумѣлый вопросъ. Но онъ тотчасъ-же овладѣлъ собой и захотѣлъ показаться молодцомъ предъ людьми. Остановя свой взводъ и приказавъ казакамъ спѣшиться, отдать повода гусарамъ, а самимъ разсыпаться въ цѣпь, онъ, пока тѣ еще справлялись съ конями, лихо выскочилъ впередъ, чтобъ осмотрѣть расположеніе врага и мѣстность.

— Не суйтесь, ваше благородіе, безъ нужды впередъ: подстрѣлятъ ни за копейку,—добродушно предостерегъ его казачій урядникъ.

— Да гдѣ-жь непріятель, однако?—сдѣлавъ видъ будто не слыхалъ предостереженія, спросилъ Константинъ, ища глазами противниковъ и, къ удивленію своему, никого и ничего не видя.

— А вонъ аны... вонъ-вонъ за бугорками, да подъ корчами позалегши... Извольте видѣть?— объяснялъ урядникъ, указывая рукой на мѣстность впереди, шагахъ въ семнадцати разстоянія.

Еще одна пуля свистнула мимо.

— Эхъ, ваше благородіе!.. право-же говорю, не торчите больно на виду у ево... Вѣдь ёнь по вамъ, сударь, мѣтитъ...

Въ эту минуту новая пуля щелкнулась рядомъ въ стволъ ольхи, задѣвъ напередъ нѣсколько сучьевъ—и двѣ-три зеленыя вѣточки, срѣзанныя ею, тихо упали на землю.

— Огонь!—громко подалъ команду Хвалынцевъ, и казаки открыли перестрѣлку.

— Эхъ, хорошо-бы атаковать ихъ сразу-же!— словно-бы ни къ кому не обращаясь, но искоса пытливо взглянувъ на урядника, — замѣтилъ Хвалынцевъ.

Казакъ только улыбнулся на это.—«Молодо-зелено», какъ будто сказала его улыбка.

— Кабы сушь да полянка, такъ оно-бы ништо себѣ,—проговорилъ онъ въ отвѣтъ,—а то вонъ впереди опять болото, да пень, да колода... ёнь тоже хитеръ—ишь, за болото залегъ себѣ и стрѣлить... Конному, значить, по экому мѣсту никакъ не способно.

Хвалынцевъ и самъ понималъ, что «не способно», а все-таки молодая кровь играла, и возбудившіеся нервы стали сказываться ему какимъ-то новымъ, никогда еще не испытаннымъ ощущеніемъ, въ которомъ было и нѣчто лихорадочное, и нѣчто щекотное, нетерпѣливое и слегка ноющее, словно-бы зудъ какой-то въ груди и въ самомъ сердцѣ.

— А мы вотъ что, ваше благородіе,—продолжалъ урядникъ, — пока ёнь лежить себѣ, да пукаить, будемъ и мы пукать полегоньку; назадъ побѣгить, за имъ пойдемъ, а напирать станеть, поглядимъ сколько у ево силы есть: коли очинно ужь большая сила, ну, назадъ чуточку подададимся, а малая сила, пущай его подходить: въ рукопашную примемъ.

При мѣстныхъ условіяхъ, съ горстью людей, да еще обремененныхъ конями, дѣйствительно, ничего другого пока и не оставалось. Важно было только не упустить банду, задержать ее на мѣстѣ до прихода пѣхоты, а ужь тамъ все дѣло будетъ рѣшено и покончено минутъ въ двадцать, не болѣе! Хвалынцевъ, на усиленіе казаковъ, спѣшилъ и послалъ въ цѣпь четырехъ гусарскихъ «наѣздниковъ», вооруженныхъ въ то время короткими штуцерами, и отправилъ по одному ряду направо и налѣво наблюдать за своими флангами, а двухъ нарочныхъ услалъ назадъ, приказавъ имъ скакать какъ можно скорѣе и дать знать майору, что банда открыта.

Вѣтохинъ, зная, что всадникамъ Хвалынцева, въ случаѣ встрѣчи, будетъ крайне трудно и даже почти невозможно дѣйствовать среди густого лѣса, поспѣшилъ первымъ же дѣломъ переправить на паромѣ пѣхотную роту, которая тотчасъ раскинула охранительную цѣпь и пошла по слѣду Хвалынцева. Нарочные не успѣли отъѣхать и полуторы версты, какъ наткнулись на пѣхотинцевъ. Еще ранѣе этой встрѣчи, заслышавъ выстрѣлы, они бѣгомъ, по-одиночкѣ, кинулись узкой тропинкой на звукъ — выручать своихъ конниковъ. Чрезъ четверть часа стрѣлки смѣнили въ цѣпи казаковъ и открыли рѣдкій, но мѣткій огонь по непріятелю. Чуть неловко выставится изъ-за пня какая-нибудь голова или фигура, въ то жь мгновенье нарѣзная пуля скашиваетъ ее съ мѣста, и подстрѣленный повстанецъ вздрогнетъ, завертится и падаетъ ничкомъ на землю. Не прошло и десяти минутъ, какъ ротный командиръ уже велѣлъ горнисту трубить наступленіе — и пара барабановъ грянула бой къ атакѣ. Стрѣлки, перескакивая съ кочки на кочку, съ пня на пенекъ, чрезъ валежникъ и колоды, бѣгомъ приближались къ непріятелю. Повстанцы едва лишь замѣтили это движеніе, какъ уже начали отступать, но отступали сдержанно, неторопливо и даже соблюдая нѣкоторый порядокъ. Нашимъ порой было видно межъ деревьями, какъ они уводятъ своихъ коней и, судя по этому признаку, почти уже не оставалось со-

Digitized by Google

мнѣнія, что отрядъ имѣетъ дѣло именно съ конной бандой Рѳбака, изъ которой двѣ трети людей были теперь спѣшены. По этой относительной стойкости можно было предполагать, что суровый ксендзъ-партизанъ держитъ своихъ людей въ крѣпкихъ рукахъ, примѣняя вѣроятно и къ нимъ ту же самую безпощадно-жестокую дисциплину, благодаря которой наводилъ онъ повсюду ужасъ на хлоповъ. Чуть только представлялась мало-мальски удобная позиція, спѣшенные повстанцы сейчасъ же занимали ее и старались хоть на двѣ, на три минуты задержать наступленіе русскихъ. Хвалынцевъ съ гусарами и казаками слѣдовалъ въ нѣкоторомъ разстояніи за резервнымъ пѣхотнымъ взводомъ.

Вскорѣ прибылъ Вѣтохинъ съ остальной кавалеріей и принялъ начальство надъ отрядомъ. Ознакомясь съ положеніемъ боя, онъ, по примѣру Рѳбака, пока кавалеріи нечего было дѣлать, спѣшилъ двѣ трети казаковъ и послалъ ихъ усилить стрѣлковую цѣпь, гдѣ такимъ образомъ прибавилось около тридцати лишнихъ винтовокъ. Это обстоятельство значительно поколебало первоначальную стойкость повстанцевъ: они теперь уже не думали о занятіи позиціи и задержкѣ нашего напора, а заботились только о томъ, какъ бы поскорѣе уйти изъ-подъ выстрѣловъ. Огонь ихъ цѣпи сдѣлался значительно слабѣе и съ каждой минутой угасалъ все болѣе и болѣе...

Но вотъ предъ русскимъ отрядомъ неожиданно открылась обширная лѣсная поляна— совершенно ровное и сухое мѣсто, пространствомъ около трехъ верстъ по окружности, занятое большей частію подъ пашню, на которой зеленѣли яровые всходы.

Вѣтохинъ, сопровождаемый трубачемъ да двумя ординарцами—гусарскимъ и казачьимъ юнкерами, выѣхалъ въ цѣпь, чтобы осмотрѣть вновь открывшуюся мѣстность, на которой должны были въ точности обнаружиться силы противника, и вдругъ увидѣлъ на противоположной сторонѣ поляны, подъ самой опушкой, какія-то колонны, повидимому, совершенно готовыя къ бою. Колонны эти не двигаются и какъ будто ждутъ атаки, въ центрѣ у нихъ сверкаютъ косы, а за ними, по бокамъ, вѣютъ флюгера кавалеріи.

— Что за притча такая? Откуда Богъ счастье еще посылаетъ?—проворчалъ себѣ подъ носъ старый служака и велѣлъ стрѣлковой цѣпи занять опушку по сю сторону поляны, а казакамъ садиться на̀ конь.

Банда Рѳбака, межъ тѣмъ выйдя на просторъ, подала нѣсколько назадъ свое правое плечо, вѣроятно, въ томъ расчетѣ, что при фронтальномъ преслѣдованіи, русскіе, увлеченные пыломъ боя, быть-можетъ, не замѣтятъ новыхъ силъ по ту сторону поляны и такимъ образомъ подставятъ свой лѣвый флангъ атакѣ совершенно свѣжаго непріятеля. Но Рѳбакъ ошибся. Едва лишь успѣлъ Вѣтохинъ осмотрѣть мѣстность и отдать свои первыя распоряженія, какъ полусотня донцовъ была уже готова и, по знаку сотника Малявкина, съ неистовымъ, пронзительнымъ гикомъ бросилась лавой на разстроенную цѣпь Рѳбака. Въ минуту вся эта цѣпь была опрокинута, смята и перекрошена на мѣстѣ, а большая часть коней и обозъ, не успѣвшій уйти, достался тутъ же боевымъ призомъ казакамъ за ихъ лихую атаку. Изъ-за облака пыли, поднявшагося надъ мѣстомъ свалки, видно было, и какъ уцѣлѣвшіе люди и нѣсколько всадниковъ удираютъ черезъ поле подъ прикрытіе банды, стоявшей подъ лѣсомъ.

Въ ту минуту, когда у казаковъ шла еще самая горячая свалка, изъ-подъ лѣсу выдвинулась на рысяхъ часть повстанской кавалеріи и явно выказала намѣреніе идти на выручку атакованнымъ. Первый полуэскадронъ гусаръ пошелъ ей на встрѣчу. Но еще издали замѣтивъ его приближеніе, поляки вдругъ остановились и повернули назадъ. Гусары, выждавъ нѣкоторое время, тоже вернулись шагомъ на свое мѣсто. Между тѣмъ польскіе стрѣлки, разсыпанные по противоположной опушкѣ, открыли огонь. Первые выстрѣлы ихъ были сдѣланы по возвращающимся гусарамъ, но выстрѣлы вполнѣ безвредные, такъ какъ большая часть пуль, посылаемыхъ разными «дубельтовками», «карабинками», «мушкетами» и тому подобнымъ огнестрѣльнымъ хламомъ, даже не долетала до цѣли. Рѣдко развѣ которая пуля, пущенная изъ бельгійскаго штуцера или австрійской винтовки, невдалекѣ простонетъ мимо ушей своимъ заунывнымъ звукомъ и шлепнется въ сухую землю, поднявъ маленькій дымокъ пыли. Русскіе стрѣлки стали отвѣчать на огонь повстанцевъ.

Хвалынцевъ, стоя пока въ бездѣйствіи предъ своимъ взводомъ, вынулъ изъ футляра висѣвшій у него на наплечномъ ремнѣ военный бинокль и принялся наблюдать и разглядывать непріятеля. Вскорѣ онъ замѣтилъ, что нѣсколько въ сторонѣ отъ фронта, въ сопровожденіи трехъ-четырехъ человѣкъ, изъ которыхъ одинъ одѣтъ былъ англійскимъ грумомъ, разъѣзжаетъ на чистокровномъ свѣтло-сѣромъ конѣ какая-то эффектная амазонка. На ней можно было разглядѣть бѣлую конфедератку съ пунцовымъ плюмажемъ, фіолетовый кунтушъ и шлейфъ блѣдно-палеваго платья. Надъ повстанской кавалеріей, остававшейся пока безъ движенія, колебались черные съ бѣлымъ значки на сверкающихъ пикахъ, а посрединѣ фронта и нѣсколько впереди его развѣвалось красивое знамя: одна сторона пунцовая, другая бѣлая, на пунцовой — бѣлый орелъ и серебряная надпись, а на бѣлой виденъ образъ какой-то; золотая бахрома блистала вокругъ полотнища. Что-то знакомое сказалось Хвалынцеву въ этомъ красивомъ

Digitized by Google

знамени, и сказалось скорѣе чутьемъ какимъ-то, чѣмъ по точному опредѣленію. Онъ сталъ вглядываться пристальнѣе. «Неужели... Боже мой, неужели это знамя Цезарины?!. Кажется, оно... Оно самое!» не безъ внутренняго волненія подумалось Константину, и онъ снова перевелъ бинокль вправо, на эффектную амазонку. Теперь ее можно было наблюдать еще ближе и лучше. Держась внѣ поражаемаго пространства, около лѣваго крыла «тиральеровъ», она спокойно выдвинулась впередъ и стала на среднемъ разстояніи между крайними звеньями цѣпи польскаго лѣваго и русскаго праваго фланговъ. Съ этого пункта ей можно было свободно охватывать взоромъ общую картину начинавшагося боя. Поминутныя вспышки бѣлыхъ дымковъ на двухъ противоположныхъ опушкахъ ясно указывали направленіе боевыхъ линій обоихъ противниковъ. Съ лѣвой стороны, ближе къ амазонкѣ, стоялъ гусарскій эскадронъ, готовый къ бою; съ правой, въ центрѣ, сверкала колонна косиньеровъ, красовались «красные черти» и траурно чернѣлись «несмертельные» со своимъ роскошнымъ знаменемъ.

Хвалынцевъ продолжалъ еще разглядывать, когда амазонка случайно повернула лицо на русскихъ гусаръ и нѣкоторое время осталась въ этомъ положеніи. «*Она!*» подсказалъ Константину инстинктъ его собственнаго сердца.— «Она!» подтвердилъ онъ самому себѣ съ непоколебимой увѣренностью, и какой-то злобный, но вмѣстѣ съ тѣмъ и радостный трепетъ мгновенно пробѣжалъ по его тѣлу. Въ это время отъ амазонки отдѣлились двое красноштанныхъ всадниковъ: одинъ представительнаго вида, пожилой и тучный, а другой миловидный и розовый юноша, совсѣмъ почти мальчикъ. Эти всадники, обогнувъ свою цѣпь, во всю прыть помчались за ея фронтомъ къ своей кавалеріи. При смѣлой наѣздницѣ остались только грумъ да еще одна странная фигура, которой, казалось бы, вовсе не свойственно быть на конѣ, принимая во вниманіе ея ксендзовскую сутану.

Вскорѣ въ рядахъ повстанской кавалеріи обнаружилось какое-то движеніе: два-три всадника, махая саблями, заегозили и заметались предъ фронтомъ, послышались звуки сигнальныхъ трубъ, затѣмъ крики команды.

Константинъ, видя, что что-то такое начинается, поспѣшилъ спрятать въ футляръ свой бинокль, и когда послѣ этого снова поднялъ глаза, то увидѣлъ, что вся польская кавалерія гурьбой несется уже черезъ поле, съ крикомъ «ура», держа направленіе на гусаръ.

Вѣтохинъ, слѣдя за общимъ ходомъ дѣла, случайно находился въ это самое время не при эскадронѣ, а шагахъ въ пятистахъ на лѣвомъ флангѣ, который только-что былъ усиленъ частью людей изъ резервнаго взвода.

— Что это? Никакъ они въ атаку? — обернулся онъ на своихъ ординарцевъ, замѣтивъ несущуюся кавалерію.—Эка, дурачье какое! Съ такого-то разстоянія да вдругъ прямо карьеромъ!.. Хороши, нечего сказать!.. Прелестны!.. трубачъ! «Атаку»!

И вотъ зарокотали по полю знакомые кавалеристамъ звуки «похода», полные въ строгой своей простотѣ какого-то грознаго величія. Этотъ сигналъ — верхъ кавалерійской поэзіи! Его знаютъ не только люди, — его и кони понимаютъ. Все встрепенулось въ эскадронѣ при этихъ обаятельныхъ звукахъ.

— Слава тебѣ, Господи!.. Наконецъ-то! — шопотомъ пронеслося по фронту. Офицеры, стоявшіе на своихъ мѣстахъ, словно бы дѣлая нравственную провѣрку себѣ и товарищамъ, какъ-то пытливо и серьезно переглянулись между собой.

Межъ тѣмъ Вѣтохинъ, не выжидая пока окончитъ трубачъ, звуки котораго должны были только заблаговременно предупредить эскадронъ—далъ шпоры коню и поскакалъ къ гусарамъ.

— Пики къ ата-а-кѣ! — еще издали раздалась его звучная команда.—И въ то жь мгновеніе послышался металлически - шипящій свистъ вынимаемыхъ сабель, а пики разомъ поднялись и разомъ наклонились впередъ, описавъ дугу, сверкнувшую въ воздухѣ.

Повстанская кавалерія межъ тѣмъ еще азартнѣе галдитъ, несется, машетъ саблями, руками, локтями; красивое знамя такъ и вьется предъ ея толпой.

Вѣтохинъ, словно бы на простомъ обыденномъ ученьи, отъѣхалъ передъ фронтомъ нѣсколько въ сторону, окинулъ людей спокойнымъ увѣреннымъ взглядомъ и, будто желая пропустить эскадронъ мимо себя церемоніальнымъ маршемъ, не суетясь, негромкимъ, мѣрнымъ голосомъ подаетъ команду.

— Эскадронъ! Равненіе на право! *Шагомъ*— ма-аршъ!

И по знаку его сабли фронтъ тихо и плавно двинулся съ мѣста, хотя люди и не безъ труда справлялись съ ретивыми конями. Еще едва заслышавъ звуки знакомаго сигнала, лошади по привычкѣ стали уже подбираться, горячиться, безпокоиться: копыто нетерпѣливо бьетъ и роетъ землю, зубъ грызетъ удила, съ которыхъ брызжетъ бѣлая пѣна, яркія ноздри раздуваются, строго озирающійся глазъ исполненъ огня, легкая нервная дрожь ощущается въ персяхъ и весь конь неудержимо рвется впередъ, чуя атаку.

— Безъ суеты, безъ суеты, господа офицеры! Пока нѣтъ карьера, покорнѣйше прошу равняться! — энергически и начальнически-строго звучитъ голосъ майора.—Эй, ты тамъ! въ первомъ взводѣ... третій человѣкъ второго отдѣленія... Кто тамъ это? Бондаренко? Не

Digitized by Google

суети, братецъ, безъ толку коня! Поводъ на себя!.. Спокойнѣе... Хорошо, ребята!

— Р-р-р-ради стараться, ваше вскородіе!— дружно и весело загремѣло по фронту.

А повстанцы несутся, несутся съ блескомъ, съ шумомъ, съ крикомъ и гамомъ, и успѣли уже порядочно разбросаться въ стороны. Разстояніе до противника было слишкомъ велико, чтобы можно было атаковать съ мѣста карьеромъ; поэтому ихъ лошади, проскакавъ едва лишь половину даннаго разстоянія, стали уже выказывать признаки утомленія, закидываться въ сторону, переходить въ галопъ, а потомъ и въ рысь мало-по-малу. Такимъ образомъ стройность атакующей массы была нарушена еще задолго до столкновенія съ противникомъ; это неслись уже не эскадроны, а просто пестрая толпа, ватага, орда какая-то. И когда эта орда съ удивленіемъ увидѣла, что противникъ встрѣчаетъ ея атаку не болѣе какъ шагомъ, съ такой выдержкой, съ такимъ твердымъ спокойствіемъ, одною стройною и плотною массою, всемѣрно сдерживая до времени пылъ горячихъ коней, нравственный духъ и рѣшимость орды замѣтно поколебались. Напрасно панъ Копецъ воинственно махалъ саблей, напрасно заскакивалъ и туда и сюда, оборачивался на свои «шквадроны», ругался и подбодрялъ ихъ патріотическими возгласами,—его всадники задерживали поводъ и уменьшали рысь на каждомъ шагѣ.

Между противниками оставалось уже не болѣе полутораста шаговъ разстоянія, какъ вдругъ...

— Маршъ-маршъ!!!—скомандовалъ Вѣтохинъ — и эскадронъ, какъ стрѣла, пущенная изъ лука, всей стройной массой въ одно мгновенье, молча, ринулся на повстанскихъ всадниковъ, такъ что только земля дрогнула и загудѣла подъ копытами да вѣтеръ засвисталъ въ ушахъ, шумя флюгерами грозносклоненныхъ пикъ.

Повстанцы не выдержали и дружно дали тылъ еще до удара. Гусары налетѣли на бѣгущихъ, послышался гулъ и шумъ размашистой сшибки, трескъ ломаемыхъ пикъ и лязгъ скрестившихся сабель, глухой звукъ наносимыхъ ударовъ, стонъ, проклятія и крики о пощадѣ. Одни изъ повстанцевъ разметались по полю, а другіе, ошалѣвъ отъ страху, неслись такъ-таки прямо на свою пѣхоту. Тамъ поднялось смятеніе ужасное, кутерьма, суматоха, паника.

— Панове косиньержи напршудъ, бо тыральеры не пршимаен'! [1]) слышатся голоса какихъ-то начальниковъ.

— Инфантэрія на бокъ, альбо до лясу... Язда скаче! Мѣйсце для ѣзды... Мѣйсце! [1]) кричатъ и машутъ другіе.

— Уцекайце, панове косиньержи, бо зъ тылу гарматы стоен'! [2])—возвѣщаютъ третьи, которымъ со страху вдругъ почудились въ тылу небывалыя пушки.

Все это, какъ стадо барановъ при степномъ пожарѣ, металось изъ стороны въ сторону, не зная какъ быть, не понимая что дѣлать.

Русская пѣхота съ барабаннымъ боемъ открыла энергическое наступленіе.

— Матка Божска!.. Пане москале, змилуйсен'! Ратуйтесен' панове!.. До лясу!.. Прендзей до лясу!.. Не дàваць пардону!—носятся надъ повстанскими кучами разные голоса и возгласы.

Казаки Малявкина, оставя всѣхъ этихъ «несмертельныхъ» и «красныхъ чертей» на жертву гусарамъ, съ фланга бросились лавой на польскую пѣхоту. Въ одну минуту и «тыральеры», и «косиньеры» образовали изъ себя какую-то жалкую кашу; одни кидались на колѣни и протягивали руки, взывая о пощадѣ, другіе, побросавъ оружіе, пустились что есть духу бѣжать подъ защиту лѣса.

— Прендко!—со смѣхомъ кричали имъ во слѣдъ казаки, дѣйствуя не столько шашкой, сколько нагайками по спинамъ.—Прендко, панове! Шибче бѣги! Утекай поскорѣе, а то въ другорядь не уйдешь!

Одна только кучка, человѣкъ въ десять, лучшихъ, наиболѣе храбрыхъ людей, со всѣхъ сторонъ ощетинясь штыками да косами, стойко оставалась на мѣстѣ, не подпуская къ себѣ казаковъ. Душой этой горсти храбрецовъ былъ Бейгушъ, подъ которымъ еще въ самомъ началѣ дѣла была убита лошадь. Теперь же, въ минуту крайней опасности, видя, что уже все гибнетъ, онъ схватилъ винтовку убитаго стрѣлка и одушевленно кликнулъ кличъ окружавшимъ его людямъ; но изъ всей толпы едва лишь десять-двѣнадцать человѣкъ отозвались на призывъ начальника. Нѣсколько казаковъ гикали и кружились около ощетинившейся кучки, но ничего не могли съ нею подѣлать, пока не подбѣжала пѣхота и кинулась на нее въ рукопашную. Обѣ стороны дрались съ остервененіемъ, и въ особенности повстанцы, для которыхъ дѣло шло не о побѣдѣ, а только о томъ, чтобы купить себѣ смерть возможно дорогой цѣной. Тутъ безпощадно работали штыки и приклады, но эта ужасная, кровавая работа продолжалась не долго: въ двѣ-три минуты все было кончено, горсть храбрецовъ не существовала. Избитый прикладами и раненый штыкомъ, Бейгушъ упалъ, но не просилъ пощады. Одинъ изъ солдатъ занесъ уже было

[1]) Господа косиньеры, впередъ, потому что стрѣлки не выдерживаютъ.

[1]) Пѣхота въ сторону или въ лѣсъ. Кавалерія скачетъ! Мѣсто для кавалеріи!

[2]) Удирайте, господа косиньеры, потому что въ тылу пушки стоятъ.

Digitized by Google

надъ нимъ штыкъ, чтобы «прикончить» его на мѣстѣ, но къ счастію или несчастію Бейгуша, молодой прапорщикъ, командовавшій взводомъ, на долю котораго досталась борьба съ храброй кучкой, стремительно кинулся къ солдату и въ роковой моментъ отвелъ рукою штыкъ въ сторону.

— Не тронь! Это начальникъ!—закричалъ онъ.—Бери его въ плѣнъ, ребята!.. Живьемъ берп!

Бейгуша подняли и взяли. Онъ не сопротивлялся и только кинулъ грустный взглядъ на молодого офицера.

— Не благодарю васъ: вы оказали мнѣ очень дурную услугу,—проговорилъ онъ ему слабымъ голосомъ; но тотъ почти не слышалъ этихъ словъ и велъ своихъ людей далѣе.

Между тѣмъ гусары, послѣ перваго налета, разсѣявъ польскую кавалерію, разсѣялись и сами по полю, преслѣдуя и тамъ, и здѣсь отдѣльныя группы всадниковъ.

Вдругъ, Хвалынцевъ замѣтилъ, что мимо его, въ нѣсколькихъ шагахъ разстоянія, одиноко несется красивый всадникъ, въ рукахъ котораго развѣвается знакомое знамя. Этотъ всадникъ видимо торопился уйти съ мѣста сшибки, направляя своего коня въ ту сторону, гдѣ отдѣльно отъ всѣхъ стояла скорбная и блѣдная Цезарина, которую ксендзъ Игнацы и англійскій грумъ съ двухъ сторонъ умоляли пощадить себя, уходить, спасаться какъ можно скорѣе. Но она словно бы и не слыхала или не понимала ни просьбъ, ни доводовъ и продолжала стоять въ какомъ-то нѣмомъ и окаменѣломъ состояніи.

Константинъ съ перваго взгляда узналъ въ лицо знаменоносца, и молніей сверкнуло въ его головѣ воспоминаніе о немъ, о Цезаринѣ, о дуэли на узелокъ, и о словахъ «будетъ исполнено».

Какое-то странное чувство поднялось въ его груди—чувство насмѣшливо-радостной злобы и презрѣнія, желаніе мести и желаніе быть замѣченнымъ Цезариной.

Давъ сильныя шпоры коню, онъ въ тотъ же мигъ безотчетно пустился въ погоню за «хоронжимъ». Нѣсколько сильныхъ скачковъ—и его конь очутился рядомъ съ Жозефомъ.

— А! зъ мартвыхъ встали?! [1])—закричалъ, налетая на него Хвалынцевъ, и въ тотъ же мигъ плашмя полоснулъ его по лицу саблей. Затѣмъ, дѣломъ одного мгновенья было перекинуть эфесъ въ лѣвую руку, а правою схватиться за древко. Константинъ на лету, упершись въ стремя, рванулъ это древко съ такой силой, что знамя очутилось въ его рукѣ, а панъ Жозефъ, потерявъ балансъ, вылетѣлъ изъ сѣдла и шлепнулся на землю.

— Молодецъ, корнетъ!—гдѣ-то вдалекѣ за собою услыхалъ Хвалынцевъ ободряющій, веселый голосъ Вѣтохина.

Вся эта сцена произошла въ нѣсколькихъ саженяхъ предъ Цезариной.

Константинъ раздумчиво замедлился на мгновенье и... беззавѣтно поддался соблазну внезапно мелькнувшей ему мысли. Задержавъ коня, онъ тихо подъѣхалъ къ Цезаринѣ.

— Графиня, я сдержалъ свое слово! Какъ видите, я взялъ и несу ваше знамя...

Но вдругъ раздался выстрѣлъ изъ револьвера. и въ тотъ же мигъ Хвалынцевъ почувствовалъ, какъ что-то съ необычайной силой ударило его въ правую лопатку. Онъ коротко вскрикнулъ, зашатался въ сѣдлѣ и поникъ головою. Рука его тихо выпустила знамя и, вмѣстѣ съ нимъ, Константинъ безъ чувствъ упалъ къ ногамъ Цезарины.

— Честь спасена, графиня!.. Не знаю, я, кажется, раненъ, но наше знамя не взято! Я возвратилъ его!—кричалъ поднявшійся изъ пыли Жозефъ, подбѣгая къ своей амазонкѣ и потрясая револьверомъ, одно гнѣздо котораго удачно было разряжено на Хвалынцевѣ.

— Подите прочь!.. На вашемъ лицѣ виденъ слѣдъ фухтеля,—съ холоднымъ презрѣніемъ проговорила ему Цезарина и, отвернувшись, отъѣхала въ сторону на своемъ Баязетѣ.

Въ это время на Жозефа налетѣли два гусара, случайно видѣвшіе издали его выстрѣлъ по Хвалынцеву.

— О, ля Бога!.. Змилуйсен', пане!—едва успѣлъ воскликнуть красивый знаменоносецъ, какъ остріе пики сверкнуло у его груди, и въ то жь мгновеніе выдернулось изъ нея, покрытое алою кровью.

Другой гусаръ, занеся свою саблю, подскакалъ къ Цезаринѣ, но вдругъ рука его остановилась въ самомъ началѣ разящаго движенія; осадивъ своего коня, рубака съ самымъ наивнымъ изумленіемъ глядѣлъ въ лицо увернувшейся и отскочившей женщины.

— Тьфу, ты чортъ!—воскликнулъ онъ наконецъ, оскаливъ широкой улыбкой свои бѣлые зубы,—я думалъ что путное, а это баба!

И покачивая головою, гусаръ со смѣхомъ надъ своей ли неудачной попыткой, или надъ «бабой», которую принялъ за повстанца, отъѣхалъ прочь отъ Цезарины.

— О, ля Бога!.. Пани грабина!—съ новыми мольбами приступилъ къ ней чрезъ минуту блѣдный, перепуганный ксендзъ, который въ то время, пока налетѣвшій гусаръ предавался недоумѣнію, успѣлъ вмѣстѣ съ грумомъ «дать драпака» въ сосѣдніе орѣховые кусты, но замѣтивъ оттуда, что опасность миновала, пересилилъ свой страхъ и вернулся къ графинѣ съ послѣдней попыткой.—О, ля Бога!—молилъ онъ чуть не со слезами.—Пощадите!.. вы губите даромъ и себя, и насъ. Ну, что тутъ

[1]) Воскресшій изъ мертвыхъ.

Digitized by Google

дѣлать?!. Все кончено... ничего любопытнаго больше не будетъ... Умоляю въ послѣдній разъ, ускачемте, пока есть время, пока насъ не забрали!..

— Да, вы правы: больше здѣсь нечего дѣлать!—съ горечью вздохнула Цезарина, и давъ хлыста Баязету, поскакала въ кусты съ ксендзомъ и грумомъ.

Черезъ минуту она уже была среди густой чащи, совсѣмъ въ сторонѣ отъ того направленія, по которому пѣхота русскаго отряда вела по лѣсу дальнѣйшее преслѣдованіе разсѣянной банды.

Графъ Сченсный Маржецкій успѣлъ ускакать еще гораздо ранѣе, воспользовавшись той минутой, когда Цезарина, около которой онъ, сконфуженный и ничтожный, вертѣлся безъ всякаго дѣла, предложила ему атаковать русскихъ гусаръ. Графъ Сченсный повезъ это приказаніе пану Кощу, а самъ, подъ шумокъ, когда «несмертельные шквадроны» съ гамомъ и гвалтомъ ринулись впередъ, благоразумно ретировался въ лѣсную чащу.

Въ боковомъ карманѣ его оставалось еще до девяти тысячъ рублей «народовыхъ денегъ», полученныхъ на содержаніе банды, а съ эдакимъ кушемъ, при нѣкоторой удачѣ—лишь бы только москалей не встрѣтить!—не трудно было пробраться за границу и, по примѣру уже многихъ довудцевъ, на нѣкоторое время зажить во все свое удовольствіе гдѣ-нибудь въ Дрезденѣ или въ Парижѣ, вѣщая по курзаламъ да по клубамъ о своихъ подвигахъ во славу и за свободу дорогой «ойчизны».

Цезаринѣ тоже вполнѣ благополучно удалось ускакать съ мѣста боя, благодаря тому обстоятельству, что вниманіе двухъ гусаръ было отвлечено Хвалынцевымъ. Рядовой, заколовшій Жозефа, тотчасъ же спрыгнулъ съ коня и наклонился надъ своимъ офицеромъ.

— Ваше благородіе!.. Живы, аль померли? Эй, Лишухинъ! Чего зубы-то скалишь? Ступай живѣе сюда!.. Глянь-ка!.. корнета-то никакъ убило...

Лишухинъ, все еще ворча про «бабу», подъѣхалъ къ товарищу и, съ коня, внимательно посмотрѣлъ на лежавшаго Константина.

— Подержи-ка поводъ,—обратился къ нему первый гусаръ, отдавая свою лошадь, а самъ попытался осторожно приподнять Хвалынцева за плечи.

Тотъ очнулся и застоналъ отъ мучительной боли.

— Виновати, ваше благородіе!.. Одначе жь славу Богу... ваше благородіе живы!.. А мы ужь было подумали, что вы совсѣмъ тово... искренно обрадовался солдатикъ.—Скачи, Лишухинъ, доложи майору!

Гусаръ въ ту жь минуту далъ шпоры и, держа на поводу лошадь товарища, помчался отыскивать эскадроннаго командира.

Черезъ нѣсколько минутъ онъ отыскалъ его, доложилъ о ранѣ корнета и проводилъ на мѣсто. Вѣтохинъ прискакалъ съ ординарцами.

— Живъ?—тревожно спросилъ онъ у остававшагося гусара, который, склонясь надъ Хвалынцевымъ, поддерживалъ на своемъ колѣнѣ его голову.

— Такъ точно-съ!.. изволятъ быть живы, ваше высокоблагородіе!

Майоръ слѣзъ съ коня и заботливо осмотрѣлъ раненаго.

— Куда угораздило?—освѣдомился онъ съ ласковой, ободряющей улыбкой.

— Не знаю... боль во всей спинѣ, но... кажись, что въ правую лопатку,—отвѣтилъ тотъ, стараясь подавить въ своемъ лицѣ невольное выраженіе страданія и боли.

— Ну, въ такомъ случаѣ, поздравляю съ первой боевой раной и съ крестомъ за храбрость!.. Сколько могу судить, рана вѣроятно не опасная!—весело ободрялъ Вѣтохинъ, пожимая Хвалынцеву руку, и тотчасъ же сдалъ его на попеченіе одному изъ своихъ ординарцевъ, приказавъ взять подъ раненаго телѣгу и какъ можно скорѣе привезти изъ обоза эскадроннаго фельдшера, чтобы на мѣстѣ же сдѣлать первую перевязку.

Везти раненыхъ въ Августовъ или въ Сейны было гораздо дальше, чѣмъ въ Гродну, а потому майоръ Вѣтохинъ предпочелъ этотъ послѣдній пунктъ, въ которомъ кстати находился и ближайшій военный госпиталь со всѣми необходимыми удобствами. Уже позднею ночью, по окончаніи дѣла, доставили въ этотъ городъ русскихъ и польскихъ раненыхъ, а также и гурьбу плѣнныхъ, подъ достаточно-сильнымъ конвоемъ Плѣнные немедленно были сданы въ острогъ, раненыхъ же размѣстили въ обширномъ госпиталѣ. Хвалынцева внесли на носилкахъ въ офицерскія палаты, гдѣ нашлась для него свободная койка въ особой комнатѣ, а Бейгуша положили въ арестантскомъ отдѣленіи.

Въ числѣ убитыхъ повстанцевъ плѣнные кавалеристы называли пана-полковника Кощца и адъютанта Поля Секерко. Что же касается до ксендза Робака, то этотъ ловкій партизанъ-вѣшатель успѣлъ-таки скрыться съ двумя или тремя изъ ближайшихъ своихъ помощниковъ, покинувъ всю остальную банду на жертву казакамъ.

XVI.

Сестра.

Длинный переѣздъ на тряской подводѣ, и притомъ въ напряженномъ сидячемъ положеніи, такъ какъ рана не позволяла лежать на спинѣ, истомилъ Хвалынцева до такой степени, что во дворѣ гродненскаго госпиталя его сняли съ воза почти въ безчувственномъ состояніи. Дежурный

Digitized by Google

ординаторъ, съ помощью двухъ сонныхъ фельдшеровъ, сдѣлалъ ему новую перевязку и уложилъ, въ сидячемъ положеніи, въ особое покойное кресло на винтахъ, гдѣ Константинъ могъ наименѣе испытывать страданія, причиняемыя раной. Боль распространялась отъ лопатки на всю спину, страшно отдавалась въ груди, въ плечѣ и совершенно парализовала правую руку, которая покоилась на широкой перевязи. Лежать ему можно было только на лѣвомъ боку, да и то съ трудомъ, такъ что онъ поневолѣ предпочиталъ сидячее положеніе, какъ наименѣе причинявшее страданій. Подъ утро, съ помощью одного изъ наркотически-успокоительныхъ средствъ, дежурному ординатору удалось погрузить Хвалынцева въ сонъ, въ которомъ сильно нуждался его организмъ, истомленный усталостью, болью и потерею крови.

Долго ли продолжалось это забытье болѣзненнаго и неровнаго сна, Константинъ не могъ опредѣлить себѣ; но онъ пришелъ въ сознаніе вслѣдствіе одного внѣшняго ощущенія, котораго менѣе всего могъ ожидать въ настоящемъ своемъ положеніи.

Онъ ясно почувствовалъ на своемъ лбу легкое прикосновеніе мягкой и нѣжной, какъ будто женской руки.

«Что это?.. Въ правду, или только чудится?» смутно подумалось ему.

Онъ открылъ глаза: дневной свѣтъ пробивался сквозь опущенную штору.

— Пить... пить хочу,—тихо произнесъ онъ, чувствуя жгучую, сильную жажду.

Чья-то заботливая рука осторожно поднесла къ его пересохшимъ, лихорадочно воспламененнымъ губамъ кружку лимонаду.

Онъ жадно приникъ къ краю сосуда и медленными глотками сталъ утолять свой внутренній жаръ живительнымъ и прохладнымъ напиткомъ. Рука, на которую невольно упали его взоры, показалась ему женской рукой... Блѣдная, молодая, изящно выточенная, съ длинными, прекрасной формы пальцами... «Чья это рука?.. кто это?» вспало ему на мысль, и онъ, переставъ пить, поднялъ глаза на стоявшую съ боку женщину.

Предъ нимъ обрисовались строгія складки темнокоричневаго платья, бѣлая пелерина, бѣлый фартукъ и бѣлый чепецъ сестры милосердія.

«Но Боже мой, что́ жь это?!.. Видѣніе? сонъ? галлюцинація, или и точно правда?..» Точно ли въ-явь мелькнули ему знакомыя, добрыя черты прекраснаго лица,—лица, нѣкогда столь милаго и дорогого?..

— Таня?!.. смутно прошепталъ онъ, не вѣря глазамъ. —Таня... Татьяна Николаевна... Вы ли?

— Тсс... Не говорите... докторъ запретилъ пока... Вамъ вредно!—заботливо предупредилъ его ласковый, нѣжный и давно знакомый голосъ.

Но онъ не могъ успокоиться: явленіе этой дѣвушки было столь неожиданно, казалось столь страннымъ и почти сверхъ-естественнымъ, что душой его овладѣло понятное смятеніе. Онъ все еще не вѣрилъ ни глазамъ своимъ, ни слуху, и не могъ сообразить что́ это значитъ, зачѣмъ, почему и какими судьбами эта дѣвушка присутствуетъ здѣсь, въ госпиталѣ, въ такую минуту и въ такомъ исключительномъ костюмѣ?.. Онъ, полагавшій ее за тридевять земель, въ глухомъ поволжскомъ городѣ, или въ далекой степной деревнѣ, вдругъ во-очію видитъ ее предъ собой—и гдѣ же, и въ какое время?—когда кругомъ кипитъ война, бушуютъ политическія страсти, кишитъ измѣна, предательство, и каждый день обагряется кровью новыхъ убійствъ...

— Господи!.. Что́ это мнѣ чудится!.. Къ смерти, что ли?.. какъ бы про-себя пробормоталъ онъ, не сводя съ нея крайне изумленнаго и недовѣрчиво-тревожнаго взгляда.

— Къ жизни!.. къ жизни!—порывисто и съ глубокимъ внутреннимъ убѣжденіемъ прошептала она, стремительно бросаясь на колѣни предъ его кресломъ и схвативъ его свободную, здоровую руку.—Ничего тутъ нѣтъ необыкновеннаго,—продолжала дѣвушка, спѣша вывести его изъ тревожнаго недоумѣнія,—ровно ничего!.. Я уже нѣсколько недѣль здѣсь, въ этомъ госпиталѣ... Тетушка недавно умерла, я одна осталась—дѣваться некуда, а время теперь такое... нужное время—сами знаете... Я пошла въ сестры... Предлагали мнѣ въ Вильну или въ Варшаву, но я предпочла здѣсь, потому что здѣсь теперь Устиновъ служитъ... Онъ все же свой человѣкъ, близкій другъ и преданъ мнѣ... И все же не совсѣмъ ужь одна я, при немъ то, на чужой сторонѣ. Вотъ и только!.. И все, какъ видите, очень просто это... и ничего необыкновеннаго!.. Узнала сегодня, что въ ночь привезли васъ и выпросилась ухаживать... сказала, что старый знакомый... ну и позволили, слава Богу... Вотъ вамъ и все объясненіе!

Татьяна видимо торопилась подробнѣе высказать и разъяснить Хвалынцеву все дѣло, чтобы ни минуты лишней не держать его въ безпокойномъ состояніи сомнѣній и недоумѣнія, такъ какъ это состояніе могло бы вредно отозваться на его здоровьи.

Онъ, не встрѣчая сопротивленія, приблизилъ къ своимъ губамъ ея руку и молча приникъ къ ней тихимъ, благодарнымъ поцѣлуемъ.

На глаза его навернулись невольныя слезы, а въ умѣ, столь же невольно, возникло сопоставленіе двухъ женщинъ: одна встала предъ нимъ со всѣмъ эффектнымъ обаяніемъ своей патріотической миссіи, во всемъ поэтическомъ блескѣ заговорщицы, со всѣмъ обаяніемъ красоты, пламеннаго энтузіазма, фанатической ненависти и коварства,—встала такъ, какъ еще вчера встрѣтилъ онъ ее: подъ свистомъ пуль, среди лихой атаки, на ея кровномъ конѣ, въ блестящемъ, хоть и нѣсколько театральномъ

Digitized by Google

костюмѣ... И рядомъ съ ней это строгое платье сестры милосердія, эта скромная, не бьющая ни на какой эффектъ нравственная чистота, любовь и христіанское самоотверженіе простой, безхитростной русской женщины.

Только въ эту минуту внутренно понялъ и оцѣнилъ Хвалынцевъ разницу между той и другой. Хотѣлось ему сказать этой Танѣ: «Прости меня, если можешь!.. Я много виноватъ предъ тобой, чистая, честная душа, и много за то наказанъ!» Но взглянулъ на нее еще разъ и не сказалъ того, что̀ хотѣлось. Словъ не нужно было, потому что это доброе, спокойно свѣтлое лицо и безъ того уже все было озарено кроткой улыбкой любви и прощенія. Вмѣсто словъ ту же самую мысль высказалъ ей взглядъ Хвалынцева, и дѣвушка, казалось, женскимъ чутьемъ своимъ угадала и сознательно почувствовала значеніе и поняла смыслъ его безмолвно говорящаго взгляда. Она отвѣтила ему тихимъ пожатіемъ руки, и Константину показалось, что съ этой минуты внутренній міръ былъ заключенъ между ними.

Тихо скрипнула дверь, и позади Хвалынцева послышались чьи-то осторожные шаги.

— Не спитъ?—шопотомъ спросилъ мужской голосъ.

Татьяна отвѣтила отрицательнымъ кивкомъ головы.

— Здравствуйте, Хвалынцевъ!.. Узнаете стараго знакомца?

Константинъ поднялъ глаза, и радостная улыбка засвѣтилась на его страдающемъ лицѣ: предъ нимъ стоялъ докторъ Холодецъ, все такой-же бодрый, славный, симпатичный, какъ и въ первую встрѣчу. Больной слабо протянулъ ему свою здоровую руку.

— Ну, вотъ, сказывалъ я вамъ на прощанье, что только гора съ горой не сойдется, а мы съ вами навѣрное! И привелъ Богъ, какъ видите,—говорилъ Холодецъ, подсаживаясь около него на табуретъ.—Что̀, батюшка, лопатку поляки царапнули? Ничего, починимъ! Придется только поистязать васъ немного разными пластырями да перевязками, вообще пачкотней этой,—ну, да ужь дѣло наше такое, безъ того невозможно.

И Холодецъ сообщилъ, что главный докторъ поручилъ спеціально ему вести леченіе Хвалынцева, и что онъ еще съ апрѣля мѣсяца, за недостаткомъ врачей, временно прикомандированъ къ госпиталю, гдѣ бо̀льшая часть раненыхъ постоянно поступаетъ на его попеченіе.

— А я къ вамъ стараго пріятеля привелъ, сказалъ онъ,—угадайте-ка, кого?

— Знаю... догадываюсь... Гдѣ онъ?—оживленно спросилъ Хвалынцевъ.

— Здѣсь, въ дежурной комнатѣ дожидается. Вы только не волнуйтесь, Бога ради, и молчите побольше, а ужь предоставьте намъ развлекать васъ, коли желаете. Захаровъ!—обратился Холодецъ къ фельдшеру, стоявшему у дверей,—проводи-ка, братъ, сюда Андрея Павлыча.

Свиданіе съ Устиновымъ, послѣ двухлѣтней разлуки, хоть было и радостно, но для Хвалынцева, въ глубинѣ души его, отзывалось затаенной грустью. Ему больно было за самого себя, за ту сторону своей внутренней жизни, которая, послѣ разрыва съ Паляницею и Цезариной, такъ тяготила его и все-же оставалась глубокой тайной для всѣхъ друзей его. Теперь, предъ его скорбнымъ ложемъ, неожиданный случай свелъ троихъ людей, дорогихъ его сердцу.

Эта дѣвушка, отвергнутая имъ когда-то ради иной женщины, и этотъ школьный другъ и товарищъ, позабытый имъ въ томъ водоворотѣ, куда швырнула его рука чуждыхъ заговорщиковъ, и этотъ докторъ, нравственно поддержавшій его въ одну изъ скверныхъ минутъ жизни — всѣ они здѣсь теперь на лицо, и всѣ какъ были, такъ и остались простыми, прямыми и честными людьми, которые имѣютъ нравственное право, съ чистой совѣстью, открыто глядѣть въ глаза всему міру... И онъ зналъ, онъ чувствовалъ, что каждый изъ этихъ трехъ людей любитъ его по-своему, горячо и безкорыстно, даже и она, эта Таня, любить не перестала, хотя ея любовь и не дала ей ничего, кромѣ горя, не оставила ея душѣ никакого просвѣта, никакой надежды и въ концѣ концовъ привела въ общину сестеръ милосердія... Онъ зналъ еще и то, что эти люди смотрятъ на него, какъ на честнаго человѣка, вѣрятъ въ него, убѣждены въ немъ и съ негодованіемъ отвергли-бы малѣйшую тѣнь сомнѣнія, еслибы такая могла быть брошена на него кѣмъ-либо, а между тѣмъ... онъ долженъ скрывать свой прошлый грѣхъ и заблужденіе, таить отъ нихъ ту сторону своей внутренней жизни, которая самому была столь невыносимо тягостна, и тягостна именно тѣмъ, что надо было одному безраздѣльно нести ее до времени въ глубинѣ души своей, не смѣя облегчить себя откровеннымъ и полнымъ признаніемъ.

XVII.

Честный шагъ.

Съ такимъ внимательнымъ и свѣдущимъ врачемъ, какъ Холодецъ, и съ такой заботливой сидѣлкой, какъ Татьяна, леченіе Хвалынцева шло очень успѣшно. Чрезъ два мѣсяца рана затянулась, только правой рукой не могъ онъ еще владѣть свободно. Почти ежедневно, въ послѣобѣденное время, навѣщалъ его Устиновъ и просиживалъ съ нимъ часа по два, по три, развлекая его то чтеніемъ, то разговоромъ, главной темой котораго, конечно, были жгучія текущія событія. Татьяна, съ тѣхъ поръ, какъ

Digitized by Google

страданія Хвалынцева значительно уменьшились, стала уже рѣже показываться въ его комнатѣ: ея обязанности призывали ее къ другимъ страдальцамъ, которые теперь болѣе Константина нуждались въ ея заботливомъ уходѣ и попеченіяхъ. Ни слова о прошломъ за все это время не было сказано между Хвалынцевымъ и ею. Она являлась къ нему только сестрой милосердія и другомъ, но не болѣе, и не подала ни малѣйшаго повода завести рѣчь о прошломъ. Заводить-же самому такую рѣчь — Хвалынцевъ не считалъ возможнымъ. Слишкомъ многое удерживало его отъ этого шага, и прежде всего сознаніе своей глубокой виновности предъ отвергнутой имъ дѣвушкой. Да и какое-же будущее могъ-бы онъ предложить ей, если и самъ-то не былъ еще увѣренъ въ своемъ собственномъ будущемъ? Онъ могъ съ каждымъ днемъ ожидать, что участіе его въ заговорѣ раскроется помимо его воли и что за это участіе, быть-можетъ, придется вскорѣ понести искупительную кару. Онъ не боялся, а напротивъ, желалъ этой кары, и какова-бы ни была предстоящая ему судьба, ожидалъ ее съ покорнымъ спокойствіемъ. Тутъ онъ одинъ виноватъ и одинъ понесетъ за себя расплату. Но послѣ всего, что было, обрекать эту дѣвушку еще на новыя страданія, на новую тревожную неизвѣстность Хвалынцевъ считалъ невозможнымъ: противъ этого возставала вся лучшая, вся человѣческая и честная сторона его натуры.

Однажды замѣтилъ онъ, что Устиновъ пришелъ къ нему въ какомъ-то грустномъ настроеніи духа. Послѣ нѣсколькихъ оборотовъ разговора, который на сей разъ, вопреки обыкновенію, не совсѣмъ-то клеился между ними, Хвалынцевъ спросилъ его что это значитъ?

— Прегрустное письмо получилъ—сообщилъ Устиновъ.—Помнишь ты Шишкина?

— Шишкина?—переспросилъ Константинъ, не совсѣмъ-то ясно отдавая себѣ отчетъ, чтобы могъ быть этотъ Шишкинъ, и почему эта фамилія кажется ему нѣсколько знакомою.

— Ну, да; гимназиста Шишкина, въ Славнобубенскѣ,—продолжалъ пояснять Устиновъ.—Того самаго, что на литературномъ вечерѣ, который устраивалъ покойникъ Лубянскій, дернулъ вдругъ публично «Орла»—исторія, изъ-за которой у меня чуть не состоялась дуэль съ Подвилянскимъ, изъ-за которой меня шпіономъ ославили,—ну, неужели не помнишь?

— А-а!.. Какъ-же, какъ-же!.. подхватилъ Хвалынцевъ,—теперь вспоминаю! Гимназистъ Шишкинъ, который умѣлъ отлично декламировать стихи и былъ, кажись, выгнанъ за это изъ гимназіи, затѣмъ исчезъ куда-то... Помню и «Орла», и Шишкина, и всю эту глупую исторію...

— Благодаря которой, однако,—замѣтилъ Устиновъ,—я долженъ былъ уѣхать изъ Славнобубенска и теперь наконецъ очутился въ Сѣверо-Западномъ краѣ.

— Ну, такъ что-же этотъ Шишкинъ?—спросилъ Хвалынцевъ.

— Да вотъ, представь себѣ, какая исторія вдругъ оказывается!—Совершенно неожиданно получаю я сегодня отъ него изъ петербургской пересылочной тюрьмы письмо, которое онъ пишетъ наканунѣ своего отправленія въ Сибирь на каторгу.

— На каторгу?.. За что?.. Неужели за «Орла» на каторгу?

Нѣтъ, почище чѣмъ за «Орла»,—за распространеніе въ Жигулевскихъ горахъ «золотыхъ грамотъ», вмѣстѣ съ какимъ-то Василіемъ Свиткой...

— Свиткой?! — воскликнулъ Хвалынцевъ, невольно поблѣднѣвъ при послѣднемъ словѣ.

— А что? Тебѣ развѣ знакомо это имя?—спросилъ Устиновъ, отъ котораго не укрылись ни странный тонъ невольно вырвавшагося восклицанія, ни эта внезапная блѣдность, ни взглядъ, исполненный смущенія и тревоги.

— Къ несчастію, слишкомъ хорошо знакомо,—помолчавъ и какъ-бы собравшись съ мыслями, тихо проговорилъ Хвалынцевъ.

— Какими судьбами? — поднялъ на него удивленный взоръ маленькій математикъ, еще болѣе придя въ недоумѣніе отъ послѣднихъ словъ своего пріятеля.

— Объ этомъ послѣ... Потомъ разскажу какъ-нибудь,—уклонился Хвалынцевъ.—Такъ что-же Шишкинъ-то... Говори, пожалуйста... Это любопытно,—въ нѣкоторомъ замѣшательствѣ старался онъ навести разговоръ на прерванную тему.

— Да что Шишкинъ... Подцѣпилъ его въ крутую минуту этотъ самый Свитка.—А что за Свитка? Про то и самъ онъ никогда не зналъ да и о сю пору не знаетъ!... Зачали они вмѣстѣ пропагандировать въ лѣто 61-го года на Волгѣ, пока не нарвались въ одной какой-то деревнѣ на здравый мужичій смыслъ; мужики ихъ запримѣтили, заподозрили, хотѣли было руки назадъ скрутить да въ становую квартиру; однако же не удалось на тотъ разъ: выручилъ кистень да револьверъ, чуть убійства не вышло... Скрылись пріятели въ Самарскую губернію, а оттуда въ Питеръ пробрались, но только послѣ студентской исторіи Шишкина на родину выслали, въ Славнобубенскъ, а тамъ онъ прекрасно было устроился, получилъ мѣсто въ пароходной компаніи, занялся дѣломъ, средствами поправился и мать свою, старуху, пріютилъ у себя,—ну, словомъ, совсѣмъ отрезвился малый и зажилъ себѣ порядочнымъ и честнымъ человѣкомъ, какъ вдругъ — нужно же случиться такому обстоятельству!—ѣхалъ онъ прошлой осенью на пароходѣ, и случись тутъ же на палубѣ нѣсколько жигулевскихъ мужиковъ изъ той самой деревни, гдѣ онъ со Свиткой въ пропагандѣ подвизался.

Digitized by Google

Признали сразу! И въ лицо, и по складу признали, да на первой же пристани и заявили по начальству, что промежъ ними «смутитель» ѣдетъ. Того, разумѣется, сейчасъ же сцапали, пошло особое формальное слѣдствіе, чуть не цѣлая деревня была вызвана въ качествѣ свидѣтелей-очевидцевъ, и каждый на слѣдствіи почти сразу признаетъ въ лицо: даже того мальчонку, что̀ перевозилъ его со Свиткой на Самарскій берегъ, и того откопали,—ну, словомъ, уликъ собралось достаточно, да наконецъ, и самъ повинился, признался во всемъ что̀ было... Отправили въ Петербургъ, судили, и вотъ тебѣ финалъ всей этой исторіи, — каторга!

— Это ужасно!—какъ бы про-себя проговорилъ Хвалынцевъ, медленно проводя по лбу рукой.

— Да, мой другъ, и ужасно потому, что случилось уже въ то время, когда человѣкъ совсѣмъ отрезвѣлъ, когда изъ него и для общества могло бы выработаться что-нибудь путное и полезное... Каково въ такомъ-то вотъ положеніи идти на каторгу, если даже самому себѣ не остается призрачнаго утѣшенія, что я-де политическій мученикъ, страдалецъ за убѣжденія!.. А тутъ еще безпомощная и больная старуха-мать на произволъ судьбы остается!..

«Да, платиться, когда отрезвѣлъ и когда не остается самому себѣ даже призрачныхъ утѣшеній—грустно», подумалось Константину. А Устиновъ и не подозрѣвалъ, въ какой мѣрѣ и какъ близко эти самыя слова подходятъ къ его другу и какъ чутко ударили они его по сердцу.

— По какимъ же причинамъ онъ написалъ тебѣ это?—полуразсѣянно и послѣ довольно долгаго раздумчиваго молчанія спросилъ Хвалынцевъ, видимо находясь еще подъ давленіемъ какой-то другой посторонней мысли.

— Да просто изъ благодарной памяти: вѣдь я любилъ его,—пояснилъ Устиновъ. — Ну да вѣроятно и душу отвести хотѣлось, напослѣдокъ высказаться хоть предъ кѣмъ-нибудь въ такую тяжелую минуту... Это такъ естественно.

«Высказаться хоть предъ кѣмъ-нибудь!».— Какъ была понятна Константину такая нравственная потребность! Какъ самому ему хотѣлось порой высказаться! А въ данную минуту, вслѣдствіе разсказа Устинова, эта жажда чистосердечной исповѣди овладѣла имъ еще болѣе.—«Пора!.. пора!» говорилъ ему какой-то неотразимый, настойчивый внутренній голосъ, въ то время какъ мысль предавалась раздумью о судьбѣ несчастнаго Шишкина.—«Пора!.. Видно и въ самомъ дѣлѣ всѣмъ намъ приходитъ время расплаты за прошлое»...

— Но скажи пожалуйста, что это за личность?—продолжалъ межъ тѣмъ Устиновъ,— ты говоришь, что зналъ этого Свитку?

Константинъ, не выходя изъ своего раздумья, вмѣсто отвѣта, утвердительно кивнулъ ему головой.

— Точно ли онъ Свитка и насколько это имя законно принадлежитъ ему, я не знаю,— заговорилъ онъ наконецъ, послѣ нѣкотораго молчанія, въ теченіе котораго Устиновъ смотрѣлъ на него вопросительнымъ взглядомъ, какъ бы выжидая болѣе опредѣленнаго отвѣта и разъясненія.—Я знаю только одно,—продолжалъ Константинъ, — что у этого человѣка есть нѣсколько именъ, между прочимъ и имя Свитки; но кто онъ такой въ сущности и какъ его подлинное имя—это мнѣ извѣстно столько же, сколько тебѣ и Шишкину, а между тѣмъ...

И какъ бы осѣкшись на полусловѣ и не досказавъ своей мысли, Хвалынцевъ снова отдался какому-то раздумью, которое снова вызвало вопросительный взглядъ со стороны учителя; но теперь къ этому взгляду примѣшался уже оттѣнокъ нѣкотораго недоразумѣнія. Это безпрестанно возвращающееся раздумье и этотъ тонъ невольно казались Устинову нѣсколько странными и загадочными.

— Да, и между тѣмъ этотъ человѣкъ имѣлъ громадное вліяніе на мою судьбу,—высказался наконецъ Хвалынцевъ.

— На твою судьбу?... на *твою*?... Вліяніе, говоришь ты?—съ возрастающимъ удивленіемъ повторилъ вслѣдъ за нимъ Устиновъ.

— Да, мой другъ, вліяніе, — подтвердилъ Константинъ.—И при томъ, быть-можетъ, столь же роковое, какъ и на судьбу этого Шишкина.

— Воля твоя,—пожалъ учитель плечами,— я тебя не совсѣмъ понимаю!

— Погоди, поймешь и узнаешь все очень скоро,—слегка усмѣхнулся Хвалынцевъ. — Да вотъ что̀,—продолжалъ онъ, — зачѣмъ откладывать въ долгій ящикъ—благо мы одни и времени еще есть достаточно... Бери-ка вотъ на столѣ карандашъ да бумагу... Я попрошу тебя записывать и потомъ переписать то, что̀ я тебѣ продиктую... Извини, голубчикъ, прибавилъ онъ,—радъ бы былъ и самъ это сдѣлать, да рука еще не совсѣмъ свободно дѣйствуетъ.

И онъ, въ возможно краткой, сжатой и точной формѣ письма, сталъ диктовать Устинову всю послѣдовательную исторію своего вступленія въ заговоръ, своихъ отношеній съ «Варшавскимъ Отдѣломъ Земли и Воли», и своихъ разочарованій по поводу подложнаго адреса на имя великаго князя Намѣстника, послѣдствіемъ которыхъ былъ ударъ кинжаломъ «за измѣну дѣлу». Цезарина не была названа въ этомъ письмѣ: онъ не хотѣлъ компрометировать и путать въ свое дѣло женщину, и только разсказалъ о ней Устинову, чтобы не оставлять для него загадкой главную причину своихъ сумасбродныхъ увлеченій дѣломъ, совершенно для него чуждымъ.

Былъ названъ въ письмѣ поручикъ Паля-

Digitized by Google

ница, о которомъ въ то время имѣлось уже положительное офиціальное свѣдѣніе, что онъ убитъ при Пясковской Скалѣ, въ дѣлѣ съ Лангевичемъ, въ банду котораго бѣжалъ незадолго до того времени; названы были еще Добровольскій, открыто командовавшій шайкой, Веллеръ и Кошкадамовъ, завѣдомо бѣжавшіе за границу, и наконецъ Василій Свитка—псевдонимъ безусловно загадочный для самого Хвалынцева. Письмо было написано просто и правдиво, и отъ начала до конца дышало искренностью и горячимъ увлеченіемъ. — «Я не смѣю разсчитывать на милость и не прошу пощады, говорилось тамъ въ заключеніе. Я ожидаю заслуженной мною кары и приму ее какъ должное и справедливое возмездіе, во искупленіе моихъ заблужденій и ради очищенія своей собственной совѣсти, ради нравственнаго примиренія съ самимъ собой».

Устиновъ остался неожиданно и сильно пораженъ всѣмъ, что̀ открыло ему это письмо, погрузившее его въ глубокое раздумье.

— Послушай, Константинъ! — заговорилъ онъ наконецъ, перечитавъ еще разъ написанное.—Я не знаю, что̀ ты намѣренъ съ этимъ письмомъ дѣлать, но по моему не лучше ли его поскорѣй уничтожить?

— Ни за что въ мірѣ!—на-отрѣзъ отказался Хвалынцевъ.

— Но... по крайней мѣрѣ, къ кому ты намѣренъ адресовать его?

— Къ Муравьеву.

— Какъ?!.. вскочилъ съ мѣста Устиновъ.— Къ Михаилу Николаевичу?!

— Да, къ нему непосредственно,—спокойно подтвердилъ Хвалынцевъ.—Прямой путь, самый простой и короткій, и тѣмъ болѣе, что, будучи здѣсь, въ Гроднѣ, я временно нахожусь подъ его начальствомъ, стало быть имѣю на такой поступокъ даже нѣкоторый законный поводъ.

— Сумасшедшій! Да подумалъ-ли ты...

— Э, мой другъ!—нетерпѣливо перебилъ Константинъ. — Откровенно говоря, мнѣ уже не въ-моготу больше ни мое фальшивое положеніе, ни эта проклятая неизвѣстность за свою участь. Лучше-же порѣшить все сразу и скорѣе!

— Но вѣдь изъ Вильны не жди ужь пощады.

— Я и не жду ея. И... что бы тамъ ни было, я рѣшился... твердо и безповоротно!

Устиновъ пересталъ возражать и грустно поникъ головой.

— Еще одна послѣдняя просьба,—дружески обратился къ нему Хвалынцевъ,—во-первыхъ, до времени никому ни полслова, ни намека,— понимаешь? А во-вторыхъ, перепиши ты мнѣ это къ завтраму начисто, я подпишу и—отправимъ его съ Богомъ... Только дай слово, что непремѣнно отправишь!—поспѣшилъ онъ прибавить торопливо и заботливо.

Устиновъ отвѣчалъ молчаливымъ знакомъ согласія.

На слѣдующее утро все было исполнено по желанію Константина и письмо въ тотъ-же день пошло по назначенію, а къ ночи мѣстный военный губернаторъ получилъ уже изъ Вильны лаконическую телеграмму: «Немедленно арестовать корнета Хвалынцева, впредь до дальнѣйшаго о немъ распоряженія».

XVIII.

Русская сила.

Польскимъ патріотамъ Сѣверо-Западнаго края очень не хотѣлось вѣрить, что вновь назначенный начальникъ есть именно прежній гродненскій губернаторъ. Одни утѣшались мыслью, что назначенъ «Амурскій», другіе ласкали себя надеждой, что «Карсскій», стараясь и то, и другое мнѣніе навязывать даже русскимъ. Но сколь ни оттоняли они отъ себя эту тревожную вѣсть, она подтвердилась во всей своей силѣ: 14-го мая генералъ Муравьевъ былъ уже въ Вильнѣ.

Онъ засталъ Край въ полномъ разгарѣ мятежа. Съ разбитіемъ шаекъ на одномъ мѣстѣ, онѣ мгновенно являлись на другомъ, возникая изъ разсѣянныхъ остатковъ. Болѣе мирная часть крамольнаго дворянства хитилась изъ «гражданскихъ» мѣстахъ революціонной организаціи, тогда какъ болѣе воинственная или «завзятая» ушла въ банды. Все что было изъ шляхетства въ боевомъ настроеніи, уже рагювало въ лѣсахъ, а женщины насмѣшками и мольбами, обольщеніями и цѣной собственнаго цѣломудрія выгоняли «до лясу» и послѣднихъ изъ оставшихся почему-либо дома. Магнаты разсчитывали на «широкія плечи» вліятельныхъ защитниковъ, которыя будто бы найдутся для нихъ въ Петербургѣ, и пребывали въ полной увѣренности, что правительство не рѣшится примѣнить къ нимъ лично никакой черезчуръ уже рѣзкой и крупной мѣры, а ксендзы точно также были твердо увѣрены, что они ни въ какомъ случаѣ не подлежатъ дѣйствію закона, примѣняемаго къ мирянамъ, что ихъ судить можетъ только Римъ и установленная отъ него католическая церковная власть, въ которой они всегда найдутъ защитниковъ, а не судей, и эта увѣренность ксендзовъ въ личной своей безопасности и въ безнаказанности въ началѣ возстанія была несокрушима.

Муравьевъ, первымъ же дѣломъ, выдѣлилъ рѣзкой чертой изъ мѣстнаго населенія ополяченное общество, то-есть ту среду, гдѣ именно гнѣздилась крамола. Онъ круто перемѣнилъ систему, которой до него держались въ Краѣ представители высшей русской власти, и изъ

Digitized by Google

строго оборонительной сдѣлалъ ее рѣшительно наступательной. Надо было прежде всего сломить увѣренность магнатовъ и ксендзовъ въ ихъ безнаказанности и въ безсиліи законной власти; и вотъ 22-го мая викарный ксендзъ Станиславъ Ишора, за возбужденіе въ костелѣ народа къ мятежу, былъ приговоренъ къ смертной казни, въ Вильнѣ, на торговой площади. День былъ базарный, почему и собралось въ городъ множество окрестнаго народа. Въ толпу были пущены увѣренія, что Муравьевъ на подобную мѣру не отважится, что «самъ Наполеонъ» ему этого не позволитъ, что это будетъ безразсудный вызовъ римскому папѣ, что вся латинская Европа вторгнется въ предѣлы Россіи искать возмездія за Ишору, что это только шутка, которая устраивается ради театральнаго эффекта, чтобы напустить страху и сейчасъ-же помиловать. Но когда всенародно, среди бѣла-дня, грянулъ залпъ — въ толпѣ раздались стоны и вопли виленскихъ горожанокъ. Первая паническая вѣсть съ необычной быстротой разнеслась по цѣлому Краю. Черезъ два дня, 24-го мая, точно также всенародно были разстрѣляны въ Вильнѣ, за возбужденіе народа къ мятежу, двое подсудимыхъ — одинъ ксендзъ, а другой шляхтичъ. 27-го мая, графъ Леонъ Плятеръ, предводитель шайки, разбившей транспортъ съ оружіемъ близъ Креславки, былъ разстрѣлянъ въ Динабургѣ. 28-го мая, въ Вильнѣ повѣшенъ захваченный предводитель банды Колышко, уличенный кромѣ того въ разграбленіи сельскихъ правленій, общественныхъ дѣлъ и въ повѣшеніи должностныхъ лицъ. 6-го іюня, въ Ковнѣ, разстрѣлянъ корнетъ Бѣлозоръ, взятый съ оружіемъ въ рукахъ, а въ Могилевѣ тотъ-же приговоръ исполненъ надъ поручикомъ Корсаковымъ, надъ двумя прапорщиками Манцевичами и надъ предводителемъ шайки, эмигрантомъ Анцыпою. 10-го іюня разстрѣлянъ въ городѣ Лидѣ ксендзъ Фальковскій, а 15-го іюня повѣшенъ въ Вильнѣ военный воевода Литвы и Бѣлоруссіи, капитанъ Сѣраковскій [1]).

24-го мая по всему Краю было введено военное положеніе: въ каждомъ уѣздѣ утверждено военно-гражданское управленіе, съ безусловнымъ подчиненіемъ ему всѣхъ мѣстныхъ властей и всего населенія, при строгомъ предписаніи «ограждать крестьянское сословіе отъ покушеній мятежниковъ»; образованы сельскія стражи и конные разъѣзды для наблюденія за проѣзжающими, всѣ помѣщики, ихъ прислуга, шляхта, ксендзы и римско-католическіе монастыри обезоружены, и обезоруженіе это произведено въ теченіе трехъ дней по цѣлому Краю; помѣщики обязаны жить безотлучно въ своихъ имѣніяхъ, съ возложеніемъ на нихъ строжайшей отвѣтственности за укрывательство бродягъ, за образованіе скопищъ въ чертѣ ихъ имѣній и за содѣйствіе мятежу деньгами или припасами; латинскому духовенству объявлено, что за возбужденіе населенія къ мятежу члены его подвергнутся всей строгости законовъ, «безъ принятія отговорки, что были-де вынуждены, ибо служители алтаря еще менѣе другихъ должны подчиняться симъ угрозамъ»; помѣщики, управители, настоятели монастырей, равно какъ и сельскія общества, обязаны, подъ опасеніемъ строгаго суда, немедленно доносить о всякихъ мятежныхъ проявленіяхъ въ ихъ чертѣ; на имѣнія всѣхъ прямо или косвенно содѣйствовавшихъ мятежу, наложенъ секвестръ, и кромѣ того наложенъ на всѣхъ вообще помѣщиковъ десятипроцентный немедленный сборъ съ ихъ доходовъ на покрытіе военныхъ издержекъ; военные же суды предписано кончать безъ замедленія и приговоры тотчасъ же приводить въ исполненіе.

Но при самомъ рѣшительномъ и безпощадномъ напорѣ на крамолу, Муравьевъ понималъ, что ему слѣдуетъ дѣйствовать съ величайшей осмотрительностью и тактомъ, дабы, возстановляя законную власть, не подать ни малѣйшаго повода къ явному противодѣйствію ей, не дать случая никакой шальной выходкѣ, въ присутствіи власти, оказать ей неуваженіе или ослушаніе. Послѣ этихъ радикальныхъ мѣръ, крамола могла дѣйствовать только ощупью, исподтишка, всячески скрываясь отъ русскаго глаза. Но карающая сила тотчасъ являлась на мѣсто преступленія и страхомъ грознаго примѣра отбивала отъ охоты повтореній и участія. Вслѣдъ за истязаніями, произведенными на панской мызѣ,— мыза тотчасъ же была разрушаема до основанія; за истязаніями въ шляхетской «околицѣ», — околица немедленно сжигалась, шляхта выводилась на поселеніе въ Сибирь, и вслѣдъ затѣмъ плугъ бѣлорусскаго хлопа вспахивалъ самое мѣсто мятежнаго поселка, чтобъ и слѣдовъ его не оставалось. Нѣсколько такихъ своевременныхъ примѣровъ, — и неистовства шляхты сразуже прекратились. Дворяне-землевладѣльцы и католическое духовенство, а особенно высшее, были поставлены въ неизбѣжную необходимость, безъ всякихъ увертокъ, ясно и категорически высказаться, намѣрены ли они быть вѣрноподданными. Это было для нихъ тяжелѣе всего, особенно же въ виду соблазнительнаго увѣдомленія князя Чарторыйскаго, что 16-го іюня иноземная помощь непремѣнно будетъ уже на мѣстѣ, въ предѣлахъ Польши и Жмуди. Такое увѣреніе ма-

[1]) Сѣраковскій, съ пріѣздомъ въ Вильну, измѣнилъ партіи красныхъ и перекинулся на сторону бѣлыхъ. Истребленіе помѣщичьихъ шаекъ въ Витебской и Могилевской губерніяхъ, равно какъ и пораженіе Сѣраковскаго при Гудишкахъ, были громовые удары, понесенные бѣлыми въ теченіе апрѣля мѣсяца. Красные съ самодовольствомъ смотрѣли какъ гибнутъ ихъ противники: пораженіе при Гудишкахъ они привѣтствовали какъ собственную побѣду (См. Рачъ – „Матеріалы для исторіи мятежа, 1863 года“, стр. 207).

Digitized by Google

гически дѣйствовало и на бѣлыхъ, и на красныхъ, которые рѣшили держаться до прибытія англичанъ, французовъ и австрійцевъ, во что бы то ни стало, а между тѣмъ слѣды революціонной литовской организаціи вскорѣ начали быстро разоблачаться. Спутанный узелъ ея развязывался нитка за ниткой. 20-го мая былъ арестованъ одинъ изъ самыхъ «сильныхъ умовъ» и наиболѣе видныхъ «филяровъ великаго будованья», крупный собственникъ графъ Викторъ Старжинскій, а къ 1-му іюня крупные помѣщики Оскерко, Антоній Еленскій и Францъ Далевскій уже сидѣли въ крѣпости. Яковъ Гейшторъ, уцѣлѣвшій четвертый членъ комитета бѣлыхъ, отказался отъ всякихъ дальнѣйшихъ дѣйствій и совѣщаній. Такимъ образомъ, «Литовскій Отдѣлъ» партіи бѣлыхъ былъ разрушенъ въ первые же дни Муравьевскаго управленія, а съ паденіемъ этого бѣлаго комитета, въ которомъ собственно и заключалась вся нравственная и матеріальная сила возстанія, пересталъ дѣйствовать и «Петербургскій Отдѣлъ» со своимъ коммисаромъ Іосафатомъ Огрызкой. Красные снова стали у кормила революціонной власти и сгруппировались около желѣзнодорожнаго чиновника Дюлорана, которому варшавскій ржондъ передалъ главную власть надъ «Литовскимъ Отдѣломъ».

Въ это-то время Константинъ Калиновскій, сынъ бѣднаго ткача изъ-подъ Свислочи, [1]) бывшій студентъ Петербургскаго университета, рѣшился привести въ исполненіе свой давно задуманный планъ. Съ помощью происковъ въ центральномъ ржондѣ, предъ которымъ доселѣ онъ разыгрывалъ смиренную роль покорнѣйшаго слуги ему удалось добиться того, что Центральный, Комитетъ назначилъ новыми членами въ Литовскій Отдѣлъ людей, рекомендованныхъ самимъ же Калиновскимъ. Эти люди—собственныя его креатуры, находились у него въ полной нравственной зависимости. Такимъ образомъ подъ Дюлораномъ очутились помощники, замыслившіе крамолу противъ крамольнаго ржонда. Близорукій Дюлоранъ, ничего не подозрѣвая, рекомендовалъ ихъ съ наилучшей стороны членамъ Варшавскаго Центральнаго Комитета, а между тѣмъ Калиновскій, помимо его, объявилъ себя самовластнымъ и независимымъ диктаторомъ Литвы; креатуры его охотно приняли «министерскіе портфели», и одураченный Дюлоранъ, боясь признаться, что проспалъ диктатуру Калиновскаго, поскакалъ въ Варшаву съ докладомъ, будто «генералъ Муравьевъ разбилъ уже вдребезги всю литовскую организацію» и будто дальнѣйшее сопротивленіе тамъ невозможно. Варшавскій ржондъ совсѣмъ уже изъ постороннихъ рукъ узналъ въ чемъ кроется истинное дѣло, и встревожась отложеніемъ Калиновскаго, послалъ къ нему его университетскаго товарища Оскара Авейде «уломать» новаго диктатора, урезонить его не отдѣляться отъ ржонда, во имя любви къ общей польской отчизнѣ. Но тщетно бѣгалъ Авейде на виленское нѣмецкое кладбище для свиданій и переговоровъ съ Калиновскимъ. Этотъ послѣдній не соглашался ни на что и заявилъ, что ему дѣла нѣтъ до «Короны», что Литва и Бѣлоруссія совершенно особое и самостоятельное государство и что «такой глупой башкѣ, какъ Варшава, нельзя вручать судьбу Западнаго края».

Между тѣмъ «бѣлые» увидѣли уже ясно всю безвыходность своего положенія; 16-го іюня прошло, а иноземная помощь не явилась, зато Муравьевъ день-ото-дня все больше и суровѣе налагаетъ на нихъ свою желѣзную руку. Литовскіе паны исподтишка стали «отпуряться» отъ возстанія, заявлять себя невинными жертвами, сваливать всю вину на красныхъ и уже подумывали о поднесеніи вѣрноподданническаго адреса. Заваривъ кашу, они спѣшили теперь удалиться отъ ея расхлебыванья. Тщетно диктаторъ Калиновскій внушалъ своимъ подручнымъ, что «революціонныя власти должны съ неподатливыми жителями обращаться суровѣе власти правительственной». Страхъ закона пересилилъ страхъ революціоннаго террора. Въ половинѣ іюня Вильна уже совершенно преобразилась и все болѣе и болѣе принимала видъ русскаго города. Польскіе патріоты боялись подать даже малѣйшую тѣнь своего недавняго нахально-крамольнаго настроенія, и ясно стало всему городскому населенію, что законная власть вполнѣ утвердилась. Все обратилось къ обычнымъ, мирнымъ занятіямъ, съ особеннымъ торжествомъ праздновались царскіе дни, на площадяхъ гремѣла музыка, собирался и гулялъ народъ. Въ день тезоименитства Государыни, 22-го іюля, Вильна со всѣми своими переулками заблистала вечеромъ великолѣпной иллюминаціей: для каждаго окна нашлась покорная рука, которая зажгла свѣчи, а костелы точно желали перещеголять другія зданія и, соперничая между собой, изощрялись въ блескѣ декоративныхъ иллюминацій... А казалось бы, давно ль было время, когда въ день рожденія Государя, 17-го апрѣля, городъ былъ погруженъ въ глубокій мракъ, и на темной улицѣ, предъ однимъ казеннымъ зданіемъ, едва освѣщеннымъ нѣсколькими плошками, толпа школьниковъ вопила: «Ахъ, какая блистательная, какая торжественная иллюминація»!.. Давно ли кадеты виленскаго корпуса громкими возгласами заявляли изъ оконъ свое неудовольствіе командиру гвардейскаго полка, который стоялъ передъ строемъ; давно ли русское духовенство, въ которое плевали при встрѣчахъ, избѣгало выходить изъ домовъ, и по городу ходили слухи о рѣзнѣ русскихъ то въ ночь на Страстную пятницу, то на Свѣтло-Христово Воскресеніе, и русскіе тревожно баррикадировали окна и две-

[1]) Гродненской губерніи Волковыскаго уѣзда.

Digitized by Google

ри, готовясь къ отпору, на случай ночного нападенія; давно ли, въ ожиданіи скораго прибытія французовъ, поляки лукаво перемигивались, когда гвардейцы церемоніальнымъ маршемъ вступали въ Вильну, послѣ разбитія шаекъ. «Какой-то маршъ заиграютъ москали, когда пойдутъ за Двину?» громко раздавались при этомъ изъ толпы бахвальные возгласы. Давно-ли наконецъ, помѣщики, снаряжавшіе у себя шайки, напѣвали въ то же время русской власти свою старую пѣсню о «легальности» и жаловались, что русскіе священники подзадориваютъ крестьянъ къ бунту противъ пановъ-землевладѣльцевъ, такъ что подъ воздѣйствіемъ такихъ напѣвовъ, военачальники не знали что имъ предстоитъ на завтра: писать ли реляціи о разбитіи шаекъ, или оправдательные отвѣты противъ заявленій польской легальности. Казалось бы давно ли все это творилось?

А теперь...

27-го іюля торжественно былъ представленъ дворянствомъ вѣрноподданническій адресъ. «Красные» пришли въ ужасъ. Они очень хорошо понимали, что однѣми своими силами, безъ нравственной и, главное, безъ матеріальной поддержки дворянства, въ Литвѣ они ничего не подѣлаютъ, и потому рѣшились удержать силою террора выскользающее изъ заговора дворянство. Но Муравьевскія мѣры нагнали такого страху, что изъ мѣстныхъ жандармовъ-кинжальщиковъ, несмотря на всѣ старанія Калиновскаго, не нашлось ни одного, который рѣшился бы привести въ исполненіе кровавый декретъ диктаторскаго трибунала. За наемными убійцами пришлось посылать въ Варшаву: и вотъ, въ отместку за адресъ, 29-го іюля, въ квартиру виленскаго губернскаго предводителя дворянства г. Домейко, вошелъ подъ благовиднымъ предлогомъ неизвѣстный человѣкъ, нанесъ ему нѣсколько ранъ кинжаломъ и скрылся на улицѣ.

Слѣдствія этого покушенія были до того ужасны для литовской организаціи, что Калиновскій и его друзья назвали «іюльской катастрофой» ударъ, разразившійся надъ ними. Убійца и его товарищъ были пойманы, несмотря на то, что обрили себѣ усы и бороды и перерядились въ женское платье. Весь городъ въ одну ночь былъ подвергнутъ общему повальному обыску, причемъ открыты всѣ городскіе жандармы-кинжальщики, вся городская организація и все управленіе диктатора. Въ теченіе августа семь человѣкъ ближайшихъ исполнителей террора были повѣшены въ Вильнѣ. Эти казни и аресты нагнали на заговорщиковъ такой паническій ужасъ, что изъ Вильны разбѣжались всѣ уцѣлѣвшіе приспѣшники диктатора. Калиновскій остался одинъ, и даже ржондъ варшавскій прекратилъ свои домогательства укротить и подчинить его своей власти. Ржондъ хотѣлъ теперь помимо его отвоевать себѣ Сѣверо-Западный край и потому снова собралъ шайки съ Августовской губерніи, для вторженія въ предѣлы Гродненской и Ковенской территорій. Августовскіе крестьяне отвѣтили на эту новую попытку извѣстной депутаціей, которая 6-го августа явилась къ Муравьеву, прося его принять августовскихъ крестьянъ подъ свою защиту для спасенія отъ неистовствъ и насилій.

«Іюльская катастрофа», такъ-сказать, наступила мятежу на горло и окончательно задавила его въ Сѣверо-Западномъ краѣ. Дальнѣйшія проявленія были уже только агоніей, предсмертными его судорогами. Такіе результаты были достигнуты глубоко обдуманными, а главное — рѣшительными мѣрами. Исполнено было то, что до того почиталось невозможнымъ.

Муравьевъ за мятежными шайками, за этимъ видимымъ проявленіемъ мятежа, видѣлъ и скрытую во тьмѣ мятежную организацію, а за этою послѣднею—мятежную польскую интеллигенцію, питаемую шляхетными традиціями и іезуитизмомъ костела, изъ-за которыхъ на почвѣ сѣверо-западной Россіи періодически возобновляется борьба русской силы съ чужеяднымъ полонизмомъ.

Но наконецъ-то русскіе люди увидѣли въ этомъ Краѣ возрожденіе общественныхъ признаковъ русскаго господства и русской жизни, увидѣли возобновленіе разрушавшихся православныхъ храмовъ, администрацію — русскую по своему личному составу, водвореніе русскаго языка въ школахъ, въ общественныхъ и присутственныхъ мѣстахъ, русскія вывѣски, русскія гульбища, русскій театръ. Но рядомъ съ этими наружными признаками были положены и внутреннія начала къ кореннымъ преобразованіямъ. Едва прошло двѣ недѣли со дня прибытія Муравьева—мятежъ еще кипѣлъ и бушевалъ, паны и шляхта были полны еще тревожныхъ ожиданій иноземной вспомогательной силы, а Муравьевъ, чуя за собою мощный голосъ цѣлой поднявшейся Россіи, и ободренный настроеніемъ мѣстнаго русскаго земледѣльческаго населенія, сдѣлалъ уже первыя распоряженія объ устройствѣ быта сельчанъ, основанныя на истинномъ духѣ и смыслѣ «Положеній 19-го февраля», а не на своекорыстныхъ и лукавыхъ изворотахъ польской «легальности». Призванные сюда русскіе мировые посредники приступили къ дѣлу въ духѣ закона, равно обязательнаго для обѣихъ сторонъ—столь же и для пановъ, сколько и для хлоповъ, а озабоченное мѣстное дворянство, искони привыкшее понимать, что дѣйствіе закона есть собственно не что иное, какъ пристрастная поддержка его дворянскихъ выгодъ и интересовъ — это дворянство завопило въ заграничныхъ листкахъ «о правильно организованномъ грабежѣ», о соціализмѣ и коммунизмѣ Муравьева и его посредниковъ. Въ іюлѣ повѣрочныя коммисіи уже при-

Digitized by Google

ступили къ работамъ, а въ то же самое время были положены прочныя начала и къ тому, чтобы мѣстныя воспитательныя и учебныя заведенія не могли уже быть на будущее время разсадниками ополяченныхъ патріотовъ и патріотокъ. Русскій народъ и русское преподаваніе смѣло, какъ коренные хозяева, вошли въ мужскія и женскія гимназіи и школы, а вмѣстѣ съ тѣмъ даны были широкія средства и приложено полное вниманіе къ учрежденію наивозможно бо́льшаго числа чисто-русскихъ сельскихъ школъ для образованія народа.

XIX.

Желѣзный человѣкъ.

Арестъ Хвалынцева продолжался нѣсколько недѣль. Въ теченіе этого времени одинъ только докторъ Холодецъ да Татьяна, въ качествѣ госпитальной «сестры», могли навѣщать его въ положенное время. Они знали теперь причину этого ареста, узнали и тотъ путь, который вовлекъ Константина въ заговоръ, и тѣ нравственные укоры, которые суждено ему было переиспытать, и потому-то теплое, дружеское участіе обоихъ служило ему не малымъ источникомъ нравственной поддержки и утѣшенія: въ ихъ лицѣ онъ видѣлъ, что порядочные люди отъ него не отвернулись, что дѣвушка, любившая его когда-то, остается ему добрымъ другомъ, со всею ободряющею силою, со всею мягкою деликатностью, на которую бываетъ способно всепрощающее, простое и чистое сердце женщины. Ни намекомъ, ни взглядомъ никогда не выразила она ему ни малѣйшаго упрека за прошлое, но при этомъ слово «любовь» все же не выговаривалось какъ-то между ними. Татьяна новая, какую узналъ и понялъ онъ только теперь, оставалась для него, какъ и въ первое время болѣзни, только другомъ, только «сестрой». Что касается суроваго будущаго, которое должно послѣдовать за этимъ арестомъ, Константинъ и теперь, какъ прежде, ждалъ его покорно и спокойно. Порою одно только удивляло и его, и друзей его: это то, что дни ареста проходили за днями, а между тѣмъ онъ ни разу еще не былъ подвергнутъ даже предварительному допросу со стороны мѣстной военно-слѣдственной коммисіи. Холодецъ попытался развѣдать стороной, есть-ли въ этой коммисіи какое-либо дѣло или переписка о Хвалынцевѣ, но оказалось, что ни дѣла, ни переписки никакой не имѣется, да и не было.

Между тѣмъ, леченіе пришло къ благополучному концу; Константинъ чувствовалъ себя уже совершенно здоровымъ и могъ легко и свободно владѣть рукою. Онъ подалъ рапортъ о выздоровленіи и въ тотъ-же день былъ перемѣщенъ на городскую гауптвахту. Здѣсь уже посѣщенія друзей поневолѣ прекратились, такъ какъ, при строгомъ арестѣ, къ нему не допускали никого.

Однажды, раннимъ утромъ, въ камеру, гдѣ содержался Хвалынцевъ, вошелъ жандармскій поручикъ и разбудилъ его.

— Потрудитесь поскорѣе одѣться: вы должны немедленно ѣхать,—сообщилъ онъ.

— Куда?.. Вѣрно, въ коммисію?.. Наконецъ-то!—проговорилъ Константинъ, испытывая даже чувство нѣкотораго довольства при мысли, что сообщеніе жандармскаго офицера, вѣроятно, предвѣщаетъ ему скорый конецъ той томительной скукѣ и темной неизвѣстности, въ которыхъ находился онъ со дня перемѣщенія на гауптвахту.

— Вы ѣдете въ Вильну,—продолжалъ жандармъ.—Я получилъ предписаніе сопровождать васъ по желѣзной дорогѣ.

— Въ такомъ случаѣ, — сказалъ Хвалынцевъ,—вамъ, вѣроятно, извѣстно, и то мѣсто, куда вы должны меня сдать по пріѣздѣ?

— Безъ сомнѣнія,—улыбнулся жандармскій поручикъ.

— А не будетъ съ моей стороны нескромностью, если я спрошу васъ куда именно?

— Ни мало... Отчего-же!

— Въ такомъ случаѣ?..

— Мнѣ велѣно доставить васъ непосредственно къ генералъ-губернатору,—сообщилъ офицеръ.—Однако, одѣвайтесь живѣе,—поторопилъ онъ арестанта, взглянувъ къ себѣ на часы.—Мы отправляемся сейчасъ-же, съ утреннимъ поѣздомъ.

Хвалынцевъ не заставилъ долго ожидать себя и чрезъ десять минутъ, вмѣстѣ съ конвоиромъ, ѣхалъ уже на желѣзную дорогу.

* * *

Пріемная зала въ виленскомъ дворцѣ была полна посѣтителями, когда дежурный адъютантъ ввелъ туда Хвалынцева, который былъ сданъ ему съ рукъ на руки жандармскимъ офицеромъ.

Константинъ скромно помѣстился у крайняго окна и издали сталъ осматривать присутствовавшихъ. Все, что собралось здѣсь, ожидало утренняго выхода грознаго генерала. Затаенное безпокойство, робость и томленіе ясно отпечатлѣвались на многихъ лицахъ изъ числа тѣхъ, которымъ довелось еще впервые присутствовать и ожидать въ этой залѣ. Въ одномъ концѣ стояла, тихо разговаривая, группа военныхъ генераловъ и штабъ-офицеровъ, затянутыхъ въ полную парадную форму; въ другомъ—группа статскихъ чиновниковъ, между которыми виднѣлось два-три священника и нѣсколько черныхъ фраковъ съ серебряными крестами въ память работъ по освобожденію крестьянъ и съ широкими золотыми цѣпями на шеѣ. То были нѣкоторые изъ новыхъ мировыхъ посредниковъ, вызванныхъ изъ внутреней Россіи. Рядомъ съ ними въ какомъ-то из-

Digitized by Google

пряженномъ и благоговѣйно-чинномъ молчаніи, стояло нѣсколько крестьянскихъ депутацій со своими сельскими старостами и старшинами; нѣсколько евреевъ съ раввиномъ, нѣсколько смиренноликихъ ксендзовъ и монастырскихъ опатовъ (настоятелей), десятка полтора пановъ-помѣщиковъ, предстоявшихъ здѣсь частію во фракахъ, но болѣе въ своихъ дворянскихъ мундирахъ, затѣмъ нѣсколько обывателей съ разными просьбами и нѣсколько польскихъ дамъ-просительницъ подъ вуалями, съ блѣдными и грустными лицами, которыя такъ не гармонировали съ веселымъ и свѣтлымъ цвѣтомъ ихъ нарядовъ... Тутъ былъ и панъ Пшепендовскій, «соприсоединившійся и возсовокупившійся», которому, послѣ неудачнаго повстанья, очень хочется съ помощью «возсовокупленія», вынырнуть на теплое мѣстечко, «для того какъ онъ наусегда былъ вѣрнымъ собакой и увесь животъ свой подъ престолъ отечества желаетъ подложить». Тутъ былъ и панъ грабя Слопчицькій, который съ юркостью вертѣлся между русскими чиновниками, найдя среди ихъ своихъ петербургскихъ знакомыхъ и видимо желая показать предъ «виленьскими родаками», что онъ тутъ «свой человѣкъ», на короткой и независимой ногѣ, «совсѣмъ sans façon», и потому, значитъ, онъ «сила», дипломатъ, политикъ и необычайно ловко умѣетъ обдѣлывать свои дѣлишки.

Вглядываясь пристальнѣе, Хвалынцевъ, среди дворянской группы, замѣтилъ и своего знакомца, пана Котырло, который тоже явился сюда съ заявленіемъ о своемъ всегдашнемъ «наивѣрнопредаństвѣ», лелѣя мысль «о примиренью и забвенью». Надъ этими двумя группами ксендзовъ и пановъ, по преимуществу, вѣялъ духъ томленья и унынія, который они старались прятать подъ личиной кротости и покорства.

Но вотъ распахнулись двери—и изъ смежной комнаты, среди мертвой тишины, водворившейся въ залѣ, ясно послышался звукъ старчески медленныхъ, но твердыхъ шаговъ. Хвалынцевъ могъ замѣтить, какъ невольно поблѣднѣли и вытянулись польскія лица при мѣрномъ стукѣ этой походки. Несмотря на все свое предшествовавшее спокойствіе, онъ самъ почувствовалъ внутри себя нѣчто жуткое, замирающее, при наступленіи минуты, которую имѣлъ полное право считать для себя рѣшительной и роковой.

Въ дверяхъ показалась столь характерная и всѣмъ извѣстная фигура.

Ни на кого не глядя, ни къ кому не обращаясь, генералъ вышелъ на середину залы и, сдѣлавъ общій поклонъ, не торопливо, но зорко и внимательно, нѣсколько исподлобья осмотрѣлся вокругъ и обвелъ своимъ пристальнымъ взглядомъ одну за другой всѣ собравшіяся группы. Затѣмъ, замѣтивъ православныхъ священниковъ, направился прямо къ нимъ и подошелъ подъ благословеніе сѣдовласаго протоіерея, какъ старшаго между ними. Внимательно выслушаны были просьбы и заявленія священниковъ, и еще внимательнѣй и радушнѣй были они отпущены послѣ аудіенціи. Смиренноликіе ксендзы, искоса поглядывая на нихъ, достаточно могли понять и оцѣнить значеніе и смыслъ такого пріема и предпочтенія, оказаннаго прежде всѣхъ представителямъ православнаго духовенства, тогда какъ до Муравьева это предпочтеніе всегда принадлежало имъ, а не русскимъ священникамъ.

Послѣдовало представленіе военныхъ и гражданскихъ чиновниковъ, затѣмъ крестьянскихъ депутацій и наконецъ дошла очередь до пановъ-помѣщиковъ. Съ тѣмъ же сосредоточеннымъ вниманіемъ выслушивалъ генералъ заявленіе каждаго изъ нихъ и негромкимъ голосомъ дѣлалъ свои вопросы и замѣчанія. Этотъ голосъ былъ тихъ, совершенно спокоенъ и въ высшей степени ровенъ, таковъ же точно былъ и взглядъ; но предъ этимъ голосомъ и взглядомъ, гдѣ просвѣчивала желѣзная, непреклонная воля, испытывали неодолимое смущеніе и трепетъ тѣ самые магнаты, которые искони сами привыкли, чтобы предъ ними все преклонялось и трепетало. А какъ были глубоко почтительны и низки тѣ поклоны, которые отвѣшивали эти гордыя головы и негнуткія спины, когда генералъ, выслушавъ одного, переходилъ къ слѣдующему!.. При видѣ этого человѣка, Хвалынцевъ въ этой сдержанности и строгой простотѣ его почувствовалъ присутствіе дѣйствительной и громадной нравственной силы, предъ которою невольно гнулась и нѣмѣла иная сила, заносчивая, кичливая и самонадѣянная.

Но вотъ, обходя постепенно присутствовавшихъ, генералъ остановился, наконецъ, предъ Константиномъ и поднялъ на него взоръ съ выраженіемъ вопроса.

— Корнетъ Хвалынцевъ,—назвалъ его дежурный адъютантъ, слѣдовавшій за генераломъ съ листкомъ бумаги, на которомъ записаны были фамиліи представлявшихся.

Старикъ нѣсколько мгновеній держалъ Константина подъ магнетическимъ вліяніемъ своего пристальнаго, твердаго и внимательнаго взгляда, который былъ встрѣченъ однако взглядомъ открытымъ и прямымъ, и затѣмъ, съ легкимъ полупоклономъ промолвивъ «подождите», отошелъ по порядку къ одной изъ просительницъ.

Минутъ чрезъ двадцать аудіенціи были окончены, и тѣ же твердые, медленные шаги затихли за затворившеюся дверью. Публика мало-по-малу удалилась, и наконецъ Хвалынцевъ остался одинъ въ этой громадной опустѣвшей залѣ, которая на своемъ долгомъ вѣку видѣла въ своихъ бѣлыхъ стѣнахъ столько мо-

Digitized by Google

нарховъ и столько историческихъ личностей. Но вотъ, чрезъ нѣсколько минутъ появился вновь дежурный адъютантъ и пригласилъ Хвалынцева слѣдовать за собою въ кабинетъ генералъ-губернатора.

При этомъ у Константина невольно екнуло и шибче забилось сердце. Роковая минута наступила. Онъ постарался собрать все присутствіе духа, чтобы, по возможности, спокойнѣе и тверже переступить порогъ кабинета, предъ дверью котораго адъютантъ его оставилъ, пригласивъ жестомъ слѣдовать далѣе.

Хвалынцевъ очутился въ довольно обширной и чрезвычайно просто убранной комнатѣ, гдѣ стояли старинной формы стулья и кресла съ деревянными спинками и кожанымъ сидѣньемъ, старинные большіе часы, огромная карта Сѣверо-Западнаго края и очень большой рабочій столъ, за которымъ, въ разстегнутомъ сюртукѣ, съ дымящимся длиннымъ чубукомъ сидѣлъ тотъ, котораго звали «грозою литвиновъ».

Онъ тяжело, съ нѣкоторымъ усиліемъ, поднялся съ кресла и пригласилъ Хвалынцева приблизиться.

— Я получилъ ваше письмо,—началъ онъ все тѣмъ же тихимъ и ровнымъ голосомъ, глядя ему прямо въ глаза своимъ неотводнымъ и внимательно испытующимъ взглядомъ. — Долженъ сознаться,—продолжалъ онъ, — что это письмо понравилось мнѣ, оно писано очень искренно и съ честнымъ чувствомъ. Однако же я счелъ нужнымъ на время арестовать васъ. Это, между прочимъ, нужно было и затѣмъ, чтобы собрать о васъ болѣе полныя свѣдѣнія да и провѣрить отчасти то, что вы говорите. Очень радуюсь, что собранные факты вполнѣ подтвердили о васъ доброе мнѣніе, которое я составилъ себѣ, судя по этому письму. Вы увлеклись, конечно, но... кто молодъ не былъ!... И притомъ же вы собственною кровью дважды искупили ваше заблужденіе. Этого довольно. Возвращаю вамъ ваше оружіе—вы свободны отъ ареста.

И съ этими словами онъ подалъ Хвалынцеву его саблю.

Константинъ могъ ожидать всего, но ужь никакъ не такого исхода. Онъ едва вѣрилъ своимъ глазамъ и уху—до такой степени расходился фактъ, совершившійся сію минуту, съ представленіемъ о «безсердечномъ варварѣ», о «виленскомъ палачѣ», какъ трубили объ этомъ человѣкѣ на весь міръ европейскія газеты. Лучъ безпредѣльной, глубокой и живой благодарности краснорѣчиво, хоть и безмолвно сверкнулъ въ радостномъ взорѣ Хвалынцева.

Старикъ замѣтилъ это и добродушно слегка улыбнулся.

— Садитесь, корнетъ!.. Потолкуемъ!—указавъ на кресло, вдругъ неожиданно предложилъ онъ, когда тотъ подстегнулъ возвращенную саблю. И, къ пущему удивленію Хвалынцева, въ тонѣ, которымъ были сказаны послѣднія слова, и въ томъ выраженіи лица, какое ихъ сопровождало, вдругъ сказалось необычайно много доброй и разумной простоты и такой сердечности, которая встрѣчается какъ коренное свойство въ матерыхъ русскихъ натурахъ. Это широкое, старчески-обрюзглое лицо, озаренное теперь благодушно-серьезной улыбкой, этотъ чубукъ, дымящійся въ губахъ, спокойные, умные глаза и даже этотъ сюртукъ разстегнутый—все это такъ живо, такъ наглядно представляло патріархальный, безпритязательный типъ русскаго, матераго барина, въ его простомъ деревенскомъ обиходѣ, и ничто не напоминало въ немъ того грознаго человѣка, предъ которымъ нѣсколько минутъ назадъ трепетало столько человѣческихъ существованій.

— Я получилъ о васъ наилучшую аттестацію отъ вашего командира,—заговорилъ старикъ, пыхтя изъ своей трубки.—Васъ рекомендуютъ, какъ дѣльнаго и даровитаго офицера, да кромѣ того, вы изъ университета, стало-быть, человѣкъ не безъ образованія... Скажите, какія ваши намѣренія, и вообще, что вы думали бы относительно дальнѣйшей вашей жизни?

— Служить,—отвѣтилъ Хвалынцевъ.

Генералъ на минуту задумался.

— Хотите служить у меня?—предложилъ онъ.—Мы, дастъ Богъ, сойдемся поближе, я узнаю покороче ваши способности, и тогда... мнѣ сдается, что вы съ пользою могли бы послужить въ этомъ Краѣ по крестьянскому дѣлу. Что вы на это скажете?

Константинъ сказалъ, что служба этого рода всегда казалась ему очень симпатичною, что еще въ университетѣ, прежде вступленія на военное поприще, онъ предполагалъ посвятить себя именно этой службѣ, въ губерніи, гдѣ находится его имѣніе, и съ этою цѣлью изучалъ «Положеніе 19-го февраля» и внимательно слѣдилъ за ходомъ крестьянскаго дѣла.

Умный и проницательный старикъ въ дальнѣйшемъ разговорѣ очень тонко и незамѣтно сумѣлъ, такъ-сказать, выщупать и проэкзаменовать Константина относительно его знакомства съ крестьянскимъ дѣломъ и, въ концѣ концовъ, остался доволенъ полученными результатами.

— Я зову васъ къ себѣ именно для крестьянскаго дѣла,—замѣтилъ онъ, подымаясь съ мѣста, причемъ, конечно, поднялся и Хвалынцевъ.— Въ здѣшнемъ Краѣ это теперь самое настоятельное и святое дѣло, для котораго мнѣ прежде всего нужны честные люди. Но,—продолжалъ генералъ,—прежде чѣмъ приступить вамъ къ работѣ, я хочу, чтобы вы вполнѣ познакомились съ моимъ взглядомъ на условія жизни этого края. Помните, что Сѣверо-Западный край—*Россія*, а проживающіе въ немъ враждебные Россіи поляки и ополяченные сотруд-

Digitized by Google

ники польской справы суть измѣнники и мятежники, безъ всякихъ облегчающихъ обстоятельствъ. Мои мѣры круты, я знаю это, но всѣ мои мѣры истекаютъ изъ одного основного положенія: очистить эту русскую землю отъ всего польскаго наноса, истребить, искоренить все, что польская интеллигенція, русской жизни враждебная, исподволь успѣла вдавить крамольнаго въ русскую почву и которая въ теченіе пяти вѣковъ терзала здѣсь Русскую землю. Вы должны твердо помнить и глубоко сознавать, что здѣсь народъ—*русскій*, шляхетство—*ополяченное*, а каждый вновь воздвигаемый костелъ—новое знамя для мятежной борьбы противъ русской жизни. Таковъ окончательный выводъ изслѣдованій минувшихъ судебъ и настоящаго положенія западной Россіи. И когда, съ изгнаніемъ полонизма, ополяченный Западный край снова станетъ русскимъ, тогда немыслимо будетъ никакое возстаніе и въ Польшѣ; тогда исчезнутъ и иноземныя надежды чмѣть въ полякахъ постоянную фистулу противъ силы Россіи [1]).

XX.

„Патріоты“.

Такъ какъ Хвалынцевъ былъ привезенъ въ Вильну только въ томъ, что было на немъ надѣто, то ему въ тотъ же день пришлось возвратиться въ Гродну, чтобы взять тамъ свое бѣлье и кое-какія необходимыя вещи, доставленныя къ нему изъ эскадрона еще во время леченія его въ госпиталѣ.

Торопясь захватить пассажирскій поѣздъ, онъ изъ дворца поѣхалъ прямо на желѣзную дорогу.

Свѣтло и мирно было теперь у него на душѣ, точно бы съ него разомъ сняли тяжелый гнетъ, точно бы почувствовалъ онъ въ себѣ приливъ новыхъ силъ, новой энергіи и нравственной бодрости. Съ свѣтлымъ упованіемъ и вѣрой смотрѣлъ онъ на будущее, на честный и серьезный трудъ, который предстоитъ ему вскорѣ. Словно изъ бронзы отлитый, вставалъ передъ нимъ типичный и характерный образъ старика, желѣзнаго деспота, предъ которымъ въ залѣ трепетало столько людей, и добраго, простого человѣка, который въ своемъ кабинетѣ успѣлъ чутко подмѣтить честное сердце въ молодомъ человѣкѣ, разглядѣть на что онъ годенъ, ободрить, поднять его нравственно своимъ довѣріемъ и сразу пріурочить къ тому дѣлу, гдѣ онъ могъ принести самую существенную пользу своей странѣ и народу. Съ признательнымъ, горячимъ чувствомъ въ душѣ, Константинъ далъ самому себѣ обѣтъ посвятить всю жизнь, всѣ силы свои этому благому дѣлу и честно идти твердымъ, неуклоннымъ путемъ къ той цѣли, которую показалъ ему прозорливый и разумный опытъ сильнаго умомъ и волей «желѣзнаго человѣка».

Наскоро пообѣдавъ въ столовой дебаркадера, онъ взялъ билетъ и поспѣшилъ заранѣе занять себѣ въ вагонѣ мѣсто поудобнѣе. Въ томъ отдѣленіи, дверцу котораго растворилъ предъ нимъ кондукторъ, сидѣлъ уже какой-то пассажиръ. Хвалынцевъ помѣстился напротивъ и искоса оглядѣлъ его такимъ взглядомъ, какимъ всегда оглядываютъ входящіе въ вагонъ своего случайнаго сосѣда. Это былъ тучный, отмѣнно упитанный человѣкъ несомнѣнно россійскаго, черноземнаго пошиба, представитель тѣхъ благосклонныхъ и мирныхъ захолустій, отъ которыхъ, по выраженію гоголевскаго городничаго, «хоть три года скачи, ни до какого государства не доскачешь». Что-то смутно знакомое, гдѣ-то видѣнное, когда-то встрѣченное сказалось Хвалынцеву въ лицѣ и во всей фигурѣ упитаннаго соотечественника. «Кто бы такой это могъ быть?» подумалось ему въ то время какъ пытливый взглядъ искоса еще разъ скользнулъ по лицу сосѣда?—«Ба!.. да вѣдь это славнобубенскій привилегированный и празднопроживающій острякъ и философъ Подхалютинъ!» вдругъ домекнулся онъ, ясно припомнивъ себѣ даннаго субъекта съ послѣднимъ брошеннымъ на него взглядомъ. Константинъ уже хотѣлъ было сказать ему «здравствуйте!» но во-время вспомнилъ, что представлены они другъ другу не были, а только встрѣчались кое-когда и кое-гдѣ въ славнобубенскомъ обществѣ. Поэтому, вмѣсто «здравствуйте», онъ прислонился поудобнѣе въ уголъ своего эластическаго сидѣнья и развернулъ предъ собою нумеръ какой-то петербургской газеты, купленный на станціи.

Уже пробилъ второй звонокъ, когда передъ дверцею вагона послышался снаружи чей-то хрипло-басистый голосъ:

— Кондукторъ!.. Эй! Что вы, дьяволы, оглохли здѣсь, что ли? Или, полячье, по-русски не понимаете?.. Я васъ выучу, р-ракаліи!.. Отводи мнѣ мѣсто въ вагонѣ, гдѣ попросторнѣе!

Кондукторъ раскрылъ дверцу и между Хвалынцевымъ и его vis-a-vis неуклюже полѣзла въ вагонъ чья-то кудластая, бородатая, несуразая и высокая фигура, съ поднятымъ до ушей воротникомъ толстаго пальто, въ надвинутой на глаза войлочной шляпѣ, съ сакъ-вояжемъ, дубиной, подушкой, шляпнымъ футляромъ и волочащимся пледомъ. Фигура наконецъ влѣзла, ворча себѣ подъ носъ какіе-то нелестные эпитеты, невѣсть къ кому обращенные, и повернувшись задомъ къ своимъ сосѣдямъ, съ крякхтѣньемъ и сапомъ стала возиться въ другомъ концѣ отдѣленія, размѣщая и прилаживая свои дорожныя вещи.

Хвалынцевъ, не обращая вниманія на не-

[1]) Подлинныя слова и мысли графа М. Н. Муравьева (См. В. Рачъ, стр. 219 и 239).

Digitized by Google

уклюжую возню новаго пассажира, продолжалъ читать свою газету, какъ вдругъ:

— Ба, ба, ба!.. Знакомыя всѣ лица!—раздался около него пріятно удивленный голосъ, и прежде чѣмъ успѣлъ онъ опомниться, его уже облапили чьи-то безцеремонныя объятія, а уста, обрамленныя мохнатою растительностью, напечатлѣли на щекѣ его мокрый поцѣлуй. Отъ этихъ устъ Константина обдало спиртуознымъ букетомъ, и едва успѣлъ онъ нѣсколько отстраниться да поднять глаза, какъ вдругъ, къ необычайному изумленію своему, воочію узрѣлъ предъ собою Ардальона Полоярова.

— Не ожидали-съ?.. Признаюсь, оно точно!.. Ха, ха, ха!.. И самъ я не ожидалъ, ей-Богу!.. Здравствуйте, батенька!—говорилъ онъ своимъ обычнымъ безцеремоннымъ тономъ повидимому вовсе не замѣчая того холодно-удивленнаго взгляда, которымъ уставился на него Хвалынцевъ. Быть можетъ, впрочемъ, къ такому настроенію располагало Ардальона Михайловича то состояніе «легкаго подпитія», въ какомъ обрѣтался онъ въ данную минуту.— Астафій Егорычъ! Батенька! Голубчикъ! А вы-то здѣсь какими судьбами?—отвернувшись на минуту отъ Хвалынцева, говорилъ межъ тѣмъ Ардальонъ Подхалютину, растопыряя предъ нимъ руки и готовясь точно также заключить и его въ свои непрошенныя объятья.

— Извините... Съ кѣмъ имѣю честь?—какъ-то затруднительно поеживаясь, промямлилъ ему Подхалютинъ.

— Господи!.. Да неужели не признали?.. Ардальона-то Полоярова?.. Батенька!.. Это вѣдь я самый!.. Въ Славнобубенскѣ то мы съ вами хоть и не близко были знакомы—такъ только, встрѣчались кое-гдѣ, но я помню какъ вы всѣхъ этихъ тамошнихъ прохвостовъ отлично чехвостили, и я всегда вамъ въ томъ сочувствовалъ и отъ всей души за то вамъ въ ножки кланяюсь и уважаю!

Эта несуразая, грубая лесть не осталась однако безъ воздѣйствія на податливую натуру острослова, который впрочемъ, не зная близко господина Полоярова, могъ относиться къ нему вполнѣ безразлично, и потому подкупленный его «сочувствіемъ», «уваженіемъ» и «поклономъ въ ножки», съ радушной улыбкой, словно бы и въ самомъ дѣлѣ узнавъ въ его лицѣ своего хорошаго стараго знакомца, протянулъ ему руку.

Полояровъ, которому такое пожатіе, что-называется, «пошло въ повадку», не замедлилъ тотчасъ же подсѣсть къ Подхалютину рядомъ.

— Ахъ, батенька,—заговорилъ онъ даже въ нѣсколько умиленномъ тонѣ,—просто, не повѣрите вы, какъ то-есть это пріятно здѣсь, въ этомъ краѣ, такъ-сказать, просто на чужбинѣ, среди этого, знаете, подлаго полячья, вдругъ встрѣтиться съ настоящимъ русскимъ человѣкомъ! Да еще со старымъ знакомымъ, съ землякомъ! Вѣдь, это то-есть, просто какъ родного встрѣтишь!

«Однако что жь это такое?» подумалъ себѣ при этихъ словахъ Хвалынцевъ, кинувъ изъ-за газеты любопытный взглядъ на Полоярова. «Что за метаморфоза?.. Ардальонъ Полояровъ въ роли «патріота» да еще не просто, а квасного патріота!.. Курьезъ да и только!»

И онъ, оставя на время газету, рѣшился не только прислушаться, но даже, если потребуется, то и вступить съ Ардальономъ въ подходящій разговоръ, лишь-бы уяснить себѣ смыслъ и значеніе явленія столь неожиданнаго и курьезнаго.

— Ну, скажите вы мнѣ, — говорилъ межъ тѣмъ Ардальонъ отрослову,—давно-ли вы изъ Славнобубенска?

— Не болѣе недѣли,—отвѣчалъ тотъ.

— И вѣрно за-границу катите?

— Я-то?.. А что я тамъ забылъ? Что мнѣ тамъ дѣлать?.. Я вѣдь безъ крайней нужды не ѣзжу никуда, все больше дома привыкъ сидѣть. А здѣсь, вотъ неподалеку... Въ Гродненскую губернію ѣду.

— Батенька! Да вѣдь и я туда-же! — радостно выпучилъ глаза Ардальонъ Михайловичъ.

«Вотъ те и на!» подумалъ при этомъ Хвалынцевъ. «Какъ это, зачѣмъ и для чего-бы Полоярову ѣхать вдругъ въ Гродненскую губернію?»

— Нѣшто на службу? — слегка нахмурился Полояровъ, уставясь съ серьезнымъ видомъ на Подхалютина.

— Нѣтъ, имѣніе покупать,—объявилъ упитанный философъ.—Русскому дѣлу, батюшка, послужить хочется... Теперь ва Краѣ, пишутъ вонъ въ газетахъ, требуется усиленіе русскаго землевладѣльческаго элемента, и сказываютъ, что изъ конфискованныхъ имѣній есть прекрасныя, и будто вскорѣ можно будетъ любое пріобрѣсти за сущіе пустяки, за безцѣнокъ! Такъ вотъ и ѣду, чтобы заблаговременно выглядѣть себѣ подходящее.

«Экой свинтусъ!» невольно подумалось Хвалынцеву. «Русскому дѣлу послужить, за безцѣнокъ, въ пользу собственнаго кармана! И съ какимъ достолюбезнымъ, наивнымъ цинизмомъ все это высказывается!»

— А вы здѣсь, батенька, какими судьбами?—оратился вдругъ Полояровъ къ Константину, съ безцеремонной любезностью дотронувшись ладонью до его колѣна.

— Что я-то здѣсь, въ томъ нѣтъ мудренаго: служу, какъ видите,—пояснилъ ему Хвалынцевъ, не замедливъ убрать свое колѣно изъ-подъ руки Ардальона,—а вотъ лучше объясните, какими это судьбами вы-то сюда попали?

Digitized by Google

— А очень просто-съ. Русскихъ чиновниковъ стали на службу вызывать, и притомъ на усиленныхъ окладахъ... А я тоже нѣкогда чиновникомъ былъ, административное мѣсто занималъ — дѣло, значитъ, знакомое — ну и поѣхалъ! И вся не долга!.. У насъ вѣдь изъ эстаго просто!

— Вы какое-же мѣсто занимать изволите?— спросилъ его Подхалютинъ.

— Мм... Да пока еще, собственно, никакого... Надо, знаете, осмотрѣться сначала, сообразить что будетъ неподходящѣе... Я посланъ пока въ распоряженіе гродненскаго губернатора, а тамъ посмотримъ... Можетъ по акцизу, можетъ по контролю — не знаю еще... Но самому мнѣ хотѣлось-бы лучше по администраціи или по крестьянскому дѣлу... Вообще что-нибудь такое, гдѣ-бы можно было, знаете, непосредственное вліяніе оказывать, то-есть, знаете, здакъ того... въ ежовыхъ-съ...

И при этомъ Ардальонъ сдѣлалъ такого рода выразительный жестъ, какъ будто ухватилъ за шиворотъ кошку, сжалъ въ кулакъ и нагнетательно придавилъ ее къ полу.

— Вы представлялись въ Вильнѣ? — спросилъ Подхалютинъ.

— А какъ-же-съ!.. Всенепремѣннѣйше!—не безъ самодостоинства похвалился Полояровъ.— И даже могу сказать цѣлый анекдотъ произошелъ при этомъ! Прекурьезная штука, ей-Богу!

— А именно?—съ видомъ вниманія подвинулся къ нему философъ.

— А именно, что когда я представлялся, *онъ* меня и спрашиваетъ: «Давно-ли пріѣхали?» А я ему на то говорю: «То-есть куда это? въ Вильну?» Замѣтилъ, что сказалъ я *Вильну*, а не *Вильно*. «А! говоритъ, у васъ Вильна склоняется?» А я ему: «Не токма что Вильна, говорю, но предъ вашимъ превосходительствомъ *все здѣсь склоняется*, такъ ужь Вильна-то и подавно!» А? Каково загнулъ?.. Ловко?! Ха, ха, ха! Понравилось! Ей-Богу!

— Ну, и что же вамъ сказалъ на это?

— Онъ-то?.. Мм... то-есть... Ничего не сказалъ... Посмотрѣлъ... только исподлобья и прочь отошелъ... Но я знаю, что понравилось... Мнѣ одинъ человѣкъ сказывалъ... Да и не могло не понравиться, согласитесь, потому оно и смѣло, и находчиво, и комплиментъ, и правда, и все что хотите!

Философъ хотя и безмолвно, однимъ только движеніемъ головы, но все-таки выразилъ, что конечно вполнѣ соглашается.

— Знаете,—продолжалъ Полояровъ, подвинувшись еще ближе къ сосѣду и, съ видомъ задушевной откровенности, многозначительно и таинственно понижая тонъ. — Я вамъ скажу-съ, что этого человѣка никто не понимаетъ: ни Россія, ни Европа... Да-съ, не понимаютъ! Но... могу сказать, я его понялъ, заочно понялъ, и потому пошелъ сюда на службу... Вы думаете, онъ что такое? Патріотъ? Генералъ? Укротитель?.. Хе-хе!.. Все это вздоръ-съ! Ничего не бывало!.. Н-нѣтъ-съ, тутъ подымай выше!.. Не знаю, понимаетъ ли и сознаетъ ли даже онъ самъ свое предопредѣленіе, свои задачи и цѣли такъ, какъ, напримѣръ, я ихъ понимаю, но... между нами сказать, окруженъ-то онъ не совсѣмъ удачно. А кабы ему да побольше людей нашего бы закала!.. Го-го! Мы бы всю эту «реформу» живо двинули да и до конца довели бы... Радикально-съ... То-есть, вѣ какъ!

И Ардальонъ опять выразительно сдѣлалъ свой жестъ радикальнаго свойства. Найдя себѣ охочаго и досужаго слушателя, онъ радъ былъ поболтать, а подъ воздѣйствіемъ своего «подпитія», и самъ не замѣчалъ, какъ выбалтывается все больше да больше, да и насчетъ такого, про что въ трезвомъ состояніи обыкновенно хранилъ угрюмое, но многозначительное молчаніе.

— *Наши*, къ сожалѣнію, не понимаютъ этого и ругаютъ,—все въ томъ же таинственно-откровенномъ тонѣ продолжалъ Полояровъ.— А почему? Потому дураки! Не знаютъ, гдѣ раки зимуютъ!.. А я понялъ!.. Н-да-съ! я понялъ... и не убоялся идти сюда на службу... *Они* меня теперь, пожалуй, подлецомъ ругаютъ, думаютъ, поди-ка, что я перекинулся и продалъ себя; а я не подлецъ, я—піонеръ!.. Я смотрю такъ, что все равно съ кѣмъ бы ни идти: съ ними ли, или съ правительствомъ, лишь бы я шелъ къ честной идеѣ. Не такъ-ли?.. А *они* ругаютъ!.. А мнѣ плевать! Ругай себѣ сколько хочешь, брань на вороту не виснетъ!.. У меня прежде всего—идея... То-есть, вы понимаете, *честная* идея... Я, напримѣръ, батюшка мой, однажды цѣлый капиталъ могъ бы имѣть... Двадцать-пять тысячъ — шутка сказать!.. Н-да-съ! Капиталъ!.. И ужь вѣдь совсѣмъ вотъ въ рукахъ былъ, проклятый, взять бы да въ карманъ положить его, а я нѣтъ... Упустилъ!.. То-есть не то что *упустилъ*, это я вру, не то слово сказалъ, но отказался... самъ добровольно отказался, потому у меня прежде всего, говорю, идея, да и свои убѣжденія тоже!.. Понимаете-съ?

Философъ опять въ сочувственномъ смыслѣ утвердительно покачалъ головой.

— А они пущай ругаются! Сволочь!—презрительно махнулъ Ардальонъ рукою.

— То-есть кто это они?.. русскіе?—освѣдомился Подхалютинъ.

— Нѣ-нѣтъ, помилуйте, какіе тамъ русскіе! нигилисты!

— Да-а?!—съ удивленіемъ расширилъ ротъ и выпучилъ глаза философъ, словно бы ему довелось услыхать интереснѣйшую и необычайную новость.

— Да, нигилисты, — подтвердилъ Полояровъ.— Они!.. Все они это!.. Дрянной народишко,

Digitized by Google

никакъ съ нимъ каши не сваришь!.. Ужь на что въ нашей ассоціаціи, устроилъ-было я имъ коммуну, и все это, понимаете, прекрасно такъ, образцово, на разумныхъ экономическихъ началахъ... тутъ и ассоціація труда, и самопомощь, и круговая порука, артель и равноправіе, и все такое...

— Ну, и что же?

— Сорвалось!... И не то, чтобы полиція,— нѣтъ-съ, а просто сами разрушили... Во-первыхъ, даже мнѣ самому довѣрія никакого не дѣлали, а безъ довѣрія развѣ возможно? Сами подумайте!... А во-вторыхъ, никакого единодушія не было... Одинъ подъ другого мины да подкопы, да подвохи разные... Подлецы!... Однако же я не унывалъ, и кое-какъ удалось мнѣ все это снова сплотить—и опять-таки разрушили...

— Кто же на этотъ разъ былъ разрушителемъ?—вставилъ вопросъ Хвалынцевъ, для котораго исповѣдь Полоярова не лишена была даже своего рода психическаго интереса.

— Анцыфровъ плюгавый, — помните? сообщилъ тотъ.

— Это вашъ-то сателлитъ неизмѣнный?!

— Какой онъ сателлитъ! Просто, сволочь, и только! Вообразите себѣ,—и Полояровъ снова фамильярно дотронулся до колѣна Хвалынцева.—Жили мы этто сообща вчетверомъ: я, онъ, Малгорожанъ нѣкто, да еще Затцъ... Помните въ Славнобубенскѣ Лидиньку Затцъ?— обратился онъ къ Подхалютину.

— Какъ же, она и теперь тамъ, — подтвердилъ философъ.

— Ну, вотъ!... Возжался я было одно время съ ней, хотѣлъ перевоспитать, думалъ, прокъ будетъ, да надоѣло, потому — дурища... Она послѣ этого и подружись съ Анцыфровымъ, а потомъ и Малгоржана въ гражданскіе мужья на пристяжку взяла—вмѣстѣ, значитъ. Анцыфровъ и ну ревновать! Она его била за это, больно-таки била—ей Богу! Иной разъ даже жаль бѣднягу станетъ, какъ усядется съ ножками на подоконникъ, въ комочекъ эдакъ, и горько плакать начнетъ,—это послѣ трепки-то... Тутъ его и мѣсто постоянное было, на подоконникѣ. Только, знаете, терпѣлъ, терпѣлъ онъ это, да вдругъ... И подумаешь, кто бы ожидалъ отъ этого зайца подобной-то прыти!... Носъ откусилъ ей, представьте!

— Какъ носъ?—воскликнули въ одинъ голосъ оба слушателя.

— Да такъ! Носъ, какъ есть носъ! Ей Богу!.. Больно ужь, значитъ, окрысился. Какъ захватилъ его, среди горячей трепки, зубами, такъ и отмахнулъ по самый хрящикъ!.. Пожевалъ, пожевалъ, да и выплюнулъ.—Это со злости-то... Каковъ? Думали ужь-было мы пришить бы ей какъ-нибудь кончикъ-то, да ничего не подѣлаешь, никакъ не возможно, потому въ сумятицѣ-то этой какъ-то нечаянно его подъ каблукомъ раздавили—вконецъ негоденъ сталъ... Такъ и осталась безъ носу. Ну, а въ такомъ видѣ, сами согласитесь, что-же ей въ Петербургѣ-то дѣлать? И поневолѣ должна была къ мужу въ Славнобубенскъ вернуться.

— И тотъ ее принялъ?—спросилъ Хвалынцевъ.

— А какъ же жь бы не принять-то? Вѣдь она по начальству пошла, какъ законная жена. Кто жь ее иначе содержать бы сталъ, безъ носа то? Ничего не подѣлаешь!

— Но зато, вернувшись на мужнее иждивеніе, она, по крайней мѣрѣ, не можетъ сказать, что осталась съ носомъ, — плоско сострилъ славнобубенскій острословъ и философъ.

— Да, вамъ хорошо говорить, вамъ все смѣшки да шутки! — съ легкимъ упрекомъ возразилъ Полояровъ.—А подумайте каково мнѣ то было!... Носъ!... Въ сущности что такое носъ?.. Ну, что такое носъ, я васъ спрашиваю? — Нюхательный и сморкательный аппаратъ, не болѣе. А между тѣмъ, изъ-за этого дурацкаго носа цѣлое предпріятіе погибло!.. И какое предпріятіе!... Честное, высокое, проводящее въ жизнь новыя начала!...

— Это коммуна то? — домекнулся Подхалютинъ.

— Н-да-съ, коммуна! Подите-ка, устройте ее снова!... Въ этомъ проклятомъ, пошломъ обществѣ — я вамъ говорю — ничего не устроишь путнаго! Ты для нихъ надрываешься, изъ кожи лѣзешь, мозгъ костей своихъ сушишь, а они, пошляки, возьмутъ да сами же все и разрушатъ!.. Сволочь, какъ есть сволочь, и только! Плюнулъ я на нихъ послѣ этого и прочь пошелъ. Что жь, когда не понимаютъ!...

— Но почему же носъ разрушилъ коммуну?— методически спросилъ Подхалютинъ.

— А потому что не съ кѣмъ стало жить: Затцъ уѣхала, Анцыфрика въ кутузку засадили—не кусай, значитъ, носовъ!—и остался я одинъ съ Малгоржаномъ, а эта свинья восточная вдругъ вздумала было жить на мой счетъ, на даровщинку.—«Ну, ужь нѣтъ, думаю, это аттѣнде-липранди!» Ассоціація труда — дѣло иное, а на мои заработныя деньги—шалишь кума, въ Саксоніи не бывала! И протурилъ его къ чорту... то-есть, вѣрнѣе сказать, самъ переѣхалъ въ шамбръ-гарни... Ну, и облыкался это кое-какое время по Питеру, по редакціямъ шатался, а тутъ вдругъ повстанье это поднялось, весна пришла, въ Сѣверо-Западный край русскихъ дѣятелей вызывать стали,—я подумалъ-подумалъ, да и махнулъ себѣ!—«Все, молъ, склоняется, такъ ужь Вильнѣ-то и подавно!...» Ха, ха, ха!.. Н-нѣтъ, чортъ возьми, каково ловко загнулъ-то, подумайте!.. а?.. Какову фразочку отмочилъ ему!.. Курьезъ да и только! Вѣдь это, просто, хоть въ историческую хрестоматію! Ей-Богу!..

— Но только ужь здѣсь едва ли коммуну

Digitized by Google

заводить придется?—съ видомъ добродушія, слегка подтрунилъ Подхалютинъ.

— Здѣсь-то?.. А что вы себѣ думаете?—многозначительно и самохвально подмигнулъ Ардальонъ Михайловичъ.—Здѣсь, гляди, можно, пожалуй, завести кое-что и пошире коммуны!.. Коммуна—это для Питера было хорошо, а здѣсь вѣдь почва-съ! Непочатая почва! Просторъ!..

— Да что вы съ этой почвой сдѣлаете?

— Какъ что?.. Мало ли что!.. Помилуйте!—Во-первыхъ, это полячье проклятое, паны. Что такое паны? — Привилегированное сословіе, дворянскій элементъ, феодальныя традиціи—гни ихъ въ бараній рогъ, сметай долой! Это одно уже расчищаетъ почву. Во-вторыхъ, ксендзы. Что такое ксендзы?—Представители религіознаго культа—долой его! Довольно уже было въ исторіи невѣжества и суевѣрій!.. Дайте мнѣ только волю, я бъ вамъ показалъ, что можно тутъ сдѣлать! Но... въ двухъ главныхъ вещахъ я радикально не согласенъ съ Муравьевымъ. Онъ хочетъ на мѣсто польскаго землевладѣнія, водворить русское. Это вздоръ Не надо никакого землевладѣнія, никакого дворянства, никакой интеллигенціи, ни польской, ни русской! А потомъ — это православіе, на мѣсто ксендзовъ-то. Это ужь, по моему, еще хуже! Народъ здѣсь, говорятъ, индифферентенъ къ религіознымъ вопросамъ; тѣмъ лучше: этимъ, по настоящему, слѣдовало бы воспользоваться, пока не ушло еще время. И этого то наше дурачье не понимаетъ!.. Вотъ-съ почему я и говорю, что Муравьевъ все-таки ниже своей задачи: онъ не сознаетъ, въ чемъ настоящая суть, не понимаетъ дѣла такъ, какъ должно, какъ понимаютъ его люди иного закала. А пойми онъ только да захоти—го-го! Чтобы тутъ можно понадѣлать! Батюшки!..

— И вы съ такими взглядами ѣдете сюда на службу?—уже безъ малѣйшей тѣни прежней своей благосклонности, очень сухо и даже непріязненно спросилъ Подхалютинъ, котораго стало очень-таки непріятно покоробливать во время сего послѣдняго монолога.

— А что же-съ? Чѣмъ не взгляды?—отозвался внезапно озадаченный Ардальонъ.—Нешто вы иныхъ придерживаетесь?

— Помилуйте, я—патріотъ...

— Да и я патріотъ!—подхватилъ Полояровъ.

— Я русскій человѣкъ,—не слушая и подфыркивая, продолжалъ недовольный философъ.

— Да и я, кажись, не французскій!

— Я, наконецъ, самъ дворянинъ, и ѣду теперь именно съ цѣлью, какъ вы говорите, водворять русское землевладѣніе, имѣніе глядѣть...

— Да и я поглядѣлъ бы!—Развѣ я прочь отъ этого? Зачѣмъ не поглядѣть, помилуйте! И выходитъ, что намъ не́ изъ-за чего спорить! Мы, въ сущности, совершенно согласны другъ съ другомъ, а ежели я что и говорилъ, такъ это только такъ, вообще... Больше съ отвлеченной, теоретической точки зрѣнія, для пріятнаго разговора, не болѣе-съ!.. Могу васъ честью увѣрить!.. Я вамъ, кажись, и за правительство стоялъ, и нигилистовъ ругалъ — припомните, развѣ непра́вда?... А впрочемъ извините, ежели что не показалось...

И Ардальонъ съ заискивающимъ взглядомъ и улыбкой, какъ бы ища себѣ нравственной поддержки, хотѣлъ было обратиться къ Хвалынцеву, но тотъ круто взялся за свою газету, не обративъ ни малѣйшаго вниманія ни на улыбку, ни на взглядъ Ардальона.

Полояровъ почувствовалъ себя не совсѣмъ-то ловко. Онъ только теперь спохватился, что благодаря «подпитію», заболтался черезчуръ уже далеко и храбро, а потому и не замедлилъ струсить.

Ушитанный философъ отвернулся отъ него къ окну и, явно показывая, что не желаетъ болѣе продолжать разговора, упорно глядѣлъ сквозь стекло на несущіеся мимо телеграфные столбы, желтоватыя поля и жиденькій ельникъ. Хвалынцевъ тоже углубился въ газету.

Полояровъ посидѣлъ-посидѣлъ, какъ на иголкахъ, безцѣльно повертѣлъ въ рукахъ папироску, полулыбался какой-то не то смущенной, не то иронической улыбкой, но наконецъ, видя въ своемъ смущеніи, что ничего далѣе не высидишь, неуклюже поднялся съ мѣста, перешелъ на свой диванъ и грузно бухнулся на него всѣмъ своимъ тѣломъ, съ ногами. Затѣмъ, повернувшись къ сосѣдямъ спиною да уткнувъ носъ въ подушку, сначала притворился будто спитъ, а потомъ и въ самомъ дѣлѣ захрапѣлъ съ похмѣлья.

XXI.

Онъ самъ хотѣлъ того.

Прямо съ машины Константинъ полетѣлъ на квартиру къ Холодцу, который жилъ вмѣстѣ съ Устиновымъ. Внезапное появленіе его среди двухъ друзей, ничего еще не знавшихъ про то, какъ сегодня раннимъ утромъ увезли его прямо съ гауптвахты въ Вильну, произвело эффектъ не малый. Но когда онъ передалъ имъ всю исторію своей аудіенціи у Муравьева и конечный результатъ ея, Холодецъ просто не хотѣлъ вѣрить, а Устиновъ радостно бросился къ нему на шею. Ни одинъ изъ нихъ—а самъ Хвалынцевъ менѣе чѣмъ кто-либо—не отважился бы даже мечтательно предположить подобнаго исхода. Наименьшее, что, по ихъ общему мнѣнію, могло ожидать Константина, это ссылка въ какую-нибудь отдаленную губернію, подъ надзоръ полиціи, съ лишеніемъ или ограниченіемъ нѣкоторыхъ правъ, и вдругъ, вмѣсто того—такое довѣріе, оказанное вмѣстѣ съ полнымъ забвеніемъ про-

Digitized by Google

шлаго... Радость ихъ была велика и сердечна.

— Бога ради! Я хочу видѣть Татьяну Николаевну!—сорвался Хвалынцевъ, опомнясь отъ первыхъ впечатлѣній свиданія и радости друзей своихъ.—Бога ради! если возможно, господа, сейчасъ же! Непремѣнно! Поѣдемте!

Холодецъ объяснилъ, что черезъ часъ, по смѣнѣ ея другой дежурной «сестрой», она должна освободиться на весь вечеръ отъ своей обязанности.

— Тогда поѣзжайте,—прибавилъ онъ. — А мнѣ невозможно: надо еще къ одному трудно больному ѣхать.

Въ сказанное время оба пріятеля входили уже въ скромную, чистенькую келью Татьяны. Неожиданное появленіе освобожденнаго Хвалынцева и здѣсь было встрѣчено радостнымъ изумленіемъ. И здѣсь точно также разсказъ о сегодняшнихъ событіяхъ, торопливо передаваемый вперемежку обоими друзьями, былъ принятъ съ самымъ теплымъ и живымъ участіемъ. Такъ сочувственно слушать и радоваться могла бы только добрая, любящая сестра.

Но внутренно, въ самой затаенной глубинѣ души, Хвалынцевъ остался озадаченъ. Онъ разсчитывалъ встрѣтить здѣсь другое, не сестринское сочувствіе. Онъ надѣялся, что какой-нибудь лучъ ея мимолетнаго взгляда, или легкій трепетъ руки во время пожатія, или тонъ перваго восклицанія встрѣчи, или что-нибудь такое, чего не выразишь, но инстинктивно, электрически почувствуешь, быть-можетъ невольно прорвется и обнаружитъ въ этой сдержанной натурѣ то чувство любви, которое нѣкогда билось для него въ груди этой дѣвушки. Онъ ожидалъ отъ нея радости невѣсты, но нашелъ только радость сестры, сочувствіе хорошаго, преданнаго друга. Это его и озадачило, и огорчило втайнѣ. Онъ думалъ, что Татьяна, въ глубинѣ души, все-таки любитъ его по-старому, и только помня оскорбленіе, нанесенное ея чувству, изъ гордости не хочетъ первая показать ему проблески этого чувства.

Но сегодня, казалось ему, наступилъ именно такой моментъ, что если прежняя любовь еще живетъ въ ея сердцѣ, то она невольно хоть въ чемъ-нибудь должна прорваться наружу,— и увы! этого-то онъ и не нашелъ въ Татьянѣ. «На себя пеняй!» подсказала ему совѣсть, въ то время какъ жадное, эгоистическое сердце, почувствовавъ утрату и вмѣстѣ съ тѣмъ ударъ самолюбію, готово было-бы упрекать и жаловаться. «На себя пеняй! Не ты-ли самъ, покидая ее ради другой, просилъ не отымать у тебя ея дружбы?.. Только дружбы! Она и даетъ ее тебѣ, даетъ въ полной мѣрѣ... Чего же болѣе!» И онъ съ затаенной горечью въ душѣ покорился приговору этого голоса.

Между имъ и Татьяной такъ и осталось внутренно что-то недосказанное...

XXII.

Нѣчто о борьбѣ за существованіе.

Штыкъ, пропоровшій бокъ Анзельма Бейгуша, оставилъ свои роковыя послѣдствія: рана слегка коснулась легкаго, но эта царапина стоила ему чахотки. Находясь на попеченіи Холодца, и благодаря его заботливости, онъ содержался въ особой комнатѣ арестантскаго отдѣленія, гдѣ ему были предоставлены возможныя удобства. Рана затянулась довольно скоро, но начало чахотки осталось. Холодецъ, по обязанности врача, ежедневно являясь къ больному и добросовѣстно слѣдя за его болѣзнію, своимъ заботливымъ вниманіемъ сдѣлалъ то, что Бейгушъ мало-по-малу совсѣмъ освоился съ нимъ и отъ души полюбилъ своего симпатичнаго доктора. Минуты его посѣщеній были единственными свѣтлыми минутами для больного арестанта, когда отъ удрученной головы его отлетали на время черныя думы о предстоящей трагической развязкѣ. А что развязка неизбѣжно должна быть трагической, въ томъ Бейгушъ не сомнѣвался, зная военные законы. Онъ былъ дезертиръ, взятый съ оружіемъ въ рукахъ,—стало быть, судъ не дологъ и конецъ извѣстенъ. Онъ былъ уже осужденъ, и только послѣдняя развязка задерживалась его болѣзнью. Одно время несчастному сильно хотѣлось извѣстить о себѣ жену, покинутую въ Петербургѣ, просить ее, чтобы пріѣхала и облегчила ему своимъ присутствіемъ послѣднія минуты; но мысль о томъ, что онъ заставитъ ее быть свидѣтельницей своей казни превозмогла порывъ любящаго сердца, и Бейгушъ ни единымъ словомъ не извѣстилъ о себѣ Сусанну. Онъ былъ увѣренъ, что если написать ей хоть одно слово, она примчится тотчасъ-же. А сколько страданій и какая пытка ожидаютъ ее! Да и самому-то легче-ли будетъ видѣть мучительное горе любимой женщины!.. Одинъ только Холодецъ, во время своихъ посѣщеній, разсѣевалъ безысходную и томительную скуку его одиночнаго заключенія. Иногда онъ приносилъ ему кое-какія книги и газеты, которыя Бейгушъ исподволь прочитывалъ въ тѣ минуты, когда чувствовалъ себя нѣсколько лучше и свѣжѣе.

Однажды, войдя къ нему, Холодецъ засталъ его въ глубокомъ и видимо тяжеломъ раздумьи надъ нѣсколькими газетными листами. На привѣтливый вопросъ, что съ нимъ такое, больной молча подвинулъ къ нему лежавшій сверху листъ и указалъ пальцемъ на заглавіе одной статейки. Это былъ переводъ извѣстной брошюры Прудона о «Польскомъ вопросѣ».

Перекинувъ взоръ отъ газеты на Бейгуша, Холодецъ не безъ удивленія замѣтилъ, что онъ

Digitized by Google

не то что взволнованъ, а скорѣе потрясенъ чѣмъ-то нравственно.

— Бога ради, что съ вами такое? Что за причина?—повторилъ онъ съ участіемъ.

— Вы не читали этого?—тихо проговорилъ Бейгушъ.

— Брошюру Прудона? слыхалъ, но не читалъ еще.

— Ну, такъ прочтите... Читайте вотъ эти строки... Вспомните, что я полякъ, и тогда вы поймете что со мной...

Холодецъ наскоро сталъ пробѣгать глазами указанное мѣсто.

— Читайте громко, если можете,—попросилъ Бейгушъ.

Тотъ исполнилъ его желаніе.

«Польша идетъ наперекоръ всѣмъ соображеніямъ, читалъ онъ, въ то время какъ больной съ напряженнымъ вниманіемъ слѣдилъ своими большими, лихорадочно блещущими глазами за малѣйшимъ движеніемъ его лица, будто стараясь уловить и разгадать на немъ отблескъ сокровенной мысли. — Ея мнимая цивилизація въ средніе вѣка, продолжалъ докторъ, есть не болѣе какъ восточная роскошь, ея литература—подражаніе латинистамъ; ея республика, съ терминами, заимствованными у древняго Рима — лишь оперная декорація; ея набожность—отчаянное ханжество. Ничего искренняго, ничего прочнаго у этихъ чувственныхъ натуръ, преданныхъ всему непостовству страстей, всѣмъ побужденіямъ эгоизма, всѣмъ прихотямъ своей фантазіи. Дворянскіе предразсудки доведены до ребячества, до безумія; отсутствіе дисциплины возведено въ требованіе чести; всѣ понятія извращены, и вы видите поляковъ то лже-роялистами, то лже-аристократами, то лже-демократами, то лже-католиками, то лже-протестантами, то лже-революціонерами, какъ были они лже-дворянами; они останутся вѣрными только іезуитамъ».

— И это говоритъ человѣкъ, который для столькихъ изъ нашей молодежи былъ богомъ, оракуломъ, каждому слову котораго мы вѣровали, отъ котораго мы въ правѣ были ждать сочувствія и одобренія!—съ глубокою горечью проговорилъ Бейгушъ, грустно качая головою.

— Но развѣ онъ говоритъ неправду? — пожалъ Холодецъ плечами.

— О, если бы неправду!—изъ глубины груди вздохнулъ больной; — тогда бы это не было такъ тяжело и горько... Читайте далѣе... Вотъ здѣсь читайте,—нервно указалъ онъ на другое мѣсто газеты.

«...Вы и теперь остаетесь дворянами, продолжалъ Холодецъ, вы и теперь, точно такъ же какъ и прежде, хотите властвовать и распоряжаться другими... Вы хотите возродиться, но возродиться внѣ условій новѣйшей жизни. Возстановленіе вашей народности повлекло бы за собой въ Польшѣ, какъ вамъ очень хорошо извѣстно, реакцію и усиленіе шляхетскаго элемента, который, придавъ другую форму зависимости крестьянъ, отсрочилъ бы на нѣсколько вѣковъ созданіе польскаго *народа*; въ Россіи возстановленіе ваше повлекло бы заглушеніе въ зародышѣ общественной свободы; въ Венгріи—усиленіе мадьярской партіи, подобно вамъ враждебной простому народу и національностямъ; въ Пруссіи и Германіи—поддержаніе старой феодальной партіи, отвергаемой самими католиками; во Франціи, Бельгіи и повсюду—обезпеченіе торжества промышленнаго феодализма, царство жидовъ, бывшее первой причиной и основаніемъ новѣйшаго пауперизма; въ католическомъ мірѣ—укрѣпленіе клерикальной и іезуитской партіи, которая въ тягость всѣмъ религіознымъ душамъ. И все это клонилось бы къ удовлетворенію аристократизма, который заслужилъ свое паденіе и не умѣетъ умереть. Или логика не играетъ въ человѣческихъ дѣлахъ никакой роли, или таковы послѣдствія, которыя повлекло бы за собою возстановленіе Польши. Развѣ двадцать-три милліона крестьянъ, освобожденныхъ русскимъ государемъ, представляютъ намъ подобную опасность? Я протестую противъ такой измѣны народному дѣлу. По примѣру вашихъ предковъ, я противопоставляю вамъ veto французскаго гражданина. Поляки! прошедшее, настоящее, будущее, свобода, прогрессъ, право, революція и договоры — все осуждаетъ васъ. Вамъ остается только покориться этому приговору. Колебаться было бы съ вашей стороны недостойно. Припомните энергическія слова, съ которыми, по увѣренію Светонія, обратился къ Нерону римскій солдатъ, когда этотъ гнусный императоръ, совершившій столь ужасныя преступленія, не рѣшался умереть: «Развѣ смерть такое несчастіе?»

Дочитавъ до конца, Холодецъ молча положилъ листъ и молча взглянулъ на Бейгуша. Тотъ сидѣлъ въ глубокомъ, сосредоточенномъ раздумьи, подперевъ рукою низко опущенную голову.

— «Развѣ смерть такое несчастіе», медленно и тихо повторилъ онъ какъ бы про-себя, прерывая минутное молчаніе.—И это все, что остается послѣ столькихъ жертвъ, усилій и страданій!.. Боже мой, но неужели же мы не правы?!. Неужели не только мы, но и всѣ наши прошлые вѣка—одна преступная ошибка!?. Умирать съ такимъ сознаніемъ, вѣдь это ужасно!..

— Послушайте,—спокойно и раздумчиво началъ Холодецъ.—Что касается васъ и насъ, что касается нашей многовѣковой борьбы, то тутъ, мнѣ кажется, нѣтъ ни правыхъ, ни виноватыхъ. Вы правы по-своему и мы по-своему точно также.

— Какъ такъ?—оживленно поднялъ голову Бейгушъ, сверкнувъ своими лихорадочными

Digitized by Google

глазами.—А три раздѣла, развѣ это не великое преступленіе восемнадцатаго вѣка?.. Послѣ этого правъ и волкъ, зарѣзавшій ягненка!

— Да, милый паціентъ мой, по-своему правъ и волкъ, зарѣзавшій ягненка. Вы привели примѣръ, пожалуй, очень подходящій, съ тою впрочемъ оговоркою, что вы не ягнята, да никогда ими и не были. Называйте это какъ хотите: великимъ ли преступленіемъ восемнадцатаго вѣка или иначе какъ; отрицайте, пожалуй, нашу славянскую кровь,—пусть мы, по-вашему, тураны,—не все ли равно въ сущности? Мы знаемъ что̀ мы такое, и этого съ насъ довольно. Наша тяжба началась не вчера и не сегодня, она идетъ уже болѣе десяти вѣковъ, и я никакъ не стану утверждать, что нынѣ мы положили конецъ ей. Кажись что *да*, а какъ знать!—быть можетъ и *нѣтъ*. Извѣстна вамъ Дарвиновская теорія борьбы за существованіе?

— Такъ что̀-жь изъ этого?—вопросительно поднялъ на него Бейгушъ свои взоры.

— Перенесите вы тотъ же самый извѣстный физіологическій законъ этой борьбы съ естественно-исторической на историко-политическую почву—и наша тяжба, наша съ вами борьба станетъ для васъ понятна! Каждый живой организмъ долженъ себѣ съ бою завоевывать право на свое существованіе, и процессъ его естественнаго развитія и роста необходимо совершается на счетъ другихъ, менѣе сильныхъ организмовъ, часто одного и того же рода. Мы съ вами—это два зерна, брошенныя въ общую почву, слишкомъ близко одно къ другому. И тому, и этому надо жить, но чтобы жить, надо пускать въ почву глубже и шире свои корни, а вмѣстѣ намъ тѣсно, мы мѣшаемъ другъ другу, одинъ изъ насъ затрудняетъ естественный ростъ другого. Отсюда невольная борьба—борьба за существованіе, гдѣ играютъ роль не одни политическіе вопросы, а всѣ, рѣшительно всѣ жизненныя условія ваши и наши. Чья возьметъ? Это вопросъ внутренней силы зерна. Въ комъ болѣе естественныхъ силъ, болѣе здоровыхъ жизненныхъ зачатковъ, тотъ скорѣе вынесетъ борьбу и останется побѣдителемъ. Если не виноваты вы, когда вамъ хочется жить такъ, какъ вамъ кажется лучше, то виноваты ли мы, если, при такомъ же точно стремленіи, въ нашемъ зернѣ болѣе живыхъ соковъ и силъ чѣмъ въ вашемъ? Что̀-жь тутъ дѣлать!.. По закону физіологіи остается умереть, но развѣ и въ самомъ дѣлѣ смерть такое несчастіе?

* * *

Бейгушъ не былъ разстрѣлянъ. Смерть отъ скоротечной чахотки застала его на госпитальной койкѣ. Жена его, узнавшая объ этой смерти совершенно случайно, изъ корреспонденціи одной газеты, снова очутилась «вдовушкою Сусанной». Безпристрастная истина однако обязываетъ насъ сказать, что горе ея по исчезнувшемъ мужѣ было хотя и сильно, но не продолжительно. Въ началѣ 1863 года она какъ-то случайно встрѣтилась гдѣ-то со своимъ восточнымъ кузеномъ, и Малгоржанъ, возобновившій съ нею прерванное знакомство, вскорѣ успѣлъ снова покорить себѣ ея слабое сердце. Сусанна утѣшилась. Но Малгоржанъ, проученный опытомъ, сталъ если не умнѣе, то гораздо практичнѣе прежняго. Онъ успѣлъ убѣдить Сусанну, чтобъ она отдала ему въ распоряженіе половину своего капитала, который будетъ употребленъ на очень выгодное и самое вѣрное предпріятіе. Сусанна послушалась и вручила ему двадцать тысячъ. На эти деньги Малгоржанъ въ одной изъ бойкихъ улицъ открылъ гласную кассу ссудъ, обзавелся прекрасной квартирой, прекрасною мебелью и обстановкой, среди которой и помѣстился вмѣстѣ съ Сусанной, а въ довершеніе всѣхъ своихъ операцій, блаженствъ и удовольствій сталъ иногда пописывать обличительныя статейки въ одной изъ газетъ мелкой петербургской прессы, на послѣднихъ страницахъ которой въ то же время неизмѣнно красовалось видное объявленіе о его гласной кассѣ.

XXIII.

Послѣдній изъ Могиканъ.

Оскару Авейде такъ и не удалось уговорить Константина Калиновскаго снять съ себя диктатуру и примириться съ Варшавскимъ ржондомъ. Чувствуя, что пребываніе въ Вильнѣ съ каждымъ днемъ становится все рискованнѣе, Авейде подъ конецъ радъ уже былъ согласиться на всѣ условія диктатора, лишь бы только убраться поскорѣе изъ-подъ глазъ Муравьева. Но бѣгство подъ сѣнь Варшавы не удалось ему: при отъѣздѣ, Авейде былъ арестованъ на дебаркадерѣ.

Межъ тѣмъ диктаторъ Литвы до времени успѣвалъ еще кое-какъ стушевывать себя предъ полиціей, безпрестанно мѣняя въ Вильнѣ свои фамиліи и квартиры. Изъ «подвластныхъ» ему воеводствъ и повѣтовъ до него доходили самыя плачевныя донесенія и вѣсти: шайки то и дѣло бѣгали за Нѣманъ, съ тою единственно цѣлію, чтобы пообѣдать послѣ нѣсколькихъ дней голоданія; на предписаніе добыть оружіе «для освѣженія», повятовый коммисаръ доносилъ, что могъ достать только три ружья, да и то съ величайшимъ трудомъ; на предписаніе собирать новыя подати для поддержки возстанія, квестиры отвѣчали, что у помѣщиковъ опустѣли кошельки послѣ Муравьевскаго десятипроцентнаго сбора. Въ кассѣ литовскаго ржонда, считавшей у себя рубли сотнями тысячъ, оста-

Digitized by Google

валось только шесть тысячъ всего-на́-всего [1]). При Моловидахъ уже давно была разсѣяна послѣдняя банда бѣлыхъ, а довудцы красныхъ требовали денегъ на продовольствіе. Калиновскій приходилъ въ отчаяніе. Учрежденная Муравьевымъ сельская стража, которая въ самомъ началѣ казалась диктатору весьма подручной вещью, если только удастся поднять крестьянъ на пановъ и москалей, оказалась теперь гибельной для всѣхъ его начинаній. Доставка припасовъ, разсылка довѣренныхъ лицъ, сборы, движеніе шаекъ, словомъ, вся революціонная дѣятельность стала почти невозможной, благодаря сельской стражѣ: повсюду - сущій, зоркій и подозрительный глазъ озлобленнаго хлопа слѣдилъ за малѣйшимъ проявленіемъ этой дѣятельности и наконецъ довелъ-таки пановъ до сознанія, что не русскіе, а поляки составляютъ «наядзъ» въ Западномъ краѣ.

Позднею осенью 1863 года шаекъ уже не существовало, только кое-какіе жалкіе остатки, по нѣсколько человѣкъ, бродили еще въ жмудскихъ и самогитскихъ лѣсахъ, грабя и воруя у одинокихъ лѣсныхъ «кутниковъ», ради дневного пропитанія. Теперь уже не нужно было посылать на поиски за ними ни военныхъ отрядовъ, ни даже летучихъ командъ. Эти послѣднія были замѣнены сборами охотниковъ изъ крестьянъ, съ придачей имъ по нѣскольку солдатъ или казаковъ. Дѣйствія подобныхъ охотниковъ противъ бродягъ обратились положительно въ нѣчто въ родѣ облавъ на дикаго звѣря. А между тѣмъ въ бумагахъ, которыя удавалось захватывать у такихъ повстанцевъ, все еще попадались заготовленные рапорты и реляціи фантастическихъ довудцевъ о новыхъ побѣдахъ надъ русскими войсками, объ отличномъ революціонномъ настроеніи народа, и все это не иначе какъ за нумеромъ и печатью, и все это, по старой памяти, предназначалось для заграничной прессы, ради мороченья европейской публики. Зимой были пойманы послѣдніе два довудца, ксендзъ Мацкевичъ (Рѳбакъ) и Червинскій, которые за множество неслыханныхъ изувѣрствъ, совершенныхъ ими, поплатились висѣлицей.

Калиновскій окончательно потерялъ голову. Постепенно лишившись всѣхъ своихъ помощниковъ, онъ все-таки не могъ оставить Вильны, и продолжалъ считать ее стратегическимъ ключомъ своей диктаторской позиціи. Рѣшаясь, что называется, идти на проломъ, добиваться немедленно новаго возстанія во что бы то ни стало, вопреки очевидной дѣйствительности и здравому смыслу, онъ силился возобновить организацію по губерніямъ и завести съ ней хоть какія-нибудь сношенія. Это было теперь уже не дѣло, а скорѣе одна только безумная мечта мономана, фанатика революціонной идеи. И тѣмъ не менѣе, нашлось-таки нѣсколько женщинъ и ксендзовъ, которые не задумались подать диктатору руку и возмечтать вмѣстѣ съ нимъ о возрожденіи и продленіи возстанія. Нашлись и обязательные евреи, чтобы за деньги служить ему почтальонами и, съ помощью своей собственной еврейской послуги, предохранять его отъ опасности, всячески пронюхивая и заблаговременно извѣщая о ней диктатора. Но увы! шесть тысячъ, остававшіяся еще въ распоряженіи Калиновскаго, скоро совсѣмъ уже изсякли, благодаря еврейскимъ послугамъ, и онъ остался, наконецъ, одинъ одинешенекъ, безъ друзей и евреевъ, безъ гроша денегъ и безъ куска хлѣба со своимъ лишь фантастическимъ титуломъ диктатора Литвы да все съ одной и той же неугомонной и горячечной идеей... Напослѣдокъ, одинъ только ксендзъ-бернардинъ да двѣ добрыя патріотки были единственными личностями въ Вильнѣ, которыя знали кое-что о существованіи Калиновскаго, да и то потому лишь, что въ одно изъ трехъ мѣстъ поочередно являлся онъ для ночлега.

Вся польская организація была уже раскрыта, весь заговоръ распутанъ, вся дѣятельность диктатора Литвы обнаружилась для правительства самымъ яснымъ и положительнымъ образомъ, а межъ тѣмъ самъ диктаторъ все-таки продолжалъ скрываться, словно бы для этого правительства онъ былъ покрытъ сказочной шапкой-невидимкой. Его выдали сами же поляки, и, что замѣчательнѣе всего, выдали въ то уже время, когда онъ былъ нищъ, убогъ и совершенно безвреденъ. Изъ губерній неоднократно приходили отъ нихъ указанія на квартиры, куда онъ являлся для пріема донесеній и отдачи распоряженій своихъ; но пока въ его карманѣ оставался послѣдній рубль, евреи не переставали служить ему и предупредительно спасать отъ угрожавшаго ареста. Съ послѣднимъ рублемъ прекратилась и ихъ послѣдняя послуга. Тогда-то одинъ изъ членовъ подпольной губернской организаціи, знавшій у кого именно скрывается въ Вильнѣ диктаторъ, указалъ на него слѣдственной комиссіи, и такимъ образомъ, въ концѣ января 1864 года, Калиновскій былъ арестованъ. Послѣдній изъ могиканъ, онъ представлялъ собою послѣднее знамя мятежа. Во время его кипучей дѣятельности и даже послѣ ареста, между низменнымъ виленскимъ населеніемъ, равно какъ и на Жмуди, долгое время бродили темные слухи, что гдѣ-то, молъ, въ Виль-

[1]) Одинъ только заграничный бюджетъ приходовъ, которые не могли быть скрыты, составляетъ 78,750,000 фр., изъ коихъ болѣе 17-ти милліоновъ было внесено польскими патріотами одного лишь Сѣверо-Западнаго края, а отчеты показали, что изъ польскихъ пожертвованій 51,605,080 фр. были расхищены разными ревнителями. А сколько украденныхъ денегъ не попали еще въ эти отчеты!.. (См. В. Ратчъ, стр. 237).

Digitized by Google

нѣ проживаетъ «Кроль Литвы», который хочетъ «адхилиться отъ поляковъ» и завести «свое властне крулевство».

7-го марта 1864 года Вильна была свидѣтельницей послѣдней политической казни. Утромъ, при грохотѣ барабановъ подъ эскортомъ жандармовъ и пѣхотнаго конвоя, по городу везли на висѣлицу осужденнаго. Онъ былъ блѣденъ, но совершенно спокоенъ.

Хвалынцевъ, случайно проѣзжая въ это самое время по улицѣ и будучи остановленъ процессіей, шедшей на встрѣчу, спросилъ у одного изъ эскортировавшихъ офицеровъ, кого это будутъ вѣшать?

Константина Калиновскаго, диктатора Литвы,—было ему отвѣтомъ.

Онъ вскинулъ взглядъ на блѣдную фигурку, сидѣвшую на высокой колесницѣ, и вздрогнувъ самъ поблѣднѣлъ невольно.

Въ осужденномъ диктаторѣ онъ узналъ Василія Свитку.

Могъ ли онъ думать, что этотъ невзрачный скромный и сѣренькій на видъ человѣчекъ будетъ играть такую роль въ польскомъ возстаніи!.. Но теперь ему ясно вспомнилось, какъ этотъ самый человѣчекъ, два года назадъ, въ скверномъ нумерѣ жидовской гостиницы въ Гроднѣ, экзальтированно предлагалъ ему братски раздѣлить съ собой либо громкую славу и счастливую будущность при осуществленіи великой идеи, либо за ту же самую идею веревку гицеля на эшафотѣ. Онъ зналъ заранѣе куда идетъ и что его ожидаетъ... Не потому ли и умеръ онъ съ такой твердостью и спокойствіемъ, какъ могутъ умирать только глубоко убѣжденные люди...

* * *

Та дѣвушка, которую онъ любилъ, которую въ минуты своего восторженнаго поклоненія ея красотѣ, стоя на колѣняхъ предъ нею, называлъ королевой Литвы, не присутствовала при его казни. Панна Ванда оставалась въ Гроднѣ и только чрезъ стоустую молву узнала о судьбѣ, постигшей ея друга. Скорбь ея была велика и отчаянна, она рвалась и металась по всему дому, хотѣла топиться въ Нѣманѣ, хотѣла съ заряженнымъ пистолетомъ ѣхать въ Вильну и убить Муравьева, но...

Время взяло свое, и панна Ванда утѣшилась.

Черезъ два года съ небольшимъ, она благополучно вышла замужъ за русскаго чиновника, нарочно принявъ для этого православіе, и изъ панны Ванды превратилась въ госпожу Кулакову.

Впрочемъ, «что имя? Звукъ пустой!»

Несмотря на русскую фамилію и на православіе, принятое по расчету, г-жа Кулакова остается въ душѣ все такой же панной Вандой, все также видается иногда на-едине съ ксендзомъ Винторомъ, все такая же полька по духу, понятіямъ и привычкамъ, держитъ подъ башмакомъ своего супруга, и въ двухъ своихъ маленькихъ ребятишкахъ усердно воспитываетъ подъ сурдинку двухъ будущихъ «патріотовъ».

XXIV.

Хлопское «дзякуймо!» [1])

Ардальонъ Полояровъ не долго наслужилъ въ Сѣверо-Западномъ краѣ. Гродненскій губернаторъ, снисходя къ его усиленнымъ просьбамъ, приспособилъ сего «дѣятеля» къ крестьянскому дѣлу, но увы!—не прошло и нѣсколькихъ мѣсяцевъ какъ «дѣятель» намудрилъ, начудесилъ и... проворовался. Взялъ онъ съ пана Котырло легкую благодарность, и взялъ ее впередъ, съ тѣмъ чтобъ оставить за нимъ кое-какія угодія, да и съ крестьянъ тоже заручился благодарностью, и при томъ за тѣ же самыя угодья. Дѣло всплыло наружу. Произвели негласное разслѣдованіе и призадумались: какъ быть съ «дѣятелемъ»? Формальнымъ образомъ предать его суду? Оно бы и можно, да не совсѣмъ-то ловко: это значило-бы дать разнымъ благожелателямъ поводъ колоть намъ глаза и кричать: «вотъ они каковы ваши дѣятели!» И потому мѣстная власть порѣшила уволить его тотчасъ-же въ отставку съ предложеніемъ немедленно удалиться изъ Края. Ардальонъ Полояровъ почувствовалъ себя безвинно обиженнымъ, даже кровно оскорбленнымъ «въ самыхъ священныхъ своихъ чувствахъ и принципахъ», и потому уѣхалъ въ Петербургъ, пылая непримиримымъ негодованіемъ къ виленской администраціи. Въ Петербургѣ, шатаясь по разнымъ редакціямъ, онъ съ благороднымъ негодованіемъ сталъ отзываться о «дѣятеляхъ» и не безъ похвальбы сообщилъ, что удаленъ изъ Края «за распространеніе соціализма между крестьянами», цитируя эту якобы оффиціальную фразу не иначе какъ съ ѣдкой ироніей.

— А вы въ самомъ дѣлѣ распространяли?—вопрошали его иные.

— Я былъ только вѣренъ самому себѣ,—серьезно и вѣско отвѣтствовалъ Полояровъ,—«понимай, дескать, какъ хочешь», и за симъ далѣе уже слѣдовала краснорѣчивая фигура умолчанія.

Вскорѣ послѣ этого въ умѣренно-либеральной и умѣренно полякующей газетѣ г. Цемша появился рядъ ядовитыхъ «статей», въ которыхъ подъ прозрачнымъ флеромъ изобличалась и порицалась виленская администрація.

— Я отомстилъ за себя,—многозначительно замѣчалъ Ардальонъ своимъ пріятелямъ, когда тѣ хвалили ему эти статьи, «исполненныя такого благороднаго сочувствія къ цивилизованной и угнетенной націи».

[1]) Дзяковать—благодарить; дзякуймо—благодаримъ, спасибо.

Digitized by Google

Въ настоящее время уже не одна виленская администрація, а все, рѣшительно все безъ разбора служитъ предметомъ его угрюмаго порицанія. Теперь у него уже нѣтъ болѣе подраздѣленія людей на *мы и подлецы*, — теперь у Ардальона Полоярова уже весь свѣтъ безъ исключенія обратился въ подлецовъ, и даже самихъ нигилистовъ въ снисходительныя минуты называетъ онъ не иначе какъ мерзавцами. Ходитъ онъ какимъ-то маньякомъ промежъ живыхъ людей, болтается мрачно и здѣсь, и тамъ, и кто бы ни говорилъ ему, онъ только ворчитъ про себя сквозь зубы: «Знаемъ, молъ, знаемъ подлецы!.. мерзавцы!» такъ что, наконецъ даже и сами пріятели Ардальона Полоярова не могутъ опредѣлить съ точностью — исключаетъ-ли онъ изъ числа подлецовъ свою собственную особу. Изъ всѣхъ идей, волновавшихъ его нѣкогда, одна только глубокимъ гвоздемъ засѣла въ его голову и, обратясь въ нѣкоторую манію, вѣроятно, не покинетъ этой головы уже до конца дней злосчастнаго Ардальона. При воспоминаніи о ней, онъ оживляется и еще болѣе начинаетъ злобствовать.

Что-же за идея такая и что за воспоминаніе? Увы!.. Эта идея о томъ, что онъ въ свое время могъ бы цѣлый капиталъ имѣть — «шутка-ль сказать, двадцать-пять тысячъ!» — Капиталъ! громадный капиталъ и... всѣмъ пренебрегъ, отъ всего самъ добровольно отказался.

* * *

Чтобы поправить путаницу, которую натворилъ въ своемъ участкѣ дѣятель Полояровъ, надо было посылать на мѣсто особую коммисію, въ число членовъ которой было назначенъ и Хвалынцевъ. Разобравъ дѣло, коммисія выяснила претензіи обѣихъ сторонъ и привела ихъ къ добровольному обоюдному соглашенію. Панъ Котырло выказалъ при этомъ даже замѣчательную уступчивость въ пользу своихъ бывшихъ «подданныхъ». При заключеніи этой сдѣлки, кромѣ членовъ, пана и сельской «громады», находилось еще и нѣсколько ближайшихъ сосѣдей-помѣщиковъ. Наконецъ, когда все дѣло было завершено благополучнымъ образомъ, предсѣдатель коммисіи обратился къ «громадѣ» съ нѣсколькими словами.

Что-жь, братцы,—сказалъ онъ,—вашъ панъ, какъ видите, разверстался съ вами по чести и безъ спору, вы получили вдосталь всего: и земли и угодій. Вѣдь надо и поблагодарить его за это. Какъ вы думаете?

— А вже-жъ! Якъ нада, дакъ нада! —отозвались въ громадѣ.

И вслѣдъ затѣмъ изъ среды крестьянъ вышелъ одинъ человѣкъ, преклоннаго возраста, который былъ очевидно побойчѣе прочихъ. Выступя впередъ и снявъ свою шапку, онъ низенько поклонился пану и окружавшимъ его помѣщикамъ.

— Дзякуймо, пане,—заговорилъ онъ при этомъ,—та и вамъ, паночки дзякуймо, што вы зрабили [1]) тоё вашо повстанье! Бо кабъ вы ёго не зрабили, тобъ намъ и по вѣкъ такого ужитку та щастя не бачици [2]).

Выслушавъ столь оригинальную и откровенную благодарность, паны невольно почувствовали нѣкоторую неловкость и слегка сконфузились; члены коммисіи, съ легкой, сдержанной улыбкой, тоже потупили долу очи.

«Вотъ оно, приличное нравоученіе и вмѣстѣ съ тѣмъ эпитафія всему этому повстанью»! подумалъ себѣ Хвалынцевъ, въ то время когда вся громада, вслѣдъ за своимъ ораторомъ, не безъ нѣкоторой добродушной иронія повторила мірское «дзякуймо!»

XXV.

Роковая дилемма.

Прошло нѣсколько лѣтъ. Рядъ новыхъ событій нашей внутренней и внѣшней европейской жизни отодвинулъ на дальній планъ 1863-й годъ и сдѣлалъ его уже достояніемъ исторіи. Съ одной стороны, страсти улеглись, съ другой— ушли въ глухую, сокровенную глубь души и тамъ затаились. Многое нами сдѣлано, частію удачно, частью нѣтъ, а многое и забыто. Мы народъ не злопамятный. Да кромѣ того и нѣтъ въ насъ той систематической, неуклонно-настойчивой послѣдовательности въ достиженіи разъ постановленныхъ цѣлей, какой отличаются наши германскіе сосѣди. Мы легко прощаемъ, легко забываемъ—до какой-нибудь новой встряски, если такѣвую вздумается кому-либо задать намъ. Тогда мы снова подымемся разомъ, какъ одинъ человѣкъ, и покажемъ свои зубы и когти. Минетъ невзгода, пройдетъ извѣстный періодъ времени, и мы снова уляжемся, снова забудемъ... Быть-можетъ это хорошо, быть-можетъ дурно. Кто его знаетъ!..

Когда люди въ домѣ спятъ, мыши въ подполье начинаютъ свою подтачивающую работу.

Итакъ, прошло нѣсколько лѣтъ. Славнобубенскій острословъ и философъ Подхалютинъ, съ цѣлью «послужить русскому дѣлу», удачно высмотрѣлъ и еще удачнѣе купилъ себѣ имѣніе, всадилъ въ него не мало денегъ, пожилъ годъ-другой, но наконецъ нашелъ, что это скучно, и сдалъ имѣніе въ аренду компаніи жидовъ, которая «для легальности» выдвинула подставного арендатора, и уѣхалъ съ Богомъ въ свой достолюбезный Славнобубенскъ. Въ этомъ случаѣ не онъ былъ первый, не онъ и послѣдній... Но какъ бы то ни было, а дѣло русскаго землевладѣнія въ Западномъ краѣ можно, кажется, считать дѣломъ неудавшимся, и вина въ этомъ никакъ не на сторонѣ правительства.

---

[1]) Зрабиць—сдѣлать.
[2]) Бачиць—видѣть.

Digitized by Google

Зато панъ Котырло сидитъ себѣ смирно и тихо, «при своихъ пенатахъ», умѣренно плачется на тугія времена, подъ-часъ увѣряетъ даже, будто въ Краѣ никакого такого повстанья вовсе и не бывало, что паны сидѣли себѣ смирно въ своихъ имѣніяхъ, а по Краю гуляли шайки какихъ-то лайдаковъ-разбойниковъ, что «дворанство» всегда было «наивѣрно-преданнѣйшей подпорой Цару и ойтечеству», а теперь, вслѣдствіе черной интриги Каткова, «оклеветано» и за все, про все сдѣлалось невинной жертвой. тогда какъ съ этимъ добрымъ и вѣрнымъ «дворанствомъ» давно бы надлежало помыслить о полномъ «примиренью и забвенью».

Мужъ графини Цезарины, еще до начала вооруженнаго возстанія высланный на житье въ Славнобубенскъ, съумѣлъ съ теченіемъ времени какъ-то такъ устроить, что ему перемѣнили мѣсто ссылки и дозволили жить въ одномъ изъ русскихъ городовъ, лежащихъ на линіи Петербургско-Варшавской желѣзной дороги. Здѣсь часто посѣщаетъ его графиня Цазарина, которая благополучно успѣла избѣжать послѣдствій своего визита въ повстанскую банду. Время почти нисколько не измѣнило ея наружности: она все такъ-же обаятельна, и въ послѣдніе годы все чаще и чаще начинаетъ показываться на петербургскомъ горизонтѣ, ловко, а иногда и не безуспѣшно стараясь возобновить свои, нѣкогда прерванныя, добрыя отношенія во вліятельныхъ сферахъ. Зачѣмъ это ей нужно—про то ей знать... Панъ граба Слопчицькій въ этихъ случаяхъ нерѣдко бываетъ спутникомъ графини Цезарины, и все что-то предпринимаетъ, что-то устраиваетъ, все хлопочетъ о чемъ-то и иногда продолжаетъ по-прежнему неожиданно летать изъ Петербурга въ Вильну, изъ Вильны въ Варшаву, въ Парижъ, въ Женеву и т. д. Онъ теперь, между прочимъ, состоитъ въ большой дружбѣ съ Моисеемъ Фрумкинымъ, которому кто-то далъ большія деньги, съ тѣмъ, чтобы Фрумкинъ, при подставномъ редакторѣ, издавалъ умѣренно-либеральную газету въ защиту «взраалитскихъ интересовъ», а панъ грабя серьезно думаетъ, что интересы евреевъ и интересы польско-дворанской интеллигенціи весьма удобно могутъ ужиться въ русской прессѣ подъ сѣнію «умѣреннаго либерализма». Панъ грабя вообще старается, чтобы до поры до времени казаться какъ можно умѣреннѣе, и если желаетъ для своихъ «родаковъ» возстановленія нѣкоторыхъ утраченныхъ правъ и привилегій, то это только ради поддержки и развитія между ними «консервативныхъ элементовъ».

Полковникъ Пшецыньскій перемѣнилъ родъ службы, причислился къ одному изъ министерствъ и теперь хлопочетъ о довольно вліятельномъ административномъ мѣстѣ, желая получить его не иначе какъ въ Польшѣ или въ Западномъ краѣ, дабы тамъ въ пользу русскаго дѣла примѣнить свою испытанную служебную опытность.

Одинъ только ксендзъ-канонникъ Куницевичъ по-прежнему остается въ Славнобубенскѣ, служа утѣшеніемъ мѣстной польской колоніи, которая съ 1863 года значительно тамъ увеличилась и, по преимуществу, служитъ теперь по желѣзнымъ дорогамъ.

Бывшій славнобубенскій губернаторъ Немомукъ Анастасьевичъ Гржибъ-Загржимбайло со своей огненной супругой въ настоящее время находится въ Петербургѣ. Нѣкоторое время онъ оставался причисленнымъ къ министерству, но потомъ, при помощи такого туза какъ Почебутъ-Коржимскій, ему удалось заполучить весьма солидное мѣсто, на которомъ онъ сидитъ довольно прочно и очень, очень осторожно работаетъ при случаѣ «ad majorem Dei et patriae gloriam». Его супруга, между прочимъ, подружилась съ графиней Цезариной, для которой служитъ иногда, въ нѣкоторомъ родѣ, необходимою ступенью во вліятельныя гостиныя петербургскаго свѣта.

И такъ, слава Богу, все пока обстоитъ благополучно!

Польская эмиграція, которая вслѣдъ за послѣднимъ повстаньемъ разсѣялась по лицу Европы, нынѣ скучивается все болѣе и болѣе въ гостепріимной Швейцаріи, гдѣ, впрочемъ, муниципальныя власти не знаютъ какъ отдѣлаться отъ этихъ милыхъ гостей своего отечества. Эмиграція подѣлилась на безчисленное множество кружковъ и партій, которыя всѣ враждебны другъ другу и, засѣдая въ своихъ избранныхъ «кнейпахъ», безъ конца сплетничаютъ, ругаются, дерутся между собой, обличаютъ то того, то другого члена въ измѣнѣ, въ воровствѣ народовыхъ фундушовъ, въ предательствѣ и т. д., и въ то же время неустанно конспирируютъ, агитируютъ, поддѣлываютъ русскіе кредитные билеты и вообще представляютъ собой одно изъ печальнѣйшихъ явленій современной соціальной жизни. Одно время между этими партіями бродила мысль о томъ, чтобы въ 1872 году, въ память столѣтней годовщины перваго раздѣла Польши, произвести какую-нибудь яркую демонстрацію въ одной изъ раздѣленныхъ земель бывшей польской «Короны». Галиція считалась между ними наиболѣе подходящей для подобной цѣли. Отголоски этого проекта проникли и въ нашъ Западный край, но отголоски до такой степени смутные, что на нихъ даже не стоило обратить хоть сколько-нибудь серьезнаго вниманія. Между тѣмъ эмиграція не оставляла своей «животворной идеи». Она и сама ни одной минуты не разсчитывала на успѣхъ, она была убѣждена, что попытка будетъ раздавлена тотчасъ же, но все-таки намѣревалась привести ее въ исполненіе ради того только, чтобы «заявить свой протестъ», чтобы показать

Digitized by Google

міру, что хотя и сто лѣтъ прошло со времени раздѣла, но Польска все еще не «згинэла», какъ вдругъ, среди всѣхъ этихъ споровъ, вздоровъ, интригъ и подпольныхъ приготовленій, неожиданно грянули первые боевые выстрѣлы при Саарбрюкенѣ. Эти выстрѣлы застигли врасплохъ и не однихъ поляковъ, которые, послѣ ихъ громоваго эхо, всѣ вдругъ притаились и замерли въ напряженномъ ожиданіи. Конечно, никто въ Европѣ не слѣдилъ съ бо́льшимъ напряженіемъ за франко-германской борьбой и никто увѣреннѣе поляковъ не ожидалъ ея счастливаго для Франціи исхода. Затаенныя надежды стали оживать... но увы!—погромы Верта и Гравелоты сильно поколебали такія надежды и привели чающихъ движенія воды въ печальное недоумѣніе. Вслѣдъ за тѣмъ въ устахъ всего міра прозвучало имя Седана. Вмѣстѣ съ катастрофой для Наполеона, Седанъ былъ катастрофой и для поляковъ. Онъ разомъ пришибъ смертельнымъ ударомъ всѣ ихъ блестящія надежды и планы.

«Что дѣлать? Какъ быть теперь? Что будетъ дальше?» всталъ предъ ними безпощадный, роковой вопросъ—и взоры поляковъ смущенно обратились на Сѣверъ.

...«Что будетъ дальше?»

Суждено ли длиться еще и еще этой «борьбѣ за существованіе» между двумя силами? Сознаетъ ли, наконецъ, одна изъ нихъ неизбѣжную дилемму, которая съ безпощадной логикой говоритъ ей: «либо исчезай съ лица земли, безслѣдно растворяясь въ культурномъ германскомъ началѣ, либо сливайся съ русскимъ народомъ, чтобы возродиться какъ народъ въ могучемъ славянствѣ». Признаетъ ли польская интеллигенція прямо и честно этотъ единственно-возможный для нея выходъ, или же, оставаясь вѣрной своимъ традиціямъ, ничему не научась и ничего не умѣя забыть, попытается вновь разразиться еще однимъ кровавымъ пуфомъ?

Какъ знать!—Это покажетъ будущее, которое, быть можетъ, наступитъ и гораздо ранѣе, чѣмъ можно, повидимому, ожидать его.

Digitized by Google

ПАНЪ ПШЕПЕНДОВСКІЙ.

(СОВРЕМЕННЫЙ ОЧЕРКЪ).

ГЛАВА I.

Чѣмъ былъ и чего вдругъ лишился панъ Пшепендовскій.

— От-то дурни были! Позаводили этое само повстанье, але и чьто-жъ такое! Теперъ зъ-за нихъ за самыхъ чловѣку, которы естъ порадочный, а ни ступить, ни пикнуть! Ну, и чьто-жъ? Теперъ будемъ такъ говорить: хотя я самый—по выбору отъ усего благороднаго дворянства три трохлѣтья былъ капитанъ-справникомъ, и наусегда царю и ойтечеству былъ какъ вѣрный собака, а теразъ — усего лишоный... Одначежъ имѣю жону и ребенковъ; малютковъ имѣю и всѣ мы желаемъ кушать, але-жъ не можно, бо этое само повстанье—а будь оно не ладне!—какъ есть усего лишило. И выходитъ, чьто дурни сгадали, а невинный чловѣкъ естъ жертва.

— Ну, пане Пшепендовскій, за что же вы однако мѣсто-то потеряли?

— А за то за самое и потералъ; бо этое, зволите видѣть, какъ пріѣхалъ у Край графъ Муравьевъ, то такъ мене одъ разу и одрѣшилъ... Бо я, говорить, полякъ. А какой я полякъ?! И никогда, ни въ жизнь свою полякомъ не былъ и не желаю и не имѣю числиться въ полякахъ,—а пропадай они и совсѣмъ!

— Э, пане Пшепендовскій! Оно конечно, дѣло немножко щекотливое говорить-то объ этомъ, но... вѣдь были же причины.

— А каки таки прычины, позвольте взнать?

— Ну хоть... извѣстнаго рода сочувствіе?

— Какъ!.. Я?.. У мене?.. У мене сочувствіе?—Пфрсс!.. Къ мьятежникамъ? Къ тымъ канальямъ?—А ни Боже мой!.. И чьто это только такое вы говорите! Я, сударъ мой, есть капитанъ-справникъ; этое одзначаетъ: я естъ друхъ порадка.

— Стало быть, въ концѣ концовъ, вы плачетесь теперь на нашу несправедливость?

— Я?! на несправедливосць? — А Боже збавъ мене!.. Я — никогда! Помилуйте, какъ этое, чтобы я—и вдрухъ на несправедливосць... на графа Муравьева?.. Да вы не знаете... графъ Муравьевъ, да то былъ самый найсправедливѣйшій, найпочливѣйшій чловѣкъ! Ему намъ усѣмъ опклоняться до ногъ належитъ!—Вотъ какъ мы будемъ судить! Это, сударь мой, былъ свьятой чловѣкъ!

— И потому отрѣшилъ васъ отъ мѣста?

— Ну, и чьто жъ?.. Одрѣшилъ! Этое вѣрно, что одрѣшилъ, я къ тому и не спору! Errare humanum... знаете, говорится. Конечне, онъ только черезъ то потералъ для себя одного, можно сказать, вѣрнаго собаку. Этое, говора по правдѣ, случилось усе одъ навѣтовъ. Одклеветали, очернили меня...Самыи же поляки очернили!

— Ну, вотъ! Теперь ужъ поляки виноваты! Полноте, пане! Вѣдь мы тоже немножко знакомы съ этимъ дѣломъ. Васъ отрѣшили — не взыщите за откровенность—по сильному подозрѣнію во взносахъ въ народовый капиталъ, въ потворствѣ костельной пропагандѣ и, если не ошибаюсь, въ укрывательствѣ извѣстныхъ вамъ мѣропріятій.

— О-ля Бога! Подите вы, право!.. И чьто-жъ мнѣ вамъ отвѣчать на этое?.. Ежели я естъ виноватый, то зачѣмъ мене до Сибиру тогда не одправили? а?.. Позвольте васъ спросить, зачѣмъ мене не одправили?

— Да вѣдь не всѣхъ же въ Сибирь отправляли.

— Э-э, нѣтъ! Усѣхъ должны были одправлять! Усѣхъ! И мене тоже, ежели такъ будемъ судить!.. Помилуйте, на человѣка усе можно сказать!.. Но надо доказать напередъ, надо доказать!. Надо разсмотрѣть съ легальнои стороны, бо такъ не можно!

Digitized by Google

— Да насчетъ взносовъ доказательства есть.

— Ну, и чьто жъ изъ того?.. Ну, и есть!.. Але-жъ будемъ мы такъ говорить: вы сидите себѣ мирно и покойно у своихъ, можо сказать, пенатовъ; при васъ ваша любимая жона... и ребенки тутъ на полу кувыркаются... и усе этое такъ пріятно вамъ, и вы ни о чемъ дурного не думаете себѣ, и никому никакого зла не желаете,—а тутъ вдрухъ входять до васъ у двохъ, але и по трши гайдука — таки галгане!—и вотчасъ съ кынжаломъ у брухо, альбо и зъ тымъ... зъ револьверемъ... Какъ приставять до носу та и говорать вамъ: «прошен'пана офяроваць цокольвекъ за майонтковъ паньскихъ до фундушу народового!» — Ну, и когда жь они такъ застигнуть васъ—и вы по своей неволѣ даете, бо они вотчасъ же забіютъ васъ, а у васъ жона, а у васъ потомки ваши ползаютъ, и вы помирать не хочете... Ну и дашь, только одвяжитесь вы скорѣйшъ, лайдаки проклятые!

— Оно пожалуй и такъ; но ужь будто къ вамъ такъ просто и спокойно могли входить эти господа и требовать съ ножемъ у горла?

— А какъ же-жъ иначе? Непремѣнно зъ ножемъ, чи еще зъ револьверемъ!

— Да вѣдь вы были исправникомъ...

— Ну, то такъ есть! И наусегда былъ добрый справникъ, и одъ начальства отличне аттестованы! Но чьто жъ зъ того?

— Да вѣдь при исправникѣ всегда казаки, цѣлая команда,—и при васъ вѣдь были тоже казаки.

— А, полноте, пожалуста! Чьто такое казаки?.. Казаки!—Вы просто не можете имѣть себѣ никакого о томъ воображенья! Одъ нихъ никакого защищенья, а одно только разоренье есть, бо онъ только и сидитъ себѣ у жида въ корчмѣ, и какъ надрызгается этои самои водки, то и лежить себѣ кверху брухомъ, какъ свинья какой.

— Зачѣмъ же вы допускали до этого? Зачѣмъ же не взыскивали?

— А чьто жъ я могу? Я тутъ ничего не могу... бо я жь не злой человѣкъ, и душу имѣю добрую.

— Мужики, однако васъ, кажись, не совсѣмъ-то долюбливали.

— Бо я спуску не давалъ! И вы усѣ, господа мыровіи посредники, вы усѣ, позвольте вамъ выразить, имѣете совсѣмъ фальшиве воображенье — на этотъ щотъ. Мужикъ — онъ только нынѣ притворается такимъ добрымъ, такимъ вѣрнопредáньнымъ, а до этого дурацкего повстанья мужикъ былъ найпервшій бунтовщикъ! найпéрвша бэстія! Вы напрасно воображаете себѣ, чьто тутъ чьто нéбудь дворянство... Конечне, и въ дворянствѣ коѣ-чьто было, але гдѣ паршива овца не водиться? Но только повѣрте на чести, дворянство—и это наусегда было наипервша опора престола и отечества... Оно еще и мужиковъ одъ бунтовъ воздерживало!—То такъ есть! Какъ честный человѣкъ! Я смотру безпристрастно, а потому такъ и говору! А за паршивыхъ овецъ, — то нынѣ усѣ мы жертвами выходимъ. Такъ не можно! И зъ тыми, которые какъ я, напримѣръ, наусегда были у вѣрноподдáнствѣ, надо ужь помыслить о примиренью и забвенью.

Такъ разсуждалъ панъ Пшепендовскій съ мировымъ посредникомъ Ивановымъ, сидя подъ тѣнью развѣсистыхъ деревьевъ, въ публичномъ саду города N.

Панъ Пшепендовскій выглядѣлъ совершенно паномъ не то что маленькой, а почти маленькой руки, занимая какую-то неопредѣленную серединку между паномъ средней руки и паномъ руки маленькой. На видъ ему было лѣтъ сорокъ, и такъ было ему и въ дѣйствительности. Выраженіе лица имѣло въ себѣ нѣчто вполнѣ польско-благонамѣренное. Хорошіе темнорусые усы носилъ онъ по шляхетски, тоненькая полоска бакенбардъ спускаясь отъ одного уха, убѣгала подъ подбородокъ, къ шеѣ, и такой же тоненькой полоской восходила къ уху другой стороны лица. Взглядъ пана Пшепендовскаго передъ низшими выражалъ презрительную и какъ бы начальственную надменность (вѣроятно въ силу старой исправничьей привычки), передъ маленькими людьми изъ русскихъ—полную и отчасти горделиво-равнодушную независимость; передъ почтенными стариками «конпатріотами» — пріятную почтительность человѣка, уважающаго старость и готоваго у нея поучаться; передъ ксендзомъ взглядъ пана Пшепендовскаго выражалъ скорбное сочувствіе чему-то и кроткую, пригнетенную покорность кресту, посланному отъ Бога; передъ россійскимъ высокимъ начальствомъ этотъ разнообразный взглядъ и таялъ, и умилялся, и извивался жирнымъ угремъ, и выражалъ даже патріотизмъ вѣрнопреданный, неизмѣримый, и полную готовность лечь костьми противъ враговъ единства, покоя и счастія нашего «общаго, великаго и вселюбезнаго отечества». Словомъ сказать, это былъ взглядъ до послѣдней степени гибкій. Гибкости взгляда вполнѣ соотвѣтствовали гибкость спины, шеи и головы, которыя тотчасъ умѣли принимать то самое положеніе, тотъ самый характеръ, что, смотря по требованіямъ обстоятельствъ любой данной минуты, принималъ гибкій взглядъ пана Пшепендовскаго.

Панъ Пшепендовскій не толстъ и не худощавъ, не высокъ и не низокъ, а такъ-себѣ, нѣчто средне-пропорціональное,—одѣтъ всегда довольно опрятно, но никакъ не по модѣ, а именно такъ, какъ умѣютъ одѣваться одни только Западнаго края помѣщики не то что средней и не то что совсѣмъ маленькой руки. Панъ Пшепендовскій походилъ на помѣщика душъ двухсотъ (говоря по-прежнему), и въ

Digitized by Google

прежнее счастливое время дѣйствительно былъ обладателемъ двухсотъ душъ крестьянскихъ. Сто у него было своихъ, да сто взялъ по сосѣдству за женой. Панъ Пшепендовскій въ своимъ околодкѣ былъ извѣстенъ за добраго обывателя, добраго семьянина, добраго католика и добраго человѣка. Послѣдняго о немъ мнѣнія не раздѣляли одни только крестьяне того уѣзда, гдѣ онъ исправничалъ—по своему, весьма исправно. Панъ Пшепендовскій былъ счастливымъ отцомъ двухъ дѣтей—сына Стася и дочери Брони, которымъ было: одному четыре, а другой три года, и не менѣе счастливымъ супругомъ очень хорошенькой и очень вкусной пани Пшепендовской, которая въ дѣйствительности считала себѣ двадцать восемь лѣтъ, но всему свѣту было извѣстно, по ея словамъ, что ей всего только двадцать - четвертый годъ. Этотъ фатальный двадцать-четвертый годъ неизмѣнно фигурировалъ у нея въ каждомъ подходящемъ случаѣ уже ровно четыре лѣта сряду, что впрочемъ ни сколько не мѣшало пани Фелиціи быть очень хорошенькой, очень вкусной женщиной и казаться, дѣйствительно, моложе своихъ лѣтъ. Всѣ знаёмые и родаки и сосѣди называли это супружество не иначе какъ самымъ счастливымъ и самымъ примѣрнымъ супружествомъ,—и панъ Пшепендовскій въ качествѣ человѣка, равно какъ и въ качествѣ исправника, пользовался всеобщимъ душевнымъ расположеніемъ добрыхъ-пановъ-обывателей своего уѣзда, за что и былъ въ теченіе трехъ трехлѣтій неизмѣнно избираемъ ими въ должность исправника.

Мирно и счастливо текли исправничьи дни пана Пшепендовскаго, который даже съ 1861 года успѣлъ заслужить себѣ имя добраго, хотя и осторожнаго патріота; россійское начальство тоже атестовало его добрымъ, расторопнымъ, примѣрно-усерднымъ и надежно-исполнительнымъ чиновникомъ—и такимъ образомъ эти счастливые дни и счастливая атестація длились бы можетъ до самаго смертнаго часу, если бы, на бѣду пана Пшепендовскаго, не нанесъ Богъ въ этотъ Край графа Муравьева. Старооопытнымъ, зоркимъ и чуткимъ орломъ налетѣлъ покойникъ на этотъ Край и... между прочимъ, мимолетомъ клюнулъ пана Пшепендовскаго: взялъ да и порѣшилъ его относительно исправничьей должности.

Тутъ началось горе пана Пшепендовскаго. Съ одной стороны, надъ нимъ возсіялъ ореолъ—въ нѣкоторомъ родѣ политическаго мученика, страдальца за патріотическую идею, хотя и маленькаго, а все же таки мученика и все жь таки страдальца; но, съ другой стороны, карманы пана Пшепендовскаго потерпѣли сильный ущербъ, потому что еще передъ началомъ повстанья, онъ—по настояніямъ духовника, сулившаго ему милости небесныя, и по неотступнымъ требованіямъ жены, соблазнявшей его своими милостями земными,—дозволилъ ей распорядиться значительной частью капитальца, скопленнаго на службѣ. Она, въ порывѣ патріотическаго увлеченія, взяла да и отдала этотъ капиталецъ пану Пшемыкѣ, который былъ тогда «организаторомъ повятовымъ». Организаторъ, конечно, выдалъ пани Пшепендовской самую вѣрную квитанцію, по которой ржондъ народовый, какъ только совершится полное возстановленіе ойчизны, непремѣнно выплатитъ ей весь капиталъ и даже съ процентами. Пани Пшепендовская, разумѣется, повѣрила—и развѣ можно было не вѣрить? А панъ организаторъ, межъ тѣмъ, захвативъ всю свою кассу, ушелъ до лясу, въ банду. Банда конечно была разбита, но пану Пшемыкѣ удалось удрать за границу, а съ нимъ удрали и денежки пани Пшепендовской, которая однако непремѣнно получитъ ихъ по квитанціи, когда вольна и неподлегла ойчизна... и проч. И вотъ, такимъ образомъ, панъ Пшепендовскій вдругъ остался на бобахъ: и мѣсто потерялъ, и капитала лишился; а между тѣмъ у пана Пшепендовскаго есть «любимая жона», у пана Пшепендовскаго его потомки ползаютъ—и всѣ они вмѣстѣ съ самимъ паномъ Пшепендовскимъ, «кушать желаютъ», и панъ Пшепендовскій, какъ добрый отецъ и добрый супругъ, очень хорошо это чувствуетъ. Что тутъ дѣлать пану Пшепендовскому?..

«Что дѣлать?—Цо робиць?» въ этомъ-то и весь вопросъ его, насущный вопросъ, заключается.

Имѣньице не даетъ почти никакого доходу, хозяйство истощено ежегодными контрибуціями, лайдакамъ хлопамъ, по милости новыхъ Муравьевскихъ посредниковъ, пришлось таки урѣзать отъ себя добрые надѣлы; а подлые хлопы почти-что отказываются работать на пана Пшепендовскаго, а коли и идутъ, то за непомѣрную цѣну,—а панъ Пшепендовскій межъ тѣмъ, вмѣстѣ съ потомками, очень и очень кушать желаетъ. Ну, и цо жь теразъ мусіе робиць несчесливы панъ Пшепендовскій?..

Цо мусіе панъ робиць?—вопросъ дѣйствительно рокового свойства.

Панъ Пшепендовскій, при каждомъ подходящемъ случаѣ, сталъ ругать, порицать, поносить «дурацьке повстанье» и его «дурацькихъ будовниковъ», заговорилъ о томъ, что онъ всегда былъ «вѣрнымъ собакой», и запѣлъ хорошо извѣстную нынѣ въ цѣломъ Краю пѣсенку «о примиренью и забвенью».

Панъ Пшепендовскій нашелъ наконецъ, цо онъ мусіе теразъ робиць, якъ добры по́лякъ и добры обыватель.

ГЛАВА II.

Что наводитъ пана Пшепендовскаго на хорошую идею.

Панъ Пшепендовскій все еще благодушествовалъ подъ густой тѣнью деревьевъ. Онъ

Digitized by Google

только-что кончилъ разговоръ съ мировымъ посредникомъ Ивановымъ, который, раскланявшись съ собесѣдникомъ, оставилъ его одного мечтать о прелестяхъ примиренья и забвенія.

— А! тàту! Тату сѣдзе подъ дрżевемъ, а мама шука тату. Идзь до мамы!—запищали вдругъ подъ самымъ ухомъ пана Пшепендовскаго двое его потомковъ,—обстоятельство, изведшее его изъ области мечтаній о примиреніи и забвеніи.

Онъ поднялъ глаза—передъ нимъ въ трехъ шагахъ стояла пани Фелиція, тоже вышедшая подышать прохладой майскаго вечера.

Панъ Пшепендовскій подвинулся и далъ ей подлѣ себя мѣсто на скамейкѣ.

— Шліома сапожникъ приходилъ,—начала пани Пшепендовская, сразу направляя разговоръ на хозяйственныя и домашнія надобности.

— А чего ему надо?—не глядя на нее, равнодушно и вскользь замѣтилъ панъ Пшепендовскій, хотя самъ очень хорошо зналъ, зачѣмъ могъ придти сапожникъ Шліома, но панъ Пшепендовскій любилъ иногда тѣшить себя «воображеньемъ», будто онъ независимый ни отъ кого и очень богатый панъ, къ которому люди могутъ приходить ни за чѣмъ инымъ, какъ только на поклонъ и съ просьбой о какой-нибудь паньской милости. Съ такимъ точно равнодушнымъ и независимымъ видомъ и теперь спросилъ онъ свою супругу: «а чего ему надо?»

— Извѣстно чего! Денегъ хочетъ, денегъ просить приходилъ,—съ недовольнымъ видомъ возразила супруга.

— А я и самъ хочу! Я и самъ попросилъ бы!

— Говоритъ, что до полиціймейстера пойдетъ, когда не отдадимъ, больше ждать не хочетъ...

— От-то ёще! всяка свиня до полиціймейстера!—пришелъ вдругъ панъ Пшепендовскій въ справедливое негодованіе. — Какъ былъ справникомъ, тогда, небойсь, не говорилъ о полиціймейстерѣ, а теперь ужь и до полиціймейстера!

— Отъ Файтовой тоже приходили,—продолжала докладывать супруга.—Велѣла сказать, что въ кредитъ ничего больше отпускать не можетъ... Тоже денегъ проситъ.

Панъ Пшепендовскій сидѣлъ, положивъ обѣ руки на набалдашникъ своей палки, а на руки положивъ подбородокъ. На сей разъ онъ ничего не сказалъ, а только весьма энергически сплюнулъ въ сторону.

— И отъ хозяина приходили: за квартиру срокъ,—докладывала межъ тѣмъ, какъ голосъ неумолимой совѣсти, пани Фелиція.

— От-то псявѣрный родъ! И что же мнѣ душу прозакладывать для нихъ, или что!—волновался панъ Пшепендовскій.—Э, нѣтъ! Надо въ деревню ѣхать поскорѣе! Здѣсь одно разоренье!

— А въ деревнѣ чѣмъ жить будешь?

— О-ля бога! И что за вопросы!

— И въ деревнѣ жить нечѣмъ... въ деревнѣ хуже еще.

— Э, подите пожалуйста! И вы, какъ вижу, за-одно со Шліомами и Файтовыми мучить меня собрались!.. Ну и нéчѣмъ! Ну, и хуже будетъ! И что жь я буду дѣлать?

— У Стася подошвы отлетаютъ... Бронѣ платьице новое надо бы... Стасю! не бѣгай такъ много,—обратилась она вдругъ къ старшему потомку своего супруга,—лучше сядь коло мамы... Не бѣгай, мое сердце, а то бутики совсѣмъ расползутся.

Бутики Стася были вовсе не въ такомъ уже плачевномъ состояніи, чтобы надо было ежеминутно опасаться за ихъ существованіе, но для пани Фелиціи это разбереженье своихъ ранъ и ранъ супруга доставляло какое-то особаго рода мрачное удовольствіе. Ей, дѣйствительно, порой приходилось очень жутко: молодость и прежняя привычка къ довольству, къ извѣстнаго рода комфорту и общественному почету, въ качествѣ пани исправникòвой, и, наконецъ, сознаніе своей миловидности—все это, въ совокупности, были такія вещи, которыя тянули пани Фелицію еще и пожить, и повеселиться, и показаться въ свѣтъ, и блеснуть, но... «дурацьке повстанье» лишило ее всѣхъ этихъ пріятностей и удовольствій. Во время ѐно пани Фелиція пѣвала по костеламъ «Боже цось Польске», носила конфедератку и жалóбу—трауръ по ойчизнѣ—и была, не шутя, очень интересна собой и своей ролью ярой патріотки. Вся окружная молодежь, въ чамаркахъ и кунтушахъ, вслѣдствіе этого увивалась вокругъ прелестной пани исправниковой, жужжала ей о ея красотѣ и гражданскихъ доблестяхъ—и пани исправникова, довольная собой, своими побѣдами и своими доблестями, плавала на верху блаженства. Но... плачевныя обстоятельства и «пршекленты наяздъ москевськи» унесли безвозвратно это блаженство. Пани Пшепендовской было это очень досадно и преобидно, но такъ какъ ничего уже больше не подѣлаешь, то пани Пшепендовская въ жуткія минуты стала бередить раны своего честолюбиваго сердца и домашняго экономическаго положенія, съ мрачнымъ наслажденіемъ изливая всю боль этихъ ранъ на своего супруга, вѣроятно въ силу пословицы: кого люблю, того и бью. Изъ своихъ домашнихъ прорѣхъ она сдѣлала даже предметъ нѣкоторой рисовки, не лишенной даже своего рода гордости и достоинства. Часто указывая своимъ знакомымъ на эти раны и прорѣхи, она не безъ эффекта восклицала: «вотъ до чего довели насъ москали! полюбуйтеся, люди добрые!» И бутики маленькаго Стася играли при этомъ не послѣднюю роль. Знакомые сочувственно качали головами, прискорбно вздыхали и отдавали должную справедливость

Digitized by Google

гражданскимъ чувствамъ «несченсливой пани Пшепендовской».

Однако же роль гордой и твердой въ своемъ несчастіи гражданки — роль, избранная по необходимости — начинала уже шибко надоѣдать ей.

Туалетное зеркало говорило ей каждое утро, что густая коса ея еще очень мягка и волниста, что румянецъ еще играетъ во всю щеку, что цвѣтъ лица и свѣжъ, и здоровъ, что хорошенькіе глазки еще горятъ блескомъ неуходившейся жизни, — словомъ, что вся она еще слишкомъ полна этой жизни и хороша собой, и потому, стало быть, имѣетъ пока полное право пользоваться и наслаждаться жизнью. Разъ отвѣдавши общаго почета и, въ нѣкоторомъ родѣ, власти — экс-исправничиху тянуло опять и къ власти, и къ почету, и къ увиваньямъ молодежи, и къ такому положенію, которое давало бы достаточныя средства на все на это,—такъ ужь на чорта ли тутъ избранная по необходимости роль твердой въ своемъ несчастіи гражданки!

Раны-то свои она отъ этого еще пуще бередила и еще пуще изливала боль и желчь свою на супруга, но ролью все-таки, въ глубинѣ души своей, сильно и постоянно тяготилась.

— Ахъ, Боже мой!—начала она, какъ бы перемѣняя прежнюю докучную тему о бутикахъ, Шліомахъ и Файтовыхъ,—какую прелесть я сейчасъ видѣла! Иду мимо магазина Закрушевской, а у нея въ окнѣ новая шляпка выставлена... Представь себѣ, мой милый, прелесть, что за шляпка!.. Соломенная, à la chinoise, и вся пунцовымъ макомъ убрана, вся эдакъ макомъ, макомъ!.. Ахъ, какая прелесть!.. Вотъ, думаю, кабы мнѣ такую шляпку... Вѣдь ужь я мою второй годъ ношу—это ужасно!

Панъ Пшепендовскій упорно молчалъ и глядѣлъ въ землю, опершись подбородкомъ на палку.

— Пану Пшепендовскому, кажись, вовсе не угодно слушать меня!.. нервно и обиженно заговорила вдругъ пани Фелиція,—вы, кажется, не удостоиваете меня даже и разговоромъ... О, мой вѣжливый панъ Пшепендовскій! Что же, съ женою такъ и слѣдуетъ...

— Ай, Іезусъ-Марія! да отвяжитесь вы отъ меня! И безъ васъ тошно!—вдругъ весь сморщась, закричалъ панъ Пшепендовскій, словно бы ему на мозоль наступили.—Тутъ у человѣка серьезныя размышленія, а вы со своимъ макомъ, макомъ... Ну, и что мнѣ до вашего мака!.. Чѣмъ же я могу помочь въ этомъ?..

— Не быть такимъ, какимъ вы стали,—внушительно и менторски замѣтила ему супруга.

— Благодарю за наставленія!.. Очень обязали!.. ужь довольно я ихъ слушаю!

— Да лучше бы было, кабы побольше слушали. Я на дурное не наставлю...

— Что и говорить!.. Теперь макъ да пустырнакъ, а по чьей милости я всего капиталу лишился?.. было бы не совать деньги на дурацкія повстанья, такъ и шляпы были бы!.. А теперь что я буду дѣлать?!

— Что дѣлать?—тономъ оракула, внушительно, но въ то же время вдругъ кротко и ласково сказала пани Фелиція, — что дѣлать? не сидѣть, сложа руки, а шукать мѣстця, мій коханы! Да, мѣста искать—вотъ что дѣлать!

Панъ Пшепендовскій отнялъ отъ палки свой подбородокъ и молча поглядѣлъ на супругу удивленнымъ и недоумѣвающимъ взглядомъ. Это было для него совсѣмъ новое слово въ устахъ его супруги.

— Мѣстця шукать... задумчиво и озадаченно пробормоталъ онъ. — От-то есть идея!.. Мѣстця шукать... Э?.. Дали-бугъ, пенкна штука!

На главной аллеѣ городского сада оказалось вдругъ нѣкоторое движенье. Взоры гуляющихъ обращались болѣе или менѣе все въ одну сторону, нѣкоторые мужчины приподнимали шляпы и почтительно раскланивались; нѣкоторые же, напротивъ, спѣшили принять какое-то равнодушно-независимое выраженіе и какъ бы не замѣчать, игнорировать движеніе, сдѣлавшееся болѣе или менѣе общимъ въ гуляющей публикѣ.

По главной аллеѣ, въ сопровожденіи какого-то чиновника, изволилъ шествовать, въ изящномъ Шармеровскомъ пальто и лѣтней легонькой шапочкѣ, его превосходительство. Онъ очевидно находился въ благодушественномъ настроеніи и болталъ о чемъ-то съ чиновникомъ.

Дежурный частный приставъ, состроивъ такую физіогномію, будто онъ здѣсь такъ-себѣ и самъ по себѣ, случайно зашелъ прогуляться, не безъ почтительности слѣдовалъ на приличной дистанціи, шагахъ въ пятнадцати, за его превосходительствомъ.

Его превосходительство проходилъ какъ разъ мимо той скамейки, на которой сидѣлъ съ супругой панъ Пшепендовскій.

Панъ Пшепендовскій, еще за пять шаговъ до его приближенія, почтительно привсталъ съ мѣста и, пріятно сгибая спину, обнажилъ свою голову. Пани Фелиція, въ качествѣ дамы, осталась на скамейкѣ, но тоже не безъ пріятности обратила взоръ свой на встрѣчу подходящему превосходительству.

Его превосходительство съ подобающей небрежностью отвѣтилъ на поклонъ пана Пшепендовскаго, но осѣдлавъ носъ золотымъ пенснэ, въ свою очередь не безъ пріятности и весьма внимательно поглядѣлъ на неизвѣстную ему и столь вкусную пани Пшепендовскую, которой при этомъ невольно вспомнилось, что часто съ такимъ точно выраженіемъ жирные коты посматриваютъ на лакомый кусочекъ мясного. Она замѣтила тоже, что не успѣлъ еще

Digitized by Google

его превосходительство миновать ее, какъ уже обратился съ какимъ-то замѣчаніемъ къ чиновнику, и по лукаво и масляно осклабленной физіогноміи этого чиновника она почти съ полной увѣренностью заключила, что замѣчаніе его превосходительства было сдѣлано не иначе, какъ только насчетъ ея, пани Пшепендовской. Пани Пшепендовская, при этомъ сознаніи, не могла внутренно воздержаться отъ скромной, но пріятной улыбки.

Не прошло и пяти-семи минутъ, какъ къ пани Пшепендовской подскочила дебелая «пани Пшесныцька» съ озабоченнымъ, но сіяющимъ лицомъ. Пани Пшесницкая, вдова преклонныхъ лѣтъ, была и свахой, и закладчицей, и посредницей при продажѣ и куплѣ, и даже ходатаемъ по дѣламъ во всѣхъ присутственныхъ и неприсутственныхъ мѣстахъ. Вѣчная хлопотунья и непосѣда, не взирая на свою дебелость, она отличалась особой спеціальностью: знать всѣхъ и все, состоять въ знакомствѣ съ цѣлымъ городомъ, имѣть входъ и доступъ повсюду, быть въ одно и то же время вездѣ и нигдѣ. Если пани Пшесницкая и не была съ кѣмъ знакома лично, что впрочемъ могло почесться большой рѣдкостью, то она все равно знала незнакомаго въ лицо, по фамиліи, по мѣсту, по положенію,—словомъ, знала почти всю подноготную. Это была живая справочная книга города N.

— Ахъ, муя пани! муя пенкна, муя дрога пани!—затараторила она сразу, подсѣвъ къ супругѣ пана Пшепендовскаго и горячо потрясая ей руки.—Что сейчасъ было!.. Ахъ, какое происшествіе!.. если-бъ вы только знали, что сейчасъ было!.. Я нарочно, въ ту-жь минуту побѣжала къ вамъ, чтобы разсказать вамъ... Нѣтъ, но вы представить не можете себѣ, что сейчасъ было!..

— Ну, ну?—нетерпѣливо подуськивала пани Фелиція.

— Но нѣтъ, вы только представьте себѣ!.. Это прекрасно!.. Это чудесно!.. Вы знаете Камневича?.. Ну, вотъ того самого Камневича, что служитъ въ полиціи... Частный приставъ... Да вотъ онъ сейчасъ же проходилъ мимо! Я его знаю давно, даже когда три года назадъ жена его родила (онъ тогда былъ помощникомъ), такъ я же имъ и крестнаго отца нашла, — безъ меня и тутъ не обошлось! Ну, такъ вотъ подходитъ онъ ко мнѣ—а я тутъ съ секретаремъ надворнаго суда вонъ тамъ, позади васъ, на скамейкѣ сидѣла... говорила ему объ одномъ дѣлѣ—вѣдь вы знаете, у меня все дѣла, куча дѣлъ, бездна дѣлъ, а помощника вѣдь нѣту—одна, вездѣ одна и все сама, вездѣ сама—конечно, бѣдная вдова!.. Ну, такъ вотъ, мы говорили о дѣлѣ, а этотъ Камневичъ вдругъ и подходитъ ко мнѣ. — «Позвольте узнать, говоритъ, не знаете-ли вы, кто эта пани позади васъ сидитъ?»—и самъ на васъ показываетъ.—А вамъ на что? говорю.—«А мнѣ нужно».—А на что вамъ нужно?—«А не скажу», говоритъ. —Ну, вы не скажете, и я не скажу! — «Нѣтъ, Бога ради, скажите!» — Да отстаньте вы, говорю, почемъ я знаю! — «Нѣтъ, говоритъ, вы знаете!»—А хоть и знаю, да не скажу! посылайте, говорю, своихъ шпеговъ довѣдаться, а мнѣ какое дѣло!.. — «Но мнѣ нужно, крайне нужно, говоритъ,—и нужно сейчасъ, сію минуту!»—Говоритъ, зачѣмъ!— «Не могу!»—Ну, и я не могу!—Видитъ онъ, что со мной ничего не подѣлаешь, отводитъ меня въ сторону и говоритъ: «меня, говоритъ, губернаторскій чиновникъ сейчасъ просилъ узнать, поскорѣе, бо генералъ замѣтилъ эту пани».—А какъ онъ, говорю, замѣтилъ? вѣрно что нибудь злое готовитъ? — «Э, нѣтъ, говоритъ, онъ ее пріятно замѣтилъ». Ну тутъ я ему и сказала: это, говорю, пани Пшепендовька сидитъ.

— Такъ и сказали?—перебила пани Фелиція, сверкая самодовольными взорами.

— Такъ и сказала! Это, говорю, пани Пшепендовька, и видѣла, какъ онъ тотчасъ подошелъ къ чиновнику. Нѣтъ, но вы только представьте себѣ! вы только представьте!..

Но пани Пшепендовской нечего уже было представлять, потому что въ эту самую минуту его превосходительство опять проходилъ по главной аллеѣ, мимо пани Пшепендовской и опять маслянымъ котомъ поглядывалъ сквозь пенснэ на сіе лакомое блюдо... Пани Пшесницкая тотчасъ же примолкла, а пани Пшепендовская скромно и съ величайшимъ достоинствомъ потупила долу свои глаза.

Зато панъ Пшепендовскій вторично приподнялся съ мѣста и, вновь пріятно сгибая спину, отвѣсилъ вторичный почтительный поклонъ.

Послѣ этого его превосходительство еще раза три прошелся мимо—и три раза пани Пшепендовская потупляла долу свои очи, все съ тѣмъ же скромнымъ достоинствомъ, но потупляла ихъ такъ, что его превосходительство—если онъ только не совсѣмъ ужь дуракъ на этотъ счетъ — непремѣнно долженъ былъ понять, сообразить и почувствовать, что никто иной какъ онъ, единственно онъ своей собственной особой, служитъ пріятной причиной этого не менѣе пріятнаго потупленія. И его превосходительство, кажись, такъ и понялъ.

— Такъ, такъ, муй коханы! тршеба шукаць мѣстця!—настойчиво и увѣренно, съ легкимъ вздохомъ подтвердила пани Пшепендовская своему супругу. Но супругъ уже былъ наведенъ на хорошую идею.

ГЛАВА III.

Какъ пани Пшепендовская добивалась „да“ безъ „если“.

Пани Пшепендовская не любила даромъ терять времени и, хоть и полька, но всегда слѣ-

Digitized by Google

довала русской пословицѣ, которая учитъ ковать желѣзо, пока оно горячо. Она еще въ тотъ же вечеръ тщательно вымыла губкою шею и плечи и заплела въ мелкія косички свои волосы, дабы на завтра они казались еще волнистѣе и держались бы облачно-легкими, пушистыми колечками и змѣйками вокругъ ея лба. Пани Фелиція очень хорошо знала, что boucles d'amour необыкновенно идутъ къ ея личику. Съ вечера же были и юбки крахмальныя приготовлены, и вообще весь нарядъ хорошо обдуманъ.

Панъ Пшепендовскій хотя и видѣлъ всѣ эти необычайныя приготовленія, но не понималъ, что оно значитъ и куда клонится, ибо на завтрашній день ни въ гости они никуда не званы, ни праздника особеннаго, кажись, тоже нѣтъ никакого. Онъ посредствомъ осторожнаго вопроса у супруги рѣшился наконецъ удовлетворить своему законному любопытству. Но супруга въ отвѣтъ только глянула на него такимъ краснорѣчивымъ взглядомъ, который вполнѣ ясно говорилъ ему: молчи-де, индюкъ, коли не понимаешь! — и среди своихъ хлопотъ не удостоила его никакихъ дальнѣйшихъ объясненій. Панъ Пшепендовскій кротко покорился своей участи и не разспрашивалъ больше.

На утро пани Фелиція причесалась какъ нельзя болѣе къ лицу и одѣлась весьма авантажно. Она послала нанять себѣ извозчика и отправилась въ костелъ. Тамъ нарочно была заказана ею «миша», дабы Богъ и всѣ Святые Его услышали молитвы пани Пшепендовской и послали ей вожделѣнный успѣхъ въ предстоящемъ дѣлѣ. Она тутъ же дала всѣмъ святымъ обѣщаніе, что если они помогутъ ей, то она, по успѣшномъ окончаніи дѣла, отслужитъ имъ еще одну мшу, но только уже большую, парадную, потому что тогда будутъ лишнія деньги, которыя, стало-быть, можно съ удовольствіемъ истратить на богоугодное служеніе.

Пани Пшепендовская молилась столь горячо, что, выходя изъ костела, почти уже не сомнѣвалась въ полномъ и счастливомъ успѣхѣ.

Она приказала извозчику ѣхать прямо къ его превосходительству. Теперь какъ разъ наступалъ у его превосходительства обычный часъ пріема просителей. Пани Фелиція съ нѣкоторымъ замираніемъ сердца, но тѣмъ не менѣе весьма рѣшительно вступила въ генеральскую залу и скромно, съ видомъ просительницы, опустилась на стулъ.

Вчерашній чиновникъ тотчасъ же весьма развязно подлетѣлъ къ пани Пшепендовской и освѣдомился что ей угодно.

— Мнѣ до самого пана гэнэрала,—несловоохотливо цѣдя и растягивая слова, отвѣчала просительница.

Господина генерала,—внушительно поправилъ ее чиновникъ.—Я могу доложить ему.

— А пожалуйста, будьте такой ласковій!—пріятно вдругъ улыбнулась она ему.—Скажить, чьто я имѣю интэресъ до господына гэнэрала. Пускай они мене пріймуть... Да скажить имъ, что моя фамилья: Пшепендовська... Фелиція Пшепендовська.

Чиновникъ дробной и ловкой походкой, напоминающей походку московскихъ половыхъ, полетѣлъ въ кабинетъ его превосходительства.

Черезъ нѣсколько минутъ онъ вышелъ съ легонькимъ оттѣночкомъ какого-то двусмысленнаго довольства въ лицѣ и обратился къ просительницѣ:

— Пожалуйте! Его превосходительство проситъ васъ къ себѣ въ кабинетъ... Э-э... нынѣ его превосходительство не принимаетъ,—онъ очень занятъ, громко и официально возгласилъ онъ, обернувшись ко всѣмъ остальнымъ просителямъ,—потрудитесь пожаловать завтра, въ назначенные часы.

Просители со вздохомъ и съ вытянутыми физіономіями поплелись вонъ изъ залы.

Явное предпочтеніе, оказанное передъ всѣми остальными, обѣщало пани Пшепендовской доброе начало.

Шумя своими юбками и стараясь придать походкѣ еще болѣе граціозной легкости, она съ нѣкоторымъ замираніемъ вступила въ кабинетъ его превосходительства.

— Чѣмъ могу служить, сударыня?—съ умѣреннымъ полупоклономъ началъ генералъ, стараясь держать себя и говорить въ тонѣ строго официальномъ. Но взглядъ жирнаго кота, быть-можетъ и помимо воли его превосходительства, изъ-подъ пенснэ скользилъ по всей фигурѣ граціозной пани Пшепендовской.

— Ваше пресходзицельство,—съ запинкой заговорила немножко смущенная просительница, сдѣлавъ ему глубокій реверансъ и низко потупя глаза въ землю,—звыните за осмѣлость мою... имѣю большой интэресъ до вашего пресходзицѣльства...

— Въ чемъ дѣло-съ?... Готовъ слушать, сударыня!

— Я—несченслива женщина... имѣю двохъ малютквъ, ваше пресходзицельство... и мужа имѣю... алежь онъ не имѣетъ никакого мѣста... Осчастливьте, ваше пресходзицельство!..

Пани Пшепендовская для пущаго эффекту даже прослезилась немножко и, вынувъ батистовый платокъ, очень граціозно приложила его къ глазамъ. Опытная женщина знала, что легкія, умѣренныя слезы, при соблюденіи извѣстной граціи, очень идутъ къ ея личику.

— Вы просите о мѣстѣ мужу?—освѣдомился генералъ.

— Такъ есть, ваше пресходзицельство!

— Вашъ мужъ кто?

— Пшепендовській, ваше пресходзицельство.

— Что это такое Пшепендовській?

Digitized by Google

— Пшепендовськiй, вашiе пресходзицельство, это така фамилья есть.

— Гм!.. Пшепендовскiй... фамилiя... гм!.. Ну, да, я знаю что фамилiя; конечно фамилiя; не чинъ же это какой—Пшепендовскiй!

— Такъ есть! не чинъ, алежь только фамилья...

— Гм... да, да... фамилья... Но что онъ такое?

— Былъ капитанъ-справникомъ, вашiе пресходзицельство, алежь въ тимчасомъ усего лишоный!

— Гм!.. Почему-жь-такъ? Вѣрно отрѣшенъ отъ службы?

— То такъ есть. Алежь онъ одрѣшоный не одъ себе, а по клеветамъ, вашiе пресходзицельство... То было одно кламьство такое, а онъ усегда былъ очень преданьный... И ребенковъ такъ воспитáемъ, жебы и они тоже предáньные были, бо то жь усе одно глупьство, вашiе пресходзицельство, и мы того не хочемъ.

— Какое же вы мѣсто желаете?

— Какое заугодно будетъ вашему пресходзицельству, алежь пристойное мѣсто... бо намъ тоже и жить чѣмъ должно. Ежели бы какое при самомъ вашемъ пресходзицельствѣ!—прибавила она вкрадчиво, подымая умильные, многообѣщающiе и масляно-просящiе глазки на генерала.—Кабы такъ, то этое было бы намъ за лучше всего, бо и мужъ, и я—мы усегда до начальникувъ своихъ очень преданьные.

— Преданность нужна не начальнику,—докторально замѣтилъ генералъ, — преданность нужна дѣлу, сударыня, дѣлу-съ!

— Ну, то этое-жь само и есть, вашiе пресходзицельство! Этое усе на одно выхóдить!

— Далеко не одно, сударыня! Мнѣ нужны чиновники исполнительные, усердные къ дѣлу, толковые.

— Але жь мы будемъ и всердны, и сполнительны!— живо подхватила пани Фелицiя.—Когда только прикажете, вашiе пресходзицельство, то такъ одъ разу и будетъ! Мой мужъ, завѣраю васъ, до службы очень скорый!.. Не одкажите несченстливой матери! будьте какъ ойтецъ ребенкамъ моимъ!

Батистовый платокъ опять весьма кстати и весьма граціозно появился передъ влажными глазками пани Пшепендовской.

— Гм!.. Вашъ мужъ католикъ?—раздумчиво спросилъ генералъ.

— То-есть... онъ не то чьто католикъ... а тольке онъ есть рожденный въ томъ, бо и ойтецъ и матка его были католики, алежь онъ очень сполнительный и скорый до дѣла, вашiе пресходзицельство.

— Все это прекрасно, сударыня, но... вы знаете... обстоятельства доказали... Мы не имѣемъ гарантiй довѣряться, послѣ того, что было... Я бы лично очень радъ, но... извините, не могу!

— Алежь какой вашiе пресходзицельство не добрый!—кокетливо проговорила пани Пшепендовская.

— Душевно бы радъ,—пожалъ плечами генералъ,—но... не могу! И даже мѣста никакого въ виду не нахожу. Честь имѣю кланяться, сударыня!

Пани Пшепендовская замедлилась на минутку въ колеблющемся раздумьи и вдругъ—бацъ передъ генераломъ на колѣни.

Тотъ такъ и отскочилъ отъ нея. Въ первыя мгновенья пораженый такимъ неожиданнымъ пассажемъ, онъ даже разобрать ничего не могъ и только безсознательно слышалъ, какъ зашумѣли крахмальныя юбки просительницы.

Она, въ патетической позѣ, съ простертыми впередъ руками, на колѣняхъ ползла къ ошеломленному генералу.

— Вашiе пресходзицельство!.. вашiе пресходзицельство!.. Умру, а не встану!.. Не встану по тѣхъ поръ, поки не будете какъ ойтецъ намъ!

Генералъ вконецъ растерялся.

— Полноте... встаньте... встаньте, сударыня!.. Боже мой... какъ вамъ не стыдно!.. Что же я могу?.. Я васъ прошу!—бормоталъ онъ, силясь поднять ее съ колѣнъ.

— Не встану! Не сойду, вашiе пресходзицельство!—страстнымъ и отчаяннымъ голосомъ говорила пани Фелицiя, сопровождая слова свои соотвѣтственными умоляющими жестами.—Какъ Бога прошу васъ!.. Не оттолкните! Сдѣлайте мнѣ этую просьбу—и подѣлайте со мной тогда что хочете!—Возьмить жизнь, возьмить сердце, возьмить душу мою!.. Я—уся вашего пресходзицельства! — алежь муй добрый, муй дрогiй, муй велькодушный, муй справедливый пане гэнэралу! Въ молитвахъ моихъ—первше имя вашiе!.. Для ребенковъ моихъ! для малюткевъ!

И говоря эти слова, она схватила правой рукой генеральскую руку, а лѣвой обнимала его колѣна. Генералъ нашелся въ крайне затруднительномъ и непрiятномъ положенiи. Въ обуявшемъ ее паѳосѣ, пани Фелицiя и сама не замѣчала, что рука ея, охватившая генеральскiя колѣни, доставляетъ ему самое непрiятное ощущенiе. Прикосновенiе ея пальцевъ щекотало ему поджилки, а генералъ боялся щекотки. Онъ морщился, ежился и подрыгивалъ легонько ногами, стараясь такъ и сякъ высвободиться изъ столь страннаго положенiя; но увлеченная просительница ничего больше не замѣчала. Ни морщенье, ни подрыгиванье не могли принести никакой защиты—непрiятель атаковалъ столь быстро и столь рѣшительно, что генералъ порѣшилъ наконецъ сдаться.

— Хорошо, хорошо! Только встаньте, пожалуйста!—закричалъ онъ и, сдѣлавъ послѣднее отчаянное усилiе, отпрыгнулъ отъ нея въ сторону—и такимъ образомъ освободилъ свои щекотливыя поджилки.

Digitized by Google

Ему было и конфузно, и досадно—досадно до такой степени, что онъ хотѣлъ даже растопаться и раскричаться самымъ распекательнымъ образомъ на свою неотвязную просительницу, но глянулъ на нее—и...

Передъ нимъ, въ пяти шагахъ разстоянія, простерши къ нему красивыя руки, стояла на колѣняхъ, съ дрожащей слезкой въ красноречиво-безмолвныхъ глазахъ, такая прелесть, такая красивая женщина, что его превосходительство чуть было заикнулся, да тутъ же и осѣкся на первомъ звукѣ... Просто духу не хватило раскричаться и растопаться на такую хорошенькую просительницу.

«Всѣ мы люди, всѣ человѣки!» подумалъ про себя его превосходительство. — «А и-шельмовство же эти польки!»

Но помысливши таковое, онъ еще болѣе сконфузился.

— Да встаньте же, Бога ради, сударыня!... Ну, что же вы наконецъ со мною дѣлаете!.. Ну, въ какое положеніе вы меня ставите!.. Ну, мнѣ, наконецъ, совѣстно... Ну, умоляю васъ!—разставя руки и пожимая плечами, бормоталъ генералъ въ тонѣ почти совсѣмъ жалобномъ.

Пани Пшепендовская стояла на колѣняхъ и глядѣла на него молящимъ взоромъ, и въ этомъ взорѣ, помимо его прямого выраженія, сквозило еще и другое—нѣчто страстное, манящее, многообѣщающее..

Генералъ махнулъ рукой и отвернулся, чтобы не видѣть.

«Отойди отъ соблазна и сотвори благо», подшепнуло ему чувство служебнаго долга и благонамѣренной цѣломудренности, хотя его превосходительство насчетъ цѣломудрія, вообще говоря, былъ слабоватъ малую толику.

«А вѣдь хороша, чортъ возьми!.. И тово... во всѣхъ статьяхъ!» подшептывало ему въ то же самое время и какое-то другое чувство, которому генералъ не подобралъ подходящаго названія.

— Ваше пресходзицельство! — снова было начала пани Пшепендовская.

— Ну, ну, хорошо, хорошо!—поспѣшилъ перебить ее генералъ.—Все, что отъ меня будетъ зависѣть... все, что могу... Однимъ словомъ, мы тамъ посмотримъ... Навѣрное не обѣщаю, но если... если можно—мы посмотримъ.

— Ваше пресходзицельство! муй дрогій, муй сердечный, велькодушный!—снова раздался молящій голосъ просительницы, и снова она сдѣлала быстрое, порывистое движеніе къ его колѣнямъ.

Его превосходительство, помня свои поджилки, поспѣшилъ дать стрекача отъ нея въ сторону, за свой письменный столъ, стоявшій посерединѣ комнаты, и остался такимъ образомъ настороже, дабы этотъ столъ могъ ему служить во всякомъ случаѣ надежной преградой между прекрасной просительницей и его поджилками.

— Я ужь сказалъ... Я ужь сказалъ вѣдь вамъ! Если возможно, я съ удовольствіемъ,—убѣдительно говорилъ онъ за своимъ барьеромъ.— Ну, и будьте покойны, сударыня! Все, что могу, то сдѣлаю!

Пани Пшепендовская живо вскочила съ колѣнъ.

— Ваше слово?—стремительно проговорила она, бросаясь къ генералу и ловя его руку.

— Я ужь сказалъ... вѣдь я сказалъ уже. Если возможно, то да!—бормоталъ въ отвѣтъ его превосходительство, дѣлая ретираду вокругъ письменнаго стола.

— Гэнэральське слово вашего пресходзицельства?—настойчиво и граціозно-кокетливо говорила просительница, все еще ловя его руку и наступая на непріятеля. И наконецъ-таки поймала его за рукавъ.

Генералъ опять почувствовалъ серьезное опасеніе за свои поджилки.

— Ну, да, да! Слово!.. Если только могу...

— Безъ «*если*», вашіе пресходзицельство!.. И на чьто-жь этое «*если*»? Ай, какой же-жь вы право упрамый!.. Ну, скажить безъ «*если*»! Тожь гораздо простѣйшъ! Ну, и чего же вамъ стоить? Ну, когда же я васъ такъ прошу!.. Повѣрте на словѣ, женщина усегда съумѣетъ быть вамъ на томъ очень, очень благодарной,— говорила она съ большою выразительностью и съ большимъ, чисто польскимъ, обольстительно-лукавымъ кокетствомъ, а сама крѣпко-крѣпко жала его руку и нѣжно засматривала въ глаза, и все это такъ искусно продѣлывала менѣе чѣмъ въ полушагѣ разстоянія отъ пожилого холостяка, что онъ даже чувствовалъ ея взволнованное дыханіе и легкій ароматъ пудры, слегка покрывавшей пушисто-взбитые волосы.

Его превосходительство не выдержалъ и осклабясь опять установилъ на нее масляный взглядъ жирнаго кота. Пани Пшепендовская очень тонко это чувствовала и соображала.

— Ну? ну, пускай же вы скажете *да!* Ну, только безъ «*если*»! Ну, да? да? гэнэральське слово?—граціозно и кокетливо выпрашивала она съ какой-то особенной фамильярностью.

— Ну, да! Слово!—порѣшилъ наконецъ его превосходительство.

ГЛАВА IV.

Какъ нынѣ думаетъ панъ Пшепендовскій.

— Ну, муй коханы дурню! хоть и менъ але-жъ завше кепъ, дурень! Подзенькуй пану Богу!.. воскликнула пани Фелиція съ торжествующимъ и сіяющимъ лицомъ входя въ комнату мужа.

— Цо такего?—выпуская изо рту чубукъ, лѣниво повернулся къ ней панъ Пшепендовскій.

— Эге! «цо такего»! гдѣ бы встать да броситься къ женѣ, да поблагодарить ее, да руки

Digitized by Google

ея исцѣловать,—а онъ, индыкъ,—«цо такего»! Какъ вамъ это понравится?

— Але за̀ цо-жь то ренки? за̀ цо индыкъ?—отчасти обидчиво возразилъ панъ Пшепендовскій.

— За̀ цо?.. А мѣстьцо вышука̀ла, отъ за̀ цо!—съ торжествомъ возразила пани Фелиція и величественно протянула въ воздухѣ руку своему индюку для достодолжнаго цѣлованія.

Индюкъ запахнулъ халатъ, расшитый шнурками, на подобіе венгерки, и поднялся въ полнѣйшемъ недоумѣніи; однакоже протянутую выжидательно руку поцѣловалъ безъ всякаго прекословія.

— Але жь якимъ спосо́бемъ?!—пожимая приподнятыми плечами и растопыря ладони, изобразилъ панъ Пшепендовскій живую фигуру изумленія.

Супруга передала ему способъ, только не совсѣмъ такъ, какъ оно происходило въ дѣйствительности.

Она очень подробно разсказала ему, какъ просила во имя мужа и малыхъ дѣтей, но кое о чемъ и умолчала,—словомъ сказать, разсказъ ея представлялъ собою изданіе исправленное и сокращенное и приспособленное къ назиданію добродѣтельныхъ мужей.

Пшепендовскій только руками разводилъ да глазами хлопалъ—столь чудно и столь хорошо все это выходило.

— А!—протянулъ онъ не безъ важности, многозначительно подымая носъ.—Розумемъ!.. розумемъ! Онъ для того такъ и решпектòвалъ... для того и обѣщанье далъ... Такъ такъ! это потому!

— Почему?—слегка нахмуривъ бровь, спросила пани Фелиція.

— Бо мамъ гэрба!—съ аристократическимъ гонором пояснилъ панъ Пшепендовскій.

— Гэрба?.. Ну, и цо-жь зъ тѐго?

— А якъ-же-жь?! Бо естемъ шляхцицъ родовиты! бо естемъ Пшепендовскій—розумѣшь то, душе́чько?

— Пьфф!.. Пшепендовскій!.. Цо-жь то есть таке «Пшепендовскій»?—съ маленькой досадой и выдвинувъ небрежно губу возразила пани Фелиція. Ей дѣйствительно было досадно, что индюкъ, вмѣсто благодарности за ея самоотверженіе, вдругъ сталъ приписывать весь успѣхъ дѣла ничему иному, какъ только тому, что онъ «герба мае» и что онъ—«Пшепендовскій».

— Цо такего есть Пшепендовскій?! Цо такего Пшепендовскій?!—съ ироніей оскорбленнаго аристократизма, наступалъ на нее индюкъ.—Пшепендовски у гербу свемъ майон'пул-козицы! [1]). Цалы пул-козицы! Разуме то, муя пани, чи не разуме? Отъ-цо есть такего Пшепендовскій!

— Гэрба! гэрба!.. И что имъ за дѣло до вашего гэрба?

— От-то е́ще! Чьто за дѣло!—Почитайте-ко газэты! Газэты почитайте, тогда и узнаете! Теперъ консервативный элемэнтъ въ дѣло *у них* пойшелъ; теперъ они за интэрэсы землевладѣнья и дворянства—потому и поддержка дворянству! Потому и мнѣ поддержка! Теперъ понимаете, что значитъ гэрбъ и чему мы есть обязаны?

— Гэрба! гэрба!—продолжала въ томъ же задирающемъ и поддразнивающемъ тонѣ пани Фелиція.—У меня и свой собственный гэрбъ есть! И ужь если гэнэралъ и сдѣлаетъ что, то ужь конечно не для вашего, а для моего гэрба, когда вы знать хотите!

— Ну да! Ну, конечне для вашего! Что и говорить, для вашего, для вашего!—иронически раскланивался передъ ней панъ Пшепендовскій.—Нашли гдѣ гербъ... И какой у васъ гербъ?—Гэрбарій, а не гербъ!

— Ну и гэрбарій! а все жь таки вотъ для гэрбарія сдѣлаютъ, а не для вашей пул-козицы! Куды ваша пул-козица годится? изъ нея и бифштеку не сготовишь! Ужь молчи лучше со своимъ «гэрбомъ» и цѣлуй руку умной жены!

И рука снова кокетливо была протянута къ индюку, и индюкъ снова поцѣловалъ ее.

И было въ домѣ пана Пшепендовскаго на сей день веселье, довольство и счастіе.

Но прошло нѣсколько дней, прошла недѣля, и другая, и третья, даже полтора мѣсяца прошло, а о мѣстѣ ни слуху, ни духу.

Мало-по-малу прежнее озлобленное уныніе смѣнило мимолетное довольство единственнаго счастливаго дня. Панъ Пшепендовскій снова пріунылъ и погрузился въ какія-то созерцательныя, сосредоточенныя и молчаливыя думы надъ своимъ длиннымъ черешневымъ чубукомъ, изъ котораго, подъ-стать его настроенію, уныло исходили струйки жуковка дыма (онъ хоть былъ и патріотъ, но придерживался по старинѣ Василія Жукова). Файтова опять не стала вѣрить въ кредитъ; Шліома подобно ходячему memento mori, опять ежедневно стучался въ дверь и надоѣдалъ угрозами о полиціймейстерѣ; и сапоженки маленькаго Стася успѣли уже дѣйствительно запросить каши.

А мѣста нѣтъ какъ нѣтъ! — И генеральское слово не помогаетъ.

А пани Пшепендовская между тѣмъ очень хорошо знаетъ, что стоило бы генералу сказать одно только это желанное слово, сдѣлать одно только минутное распоряженіе—и теплое мѣсто было бы готово къ услугамъ пана Пшепендовскаго.

Пани Пшепендовская нѣсколько разъ понавѣдалась въ генеральскій домъ, но по большей части все неудачно: то генералъ не принимаетъ, то выйдетъ къ ней въ залу—и, на ряду съ другими просителями, отвѣтитъ, пожимая плечами.

— Что дѣлать, сударыня! Душевно бы радъ,

[1]) Пол-козы.

Digitized by Google

да все еще нѣтъ подходящей вакансіи... Потерпите немного.

И затѣмъ, равнодушно откланявшись, проходитъ далѣе. Но въ кабинетъ уже больше не зоветъ ее.

А между тѣмъ пани Фелиція слышитъ отъ пани Пшесницкой, что вотъ такому-то дали такое-то мѣсто, а такому-то эдакое, и слухи эти всегда подтверждаются, всегда оказываются вполнѣ справедливыми; стало быть мѣста-то есть, да только замѣщаютъ ихъ все «быдломъ наяздовымъ», а вѣрнопреданный панъ Пшепендовскій сидитъ на бобахъ и ждетъ у моря погоды.

— Ну и что жь вашъ гэрбарій?.. И гэрбарій, видно, не помогаетъ нынче! Довольно они этихъ гэрбаріевъ видѣли!.. Не удивите!—укоризненно и желчно обращается къ супругѣ панъ Пшепендовскій, давая волю своему грустно-мрачному и озлобленному настроенію.

И пани Фелиція только фыркала на него съ оскорбленнымъ достоинствомъ, но въ полемику уже не вступала.

А между тѣмъ идея о мѣстѣ такъ понравилась пану Пшепендовскому, и такъ живо онъ представилъ его себѣ, и такъ пріятно вообразилъ себя какъ-бы совсѣмъ уже на мѣстѣ, и такъ разлакомился мечтами и предвкушеніемъ этой благодати, что теперь тѣмъ паче подвергся тоскѣ безплоднаго ожиданія. Ему ужь во что-бы то ни стало хотѣлось заполучить себѣ теплое мѣстечко.

И вотъ, время отъ времени, слышитъ панъ Пшепендовскій, что панъ Подлецкій принялъ православіе и получилъ мѣсто, панъ Мерзецкій принялъ православіе и получилъ недурненькое мѣсто, панъ Гадъ принялъ православіе и получилъ прекрасное мѣсто...

«Э! от-то есть штука!» грустно мыслитъ себѣ панъ Пшепендовскій. «Ну, и цо жь теразъ робицъ?...»

«Кедысь-то была тутей Польска земля, и правдзивы поляки были, и правдзива стара вудка, правдзива наша свянта вяра католицька, и мазуречки, и косцелы, и родовите паньство, шляхетство, рыцерство гоноровe, и статуты, и сервитуты, и правда польска, и гоноръ польскій, и вшистко, вшистко и повшендзе была тутей Польска, а теразъ... теразъ то жь ниць нима!.. Ниць!.. Теразъ едне православье и вѣрноподданьство!.. Гм... вѣрноподданьство! Ну и цо-жь? Ну, и вѣрноподданьство! Ну, и православье!.. Але цо-жь такого?

«Кеды жь не можно и зъ православьемъ? От-то глупьство! Ну, и бендземы православны! И на вѣрноподданьство навроцимысен'! А вы, дурни, мысляли, же-то жь нима намъ теразъ жаднего способу до житця у покою на бялему свѣтци! От-то дурни! А мы до православья навроцимысен'! У вѣрноподданьство пуйдземы, и баста! А цо, панове москале? Хе, хе, хе-е!.. Дулю сглоцили! От-то такъ же и есть!»

Панъ Пшепендовскій сталъ серьезно подумывать о томъ, чтобы принять православіе.— «Теперь не гербы и не гербарія мѣста даютъ, а вѣрноподданьство и православье... И развѣ не все одно?» мыслилъ онъ надъ своимъ чубукомъ.

«Развѣ Богъ не одинъ? креститься такъ, либо такъ, признавать папу или не признавать—от-то есть глупьство! Ну, и буду я хоть «православный», але кто-жь меня повѣритъ въ душѣ: чи естемъ всходный, чи естемъ католикъ? когда-жь не можно почитать въ душѣ и папу, и косцелъ, ходя до всходной церквы?

«Ну, глупьство! Едне тилько глупьство. и венцей ницъ! Абы быть добрымъ поляконъ, добрымъ чловѣкомъ, добрымъ патріотомъ (и только очень осторожнымъ), а тамъ—католикъ ли я, или православный—это ровно ничего не значитъ!

«Абы только народъ, масса, абы только было хлопське не переходило на православье, абы оно оставалось подъ костеломъ; а когда приметъ православье шляхтичъ, чиновникъ, и даже ксендзъ—это ровно ничего не значитъ. Люди цивилизованные, люди интеллигенціи пусть принимаютъ! Наши обстоятельства требуютъ того! Отъ этого не вредъ, а скорѣе польза свянтей справѣ!»

Однажды онъ сообщилъ свои мысли супругѣ. Ту сначала было поразило это обстоятельство.

— А дѣти!.. И дѣти тоже будутъ всходними?—воскликнула она, чуть не въ ужасѣ всплеснувъ руками,—и я буду всходна?.. Какъ! чтобы я въ москевську схизму?—да ни за что на свѣтѣ! Ни сама не пойду, ни дѣтей развращать не позволю! Не позволямъ, да и баста! Не позволямъ!

Панъ Пшепендовскій даже пригнулся отъ ярости своей супруги, столь ревнующей о вѣрѣ. Но переждавъ эту бурю, онъ осторожно сталъ развивать ей свои мысли о томъ, что дѣти и она могутъ и не принимать православія, что онъ одинъ только приметъ, ради полученія мѣста — единственно только ради мѣста, а безъ того пропадай оно и совсѣмъ! что ему будетъ еще лучше, еще сподручнѣе тогда дѣйствовать на пользу свянтей справы польскей, потому что присоединеніе къ православію развяжетъ ему руки, заставитъ московське правительство не обращать на него больше особаго вниманія какъ на православнаго—и потому стало быть вѣрноподданнаго и боль шене опаснаго человѣка; что это православіе относительно его, пана Пшепендовскаго, вотретъ хорошіе очки власти наяздовей, заставитъ ее глядѣть на него сквозь пальцы, и главное—это православіе дастъ ему доброе, теплое мѣсто, а мѣсто, въ свой черед дастъ возможность дѣйствовать подъ рукой на пользу ойчизны, но только дѣйствовать умнѣе, осторожнѣе, осмотрительнѣе, чѣмъ было до «

Digitized by Google

рацькаго повстанья», и что наконецъ она, пани Пшепендовська, какъ мать и добрая патріотка, всегда съумѣетъ изъ своихъ дѣтей—будь они даже хоть и православные—сдѣлать добрыхъ и заядлыхъ поляковъ и что стало быть, въ концѣ концовъ, опасаться, волноваться и неистово кричать «*непозволямъ*» ровно не изъ чего.

Пани Пшепендовская, вразумленная столь краснорѣчивыми доводами супруга, не противурѣчила болѣе благимъ его намѣреніямъ и даже сознала въ душѣ всю ихъ неоспоримую пользу.

Панъ Пшепендовскій послѣ этого еще пуще сталъ поносить передъ русскими людьми и поляковъ, и повстанье, и его дѣятелей, и ксендзовъ (ксендзовъ въ особенности). Заговорилъ онъ о томъ, что всегда былъ въ душѣ русскимъ патріотомъ, что по документамъ и предки его были русскими, но только совратились въ католичество,—что пора ему (да и всѣмъ вообще) возвратиться въ лоно своего русскаго отечества и въ лоно православной церкви,—что они-то самые, эти возвращенные въ лоно, и будутъ лучшими и передовыми бойцами въ этомъ Краю за русское дѣло. И много еще другихъ подобныхъ рѣчей говорилъ панъ Пшепендовскій, при каждомъ случаѣ, какъ только доводилось ему бесѣдовать въ исключительно русскомъ обществѣ. Онъ настоятельно сталъ искать сближенія съ русскими. И многіе русскіе слушали, развѣся уши, пана Пшепендовскаго и отдавали ему даже искренное сочувствіе. Въ нѣкоторыхъ русскихъ кружкахъ о немъ составилось даже очень лестное для него мнѣніе, и панъ Пшепендовскій торжествовалъ. Съ помощью подобной тактики, онъ исподволь очень ловко обдѣлывалъ свои дѣлишки, ради которыхъ и составлялъ себѣ предварительно эту хорошую репутацію въ русскомъ обществѣ.

Между поляками панъ Пшепендовскій держалъ себя иначе. Тутъ онъ больше все старался помалчивать, предоставляя первенство въ разговорахъ своей супругѣ, а самъ время отъ времени только вздыхалъ выразительными вздохами сокрушенія—и всѣмъ видомъ, всѣмъ характеромъ своимъ изображалъ неизбѣжную, (хотя и вѣроятно только временную) покорность роковымъ обстоятельствамъ.

Съ этого же времени панъ Пшепендовскій сопричислилъ себя къ искателямъ мѣстъ. Онъ такъ ужь и смотрѣлъ настоящимъ искателемъ мѣста, и вздыхалъ какъ искатель мѣста, и кланялся, и улыбался, и руку пожималъ, и разговаривалъ по преимуществу о мѣстахъ, и чутко настораживалъ уши, когда при немъ чей либо посторонній разговоръ начиналъ касаться вакансій, смѣщеній, опредѣленій и вообще какихъ бы то ни было мѣстъ.

Даже на улицѣ, при столкновеніи съ какимъ-нибудь знакомымъ, когда тотъ встрѣчалъ его обычнымъ привѣтствіемъ:

— Янъ сен-машъ, пане?

Панъ Пшепендовскій кисловато отвѣтствовалъ:

— Алежь такъ... Мѣстця шукамъ!

И начинался разговоръ о мѣстѣ.

Наконецъ панъ Пшепендовскій услышалъ однажды, что даже и панъ Пшеподлинській—такъ-таки самъ наияснѣйши-панъ Пшеподлинській принялъ православіе и получилъ за то лестное отличіе и прелестное мѣсто!

Это окончательно уже порѣшило пана Пшепендовскаго.

Онъ взялъ и тоже принялъ православіе.

ГЛАВА V.

Какъ нынѣ ищетъ и какъ находитъ панъ Пшепендовскій.

Панъ Пшепендовскій гладко выбрилъ себѣ подбородокъ, припомадилъ волосы и натянулъ на плечи свой старый фракъ, застегнувъ его на-глухо, сверху донизу, на всѣ пуговицы. Панъ Пшепендовскій во фракѣ разительно походилъ на грача. Даже физіономія его въ этомъ нарядѣ имѣла въ себѣ нѣчто грачовое; оттопырившіяся фалды у него совсѣмъ не сгибались и торчали какъ-то на-отмашь и нѣсколько въ стороны, напоминая собою грачовый хвостъ. Кланялся, напримѣръ, панъ Пшепендовскій—и фалды его топорщились, а нижнія полы ихъ, описывая дугу, отлетали кверху ровно настолько насколько сгибалась спина при поклонѣ. И такимъ образомъ, эти фалды составляли какъ-бы одно нераздѣльное и одухотворенное цѣлое съ самимъ паномъ Пшепендовскимъ. По ихъ отлету можно было вполнѣ вѣрно опредѣлить степень значительности поклоновъ пана Пшепендовскаго.

Панъ Пшепендовскій надѣлъ и пуховый цилиндръ, не ради чего иного, какъ только ради вящаго заявленія своей благонамѣренности, ибо правдивые поляки еще такъ недавно не любили носить цилиндровъ (и особенно во времена повстанскія), почитая ихъ принадлежностью москевскихъ шпеговъ и чиновниковъ, но теперь они ихъ очень любятъ, потому что стараются дружить съ нѣмцами—и въ то же время показываютъ русскимъ свою шляпную «вѣрнопреданность». Затѣмъ панъ Пшепендовскій вышелъ изъ дому. Пани Фелиція проводила его молитвами, благословеніями и добрыми пожеланіями счастья и удачи.

Панъ Пшепендовскій — хотя уже и православный—но не выдержалъ-таки и озираясь, словно-бы дѣлая что дурное, и опасаясь, какъ-бы его не замѣтили, тайкомъ забѣжалъ прежде всего до костелу, выбралъ тамъ себѣ темное, укромное мѣстечко «у хуточку» и пришклянчилъ, т. е. преклонилъ колѣна, помахивая головой и ударяя себя въ грудь кулакомъ пра-

Digitized by Google

вой руки. Хоть онъ передъ принятіемъ православія и философствовалъ, въ вольнодумномъ духѣ, что Богъ — одинъ для всѣхъ, вездѣ и всегда и повсюду; однако же, отправляясь на совершеніе важной житейской задачи, забѣжалъ тайкомъ и урывкомъ не въ церковь, а въ костелъ, въ полной увѣренности, что католическіе святые какъ-то болѣе ему съ-родни и значитъ скорѣе и охотнѣе помогутъ, чѣмъ святые православные, съ которыми онъ познакомился только недавно да и то поневолѣ—«бо панъ мястця шука».

Панъ Пшепендовскій вышелъ изъ костела, озираясь по сторонамъ не безъ тревожныхъ опасеній. Однако—слава Богу!—никто его не примѣтилъ. На душѣ у него просвѣтлѣло, потому—и святымъ помолится, и москалей надулъ, что впрочемъ для него было одно и то же, и стояло на равной степени добродѣтели.

И вотъ, онъ уже въ прихожей у его превосходительства.

Генеральскій швейцаръ встрѣтилъ его какъ знакомаго, потому что панъ Пшепендовскій былъ знакомъ съ генеральскимъ швейцаромъ. А былъ знакомъ онъ съ нимъ потому, что генеральскій швейцаръ тоже былъ шляхтичъ, только шляхтичъ, отправляющій швейцарскую обязанность, и во-вторыхъ потому еще, что панъ Пшепендовскій, въ качествѣ искателя мѣста, не считалъ удобнымъ пренебрегать знакомствомъ генеральскаго швейцара. Поэтому онъ еще гораздо раньше нашелъ себѣ возможность познакомиться, на всякій случай, съ швейцаромъ и даже съ генеральскимъ камердинеромъ, полагая такой маневръ дѣломъ для себя не безполезнымъ.

— А! Муй коханы, муй дроги!—радушно потрясъ онъ руку швейцара.—А что? принимаютъ?

— Принимаетъ.

— А что? какъ слышно? у духѣ сегодня, чи не у духѣ?

— Полагаю, что въ духѣ.

— Ну, хвала Богу! хвала Богу!—облегченно вздохнулъ панъ Пшепендовскій.

— А что?—прищурился на него швейцаръ.

— А такъ, мѣсця шукамъ... Просить иду.

— Гм!..

Швейцаръ многозначительно и глубокомысленно кивнулъ головой.

— А цо?..якъто тамъ?..чи можно?—колеблясь между страхомъ и надеждой, осторожно освѣдомился панъ Пшепендовскій.

— Можно!

И швейцаръ, ради пущаго удостовѣренія, покровительственно подмигнулъ ему глазомъ.

— Ну, то я тутъ повѣшу пальто... нехъ повиси трошечку... Можно?

— Можно, можно!

И панъ Пшепендовскій, дабы не утруждать своего знакомаго, самъ снялъ съ плечъ и самъ повѣсилъ на вѣшалку свое платье, затѣмъ запаснымъ носовымъ платкомъ обмахнулъ пыль съ отлично вычищенныхъ сапогъ, поправилъ передъ зеркаломъ галстукъ, самолично повязанный ему нынѣ супругой, пригладилъ волосы, подергалъ книзу фракъ, провелъ рукой по ворсу пухового цилиндра—и съ трепетомъ въ сердцѣ, шепча про-себя молитву вшистцкимъ свентымъ, поднялся по лѣстницѣ въ пріемную залу.

Тамъ уже ожидали нѣсколько просителей.

Панъ Пшепендовскій тотчасъ же окинулъ ихъ быстрымъ и зоркимъ глазомъ и убѣдился, что все это, болѣе или менѣе, свои — краёвы обывацёли. Поэтому онъ вступилъ въ залу съ видомъ вполнѣ независимымъ и, съ положительнымъ сознаніемъ собственнаго достоинства, помѣстился у окна.

Рядомъ съ нимъ помѣщалась какая-то старушенція въ ватномъ капорѣ, несмотря на теплые дни, и въ какой-то допотопной шали—по виду непремѣнно благочестивая братчица какого-нибудь изъ костельныхъ братствъ. Старушенція все кашляла и копошилась въ своемъ ридикюлѣ, перебирая какія-то «монатки»: тряпье, опорки, чулки, кусочки сахару, стеариновые огарки и засаленныя дѣловыя бумаги. Старушенція эта имѣла уже много и много лѣтъ хожденіе и по какому-то дѣлу. По какому именно?—ужь это она и сама, за давностію времени, успѣла позабыть, но все-таки ходила по привычкѣ.

Нѣсколько ближе къ дверямъ запертаго кабинета стояла въ уголочкѣ сорокалѣтняя женщина съ глазами и носомъ, покраснѣвшими отъ слезъ и съ пятью ребятами мала-мала меньше.

Вотъ проходитъ какой-то русскій полковникъ.

Панъ Пшепендовскій, хотя и незнакомъ съ полковникомъ, тѣмъ не менѣе привстаетъ со стула и съ любезной, сдержанной улыбкой встрѣчаетъ его легкимъ полупоклономъ. Въ улыбкѣ пана Пшепендовскаго есть и любезность, и въ то-же время маленькое достоинство.

Полковникъ мимоходомъ взглядываетъ на него недоумѣлымъ взоромъ, но тѣмъ не менѣе киваетъ головой, съ той нерѣшительностію, съ какой обыкновенно отвѣчаютъ на случайный поклонъ совершенно незнакомаго человѣка.

Панъ Пшепендовскій еще разъ любезно раскланивается, уже съ видомъ знакомаго.

Полковникъ останавливается противъ него и вглядывается ему въ физіогномію, какъ-бы стараясь припомнить что-то.

— Павелъ Ѳедосѣичъ, кажись? — вопрошаетъ онъ, полупротягивая руку.

— Пшепендовський... глотая звуки, бормочетъ ему съ поклономъ искатель мѣста и торопливо ловитъ протянутую руку, спѣша потрясть ее отъ всей души своей.

Digitized by Google

— Щукинъ?.. Павелъ Ѳедосѣичъ Щукинъ, если не ошибаюсь?—спрашиваетъ полковникъ, сбитый съ толку поклономъ пана Пшепендовскаго и принимая его за какого-то своего знакомаго.

— Пшепендовськiй, господынъ пулковникъ... Пшепендовськiй.

Полковникъ вглядывается въ него съ полнымъ недоумѣніемъ и въ нѣкоторомъ замѣшательствѣ пробормотавъ ему: «извините! ошибся!» отходитъ въ сторону.

Тѣмъ не менѣе, панъ Пшепендовскій все-жъ таки очень доволенъ и, съ достоинствомъ крутя свой усъ, опускается на стулъ.

Въ залѣ появился панъ Загрембо, прежній знакомецъ пана Пшепендовскаго, радикалъ и патріотъ, который однако нынѣ вездѣ ругаетъ на чемъ свѣтъ стоитъ пана Пшепендовскаго: въ какихъ-то счетахъ не поладили между собой.

Панъ Пшепендовскій, завидя его, какъ-бы невзначай отворачивается къ окну и, равнодушно поигрывая цѣпочкой, выглядывающей у него изъ-подъ фрака, начинаетъ напѣвать себѣ что-то подъ носъ и внимательно разглядывать на улицѣ какую-то тумбу.

Панъ Загрембо, косясь на своего врага, проходитъ мимо—и панъ Пшепендовскій успокоивается и снова принимаетъ равнодушно-независимый видъ, исполненный чувства собственнаго достоинства, какъ будто не онъ отвернулся къ окну отъ пана Загрембы, а панъ Загрембо отъ него отвернулся.

Вотъ въ дверяхъ показывается ксендзъ-каноникъ Лушкевичъ и отдаетъ всѣмъ общій поклонъ очень мягонькаго и очень смиреннаго свойства.

Панъ Пшепендовскій на мгновенье смутился, совсѣмъ вконецъ смутился и растерялся: ксендзъ Лушкевичъ внезапно появился предъ нимъ, какъ голосъ неумытной совѣсти, какъ судъ общественнаго польскаго мнѣнія надъ ренегатомъ. Но смущеніе длилось не болѣе мгновенья: панъ Пшепендовскій вспомнилъ, что онъ православный и, стало быть, въ нѣкоторомъ родѣ, сила. Поэтому онъ грузно шлепнулся на стулъ, высоко задралъ ногу на ногу и нахально заломясь, постукивая носкомъ сапога да покручивая усъ, съ независимымъ видомъ уставился глазами въ ксендза Лушкевича.

Но ксендзъ, смиренно проходя мимо, пустилъ исподтишка на пана Пшепендовскаго долгій, тонкій и язвительный взглядецъ.

Панъ Пшепендовскій не выдержалъ: какъ бы невзначай подымается онъ со стула и скромно сложивъ обѣ руки у борта своей шляпы, которую держитъ прижавъ къ животу, принимаетъ вдругъ огорченно-кроткій видъ.

Ксендзъ проходитъ мимо.

Панъ Пшепендовскій, при его прохожденіи, вздыхаетъ очень глубоко и очень прискорбно, словно бы желая въ чемъ оправдаться или изобразить изъ себя невольно и невинно угнетенную жертву. Какъ-то вдругъ духу не хватило выдержать бойкій видъ православнаго и онъ остался весь въ какой-то смиренномудрой, кающейся и потупленной позѣ. Впрочемъ, ксендзъ-каноникъ, крестомъ сложивъ на груди ладони, сдѣлалъ теперь видъ, будто проходя вовсе и не замѣчаетъ пана Пшепендовскаго.

Черезъ нѣсколько времени, когда впечатлѣніе встрѣчи съ Загрембой и ксендзомъ успѣло уже улечься и сгладиться, появилась какая-то хорошенькая панна.

Панъ Пшепендовскій тотчасъ же старается держать себя молодцомъ и какъ бы даже отставнымъ военнымъ, играетъ цѣпочкой и, изрѣдка переминаясь, подтопываетъ ножкой, оправляется и лихо крутитъ свой усъ.

Панна мимоходомъ обращаетъ на него нѣкоторое вниманіе. Панъ Пшепендовскій чувствуетъ себя удовлетвореннымъ и предупредительно спѣшитъ подставить ей свой собственный стулъ. Панна, молча поблагодаривъ его кивкомъ головы, скромно опускается на предложенное ей мѣсто.

Панъ Пшепендовскій, стоя рядомъ, запускаетъ на нее сверху скромно-лукавый взглядъ, подрыгиваетъ колѣнкой, покручиваетъ усъ и молодцовато прихорашивается.

— Вамъ кого вгодно видѣть? — рѣшается онъ, наконецъ, тихимъ голосомъ обратиться къ хорошенькой паннѣ.

— Мнѣ до пана губэрнатора...

— До *господына* губэрнатора!—ласково, но внушительно поправляетъ ее панъ Пшепендовскій.

Панна поняла намекъ и сконфузилась.

— Вы до нѣго дѣло какое имѣете? — продолжалъ панъ.

— Такъ... свой интэресъ...

— Ну, то потрудиться пообождать трошѣчку... Они теперь занятые, но они скоро зволять выйдти... Они вообще очень обходительный и ласковій человѣкъ... Они усе чьто могуть, то непремѣнно издѣлають для васъ; вы посидите,—объясняетъ паннѣ Пшепендовскій такимъ авторитетнымъ, покровительственнымъ тономъ, какъ будто онъ здѣсь официальное и при томъ *свое* лицо, нѣчто въ родѣ дежурнаго чиновника особыхъ порученій, и продолжаетъ сверху запускать на панну свои масляные и скромно-лукавые взгляды.

Въ эту самую минуту подходитъ къ нему только-что явившійся сюда панъ Груздецкій, одинъ изъ сосѣдей пана Пшепендовскаго по имѣнію.

— От-то спотканье!.. муй дроги! якъ сенмашъ? Цо робишь, коханы?—громко и радушно обратился онъ къ пану Пшепендовскому.

— Мое почтенье!—громко, по-русски и съ удареніемъ отвѣчаетъ ему тотъ, платя взим-

Digitized by Google

нымъ, но какъ-то суховато-сдержаннымъ привѣтомъ на радушіе пана Груздецкаго.

— Цо то за «почтенье?» По яковськьку то панъ муве? Мабудь по-татарську? то не розумемъ!— презрительно выдвинувъ губу, въ полголоса побравировалъ панъ Груздецкій.

— Тс!.. Гм-гм!.. Кхе-кхе-кхе!.. нарочно погромче раскашлялся панъ Пшепендовскій, какъ бы желая заглушить неумѣстные звуки компрометирующаго языка,—и покорнѣйше прóшу изо мною по-польску не говóрить, бо я по-польску не говору и не понимаю даже, чьто то есть-такі за ензыкъ! И чьто это вы такое!— солидно, тихо т. е. почти шопотомъ, но какъ бы усовѣщевая, и слегка укоризненно покачивая головой, заговорилъ онъ, пожимая руку пана Груздецкаго, которому, между прочимъ, состоялъ долженъ по векселю сотни двѣ рублишекъ.—И здѣсь же по-польску не говорать... Здѣсь естъ русски ензыкъ! и éще покорнѣйше прошу говорить изо мною не иначе, какъ по русську... Штрафъ беруть!

При словѣ «штрафъ» панъ Груздецкій прикусилъ языкъ, подтянулъ въ себя нижнюю губу и съ полупоклономъ выпучилъ глаза, какъ бы выражая этимъ: «вотъ оно какъ?.. Ну, спасибо!»

Панъ Груздецкій думалъ, что штрафы больше ужь не взимаются; а если не взимаются, то почему же и не побравировать?

— Вы по какому дѣлу?—спросилъ Пшепендовскій пана Груздецкаго.

— Э!.. недóимки есть... одстрочки хочу просить... Просто, хочь порѣзаться! — кисло и грустно объявилъ помѣщикъ. — А вы жъ зачѣмъ?

— М-м... такъ, дѣла есть!—небрежно и не безъ многозначительности отвѣтилъ панъ Пшепендовскій, мотнувъ головою.—Мнѣ до самóго генэрала,—прибавилъ онъ еще небрежнѣе.

— Э?.. От-какъ! Какія жъ такія дѣла?

— Але-жъ такъ... Естъ тутъ общее дѣло одно у его и у меня... ну, посовѣтоваться и... долóжить; такъ для того и повидаться надо,— говорилъ панъ Пшепендовскій съ небрежностью, сквозь которую проглядывала важность и даже загадочность сфинкса—и сфинкса не простого, а сфинкса-политика и, пожалуй, въ нѣкоторомъ родѣ, хоть бы и государственнаго человѣка.

Панъ Груздецкій медленно и съ явнымъ уваженіемъ кивнулъ на это головой.

А панъ Пшепендовскій остался доволенъ, что успѣлъ-таки сосѣду пустить пыли.

Въ эту минуту онъ усмотрѣлъ, что по залѣ бойкой и дробной походкой на каблучкахъ проносится знакомый ему чиновникъ. Панъ Пшепендовскій тотчасъ же подлетѣлъ къ нему и, разставя руки полуфертомъ, причемъ грачовый хвостъ самъ собою приподнялся кверху, тише чѣмъ въ полголоса спросилъ его, съ самой любезной, сладкой и искательной улыбкой:

— И позвольте взнать, ихъ превосходительство скоро зволятъ выйдти?

— Въ назначенное время выйдетъ. Вамъ что угодно?

— А я такъ... я любопытенъ только знать, какъ скоро они выйдуть, бо я просьбу до нихъ имѣю,—тихо изъяснялъ панъ Пшепендовскій, въ полунаклоненной позѣ и продолжая держать полуфертомъ свои опущенныя руки. — Позвольте васъ просить—будьте такой ласковій!—доложите ихъ превосходительству, чьто до нихъ господинъ Пшепендовськiй дѣло имѣетъ... Пшепендовськiй... будьте такой добрый!

— Потрудитесь обождать; какъ выйдетъ, тогда и объяснитесь.

— Такъ подождать прикажете?.. Очень хорошо!.. То я подожду... благодару вамъ!

И поклонившись чиновнику, панъ Пшепендовскій, не безъ пріятной легкости скользя по лощеному паркету, возвратился на свое мѣсто.

— Чьто вы въ него спрашивали?—любопытно освѣдомился панъ Груздецкій.

Панъ Пшепендовскій скорчилъ независимо-небрежную гримаску.

— А такъ... говóрили между сéбя,—отвѣчалъ онъ.—Сказалъ, жебъ онъ поскорѣйшъ долóжилъ тамъ у габинэту, чьто я жду... ну, и о дѣлѣ все-чьто перемолвили.

Панъ Груздецкій въ отвѣтъ удовлетворительно и коротко кивнулъ головою.

Панъ Пшепендовскій и этимъ остался очень доволенъ. Для чего собственно продѣлывалъ онъ всѣ эти штуки—онъ и самъ едва ли бы могъ отвѣтить съ точностью. Надобности въ нихъ не представлялось ни малѣйшей, но... ужь такая видно у пана Пшепендовскаго натура, что любитъ подлизаться ко всему, что только носитъ на себѣ какой бы то ни былъ признакъ общественнаго положенія, вліянія, значенія и власти, и въ то же время натура эта никогда не прочь покичиться, порисоваться своимъ собственнымъ будто-бы достоинствомъ и значеніемъ, насчетъ которыхъ пану Пшепендовскому очень лестно пускать пыль въ глаза и самому себѣ, и сторонним людямъ.

Распахнулись торжественно двери—и въ залу вышелъ его превосходительство.

Все, что было въ залѣ—все поднялось со стульевъ, слегка засуетилось, затревожилось... сердца ёкнули, взоры обратились на звѣзду... Панъ Пшепендовскій вскочилъ раньше прочихъ, подбодрился, пріершился, подергалъ книзу фракъ, поводилъ плечами, такъ, какъ словно бы его блоха въ лопатку кусала,—и усиленно, по гуспному, вытягивая шею изъ воротничка рубашки—всею фигурой, взглядомъ душою и сердцемъ, казалось, стремился въ сторону его превосходительства.

Digitized by Google

При появленіи особы, съ паномъ Пшепендовскимъ точно лихорадка какая-то сдѣлалась: стоя на своемъ мѣстѣ онъ то шляпу вертѣлъ, водя ладонью по ворсу, то колѣнкой подрягивалъ, то подошвой притопывалъ, то воротнички поправитъ, то фракъ книзу потянетъ, или пылинку заботливо сниметъ съ обшлага, то возьметъ шляпу въ лѣвую руку и опуститъ ее по шву, а большой палецъ правой руки заложитъ за бортъ фрака, между пуговицами, то вдругъ перехватитъ свой цилиндръ въ правую, или уткнетъ его полями подъ мышку, а взорами и сердцемъ и гусино-вытянутой шеей весь стремится въ сторону его превосходительства.

По залѣ раздавался голосъ генерала. По преимуществу слышались вопросы: «вамъ что-съ?»—«чѣмъ могу служить?» или короткія, отрывистыя фразы въ родѣ: «нельзя-съ!.. не могу-съ!.. Душевно бы радъ, но не могу, не могу, сударыня, не могу-съ!.. Очень хорошо-съ!.. Дать справку!.. Пошлите отношеніе!.. Хорошо-съ, не безпокойтесь!..» и т. п.

Его превосходительство постепенно переходилъ отъ одного просителя къ другому.

— Ктуры то есть панъ гэнэралъ?—приставала къ пану Пшепендовскому справа убогая и подслѣповатая старушенція.

— Оставьте мене пожалуста!—кратко и сухо обернулся на нее панъ Пшепендовскій.

— Але-жъ я ймѣю до пана гэнэрала... и нѣвѣмъ ктуры есть панъ гэнэралъ? Прошен' пана...

— И покорнѣйше прошу оставить мене у покою.

— Але-жъ прошен' пана! Естемъ бѣдна кобѣта!.. Нехъ панъ бендзе такъ ласкавъ!—слезно шептала глуповатая старушенція.—От-то тенъ самы, у мундужу?.. а?

— Вопросы неумѣстны!—еще разъ сухо и строго-внушительно обернувшись, надъ самымъ ухомъ старушенціи, тихо огрызнулся панъ Пшепендовскій и круто отворотился съ недовольнымъ видомъ, снова изображая взоромъ и сердцемъ порывъ къ его превосходительству!

— Вамъ что-съ?—подходитъ генералъ къ красноносой вдовѣ, окруженной пятью ребятами.

— Вашіе пресходзицельство!—слезно начинаетъ та,—я несченслива удова... мужъ мой въ губэрнскои тыпографьи корректы правилъ, але-жъ померъ, и я а ни-ницъ ничего не ймѣю... не оставте, вашіе пресходзицельство!.. От-то есть пьять малыхъ ребенковъ и кормиться не имѣю чего... Прошу пособья...

— Я не соціалистъ, сударыня! Я не соціалистъ!—съ сухимъ наклоненіемъ головы, кратко отвѣтствовалъ генералъ.—Ничего для васъ не могу... Не могу, сударыня!

— Але и что-жъ я теперъ должна подѣлать изъ ними, вашіе пресходзицельство?—Они еще малые и таки глупіи...

— Я не соціалистъ, сударыня, я не соціалистъ!

— Ну, и мы то теперъ помирать должны...

— Какъ вамъ угодно, сударыня, какъ вамъ угодно...

Панъ Пшепендовскій строго смотритъ на вдову, и въ лицѣ его выражается неудовольствіе, даже негодованіе, что вотъ-де глупая женщина приходитъ безпокоить—и кого же безпокоить!—съ такими пустяками.

Панъ Пшепендовскій совершенно недоволенъ вдовой.

Его превосходительство подходитъ къ пану Загрембо и начинаетъ распекать.

— Да, такъ-съ!—раздается рѣзкій, недовольный голосъ его превосходительства.— Этого нельзя-съ!.. Я этого не дозволю! Не допущу-съ!.. Да я васъ, милостивый государь, въ 24 часа административнымъ порядкомъ... Я съ корнемъ вырву всѣ эти штуки-съ!.. Да-съ! Да-съ!!..

Панъ Загрембо, радикалъ и патріотъ, дрожитъ и теряется и, весь блѣдный, съ трудомъ бормочетъ заикающимся голосомъ:

— Ва... ва... ваше... вашіе... Помилуйте... вашіе...

Панъ Пшепендовскій стоитъ, держась обѣими руками за поля приподнятой къ груди шляпы и, глядя въ ея дно, при каждомъ словѣ генерала, киваетъ головой, какъ бы поддакивая ему и поощряя генеральскую распеканку. Лицо его ясно изображаетъ, насколько онъ возмущенъ какимъ-то неизвѣстнымъ ему дѣйствіемъ со стороны пана Загрембы. Глядючи въ дно цилиндра, онъ, при каждомъ рѣзкомъ возвышеніи начальственнаго голоса, поддакивая кивками, бормочетъ про себя:

— Эге?.. эге?.. От-то то-то такъ!.. Такъ, такъ!.. А что? а что?.. Эге?!.. То такъ и слѣдъ!.. такъ и слѣдъ!.. Эге!.. такъ есть... такъ!

Генералъ кончилъ распеканку и солидно дѣлаетъ какое-то отческое, миролюбивое внушеніе смиренно-стоящему ксендзу-пробощу.

Панъ Пшепендовскій уже не глядитъ на дно пилиндра, хоть и все еще держитъ его передъ грудью обѣими руками, только уже донцемъ не книзу, а прямо отъ себя и дѣлаетъ постную физіономію. Голова немножко склонена на бокъ; взглядъ несмѣло косится въ сторону его превосходительства.

Его превосходительство подходитъ и слушаетъ пана Груздецкаго, который вдругъ очень бойко сталъ объяснять свои бѣды и жалобы чисто «по-татарську», то-бишь по-русски.

— Нельзя-съ! Не могу-съ! Душевно бы радъ, но не могу... Вы знаете — законъ... Законъ прежде всего! Не могу!—отрывисто говоритъ генералъ.

Панъ Пшепендовскій, опустивъ голову и руку съ цилиндромъ, а другую приложивъ къ

Digitized by Google

сердцу, горестно приподымаетъ плечи и сокрушенно воздыхаетъ. Передъ нимъ мерещатся въ туманѣ двѣсти рублей долгу по векселю...

Его превосходительство изволитъ мило шутить съ хорошенькой панной.

Панъ Пшепендовскій, плотно приставивъ ножку къ ножкѣ, стоитъ-себѣ совершенно милымъ пескомъ, у котораго тихо и нѣжно вилюющій хвостикъ загнутъ кверху изящной закорючкой. Цилиндръ его опять приподнятъ къ груди; ладонь плавно поводитъ и гладитъ по шелковому ворсу; въ лицѣ лукаво-скромная усмѣшка; застѣнчиво и какъ бы кокетливо опущенный взглядъ устремленъ на цилиндръ; шея, какъ у котика, то и дѣло выгибается впередъ, а грачовый хвостъ такъ и норовитъ почтительно приподняться. «Ай-ай, и какой же жь право милый шутникъ нашъ его превосходительство!» говоритъ общее и какъ бы заигрывающее выраженіе физіогномія пана Пшепендовскаго.

Но вотъ генералъ почти ужь къ нему подходитъ... вотъ онъ уже въ нѣсколькихъ шагахъ, съ вопросомъ: «вамъ что угодно?» обращается къ какому-то просителю, послѣ котораго сейчасъ же очередь и пана Пшепендовскаго.

Грачовый хвостъ начинаетъ дѣлать легкія, но усиленныя движенія, и опять блоха какъ будто за лопаткой ходитъ, судя по движеніямъ подтягиваемыхъ плечъ. Панъ Пшепендовскій бодрится, прикручиваетъ усъ; въ лицѣ нѣкоторое волненіе; колѣнки чуть-чуть подрягиваютъ и каблучки пристукиваютъ. Это все означаетъ, что онъ примѣряется, норовитъ, прицѣливается половчѣй и предупредительнѣе сдѣлать первый поклонъ его превосходительству.

— Вамъ что-съ?

— Пшепендовськiй, ваше превосходительство!..

Грачовый хвостъ тотчасъ же на-отмашь отлетаетъ кверху; опущенныя руки, конечно, полуфертомъ; каблучки прищелкиваютъ. Панъ Пшепендовскій, пріятно сгибая спину и клоня на лѣвый бочекъ голову, дѣлаетъ поклонъ съ легкой подскочкой, причемъ животъ у него мгновенно подтянутъ въ себя, а грачовый хвостъ оттопыривается и колѣнки непремѣнно подрягиваютъ, выражая тѣмъ самымъ всю ловкость, стремительное усердіе и безконечное почтеніе пана Пшепендовскаго.

— Что вамъ угодно?—повторяетъ генералъ.

— Пшепендовськiй, ваше превосходительство.

— Что такое?

— Пшепендовськiй... ваше...

— Какъ?.. Какъ вы говорите?

— Пшепендовськiй... дворанинъ Пшепендовськiй, ваше превосходительство.

— Пшепендовскій?

— Такъ есть, ваше превосходительство! дворанинъ Пшепендовськiй.

Надо замѣтить, что при каждомъ отвѣтѣ грачовый хвостъ непремѣнно, болѣе или менѣе, топырится кверху, и одна ножка дѣлаетъ glissade en arrière, что придаетъ всему корпусу пана Пшепендовскаго положеніе собирающагося летѣть Меркурія.

— Да-да, понимаю,—киваетъ ему генералъ,—понимаю!.. Ну-съ, такъ что же собственно вамъ угодно?

— Ваше превосходительство!—съ солиднымъ достоинствомъ начинаетъ проситель, не измѣняя своего наклоннаго полуферта; — принявъ православье, а потому... честь имѣю... объ опредѣленьи! (поклонъ съ каблучками). Объ опредѣленьи, ваше превосходительство! (вторичный поклонъ съ отлетомъ грачоваго хвоста).

Генералъ разсматриваетъ пана Пшепендовскаго.

— Вы приняли православіе?

— Такъ есть ваше превосходительство! Имѣлъ честь возсоединиться и соприсовокупиться!

— Ну, поздравляю, душевно поздравляю! очень радъ! Такъ что же вы?

— Явился собственно долбжиць и заявиць о темъ вашему превосходительству... бо какъ зная вашу ласку и доброту... осмѣлилъ... себе. Имѣю честь объ опредѣленью...

— Вы хотите на службу?

— Мѣста желаю, ваше превосходительство, соотвѣтственнаго мѣста, для того какъ желаю увесь животъ свой подъ престолъ ойтечества, подложить, а потому...

— Вашъ чинъ?

— Пшепендовськiй, ваше превосходительство!.. У штабсь-офицерскому рангу... надворный совѣтникъ, ваше превосходительство. И моя жона, ваше превосходительство, уже честь имѣла являться до вашего превосходительства, и ваше превосходительство были такой ласковій, что обѣщали ей, а потому... честь имѣю...

— А, да-да помню, помню. Пшепендовскій—не чинъ, а фамилія... Помню!—домекнулся генералъ, припомня свои щекотливыя поджилки.—Вы были, кажись, исправникомъ?

— Капитанъ-справникомъ, ваше превосходительство... И по разумѣнью своему, сколько могъ... старался.

— Да, но тутъ вѣдь были нѣкоторыя обстоятельства... Я приказывалъ тогда навести справки...

— Обстояцельства, ваше превосходительство,—торопливо и заботливо перебилъ панъ Пшепендовскій,—обстояцельства—могу честью завѣриць—одъ одной только клеветы... бо я былъ наусегда какъ самый вѣрный собака, и меня за то самыи же поляки оклеветали. От-то то сама и естъ этая польская интрига! Она сама и есть, ваше превосходительство!.. Они мене даже до двохъ разовъ почти подъ шибеницу подводили и зъ тымъ... зъ кынжаломъ у брухо заколоть из мѣ-

Digitized by Google

рѣнье имѣли, але жъ не закололи, бо Богъ спасъ... одинъ только Богъ, вѣрно уже для того, чьто былъ я какъ вѣрный собака. А они мене одъ тыхъ одъ самыхъ поръ недоколотымъ свыньей называють... Такъ и называють, ваше превосходительство!.. «Пшепендовський—это, говорать, недоколотый свыня!»

Генералъ разсмѣялся.

— Панъ Пшепендовскій въ ту-жь минуту поспѣшилъ и этотъ смѣхъ обратить въ свою пользу.

— Такъ есть точно, ваше превосходительство!—подтвердилъ онъ съ глубокимъ поклономъ,—недоколотый свыня, и дѣти его недоколоты поросенки... Такъ и говораты! Пшепендовськего ребенки, то недоколоты поросенки! На ребенковъ, на малютковъ, ваше превосходительство!..

— Хорошо. Я постараюсь... я сдѣлаю. Имѣю честь кланяться!

— И генералъ направился-было далѣе.

— Но панъ Пшепендовскій, извиваясь и изгибаясь, мелкими скользящими шажками, почти на цыпочкахъ, засѣменилъ вслѣдъ за генераломъ.

— И такъ, ваше превосходительство, позволите имѣть у надею?

— Хорошо, хорошо... Я сказалъ уже.

— Позволите, ваше превосходительство, мнѣ самому аль бо и жонѣ моей понавѣдаться?..

— Можете, можете-съ!

— И какъ скоро прикажете, ваше превосходительство?

— На дняхъ, на дняхъ же...

— Слушаю-съ. Имѣю честь... покорнѣйще благодарить ваше превосходительство!

При этомъ грачовый хвостъ въ послѣдній разъ отлетѣлъ на-отмашь—и панъ Пшепендовскій съ сіяющимъ и гордымъ видомъ собственнаго достоинства, окинувъ взоромъ всѣхъ остальныхъ просителей и не замѣчая болѣе даже пана Груздецкаго, вышелъ изъ залы той слегка скользящей и покачивающейся походкой, которая очень напоминаетъ походку обласканнаго пёсика.

— Ну, и цо жь? можно повинншоваць? (поздравить)—пріятельски улыбаясь, обратился къ нему швейцаръ въ прихожей.

— Пальто!—авторитетно крикнулъ ему панъ Пшепендовскій, звѣрски и гордо надвинувъ на глаза свою шляпу.

Удивленный швейцаръ машинально подалъ ему верхнее платье.

— Дзенькуен',—небрежно кивнулъ ему панъ и съ важностью, весь радостный и сіяющій, вышелъ за двери.

Дальнѣйшее дѣло вела уже сама пани Пшепендовская. Въ такомъ же точно интересномъ видѣ, какъ и въ прошлый разъ, она черезъ нѣсколько дней поѣхала къ его превосходительству, и послѣ этого какими-то необъяснимыми судьбами успѣла-таки добиться того, что его превосходительство принялъ ее въ своемъ кабинетѣ, забывъ даже про щекотливыя поджилки.

— Ваше пресходзицельство, издѣлайте мнѣ это,—кокетливо и вкрадчиво сказала ему на прощаньи прилестная и даже на сей разъ обольстительная пани Фелиція.— Вы только издѣлайте и... и... и тогда (она томно и порывисто вздохнула) тогда вы увидите... я... О, да! вѣрте мнѣ!.. Я съумѣю хорошо, хорошо одблагодарить вамъ... Моя благодарность—увсѣмъ чымъ только можеть благодарить женщина, но... только издѣлайте мнѣ это, ваше пресходзицельство!..

ГЛАВА VI.

Самая короткая, но самая вѣская и назидательная.

Панъ Пшепендовскій получилъ мѣсто. Точка.

ГЛАВА VII.

Тоже не длинная, но и нелишенная назидательности.

Какое именно мѣсто получилъ панъ Пшепендовскій—это для читателя вопросъ совершенно равнодушный. Достаточно сказать, что мѣсто было не безъ теплоты, соотвѣтственное рангу, почти независимое и даже не лишенное нѣкоторой вліятельности. Генералъ не то, чтобы самъ отъ себя далъ ему мѣсто,— но онъ списался, снесся съ кѣмъ слѣдовало, попросилъ, порекомендовалъ, похлопоталъ—и панъ Пшепендовскій очутился на мѣстѣ. Но... къ немалому изумленію его превосходительства, прелестная пани Фелиція даже вовсе не поѣхала поблагодарить его—хоть бы только изъ приличія, хоть бы въ общей пріемной, хоть бы даже при посторонних лицахъ. Она, вмѣсто себя, послала съ тысячью благодарностей самого пана Пшепендовскаго. Панъ Пшепендовскій принялся за службу ретиво. Онъ былъ дѣлецъ не дурной, какъ и каждый полякъ на русской службѣ. На первое время онъ въ особенности постарался зарекомендовать себя насчетъ дѣловитости и служебнаго рвенія, потомъ насчетъ благонамѣренности своихъ убѣжденій. Даже въ церковь на первое время онъ ходилъ еженедѣльно: въ субботу ко вечерни и въ воскресенье къ обѣднѣ; а ужь о праздникахъ и торжественныхъ дняхъ нечего и говорить! Тутъ онъ являлся однимъ изъ первыхъ, въ мундирѣ, присвоенномъ должности, становился на такое мѣсто, гдѣ бы могли его видѣть разныя вліятельныя начальственныя лица, и молился, молился, молился... Такъ усердно и ревностно молился, что мѣстный владыко даже радовался обрѣтенію такой примѣрной овцы въ словесное стадо, здѣ имъ пасомое. Все это служило ему на пользу. Задача была въ томъ, чтобы

Digitized by Google

упрочить свою репутацію пріобрѣсти полное довѣріе и крѣпко усѣсться на своемъ мѣстѣ—столь крѣпко, чтобы не каждыми клещами можно было его оттуда вытащить.

И... съ теченіемъ нѣкотораго времени, панъ Пшепендовскій и репутацію упрочилъ, и довѣріе пріобрѣлъ, и на мѣстѣ хорошо укрѣпился.

А затѣмъ, тоже съ теченіемъ нѣкотораго времени, въ губернскомъ городѣ N. слышатъ люди добрые, что не вѣсть по чьимъ стараніямъ такой-то русскій чиновникъ вдругъ полетѣлъ съ мѣста; надъ такимъ-то слѣдствіе назначено; такой-то подъ судъ нежданно-негаданно угодилъ; того-то просто уволили безъ всякихъ поясненій и мировой посредникъ Ивановъ тоже полетѣлъ, и... и самъ его превосходительство наконецъ покачнулся. Дивятся люди добрые: откуда все сіе бысть?—А паны Пшепендовскіе мало-по-малу подымаютъ голову, дышатъ легче, отраднѣе, лѣзутъ въ гору и занимаютъ мѣста ad majorem Dei et patriae gloriam.

ГЛАВА VIII.

Панъ Пшепендовскій въ лонѣ православія и своего семейства.

Посмотрите вы на этого прекраснаго, примѣрнаго отца семейства! Сколько любви и благодушія! Сколько мирнаго счастья и довольства своимъ прекраснымъ положеніемъ—подъ сѣнью двуглавой птицы на службѣ и подъ сѣнью благоволящихъ пенатовъ у родного, семейнаго очага!

Панъ Пшепендовскій только что всталъ отъ вкуснаго и сытнаго обѣда, въ которомъ каждое блюдо, соотвѣтственно «краёвымъ» вкусамъ, было обильно приправлено подливой изъ топленаго масла.

Панъ Пшепендовскій сидитъ въ своемъ «габинэту», передъ пріятнымъ и веселымъ огонькомъ камина, погрузясь въ глубокое, покойное кресло. Въ зубахъ у него ковырялка, въ рукѣ длинный чубукъ съ дымящимся Васильемъ Жуковымъ, въ лицѣ дремотная, тихая улыбка безмятежнаго довольства.

Позади его рабочій письменный столъ; на столѣ служебныя дѣла и бумаги, портретъ супруги съ двумя потомками и просвирка съ вынутой частицей. Эту просвирку панъ Пшепендовскій неизмѣнно держитъ на своемъ столѣ, дабы будучи на виду у всѣхъ—она могла для каждаго посторонняго человѣка служить видимымъ доказательствомъ православія и благочестія пана Пшепендовскаго.

Для видимаго же доказательства благонамѣренныхъ и патріотическихъ чувствъ Пшепендовскаго, на стѣнѣ этого самаго кабинета, гдѣ прежде красовались изображенія разныхъ польскихъ патріотическихъ знаменитостей, въ родѣ Костюшки, Килинскаго, Понятовскаго, Хлопицкаго, Мицкевича и Лелевеля—нынѣ развѣшены у него портреты всѣхъ членовъ Императорской фамиліи, а по бокамъ ихъ портреты графа Муравьева и генералъ-адъютанта фонъ-Кауфмана 1-го. Какой-же дерзкій осмѣлится, послѣ столь явныхъ и краснорѣчивыхъ доказательствъ, хотя на минуту усомниться въ искренности благочестія, благонамѣренности, патріотизма и преданности пана Пшепендовскаго?!

Ради этихъ же цѣлей, въ переднемъ углу виситъ у него большой православный образъ св. Александра Невскаго и лампадка при немъ теплится; образа же прежнихъ католическихъ патроновъ пана Пшепендовскаго удалены теперь въ заднія, непоказныя комнаты, куда не можетъ проникнуть глазъ посторонняго человѣка и гдѣ межъ тѣмъ, главнѣйшимъ образомъ, свершается весь обычный, повседневный кругъ домашняго обихода и семейной жизни. Впрочемъ, это удаленіе въ заднія комнаты ни мало не лишило прежнихъ патроновъ прежняго почитанія и поклоненія со стороны пана Пшепендовскаго. Теперь онъ ничего больше, какъ только сталъ жить двойной жизнью — и отъ этого явилось какъ бы два пана Пшепендовскихъ. Одинъ панъ Пшепендовскій былъ на службѣ и въ показныхъ комнатахъ, другой панъ Пшепендовскій — среди невидимаго для постороннихъ глазъ домашняго обихода и въ комнатахъ заднихъ!

Въ данную минуту, хотя тутъ и кабинетъ, и просвирка, и портреты на лицо, но такъ какъ никого постороннаго нѣтъ, то мы и застаемъ здѣсь пана Пшепендовскаго второго, т. е. такого, какимъ онъ является въ лонѣ своего счастливаго семейства.

Мы застаемъ его въ одинъ изъ счастливыхъ моментовъ жизни. Онъ только вчера получилъ новую денежную награду за свою ревностную службу; ему не о чемъ больше на сей день заботиться—и потому, пока до полной дремоты, онъ намѣревается почитать газету «Новое Время», на которую состоитъ подписчикомъ, ибо почему жь ему и не подписаться, если издаетъ ее «закомиты чловѣкъ» и такъ сказать «родакъ кревны»... А для постороннихъ, при случаѣ, панъ Пшепендовскій объясняетъ свое чтеніе такимъ замысловатымъ аргументомъ: читаю-молъ затѣмъ, чтобы знать, съ чѣмъ не соглашаться и чего не дѣлать.

Пани Фелиція, конечно, не можетъ не знать, что мужъ только еще вчера получилъ денежную награду, а она сегодня въ одномъ магазинѣ выглядѣла себѣ прелестную шелковую матерію, изъ которой должно выйти безподобное, восхитительное платье. Поэтому пани Фелиція необыкновенно ласкова и привѣтлива со своимъ индюкомъ.

Она улыбаясь подходитъ къ индюку, садится сперва на ручку кресла, а потомъ пересаживается на колѣна и, обвивъ своею бѣлою, вкус-

Digitized by Google

ною рукою его шею, ласково треплетъ его по щекѣ нѣжною ладонью.

Панъ Пшепендовскій, какъ котъ, которому легонько щекочутъ подъ шейкой, масляно щуритъ глаза отъ наслажденія.

Панъ Пшепендовскій плаваетъ въ облакахъ счастія, потому тутъ у него и родные пенаты, и любимая жóна, и потомки у ногъ на коврѣ кувыркаются и ползаютъ... и все это такъ прекрасно, и пріятно ему, и онъ ни о чемъ дурного не думаетъ себѣ, и никому никакого зла не дѣлаетъ,—а тутъ маленькій Стасикъ разставилъ на полу оловянныхъ солдатиковъ, купленныхъ ему въ подарокъ изъ тѣхъ же наградныхъ денегъ, и выкрикивая: «Пу-у!.. пу-у!.. бацъ! пафъ!» стрѣляетъ палочкой изъ жестяного ружьеца въ этихъ самыхъ солдатиковъ. И такъ это весело маленькому Стасику, и солдатики валятся отъ выстрѣловъ его дѣтскаго ружьеца — и Стасикъ прыгаетъ съ такимъ искреннимъ, дѣтскимъ восторгомъ, бьетъ въ ладоши и восклицаетъ:

— Тату!.. а, тату!.. поглѣндай: южь пенть москалевъ забилемъ! Цалы пенть москалевъ сок'застрѣлёны!... а?

Панъ Пшепендовскій смотритъ на «забавки» Стася, и думаетъ о «забавкахъ» супруги, а супруга межъ тѣмъ такъ нѣжно гладитъ мягкой рукой его щеку и волосы, немножко трепля и взбивая прическу, и наконецъ цѣлуетъ въ лобъ.

Панъ Пшепендовскій благодарно смотритъ на супругу и думаетъ: «Іезусъ-Марія, какой я счастливый!»

Супруга цѣлуетъ его еще разъ—въ щеку.

Панъ Пшепендовскій смотритъ на нее уже масляно.

Супруга даритъ и еще одинъ поцѣлуй—уже прямо въ губы...

Панъ Пшепендовскій начинаетъ глядѣть на нее уже очень лакомо, отставляетъ въ сторону чубукъ, обнимаетъ ея талію и уже самъ тянетъ къ ней губы.

— А-ну, а-ну, ѐще разъ! ѐще разъ, муя кохана!—тихо говоритъ онъ ей.—А-ну-бо, ну, пòкажь мнѣ, какъ этое ты тогда тамъ... того... того... хе-хе-хе!.. того дурня... москаля цѣловала?!. а?.. Ну, признайся! цѣловала? а?

Пани Фелиція мигомъ оставляетъ его шею, вскакиваетъ съ колѣнъ—и подавшись на шагъ назадъ, весьма величественно устремляетъ на индюка удивленный и оскорбленный взоръ.

Панъ Пшепендовскій понялъ, что, черезчуръ уже увлекшись и нѣжностью, и воображеніемъ, далъ дурацкій промахъ, и торопится какъ-нибудь поправить дѣло.

— Хе, хе, хе!—искательно смѣется онъ.—Але жъ то шутки, шутки!.. Якъ Бога кохамъ, тильке шутки, муя коханна и венцей ницъ!

И за симъ прибавляетъ совершенно серьезно, съ достоинствомъ и даже не безъ величія.

— Прошен' пани завше вѣдаць, же то нигды не мыслямъ злѐго на жóну!

Пани мысленно вспоминаетъ прелестную матерію и потому съ улыбкой, въ знакъ примиренія и забвенія, слегка хлопнувъ пальцемъ по носу своего индюка, спокойно отходитъ въ сторону и садится на кресло.

— Тату! тату! еще пенть москалевъ забилемъ!—кричитъ маленькій Стасикъ, прыгая и хлопая въ ладоши.

— О?.. пенть москалевъ?.. А якій же люты до москалевъ! Ото-то люты!—въ тонъ ему покачивая головою, умиляется счастливый отецъ.—А ну, ходзь до мнѣ! Ходзь!.. ходзь-ту!.. Сядай тутей!.. на коника... Ну?.. гопс-ля! От-такъ!

И маленькій Стасикъ ловко вскакиваетъ верхомъ на родительское колѣно.

— Ну, повѣдзь мнѣ,—говоритъ ему панъ Пшепендовскій,—повѣдзь прендзей, чымъ мысляшь быць найлѣпшéй?

— Повстаньцемъ бендем'... До лясу мамъ уцѣкать!—бойко отвѣчаетъ Стасикъ.

— Ого!.. повстаньцемъ? и заразъ вже до лясу!.. От-то кревъ!.. А кто ты есть такій?

— Естемъ полякъ!—еще бойче кричитъ мальчонка.

— Э-э!.. тсс!.. съ шутливой строгостію останавливаетъ его панъ Пшепендовскій и прибавляетъ назидательнымъ хотя и шутливымъ тономъ: — нигды не мувь, же естешь полякъ. Теразь южь нима полякевъ—москале сглоцили! Теразь есть тильке едне «вѣроподданьство» и «православье»,—розумѣшь тее? — «Вѣрноподданьство и православье»!.. Естешь вѣрноподданьны москаль!

— Нѣ!.. Нѣ!.. не хцемъ у москале!.. не хцемъ! не хцемъ!—чуть не съ ревомъ, кобенясь, кричитъ маленькій Стасикъ.

— А на цо то нé хцешь?.. Ну, давай по русську вчиться!—менторски шутитъ панъ Пшепендовскій.—Ты есть фруктъ одъ чресла моего и для того ты есть поросенокъ. Розумѣешь? Нѣ, не розумѣешь?., Ну, давай пѣсню спѣваць! Спѣвай зъ татемъ! Учи сен'! Ну?!

Бо-о-же ца-ра храни...

— На цо то глупсьтву такему учиць малего!—съ неудовольствіемъ вмѣшалась пани Фелиція.—Стасю! Сердце мое! не слухай тату! то—бѣ! кака! Идзь лѣпѣй до мамы! мама другу пѣсенку заспѣва! Така ладна пѣснь!

Еще польска не згинэла,
Пуки мы жіемы.

— Тату! а, тату!—приставалъ межъ тѣмъ маленькій Стасикъ. — Цо-то есть таке: «Боже ца-ара»?..

— А!.. «Боже царя храни»?—вразумительно сталъ объяснять ему панъ Пшепендовскій.—«Боже царя храни»—то есть московська «Боже цось польска». Розумѣшь то разъ.

Digitized by Google

Гозумѣмъ, тату!

— А по русськy не хочешь учиться?

— Не хцемъ!

— От-то заядлы!.. от-то кревъ! Ну, сядай на коника! Сядай. Гопс-ля! Ну, теразъ естешь польски уланъ! Повстанець!.. Гопъ, гопъ, гопъ, гопъ, гопъ, гопъ!..

И слегка придерживая Стася руками, панъ Пшепендовскій, въ темпъ рыси, сталъ качать его верхомъ на колѣнѣ, приговаривая въ тактъ рсчитативомъ:

Ѣдзе, ѣдзе панъ, панъ,
На конику самъ, самъ,
А за панемъ жидъ, жидъ,
А за жидемъ попъ, попъ,
А за попемъ хлопъ, хлопъ—
По кожушку лопъ! лопъ!
А по Стасю шлепъ! шлепъ!
Шлепъ! шлепъ! шлепъ! шлепъ!

И панъ Пшепендовскій надѣлялъ своего потомка нѣжными и легкими родительскими подшлепниками.

— Ну, от-такъ ладне?—обратился онъ къ нему въ заключеніе.—Ладне?! — Ну, идзь до мамы!.. Идзь!.. Гуляй!.. Гуляй, вiѣрноподданьны поросенокъ!

Подъ каштанами Саксонскаго сада.

(ИЗЪ ВАРШАВСКИХЪ ВОСПОМИНАНІЙ).

— Послушайте, Крестовскій, такъ вы рѣшительно не вѣрите?

— Рѣшительно не вѣрю,

— Но, другъ Горацію, вспомните старую истину, что есть многое въ природѣ...

— Что и не снилось нашимъ мудрецамъ.— Очень хорошо помню и знаю. Но такъ какъ я не мудрецъ, во-первыхъ, а во-вторыхъ, такъ какъ мнѣ вообще очень многое снится, то я и тѣмъ паче могу не вѣрить.

— Такъ что-жь это по вашему?

— Галлюцинація, обманъ зрѣнія, обманъ чувствъ, ощущеній...

— Ну, такъ, такъ, такъ! всеконечно такъ!.. Скажетъ человѣкъ себѣ хорошее слово въ родѣ какого-нибудь «рефлекса» или «галлюцинаціи»—и успокоится, и доволенъ собою, какъ будто и въ самомъ дѣлѣ однимъ этимъ словомъ онъ все объяснилъ, все порѣшилъ, все покончилъ! Да скажите же вы мнѣ на милость: отчего, напримѣръ, эта самая ваша «галлюцинація» нигдѣ и никогда больше не повторялась со мною, какъ «галлюцинація»,—и отчего, напротивъ, *ощущенія* ея повторялось впослѣдствіи на яву, повторилось до поразительной тождественности съ тѣмъ самымъ ощущеніемъ, которое нѣкогда дала эта... ваша... «галлюцинація», какъ вы ее называете? Отчего-съ это?.. Что-же, въ самомъ дѣлѣ, Юмъ, что-ли, напустилъ ее на меня?

— Не Юмъ, а извѣстное настроеніе, извѣстное состояніе нервовъ...

— Знаю, знаю! за симъ по порядку должны идти «рефлексы» и прочее!.. Скажите, пожалуйста, вы какъ понимаете Юма?

— Юма?.. Я его никакъ не понимаю.

— Ну, нѣтъ, однако! Что это... какъ онъ, по вашему?

— Полагаю, что ловкій престидижитаторъ— не болѣе.

— Въ родѣ братьевъ Девенпортовъ? да?.. Нѣтъ, батюшка мой! Въ томъ-то и сила, что это не фокусникъ, не шарлатанъ, а человѣкъ больной недугомъ той невѣдомой высшей силы, присутствіе которой въ немъ самомъ тяготитъ его. Что это за сила?—онъ и самъ того не знаетъ, но онъ боленъ ею. Замѣтьте еще вотъ какое обстоятельство: Юмъ никогда не дѣлалъ изъ своей силы предмета спекуляціи, онъ не давалъ за деньги публичныхъ представленій, не раскидывалъ афишъ, никогда не эксплуатировалъ своей способности въ пользу кармана. Мало того, на сколько я его знаю, онъ даже не любитъ говорить объ этой силѣ, онъ избѣгаетъ разговоровъ о томъ, что̀ самому ему такъ тяжело, такъ непріятно. Онъ вообще очень скроменъ. Шарлатаны поступаютъ не такъ! Шарлатаны кричатъ, трубятъ о себѣ всевозможными способами, драпируются въ мантію таинственности и набиваютъ карманы рублями, мороча почтеннѣйшую публику. Братья Девенпорты, когда вамъ угодно, въ любую данную минуту, изобразятъ передъ вами свое спиритическое представленіе; съ Юмомъ же не такъ: зачастую у него проходитъ нѣсколько недѣль, нѣсколько мѣсяцевъ, когда эта сила оставляетъ

Digitized by Google

его, и онъ тогда становится такимъ же обыкновеннымъ человѣкомъ, какъ вы, какъ я, какъ всѣ мы, грѣшные. Въ это время — засыпьте вы его всѣми сокровищами Голконды и Калифорніи—онъ ничего не покажетъ вамъ, по той простой причинѣ, что это внѣ его человѣческой возможности, что это совсѣмъ отъ него не зависитъ. Онъ за нѣкоторое время, за нѣсколько часовъ, вдругъ, что̀ называется, ни съ того, ни съ сего, начинаетъ чувствовать приближеніе своего пароксизма. Онъ явно становится разстроенъ, нервенъ, унылъ и просто боленъ передъ этимъ приближеніемъ—боленъ и послѣ пароксизма. Я видѣлъ его въ эти минуты и могу вамъ свидѣтельствовать, что это непритворно: такъ притворяться нельзя. Холоднаго пота на лбу и ста двадцати біеній пульса въ минуту—не сдѣлаешь себѣ никакимъ притворствомъ. Онъ видимо страдаетъ въ эти минуты. Онъ мученикъ своей собственной невѣдомой силы, игрушка ея прихотливыхъ наитій, ея капризъ, ея жертва, ея иронія и насмѣшка надъ человѣческимъ разумомъ, коли вы хотите! Вотъ что такое въ сущности этотъ Юмъ.

— Вы его знаете?

— Знавалъ въ Парижѣ.

— И видѣли его подъ наитіемъ этой «силы»?

— Видѣлъ разъ. Но пожалуйста не дѣлайте такихъ ироническихъ удареній надъ словомъ «сила»!

— Слушаю-съ. Что же такое вы видѣли?

— Мало того, что видѣлъ! Говорю вамъ: я—я самъ ощущалъ на себѣ дѣйствіе его воли и силы!

— Это любопытно.

— Вы думаете? Но я вамъ скажу нѣчто еще курьезнѣе: въ ощущеніи этой «галлюцинаціи» былъ своего рода таинственный, пророческій смыслъ. Вы улыбаетесь? — погодите немножко! Успѣете потомъ!.. Если-бъ вы знали, что это была за галлюцинація и какое значеніе имѣла она для меня потомъ, черезъ нѣсколько лѣтъ! Вотъ бы вамъ тема для разсказа-то, для повѣсти! Чего вы опять такъ улыбаетесь?

— А вы хотите, чтобы я откровенно признался вамъ?

— Желалъ-бы, другъ Горація! желалъ бы!

— Извольте, принцъ. Я невольно, хоть можетъ быть и не совсѣмъ-то скромно, улыбнулся своей собственной мысли... Мы съ вами настолько хорошіе пріятели, что вамъ можно сказать ее. Видите-ли... Еслибъ вы знали, сколь часто и сколь многія изъ прелестныхъ дамъ и даже очень юныхъ барышень говорили мнѣ: «ахъ, monsieur Крестовскій, еслибъ вы знали мою жизнь, еслибъ вамъ разсказать ее —вотъ бы вамъ богатая тема для романа! вы бы непремѣнно описали ее!»—Эти прелестныя дамы очень искренно думаютъ себѣ, что нашему брату больше и дѣлать нечего, какъ только заниматься описаніемъ ихъ жизни. Иныя изъ нихъ и покушались описывать свои «чувствія», но, увы!—долженъ признаться вамъ—никогда никакой изъ этого темы не выходило!

— Гм!.. Понимаю!—Но меня утѣшаетъ то, что я не прелестная дама, а капитанъ генеральнаго штаба. Поэтому изъ моей темы, быть можетъ, нѣчто и выйдетъ. Только предупреждаю: если когда-нибудь вы вздумаете «воздѣлать» ее, то вашъ разсказъ или вашу повѣсть посвятите духу царицы Семирамиды.

— Вавилонской?

— Ей самой.

— Это, въ нѣкоторомъ родѣ, conditio sine qua non?

— Всенепремѣннѣйше! Даете слово?

— Да я еще не знаю въ чемъ дѣло.

— А дѣло вы сейчасъ узнаете. Тсс!.. Постойте... Вотъ она!

* * *

Это было весной, въ Варшавѣ. Я встрѣтился съ моимъ хорошимъ пріятелемъ капитаномъ Черкутскимъ на главной аллеѣ Саксонскаго сада. Мы пошли рядомъ, повернули гуляючи на одну изъ тѣнистыхъ боковыхъ дорожекъ и усѣлись на чугунной скамейкѣ. Майское солнце было горячо и ярко заливало своими лучами: алмазные брызги фонтана, широкую площадку съ группами нянекъ и ребятъ, густую, мягкую зелень каштановъ, разслабленнаго старичка, котораго ежедневно привозили сюда въ креслахъ грѣться на солнышкѣ и дышать ароматомъ свѣжаго майскаго сада, — варшавскихъ «элегантовъ» съ неизмѣнными люшпками, въ неизмѣнныхъ «камашахъ и ружовыхъ ренкавичкахъ», и группы гуляющихъ мужчинъ и женщинъ, въ легкихъ, изящныхъ нарядахъ, которые прилетѣли сюда вмѣстѣ съ модными парижскими картинками послѣдняго весенняго сезона.

Каштаны были въ полномъ цвѣту, бѣлая акація благоухала. Сквозь просвѣты мягко нѣжащей глазъ кудрявой зелени, не успѣвшей еще потемнѣть и запылиться по-лѣтнему, виднѣлись тамъ и сямъ бѣлыя неподвижныя статуи и движущіяся фигуры гуляющихъ варшавянокъ, которыя издали казались тоже бѣлыми въ своихъ свѣтлыхъ, легкихъ нарядахъ, подъ игрою свѣта и тѣни благодатнаго полдня.

Мы съ Черкутскимъ сидѣли въ густой тѣни, которая мелкой, золотисто-рябящей сѣткой ложилась на песокъ дорожки.

Я невольно изумился, когда капитанъ вдругъ, дотронувшись слегка до моего колѣна, такъ неожиданно и такъ многозначительно проговорилъ мнѣ это: «тсс!.. Постойте... Вотъ она!»

— Кто *она*?.. гдѣ?.. которая? — спросилъ я въ недоумѣніи.

— *Она*!.. глядите налѣво... Смотрите—смотрите... замѣтьте ее хорошенько!

Digitized by Google

По дорожкѣ шла женщина, все болѣе приближаясь къ намъ. Она должна была пройти мимо насъ въ какомъ-нибудь шагѣ разстоянія. Какъ и въ чемъ она была одѣта—я не замѣтилъ, потому что вниманіе мое всецѣло обратилось на нее *всю*, на ея общее, и потомъ на ея лицо. Помню только, что впечатлѣніе ея внѣшности, ея костюма было строго-изящное, аристократическое, что̀ очень рѣдко встрѣчается въ полькахъ. Онѣ обворожительны, но... жанромъ своимъ болѣе походятъ на кокотокъ. Эта же, которая къ намъ приближалась, была царица... строго хороша какъ статуя, изящна какъ женщина, проста какъ само изящество. Тутъ слегка сквозила и южная нѣга вакханки, и холодная сдержанность строгой Діаны; тутъ было отсутствіе всякихъ претензій, какъ въ ребенкѣ, и женственность Офеліи, и царственная простота королевы. Казалось, никогда и ни при какихъ обстоятельствахъ ей не къ чему бы было рисоваться собой, выдвигать себя. Затертая между сотнями женщинъ, она все-таки невольно выдвинулась бы одной только силой своей сущности. Это была и мадонна, и мефистофель—вмѣстѣ, въ одномъ существѣ, въ одной женщинѣ, въ одномъ полномъ и гармоническомъ сліяніи. Ея каштаново-золотистые волосы были особенно замѣчательны: при яркомъ солнцѣ она казалась блондинкой, въ тѣни-же это была совсѣмъ брюнетка. Брюнеткой должна бы была казаться она и въ залѣ, при вечернемъ освѣщеніи. Въ ней нѣсколько проглядывалъ южный, какъ будто итальянскій типъ—и все вмѣстѣ было такъ хорошо, такъ изящно, что я невольно заглядѣлся на нее.

Она проближалась. Выразительно-очерченные глаза ея спокойно и холодно смотрѣли мимо насъ впередъ, вдаль по дорожкѣ.

Черкутскій почтительно и—какъ показалось мнѣ—отчасти смущенно привсталъ и поклонился ей.

Отвѣтомъ на это былъ мимолетный, равнодушный, легкій кивокъ совсѣмъ аристократическаго свойства.

— Вы ее знаете?—спросилъ я, когда она была уже въ нѣсколькихъ шагахъ впереди насъ.

— Знаю. А что?.. Хороша?

— Излишне и спрашивать. Кто она?

— Она?.. Моя героиня.

* * *

Было очень жарко. Мы лѣнивo пробрались на террасу садовой цукерни и снова усѣлись подъ холщевой маркизой. Тутъ было и прохладно, и очень удобно; наше уютное мѣстечко, около маленькаго столика, со всѣхъ почти сторонъ обильно заслонялось олеандрами, гортензіями, померанцевыми и миртовыми деревьями. Мы спросили себѣ по «шклянкѣ» холодной содовой воды съ сиропомъ и закурили сигары.

— Объясните, пожалуйста, что это значитъ: «моя героиня»?—отчасти подозрительно спросилъ я.

— Каждый романъ имѣетъ свою героиню. Это вамъ, господа беллетристы, лучше всего должно быть извѣстно.

— А у васъ это котораго романа героиня?

— Того самаго, о которомъ я вамъ сейчасъ только говорилъ и дарилъ тему для повѣсти.

— Но... позвольте!—перебилъ я.—Вы мнѣ говорили о Юмѣ и о своей какой-то галлюцинаціи. Развѣ эта женщина и Юмъ съ царицей Семирамидой имѣютъ у васъ какое-либо соотношеніе?

— Вотъ въ томъ-то и сила, что имѣютъ.

— А! это, дѣйствительно, становится нѣсколько любопытно. Не знаю, каковъ будетъ вашъ романъ, но героиня, во всякомъ случаѣ, сама по себѣ достойна быть героиней.

— Такъ что-же? Разсказывать? Я, кстати, нѣсколько въ ударѣ.

— Непремѣнно разсказывайте. Я уже и теперь весь превратился въ слухъ и вниманіе настолько, что даже сигара моя потухла.

— Закурите ее снова и слушайте. Только—чуръ!—помните условіе насчетъ посвященія.

* * *

Я далъ слово, и теперь въ точности выполняю свое обѣщаніе.

ГРЕЗА.

(Посвящено царицѣ Семирамидѣ).

Это было въ Парижѣ, въ 1858 году. Я задавалъ себѣ обыденную дозу моціона въ Елисейскихъ поляхъ, въ тотъ часъ, когда паркъ кишитъ народомъ. Это—какъ вы знаете—самая пестрая выставка всего элегантнаго Парижа и его прожорливаго, вовсе неэлегантнаго деми-монда.

Когда мнѣ ровно нечего дѣлать, я очень люблю глазѣть на пеструю, беззаботно-суетливую толпу: это обыкновенно приводитъ меня въ хорошее настроеніе духа. Такъ было и въ тотъ разъ. Я гулялъ и глазѣлъ, и вдругъ встрѣтился съ нашимъ княземъ Г***. Самъ по себѣ князь былъ милѣйшій человѣкъ, который съ большимъ достоинствомъ поддерживалъ въ Парижѣ убѣжденіе въ баснословномъ умѣніи нашихъ boyars russes жить и неистощимо сорить деньгами заграницей. Онъ шелъ подъ руку съ какимъ-то худощавымъ блондиномъ средняго роста, въ усахъ, съ физіономіей, которая поразила меня своей болѣзненной нервностью. Это былъ Юмъ. Князь познакомилъ насъ. Раза два мы втроемъ прошлись взадъ и впередъ по аллеѣ.

— Какъ вы на сегодня располагаете собой?—спросилъ меня князь.

— И самъ еще не знаю!—пожалъ я плечами.

Digitized by Google

— Если такъ, то приходите обѣдать.

Я обѣщалъ—и въ шесть часовъ былъ уже въ великолѣпномъ отелѣ князя. Насъ было всего пять человѣкъ, считая въ томъ числѣ хозяина и Юма: одинъ молодой русскій натуралистъ, одинъ извѣстный французскій художникъ и я. Юмъ былъ молчаливъ и—какъ замѣтилъ я—ѣлъ очень мало. Ко всѣмъ разговорамъ относился онъ большей частью совсѣмъ безучастно, какъ-будто его мысль занята была совершенно другимъ въ это время. Печать гнетущей болѣзненности не сходила съ его лица, которое мгновеньями отсвѣчивало иногда подавляемымъ внутреннимъ страданіемъ. Это чувство особенно сказывалось въ его меланхолическихъ, голубовато-сѣрыхъ глазахъ. Послѣ обѣда князь подошелъ къ нему и спросилъ тихо.

— Вы, кажется, нѣсколько дурно себя чувствовали?

Лицо Юма, какъ показалось мнѣ, передернуло легкимъ нервнымъ движеніемъ.

— Нѣтъ, не то,—отвѣчалъ онъ,—но со мною опять... опять начинается *это*. Я это чувствовалъ еще давеча утромъ.

— Васъ это тяготитъ, сколько замѣтно?

— Да, немного. Впрочемъ, я уже давно привыкъ. Это пройдетъ.

— Но какъ долго продолжается такое состояніе?

— Смотря какъ. Иногда очень долго, иногда нѣтъ. Чѣмъ скорѣй облегчишь себя проявленіемъ этой силы, тѣмъ легче проходитъ.

— Но вѣдь эти проявленія не обходятся вамъ безъ страданій.

— Отчасти. Но оно во всякомъ случаѣ сопровождается страданьемъ — и тѣмъ больше, чѣмъ долѣе сдерживаешь въ себѣ эту силу, чѣмъ долѣе не даешь ей выхода.

— Такъ что-жь, доставьте себѣ это облегченіе.

Въ лицѣ Юма появилась на одно мгновенье тѣнь раздумчиваго колебанія.

— Пожалуй,—согласился онъ,—если только это не будетъ вамъ и гостямъ вашимъ непріятно.

О непріятности нечего было и говорить. Присутствовать при спиритическомъ сеансѣ Юма, о которомъ въ тѣ годы столько говорили,—кто-бъ отказался отъ такого рѣдкаго и счастливаго случая?

Мы перешли въ кабинетъ хозяина. Мраморный каминъ пылалъ тамъ яркимъ пламенемъ, отражавшимся въ такихъ фантастическихъ блесткахъ на стали рѣдкаго и богатаго оружія, которымъ увѣшаны были стѣны. Въ этихъ рыцарскихъ кольчугахъ, панцыряхъ и шлемахъ, глядѣвшихъ на насъ изъ овалов темно-пунцовыхъ щитовъ, казалось, были закованы ихъ древніе обладатели, окруженные, словно лучами, своими алебардами, копьями, самострѣлами и мечами. Лампы были потушены, за исключеніемъ одной, помѣщавшейся на массивномъ дубовомъ столѣ во вкусѣ Moyen-âges, который стоялъ посрединѣ комнаты, покрытый тяжелой ковровой скатертью, съ наваленными на него книгами, кипсеками, альбомами. Изъ нишъ, какъ-бы съ какимъ-то таинственнымъ любопытствомъ, выглядывали двѣ обнаженныя мраморныя женщины, рѣзца Розетти.

Юмъ сѣлъ отдѣльно, поодаль отъ прочихъ, въ высокое готическое кресло, передъ каминомъ, лицомъ къ огню, такъ что этого лица никому не было видно. Я очень удобно помѣстился на широкой мягкой оттоманкѣ, столь располагающей къ грезамъ и послѣ-обѣденной нѣгѣ. Остальные тоже размѣстились, какъ кому было удобнѣе.

Наступала мертвая тишина.

Всѣ сидѣли почти неподвижно, только на лицѣ у каждаго мелькала невольная, ажитированная улыбка таинственнаго ожиданія чего-то особеннаго, сверхъ-естественнаго.

Прошло минуты три въ напряженномъ состояніи этого рода. Тишина ничѣмъ не прерывалась—каждый изъ насъ даже дыханье невольно сдерживалъ.

Вдругъ на дубовомъ столѣ послышался шорохъ.

Мы не безъ любопытства и съ явнымъ недоумѣніемъ переглянулись другъ съ другомъ. Ближе всѣхъ къ столу сидѣлъ ученый натуралистъ, но отъ него до борта этого стола оставалось, по крайней мѣрѣ, сажень разстоянія. Очевидно, никто изъ насъ никоимъ образомъ не могъ дотронуться до стола, чтобы незамѣтно, ради пріятельской мистификаціи, произвести этотъ легкій, но очень странный шорохъ, похожій на шелестъ газетной бумаги.

Я взглянулъ на Юма. Онъ сидѣлъ, глубоко погрузясь въ свое кресло, какъ-бы въ изнеможеніи опустивъ голову и прикрывъ глаза ладонью облокоченной руки. Ни малѣйшаго внѣшняго проявленія не выказалъ онъ при этомъ шорохѣ.

— Можетъ быть подъ столъ завалилась какъ-нибудь газета?—скептически, полушопотомъ проговорилъ естествоиспытатель;—да не заползла ли туда ваша собака, князь?

— Встаньте, господа, кто нибудь и поглядите, пожалуйста,—тихо сказалъ Юмъ, не измѣняя своего положенія.

Натуралистъ всталъ съ мѣста, приподнялъ скатерть и внимательно поглядѣлъ подъ столъ.

— Ничего нѣтъ... пусто!—проговорилъ онъ, недоумѣло пожавъ плечами.

Въ эту самую минуту одинъ изъ настольныхъ кипсековъ раскрылся самъ собой.

Натуралистъ невольно вздрогнулъ и еще невольнѣе попятился.

— Однако, что-жь это!—пробормоталъ онъ, опускаясь въ свое кресло.

Digitized by Google

Никто не отвѣчалъ ему. За исключеніемъ самого Юма, всѣ смотрѣли теперь на столъ съ величайшимъ вниманіемъ.

Вдругъ листы этого кипсека сами собой стали медленно переворачиваться, одинъ за другимъ, какъ-будто чья-то невидимая рука постепенно перебирала ихъ, какъ-будто кто-то разсматривалъ тамъ рисунки.

Признаюсь откровенно: въ этотъ мигъ я почувствовалъ, какъ мое сердце стало вдругъ медленно и неровно колотиться въ груди полными, усиленными біеніями. Я испытывалъ неосязаемое присутствіе чего-то сверхъ-естественнаго, чего-то такого, что̀ было выше моихъ силъ, выше моего пониманія. Но я видѣлъ ясно, что̀ происходитъ на столѣ. Мои глаза не могли меня обманывать—я это чувствовалъ — или же глаза всѣхъ остальныхъ были равно подвергнуты одной и той же галлюцинаціи.

Вдругъ, прямо надъ моей головой, я услыхалъ сухое щелканье взводимыхъ курковъ. При этомъ, конечно, невольное движеніе и взглядъ вверхъ на стѣну: между восточными шашками, кинжалами и ятаганами на дорогомъ персидскомъ коврѣ висѣло нѣсколько турецкихъ пистолетовъ въ артистической, богатой оправѣ. Когда я глядѣлъ на нихъ, курки продолжали щелкать. Я замѣтилъ, что всѣ они стоятъ уже на второмъ взводѣ.

— Одинъ изъ пистолетовъ заряженъ!—спѣшно предупредилъ князь. — Давеча утромъ я стрѣлялъ въ цѣль и не успѣлъ разрядить его.

«А ну, какъ его вдругъ дернетъ нелегкая спустить курокъ?» подумалось мнѣ — и не скажу, чтобы съ особенно пріятнымъ ощущеніемъ.

— Онъ не выстрѣлитъ; онъ сейчасъ тихо спуститъ курокъ!—слабымъ грудным голосомъ успокоилъ Юмъ.—И точно. Я видѣлъ своими глазами, какъ тихо подалась назадъ стальная пуговка, замѣняющая въ азіатскомъ оружіи нашу собачку, и какъ осторожно опустился кремневый курокъ.

На душѣ у меня чуточку отлегло; однако, изъ понятнаго чувства предосторожности и самохраненія, я отодвинулся со своего мѣста нѣсколько впередъ, въ сторону, и уже не прислонялся къ самой стѣнѣ, а предпочелъ облокотиться съ краю на боковой валикъ, такъ что между стѣной и моей спиной осталось около двухъ четвертей разстоянія. Это хотя и было нѣсколько менѣе удобно относительно сибаритскаго комфорта, но зато гораздо спокойнѣе въ разсужденіи взводимыхъ курковъ.

Молодой ученый, который, въ качествѣ естествоиспытателя, конечно, считалъ себя матеріалистомъ и мыслящимъ реалистомъ,— поглядѣлъ на меня съ легкимъ оттѣнкомъ насмѣшливой иронiи, едва замѣтно скользнувшей по губамъ его, что, безъ всякаго сомнѣнія, я долженъ былъ отнести на счетъ моей храбрости, которая только-что заявила себя съ несовсѣмъ-то блистательной стойкой стороны. Вѣроятно, по его мнѣнію, я, въ качествѣ военнаго, да еще кавалериста, долженъ былъ безпрепятственно подставить свое темя подъ таинственный выстрѣлъ.

«Ладно, батюшка, пронизируй!» подумалъ я себѣ въ утѣшеніе. «Посмотримъ, какъ-то ты у насъ улыбнешься, какъ если вдругъ съ тобой случится нѣчто не совсѣмъ-то пріятное для твоего мужества!»

Но это размышленіе мое нечаянно было прервано новымъ проявленіемъ чьего-то невѣдомаго присутствія. Представьте себѣ наше всеобщее изумленіе, когда книги, кипсеки, газеты и альбомы вдругъ стали слетать со стола во всѣ стороны, когда они полетѣли внизъ и запрыгали по полу словно бы въ конвульсіяхъ какой-то дикой книжной пляски! Это было и чудно̀, и уморительно, такъ что мы не могли удержаться отъ смѣха. А въ это же самое время на столѣ подъ ковровой скатертью запрыгали десятки чьихъ-то невидимыхъ рукъ. Онѣ приподнимали и волновали скатерть, на которой ясно можно было видѣть очертаніе кончиковъ пальцевъ и цѣлыхъ рукъ, обращенныхъ кверху ладонями. Пляска святого Витта продолжалась съ минуту подъ скатертью и на полу, потомъ руки исчезли одна за другой; книги также успокоились и совершенно неподвижно улеглись на коврѣ, какъ попало.

Въ это время на письменномъ столѣ самъ собой пошелъ бронзовый колокольчикъ по направленію къ борту и упалъ на полъ; но падая, онъ зазвонилъ порывисто и быстро самымъ сильнымъ, пронзительнымъ звукомъ.

Непосредственнымъ и естественнымъ слѣдствіемъ этого звона было появленіе лакея, который остановился въ дверяхъ, съ почтительнымъ выраженіемъ вопроса на лицѣ, въ ожиданіи какого-либо приказанія.

Мы опять переглянулись между собой: стало быть это не *кажется*, стало быть это опять-таки не галлюцинаціи зрѣнія и слуха, если посторонній, не заинтересованный ближайшимъ образомъ человѣкъ услыхалъ звонокъ и явился какъ бы по обычному требованію.

— Подбери эти альбомы и положи ихъ на столъ,—приказалъ ему хозяинъ.

Лакей исполнилъ все, что̀ было нужно, но подымая послѣднюю книгу, вдругъ отдернулъ руку и преуморительно припрыгнулъ на мѣстѣ.

— Что съ тобой?—спросилъ князь.

— Ничего, ваше сіятельство... такъ... не то кольнуло, не то щипнуло что-то въ руку и въ ногу.

— Ну, хорошо. Ступай себѣ.

Человѣкъ поднялъ съ полу книгу на сей разъ уже безпрепятственно и удалился, затворивъ за собой дверь.

Digitized by Google

Послѣ этого на минуту опять воцарилась мертвая тишина и полное спокойствіе.

Вдругъ—глядимъ—нашъ молодой естествоиспытатель начинаетъ блѣднѣть, все болѣе и болѣе; глаза его неподвижно, съ выраженіемъ ужаса, вперяются прямо передъ собой; наконецъ все лицо его покрывается глубокой, смертельной блѣдностью: на немъ явно написанъ мучительный страхъ и даже боль какая-то,— и весь онъ словно бы оцѣпенѣлъ отъ ужаса.

— Бога ради... Бога ради, нельзя ли это кончить!—глухо-молящимъ и почти задыхающимся голосомъ пролепеталъ онъ, видимо ослабѣвая и чуть удерживаясь отъ обморока.

— Что съ вами?—съ участіемъ кинулся къ нему хозяинъ.

— Я чувствую, что мою руку схватила чья-то другая холодная, тяжелая, мертвая рука... Да, это мертвая рука сжимаетъ точно желѣзными тисками....

— Теперь вы ничего больше не чувствуете?— спросилъ Юмъ, не оборачиваясь и ни мало не измѣняя своего положенія.

— Теперь ничего... Отпустила,—съ облегченнымъ вздохомъ проговорилъ ученый и, какъ бы приходя въ себя, провелъ по лбу ладонью.— Фу, Боже мой, какое непріятное, какое тяжкое и страшное ощущеніе!—сказалъ онъ.—Никогда не пожелалъ бы ни другимъ, ни себѣ испытать вторично такое дружеское пожатіе.

«Ага! что, братъ, мыслящій реалистъ?» подумалъ я себѣ. «Гдѣ же твое матеріалистическое мужество?»—и молодой ученый, какъ показалось мнѣ, очень хорошо понялъ теперь, въ свою очередь, прямое значеніе моего взгляда, и потому послалъ мнѣ легкую улыбку дружескаго, примирительнаго значенія.

— Не хочетъ ли кто, господа, испытать еще какое нибудь ощущеніе?—предложилъ Юмъ, изъ подъ своей облокоченной руки.

— Пожалуй, я хочу! только нельзя ли что-нибудь хорошее, пріятное?—отозвался я.

— Отчего же нѣтъ! Что вы хотите? Что именно?

Я въ затрудненіи пожалъ плечами.—«Чего бы, и въ самомъ дѣлѣ, пожелать мнѣ?»

— Ну, что же можетъ быть пріятнѣе поцѣлуя?—съ чисто французскою живостью отозвался художникъ.—Берите поцѣлуй, monsieur Tchercoutsky! et rien plus!

— Поцѣлуй? — пожалуй! съ величайшимъ удовольствіемъ!—лишь бы только это не былъ ледяной поцѣлуй мертвеца или какой-нибудь старой мегеры.

Я замѣтилъ, какъ Юмъ тихо улыбнулся изъ-подъ руки своей.

Но прежде, чѣмъ на мою долю выпало какое-либо ощущеніе, я видѣлъ, какъ художникъ вдругъ нервно задрыгалъ, задергался и захохоталъ на своемъ креслѣ,—въ томъ родѣ, какъ хохочутъ маленькія дѣти, когда нянька, разставя два пальца и пошевеливая ими, постепенно приближаетъ руку свою къ грудкѣ или къ животику ребенка, приговаривая въ ладъ: «идетъ коза рогатая, идетъ коза бодатая, на маленькихъ ребятушекъ — быръ-быръ - быръ-быръ!»

Французъ корежился, подпрыгивалъ и заливался неудержимымъ хохотомъ.

— Что съ вами? Чего вы?—обращались къ нему всѣ съ невольнымъ смѣхомъ, при видѣ его комическихъ кривляній.

— О, Боже мой... ой, ой, ой, ой!—черезъ силу лепеталъ онъ, захлебываясь отъ смѣху.— Нѣтъ, нѣтъ, будетъ .. оставьте!.. довольно... довольно же, прошу васъ!

— Да что такое съ вами?

— Меня по всему тѣлу щекочатъ болѣе десятка рукъ.

— Мужскихъ или женскихъ?—улыбнулся князь.

— Женскихъ! женскихъ! кажется, женскихъ!.. Ой, ой, ой, Боже мой!.. Оставьте же, умоляю! Ха, ха, ха! ха, ха, ха!

— Если женскихъ, то это должно быть вамъ пріятно,—замѣтилъ ученый.

— Да, это пріятно въ принципѣ,—заявилъ французъ, освободившись наконецъ отъ своей щекотки,—но на дѣлѣ, послѣ обѣда — благодарю покорно!

— Что-жь, добрый смѣхъ помогаетъ пищеваренію.

— Благодарю покорно!..благодарю покорно!— отфыркивался художникъ.

— Это васъ уже не наши ли русскія русалки щекотали?—обратился къ нему князь.

— А, можетъ быть, можетъ быть!—любезно и охотно согласился французъ.—Но какія же онѣ у васъ глупыя, эти ваши русскія русалки! Вѣдь такъ можно защекотать до смерти!

— Въ этомъ-то и состоитъ ихъ спеціальность.

— Совершенно неосновательная спеціальность. Совершенно неосновательная!

Французъ наконецъ успокоился, и опять водворилась тишина невозмутимая.

Вдругъ въ открытомъ кабинетномъ роялино тихо-тихо зазвенѣла струна—потомъ еще одинъ подобный же звукъ. Это не былъ тотъ обыкновенный звукъ, который издается отъ прикосновенія къ клавишамъ, но какъ будто кто-то дотронулся до самой струны. Онъ скорѣе походилъ на легкій музыкальный стонъ эоловой арфы.

Мы чутко насторожили уши.

Вдругъ — тихій акордъ... другой... третій... и словно бы подъ сурдину полилась тихая, сладкая и какая-то совершенно неизвѣстная мелодія, полная нѣги и мечтательной прелести, полная влюбленныхъ звуковъ, словно бы ожиданіе, томленье, легкая грусть, и призывъ— призывъ кого-то къ любви и забвенію.

Digitized by Google

Я совершенно отдался обаянію этой дивной мелодіи, какъ вдругъ... Да, я это очень хорошо, очень живо помню — даже до мельчайшей отчетливости помню теперь, черезъ нѣсколько лѣтъ, то, что̀ испыталъ въ ту минуту!

Я не видѣлъ, но ясно чувствовалъ, какъ кто-то изъ-за спины тихо начинаетъ склоняться надо мной, надъ моимъ лѣвымъ плечомъ.

Я сидѣлъ все въ томъ же положеніи, какое принялъ въ моментъ, когда услышалъ надъ собой щелканье взводимыхъ курковъ, такъ что между мной и стѣной все еще оставалось достаточно пустого пространства,—но почуявъ около себя близость какого-то существа, невольно отклонился въ сторону.

— Сидите покойно... не бойтесь,—почти шопотомъ успокоилъ Юмъ, замѣтивъ мое движеніе.

Я принялъ прежнее положеніе. Теперь уже около меня никого не было.

Мнѣ стало даже нѣсколько досадно на себя за свою неумѣстную робость. «И нужно же было уклониться!» посылалъ я себѣ мысленные упреки. «Теперь вотъ вспугнулъ, и можетъ быть уже ничего больше не почувствую. Этакая обида! этакая трусость нелѣпая!»

А чудная струнная мелодія межъ-тѣмъ все лилась и струилась, млѣя въ своей влюбленной нѣгѣ и сладко изнывая мечтательной грустью.

И вотъ — вотъ опять начинаю чувствовать, что надъ лѣвымъ плечомъ кто-то тихо-тихо склоняется—словно бы я въ сладостной дремотѣ и этотъ *кто-то* боится потревожить, боится разбудить меня.

Но теперь уже я самъ, осторожно, слегка повернулъ и склонилъ свою голову влѣво, поближе къ этому таинственному *существу*.

Вотъ, оно склоняется все ниже и ниже, какъ будто хочетъ приблизиться, приникнуть къ самому лицу моему... Вотъ, по щекѣ моей какъ будто слегка скользнулъ чей-то мягкій, шелковистый локонъ... Да, я чувствовалъ, какъ мою щеку чуть-чуть задѣло это прикосновеніе,— и это именно была прядь волосъ, именно локонъ!

Я сидѣлъ не шелохнувшись, а сердце въ груди словно бы совсѣмъ затаило свое біеніе— оно начинало такъ сладко обмирать легкой и будто тоскливой тревогой ожиданія.

Вотъ, я чувствую, что *кто-то* совсѣмъ уже близко, совсѣмъ почти у моей щеки; я невольно впиваю чье-то легкое, скользящее по ней дыханіе, и это дыханіе такъ мягко, такъ тепло, такъ нѣжно и такъ сдержанно, словно бы тотъ, кто дышетъ, даже и этимъ боится пробудить меня. И вмѣстѣ съ тѣмъ я обоняю легкое, чуть замѣтное благоуханіе... Да, да, это тонкій ароматъ женщины, изящной, взысканной женщины, вѣчно, во всѣ времена и вѣки неотъемлемо присущій ей! Я узнаю его!

Но вотъ, еще одинъ мигъ — и я чувствую, такъ чьи-то мягкія, теплыя губы чуть-чуть прикоснулись къ моей щекѣ такимъ робкимъ, трепетнымъ, едва ощущаемымъ поцѣлуемъ, какимъ въ первый разъ въ жизни стыдливо цѣлуетъ дѣвственная, цѣломудренная душа того, кто завладѣлъ ея любовью.

И вотъ, еще разъ—такой же тихій, стыдливый поцѣлуй.

Вотъ, эти невидимыя губы передвинулись нѣсколько дальше... Третье прикосновеніе уже смѣлѣе... еще смѣлѣе...

Эти ароматныя уста какъ будто ищутъ моихъ губъ... Вотъ они нашли уже ихъ уголъ, губную ямку, онѣ остановились у самаго края—и снова прикосновеніе нѣжное, любовное... Дальше, дальше—и наконецъ губы слились....

О, что это былъ за поцѣлуй! что за адски-божественный поцѣлуй! Клянусь вамъ, — до той блаженной минуты ни одна земная, живая женщина не дарила меня даже тѣнью подобнаго поцѣлуя! Неужели же то былъ поцѣлуй мертвой женщины? Нѣтъ, то былъ поцѣлуй безплотнаго духа, но откуда онъ? съ небесъ или изъ ада? Въ немъ было и то и другое —и адъ и небо, и святость и грѣхъ. Онъ трепеталъ такимъ могучимъ приливомъ страсти, такимъ изступленіемъ жгучаго желанія и въ то же время такимъ нѣжнымъ, высокимъ блаженствомъ чистой, безграничной любви, что ни одна земная женщина не могла бы сочетать въ своемъ поцѣлуѣ столько искушающаго соблазна и столько чистой дѣвственности.

Эти лобзанья закружили и одурманили мою голову. Глаза мои заволоклись туманомъ, дыханіе стало порывисто, сердце такъ трепетно и сладко обмирало,—я невольно, самъ того не замѣчая, простиралъ впередъ свои руки, силясь удержать, обнять, уловить неуловимое...

Но вотъ, она робко, какъ бы не́-хотя, какъ бы съ грустью оторвала отъ меня свои уста— я совсѣмъ обезсилѣлъ.

А невѣдомая мелодія, межъ тѣмъ, все звучала такой безпредѣльной тоской и безпредѣльной страстью. Эта мелодія дышала нѣгой азіатскихъ, тысячезвѣздныхъ, яркихъ и синихъ ночей... Быть можетъ, такіе звуки раздавались когда-то въ сѣдой, отдаленной древности, среди роскошныхъ, царственныхъ садовъ, на благословенныхъ берегахъ Тигра и Евфрата.

Но вотъ *она* отлетѣла отъ меня; я уже не ощущалъ ея прикосновенія, не чувствовалъ ея близости—и вмѣстѣ съ этимъ струнные звуки тоже замолкли, какъ будто бы стихли и затерялись въ какой-то свѣтлой, лунной, безконечной дали... Одинъ только легкій, неуловимый ароматъ, оставленный *ею*, все еще какъ будто чудился, но вскорѣ и онъ испарился. Если это былъ сонъ, то хорошо-бъ никогда не просыпаться.

Я чувствовалъ нѣгу, истому и слабость.

— Хотите еще?—смутно, какъ бы сквозь дремоту послышался мнѣ голосъ Юма.

— Нѣтъ, нѣтъ! довольно!—прошепталъ я,

Digitized by Google

отрицательно покачавъ головою.—Это слишкомъ хорошо, чтобы повторяться такъ часто!.. Да у меня и силъ не хватитъ.

— Помните же, что вы сами сказали *довольно*!—съ какой-то странной многозначительностью проговорилъ Юмъ.

Эта послѣдняя фраза показалась мнѣ загадочной. «Чтобъ она могла значить? надо спросить его, надо допытать!» думалось мнѣ.

Сеансъ былъ оконченъ. Юмъ поднялся съ кресла и вытянулся во весь ростъ, заломивъ свои руки, какъ словно бы это у него была потягота послѣ долгаго и глубокаго сна. Никогда я не забуду лица его въ эту минуту. Оно было мертвенно-блѣдно и страдало каждой своей фиброй. Тяжелое утомленіе, какъ бы послѣ долгой, непосильной борьбы, было разлито во всѣхъ чертахъ его, но глаза, полные электричества и магнетизма — одни только глаза горѣли жарко, лихорадочно. Я никогда не видалъ до этихъ поръ, чтобы голубовато-сѣрые глаза сѣверянина могли горѣть такимъ образомъ.

На лбу его выступилъ холодный потъ. Нашъ молодой натуралистъ подошелъ къ нему и взялъ за пульсъ.

— Ого!—сказалъ онъ,—сто двадцать въ минуту! Вамъ надо въ постель.

Юмъ тихо улыбнулся и отрицательно покачалъ головою.

— Мнѣ теперь, правда, нѣсколько тяжело,— проговорилъ онъ, силясь вдохнуть въ себя побольше воздуха,—но зато черезъ часъ я буду здоровъ совершенно.

Когда онъ наконецъ совсѣмъ уже успокоился, я подошелъ къ нему и спросилъ о значеніи его загадочной фразы.

— Вы сами не захотѣли идти далѣе,—улыбнулся онъ.

— А если бы я не сказалъ *довольно*, тогда бы что?

— Тогда?.. Тогда ощущенія ваши продолжились бы.

— Ну, и что-жь?

— Не знаю. Могло бы кончиться, пожалуй, припадкомъ каталепсіи, если вы очень нервны.

— И это безконечно бы длилось — все то-же ощущеніе поцѣлуя?

— Не знаю. Можетъ быть.

— О, въ такомъ случаѣ, я готовъ каяться, что сказалъ «довольно».

— Хм!..

Онъ загадочно улыбнулся.

— Вы готовы каяться... А что если вмѣсто поцѣлуя вы бы почувствовали, напримѣръ, какъ вокругъ вашего горла вдругъ захлестнулась змѣя, обвила бы и стянула вашу шею и стала бы перебирать по ней своими холодными, склизкими кольцами? Тогда что?

— О, нѣтъ! Это было бы ужасно!—воскликнулъ я, содрогаясь при одной мысли о возможности такого ощущенія.

— И такъ, вы сдѣлали хорошо, сказавъ себѣ и *ей* довольно,—заключилъ Юмъ, пожимая мою руку.

— Виноватъ, я еще одно хочу спросить васъ,—обратился я къ нему.

— Что именно хотите вы?

— Вы говорите: «себѣ и *ей*». Я хочу знать, кто это *она*? Кто цѣловалъ меня?

Юмъ поглядѣлъ на меня пристально и серьезно, но въ задумчивыхъ глазахъ его блуждала легкая улыбка.

— Васъ цѣловала царица Семирамида, сказалъ онъ безъ малѣйшаго признака шутки. Но я усомнился.

— Вы это мнѣ серьезно говорите? — спросилъ я.

— Я никогда не шучу этимъ дѣломъ. Болѣзнью и несчастьемъ вообще не шутятъ, — отвѣтилъ онъ—и мы разстались.

Прошло нѣсколько лѣтъ—и что же?.. Какъ вы думаете, чѣмъ отразилось въ моей жизни это роковое, а можетъ быть и спасительное «*довольно?*»

* * *

Какъ и во что обыкновенно влюбляются люди?

Вы скажете: въ женщину?

— Это совершенный предразсудокъ. Можно влюбиться не въ женщину, а въ часть женщины: такъ сказать, не въ цѣлое, а въ дробь. Я знаю, что эта мысль на первый взглядъ можетъ показаться парадоксомъ... Вы скажете даже, что это нелѣпость. Пусть такъ. Но развѣ нелѣпость не можетъ быть фактомъ? Приводя себѣ на память общественную и частную, историческую, политическую и всякую иную жизнь, вы конечно согласитесь, что это зачастую бывало такъ, что самая повидимому невозможная нелѣпость переходила въ область «совершившагося факта». А если такъ, то что-жъ мудренаго въ томъ, что можно влюбиться не въ женщину, а въ часть женщины? По крайней мѣрѣ въ моей жизни это было тоже «совершившимся фактомъ».

Вамъ, конечно, извѣстно то мѣсто человѣческой шеи, которое въ просторѣчіи очень характерно называется «душкой». — И такъ, я былъ влюбленъ въ женскую душку.

Это была самая прелестная, самая очаровательная душка изъ всѣхъ, какія я зналъ и знаю на свѣтѣ! Я готовъ надавать ей бездну самыхъ восторженныхъ эпитетовъ — и это не мудрено: я говорю о ней, какъ человѣкъ влюбленный—о предметѣ своей страсти. Хотя это было и давно, но... я всегда склоненъ хранить въ душѣ хорошее, свѣтлое и благодарное чувство воспоминанія о всемъ томъ, что было мной любимо когда-то; да и при томъ-же, все, что изящно и прекрасно по самой своей сущности, что въ состояніи привлекать и увлекать человѣка—то, конечно, всегда имѣетъ неотъем-

Digitized by Google

лемо-законное право на яркій, восторженный эпитетъ. И эпитетъ, въ такомъ случаѣ, будетъ лишь самой бѣдной долей хвалы и почтенія, какую можетъ воздать человѣкъ прекрасному.

* * *

Влюбиться въ женскую душку, и только въ одну душку, исключительно въ нее—согласитесь сами—обстоятельство до нѣкоторой степени экстраординарное. Случилось оно со мною въ лѣто 1859 года. Я уже былъ тогда въ Варшавѣ. Но, хотя и въ краткихъ словахъ, а надо начать дѣло ab ovo. Еще во время моего заграничнаго путешествія познакомился я въ Швейцаріи съ одной во всѣхъ отношеніяхъ достойной и прекрасной особой. Случай — и одинъ только случай сдѣлалъ такъ, что недѣли полторы мы прожили ближайшими сосѣдями въ одномъ женевскомъ отелѣ, сходясь ежедневно за табль-д'отомъ; случаю же угодно было свести насъ потомъ у подошвы Юнгфрау, на которую мы взбирались въ упорно-безмолвномъ сообществѣ какого-то англичанина—одного изъ тѣхъ характерно-типичныхъ представителей джентльменскаго типа съ пледомъ и гидомъ, которые неизмѣнно суются вамъ на глаза въ любомъ уголкѣ западной Европы. И раньше еще, и во время этого взбиранья на Юнгфрау, я имѣлъ возможность и охоту оказывать сказанной особѣ кой-какія маленькія услуги, что и послужило первоначальнымъ поводомъ къ нашему знакомству. Тотъ-же всемогущій и слѣпой случай столкнулъ насъ потомъ въ Парижѣ, въ гостиной одного очень порядочнаго и почтеннаго русскаго семейства, которое до того времени очень долго жило въ Варшавѣ. Я познакомился съ этимъ семействомъ въ Парижѣ, она же была съ нимъ старая знакомка. Довольно частыя встрѣчи въ этомъ домѣ сблизили и даже нѣсколько скрѣпили наше знакомство. Я никогда не позволялъ себѣ тѣхъ отношеній къ этой женщинѣ, которыя называются пошлымъ, по всей справедливости, словомъ «ухаживаніе». Я никогда, ни разу, ни одной минуты не ухаживалъ за ней—и можетъ быть, не что иное, какъ именно отсутствіе съ моей стороны какихъ бы то ни было поползновеній этого свойства, послужило къ нашему сближенію. Мы съ ней стали мало-по-малу просто-себѣ добрыми знакомыми. Общность нѣкоторыхъ симпатій, впрочемъ болѣе артистическаго, чѣмъ политическаго свойства, общность нѣкоторыхъ взглядовъ и понятій сдѣлала изъ насъ впослѣдствіи, пожалуй, хорошихъ пріятелей—но и только. Несмотря на то, что она была и молода, и прекрасна, и, какъ вдова — совершенно независима, и кромѣ того имѣла въ себѣ всѣ данныя, существующія на сладкую пагубу непрекрасной половины рода человѣческаго,—несмотря на все это, ни одна грѣшная мысль не заползла въ мою голову: желаніе увлечься ею, влюбиться въ нее—и самъ не знаю почему, только ни разу не закралось въ мою душу. А чего бы, казалось, естественнѣй и проще! Но — видно, такъ было спокойнѣй, пожалуй, даже оригинальнѣй, если хотите, и потому мы оставались при одномъ тихомъ, доброжелательномъ чувствѣ простой пріязни. Мы стали съ ней пріятелями совершенно такъ, какъ становятся ими мужчина съ мужчиной, женщина съ женщиной. Я могъ только сказать про нее, что она, молъ, хорошій человѣкъ,—и она про меня тоже.

Когда въ началѣ 1859 года я былъ переведенъ на службу въ Варшаву, мы встрѣтились тамъ какъ старые, совсѣмъ хорошіе знакомые. Отношенія, завязавшіяся между нами за границей, и здѣсь теперь не выходили изъ своей однажды взятой, привычной нормы. Она была полька и при томъ варшавянка. Это было еще во времена до-повстанскія, когда въ массѣ польскаго общества далеко не сказывалось той враждебной розни и отчужденія въ отношеніи русскихъ, какія проявились съ 60-го и особенно съ 61-го года. При томъ же, благодаря уже чисто моей фамиліи, смахивающей на польскую, варшавскіе паны зачастую принимали меня тоже за «родовитаго пана»—и потому нисколько не шокировались встрѣчами со мной въ гостиной пани Б***. Впрочемъ, въ тѣ времена, и притомъ какъ новый человѣкъ въ Варшавѣ, я былъ еще слишкомъ наивенъ относительно истинныхъ чувствъ, питаемыхъ панами къ «наязду», и не подозрѣвалъ, въ невинности души своей, чтобы встрѣча въ знакомомъ домѣ съ русскимъ офицеромъ и порядочнымъ человѣкомъ (какимъ я имѣю слабость считать себя) могла бы кого либо шокировать. А въ сущности, ни до пановъ, ни до ихъ чувствъ, и ни до кого, и ни до чего мнѣ дѣла не было: я зналъ себѣ только одно, что мнѣ очень пріятно вечера два въ недѣлю проводить у пани Амеліи; зналъ, что и ей это не скучно, — и потому относился къ этому дѣлу чисто эгоистически, не принимая ни въ какое соображеніе пановъ, встрѣчавшихся мнѣ порой въ ея домѣ.

* * *

Разъ какъ-то прихожу я къ ней вечеромъ. Уже давно было получено мной право входить къ ней безъ особенныхъ докладовъ и церемоній: просто, бывало, спросишь себѣ: дома? — «дома». — Принимаютъ? — «принимаютъ» — и идешь прямо въ гостиную. Такъ было и теперь; беззвучными шагами, благодаря мягкой ковровой дорожкѣ, прошелъ я до самой гостиной, дверь въ которую была полурастворена,— и невольно остановился на порогѣ.

Въ глубинѣ этой комнаты, на маленькомъ столикѣ стояла лампа, покрытая темнымъ абажуромъ, который оставлялъ всѣ предметы въ полумракѣ; но яркій розовый свѣтъ обильно падалъ изъ-подъ него на часть кушетки, на

Digitized by Google

которой въ бѣлой батистовой блузѣ полулежала *она*, совсѣмъ закинувъ назадъ свою голову. Она вѣроятно дремала, потому что вовсе не замѣтила моего присутствія. Въ комнатѣ, какъ видно, стояла долгая, ничѣмъ не возмущаемая тишина.

Видя, что пани Амелія не перемѣняетъ своего положенія, я остался въ нерѣшительности— будить ли ее, или нѣтъ, — въ дверяхъ, на своемъ мѣстѣ.

Лица ея не было видно: оно оставалось въ тѣни, но зато яркій свѣтъ ударялъ на ея грудь, на ея плечи и шею.

Какая же это прелесть! Какая строгая правильность очертаній! Что за роскошная шея и какъ она артистически создана! Я помню одну картину—кажется, что Поль-Делараша, —впрочемъ, навѣрное не ручаюсь: я видѣлъ многія галлереи и помню самыя картины, т. е. тѣ изъ нихъ, которыя дѣлали на меня впечатлѣніе; но—грѣшный человѣкъ!—ие особенно злопамятенъ на имена художниковъ, и откровенно сознаюсь въ такомъ «вандализмѣ». И такъ, я помню одну картину: посерединѣ залива, колоритъ котораго дышетъ Италіей, плыветъ большая, просторная лодка, щедро устланная и драпированная богатыми коврами; широкія тяжелыя складки одною изъ нихъ ниспадаютъ за бортъ и полощатся въ тихой влагѣ соннаго залива. Въ лодкѣ — группа изъ нѣсколькихъ мужчинъ и женщинъ. Что за прелестныя женскія головки! Въ рукахъ у нѣкоторыхъ музыкальные инструменты, мандолина, ноты, и посреди этой изящно скомпанованной группы возвышается одна стройная, роскошная женская фигура. Она стоитъ въ лодкѣ, въ рукахъ у нея ноты, голова приподнята, чудные итальянскіе глаза полны страстнаго вдохновенья и смотрятъ впередъ, какъ будто въ гаснущій край далекаго неба. Она поетъ—и вы словно чувствуете, какія полныя, звучныя ноты волной плывутъ изъ этой сильной, богатой груди. И какая славная, лебединая, царственно-артистическая шея у этой итальянки! У геніальныхъ пѣвицъ, такъ сказать, у пѣвицъ прирожденныхъ непремѣнно должна быть именно такая шея, такое горло.

Что-то знакомое молніей мелькнуло въ моей памяти. Гдѣ я видѣлъ это? Когда я видѣлъ? Во снѣ? На яву?—Нѣтъ, именно я видѣлъ это на той самой картинѣ!

Яркій свѣтъ лампы падалъ теперь на точно такую же лебедино-роскошную, красивую шею.

И увы! — обладая такой шеей, пани Амелія все же не была пѣвицей.—Это, впрочемъ, доказываетъ только общеизвѣстную истину, что нѣтъ правила безъ исключенія.

И странное дѣло! И какой же я чудакъ, однако! Ну, какъ это, право: быть столько времени такъ хорошо знакомымъ съ женщиной— и ни разу, до этой самой минуты не замѣтить, что она обладаетъ такой прелестью! Правда, что *вся* она очень хороша собой; но правда опять же, что и я съ первой и до послѣдней минуты, зная какъ она хороша, тѣмъ не менѣе съ какимъ-то равнодушіемъ какъ бы не чувствовалъ, не замѣчалъ этого, какъ бы пропускалъ мимо глазъ и сердца ея наружность, цѣня въ этой женщинѣ одно только доброе пріятельское расположеніе къ моей особѣ.

Не знаю, право, находитъ ли это на человѣка совсѣмъ особенное, безотчетное настроеніе— знаю только одно, что подъ впечатлѣніемъ первой минуты, весь отдавшись ему, я стоялъ неподвижно и глядѣлъ на неподвижно-лежавшую женщину... Никакихъ особенныхъ помысловъ, никакихъ особенныхъ своекорыстныхъ желаній, ничего этого мнѣ и въ голову отнюдь не приходило: я просто глядѣлъ и любовался, не будучи въ состояніи даже и самому себѣ дать отчетъ, зачѣмъ и для чего я это дѣлаю—словно бы изъ темнаго фона большого холста передъ глазами рельефно выдѣлялся одинъ залитый свѣтомъ уголокъ, въ которомъ случайно совмѣстилось нѣсколько живыхъ чертъ прекрасно-созданной картины. Да, это именно было то самое чувство и впечатлѣніе, съ какими вы невольно останавливаетесь передъ мастерской картиной, нечаянно бросившейся вамъ въ глаза,—и я не знаю, сколько времени я въ состояніи былъ бы простоять подъ обаяньемъ этого безотчетнаго наслажденья, если бы она не подняла чутко свою голову, почувствовавъ, вѣроятно, сдержанное присутствіе постороннаго человѣка.

Я сдѣлалъ нѣсколько шаговъ впередъ. Она нервно вздрогнула.

— Ахъ, Боже мой, это вы!.. А мнѣ сквозь дремоту почудилось, будто въ дверяхъ кто-то стоитъ и смотритъ,—проговорила она, подавая руку.

— Вы не ошиблись: я точно стоялъ, и смотрѣлъ... и, кажись, довольно долгое время.

Она съ легкимъ удивленіемъ оглядѣла мое лицо.

— Что это, въ васъ какъ будто особенное что-то сегодня?

— Мудренаго нѣтъ. Вы знаете, на что глядѣлъ я и чѣмъ любовался?

И я, полушутя, полусерьезно разсказалъ ей все, чѣмъ былъ пораженъ за минуту передъ этимъ.

Она выслушала меня съ дружескимъ смѣхомъ. Въ лицѣ ея играла не то лукавая, не то снисходительная улыбка.

Я просидѣлъ у нея цѣлый вечеръ, болтая какъ и всегда, и точно такъ же какъ всегда запасъ нашихъ разговоровъ—то серьезныхъ, то шутливо-веселыхъ—не истощался и на этотъ разъ, но я не могъ не замѣтить, что она въ теченіе этого вечера раза три—не знаю, нарочно или случайно — закидывала на нѣсколько мгновеній свою голову, позволяя любоваться своей шеей. И каждый разъ послѣ этого, замѣ-

Digitized by Google

чая мой любующійся взглядъ, она встрѣчала его своими тонко-улыбающимися глазами, въ которыхъ сквозь полушутливую и полулукавую строгость проглядывало неуловимое женское кокетство. Она какъ будто дразнила меня своей чудной шеей.

* * *

Я ушелъ отъ нея подъ страннымъ впечатлѣніемъ, которое преслѣдовало меня всю дорогу и потомъ дома всю ночь, даже и во снѣ не давая покою. Я старался не думать о немъ, настраивалъ свои мысли на другіе предметы, старался развлечься музыкой, принимался за чтеніе, начиная съ польскаго историка Шайнохи и кончая Поль-де-Кокомъ—все было напрасно! Ни Шопенъ, ни Мендельсонъ, ни Шайноха, ни даже самъ Поль-де-Кокъ, составляющій, какъ извѣстно, по преимуществу «офицерское чтеніе»—никто изъ нихъ не настроилъ на иной ладъ мои мысли, ничто не перебило моего перваго впечатлѣнія. Мендельсонъ съ Шопеномъ, напротивъ, еще помогли усилить его. Спать мнѣ рѣшительно не хотѣлось—и потому-то я и хватался и за то, и за другое.

Въ воображеніи моемъ неотступно рисовалась полулежащая женская фигура съ закинутой назадъ головой, освѣщенная розоватымъ свѣтомъ. Она выступала передо мной словно бы изъ какого таинственнаго, волшебнаго мрака, со своей красивой, антично-выточенной шеей—и впечатлѣніе этой грезы было столь велико, что стоило лишь закрыть глаза—и она ужь рисуется такъ рельефно, такъ полно, какъ будто на-яву, какъ будто и впрямь она передъ глазами.

Я приписалъ это просто разстройству нервъ и—volens-nolens—подчинился своему неотвязному впечатлѣнію, тѣмъ болѣе, что въ немъ не было ничего для меня непріятнаго.

Я былъ увѣренъ, что оно «пройдетъ сномъ», какъ говорится, что на утро я все позабуду и примусь за обычныя свои дѣла и занятія; но настало утро, а съ нимъ и дѣла, и занятія, а я... я не избавился отъ вчерашняго. Правда, впечатлѣніе было теперь значительно слабѣе, чѣмъ тогда: дневной свѣтъ и житейская толчея брали-таки свое; но все же порой, или лучше сказать, мгновеньями, передо мною вставалъ вчерашній образъ. Словно бы насильственно врывался онъ, незванный и непрошенный, въ мои мысли, въ мою душу, въ мое воображеніе—и своимъ появленіемъ озадачивалъ разсудокъ: «зачѣмъ? къ чему? и что это, наконецъ, творится со мной? И что такое въ этой шеѣ? И почему же не другое что, не лицо, не глаза, которые у нея дѣйствительно прелестны, почему наконецъ не вся она, а именно одна только шея этой женщины мерещится мнѣ вездѣ и повсюду—и даже не шея, а то, что̀ называется женской душкой?»

Днемъ это было слабѣе, но вечеромъ, когда я остался одинъ у себя дома—вчерашнее впечатлѣніе снова встало передо мной со всей вчерашней силой. Такъ прошло дня три, и каждый слѣдующій день являлся точнымъ повтореніемъ прошлаго—въ мірѣ моей внутренней жизни.

Проклятая душка! Неотступная греза!.. Я, наконецъ, просто сталъ досадовать и негодовать на себя. «Это не что иное, какъ непозволительная нравственная распущенность, капризъ празднаго воображенія, это все «отъ нечего дѣлать» со мной! Надо встряхнуться и выбросить вонъ изъ головы эту нелѣпую грезу!»—Такіе-то упреки, и такіе-то выговоры посылалъ я самому себѣ и принималъ такія дѣльныя рѣшенія,—а нелѣпая греза словно бы и знать не хотѣла ни строгихъ упрековъ, ни мудрыхъ рѣшеній, и что ни вечеръ — всецѣло охватывала мой внутренній міръ и уносила за собой воображеніе. У меня родилось дикое, до болѣзненности настойчивое желаніе поцѣловать эту душку. Кажись, вотъ только бы поцѣловать—и всему конецъ, все какъ рукой сниметъ! Я самъ не могъ не смѣяться надъ собою за такую странную, причудливую прихоть. Но смѣхъ и досада ни мало не помогали дѣлу: болѣзненно-дикій капризъ властвовалъ надо мною во всей своей силѣ.

Я вамъ разсказываю исторію, до нѣкоторой степени весьма странную; тѣмъ не менѣе—это глубоко-правдивая исторія. Это исторія одного изъ болѣзненныхъ уклоненій воли человѣческой, которое, Богъ-вѣсть почему и какъ ворвавшись въ нравственный организмъ, незамѣтно переходило въ idée fixe, въ своего рода манію. Подобнаго рода состояніе вѣроятно представляю бы собой извѣстный интересъ для психіатра. Представьте себѣ положеніе помѣшаннаго человѣка, который вполнѣ сознавая, что онъ помѣшанъ,—знаетъ источникъ, и пунктъ своего помѣшательства, и всѣ его симптомы, и, отлично сознавая все это, тѣмъ не менѣе никакъ отъ него не можетъ отдѣлаться. Со мной было нѣчто подобное.

* * *

Однажды воротясь домой, я нашелъ у себя на столѣ запечатанную записку.

«Что̀ это значитъ, что вы шестой день уже глазъ не кажете? Вы не больны, потому что васъ ежедневно встрѣчаютъ на улицахъ. Сегодня вечеромъ я дома. Пріѣзжайте каяться въ своемъ проступкѣ».

— Въ самомъ дѣлѣ, поѣду и... и покаюсь. Покаюсь! разскажу ей всю правду, авось хоть этимъ избавлюсь отъ своей нелѣпости!—рѣшилъ я и поѣхалъ.

— Что за причина, что вы такъ долго глазъ не казали?

— Причина?.. причина есть—и пожалуй, довольно для меня уважительная.

— Какая?

Digitized by Google

— Ну, назвать ее вамъ я бы нѣсколько затруднился.

— Только *нѣсколько*?—значитъ не *совстмъ*! Я, вѣдь вы знаете, очень любопытна и потому хочу знать причину!

— Видите ли, это вещь до такой степени дикая и нелѣпая, что вы, конечно, прежде всего расхохочетесь.

— Тѣмъ лучше! Я ужь давно не смѣялась.

— А если... если къ смѣху прибавится нѣкоторое чувство оскорбленія?

— Оскорбленія?.. На кого или на что?

— На вашего покорнѣйшаго слугу.

— Какой вздоръ! за что-жь я могу на васъ оскорбиться?

— За то, что моя нелѣпость въ извѣстной мѣрѣ дерзка.

— Добрымъ пріятелямъ иногда и дерзость прощается.

— И вы обѣщаете простить?

— Не только простить, но обѣщаю даже не разсердиться. Видите ли, какое великодушіе!

— Не вѣрнѣе ли сказать: величественное презрѣніе съ высоты собственнаго пьедестала?

— Охъ, какъ кудряво и витіевато! Нѣтъ!— и потому нѣтъ, что величественнымъ презрѣніемъ мы даримъ только нѣкоторыхъ нашихъ поклонниковъ, а съ вами мы только друзья, и вы не поклонникъ мой. Это уже уравниваетъ отношенія. Для васъ я не мадонна, я не на пьедесталѣ, а на землѣ,—поэтому кайтесь, исповѣдуйтесь: я буду слушать «въ извѣстной мѣрѣ дерзкую» нелѣпость.

— Извольте: во-первыхъ я просто боленъ; а во-вторыхъ—я боленъ оттого, что влюбленъ.

— Ба!.. воздравляю!.. Въ кого же? въ молодую дѣвушку?

— Нѣтъ.

— Въ женщину?

— Нѣтъ.

— Ну, наконецъ, въ меня, что-ли?!

— Н... несовсѣмъ-то.

— Такъ въ кого же, Богъ мой?!

— Въ шею.

— Какъ?.. Что вы сказали?..

— Я сказалъ: въ шею, то есть въ душку, вотъ въ это мѣсто.

Она вскинула на меня удивленные глаза—и отъ всей души расхохоталась.

— Что вы въ самомъ дѣлѣ за нелѣпости говорите!

— Кому—нелѣпости, а мнѣ такъ и жутко приходится.

Я разсказалъ ей, въ какой мѣрѣ преслѣдуетъ меня моя неотступная греза, какое странное желаніе порождаетъ она во мнѣ—и какъ порой самъ я не знаю куда бы дѣваться и какъ избавиться отъ нея. Я говорилъ совершенно серьезно, потому что и въ самомъ дѣлѣ это уже становилось тяжело для меня: я опасался развитія въ себѣ маніи—и притомъ маніи столь исключительной по своей сущности. Мнѣ уже было не до шутокъ; я говорилъ съ горечью и непритворной досадой на самого себя за свое малодушіе и болѣзненность воли.

Начавши смѣхомъ, она подъ конецъ слушала меня уже очень серьезно; только въ глазахъ ея, устремленныхъ на меня, невольно просвѣчивало недоумѣніе и изумленіе какое то.

— Да вы это и точно не шутя?.. медленно и тихо проговорила она, обводя меня озабоченнымъ и испытующимъ взглядомъ. — Какъ же помочь вамъ?

— Просить о помощи не стану!—предупредилъ я.—Да если я и разсказалъ-то вамъ про это, такъ только потому лишь, что думалъ-себѣ, не избавлюсь-ли хотя посредствомъ разсказа отъ этого кошмара.

— Лекарство, судя по вашимъ словамъ, есть, но, признаюсь, очень ужь радикальное!—улыбнулась она.—Вы лучше займитесь-ка дѣломъ какимъ-нибудь посерьезнѣе; это отвлечетъ васъ, и вы вылечитесь.

— Благодарю за совѣтъ! и я имъ непремѣнно воспользуюсь, лишь бы вылечиться. А если нѣтъ?

— Если нѣтъ... Ну, тогда... тогда посмотримъ!—не то шутя, не то загадочно какъ-то сказала она съ лукавой улыбкой.

* * *

И зачѣмъ были сказаны ею эти послѣднія слова! Зачѣмъ сопровождались они такой усмѣшкой! Все это было сдѣлано съ такимъ лукавымъ женскимъ коварствомъ, какимъ, кажись, съ особенной щедростію надѣлила природа истыхъ варшавянокъ. И для чего ей понадобилось смущать еще болѣе мою душу—ей, съ которой мы такъ хорошо и просто, такъ «по человѣчески» сдружились? — Такъ, ни съ того, ни съ сего, ради одной кокетливой прихоти, изъ мимолетнаго каприза! А впрочемъ, кто ее знаетъ!— быть можетъ, оттого-то именно и сдѣлала, что я слишкомъ долго и слишкомъ упорно видѣлъ въ ней только человѣка и не хотѣлъ совсѣмъ видѣть женщину. Но, какъ бы то ни было, а только ея тонъ, ея взглядъ, улыбка и послѣдняя фраза, подающая какую-то смутную, неопредѣленную надежду — все это въ совокупности было причиной, что моя греза не улетучивалась... Напротивъ, эта женщина какъ будто подстрекнула меня. Порой, мнѣ становилось досадно на нее за эту выходку: я какъ-то привыкъ глядѣть на нее съ болѣе серьезной стороны, а это—если хотите — было въ отношеніи меня ужь даже и не по пріятельски, а чисто по женски, и черезчуръ ужь по женски! Однако же, досадуя и на себя, и на нее, я тѣмъ не менѣе не разставался съ своей маніей, которая— что дальше, тѣмъ все глубже да крѣпче корениласъ въ моемъ сердцѣ, въ моей односторонне-направленной фантазіи!

Желая добросовѣстно послѣдовать совѣту, я

Google

принуждалъ себя заняться «какимъ-нибудь» серьезнымъ дѣломъ, и даже брался за разныя занятія, одно другого будто «серьезнѣе», но увы!—все сіе оставалось втунѣ.

Съ этого времени въ отношеніи меня у пани Амеліи стала проявляться весьма тонкая кокетливость, какой я никогда не замѣчалъ въ ней доселѣ. Она *умѣла* быть кокетливой, такъ что это у нея, дѣйствительно, выходило хорошо. Женскій тактъ и свѣтская ловкость указывали ей достодолжную мѣру, и потому въ ея кокетливости было нѣчто изящное. Множество женщинъ умѣютъ *кокетничать*, но очень рѣдкія изъ нихъ умѣютъ быть изящно и тонко кокетливыми. Кокетничанье первыхъ нерѣдко оскорбляетъ ваше эстетическое чувство, зачастую смѣшитъ, а еще чаще бываетъ просто противно; кокетливость же вторыхъ имѣетъ въ себѣ нѣчто влекущее, обаятельное, даже и тогда когда вы знаете, что это нарочно дѣлается ради той или другой цѣли.

Въ отношеніяхъ нашихъ прозвучалъ какой-то новый мотивъ; они оттѣнились нѣсколькими новыми штрихами, которыхъ не замѣчалось прежде. Она по-прежнему считала себя моимъ добрымъ пріятелемъ, но... это уже былъ для меня пріятель-женщина. Въ этого пріятеля я былъ влюбленъ самымъ страннымъ, самымъ причудливымъ образомъ—и пріятель, вовсе не по-пріятельски, заботился исподволь раздувать во мнѣ эту искорку, которая, безъ его заботъ, очень можетъ быть что и потухла бы вскорѣ.

Я не заводилъ съ ней болѣе разговоровъ о моемъ болѣзненно-странномъ чувствѣ, за которое все такъ же продолжалъ негодовать на себя въ глубинѣ души, но—грѣшный человѣкъ!—не могъ воздерживаться, чтобы каждый разъ не любоваться на предметъ моей исключительной страсти—и каждый подобный взглядъ она встрѣчала своей лукавой улыбкой, изъ которой я могъ ясно заключить, что она какъ нельзя лучше понимаетъ, какое чувство вызываютъ у меня подобные взгляды. Эти улыбки были мнѣ досадны. Лучше всего, въ такомъ случаѣ, конечно, было бы не глядѣть вовсе, но этого я не могъ, и потому старался любоваться ею исподтишка. Однако же, почти каждый разъ она, какъ школьника, ловила меня на этой продѣлкѣ.

— Ну, что же? Вы все еще больны?—съ какимъ-то вызывающимъ задоромъ и дружеской насмѣшливостью спросила она однажды.

Вопросъ былъ предложенъ слишкомъ прямо, чтобы не понять, и совершенно неожиданно, чтобы не удивиться. Я взглянулъ на нее удивленнымъ взоромъ.

— Что вамъ вздумалось спросить меня объ этомъ?

— Какъ что? Я думаю, ваша манія немножко и меня касается.

— Да вамъ-то развѣ это не все равно?

— А вы не допускаете дружескаго участія?

— Въ васъ?—ни малѣйшаго!

— Это почему?

— Потому что въ васъ, напротивъ, замѣтно нѣкоторое стараніе поддерживать во мнѣ эту манію.

Она разсмѣялась.

— Сказать откровенно,—созналась она,—ваша маніи немножко забавляетъ меня. Но отчего же вы-то съ того самаго разу ничего больше не говорите о ней.

— Оттого что меня она вовсе не забавляетъ.

— И вы не хотите лечиться?

— Лечиться нечѣмъ.

Вся она въ эту минуту была какъ-то странно и нервно оживлена. Яркіе глаза метали веселыя искры, въ щекахъ рдѣлъ румянецъ, на губахъ открыто дрожала ея прелестная, лукавая улыбка.

— Полноте дичиться и серьезничать!—сказала она съ беззавѣтной веселостью.—Моя шея вовсе не такое серьезное дѣло. Вѣдь вы влюблены не въ меня, а въ мою душку?

Увы!.. я уже давно подмѣтилъ въ себѣ, что не одна душка, а вся она, вся какъ есть, стала предметомъ моей маніи.

— А если не въ одну только душку?—проговорилъ я, глядя ей въ глаза испытующимъ взглядомъ.

Въ лицѣ ея мелькнула легкая гримаска.

— О, нѣтъ, это уже не будетъ оригинально!.. Влюбиться въ женщину — да кто же въ насъ не влюбляется!.. Мнѣ потому-то именно и нравится ваша манія, что она исключительна! Это тоже моя прихоть!—а знаете-ли, что я себѣ рѣшила?

— Что?

— Что моя душка—но только душка! — принадлежитъ вамъ. Если вы съумѣете ограничиться одною ею, то... съ этой минуты вы ея властитель.

И снова засмѣявшись своимъ искристо-веселымъ, беззавѣтнымъ смѣхомъ, она, какъ рѣзвый, шаловливый ребенокъ, вдругъ встала съ мѣста, совсѣмъ близко подошла ко мнѣ—и глядя мнѣ въ лицо своими ярко смѣющимися, вызывающими глазами, медленно закинула назадъ свою голову.

Роскошная, мраморно-античная шея обнажилась передо мною.

Вотъ она—та минута, о которой я мечталъ такъ страстно!

Въ замираніемъ сердца, желая и не смѣя, пытался я прочесть въ ея взорѣ позволенье коснуться ея поцѣлуемъ; но эти глаза, завлокнутые теперь какой-то туманной, истомной влагой, были полузакрыты.

Я робко приблизилъ къ ней свои губы, какъ вдругъ...

Въ смежной комнатѣ ясно послышались чьи-то шаги и шелестъ шелковаго платья.

Digitized by Google

Амелія вздрогнула, отшатнулась отъ меня и бросила капризно-досадливый взглядъ на дверь, въ которой, въ эту самую минуту, съ наипріятнѣйшей улыбкой на устахъ, появилась чета—супругъ и супруга—принадлежавшіе къ числу варшавскихъ знакомыхъ пани Амеліи.

Трудно бы было придумать что либо болѣе не кстати, чѣмъ это досадное появленіе.

Проклятый случай! Я просто губы искусалъ себѣ отъ злости, однако—нечего дѣлать!—надо было притворяться равнодушно-любезнымъ, бесѣдовать съ полнѣйшимъ спокойствіемъ о какихъ-то пустякахъ и выносить всю эту пытку въ теченіе цѣлаго часа, но на большее не хватило уже терпѣнья.

Амелія пошла провожать меня до порога слѣдующей комнаты.

— Завтра въ это время... не будетъ никого... быстро шепнула она мнѣ и выразительно сжала мою руку.

Всю ночь, все утро, весь день я былъ въ какомъ-то чаду, тяжело-сладкій дурманъ котораго наплывалъ на меня иными минутами.

Я съ лихорадочнымъ нетерпѣніемъ ожидалъ вечера. Какое странное, но и какое заманчивое свиданье было мнѣ назначено!—Свиданье ради душки, и только ради ея одной! Но эта душка была уже моей...

Ровно въ девять часовъ вечера, какъ назначено, я уже былъ на Уяздовской аллеѣ, у двери пани Амеліи.

Меня встрѣтила горничная и подала письмо:

«Злой случай рѣшительно идетъ наперекоръ намъ. Вчера въ одиннадцать часовъ вечера я получила телеграмму отъ моего дяди. Онъ очень боленъ и умоляетъ, чтобы я, не медля ни одного дня, тотчасъ же пріѣзжала къ нему въ его подлюблинское имѣнье. Бѣдный старикъ совсѣмъ одинокъ и нуждается въ родственномъ попеченіи. Сегодня въ три часа я выѣзжаю. Прощайте, надолго-ли—не знаю! Но лучше сказать «до свиданья»! Ваша «*душка*».

Я вернулся домой, взбѣшенный новой неудачей и влюбленный болѣе чѣмъ когда либо.

Сказавши въ письмѣ своемъ, что злой случай рѣшительно идетъ наперекоръ намъ, Амелія была права, можетъ, даже болѣе чѣмъ думала: злой случай настолько пошелъ наперекоръ, что мы съ ней съ тѣхъ поръ не видались въ теченіе нѣсколькихъ лѣтъ. Время отъ времени до меня долетали урывками кой-какія свѣдѣнія о ней, черезъ общихъ знакомыхъ,—и такимъ образомъ я зналъ, что она прожила мѣсяца четыре въ Люблинской губерніи у дяди, а потомъ уѣхала съ нимъ въ Спа, потомъ съ нимъ же проживала въ Дрезденѣ, а потомъ... потомъ я совершенно потерялъ ее изъ виду. Самому мнѣ года два пришлось прожить въ Августовѣ, такъ что когда въ концѣ 62-го года меня снова перевели въ Варшаву, мы ужь были совершенно незнакомы съ прежними «общими знакомыми»—и потому мнѣ рѣшительно не у кого было узнать про пани Амелію, да признаться сказать, и самъ-то я теперь небольно интересовался этимъ предметомъ, потому что четырехлѣтній промежутокъ времени, исполненный самыхъ разнообразныхъ впечатлѣній, самъ по себѣ уже служитъ отличнымъ лекарствомъ противу всякихъ маній. Все что я въ ту пору случайно зналъ о пани Амеліи—такъ это лишь то, что ея нѣтъ въ Варшавѣ; но гдѣ она находится—про то мнѣ не было извѣстно.

* * *

Въ послѣднихъ числахъ марта 1863-го года отрядъ изъ четырехъ ротъ пѣхоты и сотни казаковъ выступилъ въ экспедицію, подъ командой полковника N. Я былъ въ то время командированъ въ распоряженіе начальника люблинскаго отдѣла и на сей разъ находился при отрядѣ. Дня четыре мы проходили по дебрямъ и трущобамъ, дѣлая дьявольскіе переходы по пятидесяти верстъ въ сутки—и все это втунѣ! Были извѣстія, что въ окрестныхъ мѣстахъ гдѣ-то скитаются двѣ порядочныя банды, но кладъ этотъ, несмотря на всѣ наши усилія, не давался намъ въ руки. И хоть бы какой слѣдъ! А между тѣмъ мы знали, что онѣ гдѣ-то вотъ тутъ—что называется подъ носомъ—укрываются. Это была своего рода игра не то въ прятки не то въ жмурки. Полная безплодность четырехдневныхъ усиленныхъ поисковъ становилась наконецъ досадна. Солдаты злились и роптали на повстанца: «тоже, молъ, лядъ его дери, воинъ называется! хорошъ воинъ, коли отъ дѣла утекаетъ! коли ты есть воинъ, такъ выходи въ поле на чистоту, а не хоронись въ трущобу!» Но повстанцы не раздѣляли солдатскихъ воззрѣній и предпочитали хорониться, исполняя это на сей разъ въ высшей степени ловко. Вернуться домой съ пустыми руками не хотѣлось, а между тѣмъ мы почти уже теряли всякую надежду на успѣхъ нашихъ поисковъ.

Наконецъ, на пятый день, помню, на пути къ одному мѣстечку попадется намъ по дорогѣ нетычанка, и въ ней одинъ-одинешенекъ катитъ какой-то «сцестный еврейцыкъ». Замѣтивъ издали нашъ авангардъ, онъ было хотѣлъ юркнуть въ сторону, въ перелѣсокъ, но наши казачки благополучно переняли его и представили начальнику отряда. Еврейчикъ страшно перетрусилъ (а особенно въ виду казачьихъ нагаекъ, на которыя—основательно или нѣтъ—могъ разсчитывать въ глубинѣ души своей) и умоляя «не выдавать его повстанцамъ», сообщилъ подъ «вѣлкимъ закрѣтемъ» свѣдѣнія весьма интересныя. Изъ его разсказа оказывалось, что банда человѣкъ въ пятьсотъ скрывается въ верстахъ пятнадцати разстоянія, въ Сморовицкомъ лѣсу, что довудца ея—какой-то панъ, который прозывается «Ночью», и что эта «Ночь» находится въ данный моментъ не при бандѣ,

Digitized by Google

а съ утра еще вмѣстѣ съ своимъ адъютантомъ укатила въ Ильяшевскій фольваркъ, «до стáрого пана грабего Зымянтовскéго», тамъ вѣроятно будетъ и обѣдать, а «до лясу» вернется только ночью. Еврейчикъ сознался, что все это въ точности извѣстно ему было потому, что нынѣшнимъ утромъ онъ ѣздилъ покупать водку для своего шинка, но что повстанцы напали на него, заставили отвезти ее къ себѣ въ Сморовицкій лѣсъ, не заплатили «а ни гроша» и даже хотѣли повѣсить. Истина очевидно заключалась въ томъ, что еврейчикъ, по доброй своей охотѣ, продавалъ повстанцамъ водку и отвозилъ ее до лясу. Для пущей вѣрности порѣшено было удержать его при отрядѣ, одна часть котораго направилась въ обходъ, а другая прямой дорогой къ лѣсу. На мою долю выпало особое порученіе. Дали мнѣ тридцать человѣкъ казаковъ съ однимъ хорунжимъ и велѣли на рысяхъ двинуться къ Ильяшевскому фольварку, накрыть тамъ пана «Ночь» съ его адъютантомъ, произвести вообще самый тщательный обыскъ и ожидать на мѣстѣ прибытія отряда. Ильяшевскій фольваркъ, по показанію еврея, отстоялъ на 12 верстъ правѣе отъ Сморовицкаго лѣса, такъ что намъ надо было съ мѣста тотчасъ же взять влѣво и идти къ фольварку кратчайшимъ путемъ, что могло составить приблизительно верстъ около двадцати. Приказаніе отдано мнѣ безъ малаго въ часъ пополудни; стало быть, къ тремъ часамъ, если ничто особенное не помѣшаетъ, я могъ разсчитывать быть уже на мѣстѣ.

— Тѣмъ лучше! Какъ разъ къ обѣду!—порѣшилъ полковникъ.—Съ Богомъ!

И маленькій отрядецъ мой двинулся обыкновенной казачьею *«ходой»*.

«Этотъ панъ «Ночь», какъ видно, не прочь посибаритничать, если оставляетъ банду ради обѣда», думалъ я себѣ, «и вѣроятно тамъ, кромѣ лакомаго обѣда, есть какая-нибудь лакомая приманка въ родѣ прелестной пани или молоденькихъ паненокъ». А эти пани и паненки являются обстоятельствомъ весьма неудобнымъ при такихъ порученіяхъ, какое мнѣ надлежало исполнить. Первое то, что онѣ хитрѣе и фанатичнѣе мужчинъ, а второе, что ужь никакимъ образомъ не обойдется безъ патетическихъ сценъ, въ которыхъ будутъ если не мольбы съ обольстительными просьбами, то ярыя проклятія и разныя выходки съ претензіями на картинный героизмъ; и ужь во всякомъ случаѣ, какъ то, такъ и другое непремѣнно будетъ сопровождаться аккомпанементомъ слезъ и рыданій. Все это, особенно при обыскѣ этихъ прелестныхъ панъ и паненокъ, всегда ставило исполнителя такихъ порученій въ самое непріятное, щекотливое положеніе.

Предполагая себѣ подобную перспективу моей экспедиціи, я уже заранѣе испытывалъ нѣкоторое недовольство по поводу предстоящихъ сценъ того или другого рода. «Дай-то, Господи, чтобы тамъ никакихъ этихъ паненокъ и въ заводѣ не было!» думалъ я себѣ. «Дѣло и короче, и проще будетъ!»

Зато товарищъ мой, хорунжій Савва Парменычъ Халявкинъ былъ невозмутимо тихъ и спокоенъ. Онъ, знай себѣ, только посасывалъ свою носогрѣйку (короткій чубучекъ, который торчалъ у него изъ-подъ нависшихъ сѣдыхъ усовъ), да зорко поглядывалъ впередъ и по сторонамъ—«не пошлетъ-ли Богъ сѣраго зайчика», что означало у него, «на выскочитъ ли гдѣ изъ-подъ куста повстанчикъ». Но повстанчикъ ни откуда не выскакивалъ, и Савва Парменычъ напрасно утомлялъ свое глядкое староказачье око. Его нависшіе усы и брови вмѣстѣ съ бронзовымъ лицомъ, успѣвшимъ навѣки загорѣть подъ кавказскимъ солнцемъ, придавали на первый взглядъ всей его физіономіи угрюмую суровость; но достаточно было взглянуть въ глаза Саввы Парменыча, чтобы тотчасъ же угадать въ немъ добродушнѣйшаго изъ смертныхъ. У него были безконечно добрые глаза—добрые по-дѣтски. Сидѣлъ онъ на своей поджарой, маленькой, пѣгой кобылкѣ совсѣмъ «кренделемъ», какъ говорится по кавалерійски,—и этотъ видъ кренделя еще пуще придавала ему его шапочка съ замасленнымъ отъ времени краснымъ околышемъ, которая лежала на его сѣдой головѣ блинкомъ, «по старосвѣтскому», сильно сдавшись съ затылка напередъ, что̀ вмѣстѣ съ носогрѣйкой придавало Саввѣ Парменычу видъ необыкновенно типичный. Онъ уже двѣнадцать лѣтъ теръ лямку въ первомъ офицерскомъ чинѣ, въ который за отличіе былъ произведенъ изъ урядниковъ, — и являлъ собой истаго, матераго казака, свято храня всѣ старыя казацкія привычки.

Револьверовъ, напримѣръ, не любилъ.—«Зачѣмъ онъ мнѣ? больно ужь деликатная штука! Я съ нимъ обращаться не умѣю, говорилъ онъ, а вотъ у меня пистоль есть—это какъ разъ по мнѣ! Дѣдовскій еще! Да вотъ еще нагайка есть добрая, ну да шашка, пожалуй, вотъ и будетъ съ меня! Самое любезное дѣло!»—И дѣйствительно, нагайка, оправленная въ черненое серебро (единственная роскошь Парменыча), неизмѣнно висѣла на ремнѣ черезъ лѣвое плечо его.

Отрядъ нашъ двигался по разнообразной и мѣстами довольно красивой мѣстности, нащупывая невѣдомую дорогу разспросами у встрѣчныхъ крестьянъ и евреевъ. Было уже около трехъ часовъ пополудни, когда мы изъ небольшого дубоваго лѣска выѣхали на полянку, по которой извивалась какая-то быстрая рѣчка, а на противуположномъ крутомъ и мѣстами обрывистомъ берегу ея расположился Ильяшевскій фольваркъ;—только въ сущности это былъ вовсе не фольваркъ, хотя при немъ и видѣлись разныя хозяйственныя пристройки, а сво-

Digitized by Google

рѣе бы могъ онъ назваться, въ своемъ родѣ, просто замкомъ. То былъ прекрасный домъ, и даже съ двумя башнями, построенный во вкусѣ прошлаго столѣтія, прочно, фундаментально. Хотя онъ и стоялъ теперь въ упадкѣ, съ отвалившейся мѣстами штукатуркой, съ проросшими по кровлѣ мхомъ и травой, съ гнѣздами ласточекъ надъ окнами, тѣмъ не менѣе въ постройкѣ его явно сказывалась магнатская затѣя, о чемъ свидѣтельствовали лѣпныя, побитыя временемъ работы по карнизамъ — и гербъ на фронтонѣ! Къ этому дому отъ самаго моста вела густая аллея пирамидальныхъ тополей, а за ней виднѣлся большой, старый садъ, надъ зелеными купами котораго, немного въ сторонѣ отъ замка, возвышалась готическая башенка небольшого костела. Мѣсто было очень красивое, съ этой рѣчкой, съ этими нависшими надъ ней ветлами и корявыми, бородавчатыми вербами, съ глинистыми обрывами и съ этими тополями и купами небольшихъ лѣсковъ, синѣвшихъ тамъ и сямъ по окрестнымъ пригоркамъ.

Казаки вскачь пустились черезъ мостъ, чтобы съ налету, какъ можно поспѣшнѣй занять Ильяшевскій фольваркъ и не дать тамъ никому опомниться.

Однако расчетъ нашъ оказался не совсѣмъ-то вѣренъ: насъ, какъ видно, замѣтили еще въ то время, когда мы только что показались изъ дубоваго лѣска на полянѣ. Хотя разстояніе это было не болѣе полуторы версты—и проскакать его требовалось много-много пять минутъ, тѣмъ не менѣе въ замкѣ успѣли извѣститься о появленіи гостей нежданныхъ. Мы застали на дворѣ нѣкоторый переполохъ: управляющій, очевидно шляхтичъ, въ чамаркѣ, стоялъ на крыльцѣ и, приложивъ жирную руку щиткомъ къ глазамъ, глядѣлъ вдоль аллеи на наше приближеніе, отдавая въ то же время какимъ-то батракамъ какія-то спѣшныя приказанія. Прислуга, съ перепуганными лицами, бѣгала отъ дома къ службамъ и отъ службъ къ дому, исчезая въ его просторныхъ сѣняхъ. Двери хлопали, собаки заливались лаемъ.

Казаки вихремъ влетѣли во дворъ — трахъ! долой съ коней мигомъ—и пока одинъ урядникъ отдѣлялъ и размѣщалъ наружные посты, я съ нѣсколькими своими людьми вошелъ въ домъ и со всей возможной «гжечнòстью» велѣлъ вести себя къ пану грабію Зымянтовскому. Экономъ привелъ насъ въ столовую. У окна передъ столомъ, на которомъ были поставлены водки и закуска, въ высокомъ вольтеровскомъ креслѣ сидѣлъ сѣдой старикъ, весьма почтенной наружности, съ типичнымъ старо-польскимъ лицомъ и не менѣе типичными усами. Онъ былъ подагрикъ. При нашемъ появленіи, его домашній капелланъ, смиренноликій ксендзъ, почтительно поддерживая старика подъ руку, помогъ ему приподняться съ кресель.

— Чему обязанъ честью видѣть васъ, господа, у себя въ домѣ?—обратился къ намъ графъ, такимъ тономъ, въ которомъ сказывалось радушіе, смѣшанное съ горделивымъ достоинствомъ стараго магната.

Въ вашемъ домѣ находится теперь довудца банды, извѣстный подъ псевдонимомъ «Ночь»— это причина нашего появленія,—объяснилъ я ему, смягчая жестокость своего посѣщенія взаимной вѣжливостью, насколько допускала ее невольная сухость офиціальнаго тона.

Старикъ и ксендзъ видимо смутились, но послѣдній тотчасъ же притворился крайне удивленнымъ.

— Вы получили ошибочныя свѣдѣнія. Въ моемъ домѣ кромѣ моихъ домашнихъ, никого нѣтъ и не было!—отрицательно качнувъ головою, отвѣтилъ графъ, все еще не совсѣмъ-то оправившійся отъ своего смущенія.

— Охотно допускаю, что свѣдѣніе это ошибочно,—согласился я,—но... тѣмъ не менѣе, я имѣю приказаніе произвести въ вашемъ домѣ обыскъ.

Въ отвѣтъ на это онъ только горько улыбнулся и пожалъ плечами — дескать, ваша воля!

Въ эту самую минуту растворилась дверь— я бросилъ взглядъ по направленію къ ней и остался глубоко пораженъ неожиданностью.

Въ столовую вошла пани Амелія.

Она была нѣсколько взволнована, словно бы послѣ усиленнаго движенія или быстрой, поспѣшной ходьбы. Наши глаза встрѣтились— и я замѣтилъ, какъ въ ея изумленномъ взорѣ вдругъ мелькнуло какое-то свое особое соображеніе, освѣтившее этотъ взоръ какъ будто доброй надеждой на что-то.

— Черкутскій!.. Monsieur Черкутскій... Вы-ли это?—взволнованно проговорила она искренно-удивленнымъ тономъ, и быстро направившись ко мнѣ, совсѣмъ по старому, по дружески протянула мнѣ свою руку.

— Не торопитесь оказывать мнѣ знаки вашей дружбы: я къ вамъ являюсь крайне непріятнымъ и недружелюбнымъ гостемъ,—поспѣшилъ я предупредить ее, уклоняясь отъ рукопожатія и ограничиваясь взамѣнъ того однимъ лишь почтительнымъ поклономъ.

Выслушавъ это, она разсмѣялась, повидимому самимъ искреннимъ образомъ.

— Что же, ищите! Ищите, какъ можно тщательнѣе! но увы!.. поиски ваши будутъ безуспѣшны! Я въ первый разъ даже слышу это имя—«Ночь!»

— Тѣмъ не менѣе,—пожалъ я плечами,—я обязанъ исполнить данное мнѣ приказаніе.

— Но, пока что, вы, господа, конечно не откажетесь раздѣлить съ нами нашъ деревенскій обѣдъ?—радушно предложилъ старый графъ.— Я вижу, что господинъ капитанъ—старый знакомый съ моей племянницей; тѣмъ лучше! Вы,

Digitized by Google

капитанъ, я думаю, и устали, и проголодались съ дороги?.. Прошу покорно! А панъ экономъ распорядится, чтобъ и команда ваша была накормлена.

Я замѣтилъ, что столъ былъ сервированъ на шесть приборовъ. Два изъ нихъ предназначались хозяину и его племянницѣ, два могли быть поставлены для капеллана и, пожалуй, для пана эконома; но для кого же оставались еще два, если не для «Ночи» съ его адъютантомъ? На эти-то два послѣдніе прибора и указалъ хозяинъ мнѣ и Саввѣ Парменычу.

Я почувствовалъ крайне затруднительное и неловкое положеніе: старый графъ предложилъ мѣсто за своимъ столомъ съ такимъ патріархальнымъ, старо-польскимъ радушіемъ, а между тѣмъ съ нашей стороны онъ не могъ встрѣтить ничего, кромѣ рѣшительнаго отказа. Да и какъ, въ самомъ дѣлѣ, прикажете садиться за столъ человѣка, къ которому вы пришли съ порученіемъ столь непріязненнаго свойства? И тѣмъ болѣе, что, сколь ни искренно, повидимому, было его радушіе, не могли же мы думать, чтобы наше посѣщеніе было ему пріятно. Въ силу всѣхъ таковыхъ соображеній, я поспѣшилъ поблагодарить и отказаться за себя и за моего товарища отъ его приглашенія, подъ тѣмъ простымъ предлогомъ, что мы-де ужь обѣдали.

Старикъ, какъ кажется, угадалъ истинную причину нашего отказа.

— Господа!.. Могу увѣрить васъ честью—мой столъ не отравленъ!—предупредилъ онъ съ шутливо-ироническою улыбкой,—и... и наконецъ, условія войны не мѣшаютъ гостепріимству.

— И все-таки, графъ, позвольте отказаться,—сказалъ я, рѣшаясь быть откровеннымъ,—во-первыхъ, эти два прибора были приготовлены не для насъ, потому что мы къ вамъ неожиданные и едва-ли желанные гости,—продолжалъ я,—а во-вторыхъ, сколь я ни цѣню ваше радушіе, но... все же я не думаю, чтобы и вамъ было пріятно видѣть насъ, а намъ сидѣть за вашимъ столомъ, имѣя въ перспективѣ подобное порученіе, и потому—не посѣтуйте на меня за мою нѣсколько грубую откровенность.

Графъ только поклонился на это—дескать, какъ вамъ угодно!

— Итакъ, можете приступать къ обыску,—сказалъ онъ вслѣдъ за симъ очень сухимъ и даже нѣсколько надменнымъ тономъ.

Савва Парменычъ распорядился и крикнулъ урядника съ двумя казаками, которые тотчасъ же принялись за дѣло. Я просилъ Савву Парменыча, чтобы ужь онъ одинъ заправлялъ всей этой исторіей, а самъ предпочелъ остаться совершенно пассивнымъ зрителемъ.

Неожиданность появленія Амеліи и эта встрѣча съ нею ставили меня просто втупикъ. Признаюсь вамъ откровенно, что въ глубинѣ души я чувствовалъ такую неловкость, такое смущеніе, что лучше бы, кажись, было сквозь землю провалиться, чѣмъ стоять подъ ея взглядами, въ которыхъ какъ-будто сказывалась какая-то пытливость, словно-бы ей хотѣлось заглянуть въ мою душу и коварно подмѣтить, что такое тамъ теперь творится. Мнѣ было просто совѣстно, стыдно передъ нею, передъ женщиной, которую я искренно называлъ когда-то своимъ добрымъ другомъ, и къ этому-то доброму другу я входилъ теперь невольнымъ врагомъ—и не личнымъ, а въ силу одного лишь принципа и въ силу его же нужно было стать неумолимымъ исполнителемъ даннаго приказанія, сдѣлаться камнемъ, заглушить въ себѣ самое естественное человѣческое чувство, которое подымалось во мнѣ, требуя снисхожденія для женщины, нѣкогда столь сумасбродно любимой мною. Но... все, что я могъ сдѣлать, это—остаться пассивнымъ свидѣтелемъ всего происходящаго передъ моими глазами. Встрѣчая, или скорѣе чувствуя, на себѣ пытливый взглядъ Амеліи Б., я кусалъ себѣ губы съ досады, старался избѣгать встрѣчи съ ея взорами и въ то же время проклиналъ въ душѣ и свою роль, и свое назначеніе, и ту минуту, когда начальнику отряда вздумалось возложить его на мою особу. Послѣ первой минуты нашей встрѣчи, въ теченіе всего этого времени мы не сказали съ нею ни слова, хотя она вмѣстѣ съ дядей, опиравшимся на руку капеллана, неотступно присутствовала при самомъ обыскѣ, постепенно переходя изъ комнаты въ комнату съ Саввою Парменычемъ и его казаками.

Пришли наконецъ въ кабинетъ стараго графа. Онъ тотчасъ же вручилъ уряднику ключи отъ своего стола и отъ высокаго бюро со старинными бронзовыми украшеніями. Въ столѣ ничего особеннаго не оказалось. Урядникъ принялся за бюро—и въ этомъ помѣщеніи, повидимому, тоже ничего не заключалось. Казакъ, однако, зоркимъ окомъ оглядѣлъ все его внутреннее устройство, повыдвигалъ всѣ ящички и вдругъ ухмыльнулся про себя, словно бы смекнувъ нѣчто особенное. Вслѣдъ за симъ онъ внимательно пригнулся къ донцу одного помѣщенія, нажалъ пальцемъ какой то винтъ—и донце вдругъ отскочило само собою, съ тѣмъ особеннымъ звукомъ, который издаетъ хорошая стальная пружина.

Въ это мгновеніе я невольно окинулъ взглядомъ стараго графа и его племянницу вмѣстѣ съ капелланомъ. Ксендзъ какъ-будто испугался чего-то. Амелія же быстро переглянулась значительнымъ взглядомъ со старикомъ и мгновенно поблѣднѣла.

Графъ Зымянтовскій грустно и какъ-то безсильно опустилъ на грудь свою сѣдую голову.

— Что тамъ такое?—обращаясь къ уряднику, спросилъ Савва Парменычъ.

— Тайная шкатулка, ваше благородіе! Бу-

Digitized by Google

маги какіясь-то лежатъ!—отозвался тотъ и подалъ ему тщательно подобранную пачку.

— Ишь ты, механикъ-самоучка какой! просто Кулибинъ, да и только!—добродушно-лукаво подмигнулъ мнѣ мой старикъ хорунжій, кивнувъ на своего урядника.

У меня просто сердце сжалось: я понялъ, что въ этомъ ящикѣ крылось нѣчто роковое для графа, а быть можетъ и для его племянницы. А мнѣ въ глубинѣ души такъ хотѣлось, чтобы нашъ обыскъ прошелъ для нихъ благополучно, чтобы мы ни въ домѣ, ни внѣ его не нашли у нихъ ничего такого, что могло такъ или иначе отозваться горемъ на судьбѣ этой женщины—моего стараго «друга»!... И вдругъ—эта проклятая находка!

Савва Парменычъ сталъ разсматривать пачку. Въ ней было нѣсколько квитанцій ржонда и повстанскихъ довудцевъ въ принятыхъ деньгахъ и припасахъ, очень много компрометирующихъ писемъ и другихъ бумагъ, да кромѣ того цѣлый списокъ лицъ, составлявшихъ мѣстную «повятову» организацію. Этотъ списокъ придавалъ находкѣ нашей особенную важность.

— Получите на храненіе!—передалъ мнѣ Савва Парменычъ всѣ эти бумаги.

Я молча, не глядя ни на кого, принялъ отъ него пачку и сунулъ ее въ боковой карманъ своего сюртука. Но, совершая эту операцію, я чувствовалъ на себѣ значительный, долгій, пристальный взглядъ Амеліи — и опять-таки искреннѣйшимъ образомъ пожелалъ себѣ провалиться сквозь землю.

И въ самомъ дѣлѣ, это было безвыходное и чортъ знаетъ до какой степени непріятное положеніе! Пусть каждый, вспомня мое прошлое по отношенію къ этой женщинѣ, поставитъ себя на мое мѣсто и, я увѣренъ, никто не пожелалъ бы себѣ пережить подобныя минуты!

Обыскъ днѣ дома не привелъ ни къ какимъ результатамъ. Казаки пересмотрѣли самымъ тщательнымъ образомъ всѣ помѣщенія, подвалы, надворныя строенія, службы, загонные сараи, погреба, чердаки, обшарили и костелъ—нигдѣ ни малѣйшихъ признаковъ повстанскихъ аттрибутовъ! Пана «Ночи» съ его адъютантомъ словно бы и не бывало! А между тѣмъ два лишнихъ прибора стояли на столѣ. Оставалось думать только одно, что мы нагрянули ранѣе пріѣзда «Ночи» и что стало быть теперь ужь едва-ли онъ попадется въ наши руки.

* * *

Обыскъ былъ оконченъ, но уѣхать—несмотря на все мое пламеннѣйшее желаніе какъ можно скорѣе убраться, исчезнуть изъ этого дома — мы не могли: намъ было дано самое точное приказаніе ожидать на мѣстѣ прибытія отряда. Хочешь-нехочешь, надо оставаться!

Казаки наши, выставивъ свои «бекеты» вокругъ дома и на всѣхъ наиболѣе важныхъ пунктахъ по окрестности, расположились бивуакомъ посреди широкаго двора. Савва Парменычъ, кивнувъ мнѣ идти за собою, привелъ меня къ своей пѣгой кобыленкѣ и—какъ человѣкъ запасливый—досталъ изъ одной сѣдельной чушки походную фляжку, а изъ другой холодную жареную курицу, завернутую въ синюю сахарную бумагу, засимъ добылъ отъ своихъ казачковъ походныхъ сухариковъ, и мы съ нимъ перекусили съ немалымъ аппетитомъ.

— Такъ-то, батя мой, лучше!—говорилъ онъ!—потому, значитъ, окромя Господа Бога никакому пану за эту курицу не благодаренъ!

Съ невыразимо-тягостнымъ чувствомъ вернулся я въ комнаты. Тамъ не встрѣтились мнѣ ни графъ, ни Амелія—да и слава Богу! потому что встрѣча съ нею невольно смутила бы меня. Я это чувствовалъ и даже—признаюсь откровенно—боялся повторенія встрѣчи, и особенно если бы она случилась съ глазу на глазъ. Сила обстоятельствъ неожиданно поставила насъ въ какое-то странное и даже фальшивое положеніе относительно другъ друга, и потому, конечно, лучше бы было не встрѣчаться.

Въ домѣ было тихо, такъ что казалось, будто тамъ ни души нѣтъ: старый графъ, какъ объяснилъ намъ панъ экономъ, находился на половинѣ своей племянницы. Мы не находили нужнымъ обременять его излишнимъ и во всякомъ случаѣ стѣснительнымъ присмотромъ въ эти послѣдніе часы пребыванія его въ своемъ домѣ, да къ тому же оно казалось и совершенно излишне, такъ какъ фольваркъ со всѣхъ сторонъ былъ оцѣпленъ зоркими бекетами, и стало быть нашъ арестантъ не могъ отъ насъ скрыться. Да и куда бы скрылся онъ со своей подагрой?

Послѣ шестидесяти-верстныхъ четырех-суточныхъ переходовъ, къ которымъ слѣдовало прибавить еще и сегодняшнюю двадцати-верстную проѣздку на рысяхъ, нѣтъ ничего мудренаго, что мы чувствовали значительное утомленіе. Парменычъ, подкрѣпившись холодной курицей, растянулся и тотчасъ же захрапѣлъ въ диванной, а я прошелъ въ смежный съ нею кабинетъ стараго графа и расположился тамъ въ глубокомъ креслѣ.

Это утомленіе и потомъ всѣ впечатлѣнія нынѣшняго дня и моей встрѣчи вызвали во мнѣ какое-то возбужденное разстройство нервъ. Сна у меня не было, но иными минутами я впадалъ въ какую-то полудремоту.

Вечерѣло.

Красное и даже ярко-багровое солнце садилось за рѣчкой. Просвѣты рдѣющаго неба сквозили между темными сучьями и стволами деревьевъ. Среди тишины ясно былъ слышенъ съ рѣчки шумъ мельничныхъ колесъ и блеяніе возвращавшагося стада, которое толпясь переправлялось черезъ гребли. Я открылъ форточку—и въ комнату повѣяло тѣмъ особен-

Digitized by Google

нымъ, ранне-весеннимъ, вечерѣющимъ воздухомъ, который имѣетъ въ себѣ странное и неотразимое свойство производить во мнѣ какую-то тихую, млѣющую истому. Я необыкновенно люблю это сладкое и вмѣстѣ съ тѣмъ слегка жуткое чувство весенней истомы: оно имѣетъ въ себѣ для меня нѣчто манящее, зовущее въ какую-то свѣлую, широкую даль, исполненную смутныхъ, но золотыхъ надеждъ; оно подымаетъ грудь молодымъ, могуче-вольнымъ дыханіемъ и заставляетъ полнѣе биться сердце. Въ эти минуты какъ-то цѣлостнѣе чувствуешь жизнь, живую, возрождающуюся, ранне-весеннюю жизнь, вмѣстѣ съ которою и самому хочется жить, и жить до одури, до упоенья. Это — чувство птицы, стремительно вздымающейся въ поднебесную высь, въ бодрящій и нѣжащій океанъ весенне-мягкаго воздуха.

Кабинетъ стараго графа былъ убранъ не безъ вкуса. Нѣсколько старыхъ картинъ и фамильныхъ портретовъ глядѣли изъ потемнѣвшихъ отъ времени золотыхъ рамъ. Оленьи и лосьи рога группами украшали стѣны, на которыхъ красиво развѣшано было нѣсколько звѣриныхъ шкуръ. Вся обстановка показывала, что это кабинетъ стараго и страстнаго охотника. Недоставало только ружей, сабель и охотничьихъ ножей, которые при началѣ возстанія были отобраны у всѣхъ обывателей земель повстанскихъ. Но зато по бокамъ широкаго камина висѣли два медальона съ рыцарскими, старо-польскими доспѣхами. Шлемы, панцыри, кольчуги, алебарды и протазаны были оставлены графу—какъ оружіе, въ наши времена вполнѣ безвредное и имѣющее только смыслъ для археологическихъ воспоминаній.

Заходящее солнце искрилось своими послѣдними угасающими лучами на темной стали этого оружія. Комната все болѣе и болѣе наполнялась вечернимъ полумракомъ—и ничѣмъ невозмущаемая тишина, вмѣстѣ съ надвигавшимся все болѣе сумракомъ, становилась все глубже и глубже.

Этотъ кабинетъ отчасти напомнилъ мнѣ теперь нѣчто знакомое, давнишнее...

Да, вотъ и шлемы и панцыри были похожи на эти, и алебарды почти такія же—только на тѣхъ искрился каленый огонь камина, а на этихъ заходящее солнце играетъ... И такая же тишина, такая же нѣсколько таинственная обстановка—тамъ только роскоши было гораздо больше, но въ общемъ впечатлѣніи есть нѣчто сходное.

Лѣнивая мысль моя дремотно стала блуждать въ далекихъ воспоминаніяхъ, и это блужданье переходило въ легкую грезу. Мнѣ вспомнился кабинетъ въ парижскомъ отелѣ князя Г., вспомнился бѣлокурый человѣкъ съ болѣзненно-блѣднымъ, глухо-страдающимъ лицомъ, сидящій въ глубокомъ готическомъ креслѣ передъ каминомъ, закрывшись облокоченной рукою... Какія странныя вещи видѣлись тогда мною! Какія странныя ощущенія испытывались!.. «Помните же, что вы сами сказали *довольно*» — что значили эти слова?.. зачѣмъ онъ сказалъ ихъ!.. А какіе звуки! Какая мелодія раздавалась!..

Мысль моя все болѣе и болѣе путалась въ полузабытыхъ образахъ и воспоминаніяхъ. Мгновеніями эти образы вставали теперь передо мною необыкновенно ярко и потомъ блѣднѣли, никли, исчезали, расплывались въ какой-то туманной тьмѣ, и снова всплывали, и снова тонули. Это были, пожалуй, и грезы, и дремота, но только не сонъ. Мнѣ казалось, что я не сплю, но лишь испытываю то особенное, истомное, полусознательное состояніе, которое наплываетъ на человѣка между сномъ и бдѣніемъ. Не знаю, были ли глаза мои открыты или нѣтъ — вѣрнѣе, что нѣтъ, но мнѣ словно бы помнится, какъ все болѣе и болѣе блѣднѣли и потухали отблески заката и какъ все глубже надвигался вечерній сумракъ, окутывая тихою мглою всѣ окружающіе предметы, всю комнату, каминъ, и окна, и драпировки...

И вдругъ я чувствую, какъ изъ-за спины кто-то тихо начинаетъ склоняться надо мною, надъ моимъ лѣвымъ плечомъ.

«Это—греза», на мгновеніе мелькнулъ во мнѣ слабый отблескъ сознанія—и мысль моя снова пошла лѣниво и дремотно плутать въ туманѣ воспоминаній.

А между тѣмъ, что-то склоняется все ниже и ниже, какъ-будто хочетъ приблизиться, приникнуть къ самому лицу моему, но такъ тихо, такъ робко, словно боясь потревожить, разсѣять мою дремоту.

Вотъ, по щекѣ моей, чуть-чуть коснувшись ея края, слегка скользнулъ чей-то мягкій, шелковистый локонъ... и кто-то совсѣмъ уже близко, совсѣмъ почти у моей щеки... я невольно впиваю чье-то легкое, вѣющее по ней дыханіе—и это дыханіе такъ мягко, такъ тепло, такъ нѣжно и такъ сдержанно, словно бы и въ немъ чуется боязнь пробудить меня. И въ то-же время я обоняю легкое, чуть замѣтное благоуханіе... О да! и оно мнѣ знакомо: это тотъ самый тонкій ароматъ изящной, изысканной женщины! Я снова узнаю его! Но вотъ еще одинъ мигъ—и я чувствую, какъ чьи-то мягкія, теплыя губы чуть-чуть прикоснулись къ моей щекѣ трепетно-робкимъ, едва ощущаемымъ поцѣлуемъ... Еще одно прикосновеніе, уже смѣлѣе... еще смѣлѣе... Эти ароматныя уста какъ будто ищутъ моихъ губъ... они нашли уже ихъ уголъ, губную ямку, они остановились у самаго края—и снова прикосновеніе, нѣжное, любовное... Дальше, дальше—и наконецъ наши губы слились.

Я невольно вздрогнулъ и очнулся.

Что же это такое?.. Я не сплю! И это не сонъ, не грезы!—Въ это самое мгновеніе женскія руки вскинулись на мои плечи, и вмѣстѣ съ поцѣлуемъ я почувствовалъ чьи-то крѣпкія, живыя объятія.

Digitized by Google

Широко раскрывъ глаза, я старался вглядѣться и разгадать себѣ: кто это и что это значитъ? Передо мною, совсѣмъ приникнувъ къ моей груди, стояла на колѣняхъ женщина.

Я оторвалъ отъ нея мои губы и сдѣлалъ движеніе, чтобы отстраниться отъ этихъ объятій.

— Кто это?

— Милый... милый... Тсс!.. ни слова!.. Бога ради, тише!—слышался мнѣ какой-то сдержанный, страстный шепотъ.—Это я... я... Ты не узналъ меня?

— Пани Амелія... что вамъ угодно?

— Тише же, говорю!.. Молчи и лови минуту—она твоя!

И она снова приникла ко мнѣ совсѣмъ обаяніемъ нѣжной женской страсти.

Мой сюртукъ былъ растегнутъ. Сколь ни горячи казались ея поцѣлуи и объятія, но... я замѣтилъ, какъ ея рука скользнула къ моему боковому карману. Тамъ лежали арестованныя бумаги. Я мигомъ понялъ настоящее значеніе и этихъ поцѣлуевъ и этого послѣдняго свиданія. Быстро поднявшись съ мѣста, я остановилъ ея руку.

— Спаси старика... Спаси! Отдай мнѣ эти бумаги—я уничтожу ихъ! Что тебѣ это стоитъ!?. Спаси!—лепетала она молящимъ шепотомъ, склоняясь къ моей груди и вся дрожа отъ волненія.—Вѣдь ты же любилъ меня когда-то... вѣдь мы были друзьями... Бери меня! дѣлай со мною что хочешь! Я—твоя раба, твоя собственность, твоя игрушка, но только отдай мнѣ эти бумаги!

Какое проклятое положеніе! Какую жестокую муку выносилъ я въ эту минуту!.. Спасти!.. Да, сердце говорило мнѣ: «спаси!»—но гдѣ мое право на это? Спасти старика во имя моего личнаго чувства, но какъ? — цѣной измѣны моему долгу, моей военной чести, наконецъ цѣной измѣны своему народу и его вѣковому народному дѣлу!—Послѣднее чувство пересилило. Я съ болью въ душѣ задавилъ въ себѣ личный, эгоистическій голосъ сердца и холодно отказалъ ей.

Она гордо отстранилась отъ меня—и кинувъ мнѣ въ лицо взглядъ, полный ненависти, молча вышла изъ комнаты.

* * *

Я не сразу успокоился и пришелъ въ себя, послѣ того какъ она удалилась изъ кабинета. Все происшедшее здѣсь за минуту было слишкомъ неожиданно и странно, чтобы не взволновать меня до глубины души. Я долго ходилъ изъ угла въ уголъ по комнатѣ, совершенно озадаченный и какъ бы подавленный всѣмъ этимъ обстоятельствомъ.

«Что это съ нею?» думалось мнѣ. «Вспыхнувшія-ли искры былого чувства, или одинъ только ловкій маневръ? Да; это маневръ, потому что въ ту самую минуту, какъ губы ея прикасались ко моимъ, ея рука прокрадывалась къ моему карману. Но если маневръ, то какая же актриса! Какая мастерская, геніальная игра! Да; это задача: соединить въ своемъ непрошенномъ поцѣлуѣ столько огня, страсти и нѣги—и думать въ эти самыя мгновенія о томъ, какъ бы половче вытащить бумаги!

«Но вотъ что странно: отчего это до такой поразительной точности повторилось ощущеніе поцѣлуя, испытаннаго мною пять лѣтъ назадъ? Или, можетъ, я поддался только самообману; можетъ, оно только такъ почудилось мнѣ оттого, что весь этотъ кабинетъ, вся обстановка эта почему-то вдругъ напомнили мнѣ ту обстановку, въ которой случилось нѣкогда и *оно*; можетъ не что иное, какъ это самое обстоятельство сообщило совсѣмъ особое настроеніе моей мысли, навело на старыя, полузабытыя воспоминанія? можетъ, все оно только отъ этого?»

— Можетъ быть!

И я опять отдался моимъ воспоминаніямъ.

«Помните же, что вы сами сказали *довольно*... вы сдѣлали хорошо, сказавъ это себѣ и ей...» вспомнились мнѣ слова Юма, которыя въ то время остались для меня совсѣмъ непонятны. Да; съ такой странной, загадочной улыбкой, въ ту минуту, какъ я готовъ былъ каяться, что сказалъ «довольно»,—онъ мнѣ возразилъ: «а что, молъ, еслибы вмѣсто поцѣлуя вы почувствовали, какъ вокругъ вашего горла вдругъ захлестнулась змѣя, обвила бы и стянула вамъ шею и стала-бы перебирать по ней своими холодными, склизкими кольцами?» О, это были, въ своемъ родѣ, пророческія слова! И не сейчасъ-ли только подтвердился ихъ загадочный смыслъ? Да; и точно, я сдѣлалъ хорошо, сказавъ себѣ и ей *довольно*! Вотъ она, эта змѣя, которая чуть было не захлестнулась вокругъ моей шеи! Вотъ оно это сладкое, обаятельное ощущеніе, за которымъ—поддайся лишь ему вполнѣ — навѣрное бы слѣдовало безчестіе, горькій срамъ и позоръ измѣны своему долгу, своему народному дѣлу, и тогда изъ этого положенія еще самымъ лучшимъ, самымъ легкимъ и даже самымъ желаннымъ искупительнымъ выходомъ служила-бы веревка гицеля или двѣнадцать пуль, отправленныя въ мое тѣло! Но это была бы лишь ничтожная расплата за преступленіе; а вѣдь безчестье-то и позоръ остались-бы навѣки!

* * *

Мнѣ было душно. Я подошелъ къ раскрытой оконной форточкѣ. На дворѣ совсѣмъ ужь свечерѣло. Полная луна стояла надъ деревьями сада! Въ воздухѣ чуялся все тотъ-же бодрящій ночной холодокъ ранне-весенняго времени. Мнѣ захотѣлось пройтись по саду, чтобы вволю надышаться и освѣжить себя. «Заодно ужь повѣрить-бы свои посты, да и *наши* скоро подойти должны», подумалъ я и вышелъ въ садъ, черезъ дверь, которая прямо изъ кабинета вела на террасу. Вышелъ я тихо, такъ что едва-ли кто могъ бы замѣтить мое отсутствіе. Прямо передо мною шла въ глубину сада густая каштановая

Digitized by Google

аллея. Лунный свѣтъ причудливой сѣткой падалъ на дорожку, сквозя между стволами и голыми прутьями деревьевъ. Ни шелеста вѣтра между вѣтвями, ни птичьяго вскрика, ни звука какого съ дальней окрестности не было слышно— глубокая тишина царила надъ спящимъ садомъ. Въ сторонѣ отъ каштановой аллеи, на расчищенной небольшой лужайкѣ стоялъ костелъ со своею готической башенкой. Съ правой стороны бѣлая стѣна его ярко освѣщалась луною. Картина была очень красивая.

Я свернулъ на лужайку и направился къ костелу. Мнѣ хотѣлось посмотрѣть его поближе. Но, идучи вдоль стѣны, вдругъ замѣтилъ я, что низенькая боковая дверца, ведущая въ сакристію, отперта и стоитъ полурастворенной. Это показалось мнѣ нѣсколько страннымъ, потому что давеча, когда осматривали костелъ, эта дверца оставалась замкнутой, а входили мы тогда черезъ главныя двери.

Я переступилъ порогъ и вошелъ въ сакристію. Оглядѣлся вокругъ—два небольшія окна пропускали достаточно луннаго свѣта, чтобы сквозь его слегка-туманный сумракъ видѣть всѣ предметы этой комнаты. На стѣнѣ висѣлъ черный процессіальный крестъ съ серебрянымъ распятіемъ и темный портретъ «фундатора» этого костела; по другой стѣнѣ стоялъ старый дубовый шкафъ съ рѣзьбою, со множествомъ ящиковъ и створокъ, запиравшихъ меньшіе шкафчики, составлявшіе особыя отдѣленія большого. Одна изъ этихъ створокъ была раскрыта: обстоятельство тоже не безъ нѣкоторой странности, потому что давеча—я это хорошо помню—самъ ксендзъ собственноручно, при насъ, отпиралъ и запиралъ каждое отдѣленіе. «Кому-бы и зачѣмъ могло понадобиться идти сюда въ эту пору?»— Грѣшный человѣкъ, признаюсь: я подумалъ-было на кого либо изъ нашихъ казачковъ: «ужь не изъ нихъ ли, молъ, кто вздумалъ похозяйничать насчетъ костельнаго добра?»—Изъ сакристіи прошелъ я въ самый костелъ.

Тамъ стояла глубокая тишина.

Лунный свѣтъ фантастическими узорами падалъ на каменный помостъ сквозь разноцвѣтныя круглыя стекла готическихъ оконъ и какъ-то таинственно наполнялъ внутренность храма все тѣмъ-же мягкимъ прозрачно-туманнымъ сумракомъ, въ которомъ слабо выдѣлялись статуи святыхъ, по бокамъ алтарей, и посерединѣ у скамеекъ—ряды хоругвей, неподвижно висѣвшихъ широкими складками на своихъ древкахъ.

Одни только хоры, гдѣ помѣщался органъ, оставались погруженными въ глубокій, непроницаемый мракъ.

Я внимательно оглядѣлся вокругъ себя — и вдругъ, шага на три въ сторону, у бокового алтаря замѣтилъ что-то особенное, чернѣвшееся на полу.

Я подошелъ поближе и вглядѣлся: большой коверъ, покрывавшій помостъ передъ этимъ алтаремъ, былъ на половину отвернутъ съ одного края, прилегавшаго къ стѣнѣ, и въ этомъ-то самомъ мѣстѣ чернѣлъ своею пастью открытый люкъ, который очевидно велъ куда-то въ глубь, въ какое-то подземелье.

«А, это—новость!» подумалось мнѣ. «Давеча, при осмотрѣ коверъ лежалъ въ порядкѣ, на обычномъ своемъ мѣстѣ, а намъ было и не въ домекъ, что онъ прикрываетъ собою крышку люка какого-то. Это интересно — что тамъ такое? И кто, и зачѣмъ, для какой надобности открылъ его теперь, ночью?»

На минуту я остановился передъ этимъ люкомъ въ раздумьи; какъ быть и на что рѣшиться тотчасъ-же? Идти-ли за казаками? будить Савву Парменыча? — Но это отыметъ много времени, и когда мы снова придемъ сюда, почемъ знать, можетъ уже будетъ поздно: можетъ, чье-то таинственное посѣщеніе костельныхъ подземелій такъ и останется для насъ неразрѣшенной загадкой.

— Чего тутъ медлить! лучше самому!—рѣшилъ я себѣ.—Револьверъ мой въ карманѣ и— слава Богу—заряженъ всѣми шестью пулями: стало-быть—впередъ!

Я вынулъ изъ напрестольныхъ канделябръ восковую свѣчу, чиркнулъ спичку и зажегъ фитиль.

Передо мной освѣтилась каменная лѣстница, спускавшаяся въ какой-то темный, сырой подвалъ. Деревянная крышка на петляхъ, поднятая и прислоненная теперь къ стѣнѣ, была пригнана такъ, что вплотную прикрывала собою спускъ—и оставаясь всегда подъ ковромъ, не могла быть замѣтна.

Заслоняя рукою свѣтъ отъ тяги сырого и холоднаго воздуха, струя котораго стремилась изъ подземелья, я сталъ спускаться по неровнымъ каменнымъ ступенямъ, число которыхъ не превышало десяти или двѣнадцати.

Передо мной открылся фамильный склепъ графовъ Зымянтовскихъ. Нѣсколько черныхъ гробовъ стояло въ рядъ и у стѣнокъ; надъ нѣкоторыми изъ нихъ сохранились вдѣланныя въ стѣну мраморныя и мѣдныя доски, съ латинскими эпитафіями. Склепъ былъ небольшой съ низкими, но готическими сводами, опиравшимися на четыре колонны. Полъ выстланъ плитою. Все здѣсь такъ строго, мрачно, холодно, и вѣетъ нѣмымъ величіемъ и тишиною смерти.

Я оглядѣлся—и въ стѣнѣ, противуположной спуску, замѣтилъ низенькую, массивную дубовую дверь, окованную желѣзными скобами. Я легонько толкнулъ ее—не заперта.

«Значитъ, *тамъ*» подумалъ я себѣ—и переступилъ порогъ: небольшая площадка узенькаго коридора и снова каменная лѣстница куда-то въ глубь, въ какую-то тьму непросвѣтную. Я спустился по ней ступеней пять-

надцать, и тогда снова открылся передо мною корридоръ, узкій и не высокій, но совершенно достаточный для роста самаго высокаго человѣка. Постройка его обличала явную старину и, безъ сомнѣнія, принадлежала къ числу тѣхъ же магнатскихъ затѣй, какъ и самый замокъ.

Но едва я успѣлъ спуститься въ этотъ корридоръ, какъ вдругъ, на противуположномъ концѣ его, увидѣлъ мигающую звѣздочку свѣта. Насколько именно былъ длиненъ самый корридоръ — я не могъ судить, но свѣтъ въ концѣ его былъ слишкомъ ясенъ, чтобы оставалась какая-либо возможность ошибиться въ томъ, что это свѣтъ свѣчи.

Я на мгновенье пріостановился.—«Кто это тамъ—здѣшніе-ли обыватели, наши-ли враги, или наши казаки? Если враги, то моя свѣча, надо сознаться, вовсе не дурная цѣль для ихъ пистолетовъ; если казаки, то все-таки лучше загасить огонь, потому что онъ заранѣе даетъ имъ знакъ о чьемъ-то постороннемъ приближеніи и заставляетъ принимать свои мѣры предосторожности. Пятиться назадъ—похоже на трусость. Нѣтъ, я назадъ не попячусь, ни въ какомъ случаѣ не попячусь!..» да къ тому же я вѣдь и любопытенъ какъ нервная женщина, и это-то любопытство сильнѣе всѣхъ остальныхъ аргументовъ подстрекало меня идти впередъ. Всѣ эти соображенія были дѣломъ одного мгновенья. Мигомъ загасилъ я свѣчу, но не бросилъ ее, а сунулъ въ карманъ,— спички со мною, стало быть, если бы понадобилось освѣщеніе, то оно явится тотчасъ же,— и послѣ этого, я, осторожной ступней нащупывая себѣ дорогу и придерживаясь за стѣнку рукой, сталъ подвигаться впередъ, къ свѣтящейся точкѣ.

Колеблющійся свѣтъ съ каждымъ шагомъ все болѣе и болѣе сближался со мной. Я шелъ на цыпочкахъ, для того чтобы звукъ шаговъ моихъ не могъ-бы заранѣе подать вѣсть о моемъ приближеніи.

Наконецъ, я замѣчаю, что мигающее пламя свѣчи сблизилось со мною уже не болѣе какъ на двадцать шаговъ разстоянія.

Я остановился, прислонясь къ стѣнѣ. Опустивъ руку въ карманъ, гдѣ лежалъ мой револьверъ, я постарался придать своему слуху всю возможную чуткость.

Тотъ, кто приближался ко мнѣ — былъ одинокъ; по крайней мѣрѣ, несмотря на все напряженіе моего уха, я не могъ различить звука никакихъ другихъ еще шаговъ, кромѣ легкаго шелеста чьей-то одиночной походки.

Сердце во мнѣ стукнуло легкой тревогой ожиданія какой-то невѣдомой встрѣчи.

Свѣтъ межъ-тѣмъ приближался... вотъ уже онъ менѣе чѣмъ въ десяти шагахъ, такъ что я смутно могу различить какую-то темную фигуру.

Кто же бы это? мужчина? — но звукъ походки слишкомъ легокъ, слишкомъ такъ-сказать воздушенъ для мужского шага;—женщина?—но какую же женщину понесетъ сюда нелегкая въ эту пору, да и зачѣмъ? къ чему? съ какой цѣлью? Мертвые ли предки графовъ Зымянтовскихъ совершаютъ тутъ свои ночныя прогулки? — но отъ послѣдней мысли я самъ не могъ не улыбнуться.

А между тѣмъ, то, что приближалось ко мнѣ—казалось женщиной. Это былъ какой-то блѣдный обликъ, покрытый темнымъ платкомъ — и весь абрисъ невѣдомой фигуры, съ каждымъ шагомъ ея, все болѣе обнаруживалъ длинныя, спускающіяся складки какого-то чернаго покрова, который легче всего могъ бы быть принятъ за женское платье.

Вотъ она уже въ двухъ шагахъ отъ меня. Неровный свѣтъ скользитъ по лицу ея и налагаетъ на него такія рѣзкія, колеблющіяся тѣни, что рѣшительно не даетъ никакой возможности ясно опредѣлить себѣ черты этого облика. Видно только, что это что-то блѣдное, покрытое чѣмъ-то темнымъ...

Я ступилъ шагъ впередъ и, совершенно неожиданно для нея, взялъ ее за ту самую руку, которая держала свѣчу,

Отвѣтомъ на это движеніе былъ легкій замирающій крикъ испуга.

Крикъ былъ женскій.

Я вглядѣлся въ лицо и узналъ его.

— Панн Амелія!

Но она, какъ видно, не узнала моего голоса—и, вся дрожа, продолжала вглядываться въ меня широко-раскрытыми испуганными глазами. Наконецъ искра сознанія мелькнула въ ея взорѣ.

— Это вы?.. зачѣмъ вы здѣсь?.. зачѣмъ?— пролепетала она сильно-взволнованнымъ голосомъ, не сводя съ меня пораженнаго и въ то же время пытливаго взгляда.

— Обо мнѣ что!.. Но зачѣмъ *вы* здѣсь, въ такомъ мѣстѣ, въ такую пору?—проговорилъ я, стараясь и тономъ, и жестомъ, и взглядомъ какъ можно болѣе успокоить ее.

Она, какъ-бы пробуждаясь, провела по лицу рукою и, перемогая въ себѣ свое волненіе, засмѣялась мнѣ въ глаза одной только легкой улыбкой. Но что это за морозно-холодная, что за ледяная улыбка мелькнула на губахъ ея!

— *Его* нѣтъ здѣсь болѣе... Напрасно!.. не ищите!—проговорила она, отрицательно качнувъ головою.

— Кого вы разумѣете?—спросилъ я.

— Его! кого же болѣе?!.. Того, кого вы искали! Полковникъ «Ночь» уже на волѣ... и адъютантъ его тоже.

— Гдѣ-жь они были? неужели здѣсь?

— Здѣсь, съ самаго пріѣзда вашихъ казаковъ,—холодно и даже съ какимъ-то вызывающимъ сарказмомъ надо мною улыбалась она.

Digitized by Google

— Но какъ же это?—недоумѣло пожалъ я плечами.

— А! вамъ хочется знать?.. Что же, мнѣ все равно! Я, пожалуй, буду откровенна... потому что... да потому что теперь мнѣ все равно! Онъ спасенъ уже!.. Видите ли, господинъ Черкутскій, я была на столько счастлива, что изъ окна моей комнаты увидѣла, какъ ваши казаки только-что выѣзжали изъ лѣсу. Этого было довольно, чтобы понять въ чемъ дѣло... Въ тотъ же мигъ съ ними съ двумя я бросилась сюда — и спрятала ихъ. Я успѣла это кончить какъ разъ въ ту минуту, когда вы вошли въ домъ; а когда ваши казаки обыскивали костелъ, тѣ уже сидѣли въ нашемъ склепѣ; а вы и не догадались, что подъ ковромъ есть люкъ... Вотъ вамъ и все!.. А теперь я ихъ выпустила! Хотите знать: какъ?—засмѣялась она все тѣмъ же ледянымъ, уничтожающимъ смѣхомъ.—Извольте, и это, пожалуй, могу сказать вамъ!

Она была сильно взволнована; неуспокоившіеся еще отъ недавняго испуга глаза ея сыпали искры торжествующей ненависти и насмѣшки, и все лицо дышало какой-то восторженной экзальтаціей. Еслибъ она была въ нормальномъ, спокойномъ состояніи, то весьма вѣроятно, у нея съ перваго же мгновенья мелькнуло бы сознаніе, что ея откровенность далеко уже переступаетъ достодолжные предѣлы; но теперь она какъ-бы бравировала передо мною: въ ея взорѣ, въ ея улыбкѣ, въ ея голосѣ, во всей фигурѣ ея такъ явно сказывались вызовъ и торжествующая ненависть надъ врагомъ, который дался въ обманъ! Ей какъ будто хотѣлось въ-конецъ подавить, уничтожить меня—и ужь если нечѣмъ другимъ уничтожить, такъ хоть этой откровенностью!

— Видите вотъ это?—продолжала она, вынувъ изъ кармана большой старинный ключъ.—Онъ лежалъ въ ящикѣ въ сакристіи, и вы даже сами видѣли его при обыскѣ; вашъ товарищъ—помните—спросилъ даже, что это за ключъ, а ему сказали что это отъ старой дзвонницы [1]). Ну, вы всѣ и повѣрили! а это ключъ отъ подземнаго хода. Сколько лѣтъ ужь построенъ—и можетъ быть только теперь довелось ему впервые сослужить свою добрую, польскую службу. Видите ли, какъ все это ловко?—снова засмѣялась она, не сводя съ меня своего взгляда.—Теперь, какъ добрый москаль, вы можете меня арестовать, пытать, мучить, казнить—я не сморгну и глазомъ, и бровью не поведу, потому что онъ спасенъ,—понимаете ли *спасенъ!* и мнѣ все равно теперь, что бы ни случилось со мной!

— Прежде всего успокойтесь: съ вами ничего особеннаго не случится,—предварилъ я, сохраняя все возможное хладнокровіе,—а *онъ* и безъ того, вѣроятно, будетъ пойманъ, не теперь, такъ послѣ: это рѣшительно все равно; но ужь разъ что я вошелъ сюда, мнѣ бы хотѣлось видѣть этотъ ходъ до конца—будьте такъ любезны, и какъ хозяйка, потрудитесь мнѣ показать его?

Она помедлила въ минутномъ колебаньи, но тотчасъ согласилась и повидимому весьма даже охотно.

Я снова засвѣтилъ мою свѣчу. Амелія и при этомъ улыбнулась.

— Видѣла одно мгновенье и свѣтъ вашъ,—пояснила мнѣ она, въ отвѣтъ на мой вопросительный взглядъ, — но признаюсь, никакъ не предполагала, что это вы... я думала, кто нибудь изъ домашнихъ.

Мы отправились. Корридоръ былъ узокъ настолько, что идти двоимъ въ-рядъ становилось затруднительно. Она предложила мнѣ идти впередъ, я не нашелъ достаточной причины отказать ей; но на пути я замѣтилъ, что она видимо замедляетъ свой шагъ и какъ бы старается отстать отъ меня. Я не сказалъ ей объ этомъ, но зато и въ свою очередь въ первое мгновенье укоротилъ походку. Я шелъ на неизвѣстное—и кто-жъ бы мнѣ поручился, что тутъ нѣтъ какой нибудь засады: но даже если бы и допустить, что никакой засады нѣтъ, то во всякомъ случаѣ это явное отставанье могло бы хоть кому показаться нѣсколько подозрительнымъ: зачѣмъ она это дѣлаетъ? неужто съ одною только лукавой цѣлью вышутить меня, напустить на меня робость, насмѣяться надо мной своимъ стращаньемъ?

Одна возможность такого плана показалась уже мнѣ оскорбительной, и потому желая показать полное пренебреженіе къ какому бы то ни было застращиванью, я не обернулся болѣе назадъ ни разу и быстро пошелъ впередъ своею твердой и звучной походкой.

Черезъ минуту я достигъ конца этого корридора. Дубовая, низенькая дверка служила ему выходомъ. Она была замкнута.

Здѣсь только, дойдя уже до цѣли, я обернулся назадъ—и къ удивленію своему не нашелъ позади себя ни свѣта, ни пани Амеліи.

Коварная шутка надо мною все-таки была сыграна! Но зачѣмъ? съ какою цѣлью?

Я замѣтилъ въ дубовой дверкѣ маленькое, круглое, сквозное отверстіе для пропуска свѣжаго воздуха — и заглянулъ въ него. Тихая звѣздная ночь, осеребренная лучами полной луны, царила надъ землею. Дверка эта выходила въ оврагъ, обильно поросшій кустарникомъ,— и было слышно, что по дну этого оврага звонко пробирается между камнями быстрая рѣчка.

Дѣлать здѣсь мнѣ болѣе было нечего, и я отправился обратно.

Въ склепѣ Амеліи не было

Я поднялся по послѣдней лѣстницѣ, ведущей въ костелъ, и только здѣсь лишь увидѣлъ ее надъ самымъ люкомъ. Она стояла безъ свѣчи, въ потьмахъ, и держалась рукой за край крышки,

[1]) Колокольни.

Digitized by Google

держа ее на балансѣ, такъ что одно лишь небольшое движеніе—и крышка мгновенно захлопнулась бы надо мной.

Я между тѣмъ подымался по лѣстницѣ, ровнымъ неторопливымъ шагомъ, стараясь придать своей походкѣ возможно болѣе спокойствія.

— Пани Амелія, чѣмъ можно объяснить ваше внезапное исчезновеніе?—спросилъ я ее самымъ простымъ, обыкновеннымъ тономъ.

Она ласково взяла меня за руку и въ этомъ ласковомъ, но увы!... притворномъ движеніи сказалась вся коварно-обаятельная, исполненная могуществомъ обольщенія, душа женщины, душа истой польки.

— Другъ мой... *старый* другъ мой!—сердечно заговорила она, встрѣчая мои слова своей прелестной улыбкой.—Я сейчасъ вотъ могла бы захлопнуть надъ вами эту крышку—и ни одинъ изъ москалей никогда не узналъ бы, гдѣ вы и что съ вами... Если бы это такъ случилось, наши бумаги остались бы въ склепѣ и мы были бы спасены; но... я этого не сдѣлала... и потому отдайте мнѣ ихъ просто.

Теперь уже пришелъ мой чередъ улыбнуться ей той самой улыбкой, какую я встрѣтилъ на ея губахъ тамъ въ подземельи.

— Увы, прекрасная моя пани!.. вамъ остается теперь только пожалѣть, что вы дѣйствительно не захлопнули надо мной эти доски!—вѣжливо пожалъ я плечами—и вмѣстѣ съ этимъ принялъ изъ ея руки крышку и спокойно опустилъ ее надъ люкомъ.

* * *

Я еще доканчивалъ мою работу, то есть поправлялъ коверъ и опять вставлялъ въ канделябръ взятую мной свѣчу, когда Амелія вышла уже изъ костела. Вернувшись домой, я засталъ Савву Парменыча на крыльцѣ. Онъ выслушивалъ какое-то донесеніе урядника.

— Въ чемъ дѣло?—спросилъ я.

— А вотъ-съ, наши подходятъ: разъѣзды повстрѣчались!—значитъ, сейчасъ прибудутъ! Ну-съ и поздравить можно съ счастливой экспедиціей: банда захвачена-съ и въ лоскъ разбита!—съ довольнымъ видомъ, похлестывая слегка по ступенькамъ нагайкой, сообщилъ Савва Парменычъ.

И дѣйствительно, не прошло и четверти часа, какъ отрядъ вступалъ уже во дворъ Ильяшевскаго фольварка.

* * *

Отрядный начальникъ, въ освѣщенной двумя лампами залѣ, принималъ отъ насъ отчетъ о нашемъ порученіи. Одну группу, окружавшую его, составляли офицеры отряда, а въ другой стояли: старый графъ съ племянницей, капелланъ съ экономомъ и нѣсколько человѣкъ домашней прислуги.

— А какъ же, господа, «Ночь-то», «Ночь?» Неужто же онъ такъ и ускользнетъ отъ насъ?—говорилъ полковникъ.

Я взглянулъ на Амелію и встрѣтился съ ея взглядомъ. И что это былъ за взглядъ! нѣмой, неподвижный, но какой выразительный! Какой понятный для меня—и только для одного меня изъ всѣхъ присутствующихъ!

«Ну, выдашь меня, или не выдашь ты, старый другъ, нѣкогда столь влюбленный въ меня?» говорилъ мнѣ этотъ вызывающій взглядъ. Я потупилъ глаза и ограничился въ своемъ донесеніи отрядному начальнику одной лишь официальной стороной дѣла, что довудца, молъ, «Ночь», при самомъ тщательномъ обыскѣ всего фольварка, нигдѣ ни найденъ; хотя такой, напримѣръ, признакъ, какъ два прибора за столомъ, легко могъ указывать если не на его присутствіе въ этомъ домѣ, то на возможность ожиданія его,—однако же, несмотря на самые бдительные разъѣзды и ведеты, ни «Ночь», ни адъютантъ его ни откуда въ виду не показывались.

Кончивъ свое донесеніе, я невольно поднялъ глаза на Амелію. Она была блѣдна—и стояла закусивъ губу и какъ бы видимо колеблясь внутренно между мучительнымъ страхомъ и робкой надеждой; но когда я кончилъ и взглянулъ на нее—въ ея взорѣ мелькнулъ свѣтлый лучъ безпредѣльной благодарности. Старый графъ съ племянницей, ксендзомъ экономомъ, при эскортѣ казаковъ, въ ту же ночь были отправлены въ ближайшую военно-слѣдственную коммисію, а отрядъ нашъ, переночевавъ на мѣстѣ, поутру отправился на новые поиски.

* * *

Прошло три года. Въ зиму 1866 года на масляной былъ маскарадъ въ залахъ Большого Варшавскаго театра. Я толкался между черными фраками и пестрыми масками по всѣмъ заламъ—и уже намѣревался-было ѣхать домой, отъ невыносимой скуки, какъ вдругъ мою руку взяла необыкновенно изящно и со строгимъ вкусомъ одѣтая маска.

Я никакъ не ожидалъ такого пассажа и потому оглядѣлъ ее съ чувствомъ самаго непритворнаго удивленія.

— Старый другъ!—раздался изъ-подъ черныхъ кружевъ ея голосъ, почему-то показавшійся мнѣ гдѣ-то и когда-то знакомымъ.—Я очень рада, что встрѣтилась съ тобою... я должна еще поблагодарить тебя.

И она съ чувствомъ, горячо и крѣпко пожала мою руку.

— За что?—спросилъ я.

— Постарайся догадаться.

— Не мастеръ отгадывать загадки.

— Однако?

— Безъ всякихъ «однако».

— А въ женскія душки ты больше не влюбляешься?

По мнѣ словно искра какая-то пробѣжала.

Digitized by Google

Я узналъ теперь этотъ голосъ и догадался, *кто* говоритъ со мною.

— Я былъ влюбленъ только въ одну... въ ту, которая теперь передо мной.

Она вдругъ засмѣялась этимъ, столь хорошо знакомымъ и памятнымъ мнѣ, искристо-веселымъ смѣхомъ.

— Но за что же ты благодаришь меня?— спросилъ я.

— За *Ночь*,—лаконически отвѣчала она.

— Я слышалъ, что онъ вскорѣ послѣ того былъ убитъ въ какой-то стычкѣ—ты знаешь это?

— Знаю!—утвердительно и даже съ какимъ-то гордымъ достоинствомъ кивнула она головой.—Онъ хорошо кончилъ... да онъ и не могъ кончить иначе.

— Послушай... одинъ вопросъ!..

— Чего ты хочешь?—спрашивай!

— Ты любила его?

Она помедлила и шла рядомъ со мной, низко потупивъ голову.

— На этотъ вопросъ я отвѣчать не буду,— едва разслышалъ я ея тихій и какъ-будто трепещущій шопотъ.

Послѣ такого отвѣта я уже не рѣшался продолжать на эту тему, тѣмъ болѣе что и самый отвѣтъ, при всей своей уклончивости, былъ слишкомъ ясенъ, чтобы не понять истиннаго его смысла.

— Скажи мнѣ,—началъ я снова,—могу я теперь по-старому иногда бывать у тебя? Ты мнѣ позволишь это?

— Нѣтъ не позволю!—было ея рѣшительнымъ отвѣтомъ.—Времена, милый мой, слишкомъ уже измѣнились.

— Но... могу ли я, по крайней мѣрѣ, узнавать тебя?

Она подумала съ минуту.

— Да, при встрѣчѣ ты можешь кланяться.

И съ этими словами, освободивъ мою руку, она быстро исчезла въ густой и пестрой толпѣ.

И вотъ, съ тѣхъ поръ она даритъ меня при каждой встрѣчѣ своими сдержанными кивками; но иногда, несмотря на безмолвно-холодный поклонъ, я читаю въ ея глазахъ что-то хорошее, задушевное, — быть-можетъ, это мимолетная тѣнь воспоминаній о прошломъ.

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

Stanford University Libraries
3 6105 126 944 243

PG
3467
K74
1898
V.3

Stanford University Libraries
Stanford, California

Return this book on or before date due.

Digitized by Google